



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

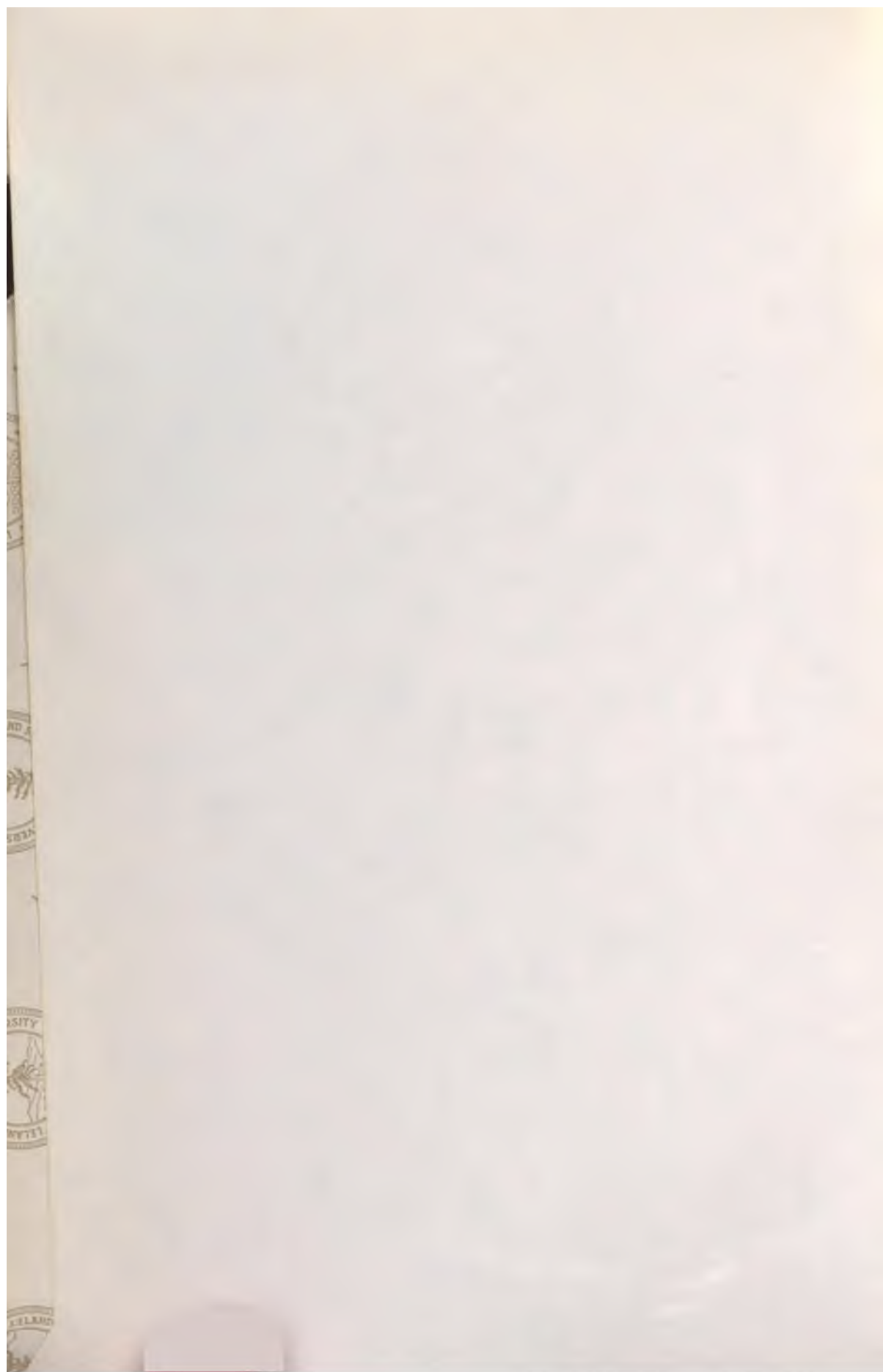
Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

3 6105 115 527 645













СОЧИНЕНІЯ Д. И. ПИСАРЕВА.

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ ВЪ ШЕСТИ ТОМАХЪ.

Съ портретомъ автора и статей ЕВГЕНІЯ СОЛОВЬЕВА (автора біографіи Писарева).

ТОМЪ ТРЕТІЙ.

СОДЕРЖАНІЕ ТОМОВЪ

- | | |
|--|--|
| <p>1-й ТОМЪ. Первые литературные опыты. Несоразмерная претензия. Народная книжка. Идеализмъ Платона. Физиологическіе эскизы Моленота. Процессъ жизни (по Фехту). Сказки XIX вѣка. Стоячая вода. Писемскій, Тургеневъ и Гончаровъ. Женскіе типы въ романахъ Писемскаго, Тургенева и Гончарова. Библиографическія замѣтки. Меттернихъ.</p> <p>2-й ТОМЪ. Аполлоній Тианскій. Московскіе мыслители. Русскій Донъ-Кихотъ. Возникше русскіе переводчики. Генрихъ Гейне. Ицелы. Физиологическія картины. Вазарей. Очерки изъ исторіи печати во Франціи. Зарожденіе культуры.</p> <p>3-й ТОМЪ. Наша университетская наука. Историческіе эскизы. Цѣпъ извѣстнаго ямора. Мотивы русской драмы. Прогрессъ въ мірѣ животныхъ и растений. Историческое развитіе европейской мысли.</p> | <p>4-й ТОМЪ. Реалисты. Кукольная трагедія. Промѣны перифразой мысли. Романъ кисейной дѣвушки. Сердитое безсміе. Прогулка по садамъ русской словесности. Переломъ въ умственной жизни средневѣковой Европы. Мысли Пиррова о воспитаніи женщинъ. Педагогическіе софизмы. Разрушеніе эстетики. Школа и жизнь.</p> <p>5-й ТОМЪ. Пушкинъ и Бѣлинскій. Подвигъ европейскіхъ авторитетовъ. Посмотримъ! Недростаящая гуманность. Историческія идеи Огюста Конта. Погибшіе и погибающіе. Популяризаторы отрицательныхъ доктринъ. Взгляды англійскихъ мыслителей на умственные потребности современнаго общества. Льюисъ и Гексли.</p> <p>6-й ТОМЪ. Очерки изъ исторіи европейскихъ народовъ. Образованная толпа. Борьба за жизнь. Романы Андре Лео. Старое барство. Французскій крестьянинъ 1789 г.— Приложение: Литературный процессъ во 2-му тому Сочиненій Д. И. Писарева въ 1868 году.</p> |
|--|--|

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Обложка напечатана въ типографіи Ю. Н. Эрлихъ, Садовая, № 9.
1894.

Цѣна каждаго тома 1 рубль.

Литература, публицистика и законодѣніе.

- Сочиненія Чирльза Диккенса. Полное собраніе. Цѣна каждаго тома (равнаго 75 журнальнымъ листамъ)—1 р. 50 к.—До 10 декабря 1893 г. вышли первые пять томовъ: 1) Давидъ Копперфильдъ, 2) Домби и сынъ, 3) Холмный домъ. Повѣсть о двухъ городахъ, 4) Крошка Дорритъ. Большія ожиданія. 5) Нашъ общій другъ и Оливеръ Твистъ, 6) Записки Пиквикскаго клуба. Тяжелыя времена. 7) Николай Никльби. Три святочныхъ разсказа. 8-й томъ печатается.
- Сочиненія Пушкина. Съ портр., биографіей и 500 письмами. Полное собр. въ 1-мъ томѣ и въ 10 томахъ. Ц. 1-томнаго и 10-томнаго изд. одна и та же: безъ карт.—1 р. 50 к. Съ 44 кар.—2 р. 50 к. На лучшей бумагѣ—на 50 к. дороже. За переплетъ: для 1-томн. изд.—40 к. и 1 р. Для 10-томнаго (въ 5 пер.) 1 р. и 2 р.
- Сочиненія Лермонтова (въ одномъ томѣ). Полное собраніе всѣхъ сочиненій. Съ портретомъ, биографіей, написанной А. М. Скабичевскимъ, и 115 рисунками въ текстѣ. Ц. 1 р., въ простомъ перепл.—1 р. 40 к., въ коленкоровомъ съ золотымъ тисненіемъ—2 руб.
- Сочиненія Лермонтова (въ четырехъ томсахъ). Полное собраніе всѣхъ сочиненій. Съ портретомъ автора, его биографіей и 115 рисунками въ текстѣ. Цѣна за всѣ 4 тома 1 р., въ двухъ простыхъ переплетахъ—1 р. 50 к., въ двухъ роскошныхъ переплетахъ—2 руб.
- Сочиненія Н. Шелгунова. Въ двухъ томахъ. Съ портретомъ автора и вступительной статьей Н. Михайловскаго. Ц. 3 р., въ пер.—4 р.
- Повѣсти и разсказы И. Н. Потапенко. Восемь томовъ. Ц. каждаго—1 р. Перепл. для 2 том. вмѣстѣ по 75 к.
- Сочиненія Глѣба Успенскаго. 3 изданіе въ 2 томахъ, съ портретомъ автора и статей Н. К. Михайловскаго. Ц. за два тома—3 р. Переплетъ въ 50 к. и въ 1 р.
- Сочиненія Глѣба Успенскаго. Томъ 3-й. Ц. 1 р. 50 к.
- Сочиненія В. Рѣшетникова. Въ двухъ томахъ, съ портретомъ автора и статей М. Протопопова. Ц. за все собраніе—2 р. 50 к. Переплетъ въ 50 к. и 1 р.
- Сочиненія А. М. Скабичевскаго. Критическіе этюды, публицистическіе очерки, литерат. характеристики. Съ портр. автора. Ц. за все собраніе въ двухъ больш. том. (до 1700 стр.) 3 р. Перепл.—въ 50 к. и 1 р.
- Большой альбомъ къ „Сочиненіямъ Пушкина“. 44 иллюстраціи съ подписями, портретомъ и спискомъ съ почерка. Цѣна въ напѣ 1 р. 50 к.
- Малый альбомъ къ „Сочиненіямъ Пушкина“. Тѣ же иллюстраціи, но меньшаго формата. Ц. въ коленкоровомъ переплѣтѣ—1 р. 25 к.
- 120 рисунковъ къ Лермонтову. Художественный альбомъ М. Е. Малышева. Ц. въ напѣ 50 к.
- Герои и героическое въ исторіи. Томъ Карлейля. Перев. В. Яковенко. Ц. 1 р. 50 к.
- По волнамъ безконечности. Астрономическая фантазія К. Фламмаріона. Съ франц. 350 стр. 2-е изд. Ц. 80 к.
- Грядущая раса. Фантастическій романъ Эд. Бульвера. Переводъ съ англійск. А. Каменскаго. Ц. 50 к.
- Исторія французской революціи. И. Карно. Переводъ съ франц. Около 400 страницъ. Ц. 1 р.
- Европейскіе монархи и ихъ дворы. *Politicos'a*. Пер. съ англ. и дополнител. В. Ринцовъ. Съ 16 портр. Ц. 1 р.
- Черезъ сто лѣтъ. Соціологическій романъ Э. Беллами. 3-е изданіе, дополненное научно-предсказательнымъ очеркомъ Ринше: «Куда мы идемъ?». Ц. 1 руб.
- Въ трущобахъ Англіи. (Планъ соціал. борьбы съ эконом. явленіями современнаго общества) Бутса. Ц. 1 р.
- Нашъ офицерскіе суды. Ф. Павленкова. Ц. 35 к.
- Напитанная дочка. Повѣсть А. Пушкина. Роскошное изд. съ 188 рис. Ц. 60 к. въ нап. 75 к. въ пер. 1 р.
- Голодь. Романъ К. Гамсуна. Съ норвежскаго. Ц. 60 к.
- Забота. Романъ Зудермана. Съ 14 ил. изд. Ц. 60 к.
- До потопъ. Романъ изъ жизни первобытныхъ людей. Рони. Съ 16 рис. Ц. 50 к.
- Потопъ. Астрономическій романъ К. Фламмаріона. Ц. 75 к.

- Врожденіе. Психологическій романъ. Переводъ съ нѣмецкаго, подъ редакціей и съ предисловіемъ Р. Сементковскаго. Ц. 1 р. 60 к.
- Исторія культуры. Липперта. Перев. съ нѣмецкаго. Съ 85 рис. Ц. 1 р. 60 к.
- Матери великихъ людей. Блока. Переводъ З. Горской. Съ многими рисунками. Ц. 60 к.
- Долой оружіе! Анти-военный романъ Б. Зутнера. Купажное изданіе. Цѣна 80 коп.
- Подъ маской благочестія. (Преступленія и оргіи папъ). Романъ Э. Постери. Съ итальянскаго. Ц. 1 р.
- Тургеневъ о русскомъ народѣ. Чтеніе для народа. Съ портретомъ И. С. Тургенева. Ц. 15 к.
- Литература и жизнь. Письма о разныхъ разностяхъ Н. К. Михайловскаго. Ц. 1 руб.
- Въ поискахъ за истиной. Макса Нордау. Перев. съ нѣмецкаго изд. Э. Зауеръ. 3-е изд. Ц. 1 р.
- Больная любовь. Гигиенич. романъ Мантезацца. Ц. 50 к.
- Роль общественнаго мнѣнія въ государственной жизни. Профес. Гольцендорфа. Цѣна 75 к.
- Очерки самоуправленія (земскаго, городского и сельскаго). С. Приклонскаго. Ц. 2 р.
- Борьба съ земельнымъ хищничествомъ. Бытовые очерки Н. Тимошенкова. Ц. 1 р.
- Брюхо Петербурга. Общественно-физиологическіе очерки А. Бахтіарова. Ц. 1 р. 50 к.
- Бесѣды о законахъ и порядкахъ. С. Горьнской, под. ред. Я. Абрамова. Цѣна 15 к.
- Законы о гражданскихъ договорахъ, общепонятно изложенные и объясненные. Составилъ В. Фармаковский. Изданіе 4-е. Цѣна 1 р. 25 к.
- Исторія книги на Руси. А. Бахтіарова. Со многими рисунками въ текстѣ. Ц. 1 р. 50 к.
- Русскіе фланеры въ Парижѣ. Попова. 2-е изд. Ц. 1 р.
- По градамъ и веснямъ. Романъ изъ исторіи нашего времени Володина (Засодимскаго). Ц. 1 р. 50 к.
- Обломки разбитаго корабля. Сцены у мировыхъ судовъ. Составилъ В. Никитинъ. Ц. 1 р.

Популярно-научныя книги.

- Наука о жизни. Популярная физиологія человѣка. В. Луковича. Съ 91 рис. Ц. 1 р.
- Преступная толпа. Опытъ коллективной психологіи. С. Сигеле. 116 стр. Ц. 30 к.
- Пессимизмъ. Сочиненіе Джамса Селли. Популярный обзоръ всѣхъ пессимистическихъ ученій. Пер. съ англійскаго подъ редакціей В. Яковенко. Цѣна 1 р. 50 к.
- Философія Герберта Спенсера, съ сокращ. изложеніемъ. К. Липина. Перев. съ англійскаго И. Мокіевскаго. Ц. 2 р.
- Законы подражанія. Тарда. Пер. съ фр. Ц. 1 р. 50 к.
- Домашній опредѣлитель поддѣлокъ. А. Альмедисена. Ц. 60 к.
- На всякій случай! Научно-практическіе совѣты сельскимъ хозяевамъ. А. Альмедисена. Ч. 2-я. Ц. 50 к.
- Гигіена женщины. Д-ра М. Тило. Ц. 40 к.
- Гигіена семьи. Гебера. Переводъ съ нѣм. Ц. 50 к.
- Берегите легкія! Гигиеническія бесѣды д-ра Нимейера. Съ 30 рисунками. Цѣна 75 к.
- Уходъ за больными дѣтьми. Д-ра Э. Перье. Переводъ съ франц. Ц. 50 к.
- Сохраненіе здоровья. Общая гигиена въ приж. и бытѣ жизни. Д-ра Эйдама. Съ 7 рис. Ц. 40 к.
- Дѣтскій докторъ. Популярное руководство для матерей и воспитателей. Д-ра Варіо. Перев. съ франц. и редакціей проф. Пономарева. Со мног. рис. Ц. 50 к.
- Бактеріи и ихъ роль въ жизни человѣка. Д-ра Миллера. Перев. съ нѣм. съ 35 рис. Ц. 1 р.
- Предсказаніе погоды. Г. Далле. Переводъ съ фр. Съ 40 рисун. Цѣна 1 р. 25 к.
- Дарвинизмъ. Э. Ферье. Переводъ съ франц. Популярное изложеніе ученія Дарвина. Ц. 60 к.
- Жизнь на Сѣверѣ и Югѣ (отъ полюса до экватора). А.

СОЧИНЕНІЯ
И. ПИСАРЕВА.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ
ВЪ ШЕСТИ ТОМАХЪ.

ТОМЪ ТРЕТІЙ.

Цѣна каждаго тома 1 рубль.

Портретъ автора и статья о его литературной дѣятельности
помѣщены при шестомъ томѣ.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія П. П. Сойкина, Стремянная, 12.
1894.

AC65

P5

v.3-v'

Оглавленіе третьяго тома.

1863.

Наша университетская наука	стр. 1
--------------------------------------	-----------

1864.

Историческіе эскизы	111
Цвѣты невиннаго юмора	239
Мотивы русской драмы	293
Прогрессъ въ мірѣ животныхъ и растений	327
Историческое развитіе европейской мысли	495



1863.

НАША УНИВЕРСИТЕТСКАЯ НАУКА.

УНИВЕРСИТЕТЪ.

I.

Въ 1856-го года я поступилъ въ одинъ изъ университетовъ. Осенью 1861 года явилъ этотъ университетъ съ кандидатскимъ дипломомъ. Я упоминаю теперь же объ этомъ фактѣ, чтобы сразу зарекомендовать себя лучшей стороны. Если я—кандидатъ, то университетъ обошелся со мной очень дешево, стало быть, я не имѣю никакого основания къ личной неприязни противъ университета, читатель можетъ довѣрять мои показанія настолько, насколько принято считать вѣрить порядочному человѣку, разсуждающему о такомъ обстоятельстве, въ которомъ онъ не имѣетъ причины быть пристрастнымъ.

Я выставилъ также цифру годовъ, чтобы читателю, что я—еще человѣкъ молодой, достаточно могу говорить о своихъ студенческихъ годахъ, не поддаваясь тому сантиментальному стремленію къ идеализированію, которое обыкновенно дѣйствуетъ въ людяхъ пожилыхъ: когда эти почтенные люди въ назиданіе своимъ братьямъ или потомкамъ перебираютъ свои школьныя воспоминанія. Не прошло еще и пяти лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ я вышелъ изъ университета, стало быть, всѣ главнѣйшіе факты моей тогдашней умственной жизни сохранились въ памяти во всей своей свѣжести. Мнѣ не приходится добавлять художественнымъ творчествомъ какія-нибудь забытыя черты или подробности.

Я заранее могу дать читателю торжественное обѣщаніе, что не сочиню ни одной строки, не выдумая для украшенія моихъ воспоминаній ни одного разговора. Вслѣдствіе этого обѣщанія мои воспоминанія могутъ быть вѣрны къ занимательности, но эта потеря съ лишкомъ будетъ вознаграждена тѣмъ, что они будутъ вѣрны въ отношеніи къ строгой историче-

Соч. Д. И. Писарева, т. III.

ской вѣрности. Все вниманіе мое будетъ сосредоточено только на одной сторонѣ студенческой жизни, именно на отношеніяхъ студента къ наукѣ и на дѣятельности профессоровъ, какъ посредниковъ между алчущими и жаждущими умами съ одной стороны, и умственной пищей, заключенной въ различныхъ фолиантахъ, съ другой стороны. Отношенія студентовъ между собою, различные проявленія молодой умственной жизни, студенческіе кружки, ихъ горячіе споры, ихъ искреннія вѣрованія и честныя стремленія, классическое «Gaudeamus igitur», отъ котораго восторгается сердце всякаго бывшаго студента,—всѣ эта поэзія юности остается въ сторонѣ; я пишу серьезный очеркъ; я хочу сохранить въ настоящую минуту полную умственную трезвость; я хочу безпристрастно взглянуть на нашу университетскую науку, и потому съ суровостью, достойной древняго римлянина, отталкиваю отъ себя все то, что подкупаетъ умъ и развѣживаетъ чувство. Затѣмъ, попросивши у читателя извиненія за длинное вступленіе, я на всѣхъ парахъ вступаю въ бурное и негостепріимное море моего трезваго и суроваго изложенія.

II.

Итакъ, я—студентъ. Позади меня, въ близкомъ прошедшемъ, лежитъ побѣжденная груда личныхъ враговъ моихъ, груда тѣхъ учебниковъ, которыхъ сумма называется въ совокупности гимназическимъ курсомъ.

Надъ этой хаотической грудой поверженныхъ и безсильныхъ противниковъ, какъ символъ примиренія и прощенія, сіяетъ кроткимъ и умиротворяющимъ блескомъ первая серебряная медаль съ изображеніемъ богини мудрости и съ многозначительной надписью: «преуславному». Видя, что я преуспѣвалъ и въ гимназіи, читатель долженъ осязательно чувствовать, какъ возрастаетъ въ немъ уваженіе къ моей особѣ и

довѣріе къ моему безстрастію. Вѣдшіе результаты моего пребыванія въ гимназіи оказываются блистательными; внутренніе результаты поражаютъ непритвореннаго наблюдателя обиліемъ и разнообразіемъ собранныхъ свѣдѣній: логарифмы и конусы, усѣченные пирамиды и неусѣченные параллелоэдры перекрещиваются съ гексаметрами «Одиссеи» и асклепиадовскими размѣрами «Горація»; рычаги всѣхъ трехъ родовъ, ареометры, динамометры, гальваническія батареи приходятъ въ столкновеніе съ Навуходоносоромъ, Митридатомъ, Готфридомъ Бульонскимъ и нескончаемыми рядами цифръ, составляющихъ неизбѣжное хронологическое украшеніе слишкомъ извѣстныхъ историческихъ произведеній гг. Смарагдова, Зуева и Устрялова. А города, а рѣки, а горныя вершины, а германскій союзъ, а неправильныя греческія глаголы, а удѣльная система и генеалогія Іоанна Калиты! И при всемъ томъ мнѣ только шестнадцать лѣтъ, и я все это превозмогъ, и превозмогъ единственно только по милости той драгоцѣнной способности, которой обильно одарены гимназисты. Той-же самой способностью одарены вѣроятно въ той-же степени кадеты и семинаристы, лицейсты и правовѣды, да и вообще все обучающееся юношество нашего отечества. Эта благодатная способность не что иное, какъ колоссальная сила забвенія. Лермонтовскому демону, какъ извѣстно, не было дано этой силы, и Лермонтовъ, упоминая объ этомъ обстоятельстве, прибавляетъ даже, что

Онъ и не вазаль-бы забвенія.

Не мудрено? Но откуда взять. Вся вода рѣки Леты съ той самой минуты, какъ ее перестали пить души, вступающія въ елисейскія поля, стала расходоваться на обучающееся юношество, которое съ истинно юношескою жадностью упиивается ея живительными струями. Юношество понимаетъ, что эта магическая вода представляетъ для него единственное средство спасенія. Только при помощи ея оно выдерживаетъ свои многочисленные экзамены, и при ея-же помощи оно, выдержавши послѣдній свой экзаменъ, навсегда очищаетъ свою голову отъ переполняющихъ и засоряющихъ ее интредіентовъ. Во время учебного года гимназистъ удерживаетъ заразы въ своей головѣ только тотъ маленькій кусочекъ каждой учебной книги, который учитель въ ближайшій классъ можетъ потребовать къ осмотру; въ одно время въ его мозгу живутъ, независимо другъ отъ друга, кусочки разныхъ предметов; такъ какъ ни одинъ предметъ не вмѣщается въ мозгу въ своей цѣлости, то эти кусочки живутъ и шевелятся сами по себѣ, безъ всякой связи съ цѣлымъ, такъ точно, какъ живутъ и шевелятся сами по себѣ куски разрѣзаннаго земляного червяка. Когда наступаетъ пора экзаменовъ, тактика немедленно перемѣняется: эйпъ-цвей-дрей! куски разрѣзаннаго червяка сбѣгаются и сро-

стаются въ надлежащемъ порядкѣ. Начинается церемоніальный маршъ червяковъ черезъ мозги гимназистовъ; по порядку, назначенному въ описаніи экзаменовъ, проходятъ предметы одинъ за другимъ, и самъ гимназистъ испытываетъ рядъ изумительнѣйшихъ превращеній: сегодня онъ Архимедъ, черезъ три дня — Цицеронъ, черезъ недѣлю — Гомеръ; наконецъ весь этотъ рядъ метаморфозъ завершается тѣмъ, что увѣнчанный лаврами триумфаторъ, гордость и цвѣтъ гимназіи — превращается въ юного тельца, увозится на бакинулы въ деревню и тамъ *нагуливаетъ* жиръ, утраченный во время осеннихъ, зимнихъ и весеннихъ трудовъ и передѣлокъ. Тутъ уже забывается все до послѣдней капли; растительная жизнь вступаетъ во всѣ свои права; гимназистъ стоитъ на развалинахъ своего ученаго величія и, вспоминая свою недавнюю славу, утѣшается той мыслью, что именно такое-же оскорбительное превращеніе досталось нѣкогда на долю Навуходоносора, наполнявшаго всю переднюю Азію славой своего царственного имени и шумомъ своего побѣдоноснаго оружія. Если сила забвенія дѣйствуетъ съ непобѣдимымъ успѣхомъ во время переходныхъ экзаменовъ, то она дѣйствуетъ на выпускномъ экзаменѣ въ семь разъ успѣшнѣе. Сдавши напрямѣтъ выпускной экзаменъ изъ исторіи и приступая къ занятію математикой, юноша разомъ вытряхиваетъ изъ головы имена, годы и событія, которые онъ еще наканунѣ лелѣлъ съ такимъ увлеченіемъ; приходится забыть не только-нибудь уголокъ исторіи, а какъ есть все начиная отъ китайцевъ и ассирійянъ и кончая войной американскихъ колоній съ Англіей *). Какъ совершается это удивительное физиологическое отравленіе — не знаю, но оно дѣйствительно совершается — это я знаю по своему личному опыту; этого не станеть отвергать никто изъ читателей, если только онъ захочетъ заглянуть въ свои собственныя школьныя воспоминанія.

Быть-можетъ нѣкоторые педагоги, ревниво оберегающіе честь своихъ гимназій, отнесутся къ моей идеѣ, какъ къ легкомысленному произведенію праздной фантазіи, и скажутъ рѣшительно и гордо, что ихъ воспитанники учатъ уроки и выдерживаютъ экзамены, не прибѣгая ни въ какомъ случаѣ къ пособию благодатнаго забвенія. Такимъ дѣвѣрчивымъ воспитателямъ лукаваго юношества я тотчасъ укажу вѣрное средство испытать своихъ питомцевъ и убѣдиться въ практическомъ значеніи моихъ словъ. Подождемъ, что сегодня, 21 мая, экзаменъ изъ географіи происходитъ блистательно. Проходитъ два дня, 24-го числа тѣ-же воспитанники приходятъ экзаменоваться изъ латинскаго языка. Пусть тотъ

*) Дальше этого пункта не простирались наши историческія познанія. Спускаясь къ нашей отроческой и юности, педагоги набрасывали завѣсу на послѣдніе событія XVIII столѣтія.

огъ, считающій меня фантазеромъ, объ-
юношамъ, что экзамена изъ латинскаго
не будетъ, а повторится уже выдержан-
кэаменъ изъ географіи. Вы посмотрите, что
удеть. По рядамъ распространится пани-
страхъ; будущіе друзья науки увидятъ
что они попали въ засаду; начнется такое
не младенцевъ, какого не было со временъ
гиваго царя Ирода; кто 21-го мая полу-
пять балловъ, помирится на трехъ, а кто
ыствовался тремя, тотъ не скажетъ ни
о путнаго слова. Если моя статья попа-
въ руки обучающемуся юношѣ, то этотъ
а будетъ считать меня за самого низкаго
бъка, за перебѣжчика, передающаго въ не-
ельскій лагерь тайны бывшихъ своихъ со-
овъ. Разсуждая такимъ образомъ, юноша
ужить трогательное незнаніе жизни; онъ
аетъ, что педагоги когда-нибудь дѣйстви-
о воспользуются моимъ коварнымъ совѣ-
но этого никогда не будетъ и быть не мо-
Воспользоваться моимъ совѣтомъ значить
ти смертельный ударъ существующей си-
преподаванія и слѣдовательно обречь
на изобрѣтеніе новой системы. Конечно
педагоги никогда не доведутъ себя до та-
ечальной для нихъ катастрофы.

III.

ѣмъ же однако нехороша теперешняя систе-
еподаванія? спрашиваетъ недоумѣвающій
гелъ. — А кто-же вамъ, м. г., говоритъ, что
ехороша, отвѣчаю я. Я вамъ докладываю
ю, что она имѣетъ нѣкоторыя своеобразныя
инства, вслѣдствіе которыхъ благодать заб-
становится необходимой. Главное достоин-
отъ котораго зависятъ уже все остальные,
нть въ томъ, что различные предметы не
иваются въ общій циклъ знаній, не поддер-
ютъ другъ друга, а стоятъ каждый самъ по
стараясь вытѣснить своего сосѣда. Мате-
за норовитъ обидѣть исторію, которая въ
очередь съ угрожающимъ видомъ пасту-
на латинскую грамматику. Каждый пред-
бывается то побѣдителемъ, то побѣжден-
; исторія ихъ безконечныхъ раздоровъ со-
яетъ исторію умственной жизни каждого
изиста; мозгъ ученика — вѣчное поле сраже-
пора экзаменовъ — время самыхъ истре-
ьныхъ войнъ между отдѣльными предмета-
тѣйные нравы этихъ задорныхъ предметовъ
тся даже въ нѣдра семейства, въ группо-
венныхъ предметовъ, которые въ силу сво-
одства должны были-бы жить въ добромъ
іііи и защищать другъ друга противъ благо-
забвенія. Семья математическихъ наукъ
твляеть поучительный примѣръ такихъ
твенныхъ междоусобій: геометрія въ грошъ

не ставитъ алгебру, и объ онѣ также враждебно
смотреть на тригонометрію, какъ на какую-ни-
будь греческую грамматику. Что-же касается до
ариометики, то на нее старшіе члены математи-
ческой семьи и смотрѣть не хотятъ. Она — Сан-
дрильона семейства; объ ней стараются забыть, и
дѣйствительно забываютъ, вплоть до самого вы-
пускнаго экзамена, на которомъ, какъ на страш-
номъ судѣ, должно выдти на свѣтъ все, что было
затаено въ глубинѣ преступной совѣсти. На вы-
пускномъ экзаменѣ дѣйствительно произошла
такая драматическая коллизія между ариомети-
кой и ея старшими сестрами, такая, говорю я,
коллизія, которая привела меня въ трепетъ.
Намъ приходилось брать четыре билета (изъ
ариометики, изъ алгебры, изъ геометріи и изъ
тригонометріи), — экзаменовали насъ нѣсколько
учителей разомъ на двухъ противоположныхъ
концахъ большой залы; я на одномъ концѣ пре-
одолелъ тригонометрію и, побѣдоносно раздѣл-
вшись съ синусами и тангенсами, перешелъ на
другой конецъ отвѣчать изъ ариометики. Я былъ
увѣренъ въ полномъ успѣхѣ, но вдругъ задумал-
ся надъ отношеніями и пропорціями, да такъ за-
думался, что весь экзаменъ сталъ казаться мое-
му смущенному уму горькой и неумѣстной шуткой
слѣпой судьбы. Я окончательно сѣлъ на мель,
такъ что учитель, преподающій въ младшихъ
классахъ, принужденъ былъ превратить экза-
менъ въ лекцію и объяснить мнѣ, второму уче-
нику седьмого класса, тѣ истины, которыя онъ
внушалъ своимъ двѣнадцатилѣтнимъ слушате-
лямъ. Кроткій ликъ моей будущей медали отума-
нился легкимъ облакомъ, и меня выручило толь-
ко то обстоятельство, что за математику полага-
лась одна общая отмѣтка, составлявшая средній
выводъ изъ четырехъ частныхъ балловъ. Скро-
мность моихъ ариометическихъ познаній прошла
такимъ образомъ незамѣченной и потонула въ
лучахъ моей алгебраической, геометрической и
тригонометрической славы.

Но дѣло не въ томъ. Вы взгляните въ раз-
сказанный фактъ и тогда вы увидите, въ какую
грубую ошибку впадаютъ тѣ мыслящіе люди, ко-
торыя утверждаютъ, что математика развиваетъ
силу мышленія и что математическія науки пред-
ставляютъ непрерывную цѣпь истинъ, вытекаю-
щихъ одна изъ другой по логической необходи-
мости. У насъ математика есть ни что иное, какъ
собраніе сочиненій Боско или Пизетти; это рядъ
удивительныхъ фокусовъ, придуманныхъ богъ
знаетъ зачѣмъ, и богъ знаетъ какой эквилибри-
стикой чловѣческаго мышленія. У каждого фо-
куса есть свой особенный ключъ, и эту сотню
ключей надо осилить памятью, той-же самой
памятью, которой осиливаются историческія и
географическія имена. Доказывая геометриче-
скую теорему, гимназистъ только притворяется,
будто онъ выводитъ доказательства одно изъ
другого; онъ просто отвѣчаетъ заученный урокъ;

вся работа лежитъ на памяти, и тамъ, гдѣ измѣняется память, тамъ оказывается безсильной математическая сообразительность, которую вы, благодущный педагогъ, уже готовы были предположить въ вашемъ рѣчистомъ ученикѣ. Конечно, если вы переѣните буквы чертежа, если вмѣсто треугольника ABC дадите треугольникъ LOP , то ученикъ докажетъ и по этому треугольнику, — но вы этимъ не обольщайтесь; это покажетъ вамъ только, что отрокъ заучилъ не буквы, а фигуру чертежа, потому что буквы заучиваютъ только тѣ нищія души, которые учатъ слово въ слово исторію, географію и другіе литературные предметы. Такія личности уже переводятся въ гимназіяхъ. А вы попробуйте измѣнить фигуру; предложите напримѣръ вмѣсто остроугольника — тупоугольникъ, или устройте такъ, чтобы заинтересованный въ доказательствѣ уголъ глядѣлъ не въ стѣну, какъ ему вѣдьмо глядѣть по учебнику геометріи, а хоть-бы въ полъ или въ потолокъ. Сдѣлайте такъ, и я вамъ ручаюсь, что изъ десяти бойкихъ геометровъ пятого класса, девять погрузятся въ безплодную и мрачную задумчивость. Они съ краской стыда на лицѣ сознаются вамъ, что «у нихъ этого нѣтъ», и если вы — немножко психологъ, то вамъ сдѣлается отъ души жалко бѣдныхъ юношей; вы поймете, что въ эту минуту ихъ законное самолюбіе страдаетъ гораздо сильнѣе, чѣмъ еслибы ихъ поймали на крупной шалости или уличили въ небрежности къ заданному уроку; имъ приходится признаться въ умственномъ безсиліи, — въ безсиліи, произведенномъ искусственными средствами, и они сами смутно чувствуютъ, что они могли-бы быть сильнѣе и что ихъ мѣстная тупость находится къ какой-то роковой связи съ своеобразными достоинствами системы преподаванія. Теперь намъ хорошо писать панегирикъ этой системѣ, но надо помнить, что она еще не отошла въ вѣчность и что было время, когда эта система была для насъ неотразимымъ рокомъ: мы изнемогали подъ ударами учебниковъ, мы чувствовали иногда, что тупѣемъ, а между тѣмъ исхода не было; отступление было невозможно. Именно такую тяжелую минуту сознательности переживутъ тѣ девять геометровъ, которымъ не понравится, чтобы уголъ отъ созерцанія стѣны перешелъ къ разсматриванію потолка. Если-же они благополучно выпутаются изъ предложеннаго испытанія, тогда я не шута совѣтую старшему педагогу, имѣющему власть, обратить все свое вниманіе на учителя математики и отиѣтить его въ своихъ начальническихкихъ соображеніяхъ, какъ опаснаго челоѣка и безпокойнаго реформатора.

Ее сѣдуйте на меня, читатель, за то, что я такъ долго говорилъ о математикѣ, и не удивляйтесь тому, что я вовсе не буду говорить о другіихъ предметахъ гимназическаго курса. Отъ другіихъ предметовъ и требовать нечего, но математика — наука великая, замѣчательнѣйшій

продуктъ одной изъ благороднѣйшихъ способностей челоѣческаго разума. Профанированіе математики есть преступленіе передъ разумомъ, — преступленіе, за которое несемъ наказаніе мы, невинныя жертвы своеобразныхъ достоинствъ. Если у васъ нѣтъ въ обществѣ строгихъ мыслителей, если наши критическія статьи бывають похожи на соображенія Кифы Мокиевича, если наши оптимисты сматываютъ на Манилова, а добродѣтельные либералы — на Ситникова, то всѣ эти привычныя намъ чудеса происходятъ между прочимъ и отъ того, что чистую и прекрасную математику мы одолеваетъ памятью, а размышлять учимся въислѣдствіи, погружаясь въ историческія теоріи, въ философскія системы, въ юридическія фикціи, въ теологическія гипотезы и въ разныя другія извинительныя шалости досужаго и игрываго челоѣческаго ума. Мы мыслимъ афоризмами и отыскиваемъ истину чутьемъ и инстинктомъ; исторія превратилась подъ нашими руками въ правоучительный романъ, преслѣдующій разныя заднія мысли, иногда хорошія, часто очень дурныя, но во всякомъ случаѣ неотносящіяся къ настоящему дѣлу; философія до сихъ поръ предъявляетъ права тиранническаго господства надъ такими смиренными умами, которые совершенно неподвижны въ покушеніи мыслить; юридическая литература вся наголо состоитъ изъ причитаній о законности и вѣняемости, — изъ причитаній, которыхъ авторы поклялись торжественной клятвой никогда не отдавать отчета ни себѣ, ни другимъ — въ томъ, что такое законность и до какихъ предѣловъ должна простираться вѣняемость. Натуралисты наши, послѣдователи Мильнѣ-Эдвардса и Катрфажа, до сихъ поръ любятъ жизненной силой толковать о цѣлѣхъ въ природѣ и непритворно гордятся тѣмъ, что самый глупый челоѣкъ все-таки умнѣе и привлекательнѣе самой умной обезьяны. Всѣ эти историки, метафизики, юристы и натурфилософы, составляющіе многочисленный и разнообразный классъ нашихъ филлистовъ, постоянно говорятъ и пишутъ, постоянно спорятся и мирятся между собою, коварно соблазняютъ другъ о другѣ, или дружелюбно свидѣтельствуютъ другъ другу свое почтеніе. Но челоѣческая мысль сильна; порою вся пестрая сцена набросанная мною въ послѣднихъ строкахъ, внезапно освѣщается яркимъ лучемъ чьей-нибудь не-испорченной мысли; тогда на лицахъ филлистовъ изображается недоумѣніе, безвредные споры ихъ умолкають, взаимныя любезности прекращаються въ пробившемся лучѣ мысли они всѣ чуютъ общаго врага, — составляется общій хоръ, и всѣ историки, юристы, политико-экономисты, метафизики и натурфилософы ревутъ благимъ матомъ что новая мысль — совсѣмъ даже не мысль, а просто покушеніе на ихъ личную и имущественную безопасность, и хуже того — преступное посягательство на величіе патентованной науки, кот

динаково дорога имъ всѣмъ, какъ обща лица и вѣчная дойная корова.

ислуживаете, читатель, къ этому плачу и лету зубовъ, прислушайтесь и подумайте: было же время, когда всѣ эти мужи науки и были сами юными геометрами; было время, они съ мѣломъ въ рукахъ стояли у школьски, краснѣли отъ стыда и досады и сознавать мучительной ясностью, что память ихъ гаснетъ до истощенія силъ и что въ это самое непробужденная и неразвитая способность не можетъ ни на одну минуту поддержать и выручить ихъ въ борьбѣ съ неожиданными препятствіями. Теперь они это забыли; на ихъ улицѣ праздникъ; теперь они закупаютъ краснѣть другихъ геометровъ и, равъ обществѣ и въ литературѣ, словомъ и въ отставкѣ своихъ достоинствъ, вторыхъ имъ самимъ во время оно приходило жутко-солонно. Усилія ихъ увѣчиваются: наша учащаяся молодежь, воспользовавшись плодами ученія, распадается на двѣ обозначенныя категоріи: направо идутъ неспособныя краснѣть; налѣво козлища, способныя краснѣть, шалить и лѣниться. Они спокойно и радостно тупѣютъ, вторые и кусаютъ ногти. Изъ первыхъ выходятъ рные чиновники, изъ вторыхъ — широкія на и иногда даровитые дѣятели. Разстояніе тѣми и другими увеличивается съ каждымъ годомъ; различіе между обѣими категоріями постоянно становится глубже; не смотря на то, бывають иногда и такіе случаи, что геологъ, зачисленный въ овцы и постоянно считавшійся овцой, вдругъ открываетъ въ себѣ козьи свойства и наклонности и, сбѣжавъ такое гнѣздо, немедленно перебѣгаетъ къ своимъ вѣрнымъ союзникамъ. Случается и наоборотъ: болѣе, что овцой быть выгодно и

IV.

принадлежалъ въ гимназій къ разряду и не злился и не умничалъ, уроки зубрилъ, на экзаменахъ отвѣчалъ краснорѣчиво и умно, и въ награду за всѣ эти несомнѣнные достоинства былъ признанъ «преуспѣвающимъ». Хотя я до сихъ поръ не сообщалъ никакихъ подробностей о степени моего развѣтленія, но я осмѣливаюсь думать что изъ всего того я наговорилъ, проницательный читатель уже составилъ себѣ приблизительное и довольно вѣрное понятіе о томъ, что я имѣлъ при поступленіи моемъ въ университетъ. Кажу я ему еще, что любимымъ занятіемъ было раскрашиваніе картинокъ въ иллюстрированныхъ изданіяхъ, а любимымъ чтеніемъ — Купера и особенно очаровательнаго Дюма. Я читалъ и «Исторію Англіи» Маколея, но

чтеніе и подвигалось туго, и казалось мнѣ подвигомъ, требующимъ сильнаго напряженія естественныхъ силъ. На критическія статьи журналовъ я смотрѣлъ, какъ на кодексъ гіероглифическихъ надписей, прилагавшійся къ книжкѣ исключительно по заведенной привычкѣ, для вида и для счета листовъ; я былъ твердо убѣжденъ, что этихъ статей никто понимать не можетъ и что природѣ человѣка совершенно несвойственно находить въ чтеніи ихъ малѣйшее удовольствіе. Я долженъ признаться, что въ отношеніи къ нѣкоторымъ журналамъ я даже до сего дня не исцѣлился отъ этого спасительнаго заблужденія.

Впрочемъ это въ скобкахъ. Началъ я также, будучи ученикомъ седьмаго класса, читать «Холодный Домъ», одинъ изъ великолѣпнѣйшихъ романовъ Диккенса, и не дочиталъ. Длинно такъ, и много лицъ, и ничего не сообразишь, и приключеній никакихъ нѣтъ, и шумитъ такъ, что ничего не поймешь; такъ на томъ и оставилъ, порѣшивъ, что «Les trois mousquetaires» не въ примѣръ занимательнѣе. Ну, а русскіе писатели — Пушкинъ, Лермонтовъ, Гоголь, Кольцовъ? Читатель, мнѣ стыдно за моихъ домашнихъ воспитателей, стыдно и за себя — зачѣмъ я ихъ слушалъ... Русскихъ писателей я зналъ только по именамъ. «Евгеній Онѣгинъ» и «Герой нашего времени» считались произведеніями безправственными, а Гоголь — писателемъ салынымъ и въ порядочномъ обществѣ совершенно неумѣстнымъ. Тургеневъ допускался, но конечно я понималъ его такъ-же хорошо, какъ понималъ геометрію, Маколея и Диккенса. «Записки Охотника» ласкали какъ-то мой слухъ, но остановиться и задуматься надъ впечатлѣніемъ было для меня невозможно. Словомъ, я шелъ путемъ самаго благовоспитаннаго юноши... А между тѣмъ что-то манило меня въ университетъ, въ словахъ «студентъ, профессоръ, аудиторія, лекція» заключалась для меня какая-то необъяснимая прелесть; что-то свободное, молодое и умное чувствовалось мнѣ въ студенческой жизни; мнѣ хотѣлось не кутежей, не шалостей, а какихъ-то неиспытанныхъ ощущений, какой-то дѣятельности, какихъ-то стремленій, которымъ я не могъ дать тогда ни имени, ни опредѣленія, но на которыя непременно рассчитывалъ наткнуться въ стѣнахъ университета. Даже внѣшніе атрибуты студенчества казались мнѣ привлекательными; синій воротничъ, безвредная шпага, двуглавые орлы на пюговцахъ — все это нравилось мнѣ, какъ «вещественные знаки невещественныхъ отношеній». Въ то время, когда я, окончивши выпускной экзаменъ, обновлялъ студенческій сюртукъ, нѣкоторые изъ моихъ молодыхъ родственниковъ облакались въ самыя очаровательныя офицерскія формы; на каскахъ ихъ развѣвались султаны, сабли гремѣли, шпоры звенѣли, эполеты блестяли, солдаты передъ ними вытягивались, а я все-таки не завидовалъ, и мои скромныя регалии не те-

ряли въ моихъ глазахъ ни одного процента изъ своей неизгнѣимой цѣны, несмотря на ослѣпительную блистательность «ихъ благородій». — Впрочемъ любовь моя къ университету была чувствомъ совершенно платоническимъ и даже пантеистическимъ: я любилъ университетъ и студенчество, какъ какое-то отдѣльное мірозданіе, а зналъ я это мірозданіе еще гораздо меньше, чѣмъ Данте свою Беатриче. Кромѣ того, любя этотъ міръ въ его совокупности, я не чувствовалъ никакого особеннаго влеченія къ тому или другому кругу наукъ; а такое влеченіе непременно надо было почувствовать, потому что быть студентомъ вообще — такъ же невозможно, какъ быть птицей или рыбой. Надо быть курицей, грачемъ, ястребомъ, окунемъ, щучкой или карасемъ, а поступаая въ университетъ, надо непременно сдѣлаться студентомъ того или другого факультета. Это я зналъ, и потому, полюбовавшись на синеву воротника и на блескъ золоченаго эфеса шпаги, я въ одно мгновеніе ока произвелъ въ умѣ своемъ инспекторскій смотръ представлявшимся мнѣ факультетамъ. По математическому не пойду, потому что математику ненавижу и въ жизни своей не возьму больше въ руки ни одного математическаго сочиненія (читатель видѣлъ выше причины суровыхъ отношеній моихъ къ этому циклу наукъ); по естественному тоже не пойду, потому что и тамъ есть кусочекъ математики, да и физика почти то-же самое, что математика; юридическій факультетъ сухъ (это рѣшеніе можетъ показаться довольно отважнымъ, тѣмъ болѣе, что я тогда еще въ глаза не видалъ ни одного юридическаго сочиненія, — но я уже замѣтилъ прежде, что мы часто мыслимъ афоризмами: такъ случилось и со мною); въ камеральномъ факультетѣ нѣтъ никакой основательности (вотъ вамъ еще афоризмъ, который ничѣмъ не хуже предыдущаго.) Управившись такимъ образомъ съ четырьмя факультетами, я увидалъ, что передо мною остаются въ ожиданіи только два: историко-филологическій и восточный (медицинскаго не было въ томъ университетѣ, въ который я собирался поступить). Развѣ на восточный... Поѣхать при посольствѣ въ Турцію или въ Персію... жениться на азіатской красавицѣ... привезти ее въ Петербургъ и посадить въ національномъ костюмѣ въ ложу, въ баль-этажѣ, въ итальянской оперѣ... Это впрочемъ пустяки... А вотъ что: вѣдь на восточномъ придется осиливать нѣсколько грамматикъ, которыя пожалуй будутъ похуже греческой... Ну, и Богъ съ нимъ! — значить, на филологическій. На томъ и покончилось размысленіе.

V.

Читатель конечно согласится со мною (не изъ одной только вѣжливости), что профессорамъ филологическаго факультета доставалось на долю

въ моей особѣ настоящее сокровище. Я говорю и шутя. Подумайте: я былъ юнъ, понятливъ и совершенно нетронутъ. Имъ предстояло разработать дѣйственное поле; они могли обѣименить меня всякимъ добромъ, возжечь во мнѣ всякія благородныя искры, вдунуть въ мое здоровое тѣло именно такую мысль и такую душу, которая наиболѣе приходилась имъ по вкусу. Всѣ эти обѣименія, возжиганія и вдуванія я принималъ-бы съ благоговѣйнымъ восторгомъ, съ пламенной благодарностью, съ фанатическимъ увлеченіемъ новопосвященнаго адента. Вмѣстѣ со мною поступили въ университетъ личности всякаго разбора: были совершенные олухи, оставшіеся вѣрными своей природѣ вплоть до выхода изъ университета; были молодые фаты, уже испорченные великосвѣтскимъ элементомъ; были юноши себѣ на умѣ; были юноши тупосерьезные; были добрые ребята; были просто терпѣливые ослы; были наконецъ очень умные, — но навѣрное ни одинъ изъ всѣхъ этихъ юношей не соединялъ въ себѣ въ большей степени, чѣмъ я, тѣ два качества, которыя профессоръ, любящій свое дѣло, долженъ считать въ своемъ слушателѣ истинной драгоценностью. Эти два качества — способность къ развитію и совершенная неразвитость — составляли все мое умственное достояніе въ то время, когда я вошелъ подъ священные своды храма наукъ. Благодаря этимъ качествамъ, каждый профессоръ могъ быть въ отношеніи ко мнѣ Христофоромъ Колумбомъ; онъ могъ открыть меня, водрузить въ меня свое знамя и обратить меня въ свою колонію, какъ землю, незаселенную и никому непринадлежащую. Новая колонія обрадовалась-бы несказанно и по первому востребованію въ неслышанномъ изобиліи стала-бы производить рѣпу, табакъ, сахарный тростникъ или хлопчатую бумагу, смотря по тому, какія сѣмена вздумалъ-бы отважный мореплаватель доверить ея нераспаханнымъ нѣдрамъ. Мало того, види, что Колумбы не пристають къ ея гостеприимнымъ берегамъ, колонія сама преодолѣла свою робость и отправилась искать себѣ завоевателей и цивилизаторовъ; повторилась исторія новгородскихъ славянъ и варяго-русовъ. Но все это мы еще увидимъ. Попавши въ общество студентовъ-филологовъ, я впервые услышалъ такія вещи, которыя заставили меня задуматься. Трое или четверо изъ нихъ уже отмежевали себѣ ту или другую науку для специальныхъ занятій; другіе говорили, что выборъ ихъ еще не установился, но что вотъ они читаютъ то и то, и при этомъ размышляютъ такъ и такъ. Говорили объ исторической критикѣ, объ объективномъ творчествѣ, объ основѣ міоовъ, объ отраженіи идей въ языкѣ, о гриммовскомъ методѣ, о міросозерцаніи народныхъ пѣсенъ; ухитрялись даже спорить; къ ужасу моему, разсуждали о тѣхъ критическихъ и ученыхъ статьяхъ въ журналахъ, которыя были мнѣ недоступны, какъ полярныя льды; произмо-

силы имени Соловьева, Кавелина, Буслаева, Срезневского и Нибура, Чичерина и Шафарика, Гравовского и Вильгельма Гумбольдта; сумбуру именъ соответствовали сумбуры идей; о родовомъ и общинномъ бытѣ толковали, а я только моргалъ глазами и даже не пытался скрыть того, какъ глубоко удручаетъ меня болѣзненное сознание моего вынужденнаго безгласія. Теперь я двѣть грошей не далъ-бы за то, что говорилось тогда, тѣмъ болѣе, что говорившій рѣдко понималъ самого себя, а спорившіе уже рѣшительно никогда не понимали другъ друга, такъ что споръ прекращался только началомъ лекціи или охрипелостью воюющихъ сторонъ. Но тогда... о, тогда я изнывалъ отъ своего безсилія и томился мучительной духовной жаждой, воображая себѣ, что кругомъ меня люди утѣшаютъ другъ друга чистѣйшимъ нектаромъ. Понятно, что каждая лекція казалась мнѣ усладительной каплей небесной росы, и понятно также, что эти росинки тотчасъ винтывались и безслѣдно исчезали въ арабской пустынѣ моего невѣжества.

Первой изъ такихъ росинокъ была для меня лекція профессора Креозотова. Креозотовъ былъ человѣкъ замѣчательный. Надъ нимъ смѣялись въ совѣтъ университета его товарищи профессора, надъ нимъ смѣялись его слушатели, надъ нимъ навѣрное смѣялся въ душѣ даже тотъ сторожъ, который въ университетскихъ стѣнахъ снималъ съ него шубу или пальто. Но Креозотовъ не замѣчалъ или не хотѣлъ замѣчать всѣхъ этихъ тайныхъ и явныхъ смѣховъ и, не смущаясь ничѣмъ, твердой поступью направлялся къ избранной цѣли, т. е. къ заслугѣ въ пенсіонъ полнаго оклада жалованья. Служилъ онъ съ упорнымъ усердіемъ и, занимая кафедру исторіи, дѣйствительно читалъ всякую исторію, какую назначать, то древнюю, то русскую, то новѣйшую. Еслибы ему поручили читать специальную исторію Букеевской орды или Абиссинской имперіи, то это-бы его нисколько не затруднило. Даже въ такомъ экстренномъ случаѣ у него нашлась-бы готовая тетрадка, написанная дѣтъ двадцать тому назадъ на такой синей бумагѣ, какую теперь нельзя найти ни въ одной бумажной лавкѣ. Служебное усердіе сопровождало Креозотова на лекцію и вмѣстѣ съ нимъ садилось на кафедру; профессорскій наездъ его былъ разнообразенъ, какъ сама природа; онъ крихталъ отъ душевнаго напряженія, онъ изнывалъ и становился пѣвучимъ, когда герои его страдали или сходили въ могилу; онъ откидывался на спинку кресла, уводилъ ротъ въ сторону и придавалъ своей красной физиономіи шаловливое выраженіе, когда его героини спотыкались на пути добродѣтели и когда такимъ образомъ игривый эротическій анекдотъ прерывалъ собою величественное теченіе исторической жизни. Онъ лицедѣйствовалъ на кафедрѣ, онъ разыгрывалъ, а не читалъ свои тетрадки, и, какъ слѣдовало ожидать, слушатели сначала недоумѣ-

вали, потомъ смѣялись, наконецъ переставали посѣщать его лекціи, изрѣдка показывались въ его аудиторіи, ради соблюденія приличій, и заводили между собой очередь, чтобы на нѣсколько человѣкъ имѣть для экзамена по крайней мѣрѣ одинъ полный экземпляръ Креозотовскихъ записокъ.

Ученость Креозотова была такъ-же обширна, какъ велика была его типичность. Онъ не преподавалъ ни одного магистерскаго диспута, относящагося къ филологическому факультету. На каждомъ диспутѣ онъ дѣлалъ множество возраженій и замѣчаній очень безплодныхъ, микроскопически мелкихъ, но тѣмъ болѣе показывавшихъ, что специальный вопросъ, разработанный магистрантомъ, извѣстенъ ему по источникамъ, во всѣхъ мельчайшихъ подробностяхъ. И это обиліе знаній лежало точно въ сундукѣ; единственнымъ ученымъ сочиненіемъ Креозотова была какая-то славянская мнѣологія: выпустивъ ее въ свѣтъ, Креозотовъ весь ушелъ въ свои синія тетрадки и всѣ свои духовныя силы посвятилъ крихтѣнію и мимическому искусству. Мы слушали его древнюю исторію вмѣстѣ съ камералистами, но онъ объявилъ, что для насъ, филологовъ, будетъ еще читать отдѣльно исторію древней географіи. Онъ сдержалъ свое обѣщаніе. Что это такое было — этого я и выразить не въ состояніи. Тутъ уже не было ни героическихъ смертей, ни эротическихъ грѣховъ, ни мимического искусства. Осталось одно крихтѣніе. Въ первый разъ, когда онъ пришелъ читать этотъ длинный списокъ собственныхъ именъ, его поразила наша малочисленность, которая тѣмъ рѣзче бросилась въ глаза, что занимаемая нами аудиторія была очень обширна. При этомъ удобномъ случаѣ онъ разсказалъ намъ слѣдующій историческій анекдотъ. — Одинъ мудрецъ вошелъ въ небольшой городъ, въ которомъ были очень большія ворота. Увидѣвъ это обстоятельство, мудрецъ обратился къ гражданамъ и сказалъ: «я боюсь, чтобы вашъ городъ не ушелъ черезъ ваши ворота». — Неожиданно для самого Креозотова, анекдотъ этотъ оказался пророчествомъ: въ одинъ прекрасный день городъ дѣйствительно ушелъ и мудрецъ увидѣлъ только одни большія ворота. Дѣло въ томъ, что терпѣніе наше истощилось, и мы сговорились пренебречь исторіей древней географіи и разойтись по домамъ. До совершенія этого героическаго поступка мы однако выслушали около дюжины лекцій. Креозотовъ успѣлъ приглядѣться къ нашимъ лицамъ, узналъ наши фамилии и неоднократно разговаривалъ съ каждымъ изъ насъ. Сблизившись съ нами такимъ образомъ, онъ однажды предложилъ намъ предпринять общую работу. Я навострилъ уши. Предложеніе Креозотова состояло въ томъ, чтобы общими силами перевести съ греческаго географическое сочиненіе Страбона. По окончаніи перевода Креозотовъ обязывался свѣрить его съ

подлинникомъ, подвергнуть его одной общей редакціи и издать, съ признательностью упомянувъ въ предисловіи фамилии даровитыхъ и добросовѣстныхъ переводчиковъ. Предложеніе было принято. Предусмотрительный профессоръ, захватившій съ собою экземпляръ Страбона, для того чтобы ковать желѣзо, пока оно было горячо, тотчасъ предъявилъ принесенную книгу, разрѣзалъ ее на восемь частей, по числу завербованныхъ переводчиковъ, и вручилъ каждому желающему по пяти печатныхъ листовъ довольно мелкаго греческаго текста. Я конечно ревностно началъ переводить, и потому могу объяснить читателю, что это была за работа. Представьте себѣ, что какой-нибудь господинъ раскрылъ передъ вами атласъ, взявъ въ руки указку и, водя ею взадъ и впередъ по картѣ, рассказываетъ вамъ, что вотъ это мысъ А, а въ двухъ верстахъ отъ него заливъ В, а въ заливъ этотъ впадаетъ рѣка С, а по рѣкѣ С стоятъ города D, E и F, и т. д., и все въ томъ-же родѣ. Это строгое изложеніе разнообразится порою краткимъ историческимъ намекомъ на сраженіе, происшедшее по близости, или на богослужебные обряды, совершавшіеся гдѣ-нибудь въ священной рошѣ... Вотъ и все. И такихъ прогудокъ по атласу набирается листовъ до сорока, а мнѣ предстояло перевести пять листовъ, т. е. 80 страницъ. Читатель понимаетъ конечно, какъ сильно такая работа могла обогатить мой умъ, и какъ необходимо было для русской публики получить изданіе Страбона въ русскомъ переводѣ. Чѣмъ дальше подвигалась моя работа, тѣмъ снижидательнѣе я начиналъ смотрѣть на нашихъ трехъ индпендентовъ. Дѣло, какъ и слѣдовало ожидать, расклеилось. Креозотовъ собралъ растерзанныя части своего Страбона и отдалъ ихъ въ переплеть.

VI.

Въ то время, когда мы еще тянули ляжку, возложившую на насъ почтеннымъ профессоромъ, я вздумалъ обратиться къ Креозотову за совѣтомъ. Краснѣя отъ волненія, я покаялся ему, что желаю специально заняться исторіей, и убѣдительно просилъ его объяснить мнѣ, какъ надо поступать въ такомъ затруднительномъ случаѣ. Выслушавъ мою исповѣдь, Креозотовъ тотчасъ посоветовалъ мнѣ читать энциклопедію Эрша и Грубера, и кромѣ того читать источники древней исторіи—Геродота, Фукидида, Плинія, Ксенофонта, Тита Ливія, Діодора Сицилійскаго, Діона Кассія и т. д. Я горячо поблагодарилъ его за добрый совѣтъ и немедленно побѣжалъ въ университетскую бібліотеку.

— Позвольте мнѣ взять на домъ энциклопедію Эрша и Грубера, сказалъ я нашему бібліотекарю.

На лицѣ бібліотекаря выразилось удивленіе.

— Книги, служащія для справокъ, отвѣтилъ онъ мнѣ очень вѣжливо:—на домъ не выдаются.

Вы можете пользоваться ими здѣсь. Какую вамъ надобно букву?

Я не имѣлъ основанія предпочитать одну букву другой, и потому совершенно безпристрастно назвалъ букву А.

Тогда бібліотекарь повелъ меня за собою въ одну длинную галлерею и указалъ мнѣ длинный рядъ большихъ и толстыхъ книгъ, стоявшихъ на паркетѣ въ стройномъ алфавитномъ порядкѣ. Не помню, сколько ихъ было—тридцать, сорокъ или пятьдесятъ, но знаю, что ихъ было очень много, и что это зрѣлище привело меня въ трепетъ; я взялъ первую книгу съ лѣваго фланга и увидалъ, что буква А далеко не исчерпывается этимъ томомъ, который однако оттягивалъ мнѣ руки. Передо мной лежалъ знаменитый нѣмецкій энциклопедическій лексиконъ Ersch und Gruber, и конечно я на первыхъ страницахъ его нашелъ то, что обыкновенно находится въ такихъ книгахъ. Рѣка Aa, слово Aal (угорь), рѣка Aag, кантонъ Aargau и т. д. Сбирать свѣдѣнія обо всѣхъ этихъ предметахъ было конечно любопытно, а прочитавъ и сохранить въ памяти всю энциклопедію Ersch und Gruber значило-бы сдѣлаться восьмымъ чудомъ свѣта; во тѣмъ не менѣе чувство самосохраненія взяло верхъ надъ этими заманчивыми соображеніями. Я разсчиталъ, что мнѣ пришлось-бы читать Эрша и Грубера лѣтъ десять, и потомъ, по окончаніи послѣдняго тома, снова приступить за первый, который въ это время успѣлъ-бы еще разъ приобрести для меня всю прелесть новизны. Прочитавъ энциклопедію разъ пять отъ начала до конца, я могъ-бы сказать, что жизнь моя наполнена и что я могу умереть спокойно, совершивши въ земной жизни то, чего до меня еще не совершалъ ни одинъ здравомыслящій смертный. Совѣтъ Креозотова обогатилъ меня такимъ образомъ слѣдующими опытными знаніями: во-первыхъ я узналъ, что книги, служащія для справокъ, на домъ не выдаются; во-вторыхъ я узналъ, что существуетъ нѣмецкая энциклопедія Эрша и Грубера, что она очень велика и годится для справокъ; въ-третьихъ я узналъ, что приобретать историческія свѣдѣнія въ алфавитномъ порядкѣ и въ перемежку со всякими другими свѣдѣніями—оригинально, но неудобно; въ-четвертыхъ я приобрѣлъ то драгоценное убѣжденіе, что профессора университета могутъ иногда подавать совѣты, приводящіе въ недоумѣніе.

Совѣтомъ своимъ Креозотовъ заронилъ въ меня ядовитое зерно скептицизма. Изъ злого сѣмени выросла гибельная жатва. Теперь, если кто-нибудь рѣшится упрекать меня въ нигилизмѣ, я тотчасъ укажу моему обидчику на Креозотова и скажу: вотъ мой первый наставникъ! Спросите у него,—пусть онъ отвѣтитъ вамъ за мою погибшую душу.

Испытавъ неудачу на энциклопедіи, я тѣмъ не менѣе попробовалъ приступить къ дѣлу второй совѣтъ того-же коварнаго профессора. Я

ать къ себѣ на домъ твореніе Геродота во французскомъ переводѣ и началъ его читать. Тутъ точно никакихъ трудностей не представлялось, дѣло было столько-же безплодно, сколько легкое. Всякому человѣку, имѣющему понятіе о серьезныхъ и послѣдовательныхъ умственныхъ заботахъ, хорошо извѣстно, что историческіе источники должны читаться съ спеціальной цѣлью изслѣдованія людьми уже развитыми, способными снискать на эпоху критическій взглядъ и желающими проверить и дополнить изысканія своихъ предшественниковъ. Что-же касается до птенцовъ, подобныхъ мнѣ, то имъ надо читать историческія сочиненія и изслѣдованія, въ которыхъ эти приведены въ порядокъ, сгруппированы, свѣдены критическими трудами мыслящихъ историковъ. Это я говорю для тѣхъ птенцовъ, которымъ обуреваютъ неустойчивое желаніе съ юныхъ лѣтъ посвятить себя историческому изученію. Я съ своей стороны такого желанія во всякомъ случаѣ не одобряю, потому что, по крайнему моему разумѣнію, исторія вообще не такая наука, какъ только она наука, что требуетъ доказательствъ), которая могла-бы укрѣпить и сформировать молодое мышленіе. Но допустимъ то, что нѣтъ никакой надобности допускать, — что желаніе юности къ исторіи порывисто и неудержимо, какъ эксцентрическое желаніе беременной женщины, то и въ этомъ случаѣ перепрыгнуть съ учебника Смарагдова на чтеніе Геродота — значитъ броситься изъ огня въ полымя, и, гораздо вѣрнѣе, изъ мелкаго болота въ зыбкую трясину. Я поясню это параллелью. Студенту медицины необходимо продолжать нѣсколько лѣтъ возиться съ трупами; если кромсать мертвыхъ людей и животныхъ, не имѣющихъ ни малѣйшаго предварительнаго понятія объ анатоміи, то изъ этого кромсанія вынесетъ только отчетливѣйшій дурной запахъ гнилой крови и разлагающагося мяса. Конечно первый анатомъ ничего не учился. Да и первый портной, по спрашивавшему замѣчанію госпожи Простаковой, тоже у кого не учился. «Да онъ можетъ-быть и боталъ хуже меня», отвѣчаетъ на это профессорскій Тришка, который такимъ образомъ выноситъ безапелляціонный приговоръ надъ безомысленнымъ совѣтомъ профессора Креозота. Вы скажете можетъ-быть, что параллель моя неѣдна, потому что предполагаемый студентъ не имѣетъ понятія объ анатоміи, а питомецъ Смарагдова до нѣкоторой степени знаетъ исторію. Ну, да. Джентльмэнъ, войдя въ историческій театръ, узнаетъ голову, руку, — и питомецъ, читая Геродота, узнаетъ Кира, Камбиза, Креза. Но трупы разсѣкаются для того, чтобы убѣдиться въ существованіи костей, руки и ноги, а историческіе источники даютъ добрые люди не для того, чтобы любоваться именами Кира, Камбиза и Креза. Значитъ,

параллель вѣрна, и больше объ ней толковать нечего. Совѣтъ Креозотова имѣлъ въ себѣ еще одну опасную сторону, которая могла сдѣлаться гибельной для молодого человѣка, способнаго удручать плоть и мозгъ во имя величія и славы науки. Еслибы Креозотовъ рекомендовалъ историческія сочиненія Грота (не того, который пишетъ въ «Русск. Вѣстн.»), Нибура, Моммзена, Дункера и т. п., то для студента оставался-бы шансъ спасенія. У него явились-бы въ мозгу идея, обогащающіе взгляды, попытки самостоятельнаго мышленія. Прочтя двѣ-три книги, онъ могъ-бы оглянуться на самого себя, могъ-бы довольно правильно поставить и разбѣшнить въ умѣ своемъ вопросъ: дѣйствительно-ли историческія занятія составляютъ потребность его природы? Но чтеніе Геродота и Фукидида отрѣзывало всякое отступленіе. Студентъ читаетъ одного писателя, читаетъ другого, и все не становится умнѣе, и все ждетъ проясненія своего мозга, и все громоздитъ факты на факты, и вдругъ, неожиданно-негаданно для самого себя, въ одно прекрасное утро оказывается туго-набитымъ историческимъ чемоданомъ, совершенно подобнымъ своему прототипу и возлюбленному руководителю. Для меня подобная опасность не существовала. Я никогда не могъ долго заниматься тѣмъ, что не доставляло мнѣ умственнаго наслажденія. Столпники и аскеты науки называютъ такихъ людей дилетантами и шарлатанами. Это свойство моей натуры можетъ-быть очень дурно, но для меня оно во многихъ случаяхъ было чрезвычайно полезно. Всякій разъ, какъ я съ добродѣтельнымъ жаромъ думалъ посвятить себя какой-нибудь кретинизирующей дѣятельности, неумолимый демонъ умственнаго эпикуреизма насильно вырывалъ у меня работу изъ рукъ и деспотически сопротивлялся моему добросовѣстному стремленію поглубѣть. Кончилось тѣмъ, что я махнулъ рукой и навсегда отказался отъ невозможной борьбы съ бѣсовскими прелестями. Но дошелъ я до этого результата не вдругъ, и читатель увидитъ, что не одинъ Креозотовъ снабжалъ меня совѣтами — сдѣлаться идіотомъ.

VII.

Кромѣ Креозотова, у насъ было еще двое преподавателей исторіи. Я не обращался къ нимъ за совѣтами, но слушалъ въ разныя времена ихъ лекціи, и нахожу, что легкій очеркъ ихъ дѣятельности заслуживаетъ вниманія людей, интересующихся ходомъ образованія въ нашихъ университетахъ. Во-первыхъ рекомендую вамъ привать-доцента Кавылаева. Онъ молодъ лѣтами, но великъ своими достоинствами; уступая Креозотову въ эрудицію и мимическую виртуозность, онъ далеко превосходитъ его утомительностью лекцій. По скромности, свойственной молодому ученому, онъ всегда выбираетъ себѣ руководи-

тели и, прильпнвшись къ какому-нибудь одному историческому сочиненію, съ неизмѣннымъ постоянствомъ извлекаетъ изъ него всѣ свои лекціи на цѣлый академическій годъ. Составленные такимъ образомъ записки идутъ безъ измѣненія на продовольствованіе слѣдующаго курса студентовъ; и такъ какъ нѣтъ причины останавливаться на этомъ пути, то есть основаніе надѣяться, что современемъ записки Кавыльева составятъ такую-же палеонтологическую диковинку, какую въ настоящее время уже составляютъ знаменитыя синія тетрадки Креозотова. Кавылевъ читалъ намъ исторію среднихъ вѣковъ по сочиненію Гизо: «Исторія цивилизаціи во Франціи». Выборъ самъ по себѣ очень позволителенъ, но замѣчательно, что острый и живой анализъ великаго доктринара дѣлался совершенно незамѣтнымъ въ чтеніи маленькаго приватъ-доцента. Самая связь идей терялась въ его безучастной, апатической передачѣ. Еслибы вы заставили деревенскаго дьячка прочесть вслухъ рѣчь Эдмонда Берка или графа Мирабо, то волненіе англійской палаты общинъ или французскаго учредительнаго собранія вѣроятно осталось-бы для васъ совершенно необъяснимымъ. Именно такую горькую долю терпѣло сочиненіе Гизо въ рукахъ Кавыльева. Не думайте, что я говорю о голосѣ или дикціи, — объ этихъ мелочахъ не стоило-бы заботиться; тутъ дѣло идетъ о пониманіи. Когда человѣкъ выражаетъ передъ вами свою мысль или мысль чужую, но вполне усвоенную имъ, и слѣдовательно развивающуюся изъ головы его, а не изъ тетради, тогда она непрѣнно оживаетъ и непрѣнно передаетъ вамъ часть этого оживленія; тогда даже чужая мысль принимаетъ на себя отпечатокъ его личности и приобретаетъ хоть частицу той живучести, которую она имѣла въ первобытномъ своемъ источникѣ. Гдѣ этого нѣтъ, гдѣ читающій совершенно равнодушенъ къ тому, что онъ читаетъ, тамъ чтеніе самаго занимательнаго произведенія превращается въ усыпительное журчаніе. Такъ дѣйствительно и было, — и лекціи Кавыльева были гораздо невыносимѣ лекцій Креозотова. Креозотовъ читалъ Креозотова, и слѣдовательно глубоко понималъ его и могъ даже изображать его въ лицахъ, а Кавылевъ читалъ Гизо, который при всѣхъ своихъ политическихъ и теоретическихъ заблужденіяхъ былъ все-таки неизмѣнно великъ для Кавылевскаго пониманія; слѣдовательно... слѣдовательно, тотъ студентъ, который не желалъ среди лекціи припасть головой къ столу и унести въ царство сновидѣній, долженъ былъ тщательно обходить аудиторію Кавыльева.

Когда мы перешли на третій курсъ, тотъ-же драгоценный Кавылевъ сталъ читать намъ новую исторію или, точнѣе, біографію Лютера, началу которой онъ предпослалъ кое-какія подробности объ эпохѣ возрожденія. Руководителемъ Кавыльева былъ историкъ реформацій Мерль

д'Обинье (Merle d'Aubigné). На этотъ разъ все было одинаково хорошо. Достоинство выбора соотвѣтствовало достоинству изложенія. Минута множество замѣчательныхъ европейскихъ историковъ, нашъ приватъ-доцентъ отыскалъ себѣ родственную душу въ рядкѣ исторической литературы. Этотъ Мерль д'Обинье оказался протестантскимъ пѣтистомъ и мистикомъ. На жизнь и дѣятельность Лютера онъ смотрѣлъ, какъ на житіе святого угодника и чудотворца; въ каждомъ поступкѣ своего героя онъ усматривалъ специальное выраженіе воли божіей и, стараясь обратить своего читателя къ такимъ-же возвышеннымъ умозрѣніямъ, собралъ въ своемъ многотомномъ сочиненіи всякіе анекдоты и сплетни о Лютерѣ и его сподвижникахъ. Тутъ разсказывалось и то, по сколько разъ въ день отецъ Лютера сѣлъ маленькаго Мартина, и то, что Мартинъ въ монастырѣ дѣлалъ, и то, какъ онъ въ Римѣ ползалъ на колѣнкахъ по каменной дѣстищѣ, и то, какіе сны видѣлъ курфирстъ Фридрихъ Мудрый, и то, какъ одна баба индულгенцію покупала, и многое множество всякихъ другихъ достопримѣчательностей. Конечно все это, какъ черезъ водопроводную трубу, текло черезъ уста Кавыльева въ наши записки. И все это мы должны были, не красѣя за самихъ себя и не смѣясь надъ нашимъ наставникомъ, прилично казеннымъ языкомъ излагать на переходномъ и выпускномъ экзаменѣ. И это называлось новой исторіей и должно было давать намъ понятіе о томъ, какъ сложились бытовья и политическія формы теперешнихъ обществъ! Читатель видитъ, что ядовитое зерно скептицизма, зароненное въ мою чистую душу хитрымъ Креозотовымъ, не могло чувствовать недостатка въ питательныхъ матеріалахъ и въ благопріятныхъ атмосферическихъ условіяхъ.

Въ началѣ осени 1858 года возвратился изъ двухлѣтней заграничной отлучки экстраординарный профессоръ исторіи Ироніанскій. На него наше студенчество возлагало самыя блестящія надежды. Онъ былъ сверстникомъ Кавыльева, но уже давно обогналъ его въ своей ученой карьерѣ. Первые лекціи его послѣ возвращенія изъ заграничныя привлекли въ аудиторію его множество слушателей. Студенты, пришедшіе на лекцію изъ любопытства, оставались совершенно удовлетворенными, а обязательные слушатели Ироніанскаго были въ восторгѣ отъ своего профессора, поддразнивали тѣхъ, кому приходилось дремать подъ звуки Кавыльева, и жаловались только на то, что мѣста на скамейкахъ приходится занимать заранѣе и что въ огромной аудиторіи становится тѣсно и душно. Словомъ, успѣхъ Ироніанскаго могъ удовлетворить самое щекотливое самолюбіе. Ему даже аплодировали, и онъ, какъ нѣкогда Гизо, благодарилъ своихъ слушателей и въ то-же время просилъ ихъ никогда не выражать ему такимъ образомъ ихъ сочувствія.

нительное достоинство его лекцій было дѣйствительно велико. Онъ выражался языкомъ соеиненной науки; видно было, что онъ понимаетъ, что говорить, и умѣетъ высказать то, что знаетъ. Каждая лекція его заключала въ себѣ какую-нибудь идею, связывающую или по крайней мѣрѣ пытающуюся связать между собою щаемые факты. Этого уже было достаточно слушателей, привыкшихъ къ античности Крестова и къ олимпийскому спокойствію Кавыльева. ественный недостатокъ, который можно было зитить въ наружной формѣ изложенія Ироніанскаго, заключался въ его профессорскомъ льствѣ, въ его умственной кокетливости, въ постоянномъ усиліи говорить остроумно и рижать цивилизованнаго европейца, тракцаго d'égale égal съ генералами и миними ученаго міра. Конечно онъ не говорилъ, дружески знакомъ съ Маколеемъ, пилъ чай ѣмизена, или спорилъ о политикѣ съ Зибера; о подобныхъ вещахъ и Хлестаковъ могъ-разсказывать только женѣ городничаго; но тоовое желаніе ослѣпить слушателей оригинальностью и богатствомъ своихъ заграничныхъ атлѣній, наблюденій и изслѣдованій проби-себѣ широкую дорогу всякій разъ, какъ ко представлялась къ тому малѣйшая возность. Тотчасъ послѣ своего пріѣзда онъ ивилъ студентамъ, что будетъ читать три лекціи: publica (общій курсъ), privata (частный) и privatissima (самый частный). самомъ частномъ курсѣ онъ общалъ предити образчикъ исторической критики, и дѣйствительно началъ разбирать очень подробно соенія Лунтиранда, лѣтописца X вѣка. Историческая критика Ироніанскаго не привела къ енно плодотворнымъ результатамъ, не обужила въ изслѣдователѣ обширной эрудиціи же не показала намъ какихъ-нибудь замѣельныхъ критическихъ приемовъ. Ироніанскій сто разсказывалъ подробно содержаніе сочиній и біографію автора, потомъ ловилъ Лунтиранда въ противорѣчіяхъ, которыя были очень ѣтны, и уличалъ его въ пристрастіи къ Оту, открывая такимъ образомъ обстоятельство, е давно извѣстное и неподлежащее никакому шбію. Стало быть, ученой заслуги тутъ не ю, а собственно для студентовъ личность и етельность Лунтиранда не могла представлять ебпшаго интереса, потому что сотни болѣе ушмыхъ историческихъ личностей и болѣе выиительныхъ фактовъ оставались для нихъ въ арадовскомъ и зувескомъ полумаркѣ. Да и за-то было разгоразживать курсъ на три отдѣленія?

И зачѣмъ было огорождать городить,

И зачѣмъ было капусту садить?..

Нельзя. Европеемъ одолѣлъ. Гдѣ-нибудь въ ии или въ Гейдельбергѣ такъ дѣлается, и въ ревококшайскѣ давая такъ дѣлать. Надо-же ю Ироніанскому заявить, что онъ съ мини-

страми знакомство имѣетъ. Не упускалъ также щеголеватый профессоръ случая упомянуть, какъ онъ собственной своей особой стоялъ или си-дѣлъ на подлинномъ мѣстѣ того или другого ми-роваго событія. При этомъ изливались описатель-ныя подробности, которыя, во-первыхъ, нисколько не объясняли разсматриваемаго факта, а, во-вторыхъ, съ удобствомъ могли быть отысканы въ карманномъ гидѣ. Но все это были мелкія слабости, а въ профессорской дѣятельности Ироніанскаго были и болѣе серьезные факты. Случилось мнѣ однажды съ большимъ удовольствіемъ прослушать лекцію Ироніанскаго, въ которой онъ, стараясь опредѣлить обязанности историка вообще, въ связи съ этой темой разбиралъ историческую и критическую дѣятельность Маколея. Конечно Маколей представлялся ему богомъ исторіи, сошедшимъ на землю единственно для того, чтобы научить людей искусству писать историческія монографіи и критическія статьи. Несмотря на хвалебное направленіе своей лекціи, Ироніанскій оцѣнилъ однако умно и мѣтко особенности и достоинства критическаго таланта Маколея; замѣтилъ даже слабость Маколея, какъ отвлеченнаго мыслителя; доказалъ, почему эта слабость, обнаруживающаяся въ его этюдѣ о Бэконѣ, не вредитъ ему, какъ историку, и очень основательно подкрѣпилъ всѣ свои положенія и выводы довольно обширными и очень удачно выбранными цитатами изъ сочиненій разбираемаго писателя. Вся лекція произвела на слушателей самое стройное впечатлѣніе, несмотря даже на то, что Ироніанскій, ради заграничности и щегольства, называлъ Маколея — *Макаулей*. Черезъ нѣсколько времени послѣ этого Ироніанскій съ большимъ успѣхомъ прочелъ въ большой университетской залѣ, при значительномъ стеченіи публики, двѣ публичныя лекціи о состояніи французскихъ провинцій при Людовикѣ XIV. Источникомъ своихъ онъ объявилъ сочиненіе Флемше: «Les grands jours d'Auvergne». Публика осталась очень довольна, и дѣйствительно во всемъ, что я до сихъ поръ разсказывалъ, нельзя замѣтить ровно ничего предосудительнаго. Но «мой злобный гений» непремѣнно хотѣлъ превратить меня въ скептика. Случилось мнѣ купить одну французскую книжку: «Essai de critique et d'histoire par H. Teine» («Историческіе и критическіе опыты» Тэна). Въ этой хорошей книжкѣ заключались статьи о Гизо, о Мишле, о Теккереѣ, Монталамберѣ, и между прочими о Маколей и о Флемше. Когда я добрался до Маколея, то изумленію моему не оказалось границъ *). Читаю и глазамъ не вѣрю: она, она, моя голубушка, блестящая лекція Ироніанскаго

*) Тако-же изумленіе постигло меня однажды при чтеніи лекцій Визинскаго объ Англіи въ XVIII столѣтіи, когда я увидѣлъ, что характеристика Мальборо-цѣлкомъ взята изъ романа Теккерея: «Генри Эсмондъ».

о Маколет; тѣ-же идеи, тотъ-же порядокъ изложенія, тѣ-же цитаты, даже обороты рѣчи и образы тѣ-же самые; предположить случайное сходство нѣтъ никакой возможности, самое упорное сомнѣніе должно уступить очевидности. Знajući талантъ Ироніанскаго оказывается чужимъ талантомъ, внимательное изученіе Маколетъ оказывается призракомъ; наивныя перья взяты на прокатъ, да еще безъ спросу; блестящая лекція не что иное, какъ тайный переводъ съ французскаго. Ну, подумалъ я, посмотримъ, что такое Флешье? Подозрѣнія мои оправдались. Обнаружилось, что публичныя лекціи тоже были взяты на прокатъ, а магазинъ, снабдившій ими цивилизованнаго европейца, былъ тщательно скрытъ отъ публики, потому-де, что совѣстно русскому профессору открыто пользоваться идеями легкаго французскаго критика, ну, а тайкомъ поживитесь всегда пріятно и неубыточно. Еще въ одномъ случаѣ мнѣ удалось убѣдиться въ ученой безцеремонности профессора Ироніанскаго. Въ 1860 году ему пришлось задавать тему для сочиненія на медаль. Онъ задалъ тему изъ исторіи послѣднихъ вѣковъ язычества и въ отчетѣ объ университетскомъ актѣ было напечатано, вмѣстѣ съ объявленіемъ этой темы, указаніе на два пособия: во-первыхъ, на сочиненіе Чирнера «Der Fall des Heidenthums» (паденіе язычества), во-вторыхъ, на изслѣдованіе Ироніанскаго объ Александрѣ Авонотихитѣ, одномъ изъ ложныхъ чудотворцевъ и пророковъ язычества. Я, съ своимъ собственнымъ мнѣ добродушіемъ, послѣдовалъ этому указанію и немедленно убѣдился въ томъ, что изслѣдованіе Ироніанскаго упомянуто въ отчетѣ объ актѣ исключительно ради щегольства, потому что оно не изслѣдованіе, а очень малограмотное извлеченіе изъ указанной книги Чирнера. Между прочими красотами я запомнилъ слѣдующее мѣсто. «Неронъ,—пишетъ Ироніанскій,—приказалъ перенести 500 желѣзныхъ статуй»... Желѣзныхъ статуй! Слышали-ли вы когда-нибудь, читатель, чтобы въ древности или когда-бы то ни было выдѣлывались желѣзныя статуи? Какъ же это? Ковали ихъ, что ли? Отыскиваю соответствующее мѣсто у Чирнера и нахожу тамъ: «500 eherne Säulen». Дѣло объясняется просто. Это значитъ, по мнѣнію всѣхъ людей, знающихъ нѣмецкій языкъ: «500 мѣдныхъ колоннъ». Значитъ, Ироніанскій, кромѣ нетвердаго знанія нѣмецкаго языка, обнаружилъ еще небрежность въ работѣ и изумительное непониманіе древней техники. Изобрѣсти желѣзныя статуи, да еще цѣлыхъ пятьсотъ, и сохранить до сихъ поръ репутацію ученаго человѣка, это, милостивые государи, такой пассажъ, который возможенъ только у насъ, въ Россіи. И замѣьте притомъ, что эти жрецы науки, тайно переводящіе съ французскаго и неудачно переводящіе съ нѣмецкаго, взираютъ съ высоты величія на литераторовъ и журналистовъ, на дилетантовъ,

неспособныхъ удовлетворять серьезнымъ собственнымъ требованіямъ общества. Замѣте именно эти изобрѣтатели желѣзныхъ всѣхъ громче разсуждаютъ о достоинствахъ книгъ,—замѣйте это, и замѣте, слѣдуя совѣту Кузьмы Прутковъ, «глядите въ корень вещей», ибо наружность обманчи

VIII.

Говоря объ Ироніанскомъ и Кавыляевъ, вольно нарушилъ хронологическую послѣовательность моихъ воспоминаній, и потому возвращаюсь назадъ къ тому времени, когда реводилъ Страбона и читалъ Геродота, т. е. началу зимы 1856 года. Ожидая себя унаго просвѣтлѣнія отъ каждаго профессора слова, я въ то время аккуратно посѣщалъ писывалъ всѣ лекціи, назначенныя мнѣ на писанію. Особенно интересовали меня лекціи профессора Телицына, читавшаго намъ теорію и исторію древне-русской литературы. Въ лекціяхъ было дѣйствительно много хорошаго, лицу было лѣтъ тридцать съ небольшимъ, любилъ студентовъ и искалъ между ними лярности; лекціи свои онъ составлялъ своимъ стараніемъ и всегда заканчивалъ ихъ какой-нибудь фіоритурой, которая неминуемо была поднята въ душѣ студентовъ цѣлюю добрыхъ и возвышенныхъ чувствъ. Эта фигура всегда была приготовлена заранее, и не менѣе она всегда выдѣлывалась отъ души полной искренностью и безъ всякой напроговоривъ на каедрѣ продолженіи по часа, Телицынъ всегда приходилъ въ восторженное состояніе, и тогда рулада вырывалась изъ груди его съ неудержимой силой; сходя с кафедры, онъ всегда чувствовалъ дѣйствительную потребность сказать студентамъ что-нибудь важное, а такъ какъ онъ профессорствовалъ не первый годъ, то ему было вполне позволено, зная свою развѣживающуюся натуру, влять заранее матеріалы для той потребности, которая неминуемо возникаетъ передъ лекціей. Неужели вы упрекнете слезливую вѣтку въ театральничаньи, если онъ, отправа чьи-нибудь похороны и находясь при изъ своей квартиры въ самомъ веселомъ разженіи духа, набьетъ карманы своего сюртукъ совыми платками? Вѣдь онъ-же знаетъ, премѣнно расплатится: такъ какъ-же ему нять свои мѣры? Что-же за удовольствіе у слезы рукавами сюртукъ или умолять содоженіи носового платка? Такъ и ТелРазвѣ хорошо было-бы, еслибы растроганіе конепъ профессоръ не изжилъ своего чувствъ умныхъ и красивыхъ рѣчахъ? Вѣдь это-бу надѣлало, еслибы онъ, оканчивая ввдругъ развелъ руками, изобразилъ-бы в своемъ глубокую любовь къ студентамъ, с

и съскользко усилай, и вдруг ничего-бы из этого вышло. А такая участь непременно постигнет его, еслибы материалы для фейерверка были припасены заранее. Я до сих пор поро, какъ онъ однажды, отработавъ специальный предметъ лекцій, началъ говорить о величинѣ знания вообще, и вдругъ заключилъ свою рѣчь словами Беранже: «l'ignorance—c'est l'esclavage, le savoir—c'est la liberté» (невѣжество—рабство, знаніе—свобода). Настъ такъ и подкинуло шуху; эффектъ вышелъ оглушительный, — а все этого? Оттого, что въ спортукѣ Телицына лежали носовые платки.

Вы скажете можетъ-быть, что слезливость не есть чувствительность, и что истинный талантъ избегаетъ приготовленными эффектами, потому что полагается на свои силы и всегда находитъ эффекты подъ руками въ ту рѣшительную минуту, когда онъ въ нихъ нуждается. Противъ этого я спорить не буду; считать Телицына таинственнымъ профессоромъ позволительно только студентамъ перваго курса, восхищающимся концами его лекцій. Я съ своей стороны отстаиваю только его искренность. Телицынъ не пошелъ на Ироніанскаго; ему хочется не блеска, не гонимства, а любви, сочувствія студентовъ; онъ пускаетъ пылинки въ глаза, онъ дѣйствительно можетъ быть и полезнымъ профессоромъ, и дѣломъ ученымъ; онъ напрягаетъ всѣ свои силы, но при этомъ мы должны помнить, что разнѣмъ человеческихъ силъ неодинаковы. Телицынъ много читалъ, читалъ постоянно и передавалъ намъ много хорошихъ вещей на лекціяхъ, — но лекція его все-таки была мозаикой. Переварить и переработать массу матеріала въ своемъ мозгу и затѣмъ передать слушателямъ продукты своего мышленія, — этого отъ Телицына смѣшно было бы и требовать. Да и не угодно-ли вамъ посмотреть вокругъ себя: много-ли у насъ въ цѣлой Россіи людей, дѣйствительно способныхъ мыслить и пользующихся этой способностью? Куда вы посмотрите, вездѣ — или переводчики, подобные Ироніанскому, или каменщики и носильщики, вроде Телицына; вездѣ или ловкіе люди, очень хорошо знающіе, чего они хотятъ, или терпѣливые труженики, вовсе незнающіе, зачѣмъ они рудятся. Пустили ихъ внизъ по наклонной плоскости, они и катятся по силѣ инерціи. до тѣхъ поръ, пока ихъ не остановитъ накопленіе жира или истощеніе силъ. Люди, подобные Телицыну, работаютъ или до тѣхъ поръ, пока не войдутъ въ яму и въ барствянную лѣнь, или до тѣхъ поръ, пока не разовьются въ себѣ чахотку. Телицыну предстояло по всей вѣроятности послѣдній исходъ. Несмотря на свои молодые лѣта, онъ уже началъ приобретать очень замѣтную сутуловатость и постоянно страдалъ застоями и приливами крови; глаза его были всегда немного воспалены и всегда неопредѣленно тусклымъ взоромъ отрывали куда-то вдаль. Обладатель этихъ глазъ,

при самомъ простомъ разговорѣ казался всегда или усиленно сосредоточеннымъ, или тревожно разсѣяннымъ; можно было подумать, что онъ постоянно созерцаетъ духовными очами какую-нибудь неопisanную красоту или постоянно старается уловить ухомъ какую-нибудь вѣчно ускользающую отъ него райскую мелодію, а на самомъ дѣлѣ ничего этого не было. Телицынъ былъ просто вѣрующимъ жрецомъ и слѣпымъ поклонникомъ того идола, передъ которымъ онъ хотѣлъ повергнуть въ прахъ своихъ слушателей. На алтарѣ этого идола онъ съ улыбкой блаженства сжигалъ медленнымъ огнемъ свой мозгъ и свои жизненные силы. Для него слова Беранже: «l'ignorance—c'est l'esclavage, le savoir—c'est la liberté» были догматомъ вѣры. Какой savoir? какая liberté? онъ объ этомъ не спрашивалъ и былъ твердо увѣренъ, что изучить вліяніе византийскихъ писателей на проповѣди Кирилла Туровскаго или разсмотрѣть литературные приемы Нестора значить — до извѣстной степени разсѣять прахъ губительной ignorance и потрахать основы ненавистнаго esclavage. Телицынъ былъ лучший продуктъ нашего университетскаго образованія; онъ именно достигъ той точки развитія, которая составляетъ крайній и высшій предѣлъ педагогическихъ тенденцій нашихъ университетовъ. Пойти дальше, забрать вверхъ или въ сторону — значило-бы уклониться отъ той патентованной цѣли, которую самые лучшіе профессора показывали своимъ слушателямъ, какъ цѣль, исключительно соответствующую достоинству и назначенію человѣка.

Такъ какъ всякую систему слѣдуетъ судить именно по тѣмъ ея произведеніямъ, которыя она сама считаетъ вполне удавшимися, то вотъ я ставлю передъ читателемъ портретъ Телицына и говорю ему: таковъ идеалъ, къ которому стремится наше университетское образованіе. Какъ онъ вамъ нравится? Чувствуете-ли вы въ душѣ своей неотразимое желаніе приблизиться къ этому результату? Находите-ли вы, что обновленіе Россіи будетъ совершаться быстро и радикально, если десятки тысячъ Телицыныхъ будутъ разсѣяны на всѣхъ поприщахъ нашей общественной дѣятельности? — Не знаю, какъ вы отвѣтите на эти три вопроса; не скажу вамъ такъ-же, какъ отвѣтилъ-бы я на нихъ теперь; но въ 1856 и въ 1857 годахъ я отвѣтилъ-бы на первый вопросъ: «очень», — на второй: «чувствую», — на третій: «нахожу». Кроме того я самые вопросы нашелъ-бы странными и на вопрошающаго посмотрѣлъ-бы какъ на обскуранта, кощунствующаго надъ святыми представителями науки. 1856 и 1857 годы были, какъ извѣстно, тѣмъ временемъ, когда наше общество во что-бы то ни стало стремилось убѣдить себя въ томъ, что оно переживаетъ великую эпоху, — тогда множество старыхъ вещей перекрашивались заново и дѣйствительно принимались за новыя тѣми самыми людьми, которые собствен-

норучно отдавали ихъ къ красильщику и принимали ихъ отъ него обратно. При этомъ краски часто оказывались непрочными или разъѣдающаго свойства, такъ что матеріи въ скоромъ времени лнились или расплзались. Это стремленіе обольщаться и надѣяться проявилось и въ университетѣ, гдѣ мы немедленно опредѣлили, что Креозотовъ и Кавылаевъ будутъ считаться представителями отживающаго порядка вещей, а Телицынъ — кроткимъ ангеломъ прогресса и вдохновеннымъ провозвѣстникомъ лучшаго будущаго.

Если читатель приметъ въ соображеніе, что эти два года юношескихъ мечтаній матушки Россіи соответствовали именно такой-же порѣ въ моей личной жизни, то онъ пойметъ, что образъ Телицына долженъ былъ произвести на меня чарующее и одуряющее впечатлѣніе. Я увлекался въ одно время и чувствомъ массы, и своей личной потребностью найти себѣ учителя, за которымъ я могъ-бы слѣдовать съ вѣрой и любовью. Мысли о занятіяхъ исторіей замерли во мнѣ, благодаря совѣтамъ Креозотова. Въ этихъ мысляхъ никогда не было ничего серьезнаго, и я думалъ принять-ся за исторію только потому, что исторія — самая яркая наука нашего факультета; она первая бросается въ глаза, и я схватился за нее, какъ ребенокъ хватается за пламя свѣчи. Теперь-же, когда я всѣмъ сердцемъ возлюбилъ Телицына, теперь, когда онъ гальванизировалъ меня и товарищей моихъ лукавыми хвостиками своихъ лекцій, теперь въ душѣ моей зародилось неудержимое желаніе посвятить себя — чему? зачѣмъ? — ну, все равно, чему-бы то ни было, а только посвятить себя. *Наука, истина, святъ, дѣятельность, прогрессъ, развитіе* — эти слова такъ и кувыркалися у меня въ головѣ, и это кувирканіе казалось мнѣ ужасно плодотворнымъ, хотя изъ него ничего не выходило, да и выдти ничего не могло. «Хочу служить наукѣ, хочу быть полезнымъ; возьмите мою жизнь и сдѣлайте изъ нея что-нибудь полезное для науки!» — Восторгу было много, но смыслу мало. Слово *наука* осталось для меня любезнымъ звукомъ, какъ остается она для многихъ людей, утѣшающихся всю свою жизнь тѣмъ пріятнымъ заблужденіемъ, что они ее, науку, двигаютъ впередъ. Непонимая того, что такое «наука», и даже не спрашивая себя о томъ, на какое употребленіе и какой сортъ ея годится для человѣка, я конечно не могъ понимать и того, что полезно и что бесполезно для науки. Стало быть, фраза моя измѣнилась такъ: «возьмите мою жизнь и истратите ее на что хотите». А изъ этого слѣдуетъ заключеніе, что возбуждать въ молодыхъ людяхъ безпредметный восторгъ и ослѣплять ихъ блескомъ добродѣтельныхъ словъ вовсе непохвально, потому что молодые люди отъ этого глупѣютъ, по крайней мѣрѣ на время, а потомъ, когда пройдетъ ихъ глупость, они начинаютъ смѣяться надъ тѣмъ, что возбуждало, и надъ тѣмъ, кто возбуждалъ въ нихъ неосмысленное бла-

гоговѣніе. Дѣйствительная наука, плодъ внимательнаго наблюденія и трезвой мысли, по самой природѣ своей враждебна всякимъ восторгамъ, какъ бы ни были они добродѣтельными. Если-бы химикъ или фізіологъ съ восторгомъ принимался за свои опыты, то зрѣлище вышло-бы чувствительное, но опытъ не привелъ-бы къ искомому результату, или по крайней мѣрѣ результатъ былъ-бы неправильно понятъ или превратно истолкованъ. Что-же касается до тѣхъ ученыхъ, которые пишутъ о Несторѣ и Кириллѣ Туровскомъ, то имъ конечно восторги вредить не могутъ, потому что они опытовъ не производятъ и еще потому, что для нихъ соотечественниковъ и для всѣхъ прочихъ людей рѣшительно все равно, къ какимъ-бы результатамъ они ни пришли и до какихъ бы умозрѣній они ни дописались.

IX.

Послѣдняя лекція Телицына передъ святками 1856 года была ознаменована слѣдующимъ событіемъ. Нашъ обожаемый профессоръ сказалъ, что для пользы науки и для назиданія студентовъ намъ слѣдуетъ перевести нѣсколько ученыхъ изслѣдованій и разсужденій. Тутъ онъ назвалъ между прочими статью Якова Гримма: «Ueber den Liebesgott» («О богѣ любви»), — другую статью того-же автора: «Ueber das Verbrennen der Todten» («О сожженіи мертвыхъ»), — статью Шафарика о числительныхъ именахъ, — брошюру Штейнтала: «Die Sprachwissenschaft Wilhelm von Humboldt's und die Hegelsche Philosophie» («Языкознаніе Вильгельма Гумбольдта и философія Гегеля»). Случилось такъ, что я сидѣлъ во время этой лекціи на среднѣ скамейки; товарищи мои, сидѣвшіе по обѣимъ концамъ, тотчасъ послѣ окончанія лекціи встали, подошли къ кафедрѣ и взяли себѣ тѣ работы, которыя были легче, а на мою долю осталась только одна зловѣщая брошюра Штейнтала. Дѣлать было нечего; Телицынъ смотрѣлъ мнѣ прямо въ глаза и еще говорилъ съ разсчитаннымъ коварствомъ, что эту брошюру перевести особенно необходимо. Я мысленно прекрестился и протянулъ къ ней руку. Рубиконъ былъ перейденъ, и Телицынъ овладѣлъ мною. Въ брошюрѣ Штейнтала оказалось 140 страницъ, и содержаніе роскошно выполнило тѣ грозныя обѣщанія, которыя давало заглавіе. О философіи Гегеля распространяться нечего. Всякій читатель знаетъ по наслышкѣ, что это штука хитрая, и что понимать ее мудрено и кромѣ того бесполезно. Что-же касается до Гумбольдта, то объ немъ сами нѣмцы, и притомъ его поклонники, говорятъ, что онъ неясенъ, и что эта неясность происходитъ отъ новизны и оригинальности его идей. Теперь вообразите себѣ, что Штейнталь, который о высокихъ матеріяхъ пишетъ такъ-же удобопонятно, какъ и всѣ прочіе нѣмцы, начинаетъ сравнивать Гегеля съ Гумбольдтомъ, и притомъ не факты, добытые ими, не

таты, къ которымъ они пришли, а методы мышления и изслѣдованія; и это сравненіе происходитъ на 140 страницахъ; и это надо было одѣть мнѣ, — человѣку, читавшему Маколея, Гюго и Диккенса безъ особеннаго удовольствія. На моемъ младенческомъ лицѣ было ясно, на сколько я способенъ судить о Гегелѣ, Гюльцѣ, и Телицынѣ могъ это замѣтить, Телицынъ на такіе пустяки не обращалъ вниманія съ наслажденіемъ готовился зарѣзать жертву на алтарѣ своего идола.

Тогда я началъ читать брошюру Штейнтала, меня на первыхъ пяти строкахъ закружила голова, и я понялъ, что читатели, къ которымъ обращается авторъ, должны знать очень мало, а что я этого многого совсѣмъ не знаю. Я рѣшился не читать, а прямо переводить, въ связи между отдѣльными періодами и съ цѣлаго остались для меня совершенно ясными. И я это выполнилъ. Зная отлично нѣмкій языкъ и владея хорошо русскимъ языкомъ, я передавалъ вѣрно и отчетливо одинъ пѣсню за другимъ, — и, независимо отъ моей воли, ясная какой-то общій смыслъ, точно такъ же, въ чтеніи Чичиковскаго Петрушки изъ отрывковъ буквъ всегда составлялось какое-нибудь, которое иногда и чортъ знаетъ что зна-

Но переводилъ я долго, и потому самъ переставалъ свою работу. Встрѣчаясь со мною въ университетѣ, Телицынъ не разъ говорилъ мнѣ, что Штейнталь не такъ долго писалъ свою работу, какъ я ее перевожу. По моему, тутъ ничего удивительнаго. Штейнталь вѣроятно понималъ, что онъ пишетъ, а я совсѣмъ не пишу. Мѣсяца четыре ушло на мою работу; наконецъ, придя на экзаменъ Телицына, я вручилъ въ толстыя тетради, заключавшія въ себя исписанный набѣло переводъ ужасной брошюры. Должно быть, въ то время демонъ умнаго эпикуреизма, о которомъ я упоминалъ, былъ совершенно подавленъ добродѣтельными стремленіями, возбужденными во мнѣ вліяніемъ Телицына. Переводить книгу, которую не понимаешь, это конечно самая непріятная и саргетинизирующая работа, какую можно себѣ представить; и между тѣмъ я довелъ эту работу до конца. Очевидно демонъ былъ низринутъ и изгнанъ, но Телицыну этого было мало. Онъ же, на экзаменѣ, попросилъ меня на высту прочесть двѣ-три страницы изъ моего труда. Оказалось, что переводъ хорошъ. Тогда пришло въ голову помѣстить мой трудъ въ студенческой «Сборникъ». Такое желаніе было моему самолюбію. Но тотчасъ представилось возраженіе: объемъ перевода слишкомъ великъ; а вслѣдъ за возраженіемъ явилось въ Телицына средство помирить противорѣчія: пусть, говоритъ, изъ вашего перевода извлечу. Отъ этого предложенія меня въ жаръ бросило. Этого только не доставало. Перевелъ — ни-

чего не понималъ, а теперь извлекай изъ того, чего не понимаешь. Что-же я извлеку? А положеніе безвыходное. Сказать: «не хочу» — неловко, да и весь разговоръ совсѣмъ не въ такомъ тонѣ былъ вѣденъ. Признаться въ томъ, что переводилъ машинально, признаться публично, при студентахъ, вѣдь это значитъ — дуракомъ себя назвать. Нѣтъ! что будетъ, то будетъ! Всѣ эти размышленія промелькнули въ моей головѣ чрезвычайно быстро, и я сказалъ Телицыну, что извлеченіе будетъ сдѣлано. Я занялся этимъ трудомъ на каникулахъ и окончилъ его успѣшно, хотя и на этотъ разъ нельзя было сказать, чтобы понималъ мысли Штейнтала. Приемы мои при этой работѣ были довольно оригинальны. Я опредѣлилъ себѣ извѣстный масштабъ, именно, чтобы три страницы перевода превращались въ одну страницу извлеченія; соображаясь съ этимъ масштабомъ, я сжималъ и сокращалъ языкъ моего перевода, такъ что извлеченіе мое оказалось просто миниатюрной фотографіей съ большой картины. Я ухитрился даже въ этомъ случаѣ работать машинально, да иначе и не могъ работать надъ такимъ сюжетомъ человѣкъ, неимѣющій никакого понятія ни о Гегелѣ, ни о Гюльцѣ, ни о философіи, ни о языковѣдѣ, ни объ умственной жизни Германіи, и рѣшительно ни объ одномъ изъ тѣхъ предметовъ, о которыхъ совершенно свободно разсуждалъ Штейнталь.

Какъ вы думаете, читатель, во что превратилъ-бы меня Телицынъ, еслибы я лѣтъ пять поработалъ подъ его руководствомъ? Вѣдь такая операція надъ Штейнталемъ стоитъ цѣлаго года машинальной канцелярской работы; вѣдь тутъ человѣкъ не развивается, а напротивъ привыкаетъ обращаться съ чужими мыслями, какъ съ закупоренными тюками, которые онъ перетаскиваетъ съ мѣста на мѣсто и разставляетъ въ симметрическомъ порядкѣ, не заботясь о томъ, что въ нихъ положено. Является искусство строить фразы, привычка вставлять въ эти фразы научные термины, способность запоминать и передавать непонятныя идеи, — является попугайство и обезьянство; ко всему этому присоединяется гордое самодовольство, что вотъ, молъ, я сколько книжныхъ понятій усвоилъ, вотъ сколько научныхъ статей произвелъ, вотъ какую пользу великую принесъ. Когда явилось такое самодовольство, тогда человѣкъ слѣдуетъ признать совершенно погибшимъ; тогда критическая способность утрачена, а вмѣсто способности мыслить пріобрѣтена способность наизывать слова и предложенія, соединять ихъ въ періоды и изъ періодовъ составлять статьи, диссертации или книги. Работая подъ руководствомъ Телицына, я большими шагами направлялся къ такому блаженному состоянію.

X.

Телицынъ имѣлъ полную возможность вглядѣться въ меня и изъ разговоровъ со мною

узнать степень моего развитія. Лѣтомъ 1857 года мнѣ пришлось ѣхать съ Телицынымъ по желѣзной дорогѣ изъ Петербурга въ Москву. Мы пробыли вмѣстѣ 30 часовъ и по крайней мѣрѣ 10 часовъ были проведены въ серьезныхъ разговорахъ. Я съ наивнымъ восторгомъ объяснилъ Телицыну, какую чудесную переѣзку произвелъ во мнѣ одинъ годъ, проведенный въ университетѣ, какъ передъ моей мыслью открылись цѣлыя новые горизонты и какія теперь у меня хорошія стремленія. Телицынъ все это слушалъ съ любовью и со вниманіемъ, умиляясь и восторгаясь вмѣстѣ со мною, а это конечно еще болѣе поддавало мнѣ жару. Человѣкъ разсудительный и неспособный удовлетворяться пылкими рѣчами, тотчасъ спросилъ-бы у меня, въ чемъ именно состоитъ переѣзка, какіе горизонты и къ чему клонятся стремленія. При такомъ вопросѣ съ меня поневолѣ соскочилъ бы хмѣль, и можетъ-быть за пароксизмомъ восторга послѣдовалъ-бы пароксизмъ унынія: пришлось бы вдругъ сознаться, что все упоеніе произведено какой-нибудь дюжиной словъ, и что кромѣ этихъ словъ да профессорскихъ записокъ не воспослѣдовало никакого умственного приобрѣтенія; но на профессорскія записки я уже смотрѣлъ безъ особеннаго благоговѣнія, а слова, какія бы они ни были, все-таки не могли казаться мнѣ магическими талисманами. Значить, все умственное богатство мое оказалось-бы просто возбужденнымъ состояніемъ мозговыхъ нервовъ, и разсудительный человѣкъ тотчасъ понималъ-бы, что со мною слѣдуетъ говорить, какъ съ мальчикомъ, совершенно неразвитымъ и ничего незнающимъ, что мнѣ слѣдуетъ рекомендовать чтеніе серьезное, но вполне доступное, и что задавать мнѣ какую-нибудь работу совсѣмъ не годится, потому что умъ мой долженъ питаться, а не тратить свои силы въ преждевременной производительности. Но Телицынъ ничего этого не разобралъ; всѣ мои восторги были приняты за доказательства развитости; болтовня моя о наукахъ сошла за чистую монету, и мой собесѣдникъ пресерьезно посоветовалъ мнѣ заняться спеціально теоріей или философіей языка.

Чтобы оцѣнить этотъ совѣтъ, надо знать, что философія языка основывается на громадномъ сравнительномъ изученіи отдѣльных языковъ. Люди, посвящавшіе себя этой отрасли науки, старались по возможности познакомиться со всѣми существующими на земномъ шарѣ языками, что было совершенно необходимо, потому что цѣль философіи языка (или философскаго языковѣдѣнія или филологіи) заключается въ томъ, чтобы представить ясное и вѣрное понятіе о *словѣ*, т. е. о способности человѣка выражать свои мысли и ощущенія членораздѣльными звуками. Преслѣдуя такую цѣль, необходимо знать, какъ проявляется эта способность у различныхъ народовъ, потому что безъ этого предварительнаго

знанія нельзя позволить себѣ никакого сужденія или даже правдоподобнаго предположенія объ общихъ свойствахъ изучаемой способности. Языки у различныхъ народовъ оказывались въ такой степени несходными, что разными временныя теоріи о языкѣ вообще разрушались въ прахъ такими фактами, которые являлись вновь. Оказывалось напримѣръ, что языки не различаютъ существительнаго отъ глагола; оказывалось, что другіе языки состоятъ изъ словъ, а изъ готовыхъ предложеній. Надо было принимать въ разсчетъ, потому что въ самыхъ нелѣпыхъ и неразвитыхъ языкахъ все-таки дѣйствуетъ та-же способность, и только въ болѣе сильной степени проявилась въ самыхъ богатыхъ и гибкихъ языкахъ чело-вѣка. Кромѣ сравнительнаго изученія языковъ необходимо изученіе историческое. Надо-же какъ совершенствуется или ослабѣваетъ способъ членораздѣленія времени разсматриваемая способность. Конечно филологу нѣтъ необходимости говорить и писать на всѣхъ тѣхъ языкахъ, которыя онъ собираетъ ему матеріалами для сравненія. Онъ долженъ имѣть очень опредѣленные познанія о звукахъ этихъ языковъ, о переходахъ отъ одного къ другому, объ образованіи изъ корней, о грамматическомъ строѣ, о синтаксическихъ особенностяхъ; кромѣ того онъ долженъ знать до нѣкоторой степени лексическій составъ языковъ, т. е. запасъ наиболѣе употребительныхъ словъ, чтобы сближать эти слова и корнями другихъ языковъ. Если же кто-нибудь хочетъ ограничить свои изслѣдованія однимъ племенемъ языковъ, если такимъ образомъ изъ области философіи языка онъ спускается въ область сравнительной грамматики, то съ увеличеніемъ объема его трудовъ должна увеличиваться и глубина его знаній. Нѣмецкіе филологи, принадлежащіе индо-европейской семьѣ языковъ, знаютъ уже во всѣхъ подробностяхъ языкъ санскритскій, Zendскій (древне-персидскій), греческій, латинскій, старо-славянскій и англо-саксонскій. Наконецъ ученіе сосредоточившіеся, подобно Якову Гримму, исключительно на историческомъ изученіи одного языка, доводятъ знаніе всѣхъ его старыхъ и новыхъ отбѣтковъ и всѣхъ иностранныхъ языковъ, соприкасавшихся съ нимъ даже въ какой древности, до изумительной полноты непостижимаго совершенства. Цѣлая жизнь дѣятельнаго и умнаго человѣка посвящается этимъ изученіемъ, и потому все оказывается, что изученіе это только что начинается, и что еще десятки людей будутъ продолжать работу свои лучшія силы.

Мы можемъ сомнѣваться въ практической полезности подобныхъ занятій, можемъ находить нѣсколько человѣческихъ жизней истраченными на нихъ непроизводительнымъ образомъ, но въ такомъ случаѣ мы не можемъ отказаться въ

данн уваженія тому трудолюбію, той умственной энергіи, тому глубокомыслию и остроумію, которыя несомнѣнно обнаруживаются въ этихъ утомительныхъ и кропотливыхъ изысканіяхъ. Но если мы, оставляя въ сторонѣ ученыхъ нѣмцевъ, устремимъ наши взоры на нашихъ отечественныхъ языкознателей, то тутъ никакой дани намъ выдавать не придется, потому что соотечественники наши—пародъ смѣтливый и находятъ, что загребать жаръ своими руками горячо, а чужими даже пріятно. У насъ до сихъ поръ было сдѣлано только одно открытіе въ области филологіи, именно открытіе Востокова о юсахъ, и съ этимъ открытіемъ наши ученые нянчаться уже очень давно, потому что для нихъ конечно это невиданная диковинка. Всѣ-же остальные наши ученые (а ихъ таки не мало) совершенно усвоили себѣ ту великую истину, что прочесть нѣмецкое изслѣдованіе, даже очень толстое, гораздо легче, чѣмъ учиться санскритскому и всякимъ другимъ, болѣе или менѣе неприятнымъ языкамъ. Съ этой истиной соображаются всѣ ихъ ученые подвиги. Нѣмецъ на каждой страницѣ своего труда приводитъ сопоставленія формъ и словъ, взятыхъ изъ разныхъ родственныхъ языковъ, и русскій дѣлаетъ то-же самое. Но нѣмецъ самъ разыскалъ эти формы и слова, а русскій отважно перенесъ работу нѣмца и даже не проверилъ ея, потому что не можетъ этого сдѣлать. Если русскій къ заимствованнымъ рядамъ формъ и словъ присоединилъ соотвѣтствующія русскія слова и формы, тогда имя его упоминается съ уваженіемъ, а студентамъ говорятъ на лекціяхъ: «даровитый ученый такой-то въ своемъ замѣчательномъ сочиненіи такомъ-то примѣнилъ блестящимъ образомъ къ нашей отечественной наукѣ методъ Якова Гримма», или какого-нибудь другого туза филологіи. Конечно между нашими языкознателями есть и умные люди, понимающіе въ глубинѣ души, что ихъ экскурсіи въ нѣмецкія книги можно называть наукой только изъ вѣжливости; эти господа смотрятъ на свои работы безъ особенной вѣжливости, но, какъ умные люди, они понимаютъ, что экскурсіи питаютъ и грѣютъ ихъ, и потому они не видятъ никакой надобности ратовать словами и перомъ противъ обычаевъ, укоренившихся въ ученый міръ. Что-же касается до большинства нашихъ филологовъ, то они такъ сжились съ существующими условіями ученой дѣятельности, что находятъ ихъ совершенно нормальными.

Къ этой многочисленной категоріи дѣятелей принадлежалъ и Телицынъ; занимаясь древней русской литературой и не имѣя никакихъ лингвистическихъ свѣдѣній, онъ находилъ совершенно возможнымъ читать намъ лекціи по философіи языка и приводить множество примѣровъ и сближеній изъ санскритскаго, ведскаго и другихъ столь же извѣстныхъ ему языковъ. Мало того. Онъ даже находилъ совершенно естественнымъ и похвальнымъ вести по слѣдамъ своимъ юнаго ре-

нителя науки и служить ему руководителемъ въ такой отрасли знаній, въ которой онъ, Телицынъ, былъ самъ несвѣдущимъ ученикомъ. Онъ совѣтовалъ мнѣ читать сочиненія Вильгельма Гумбольдта, Гримма, Боппа, Потта, Шлейхера, — но о дѣйствительномъ изученіи языковъ не было и рѣчи. По мнѣнію Телицына, было совершенно достаточно усвоить себѣ идеи нѣмецкихъ филологовъ, а доходить до самостоятельнаго изслѣдованія или до критическаго отношенія къ благодѣтельнымъ нѣмцамъ — значило мечтать о недоступной и совершенно излишней роскоши. Совѣтъ Телицына былъ такимъ образомъ диаметрально противоположенъ совѣту Креозотова. Телицынъ совѣтовалъ питаться высшими идеями, а Креозотовъ рекомендовалъ глотать сырые факты. Какъ не различны эти два совѣта, въ нихъ есть однако существенное сходство: оба они разсчитываютъ исключительно на память; слѣдуя тому или другому совѣту, учащійся долженъ навсегда отказаться отъ развитія критическаго смысла, потому что общая идея, построенная на извѣстныхъ вамъ фактахъ, представляется вамъ въ свою очередь голымъ фактомъ, который надо запомнить, но надъ которымъ размышлять невозможно. Кто знаетъ сравниваемые языки, для того сравнительная филологія является осмысленіемъ и приведеніемъ въ систему извѣстныхъ фактовъ; а кто ихъ не знаетъ, тотъ принимаетъ идеи науки на вѣру и закрѣпляетъ ихъ у себя въ памяти, какъ могъ-бы закрѣпить какую-нибудь хронологическую таблицу. Когда происходилъ у меня этотъ разговоръ съ Телицынымъ, тогда я конечно, не оцѣнилъ прелести его совѣта и принялъ его съ той добродушной радостью, съ которой принималъ до тѣхъ поръ всѣ профессорскіе совѣты, думая всякій разъ, что философскій камень найденъ, и что наконецъ жизнь моя окончательно посвящена великой научной дѣятельности.

XI.

Осенью 1857 года, возвратившись съ каникулъ, я отдалъ Телицыну составленное извлеченіе изъ брошюры Штейнтала. Телицынъ вполне удовлетворился имъ и только спросилъ у меня, исполнилъ-ли я усвоить себѣ различіе между методомъ Гегеля и методомъ Гумбольдта? Я отвѣчалъ ему, что Гегель, вотъ видите-ли, все напираетъ на чистое мышленіе, а Гумбольдтъ основываетъ свои выводы на наблюденіи и изученіи фактовъ. Еслибы Телицынъ сколько-нибудь вошелъ въ подробности, то я-бы тотчасъ положилъ оружіе; но руководитель мой, кажется, самъ былъ поверхностно знакомъ съ мыслями Штейнтала, и потому отвѣтъ мой показался ему достаточно убѣдительнымъ. Вы спросите, читатель, отчего-же я самъ не требовалъ у Телицына объясненія темныхъ мѣстъ? Да, хорошо требовать объясненія

тогда, когда въ книгѣ не понимаешь двухъ-трехъ отдѣльных фразъ, но когда вся книга представляется какимъ-то туманнымъ пятномъ, тогда не знаешь, о чемъ и спросить. Кромѣ того я видѣлъ, какое хорошее мнѣніе внушаетъ обо мнѣ Телицыну моя ярость къ наукѣ; жалъ было разрушать такое мнѣніе, тѣмъ болѣе, что въ глубинѣ души я надѣялся на послѣдовательное и серьезное чтеніе, какъ на вѣрное средство безъ посторонней помощи разсвѣтать туманъ, скрывавшій отъ меня идеи Штейнтала и разныхъ другихъ умныхъ людей.

Разсчеты мои съ Вильгельмомъ Гумбольдтомъ оказались далеко неоконченными. Однажды Телицынъ сообщилъ мнѣ, что недавно вышла въ свѣтъ подробная біографія Гумбольдта, написанная Гаймомъ, и что было-бы очень хорошо, если-бы я по этой книгѣ составилъ статью, которая въ соединеніи съ оконченной моей работой могла-бы быть помѣщена въ студенческомъ «Сборникѣ». Къ этому предложенію Телицынъ присоединилъ нѣсколько убѣдительныхъ резоновъ: «вы, — говорить, — этимъ составите себѣ имя — говорить — это особенно удобно, потому что вы уже знакомы съ методомъ Гумбольдта». Какъ я ни былъ наивенъ, но мысль о составленіи себѣ имени посредствомъ извлеченія изъ нѣмецкой книги показалась мнѣ смѣлою, а второму аргументу я придалъ еще менѣе значенія, потому что мнѣ были слишкомъ хорошо извѣстны мои отношенія къ методу Гумбольдта. Но предложеніе Телицына я все-таки принялъ. Что-жъ, думалъ я, вѣдь вотъ перевелъ и извлекъ, не понимая, — авось и Гайма обработаю также удачно; да и наконецъ все-таки я въ брошюрѣ Штейнтала присмотрѣлся къ ученому языку, такъ что есть надежда, что теперь пойму больше. Справлялся я въ нѣкоторыхъ магазинахъ и узналъ, что книга Гайма стоитъ 5 рублей. Это мнѣ было не по деньгамъ. Я сообщилъ объ этомъ горѣ Телицыну и, по его совѣту, рѣшился читать Гайма въ Публичной Библіотекѣ. Началось плинфодланіе египетское. Почти каждый день, въ седьмомъ часу вечера, я приходилъ въ читальную залу и читалъ до девяти часовъ, пока звонокъ не объявлялъ посѣтителѣмъ бібліотеки о томъ, что пора опочить отъ дѣлъ. Читая въ бібліотекѣ, я отмѣчалъ на клочкѣ бумаги собственные имена и цифры годовъ. Идеи и событія я удерживалъ въ памяти и потомъ, возвратившись домой, торопился въ тотъ-же день обработать письменно прочитанную часть книги. Такимъ образомъ я принужденъ былъ писать статью безъ всякаго общаго плана. Мнѣ приходилось раболобно слѣдовать за Гаймомъ и резюмировать начало его книги, не зная, какова будетъ середина и къ чему приведетъ конецъ. Если-бы я распорядился иначе, если-бы напримѣръ я прочелъ сначала всю книгу, а потомъ началъ-бы писать свою статью, то вышла бы двойная работа. Я не могъ

имѣть книгу подъ руками во время самаго писанія статьи, потому что изъ Публичной Библіотеки книгъ не выдають на домъ, а писать въ самой бібліотекѣ было совершенно неудобно, во-первыхъ потому, что въ читальной залѣ, обыкновенное дѣло, довольно тѣсно, во-вторыхъ потому, что постоянный приходъ и уходъ посѣтителей не позволялъ сосредоточиваться и думать въ работу. Даже простое чтеніе шло у меня довольно медленно; часто приходилось останавливаться и перечитывать по нѣскольку разъ одно и то-же мѣсто, чтобы дойти до дѣйствительнаго пониманія. Если-бы я вздумалъ, не приступая къ писанію, прочесть сначала всю книгу, то мнѣ потомъ пришлось-бы еще разъ читать ее по частямъ, и общій самостоятельный планъ статьи не могъ-бы быть составленъ и выполненъ, потому что для выполненія такого плана совершенно необходимо имѣть передъ собой во время работы весь собранный матеріалъ, всю прочитанную и придуманную книгу, а удержатъ ясно и отчетливо въ памяти всѣ черты подробной біографіи, заключающей въ себѣ болѣе 700 страницъ, положительно невозможно.

Итакъ, я смиренно строилъ свой домикъ, кладя кирпичъ на кирпичъ и не зная заранее, какая изъ всего этого выйдетъ фигура. Работа шла медленно, потому что за одинъ разъ я не успѣвалъ прочитать болѣе 30 страницъ; кромѣ того, требовалось часто провѣрять написанное; иногда не оказывалось возможности тотчасъ резюмировать прочитанныя страницы, и тогда являлась необходимость читать ихъ еще разъ. Если прибавить къ этому, что отъ моей квартиры до бібліотеки было полчаса скорой ходьбы, и что нанимать извозчиковъ значило-бы заплатить за Гайма дороже 5-ти рублей, то читатель увидитъ, при какихъ благопріятныхъ условіяхъ подвигался впередъ мой учено-литературный трудъ. Самое чтеніе требовало съ моей стороны сильнаго напряженія ума; книга Гайма была написана ясно, изыщно и даже картинно, и я сознавалъ и цѣнилъ въ ней эти достоинства; но Гаймъ писалъ все-таки для образованныхъ нѣмцевъ, а не для русскіихъ юношей, преуспѣвавшихъ въ гимназій и восторгавшихся любезными звуками въ университетѣ. Гаймъ говорилъ мимоходомъ о политическомъ состояніи Европы, о литературномъ и умственномъ движеніи въ Германіи, называлъ личности и положенія, упоминалъ о партіяхъ и кружкахъ, о симпатіяхъ и антипатіяхъ, о надеждахъ и разочарованіяхъ, о конституціяхъ и реакціяхъ, — предметахъ, которые извѣстны всѣмъ образованнымъ людямъ, но которые для меня оказывались скорбною загадкой. Мнѣ приходилось тратить бездну вниманія и остроумія, мнѣ приходилось предполагать и угадывать, — мнѣ надо было быть Шамполиономъ въ такомъ мѣстѣ, гдѣ не было ни одного гіероглифа. Мнѣ надо было наконецъ называть въ моей статьѣ имена и со-

не вызывавшія въ умѣ моемъ никакого леннаго представленія, и надо было назваться съ самоуверенностью и въ то-же время скромностью, такъ чтобы читатель не замечалъ моихъ колебаній и не уличилъ меня въ нибудь вранья.

Въ такихъ условіяхъ писаніе статьи очень на путешествіе по тонкому льду, которое на каждомъ шагу трещитъ подъ ногами, — вѣдь стоять неудобно, и съ мѣста трюхаться. Однако я не провалился въ мой ледъ, но надо знать, чего мнѣ это стоило; надо было, сидя въ библиотекѣ, я иногда схватывая за голову обѣими руками, потому что шла кругомъ отъ судорожныхъ усилій найти настоящій смыслъ шарады и гаданій, заключающихся собственно для меня въ Гайма. Надо знать, какое это неприятство — видѣть передъ собой нѣсколько чужихъ именъ, знать, что ихъ слѣдуетъ вѣнчать въ статью, и чувствовать при этомъ, какъ тяжело сказать о нихъ только то, что вычиталъ въ книжкѣ; собственнаго мнѣнія не имѣешь; боишься употребить свой оборотъ и эпитетъ, потому что можешь провалиться; все-таки этомъ соблюдаешь декорумъ и приносишь передъ публикой, будто владея обработаннымъ матеріаломъ. Точно ходишь на цыпочкахъ по темной комнатѣ, каждую минуту ожидаешь, что стукнешься въ стѣну или повалишь ногой какую-нибудь тяжелую мебель. И это мучительное чувство, притупляющееся со временемъ, раженія въ фразерствѣ, дѣлаетъ честь моему молодому уму къ шарлатанству и привору. Но отвращеніе это скоро изгладилось, искусство составлять фразы изъ непонятныхъ терминовъ и именъ развилось-бы у меня въ замѣчательной виртуозности, если-бы за мной Гумбольдтъ слѣдовали другія подобныя работы. Полюбуйтесь, читатели: кто не превращалъ меня въ скептика? Профессоръ Реозотовъ, который самъ вовсе не былъ комъ. Кто вовлекалъ меня въ шарлатанство? Профессоръ Телицынъ, который самъ вовсе не былъ шарлатаномъ. Такимъ образомъ истинные наставники внушали своему питомцу — неуваженіе къ старшимъ, другой — ироническое обращеніе съ наукой и съ чуждой мыслью. Ни тотъ, ни другой не приходили къ такимъ результатамъ, а между ними выходило такъ. Должно быть, въ это дѣло входила древній фатуа. А еще вѣрнѣе и проще случая проще то объясненіе, что руководители сами нуждались въ руководителяхъ, сами не сознавали этого, и были довольны — стало быть, въ этомъ отношеніи стояли на уровнѣ студентовъ, которые чувствовали потребность совѣта и вразумленія.

XII.

Мѣсяца три продолжалось писаніе статьи: недѣли три ушло на переписываніе. Когда все было кончено, Телицынъ объявилъ мнѣ, что есть еще сочиненіе о Гумбольдтѣ, которое я также долженъ принять къ свѣдѣнію. Я замѣтилъ ему, что, стало быть, придется переделывать заново всю работу; на это онъ возразилъ, что переделывать незначительно, а что можно прочесть эту книгу Шлезера — «Воспоминаніе о Вильгельмѣ Гумбольдтѣ», и потомъ сдѣлать нѣкоторыя дополненія и вставки. Я покорился, получилъ отъ Телицына книгу, состоявшую изъ двухъ томовъ средняго сорта и дородства, и началъ дѣлать въ статьѣ своей дополненія и вставки. Много требовалось техническаго искусства для того, чтобы пришить эти новыя подробности и скрыть отъ читателя бѣды нитки. Въ душѣ моей начинала уже шевелиться досада противъ распоряженій моего руководителя. Видно было, что его деспотическое господство надъ моей мыслью начинало колебаться. Какъ-бы то ни было, работа моя была приведена къ окончанію; выдержки изъ нея прочтены съ успѣхомъ въ собраніи студентовъ, и ихъ приговоръ рѣшилъ, что статья моя заслуживаетъ быть помѣщенной въ студенческомъ «Сборникѣ».

Значитъ, подвигъ совершенъ и самолюбіе удовлетворено. За окончаніемъ труда всегда слѣдуетъ время отдыха, когда трудившійся оглядывается на самого себя, повѣряетъ свои силы и отдаетъ себѣ отчетъ въ той пользѣ, которую принесъ ему оконченный трудъ. Биографія и характеристика Гумбольдта, какъ человѣка и ученаго, лежала передо мною въ пяти толстыхъ тетрадяхъ, и, глядя на эти тетради, я припомнилъ, что въ нихъ заключена вся моя умственная жизнь за шестнадцать мѣсяцевъ. Переводъ Штейнтала былъ начатъ въ декабрѣ 1856 года, а выписки изъ Шлезера окончены въ апрѣлѣ 1858 г. Что же далъ мнѣ этотъ упорный и продолжительный трудъ? Телицынъ смотритъ на меня, какъ на дѣльнаго молодого человѣка, и даже не прочь похвалиться мною, какъ своимъ произведеніемъ; многіе студенты и нѣкоторые профессора изъ филологовъ знаютъ мое лицо и мою фамилію; работа моя печатается въ сборникѣ. Ну, а потомъ? Мнѣніе другихъ обо мнѣ возвысилось, но чѣмъ возвысилось мое дѣйствительное достоинство? Чтò я узналъ? Да мало-ли что! Узналъ я, что на свѣтѣ жили два брата фонъ-Гумбольдтъ — Вильгельмъ и Александръ; узналъ, у кого учился Вильгельмъ, съ кѣмъ былъ знакомъ, куда ѣздилъ, какія писалъ разсужденія и изслѣдованія; узналъ даже по нѣсколькимъ мыслямъ изъ замѣчательныхъ его произведеній. Все это — знанія, на улицѣ этого не подымаешь. Еслибы я приобрѣлъ эти свѣдѣнія въ двѣ недѣли, то можно было-бы сказать, что время не прошло.

къ такимъ результатамъ послѣ шестнадцатилѣтняго труда—это похоже на побѣду Цирра надъ римлянами. «Еще двѣтакія побѣды,—говорилъ Цирръ,—и мнѣ придется бѣжать изъ Италіи».—Еще полтора такіе подвиги, могъ я сказать, и мнѣ придется выходить изъ университета, потому что до окончанія курса мнѣ оставалось два года, т. е. столько времени, что я подъ руководствомъ Телицына могъ довести до конца еще одну біографію, и потомъ остановиться на половинѣ третьей работы, столь же полезной для моего развитія и для будущей научной дѣятельности. Надъ этимъ стоило задуматься, и я дѣйствительно задумался. Мнѣ пришло наконецъ въ голову, что я, по милости Телицына, работалъ самымъ безалабернымъ образомъ и потратилъ пропасть лишняго труда и времени. Кто-жъ такъ дѣлаетъ? думалъ я. Сначала перевести, потомъ сдѣлать извлеченіе, потомъ къ извлеченію прилѣпить новую статью, потомъ въ эту новую статью вшивать вставки. Что-жъ это за руководитель? Да много-ли онъ самъ-то смыслить? Да полно, умный-ли онъ человѣкъ? Наконецъ, добросовѣстно-ли онъ распоряжался моими силами? И на всѣ эти сокрушительные вопросы слѣдовали быстро и неотразимо сокрушительные отвѣты: нѣтъ, нѣтъ и нѣтъ! Образъ Телицына сводился съ пьедестала, и на головѣ его вмѣсто сіяющаго ореола появлялся какой-то смиренный колпакъ; и его мечтательный взоръ, и его разсѣянность въ разговорѣ, и его красивые слова въ заключеніе лекцій—все это освѣщалось иначе и пріобрѣтало другой смыслъ, очень простой и вовсе неторжественный. У него просто умъ за разумъ заходитъ, думалъ я; онъ весь ушелъ въ свои книги и говорить умѣетъ только о томъ, что вычиталъ вчера или сегодня утромъ; дальше книгъ онъ видѣть не можетъ, и самый простой вопросъ изъ практической жизни застаетъ его врасплохъ и оказывается для него неразрѣшимымъ. Нѣтъ, рѣшилъ я, такой человѣкъ не можетъ служить другому руководителемъ въ занятіяхъ.

Несмотря на это правильное умозаключеніе, я сдѣлалъ однако еще попытку въ томъ же направленіи, на которое указывалъ мнѣ Телицынъ. Я началъ читать сочиненія Вильгельма Гумбольдта и думалъ собственными силами продолжать потомъ занятія по философіи языка, обращаясь по временамъ къ Телицыну за невинными бібліографическими справками. Мнѣ ужъ черезчуръ тяжело было сознаваться передъ самимъ собою, что почти полтора года ухлопано даромъ, и потому хотѣлось какъ-нибудь привязать новыя состоянныя занятія къ работѣ по Штейнталу и Гаю. Конечно изъ этого не могло выйти ничего путнаго. Философскимъ идеямъ Гумбольдта не на что было упереться въ моемъ мозгу, и чтеніе не оставляло во мнѣ прочнаго слѣда, а только пріучало меня къ нѣмецкому философскому изло-

женію. И за то спасибо, во время все-таки тратилось безъ особенной пользы. Между тѣмъ Телицынъ, какъ молодой ученый, подающій блестящія надежды, ухажалъ на казенный счетъ за-границу. Это обстоятельство довершило и упрочило мое освобожденіе изъ подъ его вліянія. Надо сознаться, что это вліяніе было для меня вродѣ крѣпостной зависимости. Мой трудъ считался за ничто, и Телицынъ расходовалъ его самымъ нерасчетливымъ образомъ, давая совѣты наобумъ и не обращая вниманія на мои собственные умственные потребности. Правда, что я и самъ не сознавалъ этихъ потребностей, но дѣло руководителя въ томъ и состоитъ, чтобы дать своему питомцу такое чтеніе, которое пробудило-бы его самосознаніе и привело-бы въ ясность его умственные требованія. Толпа студентовъ провожала Телицына на пароходъ; но когда онъ уѣхалъ, тогда критическій взглядъ на его личность и дѣятельность сталъ быстро вырабатываться въ головахъ его обожателей. Этому критическому взгляду содѣйствовали во многихъ отношеніяхъ письма Телицына изъ за-границы, печатавшіяся въ одномъ московскомъ журналѣ. Я помню, какъ, прочтя вмѣстѣ съ однимъ изъ моихъ товарищей одно изъ этихъ писемъ, я вынесъ изъ продолжительнаго чтенія только ту мысль, что студенты одного нѣмецкаго университета носятъ очень широкіе панталоны. Товарищъ мой, которому я сообщилъ этотъ результатъ, нашелъ, что это дѣйствительно самое рельефное впечатлѣніе, остающееся отъ чтенія письма.

XIII.

Долго поклонялся я Телицыну, и дорого стоило мнѣ это «любленіе твари паче бога»; но когда кумиръ мой оказался чурбаномъ, тогда уже всякое идолослуженіе сдѣлалось для меня отвратительнымъ и слѣдовательно навсегда невозможнымъ. Съ осени 1858 года я объявилъ себя независимымъ, и отношенія мои къ университету и къ профессорамъ, къ лекціямъ и совѣтамъ сдѣлались чисто отрицательными. Начиная третій годъ моего студенчества; цѣлая половина курса лежала уже позади меня—и помянуть ее было нечѣмъ. Слова, стремленія, бѣготня по корридорамъ университета, бесплодное чтеніе, не оставившее по себѣ ни удовольствія, ни пользы, казенная работа перомъ, не удовлетворявшая потребностямъ ума и не дававшая даже денегъ, школьное приготвленіе къ экзаменамъ и школьное отвѣчаніе на экзаменахъ, скука на лекціяхъ, скука дома—вотъ и все, что пережито мною въ эти два года, вотъ и все, чѣмъ наградила меня волшебный міръ университета за мою страстную и неосмысленную любовь къ недостижимымъ и невѣдомымъ сокровищамъ мысли. Горько было не то, что пропали даромъ два года; я молодъ и дѣтеленъ; наверстать потерянное

времени нетрудно. А горько и страшно то, что ошибки потерянных лѣтъ ничему не научили меня и не могли пригодиться на будущее время. По прошествіи двухъ лѣтъ я не только не сдѣлалъ ни шагу впередъ въ той или другой области знанія, но я даже не зналъ, за что приняться и какъ взяться за дѣло. Дѣтская довѣрчивость моя была уничтожена, но опыта и собственного умѣнія руководить своими занятіями не было приобретено. Я увидѣлъ, что проводники ведутъ меня въ тущобу, и ушелъ отъ этихъ проводниковъ, и остался въ лѣсу одинъ, и все-таки не зналъ, куда идти и что дѣлать. Пока я довѣрялъ проводникамъ, положеніе мое было опасно, но я былъ доволенъ и успокоенъ; когда я бросилъ проводниковъ, во мнѣ явилось чувство тревоги и боязни, но положеніе мое не улучшилось, или по крайней мѣрѣ, улучшилось только въ томъ отношеніи, что я опѣшилъ его неудобства.

Вопросъ о выборѣ специальности началъ принимать въ моихъ глазахъ серьезное и угрожающее значеніе; онъ сдѣлался для меня загадкой «финикса»; разрѣшенія этой загадки стала требовать уже не одна любознательность, къ любознательности стало присоединяться чувство самосогрѣненія. «Отгадай, или я тебя проглочу», говорилъ финиксъ. Выбери специальность, говорилъ я себѣ, или клади зубы на полку. До выхода изъ университета остается меньше двухъ лѣтъ, а потому что? Жить попрежнему на родительскихъ лѣбкахъ? Да вѣдь надо-же и честь знать. Не для того давали мнѣ образованіе, это образованіе и безъ того уже достается тяжело родительскому бюджету. Идти на службу? Да кого же это такъ прельститъ мой кандидатскій дипломъ? Кто-же это мнѣ по первому востребованію отвѣдетъ штатное мѣсто? Да и что я такое? Образованный пріистъ или просвѣщенный администраторъ? Грамотныхъ людей и безъ меня довольно въ числѣ аскателей мѣстъ, а кромѣ грамотности во всей моей филологической премудрости нѣтъ ни одной юты, пригодной для канцелярской дѣятельности. Всякій заштатный писецъ уѣзднаго суда или квартального управленія лучше меня съумѣетъ написать и переписать входящую или исходящую. Я вотъ даже и не знаю, какъ назвать дѣловую бумагу. По ученой части пойти? Въ учителя гимназій? Это, конечно, хорошо но только что-же я за учитель? Какую науку я возьмусь преподавать? Что я знаю, кромѣ книги Гайма о Вильгельмѣ Гумбольдтѣ? И что я успѣю изучить втеченіи этихъ двухъ лѣтъ, когда мнѣ въ это время придется еще готовиться къ выпускному экзамену и писать кандидатскую диссертацию? Вопросъ о специальности становился мрачнымъ и грозилъ сдѣлаться неразрѣшимымъ.

Не хорошо вообще, когда обстоятельства приуждаютъ насъ разсматривать одинъ предметъ въ двухъ различныхъ и почти независимыхъ точкахъ зрѣнія. Не хорошо, когда является необхо-

димость сдѣлать компромиссъ между требованіями любознательности и нахальными доводами житейскаго разсчета. Совѣтъ не хорошо, когда наука представляется вамъ въ одно и то-же время цѣлью и средствомъ, высокимъ наслажденіемъ и хлѣбнымъ ремесломъ. Тогда ваши отношенія къ наукѣ дѣлаются похожими на отношенія пламеннаго любовника, которому повелительница его сердца платитъ за сердечный пылъ наличными деньгами и готовой квартирой. При такихъ двусмысленныхъ условіяхъ вопросъ о специальности запутывается окончательно, и вопрошающій юноша дѣлается плохимъ ремесленникомъ и негоднымъ ученымъ. У него оказывается мало денегъ и еще менѣе учености. Цѣлая долгая жизнь изнашивается въ бѣдности и неизвѣстности, и что всего обиднѣе, часто въ подобной жизни тратится помелочамъ такая масса умственного труда и терпѣливаго мужества, — такая масса, которой было-бы слишкомъ достаточно, чтобы выдвинуть труженика впередъ и сдѣлать его полезнымъ для общества и пріятнымъ для самого себя. И труженикъ ни въ чемъ не виноватъ, потому что наука — вообще плохое ремесло, много она и обогащаетъ, но она никогда не будетъ доставлять всѣмъ своимъ обожателямъ средства платить долги въ мелочную лавочку. И такъ поступаетъ не одна наука; заодно съ нею дѣйствуютъ литература, коронная служба, адвокатура и всѣ другія видоизмѣненія умственного труда. Самый жалкій пролетаріатъ распространенъ между бѣдными чиновниками, между неудавшимися литераторами, между непризнанными дѣятелями науки, и распространенъ между этими людьми гораздо сильнѣе, чѣмъ между сапожниками, булочниками или портными.

Очень понятно. Изъ умственныхъ продуктовъ обществу нуженъ только первый сортъ; поэтому, осыпая деньгами и знаками уваженія отдѣльные единицы, оно бросаетъ массу умственныхъ тружениковъ сухія корки хлѣба, да и то въ ограниченномъ количествѣ. Я не говорю, что опѣйка общества всегда безошибочна, но это обстоятельство не измѣняетъ вопроса, потому что здѣсь дѣло идетъ не о дѣйствительномъ достоинствѣ умственного труда, а о степени его надежности и прибыльности. Калачъ, пара сапогъ, сюртукъ или пальто всегда нужны и всегда имѣютъ какую-нибудь цѣнность, но нелѣпое изслѣдованіе или романъ, отвергнутые журналистами или книгопродавцами, не имѣютъ никакой цѣнности и вводятъ ихъ обладателя въ убытокъ, потому что бѣлая бумага, на которой написано произведеніе, дороже исписанной бумаги, идущей на макулатуру. Все это истинно очень старая и очень простая, но ихъ не понимая до сихъ поръ та часть нашего общества, которая называется образованной. До сихъ поръ самые разсудительные родители тянутъ послѣднихъ силъ, чтобы провести сына или дочь

черезъ средній и высшій учебныя заведенія и дать имъ въ руки аттестатъ или дипломъ; до сихъ поръ каждый разсудительный родитель взглянулъ-бы на васъ съ гнѣвнымъ удивленіемъ, если-бы вы заикнулись ему о томъ, что нехудо бы его Мишеньку или Володеньку мастерству какому-нибудь обучить; да вы, какъ человѣкъ благовоспитанный, никогда и не заикнетесь. Даже смѣлые журналисты наши, порывающіеся облобызать почву, толкующіе о томъ, что не мѣшало бы приписаться куда-нибудь, и ради сближенія и слиянія перенести розги, могущія представиться по мирскому приговору, даже эти милые патріоты не заикаются насчетъ Мишеньки или Володеньки. Имъ также кажется невдомекъ, что больше десяти-десятихъ нашего брата бѣдствуетъ, нищенствуетъ и дармоѣдствуетъ единственно отъ того, что возлагаетъ все упованіе на аттестаты и дипломы, а ко всякому ремеслу подходитъ только тайкомъ и украдкой, урывками и самоучкой, да и то въ случаѣ голодной крайности. Но какъ-же Мишеньку и Володеньку отдать въ ученіе къ сапожнику или портному, скажетъ самая разсудительная мать. Вѣдь хозяева морятъ голодомъ своихъ учениковъ, бьютъ ихъ, чѣмъ попало, и порятъ ихъ не на животъ, а на смерть. Точно такъ, ваше высокоблагородіе! Но эти недоразумѣнія между хозяевами и учениками вовсе не составляютъ неизбежнаго закона природы. Хозяева дѣйствуютъ такъ потому, что имъ отдаются въ ученіе Мишки и Володьки, которыхъ было принято кормить изъ хозяйственного разсчета, а пороть по вдохновенію. До сихъ поръ порятъ и скверно кормятъ въ семинаріяхъ и между тѣмъ, понемногу перестаютъ пороть и скверно кормить въ гимназіяхъ, единственно потому, что гимназіи болѣе на виду у общества и болѣе интересуютъ его.

Если общество будетъ заинтересовано тѣмъ, чтобы мастера обращались человѣчно съ своими учениками, то это исполнится безъ особеннаго труда, и благодѣянія человѣчнаго обращенія будутъ естественнымъ образомъ распространены на забытыхъ и замореныхъ Мишекъ и Володекъ. Стало быть, только умственная неподвижность мѣшаетъ родителямъ обращать своихъ дѣтей въ мастеровыхъ, и только рутинная ограниченность мысли заставляетъ ихъ навязывать дѣтямъ такую карьеру, которая чрезвычайно похожа на лотерейный билетъ. Выигралъ — ты директоръ департамента, академикъ или извѣстный писатель; проигралъ — ты вѣчный чернорабочій съ развитыми потребностями или просто нищій и паразитъ. Но выигрышей во всякой лотерей бываетъ чрезвычайно мало сравнительно съ общимъ числомъ билетовъ, а между тѣмъ охотники до лотерей запоминаютъ только примѣры выигрышей и не обращаютъ никакого вниманія на тысячи печальныхъ уроковъ самаго поучительнаго свойства. Всякій хватается за невѣрный умственный

трудъ и великодушно оставляетъ ремесленный трудъ младшей братіи. Отъ этого развивается въ обществѣ бѣдность, отъ этого чахнетъ и умственная дѣятельность, которая по самой природѣ своей должна быть свободна даже отъ вліянія матеріальныхъ обстоятельствъ. Сапожникъ можетъ писать очень хорошія поэмы въ часы, свободные отъ работы; но если этотъ самый сапожникъ будетъ надѣяться, для прокормленія своей семьи, не на ремесло свое, а на свой поэтический талантъ, то ему естественно придется привешивать себя къ творчеству, и стихи будутъ выходить посредственные; можетъ, правда, случиться, что талантъ его очень богатъ, и что онъ способенъ творить постоянно, не истощаясь и не слабѣя; но всякій понимаетъ, что такіе таланты рѣдки и что ихъ обладатели, имѣющіе возможность прокармливать себя умственными трудами, принадлежатъ именно къ тѣмъ счастливымъ исключеніямъ, которымъ достался выигрышный лотерейный билетъ. И вотъ изъ-за этихъ-то исключеній наше общество ежедневно жертвуетъ судьбою тысячъ своихъ молодыхъ членовъ, которые могли-бы быть хорошими и зажиточными, образованными и дѣятельными ремесленниками, и которые, не смотря на то, дѣлаются бѣдными и бесполезными чиновниками, жалкими литераторами и смѣшными учеными.

XIV.

Въ общихъ чертахъ мнѣ пришлось передумать во время исканія специальности всѣ тѣ мысли, которыя изложены въ предыдущей главѣ и которыя читатель по всей вѣроятности считаетъ неумѣстнымъ отклоненіемъ отъ главнаго предмета моей статьи. Мнѣ было очень тяжело, и вѣрительность моя увеличивалась вмѣстѣ съ умственнымъ сознаніемъ, что время не терпитъ и что рѣшиться на что-нибудь надо поскорѣе. Когда вамъ случается особенно торопливо одѣваться, то дѣло рѣдко идетъ удачно; вы спѣшите, и каждая отдѣльная вещь тоже спѣшитъ и не дается вамъ въ руки. Я спѣшилъ заняться чѣмъ-нибудь, и потому только метался изъ стороны въ сторону, хватался то за одинъ предметъ, то за другой, читалъ много, ново-первыхъ — безъ толку, во-вторыхъ — съ глухимъ отчаяніемъ, съ постоянной мыслью, что это все бесполезно и что ничего изъ этого не выйдетъ. Понятно, съ какой горячей благодарностью я вспоминалъ тогда почтенныхъ руководителей, сбившихъ меня съ толку и отнявшихъ у меня даже довѣріе къ своимъ силамъ. Отъ философіи языка я кинулся къ славянскому нарѣчію, потомъ обрушился на русскую исторію, потомъ вдругъ принялся изучать гомеровскую міѳологію, потому что мнѣ представилось, что въ головѣ моей возникла гениальная идея, великолѣпно объясняющая греческое понятіе судьбы или рока. Въ такихъ ристаніяхъ

по наукамъ филологическаго факультета прошло больше года. Товарищи мои иногда бранили меня за мою нелѣпость, иногда смѣялись надъ моими постоянными тревогами, но мнѣ было не до смѣха, а я самъ готовъ былъ бранить себя самымъ горькимъ и обиднымъ образомъ. Каждый разговоръ съ товарищами приводилъ меня въ уныніе или усиливалъ мою тревогу. Отчего, думалъ я, они всё знаютъ, что имъ дѣлать? Одинъ изучаетъ памятники народной поэзіи, да еще началъ съ кельтскихъ пѣсенъ, и языку кельтскому выучился; другой занимается славянами и совершенно доволенъ своими занятіями; третій читаетъ серьезные сочиненія по древней исторіи и тоже не волнуется мятежными страстями. Отчего же я одинъ одержимъ фуріями? Отвѣтъ найти было не трудно, но этотъ отвѣтъ меня не удовлетворялъ. Легко было понять, что всё они читаютъ спокойно потому, что каждый изъ нихъ нашелъ себѣ дѣло по вкусу и постепенно втянулся въ понравившееся занятіе. Но тогда возникалъ вопросъ: отчего же это мнѣ ничто не правится настолько, чтобы я взялся за дѣло и вработался въ него? На этотъ вопросъ слѣдовало отвѣтить такъ: подожди! найдешь и ты занятіе по душѣ, а насильно влюбиться нельзя ни въ женщину, ни въ науку. Этотъ отвѣтъ приходилъ мнѣ въ голову, но противъ него всегда находилось сильное возраженіе: «ищите и обряцете». Специальность не придетъ ко мнѣ сама. Я рискую цѣлую жизнь просидѣть у моря въ ожиданіи погоды, если я не буду испытывать серьезными работами свои вкусы и способности.

Въ этомъ разсужденіи было много справедливаго, но я принималъ его къ дѣлу чрезвычайно уродливо. Мнѣ слѣдовало-бы читать такіе книги, которыя могли-бы быть интересны и полезны для всякаго образованнаго человѣка. Историческія сочиненія, особенно по новѣйшей исторіи, политико-экономическія книги, популярныя книги по различнымъ отраслямъ права, сочиненія по естественнымъ наукамъ, наконецъ просто русскіе журналы и газеты — все это несомнѣнно содѣйствовало-бы моему развитію, все это дало-бы мнѣ много знаній и во всякомъ случаѣ не осталось-бы для меня мертвымъ капиталомъ, если-бы даже во время этихъ чтеній я не встрѣтился съ той неизвѣстной красавицей, которой я непремѣнно хотѣлъ отдать мою жизнь и мои умственные силы. Если бы даже судьба погрузила меня въ чтеніе «Русскаго Вѣстника», и такимъ образомъ сотворила-бы изъ меня обожателя Каткова и де-Молинали, то и за это я могъ-бы сказать ей спасибо. Каткова и де-Молинали я сталъ-бы обожать за идеи, крайне рутинныя, но все же новыя для меня, какъ Теляцкина я обожалъ за красивыя слова, годныя только на то, чтобы вызывать рукоплесканія неопытныхъ студентовъ. Прогрессъ былъ-бы очевидный. Кромѣ того увлеченіе «Русскимъ Вѣстникомъ» не могло быть продолжитель-

но, потому что такіе проявленія могли встрѣтиться мнѣ въ той-же русской журналистикѣ, въ которой встрѣтились-бы узкія и ложныя мудрованія. Словомъ, мнѣ непремѣнно надо было взглянуть за двери университета, увидеть дѣйствительную жизнь, хотя-бы въ журнальныхъ книжкахъ и столбцахъ газетъ.

Я могу сказать безъ преувеличенія, что если-бы я употребилъ первые два года моего студенчества на постоянное чтеніе «Московскихъ» или «Петербургскихъ Вѣдомостей», газетъ вообще незамѣчательныхъ по своему литературному или политическому достоинству, то все-таки это чтеніе принесло-бы моему развитію гораздо больше пользы, чѣмъ мои занятія профессорскими лекціями, Вильгельмомъ Гумбольдтомъ и переводомъ Страбона. Но, ухлопавъ два года, я продолжалъ ухлопывать до конца все время моего студенчества. Я видѣлъ, что ошибся въ выборѣ занятій, но не понималъ того, что мнѣ слѣдуетъ радикально перемѣнить методъ и принципъ занятій, слѣдуетъ выйти на свѣжій воздухъ изъ душныхъ монастырскихъ стѣнъ университетской науки. Я не бралъ въ руки ни одной книги, не спросивши себя предварительно: а нужно ли мнѣ это читать для моей специальности? А не есть-ли это потеря времени? Я наиримѣрь не зналъ Жоржъ Зандъ и не взялъ-бы въ руки ни одного ея романа изъ опасенія потерять даромъ время, пригодное для чтенія Краплевской рукописи или мухамеданской нумизматики Савельева. Я позволилъ себѣ прочесть Шекспира, Шиллера или Гёте только потому, что эти имена упоминаются во всякой исторіи литературы; но и къ нимъ я списходилъ очень рѣдко, потому что время дорого и путь ко спасенію узокъ и прискорбенъ. Принимаясь за специальность, я всегда врѣзывался прямо въ самую сушь, въ такую сушь и глушь, которая могла имѣть смыслъ и интересъ только для человѣка, уже давно работающаго въ этой области наукъ. Кромѣ того я обладалъ особеннымъ искусствомъ браться именно за тѣ науки, къ которымъ вѣтъ легкаго и постепеннаго доступа. Въ славянскихъ нарѣчіяхъ мнѣ приходилось начинать съ польской и чешской азбуки. Въ русской исторіи надо было преодолевать книгу Соловьева, изслѣдованія Погодина, работы Круга, Байера, Лерберга. Можетъ-быть этого и не надо было; можетъ-быть споръ о варягахъ могъ остаться для меня въ сторонѣ, — но я думалъ, что необходимо начинать сначала, и, несмотря на всё усилія, никакъ не могъ заинтересовать себя ни чешской азбукой, ни изслѣдованіями о «Русской Правдѣ». Мнѣ приходило иногда въ голову, что я можетъ-быть вовсе не созданъ быть ученымъ; но такая еретическая мысль наполняла меня ужасомъ и негодованіемъ. На что же я послѣ этого годенъ, и что же я изъ себя сдѣлаю? Товарищи мои также смотрѣли съ укоризной на слишкомъ радикальныя сомнѣнія мои въ отношеніи къ ученой карьерѣ; они гово-

рили даже, что то блажь и лѣнь, и я этому вѣрилъ, хотя заподозрить меня въ лѣности было мудрено, и во всякомъ случаѣ несправедливо. Но студенты и профессора филологическаго факультета были уже такъ устроены отъ природы, что на попользованіе уклониться отъ ученой дѣятельности они смотрѣли, какъ на ренегатство, какъ на умственное и нравственное паденіе. Это не помѣшало почти всѣмъ моимъ товарищамъ поступить на службу въ разные департаменты, но они до сихъ поръ утѣшаютъ себя мыслью, что они будутъ держать экзаменъ на магистра и потомъ двигать науку впередъ.

Вліяніе профессоровъ и студентовъ, вліяніе смертой университетской и особенно факультетской атмосферы постоянно толкало меня обратно къ чешской азбукѣ и къ «Русской Правдѣ»; и я опять боролся, и опять изнемогалъ, и опять приходилъ въ отчаяніе, затѣмъ я не влюбленъ въ русскія древности и въ славянское корнесловіе. Передъ глазами моими былъ поучительный образчикъ того ученаго аскетизма, къ которому я самъ стремился такъ упорно и такъ напрасно: товарищъ мой М., занимавшійся славянами, не хотѣлъ знать ничего такого, что не касалось-бы славянскаго міра. Въ этомъ нежеланіи была какая-то холодная и постоянная энергія; для него дѣйствительно существовалъ особенный славянский міръ, и все, что выходило изъ предѣловъ этого міра, составляло для моего товарища тьму кромѣшную и игнорировалось имъ съ самодовольствомъ и гордостью заклятаго спеціалиста. По винушенію гимназическаго учителя русской словесности, онъ началъ заниматься славянами еще въ гимназіи, втянулся въ изученіе мельчайшихъ фактовъ и потомъ продолжалъ тѣ-же занятія въ университетѣ, обращая на остальныя науки столько вниманія, сколько было совершенно необходимо для того, чтобы кое-какъ выдерживать переходные экзамены. Объ общемъ образованіи его судить было невозможно, потому что онъ никогда не говорилъ ни о чемъ не-славянскомъ; когда при немъ студенты вели между собою общій научный разговоръ или философскій споръ (что составляло неизбѣжную принадлежность студенческаго быта), тогда М. молчалъ или приводилъ частный примѣръ изъ славянской исторіи или міеологіи, изъ славянскаго языка или права, если споръ допускалъ подобныя вставки. Онъ вообще былъ холоденъ и сухъ; провести съ нимъ полчаса съ глазу на глазъ было тяжело и утомительно, хотя онъ всегда встрѣчалъ товарища радушно. Чтобы объяснить себѣ самому и другимъ исключительность своихъ занятій, онъ любилъ драпироваться въ мантію всеславянскаго патріотизма; на тетрадкахъ его красовался эпитафій: «*Slavus sum et nihil slavice a me alienum esse puto*» (Я—славянинъ, и ничто славянское не считаю для себя чужимъ),—жалкая и смѣшная пародія на прекрасныя слова: «*Homō sum, et nihil humani...*»

(Я—человѣкъ, и ничто человѣческое не есть для меня чуждымъ.) Онъ съ пафосомъ говорилъ о величіи славянскаго имени, но этотъ пафосъ никого не увлекалъ, потому что самый неопытный слушатель славянствующаго витія могъ чувствовать и дѣйствительно чувствовалъ, что восторгъ этотъ подогрѣтъ и что воодушевленіе это искусственно. Я не понималъ славянскихъ чувствъ моего товарища, да и всѣ наши филологи вмѣстѣ со мною сомнѣвались въ ихъ искренности и даже отрицали ихъ существованіе,—а между тѣмъ мы всѣ глубоко уважали М., какъ чрезвычайно дѣльного спеціалиста. Въ каждомъ изъ насъ было гораздо больше жизни, чѣмъ въ нашемъ славянинѣ; каждый изъ насъ былъ умнѣе и даровитѣе его, а между тѣмъ мы не задумывались ставить его выше насъ всѣхъ, потому что онъ былъ отрѣшеннымъ отъ грѣшного міра спеціалистомъ. И я напрягалъ всѣ свои силы, чтобы дойти до того умственного кастратства, въ которомъ блаженствовалъ мой замѣчательный товарищъ.

XV.

Умственные страданія мои увеличивались каждый разъ, когда я видѣлся и разговаривалъ съ профессоромъ Сварожичемъ, занимавшимъ въ нашемъ университетѣ кафедру славянскихъ нарѣчій. Его слова были каплями уксуса, надавшими на мои свѣжія раны; между тѣмъ слова эти вовсе не были порицательнаго свойства, да и все обращеніе Сварожича со мною было чрезвычайно деликатно, ласково и даже задушевно. Сварожичу было около пятидесяти лѣтъ; онъ былъ академикомъ, членомъ многихъ обществъ и пользовался очень громкой извѣстностью въ ученомъ мірѣ. Не подлежитъ сомнѣнію то обстоятельство, что онъ былъ умнѣе всѣхъ профессоровъ нашего факультета. Но умъ этотъ, острый и пронизательный, сухой и трезвый, былъ преимущественно разлагающаго свойства; онъ могъ преслѣдовать ошибочную гипотезу въ ея послѣднія убожища, онъ могъ разбивать красивую мечту безъ всякаго состраданія къ ея красотѣ, онъ разрушалъ всякую теорію, показывалъ несостоятельность всякаго рискованнаго предположенія,—и затѣмъ, окончивъ дѣло истребленія, воздерживался отъ всякой попытки собственнаго творчества. Я увѣренъ, что если-бы Сварожичъ былъ химикомъ или анатомомъ, то имя его было-бы гораздо извѣстнѣе и услуги, оказанныя имъ знанію, были-бы тогда дѣйствительно значительны и плодотворны. Но жизнь и умственная дѣятельность народа не могутъ быть вызваны изъ прошедшаго одной критической силой ума. Чтобы понимать человѣка, надо умѣть поставить себя въ его положеніе, надо переживать его горе и радость. Историкъ нуждается, правда, въ трезвой критикѣ, чтобы очистить факты отъ выдумокъ и случайныхъ искаженій, но настолько-же,

или может быть еще болѣе нуждается онъ въ силѣ соображенія и чувства. Эти послѣднія свойства часто вводятъ историка въ ошибки, и историческая картинка оказывается невѣрной; но если-бы не было этихъ свойствъ, тогда картины не было бы вовсе, тогда несуществовало бы исторіи. Историкъ, подобный Сварожичу, не ошибается никогда, потому что никогда не бываетъ историкомъ. Его критика взвѣшивается каждый фактъ отдѣльно, отбрасываетъ все, что неправдоподобно, подмѣчаетъ каждое внутреннее противорѣчіе и пользуется имъ съ замѣчательнымъ остроуміемъ. Потомъ, когда весь механизмъ прошедшей жизни развинченъ, когда всѣ колеса, винты и гайки пересмотрѣны и вычищены, тогда вся эта груда очищенныхъ частей оставляется въ видѣ груды, и работникъ принимается за разборку другой машины. То, что дѣлается въ области исторіи, повторяется также въ области филологіи; языкъ также развинчивается на звуки и части речи, а жизнь и духъ языка, его особенности и красоты, въ которыхъ выразились свойства народа, остаются нетронутыми и непонятными.

Такимъ образомъ, посвящая себя историко-филологической дѣятельности, сильный критическій умъ добровольно обрекаетъ себя на ту черную работу, которая называется въ ученѣмъ мірѣ заготовленіемъ матеріаловъ. Черная работа полезна, но если мы возьмемъ въ расчетъ, что чернорабочій филологъ могъ-бы быть первокласснымъ химикомъ или анатомомъ, то мы невольно пожалѣемъ объ его участи и замѣтимъ про себя, что большое дарованіе тратится на малые дѣла. Машинисту не слѣдуетъ быть землекопомъ, талантливому журналисту не слѣдуетъ быть приходскимъ учителемъ, и точно также Сварожичу не слѣдовало быть заготовителемъ матеріаловъ, когда онъ самъ могъ-бы быть замѣчательнымъ дѣтелемъ въ такой наукѣ, которая требуетъ только силы и трезвости критическаго взгляда. Я увѣренъ, что самъ Сварожичъ, какъ человѣкъ умный, понималъ неестественность своего положенія, но по всей вѣроятности онъ началъ понижать ее уже тогда, когда дорога была выбрана, когда первые и самые трудные шаги были пройдены и когда слѣдовательно повернуть назадъ и пойти по другой дорогѣ было уже неудобно и тяжело. Онъ конечно никогда не говорилъ о томъ, что ему не нравится предметъ его занятій, онъ постоянно работалъ настолько, насколько это было необходимо для поддержанія составленной репутаціи, даже увлекался иногда критическимъ процессомъ мысли, онъ ради приличія позировалъ сочувствіемъ къ судьбѣ и къ поэзіи славянскаго племени, — но всякій мало-мальски внимательный наблюдатель могъ легко замѣтить, что Сварожичъ глубоко равнодушенъ къ своей наукѣ и даже невольно относится къ ней съ легкимъ отбѣнкомъ скептическаго презрѣнія.

Понятно, что такіе отношенія человѣка къ

предмету его постоянныхъ занятій должны быть мучительны; понятно также, что человѣкъ старается избавиться отъ этого мучительнаго ощущенія и достигаетъ своей цѣли; но умственное спокойствіе покупается цѣной нравственнаго достоинства. Сначала человѣкъ говоритъ себѣ: «я приношу мало пользы на этомъ поприщѣ; я здѣсь не на своемъ мѣстѣ», — и ему тяжело отъ этого сознанія, но потомъ онъ привыкаетъ къ своему ложному положенію и начинаетъ говорить себѣ: «а что за бѣда? Вѣдь люди глупы; имъ кажется, что я приношу много пользы. Меня уважаютъ. Чѣмъ-же я не на своемъ мѣстѣ? Вонъ я сколько жалованья получаю!»

Такая исторія происходитъ со всѣми ретивыми молодыми чиновниками, которые начинаютъ замѣчать, что ретивость ихъ должна укоротить поводья, и которые между тѣмъ не имѣютъ духу покинуть благословенныя Палестины. Такая исторія произошла нѣкогда съ Сварожичемъ. Какъ умный человѣкъ, онъ очень радикально излечился отъ всякихъ тяжелыхъ сознаній, и безъ малѣйшей любви къ своему дѣлу продолжалъ профессорствовать, работать въ академіи и засѣдать во всевозможныхъ ученыхъ обществахъ. Умственный трудъ, исканіе истины сдѣлались для него службой, средствомъ получать большое жалованье, дорогой къ чинамъ и знакамъ отличія. И дѣйствительно, служба его шла блистательно. Имя его было извѣстно даже заграничнымъ славянскимъ ученымъ, считавшимъ его въ невинности души ревностнымъ апостоломъ славянской науки въ единственной самостоятельной славянской державѣ.

Странное дѣло! Начиная писать эту главу о Сварожичѣ, я хотѣлъ отнестись къ нему почти съ сочувствіемъ, но чѣмъ пристальнѣе я всматриваюсь въ эту замѣчательную личность, тѣмъ ниже падаетъ она въ моихъ глазахъ, и я начинаю чувствовать противъ нея такое негодованіе, какого не могли возбудить во мнѣ ни Креозотовъ, ни Телицынъ, ни даже Ироніанскій. Тутъ нѣтъ впрочемъ ничего необъяснимаго. И Креозотовъ, и Телицынъ, и Ироніанскій смѣшныя лилипуты въ сравненіи съ Сварожичемъ. Глядя на нихъ, мы только смѣемся, пожимаемъ плечами и жалѣемъ о той молодежи, которая, по милости этихъ господъ, принуждена ежедневно терять по нѣскольку драгоценныхъ часовъ. Но, рассматривая умственную деморализацію Сварожича, мы страдаемъ за него самого, страдаемъ за достоинство человѣка, потому что здѣсь мы видимъ паденіе замѣчательнаго ума, оставшагося замѣчательнымъ даже въ своемъ униженіи. Паденіе Сварожича состояло въ томъ, что онъ былъ рабомъ занимаемаго имъ мѣста, вродѣ того, какъ итальянскій министръ Урбанъ Ратацци былъ въ 1862 году рабомъ своего министерскаго портфеля. Если-бы, для сохраненія мѣста, Сварожичу пришлось сжать въ комокъ свое человѣческое

достоинство, то онъ исполнилъ-бы эту эволюцію безъ малѣйшаго тяжелаго чувства, съ ѣдкой улыбкой на губахъ, потому что къ человѣческому достоинству онъ относился такъ-же скептически, какъ къ своимъ умственнымъ занятіямъ. Вліяніе сильнаго ума во всякомъ случаѣ такъ велико, что вы, присутствуя при операціяхъ Сварожича надъ его человѣческимъ достоинствомъ, ни на одну минуту не почувствовали-бы въ себѣ силы презирать его; вы могли-бы только чувствовать сильнѣйшій гнѣвъ, вы могли бы задыхаться отъ негодованія, — но вы въ то-же время понимали-бы, что Сварожичъ самъ, въ минуту своего униженія, смѣется и надъ собой, и надъ тѣми личностями, передъ которыми онъ преклоняется, и надъ тѣми обстоятельствами, которыя гнутъ его въ дугу.

Конечно такой характеръ могъ развиваться только при извѣстныхъ внѣшнихъ условіяхъ; но мнѣ кажется, что его задатки заключались именно въ неестественныхъ отношеніяхъ Сварожича къ предмету его умственной дѣятельности. Замѣчательные умы, направленные къ такому труду, который поглощаетъ всѣ ихъ силы и удовлетворяетъ всѣмъ ихъ потребностямъ, находятъ именно въ этомъ трудѣ неизбѣжную точку опоры для своей нравственной самостоятельности. Они влюбляются въ свои идеи, и эти идеи, становясь для нихъ дороже выгодъ и удобствъ жизни, дѣлаютъ ихъ свободными и великими, непоколебимыми и мужественными. Вспомните старика Галилея, подумайте, почему онъ передъ папскимъ инквизиціоннымъ судомъ не побоялся произнести знаменитыя слова: «а она все-таки вертится!» — подумайте объ этомъ, и вы увидите, какой могучій и незамѣнимый талисманъ составляютъ для мыслящаго человѣка любимыя занятія его мысли. Если у васъ есть такія любимыя занятія, то на нихъ сосредоточится вашъ умъ; и чѣмъ сильнѣе вашъ умъ, тѣмъ сильнѣе будетъ ваша привязанность къ любимымъ занятіямъ, тѣмъ свободнѣе и самостоятельнѣе вы будете держать себя въ отношеніи къ постороннимъ предметамъ. Но если у васъ нѣтъ любимыхъ занятій, то умъ вашъ естественнымъ образомъ направится на обсуживаніе практическихъ житейскихъ обстоятельствъ, и при этомъ обсуживаніи вы также естественно будете брать за мѣрку практическія потребности и удобства вашей особы; чѣмъ сильнѣе вашъ умъ, чѣмъ онъ свободнѣе отъ предразсудковъ, тѣмъ полнѣе и послѣдовательнѣе онъ разовьетъ и приложитъ къ отдѣльнымъ случаямъ жизни ходячую мораль: съ сильнымъ не борись, съ богатымъ не судись. Та-же самая сила ума, которая въ первомъ случаѣ дѣлала васъ свободнымъ и великимъ, сдѣлаетъ васъ во второмъ случаѣ маленькимъ рабомъ обстоятельствъ; или вѣрнѣе, въ первомъ случаѣ — великимъ человѣкомъ, а во второмъ — великимъ подлецомъ. Вотъ почему и говорятъ, что любовь и наука облагораживаютъ

человѣка. Облагораживаютъ не знанія, а любовь и стремленіе къ истинѣ, пробуждающіяся въ человѣкѣ тогда, когда онъ начинаетъ приобретать знанія. Въ комъ не пробудились эти чувства, того не облагородятъ ни университетъ, ни обширныя свѣдѣнія, ни дипломы. Понятно также, что мѣсто любимой научной дѣятельности можетъ съ совершеннымъ успѣхомъ занять любимая литературная дѣятельность или любимый политическій принципъ.

Сильно развитая любовь ведетъ къ фанатизму, а сильный фанатизмъ есть безуміе, мономанія, *idée fixe*; но съ другой стороны, отсутствіе любви приводитъ къ скептицизму, а скептицизмъ, проведенный въ жизнь съ неумолимой логической послѣдовательностью, называется систематической подлостью. И вотъ, между бездной безумія съ одной стороны и бездной подлости съ другой стороны долженъ пробираться порядочный человѣкъ, балансируя на узкой тропинкѣ, которая часто становится до такой степени узкой, что приходится только выбирать, куда свалиться: упадешь въ безуміе — всѣ пожалѣютъ, упадешь въ подлость — пожалѣютъ немногіе, потому что большинство скажетъ: «молодецъ!» Въ первомъ случаѣ немногіе пожалѣютъ съ отбѣнкомъ уваженія, многіе — съ чистымъ состраданіемъ, а большинство — съ примѣсмью презрительной насмѣшки; во второмъ-же случаѣ, тѣ немногіе, которые не скажутъ «молодецъ», будутъ жалѣть съ горькимъ негодованіемъ или съ ледянымъ презрѣніемъ, но вѣдь ихъ будетъ такъ немного!.. Остаеся, стало быть, затрудненіе выбора. Для Сварожича затрудненія тутъ не было; онъ не любилъ падать безъ надобности и всегда до послѣдней возможности балансировать на узкой тропинкѣ, но когда приходилось круто, всегда падалъ молодцомъ и проворно выскакивалъ опять на узкую тропинку. Эти паденія и выскакиванія производились такъ легко и граціозно, что они никому не бросались рѣзко въ глаза и никому не западали глубоко въ память. Поэтому личность Сварожича казалась и мнѣ, и другимъ, личностью умнаго человѣка, дипломата, университетскаго Талейрана. Поэтому я приступилъ къ ея анализу сначала съ тѣмъ невольнымъ уваженіемъ, которое всегда внушаетъ къ себѣ человѣческій умъ, — съ тѣмъ уваженіемъ, съ которымъ историкъ XIX столѣтія сталъ-бы вглядываться въ фізіономію Талейрана. Только рѣшившись анализировать и называть вещи настоящими именами, я могъ придти къ тѣмъ нелестнымъ для Сварожича результатамъ, къ которымъ привело меня естественное и непреднабѣренное развитіе мысли. Къ подобнымъ результатамъ приходятъ конечно и біографы знаменитыхъ дипломатовъ вообще, и Талейрана въ особенности.

Анализъ личности Сварожича объясняетъ до нѣкоторой степени, почему слова этого профессора всегда усиливали мои умственные страданія

ния. Умному скептику было смѣшно видѣть мои добросовѣстные и напрасныя усилія влюбиться въ науку, а даровитому и опытному критику стоило только сказать нѣсколько словъ, чтобы разбить въ прахъ методы моихъ занятій. Какъ я ни приступалъ къ дѣлу, какъ ни изловчался, Сварожичъ, на судъ котораго я приносилъ свои попытки и планы, сію-же минуту находилъ ихъ слабую сторону и доказывалъ мнѣ съ самой ласковой улыбкой, что ничего изъ моихъ плановъ и занятій не выйдетъ. И я принужденъ былъ соглашаться, потому что противъ очевидности не спорить. А обращался я къ Сварожичу по тому-же самому побужденію, по которому химикъ испытываетъ золото самыми сильными кислотами. Если Сварожичъ не найдетъ противъ этого плана возраженія, значитъ—дѣйствительно хорошъ. Но возраженіе всегда находилось, и я всегда удалялся отъ Сварожича съ цѣлымъ ворохомъ разбитыхъ иллюзій и перепутанныхъ намѣреній. Въ томъ, что онъ разбивалъ мои иллюзіи, не было конечно ничего дурного; я дѣйствительно затѣвывалъ глупости и вертѣлся въ заколдованномъ кругу. Но нехорошо было то, что Сварожичъ дипломатизировалъ даже со мною, говори о моихъ занятіяхъ и тревогахъ. Онъ указывалъ мнѣ только частныя мои ошибки и не разу не проронилъ ни одного слова насчетъ общихъ свойствъ университетской науки и студенческихъ занятій. Когда я въ совершенномъ отчаяніи спрашивалъ у него: да что-же дѣлать? чѣмъ заниматься? тогда онъ съ необыкновеннымъ искусствомъ успокаивалъ меня на минуту нѣсколькими общими словами и такимъ образомъ уклонялся самъ отъ всякаго категорическаго отвѣта. Ему, какъ филологу и профессору, было неудобно разоблачать передъ студентами общую несостоятельность нашей науки; и въ то-же время ему, какъ умному человеку, было совѣстно и противно повторять тѣ фразы, которыя изливалъ Телицынъ,—вотъ онъ плавно говорилъ, говоря съ солиднымъ уваженіемъ о какой-то отвлеченной наукѣ вообще и въ то-же время осмѣивая тонко и умно ошибки ученыхъ, учащихся и учащихся въ частности. Сказать мнѣ просто и откровенно: бросьте нашъ хламъ, познаться съ жизнью, расширьте кругъ вашего чтенія и вашей мысли—этого ему не хотѣлось. Весь хламъ въ совокупности назывался у него великой и священной наукой, по каждый отдѣльный кусочекъ этого хлама разсматривался и оцѣнивался имъ по достоинству и оказывался пылью и гнилью, на которой нельзя построить ни одного твердаго вывода.

Каковъ былъ Сварожичъ въ разговорахъ, таковъ онъ былъ и на лекціяхъ. Относясь съ глубокой недоувѣрчивостью къ трудамъ всѣхъ ученыхъ, разрабатывавшихъ его науку, онъ не читалъ на лекціяхъ ничего чужого. Всѣ его лекціи состояли изъ сырыхъ матеріаловъ и изъ замѣчаній, составленныхъ имъ самимъ. На каждой лекціи онъ

разсматривалъ представлявшіеся вопросы съ разныхъ сторонъ, приводилъ множество доводовъ *за* и *противъ*, напрягалъ ожиданія слушателей и потому не останавливался ни на чемъ. «Можетъ-быть такъ, можетъ-быть и не такъ»—вотъ и все, что выносили слушатели; каждая лекція оканчивалась знакомъ вопросительнымъ и доказывала такимъ образомъ, что Сварожича забавляетъ иногда процессъ мышленія, но что предметъ, о которомъ онъ размышляетъ, всегда остается для него безразличнымъ. Говорить о судьбѣ цѣлаго народа или разбирать различныя мнѣнія археологовъ о какой-нибудь черниговской гривнѣ—для него это было все равно; было даже замѣтно предпочтеніе къ черниговскимъ гривнамъ, потому что микроскопическій вопросъ можетъ быть удобнѣе и безопаснѣе анализировать съ разныхъ сторонъ. А поведетъ-ли этотъ вопросъ къ чемунибудь?—объ этомъ собиратель матеріаловъ не спрашиваетъ, да и спрашивать не зачѣмъ. Вопросъ потѣшилъ его мысль, далъ ему возможность прочитать лекцію, доставилъ ему случай написать академическій мемуаръ; очевидно, стало быть, что вопросъ повелъ къ очень многому.

XVI.

Въ началѣ зимы 1858 года мнѣ удалось найти себѣ работу въ одномъ журналѣ для дѣвицъ, начинавшемъ свое существованіе съ января 1859 года. Это обстоятельство конечно не относится къ университетской наукѣ, но я упоминаю о немъ для того, чтобы нагляднымъ противоположеніемъ показать читателю различіе между самой нехитрой практической работой и самыми замысловатыми кабинетными занятіями. Мнѣ было поручено вести въ этомъ журналѣ библиографическій отдѣлъ, т. е. указывать юнымъ читательницамъ на тѣ книги и журнальныя статьи, которыя могутъ обогатить ихъ умъ, не вредя чистотѣ и непорочности ихъ сердца. Направленіе журнала было сладкое, но приличное, и отъ издѣлій г-жи Ишимовой онъ отличался значительно. Мы даже за эмансипацію женщины стояли, стараясь конечно не огорчать такими сужденіями почтенныхъ родителей. Добродѣтель мы любили особенно горячо, и объ ней говорили уже совершенно смѣло, потому что добродѣтель—предметъ одинаково пріятный для дѣтей и родителей.

Сначала я взглянулъ на свою новую работу преимущественно съ денежной точки зрѣнія; мои библиографическія статейки оплачивались по 30 р. с. за печатный листъ и доставляли мнѣ ежемѣсячно отъ 60 до 70 р. с. Для студента, бѣгавшаго въ Публичную Библиотеку, чтобы не издержать пяти рублей на книгу, это была цѣлая Калифорнія. Я и ухватился за эту работу обими руками, и старался выполнять ее какъ можно тщательнѣе и аккуратнѣе, чтобы удержать и

«обезпечить ее за собою. Редакторъ мой конечно замѣтилъ это, остался очень доволенъ моими стараніями, и мѣсяца черезъ два послѣ начала нашего знакомства мы уже были увѣрены, что не разстанемся безъ особенной необходимости, потому что оба чувствовали, насколько мы полезны другъ другу. Нечувствительно забралась ко мнѣ въ голову мысль, что эта работа можетъ поддерживать меня и послѣ выхода изъ университета. Стало быть, думалъ я, если даже я не отыщу себѣ прочной спеціальности, бѣда не такъ велика: жить можно. Чѣмъ яснѣй вырисовывалась для меня эта утѣшительная перспектива, тѣмъ сильнѣй я дорожилъ моею журнальной работою. Редакторъ поговаривалъ даже о томъ, что, когда я выйду изъ университета, онъ попроситъ меня быть его помощникомъ по редакціи. При мысли о такомъ повышеніи и благополучіи я чувствовалъ даже головокруженіе и отвѣчалъ, опуская глаза, что я всегда готовъ служить нашему общему дѣлу. Между тѣмъ работа начинала дѣйствовать на меня не съ одной денежной стороны: я привязывался къ ней искренно и сильно. Я писалъ свои жиденькія и невинныя статейки съ такимъ увлеченіемъ, съ какими мнѣ никогда не случалось работать надъ біографіей Гумбольдта. Мнѣ было пріятно всматриваться и вдумываться въ чтеніе книгъ и журнальных статей, потому что я видѣлъ передъ собою близкую и вполне доступную цѣль этого всматриванія и вдумыванія. Мнѣ было пріятно развивать на бумагѣ мои мысли и взгляды, потому что они были дѣйствительно мои, и я вполне понималъ, что я пишу; я всей душой сочувствовалъ тому, что я старался объяснить или доказать. Я не производилъ ничего новаго и оригинальнаго, но для меня это было и ново, и оригинально. Я не выписывалъ изъ книжки и не повторялъ чужихъ словъ,—я дѣйствительно самъ размышлялъ и, доходя путемъ собственнаго размышленія до общезвѣстныхъ истинъ, я все-таки успѣвалъ сообщить этимъ истинамъ ту печать искренняго и живого убѣжденія, которая несомнѣнно свидѣтельствуетъ о томъ, что мысль дѣйствительно возникла въ собственномъ мозгу писавшаго. Поэтому работа моя была для меня привлекательна; я увѣренъ кромѣ того, что статьи мои, даже въ глазахъ постороннихъ читателей, не имѣли того утомительно-казеннаго характера, который имѣетъ обыкновенно повтореніе идей, обратившихся уже въ общее достояніе всѣхъ образованныхъ людей. Свѣжесть и искренность убѣжденія выкупали недостатокъ новизны; читатель могъ и долженъ былъ улыбаться наивному увлеченію автора, но эта самая улыбка, полунасмѣшливая, полублагосклонная, навѣрное имѣла читателю звѣнуть и можетъ-быть побуждала его дочитать до конца. Впрочемъ, что бы ни дѣлалъ читатель—звѣвалъ или улыбался,—для меня это было все равно; я былъ доволенъ

и счастливъ; умственная дѣятельность моя пробуждалась, и я умилялся надъ самимъ собою, какъ умиляется молодая мать надъ колыбелью своего новорожденного ребенка. Занятія славянскими и русскими древностями вѣжливо отодвигали въ сторону, хотя я все еще признавалъ ихъ занятіями главными и существенными. Мнѣ казалось, что я работаю такъ ревностно для журнала ради корысти, изъ практическаго разсчета, чтобы удовлетворить заказчика; но на самомъ дѣлѣ уже всѣ симпатіи были на сторонѣ журнальнаго труда, а филологической учености бросалось изрѣдка конѣчное подаваніе, служившее только для успокоенія моея встревоженной совѣсти. Въ журнальной работѣ сосредоточились и существенные мои интересы, и источники умственнаго наслажденія, а ученые занятія остались только священнымъ долгомъ; я вѣровалъ, что надо исполнить этотъ долгъ, но не видалъ, почему надо, и не находилъ эту необходимость пріятной. Ясно, что догматъ, неподдерживаемый ни разсудкомъ, ни чувствомъ, былъ просто мертвымъ остаткомъ прошедшаго, которому предстояло рухнуть и разсыпаться въ прахъ.

Для составленія моихъ бібліографическихъ обзоровъ мнѣ приходилось читать много разнообразныхъ книгъ и статей, и мнѣ правилось не только размышленіе и писаніе, но и нестрое чтеніе само по себѣ. Вся эта масса книгъ и статей составляла самый разнообразный сбродъ, но во всемъ этомъ сбродѣ чувствовалось то обязательное вѣяніе жизни, безъ котораго не можетъ существовать самый мрачный изъ современныхъ журналовъ. Мнѣ пришлось прочесть много историческихъ статей Маколея, Прескотта и Мотлея, много педагогическихъ разсужденій, нѣсколько путешествій (напр. «Фрегатъ Паллада» Гончарова, по Америкѣ—Лакіера, по Африкѣ—Лавингстона), нѣсколько книгъ по естественнымъ наукамъ (напр. «Химія вседневной жизни» Джонстона, «Исторія земной коры» Куторги, «Физическая географія» Гюйо, «Громъ и молнія» Араго). Наконецъ въ 1859 году мнѣ пришлось говорить довольно подробно въ нашемъ журналѣ объ «Обломовѣ» и о «Дворянскомъ Гнѣздѣ». Словомъ, бібліографія моя насильно вытащила меня изъ закупореиной кельи на свѣжій воздухъ, и этотъ переходъ доставилъ мнѣ грѣховное удовольствіе, котораго я не могъ скрыть ни отъ самого себя, ни отъ другихъ. Товарищи мои стали внушительно качать головами и предостерегать меня, говоря, что конечно журнальной работою заниматься позволительно для пріобрѣтенія матеріальныхъ средствъ, но что увлекаться ею не слѣдуетъ, потому что она отводитъ человека отъ науки и повергаетъ его въ пустословіе и въ пагубный диллетантизмъ. Мнѣ указывали съ соболѣзнованіемъ на поучительный примѣръ Добролюбова, который, видите-ли, могъ-бы быть дѣльнымъ ученымъ, а вмѣсто того сдѣлался му-

стимъ журналистомъ и увлекся суетой «Современника». Я съ своей стороны старался увѣрять всѣхъ въ моей невинности, открепивался отъ примѣра Добролюбова и говорилъ, что никогда не пойду по такому предосудительному пути. Остатокъ прошедшаго, мертвый догматъ все еще висѣлъ надъ моей головой, и я употребилъ послѣднія усилія, чтобы поддержать мою угасающую вѣру въ величіе и святость филологій.

Но читатель мнѣ не вѣрить, читатель навѣрное думаетъ, что я клеветшу. «Возможное-ли дѣло, — говорить онъ себѣ, — чтобы студенты въ 1858 году смотрѣли на Добролюбова, какъ на человѣка, идущаго по ложной дорогѣ? Можетъ ли быть, чтобы они указывали на него, какъ на поучительный примѣръ, долженствующій привести молодого человѣка въ ужасъ и раскаяніе!..»

О, читатель, читатель! развѣ я не вижу, до какой степени мое показаніе неправдоподобно? И развѣ я осмѣлился-бы высказать такую несообразность, еслибы это не была чистая истина? Но увѣренія и клятвы мои не уясняютъ дѣла, а фактъ самъ по себѣ такъ любопытенъ, что я не могу избавить себя отъ обязанности остановиться на немъ и рассмотреть его по возможности внимательно. Надо, во-первыхъ, замѣтить, что молодежь наша очень сильно измѣнилась въ послѣдніе три-четыре года. Уже въ 1858 и 1859 годахъ студенты, поступившіе въ университетъ, не были похожи на насъ, студентовъ III и IV курсовъ. Поступая въ университетъ, мы были робки, склонны къ благоговѣнію, расположены смотреть на лекціи и слова профессоровъ, какъ на пищу духовную и какъ на манну небесную. Новые студенты, напротивъ того, были смѣлы и развязны, и оперались чрезвычайно быстро, такъ что черезъ какіе-нибудь два мѣсяца послѣ поступления они оказывались хозяевами университета и сами поднимали въ студенческихъ кружкахъ дѣльные вопросы и серьезные споры. Они затѣвали концерты въ пользу бѣдныхъ студентовъ, они приглашали профессоровъ читать публичныя лекціи для той-же благотворительной цѣли, они устроили студенческую библіотеку; а мы, старые студенты, считавшіе себя цвѣтомъ университета и солью русской земли, мы остались въ сторонѣ, изобразили на лицахъ своихъ недоумѣіе и иронію и стали повторять стихъ Грибоедова: «шумите вы, и только». Но скоро оказалось, что иронія наша никуда не годится, потому что новые студенты распоряжаются умно и усѣбно; оказалось, что движеніе и жизнь пошли мимо насъ, и что мы отстали и превращаемся въ книжниковъ и фарисеевъ. Конечно отсталость наша была дѣло поправимое, но, чтобы поправить ее, надо было сначала признать существованіе новой жизни, надо было понять, что новые студенты непохожи на бывшихъ обожателей Телицына; надо намъ было выйти изъ нашей гордой замкнутости и пойти вслѣдъ за

другими. Но всѣмъ извѣстна заносчивость молодости и гордость ученой касты. Большая часть моихъ товарищей были увѣрены въ абсолютной непогрѣшимости своего умственного направленія, и большая часть изъ нихъ по образу мыслей уже принадлежала къ ученой кастѣ, хотя объемъ ихъ свѣдѣній былъ еще очень ограниченъ. Этимъ молодымъ ученымъ, ушедшимъ уже въ книги отъ грѣховнаго міра, казалась странной самая мысль учиться чему-нибудь у своихъ младшихъ товарищей; да и приходила-ли имъ въ голову мысль, что эти товарищи обогнали ихъ?

Если новые студенты могли быть названы людьми дѣла, то мы, старые студенты, съ гордымъ самодовольствіемъ называли себя людьми мысли, хотя конечно мы не имѣли никакихъ правъ на это названіе. Новые студенты могли считать Добролюбова своимъ учителемъ, но мы относились къ Добролюбову и къ «Современнику» вообще съ высокоуміемъ, свойственнымъ нашей кастѣ. Мы ихъ и не читали, и гордились этимъ, говоря, что и читать не стоитъ. Но съ каждымъ годомъ ряды ученой партіи рѣдѣли, отчасти потому, что ученые кончали курсъ и поступали на службу въ разные департаменты, гдѣ они очень быстро затусевывались подъ общій тонъ чиновничества, отчасти и потому, что нѣкоторые ученые перебѣгали на сторону новыхъ студентовъ и дѣлались сами антагонистами университетской учености.

Такимъ образомъ университетъ сближался съ жизнью лучшей части общества, и уже теперь сближался настолько, что недоброжелательный взглядъ студента на Добролюбова кажется читателю неправдоподобнымъ изобрѣтеніемъ. Надо также обратить вниманіе на то, что филологическій факультетъ бываетъ обыкновенно самымъ недвижимымъ и мрачнымъ притономъ учености. Онъ въ этомъ отношеніи можетъ перещеголять даже математическій. Математикъ (если только онъ не обладаетъ совершенно исключительной умственной организаціей и замѣчательнымъ талантомъ въ своей спеціальности), не можетъ удовлетвориться одной математической сферой наукъ; ему необходимо читать для отдыха, и потому онъ обыкновенно знакомъ съ текущей журналистикой и съ удовольствіемъ встрѣчаетъ въ журналахъ популярныя и легкія статьи по разнымъ общественнымъ, экономическимъ и литературнымъ вопросамъ. Но филологъ, для котораго исторія можетъ быть и отдыхомъ, и серьезной работой, филологъ, у котораго голова набита эстетикой и литературными теоріями, филологъ можетъ цѣлыми годами жить въ своемъ ученомъ мірѣ; а когда ему случится выглянуть изъ него, онъ обругаетъ только всѣ идеи, противорѣчащія его привычнымъ умозрѣніямъ, и опять уйдетъ въ свою раковину.

Мы дѣйствительно видимъ, что исторіей постоянно пользуются, какъ арсеналомъ, изъ ко-

торого вынимаются против всякой новой идеи заржавленные и устарѣлые аргументы; фехтуютъ этимъ археологическимъ оружіемъ историки, юристы и гуманисты, постоянно являющіеся во главѣ всякой реакціи: очевидно, что сфера занятій формируетъ мышленіе этихъ господъ и воспитываетъ въ нихъ упорно-тупыхъ противниковъ всякаго умственного движенія. Поэтому естественно, что студенты-филологи презирали Добролюбова въ то самое время, когда его «Темное царство» читалось съ сочувствіемъ и съ увлеченіемъ въ самыхъ отдаленныхъ углахъ Россіи. Наконецъ надо вспомнить и то, что смерть Добролюбова очень значительно измѣнила отношенія литературы и общества къ его дѣятельности. Пока Добролюбовъ писалъ и боролся, до тѣхъ поръ его бранило большинство нашихъ журналовъ. Вліяніе его чувствовалось въ обществѣ, но оставалось непризнаннымъ. Какъ только онъ умеръ, такъ тотчасъ литературное значеніе его признали самые горячіе его противники; продолжая бранить сподвижниковъ Добролюбова, они немедленно ухитрились провести между мертвымъ и живыми раздѣлительную черту, замѣтную только для самихъ этихъ господъ, но тѣмъ не менѣе выгораживающую умершаго дѣятеля отъ всякаго скептическаго посягательства. Но въ 1858 году слышалось много голосовъ противъ Добролюбова. Война «Современника» съ серьезностью и безцвѣтностью другихъ журналовъ была въ полномъ разгарѣ, и мы, ученые люди университета, узнавая по временамъ объ отдѣльныхъ эпизодахъ этой войны, были конечно на сторонѣ серьезности и съ полнымъ убѣжденіемъ величали безцвѣтность благоразумной умѣренностью.

Надѣюсь, что теперь читателю станетъ до нѣкоторой степени понятна возможность такого неправдоподобнаго факта, какъ пренебреженіе студентовъ 1858 года къ личности и дѣятельности покойнаго Добролюбова. Фактъ все-таки остается печальнымъ, но отвѣтственность за него должны нести не студенты и даже не профессора, а вся закладка, все устройство и направление нашего университета, и особенно факультета.

XVII.

Одинъ годъ журнальной работы принесъ больше пользы моему умственному развитію, чѣмъ два года усиленныхъ занятій въ университетѣ и въ библиотекѣ. Впрочемъ надо замѣтить, что лѣта мои также должны были имѣть значительное вліяніе на пробужденіе моей мысли. Лѣто 1859 г. было для меня временемъ умственного кризиса; всѣ понятія, лежавшія въ умѣ моемъ съ самаго дѣтства, всѣ готовые сужденія, казавшіяся мнѣ неприкосновенной основой всего существующаго въ моей собственной личности, всѣ гипотезы,

имѣющія такое тираническое вліяніе на мысли и поступки большей части людей, — все это заколыхалось и какъ-то, помимо моей воли, стало обнаруживать мнѣ свою несостоятельность. Пока я безъ определенной цѣли читалъ памятники и изслѣдованія, до тѣхъ поръ всѣ эти несообразности оставались нетронутыми и считались такими истинами, которыя ясны, какъ день, неизблѣмы, какъ гранитная стѣна, и величественнѣе Монблана или Казбека. Но когда пришлось читать и обдумывать читанное съ практической цѣлью, тогда мысль получила такой толчокъ, котораго дѣйствія и послѣдствія я не могъ ни предвидѣть, ни разсчитать. Пробудившееся стремленіе анализировать и всматриваться не можетъ быть по вашей волѣ опять погружено въ сонъ. Каждый человѣкъ, дѣйствительно мыслящій когда-нибудь въ своей жизни, знаетъ очень хорошо, что не онъ распоряжается своей мыслью, а что напротивъ того сама мысль предписываетъ ему свои законы и совершаетъ свои отправления также независимо отъ его воли, какъ независимо отъ этой воли совершаются бѣженіе сердца и пищеварительная дѣятельность желудка. Человѣкъ боится подойти къ тѣмъ гипотезамъ, которыя величественнѣе Казбека и Монблана, а мысль не боится — и подходитъ, и ошупываетъ эти гипотезы, и вдругъ докладываетъ, что все это пустяки. Человѣкъ приходитъ въ ужасъ, но ужасъ этотъ оказывается безсильнымъ въ борьбѣ съ мыслью; мысль осмѣиваетъ и прогоняетъ ужасъ, и человѣку остается только качать головой, стоя на развалинахъ своего міросозерцанія. Наконецъ и качаніе головой прекращается, и тогда начинается новая умственная жизнь, въ которой мысль пользуется неограниченнымъ могуществомъ и не встрѣчаетъ себѣ нигдѣ ни отпора, ни сопротивленія. Въ этомъ царствѣ мысли живетъ свѣтло и весело; но періодъ перехода и умственной борьбы тяжелъ и мучителенъ. Умственный ростъ сопровождается болѣзнями точно такъ-же, какъ ростъ физическій. У меня напряженіе ума во время переходной борьбы было такъ болѣзненно-сильно, что оно повело за собою потрясеніе всего организма.

Осенью 1859 года я пріѣхалъ съ каникулъ въ какомъ-то восторженномъ состояніи. Опрокинувъ въ умѣ своемъ всякіе Казбеки и Монбланы, я представлялся самому себѣ какимъ-то титаномъ, Прометеемъ, похитившимъ священный огонь; я ожидалъ, что совершу чудеса въ области мысли. Мнѣ случилось какъ-то въ обществѣ товарищей говорить о міросозерцаніи древнихъ грековъ, и я сказалъ, что греческая *судьба*, которой подчинены были высшіе олимпійскіе боги, по всей вѣроятности не что иное, какъ извѣстная сила законовъ природы: — греки, продолжалъ я, не олицетворяли этой силы, потому что они, какъ гениальный народъ, чувствовали, что для этой силы узко и мелко всякое олицетвореніе. Эта мысль

заходившаяся въ самой интимной связи съ ходомъ моихъ титаническихъ идей, чрезвычайно понравилась мнѣ и даже поразила какимъ-то благоговѣніемъ. Я вдругъ рѣшилъ провѣрить и доказать эту мысль и даже считать ея развитие въ кандидатскую диссертацию.

Но такъ какъ изучать для этой цѣли всѣхъ этихъ поэтовъ было мнѣ не по силамъ, то я считалъ однимъ Гомеромъ и принялся за тѣмъ неистовымъ рвеніемъ, которое всегда было моими любимыми занятіями. Мѣсяца работалъ неутомимо; прочелъ восемь *Илиадъ* въ подлинникъ и кромѣ того сдѣлалъ много выписокъ изъ нѣмецкихъ изслѣдователей о мифологическихъ и теологическихъ понятіяхъ Гомера. Товарищи мои дали на мои труды съ недоумѣніемъ и иногда и мнѣ выговоры за то, что я оставилъ классическія древности и такъ внезапно, очертя все, бросился въ совершенно неизвѣстную мнѣ область науки. Но я объявлялъ себя Прометеемъ и не обращалъ вниманія ни на какіе дружескіе увѣщанія. Вдругъ за пароксизмомъ восторженнаго энтузіазма и дѣятельности послѣдовалъ пароксизмъ утомленія и апатіи. Засамонадѣянностью и иллюзіями и совершенное недовѣріе къ своимъ силамъ. Идея о судьбѣ, казавшаяся гениальною, потеряла весь свой блескъ и представлялась мнѣ безсмысленной. Работа вывалилась изъ рукъ. Даже такая обыкновенная вещь, выпускной экзаменъ, предстоявшій мнѣ въ 1860 году, сталъ казаться мнѣ совершенно непреодолимой трудностью. Словомъ, переходной умственной борьбы заключился въ мнѣ нервный болѣзнь. Прометея приковали къ скалѣ и коршунъ сталъ клевать его печень, или, языкомъ болѣе современнымъ, меня посадили въ каторгу и отвезли въ психіатрическую больницу. Я дошелъ до послѣднихъ предѣловъ жизни и сталъ воображать себѣ, что меня будутъ убивать, или живого заруютъ въ землю. Скентицизмъ мой вышелъ изъ границъ и началъ отрицать существованіе дня и ночи. Все, что говорили, все, что я видѣлъ, даже все, что встрѣчалъ во мнѣ необходимое и полезное. Я все считалъ искусственнымъ и приготовился нарочно для того, чтобы обмануть и себя и другихъ. Даже свѣтъ и темнота, луна и солнце на небѣ казались мнѣ декораціями и входили въ составъ общей громадной мистификаціи. Эта фантазматическая туча тянулась четыре мѣсяца. Я бралъ теплыя ванны, продолжительныя прогулки на открытомъ воздухѣ, ежедневныя гимнастическія упражненія, постоянныя пріемы женьшеня, а главное—отдыхъ мысли убавили цизмъ настолько, что въ половинѣ апрѣля 1860 года я оказался въ состояніи жить съ людьми человѣчески и пользоваться гражданской свободой безъ опасности для себя и для другихъ. На выпускномъ экзаменѣ въ этомъ году было уже

поздно думать, тѣмъ болѣе, что усиленные занятія могли еще имѣть для меня опасныя послѣдствія; я остался въ университетѣ на пынѣшній годъ и тотчасъ послѣ своего выздоровленія удалился до осени на лоно природы укрѣплять свои силы и наслаждаться возвратившимся разсудкомъ.

Послѣдній годъ моего пребыванія въ университетѣ былъ для меня очень замѣчательный. Я почти совсѣмъ не ходилъ на лекціи, но работалъ сильно. Послѣ пріѣзда съ каникулъ я рѣшился написать диссертацию на медаль, на историческую тему, заданную въ томъ году Ироніанскимъ. Предпріятіе было дерзкое. Тема задана была въ началѣ февраля, въ то время, когда я еще отрицалъ солнце и луну; кто писалъ на эту тему, тотъ принимался за работу тотчасъ послѣ объявленія задачи, а я началъ изучать предметъ диссертации въ началѣ октября, между тѣмъ какъ всѣ сочиненія должны были быть представлены никакъ не позже первыхъ чиселъ января. Мѣсяцъ былъ употребленъ на чтеніе и выписки, а въ ноябрѣ я началъ писать. Дѣло пошло быстро и успѣшно, отчасти на живую нитку, кое-гдѣ на авось, съ широкими взглядами и рискованными предположеніями. Я писалъ безъ черновой, потому что переписывать было-бы некогда, и старался обработать предметъ такъ, чтобы произведеніе мое могло быть помѣщено въ какомъ-нибудь литературномъ журналѣ. Къ началу января я кончилъ свой трудъ и замѣтилъ не безъ удовольствія, что въ немъ по крайней мѣрѣ пятнадцать печатныхъ листовъ (240 страницъ). Впрочемъ недостатокъ времени помѣшалъ мнѣ развить нѣкоторыя мысли, которыя были уже совсѣмъ выработаны въ моемъ умѣ. Дѣлать было нечего; я махнулъ на нихъ рукой, написалъ на своей диссертациі эпиграфъ: «еже писахъ, писахъ», и представилъ ее куда слѣдовало.

Смѣлость города беретъ и даже очаровываетъ профессоровъ университета: диссертация моя очень понравилась, несмотря на то, что вмѣстѣ съ нею былъ представленъ основательный трудъ одного студента, догдо изучавшаго предметъ и разработавшаго его чуть-ли не вдвое подробнѣе моего. Въ совѣтѣ университета произошло разногласіе: присяжный цѣнитель нашихъ работъ, Креозотовъ, въ своемъ отчетѣ расхвалилъ обѣ диссертации и приписалъ моему труду высокое литературное достоинство, а работѣ моего соперника глубокую научную основательность. Кому же дать золотую медаль? Большинство говорило, что, по всѣмъ правамъ, золотая медаль принадлежитъ научной основательности. Но сильная партія утверждала, что слѣдуетъ дать золотую медаль и научной основательности, и литературному достоинству. Слышались даже еретическіе голоса, безусловно защищавшіе литературное достоинство. Однако здравый смыслъ и справедливость одержали верхъ. Профессора поняли, что

плѣняться смѣлостью и живымъ языкомъ и пре-
небрегать другими, болѣе прочными достоинства-
ми труда—не слѣдуетъ, и потому опредѣлили
дать золотую медаль научной основательности, а
серебряную—литературному достоинству. Поло-
живъ такое рѣшеніе, они распечатали конверты,
закрывавшіе въ себѣ фамиліи авторовъ, и узнали
тогда, кому принадлежить научная основатель-
ность и кто отличился литературнымъ достоин-
ствомъ. Призванный обладатель литературнаго
достоинства остался конечно очень доволенъ:
единственное желаніе его состояло въ томъ, что-
бы достигнуть на актѣ почетнаго отзыва, кото-
рый избавилъ-бы его отъ необходимости писать
кандидатскую диссертацию; а вмѣсто почетнаго
отзыва явилась медаль съ изображеніемъ юноши,
вѣроятно Аполлона, и съ надписью: «преуспѣв-
шему». Всѣ эти прелести составляли уже не ожи-
данную роскошь.

Когда Креозотовъ увидалъ меня на выпуск-
номъ экзаменѣ, то онъ полюбопытствовалъ взгля-
нуть на черновой списокъ моей диссертации. Я
отвѣчалъ ему, что никакъ не могу удовлетворить
его желанію, потому что диссертация писана безъ
черновой. Тогда Креозотовъ почувствовалъ не-
сказанное удивленіе, съ особенной признатель-
ностью пожалъ мнѣ руку и растроганнымъ голо-
сомъ проговорилъ, что даже Пушкинъ писалъ
«Капитанскую Дочку» сначала на-черно. О, чи-
татель, согласитесь, что эпизодъ о моей диссер-
тациі имѣетъ свою прелесть. Развѣ не восхити-
тельно то обстоятельство, что для нашихъ про-
фессоровъ обыкновенный литературный языкъ и
нѣкоторая смѣлость въ расположеніи мыслей имѣ-
ютъ такую неизрѣченную сладость? Имъ, бѣд-
нымъ старикамъ и, еще болѣе, бѣднымъ людямъ
средняго возраста, до смерти надобно ихъ соб-
ственное ученое величіе; имъ скучно сидѣть на
Олимпѣ, и сидятъ они на немъ только потому, что
сойти съ него не умѣютъ,—серьезность и осно-
вательность имъ ни почему: это ихъ будничное
кушанье. Но чуть что-нибудь посмѣлѣй и по ори-
гинальнѣй, они тотчасъ готовы прельститься и
принуждены строго наблюдать за собою, чтобы
не поддаться искушенію и не измѣнить величію и
достоинству своего сана. Это утѣшительно: это
значитъ, что чисто-человѣческія потребности не
могутъ быть окончательно истреблены ни мона-
шескимъ подвижничествомъ, ни ученымъ столп-
ничествомъ. Но, съ другой стороны, это значитъ
также, что чисто-человѣческія потребности на-
ходятся въ постоянномъ разладѣ и съ тѣмъ, и съ
другимъ. А что противорѣчитъ чисто-человѣче-
скимъ потребностямъ, то стало быть, неестествен-
но. А что неестественно, то, стало быть, и неразу-
мно. Вотъ вамъ и правоученіе.

Диссертация моя достигла также своей лите-
ратурной цѣли. Сдѣлавъ изъ пятнадцати ли-
стовъ—двѣнадцать, я помѣстилъ ее въ одинъ
журналъ, лѣтомъ 1861 года, и получилъ за нее

до шести сотъ сребренниковъ. Журналъ
былъ уже не тотъ добродѣтельный журна-
льчикъ, въ которомъ я помѣщалъ свои
вымыслы, — журналъ этотъ былъ испи-
суеты и гордыни, и благонравные товарищи
состоявшіе на дѣйствительной службѣ, б
на меня прощальный взглядъ, полный уг
сожалѣнія, когда увидали, что я беззаб
весело пошелъ по скользкому пути журна
На статьи мои они смотрѣли съ глубокимъ
зрѣніемъ; меня самого они рѣшительно и
венно исключили изъ своего круга. О, чит
и это неправдоподобно, но и это—чистая п
Они считали меня ренегатомъ, маленькимъ
беусомъ, недостойнымъ сыномъ университ
науки, обратившимся противъ своей роди
тери,—и надо сказать правду, они не опи
въ этомъ отношеніи. Могъ-ли же я послѣ
ожидать себѣ помилованія? Не могъ и п
далъ, и потому покорился рѣшенію судьбы
и понимаю, что мои товарищи, бывшіе
логи,—люди честные, умные, вполне дост
уваженія и сочувствія, но вижу также, ч
съ ними уже не сойтись. Имъ предстоя
дороги, и ни на одной изъ этихъ дорог
встрѣчусь съ ними. Они могутъ продолж
успѣхомъ свою службу въ разныхъ депар
тахъ и сдѣлаться черезъ нѣсколько лѣт
свѣщенными администраторами, или они
осуществить свою университетскую мечту
даться свѣтилами отечественной науки.
видно, что журналистъ, исполненный су
гордыни, ни администраторомъ, ни свѣт
быть не можетъ; очевидно даже, что онъ
комства водить не можетъ ни съ админис
рами, ни со свѣтилами, потому что онъ и
всѣмъ не пара: стоять они на разныхъ п
стяхъ¹⁾, жить въ разныхъ мірахъ, смо
на вещи съ разныхъ точекъ зрѣнія и при
разными путями къ противоположнымъ
дамъ и результатамъ. Стало быть, мнѣ ост
только, вспоминая о моихъ добрыхъ и чес
товарищахъ, послать имъ на этихъ стран
послѣднее, дружеское «прости» и увѣри
въ томъ, что я съ своей стороны всегда го
радъ съ ними сойтись и что въ то-же вре
не вижу къ тому ни возможности — тепер
надежды—въ будущемъ.

Общее образованіе.

I.

Намъ постоянно случается слышать, что
лудые люди, неимѣющіе почти никакихъ сре
къ существованію, приходятъ изъ отдален
губерній въ университетскіе города,

¹⁾ Тутъ плоскость употреблена въ математиче-
скій смыслъ, а не въ порицательномъ.

учиться, перебиваются со дня на день во время четырехлѣтняго курса, переносятъ всевозможныя лишения, и наконецъ достигаютъ своей цѣли, то есть, благополучно, а иногда и блистательно выдерживаютъ выпускной экзаменъ. Всякому, кто бывалъ въ нашихъ университетахъ, случалось видѣть въ аудиторіяхъ молодыхъ людей бѣдно одѣтыхъ, худыхъ и блѣдныхъ, истомленныхъ бѣготнею по грошовымъ урокамъ и, несмотря на то, усердно посѣщающихъ и записывающихъ всѣ назначенныя по росписанію лекціи. Исторія Ломоносова повторится у насъ въ Россіи каждый день, а между тѣмъ Ломоносовы такъ же рѣдки теперь, какъ были рѣдки въ прошломъ столѣтіи. Мы привыкли указывать на молодыхъ людей, приходящихъ пѣшкомъ въ университетскіе города, какъ на живыя доказательства того сильнаго стремленія къ образованію, которое существуетъ и проявляется порою въ самыхъ отдаленныхъ захолустьяхъ нашего отечества и въ самыхъ забытыхъ слояхъ нашего общества. Существуетъ дѣйствительно, или не существуетъ это стремленіе—это такой вопросъ, за рѣшеніе котораго я не берусь, потому что судить объ этомъ дѣлѣ можетъ только тотъ, кто знаетъ наше общество вдоль и поперекъ, кто наблюдалъ его долго и внимательно и кто серьезно обдумалъ свои наблюденія. Я скажу только, что примѣры извѣстныхъ людей, переносящихъ тягостныя лишения во время своего университетскаго курса, оказываются при внимательномъ разсмотрѣніи доказательствами слабыми, односторонне понятыми и превратно истолкованными. Чтобы убѣдиться въ этомъ, стоитъ только предложить себѣ вопросъ: куда дѣваются эти молодые люди? Что изъ нихъ дѣлается послѣ блистательнаго выпускнаго экзамена? Дѣлается то, что и со всѣми дѣлается: они идутъ въ чиновники, въ учителя, въ ученые, сливаются съ общей массой и ничѣмъ замѣчательнымъ не проявляютъ своей личности и дѣятельности. Авѣдъ шла въ мѣшкѣ не утѣшишь. Кто прошелъ сотни верстъ и пережилъ сотни полугодичныхъ дней только потому, что онъ чувствовалъ въ душѣ непреодолимое и безкорыстное стремленіе къ знанію, тотъ стоитъ цѣлой головой выше общей массы, тотъ не сольется съ ея грошовыми заботами и не удовлетворится ея куриною хлопотливостью. Кто въ глуши, среди гнетущей бѣдности, искалъ безъ устали истины и свѣта, тотъ вынесетъ свои стремленія неподавленными и неушамленными даже изъ мертвящей аудиторіи какаго-нибудь Креозотова. А что эти стремленія останутся неудовлетворенными въ подобной аудиторіи и слѣдовательно будутъ искать себѣ удовлетворенія въ другомъ мѣстѣ, это само собою разумѣется. Стало-быть, если исторія Ломоносова повторяется съ незначительными варіаціями каждый день, а между тѣмъ Ломоносовыхъ не является, то остается предположить, что повто-

ряется только внѣшняя сторона этой исторіи. Борьбу съ лишениями мы видимъ, энергію и терпѣніе также видимъ,—не видимъ только бездѣлицы—побудительной причины; а между тѣмъ, именно въ этой бездѣлицѣ заключаются, въ большей части случаевъ, смыслъ и разгадка всего явленія.

Если-бы молодой человѣкъ шелъ пѣшкомъ въ университетскій городъ только за образованіемъ, то у насъ уже теперь было бы много дѣйствительно образованныхъ людей, и вліяніе этихъ людей чувствовалось-бы въ общественной жизни. Но такъ какъ этого нѣтъ, то надо предположить, что дѣйствительнаго стремленія къ образованію молодой человѣкъ не чувствуетъ, или по крайней мѣрѣ это стремленіе существуетъ въ немъ съ очень значительной примѣсью посторонняго вещества. Не трудно догадаться, какое это вещество. Кромѣ знаній сомнительнаго достоинства, университеты даютъ своимъ слушателямъ еще права, которыхъ достоинство уже вовсе несомнительно. Кто не идетъ въ университетъ, какъ въ храмъ науки, тотъ идетъ въ него, какъ въ преддверіе карьеры. Для бѣднаго и незнатнаго человѣка университетъ составляетъ кратчайшую дорогу къ чинамъ, къ почестямъ, къ большому жалованью и слѣдовательно ко всѣмъ благамъ и наслажденіямъ жизни. Эта кратчайшая дорога очень крута и усеяна многими препятствіями; поступить въ уѣздный судъ писцомъ и перебиваться въ уѣздномъ городѣ копѣчнымъ жалованьемъ все-таки легче, чѣмъ идти на авось пѣшкомъ, въ неизвѣстную даль, и потомъ четыре года жить невѣрными уроками,—но за то писцу уѣзднаго суда нѣтъ перспективы въ будущемъ, а передъ кандидатомъ университета открыта жизнь съ ея опасностями, но также и съ ея заманчивыми надеждами. Чтобы пойти на встрѣчу лишеніямъ и грозной неизвѣстности судьбы, чтобы изъ рѣчнаго затишья выйти въ открытое море жизни, необходимо обладать предприимчивостью и энергіей, а предприимчивость и энергія—свойства очень почтенныя; но все-таки между этими свойствами и безкорыстно сильнымъ стремленіемъ къ образованію лежитъ цѣлая бездна. Молодые люди, пробивающіе себѣ дорогу энергіей, трудолюбіемъ и желѣзнымъ терпѣніемъ, заслуживаютъ полнаго уваженія, но образованіе тутъ ни при чемъ. Молодые люди идутъ завоевать себѣ счастье, но не знанія; и до тѣхъ поръ, пока университеты будутъ давать своимъ слушателямъ какія-нибудь права, до тѣхъ поръ, пока университетскій дипломъ будетъ открывать дорогу къ такимъ мѣстамъ, которыхъ не могутъ занять люди, не имѣющіе дипломовъ, до тѣхъ поръ всякія сладкія рѣчи и стремленія общества къ образованію будутъ относиться къ легіону нашихъ патріотическихкихъ самооболещеній.

Въ томъ обстоятельствѣ, что бѣдному молодому человѣку, старающемуся выбиться изъ бѣды,

необходимо идти въ университетъ и добывать дипломъ, въ этомъ обстоятельствѣ, говорю я, нѣтъ ничего утѣшительнаго. Это значить только, что одна коронная служба считается у насъ прочнымъ обезпеченіемъ. Это значить, что инициатива общества крайне слаба; это значить далѣе, что общество собственнымъ умомъ не умѣетъ оцѣнить силы и способности своихъ членовъ и требуетъ, чтобы эти силы и способности были оцѣнены правительствомъ и засвидѣтельствованы дипломомъ. Нанимая домашняго учителя для своихъ дѣтей, отецъ семейства не можетъ самъ испытать его познанія и потому разсматриваетъ его дипломъ или аттестатъ. Въ дѣлѣ образованія мы требуемъ отъ правительства такой же гарантіи, какой требуютъ отъ него возникающія общества желѣзныхъ дорогъ. Окончивъ курсъ образованія, мы непремѣнно желаемъ, чтобы правительство платило намъ проценты съ нашего умственнаго капитала, или по крайней мѣрѣ, чтобы оно своимъ ручательствомъ рекомендовало насъ почтенной публикѣ. Я не думаю, чтобы такое положеніе дѣлъ говорило особенно убѣдительно въ пользу развитости нашего общества, или въ пользу его горячаго стремленія къ образованію.

Въ 1860 и 1861 годахъ проявилось въ столичной молодежи сильное желаніе посѣщать университетскія лекціи. Въ аудиторіяхъ петербургскаго университета стали появляться посторонніе слушатели, офицеры и дамы. Фактъ самъ по себѣ хорошъ, но надо понимать его, какъ слѣдуетъ. Въ чью пользу говорить этотъ фактъ: въ пользу ли общества, или въ пользу университета? То-есть: пробудилась ли потребность просвѣщенія въ самомъ обществѣ, или университетъ прославился настолько, чтобы разбудить общество и привлечь его въ свои аудиторіи? Стоитъ только поставить такимъ образомъ вопросъ, чтобы тотчасъ придти къ его разрѣшенію. Очевидно, что общество пробудилось совершенно независимо отъ университета, и что пробужденію общества содѣйствовали, во-первыхъ—реформы, предпринятія правительствомъ, во-вторыхъ—оживленіе журналистики, которое въ свою очередь находилось въ связи съ общими реформами. Пробудившееся общество увидѣло, что ему необходимо образованіе,—а гдѣ его искать? Въ университетѣ,—не потому, чтобы въ университетѣ слышались особенно живые и свѣжіе голоса, а потому, что больше искать негдѣ. На безрыбѣ и ракъ рыба. И общество хлынуло въ университетъ, и скоро стучало отдаленнѣе усныпительная аудиторія. Но эти аудиторіи (за исключеніемъ развѣ одной Костомаровской) все-таки не могли удовлетворить потребностямъ общества, и оно навѣрное само отхлынуло-бы назадъ, если-бы университетъ не предупредилъ его и не отогналъ отъ своихъ дверей непосвященную и несплещающую чернь. Ставъ фактъ, что офицеры и дамы бывающіе въ университетѣ, вовсе не доказываетъ того, чтобы

между обществомъ и университетомъ существовало сознательное сочувствіе. Что университетъ вовсе не сочувствуетъ обществу, это онъ зывалъ неоднократно словами и поступками ихъ отдѣльных членовъ и даже цѣлой когорціи. Но и общество также не сочувствуетъ университету; оно ожидало отъ него живого и набого слова и готово было полюбить его слово, но ожиданія не исполнились, и оно конечно будетъ искать себѣ умственной пищи за предѣлами университетовъ, въ самостоятельномъ чтеніи, точно такъ же, какъ уже всѣ ные студенты работаютъ теперь надъ своимъ вѣтѣмъ совершенно независимо отъ профессорскихъ лекцій и записокъ. Отстранивъ такимъ образомъ тѣ факты, которые люди невнимательны могли-бы принять за признаки сочувствія общества къ теперешней университетской науке, приступлю прямо къ критикѣ нашего общаго высшаго образованія.

II.

У насъ составилась привычка различать два рода образованія: общее и специальное. Эта привычка, какъ и большая часть нашихъ привычекъ, не оправдывается ничѣмъ, кромѣ давности и оказывается несостоятельной при первомъ косновеніи анализа. Въ самомъ дѣлѣ, что такое специальное образованіе? Ничто иное, какъ выскъ въ какомъ-нибудь ремеслѣ, умѣнье и за какое-нибудь дѣло, умѣнье приложить къ какому дѣлу именно тѣ приемы, которые въ это время признаны опытомъ наиболѣе удачными. Что такое образованный специалистъ? Если отвѣчать на этотъ вопросъ такъ, какъ того требуетъ здравый смыслъ и правильное пониманіе употребляемыхъ словъ, то намъ придется сказать, что образованный специалистъ есть человѣкъ, изучившій общее образованіе и потомъ изучившій какое-нибудь ремесло. Если же отвѣчать на вопросъ такъ, какъ того требуетъ обычное разговорное употребленіе словъ, то намъ придется сказать, что образованный специалистъ есть человѣкъ, изучившій основательно избранное ремесло. Я конечно беру тутъ «ремесло» въ самомъ обширномъ смыслѣ этого слова. Подъ ремесломъ я понимаю всѣ профессии, требующія навыка и сноровки. Ремесленниками оказывались земледѣлецъ, и портной, и медикъ, и артистъ, и законовѣдъ, и педагогъ, и литераторъ. Всѣ эти занятія требуютъ извѣстнаго напряженія мускуловъ и нервовъ; въ однихъ преобладаетъ умственный трудъ, въ другихъ—физическій; одни производительны, другія непроизводительны; эти различія не имѣютъ для насъ въ настоящее время никакого значенія, потому что въ наше время никакого значенія, потому что въ наше время разсужденія важно только то, что требуется практическаго навыка и извѣстныхъ знаній. Чтобы быть полезнымъ членомъ общества,

мо работать, следовательно — имѣть какъ ремесло, следовательно — быть спе-
циалистомъ.

А, которую я привошу обществу, а слѣ-
дно и самому себѣ, будетъ тѣмъ значи-
чѣмъ успѣшнѣе идетъ моя работа; а ра-
пойдетъ тѣмъ успѣшнѣе, чѣмъ основа-
я изучилъ свое ремесло. Общество ви-
ѣнитъ результатъ моей работы, и если
тъ оказывается хорошимъ, то общество
тъ, что я знаю хорошо свое ремесло, и
тъ меня образованнымъ специалистомъ.
ство не всегда поступаетъ такъ: если я
къ и шью превосходные сапоги, то оно
аваливаетъ меня заказами и называетъ
ичнымъ сапожникомъ, а объ образован-
циалистѣ не говоритъ ни слова; если же
инженеръ и хорошо разыскиваю золоти-
килы, то меня производятъ въ образо-
нециалисты, потому что я пошу эполеты
что общество считаетъ невѣжливымъ
меня хорошимъ ремесленникомъ. Если я
ъ и управляю какимъ-нибудь сахарнымъ
., то и тутъ я еще могу, по мнѣнію об-
носить титулъ образованнаго специали-
а если я агрономъ и управляю чѣмъ-ни-
нѣмъ, да еще небольшимъ, тогда титулъ
ннаго специалиста начинаетъ колебать-
ество начинаетъ находить, что меня удоб-
вать хорошимъ приказчикомъ. Разроз-
сословій и чиновная іерархія перепута-
ми понятія и исказили нашъ разгово-
ръ. Очевидно, что образованный специа-
такой-же титулъ, какъ «ваше превосход-
», или «ваше высокоблагородіе». Но по-
ва титула совершенно безвредны, а пер-
етъ поводъ къ недоразумѣніямъ и къ не-
представленія. Извѣстно, что неправиль-
ребленіе словъ ведетъ за собою ошибки
и мысли и потому въ практической жиз-
мы называемъ человѣка образованнымъ
стомъ, то намъ уже кажется неправдо-
тъ, чтобы этотъ человѣкъ былъ неучемъ и
аремъ. Если мы даже видимъ факты, ясно
щіе на эти печальныя истины, то мы ста-
еревѣсить эти факты другими фактами
льнаго свойства. Конечно, разсуждаемъ
ъ господинъ имѣть много предразсуд-
ично онъ имѣть самыя смутныя поня-
тониствѣ человѣка, объ интересахъ об-
объ отношеніяхъ гражданина къ своимъ
анамъ и семьянина къ своему семей-
ю за то онъ отлочно умѣетъ ввести ко-
а гавань, или подыскать статью въ сво-
ювъ, или навести полтонный мостъ, или
тъ колонну къ аттакѣ. Мы краснорѣчи-
ываемъ это *мо* и доходимъ до того, что
льныя ремесленныя познанія начинаютъ
ваться такою штукой, которая имѣетъ
съ образованіемъ и во многихъ случаяхъ

можетъ замѣнить его съ пользою для отдѣльна-
го лица и для общества. Дойдя до такого резуль-
тата, мы очевидно потеряли уже изъ виду и дѣй-
ствительное значеніе специальности, и настоящую
цѣль общаго образованія. Начинается погоня за
двумя зайцами, которые уходятъ отъ насъ по
двумъ разнымъ дорогамъ. Возникаютъ общеобра-
зовательныя заведенія съ намеками на специа-
льность; являются спеціальныя заведенія съ про-
тензіями на общее образованіе. Наконецъ, что
всего хуже, въ обществѣ укореняется мысль о
томъ, что можно въ одно и то-же время, одними
и тѣми-же уроками дѣлать Васиньку или Колян-
ку образованнымъ человѣкомъ и напиримѣръ хо-
рошимъ морякомъ, или дѣльнымъ юристомъ. Раз-
велась пропасть разныхъ образованій: это, гово-
рятъ, юридическое, а вотъ это — техническое, а
вотъ то — военное. Идя по этому пути, можно дой-
ти до образованія кирасирскаго, отличающагося
отъ гусарскаго и уланскаго, до образованія, свой-
ственного чиновнику казенной палаты и совер-
шенно непохожаго на образованіе сенатскаго или
почтамтскаго чиновника, до образованія кожев-
ника, не имѣющаго ничего общаго съ образова-
ніемъ мыловара или мясника. Когда мы доведемъ
свое развитіе до такого невиданнаго совершен-
ства, то намъ останется только утѣшаться, гля-
дя на тысячи образованныхъ специалистовъ. Ра-
дость наша будетъ такъ безпредѣльна, что мы да-
же не замѣтимъ того, какъ общее образованіе со-
вершенно уничтожилось и превратилось въ мистъ,
потому что сотни различныхъ образованій раста-
щилиго по кусочку. Образованныхъ людей у насъ
не будетъ, а такъ какъ только образованные лю-
ди составляютъ и поддерживаютъ благоустроен-
ное гражданское общество, то и общества не бу-
детъ, а будутъ сотни цеховъ, находящихся меж-
ду собою въ такихъ-же дружескихъ отношеніяхъ,
въ какихъ находятся къ прусскимъ гражданамъ
прусскіе офицеры, поминутно обмѣняющіе оружіе
противъ безоружныхъ своихъ соотечественниковъ
за такія обиды, которыя понятны только этимъ
храбрымъ воинамъ. Къ сожалѣнію, всякій оши-
бочный принципъ только въ теоріи можетъ быть
доведенъ до своей нелѣпой крайности: жизнь рѣд-
ко бываетъ логична и обыкновенно сворачиваетъ
въ сторону, когда натывается на нелѣпый вы-
водъ, прямо вытекающій изъ принятаго ею прин-
ципа. Поэтому принципъ остается необѣжден-
нымъ, скрывается на время внутрь и притихаетъ,
а потомъ опять поднимаетъ голову и производитъ
разныя мелкія глупости, которыя обыкновенно за-
мываются такими-же мелкими палліативными
средствами. Такъ и ползетъ жизнь черезъ пенъ-
колоду, обходя нелѣпыя крайности, сражалась еже-
минутно съ крошечными аномаліями и безропот-
но уживаясь съ основной причиной этихъ аномалій.

Такимъ образомъ нельзя подвигаться впередъ
быстро и успѣшно, но объ этомъ почти никто и не

заботится. Обь образованіи толкуютъ всё, кому только есть время и охота толковать; составляются проекты, измѣняются программы, увеличивает-ся или уменьшается число учебныхъ часовъ, передвигается порядокъ занятій, чувствуется во всемъ ходѣ образованія какая-то общая несклад-дица, — во передѣлки производятся робко и нерѣ-шительно, и все въ одномъ и томъ-же узкомъ кру-гу идей, составившемся. Богъ знаетъ когда и ох-ватившемъ насъ Богъ знаетъ зачѣмъ. Раздаются голоса, говорящіе рѣшительно и ясно о томъ, что слѣдуетъ формировать человѣка, а не моряка, не чиновника, не офицера. Всѣ слушаютъ — и уми-ляются, и начинаютъ дѣйствовать, а между тѣмъ въ результатѣ оказываются только переименова-нія и передвиженія. Призракъ спеціальнаго об-разованія никакъ не рѣшается исчезнуть и до сихъ поръ мѣшаетъ нашему обществу разглядѣть дѣйствительный смыслъ и настоящую задачу об-разованія. Въмѣсто того, чтобы съ корнемъ вы-рвать ошибочный принципъ, вмѣсто того, чтобы навсегда прогнать нелѣпый призракъ, мы все хло-почемъ о томъ, чтобы заключить невозможную мировую сдѣлку между призракомъ и дѣйстви-тельностью, какъ будто возможны какія-нибудь сдѣлки между истиной и безмыслицей, между здравымъ смысломъ и предрасудкомъ. Мы въ на-шихъ учебныхъ заведеніяхъ служимъ Богу и на-мону; мы никогда не относимся къ образованію просто и безкорыстно; всякое знаніе мы забира-емъ въ голову, какъ источникъ будущихъ дохо-довъ; на всякую книгу мы готовы смотрѣть, какъ на руководство къ изученію повареннаго иску-ства, или какъ на рецептъ для соленія грибовъ и брусники; эти корыстныя цѣли конечно нико-гда не достигаются; каждая кухарка знаетъ, что никто еще не сдѣлался поваромъ по книжкѣ; каж-дая деревенская хозяйка скажетъ вамъ, что че-ловѣкъ неопытный при самомъ подробномъ рецен-тѣ испортитъ грибы и бруснику. Но лукавые ви-ды на грибы и бруснику не даютъ намъ покоя и не позволяютъ намъ дорыться до правильнаго взгляда на образованіе. Да и какъ дорыться, ко-гда мы сваливаемъ въ одну кучу воспитаніе, об-разованіе и изученіе ремесла? Воспитаніемъ мы очень дорожимъ, потому что нашему сердцу без-конечно отратно видѣть въ дѣтяхъ и юношахъ благопрііе и кротость. Изученіемъ ремесла мы тоже дорожимъ по-своему, потому что жалованье и казенная квартира отыскиваютъ себѣ чувстви-тельное мѣсто въ самомъ стойческомъ сердцѣ. А что такое образованіе — этого мы не знаемъ. Тамъ, на границѣ между воспитаніемъ и изученіемъ ре-месла, есть какая-то неопредѣленная амальгама, какія-то переходная тѣнь, которую мы и назы-ваемъ обра-ованіемъ и къ которой мы, по правдѣ сказать, чувствуемъ глубочайшее равнодушіе. Но такъ какъ намъ совѣстно питать такіа не-европейскія чувства къ такому великому дѣлу, какъ образованіе, то мы, ради приличнаго замас-

кированія, и придумали назвать образованіемъ всю кучу нашихъ педагогическихъ отпавленій, т. е. и воспитаніе, и изученіе ремесла, и узенькую полоску неинтересной для насъ амальгамы. Тутъ дѣло не въ словахъ: можно, пожалуй, столъ на-зывать стуломъ, но зачѣмъ-же садиться на столъ? Это и неудобно, и неприлично. Можно какъ угодно назвать наши педагогическія упражненія надъ дѣтьми и юношами, но зачѣмъ-же сдавливать об-разованіе между воспитаніемъ и изученіемъ ремес-ла? Зачѣмъ отодвигать образованіе на самый зад-ній планъ и выдвигать впередъ воспитаніе и спе-ціальность, которыя должны имѣть второстепен-ное значеніе? Воспитывать вообще слѣдуетъ какъ можно менѣе, а выборъ спеціальности всегда дол-женъ быть безусловно предоставленъ самому мо-лодому человѣку, получившему уже хоршее и полное образованіе. Я говорю здѣсь о такой спе-ціальности, которая требуетъ сильной и постоянной умственной работы и которая дастъ всей по-слѣдующей жизни человѣка опредѣленное на-правленіе. Что-же касается до простаго ручного ремесла, то ему можно учить ребенка съ мало-лѣтства, потому что такое ремесло нисколько не мѣшаетъ общеобразовательнымъ занятіямъ, но направляетъ ума въ ту или въ другую сторону и, не вредя никакимъ другимъ умственнымъ или жи-тейскимъ успѣхамъ, развиваетъ здоровье и все-гда остается запаснымъ капиталомъ, на случай нужды или неудачи.

III.

Я сказалъ, что воспитывать слѣдуетъ во-обще какъ можно менѣе. Эта мысль можетъ показаться парадоксальной, а между тѣмъ она чрезвычайно проста и совершенно неопровер-жима. Конечно не я первый высказываю эту мысль, которая, какъ всѣ простыя и свѣтлыя мысли, не принадлежитъ никому въ частно-сти и непременно приходитъ въ голову каж-дому человѣку, задумывающемуся серьезно и добросовѣстно надъ отношеніями взрослыхъ къ подростающему поколѣнію. Эта мысль нахо-дится въ тѣсной связи съ знаменитой идеей Бокля о томъ, что человѣчество подвигается впередъ при помощи знаній и открытій, и что нравственныя истины не имѣютъ почти ника-кого вліянія на быстроту и успѣшность исто-рическаго развитія. Приложите эту мысль къ жизни отдѣльной личности, и вы увидите ясно, что ребенокъ нуждается въ знаніяхъ, а не въ правоученіяхъ. А какъ только сообщаются какія-нибудь знанія, какимъ-бы то ни было образомъ и по какому-бы то ни было поводу, такъ уже начинается образованіе и самодѣ-тельное умственное развитіе будущаго чело-вѣка. Чѣмъ раньше начинается это образованіе и развитіе, тѣмъ лучше. Воспитаніе же должно

продолжаться только до тѣхъ поръ, пока не начнется образованіе. Какъ бы ни были разнообразны приемы воспитанія, но всѣ они могутъ быть приведены къ двумъ главнымъ типамъ: къ воспитанію розгой, или къ воспитанію авторитетомъ. Въ первомъ случаѣ воспитатель говоритъ ребенку: «дѣлай это и это, или я тебя вышью». Не дѣлай того и того, или я тебя вышью». Объ этомъ случаѣ распространяться нечего. Во второмъ случаѣ воспитатель приобретаетъ себѣ безусловное довѣріе ребенка, и потому уже просто говоритъ ему: «дѣлай это, не дѣлай того». Ребенокъ повинуется изъ любви и уваженія къ воспитателю, но въ этомъ нѣтъ ничего хорошаго. Воспитатель говоритъ: «это хорошо, а то дурно», и ребенокъ запоминаетъ это, — и въ этомъ также нѣтъ ничего хорошаго. Всевозможныя правоученія сводятся на послѣднюю формулу, съ той только разницей, что они бывають обыкновенно гораздо длиннѣе и утомительнѣе. Во всѣхъ этихъ правоученіяхъ нѣтъ ни одного аргумента, ни одного такого доказательства, которое ребенокъ могъ-бы самъ проверить или по крайней мѣрѣ понять. Все дается на память и на вѣру. Стало быть, для мысли нѣтъ никакой пищи, и самостоятельность будущаго человѣка остается совершенно незатроутой. Поступать такимъ образомъ съ ребенкомъ позволительно только тогда, когда онъ еще не можетъ воспринимать знаній. Если годовою ребенокъ лѣзетъ на горячій самоваръ, тогда конечно его прежде всего слѣдуетъ оттащить въ сторону, но и тутъ можно ему позволить прикоснуться къ самовару кончикомъ пальца. Опытъ не пропадетъ даромъ. Но когда ребенокъ уже говоритъ и разсуждаетъ, тогда заставлять его вѣрить на слово совершенно недобросовѣстно. Отцы и гувернеры, матери и гувернантки обыкновенно поступаютъ такимъ образомъ, потому что имъ лѣнь объяснить ребенку причины разныхъ своихъ распоряженій или перечислить ему возможные послѣдствія его собственныхъ поступковъ. Кромѣ лѣни есть еще причина, именно неумѣніе или даже невозможность объяснить ребенку, почему по-являются приказанія или запрещенія. Въ кодексѣ нашей житейской морали почти всѣ вопросы рѣшаются безапелляціонно словами: «нравственно» или «безнравственно», «прилично» или «неприлично», «принято» или «не принято». Спросите: почему? — и вамъ не от-вѣтятъ, потому что причины дѣйствительно не имѣются. Когда ребенокъ сталкивается съ однимъ изъ такихъ вопросовъ, то его осаживаютъ однимъ изъ выше приведенныхъ рѣшительныхъ словъ. Онъ это запоминаетъ, и такимъ образомъ его дрессировка подвигается по-степенно впередъ. У насъ принято воспитывать, т. е. дѣйствовать авторитетомъ до тѣхъ поръ, пока есть кака-нибудь возможность поддер-

жать авторитетъ. Вслѣдствіе этого, даже мужья воспитываютъ своихъ женъ, т. е. читаютъ имъ правоученія; иногда бываетъ и наоборотъ, что также имѣетъ свою оригинальную прелесть. Теперь, я думаю, будетъ понятно, почему я говорилъ, что воспитывать слѣдуетъ какъ можно менѣе, и что воспитаніе уже въ самомъ раннемъ возрастѣ можетъ и должно уступать мѣсто образованію. Воспитаніе ставитъ воспитателя между ребенкомъ и окружающей природой, а образованіе ставитъ ребенка въ непосредственныя отношенія къ этой природѣ. Воспитаніе заставляетъ только повиноваться, а образованіе учитъ будущаго человѣка жить и распоряжаться своими силами. Я думаю, нѣтъ надобности доказывать, что образованіе можетъ и должно начинаться съ перваго проблеска мысли въ ребенкѣ, и что оно во всякомъ случаѣ, даже у насъ, начинается гораздо раньше перваго книжнаго ученія.

IV.

Я особенно настоятельно обращаю вниманіе читателя на ту мысль, что у насъ образованіе сдавлено между нравственнымъ воспитаніемъ и ученіемъ специальности. Эта мысль, къ которой мы пришли путемъ предшествующихъ разсужденій, даетъ намъ ключъ къ пониманію многихъ странныхъ явленій нашей педагогической практики. Когда ребенокъ начинаетъ ходить и говорить, то первыя старанія родителей направляются на то, чтобы покорить возникающую силу, подчинить ее посторонней волѣ, не допустить ее до сознанія того, что она сама — сила, способная крѣпнуть, развиваться, расширять свою дѣятельность и свои права. Прежде всего ребенокъ долженъ быть послушнымъ сыномъ или послушной дочерью; поэтому ему внушается ежеминутно, что онъ самъ ничтоженъ, слабъ, зависимъ, но способенъ понимать, что ему полезно и вредно; стараются даже доказать ему, что онъ не умѣетъ различать пріятное и непріятное; по этому послѣднему посягательству на его чувства и волю ребенокъ не поддается никогда. На различіи пріятнаго и непріятнаго онъ основываетъ всю свою оппозицію противъ притязаній взрослыхъ. Онъ знаетъ очень хорошо, чего ему хочется и чего не хочется; его желанія называютъ капризами, но это его не смущаетъ; въ капризахъ проявляются первые задатки характера, и эти задатки, противъ которыхъ направлены всѣ усилія воспитателей, все-таки развиваются и въ концѣ концовъ заставляютъ признать свою законность. Вѣдь и Меттернихъ считалъ національныя стремленія итальянцевъ предосудительнымъ капризомъ, а теперь непризнаніе итальянскаго королевства покажется всякому здра-

вомыслящему человеку пустым дипломатическим упорством. Такъ точно бываетъ и въ частной жизни съ тѣми воспитателями, которые ведутъ ожесточенную войну съ такъ называемыми капризами своихъ питомцевъ. Эта ожесточенная война нисколько не ослабѣваетъ тогда, когда начинается книжное ученіе. Напротивъ того, книжное ученіе даетъ каждый день новые матеріалы для педагогическихъ распрій. Ребенокъ лѣнивъ, ребенокъ невнимателенъ, все это надо побѣждать и искоренять; гдѣ же тутъ думать о перемиріи? Воспитаніе широкой волной врывается въ собственное поле образованія. Знанія превращаются въ правоученія. Учитель не спрашиваетъ объ умственныхъ потребностяхъ ребенка, не старается ихъ пробудить и не заботится объ удовлетвореніи тѣхъ потребностей, которыя уже пробудились сами собой. Всякая умственная потребность, являющаяся безъ призыва, встрѣчается, какъ незваная гостья, — а извѣстно, что незваный гость хуже татарина. Такая нескромная потребность обыкновенно считается такимъ же капризомъ, какъ и всякое другое желаніе ребенка, не входящее въ педагогическіе расчеты воспитателя. Ученіе не отвѣчаетъ на вопросы ребенка и никогда не бываетъ расположено такъ, чтобы ребенокъ самъ понималъ его необходимость. Ребенку говорится съ самаго начала, что онъ долженъ учиться для своей же пользы. Эти сакраментальные слова: «это, душенька, для твоей же пользы» хорошо извѣстны всякому ребенку. Эти слова всегда произносятся въ заключеніи каждаго правоученія, каждой распечки, даже каждаго наказанія розгой или другимъ орудіемъ. Это послѣдній аргументъ—ultima ratio, послѣ котораго воспитатель говоритъ себѣ, что онъ все объяснилъ ребенку и что ребенокъ окажется неблагодарнымъ животнымъ, если не дастъ съ радостью завязать себѣ глаза и не побѣжитъ съ завязанными глазами, по голосу своего воспитателя, всюду, куда прикажутъ. И дѣйствительно, надо сказать правду, только особенно даровитые ребята оказываются неблагодарными животными. Большинство дѣтей такъ благовоспитано, что путешествіе съ завязанными глазами не представляетъ уже для нихъ ничего необыкновеннаго. Нельзя сказать, чтобы слова: «это, душенька, для твоей же пользы» особенно глубоко врѣзались въ ихъ умъ; они вовсе не думаютъ, что это ихъ польза; они не нылаютъ фанатической вѣрой въ непогрѣшимость своихъ учителей, потому что такую фанатическую вѣру способна возбудить только высоко даровитая личность. Они просто измучены и усыплены воспитаніемъ; они привыкли кому-нибудь повиноваться и не умѣютъ ни разсуждать, ни горячо вѣрить. Они смотрятъ на свои уроки, какъ мужики на барщину: «нельзя же безъ этого; добромъ не сдѣлаешь, такъ насильно заставить». Они и дѣлаютъ добромъ,

чтобы не вышло непріятности. Такимъ образомъ приобретается привычка, которая всегда сохраняется далеко за предѣлами дѣтства и часто сопровождаетъ человека до гробовой доски. Ребенокъ учитъ урокъ, потому что такъ велѣно; гимназистъ зубритъ къ экзамену, потому что такъ заведено; студентъ записываетъ безтолковую лекцію, потому что она назначена по росписанію; гимназическій учитель требуетъ отъ ученика твердаго знанія урока, потому что онъ на то поставленъ; профессоръ читаетъ безтолковую лекцію, потому что его за тѣмъ посадили на кафедру. Словомъ, одинъ толкаетъ другого, не зная, куда и зачѣмъ, и другой также не знаетъ, куда и зачѣмъ толкаетъ его одинъ, — но не спрашиваетъ объ этомъ, слѣдуетъ импульсу и зачѣмъ въ свою очередь начинаетъ толкать невиннаго третьяго. *Perpetuum mobile*, котораго тщетно ищетъ механика, блистательнымъ образомъ найдено и осуществлено въ нашей педагогической и житейской практикѣ. Такъ какъ образованіе наше нисколько не обусловливается собственными потребностями ребенка, то чѣмъ же опредѣляется кругъ предметовъ, входящихъ въ его составъ? Если ребенку слѣдуетъ поступить въ казенное заведеніе, то кругъ предметовъ опредѣляется печатной программой; а если ребенокъ — дѣвочка, и если ей предстоитъ закончить свое образованіе въ родительскомъ домѣ, то кругъ предметовъ опредѣляется тѣми требованіями, которыя возбуждаютъ неопредѣленный идеалъ *jeune personne charmante et bien élevée*. Вы видите, что къ воспитательному элементу примѣшивается элементъ спеціальности. Иногда примѣшивается съ первыхъ дней жизни ребенка. Бываютъ родители, которые знаютъ заранѣе, что старшій ихъ сынъ будетъ фельдмаршаломъ, второй адмираломъ, а третій — министромъ финансовъ. Сообразно съ этими предначертаніями располагается воспитаніе, но такихъ родителей уже теперь немного; кромѣ того это уже крайности, а я хочу говорить только о лучшихъ явленіяхъ нашей педагогической практики. Даже въ этихъ лучшихъ явленіяхъ элементъ спеціальности примѣшивается къ образованію очень рано. Что касается до женщинъ, то онѣ всѣ спеціалисты, потому что воспитываются или для свѣтской жизни, или для кухни, или для мѣста гувернантки. Но о женскомъ воспитаніи я говорить не буду. Посмотримъ, какой же кругъ предметовъ назначается и требуется печатными программами, которыя имѣютъ такое неотразимое вліяніе на ходъ образованія мальчиковъ въ достаточныхъ и просвѣщенныхъ классахъ нашего общества. Мы можемъ принять за норму — программу гимназій, потому что всѣ другія программы гражданскихъ и военно-учебныхъ заведеній представляютъ, по крайней мѣрѣ въ низшихъ классахъ, очень незначительныя отклоненія отъ программы гимназій.

V.

Перечислить отдѣльные предметы, входящіе въ гимназическую программу, очень легко, но опредѣлить, хотъ въ общихъ чертахъ, планъ и характеръ нашего гимназическаго образованія совершенно невозможно, по той простой причинѣ, что планъ и характера въ немъ положительно нѣтъ.

Представьте себѣ, что я держу въ рукахъ маленькую и очень простую акварельную картинку. Вы умѣете рисовать и сидите въ другой комнатѣ; передъ вами лежатъ на столѣ листъ бумаги, кисти и всѣ тѣ краски, которыми нарисована моя картинка. Я начинаю вамъ диктовать: полвершка желтой краски, три штриха зеленой, два вершка въ длину и полтора въ ширину лиловой, и т. д. Я диктую совершенно вѣрно и систематически: послѣдовательно иду сверху внизъ, и отъ лѣвой руки къ правой, но, не смотря на то и не смотря на вашъ художественный талантъ, я позволяю себѣ усомниться въ томъ, чтобы на вашей бумагѣ изобразилась моя картина, или вообще какая-нибудь другая картина. Именно такимъ образомъ диктовала намъ Европа, и особенно Германія, программы своихъ заведеній, такіа программы, которыя и на своемъ-то мѣстѣ не приносили никакой пользы. А ужъ что изъ нихъ вышло у насъ — такъ этого и рассказать невозможно. Въ послѣднее время, съ легкой руки «Русскаго Вѣстника», за подобную диктовку хотѣла принять Англія. Являлось въ журналахъ мнѣніе, что слѣдуетъ усилить у насъ классическое образованіе, потому, дескать, что оно господствуетъ въ Англіи, а Англія — держава просвѣщенная, и граждане ея пользуются всѣми благами общественной жизни, и ораторы ея очень замѣчательны, и государственные люди дальновидны, и ученые глубокомысленны. Покуда мы съ приверженцами классическаго образованія не будемъ ни спорить, ни соглашаться. Замѣтимъ только, что школьное образованіе въ Европѣ находится еще подъ вліяніемъ тѣхъ идей, которыя вложили въ него гуманисты, жившіе въ эпоху возрожденія и во время реформацій. Въ концѣ XV-го и въ началѣ XVI столѣтія всѣ мыслящіе люди Европы были увлечены обожаніемъ классической древности, и это было хорошо, потому что лучше увлекаться идеями Цицерона и Платона, лучше восхищаться красотами Гомера и красивыми словами Виргилія, чѣмъ тупѣть надъ средне-вѣковой схоластической гнилью. Увлеченіе греками и римлянами конечно хватило черезъ край. Латинскій языкъ, постоянно оставшійся языкомъ церкви и права, вытѣснилъ народные языки изъ литературы и науки. Даже лютеровъ переводъ библіи на нѣмецкій языкъ не положилъ предѣла тираническому господству латинскаго языка. На латинскомъ писались и стихотворенія, и богословскіе трактаты, и ученые изслѣдованія, и политическіе памфлеты. При такомъ положеніи

дѣль, латинскій языкъ долженъ былъ твердо укорениться въ школахъ.

Кромѣ того все школьное образованіе должно было сложиться по образцу классической древности, съ тѣми только измѣненіями, которыхъ требовала христіанская религія. Такимъ образомъ и явилось на свѣтъ такъ называемое гуманное образованіе, которому противопоставляютъ образованіе реальное, и котораго жалкіе и искаженные дохмоты составляютъ нашъ гимназическій курсъ. Въ Греціи и въ Римѣ образованіе было исключительно словесное. Преподавались грамматика, риторика и философія. Къ этому присоединялось кое-что изъ математики и разныя гаданія объ астрономіи. Естественныхъ наукъ не было. Наука вообще въ древнемъ мірѣ не существовала, потому что соображенія Аристотеля и Платона о мірозданіи и человѣкѣ, правившіяся такъ сильно древнимъ и среднимъ вѣкамъ, конечно не могутъ быть названы наукой. Математика была еще мало развита, и вліяніе ея на общее образованіе было незначительно. Стало быть, грекъ или римлянинъ въ школѣ выучивался только хорошо говорить и хорошо писать. Апофеоза фразерства была доведена до такой наивной крайности, до которой она не можетъ дойти въ нашъ лицемерный вѣкъ. Мы фразерствуемъ стыдливо и стараемся утѣрить всѣхъ, что говоримъ просто и дѣльно, а грекъ и, глядя на него, римлянинъ фразерствовали гордо и откровенно, потому что фразерство было и наукой, и искусствомъ, и высшимъ достоинствомъ человѣка, и лучшей доблестью гражданина, и вѣрнѣйшимъ средствомъ вращаться, по своему благоусмотрѣнію, судьбой городовъ и республикъ. Фразерство пользовалось всемогуществомъ во время лучшихъ дней греческой и римской свободы, и это всемогущество фразы было конечно одной изъ мрачныхъ сторонъ этого быта. Когда пала свобода Греціи и Рима, тогда фраза потеряла свою силу, потому что эта сила перешла въ македонскую фалангу и въ преторіанскую когорту. Но въ школѣ фраза продолжала господствовать, потому что больше не на чемъ было построить обученіе. Изъ римскихъ школъ фраза, потерявшая смыслъ и силу, перешла въ средне-вѣковыя училища, потомъ въ школы гуманистовъ, гдѣ она немножко оживилась отъ соприкосновенія съ литературными памятниками классической древности, и наконецъ отъ гуманистовъ къ намъ, черезъ Польшу и Кіевъ, черезъ законоспаскую академію и бурсу; та же самая классическая фраза забралась въ гимназіи и даже въ кадетскіе корпуса. Кое-что приставили, кое-что урѣзали, и образовался гимназическій курсъ, въ которомъ, какъ я уже говорилъ, всѣ предметы враждуютъ между собой и неутомимо преслѣдуютъ и истребляютъ другъ друга. Чтобы доискаться до какого-нибудь смысла въ нашемъ гимназическомъ или общемъ образованіи, необходимо было отправиться

въ историческую экскурсію и добраться до грековъ, потому что только тамъ, въ этомъ первобытномъ источникѣ, словесное или глуманное образование имѣло смыслъ и значеніе, а мы обнаживаемъ теперь чужіе обноски, въ которыхъ уже не видно ни цвѣта, ни покроя, ни качества матеріи. Я конечно оставляю въ моемъ обзорѣ преподаваніе закона Божія въ сторонѣ; судить о томъ, хорошо или дурно ведется это преподаваніе, я предоставляю специалистамъ, какъ людямъ болѣе компетентнымъ. Но кромѣ закона Божія мы имѣемъ великое множество наукъ.

Исторія, географія, математика, физика, русская грамматика, риторика съ цитировкой, носящая болѣе современное названіе теоріи словесности, исторія русской литературы, латинскій языкъ, въ нѣкоторыхъ гимназіяхъ греческій, языки французскій и нѣмецкій. Помилуйте! Да можетъ ли быть что-нибудь роскошнѣе этой программы, особенно если вспомнить, что вмѣсто греческаго языка въ большей части гимназій преподаются законовѣдніе и естественная исторія (Sic!). Но замѣчаете-ли вы странное явленіе? Математика и физика стоятъ совершенно одиночно въ этой роскошной программѣ, точно незванные гости, зашедшіе по ошибкѣ въ незнакомое общество. Онѣ такъ и жмутся другъ къ другу; обыкновенно учитель математики преподаетъ и физику. А въ тѣхъ классахъ гимназій, гдѣ еще нѣтъ физики, математика оказывается совершенной сиротой, и потому поневолѣ принижается къ обычаямъ и манерамъ всего остального общества. Всѣ другіе предметы обращаются къ памяти учениковъ; такое обращеніе вовсе не нравится математикѣ, но съ своимъ уставомъ въ чужой монастырь не ходятъ, и она, скрѣпя сердце, покоряется господствующему порядку. Значить, математику и физику, какъ личности страдательныя и ни въ чемъ неповинныя, мы можемъ оставить въ сторонѣ. Онѣ бы и рады были помочь горю и предохранить гимназистовъ отъ угрожающаго имъ ступенія, но сила остальныхъ наукъ слишкомъ велика, такъ что противъ нихъ невозможно бороться. Вотъ на примѣръ исторія. У насъ принято думать, что это великая и прекрасная наука, что дѣти и юноши должны развивать свой умъ и облагораживать сердце, читая дѣянія патріотовъ Греціи и Рима и умилаясь думой надъ священными страницами отечественнаго бытописанія. У насъ принято даже говорить объ исторіи высокимъ слогомъ, что я и старался исполнить въ предыдущей моей фразѣ. У насъ, далѣе, принято негодовать противъ Кайданова, Смарагова, Зуева и Устрялова; принято утверждать, что эти почтенные дѣятели написали очень плохіе учебники, и что только по милости этихъ учебниковъ не достигаются тѣ возвышенныя цѣли, къ которымъ должно вести преподаваніе исторіи въ гимназіяхъ. Кто только не бранилъ поименованныхъ господъ, кто не изощрялъ надъ

ними своего копѣчнаго остроумія! «Намъ,—говорятъ эти остряки,—необходимы хорошіе историческіе учебники для гимназій. Это наша настоятельная потребность. Пора, пора обратить на нее вниманіе». Затѣмъ слѣдуютъ знаки восклицательныя, многоточія и другія печатныя выраженія взволнованныхъ чувствъ. А между тѣмъ, все это пустяки. Учебники нигде не годятся, это правда. Но новыхъ учебниковъ совсѣмъ не нужно; они также нигде не будутъ годиться, потому что учебникъ исторіи для гимназій—безсмыслица, невозможная книга, неосуществимая мечта. Рациональное преподаваніе исторіи въ гимназіи также мечта, которая ни при какихъ условіяхъ осуществиться не можетъ.

VI.

Мое мнѣніе объ исторіи требуетъ доказательства, и я не откажу въ нихъ читателю, но предупреждаю его, что мнѣ придется доказывать это довольно долго, и что поэтому читатель не долженъ гнѣваться на меня за отклоненіе отъ главнаго предмета статьи. Въ настоящее время исторія есть списокъ собственныхъ именъ, связанныхъ между собою разными глаголами и пересыпанныхъ цифрами годовъ: Антонъ поколотилъ Сидора въ такомъ-то году, а потомъ Сидоръ соединился съ Егоромъ и пошелъ на Антона въ такомъ-то году, и вздулъ его при такомъ-то городѣ, и выгналъ его изъ такого-то царства. Потомъ Сидоръ съ Егоромъ передрались за добычу; потомъ Егоръ женился на дочери Сидора, Феклѣ, въ такомъ-то году и получилъ за нею въ приданое такіе-то города; потомъ... Ну, и такъ далѣе,—вотъ образчикъ той исторіи, которую изучаютъ наши гимназисты. Говорятъ, это нехорошо; это, говорятъ, отъ учебниковъ; слѣдуетъ ученикамъ видѣть внутреннее развитіе народной жизни, слѣдуетъ понимать историческій колоритъ событій, слѣдуетъ постигать связь между великими причинами и великими слѣдствіями... Ну да! Мало ли что слѣдуетъ! Да вѣдь все это однѣ фразы! Вы попробуйте приложить ихъ къ отдѣльному историческому эпизоду. Возьмите на примѣръ изъ римской исторіи дѣятельность Гракковъ. Гимназистъ бойко разскажетъ вамъ, что Тиверій и Кай Гракхи были украшеніемъ и гордостью матери своей Корнеліи, потомъ Тиверій сдѣлался народнымъ трибуномъ и захотѣлъ раздѣлить между бѣдными гражданами общественныя земли—ager publicus, потомъ сенатъ перепугался и сталъ хитрить, наконецъ перехитрилъ Тиверія, и наконецъ—Тиверія убили въ народномъ собраніи. И это онъ вамъ разскажетъ по Смарагову, и конечно гораздо подробнѣе и краснорѣчивѣе, чѣмъ я вамъ разскажалъ. Ну, чего-же вамъ больше? Какого вамъ историческаго колорита? Вѣдь все, какъжется, на своемъ мѣстѣ: и сенатъ, и народное собраніе, и трибуны, и плебеи, и даже по-латыни

ter publicus. Вы отъ гимназиста ничего больше требовать не можете, а между тѣмъ это то самое, что повѣствованіе о Егорѣ, Антонѣ, Сирѣ и дочери его Феклѣ. Гимназистъ очевидно понимаетъ, отчего Тиверію вдругъ вздумалось частливить бѣдныхъ, и отчего именно землю, не деньгами, и откуда взялись эти бѣдные, и отчего сенату было выгодно, чтобы они оставались бѣдными, и отчего сенату удалось перехитрить Тиверію, и отчего все предпріятіе рухнуло, и отчего бѣдные никакъ не могли сдѣлаться земледѣльцами. Словомъ, гимназистъ во всей дѣяльности Тиверіи Гракха не понимаетъ ничего и имать ничего не можетъ. Его нисколько не удивитъ, если-бы вдругъ оказалось у Смарагова, что Тиверій построилъ кораблей, посадилъ туда всѣхъ цѣлыхъ, поѣхалъ съ ними черезъ Геркулесовы столбы, присталъ къ берегамъ Британіи, основалъ королевство и сдѣлался родоначальникомъ дитинъ Гракховъ. Гимназистъ принялъ-бы этотъ ходъ дѣла такъ-же равнодушно и рассказалъ-его такъ-же краснорѣчиво, какъ онъ приметъ и рассказывающій дѣйствительное событіе. Бы не было этого равнодушія и краснорѣчія, гимназисту слѣдуетъ знать и понимать такое множество различныхъ вещей, которое рѣдко совмѣстится въ надлежащей полнотѣ и ясности въ почтовой головѣ профессора исторіи. Ему надо знать примѣръ что такое трудъ и капиталъ, въ какихъ отношеніяхъ они находились между собой въ древнемъ Римѣ, каково было въ римской республикѣ распредѣленіе богатства, какія причины дѣйствовали переходу имущества изъ рукъ въ руки и сосредоточенію ихъ въ рукахъ немногихъ жействъ, каково было умственное и нравственное положеніе богатыхъ и бѣдняковъ; далѣе, такое-же множество разнородныхъ знаний необходимо и для пониманія личнаго характера Тиверія, для дѣйствіи интригъ сената, для разумѣнія тѣхъ мрачныхъ и разрушительныхъ страстей, которыя сего-днѣшній умъ возбуждаетъ въ массѣ бѣдняковъ противъ того самаго человѣка, который захотѣлъ ихъ облагодѣтельствовать. Вотъ и смейте. Видѣте, что для понимания одного эпизода о Гракхахъ придется гимназисту прочесть нѣсколько бѣшеныхъ томовъ, придется заглянуть и въ политическую экономію, и въ философію исторіи, и въ римскія древности Нибура. Какъ-же вы это желаете въ учебникъ вмѣстить? Если вы внесете въ учебникъ всѣ эти знанія въ видѣ краткихъ афоризмовъ, то книга значительно увеличится въ объемѣ, а гимназисту, вмѣсто одной исторіи о Сидорѣ и Егорѣ, придется заучивать десять исторій, потому что ваши краткіе афоризмы будутъ для него голыми фактами, которые онъ будетъ брать приступомъ, на память, съ равнодушіемъ и краснорѣчіемъ. Надо вообще твердо запомнить, что тысяча прочтенныхъ страницъ можетъ оставить въ себѣ ясное понятіе о предметѣ, а экстрактъ изъ этихъ тысячи страницъ, заключающій въ се-

бѣ примѣръ страницъ пятьдесятъ, не оставляетъ никакого понятія, и можетъ быть только затверженъ на память. Стало бытъ, приходится—или удовлетвориться рассказомъ по Смарагову, или написать учебникъ всеобщей исторіи томовъ въ пятьдесятъ, или наконецъ прежде изученія исторіи сообщить ученику множество юридическихъ, политическихъ и экономическихъ свѣдѣній. Но Смараговымъ вы удовлетвориться не хотите, и я тоже не хочу. Стало бытъ, напишемъ учебникъ въ пятьдесятъ томовъ. Хорошо. Но это будетъ не учебникъ, а книга для чтенія. Ну, такъ начнемъ сообщать предварительныя свѣдѣнія, а потомъ уже учиться исторіи. Опять-таки хорошо. Но тогда намъ придется въ гимназіи сообщать предварительныя свѣдѣнія, а исторію отложить на будущее время, и тогда уже читать лекціи исторіи, а не задавать уроки по учебнику.

Противъ этихъ двухъ выходовъ я ровно ничего не могу возразить. Пусть гимназисты читаютъ историческія сочиненія, если они ихъ понимаютъ и находятъ ихъ занимательными. Пусть имъ преподають въ гимназіи основныя понятія о народномъ хозяйствѣ, о государственныхъ системахъ, о юридическихъ отношеніяхъ, ежели только съумѣють преподавать эти мудренныя и щекотливыя вещи такъ, чтобы онѣ были понятны и оставались неизуродованными. Но пусть не сваливають этого разнороднаго матеріала въ одинъ общій ящикъ съ надписью «учебникъ исторіи» и пусть не требуютъ отъ этого учебника такихъ чудесъ, которыя онъ ни въ какомъ случаѣ не можетъ совершить. Видѣте исторія не наука; это — приложеніе всѣхъ наличныхъ знаній и всего наличнаго ума человѣка къ пониманію прошедшей жизни; поэтому два различныхъ человѣка на основаніи однихъ и тѣхъ-же памятниковъ напишутъ двѣ исторіи совершенно различнаго достоинства; поэтому пониманіе важныхъ историческихъ событій измѣняется съ каждымъ десятилѣтіемъ, хотя-бы въ это десятилѣтіе и не открылось никакихъ новыхъ памятниковъ и матеріаловъ. Самый тупой и неразвитый человѣкъ можетъ написать исторію, но она будетъ отражать въ себѣ бессмысленную фізіономію своего творца. А если напишетъ исторію гениальный и очень образованный человѣкъ, то его твореніе будетъ великолѣпно и бессмертно. Понимать исторію мы также можемъ только сообразно съ нашими умственными силами и съ шириной нашего развитія. Шекспиръ самъ по себѣ не измѣняется, но если вы читали его, когда вамъ было четырнадцать лѣтъ, и потомъ прочли его, когда вамъ минуло двадцать лѣтъ, то навѣрное первое впечатлѣніе было значительно слабѣе и смутнѣе послѣдняго. Исторія, написанная замѣчательнымъ человѣкомъ, — тотъ-же Шекспиръ; а исторія, составленная какимъ-нибудь Кауфигомъ или Устряловымъ, то-же самое, что романъ Воскресенскаго или Рафаила Зотова. Перваго рода исторію слѣдуетъ понимать,

а второго рода—совсѣмъ читать не стоитъ. А чтобы понимать, надо стоять на извѣстной степени развитія. Но если никто не принуждаетъ гимназистовъ читать историческія книги, тогда нѣтъ бѣды въ этомъ, что они возьмутъ въ руки такія сочиненія, которыя еще не вполне доступны ихъ пониманію. Не поймутъ—такъ оставить, а если будутъ читать,—значитъ находить удовольствіе и стало-быть что-нибудь понимаютъ. Я встаю только противъ обязательнаго изученія исторіи и противъ обязательнаго чтенія историческихъ книгъ. Эта обязательность прямо наваливаетъ на молодой умъ непосильный грузъ и слѣдовательно неизбежно ведетъ за собою отупѣніе и упадокъ мыслительной силы.

VII.

Географія конечно можетъ и должна быть преподаваема въ гимназіяхъ, но конечно не такъ, какъ она преподается теперь. Вину плохого преподаванія сваливаютъ на учебники, и въ этомъ случаѣ крестовый походъ противъ плохихъ учебниковъ оказывается такой-же смѣшной несообразностью, какой онъ оказался въ дѣлѣ Смаградова и компаніи. Существенный недостатокъ въ преподаваніи географіи заключается въ томъ, что политическая географія преобладаетъ надъ физической, а этотъ недостатокъ можетъ быть устраненъ только тогда, когда географія будетъ преподаваться въ тѣсной связи съ геологіей, ботаникой и зоологіей. Въ нашихъ географическихъ учебникахъ стоятъ на первомъ планѣ имена горъ, рѣкъ, озеръ, мысовъ и особенно городовъ; но въ нихъ есть также замѣчанія о почвѣ, климатѣ и естественныхъ произведеніяхъ. На эти замѣчанія ни учитель географіи, ни его ученики не обращаютъ никакого вниманія, и дѣйствительно вниманія обращать не стоитъ, потому что замѣчанія гласятъ обыкновенно, что почва плодородная, климатъ благодѣтельный, или умеренный, или холодный, произведеній много, и всѣхъ не упомянуть. Стало-быть, если о плодородіи почвы отозваться умеренно, а о климатѣ сообразить приблизительно по градусу широты, то дѣло сойдеть благополучно. А насчетъ произведеній учитель рѣдко спрашиваетъ; вѣдь онъ видитъ, что ученикъ запомнилъ нѣсколько десятковъ именъ, означающихъ горы, рѣки и города; къ чему-же ему гнать-я еще за дюжиной именъ вроде банановъ, пататовъ, баобабовъ, кокосовыхъ пальмъ, апельсиновъ, тапировъ, кенгуру, орниторинксовъ; для ученика, незнакомаго съ естественными науками, это все такія-же имена, какъ Камбоджа, Браманутра, Давалагири, Чандервагоръ и т. д. А если-бы учитель взялся объяснять каждое изъ именъ, означающихъ диковинныя растенія, или принадлежащихъ диковиннымъ животнымъ, то ему пришлось-бы сдѣлать въ преподаваніи своего предмета цѣлый переворотъ, и переворотъ этотъ

принесъ-бы очень мало пользы, потому что двѣ самостоятельныя науки, ботаника и зоологія, не могутъ быть сообщены ученикамъ между прочимъ, въ прибавленія къ урокамъ географіи.

Ни учебникъ, ни учитель географіи не могутъ своими средствами исправить общій недостатокъ системы. Географія прежде всего должна быть описаніемъ земли. Она должна дать ученику рядъ картинъ, показывающихъ ему, какъ разбѣжаны на земномъ шарѣ минералы, растенія, животныя и люди. Она должна объяснить ему связь, существующую между этими произведеніями съ одной стороны и устройствомъ поверхности, орошеніемъ, свойствами почвы и климатическими условіями съ другой стороны. Словомъ, дѣло географіи показать общую связь отдѣльныхъ частей; ея дѣло нарисовать общія картины природы. Но исполнить эту важную и трудную задачу она можетъ только въ томъ случаѣ, если отдѣльныя части будутъ уже извѣстны учащимся. Географія можетъ и должна опираться на всѣ естественныя науки, но замѣнять ихъ собой она не можетъ, потому что въ такомъ случаѣ ей пришлось бы обратиться въ необятную энциклопедію, наполниться множествомъ эпизодическихъ подробностей и слѣдовательно совершенно утратить изъ виду свою единственную законную цѣль. Стало-быть учебники наши ни въ чемъ невиноваты, они совершенно соответствуютъ общимъ требованіямъ системы, и хорошіе учебники могутъ возникнуть только тогда, когда будетъ перестроена вся система. Теперь преподаваніе географіи впадаетъ въ тѣ-же роковыя ошибки, которыя я указалъ въ преподаваніи исторіи. Въѣсто того, чтобы описывать землю, географія старается описывать государства, или, другими словами, старается представить картину современной жизни человѣчества, точно такъ же, какъ исторія усиливается представить картину прошедшей жизни человѣчества. Старапія географіи, въ этомъ случаѣ, такъ же бесплодны, какъ усилія исторіи. Могутъ-ли ученики понять, что такое правительство монархическое неограниченное, монархическое ограниченное, республиканское? что такое религія римско-католическая, лютеранская и англиканская? что такое университеты, ученыя и учебныя заведенія, заводы, фабрики и мануфактуры, гавани и крѣпости, и другія слова, которыми для разнообразія пересыпаны собственныя имена городовъ? что такое каналы, доки, верфи, таможи, биржи? что такое мѣсторожденія замѣчательныхъ людей, которыхъ имя попадаетъ ученику въ первый разъ въ жизни, и что такое памятники, воздвигнутые въ честь этихъ людей или въ воспоминаніе событій, о которыхъ ученикъ также не слыхалъ никогда? Чтобы объяснить ученику различныя образы правленія, надо прочитать ему сравнительный обзоръ европейскихъ конституцій; чтобы слова: римско-католическій, лютеранскій и т. д.

не были для него звуками, лишенными значенія, надо познакомить его съ параллельной исторіей религій; другія, приведенныя мною слова: университеты, заводы, гавани и т. д. употребляются нами такъ часто, что мы не отдаемъ себѣ отчета въ ихъ неясности; но подумайте, возбуждаютъ-ли эти слова въ умѣ ученика какія-нибудь опредѣленныя представленія? Онъ присмотрѣлся къ нимъ; слово знакомо, но о томъ предметѣ, который обозначается этимъ словомъ, онъ не имѣетъ никакого понятія. Чтобы дать ему это понятіе, надо, по поводу каждаго отдѣльнаго слова, прочесть ему нѣсколько лекцій; въ географіи надо будетъ ввести множество экономическихъ, политическихъ, юридическихъ и техническихъ свѣдѣній и подробностей. А всего лучше поступить съ преподаваніемъ исторической географіи такъ же, какъ я совѣтовалъ поступить съ преподаваніемъ исторіи. Политическая географія предметъ очень сложный; поэтому слѣдуетъ преподавать ее тогда, когда ученики усвоятъ себѣ понятіе о простыхъ элементахъ, входящихъ въ ее составъ. Но политическія и экономическія свѣдѣнія вообще должны быть передаваемы юношамъ, уже развитымъ и способнымъ мыслить; стало-быть всего лучше возложить о нихъ попеченіе въ гимназіи и сосредоточить все вниманіе учениковъ на физической географіи, поддерживаемой основательнымъ изученіемъ естественныхъ наукъ.

Кстати о естественныхъ наукахъ. Многія заставляютъ быть можетъ, что естественныя науки теперь преподаются въ тѣхъ гимназіяхъ, въ которыхъ нѣтъ греческаго языка. Это замѣчаніе конечно не можетъ считаться серьезнымъ. Вы можете себѣ представить, что это за преподаваніе. Припомните только, что вмѣсто одного греческаго языка вводятся два предмета: законовѣдѣніе и естественная исторія. Стало-быть всѣ естественныя науки, вмѣстѣ взятыя, составляютъ половину греческаго языка. Потому, что это за наука «естественная исторія»? Это виноградъ изъ минералогіи, ботаники и зоологіи, и виноградъ этотъ подается на столъ однимъ учителемъ. Тутъ очевидно можно ожидать только изобилія терминовъ и классификацій, или же, для разнообразія, бюфоновскихъ разсказовъ о трогательной вѣрности собаки и объ изумительной смысленности бобра. Такія естественныя науки конечно не могутъ служить опорой для физической географіи. Но даже естественная исторія все-таки лучше всеобщей исторіи и политической географіи. Вѣрность собаки и смысленность бобра по крайней мѣрѣ понятны ученикамъ, а дѣйствія Тиверія Гракха или монархическое ограниченное правленіе Англіи оказываются для учениковъ китайской грамотой. Надо принять себѣ за неизбѣжное правило ту основную педагогическую истину, что ученику слѣдуетъ говорить только то, что его интересуетъ, или то,

что онъ можетъ вполне понять. Приобрѣтаемая въ нашихъ учебныхъ заведеніяхъ привычка встѣчать незнакомыя понятія и свыкаться съ ними, не проникнувъ въ ихъ смыслъ, привычка читать книги, не отдавая себѣ отчета въ ихъ содержаніи, привычка скользить надъ трудностями, не желая ихъ замѣтить, эта привычка прямо ведетъ къ разслабленію и къ вялости мысли, къ неизлечимому фразерству, къ безсознательному и безысходному шарлатанству.

VIII.

О преподаваніи русской грамматики распространяться нечего. Оно идетъ дурно и конечно оно совершенно необходимо, какъ естественное и неизбѣжное продолженіе азбуки. Остается желать ему тѣхъ улучшеній, которыя понемногу проникаютъ во всякое преподаваніе, по мѣрѣ развитія и уясненія общихъ понятій о рациональныхъ педагогическихъ приемахъ. Въ грамматикѣ не можетъ быть никакихъ радикальных преобразованій и поэтому я отодвигаю ее всторону.

Неудобно-ли вамъ взглянуть на теорію словесности и на исторію русской литературы, поглощающія въ жизни гимназистовъ отъ трехъ до четырехъ лѣтъ. Эти два предмета начинаются въ четвертомъ классѣ и сопровождаютъ учениковъ до седьмого включительно. Подъ именемъ теоріи словесности укрываются, съ несвойственной имъ стыдливостью, риторика и пѣтика, — тѣ самыя науки, которыя до сихъ поръ открыто свирѣствуютъ въ семинаріяхъ, отравляя жизнь бурсака и наполняя его несчастную голову непроходимой чепухой. Къ этимъ двумъ знаменитымъ наукамъ присоединяется кусочекъ формальной логики; есть даже покушенія на эстетику; впрочемъ гдѣ тотъ смертный, который отважится разграничить эти науки? Кто отличить пѣтику отъ эстетики? И какой здравомыслящій человѣкъ объяснитъ намъ, на что годятся всѣ эти четыре науки, вмѣстѣ взятыя? Гимназическая программа желаетъ вѣроятно, чтобы онѣ умигали жестокія сердца буйныхъ и строптивыхъ учениковъ. Извѣстно, что изящныя искусства поселяютъ кротость и добродушіе въ суровые нравы дикарей; извѣстно, что даже животныя любятъ музыку и что камни слагались сами собой въ стѣны фиванской крѣпости подъ звуки лиры Амфіона. На основаніи всѣхъ этихъ историческихъ и зоологическихъ примѣровъ, гимназическая программа хочетъ умилить и растрогать юныхъ питомцевъ разсужденіями объ изящномъ и о различныхъ его проявленіяхъ.

Я поневолѣ долженъ предположить въ теоріи словесности скрытую нравственную цѣль, потому что отыскать въ ея преподаваніи малѣйшую долю пользы для умственного развитія нѣтъ никакой возможности. Представленія, понятія и силлогизмы, метафоры, эпитеты, синекдохи, антифе-

зы, опредѣленіе изяшнаго, субъективности и объективности, пластическія и тоническія искусства, художественность и поэзія, трогательное и наивное, юморъ и иронія, дидактизмъ, драматизмъ, эпосъ, лирика—да если-бы я захотѣлъ, я могъ-бы наполнить словами десятки страницъ, и это море словъ льется сначала широко и правильными волнами съ каедръ къ скамейкамъ, потомъ журчитъ робкими и перемежающимися ручейками отъ скамеекъ къ каедрѣ; и въ подобныхъ занятіяхъ учитель и его ученики проводятъ еженедѣльно часа по три впродолженіи двухъ лѣтъ; и учителю не совѣстно глядѣть на своихъ учениковъ; и ученикамъ не смѣшно смотрѣть на своего учителя. Не явное-ли это доказательство того чарующаго и смягчающаго вліянія, которое разсужденія объ изящныхъ предметахъ оказываютъ на самыя разнородныя организаци? Учитель изливаетъ море словъ и, убаюканный его величественнымъ шумомъ, перестаетъ понимать то, что онъ дѣлаетъ, перестаетъ чувствовать подавляющую нелѣпость своего занятія. Ученикъ изливаетъ журчащій ручеекъ словъ и, также убаюканный его серебристымъ журчаніемъ, теряетъ свойственную гимназисту способность видѣть смѣшную сторону вещей. Учитель и ученикъ баюкаютъ другъ друга и затѣмъ расходятся, успокоенные и умиротворенные.

Я прошу читателя извинить мой шутливый отзывъ о теоріи словесности; но мнѣ кажется, что объ этомъ предметѣ невозможно говорить серьезно. Вѣдь только тѣ остроумные люди, которые, при напряженіи всѣхъ своихъ умственныхъ силъ, дошли до отрицанія учебниковъ Кайданова и Смаградова, только эти остроумные люди, говорю я, способны серьезно полемизировать противъ теоріи словесности. Я настолько уважаю моего читателя, что не причисляю его къ этимъ остроумнымъ людямъ. Поэтому я нахожу достаточнымъ напомнить читателю, что такое теорія словесности, и замѣтить ему, что этимъ предметомъ занимаются гимназисты впродолженіи двухъ лѣтъ. Этого напоминанія и замѣчанія слишкомъ достаточно для того, чтобы произнести приговоръ надъ этой умиротворяющей наукой. Археологическое значеніе этой науки также заслуживаетъ вниманія: мы сохранили ее со временъ Аристотеля въ полной чистотѣ и неприкосновенности. Живучесть фразерства ясно доказывается этимъ любопытнымъ обстоятельствомъ.

За теоріей словесности слѣдуетъ исторія русской литературы. Эта исторія, какъ и всѣ другія, представляетъ списокъ именъ, которыя навсегда останутся для ученика именами, ровно ничего собою незначащими. Жиль-былъ Несторъ, написалъ лѣтописи; жилъ-былъ Кирвль Туровскій, написалъ проповѣдей много; жилъ-былъ Даніиль заточникъ, написалъ Слово Даніила заточника; жилъ-былъ Серапіонъ, жилъ-былъ, жилъ-былъ, и всѣ они жили-были, и всѣ

они что-нибудь написали, и всѣхъ ихъ очень-го, и до всѣхъ ихъ никому нѣтъ дѣла, кромѣ назистовъ и изслѣдователей старины. Когда дѣтъ дѣло до Ломоносова и Державина, становится еще тошнѣе: приходится запоминать названія одъ и отрывки изъ нихъ, до которыхъ дотыкаются только гимназисты и ихъ дователи. А ужъ когда доберутся до Пушкина, тогда надо спѣшить, потому что учебный приходъ къ концу; да и кромѣ того гимназистамъ не полагается знакомиться съ новою литературой подробно, чѣмъ съ словомъ Дзаточника и съ державинскою Фелицей.

Читатель мой, вы—патріотъ, и я—тоже патріотъ; вы всею душой любите русскую литературу, и я тоже люблю ее всею душой. Но допустимъ минуту предположеніе, что наши высокія чувства не помрачаютъ нашего проинципала ума; въ одну изъ такихъ предполагаемыхъ минутъ приложимъ перстъ ко лбу и маемъ: слѣдуетъ-ли преподавать исторію русской литературы? Отрицательный отвѣтъ замедлитъ привести насъ въ ужасъ, потому пока мы будемъ размышлять, свѣтлая минута пройдетъ, и отвѣтъ вѣрнется въ туманъ нашихъ чувствъ, какъ зловѣщая молнія. Но настанетъ еще свѣтлая минута, тогда мы неминуемо сознаемся передъ собою, что дѣйствительно сохранять отъ забвенія имена такихъ людей, чьихъ идеи и поступки не имѣютъ уже никакого вліянія на нашу умственную жизнь—тяжелый, неблагодарный и кромѣ того вѣроятно безуспѣшный. Имена эти удерживаются въ памяти учащихся только до вожделѣннаго дня слѣдняго экзамена. Первые впечатлѣнія дѣловой жизни смыываютъ безъ слѣда всѣ теоретическія растенія школы. Если случится, что молодой человѣкъ припомнитъ нечаянно какого-нибудь Вассіана Рыло, или Сильвестра Медвѣди, или Аблесимова, Хераскова, Кострова, или три стиха Тредьяковскаго, Ломоносова, или Державина, то онъ только улыбнется и поворитъ про себя или вслухъ: чортъ знаетъ, чему насъ учили! И это скажетъ молодой человѣкъ, потому что у насъ всегда случается юноша, окончившій курсъ ученія, становящійся тотчасъ непримиримымъ врагомъ той системы преподаванія, которую онъ испыталъ на самомъ. Это враждебное отношеніе учащаго или учившагося въ школѣ составляетъ у насъ такое общее явленіе, къ которому мы смышленно приглядѣлись и въ которомъ мы находимъ даже ничего ненормальнаго. А хороша эта явленіе? Не доказываетъ-ли оно само себя, независимо отъ всякихъ другихъ доказательствъ, что вся система нашего образованія нуждается въ тщательномъ пересмотрѣ, и она можетъ освѣжиться и усовершенствоваться только вслѣдствіе радикальнаго переворота. Если-бы были недовольны теперешнимъ по-

въ десять, сто, тысяча воспитанниковъ, то причины этого неудовольствія бы были случайныя, происходящія отъ одной вины недовольныхъ. Но когда нельзя и одного воспитанника, или ученика, и учился бы съ удовольствіемъ изъ одной съ ученію, когда эта неприязнь къ школѣ есть у людей, уже вышедшихъ изъ-подъ нѣя, тогда дѣлается очевиднымъ, что шко-сполняетъ своего назначенія.

ко патріотическое чувство наше все-таки ено, читатель, и мы говоримъ, снова уи-унаномъ, что нельзя же народу забывать ное своей умственной жизни. Но туманъ разсѣивается, и тогда мы соображаемъ, шедшее нашей умственной жизни всегда сохраняемо изслѣдователями. Кому надо иться со старою русскою литературою, и свѣтской, тотъ найдетъ въ ней до-имно учебника Зеленецкаго, утвержден-партаментомъ народнаго просвѣщенія. А-кое знакомство не кажется необходи-ого не обратитъ на путь истины дажеъ Зеленецкаго. Я думаю, не было еще, чтобы гимназическій курсъ русской уры вселилъ въ кого-нибудь любовь къ редмету. Учитель русской словесности можетъ подѣйствовать такимъ обра-только въ томъ случаѣ, когда онъ бу-зсуждать съ учениками и слѣдователь-ствовать на нихъ, какъ человекъ, а не итель. Наконецъ не мѣшаетъ посмотрѣть слѣдующимъ образомъ: если мы будемъ что наше умственное прошедшее можетъ ться въ нашей памяти только при-віи обязательнаго ученія, то мы стало-демъ сомнѣваться въ патріотизмъ на-ющества. Если патріотизмъ надо вто-въ въ школѣ и поддерживать экзамена-такой же это патріотизмъ? Вѣдь вынуж-добродѣтель теряетъ всю свою цѣну.ъ поневолѣ — *le patriote malgré lui* —, достойный Мольера и нисколько не-шій въ комизмъ сюжета: врачъ понево-*médecin malgré lui*. Стало-быть нрав-и сторона въ преподаваніи русской ли-и оказывается несостоятельной. Что же и до умственной стороны этого препода-о несостоятельность ея не нуждается въ ельствѣхъ. А что, если-бы учитель, оста-сторонѣ теорію словесности и исторію-литературы, началъ читать съ учени-учшія поэмы и прозаическія сочиненія, а, потомъ прочиталъ бы имъ всего Го-омъ переписки съ друзьями, потомъ Коль-отомъ Тургенева и Островскаго, потомъ критическія статьи Бѣлинскаго и Добро-потомъ вѣсколько народныхъ былинъ и нѣсколько легендъ и сказокъ? Какъ вы? Вѣдь гимназисты считали бы классъ

русской словесности наслажденіемъ для себя; вѣдь они съ благодарностью вспоминали бы о такомъ учителѣ до сѣдыхъ волосъ; вѣдь по-жалуй даже интересы патріотизма были бы со-храняемы; пожалуй у нѣкоторыхъ учениковъ пробудилось бы дѣйствительное желаніе узнать что-нибудь о предшественникахъ Пушкина. По-жалуй могло бы изъ этого выдти много хоро-шаго. Но вѣдь это неосуществимая мечта. Вѣдь ученикамъ тогда нечего было бы учить наизусть, и учителя согнали бы съ кафедры послѣ перваго экзамена въ его классѣ. Вѣдь у насъ принято измѣрять и взвѣшивать плоды ученія, а такъ какъ умственное развитіе нельзя прикинуть ни на аршинъ, ни на безмѣтъ, то оно и считается мною и роскошью. Намъ подавай знанія, чтобъ ученикъ говорилъ на экзаментъ полчаса, не пе-ревода духа, и чтобъ онъ могъ проговорить два или три часа, если только его не останавливать. Это мы любимъ и этого мы достигаемъ.

IX.

Языки латинскій и греческій обыкновенно преподаются въ гимназіяхъ недурно. Въ той гимназіи, гдѣ я учился, эти предметы препода-вались отлично. Каждымъ изъ нихъ завѣдывали по два учителя, такъ что ни одинъ день не об-ходился у насъ безъ эллиновъ или римлянъ. Са-мые лѣнивые и невнимательные ученики при-нуждены были читать довольно правильно ла-тинскіе стихи и спрягать безъ значительныхъ ошибокъ греческіе глаголы. Результатъ блестя-щій! Но къ чему это вело? Къ чему это могло вести? Можетъ быть къ тому, что изъ тридцати учениковъ выработается со временемъ одинъ учитель латинскаго языка и одинъ учитель гре-ческаго языка; а изъ трехъ сотъ учениковъ, мо-жетъ быть, одинъ сдѣлается профессоромъ рим-ской или греческой словесности. Этотъ одинъ втеченіи своей профессорской дѣятельности об-разуется двоихъ или троихъ эллинистовъ или ла-тинистовъ, которые потомъ, въ свою очередь, передадутъ свѣтильникъ своей науки немногимъ избраннымъ; десятилѣтія, вѣка пройдутъ надъ нашимъ обществомъ, а свѣтильникъ эллинизма или латинизма будетъ горѣть попрежнему въ двухъ-трехъ кабинетахъ, до которыхъ никому не будетъ дѣла: если-бы этотъ свѣтильникъ по-гасъ, то никто бы этого не замѣтилъ, никто бы объ этомъ не сожалѣлъ, а между тѣмъ тысячи дѣтей и юношей постоянно тратятъ силы и вре-мя надъ грамматическими и синтаксическими трудностями классическихъ писателей един-ственно для того, чтобы подливать въ этотъ тускло-горящій свѣтильникъ скудные капельки масла.

Зачѣмъ гибнетъ это время? Къ чему тратятся эти силы? Защитники классическаго образова-нія приводятъ въ его пользу два главные аргу-

мента. Во-первых, они говорятъ, что самый процесс изученія древнихъ языковъ развиваетъ мыслительныя силы. Во-вторыхъ, они напоминаютъ о красотахъ классическихъ литературъ и говорятъ, что чтеніе въ подлинникъ Гомера, Виргилія, Горация, Цицерона, Демосфена, Тацита, Фукидида, Платона составляетъ лучшую школу для ума, для сердца и для эстетическаго чувства. Первый аргументъ вѣренъ, но его надо расширить, и тогда практическое примѣненіе его будетъ значительно измѣнено. Не изученіе древнихъ языковъ, а вообще всякое изученіе иностранныхъ языковъ развиваетъ умъ, сообщая ему гибкость и способность проникать въ чужое міросозерцаніе. Изученіе греческаго и латинскаго языковъ труднѣе, чѣмъ изученіе языковъ французскаго, нѣмецкаго и англійскаго, но это обстоятельство вовсе не доказываетъ того, чтобы занятія перваго рода были полезнѣе для развитія ума. Трудности классическихъ языковъ, заключающіяся въ страшномъ изобиліи грамматическихъ формъ, въ сложности склоненій и спряженій, дѣлкомъ ложатся на память, и усилія, необходимыя для преодоленія этихъ трудностей вовсе не развиваютъ критическаго смысла учащагося. Обыкновенно случается такъ, что юный гимназистъ пріучается только къ мелочной внимательности и что весь его умъ уходитъ на борьбу съ удареніями и метрами, съ временами и наклонными, съ предлогами и союзами, съ конструкціями и поэтическими вольностями. Древніе языки сложнѣе новѣйшихъ вовсе не потому, чтобы мысли тѣхъ временъ были богаче нашихъ, а напротивъ — потому, что въ древности форма преобладала надъ мыслью. Для насъ литература есть серьезное дѣло, а для аристократовъ и патрицевъ древности она была художественной забавой. Мысль придумывала для своего выраженія сотни ненужныхъ отгѣлковъ, которыхъ мы теперь не понимаемъ. Самая простота грековъ такъ богата украшеніями, что для насъ она кажется напыщенностью. Илиада въ буквальной строгости переводѣ Гидлича поражаетъ насъ своей цѣлостностью и высокопарностью, а между тѣмъ известно, что удивительная простота рѣчи составляетъ главное достоинство Гомера. Поэтому, углубляясь въ изученіе классиковъ, мы рискуемъ утратить преимущественно формой выраженія; мы тратимъ всѣ силы своего ума, чтобы изучать въ такія отгѣлки рѣчи, которые для грека или римлянина были только капризами фантазіи, трою оканчиваясь разноречіемъ. Мы дѣлаемся податливыми чуждому, сдѣлаемъ чуждыми были соборити, тѣмъ чуждыми звучностью и притѣлностью своихъ выраженій. Сами, издержавшись на изученіе древнихъ языковъ, были бы употреблены гораздо болѣе производительнымъ образомъ, если бы мы обратили ихъ на изученіе живыхъ языковъ французскаго, англійскаго и нѣмецкаго. Мы могли бы изучать въ тѣхъ безмолвности, тек-

ническихъ трудностей, которыя заваливаютъ собой грамматики греческую и латинскую, а между тѣмъ, каждый изъ этихъ языковъ переноситъ насъ въ міросозерцаніе такого народа, который сдѣлалъ гораздо больше, чѣмъ греки и римляне, какъ въ области мысли, такъ и въ области практической жизни.

Но намъ говорятъ о красотахъ классическихъ литературъ, и это напоминаеиіе составляетъ второю аргументъ защитниковъ классическаго образованія. По правдѣ сказать, изъ всѣхъ греческихъ и латинскихъ писателей только Гомера и Тацита дѣйствительно стоитъ читать въ подлинникъ. Всѣ остальные писатели древности не произвели ничего такого, чего бы мы не могли найти у современныхъ народовъ въ болѣе совершенной и сознательной формѣ. Но изучать два языка для того, чтобы прочитать въ подлинникъ двѣ поэмы и четыре историческія сочиненія, о которыхъ все-таки можно составить себѣ нѣкоторое понятіе по хорошимъ переводамъ, — это, воля ваша, слишкомъ удивительный подвигъ самоотверженія; этотъ подвигъ могутъ совершать люди по доброй волѣ, но зачѣмъ возлагать его на невинныхъ гимназистовъ? Пусть учится древнимъ языкамъ тотъ, кто желаетъ этого, но зачѣмъ же обязательное ученіе? Если каждому образованному человѣку необходимо прочитать въ подлинникъ Гомера и Тацита, то я не вижу, почему не было бы необходимости читать Саади и Гафиза въ персидскомъ подлинникъ, Магабарту и Сахуналу въ санскритскомъ, сочиненія Конфуція въ китайскомъ, коранъ въ арабскомъ, и т. д. Навѣрное въ каждомъ языкѣ можно было бы найти такіа красоты, которыя утрачиваются или по крайней мѣрѣ блѣднѣютъ въ переводѣ. Но такъ какъ жизнь человѣческая нѣбѣе предѣломъ и не должна тратиться на одно преслѣдованіе различныхъ красотъ, то для образованнаго русскаго можно призвать совершенно достаточнымъ, если онъ кроетъ своего родного языка будетъ знать языки французскій, нѣмецкій и англійскій. Можно сказать безъ преувеличенія, что на этихъ трехъ языкахъ онъ найдетъ всѣ сокровища челоѣческаго ума и челоѣческой фантазіи, какъ въ оригинальныхъ произведеніяхъ, такъ и въ превосходныхъ переводахъ со всѣхъ остальныхъ, мертвыхъ и живыхъ языковъ. Если-бы гимназій, обращающія такъ много вниманія на классическую древность, перевели это вниманіе на языки французскій, нѣмецкій и англійскій, то общество и учащаяся молодежь сказали бы имъ большое спасибо. Конечно нѣкіе молодые люди употребили бы свои лингвистическія познанія только для стѣпской болтовни, но на то всѣ они имѣли бы въ рукахъ книги отъ трехъ богатѣйшихъ литературъ. Кто имъ имѣетъ заботу, тотъ имѣетъ бы выискивать книги или на, а это много значитъ; имѣетъ часто случаетъ, что самые добросовѣстные старшій

образованію остается на степени стремленія, только потому, что стремящемуся приходится начинать съ французской или нѣмецкой азбуки, чтобы добраться до серьезныхъ научныхъ сочиненій. Заниматься азбукой, вокабулами и грамматикой въ двадцать лѣтъ не всякому по силамъ, и пряная обязанность школы состоитъ въ томъ, чтобы облегчить своимъ питомцамъ дальнѣйшій ходъ занятій, сообщивъ имъ тѣ элементарныя свѣдѣнія, которыя такъ легко усваиваются дѣтьми и которыя съ трудомъ и скукой приобретаются взрослыми. Французскій и нѣмецкій языки преподаются въ гимназіяхъ плохо и небрежно; англійскій вовсе не преподается. Если-бы уничтожить въ гимназіяхъ латинскій и греческій языки, то береженное время могло-бы значительно усилить преподаваніе новѣйшихъ языковъ, и польза такой перемѣны была-бы очевидна. Защитники классицизма обыкновенно приводятъ въ примѣръ Англію, воспитывающую свое юношество на греческихъ и латинскихъ писателяхъ и въ то же время пренебрегающую на поприщѣ гражданской жизни. Аргументація этихъ господъ болѣе оригинальна, чѣмъ убѣдительна. Вотъ изъ логики: Ивановъ — человѣкъ очень богатый. Онъ ѣздитъ обыкновенно на гнѣдыхъ лошадяхъ. Слѣдовательно, чтобы разбогатѣть, необходимо ѣздить также на гнѣдыхъ лошадяхъ. Пока мы будемъ соблазняться такой логикой, или сражаться противъ нея, до тѣхъ поръ мы навѣрное не разбогатѣемъ, на такихъ бы лошадяхъ мы не ѣздили.

IX.

Обзоръ предметовъ, входящихъ въ гимназическій курсъ, доказываетъ очень убѣдительно наше совершенное равнодушіе къ общему образованію. Воспитательный элементъ очень силенъ въ гимназіяхъ; для сохраненія благонравія между учениками принято множество мѣръ положительныя и отрицательныя. Къ первымъ относятся различныя наказанія, о которыхъ я не считаю нужнымъ распространяться. Вторыя заключаются въ той заботливости, съ которой начальство слѣдитъ за преподаваніемъ и удаляетъ изъ него всѣ подробности, могущія повредить нравственной или умственной чистотѣ учащагося юношества. Специальный элементъ обнаруживается не такъ сильно, потому что гимназіи считаются преимущественно общеобразовательными заведеніями. Кто желаетъ изучить характеръ специализма, тотъ долженъ обратиться къ такимъ заведеніямъ, въ которыхъ къ гимназической программѣ присоединены предметы, сообщающіе всему заведенію особый колоритъ и опредѣленное познаніе. Тамъ конечно наблюдатель увидитъ, что специальные предметы преподаются очень тщательно и отбрасываютъ на самый задній планъ тѣ науки, которыя считаются у насъ необходимой принадлежностью общаго обра-

зованія. Даже въ нѣкоторыхъ гимназіяхъ можно впрочемъ замѣтить признаки специализма. Они выражаются въ особенно тщательномъ преподаваніи греческаго и латинскаго языковъ.

Если-бы программа нашего общаго образованія была составлена рационально, то можно было бы пожалѣть о томъ, что это общее образованіе такъ часто приносится въ жертву специализму. Но теперь не о чемъ жалѣть. Воспитательный элементъ и специализмъ не могутъ повредить общему образованію, потому что нечему вредить; общее образованіе не можетъ пострадать, потому что оно не существуетъ; но почему оно не существуетъ, это довольно трудно объяснить. Можетъ быть потому, что наша программа списана съ устарѣлыхъ нѣмецкихъ программъ; а можетъ быть и потому, что составители нашихъ программъ упустили изъ виду общее образованіе и заботились только о воспитаніи и о специальностяхяхъ. Какъ бы то ни было, общее образованіе оказывается у насъ именно въ данной формѣ, съ очень опредѣленнымъ литературно-историческимъ направленіемъ. Съ этой формой и съ этимъ направленіемъ свылась разсуждающая часть нашего общества; свыкнувшись съ ними, она стала поддерживать ихъ своимъ мнѣніемъ и своими предразсудками, она приглядѣлась къ тому типу, который она называетъ образованнымъ человѣкомъ, и потому очень смѣло объявляетъ необразованными тѣхъ людей, которые отвергаютъ и этотъ типъ, и ея требованія.

Я не буду говорить о тѣхъ временахъ, когда незнаніе французскаго языка, или, вѣрнѣе, привычка говорить на этомъ языкѣ, считалась рѣшительнымъ доказательствомъ необразованія. Эти времена отживаютъ свой вѣкъ, и ратовать противъ умирающихъ предразсудковъ — смѣшно и бесполезно. Я замѣчу, что даже лучшая часть нашего общества до сихъ поръ носитъ съ такими странными понятіями объ образованіи, которыя она приняла по наслѣдству, безъ малѣйшей критической повѣрки. Образованный человѣкъ, по господствующему мнѣнію, долженъ имѣть понятіе... На этихъ словахъ я долженъ остановиться, потому что нѣтъ никакой возможности выразить точно и опредѣлительно, о чемъ долженъ имѣть понятіе человѣкъ, признаваемый образованнымъ. Онъ долженъ знать, что Сервантесъ написалъ Донъ Кихота, и что Донъ Кихоть сражался съ мельницами, что Шекспиръ написалъ Гамлета и что Гамлетъ былъ влюбленъ въ Офелію, что Беатриче была возлюбленной Данте, а Лаура возлюбленной Петрарки, что Жоржъ Зандъ проповѣдуетъ эмансипацію женщинъ, что Юлій Цезарь перешелъ черезъ Рубиконъ, что Байронъ хромалъ на одну ногу и сражался за свободу Греціи, что Людовикъ XIV сказалъ: «*l'état — c'est moi*», а потомъ сказалъ: «*il n'y a plus de Pyrénées*», что графъ Угolino умеръ въ башнѣ съ голода, что Лютеръ бросилъ

въ чорта чернильницей, что Марій сидѣлъ на развалинахъ Карфагена, что губернаторомъ острова св. Елены былъ Гудзонъ Ло, что Титъ считалъ потеряннымъ тотъ день, въ который онъ не сдѣлалъ добраго дѣла, что «Парижскія тайны» написаны Эженемъ Сю, что... ну, все равно, довольно и этого, чтобы видѣть требованія общества. Образованный человѣкъ долженъ знать кромѣ того имена всѣхъ столичныхъ городовъ на земномъ шарѣ, а изъ математики—четыре правила ариметики и названія всѣхъ математическихъ наукъ. Нельзя сказать, чтобы требованія общества были обширны и глубоки, но зато въ предѣлахъ своихъ требованій общество очень строго. О Данте оно знаетъ наизусть только то, что онъ любилъ Беатриче и написалъ «Божественную комедію»; о Петраркѣ то, что онъ итальянскій поэтъ и пѣвецъ Лауры; о Титѣ—что онъ римскій императоръ и хорошій человѣкъ; о Людовикѣ XIV—что онъ *le grand roi*, и что при немъ былъ *le siècle de Louis XIV*, ну и потомъ *M-me de la Vallère*, *M-me de Montespan*, *M-me de Maintenon*. Но если вы не знаете и этихъ вещей, тогда вы человѣкъ необразованный. Вы и не требуйте отъ общества отчета, почему именно необходимо знать эти вещи и къ чему ведетъ это знаніе. Вамъ или совѣтъ не отвѣтять, или отвѣтять съ изумленіемъ и досадой: «ахъ, Боже мой, да какъ же этого не знать? Это всѣ знаютъ. Какъ, къ чему ведетъ? Но нужно же имѣть понятіе.»

Дальше этого отвѣта общество не идетъ; оно и само не знаетъ, какъ велики предѣлы этихъ обязательныхъ знаній; не знаетъ и того, почему и съ какого времени они сдѣлались обязательными; оно только чувствуетъ непріятное ощущеніе, когда кто-нибудь въ его средѣ выходитъ изъ границъ дозволеннаго невѣжества, и объявляетъ тотчасъ такого нарушителя границъ человѣкомъ необразованнымъ. Вы смѣло можете не знать ничего о физическихъ законахъ природы и можете признаваться обществу въ своемъ невѣжествѣ; но есть собственныя имена и историческія сдѣланы, которыми вы обязаны знать, если не желаете сдѣлаться предметомъ всеобщаго изумленія. Понятно стало-быть, что образованіе представляется обществу чѣмъ-то неопредѣленнымъ; этимъ именемъ называется что-то такое, а что именно—неизвѣстно; да общество никогда объ этомъ и не спрашиваетъ. Ему досталось откуда-то, когда-то, по какому-то случаю, сумма какихъ-то разрозненныхъ знаній; оно къ нимъ привыкло, назвало ихъ образованіемъ, удовлетворилось ими, и теперь только иногда, точно сквозь сонъ, требуетъ частичныхъ усовершенствованій, новыхъ учебниковъ, нагляднаго преподаванія, улучшенія въ личномъ составѣ учителей. Ему даже въ голову не приходитъ спросить себя: да что же такое образованіе? чѣмъ оно должно быть и въ какомъ положеніи нахо-

дится оно у насъ? Молодые люди, выходя изъ учебныхъ заведеній, всегда недовольны школой, но всегда объясняютъ свое неудовольствіе мелкими и случайными недостатками: учителя нехороши, учителя плохи, начальники придирчивы. Потомъ это неудовольствіе стирается другими житейскими впечатлѣніями, и молодые люди, дѣлаясь отцами семейства, совершенно мирятся съ школьными неудобствами и безпечно подвергаютъ имъ своихъ дѣтей. Таковъ образомъ вліяніе общества на школу ограничивается только тѣмъ, что общество говоритъ «надо имѣть понятіе...», а такъ какъ оно не даетъ понятія и о Граксахъ, и о Несторѣ, и о синекдохсахъ, то общество оказывается совершенно довольнымъ, и отцы каждый годъ проливаютъ слезы умиленія надъ успѣхами возлюбленныхъ дѣтей. Я теперь перейду къ университетамъ, потому въ заключеніе выскажу нѣсколько мыслей о томъ, чѣмъ должно быть общее образованіе.

X.

Лучшія надежды нашего отечества сосредоточиваются на университетахъ; университетская молодежь обыкновенно вноситъ въ практическую жизнь честность стремленій, свѣжесть взглядовъ и непримиримую ненависть къ рутинѣ всякаго рода. Обскуранты и рутинеры всегда нападаютъ на университеты и предпочитаютъ имъ свои закрытые заведенія; но теперь эта погоня за обскурантами и рутинерами переводится и съ университетовъ въ палеонтологическую рѣдкость. Уже никто не боится и съ ними никто не споритъ. Теперь писатель, уважающій самого себя, обязанъ безусловно защищать университеты; онъ можетъ спокойно разсматривать и указывать недостатки ихъ устройства. А недостатки очень многочисленны и крупны.

Въ концѣ 1861 г. появилось много статей о университетахъ. Я теперь не имѣю ихъ подъ руками и не помню ихъ выводовъ. Можетъ быть случится въ чемъ-нибудь сойтись съ той или другой изъ этихъ статей, но я не вижу въ этомъ большой бѣды. Если мысли мои будутъ вѣрны, то ничего не потеряютъ отъ того, что будутъ сказаны во второй разъ. Если онѣ ошибочны, повторенное вранье будетъ также безвредно, какъ было безвредно вранье первобытное. То обстоятельство, что у меня нѣтъ подъ руками этихъ статей, даже благотворно для публики: оно сокращаетъ мое разсужденіе, потому что отнимаетъ у меня возможность возражать противъ писателей, которые раньше меня разрабатывали вопросъ объ университетахъ.

Важнѣйшее и единственное преимущество университета передъ всякими другими учебными заведеніями заключается въ томъ, что учащіеся пользуются значительной степенью свободы въ выборѣ и въ направленіи своихъ

ни талант профессоръ, ни ихъ усердіе, умѣнье сблизаться со студентами, ничто не возбуждаетъ въ молодомъ человѣкѣ ту и самодѣятельность, которую возбуждаетъ въ немъ чувство собственной самостоятельности. Въ закрытомъ заведѣніи молодой человѣкъ при самыхъ благоприятныхъ условіяхъ можетъ быть только благовоспитанъ и прилежнымъ школьникомъ. Въ университетѣ онъ дѣлается человѣкомъ, сознательно жающимъ своими силами и способнымъ въ свою пользу даже неблагоприятныя.

Онъ часто увлекается, часто дѣлается, но надо понять, что переходъ отъ къ мужеству заключается именно въ то молодой человѣкъ, путемъ собственныхъ, ошибокъ и паденій, выучивается стоять на ногахъ и твердыми шагами идти къ сознательно-выбранной цѣли. Ботливая рука удерживала отъ всякихъ тотъ или въ позднѣйшемъ возрастѣ нагъ потерянное время, или останется на нѣмъ благовоспитаннымъ мальчикомъ, не нѣмъ ни характера, ни оригинальности. Говорятъ университетовъ всегда соотвѣтственной степени самостоятельности, которая явлена была студентамъ. Дѣятельность талантливыхъ профессоровъ никогда не имѣетъ собой эту драгоценную самостоятельность. Умственное развитіе похоже въ этомъ на кристаллизацию. Главное дѣло инструктора, желающаго добыть правильныя результаты, заключается въ томъ, чтобы не дать сосуда, въ которомъ налить растворъ.

Дѣло университетскаго начальства, достояніе относящагося къ умственнымъ интересамъ студентовъ, не имѣетъ въ ходъ изъ регламентаціи и административными мѣрами. Если бы начальство захотѣло ввести на лекціяхъ переключки студентовъ и репетиции, то подобное распоряженіе было бы университету сильно, чѣмъ выходъ изъ него нѣсколькихъ даровитѣйшихъ студентовъ. Эта мѣра можетъ быть принудила бы къ кутажу студентовъ проводить въ ихъ часы, тратившіеся въ ресторанахъ, она, вмѣстѣ съ тѣмъ, удерживала бы талантливыхъ студентовъ на такихъ лекціяхъ, и не приносятъ имъ пользы. А истративъ денегъ на бесполезную лекцію гораздо хуже, тратить часть на болтовню или другое.

Возвращаясь съ лекцій утомленный и отдохнуть, такъ что у полезной работы не остается времени, а вдвое или втрое.

Прибавьте къ этому постоянную досаду отъ нравственнаго насилия, и вы увидите, каковы послѣдствія такого распоряженія. Первое на первый взглядъ можетъ показаться довольно благообразнымъ.

Такъ какъ преимущества университета передъ другими высшими учебными заведеніями заключаются единственно въ самостоятельныхъ отношеніяхъ студентовъ къ своимъ занятіямъ, то недостатки, обнаруживающіеся въ современномъ устройствѣ университетовъ, заключаются единственно въ ограниченіи этой необходимой и во всѣхъ отношеніяхъ полезной самостоятельности. Можетъ-быть нѣкоторые изъ этихъ ограниченій неизбежны въ настоящее время и находятся въ связи съ общимъ положеніемъ образованія въ обществѣ; но во всякомъ случаѣ эти ограниченія оказываются недостатками, на которые должна указывать теорія, и объ исправленіи которыхъ должно заботиться общество. Если эти недостатки существуютъ сами по себѣ, то ихъ нетрудно устранить; если же они представляются только симптомами болѣе глубокаго зла, заключающагося въ образѣ мыслей и въ складѣ жизни самого общества, то мы тѣмъ болѣе не должны съ нимъ мириться. Какъ-бы глубоко ни укоренилось зло, оно никогда не превращается въ добро; его надо искоренить рано или поздно, и анализировать его развитіе и проявленія всегда полезно и своевременно.

Основная причина всѣхъ ограниченій, стѣсняющихъ самостоятельность учащихся, состоитъ въ тѣхъ правахъ, которые университетъ даетъ своимъ студентамъ, окончившимъ курсъ и поддерживающимъ выпускной экзаменъ. Кто получаетъ права, тотъ, разумѣется, несетъ обязанности. Всякая обязанность налагаетъ извѣстнаго рода заботы, а всякая забота, не относящаяся прямо къ интересамъ умственнаго развитія, мѣшаетъ этому развитію.

Права, предоставляемыя студентамъ, окончившимъ курсъ, ведутъ за собою два ближайшія послѣдствія. Во-первыхъ, университетъ раздѣляется на факультеты. Во-вторыхъ, являются обязательные экзамены. Оба эти послѣдствія вредятъ очень сильно самостоятельнымъ занятіямъ студентовъ.

Раздѣленіе на факультеты обязываетъ молодого человѣка, стремящагося къ высшему образованію, выбрать тотчасъ-же одинъ изъ факультетовъ. Выборъ этотъ всегда дѣлается на авось, потому что гимназія не даетъ понятія ни объ одной наукѣ. Молодой человѣкъ, окончившій курсъ въ гимназій, не знаетъ ни силъ, ни наклонностей своего ума, не знаетъ также и того, какой работы требуетъ та или другая наука, и какія умственные наслажденія она можетъ доставить. Чаще всего случается такъ, что молодой человѣкъ дѣлается математикомъ, филологомъ, или юристомъ, смотря по тому, за каки предметы онъ получалъ въ гимназій хороши баллы. Иногда онъ угадываетъ вѣрно, но только счастливый случай. Часто бываетъ, что онъ перескакиваетъ изъ одного факультета въ другой и тратитъ года два на неу-

пробы. Большею-же частью бывает и еще хуже. Поступивши на такой факультет, который ему не нравится, молодой человек остается в нем: «все равно, думает он: — как-нибудь дотяну; стоит-ли кидаться из стороны в сторону? Еще, богъ знает, найдешь-ли на другомъ факультетѣ что-нибудь получше?»—Когда студентъ разсуждаетъ такимъ образомъ, тогда конечно нельзя ожидать, чтобы онъ занимался своимъ дѣломъ съ любовью; онъ записываетъ лекціи, выдерживаетъ экзамены и получаетъ аттестатъ, не почувствовавши ни разу въ жизни живительнаго вліянія любимого труда. Удивительно-ли, что такой человекъ, бывши рутинеромъ на студенческой скамейкѣ, окажется рутинеромъ и въ практической жизни? Въ университетѣ онъ стремился къ аттестату, а въ жизни всегда найдутся постороннія цѣли, къ которымъ можно стремиться и которымъ можно приносить въ жертву интересы дѣла и собственное человеческое достоинство.

Но вы скажете, можетъ быть, что такой человекъ самъ виноватъ въ своей деморализаціи, и что эту деморализацію нельзя приписывать раздѣленію университета на факультеты. Вы скажете, что этотъ человекъ могъ перейти съ одного факультета на другой; что онъ могъ наконецъ поступить въ университетъ вольнымъ слушателемъ и уже потомъ, изучивъ свои силы и наклонности, присмотрѣвшись къ различнымъ наукамъ, сдѣлаться студентомъ и сознательно выбрать себѣ факультетъ. Ваши разсужденія справедливы, но только до известной степени. Вы берете отвлеченнаго человека, глубоко проникнутаго безкорыстнымъ и сознательнымъ стремленіемъ къ образованію; вы забываете, что эти чувства, мысли и стремленія обыкновенно приобѣтаются и очищаются только путемъ образованія и умственнаго труда; вы забываете, что въ университетъ поступаютъ не мудрецы, сознательно идущіе къ завоеванію истины, а юноши, прельщаемые всѣми искушеніями жизни. Лучшее изъ этихъ юношей приносятъ съ собою въ университетъ только неопредѣленную любознательность, передъ которой вовсе не умолкаютъ житейскіе расчеты. Отъ университетской атмосферы зависитъ—или очистить эту любознательность отъ постороннихъ примѣсей, или, напротивъ, совершенно задуть ее подъ этими посторонними побужденіями. Если любознательный юноша сразу заинтересуется какой-нибудь наукой, онъ станетъ выше своихъ расчетовъ и будетъ смотрѣть на нихъ съ презрѣніемъ. Если же онъ ошибется въ своемъ выборѣ, то неудовлетворяемая любознательность можетъ замереть; юноша можетъ подумать, что эта любознательность была мечтательнымъ стремленіемъ къ несуществующимъ благамъ; расчеты одержатъ рѣшительную победу, и юноша разсудитъ очень основательно, что переходить съ одного факультета на другой

значитъ терять время, затруднять себѣ дорогу къ аттестату, отнимать у самого себя такіе годы, которые могутъ быть употреблены на действительную службу, ведущую къ чинамъ, къ знакамъ отличія, къ большому окладу жалованья. А поступать въ вольные слушатели? Подобная мысль не можетъ придти въ голову юношѣ, только-что вышедшему изъ гимназій; для этого надобно, чтобы онъ чувствовалъ недовѣріе къ своему собственному выбору. Кто-же не знаетъ, что подобное недовѣріе немислимо въ очень молодомъ и совершенно неопытномъ человекѣ? Кромѣ того поступить въ вольные слушатели значитъ также потерять нѣсколько времени на размышленіе и попытки, а молодость торопится жить. Мы должны имѣть въ виду не отвлеченную молодежь, а такую, какая дѣйствительно существуетъ. Эта молодежь черезъ нѣсколько лѣтъ будетъ сама смѣяться и надъ своими расчетами, и надъ своими побужденіями; одни ей покажутся мелкими, другіи—ребяческими, но и тѣ и другія въ все время сообщали ей поступкамъ опредѣленное направленіе. Ими нельзя пренебрегать; ихъ не слѣдуетъ упускать изъ виду, потому что отъ нихъ зависитъ часто сила и колоритъ умственной жизни цѣлаго поколѣнія. Этими-то мелкимъ расчетамъ и ребяческимъ побужденіямъ современное устройство университетовъ оказываетъ самую предосудительную поправку.

Говоря поступающимъ молодымъ людямъ: «выбирайте себѣ факультетъ!» университетъ самъ примѣшиваетъ идею карьеры къ идеѣ образованія и потакаетъ такимъ образомъ житейскимъ расчетамъ будущихъ Петровъ Ивановичей Адуевыхъ. Конечно, молодой человекъ можетъ противустоять этимъ искушеніямъ; онъ можетъ сказать: «я не ищу правъ, я не хочу выбирать факультетъ. Я буду вольнымъ слушателемъ, выслушаю тѣ курсы, которые меня интересуютъ, и потомъ уйду изъ университета безъ всякихъ экзаменовъ и дипломовъ». Онъ можетъ это сказать и сдѣлать. На это нѣтъ ни физической невозможности, ни запретительной статьи закона. А между тѣмъ очень невѣроятно, чтобы онъ поступилъ такимъ образомъ. Искушенія слишкомъ сильны. Всѣ предразсудки общества поддерживаютъ права, дипломы, экзамены, студенчество, распределенное по факультетамъ. Простое слушаніе лекцій, вознаграждаемое ни чинами, ни служебными преимуществами, до сихъ поръ кажется обществу пустымъ препровожденіемъ времени. Наука величественная, образованіе полезно, но практическія выгоды болѣе осязательны. Онѣ смягчаютъ самое жестокое сердце и примиряютъ съ университетами самые скептическіе умы престарѣлыхъ родителей. На основаніи всѣхъ этихъ доводовъ, мы можемъ принять за несомнѣнную истину, что покуда въ университетѣ существуютъ права и факультеты, до тѣхъ поръ большая часть молодыхъ людей будетъ бросаться въ эти

факультеты, очертя голову, и въ случаѣ ошибки, будетъ дотягивать ляжку, чтобы получить дипломъ.

Ну, хорошо, говорите вы, — молодой человекъ поступилъ на факультетъ. Кто же ему мѣшаетъ слушать нѣкоторыя лекціи другого факультета. — Да, никто не мѣшаетъ; онъ слушаетъ, но изъ этого слушанія ничего не выходитъ. Онъ смотритъ на постороннюю лекцію, какъ женатый человекъ на легкую интрижку. Передъ нимъ лежитъ извѣстная дорога; надъ головою висятъ извѣстные экзамены; практическое значеніе имѣть въ его глазахъ только труды по извѣстнымъ факультетскимъ предметамъ. Какое же значеніе можетъ имѣть при такихъ условіяхъ посторонняя лекція? Она можетъ ему понравиться, какъ понравилась бы какая-нибудь театральная пьеса. Она можетъ возбудить въ немъ желаніе ходить для развлеченія въ аудиторію посторонняго профессора — и только. Что же тутъ за польза? Когда наука служить намъ развлеченіемъ и не возбуждаетъ въ насъ желанія трудиться, тогда она вовсе не исполняетъ своего назначенія. Комедія или концертъ всегда развлекаютъ сильнее, чѣмъ лекція, — стало быть, отъ лекцій не слѣдуетъ требовать развлеченія. Но положимъ, что лекція или рядъ лекцій посторонняго профессора заинтересовали студента очень серьезно и возбудили въ немъ желаніе познакомиться покороче съ этой наукой. Такое желаніе дѣлается для него несчастіемъ. Начинается борьба между искусственно сооруженнымъ долгомъ и естественнымъ влеченіемъ. Съ любовью заниматься посторонней наукой значитъ отнимать время у факультетскихъ занятій, значитъ измѣнять интересамъ своей будущей карьеры, значитъ предпочитать пріятное полезному. Оставаться на одномъ факультетѣ и заниматься предметомъ другого факультета значитъ дробить свои силы. Перейти на другой факультетъ? Но вѣдь тамъ кромѣ одной любимой науки придется заниматься десяткомъ наукъ, вовсе непривлекательныхъ? Что же тутъ дѣлать? Положеніе драматическое, а между тѣмъ весь драматизмъ происходитъ только отъ перегородки, поставленной между двумя факультетами и поддерживаемой обязательными экзаменами и правами. Если бы молодой человекъ былъ вольнымъ слушателемъ, то ему ничто бы не мѣшало слушать вмѣстѣ лекцій разныхъ факультетовъ; если бы онъ былъ вольнымъ слушателемъ, то любовь, почувствованная имъ къ какой бы то ни было наукѣ, наполнила бы его душу живѣйшей радостью и повела бы его къ серьезнымъ занятіямъ. Не было бы никакого драматическаго столкновенія. Конечно студентъ всегда можетъ сдѣлаться вольнымъ слушателемъ. Физическая невозможности нѣтъ, но нравственнымъ препятствіемъ много. «Вотъ, подумаетъ онъ, — если я останусь студентомъ и выдержу опредѣленный экзаменъ по программѣ факульте-

та, то получу дипломъ и права. А если сдѣлаюсь вольнымъ слушателемъ и буду заниматься тѣмъ, что мнѣ нравится, то ничего не получу. Это обидно». — И не только обидно, а даже глупо, говорить студенту родители, опекуны и всѣ опытные совѣтники. Да ты объ этомъ и думать не смѣй, подтверждаетъ раздражительная маменька. А отчего они все это думаютъ, говорятъ и подтверждаютъ? Отчего переходъ съ одного факультета на другой подаетъ иногда поводъ къ семейнымъ сценамъ? Отчего такая простая вещь, какъ занятія тѣмъ предметомъ, который нравится, оказывается труднымъ подвигомъ, требующимъ отъ молодого человека почти ломоносовской силы характера? Все оттого, что университетъ даетъ права и составляетъ преддверіе карьеры. Если бы не было правъ, не было бы и факультетовъ. Вся учащаяся молодежь была бы вольными слушателями, посѣщала бы лекціи по собственному выбору и распоряжалась бы своимъ развитіемъ съ полной самостоятельностью.

XI.

Факультеты стараются образовывать специалистовъ, и вмѣсто того образуютъ только одностороннихъ теоретиковъ. Студентъ по выходѣ изъ университета находится въ положеніи Сократа: онъ знаетъ только то, что ничего не знаетъ, по крайней мѣрѣ, ничего такого, что приложимо къ жизни и къ какой-нибудь отрасли труда. Въ этомъ я и не упрекаю университетъ, совсѣмъ не его дѣло учить молодого человека ремеслу; но если все устройство университета видимо направлено къ тому, чтобы образовывать нѣсколько сортовъ ремесленниковъ, и если, при всемъ томъ, ремесленники не выходятъ изъ университетовъ, а формируются и обучаются уже послѣ выхода, подъ вліяніемъ практической дѣятельности, то очевидно, не достигается ни та широкая цѣль, къ которой долженъ бы былъ стремиться университетъ, ни та узкая цѣль, къ которой онъ направленъ въ настоящее время. Университетъ не даетъ намъ истинно образованныхъ людей, потому что его устройство ставитъ много препятствій на пути самостоятельнаго умственнаго развитія учащихся; университетъ не даетъ специалистовъ, потому что специалистъ не можетъ образоваться школа, его образуетъ только самая работа, — что же даетъ намъ университетъ? людей, пропитанныхъ умозрѣніями, принимающихъ теоріи за аксіомы, уходящихъ отъ жизни въ книгу и сохраняющихъ въ своихъ фразахъ и разсужденіяхъ отпечатокъ того факультета, въ которомъ они были замкнуты. Я очень хорошо знаю, что многіе изъ теперешнихъ и бывшихъ студентовъ вовсе не подходятъ подъ эту характеристику; я знаю, что между ними найдется много людей, смотрящихъ на жизнь свѣтло и разумно; но я знаю также, что эти люди развиваются по-

мимо университета, и что всѣ неудобства современнаго университетскаго устройства сознательно чувствуются ими и производятъ на нихъ самое тяжелое впечатлѣніе. Защитники современнаго университетскаго устройства очень недовольны теперешними студентами, и неудовольствіе это началось именно съ тѣхъ поръ, какъ студенты поняли неудовлетворительность однихъ профессорскихъ лекцій и начали искать собственными силами въ жизни и въ литературѣ матеріаловъ для своего развитія.

Это значитъ, что современное устройство университетовъ не удовлетворяетъ ни тѣхъ, для кого оно составлено, ни тѣхъ, кто его защищаетъ. Для первыхъ, то есть для учащихся, оно стѣснительно. Вторые, то есть заматерѣлые профессора, находятъ его слабымъ и неспособнымъ сдерживать развитіе студентовъ въ строю—въ опредѣленныхъ границахъ. Молодая жизнь вездѣ просачивается черезъ обветшалыя плотины, затрудненія обходятся, препятствія преодолеваются, но изъ этого не слѣдуетъ, чтобы затрудненія и препятствія уже теперь были безвредны. Чтобы оцѣнить ихъ по достоинству, чтобы увидѣть въ нихъ не содѣйствіе, а помѣху, молодому человѣку нужно много остроумія и проницательности; чтобы вступить съ ними въ борьбу и одолѣть ихъ, нужно много энергіи и много драгоценнаго времени. Часто большая половина университетскихъ годовъ уходитъ у студента исключительно на то, чтобы убѣдиться въ ложности и бесплодности господствующаго направленія занятій. Конечно испытывать разочарованія полезно, но по всей вѣроятности защитники современнаго университетскаго устройства ожидаютъ отъ университетовъ не того, чтобы они снабжали студентовъ разочарованіями.

Не одни студенты испытываютъ на себѣ неудобства современнаго университетскаго устройства; эти неудобства падаютъ и на профессоровъ. Профессоръ университета по роду своихъ занятій мало отличается въ настоящее время отъ учителя гимназій. Вся разница между ними заключается въ томъ, что учитель спрашиваетъ уроки во время каждаго класса, а профессоръ спрашиваетъ уроки за цѣлый годъ, на экзаменѣ. Отношенія учителя къ ученикамъ гораздо проще и откровеннѣе, чѣмъ отношенія профессора къ своимъ слушателямъ. Учитель очень хорошо знаетъ, что ученики сошлись къ нему въ классъ по звонку, безъ всякаго особеннаго желанія учиться; обыкновенно учитель не придаетъ никакого значенія желанію или нежеланію учениковъ, ставитъ имъ за нежеланіе плохіе баллы, оставляетъ ихъ безъ обѣда или безъ отпуска, и дѣло съ концомъ. Профессоръ также можетъ предполагать, что большая часть его слушателей сидитъ въ его аудиторіи по долгу службы и задариваетъ его своимъ присутствіемъ для предстоящаго экза-

мена; но какъ убѣдиться въ этомъ? Какъ отдалить слушателей, любящихъ его науку и его лекціи, отъ слушателей, высиживающихъ въ его аудиторіи хорошій баллъ? Какъ узнать дѣйствительныя потребности слушателей, записывающихъ съ одинаковымъ усердіемъ все, что благоудно сказать господину профессору? Какъ заговорить откровенно съ слушателемъ, который прежде всего видитъ въ профессорѣ будущаго экзаменатора? Положеніе добросовѣстнаго профессора чрезвычайно щекотливо. Добросовѣстный профессоръ знаетъ, что официальность студентовъ въ отношеніи къ нему совершенно оправдывается: во-первыхъ, общимъ устройствомъ университета, во-вторыхъ, личностью и дѣятельностью большей части другихъ профессоровъ. Онъ—добросовѣстный профессоръ, не формалистъ, но онъ знаетъ, что по настоящему онъ обязанъ быть формалистомъ; знаетъ и то, что въ сосѣдней аудиторіи сидитъ профессоръ-формалистъ, которому нѣтъ никакого дѣла до истинныхъ потребностей слушателей. Конечно, между добросовѣстнымъ профессоромъ и дѣльнымъ студентомъ могутъ установиться разумныя отношенія независимыя отъ экзаменовъ; но для этого надобно, чтобы профессоръ и студентъ узнали другъ-друга, а это вовсе не легко, потому что они поставлены другъ къ другу въ обязательныя отношенія; профессору неловко сдѣлать шагъ къ сближенію съ студентомъ, потому что онъ видитъ съ его стороны официальность и недовѣріе; студенту также неловко, потому что профессоръ можетъ подумать, что студентъ заискиваетъ въ немъ для экзамена. Такая простая вещь, какъ довѣрчивое сближеніе между человѣкомъ знающимъ и человѣкомъ желающимъ знать, становится затруднительною,—почему? Опять-таки потому, что существуютъ права, и вслѣдствіе того, обязательные экзамены. Эти экзамены, смотря по личности профессора, бываютъ или очень трудны, или очень легки. Если профессоръ—формалистъ, то малѣйшее отклоненіе отъ записокъ принимается въ расчетъ, какъ доказательство непосѣщенія лекцій; если профессоръ—не формалистъ, то онъ во всякомъ случаѣ и за всякій отвѣтъ ставитъ удовлетворительный баллъ. Въ первомъ случаѣ студентъ принужденъ зубрить, какъ гимназистъ, или какъ бурсакъ; во второмъ случаѣ онъ приходитъ на экзаменъ, чтобы исполнить формальность. Очевидно, что въ первомъ случаѣ экзамены вредны, а во второмъ бесполезны. Но конечно полнѣе отмѣнена всякихъ экзаменовъ, и выпускныхъ, и переходныхъ, возможна только тогда, когда университеты не будутъ давать своимъ слушателямъ никакихъ правъ. Поэтому отмѣненіе правъ должна быть желаніемъ всѣхъ людей, пренебрегающихъ къ сердцу судьбу высшаго образованія въ нашемъ отечествѣ.

XII.

Мы рассмотрѣли такимъ образомъ недостатки нашего гимназическаго образованія и показали слабую сторону нашихъ университетовъ. Теперь нетрудно будетъ обозначить въ самыхъ общихъ чертахъ тѣ преобразованія, въ которыхъ нуждаются гимназій и университеты. Въ гимназической программѣ нѣтъ общаго плана; собранія словъ и фразъ называются науками; рассказы и гипотезы вытѣняютъ собою серьезныя знанія; занятія учениковъ работаетъ постоянно, а мыслительныя способности ихъ находятся въ бездѣйствіи. Конечно все это должно быть передѣлано. Въ программу должно быть внесено строгое единство общаго плана; фразы, называющіяся въ своей совокупности исторіей, политической географіей, теоріей словесности и т. д., должны быть оставлены за штатомъ; рассказы и гипотезы должны уступить мѣсто научнымъ аксіомамъ и теоремамъ; мыслительныя способности учениковъ должны вступить въ отправленіе своихъ естественныхъ обязанностей. Всѣ эти метафоры могутъ быть произведены только въ томъ случаѣ, когда будетъ измѣнена самая подкладка образованія. До сихъ поръ въ нашихъ школахъ изучали преимущественно чловѣка и его духовныя произведенія, а теперь надобно изучать природу. Это единственное средство выдти изъ области догадокъ и предположеній, фразъ и возгласовъ, красивыхъ теорій и бессмысленнаго зубрѣнія. Это единственное средство ввести учениковъ въ область точнаго знанія, добросовѣстнаго изслѣдованія и живого мышленія.

Я доказалъ уже, говоря о преподаваніи исторіи и географіи въ гимназіяхъ, что изученіе чловѣка и его гражданской жизни по своей сложности недоступно гимназистамъ; я доказалъ также, что изученіе это въ дѣйствительности не существуетъ, и что историческія и географическія знанія гимназистовъ составляютъ самый печальный оптический обманъ. Одного этого обстоятельства уже достаточно, чтобы навсегда отложить поученіе о такъ называемомъ гуманномъ образованіи; объ этомъ образованіи не стоитъ жалѣть; оно кажется удовлетворительнымъ только тогда, когда нѣтъ лучшаго; оно считалось хорошимъ тогда, когда естественныя науки были въ колыбели; оно существуетъ теперь по тому же самому, почему существуютъ индиге антики, давно осужденныя на смерть наукой и здравымъ смысломъ; существуетъ потому, что крѣпка наша рутина, велико наше невѣжество, безгранично наше равнодушіе къ умственнымъ интересамъ подрастающихъ поколѣній. Благодаря невѣжеству и рутинѣ, естественныя науки такъ оклеветаны въ нашемъ обществѣ, что совѣтъ положить ихъ въ основу нашего школьнаго образованія покажется многимъ про-

свѣщеннымъ педагогамъ преступнымъ посягательствомъ на умственную непорочность учащагося отрочества. За естественными науками стоитъ призракъ матеріализма, выдуманный отъ нечего дѣлать волхвами и кудесниками московской журналистики. Доказать, что матеріализмъ намъ вовсе не опасенъ, что онъ у насъ даже вовсе не существуетъ—конечно, нетрудно, но это доказываніе ни къ чему не поведетъ; когда общество наслушалось нелѣпныхъ толковъ, когда оно напугано ими, тогда оно не вѣритъ доказательствамъ. Попробуйте доказать крестьянскому мальчику, что нѣтъ на свѣтѣ домового, и вы увидите, какъ блистательная аргументація ваша разобьется объ укоренившійся предрасудокъ, превратившійся уже въ инстинктивное чувство. Я очень хорошо знаю, что мои мысли о гимназическомъ образованіи и о необходимости положить въ его основу естественныя науки будутъ приняты въ обществѣ очень недоброжелательно; я знаю, что объ осуществленіи подобной мысли смѣшно даже мечтать. Но я думаю, что между журнальной статьёй и дѣловымъ проектомъ существуетъ значительная разница. Проектъ долженъ быть практиченъ и непосредственно приложимъ къ дѣлу; онъ долженъ принимать въ соображеніе взгляды, мнѣнія и даже современныя предрасудки общества. Что же касается до простой журнальной статьи, то ея дѣло просто бросить въ общество ту или другую мысль. Авторъ отвѣчаетъ только за честность этой мысли и за искренность собственнаго убѣжденія. Дѣло общества принять, или отбросить эту мысль, оспаривать ее, или оставить ее вовсе безъ вниманія. Поэтому, не смущаясь добродѣтельными отвращеніемъ общества къ естественнымъ наукамъ и къ матеріализму, и въ то же время не заботясь о практической приложимости моего разсужденія, я покажу, почему именно одиѣ естественныя науки, положенныя въ основу общаго образованія, могутъ развить умъ и сообщить учащемуся прочныя знанія.

Во-первыхъ, знанія о природѣ исполнѣе соотвѣтствуютъ естественнымъ потребностямъ дѣтскаго ума. Первые проблески ребяческой любознательности направляются прямо на окружающія впечатлѣнія. Спрашиваетъ-ли когда-нибудь ребенокъ о томъ, что было тысячу лѣтъ тому назадъ? Нѣтъ, онъ и представить себѣ не можетъ такую крупную цифру и такую далекую эпоху. Стало быть, исторія дается ребенку помимо его желанія; она не отвѣчаетъ никакой потребности его ума. Спрашиваетъ-ли ребенокъ: что такое красота, добро, истина? Когда ему правится картинка или игрушка, спрашиваетъ ли онъ: почему это мнѣ правится? Конечно нѣтъ. Отвлеченіе и анализъ собственныхъ впечатлѣній—такіе процессы, которые совершенно несвойственны уму ребенка. Стало быть, логика, эстетика и весь хламъ теорій словесности даются

ребенку помимо его желанія. Но вѣдь извѣстно, что ребенокъ постоянно пристаётъ къ взрослымъ съ вопросами. О чемъ же онъ спрашиваетъ? Конечно о томъ, что онъ видитъ. Отчего мѣсяцъ сегодня стоитъ на небѣ серпомъ, а недѣлю тому назадъ былъ круглый? Отчего собака ѣстъ хлѣбъ, а кошка не ѣстъ? Отчего бутылка съ водою лопнула на морозѣ? Отчего облака по небу ходятъ? Отчего дождь идетъ? Вотъ вопросы ребенка, и ребенокъ такъ разнообразитъ ихъ, что вамъ становится очевиднымъ, какъ они рождаются въ головѣ его подъ вліяніемъ свѣжихъ и постоянно измѣняющихся впечатлѣній.

Періодъ такой живой любознательности обыкновенно продолжается недолго; взрослые большею частью отвѣчаютъ на вопросы ребенка такъ глупо, что ребенку надоѣдаетъ спрашивать. Ему приходится думать одно изъ двухъ: или то, что на его вопросы вовсе не существуетъ удовлетворительнаго отвѣта, или то, что орудующіе его взрослые не понимаютъ нелѣпости своихъ отвѣтовъ. Въ первомъ случаѣ онъ мирится съ незваніемъ, и любознательность его засыпаетъ; во второмъ случаѣ онъ ищетъ отвѣта, какъ искалъ отвѣта Ломоносовъ. Конечно второй случай гораздо рѣже перваго. Но въ томъ и въ другомъ случаѣ знакомство съ естественными науками должно привести ребенка въ восхищеніе. Разумный отвѣтъ на одинъ вопросъ порождаетъ въ умѣ десятокъ новыхъ вопросовъ, и ребенокъ приобретаетъ прочныя свѣдѣнія, даже не подозревая того, что онъ началъ учиться. Если естественныя науки преподаются ребенку сколько-нибудь разумно, то конечно удовольствіе, испытанное имъ при первомъ знакомствѣ съ законами природы, будетъ увеличиваться по мѣрѣ того, какъ это знакомство будетъ дѣлаться болѣе короткимъ и сознательнымъ. Знаніе природы ни въ какомъ случаѣ, ни при какихъ условіяхъ жизни, ни въ какомъ общественномъ положеніи не можетъ быть мертвымъ капиталомъ ни для ребенка, ни для взрослого человѣка. Всякая школьная мудрость забывается за порогомъ школы, потому что самое существованіе этой мудрости поддерживается и обуславливается только затхлой атмосферой школы; но природа окружаетъ человѣка вездѣ; стало-быть человѣкъ, однажды заинтересовавшійся изученіемъ ея силъ и законовъ, уже никогда не забудетъ того, что онъ о ней знаетъ, и всегда будетъ стремиться къ расширенію своихъ свѣдѣній. Только однѣ естественныя науки глубоко коренятся въ живой дѣйствительности: только онѣ совершенно независимы отъ теорій и фикцій; только въ ихъ области не проникаетъ никакая реакція; только онѣ образуютъ сферу чистаго знанія, чуждаго всякихъ тенденцій; слѣдовательно только естественныя науки ставятъ человѣка лицомъ къ лицу съ дѣйствительною жизнью, неподкрашеною правоученіями, необрѣзанною системами,

несочиненной досужнымъ мышленіемъ философовъ. И между тѣмъ эти самыя естественныя науки до сихъ поръ считаются достояніемъ заклятыхъ специалистовъ; исторію, теорію словесности должны знать всѣ образованные люди, а законы и отправленія жизни, которая проявляется во всѣхъ органическихъ существахъ, начиная отъ лишаевъ и водорослей и кончая обезьяной и человѣкомъ, эти законы писаны только для двухъ-трехъ десятковъ чудаковъ, называемыхъ натуралистами. Остальному обществу, называющему себя образованнымъ, до нихъ нѣтъ никакого дѣла, — ему, по русской пословицѣ, законъ не писанъ. Конечно такое непостижимое равнодушіе къ тому, что насъ постоянно окружаетъ и постоянно дѣйствуетъ на насъ, можетъ быть объяснено только крайнею неразвитостію, которую, безъ малѣйшаго преувеличенія, можно назвать полной умственной слѣпотой. Лечить отъ этой слѣпоты взрослыхъ уже можетъ-быть поздно; но предохранить отъ нея дѣтей — это должно быть святой обязанностью всѣхъ отцовъ и воспитателей. Общество наше погружено въ спячку; у него нѣтъ никакихъ серьезныхъ умственныхъ интересовъ, а между тѣмъ великая книга природы открыта передъ всѣми, и въ этой великой книгѣ до сихъ поръ, трудами немногихъ замѣчательныхъ дѣятелей, прочтены только первыя страницы.

Ктѣ же виноватъ въ томъ, что наши достаточные и *soi-disant* образованные классы ничего не дѣлаютъ и ничѣмъ не интересуются? Виновато очевидно направленіе ихъ образованія; школа ничѣмъ не заинтересовала ихъ, и это обстоятельство даже дѣлаетъ честь ихъ природному уму, потому что въ нашихъ школахъ дѣйствительно заинтересоваться нечѣмъ. Если бы Александръ Гумбольдтъ учился въ русской гимназіи или въ русскомъ кадетскомъ корпусѣ, то по всей вѣроятности онъ сдѣлался бы ревностнымъ посѣтителемъ баловъ и балетовъ, вѣстѣе того, чтобы быть натуралистомъ и путешественникомъ. Вѣдь Александръ Гумбольдтъ былъ барономъ и богатымъ человѣкомъ, — стало-быть нѣтъ ничего несбыточнаго въ той мысли, что при разумномъ направленіи образованія даже высшіе классы нашего общества могутъ перейти отъ танцевъ къ другимъ занятіямъ, болѣе достойнымъ человѣка и болѣе полезнымъ для человечества. Кому же удобнѣ всего разрабатывать науку, какъ не тѣмъ людямъ, которые обезпечены въ матеріальномъ отношеніи? И эти люди дѣйствительно стали бы разрабатывать науку, если бы были заинтересованы ею съ дѣтства. А заинтересовать человѣка съ дѣтства можетъ только изученіе природы.

Говорить о практической пользѣ естественныхъ наукъ, указывать на паровыя машины, на желѣзныя дороги, на электрическіе телеграфы, на микроскопъ, химическій анализъ и успѣхи

физиологич—значило бы повторять фразы, встречающиеся въ предисловіяхъ ко всевозможнымъ оригинальнымъ и переводнымъ книгамъ по естественнымъ наукамъ. Я воздержусь отъ этого словозверженія. Читатель самъ понимаетъ, что все матеріальное благосостояніе человѣчества зависитъ отъ его господства надъ окружающею природою, и что это господство заключается только въ знаніи естественныхъ силъ и законовъ. Но читатель можетъ-быть не обращалъ вниманія на то обстоятельство, что эти знанія до сихъ поръ вырабатывались только десятками людей; сотни и тысячи принимали уже выработанные результаты, питались готовыми кушаньями и слѣдовательно сами нисколько не помогали стрипти. А почему они не помогали? Неужели потому, что они всѣ были неспособны помогать? Такое предположеніе совершенно неправдоподобно. Неужели наши мужики потому неграмотны, что неспособны выучиться азбукѣ? Вѣдь это уже очевидная нелѣпость. Мужики неграмотны, потому что разныя постороннія обстоятельства мешали имъ учиться; точно также сотни и тысячи образованныхъ людей оставались равнодушными къ изученію природы, потому что направленіе ихъ образованія не давало имъ познакомиться съ азбукою естествознанія. Но между мужиками находились и находятся люди, въ которыхъ желаніе учиться такъ сильно, что оно вырывалось даже изъ-подъ гнета неблагоприятныхъ обстоятельствъ. Точно также между образованными людьми попадаются личности замѣчательныя по своей любознательности, личности умѣющія вырваться изъ того ограниченного круга идей и понятій, въ который ставитъ ихъ господствующее направленіе общаго образованія. Эти немногія личности, превращающіяся въ чудаковъ и натуралистовъ, несутъ на плечахъ свой весь трудъ матеріальнаго прогресса человѣчества. Если бы этихъ личностей было больше, то очевидно завоеванія человѣчества въ области естествознанія совершались бы быстрѣе; а вмѣстѣ съ тѣмъ и вся жизнь человѣчества представляла бы меньше лишеній и страданій, меньше горя и бѣдности. Если бы азбука естествознанія была такъ-же распространена, какъ та азбука, по которой мы учимся читать, то число изслѣдователей природы навѣрное увеличилось бы въ нѣсколько десятковъ разъ, и труды этихъ изслѣдователей сдѣлались бы также гораздо плодотворнѣе, чѣмъ теперь, потому что всѣ результаты изслѣдованія обобщались и прилагались бы къ жиз-

ни несравненно быстрѣе и полнѣе теперешняго. Рутиня и предрасудки погибли бы на вѣки, потому что они держатся теперь, только благодаря тому обстоятельству, что самые простые законы природы неизвѣстны даже образованному обществу.

Наконецъ самый законъ умовъ сдѣлается тверже, когда естественныя науки будутъ положены въ основу общаго образованія. Естественныя науки важны и значительны не только по предмету своего изученія, но и по своему методу. Это—науки, основанныя исключительно на наблюденіи и опытѣ. Собственно говоря, только математическія и естественныя науки имѣютъ право называться науками. Только въ нихъ гипотезы не остаются гипотезами; только онѣ показываютъ намъ истину и даютъ намъ возможность убѣдиться въ томъ, что это дѣйствительно истина. Эти науки сообщаютъ человѣку, посвятившему себя ихъ изученію, такую трезвость и неподкупность мышленія, такую требовательность въ отношеніи къ своимъ и къ чужимъ идеямъ, такую силу критики, которая сопровождаетъ этого человѣка за предѣлы выбранныхъ имъ наукъ, которая не оставляетъ его въ дѣйствительной жизни и кладетъ свою печать на всѣ его разсужденія и поступки.

По всѣмъ этимъ причинамъ я полагаю, что изученіе математическихъ и естественныхъ наукъ должно быть положено въ основаніе нашей гимназической программы. Кромѣ этихъ наукъ должны оставаться только законъ божій, русская грамматика и новѣйшіе языки. Что касается до университета, то онъ нуждается только въ отлѣнѣ правъ и ограниченій. Реформа гимназій естественно отразится на немъ, и потребности слушателей выразятся сами собою въ томъ обстоятельствѣ, что одніе аудиторіи будутъ биткомъ набиты, а другія останутся пустыми. Въ гимназіяхъ должна *быть произведена* реформа, а университетъ *самъ себя* реформируетъ, если только будутъ устранены искусственныя препятствія. Реформа образованія должна быть начата съ низшихъ заведеній, потому что въ нихъ заключается корень нашего умственного безсилія. Все это теорія и мечта, скажетъ читатель, и я скажу тоже самое, и это нисколько не приведетъ меня въ смущеніе и въ раскаяніе. Я говорю о томъ, что должно быть, а не о томъ, что дѣлается теперь, и не о томъ, что будетъ дѣлаться въ будущемъ году.

1863 г. Іюнь.

ИСТОРИЧЕСКІЕ ЭСКИЗЫ.

I.

Когда мы разсматриваемъ какой-нибудь отдѣльный поступокъ, тогда мы обыкновенно по человѣческой слабости вдаемся въ лиризмъ и, смотря по свойствамъ даннаго поступка, чувствуемъ приливы негодованія или благоговѣнія, ужаса или восторга, огорченія или удовольствія. Всѣ эти чувства въ значительной степени ослабѣваютъ, когда мы начинаемъ принимать въ соображеніе, кромѣ голаго факта, ту ближайшую причину, изъ которой развился этотъ фактъ. Если отъ ближайшихъ причинъ мы станемъ переходить къ причинамъ болѣе отдаленнымъ, то лирическіе порывы наши постоянно будутъ остывать болѣе и болѣе, такъ что наконецъ взволнованный насъ фактъ будетъ интересоваться насъ только какъ предметъ изученія.

Человѣкъ А въ извѣстномъ случаѣ поступилъ хорошо или дурно. Спрашивается, почему онъ поступилъ такъ, а не иначе? Потому конечно, что ему иначе нельзя было поступить. Во-первыхъ, случай былъ именно тотъ, а не другой, а во-вторыхъ, дѣйствующимъ лицомъ былъ именно А, а не В и не С. Слѣдовательно, чтобы объяснить себѣ поступокъ, надо разсмотрѣть, во-первыхъ, обстоятельства даннаго случая, а во-вторыхъ, характеръ дѣйствующаго лица. Видя, что наши лирическія изліянія неуѣдены въ отношеніи къ отдѣльному поступку, мы обыкновенно переносимъ ихъ на характеръ самого человѣка. Но и въ этомъ случаѣ мы дѣйствуемъ неосмотрительно. Если извѣстный поступокъ есть неизвѣстный результатъ извѣстнаго характера, поставленнаго въ извѣстное положеніе, то характеръ, въ свою очередь, есть такой-же неизвѣстный результатъ многихъ физіологическихъ, климатическихъ, историческихъ и разныхъ другихъ данныхъ. Если-бы мы могли прослѣдить жизнь человѣка съ минуты его рожденія до того времени, когда характеръ оказался совершенно сформированнымъ, то мы увидѣли-бы передъ собою непрерывную цѣпь причинъ и слѣдствій. Спрашивается, на какое-же звено этой цѣпи мы имѣемъ разумное основаніе изливать нашъ гнѣвъ или наше благоговѣніе? Намъ приходится или воздерживаться отъ лирическихъ увлеченій, или обращать ихъ на первое звено цѣпи, т. е. на новорожденнаго младенца. Но если даже мы способны дойти въ своемъ лиризмѣ

до такой нелѣпости, то намъ все-таки и здѣсь предстоитъ разочарованіе. Новорожденный ребенокъ совсѣмъ не первое звено; онъ, въ свою очередь, слѣдствіе безчисленнаго множества причинъ. Перваго звена мы никогда не найдемъ. Метафизики были терпѣливѣе насъ, однако ничего не нашли и принуждены были кое-что выдумать. Слѣдовательно лиризму нашему окончательно приходится улетучиваться въ пространство. Въ житейской практикѣ не всегда удобно и часто бесполезно бываетъ прогонять лиризмъ серьезнымъ размышленіемъ и основательнымъ изученіемъ причинъ. Во-первыхъ, на это занятіе пришлось-бы тратить очень много времени, а во вторыхъ, біографіи окружающихъ насъ людей очень рѣдко представляютъ что-либо интересное. Но когда мы беремся за изученіе историческихъ явленій, тогда всякій лиризмъ долженъ быть устраненъ съ неумолимой строгостью. Присутствіе лиризма всегда, какъ въ практической жизни, такъ и въ теоретическомъ размышленіи, служить вѣрнѣйшимъ признакомъ недостаточнаго знакомства съ предметомъ. Когда мы повидаемъ вполнѣ какое-нибудь явленіе, тогда мы не можемъ ни негодовать противъ него, ни благоговѣть передъ нимъ.

Для потребностей практической жизни намъ достаточно знать окружающіе предметы настолько, насколько эти предметы могутъ обусловливать собою наши поступки. Если я имѣю съ А денежныя дѣла, то мнѣ необходимо знать мошенникъ-ли онъ, или не мошенникъ; но мнѣ нѣтъ никакой практической надобности размышлять о томъ, что именно сдѣлало его мошенникомъ, или помогло ему остаться честнымъ человѣкомъ.

Когда-же я пускаюсь въ теоретическія размышленія, тогда мнѣ необходимо вести изслѣдованіе такъ далеко, какъ только позволяютъ наличные матеріалы и мои собственные умственные силы. Кто въ теоретическихъ размышленіяхъ останавливается на половинѣ дороги, удовлетворяясь полужнаніемъ и полупониманіемъ, тому, собственно говоря, нѣтъ никакой надобности заниматься такими размышленіями. Кто въ области мысли обрекаетъ себя на эту узкость поверхностности сужденій, которая господствуетъ въ нашей вседневной жизни, тому не зачѣмъ и забираться въ область мысли. Кто разбираетъ историческія событія съ тѣмъ близорукимъ пристрастіемъ, съ которымъ онъ разсуждаетъ о сво-

ихъ добрыхъ знакомыхъ, тому было бы лучше вовсе не заниматься исторіей. Исторія обогащаетъ насъ новыми идеями и расширяетъ нашъ умственный горизонтъ только въ томъ случаѣ, когда мы изучаемъ какое-нибудь событіе въ его естественной связи съ его причинами и съ его послѣдствіями. Если мы вырвемъ изъ исторіи отдѣльный эпизодъ, то мы увидимъ передъ собою борьбу партій, игру страстей, фигуры добродѣтельныхъ и порочныхъ людей; однимъ мы станемъ сочувствовать, противъ другихъ будемъ негодовать; но сочувствіе и негодованіе будутъ продолжаться только до тѣхъ поръ, пока мы не поставимъ вырваннаго эпизода на его настоящее мѣсто, пока мы не поймемъ той простой истины, что весь этотъ эпизодъ во всѣхъ своихъ частяхъ и подробностяхъ совершенно логично и неизбѣжно вытекаетъ изъ предшествующихъ обстоятельствъ.

Какъ ни проста эта истина, однако многіе писатели, разсуждающіе объ исторіи, и многіе историки, пользующіеся очень громкой извѣстностью, совершенно теряютъ ее изъ виду въ своихъ историческихъ сочиненіяхъ. Раскройте напримѣръ Маколей, и вы увидите, что онъ на каждой страницѣ кого-нибудь оправдываетъ, или кого-нибудь обвиняетъ, кому-нибудь свидѣлствуетъ свое почтеніе, или кому-нибудь дѣлаетъ строжайшій выговоръ. Всѣ эти оправданія или обвиненія, почтенія или выговоры служатъ только признаками неяснаго или неполнаго пониманія событій. Моральистъ вытѣсняетъ историка, потому что у историка не хватаетъ матеріаловъ, или не достаетъ принципиальности. Въ приговорахъ Маколей заключаетъ такой смыслъ: я, говоритъ онъ, умирею такого-то; я понимаю политику лучше такого-то; я бы не сдѣлалъ такой-то ошибки и т. д. На это читатель имѣетъ полное право возразить, что ему нѣтъ дѣла до тѣхъ прекрасныхъ свойствъ ума и сердца, которыми обладаетъ Маколей; ему нѣтъ дѣла до того, какъ поступилъ бы историкъ, находясь въ такомъ или въ другомъ положеніи; ему любопытно было знать, какъ поступила дѣйствительная историческая личность, почему она поступила такъ, а не иначе, и почему ея поступки имѣли важное значеніе для ея современниковъ. Дѣло историка — разсказать и объяснить; дѣло читателя — передумать и понять предлагаемое объясненіе; когда историкъ и читатель, каждый съ своей стороны, исполняютъ свое дѣло, тогда уже не останется мѣста ни для оправданія, ни для обвиненія. Мыслящій изслѣдователь вглядывается въ памятники прошедшаго для того, чтобы найти въ этомъ прошедшемъ матеріалы для изученія человѣка вообще, а не для того, чтобы погрозишь кулакомъ покойнику Сидору или поглядѣть по головкѣ покойника Антона. Исторія до сихъ поръ не сдѣлалась наукою, но между тѣмъ только въ исторіи мы можемъ найти матеріалы для рѣшенія многихъ вопросовъ первостепенной важности. Только исто-

рія знакомить насъ съ массами; только вѣковые опыты прошедшаго даютъ намъ возможность понять, какъ эти массы чувствуютъ и мыслятъ, какъ онѣ измѣняются, при какихъ условіяхъ развиваются ихъ умственные и экономическія силы, въ какихъ формахъ выражаются ихъ страсти и до какихъ предѣловъ доходитъ ихъ терпѣніе. Исторія должна быть осмысленнымъ и правдивымъ разсказомъ о жизни массы; отдѣльныя личности и частныя событія должны находить въ ней мѣсто настолько, насколько они дѣйствуютъ на жизнь массы или служатъ къ ея объясненію. Только такая исторія заслуживаетъ вниманія мыслящаго человѣка, а въ такой исторіи очевидно нѣтъ мѣста ни для похвалы, ни для порицанія, потому что хвалить или порицать массу все равно, что хвалить березу за бѣлый цвѣтъ коры или полемизировать противъ дождливой погоды. Масса есть стихія, а стихію конечно нельзя ни любить, ни ненавидѣть; ее можно только разсматривать и изучать. До сихъ поръ масса была всегда затерта и забыта въ дѣйствительной жизни; точно также затерта и забыта она была и въ исторіи. На первомъ планѣ стояла въ исторіи біографія и нравственная философія. Вся колоссальная знаменитость Маколей и всѣ успѣхи его безчисленныхъ подражателей основаны на рисованіи историческихъ портретовъ и на торжественномъ произнесеніи оправдательныхъ и обвинительныхъ приговоровъ. Эти портреты и приговоры мѣшаютъ читателю додуматься до настоящаго назначенія исторіи и слѣдовательно положительно вредятъ успѣхамъ разумнаго и плодотворнаго историческаго изученія. Нравственная философія такъ-же мало относится къ исторіи, какъ напримѣръ къ органической химіи или къ сравнительной анатоміи. Что же касается до біографій, то она должна занимать въ исторіи очень скромное мѣсто. Частная жизнь только тогда интересна для историка, когда она выражаетъ въ себѣ особенности той коллективной жизни массъ, которая составляетъ единственный предметъ, вполне достойный историческаго изученія.

Собираясь говорить съ читателями о томъ переломѣ, который въ концѣ прошедшаго столѣтія опрокинулъ во Франціи всѣ средневѣковыя учрежденія, я счелъ нелишнимъ высказать сначала нѣсколько общихъ мыслей объ историческомъ изученіи. Познакомившись съ этими мыслями, читатель пойметъ заранее, какъ я намѣренъ вести мой разсказъ. Онъ увидитъ, что я не хочу произносить никакихъ приговоровъ, потому что всякій приговоръ надъ историческимъ событіемъ я считаю вопіющей нелѣпностью; онъ увидитъ далѣе, что я вовсе нерасположенъ впутываться въ біографическія подробности и разрывать груду тѣхъ придворныхъ и городскихъ скандаловъ, слуховъ и интригъ, которыми такъ богата эта чуждая эпоха. Меня занимаетъ исключитель-

или внушалъ имъ почтеніе своей поразительной величавостью: для достиженія своихъ цѣлей онъ пускалъ въ ходъ всѣ чувствительныя струны человѣческой души. Онъ эксплуатировалъ въ свою пользу тщеславіе дворянства, властолюбіе чиновничества, нетерпимость духовенства и наконецъ стремленіе къ приобритенію, въ одинаковой степени свойственное аристократамъ, бюрократамъ и церковникамъ. На кого не дѣйствовали кроткія ласки, на того можно было навести спасительный страхъ, и наконецъ оставались еще въ запасъ насильственные мѣры. Если въ какой-нибудь провинціи слышался ропотъ, то ропотъ этотъ умолкалъ при вступленіи въ провинцію военнаго отряда; если какой-нибудь городской магистратъ не во время вспоминалъ о своихъ неотмѣненныхъ правахъ, то въ городѣ ставились на постой войска, и магистратъ убѣждался въ томъ, что права его составляютъ анахронизмъ; наконецъ парламентскіе совѣтники и чиновники, получившіе свои должности по наслѣдству, не могли быть замѣнены другими лицами, но за то для нихъ и вообще для всякаго человѣка, изъяснявшаго притязаніе на самостоятельность, были всегда готовы въ неограниченномъ количествѣ гостепріимныя камеры Бастиліи, Венсенскаго замка и разныхъ другихъ общепользныхъ учрежденій.

Всѣми этими и многими другими средствами Людовикъ XIV пользовался съ замѣчательнымъ искусствомъ. Его положенію завидовали и его примѣру безсмысленно подражали всѣ современные ему государи Европы. Въ продолженіи нѣсколькихъ десятилѣтій лѣтъ онъ стоялъ на такой недостижимой высотѣ, на которой слухъ его не могъ быть возмущенъ ни тихой жалобой, ни робкимъ противорѣчіемъ. Всѣ силы Франціи были въ его рукѣ и онъ расходовалъ эти силы по своему усмотрѣнію, не отдавая никому отчета въ своихъ распоряженіяхъ. Одна война быстро слѣдовала за другою: деньги и рабочія руки тратились на завоевательныя попытки, имѣвшія чисто династическій интересъ, поднимавшія на Францію оружіе почти всей остальной Европы и въ слѣдствіе этого оканчивавшіяся обыкновенно неудачами и унижительными мирными трактатами. Королевская казна постоянно нуждалась въ деньгахъ, а между тѣмъ народъ постоянно платилъ такъ много, что самый изобрѣтательный финансовый гений не находилъ возможности увеличивать массу налоговъ. Чтобы добывать деньги, приходилось выдумывать новыя должности и продавать ихъ частнымъ лицамъ, приходилось отдавать на откупъ всѣ отрасли частной промышленности, приходилось вводить монополіи и приплегія во всѣ отправления народной жизни. Довело до того, что ремесло перевозчиковъ, факельщиковъ и носильщиковъ было продано въ исключительную собственность нѣсколькимъ семьямъ. Само собою разумѣется, что монопо-

листы выручали затраченные капиталы, вытягивая ихъ изъ народа; слѣдовательно, въ концѣ концовъ, всѣ войны Людовика XIV, всѣ его версальскіе дворцы, фонтаны и праздники всей своей тяжестью лежали на плечахъ французскихъ крестьянъ и французскихъ работниковъ, которымъ уже не на кого было сложить эту тяжесть. Голодъ и заразительныя болѣзни опустошали цѣлыя провинціи; сотни тысячъ жителей питались желудями и древесной корой, причемъ конечно умственное и нравственное состояніе ихъ совершенно соответствовало высотѣ ихъ матеріальнаго довольства. Въ концѣ царствованія Людовика XIV ему окончательно измѣнила даже та военная слава, которая съ незапамятныхъ временъ составляла для французовъ необходимое утѣшеніе во время неурожаевъ и тяжелыхъ налоговъ. Когда исчезло это послѣднее утѣшеніе, тогда народъ понималъ, что положеніе его дѣйствительно тяжело.

III.

При такихъ обстоятельствахъ началось царствованіе Людовика XV и регентство Филиппа Орлеанскаго. Регентъ, какъ извѣстно, былъ человѣкъ веселый и беззаботный, а король, когда выросъ и возмужалъ, сдѣлался еще веселѣе и беззаботнѣе регента. Дворъ и высшія сословія государства, подражая властелину, дышали веселостью и беззаботностью. Король былъ человѣкъ очень остроумный, и приближенные его были также по большей части люди не глупые и не лишенные образованія; всѣ они понимали, или по крайней мѣрѣ чувствовали, что государственная машина трещитъ и расклеивается, что старому обществу приходитъ конецъ и что изъ воздуха эпохи посяются идеи, радикально враждебныя всѣмъ средневѣковымъ учрежденіямъ и авторитетамъ. Всѣ чувствовали непрочность своего положенія, но такъ какъ положеніе само по себѣ въ данную минуту было все такъ пріятно, то они и смѣшили имъ наслаждаться, подражая мудрымъ эпикурейцамъ древности и съ полнымъ усміхомъ прогоняя всякія назойливыя мысли о завтрашнемъ днѣ и о будущемъ финансовомъ дефицитѣ. Въ эту веселую эпоху практической мудрости возникла извѣстная поговорка: «après moi le déluge» (послѣ меня хоть трава не расти); въ эту же эпоху король говорилъ съ лукавой улыбкой, что на его вѣкъ хватитъ, а ужъ наслѣдникъ пускай выпутывается, какъ самъ знаетъ.

Все это было очень остроумно, но все это несколько не нравилось среднему сословию, которое постоянно поспрашивало то вверхъ — на аристократію, то внизъ — на народъ, и при этомъ въ о чемъ-то размышляло и весьма неодобрительно покачивало головами. Это сословіе, имѣвшее матеріальное обезпеченіе и свободное время да

гневныхъ заятій, было насковозъ проникнуто
и XVIII столѣтія, отвергавшими въ основѣ
принципахъ и во всѣхъ отдѣльныхъ под-
ностяхъ все міросозерцаніе средневѣковой
и. Средневѣковый человѣкъ за предѣлами
свояго догмата не видѣлъ ничего, кромѣ
кой суеты, грѣховной лжи и дьявольскаго
шесія; на землю онъ смотрѣлъ, какъ на мѣсто
анія и заточенія; на всей природѣ онъ видѣлъ
то первобытнаго проклятія; себя самого онъ
сать мерзкимъ сосудомъ всякой нечистоты;
ему своему онъ чувствовалъ недоувѣріе, смѣ-
ное съ отвращеніемъ. Все это продолжалось
ѣхъ поръ, пока авторитетъ католицизма
ивался на высотѣ, недоступной для критиче-
й мысли. Но когда стали появляться попытки
сти его съ этой высоты, и когда эти попытки
ли повторяться все чаще и чаще, когда на-
ецъ сумма нѣсколькихъ счастливыхъ попы-
къ образовала собой реформацію, тогда самыя
сущіе католики принуждены были сознаться
томъ, что элементъ грѣховной лжи проникъ
се въ истолкованіе церковнаго догмата; тогда
езла граница между областю истины и обла-
ю лжи, эту границу каждому отдѣльному че-
вѣку пришлось отыскивать силами собствен-
го ума; и проклятому еретикъ, и спасающе-
ся католику по неволѣ пришлось размышлять
сначала для того, чтобы поражать другъ друга
вещическими аргументами, а черезъ нѣсколько
лѣтъ уже просто потому, что размышленіе
шло въ привычку и сдѣлалось потребностью.
оди начали открывать истины тамъ, гдѣ ихъ
все не предполагали. Земли завертѣлась подъ
гами такихъ людей, которые готовы были при-
гать и божиться, что она всегда стояла и до сихъ
рѣ стоитъ на одномъ мѣстѣ. Солнце, которое
каждый день восходитъ и садится на нашихъ
мѣстахъ, вдругъ остановилось, или по крайней
мѣрѣ было объявлено неподвижнымъ свѣтиломъ.
Каждый благомыслящій человѣкъ былъ увѣренъ
въ томъ, что онъ стоитъ на землѣ книзу ногами
и мерзеть головой, но вдругъ обнаружилось, что
есть шарообразное тѣло, по которому намъ
и нашимъ антиподамъ приходится ходить
верху ногами, такъ, какъ мухи ходятъ по по-
лу. Уже однихъ этихъ открытій было совер-
шенно достаточно для того, чтобы поставить въ
дѣкъ всякаго порядочнаго человѣка. Если
есть не стоитъ на одномъ мѣстѣ, то что же
есть этого твердо и неизменно? Если я самъ не
знаю, какъ я кожу по землѣ, кверху головой,
или кверху ногами, то что же я знаю? Гдѣ верхъ,
гдѣ низъ? Гдѣ голова, гдѣ ноги? Если меня обма-
ываютъ зрѣніе и осязаніе, то что-же меня не
ошибаетъ? Существуетъ-ли вокругъ меня
и-быть? Существуетъ-ли я самъ? И какъ, и
зачѣмъ?

эти вопросы кажутся намъ странными, потому что мы уже привыкли къ той

мысли, что мы многого не знаем и что многое навсегда останется намъ неизвѣстнымъ. Мы теперь выучились терпѣливо ждать отвѣта на наши вопросы со стороны опыта и выучились виѣсть съ тѣмъ, не задавать такихъ вопросовъ, которыхъ не можетъ разрѣшить никакой опытъ. Но средневѣковые люди въ продолженіе многихъ столѣтій знали рѣшительно все, и вдругъ имъ пришлось убѣдиться въ томъ, что они не знаютъ рѣшительно ничего; они рѣшили всѣ вопросы, и въ одинъ прекрасный день оказалось, что всѣ ихъ рѣшенія нигуда не годятся. Сотрясеніе произошло конечно такое сильное, что мыслителямъ пришлось ощущивать самихъ себя и вовсе не на шутку сомнѣваться въ собственномъ существованіи. И скептизмъ Юма, и идеализмъ Берклея, и трансцендентальный идеализмъ Канта были неизбежнымъ логическимъ слѣдствіемъ того общаго движенія мысли, которое разрушило и стерло въ порошокъ всѣ колоссальныя построенія среднихъ вѣковъ. Проникая съ неудержимой силой во всѣ отрасли умственной дѣятельности, прокладывая себѣ новые пути по всѣмъ возможнымъ направленіямъ, духъ критики и изслѣдованія создавалъ или передѣлывалъ заново философію, естествознаніе и политику. Любовь къ природѣ, уваженіе къ человѣческой личности и признаніе безусловной диктатуры человѣческаго ума сдѣлались основными элементами и руководящими принципами новаго умственнаго движенія. Во имя этихъ принциповъ стало отвергаться съ неумолимой строгостью все, что унижало и порабощало человѣческую личность, и все это оказывалось несостоятельнымъ передъ судомъ человѣческаго разума.

Когда государство Людовика XV въ цѣломъ составѣ своемъ и въ своихъ отдѣльных частяхъ было подвергнуто такому анализу, который не падалъ ни исторической давности, ни документальной законности, тогда все это государство передъ лицомъ анализирующей мысли оказалось безвозвратно осужденнымъ на неминуемое разрушеніе. Приговоръ теоретическаго мышленія имѣлъ въ этомъ случаѣ неотразимую силу, потому что мыслители приводили только въ научную систему или облекали въ стройную литературную форму тѣ разрозненныя идеи отрицанія которыя возбуждались въ каждомъ отдѣльномъ членѣ общества ежедневными столкновеніями съ живою действительностью. Политическая тактика самого Людовика XV открывала этимъ идеямъ доступъ во всѣ сферы тогдашняго общества. Король не могъ удерживать за собою постоянный перевѣсъ надъ всеми силами своего феодальнаго государства; у него не было ни того искусства, ни той настойчивости, которыя обнаруживалъ во все продолженіе своего царствованія его прадѣдъ, Людовикъ XIV; не обладая этими личными качествами, Людовикъ XV поочередно боролся и вступалъ въ союзъ съ раз-

личными общественными силами тогдашней Франціи; сначала онъ соединился съ іезуитами противъ парламентовъ, потомъ при помощи парламентовъ вступилъ въ борьбу съ вліяніемъ духовенства, а потомъ опять сдѣлался клерикаломъ для того, чтобы смирить парламенты. Когда одно изъ привилегированныхъ сословій находилось такимъ образомъ въ королевской милости, тогда другое было въ опалѣ и составляло оппозицію. Первое проникалось веселостью и беззаботностью, свойственной королю и его придворнымъ, а второе въ это время пропитывалось идеями отрицанія и, чувствуя себя обиженнымъ, старалось распространить неудовольствіе въ обществѣ. Когда первое дѣлалось вторымъ, а второе первымъ, тогда веселость и беззаботность перваго помрачались оппозиционными идеями отрицанія, а идеи отрицанія втораго мгновенно проявлялись въ лучахъ веселости и беззаботности. Въ результатѣ оказывалось, что правительственные сословія въ совершенствѣ выучились наслаждаться жизнью и въ то же время потеряли всякое довѣріе къ своей собственной дѣятельности. Великія слова; «*apres moi le déluge*» сдѣлались девизомъ всѣхъ людей, когда либо приближавшихся къ вѣнценосной особѣ Людовика XV. Но тѣ сословія, которымъ постоянно суждено было составлять молчаливую оппозицію, не поняли великаго значенія этихъ сакраментальныхъ словъ; имъ не нравились ни веселость, ни беззаботность, ни политическая тактика короля, ни періодическая оппозиція привилегированныхъ классовъ. Имъ особенно не нравилось то, что на сторонѣ королевской власти была вся матеріальная сила, а на сторонѣ феодальныхъ сословій все документальное право. Они спрашивали себя, на чью сторону склоняется разумъ? и отвѣчали себѣ на этотъ вопросъ, что разумъ отвергаетъ и то, и другое, и требуетъ чего-нибудь совершенно непохожаго на существующій порядокъ. Что же касается до массы простого народа, то онъ конечно не занимался теоретическими выкладками, но между тѣмъ не чувствовалъ также преобладающей склонности къ веселости и беззаботному наслажденію. Ему казалось особенно обиднымъ то обстоятельство, что съ каждымъ годомъ приходится больше работать для того, чтобы сильнѣе голодать; его смущала также та простая мысль, что въ будущемъ не предвидится ни уменьшенія налоговъ, ни увеличенія годовыхъ заработковъ. Представлялся гамлетовскій вопросъ: быть или не быть? А если «быть», то какъ сводить концы съ концами? Этотъ вопросъ былъ тѣмъ болѣе знаменателенъ, что онъ представлялся людямъ, никогда не читавшимъ Шекспира и даже незнакомымъ съ французской азбукой. Можно было ожидать, что они когда-нибудь рѣшатъ этотъ вопросъ довольно круто и во всякомъ случаѣ очень прямолинейно.

IV.

Важнѣйшей отраслью народнаго Франціи прошлаго столѣтія было земледѣліе. 25 милліоновъ жителей имъ занимались; изъ 51 милліона гектаровъ земли, принадлежавшей королевству, около 35 милліоновъ. Двѣ трети этого пространства принадлежали кулакамъ, дворянамъ, епископамъ, монастырямъ, а треть составляла собственность крестьянъ. Эта треть была раздроблена на такіе мелкіе куски, что крестьяне не могли прокормить своихъ владѣльцевъ, а владѣльцы несли имъ очень мало пользы. Въ эту встрѣчались такимъ образомъ двѣ стороны: съ одной стороны, владѣльцы сотенъ и тысячъ стояли владѣльцы десяти или пяти сотенъ сажень земли; между этими крайностями существовало срединное положеніе, но оно было совершенно неустойчиво, не было никакой почвы, на которой могло бы существовать. Земледѣльцы, которыхъ существовало много, не могли обезпечить продуктами земли себя и своихъ семей. Между тѣмъ находились-бы въ необходимости постоянно трудиться и собственноручно заботиться о своемъ хозяйствѣ. Для большинства крестьянъ такіе занятія были невыносимы, поэтому владѣльцу пяти квадратныхъ сажень было искать заработковъ на сторонѣ. Въ собственныхъ помѣстьяхъ ему не было приложить свой трудъ. Богатые земледѣльцы перестали жить въ своихъ имѣніяхъ, а перешли въ Парижъ, въ столицы, къ самымъ портамъ, какъ феодальное рыцарство перешло въ блестящую толпу придворныхъ. Они переселились въ столицу, сгруппировались около особы короля и появлялись въ свои имѣнія только тогда, когда прожито было много денегъ, и только затѣмъ, чтобы вынуть изъ кошелька и снова вѣшать въ Парижѣ, титовать обычную дань прелестямъ царицы жизни. Земли, изъ которыхъ извлекалось богатство дворянскихъ кошельковъ, были раздроблены на мелкіе участки въ 10 или въ 15 сотенъ, отдавались въ аренду крестьянамъ, а владѣльцы были обязаны выплачивать владѣльцу своего земледѣльческаго продукта. Зависимость отъ хозяина зерновой хлѣбной культуры, зависимость отъ хозяина скота и земледѣльческихъ орудій. Самому владѣльцу было невозможно и разсчитываться съ мужиками, поэтому онъ обыкновенно отдавалъ гуртомы на откупъ какому-нибудь адвокату, риуису, который, какъ человѣкъ, всегда умѣлъ съ большимъ избыткомъ откупную сумму и собралъ обильную сумму денегъ, и съ крестьянъ, и съ самого хозяина. Хозяинъ не зналъ, что половина ихъ хлѣба должна пойти къ владѣльцу или къ риуису, и имъ не было никакого разсчета за улучшение земли, и они постоянно

свое земледѣльческое хозяйство; когда на-
о пахать, они нанимались въ извозъ, пото-
изъ посторонняго заработка имъ ничего не
илось отдавать хозяину; они загоняли гу-
свои пшеничныя поля, потому что пшени-
а на половину хозяйская, а гуси цѣлкомъ
лежали крестьянину *); наконецъ они ста-
оставлять какъ можно больше земли подъ
, потому что на этой землѣ можно было
е скотину, которая также составляла не-
мную собственность крестьянина.

дѣліе велось такимъ образомъ безъ
, безъ знанія, и совершенно безъ капи-
хорошіе урожан были невозможны: пше-
ожидалась самъ-пять и самъ-шесть, а въ
въ то-же самое время она давала самъ-
цать. Это объясняется отчасти тѣмъ, что
время самая высокая рента Англіи не пре-
а одной четвертой доли сырого продукта.
того англійскіе землевладѣльцы изъ этой
платили церковную десятину и налогъ для
ъ, а французскіе оптиматы, отбирая въ
мъзу половину продукта, оставляли въ
бѣдныхъ только общественныя тягости и
дныя повинности, отъ которыхъ высшія
и были совершенно освобождены. Крестья-
жны были исправлять разныя обязатель-
оты на господскомъ дворѣ, подъ общимъ
мъ соглаше; они должны были выплачи-
рковную десятину и они же безъ вся-
знагражденія должны были мостить и
большія и проселочныя дороги. За вы-
сѣхъ денежныхъ и натуральныхъ повин-
казывалось, что крестьянинъ, бравшій
у 10 гектаровъ, только въ счастливый
ъ прокормить свою семью продуктомъ
оля. О продажѣ хлѣба и объ удобствахъ
е чего было и думать. Крестьянинъ ту-
хъ постоянной нужды, и хозяйство съ
ь годомъ велось небрежнѣе. Большія по-
атной земли оставались заброшенными,
али бурьяномъ; къ 1750 году, по сло-
е, около четвертой доли пахатной земли
пущено и заброшено; пространство этихъ
иныхъ полей постоянно увеличивалось,
е въ 1790 году больше 9 милліоновъ
въ удобной земли было превращено въ
. Милліоны крестьянскихъ хижинъ сто-
ь оконъ, въ цѣлыхъ провинціяхъ народъ
осиномъ; во всякомъ случаѣ не было ни-
буви, кромѣ деревянныхъ башмаковъ.
остояла изъ хлѣба, изъ мучной похлебки,

и иногда изъ свиного сала; мясо и вино были
почти неизвѣстны; не слѣдуетъ также оболь-
щаться словомъ «хлѣбъ»; то, что французскій
крестьянинъ называлъ хлѣбомъ, представляло
мало сходства съ тѣмъ, что принято называть
хлѣбомъ въ образованномъ обществѣ; крестьян-
скій хлѣбъ относился въ цивилизованному хлѣбу
такъ, какъ крестьянское *patois* относился къ
языку Вольтера и Руссо; въ этотъ такъ назы-
ваемый хлѣбъ входили и отруби, и мякина, и
каштаны, и желуди, и, въ случаѣ надобности,
древесная кора. Кто набиваетъ себѣ желудокъ
такимъ хлѣбомъ, у того нѣтъ ни охоты, ни ма-
териальной возможности думать объ украшеніи
ума. Грамотность не существовала во француз-
скихъ деревняхъ; книги или газеты были въ нихъ
совершенно неизвѣстны. Проповѣдь приходскаго
священника замѣняла крестьянамъ всѣ осталь-
ныя источники просвѣщенія. Но сельское духо-
венство было почти такъ-же бѣдно и вслѣдствіе
этого почти такъ-же необразованно, какъ и масса
прихожанъ. Религіозныя понятія крестьянъ пред-
ставляли самую своеобразную мозаику, состав-
ленную изъ христіанскихъ представлений и изъ
остатковъ друидизма. Пламенная и слѣпая не-
нависть крестьянъ къ протестантамъ представ-
ляется главнымъ и почти единственнымъ резуль-
татомъ того вліянія, которымъ сельское духо-
венство пользовалось въ своихъ приходахъ. Въ
южной Франціи, крестьяне, благодаря своимъ
пастырямъ, видѣли въ каждомъ протестантѣ
опаснаго колдуна, котораго слѣдуетъ бить и уни-
чивать изъ любви къ Богу и для спасенія собствен-
ной души. О томъ, что дѣлалось на бѣломъ свѣтѣ,
за предѣлами села или прихода, крестьяне не
знали ничего. Поѣздка на базаръ въ ближайшій
городъ считалась путешествіемъ труднымъ и не
безопаснымъ, потому что дороги находились въ
первобытномъ состояніи и бродяжничество су-
ществовало въ самыхъ обширныхъ размѣрахъ.
Если кому-нибудь изъ крестьянъ случалось отпра-
виться въ дальній городъ на заработки, или если
ему приходилось пойти въ солдаты, то онъ обык-
новенно уже не возвращался на родину и не да-
валъ о себѣ никакихъ извѣстій, такъ что зем-
ляки его нисколько не могли воспользоваться
его житейской опытностью.

При ограниченности своихъ понятій, крестья-
нинъ видѣлъ въ помѣщикѣ и въ его повѣренномъ
не только ближайшую, но даже единственную
причину того голода и той неблагодарной работы,
изъ которыхъ состояла вся его жизнь. Крестья-
нинъ замѣчалъ, что помѣщикъ пріѣзжаетъ въ
свой замокъ только затѣмъ, чтобы собрать по-
больше денегъ; пріѣздъ владѣльца сопровож-
дался обыкновенно усиленной строгостью въ тре-
бованіи запущенныхъ недоимокъ. Ни самъ вла-
дѣлецъ, ни его повѣренный не отличались мяг-
костью и любезностью въ обращеніи съ простымъ
народомъ. Экономическіе интересы обоихъ клас-

ь фактъ, цѣлкомъ заимствованный мною у *Zin-
schichte der Revolutionszeit, Band I. 21*),
есть неопровержимымъ образомъ, что гуси и
составляли яблоко раздора между землевла-
и крестьянами задолго до рожденія Фета и
ни этомъ должно замѣтить, что гуси постоянно
представителями демократическихъ интере-

совъ населенія были діаметрально противоположны между собою; случаи мелкихъ столкновений представлялись на каждомъ шагу; въ понятіяхъ, въ потребностяхъ и во вкусахъ не могло быть ничего общаго; люди замка смотрѣли на хижинъ съ презрѣніемъ, а люди хижинъ смотрѣли на замокъ съ ненавистью и со страхомъ. «Когда крестьянину, — говоритъ Зибель, — случалось взглянуть на башни господскаго дома, то любимой мечтой его было когда-нибудь съечь этотъ замокъ, въ которомъ былъ записанъ счетъ его недоимокъ.»

Провинція Анжу составляла счастливое исключеніе изъ общаго правила; въ этой провинціи крестьяне не умирали съ голоду и дворяне не были предметомъ ненависти для простаго народа. Анжуйское дворянство не увлеклось прелестями придворной жизни, не покинуло своихъ родовыхъ помѣстій и вслѣдствіе этого удержало за собою уваженіе своихъ поселянъ. Въ этой провинціи дворяне и крестьяне росли вмѣстѣ и знали другъ друга съ дѣтства; фермы переходили отъ отца къ сыну и помѣщикъ, крестившій всѣхъ дѣтей у своихъ фермеровъ, никогда не рѣшался за неаккуратность въ платежѣ или въ исполненіи повинностей прогнать съ своей земли крестьянина, выросшаго на его глазахъ и не отличавшагося особенно дурнымъ поведеніемъ. Помѣщикъ жилъ круглый годъ въ своемъ замкѣ, самъ управлялъ имѣніемъ, самъ ходилъ въ поле наблюдать за ходомъ работъ, самъ выискалъ въ пужды своихъ фермеровъ, потому что разоренный фермеръ былъ бы плохимъ плательщикомъ, самъ взыскивалъ съ нихъ за неисправности и самъ подавалъ имъ примѣръ дѣятельности. По праздничнымъ днямъ онъ вмѣстѣ съ крестьянами ѣздилъ на базаръ и отганывалъ своихъ вассаловъ, когда ихъ тѣснили мелкіе чиновники. Эта патриархальная простота неизбежно соединялась съ патриархальной грубостью, но крестьяне ею не обижались и были очень довольны тѣмъ, что на нихъ не наваливаютъ тяжести, превышающей человѣческія силы.

Сѣверныя провинціи королевства Фландрія, Артуа, Пикардія, Нормандія и Иль-де-Франсъ) во многихъ отношеніяхъ отличались отъ другихъ частей Франціи; въ этихъ провинціяхъ крестьяне брали земли на аренду по многолѣтнимъ контрактамъ и вносили арендную плату не зерномъ, а деньгами, причемъ конечно сумма арендной платы оставалась неизмѣнной на весь срокъ контракта. Земля обрабатывалась тщательно, съ знаніемъ дѣла и съ приложеніемъ капитала. Урожаи были вдвое лучше, чѣмъ въ остальныхъ частяхъ государства, и крестьяне, живя безбѣдно, стояли въ умственномъ отношеніи гораздо выше своихъ прочихъ соотечественниковъ, принадлежавшихъ къ тому же сословію. Но число этихъ сравнительно счастливыхъ и просвѣщенныхъ земледѣльцевъ совершенно не-

чезало въ общей грудѣ непроницаемаго невѣжества и безвыходной нищеты.

V.

Въ городахъ старой французской монархіи господствовала замкнутая денежная аристократія. Городскія должности, замѣщавшіяся во время среднихъ вѣковъ посредствомъ выборовъ, съ XVII столѣтія стали въ непосредственную зависимость отъ воли короля и, подобно многимъ другимъ государственнымъ должностямъ, были проданы разнымъ богатымъ людямъ въ потомственное владѣніе. Семейства, въ которыхъ такимъ образомъ попало наслѣдственное обладаніе важными должностями, стали во главѣ городской аристократіи. Къ нимъ примкнули члены большихъ финансовыхъ компаній, откупщики косвенныхъ налоговъ, сборщики прямыхъ податей, важнѣйшіе банкиры и главные акціонеры торговыхъ обществъ, пользовавшихся различными монополіями. Этотъ кружокъ, въ который можно было попасть только по рожденію или по особому разрѣшенію правительства, съ полнымъ самовластіемъ господствовалъ на биржахъ и управлялъ движеніемъ капиталовъ во всей странѣ. Центромъ биржевыхъ спекуляцій и ареной самаго роскошнаго ажіотажа былъ Парижъ. Джонъ-Ло, какъ извѣстно, на вѣчныя времена обезсмертилъ свое имя той акціонерной горячкой, которую ему удалось возбудить въ Парижѣ, и чрезъ Парижъ въ цѣлой Франціи во время регентства веселаго и беззаботнаго Филиппа Орлеанскаго. Тысячи колоссальныхъ состояній возникали и исчезали въ одинъ день; бумаги переходили изъ рукъ въ руки съ неслыханной быстротой; за приливами безграничнаго восторга слѣдовали припадки паническаго страха, и хотя дѣло кончилось тѣмъ, что Ло принужденъ былъ бѣжать изъ Парижа, чтобы не сдѣлаться жертвой разоренныхъ акціонеровъ, однако страсть къ биржевой игрѣ не унялась и продолжала попрежнему отвлекать капиталы отъ производительнаго приложенія, и практическіе умы — отъ полезной дѣятельности. Прелестъ игры повиновились и король, и министры, и придворныя дамы, и дворянство, и духовенство, и парламенты; вѣчный финансовый дефицитъ и постоянное возрастаніе государственнаго долга наполняли и непереполняли биржу бумажными цѣностями; членамъ правительства каждый день представлялась возможность эксплоатировать въ свою пользу потребности государства и довѣріе частныхъ лицъ; и члены правительства, отличавшіеся въ то время изумительной эластичностью нравственныхъ убѣжденій, съ замѣчательнымъ искусствомъ пользовались выгодами своего положенія. Парижъ до революціи не былъ фабричнымъ городомъ и оптовая торговля его была незначительна, такъ что все

мишленное движеніе было основано на ремесленной дѣятельности и на крупной ой игрѣ.

характеристики того времени любопытно то, что тогдашніе богачи съ особеннымъ ствѣіемъ покупали пожизненныя ренты, они заранѣе отнимали у своихъ наслѣд-капиталь, и за то втеченіи своей получали съ своего капитала большіе ты. Въ этомъ обстоятельстве чувствуется зъ вліяніе господствовавшего принципа *moi le déluge*. Тогдашніе богачи, по-типаемъ небеснымъ, не собирали въ жит-не заботились о завтрашнемъ днѣ, по-ю завтрашній день казался имъ весьма кшнымъ.

овля и ремесленная дѣятельность во всемъ ствѣіи была подчинена строжайшему це-устройству. Генрихъ III произнесъ то-гельное сужденіе, что только король да-право труда, и эти слова сдѣлались ру-цимъ принципомъ французскаго прави-а въ отношеніи къ ремесленному насе-оролевства. Заниматься ремесломъ поз-ь только тому, кто принадлежалъ къ ре-юму цеху; каждый цехъ управлялся ма-и, которые одни имѣли право принимать ь постороннія лица, а постороннее лицо, авшее въ цехъ, подвергалось испытанію оны мастеровъ, и кромѣ того должно было ь за свое принятіе и государству, и цеху, рамъ. Выгода мастеровъ состояла въ томъ, ь удерживать за собой и за своими семей-монополью своего ремесла, потому они ь не принимать въ цехъ ни одного по-наго лица, что имъ и удавалось въ боль-сти случаевъ. Часто самыя статуты цеха али изъ отъ всякихъ пришельцевъ, опре-положительно, что мастерами могутъ быть ь сыновья мастеровъ или вторые мужья ьшніе мастерицы. Такимъ образомъ сто-булочники или портные составляли такую ьнутую аристократію, какую образовали ь наслѣдственные чиновники, парламент-ѣйтники или банкиры. Вся Франція была ьа громадной сѣтью различныхъ аристо-и, и кому не удавалось родиться въ томъ ьугомъ изъ этихъ счастливыхъ кружковъ, ьти нечего было дѣлать на земномъ шарѣ и нечѣмъ было отбиваться отъ голодной ь. Ему надо было идти въ услуженіе, на-ся въ поденщики, или отдаваться въ бе-ное распоряженіе мастера, который зналъ звыгодное положеніе и слѣдовательно его въ кабалу на произвольно назначае-словіяхъ. Мужикъ, голодавшій въ деревнѣ, одилъ себѣ облегченія и въ городѣ.

всѣхъ аристократій, отравлявшихъ жизнь ьзскаго пролетарія, ремесленная аристо-ь была, по всей вѣроятности, самою тяже-

лой; ея существованіе связывало простого чело-вѣка по рукамъ и по ногамъ и кромѣ того са-мымъ радикальнымъ образомъ извращало глубо-чайшія основы народнаго характера. Пролетарію приходилось чувствовать зависть и ненависть не только къ тому, кто былъ богатъ и знатенъ, но и къ своему брату бѣдняку, если только этотъ бѣд-някъ имѣлъ право заниматься такой работой, которая для простого пролетарія составляла за-прещенный плодъ. Съ богатымъ и знатымъ про-летарій встрѣчался рѣдко; богатаго и знатнаго онъ видалъ издали; напротивъ того, привилеги-рованного бѣдняка онъ встрѣчалъ на каждомъ шагу, и каждая такая встрѣча растравляла его раны и подогрѣвала его враждебныя чувства. Пока пролетарій стоялъ въ тѣни, до тѣхъ поръ никто не обращалъ вниманія на его чувства и на весь складъ его характера; злоба его была смѣшна, и страданія его возбуждали только презрѣніе; но когда пролетарій подъ знаменательнымъ име-немъ санкюлота въ свою очередь сдѣлался важнымъ лицомъ, тогда всплыли наверхъ всѣ чувства, посягавшія въ его душѣ вѣками пора-боженія, тогда систематически искаженный ха-рактеръ его сдѣлался двигателемъ міровыхъ со-бытій, и тогда историкамъ пришлось ужасаться передъ тѣми результатами, которые выработала исторія въ своемъ вѣковомъ теченіи. Пролетарій явился тѣмъ, чѣмъ сдѣлалъ его весь средневѣ-ковый порядокъ вещей. Превращенный истори-ческими обстоятельствами въ голоднаго волка, пролетарій не обнаружилъ голубиной кротости, и историки изумились и ужаснулись.

Ремесленная аристократія была, подобно чи-новной аристократіи, созданіемъ королевскаго правительства; постоянно нуждаясь въ деньгахъ, короли продавали цеховыя привилегіи точно такъ же, какъ они продавали общественныя должно-сти; французскіе правители въ этомъ случаѣ дѣйствовали, какъ покупатели пожизненныхъ рентъ, или вообще какъ люди, проживающіе ка-питаль. Они брали съ своего государства большіе проценты въ настоящемъ и чрезъ это гото-вили въ будущемъ ему и кому-нибудь изъ своихъ наслѣдниковъ неизбежную катастрофу.

Различныя аристократіи, выработанныя исто-рической жизнью, или учрежденныя волей коро-лей, глубоко сознавали свою взаимную солидар-ность и ту роковую связь, въ которой находились между собой различныя камни стараго общест-веннаго зданія. Когда Тюрго въ 1776 году унич-тожилъ замкнутые цехи, тогда со всѣхъ сторонъ поднялись яростныя вопли: парижскій парла-ментъ, принцы, перы, доктора правъ объявили въ одинъ голосъ, что всѣ французы, начиная отъ ступеней трона и кончая бѣднѣйшей мастерской, составляютъ и всегда должны составлять непре-рывную цѣпь твердо организованныхъ корпора-цій, которыхъ неприкосновенность совершенно необходима для существованія государства и ко-

торыхъ разрушеніе неминуемо повлечетъ за собой окончательную гибель всего общественнаго порядка. Противъ такихъ предвѣщавій не могъ устоять Людовикъ XVI; опасный Тюрго потерялъ министерскій портфель, и цехи были восстановлены въ прежнемъ своемъ величіи.

Фабричная промышленность со временъ Кольбера пользовалась постояннымъ покровительствомъ и находилась подъ постоянной опекой центральной власти. До Кольбера Франція не производила ни тонкаго сукна, ни шелковыхъ матерій, ни стеклянныхъ издѣлій, ни мыла, ни дегтя; фабричное производство почти не существовало, такъ что Кольберу пришлось выписать мастеровъ изъ Германіи, изъ Швеціи и изъ Италіи. Чтобы эти иноземныя сѣмена принялись на французской почвѣ, Кольберъ взялъ на себя трудъ обезпечить сбытъ фабрикуемыхъ товаровъ и защищать поворожденныя фабрики отъ иностранной конкуренціи; всѣ товары должны были производиться по назначеннымъ образцамъ; заграничные товары подвергались огромнымъ пошлинамъ; отступленіе отъ назначенныхъ образцовъ влекло за собой денежные штрафы, сожженіе изготовленныхъ товаровъ незаконной формы и часто позорныя наказанія провинившагося фабриканта. Технические усовершенствованія сдѣлались невозможными, потому что изобрѣтательность считалась уголовнымъ преступленіемъ. При такихъ условіяхъ все развитіе мануфактурной промышленности приняло искусственное и чисто аристократическое направленіе. При Кольберѣ фабрикаціей шерстяныхъ тканей занимались 60,400 работниковъ, а выдѣлкой кружева 17,300 человекъ. Такимъ образомъ на 100 работниковъ, приготовлявшихъ необходимыя вещи, приходилось больше 20 человекъ, удовлетворявшихъ требованіямъ роскоши. Черезъ сто лѣтъ послѣ Кольбера мы встрѣчаемъ фактъ гораздо болѣе любопытный: оказывается, что фабрикація мыла приносила въ годъ 18 милліоновъ дохода, а производство пудры доставляло до 24 милліоновъ. Если, какъ мы видимъ изъ этихъ цифръ, французскій пролетарій никогда въ жизни не имѣлъ въ рукахъ куска мыла, то уже по одному этому факту можно составить себѣ понятіе объ общей высотѣ его эстетическаго развитія. Обстоятельства принуждали его быть грязнымъ циникомъ, и этотъ грязный цинизмъ въ свое время далъ себя знать всему французскому обществу и всей феодальной Европѣ. Если бы французскій пролетарій могъ умываться, какъ слѣдуетъ порядочному человѣку, то навѣрное не было бы ни террора 1793 г., ни завоевательныхъ шалостей великаго Наполеона.

Это можетъ показаться парадоксомъ и неумѣстной шуткой, но стоитъ повнимательнѣе взглянуть на дѣло, чтобы убѣдиться въ томъ, что тутъ парадоксальна только вѣшняя форма выраженія. А шутки тутъ и въ виду не имѣется. Кто сколько-

нибудь имѣетъ понятіе о смыслѣ событій шающихся во всемірной исторіи, тотъ знаетъ, что каждый голодный день пролетарія, какъ рѣха на его рубищѣ, каждая болячка на томленномъ тѣлѣ составляютъ общественнаго колоссальной важности и ведутъ къ такимъ послѣдствіямъ, которыхъ «ни въ сказкѣ, ни перомъ написать». Покровитель фабричной промышленности, французское правительство стѣсняло развитіе земледѣлія. таможенныя пошлины возвышали цѣну и дѣльческія орудія и слѣдовательно принуждали массу крестьянъ работать плохими и неудобными инструментами. Сверхъ того правительствомъ искусственными средствами поддержаны цѣны на хлѣбъ, для того чтобы городскіе работники не терпѣли недостатка въ продовольствіи, запрещало вывозъ земледѣльческаго продукта за границу. Хлѣбъ былъ дѣлательно дешевъ, вслѣдствіе этихъ распоряженій сельское хозяйство не имѣло возможности совершенствоваться, количество произведеннаго хлѣба не увеличивалось, и слѣдовательно массы народнаго богатства не замѣчало никакого приращенія. Хлѣбъ былъ дешевъ, но былъ еще дешевле, такъ что рабочій чѣмъ все-таки продолжалъ нуждаться въ насущномъ пропитаніи. За годъ до революціи, въ 1788 году, городской работникъ получалъ въ день 26 су, а работница около 15-ти; въ 1789 году городской работникъ получалъ не менѣе 26-ти, а работница не менѣе 26-ти. Въ деревнѣ въ 1788 году стоилъ 15 су, а въ 1789 году онъ возвысился до 25 су. До революціи въ годъ по крайней мѣрѣ тридцатью празными днями больше, чѣмъ въ настоящее время, мы примемъ въ соображеніе это обстоятельство, то мы увидимъ, что фабричный работникъ въ то время получалъ въ годъ около 350 франковъ, между тѣмъ какъ теперь такой-же работникъ получаетъ до 630 франковъ (1 франкъ=100 су). Годовой заработокъ сельскаго поденщика до революціи около 160 лиръ, а въ наше время онъ доходитъ до 300 франковъ. Фунтъ печенаго хлѣба до 1789 года, при усиленіяхъ правительства понизить его цѣну искусственными средствами, стоилъ въ самое дешевое время 3 су; такая цѣна держалась только въ Парижѣ, благодаря особеннымъ стараніямъ правительства и городскихъ властей, а въ провинціи хлѣбъ обыкновенно стоилъ дороже; въ 1820 по 1840 годъ, цѣна печенаго хлѣба была 17 сантимовъ за фунтъ, что равняется 3 су; а въ 1851 году фунтъ печенаго хлѣба стоилъ въ Парижѣ 14 сантимовъ, т. е. 2 су. Печеный хлѣбъ въ наше время дѣлается еще дешевле, чѣмъ въ 1820-е годы, а между тѣмъ пшеница въ 1880-е годы стоила отъ 12 до 13 фран-

в 1840 года онъ стоилъ отъ 19 до 20 копѣекъ.

Сниженіе цѣны на печеный хлѣбъ при возростѣ цѣны зернового хлѣба объясняется тѣмъ, превращеніе зерна въ муку и муки въ хлѣбъ стало въ новѣйшее время очень значительнымъ усовершенствованіемъ; теперь определенное количество зернового хлѣба даетъ почти въ полтора больше печенаго хлѣба, чѣмъ сколько оно было въ прошломъ столѣтіи. То количество питательнаго вещества, которое тогда терялось, дѣйствіе несовершенства снарядовъ и неискусныхъ рукъ, теперь сохраняется и приноситъ непосредственную пользу. Можно сказать преувеличенія, что такого рода усовершенствованіе обогатило страну сильнѣе, чѣмъ могло бы обогатить ее открытіе неисчерпаемой золотой; но такіа усовершенствованія возможны и тогда и тамъ, гдѣ и когда личная изобрѣтательность и промышленная дѣятельность развѣются въ массахъ вмѣстѣ съ сознаніемъ собственного достоинства. Полезныя изобрѣтенія не исчезаютъ среди подавленнаго и притупленнаго народа, или если имъ даже случается возникнуть, то не прививаются къ обыденной жизни и не даютъ существенной пользы.

Поставляя цифры заработной платы съ цифрами цѣнъ на хлѣбныя цѣны, мы видимъ, что теперь рабочий можетъ купить почти вдвое больше хлѣба, чѣмъ могъ купить работникъ временъ Людовика XVI. Точно такой-же результатъ получился-бы, если бы мы стали разсматривать цѣны на сыбѣтные припасы; въ отношеніи къ нимъ переѣлъ настоящаго времени надъ прошлымъ оказался-бы еще значительнѣе, потому что фабрикація тканей произведена въ послѣднее столѣтіе больше усовершенствованій, чѣмъ въ какой-либо другой отрасли промышленности. До революціи Франція во всѣхъ отношеніяхъ была гораздо бѣднѣе, чѣмъ теперь, а правительство ея было гораздо расточительнѣе, чѣмъ правительства, смѣнявшія другъ друга въ странѣ в теченіи первой половины нынѣшняго столѣтія. Въ отношеніи къ торговлѣ Франція въ вывозу и ввозу товаровъ, была въ прошломъ столѣтіи вдвое бѣднѣе, въ отношеніи къ своему хозяйству втрое бѣднѣе, въ отношеніи къ фабричному и ремесленному производству вчетверо бѣднѣе, чѣмъ въ настоящее время. Сообщая эти обстоятельства, Зибель выводитъ заключеніе, что бюджетъ въ 500 милліоновъ составляетъ для страны въ XVIII столѣтіи такую тяжесть, какою теперь составилъ-бы бюджетъ въ 20 милліоновъ. Финансовый дефицитъ долженъ былъ бы вѣшаться такимъ-же масштабомъ. Сто милліоновъ дефицита въ старой монархіи равнялись милліонамъ дефицита нашего времени. Встрѣча съ такимъ ежегоднымъ дефицитомъ, правительство по-неволѣ должно было придти въ неистовство. Государственная машина отказыва-

лась служить, и потому по-неволѣ надо было приниматься за пересмотръ ея цѣлаго состава и всѣхъ отдѣльных частей.

VI.

За четыре года до революціи, въ 1785 году, французское правительство собирало съ своихъ подданныхъ, прямыми и косвенными налогами, на текущіе государственные расходы 558 милліоновъ ливровъ. Кромѣ того на мѣстныхъ управленій провинцій собиралось 41 милліонъ; эта сумма расходовалась въ тѣхъ мѣстахъ, на которыхъ она взымалась, и не поступала въ государственное казначейство. Далѣе, церковь, содержащая себя до революціи совершенно независимо отъ общаго бюджета, получала 133 милліона десятичной подати и 16 милліоновъ различныхъ другихъ сборовъ. Въ пользу судебного сословія собиралось 29 милліоновъ; землевладѣльцы, имѣвшіе право удерживать въ своихъ земляхъ заставы, собирали на этихъ заставахъ 2½ милліона; каждая торговая сдѣлка, совершавшаяся въ помѣстьѣ, приносила землевладѣльцу определенную пошлину, и сумма всѣхъ этихъ пошлинъ на всемъ пространствѣ королевства доходила в теченіи года до 37 милліоновъ. Изобрѣтательные рыцари и остроумное ихъ потомство располагали еще множествомъ другихъ замысловатыхъ способовъ эксплуатаціи. Всѣ эти способы были дозволены закономъ или по крайней мѣрѣ освящены обычаемъ; каждый изъ нихъ имѣлъ за себя неисчерпаемое количество юридическихъ и историческихъ аргументовъ, изъ которыхъ самымъ древнимъ и однако же самымъ свѣжимъ по своей убѣдительности былъ фактъ, или было право, — называйте, какъ хотите, — вооруженнаго насилия. Всѣ эти способы съ блестящимъ успѣхомъ прилагались къ жизни французскаго народа до 1789 года. Вслѣдствіе этого въ общемъ результатѣ оказывалось, что кромѣ 600 милліоновъ, поступавшихъ въ государственное казначейство и въ различныя провинціальныя управленія, французскій народъ платилъ въ разныя стороны разныя почтеннымъ людямъ до 280 милліоновъ. Итого получается 880 милліоновъ, что, по масштабу, представленному въ концѣ предыдущей главы, равняется для настоящаго времени суммѣ въ 2400 милліоновъ. При этомъ не мѣшаетъ замѣтить, что правительство Людовика-Филиппа никогда не издерживало въ годъ больше 1500 милліоновъ, и что, несмотря на то, оппозиція въ палатѣ депутатовъ и самостоятельная политическая пресса постоянно твердили министерству вплоть до февраля 1848 года о необходимости убавить расходы и сложить съ народа часть налоговъ.

Старый порядокъ въ финансовомъ отношеніи былъ для народа слишкомъ въ полтора разъ

тяжелѣе администраціи іюльской монархіи, не говоря уже о томъ, что этотъ старый порядокъ парализировалъ всѣ производительныя силы народа стѣною привилегій, монополій и запрещеній. Для народа вовсе не составляло облегченія то обстоятельство, что только двѣ трети собираемыхъ съ него денегъ шли на издержки правительства; народу было-бы легче платить правительству всѣ 880 милліоновъ и за то избавиться разъ навсегда отъ всѣхъ внутреннихъ заставъ, десатинъ, пошлинъ за продажу и покупку и отъ всѣхъ изобрѣтеній остроумнаго рыцарства. Народъ понималъ это, и потому неудовольствіе его направлялось преимущественно не на центральное правительство, а на привилегированныя сословія. Народъ чувствовалъ, что его постоянно приносятъ въ жертву привилегированнымъ классамъ какъ при распредѣленіи налоговъ, такъ и при расходованіи государственныхъ суммъ. Во-первыхъ — цѣлая треть платимыхъ повинностей (280 милліоновъ) прямымъ путемъ переходила изъ рукъ работающаго пролетарія въ руки веселящагося аристократа. Во-вторыхъ — аристократы платили сполна только косвенные налоги, падающіе на предметы потребленія; отъ остальныхъ налоговъ ихъ избавляло или сословное преимущество, или занимаемая должность, или какая-нибудь другая основательная причина, которую пролетарій никакъ не могъ привести въ свою пользу. Въ отношеніи къ аристократу всякій сборщикъ податей могъ быть только смиреннымъ просителемъ, а въ отношеніи къ пролетарію та-же особа была начальствомъ, которое приходилось умилять послышными и непосильными жертвоприношеніями. Сборщикъ податей, или откупщикъ косвенныхъ налоговъ въ старой Франціи наживалъ себѣ обыкновенно значительное состояніе, а такъ какъ всѣ эти состоянія получались все-таки изъ трудовыхъ денегъ народа, то легко сообразить, что кромѣ 880 милліоновъ французскій народъ платилъ еще ежегодно разными негласными путями довольно значительныя суммы, которыхъ величину нельзя опредѣлить даже круглыми цифрами. Эти сборщики и откупщики обыкновенно давали правительству взаимныя значительныя суммы въ счетъ доходовъ будущихъ лѣтъ; забирая такимъ образомъ свои доходы впередъ, правительство платило за нихъ большіе проценты, такъ что сборщики и откупщики, служившіе посредниками между народомъ и казначействомъ, ткнули деньги и изъ народа, и изъ казначейства, разоряли по мѣрѣ силъ обѣ стороны и доводили свое собственное благосостояніе до самыхъ почтенныхъ размѣровъ. Отношенія между казначействомъ и сборщиками были до такой степени сложны, что наприимѣръ въ бюджетѣ 1785 года ставятся на счетъ долги за 1781 годъ и суммы, за раны впередъ за 1787 годъ. По всѣмъ этимъ счетамъ подводится итогъ въ 850 милліо-

новъ, а чистыхъ денегъ оказывается въ чействѣ 327 милліоновъ. Я не берусь обяснить читателю, изъ какихъ именно элементовъ стоитъ общій итогъ въ 850 милліоновъ, не объясняетъ и Зибель, и вообще вопросъ имѣетъ интересъ очень спеціальный; при эту цифру только для того, чтобы показать, какъ запутаны были расчеты между казначействомъ и его ближайшими агентами; вся путанность конечно обращалась въ пользу щиковъ, которыхъ усилія постоянно нацѣлены къ той общей цѣли, чтобы народъ платилъ какъ можно больше, и казначейство получало какъ можно меньше.

Насколько хороша была система доходовъ, настолько-же сообразно съ общою пользою было расходованіе собранныхъ денегъ. На содержаніе двора полагалось изъ жету 35 милліоновъ, но тратилось до 50 милліоновъ; въ эту сумму не входили расходы на кортисанъ, охоты и путешествія, на жалованье придворныхъ чиновниковъ и на ремонтъ королевскихъ замковъ. Военное министерство получало изъ жету 114 милліоновъ, но тратило 131 милліонъ; изъ этихъ 17 милліоновъ расходовалось на администрацію, 44 милліона на содержаніе солдатъ, 46 милліоновъ на жалованье офицеровъ, 11 милліонъ на поддержаніе совершенной независимости отъ соображеній министра находились личныя распоряженія израсходовавшаго въ 1785 году 136 милліоновъ на «подарки придворнымъ, министрамъ, сановникамъ и парламентскимъ совѣтникамъ, на уплату постороннихъ займовъ, на проценты и учеты чиновникамъ казначейства, на откупъ разныхъ личныхъ повинностей и на негласныя издержки всякаго рода». Въ 1785 году на мосты и дороги истрачено 4 милліона, на общественныя зданія меньше 2-хъ милліоновъ и на ученія и учебныя заведенія большіе 1 милліонъ. Въ тридцатыхъ годахъ нынѣшняго столѣтія на эти предметы тратилось ежегодно по 59 милліоновъ, т. е. съ 1785 года въ восемь разъ больше, чѣмъ въ 1785 году. Больницы и воспитательныя дома получили въ 1785 году 6 милліоновъ отъ государства, 1 милліонъ отъ церкви, и 24 милліона отъ частныхъ доходовъ; въ современной Франціи на эти заведенія получаютъ въ 119 милліоновъ.

Изъ всего этого видно, что старая монархія сохраняла неизмѣнную вѣрность своему экономическому происхожденію; каковы-бы ни были противорѣчія между отдѣльными ея частями, но всѣ они съ непобѣдимой силой нацѣлены къ тому, чтобы раззорить массу и разорить государство, для котораго существовала вся государственная машина. Но эта цѣль была достигнута, когда масса была разорена до послѣдней крайности, тогда

ужасающей быстротой исчезать самые источники доходов. Начались огромныя недомки; пришлось дѣлать займы, платить большіе проценты, увеличивать платежъ процентовъ дефицита, а потомъ замазывать дефицитъ новымъ займомъ, требовавшимъ новаго платежа процентовъ. Долгъ увеличивался вмѣстѣ съ дефицитомъ, а кредитъ уменьшался вмѣстѣ съ производительной силой страны. Министры принимали разныя финансовыя операціи, но такъ какъ нѣтъ такой финансовой операціи, которая изъ франка могла-бы сдѣлать лундоръ, или взять что-нибудь съ крестьянина, не имѣяго ровно ничего, то все глубокомысліе министровъ оказывалось безсильнымъ передъ сокрушительными цифрами долговъ и ежегодныхъ дефицитовъ. Все царствованіе Людовика XVI состоитъ изъ длиннаго ряда разнообразныхъ попытокъ вынутаться изъ отчаяннаго положенія финансовъ.

Изъ всѣхъ совѣтниковъ Людовика XVI одинъ Тюрго понималъ вполнѣ, что финансовую болѣзнь нельзя лечить финансовыми мѣрами, что необходимо увеличить производительную дѣятельность народа, и что причины, парализующія эту дѣятельность, заключаются въ самыхъ основаніяхъ феодальнаго государства. Распоряженія Тюрго посыпались на всѣ отрасли народной жизни. Онъ разрѣшилъ вывозъ хлѣба за границу и снялъ съ крестьянъ дорожныя повинности; онъ уничтожилъ цехи и основалъ кредитное учрежденіе подъ названіемъ учетной кассы; онъ измѣнилъ податную систему и сталъ готовить всѣхъ собственниковъ государства къ участію въ политическихъ правахъ; онъ хотѣлъ произвести сверху и постепенно тѣ реформы, которыя революціонныя собранія произвели снизу и мгновенно; но постепенность Тюрго оказалась всѣмъ привилегированнымъ классамъ, бурной и сумасбродной заносчивостью. Братъ короля, графъ Карлъ Артуа, тотъ самый, по шлесту котораго старшая линія Бурбоновъ въ 1830 году была окончательно лишена французскаго престола, сталъ во главѣ недовольныхъ, а недовольныя распоряженія Тюрго были въ дворѣ, и вся аристократія, и духовенство, и парламенты, и цеховые мастера, и всѣ кромѣ крестьянъ и пролетаріевъ, которые въ то время еще не имѣли своего сужденія въ государственныхъ вопросахъ. Карлъ и придворные стали дѣйствовать на короля ежедневными воздыханіями о гибельныхъ преобразованіяхъ неосторожнаго министра, а другіе недовольные аристократы въ это время стали волновать народъ, показывая королю, насколько дѣятельность его противна желаніямъ націи и опасна для тѣснаго спокойствія. Народъ, по своей ничтожной наивности, дѣйствовалъ на улицахъ Парижа и въ привилегіяхъ, которыя пор

Людовику надобла вся эта тревога, и министерство Тюрго продолжалось всего полтора года; какъ только Тюрго вышелъ въ отставку, такъ воцарилась старая система управленія во всемъ своемъ блескѣ и во всей своей величественной неподвижности. Неккеръ сталъ поправлять финансы займами, Каллонъ сталъ поощрять своими совѣтами придворную роскошь, говоря, что только роскошь поддерживаетъ кредитъ, а что кредитъ необходимъ для существованія государства. Неккеръ во время своего перваго министерства занялъ въ разныхъ мѣстахъ до 50 милліоновъ и наконецъ сталъ въ тупикъ. Каллонъ убѣдился собственнымъ опытомъ, что всякій кредитъ имѣетъ границы. Въ 1787 году онъ увидѣлъ передъ собой дефицитъ въ 198 милліоновъ, что составляетъ по масштабу нашего времени почти 600 милліоновъ. Покрѣпить этотъ дефицитъ было необходимо, а покрѣпить было не чѣмъ; увеличить подати не было никакой возможности; кредитъ былъ истощенъ до чиста. Тогда Каллонъ вдругъ перемѣнилъ политику и пошелъ по слѣдамъ Тюрго; начался опять скрежетъ зубовъ; противъ короля и противъ министерства зашумѣли придворные, провинціальныя дворяне, сборщики податей, суды, полицейскіе чиновники, общинные совѣты и цеховые мастера.

Въ ряды оппозиціи попали, какъ мы видимъ, такія лица, которыя во всякомъ благоустроенномъ государствѣ имѣютъ значеніе, только какъ послушныя орудія центральной власти. Государство видимо разлагалось, потому что перестало удовлетворять существеннымъ потребностямъ общества, и во всѣхъ частяхъ своихъ оказалось несостоятельнымъ передъ судомъ общественнаго мнѣнія. Общественное мнѣніе было въ то время уже такъ сильно, что къ нему, какъ къ высшей апелляціонной инстанціи, обратились за разрѣшеніемъ своего спора, съ одной стороны—министерство, поневолѣ ударившееся въ прогрессъ, съ другой стороны—аристократическая оппозиція, ухватившаяся за старину со всей страстью инстинктивнаго самосохраненія и съ полнымъ сознаніемъ своего вѣкового права. Само министерство освободило прессу для того, чтобы она заклеила въ глазахъ цѣлой націи упорныхъ защитниковъ привилегій и феодальнаго быта. Парижскій парламентъ, защищавшій, подобно цеховымъ юристамъ всѣхъ вѣковъ и народовъ, формальную легальность аристократическихъ притязаній, потребовалъ съ своей стороны въ пику министерству, чтобы собраны были государственныя чины (*états généraux*), которыхъ Франція не видала впродолженіи двухъ столѣтій. Собраніе аристократическихъ нотаблей, попытавшихся произвести реформы, не осилило этого дѣла и повторило требованіе національнаго парламента. Между тѣмъ Калонна залъ уже Вріенъ, а Вріенна Неккеръ, но отъ перемѣны лицъ не перемѣнилось положеніе

финансовъ, и Неккеръ, съ удовольствіемъ изображая собой либеральнаго и просвѣщеннаго министра, ввелъ французское королевство въ новую эпоху его существованія: государственные чины были созваны къ 27 апрѣля 1789 года.

VII.

Приступая къ изложенію событій, совершившихся во Франціи отъ 1789 до 1795 года, я заранѣе долженъ предупредить читателя, что онъ не найдетъ у меня описанія тѣхъ сценъ, величественныхъ или ужасныхъ, которыя происходили въ это тревожное время на площадяхъ, на улицахъ или въ залахъ національных собраний. Чтобы изобразить эти сцены, надо, во-первыхъ, обладать такимъ художественнымъ талантомъ, котораго я въ себѣ не чувствую; а во вторыхъ, надо написать очень большую книгу, что совершенно неудобно по многимъ причинамъ. На этомъ основаніи я постараюсь по возможности совершенно уклониться отъ рисованія историческихъ картинъ, а въ началѣ моей статьи я уже обѣщаю читателю уклоняться отъ біографическихъ подробностей и отъ судебныхъ приговоровъ надъ личностями и событіями. Стало-быть мнѣ остается только слѣдить за главными фазами того общественнаго движенія, о которомъ мы говоримъ; мнѣ остается выводить одну фазу изъ другой, показывать, почему движеніе приняло одно направленіе, а не другое, разсматривать общія причины, скрывающіяся за личностями выступающихъ дѣятелей и придающія этимъ личностямъ всю ихъ дѣйствительную силу; я желаю бы представить читателю не рядъ картинъ изъ разсматриваемой нами исторической эпохи, а ландкарту, по которой онъ могъ бы познакомиться съ мѣстными условіями, вызвавшими переворотъ и сообщавшими ему импульсъ и направленіе. Такую ландкарту, или такой анатомическій рисунокъ, можно было бы считать излишней, если-бы читающая часть нашего общества обладала большимъ запасомъ продуманныхъ и осмысленныхъ историческихъ свѣдѣній; но такъ-какъ по правдѣ сказать подобныхъ свѣдѣній у насъ не имѣется, ни въ большомъ, ни въ маломъ количествѣ, то я позволяю себѣ думать, что моя статья не будетъ совершенно бесполезна, и постараюсь устроить такъ, чтобы эту ландкарту особаго устройства можно было разсматривать, не проклиная составителя за сухость изложенія. Теперь мы можемъ обратиться къ собранію государственныхъ чиновъ.

Собраніе государственныхъ чиновъ, или сословій, состояло въ старой Франціи изъ представителей дворянства, духовенства и третьяго сословія (*tiers-état*), или городскихъ общинъ. Это собраніе созывалось королемъ въ тѣхъ экстраординарныхъ случаяхъ, когда центральная власть нуждалась въ поддержкѣ общественнаго мнѣнія

и безъ этой поддержки не рѣшалась требовать отъ націи какихъ-нибудь необыкновенныхъ жертвовацій или чрезвычайныхъ усилій. При ближайшихъ предшественникахъ Людовика XVI государственные чины не созывались ни разу, потому что Людовикъ XIV и Людовикъ XV хозяйничали въ своемъ королевствѣ совершенно безцеремонно и находили, что никакое жертвованіе націи не можетъ быть необыкновеннымъ, и никакое усиліе не можетъ быть чрезвычайнымъ.

Когда государственные чины созывались въ былое время, тогда они разсуждали о предлагавшихся вопросахъ въ трехъ отдѣльныхъ палатахъ: сообразно съ дузомъ всѣхъ средневѣковыхъ учреждений, сословія оставались разьединенными даже тогда, когда обсуживали дѣла, относящіяся къ интересамъ всего государства. Въ 1789 году сословія созывались затѣмъ, чтобы спасти государство отъ банкротства; спасти государство можно было только самыми обширными реформами, и именно такихъ реформъ ожидала отъ собранія вся здоровая часть общественнаго мнѣнія: на собраніе это смотрѣла вся Франція; отъ него народъ, цѣлый въ буквальный смыслъ этого слова, ждалъ хлѣба насущнаго, т. е. избавленія отъ тѣхъ феодальныхъ учреждений, которыя разорали земледѣльца и ремесленника, парализируя нтъ производительный трудъ. Желанія правительства въ этомъ случаѣ не могли расходиться съ желаніями народа; правительству были необходимы реформы потому, что безъ реформъ нельзя было выпутаться изъ долговъ; безъ реформъ не на что было жить и не возможно было управлять. Реформы не правились только духовенству, дворянству, парламентамъ, цеховымъ мастерамъ, т. е. тѣмъ людямъ, которыхъ питали и грѣли монополіи и всѣ средневѣковые порядки; только съ ихъ стороны можно было ожидать оппозиціи; эта оппозиція могла производить много шума въ затѣ тьюлерійскаго дворца, или въ аристократическомъ салонѣ, но въ общемъ голосѣ народа она совершенно терялась и переходила въ едва замѣтный ропотъ, которому нельзя было придавать никакого серьезнаго значенія. Эта оппозиція только въ томъ случаѣ могла бы сдѣлаться препятствіемъ въ дѣлѣ преобразованій, когда бы она получила въ собраніи свой отдѣльный органъ. Если бы государственные чины, по старому обычаю, открыли свои засѣданія по сословіямъ, въ трехъ отдѣльныхъ палатахъ, тогда можно было бы предвидѣть, что всѣ предложенія и рѣшенія третьяго сословія будутъ задерживаться, искажаться или отвергаться духовенствомъ и дворянствомъ. Слѣдовательно на первомъ планѣ стоялъ вопросъ: какъ будутъ засѣдать государственны чины? Въ одномъ-ли общемъ національномъ собраніи, или въ трехъ отдѣльныхъ палатахъ? Нельзя сказать, чтобы съ этимъ вопросомъ была связана судьба ожидаемыхъ преобразованій; преобразованія эти были уже неизбежны, потому

нѣобходимость сознавалась и чувствовалась цѣей; ихъ не могли уже отсрочить, ни никакіе дебаты и никакіе отрицательные аты въ подачѣ голосовъ. Но оставалось какъ произойдутъ реформы? Путемъ-ли преній и легальныхъ постановленій соборили какъ-нибудь совѣтъ иначе безъ всаальности и безъ малѣйшаго благообразія? но было предвидѣть, что система трехъ надѣлаетъ народу и правительству много, и что при этой системѣ мудроно будетъ гься на путяхъ добродѣтели и легально-щественное мнѣніе безусловно отвергало ему; но правительство, отъ котораго зарѣшеніе капитальнаго вопроса, церемонь аристократіей и, созывая государствчинны, не сказало ничего о томъ, какъ происходитъ изъ совѣщанія. Оно опре-только, что третье сословіе выставитъ ольше представителей, чѣмъ выставяло лѣтнія тому назадъ. Это нововведеніе могло ьезвычайно важно въ случаѣ общаго соб-отому что тогда оно упрочиало за треть-ловіемъ рѣшительный перевѣсъ въ числѣъ; но при системѣ трехъ палатъ двойное редставителей не имѣло никакого значе-третье сословіе оставалось совершенно нымъ въ борьбѣ съ легальной оппозиціей ства и дворянства.

мая 1789 года король открылъ въ Вер-асѣданіе государственныхъ чиновъ; онъ съ рѣчь; послѣ него заговорилъ храни-ольшой печати Барантенъ, и наконецъ рь финансовъ Неккеръ; во всѣхъ этихъ было много добродушія, много благихъ и еще больше внушительныхъ совѣтовъ, живѣйшемъ вопросѣ, о томъ, какъ засѣ-осударственнымъ чинамъ, не сказано ни Неккеръ говорилъ три часа и отличился то торжественно солгалъ передъ предста-ми націи насчетъ положенія финансовъ: казалъ годовой дефицитъ въ 56 милліоновъ, тѣмъ какъ со времени собранія нотаблей то постоянно слышало о дефицитѣ въ 120 , 140 милліоновъ. Ложь Неккера дала ему ность сказать, что король созвалъ го-твенные чины не потому, что онъ нуж-въ ихъ содѣйствіи, а потому, что онъ , оказать націи всякую милость. Ложь ра и молчаніе о существенномъ вопросѣ ли изъ одного общаго источника, — изъ деленнаго и нерѣшительнаго отношенія ельства къ націи вообще и къ предста-мъ ея въ особенности. Правительство нуж-въ деньгахъ и слѣдовательно въ ре-тъ и слѣдовательно въ томъ собраніи, дѣйствіи котораго возможно было произ-реформы; но если съ одной стороны оно лось въ томъ собраніи, то съ другой сто-оно еще больше боялось его. Хорошо, если

собраніе придумаетъ такіа реформы, которыя дадутъ много денегъ, и затѣмъ оставить все въ должномъ порядкѣ; а что, если оно заговорить о такихъ реформахъ, которыя съ должнымъ порядкомъ совѣтъ не уживаются? Что тогда дѣлать съ этимъ собраніемъ, на которое смот-рится вся Франція? И гдѣ остановятся его рефор-маторскіе подвиги? И что оно считаетъ должнымъ порядкомъ? И что, если его должный порядокъ совѣтъ не похожъ на настоящій должный по-рядокъ? Все это были такіе вопросы, которые не могли не придти въ голову совѣтникамъ короны, и людямъ, находившимся въ ихъ положеніи, надъ этими вопросами очень стоило задуматься. Они дѣйствительно задумались, и въ этой задумчивости захватилъ ихъ день, назна-ченный для открытія засѣданій. Они явились передъ представителями націи, не рѣшивши въ умѣ своемъ, гдѣ заключается для нихъ настоящая опасность, — въ финансовомъ дефицитѣ, или въ ожидаемомъ всемогуществѣ созваннаго собранія. Когда Неккеръ сидѣлъ передъ пустой кассой и передъ печальными итогами предстоящихъ расхо-довъ, тогда онъ думалъ, что собраніе лучше дефи-цита; когда онъ увидѣлъ себя лицомъ къ лицу съ собраніемъ въ 1200 человекъ и когда онъ услышалъ, какими криками восторга встрѣчаютъ и провожаютъ народъ представителей третьяго сословія, тогда онъ навѣрное подумалъ, что ужъ лучше жить съ дефицитомъ, чѣмъ съ собраніемъ. Думалъ или не думалъ Неккеръ такимъ образомъ, объ этомъ исторія молчитъ, но достоверно из-вѣстно то, что правительство Людовика XVI при самыхъ первыхъ сношеніяхъ своихъ съ го-сударственными чинами начало бояться могущес-тва собранія, совершенно упуская изъ виду, что именно это могущество необходимо для ко-роля и для его министровъ, какъ единственное средство произвести реформы и реформами по-править отчаянное положеніе финансовъ.

Выслушавъ назидательныя рѣчи и не найдя въ нихъ ожидаемаго рѣшенія, сословія стали рѣшать основной вопросъ силами собственныхъ умовъ; три недѣли продолжались между ними переговоры о томъ, какъ повѣрять выборы; пе-реговоры эти ни къ чему не повели. Неккеръ по-пробовалъ явиться посредникомъ между высшими сословіями, настаивавшими на отдѣльной по-вѣркѣ выборовъ, и депутатами общинъ, не до-пускавшими ничего такого, что могло-бы привести къ утвержденію трехъ-палатной системы. Но посредничество Неккера осталось безуспѣшнымъ; дворянство объявило рѣшительно, что оно само повѣрило свои выборы и уже образовало изъ себя отдѣльную палату. Увидѣвъ бесполезность переговоровъ, третье сословіе, избѣгавшее до той минуты окончательнаго разрыва съ бытовыми формами прошедшаго, сдѣлало съ своей стороны смѣлый шагъ впередъ. Къ 14 іюня оно окончило у себя провѣрку выборовъ, и въ тотъ же день

начались въ его палатѣ разсужденія о томъ, подъ какимъ именемъ оно приступить къ своей дѣятельности. Назвать себя представителями третьяго сословія было исполнѣть легально, потому что такъ всегда дѣлалось въ старой Франціи, но поступить такимъ образомъ значило-бы отдать интересы народа въ руки дворянства и духовенства; это значило-бы подвергнуть всю Францію страшному разочарованію и поднять такую бурю народнаго гнѣва, противъ которой не устояло-бы ни собраніе государственныхъ сословій, ни верховное правительство. Объ этомъ нечего было и думать; большинство депутатовъ всѣми силами души ненавидѣло старый порядокъ, а тѣ немногія единицы, которыя чувствовали робкое желаніе падить остатки прошедшаго, не имѣли въ собраніи никакого вѣса и боялись обнаруживать свои тайныя влеченія. Мирабо предложилъ, чтобы депутаты третьяго сословія назвали себя представителями народа въ національномъ собраніи; эта формула давала чувствовать, что депутаты третьяго сословія не составляютъ собой полнаго національнаго собранія, но во всякомъ случаѣ служатъ представителями самой многочисленной и самой важной части націи. Сійэсъ пошелъ дальше: онъ предложилъ, чтобы третье сословіе просто и прямо объявило себя національнымъ собраніемъ. 17-го числа это предложеніе было принято, и депутаты духовенства и дворянства вслѣдствіе рѣшенія третьяго сословія оказались просто отсутствующими членами національнаго собранія. Они могли отсутствовать, сколько имъ было угодно; никто не интересовался знать причины ихъ отсутствія и никто не считалъ этого отсутствія препятствіемъ для начала работъ.

Если мы примемъ въ соображеніе, что Мирабо былъ неизмѣримо краснорѣчивѣе Сійэса, и что французы всегда были способны подкупаться краснорѣчіемъ, то побѣда Сійэса должна показаться намъ фактомъ очень выразительнымъ. Сійэсъ побѣдилъ именно потому, что предложеніе его было смѣлѣе и крайнѣе всѣхъ остальныхъ. По этому предложенію третье сословіе не только утверждало свое преобладаніе надъ остальными сословіями, но оно рѣшительно поглощало ихъ въ себя и въ сознаніи своего полновластія объявляло, что будетъ игнорировать всѣ тѣ элементы, которые осмѣлятся присвоивать себѣ отдѣльное существованіе. Не мѣшаетъ при этомъ замѣтить, что это первое собраніе, извѣстное въ исторіи подъ именемъ учредительнаго *) (*assemblée constituante*), было самымъ умѣреннымъ и консервативнымъ изъ всѣхъ

революціонныхъ собраній; кромѣ того оно было создано всего шесть недѣль тому назадъ; оно еще не знало, какъ велико его могущество и вліяніе на народъ; члены его были мало знакомы между собой; обаяніе королевской власти было еще сильно; Бастилія напоминала еще о необходимости быть осторожнымъ, и несмотря на все это, предложеніе Сійэса было принято съ восторгомъ единственно потому, что оно соответствовало простымъ требованіямъ разума и противорѣчило старой легальности.

Если мы сообразимъ всѣ эти обстоятельства, то изъ одного этого факта, встрѣчающагося намъ на самомъ порогѣ французской революціи, будемъ въ состояніи понять, какіе неистощимые запасы пламеннаго, безстрашнаго и безпощаднаго отрицанія накопились въ сознаніи и въ чувствахъ всего французскаго народа во время долгихъ вѣковъ безгласности и страданія. Народъ не оставался въ бездѣйствіи въ то время, когда сословія вели между собой переговоры; газеты, печатныя объявленія на стѣнахъ, рѣчи подъ открытымъ небомъ, на улицахъ и въ садахъ Пале-Рояля знакомили парижанъ съ событіями дня и скрѣпляли связь ихъ съ представителями третьяго сословія; 9-го и 10-го июля въ залу засѣданій являлись депутаціи отъ различныхъ торговыхъ и благодарили третье сословіе за то, что оно поддерживаетъ «*les intérêts du peuple*». А третье сословіе соображало, что если безъ всякой надобности являются десятки торговыхъ, то въ случаѣ надобности могутъ явиться тысячи работниковъ; конечно такіе соображенія не оставались безъ вліянія на ходъ совѣщаній и значительно ослабили заслуженный авторитетъ Бастиліи.

Первый декретъ національнаго собранія поставленный имъ въ тотъ самый день, когда оно приняло предложеніе Сійэса, показываетъ ясно, какое понятіе составляло себѣ третье сословіе о предѣлахъ своей власти. Собраніе объявило, что всѣ взимающіяся до сихъ поръ подати незаконны, потому что ихъ установило правительство безъ согласія націи; къ этому рѣшенію была прибавлена оговорка, что собраніе позволяетъ продолжать взиманіе прежнихъ податей только до тѣхъ поръ, пока представители націи будутъ заниматься пересмотромъ государственныхъ учреждений; если-же собраніе, какимъ-бы то ни было образомъ, будетъ распущено, то взиманіе податей прекратится. Этотъ декретъ былъ разосланъ во всѣ провинціи, такъ что распушеніе собранія дѣйствіемъ королевской власти могло отнять у правительства всѣ денежныя средства, или въ случаѣ собранія налоговъ вооруженной силой могло повести за собой междоусобную войну и распаденіе королевства. Чѣмъ наступательнѣе дѣйствовало національное собраніе, за которымъ правительство еще не признавало этого титула, тѣмъ громче и восторженнѣе а

*) Его часто называютъ по-русски конституціоннымъ, но это названіе во-первыхъ—ничего не выражаетъ потому что всякій парламентъ есть конституціонное собраніе, а во-вторыхъ—оно и не вѣрно. Конституціонный по-французски—*constitutionnel*, а *constituant*—тотъ, кто организуетъ, учреждаетъ, создаетъ конституцію.

али посторонние зрители и слушатели, нависшие густыми толпами галлерей или трибун зал заседаний; а тем сильнее шумели речей, тем сильнее чувствовало себя собрание, тем несбыточнее казались всякие планы размышления о Бастилии.

VIII.

Возможно было ожидать, чтобы храброе французское дворянство отступило без борьбы перед завоевательными тенденциями национально-революционного собрания; негодование дворянства было очень сильно и особенно очень шумно; министры одной стороны находили, что депутаты третьего сословия посягают на достоинство короны; другая зашла речь о том, как поступать разрушителям должного порядка, тогда в собрании обнаружился раскол, и отцом оказался тот самый Неккер, который при открытии собрания 5-го мая, для солидарности интересов короны, отважно солгал депутатам насчет цифры годового дохода. Теперь он заговорил иначе. Как министр финансов, удрученный безденежьем, платонический обожатель английской конституции и особенно как большой любитель своей популярности, он решил превозмочь свой антипатии к могуществу национального собрания и подаль королю совет освятить свое королевским словом совершившийся факт,

признать существование национального собрания и приказать дворянству и духовенству смириться с депутатами третьего сословия. Он был уверен, что национальное собрание в всяком случае даст правительству денег и устроит для французской нации востановительную конституцию с двумя палатами; в виду такую привлекательную перспективу можно было помириться с тем, что на этот раз будет работать только одна палата, и что таким образом не будет соблюдена *répartition des pouvoirs* (уравновешенностей), которая до сих пор составляет доктрину всех наций задачу, подобную философскому камню и жизненному элексиру. В тот же Неккер рассудил, что если собрание очень сильно, то с ним тем более не стоит ссориться и тем более необходимо дать ему с приветливой улыбкой такую конституцию, которая оно по своей грубости способно принять. Но остальные советники короля, официальные и неофициальные, в это время существовали особенно живо свое кровное родство с теми умирившими привилегиями; уступительному сословию казалась им государственная измена, и король, в котором всегда легко возбудить сознание долга, убедился в том, что он должен противодействовать распоряжению возрожденного национального собра-

ния. Начались приготовления к королевскому заседанию, и 20 июня депутаты третьего сословия, собравшиеся для своих обыкновенных занятий, увидели, что зала их заперта, потому что в ней производились эти приготовления. Они знали по слухам, что королевское заседание будет направлено против их последних распоряжений, и решились заранее обязать себя к самому энергическому сопротивлению. От запертых дверей залы они длинной процессией отправились по улицам Версаля к пустому дому, служившему для игры в мяч (*jeu de paume*), и там дали клятву и подписку «не расходиться и не допускать распушения собрания, а собираться там, где потребуют обстоятельства, пока не будет составлена и утверждена напрочном основании новая конституция государства». 22 числа депутатов, по распоряжению графа Артуа, не пустили в *jeu de paume*, тогда они отправились заседать в церковь Св. Людовика, и в этот день к ним присоединились 148 представителей духовенства, так что духовенные лица, противившиеся соединению, остались в меньшинстве. 23 числа произошло королевское заседание. Король объявлял самые либеральные реформы; заведывание финансами предоставлялось сословию; обременительные подати отменялись; в юстиции и в военном ведомстве предполагалось произвести преобразования; устранялись провинциальные собрания, уничтожались произвольные аресты и упразднялась цензура. Обсудить все эти вопросы и привести их к окончательному разрешению король предоставлял государственному сословию. Разсуждения сословия должны были происходить в трех отдельных палатах.

Решительное слово королевской власти было таким образом произнесено; национальному собранию приходилось существовать не только помимо королевской власти, но даже прямо вопреки этой воле. Действие королевской речи обнаружилось немедленно, как только Людовик XVI успел выйти из залы. Когда обер-церемониймейстер, исполняя приказание короля, пригласил депутатов третьего сословия разойтись, тогда Мирабо отвечал на это приглашение короткой, во очень непочтительной речью, которая кончилась так: «идите, скажите вашему господину, что мы находимся здесь по воле народа, и что нас можно сдвинуть отсюда только штыками». Эти слова нарушали и легальность, и этикет, и даже парламентские обычаи, потому что от лица собрания имел право отвечать только президент, а президентом был член академии Бальи, которому конечно в голову не пришло бы сказать важному придворному чиновнику грубость, цѣликомъ сохранившуюся в истории. Но на этом безчинстве дело не остановилось. Собрание тотчас приняло свои меры для того, чтобы сдвинуть штыками, реко-

мендованное графомъ Мирабо, сдѣлалось совершенно невозможнымъ или по крайней мѣрѣ особенно затруднительнымъ. Не выходя изъ залы, оно, по предложенію Барнава, постановило рѣшеніе, что «личность каждаго изъ депутатовъ неприкосновенна», и что «всякое лицо, всякая корпорація, судъ, административное мѣсто или коммиссія», которые будутъ подвергать депутата аресту, слѣдствію или суду за предложенія, софты, мѣтнія или рѣчи въ собраніи государственныхъ сословій, должны признаваться за людей безчестныхъ, измѣнниковъ націи и преступниковъ». Это рѣшеніе осталось бы мертвой буквой, если бы королевская власть располагала такою преданной военной силой, какая находилась въ распоряженіи генерала Бонапарте въ день 18-го брюмера; и это рѣшеніе было не нужно въ томъ случаѣ, когда собраніе было увѣрено въ поддержку народа и даже въ сочувствіи солдатъ, которые въ это время, по словамъ Камилла Демулена, всѣ сдѣлались философами. Но какъ бы то ни было, это рѣшеніе, какъ громогласное выраженіе собственной храбрости, значительно возвысило энергію всего собранія. Объявивъ себя неприкосновеннымъ, оно въ самомъ дѣлѣ подумало, что ему всѣ повѣрятъ на слово, и что до него никто не посмѣетъ дотронуться.

Ходъ событій разбилъ вѣщеніе послѣдующихъ лѣтъ много подобныхъ иллюзій, но учредительное собраніе дѣйствительно не потеряло ни малѣйшей обиды, хотя защищалъ его конечно не декретъ о неприкосновенности депутатовъ. Защищало его преимущественно глубокое разстройство королевской арміи; каждый отдѣльный полкъ представлялъ миниатюрный портретъ феодальнаго общества; офицеры, назначавшіеся исключительно изъ дворянъ, играли роль привилегированныхъ классовъ, а солдаты изображали безправную массу народа; между офицерами и солдатами не было никакой связи, на долю первыхъ выпадали удовольствія жизни и лавры военной славы; вторымъ доставались только труды службы, палки отъ начальства, раны отъ непріятелей и подъ старость вынужденное нищенство и бродяжничество. Надежды на повышение по службѣ у солдата не было; привязанности къ своему дѣлу у него не могло быть, и ненависть къ старому порядку вслѣдствіе этихъ обстоятельствъ была въ немъ по крайней мѣрѣ такъ же сильна, какъ и во всѣхъ другихъ непривилегированныхъ гражданахъ французскаго государства. Кромѣ того народные ораторы говорили такъ громко и такимъ простымъ языкомъ, что солдатъ слушалъ и понималъ всѣ рѣчи и пріучался смотрѣть на приближающійся переворотъ, какъ на единственное спасеніе отъ па洛къ, отъ офицерскаго высокомерія и отъ безнадежно тяжелой службы. Чѣмъ ближе стоялъ полкъ къ Парижу, тѣмъ менѣе могло на него положиться ближайшее начальство и королевское

правительство. Къ этому можно прибавить, что даже многіе изъ офицеровъ, несмотря на свое аристократическое происхожденіе, были увлечены идеями своего времени и считали вооруженное нападеніе на гражданъ совершенно позволительнымъ преступленіемъ.

Соображая эти обстоятельства, читатель придетъ вѣроятно къ тому заключенію, что армія, составленная изъ подобныхъ элементовъ, была гораздо опаснѣе для короля и для его министровъ, чѣмъ для непослушныхъ членовъ національнаго собранія. Въ Парижѣ народъ былъ спокоенъ; его тревожила участь депутатовъ, и каждый день распространялись самые преувеличенные слухи о намѣреніяхъ двора и аристократіи разогнать представителей третьяго сословія и задуть всякую попытку преобразованій; считал архіепископа парижскаго однимъ изъ ожесточенныхъ враговъ національнаго собранія, народъ ворвался 25 іюня въ его домъ, и отрядъ французской гвардіи, призванный для усмиренія мятежа, отказался дѣйствовать противъ народа. По случаю дороговизны хлѣба, голодный народъ ежедневно производилъ безпорядки передъ булочными, и солдаты постоянно оставались нейтральными, несмотря на приказанія и угрозы своихъ начальниковъ. Аристократическая партія при дворѣ не отказывалась однако отъ надежды направить національное собраніе на путь добродѣтели и легальности; она убѣдила короля сдѣлать еще одну энергическую попытку. Рѣшено было: призвать изъ провинцій нѣсколько свѣжихъ полковъ, не успѣвшихъ еще превратиться въ философскія школы; назначить главнокомандующимъ стараго маршала Броули, котораго подвиги во время Семилѣтней войны должны были наполнять сердца солдатъ похвальными чувствами, несовмѣстными съ философіей; уволить отъ службы Неккера за его любовь къ популярности; составить министерство изъ элементовъ строго-консервативныхъ и наконецъ поговорить тогда внушительнымъ образомъ съ версальскимъ собраніемъ и съ парижскими демагогами.

Все это было приведено въ исполненіе, за исключеніемъ послѣдней статьи: поговорить внушительнымъ образомъ не удалось ни въ Версаль, ни въ Парижъ, потому что какъ только парижане узнали 12 іюля объ отставкѣ Неккера и трехъ другихъ министровъ, такъ они тотчасъ сами начали разговоръ; въ тотъ-же день тысячи ремесленниковъ разграбили нѣсколько оружейныхъ лавокъ и сожгли таможенные дома у городскихъ заставъ; войска почти вездѣ отказались сражаться противъ народа; начальники принуждены были выйти съ нами изъ города и поставить ихъ на Марсовомъ полѣ для того, чтобы они по крайней мѣрѣ не перешли на сторону возмущившихся гражданъ.

13 іюля весь Парижъ былъ во власти инсургентовъ, и для обезпеченія частной собствен-

ости въ тотъ-же день была организована національная гвардія, въ которую кромѣ горожанъ оступили сотни солдатъ французской гвардіи, бѣшенно отложившихся отъ своихъ начальниковъ и объявившихъ себя открыто друзьями народа и врагами стараго порядка. Ратушу заняли избиратели третьяго сословія, которые уже въ первыхъ числахъ мая постоянно собирались для совѣщаній объ общественныхъ дѣлахъ. Они смѣнили городовыя власти, назначенныя самимъ королемъ, и сами составили городской совѣтъ и комитетъ безопасности, который тотчасъ дѣятельно занялся вооруженіемъ и организованіемъ національной гвардіи. Между тѣмъ движеніе въ городѣ продолжалось и усиливалось; 14 іюля народъ взялъ инвалидный домъ, нашелъ въ немъ 10 пушекъ и 28,000 ружей и, усиливши этой находкой свое вооруженіе, пошелъ на Бастилію. Она была взята приступомъ, комендантъ и офицеры перебиты, а солдаты гарнизона спасены съ большимъ трудомъ отрядомъ французской гвардіи, дѣйствовавшей заодно съ инсургентами. 5-го король явился въ національное собраніе, казалъ, что войска отозваны изъ Парижа, обѣщалъ тотчасъ пригласить Неккера въ министерство и просилъ представителей націи успокоить волненіе въ столицѣ. 16-го депутація отъ національнаго собранія отправилась въ Парижъ, была принята съ восторгомъ и передала гражданамъ наміренія короля; парижане такъ воодушевились, что тотчасъ безъ всякихъ формальностей въ одинъ голосъ назначили президента національнаго собранія, Бальи, — своимъ перомъ, а генерала Лафайета — начальникомъ національной гвардіи. Въ ночь съ 16-го на 17-е число, цѣль аристократической партіи, подъ предводительствомъ графа Артуа и принца Конде, отправился съ границу, подавая такимъ образомъ первый сигналъ къ открытію длиннаго ряда эмиграцій. 17-го іюля король причастился святыни, сдѣлавъ свое завѣщаніе и поѣхавъ въ Парижъ, подъ покровительство Бальи и другихъ популярныхъ депутатовъ. Поѣздка обоилась благополучно; между королемъ и парижанами состоялось полное примиреніе, но верховная власть оказалась для короля безвозвратно потерянной. Она перешла въ руки національнаго собранія, которое однако въ значительной степени должно было раздѣлить ее съ городскими управленіемъ Парижа и съ національной гвардіей.

Парижскія событія отзывались съ изумительной быстротой и съ неотразимой силой во всѣхъ концахъ французскаго королевства. Втеченіи нѣсколькихъ дней исчезло съ лица земли все, что поддерживало старое государство. Во всѣхъ провинціяхъ безъ исключенія поднялись сословія, городовые магистраты, горожане, крестьяне, пролетаріи, всѣ, кто могъ найти себѣ въ революціи средство воротить старое право, завоевать но-

вое или освободиться отъ обременительной повинности, или просто вымѣстить зло на богатыхъ и знатныхъ баловняхъ разрушавшагося порядка вещей. Въ Бретани всѣ города назначили себѣ новые муниципалитеты и изъ королевскихъ арсеналовъ взяли оружіе для національной гвардіи. Въ Канѣ народъ взялъ приступомъ цитадель и разорилъ домъ вѣдомства соляного налога. Королевскіе интенданты не показывались нигдѣ; парламенты не подавали признака существованія; о низшихъ судилищахъ не было ни слуха, ни духа; все, что при старомъ порядкѣ имѣло officialный санъ и величественную походку, старалось теперь скрыться отъ глазъ толпы и навсегда изгладить въ ея умѣ воспоминаніе о своемъ недавнемъ могуществѣ. Старый судъ, старая полиція, старое управленіе — все исчезло; во всѣхъ городахъ образовались для огражденія личной и имущественной безопасности гражданъ постоянные комитеты, которые, при помощи національной гвардіи, формировавшейся и вооружавшейся вездѣ чрезвычайно быстро, старались и часто успѣвали предупреждать грабежи, убійства и разныя другія быстрыя проявленія народной расправы. Национальная гвардія вооружалась всякимъ оружіемъ, какое попадалось подъ руку: ружья, пики, кинжалы, сабли — все шло въ дѣло; такъ какъ столкновение съ войскомъ было невозможно, потому что войско отказалось дѣйствовать противъ гражданъ, то національная гвардія своимъ солиднымъ видомъ должна была только укрощать излишнюю пылкость пламенныхъ патріотовъ, а для этой цѣли ей пестрое вооруженіе было совершенно достаточно. Конечно дѣятельность комитетовъ и національной гвардіи не могла оградить вполне безопасность гражданъ; гдѣ народу попадался сборщикъ податей, таможенный чиновникъ, нелюбимый судья или офицеръ съ аристократическими понятіями, тамъ происходило насилие и убійство; во многихъ городахъ народъ повѣсилъ нѣсколькихъ купцовъ въ полной увѣренности, что они производятъ искусственную дороговизну хлѣба. Все это было очень нелѣпо, несправедливо и безобразно; но благоразумія, справедливости или изящества могъ ожидать или требовать отъ тогдашняго французскаго народа только тотъ, кто не имѣлъ понятія о средневѣковой исторіи Франціи и о томъ внутреннемъ положеніи, въ какомъ застала ее революція 1789 года. Если-бы невѣжество, нищета и угнетеніе дѣйствовали на человѣка въ ту минуту, когда онъ ихъ испытываетъ, тогда они приносили-бы нашей породѣ только незначительную долю того зла, которое приносятся на самомъ дѣлѣ. Въ томъ то и бѣда, что невѣжество, нищета и угнетеніе отравляютъ не только настоящее, но и далекое будущее. Они не только причиняютъ человѣку страданіе, но они этими страданіями уродуютъ его умъ и характеръ: когда устранены обстоятельства, мѣшавшія развитію

развитію просвѣщенія, когда уничтожены учрежденія, стѣснявшія трудъ и разорявшія работника, когда человѣку даны человѣческія права, тогда едѣла великое и прекрасное дѣло, но все-таки было-бы совершенно неблагоприятно ожидать, что тогда всѣ родители съ кроткой радостью пошлютъ дѣтей своихъ въ школы, что всѣ лежебоки тотчасъ примутся за работу, что всѣ няницы проникнутся отвращеніемъ къ кабаку и любовью къ отечеству и къ акуратности, что наконецъ всѣ люди, не знавшіе до той минуты никакихъ правъ, въ одно мгновеніе поймутъ, что у нихъ есть свои права, и что слѣдовательно они должны уважать права своего сосѣда. Такихъ благотѣльныхъ превращеній не производитъ никакая реформа, какъ-бы она хорошо не была задумана и съ какой-бы осторожной мудростью она не вводилась въ жизнь. Превращеніе произойдетъ, если реформа соответствуетъ естественнымъ потребностямъ людей, но произойдетъ оно не скоро; плоды благотѣльной реформы всегда лежатъ впереди, и тѣмъ дальше отодвигаются впередъ, чѣмъ важѣе реформа и чѣмъ упорнѣе та борьба, которую ей приходится выдержать съ укоренившимся зломъ. Можно замѣтить здѣсь мимоходомъ, что наша извѣстная теорія постепенности основана на простомъ недоразумѣніи: введенная реформа приноситъ плоды постепенно—это правда, это говорить самая элементарная логика здраваго смысла; но наши публицисты и мыслители, не разобравши дѣла, увидѣли только, что слова реформа и постепенно стоятъ рядомъ; они и связали эти два слова по своему и стали доказывать, что реформа должна вводиться въ жизнь постепенно, т. е. не въ видѣ органическаго и осмысленнаго цѣлаго, а въ видѣ отдѣльныхъ кусочковъ, не имѣющихъ ровно никакого самостоятельнаго смысла. Зерно превращается въ растеніе не вдругъ, а постепенно: изъ этого общезвѣстнаго факта вывели то своеобразное заключеніе, что слѣдуетъ класть въ землю не все зерно, а сначала одинъ кусочекъ зерна, потомъ, немного погодя, другой, потомъ третій до тѣхъ поръ, пока изъ кусочковъ не составится цѣлое зерно. Можетъ быть при такой методѣ сѣянія, рекомендуемой нашими публицистами, вырастетъ дѣйствительно богатая жатва. Не знаю. Пусть рѣшаютъ этотъ вопросъ компетентные спеціалисты.

IX.

Въ деревняхъ, гдѣ бѣдствія феодальнаго быта давали чувствовать себя всего сильнѣе, взятіе Бастиліи послужило знакомъ къ самому разрушительному взрыву народныхъ страстей. На сѣверѣ Франціи, тамъ, гдѣ крестьяне платили за землю деньгами и жили въ довольствѣ, отрицаніе старинны выражалось въ томъ, что тотчасъ прекратились всѣ обязательныя работы, всѣ пла-

тежи десятины и всякое отправление повинностей; въ нѣкоторыхъ имѣніяхъ крестьяне отобрали въ свою пользу ту землю, которую помѣщикъ обрабатывалъ для себя, но вообще жизнь мѣстнаго дворянства осталась въ безопасности, замки уцѣлѣли; переворотъ совершился такимъ образомъ на сѣверѣ довольно благообразно. Напротивъ того, въ центрѣ и на югѣ королевства, гдѣ народъ былъ разоренъ и голоденъ, разыгрались всѣ трагическія сцены, характеризующія собой крестьянскія войны. Мужикъ тутъ еще не думалъ улучшать свой бытъ; ему хотѣлось прежде потѣшиться; у него пробудилась потребность мстить и разрушать. Въ Оверни и въ Дофинѣ крестьяне собрались сначала въ горахъ и оттуда, вооруженные всякимъ дрекольемъ, толпами спустились въ долины; замки горѣли, монастыри разрушались, дворяне истреблялись съ утонченной жестокостью въ тѣхъ мѣстахъ, черезъ которыя проходила толпа. Въ Франшъ-Конте везульская національная гвардія попробовала остановить дѣйствія мѣстныхъ поселянъ, но поселяне разбили гвардію, загнали ее въ городъ Везуль и даже взяли приступомъ самый городъ. Въ провинціи Маконне собралась толпа крестьянъ въ 6,000 человѣкъ; кто изъ мужиковъ не присоединялся къ этой толпѣ, у того сжигали дворъ; втеченіи двухъ недѣль эти люди разграбили, разрушили и сожгли болѣе 70-ти дворянскихъ замковъ и убили 230 крестьянъ, не одобрявшихъ ихъ движенія. Кончилось тѣмъ, что собралась національная гвардія изъ нѣсколькихъ окрестныхъ городовъ и разсѣяла эту толпу, разбивши ее въ настоящемъ сраженіи. Такіе же случаи, только быть можетъ не въ такихъ крупныхъ размѣрахъ, происходили съ половины іюля почти на всемъ пространствѣ французской территоріи; въ однихъ мѣстахъ лилась кровь, въ другихъ дѣло обходилось безъ кровопролитія, но вездѣ феодальный порядокъ исчезъ совершенно, а такъ какъ новаго горька еще не было, то общество, по выраженію Зибеля, вездѣ разложилось на свои естественные элементы.

Со времени взятія Бастиліи начинается во всей Франціи непосредственное господство народа. Національное собраніе издаетъ законы, по его дѣятельности имѣетъ значеніе только въ той степени, въ какой она выражаетъ собой народную волю; законы, не пользующіеся сочувствіемъ народа, остаются жертвой буквы; проводятъ въ національномъ собраніи идеи, непопулярныя или консервативныя становятся опасными; пощада старинны начинаетъ считаться измѣлой передъ націей; всѣмъ ходомъ событій втеченіи послѣдующихъ годовъ революціи управляютъ движенія народа, но отыскать въ вопросъ: что такое народъ? становится довольно труднымъ. Если-бы въ половинѣ 1789 года мы могли спросить у каждаго взрослого француза отдѣльно—

ть хочеть? и если-бы было возможно рас-
ить общественныя дѣла сообразно съ тѣмъ
мъ, который дало-бы на нашъ вопросъ
инство французскихъ гражданъ, то навѣр-
нулись-бы результаты, совершенно не-
е на то, что произошло въ дѣйствитель-

Навѣрное большинство не захотѣло-бы
рти короля, ни террора, ни республики, ни
торскихъ войнъ. Навѣрное также боль-
во захотѣло-бы быть сытымъ, здоровымъ
однымъ, т. е. непринужденнымъ дѣлать то,
у не нравится. Но эти желанія всякому
ну, обращающемуся къ народу посред-
suffrage universel, показались-бы на-
и до личности и для большинства со-
по несущественными, хотя каждый чело-
отдѣльно лично для себя считаетъ подоб-
еланія въ высшей степени скромными.
рактическіе люди вообще, а политики,
ющіеся къ suffrage universel въ осо-
ти, знаютъ твердо, что облагодѣтельство-
можно только избранное меньшинство и
ъ не иначе, какъ на счетъ кроткаго боль-
на. Большинство также знаетъ это; оно
етъ доказать неизбежность этого факта
ическими выкладками и историческими
нами; но оно привыкло къ тому, что всегда
бываетъ; привычка терпѣть лишенія не
ила въ немъ потребностей, вложенныхъ
ой въ каждый живой организмъ, но до-
ольшинство до того, что оно плохо вѣ-
тъ возможность когда-нибудь удовлетво-
рять потребностямъ вопліи. Бываютъ ми-
когда это привычное недоувѣріе къ буду-
уступаетъ мѣсто страстному взрыву на-
и, но надежда не осуществляется, потому
а осуществленія ея необходимъ не минут-
рывъ, а долговременная, напряженная и
последовательная дѣятельность. До сихъ
ще не было на свѣтѣ такого народа, въ
мъ большинство было-бы способно къ со-
ной коллективной дѣятельности. За ми-
надежды всегда слѣдовало горькое ра-
ваніе, а потомъ прежнее апатическое недо-

Но кромѣ кроткаго большинства, про-
того непроизвольнымъ скептицизмомъ, въ
мъ народѣ существуетъ обыкновенно энер-
ое и безпокойное меньшинство, которое ни
акимъ видомъ не хочеть и даже по скла-
его ума не можетъ помириться съ при-
мъ житейской мудрости, утверждающимъ,
такъ всегда было, стало - быть такъ и
должно». Почему должно? говорить это не-
ное меньшинство; совѣмъ не должно! Пу-
Что люди сдѣлали, то люди могутъ не-
сть!

да большинство народа относится къ сво-
дущему съ холодной беззаботностью при-
го отчаянія, тогда люди меньшинства не
въ вліанія ни на массу своихъ соотечествен-

никовъ, ни на общій ходъ событій, тогда собы-
тія опредѣляются въ своемъ развитіи такими
случайными и мелкими причинами, которыя не
имѣютъ ничего общаго съ потребностями и
стремленіями, съ хорошими свойствами или съ
дурными страстями миллионѣвъ. Въ это время
люди меньшинства много говорятъ и пишутъ, но
на нихъ обращаютъ вниманіе только для того,
чтобы преслѣдовать ихъ насмѣшками, или изъ
этихъ людей вырабатываются въ такія времена
нейсправимые мечтатели, а въ низшихъ слояхъ
общества люди такого типа легко превращаются
въ энергическихъ преступниковъ, потому что не-
удовольствіе ихъ противъ несовершенствъ жизни
выражается не въ видѣ отвлеченныхъ разсужде-
ній, а въ видѣ конкретныхъ поступковъ. Когда
вѣковая апатія большинства смѣняется минут-
нымъ пробужденіемъ лихорадочной энергіи и
изступленной надежды, тогда люди меньшинства
тотчасъ выдвигаются впередъ на всѣхъ ступе-
няхъ общественной лѣстницы; на нѣсколько не-
дѣль или на нѣсколько дней они становятся ора-
кулами и идолами толпы.

X.

Въ ночномъ засѣданіи національнаго собра-
нія съ 4 на 5 августа дворянство, соединив-
шееся съ духовенствомъ и съ третьимъ сосло-
віемъ послѣ взятія Бастиліи, великодушно отка-
залось отъ своихъ феодальныхъ правъ, которыя
въ то время опасно было предъявлять и кото-
рыми во всякомъ случаѣ невозможно было поль-
зоваться. Декреты, изданные національнымъ со-
браніемъ послѣ этого ночного засѣданія, отмѣ-
нили множество денежныхъ и натуральныхъ по-
винностей, которыя фактически уже не существо-
вали; законодательная власть записала только
на бумагѣ то, что было совершено на французской
территоріи общимъ движеніемъ народа въ концѣ
іюля. Отмѣнивъ феодальныя права, собраніе
стало разсматривать объявленіе о правахъ че-
ловѣка, представленное Лафайетомъ 11-го іюля
и составившее введеніе къ новой конституціи.
Идея о такомъ объявленіи была заимствована у
американцевъ. Собраніе долго обсуждало проектъ
Лафайета, разбирало каждый параграфъ от-
дѣльно, взвѣшивало каждое выраженіе и нако-
нецъ 27-го августа утвердило окончательную
редакцію, въ которой основная мысль автора
осталась неизмѣнной.

Зибель—въ исторіи революціоннаго времени,
и Шлюссеръ—въ исторіи XVIII столѣтія, гово-
рятъ оба, что объявленіе о правахъ человѣка
было со стороны собранія дѣломъ очень небла-
горазумнымъ, и что дѣйствіе этого объявленія
оказалось впоследствии въ высшей степени раз-
рушительнымъ. Читатель безъ сомнѣнія распо-
ложенъ скорѣе согласиться съ приговоромъ
двухъ замѣчательныхъ историковъ, чѣмъ съ мо-

нимъ личнымъ мнѣніемъ, не имѣющимъ за себя никакого авторитета. Несмотря на это расположеніе читателя, которое я съ своей стороны вполне понимаю и одобряю, я отважусь въ этомъ случаѣ не согласиться ни съ Зибелемъ, ни съ Шлоссеромъ. Мнѣ кажется, что оба они придаютъ слишкомъ много значенія бумажнымъ декретамъ національнаго собранія. То настроеніе умовъ, которое побуждало общество требовать объявленія о правахъ и которое заставило это общество съ восторгомъ принять произведеніе Лафайета и національнаго собранія, можетъ конечно быть названо разрушительнымъ. Но самое изданіе объявленія ничего не прибавило и не могло прибавить къ возбужденію умовъ. Оно не сказало рѣшительно ничего новаго тѣмъ французамъ, которые въ Парижѣ штурмовали Бастилію, а въ провинціяхъ разрушали феодальные замки и средневѣковыя учрежденія. Было-бы странно думать, что печатная фраза, какая-бы она ни была зазорная, можетъ развратить невнимательные умы тѣхъ людей, которые привыкли слушать на улицахъ такихъ ораторовъ, какъ Дантонъ и Камилль Демуленъ, и которые кромѣ того привыкли исполнять немедленно то, о чемъ разсуждали съ ними эти господа. Политическая теорія, проведенная въ объявленіи о правахъ, была давно уже приложена къ дѣлу, и національное собраніе въ этомъ случаѣ, какъ въ отиѣны феодальныхъ учрежденій, изложило только на бумагѣ то, что каждый уличный мальчишка въ Парижѣ зналъ изъ практической жизни. Объявленіе о правахъ было слѣдствіемъ и симптомомъ народнаго настроенія; пока продолжалось это народное настроеніе, сначала во всей массѣ населенія, а потомъ въ энергическомъ меньшинствѣ, до тѣхъ поръ принципы лафайетовской деклараціи воплощались въ ежедневныхъ явленіяхъ жизни; когда горячій пароксизмъ прошелъ, тогда декларація со всѣми ядовитыми сѣменами, которыя усматриваютъ въ ней Зибель и Шлоссеръ, оказалась такимъ же старымъ локутомъ бумаги, какъ большая часть изъ 2500 законовъ, изданныхъ учредительнымъ собраніемъ, и какъ множество французскихъ конституцій, возникавшихъ и погибавшихъ одна за другой. Декларация правъ была издана въ 1789 году, а спустя пятнадцать лѣтъ, благополучно царствовалъ уже императоръ Наполеонъ I, который всякія деклараціи называлъ идеологіей и который дѣйствительно имѣлъ полное основаніе презирать идеологію, потому что она не мѣшала французамъ жертвовать за ея фантазіи состояніемъ и жизнью.

Гдѣ-же послѣ этого разрушительное дѣйствіе этой деклараціи? Наконецъ стоятъ только слѣдить декларацію правъ съ любымъ номеромъ газеты, читавшихся въ то время въ Парижѣ, чтобы убѣдиться въ томъ, что декларація, даже какъ кусокъ печатной бумаги, по содержанію и по

формѣ выраженія, гораздо скромнѣе и не тѣхъ произведеній, которыя составляли еженую умственную пищу французской публики. Но каждый разсудительный человѣкъ понималъ, что и газеты того времени только удовлетворяли существовавшимъ потребностямъ, а не давали имъ своимъ появленіемъ. Бриссо, Горса, Лустало, Демуленъ, Фреронъ, Марс, очень яркими значками своей эпохи, но создали эпоху, а напротивъ того эпоха вела на свѣтъ ихъ литературное и политическое направленіе.

Въ общемъ результатъ можно сказать, что объявленіе о правахъ человѣка было тѣмъ вывѣской революціи, какъ и знаменитая цвѣтная кокарда, которой Франція обязана была генералу Лафайету. Французы, по своему уму и по особенностямъ своего національнаго характера, чрезвычайно любятъ «вещественные знаки» и потому они ухватились обѣими руками и за декларацію, и за кокарду, и придали тому и другому какое-стическое значеніе; старые наполеоновскіе даты, какъ извѣстно, плакали и ругались, имъ приходилось снимать съ киверовъ цвѣтную кокарду и прикрѣплять бѣлую, продолжали дорожить вывѣской, когда та давно уже улетучилась. Я думаю, мнѣ не надобности увѣрять читателя въ томъ, что цвѣтная кокарда, ни изысканные періоды деклараціи не имѣли никакого вліянія на развитіе революціи. Агитаторы могли порой ссылаться на тотъ или другой параграфъ деклараціи, и если бы декларація вовсе не существовала, тогда агитаторы стали бы только подробно разсуждать въ своихъ рѣчахъ или статьяхъ тѣ принципы, которые они при существованіи деклараціи просто указывали. Да и наконецъ надобно сказать, что эти принципы были уже тогда общими умственнымъ достояніемъ массы. Декларация повторила еще разъ то, что уже было извѣстно и затвержено наизусть. Народъ знаетъ только, чтобы собраніе произнесло ту декларацію, которая нравится ему, народу, точно такъ, какъ онъ желалъ потомъ, чтобы собраніе имѣло мало участіе въ той или другой патриотической процессіи. Это пристрастіе къ знаменитымъ штучкамъ составляетъ очень любопытную черту французскаго національнаго характера, и каждый безъ сомнѣнія долженъ ее отмѣтить въ своемъ соображеніи. Но это пристрастіе ствуетъ разумѣется только на декоративную сторону событій, а не на общее ихъ направленіе, которое всегда зависитъ отъ общихъ и вѣчныхъ причинъ.

Окончивъ обсужденіе деклараціи, національное собраніе стало разсматривать основныя положенія будущей конституціи. На очередь явились слѣдующіе вопросы: будетъ-ли законодательная власть принадлежать одной палатѣ

иѣсколькимъ? будутъ-ли промежутки между засѣданіями законодательнаго корпуса? будетъ-ли король имѣть участіе въ законодательной власти? зависить-ли отъ короля утвердить или отвергнуть статьи той конституціи, которая вырабатывается тевереннимъ національнымъ собраніемъ? Всѣ эти вопросы, послѣ болѣе или менѣе продолжительныхъ и упорныхъ преній, были рѣшены въ такомъ смыслѣ, что надежды Неккера пересадить на французскую землю англійскую конституцію оказались совершенно несбыточными мечтами. Законодательная власть была предоставлена одному собранію выборныхъ депутатовъ. Промежутковъ между его засѣданіями не допускалось. Король долженъ былъ безусловно принять составленную конституцію. Вопросъ объ участіи короля въ законодательной власти послѣдующихъ собраній былъ рѣшенъ посредствомъ компромисса между требованіями лѣвой стороны и желаніями монархистовъ. Положили, что король можетъ отсрочивать предлагаемый законъ, но что онъ обязанъ утвердить его, если два слѣдующія собранія также признаютъ отсроченный законъ необходимымъ.

Пока національное собраніе разсуждало въ Версалѣ о высшихъ вопросахъ философской политики и государственнаго права, простой народъ въ Парижѣ былъ одержимъ двумя такими заботами, которыхъ конечно не могла устранить въ данную минуту никакая конституціонная система. Во-первыхъ—народу мерещились всадъ заговоры аристократовъ; во-вторыхъ,—лабѣ былъ дорогъ, и народъ былъ увѣренъ, что дороговизну производить купцы, которыхъ слѣдуетъ перевѣшать. Каждый день разыгрывались на эти двѣ неистощимыя темы самыя разнообразныя траги-комедіи; общія основы этихъ эпизодовъ тогдашней уличной жизни проникнуты глубокимъ трагизмомъ: гнетущая бѣдность народа и непобѣдимое недовѣріе его ко всему, что держитъ въ рукахъ общественную власть, лежатъ въ основаніи ежедневныхъ парижскихъ событий; развязка этихъ событий была обыкновенно ужасна, но тотъ отдѣльный поводъ, который въ одну минуту поднималъ цѣлую бурю, та народная логика, которая обнаруживалась въ разсужденіяхъ и дѣйствіяхъ толпы, были обыкновенно недѣли до крайнихъ предѣловъ смѣшнаго. Не было того слуха, не было той басни, которые не подхватывались бы массою и не облетали бы въ одну минуту цѣлые кварталы, если только этотъ слухъ и эта басня попадали въ тонъ господствующему настроенію, т. е. если они говорили о коварствѣ двора и корыстолюбіи барышниковъ, или объ ошибкахъ городского управленія. Городско управленіе съ половины іюля находилось въ рукахъ избирателей, т. е. имущихъ гражданъ столицы; они назначали посредство выборовъ большой контролирующей совѣтъ изъ трехъ-сотъ членовъ; а этотъ совѣтъ

выбралъ изъ среды себя городской совѣтъ въ шестьдесятъ членовъ, который, подъ предѣтельствомъ выборнаго мэра, сталъ заниматься текущими дѣлами управленія. Мэромъ былъ сдѣланъ, какъ я уже говорилъ, президентъ національнаго собранія Бальи, человѣкъ пользовавшійся популярностью и уваженіемъ. Избиратели и члены городского управленія дѣйствовали заодно съ народомъ при штурмѣ Бастиліи и вообще при борьбѣ съ старымъ правительствомъ; но когда третье сословіе одержало рѣшительную побѣду въ собраніи, въ столицѣ и во всемъ государствѣ, когда предводители вооруженной уличной оппозиціи въ свою очередь сдѣлались начальствомъ, тогда между новымъ начальствомъ и народомъ тотчасъ начались неудовольствія. Начальство, какъ начальство, старалось водворить порядокъ, но такъ какъ порядокъ, при разгоряченномъ состояніи умовъ, при застоѣ всѣхъ работъ и при всеобщей нищетѣ, былъ рѣшительно невозможенъ, то популярность новаго начальства утратилась въ первые же дни его господства среди безплодныхъ попытокъ укротить народную тревогу. Пролетарій увидѣлъ съ наивнымъ изумленіемъ и съ комическимъ или вѣрнѣе опять-таки траги-комическимъ гнѣвомъ, что побѣда третьяго сословія къ нему, пролетарію, совсѣмъ не относится, и что всякія политическія права существуютъ и имѣютъ значеніе только для людей состоятельныхъ, т. е. для тѣхъ людей, которымъ при всякомъ порядкѣ вещей живется не совсѣмъ плохо. Пролетарій, несмотря на свою неразвитость, или, какъ говорятъ другіе писатели, по причинѣ своей неразвитости, смекнулъ въ одну минуту, что кромѣ родовой аристократіи есть еще аристократія денежная, и что этой послѣдней аристократіи онъ, пролетарій, доставилъ надъ первой полную побѣду, отъ которой ему, пролетарію, не досталось ничего, кромѣ горячихъ подзатыльниковъ. Избиратели третьяго сословія, одержавшіе побѣду и овладѣвшіе городской властью, находили, что это превосходно, и Бальи говорилъ: «превосходно», и Лафайетъ съ національной гвардіей говорилъ: «превосходно», но пролетарій, опять-таки по своей неразвитости, совсѣмъ не могъ взять въ толкъ, что тутъ превосходнаго? Но такъ какъ начальству толковать съ пролетаріемъ было некогда и такъ какъ кромѣ того не было надежды, чтобы они до чего-нибудь могли дотолковаться, то городскія власти и національная гвардія, состоявшая изъ имущихъ горожанъ, въ августѣ и въ сентябрѣ стали дѣйствовать противъ демократической прессы и противъ уличныхъ ораторовъ, которымъ они весьма горячо сочувствовали въ іюнѣ и въ іюлѣ, т. е. тогда, когда они еще не были городскими властями и національными гвардейцами. Начальственные распоряженія городскихъ властей повела только къ тому результату, что простой народъ, про-

клинавшій до того времени аристократовъ и барышниковъ, сталъ проклипать еще и буржуазію и сталъ ненавидѣть послѣднюю тѣмъ сильнѣе, что до того времени онъ считалъ ее своей естественной союзницей и будущей спасительницей. Однимъ предметомъ ненависти у пролетарія стало больше, и это обстоятельство не содѣйствовало ни къ просвѣщенію его ума, ни къ смягченію его характера.

Положеніе буржуазіи вообще и городскихъ властей въ особенности было затруднительно и тяжело до послѣдней степени. Буржуазія могла ежеминутно ожидать, что народъ обратится противъ собственности съ той же разрушительной энергіей, съ какой буржуазія обратилась противъ аристократическихъ привилегій породы. Городскимъ властямъ приходилось еще круче: имъ надо было, во что бы то ни стало, добывать для Парижа достаточное количество продовольствія, годъ былъ неурожайный; провинція и города удерживали свои запасы хлѣба для самихъ себя, надо было закупать большія партіи хлѣба за границей по дорогой цѣнѣ, потомъ давать бѣднякамъ деньги, чтобы имъ было на что купить себѣ хлѣба. Послѣдняя часть программы была необходима, потому что при началѣ волнений большая часть ремесленныхъ заведеній Парижа закрылась; капиталы попутались; роскошь сдѣлалась опасной, а такъ какъ промышленность Парижа была основана преимущественно на удовлетвореніи требованій аристократической роскоши, то огромное число работниковъ осталось на улицѣ, безъ хлѣба и безъ занятій. Городскія власти придумали открыть общественныя мастерскія; тысячи пролетаріевъ стали стекаться въ нихъ въ тотъ день, когда раздавалась недѣльная плата, и только сотни приходили работать. Слухи о легкихъ заработкахъ разнеслись по окрестностямъ, и Парижъ сталъ наполняться тысячами пришлаго населенія, такъ что чѣмъ больше городскія власти старались объ устраненіи голода, тѣмъ труднѣе становилась ихъ задача. Средства городской казны были совершенно недостаточны для того, чтобы кормить все бѣдное населеніе Парижа; но Балли объявилъ Неккеру, что если въ Парижѣ хлѣбъ поднимется въ цѣнѣ, то изъ этого получится новая революція; стало-быть пусть Неккеръ беретъ денегъ, откуда хочетъ, и пусть прокармливаетъ этими деньгами Парижъ. Дѣлать было нечего, Неккеръ доставалъ денегъ, и одинъ миллионъ за другимъ исчезалъ въ парижскихъ желудкахъ. Новой революціи не произошло, но спокойствіе не восстанавливалось; пролетаріи хотѣли, чтобы имъ было хорошо, а пить все-таки было дурно, хотя городъ и государство раззорялись на покупку хлѣба для нихъ продовольствія; надежда на лучшее была пробуждена, и нужно было много передрагъ для того, чтобы надежда эта опять заглохла, и все-таки она можетъ заглохнуть только на время,

и періодическія пробужденія ея всегда будутъ сопровождаться страшными потрясеніями, до тѣхъ поръ, пока люди не захотятъ и не сумѣютъ осуществить ее тѣмъ или другимъ способомъ.

Въ началѣ октября народъ вообразилъ себѣ, что дороговизна прекратится, и что всѣ его дѣла пойдутъ превосходно, если онъ убѣдитъ или заставитъ короля и національное собраніе перѣхать изъ Версаля въ Парижъ; какими соображеніями руководствовался тутъ самъ народъ, этого отгадать невозможно, потому что у него была своя собственная логика; но тѣ люди, которые натолкнули народъ на эту идею, имѣли свои причины желать присутствія короля въ Парижѣ. Городское управленіе съ наслажденіемъ думало о королевскихъ суммахъ (*liste civile*), которыя король, послѣ пріѣзда въ Парижъ, поневолѣ долженъ будетъ отдавать на продовольствіе города для поддержанія спокойствія. Лафайетъ понималъ, что начальникъ парижской національной гвардіи будетъ господствовать надъ королемъ и надъ собраніемъ. Герцогъ Орлеанскій, котораго кліенты интриговали во всѣхъ слояхъ парижскаго населенія, хотѣлъ посредствомъ популярности добыть себѣ регентство, а со временемъ можетъ быть и корону; ему не хотѣлось, чтобы король пріѣхалъ въ Парижъ, но онъ желалъ, чтобы народъ, отправившись за королемъ въ Версаль, заставилъ его бѣжать оттуда куда-нибудь подальше; его-бы не огорчило также то обстоятельство, если-бы король и дофинъ погибли въ мятежѣ. Словомъ, съ разныхъ сторонъ и по разнымъ причинамъ обнаружилось въ различныхъ коноводахъ желаніе натравить народъ на Версаль, а народъ, по своему обыкновенію, разыгралъ роль увѣселаго орудія. 5-го октября совершилось шествіе народа на королевскую резиденцію, а 6-го короля и его семейство привезли въ Парижъ. Я говорю, что его привезли, потому что тутъ о свободномъ актѣ воли его не могло быть и рѣчи. Съ минуты своего отъѣзда изъ Версаля до самой своей смерти Людовикъ XVI постоянно находился въ плѣну и въ опасности. 19 октября національное собраніе также перѣехало въ Парижъ.

XI.

Ни побѣда третьяго сословія въ національномъ собраніи, ни волненія пролетаріевъ въ Парижѣ, ни возстанія крестьянъ во всѣхъ провинціяхъ государства не могли содѣйствовать управленію финансовъ. Бѣдность французскаго народа и вслѣдствіе этого бѣдность государства, прямымъ или косвеннымъ образомъ, составляетъ основу всѣхъ трагическихъ событій французской революціи. Непосредственная нужда въ денежныхъ средствахъ, нужда, не терпящая отлагательства, постоянно вовлекала всѣ различныя министерства и законодательныя со-

эволюціонной эпохи въ такіа финансово-политическія мѣры, которыя немедленно собой безчисленныя затрудненія и ком- . Уничтоженіе феодальныхъ повинно-наиспация всѣхъ различныхъ отраслей прѣмѣнно должны были современемъ и утратить массу народнаго богатства, дствія этихъ преобразованій могли обо-и не раньше, какъ черезъ десять илить лѣтъ, между тѣмъ пролетарію хо-ать сегодня, а правительству необхо-ди деньги на текущіе расходы; надо-ствовать такъ или иначе, чтобы выпу-изъ ежедневныхъ затрудненій.

табря епископъ отенскій, знаменитыйъ, предложилъ въ національномъ со-существованіи церковными имуществами-биностей государства. 12 октября Ми-дложилъ объявить церковныя имуще-ственность націи. 2 ноября національ-ніе приняло предложеніе Мирабо. От-свою пользу имѣнія духовенства, го-о вмѣстѣ съ тѣмъ принимало на себя-сть оплачивать расходы богослуженія-тъ жалованье священникамъ. Вся эта-казалась чрезвычайно выгодной по-ему расчету: имѣнія духовенства при-му до 70 милліоновъ годового дохода,ъ съ поземельной собственности въ то-авнялся обыкновенно во Франціи одной-третьей части продажной цѣны; слѣ-но, помножая 70 на 33, мы получаемъ-110, и такимъ образомъ оказывается, что-и церковныхъ имуществъ можно выручить-2310 милліоновъ. Эту сумму слѣдуетъ-тъ на выкупъ шести-процентныхъ и-оцентныхъ государственныхъ бумагъ;-отъ выкупъ будетъ произведенъ, тогда-тво освободится отъ 150 милліоновъ-ихъ процентовъ; если изъ этихъ остаю-экономія 150 милліоновъ, государство-потреблять на содержаніе церкви даже-ліоновъ, то все-таки государство будетъ-аждый годъ 50 милліоновъ чистаго ба-

и были заманчивы, но расчетъ былъъ въ основаніи. Во-первыхъ—въ общую-ходовъ, равнявшуюся 70 милліонамъ,доходы съ имѣній мальтійскаго ордена-ществъ, принадлежавшихъ школамъ и-антъ; за исключеніемъ этихъ имѣній и-въ, которыя, по имѣнію всего собранія,-были оставаться неприкосновенными,-и имущества давали не 70, а 50 мил-дохода. Во-вторыхъ—не всѣ церковныя-ва состояли въ поземельныхъ владѣ-духовенства было много городскихъ до-сударственныхъ бумагъ и частныхъ дол-обязательствъ; всѣ эти предметы не-ринести при продажѣ сумму, равняв-

ч. Д. Н. Писаревъ, т. III.

шуюся тридцати тремъ годовымъ доходамъ. Кроме того продажа огромныхъ поземельныхъ владѣній неизбежно должна была понизить цѣну на земли, потому предложеніе непрѣмѣнно ока-залось бы сильнѣе запроса. Стало-быть даже для земель духовенства нельзя было рассчиты-вать на ту продажную цѣну, которая въ то время давалась во Франціи при нормальныхъ условіяхъ продажи. На основаніи этихъ сообра-женій, надо было вмѣсто цифры 33 поставить цифру 25, а такъ какъ и другой множитель 70 понизился до 50, то и произведеніе окажется не 2310, а всего только 1250. Получивши такимъ образомъ отъ продажи церковныхъ имуществъ 1,250 милліоновъ, можно было освободить госу-дарство только отъ 80 милліоновъ ежегодныхъ процентовъ; стало-быть, чтобы получить отъ всей этой колоссальной операціи барышъ, надо было устроить такъ, чтобы содержаніе церкви стоило въ годъ меньше 80 милліоновъ. Но устроить это, не измѣняя внутреннихъ учрежденій церковнаго управленія, было невозможно. Крайняя лѣвая сторона собранія и радикалы въ обществѣ и въ народѣ радовались этой необходимости внести волю націи въ церковныя учрежденія. Но легко можно было предвидѣть, что столкновеніе зако-нодательной власти съ древними статутами ка-толической церкви приведетъ въ волненіе всѣ клерикальныя инстинкты страны. Инстинкты эти не были достаточно сильны для того, чтобы одержать перевѣсъ надъ революціоннымъ дви-женіемъ, но, при крайней необразованности сельскаго населенія, они легко могли выразиться въ противуревлюціонныхъ возстаніяхъ, могли положить основаніе междоусобной войнѣ и по-служить современемъ исходной точкой для бу-дущей католической реакціи.

Надъ подобной перспективой государствен-ные люди учредительнаго собранія могли бы за-думаться, если бы вообще они имѣли возможность сдѣлать свободный выборъ; но именно свобод-наго-то выбора у нихъ и не было; оставить го-сударство безъ денегъ было невозможно; стало-быть надо было продавать церковныя имуще-ства и утѣшать себя тѣмъ, что утро вечера му-дрѣе, и что когда представится затрудненіе, тогда можно будетъ придумать какую-нибудь спасительную мѣру.

Поддерживая 12 октября свое предложеніе о церковныхъ имуществѣхъ, Мирабо дѣйствовалъ подъ вліяніемъ своихъ особенныхъ расчетовъ, которыми онъ до поры до времени не считалъ нужнымъ дѣлиться съ остальными членами учре-дительнаго собранія. Онъ въ это время находился въ сношеніяхъ съ дворомъ, получалъ отъ него деньги, старался усилить правительство и имѣлъ въ виду стать во главѣ министерства, или по крайней мѣрѣ сдѣлаться его руководителемъ. Много и часто было говорено о томъ, что Ми-рабо продалъ свои убѣжденія и измѣни-

родному дѣлу; если негодующіе противъ него историки имѣютъ въ виду его личный характеръ, то я конечно не стану его оправдывать и даже не возьму на себя труда объяснять его поступки, потому что мнѣ въ этой статьѣ до отдѣльных личностей нѣтъ никакого дѣла. Принимая деньги отъ двора, Мирабо поступалъ во всякомъ случаѣ какъ взяточникъ, причемъ конечно, величина взятки соотвѣтствовала силѣ его ораторскаго таланта и могуществу его популярности. Но о продажѣ убѣжденій и объ измѣнѣ народному дѣлу здѣсь не можетъ быть и рѣчи: Мирабо съ начала до конца своей дѣятельности оставался вѣренъ себѣ; онъ никогда не поворачивалъ назадъ, а онъ просто, дойдя до извѣстной точки, сказалъ, что дальше идти не слѣдуетъ; сказалъ не потому, что былъ подкупленъ, а потому что всегда считалъ эту извѣстную точку тѣмъ предѣломъ, на которомъ должно остановиться.

Этотъ фактъ важенъ и любопытенъ для насъ, потому что Мирабо является самымъ даровитымъ представителемъ и самымъ крупнымъ воплощеніемъ тѣхъ идей и стремленій, которыя, выдвинувшись впередъ въ самомъ началѣ революціи, скоро должны были уступить мѣсто другимъ, болѣе яркимъ и рѣзко обозначеннымъ направленіямъ. Политическая программа Мирабо осталась невыполненной не потому, что его личность перестала пользоваться довѣріемъ честныхъ гражданъ, а потому, что требованія партій имась, еще неутомленныхъ революціонной борьбой, были въ то время безпредѣльно широки; ихъ не могла ни примирить, ни удовлетворить никакая отдѣльная система. Въ перепискѣ своей съ графомъ Ламаркомъ, довѣреннымъ лицомъ королевы, Мирабо развиваетъ свои политическія убѣжденія, стараясь доказать королю и его приближеннымъ, что, только дѣйствуя сообразно съ этими убѣжденіями, можно спасти государство отъ окончательной катастрофы. Въ этихъ письмахъ, посредствомъ которыхъ Мирабо велъ свои переговоры съ дворомъ, очевидно должно было бы выразиться съ полной рельефностью отступничество Мирабо отъ интересовъ народа, если бы только это отступничество вообще когда-нибудь существовало. Но Мирабо разсуждаетъ здѣсь о государственныхъ дѣлахъ такъ, какъ разсуждалъ о нихъ всегда и вездѣ. Онъ конституционную монархію считаетъ лучшей изъ всѣхъ извѣстныхъ политическихъ системъ, причемъ онъ однако придаетъ особенную важность не виѣшнимъ формамъ управленія, а тѣмъ основнымъ началамъ, которыхъ держится правительство въ своихъ отношеніяхъ къ народной жизни; онъ хочетъ, чтобы не было частныхъ привилегій, чтобы трудъ оставался свободнымъ отъ помѣщичьяго и цехового гнета, чтобы капиталъ былъ освобожденъ отъ монополіи столичной биржи, чтобы судопроизводство не находилось въ зависимости отъ землевладѣльцевъ и отъ парламентскихъ

фамилій, чтобы государственные финансы не разстраивались придворными прихотями, чтобы національное единство не ослаблялось внутренними таможенными и провинціальными привилегіями. Словомъ, онъ хочетъ, чтобы правительство было сильно и популярно, т. е. чтобы оно пользовалось своей силой только для народного блага; для этого онъ находитъ необходимымъ, чтобы король былъ независимъ отъ фантазій парижскаго пролетаріата, но чтобы онъ дѣйствовалъ постоянно и добросовѣстно, заодно съ національнымъ собраніемъ и чтобы онъ былъ связанъ съ этимъ собраніемъ самымъ неразрывнымъ союзомъ. Фактическую возможность такого союза Мирабо видитъ въ томъ, что совѣтниками короны должны быть постоянно самые вліятельные предводители парламентскаго большинства. Такъ какъ Мирабо никогда не стремился къ республикѣ и такъ какъ онъ всегда пользовался волеями пролетаріата только какъ орудіемъ противъ феодальной оппозиціи, то въ письмахъ своихъ къ графу Ламарку онъ остается совершенно вѣренъ политическимъ идеямъ всей жизни.

Чтобы привести эти идеи къ осуществленію, ему дѣйствительно необходимо было быть министромъ. Задача, которую онъ себѣ ставилъ, въ то время была неисполнима даже для него, но уже всякому другому человеку за нее нечего было и браться. Чтобы заранѣе избавить свое будущее министерство отъ гнетущаго безденежья, Мирабо пустилъ въ ходъ предложеніе о церковныхъ имуществахъ. Какъ только предложеніе это было принято, такъ Мирабо тотчасъ двинулъ впередъ рядъ новыхъ проектовъ. Онъ предложилъ обезпечить спокойствіе Парижа закупкой большихъ запасовъ хлѣба, поручить завыданіе государственнымъ долгомъ особому вѣдомству, независимому отъ министерства финансовъ, дозволить этому вѣдомству пустить въ обращеніе кредитные билеты, обезпеченные церковными имуществами, и наконецъ предоставить министрамъ короля совѣщательный голосъ въ національномъ собраніи. Последнее предложеніе, которое Мирабо дѣлалъ уже одинъ разъ въ концѣ сентября, прямо клонилось къ министерской кандидатурѣ самого оратора. Но въ собраніи господствовало такое настроеніе отдѣльных партій, при которомъ составленіе сильнаго министерства было совершенно невозможно. Можетъ быть такое министерство было-бы чрезвычайно благотѣльно для Франціи, если бы оно составилось и начало дѣйствовать, но вся бѣда заключалась въ томъ, что оно не могло при тогдашнихъ обстоятельствахъ ни составиться, ни удержаться. Оппозиція противъ правительства была безконечно сильна и въ національномъ собраніи, и на улицахъ, и въ провинціяхъ; въ оппозиціи собранія соединялись самые разнородные элементы, которые только въ оппозиціи и могли соединиться между собой, потому что

ты были недовольны настоящим и между ними все хотѣли совершенно различных вещей въ будущемъ. Республиканцы крайней лѣвой стороны и аристократы крайней правой стороны слондлись между собой на томъ пунктѣ, что Мирабо не долженъ быть министромъ; и ты, другіе хотѣли, чтобы правительство было слабо, потому что и ты, и другіе хотѣли произвести переворотъ въ свою пользу, а между тѣмъ въ то время еще ни ты, ни другіе не были въ силахъ развалить правительство изъ самихъ себя. Что касается до умѣренныхъ членовъ собранія, между ними господствовало личное вліяніе Неккера и Лафайета, которые видѣли въ Мирабо опаснаго соперника, способнаго отнять у нихъ могущество и затмить ихъ популярность.

Изъ всѣхъ этихъ немногочисленныхъ партій кружковъ составлялось въ общей сложности огромное большинство, и собраніе отвѣчало на предложеніе Мирабо такимъ объявленіемъ, которое попало не въ бровь, а въ глазъ; оно объявило 7 ноября, что ни одинъ депутатъ не можетъ быть членомъ министерства. Весь политическій планъ Мирабо разрушился окончательно; остались только предложенія его насчетъ церковныхъ имуществъ и на счетъ покупки хлѣба для Парижа; и то, и другое было необходимо во всякомъ случаѣ и не зависѣло ни отъ какихъ политическихъ комбинацій. Втеченіи всей зимы, съ 1789 на 1790 годъ, различные комитеты учредительнаго собранія изучали во всѣхъ подробностяхъ вопросъ о продажѣ церковныхъ имуществъ. 19 декабря собраніе рѣшило, что съдѣлать на первый разъ продать изъ нихъ на сумму 400 милліоновъ. 6 февраля, выслушавъ докладъ своего комитета, собраніе рѣшило, что прежде всего должно упразднить монастыри и продать ихъ земли. По этому случаю было произнесено насчетъ монашества много непочтительныхъ рѣчей, въ которыхъ присутствовавшіе депутаты и епископы съ ужасомъ и сердечнымъ разрушеніемъ усмотрѣли духъ Дидро и Вольтера. Епископъ нансійскій заблагоразсудилъ даже просить, продолжаетъ-ли католическое вѣроисповѣданіе считаться государственной религіей франціи. Собраніе оставило этотъ язвительный вопросъ безъ отвѣта и настояло на упраздненіи монастырей. Впрочемъ нельзя сказать, чтобы всѣ епископы и аббаты, сидѣвшіе въ собраніи, были подвержены приливамъ ужаса и сердечнаго сокрушенія. Въ числѣ епископовъ былъ Талларанъ, котораго ничто не сокрушало и не ужасало и которому принадлежала даже инициатива въ дѣлѣ церковныхъ имуществъ; а въ числѣ аббатовъ сидѣли: Сийестъ, сдѣлавшій первый рѣшительный шагъ въ борьбѣ третьяго сословія съ привилегированными классами, и Трегюаръ, не уступавшій въ радикализмѣ своему другу, Робеспьеру.

Тлетворный духъ времени проникалъ такимъ образомъ даже въ ряды того сословія, которое было связано съ средневѣковымъ прошедшимъ всѣми своими воспоминаніями и всѣми интересами своего могущества. Стонали католическіе пастыри, сохранившіе чистоту сердца, содрогались великія тѣни Григорія VII, Иннокентія III и Игнатія Лойолы, а монастырскія помѣстья все-таки пошли въ продажу и пошли тѣмъ скорѣе, что въ дѣло вмѣшался парижскій городской совѣтъ, которому забота о насущномъ хлѣбѣ, по очень понятнымъ причинамъ, не оставляла ни минуты покоя. Балли постоянно убѣждалъ Неккера однимъ и тѣмъ-же разсужденіемъ, которое отъ повторенія не становилось избитымъ и не теряло своей силы. «Если, говорилъ онъ, пролетаріямъ нечего будетъ ѣсть, они все поставятъ вверхъ дномъ; не хотите революціи, такъ давайте денегъ». Въ первые два зимніе мѣсяца у Неккера забрали на покупку хлѣба 17 милліоновъ, да кромѣ того на общественныя мастерскія уходило по 360,000 ливровъ въ мѣсяцъ. Для Парижа не было ничего завѣтнаго; со времени пріѣзда короля на продовольствіе столицы тратились и королевскія суммы, и все это поѣдалось съ необыкновенной быстротой.

Когда въ національномъ собраніи кончилось дѣло о монастыряхъ, тогда городской совѣтъ рѣшился отломить для своихъ питомцевъ кусокъ предстоящей добычи. 10 марта Балли явился къ рѣшеткѣ національнаго собранія, изобразилъ бѣдственное состояніе государственнаго кредита, выразилъ необходимость поскорѣе продать церковныя помѣстья и объявилъ собранію, что парижская коммуна готова взять на себя продажу своихъ монастырскихъ имуществъ, оцененныхъ въ 150 милліоновъ, съ тѣмъ, чтобы ей за хлопоты уступили четвертую часть тѣхъ денегъ, которыя будутъ выручены. «А за это, прибавилъ Балли, городъ выстроитъ собранію прекрасный дворецъ». Какъ ни оригинально то обстоятельство, что одно общественное учрежденіе публично предлагаетъ другому такому-же учрежденію магарычъ, и какъ не славазвительна была для собранія, засѣдавшего въ манежѣ, перспектива имѣть собственный «прекрасный дворецъ», однако представители націи устояли противъ искушеній лукаваго Балли и нашли, что заплатить за комиссію почти 40 милл. будетъ чрезчуръ роскошно. Балли смягчился, просилъ 16 милліоновъ. Собраніе согласилось.

Этотъ эпизодъ изображаетъ очень картинно то безвыходное отчаяніе, въ которое постоянное безденежье погружало все общественныя вѣдомства. Понятно, что наивныя слова Балли о прекрасномъ дворцѣ были просто судорожнымъ усиленіемъ утопающаго схватиться за соломинку. Несчастнаго старика затормозили съ тѣхъ поръ,

какъ онъ былъ мэромъ. Городской совѣтъ дѣлалъ ему замѣчанія, большой контролирующій совѣтъ присылалъ ему выговоры; въ каждомъ парижскомъ кварталѣ былъ свой совѣтъ, который о дѣйствіяхъ мэра отзывался неодобрительно, и всѣ требовали денегъ, и всѣмъ деньги были дѣйствительно необходимы, а Вальи, узнавъ это, сообщалъ свое знаніе Неккеру, и обоимъ имъ приходилось отчаяваться. Тутъ поневолѣ договорились до прекраснаго дворца.

17-го марта собраніе положило поручить продажу монастырскихъ имѣній городскимъ общинамъ королевства и предоставить послѣднимъ опредѣленную долю чистой выручки. Затѣмъ опредѣлено было выпустить 400 милл. ассигнацій, присвоить имъ внутри государства курсъ наравнѣ съ звонкой монетой, и потомъ принять ихъ обратно въ казну, какъ уплату отъ покупателей монастырскихъ имуществъ. Въ это самое время комитетъ церковныхъ дѣлъ представилъ собранію докладъ, который окончательно озадачилъ все благочестивое духовенство. По проекту комитета, духовенство устранилось отъ управленія церковными имуществами, и управленіе передавалось свѣтскимъ вѣдомствамъ. Нація принимала на себя долги духовенства, доходившіе до 149 милліоновъ, и обязывалась выдавать на содержаніе церкви 133 милліона вмѣсто прежнихъ 170, составлявшихся изъ десятинной подати и изъ доходовъ. Но такъ какъ и эта сумма, по мнѣнію комитета, была слишкомъ велика, то предлагалось дать церкви на будущее время совершенно новое устройство, при которомъ оно ежегодно обходилось-бы государству въ 65 милліоновъ. Съ 170 милліоновъ перейти на 65 для всѣхъ благочестивыхъ людей было чрезвычайно обидно, и потому намъ совершенно понятны тѣ крики негодованія, которыми истинные столпы католичества встрѣтили мысль о такомъ радикальномъ преобразованіи. Но собраніе не обратило вниманія на эти жалобы и очень серьезно стало разсматривать и обсуживать проектъ комитета.

ХП.

Въ ту самую зиму, въ которую національное собраніе завоевало въ пользу націи церковныя имущества, оно также положило основаніе новому административному раздѣленію и устройству французской территоріи. Старое историческое раздѣленіе на провинціи было отиѣнено, и вся Франція распалась на 83 департамента, которые подраздѣлялись на 574 округа и 4730 кантоновъ. На всемъ пространствѣ французскаго королевства существовало въ то время около 44000 городскихъ и сельскихъ общинъ, которыя всѣ получили новое устройство по одному общему образцу. Каждая община должна была управ-

ляться выборнымъ совѣтомъ, и всѣ должности въ общинѣ должны были замѣщаться по непосредственнымъ выборамъ гражданъ безъ всякаго вмѣшательства или вліянія сверху. Округомъ управлялъ совѣтъ изъ 12 лицъ, а департаментомъ совѣтъ изъ 36 лицъ. Члены того и другого совѣта выбирались на два года коллегіями избирателей, составлявшимися по непосредственнымъ выборамъ гражданъ каждаго отдѣльнаго кантона. Департаментскій совѣтъ раскладывалъ подати по округамъ и общинамъ, наблюдать за исправностью сбора и препровождалъ собранныя суммы въ государственную казну. Онъ заведывалъ мѣстными путями сообщенія и заботился о полицейскомъ благочиніи. Въ его распоряженіи находились департаментскія суммы; ему довѣренъ былъ надзоръ за общепользовными учрежденіями и ему принадлежало также начальство надъ мѣстнымъ отрядомъ жандармовъ. Окружной совѣтъ подчинялся департаментскому и заведывалъ тѣми мѣстными подробностями администраціи, въ которыя неудобно было вникать департаментскому начальству. Впрочемъ окружные совѣты съ самаго своего происхожденія на свѣтъ считались совершенно излишней инстанціей, которая только замедляла теченіе дѣлъ, не принося взаимно этого неудобства никакой осязательной пользы. Всѣ должностныя лица въ департаментѣ, въ округѣ и въ общинѣ только по приговору суда могли быть отрѣшены отъ должности до истеченія того срока, на который они были выбраны. Они были обязаны исполнять законныя приказанія короля, но король собственною властью не могъ ни награждать, ни наказывать ихъ. Если какое-нибудь изъ этихъ мѣстныхъ вѣдомствъ совершало противозаконный поступокъ, или обнаруживало небрежность въ исполненіи своихъ обязанностей, то вопросъ о томъ, слѣдуетъ-ли распустить это вѣдомство и предать его членовъ суду, разрѣшался въ національномъ собраніи. Королю предоставлялось впрочемъ право пріостановить дѣятельность провинившагося вѣдомства въ то время, пока національное собраніе будетъ разсматривать вопросъ о его виновности. Вся система была, какъ мы видимъ, основана на всеобщемъ приложеніи выборнаго начала. Въ выборахъ участвовали отъ 4 до 9 милліоновъ гражданъ, называвшихся полноправными или активными; они должны были быть совершеннолѣтними, должны были прожить по крайней мѣрѣ одинъ годъ въ томъ округѣ, въ которомъ они подавали голосъ, и наконецъ должны были вносить сумму подати, равную поденной платѣ трехъ дней. Эти активные граждане не выбирали прямо депутатовъ національнаго собранія, а назначали посредствомъ выборовъ коллегіи избирателей, которыя выбирали какъ депутатовъ, такъ и членовъ департаментскихъ окружныхъ совѣтовъ. Чтобы быть избирателемъ, требовалось имѣть

Ораторы и журналисты могли разрабатывать въ отдѣльныхъ приложеніяхъ общіе мотивы народнаго настроенія, но чуть только они пробовали уклониться отъ этихъ мотивовъ, — тотчасъ масса кричала имъ, что они изиѣнники и что ихъ немедленно потащатъ къ фонарному столбу. Исторія революціи переполнена трагическими эпизодами, въ которыхъ вчерашній любимецъ массы погибаетъ сегодня отъ рукъ этой массы въ ту самую минуту, когда онъ, полагаясь на свою популярность, пробуетъ внести въ движеніе свои личные взгляды, несовмѣстные съ общими стремленіями его недавнихъ восторженныхъ обожателей. Такъ погибли жирондисты. Но, чтобы не забѣгать впередъ, я приведу въ примѣръ Мирабо, который въ 1789 году казался французскому народу воплощеніемъ революціи, и котораго жизнь была однако въ опасности впродолженіи нѣсколькихъ дней, послѣ того какъ онъ совѣтовалъ въ національномъ собраніи предоставить королю право безусловно отвергать проекты законовъ. Самая исторія парижскаго Якобинскаго клуба показываетъ, что не клубъ распалялъ страсти народа, а наоборотъ разпаленное состояніе народныхъ страстей находило себѣ въ клубѣ одно изъ своихъ проявленій. Въ началѣ существованія Якобинскаго клуба въ немъ господствовали своимъ краснорѣчіемъ жирондисты, поэты и романтики революціи, мечтавшіе объ античныхъ республиканскихъ добродѣтеляхъ, чувствовавшіе глубокое отвращеніе къ тѣмъ коммунистическимъ стремленіямъ, которыя швелились въ голодной толпѣ людей безъ панталонъ (*sans culottes*). Еслибы можно было предположить, что раздраженіе массъ производится рѣчами ораторовъ и статьями журналистовъ, то надо было-бы ожидать, что жирондисты, какъ люди превосходно владѣвшіе словомъ и перомъ, навсегда сохранятъ за собой господство въ клубѣ, въ столицѣ и во Франціи; надо было-бы ожидать, что они обратятъ пролетарія къ добру и къ красотѣ и наложатъ на всю общественную жизнь печать своего эстетическаго вліянія. На повѣрку же оказывается напротивъ того, что реальный элементъ безпанталонности выгналъ въ очень короткое время поэзію античной добродѣтели изъ клуба, изъ столицы и изъ Франціи. Стало-быть мы видимъ, что окружающіе элементы передѣляли на свой образецъ Якобинскій клубъ; слѣдовательно дѣйствующая сила лежала и лежитъ всегда и вездѣ — не въ единицахъ, не въ кружкахъ, не въ литературныхъ произведеніяхъ, а въ общихъ и преимущественно — въ экономическихъ условіяхъ существованія народныхъ массъ.

Покончивъ съ пассивными и активными гражданами, я могу сказать нѣсколько словъ о судебныхъ учрежденіяхъ, созданныхъ для Франціи національнымъ собраніемъ втеченіи зимы 1789 года.

Господскіе суды, королевскіе трибуналы, пар-

ламенты, вообще всѣ судебныя учрежденія старой монархіи были уничтожены; послѣ іюльскихъ дней 1789 года и послѣ ночного засѣданія съ 4 на 5 августа эти учрежденія, тѣсно связанныя съ общимъ строемъ феодальнаго государства, потеряли всю свою силу, но такъ какъ національное собраніе успѣло создать новую систему судостроительства и судопроизводства только въ октябрѣ 1790 года, то Франція больше года оставалась фактически безъ судовъ, и это обстоятельство конечно не могло содѣйствовать водворенію спокойствія и законности. Уничтоженіе парламентовъ и введеніе новыхъ судовъ обременили государство новыми, значительными расходами и увеличили сумму государственнаго долга. Такъ какъ мѣста въ парламентахъ были проданы старой монархіей въ вѣчное и потомственное владѣніе, то, уничтожая парламенты, надо было выкупить эти мѣста, и сумма, которую приходилось уплатить по расчету парламентскимъ совѣтникамъ и владѣльцамъ послѣдственныхъ мѣстъ въ другихъ судахъ, доходила до 350 милліоновъ. Кромѣ того новые суды по самой умѣренной смѣтѣ должны были стоить дороже старыхъ; парламентскій совѣтникъ удовлетворялся очень незначительнымъ жалованьемъ, потому что онъ имѣлъ въ виду во-первыхъ — послѣдственность своей должности, во-вторыхъ, — ея политическое вліяніе и въ третьихъ, — тѣ значительныя суммы денегъ, которыя, по средневѣковымъ обычаямъ и законамъ, взимались въ пользу судей съ тяжущихся сторонъ. Новый судья не долженъ былъ пользоваться ни одной изъ этихъ трехъ выгодъ; слѣдовательно за всѣ эти выгоды его надо было вознаграждать жалованьемъ; поэтому уничтоженіе старыхъ судовъ и устройство новыхъ прибавляло по крайней мѣрѣ 20 милліоновъ къ суммѣ ежегодныхъ государственныхъ расходовъ.

Необходимость правосудія для развитія народнаго благосостоянія такъ очевидна и такъ значительна, что за полезную реформу въ судебныхъ учрежденіяхъ можно, не колеблясь, платить ежегодно болѣе 20 милліоновъ; эти деньги не пропадаютъ, и соблюдаютъ экономію въ ущербъ правосудію было-бы во всякомъ случаѣ не позволительно и нерасчетливо. Но любопытно замѣтить, что въ тогдашней Франціи всѣ отрасли общественной жизни требовали радикальныхъ реформъ, а всѣ реформы требовали затратъ денегъ, и чѣмъ радикальнѣе и полезнѣе были реформы, чѣмъ больше онѣ могли обогатить государство въ будущемъ, тѣмъ дороже онѣ обходились въ настоящемъ. И всѣ онѣ скопились въ одно время, такъ что не законодатели управляли ходомъ преобразованій, а напротивъ общіе положеніе дѣлъ увлекало за собой и постоянно насилвало волю законодателей. Старина падала отъ своей собственной ветхости и падала зомъ повсемѣстно, не дожидаясь того, чтобы

отмѣнили декретомъ и не спрашивая о томъ, есть-ли чѣмъ замѣнить ее. Но такъ или иначе замѣнять чѣмъ-нибудь разрушившееся учрежденіе было необходимо, а на это требовались деньги, средства же государства были забраны впередъ и истрачены правительствами прежнихъ столѣтій, тѣми правительствами, которые продавали общественныя должности и оставили потомству въ знакъ памяти безсильную администрацію, слѣбую аристократію, развращенный судъ, неоплатный государственный долгъ и озлобленіе массъ, заглушающее въ нихъ всякое пониманіе своихъ собственныхъ выгодъ. Тѣ представительныя собранія, которымъ доброе старое время завѣщало такое роковое наслѣдство, находились въ самомъ трагическомъ положеніи. Дорога легальности и осторожной послѣдовательности въ пересмотрѣ и въ обновленіи отдѣльных частей государственнаго механизма была имъ отрѣзана. Легальность была невозможна отчасти потому, что оппозиція привилегированныхъ классовъ уступала только дѣйствию силы, отчасти потому, что долги государства прижимали его средства, по крайней мѣрѣ въ ту минуту, когда дѣйствовали революціонныя собранія. Осторожная послѣдовательность была невозможна, потому что вся старина обрушивалась разомъ, такъ что надо было все отмѣнять и все создавать заново. Между тѣмъ каждое нарушеніе легальности заключало въ себѣ зародышъ будущей борьбы и насилій; каждое отступленіе отъ осторожности и послѣдовательности вело къ ошибкамъ и запутывало еще болѣе страшно запутанное положеніе дѣлъ.

«Какое управленіе, говорилъ однажды Мирабо, какая эпоха! Всего надо опасаться и на все надо отваживаться. Создается возмущеніе тѣми средствами, которые употребляются для его предупрежденія. Постоянно необходима умѣренность, и всякій разъ умѣренность кажется медлительностью и малодушіемъ. Постоянно необходима сила, и каждое приложеніе силы кажется тираніей. Со всѣхъ сторонъ сыпятся совѣты, а довѣрять приходится только самому себѣ. Приходится бояться людей благочестивыхъ, потому что ихъ безпокойство и увлеченіе опаснѣе всякихъ заговоровъ. Изъ благоразумія приходится уступать, становиться во главѣ волненія, чтобы умѣрять его и при всѣхъ страшнѣйшихъ затрудненіяхъ надо еще сохранять на лицѣ веселое выраженіе».

Мирабо былъ достаточно уменъ и достаточно знакомъ съ положеніемъ дѣлъ и умовъ, чтобы предчувствовать въ будущемъ неизбѣжность государственнаго банкротства, произвольныхъ конфискацій и длиннаго ряда насильственныхъ мѣръ. Но сажь Мирабо, умершій весной 1793 года, и учредительное собраніе, отошедшее правленію осенью того-же года, были тѣмъ же національнымъ кон-

вента. Учредительному собранію досталось на долю провозгласить принципы революціи, а конвенту пришлось вбивать эти принципы въ жизнь, бороться съ той реакціей, которую раздражило первое собраніе, расплачиваться по тѣмъ счетамъ, которые оставила старая монархія, покрывать тѣ издержки, которыхъ требовали новыя учрежденія, и наконецъ принимать на себя отвѣтственность за всѣ тѣ неизбѣжныя насилія, до которыхъ учредительному собранію удалось не дожить. Весь блескъ гражданскихъ доблестей, все благозвучіе либеральныхъ словъ остались собственностью учредительнаго собранія, а вся злокачественная грязь черной исполнительной работы, безъ которой всѣ либеральныя слова остались-бы словами, великодушно предоставлены національному конвенту. Поэтому французскіе либералы до сихъ поръ съ нафосомъ превозносятъ «les grands principes de 1789» и вслѣдъ за тѣмъ казнятъ своимъ негодованіемъ «les excès de 1793».

Такъ какъ роль учредительнаго собранія состояла преимущественно въ томъ, чтобы провозгласить принципы революціи, то и на судебную реформу его слѣдуетъ смотрѣть съ точки зрѣнія принципа, тѣмъ болѣе, что отдѣльныя подробности должны были измѣниться, и дѣйствительно измѣнились современемъ сообразно съ указаніями опыта. Главныя основанія новаго судоустройства заключались въ томъ, что всѣ судьи выбирались активными гражданами изъ числа образованныхъ юристовъ; судъ присяжныхъ прилагался къ уголовнымъ дѣламъ; гражданскіе процессы рѣшались безъ участія присяжныхъ, несмотря на то, что демократы національнаго собранія сильно настаивали на введеніи присяжныхъ во всѣ отрасли судопроизводства. (Здѣсь можно замѣтить, что въ Америкѣ присяжные рѣшаютъ какъ уголовныя, такъ и гражданскіе процессы; Токвилль, котораго еще ни одинъ чело-вѣкъ въ мірѣ не обвинялъ въ яростномъ демократизмѣ, находить, что участіе присяжныхъ въ рѣшеніи гражданскихъ процессовъ очень сильно содѣйствуетъ развитію юридическаго смысла въ американскомъ народѣ). Судьи выбирались гражданами на шесть лѣтъ; для гражданскаго процесса устраивался въ каждомъ округѣ трибуналъ первой инстанціи и одинъ изъ этихъ трибуналовъ долженъ былъ служить другому апелляціонной инстанціей. Третью и послѣднюю инстанцію составлялъ высшій апелляціонный судъ, который долженъ былъ засѣдать въ Парижѣ. Для уголовныхъ дѣлъ учреждалось въ каждомъ департаментѣ судебное мѣсто, а въ Парижѣ кассационный судъ, изъ котораго по жребію должны были назначаться члены національнаго суда, чтобы судить преступленія противъ націи (crimes de lèse-nation). Когда въ національномъ собраніи разсматривался вопросъ объ учрежденіи этого національнаго суда, Казалесь, одинъ

изъ депутатовъ правой стороны, потребовалъ, чтобы были точно опредѣлены тѣ преступленія, которыя оскорбляютъ націю и подлежатъ вѣдѣнію исключительнаго трибунала. На это отвѣчалъ депутатъ крайней лѣвой стороны, адвокатъ Робеспьеръ изъ Арраса; онъ сказалъ, что національный судъ долженъ поражать знатныхъ вельможъ, враждебныхъ народу и искажающихъ его нравственное развитие; главное дѣло, по его мнѣнію, состояло въ томъ, чтобы въ этомъ судѣ засѣдали искренніе друзья революціи.

Въ этихъ словахъ ясно заключался тотъ смыслъ, что революція для своего самосохраненія и для своихъ дальнѣйшихъ побѣдъ надъ старымъ обществомъ нуждается въ послушномъ орудіи и что право судьи должно подчиниться политикѣ. Несмотря на то, что Робеспьеръ не пользовался сильнымъ вліяніемъ въ учредительномъ собраніи, его мнѣніе было принято; предложеніе Казалеса оставлено безъ вниманія; и собраніе рѣшило, что члены національнаго суда будутъ назначаться не по жребію, какъ предполагалось прежде, а по выбору активныхъ гражданъ всѣхъ департаментовъ.

Чтобы покончить съ судебными реформами, достаточно будетъ упомянуть, что судопроизводство сдѣлалось гласнымъ, подсудимые получили защитниковъ, пытка и произвольные аресты отменены; наконецъ учреждены мирные судьи, коммерческіе трибуналы и семейные суды.

XIII.

Разговоры опечаленнаго духовенства о мученическихъ вѣнцахъ и хищныхъ посягательствахъ національнаго собранія стали обнаруживать свое вліяніе. Народъ, остававшійся единодушнымъ въ то время, когда шло дѣло о борьбѣ противъ феодализма, раздѣлился на партіи, когда идеи XVIII столѣтія коснулись церковной іерархіи, и вопіющія потребности государства принудили національное собраніе наложить руку на церковныя имущества. Католицизмъ, не имѣвшій уже для жителей Парижа ни малѣйшей прелести, оказался сильнымъ и живучимъ въ городахъ и селахъ отдаленныхъ провинцій. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ агитація въ пользу католическаго духовенства находила себѣ пищу не столько въ религіозныхъ чувствахъ народа, сколько въ его экономическихъ интересахъ; дѣло въ томъ, что духовенство содержало свои имѣнія въ большомъ порядкѣ и не страдало тѣми спазматическими припадками безденежья, которые часто удручали дворянство. Вслѣдствіе этого духовенство не отдавало своихъ доходовъ на откупъ разнымъ аферистамъ, не притѣсняло своихъ фермеровъ неумѣренными требованіями и вообще вело свои денежныя дѣла ровно, спокойно и правильно, такъ что крестьяне, находившіеся

съ ними въ сношеніяхъ, благословляли свою судьбу и очень дорожили своими арендами.

Когда разнесся слухъ о предстоящей продажѣ церковныхъ имуществъ, тогда всѣ арендаторы этихъ помѣстій, не бывшіе въ состояніи купить себѣ ту ферму, которую они нанимали, пришли въ смятеніе, боясь, что будущій владѣлецъ окажется притѣснителемъ, или согонитъ ихъ прочь съ своей земли. Въ Эльзасѣ составилось за неприкосновенность католической религіи прошеніе, и въ три педѣли набралось 21000 подписей; съ одинаковымъ усердіемъ подписывались католики, протестанты и евреи, потому что всѣ они были арендаторами церковныхъ имѣній и слѣдовательно, всѣ связаны между собой единствомъ интересовъ; въ Бретани начались противу-революціонныя движенія, во главѣ которыхъ появились католическіе священники. На югѣ королевства дѣло дошло до кровопролитныхъ схватокъ между патріотами и клерикалами. Въ Нимѣ національная гвардія и пролетаріи, принадлежавшіе къ католической партіи, поколотили армейскій полкъ, нылавшій патріотизмомъ. Вслѣдъ за тѣмъ въ томъ-же городѣ составилось католическое общество изъ 4000 человекъ, которые немедленно пригласили сосѣдніе департаменты соединиться съ ними въ братскій союзъ за христіанскую религію. Эта мысль нашла себѣ отголосокъ, и въ религіозное братство вступили немедленно города Перпиньянъ, Тарнъ и Тулуза. Въ городѣ Але народъ прогналъ за городскія ворота войска, державшіяся революціонныхъ принциповъ; въ Монтанбанѣ національная гвардія сразилась съ католическимъ пролетаріатомъ, который побѣдилъ и разогналъ нечестивыхъ друзей прогресса. Изъ всѣхъ этихъ фактовъ учредительное собраніе усматривало, что *le peuple souverain* (властительный народъ) часто противорѣчитъ самому себѣ, и что его въ большей части случаевъ мудрею урезонить. Во всей Франціи не было той деревни, въ которой народъ согласился-бы платить десятину послѣ июльскихъ событій 1789 года, а между тѣмъ когда отсутствіе десятинной подати вело за собой необходимость преобразовать внутреннее устройство церкви, тогда *peuple souverain* во многихъ мѣстахъ переполнился католическимъ восторгомъ и не хотѣлъ слышать о преобразованіяхъ; я, — говоритъ *peuple souverain* — платить не желаю, а въ церкви пускай остается все по-старому; а откуда взять денегъ — это дѣло правительства; на то оно правительство. Такъ какъ не было возможности пригласить народъ къ разсмотрѣнію финансовыхъ отчетовъ и убѣдить его цифрами и фактами въ неисполнительности его требованій, то національное собраніе рѣшилось поскорѣе окончить церковныя преобразованія и утвердить ихъ силой въ тѣхъ мѣстностяхъ, въ которыхъ зашевелится католическая реакція. Приступая къ такому образу дѣйствій,

альное собраніе очевидно вступало въ стѣ проявленіемъ народной воли, но такъ эта воля оказывалась раздвоенной, тогда дѣла по-неволѣ надо было примкнуть къ одной изъ двухъ партій и объ- другую партію толпой мятежниковъ, хотя, ется странно было ругать людей мятеж- въ такой странѣ, въ которой вся нація а іюльскіе мятежи славнѣйшими подви- жей исторіи.

очень въ революціяхъ дѣло обыкновенно не о томъ, чтобы убѣдить противника, а чтобы побѣдить и уничтожить его; здѣсь, вообще въ практической дѣятельности, овательность часто становится невозмож- ступаетъ далеко на задній планъ передъ нимой необходимостью. Собирались дѣйстви- мергическими мѣрами противъ католиче- реакцій, національное собраніе не нару- однако принципа религиозной свободы; іе видѣло въ ожесточенныхъ аббатахъ и восторженныхъ послѣдователяхъ только ческихъ враговъ революции, и всѣ позд- распоряженія его по этому предмету ли исключительно изъ этого основного

а. 10 мая 1790 года комитетъ церковныхъ представилъ учредительному собранію новаго устройства церкви. По этому про- избиратели каждаго округа назначаютъ иходскихъ священниковъ, а избиратели аmenta — мѣстнаго епископа. Каждый ный даетъ присягу въ вѣрности націи, и конституціи. Капитулы и духовное изводство уничтожаются, потому что іенія противъ религіи становятся невоз- ми съ этой стороны, когда официально въ принципъ религиозной свободы совѣми послѣдствіями. Папа теряетъ, по проекту га, право давать диспенсации и утверж- говныхъ сановниковъ въ ихъ званіи. При должно замѣтить, что папа уже давно основаніе гнѣваться на свою галликан- аству, потому что уже знаменитая почъ вгуста, уничтожая десятинную подать, ла декретомъ ежегодное препровожденіе въ Римъ.

можно вообразить себѣ, что весь проектъ та долженъ былъ казаться истиннымъ камъ непрерывнымъ рядомъ святотатствъ; ине, которые согласились-бы войти въ эту роенную церковь, должны были-бы счи- еретниками, а духовныя лица, которые м требуемую присягу, — богохульниками, никами и, хуже того, ересіархами.

тѣ должны были-бы считаться члены со- и комитета—я и выразить не умѣю, но комъ случаѣ такъ какъ папа очевидно не утвердить нововведенія, то религиозная противъ нечестивыхъ соотечественниковъ

становилась для всѣхъ вѣрующихъ католиковъ во Франціи первѣйшей изъ священныхъ обязанно- стей. Видно было, что духовенство смотритъ на дѣло именно съ этой точки зрѣнія: когда въ со- браніи происходили пренія о церковныхъ преобра- зованіяхъ, тогда вѣрующіе епископы и аббаты не говорили ни слова; отвергая весь проектъ отъ на- чала до конца, они не хотѣли разсматривать его въ подробностяхъ и были намѣрены во всякомъ случаѣ рѣшительно отказаться отъ требуемой присяги. Споръ поддерживался центромъ собра- нія и лѣвой стороною; онъ относился къ частно- стямъ; шла рѣчь о величинѣ жалованья, о ка- нитулахъ, о томъ, кому выбирать епископовъ, — народу или духовенству. Политики собранія бы- ли равнодушны къ этому спору, въ которомъ го- рячились и торжествовали одни янсенисты, ви- дѣвшіе наконецъ осуществленіе своей задушев- ной мысли о самостоятельности галликанской церкви и о побѣдѣ надъ ультрамонтанскими тен- денціями. Робеспьеръ попробовалъ провести мысль объ уничтоженіи безбрачія духовенства, но собранію показалось, что это ужъ чрезчуръ смѣло, и попытка эта осталась безуспѣшною.

15-го іюня когда тянулись эти пренія, въ національное собраніе былъ представленъ отъ нимскаго католическаго союза адресъ, требова- ній повелительнымъ тономъ благоговѣнія передъ церковью и полнаго возстановленія королевской власти. Католичество шло такимъ образомъ, объ руку съ роялизмомъ, и учредительное собра- ніе, враждовавшее съ послѣднимъ, рѣшилось разорвать всякія дружжелюбныя отношенія и съ первымъ. Адресъ Нима былъ признанъ преступ- нымъ дѣйствіемъ мятежа. Въ это время на югѣ ежеминутно можно было ожидать сильнаго стол- ковленія между цѣлыми городами. Бордо выставилъ отрядъ патріотовъ противъ Монтобана, въ которомъ господствовали католики, и объ пар- тіи долго стояли лагеремъ другъ противъ друга, но на этотъ разъ усилія министерства и націо- нальнаго собранія отклонили, или, вѣрнѣе, от- срочили кровопролитіе.

Разсужденія о церковныхъ преобразованіяхъ продолжались въ національномъ собраніи до 12 іюля и окончились тѣмъ, что проектъ коми- тета былъ утвержденъ съ тѣми частными измѣ- неніями или дополненіями, которые были внесе- ны въ него во время преній. Духовенство, какъ отдѣльная корпорація, перестало существовать. Около того-же времени прекратилось существо- ваніе дворянства. 19-го іюня прусскій баронъ Клоотсъ, большой любитель либеральныхъ эффе- товъ, ввелъ въ залу національнаго собранія тол- пу людей, наряженныхъ въ костюмы разныхъ на- родовъ, и, отъ имени всего человѣчества, произ- несъ рѣчь, въ которой благодарилъ собраніе за его подвиги и умолялъ Францію подать знакъ къ освобожденію всего земного шара. Президентъ отвѣчалъ на эту общечеловѣческую рѣчь серьез-

но и торжественно, а члены собранія воспользовались присутствіемъ челоѣчества, чтобы уничтожить послѣдніе остатки аристократизма. Объ этомъ особенно усердно хлопотали либералы изъ дворянъ Ламетъ, Лафайетъ, Эгильонъ, Сентъ-Фарже, которые, не шутя, воображали себѣ, что, отрекаясь отъ своихъ титуловъ, они совершаютъ подвигъ самопожертвованія и оказываютъ любезному отечеству безсмертную услугу. Правая сторона поспорила и пошумѣла, но по обыкновенію на ея оппозицію никто не обратилъ вниманія, и въ тотъ-же день составленъ былъ декретъ объ уничтоженіи всѣхъ дворянскихъ титуловъ и всѣхъ орденовъ.

Любопытно замѣтить, что эта законодательная мѣра, не заключавшая въ себѣ ничего осязательнаго и существеннаго, причинила дворянству гораздо больше огорченія, чѣмъ тѣ декреты, которые послѣ ночного засѣданія 4-го августа уничтожили феодальныя привилегіи и отняли у дворянства всѣ связанные съ ними доходы. Потерю денегъ можно было перенести изъ любви къ отечеству, но потеря дворянской чести была слишкомъ чувствительна, такъ что эмиграція стала значительно усиливаться послѣ декрета объ уничтоженіи титуловъ. Если Лафайетъ, Ламетъ и другіе либералы того-же сорта видѣли въ этомъ декретѣ великій подвигъ законодательной мудрости, то дворяне старого закала видѣли въ немъ великое поруганіе родовой святыни. Либералы и консерваторы изъ дворянъ сходились между собой на томъ, что тѣ и другіе придавали этой законодательной мѣрѣ мировое значеніе, а Мирабо отъ души смѣялся надъ обѣими сторонами, которыя конечно стояли другъ друга.

Долго-ли еще придется Франціи въ самыя серьезныя и торжественныя минуты своей исторіи украшать себя сусальнымъ золотомъ ложноклассическихъ сценъ и театально-героическихъ движеній—это такой вопросъ, на который можетъ отвѣтить только будущее; что-же касается до первой революціи, то въ ея отдѣльныхъ эпизодахъ рядомъ съ потрясающей наготой дѣйствительности, встрѣчается много мишуры, и народъ восхищается этой мишурой, добродушно упуская изъ виду, что всѣ его бѣдствія ведутъ свое начало отъ мишурнаго блеска ея историческихъ свѣтилъ...

Потѣшивши себя остроумной интермедіей барона Клоотса и насладившись самоотверженіемъ либеральныхъ дворянъ, собраніе обратило свое вниманіе на предметы серьезные. Надо было заняться преобразованіемъ арміи, въ которой съ самаго начала революціи офицеры и солдаты открыто враждовали между собой и постоянно тянули въ разныя стороны. Чѣмъ полнѣе и шире развертывалась реформаторская дѣятельность учредительнаго собранія, тѣмъ сильнѣе становилось неудовольствіе офицеровъ и тѣмъ

страстнѣе выражалась привязанность солдатъ къ дѣлу революціи. Многіе изъ офицеровъ эмигрировали, а солдаты устроили себѣ во всѣхъ полкахъ клубы и требовали, чтобы имъ увеличили жалованье, облегчили производство въ офицерскіе чины, предоставили контроль надъ полковыми суммами и отиѣнили тѣлесныя наказанія. Полковые клубы отправляли свои депутаціи къ полковникамъ, а иногда и прямо къ военному министру или къ національному собранію.

Депутаціи эти объявляли часто, что солдаты не желаютъ повиноваться аристократамъ и врагамъ свободы. Во многихъ провинціяхъ армейскіе полки соединялись съ національной гвардіей и праздновали вмѣстѣ союзы братства, давая клятву защищать общими силами націю, короля и конституцію. Национальное собраніе постоянно ободряло составленіе этихъ союзовъ, называвшихся федераціями, но такъ какъ большинство офицеровъ вовсе не было расположено служить націи и защищать конституцію, то союзы эти увеличивали вражду между начальниками и подчиненными, вслѣдствіе чего необходимость преобразованій по арміи съ каждымъ днемъ становилась болѣе настоятельной.

Прежде всего національное собраніе опредѣлило, что на будущее время всѣ вопросы, относящіеся къ величинѣ и къ устройству арміи, къ порядку ея пополненія, къ употребленію ея въ государство, къ жалованью всѣхъ чиновъ, къ припятию на службу иностранныхъ солдатъ и къ военнымъ уголовнымъ и дисциплинарнымъ законамъ,—подлежатъ рѣшенію законодательныхъ собраній. Потомъ слѣдовали самыя преобразованія: жалованье рядовыхъ увеличено, доступъ къ офицерскимъ чинамъ открытъ всѣмъ способнымъ людямъ, солдату предоставлены въ мирное время всѣ права гражданина. Но здѣсь, какъ и во всѣхъ другихъ отрасляхъ тогдашней государственной жизни, старина разваливалась сама собой прежде, чѣмъ можно было обновить, замѣнить или уничтожить ее мѣрами законодательства. Во всѣхъ полкахъ происходили уже частныя волненія, тѣмъ болѣе, что декретъ, уничтожившій дворянскіе титулы, превратилъ офицеровъ въ рѣшительныхъ враговъ революціи и довелъ до крайнихъ предѣловъ недовѣріе солдатъ къ ихъ ближайшему начальству.

Въ началѣ августа Мирабо предложилъ собранію распустить всю армію и сформировать ее заново, но Маратъ, питавшій къ солдатамъ большую нѣжность за ихъ радикальный образъ мыслей, вслѣдъ за тѣмъ посоветовалъ въ своей газетѣ парижанамъ поставить восемьсотъ висѣлицъ и на первую изъ нихъ повѣсить подлаго измѣнника Мирабо, а на остальныхъ—всѣхъ тѣхъ, кто подастъ голосъ за его предложеніе. Маратъ, какъ извѣстно, никогда не подавалъ другихъ совѣтовъ, и, что всего удивительнѣе, эти одесобразные совѣты всегда приводили пролетаріевъ

стергъ, хотя разумѣется они почти не исполнялись. Въ настоящемъ случаѣ національное собраніе побоялось раздражить крайней партіи, и предложеніе Мирабо отвергнуто.

послѣднихъ числахъ августа произошла еще серьезная тревога. Въ Нанси взбунтовались три полка, овладѣли городомъ и соединились съ вооруженными пролетаріями; къ чему шло возстаніе нансійскихъ солдатъ—не точно, потому что это возстаніе очень скоро задавлено; генералъ Булье собралъ небольшой надежный войска, пошелъ на Нанси, произвелъ такое кровопролитіе, что въ однихъ возмущившихся полкахъ осталось всего еловѣкъ. Національное собраніе, серьезно угнетенное нансійскимъ бунтомъ, публично изло генералу Булье свою признательность. пьеръ возражалъ противъ этого рѣшенія, о не послушали. Въ Парижѣ нансійскія солдаты отозвались сильнымъ раздраженіемъ умовъ въ министровъ, которыхъ народъ считалъ главными виновниками кровопролитія. Въ сентябрьскомъ собраніи опредѣлило для арміи порядокъ производства въ чины. Королю предоставлялось избирать только маршаловъ и отрядныхъ генераловъ; офицеры должны были производиться по достоинству службы; въ унтеръ-офицеры должны были производиться способнѣйшіе солдаты, представлявшіе старыхъ унтеръ-офицеровъ роты. Наконецъ, къ военному судопроизводству примѣненъ институтъ присяжныхъ.

XIV.

столицескія волненія, дворянская эмиграция, солдатскіе мятежи—все это конечно тревожило и огорчало національное собраніе, но всѣ тревоги и огорченія были незначительны, сравненія съ гнетущей и неотвратимой заботой о финансахъ. Уходили дни и недѣли; пришло прошла годовщина взятія Бастиліи; отпраздновали въ этотъ день на Марсовомъ полѣ съѣздъ федераціи для всей Франціи; все это красиво и трогательно; но вмѣстѣ съ днями и недѣлями быстро, незамѣтно и неудержимо уходило изъ государственнаго казначейства неограниченныя ассигнаціи. Къ концу августа изъ 400 милліоновъ, выпущенныхъ въ апрѣлѣ, не оставалось уже ничего. Въ концѣ сентября, когда министерство Неккера упало и когда его мѣсто стало другое министерство, также неспособное, Мирабо предложилъ въ собраніи—выпустить еще 800 милліоновъ ассигнацій и употребить ихъ на погашеніе государственнаго долга съ тѣмъ, чтобы въ обращеніи никогда не было болѣе 1,200 милліоновъ бумажныхъ денегъ. За мнѣніе Мирабо стояли якобинцы; на-

селеніе Парижа также желало новаго выпуска ассигнацій, потому что обиліе денежныхъ знаковъ облегчало процессъ обмѣна и на первое время оживляло промышленность. Но такъ какъ законодатели не могли смотрѣть на вопросы государственнаго хозяйства съ той добродушной беззаботностью, которую обнаруживали въ этомъ случаѣ парижане, то члены національнаго собранія преимущественно утѣшали себя тѣмъ соображеніемъ, что съ 1 января 1791 года начнется для финансовъ новый періодъ существованія. Поэтому рѣшено было—должное количество ассигнацій выпустить, но вмѣстѣ съ тѣмъ немедленно приняться за основательный пересмотръ государственнаго бюджета и за преобразование податной системы.

Устанавливая цифры бюджета, члены собранія усердно вели дѣло къ тому, чтобы доказать экономическую благотворность революціи; если бы они имѣли въ виду только то обстоятельство, что декреты 4 августа 1789 года значительно увеличили народную производительность, то мнѣніе ихъ было-бы безошибочно; но они думали, что народъ этого расчета не пойметъ, и что, на этомъ основаніи, необходимо показать ему, какъ непосредственный результатъ революціи, прямое уменьшеніе въ общей суммѣ податей. Чтобы придти къ этому результату, члены собранія были принуждены прибѣгать ко многимъ смѣлымъ гипотезамъ, которыя своей утѣшительностью могли произвести пріятное впечатлѣніе на публику, но вмѣстѣ съ тѣмъ должны были надолго упрочить путаницу въ финансахъ. Во всѣхъ статьяхъ расхода были произведены значительныя сокращенія, но можно было опасаться того, что эти сокращенія по необходимости останутся только на бумагѣ. Такъ напримѣръ на расходы по сбору податей положено 8 милліоновъ, между тѣмъ какъ по умѣренному расчету, надо было-бы положить на это дѣло около 30 милліоновъ. Церкви, стоявшей 170 милліоновъ, отведено 67. Армія съ 99-ти посажена на 89. На пенсіи вмѣсто 29-ти назначено 12 милліоновъ. Хорошо, если этого достанетъ; но достанетъ-ли?

При всѣхъ этихъ правдоподобныхъ и неправдоподобныхъ сокращеніяхъ получился общій итогъ обыкновенныхъ расходовъ въ 580 милліоновъ для государства и въ 60 милліоновъ для мѣстныхъ потребностей департаментовъ. Кроме того, предвидѣлось въ 1791 году экстраординарныхъ расходовъ на 76 милліоновъ. Эту послѣднюю статью бюджета оставили совсѣмъ въ сторонѣ. Теперь надо было ухитриться, чтобы какъ-нибудь разложить эти 640 милліоновъ (580 и 60) на народъ. Какъ ихъ собирать? Какія преобразованія ввести въ податную систему? При опредѣленіи расходовъ депутаты были расположены предполагать ихъ неестественно скромными, а при вычисленіи дохо-

довъ они, по тому-же самому побужденію, старались выводить цифры невѣроятно крупныя. Они рассчитывали напримѣръ, что національныя имущества (бывшія церковныя) дадутъ 60 милліоновъ дохода; нѣкоторые пессимисты возражали имъ, что эти имущества управляются городскими общинами дурно и что они, по приблизительному расчету, дадутъ не больше 40 милліоновъ. Пессимистовъ не слушали, и расчетъ продолжался въ томъ-же идилическомъ направленіи. Такимъ образомъ нашли, что государство можетъ получить 448 милліоновъ дохода помимо податей—тутъ считались доходы съ національныхъ имуществъ, съ государственныхъ лѣсовъ, съ соляныхъ источниковъ и т. д. Стало-быть народъ долженъ былъ уплатить 492 милліона, т. е. слишкомъ на 100 милліоновъ меньше, чѣмъ онъ платилъ въ послѣдній годъ стараго порядка, не считая десятинъ и феодальныхъ повинностей. Стало-быть главная цѣль національнаго собранія была достигнута; пріятное впечатлѣніе было произведено, и дѣло революціи еще разъ было зарекомендовано народу съ самой привлекательной стороны. Но все-таки надо было разложить эти 492 милліона, и тутъ опять пошли затрудненія.

Народоваселеніе Парижа, имѣвшее ближайшее и сильнѣйшее вліяніе на всѣ распоряженія собранія, сурово отрицало большую часть косвенныхъ налоговъ. Замѣчено вообще, что косвенные налоги бываютъ особенно значительны въ тѣхъ странахъ и въ тѣ эпохи, гдѣ и когда преобладаетъ аристократическій элементъ. По мѣрѣ того, какъ низшіе и бѣднѣйшіе классы народа, живущіе трудомъ, пріобрѣтаютъ себѣ значеніе въ общественномъ организмѣ, — косвенные налоги замѣняются прямыми; наконецъ когда демократическій элементъ становится преобладающимъ, тогда прямые налоги дѣлаются прогрессивными, т. е. богатые граждане не только платятъ абсолютно большую сумму денегъ, но они даже платятъ большій процентъ съ своего большаго дохода, чѣмъ бѣдные—съ своего малаго дохода. Почему усиленіе демократіи ведетъ за собой систему прогрессивныхъ налоговъ—это понятно безъ объясненій; замѣна косвенныхъ налоговъ прямыми основано на той-же общей причинѣ. Прямой налогъ падаетъ преимущественно на тотъ капиталъ, который легко опредѣлить; ему подвергаются землевладѣльцы, чиновники, получающіе опредѣленное жалованье, капиталисты, живущіе процентами съ государственныхъ бумагъ; люди, живущіе собственнымъ трудомъ, могутъ въ этомъ случаѣ платить только подушную подать, да еще пошлину за какой-нибудь патентъ или билетъ; опредѣлить величину ихъ годового заработка и брать съ нихъ извѣстный процентъ этого заработка нѣтъ никакой возможности. Слѣдовательно прямой налогъ падаетъ больше на капиталъ, чѣмъ на

трудъ. Косвенные налоги напротивъ того даютъ съ одинаковой силой на всѣхъ и нуждающихся въ тѣхъ предметахъ, которые ложены пошлиной. А такъ какъ средневѣковое правительство съ особенной изобрѣтательностью умѣло облагать пошлинами предметы первой необходимости, то косвенные налоги падали своей тяжестью на все населеніе страны разбирая ни бѣдныхъ, ни богатыхъ. Для нихъ они разумѣются были тяжелѣе, чѣмъ богатыхъ. Человѣкъ, получающій въ 100000 рублей годового дохода, никакъ съѣсть въ 1000 разъ больше соли, чѣмъ ботаникъ, добывающій себѣ въ годъ 100 р. первый не съѣстъ даже вдвое больше соли; оба они съѣдятъ одинаковое количество и заплатятъ за нее одинаковую сумму, изъ чего прямо слѣдуетъ заключеніе: работникъ относительно платитъ въ 1,000 разъ больше, чѣмъ милліонеръ. Если-же рабочее необходимо для организма, то онъ раба итѣ свое здоровье. Поэтому несправедливо и противъ косвенныхъ налоговъ вообще и протѣ солянаго налога въ особенности объясненіе очень удовлетворительно.

Послѣ июльскихъ дней 1789 года о взиманіи солянаго налога нечего было и думать. Вѣгустѣ того-же года національное собраніе щало уничтожить этотъ налогъ, но выразило мысль, что его необходимо взимать до тѣхъ поръ пока не будетъ введена на его мѣсто другая подать. Въ отвѣтъ на это мнѣніе провинція объявила, что она противъ сборщиковъ своего налога выставитъ въ поле 60000 вооруженныхъ людей; другія провинція обнаружилъ кѣ-же воинственные наклонности, и соляной налогъ исчезъ безъ слѣда. Изъ государственнаго дохода вышло такимъ образомъ, 60 милліоновъ. Табачная регалія въ 27 милліоновъ, тейный акцизъ въ 50 милліоновъ отплатили за солянымъ налогомъ. Налоги на ру, кожу и желѣзо, всего на 9 милліоновъ шли по тому-же пути.

Въ старой Франціи, на городскихъ заставѣ собирались, подѣ названіемъ *ostrois*, по за ввозъ различныхъ припасовъ; эти пошлатавшія преимущественно на вино и мясвалѣ въ годъ 70 милліоновъ, изъ которыхъ 46 поступали въ государственное казначеа 24 шли въ пользу городовъ и мѣстныхъ ницъ. Въ одномъ Парижѣ *ostrois* приносилъ годъ государству 24, а городу 13 милліВтеченіи 1789 и 1790 годовъ эту пошлпродолжали собирать по-прежнему, преимущественно потому, что парижскій городской епостоянно нуждавшійся въ деньгахъ, не обойтѣсь безъ этой статьи дохода; а націонаое собраніе всегда старалось поддержатишія отношенія съ городскимъ совѣтомъ и

е желало посягать на его финансовыя средства, въ болѣе что всякое денежное затрудненіе въ городской кассѣ всей своей тяжестью обрушилось на государственное казначейство, которое подъ страхомъ революціи должно было выдать деньги и кормить пролетаріевъ. Но весною 1791 года *citrois* должны были уничтожиться; народъ давно сообразилъ, что отъ этого *citrois* вино становится дороже, и требованія по этому случаю сдѣлались до такой степени настоятельными, что городской совѣтъ и національное собраніе принуждены были уступить; *citrois* были отменены во всей Франціи, и въ слѣдствіе этого пришлось прибавить еще 6 милліоновъ къ той массѣ налоговъ, которая жала на поземельной собственности; кромѣ того государство стало платить городской кассѣ Парижа по 3 милліона въ годъ, чтобы хоть отчасти вознаградить городъ за потерю этой важной статьи дохода: эти 4 милліона конечно упали также на сельское хозяйство. Изъ косвенныхъ налоговъ удержались только тѣ, которые не отягощали рабочаго населенія; остались такимъ образомъ въ прежней силѣ почтовые доходы, бывшіе до 12 милліоновъ; пошлыны за внесеніе процентовъ въ реестры были увеличены съ 40 милліоновъ на 51 милліонъ; введена новая пошлина въ 22 милліона за гербовую бумагу; удержаны таможенные доходы въ 22 милліона, хотя внутреннія таможни были уничтожены, а тарифъ заграничной торговли передѣланъ по новому плану; осталась въ прежней силѣ государственная лотерея, приносящая 10 милліоновъ; законодатели понимали, что это учрежденіе вовсе не полезно для общественной нравственности, но Парижъ, любившій дешовое вино и требовавшій вслѣдствіе этого отмены *ostrois*, любилъ также сильныя ощущенія азартной игры и желалъ на этомъ основаніи удержать лотерею.

Когда впродолженіи многихъ вѣковъ накоплялись всевозможныя соціальныя неурядицы, раздражавшія народъ, тогда всѣ Солоны и Конфуціи прошедшихъ и настоящихъ временъ при всей добросовѣстности своихъ усилій не сумѣютъ въ два-три года исправить изродную нравственность, точно такъ-же, какъ никакіе философы не сумѣютъ вдругъ разсѣять густые туманы народныхъ предрасудковъ. Что вертелось вѣками, то поправляется по меньшей мѣрѣ десятилѣтіями. Поэтому, если благосклонному читателю не понравится что-нибудь въ длиннѣйшемъ годѣ революціонныхъ событій, онъ твердо долженъ помнить — и я сто разъ готовъ повторять ему — что за все надо говорить спасибо доброму старому времени. Члены конвента мистифицировали только топоръ, который повѣсило надъ государствомъ старое время, и первые 75 лѣтъ прошлаго вѣка въ особенности... Если виноваты палачъ, то еще болѣе виноваты судьи,

хотя вообще искать въ исторіи виноватыхъ — занятіе столько-же наивное, сколько и безплодное.

Всѣ уплѣвшіе косвенные налоги давали въ общей сложности 110 милліоновъ; оставалось набрать еще 282 милліона; для этого было определено, чтобы каждый ремесленникъ бралъ себѣ ежегодно патентъ; эта мѣра дала 22 милл.; потомъ наложена подушная подать, и выручено 60 милліоновъ; затѣмъ остальные 300 милліоновъ упали на поземельную собственность. Разсчеты по бюджету были окончены; на бумагѣ все обстоило красиво и благополучно; но въ дѣйствительности предвидѣлось мало отраднаго. 76 милліоновъ экстраординарныхъ расходовъ можно было игнорировать при разчетѣ; но они отъ этого не теряли своей силы; смѣта обыкновенныхъ расходовъ была, по крайней мѣрѣ на 50 милліоновъ ниже дѣйствительныхъ потребностей государства. Опытные и знающіе люди говорили, что при собираніи прямыхъ налоговъ окажется не менѣе 100 милліоновъ недоимки. $50 + 76 + 100 = 226$; такимъ образомъ при бюджетѣ въ 716 милліоновъ (640 обыкновенныхъ и 76 экстраординарныхъ расходовъ) оказывается дефицитъ въ 226 милліоновъ, почти одна треть. Только очень упорные оптимисты могли думать серьезно, что съ 1-го января 1791 года начинается для государственныхъ финансовъ періодъ благоденствія и порядка.

XV.

Государственный долгъ, переданный національному собранію старой монархіей, оставался непогашеннымъ; революція была поставлена въ необходимость увеличить этотъ долгъ значительной суммою; реформируя всѣ отрасли управленія, надо было вездѣ уничтожать наследственные должности, а владѣльцамъ этихъ должностей надо было выдавать денежное вознагражденіе, потому что должности были, какъ намъ уже извѣстно, куплены у прежнихъ правительствъ на чистыя деньги. Весь капиталъ, который слѣдовало израсходовать на это исправленіе старыхъ шалостей, доходилъ до 1430 милліоновъ и слѣдовательно равнялся суммѣ всѣхъ государственныхъ расходовъ за два года. Уплатить такой капиталъ было совершенно невозможно; оставалось только причислить его къ утвержденному государственному долгу и платить за него вѣчные проценты; такъ и сдѣлали: къ суммѣ ежегодно платимыхъ процентовъ прибавилось вслѣдствіе этого еще 70 милліоновъ.

Ассигнаціи, которыя предположено было употребить на погашеніе государственнаго долга, составляли единственную поддержку казначейства и по горькой необходимости тратились на текущіе расходы; въ іюнѣ 1791 года были издержаны всѣ 1200 милліоновъ первыхъ

двухъ выпусковъ; изъ нихъ на уплату долгового капитала употреблено 108 милліоновъ, на уплату зашученныхъ процентовъ и забранныхъ впередъ доходовъ—416 милліоновъ; на текущіе расходы—676 милліоновъ. Эти 676 милл. были обезпечены національными имуществами; но продать эти имущества можно было только одинъ разъ; стало-быть издерживая цѣну этихъ имуществъ на текущіе расходы, государство съѣдало свой капиталъ, а всякому извѣстно, что тратить на житье капиталъ вмѣсто того, чтобы жить процентами съ капитала, значитъ быстрыми шагами идти къ разоренію. Въ сентябрѣ 1790 года національное собраніе опредѣлило декретомъ, что въ обращеніи никогда не должно быть болѣе 1200 милліоновъ ассигнацій. Въ іюнѣ 1891 года тому-же самому собранію пришлось нарушить свое собственное приказаніе и выпустить еще 600 милліоновъ. Тутъ уже и не пробовали опредѣлять заранѣе ту цифру бумажныхъ милліоновъ, на которой слѣдуетъ остановиться; всѣ знали въ національномъ собраніи и всѣ предчувствовали въ обществѣ, что остановиться невозможно и что за немѣнѣемъ настоящихъ милліоновъ государство будетъ постоянно создавать бумажные. А что будетъ дальше, того никто не могъ рѣшить опредѣленно. Послѣ новаго выпуска ассигнацій потеряли въ своемъ курсѣ отъ 8 до 10 процентовъ. Чтобы облегчить мелкія операціи обмѣна, правительство выпустило 100 милліоновъ пяти-лировыми билетами (1 руб. 25 коп. с.), между тѣмъ какъ въ первыхъ двухъ выпускахъ не было билетовъ мельче 50 ливровъ. Ассигнаціи проникли такимъ образомъ въ бѣднѣйшіе классы народа и вовлекли въ ажіотажъ работниковъ и крестьянъ. Принимая какой-нибудь заказъ, ремесленникъ долженъ былъ рассчитывать на предстоящее пониженіе курса; продавая возъ хлѣба, крестьянинъ могъ ожидать, что въ ближайшей лавкѣ у него примутъ вырученные деньги не иначе, какъ съ значительнымъ учетомъ.

Можно себѣ представить, сколько тревоги вносили подобныя обстоятельства во всѣ крупныя и мелкія сдѣлки; не трудно также понять, какого рода вліяніе эта промышленная тревога должна была оказывать на общее настроеніе умовъ въ народныхъ массахъ. Гдѣ богатый чело-вѣкъ расковалъ частью своего капитала, тамъ поденщикъ поневолѣ рисковалъ кускомъ своего обѣда; когда богатъ раззорялся, тогда бѣднякъ страдалъ отъ голода; а между тѣмъ новые выпуски ассигнацій были невзбѣжны и дѣйствительно быстро слѣдовали одинъ за другимъ; съ каждымъ новымъ выпускомъ увеличивалось колебаніе въ курсѣ; вмѣстѣ съ колебаніемъ въ курсѣ возрастало безпокойство и неудовольствіе массъ; отвращеніе къ правильному и постоянному труду увеличивалось, потому что правильный и постоянный трудъ возможенъ только тогда, когда

онъ можетъ рассчитывать на правильное и постоянное вознагражденіе.

Безпокойство, неудовольствіе, шаткость ежедневныхъ расчетовъ, отсутствіе правильныхъ заработковъ, отвращеніе къ труду—всѣ эти моменты составляли ту общую канву, на которой революціонное движеніе могло разсыпаться щедрой рукой самыя роскошныя и причудливыя узоры. Все дѣйствовало за одно съ революціей, и все предвѣщало ей въ будущемъ много фазъ тревожнаго и неудержимо-стремительнаго развитія. Усилія правительства и національнаго собранія остановить революцію не могли имѣть ни малѣйшаго успѣха, потому что и правительство, и собраніе, стараясь одной рукой обезоружить народныя страсти, другой рукой, сами того не замѣчая, увеличивали раздраженіе умовъ и заготовляли матеріалы для новаго взрыва. И новая революція дѣйствительно приближалась съ неумолимой быстротой, приближалась независимо отъ единичныхъ желаній или опасеній, приближалась, какъ громадное и неизбѣжное явленіе природы, вытекающее изъ данныхъ условій по слѣпымъ и безжалостнымъ законамъ необходимости. Средневѣковое ярмо было разбито и сброшено; несмотря на это, въ сельскомъ и городскомъ населеніи Франціи лежали еще неисчерпаемые запасы матеріаловъ для самыхъ всеобъемлющихъ переворотовъ.

Посмотримъ, что дѣлалось въ деревняхъ. Въ іюлѣ и въ августѣ 1789 года крестьяне почти во всѣхъ провинціяхъ королевства принудили бывшихъ феодаловъ спасаться бѣгствомъ; вмѣстѣ съ феодалами бѣжали и укрылись въ города; или за-границей капиталы; это обстоятельство могло-бы привести сельскому хозяйству много вреда, если-бы капиталы въ прежнее время были прилагаемы къ улучшенію почвы и земледѣльческихъ пріемовъ; но такъ какъ этого въ большей части случаевъ не бывало, то отсутствіе господъ и ихъ капиталовъ выразилась для крестьянъ только въ томъ, что они, крестьяне, избавились отъ многихъ непріятныхъ столкновеній. Законъ отмѣнилъ десятинные подати. Тогда крестьянинъ вспомнилъ, что многія пашни были превращены у него въ луга собственно потому, что лугъ былъ обложенъ менѣе значительной десятинной податью; вспомнивъ это, онъ тотчасъ распахалъ и засѣялъ лугъ, чтобы выручить хорошій денежный кушъ за пшеницу, бывшую въ то время въ цѣнѣ. Отмѣнили нитейную подать. Французскій крестьянинъ, любящій вообще заниматься винодѣліемъ, насадилъ тогда виноградныхъ лозъ во многія такія земли, которыя были несовсѣмъ удобны для такого рода обработки. Превращеніе луговъ въ пашни должно было ослабить скотоводство; превращеніе пахатныхъ земель въ виноградники должно было ослабить земледѣліе; въ томъ и въ другомъ случаѣ прочное благосостояніе хозяйства приносилось

тву болѣе прибыльному, но болѣе рискованному промыслу. Послѣ нѣкоторыхъ колебаній двухъ-трехъ неудачныхъ опытовъ, въ нѣмъ неудача происходить отъ непривычки вѣстись свободой въ сферѣ своего труда, и, нѣтъ, нестѣсняемый внѣшними препятствіями, сумѣетъ скоро освободиться отъ своихъ старыхъ предрасудковъ и поведетъ свое дѣло расчетливо и благоразумно; колебанія неудачи не пропадутъ даромъ; но такія первыя попытки совпадаютъ съ началомъ революціи, и такъ какъ онѣ вносятъ тревоженіе почти въ каждую крестьянскую семью, то мы видимъ, что и здѣсь существующія задатки, изъ которыхъ можетъ развиваться къ дальнѣйшему общественному движению.

Французское крестьянство укрѣпилось и утвердилось, несмотря на всю тягость общаго кризиса; многіе изъ безпорядковъ той эпохи послужили ему въ пользу; государство обдѣлало, потому что не было въ состояніи брать необходимое количество податей, но такъ подати эти оставались въ домѣ крестьянина, то хозяйство его могло совершенствоваться и развиваться. Въ первыя времена революціи въ рукахъ крестьянъ оставалось ежегодно 170 милліоновъ податей, и это обстоятельство въ значительной степени содѣйствовало успѣхамъ французскаго земледѣлія. Не-крестьяне во Франціи владѣли землей, и онѣ говорили до сихъ поръ, относятся только этимъ немногимъ. Для того большинства, которое пробавлялось фермерствомъ и, по не-ску средствъ нанимало себѣ крошечные участки земли, отдавая за наемъ половину сыродукта, для этого большинства, состав-ляло сельскій пролетаріатъ, устраненіе феодальныхъ повинностей оказалось незначительнымъ облегченіемъ. Съ этихъ неимущихъ людей было ничего взять кромѣ повинности; когда обязательный трудъ былъ уничтоженъ, тогда у этихъ людей остался досугъ, этимъ досугомъ нечего было дѣлать; при-томъ состояніи тогдашняго земледѣлія, при-томъ крестьянъ-собственниковъ, при отсут-ствии всякой сельской промышленности, крестьян-пролетаріи рѣдко могли пристроить себя къ какому-нибудь производительному занятію; ко-гда свобода труда не можетъ на вѣчныя вре-мена остаться мертвымъ капиталомъ, но не мо-жетъ также въ одно мгновеніе устранить боковую нищету и вынужденную праздность, для обыкновенно тяготящую надъ рабами, то что вынужденными на волю.

Крестьяне-пролетаріи были друзьями того общаго движенія, которое уничтожило рабство, но они по своей простотѣ, вообража-лись, что настоящее движеніе еще впереди; дѣла, что ихъ сосѣди, крестьяне-собствен-ники извлекли изъ движенія такіа выгоды, ко-

торыя имъ, крестьянамъ-пролетаріямъ, остались недоступными; тогда они, опять-таки по своей простотѣ, стали воображать, что и имъ надо-же когда-нибудь попользоваться этими выгодами и что къ этому пользованію должно привести не-избѣжно дальнѣйшее развитіе революціи. Каж-дый просвѣщенный либераль могъ-бы поразить этихъ глупыхъ крестьянъ безчисленнымъ множе-ствомъ аргументовъ, взятыхъ изъ всѣхъ областей права, исторіи, нравственной философіи и поли-тической экономіи. Онъ могъ-бы сказать имъ въ общемъ результатъ: «глупые друзья мои! Какъ вы этого не понимаете? Они собственники, а вы не собственники. У васъ нѣтъ совѣсть ничего, и потому вы никакъ не можете получить отъ ре-волюціи тѣ удовольствія, которыя приобрѣли отъ нея люди, имѣющіе что нибудь. Революція мо-жетъ измѣнить законы и учрежденія, но если она посягнетъ на священную собственность, то-гда это будетъ уже не революція, а одно безобра-зіе».

Національное собраніе подумало, что прода-жа церковныхъ имуществъ можетъ принести французской націи двойную пользу: во-первыхъ—дать казначейству золотыя горы, а во-вторыхъ—превратить глупыхъ пролетаріевъ въ счастли-выхъ собственниковъ и слѣдовательно въ про-свѣщенныхъ либераловъ, противъ которыхъ не нужно будетъ употреблять никакихъ героиче-скихъ лекарствъ. Поэтому, когда въ половинѣ іюня 1790 года рѣшено было пустить въ прода-жу всю массу церковныхъ имуществъ, тогда на-ціональное собраніе приказало продавать ихъ мелкими кусками. Мѣра была превосходная, но на землѣ не бываетъ полнаго совершенства, и не можетъ его быть, прибавляетъ солидный чита-тель *). У глупаго пролетарія совѣсть ничего не было, такъ что если-бы землю продавали не де-сятинами, а цвѣточными горшками, то и тутъ онъ могъ-бы только украсть себѣ такой горшокъ земли, а никакъ не купить его. Если-бы государ-ство захотѣло подарить землю своему убогому дѣтищу, то и тогда этотъ блудный сынъ могъ-бы пахать эту землю только собственными погтями, потому что у него не было даже своей лопаты; а говорилъ уже въ одной изъ предыдущихъ главъ, что большая часть фермеровъ работали хозяй-скими орудіями и хозяйскимъ рабочимъ скотомъ; стало-быть, сдѣлавшись собственникомъ, такой фермеръ все еще не превращался въ просвѣщен-наго либерала и все еще искалъ себѣ въ рево-люціи недозволенныхъ удовольствій.

Ну, однако, спрашиваетъ наконецъ раздоса-дованный читатель, что-же вы съ нимъ прика-жете дѣлать? И какъ-же его наконецъ при-строить такъ, чтобы онъ не кричалъ и не лѣзъ

*) И даже совѣсть не должно быть, прибавляю я, оказывавъ такимъ образомъ солиднѣе всякаго че-тея.

на стѣны? И чѣмъ-же тутъ виновато національное собраніе?

Ахъ вы, мой читатель! ахъ вы, мой гнѣвный читатель! неужели вы не знаете, что въ жизни бываютъ такіа положенія, въ которыхъ рѣшительно ничѣмъ нельзя помочь и рѣшительно ничего нельзя сдѣлать путнаго? Куда ни кинь, все клинѣ. Въ подобныхъ случаяхъ частной жизни русскій человѣкъ утѣшается пословицей: «перемелется—мука будетъ». Перемелется-то оно точно, и мука будетъ непременно; но ужъ за-то не взыщите: что попадетъ подъ жерновъ и изъ чего выдѣлается мука—этого никто не знаетъ заранее. Вотъ въ такомъ-то положеніи и находились дѣла во Франціи въ концѣ прошлаго столѣтія. И если-бы они находились не въ такомъ положеніи, тогда во Франціи не было-бы революціи, а совершалось-бы полюбовное размежеваніе заинтересованныхъ сторонъ. Но ни одна попытка подобнаго размежеванія въ тогдашней Франціи не удалась, и между заинтересованными сторонами не оказалось ни малѣйшей полюбовности; обнаружилось, что всѣ интересы противорѣчатъ другъ другу и всѣ перепутаны между собой до послѣдней крайности. Со всѣхъ сторонъ заговорили страсти, и каждая изъ этихъ страстей сама по себѣ была вполне естественна, а между тѣмъ каждая изъ нихъ для своего удовлетворенія должна была тѣснить и истреблять другія страсти. Люди разгнѣвались другъ противъ друга и сначала стали шумѣть, а потомъ передрались. И больно передрались. И долго продолжалась ихъ драка. И все это вовсе не хорошо, и вовсе не нравится ни мнѣ, ни моему читателю. Но мало-ли что намъ не нравится. Многое, другъ Горацио, очень много дѣлается въ этомъ мірѣ совсѣмъ не такъ, какъ мы съ тобою того желаемъ. Этимъ нечальнымъ размысленіемъ, изумительнымъ по своей новизнѣ, я заканчиваю эту XV главу, которая, по какому-то необъяснимому капризу судьбы, пропиталась небывалымъ легкомысліемъ изложенія. Въ оправданіе этого легкомыслія я могу впрочемъ поставить на видъ читателю, что я все-таки тѣмъ или другимъ тономъ выразилъ все то, и только то, что я хотѣлъ выразить, а это во всякомъ случаѣ заслуга немаловажная, за которую многое можетъ мнѣ быть прощено.

XVI.

Въ странѣ, населенной полудикими пролетаріями, каждый неурожай производитъ такіа страданія, о которыхъ не имѣютъ понятія жители богатыхъ и промышленныхъ земель. Каждый неурожай во Франціи XVIII столѣтія приводилъ за собой голодъ и общественныя волненія, потому что большинство сельскаго населенія не имѣло никогда никакихъ запасовъ и, живя со дня на день, тотчасъ встрѣчалось лицомъ къ лицу съ

голодной смертью, какъ только погода въ какомъ-нибудь отношеніи переставала благоприятствовать успѣшному созрѣванію жатвы. Въ историческихъ сочиненіяхъ упоминается часто о такихъ естественныхъ бѣдствіяхъ, которыя, совпадая съ общественной нескладницей, увеличиваютъ тревожное настроеніе умовъ и усиливаютъ разнообразныя безпорядки. Говоря о такихъ естественныхъ бѣдствіяхъ, историки обыкновенно смотрятъ на нихъ, какъ на явленіе совершенно самостоятельное и не имѣющее ни малѣйшей связи съ общественнымъ положеніемъ той страны, надъ которой они разражаются. Мнѣ кажется, что въ этомъ случаѣ, какъ и во многихъ другихъ, историки обнаруживаютъ трогательное отсутствіе обобщаемаго пониманія.

Объяснить и доказать это вовсе не трудно. Представьте себѣ, что васъ застигаетъ въ дорогѣ наша отечественная мятель, украшенная 20-тиградуснымъ морозомъ; вы, какъ человѣкъ, одаренный епотовой шубой, остаетесь здоровы и невредимы, а ящикъ вашъ, благодаря своему запуну *), отмораживаетъ себѣ руки и ноги, приобрѣтаетъ антоновъ огонь **) и умираетъ. Мятель для васъ обоихъ была одна и та-же, и морозъ одинъ и тотъ-же, но оборонительное оружіе противъ того и другого было у насъ различное, а потому и результаты получились совершенно несходные.

Размѣры моей притчи о мятелѣ и ея послѣдствіяхъ могутъ быть увеличены въ миллионы разъ, и притча не потеряетъ отъ этого своей вѣрности. Мы увидимъ тогда, что богатый, промышленный и образованный народъ, счастливый по условіямъ своего гражданскаго быта ***) переноситъ естественныя бѣдствія совсѣмъ не такъ, какъ переноситъ его народъ бѣдный, производящій мало земледѣльческихъ продуктовъ и фабричныхъ издѣлій, погруженный въ невѣжество и доведенный своими историческими несправедливостями до неизбежной и подавляющей апаѳи. Впервые — многія, если не всѣ, естественныя бѣдствія поражаютъ бѣдный и невѣжественный народъ гораздо чаще, чѣмъ богатый и образованный. Понятно также, что это обстоятельство находится въ прямой зависимости отъ большаго или меньшаго совершенства предохранительныхъ мѣръ, а количество и качество этихъ мѣръ очевидно обуславливается общимъ положеніемъ народа. Голодъ также посѣщаетъ всего чаще тѣ мѣста, въ которыхъ искусство человѣка слабо и

*) „Зипунъ одежда честная“ и т. д. (Объявленіе въ изданіи „Времени“ въ 1863 году.)

**) Его должно утѣшить, что, благодаря тому-же запуну, онъ крокъ антонова огня приобрѣлъ себѣ еще чувство либеральныхъ журналистовъ.

***) Не мѣшаетъ замѣтить, что всѣ эти приналежательные эпитеты имѣютъ только относительное значеніе. Англичане счастливѣе и т. д. въ сравненіи съ индусами, но абсолютно счастливыхъ народовъ до сихъ поръ еще не бывало.

оторыхъ хлѣбныя зерна совершенно предостаются на волю естественныхъ силъ земли и сферы; чѣмъ безобразнѣе земледѣльческія ия, чѣмъ допотопнѣе системы хозяйства, тѣмъ хуже родится хлѣбъ и тѣмъ чаще произе-тъ неурожай. Моровая язва и разныя другія ясныя болѣзни идутъ обыкновенно вслѣдъ за голодомъ и раздражаются съ особенной силой въ оенныхъ лагеряхъ или въ городахъ, въ ко-ихъ чистый воздухъ составляетъ роскошь, исную только для самаго ограниченнаго ишества. Извѣстно, что холера, лихорадки, и появляются сначала въ самыхъ бѣдныхъ и ныхъ кварталахъ, а потомъ изъ лачугъ пе-дѣтъ въ роскошные отели, напоминая обита-ль послѣднихъ, что въ лачугахъ прозябаютъ ишнѣе животныя совершенно одинаковой ими организаціи. Извѣстно, что голодъ ва постоянно работаютъ на Востокѣ, гдѣ и подавлены нищетою и рабствомъ; из-но, что англичане своимъ управленіемъ про-дѣтъ въ Остѣ-Индіи голодъ и повальные бо-и, которыя не были извѣстны тамошнимъ язмѣ до тѣхъ поръ, пока Остѣ-Индская ком-и не приняла на себя человѣколюбивый и обирать индуса до послѣдней нитки и на-тъ это обирание распространеніемъ европей-цивилизациі между грубыми варварами. Все во-первыхъ. А во-вторыхъ, надо взять въ четъ, что если надъ богатымъ и образован-ь народомъ страдется такая бѣда, которую ая отворотитъ никакими предосторожностями, итатство, образованность и вытекающая изъ . неутомимая дѣятельность даютъ народу ожность перенести это бѣдствіе безъ боль-ю потерю и потомъ съ изумительной быстро-исправить повесенныя убытки. Случилось, жимъ, землетрясеніе или наводненіе; тот- появляются со всѣхъ сторонъ вспомошество-и и пожертвованія; но они даже и не нуж-завотому что всѣ погибшія зданія были застра-ны; кто изъ жителей раззорился, тотъ мо-и найти себѣ работу и находить ее въ про-иционной странѣ несравненно легче, чѣмъ могъ-дѣлать это въ такомъ мѣстѣ, гдѣ царствуетъ извѣстнѣйшая застой.

Все это отступленіе отъ главнаго предмета вилось къ тому, чтобы показать, что отно-иіа человѣка къ явленіямъ природы подчи-и тѣмъ отношеніямъ, которыя установились иеніи вѣковъ между человѣкомъ и человѣ-ь. Можно сказать безъ преувеличенія, что тѣе человѣка зависитъ исключительно отъ ишностей его общественной жизни. Когда идый человѣкъ будетъ относиться къ каждому ому человѣку совершенно разумно, тогда изъ и разумныхъ отношеній вырабатывается та-сила, которая побѣдитъ навсегда всякія враж-иыя вліянія природы. Въ подтвержденіе этой ии достаточно будетъ привести одинъ круп-

ный примѣръ. Сравните южныя части Европы съ сѣверными и вы увидите, на какой сторонѣ находится перевѣсъ въ дѣлѣ народнаго благосо-стоянія. Народъ счастливѣе на Скандинавскомъ полуостровѣ, чѣмъ на Пиринейскомъ; счастливѣе въ Даніи, чѣмъ въ Италіи; въ Англіи, чѣмъ въ Турціи; и именно во столько разъ счастливѣе въ первыхъ странахъ, чѣмъ во вторыхъ, во сколько разъ климатическія условія благопріятнѣе во вто-рыхъ, чѣмъ въ первыхъ.

Окончательный выводъ нашъ, парадоксаль-ный по своей формѣ, будетъ тотъ, что не природа, а исторія производитъ неурожай, пожары и по-вальные болѣзни. Этотъ выводъ уже прямо от-носится къ нашему главному предмету. Во Фран-ціи въ 1788 году былъ неурожай, и послѣд-ствія этого неурожая во многихъ отношеніяхъ со-дѣйствовали усиленію революціи. Для насъ все не интересно то обстоятельство, что солнеч-ные и дождливые дни слѣдовали въ этомъ году одинъ за другимъ въ томъ или въ другомъ порядкѣ; но для насъ уже интересно и важно то, что не-благопріятная погода испортила жатву на зна-чительномъ пространствѣ французской террито-ріи. Для насъ еще важнѣе и еще интереснѣе то, что одна испорченная жатва произвела во Фран-ціи сильныя народныя страданія и такія волне-нія, которыя заняли свое мѣсто въ исторіи. Ко-нечно всѣ прежніе правители Франціи своими совокупными усиліями не могли навлечь на свою родину градовую тучу, или отклонить отъ ея за-сыхающихъ полей благотворное дождевое облако; однако не подлежитъ сомнѣнію, что самый кли-матъ страны можетъ быть испорченъ напримѣръ нерасчетливымъ вырубленіемъ лѣсовъ, — или уллучшенъ напримѣръ осушкой болотъ. Если прежніе правители Франціи по незнанію или по небрежности упускали изъ виду лѣса и болота, то даже въ дѣлѣ погоды эти прежніе правители являются виновниками позднѣйшихъ бѣдствій.

Если мы перейдемъ къ вопросу о томъ, почему люди подѣйствовали разрушительно на жатву, то тутъ участіе прежнихъ правительствъ въ бѣдствіяхъ настоящей эпохи сдѣлается еще ощу-тительнѣе; если-бы поля были вспаханы глубже, если-бы они были орошены каналами, если-бы меж-ду нивами были разсажены расцѣпчивымъ об-разомъ деревья, то вліяніе засухи было бы ос-лаблено въ значительной степени. А почему земля была дурно вспахана, почему не было каналовъ, почему не было аллей? Да потому, что у кре-стьянъ не было ни хорошихъ орудій, ни раціо-нальныхъ познаній; а этого не было, потому что народъ вообще былъ бѣденъ до послѣдней сте-пени и задавленъ самымъ глубокимъ невѣже-ствомъ. А почему одна испорченная жатва про-изводила въ тогдашней Франціи голодъ, опас-ный для самой жизни цѣлыхъ милліоновъ лю-дей? Очевидно потому, что народъ жилъ почти такъ, какъ живутъ теперь остики, не оставляя

ничего про запасъ, съѣдая въ одинъ годъ все, что неотнято изъ ихъ рукъ сборщиками податей и господскихъ повинностей, и пахотась такимъ образомъ постоянно въ безусловной зависимости отъ ежегодныхъ щедротъ земли и благопріятной погоды. А если земля ничего не даетъ и если погода окажется неблагопріятной, тогда дѣлать нечего, хоть съ голоду умирай.

Такимъ образомъ миллионы французскаго народа до минуты собиранія жатвы находились каждый годъ въ положеніи игрока, поставившаго на карту свою жизнь и жизнь своего семейства и обiazавшагося въ случаѣ проигрыша умерить голодной смертію себя и своихъ домашнихъ. Въ случаѣ же выигрыша счастливому игроку дается отсрочка, и ему позволяется быть увѣреннымъ, что онъ не умретъ съ голода раньше будущаго года. Этой годовой отсрочкой исчерпываются всѣ счастливыя шансы, которые могъ извлечь французскій крестьянинъ-пролетарій изъ блистательнѣйшаго выигрыша. И каждый годъ возобновляется та-же игра съ тѣми же пріятными шансами. Хочешь не хочешь, а играй, пока тебя таскаютъ ноги, и пока дѣйствуютъ у тебя руки.

Я говорилъ въ одной изъ предыдущихъ главъ объ азіютажѣ, проникнувшемъ въ народныя массы вслѣдствіе выпуска мелкихъ ассигнацій, постоянно колебавшихся въ своемъ курсѣ. Я выставлялъ вредныя послѣдствія этого азіютажа; но спрашивается, какой же азіютажъ, по своему потрясающему дѣйствию на человѣческіе нервы и по своему вредному вліянію на общественную нравственность, можетъ сравниться, хотя въ самой отдаленной степени, съ этой колоссальной и вѣчной игрой, составлявшей собой всю жизнь огромнаго большинства французскихъ крестьянъ. Эта колоссальная и вѣчная игра выдумана и привита къ жизни французскаго народа старой монархіей. Въ эту игру входятъ самые разнообразные ингредиенты: тутъ занимаетъ первое мѣсто громкая слава французскаго оружія; тутъ бросается въ глаза блескъ французскаго двора; тутъ снуютъ великолѣпныя любезности (*galanteries*) Франциска I, Людовика XIV и Людовика XV; тутъ ласкаютъ зрѣніе парки, дворцы и фонтаны разныхъ королевскихъ резиденцій; тутъ мы съ глубокимъ уваженіемъ преклоняемся передъ картинными галереями и мраморными статуями, свидѣтельствующими о просвѣщенномъ вкусѣ и о весьма понятной щедрости прежнихъ правителей; тутъ придворные поэты, придворные костюмы, придворные лакеи, придворные шуты и придворныя животныя; тутъ рабѣть въ глазахъ отъ золота и пестроты; тутъ, однимъ словомъ, собрано все, что довело государственныя финансы Франціи до неотразимой катастрофы; тутъ все, что въ продолженіи тысячелѣтія увлекало въ свой широкій и глубокий потокъ трудовыя копѣйки всякой негодной и оборванной сволочи; и это все,—этотъ блескъ, этотъ

потокъ, эта причина финансовой катастрофы,—лишивъ земледѣльца всякой собственности, уничтожило наконецъ самую возможность труда и засушило такимъ образомъ послѣдній источникъ, изъ котораго простой человѣкъ могъ извлекать себѣ средства къ существованію.

Я говорю, что уничтожена была самая возможность труда, и говорю это потому, что трудъ и азартная игра—двѣ вещи совершенно различныя. Трудомъ можетъ называться только тотъ процессъ, въ которомъ извѣстному напряженію мускуловъ и нервовъ соответствуютъ извѣстныя, т. е. точно опредѣленные результаты. Чѣмъ болѣе это соотвѣтствіе между напряженіемъ и результатами подвержено колебаніямъ, тѣмъ сильнѣе самая сущность труда отравляется элементомъ риска. Мы видѣли, какъ силенъ былъ элементъ риска въ жизни и ежедневной дѣятельности французскаго крестьянина прошлаго столѣтія; поэтому насъ не должно изумлять то выраженіе, что хозяйство старой монархіи уничтожило для огромной массы французскихъ гражданъ самую возможность труда. Крестьянинъ работаетъ одинъ годъ и сытъ; работаетъ другой годъ точно такъ-же усердно и умираетъ съ голода. На что же это похоже? Видѣ это вотъ что значить: я ставлю одну карту, — мнѣ ее даютъ, я ставлю другую—ее бьютъ; а для того, чтобы не умереть съ голода, мнѣ необходимо, чтобы мнѣ дали подрядъ пятьдесятъ или шестьдесятъ картъ; сколько лѣтъ я проживу, столько картъ каждый годъ по картѣ. Спрашивается, трудъ-ли это, или игра? Спрашивается кромѣ того: что составляетъ при подобныхъ условіяхъ нормальный уровень моего благосостоянія? Для того, чтобы я былъ постоянно сытъ, мнѣ необходимъ невозможный рядъ постоянныхъ удачъ. По теоріи вѣроятностей, я могу только ожидать, что количество счастливыхъ картъ будетъ равняться количеству несчастныхъ. Стало-быть одинъ годъ я сытъ, а другой годъ умираю съ голода, потомъ опять сытъ и опять голодаю; въ среднемъ выводѣ оказывается, что я постоянно пахожу въпроголодь, потому что занимаюсь не трудомъ, а игрой.

Мы встрѣчаемъ въ числѣ многихъ другихъ элементовъ, вошедшихъ въ составъ французскаго революціоннаго движенія, дороговизну хлѣба, произведенную неурожаемъ 1788 года. Встрѣчаясь съ этимъ фактомъ, мы сначала можемъ подумать, что революція произведена отчасти средневѣковымъ прошлымъ, а отчасти неодушевленными силами природы. Мы можемъ отнести голодъ и дороговизну къ такому порядку фактовъ, который не имѣетъ ничего общаго съ дѣйствіями и ошибками людей. Но все это мы сдѣлаемъ только сначала. Вглядывшись внимательнѣе въ причинную связь событій, мы тотчасъ сообразимъ, что рабская зависимость сильнаго и даровитаго народа отъ переменъ погоды со-

тѣ быть можетъ самое замѣчательное проявленіе безпомощности и искусственной хитрости которой этотъ народъ былъ доведенъ своими подвигами своихъ предводителей. *Un francais a la colique, il dit que c'est la faute du gouvernement* (Когда у француза болитъ животъ, онъ говоритъ, что въ виновато правительство). Этими словами купцы превосходно характеризуютъ свою привычку сваливать на правительство всякую вину и упрекать правительство за всѣ несовершенства жизни. Эта привычка сама по себѣ не полезна, но она не даромъ укоренилась въ французскомъ народѣ; она составляетъ неизбѣжный выводъ изъ безконечно-длиннаго ряда ошибокъ; правительство старой монархии особенно сильно содѣйствовало развитію этой привычки; мѣшая всякой инициативѣ, пуская все, извлекая деньги изъ всѣхъ источниковъ, не дѣлая ничего полезнаго для общества, правительство старыхъ королей должно было нести полную отвѣтственность за все зло, которое происходило на французской территоріи, и препятствія, которыя сознательно или неосознанно подавляли возникновеніе и развитіе всякаго добра. Когда у французскаго мужа въ прошломъ столѣтіи болѣлъ животъ отъ этой коры и отъ разныхъ другихъ изыщуществъ, исправляющихъ должность муки, то французъ имѣлъ полное основаніе сказать, «что въ этомъ виновато правительство». *Le régime*, державшійся по милости правительства въ продолженіи многихъ столѣтій, испортилъ во Франціи все, начиная отъ логики и кончая народными желудками, и отъ государственныхъ финансовъ и кончая модой. Все было перевернуто вверхъ ногами, и всѣ результаты этого хроническаго процесса обрушились на людей старой монархии, когда имъ пришлось сводить счеты и за своихъ великолѣпныхъ предшественниковъ. Природа тутъ не при чемъ. Неурожай и волненіе — все это произведено не природами исторіей. Вездѣ и на всемъ лежала воинственная и мертвящая рука *ancien régime*; нѣтъ ни пшеницы, котораго бы онъ не испортилъ, ни почвы, которой бы онъ не истощилъ.

XVII.

Въ началѣ 1788 года произошелъ дороговизну, въ началѣ 1789 года; различныя провинціи и городскія управленія, заботясь о благосостояніи своихъ жителей, перебывали другъ у друга, чтобы узнать о существующихъ запасахъ и своимъ соперникамъ еще болѣе поднимали цѣны, которыя въ то время были очень высоки. Эти торговцы и городскіе и провинціальныя управленія вызваны необходимостью и конечно

не заключали въ себѣ ни малѣйшаго лукаваго умысла; но народъ страдалъ; его тревожили разныя зловѣщія слухи, ему было неудобно и невозможно разсуждать благоразумно и спокойно о причинахъ дороговизны; онъ зналъ, что ему въ прошедшемъ дѣлали много зла аристократы и купцы; понятіе объ этихъ двухъ классахъ людей тѣсно связывалось въ умѣ его съ ощущеніемъ боли; народу было больно; значить, разсуждалъ народъ, тутъ дѣйствуютъ купцы и аристократы; не трудно было найти, какъ они дѣйствуютъ. Аристократы, думая о народѣ, скупаютъ хлѣбъ изъ злости, чтобы отомстить мужикамъ за низверженіе феодализма, а купцы дѣлаютъ тоже самое изъ корыстолюбія, чтобы набить себѣ карманы, пользуясь народнымъ бѣдствіемъ. А правительство слабо, правительство этого не знаетъ, правительство обмануто врагами народа.

Рядъ подобныхъ разсужденій, вытекающихъ прямо и непосредственно изъ чувства страданія, долженъ былъ неизбѣжно привести къ тому практическому выводу, что народу слѣдуетъ самому взяться за свое дѣло, самому расправиться съ своими обидчиками, самому прекратить гнетущую дороговизну. Примеры народной расправы встрѣчаются въ это время вездѣ, гдѣ только встревоженному народу попадаетъ подозрительное лицо, а кого именно народъ считалъ подозрительнымъ, это было также трудно опредѣлить, какъ и то, кого именно онъ считалъ неподозрительнымъ. Народъ дѣйствовалъ по вдохновенію, и порывы этого вдохновенія были всегда довольно разрушительны и часто попадали туда, куда имъ совѣтъ не резонъ было попадать. Случалось не рѣдко, что какой-нибудь несчастный агентъ городского или провинціальнаго вѣдомства, отправленный своимъ начальствомъ для закупки хлѣба, попадался въ руки вдохновенной толпы патріотовъ, которые, не выслушивая никакихъ оправданій, вѣшали усерднаго чиновника, какъ злостнаго барышника, производящаго искусственную дороговизну хлѣба. Всякій хлѣбный торговецъ находился въ постоянной опасности, всякій булочникъ могъ ежеминутно ожидать, что лавка его будетъ разграблена голоднымъ народомъ; въ городахъ мѣстное начальство принимало свои мѣры для того, чтобы хлѣбъ постоянно оставался доступнымъ по своей цѣнѣ бѣднѣйшему классу жителей; но въ деревняхъ дороговизна была такъ обременительна, что толпы крестьянъ съ оружіемъ въ рукахъ предпринимали нашествіе на сосѣдніе города, грабили амбары и булочныя, сталкивались съ отрядами національной гвардіи и нерѣдко побѣждали блюстителей порядка и защитниковъ собственности.

Лѣтомъ 1790 года эти крестьянскія волненія стали принимать очень серьезныя размѣры. Тѣ провинціи, которыя въ прошломъ 1789 году отличались особенной яростію въ возстаніи противъ дворянскихъ правъ, отпраздновали годов-

щину этого первого возстанія новымъ движеніемъ, направленнымъ сначала противъ дороговизны хлѣба, а потомъ противъ привилегій богатства вообще. Центральныя провинціи королевства: Бурбонне, Берри, Ниверне, Шароле, покрылись вооруженными толпами сельскихъ пролетаріевъ, которыхъ требованія стали дѣлаться обширнѣе и настоятельнѣе по мѣрѣ того, какъ они сами стали чувствовать свою силу и свою многочисленность. Сначала поднявшіеся крестьяне требовали отъ правительства, чтобы оно установило таксу на хлѣбъ и прекратило дѣйствіемъ своей власти преступныя продѣлки аристократовъ и барышниковъ, скупающихъ хлѣбъ и производящихъ искусственный голодъ; это требованіе было совершенно неисполнимо, потому что преступныя продѣлки существовали только въ воображеніи народа; но на этомъ дѣло не остановилось. Крестьяне взяли приступомъ городъ Дензизъ и потребовали себѣ общаго пониженія арендной платы; вслѣдъ за тѣмъ явилась идея, что арендную плату можно совершенно отменить; пролетаріи захотѣли сдѣлаться собственниками, и по волнуемымъ провинціямъ пробѣжала съ изумительной быстротой мысль о поземельномъ законѣ, т. е. о такомъ раздѣлѣ полей, при которомъ уничтожились бы какъ сельскій пролетаріатъ, такъ и колоссальная поземельная собственность.

Аграрный законъ составляетъ краеугольный камень всякой коммунистической системы; это любимый конекъ всѣхъ коммунистовъ со временъ Ликурга, а пожалуй и раньше. Каждый разъ, когда втеченіи вѣковъ произносились серьезно эти два слова: «аграрный законъ», — они дѣлались сигналомъ самой неумолимой борьбы между достаточными гражданами и оборванной сволочью, между правами собственности и посягательствами коммунизма, между практикой и заразной утопией. До сихъ поръ побѣда постоянно оставалась на сторонѣ историческаго права; такъ точно случилось и въ 1790 году. Въ національномъ собраніи партія коммунистовъ почти не существовала; напротивъ того собственники пользовались въ немъ всесильнымъ вліяніемъ; поэтому тенденціи сельскихъ пролетаріевъ произвели въ собраніи величайшій ужасъ и возбудили противъ себя сильнѣйшее отвращеніе. Рѣшено было всякія подобныя тенденціи подавлять вооруженной силой и всякую мысль объ аграрномъ законѣ считать возмутительнымъ преступленіемъ. Национальная гвардія съ удвоенной энергіей стала дѣйствовать противъ самородныхъ коммунистовъ, и къ зимѣ 1790 года движеніе пролетаріевъ противъ собственности совершенно утратило свой грозный характеръ и опять раздробилось на разсѣянные и отрывочные акты народной расправы съ амбарами, булочными и такъ-называемыми барышниками. Но всякій разъ какъ собраніе начинало разсуждать о необходи-

мости строгихъ мѣръ, адвокат Робеспьеръ изъ Арраса вставалъ съ своего мѣста, отправлялся на трибуну и начиналъ говорить; краснорѣчіе этого оратора не поражало слушателей; тема его рѣчей въ подобныхъ случаяхъ была постоянно одна и та-же; но именно это однообразіе составляло силу этого человѣка и постепенно невидимыми чертами врезывало его образъ и весь строй его идей въ умы тѣхъ слушателей, которые толпились на галереяхъ. Робеспьеръ постоянно говорилъ о страданіяхъ народа, постоянно выводилъ изъ этихъ страданій всѣ безпорядки и постоянно всѣми силами сопротивлялся приложению строгихъ мѣръ. Ему рѣдко удавалось доставить своему мнѣнію побѣду въ собраніи, но народъ твердо помнилъ имя, наружность и идеи своего неутомимаго защитника. Въ собраніи Робеспьеръ оставался дюжиннымъ ораторомъ, но въ Парижѣ и во Франціи онъ былъ уже сильнымъ человѣкомъ. Въ характерѣ своихъ рѣчей Робеспьеръ примѣнялся къ требованіямъ обстоятельствъ и къ понятіямъ своихъ товарищей-депутатовъ, на которыхъ онъ старался дѣйствовать; ни республиканскихъ, ни коммунистическихъ идей не встрѣчалось въ его разсужденіяхъ; единственнымъ основнымъ мотивомъ, изъ котораго выводились всѣ варіаціи, было для Робеспьера уваженіе къ народу, сочувствіе къ его страданіямъ, стремленіе возвысить его благосостояніе кроткими и гуманными распоряженіями. Такія тенденціи не могли никого озадачить въ національномъ собраніи, а между тѣмъ когда другіе депутаты говорили о необузданномъ своеволіи крестьянъ, объ ихъ жестокой дикости и необходимости дѣйствовать противъ нихъ штыками національной гвардіи, тогда практическое различіе между рѣчами Робеспьера и произведеніями другихъ ораторовъ обозначалось очень явственно, и народъ въ Парижѣ и въ департаментахъ вѣроятно по извѣстной уже намъ простотѣ своей находилъ, что одинъ Робеспьеръ говоритъ настоящее дѣло.

Другой любимецъ французскаго пролетаріата. Маратъ не умѣлъ или не хотѣлъ держаться осторожной и выжидательной политики Робеспьера; пренебрегая всякими приличіями, отбрасывая всторону всякую дипломатическую мягкость выраженій, Маратъ неутомимо проповѣдывалъ въ своей газетѣ: «*Ami du peuple*» истребительную войну немущихъ гражданъ противъ аристократовъ, противъ кушцовъ, противъ богачей, противъ собственниковъ, противъ національной гвардіи, противъ учредительнаго собранія, противъ всѣхъ и противъ всего, кто и что отдѣляло пролетаріевъ отъ верховной власти въ государствѣ и отъ полнаго наслажденія благами жизни. Маратъ не смущался даже той мыслью, что пролетаріи быть можетъ не останутся побѣдителями въ этой борьбѣ со всѣми властями и высшими классами общества; Маратъ не хотѣлъ и

не могъ сообразить, что на сторонѣ высшихъ классовъ находится въ данную минуту несомнѣнный перевѣсъ вооруженія и организаціи; онъ не хотѣлъ понять, что собственникъ будетъ сражаться за свою собственность съ мужествомъ отчаянія.

Былъ-ли Маратъ въ полномъ умѣ, или страдалъ онъ разстройствомъ мозга, это—такой вопросъ, который можетъ быть очень интересенъ для спеціалиста по части душевныхъ болѣзней; я замѣчу только, что его пламенный протестъ неотразимо увлекалъ толпу. Масса, пошла за людьми, подобными Марату и Робеспьеру; прежніе кумиры, Бальи, Лафайетъ, Мирабо стали казаться массѣ измѣнниками и врагами; тѣ классы общества, которые группировались вокругъ этихъ бывшихъ кумировъ, стали также считаться притѣснителями народа и прямыми преемниками уничтоженныхъ аристократовъ. Между буржуазіей и низшими слоями народа произошелъ окончательный разрывъ. Этотъ разрывъ обнаружился въ самомъ Парижѣ тотчасъ послѣ побѣды третьяго сословія, послѣ взятія Бастиліи и послѣ сформированія національной гвардіи. Буржуазія хотѣла водворить порядокъ, а народъ хотѣлъ продолжать безпорядки; буржуазія хотѣла охранять собственность, а народъ, которому нечего было охранять, хотѣлъ завоевать собственность; на сторонѣ буржуазіи находились всѣ кроткія добродѣтели человѣка и гражданина; на сторонѣ народа—всѣ буйные пороки голодной собаки и отверженнаго каторжника. Все это прекрасно. Но именно потому между народомъ и буржуазіей не могло быть ни союза, ни примиренія. Борьба между ними была такъ-же неизбежна, какъ борьба между свѣтомъ и тьмою, между Ормуздомъ и Ариманомъ. Парижане давно поняли это, но провинціалы, которымъ всегда суждено получать и носить парижскія моды годомъ позднѣе, сообразили это обстоятельство только во время крестьянскихъ волненій 1790 года.

Тутъ дѣйствительно мудро было не сообразить. Единственная вооруженная сила, которую встрѣчали сельскіе пролетаріи, называлась національной гвардіей и состояла изъ горожанъ, обязавшихся защищать конституцію и охранять тишину и спокойствіе. При каждой встрѣчѣ національной гвардіи съ крестьянами штыкъ національнаго гвардейца попадалъ крестьянину либо въ животъ, либо въ грудь, и такъ какъ эти битвы втеченіи лѣта 1790 года производились во многихъ мѣстностяхъ Франціи чуть-ли не каждый день, то самая упорная вѣра въ единодушіе французской націи должна была наконецъ поколебаться, совершенно независимо отъ декламаций демократическихъ ораторовъ и отъ газетныхъ статей демократическихъ журналовъ. Каждая старуха и каждый ребенокъ увидѣли и поняли наконецъ, что люди хорошо одѣтые и хорошо вооруженные враждуютъ съ санкилантами, вооруженными разнымъ дрекольемъ; и

враждуютъ эти двѣ партіи не въ одномъ мѣстѣ и не при какомъ-нибудь отдѣльномъ случаѣ, а враждуютъ вездѣ и при каждой встрѣчѣ; стало-быть одни хотятъ такъ, а другіе совсѣмъ иначе; чтобы дойти до такого заключенія, надо было только видѣть и слышать то, что дѣлалось въ каждомъ городкѣ и въ каждомъ селеніи тогдашней Франціи; можно было не слышать ни одной рѣчи Робеспьера и не читать ни одной статьи Марата, и все-таки понимать, что буржуазія и пролетаріатъ не ладятъ между собою и что примиреніе между ними затруднительно. Проявленіе этого рѣшительнаго разлада между приличными гражданами съ одной и людьми безъ панталонъ съ другой стороны составляетъ самый важный результатъ крестьянскихъ волненій 1790 года. Аграрный законъ конечно остался неосуществленной мечтой сельскихъ пролетаріевъ, но зато ненависть къ буржуазіи, таившаяся до сихъ поръ въ парижскихъ предмѣстьяхъ, разлилась повсюду департаментамъ и просочилась въ самый темный и грубый классъ пассивныхъ гражданъ. Эта ненависть положила широкое основаніе будущему господству санкюлотизма.

XVIII.

Продажа церковныхъ имуществъ, которая, по соображеніямъ добродушныхъ законодателей, должна была уничтожить пролетаріатъ и осчастливить бывшихъ пролетаріевъ, начала обнаруживать свое вліяніе въ концѣ 1790 и въ началѣ 1791 года. Продажей завѣдывали мѣстные муниципалитеты, которымъ предоставлена была за хлопоты шестнадцатая доля выручки; продавать велѣно было мелкими кусками; формальная сторона дѣлопроизводства была упрощена до послѣдней возможности; задатки были назначены самые умеренные, остальная часть суммы разсрочивалась на долгіе сроки; уплата принималась не только звонкой монетой и ассигнаціями, но и разными другими государственными бумагами. Словомъ, были приняты всѣ мѣры для того, чтобы привлечь покупателей и сдѣлать приобрѣтеніе земель доступнымъ для простыхъ и бѣдныхъ людей. Покупателей дѣйствительно явилось очень много, такъ что въ концѣ сентября 1791 года цѣнность проданныхъ имуществъ доходила уже до 964 милліоновъ. Общій результатъ былъ утѣшителенъ, и подробности отличались также самой пріятной наружностью, потому что покупателями являлись большей частью крестьяне, которые, приобрѣтая себѣ недвижимую собственность, навсегда должны были разстаться съ гибельными тенденціями, свойственными пролетарію и самородному коммунисту. Такъ по крайней мѣрѣ можно было думать. Но здѣсь случилось то, что случается почти вездѣ и почти всегда. Вся выгода операціи досталась не государству и не трудящемуся классу гражданъ, а разнымъ крупнымъ и мел-

кимъ аферистамъ и спекуляторамъ. Спекулировать въ тогдашней Франціи было конечно все равно, что курить сигару, сидя на раскрытой бочкѣ пороха; взрывъ народныхъ страстей могъ ежеминутно разнести въ дребезги всякую спекуляцію и стереть въ порошокъ самого спекулятора; каждая спекуляція могла показаться подозрительной какой-нибудь группѣ патріотовъ, и тогда никто не могъ-бы поручиться за безопасность предприимчиваго гражданина; но такъ какъ неразборчивый гнѣвъ патріотовъ поражалъ одинаково часто и одинаково сильно и честныхъ людей, и безсовѣстныхъ мошенниковъ, то для человѣка, любящаго пускаться въ рискованныя и не совсѣмъ чистыя предпріятія, не было побудительныхъ причинъ обуздывать свои размашистыя наклонности. А если оставить въ сторонѣ опасность, которая впрочемъ была одинаково сильна для спекуляторовъ и для неспекуляторовъ, то конечно придется сознаться, что тогдашняя Франція представляла необъятно широкій просторъ для самыхъ разнообразныхъ проявленій финансовой гениальности со стороны отдѣльныхъ гражданъ. Политическое и социальное броженіе, колеблющійся курсъ ассигнацій, продажа огромной массы имущества, неопытность огромнаго количества крестьянъ, стремившихся къ быстрому обогащенію, безсиліе судебной власти, равнодушіе общественнаго мнѣнія къ гражданскимъ и коммерческимъ процессамъ и вообще ко всему, что не входило въ сферу животрепещущихъ политическихъ вопросовъ—все это вмѣстѣ со многими другими мѣстными и временными условіями создавало въ тогдашней Франціи такой океанъ мутной воды, въ которомъ каждый опытный и смѣлый рыбакъ могъ наловить себѣ пропасть крупной и мелкой рыбы. Продажа церковныхъ имуществъ подала поводъ къ устройству очень простаго рыболовнаго снаряда, который, несмотря на свою простоту, дѣйствовалъ въ этихъ департаментахъ съ самымъ блистательнымъ успѣхомъ.

Рыбакъ или иначе спекуляторъ давалъ подставному лицу изъ крестьянъ небольшую сумму денегъ; подставное лицо это являлось на торги, покупало на свое имя участокъ земли и отдавало врученную ему сумму въ задатокъ; тогда спекуляторъ въ купленномъ имѣніи начиналъ хозяйничать по своему; лѣсъ вырубался, строенія продавались на сломъ, и вообще изъ имѣнія выжималось на скорую руку возможно большее количество денегъ; данный задатокъ конечно возвращался въ карманъ спекулятора съ тройной или четверною прибылью; затѣмъ никто не думалъ о томъ, чтобы вносить въ положенные сроки остальные доли покупной суммы; когда всѣ сроки были такимъ образомъ пропущены, тогда муниципалитеты конечно объявляли продажу недействительной и отбирали имѣнія у несостоятельныхъ покупателей, но въ это время дѣло

уже было сдѣлано и пойманная рыба находилась въ полной сохранности. Государство получало обратно только то, что спекуляторъ не могъ унести въ своемъ бумажникѣ; прежнее число гектаровъ оставалось на мѣстѣ; но въ какомъ положеніи были эти гектары, объ этомъ уже лучше было и не спрашивать; имѣніе было превращено въ пустыню и едва стоило половины прежней своей цѣны; отвѣственнымъ лицомъ за произведенное опустошеніе оказывался безграмотный и нищій крестьянинъ, съ котораго нечего было взять, а настоящій рыболовъ со всей собранной добычей былъ въ это время уже далеко и прилагалъ свои капиталы и свое искусство къ какому-нибудь другому общепользующему предпріятію.

Кромѣ такихъ подвиговъ чистаго мошенничества во время продажи церковныхъ имуществъ совершались многія другія спекуляціи гораздо болѣе невинныя, возникавшія единственно потому, что финансовая предприимчивость носилась въ воздухѣ эпохи. Обильный поводъ къ разнообразнѣйшимъ биржевымъ фокусамъ и продѣлкамъ подавали ассигнаціи, которыя правительство обязалось принимать въ уплату за продаваемыя имущества наравнѣ съ звонкой монетой. Тогдашнія ассигнаціи, какъ извѣстно, не имѣли обязательнаго курса; ихъ принимало по нарицательной цѣнѣ только правительство, связанное своими обѣщаніями; при всѣхъ сдѣлкахъ между частными людьми ассигнаціи всегда стояли ниже звонкой монеты, и курсъ ихъ колебался сообразно съ биржевыми извѣстіями и смотря по общей фizioноміи политическихъ обстоятельствъ. При каждомъ новомъ выпускѣ ассигнацій падали въ цѣнѣ, такое-же пониженіе происходило при каждомъ слухѣ о войнѣ, о реакціи, о грозныхъ замыслахъ эмигрантовъ и вообще при каждомъ вѣрномъ или выдуманномъ извѣстіи о такомъ событіи, которое, угрожая всему дѣлу революціи, могло превратить всѣ ассигнаціи революціоннаго правительства въ негодные и бессмысленные лоскутки бумаги. Каждое чувствительное пониженіе въ курсѣ ассигнацій было жестокимъ и раззорительнымъ ударомъ для государственнаго казначейства; при каждомъ такомъ положеніи оно теряло миллионы; вознаградить эту потерю можно было только новымъ выпускомъ ассигнацій, а новый выпускъ неизбѣжно велъ за собой новое пониженіе, новую потерю, опять новый выпускъ, и т. д. до безконечности, вродѣ того, какъ въ періодической дроби первая цифра періода неизбѣжно ведетъ за собой всѣ остальные.

Искреннимъ друзьямъ революціи слѣдовало желать, чтобы ассигнаціи возвышались въ цѣнѣ и сравнивались-бы наконецъ съ звонкой монетой, потому что только при этомъ условіи могли поправиться государственныя финансы, составляющія важнѣйшую опору возникшаго общественнаго зданія. Но послѣ продажи церковныхъ имуществъ оказалось, что у многихъ искреннихъ

друзей революція частный экономическій интересъ совершенно расходится съ общимъ политическимъ и что при этомъ разладѣ между интересами близорукое стремленіе къ личной выгодѣ удерживаетъ рѣшительный перевѣсъ надъ дальновидной политической тенденціей. Покупатели церковныхъ имуществъ изъ чувства личнаго самосохраненія должны были всѣми силами защищать дѣло революціи, потому что всякая реакція непременно возстановила-бы старое устройство церкви, отобрала-бы назадъ всѣ проданные помѣстья и быть можетъ, уничтожая совершившуюся продажу, не возвратила-бы даже покупателямъ заплаченныхъ денегъ на томъ основаніи, что покупать церковныя земли свойственно только печестивымъ негодьямъ, которые должны быть наказаны за свою революціонную безправственность. Это вѣроятіе не было упущено изъ вида покупателями, которые вообще ожидали отъ всякой реакціи еще гораздо больше ужасовъ и нелѣпностей, чѣмъ сколько она могла изтворить въ дѣйствительности. Такимъ образомъ не только всѣ симпатіи покупателей были на сторонѣ революціи, но даже и правильное пониманіе собственныхъ выгодъ обязывало ихъ поддерживать горячо и добросовѣстно общее дѣло всего французскаго народа. Они были искренними друзьями революціи, но, подобно многимъ искреннимъ друзьямъ, они при случаѣ, по простотѣ или по практической сметливости, были вовсе не прочь попользоваться на счетъ возлюбленнаго друга и съ большимъ удовольствіемъ поносили громадныя убытки государственнымъ финансамъ, чтобы увеличить свое частное благосостояніе копѣечной поживой. Такъ какъ правительство принимало въ уплату ассигнаціи по нарицательной цѣнѣ, то покупателю имуществъ было очень выгодно, чтобы ассигнаціи понижались; при пониженіи курса покупатель имуществъ могъ пріобрѣсти ассигнаціи дешево, отдать ихъ правительству не по своей цѣнѣ, а по нарицательной, получивъ такимъ образомъ приличный барышъ и оставивъ за собой имѣніе за половину цѣны. Но покупателей было очень много; желанія ихъ всѣ клонились къ тому, чтобы понизить курсъ ассигнацій; въ числѣ покупателей были такіе ловкіе люди, которые, не ограничиваясь одними желаніями, умѣли и старались дѣйствовать въ этомъ направленіи; успѣли однихъ и желанія другихъ оказывали чувствительное давленіе на общественное мнѣніе, и ассигнаціи падали, и казначейство теряло миллионы, и тревога распространялась въ обществѣ, и биржевая игра окончательно сбивала съ толку все населеніе французскаго королевства, начиная отъ банкира, властвующаго на биржѣ, и кончая сельскимъ пролетаріемъ, для котораго удачная спекуляція воплощалась въ лишней лувовицѣ, прибавленной къ обѣду.

При такомъ положеніи дѣлъ продажа церковныхъ имуществъ не могла принести чувствительной пользы классу безземельныхъ крестьянъ. Эти люди, привыкшіе смотрѣть на поземельную собственность, какъ на магическій талисманъ, открывающій доступъ ко всѣмъ благамъ и наслажденіямъ жизни, стали напрягать всѣ усилія, чтобы пріобрѣсти себѣ при продажѣ уголокъ земли. Уступая ихъ пламеннымъ желаніямъ, муниципалитеты крошили помѣстья на мельчайшіе участки и дѣлили это тѣмъ охотнѣе, что такая мелочная продажа давала въ общей суммѣ самыя значительныя выгоды, далеко превышающія тотъ результатъ, котораго можно было-бы ожидать отъ продажи гуртомъ. Крестьяне были также въ восторгѣ и, стремясь къ великому званію собственниковъ, обирали себя до послѣдней нитки, чтобы внести требуемый задатокъ. А потомъ? Потомъ крестьянинъ оказывался самъ другъ съ землей, безъ орудій, безъ рабочаго скота, безъ денегъ и даже иногда безъ хозяйственныхъ построекъ, потому что муниципалитеты крошили участки безъ милосердія и въ одніи руки продавали усадьбу съ огородами, а въ другія кусокъ полевой земли. Могло-ли изъ всего этого произойти въ ближайшемъ будущемъ какое-нибудь дѣйствительное улучшеніе въ матеріальномъ благосостояніи французскихъ поселянъ? Не обладая особой дальновидностью, можно было предвидѣть и предсказать заранѣе, что пролетаріи, ухловившіе свою послѣднюю копѣйку на уплату задатка, не получатъ отъ своей возлюбленной собственности никакого удовольствія и ни за что не пріобрѣтутъ въ ближайшемъ будущемъ тѣхъ утонченныхъ инстинктовъ консерватизма, которыми кроткій собственникъ отличается отъ буйнаго коммуниста.

Надежды національнаго собранія на продажу церковныхъ имуществъ, какъ на средство поправить финансы и умиротворить безземельныхъ крестьянъ, не осуществились; желаніе остановить революціонное движеніе оказалось неисполнимымъ; стремленіе успокоить народъ и утвердить на прочныхъ основаніяхъ господство буржуазнаго либерализма находилось въ явномъ противорѣчіи съ матеріальнымъ положеніемъ и съ умственнымъ настроеніемъ народныхъ массъ. Единственную силу буржуазной политики составляли штыки національной гвардіи и рѣчи ораторовъ, говорившихъ въ національномъ собраніи. Рѣчи были убѣдительны, а штыки были еще убѣдительнѣе; но съ одной стороны у эмигрантовъ и у католиковъ, а съ другой стороны у якобинцевъ и у пролетаріевъ не было тоже недостатка ни въ рѣчахъ, ни въ оружіи. Если мы вспомнимъ, что перевѣсъ числа и отчаянной энергіи былъ на сторонѣ пролетаріата, то намъ не трудно будетъ сообразить, кому изъ трехъ партій принадлежало ближайшее будущее.

XIX.

Со времени взятія Бастиліи городское управление Парижа находилось въ руках революціонныхъ властей, установившихся въ день возстанія; положительный законъ о городскомъ управленіи состоялся лѣтомъ 1790 г., и обсужденіе этого закона въ національномъ собраніи подало поводъ къ горячимъ столкновеніямъ между двумя главными лагерями политиковъ. Либералы изъ буржуазіи хотѣли, чтобы исполнительная власть принадлежала мэръ и его комитету, а законодательныя распоряженія и контроль были раздѣлены между большимъ и малымъ совѣтомъ. Чистымъ демократамъ это не понравилось: они хотѣли, чтобы собранія секцій засѣдали постоянно, чтобы эти собранія обсуждали каждый день текущіе вопросы и чтобы мэръ приводилъ въ исполненіе приказанія, отданныя въ секціяхъ большинствомъ голосовъ.

Не трудно понять, какіе послѣдствія должны были выйти изъ такого устройства: въ постоянныхъ собраніяхъ секцій могли-бы участвовать только тѣ граждане, которые дѣлали изъ текущей политики занятіе всей своей жизни; кто имѣлъ хозяйство, свои торговые дѣла, свою промышленность, тотъ не могъ просиживать цѣлые дни и повторять эти засѣданія каждый день. Такимъ образомъ предводителями и главными членами секціонныхъ собраній должны были сдѣлаться самые заклятые агитаторы, для которыхъ революція только что начиналась и которые считали измѣнникомъ cadaquo гражданина, способнаго утѣмиться тревогами общественной дѣятельности. Планъ чистыхъ демократовъ не могъ послужить основаніемъ для прочнаго и постоянного устройства городского управленія; было-бы нелѣпо устраивать управленія такъ, чтобы въ немъ не могли принимать участія полезные и трудящіеся граждане, которые по всѣмъ вопросамъ городского благосостоянія были заинтересованы гораздо сильнѣе и были гораздо болѣе компетентными судьями, чѣмъ политическіе ораторы всевозможныхъ цвѣтовъ и оттѣнковъ. Демократы понимали это не хуже своихъ противниковъ и именно потому-то они и настаивали на примѣненіи своего плана, что видѣли его непрочность. Самое существенное различіе между умѣренными либералами и чистыми демократами заключалось въ то время именно въ томъ, что первые хотѣли уже строить и утверждать прочный порядокъ, а вторые хотѣли еще разрушать и покуда увеличивать безпорядокъ.

Смѣшно было-бы предположить въ чистыхъ демократахъ безпричинную любовь къ безпорядку ради самого безпорядка; они тоже хотѣли въ будущемъ и спокойствія, и тишины, и личной безопасности, и порядка, но они думали, что всѣ эти прекрасныя вещи будутъ дѣйствительно прекрасны для всѣхъ французскихъ гражданъ только

тогда, когда не только государство, но и общество будетъ сначала разобрано по кусочкамъ до самаго основанія, а потомъ опять сложено по совершенно новому рисунку. Трудно сказать, чтобы для кого-нибудь изъ тогдашнихъ демократовъ этотъ новый рисунокъ былъ ясенъ во всѣхъ своихъ подробностяхъ; они не знали хорошенько, къ чему именно они придутъ, но они безгранично вѣрили въ народъ и надѣялись, что его живыя силы выработаютъ что-нибудь превосходное, если только силы эти будутъ взволнованы во всей своей глубинѣ и если броженіе, необходимое для этого народного творчества, будетъ постоянно поддерживаться въ полномъ своемъ могуществѣ. Но если народъ обнаруживалъ какія-нибудь консервативныя наклонности или реставраціонныя стремленія, тогда демократы смѣло противодействовали народу, говорили съ полнымъ убѣжденіемъ, что онъ сбивается съ дороги и объясняли себѣ это заблужденіе народа именно тѣмъ, что силы его еще не довольно глубоко взволнованы и что броженіе начинаетъ ослабѣвать вслѣдствіе преступныхъ происковъ двора, аристократіи, собранія, буржуазіи, клерикаловъ или какихъ-нибудь другихъ измѣнниковъ и оскорбителей народной святости. Значитъ демократамъ въ тогдaшнее время надо было во всякомъ случаѣ усиливать броженіе и особенно всѣми мѣрами противодействовать всякой попыткѣ прочной организаціи.

Добиваясь постоянныхъ собраній въ парижскихъ секціяхъ, демократы конечно заботились не о томъ, чтобы произвести какія-нибудь улучшенія въ городскомъ хозяйствѣ; имъ до городского хозяйства не было рѣшительно никакого дѣла; они хотѣли только имѣть въ секціонныхъ собраніяхъ надежное орудіе, которымъ въ случаѣ надобности можно было въ нѣсколько часовъ взволновать весь Парижъ и слѣдовательно произвести переворотъ въ цѣлой Франціи. Предводители буржуазіи хорошо понимали, къ чему клонилось дѣло, и разумѣется употребили всѣ усилія, чтобы не дать демократамъ этого орудія и чтобы сдѣлать всякій дальнѣйшій переворотъ совершенно невозможнымъ. За постоянныя засѣданія секцій стоялъ въ національномъ собраніи Робеспьеръ; въ городѣ агитировалъ въ томъ же направленіи Дантонъ, пользовавшійся уже сильнымъ вліяніемъ въ клубѣ кордельеровъ, въ которомъ засѣдали самые крайніе якобинцы. Маратъ по своему обыкновенію разыгрывалъ по этому поводу въ своей газетѣ проклетія и угрозы. Но и между демократами начали обнаруживаться несогласія. Бриссо, бывший въ то время членомъ общиннаго совѣта и сдѣлавшійся впоследствии однимъ изъ предводителей жиронды, сталъ говорить и писать противъ постоянныхъ засѣданій секцій. Это перессорило его съ чистыми демократами, и съ тѣхъ поръ демократы рѣшительно перестали считать его своимъ союзникомъ. На

этотъ разъ буржуазія одержала полную побѣду, потому что въ національномъ собраніи демократическая партія была очень слаба, а въ городѣ агитаторы еще не успѣли придать своимъ многочисленнымъ послѣдователямъ единство организаціи, необходимое для успѣха насильственного переворота. Городское управленіе было расположено по плану либераловъ *), и постоянныя засѣданія въ секціяхъ были устранены. Выборы городскихъ властей также доставили полное торжество либераламъ: Балли были снова избраны изречь, а Лафайетъ — начальникомъ національной гвардіи; но популярность того и другого клонилась къ упадку по мѣрѣ того, какъ низшіе классы столичнаго населенія отдѣлялись отъ буржуазіи и начинали смотрѣть съ недовѣріемъ и ненавистью на красивые мундиры и блестящіе штаны національныхъ гвардейцевъ.

Въ Парижѣ движеніе народныхъ умовъ противъ богатства и собственности было чрезвычайно сильно, такъ что окончательный разрывъ между національной гвардіей и пролетаріатомъ былъ неизбеженъ и недалекъ. На это было много истинныхъ причинъ. Пристарой монархіи Парижъ, какъ мѣстопробываніе богатаго двора, кормилъ свое промышленное населеніе почти исключительно той работой, которую задавало ему удовлетвореніе разнообразнѣйшихъ капризовъ и фантазій аристократической роскоши. Парижъ былъ переполненъ такими ремесленниками, которые работали и могли работать только для богатыхъ господъ, потому что среднему сословію и тѣмъ болѣе простому народу чудеса ихъ технического искусства были во-первыхъ недоступны по цѣнѣ, а во-вторыхъ совершенно бесполезны. Когда аристократы потянулись за границу и когда капиталисты, напуганные уличнымъ шумомъ, стали съезжаться, прятать деньги въ иностранные банки и во избѣжаніе грѣха умѣрять свою обыденную роскошь, тогда тысячи рафинированныхъ ремесленниковъ остались безъ работы и тогда послышался въ Парижѣ плачъ и скрежетъ зубовъ, который не остался безъ вліянія на дальнѣйшій ходъ событий.

По здоровой экономической теоріи слѣдуетъ конечно считать благотвѣльной такую перемѣну, которая насильно перебрасываетъ тысячи людей изъ бесполезныхъ отраслей производства въ полезныя, но при этомъ надо помнить, что въ истинной жизни никакія благотвѣльныя перемѣны не обходятся даромъ и не совершаются въ одно мгновеніе ока, безъ ломки, безъ борьбы и безъ индивидуальныхъ страданій. Французскому обществу осталась-бы въ барышахъ, если-бы

всѣ парикмахеры, украшавшіе втеченіи многихъ десятковъ лѣтъ очаровательныя головы графовъ и графинь, маркизовъ и маркизъ, во все это время пахали-бы землю или вырывали-бы каналы для осушенія болотъ или для орошенія полей; но когда сотни парикмахеровъ остались безъ работы, тогда ихъ довольно мудро было повернуть къ земледѣлію; прошу покорно приучить къ сохѣ и къ заступу, и къ тогдашней деревенской жизни такого артиста *en cheveau*, у котораго были совершенно дворянскія руки, совершенно утонченныя манеры и совершенно эпигрейскія привычки. Богатство и роскошь всегда создаютъ вокругъ себя и подъ собой очень многочисленный классъ паразитовъ. Къ числу такихъ паразитовъ надо причислить не только приживальцевъ и нахлѣбниковъ, не только лакеевъ, и тѣхъ ремесленниковъ, которые живутъ по милости барскихъ прихотей, и тѣхъ художниковъ, чьихъ произведенія сбываются въ барскія гостиныя и галереи, и тѣхъ сочинителей стиховъ и прозы, чьихъ читаютъ, хвалятъ и кормятъ богатые и вельможные меценаты. Всѣ эти люди цѣной самыхъ незначительныхъ усилій добываютъ себѣ такія удобства жизни, которыя навсегда остаются недоступными крестьянину и фабричному работнику. Всѣ эти люди питаются подаянками аристократовъ и въ то-же время обыкновенно ненавидятъ аристократію.

Старая французская аристократія въ отношеніи къ паразитамъ вела себя вполне исправно: во-первыхъ размножила ихъ цѣлыя легіоны, а во-вторыхъ всѣмъ имъ внушила къ себѣ чувство глубочайшей ненависти. Вышло то, что паразиты съ величайшимъ усердіемъ и съ невыразимымъ наслажденіемъ стали рубить тотъ сукъ, на которомъ сами сидѣли; съ самаго начала революціи паразиты постоянно составляли главную силу уличной арміи, слѣдовавшей за агитаторами; парикмахеры участвовали во всѣхъ волненіяхъ; да и наконецъ намъ не зачѣмъ называть отдѣльныя профессіи, потому что большая часть тогдашнихъ парижскихъ ремесленниковъ въ большей или меньшей степени можетъ быть отнесена къ разряду паразитовъ. Когда сукъ, надъ которымъ трудились паразиты, упалъ подъ ихъ ударами, тогда и сами паразиты, падая вмѣстѣ съ этимъ суккомъ, потеряли при своемъ паденіи болѣе или менѣе значительныя ушибы.

Оставляя въ сторонѣ метафоры, я могу сказать, что большая часть парижскихъ ремесленниковъ послѣ паденія аристократіи и послѣ исчезновенія прежней роскоши осталась безъ работы, т. е. безъ крова и безъ хлѣба. Въ Парижѣ вдругъ оказались десятки тысячъ нищихъ, о которыхъ въ прежнее время никто не имѣлъ понятія, потому что прежде революціи они и не были нищими. Они питались грѣхами стараго порядка; когда грѣхи эти исчезли, тогда для нихъ прекратились источники продовольствія, и рево-

*) Слово либераль въ концѣ прошлаго столѣтія не было употребительно, но я позволю себѣ называть такимъ образомъ политиковъ буржуазіи, чтобы отличать ихъ отъ якобинцевъ, кордельеровъ и другихъ предводителей пролетаріата, которыхъ я буду называть демократами.

люди здѣсь, какъ и вездѣ, пришлось расплачиваться за старыя шалости, въ которыхъ она, революція, была совершенно неповинна. Начало революціи оставило этихъ людей безъ хлѣба; теперь имъ хотѣлось и имъ было необходимо продолжать революцію, чтобы такъ или иначе добыть себѣ и хлѣба, и денегъ, и власти, и всякихъ другихъ удовольствій, которыхъ жаждетъ натура всякаго человѣка вообще и впечатлительнаго француза въ особенности. Отказаться отъ продолженія революціи эти обнищавшіе паразиты не хотѣли и не могли ни подъ какимъ видомъ; но такъ какъ каждый намекъ о продолженіи революціи для властвующей и богатой буржуазіи былъ личнымъ оскорбленіемъ и прямой угрозой, то городскія власти и національное собраніе истощили все свое административное и законодательное искусство, чтобы сдѣлать это несправедливое продолженіе невозможнымъ и бесполезнымъ.

Въ числѣ предохранительныхъ мѣръ, принявшихся собраніемъ и городскими властями, занимаетъ особенно видное мѣсто кормленіе пролетаріевъ, производившееся въ самыхъ обширныхъ размѣрахъ. Въ общественныхъ мастерскихъ, введенныхъ единственно для того, чтобы подъ различными предлогами давать пролетаріямъ деньги на покупку хлѣба, государство платило ежедневно каждому работнику по 20 су за какія-то земляныя работы, въ которыхъ никто не нуждался. Число работниковъ, посѣщавшихъ эти мастерскія, постоянно доходило до 12000, и понизить эту цифру не было никакой надежды тѣмъ болѣе, что надзоръ за работами былъ чисто-формальный и что пролетарію представлялось такимъ образомъ привлекательная возможность получать за совершенное бездѣйствіе высокую почтенную плату тогдашняго франц. работника. Хорошо еще, если-бы бездѣйствіе пролетаріи было дѣйствительно прочно и надежно; за это бездѣйствіе правительство съ удовольствіемъ соглашалось платить ежедневно по 20 су на человѣка; но лукавый пролетарій на эту штуку не поддавался; сегодня онъ смиренно получалъ свою плату въ общественной мастерской, а на другой день онъ по условному сигналу выходилъ на улицу и кричалъ, и махалъ пикой, и дѣлалъ всякое безобразіе, и готовъ былъ чувствительнѣйшимъ образомъ огорчить то самое правительство, которое на свою бѣду кормило его даровымъ хлѣбомъ во время антрактовъ между отдѣльными сценами длинной революціонной трагедіи.

Пролетарій очень хорошо понималъ, почему его такъ заботливо лелѣетъ правительство; о благодарности съ его стороны не было и рѣчи; онъ принималъ даровой хлѣбъ за неимѣніемъ лучшаго и пользовался имъ только въ ожиданіи тѣхъ будущихъ благъ, которыя должно было принести ему неизбежное продолженіе начавшейся

революціи. А правительство между тѣмъ кроетъ расходы на мастерскія тратило еще миллионы на огромныя закупки зернового хлѣба, который потомъ въ видѣ муки продавался булочникамъ за половинную цѣну для того, чтобы парижане не гнѣвались на дороговизну продовольствія. Къ концу 1790 года оказалось, что на закупки хлѣба для Парижа истрачено 75 миллионновъ, а если вычислить всѣ суммы, которыя израсходовало государство для поддержанія спокойствія въ столицѣ въ первые двадцать мѣсяцевъ революціи, то получится въ итогѣ болѣе 100 миллионновъ. Эти 100 миллионновъ были съѣдены, и взаменъ ихъ не было произведено ничего и даже спокойствіе не было упрочено.

Громадность и бесполезность этихъ издержекъ объясняется преимущественно тѣмъ, что Парижъ былъ биткомъ набитъ отставными паразитами, негодными ни на какую производительную работу. Вѣрность этого объясненія сдѣлается совершенно несомнѣнной, какъ только мы взглянемъ на общее состояніе французской промышленности въ первые годы революціи. Промышленность не только не находилась въ застоѣ, но она напротивъ того была приведена въ состояніе лихорадочнаго возбужденія. Это состояніе не могло быть продолжительнымъ и должно было повести за собой промышленный кризисъ, но пока оно продолжалось, до тѣхъ поръ могли жаловаться на недостатокъ работы только парикмахеры и другіе подобные имъ артисты, созданные барскими прихотями и неспособные къ настоящему труду. Фабрики работали во всю силу на всей французской территоріи и едва носили удовлетворять безчисленнымъ требованіямъ заказчиковъ; промышленныя предпріятія возникали сотнями съ изумительной быстротой; строенія, машины, товары изготовлялись вновь и переходили изъ рукъ въ руки; промышленная горячка находилась въ полномъ разлитіи, и существованіе этой горячки объясняется тремя главными причинами.

Во-первыхъ—благодаря выпуску ассигнацій, рынокъ былъ переполненъ денежными знаками, и притомъ такими знаками, къ которымъ никто не чувствовалъ безусловнаго довѣрія. У кого было въ рукахъ много бумажныхъ денегъ, тотъ старался, какъ можно скорѣе, спустить ихъ съ рукъ на какое-нибудь предпріятіе, чтобы не потерять убытка при пониженіи курса. Расчетъ былъ простой и вѣрный. Домъ, фабрика, партія товаровъ всегда сохраняютъ какую-нибудь цѣнность, а ассигнаціи сегодня могутъ быть денежными знаками, а завтра—простыми лоскутками бумаги. При такихъ условіяхъ очень осторожные люди могли пускаться въ довольно рискованныя предпріятія, отъ которыхъ они навѣрное воздержались-бы въ обыкновенное время. Рискъ былъ по крайней мѣрѣ одинаково великъ въ обоихъ случаяхъ: если опасно было пустить ка-

питалъ въ предпріятіе, то оставить его въ шка-тулкѣ было также опасно; кромѣ того самое рискованное предпріятіе все-таки въ случаѣ успѣха давало барышъ, а ужъ ассигнаціи въ самомъ счастливомъ случаѣ не могли дать ничего кромѣ медленнаго пониженія.

Во-вторыхъ—при торговыхъ сношеніяхъ съ чужими краями вексельный курсъ вслѣдствіе многихъ обстоятельствъ былъ въ то время неблагопріятенъ для Франціи. Если напримѣръ французъ былъ долженъ англичанину 30 фунтовъ стерлинговъ, то при переводѣ денегъ на Лондонъ французъ приходилось платить въ Парижѣ не 740 франковъ, а 880. И наоборотъ, когда англичанину надо было заплатить своему парижскому кредитору 880 франковъ, то англичанинъ въ Лондонѣ вынималъ изъ своего бумажника 30 фунтовъ стерлинговъ, а не 34, какъ слѣдовало-бы по нарицательной цѣнѣ при равновѣсіи вексельнаго курса. Вслѣдствіе этого иностраннымъ купцамъ выгодно было дѣлать французскимъ фабрикамъ большіе заказы, за которые имъ приходилось платить дешевле, чѣмъ сколько они заплатили-бы у себя дома. И заказы дѣйствительно дѣлались чрезвычайно много, такъ что фабрики едва управлялись съ ними, но разумѣется такой приливъ работы могъ продолжаться только до тѣхъ поръ, пока не будетъ возстановлено равновѣсіе вексельнаго курса.

Въ третьихъ—ночное засѣданіе 4 августа 1789 года уничтожило цехи и освободило такимъ образомъ ремесленный трудъ. Съ этого дня каждый французъ занимался, чѣмъ ему было угодно, не выпрашивая себѣ никакого позволенія у замкнутыхъ корпорацій и не руководствуясь въ процессѣ своей работы ничѣмъ, кромѣ своего личнаго вкуса и требованій своихъ покупателей. Эта радикальная реформа въ области ремесленного производства особенно сильно содѣйствовала оживленію промышленности, и эта третья причина отличалась отъ двухъ первыхъ въ томъ отношеніи, что только отъ этой третьей причины можно было ожидать въ будущемъ прочныхъ и дѣйствительно благодѣтельныхъ результатовъ. Въ мартѣ 1791 года національное собраніе закрѣпило дѣло 4 августа положительнымъ закономъ, по которому каждому французу предоставлялось право заниматься любымъ ремесломъ съ тѣмъ единственнымъ условіемъ, чтобы онъ ежегодно платилъ государству определенную подать за патентъ.

По поводу этого закона Маратъ съ горькой укоризной замѣтилъ въ своей газетѣ, что свободная конкуренція поведетъ за собой промышленную анархію, систематическое плутовство и вообще раззореніе. Предсказанія эти не сбылись во всемъ своемъ объемѣ, потому что уничтоженіе цеховъ было во всякомъ случаѣ значительнымъ шагомъ впередъ, но темныя стороны свободной конкуренціи были дѣйствительно подмѣ-

чены вѣрно, и надъ устраненіемъ этихъ темныхъ сторонъ до нашего времени безуспѣшно хлопотъ много передовые мыслители, которыхъ идеи долго еще будутъ стоять выше казеннаго уровня общественнаго пониманія. Свободная конкуренція вела за собой деспотическое господство капитала надъ трудомъ; это положеніе дѣлъ можно было назвать прогрессомъ, если сравнивать его съ прежнимъ господствомъ привилегій и монополій, но участь работниковъ все-таки осталась очень тяжелой. Началась безконечная борьба между хозяевами и мастеровыми по вопросамъ о числѣ рабочихъ часовъ и о задѣльной платѣ. Работники скоро поняли, что, дѣйствуя въ разсыпную, они всегда будутъ терпѣть пораженія отъ капиталистовъ и никогда не выбьются изъ своей новой крѣпостной зависимости. Необходимость научила работниковъ составлять общества и товарищества для улучшенія своей участи. Прежде другихъ составилось въ Парижѣ общество плотниковъ, принявшее названіе общества обязанностей. Важнѣйшей изъ обязанностей, лежавшихъ на этомъ обществѣ, была обязанность воздерживаться по взаимному согласію отъ работы для того, чтобы прекращеніемъ работъ склонять хозяина или подрядчика къ возвышенію задѣльной платы. Такимъ образомъ парижскіе плотники подчинили правильной организаціи тѣ случайныя и разрозненныя явленія, которыя называются обыкновенно стачками рабочихъ и часто сопровождаются во всѣхъ промышленныхъ государствахъ Европы сценами произвола и насилія. Примѣру плотниковъ послѣдовали наборщики и печатники; число обществъ увеличилось; изъ Парижа они распространились по департаментамъ и завели между собой правильную переписку для того, чтобы въ случаѣ надобности поддерживать другъ друга и дѣйствовать съ полнымъ единодушіемъ. Главная цѣль этихъ рабочихъ ассоціацій оставалась однако недостигнутой, потому что хозяева и подрядчики находили себѣ работниковъ на сторонѣ, изъ людей, не признававшихъ обязанностей и соглашавшихся продавать свой трудъ за такую цѣну, которую общества рѣшили не принимать. Тогда ассоціаціи попробовали дѣйствовать на этихъ индифферентовъ сначала увѣщаніями, а потомъ угрозами; вѣроятно дѣло дошло-бы и до насилій, потому что членамъ ассоціацій было разумѣется очень обидно видѣть, какъ ихъ всѣ старанія пропадаютъ даромъ и какъ отдѣльные работники, измѣняя интересамъ всего своего сословія, доставляютъ побѣду капиталистамъ. Но тутъ вступило національное собраніе. Какъ только слышались со стороны рабочихъ ассоціацій первыя угрозы противъ постороннихъ работниковъ, ладившихъ съ хозяевами, такъ законодатели тотчасъ воспользовались этими угрозами, какъ превосходнымъ оружіемъ противъ самаго принципа рабочихъ ассоціацій. 14 іюня 1791 года

національное собраніе закономъ запретило всѣмъ работникамъ одного ремесла составлять между собой общества, заводить списки членовъ, устраивать кассы и вообще предпринимать какія-бы то ни было попытки организаціи. Все это запрещалось на томъ основаніи, что подобныя попытки клонятся къ возстановленію уничтоженныхъ цеховъ и къ стѣсненію промышленной дѣятельности.

Здѣсь я еще разъ попрошу читателя вспомнить то, что я говорилъ о деклараціи правъ человѣка и гражданина. Большинство почетныхъ членовъ знаменитаго учредительнаго собранія, провозгласившаго на всю Францію «les grands principes de 1789», было самымъ надежнымъ образомъ застраховано противъ того разрушительнаго дѣйствія, которое добродушные нѣмецкіе историки стараются увидать въ параграфахъ деклараціи. Великіе законодатели Франціи прежде всего представителями дворянства, духовенства и особенно, особенно — буржуазіи. Обожая священные кошельки и бумажники этого послѣдняго, кроткаго и почтеннаго сословія, члены собранія готовы были совершать и дѣйствительно совершали во имя своихъ кумировъ высокіе и удивительные подвиги гражданской доблести законодательнаго героизма. Они отдавали своихъ соотечественниковъ въ кабалу капиталистамъ и съ полнымъ жаромъ убѣжденія говорили объ истинной свободѣ и о благоденствіи великой французской націи. Виданное-ли дѣло, чтобы такіе титаны законодательной мудрости и ораторской діалектики когда-нибудь стали въ тупикъ надъ какимъ-нибудь параграфомъ своего политическаго исповѣданія вѣры? Развѣ есть на бѣломъ свѣтѣ хоть одинъ такой параграфъ, который титанъ не сможетъ перешагнуть, — котораго діалектикъ не ухитрится обойти, — о которомъ разогорченный патріотъ не стѣсняется искусно забыть въ минуту своего горестнаго волненія? Къ тому-же параграфы деклараціи были написаны такъ давно, почти два года тому назадъ, и помѣщены во введеніи къ той конституціи, которая уже приближалась къ своему окончанію.

Поставьте себя, мой читатель, на мѣсто французскихъ законодателей. Неужели вы, дочитывая какую-нибудь книгу, помните отъ слова до слова первую страницу? Когда вы пишете длинную статью, вы навѣрно забываете подъ конецъ тѣ обороты и даже тѣ отдѣльныя мысли, которыя вы помѣстили въ самомъ началѣ. Отчего-же и національному собранію было не забыть той первой страницы, которая возбудила во французскомъ народѣ столько надеждъ и столько восторга? Національное собраніе забыло, и этотъ фактъ забвенія послужилъ французскому народу полезнымъ и необходимымъ урокомъ житейской мудрости. Такіе уроки сильно подвигаютъ впередъ политическое воспитаніе неопытныхъ націй. Французы въ 1789 году вообразили себѣ по

своей политической незрѣлости, что они уже въ самомъ дѣлѣ люди и граждане и что у нихъ въ самомъ дѣлѣ есть какія-то естественныя и неотъемлемыя права. Теперь имъ и показали, что неотъемлемымъ называется только такое право, котораго нельзя отнять, а естественнымъ считается только то, чего нельзя запретить закономъ. Французы, какъ народъ незрѣлый, но догадливый, разсудили тогда по-своему. Значитъ, подумали они, надо устроить такъ, чтобы нельзя было отнимать и запрещать. А если отнимаетъ и запрещаетъ національное собраніе, то оно дѣлается врагомъ націи, перестаетъ существовать. Дѣйствительно этотъ процессъ мысли съ каждымъ днемъ глубже и глубже проникалъ въ массы и обрывалъ послѣднія нити, связывавшія національное собраніе и его возлюбленную буржуазію съ огромнымъ большинствомъ французской націи. Закономъ 14 іюня представители навлекли на себя ненависть всѣхъ производителей работниковъ. Черезъ два дня собраніе приказало къ 1 іюлю закрыть въ Парижѣ всѣ общественныя мастерскія. Этимъ распоряженіемъ оно привело въ отчаяніе всѣхъ бывшихъ паразитовъ и всѣхъ вообще безпріютныхъ пролетаріевъ. Всѣ эти мѣры превосходнѣйшимъ образомъ выполняли самыя задушевные желанія чистыхъ демократовъ. Все, что инстинктивно или сознательно негодовало противъ политики буржуазнаго либерализма, все, что было раздражено и озлоблено законодательными подвигами собранія, сдвигалось въ тѣсныя и рѣшительныя группы, для которыхъ бѣшенныя выходки Марата казались простымъ и очень естественнымъ выраженіемъ патріотическихъ чувствъ, обязательныхъ для каждого порядочнаго гражданина. Буржуазія довершала такимъ образомъ дѣло народнаго воспитанія, начатое феодалными властями. Старый порядокъ вмѣстѣ съ аристократіей раззорилъ и развратилъ французскаго пролетарія. Буржуазія употребила теперь всѣ усилія, чтобы довести его до послѣдней степени озлобленія. Усилія буржуазіи увѣчались въ свою очередь такимъ-же блестящимъ успѣхомъ, какого достигли въ свое время старанія аристократіи и феодальной власти. Пролетарій воспользовался всѣми уроками и развернулъ всѣ свои благопріобрѣтенныя качества и способности. Воспитатели его до сихъ поръ не могутъ понять, что все это ихъ собственная работа. Понять не трудно, но иногда бываетъ разсчитливо и выгодно не понимать и сваливать вину на людей постороннихъ. Виновные разысканы, историкъ удовлетворенъ, и читатель погружается въ размышленія о суетѣ мірской премудрости.

XX.

Въ апрѣлѣ 1791 года умеръ Мирабо. Однимъ великимъ ораторомъ на свѣтѣ стало меньше. Блескъ и красота засѣданій національнаго со-

брація поубавились. Съ эстетической точки зрѣнія потеря была незамѣнима, и французы, всегда расположенные къ эстетическимъ взглядамъ на вещи, вообразили себѣ, что они дѣйствительно ослѣпотѣли. Но міровыя событія развиваются всегда изъ такихъ общихъ и великихъ причинъ, передъ которыми совершенно ступеньваются и исчезаютъ не только отдѣльныя личности, но даже эстетическіе взгляды цѣлаго народа. На дальнѣйшее развитіе революціи не подѣйствовали ни смерть Мирабо, ни даже то обстоятельство, что тогдашніе французы преувеличивали политическое значеніе этой крупной и эффектной личности. Смерть Мирабо, о которомъ горевала вся Франція, была утратой только для королевскаго семейства и произвела вліяніе только на расположеніе партій въ національномъ собраніи. Мирабо въ послѣдній годъ своей жизни игралъ трудную и неблагодарную роль: съ одной стороны онъ постоянно изъ расчета поддерживалъ свою популярность громкими рѣчами противъ различныхъ остатковъ старины; съ другой — онъ келейно употреблялъ всѣ усилія, чтобы изъ этихъ самыхъ остатковъ склеить прочную плотину, которая остановила-бы дальнѣйшія завоеванія революціи. Онъ господствовалъ въ національномъ собраніи силой своего краснорѣчія, но ему плохо доверяли тѣ самые люди, которые съ восторгомъ слушали его рѣчи; король и придворная партія также не вполне вѣрили ему, потому что ихъ пугали эти самыя рѣчи, служившія въ это время ширмой для его настоящихъ намѣреній. Мирабо думалъ, что онъ съумѣетъ совершенно приковать къ своей личности любовь народа и что вотомъ, когда онъ, Мирабо, прямо вступить въ борьбу съ чистой демократіей, — народъ пойдетъ за нимъ противъ демократовъ. Смерть отняла у него возможность произвести этотъ опытъ и избавила его такимъ образомъ отъ тяжелаго разочарованія. Впрочемъ такъ какъ Мирабо не былъ ни фантазеромъ, ни оптимистомъ, такъ какъ онъ умѣлъ смотрѣть на вещи трезвыми и непредубѣжденными глазами и такъ какъ наконецъ онъ вовсе не былъ способенъ дѣйствовать въ важныхъ и серьезныхъ дѣлахъ, сдѣлать голову, — то по всей вѣроятности онъ обнаруживалъ-бы свои настоящіе намѣренія только въ томъ случаѣ, когда можно было-бы рассчитывать на успѣхъ. Въ ожиданіи этихъ благоприятныхъ шансовъ и симптомовъ, онъ безъ сожительства продолжалъ-бы вести рядомъ двѣ политики, одну — на показъ народу для поддержанія популярности, составлявшей въ то время во Франціи единственную силу государственнаго чело-вѣка; другую — въ тайныхъ совѣщаніяхъ съ приближенными короля для спасенія королевской власти и для утвержденія такой конституціи, въ которой либеральная буржуазія видѣла философскій камень, и жизненный элексиръ, и пожалуй даже *perpetuum mobile*. Эта двой-

ственная политика для революціи была-бы безвредна, а королю могла-бы принести многопользы; она во всякомъ случаѣ не возвратила-бы королю ни одного изъ потерянныхъ правъ, но она по крайней мѣрѣ могла-бы предохранить короля отъ всѣхъ безплодныхъ попытокъ, возбуждавшихъ въ народѣ подозрѣнія и ненависть; она могла-бы устранить множество политическихъ ошибокъ и осторожно, шагъ за шагомъ свести Людовика XVI съ того престола, съ котораго такъ грубо и безжалостно сбросило его совокупное дѣйствіе революціонныхъ страстей и анти-революціонныхъ интригъ.

Мирабо могъ-бы быть очень полезнымъ совѣтникомъ для Людовика XVI, не потому, что онъ, Мирабо, успѣлъ бы осуществить свои намѣренія, а потому, что онъ умѣлъ-бы всегда отличать возможное отъ невозможнаго и слѣдовательно не впутывалъ-бы короля въ такія предпріятія, которыя компрометировали его, не представляя ни малѣйшей надежды на успѣхъ. Но все это было-бы возможно только въ томъ случаѣ, если-бы Людовикъ былъ способенъ, во-первыхъ оцѣнить умственное превосходство Мирабо и во-вторыхъ — подчинившись этому превосходству, держаться неуклонно той политической программы, которую предписывалъ ему великій ораторъ. Къ сожалѣнію у Людовика не было ни сильнаго ума, ни твердой воли; у него было только очень искреннее желаніе исполнить свои обязанности и уклониться отъ грѣховныхъ поступковъ. Но люди втеченіи своей исторической жизни такъ отуманили себя искусственными понятіями и довели свою логику до такой изумительной гибкости, что въ распознаваніи обязанности и грѣховъ могутъ сбиться съ толку и запутаться въ противорѣчіяхъ даже умы довольно сильные и самостоятельные. Людовикъ XVI, поставленный судьбой въ самое исключительное положеніе и жившій въ такое время, въ которомъ всѣ трудности этого исключительнаго положенія сдѣлались неизмѣримыми, — Людовикъ XVI, окруженный множествомъ совѣтниковъ, вѣчно блуждалъ въ безконечномъ хаосѣ неизвѣстныхъ величинъ, по поводу которыхъ одни голоса громко выговаривали слово «обязанность», между тѣмъ какъ другіе голоса то отчаяннымъ крикомъ, то повелительнымъ шепотомъ произносили слово «грѣхъ». Людовикъ XVI постоянно находился въ трагическомъ положеніи гоголевскаго почтмейстера; если одинъ голосъ говорилъ «не распечатывай», то другой непремѣнно твердилъ: «распечатай», и притомъ ни одинъ изъ этихъ двухъ голосовъ не былъ для Людовика голосомъ личнаго искушенія, а оба выдавали себя за чистѣйшее выраженіе нравственнаго закона. И Людовикъ обыкновенно устраивалъ такъ, что обѣ стороны оставались имъ недовольны и укоряли его то за небрежное исполненіе обязанности, то за совершеніе какого-нибудь грѣха. И

Людвигъ недоумѣвалъ и мучился и еще болѣе сбивался съ толку. Онъ выслушивалъ всѣхъ своихъ совѣтниковъ и съ каждымъ изъ нихъ отъ души соглашался, но такъ какъ для дѣйствія надо было выбрать только какой-нибудь одинъ планъ, то и выбирался обыкновенно самый послѣдній по времени, т. е. тотъ, который былъ всего свѣжѣе въ умѣ короля.

Именно такимъ процессомъ мысли и воли объясняются поступки Людовика XVI въ отношеніи къ собранію государственныхъ сословій, тѣхъ постановки, которые повели за собой штурмъ Бастиліи и которые могутъ быть названы первымъ шагомъ короля съ престола къ гильотинѣ. Если бы такъ поступили Карлъ I Стюартъ или Карлъ X французскій, то тутъ не было-бы ничего удивительнаго; оба они были одарены широкими натурами, неспособными ужиться съ какими-бы то ни было уступками. Но Людвигъ всегда съ удовольствіемъ подчинялся вліянію своихъ министровъ, всегда радъ былъ оставлять имъ всю славу и всю отвѣтственность управленія и всегда самымъ добросовѣстнымъ образомъ желалъ, чтобы подданные его устроили себѣ такое счастье, каковаго они сами желаютъ или могутъ достигнуть. И вдругъ такой честный, мягкій и добродушный человѣкъ ни съ того, ни съ сего затѣваетъ ссору съ тѣмъ самымъ собраніемъ, которое онъ созвалъ и которое именно ему самому совершенно необходимо. Этотъ человѣкъ вдругъ начинаетъ поступать совершенно противно собственнымъ выгодамъ, собственному характеру и собственнымъ желаніямъ. И все это происходитъ отъ того, что его въ эту минуту окружаютъ со всѣхъ сторонъ аристократическая партія; ему жужжать и кричать, и шепчутъ въ уши, что слѣдуетъ «распечатать»; онъ и самъ знаетъ, что ему не слѣдуетъ этого дѣлать, и ему самому не хочется такъ распорядиться, и онъ даже не чувствуетъ особенной привязанности къ тѣмъ аристократическимъ личностямъ, которыя суетятся въ его дворцѣ; а между тѣмъ сознаніе его начинаетъ колебаться отъ шума фразъ и аргументовъ, воля слабѣетъ, и рѣшительный шагъ дѣлается медленно, съ неохотой, но все-таки дѣлается, и всѣ послѣдствія, связанныя съ этимъ рѣшительнымъ шагомъ, развиваются изъ него такъ-же неизбежно и въ такомъ же полномъ комплектѣ, какъ будто-бы этотъ шагъ былъ сдѣланъ съ величайшимъ желаніемъ и съ самымъ лукавымъ умысломъ. Даже хуже. При желаніи и при умыслѣ, человѣкъ обыкновенно принимаетъ уже всѣ мѣры и всѣ предосторожности, которыя могутъ обезпечить успѣхъ предпріятія, или въ случаѣ неудачи прикрыть отступленіе. Когда же человѣкъ поступаетъ противъ своего желанія, повинуюсь постороннему внушенію, тогда онъ дѣйствуетъ спустя рукава, не надѣясь на успѣхъ и не заботясь о послѣдствіяхъ; онъ производитъ опыты и самъ относится къ своему дѣлу равнодушно и

недовѣрчиво. Кромѣ того поступки такого человѣка всегда непоследовательны; но такъ какъ нашъ умъ настойчиво ищетъ въ человѣческихъ поступкахъ послѣдовательности и руководящей идеи, то мы, глядя со стороны на вереницу этихъ безсвязныхъ поступковъ, бываемъ часто расположены видѣть въ нихъ скрытую связь и затаенную тенденцію. Человѣкъ колеблется, а намъ кажется, что онъ хитритъ; человѣкъ вчера говорилъ такъ, а сегодня поступаетъ иначе, просто потому, что у него въ головѣ плохо вяжутся мысли, но мы думаемъ, что онъ дѣйствуетъ не съ проста, что онъ и вчера, и сегодня руководствовался обдуманнѣйшимъ планомъ и что онъ играетъ свою роль съ искусствомъ замѣчательнаго актера. Мы начинаемъ бояться и ненавидѣть такого человѣка, котораго даже не за что презирать.

Такія недоразумѣнія встрѣчаются на каждомъ шагу, даже при сношеніяхъ между частными лицами, которыя могутъ видѣть другъ друга вблизи во всякое время и при самыхъ разнообразныхъ обстоятельствахъ. Въ отношеніи къ лицу, мало доступному и облеченному въ ослѣпительный блескъ официальности, такое недоразумѣніе становится совершенно неизбежнымъ. Для историка характеръ Людовика XVI совершенно понятенъ; историкъ не увидитъ въ этомъ характерѣ ни глубокаго коварства, ни затаенныхъ стремленій къ деспотизму; историкъ съумѣетъ распутать ту сѣть разнородныхъ вліяній, которая тяготѣла надъ всѣми намѣреніями и поступками этого человѣка; историкъ оценитъ честность его побужденій и слабость воли; такимъ образомъ человѣческая личность Людовика XVI получитъ въ исторіи свои настоящіе разиры и свой дѣйствительный колоритъ. Но то, что возможно для историка, то было совершенно невозможно для подданныхъ и современниковъ Людовика XVI, если-бы даже эти подданные и современники имѣли твердое намѣреніе и искреннее желаніе отложить всторону всякое личное увлеченіе и всякое политическое пристрастіе. Подданные и современники Людовика XVI видѣли только внѣшнюю и официальную сторону его дѣятельности; они не имѣли возможности доискиваться до тѣхъ составныхъ элементовъ, изъ которыхъ складывалось рѣшеніе короля; они не имѣли возможности пускаться въ психологическій анализъ, потому что во-первыхъ — для этого анализа не было достаточныхъ матеріаловъ; а во-вторыхъ — каждое рѣшеніе Людовика могло быть опаснымъ для такихъ вещей, которыя тогдашнимъ французамъ были очень дороги и совершенно необходимы; стало-быть тутъ некогда было думать о психологическихъ анализахъ. Каждое колебаніе въ политикѣ Людовика XVI казалось тогдашнимъ французамъ разсчитанной измѣной; каждое внутреннее противорѣчіе въ этой политикѣ объяснилось глубокимъ ковар-

ством короля или его совѣтниковъ. Когда король утверждалъ такое предложеніе національнаго собранія, которое пользовалось сочувствіемъ народа, тогда народъ былъ расположенъ думать, что король хитритъ и старается выиграть время; когда король отказывалъ какому-нибудь популярному декрету въ своемъ утвержденіи, тогда народъ былъ увѣренъ, что король сбрасываетъ маску и что начинается выполнение обширнаго заговора, составленнаго противъ французской свободы дворомъ, эмигрантами и иностранными правительствами; тогда народъ готовился къ борьбѣ на жизнь и на смерть, и хотя борьбы не оказывалось въ дѣйствительности, однако всѣ горькія чувства, возбужденныя постояннымъ ожиданіемъ рѣшительной катастрофы, естественнымъ образомъ направлялись противъ короля и направлялись противъ него за то, что онъ не могъ и не умѣлъ внушить народу довѣріе въ честность своихъ намереній и въ твердость своего личнаго характера.

Историкъ можетъ считать Людовика XVI за очень честнаго человѣка, по суду историка не имѣетъ никакого вліянія на жизнь исторической личности; Людовикъ дѣйствительно былъ очень честенъ и добродушенъ, но онъ не казался такимъ человѣкомъ; современники не могли считать его честнымъ и не могли чувствовать къ нему довѣрія; но такъ какъ Людовикъ дѣйствовалъ въ исторіи революціи только тѣмъ крайне невыгоднымъ впечатлѣніемъ, которое его личность производила на умы его народа, то для исторіи, въ обширномъ и настоящемъ смыслѣ этого слова, личные добродѣтели Людовика имѣютъ такъ-же мало значенія, какъ наиримѣрь его замѣчательное искусство въ дѣлѣ слесарной работы. Людовикъ былъ честнымъ человѣкомъ и хорошимъ слесаремъ, но современники его не цѣнили ни того, ни другого. Для нихъ существовала только одна черта въ характерѣ Людовика, именно его нерѣшительность, выражавшаяся въ непоследовательности поступковъ и постоянно принимавшаяся современниками за проявленіе глубокаго коварства. Когда Мирабо сталъ хлопотать о томъ, чтобы помирить короля съ народомъ, то всѣ старанія знаменитаго оратора направлялись къ тому, чтобы внести въ политику Людовика твердость и последовательность; по личному характеру короля и разнокалиберности его обстановки дѣлали эту задачу неисполнимой; Людовикъ слушалъ и Мирабо, и королеву, и Бретилля, и Булье, и императора Леопольда, и своего дядюшку, и всякаго, кто только имѣлъ возможность и охоту разсуждать въ тюльрійскомъ дворцѣ или писать изъ прекраснаго далека о вопросахъ текущей политики: при такихъ условіяхъ вліяніе Мирабо было совершенно парализовано; Мирабо, какъ единственный совѣтникъ, былъ почти безполезенъ, потому что его совѣты ниѣли свою цѣну только въ общей связи, только тогда,

когда они исполнялись всѣ вмѣстѣ и когда они такимъ образомъ составляли руководящую политическую программу. Но все-таки смерть Мирабо была утратой для королевскаго семейства, потому что Мирабо зналъ свою эпоху, не смотрѣлъ на нее глазами придворнаго, умѣлъ выпутываться изъ затрудненій и слѣдовательно въ минуту опасности могъ-бы подать Людовику такой совѣтъ, до котораго никогда-бы не додумались остальные совѣтники короны.

XXI.

Смерть Мирабо подѣйствовала на расположеніе партій въ національномъ собраніи. Нѣкоторые изъ предводителей лѣвой стороны, Барнавъ, Ламетъ, Дюпоръ, подумали, что теперь настало ихъ время, что они должны сдѣлаться руководителями исполнительной власти и что министерскія мѣста должны быть заняты ихъ приверженцами и друзьями; они стали сближаться съ правительствомъ, и съ ними произошло то, что до сихъ поръ происходило вездѣ съ каждой оппозиціонной партіей, овладѣвающей господствомъ. Всякая оппозиція говоритъ очень много о существующихъ злоупотребленіяхъ и о настоятельной необходимости преобразованій; когда эта оппозиція становится правительствомъ, тогда обыкновенно лиры настраиваются на другой тонъ: тѣ-же самые ораторы начинаютъ доказывать, что все идетъ къ лучшему въ этомъ лучшемъ изъ міровъ, что злоупотребленія по большей части составляютъ просто оптический обманъ, что въ стремленіи къ преобразованіямъ есть много опасныхъ и разрушительныхъ элементовъ и что осторожная медленность должна быть первой обязанностью государственнаго человѣка.

Въ тогдашней Франціи конечно нельзя было говорить о злоупотребленіяхъ и преобразованіяхъ, потому что все было преобразовано и потому что злоупотребленія не могли еще завестись въ новыхъ учрежденіяхъ, созданныхъ такой конституціей, которая еще не была даже закончена. Но во Франціи оппозиція говорила о свободѣ, а правительственная партія о порядкѣ, и этотъ именно переходъ отъ защищенія свободы къ отстановленію порядка совершили послѣ смерти Мирабо предводители лѣвой стороны, Барнавъ, Ламетъ, Дюпоръ и ихъ ближайшіе друзья. Это сдѣлалось послѣ смерти Мирабо, потому что при жизни этого оратора никто изъ членовъ національнаго собранія не могъ перевѣсить его вліянія на дѣла правленія. Смерть крупной личности очистила мѣсто, на которое тотчасъ нашлись претенденты. Приближаясь къ правительственнымъ сферамъ, вожди лѣвой стороны произвели расколъ въ своей собственной партіи и чрезъ это потеряли значительную долю своего прежняго вліянія; отъ нихъ совершенно отдѣ-

лилась крайняя лѣвая сторона, къ которой принадлежали между прочими Петіонъ и Робеспьеръ и которая ни подъ какимъ видомъ, ни на какихъ условіяхъ не соглашалась перемѣнить наступательное положеніе оппозиціи на оборонительную роль правительственной партіи. Вмѣстѣ съ крайней стороной отдѣлился отъ Барнава и компанія якобинскій клубъ, который былъ основанъ именно Дюпоромъ и Ламетомъ, но въ скоромъ времени далеко обогналъ своихъ основателей на пути къ радикализму и къ демократіи. Когда якобинцы стали въ скептическія отношенія къ бывшимъ вождямъ лѣвой стороны, тогда и массы народа охладѣли къ нимъ и перенесли все свое довѣріе и всю свою любовь на ораторовъ крайней лѣвой и въ особенности на Робеспьера. Это обстоятельство произвело молниеносный разладъ между національнымъ собраніемъ и общественнымъ мнѣніемъ страны. Въ національномъ собраніи партія Робеспьера была очень слаба по числу своихъ членовъ и ничтожна по своему вліянію; въ столицѣ, въ клубахъ и черезъ посредство клубовъ во всей Франціи одна только крайняя сторона, партія Робеспьера, партія непреклонной оппозиціи—пользовалась силой и вліяніемъ. Движеніе зашло такъ далеко и развивалось такъ быстро, что національное собраніе уже не успѣвало за нимъ и служило ему тормазомъ въ то время, когда нація желала имѣть въ собраніи органъ для выраженія своихъ потребностей. Ясно было, что тѣ люди, которые были достойными представителями третьяго сословія въ 1789 году, уже не могли быть представителями французскаго народа въ 1791 году. Самъ народъ понималъ это вполне, и Робеспьеръ, выражая это общее мнѣніе, предложилъ въ половинѣ мая 1791 года, чтобы ни одинъ изъ членовъ учредительнаго собранія не могъ баллотироваться въ депутаты на слѣдующихъ выборахъ.

На первый взглядъ можетъ показаться, что это предложеніе не представляло особенной важности и что оно должно было имѣть вліяніе только на личный составъ слѣдующаго собранія, а не на расположеніе и сравнительную силу политическихъ партій въ этомъ слѣдующемъ собраніи. Если нельзя будетъ выбрать Барнава, Ламета, Дюпора, Робеспьера, Лафайета, Ланжюине, Бюзю, Грегуара, то выберутъ кого-нибудь изъ друзей и приверженцевъ этихъ господъ, выберутъ такихъ людей, которые держутся одинаковыхъ съ ними политическихъ мнѣній, и новое собраніе представитъ слѣдовательно ту-же группировку и ту-же сравнительную силу партій, которую можно было видѣть въ старомъ собраніи. Если же политическія мнѣнія той или другой стороны учредительнаго собранія не пользуются сочувствіемъ избирателей, тогда все равно не выберутъ вновь членовъ этой стороны, хотя бы они и имѣли право баллотироваться.

Противъ такого разсужденія въ области чи-

стой теоріи нельзя представить никакого уважительнаго возраженія. Но Робеспьеръ зналъ, что выборы будутъ происходить не въ области чистой теоріи, а на почвѣ практической дѣятельности, гдѣ вопросы ставятся и рѣшаются совсѣмъ не такъ просто. Примѣняясь къ особенностямъ этой практической дѣятельности, Робеспьеръ понималъ, что его предложеніе измѣнить радикально не только личный составъ, но и политическій цвѣтъ національнаго собранія. Къ этой мысли цѣли онъ и стремился. Дѣло въ томъ, что многіе изъ членовъ учредительнаго собранія втѣченіи своей двухлѣтней дѣятельности составили себѣ очень громкую извѣстность, которая во всякомъ случаѣ была для нихъ сильной рекомендаціей передъ каждою коллегіей избирателей. Только для членовъ крайней правой стороны громкая извѣстность могла быть помѣхой, потому что извѣстность эта была приобретена ими въ безплодной борьбѣ съ желаніями націи; что же касается до представителей буржуазнаго либерализма, содѣйствовавшихъ побѣдѣ третьяго сословія и опрокинувшихъ феодальныя учрежденія, то ихъ извѣстность составляла въ то время гордость французской націи и открывала имъ широкую дорогу къ депутатскому мѣсту въ будущемъ національномъ собраніи. Но эта извѣстность открыла дорогу имъ самимъ, а вовсе не ихъ приверженцамъ и не ихъ идеямъ. Если бы передъ коллегіей избирателей явился съ одной стороны—знаменитый ораторъ, подобный Дюпору или Барнаву, а съ другой стороны—неизвѣстный юноша, отличающійся самымъ пылкимъ радикализмомъ, то первый по всей вѣроятности побѣдилъ бы послѣдняго. Когда же всѣ знаменитые ораторы будутъ устранены отъ выборовъ, тогда избиратели, имѣя дѣло съ простыми смертными, обратятъ все свое вниманіе на убѣжденія кандидатовъ и выберутъ тѣхъ людей, которые, не успѣвши прославиться на всю Францію, выразили однако въ кругу своихъ ближайшихъ соотечественниковъ искреннюю и горячую привязанность къ свободѣ и къ революціи. Почти въ каждомъ городѣ существовали якобинскіе клубы, а въ каждомъ клубѣ было нѣсколько личностей, пользовавшихся въ пѣломъ околоткѣ репутаціей отличныхъ патріотовъ и дѣльных людей; эти провинціальныя свѣтила гражданской доблести и политической мудрости непременно должны были восторжествовать на выборахъ послѣ устраненія парижскихъ и общо-французскихъ знаменитостей. Но всѣ провинціальныя якобинцы пятали глубочайшее благоговѣніе къ парижскому клубу, а въ этомъ парижскомъ клубѣ уже господствовалъ въ это время Робеспьеръ; стало-быть Робеспьеръ могъ разсчитывать, что онъ съ трибуны якобинскаго клуба будетъ управлять дѣйствіями новаго собранія; имѣя въ виду такую заманчивую диктатуру, онъ съ удовольствіемъ могъ отказаться отъ себя и за своихъ ближайшихъ друзей отъ вса-

какъ притязаній на мѣсто депутата; эта ожидаемая диктатура должна была сдѣлаться особенно обширной вслѣдствіе того обстоятельства, что въ новомъ собраніи будутъ засѣдать совершенно новые люди, незнакомые ни съ положеніемъ государственныхъ дѣлъ, ни съ закулисными тайнами различныхъ партій, ни съ внѣшней стороной парламентской процедуры. Если бы въ это новое и неопытное собраніе могли проникнуть нѣсколько старыхъ депутатовъ, то эти депутаты сразу приобрѣли бы себѣ авторитетъ, сдѣлались бы центрами и проводителями кружковъ и заимали бы въ свои руки управленіе дѣлами. Но предложеніе Робеспьера исключало всѣхъ старыхъ депутатовъ; какъ только эти старые депутаты переставали быть членами официального собранія, такъ они тотчасъ теряли всякое значеніе и всякую возможность управлять общественнымъ мнѣніемъ; только люди крайней лѣвой стороны и больше всѣхъ другихъ самъ Робеспьеръ имѣли вѣсь сами по себѣ, независимо отъ своей официальной должности; только эти люди, опираясь на якобинскій клубъ и на парижское населеніе, могли сохранять и увеличивать свою силу послѣ выхода своего изъ учредительнаго собранія.

Новое собраніе должно было подчиниться центральному свѣтилу якобинскаго клуба, во-первыхъ—потому, что оно должно было состояться преимущественно изъ провинціальныхъ якобинцевъ, а во-вторыхъ—потому, что оно непременно должно было на первыхъ порахъ отличаться неопытностью, искать совѣта старшихъ и не встрѣчать вокругъ себя никого изъ старшихъ, кромѣ Робеспьера и его партій. Была еще третья причина. Можно было предполагать, что Франція выслала въ учредительное собраніе всю свою науку, весь свой умъ, всѣ свои таланты; когда этотъ верхній слой знанія, ума и таланта будетъ святъ и отложенъ въ сторону, тогда окажутся на поверхности второстепенные умы и посредственныя дарованія; новое собраніе составитъ такимъ образомъ изъ людей средняго разбора, и это отсутствіе сильныхъ талантовъ положить самое прочное основаніе предполагаемой диктатурѣ. Къ этому послѣднему соображенію Робеспьеръ, какъ человѣкъ очень самолюбивый и чрезвычайно тщеславный, не могъ быть равнодушенъ, тѣмъ болѣе что въ первые полтора года своей дѣятельности онъ былъ совершенно задавленъ ораторскими талантами учредительнаго собранія: его долго не слушали, и надъ нимъ перестали смѣяться только тогда, когда начали его бояться; теперь онъ съ удовольствіемъ могъ сказать себѣ, что такихъ оскорбительныхъ сценъ для него по всей вѣроятности уже не будетъ.

Однако надежды на безцвѣтность будущаго собранія не оправдались. Въ собраніи явилась горячая молодежь, составившая партію Жиронды; талантливые ораторы этой партіи, Верньо,

Инаръ, Гюаде, стали бороться съ Робеспьеромъ въ самомъ центрѣ его могущества, въ собраніи якобинскаго клуба. Впрочемъ эта борьба не входитъ уже въ предѣлы теперѣшней моей статьи. Исполнились ли сбывшіеся расчеты Робеспьера, или осталась часть этихъ расчетовъ неосуществленною, во всякомъ случаѣ Робеспьеру выгодно было представить собранію свое предложеніе, выгодно было уже потому, что онъ такимъ образомъ являлся еще разъ въ очень важномъ вопросѣ проводникомъ народныхъ желаній. Но если Робеспьеру выгодно было представить собранію это предложеніе, то всѣмъ значительнымъ членамъ собранія не очень выгодно было принять его и совершить такимъ образомъ надъ собой политическое самоубійство. Барнавъ, Дюпортъ, братья Ламеты стали горячо возражать и ничего не успѣли сдѣлать своими возраженіями, потому что предложеніе Робеспьера пришлось по душѣ не только народу, но и большинству депутатовъ. Въ учредительномъ собраніи, какъ и вообще во всѣхъ собраніяхъ, большинство состояло изъ людей безгласныхъ и безцвѣтныхъ; этимъ людямъ мудрено было разсчитывать на вторичный выборъ, потому что помолчать, какъ выражается Фамусовъ, не велика услуга, и на избирателей такая услуга не могла подѣйствовать; слѣдовательно этой массѣ сомнительныхъ кандидатовъ пріятно было отказаться красиво и великодушно отъ такой чести, которую у нихъ и безъ того бы отняли. Это обстоятельство тогда же было подмѣчено Камилемъ Демуленомъ, который съ свойственной ему веселостью и откровенностью тотчасъ тиснулъ по этому поводу статью въ своей газетѣ. Кромѣ того предложеніе Робеспьера очень поправилось аристократамъ и реакціонерамъ правой стороны; эти господа особенно сильно боялись и ненавидѣли людей умѣренныхъ партій; они думали, что умѣренные партіи могутъ основать прочный порядокъ, который навсегда положитъ конецъ господству привилегій, а на крайнихъ якобинцевъ аристократы смотрѣли, какъ на невозможныхъ людей, которые пошумятъ, покричатъ, подурачатся и потомъ будутъ оставлены народомъ, что изъ съ полнымъ удобствомъ можно будетъ въ урочное время перевѣшать и переколесовать по всѣмъ правиламъ старой уголовной техники. Руководствуясь этими привлекательными соображеніями, правая сторона всегда готова была поддерживать чистыхъ демократовъ противъ либераловъ, всегда радовалась каждой ссорѣ между тѣми и другими и горячо сочувствовала каждой побѣдѣ первыхъ надъ послѣдними. Это настроеніе усилилось еще тѣмъ обстоятельствомъ, что у абсолютистовъ и аристократовъ были личные враги между либералами, а между крайними якобинцами у нихъ не было и не могло быть враговъ, потому что эти два класса людей слишкомъ далеко отстояли другъ отъ друга по своему общественному положенію. Всѣ эти причины привели къ результату,

что Дюпоръ, Ламетъ и Барнавъ оказались почти единственными противниками Робеспьера. Предложеніе его было принято огромнымъ большинствомъ голосовъ. Его защищали даже нѣкоторые знаменитости собранія; видно было, что всѣ утомлены напряженной дѣятельностью, всѣ тяготятся своими натянутыми отношеніями къ народу и всѣ, кромѣ немногихъ неугомонныхъ честолюбцевъ, хотѣли отдохнуть и сложить на другія плечи отвѣтственность за дальнѣйшія событія. Такимъ образомъ за четыре мѣсяца до закрытія своихъ засѣданій учредительное собраніе призвало себя устарѣлымъ и рѣшилось передать новымъ людямъ судьбы Франціи, конституціи и всѣхъ революціонныхъ пріобрѣтеній, оторванныхъ народомъ отъ королевской власти и отъ аристократическихъ привилегій. Но послѣднія недѣли учредительнаго собранія были ознаменованы еще двумя чрезвычайно важными событіями, первымъ изъ нихъ было неудавшееся бѣгство короля, вторымъ — кровопролитное столкновение народа съ національной гвардіей.

XXII.

Между Франціей и всей монархической Европой не могло быть искренняго и прочнаго мира съ той самой минуты, какъ парижскій народъ взялъ штурмомъ Бастилію и передалъ верховную власть въ руки своихъ представителей. Не могло быть мира по многимъ причинамъ. Во-первыхъ — всѣ европейскіе государи и всѣ европейскія аристократіи чувствовали свою солидарность съ Людовикомъ XVI, съ французскимъ дворянствомъ; во-вторыхъ революція съ своей стороны вовсе не заботилась о томъ, чтобы успокоить и смягчить своихъ взволнованныхъ враговъ; она вовсе не хотѣла замыкаться въ предѣлы своего отечества, ея ораторы при каждомъ удобномъ и неудобномъ случаѣ говорили о міровой задачѣ революціи, о ея космополитическомъ значеніи, объ освобожденіи всѣхъ народовъ, о естественномъ братствѣ всѣхъ людей и о разныхъ другихъ вещахъ, которыя всякій благомысляющій человекъ могъ-бы теперь назвать нелѣпостями, потому что со времени французской революціи прошло слишкомъ семьдесятъ лѣтъ, а между тѣмъ всѣ эти либеральныя шалости такъ и остались ораторскими фіоритурами и притомъ фіоритурами не только для Европы, но и для самой Франціи. Но тогда въ эти либеральныя шалости крѣпко вѣрили сами шалуны. Революціонеры угрожали, консерваторы хмурились; ясно было, что рано или поздно дойдетъ до драки и что перевѣсъ будетъ на той сторонѣ, которая лучше выберетъ время для того, чтобы нанести первый ударъ.

Это воинственное расположеніе, господствовавшее естественнымъ образомъ въ обоихъ политическихъ лагеряхъ Европы, усиливалось въ аристократическомъ лагерѣ криками и жалобами

французскихъ эмигрантовъ, передавшихъ всѣмъ европейскимъ дворамъ такіе подробности о революціи, отъ которыхъ волосы становились дыбомъ; сообщая эти подробности, французскіе эмигранты обнаруживали щедрость, достойную ихъ высокаго званія; они, не занимаясь ни на одномъ словѣ, пересыпали чистую правду поэтическими украшеніями и чистѣйшей ложью. Ими вѣрили, во-первыхъ — потому что пріятно и полезно было вѣрить; а во-вторыхъ — потому что неистощимые импровизаторы были несчастными мучениками, пострадавшими за правду, испытывшими на себѣ тяжесть людской неблагодарности и слѣдовательно достойными всякаго сочувствія, уваженія и разумѣется довѣрія. Благодаря своимъ изобрѣтательнымъ мученикамъ, далеко превосходившимъ Павла Ивановича Чичикова въ любви къ добру и къ истинѣ, Франція превратилась въ страну легендъ, въ родину мифическихъ чудовищъ, способныхъ въ одну минуту разнести свое заразительное безобразіе по всѣмъ городамъ и селамъ Европы и солиднаго земного шара. Надо было прежде всего посадить Францію въ карантинъ, оцѣнить ее санитарнымъ кордономъ, отрѣзать ей всякое сообщеніе съ незараженной частью человѣчества. Потомъ надо было употребить въ дѣло увѣщанія, потомъ пустить въ ходъ угрозы и наконецъ обуздать неукротимое безуміе мѣрами кротости.

Все это въ порядкѣ вещей, и все это безъ сомнѣнія превосходно, но любопытно было-бы спросить, каково дѣйствовали подобныя демонстраціи на судьбу Людовика XVI и его семейства, желавшаго сохранить феодальную власть, какъ зеницу ока. Положеніе короля было въ высшей степени оригинально; во всей всемірной исторіи врядъ-ли найдется другое такое положеніе. Людовикъ былъ въ плѣну въ той самой фантастической странѣ чудовищъ, о которой трубили эмигранты. Но это еще ничего, что онъ былъ въ плѣну. Своеобразность положенія заключалась въ томъ, что онъ не могъ признать себя плѣнникомъ; ему надо было прикидываться патристическимъ ежомъ пылкаго народа и заклятымъ врагомъ тѣхъ элементовъ и тѣхъ людей, къ которымъ онъ чувствовалъ наибольшую симпатію и въ которыхъ онъ видѣлъ своихъ будущихъ избавителей; какъ только французскій народъ замѣчалъ, что король тяготится своей неестественной ролью, такъ показывались немедленно всѣ признаки приближающейся бури, и во избѣжаніе дальнѣйшихъ неприятностей Людовикъ XVI поневолѣ долженъ былъ поспѣшно прижимать къ своему лицу ту ненавистную маску, которая мѣшала ему дышать, но въ то-же время представляла единственную возможность отсрочивать неизбежную катастрофу. Катастрофа была неизбежна, и политическій маскарадъ въ сущности былъ бесполезенъ, во-первыхъ — потому, что въ нѣкоторыхъ вопросахъ король не могъ выдержать его до конца, а во-вторыхъ потому, что мифическія чудовища, на-

шия Францію, нисколько не были располо-
къ доврчивости и очень хорошо знали,
какое лицо и что такое маска.

роль старался выиграть время, надеясь на
ю внутри государства и на помощь со-
ны Европы; народъ съ своей стороны смут-
ствовалъ неискренность короля и постоянно-
евожился неопредѣленными слухами объ
йскомъ комитетѣ, который будто-бы ра-
тъ въ тюльрийскомъ дворцѣ подъ предѣ-
ствомъ королевы Маріи-Антуанеты и за-
яетъ предать Францію въ руки иностран-
и эмигрантовъ. Война между Франціей и
ой казалась неизбежной; и точно также
бжнымъ казался рѣшительный и оконча-
ый разрывъ между идеями революціи и прин-
тъ королевской власти. Самъ Людовикъ уви-
и понял наконецъ неизбежность этого
ва тогда, когда національное собраніе при-
за преобразование въ устройство церкви.
шеніе Бастиліи, уничтоженіе дворянства,
иченіе монархической власти, учрежденіе
альной гвардіи, свобода печати—все это
грустно и тягостно, но, скрѣпя сердце,
было еще кое-какъ перенести всѣ эти стра-
когда же зашла рѣчь о духовенствѣ, о
тырахъ, о церковныхъ помѣстьяхъ, о на-
иіи священниковъ по выбору прихожанъ,
истощилось дипломатическое терпѣніе
аго короля. Людовикъ былъ прежде всего
икъ; надъ нимъ господствовали его духов-
и съ той минуты, какъ революція косну-
церковной іерархіи, Людовикъ XVI съ му-
омъ отчаянія рѣшился во что-бы то ни
сбросить маску и бѣжать въ тотъ лагерь,
торомъ были всѣ его друзья.

оставляю въ сторонѣ фактическія подроб-
какъ было задумано бѣгство, какъ измѣ-
планъ этого бѣгства, какія сношенія под-
вала по этому поводу королева Маріи-Ан-
та съ своимъ братомъ, Леопольдомъ Авст-
ицъ, какъ королевское семейство тронулось
тъ, какъ происходило это опасное путеше-
—все это имѣетъ анекдотическій и біогра-
кій интересъ и все это совсѣмъ не отно-
къ историческому развитію революціи. До-
жно замѣтить, что король съ своимъ семей-
бѣжалъ изъ Парижа въ ночь на 21 іюня,
тотъ же день поздно вечеромъ его задер-
въ провинціальномъ городкѣ Вареннѣ. Та-
и городскія власти тотчасъ дали знать объ
національному собранію. Національное со-
прислало въ Вареннъ своихъ комиссаровъ,
ола съ семействомъ привезли обратно въ
къ. Эта неудавшаяся поѣздка короля на-
последній ударъ монархическому принципу
анціи. Его убили не нападенія его враговъ,
бки представителей и защитниковъ.

вая причина революціи заключалась, какъ
дѣли, въ экономическомъ истощеніи народа
дательства; это истощеніе разувѣется было

произведено не философами XVIII вѣка, а адми-
нистраторами, любившими старый порядокъ ве-
щей всѣми силами своего организма. Первый по-
водъ къ вооруженному возстанію былъ поданъ,
какъ мы также видѣли, попыткой короля пара-
лизировать съ самаго начала дѣятельность на-
ціональнаго собранія; эта попытка очевидно
была сдѣлана друзьями старого порядка, а не
агитаторами народа и не фанатиками революціи.
Теперь мы опять встрѣчаемся съ такимъ-же
фактомъ. Втеченіи 1789 и 1790 года респуб-
ликанскихъ стремленій нельзя было замѣтить ни
въ народѣ, ни въ образованномъ обществѣ, ни въ
національномъ собраніи, ни въ якобинскомъ клу-
бѣ. Народъ хотѣлъ только прочнаго уничтоженія
феодалныхъ повинностей, а къ вопросамъ выс-
шей политики оставался совершенно равнодуш-
нымъ, полагаясь въ этомъ отношеніи на своихъ
возлюбленныхъ представителей и законодателей.
Образованное общество и національное собраніе
состояли изъ чистыхъ роялистовъ, обожавшихъ
старый порядокъ, и изъ конституціоналистовъ,
разыгравшихъ разныя варіаціи, болѣе или менѣе
смѣлыя, на одну основную тему англійскаго са-
моуправленія. Якобины сами называли свой
клубъ — обществомъ друзей конституціи и не
терпѣли на своей трибунѣ ни одного слова про-
тивъ монархическаго начала. Необходимость ко-
ролевской власти для всѣхъ серьезныхъ обще-
ственныхъ дѣателей того времени составляла не-
прикосновенный догматъ политическаго вѣрон-
повѣданія. Та мысль, что республиканское прав-
леніе годится только для отдѣльныхъ городовъ
и мелкихъ областей, находилась тогда въ общемъ
ходу и считалась неопровержимой истиной, не
требующей доказательствъ. Ввести республикан-
ское правленіе во Францію значило-бы превра-
тить ее въ федерацію, состоящую изъ множества
отдѣльныхъ мелкихъ республикъ; о федераціи
такого рода никто не хотѣлъ слышать, потому
что привилегіи отдѣльныхъ провинцій толькс
что были уничтожены, внутреннія заставы и та-
можни были сняты и отмѣнены, единство было
осознано, и все, что могло бы имѣть укрѣпленія этого
единства и водворенію сильной централизаціи,
казалось всѣмъ тогдашнимъ публицистамъ тя-
желымъ преступленіемъ противъ націи и отече-
ства. Ни Робеспьеръ, ни Дантонъ, ни Маратъ,
никто изъ тѣхъ людей, которыхъ считаютъ обык-
новенно опаснѣйшими демократами и злѣйшими
революціонерами, не заикались о республикѣ
втеченіи 1789 и 1790 года. Одинъ только Дему-
ленъ написалъ въ то время политическій памфлетъ
съ республиканскими тенденціями, но Демуленъ
въ началѣ революціи такъ часто кидался изъ
стороны въ сторону, отъ Лафайета къ Робеспьеру,
отъ Марата къ Дантону, что всѣ партіи считали
его талантливымъ и остроумнымъ повѣсой, ко-
торого съ удовольствіемъ можно читать и слу-
шать, но на котораго не стоитъ обращать вниманія
въ серьезномъ дѣлѣ. Республиканскій на-мъ

флетъ Демулена остался безъ вліянія, и то-же самое произошло-бы даже въ томъ случаѣ, если-бы вмѣсто Демулена заговорилъ въ то время о республикѣ какой-нибудь сильный предводитель политической партіи. Республиканцы конечно существовали и тогда; но одни молчали, другіе притворялись приверженцами конституціи; всѣ считали себя мечтателями, далеко опередившими свой вѣкъ; всѣ были увѣрены въ неспособности французскаго народа къ самоуправленію и всѣ любили восхищаться античными доблестями грековъ и римлянъ, которые были извѣстны тогдашнему обществу по трагедіямъ Корнелия и Расина, да еще по жизнеописаніямъ Плутарха и Корнелия Непота, переведеннымъ на французскій языкъ.

Всѣ эти безвредныя занятія тогдашнихъ республиканцевъ могли-бы продолжаться втеченіи неопредѣлимо-долгого времени и могли-бы кончиться ничѣмъ, могли-бы не дойти до свѣдѣнія французскаго народа, если-бы только представитель и защитники стараго порядка изъли возможность удержаться отъ дальнѣйшихъ ошибокъ. Но обстоятельства были расположены такимъ образомъ, что каждое дѣйствіе Людовика XVI превращалось въ ошибку и, подрывая монархію, закладывало основанія будущей республики. Когда по городамъ и селамъ королевства разнесся слухъ, что король попробовалъ убѣжать за-границу, тогда во всей Франціи произошелъ такой единодушный взрывъ народнаго негодованія, что послѣ этого взрыва всякое примиреніе между королемъ и народомъ сдѣлалось невозможнымъ. Король дѣйствуетъ заодно съ иностранцами! Король дѣйствуетъ заодно съ эмигрантами! Эти двѣ мысли были безсильны и безвредны, пока онѣ встрѣчались только на столбцахъ демократическихъ газетъ и въ декламацияхъ яростныхъ ораторовъ; но когда каждый горожанинъ, каждый мужикъ и каждый поденщикъ самъ додумался до этихъ двухъ мыслей, самъ разобралъ ихъ значеніе, самъ взволновался ихъ возможными послѣдствіями и наконецъ самъ громко произнесъ ихъ съ полнымъ убѣжденіемъ, тогда эти двѣ мысли разорвали всякую связь между королемъ и народомъ и съ неудержимой силой бросили всю массу народа въ руки крайней демократической и республиканской партіи, которая тотчасъ ободрилась, отложила въ сторону Плутарха и Корнелия Непота и съ восхищеніемъ принялась хозяйничать въ дѣлахъ современной дѣятельности.

Король дѣйствуетъ заодно съ иностранцами, думалъ народъ, услышавъ о поѣздкѣ въ Вареннъ, — стало-быть онъ продаетъ иностранцамъ честь и благосостояніе Франціи; онъ хочетъ привести во Францію иѣмецкія арміи, онъ хочетъ выжечь города и села, вытоптать поля, обломать виноградники, опустошить цѣлыя провинціи голодомъ и моровой язвой. Король дѣйствуетъ заодно съ эмигрантами, разсуждали всѣ классы народа, воспользовавшіеся различными выгодами революціи. Втеченіи своей двухлѣтней дѣя-

тельности революція пустила въ народную жизнь такіе глубокіе корни, произвела такіе радикальныя и разнообразныя измѣненія во всѣхъ между-человѣческихъ отношеніяхъ и заинтересовала въ свою пользу такое неизмѣримое большинство французскихъ гражданъ, что при первомъ намекѣ на возможность реакціи вся Франція съ низу и до верху, отъ одной границы до другой, встрепенулась отъ ужаса и негодованія. Въ это время революція была уже непобѣдимо сильна, именно потому, что она успѣла уже дать всѣмъ классамъ народа осязательныя доказательства своего существованія и своей дѣятельности. Пока революція была чистой идеей, отвлеченнымъ приговоромъ мыслителей надъ существующими бытовыми формами, до тѣхъ поръ ее можно было задерживать, отсрочить или поворотить назадъ; но когда она проложила себѣ дорогу въ міръ матеріальныхъ интересовъ, когда она передѣлала по-своему весь строй экономическихъ отношеній, тогда возвращеніе стараго порядка вещей сдѣлалось совершенно невозможнымъ. Тогда дѣло революціи стали защищать не одни мыслители, писатели, ораторы и утописты; вмѣстѣ съ идеологами появились за общее дѣло и городскіе собственники, и крестьяне, и солдаты, и ремесленники. Всѣ неопредѣленные декламации объ австрійскомъ комитетѣ, о вѣроломствѣ двора, о кровожадныхъ замыслахъ аристократовъ, о враждебныхъ тенденціяхъ самого короля, всѣ журнальныя утки и ораторскія импровизаціи превратились передъ глазами испуганнаго народа въ самую осязательную, неопровержимую и сокрушительную истину. Творцы утокъ и импровизацій сдѣлались мудрецами и пророками; отъ нихъ народъ сталъ ожидать спасенія; за ними онъ готовъ былъ идти всюду, куда они захотятъ повести его; отъ нихъ зависѣло произнести слово «республика», и если-бы это слово не тотчасъ перешло въ дѣло, то по крайней мѣрѣ послѣ вареннскаго путешествія никто не подумалъ бы называть адвокатовъ республики мечтателями и утопистами. Словомъ, до поѣздки короля въ Вареннъ народъ подозрѣвалъ короля въ неискренности и чувствовалъ неопредѣленное безпокойство; послѣ этой поѣздки не осталось никакихъ подозрѣній, и неопредѣленное безпокойство смѣнилось твердой увѣренностью. Весь народъ пережилъ въ нѣсколько часовъ цѣлыя десятилѣтія исторической опытности; онъ увидѣлъ, что надо выбирать одно изъ двухъ: или революцію, или старій порядокъ. Рубиконъ былъ перейденъ, и Людовикъ XVI, привезенный изъ Варенны въ Парижъ, сдѣлался во всѣхъ отношеніяхъ плѣнникомъ своихъ политическихъ противниковъ.

XXIII.

Короля привезли въ Парижъ 25 іюня 1791 года. а королевская власть была уничтожена 10 августа 1792 года. Между эти

обытіями прошло больше года, и король считался въ этотъ промежутокъ времени Людовикъ XVI, который уже однажды валь убѣжать съ своего престола. На взглядъ иному недогадливому читателю показаться непонятными двѣ вещи: Людовикъ XVI самъ не отказался въ этотъ своего престола, на которомъ онъ съ своего бѣгства могъ ожидать только посты и оскорбленій? И далѣе, почему нацѣнное собраніе не объявило престола нымъ и не созвало національнаго кон-т.-е. почему оно послѣ вареннской не поступило такъ, какъ поступило тельное собраніе послѣ возмущенія 10 1792 года?

на эти два вопроса надо искать въ Людовика XVI въ характерѣ коллек-ичности, называвшейся національнымъ льнымъ собраніемъ. Во-первыхъ—Людо-своему темпераменту не былъ спосо-энергическіе поступки; онъ могъ съ хри-мъ терпѣніемъ переносить оскорбитель-рѣйности своего положенія, но выйти о положенія рѣшительнымъ и необыч-гомъ онъ былъ не въ состояніи. Только вліянію королевы, онъ попробовалъ за-границу, и эта попытка, удавшаяся о, надолго истощила въ немъ запасъ ой энергіи; онъ подумалъ, что всего ь полнымъ смиреніемъ ожидать, что бу-вторыхъ—Людовикъ XVI былъ воспи-ими наставниками и своей вседневной кой жизнью такъ, что онъ не зналъ о ваніи и не понималъ значенія тѣхъ силъ, которая копошились подъ его пре-что такое народъ, чего онъ хочетъ, онъ, голоденъ ли и что такое значить однимъ,—все это и многое другое въ е родѣ были такіе вопросы, которыхъ могли задавать себѣ обитатели версаль-орца. О правильномъ рѣшеніи подобныхъ ь смѣшно было бы и думать. Всей вер-публикѣ революція казалась интри-къ-вибульмошениковъ, которые сегодня , а завтра будутъ заброшены и забыты ь своими задорными фразами. Революцію герцогъ орлеанскій, или Мирабо, или , или Барнавъ, или Дантонъ, или всѣ стѣ, или каждый изъ нихъ порознь, по собственному расчету, непремѣнно кто-да дѣлаетъ революцію: не можетъ же бы революція сама себя дѣлала *).

изъ роялистовъ не могъ разсуждать разсуждая такимъ образомъ, Людовикъ горный конечно былъ самъ роялистомъ, отказаться отъ престола. Онъ такъ ма-

ло считалъ свое положеніе отчаяннымъ, что да-же послѣ вареннской исторіи продолжалъ бо-аться успѣха эмигрантовъ больше, чѣмъ успѣха демократовъ. Онъ боялся, что его братья, графъ Прованскій и графъ Артуа, задавятъ революцію, возьмутъ его, Людовика, подъ свою опеку, а королеву подвергнуть скандальному процессу и заточенію. Людовику въ голову не приходило бо-аться за свою жизнь, и онъ до послѣдней мину-ты своего царствованія былъ увѣренъ, что Фран-ція не можетъ и никогда не захочетъ быть рес-публикой. Стало-быть отказываться отъ престо-ла значило-бы открывать дорогу принципамъ-эми-грантамъ. Вообще можно сказать одно: если-бы Людовикъ XVI былъ способенъ отказаться отъ престола, т.-е. если-бы онъ понималъ глубин-у и обширность революціоннаго движенія, если-бы онъ предвидѣлъ, какъ оно разыграется, если-бы онъ, понимая и предвидя все это, могъ посту-пать твердо и рѣшительно, то онъ еще гораздо раньше 1789 года отыскалъ и поддержалъ-бы людей, подобныхъ Тюрго, и повелъ-бы необходи-мыя реформы мирнымъ путемъ, осторожно, по-слѣдовательно, но безъ уклончивости, безъ усту-покъ старинѣ и безъ боязни передъ новыми идеями. Реформа была необходима и неизбежна, но самъ Людовикъ, смотря по особенностямъ своего характера и умственнаго развитія, могъ примкнуть къ той или другой сторонѣ; если-бы онъ примкнулъ къ партіи будущаго вмѣсто того, чтобы присоединиться къ партіи прошедшаго, тогда его личная судьба во многомъ-бы измѣни-лась, и вышнія формы французской революціи также испытали-бы многія измѣненія, но проч-ные результаты всего движенія оказались-бы совершенно такими-же, какими мы ихъ видимъ теперь. Читатель вѣроятно знаетъ уже, что прочными результатами я называю въ этомъ слу-чаѣ экономическія и социальныя преобразованія.

Національное собраніе, по своимъ отношеніямъ къ массѣ народа, было заранѣе осуждено на без-дѣйствіе. Съ одной стороны оно не могло при-нять рѣшительную инициативу и объявить пре-столъ вакантнымъ; съ другой стороны, если-бы оно захотѣло защищать и прикрывать Людовика XVI своимъ авторитетомъ, защита эта оказалась-бы очень недостаточною, потому что авторитетъ собранія былъ уже въ значительной степени по-дорванъ. При началѣ своихъ засѣданій націо-нальное собраніе было составлено на половину изъ депутатовъ отъ дворянства и отъ духовен-ства. Эти депутаты, которыхъ народъ не хотѣлъ и не могъ считать своими представителями, со-ставили правую сторону собранія и почти всѣ держали себя во все время засѣданій, какъ яв-ные враги революціи и какъ безусловные при-верженцы стараго порядка. Многіе изъ этихъ де-путатовъ уѣхали за-границу, когда эмиграція стала усиливаться и вошла въ моду. Когда дво-рянство и духовенство были уничтожены, какъ отдѣльныя сословія, тогда депутаты отъ этихъ

только уштеръ-офицерская жена сама себя вы-и то показаніе Сквозника-Дмухановскаго въ чѣмъ можетъ удовлетворить только Хлестакова.

несуществующих сословій очевидно потеряли всякій смысл и превратились въ ходячій анахронизмъ. Несмотря на это, анахронизмъ продолжалъ засѣдать въ собраніи, произносить рѣчи и подавать голоса. Въ половинѣ 1791 года правая сторона собранія состояла еще изъ трехсотъ человѣкъ, которые, производя много шума, заявляя торжественные протесты и безпристрастѣйшимъ образомъ балансируя между различными отгѣнками центральной партіи и лѣвой стороны, развлекали силы собранія и отнимали у него возможность дѣйствовать рѣшительно. Впрочемъ центръ и лѣвая сторона сами по себѣ находились въ постоянномъ колебаніи. Если они боялись эмигрантовъ и чистыхъ роялистовъ, которые до того времени были ихъ постоянными врагами, то еще сильнѣе боялись они чистыхъ демократовъ и революціонеровъ, которые до того времени были ихъ постоянными союзниками. Чтобы сдержать въ границахъ благопристойности этихъ опасныхъ союзниковъ, они готовы были пойти на мировую сдѣлку съ своими врагами, но враги ни на какую сдѣлку не поддавались, имѣя въ виду соблазнительную надежду, что революція погибнетъ въ ближайшемъ будущемъ отъ собственныхъ ошибокъ и увлеченій.

Конституціонная партія, сжатая такимъ образомъ между слишкомъ извѣстными людьми прошедшаго и страшными по своей неизвѣстности силами будущаго чувствовала шаткость своего положенія, но вмѣстѣ съ тѣмъ сохраняла за собой численный перевѣсъ въ національномъ собраніи. Отъ нея зависѣло рѣшить вопросъ: какъ выпутать короля и собраніе изъ неирѣзныхъ послѣдствій вареннской исторіи? При рѣшеніи этого вопроса она конечно постаралась сохранить золотую середину и устроила дѣло такъ, что не удовлетворила ни роялистовъ, ни революціонеровъ. Роялисты смотрѣли на варенское дѣло, какъ на законный протестъ угнетеннаго короля противъ посягательствъ зазнавшихся подданныхъ; въ этомъ дѣлѣ для нихъ не могло быть и рѣчи о преслѣдованіи и наказаніи виновныхъ; виновными они считали только тѣхъ людей, которыхъ неслыханная дерзость понудила короля искать себѣ безопасности внѣ Парижа и можетъ быть внѣ Франціи; для роялистовъ эмиграція принцевъ и дворянства было дѣломъ совершенно законнымъ, и такъ какъ король, по ихъ мнѣнію, былъ первымъ принцемъ и первымъ дворяниномъ во Франціи, то онъ также могъ эмигрировать, если находилъ это удобнымъ для сохраненія своего достоинства и необходимымъ для своей личной безопасности. Но гдѣ король, тамъ и отечество, — говорили далѣе роялисты; поэтому всѣ честные французы, не желающіе оставить свое отечество, должны слѣдовать за королемъ на край свѣта; слѣдовательно генераль Булье, приготовившій бѣгство короля, и офицеры, отправившіеся въ путь вмѣстѣ съ королемъ, оказываются лучшими патріотами во всей Франціи и

достойны полнаго уваженія со стороны всѣхъ благомыслящихъ людей.

Такъ думали роялисты, хотя конечно на трибунѣ національнаго собранія они уже не могли высказываться вполне откровенно; общество XVIII вѣка было уже слишкомъ развращено для того, чтобы понимать идеи и цѣнить чувства временъ Людовика XIV, Генриха IV и Франциска I. На трибунѣ эти тенденціи выражались осторожно и уклончиво, съ различными примѣненіями къ языку и понятіямъ испорченной эпохи. Но во всякомъ случаѣ у роялистовъ былъ свой взглядъ на вещи очень опредѣленный и вполне послѣдовательный, т.-е. вполне вѣрный основной идее.

У революціонеровъ былъ также свой взглядъ, не менѣе опредѣленный и не менѣе послѣдовательный. Они думали и говорили, что король и всѣ соучастники вареннской экспедиціи виновны въ измѣнѣ противъ націи; короля слѣдуетъ объявить лишеннымъ престола, а всѣхъ остальныхъ предать суду и наказать по всей строгости законовъ. Конституціоналисты попались въ тиски между этими двумя противоположными взглядами; они стали лавировать изъ стороны въ сторону, изобрѣтать несуществующіе факты и соглашать несогласимыя понятія. Убѣжая изъ Парижа, король оставилъ письменный протестъ противъ всѣхъ узаконеній, выработанныхъ національнымъ собраніемъ и получившихъ уже королевское утвержденіе; въ этомъ протестѣ король очень подробно излагаетъ свои жалобы противъ французовъ вообще и парижанъ въ особенности; онъ объясняетъ очень обстоятельно причины своего бѣгства; національное собраніе получило эту бумагу въ тотъ самый день, въ который оно узнало о бѣгствѣ короля. Но, несмотря на положительныя увѣренія самого Людовика XVI, собраніе, слѣдуя внушенію конституціонной партіи, выдумало, что король не бѣжалъ, а сдѣлался жертвой насильственнаго или коварнаго похищенія. Эта выдумка отодвигала самого короля въ сторону, а всю отвѣтственность обрушивала на его коварныхъ и злоумышленныхъ похитителей.

Такое замысловатое рѣшеніе не могло удовлетворить ни роялистовъ, ни демократовъ; кромѣ того оно оскорбляло здравый смыслъ и нравственное чувство всѣхъ честныхъ людей безъ различія политическихъ партій. Никто не могъ обвиняться выдумкой національнаго собранія; всѣ знали, что бѣгство короля было вполне добровольно и преднамѣренно. Если это бѣгство составляетъ преступленіе, то всѣ участники этого предпріятія преступны; если же не существуетъ преступленія, то не за что губить тѣхъ людей, которые были простыми исполнителями и вѣрными слугами. Такъ говорилъ здравый смыслъ, но конституціонная теорія, сплетенная изъ множества политическихъ и юридическихъ фикцій, находилась на такомъ неизлѣчимомъ разстояніи отъ простаго и здраваго смысла, что не могла обращать на его совѣты ни малѣйшаго вниманія. Впрочемъ

ціонная партія не ограничилась тѣмъ, а себя исходной точкой произвольную акцію; она кромѣ того счѣла постановку противорѣчіе съ этой самой импродополгая, что король былъ покиа однако ухитрилась наложить на него вѣльную эпитимію; собраніе рѣшило, что исполнительная власть отнимается у и сосредоточивается въ національномъ до тѣхъ поръ, пока конституція не бучена и пока король не приметъ и не о ее своей торжественной клятвой.

о зданіе выдумокъ и противорѣчій было то трудами Дюпора, Барнава, Ламетъ другихъ сотрудниковъ ихъ, втече недѣль. Къ 16 іюля пренія о вареноріи окончились въ собраніи, но тѣ рѣторими удовлетворялись представители, понравились народу. Клубъ кордельеъ объявилъ себя противъ королевской Марать въ своей газетѣ совѣтовалъ набрать себя диктатора или военного трииссо сталъ издавать газету «le Répub-

Кондорсе написалъ республиканскійъ; Робеспьеръ въ клубъ якобинцевъ гоубъ осторожности и уваженія въ констио въ національномъ собраніи настаивалъ что короля слѣдуетъ судить. Якобинцы съ соблюдать конституціонное благорао когда Вриссо заговорилъ въ ихъ клубѣ неприкосновенности королевской особы, здались крики неистоваго и чисто ресискаго восторга. Бывшіе хозяева якоклуба, — Ламетъ, Дюпоръ и Барнавъ, — по многимъ признакамъ, что твореніеъ уходить окончательно изъ-подъ ихъ. Они рѣшились сдѣлать отчаянную по10 іюля они перешли вмѣстѣ съ своъзьями изъ монастыря якобинцевъ въ рѣфельновъ; за ними послѣдовали почти таты, бывшіе членами якобинскаго клуба; оный клубъ фельновъ объявилъ всѣмъ жалнымъ якобинцамъ, что съ этого дняетъ составлять настоящее общество друитутуціи; но большая часть провинціалъубовъ не признали этого настоящагоа» и попрежнему продолжали переъся съ якобинцами, оставшимися въ якоъ монастырѣ. Ни Робеспьеръ, ни Петіонъ, со не пошли въ новое помѣщеніе клуба. иновъ стали собираться депутаты и копинный beau-monde, но это изысканноео, существовавшее всего одинъ годъ, пооставалось совершенно безсильнымъ.

водители національнаго собранія прии были наконецъ убѣдиться въ томъ, время прошло и что выдвигаются впевиныя стремленія, которыхъ они не пониновые люди, въ отношеніи къ котои становятся уже людьми прошедшаго. оялистское движеніе въ клубахъ и въ газе-

тахъ служило вѣрнымъ отголоскомъ господствующаго настроенія народныхъ массъ. Въ національное собраніе приходили изъ разныхъ городовъ и департаментовъ адреса, совершенно враждебные Людовику XVI, и нескромное направленіе этихъ адресовъ ставило иногда почтенныхъ законодателей въ очень неловкое и затруднительное положеніе.

Но затрудненія сдѣлались еще гораздо существеннѣе и значительнѣе, когда рѣшеніе собранія по дѣлу короля возбудило сильное неудовольствіе въ самомъ Парижѣ. Пока продолжались еще пренія о вареннской исторіи, происходили разные частныя демонстраціи; когда пренія закончились, тогда составилъ планъ подать собранію петицію, подписанную многими тысячами именъ и выражающую желаніе парижскаго народа, чтобы король былъ низложенъ съ престола. Утромъ 17 іюля нѣсколько гражданъ, принадлежащихъ къ клубу кордельеровъ, собрались на Марсовомъ полѣ и положили свою петицію на алтарь отечества, построенный въ 1790 году, для праздника федераціи. Кто проходилъ мимо, тотъ читалъ и подписывалъ. Слухъ о прошеніи распространился очень быстро; люди, желающіе прочесть и подписать петицію, стали стекаться на Марсово поле со всѣхъ сторонъ; толпа привлекала толпу, и часамъ къ четыремъ по полудни вокругъ алтаря отечества собрались десятки тысячъ народа; устроилось что-то вродѣ общеннаго гулянья; тутъ были женщины и дѣти, люди всякаго званія и всякаго образа мыслей; были и сумасброды, совѣтовавшіе публикѣ взять штурмомъ собраніе и разогнать недостойныхъ представителей великаго французскаго народа; но публика разумѣется смотрѣла на этихъ бѣсноватыхъ проповѣдниковъ, какъ на забавный аксессуаръ лѣтней прогулки; между тѣмъ на петиціи набралось уже очень много подписей, и національное собраніе, знавшее неприятное направленіе этой бумаги, пожелало уничтожить ее и задавить все движеніе мѣрами спасительной строгости. Собраніе приказало парижскому мэру разогнать толпу бунтовщиковъ и злодѣевъ, собравшихся вокругъ алтаря отечества; Вальи и Лафайетъ объявили военный законъ противъ возмущенія, выставили въ окнѣ ратуши красное знамя и пошли на Марсово поле съ пѣхотой, кавалеріей и артиллеріей національной гвардіи; пѣхота дала залпъ, храбрая кавалерія бросилась въ атаку и только артиллеріи не удалось принять участіе въ пораженіи враговъ. Бунтовщики и злодѣи обращены въ позорное бѣгство; на ступеняхъ алтаря отечества осталось больше сотни убитыхъ и раненыхъ, въ томъ числѣ много женщинъ, дѣтей и стариковъ. Собраніе изъявило свою благодарность городскимъ властямъ за ихъ энергію и распорядительность. Затѣмъ дѣла пошли прежнимъ порядкомъ.

Собраніе было такъ великодушно, что не воспользовалось своей побѣдой надъ злоумышлен-

никами. Некоторые депутаты совѣтовали закрыть клубы и пугнуть журналистовъ, но собраніе на это не согласилось. Якобинцы, смущенные воинственнымъ шумомъ, скоро оправились и совершенно пересилили фельяновъ, въ пользу которыхъ была одержана такая блистательная побѣда. Робеспьеръ, Марать, Дантонъ, Бриссо, Демуленъ, Фреронъ продолжали господ-

ствовать надъ умами народа рѣчами, брошюрами и газетами. Популярность Лафайета и Бама осталась убитой на Марсовомъ полѣ. 14 сентября король принялъ конституцію; 30 сентября учредительное собраніе окончило свою дѣятельность и разошлось. Изъ 1800 милліоновъ ассигнацій было издержано 1323. Финансы остались въ прежнемъ положеніи.

ЦВѢТЫ НЕВИННАГО ЮМОРА.

1. Сатиры въ прозѣ. Н. Щедрина.

2. Невинные рассказы. Н. Щедрина.

I.

Плохо приходится въ наше время поэтамъ; кредитъ ихъ быстро понижается; безчувственные критики и бездушные свистуны подрываютъ въ публикѣ всякое уваженіе къ великимъ тайнамъ безсознательнаго творчества. Прежде говорили о вдохновеніи поэта, прежде поэта считали любимцемъ боговъ и интимнымъ собесѣдникомъ музъ; хотя эти мифологическія метафоры грѣшно было принимать буквально, однакожъ за этими метафорами постоянно чувствовалось что-то хорошее и таинственное, неуловимое и непостижимое, что-то такое, что нашему брату вахлаку должно оставаться навсегда недоступнымъ; объ этомъ нашему брату позволялось узнавать только по неяснымъ рассказамъ художниковъ, которые, «какъ боги, входятъ въ зевесовы чертоги», гдѣ имъ показываютъ весьма интересныя и часто нескромныя картинки. Теперь все это перемѣнилось; нашъ братъ вахлакъ большую силу забралъ и обо всемъ разсуждать берется; и вдохновенія не признаетъ, и въ зевесовы чертоги не желаетъ забираться, несмотря на то, что поэтъ весьма наглядно разсказываетъ, какъ въ этихъ чертогахъ показывали одному художнику въ «вѣчныхъ идеалахъ» «волнистость спинки бѣлой» и вообще разныя такія вещи, которыя «божество открываетъ смертнымъ въ доляхъ малыхъ» (А. Майковъ). Все это нашъ братъ отрицаетъ съ свойственной ему грубостью чувствъ и дерзостью выраженій; это, говоритъ, все цвѣты фантазіи, а вы намъ вотъ что скажите: какова у поэта сила ума? и широко-ли его развитіе? и основательно-ли его образованіе? — Ну, что-жъ это за вопросы? Умѣстны-ли они? Деликатны-ли они? Позволительно-ли ставить передъ собой любимца боговъ и допрашивать его, какъ провинившагося гимназиста? Когда уже дѣло дошло до такихъ неслыханныхъ вопросовъ, когда утрачена вѣра въ божественность вдохновенія, когда журналы находятъ болѣе интереснымъ держать корреспондентовъ въ Парижѣ или въ Лондонѣ, въ Саратогѣ или Иркутскѣ, чѣмъ на Парнасѣ или въ

чертогахъ Зевеса, тогда конечно мирному поэту остается только повѣсить свою голубушку-лири на гвоздикъ и поступить на дѣйствительную службу или обратиться къ мрачнымъ заботамъ сельского хозяйства. Если такъ пойдетъ дальше, то наступитъ современемъ драматическая минута, когда послѣдній поэтъ бросится на шею къ послѣднему эстетикъ и, рыдая, скажетъ ему: «другъ мой, мы съ тобой одни. Міръ прокисъ и развратился. Микроскопъ и скальпель не даютъ намъ покоя. Если мы не спрячемся или не притворимся натуралистами, то насъ съ тобой могутъ посадить за-живо въ спиртъ, чтобы сохранивъ въ полной цѣлости послѣдніе экземпляры исчезнувшей породы, имѣвшей удивительно внѣшнее сходство съ человѣкомъ. Другъ мой, когда мы уйдемъ, тогда послѣдняя калитка, ведущая въ зевесовы чертоги, будетъ заколочена и на глухо заложена не кирпичами, а всѣми нераспроданными экземплярами моихъ стихотвореній и всѣми неразрѣзанными листами твоихъ критическихъ статей». Ну, скажетъ эстетикъ если такъ, то все кончено. Калитка навсегда сдѣлается неприступной! Сквозь мою критику твою поэзію ни человѣкъ не пролѣзетъ, ни зѣбу не проскочитъ. И, объявись весьма критикъ какъ обвиняются люди на могилѣ всего, что имъ дорого, наши послѣдніе могиканы во весь духъ побѣгутъ въ лавку покупать себѣ микроскопъ и химическія реторты, какъ маскарадные принадлежности, долженствующія снасти ихъ отъ преждевременнаго и непроизвольнаго погруженія въ спиртъ. Исторія переродившихся экземпляровъ исчезнувшей породы кончится тѣмъ, что оба, эстетикъ и поэтъ, женятся à la face du soleil et de la nature на двухъ дѣвушкахъ, занимающихся медицинской практикой и притомъ дивныхъ въ былое время своихъ теперешнихъ поклонниковъ въ совершенный ужасъ своимъ непостижимо-солиднымъ образованіемъ, своимъ неприлично-твердымъ образомъ мыслей и своимъ подлѣйшимъ отсутствіемъ женственной граціи, т. е. слабости, глушости и жеманства. Дѣти этихъ двухъ счастливыхъ паръ услышатъ еще кое-какія

тежные толки объ эстетикахъ и поэтахъ, а внуки и того не услышать. Обѣ породы сдѣлаются совершенно неизвѣстными, какъ неизвѣстны намъ теперь многіе сличники первобытнаго міра, не оставившіе послѣ себя ни костей, ни раковинъ, ни другихъ слѣдовъ своего брэннаго существованія.

По многимъ отдѣльнымъ чертамъ, разсѣяннѣ въ моей пророческой импровизаціи, читатель можетъ замѣтить, что осуществленіе ея принадлежитъ еще весьма отдаленному будущему; по всей вѣроятности прадѣдушки и прабабушки послѣдняго эстетика и послѣдняго поэта въ настоящую минуту еще не находятся въ утробахъ своихъ матерей; но, несмотря на отдаленность рѣшительной катастрофы, зловѣщіе признаки показываются уже и въ наше время. Такъ напримѣръ Фетъ, рѣшившись посвятить всѣ свои умственные способности неутомимому преслѣдованію хищныхъ гусей, сказалъ въ прошломъ 1863 году послѣднее прости своей литературной славы; онъ самъ отпѣлъ, самъ похоронилъ ее и самъ поставилъ надъ свѣжей могилой величественный памятникъ, изъ-подъ котораго покойница уже никогда не встанетъ; памятникъ этотъ состоитъ не изъ гранита и мрамора, а изъ печатной бумаги; воздвигнутъ онъ не въ обширныхъ сердцахъ благородныхъ росіянь, а въ тѣсныхъ кладовыхъ весьма неблагодарныхъ книгопродавцевъ; монументъ этотъ будетъ конечно несокрушимѣе бронзы (*aere perennius*), потому что бронза продается и покупается, а стихотворенія Фета, составляющія вышеупомянутый монументъ, въ наше время уже не подвергаются этихъ не эстетическимъ операціямъ. Эта незбываемая прочность монумента весьма огорчаетъ книгопродавцевъ вообще, а издателя стихотвореній, купца Солдатенкова, въ особенности; эти господа не понимаютъ трагическаго величія этого монумента и готовы ронять на его несокрушимость; поэтому-то я и назвалъ ихъ неблагодарными; неблагодарность ихъ, мнѣ кажется, можетъ дойти до того, что они современемъ сами разобьютъ монументъ на куски и продадутъ его чуждымъ для оклеиванія комнатъ подъ обои и для закрыванія салныхъ свѣчей, мещерскаго сыра и копченой рыбы. Фетъ унижится такимъ образомъ до того, что въ первый разъ станетъ приносить своими произведеніями нѣкоторую долю практической пользы. Согласитесь, что для вѣчнаго поклонника чистой красоты такое «поблаженіе искусства», не снившееся даже Ахшарумову, должно казаться невыносимо обиднымъ.

Я вижу, какъ растроганы всѣ мои чувствительные читатели, и сиѣшу отвратить ихъ взоры, отуманенные слезами, отъ этихъ печальныхъ и зловѣщихъ явленій, исподволь подготовляющихъ для нашего потомства окончательное паденіе чистаго искусства. Сиѣшу даже утѣшить моихъ стихотворившихъ читателей. Мы вѣдь не потомство, мы не люди будущаго. На нашъ вѣкъ хва-

титъ и лирической поэзіи, и кулачныхъ подвиговъ, и темнаго суетѣрія, и бурныхъ таракановъ, и всякаго другаго снадобья, въ которомъ выражаются даже до сего дня нашъ отечественный бытъ, нашъ доморощенный умъ и наше народное самосознаніе. Чтобы утѣшить читателя еще болѣе, я кромѣ того попрошу его замѣтить, что въ наше время чистое искусство еще чрезвычайно сильно и отдѣлаться отъ него почти невозможно, тѣмъ болѣе что оно до безконечности измѣняетъ свои наружныя формы и иногда появляется въ такомъ мѣстѣ и въ такомъ видѣ, въ которомъ чрезвычайно трудно вывести его на свѣжую воду. Вы не думайте, что чистое искусство проявляется только въ пѣсенкахъ «о серебрѣ и колыбаніи соннаго ручья», или «о волнахъ ликующаго звука». Не думайте также, что въ одинъ разрядъ съ этими пѣсенками слѣдуетъ поставить только тѣ романы и повѣсти, которые изслѣдуютъ невысказанныя чувства и неразъясненные недоразумѣнія, растерзавшія два нѣжныхъ сердца, изъ которыхъ одно принадлежало существу мужескаго пола, а другое такому же существу пола женскаго. Это самыя невинныя видоизмѣненія чистаго искусства; ихъ уже давно взяли на замѣчаніе, и кто попадетъ на эту удочку, тотъ обличитъ уже или крайнюю неопытность, или неисправимую закоснѣлость. Но развѣ мало другихъ видоизмѣненій, болѣе утонченныхъ? Вотъ напримѣръ исполнѣ-ловецъ, неутомимо преслѣдующій въ «Русскомъ Вѣстникѣ» всякую умственную ересь, толкуетъ горячо и пространно о «пляшущихъ блудницахъ», о «головкахъ и хвостикахъ неподбланной мысли», о томъ, что онъ, московскій Невроль, часто превращающійся въ мычащаго Навуходносора, всѣхъ униже, честитѣ и благонадежитѣ, и что онъ всякому честному человѣку будетъ смотрѣть прямо въ глаза до тѣхъ поръ, пока тотъ отвернется, или сморгнетъ. Что долженъ думать читатель, при которомъ производится такіа конфиденціальныя бесѣды, пересыпанныя столь загадочными выраженіями и столь неожиданными эксцентричностями? Онъ долженъ думать, что читаетъ лирическую пѣсню, и долженъ жалѣть о томъ, что эта пѣсня такъ длинна и притомъ написана прозой, а не убаюкивающимъ стихомъ Фета. А вотъ напримѣръ платоническій любитель славянскихъ идей въ сотый разъ повторяетъ въ своей газеткѣ, что наша цивилизація есть ложъ и что свѣдѣнія о самой настоящей правдѣ слѣдуетъ собирать въ самыхъ пыльныхъ архивахъ и въ самыхъ завалившихъ пещерахъ; и все-таки онъ не представляетъ никакихъ достовѣрныхъ свѣдѣній и не собираетъ никакихъ матеріаловъ, а только, бія себя въ перси, лепечетъ и выкликаетъ слово «ложъ», какъ всесильное заклинаніе противъ всѣхъ неблаголѣпій любезнаго отечества. Очевидно, что онъ изъ любви къ искусству пишеть дифирамбъ, и читателю опять-таки прихо-

дится пожалеть, что онъ пишетъ его не стихами; во-первыхъ—онъ въ такомъ случаѣ писалъ бы не такъ быстро и слѣдовательно не такъ много; во-вторыхъ—его читали бы еще меньше и осмѣивали бы больше, чѣмъ читаютъ и осмѣиваютъ теперь. А вотъ напримѣръ хроникеръ «Отечественныхъ Записокъ» ежемѣсячно производитъ инспекторскій смотръ прекраснымъ качествамъ своей собственной великой души, и также ежемѣсячно проливаетъ горькія слезы надъ печальными заблужденіями и чернило-пролитными ссорами своихъ журнальныхъ собратьевъ. Какъ жаль, скажетъ всякій безпристрастный читатель, что этотъ добрый человѣкъ не пишетъ элегій. Его произведенія можно было бы положить на ноты, и ему сказали бы большое спасибо всѣ уѣздныя барышни, находящія, что «Черная шаль» конечно романъ безподобный, но что въ немъ, къ сожалѣнію, недостаетъ современнаго колорита гражданской скорби. А весь легіонъ сотрудниковъ «Времени», всѣ эти Григорьевы, Страховы, Косицы и всѣ, «ихъ же имена Богъ вѣсть», развѣ можно не признать ихъ жрецами чистаго искусства и развѣ можно не поставить ихъ въ этомъ отношеніи гораздо выше Фета, Случевского, Майкова и Крестовскаго? Вся политика, наука и критика «Времени» составляютъ очевидно одну длинную, сладкую-пресладкую, нѣжную-пренѣжную идиллію, написанную въ прозѣ Аванасіемъ Ивановичемъ собственно для того, чтобы взумить и обрадовать голубушку Пульхерію Ивановну въ день ея шестьдесятъ-седьмаго *) тезоименитства. Собственно, одна Пульхерія Ивановна только и должна была бы читать эту идиллію, а если у «Времени» было, какъ оно говоритъ, 4000 подписчиковъ, то это доказываетъ только, что Пульхерія Ивановна у насъ на Руси составляетъ лицо не одиноличное, а въ нѣкоторомъ смыслѣ коллегіальное. Да, чистое искусство, вытѣсненное задорными отрицателями изъ области «сладкихъ звуковъ и молитвъ», немедленно влетѣло въ міръ «корысти и битвы» и на этой новой почвѣ разрослось съ такой силой и быстротой, какъ-нибудь не могъ бы въ немъ предположить.

Читатель вѣроятно понимаетъ уже теперь, что я называю чистымъ искусствомъ, и посему я считаю несправедливымъ ограничивать область этого чуждаднаго растенія тѣмъ крошечнымъ палисадникомъ, въ которомъ разводятся для барской потѣхи эстетическія рецензіи, розовые

романы и благоухающія стихотворенія. Какъ-бы это было хорошо, кабы чистое искусство процвѣтало въ одномъ этомъ палисадникѣ; тогда можно было-бы уговорить и упротить всѣхъ задорныхъ критиковъ, чтобы они совсѣмъ и не заглядывали въ этотъ палисадничекъ; пускай себѣ растутъ и цвѣтутъ всѣ эти зеленныя милашки; они никого не трогаютъ, и ихъ пускай не трогаютъ. А теперь нельзя. Претъ чистое искусство во всѣ стороны, и поневолѣ приходится изъ чувства самосохраненія преслѣдовать его въ томъ самомъ убѣжищѣ, въ которомъ оно съ незапамятныхъ временъ устроило себѣ теплое гнѣздышко.

Итакъ, что же такое чистое искусство? А вотъ видите ли, человѣкъ пользуется своимъ языкомъ для того, чтобы выражать свои мысли, чувства и потребности; когда онъ дѣйствуетъ такъ, тогда разговоръ приноситъ пользу или удовольствіе ему, или его слушателю, или тому и другому вмѣстѣ. Тутъ разговоръ служитъ средствомъ, а цѣль разговора лежитъ внѣ его предѣловъ; стало-быть тутъ нельзя сказать, что разговоръ производится для разговора. Но въ большей части случаевъ человѣкъ пользуется языкомъ для того, чтобы убить время. Разговоръ самъ себѣ становится цѣлью. Французы съ гордостью говорятъ о себѣ, что они создали искусство разговора—*l'art de la causerie*. Зато Базаровъ умоляетъ Аркадія не говорить красиво и по своей медвѣжьей грубости увѣряетъ, что говорить красиво свойственно только людямъ совершенно пустоголовымъ. Если мы припомнимъ, что искусство *de la causerie* процвѣтало при дворахъ Людовиковъ XIV, XV и XVI, и что оно воздѣлывалось маркизами и графинями, систематически притуплявшими свои умственные способности съ самой ранней молодости, то мы принуждены будемъ сознаться, что нашъ грубый землякъ Базаровъ разсуждаетъ весьма непочтительно, но довольно основательно. Примѣненіе чистаго искусства къ человѣческому разговору оказывается вѣрнѣйшимъ средствомъ развратить и ослабить умственные способности и вселить въ лукавое сердце человѣка непобѣдимую любовь къ извивающейся фразѣ и неодолимое отвращеніе ко всякому серьезному труду мысли. Вообразимъ себѣ теперь, что искусство салонной бесѣды успѣло развиваться во Франціи еще сильнѣе, чѣмъ было въ дѣйствительности; очевидно, могло и должно было случиться, что изъ общей массы бесѣдующихъ выдѣлились бы спеціалисты своего дѣла, художники-болтуны, которымъ стали бы платить деньги, по столько-то за часъ или за вечеръ, какъ платятъ танеру, пѣвцу или чтецу: поговори только, отецъ родной, побесѣдуй! Этого не случилось въ отношеніи къ разговору даже во Франціи прошлаго столѣтія; но въ отношеніи къ письменному изложенію мыслей это случилось во всѣхъ образованныхъ странахъ Европы. Всякій умѣетъ говорить, но не всякій

*) Цифра 67 не имѣетъ здѣсь никакого таинственнаго значенія. Она означаетъ только, что Пульхерія Ивановна была уже въ зрѣломъ возрастѣ, когда сожителя ея поднесъ ей идиллію. Старый дѣдушка писалъ эту идиллію для старой бабушки. Каждый догадливый читатель вѣроятно давно уже замѣтилъ это обстоятельство по смиренному тону изложенія и по сладкой неопредѣленности умствованій. Такъ и слышится въ каждой строчкѣ: «охъ-охъ-охъ! Всѣ-то мы люди, всѣ человѣки!»

умѣть писать; поэтому и платятъ литературѣ деньги, не только за мысль, за изслѣдованіе, за умственный трудъ, а сверхъ всего этого за то еще, что вотъ ты, дескать, соколясный, съумѣлъ связать слова въ предложенія и предложенія въ періоды. И это совершенно справедливо, потому что не всѣ умѣютъ это сдѣлать; самыя хорошие и оригинальныя мысли часто становятся для общества недоступнымъ сокровищемъ единственно оттого, что онѣ разбросаны въ такомъ безпорядкѣ и покрыты такимъ туманомъ, въ которомъ безхитростный читатель не видитъ ни начала, ни конца, ни середины, а видитъ только «хаоса бытиость довременну». Когда принимается за дѣло какой нибудь умный и трудолюбивый человѣкъ, не имѣющій однако ни малѣйшаго притязанія на гениальность, онъ разсеиваетъ туманъ и превращаетъ хаосъ въ прекрасный садъ, въ которомъ растетъ древо познанія добра и зла. Онъ овладѣваетъ тѣми матеріалами, которые даны ему въ хаотическихъ твореніяхъ оригинальнаго гения; онъ перерабатываетъ чужія мысли, но если-бы онъ ихъ не перерабатывалъ, то онѣ остались бы мертвымъ капиталомъ и не обнаружили бы ни малѣйшаго вліянія на умственную жизнь остальныхъ людей. За подобный трудъ стоить платить деньги и кромя того стоить удѣлять популяризатору часть того уваженія, которое достается оригинальному гению. Но въ каждомъ обществѣ бываютъ между писателями люди неглухие и лишеныя дарованій, а между тѣмъ питающіе глубочайшее отвращеніе ко всякому упорному и тяжкому труду. Оригинальными гениями, бросающими въ міръ новыя идеи, эти люди не могутъ быть: силъ не хватаетъ. Терпѣливыми популяризаторами они не хотятъ быть: лѣнь одолеваетъ. Читаютъ эти люди только то, что доведено предварительной обработкой до послѣдней степени ясности мысли и взгляды свои они черпаютъ изъ популярныхъ книгъ и статей; такимъ образомъ они учатся въ одной школѣ со всей массой читающаго общества; между тѣмъ въ этихъ господахъ бодрствуетъ безсмертный духъ Петра Ивановича Вобчинскаго; съ одной стороны, имъ хочется заявить о своемъ существованіи, а съ другой стороны, имъ желательно приобрести по больше денегъ легкой работой литературнаго веретрихиванья изъ кулика въ рогожку. Тогда они начинаютъ перефразировать мысли, полученныя или изъ вторыхъ или третьихъ рукъ; мысль, шлохъ разъясненная первымъ популяризаторомъ, становится для этихъ милыхъ умственныхъ паразитовъ основнымъ мотивомъ, на который разыгрываются десятки варіацій; если вы сравните варіацію съ мотивомъ, то увидите, что варіація нисколько не яснѣе самаго мотива и что она не заключаетъ въ себѣ ни малѣйшаго намека на самостоятельную работу мысли. Вся работа паразита состоитъ въ томъ, что онъ

измѣнилъ слова и обороты. Такъ какъ о мысли уже заботиться нечего, то все вниманіе паразита сосредоточивается на формѣ; онъ не убѣждаетъ читателя, онъ ничего не доказываетъ, онъ просто повторяетъ то, что уже доказано другими и что уже проведено этими другими въ сознаніе читателя; поэтому паразиту надо устроить только такъ, чтобы читатель не замѣтилъ избитости той мысли, которую ему подносятъ; надо прикрыть убожество паразитизма эффектною внѣшней формою; надо и соловьемъ свистать, и лягушкой квакать, и въ грудь себя колотить, и слезами обливаться, и конструкціи необыкновенныя употреблять, и главное—трещать, трещать и трещать такъ, чтобы у читателя въ ушахъ зазвенѣло. Ну, читатель и ротъ разинетъ; бѣдность и безсиліе мысли, взятой съ барскаго плеча, проскользнутъ незамѣченными, и счастливый паразитъ получитъ большія деньги и приобрететъ репутацію блестящаго писателя и полезнаго двигателя общественнаго прогресса.

II.

Литературныхъ паразитовъ чрезвычайно много, но изъ темной и жалкой толпы умственного пролетаріата выдвигаются только тѣ изъ нихъ, которые умѣютъ усвоить себѣ гибкую и разнообразную форму выраженія. Эти блестящіе паразиты дѣйствительно доводятъ форму до невѣроятнаго совершенства. Они выдѣлываютъ на своемъ языкѣ такія-же изумительныя рулады, какія Контскій выдѣлываетъ на скрипкѣ или Рубинштейнъ на фортепьяно. Когда эта виртуозность приобретена навыкомъ и практикой, тогда разумѣется слѣдуетъ ею пользоваться; это капиталъ, съ котораго надо брать проценты. И вотъ гдѣ всякому простодушному читателю приходится только глазами хлопать и диву даваться! Приходится присутствовать при сотвореніи міра въ малыхъ размѣрахъ: все творится изъ ничего; пустота прикидывается полнотой и такъ натурально прикидывается, что остается только плечами пожимать: художникъ, артистъ, профессоръ бѣлой магіи, Воско и даже Михайла Васильевичъ! Разумѣется публика ахаетъ и восхищается, да и нельзя не восхищаться, когда чудеса во-очію совершаются!

Когда паразитъ начинаетъ брать проценты съ своего капитала, тогда онъ просто и рѣшительно творитъ для того, чтобы въ чему-нибудь прикладывать свою техническую ловкость. Онъ вовсе не имѣетъ потребности высказывать обществу какія-нибудь идеи; у него нѣтъ такого чувства, которое настоятельно искало бы себѣ выхода и проявленія; онъ вовсе не желаетъ сознательно дѣйствовать на развитіе общества въ томъ или въ другомъ направленіи; онъ не мыслитель, не общественный дѣятель и не поэтъ въ высшемъ и забытомъ теперь значеніи этого слова; онъ статейныхъ, романыхъ, или стиховыхъ дѣлъ

мастеръ, и какъ разсудительный мастеровой, онъ не хочетъ, чтобы его умѣнье пропадало даромъ. Зачѣмъ сидѣть сложа руки, когда выучился ремеслу? Отчего не отправиться на ловлю рублей и лавровыхъ вѣнковъ, когда есть добрые люди, рассыпающіе въ приличномъ изобиліи то и другое?

Разсужденіе безукоризненно вѣрно, и это разсужденіе ведетъ прямымъ путемъ къ полному торжеству и безграничному господству чистаго искусства. Одни люди пишутъ, потому что во всемъ ихъ существѣ кипитъ страстная работа мысли и чувства; ясно, что мысль и чувство ихъ, служащія причиной творческаго процесса, возбуждены впечатлѣніями, независимыми отъ этого процесса. Другіе люди пишутъ для того, чтобы дѣйствовать на общество; цѣль дѣятельности независима отъ процесса, какъ это мы видимъ у Бѣлинскаго, Добролюбова и автора «Что дѣлать?». Третьи пишутъ вслѣдствіе того, что выучились писать и могутъ писать безъ малѣйшаго труда, такъ, какъ соловей поетъ и роза благоухаетъ; у нихъ творчество безпричинно и безцѣльно; то-есть, если хотите, причина и цѣль есть, но онѣ не могутъ имѣть вліянія на направленіе творческаго процесса; положимъ, что стиходѣлателью хочется пришить къ своему теплему пальто бобровый воротникъ; вотъ побудительная причина, заставляющая его обмокнуть перо въ чернильницу; между тѣмъ онъ по всей вѣроятности станетъ писать не о бобровыхъ воротникахъ, а о превратностяхъ судьбы, постигшихъ трехъ древнихъ мудрецовъ, или о несчастіяхъ бѣдной дѣвочки, умершей весной подъ звуки отцовской скрипки, или вообще о чемъ-нибудь высокому и прекрасному, не имѣющему ничего общаго съ обворожительной выставкой сосѣдняго мѣховщика. Цѣль также есть, стиходѣлатель желаетъ продать свое стихотвореніе въ журналъ, да взять подороже, да прихватить, коли дадутъ, хорошій задатокъ; несмотря на то, Сенека, Луканъ и Люцій разсуждаютъ весьма горячо о безсмертіи души, а совсѣмъ не о томъ, гдѣ больше дадутъ, въ «Современникѣ» или въ «Отечественныхъ Запискахъ»; и умирающая Маня также интересуется въ свои послѣднія минуты весенней зеленью, вмѣсто того, чтобы смущать себя щекотливымъ вопросомъ: отпустить ли, молъ, изъ «Русскаго Слова» рублей пятьдесятъ впередъ? Ясно стало-быть, что причина и цѣль не проникаютъ въ святилище творчества; святилище остается неоскверненнымъ, и люди, тоскующіе о бобровомъ воротникѣ и мечтающіе о плѣнительномъ задаткѣ, могутъ быть признаны достойными жрецами чистаго искусства. Вопросъ конечно нисколько не измѣнится, если вмѣсто боброваго воротника я поставлю стремленіе къ литературной славѣ, а вмѣсто задатка въ 50 рублей—рукопожатіе на публичномъ чтеніи. Жрецъ чистаго искусства въ томъ или въ другомъ случаѣ останется вѣренъ своему призванію и въ томъ

или въ другомъ случаѣ останется великолѣпнѣйшимъ экземпляромъ породы паразитовъ.

Если читателю не совсѣмъ ясно, почему наши лирическіе поэты, представляющіе полное отсутствіе мысли, могутъ быть включены въ разрядъ паразитовъ, похищающихъ чужую мысль, то я немедленно разрѣшу это недоумѣніе. Лирическіе поэты наши питаютъ свое убожество тѣми мельчайшими крупинками мысли и чувства, которыя составляютъ всеобщее достояніе всѣхъ людей, глупыхъ и умныхъ, образованныхъ и необразованныхъ, честныхъ и подлыхъ. Всякій человѣкъ ощущаетъ что-нибудь, когда смотритъ на красивую женщину, и всякій знаетъ это ощущеніе и понимаетъ, что оно и другимъ извѣстно, и что стало быть о немъ разсказывать безполезно и не интересно. Но лирики, подобно птицѣ колибри, питаются цвѣточной пылью; они даже это мельчайшее и извѣстнѣйшее чувство обратили въ свою собственность и стали извлекать изъ него доходъ, благодаря своему умѣнію творить все изъ ничего и надѣвать на неосязаемую пыль легкотканья и весьма пестрые одежды изъ амбровъ, хореовъ, анапестовъ, дактилей и амфибрахіевъ. Лирики, какъ мелкія птички въ великой семьѣ паразитовъ, пробавляются тѣмъ, что уже всѣ знаютъ и чѣмъ никто кромѣ лирика не можетъ и не хочетъ пользоваться. Другіе паразиты, болѣе крупные, эксплуатируютъ въ свою пользу не крупинки чувства и не зародыши мысли, а цѣлыя большія чувства и цѣлыя разившіяся мысли. Этими жрецами чистаго искусства поглощаются замѣчательныя теоріи и величественныя міросозерцанія. Есть между этими жрецами воробы, но есть и слоны, и такъ какъ большому кораблю и большое плаваніе, то слоны разумѣется овладѣваютъ самыми широкими и самыми смѣлыми міросозерцаніями. Они толкуютъ съ чужого голоса о самыхъ важныхъ и великихъ вопросахъ жизни; они разыгрываютъ свои варіаціи съ такимъ апломбомъ и съ такимъ оглушительнымъ трескомъ, что читатель робѣетъ и почтительно склоняетъ передъ ними голову. Но храмъ чистаго искусства одинаково отворенъ для всѣхъ своихъ настоящихъ поклонниковъ, для всѣхъ жрецовъ, чистыхъ сердцемъ и невинныхъ въ самостоятельной работѣ мысли. Благодаря этому обстоятельству, читатель, изумляясь и не вѣря глазамъ своимъ, увидитъ за однимъ и тѣмъ-же жертвенникомъ съ одной стороны—нашего маленькаго лирика, Фета, а съ другой стороны—нашего большаго юмориста, Щедрина. Это съ непривычки столь удивительно, что надо начать новую главу.

III.

Да, Щедринъ, вождь нашей обличительной литературы, съ полной справедливостью можетъ быть названъ чистѣйшимъ представителемъ чистаго искусства въ его новѣйшемъ видоизмѣненіи. Щедринъ не подчиняется въ своей дѣ-

тельности ни слѣдъ любимой идеи, ни голосу взволнованнаго чувства; принимаясь за перо, онъ также не предлагаетъ себѣ вопроса о томъ, куда хватить его обличительная стрѣлка—въ своихъ или въ чужихъ, «въ титулярныхъ со-ѣтниковъ или въ нагилстовъ» *). Онъ пишетъ рассказы, обличаетъ неправду и смѣшитъ читателя единственно потому, что умѣетъ писать легко и игриво, обладаетъ огромнымъ запасомъ диковинныхъ матеріаловъ и очень любитъ потѣшиться надъ этими диковинками вмѣстѣ съ добродушнымъ читателемъ. Вслѣдствіе этихъ свойствъ автора его произведенія въ высшей степени безвредны, для чтенія пріятны и съ гигиенической точки зрѣнія даже полезны, потому что смѣхъ помогаетъ пищеваренію, тѣмъ болѣе, что къ смѣху Щедрина, заразительно дѣйствующему на читателя, вовсе не примѣшиваются тѣ грустныя и серьезныя ноты, которыя слышатся постоянно въ смѣхѣ Диккенса, Теккерея, Гейне, Берне, Гоголя и вообще всѣхъ не дѣйствительно статскихъ, а дѣйствительно замѣчательныхъ юмористовъ. Щедринъ всегда смѣется отъ чистаго сердца и смѣется не столько надъ тѣмъ, что онъ видитъ въ жизни, сколько надъ тѣмъ, какъ онъ самъ рассказываетъ и описываетъ событія и положенія; измѣните слегка манеру изложенія, отбросьте шалости языка и конструкции, и вы увидите, что юмористическій букетъ окончательно выдохнется и ослабѣетъ. Чтобы разсмѣшить читателя, Щедринъ не только пускаетъ въ ходъ грамматическіе и синтаксическіе *s lto-mortale*, но даже умышленно искажаетъ жизненную и бытовую правду своихъ рассказовъ; главное дѣло—ракету пустить и смѣхъ произвести; эта цѣль оправдываетъ всѣ средства узаконяетъ собой всякія натяжки и разумѣется, достигается, потому что все остальное безъ малѣйшаго колебанія приносится ей въ жертву.

Эта особенность въ литературной дѣятельности Щедрина объясняетъ въ значительной степени постоянный успѣхъ его произведеній. Когда мы были расположены ворковать по голубиному, тогда мы унивались Фетомъ; когда мы пожелали смѣяться, тогда мы стали обожать Щедрина; смѣхъ во всякомъ случаѣ представляетъ собой болѣе нормальное отправленіе человѣческаго организма, чѣмъ воркованіе, и потому переходъ отъ Фета къ Щедрину, обозначаетъ собой нѣкоторый прогрессъ въ нашемъ умственномъ развитіи. Но безпредметный и безцѣльный смѣхъ Щедрина самъ по себѣ приноситъ нашему общественному сознанию и нашему человѣческому совершенствованію такъ же мало пользы, какъ безпредметное и безцѣль-

ное воркованіе Фета. Мы легко можемъ заснуть на этомъ смѣхѣ и, продолжая смѣяться, воображать себѣ, что мы дѣлаемъ дѣло идемъ за вѣкомъ и обновляемъ нашимъ невиннымъ смѣхомъ старыя бытовыя формы. Смѣхъ Щедрина убавливается и располагается ко сну, потому что, возбуждая собой этотъ серебристый смѣхъ, все тяжелое безобразіе нашей жизни производятъ на насъ легкое и отрадное впечатлѣніе. Мы смѣемся и теряемъ силу негодовать; личность веселаго рассказчика и неистощимаго балагура заслоняетъ отъ насъ темную и трагическую сторону живыхъ явленій; мы смѣемся и склоняемъ голову на подушку и тихо засыпаемъ съ дѣтской улыбкой на губахъ. Вотъ тутъ мы и можемъ измѣрить громадное разстояніе, отдѣляющее людей, дѣйствительно чувствующихъ, отъ тѣхъ людей, которые служатъ съ безукоризненнымъ усердіемъ чистому искусству. Сравните напримѣръ Писемскаго съ Щедринымъ. Щедринъ—писатель, пріятный во всѣхъ отношеніяхъ; онъ любитъ стоять въ первомъ ряду прогрессистовъ, сегодня съ «Русскимъ Вѣстникомъ», завтра съ «Современникомъ», послѣ завтра еще съ кѣмъ-нибудь, но непременно въ первомъ ряду; для того, чтобы удерживать за собой это лестное положеніе, онъ осторожно производитъ въ своихъ убѣжденіяхъ разныя маленькія передвиженія, приводящія незамѣтнымъ образомъ къ полному новороту налѣво кругомъ. Въ концѣ пятидесятихъ годовъ, Щедринъ своимъ отрицаніемъ сооружаетъ фигуру идеальнаго чиновника Надимова; но, по свойственной ему осторожности, авторъ «Губернскихъ очерковъ» не произнесъ въ этомъ направленіи послѣдняго слова; это слово, какъ извѣстно, было произнесено графомъ Соллогубомъ, котораго наши добрые соотечественники сначала на рукахъ несли, а потомъ разумѣется осмѣяли. Когда великосвѣтскій литераторъ такимъ образомъ опростоволосился, когда идеальный чиновникъ былъ доведенъ до послѣднихъ границъ картонности трудами чувствительныхъ писателей, подобныхъ Львову, тогда г. Щедринъ, счастливо выбравшійся изъ этого кораблекрушенія, тотчасъ началъ растирать въ порошокъ фигуру Надимова и притомъ растирать ее тѣмъ же самымъ отрицаніемъ, которымъ онъ ее соорудилъ. Изъ тона Каткова онъ перешелъ въ тонъ Добролюбова. Держась постоянно хорошаго общества, то-есть общества прогрессистовъ, Щедринъ постоянно велъ себя «чинно, благопристойно и вѣжливо», соблюдая «чистоту и опрятность въ одеждѣ», то-есть онъ никогда не огорчалъ своихъ товарищей по прогрессу какой-нибудь рѣзкой выходкой, хотя случалось нерѣдко, что онъ не попадалъ въ тактъ людей, къ образу мыслей которыхъ онъ пристраивался съ боку. Формулярный списокъ Щедрина, какъ литератора, совершенно чистъ; литературная служба его безпорочна; служилъ

*) Сія послѣдняя острота, побивающая разомъ и титулярныхъ соѣтниковъ, и нагилстовъ, украшаетъ собой страницы «Современника» (см. «Наша общественная жизнь») 1864 г., январь.

въ «Русскомъ Вѣстникѣ», служить теперь въ «Современникѣ»; удовлетворялъ прежде однимъ требованіямъ, теперь также хорошо и отчетливо удовлетворяетъ другимъ; ни тогда, ни теперь онъ не произвелъ такого скандала, который-бы изумилъ читателей и привелъ въ негодованіе лучшихъ представителей нашего общественнаго сознанія. Писемскаго напротивъ того нельзя назвать даже просто пріятнымъ писателемъ; сходится онъ съ людьми самыхъ сомнительныхъ убѣжденій и ведетъ себя часто совершенно «безчинно, неблагопристойно и невѣжливо»; скандалы производитъ на каждомъ шагу, и упреки въ обскурантизмѣ сыпятся на него со всѣхъ сторонъ; онъ не развитъ и не образованъ и вполне заслуживаетъ эти упреки своей грубой безтактностью. Но вотъ что любопытно замѣтить. Щедринъ, какъ дѣйствительно статскій прогрессистъ, долженъ очевидно осуждать нашу родимую безалаберщину гораздо строже и сознательнѣе, чѣмъ Писемскій, котораго образъ мыслей загроможденъ предрасудками, противорѣчіями и разлагающимися остатками котошинской старины. Между тѣмъ на повѣрку выходитъ, что произведенія Писемскаго каждому не предубѣжденному читателю внушаютъ гораздо болѣе осмысленной ненависти и серьезнаго отвращенія къ безобразію нашей жизни, чѣмъ сатиры и рассказы Щедрина. Критикъ «Современника» въ ноябрьской книжкѣ 1863 года, разбирая «Горькую Судьбину» Писемскаго, жалуется на то, что произведенія этого писателя производятъ невыносимо тяжелое впечатлѣніе и заставляютъ читателя испытывать чувство нестерпимой духоты; причину этого обстоятельства критикъ ищетъ въ томъ, что у Писемскаго нѣтъ идеала; объясненіе это кажется мнѣ довольно страннымъ; жалоба также очень оригинальная. Проще было-бы сообразить, что романъ или драма даютъ читателю тѣ-же впечатлѣнія, какія дала автору сама жизнь. Вѣроятно «Современникъ» не рѣшится отвергать присутствіе духоты въ нашей жизни, а если она существуетъ въ жизни, то я не вижу резона, зачѣмъ ее выкуривать изъ романовъ и драмъ. Писемскому душно и больно, когда онъ берется за перо, и оттого каждый фактъ, изображаемый имъ, бьетъ читателя, какъ обухомъ по головѣ, а совокупность картины потрясаетъ всю нервную систему читателя неотразимымъ впечатлѣніемъ ужасающей дѣйствительности. А тамъ ужъ ваше дѣло осмысливать себѣ испытанное ощущеніе и отыскивать причины тѣхъ духоты и того мрака, которые охватили васъ во время чтенія. Авторъ заставилъ васъ прочувствовать то, что онъ чувствуетъ самъ, и вы можете быть на него въ претензіи только въ томъ случаѣ, если вы полагаете, что наша жизнь свѣтла, прекрасна и богата разумными наслажденіями, доступными для каждой человеческой личности. Если-же вы этого не

думаете, тогда вы должны согласиться, что романы и повѣсти непріятнаго обскуранта Писемскаго дѣйствуютъ на общественное сознаніе сильнѣе и живительнѣе, чѣмъ сатиры и рассказы пріятнаго во всѣхъ отношеніяхъ и прогрессивнаго Щедрина. Когда Писемскій начинаетъ разсуждать, тогда хоть святыхъ вонъ неси, но когда онъ даетъ сырые матеріалы, тогда читателю приходится задумываться надъ нимъ очень глубоко. Щедринъ напротивъ того очень отчетливо и благообразно разсуждаетъ по Добролюбову, очень мило смѣшитъ читателя до упаду своей простодушной веселостью; но вы можете прочитать отъ доски до доски всѣ его сатиры и рассказы, и вы ни надъ чѣмъ не задумаетесь, впечатлѣніе останется точно такое, какъ будто бы вы побывали въ Михайловскомъ театрѣ и посмотрѣли извѣстный французскій водевилъ: «L'Amour qu'e qu'est qu'ça?». Писемскій способенъ написать романъ съ самыми не позволительными тенденціями, и онъ вполне обнаружилъ эту способность въ своемъ послѣднемъ, отвратительномъ произведеніи, но зато онъ способенъ написать и такую вещь, которая, какъ его «Тюфякъ», характеризуетъ грязь нашего провинціальнаго общества гораздо полнѣе и ярче, чѣмъ всѣ юмористическія диссертаціи Щедрина о «нашихъ глуповскихъ дѣлахъ»; зато онъ создалъ «Горькую Судьбину» и «Ватку» и въ этихъ произведеніяхъ очертилъ трагическую сторону крѣпостного права съ такой страшной силой, которая останется навсегда недоступной для Щедрина. Писемскаго вы сегодня можете ненавидѣть и ненавидѣть за дѣло, но вчера вы его любили и любили также за дѣло; что-же касается до Щедрина, то его не за что ни любить, ни ненавидѣть; въ его книгѣ нельзя видѣть ни друга, ни врага; его книга ничто иное, какъ веселый собесѣдникъ, съ которымъ пріятно бываетъ побалагурить часть-другой послѣ хорошаго обѣда или на сонъ грядущій.

Зная беззаботные нравы нашихъ возлюбленныхъ соотечественниковъ и принимая въ расчетъ невинность щедринскаго юмора и заразительную веселость его добродушнаго смѣха, мы съ читателемъ въ одну минуту сообразимъ, почему Щедринъ съ перваго появленія своего на литературномъ поприщѣ вошелъ во вкусъ нашей читающей публики и преимущественно тѣхъ самыхъ классовъ общества, которые сатира его преслѣдуетъ съ неумолимымъ постоянствомъ. Конечно провинціальныя чиновники съ самаго начала было переконфузились, полагая, что сатира служитъ предвѣстницей грома; но такъ какъ громъ не грянулъ, то догадливые провинціалы скоро успокоились, возлюбили веселаго Щедрина всѣмъ сердцемъ своимъ и продолжаютъ любить его вплоть до настоящаго времени. Оно и естественно. Въ томъ обществѣ, въ

которомъ «Сынъ Отечества» имѣть десятки тысячъ читателей, Щедрина неизбежно долженъ считать десятки тысячъ поклонниковъ. Легкая наука «Сына Отечества», легкій смѣхъ Щедрина и легкая мечтательность Фета связаны между собой тѣсными узами умственного родства. Въ эти писатели пишутъ для процесса писанія, а публика всѣхъ ихъ читаетъ для процесса чтенія. Изъ этого происходитъ удовольствіе взаимное, безгрѣшное и пренепорочное.

IV.

Но читатель мнѣ не вѣрить; читатель убѣжденъ, что я преувеличиваю. Я съ своей стороны совершенно одобряю недовѣріе читателя, потому что терпѣть не могу, чтобы мнѣ вѣрили на слово. Я тотчасъ выдвину впередъ доказательства; я выберу изъ сочиненій Щедрина нѣсколько смѣхотворныхъ пассажей, и мы съ читателемъ посмотримъ, въ чемъ заключается ихъ юмористическая соль. Предупреждаю, что выискобъ будетъ много, потому что коли доказывать, такъ ужъ доказывать неотразимо. Вотъ напримѣръ Щедрина рассказываетъ, что одинъ губернаторъ имѣлъ привычку повторять по цѣлымъ днямъ какое-нибудь слово; вздумаетъ говорить: *законъ нѣтъ*, такъ и пойдетъ на цѣлый день: «нѣтъ закона». До такой степени зарапортуется, что даже когда докладываютъ, что кушанье подано, онъ все-таки кричитъ: «нѣтъ закона».

— Ахъ, Nicolas, какой ты разсѣянный! — зашутить бывало губернаторша.

— Ахъ, матушка! — возразитъ губернаторъ, и съ этой минуты, вмѣсто «нѣтъ закона», начинаетъ пилить: «ахъ, матушка».

«Надо сознаться, что съ непривычки это крайне затрудняетъ сношенія съ нашимъ начальникомъ края, а незнакомыхъ съ его обычаями подвергаетъ даже въ крайнее изумленіе. Я помню, одинъ эстляндскій баронъ, пріѣхавшій изъ-за дѣсти верстъ жаловаться, что у него изъ грунтового сарая двѣ вишни украли, даже страшно оскорбился, когда начальникъ губерніи, вмѣсто всякой резолюціи, сказалъ ему: «ахъ, матушка», и чуть ли даже не хотѣлъ довести объ этомъ до свѣдѣнія высшаго начальства.

— На что это похоже, — сказывалъ онъ мнѣ: — у него щутъ правосудія, а онъ: «ахъ, матушка!»

Не правда ли, читатель что это замысловатая выдумка сатирика по своему остроумію и по своей безобидности не уступить лучшимъ карикатурамъ «Сына Отечества»? Это мѣсто находится въ книжкѣ «Сатиры въ прозѣ», на страницѣ 286—287; исторія о губернаторскихъ поговоркахъ этимъ еще не оканчивается, но слѣдить за ея продолженіемъ я считаю дѣломъ роскоши. Перейдемъ къ другимъ забавамъ.

Говорится напримѣръ о провинціальныхъ

силетняхъ, и сатирикъ, объятый веселымъ волненіемъ, восклицаетъ: «Какое дѣло кабаньей женѣ, что поросенковъ брать третьяго дня съ свиной племянницей черезъ плетень нюхался? Анъ дѣло, потому что кабанья жена до изступленія чувствъ этимъ взволнована, потому что кабанья жена дала себѣ слово неустанно искоренять порослячью безнравственность и выводить на свѣжую воду тайные порослячьи амуръ». — *A la bonne heure*, вотъ это сатира! Каковъ великодушный пылъ негодованія! Какова возмущенная смѣлость рѣчи! А главное, каково остроуміе и какова неистощимая веселость въ самомъ разгарѣ душевнаго волненія! Что Ювеналъ! Ему и не грезились такіе обороты. Свиная, говорить, вы провинціалы! но говорить не просто, а съ тонкими намеками, указывая на порослячью «безнравственность» и «порослячьи амуръ».

Мягко, а между тѣмъ извѣтельно! — Одинъ изъ героевъ Щедрина, Пьеръ Уколкинъ, цвѣтъ и надежда Глунова, говорить ради остроты: «съ пальцемъ девять, съ огурцомъ пятнадцать, наше вамъ-съ» и потомъ спрашиваетъ на счетъ своей выдумки: «*joli*? Но до «тайныхъ порослячьихъ амуровъ» самъ Пьеръ Уколкинъ никогда не возвысится; зато Щедрина постоянно мигаетъ своему читателю и, подобно Пьеру Уколкину, постоянно спрашиваетъ насчетъ своихъ остротъ: «*joli*? Вопросы и миганія не выражены въ печати, но они живо чувствуются въ архитектурѣ самыхъ остротъ. Порослячье мѣсто смотри на страницѣ 372. — Рассказывается эпизодъ изъ политической исторіи Глунова: «Вотъ и созвала Минерва вѣрныхъ своихъ глуповцевъ: скажите дескать мнѣ, какая это крѣпкая дума въ васъ зашла? Но глуповцы кланялись и потѣли; самый что называется горланъ ихній хотѣлъ было сказать, что глуповцы головой скорбны, но не осмѣлился, а только взопрѣлъ пуще прочихъ. — Скажите, что жъ вы желали бы? настаивала Минерва и даже топнула ножкой отъ нетерпѣнія. Но глуповцы продолжали кланяться и потѣть. Тогда Богъ вѣсть откуда раздался голосъ, который во всеуслышаніе произнесъ: «лихо бы теперь соснуть было!» Минерва милостиво улыбнулась; даже глуповцы не выдержали и засмѣялись тѣмъ нутрянымъ смѣхомъ, которымъ долженъ смѣяться Иванушка-дурачекъ, когда ему кукишъ показываютъ. Съ тѣхъ поръ инетревожили глуповцевъ вопросами» (стр. 407). Это забавное мѣсто заключаетъ въ себѣ философію исторіи, популярно изложенную Щедринымъ для порослячьихъ братьевъ и для свиныхъ племянницъ. Изъ этого мѣста мы можемъ извлечь кое-какія поучительныя размышленія: во-первыхъ — мы усматриваемъ, что вся мудрость заключалась въ головѣ Минервы, а что глуповцы всегда умѣли только кланяться, потѣть и смѣяться нутрянымъ смѣхомъ, который вѣроятно очень значительно отличается отъ смѣха Ще-

дринна; во-вторыхъ, — мы видимъ, что Минерва отличалась безконечною благостью и отъ души готова была даровать глуповцамъ рѣшительно все, чего бы они ни попросили; этого мы до сихъ поръ не знали, но теперь будемъ знать и твердо будемъ помнить, что глуповцы сами во всемъ виноваты, что впрочемъ говорить уже намъ Гончаровъ, создавшій Обломова и выдумавшій Обломовщину, какъ болѣзнь, и Штольца, какъ лекарство; а въ-третьихъ — мы замѣчаемъ, что повѣствовать о губернаторскихъ поговоркахъ и разоблачать тайные пороссячьи амуры легче и безопаснѣе, чѣмъ пускаться на утлой ладѣ сатирическаго ума въ неизвѣстное и непонятное море историческихъ и политическихъ соображеній; ну, а въ-четвертыхъ и въ послѣднихъ — мы убѣждаемся въ томъ, что Добролюбовъ не всегда выводитъ и что Щедринъ, предоставленный своимъ собственнымъ силамъ, разсуждаетъ о высокихъ матеріяхъ не столько благоразумно и основательно, сколько развязно, игриво и просто-душно. Но такъ какъ поросенковы братья и свиньины племянницы хохочутъ надъ потѣющими глуповцами, то цѣль великаго сатирика очевидно достигнута. «Joli»? — спрашиваетъ онъ и мигаетъ.

Описываются глуповскія губернскія власти: «Въ то счастливое время, когда я процвѣталъ въ Глуновѣ, губернаторъ тамъ былъ плѣшивый, вице-губернаторъ плѣшивый, прокуроръ плѣшивый. У управляющаго палатой государственныхъ имуществъ хотя и были цѣлы волосы, но такая была странная фізіономія, что съ перваго и даже съ послѣдняго взгляда онъ казался плѣшивымъ. Соберется бывало губернский синклитъ этотъ, да учнетъ о судьбахъ глуповскихъ толковать — даже мухи умрутъ отъ рѣчей ихъ, таково оно тошно!» (Стр. 410). — Здѣсь сатирикъ нашъ очевидно находится въ своей истинной сферѣ; здѣсь онъ опять составляетъ въ остроуміи и невинности съ «Сыномъ Отечества» и опять одерживаетъ блистательную побѣду надъ своимъ опаснѣйшимъ конкурентомъ. Все плѣшивые — ахъ, забавникъ! А управляющій палатой кажется плѣшивымъ — каково? и *учнетъ* толковать, и *мухи умрутъ*, и *таково оно тошно*! Ну, можно-ли въ двухъ строкахъ собрать столько аттической соли: вѣдь явно посягаетъ человѣкъ на жизнь своихъ глуповскихъ читателей; вѣдь уморить со смѣху хочетъ! Просто приходится пощады просить. А фантазія какова: «мухи умрутъ отъ рѣчей ихъ». Этого и Державинъ-бы не выдумалъ, а ужъ на что кажется былъ проказникъ. Оно, положимъ, понятно: какъ это мухи умрутъ. Оно, положимъ, и смысла нѣтъ; но развѣ Державинъ могъ-бы писать, если-бы отъ писателя всегда требовался смыслъ? Да что такое смыслъ? Лукавый врагъ пріятныхъ и величественныхъ иллюзій. Прочь здравый смыслъ, и да здравствуютъ иллюзіи, начиная отъ державинскихъ и кончая щедринскими! «Умъ молчитъ, а

сердцу ясно». Ну, значить милые глуповцы, понимающіе сердцемъ стихи Державина, будутъ также сердцемъ хохотать надъ сатирами Щедрина, потому что уму и здравому смыслу нечего дѣлать ни въ томъ, ни въ другомъ случаѣ. Читателя изумляетъ, почему это я вдругъ Державина потревожилъ; а вотъ видите ли, юмористическія фантазіи Щедрина на счетъ мухъ напомнили мнѣ другія фантазіи тождественнаго свойства, менѣе забавныя, но еще болѣе нелѣпыя; ну, и тутъ конечно представился мнѣ самый торжественный изъ нашихъ одошницевъ, а такъ какъ я очень люблю и уважаю Державина, то я не утерпѣлъ, чтобы не приласкать его мимоходомъ, при семъ удобномъ случаѣ. Къ тому же Щедринъ, какъ новѣйшій жрецъ чистаго искусства, болѣе или менѣе приводитъ мнѣ на память всѣхъ своихъ товарищей и предшественниковъ на поприщѣ этого великаго служенія.

Изображается сцена, характеризующая коренные обычаи Глунова: «Въ это хорошее, старое время, когда собирались гдѣ либо «хорошіе» люди, не въ рѣдкость было услышать слѣдующаго рода разговоръ:

— А ты зачѣмъ на меня, подлецъ, такъ смотришь? говорилъ одинъ «хорошій» человѣкъ другому.

— Помилуйте... отвѣчалъ другой «хорошій» человѣкъ, вразомъ помирите.

— Я тебя спрашиваю не «помилуйте», а зачѣмъ ты на меня смотришь? настаивалъ первый «хорошій» человѣкъ.

— Да помилуйте-съ...

...И бацъ въ рыло!...

— Да плюй же, плюй ему прямо въ лохань (такъ въ просторѣчи назывались лица «хорошихъ» людей!), виѣшивался случившійся тутъ, третій «хорошій» человѣкъ!

И выходило здѣсь нѣчто вродѣ свѣтопрезентаціи, во время котораго глазамъ сражающихся, и вдругъ, и поочередно, представлялись всевозможныя свѣтила небесныя... (Стр. 418).

Вы смѣетесь, читатель, и я тоже смѣюсь, потому что нельзя не смѣяться. Ужъ очень большой артистъ Щедринъ въ своемъ дѣлѣ! Ужъ такъ онъ умѣетъ слова подбирать; вѣдь сцена сама по себѣ вовсе не смѣшная, а глупая, безобразная и отвратительная; а между тѣмъ впечатлѣніе остается у васъ самое легкое и пріятное, потому что вы видите передъ собой только смѣшныя слова, а не грязные поступки; вы думаете только о затѣяхъ Щедрина и совершенно забываете глуповскіе нравы. Я знаю, что эстетическіе критики называютъ это просвѣляющимъ и примиряющимъ дѣйствіемъ искусства, но я въ этомъ просвѣтленіи и примиреніи не вижу ничего, кромѣ одуряющаго. Разсказъ долженъ производить на насъ то-же впечатлѣніе, какое производитъ живое явленіе; если же жизнь тя-

безобразна, а рассказ заставляет насъ съ пріятнѣйшимъ и добродушнымъ смѣхомъ это значить, что литература превращается въ шекотаніе пятокъ и перестаетъ быть важнымъ общественнымъ дѣломъ. Чтобы предостеречь людей такое чтеніе, не стоитъ отрывать картонныхъ столовъ. Здѣсь я опять указываю на Писемскаго. «Взбаломученное море» при всей затѣлистости своихъ тенденцій представляетъ несколько замѣчательныхъ эпизодовъ. Притомъ напримѣръ дѣянія Іоны-цинника; тутъ же засмѣетесь; тутъ за человѣка страшно, а между тѣмъ Іона-цинникъ вовсе не щедринскіе герои; среда та-же самая, жденія ея одинаковы; да манеры-то у нихъ бываютъ различны: одинъ чувствуетъ, а Іонка и изверги нашей общественной жизни — таки люди, которыхъ можно ненавидѣть, а отвергать, но къ которымъ невозможнo относиться, какъ къ маріонеткамъ, созданнымъ нашими руками для нашей забавы; а ищетъ только случая посмѣяться, водить читателями своихъ глуповцевъ, какъ медведя на цѣпи, и заставляетъ ихъ показывать публическіе номера, «какъ малые ребята горюютъ» и «какъ старыя бабы на баррикадахъ». Если Писемскій своими грубыми шутками оскорбляетъ наши временныя симпатіи, Щедринъ своимъ юмористическимъ допущеніемъ обнаруживаетъ непониманіе вѣчныхъ совѣтовъ человеческой природы. Есть язвы на жизни, надъ которыми мыслящій человѣкъ не смѣется только желчнымъ и саркастическимъ смѣхомъ; кто въ подобныхъ случаяхъ ради пищеваренія, тотъ сбиваетъ съ толстого сознания, тотъ усыпляетъ обильное негодованіе, тотъ ругается надъ явной личностью человѣка и, стоя въ передѣлахъ прогрессивности, юродствуетъ хуже о обскуранта. Но зато выходитъ jolі, и grès-jolі.

Щедринъ своимъ юмористическимъ допущеніемъ обнаруживаетъ непониманіе вѣчныхъ совѣтовъ человеческой природы. Есть язвы на жизни, надъ которыми мыслящій человѣкъ не смѣется только желчнымъ и саркастическимъ смѣхомъ; кто въ подобныхъ случаяхъ ради пищеваренія, тотъ сбиваетъ съ толстого сознания, тотъ усыпляетъ обильное негодованіе, тотъ ругается надъ явной личностью человѣка и, стоя въ передѣлахъ прогрессивности, юродствуетъ хуже о обскуранта. Но зато выходитъ jolі, и grès-jolі.

Щедринъ своимъ юмористическимъ допущеніемъ обнаруживаетъ непониманіе вѣчныхъ совѣтовъ человеческой природы. Есть язвы на жизни, надъ которыми мыслящій человѣкъ не смѣется только желчнымъ и саркастическимъ смѣхомъ; кто въ подобныхъ случаяхъ ради пищеваренія, тотъ сбиваетъ съ толстого сознания, тотъ усыпляетъ обильное негодованіе, тотъ ругается надъ явной личностью человѣка и, стоя въ передѣлахъ прогрессивности, юродствуетъ хуже о обскуранта. Но зато выходитъ jolі, и grès-jolі.

Щедринъ своимъ юмористическимъ допущеніемъ обнаруживаетъ непониманіе вѣчныхъ совѣтовъ человеческой природы. Есть язвы на жизни, надъ которыми мыслящій человѣкъ не смѣется только желчнымъ и саркастическимъ смѣхомъ; кто въ подобныхъ случаяхъ ради пищеваренія, тотъ сбиваетъ съ толстого сознания, тотъ усыпляетъ обильное негодованіе, тотъ ругается надъ явной личностью человѣка и, стоя въ передѣлахъ прогрессивности, юродствуетъ хуже о обскуранта. Но зато выходитъ jolі, и grès-jolі.

одномъ и томъ же открытіи, но это возраженіе мало поможетъ нашему балагуру, потому что открытіе все-таки приписывается обыкновенно тому, кто первый его обнародовалъ; стало-быть въ этомъ случаѣ честь изобрѣтенія останется неотъемлемой принадлежностью Гончарова. А вѣдь много есть добродушныхъ и доверчивыхъ читателей, которые, зная Щедрина, какъ весьма передового прогрессиста, будутъ искать въ его шуткахъ какого-нибудь высшаго и таинственнаго смысла; они даже не поверятъ заглавію книжки: «Невинные рассказы». Скажутъ: знаемъ мы тебя, какой ты невинный, и все-таки будутъ искать, и разумеется каждый найдетъ все, что захочетъ найти. Въ бессмыслицѣ всегда можно увидеть какой угодно смыслъ, именно потому, что нѣтъ въ ней своего собственного, яснаго и опредѣленнаго смысла. И когда каждый найдетъ все, что захочетъ найти, то конечно слава Щедрина, какъ передового прогрессиста, соединяющаго глубокомысліе съ остроуміемъ, упрочится и распространится пуще прежняго. Тутъ весь секретъ тактики состоитъ въ томъ, чтобы говорить неявно и игриво, не договаривая до конца и давая чувствовать что и радъ-бы, да нельзя, потому что не время, потому что не поймутъ. Это была всегдашняя тактика всѣхъ дипломатовъ, но такъ какъ наша читающая публика до сихъ поръ еще особенно доверчива, то морочить ее и дразнить ее ребяческое любопытство гіероглифическими шутками несравненно легче, чѣмъ водить за носъ ту европейскую публику, передъ которой Талейранъ и Меттернихъ умѣли прикидываться мировыми гениями. Для этого не надо обладать даже той дозой дешеваго ума, которой обладали Меттернихъ и Талейранъ; для этого достаточно усвоить себѣ извѣстнаго рода спаровку и жаргонъ. Какъ простодушна и доверчива наша публика, это можно видѣть на самомъ Щедринѣ; нашъ сатирикъ ухитрился самого себя обморочить жаргономъ и спаровкой своего собственного изобрѣтенія; онъ не шутя принимаетъ себя за глубокомысленнаго прогрессиста, соединяющаго кротость голубя съ мудростью змія; въ своемъ заглавіи «Невинные рассказы» онъ думалъ затантъ глубокую и горькую иронию; онъ думалъ, что невинность будетъ только внѣшнимъ лакомъ, сообщающимъ его рассказамъ необходимое благообразіе; но соскоблите этотъ лакъ, и подъ нимъ вы опять увидите невинность; соскоблите дальше, соскоблите до самой сердцевины, и вездѣ одно и то-же, невинность да невинность, можетъ быть угнетенная, но угнетенная чисто по недоразумѣнію, угнетенная потому, что угнетатели также обморочены таинственностью жаргона и спаровки. А то и угнетать было-бы нечего.

Во всѣхъ сочиненіяхъ Щедрина безъ исключенія нѣтъ ни одной идеи, которая-бы въ наше время не была извѣстна и переизвѣстна каждому

пятнадцатилѣтнему гимназисту и кадету; но такъ какъ эта идея показывается изъ-подъ полы, съ таинственными предосторожностями и лукавыми хитаніями, то публика и хватается ее, какъ самую новѣйшую диковинку и какъ вѣрнѣйшій талисманъ противъ всякаго умственного недуга. Конечно публика разочаровалась-бы, увидавши, что ей всучили мѣдную копѣечку вмѣсто червонца, но ей не даютъ всмотрѣться въ дѣло; ее смѣшать до упаду, и она остается совершенно довольной, закрывая книгу въ полной увѣренности, что она и либерализмомъ побаловалась, и душу свою натѣшила. Ну, значить сдѣлала дѣло, и спать ложись. Тактика хорошая и плоды приносить обильные. Публикѣ весело, а Щедрина и подавно.

Приведу еще три примѣра; въ нихъ обнаружится до послѣдней степени ясности глубокая невинность и несложность тѣхъ пружинъ, которыми Щедринъ надрываетъ животики почтеннѣйшей публикѣ. Его Сивушество Князь Полугаровъ (смѣйтесь-же, добрые люди!) всѣхъ кабаковъ, выставокъ и штофныхъ лавочекъ всерадостный обладатель и повелитель, говоритъ рѣчь: «отъ опредѣленія обращаюсь къ самому дѣлу, т. е. къ откупамъ. Тутъ, господа, ужъ не то, что «плевъ сто рублей», тутъ пахнетъ миллионами, а запахъ миллионный — сильный, острый, всѣмъ любезный, совсѣмъ не то, что запахъ теорій; чѣмъ замѣнить эти миллионы? Какой новой затѣкаемостью заткнуть эту старую поглощаемость?» Что можетъ сказать читатель, прочитавши это удивительное мѣсто? Можетъ сказать совершенно справедливо: «Кого ты своими благоглупостями благоудивить хочешь»? Эта фраза будетъ заимствована читателемъ у самого Щедрина, и нашъ неистощимый сатирикъ погибаетъ такимъ образомъ подъ ударами своего собственного остроумія. Забудьте еще, что исторія о князѣ Полугаровѣ, растянутая на нѣсколько страницъ, предлагается публикѣ въ то время, когда откупа уже не существуютъ; забудьте, что, во рассказамъ самого Щедрина, шалимовскій гимназистъ, процвѣтающій въ городѣ Глуновѣ, уже отвертывается съ презрѣніемъ отъ администратора, желающаго поддержать откупную систему; сообразите-ка эти обстоятельства и поставьте себѣ тогда вопросъ: не есть-ли смѣхъ Щедрина безплодное проявленіе чистаго искусства, подобное лирическимъ воздыханіямъ Фета, Крестовскаго и Майкова? Посмотримъ, какъ-то вы на этотъ вопросъ отвѣтите. Положимъ, Щедринъ можетъ возразить, что онъ писалъ тогда, когда откупа еще существовали, и что въ 1863 году выходятъ только въ свѣтъ отдѣльной книжкой тѣ сатирическіе рассказы, которые печатались прежде въ журналѣ и имѣли нѣкогда животрепещущій интересъ современности. Но это возраженіе ни къ чему не ведетъ, потому что тутъ возникаетъ тотчасъ новый во

просъ: съ какой-же стати вторично угощать публику объѣдками? Она, наша матушка, разумеется все съѣсть, да еще и второго изданія попроситъ, но не мѣшаетъ нашему брату, писателю, и честь знать, особенно когда писатель стоитъ въ первомъ ряду прогрессистовъ. Тутъ не дурно было-бы и самому писателю относиться къ себѣ критически и до нѣкоторой степени оберегать публику отъ ея собственной довѣрчивости и неразборчивости. Возврънія на публику, какъ на дойную корову, надо предоставить въ нераздѣльную собственность юродствующему лагерю обскурантовъ. Идеи наши только тогда будутъ дѣйствительно сильны, когда отношенія наши къ обществу будутъ строго безкорыстны и до послѣдней степени деликатны. Кто думаетъ и поступаетъ въ этомъ случаѣ иначе, тотъ не прогрессистъ, а эксплуататоръ прогрессивной идеи, паразитъ и откупщикъ умственного міра. Если-же Щедринъ погрѣшилъ здѣсь по необдуманности, то онъ можетъ принести покаяніе и позаботиться объ исправленіи.

Въ слѣдующихъ двухъ примѣрахъ невинность смѣхотворныхъ пружинъ доходитъ до такого великаго совершенства, что она должна даже возбуждать умиленіе читателя.

Ходить по комнатамъ Ковдратій Тихоновъ, «и ходить, и ходить по своимъ сараямъ, ходить до того, что и полъ-то словно жалуется и стонетъ подъ ногами его: да сидь-же ты, ради Христа!» Читатель смѣется, а чему тутъ смѣяться?

Чиновникъ играетъ въ ералашъ противъ своего начальника; вслѣдствіе этого обстоятельства онъ вовсе не радуется своимъ хорошимъ картамъ, которыя заставляютъ его волей-неволей обгравать и огорчать великаго патрона. Положеніе дѣйствительно характеристическое и комично въ немъ много; но Щедринъ здѣсь, какъ и вездѣ, вызываетъ смѣхъ читателя не самимъ положеніемъ, а неожиданно брошенной экскластричностью. «Поэтому онъ всячески старался оправдаться; разбирая карты, пожималъ плечами, какъ-бы говоря: вѣдь лѣзетъ-же такое дурное счастье! дѣлая ходы, не клалъ карту на столъ, а какъ-то презрительно швырялъ ее, какъ-бы говоря: вотъ и еще сукинъ сынъ тузъ!» Еще-бы тутъ читатель не расхохотался; но ясно, что онъ будетъ смѣяться надъ «сукинымъ сыномъ тузомъ», а не надъ мелочными слабостями начальника и подчиненнаго. Смѣхъ будетъ безгрѣшный.

Щедринъ, самъ того не замѣчая, въ одной изъ глуновскихъ сценъ превосходно охарактеризовалъ типическія особенности своего собственного юмора. Играютъ глуновцы въ карты:

— Греческій человекъ Трефандось! — восклицаетъ онъ (пѣхотный командиръ), выходя съ трефъ. Мы всѣ хотимъ, хотя Трефандось этотъ является на сцену аккуратно каждый разъ, какъ мы садимся играть въ карты, а это случается едва-ли не всякій вечеръ.

— Фики! продолжаетъ командиръ, — выходя изъ-за масти.

— Ой, да перестань-же, пострѣль! — говоритъ раль Голубчиковъ, покатываясь со смѣху: — этакъ я всю игру съ тобой перепутаю».

Е кажется-ли вамъ, любезный читатель, всего, что вы прочитали выше, что Щедринъ говоритъ вамъ: «Трефандость» и «Фики», подобно генералу Голубчикову, отмахивая руками и, покатываясь со смѣху, кричите яльнымъ голосомъ: «ой, да перестань-же, пострѣль! Всю игру перепутаю»... Но неумолимый какъ не перестаетъ, и вы действительно пугаете игру, то-есть сбиваетесь съ толку и приносите глуповскаго балагура за русскаго сатирика. Конечно «тайные пороссячи амур», «незатыкаемость старой поглосаемости» и особливо «сукинъ сынъ тузъ» не чета «греческо-еловѣку Трефандосу». Остроты Щедрина грубы, неожиданны и замысловаты шутки смѣшнаго командира, но зато и смѣется надъ шутками Щедрина не одинъ глуповскій генералъ Голубчиковъ, а вся наша читающая публика въ томъ числѣ даже наша умная, свѣжая и талантливая молодежь. А ужъ это дѣло пора-бы и думать. Развращать умъ нашей молодежи «нужнымъ смѣхомъ Иванушки-дурачка» такъ-же осудительно, какъ щекотать ея нервы звучными безсмыслицами лирической поэзии. Первое изъ послѣднихъ: надъ лириками молодежь смѣется, а сатирикамъ она еще довѣряетъ, именно тѣмъ изъ сатириковъ, которымъ удавалось прикрыться почтенной фирмой замѣчательнаго журнала, который еще долго будетъ представлять высокой силой его прошлаго дѣятеля. Эти патентованные сатирики пользуются своимъ положеніемъ, какъ они эксплуатируютъ довѣріе публики вообще и молодежи въ частности — это мы съ читателемъ уже отчасти знаемъ и увидимъ еще впереди.

У.

Щедрину приходится иногда изображать комическія происшествія: у него въ разсказахъ встречаются два сумасшествія и одно самоубійство. Но Щедринъ твердо убѣжденъ въ томъ, что глуповскаго чиновника всегда слѣдуетъ обличать и осмѣивать; поэтому онъ не разсказываетъ о помѣшательствѣ Зубатова и Голубчикова, а вѣстительно обличаетъ того и другого въ этомъ агрессивномъ поступкѣ. Трагическія происшествія передаются такимъ образомъ читателю и игриво, а читатель разумѣется принимаетъ ихъ съ благодарностью, какъ новую юмористическую интермедію. Что касается до самоубійства, то тутъ дѣло совсѣмъ другое; такъ какъ дѣйствующими лицами являются въ этомъ разсказѣ два крѣпостныхъ мальчика, то Щедринъ, желая разыграть самымъ блистательнымъ образомъ роль гуманнаго прогрессиста, натягиваетъ

трагическія струны своего повѣствовательнаго таланта такъ туго, что онѣ обрываются до конца разсказа; видя, что эпическая сила измѣняется ему и что изъ нея ужъ не выжмешь больше никакого раздирательнаго эффекта, Щедринъ смѣло кидается въ лирическое юродство и буквально начинаетъ голосить и выкликать надъ несчастными ребятами, которымъ и безъ того тошно на свѣтѣ жить. Дѣло доходитъ до того, что юмористъ нашъ обращается съ воззваніемъ сначала къ жестокой помѣщицѣ, Катеринѣ Афанасьевнѣ, а потомъ къ нашей планетѣ. Не вѣрите, такъ читайте: «Катерина Афанасьевна! если-бы вы могли подозрѣвать, что дѣлается въ этомъ оврагѣ, покуда вы безмятежно почиваете съ налѣпленными на носу и на щекахъ пластырями, вы съ ужасомъ вскочили-бы съ постели, вы выбѣжали-бы безъ кофты на улицу и огласили-бы ее неслыханными, раздирающими душу воплями».

«Земля мать! Если-бы ты знала, какое страшное дѣло совершается въ этомъ оврагѣ, ты застонала-бы, ты всколыхнулась-бы всѣми твоими морями, ты заговорила-бы всѣми твоими рѣками, ты закипѣла-бы всѣми твоими ручьями, ты зашумѣла-бы всѣми твоими лѣсами, ты задрожала-бы всѣми твоими горами! («Невинные разсказы», стр. 168—169).

Ахъ, мои батюшки! Страстикакія! Не жирно-ли будетъ, если земля-мать станетъ производить всѣ предписанныя ей эволюціи по поводу каждаго страшнаго дѣла, совершающагося въ оврагѣ. Вѣдь ее, я думаю, трудно удивить; видала она на своемъ вѣку всякіе виды; не осталось на ней ни одного квадратнаго аршина, на которомъ ея возлюбленный сынъ не совершилъ-бы надъ собой или надъ другими какой-нибудь невообразимой гадости; такъ ужъ гдѣ ей, старухѣ, возмущаться такимъ дѣломъ, которое даже въ слабомъ человѣкѣ, въ гуманномъ русскомъ прогрессистѣ, въ самомъ Щедринѣ не можетъ возбудить ни одной искры неподдѣльнаго чувства. Вѣдь не выражается-же въ самомъ дѣлѣ истинное чувство въ этомъ завываніи, въ которомъ такъ мало смысла и такъ много риторства. Вѣдь это все поддѣлка съ начала до конца; вѣдь это плаксивая гримаса, это слезы, извлеченныя изъ глазъ посредствомъ нюханія хрѣна; это какая-то плохо устроенная мистификація, которая была-бы возмутительна, если-бы она не была такъ плоско смѣшна. «И кого ты своими благоглупостями удивить хочешь?» въ раздумьи повторяетъ читатель и потомъ усмѣхается, пожимая плечами, но на этотъ разъ усмѣхается конечно не шуткамъ сатирика, а тому печально-комическому положенію, въ которое попалъ самъ сатирикъ. Но допустимъ невозможное предположеніе: положимъ, что Щедринъ былъ потрясенъ дѣйствительно сильнымъ приливомъ чувства въ ту минуту, когда онъ создавалъ свое воззваніе къ землѣ и

къ Катеринѣ Афанасьевнѣ; тогда тѣмъ хуже для него; въ такомъ случаѣ онъ несетъ заслуженное наказаніе за хроническую невинность своего бесплоднаго смѣха; это значить, что человѣкъ можетъ превратить себя въ вертящуюся куклу; это значить, что вся нервная система человѣка можетъ быть безвозвратно исковеркана постояннымъ и одностороннимъ употребленіемъ умственныхъ способностей на мелкое и пустое увеселеніе публики; когда приходится выразить истинное чувство, тогда истасканные нервы отказываются служить и подъ перомъ писателя не оказывается ни одного образа, ни одного выраженія, соответствующаго этой непривычной потребности. И выходитъ вслѣдствіе этого такая неестественная кислота, что читатель не знаетъ, что ему дѣлать: жалѣть-ли бѣднаго художника, продававшаго свой душевный жаръ въ мелочную лавочку, смѣяться-ли надъ его тщетными усиліями, или просто отвернуться и плюнуть отъ негодованія.

Но это еще не все. Желая во весь духъ ударить кулакомъ по лирическимъ струнамъ, Щедринъ не только риторствуетъ, но даже совершаетъ надъ самимъ собой нѣчто вродѣ литературнаго самоубійства; онъ умышленно искажаетъ въ своемъ воззваніи къ Катеринѣ Афанасьевнѣ тотъ характеръ, который онъ самъ очертилъ довольно тщательно на предыдущихъ страницахъ. Если-бы Катерина Афанасьевна зимой выбѣжала изъ дому «безъ кофты», не боясь простуды, и стала-бы оглашать улицы города «неслыханными воплями», не боясь скандала и всѣхъ его неприятныхъ послѣдствій, тогда это значило-бы, что она женщина взыблѣвшая, вспылывавшая, но при всемъ томъ способная почувствовать себя виноватой, способная подъ вліяніемъ сильнаго потрясенія придти въ себя и отбросить въ сторону систему своего хозяйственного терроризма. Между тѣмъ предыдущія страницы говорятъ намъ совсѣмъ другое; изъ нихъ мы видимъ, что Катерина Афанасьевна совершаетъ свои жестокости очень хладнокровно и съ значительной прииѣсью рабовладѣльческаго остроумія; мы видимъ, что строй нравственныхъ понятій, вытекающихъ изъ крѣпостного права, ограждаетъ ее самымъ надежнымъ и непроницаемымъ оплотомъ противъ всякихъ непослѣдовательныхъ припадковъ состраданія и человѣколюбія. Мы узнаемъ кромѣ того, что Катерина Афанасьевна—стрѣлянная ворона: ей уже не въ первый разъ приходится переживать, что люди по ея милости рѣшаются на самоубійство; сестра одного изъ мальчиковъ утопилась вслѣдствіе жестокаго обращенія, а стоицизмъ помѣщицы не поколебался; помѣщица увѣрила себя и другихъ, что «поганка-Ольгушка» утопилась «для того, чтобы скрыть свой стыдъ», то-есть беременность. Потомъ, когда тѣло не было найдено и когда исправникъ укрѣпилъ естественный стоицизмъ

помѣщицы своей дѣловой опытностью, тогда Катерина Афанасьевна смѣло стала отрицать самый фактъ самоубійства и подала объявленіе о побѣгѣ «дѣвки Ольги Никандровой», которая не только бѣжала сама, но, усугубляя свою вину воровствомъ, «унесла съ собой данное ей помѣщикомъ пестрядинное платье, въ которое и была въ тотъ день одѣта». Возьмите въ расчетъ, что наша бойкая помѣщица—женщина необразованная и суевѣрная, и тогда вы поймете, какую силу характера обнаружила Катерина Афанасьевна, взводя поклепъ въ побѣгѣ и въ воровствѣ на такую покойницу, которую она, Катерина Афанасьевна, почти собственноручно спровадила на тотъ свѣтъ. Правда, «поганка Ольгушка» явилась своей барынѣ во снѣ, и барыня выскочила изъ спальни, какъ полоумная; но во-первыхъ—это видѣла только ключница Матрена, а во-вторыхъ—что-же изъ этого слѣдуетъ? Помѣщица набивала свой желудокъ особенно плотно, потому что больше и дѣлать нечего было; а извѣстно, что переполненный желудокъ награждаетъ человѣка разнообразными и эксцентрическими сновидѣніями; это и случилось съ Катериной Афанасьевной; привидѣлась ей «поганка Ольгушка», но могъ привидѣться и чертъ съ рогами; тутъ не было-бы ничего удивительнаго, и оба сновидѣнія заставили-бы ее выскочить изъ спальни съ одинаковой стремительностью. Гораздо характернѣе то обстоятельство, что на глазахъ Катерины Афанасьевны росъ маленькій братъ утопившейся дѣвушки и что барынѣ не только не было тяжело смотрѣть на этого ребенка, который долженъ былъ ежеминутно напоминать ей совершившееся преступленіе, но что напротивъ того барыня имѣла даже храбрость мучить этого мальчика наравнѣ съ другими домохозяевами и ежедневными мученіями постоянно толкать его къ тому оврагу, въ которомъ должно было произойти новое самоубійство. И вдругъ эта практическая женщина станетъ бѣгать по улицамъ въ одной рубашкѣ и раздирать уши городскихъ обывателей неслыханными воплями. И отчего? Отъ того, что мальчишки, которыхъ она вѣроятно иначе и не называла, какъ «мерзавцами» и «паршивыми», вздумали полоснуть себя пожею по горлу. Да ей-то какое дѣло? Она постарается скоронить концы въ воду, она подаритъ кому слѣдуетъ, сколько будетъ необходимо, и потомъ попрежнему будетъ наѣдаться до отвала и въ случаѣ переполненія желудка будетъ видѣть во снѣ не одну Ольгу, а цѣлую компанію знакомыхъ мертвецовъ. Велика важность—нечего сказать! Федору Бергу или невѣстному поэту, воспевавшему въ «Отечественныхъ Запискахъ» «Слезы кукушки», позволительно не знать этихъ особенностей человѣческаго организма, а со стороны Щедрина такое незнаніе не только неприлично, но и невѣроятно. Всякій здравомыслящій читатель хорошо понимаетъ, что это игнорированіе

какъ-же искусственно, какъ и самое чувство, поднявшее лирическое обращеніе къ землѣ и къ юмщицѣ. Надъ подобной искусственностью всегда слѣдуетъ смѣяться, и чѣмъ дороже вамъ тотъ предметъ, по поводу котораго она пускается въ ходъ, тѣмъ громче и рѣзче долженъ быть вашъ карающій смѣхъ, потому что искусственность унижаетъ и опошляетъ все то, къ чему она прикасается.

Но и это еще не все. У читателя давно уже вертится на языкѣ вопросъ: да развѣ есть теперь крѣпостные мальчики? — Нѣтъ, нѣту. — Такъ какъ-же это они себя убивать могутъ? — Да они убиваютъ себя не теперь, а прежде, давно, во время оно. — А если прежде, во время оно, то съ какой-же стати повѣствуется объ этомъ событіи теперь, во время *сей*? — Не знаю. Должно быть Щедринъ позавидовалъ литературной славѣ нашего Вальтеръ-Скотта, графа А. Толстого, описавшаго съ такой наглядностью всѣ туманы, подававшіеся на столъ Ивана Грознаго: Или онъ хотѣлъ состязаться съ нашимъ Шекспиромъ, Островскимъ, изобразившимъ съ такими счастливымъ успѣхомъ Козьму Минина и жѣ его видѣнія? Или онъ боялся, что вновь становится крѣпостное право, и пожелалъ противодействовать такому пассажи кроткими мѣрами литературнаго уищанія? Или-же онъ пострадалъ поразить своимъ перомъ прошедшее, чтобы сдѣлать пріятный и любезный сюрпризъ современу? Последнее предположеніе кажется мнѣ всего болѣе правдоподобнымъ, потому что какому жрецу чистаго искусства должно быть чрезвычайно лестно соединить въ своей особѣ блестящую репутацію русскаго Аристофана съ полезными достоинствами современнаго Державина, который, какъ извѣстно, говорилъ истину съ улыбкой самого обезоруживающаго и обворожительнаго свойства.

Щедринъ прекрасно сдѣлаетъ, если пойдетъ впередъ по этому пути, но, становясь на чисто эстетическую точку зрѣнія и заботясь о чистотѣ нашего литературнаго вкуса, я позволю себѣ выразить желаніе, чтобы на будущее время Щедринъ, слагая свои оды, построже придерживался литературныхъ преданій и пріемовъ чисто-классической школы. Я возьму для прѣлога отношеніе литературы къ нашему молодому поколѣнію, на сторонѣ котораго находятся всѣ мои личныя симпатіи, тѣмъ болѣе, что и самъ я принадлежу къ нему тѣломъ и душой. Лучшіе органы нашей періодической литературы начали замѣщать умственные интересы молодого поколѣнія противъ наваденій дряхлой и озлобленной бездарности, съ той самой минуты, какъ только въ нашемъ обществѣ обнаружился тотъ повсемѣстный разладъ, который всегда бываетъ неразлученъ съ поступательнымъ движеніемъ впередъ. Междоусобная борьба въ литературѣ по поводу молодежи продолжается до сихъ поръ и

вѣроятно протянется еще довольно долго, хотя строгіе обличители юношества уже значительно послабили тону. Мыслящіе представители свѣжаго направленія въ нашей литературѣ защищаютъ до сихъ поръ молодыхъ людей противъ медоточивой клеветы и противъ грубаго непониманія. Защищеніе это вовсе на лавегиріи и оно еще необходимо, во-первыхъ — потому что нельзя же оставлять общество въ печальномъ заблужденіи, а во-вторыхъ — потому что человѣкъ все-таки не камень и что самаго хладнокровнаго писателя все-таки нѣтъ, нѣтъ, да и избѣснить, когда онъ услышитъ черезъ-чуръ нелѣпую исторію вроде «Взбаламученнаго моря». А между тѣмъ, несмотря на полную законность и разумность этого защищенія, надо сказать правду, что для молодежи всего безплоднѣе именно тѣ страницы нашихъ журналовъ, въ которыхъ всего больше толкуютъ о ней и всего сильнѣе выражаютъ ей сочувствіе. Эти горячія и благородныя страницы не даютъ ей никакого новаго знанія. Въ самомъ дѣлѣ, что узнаютъ изъ нихъ молодые люди? Что они — хорошіе люди? Это они сами знаютъ. Что имъ сочувствуетъ честное меньшинство литературы? Экое, подумаешь, благодѣяніе оно имъ оказываетъ. Да и потомъ, само собою разумѣется. Какъ бы ухитрилось это меньшинство, оставаясь честнымъ, не сочувствовать тому, что также честно? Что они, молодые люди, думаютъ такъ и такъ? Да ужъ навѣрное сами-то молодые люди знаютъ это еще лучше, чѣмъ тѣ литераторы, которые объ этомъ пишутъ.

Такимъ образомъ всего безполезнѣе для молодого поколѣнія оказывается именно то, что всего ближе подходитъ къ восхваленію этого самого молодого поколѣнія. Чѣмъ больше вы хотите принести пользы молодымъ людямъ, тѣмъ меньше толкуйте объ ихъ достоинствахъ и тѣмъ больше думайте объ ихъ умственныхъ потребностяхъ. Старайтесь помогать вашими статьями ихъ развитію, старайтесь давать имъ матеріалы для размышленія, старайтесь, чтобы молодой человѣкъ, берущій въ руки журнальную книжку для развлеченія, постоянно находилъ бы въ ней вмѣстѣ съ развлеченіемъ полезныя и основательныя знанія, свѣжія и живыя идеи, разумную ширину взглядовъ и сознательную гуманность направленія; дѣлайте все это, посвящайте вашу жизнь этому дѣлу и вы увидите, что молодежь будетъ считать васъ своимъ истиннымъ другомъ, хотя бы вамъ ни разу не пришлось сказать ни одного слова въ ея похвалу. Такимъ образомъ гораздо лучше выражать свою любовь полезнымъ дѣломъ, чѣмъ пріятной похвалой.

Въ настоящее время чисто отрицательныя отношенія литературы къ молодежи еще невозможны, потому что молодежь находится еще въ пассивномъ положеніи. Литература не можетъ поставить себѣ задачей постоянно указывать на недостатки и ошибки такого элемента, который

еще въ значительной степени неизвѣстенъ и во всякомъ случаѣ только что начинаетъ заявлять о своемъ существованіи. Но и теперь уже возможны нѣкоторыя частныя попытки въ отрицательномъ родѣ, попытки, которыя разумѣется не могутъ имѣть ни малѣйшаго сходства съ слѣплымъ и ожесточеннымъ отрицаніемъ некоторыхъ свирѣпствующихъ старцевъ. Мнѣ кажется, что эти попытки принесутъ молодежи гораздо больше пользы, чѣмъ защитительныя статьи ея частныхъ адвокатовъ. Къ числу подобныхъ попытокъ въ отрицательномъ родѣ я отношу мою теперешнюю рецензію. Я знаю, что Щедринъ принадлежитъ къ числу тѣхъ писателей, которые до поры до времени пользуются сочувствіемъ молодежи, но съ которой у нихъ нѣтъ ничего общаго; мнѣ кажется, что сочувствіе это не обдуманно и не проверено критическимъ анализомъ; молодежь смѣется, читая Щедрина, молодежь привыкла встрѣчать имя этого писателя на страницахъ лучшаго изъ нашихъ журналовъ и молодежь поддается веселымъ впечатлѣніямъ, потому что ей не приходится въ голову отнести къ этимъ впечатлѣніямъ съ недоверіемъ и съ вопросительнымъ знакомъ. Но мнѣ кажется, что вліяніе Щедрина на молодежь можетъ быть только вредно, и на этомъ основаніи я стараюсь разрушить пьедестальчикъ этого маленькаго кумира и произвожу эту отрицательную работу съ особеннымъ усердіемъ, именно потому, что тутъ дѣло идетъ о симпатіяхъ молодежи. Я хочу уничтожить эти симпатіи, и если онѣ дѣйствительно приносятъ молодымъ людямъ только вредъ, то уничтоженіе ихъ и слѣдовательно попытка въ отрицательномъ родѣ будетъ полезнѣе для нашего поколѣнія, чѣмъ самая горячая похвала Базарову и Лопухову и самая ѣдкая полемика противъ Каткова. Такимъ образомъ, разсмотрѣвши отношенія журналистики къ молодежи, я показываю на этомъ примѣрѣ, какимъ образомъ дѣльное отрицаніе приноситъ обществу гораздо больше пользы, чѣмъ справедливая похвала, воздаваемая существующимъ фактамъ. Щедринъ поступаетъ какъ разъ наоборотъ.

VI.

Если мы съ высоты птичьяго полета бросимъ общій взглядъ на рассказы Щедрина, то намъ придется изумляться бѣдности, мелочности и однообразію ихъ основныхъ мотивовъ. Все вниманіе сатирика направлено на вчерашній день и на переходъ къ нынѣшнему дню; хотя этотъ переходъ совершился очень недавно, но онъ очевидно составляетъ для насъ прошедшее, совершенно законченное и имѣющее чисто историческій интересъ; а исторію эту писать еще слишкомъ рано, да и совсѣмъ это не щедринское дѣло. Конечно крупное право такъ глубоко отравило всѣ отравленія нашей народной жизни,

что тяжелая старина долго еще будетъ давать себя чувствовать въ разныхъ воспоминательныхъ ощущеніяхъ весьма непріятнаго свойства; конечно и чиновничество долго еще будетъ жить старинными преданіями классической школы, перекроенными и перекрашенными сообразно съ требованіями новѣйшей моды; все это такъ, но всѣ эти отпрыски срубленныхъ деревьевъ надо изучать именно въ ихъ теперешнихъ видоизмѣненіяхъ; и чтобы изучать ихъ, нѣтъ никакой необходимости восходить ни къ тѣмъ вѣкамъ, когда деревья стояли на корню, ни къ тѣмъ минутамъ, когда деревья стали трещать подъ тепломъ. Прошедшее само по себѣ, переходъ само по себѣ, а настоящее тоже само по себѣ. Въ исторіи всѣ эти моменты разумѣется связаны между собой и объясняютъ другъ друга, какъ необходимое сѣщеніе причинъ и слѣдствій, но опять-таки никому въ голову не приходитъ требовать и ожидать отъ Щедрина исторіи, а сатира хороша только тогда, когда она современна. Что мнѣ за охота и за интересъ смѣяться надъ тѣмъ, что не только осмѣяно, но даже уничтожено законодательнымъ распоряженіемъ правительства. «Довлѣетъ днѣви злоба его», и «пускать мертвецы сами хоронятъ своихъ мертвецовъ».

Но Щедринъ игнорируетъ это простое требованіе здраваго смысла, и потому почти всѣ дѣйствующія лица его рассказовъ смотрятъ мертвецами, выкопанными изъ могилъ, нарочно для того, чтобы повеселить читателя. Ретрограды, перепуганные зловѣщими слухами, чиновники, перепуганные невиданными предписаніями, и кромѣ того глуповцы, плюющие другъ другу въ лохань, выпивающіе «по маленькому» и каждый вечеръ потѣшающіеся «Трефондо-сами» — вотъ и все содержаніе сатирическихъ рассказовъ. Глуповъ, блаженствующій въ своей нетронутомъ спокойствіи, и Глуповъ, только что взбодораженный слухами о преобразованіяхъ — вотъ и все; а вѣдь кажется пора бы это бросить, потому что вся наша журналистика молотила, молотила эту тощую коню плохой ржи, да и молотить устала. Всѣмъ надѣло — и писателямъ и читателямъ; да и наконецъ, брѣхъ соломы, тутъ ничего больше и не осталось. Такъ ужъ это избито, что можно измѣнять только слова, а новой, нетронутой черты не отыщется самый проныпательный сатирикъ. Поэтому бросьте прошедшее, ищите въ настоящемъ, а если настоящее еще не выработало себѣ особенной физіономіи, если вы не умѣете уловить того процесса броженія, которымъ вырабатываются эти новыя черты, то бросьте сатиру, бросьте совсѣмъ нашу истрепавшуюся беллетристику, обратившуюся съ нѣкотораго времени для нашихъ писателей въ какую-то казенную или барщинную работу. — Эти слова обращены не къ Щедрину, а вообще ко всѣмъ нашимъ второстепеннымъ беллетристамъ. А кто же теперь не второ-

инный? Чернышевскій, Тургеневъ, можетъ Островскій—и только. Разъ, два — да и ся. Но ясно, что сила Чернышевскаго завется не въ самородномъ художественномъ гѣ, а въ широкомъ умственномъ развитіи; что Тургеневъ и Островскій приближаются къ своей литературной карьеры; ясно, что роенная печень Писемскаго будетъ портить е новое произведеніе этого сильнаго та и превращать каждый новый романъ его въ «Взбаломученное море» авторской желчи. тало бытъ

И полѣзли изъ щелей
Можки да букашки.

Знаю, какъ другіе, а я радуюсь этому увя-
нашей беллетристики и вижу въ ней
хорошіе симптомы для будущей судьбы
го умственного развитія. Поэзія, въ смыслѣ
одвланія, стала клониться въ упадку со
Пушкина; при Гоголѣ романисты или
де прозаики заняли въ литературѣ то выс-
ѣсто, которое занимали поэты; съ этого
стихотворцы сдѣлались чѣмъ-то вродѣ
ратурныхъ башбузуконъ, плохо воору-
ныхъ, безсильныхъ и неспособныхъ ока-
регулярному войску никакого серьезнаго со-
твѣія; теперь стиходѣланіе находится при
блѣдемъ издыханія, и конечно этому слѣдуетъ
ваться, потому что есть надежда, что ужъ
дѣйствительно умный и даровитый че-
къ нашего поколѣнія не истратитъ своей
и на пропизываніе чувствительныхъ сер-
убійственными язвами и аванестами. А кто
тъ, какое великое дѣло — экономія челове-
къ силъ, тотъ пойметъ, какъ важно для
состоянія всего общества, чтобы всѣ его
и люди сберегли себя въ цѣлости и при-
ли всѣ свои прекрасныя способности къ по-
и работѣ. Но, одержавши побѣду надъ
дѣланіемъ, беллетристика сама начала
ивать свое исключительное господство въ
атурѣ; первый ударъ нанесъ этому господ-
Вѣлинскій; глядя на него, Русь православ-
начала понимать, что можно быть знамени-
писателемъ, не сочинивши ни поэмы, ни
а, ни драмы. Это было великимъ шагомъ
дѣ, потому что добрые земляки наши вы-
съ читать критическія статьи и понемногу
товились такимъ образомъ понимать раз-
нія по вопросамъ науки и общественной
и. Когда эти разсужденія сдѣлались воз-
ыми, тогда Добролюбовъ и Чернышевскій
продолжать дѣло Вѣлинскаго; въ это же
«Русскій Вѣстникъ» проторилъ себѣ свою
вную дорожку, на которой онъ до сихъ поръ
льшимъ успѣхомъ вилаетъ; но какъ ни
судительна его дѣятельность съ граждан-
точки зрѣнія, однако надо отдать ему спра-
вость; своими статьями объ Англіи и сво-
идеологическими обозрѣніями онъ также со-

дѣйствовалъ тому общему движенію мысли, ко-
торое постепенно оттѣсняло на задній планъ
беллетристику и искусство вообще. Теперь это
оттѣсненіе произведено: въ послѣднее пятилѣтіе
не было рѣшительно ни одного чисто литератур-
наго успѣха; чтобы не упасть, беллетристика
принуждена была прислониться къ текущимъ
интересамъ дня, часа и минуты; всѣ беллетри-
стическія произведенія, обращавшія на себя вни-
маніе общества, возбуждали говоръ единственно
потому, что касались какихъ нибудь интерес-
ныхъ вопросовъ дѣйствительной жизни. Вотъ
вамъ примѣръ: «Подводный Камень» романъ,
стоящій по своему литературному достоинству
ниже всякой критики, имѣетъ громкій успѣхъ,
а «Дѣтство, отрочество и юность» графа Л.
Толстого, вещь замѣчательно хорошая по тон-
кости и вѣрности психологическаго анализа,
читается холодно и проходитъ почти незамѣ-
ченной.

Теперь пора бы сдѣлать еще шагъ впередъ:
неудрно было бы понять, что серьезное изслѣ-
дованіе, написанное ясно и увлекательно, освѣ-
щаетъ всякій интересный вопросъ гораздо лучше
и полнѣе, чѣмъ разсказъ, придуманный на эту
тему и обставленный ненужными подробностями
и неизбѣжными уклоненіями отъ главнаго сю-
жета. Впрочемъ этотъ шагъ сдѣлается самъ
собою, и можетъ быть онъ уже наполовину сдѣ-
ланъ. Разумѣется здѣсь, какъ и вездѣ, не слѣ-
дуетъ увлекаться педантическимъ риторизмомъ:
если въ самомъ дѣлѣ есть такіе человѣчскіе
организмы, для которыхъ легче и удобнѣе вы-
ражать свои мысли въ образахъ, если въ ро-
манѣ или въ поэмѣ они умѣютъ выразить новую
идею, которую они не сдумѣли бы развитъ съ
надлежащей полнотой и ясностью въ теорети-
ческой статьѣ, тогда пусть дѣлаютъ такъ, какъ
имъ удобнѣе; критика сдумѣетъ отыскать, а
общество сдумѣетъ принять и оцѣнить плодот-
ворную идею, въ какой бы формѣ она не была
выражена. Если Некрасовъ можетъ высказы-
ваться только въ стихахъ, пусть пишетъ стихи;
если Тургеневъ умѣетъ только изобразить, а не
объяснить Базарова, пусть изображаетъ; если
Чернышевскому удобно писать романъ, а не
трактатъ по фізіологіи общества, пусть пишетъ
романъ; этимъ людямъ есть что высказать, и
потому общество слушаетъ ихъ со вниманіемъ и
не остается въ накладѣ. Это даже хорошо, если
такіе люди излагаютъ свои идеи въ беллетри-
стической формѣ, потому что окончательный
шагъ все-таки еще не сдѣланъ, и искусство для
нѣкоторыхъ читателей, и особенно читательницъ,
все еще сохраняетъ кое-какіе блѣдные лучи сво-
его ложнаго ореола.

Но если въ рукахъ писателей, имѣющихъ
свои собственныя идеи, беллетристическая форма
можетъ еще приносить обществу пользу, то на-
противъ того, попадая въ руки писателей, ни-

щихъ духомъ, эта форма становится положительно вредной. Она превосходно маскируетъ ихъ бѣдность, вводитъ читателей въ ошибку и, что всего хуже, возбуждаетъ въ рядахъ молодежи охоту подражать такимъ произведеніямъ, которыя составляютъ пустоцвѣтъ и сорную траву нашей умственной жизни. Щедринъ взялъ изъ Добролюбовскаго «Свистка» манеру относиться неодобрительно къ нашему официальному прогрессу; естественный, живой и глубоко-сознательный скептицизмъ Добролюбова превратился у его подражателя въ пустой знакъ, къ кокарду, которую онъ пришивалъ къ своимъ рассказамъ для того, чтобы сообщить имъ колоритъ безукоризненной прогрессивности. Если-бы Щедринъ писалъ не рассказы, а научныя или критическія статьи, то эта форменная безукоризненность очень скоро надоѣла бы всѣмъ читателямъ, и Щедринъ не былъ бы метеоромъ, а занялъ бы ту скромную роль, которую занимаетъ напирѣвъ нашъ почтенный и возлюбленный сотрудникъ, В. П. Поговъ. Тогда онъ поневолѣ былъ бы полезенъ, потому что ему уже нельзя было бы ограничивать свою дѣятельность производствомъ безконечныхъ варіацій на весьма извѣстныя темы. Ему пришлось бы за неимѣніемъ своихъ оригинальныхъ идей популяризировать чужія идеи, еще неизвѣстныя русской публикѣ, переводить, извлекать, компилировать, давать не мудствованія, а дѣйствительные факты. Ему пришлось бы побольше читать, а это принесло бы ему не малую пользу, потому что тогда бы онъ не сталъ намъ рассказывать миѳы о Минервѣ и постарался бы поосновательнѣе обдумать вопросъ, отчего эти глуповцы спятъ такимъ глупымъ сномъ и показываютъ другъ другу «все-возможныя свѣтила небесныя». Теперь онъ повидимому убѣжденъ въ томъ, что рыться въ глуповскомъ навозѣ полезно, что *молодое поколѣніе* ради своего умственного совершенствованія должно внимательно вглядываться въ каждую частичку этого вещества, каждую изъ нихъ должно *осмѣивать* и спасительнымъ смѣхомъ своимъ должно ограждать себя отъ опошленія и отъ возвращенія къ глуповской старинѣ. Если-бы Щедринъ не былъ блестящимъ беллетристомъ и если-бы вслѣдствіе этого онъ былъ принужденъ побольше читать и размышлять, тогда онъ не питалъ бы вышеозначеннаго убѣжденія и понималъ бы нѣкоторыя вещи, которыхъ онъ теперь не понимаетъ и которыя поэтому я постараюсь ему объяснить.

Смѣяться надъ безобразіемъ глуповца все равно, что смѣяться надъ уродствомъ калѣки, или надъ дикостью дикаря, или надъ неопытностью ребенка; всѣ эти смѣхи не даютъ рѣшительно ничего ни тому, кто смѣется, ни тому, кого осмѣиваютъ. Смѣяться полезно только надъ идеями, потому что въ этомъ случаѣ смѣхъ есть самъ по себѣ новая идея, отрицающая старую

и становящаяся на ея мѣстѣ. Осмѣивать значитъ доводить ее до абсурда и показывать такимъ образомъ ея несостоятельность, казывать такъ живо и такъ ясно, чтобы менталія не утомляла читающую массу, эта аргументація иногда сосредоточивалась въ одномъ эпитетѣ, въ одномъ намекѣ, въ веселой шуткѣ; такой смѣхъ дѣйствительно соборно выворачиваетъ на изнанку цѣлыя лѣтнія міросозерцанія; стоитъ назвать два имени, Вольтеръ и Гейне. Не всякій-теръ и Гейне, не всякій человѣкъ, обладающій смѣлымъ умомъ и сатирическимъ талантомъ, можетъ и долженъ пристраивать свои шутки, гдѣ онъ имѣетъ какой-нибудь случай. А если онъ не умѣетъ этого сдѣлать, то его никто и не принуждаетъ смѣяться публично. Пусть смѣется надъ глуповскими «Трефами» съ добрыми пріятелями въ тиши уютнаго кабинета. Что же касается до отращиванія молодежи отъ возвращенія къ старинѣ и тутъ смѣхъ Щедрина равняется нулю.

Ограждаетъ отъ пошлости не смѣхъ надъ пошлостью, а то внутреннее содержаніе, которое даетъ намъ чтеніе и размышленіе. Чтобы смѣхъ не былъ испорченной пицци, надо дать смѣху свѣжую пиццу; а если вы ему не дадите свѣжести, онъ будетъ ѣсть испорченную, потому что умирать-же ему съ голоду изъ любви къ жести. У насъ есть теперь это содержаніе, и основаніе думать, что оно у насъ съ каждымъ домомъ будетъ увеличиваться; это содержаніе заключается въ изученіи природы и въ изученіи человѣка, какъ послѣдняго звена длинной органической цепи существъ. Мыслящіе естествоиспытатели собрали и привели въ порядокъ необозримую грудку фактовъ, относящихся ко всѣмъ разрядамъ естествознанія; въ настоящее время исторія и политическая экономія прислоняются къ изученію природы и постоянно очищаются отъ примѣси тѣхъ фразъ, гипотезъ и такъ называемыхъ законовъ, которые не имѣютъ себѣ основанія въ видимыхъ и осязаемыхъ предметахъ. Умозрительная философія скончалась вмѣстѣ съ Гегелемъ, и пріемы естественныхъ наукъ проникли и продолжаютъ проникать до сихъ поръ во всѣ отрасли человѣческаго мышленія. Отрѣшаясь отъ школьных фантасмаговъ, въ высшемъ и всеобъемлющемъ знаніи этого слова, получаетъ наконецъ въ мірѣ полное право гражданства она формируетъ спеціальнаго изслѣдователя, а человѣка; она каляетъ умъ, она пріучаетъ его дѣйствовать этимъ умомъ во всѣхъ обстоятельствахъ его жизни; она входитъ въ общество, въ семью; она помогаетъ людямъ, подобнымъ Лопухову, разрѣшать посредствомъ строгихъ анализа всѣ запутанные и щекотливые вопросы, которые прежде рѣшались наудачу слѣзами и движеніями чувства; она входитъ въ кровь

ка и перерабатывает его темпераментъ; воздаетъ величайшихъ поэтовъ, тѣхъ людей, чья живая мысль проникнута насквозь струей чувства; тѣхъ людей, которые бны дрожать и плакать отъ восторга и сонни великой истины; тѣхъ людей, которые тѣ одной жизнью съ природой и человѣкомъ и у которыхъ полнѣйшій эгоизмъ имѣетъ огромное значеніе въ всеобъемлющей любви. И исчезаетъ, потому что для этого и любить есть одно и то-же; а если оно тѣ и любить, то оно стало-быть живеть юнами жизни, живеть въ себѣ и въ другомъ, наслаждаясь процессомъ и цѣлью той рной работы ума, которая облегчаетъ или гчить страданія всемірныя.

А всѣ эти непостижимыя, но очень естественныя чудеса дѣлаетъ наука, раскрывающая предъ нами жизнь клѣточки, жизнь человѣческаго организма и историческую жизнь человѣческихъ обществъ. Все это она совершаетъ не такъ, что открываетъ человѣку интересныя тайны, а тѣмъ, что, вовлекая его въ преслѣдованіе тайнъ, усиливаетъ и регулируетъ дѣятельность необходимую для его счастья и затѣмъ, когда дѣятельность эта доведена до сильной степени возбужденія и обратилась въ привычное управленіе организма, позволяетъ ему (человѣку) обратить ее (дѣятельность) на ежедневное служиваніе и совершенствованіе всѣхъ между-человѣческихъ отношеній. Словомъ, наука создаетъ мыслящихъ людей; если она такимъ образомъ перевоспитываетъ человѣческую личность, то ея вліяніе неотступно слѣдуетъ за человѣкомъ въ семейство и въ общество, и въ судъ, и въ лагерь, въ купеческую контору и на профессорскую кафедру, на фабрику и къ постели больного, въ стѣнную деревню и въ уѣздный городъ, то безъ сомнѣнія скромное изученіе химическихъ силъ и органической клѣточки составляетъ такую двигательную силу общественнаго прогресса, которая рано или поздно — и даже скорѣе рано, чѣмъ поздно — должна подчинить себѣ и переработать по своему всѣ остальные науки. Это уже и теперь замѣтно. Скромное изученіе началось настоящимъ образомъ съ прошедшаго столѣтія, съ тѣхъ поръ, какъ Лавуазье издалъ химическій анализъ; когда оно началось, метафизика смотрѣла на него покровительственнымъ окомъ. А гдѣ теперь метафизика? Кто ее тихимъ манеромъ отпиралъ въ архивъ? Гдѣ теперь та наука, которая бы не подолжалась къ естествознанію и не отчаивалась бы въ своемъ существованіи, если естествознаніе оказываетъ ей покровительство?

Наша русская цивилизація находится въ особенно благоприятномъ положеніи для того, чтобы нять въ себя эти обновляющія начала; ей посприятствуетъ въ этомъ отношеніи именно обстоятельство, что она находится еще въ

колыбели или даже въ утробѣ матери; у ней нѣтъ укоренившихся преданій школы; нѣтъ въ каждомъ городкѣ легіона филистеровъ; нѣтъ фантастической рутинны средневѣковой науки; передъ нами лежитъ вся европейская наука: переводить, читать и учиться! Не будемъ же мы въ самомъ дѣлѣ такими дураками, чтобы брать у другихъ то, что они выкидываютъ за пегодность? Нѣтъ, не будемъ. Это мы доказываемъ каждый день, потому что постоянно переводимъ книги по естественнымъ наукамъ и выбираемъ все, что поновѣе и получше. Если-бы Добролюбовъ былъ живъ, то можно поручиться за то, что онъ бы первый понялъ и оцѣнилъ это явленіе. Говоря прѣе, онъ посвятилъ бы лучшую часть своего таланта на популяризированіе европейскихъ идей естествознанія и антропологій. Въ его время интересъ еще не былъ пробужденъ, и такія статьи рисковали остаться непрочитанными; теперь дѣло пошло на ладъ, и сообразно съ обстоятельствами должна измѣняться задача прогрессивнаго литератора; но Щедринъ разумѣется этого не понимаетъ и все тянетъ по-прежнему старую ноту, завѣщанную ему его молодымъ учителемъ; и не замѣчаетъ онъ того, что его однообразное и невинное хихиканье отвлекаетъ только отъ настоящаго дѣла нѣкоторую часть нашей свѣжей и умной молодежи.

Можетъ быть мое благоговѣніе передъ естествознаніемъ покажется читателю преувеличеннымъ; можетъ быть онъ возразитъ мнѣ, что и естествознаніе будетъ приносить пользу и удовольствіе только тѣмъ классамъ нашего общества, которымъ и безъ того не слишкомъ дурно живется на свѣтѣ. Книги по естественнымъ наукамъ, скажетъ онъ, издаются не для народа, и всѣ сокровища, заключающіяся въ нихъ, все-таки останутся для народа мертвымъ капиталомъ. На это я отвѣчу, что изданіе этихъ книгъ и вообще акклиматизація естествознанія въ нашемъ обществѣ неизмѣримо полезнѣе для нашего народа, чѣмъ изданіе книгъ, предназначенныхъ собственно для него, и чѣмъ всякіе добродѣтельные толки о необходимости сблизиться съ народомъ и любить народъ.

Если естествознаніе обогатитъ наше общество мыслящими людьми, если наши агрономы, фабриканты и всякаго рода капиталисты выучатся мыслить, то эти люди вмѣстѣ съ тѣмъ выучатся понимать какъ свою собственную пользу, такъ и потребности того міра, который ихъ окружаетъ. Тогда они поймутъ, что эта польза и эти потребности совершенно сливаются между собой; поймутъ, что выгоды и пріятныя увеличивать общее богатство страны, чѣмъ выманивать или выдавливать послѣдніе гроши изъ худыхъ кармановъ производителей и потребителей. Тогда капиталы наши не будутъ уходить за границу, не будутъ тратиться на безумную роскошь, не будутъ ухлопываться на бесполезныя сооруже-

нія, а будутъ прилагаться именно къ тѣмъ отраслямъ народной промышленности, которыя нуждаются въ ихъ содѣйствіи. Это будетъ дѣлаться такъ потому, что капиталисты во-первыхъ будутъ правильно понимать свою выгоду, а во-вторыхъ будутъ находить наслажденія въ полезной работѣ. Это предположеніе можетъ показаться идиллическимъ, но утверждать, что оно неосуществимо, значитъ утверждать, что капиталистъ не человѣкъ и даже никогда не можетъ дѣлаться человѣкомъ. Что касается до меня, то я рѣшительно не вижу резона, почему сынъ капиталиста не могъ бы сдѣлаться Базаровымъ или Лопуховымъ точно такъ же, какъ сынъ богатаго помѣщика сдѣлался Рахметовымъ. Для того, чтобы подобныя превращенія были возможны и даже обыкновенны, необходимо только, чтобы въ нашемъ обществѣ постоянно поддерживалась та свѣжая струя живой мысли, которую вносятъ къ намъ зарождающееся естествознаніе. Если всѣ наши капиталы, если всѣ умственные силы нашихъ образованныхъ людей обратятся на тѣ отрасли производства, которыя полезны для общаго дѣла, тогда разумѣется дѣятельность нашего народа усилится чрезвычайно, богатство его будетъ возрастать постоянно, и качество его мозга будетъ улучшаться съ каждымъ десятилѣтіемъ. А если народъ будетъ дѣятеленъ, богатъ и уменъ, то что же можетъ помѣшать ему сдѣлаться счастливымъ во всѣхъ отношеніяхъ.

Конечная цѣль лежитъ очень далеко, и путь тяжелъ во многихъ отношеніяхъ; быстраго успѣха ожидать невозможно; но если этотъ путь къ счастью, путь умственного развитія, оказывается

необходимымъ, единственно вѣрнымъ путемъ, то это вовсе не значитъ, чтобы слѣдовало исключать изъ исторіи всѣ двигатели событій кромѣ опытной науки. Народное чувство, народный энтузіазмъ остаются при всѣхъ своихъ правахъ; если они могутъ привести къ цѣли быстро, пускай приводятъ. Но литература тутъ ни при чемъ: она ничего не можетъ сдѣлать ни для охлажденія, ни для разогрѣванія народнаго чувства и энтузіазма; тутъ дѣйствуютъ только историческія обстоятельства; журналистика старается обыкновенно попадать въ тонъ общаго настроенія, но это попаданіе содѣйствуетъ только успѣху журнала, но вовсе не приноситъ пользы важному и общему дѣлу. Литература можетъ приносить пользу только посредствомъ новыхъ идей; это ея настоящее дѣло, и въ этомъ отношеніи она не имѣетъ соперниковъ. Если даже чувство и энтузіазмъ приведутъ къ какому-нибудь результату, то упрочить этотъ результатъ могутъ только люди, умѣющіе мыслить. Стало-быть размножать мыслящихъ людей—вотъ альфа и омега всякаго разумнаго общественнаго развитія. Стало-быть естествознаніе составляетъ въ настоящее время самую животрепещущую потребность нашего общества. Кто отвлекаетъ молодежь отъ этого дѣла, тотъ вредитъ общественному развитію. И потому еще разъ скажу Щедрину: пусть читаетъ, размышляетъ, переводитъ, компилируетъ, и тогда онъ будетъ дѣйствительно полезнымъ писателемъ. При его умѣнн владѣть русскимъ языкомъ и писать живо и весело, онъ можетъ быть очень хорошимъ популяризаторомъ. А Глуховъ давно пора бросить.

1864 г. Февраль.

МОТИВЫ РУССКОЙ ДРАМЫ.

I.

Основываясь на драматическихъ произведеніяхъ Островскаго, Добролюбовъ показалъ намъ въ русской семьѣ то «темное царство», въ которомъ вянутъ умственные способности и истощаются свѣжія силы нашихъ молодыхъ поколѣній. Статью прочли, похвалили и потомъ отложили всторону. Любители патріотическихъ иллюзій, не съумѣвшіе сдѣлать Добролюбову ни одного основательнаго возраженія, продолжали упиваться своими иллюзіями и вѣроятно будутъ продолжать это занятіе до тѣхъ поръ, пока будутъ находить себѣ читателей. Глядя на эти

постоянныя колѣнопреклоненія передъ народной мудростью и передъ народной правдой, замѣчая, что довѣрчивые читатели принимаютъ за чистую монету ходячія фразы, лишеныя всякаго содержанія, и зная, что народная мудрость и народная правда выразились всего полнѣе въ сооруженіи нашего семейнаго быта,—добросовѣстная критика поставлена въ печальную необходимость повторять по нѣскольку разъ тѣ положенія, которыя давно уже были высказаны и доказаны. Пока будутъ существовать явленія «темнаго царства» и пока патріотическая мечтательность будетъ смотрѣть на нихъ сквозь пальцы, до тѣхъ поръ намъ постоянно придется напоминать

ему обществу вѣрные и живыя идеи о нашей семейной жизни. Но при этомъ придется быть строже и послѣдовать Добролюбову; намъ необходимо будетъ отстоять его идеи противъ его собственныхъ идей; тамъ, гдѣ Добролюбовъ поддавался эстетическому чувству, мы постараемся быть гладнокровно и увидимъ, что наша патріархальность подавляетъ всякое развитие. Драма Островскаго «Гроза» со стороны Добролюбова критическую подлѣ заглавіемъ: «Лучъ свѣта въ темнотѣ царствѣ». Эта статья была ошибкой со стороны Добролюбова; онъ увлекся симпатіей къ характеру Катерины и принялъ ее личность за идеальное явленіе. Подробный анализъ этого драматическаго явленія покажетъ нашимъ читателямъ, что Добролюбовъ въ этомъ случаѣ невѣренъ и одно свѣтлое явленіе не можетъ ни вознестись, ни сложиться въ «темномъ царствѣ» идеальной русской семьи, выведенной на сцену драмъ Островскаго.

II.

Катерина, жена молодого купца, Тихона Кабанова, живетъ съ мужемъ въ домѣ своей свекрови, которая постоянно ворчитъ на всѣхъ и на всѣхъ. Дети старой Кабанихи, Тихонъ и Катерина, давно прислушались къ этому брюзжанью и умѣютъ его «мимо ушей пропускать». Въ основаніи, что «ей вѣдь что-нибудь говорить». Но Катерина никакъ не можетъ привыкнуть къ манерамъ своей свекрови и постоянно страдаетъ отъ ея разговоровъ. Въ этомъ городѣ, въ которомъ живутъ Кабановы, живетъ молодой человѣкъ, Борисъ Григорьевичъ, получившій порядочное образованіе. Онъ влюбленъ въ Катерину въ церкви и на улице, а Катерина съ своей стороны влюблена въ него, но желаетъ сохранить въ себѣ всю добродѣтель. Тихонъ уѣзжаетъ куда-то въ недѣлю; Варвара по добродушію помогаетъ Борису видѣться съ Катериной, и влюбленная наслаждается полнымъ счастьемъ и влюбленіи десяти лѣтнихъ ночей. Пріѣзжаетъ Тихонъ; Катерина терзается угрызеніями совѣсти, худѣетъ и блѣднѣетъ; потомъ ее постигаетъ гроза, которую она принимаетъ за выраженіе небеснаго гнѣва; въ это же время смутные слова полоумной барыни о гееннѣ вѣчной; все это она принимаетъ на свой счетъ; потомъ при народѣ она бросается передъ отцомъ на колѣни и признается ему въ своей вѣснѣ, по приказанію своей матери, «по немощи», послѣ того какъ они вернулись домой; старая Кабаниха съ удвоеннымъ упорствомъ принялась точить покаявшуюся грѣшницу и правоученіями; къ Катеринѣ пришли крѣпкій домашній караулъ, однако не успѣвъ убѣжать изъ дома: она встрѣтилась

съ своимъ любовникомъ и узнала отъ него, что онъ, по приказанію дяди, уѣзжаетъ въ Кяхту;—потомъ тотчасъ послѣ этого свиданія она бросилась въ Волгу и утонула. Вотъ тѣ данныя, на основаніи которыхъ мы должны составить себѣ понятіе о характерѣ Катерины. Я далъ моему читателю голый перечень такихъ фактовъ, которые въ моемъ разсказѣ могутъ показаться слишкомъ рѣзкими, безсвязными и въ общей совокупности даже неправдоподобными. Что это за любовь, возникающая отъ обиды нѣсколькихъ взглядовъ? Что это за суровая добродѣтель, сдающаяся при первомъ удобномъ случаѣ? Наконецъ что это за самоубійство, вызванное такими мелкими непріятностями, которыя переносятся совершенно благополучно всѣми членами всѣхъ русскихъ семействъ.

Я передалъ факты совершенно вѣрно, но разумеется я не могъ передать въ нѣсколькихъ строкахъ тѣ оттѣнки въ развитіи дѣйствія, которые, смягчая вѣшнюю рѣзкость очертаній, заставляютъ читателя или зрителя видѣть въ Катеринѣ не выдумку автора, а живое лицо, дѣйствительно способное сдѣлать всѣ вышеозначенныя эксцентричности. Читая «Грозу», или смотря ее на сценѣ, вы ни разу не усомнитесь въ томъ, что Катерина должна была поступать въ дѣйствительности именно такъ, какъ она поступаетъ въ драмѣ. Вы увидите передъ собой и поймете Катерину, но разумеется поймете ее такъ или иначе, смотря по тому, съ какой точки зрѣнія вы на нее посмотрите. Всякое живое явленіе отличается отъ мертвой отвлеченности именно тѣмъ, что его можно разсматривать съ разныхъ сторонъ, и, выходя изъ однихъ и тѣхъ же основныхъ фактовъ, можно приходить къ различнымъ и даже къ противоположнымъ заключеніямъ. Катерина испытала на себѣ много разнообразныхъ приговоровъ; нашлись моралисты, которые обличили ее въ безнравственности; это было всего легче сдѣлать: стоило только слышать каждый поступокъ Катерины съ предписаніями положительнаго закона и подвести итоги; на эту работу не требовалось ни остроумія, ни глубокомыслія, и поэтому ее дѣйствительно исполнили съ блестящимъ успѣхомъ писатели, не отличающіеся ни тѣмъ, ни другимъ изъ этихъ достоинствъ; потомъ явились эстетики и рѣшили, что Катерина—свѣтлое явленіе; эстетики разумеется стояли неизмѣримо выше неумолимыхъ поборниковъ благочинія, и поэтому первыхъ выслушали съ уваженіемъ, между тѣмъ какъ послѣднихъ тотчасъ же осмѣяли. Во главѣ эстетиковъ стоялъ Добролюбовъ, постоянно преслѣдовавшій эстетическихъ критиковъ своими ироническими и справедливыми насмѣшками. Въ приговорѣ надъ Катериной онъ сошелся съ своими всегдашними противниками и сошелся потому, что, подобно имъ, сталъ восхищаться общимъ впечатлѣніемъ вмѣсто того, чтобы подвергнуть

это впечатлѣніе спокойному анализу. Въ каждомъ изъ поступковъ Катерины можно отыскать привлекательную сторону; Добролюбовъ отыскалъ эти стороны, сложилъ ихъ вмѣстѣ, составилъ изъ нихъ идеальный образъ, увидалъ вслѣдствіе этого «лучъ свѣта въ темномъ царствѣ» и, какъ человѣкъ, полный любви, обрадовался этому лучу чистой и святой радостью гражданина и поэта. Если-бы онъ не поддавался этой радости, если-бы онъ на одну минуту попробовалъ взглянуть спокойно и внимательно на свою драгоценную находку, то въ его умѣ тотчасъ родился бы самый простой вопросъ, который немедленно привелъ бы за собой полное разрушеніе привлекательной иллюзіи. Добролюбовъ спросилъ бы самого себя: какъ могъ сложиться этотъ свѣтлый образъ? Чтобы отвѣтить себѣ на этотъ вопросъ, онъ прослѣдилъ бы жизнь Катерины съ самаго дѣтства, тѣмъ болѣе, что Островскій даетъ на это нѣкоторые матеріалы; онъ увидалъ бы, что воспитаніе и жизнь не могли дать Катеринѣ ни твердаго характера, ни развитого ума; тогда онъ еще разъ взглянулъ бы на тѣ факты, въ которыхъ ему бросилась въ глаза одна привлекательная сторона, и тутъ вся личность Катерины представилась бы ему въ совершенно другомъ свѣтѣ. Грустно разставаться съ свѣтлой иллюзіей, а дѣлать нечего; пришлось бы и на этотъ разъ удовлетвориться темной дѣйствительностью.

III.

Во всѣхъ поступкахъ и ощущеніяхъ Катерины замѣтна прежде всего рѣзкая несоразмѣрность между причинами и слѣдствіями. Каждое внѣшнее впечатлѣніе потрясаетъ весь ея организмъ; самое ничтожное событіе, самый пустой разговоръ производятъ въ ея мысляхъ, чувствахъ и поступкахъ цѣлые перевороты. Кабаниха ворчитъ—Катерина отъ этого изнываетъ; Борисъ Григорьевичъ бросаетъ нѣжные взгляды—Катерина влюбляется; Варвара говоритъ мимоходомъ нѣсколько словъ о Борисѣ—Катерина заранѣе считаетъ себя погибшей женщиной, хотя она до тѣхъ поръ даже не разговаривала съ своимъ будущимъ любовникомъ; Тихонъ отлучается изъ дома на нѣсколько дней—Катерина падаетъ передъ нимъ на колѣни и хочетъ, чтобы онъ взялъ съ нея страшную клятву въ супружеской вѣрности. Варвара даетъ Катеринѣ ключъ отъ калитки,—Катерина, подержавшись за этотъ ключъ впродолженіи пяти минутъ, рѣшаетъ, что она непременно увидитъ Бориса, и кончаетъ свой монологъ словами: «ахъ, какъ-бы ночь поскорѣе!» А между тѣмъ даже и ключъ-то былъ данъ ей преимущественно для любовныхъ интересовъ самой Варвары, и въ началѣ своего монолога Катерина находила даже, что ключъ жжетъ ей руки и что его непременно слѣдуетъ бросить. При свиданіи съ Борисомъ конечно повторяется

та-же исторія; сначала «поди прочь, окаянный человѣкъ», а вслѣдъ затѣмъ на шею кидается. Пока продолжаются свиданія Катерина думаетъ только о томъ, что «погуляемъ»; какъ только пріѣзжаетъ Тихонъ и вслѣдствіе этого ночныя прогулки прекращаются, Катерина начинаетъ терзаться угрызѣніями совѣсти и доходитъ въ этомъ направленіи до полусумасшествія; а между тѣмъ Борисъ живетъ въ томъ-же городѣ, все идетъ по-старому, и, прибѣгая къ маленькимъ хитростямъ и предосторожностямъ, можно было-бы кое-когда видѣться и наслаждаться жизнью. Но Катерина ходитъ, какъ потерянная, и Варвара очень основательно боится, что она бухнется мужу въ ноги, да и расскажетъ ему все по порядку. Такъ оно и выходитъ, и катастрофу эту производить стеченіе самыхъ пустыхъ обстоятельствъ. Грянулъ громъ, Катерина потеряла послѣдній остатокъ своего ума, а тутъ еще прошла по сценѣ полоумная барыня съ двумя лакеями и произнесла всенародную проповѣдь овѣчныхъ мученій; а тутъ еще на стѣнѣ въ крытой галереѣ нарисовано адское пламя и все это одно къ одному—ну, посудите сами, какъ-же въ самомъ дѣлѣ Катеринѣ не рассказать мужу тутъ-же при Кабанихѣ и при всей городской публикѣ, какъ она провела во время отсутствія Тихона всѣ десять ночей. Окончательная катастрофа, самоубійство, точно также происходитъ экспромптомъ. Катерина убѣгаетъ изъ дому съ неопредѣленной надеждой увидать своего Бориса; она еще не думаетъ о самоубійствѣ; она жалѣетъ о томъ, что прежде убивали, а теперь не убиваютъ; она спрашиваетъ: «долго-ли еще мнѣ мучиться?» Она находитъ неудобнымъ, что смерть не является; «ты, говоритъ, ее кличешь а она не приходитъ». Ясно стало-быть, что рѣшеніе на самоубійство еще нѣтъ, потому что въ противномъ случаѣ не о чемъ было-бы толковать. Но вотъ, пока Катерина разсуждаетъ такимъ образомъ, является Борисъ; происходитъ нѣжное свиданіе. Борисъ говоритъ: «ѣду».—Катерина спрашиваетъ: куда ѣдешь?—Ей отвѣчаютъ: «далеко, Катя, въ Сибирь».—Возьми меня съ собой отсюда!—«Нельзя мнѣ, Катя». Послѣ этого разговоръ становится уже менѣе интереснымъ и переходитъ въ обмѣнъ взаимныхъ нѣжностей. Потомъ, когда Катерина остается одна, она спрашиваетъ себя: «куда теперь? домой идти?» и отвѣчаетъ: «нѣтъ, мнѣ что домой, что въ могилу—все равно». Потомъ слово «могила» наводитъ ее на новый рядъ мыслей, и она начинаетъ разсматривать могилу съ чисто-эстетической точки зрѣнія, съ которой впрочемъ людямъ до сихъ поръ удавалось смотрѣть только на чужія могилы. «Въ могилѣ, говоритъ, лучше... Подъ деревцомъ могилушка... какъ хорошо!.. Солнышко ее грѣетъ, дождикомъ ее мочить... весной на ней травка вырастаетъ, мягкая такая... птицы прилетятъ на дерево, будутъ пѣть,

дѣтей выведутъ, цвѣточки расцвѣтутъ: желтенькіе, красненькіе, голубенькіе... всякіе, всякіе». Это поэтическое описаніе могилы совершенно очаровываетъ Катерину, и она объявляетъ, что «объ жизни и думать не хочется». При этомъ, увлекаясь эстетическимъ чувствомъ, она даже совершенно упускаетъ изъ виду геену огненную, а между тѣмъ она вовсе равнодушна къ этой послѣдней мысли, потому что въ противномъ случаѣ не было-бы сцены публичнаго покаянія въ грѣхахъ, не было-бы отъѣзда Бориса въ Сибирь, и вся исторія о ночныхъ прогулкахъ осталась-бы шитой и крытой. Но въ послѣднія свои минуты Катерина до такой степени забываетъ о загробной жизни, что даже складываетъ руки крестъ на крестъ, какъ въ гробу складываютъ, и, дѣлая это движеніе руками, она даже тутъ не сближаетъ идеи о самоубійствѣ съ идеей о геенѣ огненной. Такимъ образомъ дѣлается прыжокъ въ Волгу, и драма оканчивается.

IV.

Вся жизнь Катерины состоитъ изъ постоянныхъ внутреннихъ противорѣчій; она ежеминутно кидается изъ одной крайности въ другую; она сегодня раскалывается въ томъ, что дѣлала вчера, и между тѣмъ сама не знаетъ, что будетъ дѣлать завтра; она на каждомъ шагѣ путается и свою собственную жизнь и жизнь другихъ людей; наконецъ, перепутавши все, что было у нея подъ руками, она разрубаетъ затянувшіеся узлы самымъ глупымъ средствомъ, самоубійствомъ, да еще такимъ самоубійствомъ, которое является совершенно неожиданно для нея самой. Эстетики не могли не замѣтить того, что бросается въ глаза во всемъ поведеніи Катерины; противорѣчія и негѣпности слишкомъ очевидны, но зато ихъ можно назвать красивымъ именемъ: можно сказать, что въ нихъ выражается страстная, нѣжная и искренняя натура. Страстность, нѣжность, искренность—все это очень хорошія свойства, но крайней мѣрѣ все это очень красивые слова, а такъ какъ главное дѣло заключается въ словахъ, то и нѣтъ резона, чтобы не объявить Катерину свѣтлымъ явленіемъ и не придти отъ нея въ восторгъ. Я совершенно согласенъ съ тѣмъ, что всѣ противорѣчія и негѣпности ея поведенія объясняются именно этими свойствами. Но что-же это значитъ? Значитъ, что поле моего анализа слѣдуетъ расширить; разбирая личность Катерины, слѣдуетъ имѣть въ виду страстность, нѣжность и искренность вообще и кромѣ того тѣ понятія, которыя господствуютъ въ обществѣ и въ литературѣ на счетъ этихъ свойствъ человѣческаго организма. Если-бы я не зналъ заранее, что задача моя расширится такимъ образомъ, то я и не принялся-бы за эту статью. Очень нужно въ самомъ дѣлѣ драму, написанную слишкомъ три года тому назадъ, разбирать для того, чтобы доказать публикѣ, какимъ образомъ Добролю-

бовъ ошибся въ оцѣнкѣ одного женскаго характера. Но тутъ дѣло идетъ объ общихъ вопросахъ нашей жизни, а о такихъ вопросахъ говорить всегда удобно, потому что они всегда стоятъ на очереди и всегда рѣшаются только на время. Эстетики подводятъ Катерину подъ известную мѣрку, и я вовсе не намѣренъ доказывать, что Катерина не подходитъ подъ эту мѣрку; Катерина-то подходитъ, да мѣрка-то никуда не годится, и всѣ основанія, на которыхъ стоитъ эта мѣрка, тоже никуда не годятся; все это должно быть совершенно передѣлано, и хотя разумѣется я не справлюсь одинъ съ этой задачей, однако лепту свою внесу.

Мы до сихъ поръ при оцѣнкѣ явленій нравственнаго міра ходимъ ощупью и дѣйствуемъ наугадъ; по привычкѣ мы знаемъ, что такое грѣхъ; по уложенію о наказаніяхъ мы знаемъ, что такое преступленіе; но когда намъ приходится ориентироваться въ безконечныхъ лѣсахъ тѣхъ явленій, которыя не составляютъ ни грѣха, ни преступленія, когда намъ приходится разсматривать напримѣръ качества человѣческой природы, составляющія задатки и основанія будущихъ поступковъ, тогда мы идемъ всѣ въ размынную и аукаемся изъ разныхъ угловъ этой дубравы, т. е. сообщаемъ другъ другу наши личные вкусы, которые чрезвычайно рѣдко могутъ имѣть какой-нибудь общій интересъ. Каждое человѣческое свойство имѣетъ на всѣхъ языкахъ по крайней мѣрѣ по два названія, изъ которыхъ одно порицательное, а другое хвалительное,—скудость и бережливость, трусость и осторожность, жестокость и твердость, глупость и невинность, вранье и поэзія, дряблость и нѣжность, взбалмошность и страстность и такъ далѣе до безконечности. У каждаго отдѣльнаго человѣка есть въ отношеніи къ нравственнымъ качествамъ свой особенный лексиконъ, который почти никогда не сходится вполне съ лексиконами другихъ людей. Когда вы напримѣръ одного человѣка называете благороднымъ энтузіастомъ, а другого безумнымъ фанатикомъ, то вы сами конечно понимаете вполне, что вы хотите сказать, но другіе люди понимаютъ васъ только приблизительно, а иногда могутъ и совсѣмъ не понимать. Есть вѣдь такіе озорники, для которыхъ коммунистъ Вабефъ былъ благороднымъ энтузіастомъ, но зато есть и такіе мудрецы, которые австрійскаго министра Шмерлинга назовутъ безумнымъ фанатикомъ. И тѣ, и другіе будутъ употреблять одни и тѣ-же слова, и тѣми-же самыми словами будутъ пользоваться всѣ люди безчисленныхъ промежуточныхъ отгѣнковъ. Какъ вы тутъ поступите, чтобы открыть живое явленіе изъ-подъ груды набросанныхъ словъ, которыя на языкѣ каждаго отдѣльнаго человѣка имѣютъ свой особенный смыслъ? Что такое благородный энтузіазмъ? Что такое безумный фанатикъ? Это пустые звуки, не соотвѣтствующіе никакому определенному пред-

ставленію. Эти звуки выражают отношеніе говорящаго лица къ неизвѣстному предмету, который остается совершенно неизвѣстнымъ во все время разговора и послѣ его окончанія. Чтобы узнать, что за человѣкъ былъ коммунистъ Бабефъ и что за человѣкъ Шмерлингъ, надо разувѣться отодвинуть въ сторону всѣ приговоры, произнесенные надъ этими двумя личностями различными людьми, выражавшими въ этомъ случаѣ свои личные вкусы и свои политическія симпатіи. Надо взять сырые факты во всей ихъ сырости, и чѣмъ они сырѣе, чѣмъ меньше они замаскированы хвалительными или порицательными словами, тѣмъ больше мы имѣемъ шансовъ уловить и понять живое явленіе, а не безцвѣтную фразу. Такъ поступаетъ мыслящій историкъ. Если онъ, располагая обширными свѣдѣніями, будетъ избѣгать увлеченія фразами, если онъ къ человѣку и ко всѣмъ отраслямъ его дѣятельности будетъ относиться не какъ патриотъ, не какъ либераль, не какъ энтузіастъ, не какъ эстетикъ, а просто какъ натуралистъ, то онъ навѣрное съумѣетъ дать опредѣленные и объективные отвѣты на многіе вопросы, рѣшавшіеся обыкновенно красивымъ волненіемъ возвышенныхъ чувствъ. Обиды для человѣческаго достоинства тутъ не произойдетъ никакой, а польза будетъ большая, потому что вмѣсто ста возовъ вранья получится одна горсть настоящаго знанія. А одна остроумная поговорка утверждаетъ совершенно справедливо, что лучше получить маленькій деревянный домъ, чѣмъ большую каменную болѣзнь.

V.

Мыслящій историкъ трудится и размышляетъ конечно не для того, чтобы приклеить тотъ или другой ярлыкъ къ тому или другому историческому имени. Стоитъ-ли въ самомъ дѣлѣ тратить трудъ и время для того, чтобы съ полнымъ убѣжденіемъ называть Сидора мошенникомъ, а Филимона добродѣтельнымъ отцомъ семейства? Историческія личности любопытны только, какъ крупныя образчики нашей породы, очень удобныя для изученія и очень способныя служить матеріалами для общихъ выводовъ антропологій. Разсматривая ихъ дѣятельность, измѣряя ихъ вліяніе на современниковъ, изучая тѣ обстоятельства, которыя помогали или мѣшали исполненію ихъ намѣреній, мы изъ множества отдѣльныхъ и разнообразныхъ фактовъ выводимъ неопровержимыя заключенія объ общихъ свойствахъ человѣческой природы, о степени ея измѣняемости, о вліяніи климатическихъ и бытовыхъ условій, о различныхъ проявленіяхъ національныхъ характеровъ, о зарожденіи и распространеніи идей и вѣрованій и наконецъ, что всего важнѣе, мы подходимъ къ рѣшенію того вопроса, который въ послѣднее время блистательнымъ образомъ поставилъ знаменитый Бокль. Вотъ въ чемъ состоитъ этотъ вопросъ: какая

сила или какой элементъ служитъ основаніемъ и важнѣйшимъ двигателемъ человѣческаго прогресса? Бокль отвѣчаетъ на этотъ вопросъ просто и рѣшительно. Онъ говоритъ: чѣмъ больше реальныхъ знаній, тѣмъ сильнѣе прогрессъ; чѣмъ больше человѣкъ изучаетъ видимыя явленія и чѣмъ меньше предается фантазіямъ, тѣмъ удобнѣе онъ устраиваетъ свою жизнь и тѣмъ быстрѣе одно усовершенствованіе быта смѣняется другимъ. — Ясно, смѣло и просто! Такимъ образомъ дѣльные историки путемъ терпѣливаго изученія идутъ къ той-же цѣли, которую должны имѣть въ виду всѣ люди, рѣшающіеся заявлять въ литературѣ свои сужденія о различныхъ явленіяхъ нравственной и умственной жизни человѣчества.

Каждый критикъ, разбирающій какой-нибудь литературный типъ, долженъ въ своей ограниченной сферѣ дѣятельности прикладывать къ дѣлу тѣ самые приемы, которыми пользуется мыслящій историкъ, разсматривая міровыя событія и разставляя по мѣстамъ великихъ и сильныхъ людей. Историкъ не восхищается, не умиляется, не негодуетъ, не фразерствуетъ, и всѣ эти патологическія отклоненія такъ же неприличны въ критикѣ, какъ и въ историкѣ. Историкъ разлагаетъ каждое явленіе на его составныя части и изучаетъ каждую часть отдѣльно, и потомъ, когда извѣстны всѣ составныя элементы, тогда и общій результатъ оказывается понятнымъ и неизбѣжнымъ; что казалось раньше анализа ужаснымъ преступленіемъ или непостижимымъ подвигомъ, то оказывается, послѣ анализа простымъ и необходимымъ слѣдствіемъ данныхъ условій. Точно такъ-же слѣдуетъ поступать критику; вмѣсто того, чтобы плакать надъ несчастіями героевъ и героинь, вмѣсто того, чтобы сочувствовать одному, негодовать противъ другого, восхищаться третьимъ, лѣзть на стѣны по поводу четвертаго, критикъ долженъ сначала проплакаться и пробѣсноваться про себя, а потомъ, вступая въ разговоръ съ публикой, долженъ обстоятельно и разсудительно сообщить ей свои размышленія о причинахъ тѣхъ явленій, которыя вызываютъ въ жизни слезы, сочувствіе, негодованіе или восторги. Онъ долженъ объяснять явленія, а не восхвалять ихъ; онъ долженъ анализировать, а не лицедействовать. Это будетъ болѣе полезно и менѣе раздражительно.

Если историкъ и критикъ пойдутъ оба по одному пути, если оба они будутъ не болтать, а размышлять, то оба придутъ къ однимъ и тѣмъ же результатамъ. Между частной жизнью человѣка и исторической жизнью человѣчества есть только количественная разница. Одни и тѣ же законы управляютъ обоими порядками явленій точно такъ-же, какъ одни и тѣ же химическіе и физическіе законы управляютъ и развитіемъ простой кѣлочки, и развитіемъ человѣческаго

на. Прежде господствовало мнѣніе, будто естественный дѣятель долженъ вести себя совершенно такъ, какъ частный человѣкъ. Что въ частномъ человѣкѣ считалось мошенничествомъ, въ естественномъ дѣятелѣ называлось политическою мудростью. Съ другой стороны то, что въ естественномъ дѣятелѣ считалось предосудительною слабостью, то въ частномъ человѣкѣ считалось трогательною мягкостью души. Существовало такимъ образомъ для однихъ и тѣхъ и для другихъ два рода справедливости, два рода гуманности, — всего по два. Теперь дуализмъ, раздвоенность изъ всѣхъ своихъ убѣжищъ, не удержаться и въ этомъ мѣстѣ, въ которой личность его особенно очевидна и въ которой онъ надѣлалъ очень много практическихъ ошибокъ. Теперь умные люди начинаютъ понимать, что простая справедливость составляетъ самую мудрую и самую выгодную политику; съ другой стороны они понимаютъ, что естественная жизнь не требуетъ ничего кромѣ справедливости; потоки слезъ и конвульсивныя извращенія такъ же безобразны въ частной жизни, какъ и на сценѣ историческаго романа; и безобразны они въ томъ и другомъ случаѣ единственно потому, что вредны, доставляютъ одному человѣку или многимъ боль, невыкупаемую никакимъ благомъ.

Естественная грань, поставленная между естественнымъ и частнымъ, разрушается по мѣрѣ того, какъ исчезаетъ естественность со всѣми своими предразсудками и предубѣждениями. Въ сознаніи мыслящихъ людей эта грань уже разрушена, и на сценѣ историческаго романа и историческаго критика и историка могутъ и приходятъ къ однимъ и тѣмъ же результатамъ. Историческія личности и простые люди могутъ быть измѣряемы одной мѣркой. Въ историческомъ романѣ можетъ быть названо свѣтлымъ не потому, что оно правится или не правится историческому, а потому, что оно ускользаетъ отъ задерживающей развѣтви человѣческаго разума. Въ историческомъ романѣ бесплодно свѣтленіе; что бесплодно, то не свѣтло, — на сценѣ историческаго романа не должно обращать вниманія; въ историческомъ романѣ очень усердно били мухъ на лбу свѣтлості естественности, въ историческомъ романѣ свѣтлості естественности были бы тотъ исторический романъ, который сталъ бы благодарить этихъ добрыхъ медвѣдей за чистоту ихъ намыливаній. Стрѣчаясь съ примѣромъ медвѣжьей естественности, исторический романъ долженъ только замѣтить, что естественности естественности, а не доброты естественности. Долженъ описать, глубока ли была рана, и какъ подѣйствовало это на весь организмъ пациента, и какъ вылились въ слѣдствіе этого дальнѣйшія отклоненія между пустыннымъ и медвѣдемъ. Ну,

а что такое медвѣдь? Медвѣдь ничего; онъ свое дѣло сдѣлалъ. Хватилъ камнемъ по лбу — и успокоился. Съ него взятки гладки. Ругать его не слѣдуетъ — во-первыхъ потому, что это ни къ чему не ведетъ; а во-вторыхъ, не за что: потому — глупъ. Ну, а хвалить его за непорочность сердца и подавно не резонъ; во-первыхъ, — не стоитъ благодарности: вѣдь лобъ-то все-таки разбитъ; а во-вторыхъ — опять-таки онъ глупъ, такъ ва какого же чорта годится его непорочность сердца.

Такъ какъ я случайно попалъ на басню Крылова, то мимоходомъ любопытно будетъ замѣтить, какъ простой здравый смыслъ сходится иногда въ своихъ сужденіяхъ съ тѣми выводами, которые даютъ основательное научное изслѣдованіе и широкое философское мышленіе. Три басни Крылова, о медвѣдѣ, о музыкантахъ, которые «немножечко дерутъ, зато ужъ въ ротъ хмѣльного не берутъ», и о судѣ, который попадетъ въ рай за глупость, — три эти басни, говорю я, написаны на ту мысль, что сила ума важнѣе, чѣмъ безукоризненная нравственность. Видно, что эта мысль была особенно мила Крылову, который разумѣется могъ замѣчать вѣрность этой мысли только въ явленіяхъ частной жизни. И эту же самую мысль Бокль возводитъ въ мировую историческую законъ. Русскій баснописецъ образовавшійся на мѣдныхъ деньгахъ и навѣрное считавшій Карамзина величайшимъ историкомъ XIX вѣка, говоритъ по своему то-же самое, что высказалъ передовой мыслитель Англіи, вооруженный наукой. Это я замѣчаю не для того, чтобы похвастаться русской смѣтливостью, а для того, чтобы показать, до какой степени результаты разумной и положительной науки соответствуютъ естественнымъ требованіямъ неиспорченного незасореннаго человѣческаго ума. Кромѣ того эта неожиданная встрѣча Бокля съ Крыловымъ можетъ служить примѣромъ того согласія, которое можетъ и должно существовать, во-первыхъ — между частной жизнью и историческою, а въ слѣдствіе этого, во-вторыхъ — между историкомъ и критикомъ. Если добродушный дѣдушка Крыловъ могъ сойтись съ Боклемъ, то критикомъ, живущимъ во второй половинѣ XIX вѣка и обнаруживающимъ притязанія на смѣлость мысли и на широкое развитіе ума, такимъ критикомъ, говорю я, и подавно слѣдуетъ держаться съ непоколебимой послѣдовательностью за тѣ приемы и идеи, которые въ наше время сближаютъ историческое изученіе съ естественнымъ знаніемъ. Наконецъ, если Бокль слишкомъ уменъ и головоломъ для нашихъ критиковъ, пусть они держатся за дѣдушку Крылова, пусть проводятъ въ своихъ изслѣдованіяхъ о нравственныхъ достоинствахъ человѣка простую мысль, выраженную такими незатѣйливыми словами: «услужливый дуракъ опаснѣе врага». Если бы только одна эта мысль, понятная пятилѣтнему

ребенку, была проведена въ нашей критикѣ съ надлежащей послѣдовательностью, то во всѣхъ нашихъ воззрѣніяхъ на нравственные достоинства произошелъ бы радикальный переворотъ, и пристрастная эстетика давнымъ-давно отправилась-бы туда-же, куда отправились алхимія и метафизика.

VI.

Наша частная жизнь запружена до нельзя красивыми чувствами и высокими достоинствами, которыми всякій порядочный человѣкъ старается запастись для своего домашняго обихода и которымъ всякій свидѣтельствуетъ свое вниманіе, хотя никто не можетъ сказать, чтобы они когда-нибудь кому-бы то ни было доставили малѣйшее удовольствіе. Было время, когда лучшими атрибутами физической красоты считалась въ женщинѣ интересная блѣдность лица и непостижимая тонкость талія; барышни пили уксусъ и перетягивались такъ, что у нихъ трещали ребра и спиралось дыханіе; много здоровья было уничтожено по милости этой эстетики и по всей вѣроятности эти своеобразныя понятія о красотѣ еще не вполне уничтожились и теперь, потому что Льюисъ возстаетъ противъ корсетовъ въ своей физиологій, а Чернышевскій заставляетъ Вѣру Павловну упомянуть о томъ, что она, сдѣлавшись умной женщиной, перестала шнуроваться. Такимъ образомъ физическая эстетика очень часто идетъ въ разрѣзъ съ требованіями здраваго смысла, съ предписаніями элементарной гигиены и даже съ инстинктивнымъ стремленіемъ человѣка къ удобству и комфорту. «Il faut souffrir pour être belle», говорила въ былое время молодая дѣвушка, и всѣ находили, что она говоритъ святую истину, потому что красота должна существовать сама по себѣ ради красоты, совершенно независимо отъ условій, необходимыхъ для здоровья, для удобства и наслажденія жизнью. Критики, не освободившіеся отъ вліянія эстетики, сходятся съ обожателями интересной блѣдности и тонкихъ талій вмѣсто того, чтобы сдѣлаться съ естественными и мыслящими историками. Надо сознаться, что даже лучшіе изъ нашихъ критиковъ, Бѣлинскій и Добролюбовъ, не могли оторваться окончательно отъ эстетическихъ традицій. Осуждать ихъ за это было-бы нелѣпно, потому что надо-же помнить, какъ много они сдѣлали для уясненія всѣхъ нашихъ понятій, и надо-же понимать, что не могутъ два человѣка отработать за насъ всю нашу работу мысли. Но, не осуждая ихъ, надо видѣть ихъ ошибки и прокладывать новые пути въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ старая тропинка уклоняется въ сторону и въ болото.

Относительно анализа «свѣтлыхъ явленій» зась не удовлетворяетъ эстетика ни своимъ красивымъ негодованіемъ, ни своимъ искусственно подогрѣтымъ восторгомъ. Ея бѣлила и румяна тутъ остаются не при чемъ. Натуралистъ, гово-

ря о человѣкѣ, назоветъ свѣтлымъ явленіемъ нормально развитый организмъ; историкъ дастъ это названіе умной личности, понимающей свои выгоды, знающей требованія своего времени и вслѣдствіе этого работающей всѣми силами для развитія общаго благосостоянія; критикъ имѣетъ право видѣть свѣтлое явленіе только въ томъ человѣкѣ, который умѣетъ быть счастливымъ, т. е. приносить пользу себѣ и другимъ, и умѣя жить и дѣйствовать при неблагоприятныхъ условіяхъ, понимаетъ въ то же время ихъ неблагоприятность и по мѣрѣ силъ своихъ старается переработать эти условія къ лучшему. И натуралистъ, и историкъ, и критикъ согласятся между собой въ томъ пунктѣ, что необходимымъ свойствомъ такого свѣтлаго явленія долженъ быть сильный и развитый умъ; тамъ, гдѣ нѣтъ этого свойства, тамъ не можетъ быть и свѣтлыхъ явленій. Натуралистъ скажетъ вамъ, что нормально развитый человѣческій организмъ необходимо долженъ быть одаренъ здоровымъ мозгомъ, а здоровый мозгъ также неизбежно долженъ мыслить правильно, какъ здоровый желудокъ долженъ переваривать пищу; если-же этотъ мозгъ разслабленъ отсутствіемъ упражненія неси такимъ образомъ человѣкъ, умный отъ природы, притупленъ обстоятельствами жизни, то весь разсматриваемый субъектъ уже не можетъ считаться нормально развитымъ организмомъ, точно такъ-же, какъ не можетъ имъ считаться человѣкъ, ослабившій свой слухъ или свое зрѣніе. Такого человѣка натуралистъ не назоветъ свѣтлымъ явленіемъ, хотя-бы этотъ человѣкъ пользовался желѣзнымъ здоровьемъ и лошадиной силой. Историкъ скажетъ вамъ... но вы и сами знаете, что онъ вамъ скажетъ; ясное дѣло, что умъ для исторической личности такъ-же необходимъ, какъ жабры и плавательныя перья для рыбы; умъ тутъ не замѣнить никакими эстетическими ингредиентами; это можетъ быть единственная истина, неопровержимо доказанная всѣмъ историческимъ опытомъ нашей породы. Критикъ докажетъ вамъ, что только умный и развитый человѣкъ можетъ оберегать себя и другихъ отъ страданій при тѣхъ неблагоприятныхъ условіяхъ жизни, при которыхъ существуетъ огромное большинство людей на земномъ шарѣ; кто не умѣетъ сдѣлать ничего для облегченія своихъ и чужихъ страданій, тотъ ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть названъ свѣтлымъ явленіемъ; тотъ — трутень, можетъ быть очень милый, очень граціозный, симпатичный, но все это такія неосвязаемые и неясныя качества, которыя доступны только вниманію людей, обожаящихъ интересную блѣдность и тонкія таліи. Облегчая жизнь себѣ и другимъ, умный и развитый человѣкъ не ограничивается этимъ; онъ кромѣ того въ большей или меньшей степени, сознательно или невольно перерабатываетъ эту жизнь и приготовляетъ переходъ къ лучшимъ условіямъ существованія. Умная и раз-

житая личность, сама того не замѣчая, дѣйствуетъ на все, что къ ней прикасается; ея мысли, ея занятія, ея гуманное обращеніе, ея спокойная твердость, — все это шевелитъ вокругъ нея стоячую воду человѣческой рутины; кто уже не въ силахъ развиваться, тотъ по крайней мѣрѣ уважаетъ въ умной и развитой личности хорошаго человѣка, а людямъ очень полезно уважать то, что дѣйствительно заслуживаетъ уваженія; но кто молодъ, кто способенъ полюбить идею, кто ищетъ возможности развернуть силы своего свѣжаго ума, тотъ, сблизившись съ умной и развитой личностью, можетъ быть начать новую жизнь, полную обаятельнаго труда и неистощимаго наслажденія. Если предполагаемая свѣтлая личность дастъ такимъ образомъ обществу двухъ-трехъ молодыхъ работниковъ, если она внушитъ двумъ-тремъ старикамъ невольное уваженіе къ тому, что они прежде осмѣивали и притѣсняли, то неужели вы скажете, что такая личность ровно ничего не сдѣлала для облегченія перехода къ лучшимъ идеямъ и къ болѣе сноснымъ условіямъ жизни? Мнѣ кажется, что она сдѣлала въ малыхъ размѣрахъ то, что дѣлаютъ въ большихъ размѣрахъ величайшія историческія личности. Разница между ними заключается только въ количествѣ силъ, и потому оцѣнивать ихъ дѣятельность можно и должно посредствомъ одинаковыхъ пріемовъ. Такъ вотъ какіе должны быть «лучи свѣта» — не Катеринѣ чета.

VII.

«Яйца курицу не учатъ», — говоритъ нашъ народъ, — и такъ эта поговорка ему по душѣ припала, что онъ твердитъ ее съ утра до вечера, словами и поступками, отъ моря и до моря. И передаетъ онъ ее потомству, какъ священное наслѣдство, и благодарное потомство, пользуясь ею, въ свою очередь созидаетъ на ней величественное зданіе семейнаго чинопочитанія. И поговорка эта не теряетъ своей силы, потому что она всегда употребляется кстати; а кстати потому, что ее употребляютъ только старшіе члены семейства, которые не могутъ ошибаться, которые всегда оказываются правыми и которые следовательно всегда дѣйствуютъ благотворительно и разсуждаютъ поучительно. Ты — яйцо безсознательное и долженъ пребывать въ своей безотвѣтной невинности до тѣхъ поръ, пока самъ не сдѣлаешься курицей. Такимъ образомъ пятидесятилѣтнія куры разсуждаютъ съ тридцатилѣтними яйцами, которыя съ пеленокъ выучились понимать и чувствовать все, что такъ коротко и такъ величественно внушается имъ безсмертная поговорка. Великое изреченіе народной мудрости дѣйствительно выражаетъ въ четырехъ словахъ весь принципъ нашей семейной жизни. Принципъ этотъ дѣйствуетъ еще съ полной силой въ тѣхъ слояхъ нашего народа, которые считаются чисто-русскими.

Только въ молодости человѣкъ можетъ развить и воспитать тѣ силы своего ума, которыя потомъ будутъ служить ему въ зрѣломъ возрастѣ; что не развилось въ молодости, то остается неразвитымъ на всю жизнь; следовательно если молодость проводится подъ скорлупой, то и умъ, и воля человѣка остаются навсегда въ положеніи замороженнаго зародыша; и наблюдателю, смотрящему со стороны на этотъ курятникъ, остается только изучать различныя проявленія человѣческаго уродства. Каждый новорожденный ребенокъ втискивается въ одну и ту же готовую форму, а разнообразіе результатовъ происходитъ, во-первыхъ отъ того, что не всѣ дѣти рождаются одинаковыми, а во-вторыхъ отъ того, что для втискиванія употребляютъ различныя пріемы. Одинъ ребенокъ ложится въ форму тихо и благоговая, а другой барахтается и кричитъ благимъ матомъ; одного ребенка бросаютъ въ форму со всего размаху, да еще потомъ держатъ въ формѣ за вихоръ; а другого кладутъ помаленьку, полегоньку и при этомъ поглаживаютъ по головкѣ и пряникомъ обольщаютъ. Но форма все-таки одна и та же, и не въ укоръ будь сказано искателямъ свѣтлыхъ явленій — уродованіе идетъ всегда надлежащимъ порядкомъ; такъ какъ жизнь не шевелитъ и не развиваетъ ума, то человѣческія способности глохнутъ и искажаются какъ при воспитаніи палкой, такъ и при воспитаніи лаской. Въ первомъ случаѣ получается типъ, который я для краткости назову карликами, во второмъ получаютъ также уроды, которыхъ можно назвать вѣчными дѣтьми. Когда ребенка ругаютъ, порятъ и всячески огорчаютъ, тогда онъ съ самыхъ малыхъ лѣтъ начинаетъ чувствовать себя одинокимъ. Какъ только ребенокъ начинаетъ понимать себя, такъ онъ пріучается надѣяться только на свои собственные силы; онъ находится въ постоянной войнѣ со всѣмъ, что его окружаетъ; ему дремать нельзя; чуть оплошаешь, тотчасъ лишишься всякаго удовольствія, да еще валетятъ на тебя со всѣхъ сторонъ ругательства, затрепичины и даже весьма серьезныя непріятности въ видѣ многочисленныхъ и полновѣсныхъ ударовъ розгами. Гимнастика для дѣтскаго ума представляется постоянная, и каждый безграмотный мальчишка, выдержанный въ ежовыхъ рукавицахъ свирѣлымъ родителемъ, удивитъ своими дипломатическими талантами любого благовоспитаннаго мальчишка, способнаго уже восхищаться, по Корнелію Непоту, доблестями Аристиды и непреклоннымъ характеромъ Катона. Умъ разовьется на столько, на сколько это необходимо для того, чтобы обдѣлывать практическія дѣлишки: тамъ надуть, тутъ поклониться въ поясъ, здѣсь прижать, въ другомъ мѣстѣ въ амбицію вломиться, въ третьемъ — добрымъ малымъ прикинуться, — все это будетъ исполнено самымъ отчетливымъ манеромъ, по-

тому что вся эта механика усвоена во времена нѣжнаго дѣтства. Но выйти изъ колен этой механики умъ уже не можетъ; надуется онъ десять разъ, проведетъ и выведетъ, будетъ лгать и вывертываться, будетъ постоянно обходить препятствія, на которыя постоянно будетъ натываться; но обдумать заранѣе планъ дѣйствій, разсчитать вѣроятности успѣха, предусмотрѣть и устранить препятствія заблаговременно, словомъ, связать въ головѣ длинный рядъ мыслей, логически вытекающихъ одна изъ другой, — этого вы отъ нашего субъекта не ждите. Умственного творчества вы въ немъ также не найдете; практическое изобрѣтеніе, созданіе новой машины или новой отрасли промышленности возможно только тогда, когда у человѣка есть знанія, а знаній у нашего карлика нѣтъ никакихъ; онъ не знаетъ ни свойствъ того матеріала, который онъ обрабатываетъ, ни потребностей тѣхъ людей, для которыхъ онъ работаетъ. Шитье онъ, положимъ, чемоданъ изъ кожи; кожа скверно выдѣлана и трескается; ну, значитъ чемоданъ надо вычернить, чтобы подъ краской трещины были незаметны; и рѣшительно ни одному карлику въ голову не придетъ: а нельзя-ли какъ-нибудь такъ выдѣлывать кожу, чтобы она не трескалась? Да и не можетъ придти; чтобы замазать трещину черной краской, не пужно ровно никакихъ знаній и почти никакого труда мысли; а для того, чтобы сдѣлать малѣйшее усовершенствованіе въ выдѣлкѣ кожъ, надо по крайней мѣрѣ всматриваться въ то, что имѣешь подъ руками, и обдумывать то, что видишь. Но мы никогда не были заражены такими мыслительными слабостями; поэтому мы разработали у себя барышничество и надувательство до высокой степени художественности, а всѣ науки мы принуждены приводить къ себѣ изъ-за границы; другими словами, мы постоянно обирали удобства жизни другъ у друга, но производительность нашей земли мы не сумѣли увеличить ни на одинъ мѣдный грошъ. Не зная свойствъ предметовъ, карликъ не знаетъ и самого себя: онъ не знаетъ ни своихъ силъ, ни своихъ наклонностей, ни своихъ желаній; поэтому онъ цѣнитъ себя только по вѣншему успѣху своихъ предпріятій; онъ мѣняется въ своихъ собственныхъ глазахъ, какъ акція сомнительнаго достоинства, которой курсъ колеблется на биржѣ; штука удалась, барышъ въ карманѣ, — тогда онъ великій человѣкъ, тогда онъ возносится выше нарцательной цѣны и даже выше облака ходячаго; штука лопнула, капиталъ улетучился, — тогда онъ червь, подлецъ, поношеніе человѣковъ; тогда онъ умоляетъ васъ, чтобы вы на него плюнули, да только оказали бы ему участіе. И хоть-бы это было по крайней мѣрѣ притворство, хоть бы онъ прикидывался несчастнымъ для того, чтобы разжалобить васъ, все было бы легче; а то вѣдь нѣтъ — дѣйствительно раздавленъ и уничтоженъ, дѣйствительно

паль въ своихъ собственныхъ глазахъ оттого, что потерпѣлъ убытокъ или другую неудачу; немудрено, что карликъ отвертывается отъ друзей своихъ, когда они въ несчастіи; онъ и отъ самого себя радъ былъ-бы отвернуться, да жаль, некуда.

Все это понятно; только сознательное уваженіе человѣка къ самому себѣ даетъ ему возможность спокойно и весело переносить всѣ мелкія и крупныя непріятности, которыя не сопровождаются сильной физической болью; а чтобы сознательно уважать самого себя и чтобы находить въ этомъ чувствѣ высшее наслажденіе, человѣку надо предварительно поработать надъ собой, очистить свой мозгъ отъ разнаго мусора, сдѣлаться полнымъ хозяиномъ своего внутренняго міра, обогатить этотъ міръ кое-какими знаніями и идеями и наконецъ, изучивши самого себя, найти себѣ въ жизни разумную, полезную и пріятную дѣятельность. Когда все это будетъ сдѣлано, тогда человѣку будетъ понятно удовольствіе быть самимъ собой, удовольствіе класть на каждый поступокъ печать своей просвѣтленной и обогороженной личности, удовольствіе жить въ своемъ внутреннемъ мірѣ и постоянно увеличивать богатство и разнообразіе этого міра. Тогда человѣкъ почувствуетъ, что это высшее удовольствіе можетъ быть отнято у него только сумасшествіемъ или постояннымъ физическимъ мученіемъ; и это величественное сознаніе полной независимости отъ мелкихъ огорченій въ свою очередь сдѣлается причиной гордой и мужественной радости, которую опять-таки ничто не можетъ ни отнять, ни отравить. Сколько минутъ чистѣйшаго счастья пережилъ Лопуховъ въ те время, когда, отрываясь отъ любимой женщины, онъ собственноручно устраивалъ ей счастье съ другимъ человѣкомъ? Тутъ была обаятельная смѣсь тихой грусти и самого высокаго наслажденія, но наслажденіе далеко перевѣшивало грусть, такъ что это время напряженной работы ума и чувства навѣрное оставило послѣ себя въ жизни Лопухова неизгладимую полосу самаго яркаго свѣта. А между тѣмъ какъ все это кажется непонятнымъ и неестественнымъ для тѣхъ людей, которые никогда не испытали наслажденія мыслить и жить въ своемъ внутреннемъ мірѣ. Эти люди убѣждены самымъ добросовѣстнымъ образомъ, что Лопуховъ — невозможная и неправдоподобная выдумка, что авторъ романа «Что дѣлать?» только прикидывается, будто понимаетъ ощущенія своего героя, и что всѣ пустозвоны, сочувствующіе Лопухову, морочатъ себя и стараются обморочить другихъ совершенно бессмысленными потоками словъ. И это совершенно естественно. Кто способенъ понимать Лопухова и сочувствующихъ ему пустозвоновъ, тотъ самъ — и Лопуховъ, и пустозвонъ, потому что рыба ищетъ гдѣ глубже, а человѣкъ гдѣ лучше.

Замѣчательно, что высокое удовольствіе самоуваженія въ большей или меньшей степени доступно и понятно всѣмъ людямъ, развившимъ въ себѣ способность мыслить, хотя бы эта способность привела ихъ потомъ къ чистымъ и простымъ истинамъ естествознанія; или напротивъ того къ туманнымъ и произвольнымъ фантазіямъ философскаго мистицизма. Матеріалисты и идеалисты, скептики и догматики, эпикурейцы и стоики, раціоналисты и мистики—всѣ сходятся между собой, когда идетъ рѣчь о высшемъ благѣ, доступномъ человѣку на землѣ и независимомъ отъ вѣншихъ и случайныхъ условій. Всѣ говорятъ объ этомъ благѣ въ различныхъ выраженіяхъ, всѣ подходятъ къ нему съ разныхъ сторонъ, всѣ называютъ его разными именами, но отодвинуте въ сторону слова и метафоры и вы вездѣ увидите одно и то же содержаніе. Одни говорятъ, что человѣкъ долженъ убить въ себѣ страсти, другіе — что онъ долженъ управлять ими, третьи — что онъ долженъ облагородить ихъ, четвертые — что онъ долженъ развить свой умъ и что тогда все пойдетъ, какъ по маслу. Пути различные, но цѣль вездѣ одна и та же, — чтобы человѣкъ пользовался душевнымъ миромъ, какъ говорятъ одни, — чтобы въ его существѣ царствовала внутренняя гармонія, какъ говорятъ другіе, чтобы совѣсть его была спокойна, какъ говорятъ третьи, — или наконецъ, если брать самыя простыя слова, — чтобы человѣкъ постоянно былъ доволенъ самимъ собой, чтобы онъ могъ сознательно любить и уважать самого себя, чтобы онъ во всѣхъ обстоятельствахъ жизни могъ положиться на самого себя, какъ на своего лучшаго друга, всегда неизмѣннаго и всегда правдиваго.

Если всѣ мыслители понимаютъ и цѣнятъ чувство самоуваженія, то мы въ этомъ отношеніи никакъ не должны считать мыслителями всѣхъ людей, читающихъ и пишущихъ философскія сочиненія. Рутинеръ, буквоѣдъ и филлистеръ, къ какой-бы школѣ онъ не принадлежалъ и какой-бы наукой онъ не занимался, всегда будетъ работать по обязанности службы, никогда не почувствуетъ наслажденія въ процессѣ мысли и поэтому никогда не составитъ себѣ понятія о чарующей прелести самоуваженія. Дѣло въ томъ, что все можно обратить въ механику. У насъ обращено въ механику искусство надувательства, а въ Западной Европѣ со времени средневѣковой схоластики въ механику превратилось искусство писать ученые трактаты, рыться въ фолиантахъ и получать самымъ добросовѣстнымъ образомъ докторскіе дипломы, не переставая вѣрить въ колдовство или въ алхимию. Записка рутини такъ сильна, что многіе вѣмцы и англичане находятъ возможнымъ заниматься естественными науками, не переставая быть во своему міросозерцанію чисто средневѣковыми субъектами. Отъ этого выходятъ презабавные эпи-

зоды. Напримѣръ знаменитый англійскій анатомъ Ричардъ Оуэнъ (прошу не смѣшивать съ социалистомъ Робертомъ Оуэномъ) упорно не желаетъ видѣть въ мозгу обезьяны одну особенную штучку (аммоніевы рога), потому что существованіе этой штучки у обезьяны кажется ему оскорбительнымъ для челоѣческаго достоинства. Ему показываютъ, Гексли изъ себя выходитъ, а тотъ такъ и остается при своемъ. Не вижу, да и только. Любопытно также послушать, какъ Карлъ Фохтъ бесѣдуетъ съ Рудольфомъ Вагнеромъ, чрезвычайно замѣчательнымъ физиологомъ и въ то же время еще болѣе замѣчательнымъ филлистеромъ. Но Оуэнъ и Вагнеръ во всякомъ случаѣ превосходные изслѣдователи; они смотрятъ во всѣ глаза и сильно работаютъ мозгомъ, когда вопросъ не слишкомъ близко подходитъ къ ихъ сердечнымъ симпатіямъ. Напряженное вниманіе и размышленіе все-таки могутъ расшевелить и развить умъ настолько, что чувство самоуваженія сдѣлается понятнымъ и драгоценнымъ. А есть и второстепенные Оуэны и Вагнеры; во всѣхъ философскихъ и научныхъ лагеряхъ есть мародеры и паразиты, которые не только не создаютъ мыслей сами, но даже не передумываютъ чужихъ мыслей, а только затверживаютъ ихъ, чтобы потомъ разбавлять готовые темы ушатами воды и составлять такимъ образомъ статьи или книги. Этимъ людямъ чувство самоуваженія разумѣется останется навсегда неизвѣстнымъ.

Мы видимъ такимъ образомъ, что мыслители всѣхъ школъ понимаютъ одинаково высшее и неотъемлемое благо челоѣка; мы видимъ кромѣ того, что это благо дѣйствительно доступно только тѣмъ изъ мыслителей, которые въ самомъ дѣлѣ работаютъ умомъ, а не тѣмъ, которые повторяютъ съ тупымъ уваженіемъ слѣпыхъ адептовъ великія мысли учителей. Выводъ простъ и ясенъ. Не школа, не философскій догматъ, не буква системы, не истина дѣлаютъ челоѣка существомъ разумнымъ, свободнымъ и счастливымъ. Его облагораживаетъ, его ведетъ къ наслажденію только самостоятельная умственная дѣятельность, посвященная безкорыстному исканію истины и неподчиненная рутиннымъ и мелочнымъ интересамъ повседневной жизни. Чѣмъ-бы не пробудили вы эту самостоятельную дѣятельность, чѣмъ-бы вы ни занимались—геометріей, филологіей, ботаникой, все равно—лишь-бы только вы начали мыслить. Въ результатѣ все-таки получится расширеніе внутренняго міра, любовь къ этому міру, стремленіе очистить его отъ всякой грязи и наконецъ незамѣнимое счастье самоуваженія. Значитъ, все-таки умъ дороже всего, или вѣрнѣе умъ—все. Я съ разныхъ сторонъ доказывалъ эту мысль и можетъ быть надобѣ читателю повтореніями, но вѣдь мысль-то ужъ больно драгоценная. Ничего въ ней нѣтъ новаго, но если бы

мым усиленным образом и руками, и ногами, и мозгами. Разнообразное движение совершенно соответствовало самым прихотливым требованиям неугомонной нервной системы; это движение так завлекло нас и так полюбилось намъ, что мы занимаемся имъ теперь съ самымъ страстнымъ усердіемъ, совершенно теряя изъ виду исходную точку этого процесса. Мы серьезно думаемъ, что любимъ изящное, любимъ науку, любимъ истину, а на самомъ дѣлѣ мы любимъ только цѣлость нашего хрупкаго организма; да и не любимъ даже, а просто повинемся слѣпо и невольно закону необходимости, дѣйствующему во всей цѣпи органическихъ созданий, начиная отъ какого-нибудь гриба и кончая какимъ-нибудь Гейне или Дарвиномъ.

IX.

Если чувство самосохраненія, дѣйствуя въ нашей породѣ, вызвало на свѣтъ всѣ чудеса цивилизации, то разумѣется это чувство, возбужденное въ ребенкѣ, будетъ въ малыхъ размѣрахъ дѣйствовать въ немъ въ томъ-же направленіи. Чтобы привести въ движеніе мыслительныя способности ребенка, необходимо возбудить и развить въ немъ ту или другую форму чувства самосохраненія. Ребенокъ начнетъ работать мозгомъ только тогда, когда въ немъ проснется какое-нибудь стремленіе, которому онъ пожелаетъ удовлетворить, а всѣ стремленія безъ исключенія вытекаютъ изъ одного общаго источника, именно изъ чувства самосохраненія. Воспитателю предстоитъ только выборъ той формы этого чувства, которую онъ пожелаетъ возбудить и развить въ своемъ воспитанникѣ. Образованный воспитатель выберетъ тонкую и положительную форму, т. е. стремленіе къ наслажденію; а воспитатель полудикій поневолѣ возьметъ грубую и отрицательную форму, т. е. отвращеніе къ страданію; второму воспитателю нѣтъ выбора; стало-быть очевидно надо или сѣчь ребенка, или помириться съ той мыслью, что въ немъ всѣ стремленія останутся непробужденными и что умъ его будетъ дремать до тѣхъ поръ, пока жизнь не начнетъ толкать и швырять его по своему. Ласковое воспитаніе хорошо и полезно только тогда, когда воспитатель умѣетъ возбудить въ ребенкѣ высшія и положительныя формы чувства самосохраненія, т. е. любовь къ полезному и къ истинному, стремленіе къ умственнымъ занятіямъ и страстное влеченіе къ труду и къ знанію. У тѣхъ людей, для которыхъ эти хорошія вещи не существуютъ, ласковое воспитаніе есть не что иное, какъ медленное развращеніе ума посредствомъ бездѣйствія. Умъ спитъ годъ, два, десять лѣтъ и наконецъ доспится до того, что даже толчки дѣйствительной жизни перестаютъ возбуждать его. Человѣку не все равно, когда начать развиваться съ пятилѣтія или съ двадцати лѣтъ. Въ двадцать лѣтъ и обстоятельства встрѣчаются

не тѣ, да и самъ человѣкъ уже не тотъ. Не имѣя возможности справиться съ обстоятельствами, двадцатилѣтній ребенокъ поневолѣ подчиняется имъ, и жизнь начнетъ кидать это пассивное существо изъ стороны въ сторону, а ужъ тутъ плохо развиваться, потому что когда на охоту ѣдутъ, тогда собакъ поздно кормить. И выйдетъ изъ человѣка ротозѣй и тряпка, интересный страдалецъ и невинная жертва. Когда ребенокъ не затронутъ никакими стремленіями, когда дѣйствительная жизнь не подходитъ къ нему ни въ видѣ угрожающей розги, ни въ видѣ тѣхъ обязательныхъ и серьезныхъ вопросовъ, которые она задаетъ человѣческому уму,—тогда мозгъ не работаетъ, а постоянно играетъ разными представленіями и впечатлѣніями. Эта безцѣльная игра мозга называется фантазіей и кажется даже считается въ психологіи особенной силой души. На самомъ-же дѣлѣ эта игра есть простое проявленіе мозговой силы, непристроенной къ дѣлу. Когда человѣкъ думаетъ, тогда силы его мозга сосредоточиваются на опредѣленномъ предметѣ и слѣдовательно регулируются единствомъ цѣли; а когда нѣтъ цѣли, тогда готовой мозговой силѣ все-таки надо-же куда-нибудь дѣваться; ну, и начинается въ мозгу такое движеніе представленій и впечатлѣній, которое относится къ мыслительной дѣятельности такъ, какъ насвистываніе какого-нибудь мотива относится къ оперному пѣнію передъ многочисленной и взыскательной публикой. Размышленіе есть трудъ, требующій участія воли, трудъ невозможный безъ опредѣленной цѣли, а фантазія есть совершенно невольное отпаиваніе, возможное только при отсутствіи цѣли. Фантазія—сонъ на яву; поэтому и существуютъ на всѣхъ языкахъ для обозначенія этого понятія такія слова, которыя самымъ тѣснымъ образомъ связаны съ повѣтѣмъ о снѣ; по-русски—греза, по-французски—*rêverie*, по-нѣмецки—*Träumerie*, по-англійски—*day dream*. Очень понятно, что спать днемъ и притомъ спать на яву можетъ только такой человѣкъ, которому нечего дѣлать и который не умѣетъ употребить свое время ни на то, чтобы улучшить свое положеніе, ни на то, чтобы освѣжить свои нервы дѣятельнымъ наслажденіемъ. Чтобы быть фантазеромъ, вовсе не нужно имѣть темпераментъ особеннаго устройства; всякій ребенокъ, у котораго нѣтъ никакихъ заботъ и у котораго очень много досуга непременно сдѣлается фантазеромъ; фантазія родится тогда, когда жизнь пуста и когда нѣтъ никакихъ дѣйствительныхъ интересовъ; эа мысль оправдывается какъ въ жизни цѣлыхъ народовъ, такъ и въ жизни отдѣльных личностей. Если эстетики будутъ превозносить развитіе фантазіи, какъ свѣтлое и отрадное явленіе, то этимъ они обнаружатъ только свою привязанность къ пустотѣ и свое отвращеніе къ тому, что дѣйствительно возникаетъ человѣка; или еще проще, они докажутъ

они чрезвычайно лѣнны и что умъ не переноситъ серьезной работы. Впрочемъ обстоятельство уже ни для кого не тайны.

Х.

Жизнь, предоставленная своимъ собственнищамъ, вырабатываетъ карликовъ и дѣтей. Первые дѣлаютъ зло активное, пассивное; первые больше мучаютъ другихъ, страдаютъ сами, вторые больше страдаютъ, чѣмъ мучаютъ другихъ. Впрочемъ карлики вовсе не наслаждаются своимъ счастьемъ, а съ другой стороны эти причиняютъ часто другимъ очень нны страданія; только дѣлаютъ они это по трогательной невинности или, что непреходимой глупости. Карлики страстью и мелкостью ума, а вѣчные ственной спячкой, и вслѣдствіе этого нмъ отсутствіемъ здраваго смысла. По арликовъ наша жизнь изобилуетъ грязными комедіями, которыя разыгрываются каждый день, въ каждомъ семействѣ, сдѣлкахъ и отношеніяхъ между людьми вѣчныхъ дѣтей, эти грязныя когда заканчиваются глупыми трагическими. Карликъ ругается и дерется, иетъ при этихъ дѣйствіяхъ благоуметливости, чтобы не надѣлать себѣ и чтобы не вынести сора изъ избы. ебенюкъ все терпитъ и все печалится, какъ прорветъ его, онъ и хватить за жъ такъ хватить, что или самого себя, собесѣдника уложить на мѣстѣ. Послѣ стный соръ разумѣется не можетъ ося избѣ и препровождается въ уголову. Простая драка превратилась въ драчество, и трагедія вышла такая же акая была предшествовавшая ей ко-

тики понимаютъ дѣло иначе; въ ихъ сѣла очень глубоко старая пѣнтика, ающая писать трагедіи высокимъ сло- медіи—среднимъ и, смотря по обстоя- ю, даже низкимъ; эстетики помнятъ умираетъ въ трагедіи насильственной они знаютъ, что трагедія непременно роизводитъ впечатлѣніе возвышенное, ожетъ возбуждать ужасъ, но не пре- что несчастный герой долженъ прико- себѣ вниманіе и сочувствіе зрителей. то предисанія пѣнтики они и прикла- къ обсужденію тѣхъ словесныхъ и ру- сиватокъ, которыя составляютъ мо- жеты нашихъ драматическихъ произ- стетики отрещиваются и отплевы- гь преданій старой пѣнтики; они не , ни одного случая посмѣяться надъ емъ и Буало и заявить свое собствен-

ное превосходство надъ ложно-классическими теоріями, а между тѣмъ именно эти одражѣвшія преданія составляютъ до сихъ поръ все со- держаніе эстетическихъ приговоровъ. Эстети- камъ и въ голову не приходитъ, что трагиче- ское происшествіе почти всегда бываетъ такъ же глупо, какъ и комическое, и что глупость можетъ составлять единственную пружину раз- нообразнѣвшихъ драматическихъ коллизій. Какъ только дѣло переходитъ отъ простой бесѣды къ уголовному преступленію, такъ эстетики тотчасъ приходятъ въ смущеніе и спрашиваютъ себя, кому-жъ они будутъ сочувствовать, и какое выра- женіе изобразить они на своихъ физиономіяхъ— ужасъ или негодованіе, или глубокую задумчи- вость, или торжественную грусть? Но вообще надо имъ найти, во-первыхъ, предметъ для сочув- ствія, а во-вторыхъ,—возвышенное выраженіе для собственной физиономіи. Иначе нельзя и гово- рить о трагическомъ происшествіи.

Однако, что же въ самомъ дѣлѣ, думаетъ чи- татель, вѣдь не смѣяться-же, когда люди ли- шаютъ себя живота или перегрызаютъ другъ другу горло? О, мой читатель, кто васъ заста- вляетъ смѣяться? Я такъ-же мало понимаю смѣхъ при видѣ нашихъ комическихъ глупостей, какъ и возвышенныя чувства при видѣ нашихъ трагическихъ пошлостей; совсѣмъ не мое дѣло, и вообще не дѣло критика предписывать читателю, что онъ долженъ чувствовать; не мое дѣло го- ворить вамъ: позвольте, сударь, улыбнуться,— потрудитесь, сударыня, вздохнуть и возвести очи къ небу. Я беру все, что пишется нашими хоро- шими писателями,—романы, драмы, комедіи, что угодно,—я беру все это, какъ сырые матеріалы, какъ образчики нашихъ нравовъ; я стараюсь анализировать всѣ эти разнообразныя явленія, я замѣчаю въ нихъ общія черты, я отыскиваю связь между причинами и слѣдствіями, и при- хожу такимъ путемъ къ тому заключенію, что всѣ наши тревоженія и драматическія коллизіи обусловливаются исключительно слабостью на- шей мысли и отсутствіемъ самыхъ необходимыхъ знаній, то есть, говоря короче, глупостью и не- вѣжествомъ. Жестокость семейнаго деспота, фа- натизмъ старой ханжи, несчастная любовь дѣ- вушки къ негодю, кротость терпѣливой жертвы семейнаго самовластія, порывы отчаянія, рев- ность, корыстолюбіе, мошенничество, буйный разгулъ, воспитательная розга, воспитательная ласка, тихая мечтательность, восторженная чув- ствительность—вся эта пестрая смѣсь чувствъ, качествъ и поступковъ, возбуждающихъ въ груди пламеннаго эстетика цѣлую бурю высокихъ ощу- щеній, вся эта смѣсь сводится, по моему мнѣнію, къ одному общему источнику, который, сколько мнѣ кажется, не можетъ возбуждать въ насъ ровно никакихъ ощущений, ни высокихъ, ни низ- кихъ. Все это различныя проявленія неисчерпае- мой глупости.

Добрые люди будутъ горячо спорить между собою о томъ, что въ этой смѣси хорошо и что дурно; вотъ это, скажутъ, добродѣтель, а вотъ это порокъ; но безплоденъ будетъ весь споръ добрыхъ людей: нѣтъ тутъ ни добродѣтелей, ни пороковъ, нѣтъ ни звѣрей, ни ангеловъ. Есть только хаосъ и темнота, есть непониманіе и неумѣнье понимать. Надъ чѣмъ-же тутъ смѣяться, противъ чего тутъ негодовать, чему тутъ сочувствовать? Что тутъ долженъ дѣлать критикъ? Онъ долженъ говорить обществу и сегодня, и завтра, и послѣ-завтра, и десять лѣтъ подрядъ, и сколько хватить его силъ и его жизни, — говорить, не боясь повтореній, говорить такъ, чтобы его понимали, говорить постоянно, что народъ нуждается только въ одной вещи, въ которой заключаются уже всѣ остальные блага человѣческой жизни. Нуждается онъ въ движеніи мысли, а это движеніе возбуждается и поддерживается пріобрѣтеніемъ знаній. Пусть общество не сбивается съ этой прямой и единственной дороги къ прогрессу, пусть не думаетъ, что ему надо пріобрѣсти какія-нибудь добродѣтели, привить къ себѣ какія-нибудь похвальные чувства, запастись тонкостью вкуса, или вытвердить кодексъ либеральныхъ убѣжденій. Все это мыльные пузыри, все это дешевая поддѣлка настоящаго прогресса, все это болотные огоньки, заводящіе насъ въ трясину возвышеннаго краснорѣчія, все это бесѣды о честиности зищуна и о необходимости почвы, и ото всего этого мы не дождемся ни одного луча настоящаго свѣта. Только живая и самостоятельная дѣятельность мысли, только прочныя и положительныя знанія обновляютъ жизнь, разгоняютъ тѣноту, уничтожаютъ глупые пороки и глупыя добродѣтели и такимъ образомъ выметаютъ соръ изъ избы, не перенося его въ уголовную палату. Но не думайте пожалуйста, что народъ найдетъ свое спасеніе въ тѣхъ знаніяхъ, которыми обладаетъ наше общество и которыя рассыпаютъ щедрой рукой книжки, продающіяся теперь для блага младшихъ братьевъ по пятаку и по гривнѣ. Если вѣсто такого просвѣщенія мужикъ купитъ себѣ калачъ, то онъ докажетъ этимъ поступкомъ, что онъ гораздо умнѣе составителя книжки и самъ могъ-бы многому научить послѣдняго.

Дерзость наша равняется только нашей глупости, и только глупостью нашей можетъ быть объяснена и оправдана. Мы — просвѣтителѣ народа?!. Что это — невинная шутка, или ядовитая насмѣшка? Да сами-то мы что такое? Не правда-ли, какъ мы много знаемъ, какъ мы основательно мыслимъ, какъ превосходно мы наслаждаемся жизнью, какъ умно мы установили наши отношенія къ женщинамъ, какъ глубоко мы повели необходимость работать на пользу общую? Да можно-ли перечислить всѣ наши достоинства? Вѣдь мы такъ безподобны, что, когда намъ покажутъ издали, въ романѣ, поступки и размыш-

ленія умнаго и развитого человѣка, то сейчасъ въ ужасъ придемъ и глаза зажмемъ потому что примемъ неискраженный чуждый образъ за чудовищное явленіе. Вотъ такъ чуждолюбны, что, великодушно ваяя свою собственную неумность, лѣзея премѣнно умывать нашими грязными младшихъ братьевъ, о которыхъ болитъ нѣжная душа и которые, само собою раз-ся, выпачканы также до помраченія чуждаго образа. И усердно нажемъ мы руками по грязнымъ лицамъ, и великими трудами, и пламенна наша любовь, во-первыхъ къ чуждымъ братьямъ, а во-вторыхъ — пятакамъ и гривнамъ, и чуждолюбныя движенія техныхъ просвѣтителей могутъ съ самымъ удобствомъ продолжаться вилото-ро-го пришествія не нанося ни малѣйшаго тому надежному слою грязи, который своимъ безпристрастіемъ украшаетъ какъ-то ливныя руки учителей, такъ и неподвижныя учениковъ. Глядя на чудеса нашего народа, поневолѣ прибѣгнешь къ языку божественнаго Полонскаго:

Тебѣ ли съ рыломъ
Суконымъ да въ гостинный рядъ.

Лучшіе наши писатели очень хорошо ствуютъ, что рыло у насъ дѣйствительно-ное и что въ гостинный рядъ намъ по-дѣ-дѣть не зачѣмъ. Они понимаютъ, что имъ слѣдуетъ учиться и развиваться и что имъ-ними должно учиться то русское общество-торое для красоты слога называетъ себя зованнымъ. Они видятъ очень ясно двѣ-первое — то, что наше общество, при те-немъ уровнѣ своего образованія, совершенно и слѣдовательно неспособно про-въ понятіяхъ и правахъ народа ни малѣ-измѣненія ни въ дурную, ни въ хорошую-рону, а второе — то, что еслибы даже, по-ни-нибудь необъяснимому стеченію случаевъ-теперешнему обществу удалось переработать-родъ по своему образу и подобию, то это-бы для народа истиннымъ несчастіемъ.

Чувствуя, понимая и видя все это, наши писатели, люди, дѣйствительно мыс-обращаются до сихъ поръ исключительно-обществу, а книжки для народа пишутся-литературными промышленниками, котор-другое время стали-бы издавать сонники-выны собранія пѣсенъ московскихъ цыганъ-такое чистое и святое дѣло, какъ воскрес-школы, оказывается еще сомнительнымъ. ге-невъ совершенно справедливо замѣчае-своемъ послѣднемъ романѣ, что мужикъ-рилъ съ Базаровымъ, какъ съ несмысли-ребенкомъ, и смотрѣлъ на него, какъ на-горохового. Пока на сто квадратныхъ ми-детъ приходится по одному Базарову, да-врядъ ли, до тѣхъ поръ всѣ, и сермяжники

деятельности, будут считать Базаровых вздорными мальчишками и смѣшными чудаками. Пока динь Базаровъ окруженъ тысячами людей, неспособныхъ его понимать, до тѣхъ поръ Базарову лѣзутъ сидѣть за микроскопомъ и рѣзать лягушекъ, и печатать книги и статьи съ анатомическими рисунками. Микроскопъ и лягушка—еще невинныя и занимательныя, а молодежь—ародъ любопытный; ужъ если Павелъ Петровичъ Кирсановъ не утерпѣлъ, чтобы не взглянуть на инфузорию, глотавшую зеленую пылинку, то молодежь и подавно не утерпитъ, и не только взглянетъ, а постарается завести себѣ свой микроскопъ и незамѣтно для самой себя проникнется глубочайшимъ уваженіемъ и пламенной любовью къ распластанной лягушкѣ. А только это и нужно. Тутъ-то именно, въ самой лягушкѣ-то, и заключаются спасеніе и обновленіе русскаго народа. Ей-Богу, читатель, я не шучу и не потѣшаю васъ парадоксами. Я выражаю только безъ торжественности такую истину, въ которой я глубоко убѣжденъ и въ которой гораздо раньше меня убѣдились самыя свѣтлыя головы въ Европѣ и слѣдовательно во всемъ воздушномъ мірѣ. Вся сила здѣсь въ томъ, что на поводу разрѣзанной лягушки чрезвычайно удрено приходитъ въ восторгъ и говорить такія фразы, въ которыхъ понимаешь одну десятую часть, а иногда и еще того меньше. Пока мы, въ дѣйствіе историческихъ обстоятельствъ, спали невиннымъ сномъ грудного ребенка, до тѣхъ поръ фразерство не было для насъ опасно; теперь, когда наша слабая мысль начинаетъ понемногу проясняться, фразы могутъ на долго задержать и изуродовать наше развитіе. Стало быть, если наша молодежь съумѣетъ вооружиться неприкрытой ненавистью противъ всякой фразы, кѣмъ-бы она ни была произнесена, Шатобриана или Прудонъ, если она выучится отыскивать вездѣ живое явленіе, а не ложное отраженіе этого явленія въ чужомъ сознаниі, то мы будемъ имѣть полное основаніе рассчитывать на довольно нормальное и быстрое улучшеніе нашихъ мозговъ. Конечно эти расчеты могутъ быть совершенно перепутаны историческими обстоятельствами, но объ этомъ я не говорю, потому что тутъ голосъ критики совершенно безсиленъ. Но придетъ время,—и оно уже вовеки недалеко,—когда вся умная часть молодежи, безъ различія сословія и состоянія, будетъ жить полной умственной жизнью и смотрѣть на вещи беспристрастно и серьезно. Тогда молодой земледѣлецъ поставитъ свое хозяйство на европейскую ногу; тогда молодой капиталистъ заведетъ тѣ фабрики, которыя намъ необходимы, и устроитъ ихъ такъ, какъ того требуютъ общіе интересы хозяина и работниковъ; и этого довольно; хорошая ферма и хорошая фабрика, при рациональной организаціи труда, составляютъ лучшую и единственную возможную школу для

народа, во-первыхъ потому, что эта школа кормитъ своихъ учениковъ и учителей, а во-вторыхъ потому, что она сообщаетъ знаніе не по книгѣ, а по явленіямъ живой дѣйствительности. Книга придетъ въ свое время, устроить школы при фабрикахъ и при фермахъ будетъ такъ легко, что это уже сдѣлается само собою.

Вопросъ о народномъ трудѣ заключается въ себѣ всѣ остальные вопросы и самъ не заключается ни въ одномъ изъ нихъ; поэтому надо постоянно имѣть въ виду именно этотъ вопросъ и не развлекаться тѣми второстепенными подробностями, которыя всѣ будутъ устроены, какъ только подвинется впередъ главное дѣло. Не даромъ Вѣра Павловна заводитъ мастерскую, а не школу, и не даромъ тотъ романъ, въ которомъ описывается это событіе, носитъ заглавіе: «Что дѣлать?» Тутъ дѣйствительно дается нашимъ прогрессистамъ самая вѣрная и вполне осуществимая программа дѣятельности. Много-ли, мало-ли времени придется намъ идти къ нашей цѣли, заключающейся въ томъ, чтобы обогатить и просвѣтить нашъ народъ,—объ этомъ бесполезно спрашивать. Это—вѣрная дорога, и другой вѣрной дороги нѣтъ. Русская жизнь, въ самыхъ глубокихъ своихъ нѣдрахъ, не заключаетъ рѣшительно никакихъ задатковъ самостоятельнаго обновленія; въ ней лежатъ только сырые матеріалы, которые должны быть оплодотворены и переработаны вліяніемъ общечеловѣческихъ идей; русскій человѣкъ принадлежитъ къ высшей, кавказской расѣ; стало-быть, всѣ миллионы русскихъ дѣтей, неискалѣченныхъ элементами нашей народной жизни, могутъ сдѣлаться и мыслящими людьми, и здоровыми членами цивилизованнаго общества. Разумѣется, такой колоссальный умственный переворотъ требуетъ времени. Онъ начался въ кругу самыхъ дѣльных студентовъ и самыхъ просвѣщенныхъ журналистовъ. Сначала были свѣтлыя личности, стоявшія совершенно одиноко; было время, когда Вѣлинскій воплощалъ въ себѣ всю сумму свѣтоносныхъ идей, находившихся въ нашемъ отечествѣ; теперь, испытавши по дорогѣ много видоизмѣненій, одинокая личность русскаго прогрессиста разрослась въ цѣлый типъ, который нашелъ уже себѣ свое выраженіе въ литературѣ и который называется или Базаровымъ, или Лопуховымъ. Дальнѣйшее развитіе умственнаго переворота должно идти такъ-же, какъ шло его начало; оно можетъ идти скорѣе или медленнѣе, смотря по обстоятельствамъ, но оно должно идти все одной и той-же дорогой.

XI.

Не ждите и не требуйте отъ меня, читатель, чтобы я теперь сталъ продолжать начатый анализъ характера Катерины. Я такъ откровенно и такъ подробно высказалъ вамъ свое мнѣніе о

цѣломъ порядкѣ явленій «темнаго царства» или, говоря проще, семейнаго курятника,—что мнѣ теперь осталось-бы только прикладывать общія мысли къ отдѣльнымъ лицамъ и положеніямъ; мнѣ пришлось-бы повторять то, что я уже высказалъ, а это была-бы работа очень не головоломная, и вслѣдствіе этого очень скучная и совершенно безполезна. Если читатель находитъ идеи этой статьи справедливыми, то онъ вѣроятно согласится съ тѣмъ, что всѣ новые характеры, выводимые въ нашихъ романахъ и драмахъ, могутъ относиться или къ базаровскому типу, или къ разряду карликовъ и вѣчныхъ дѣтей. Отъ карликовъ и отъ вѣчныхъ дѣтей ждать нечего; новаго они ничего не произведутъ; если вамъ покажется, что въ ихъ мірѣ появился новый характеръ, то вы смѣло можете утверждать, что это—оптический обманъ. То, что вы въ первую минуту примите за новое, скоро окажется очень старымъ; это просто—новая помѣсь карлика съ вѣчнымъ ребенкомъ, а какъ ни смѣшивайте эти два элемента, какъ ни разбавляйте одинъ видъ тупоумія другимъ видомъ тупоумія, въ результатѣ все-таки получите новый видъ стараго тупоумія.

Эта мысль совершенно подтверждается двумя послѣдними драмами Островскаго: «Гроза» и «Грѣхъ да бѣда на кого не живетъ». Въ первой—русская Офелія, Катерина, совершивъ множество глупостей, бросается въ воду и дѣлаетъ такимъ образомъ послѣднюю и величайшую нелѣпность. Во второй—русскій Отелло, Красновъ, во все время драмы ведетъ себя довольно сносно, а потомъ вдругъ зарѣзываетъ свою жену, очень ничтожную бабенку, на которую и сердиться не стоило. Можетъ-быть русскія Офелія ничѣмъ не хуже настоящей и можетъ-быть Красновъ ни въ чемъ не уступить венеціанскому мавру, но это ничего не доказываетъ: глупости могли такъ-же удобно совершаться въ Даніи и въ Италіи, какъ и въ Россіи; а что въ средніе вѣка онѣ совершались гораздо чаще и были гораздо крупнѣе, чѣмъ въ наше время, это уже не подлежитъ никакому сомнѣнію; но средневѣковыми людьми, и даже Шекспиру, было еще извинительно принимать большія человѣческія глупости за великія явленія природы, а намъ, людямъ XIX столѣтія, пора же называть вещи ихъ настоящими именами.

Есть правда и у насъ средневѣковые люди, которые увидятъ въ подобномъ требованіи оскорбленіе искусства и человѣческой природы, но вѣдь на всѣ вкусы мудрено угодить; такъ пускай ужъ эти люди гнѣваются на меня, если это необходимо для ихъ здоровья.

Въ заключеніе скажу нѣсколько словъ о двухъ другихъ произведеніяхъ Островскаго, о драматической хроникѣ «Козьма Мининъ» и о сценѣ «Тяжелые дни». По правдѣ сказать, я хорошенько не вижу, чѣмъ «Козьма Мининъ» отличается отъ драмы Кукольника: «Рука Всевышняго отечество спасла». И Кукольникъ, и Островскій рисуютъ историческія событія такъ, какъ наши доморожденные живописцы и граверы рисуютъ доблестныхъ генераловъ; на первомъ планѣ огромный генералъ сидитъ на лошади и машетъ какимъ-нибудь дрекольемъ; потомъ—клубы пыли или дыма—что именно не разберешь; потомъ—за клубами крошечные солдатики, поставленные на картину только для того, чтобы показать наглядно, какъ великъ полковой командиръ и какъ малы въ сравненіи съ нимъ нижніе чины. Такъ, у Островскаго на первомъ планѣ—колоссальный Мининъ, за нимъ—его страданія на яву и видѣнія во снѣ, а совсѣмъ назади два-три карапузика изображаютъ русскій народъ, спасенный отечество. По настоящему слѣдовало-бы всю картину перевернуть, потому что въ нашей исторіи Мининъ, а во французской—Іоанна д'Аркъ понятны только какъ продукты сильнѣйшаго народнаго воодушевленія. Но наши художники разсуждаютъ по своему, и урезонить ихъ мудрено. Что касается до «Тяжелыхъ дней», то это ужъ и Богъ знаетъ что за произведеніе. Остается пожалѣть, что Островскій не украсилъ его куплетами и переодѣваніями, вышелъ-бы прѣмиленькій водевиль, который съ большимъ успѣхомъ можно было-бы давать на сценѣ для сѣзда и для разѣзда театральной публики. Сюжетъ заключается въ томъ, что добродѣтельный и остроумный чиновникъ съ безкорыстіемъ, достойнымъ самаго идеальнаго становаго, устраняетъ счастье купеческаго сына Андрея Брускова и купеческой дочери Александры Кругловой. Дѣйствующія лица пьютъ шампанское, занавѣсъ опускается, и статья моя оканчивается.

Прогрессъ въ мірѣ животныхъ и растений.

I.

Введение.

Словѣтъ, совершенно незнакомый съ естественными науками, не можетъ даже приблизительно представить себѣ, до какой степени разнородны произведенія природы. Натуралисты до поры не могутъ справиться съ этимъ разразіемъ и до сихъ поръ постоянно строятъ чинныя классификаціи, которыя постоянно одитъ передѣлывать то въ самомъ основато въ многочисленныхъ подробностяхъ. Первыхъ, всю природу нашей планеты дѣла на три царства: минеральное, растительное и животное; но съ одной стороны, Жоффруа-Илеръ и Катрфажъ желаютъ, чтобы для вѣка было отведено четвертое царство, а съ ой стороны, нѣкоторые ученые утверждаютъ, между растениями и животными нельзя прорѣзкую границу, потому что между ними ствуетъ множество переходныхъ формъ. Разіе начинается такимъ образомъ съ перваго; затѣмъ царства раздѣляются на отдѣлы; го животныхъ, которое я постоянно буду въ виду въ этомъ очеркѣ, раздѣляется на два ла — позвоночныя и безпозвочныя. Къ перпринадлежатъ четыре класса: млекопитаюптицы, земноводныя и рыбы; ко второму— двадцать различныхъ классовъ, изъ кото. я назову здѣсь насѣкомыхъ, моллюсковъ, повъ и микроскопическихъ инфузорій. Потомъ сы распадаются на *порядки*, порядки — на *мы*, группы — на *семейства*, семейства — на *а*, роды — на *виды*, и наконецъ въ каждомъ различается по нѣскольку породъ, расъ или овидностей. Вотъ тутъ-то въ самомъ концѣ сификаціи натуралисты-систематики испытуютъ постоянныя огорченія. Возьмемъ, на-тръ, барана. Принадлежитъ онъ, по учебГригорьева, къ царству животныхъ, къ лу позвоночныхъ, къ классу млекопитаю-

щихъ, къ порядку двукопытныхъ, къ семейству полорогихъ, къ роду — *ovis*, видъ — *ovis aries*.

Пока идетъ дѣло о высшихъ инстанціяхъ, отъ царства до порядка и даже до семейства, до тѣхъ поръ все обстоитъ благополучно; что баранъ — животное, что у него есть позвоночный хребетъ, что его самка питаетъ дѣтей молокомъ, что у него раздвоенныя копыта и полые рога — все это неопровержимыя истины. Но произносится родовое названіе *ovis* и начинается рядъ недоразумѣній; вы не знаете, на что указываетъ это названіе — на сходство признаковъ или на единство происхожденія. Что за слово *ovis*? Похоже-ли оно на слово *блондинъ* или *брюнетъ*, или, напротивъ того, фамилію *Петровъ* или *Ивановъ*? Вы предлагаете этотъ вопросъ натуралисту, и онъ вамъ отвѣчаетъ, что различные члены одного рода соединены между собою только сходствомъ признаковъ. А члены одного вида? спрашиваете вы дальше. Это другое дѣло, отвѣчаетъ натуралистъ, тѣ связаны между собой единствомъ происхожденія. «Тѣ животныя, — говоритъ вамъ учебникъ, — которыя сходны между собой во всѣхъ своихъ признакахъ (въ строеніи своихъ органовъ, въ наружной формѣ тѣла, въ образѣ жизни и проч.) и которыя *происходятъ отъ совершенно подобныхъ себѣ родителей*, — соединяются при описаніяхъ вмѣстѣ въ одинъ *видъ*.»

Чудесно, думаете вы. Вотъ у меня *ovis aries*; стало быть, и сынъ его будетъ *ovis aries*, и внукъ, и правнукъ, и такъ далѣе до свѣтопреставленія. Если-же я обращу взоръ свой въ прошедшее, то увижу за своимъ *ovis aries* необозримо длинный рядъ предковъ, которые всѣ точъ-въ-точъ похожи другъ на друга и на своего общаго родоначальника, на перваго *ovis aries*, явившагося на свѣтъ безъ отца и безъ матери. Понимаю. Успокоившись такимъ образомъ, вы продолжаете читать исторію о баранѣ, но вдругъ оказывается, что вы совсѣмъ ничего не понимаете. Вамъ объявляютъ, что баранъ «представляетъ множество разновидностей, какъ-то: мериносы изъ Испаніи,

съ тонкой курчавой шерстью; англійская овца, безрогая, съ тонкой шерстью; венгерскій баранъ со спирально закрученными рогами и грубой шерстью; курдючныя и жирнохвостыя овцы, замѣчательныя скопленіемъ жира въ хвостѣ и въ задней части тѣла, съ хвостомъ длиннымъ, толстымъ и съ повислыми ушами». А куда же дѣвался настоящій представитель вида? Гдѣ вашъ неизмѣнный *ovis aries*, на котораго вы надѣялись, какъ на каменную гору, и который долженъ былъ происходить «отъ совершенно подобныхъ себѣ родителей»? Онъ васъ обманулъ, онъ растаялъ у насъ въ рукахъ и превратился во «множество разновидностей», съ которыми вы опять не знаете, что дѣлать. Вамъ представляются два возможныхъ объясненія, и оба они одинаково губительны для вида *ovis aries*. Во-первыхъ, вы можете держаться того принципа, что каждое животное происходитъ «отъ совершенно подобныхъ себѣ родителей». Тогда вы должны будете допустить, что всѣ мериносы происходятъ отъ мериноса, венгерскіе бараны — отъ венгерскаго барана, курдючныя овцы — отъ курдючной овцы, и такъ далѣе. Но вѣдь разновидностей дѣйствительно существуетъ великое множество. Въ одной Англій разводится столько различныхъ породъ барановъ, что одинъ натуралистъ почтено высказалъ предположеніе, будто эти породы должны происходить отъ одиннадцати сортовъ дикихъ барановъ. Стало быть, вамъ придется вѣсто одной формы *ovis aries* представить себѣ безчисленное множество самостоятельныхъ формъ, вышедшихъ изъ нѣдръ земли въ полномъ вооруженіи своихъ отличій и атрибутовъ, точно такъ, какъ Минерва вышла изъ головы Зевеса. Очевидно, что понятіе *ovis aries* окажется совершенно неуловимымъ множествомъ. Во-вторыхъ, вы можете отбросить въ сторону тотъ принципъ, что дѣти совершенно подобны родителямъ. Тогда вы увидите, что и мериносы, и венгерскіе бараны, и англійскіе, и курдючныя могли произойти отъ одной общей формы, которую пожалуй можно будетъ назвать *ovis aries*. Но если эта общая форма расплодзлась такимъ образомъ въ разныя стороны и испытала на себѣ множество превращеній, то какая-же она послѣ этого неизмѣнная? А если *ovis aries* измѣнялся и вчера, и третьего дня, и въ прошломъ столѣтіи и въ запрошломъ, то гдѣ же основаніе думать, что онъ когда-нибудь былъ совершенно неизмѣннымъ? Если мериносы, курдючныя, венгерскіе, англійскіе составляютъ развѣтвленія одной общей формы, то эта общая форма въ свою очередь представляется отросткомъ другой формы, еще болѣе общей на примѣръ такой, которая въ глубинѣ вѣковъ соединяла въ себѣ всѣхъ теперешнихъ представителей рода *ovis*. Еслибы вѣсто барана мы взяли какое-нибудь другое животное, то намъ во всякомъ случаѣ представились-бы то-же самое затрудненіе и та-же дилемма; встрѣ-

чаясь съ разновидностями, намъ пришлось-бы или предположить, что онѣ существуютъ отъ начала вѣковъ, или допустить, что онѣ выработались изъ одной общей формы, способной измѣняться.

Большинство натуралистовъ постоянно уклонялось отъ прямого разрѣшенія этого неизбежнаго вопроса. Они отвѣчали такъ, что въ отвѣтъ ихъ всегда заключалось глухое внутреннее противорѣчіе, котораго они сами не хотѣли почувствовать. Они говорили, что земля испытала во время своего существованія нѣсколько такихъ геологическихъ переворотовъ, которые всякій разъ истребляли до-тла всю органическую жизнь. Вся наша планета перенаживалась такимъ образомъ за-ново и послѣ каждого подобнаго пагубнаго застѣвалась совершенно новыми и необычными видами растений и животныхъ. Эти новые виды являлись совершенно готовыми и тотчасъ принимались за свойственные имъ занятія. Дубъ покрывался зелеными листьями и въ надлежащее время ронялъ свои жолуди, которые въ значительномъ количествѣ истребляла дикая свинья; баранъ щипалъ траву и пережевывалъ жвачку; волкъ съѣдалъ барана; щука глотала карасей; кукушка клала свои яйца въ чужія гнѣзда; словомъ, послѣ послѣдняго геологическаго переворота все пошло тотчасъ тѣмъ самымъ порядкомъ, какимъ оно идетъ въ настоящее время. Но натуралисты никакъ не рѣшались утверждать, что изъ нѣдръ земли вышли готовыми не виды, а разновидности. Идеальный баранъ могъ выйти готовымъ; на то онъ идеальный, на то онъ представитель неизмѣннаго типа, на то онъ родоначальникъ всей бараньей породы; но крымскій баранъ, рѣшетилловскій, казымакскій, одиннадцатый англійскій, мериносъ, и такъ далѣе — все это мелкія и частныя явленія, и о нихъ никакъ не могло быть рѣчи послѣ такого великаго событія, какъ геологическій переворотъ. Это — разновидности, представляющія большія или меньшія уклоненія отъ оригинальнаго и неизмѣннаго типа. Это — игра природы, это — случайное явленіе, а типъ все-таки сохраняется, и баранъ все-таки остается бараномъ, и всегда былъ таковымъ, съ той самой минуты, какъ онъ вышелъ изъ нѣдръ земли. Тутъ натуралисты попадали очевидно въ безвыходное противорѣчіе, и такія слова какъ игра природы или случайное уклоненіе разумѣется, ничего не объясняли и даже не представляли рѣшительно никакого ручательства въ пользу неизмѣнности основнаго типа. Поэтому уже въ послѣднихъ годахъ прошлаго столѣтія нѣкоторые натуралисты стали догадываться, что виды могутъ перерождаться, и что во всей органической природѣ по всей вѣроятности нѣтъ ничего неизмѣннаго, кромѣ тѣхъ общихъ законовъ, которыми управляется вся матерія.

Однимъ изъ первыхъ выразилъ эту мысль поэтъ Гёте, который, какъ извѣстно, былъ оче-

замѣчательнымъ естествоиспытателемъ. Но пока господствовала теорія геологическихъ переворотовъ, до тѣхъ поръ должна была держаться вѣра въ самостоятельное значеніе видовыхъ типовъ. Когда натуралисты думали, что земля нѣсколько разъ заселялась заново, тогда трудно было допустить предположеніе, что органическая жизнь всякій разъ начинала свое развитіе съ самыхъ простыхъ формъ и всякій разъ путемъ медленнаго и естественнаго совершенствованія доходила до болѣе сложныхъ явленій. Если стихіи могли производить геологическіе перевороты, подобные перемѣнамъ декорацій въ волшебномъ балетѣ, то и всѣ остальные процессы природы могли также совершаться необъяснимымъ путемъ мгновенныхъ возникновеній, исчезаній и превращеній. При такомъ взглядѣ на прошедшую жизнь нашей планеты прямыя наблюденія надъ законами природы, какъ они обнаруживаются въ настоящее время, оказывались почти бесполезными для объясненія тѣхъ явленій, которыя совершались въ далекія геологическія эпохи. Почему вы знаете, какъ дѣйствовали эти законы тогда? — можно было сказать такому наблюдателю. Теперь жизнь природы идетъ такъ, а тогда шла совсѣмъ иначе. Теперь въ природѣ нѣтъ скачковъ, а тогда были. Разсуждая такимъ образомъ, можно было писать великолѣпнѣйшіе геологическіе романы, и прошедшая жизнь нашей планеты долго казалась намъ длиннымъ рядомъ чудесъ и колоссальной борьбой такихъ титаническихъ силъ природы, которыя теперь улеглись и успокоились на время или навсегда. Но понемногу въ нѣкоторыхъ пытливыхъ умахъ стало возникать сомнѣніе: нельзя ли, думали они, объяснить всѣ явленія различныхъ геологическихъ эпохъ постояннымъ дѣйствіемъ тѣхъ самыхъ причинъ, которыя до сихъ поръ медленно, но безостановочно, каждый день и каждую минуту, измѣняютъ видъ земной поверхности. Оказалось, что можно. Теорія волшебныхъ переворотовъ стала ослабѣвать и клониться къ упадку. Наконецъ знаменитый англійскій геологъ, Чарльзъ Лайелль, окончательно уложилъ въ могилу эту старую теорію и доказалъ, что законы, управляющіе матеріей теперь, управляли ею, безъ малѣйшаго перерыва, втеченіи тѣхъ длинныхъ періодовъ, которыхъ неизмѣримый рядъ называется прошедшей жизнью нашей планеты. Море медленно разрушаетъ берега свои; рѣка медленно заноситъ иль въ своемъ устьѣ; атмосфера медленно разъѣдаетъ гранитныя вершины горныхъ хребтовъ; остатки мертвыхъ растений и животныхъ медленно разлагаются и еще медленнѣе образуютъ на землѣ новые слои почвы; полипы медленно строятъ коралловые рифы; подземныя вулканическія силы дѣйствуютъ правда мгновенно, но дѣйствіе ихъ всегда частично и никогда не производятъ такого переворота, ко-

торый могъ бы распространиться на всю поверхность нашей планеты. Такимъ образомъ измѣняется видъ земли теперь; такимъ образомъ формируются новыя напластованія и точно такимъ же образомъ совершалось это дѣло тогда, когда на землѣ жили только колоссальные ящеры, и тогда, когда существовали только низшія формы моллюсковъ. Съ тѣхъ поръ, какъ расплавленное ядро земли покрылось твердой корой, съ тѣхъ поръ, какъ образовались на нашей планетѣ вода и атмосфера, — словомъ, съ тѣхъ поръ, какъ сдѣлалось возможнымъ существованіе растительныхъ и животныхъ организмовъ, — съ тѣхъ поръ земля не испытала ни одного такого переворота, который разомъ взбудоражилъ бы всю ея поверхность и слѣдовательно истребилъ бы на ней всѣ проявленія органической жизни. Когда перевороты удалились такимъ образомъ въ область поэтическаго творчества, тогда натуралистамъ представилась необходимость задуматься надъ рѣшеніемъ громаднѣйшаго вопроса.

Если разные трилабиты, белемниты, ихтіозавры, мастодонты и тому подобныя исчезнувшія животныя не были истреблены мгновенной перемѣной декорацій, то почему же они исчезли? Если хвощи и папоротники каменноугольной эпохи не были выворочены съ корнями дѣйствіемъ разыгравшихся стихій, то почему же они уступили мѣсто другимъ растительнымъ формамъ, которыя потомъ въ свою очередь были вытѣснены новой флорой? Если идеальный баранъ не вышелъ изъ нѣдры земли послѣ послѣдняго геологическаго переворота, то откуда же взялись крымскіе, венгерскіе, англійскіе и всякіе другіе бараны? Если органическая жизнь не обрывалась на землѣ съ той самой минуты, какъ она возникла, то, стало быть, нѣтъ никакой необходимости предполагать въ ея исторіи существованіе необъяснимыхъ скачковъ; если нѣтъ скачковъ, — стало быть, есть послѣдовательное развитіе; если есть послѣдовательное развитіе, стало быть, есть постоянные законы; а если есть законы, то надобно до нихъ добраться, не удовлетворяя своей любознательности такими удобными выраженіями, какъ игра природы или случайное уклоненіе отъ неизмѣннаго типа. Если природа играетъ сегодня, то она, значитъ, играла и вчера; стало быть, она имѣетъ свойство играть, и натуралистамъ надо изучитъ это свойство, какъ и всякое другое. Случая въ природѣ нѣтъ, потому что все совершается по законамъ и всякое дѣйствіе имѣетъ свою причину; когда мы не знаемъ закона и когда мы не видимъ причины, тогда мы произносимъ слово «случай», и произносимъ его всегда некстати, потому что это слово никогда не выражаетъ ничего, кромѣ нашего незнанія, и притомъ такого незнанія, котораго мы сами не сознаемъ.

Лайелль очистилъ науку отъ геологическихъ чудесъ; другимъ натуралистамъ надо было сдѣ-

дать то-же самое въ отношеніи къ исторіи органической жизни; надо было, чтобы идеальный баранъ не изображалъ собою Венеру, выходящую изъ морской пѣны въ полномъ сіяніи развитой красоты, и надо было, чтобы простые бараны не дѣлались венгерскими или курдючными вслѣдствіе случайной игры природы. Словомъ, надо было понять существующіе законы и такимъ образомъ устранить, по мѣрѣ слабыхъ человѣческихъ силъ, случай. Исходная точка, самое возникновеніе органической жизни до сихъ поръ остается неразгаданнымъ, потому что до сихъ поръ ни одному натуралисту не удалось приготовить въ своей лабораторіи изъ неорганическихъ или органическихъ веществъ ни одного, даже самаго простѣйшаго живого организма; но процессъ развитія и перерожденія органическихъ формъ разъясненъ въ значительной степени англійскимъ натуралистомъ Чарльзомъ Дарвиномъ, издавшимъ въ 1859 году знаменитое сочиненіе: «On the origin of species» («О происхожденіи видовъ»). Этотъ гениальный мыслитель, обладающій колоссальными знаніями, взглянулъ на всю жизнь природы такимъ широкимъ взглядомъ и такъ глубоко вдумался во всѣ ея разрозненные явленія, что онъ сдѣлалъ открытіе, которое быть можетъ не имѣло себѣ подобнаго во всей исторіи естественныхъ наукъ. Онъ открываетъ не единичный фактъ, не железку, не жилку, не отравленіе того или другого червя, — онъ открываетъ цѣлый рядъ тѣхъ законовъ, которыми управляется и видоизмѣняется вся органическая жизнь нашей планеты. И рассказываетъ онъ ихъ такъ просто, и доказываетъ такъ неопровержимо, и выходитъ при своихъ разсужденіяхъ изъ такихъ очевидныхъ фактовъ, что вы, простой человѣкъ, профанъ въ естественныхъ наукахъ, удивляетесь постоянно только тому, какъ это вы сами давнымъ давно не додумались до тѣхъ же самыхъ выводовъ.

Да, не велика мудрость Америку открыть, однако все-таки, кромѣ Колумба, никто не догадался, какъ это сдѣлать. Великое открытіе и умная загадка всегда просты, когда первое сдѣлано, а вторая разгадана; но чтобы разгадать загадку, надо обладать извѣстной дозой остроумія, а чтобы сдѣлать великое открытіе, надо быть гениальнымъ человѣкомъ. Для насъ, для простыхъ и темныхъ людей, открытія Дарвина драгоценны и важны именно тѣмъ, что они такъ обаятельно просты и понятны; они не только обогащаютъ насъ новымъ знаніемъ, но они освѣжаютъ весь строй нашихъ идей и раздвигаютъ во всѣ стороны нашъ умственный горизонтъ. Благодаря имъ, мы понимаемъ связь такихъ явленій, которыя мы видѣли каждый день, на которыя мы смотрѣли безмысленными глазами и которыя однако такъ легко было понять и объяснить себѣ. Почти во всѣхъ отрасляхъ естествознанія идеи Дарвина производятъ совершенный

переворотъ; ботаника, зоологія, антропологія, палеонтологія, сравнительная анатомія и физиологія, и даже опытная психологія получаютъ въ его открытіяхъ ту общую руководящую нить, которая свяжетъ между собою множество сдѣланныхъ наблюденій и направитъ умы изслѣдователей къ новымъ плодотворнымъ открытіямъ.

Значеніе идей Дарвина такъ обширно, что въ настоящее время даже невозможно предусмотрѣть и вычислить тѣ послѣдствія, которыя разовьются изъ нихъ, когда онѣ будутъ приложены къ различнымъ областямъ научнаго изслѣдованія. Лучшіе европейскіе натуралисты давно поняли ихъ важность, и весь ученый міръ раздѣлился на двѣ партіи; съ одной стороны стоятъ глубоко убѣжденные защитники новой теоріи; съ другой стороны — ея противники, научные предрассудки которыхъ ожидаютъ себѣ неизбѣжной гибели.

Старыя методы и старыя классификаціи непременно должны будутъ сойти со сцены, а такъ какъ человѣку больно разставаться съ заблужденіями цѣлой жизни, то, разумѣется, противники Дарвина всѣми силами будутъ защищать свои разбитыя позиціи. Но свѣтлые умы тотчасъ становятся горячими приверженцами истины, въ какомъ бы рѣзкомъ противорѣчій она ни находилась съ ихъ прежними понятіями. Карлъ Фохтъ въ лекціяхъ своихъ о человѣкѣ^{*)}, изданныхъ въ 1863 г., объявляетъ себя послѣдователемъ Дарвина и признается, что онъ въ молодости своей держался теоріи геологическихъ переворотовъ, съ которой, какъ мы видѣли, была связана теорія неизмѣнныхъ типовъ.

Книга Дарвина переведена уже въ настоящее время на нѣмецкій, французскій и на русскій языки; каждому образованному человѣку необходимо познакомиться съ идеями этого мыслителя, и поэтому я считаю умѣстнымъ и полезнымъ дать нашимъ читателямъ ясное и довольно подробное изложеніе новой теоріи. Въ этой теоріи читатели найдутъ и строгую опредѣленность точной науки, и безпредѣльную ширину философскаго обобщенія, и наконецъ ту высшую и незамѣнимую красоту, которая кладетъ свою печать на всѣ великія проявленія сильной и здоровой человѣческой мысли. Когда читатели познакомятся съ идеями Дарвина, даже по моему слабому и блѣдному очерку, тогда я спрошу у нихъ, хорошо или дурно мы поступали, отрицая метафизику, осмѣивая нашу поэзію и выражая полное презрѣніе къ нашей казенной эстетикѣ. Дарвинъ, Ляйелль и подобные имъ мыслители — вотъ философы, вотъ поэты, вотъ эстетика нашего времени. Когда человѣческій умъ, въ лицѣ своихъ гениальныхъ представителей, счумѣлъ подняться на такую высоту, съ которой онъ обо-

^{*)} «Человѣкъ и мѣсто его въ природѣ», лекціи К. Фохта (переведены на русскій языкъ).

зрѣваетъ основные законы міровой жизни, тогда мы, обыкновенные люди, неспособные быть творцами въ области мысли, обязаны передъ своимъ собственнымъ человѣческимъ достоинствомъ возвыситься по крайней мѣрѣ на столько, чтобы понимать передовыхъ геніевъ, чтобы цѣнить ихъ великіе подвиги, чтобы любить ихъ, какъ украшеніе и гордость нашей породы, чтобы жить нашей мыслью въ той свѣтлой и безграничной области, которую геніи открываютъ для каждаго мыслящаго существа. Мы богаты и сильны трудами этихъ великихъ людей, но мы не знаемъ нашего богатства и нашей силы, мы ими не пользуемся, мы не умѣемъ даже пересчитать и измѣрить ихъ, и поэтому, проводя нашу жалкую жизнь въ бѣдности, въ глупости и въ слабости, мы погнѣшаемъ свое младенческое невѣдѣніе разными золочеными грошами, вродѣ діалектическихъ кудрствованій, лирическихъ воздыханій и эстетическихъ умиленій. И живутъ люди, и умираютъ люди, и считаютъ себя развитыми и образованными, и толкуютъ о музыкѣ и о поэзіи, и ни разу, вѣдь ни одного разу не удается этимъ людямъ даже мелькомъ взглянуть на то, что составляетъ и богатство, и силу, и высшее изящество человѣческой личности. А то и взглянуть, да не поймуть. Нечего дѣлать, надо объяснять, разбавлять мысль водой, вдаваться въ лирическіе восторги, чтобы показать, что вещь дѣйствительно хорошая, и что ею въ самомъ дѣлѣ можно и должно любоваться. По настоящему, идеи Дарвина слѣдовало-бы передавать просто, ровно, спокойно, такъ, какъ излагаетъ ихъ самъ Дарвинъ, но для васъ это еще не годится, потому что нашу публику слѣдуетъ заманивать, ее слѣдуетъ покуда подкупать въ пользу дѣльныхъ мыслей разными фокусами то комическаго, то лирическаго свойства. Поэтому, если кому нибудь изъ моихъ читателей не понравится что нибудь въ изложеніи моей статьи, то я умоляю его обратить все его негодование исключительно противъ меня, а никакъ не противъ Дарвина. Я именно того и хочу, чтобы моя статья возбудила въ читателѣ любознательность, но не удовлетворила бы ее вполне; пусть онъ увидитъ, какъ уменъ Дарвинъ, пусть почувствуетъ, что я не въ силахъ передать то впечатлѣніе, которое производитъ чтеніе самой книги великаго натуралиста, и пусть вслѣдствіе этого обругаетъ меня и возьмется за сочиненіе самого Дарвина. Цѣль моя будетъ въ такомъ случаѣ вполне достигнута. Для того, чтобы дать читателю нѣкоторое понятіе о личномъ характерѣ Дарвина, я приведу здѣсь нѣсколько строкъ изъ его введенія.

«Я находился, — говоритъ онъ, — въ качествѣ натуралиста на кораблѣ ея британскаго величества — «Бигль», когда меня въ первый разъ сильно поразили нѣкоторые факты въ расцвѣтеніи органическихъ существъ, населяющихъ южную Америку, и геологическія отношенія, су-

ществующія между прежними и теперешними обитателями этого материка. Эти факты, какъ видно будетъ въ послѣднихъ главахъ этого сочиненія, бросаютъ повидимому нѣкоторый свѣтъ на происхожденіе видовъ, «эту тайну тайнъ», какъ выражается одинъ изъ величайшихъ нашихъ философовъ (Гумбольдтъ въ «Космосѣ»). Послѣ моего возвращенія, въ 1837 году, мнѣ пришло въ голову, что можетъ-быть есть возможность подвинуть впередъ этотъ вопросъ, если собирать и обдумывать всѣ различныя наблюденія, которыя такъ или иначе могутъ содѣйствовать разрѣшенію задачи. Только послѣ пятилѣтняго труда я позволилъ себѣ сдѣлать нѣкоторыя наведенія и составилъ краткія замѣтки. Не раньше какъ въ 1844 году я набросалъ тѣ заключенія, которыя казались мнѣ наиболѣе правдоподобными. Съ этого времени до нынѣшняго дня (т. е. до конца 1859 года) я постоянно занимался тѣмъ же самымъ предметомъ. Мнѣ извинять эти личныя подробности, въ которыя я пускаюсь только для того, чтобы доказать, что у меня не было излишней поспѣшности въ разрѣшеніи вопросовъ. Моя работа уже далеко подвинулась впередъ; однако мнѣ понадобится еще года два или три для ея окончанія, а такъ какъ здоровье мое вовсе не отличается крѣпостью, то я и поторопился выпустить въ свѣтъ это извлеченіе. Меня преимущественно побудило поступить такимъ образомъ то обстоятельство, что мистеръ Уэллсъ, изучающій въ настоящее время природу Малайскаго архипелага, почти совершенно сошелся со мною въ своихъ заключеніяхъ о происхожденіи видовъ. Въ 1858 году онъ прислалъ мнѣ мемуаръ по этому предмету, съ просьбой сообщить его сэру Чарльзу Лайеллю, который послалъ его Линнеевскому обществу (Linnean Society). Онъ напечатанъ въ третьемъ томѣ журнала этого общества. Сэръ Чарльзъ Лайелль и докторъ Гукеръ, знавшіе мои работы, сдѣлали мнѣ честь подумать, что было бы хорошо издать въ одно время съ превосходнымъ мемуаромъ мистера Уэллеса нѣкоторые отрывки изъ моихъ рукописей. Это извлеченіе, которое я издаю теперь, необходимо оказывается неполнымъ. Я принужденъ излагать въ немъ мои идеи, не подкрѣпляя ихъ обильнымъ запасомъ фактовъ или цитатами писателей, и я поставленъ въ необходимость разсчитывать на то довѣріе, которое читателямъ угодно будетъ питать къ вѣрности моихъ сужденій».

Приведенное мною мѣсто заключаетъ въ себѣ много любопытныхъ свѣдѣній и характерныхъ подробностей. Во-первыхъ, мы видимъ, что Дарвинъ посвятилъ всю свою жизнь разрѣшенію того вопроса, который заинтересовалъ его во время кругосвѣтнаго плаванія на кораблѣ «Бигль»; онъ работаетъ надъ этимъ вопросомъ болѣе 25 лѣтъ (съ 1837 по 1864) и все еще не считаетъ свой трудъ оконченнымъ; когда геніальный умъ со-

единяется съ такимъ упорствомъ въ преслѣдованіи цѣли и съ такой требовательностью и строгостью въ отношеніи къ собственному труду, тогда дѣйствительно человѣкъ совершаетъ чудеса въ области мысли и тогда онъ смѣло можетъ приниматься за разрѣшеніе такой задачи, которая до него считалась «тайною тайнъ». Во-вторыхъ, Дарвинъ называетъ свою теперешнюю книгу извлеченіемъ и очень скромно и добродушно извиняется передъ читателемъ, говоря, что онъ принужденъ былъ поторопиться, и что извлеченіе конечно вышло очень не полное, потому что настоящая книга, капитальная часть труда, еще впереди. До такой изумительной и совершенно безыскусственной скромности могутъ возвышаться только очень замѣчательные люди; поторопился — а работалъ двадцать два года (до 1859 года); извлеченіе — а въ немъ больше пятисотъ страницъ; не полное — а весь ученый міръ приходитъ отъ него въ волненіе; извиняется передъ читателями — а самъ производитъ небывалый переворотъ почти во всѣхъ отрасляхъ естествознанія. Это было бы просто смѣшно, это было бы даже неприлично со стороны Дарвина, еслибы въ этой скромности можно было предположить хоть малѣйшую тѣнь искусственности. Но такъ какъ вся книга Дарвина носитъ на себѣ печать глубочайшей искренности и добросовѣстности, и такъ какъ отъ великаго до смѣшного одинъ шагъ, то эта скромность, которая при другихъ условіяхъ могла бы сдѣлаться смѣшной, въ настоящемъ случаѣ остается цѣликомъ въ предѣлахъ великаго. Въ-третьихъ, любопытно замѣтить, какъ равнодушно Дарвинъ относится къ своему собственному здоровью; ему остается до окончанія громаднаго труда всего два, три года, но онъ предвидитъ тотъ шансъ, что ему можетъ-быть и не удастся дожить до этого времени; и возможность близкой смерти вовсе не смущаетъ его, а только побуждаетъ его выпустить въ свѣтъ извлеченіе, въ которомъ заключались бы добытые имъ результаты. Это спокойствіе, это умѣнье умирать безъ жалобы и безъ боязни, это высшее проявленіе человѣческаго героизма совершенно понятны со стороны тѣхъ людей, которые умѣли наполнить свою жизнь разумнымъ наслажденіемъ, то-есть умѣли полюбить полезную дѣятельность больше собственного существованія. Дарвинъ такъ слился съ своей двадцатипятилѣтней работой, онъ такъ постоянно жилъ высшими интересами всего человѣчества, что ему некогда и незачѣмъ думать и горевать объ упадкѣ собственныхъ силъ. Лишь бы работу кончить, лишь бы отдать людямъ съ рукъ на руки добытыя сокровища, а тамъ и умереть не бѣда. Кто не понимаетъ такого обожанія идеи и такой любви къ людямъ, тотъ говоритъ, что личности, подобныя Дарвину, совершаютъ подвиги самоотверженія, а кто понимаетъ, тотъ скажетъ, что это — исполнѣніе практическіе

люди и что они превосходно умѣютъ наслаждаться жизнью. Ихъ расчетъ оказывается вѣрнымъ во всякомъ случаѣ и во всякую данную минуту; какъ ни прожить жизнь, а умирать все равно надо; ну, стало-быть, всего лучше жить такъ, чтобы въ минуту смерти не было больно и совѣстно оглянуться назадъ; пріятно подумати передъ смертью, что жизнь прожита не даромъ и что она цѣликомъ положена въ тотъ капиталъ, съ котораго человѣчество будетъ постоянно брать проценты; а если пріятно, то и слѣдуетъ жить въ томъ мірѣ мысли и труда, въ которомъ распоряжаются Дарвинъ, Ляйелль, Фохтъ, Бокль и другіе люди такого же разбора. Наконецъ, въ четвертыхъ и въ послѣднихъ, не мѣшаетъ обратить вниманіе на тѣ честныя, дружескія отношенія, которыя существуютъ между лучшими изъ современныхъ ученыхъ. Ляйелль и Гукеръ постоянно слѣдятъ за процессомъ работы Дарвина; Дарвинъ совѣтуется съ ними, и они ему помогаютъ; Гукеръ въ продолженіи пятнадцати лѣтъ постоянно сообщаетъ ему то новыя факты, то свои критическія замѣчанія. Уэллсъ, близко подошедшій къ самымъ выводамъ Дарвина, съ полнымъ довѣріемъ присылаетъ послѣднему свой мемуаръ, а Дарвинъ съ своей стороны отзывается объ этомъ мемуарѣ съ полнымъ уваженіемъ. Видно, однимъ словомъ, что всѣ эти люди заботятся объ успѣхѣ общаго дѣла, а совѣтъ не о томъ, чтобы высунуть впередъ собственную личность и подставить ногу опасному сопернику. Вслѣдствіе этого, во-первыхъ, ихъ общее дѣло идетъ хорошо, а во-вторыхъ, каждому изъ нихъ достается на долю столько ученой знаменитости, сколько они не могли бы приобрести, еслибы работали въ разсыпную, завистливо скрывая другъ отъ друга добываемые факты и не обмѣниваясь между собою мыслями и замѣчаніями.

Широкое умственное развитіе этихъ превосходныхъ людей дѣлаетъ ихъ особенно способными къ свободной ассоціаціи, а ассоціація съ своей стороны придаетъ имъ новыя силы и еще болѣе расширяетъ горизонтъ ихъ мысли. До сихъ поръ добровольная и совершенно естественная ассоціація нашла себѣ приложеніе только въ высшихъ сферахъ научной дѣятельности. Тамъ нѣтъ истребительной войны между конкурентами; тамъ всѣ честные люди идутъ къ одной цѣли и дружелюбно опираются другъ на друга; зато мы и видимъ, что высшія сферы научной дѣятельности до сихъ поръ представляютъ единственное мѣсто, въ которомъ человѣкъ можетъ развернуть, сохранить и облагородить всѣ свои истинно-человѣческія качества и способности; зато мы видимъ также, что наука, въ настоящемъ значеніи этого слова, развивается съ невообразимой быстротой и оставляетъ далеко позади себя всѣ остальные отрасли человѣческой дѣятельности. Но если люди, развернувшіе, сохранившіе и облагородившіе свои человѣческія

способности, оказываются особенно расположенными къ коллективному труду, если у нихъ образуется ассоціація совершенно естественно, помимо всякихъ предвзятыхъ теорій, то, мнѣ кажется, не трудно понять, что добровольная ассоціація и развитіе индивидуальности не только не представляютъ собою двухъ непримиримыхъ крайностей, а, напротивъ того, совершенно необходимы другъ для друга и не могутъ существовать безъ взаимной поддержки. А теперь пора кончить это длинное введеніе и отъ личности мыслителя перейти къ его теоріи.

II.

Домашнія животныя.

Многія растенія, размножающіяся быстро и успѣшно въ естественномъ состояніи, перестаютъ приносить сѣмена, какъ только начинаютъ испытывать на себѣ заботливый попеченія человѣка; они повидимому благоденствуютъ, покрываются свѣжими листьями и цвѣтами, но ихъ цвѣточная пыль совершенно теряетъ свою оплодотворяющую силу; многія животныя также не могутъ размножаться подъ властью человѣка; они иногда совокупляются, но не производятъ дѣтей; такъ напримѣръ, хищныя птицы, находясь въ неволѣ, кладутъ иногда яйца; но изъ этихъ яицъ почти никогда не выводятся птицы. Тѣ животныя и растенія, которыя съ незапамятныхъ временъ подчинились нашему господству, представляютъ также замѣчательную особенность въ своемъ размноженіи: дѣти ручныхъ животныхъ больше отлучаются отъ своихъ родителей и больше отличаются другъ отъ друга, чѣмъ дѣти дикихъ животныхъ; то-же самое можно сказать и о растеніяхъ; поэтому напримѣръ пшеница до сихъ поръ производитъ еще новыя разновидности; поэтому георгины, тюльпаны, гвоздики до сихъ поръ даютъ садовникамъ небывалыя формы, разрисованныя самыми блестящими красками; поэтому также лошади, бараны, быки, свиньи постоянно совершенствуются и крупнѣютъ или малѣчаютъ и портятся, то-есть вообще обваруживаютъ способность и стремленіе измѣняться, и дѣйствительно измѣняются въ ту или въ другую сторону, смотря по тому, умѣетъ или не умѣетъ человѣкъ пользоваться этой измѣнчивостью согласно съ своими выгодами. Бесплодіе однихъ растеній и животныхъ и измѣнчивость другихъ органическихъ существъ выходятъ изъ одного общаго источника. Когда растеніе или животное попадаетъ въ руки человѣка, и когда человѣкъ, сознательно или невольно, измѣняетъ въ большей или въ меньшей степени тѣ условія, при которыхъ это растеніе или животное существовало на свободѣ, — тогда эта перемѣна въ образѣ жизни производитъ особенно сильное

вліяніе на всю систему половыхъ отправленій. Если вліяніе это очень сильно, то половая система совершенно отказывается дѣйствовать, и животныя даже не совокупляются; если оно менѣе сильно — совокупляются, но не рожаютъ дѣтей; еще менѣе сильно — рожаютъ уродовъ; еще менѣе сильно — рожаютъ здоровыхъ дѣтей, но такихъ, у которыхъ индивидуальныя отклоненія отъ фигуры родителей оказываются болѣе значительными, чѣмъ это могло бы произойти въ дикомъ состояніи. Такимъ образомъ дѣти выходятъ не совсѣмъ похожими на своихъ родителей; внуки также получаютъ свои личныя особенности; правнуки также, и такъ далѣе; измѣнчивость и индивидуальное разнообразіе становятся прочными свойствами цѣлой породы, и это случилось именно съ большей частью нашихъ домашнихъ животныхъ. Корова не такъ похожа на свою родную сестру и жеребецъ не такъ похожъ на своего папеньку, какъ напримѣръ медвѣдь — на посторонняго медвѣдя или заяцъ — на совершенно неродственного зайца. Существованіе этихъ индивидуальных особенностей никакъ не можетъ быть приписано прямому дѣйствию образа жизни; двѣ коровы, принадлежащія одному хозяину, съ самаго своего рожденія живутъ на одномъ скотномъ дворѣ, пасутся на одномъ лугу, получаютъ одинаковое количество сѣна, муки, соли и всякаго другого снадобья; напротивъ того, два медвѣдя, не принадлежащіе никому, живутъ въ двухъ различныхъ берлогахъ, ѣдятъ, что Богъ пошлетъ, иногда голодаютъ, иногда пируютъ, но дѣлаютъ и то, и другое не вмѣстѣ, а порознь, въ различное время, съ различными успѣхами, такъ что тутъ очевидно представляется гораздо больше разнообразія, чѣмъ въ жизни коровъ или лошадей. Ясно, стало-быть, что индивидуальные особенности послѣднихъ могутъ быть объяснены только тѣми измѣненіями, которыя испытала въ глубинѣ вѣковъ половая система домашнихъ животныхъ; эти измѣненія съ тѣхъ поръ уже постоянно переходятъ по наслѣдству отъ одного поколѣнія къ другому и такимъ образомъ постоянно даютъ каждому зародышу возможность довольно замѣтно отклоняться въ своемъ развитіи отъ фигуры родителей. Но если каждая корова или лошадь получаетъ свою индивидуальную физіономію, то изъ этого никакъ не должно заключать, что она не наслѣдуетъ отъ своихъ родителей многихъ важнѣйшихъ особенностей ихъ организаціи. Въ человѣческомъ семействѣ сынъ обыкновенно бываетъ похожъ и на отца, и на мать, и въ то-же время у него есть свои личныя свойства какъ въ чертахъ лица, такъ и въ складѣ тѣла, такъ и въ устройствѣ темперамента, ума и характера.

Совершенно подобныя явленія мы замѣчаемъ и въ домашнихъ животныхъ. Поэтому, если образъ жизни подѣйствовалъ въ томъ или въ другомъ направленіи на здоровье или на тѣлосложеніе

животного, то произведенная таким образом перемѣна передается обыкновенно дѣтямъ и становится болѣе или менѣе прочнымъ свойствомъ породы. Напримѣръ, если свѣсить скелетъ дикой утки и скелетъ домашней утки и если потомъ сравнить въ обоихъ случаяхъ вѣсъ костей крыла и вѣсъ костей ноги съ вѣсомъ цѣлаго скелета, то окажется, что у домашней утки кости крыла сравнительно легче, а кости ноги сравнительно тяжелѣе, чѣмъ у дикой. Происхождение домашней утки отъ дикой не подлежитъ сомнѣнію; слѣдовательно, измѣненіе въ вѣсѣ и величинѣ костей объясняется именно тѣмъ обстоятельствомъ, что домашняя утка постоянно ходитъ и почти совсѣмъ не летаетъ. Нога укрѣпляется, а крыло слабѣетъ; эта особенность, сначала незамѣтная, передается отъ матери къ дѣтямъ, и у дѣтей становится сильнѣе, потому что продолжается дѣйствіе тѣхъ-же самыхъ причинъ, которыя дѣйствовали на мать; у внуковъ еще сильнѣе, и такъ далѣе; наконецъ, передаваясь изъ поколѣнія въ поколѣніе и постоянно усиливаясь, эта перемѣна организаціи доходитъ до такихъ значительныхъ размѣровъ, что выражается уже не въ однихъ мускулахъ крыла и ноги, а даже въ соответствующихъ частяхъ самаго скелета. Такимъ образомъ превращеніе дикой утки въ домашнюю оказывается конченнымъ, и приобрѣтенныя особенности дѣлаются прочнымъ и наследственнымъ достояніемъ новой породы. Огромное вымя дойныхъ коровъ образовалось также вслѣдствіе особенныхъ условій жизни и также передается по наследству. Многія домашнія животныя отличаются отъ своихъ дикихъ сродниковъ висячими ушами, и это обстоятельство, по мнѣнію дѣльныхъ наблюдателей, объясняется тѣмъ, что домашнее животное рѣже дикаго чувствуетъ себя въ опасности и слѣдовательно рѣже навостряетъ уши, такъ что мускулы уха, оставаясь въ бездѣйствіи, слабѣютъ и ухо отвисаетъ.

Нотѣ законы, по которымъ развивается живой организмъ, отличаются такой сложностью, что они до сихъ поръ остаются почти совершенно неизвѣстными. Къ области этихъ неизслѣдованныхъ законовъ относится то обстоятельство, что если въ организмѣ проявляется какая-нибудь особенность, то она обыкновенно не ограничивается одной частью организма, а производитъ перемѣны въ нѣсколькихъ органахъ, и притомъ часто въ такихъ, которые *повидимому* не имѣютъ между собой тѣсной анатомической связи. Такъ напримѣръ, у голубей величина клюва находится въ прямомъ соотноствѣнн съ величиной ногъ. Чѣмъ меньше клювъ, тѣмъ меньше нога. Голубоглазые кошки обыкновенно бываютъ глухи. Лысыя собаки отличаются неполнымъ развитіемъ зубовъ. Бѣлые бараны и бѣлыя свиньи страдаютъ отъ нѣкоторыхъ растений, которыя не приносятъ никакого вреда баранамъ и свиньямъ другого цвѣта. Въ Флоридѣ растетъ въ большомъ

изобиліи растеніе *laehnantes*; черныя свиньи ѣдятъ его совершенно безнаказанно; но какъ только поѣсть его свинья другого цвѣта, такъ у нея краснѣютъ кости и отваливаются копыта. Тамашніе сельскіе хозяева знаютъ очень хорошо это обстоятельство и потому держатъ у себя только черныхъ свиней, а остальныхъ постоянно убиваютъ, чтобы онѣ не пропадали даромъ. Эти изумительныя соотношенія между развитіемъ отдѣльныхъ частей организма до сихъ поръ еще мало изслѣдованы, и причины ихъ остаются совершенно неизвѣстными, но необходимо имѣть постоянно въ виду эти соотношенія, когда дѣло идетъ о различныхъ перерожденіяхъ органическихъ формъ. Если у цѣлой породы животныхъ измѣняется такой органъ, на который вышнія условія жизни не имѣютъ непосредственнаго вліянія, то такое измѣненіе можетъ быть объяснено соотношеніемъ развитія. Условія жизни измѣнили, положимъ, клювъ голубя, а измѣненіе этого органа уже потянуло за собой перемѣну въ формѣ и въ величинѣ ногъ, на которыя жизнь не оказывала прямого дѣйствія.

Изъ всего, чтѣ было говорено съ самаго начала этой главы, мы можемъ вывести то заключеніе, что наши домашнія животныя и растенія измѣняютъ свою организацію подѣ вліяніемъ очень многихъ и очень сложныхъ причинъ; между этими причинами особенно замѣчательны слѣдующія: во-первыхъ, то измѣненіе въ половой системѣ, которое усиливаетъ индивидуальное разнообразіе дѣтей; во-вторыхъ, прямое вліяніе условій жизни на различныя органы животныхъ и растений; въ-третьихъ, соотношеніе развитія, то-есть то свойство живого организма, вслѣдствіе котораго измѣненіе, происшедшее въ одномъ органѣ, ведетъ за собою, при развитіи зародыша, измѣненіе въ другихъ частяхъ тѣла. Наконецъ, въ-четвертыхъ, чрезвычайно важно то обстоятельство, что особенности родителей передаются дѣтямъ и что вслѣдствіе этого закона наследственности разныя, едва замѣтныя укленія отъ прежнихъ свойствъ породы могутъ упрочиваться и усиливаться въ прямомъ нисходящемъ потомствѣ. Безъ этого закона наследственности происхожденіе новыхъ разновидностей и породъ было бы совершенно невозможно, потому что индивидуальныя особенности, прирожденныя и благоприобрѣтенныя, погибали бы тогда вмѣстѣ съ тѣмъ субъектомъ, у котораго онѣ проявились.

Дѣйствіемъ этихъ четырехъ главныхъ причинъ объясняются въ общихъ чертахъ всѣ измѣненія животныхъ и растеній, попавшихъ въ руки человека. Какъ ни разнообразны различія породы лошадей, куръ, утокъ или кроликовъ, но есть основаніе думать, что все это разнообразіе выработалось уже подѣ вліяніемъ человека, и что всѣ наши лошади произошли отъ одной дикой породы, всѣ наши куры, утки и кролики—также.

бы доказать возможность такихъ обширныхъ свѣтленій, Дарвинъ беретъ отдѣльный при-
мѣръ; онъ изучаетъ всѣ различныя породы го-
убей и приходитъ къ тому заключенію, что всѣ
породы произошли отъ дикаго голубя (*Columba livia*) и переродились въ разныя сто-
я уже подъ руками человѣка.

III.

О голубяхъ.

Чтобы разрѣшить какой-нибудь вопросъ по
своей исторіи, — говоритъ Дарвинъ, —
не всего изучить какую-нибудь отдѣльную
шту. Обдумавъ основательно это дѣло, я вы-
бралъ группу голубей и сдѣлалъ ее спеціальнымъ
метомъ моихъ наблюденій. Я собралъ всѣ
дѣла, какія только могъ достать. Кромѣ того мнѣ
стали самымъ любезнымъ образомъ господа
и Мёррей (Murray), приславшіе мнѣ
дѣла изъ разныхъ странъ земного шара, а
именно изъ Персіи и изъ Индіи. Сверхъ
этого я досталъ себѣ большое число сочиненій,
связанныхъ о голубяхъ на разныхъ языкахъ,
которыя изъ этихъ сочиненій имѣютъ боль-
шое значеніе по своей древности. Наконецъ я
попытался въ сношеніи со многими знаменитыми
исследователями голубей и присоединился къ двумъ го-
лубинымъ клубамъ (pigeons-clubs) въ Лон-
донѣ.

Теперь вы скажете о такомъ изслѣдователѣ, мой
господинъ? Кажется, онъ шутить не любитъ, ко-
гда принимается за какое-нибудь изученіе; придетъ
и потратитъ на голубей пять лѣтъ жизни — онъ
и сдѣлаетъ; понадобится десять — онъ и
сдѣлаетъ; а вѣдь не только голуби, но
и всѣ домашнія животныя составляютъ
только крошечный уголокъ того громаднаго міра
животнаго, который охваченъ и въ значительной
степени разъясненъ свѣтлыми идеями Дарвина.
Идея этого гениальнаго человѣка заключаетъ
именно въ томъ, что, обобщая явленія, онъ
берется въ отвлеченностяхъ, не впадаетъ въ
статизмъ, а постоянно упирается ногой въ
дѣйствующую почву собственныхъ наблюденій и тако-
го изслѣдованія, которое своей основательностью
и тщательностью привело бы въ трепетъ любого
нашихъ буквоѣдовъ. Широкихъ-то теорети-
ковъ много найдется, но зато теоріи ихъ подби-
ваются и лопаются, какъ мыльные пузыри.
По такому образцу изучаетъ голубей, тотъ
кто одного слова не говоритъ на вѣтеръ.

Разнообразіе голубиныхъ породъ оказалось
огромнымъ. Не говоря уже о томъ, что этихъ
голубей чрезвычайно много, мы должны замѣтить,
что многія изъ нихъ отличаются другъ отъ дру-
га необыкновенно рѣзкими и очень своеобраз-
ными признаками и особенностями. Напримѣръ
англійскаго голубя (english carrier, Colum-

ba tabellaria) длинный клювъ съ широкими поз-
дьями, у курносаго турмана клювъ такой, какъ
у воробья, у римскаго голубя, при значитель-
ной величинѣ всего тѣла, клювъ толстый и ноги
большія, а у варварійскаго голубя, похожаго
по фигурѣ на голубя, клювъ очень короткій и
очень широкій. Обыкновенный турманъ (*C. gyrratrix*) имѣетъ привычку взлетать цѣлой
толпой на значительную высоту и потомъ, спу-
скается внизъ, по три или по два раза кувыркать-
ся на воздухѣ. Толстогорлый голубь (*C. guttu-
gosa*) изъ гордости или по какому нибудь дру-
гому неизвѣстному побужденію постоянно раз-
дуваетъ свой зобъ и доводитъ его до такихъ
размѣровъ, что, по словамъ Дарвина, «даже
смѣшно смотрѣть». А *Columba turbita* такимъ
же образомъ раздуваетъ заднюю часть своего
пищевода. Якобинцевъ (*C. cucullata*) замѣчате-
ленъ тѣмъ, что у него на шеѣ перья заворочены
кверху и образуютъ надъ его головою что-то
вродѣ капюшона; поэтому онъ и названъ яко-
бинцемъ, въ честь тѣхъ монаховъ, которые но-
сили капюшоны и которые подарили свое имя
не только кроткимъ голубямъ, но и лукавымъ
членамъ знаменитаго революціоннаго клуба. Го-
лубь-навалинъ (*C. laticauda*) отличается не-
обыкновенно широкимъ хвостомъ; у него въ
хвостѣ отъ тридцати до сорока перьевъ, между
тѣмъ какъ у другихъ голубей бываетъ ихъ отъ
12 до 14; и эти тридцать или сорокъ перьевъ
всѣ торчатъ кверху вѣеромъ и даже накла-
няются впередъ, такъ что у нѣкоторыхъ субъ-
ектовъ хвостъ сходится съ головою.

Этихъ примѣровъ разнообразія будетъ доста-
точно; къ этому можно прибавить, что въ самомъ
скелетѣ обнаруживаются очень важныя разли-
чія; вмѣстѣ съ формой и размѣромъ клюва
измѣняется все строеніе черепа, число позвон-
ковъ въ хвостѣ и въ крестцѣ, и число реберъ
у различныхъ породъ бываетъ не одинаково;
длина крыльевъ и хвоста сравнительно съ вели-
чиной тѣла и относительная величина различ-
ныхъ частей ноги подвергаются очень сильнымъ
измѣненіямъ. Форма и размѣры яицъ, полетъ,
голосъ и инстинкты — все это расходится въ раз-
ныя стороны. Наконецъ въ нѣкоторыхъ поро-
дахъ самецъ и самка значительно отличаются
другъ отъ друга. Можно подобрать такую кол-
лекцію голубей, что орнитологъ, спеціалистъ въ
дѣлѣ изученія птицъ, непременно отнесетъ ихъ
къ различнымъ видамъ, и даже посоветится на-
зывать ихъ представителями одного рода. А между
тѣмъ всѣ эти разнокалиберныя птицы произошли
отъ одного вида, который подъ названіемъ ди-
каго голубя (rock-pigeon, *Columba livia*) до
сихъ поръ живетъ и размножается во многихъ
странахъ земного шара. Если мы предположимъ,
что различныя породы нашихъ домашнихъ голу-
бей произошли отъ нѣсколькихъ дикихъ видовъ,
то, чтобы согласить это предположеніе съ суще-

ствующими фактами, намъ придется запутаться въ безвыходную сѣть самыхъ рискованныхъ и несостоятельныхъ гипотезъ. Если мы не захотимъ допустить, что особенности различныхъ голубиныхъ породъ выработались медленнымъ путемъ постепенныхъ измѣненій, то намъ придется предположить, что въ дикомъ состояніи существовало по крайней мѣрѣ семь или восемь отдѣльныхъ видовъ, изъ которыхъ одинъ отличался напримѣръ воробьинымъ клювомъ курносого турмана, другой — стоячимъ хвостомъ голубя-павлина, третій — колоссальнымъ зобомъ толстогорлаго голубя, и такъ далѣе. Отчего не предположить? Предположимъ.. Но спрашивается, существуютъ-ли теперь эти виды въ дикомъ состояніи? Нѣтъ, не существуютъ. А куда же они дѣвались? Отвѣтъ: исчезли, вымерли. Это уже начинаетъ быть неправдоподобнымъ. Голубь гнѣздится на скалистыхъ обрывахъ и обладаетъ очень сильнымъ полетомъ; эти два обстоятельства такъ хорошо ограждаютъ его отъ естественныхъ враговъ, что полное истребленіе восьми голубиныхъ видовъ представляется дѣломъ чрезвычайно сомнительнымъ. Естественная исторія не знаетъ ни одного примѣра, который доказывалъ бы, что дикій голубь былъ истребленъ въ такой странѣ, гдѣ онъ прежде водился. Голуби сдѣлались домашними птицами въ глубокой древности; о нихъ упоминается въ исторіи Египта слишкомъ за 3000 лѣтъ до Р. Х.; слѣдовательно, намъ придется предположить, что полудикіе люди сумѣли приручить нѣсколько породъ голубей, что они сумѣли соблюсти всѣ условія, необходимыя для того, чтобы эти различныя породы плодились въ неволѣ, что они выбрали для прирученія самыя странныя и причудливыя формы этихъ птицъ, и наконецъ, что всѣ выбранныя ими породы вымерли и исчезли съ лица земли, оставляя на бѣломъ свѣтѣ только свое ручное потомство. Каждое изъ этихъ предположеній порознь оказывается неправдоподобнымъ, но когда мы собираемъ всѣ эти предположенія въ одинъ букетъ, тогда неправдоподобіе доходитъ до такихъ размѣровъ, что превращается въ очевидную невозможность и нелѣпость. А между тѣмъ именно весь букетъ этихъ предположеній необходимъ для того, чтобы произвести различныя породы домашнихъ голубей отъ нѣсколькихъ дикихъ видовъ.

Но кромѣ отрицательныхъ доказательствъ есть и положительныя. Во-первыхъ, голубиныхъ породы, отличающіяся рѣзкими особенностями, нигдѣ и никогда не обращались въ дикое состояніе, несмотря на то, что европейцы перевозили ихъ за собой во всѣ части свѣта; напротивъ того, простой домашній голубь, очень похожій на дикаго, довольно часто возвращается къ образу жизни своихъ предковъ и умѣетъ обходиться безъ попеченій человѣка. Это доказываетъ, что чія особенности этихъ птицъ выработались

подъ вліяніемъ людей, потому что въ противномъ случаѣ эти особенности не отнимали бы у данныхъ субъектовъ возможности жить на свободѣ. Попадая въ свое отечество, курносый турманъ или голубь-павлинъ долженъ былъ бы почувствовать себя дома и при первомъ удобномъ случаѣ устроить себѣ самостоятельное житіе. Но если онъ до сихъ поръ никогда не попадалъ въ свое отечество, то слѣдуетъ думать, что у него и у всей его породы нѣтъ и не было другого отечества, кромѣ голубятника. Во-вторыхъ, случается часто, что помѣсь двухъ отдѣльныхъ голубиныхъ породъ принимаетъ цвѣтъ дикаго голубя, хотя этого цвѣта не было ни у отца, ни у матери. Дарвинъ скрестилъ бѣлаго голубя-павлина съ чернымъ *барбомъ* (варварійскимъ голубемъ); метисы получились черные, коричневыя и пестрые. Скрестилъ онъ другого чернаго барба съ *спотомъ* *) (*Spot*); метисы вышли пестрые. Тогда онъ скрестилъ двухъ метисовъ, т. е. барбо-павлина съ барбо-спотомъ, и родился голубь прекраснаго сизаго цвѣта, съ бѣлымъ зобомъ, съ черными полосками на крыльяхъ и на хвостѣ и съ бѣлымъ окаймленіемъ перьевъ на этихъ двухъ частяхъ тѣла. Словомъ, по цвѣту эта помѣсь двухъ метисовъ оказалась совершенно похожей на чистую *Columba livia*.

Во всей цѣпи органическихъ существъ случаются такія возвращенія къ характеру предковъ; въ человѣческихъ семействахъ замѣчаютъ очень часто, что ребенокъ похожъ не на отца или на мать, а на дѣда или на бабу; вѣроятно случается часто, что онъ бываетъ похожъ на бѣлѣе отдаленныхъ предковъ, но это обстоятельство, разумѣется, можетъ быть замѣчено только въ тѣхъ немногихъ семействахъ, въ которыхъ сохраняются фамиліные портреты. Что касается до голубей, то случай, подмѣченный Дарвиномъ, очень знаменателенъ. И барбъ, и спотъ, и павлинъ были очень чистой породы; ни у кого изъ нихъ не было ни одной крапинки сизаго цвѣта; слѣдовательно, откуда же этотъ цвѣтъ взялся у метисовъ второго поколѣнія? Если вы хотите, чтобы то ни стало произвести домашнихъ голубей отъ нѣсколькихъ дикихъ породъ, то вамъ придется еще предположить, что всѣ эти различныя породы были окрашены, какъ дикій голубь, потому что только этимъ предположеніемъ объяснится стремленіе метисовъ къ сизому цвѣту. Но такъ какъ съ васъ должно быть довольно и тѣхъ неправдоподобныхъ предположеній, которыя я вамъ представилъ выше, то вы вѣроятно кладете оружіе, миритесь съ единствомъ происхождения всѣхъ голубиныхъ породъ и требуете только, чтобы я вамъ объяснилъ въ общихъ чертахъ, какъ выработалось теперешнее разнообра-

*) *Spot* значитъ пятно. Этотъ именемъ называется бѣлая порода голубей съ краснымъ пятномъ на головѣ и съ краснымъ хвостомъ.

акимъ манеромъ потомки дикаго голубя ли различныя уродливыя особенности. нѣе будетъ представлено, какъ для голубя и для другихъ животныхъ, покоривъ человѣку.

IV.

Сознательное вліяніе человѣка.

Мы замѣтили выше, что голуби съ незапамятныхъ временъ сдѣлались домашними птицами многими историческими свидѣтельствами, что они постоянно пользовались благоволеніемъ и расположеніемъ человѣка, а иногда и предметомъ особеннаго вниманія. Являясь на голубей, являлось множество любителей, и между ними завязывалось горячее сообщество. Римскій натуралистъ Плиній говоритъ въ его время голуби были въ большомъ уваженіи, за инныя породы платились большія деньги, и потому такихъ любимыхъ породъ хранили такъ тщательно, что каждый голубь имѣлъ свое генеалогическое древо. Въ Индіи великій Акбаръ-Ханъ, около 1600 года, былъ великимъ охотникомъ и специалистомъ по части голубей. Властители Ирана и Турана присылали ему самыхъ рѣдкихъ и отличныхъ птицъ голубиной породы. У него было до двадцати тысячъ голубей, и придворный лѣтописецъ замѣтилъ благоволеніемъ, что его величество избралъ особую методику скрещиванія, методомъ которой породы голубей улучшались и умножались въ образѣ. Въ то время, какъ Акбаръ-Ханъ предавался своимъ невиннымъ занятиямъ, страсть къ голубямъ свирѣпствовала на другой оконечности стараго свѣта; голуби, которымъ впоследствии суждено было быть обожанію тюльпановъ, бредили въ то время голубями. Конечно въ исторіи встрѣчается много другихъ примѣровъ голубеманія, и, развѣ, во всякое время существовало еще больше любителей, о которыхъ никогда не было никакой исторіи. Мы видѣли выше, что теперь есть въ Англіи знаменитые любители голубей, составляющіе голубиные клубы. Имъ условій совершенно достаточно, чтобы имѣть самое пестрое разнообразіе и самыя разнообразныя особенности въ различныхъ породахъ домашнихъ голубей. Голубей человѣкъ любитъ по своему капризу, а другихъ домашнихъ животныхъ онъ избѣгаетъ и до сихъ поръ любитъ сообразно съ своими выгодами. Это мы видимъ вотъ какъ: рождается напримѣръ голубь, котораго зобъ немного больше, чѣмъ у другихъ; любителю эта особенность кажется оригинальной и прелестной; мудреного ничего нѣтъ, потому что человѣческіе вкусы такъ болѣе разнообразны и эксцентричны, что голубиныя породы; любитель подыскиваетъ

зобастому голубю подругу, у которой зобъ также побольше, чѣмъ у другихъ; посмотримъ, думаетъ онъ, что выйдетъ. Выходятъ зобастые птенцы. Онъ выбираетъ изъ нихъ самыхъ зобастыхъ и спариваетъ ихъ съ другими зобастыми; ну, и является наконецъ, послѣ многихъ систематическихъ спариваній и послѣ тщательнаго избранія самыхъ характерныхъ субъектовъ, такая птица, на которую смѣшно смотрѣть и для которой надо выдумать особенное названіе *columba gutturogasa*, а по англійски *router*.

Такія особенности, которыми отличаются многія породы голубей и которыя не доставляютъ никакой пользы ни человѣку, ни самому животному, дѣйствительно могли развиваться только тѣмъ путемъ, который показанъ въ предыдущихъ строкахъ. Только прихоть любителей произвела эти особенности, и только та-же самая прихоть поддерживаетъ ихъ. Можно сказать навѣрное, что каждая очень эксцентричная порода голубей очень немногочисленна сравнительно съ какой-нибудь простой породой; люди, держащіе голубей для стола, не станутъ выбирать нарочно голубей съ стоячими хвостами или съ яковинскими капюшонами, а если имъ попадутся такіе голуби, то никто не станетъ заботиться о сохраненіи этихъ характеристическихъ признаковъ; птицы будутъ совокупляться по собственному благоусмотрѣнію; вся генеалогія перепутается, и черезъ нѣсколько поколѣній стоячіе хвосты и капюшоны совершенно пропадутъ, потому что эти эксцентрическія особенности очень непрочно. Гораздо прочнѣе тѣ особенности въ складѣ животныхъ, которыя приносятъ человѣку дѣйствительную пользу, и прочнѣе онѣ именно потому, что объ ихъ поддержаніи и совершенствованіи заботятся сознательно или невольно всѣ люди, и не двѣ, три дюжины прихотливыхъ знатоковъ любителей. Наконецъ всего прочнѣе тѣ особенности, которыя полезны самому животному; эти особенности поддерживаются и развиваются постояннымъ вліяніемъ всей природы, неудержимымъ дѣйствіемъ той общей и роковой силы вещей, которая всегда и вездѣ оказывается неизмѣримо сильнѣе всякихъ человѣческихъ сознательностей.

Но объ этихъ послѣднихъ особенностяхъ и объ этой силѣ вещей у насъ будетъ рѣчь впереди, — тогда, когда мы отъ домашнихъ животныхъ перейдемъ къ дикимъ, то-есть изъ скотнаго двора выйдемъ въ лѣсъ, въ степь, въ море, въ различные части свѣта и въ глубину геологическаго прошедшаго. Покуда потолкуемъ о скотномъ дворѣ и объ огородѣ, тѣмъ болѣе, что въ этихъ скромныхъ областяхъ сельскаго хозяйства мы найдемъ чрезвычайно много поучительнаго и интереснаго. Дарвинъ не даромъ началъ свою книгу съ домашнихъ животныхъ; ему было необходимо разсмотрѣть и изучить сначала дѣйствіе законовъ природы въ малыхъ развѣтвяхъ, въ

упрощенных формах и въ ограниченных сферахъ. Превращенія домашнихъ породъ относятся къ превращеніямъ дикихъ породъ, какъ искры электрической машины относятся къ ударамъ настоящего грома. Изучать различныя свойства электричества гораздо удобнѣе въ физическомъ кабинетѣ, чѣмъ подъ открытымъ небомъ, во-первыхъ потому, что не мокнешь подъ дождемъ, а во-вторыхъ потому, что не рискуешь подвергнуться участи профессора Рихмана, который, какъ извѣстно, былъ убитъ громомъ въ прошломъ столѣтіи во время своихъ наблюденій надъ атмосфернымъ электричествомъ. Такъ точно и въ дѣлѣ Дарвина. Тутъ даже нѣтъ никакой возможности дѣлать прямыя наблюденія надъ дикими породами. Надо имѣть постоянно передъ глазами изучаемую породу, надо слѣдить за ея видоизмѣненіями втеченіи нѣсколькихъ и даже многихъ поколѣній; а какъ только вы поставите дикое животное въ такое положеніе, въ которомъ можете постоянно слѣдить за нимъ, такъ оно очевидно перестанетъ быть дикимъ и сдѣлается или плѣннымъ животнымъ, или ручнымъ. Левъ въ клѣткѣ — что-жъ это за левъ? И какіе-же общіе выводы можно основать на такихъ наблюденіяхъ, при которыхъ наблюдаемый предметъ насильственно вырванъ изъ своей естественной сферы и поставленъ въ совершенно ненормальное положеніе? Да еслибы даже вы и захотѣли дѣлать тутъ какіе-нибудь выводы, такъ и дѣлать-то ихъ не изъ чего, потому что запасъ фактовъ будетъ очень скуденъ. Поэтому, если натуралистъ хочетъ изучать вопросъ о типахъ, о разновидностяхъ, о законахъ наслѣдственности, о возможныхъ разнѣрахъ индивидуальнаго разнообразія, то онъ долженъ съ полнымъ смиреніемъ обратиться къ тому богатому запасу практическаго опыта, который собранъ у скотоводовъ, у заводчиковъ, у садовниковъ, у огородниковъ и у разныхъ другихъ скромныхъ двигателей матеріальнаго благосостоянія. У этихъ людей нѣтъ обобщающаго взгляда, но сырыхъ фактовъ пропасть, и умѣнье ихъ обращаться съ живымъ матеріаломъ доходитъ до изумительнаго совершенства, конечно только въ тѣхъ странахъ, гдѣ сельское населеніе не задавлено бѣдностью и гдѣ различныя отрасли сельскаго хозяйства не ведутся на авось. Въ Англіи и въ Германіи есть знаменитые скотоводы, которые втеченіи одной человѣческой жизни, произвели очень обширныя измѣненія въ нѣкоторыхъ породахъ быковъ и барановъ. «Можно подумать, — говоритъ лордъ Сомервилль, — что они нарисовали идеальную форму и потомъ дали ей жизнь». Они дѣйствительно смотрятъ на животное, какъ на кусокъ глины, изъ которой, при нѣкоторомъ умѣньи, можно вылѣпить самую красивую, самую полезную или самую уродливую статую. И этотъ взглядъ основанъ дѣлкомъ на практическомъ опытѣ, потоку что, какъ только эти господа пускаются въ теорію,

такъ они становятся чрезвычайно робкими. Они сами измѣняютъ фигуру своихъ животныхъ, но въ то-же время они рѣшительно отказываются вѣрить, что наприимѣръ короткорогіе быки произошли отъ длиннорогихъ. Они видятъ и понимаютъ только то, что сами дѣлаютъ; поэтому когда эти невѣрующіе практики говорятъ о превращеніяхъ, то имъ уже можно вѣрить безусловно. Одинъ изъ этихъ практиковъ, Джонъ Себрайтъ, говоритъ, что онъ въ три года беретъ создать для голубя какой угодно цвѣтъ перьевъ; а въ шесть лѣтъ онъ можетъ переработать голову и клювъ. Вся хитрость состоитъ тутъ въ томъ, чтобы умѣть выбрать самца и самку и чтобы повторять эту операцію съ одинаковымъ искусствомъ для второго, для третьяго поколѣнія, и такъ далѣе.

Этотъ принципъ систематическаго выбора произвелъ и до сихъ поръ производитъ всѣ превращенія нашихъ домашнихъ животныхъ и хозяйственныхъ растений. Но выбирать вовсе не такъ легко, какъ это можетъ показаться съ перваго взгляда. Въдѣ тутъ дѣло не въ томъ, чтобы распознать и отдѣлать одну отъ другой, двѣ истинно обозначенныя породы; и не въ томъ, чтобы отстранить отъ завода уродливыхъ субъектовъ; это только самая простая и чисто отрицательная часть задачи, и Дарвинъ, не имѣющій понятія о тайнахъ нашего русскаго скотоводства, утверждаетъ, даже съ полнымъ убѣжденіемъ, что не существуетъ такихъ безалаберныхъ людей, которые позволили-бы размножаться самымъ плохимъ экземплярамъ своего стада. Но положительная сторона дѣла оказывается несравненно болѣе трудной. Глазъ скотовода долженъ подмѣтить каждую зарождающуюся особенность, чтобы уничтожить ее въ самомъ началѣ, если она можетъ сдѣлаться вредной, или чтобы развить и воспитать ее въ будущихъ поколѣніяхъ, если она можетъ принести пользу. Въ Саксоніи, гдѣ процвѣтаетъ тонкорунное овцеводство, умѣнье изучать и разсматривать барановъ превратилось въ науку и въ искусство. Есть тамъ такіе специалисты по части барановѣднія, которыхъ владѣльцы стадъ приглашаютъ на консультаціи и которымъ платятъ за совѣты очень порядочныя деньги. Три раза въ годъ каждого барана ставятъ на столъ, барановѣдъ изучаетъ его во всѣхъ подробностяхъ, какъ картину, отмѣчаетъ и записываетъ его въ особенную категорію, и затѣмъ только самые безукоризненные бараны признаются достойными наслаждаться счастьемъ взаимной любви. Несмотря на всѣ эти хлопоты и издержки, хозяинъ остается въ большомъ барышѣ, потому что бараны дѣйствительно воплощаютъ въ себѣ идеалъ бараньяго совершенства, а всякое совершенство, при умѣньи имъ пользоваться, даетъ значительный доходъ. Но не всякій желающій можетъ сдѣлаться барановѣдомъ или быковѣдомъ; Дарвинъ всѣми силами старался разсмотрѣть

кія особенности, о которыхъ разсуждали и юрили специалисты, и ничего не могъ увидать. Зрядь-ли,—говоритъ онъ,—одинъ человѣкъ съ тысячами обладаетъ той вѣрностью глаза и жденія, которая необходима для того, чтобы сдѣлаться искуснымъ скотоводомъ». «Немногіе ради повѣрить,—говоритъ онъ далѣе,—сколько требуется природныхъ способностей и опытности для того, чтобы сдѣлаться искуснымъ любителемъ лубай». Впрочемъ, повѣрить этому вовсе не трудно; индивидуальныя особенности обыкновенно являются едва замѣтны, а только постоянное измѣненіе этихъ незамѣтныхъ особенностей въ вѣстномъ направленіи можетъ современемъ повести къ замѣтному совершенствованію породы, или къ образованію новой разновидности. Если вы побываете въ хорошемъ цвѣтникѣ, въ хорошемъ огородѣ, и въ хорошемъ фруктовомъ саду, то вы непременно замѣтите очень любопытное явление: въ цвѣтникѣ вы увидите положимъ множество различныхъ георгинъ; разнообразіе будетъ заключаться въ цвѣтахъ, между тѣмъ какъ стебли и листья этихъ растений будутъ очень похожи другъ на друга; въ огородѣ вы увидите много сортовъ капусты; здѣсь листья будутъ разнообразны, а цвѣты почти одинаковы; въ фруктовомъ саду вы увидите всевозможныя виды крыжовника; на одномъ кустѣ будутъ крупныя ягоды, на другомъ мелкія, на третьемъ желтыя, на четвертомъ желтыя, на пятомъ — красныя, здѣсь — мохнатыя, тамъ — гладкія, здѣсь — продолговатыя, тамъ — круглыя; но посмотрите на самые кусты, на листья, на цвѣты, и вы едва отличите одинъ сортъ отъ другого. Во всѣхъ этихъ трехъ случаяхъ, разнообразіе, какъ видите, проявляется именно въ тѣхъ частяхъ растений, на которыя обращено вниманіе человѣка. Понятно почему. Занимаясь георгинами, садовникъ выбираетъ сѣмяна тѣхъ растений, которыя даютъ особенно яркіе и красивые цвѣты; если какая нибудь новая форма проявится въ цвѣтахъ этихъ растений, то садовникъ замѣтитъ и воспитаетъ ее; если же эта новая форма обнаружится въ стеблѣ или въ листьяхъ, то на нее даже никто и не посмотритъ. Цвѣты георгинъ измѣняются такимъ образомъ подъ вліяніемъ человѣка, а стебли и листья измѣняются уже только вслѣдъ за цвѣтами по соотношенію въ развитіи, и эти второстепенныя измѣненія бывають обыкновенно незначительны. Въ капустѣ и въ крыжовникѣ дѣло устроивается точно также, съ той только разницей, что вниманіе человѣка обращается тутъ, въ первомъ случаѣ, на листья, а во второмъ,—на ягоды. То же самое явленіе можно замѣтить и въ тѣхъ измѣненіяхъ, которыя человѣкъ производитъ надъ животными. Что онъ измѣняетъ, напимѣръ, въ баранѣ? Ростъ, фигуру тѣла, рога, шерсть, величину ногъ—вообще то, что бросается въ глаза, или что можно, по крайней мѣрѣ, рассмотреть. Никому въ голову не

приходило измѣнить желудокъ или печень барана да и никому бы не удалось сдѣлать такую штуку, потому что, въ большей части случаевъ, нѣтъ возможности подмѣнить у живаго существа, въ устройствѣ внутренняго органа, такую индивидуальную особенность, которую можно было бы развить посредствомъ систематическаго выбора. Но, когда устройство внутренняго органа проявляется въ какомъ нибудь вѣншемъ признакѣ, тогда человѣкъ можетъ измѣнить и внутренній органъ. Напимѣръ, величина зоба выразилась у голубя въ привычкѣ раздувать эту часть тѣла; человѣкъ замѣтилъ и развилъ какъ зобъ, такъ и привычку. У свиней особое устройство пищеварительнаго канала или особыя химическія свойства крови выражаются вѣншимъ образомъ въ черномъ цвѣтѣ; обитатель Флориды замѣтилъ это обстоятельство, и, выбирая постоянно черныхъ свиней, упрочилъ за своими свиньями тѣ особенности, которыя позволяютъ имъ ѣсть корень *laehnanthes*, не расплачиваясь за это удовольствіе своими копытами. Наконецъ, конозаводство, выбирая постоянно для своихъ заводовъ самыхъ быстрыхъ скакуновъ, несомнѣнно упрочиваетъ за своими лошадьми, кромѣ крѣпости ногъ, особое устройство легкихъ, потому что простая лошадь задохнется отъ того быстрого движенія, которое безъ малѣйшаго труда вынесетъ англійскій рысакъ. Такимъ образомъ человѣкъ, посредствомъ цѣлесообразнаго выбора производителей, можетъ измѣнить всю организацію животныхъ и растений; но обыкновенно, онъ измѣняетъ только вѣншіе органы, или какую нибудь отдѣльную группу органовъ, а внутренніе или вообще другіе органы, не интересующіе человѣка, измѣняются уже помимо его воли, въ мѣнѣ значительныхъ размѣрахъ, по неизслѣдованнымъ законамъ соотношенія въ развитіи.

V.

Невольное вліяніе человѣка.

Не прошло еще ста лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ скотоводы стали обращать серьезное вниманіе на улучшеніе породъ посредствомъ систематическаго выбора производителей. До сихъ поръ скотоводство обращено въ науку и въ искусство только въ немногихъ странахъ Европы; гдѣ существуетъ національное скотоводство, тамъ оно съ изумительной быстротой доставило уже блистательные результаты, но результаты эти не могутъ имѣть обширнаго значенія по той простой причинѣ, что всякое рациональное занятіе еще надолго будетъ оставаться доступнымъ только для самаго незначительнаго меньшинства нашей великой и прославленной породы. Большинство людей, вслѣдствіе печальной необходимости, живетъ и дѣйствуетъ оцупью, по силѣ

инерція, безъ всякаго плана жизни и безъ всякой цѣли. Какъ оно живетъ вообще, такъ точно оно дѣйствуетъ и на тотъ міръ животныхъ и растений, отъ котораго оно зависитъ съ своимъ пропитаніемъ. Вліяніе этого безсознательнаго большинства обнаруживается медленно, неясно и безтолково, но зато кругъ дѣйствій этого большинства чрезвычайно обширенъ. Во-первыхъ, большинство есть все-таки стихійная сила, и въ сравненіи съ нею всякіе индивидуальныя труды оказываются крошечными песчинками; во-вторыхъ, это большинство дѣйствуетъ не какихъ-нибудь восемьдесятъ лѣтъ, какъ просвѣщенные скотоводы, а нѣсколько десятковъ тысячелѣтій. Поэтому не подлежитъ сомнѣнію, что большинство, или человѣчество вообще, съ начала своего существованія невольно и безсознательно произвело въ животныхъ и въ растенияхъ множество чрезвычайно важныхъ и обширныхъ измѣненій. Всякій разъ, какъ только человѣкъ имѣлъ возможность выбрать изъ нѣсколькихъ предметовъ одинъ, онъ выбиралъ непременно тотъ, который доставлялъ ему больше пользы или удовольствія. Если онъ напиримѣръ могъ прокормить только одну собаку, то онъ конечно пришибалъ не ту, которая отличалась особенной вѣрностью и смелостью. Если у него была одна кобыла, то онъ, разумѣется, не отыскивалъ для нея нарочно самаго уродливаго и дряхлаго жеребца. Когда арабы, застигнутые голодомъ въ пустынѣ, бывають принуждены зарѣзать и съѣсть верблюда, то они никакъ не распорядятся такимъ образомъ съ самымъ лучшимъ и съ самымъ крѣпкимъ верблюдомъ. Дикіе обитатели Огненной Земли такъ дорожатъ своими собаками, что во время голодныхъ мѣсяцевъ или годовъ, которые для всякихъ дикарей вообще повторяются очень часто, — они убивають и съѣдаютъ своихъ старухъ, а собакъ не трогаютъ, потому, говорятъ они, что собака полезна. Когда людямъ, не питающимся въ обыкновенное время человѣческими мясами, приходится поѣдать своихъ близкихъ родственницъ, тогда, разумѣется, бываетъ уже съѣдено все, что только можно было съѣсть. Собаку можно съѣсть, а если ея не съѣсть, то ее надо кормить, а это очень мудрено сдѣлать въ такое время, когда люди ѣдятъ другъ друга, и все-таки умирають съ голоду. Понятно, что послѣ такой передраги уцѣлѣють только тѣ собаки, которыя, во-первыхъ, особенно драгоценны для своихъ владѣльцевъ какими-нибудь отъѣчными достоинствами и, во-вторыхъ, умѣють переносить голодь лучше другихъ. Выборъ будетъ сдѣланъ такимъ образомъ не по рациональной методѣ, но зато чрезвычайно строго.

И въ древности, и во время среднихъ вѣковъ люди голодали очень часто, нисколько не хуже теперешнихъ обитателей Огненной Земли или Гренландіи. А что въ доисторическія времена такіа голодные полосы находили на людей еще

гораздо чаще и поражали ихъ гораздо сильнѣе, въ этомъ не можетъ быть никакого сомнѣнія. Чѣмъ дальше въ лѣсъ, тѣмъ больше дровъ; чѣмъ дальше въ прошедшее, тѣмъ мрачнѣе становится картина человѣческаго существованія или прозябанія. Голодь обрушивался и на людей, и на домашнихъ животныхъ; животныя травоядныя могли-бы прокормиться сами, но ихъ съѣдали голодные люди, и конечно оставалось въ живыхъ только то, что было всего крѣпче, всего лучше и всего необходимѣе. Эти періодическія пощенія голода сдѣлались гораздо рѣже или совершенно прекратились только тогда, когда люди, размножившись, стали вести образъ жизни вполне приличный охотному и земледѣльческому племени. Тутъ уже «табуны его коней» не могли пастись «вольны, нехранимы», потому что это возможно только тогда, когда «его луга не-обозримы», а необозримость луговъ существуетъ тогда, когда пародъ находится въ переходномъ состояніи отъ кочевой жизни къ осѣдлой. Когда же кони и всякій другой скотъ стали обитать въ покрытыхъ строеніяхъ, тогда вмѣсто вліянія періодическаго голода домашнія животныя стали испытывать на себѣ видоизмѣняющее дѣйствіе хозяйственныхъ распоряженій. Всякій крестьянинъ, вовсе не рассчитывая усовершенствовать породу и вовсе не зная, что такіа усовершенствованія возможны, старался по крайней мѣрѣ, чтобы его корова или кобыла не производила на свѣтъ уродовъ. Для этого онъ напиримѣръ держалъ молодыхъ самцовъ отдѣльно отъ молодыхъ самокъ. Если представлялась возможность слушать корову съ хорошимъ быкомъ, или кобылу съ хорошимъ жеребцомъ, то крестьянинъ, разумѣется, пользовался этой возможностью, потому что важное значеніе хорошей породы понятно самымъ необразованнымъ людямъ и было имъ извѣстно съ незапамятныхъ временъ. Они не умѣли ни произвести, ни даже поддержать въ полной чистотѣ хорошую породу, но все-таки, по мѣрѣ своихъ силъ и своей сообразительности, они старались сдѣлать получше, а не похуже. То, что было очевидно дурно, — отбрасывалось въ сторону; то, что было очевидно хорошо, — сохранялось; и такъ какъ въ этомъ направленіи дѣйствовали не десятки людей, а миллионы, то и результаты получились очень значительныя, хотя въ большей части случаевъ никакое научное изслѣдованіе не можетъ показать намъ, каковы были первобытныя формы домашнихъ животныхъ, и чрезъ какія постепенныя видоизмѣненія они должны были пройти, прежде чѣмъ достигли своего теперешняго положенія.

Исторія разныхъ животныхъ и хозяйственныхъ растений не сохранилась и не могла сохраниться по многимъ причинамъ. Во-первыхъ, начало земледѣлія и скотоводства относится къ такому далекому прошедшему, о которомъ говорятъ не лѣтописи и даже не преданія, а только кое-какіе,

амые скудные геологическіе остатки; жили люди, были у нихъ прирученныя животныя, остались тѣхъ и другихъ кое-какія кости, — вотъ и се, что можно узнать о доисторическихъ тысячелѣтіяхъ, да и эти небогатые свѣдѣнія мы могли пріобрѣтать только въ самое новѣйшее время. Стало быть, возстановить типъ домашнихъ животныхъ и растений, какъ они были въ минуту перваго своего соприкосновенія съ человекомъ, и потомъ сравнить этотъ типъ съ тѣми формами, которыя живутъ теперь подъ нашей ласкою, — это такая работа, которую изслѣдователи наши по всей вѣроятности никогда не удѣтъ въ состояніи выполнить.

Не зная исходной точки, мы точно также не знаемъ и тѣхъ переходныхъ ступеней, черезъ которыя прошли наши животныя и растенія. Теперь, когда на этотъ предметъ обращено вниманіе мыслящихъ людей, теперь, когда существуютъ выставки сельско-хозяйственныхъ произведеній, когда о скотѣ, объ огородахъ и о птицѣ пишутся научныя сочиненія съ самыми отличными рисунками, чертежами и таблицами, теперь, разумѣется, можно замѣтить всякую перемѣну въ быкахъ, въ баранахъ, въ капустахъ, въ пшеницѣ, въ георгинахъ или въ крыжовникѣ. Но въ былое время, въ то время, которое собственно для насъ не составляетъ даже прошедшаго, — никто не обращалъ вниманія на эти перемѣны, никому не приходило въ голову рисовать портреты съ капусты или измѣрять быка вдоль и поперекъ. Теперь въ образованныхъ государствахъ измѣненія органическихъ формъ бѣже бросаются въ глаза, потому что, благодаря трудамъ дѣльныхъ специалистовъ, они воспринимаются очень быстро, то есть втеченіи нѣсколькихъ десятилѣтій, на глазахъ одного поколѣнія. Въ былое время они совершались чрезвычайно медленно, и людямъ было такъ же невозможно замѣтить эти измѣненія, какъ невозможно напримѣръ замѣтить глазами движеніе часовой стрѣлки. О движеніи часовой стрѣлки человѣкъ, незнающій внутренняго устройства часовъ, заключаетъ потому, что помнитъ, на какомъ мѣстѣ она стояла нѣсколько времени тому назадъ, видитъ, гдѣ она очутилась въ данную минуту. Въ вопросѣ объ органическихъ формахъ мы мгновенно не знаемъ, гдѣ стояла стрѣлка лѣтъ тысячу или семьсотъ тому назадъ; но въ тѣхъ многихъ случаяхъ, въ которыхъ у насъ есть познанія на прошлое положеніе стрѣлки, мы постоянно видимъ, что она съ тѣхъ поръ подвигалась впередъ. Напримѣръ, англійская лягавая собака привезена въ Англію изъ Испаніи; между тѣмъ въ Испаніи новѣйшіе путешественники ни разу не видали ни одной собаки, похожей на перешнюю англійскую; испанскія лягавы sokkal хуже теперешнихъ англійскихъ, и послѣднія или усовершенствованы тѣмъ, что каждый охотникъ старался пріобрѣсти себѣ собаку какъ

можно лучше, хотя ни одинъ охотникъ не заболтался положительно о томъ, чтобы реформировать всю породу. Англійскія лошади происходятъ отъ арабскихъ, но онѣ теперь настолько лучше послѣднихъ, что на нѣкоторыхъ скачкахъ существуютъ постоянныя правила, по которымъ арабскіе скакуны во время состязаній должны нести на себѣ меньше тяжести, чѣмъ англійскіе. По описаніямъ Плинія можно заключить, что груши у древнихъ римлянъ были очень дурного качества, а между тѣмъ вѣдь никто-же не рѣшится предположить, что лучшіе сорта нашихъ теперешнихъ грушъ найдены готовыми гдѣ-нибудь въ лѣсу во время среднихъ вѣковъ. Въ лѣсу, разумѣется, находились всегда только такія яблоки и груши, которыя мы и теперь называемъ дикими и которыми никто не пожелаетъ лакомиться. Теперешнія груши произошли прямымъ путемъ отъ древнихъ грушъ времени Плинія и усовершенствовались постепенно вліяніемъ тщательной обработки; а главнымъ средствомъ улучшенія былъ выборъ сѣмянъ; всякій садовникъ, какъ-бы онъ ни былъ неразвитъ, все-таки старается посѣять самыя крупныя, самыя зрѣлыя сѣмена, происходящія изъ тѣхъ плодовъ, которые отличались особенной сочностью и особенно хорошимъ вкусомъ. Даже гоголевскій Иванъ Никифоровичъ, и тотъ навѣрное собиралъ въ бумажку сѣмена тѣхъ только дынь, которыя ему нравились. А если такимъ образомъ втеченіи другихъ столѣтій постоянно накапливаются только самыя легкія и незамѣтныя индивидуальныя особенности, то въ общемъ итогѣ непременно получаются наконецъ новыя породы и цѣлыя новыя виды. Пока эти разновидности, породы и виды вырабатываются, ихъ никто не замѣчаетъ; когда-же они окончательно готовы и когда нельзя ихъ не замѣтить, тогда никто не знаетъ, откуда они взялись и какъ они сформировались. Отсюда и возникаетъ мнѣніе, что они, дескать, всегда существовали. Если человѣкъ чего-нибудь не знаетъ, то онъ въ одну минуту или думаетъ что-нибудь, или увѣрить себя, что тутъ и знать нечего. Не знаетъ происхожденія породы, значитъ и не было никакого происхожденія: всегда была порода съ тѣхъ поръ, какъ міръ стоитъ; не знаетъ развитія породы, значитъ и нѣтъ никакого развитія: всѣ породы неизмѣнны и неподвижны. А живая-то жизнь сейчасъ тутъ-же и прихлопнетъ человѣка и уличитъ его въ безтолковость и самонадѣянномъ враньѣ неопровержимыми фактами. Окажется напримѣръ, что породы чрезвычайно подвижны, и что онѣ часто измѣняются передъ самыми глазами человѣка, помимо и даже вопреки его воли. Жили-были два англичанина, Берджесъ и Беклей; завели они себѣ лѣтъ пятьдесятъ тому назадъ по стаду лейстерскихъ барановъ съ бекузлевскаго завода; заводъ этотъ знаменитый, и оба англичанина старались только о томъ, чтобы сохранить въ

чистотѣ породу своихъ стадъ и всѣ ихъ превосходныя качества. Бараны какъ были отличные, такъ и остались отличными. Но какъ ни строги были консервативныя тенденціи господъ Берджеса и Беклея, однако въ результатѣ все-таки получился прогрессъ, а если не прогрессъ, такъ во всякомъ случаѣ перемена. У Берджеса—одни бараны, а у Беклея—другіе, точно двѣ разныя породы, и обѣ породы отличаются отъ чистыхъ бекулевскихъ барановъ. И жили оба стада въ одномъ климатѣ, и мѣстоположеніе одинаковое, и пища та-же самая, и хозяйева оба консерваторы, а все-таки такой грѣхъ случился. Чѣмъ-же это объяснить? Все-таки выборомъ производителей. Берджесъ и Беклей хотѣли придти къ одной цѣли, или, вѣрнѣе, оба хотѣли стоять на одномъ мѣстѣ, но такъ какъ одинъ человѣческій взглядъ никогда не сходилъ вполнѣ съ другимъ, то и наши англичане навѣрное чуть-чуть, но расходились между собой въ манерѣ прикладывать общую методу къ дѣлу. Берджесъ обращалъ капримѣръ немножко больше вниманія на одну сторону бараньяго идеала, а Беклей на другую. И изъ этого «немножко», и изъ этого «чуть-чуть» втеченіи пятидесяти лѣтъ, при полномъ сходствѣ важнѣйшихъ условій жизни, выработалась очень замѣтная разница въ результатахъ.

Послѣ этого надо быть очень яростнымъ классификаторомъ и очень непреклоннымъ обожателемъ неуловимаго понятія *ovis aries*, чтобы отрицать измѣняемость органическихъ формъ и чтобы не видѣть въ каждомъ измѣненіи исключительное дѣйствіе человѣческаго искусства. Если человѣкъ не хочетъ измѣнять, а между тѣмъ все-таки измѣняется, то очевидно, что его самого увлекаетъ необходимая и роковая сила вещей. А эта сила вездѣ одна и та-же; она дѣйствуетъ и на скотномъ дворѣ англійскаго сквайра, и въ дѣтственномъ лѣсу тропической Америки, и въ развалившейся клѣткѣ русскаго мужика, и въ холодной глубинѣ полярнаго океана. Законъ тяготѣнія управляетъ движеніемъ тѣхъ частицъ жира, которыя поднимаются на поверхность вашего супа, и тотъ-же законъ господствуетъ надъ тѣми тысячами міровъ, которые представляются нашимъ сильнѣйшимъ телескопомъ въ видѣ неясныхъ туманныхъ пятенъ. А законъ тяготѣнія отличается отъ тѣхъ законовъ, по которымъ совершается развитіе органической жизни, только тѣмъ, что послѣдніе гораздо сложнее перваго и гораздо менѣе изслѣдованы. Но всѣ законы природы, простые и сложные, изслѣдованные и неизслѣдованные, физическіе и психологическіе, одинаково непоколебимы, одинаково обширны и одинаково не терпятъ исключеній, потому что всѣ они одинаково вытекаютъ изъ необходимыхъ и вѣчныхъ свойствъ безпредѣльнаго мірового вещества.

VI.

Борьба за жизнь.

Каждое растеніе производитъ втеченіи своей жизни нѣсколько зеренъ; каждая самка, къ какому-бы классу животнаго царства она ни принадлежала, производитъ, при нормальныхъ условіяхъ, нѣсколько яицъ или нѣсколько живыхъ дѣтенышей. Каждая порода органическихъ существъ стремится такимъ образомъ размножаться по геометрической прогрессіи, которая возрастаетъ болѣе или менѣе быстро, смотря по тому, много или мало птенцовъ рождаетъ самка. Если мы возьмемъ ту геометрическую прогрессію, которая возрастаетъ въ такомъ видѣ: 1, 2, 4, 8, 16, 32..., то и тутъ получатся изумительные результаты. Линней предположилъ, что какою-нибудь однолѣтнее растеніе даетъ втеченіи своей годовой жизни только два зерна, и что эти два зерна на будущій годъ взойдутъ благотворно, и въ свою очередь принесутъ по два зерна; продолжая этотъ расчетъ съ тѣми же предположеніями, онъ нашелъ, что на двадцатипервый годъ получится больше милліона растеній. Но такихъ растеній, которыя приносили бы въ годъ по два зерна, не существуетъ; всѣ приносятъ больше; а у нѣкоторыхъ органическихъ существъ быстрота размноженія доходитъ до чудовищныхъ размѣровъ. Самка налимъ кладетъ въ годъ до 130 тысячъ ичечекъ; самка окуни—до 300,000; треска—до 4 милліоновъ; если приложить расчетъ Линнея къ трескѣ, то есть, если предположить, что каждое изъ 4 милліоновъ ичечекъ благополучно разовьется и произведетъ также 4 милліона ичечекъ, и если продолжать этотъ расчетъ до двадцатиперваго поколѣнія, то, разумеется, получится такой рядъ цифръ и нулей, котораго никто не сумѣетъ произнести, а треска такъ сопреется въ морѣ, что ей негдѣ будетъ повернуться и уже во всякомъ случаѣ нечѣмъ будетъ питаться. Но такое несчастіе возможно только въ теоретическомъ расчетѣ; въ природѣ оно невозможно, именно потому, что всѣ органическія формы размножаются не по геометрической прогрессіи; всѣ онѣ производятъ столько дѣтей, яицъ или сѣмянъ, что еслибы всѣ дѣти, яйца и сѣмена, произведенныя только втеченіи одного года, достигли полного своего развитія, то всѣ эти ровесники не могли-бы уместиться на всей поверхности земнаго шара. Но это предположеніе опять-таки не только неосуществимо въ дѣйствительности, а даже немыслимо въ теоріи, то есть, оно заключаетъ въ себѣ внутреннее противорѣчіе. Если вы предположите, что всѣ сѣмена растеній достигнутъ полного своего развитія, то вы осудите на вѣрную смерть весь животный міръ безъ исключенія, потому что нѣтъ ни одного животнаго, которое питалось-бы неорганическими веществами. Если вы захотите,

чтобы группа травоядныхъ животныхъ развивалась совершенно безпрепятственно, то вы до нѣкоторой степени обидите растительный міръ и совершенно погубите плотоядныхъ.

Словомъ, органическая жизнь немислима безъ постоянного и ежеминутнаго истребленія живыхъ существъ; органическая жизнь есть вѣчная борьба между живыми существами, и каждая органическая форма стѣсняется въ своемъ размноженіи всѣми остальными формами. Борьба эта не можетъ прекратиться ни на одно мгновеніе, потому что каждый шагъ въ жизни есть актъ борьбы. Борьба приходится за все: за пищу, за пространство, за горсть земли, за глотокъ воздуха, за частицу воды, за лучъ свѣта, за неприкосновенность собственнаго тѣла, короче сказать, — за жизнь, въ самомъ обширномъ и всеобъемлющемъ смыслѣ этого страшнаго слова. Кто оплошалъ въ этой борьбѣ, тотъ погибъ, того тотчасъ отдають въ ломъ, какъ серги или булаву стараго фараона; онъ умираетъ и его немедленно самымъ веселымъ и добродушнѣйшимъ образомъ поѣдаютъ другія растенія и животныя; то растеніе или животное, которому удалось оторвать себѣ кусокъ мертваго тѣла, одержало побѣду надъ тѣми, кому это не удалось; кто часто одерживаетъ такіа побѣды, тотъ усиливается и получаетъ возможность еще съ большимъ успѣхомъ одолѣвать своихъ конкурентовъ; кто часто тернитъ такіа поражения, тотъ, напротивъ того, слабѣетъ, умираетъ и своей смертью открываетъ поле для новыхъ схватокъ, которыя кончаются новыми побѣдами однихъ и новыми поражениями другихъ. Если наприимѣръ ястребъ поймалъ и задушилъ голубя, то онъ одержалъ побѣду не только надъ голубемъ, но и надъ другими ястребами. Какъ ни могутъ полетѣть ястреба и какъ ни многочисленны тѣ птицы, которыя могутъ служить ему добычей, однако число этихъ послѣднихъ не можетъ считаться неограниченнымъ на томъ пространствѣ земли, которое ястребъ можетъ облетѣть, не отдыхая. Стало бытъ, всякій голубь, съѣденный однимъ ястребомъ, есть кусокъ пищи, отнятый имъ у другихъ хищныхъ птицъ. Слѣдовательно, между этими птицами происходитъ постоянная борьба даже тогда, когда у нихъ и не доходитъ дѣло до открытой драки. Если люди ищутъ грибовъ въ одномъ лѣсу, то они очевидно борются между собою, хотя и не нанесятъ другъ другу ударовъ. Если растеніе производитъ въ годъ сотню зеренъ, изъ которыхъ среднимъ числомъ только одно успѣваетъ пустить корень, то разумеется это растеніе борется со всѣми своими сосѣдями за кусокъ земли и за необходимую порцію воздуха и солнечнаго свѣта. Или оно должно задушить кого-нибудь изъ сосѣдей, или сосѣди его задушатъ. Середнымъ ибѣтъ и нейтралитетъ невозможенъ. На дубѣ, на яблонѣ и на вѣкоторыхъ другихъ деревьяхъ растетъ чужеродное растеніе *viscum аусипатіумъ*; оно борется за

жизнь, какъ съ другими подобными себѣ растеніями, такъ и съ тѣми деревьями, изъ которыхъ оно тянетъ питательные соки; если этихъ растеній на одномъ деревѣ разведется слишкомъ много, то дерево зачахнетъ и умретъ, а вслѣдъ за нимъ умрутъ и его паразиты. Птицы клюютъ ягоды этого растенія и потомъ разсѣваютъ его сѣмена въ своихъ испражненіяхъ; для *viscum* выгодно, чтобы птицы клевали его плоды; для другихъ растеній того-же вида или другихъ видовъ и родовъ — это также выгодно, по тѣмъ-же самымъ причинамъ; стало бытъ, и здѣсь завязывается борьба въ самой своеобразной формѣ; одна ягода говорить птицѣ: «съѣшь меня!» и другая тоже проситъ: «пожалуйста, съѣшь меня!» Очевидно, побѣда остается за тѣмъ сортомъ ягодъ и за тѣми отдѣльными ягодами каждаго сорта, которыя оказываются самыми вкусными для приглашаемой птицы. Результатъ борьбы здѣсь, какъ и вездѣ, выразится въ томъ, что число побѣдителей увеличится, а число побѣжденных уменьшится.

Жить на бѣломъ свѣтѣ значить постоянно бороться и постоянно побѣждать; растеніе борется съ растеніемъ, травоядное животное борется съ растеніемъ и съ травоядными, плотоядное — съ травояднымъ и съ плотояднымъ, крупныя животныя — съ мелкими, наприимѣръ: быкъ съ какой-нибудь мухой, которая кладетъ ему свои яйца въ ноздри и разводитъ у него въ носу цѣлую губительную колонію, или человѣкъ съ крошечной американской блохой, которая поселяется вмѣстѣ съ своимъ потомствомъ подъ погтемъ его ноги и производитъ такимъ образомъ смертельное воспаленіе, или вообще всѣ высшія животныя — съ мельчайшими паразитами, живущими въ нихъ внутренностяхъ и причиняющими очень часто опасныя болѣзни. Оттѣнки этой всемірной борьбы безконечно разнообразны; каждому недѣльному приходится постоянно и нападать, и защищаться; и только тотъ, кто отстоялъ свое тѣло отъ гастрономическихъ покушеній разнокалиберныхъ враговъ и кто самъ поѣлъ достаточное количество другихъ враговъ, только тотъ, говорю я, можетъ оставить послѣ себя потомство, которому предстоитъ тотчасъ-же послѣ рожденія начать ту же самую истребительную борьбу.

Родиться на свѣтъ — самая простая штука, но прожить на свѣтѣ — это уже очень мудро; огромное большинство органическихъ существъ вступаетъ въ міръ, какъ въ громадную кухню, гдѣ повара ежеминутно рубятъ, потрошатъ, варятъ и поджариваютъ другъ друга; понавши въ такое странное общество, юное существо прямо изъ утробы матери переходитъ въ какой-нибудь котелъ и поглощается однимъ изъ поваровъ; но не успѣлъ еще поваръ проглотить свой обѣдъ, какъ онъ уже самъ, съ недожеваннымъ кускомъ во рту, сидитъ въ котлѣ и обнаруживаетъ уже чисто пассивныя достоинства, свойственные хо-

рошей котлетъ. И идетъ эта удивительная работа день и ночь безъ малѣйшаго перерыва съ тѣхъ поръ, какъ «солнце свѣтитъ и весь міръ стоитъ». Сколько миллионѣвъ птицъ питается напримѣръ зернами и насѣкомыми! Каждой птицѣ надо съѣсть въ день сотни мошекъ или сѣмячекъ, и слѣдовательно каждый разъ, какъ она разбѣгаетъ свой клювъ, однимъ органическимъ существомъ становится меньше.

Сила размноженія у всѣхъ органическихъ существъ очень велика, но конечный результатъ зависитъ не отъ этой силы, а отъ величины препятствій, лежащихъ на пути этого размноженія, и отъ могущества тѣхъ средствъ, которыми располагаетъ размножающаяся порода для борьбы съ этими препятствіями. Препятствія заключаются въ напорѣ другихъ органическихъ существъ, которые также размножаются, а оборонительныя и наступательныя средства заключаются въ условіяхъ организаціи той породы, о которой идетъ рѣчь. Когда выгодное устройство этой организаціи перевѣшиваетъ препятствія, тогда порода размножается, и если перевѣсъ очень значителенъ, то и размноженіе идетъ очень быстро. Напримѣръ, въ Южной Америкѣ и въ Австраліи лошади и быки, привезенные европейцами, возвратились къ дикому состоянію и размножились съ неувѣроятной быстротой. Сила размноженія не увеличилась, потому что складъ коровъ и кобылъ не измѣнился, но уменьшились препятствія, существовавшія въ Европѣ; человѣкъ уже не рѣзалъ телятъ и быковъ для своего стола и не отвлекалъ лошадей отъ дѣторожденія своими хозяйственными распоряженіями; а еще важнѣе было то обстоятельство, что въ своемъ новомъ отечествѣ эти одичавшія животныя не встрѣтили себѣ ни многочисленныхъ и опасныхъ враговъ между плотоядными звѣрями и чужеродными насѣкомыми, ни многочисленныхъ и опасныхъ конкурентовъ между туземными формами травоядныхъ. Въ обширныхъ луговыхъ равнинахъ Ла-Платы цѣлыя квадратныя мили почти исключительно покрыты однимъ видомъ репейника, завезеннаго изъ Европы, слѣдовательно попавшаго въ Америку послѣ Колумба. Въ Ост-Индіи живутъ нѣкоторыя растенія, привезенныя изъ Америки, и эти растенія въ большомъ изобиліи распространены отъ Гималайскихъ горъ до мыса Коморина, то-есть до самой южной оконечности полуострова. Ясно, что европейскій репейникъ, завоевавшій Ла-Плату, и американское растеніе, водворившееся въ Индію, покрыли такіе обширные пространства въ такое короткое время не потому, что они размножаются особенно быстро, а потому, что они по своей организаціи оказались сильнѣе представителей туземной флоры. Кондоръ кладетъ пару яицъ, а страусъ—штуку двадцать, но въ нѣкоторыхъ странахъ кондоровъ больше, чѣмъ страусовъ, и тутъ нѣтъ ничего удивительнаго: страусъ кладетъ свои

яйца въ землю, гдѣ ихъ расхищаютъ и люди, и животныя, а кондоръ устраиваетъ свое гнѣздо на неприступныхъ скалахъ, куда никому не захочется отправляться за добычей; затѣмъ важно то обстоятельство, что у страуса нѣтъ того страшнаго оборонительнаго и наступательнаго оружія, которымъ обладаетъ кондоръ; наконецъ можно замѣтить, что страусу вредятъ его красивыя перья, изъ за которыхъ онъ терпитъ постоянныя преслѣдованія отъ неутомимыхъ людей. Буревѣстникъ кладетъ только по одному яйцу, а между тѣмъ это самая многочисленная порода птицъ. И немудрено. Это единственное яйцо кладется на скалѣ, у самаго моря; буревѣстникъ постоянно летаетъ надъ океаномъ, очень далеко отъ берега; крылья у него сильныя, питается онъ рыбою, и не полетитъ за нимъ въ открытое море никакая хищная птица, ни для того, чтобы съѣсть его самого, ни для того, чтобы отбивать у него добычу. Но конечно тѣ породы органическихъ существъ, которые не имѣютъ возможности защитить свое потомство противъ многочисленныхъ враговъ, ограждаютъ себя отъ совершеннаго истребленія только своей непомѣрной плодовитостью, напримѣръ: рыбы большей частью бросаютъ свою икру въ воду, не принимая никакихъ предосторожностей; животныя истребляютъ ежегодно билліоны яичекъ и маленькихъ рыбокъ, только что выглянувшихъ на свѣтъ; люди ежегодно ловятъ и съѣдаютъ миллионы рыбъ всякой породы и всякаго возраста; разумѣется, всѣ рыбы давно были-бы истреблены, если-бы онѣ не размножались съ непостижимой быстротой; если изъ 4 миллионѣвъ яичекъ трески выведутся только 40 рыбокъ, если изъ этихъ сорока доживутъ до зрѣлаго возраста только двѣ рыбы, и если этотъ процессъ будетъ повторяться каждый годъ, то и тогда треска будетъ размножаться, потому что она живетъ гораздо больше одного года, и слѣдовательно втеченіи своей жизни самецъ и самка успѣютъ произвести себѣ на смѣну больше одной пары. Стало-быть, для того, чтобы количество трески не увеличивалось и не уменьшалось, надо можетъ-быть, чтобы изъ десятка миллионѣвъ яичекъ выводилась и доживала до совершеннолѣтія только одна рыба; и конечно трудно себѣ представить, чтобы изъ десяти миллионѣвъ случаевъ не выдалось ни одного совершенно счастливаго. Почти то-же самое мы видимъ въ нашихъ хлѣбныхъ растеніяхъ, которые спасаются отъ совершеннаго истребленія единственно тѣмъ, что огромное количество отдѣльныхъ растений собрано на одномъ мѣстѣ. Если-бы мы захотѣли посѣять не сотни десятинъ ржи или пшеницы, а одну грядку, то птицы небесныя съѣли-бы все до послѣдняго зерна; но такъ какъ количество хлѣбныхъ колосьевъ, созрѣвающихъ въ одномъ околоткѣ, несоразмѣрно велико въ сравненіи съ количествомъ зерноядныхъ птицъ, водящихся въ томъ-же околоткѣ, то кое-что

остается и на долю людей. Птицы наѣдаются до отвала, жирѣютъ, портятъ еще больше хлѣба, чѣмъ сколько съѣдаютъ, и все-таки не могутъ уничтожить всего, потому что на такой подвигъ способна только саранча, да и то на очень ограниченномъ пространствѣ.

VII.

Сложныя отношенія между органическими существами.

Такъ какъ органическія существа или поѣдаютъ другъ друга, или отбиваютъ другъ у друга пищу, или борются между собою за порцію земли, воздуха, воды и солнечнаго свѣта, то, разумѣется, они всѣ связаны между собою самыми сложными и перепутанными отношеніями. Нѣтъ и не можетъ быть ни одного органическаго существа, которое не зависѣло-бы въ своемъ существованіи отъ множества различныхъ животныхъ и растений, и притомъ часто отъ такихъ, съ которыми оно даже не имѣетъ ни малѣйшихъ непосредственныхъ отношеній. При теперешнемъ положеніи нашихъ знаній мы ни въ одномъ отдѣльномъ случаѣ, ни для одного животнаго или растенія не можемъ указать точно и подробно на всѣ нити, связывающія его по разнымъ направленіямъ со всей цѣнью другихъ созданий. Важно и превосходно уже то, что современные натуралисты поняли сложность этихъ взаимныхъ отношеній между органическими существами; убѣдившись въ этой сложности и въ своемъ собственномъ невѣдѣніи, натуралисты поставили себя лицомъ къ лицу со своей настоящей задачей; они вглядѣлись въ ея трудности и сообразили также, что эти трудности, которыя вовсе не могутъ считаться непобѣдимыми, преодолѣваются только терпѣливымъ, внимательнымъ и совершенно непредубѣжденнымъ наблюденіемъ мельчайшихъ подробностей органической жизни. Чѣмъ больше фактическихъ наблюденій, тѣмъ ближе рѣшеніе великихъ задачъ; а для мыслящаго натуралиста поводы къ наблюденіямъ представляются на каждомъ шагу, и манера осмысливать эти наблюденія съ каждымъ годомъ становится болѣе рациональной и болѣе свободной отъ теоретическихъ предубѣжденій. Будущее разрѣшитъ множество великихъ вопросовъ, но въ настоящее время можно только сказать, что между самими разнородными формами органическаго міра существуютъ чрезвычайно сложныя и совершенно неизслѣдованныя отношенія. Кромѣ того можно представить два, три примѣра, которые покажутъ читателю, какое множество еще неразрѣшенныхъ вопросовъ задаетъ мыслящему человеку самый простой и обыкновенный эпизодъ изъ жизни природы.

Въ Англіи, въ одномъ помѣстьѣ графства Стаффордъ, лежитъ большой пустырь, поросшій бурьяномъ. Лѣтъ двадцать-пять тому назадъ

часть этого пустыря, въ нѣсколько сотъ акровъ величиной, обнесли заборомъ и засадили шотландскими соснами. Появленіе сосенъ произвело совершенный переворотъ въ природѣ засаженнаго участка; количество бурьяна значительно убавилось, и въ молодой сосновой рошѣ поселилось двѣнадцать сортовъ растений, не встрѣчающихся на всемъ остальномъ пространствѣ пустыря; на этихъ растеніяхъ завелись тѣ насѣкомыя, которыя живутъ на нихъ обыкновенно, а вслѣдъ за насѣкомыми появились такія насѣкомоядныя птицы, которымъ прежде не зачѣмъ было залетать въ голый пустырь. Изъ этого примѣра мы видимъ, что, во-первыхъ, растенія тѣсно связаны между собой и что, во-вторыхъ, каждое растеніе связано съ тѣми группами животныхъ, которымъ оно служитъ пищей. А такъ какъ одинъ сортъ животныхъ идетъ на пропитаніе другого сорта, то растеніе, черезъ группу травоядныхъ или зерноядныхъ, связывается также съ определенной группой хищныхъ животныхъ, которыя въ свою очередь тянутъ за собой какихъ нибудь паразитовъ, и наконецъ, рано или поздно, эта цѣпь запутанныхъ отношеній обрывается въ рукахъ изслѣдователя, но онъ никакъ не имѣетъ права утверждать, что прослѣдилъ ее до конца, и что она дѣйствительно оборвалась въ живой природѣ. Какимъ образомъ связываются между собой отдѣльныя кольца этой огромной цѣпи, этого изслѣдователь также не знаетъ въ большей части случаевъ. Въ приведенномъ примѣрѣ мы даже не можемъ сказать положительно, что именно произвело перемѣну въ растительности: сосна или заборъ. Заборъ могъ имѣть очень сильное вліяніе: онъ ограждалъ растительность отъ скота, а скотъ обыкновенно производить въ распредѣленіи растеній самыя значительныя перемѣны. Положимъ наприимѣръ, что скотъ постоянно пасется на какой нибудь лужайкѣ, на которой растетъ двадцать сортовъ различныхъ травъ; если вы удалите скотъ, то можетъ случиться, что изъ этихъ двадцати сортовъ девять совершенно пропадутъ; скотъ, пощипывая траву, постоянно держитъ всѣ сорта ея на одномъ уровнѣ, такъ что всѣмъ достается и свѣтъ, и воздухъ; какъ только прекращаются эти уравнивательныя распоряженія скота, такъ немедленно поднимаются вверхъ тѣ травы, которыя посильнѣе; остальнымъ становится темно и душно, и онѣ понемногу умираютъ. Но если скотъ является невольнымъ покровителемъ слабыхъ, то онъ оказывается также опаснѣйшимъ врагомъ сильныхъ растеній, которыхъ развитіе онъ обыкновенно дѣлаетъ совершенно невозможнымъ.

Въ графствѣ Сѣррей тянутся на большое пространство сухіе пустыри, покрытые бурьяномъ; кое-гдѣ разбросаны по этимъ пустырямъ небольшія группы старыхъ шотландскихъ сосенъ; втеченіи послѣдняго десятилѣтія

значительная часть этих пустырей обнесена заборами, и всё обнесенные места поросли сами собой такимъ густымъ соснякомъ, что множество молодыхъ деревьевъ задохнулись въ чащѣ отъ тѣноты и темноты. Въ это же время на открытыхъ мѣстахъ не видно было ни одного дерева, кромѣ тѣхъ вѣковыхъ сосенъ, которыя стояли кое-гдѣ отдѣльными кучками. Но Дарвинъ сталъ всматриваться внимательнѣе, и раздвигая верхушки бурьяна, замѣтилъ возлѣ самой земли множество сосенокъ, которыя были до-чиста обѣдены скотомъ; на одномъ изъ этихъ несчастныхъ деревьевъ Дарвинъ насчиталъ двадцать-шесть годовыхъ колецъ; втеченіи двадцати-шести лѣтъ эта сосенка старалась подняться выше бурьяна, и всякій разъ какое нибудь животное отгрызало ея молодой побѣгъ. Какъ только прекратились нашествія четвероногихъ распорядителей, такъ и поднялись сосновые рощи, и если присутствіе этихъ деревьевъ дѣйствительно ведетъ за собой рядъ существенныхъ измѣненій въ группированіи растительныхъ и животныхъ формъ, то, разумѣется, на серрейскихъ пустыряхъ должны были повториться тѣ же самыя явленія, которыя мы видѣли въ графствѣ Стаффордъ. А исходной точкой всѣхъ этихъ переворотовъ оказывается такой простой и ничтожный фактъ, какъ удаленіе нѣсколькихъ головъ рогатаго или безрогаго скота.

Но я опять долженъ напомнить читателю, что мы здѣсь видимъ только, въ какомъ порядкѣ крупныя явленія слѣдуютъ одно за другимъ. Какъ связываются между собой эти явленія, и какіе мелкіе и мельчайшіе факты образуютъ между ними эту связь—объ этомъ мы еще ничего не можемъ сказать. Сосна измѣняетъ вокругъ себя растительность—хорошо!—но какимъ же образомъ это дѣлается? Дѣйствуетъ-ли сосна своей тѣнью, какъ всякое другое дерево, или своимъ хвоемъ, который она каждый годъ роняетъ на землю, или своими корнями, которыми она разрыхляетъ почву, или своими смолистыми испареніями, которыми наполняется окружающій воздухъ? Вѣроятно всѣ эти свойства сосны ведутъ за собой какія нибудь послѣдствія, вѣроятно эти послѣдствія перекрещиваются между собой и взаимно дѣйствуютъ другъ на друга, а мы видимъ только отдаленные и послѣдніе результаты, которыхъ внутренняя и необходимая связь до поры до времени ускользаетъ отъ нашего пониманія. Травоядный скотъ дѣйствуетъ на растительность, но самъ онъ въ свою очередь подчиняется вліянію насѣкомыхъ. Въ Парагваѣ нибикъ, ни лошадь не могутъ жить въ дикомъ состояніи, потому что тамъ водится особая порода мухъ, которая губитъ телятъ и жеребятъ, устраивая въ ихъ ноздрахъ гнѣздо для своихъ яичекъ. Муху эту истребляютъ хищныя насѣкомыя другого рода; этихъ хищныхъ насѣкомыхъ поѣдаютъ птицы; положимъ теперь, что по какой нибудь при-

чинѣ число насѣкомоядныхъ птицъ уменьшилось въ Парагваѣ; тогда число хищныхъ насѣкомыхъ быстро увеличится; эти насѣкомыя будутъ поѣдать большее количество вредныхъ мухъ; мухи, становясь менѣе многочисленными, не будутъ въ состояніи истреблять все молодое поколѣніе травоядныхъ породъ; быкъ и лошадь разведутся въ Парагваѣ; ихъ вліяніе произведетъ кое-какія перемены въ растительномъ мірѣ; эти перемены отзовутся на распредѣленіи насѣкомыхъ, а насѣкомыя подѣйствуютъ на тѣхъ птицъ, которымъ они служатъ пищей. Какъ только въ какой нибудь странѣ происходитъ перемена въ числѣ или свойствахъ одной группы, такъ эта перемена тотчасъ даетъ себя чувствовать по всѣмъ направленіямъ. До этой перемены различныя группы держали другъ друга въ равновѣсіи, то есть каждая группа отстаивала свое собственное существованіе и каждая, по мѣрѣ силъ своихъ, мѣшала своимъ сосѣдямъ, родственникамъ, конкурентамъ или врагамъ размножаться далѣе извѣстнаго предѣла. Когда происходитъ перемена, то это равновѣсіе въ одномъ мѣстѣ оказывается нарушеннымъ и тотчасъ начинается во всей необозримой цѣпи органическихъ формъ волнообразное колебаніе, которое черезъ нѣсколько времени приводитъ къ новому равновѣсію. Но будетъ-ли новое равновѣсіе совершенно похоже на старое—это невозможно сказать заранѣе. Самая незначительная перемена можетъ доставить нѣкоторымъ породамъ перевѣсъ надъ противниками; однѣ породы сдѣлаются многочисленнѣе, а другія начнутъ ослабѣвать; борьба между этими породами будетъ продолжаться, но ослабѣвшая сторона уже будетъ не въ состояніи выдерживать натиска размножившихся враговъ или конкурентовъ; ослабѣвая болѣе и болѣе, она наконецъ можетъ совершенно исчезнуть, а замѣтное уменьшеніе или окончательное истребленіе цѣлой породы тотчасъ поведетъ за собою новыя колебанія, которыя могутъ опять уничтожить новыя породы животныхъ или растений. Словомъ въ экономіи природы, каждое нарушеніе установившагося равновѣсія можетъ повести за собой такіе-же передвиженія и перевороты, какіе наприимѣръ производить въ коммерческомъ мірѣ банкротство какого нибудь одного незначительнаго банкирскаго дома. Здѣсь также банкротство одной породы потрясаетъ существованіе многихъ другихъ, и никто не можетъ предвидѣть, куда распространится это потрясеніе и въ какихъ предѣлахъ оно разыграется. Но потрясенія въ экономіи природы совершаются обыкновенно медленно и безъ шума; породы не даютъ другъ другу генеральныхъ сраженій; нѣтъ ни громкой радости со стороны побѣдителей, ни стоновъ отчаянія со стороны побѣжденных; породы торжествуютъ или вымираютъ, сами того не сознавая, и даже для мыслящаго наблюдателя это торжество или вымирание становятся

замѣтными не въ исходной своей точкѣ, а уже тогда, когда они почти совершились. Переворотъ тапется цѣлыми вѣками, и наблюдатель никогда не можетъ сказать рѣшительно или даже приблизительно, что переворотъ закончился и что вотъ въ эту минуту всѣ породы известной страны держать другъ друга въ равновѣсіи.

Въ природѣ ежеминутно совершаются или могутъ совершаться тысячи мельчайшихъ явленій, которыя то здѣсь, то тамъ доставляютъ одной изъ сражающихся сторонъ перевѣсъ надъ другой; многія изъ этихъ явленій, по тѣмъ или другимъ неизвѣстнымъ причинамъ, могутъ остаться безъ значительныхъ послѣдствій, но зато нѣкоторыя изъ этихъ явленій могутъ сдѣлаться первыми звеньями такой цѣпи событій, которая потянется черезъ длинный рядъ столѣтій, уничтожитъ множество существующихъ породъ и создастъ на ихъ мѣсто множество видоизмѣненій. Геологъ, разсматривающій окаменѣлые остатки животныхъ и растений, видитъ въ нихъ разрозненные листы изъ архива органической природы за цѣлые милліоны вѣковъ; онъ видитъ, что жила порода и что она исчезла, но онъ не можетъ ни видѣть, ни воссоздать силой своего научнаго анализа ту безконечно длинную вереницу мелкихъ причинъ и мелкихъ послѣдствій, которая незамѣтно измѣнила всѣ условія существованія данной природы и поемному довела данную органическую форму до совершеннаго исчезновенія. Геологъ этого не можетъ видѣть, потому что этого не видитъ даже натуралистъ, изучающій живую природу; но такъ какъ очень немногіе люди, и притомъ только самые замѣчательные, способны просто и откровенно сказать: «не знаю», и такъ какъ эта превосходная способность начала развиваться у мыслящихъ людей только въ самое недавнее время, то геологи были въ годахъ, видя уничтоженіе органическихъ породъ, немедленно пускались въ геологическую философію и въ геологическую беллетристику, то-есть строили системы и писали романы, въ которыхъ являлись катастрофы, катаклизмы, кризисы, перемены, разыгравшіяся волны шаловливыхъ морей и оглушительный грохотъ совершенно неумѣстныхъ порывовъ центрального огня. И вся эта роскошь научнаго романтизма тратилась на то, чтобы стереть съ лица земли какую нибудь дюжину, или сотню, или тысячу ящеровъ, птицъ или звѣрей, которые, правда, были очень велики, но у которыхъ было все-таки множество мелкихъ враговъ и крупныхъ конкурентовъ, множество мелкихъ преслѣдователей и паразитовъ, и которые вообще могли сойти со сцены такъ-же тихо, благопріостойно и вѣжливо, какъ сошла напримѣръ въ половинѣ прошлаго столѣтія толстая и глупая птица додо, или какъ сошелъ-бы зубръ, если-бы его не берегли ради рѣдкости въ Вѣловѣжской пушчѣ.

Историческая память человѣчества простирается всего на какія-нибудь пять тысячъ лѣтъ, да и то врядъ-ли, потому что кто-же рѣшится сказать, что мы знаемъ хорошо все, что дѣлалось на земномъ шарѣ за 3000 лѣтъ до начала нашей эры. Если-бы даже мы могли утверждать, что втеченіи этихъ пяти тысячъ лѣтъ вымерли только двѣ породы животныхъ—додо и зубръ, то и тогда мы совершенно смѣло могли-бы предполагать, что всѣ животныя и растенія геологическихъ эпохъ вымерли такимъ-же естественнымъ и неэффектнымъ образомъ, какъ толстая птица и теперешній обитатель Вѣловѣжской пушчи. Стало-быть, сколько-бы тысячъ породъ ни отыскалось въ различныхъ пластахъ земной коры, для всѣхъ найдется достаточно времени; всѣ онѣ могли развиваться, бороться между собой, побѣждать противниковъ, и потомъ въ свою очередь ослабѣвать, уменьшаться въ числѣ и вымирать, уступая натиску другихъ, болѣе развитыхъ враговъ, которые по всей вѣроятности находились съ ними въ болѣе или менѣе тѣсномъ, кровномъ родствѣ. Всѣ эти процессы должны были продолжаться для каждой породы десятки и сотни вѣковъ, и все-таки природа ни разу не была принуждена и не могла поторопиться прибавить шагу—произвести мгновенную перемену декорацій или вообще какимъ-нибудь образомъ отступить отъ того рокового и неизбежнаго хода событій, который изучаютъ современные натуралисты путемъ непосредственнаго наблюденія.

Въ природѣ нѣтъ и никогда не было цѣльныхъ и крупныхъ явленій. Громаднѣйшіе результаты достигаются всегда совокупнымъ или послѣдовательнымъ дѣйствіемъ милліоновъ мельчайшихъ силъ и причинъ, точно такъ, какъ громаднѣйшій организмъ весь состоитъ изъ накопленія микроскопическихъ клѣточекъ. Мы обыкновенно видимъ громадные результаты и не видимъ мелкихъ причинъ, но величайшая заслуга современнаго естествознанія состоитъ именно въ томъ, что лучшіе изслѣдователи постигли вполне несуществаніе крупныхъ явленій и всеобъемлющую важность мелкихъ. Микроскопъ и химическій анализъ проникли въ самое мышленіе натуралистовъ, и поэтому всякій крупный результатъ или разложенъ уже на мелкія составныя части, или будетъ разложенъ тогда, когда усовершенствуются орудія изслѣдованія и увеличится запасъ собранныхъ наблюденій. То, что представляется крупнымъ и цѣльнымъ, все-таки не признается мыслящими натуралистами за крупное и цѣльное явленіе; оно считается только неразложимымъ и неизслѣдованнымъ и до поры до времени отодвигается въ сторону, въ ту грудку нетронутого матеріала, которая еще ожидаетъ себя мыслящихъ работниковъ и архитекторовъ. Для вопроса объ органическихъ породахъ наступаетъ, кажется, рѣшительная минута. Если изслѣдователи обратятъ все свое вниманіе на разнообразныя проявленія

того процесса, который называется у Дарвина борьбой за жизнь (*struggle for life*), и если они посвящать все свои силы на изучение той безконечно запутанной связи отношений, которая развивается из этой борьбы и охватывает собой весь органический мир, то они навѣрное, рано или поздно, разъясняют фактическими наблюдениями все причины, видоизмѣненія, колебанія и вымирания органическихъ породъ.

Можно утверждать рѣшительно, что для каждаго органическаго существа его отношенія къ другимъ органическимъ существамъ составляютъ самый важный элементъ жизни, безусловно подчиняющій себя все остальные. Даже климатическія условія всего сильнѣе дѣйствуютъ на растенія и на животныхъ не прямымъ и непосредственнымъ образомъ, а черезъ посредство другихъ растеній и животныхъ.

Въ этихъ словахъ заключаются повидимому неясность и противорѣчіе, но я сейчасъ объясню, въ чемъ дѣло. Если вы, переходя изъ холодной страны въ умѣренную, будете замѣчать, что какая-нибудь порода животныхъ или растеній становится рѣдкой и наконецъ исчезаетъ, то вы никакъ не должны думать, что эта органическая форма исчезла оттого, что ей въ этомъ мѣстѣ было-бы слишкомъ тепло жить. Климатъ подѣйствовалъ преимущественно тѣмъ, что онъ измѣнилъ условія борьбы за жизнь. Положимъ, что растеніе *A* успѣшно выдерживаетъ легкіе морозы, а растеніе *B*, неспособное переносить морозы, растетъ гораздо быстрѣе и роскошнѣе предыдущаго. Легкіе морозы не составляютъ для *A* необходимости и ничѣмъ не содѣйствуютъ его благосостоянію, но они убиваютъ или ослабляютъ опаснаго конкурента *B*. Стало быть, въ нашемъ полушаріи, къ сѣверу отъ извѣстнаго градуса широты, перевѣсъ въ борьбѣ будетъ постоянно на сторонѣ *A*; можетъ быть морозы такъ легки, что *B* не умираетъ отъ нихъ, а только теряетъ извѣстную долю своей растительной силы; если-бы надо было бороться съ однимъ климатомъ, то *B* могло-бы передвинуться немного за извѣстный градусъ широты, но такъ какъ за этимъ предѣломъ его ждетъ не одинъ морозъ, а морозъ + конкурентъ *A*, то борьба уже становится не подъ силу, и *B* удаляется въ тѣ мѣста, гдѣ нѣтъ морозовъ. *A*, какъ самонадѣянный побѣдитель, пускается догонять своего врага, но тутъ дѣло принимаетъ совершенно новый оборотъ. Растеніе *B*, не ослабленное морозомъ, сильнѣе растенія *A*, и потому побиваетъ его на каждомъ шагу. Съ одной стороны *B* могло-бы подвинуться немного къ сѣверу, а съ другой стороны *A* навѣрное могло-бы подвинуться довольно далеко къ югу; климатъ самъ по себѣ не помѣшалъ-бы ни тому, ни другому, и во второмъ случаѣ онъ можетъ еще менѣе помѣшать, чѣмъ въ первомъ; да конкуренты помѣшаютъ, и вслѣдствіе этого растенія *A* и *B* остаются

каждое въ своей области, несмотря на постоянныя попытки выйти за ея предѣлы. Если мы еще возьмемъ въ расчетъ, что и *A*, и *B* терпятъ горькія обиды отъ разныхъ грызуновъ, насѣкомыхъ, травоядныхъ и зерноядныхъ, и если мы сообразимъ, что все эти животныя также измѣняются вмѣстѣ съ градусомъ широты, то мы вполне поймемъ, что прямое дѣйствіе климата на *A* и на *B* играетъ очень незначительную роль въ массѣ тѣхъ причинъ, которыя привязываютъ эти два растенія къ опредѣленному мѣсту.

Безъ непосредственнаго наблюденія надъ жизнью каждой отдѣльной органической формы нѣтъ никакой возможности опредѣлить, что именно благоприятствуетъ ей въ одномъ мѣстѣ и мѣшаетъ ей жить въ другомъ. Произнести въ этомъ случаѣ «климатъ» очень легко; сказать «климатъ мѣшаетъ», «климатъ содѣйствуетъ» — тоже не велика хитрость; но климатъ — это огромное явленіе, которое кажется цѣльнымъ только до тѣхъ поръ, пока вы его не разложите на части. Нѣтъ, вы намъ покажите, что именно дѣйствуетъ, морозъ, сырость, вѣтеръ, непостоянство погоды, и т. д., да потомъ покажите, какъ именно дѣйствуетъ, прямо или черезъ другія существа. Вѣдь пожалуй можно сказать, что климатъ мѣшаетъ быку развестись въ Парагваѣ, и это, строго говоря, не будетъ ошибкой. Положимъ, что быкъ живетъ и къ югу, и къ сѣверу отъ Парагвая; положимъ, что ему не мѣшаютъ жить въ Парагваѣ ни морозы, ни жары, ни дожди, ни вѣтры; все это такъ; но вѣдь та муха, которая заводитъ у него колоніи въ поздняхъ, живетъ въ Парагваѣ потому, что климатъ позволяетъ ей жить тамъ; вѣдь если-бы ее пристукнулъ морозъ, такъ не жила бы она въ Парагваѣ, ну, стало-быть, и можно сказать, что климатъ виноватъ. Но читатель конечно понимаетъ, что если мы скажемъ: «климатъ мѣшаетъ быку развестись въ Парагваѣ», то мы этими словами ровно ничего не выразимъ, а только повторимъ уже извѣстный фактъ: «быкъ не живетъ въ Парагваѣ», — фактъ, которому мы должны были искать объясненіе. Если же мы скажемъ: «быку мѣшаетъ жить такая-то муха, и мѣшаетъ именно вотъ чѣмъ», то мы дѣйствительно объяснимъ разсматриваемый фактъ, и докажемъ такимъ образомъ еще разъ, что объяснить — значитъ именно разлагать крупное, сложное явленіе на мелкія и простыя составныя части. А какъ только начинается разложеніе или анализъ, такъ непосредственное наблюденіе и прямой опытъ являются единственными возможными орудіями изслѣдованія. Никакой человеческій умъ не выдумаетъ тѣхъ неожиданныхъ изворотовъ и перепутанныхъ комбинацій, которые обнаруживаются на каждомъ шагу въ отношеніяхъ между органическими существами. Вотъ вамъ примѣръ. Пчелы, бабочки и разныя другія насѣкомыя, добывая себѣ изъ цвѣтовъ сладкіе соки, постоянно уносятъ на своемъ тѣлѣ

пестицы цвѣточной пыли; перелетая съ одного цвѣтка на другой, они совершенно невольно и безсознательно переносятъ эту пыль съ тычинокъ, или мужскихъ половыхъ органовъ, на пестики, или женскіе половые органы; такимъ образомъ наѣкомыя содѣйствуютъ оплодотворенію цвѣтовъ, и для нѣкоторыхъ растений это содѣйствіе такъ необходимо, что для нихъ оплодотвореніе становится невозможнымъ безъ вѣнчающей той или другой группы наѣкомыхъ. Въ числу такихъ зависимыхъ растений относятся *viola tricolor* и различные виды *trifolium*. Двадцать цвѣтковъ *trifolium repens*, при содѣйствіи наѣкомыхъ, дали 2250 сѣмянъ, а двадцать такихъ же цвѣтковъ, защищенныхъ отъ всякихъ осѣтителей, не дали ни одного сѣмьчка. Сто цвѣтковъ *trifolium pratense*, посѣщаемыхъ наѣкомыми, произвели 2700 сѣмянъ, а сто защищенныхъ цвѣтковъ того же сорта не произвели ни одного сѣмьчка. Но не всѣ крылатые наѣкомыя могутъ быть полезными посредниками для *trifolium pratense*. Бабочка такъ легка, что не можетъ расправитъ своей тяжестью листки вѣнчика, и поэтому она не прикасается своимъ тѣломъ къ тѣмъ мѣстамъ цвѣтка, въ которыхъ находится цвѣточная пыль. Пчела не посѣщаетъ этого цвѣтка, потому что сладкій сокъ его лежитъ слишкомъ глубоко внутри вѣнчика, такъ что пчела не можетъ добраться до него своимъ хоботкомъ. Только шмели, пользуясь сладкимъ сокомъ этого цвѣтка, помогаютъ его оплодотворенію. Если-бы какая-нибудь причина уменьшила въ извѣстной странѣ количество шмелей, то это обстоятельство непремѣнно повело бы за собой уменьшеніе въ количествѣ растений *trifolium pratense*. Шмелей преслѣдуютъ съ особеннымъ ожесточеніемъ полевые мыши, разоряющія ихъ гнѣзда и питающіяся ихъ медомъ. Полевыхъ мышей истребляютъ кошки, стало-быть, цѣль отношеній между этими органическими формами представляется намъ въ слѣдующемъ видѣ: тѣмъ больше кошекъ, тѣмъ меньше полевыхъ мышей, тѣмъ больше шмелей и тѣмъ больше цвѣтковъ *trifolium pratense*. Читатель конечно не воображалъ никогда, что кошка имѣетъ значительное вліяніе на судьбу шмелей и помогаетъ оплодотворенію цвѣтовъ. Въ этомъ случаѣ непосредственное наблюденіе показало намъ, какии образомъ связываются между собой кошка, мышь, шмель и *trifolium pratense*. Тысячи и миллионы другихъ сложныхъ отношеній остаются до сихъ поръ неразъясненными, но мы не имѣемъ ни малѣйшей возможности сомнѣваться въ существованіи этихъ отношеній или отрицать ихъ громадную важность.

Растенія и животныя размножаются въ геометрической прогрессіи; растенія и животныя постоянно истребляютъ и поѣдаютъ другъ друга; эти два ряда фактовъ очевидны для всякаго ребенка и для всякаго дикаря; изъ этихъ очевид-

ныхъ и общезвѣстныхъ фактовъ вытекаетъ необходимость всемірной борьбы; а если тысячи и миллионы организмовъ ежеминутно борются между собою, то, разумѣется, между ними должны существовать самыя сложныя и запутанныя отношенія. Объ этихъ отношеніяхъ мы въ настоящее время не имѣемъ почти никакого понятія, но безъ этихъ отношеній вся органическая жизнь была бы невозможна и даже немислима. Каждый организмъ живетъ только потому, что самъ поѣдаетъ что нибудь, и только до тѣхъ поръ, пока его самого не съѣстъ какой-нибудь другой организмъ. Стало-быть, каждый организмъ зависитъ, во-первыхъ—отъ того, что ему служитъ пищей, и во-вторыхъ—отъ того, что его самого можетъ обратить въ пищу. Въ этой зависимости мы не можемъ себѣ представить ни одного организма, и поэтому очевидно благосостояніе и размноженіе той или другой породы организмовъ зависятъ отъ того, какъ будутъ расположены ея отношенія, во-первыхъ, — къ пищѣ, а во-вторыхъ—къ врагамъ. Чѣмъ больше пищи, тѣмъ лучше; чѣмъ больше враговъ, тѣмъ хуже. Но эти два ряда отношеній зависятъ отъ устройства самаго организма. Если организмъ требуетъ мало пищи, то у него больше шансовъ быть постоянно сытымъ, чѣмъ въ томъ случаѣ, когда бы онъ требовалъ много пищи; если организмъ одаренъ въ значительной степени оборонительнымъ оружіемъ, то для него не страшны враги. Можно было бы представить еще много другихъ условий, но достаточно и этого, чтобы показать читателю, какии образомъ устройство организма можетъ быть и дѣйствительно бываетъ то помѣхой, то содѣйствіемъ въ общей борьбѣ за существованіе. Не трудно понять, что всего долѣе долженъ продержаться въ борьбѣ тотъ организмъ, который устроенъ всего удобнѣе для борьбы. Это положеніе совершенно очевидно, и на этомъ-то очевидномъ положеніи основывается весь прогрессъ животныхъ и растений и вся теорія Дарвина.

VIII.

Естественный выборъ.

Индивидуальное разнообразіе бываетъ особенно сильно у домашнихъ животныхъ и у тѣхъ растений, которыя подчинены вліянію человека. У дикихъ животныхъ и растений это разнообразіе также существуетъ, хотя выражается обыкновенно менѣе рѣзко. Нѣкоторыя индивидуальныя особенности могутъ быть вредны для животнаго или для растенія, другія могутъ быть ему полезны, третьи наконецъ могутъ быть безразличны. Напримѣръ, одинъ волкъ одаренъ особенно острымъ обоняніемъ, другой отличается слабымъ развитіемъ мускуловъ, а у третьяго цвѣтъ шерсти немного потемнѣе или посвѣтлѣе,

чѣмъ у товарищей. Первому волку острое обоняніе будетъ въ жизни большой подмогой; оно дастъ ему возможность съ особеннымъ успѣхомъ охотиться за разной добычей и во-время убѣгать отъ всякихъ преслѣдователей. Второй волкъ, отличающійся слабыми мускулами, будетъ особенно часто подвергаться голоду и разнымъ опасностямъ; захочетъ онъ утащить къ себѣ въ лѣсъ овцу и не одолѣетъ этого дѣла — его застигнутъ люди на мѣстѣ преступленія, и онъ или будетъ убитъ, или будетъ принужденъ бросить свою добычу и бѣжать въ лѣсъ съ пустымъ желудкомъ. Наконецъ третій волкъ будетъ жить счастливо или несчастливо, смотря по обстоятельствамъ, по цвѣту его шерсти по всей вѣроятности не будетъ для него ни помѣхой, ни пособіемъ въ жизни. Первый волкъ вѣроятно проживетъ дольше своихъ сверстниковъ и слѣдовательно оставитъ послѣ себя болѣе многочисленное потомство. Второй волкъ вѣроятно погибнетъ раньше своихъ сверстниковъ и слѣдовательно или умретъ безъ потомства, или оставитъ послѣ себя немногихъ дѣтей. Нѣкоторые изъ дѣтей перваго волка получаютъ отъ отца его острое обоняніе; эти субъекты будутъ имѣть шансы пережить своихъ братьевъ и передать свою наслѣдственную особенность своимъ потомкамъ. Нѣкоторые изъ немногихъ дѣтей второго волка получаютъ отъ отца его слабую мускулатуру, но каждый изъ нихъ будетъ имѣть очень мало шансовъ прожить долго и передать свой наслѣдственный порокъ будущимъ поколѣніямъ. Такимъ образомъ острое обоняніе будетъ постоянно укореняться въ волчьей породѣ сильнѣе и сильнѣе, а ненормальная слабость мускуловъ будетъ постоянно выбрасываться вонъ. Что же касается до темныхъ или свѣтлыхъ оттѣнковъ шерсти, то они, какъ безразличныя качества, будутъ постоянно подвергаться колебаніямъ и измѣненіямъ.

То, что мы видѣли на отдѣльномъ примѣрѣ, можетъ быть обобщено и распространено на весь органическій міръ. Всякая полезная особенность прививается къ породѣ и удерживается въ ней, переходя отъ одного поколѣнія къ другому. Всякая вредная особенность уничтожается. Безразличныя особенности колеблются и мѣняются. Если мы вдумаемся только въ смыслъ словъ «полезный» и «вредный», и если мы припомнимъ, что, по закону наслѣдственности, качества родителей обыкновенно передаются или всѣмъ дѣтямъ, или по крайней мѣрѣ нѣкоторымъ изъ нихъ, то мы немедленно убѣдимся въ томъ, что наше обобщеніе не заключаетъ въ себѣ рѣшительно ничего натянутого или произвольнаго. Полезно то, что даетъ организму возможность одолѣвать противниковъ въ борьбѣ за жизнь; вредно то, что отнимаетъ у него эту возможность; слѣдовательно, полезная особенность, по самой сущности своей, придаетъ отдѣльному

организму прочность, а вредная, также по сущности своей, сообщаетъ ему хрупкость. Сильный организмъ живетъ долго и, стало-успѣваетъ породить много другихъ организмовъ также прочныхъ; а хрупкій организмъ скоро и стало-быть не успѣваетъ насели новыми хрупкими организмами. Поэтому прочность организма и все, что содѣйствуетъ прочности, принимаетъ характеръ устойчивости и долговѣчности; а хрупкость и всѣ ея ные атрибуты, то-есть всѣ вредныя ности, непремѣнно должны быть явленіями менными и мимолетными.

Природа ежеминутно въ громадныхъ рахъ производитъ надъ всѣми организмами ту операцію выбора, которую ные заводчики производятъ надъ своими животными. Но человѣкъ выбираетъ въ ныхъ и въ растеніяхъ тѣ особенности, котор ятся или приносятъ пользу ему, человѣку рода, то-есть совокупность естественны новъ, выбираетъ и упрочиваетъ только то, лезно самому животному или растенію; за обыкновенно обращаетъ вниманіе только что бросается въ глаза, а для природы н ствуетъ никакого различія между внѣш и внутренними органами; если проявилась вотнаго индивидуальная особенность въ или въ легкихъ, и если эта особенность то она будетъ сохранена и упрочена, то же, какъ могла бы сохраниться и упр совершенно очевидная особенность, п шаяся въ устройствѣ ногъ, роговъ или у ловѣкъ не позволяетъ быкамъ или же драться между собою за обладаніе с а въ природѣ самцы дерутся, побѣда с за самыми сильными, и слѣдовательно к сильныхъ побѣдителей упрочиваются в ствѣ. Жизнь человѣка коротка и вк измѣнчива, а природа дѣйствуетъ на о рскій міръ впродолженіи безконечнаго р ковъ и постоянно дѣйствуетъ по одному вленію, то-есть уничтожаетъ все, что хрупко, и поддерживаетъ все, что кр прочно.

Этотъ законъ, по которому уничто вредныя особенности и сохраняются по называется у Дарвина закономъ естест выбора. Вопросъ о томъ, что полезно, ч но и что безразлично, рѣшается для отдѣльнаго случая прямымъ опытомъ тутъ не можетъ быть никакихъ общихъ п все зависитъ отъ того, при какихъ ус живетъ данный организмъ, какую пищу ходится добывать и отъ какихъ враго терпитъ преслѣдованія. Для волка цвѣтъ не составляетъ никакой важности. Его дуютъ люди, которымъ обыкновенно по собаки; собаки отыскиваютъ волка чут не зрѣніемъ, стало-быть, какъ-бы цвѣтъ

ивался съ цвѣтомъ окружающихъ предметовъ все-таки отыщутъ и затравятъ; но для птицъ цвѣтъ перьевъ можетъ быть случайно полезенъ. Соколы, ястребы и другие птицы съ высоты своего полета высматриваютъ добычу, и конечно имъ бросаются за преимущественно тѣ птицы, которыя цвѣтомъ рѣзко отдѣляются отъ окружающихъ предметовъ. Бѣлые голуби такъ часто жертвой хищныхъ птицъ, что въ нѣкоторыхъ странахъ любители или хозяева совы держатъ бѣлыхъ голубей. Многимъ по-прежнему птицъ чрезвычайно полезно то обстоятельство, что онѣ по цвѣту своихъ перьевъ совершенно сливаются съ цвѣтомъ тѣхъ предметовъ, среди которыхъ онѣ постоянно живутъ. Альпійская куропатка зимой становится совершенно бѣлой, и этотъ цвѣтъ приноситъ ей пользу, потому что она постоянно держится на вершинахъ. Шотландскій тетеревъ, живущій среди бурьяна, отличается тѣмъ бурнымъ цвѣтомъ, который свойственъ этимъ растениямъ. Другая порода тетерева держится на низинахъ и сливается съ ними чернымъ цвѣтомъ своихъ перьевъ. Многія насѣкомыя, живущія на листьяхъ, отличаются зеленымъ цвѣтомъ; живущія на древесной корѣ, принимаютъ или сѣрый цвѣтъ. Во всѣхъ этихъ случаяхъ цвѣтъ составляетъ для животного одно изъ важнѣйшихъ оборонительныхъ средствъ, и онъ важнѣе для животного, чѣмъ сильнѣе вѣствуетъ на него естественный выборъ. По крайней мѣрѣ было время, когда черныя и бѣлыя тетерева не составляли двухъ отдѣльныхъ породъ; тогда тетерева рождались и черные, и бѣлые, и пестрые, и быть можетъ даже бѣлыя; и они и на торфяникахъ, и въ бурьянѣ, и въ другихъ мѣстахъ. Но на торфяникахъ хищники истребляли почти всѣхъ тетеревовъ, черныхъ, а въ бурьянѣ — почти всѣхъ, кровавыхъ; такимъ образомъ случайное и индивидуальное свойство, заключавшееся въ перьяхъ, сдѣлалось, путемъ естественнаго выбора, постояннымъ отличительнымъ признакомъ цѣлой породы. И такимъ образомъ изъ одной породы выработались двѣ, три или больше, а по обстоятельствамъ жизни. Когда за немногими породами птицъ окончательно упрочился цвѣтъ тѣхъ предметовъ, среди которыхъ они вѣдуть свою жизнь, тогда это обстоятельство должно было въ свою очередь подѣйствовать на зрѣніе хищниковъ, также посредствомъ естественнаго выбора. Бурого тетерева труднѣе найти въ бурьянѣ, чѣмъ черного, или пестрого, или бѣлаго; поэтому, когда остались въ живыхъ только одни бурые тетерева, тогда стали искать себѣ добычу только тѣ соколы или ястребы, у которыхъ зрѣніе было особенно сильнѣе; такимъ образомъ хищникамъ приходилось часто ошибаться; ну, стало-быть понятно, что особенно

зоркіе хищники получили перевѣсъ надъ менѣе зоркими, оставили послѣ себя болѣе многочисленное потомство, передали нѣкоторымъ изъ своихъ потомковъ свое исключительно острое зрѣніе и наконецъ мало-по-малу обратили эту высшую степень зоркости въ постоянное свойство цѣлыхъ видовъ и родовъ.

Такъ могли воспитываться, и дѣйствительно воспитывались втеченіи вѣковъ и тысячелѣтій всѣ органы и всѣ способности всѣхъ организмовъ.

Слѣдуетъ замѣтить, что свойства родителей обыкновенно наслѣдуются дѣтьми именно въ томъ возрастѣ, въ какомъ эти свойства обнаружались у родителей. Если въ какомъ-нибудь семействѣ существуетъ наслѣдственная болѣзнь, напримѣръ сумасшествіе, или падучая, или подагра и т. п., то эта болѣзнь проявляется обыкновенно у всѣхъ членовъ семейства въ одномъ и томъ-же возрастѣ. То-же самое замѣчается во всемъ органическомъ мірѣ. Если у насѣкомаго проявляется какая-нибудь особенность въ личинкѣ, въ куколкѣ или въ бабочкѣ, то и у дѣтей этого насѣкомаго особенность эта проявляется въ той-же самой фазѣ развитія. Если у птицы обнаружилась особенность въ формѣ лица или въ цвѣтѣ того пуха, которымъ покрываются птенцы, то особенность эта такъ и будетъ обнаруживаться у слѣдующихъ поколѣній въ тѣ-же самые періоды жизни.

Когда я говорилъ о домашнихъ животныхъ и растеніяхъ, то я обратилъ вниманіе читателя на то обстоятельство, какимъ образомъ проявляется разнообразіе въ различныхъ сортахъ георгины, капусты и крыжовника. Мы видѣли тамъ, что систематическій выборъ челоука можетъ дѣйствовать или на цвѣты растенія, или на его листья, или на его плоды. То же самое можно сказать и объ естественномъ выборѣ. Если для растенія полезно имѣть напримѣръ такіа сѣмена, которыя вѣтеръ уноситъ бы на далекія разстоянія и которыя вслѣдствіе этого имѣли бы больше шансовъ упасть на незанятой клочекъ земли, то именно такіа сѣмена и выработаются путемъ естественнаго выбора. Это и случилось съ сѣменами тѣхъ желтыхъ цвѣтовъ, которые называются одуванчиками и которые дѣйствительно обдуваются вѣтромъ въ концѣ лѣта и въ началѣ осени.

Такъ какъ процессъ естественнаго выбора вездѣ, во всемъ органическомъ мірѣ, совершается точь въ точь такъ, какъ я объяснилъ его въ трехъ примѣрахъ, — о волкѣ, о тетеревѣ и о хищныхъ птицахъ, — то я ужъ больше не буду распространяться объ этомъ процессѣ по поводу каждаго отдѣльнаго примѣра. Я просто буду говорить: «путемъ естественнаго выбора», и надѣюсь, что читатель не будетъ затрудняться этими словами, которыя теперь уже должны быть для него совершенно понятны.

У некоторых животных есть такие органы, которые бывают им необходимы только один раз в жизни. У молодых птиц клюв оканчивается твердой роговой частицей, которой птица продавливает скорлупу своего яйца и которая впоследствии отваливается прочь. У некоторых насѣкомых остаются на всю жизнь большія и крѣпкія челюсти, которыми насѣкомое разорвало свой коконъ и которыя послѣ этого не приносятъ уже никакой пользы. Хотя эти органы дѣйствуютъ только одинъ разъ в жизни, однако они также подчиняются естественному выбору, потому что тотъ моментъ, когда они дѣйствуютъ, рѣшаетъ всю судьбу животного, то-есть даетъ ему возможность жить или осуждаетъ его на смерть. Птичка съ мягкимъ клювомъ не можетъ пробить скорлупу своего яйца, а насѣкомое, лишенное крѣпкихъ челюстей, не можетъ прогрызть свой коконъ; такая птичка и такое насѣкомое непременно погибаютъ до выхода своего на свѣтъ, и слѣдовательно они никакъ не могутъ передать свою индивидуальную особенность слѣдующимъ поколѣніямъ.

Здѣсь представляется намъ любопытный примѣръ того главнаго различія, которое существуетъ между вліяніемъ природы и дѣйствіемъ человѣка. Курносый турманъ, отличающійся отъ другихъ голубей своимъ воробьинымъ клювомъ, цѣнится тѣмъ выше, чѣмъ короче его клювъ. Выбирая постоянно самыхъ курносыхъ субъектовъ, любители довели эту породу до такой крайности, что нѣкоторые изъ самыхъ чистѣйшихъ ея представителей уже не могутъ выдупливаться изъ яйца. Клювъ такъ коротокъ и его роговая частица такъ слаба, что курносой птичкѣ нечѣмъ продавить яичную скорлупу. Птицѣ пришлось бы погибать, и природа очень быстро уничтожила бы неумѣренную курносость, но любители этого не допускаютъ. Они стерегутъ ту минуту, когда птица должна выходить изъ яйца, и потомъ сами осторожно продавливаютъ скорлупу. Дѣйствуя такимъ образомъ, любители сформируютъ современемъ такую породу птицъ, которая уже ни въ какомъ случаѣ не будетъ выдѣлаться изъ яйца безъ посторонней помощи. Разумѣется, такая порода животныхъ безъ вмѣшательства человѣка не могла бы образоваться; какъ только вліяніе человѣка прекратилось бы, такъ чистѣйшіе представители этой породы погибли бы немедленно, и характерная особенность утратилась бы черезъ нѣсколько поколѣній, потому что эта особенность не могла бы поддерживаться естественнымъ выборомъ. Естественный выборъ можетъ развить и сохранить только тѣ особенности, которыя полезны самой породѣ, а никакъ не тѣ, которыя приносятъ выгоду или удовольствіе другому ряду животныхъ. Въ естественномъ состояніи только тотъ организмъ живетъ долго и размножается сильно, который самъ по себѣ здоровъ и крѣпокъ, а вовсе не тотъ, который одаренъ

вкуснымъ мясомъ, тонкой шерстью, звучнымъ голосомъ или пріятной наружностью. Но когда организмъ попадаетъ подъ власть человѣка, тогда конечно выдвигаются на первый планъ получаютъ первостепенную важность именно тѣ впечатлѣнія, которыя этотъ организмъ производитъ на своего владѣльца. Остается на заводъ не тотъ баранъ, который всѣхъ крѣпче, а тотъ, у котораго шерсть особенно тонка. Остается на заводъ не тотъ голубь, который всѣхъ нормальнѣе, а напротивъ того, часто именно тотъ, который всѣхъ уродливѣе. Оттого-то мы и видимъ почти во всѣхъ породахъ нашихъ животныхъ и растений разныя приспособленія къ выгодамъ пріхотямъ человѣка. Эти приспособленія не могли возникнуть и развиться во время дикой жизни нашихъ домашнихъ породъ; они сформировались уже послѣ ихъ прирученія, сформированы путемъ систематическаго или безсознательнаго вліянія человѣка, а это вліяніе часто расходится съ естественнымъ выборомъ, и въ нѣкоторыхъ случаяхъ идетъ ему наперекоръ, какъ мы это видели въ дѣлѣ курносыхъ турмановъ.

Этимъ разладомъ между частными интересами человѣка и общими интересами всей органической жизни объясняется тотъ замѣчательный фактъ, что ни въ Австраліи, ни на мысѣ Доброй Надежды не нашлось ни одного растенія, которое стоило бы обрабатывать въ огородѣ или въ фруктовомъ саду. Дѣло въ томъ, что наши домашнія растенія испытываютъ на себѣ вліяніе человѣка въ продолженіи многихъ тысячелѣтій; поэтому они значительно уклонились отъ своего первоначальнаго типа, и уклонились именно въ ту сторону, въ которую гнулъ ихъ выборъ человѣка. Что же касается до туземныхъ растеній Австраліи и Капской Земли, то они постоянно подчинялись только естественному выбору; дикири, жившіе въ этихъ земляхъ, не имѣли на нихъ никакого вліянія, и поэтому въ нихъ не существуетъ тѣхъ приспособленій, которыми мы дорожимъ въ нашихъ овощахъ или садовыхъ ягодахъ. Эти приспособленія могли бы выработаться черезъ нѣсколько столѣтій, но кому же охота начинать работу съ начала, когда мы имѣемъ уже готовые продукты, то-есть хорошую капусту, морковь, горохъ, землянику, малину, крыжовникъ, и вообще все, что въ этомъ отношеніи доставляетъ намъ пользу или удовольствіе?

Выводъ тотъ, что каждая порода дѣйствуетъ постоянно только сама для себя, и что полнѣйшій эгоизмъ составляетъ основной законъ жизни для всего органическаго міра. Человѣкъ можетъ передѣлать капусту для себя, но сама капуста ни подъ какимъ видомъ не будетъ передѣлывать себя для человѣка. Сохраняться и размножаться въ естественномъ состояніи будутъ тѣ экземпляры, которые особенно хорошо защищены своей организаціей отъ враждебныхъ вліяній, а не тѣ, которые особенно сочны и вкусны для человѣка.

IX.

Половые отношенія.

чается иногда, что какая нибудь особенность проявляется и становится наследственной у самцовъ или у однихъ самокъ. Если особенность помогаетъ акту дѣторожденія, обще доставляетъ данному субъекту какой-либо перевѣсъ надъ другими животными той породы, то она можетъ быть сохранена и усовершенствована вліяніемъ естественнаго выбора. Истинное и усовершенствованіе такихъ полезныхъ особенностей объясняетъ намъ то обстоятельство, что во многихъ породахъ живутъ самцы одарены такимъ специальнымъ оружиемъ, котораго нѣтъ у самокъ. Самцы обыкновенно дерутся между собой за обладаніе самками, въ этой дракѣ одерживаютъ побѣду тѣ самцы, которые вооружены лучше другихъ. Этой борьбы такое оружие, какъ рогъ оленя, колючковатая челюсть самца семги, или шпора аиста, оказывается полезнѣе, чѣмъ общій крѣпкій телосложеніе. Крѣпкій и здоровый субъектъ способенъ пережить своихъ сверстниковъ, чтобы оставить послѣ себя потомство. Поэтому этому субъекту необходимо еще обладать какимъ-либо оружиемъ, неукротимой храбростью и инымъ характеромъ. Такимъ образомъ борьба самокъ вводитъ въ дѣло естественнаго выбора элементъ, который никакъ нельзя считать маловажнымъ, потому что эта борьба существуетъ, какъ постоянное правило, почти во всехъ высшихъ областяхъ животнаго царства. У копытныхъ заборъ самцовъ такъ великъ, что, при малѣйшемъ недосмотрѣ со стороны самки, быки, бараны или жеребцы вступаютъ въ борьбу съ собой въ сраженіе, хотя повидимому такая и однообразная жизнь скотнаго двора, живущихъ должна была бы значительно ослабить нашихъ домашнихъ животныхъ первобытную ярость характера. Драки между самцами птицъ также случаются каждый день, и въ этомъ любопытно замѣтить на примѣръ сильную противоположность между смиреннымъ характеромъ курицы и неукротимой свирѣпостью петуха. Это свойство характера такъ же выработалось путемъ естественнаго выбора, какъ фигура и оружіе петуха, потому что смелый и заборный петухъ имѣлъ значительные шансы побѣдить и отогнать прочь отъ самокъ трусливаго или уступчиваго противника. У пресмыкающихся, аллигаторы сильно дерутся между собой за самокъ; при этомъ они прыгаютъ и кружатся съ возрастающей быстротой, индѣйцы танцуютъ свою военную пляску. Рыбы, семги дерутся по цѣлымъ днямъ. Даже и насекомыя придерживаются этого обычая. Многие породы птицъ вносятъ въ эту борьбу

мирный элементъ артистическихъ состязаній. Самцы стараются привлечь къ себѣ самокъ мелодическимъ пѣніемъ, и это имъ удается, потому что въ противномъ случаѣ не за чѣмъ было бы соловью, канарейкѣ и многимъ другимъ пѣвчимъ птицамъ надсаживать себѣ горло именно въ то время, когда наступаетъ для нихъ пора любви. Здѣсь побѣда достается лучшему пѣвцу; естественный выборъ дѣйствуетъ на музыкальныя способности птицъ, и его дѣйствіемъ, продолжающимся цѣлыя тысячелѣтія, объясняется, во-первыхъ, необыкновенное развитіе голоса у нѣкоторыхъ породъ, а во-вторыхъ—то обстоятельство, что поютъ преимущественно, а можетъ быть даже исключительно, одни самцы. Другія птицы обольщаютъ легкомысленныхъ самокъ красотой своего оперенія. *Каменные птѣушки*, живущіе въ Гвианѣ, и райскія птицы производятъ даже въ присутствіи самокъ что-то вроде бала или турнира, единственно для того, чтобы показать своимъ дамамъ всю свою ловкость и всю блестящую красоту своихъ перьевъ. Они распускаютъ поочереди хвостъ и крылья, принимаютъ самыя необыкновенныя позы, вертятся, пляшутъ и наконецъ, очаровавши присутствующихъ зрителей, предоставляютъ имъ выбирать того или тѣхъ, кто умѣлъ имъ понравиться сильнѣе прочихъ. Здѣсь естественный выборъ очевидно направляется на цвѣтъ и пестроту перьевъ, и его постоянное дѣйствіе объясняетъ намъ также, почему у самцовъ опереніе бываетъ обыкновенно красивѣе и ярче, чѣмъ у самокъ той же породы.

Въ мірѣ растений конечно не можетъ быть ни борьбы между самцами, ни выбора со стороны самокъ; у очень многихъ растений женскіе и мужскіе органы соединены въ одномъ цвѣткѣ; мужскіе органы вырабатываютъ цвѣточную пыль, роняютъ ее на женскій органъ и совершаютъ такимъ образомъ актъ оплодотворенія, послѣ котораго цвѣтокъ оканчиваетъ свое существованіе и превращается въ плодъ, заключающій въ себѣ сѣмена. Здѣсь половыя отношенія, разумѣется, гораздо проще, чѣмъ въ мірѣ высшихъ животныхъ. У простѣйшихъ животныхъ и у тайнобрачныхъ растений они еще проще, но объ нихъ намъ не за чѣмъ говорить. У многихъ изъ высшихъ растений половыя органы находятся на разныхъ цвѣткахъ, такъ что одинъ цвѣтокъ имѣетъ въ себѣ только пестикъ, или женскій половой органъ, а другой—только тычинки, или мужскіе органы, вырабатывающіе цвѣточную пыль. Такое раздѣленіе органовъ выгодно для растенія, несмотря на то, что оплодотвореніе при этихъ условіяхъ не можетъ совершаться безъ посторонней помощи. Обыкновенно помогаютъ вѣтеръ и насекомыя. Выгода для растенія заключается тутъ въ томъ, что всѣ силы каждаго отдѣльнаго цвѣтка устремляются на одно отправленіе, вмѣсто того чтобы дробиться между двумя различ-

ными занятіями. Здѣсь дѣйствуетъ тотъ великій принципъ раздѣленія труда, который сохраняетъ всю свою силу во всѣхъ отдѣлахъ растительнаго и животнаго царства, начиная отъ экономической дѣятельности человѣка и кончая прозябаніемъ грибовъ и водорослей. Современные натуралисты признали важное значеніе этого принципа и, приложивъ его къ объясненію многихъ явленій органической жизни, назвали его *раздѣленіемъ физиологическаго труда*. У растений, соединяющихъ оба пола въ одномъ цвѣткѣ, случается иногда, что нѣкоторые субъекты представляютъ одностороннее развитіе, то-есть одинъ изъ половых органовъ развивается въ ущербъ другому. Такой цвѣтокъ очевидно не можетъ оплодотворять самого себя, но зато въ своей спеціальности онъ сильнѣе своихъ нормально сложившихся сверстниковъ, то-есть или его тычинки развиты особенно хорошо и вырабатываютъ цвѣточную пыль отличнаго качества, въ необыкновенномъ изобиліи, или его пестикъ отличается особенно крѣпкой организаціей. Въ первомъ случаѣ нашъ субъектъ съ большимъ успѣхомъ можетъ оплодотворить другой цвѣтокъ; во второмъ случаѣ онъ съ такимъ же успѣхомъ можетъ принять отъ другого оплодотворяющую пыль; въ обоихъ случаяхъ нашъ ненормальный цвѣтокъ, именно вслѣдствіе своей ненормальности, исполнитъ свое спеціальное дѣло отлично; онъ оставитъ послѣ себя многочисленное и крѣпкое потомство, то-есть произведетъ много сѣмянъ, а изъ этихъ сѣмянъ вырастутъ при благоприятныхъ условіяхъ здоровыя растения, и между этими растениями нѣкоторые наследуютъ по всей вѣроятности ту односторонность, которою отличался папаша или отличалась мамаша. Эти растения опять произведутъ здоровое и многочисленное потомство; дѣло пойдетъ вообще обыкновеннымъ путемъ естественнаго выбора, и такимъ образомъ рядомъ съ растеніями, соединяющими въ одномъ цвѣткѣ оба половых органа, возникнетъ и упрочится новая порода такихъ растений того же сорта, у которыхъ мужской и женскіе органы будутъ находиться отдѣльно, на разныхъ цвѣткахъ. Ботаника дѣйствительно знаетъ довольно много такихъ примѣровъ. Помѣщеніе половых органовъ на двухъ различныхъ цвѣткахъ выгодно для растений въ двухъ отношеніяхъ: во-первыхъ, вслѣдствіе раздѣленія физиологическаго труда, а во-вторыхъ—потому, что на весь органическій міръ распространяется одинъ общій законъ, который повидимому также находится въ связи съ принципомъ раздѣленія труда. Законъ этотъ состоитъ въ томъ, что для поддержанія плодovitости необходимо совокупленіе двухъ различныхъ индивидуумовъ. У высшихъ животныхъ и у тѣхъ растений, у которыхъ половые органы раздѣлены, совокупленіе необходимо предъ каждымъ дѣторожденіемъ. Напротивъ того, у гермафродитовъ животнаго и расти-

тельного царства, то-есть у тѣхъ животныхъ оба органа принадлежать одному, дѣторожденіе производится безъ совокупленія. Каждый субъектъ оплодотворяетъ и самъ родитъ. Но процессъ продолжается черезъ нѣсколько гермафродитовъ, то наконецъ ихъ тельная сила слабѣетъ и истощается для возстановленія этой силы необходимо два гермафродита одной породы взаимно оплодотворили другъ друга. Послѣ этого дѣло опять можетъ втеченіи нѣсколькихъ обходиться безъ постороннихъ. Такъ это и дѣлается. Гермафродиты моллюсковъ иногда совокупляются, и дѣти растительнаго царства оплодотворяютъ другъ друга при содѣйствіи вѣтра и насекомыхъ, которые переносятъ цвѣточную пыль цвѣтка на другой и даже очень часто помѣся между различными породами, находящимися между собой въ близкомъ обществѣ. Если два растения принадлежатъ совершенно различнымъ семействамъ, то пыль одного вовсе не подѣйствуетъ на другой. Если два растения принадлежатъ къ одному роду, но къ двумъ видамъ, тогда они произведутъ такую особь, которая называется *гибридомъ* и которая, какъ и родители, не можетъ давать такъ же безплодна, какъ напримѣръ, мулы, составляющіе помѣсь лошади съ осломъ. Если два растения принадлежатъ къ однимъ и тѣмъ же породамъ или видамъ, то помѣсь ихъ будетъ называться *сортъ* и будетъ способна размножаться, если два растения принадлежатъ къ одной и той же породѣ, то они, оплодотворивши другъ друга, произведутъ такое потомство, которое будетъ здоровѣе и сильнѣе, чѣмъ родители, оплодотворившіе себя своей цвѣточной пылью. Короче сказать, такое дѣторожденіе *) необходимо раздѣленіемъ содѣйствующими сторонами, но только въ тѣхъ случаяхъ, когда различіе или совѣсть не существуетъ, тогда тельная сила слабѣетъ и исчезаетъ. Если различіе слишкомъ велико, тогда произведеніе тоже слабѣетъ и исчезаетъ. Если различіе не велико, то у высшихъ животныхъ, то у насъ съ одной стороны, что совокупленія близкими родственниками портятъ и с другой стороны, что совокупленія между разными видами или совершенно невозможны, то у растений выгодно раздѣ-

*) Я употребляю для краткости это слово въ самомъ обширномъ смыслѣ, прилагая его къ животнымъ, и къ растениямъ, и къ высшимъ и къ низшимъ вообще ко всему органическому міру.

органовъ:—потому, что такое раздѣленіе естественно требуетъ для дѣлорожденія совокупнаго дѣйствія двухъ отдѣльныхъ субъектовъ, а совокупное дѣйствіе ведетъ за собой улучшение и укрѣпленіе породы. Почему именно существуетъ этотъ общій законъ, и изъ какихъ иныхъ свойствъ органической жизни онъ исходитъ, этого натуралисты еще не знаютъ, и, быть, до поры, до времени намъ приходится отложить здѣсь его дѣйствительное существованіе, доказанное множествомъ отдѣльныхъ фактовъ.

Въ некоторыхъ растений-гермафродитовъ половые органы, соединенные на одномъ цвѣткѣ, устроены такъ, что цвѣтокъ самъ себя оплодотворить не можетъ, и слѣдовательно или умираетъ безъ потомства, или обмѣнивается услугою своими сверстниками и сосѣдями. Такъ напримѣръ у *Lobelia fulgens* тычинки цвѣтка выдвигаютъ и выдѣляютъ цвѣточную пыль тогда, когда пестикъ того же цвѣтка еще не созрѣлъ, чтобы воспользоваться оплодотвореніемъ. Это стало-быть, что выработанная пыль или дается даромъ, или достается пестику другимъ цвѣткомъ, развившагося раньше перваго. Когда же разовьется въ свою очередь пестикъ того цвѣтка, тогда оказывается, что тычинки высохли и прекратили свою дѣятельность. Значитъ, пестику приходится или увядать безъ потомства, или принимать цвѣточную пыль другого, младшаго цвѣтка. Такимъ образомъ выходитъ, что *Lobelia fulgens* въ молодости бываетъ мужчиной, а подъ старость становится женщиной. Настоящимъ же гермафродитомъ, то-есть мужчиною-женщиною, она никогда не бываетъ. Тутъ очевидно есть противорѣчіе въ конструкціи цвѣтка и его дѣятельности. Конструкція—онъ настоящій гермафродитъ, дѣятельности—однополое растеніе. Это противорѣчіе было бы необъяснимо, если-бы мы положили, что *Lobelia fulgens* вышла изъ готовой конструкціи и съ готовой дѣятельностью, подобно тому, какъ нашъ давній знакомый, идеальный баранъ, неизмѣнчивъ *avis aries* (смотри *введеніе*), вышелъ изъ вооруженія своихъ атрибутовъ. Но противорѣчіе объясняется, если мы предположимъ, что естественный выборъ уже переработалъ дѣятельность цвѣтка и еще не успѣлъ переработать конструкцію.

Такъ было дѣло. У некоторыхъ экземпляровъ *Lobelia fulgens* тычинки созрѣли чуть пораньше пестика; это индивидуальное явленіе такъ же возможно, какъ и всякое другое: оно было выгодно для цвѣтка, потому что масса его цвѣточной пыли устремлялась по необходимости на другіе цвѣты, то-есть туда, гдѣ могла принести величайшее количество плодовъ; ни одна частица этой пыли не тратилась на пестикъ, и, стало-быть, пестикъ, не за-

соренный своей собственной пылью, былъ въ высшей степени способенъ принять ту пыль, которая вызывала къ дѣятельности всѣ его производительныя силы. Значитъ, и пыль, и пестикъ этихъ цвѣтковъ дѣлали свое дѣло лучше, чѣмъ тѣ же органы другихъ, совершенно нормальныхъ субъектовъ. Ну, а послѣдствія давно извѣстны читателю: крѣпкое потомство, сохраненіе выгодной особенности, сохраненіе тѣхъ субъектовъ, у которыхъ эта особенность сильнѣе развита, чѣмъ у другихъ, усиленіе особенности посредствомъ постоянного выбора, превращеніе особенности въ постоянное и коренное свойство, образованіе новой видоизмѣненной породы рядомъ со старой и наконецъ совершенная побѣда новой породы надъ старой,—побѣда, приводящая за собой медленное и полное вымирание старой породы—черезъ эти фазы проходить всегда естественный выборъ и черезъ эти же фазы прошелъ онъ тогда, когда измѣнилъ дѣятельность цвѣтка *Lobelia fulgens*. Точно также совершилось бы измѣненіе его конструкціи, лишь бы только представились такіе индивидуальныя отклоненія, которыя полезны для цвѣтка и которыми вслѣдствіе этого можетъ овладѣть естественный выборъ. Пусть читатель твердо запомнитъ, что безъ индивидуальныхъ отклоненій естественный выборъ ничего не можетъ сдѣлать. Онъ не производитъ этихъ отклоненій; онъ только сохраняетъ ихъ, а производятся эти отклоненія совершенно другими причинами, и притомъ такими, которыя до сихъ поръ очень мало изслѣдованы.

X.

Образованіе разновидностей, видовъ и родовъ.

Борьба за жизнь, смотря по обстоятельствамъ времени и мѣста, то усиливается и становится болѣе ожесточенной, то ослабѣваетъ и принимаетъ болѣе спокойное теченіе. Если напримѣръ лѣтняя засуха уменьшила въ какой-нибудь степной странѣ количество травы, то, разумѣется, борьба между травоядными сдѣлается особенно сильной. Если въ траву врывается новая порода животныхъ или растений, то борьба, происходившая обыкновенно между туземными формами, тотчасъ оживляется, потому что пришельцы вносятъ въ эту борьбу еще новый элементъ и еще болѣе перенутиваются своимъ появленіемъ сложную сеть прежнихъ отношеній между животными и растениями. Если какая-нибудь туземная форма животныхъ или растений испытываетъ то или другое измѣненіе, тотчасъ это измѣненіе отражается на общемъ колоритѣ борьбы, и борьба на время усиливается, потому что остальнымъ формамъ приходится принаровиться къ этому измѣненію, чтобы не потерять отъ него существеннаго ущерба. Чѣмъ обширнѣе страна, чѣмъ она доступнѣе для чужеземныхъ растений и живот-

ныхъ, чѣмъ разнообразіе ея собственное население, тѣмъ ожесточеннѣе кипитъ въ ней борьба за жизнь, тѣмъ чаще происходятъ періодическія усиленія этой борьбы и тѣмъ прихотливѣе и пестрѣе перепутываются отношенія между различными органическими породами. Но чѣмъ ожесточеннѣе борьба, тѣмъ труднѣе побѣда, а такъ какъ живутъ и размножаются только побѣдители, то тѣмъ строже естественный выборъ. Та порода, которая измѣняется въ свою пользу медленно, чѣмъ ея конкуренты, терпитъ рѣшительное пораженіе, теряетъ средства къ существованію и становится малочисленной. А какъ только она начинаетъ убывать, такъ окончательное истребленіе ея становится почти несомнѣннымъ. Во-первыхъ, на малочисленную породу всякія неблагоприятныя обстоятельства, вродѣ холодной зимы, жаркаго лѣта, голоднаго года, дѣйствуютъ гораздо разрушительнѣе, чѣмъ на многочисленную. Малочисленная порода можетъ при такихъ условіяхъ вымереть безъ остатка, а для многочисленной породы такой трагическій случай представляется въ высшей степени неправдоподобнымъ. Во-вторыхъ, чѣмъ малочисленнѣе порода, тѣмъ меньше существуетъ вѣроятій, что въ этой породѣ обнаружатся такія полезныя индивидуальныя особенности, которыя строгій естественный выборъ могъ-бы сохранить, развить и упрочить. Стало-быть, если не будетъ даже никакихъ неблагоприятностей со стороны климата, то все-таки на убывающую породу будутъ постоянно дѣйствовать съ возрастающей силой тѣ самыя причины, которыя уже попятѣли ее назадъ. Конкуренты уже опередили ее, конкуренты продолжаютъ измѣняться въ свою пользу быстрѣе, чѣмъ эта отсталая порода, конкуренты съ каждымъ днемъ сильнѣе отбиваютъ у нея насущный хлѣбъ, и все это продолжается до тѣхъ поръ, пока побѣжденная порода не исчезаетъ окончательно. На большихъ материкахъ борьба за жизнь особенно сильна, разнообразіе органическихъ формъ особенно значительно, естественный выборъ особенно строгъ, и слѣдовательно одніе породы исчезаютъ, а другія совершенствуются гораздо быстрѣе, чѣмъ это дѣлается на островахъ или на такихъ небольшихъ материкахъ, какъ Австралія.

При ожесточенной борьбѣ и при строгости естественнаго выбора побѣда и жизнь достаются только тѣмъ породамъ, которыя одарены чрезвычайно крѣпкой, гибкой и измѣнчивой организацией. Когда эти породы, выработавшія свои превосходныя свойства цѣлыми тысячелѣтіями самой напряженной борьбы, врываються въ такое мѣсто, гдѣ борьба была слаба и гдѣ естественный выборъ вслѣдствіе этого не отличался строгостью, — тогда въ этомъ уголкѣ земного шара происходитъ что-то похожее на вторженіе гунновъ въ Римскую имперію. Туземные конкуренты разступаются во всѣ стороны, а пришель-

цы, сдѣлавшись въ самое короткое время полными хозяевами страны, размножаются съ необычайной быстротой, и размноженіемъ своимъ истребляютъ тѣ слабыя и неразвитыя породы, которыя не могутъ выдержать ихъ натиска.

Такимъ образомъ европейскія растенія и животныя, въ томъ числѣ и европейскіе люди, утвердились въ Австраліи и на многихъ островахъ Тихаго Океана, быстро принаровились къ природѣ своего новаго отечества и истребили въ этой природѣ то, что стояло поперекъ ихъ дороги. Растительность острова Мадеры поимка, по словамъ натуралиста Освальда Гира (Heer), на ту флору, которая жила въ Европѣ во время третичнаго геологическаго періода. Въ Австраліи живетъ до сихъ поръ безобразнѣйшее и нелѣпнѣйшее млекопитающее съ утинымъ клювомъ, орниторинксъ или утконосъ, которому по видимому давно-бы слѣдовало лежать въ какомъ-нибудь напластованіи земной коры и принадлежать къ разряду ископаемыхъ, или такъ называемыхъ допотопныхъ животныхъ. Эти два факта объясняются тѣмъ, что на Мадерѣ и въ Австраліи борьба за жизнь была слабѣе, чѣмъ на громадномъ материкѣ Стараго Свѣта; поэтому тѣ формы, которыя давно истреблены въ Европѣ, до сихъ поръ могли продержаться тамъ, гдѣ естественный выборъ дѣйствовалъ съ меньшей строгостью. Къ этимъ двумъ фактамъ можно прибавить еще два факта того-же самаго разряда. Во-первыхъ, можно замѣтить, что почти всѣ австралійскія млекопитающія принадлежатъ къ низшему порядку этого класса, именно къ порядку сумчатыхъ, которыя когда-то жили и въ Европѣ, но уже въ далекомъ геологическомъ прошедшемъ сошли со сцены и обратились въ ископаемыхъ. Во-вторыхъ, птица дожила до половины прошлаго столѣтія не на материкѣ, а на островѣ Мадагаскарѣ; на материкѣ, при множествѣ враговъ и конкурентовъ, эта неуклюжая и беззащитная птица никакъ не продержалась бы такъ долго.

Стало бытъ, вотъ въ какой связи представляются намъ явленія органической жизни: на большихъ материкахъ живутъ разнообразныя формы животныхъ и растений; разнообразіе формъ порождаетъ разнообразіе отношеній и напряженность борьбы; а напряженная борьба ведетъ за собою строгій естественный выборъ, уничтоженіе однихъ породъ, совершенствованіе другихъ, движеніе и колебаніе въ органическихъ формахъ, и наконецъ, въ общемъ результатѣ, возвышеніе всего уровня мѣстной органической жизни. Но это еще не все. Если разнообразіе формъ является причиной сильной борьбы и строгаго выбора, то спрашивается, откуда же взялось это самое разнообразіе? Если сказать, что это разнообразіе такъ всегда и было разнообразіемъ, то въ такомъ случаѣ зачѣмъ-же было представлять въ смѣшномъ видѣ мысль объ идеальной

ранѣ, выходящемъ изъ нѣдръ земли, подобно червѣ, рождающейся изъ морской пѣны? Но теперь намъ не зѣтъ смотрѣть на это разнообразіе, какъ на первобытный и безпричинный актъ.

Всѣ разновидности, виды, роды, семейства, гради такъ далѣе, развились изъ одной общей формы посредствомъ той самой борьбы и того самаго выбора, которые въ настоящее время живутъ намъ слѣдствіями существующаго разнообразія. Какая была общая первобытная форма организма—этого никто никогда не узнаетъ, потому что та эпоха, когда зарождалась на нашей планетѣ органическая жизнь, не оставила, да и не могла оставить намъ рѣшительно никакихъ геологическихъ документовъ. Въ пластахъ земной коры могли сохраниться только твердые остатки организма, кости, раковины, дерево, а такой организмъ, который состоитъ изъ твердыхъ и мягкихъ частей, представляетъ уже очень разное и сложное явленіе. Такое явленіе никакъ не можетъ быть принято за исходную точку органической жизни, во-первыхъ потому, что всѣ организмы безъ исключенія начинаютъ свое развитіе съ простой клѣтки, въ которой, развѣтъ, нѣтъ ни костей, ни раковинъ, ни дерева, есть только слизь, да тоненькая оболочка. Мало быть, о первобытныхъ формахъ и объ исходной точкѣ органической жизни нечего и говорить, потому что гдѣ нѣтъ фактовъ, тамъ не можетъ быть ни научнаго изслѣдованія, ни даже серьезнаго разговора. Тамъ ужъ пускай дѣйствуютъ поэзія и метафизика. Но чтобы объяснить, какимъ образомъ виды, роды, семейства и порядки могли возникнуть и развиваться посредствомъ борьбы за жизнь и посредствомъ естественнаго выбора, намъ даже нѣтъ никакой необходимости забираться въ такую древность, о которой молчатъ даже геологи. Если намъ удастся только показать, что изъ одного вида могутъ развиться два вида, что такіа явленія дѣйствительно встрѣчаются въ природѣ, и что они имѣютъ собою основаніе въ самыхъ существенныхъ свойствахъ органической жизни, то цѣль наша будетъ вполне достигнута. Въ самомъ дѣлѣ, если только дробленіе видовъ на новые виды совершается и должно совершаться въ органической природѣ, то этому дробленію не можетъ быть никакихъ опредѣленныхъ границъ ни въ прошедшемъ, нивъ будущемъ. Если виды дробятся сегодня, если мы видимъ причину, почему они должны дробиться, и если мы можемъ доказать, что причина эта составляетъ необходимое свойство органической жизни, то не трудно понять, что виды дробились вчера и будутъ дробиться завтра; если-же они дробились въ прежнія времена, то стало быть теперешніе виды составляютъ результатъ прошедшаго дробленія; стало быть, группы близкихъ между собою видовъ составляли въ былые времена одну общую форму; а

эта общая форма образовала въ прошедшемъ одинъ видъ и связывалась съ другими видами въ родовыя и семейныя группы, которыя всѣ вмѣстѣ въ болѣе отдаленную эпоху имѣли своимъ родоначальникомъ также одну форму, еще болѣе общую; и такимъ образомъ, переходя постоянно отъ частнаго къ общему, къ болѣе общему и къ еще болѣе общему, мы дойдемъ наконецъ до того предѣла, гдѣ кончаются геологическіе документы, и гдѣ слѣдовательно начинается *темное царство* поэзіи и метафизики. Туда мы ужъ не пойдемъ, а вмѣсто того воротимся къ тому вопросу, который составляетъ фундаментъ всего строенія.

Итакъ, я повторяю вопросъ: какимъ образомъ одинъ видъ можетъ раздѣлиться на два вида? Или точнѣе: почему одному виду можетъ быть выгодно и полезно раздѣлиться на два или вообще на нѣсколько видовъ? Отвѣтъ будетъ довольно длиненъ и начнется издалика. Борьба за средства къ существованію происходитъ съ особенной ожесточенностью между существами одной породы или между очень близкими породами. Причина очевидна. Чтѣсть одинъ баранъ, то ѣсть и другой баранъ; чтѣсть нравится одному, то нравится и другому; чего не терпитъ одинъ, того не терпитъ и другой. Быкъ и баранъ оба питаются травою и слѣдовательно также борются между собою, но быкъ можетъ предпочитать одинъ сортъ травы, а барану можетъ нравиться другой; стало-быть, въ обыкновенное время, когда нѣтъ засухи, борьба быка съ бараномъ слабѣе, чѣмъ междуусобная борьба въ самой породѣ быковъ или барановъ. Съ лошадыю баранъ борется еще слабѣе, чѣмъ съ быкомъ, и чѣмъ значительнѣе становится различіе въ организаціи двухъ животныхъ, тѣмъ слабѣе дѣлается ихъ борьба между собой. Съ собакой или съ курицей баранъ уже совсѣмъ не находится въ прямомъ соперничествѣ, хотя онъ можетъ-быть и связанъ съ ними какой-нибудь запутанной сѣтью сложныхъ отношеній, вродѣ того, какъ кошка связана съ шмелемъ и съ растеніемъ *trifolium pratense*. Но до какой степени сильна и истребительна можетъ быть борьба между очень близкими породами и между отдѣльными существами одной породы,—это доказывается многими любопытными наблюденіями. Если перемѣщать сѣмена нѣсколькихъ разновидностей пшеницы, если посеять ихъ въ одномъ полѣ и потомъ послѣ каждой уборки сѣять опять полученныя сѣмена, не разбирая ихъ по сортамъ, то черезъ нѣсколько лѣтъ нѣкоторыя изъ посеянныхъ разновидностей совершенно вытѣсняются другими, болѣе крѣпкими, болѣе плодовитыми и болѣе соответствующими данному климату и данной почвѣ. То-же самое произойдетъ, если вы будете сѣять вмѣстѣ разновидности душистаго горошка, отличающіяся другъ отъ друга только красками цвѣтовъ. Сильные въ нѣсколько лѣтъ совершенно

уничтожать слабыхъ. Если пустить нѣкоторые породы горныхъ барановъ въ одно пастбище съ другими, то этимъ другимъ придется терпѣть голодъ, между тѣмъ какъ первые будутъ постоянно наѣдаться и благоденствовать. То-же самое случится между различными сортами медицинскихъ пиявокъ, если вы будете кормить ихъ въ одномъ резервуарѣ. Во всѣхъ этихъ примѣрахъ берутся отношенія между отдѣльными разновидностями, потому что въ такихъ случаяхъ результатъ борьбы выражается особенно нагляднымъ образомъ; но само собой разумѣется, что внутри каждой разновидности идетъ еще болѣе ожесточенная борьба между отдѣльными субъектами, потому что тѣмъ значительнѣе сходство, тѣмъ чаще должны быть столкновенія и тѣмъ ежеминутнѣе должно быть соперничество; въдѣ и въ приведенныхъ примѣрахъ не разновидности идутъ на разновидность, а просто каждый отдѣльный организмъ стоитъ за самого себя, сколько хватить его силъ, и при этомъ совершенно неумышленно и безпристрастно отбиваетъ хлѣбъ, какъ у того, кто похожъ на него какъ двѣ капли воды, такъ и у того, кто немного отличается отъ него складомъ тѣла или цвѣтомъ шерсти. Результатъ, то-есть торжество одной разновидности надъ другой, получается не вслѣдствіе генеральнаго сраженія, а вслѣдствіе множества ежеминутныхъ и мельчайшихъ дуэлей; да и дуэли-то большей частью такія, въ которыхъ противники не видать и не знаютъ другъ друга въ глаза; весь поединокъ состоитъ въ томъ, что каждый миролюбивѣйшимъ образомъ набиваетъ себѣ желудокъ какъ можно полнѣе и стало-быть другимъ оставляетъ какъ можно меньше съѣстного матеріала.

Представимъ себѣ теперь, что въ странѣ *A* порода *B* размножилась до крайнихъ предѣловъ возможнаго. Когда этотъ крайній предѣлъ достигнутъ, тогда все-таки половыя отпавленія породы не прекращаются. Самцы попрежнему оплодотворяютъ самокъ, а самки попрежнему рожаютъ дѣтей. Породы *B* не знаетъ политической экономіи и не имѣетъ понятія о томъ «моральномъ самовоздержаніи», которое Мальтусъ и Милль такъ остроумно рекомендуютъ англійскимъ рабочимъ. Что же изъ этого можетъ выйти? Подъ именемъ страны я понимаю здѣсь пространство земли, окаймленное естественными границами; съ одной стороны напримѣръ цѣнь горъ, покрытыхъ вѣчными снѣгами, съ другой — песчаная пустыня, а съ остальныхъ сторонъ — море; значить, выхода нѣтъ; выселеній быть не можетъ; стало-быть, если порода *B* размножилась до максимумъ, то каждый годъ извѣстному числу этихъ животныхъ приходится умирать голодной смертью. Оно конечно приходится; но въдѣ умирать съ голоду до такой степени непріятно, что каждое животное, какъ бы оно ни было глупо, будетъ все-таки подниматься

на всѣ доступныя ему хитрости, чтобы поставить вопросъ какъ нибудь иначе. Если ужъ никакъ нельзя прожить на бѣломъ свѣтѣ, такъ оно постарается по крайней мѣрѣ умереть какой-нибудь другой смертью. Въдѣ мы видимъ напримѣръ, что голодный волкъ бросается на человѣка, котораго онъ не трогаетъ во время своего благоденствія, хотя повидимому сытый организмъ долженъ быть сильнѣе и стало-быть смѣлѣе голоднаго. Видимъ мы также, что и люди во время голода набиваютъ себѣ желудокъ разными негодными веществами и вслѣдствіе этого умираютъ отъ болѣзней, что все-таки какъ-то легче, чѣмъ умереть отъ чистаго голода. Такою же рода явленія обнаружатся и въ нашей породѣ *B*. Прежде всего отложена будетъ въ сторону всякая прихотливость и брезгливость. Положимъ, что порода *B* плотоядна; стало-быть, главная часть ея задачи состоитъ не въ томъ, чтобы переварить съѣденное вещество, а въ томъ, чтобы найти это вещество, которое и бѣгаетъ, и летаетъ, и плаваетъ. Надо пронохать, рассмотреть, подкараулить, догнать, перехитрить и одолѣть живую добычу. Тутъ требуются и сила, и ловкость, и острота чувствъ, и смѣлость, и навыкъ; открывается, какъ видите, очень обширное поле для индивидуальныхъ способностей, и мы легко можемъ себѣ представить безчисленное множество отгѣнковъ въ развитіи каждой изъ этихъ способностей и въ распредѣленіи ихъ между отдѣльными животными одной и той же породы. Глядя на двухъ животныхъ этой породы, поставленныхъ рядомъ, мы конечно не замѣтимъ этихъ отгѣнковъ; и тотъ — волкъ, и этотъ — волкъ, да если еще притомъ они одного роста и одного цвѣта, то мы и рѣшаемъ, что они совершенно равны между собой; но разница выразится въ результатахъ; если одинъ съумѣетъ кормиться лучше другого, то, значить, у него есть какое-нибудь преимущество, незамѣтное для нашихъ глазъ, но очень важное для его жизни. Само собой разумѣется, что въ нашей породѣ *B* будутъ одни субъекты очень даровитые, другіе — посредственные, а третьи — ужъ гораздо поплоче. Если порода *B* до своего крайняго размноженія имѣла привычку питаться исключительно мясомъ тѣхъ животныхъ, которыхъ сами они только что растерзали, то послѣ размноженія эта привычка превратится уже въ роскошь, доступную только для гениевъ первой величины. Непросвѣщенная толпа принуждена будетъ привыкать понемногу къ падали, и даже къ очень несвѣжей падали, потому что все-таки гнилое мясо лучше, чѣмъ голодная смерть. А самымъ плохимъ субъектамъ по всей вѣроятности и лизнуть не придется свѣжей пищи. Разумѣется, этотъ процессъ привыканія будетъ доставаться туго и окупаться цѣной многихъ пожертвованій. Желудки, устроенные для свѣжей пищи, не будутъ переносить падали, и многія

животныя переколютъ отъ разлагающагося мяса. Но нѣкоторыя переживутъ; борьба за жизнь завяжется между самыми плохими субъектами, и естественный выборъ, начавши дѣйствовать въ этомъ направленіи, будетъ постоянно сохранять тѣ желудки, которые успѣшнѣе прочихъ перевариваютъ несвѣжую пищу. Подъ вліяніемъ этой пищи и при содѣйствіи тѣхъ привычекъ и способностей, которыхъ требуетъ ея отысканіе, сформируется изъ самыхъ плохихъ субъектовъ породы *B* отдѣльная разновидность, у которой проявятся современемъ очень замѣтныя отличія отъ организаціи лучшихъ представителей коренного типа. Естественный выборъ будетъ постоянно увеличивать эти отличія, и не трудно понять, почему это будетъ дѣлаться такимъ образомъ. Между чистымъ стервятникомъ (извините за выраженіе; оно впрочемъ употребляется въ учебникахъ зоологіи) и чистымъ хищникомъ будетъ существовать сначала промежуточная категорія животныхъ той же породы *B*. Эти — *ни-то, ни-се* будутъ самыми обиженными созданиями. У нихъ меньше талантовъ, чѣмъ у передовыхъ геніевъ породы, и больше желудочной требовательности, чѣмъ у самой крайней сволочи той же породы. Пойдутъ они за живой добычей — въ дуракахъ останутся, и притомъ въ голодныхъ дуракахъ, потому что настоящіе, первоклассные хищники вездѣ ужъ успѣли побывать раньше ихъ; падаютъ наши горемики падали, опять бѣда выйдетъ; на нѣсколько дней животъ разболится, а то и совсѣмъ ноги протянуть придется. Ясно стало-быть, что передъ хищниками лежитъ одинъ путь развитія, а передъ стервятниками — совсѣмъ другой, и чѣмъ дальше они будутъ расходиться между собой, тѣмъ лучше будетъ для тѣхъ и для другихъ. Хищнику надо работать мозгомъ, нервами чувствъ и мускулами произвольнаго движенія, а стервятнику — преимущественно желудкомъ, да еще пожалуй нервами обонянія. Естественный выборъ такъ и будетъ дѣйствовать по этимъ двумъ направленіямъ, и постоянно будетъ сохранять лучшихъ представителей обѣихъ разновидностей; а такъ какъ самый лучший хищникъ всего менѣе похожъ на самаго лучшаго стервятника, то ясно, что разстояніе между ними подъ вліяніемъ естественнаго выбора будетъ незамѣтно увеличиваться въ каждомъ новомъ поколѣніи. Связь между этими двумя крайними формами будутъ составлять съ одной стороны плохіе хищники, а съ другой стороны — плохіе стервятники, между которыми невозможно будетъ провести ясную пограничную черту; но мы уже видѣли, что этимъ плохимъ формамъ приходится круто; естественный выборъ постоянно направляется противъ нихъ и производится на ихъ счетъ, то — есть онъ именно и состоитъ въ ихъ постоянномъ истребленіи; если эти *ни-то, ни-се* будутъ мыкаться между двумя ясно очерченными разновидностями, то ихъ непремѣнно сотрутъ съ

лица земли; чтобы не уничтожиться, имъ надо броситься куда-нибудь въ сторону, то-есть выйти изъ своей безцвѣтной промежуточности, найти себѣ собственную специальность и превратиться въ новую разновидность. Кто можетъ это сдѣлать, то-есть, у кого есть зародышъ оригинальной способности, тотъ такъ и сдѣлаетъ; а кто не можетъ, тотъ будетъ раздавленъ между двумя опредѣлившимися разновидностями.

Такъ какъ мы предположили, что порода *B* очень многочисленна, то мы можемъ и должны допустить, что у ея отдѣльныхъ представителей найдутся зародыши многихъ разнообразныхъ способностей; чѣмъ больше въ какой-нибудь породѣ отдѣльныхъ животныхъ, тѣмъ больше индивидуальныхъ особенностей, и стало-быть тѣмъ больше шансовъ, что найдутся и такія особенности, которыя разовьются въ разныя стороны подъ вліяніемъ естественнаго выбора. Если порода *B* размножилась въ странѣ *A* до тахітисма, то она, разумѣется, одержала побѣду надъ разными другими породами, жившими въ томъ же мѣстѣ и составлявшими ей конкуренцію. Побѣда одерживается той породой, которая обладаетъ особенно гибкой организаціей и вслѣдствіе этого способна измѣняться въ свою пользу скорѣе, чѣмъ ея соперники. Гибкость организаціи заключается именно въ томъ, что каждое нарождающееся поколѣніе представляетъ множество легкихъ, но очень разнообразныхъ индивидуальныхъ отгѣнковъ. Стало-быть, предположеніе наше, что въ породѣ *B* найдутся зародыши многихъ оригинальныхъ способностей, не только не заключаетъ въ себѣ никакой натяжки, но даже составляетъ необходимое слѣдствіе того основного предположенія, что порода *B* размножилась до крайнихъ предѣловъ.

Въ чемъ-же могутъ состоять эти способности? — Да мало-ли въ чемъ! — Замѣчено напримѣръ, что одиѣ изъ нашихъ домашнихъ кошекъ занимаются преимущественно ловлею мышей; другія — охотятся больше за крысами; третьи — ловятъ молодыхъ птицъ и разоряютъ гнѣзда; четвертыя — добываютъ кроликовъ и зайцевъ; бывають и такія, которыя каждую ночь отправляются на болото и подкарауливаютъ тамъ куликовъ и бекасовъ. Всѣ эти вещи кошка дѣлаетъ безо всякой особенной надобности, потому что хозяева не дали-бы ей умереть съ голода, еслибы даже она совершенно спокойно сидѣла дома; дѣлаетъ она это потому, что всякому животному свойственно стремленіе упражнять ту способность, которая въ немъ существуетъ; но, когда ловля добычи перестаетъ быть развлеченіемъ и становится дѣломъ жизни, тогда, разумѣется, каждая существующая способность совершенно выясняется и доводится до послѣдней степени напряженія. Въ Соединенныхъ Штатахъ, въ гористой мѣстности Кэтскиль, живутъ двѣ разновидности волковъ, которые замѣтно отли-

чаются другъ отъ друга, какъ складомъ тѣла, такъ и спеціальностью занятій. Одни—похожи на борзую собаку и преслѣдуютъ дикихъ животныхъ. Другіе—помагивѣе и посильнѣе—занимаются домашними животными. Особенности этихъ двухъ типовъ выработаны конечно естественнымъ выборомъ, который дѣйствовалъ на одну и ту же породу по двумъ различнымъ направленіямъ, выбирая въ первомъ случаѣ самыхъ быстрыхъ, а во второмъ—самыхъ сильныхъ волковъ. Быстрому волку было удобнѣе охотиться за дикими животными, потому что тутъ главное дѣло состояло въ томъ, чтобы догнать; чтобы справиться съ зайцемъ или даже съ ланью немного требуется силы; а догнавши и справившись, волкъ могъ преспокойно расположиться на мѣстѣ и объѣдать, потому что дѣло происходило въ лѣсу, или вообще въ какомъ-нибудь уединенномъ и тихомъ убѣжищѣ. Напротивъ того, волку, пускающемуся на охоту за домашними животными, необходима сила, не для того, чтобы одолѣть овцу или свинью, а для того, чтобы унести ее въ безмятежное пристанище. Такъ стало быть и произошло раздѣленіе одной породы на двѣ разновидности, потому что естественный выборъ здѣсь, какъ и вездѣ, благоприятствовалъ крайностямъ и истреблялъ промежуточные оттънки.

Такого же рода особенности могли проявиться въ породѣ *B*. Напримѣръ нѣкоторые субъекты могли быть по росту гораздо меньше своихъ сверстниковъ. Это обстоятельство могло быть для нихъ полезно, потому что при маломъ ростѣ они могли поддерживать свою жизнь меньшимъ количествомъ пищи. Если только малорослость была полезна, то естественный выборъ могъ образовать очень мелкую разновидность, которая, вмѣсто того чтобы преслѣдовать зайцевъ или ланей, обратила свою дѣятельность на крысъ и мышей. Такъ какъ для этой мелкой охоты требуются свои спеціальныя качества, то естественный выборъ сохранилъ и развилъ-бы зародыши этихъ качествъ, такъ что рядомъ съ крупными хищниками и съ стервятниками образовалась-бы отдѣльная порода мышатниковъ или крысятниковъ. Нѣкоторые субъекты могли отличаться особенною гибкостью членовъ и цѣпкостью когтей; такіе стали бы взлѣзать на деревья и поѣдать птичьи яйца или молодыхъ птенцовъ, или медъ дикихъ пчелъ, какъ то дѣлаетъ медвѣдь, или-же, подобно рыси, они могли-бы караулить свою добычу, сидя на деревѣ, и потомъ бросаться на нее сверху; опять естественный выборъ крайнихъ представителей и опять новая разновидность, или пожалуй порода. Потомъ нашлись-бы такіе, которые плаваютъ легче другихъ и держатся охотно по близости воды; эти стали-бы допирать болотныхъ птицъ, или лягушекъ, или, поусовершенствовавшись въ плаваніи и нырваніи, рыбъ, раковъ и моллюсковъ. Опять новая порода, похожая на-

примѣръ на выдру. Могли-бы быть такіе субъекты, которые немного лучше видятъ подъ вечеръ, чѣмъ въ срединѣ дня. Имъ было-бы выгодно выходить на промыселъ тогда, когда конкуренты отдыхаютъ. Естественный выборъ благоприятствовалъ-бы тѣмъ, которые выходятъ по позднѣе, то есть тѣмъ, у которыхъ глаза всею лучше приспособлены къ полумраку. Разовьется такимъ образомъ особенное устройство зрительнаго аппарата и образуется порода ночныхъ хищниковъ.

Если нѣкоторые субъекты могли привыкнуть къ падали, то другіе могли понемногу помириться съ плодами, съ зернами, съ кореньями и съ разными другими видами растительной пищи. Опять новая порода. Я насчиталъ семь породъ, и читатель конечно согласится, что, раздробившись такимъ образомъ, порода *B* имѣетъ въ своемъ распоряженіи гораздо больше пищи, и слѣдовательно можетъ размножаться гораздо сильнѣе, чѣмъ тогда, когда она представляла одинъ нераздѣленный видъ. Въ растительномъ мірѣ мы видимъ совершенно такіе-же явленія. Цѣлый рядъ опытовъ доказалъ, что если напримѣръ на одной десятинѣ посѣять траву одного сорта, а на другой десятинѣ такой-же земли посѣять травы нѣсколькихъ очень различныхъ сортовъ, то съ второй десятины получится больше сѣна, чѣмъ съ первой. Это понятно. Тѣло травы (если можно такъ выразиться) вырабатывается изъ составныхъ частей почвы и изъ тѣхъ газовъ, которые плаваютъ въ атмосферномъ воздухѣ. Одна трава тянетъ изъ почвы преимущественно одно вещество, а другая—другое. Гдѣ цѣлая десятина засѣяна однимъ сортомъ травы, тамъ будетъ вытнута только одно вещество, а другое, третье, четвертое, которыя были-бы вытнуты другими травами, такъ и останутся въ почвѣ. А гдѣ земля засѣяна разными травами, тамъ многія составныя части почвы пойдутъ въ дѣло и превратятся въ траву.

Читатель конечно ясно видитъ сходство этого примѣра съ исторіей нашей возлюбленной породы *B*. Тамъ тоже, пока всѣ питались одной пищей, до тѣхъ поръ былъ голодъ; какъ стали питаться разною пищею, такъ явилась возможность размножаться и благоденствовать. Въ акклиматизаціи животныхъ и растений замѣчены также многіе факты, представляющіе собою отдѣльныя проявленія того-же самаго принципа. На первый взглядъ можетъ показаться, что въ какой-нибудь странѣ должны расплодиться особенно успѣшно тѣ формы животныхъ и растений, которыя очень близки къ туземнымъ формамъ. Процессъ мысли тутъ такой: если туземцамъ тутъ хорошо жить, то должно быть хорошо и тѣмъ пришельцамъ, которые требуютъ себѣ совершенно одинаковыхъ условій жизни. На видъ такое разсужденіе довольно благообразно, но все-таки я на моего читателя надѣюсь, что ужъ

онъ такимъ образомъ рассуждать не будетъ. Онъ уже понимаетъ, что борьба за жизнь и отношенія между организмами важнѣе простыхъ эволюціонныхъ вліяній. Если травоядное вступаетъ въ такую страну, гдѣ очень много своихъ травоядныхъ, то ему предстоитъ побѣдить конкурентовъ или умереть, а побѣда будетъ тѣмъ труднѣе, чѣмъ больше конкурентовъ и чѣмъ значительнѣе ихъ сходство съ новымъ пришельцемъ. Если это чужеземное животное имѣетъ въ своей организаціи очень сильное преимущество надъ туземцами, то, значитъ, оно на нихъ непоколебимо и утверждается въ странѣ, именно благодаря этому несходству. Если-же у пришлой породы нѣтъ этого счастливаго несходства, то ей по всей вѣроятности предстоитъ полное поражение, потому что туземцы обыкновенно бызуютъ многочисленнѣе пришельцевъ, а ужъ я говорилъ о томъ, какія огромныя преимущества доставляетъ какой-нибудь породѣ ея многочисленность. Но пустимъ плотоядного звѣря въ такую страну, гдѣ живутъ только травоядные, и мы конечно увидимъ, что новый гость очень скоро сдѣлается хозяиномъ и будетъ кататься, какъ сыръ въ маслѣ. Пустимъ насѣкомоядную птицу туда, гдѣ очень много насѣкомыхъ и гдѣ нѣтъ на нихъ никакой грозы, и произойдетъ та же самая исторія. Пустимъ наконецъ растеніе въ такую страну, гдѣ нѣтъ ни одного представителя этого рода растеній, и тогда растеніе это расплодится, если только не встрѣтится непреодолимыхъ препятствій со стороны климата и почвы. Въ Соединенныхъ Штатахъ акклиматизировано 260 растеній, которыя принадлежатъ къ 162 отдѣльнымъ родамъ, и изъ этого послѣдняго числа 100 родовъ не имѣютъ во всей странѣ ни одного туземнаго представителя. Стало быть, привились именно такія формы, которыя представляютъ чрезвычайно мало сходства съ туземной флорой.

Общій выводъ тотъ, что полнота жизни и разнообразіе формъ всегда должны идти рядомъ. Если-бы весь земной шаръ былъ заселенъ только одной формой животныхъ и одной формой растеній, то, какъ-бы ни были эти животные и растенія мелки, все-таки на нашей планетѣ помѣщалось-бы тогда меньшее число организмовъ, чѣмъ теперь, несмотря на то, что теперь есть организмы довольно крупные. Всѣ организмы стремятся къ безграничному размноженію; стремленіе это никогда не ослабѣваетъ и никогда не удовлетворяется вполне, потому что всѣ организмы стараются заселить собою всю землю, и слѣдовательно всѣ тѣснятъ и сдерживаютъ другъ друга; но всего полнѣе стремленіе къ размноженію можетъ удовлетвориться при крайнемъ развитіи разнообразія. Стало быть, дробленіе формъ на новыя формы составляетъ въ жизни природы необходимое явленіе. Когда дробленіе началось, тогда крайнія формы одерживаютъ

перевѣсъ надъ промежуточными и стремятся сдѣлаться еще болѣе крайними. Такимъ образомъ легкія и индивидуальныя особенности даютъ начало прочнымъ разнообразностямъ; разновидности, постоянно удаляясь другъ отъ друга, превращаются въ отдѣльные виды; виды дробятся и становятся родовыми группами; въ родовой группѣ крайніе виды развиваются обыкновенно лучше среднихъ; средніе уничтожаются; изъ одной родовой группы вслѣдствіе этого выпаденія среднихъ видовъ образуются двѣ отдѣльныя группы, которыя вмѣстѣ составляютъ семейство. И этотъ процессъ развитія идетъ все дальше и дальше; проходятъ милліоны лѣтъ, милліоны вѣковъ, милліоны тысячелѣтій; одни отдѣлы разрастаются и дробятся, другіе слабѣютъ и уничтожаются; исчезаютъ незамѣтно цѣлыя семейства, порядки и классы и наконецъ получаютъ тѣ безконечно разнообразныя и рѣзко очерченныя формы, съ которыми въ настоящее время никакъ не умѣютъ справиться классификаторы.

Читателю много кажется тутъ неяснымъ, но, во-первыхъ, идеи Дарвина только что входятъ въ науку и до сихъ поръ еще не были приложены къ разъясненію подробностей; а во-вторыхъ, если читатель думаетъ, что журнальная статья можетъ раскрыть передъ нимъ «тайну тайнъ» и показать ему все естествознаніе, какъ на ладони, то онъ сильно ошибается. Если читатель уловилъ до сихъ поръ только самыя существенныя черты дарвиновскихъ идей, если онъ только заинтересовался такимъ вопросомъ, который прежде даже не былъ для него вопросомъ, то этого на первый разъ уже черезъ-чуръ достаточно.

XI.

Различныя видоизмѣненія.

Въ предыдущихъ главахъ мы видѣли, что всѣ животныя и всѣ растенія постоянно борются между собою за средства къ существованію. Побѣждаютъ въ этой борьбѣ тѣ животныя и тѣ растенія каждой породы, которыя отличаются какими-нибудь выгодными, хотя быть-можетъ и незамѣтными особенностями своей организаціи. Побѣдители переживаютъ своихъ побѣжденныхъ единоплеменниковъ и оставляютъ послѣ себя многочисленное потомство, а изъ этого потомства живутъ долго и размножаются сильно тѣ субъекты, которые получили въ особенно значительной степени выгодныя качества родительской комплекціи. Такимъ образомъ выгодныя особенности тѣлосложенія сохраняются въ породѣ, и этотъ процессъ сохраненія называется, какъ мы видѣли, естественнымъ выборомъ. Если-бы всѣ животныя и всѣ растенія рождались всегда совершенно похожими на своихъ родителей,

лей, т. е. если бы не было никакого индивидуального разнообразия, тогда не могло бы быть и естественного выбора, потому что тогда не было бы никаких выгодных особенностей, и стало бы нечего было бы сохранять. Естественный выбор составляет таким образом прямое следствие тех видоизменений, которые проявляются в каждой породе животных и растений. Когда видоизменение представилось, тогда естественный выбор или сохраняет, или отбрасывает его, т. е., говоря другими словами, видоизмененный организм или переживает своих сверстников, или умирает раньше их. Но чтобы видоизмененный организм мог сделать то или другое, ему очевидно сначала надо родиться видоизмененным. Видоизменение должно уже существовать прежде, чем оно подвергнется действию естественного выбора. Как же причины производят эти видоизменения и по каким законам они совершаются? Дать на этот вопрос полный и удовлетворительный ответ современная наука еще не в состоянии; но кое-какие факты уже собраны, и некоторые общие заключения могут быть сделаны уже в настоящее время.

Климатические условия, т. е. воздух, свет, теплота, влажность, производят в организмах некоторые изменения и действуют обыкновенно на растительное царство сильнее, чем на животное. Замечено, что многие растения, живущие на берегу моря, имеют мясистые листья; наскок, водящиеся по берегам, отличаются металлическим блеском крыльев и тела; моллюски, живущие в тропических морях и на незначительной глубине, яркостью своих красок превосходят тех моллюсков, которые держатся в глубоких и холодных водах; птицы, обитающие внутри материков, носят более пестрое и блестящее оперение, чем те птицы, которые водятся на островах и на берегах. Все эти особенности не только свойственны тем породам, которые составляют коренное население этих местностей, но они даже приобретаются многими пришлыми породами; таким образом, если наблюдатель постепенно переходит от более холодных морей к более теплым, или от более глубоких вод к более мелким, то он замечает, что одна и та же порода моллюсков постепенно окрашивается более яркими оттенками. Точно также птицы одной породы становятся более или менее яркими, смотря по тому, где они живут, в сухой или жаркой стране материка, или под сѣрым небом островов и приморских земель. То же самое происходит со многими растениями и наскоками, т. е., приближаясь к морю, первые приобретают мясистые листья, а вторые — металлический блеск, несмотря на то, что их порода не отличалась этими особенностями, когда жила вдали от бе-

регов. Известно, что у животных одной породы мех бывает тем гуще, чем холоднее место их жительства. Но здесь вмешивается в дело естественный выбор, и поэтому результат не может быть приписан исключительно прямому действию климата. Если например пара медведей, по какому нибудь случаю будет принуждена переселиться из умеренного климата в холодный то мы никак не можем утверждать, что медведица в новом своем отечестве родит всех детей с более густым мехом, чем если бы они родились на прежнем месте жительства; но те медведжата, у которых мех будет гуще, получат преимущество над своими жидкошерстными братьями; первые вероятно переживут последних, и так как естественный выбор будет действовать таким же образом на все следующие поколения, то потомство медведей умеренного пояса рано или поздно приобретет себе тот густой мех, который необходим для обитателей холодной страны. Если это приобретение действительно совершится, то мы никак не будем в состоянии решить, какую долю влияния тут надо приписать прямому действию климата, и какую — естественному выбору, т. е., потому ли мех сделался густым, что холодный воздух особенным образом действует на кожу и поощряет произрастание волос, или потому, что медведи постоянно рождались от густошерстных родителей, которые, благодаря своему теплу меху, постоянно переживали своих сверстников, плохо защищенных от холода? То же безвыходное затруднение представляется каждый раз, когда какое нибудь видоизменение приносит животному или растению малейшую долю пользы. Где польза, там непременно действует естественный выбор, и отделить его влияние от прямого действия климатических условий нет никакой возможности.

Если какой нибудь орган животного часто упражняется, то он развивается и усиливается; если же он находится в бездействии, то он слабеет и атрофируется, т. е. увядает от недостатка питания. Эти приобретенные свойства органа, т. е. его сила или его слабость, передаются по наследству, и если дети ведут жизнь, сходную с жизнью родителей, то эта сила или эта слабость увеличивается и в таком увеличенном виде переходят к следующему поколению. Говоря о домашних животных, я указывал читателю на сильное развитие вымени у дойных коров и на слабость крыльев у наших уток. Подобные факты встречаются и у диких животных, с той только неизбежной разницей, что как чрезвычайное развитие, так и атрофия органа непременно должны быть в каком нибудь отношении полезны для самого животного, потому что если бы

они не были полезны, то они были-бы немедленно уничтожены дѣйствіемъ естественнаго выбора и слѣдовательно не могли-бы превратиться въ постоянныя свойства отдѣльной разновидности или цѣлаго вида. Если животное поставлено въ такія условія жизни, при которыхъ тотъ или другой органъ перестаетъ быть для него необходимымъ, то для этого животного положительно полезно, чтобы этотъ ненужный органъ атрофировался. Атрофія безполезнаго органа даетъ животному возможность усилить и увеличить необходимыя органы.

Читателю извѣстно, что вся масса питательнаго вещества, которое нашъ желудокъ и кишечный каналъ извлекаетъ изъ того, что мы ѣдимъ и пьемъ, — постоянно употребляется на восстановление нашего организма, который ежеминутно разрушается процессами дыханія, потѣнія, испарянія и разныхъ другихъ выдѣленій. Для организма выгодно, чтобы каждая частица питательнаго вещества приносила какъ можно больше пользы, т. е., чтобы она употреблялась именно туда, гдѣ она всего болѣе необходима, именно на тѣ органы, которые всего болѣе содѣйствуютъ общему благосостоянію всего организма. Такой органъ, который постоянно находится въ бездѣйствіи, не можетъ приносить организму существенной пользы; стало быть, организму невыгодно кормить такого дармоеда; организму удобнѣе или перенести въ другое мѣсто то количество пищи, которое пошло бы на питаніе безполезнаго органа или совершенно собрать это количество, то-есть покрыть свои неизбежныя расходы меньшей массой питательнаго вещества. Это послѣднее обстоятельство, то-есть возможность сводить концы съ концами при меньшемъ количествѣ пищи, особенно важно для дикихъ животныхъ, которыя принуждены брать себѣ съ собою каждый кусокъ питательнаго вещества. Бездѣйствующій органъ атрофируется, а такъ какъ эта атрофія полезна для животного, то естественный выборъ поощряетъ ее и во многихъ случаяхъ успѣлъ уже обратить ее въ постоянное свойство цѣлыхъ породъ.

Такимъ путемъ образовались породы дикихъ птицъ, неспособныхъ летать, напримѣръ страусы, казуары, пингвины, малокрылыя утки (*Anas brachyptera*). Такимъ же образомъ произошло то, что многіе назозные жуки или совершенно лишены передней пары ногъ, или имѣютъ эти органы въ зачаточномъ, то-есть совершенно неразвитомъ состояніи. По той же причинѣ глаза кротовъ и другихъ животныхъ, постоянно копающихся въ землѣ, остаются навсегда совершенно неразвитыми, а иногда покрываются даже кожей и заростають шерстью; тѣмъ меньше глазъ и тѣмъ плотнѣе онъ защищенъ кожей и волосами, тѣмъ это удобнѣе для такихъ животныхъ, которыя никогда не выхо-

дятъ на свѣтъ; смотрѣть кроту нечего, потому что онъ постоянно держится въ темнотѣ, а большой и открытый глазъ во время ежедневныхъ подземныхъ странствованій крота долженъ былъ-бы часто засоряться и подвергаться воспаленію. Отсутствие упражненія ослабляло такимъ образомъ глаза, а естественный выборъ сохранялъ тѣхъ кротовъ, которые всего менѣе страдали отъ глазныхъ воспаленій, и вслѣдствіе этихъ двухъ причинъ глаза кротовъ дошли до своего теперешняго зачаточнаго состояніе. Въ огромныхъ пещерахъ австрійской провинціи Карнеоли и американскаго штата Кентукки живутъ цѣлыя особенныя породы крысъ, наѣкомыхъ, лягушекъ, раковъ и даже рыбъ, такъ какъ въ этихъ пещерахъ находятся подземныя озера и рѣки. Всѣ эти животныя, принадлежащія къ самымъ различнымъ отдѣламъ и классамъ, сходятся между собой въ томъ отношеніи, что всѣ они совершенно слѣпы. У тѣхъ, которыя живутъ поближе къ самому входу въ пещеру, глаза существуютъ, но ничего не видятъ; а у многихъ другихъ, живущихъ въ самой глубинѣ, совершенно нѣтъ органовъ зрѣнія, но зато сильно развиты усики, щупальца и разныя другіе органы осязанія. Климатъ Карнеоли очень сходенъ съ климатомъ Кентукки; пещеры той и другой страны составились изъ известковыхъ формаций и находятся на одинаковой глубинѣ; стало быть, условія жизни въ обѣихъ пещерахъ совершенно сходны между собой; если мы предположимъ, что породы слѣпыхъ животныхъ были созданы специально для того, чтобы жить въ глубокихъ и темныхъ пещерахъ, то, рассуждая послѣдовательно, мы придемъ къ тому убѣжденію, что животныя, созданныя для одинаковыхъ условій, должны быть одинаковы или по крайней мѣрѣ очень сходны между собой, и что стало-быть обитатели американскихъ пещеръ должны быть очень похожи на европейскіхъ. Но факты разобьютъ это убѣжденіе. Оказывается на самомъ дѣлѣ, что американскія и европейскія слѣпыя животныя не похожи другъ на друга; но зато существуетъ родственная связь между обитателями пещеры и тѣми зрячими животными, которыя водятся въ ея окрестностяхъ, то-есть подземный карнеолецъ похожъ на земного карнеолидца, и то же самое явленіе замѣчено также въ Кентукки. Кромѣ того между жителями самой темной глубины и обитателями совершенно свѣтлыхъ окрестностей существуетъ нѣсколько переходныхъ степеней и оттѣнковъ, которые вполне соотвѣтствуютъ постепенному переходу отъ дневнаго свѣта къ вѣчной темнотѣ и по своей организаціи превосходно приспособлены къ различнымъ степенямъ полусвѣта или полумрака.

Существованіе этой родственной связи и этихъ промежуточныхъ оттѣнковъ ясно указыва-

ваетъ намъ на тотъ процессъ, посредствомъ котораго населились обѣ пещеры. Обыкновенныя животныя, съ нормальнымъ устройствомъ глазъ и органовъ осязанія, подошли сначала къ отверстию пещеры и устроили свое жилище подъ вѣчной тѣнью нависшихъ утесовъ. Эта легкая тѣнь могла содѣйствовать ихъ размноженію, потому что она спасала ихъ отъ разныхъ хищниковъ; размножившеся потомство этихъ животныхъ, выросшее въ тѣни, подвинулось немного дальше, въ царство вѣчнаго сумрака. Привыкнувъ къ сумраку, новыя поколѣнія стали подвигаться еще дальше. — туда, гдѣ господствуетъ вѣчная ночь, и наконецъ дошли до той крайней глубины, гдѣ постоянно бываетъ такъ темно, какъ на поверхности земли не бываетъ темно ни въ какую ночь. Разумѣется, эти переходы совершались чрезвычайно медленно; въ каждомъ новомъ поколѣніи были вѣроятно субъекты съ разными легкими особенностями въ устройствѣ глазъ; однимъ было удобно оставаться тамъ, гдѣ они родились; другимъ было удобно подняться къ отверстию пещеры. — туда, гдѣ посвѣтлѣе; наконецъ третьимъ было удобно спуститься дальше въ глубину, чтобы уйти отъ болѣе зоркихъ враговъ и конкурентовъ. Естественный выборъ дѣйствовалъ на всѣхъ этихъ колонистовъ, постоянно сохраняя тѣхъ, которые всего лучше были приспособлены къ мѣсту своего жительства, а такъ какъ мѣста жительства пользовались освѣщеніемъ въ очень различной степени, то глаза жильцовъ атрофировались, а ихъ органы осязанія развивались — также въ очень различной степени. Такимъ образомъ отъ совершенно зрячихъ родоначальниковъ произошли втеченіи многихъ тысячелѣтій, сообразно съ требованіями мѣстныхъ условий, подслѣповатые, полуслѣпые, слѣпые и наконецъ совершенно безглазые потомки, у которыхъ органы осязанія становились все лучше и лучше, по мѣрѣ того какъ утрачивалось зрѣніе.

Если такимъ образомъ вліяніе мѣстныхъ условий, бездѣйствіе органа и естественный выборъ, тѣсно связанные между собой и дѣйствующие постоянно въ одномъ направленіи, могутъ превратить зрячую породу животныхъ въ слѣпую и даже въ безглазую, если они могутъ замѣнить чувство зрѣнія чувствомъ осязанія, и если наконецъ они могутъ произвести эти метаморфозы надъ самыми различными классами животныхъ — надъ крысами, раками, рыбами, лягушками и наскѣдными, то, мнѣ кажется, трудно себѣ представить какую нибудь возможную границу для дѣятельности и могущества этихъ элементовъ.

Всѣ разнообразныя формы организмовъ, существующія на земномъ шарѣ, порождены вліяніемъ условий жизни и естественнаго выбора. Современная наука не можетъ показать намъ, какъ это произошло въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ,

потому что знанія нашихъ натуралистовъ до сихъ поръ еще очень неудовлетворительны; но зато современная наука не можетъ также представить ни одного такого случая, котораго нельзя было бы объяснить вліяніемъ условий жизни и естественнаго выбора. Если-бы одинъ такой случай былъ извѣстенъ въ настоящее время, или если-бы будущія изслѣдованія и наблюденія натуралистовъ привели со временемъ къ открытію такого случая, то вся теорія Дарвина тотчасъ взлетѣла-бы на воздухъ, несмотря на то, что она объясняетъ совершенно удовлетворительно тысячи другихъ случаевъ. Эта теорія или объясняетъ всю исторію органической жизни, или не объясняетъ ровно ничего и даже не можетъ существовать; исключеній тутъ никакихъ не допускается; если будетъ доказано, что въ природѣ былъ хоть одинъ скачекъ, то это будетъ значить, что скачки возможны, и тогда вся теорія медленныхъ видоизмѣненій и естественнаго прогресса рухнетъ въ ту же минуту. Но сила теоріи Дарвина заключается именно въ томъ, что до сихъ поръ невозможно было найти ни одного несомнѣннаго скачка. Разумѣется, ни одинъ дѣльный натуралистъ, при всемъ своемъ уваженіи къ Дарвину, не станетъ слѣпо вѣровать въ его теорію и не допуститъ, чтобы эта теорія стѣсняла его во время непосредственныхъ наблюденій. Живой фактъ всегда важнѣе самъ по себѣ, а теорія хороша только до тѣхъ поръ, пока она вполне согласна съ фактами и объясняетъ ихъ совершенно удовлетворительно и безъ малѣйшаго насилія.

На островѣ Мадерѣ водится до 550 различныхъ видовъ жесткокрылыхъ наскѣдныхъ, или, проще, жуковъ; изъ этого числа 200 видовъ отличаются совершенно неразвитыми крыльями и не могутъ летать. Изъ 29 родовъ, свойственныхъ исключительно этому острову, до 23-хъ находятся въ такомъ положеніи. Напротивъ того, чешуекрылые наскѣдные острова Мадеры, или бабочки, и тѣ виды жуковъ, которые питаются цвѣточнымъ сокомъ и цвѣточной пылью, одарены очень крѣпкими и особенно хорошо развитыми крыльями. Эти два противоположныя явленія произведены вліяніемъ одинаковыхъ условий жизни и дѣйствіемъ естественнаго выбора. Вотъ какъ это сдѣлалось. На островѣ Мадерѣ дуютъ очень сильныя вѣтры, и особенно на той сторонѣ острова, которая обращена къ африканскому берегу; именно на этой сторонѣ живетъ большая часть жуковъ, лишенныхъ способности летать. Втеченіи многихъ тысячелѣтій вѣтеръ постоянно подхватывалъ на лету и уносилъ въ море тѣхъ жесткокрылыхъ смѣльчаковъ, которые рѣшались распустить свои крылья и подняться на воздухъ; такимъ образомъ вмѣстѣ съ ними, по словамъ Дарвина, тонула въ морѣ будущность ихъ расы. Для тѣхъ жуковъ, которые питались навозомъ, или корнями растений, или древесной, или личинками другихъ наскѣдныхъ, ле-

оставляло пустую прихоть, что-то вроде ки для мопіона; одни изъ нихъ могли, подобныя прогулки, другіе могли быть совершенно равнодушны, потому что югулки не имѣютъ для нихъ ничего общаго съ настоящей цѣлью жизни, то-есть съ извѣстнымъ выборомъ пищи. Естественный выборъ выражается въ томъ, что вѣтеръ постоянно дѣлаетъ тѣхъ, которые летали, и постоянно илѣтъ въ покоѣ тѣхъ, которые вели исключительно сидячую и ходячую жизнь. Крылья, вѣсившіяся въ бездѣйствіи у многихъ тысячъ мухъ, ослабѣли и атрофировались, а у многихъ жесткія надкрылья срослись даже иенно на-глухо. Напротивъ, для бабочекъ и жуковъ, питающихся цвѣтами, летаніе необходимымъ условіемъ жизни; для нихъ значило положить зубы на полку, потому что если на каждый цвѣтокъ вполнѣ использовать, то спускаться съ него внизъ, да потомъ лазать на другой цвѣтокъ по густой травѣ, которая для наѣдомаго должна казаться выше и страшнѣе, чѣмъ кажется человѣку содвинутый дѣйствительный лѣсъ, наполненный и и тиграми, если, говорю я, производить юду каждаго цвѣтка всѣ эти длинныя цѣли, то конечно придется наѣдому уметь голоду. Слѣдовательно, такъ или иначе, опасно или не опасно подниматься на цвѣтъ, а бабочки и цвѣтоядныя жуки должны были во что бы то ни стало; и они дѣйствительно летали всегда, и не перестали летать на цвѣтъ; и вѣтеръ уносилъ въ море очень много и можетъ-быть погубилъ такимъ образомъ породы, но сохраниться могли тутъ субъекты, которые мало летали, а напротивъ, которые летали больше всѣхъ и у которыхъ влѣдствіе этого крылья были особенно и способны противиться вѣтру. У жуковъ летавшихъ рѣдко и по прихоти, крылья и вѣтростности всегда были слабѣе, чѣмъ у наѣдомыхъ, которые летаютъ постоянно по необходимости. Поэтому для первыхъ было и необходимо отсиживаться отъ вѣтра, вторыхъ также возможно и необходимо бороться съ вѣтромъ и иногда побѣждать. Поэтому естественный выборъ, дѣйствующій въ этихъ случаяхъ посредствомъ того же самаго вѣтра, уничтожилъ крылья первыхъ и укрѣпилъ ихъ вторыхъ.

ХП.

Тѣлосложеніе и привычки.

животныхъ, которыхъ мы видимъ каждый большей частью такъ хорошо приспособленіемъ своего тѣла къ своему теперешнему образу жизни, что, глядя на нихъ, мы удивляемся допустить то предположе-

ніе, что они приспособились къ этому образу жизни постепенно. Мы видимъ наиримѣръ, что дикая утка постоянно плаваетъ по водѣ, и видимъ, что у нея между пальцами ногъ протянута перепонка, которая помогаетъ ей плавать. Мы видимъ, что летучая мышь питается наѣдомыми, и видимъ, что между передними и задними конечностями ея тѣла протянута перепонка, которая даетъ ей возможность летать и слѣдовательно съ особеннымъ успѣхомъ преслѣдовать крылатую добычу. Мы видимъ, что цапля отыскиваетъ свою пищу въ болотахъ, и видимъ, что у нея ноги высокія, тонкія, сухія и непокрытыя перьями, то есть какъ разъ приспособленныя къ тому, чтобы шагать по вязкому и илистому грунту. Мы видимъ и всегда видѣли очень много подобныхъ вещей, и существующія приспособленія стали бросаться людямъ въ глаза съ той самой минуты, какъ только люди начали обращать вниманіе на то, что происходитъ вокругъ нихъ, въ мірѣ животныхъ и растений.

Добродушные натуралисты или, вѣрнѣе, натурфилософы старой школы, по свойственной имъ чистотѣ сердца, умилялись надъ этими приспособленіями и утверждали, что природа, заботливо охраняющая всякую тварь, одарила цаплю длинными ногами для того, чтобы цапля могла ходить по болотамъ. Ну, что въ самомъ дѣлѣ, кабы у цапли, да не было-бы длинныхъ ногъ? Какъ-бы она стала ходить по болотамъ? Пропадать-бы пришлось бѣдной цаплѣ. Стремленіе къ болоту есть, а сунуться въ болото нельзя: увязнешь. А природа заботится, ну, и одарила: на, молъ, тебѣ, цаплюшка! Живи въ свое удовольствіе. Другіе натуралисты, похитрѣе первыхъ, очень остроумно смѣялись надъ этими соображеніями и говорили, что все это вздоръ: не ноги даны цаплѣ для того, чтобы ходить по болотамъ, а совсѣмъ напротивъ: цапля отъ того именно и стремится къ болоту, что у нея такъ, а не иначе, устроены и ноги, и желудокъ, и весь складъ тѣла. Будь у нея другой складъ тѣла, ее и не потянуло-бы къ болоту, и жила-бы она совсѣмъ не по теперешнему, и всѣ привычки были-бы у нея совсѣмъ другія, а вы, добродушные натурфилософы, и тогда стали-бы восхищаться заботливостью природы, что, молъ, вотъ какъ отменно хорошо пристроена цапля къ надлежащему мѣсту.

Если смотрѣть на тѣхъ и другихъ натуралистовъ, какъ на представителей философской доктрины, то конечно между первыми и вторыми можно замѣтить существенное различіе. По мнѣнію первыхъ выходитъ такъ, что сначала существовало только отвлеченное стремленіе цапли къ болоту, а потомъ къ этому невещественному стремленію придѣлана цапля, то-есть соответствующій желудокъ, и ноги, и голова. "Клювъ, и все, какъ быть должно. Вѣдь если отъ имени цапли должны благодарить и"

за удобныя ноги, то мы точно также должны благодарить и за крылья, и за весь скелетъ, и за каждую частицу тѣла, потому что все это подобрано одно къ одному и все соответствуетъ стремленіямъ цапли. Ну, стало быть и выходить, что стремленія цапли существовали тогда, когда еще не было ни ногъ, ни головы, ни крыльевъ, ни желудка, и вообще ни одной частицы цаплинаго тѣла. Другіе, тѣ, что похитрѣ, осмѣиваются предполагать, что, напротивъ того, цапля начала стремиться къ болоту только тогда, когда она начала существовать, то-есть, когда у нея оказались уже и ноги, и крылья, и всѣ прочіе необходимые атрибуты. Стало быть, съ философской точки зрѣнія разница есть; но зато, какъ естественныиспытатели, обѣ враждующія стороны стоятъ между собой на одномъ уровнѣ, и остроумные хитрецы ничѣмъ не превосходятъ умиляющихся чистосердечниковъ. Хитрецы говорятъ: «природа дала цаплѣ длинныя ноги, и вслѣдствіе этого цапля... и т. д.»; противники ихъ говорятъ: «природа дала цаплѣ длинныя ноги для того, чтобы цапля... и т. д.» Значитъ, и тѣ, и другіе говорятъ: «природа дала», и стало быть единственная существенная часть вопроса остается въ сторонѣ. Не было ногъ, и вдругъ явились ноги, а откуда онѣ взялись, и какъ онѣ развивались, и почему онѣ приняли именно эту, а не другую форму—объ этомъ и разговора нѣтъ: кто-жъ ихъ знаетъ, какъ, откуда и почему? Читатель, разумѣется, понимаетъ, что «природа дала» и «кто-жъ ихъ знаетъ?»—въ сущности совершенно одно и то же. Понять это не трудно, и почти всѣ натуралисты понимали это очень давно, но одни считали вопросъ неразрѣшимымъ, а другіе и пробовали разрѣшить его, да только не умѣли.

Въ началѣ нынѣшняго столѣтія французскій натуралистъ Ламаркъ построилъ цѣлую теорію, но въ этой теоріи все выходило какъ-то неослазательно и невразумительно: съ одной стороны—цапля, съ другой—болото, съ третьей—упражненіе органовъ, съ четвертой—законъ прогрессивнаго развитія, а со всѣхъ сторонъ оказывается, что у цапли ноги длинныя выросли. Ламаркъ чувствовалъ, что есть связь между цаплей, болотомъ и упражненіемъ органовъ, и что есть тутъ какой-то законъ развитія, но разобрать по ниточкамъ эту связь и разъяснить пообстоятельнѣе дѣйствіе этого закона Ламаркъ былъ не въ силахъ. Во-первыхъ, онъ и по даровитости-то былъ не чета Дарвину, а во-вторыхъ, и время его было еще не то, что теперь. Восемнадцатый вѣкъ, золотой вѣкъ великой философіи, незабвенная зоря чистаго человѣческаго самосознанія, вмѣстѣ съ своими громадными достоинствами имѣлъ свою неисправимую и неизбежную философскую слабость: любилъ покойникъ рѣшать всякіе вопросы свысока и вообще, т. е. именно такъ, какъ при изученіи природы

невозможно рѣшить ни одного вопроса. Поэтому настоящее господство естествознанія лось именно тогда, когда послѣдній вышедшій представитель великой философіи, Г. сошелъ въ могилу вмѣстѣ съ своей системой.

Послѣ Ламарка другой французскій натуралистъ, Этьеннъ Жоффруа-Сентъ-Илеръ, толковалъ о вліяніи окружающей среды (*lieu ambiant*), но всѣ эти рассужденія только какими-то предчувствіями и гадали такъ что можно было сказать:

Недурень слогъ; писать умѣеть;

но съ вещественной стороны теорія оказывалась и неуловимой, и несостоятельной. Непокоримые скептики, Базаровы сааго высшаго бора, очень спокойно разрушали всѣ эти снныя построенія чрезвычайно простыми и сами и чрезвычайно законными требованіями: «Покажите, докажете, говорила они, обывотъ этотъ случай, разрѣшите такое-то заненіе», и при этихъ нехитрыхъ словахъ немедленно разлетались, какъ дымъ.

Теоретическихъ попытокъ въ такомъ было довольно много, и всѣ онѣ кончались неудачно, и этотъ рядъ постоянныхъ неудачъ ясенъ намъ, почему теорія Дарвина при своемъ появленіи была встрѣчена до полноты души недоувѣрчиво и засыпана со всѣхъ сторонъ скороспѣлыми возраженіями. Дарвинъ въ первый разъ прочелъ мемуаръ о естественномъ вѣтъ въ іюлѣ 1858 года въ засѣданіи Линнеевскаго Общества (*Linnean Society*). Основатели скептики по всей вѣроятности задумывались надъ этимъ мемуаромъ, а Базаровы среднототчасъ бросились впередъ съ твердымъ реніемъ немедленно растрѣпать въ куски теорію и уложить ее на мѣстѣ рядомъ со ея предшественниками. Но тутъ обнаружилось, что Дарвинъ зиждетъ свою хранилищу не на а на камени, такъ что никакія ухищренія менныхъ человѣческихъ умовъ поколебать въ состояніи. Издавалъ свою книгу или, онъ выражается, свое извлеченіе, онъ принимаетъ въ отношеніи къ возражателямъ кую оригинальную тактику, какой послѣ никогда еще не видывали и никакъ не ожидать. Сначала онъ отвѣчаетъ на возраженія, а потомъ, покончивши съ нимъ дѣло, говоритъ: «нѣтъ, постойте; вы-бы лучше мнѣ вотъ что разили», и дѣйствительно собственными руками ставитъ себѣ такую запятую, но будетъ въдесятеро посильнѣе чужого возженія, и начинается полегоньку сворачивать препятствіе въ сторону, и все дѣйствуетъ шими доводами, все выдвигаетъ впередъ тельные факты; посмотришь, и нѣтъ препятствія, и передъ великимъ мыслителемъ опять оветается гладкая дорога. А мыслитель ещѣ этимъ, въ невинности души своей, на нѣсколькихъ страницахъ сознается, что рассужденія его

овны, но что дѣлать нечего, вѣдь это лег-
влеченіе, стало-быть подождите, господа,
выйдетъ настоящій трудъ въ полномъ объ-
акты всѣ собраны, только помѣстить-то
книгу покуда еще нельзя. Понятно, что
атели должны онѣмѣть отъ изумленія и
тъ оружіе задолго до ужаснаго выхода
гъ того невиннаго левіафана, который ле-
теперь въ портфель Дарвина.

оборонительная часть книги «О проис-
и видовъ» заключаетъ въ себѣ чрезвы-
иного интереснѣйшихъ подробностей и со-
етъ собой лучшее речательство за проч-
сей теоріи. Передать всю сущность этой
я не могу: журнальная статья должна-же
разумные предѣлы, а Дарвинъ излагаетъ
едметъ такъ коротко, что сокращать его
ыше—значило-бы предлагать публикѣ со-
но непонятныя и слѣдовательно очень
взательныя загадки. Поэтому я предупре-
читателя, что съ этой минуты и вплоть до
конца моей статьи я не гонюся за
систематичностью изложенія и совер-
отказываюсь отъ невозможной задачи
авить публикѣ миниатюрный фотогра-
ій снимокъ съ книги Дарвина. Я бу-
бирать только то, что особенно зани-
но, и что я съумѣю представить по воз-
сти подробно, ясно и наглядно. Въ пер-
десяти главахъ читатель получилъ общее
е о теоріи естественнаго выбора; теперь
идитъ приложеніе этой теоріи къ объяс-
многихъ отдѣльныхъ и разнообразныхъ
й; увидитъ онъ вѣсколько эпизодовъ изъ
этой теоріи съ возраженіями и препят-
и; и наконецъ увидитъ оправданіе этой
въ геологіи, въ географіи, въ сравни-
й анатоміи и въ эмбриологіи. Все это бу-
олько легкіе и бѣглые очерки, но я поста-
чтобы легкость и бѣглость нисколько не
и ясности. А за вѣрность ручается Дар-
и этого, я думаю, достаточно. Ну, и съ Бо-
Значитъ, такъ и пойдутъ теперь:

е и бѣглые очерки», безъ отдѣльныхъ
заглавій.

I.

рія Дарвина утверждаетъ, что всѣ при-
ленія животныхъ къ ихъ теперешнему
жизни вырабатались понемногу, путемъ
енныхъ и незамѣтныхъ видоизмѣненій.
е животное могло превратиться въ земное,
е—въ летучее, дневное—въ ночное, и такъ
причемъ, разумѣется, всѣ эти превра-
могли совершиться и наоборотъ. Спра-
тся, какимъ-же образомъ могло существо-
животное во время переходной эпохи, когда
было вполнѣ приспособлено и когда оно

по своей организаціи колебалось между двумя
комплексами занятій и привычекъ? Какимъ об-
разомъ напримѣръ плотоядное сухопутное жи-
вотное могло сдѣлаться водянымъ?

Этотъ вопросъ поставили противники дарви-
новской теоріи, а Дарвинъ нашелъ на него отвѣтъ
въ явленіяхъ живой природы. Въ Сѣверной
Америкѣ существуетъ напримѣръ животное
mustela vison, принадлежащее къ семейству
куницъ; пальцы этого *vison* соединены плава-
тельной перепонкой; по своему мѣху, по корот-
кимъ ногамъ и по формѣ хвоста онъ приближается
къ рѣчной выдрѣ (*lutra vulgaris*), которая по-
стоянно питается раками и рыбой. Лѣтомъ ви-
зонъ живетъ какъ выдра, т. е. ныряетъ, пла-
ваетъ и преслѣдуетъ рыбу; но такъ какъ въ оте-
чествѣ визона зима продолжается очень долго,
то на зиму визонъ по своему образу жизни ста-
новится настоящей земной куницей, т. е. кор-
мится крысами и другими мелкими земными
звѣрьками, несмотря на свою плавательную
перепонку и на свою способность нырять.
Когда негдѣ плавать и нырять, тогда поне-
воль приходится дѣйствовать сухопутными сред-
ствами и пробавляться тѣмъ, что попадается.
Если визонъ, совершенно приспособленный къ
водяной жизни, можетъ однако существовать
на сушѣ во время продолжительной сѣвер-
ной зимы, то, разумѣется, ничто не мѣшало ему
поступить точно такимъ-же образомъ, когда онъ
былъ менѣе приспособленъ къ плаванію и ны-
рянью. Теперь рыбная ловля составляетъ его
любимое и специальное занятіе, и онъ пробав-
ляется этимъ занятіемъ всегда, когда есть воз-
можность плавать и нырять; а прежде, когда
приспособленіе только-что начинало вырабаты-
ваться, предки визона смотрѣли на рыбную
ловлю, какъ на побочное и чисто-вспомогатель-
ное ремесло. Между прежнимъ и теперешнимъ
состояніемъ визона можно себѣ вообразить без-
численное множество промежуточныхъ переход-
ныхъ оттѣнковъ, и какую-бы фазу этой переход-
ной эпохи мы ни выбрали для изученія, все-таки
намъ никогда не представится такой моментъ,
въ которомъ визонъ будетъ оторванъ и отъ земли,
и отъ воды, и въ которомъ слѣдовательно суще-
ствованіе визона сдѣлается невозможнымъ.

Теперешній визонъ, балансирующий между
водой и сушей, служитъ живымъ образчикомъ
переходнаго состоянія; стало-быть, самый фактъ
его существованія составляетъ разительное под-
твержденіе той идеи, что всѣ переходы воз-
можны. Но если переходы возможны, то это
вовсе не значить, что всѣ переходы не-
премѣнно должны совершаться успѣшно. Очень
многіе переходы оканчиваются въ природѣ со-
вершенными неудачами, т. е. полнымъ истреб-
леніемъ того вида животныхъ, который постав-
ленъ въ необходимость сдѣлать какой-нибудь
переходъ. Но отчего проис- съ тѣхъ неудачи

и истребленіе? Совсѣмъ не отъ того, что переходъ самъ по себѣ невозможенъ, и не отъ того, что животное остается въ висячемъ положеніи между двумя стихіями, а просто отъ того, что обѣ стихіи уже заняты вполне приспособленными конкурентами, т. е. такими животными, которыя сдѣлали переходъ раньше и быстрее другихъ. Если-бы визона тѣснили съ обѣихъ сторонъ, съ воды и съ земли, очень опасные конкуренты, то порода визона навѣрное исчезла-бы съ лица земли, и этотъ фактъ исчезновенія вовсе не могъ-бы служить доказательствомъ противъ возможности переходовъ. Если я прыду въ садъ раньше васъ, да оборву всѣ яблоки, то вамъ конечно ничего не достанется, но вѣдь это не значитъ, что вы неспособны рвать и ѣсть яблоки, а значитъ только, что васъ опередили. Такъ и тутъ, въ дѣлѣ между визиномъ и его конкурентами. Не свойства воды и земли мѣшаютъ переходу и не свойства той пищи, которую визионъ долженъ добывать себѣ на водѣ и на землѣ, а количества и качество тѣхъ родственниковъ визона, съ которыми ему приходится вступать въ соперничество. Много ихъ и сильны они—визионъ погибаетъ; мало ихъ и слабы они—визионъ торжествуетъ, и переходъ совершается благополучно.

Но та-же самая исторія произошла-бы и тогда, когда не было бы никакого перехода. Законъ постоянной борьбы господствуетъ надъ всѣми животными и растениями во всякую данную минуту ихъ существованія. Чѣмъ больше конкурентовъ, тѣмъ сильнѣе борьба, тѣмъ строже естественный выборъ и тѣмъ быстрее исчезаютъ породы, смѣнясь новыми усовершенствованными формами. Всѣ переходы совершаются точно также подъ вліяніемъ того же общаго закона борьбы. Отчего сухопутное животное начинаетъ питаться лягушками или рыбой? Да отъ того, что не достаетъ пищи на сушѣ, то-есть отъ того, что число конкурентовъ несоразмѣрно велико въ сравненіи съ существующимъ количествомъ съѣстнаго матеріала. Ну, и лѣзетъ животное въ воду, и упражняется, а естественный выборъ тотчасъ начинаетъ покровительствовать тѣмъ, которые бойчѣе другихъ распоряжаются въ новой стихіи. Но когда животное ступило въ воду, то вѣдь это не значитъ, что оно такъ сразу и отказалось отъ суши. Водяная охота служитъ только подспорьемъ и пріобрѣтаетъ для животнаго важное самостоятельное значеніе только гораздо позднѣе, по прошествіи многихъ и многихъ поколѣній, воспитанныхъ постояннымъ упражненіемъ и очищенныхъ непрерывнымъ дѣйствіемъ естественнаго выбора.

Отвѣтивъ на возраженіе противниковъ, Дарвинъ, по своему обыкновенію, говоритъ имъ: «а вы-бы лучше у меня вотъ что спросили: какимъ образомъ четвероногое животное, питающееся насѣкомыми, могло превратиться въ летучую

мышь? Эта штука будетъ гораздо похитрѣе. А между тѣмъ и тутъ можно отыскать переходныя формы, хотя и не въ самомъ порядкѣ рукокрылыхъ, или летучихъ мышей, но зато въ семействѣ бѣлокъ, въ которомъ также развито умѣнье летать или по крайней мѣрѣ порхать. Обыкновенная бѣлка обладаетъ только способностью прыгать, и ея широкій, пушистый хвостъ, развѣсываясь по воздуху, помогаетъ ей во время прыганія. За обыкновенной бѣлкой слѣдуютъ такіе породы бѣлокъ, у которыхъ задняя часть тѣла расширена и кожа не совсѣмъ плотно прилегаетъ къ бокамъ. Широкое основаніе хвоста и кожистые мѣшки по бокамъ слегка поддерживаютъ эту бѣлку на воздухѣ и позволяютъ ей дѣлать болѣе значительные прыжки, чѣмъ дѣлаетъ простая бѣлка. Это расширеніе хвоста и эта мѣшковатость кожи увеличиваются въ различныхъ бѣличьихъ породахъ съ такою полною постепенностью, что простая бѣлка связывается съ летучей бѣлкой непрерывною цѣпью промежуточныхъ экземпляровъ, которые отличаются другъ отъ друга только самыми незначительными особенностями. Крайнее звено этой цѣпи бѣлокъ называется по-русски *летной*, а по-латыни—*Sciuropterus*, что значитъ, въ буквальной переводѣ, бѣлокрыль или крылатая бѣлка. Эти два названія показываютъ довольно ясно, что это за животное. Его переднія ноги соединены съ задними и даже съ основаніемъ хвоста широкой перепонкой, покрытой волосами и образовавшейся посредствомъ постепеннаго отвисанія боковой кожи. Эта перепонка въ минуту прыжка вытягивается, превращается въ парашютъ и, поддерживая бѣлку на воздухѣ, даетъ ей возможность перелетать съ дерева на дерево на изумительныя разстоянія. Всѣ эти породы бѣлокъ, одаренныя въ различной степени способностью прыгать и порхать, могли сохраниться въ живыхъ до нашего времени, только благодаря тому обстоятельству, что всѣ онѣ живутъ отдѣльно, въ различныхъ мѣстахъ земного шара. Если-бы мы могли свести всѣ эти породы въ одну страну, то между ними началась-бы самая ожесточенная борьба за пропитаніе, и, разумеется, перевѣсъ остался бы за тѣми, которыя проворнѣе и расторопнѣе другихъ. Летяга, дѣлающая колоссальные прыжки, по всей вѣроятности перещеголяла-бы всѣхъ своихъ соперниковъ и рано или поздно размножилась-бы такъ, что заморила-бы ихъ всѣхъ голодной смертью. Кромя того летательный снарядъ доставилъ-бы летягѣ еще другія преимущества, которыя также имѣли-бы вліяніе на результатъ борьбы. Летяга лучше другихъ бѣлокъ могла-бы отдѣлываться отъ преслѣдованій разныхъ хищниковъ, и она меньше другихъ была-бы подвержена опасности падать на землю и расшибаться при неудачномъ или плохо рассчитанномъ прыжкѣ. Перепонка ея, дѣйствуя какъ парашютъ, смягчаетъ всякое

іе, а для животнаго, которое постоянно и прыгает по деревьямъ, это обстоятельство конечно не можетъ считаться малымъ. По всемъ этимъ причинамъ можно положить, что только одна летяга сохранила множила-бы свою породу, а всѣ остальные бы блокъ исчезли-бы съ лица земли, и тогда осталась-бы для насъ живой загадкой, которой намъ пришлось-бы придѣлывать посредствомъ разныхъ предположеній, неубѣдительныхъ для непреклонныхъ скептиковъ и для завзятыхъ гонителей всякой теоріи. Кого рода живныя загадки встрѣчаются намъ въ каждомъ шагу, и ихъ существованіе вообще намъ удивляетъ, потому что мы знаемъ, уничтоженіе промежуточныхъ степеней составляетъ въ природѣ обыкновенное правило, оно вытекающее изъ самаго принципа естественнаго выбора, а сохраненіе этихъ степеней можно только въ немногихъ случаяхъ, при определенныхъ и слѣдовательно рѣдко встрѣчающихся обстоятельствахъ. Есть напримѣръ животное, которое называется шерстокрылъ (*galeorithes rufus*); его обыкновенно относятъ къ летучимъ мышамъ. Но въ новѣйшее время нашли, что его слѣдуетъ перевести въ рядъ четвероногихъ, или обезьянъ, и въ сѣтѣ лемуновъ. Его теперь такъ и называютъ опитекомъ или летучимъ лемуномъ, и Дарвинъ также держится этого мнѣнія. Летательная перепонка галеопитека простирается отъ угла рта до хвоста и охватываетъ собою какъ днія, такъ и заднія оконечности; но у галеопита она покрыта волосами, а у настоящихъ летучихъ мышей она совершенно голая. Кроме — и это гораздо важнѣе — перепонка захватываетъ пальцы галеопитека, и эти пальцы, вѣсь свободными на рукахъ и ногахъ, вооружены когтями; напротивъ того, у летучихъ мышей остаются свободными и вооружаются когтями только пальцы заднихъ оконечностей и шой палецъ переднихъ. Остальные же пальцы переднихъ оконечностей даже совсѣмъ непонятны на настоящіе пальцы: они ничѣмъ не вооружены, непонятно вытянуты въ длину и наполовину вѣданы въ летательную перепонку; по своей фигурѣ и по своему значенію они напоминаютъ тѣ прутики, на которые натягивается мантия зонтика. Когда летучая мышь разставляетъ свои ноги и растопыриваетъ свои длинные пальцы, тогда весь летательный снарядъ развертывается, и животное можетъ начать свое воздушное путешествіе. Когда же руки и ноги опущены, и пальцы сложены, тогда летательная перепонка, какъ широкая и длинная мантия, облетѣетъ все тѣло. Что же касается до галеопитека, его перепонка растягивается безъ содѣйствія пальцевъ посредствомъ особаго мускула, соединеннаго въ самой перепонкѣ.

Во всемъ семействѣ лемуновъ, кромѣ галеопи-

тека, нѣтъ ни одного животнаго, которое могло-бы хоть кое-какъ поддерживаться на воздушнѣ. Переходныхъ степеней не сохранилось никакихъ, но это ровно ничего не доказываетъ. Значитъ, были да силы. Во-первыхъ, самъ галеопитекъ — не что иное, какъ переходная степень между настоящими лемурами и настоящими летучими мышами; это обстоятельство выразилось даже въ томъ недоумѣніи, по которому натуралисты принуждены были перетаскивать его изъ одной категоріи въ другую. А во-вторыхъ, галеопитекъ не живетъ, подобно бѣлкѣ, почти на всемъ пространствѣ земнаго шара; стало быть, живя въ ограниченной области, онъ могъ выработать себѣ летательную способность до высокой степени совершенства только подъ тѣмъ непремѣннымъ условіемъ, чтобы всѣ низшія промежуточные степени постоянно уничтожались; въ противномъ случаѣ, т. е., если-бы плохіе и посредственные прыгуны не истреблялись вліяніемъ ежеминутной борьбы, тогда отличные прыгуны постоянно совокуплялись-бы съ ними и такимъ образомъ постоянно портили-бы свою породу. А если-бы порода портилась, то прыгуны никогда не могли-бы сдѣлаться летунами.

Требовать отъ теоріи естественнаго выбора, чтобы она во всѣхъ случаяхъ представляла живые образчики переходныхъ инстанцій, значитъ требовать отъ нея самоуничтоженія. Не станете же вы требовать отъ вѣялки, чтобы она оставалась мякину рядомъ съ зернами. Тогда она не будетъ вѣялкой, или будетъ находиться въ бездѣйствіи. А естественный выборъ — та-же вѣялка: что онъ сохраняетъ — то живетъ и плодится; что онъ выбрасываетъ, — то умираетъ; и мякиной оказываются постоянно всякіе промежуточные типы. Вѣдь и бѣлки, образующія непрерывную цѣпь градацій, не могутъ быть названы промежуточными типами; каждая изъ нихъ въ своемъ отечествѣ составляетъ торжествующій, крайній и передовой типъ, который живетъ изъ поколѣній въ поколѣнія только потому, что не встрѣчаетъ себѣ болѣе крайнихъ соперниковъ; въ сравненіи съ чужеземцами, этотъ типъ можетъ стоять на очень низкой степени развитія; но это ничего не значитъ; у себя дома онъ впереди всѣхъ, и въ этомъ заключаются его сила и причина его существованія. А если онъ ниже чужеземцевъ, то это зависитъ отъ мѣстныхъ условій жизни и отъ силы мѣстной борьбы; естественный выборъ не вездѣ же дѣйствуетъ одинаково; вѣдь и вѣялки бываютъ разныя; одна очищаетъ зерна самымъ строгимъ образомъ, а другая валитъ неполамъ съ мякиной. Стало-быть, переходъ отъ четвероногаго животнаго къ летучей мыши возможенъ и даже не подлежитъ сомнѣнію, а несуществованіе переходныхъ формъ не только не противорѣчитъ идеямъ теоріи, но даже, напротивъ того, составляетъ прямое слѣдствіе основныхъ принциповъ. Впрочемъ, кому

думать, что летучая мышь свалилась на землю, подобно аэролиту или подобно крупному граду, тому, разумеется, никакая теорія препятствовать не может, не смѣетъ и не должна.

II.

Понятія наши о привычкахъ и нравахъ животныхъ чрезвычайно смутны; изъ какихъ источниковъ почерпаются зоологическія свѣдѣнія, бродяція въ массѣ грамотнаго общества, — это даже и вообразить себѣ мудрено. Какъ ни удивительно такое предположеніе, а все-таки я осмѣлюсь замѣтить, что басни добродушнаго Лафонтена и почтеннаго дѣдушки Крылова оказываютъ очень значительное вліяніе на то понятіе, которое мы составляемъ себѣ о характерѣ самыхъ обыкновенныхъ и самыхъ извѣстныхъ птицъ и звѣрей. Въ самомъ дѣлѣ, откуда явились у насъ идеи о царственномъ величіи льва и орла, объ умственной неповоротливости медвѣдя, о коварствѣ лисицы, о кротости овцы и о многихъ другихъ курьезахъ животной психологіи. Вглядитесь въ эти идеи, и вы увидите, что въ основаніи ихъ лежитъ Крыловъ, Лафонтенъ, или какой-нибудь другой источникъ равносильнаго достоинства. Разумеется, вы при этомъ зрѣлищѣ улыбнетесь и даже отчасти сконфужитесь; но вмѣстѣ съ вами и сильнѣе васъ должны сконфужиться наши просвѣщенные журналисты, которые такъ долго и такъ безтолково удобряли и засѣвали своими издѣліями наши умственные нивы. Они-то, сердечные, чего смотрѣли? Вѣдь о скотахъ безсловесныхъ всегда писать было возможно; вѣдь тутъ даже и обстоятельствами нельзя отговориться. Они пожалуй иногда и писали, но никто не знаетъ, для кого они писали, и сами они этого не знаютъ, и по всей вѣроятности даже никогда объ этомъ не думали. Русская публика благополучно изучаетъ природу по баснямъ Крылова и по сборникамъ анекдотовъ о смышленности кошекъ и собакъ, а русскій журналъ (это вы, «Отечественныя Записки»!) вдругъ бацъ двѣ статьи о томъ, что французскій профессоръ Мильнъ-Эдвардъ совсѣмъ не такъ, какъ слѣдуетъ, излагаетъ сравнительную анатомію. Или вдругъ выхватятъ статью изъ «Westminster Review» и подносятъ нашимъ читателямъ. Все равно, молъ, сойдеть: что они, сиводаные, смыслятъ? Человѣчку простого хлѣба хочется, человѣкъ голоденъ, а ему предлагаютъ: не хочешь-ли, ангель мой, зельтерской воды съ лимономъ? И «ангель мой» морщится, а все-таки сидитъ голодный, потому что откуда же взять? Люди, изучающіе природу путемъ непосредственныхъ наблюденій, разумеется, не вѣруютъ въ непогрѣшимость такихъ авторитетовъ, какъ Крыловъ, Лафонтенъ, сказаніе о лисѣ Рейнеке, или повѣствованіе Шехерезады; но человѣческій умъ устроенъ до такой степени оригинально, что даже очень дѣльные

и знающіе люди часто совершенно невольно и безсознательно подчиняются въ своихъ теоретическихъ разсужденіяхъ господству тѣхъ идей, которыя носятъ въ обществѣ, какъ умственные миазмы, и которыя попали туда богъ знаетъ куда и когда и укоренились въ немъ богъ знаетъ по какой причинѣ и на какихъ основаніяхъ. Какъ понять напримѣръ такое соображеніе Изидора Жоффруа Сентъ-Илера? Онъ го самъ самымъ догматическимъ тономъ, что *раба живетъ; животное живетъ и ощущаетъ, а человекъ живетъ, ощущаетъ и мыслитъ*. Выходитъ стало-быть, что животное не мыслитъ и такую феноменальную нелѣпость говорившій, пользующійся европейской извѣстностью и дѣйствительно заслужившій эту извѣстность многими добросовѣстными и дѣйствительными наблюденіями. Очевидно, Илеръ этотъ не могъ изловить такое отклоненіе въ своихъ непосредственныхъ наблюденіяхъ; онъ заразился этимъ открытіемъ со стороны, какъ заражаются люди сибирской язвы и тифозной горячкой.

У многихъ другихъ натуралистовъ встрѣчаются также очень разнообразныя пристрастия умственнаго зараженія, иногда довольно сильные и иногда совершенно безадежнаго. Къ самымъ упорнымъ миазматическимъ поврежденіямъ та повсемѣстно распространенная идея, что животныя рѣшительно неспособны къ совершенствованію въ умственныхъ отношеніяхъ. Всякій разсуждающій человѣкъ, и неученый, скажетъ вамъ, не запишите, пожалуйста, математическую аксіому произноситъ и обезьяны, и собаки, и журавли, и лягушки, и всякая тварь жила пять тысячъ летъ тому назадъ точь въ точь такъ, какъ она живетъ сегодня. Если вы спросите: а почему такъ, милостивый государь, думаете? — то милостивый государь даже засмѣется: вотъ такъ! Почему? Да это ясно, какъ день само собой разумеется. А по вашему-то какому? у нихъ стало-быть есть исторія, существующая собачья цивилизація, журавлиный прототипъ лягушечья революція!

Когда миазматическая идея вооружается перомъ, то удары ея становятся неотразимыми, потому что такая перомъ всякому по душе и всякому доставляетъ удовольствіе. Всякій принимаетъ соль этой перомъ, сочувствуетъ перомъ остроумному собесѣднику и хочется вамъ, какъ надъ пошлымъ дуракомъ. Если вы, не боясь перомъ, все-таки остаетесь на своей позиціи и продолжаете спрашивать: почему? и если вашъ собесѣдникъ, кромѣ перомъ, располагаетъ еще кое-какими знаніями, онъ выдвинетъ противъ васъ слѣдующіе аргументы, которые изумятъ васъ своей бѣдностью и неубѣдительностью. Во-первыхъ — египетскіе памятники, во-вторыхъ — Аристотель, въ 1

— Плиній старшій. Это вотъ что значитъ: разныхъ египетскихъ памятникахъ вырѣзаны изображенія животныхъ, совершенно сходныхъ тѣми породами, которыя существуютъ въ настоящее время. Аристотель, современникъ Александра Македонскаго, написалъ естественную исторію, въ которой говоритъ о вѣншемъ видѣ птицъ животныхъ и сообщаетъ кое-что о ихъ разѣ жизни. Плиній написалъ такое же сочиненіе, только гораздо похуже, въ первомъ столѣтіи послѣ Рождества Христова. И это все. И этомъ фундаментѣ покоится наше твердое вѣжденіе о неподвижности умственныхъ способностей въ мірѣ животныхъ.

Но вѣдь что же это въ самомъ дѣлѣ такое? Въ памятникахъ не могутъ же быть изображены животныя земного шара, и памятники не могутъ дать намъ ни малѣйшаго понятія ни объ разѣ жизни изображенныхъ животныхъ, ни о ихъ умственномъ развитіи. Это разъ. А второе, что на памятникахъ представлены также люди, и нѣкоторые изъ этихъ человѣческихъ фигуръ совершенно похожи на теперешнихъ негровъ, а другія — на евреевъ. Надо, стало-быть, вывести заключеніе, что люди остаются неподвижными. Положимъ однако, что мы достаточно знаемъ, какимъ образомъ извѣстное племя негровъ жило во времена какого-нибудь египетскаго царя Менеса или Мерида; положимъ, что оно живетъ теперь совершенно такъ, какъ жило тогда. Красиво-ли будетъ, если мы выведемъ заключеніе, что обычаи человѣчества не измѣнились? А если некрасиво и если нельзя заключить отъ части къ цѣлому, то-есть отъ одной расы къ цѣлому виду или роду, то на какомъ же основаніи мы кладемъ этотъ логическій законъ вѣдь столь, когда заходить рѣчь о мірѣ животныхъ, который однако неизмѣримо обширнѣе и разнообразнѣе, чѣмъ человѣчество?

Значитъ, памятники въ сторону. Аристотель и Плиній на первый взглядъ могутъ показаться существующими памятниками, потому что ихъ сочиненія охватываютъ большое количество животныхъ формъ и сообщаютъ кое-какія свѣдѣнія о правахъ и объ умственныхъ способностяхъ. Но какъ только мы посмотримъ на дѣло поближе повнимательнѣе, мы тотчасъ убѣдимся въ полной несостоятельности обоихъ мушкетеровъ классической древности. Новѣйшіе писатели, напримѣръ Александръ Гумбольдтъ въ «Космосѣ» и уже знакомый намъ Изидоръ во введеніи къ своей «Общей биологіи» («*Histoire naturelle générale des règnes organiques*»), ставятъ Аристотеля за то, что онъ не вѣритъ въ баснословныя разсказы о природѣ, которые въ его время были въ ходу между его современными земляками. Эти похвалы густѣе всякаго порицанія. Если приходится говорить человѣку большое спасибо за то, что онъ отвергаетъ существованіе сиренъ, феник-

совъ или пигмеевъ, то какъ же требовать или ожидать отъ этого же самаго человѣка такихъ тщательныхъ и усидчивыхъ наблюдений, которыя могли бы послужить надежнымъ матеріаломъ для исторіи умственныхъ отклоненій животнаго царства? О Плиніи и говорить нечего, потому что его даже и за то нельзя похвалить, за что хвалить Аристотеля. Теперешніе натуралисты проводятъ по цѣлымъ часамъ надъ какимъ-нибудь муравейникомъ и повторяютъ такіе сеансы каждый божій день, втеченіи многихъ и очень многихъ лѣтнихъ сезоновъ, и все-таки при этомъ страшномъ напряженіи вниманія считаютъ себя школьниками въ дѣлѣ изученія природы и сознаются въ томъ, что психологическіе вопросы животнаго царства до сихъ поръ даже не могутъ быть поставлены надлежащимъ образомъ. Во времена Аристотеля задача была такъ же громадна и запутана, какъ и теперь, а между тѣмъ великій Аристотель никогда не углублялся въ изученіе муравейниковъ; онъ писалъ и о политикѣ, и о логикѣ, и о риторикѣ, и между прочимъ о естественной исторіи; онъ воспеивалъ Александра Македонскаго, и онъ же основалъ цѣлую громадную философскую школу перипатетиковъ. Положимъ, что онъ очень великъ; его величіе пускай при немъ и остается на вѣчныя времена; но если мы вздумаемъ обращаться къ такому всеобъемлющему гению за свѣдѣніями о правахъ мелкой твари, то наша довѣрчивость приведетъ насъ къ очень неутѣшительнымъ результатамъ. Недурно также припомнить, что Америка и Австралія были совершенно неизвѣстны Аристотелю, а Индія, Китай, Сибирь, почти вся Африка и весь сѣверъ Европы были извѣстны только по недѣйствительнымъ сказкамъ. Каковы были пробѣлы въ зоологическихъ свѣдѣніяхъ классической древности, это достаточно видно изъ того факта, что ни греки, ни римляне не знали ни одного вида высшихъ обезьянъ, — ни orang-утанга, ни гиббона, ни шимпанзе, ни гориллы. Наконецъ надо же взять въ толкъ разъ навсегда, что какихъ-нибудь пять тысячъ лѣтъ ровно ничего не значатъ въ томъ неизмѣримомъ океанѣ тысячелѣтій, который отдѣляетъ нашу эпоху отъ зарожденія органической жизни на земномъ шарѣ. Представьте себѣ, что вы разстались на мѣсяцъ съ любимой женщиной; вы изучили всѣ черты ея лица, вы замѣтили-бы въ немъ малѣйшую перемену, а между тѣмъ вы возвращаетесь черезъ мѣсяцъ, всматриваетесь и не замѣчаете ровно ничего. Попробуйте утверждать на этомъ основаніи, что время не измѣняетъ человѣка. А въ жизни органической природы пять тысячъ лѣтъ навѣрное значатъ меньше, чѣмъ одинъ мѣсяцъ въ жизни человѣка. Стало-быть, историческія свѣдѣтельства по очень многимъ причинамъ не могутъ дать намъ никакихъ матеріаловъ для рѣшенія во-

проса о движеніи умственныхъ способностей въ мірѣ животныхъ. Геологія также молчитъ, потому что никакой скелетъ не можетъ намъ разсказать, какъ жилъ и мыслилъ его обладатель. Гдѣ же искать отвѣта? Да все тамъ же, въ осмысленномъ наблюденіи живой природы. Живая природа въ томъ видѣ, какъ она существуетъ теперь, даетъ намъ очень много указаній на тотъ процессъ развитія, посредствомъ котораго она возвысилась до своего теперешняго положенія. Надо только смотрѣть и понимать.

III.

Утѣшимъ въ первый и послѣдній разъ обожателей Аристотеля и научнаго благоправія; откажемся отъ дарвиновскаго лукавства; допустимъ, что лягушечій прогрессъ и собачья цивилизація не существуютъ и не могутъ существовать. Посмотримъ, что изъ этого выйдетъ. Если переходы отъ одного рода привычекъ къ другому совершенно невозможны въ царствѣ животныхъ, если необозримый рядъ предковъ каждаго животнаго жилъ всегда точъ въ точъ такъ, какъ въ настоящее время живетъ ихъ потомокъ, то это значитъ, что извѣстный комплектъ привычекъ связанъ на вѣчныя времена роковыми и необходимыми узами съ извѣстнымъ устройствомъ организма. Утѣшать, такъ утѣшать! Положимъ, что и устройство организма неизмѣнно и непоколебимо. Если существуетъ неразрушимая связь между устройствомъ организма и всѣми привычками, то, разумеется, всѣ животныя одного вида должны имѣть совершенно одинаковыя привычки, отъ которыхъ они не могутъ отклоняться ни на волосъ, ни подъ какимъ видомъ и ни при какихъ условіяхъ. Если вы только допустите, что животное въ минуту сильнаго голода можетъ взять въ ротъ кусокъ такой пищи, которую не ѣли его отцы, дѣды и прадѣды, то весь принципъ неизмѣнныхъ привычекъ будетъ потрясенъ въ самомъ основаніи. Если гнетъ сильной необходимости можетъ произвести въ привычкахъ малѣйшее уклоненіе, то рѣшительно никто не можетъ поручиться, что этотъ гнетъ не дѣйствовалъ на каждое поколѣніе, и что изъ множества мелкихъ уклоненій не составилось въ концѣ концовъ совершенное превращеніе. Стало-быть, для поддержанія любезнаго принципа надо твердо стоять на томъ, что всѣ теперешнія ласточки одного вида живутъ — какъ одна ласточка, всѣ медвѣди — какъ одинъ медвѣдь, всѣ лягушки — какъ одна лягушка, и такъ далѣе, распространяя это правило: «всѣ, какъ одинъ», на всѣ отдѣльные виды безсловесной твари. Хорошо, будемъ стоять. Кромѣ того животныя, близкія другъ къ другу по тѣлосложенію, должны имѣть сходныя привычки. Это условіе такъ же необходимо для поддержанія принципа,

который весь держится на томъ основномъ положеніи, что привычки составляютъ роковой и неизмѣнный результатъ организаціи. А если организація составляетъ единственную причину привычекъ, то невозможно допустить, чтобы сходныя причины привели за собой несходныя слѣдствія. Стало-быть, мы получили два закона:

I. Всѣ животныя одного вида живутъ, какъ одно животное.

II. Сходныя виды имѣютъ сходныя привычки.

Изъ этихъ двухъ законовъ не можетъ быть ни одного исключенія, и если такое исключеніе встрѣтится, то весь принципъ неизмѣнныхъ привычекъ окажется мною. Посмотримъ теперь на живую природу. Она одна можетъ рѣшить споръ между научнымъ благоправіемъ и дарвиновскимъ лукавствомъ. Если не найдется исключенія, то мы навсегда откажемся отъ собачьяго прогресса. Въ противномъ случаѣ великій принципъ принужденъ будетъ сложить оружіе и признать себя нелѣпостью. Долго разсуждать тутъ нечего. Исключеній пропасть, и оба основанія закона трещать по всѣмъ направленіямъ.

Животныя всевозможныхъ породъ на каждомъ шагу позволяютъ себѣ такіа выходы, которые очень рѣзко отличаются отъ обыкновенныхъ и постоянныхъ привычекъ цѣлаго вида. Одинъ разъ наблюдателю удастся подмѣтить такую выходку, но придется ли ему во второй разъ сдѣлать то же наблюденіе, этого никакъ нельзя сказать заранее, потому что выходка эта можетъ-быть совсѣмъ не повторится по прошествіи значительнаго промежутка времени, а можетъ-быть повторится тотчасъ же, или на другой день. Все зависитъ отъ того, какъ сложатся для животнаго разныя мелкія обстоятельства его всендневной жизни. Напримѣръ въ Сѣверной Америкѣ натуралистъ Гирнъ видѣлъ, какъ черныи медвѣдь плавалъ по рѣкѣ съ разнузданною пастью и глоталъ водяныхъ насѣкомыхъ. Это упражненіе продолжалось нѣсколько часовъ, и какой же благоразумный человѣкъ рѣшится утверждать, что такіа занятія свойственны медвѣдью, что они находятся въ строгой зависимости отъ его организаціи, и что всѣ предки этого оригинала всегда занимались подобными пріемами. Китъ постоянно поступаетъ такимъ образомъ, и киту очень удобно это дѣлать: у него пасть усажена роговыми пластинками, въ которыхъ насѣкомыя и всякая мелюзга задерживаются для съѣденія; а въ верхней части головы у него продѣланы отверстія, черезъ которыя онъ выбрасываетъ воду, набранную въ ротъ вместе съ мелкими животными. Не мѣшааетъ также замѣтить, что китъ во время такой охоты чувствуетъ себя совершенно дома, между тѣмъ какъ медвѣдю приходится въ этомъ случаѣ отираться въ чужую стихію за очень мелкой и неудобной добычей. Можно себѣ представлять, сколько онъ во время этого занятія проглотитъ

воды безъ всякой надобности и безъ малѣйшаго желанія, сколько разъ вода захлестывала ему поздри и сколько разъ пойманныя насѣкомыя ускользали изъ его пасти въ то время, когда онъ фыркалъ и отплеивался. Повторить-ли онъ свое плаваніе,—это конечно зависитъ отъ того, понравилась-ли ему первая попытка; но если животное можетъ дѣлать попытки и въ случаѣ удачи повторять ихъ, то куда же послѣ этого укроется принципъ неизмѣнныхъ привычекъ? Разныя птицы очень часто дѣлаютъ то, что несвойственно ихъ породѣ, и что совершенно свойственно какой нибудь другой породѣ, вовсе на нихъ непохожей. Мухоловка (*Muscicapa*) обыкновенно прыгаетъ по деревьямъ и питается насѣкомыми; но Дарвинъ видѣлъ не разъ, какъ одна изъ птицъ этого рода *Saurorhagus sulphuratus*, подобно коршуну, держалась въ воздухѣ на одномъ мѣстѣ съ распростертыми крыльями, потомъ дѣлала быстрый поворотъ и вслѣдъ за тѣмъ останавливалась такимъ же образомъ надъ другой точкой. Коршуну, какъ хищнику, очень удобно такимъ образомъ высматривать себѣ съ высоты добычу, состоящую изъ птицъ и мелкихъ зѣрюковъ; но для мухоловки, питающейся насѣкомыми, такой способъ вовсе не можетъ быть полезенъ; стало-быть, тѣ субъекты, за которыми Дарвинъ подыталъ эту замашку, руководствовались какими нибудь особенными соображеніями, неизмѣнными тѣсной связи съ обыкновенными потребностями и привычками всей породы. Дарвинъ случилось также видѣть, что *Saurorhagus sulphuratus* стоитъ надъ водой, караулить мелкую рыбу и потомъ вдругъ кидается на нее, избравъ удобную минуту; а между тѣмъ мухоловка нисколько не приспособлена къ водяной олотѣ. Стало-быть, она сама себя приспособляетъ; а принципъ опять-таки страдаетъ по случаю ея нескромности. Синица (*Parus major*) также позволяетъ себѣ разныя непослѣдовательности; обыкновенно она прыгаетъ по вѣткамъ деревьевъ и питается ягодами, зернами и насѣкомыми; но иногда она лазитъ, какъ пищуха; иногда она своимъ клювомъ бьетъ мелкихъ птичекъ по головѣ до смерти и вполне подражаетъ въ этомъ отношеніи хищному сорокопуду (*Lanius*), который однако вовсе не похожъ на нее и принадлежитъ даже къ совершенно другому семейству. Иногда та же самая беззаконная синица разбиваетъ мелкие орѣхи, ударяя ихъ по нѣскольку разъ объ дерево, и въ этомъ случаѣ она беретъ примѣръ съ орѣховки (*Nucifraga*), которая также принадлежитъ къ другому семейству.

Принципъ, принципъ! Каково ты себя, другъ мой, чувствуешь? Но это еще все цвѣточки, а настоящія-то ягоды заключаются въ томъ фактѣ, что цѣлыя породы, находящіяся между собой въ самомъ близкомъ родствѣ и очень похожія другъ на друга по складу тѣла, имѣютъ такіа постоянныя привычки, въ которыхъ самый

усердный обожатель принципа не усмотритъ даже ни малѣйшаго сходства. Дятель (*Picus*) всѣмъ устройствомъ своего тѣла превосходно приспособленъ къ тому, чтобы лазить по деревьямъ, выстукивать насѣкомыхъ изъ-подъ коры ударами клюва и ловить ихъ языкомъ въ узкихъ трещинахъ и углубленіяхъ. Вотъ какъ описываетъ его учебникъ зоологій: «Клювъ прямой, коническій; языкъ длинный, заостренный, роговой, прикрѣпленный къ подвижнымъ язычнымъ костямъ, можетъ съ быстротой выдвигаться изъ рта. Хвостъ съ жесткими перьями, служащими опорой при лазаніи». Къ этому описанію можно прибавить, что и нога этой птицы по устройству пальцевъ и когтей превосходно приурочена къ обыкновеннымъ привычкамъ огромнаго большинства дятловъ, которые дѣйствительно постоянно карабкаются по стволамъ и толстымъ сучьямъ деревьевъ, стучать въ нихъ клювомъ и вылизываютъ изъ нихъ разныхъ насѣкомыхъ. Но и между дятлами встрѣчаются неблагоприятные вольнодумцы, для которыхъ всѣ эти милости заботливой природы остаются мертвымъ капиталомъ. Въ Сѣверной Америкѣ одна порода дятловъ питается преимущественно плодами, а другая, одаренная длинными крыльями, летаетъ вслѣдъ за насѣкомыми и ловить ихъ на воздухѣ, вмѣсто того чтобы выстукивать ихъ изъ-подъ древесной коры.

Ага!—скажетъ защитникъ принципа,—длинные крылья! Оттого-то они и летаютъ за насѣкомыми, что у нихъ длинныя крылья. На это восклицаніе можно отвѣтить, что защитникъ принципа, какъ утопающій, хватается за соломинку, которая такъ и останется у него въ рукахъ. Во-первыхъ, длинные крылья вовсе не мѣшаютъ этимъ дятламъ карабкаться по деревьямъ; а во-вторыхъ, крылья обыкновенныхъ дятловъ вовсе не коротки и не слабы, такъ что обыкновенный дятель очень легко и удобно могъ-бы ловить насѣкомыхъ на лету, если-бы того требовали мѣстныя обстоятельства. А почему именно крылья длиннѣе у того дятла, который больше другихъ летаетъ, на этотъ вопросъ теорія лукаваго Дарвина даетъ, кажется, совершенно удовлетворительный отвѣтъ. Она произноситъ въ этомъ случаѣ только двѣ пары словъ: «упражненіе органовъ» и «естественный выборъ». Читатель долженъ понимать, что этого вполне достаточно.

Дятель *Colaptes*, живущій въ Мексикѣ и описанный Соссюромъ, самымъ необыкновеннымъ образомъ извращаетъ свои естественныя дарованія. Онъ выдалбливаетъ своимъ крѣпкимъ клювомъ углубленія въ стволахъ очень твердыхъ деревьевъ и складываетъ въ эти углубленія запасы зеренъ, обезпечивающіе его продовольствіе. *Colaptes*—дятель, и нашъ европейскій *Picus*—также дятель; у одного крѣпкій клювъ, и у другого также крѣпкій клювъ. Спрашивается, по-

чему же одинъ устраиваетъ себѣ амбары, а другой выстукиваетъ насѣкомыхъ? Отвѣчать не трудно, но только отвѣтъ будетъ губителенъ для принципа неизмѣнныхъ привычекъ. Александръ Гумбольдтъ былъ человѣкъ, и Наполеонъ I былъ также человѣкъ. У одного былъ здоровый мозгъ, и у другого былъ также здоровый мозгъ. Почему же одинъ написалъ «Космосъ», а другой соорудилъ 18-е брюмера, разстрѣлялъ герцога Англенскаго, выигралъ нѣсколько десятковъ сраженій, очень упорно преслѣдовалъ идеалогію и наконецъ, какъ малолѣтній ребенокъ, отдался въ руки сначала негодю Фуше, а потомъ—англійской олигархіи? Не потому-ли, что обстоятельства были не одинаковы? Вліянія, дѣйствовавшія на этихъ двухъ людей, окружавшія ихъ съ самой минуты рожденія и направлявшія каждый ихъ шагъ и каждую ихъ мысль въ ту или въ другую сторону, были различны, и отъ того выработались два различныя характера, а въ общемъ выводѣ получились уже совершенно несходные результаты. На молодого Бонапарта и на молодого Гумбольдта дѣйствовали идеи вѣка, политическія событія, отношеніе этихъ событій къ ихъ отечеству, семейныя обстоятельства, денежное положеніе того и другого,—словомъ, огромная масса такихъ условій, которыя не имѣли ровно ничего общаго съ внутреннимъ строеніемъ ихъ мозга и всего ихъ организма. Если-бы какой нибудь великій анатомъ изучилъ во всѣхъ подробностяхъ мозгъ покойнаго Гумбольдта и покойнаго Наполеона, и если-бы оказалось, что вѣсъ, химическій составъ, устройство всѣхъ извилинъ, величина всѣхъ внутреннихъ желудочковъ, словомъ, всѣ мельчайшія особенности совершенно сходны въ обоихъ мозгахъ, то я не думаю, чтобы какой нибудь здравомыслящій человѣкъ нашелъ это обстоятельство особенно удивительнымъ, несмотря на то, что эти двѣ даровитыя личности занимались въ жизни совершенно различными предметами. Было-бы даже гораздо удивительнѣе, если-бы мозгъ Мирага былъ въ такой же значительной степени похожъ на мозгъ Наполеона или если-бы въ черепѣ профессора Креозотова заключался совершенно такой мозгъ, каковыя обладали Александръ Гумбольдтъ. А между тѣмъ Мирага сдѣлалъ вѣстѣ съ Наполеономъ почти всѣ его кампаніи и даже считался въ свое время великимъ кавалерійскимъ генераломъ. А Креозотовъ, подобно Гумбольдту, постоянно предавался ученымъ занятіямъ.

Возьмемъ другой примѣръ. Передъ вами лежатъ на столѣ двѣ бритвы; одна настоящая англійская, другая—чисто отечественная, и притомъ изъ самыхъ плохихъ. Какъ той, такъ и другой бритвой вы можете сдѣлать множество разнообразнѣйшихъ вещей: выбрать себѣ бороду, или перерѣзать себѣ горло, или сбрить себѣ волосы, или раздѣлать ливня, или очинить карандашъ. И все это можетъ быть произведено

одними бритвами почти съ одинаковымъ успѣхомъ, потому что трудно себѣ вообразить такую дрянную бритву, которая съ перваго-же раза оказалась-бы несостоятельной. Если вамъ родственникъ хватитъ себя по горлу вашей англійской бритвой, а вы будете употреблять свою русскую бритву какимъ-нибудь другимъ, менѣе кровопролитнымъ образомъ, то я не думаю, чтобы изъ этихъ двухъ фактовъ можно было вывести хоть малѣйшія заключенія о сравнительномъ достоинствѣ обоихъ инструментовъ. Оба эти факта зависятъ отъ той обстановки, въ которой находились обѣ бритвы, и отдѣльные элементы этой обстановки не имѣютъ рѣшительно ничего общаго съ качествами русской и англійской стали, или русской и англійской фабрикаціи бритвъ. Но, разумѣется, никакая обстановка не можетъ приноровить бритву къ такому употребленію, которое совершенно несовмѣстно съ ея фигурой или съ свойствами ея матеріала. Если вамъ понадобится написать письмо, вы никакъ не напишете его бритвой. Хотя-бы вамъ до-зарѣзу необходимы были сапоги, вы ни за какія блага не унитретесь надѣть бритву на ногу. Вы можете умирать съ голоду въ комнатѣ, переполненной бритвами, и все таки вамъ не удастся разжевать, проглотить и переварить хоть одну бритву. То же самое можно сказать о Наполеонѣ и о Гумбольдтѣ. Если-бы Наполеонъ захотѣлъ снести иждо, то по всей вѣроятности вся его гениальность не доставила-бы ему желаннаго успѣха. Простая курица перешегололяла-бы въ этомъ отношеніи великаго завоевателя. А Гумбольдту легче было-бы написать другую книгу,—подобную «Космосу», чѣмъ собственными средствами своего организма выработать одинъ квадратный вершокъ паутины или одинъ золотникъ воска. Глупѣйшій изъ изукотъ и лѣнивѣйшій изъ рабочихъ пчелъ презюмля-бы въ этомъ дѣлать одного изъ даровѣйшихъ работниковъ нашего столѣтія.

Между простыми и безжизненными орудіями, подобными бритвѣ, вѣтъ удивительно-сложныхъ органовъ, который называется человѣческимъ мозгомъ, лежитъ громадное разстояніе. Можно сказать, что вся природа помѣщается въ этомъ промежуткѣ. Однако, не смотря на эту громадность разстоянія, можно зайти по крайней мѣрѣ одну общую черту въ дѣятельности бритвы въ дѣятельности мозга. Именно, результатъ дѣятельности въ обоихъ случаяхъ не зависитъ ни отъ и исключительно отъ собственныхъ качествъ бритвы и мозга. Результатъ этотъ складывается изъ двухъ элементовъ: изъ качествъ самаго орудія и изъ качествъ всѣхъ окружающихъ предметовъ, одушевленныхъ и неодушевленныхъ, съ которыми данное орудіе соприкасается во время своей дѣятельности. Каждый кусокъ неодушевленной матеріи подчиняется этому общему закону паразитъ съ организмомъ человѣка. Орга-

низъ животнаго ближе къ организму человѣка, чѣмъ кусокъ неорганическаго вещества, а между тѣмъ защитники неизмѣнныхъ привычекъ ухитрились выдумать, что весь міръ животныхъ составляетъ исключеніе изъ этого общаго правила. Они думаютъ, что если ужъ дятлу даны способности лазить и долбить, то онъ такъ и будетъ поступать всегда и вездѣ, хотя-бы онъ даже попалъ въ такое мѣсто, гдѣ нѣтъ деревьевъ и гдѣ очень мало насѣкомыхъ. Воротясь съ такими идеями даже какъ-то неловко и совѣстно, и я прошу читателя извинить мое длинное отступленіе отъ настоящаго дѣла. Мнѣ хотѣлось только показать, какимъ образомъ многія изъ нашихъ обычныхъ понятій рѣшительно противорѣчатъ не только осязательнымъ фактамъ живой природы, но даже основнымъ законамъ здороваго человѣческаго мышленія. Если въ нелѣпостяхъ могутъ быть какія-нибудь градаціи, то надо будетъ сознаться, что идея о неизмѣнности животныхъ привычекъ составляетъ болѣе значительную и несообразную нелѣпость, чѣмъ известная русская теорія о трехъ китахъ, поддерживающихъ нашу планету.

Когда мы всматриваемся въ дѣло, тогда мы ясно видимъ, гдѣ смыслъ и гдѣ бессмыслица. Но въ томъ-то и горе наше великое, что намъ очень рѣдко приходится всматриваться въ наши идеи и выбивать приемами строгой критики ту пыль и моль, которая завелась въ нашей умственной руляди и перепортили все естественное богатство нашего превосходнаго кавказскаго мозга. Мозгъ-то хорошъ, да дряни въ немъ много. Чтобы покончить исторію о дятлахъ, я сообщу читателю, что въ безлѣсныхъ равнинахъ Ла-Платы живетъ дятелъ *Colaptes campestris*, который никогда не взлѣзаетъ на деревья по той простой причинѣ, что не на что взлѣзать. Клювъ его не такъ твердъ и прямъ, какъ у простаго дятла, во-первыхъ—по недостатку упражненія, а во-вторыхъ—потому, что естественный выборъ пересталъ поддерживать спеціальныя качества этого орудія. Въ безлѣсной странѣ, гдѣ нечего долбить, дятлу бесполезенъ твердый и прямой клювъ, и поэтому строгость естественнаго выбора въ этомъ отношеніи ослабла.

Здѣсь мы можемъ проститься съ неизмѣнными привычками и съ ихъ остроумными защитниками, опирающимися на египетскіе памятники и на сочиненія классическихъ мудрецовъ. Возиться съ ними очень скучно, и я увѣренъ, что они уже давно опротивѣли моему возлюбленному читателю, свободному отъ всякихъ предрасудковъ или по крайней мѣрѣ искренно желающему отъ нихъ освободиться. Чтобы окончательно сразить противниковъ Дарвина, достаточно произнести одно слово, указывающее на цѣлый, длинный рядъ неопровержимыхъ фактовъ. Это слово: *акклиматизація* животныхъ. Объ ней я однако распространяться не буду.

IV.

Привычки животныхъ измѣняются вмѣстѣ съ условіями жизни, а для того, чтобы условія жизни измѣнились, вовсе не нужно наклепать на землю какіе-нибудь ужасы вроде наводненія или землетрясенія. Если порода благоденствуетъ и размножается, то самая эта безмятежность, самое это довольство, рано или поздно, приведутъ за собой переменѣ; порода размножится такъ, что явится несоразмѣрность между количествомъ пищи и числомъ потребителей; многимъ субъектамъ придется искать новой пищи и приспособляться къ новымъ промысламъ; вотъ вамъ и переменѣ. Пока искатели новой пищи не вырабатываютъ себѣ новыхъ приспособленій, до тѣхъ поръ мы будемъ замѣчать разладъ между тѣлосложеніемъ животнаго и его образомъ жизни. Разладъ этотъ во всякомъ случаѣ будетъ продолжаться очень долго, потому что всѣ видоизмѣненія совершаются въ органическомъ мірѣ чрезвычайно медленно и незамѣтно. А болѣшая или меньшая продолжительность этого разлада будетъ зависѣть отъ болѣшей или меньшей гибкости даннаго организма, отъ болѣшей или меньшей напряженности борьбы и отъ болѣшей или меньшей строгости естественнаго выбора. Т. е. здѣсь, какъ и вездѣ, результатъ будетъ обуславливаться свойствами субъекта и особенностями всѣхъ окружающихъ обстоятельствъ.

Если это разсужденіе вѣрно, то оно должно оправдываться фактами дѣйствительной жизни. Если оно вѣрно, то есть основаніе думать, что нѣкоторыя породы животныхъ въ настоящую минуту должны представлять живой образчикъ такого разлада между устройствомъ тѣла и свойствами привычекъ. Слѣдовательно, если мы найдемъ, что такія породы дѣйствительно существуютъ, то мы будемъ имѣть полное основаніе сказать, что разсужденіе было построено вѣрно—Дятлы, летающіе за насѣкомыми, питающіеся плодами и живущіе въ совершенно безлѣсныхъ равнинахъ, показываютъ уже довольно замѣтный разладъ между тѣлосложеніемъ и привычками. Но есть и другіе примѣры, гораздо болѣе поразительные. Буревѣстники проводятъ болѣшую часть своей жизни на лету, между небомъ и моремъ, вдали отъ береговъ. У всего этого семейства птицъ крылья превосходно развиты. Между тѣмъ въ тихомъ проливѣ Огненной Земли живетъ буревѣстникъ *Puffinuria Bergardi*, который превосходно плаваетъ и ныряетъ, но чрезвычайно рѣдко и повидимому неохотно поднимается на воздухъ. По привычкамъ своимъ онъ очень похожъ на пингвина или на чистика, т. е. на такихъ птицъ, которыя совершенно лишены способности летать и употребляютъ свои крылья на водѣ вмѣсто веселья, а на сушѣ—вмѣсто переднихъ ногъ. Особенности его образа жизни произвели уже довольно значительныя измѣненія въ устрой-

отвѣ его тѣла, но въ немъ еще легко узнать типъ настоящаго буревѣстника. Оляпка (*Cinclus aquaticus*) постоянно добываетъ себѣ пищу подъ водой, ныряетъ, цѣпляется ногами за камни и бѣгаетъ по дну рѣки, разгребая воду крыльями. Между тѣмъ оляпка принадлежитъ къ земному семейству дроздовъ, и, рассматривая ея трупъ, самый опытный наблюдатель не отыщетъ въ немъ ни малѣйшаго намека на ея своеобразныя привычки. Стало-быть разладъ существуетъ во всей своей силѣ. У гусей перепонка между пальцами приспособлена для плаванія, и мы, разумѣется, привыкли считать гуся совершенно водяной птицей; а между тѣмъ есть нѣсколько породъ дикихъ гусей, которыя, сохраняя перепонку, никогда не входятъ въ воду. Фрегатъ (*Tachyretes aquila*) постоянно летаетъ надъ моремъ, удаляется отъ береговъ на огромныя разстоянія и, несмотря на то, почти никогда не опускается на воду. Изъ всѣхъ натуралистовъ, только одинъ Одюбонъ видѣлъ, что фрегатъ опустился на воду, а между тѣмъ у фрегата четыре пальца соединены перепонкой. Но въ этой перепонкѣ, которая отлично годится для плаванія, есть глубокія выемки, указывающія на то, что нога фрегата начала измѣняться, сообразно съ его образомъ жизни. У гагары и у лысухъ пальцы только оторочены перепонкой, хотя эти пальцы постоянно держатся на водѣ. Опять разладъ и противорѣчье. Длинные ноги голенастыхъ птицъ такъ отлично приспособлены къ путешествіямъ по болоту, что ничего лучше желать не остается и требовать нельзя; между тѣмъ съ одной стороны водяная курочка, принадлежащая къ этому порядку, постоянно плаваетъ по водѣ, вѣсто того чтобы бродить по вязкому берегу; а съ другой стороны коростель, принадлежащій къ одному семейству съ водяной курочкой и даже поставленный съ ней рядомъ въ учебникѣ зоологіи, также презираетъ болото и держится обыкновенно въ хлѣбныхъ посѣвахъ и въ высокой травѣ вмѣстѣ съ перепелками и куропатками.

Изъ всѣхъ этихъ фактовъ мы видимъ, что организація животнаго вовсе не связана наглухо именно съ однимъ, тѣсно опредѣленнымъ образомъ жизни. Конечно организація ставитъ нѣкоторыя границы для дѣятельности животныхъ, но эти границы оставляютъ животному очень широкій просторъ, и со временемъ могутъ быть раздвинуты еще шире, если представится настоящая необходимость и если окружающія обстоятельства дадутъ на то малѣйшую возможность. Разумѣется, рыба не можетъ построить себѣ гнѣзда на деревѣ; воробей не можетъ вырыть въ землѣ тѣ норы и галереи, которыя сооружаетъ кротъ; тигръ не можетъ питаться травой, какъ баранъ; а страусъ не можетъ гоняться за голубями, какъ ястребъ. Между рыбой и птицей, между воробьемъ и кротомъ, между тигромъ и бараномъ, между страусомъ и ястребомъ ст-

ществуютъ очень глубокія различія въ организаціи; однако нѣтъ никакого основанія думать, чтобы между этими очень различными организаціями лежала непроходимая бездна, чрезъ которую природа, то-есть постоянное дѣйствіе разнообразныхъ и очень сложныхъ обстоятельствъ, не была бы въ состояніи проложить узкую тропинку или широкую дорогу. Въ природѣ возможны самыя полныя превращенія и самыя удивительныя переходы, но только эти превращенія и переходы никогда и ни подъ какимъ видомъ не могутъ совершиться круто и внезапно. Вся исторія органической жизни состоитъ въ томъ, что различныя формы животныхъ и растений постоянно обособлялись и съ каждымъ тысячелѣтіемъ, дробясь на новыя разновидности, все сильнѣе и рѣзче удалялись другъ отъ друга; вслѣдствіе этого въ настоящую минуту различныя отдѣлы, классы и порядки животнаго царства гораздо дальше отстоятъ другъ отъ друга и гораздо глубже и явственнѣе разграничены между собой, чѣмъ это было въ прошедшія геологическія эпохи. Однако, несмотря на эти глубокія границы, несмотря на то, что всякія промежуточныя формы постоянно вытѣсняются крайними представителями отдѣловъ, классовъ и порядковъ, мы и теперь можемъ указать на тѣ пути, по которымъ могли-бы совершиться самыя далекіе и неожиданные переходы; во многихъ случаяхъ мы встрѣчаемся даже съ живыми формами, которыя, какъ верстовые столбы, стоятъ по срединѣ этихъ путей и ясно говорятъ намъ самымъ фактомъ своего существованія, что было время, когда эти заброшенные пути были бойкими столбовыми дорогами, и когда органическая жизнь, направляясь къ своему теперешнему положенію, медленно и величественно совершала по этимъ путямъ свое безпредѣльное развитіе. Такимъ образомъ цѣлые два порядка животныхъ связываютъ классъ млекопитающихъ съ классомъ рыбъ; во-первыхъ — ластоногія (*Pinnipedia*), то-есть моржи, тюлени, морскіе львы и морскіе коты; а во-вторыхъ — китовыя (*Cetacea*), то-есть киты и дельфины. Летучая рыба намекаетъ на возможность перехода отъ рыбы къ птицѣ и напоминаетъ о тѣхъ страшно далекихъ временахъ, когда вся наша планета была покрыта водой, когда главнѣйшими представителями органической жизни были моллюски и хрящевыя рыбы, и когда эти рыбы, самыя совершенныя изъ тогдашнихъ живыхъ существъ, подъ вліяніемъ борьбы за жизнь и естественнаго выбора стали постепенно перерождаться въ крылатыхъ гадовъ и въ птицеобразныхъ животныхъ или, вѣрнѣе, въ рыбообразныхъ птицъ. Австралійскій утконосъ стоитъ на границѣ между млекопитающими и птицами; а сумчатые животныя, изъ которыхъ одни по устройству своихъ зубовъ приближаются къ жвачнымъ (кенгуру), другія — къ грызунамъ (вombatъ), а третьи — къ плотояднымъ (двухтобка).

показываютъ намъ, какъ развивалось въ прошедшемъ то глубокое различіе, которое существуетъ теперь между этими тремя, рѣзко разграниченными порядками млекопитающихъ.

Все животное царство распадается на два громадные отдѣла, на позвоночныхъ и беспозвоночныхъ. Различіе между этими двумя отдѣлами до такой степени глубоко, что между животными этихъ двухъ отдѣловъ даже нельзя производить никакихъ сравненій; невозможно сказать и бесполезно было-бы спрашивать, какое животное стоитъ выше въ цѣпи созданій: какая-нибудь рыба или пчела? Типы ихъ не имѣютъ между собой ни одной точки соприкосновенія и развились совершенно самостоятельно и независимо другъ отъ друга. Эти два отдѣла животнаго царства обозначились по всей вѣроятности въ самой глубокой древности, недоступной даже для геологіи; какія формы предшествовали этому раздѣленію — этого мы никогда не узнаемъ, хотя конечно можно предполагать, что жили тогда животныя, до нѣкоторой степени похожія на теперешнихъ инфузорій, если не по своей величинѣ, то по крайней мѣрѣ по простотѣ своей организаціи. Однако, несмотря на то, что различіе между позвоночными и беспозвоночными такъ глубоко и такъ сильно упрочено своей неизмѣнной древностью, — несмотря на это, существуютъ и теперь нѣкоторыя формы, служащія живымъ намекомъ на прежнее, уже совершенно утратившееся родство между этими двумя отдѣлами. Амфиоксъ или ланцетная рыба принадлежитъ къ позвоночнымъ животнымъ, а между тѣмъ ее очень долго принимали за моллюска; у нея нельзя отличить головы и головного мозга; поэтому, когда ее причисляли къ моллюскамъ, то ее ставили ниже головоногихъ и брюхоногихъ моллюсковъ, у которыхъ ясно обозначена голова. Даже между царствами животнымъ и растительнымъ, которыя должны были отдѣлиться другъ отъ друга еще раньше, существуютъ нѣкоторыя промежуточныя формы, которыя никакъ не могли возникнуть послѣ того, какъ это раздѣленіе уже совершилось. Полипы очень долго считались растеніями и только въ половинѣ прошлаго столѣтія окончательно перечислены въ категорію животныхъ, несмотря на то, что у большей части полиповъ до сихъ поръ не доказано существованіе нервной системы. Губки очень недавно включались въ растительное царство, а теперь ихъ также перевели въ разрядъ животныхъ, хотя тутъ и рѣчи не можетъ быть о нервной системѣ. Любопытно замѣтить, что эти промежуточныя формы, занимающія теперь самое низшее мѣсто въ царствѣ животныхъ, занимали также одно изъ низшихъ мѣстъ въ ряду растеній. Это — живые остатки того далекаго прошедшаго, когда органическая жизнь находилась въ зачаточномъ состояніи, и когда всѣ зародыши и всѣ родоначальники теперешнихъ,

безконечно разнообразныхъ типовъ были похожи другъ на друга и сливались между собой въ общемъ хаотическомъ броженіи безцвѣтности и безформенности. Это — выкидыши органической природы, оставшіеся въ живыхъ, несмотря на свою недодѣланность. Очень понятно, что выкидышъ самаго высшаго животнаго менѣе развитъ въ своей организаціи, чѣмъ вполне сложившееся животное низшаго разряда. Поэтому и не трудно понять, что такія формы, какъ полипы и губки, всегда будутъ занимать послѣднее мѣсто въ цѣпи органическихъ существъ, къ какому бы царству ни относили ихъ классификаторы.

Всю эту экскурсію по различнымъ областямъ органическаго міра я веду къ тому, чтобы выразить нѣсколько мыслей, имѣющихъ самое прямое и непосредственное отношеніе къ нашему главному предмету. Развиваясь по разнымъ направленіямъ изъ одного общаго источника и подчиняясь въ своемъ разностороннемъ развитіи господству одинаковыхъ законовъ, до сихъ поръ еще мало изслѣдованныхъ, органическая природа сохранила, и по всей вѣроятности сохранитъ навсегда, во всѣхъ своихъ проявленіяхъ ту гибкость, измѣнчивость и подвижность, которыя привели ее къ ея теперешнему роскошному и цвѣтущему разнообразію. Мы не имѣемъ ни малѣйшаго основанія думать, что щука, тигръ, воробей, страусъ и всѣ вообще современные намъ организмы составляютъ собой тотъ окончательный результатъ, къ которому направлялось все развитіе живой природы. Множество подмѣченныхъ фактовъ доказываетъ намъ, напротивъ того, что въ органической природѣ все идетъ по старому, и что формы передѣлываются или до поры до времени остаются неподвижными, смотря по тому, какъ дѣйствуютъ на нихъ всѣ остальные формы, съ которыми имъ такъ или иначе приходится вести борьбу за существованіе. Есть-ли въ органическомъ мірѣ такія формы, которыя были-бы совершенно неизмѣнны и неподвижны по самой своей природѣ, — этого мы не знаемъ; но если такія формы существуютъ, то онѣ при первой встрѣчѣ съ неблагопріятными обстоятельствами будутъ непремѣнно истреблены, потому что онѣ вслѣдствіе своей неподвижности не будутъ въ состояніи выдержать случившуюся перемѣну и приноровиться къ новымъ условіямъ жизни. Очень многія, а можетъ-быть и всѣ, погибшія формы погибли именно оттого, что тѣ или другія измѣнившіяся обстоятельства потребовали отъ нихъ такого быстраго и значительнаго измѣненія въ привычкахъ и въ организаціи, которое въ данную минуту было для нихъ невозможно. А такъ какъ сила вещей неотразима и не даетъ никакихъ отсрочекъ, то она ихъ и скрутила до совершеннаго уничтоженія. Если-бы титру предстояла альтернатива — питаться травой или умереть съ голоду, онъ-бы умеръ, но это вовсе не доказываетъ,

что между плотояднымъ и травояднымъ лежить непроходимая бездна. Можетъ-быть переходъ возможенъ, но только никакъ не вдругъ. Наша домашняя кошка приходится тигру очень близкой родственницей; до своего знакомства съ человекомъ она питалась исключительно мясомъ, а теперь всякій знаетъ, что ее можно кормить молокомъ и хлѣбомъ. Молешотъ, писавшій свое «Ученіе о птицѣ» въ то время, когда о теоріи Дарвина не было ни слуху, ни духу, говоритъ положительно во введеніи къ этой книгѣ, что у дикой кошки кишечный каналъ короче, чѣмъ у домашней, и что это измѣненіе, приближающее домашнюю кошку къ травояднымъ, произошло въ ея организмѣ подъ вліяніемъ растительной пищи. Воробей также долженъ былъ-бы погибнуть, если-бы ему для спасенія жизни необходимо было приняться за подземныя работы крота; но и тутъ существуетъ возможность перехода и сближенія въ привычкахъ. Воробей питается ягодами, зернами и насѣкомыми; смотря по обстоятельствамъ, онъ можетъ питаться или исключительно однимъ изъ этихъ кушаній, или всѣми тремя заразъ. Положимъ, что обстоятельства принуждаютъ его питаться насѣкомыми; положимъ, что воробьевъ очень много; тогда каждое насѣкомое пріобрѣтаетъ въ ихъ глазахъ значительную цѣну; тогда воробей очень охотно будетъ клевать земляныхъ червей и очень тщательно будетъ заботиться о ихъ добываніи; онъ будетъ разрывать землю лапками и по всей вѣроятности это упражненіе, соединенное съ дѣйствіемъ естественнаго выбора, укрѣпитъ его когти и вообще приспособитъ его члены къ этому новому занятію. Очень можетъ быть, что воробьи, постоянно копающіеся въ землѣ, утрачатъ въ значительной степени юркость своихъ движений и крѣпость своихъ крыльевъ, но, разумѣется, это можетъ произойти только въ томъ случаѣ, если этихъ воробьевъ не будутъ преслѣдовать опасные враги. Если-же найдутся такіе враги, то они вѣроятно будутъ постоянно истреблять неповоротливыхъ воробьевъ, и тогда юркость и способность летать, поддерживаясь естественнымъ выборомъ, останутся попрежнему постоянными свойствами этой породы. Сдѣлаются-ли эти воробьи когда-нибудь подземными животными, этого я, ей Богу, не знаю, и мнѣ очень боязно и неловко высказать такое предположеніе, но моя робость происходитъ по всей вѣроятности отъ недостатка твердыхъ знаній и научнаго развитія. Дарвинъ разсуждаетъ гораздо смѣлѣе, хотя обыкновенно бываетъ наоборотъ; то-есть, обыкновенно ученики и адепты преувеличиваютъ идеи учителя и доводятъ ихъ иногда до уродливыхъ крайностей. Здѣсь-же ученикъ остается позади учителя, даже въ дѣлѣ умственной храбрости. Вотъ что говоритъ Дарвинъ по поводу медвѣдя, подражавшаго киту. «Даже въ такомъ исключительномъ случаѣ я не

вижу ничего невозможнаго въ томъ, что, если-бы насѣкомыхъ было постоянно вдоволь и если-бы въ той-же сторонѣ не находилось уже лучше приспособленныхъ соискателей, отдѣльная порода медвѣдей могла-бы сдѣлаться черезъ естественный выборъ все болѣе и болѣе водной, ихъ пасть все болѣе и болѣе увеличиваться, пока не сложилось-бы существо такое-же уродливое, какъ китъ.» Если Дарвинъ позволяетъ медвѣдю превратиться почти въ кита, то, пожалуй, почему-бы и моему воробью не превратиться, не говорю «въ крота», — а въ подземное и, разумѣется, совершенно не летающее и не совѣтъ зоркое животное? Pourquoi pas? Однако я все-таки не рѣшусь этого сказать. Дарвину хорошо храбриться: онъ знаетъ, что не навреть. А я на этотъ счетъ, при сильной склонности моей къ широкимъ умозрѣніямъ, побаиваюсь за себя ежедневно.

Можетъ-быть, примѣръ мой о воробѣй выбранъ очень неудачно, но я за него и не держусь. Дѣло не въ примѣрѣ, а въ основной идеѣ, которая во всякомъ случаѣ остается неприкосновенной. Дѣло въ томъ, что окружающія обстоятельства совершенно полновластно господствуютъ надъ привычками животныхъ, а черезъ ихъ привычки — надъ ихъ тѣлосложеніемъ. Когда животное получаетъ при рожденіи извѣстный запасъ способностей и орудій, то какія именно изъ данныхъ способностей оно разовьетъ въ себѣ преимущественно и къ чему именно пристроитъ свои орудія — это будетъ зависеть вполне отъ чисто вишнихъ условій жизни. Привычки животныхъ составляютъ именно приложеніе къ дѣлу жизни врожденныхъ способностей и орудій; а каково будетъ приложеніе, — это, разумѣется, зависитъ отъ того, къ чему станешь прикладывать. Въ настоящее время очень рѣзкіе переходы по всей вѣроятности не могутъ совершаться даже постепенно; на примѣръ, рыба въ птицу, медвѣдь въ кита, страусъ въ орла превратиться не могутъ даже въ цѣлыя сотни тысячелѣтій; но это происходитъ не отъ какихъ-нибудь непреодолимыхъ препятствій въ организаціи рыбы, медвѣдя или страуса, а преимущественно, или даже исключительно, отъ того, что и рыба, и медвѣдь, и страусъ съ самыхъ первыхъ шаговъ своего превращенія встрѣтятъ непреодолимое препятствіе со стороны отлично приспособленныхъ конкурентовъ, то-есть со стороны настоящихъ птицъ, настоящихъ китовъ и настоящихъ орловъ. Поэтому прогрессъ медвѣдей, рыбъ и страусовъ будетъ вѣроятно состоять только въ томъ, что они постоянно будутъ становиться все болѣе и болѣе медвѣдями, рыбами и страусами, то-есть, подчиняясь естественному выбору, будутъ постоянно развивая въ своей породѣ тѣ спеціальныя орудія и способности, которыя до сихъ поръ доставляли имъ побѣду надъ конкурентами и врагами въ бор

уществование. Но никто не можетъ сказать, что это прогрессивное развитие будетъ постоянно упрочивать существование этихъ породъ и постоянно одерживать побѣду надъ всѣми случайными обстоятельствами способными поглотить эти породы или даже совершенно стѣснить ихъ съ лица земли. Никто не можетъ сказать и за то, что отъ чистаго типа медвѣди, шкуры или страусовъ не отдѣлятся подвѣтныя обстоятельства, какой-нибудь боковой отростокъ, который проложитъ себѣ совершенно своеобразный путь для своего дальнѣйшаго развитія. Наконецъ и то можетъ случиться, какія-нибудь вѣншія условія заставятъ страуса или рыбу отказаться отъ употребленія того или другого органа и такимъ образомъ попятить ихъ назадъ, вмѣсто того чтобы идти впередъ. Регрессивное развитие также возможно въ природѣ, какъ и прогрессивное, лишь-бы только оно въ данномъ случаѣ выгодно для данной породы, то есть лишь въ томъ случаѣ, когда было возможно вмешательство естественнаго выбора: безкрылые жуки, слѣпые обитатели пещеръ и самъ страусъ, лишенный способности летать, являются живыми продуктами регрессивнаго развитія.

Въ природѣ нѣтъ ни малѣйшаго стремленія къ идеальному совершенству, и направленіе развѣтленія въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ опредѣляется только вліяніемъ мѣстныхъ и временныхъ обстоятельствъ. Одни органы доводятся до изумительнаго совершенства, на примѣръ у всѣхъ высшихъ животныхъ другіе органы профируются до совершеннаго безилія, на примѣръ крылья у многихъ птицъ; одніе породы совершенствуются и улучшаются, другія отступаютъ назадъ, третьи совсѣмъ вымираютъ; на каждомъ изъ этихъ сложныя отношенія между организмами вытекаютъ въ самые неразрѣшимые Gordievy, и на каждомъ шагѣ эти узлы развязываются или разрѣшаются, смотря по обстоятельствамъ. И привычки, и органы, и типы, все подвержено измѣненію, все можетъ быть перестроено и разрѣшено. И эта вѣчная, тихая и безпрестанная ломка составляетъ собою всю исторію органической жизни. Намъ очень трудно понять, въ какой степени значительны и сложны могутъ быть результаты этой незамѣтной ломки; нашъ инстинктъ отказывается вѣрить тому, чтобы напри-
мѣръ глазъ хищной птицы или мозгъ европейца выработались путемъ медленныхъ измѣненій изъ какого-нибудь безформеннаго накопления органическихъ кѣлочекъ. Но недоумѣніе нашего ума ровно ничего не значитъ. Умъ первобытныхъ людей также отказывался вѣрить, что солнце стоитъ на одномъ мѣстѣ, а не движется вокругъ него бѣгаетъ. Наши умственные привычки такъ же подвижны и измѣнчивы, какъ и всѣякія другія привычки живыхъ организмовъ. Вотъ что говоритъ Дарвинъ о происхож-

жденіи глаза: «Предположеніе, чтобы глазъ, со всѣми его неподражаемыми аппаратами для приспособленія къ разнымъ разстояніямъ, къ разнымъ количествамъ свѣта, для поправленія сферической и хроматической аберраціи, могъ сложиться въ силу естественнаго выбора — такое предположеніе, сознаюсь, можетъ показаться въ высшей степени нелѣпымъ. Но если можно доказать, что существуютъ многочисленныя постепенности между совершеннымъ, сложнымъ глазомъ и глазомъ несовершеннымъ и простымъ, причемъ каждая степень совершенства полезна организму, ею одаренному; если далѣе глазъ хоть сколько-нибудь подверженъ видоизмѣненіямъ, и эти видоизмѣненія наследственны, въ чемъ нѣтъ сомнѣнія; и если какое-либо видоизмѣненіе этого органа можетъ сдѣлаться полезнымъ организму при измѣняющихся жизненныхъ условіяхъ, — то, по законамъ логики, возможность образованія совершеннаго, сложнаго глаза путемъ естественнаго выбора, какъ ни безсильно сладить съ нею наше воображеніе, не можетъ быть отвергнута.» И дѣйствительно оказывается, что въ живой природѣ существуетъ безконечное разнообразіе зрительныхъ аппаратовъ; въ отдѣлѣ позвоночныхъ животныхъ замѣтно очень немногія степени; но зато у беспозвоночныхъ, въ отрядѣ членистыхъ животныхъ, то есть у насекомыхъ, червей, пауковъ и раковъ, зрительный аппаратъ проходитъ по всѣмъ фазамъ своего развитія. Лѣстница эта начинается съ зачаточныхъ глазъ, которые способны только различать свѣтъ отъ темноты; отсюда отправляются въ одну сторону простые глаза, состоящіе изъ хрусталика и роговой оболочки; а въ другую сторону идутъ сложные или граненые глаза. Эти сложные глаза такъ разнообразны, что натуралистъ Мюллеръ нашелъ необходимымъ распредѣлить ихъ на три главные класса и на семь подраздѣленій. Наконецъ эти двѣ системы, то есть сложные и простые глаза, соединяются между собою и образуютъ еще новыя формы. Кажется, трудно даже требовать, чтобы было соблюдено еще больше постепенности въ развитіи, и чтобы каждая ступенька этого развитія была отмѣчена еще нагляднѣе. То же самое можно сказать и о мозгѣ. У птицъ онъ еще совершенно гладокъ; у млекопитающихъ начинаются извилины и углубленія; у обезьянъ онъ особенно сильно развитъ; у шимпанзе, у орангутанга, у гориллы онъ болѣе значительный и разнообразный, чѣмъ у низшихъ обезьянъ; у негровъ болѣе, чѣмъ у высшихъ обезьянъ; у европейцевъ еще болѣе, чѣмъ у негровъ. Постепенность соблюдена вполне. Кромѣ того, если мы посмотримъ на исторію человѣчества, то мы и въ ней увидимъ сквозь безконечную сѣть перепутанныхъ событій очень медленное совершенствованіе человѣческаго мозга, какъ того спеціальнаго орудія, которое доставляетъ человѣку

побѣду въ общей борьбѣ за существованіе. На-
лагая свою печать на человѣческую дѣятельность
каждаго отдѣльнаго поколѣнія и cadaго исто-
рическаго періода, это совершенствованіе измѣ-
няетъ также форму самаго органа и величину
его вмѣстительности; тщательныя измѣренія многихъ
череповъ доказали, что въ общемъ результатъ
объемъ этого костяного ящика замѣтно увели-
чился у обитателей Парижа съ XII столѣтія по
XIX. Если мы припомнимъ, что XII столѣтіе было
цвѣтущей эпохой феодализма, крестовыхъ похо-
довъ, напесныхъ экскоммуникацій и разныхъ дру-
гихъ неподражаемыхъ проявленій человѣческаго
остроумія, то мы конечно согласимся, что ре-
зультатъ этихъ тщательныхъ измѣреній не дол-
женъ казаться намъ особенно неожиданнымъ.
Если же масса и достоинство человѣческаго
мозга совершенствуются до настоящаго времени,
то мы имѣемъ полное право заключать по ана-
логіи, что этотъ процессъ совершенствованія
производился также въ до-историческомъ и до-
мионическомъ прошедшемъ.

V.

На языкѣ всѣхъ образованныхъ народовъ
существуютъ такіа слова, которыя каждый
здравомыслящій челоѣкъ долженъ употреблять
всегда съ крайней осмотрительностью. А еще
гораздо лучше было-бы совсѣмъ не употреблять
ихъ; но къ сожалѣнію это почти невозможно.
Умъ, чувство, инстинктъ, талантъ, инерція,
темпераментъ, характеръ и разныя другія
выраженія, относящіяся къ психической жизни
животныхъ организмовъ, — все это очень опасныя
и неудобныя слова. Они заслоняютъ собою живые
факты, и никто не знаетъ наизусть, что именно
подъ ними скрывается, хотя каждый ежеминутно
произноситъ эти слова и при этомъ всегда ста-
рается этими непонятными словами что-то такое
выразить и что-то такое объяснить. Вопросъ
объ умственныхъ способностяхъ всѣхъ живот-
ныхъ, стоящихъ ниже челоѣка, совершенно за-
темненъ разными непонятными словами, кото-
рыя приносятъ особенно много вреда, потому
что всѣ къ нимъ прислушались и привыкли,
и всѣ воображаютъ, будто въ этихъ знако-
мыхъ словахъ заключается очень опредѣлен-
ный смыслъ. Вамъ ежеминутно случается слы-
шать что собака любитъ хозяина по инстинкту,
кошка преслѣдуетъ мышей по инстинкту, ла-
сточка вьетъ гнѣздо по инстинкту, пчела устраи-
ваетъ восковую ячейку по инстинкту. Куда какъ
это хорошо и удобно! Все по инстинкту! А что
такое инстинктъ — это всякій понимаетъ; это
вотъ — когда собака любитъ хозяина, кошка прес-
лѣдуетъ мышей, ласточка и т. д.; вотъ это и
есть инстинктъ. Поняли вы теперь, почему со-
бака любитъ хозяина, почему кошка и т. д.? Ну,
какъ-же не понять? Вы знаете Петра? — Нѣтъ, не

знаю. — Да это тотъ, что женатъ на Авдотѣ. —
Да я и Авдотю не знаю. — Ахъ, Боже мой, да
это та, что замужемъ за Петромъ. — А! Ну, те-
перь знаю и Петра, и Авдотю. Давно-бы вы мнѣ
такъ объяснили. Благодарю васъ покорно за то,
что научили меня уму-разуму! Мы почти всегда
разсуждаемъ такимъ манеромъ, т. е. неизвѣст-
наго Петра объясняемъ неизвѣстной Авдотей,
а потомъ, когда прислушаемся во время объ-
яснительнаго разговора къ обоимъ неизвѣстнымъ
именамъ, то начинаемъ считать ихъ извѣстными,
и вопросъ оказывается рѣшеннымъ. Насколько
подобное рѣшеніе вопросовъ можетъ быть по-
лезно для нашего умственного развитія, — объ
этомъ пусть разсуждаетъ мой просвѣщенный
читатель, какъ ему самому будетъ угодно. Я-же
съ своей стороны перейду къ изображенію нѣ-
которыхъ фактовъ изъ той дѣятельности жи-
вотныхъ, которую мы такъ превосходно объяс-
нили словомъ *инстинктъ*.

Извѣстно, что наша европейская кукушка
кладетъ свои яйца въ гнѣзда другихъ птицъ; эта
другая птица очень добросовѣстно высиживаетъ
подкидышей наравнѣ со своими собственными
дѣтьми, а высиженный подкидышъ при первой
возможности выживаетъ, т. е. просто выбрасы-
ваетъ изъ гнѣзда своихъ благопріобрѣтенныхъ
братцевъ и сестрицъ. Подобная исторія повто-
ряется каждый годъ, и порода кукушекъ по-
стоянно процвѣтаетъ, благодаря своей догадли-
вости и безцеремонности. Если мы предположимъ,
что этотъ инстинктъ кукушки возникъ въ ея
породѣ мгновенно, то одно это предположеніе
повалитъ всю теорію медленнаго развитія, по-
тому что одинъ скачекъ, какъ-бы ни былъ онъ
самъ по себѣ незначителенъ, будетъ доказывать
возможность скачковъ, а эта возможность из-
ходитъ въ радикальной и непримиримой враждѣ
со всякимъ простымъ и естественнымъ объясне-
ніемъ существующихъ явленій. Поэтому необхо-
димо отыскать въ живой природѣ причины этого
инстинкта и тотъ путь постепенныхъ измѣненій,
по которому онъ долженъ былъ пройти къ сво-
ему теперешнему положенію. Причины дѣйстви-
тельно найдены, и путь развитія можетъ быть
указанъ съ приблизительной вѣрностью. Кукушка
несетъ яйца не каждый день, а черезъ два и
черезъ три дня; если-бы она сама высиживала
ихъ въ собственномъ гнѣздѣ, то старшія яйца
уже превратились-бы въ птенцовъ въ то время,
какъ младшія находились-бы еще въ своемъ
первобытномъ состояніи. Это было-бы очень не-
удобно во многихъ отношеніяхъ. Живые птенцы
своими движеніями могли-бы помѣшать развитію
младшихъ братьевъ, пожалуй, даже могли-бы
продавить скорлупки ихъ яицъ; для птенцовъ
требуется пища, а между тѣмъ мать не мо-
жетъ отлетѣть отъ яицъ, которыя постоянно нумъ
ся въ ея теплотѣ; такимъ образомъ всѣ
о прокормленіи старшихъ дѣтей долж-

на отца, а, кажется, самцы во всемъ мірѣ животныхъ управляются съ такими дѣлами не такъ удачно, какъ самки. Но эти неудобства не составляютъ еще непреодолимаго препятствія, и американская кукушка, которая также кладетъ яйца не ежедневно, свиваетъ свое собственное гнѣздо и сама заботится о своемъ потомствѣ, несмотря на эти неудобства. Гораздо важнѣе то, что европейской кукушкѣ приходится очень рано отлетать въ теплый климатъ; это неудобство уже не можетъ быть устранено, и вслѣдствіе этого обстоятельства кукушка, свившая свое собственное гнѣздо, была-бы принуждена оставить большую часть своихъ дѣтей въ самомъ безпомощномъ состояніи. Стало-быть, подкидываніе яицъ въ чужія гнѣзда дѣлается вовсе не по беззаботности, а напротивъ—именно по любви къ дѣтямъ и вслѣдствіе желанія устроить ихъ судьбу какъ можно благополучнѣе. Положимъ теперь, что древняя прародительница нынѣшней европейской кукушки устраивала свои дѣла такъ, какъ устраиваетъ ихъ теперешняя американская кукушка; высидѣвъ своихъ дѣтей, она собирается летѣть въ теплый климатъ; въ это время она чувствуетъ потребность снести яйцо, и въ это-же время она видитъ чужое гнѣздо. О высиживаніи этого запоздалаго яйца ей нельзя и подумать; она находится на отлетѣ, ей уже становится холодно, или,—что все равно,—та пища, которая для нея необходима, дѣлается уже очень рѣдкой въ это время года; стало-быть, ей предстать альтернатива: или уронить яйцо на полъ, или положить его въ то гнѣздо, которое она видитъ. Въ этомъ случаѣ та естественная, или инстинктивная, или какаи вамъ угодно заботливость, которую всѣ матери обнаруживаютъ къ своему потомству, должна склонить запоздавшую кукушку къ тому, чтобы бережно положить свое послѣднее яйцо въ чужое гнѣздо, вмѣсто того, чтобы совершенно небрежно бросить его на землю. Очень правдоподобно, что это подкинутое яйцо будетъ счастливѣе и разовьется лучше своихъ братьевъ, высиженныхъ самой матерью, которая принуждена была во время высиживанія возиться постоянно съ голодными птенцами разныхъ возрастовъ. Если подкидыши будутъ постоянно превосходить другихъ птенцовъ кукушки здоровьемъ и крѣпостью, то они постоянно будутъ ихъ переживать и расплодятся сильнѣе ихъ. Вѣроятно эти подкидыши или по крайней мѣрѣ нѣкоторые изъ нихъ получаютъ по наследству отъ своей матери ту догадливость, которая побудила ее воспользоваться чужимъ гнѣздомъ. Та кукушка, въ которой эта догадливость будетъ особенно развита, сообразитъ, что, если можно положить въ чужое гнѣздо одно яйцо, то отчего же не распорядиться такимъ-же образомъ и со всѣми остальными; сообразитъ она это тѣмъ скорѣе, чѣмъ неудобнѣе ей будетъ напѣваться съ яйцами разныхъ возрастовъ и съ

ними яйцами; а такъ какъ неудобство это довольно значительно, то и соображеніе по всей вѣроятности явится на выручку довольно быстро. Соображающая кукушка будетъ имѣть преимущество передъ несоображающей, потому что потомство первой, благодаря добросовѣстнымъ стараніямъ разныхъ обманутыхъ матерей изъ другихъ птичьихъ породъ, будетъ развиваться и выкармливаться лучше, чѣмъ потомство второй кукушки, болѣе усердной, но менѣе остроумной. Но мы уже давно знаемъ, что преимущество, какъ-бы оно ни было незамѣтно, всегда доставляетъ со временемъ своему обладателю полную побѣду въ истребительной борьбѣ за существованіе. Поэтому мы можемъ сказать навѣрное, что черезъ нѣсколько десятковъ или сотенъ вѣковъ типъ добродѣтельной кукушки будетъ совершенно вытѣсненъ типомъ кукушки практической. Можетъ-быть инстинктъ подкидыванія найдетъ себѣ поддержку въ томъ обстоятельствѣ, что подкидывающая мать сама выросла въ чужомъ гнѣздѣ и поэтому считаетъ именно эти гнѣзда естественнымъ пріютомъ молодой кукушки. Можетъ-быть тутъ дѣйствуютъ воспоминанія дѣтства. У Дарвина есть одно мѣсто, которое повидимому намекаетъ на возможность такихъ воспоминаній. «Аналогія,—говоритъ онъ,—побуждаетъ насъ заключить, что птенцы, *высиженные и вскормленные такимъ образомъ чужими родителями*, наследуютъ въ большей или меньшей степени ту ненормальность инстинкта, вслѣдствіе которой ихъ мать отказала имъ въ своихъ попеченіяхъ». Я подчеркнулъ тѣ слова, въ которыхъ вижу возможность намека, но такъ какъ этотъ намекъ выраженъ очень легко и не совсѣмъ ясно, то я и не рѣшаюсь настаивать на своемъ предположеніи о возможности кукушковыхъ воспоминаній.

Не думаю однако, чтобы мы имѣли основаніе совершенно отвергать существованіе этихъ и многихъ другихъ проявленій умственной жизни въ мірѣ животныхъ. Когда мы видимъ со стороны какого-нибудь животнаго рядъ поступковъ, направленныхъ къ извѣстной цѣли и вполне достигающихъ этой цѣли, то мы обыкновенно, по нашей всеобъемлющей мудрости, утверждаемъ слѣдча, что животное не знаетъ, къ чему именно клонятся его поступки, что оно дѣйствуетъ совершенно безсознательно подобно тому, какъ шарманка выпускаетъ изъ себя одну ноту за другою, не имѣя ни малѣйшей возможности слѣдить за развитіемъ мелодіи. Можетъ-быть это сравненіе животнаго съ шарманкой въ нѣкоторыхъ случаяхъ довольно вѣрно; можетъ-быть даже это сравненіе прилагается также удачно къ нѣкоторымъ дѣйствіямъ человѣка. Напримѣръ половое влеченіе клонится къ размноженію породы; а между тѣмъ влюбленный юноша всего менѣе думаетъ о предстоящихъ обязанностяхъ отца; каждый его поступокъ, каждое сло-

во, каждое помышление ежеминутно стремятся къ этой неизбежной развязкѣ, а въ то-же время самая развязка быть-можетъ даже пугаетъ его, какъ значительное приращеніе заботъ и непосильныхъ расходовъ. Здѣсь человѣкъ очевидно изображаетъ собою шарманку. Но когда молодая женщина, чувствуя приближеніе срока своей беременности, старается приготовить для будущаго ребенка пеленки и рубашечки, тогда никто не скажетъ, что она поступаетъ безсознательно, по неизвѣстному ей импульсу. Можетъ-быть жизнь кукушки представляетъ намъ такіе-же явленія, отчасти шарманочныя, отчасти нешарманочныя. Но какое явленіе отнести къ одной категоріи, какое — къ другой? — это, мнѣ кажется, вопросъ чрезвычайно затруднительный и даже не всегда разрѣшимый. Когда юная и дѣвственная кукушка въ первый разъ въ жизни отдаетъ любимому самцу лапку и сердце, то знаетъ-ли она, что за актомъ любви послѣдуетъ кладка яицъ? Можно-ли дать на этотъ вопросъ опредѣленный отвѣтъ? И возможно-ли тутъ вообще такой отвѣтъ, который отвѣчалъ-бы разомъ на всѣ отдѣльные случаи этого вопроса? Можетъ-быть одна кукушка знаетъ, а другая не знаетъ. смотря по тому, какъ великъ или какъ малъ запасъ ея житейской опытности. Но мы видимъ, что американская кукушка, подобно всѣмъ другимъ птицамъ, свиваетъ себѣ гнѣздо тотчасъ послѣ того, какъ началась нормальная дѣятельность ея половой системы. Дѣйствуетъ-ли она въ этомъ случаѣ, какъ шарманка или нѣтъ? Что побуждаетъ ее къ этому дѣйствию? Тутъ можно выразить только два предположенія: или ей пріятно строить гнѣздо, то-есть, удовлетворивъ своему половому влеченію, она чувствуетъ потребность успокоиться, устыться на мѣстѣ, какъ можно комфортабельнѣе, и поэтому старается окружить себя тѣми удобствами, которыя ей можетъ доставить ея кукушечья ловкость и смѣлливость. Или-же она устраиваетъ гнѣздо съ опредѣленной цѣлью, т. е. поступаетъ такъ-же сознательно, какъ поступаетъ молодая женщина, заготовляющая колыбель и пеленки. Никакого третьяго предположенія допустить нельзя. Найдите мнѣ хоть одинъ примѣръ, чтобы какое-нибудь животное, находящееся въ совершенно здоровомъ состояніи, добровольно принимало на себя безъ всякой опредѣленной цѣли трудъ, не доставляющій ему въ данную минуту ни малѣйшаго наслажденія. Но первое предположеніе наше оказывается несостоятельнымъ. Еслибы птица чувствовала потребность устроить удобный пріютъ лично для себя, то европейская кукушка, находящаяся въ самомъ ближайшемъ родствѣ съ американской, также свивала-бы себѣ гнѣздо; мы знаемъ, напротивъ того, что она этого не дѣлаетъ, и что она устраиваетъ свои дѣла такъ, какъ это удобно для ея будущихъ дѣтей. Это значитъ, что шарманка, смотря по обстоятель-

ствамъ, играетъ то «la donna e mobile», то «Marlborough s'en va-t-en guerre», и самоотвѣчиваетъ обстоятельства и выбираетъ именно ту пьесу, которая всего болѣе соответствуетъ требованіямъ времени и мѣста. Согласитесь, что такая дипломатизирующая шарманка въ значительной степени похожа на примѣръ на опытнаго редактора, выбирающаго для своей книжки именно тѣ статьи, которыя въ данную минуту могутъ понравиться большинству читающаго общества. Согласитесь также, что, имѣя дѣло съ такой благовоспитанной шарманкой, мы не имѣемъ никакого разумнаго основанія утверждать сплеча, что въ ней не совершается никакого особеннаго процесса, или что въ ней совершается такой процессъ, который не имѣетъ ничего общаго съ размыслиеніемъ. Произнести слово *инстинктъ* очень не трудно, но вѣдь мы уже давно знаемъ эту исторію: Петръ женатъ на Авдотѣ, а Авдотья замужемъ за Петромъ. Отъ этого дѣла не подвигается дальше, ни взадъ, ни впередъ.

Много другихъ вопросовъ приходится задавать себѣ по поводу кукушкиныхъ поступковъ. Если она неслась въ нынѣшнемъ году, то запомнитъ ли она до будущаго года тотъ рядъ причинъ и слѣдствій, который составляетъ собою актъ дѣторожденія во всей его сложности и во всѣхъ различныхъ фазахъ его развитія? Этотъ вопросъ сводится на другой вопросъ, болѣе общій: способна-ли вообще кукушка или кака-нибудь другая близкая къ ней птица накоплять въ своемъ умѣ прямые указанія своего личнаго опыта? Если мы отвѣтимъ на этотъ вопросъ: «способна», то мы этимъ отвѣтомъ окончательно допустимъ возможность птичьяго прогресса въ самомъ обширномъ значеніи этого слова. Мы допустимъ не только прогрессъ породы, совершающійся втеченіи тысячелѣтій посредствомъ естественнаго выбора, но и прогрессъ отдѣльнаго субъекта, совершающійся втеченіи дней и мѣсяцевъ посредствомъ разнообразныхъ впечатлѣній, словомъ, — тотъ прогрессъ, который называется воспитаніемъ и который достается на долю каждому изъ насъ въ родительскомъ домѣ, въ школѣ и въ жизни. Если же мы отвѣтимъ: «неспособна», то я рѣшительно не знаю, какимъ образомъ мы объяснимъ на примѣръ слѣдующій общій фактъ, извѣстный каждому ружейному охотнику безъ исключенія. Когда вы приходите съ ружьемъ въ такую мѣстность, въ которой не было сдѣлано ни одного выстрѣла втеченіи многихъ лѣтъ, то вы можете смѣло идти прямо къ птицѣ, останавливаться въ нѣсколькихъ шагахъ отъ нея и совершенно открыто прицѣливаться; птица не полетитъ и даже будетъ смотрѣть на васъ съ нѣкоторымъ любопытствомъ. Когда-же вы, пользуясь этой первобытной невинностью птицъ, пострѣляете въ этой благословенной мѣстности недѣли двѣ, три, тогда птицы сдѣлаются гораздо болѣе осторожными, и вамъ при-

ется подкрадываться и употреблять различные стрости. Вамъ тогда всякій мужикъ скажетъ, что птица напугана, и вы вѣроятно не пойдете съ этихъ простыхъ словахъ ровно ничего удивительнаго, а между тѣмъ что значить «напугана»? Значить — составила себѣ понятіе объ опасности, которая прежде была ей неизвѣстна; значитъ — присоединила новый опытъ къ своему прежнему запасу житейскихъ опытовъ. Если это не прогрессъ, то я послѣ этого рѣшительно не знаю, что такое прогрессъ. Но если кукушка можетъ приобретать себѣ опытность посредствомъ личныхъ впечатлѣній, то не можетъ-ли она также кое-чему научиться, глядя на старшихъ кукушекъ? Отвѣчать на этотъ вопросъ отрицательно мы не можемъ. Если-же такая передача опыта изъ поколѣнія въ поколѣніе дѣйствительно существуетъ, то намъ необходимо будетъ въ каждомъ поступкѣ кукушки отдѣлять элементъ врожденности отъ элемента воспитанія.

То-же самое можно сказать о каждомъ поступкѣ каждаго другого животнаго. Пока намъ не удастся ясно разграничить эти два элемента, до тѣхъ поръ всѣ наши понятія объ умственныхъ отправленияхъ животныхъ будутъ въ высшей степени блѣдны и неудовлетворительны. Въ самомъ рельефномъ фактѣ, который извѣстенъ намъ изъ быта кукушки, въ инстинктѣ подкидыванія, какъ, или по крайней мѣрѣ мнѣ, представляется очень много неясныхъ сторонъ, требующихъ значительнаго количества изслѣдованій и наблюденій. Напримѣръ, кладетъ-ли кукушка свои яйца въ первое попавшееся гнѣздо, или она обнаруживаетъ предпочтеніе къ гнѣздамъ извѣстныхъ породъ? Если это предпочтеніе существуетъ, то какимъ именно образомъ оно выражается? Выбираетъ-ли кукушка то или другое гнѣздо, смотря по его формѣ? Или она кладетъ свои яйца къ такимъ птицамъ, которыхъ яйца до нѣкоторой степени похожи на кукушечьи? Вѣдь еслибы кукушка подкинула къ напирѣ къ курицѣ, то врядъ-ли это было бы особенно удобно для кукушечьяго потомства, потому что насѣдка при всемъ своемъ добродушіи никакъ не могла-бы принять кукушечье яйцо за свое собственное. Конечно къ курицѣ кукушка не можетъ подкинуть, но вѣдь есть и между лѣсными птицами такія, которыхъ яйца очень рѣзко отличаются отъ кукушечьихъ. Или наконецъ кукушка выбираетъ гнѣзда тѣхъ птицъ, которыхъ поменьше и послабѣе и которыхъ отъодвѣдательно подкинутый птенецъ можетъ со временемъ вышвырнуть изъ родительскаго пріюта? Все это вопросы въ высшей степени интересные, и еслибы они были удовлетворительно разрѣшены прямыми наблюденіями, то умственная жизнь кукушки разяснилась-бы для насъ въ значительной степени.

Я не ручаюсь за то, что эти вопросы вполнѣ удачно поставлены, но, мнѣ кажется, насъ не должно смущать то обстоятельство, что они по-

видимому предполагаютъ въ кукушкѣ очень обширное развитіе мыслительной дѣятельности. Наслѣдственная сообразительность, личный опытъ, вліяніе старшихъ птицъ, а главное — постоянный контроль естественнаго выбора, сохраняющаго только самые полезные инстинкты, все это вмѣстѣ можетъ дать намъ самые изумительные результаты. Грей и нѣкоторые другіе наблюдатели доказали, что европейская кукушка не совсѣмъ утратила свою материнскую нѣжность и свою заботливость о птенцахъ. Въ какой специальной формѣ проявляются эти свойства и какимъ образомъ они уживаются съ инстинктомъ подкидыванія — если только не примемъ самаго подкидыванія за вынужденное видоизмѣненіе материнской любви, — этого Дарвинъ не сообщаетъ; а такъ какъ мои личные зоологическія свѣдѣнія совершенно ничтожны, то и я ровно ничего не могу сообщить читателю о материнской нѣжности кукушки.

Можетъ-быть и даже вѣроятно, всѣ вопросы, на которые навели меня поступки этой птицы, давнымъ-давно поставлены и разрѣшены различными натуралистами, но наше читающее общество объ этомъ ровно ничего не знаетъ, и я также ровно ничего не знаю. Выписалъ же я всѣ эти вопросы, пришедшіе мнѣ въ голову, конечно не для того, чтобы принести пользу естествознанію; такая претензія была-бы смѣшна и глупа до послѣдней степени; а для того, чтобы показать подобнымъ мнѣ профанамъ, какая бездна непонятныхъ для насъ подробностей заключается въ каждомъ мельчайшемъ фактѣ, совершающемся ежеминутно передъ нашими глазами, въ каждомъ изъ тѣхъ безчисленныхъ фактовъ, которые мы по своей крайней неразвитости считаемъ совершенно простыми и незаслуживающими нашего просвѣщеннаго вниманія.

VI.

Самка американскаго страуса (*Rhea americana*), подобно кукушкѣ, несетъ яйца не каждый день, а черезъ два и черезъ три дня. Вслѣдствіе этого, нѣсколько самокъ составляютъ между собою ассоціацію и общими силами устраиваютъ на землѣ нѣсколько гнѣздъ; затѣмъ каждая изъ участвующихъ самокъ кладетъ въ первое гнѣздо по нѣскольку яицъ, и когда гнѣздо такимъ образомъ наполнится, то высиживаніе поручается одному изъ самцовъ. Черезъ два или черезъ три дня такимъ-же образомъ наполняется второе гнѣздо, затѣмъ третье, и такъ далѣе, до самаго конца носки. Повидимому этотъ инстинктъ въ настоящее время еще не успѣлъ окончательно сформироваться и установиться; многіе страусы роняютъ свои яйца, гдѣ случится, такъ что Дарвинъ, находясь на охотѣ, въ одинъ день видѣлъ на равнинѣ штукъ двадцать брошенныхъ и испорченныхъ яицъ этой породы. Инстинктъ ассоціаціи вырабатывается именно посредствомъ истре-

бленія этихъ яицъ. Та самка, которая постоянно будетъ усыпать своими яйцами равнины Южной Америки, разумеется, не оставитъ послѣ себя ни одного потомка и слѣдовательно никому не передастъ по наслѣдству свои безпорядочныя привычки. Напротивъ того, тѣ самки, которыя всего болѣе расположены къ составленію полезныхъ ассоціацій, выкормятъ себѣ самое многочисленное потомство, и въ этомъ новомъ поколѣніи повторится та-же самая исторія. Такимъ образомъ число безпечныхъ самокъ будетъ постоянно уменьшаться, а число самокъ, одаренныхъ общественными инстинктами, будетъ также постоянно возрастать до тѣхъ поръ, пока стремленіе къ ассоціаціи не сдѣлается непремѣннымъ свойствомъ каждого отдѣльнаго страуса подобно тому, какъ оно сдѣлалось свойствомъ пчелы и муравья.

Нѣкоторыя насѣкомыя поступаютъ совершенно такъ, какъ европейскія кукушки. Въ семействѣ пчелъ есть много паразитовъ, которые всегда кладутъ свои яички въ гнѣзда другихъ пчелиныхъ породъ, и это извращеніе инстинктовъ связано у нихъ съ измѣненіемъ въ организаціи. У этихъ чужеродныхъ пчелъ нѣтъ на ногахъ того снарада, посредствомъ котораго самостоятельныя пчелы собираютъ цвѣточную пыль, необходимую для пропитанія вылупившихся личинокъ. Многія породы осъ также воспитываютъ свое потомство на чужой счетъ. Въ этомъ отношеніи оса *Tachytes nigra* особенно замѣчательна потому, что у нея инстинктъ паразитизма въ настоящее время только-что развивается и до сихъ поръ находится еще въ неустановившемся состояніи. Обыкновенно она сама трудится для своего потомства, но при удобномъ случаѣ она воруетъ. Это насѣкомое принадлежитъ къ многочисленной группѣ тѣхъ осъ, которыя ведутъ одинокую жизнь и устраиваютъ въ землѣ гнѣздо для своихъ личинокъ; когда гнѣздо готово, тогда оса наполняетъ его съѣстными припасами; для этого она отправляется на охоту за разными насѣкомыми, которыхъ она побѣждаетъ большей частью посредствомъ нечаяннаго нападенія. Оса внезапно кидается на свою добычу и, пользуясь первой минутой ея испуга, схватываетъ ее своими острыми челюстями за голову; потомъ направляетъ заднюю часть своего тѣла подъ ея животъ и наноситъ ей рану своимъ жаломъ, находящимся въ связи съ ядовитой желѣзкой. Ядъ осы дѣйствуетъ на раненное насѣкомое мгновенно, но не убиваетъ его, а только погружаетъ въ совершенное оцѣпенѣніе, такъ что оно теряетъ способность стоять, ходить или вообще дѣлать какое-бы-то ни было произвольное движеніе. Оса переноситъ побѣжденное насѣкомое въ свое гнѣздо и продолжаетъ совершать такіе-же подвиги до тѣхъ поръ, пока не наберется достаточный запасъ парализованной добычи. Тогда она кладетъ свои яички и затѣмъ перестаетъ заботиться объ ихъ

дальнѣйшей участи. Изъ яичекъ выходятъ личинки — маленькіе, безногіе червячки, и тотчасъ принимаются за истребленіе съѣстныхъ припасовъ: съѣстные припасы эти съѣдки, потому что пораженные насѣкомыя не могутъ прожить въ гнѣздѣ осы нѣсколько или даже нѣсколько мѣсяцевъ. Они вѣдуютъ, какъ личинка въѣдается въ ло, но не могутъ оказать ни малѣйшаго тивленія своему слабому и ничтожному врагу. Гнѣздо осы попадаютъ такимъ образомъ въ довольствія ея потомства личинки или г различныхъ бабочекъ, мухи, мелкіе кузнецы, иногда даже пчелы, пауки и тараканы, ко оса побѣждаетъ послѣ упорной и опасной Оса *Tachytes nigra* обыкновенно поступаетъ точно такъ же, но если ей случается найти вырытое и уже наполненное трудами другой она кладетъ свои яички, и ея личинки ютъ то, что было назначено для потомконной хозяйки. *Tachytes nigra* не стало-быть въ переходномъ состояніи и сируетъ въ настоящее время между двумя личными складами привычекъ. Во многихъ семействахъ осъ чужеродные ин окончательнo установились и проявляются самыхъ разнообразныхъ видоизмѣненіяхъ, напримѣръ хризиды или золотыя осы, кладутъ свои яички въ гнѣзда пчелъ и гихъ осъ. Другія, напримѣръ ихневмоны, калываютъ кожу живыхъ гусеницъ и взрослыхъ насѣкомыхъ и кладутъ яички въ ихъ тѣло, такъ что личинки этихъ осъ живое существо, которое вмѣстѣ съ ними бѣгаетъ и летаетъ, до тѣхъ поръ, пока шенные гости не заберутся слишкомъ глубоко и не положатъ конецъ всякому бѣганію и. Наконецъ третьи, напримѣръ *Hemiteles solampus*, очень маленькія насѣкомыя, рязаются еще хитрѣе: они кладутъ свои яички въ такую чужеродную личинку, которая дитъ подъ кожей живого насѣкомаго. образомъ личинка осы *Brascon* наѣдается гусеницы, а въ это самое время ея сный жиръ истребляется личинкой *Hemiteles* точно такъ-же личинка *Aphidius* ѣстъ жи и сама съѣдается заживо личинкою *Chrysolampus*. При этомъ надо замѣтить, что *Hemiteles* и *Chrysolampus* никогда не воспитываютъ а такъ какъ эти насѣкомыя очень малы, то само собою разумеется, что въ должны встрѣчаться на каждомъ шагѣ этажныя строенія самой оригинальной природы. Первый этажъ — гусеница или трой — личинка *Brascon* или *Aphidius*, и личинка *Hemiteles* или *Chrysolampus*.

Карамзинъ въ «Письмахъ русскаго странника» сообщаетъ читателямъ, что нажды написалъ въ своемъ дневникѣ: «Д природы!» и заплакалъ отъ сладостнаго

бы Карамзину случалось иногда созерцать природѣ трехъ-этажныя зданія вышеописанной конструкціи, то по всей вѣроятности волн его было-бы менѣе сладостно, и можетъ-бы ему удалось-бы понять, что любезность оды совсѣмъ не такъ велика, какъ это можетъ показаться русскому путешественнику, енному чувствительнымъ сердцемъ и не менившему свой умъ полезными знаніями. Чемъ человѣческое остроуміе такъ неосторожно, знакомство человѣка съ природой такъ ослѣпительно, и замѣчательные умы, спеша объять и осмыслить всю совокупность со-ншихъ наблюденій, такъ рѣдки, что, кажется, за выдумать той идиллической нелѣпости, рая не нашла-бы себѣ глубокомысленныхъ стниковъ даже между современными евро-кини натуралистами. Дарвину приходится да сталкиваться съ такими соображеніями, рия сѣбло могутъ стать рядомъ съ «любез-природой» Карамзина.

Предыдущія замѣчанія, — говоритъ онъ, — гъ инѣ поводъ сказать нѣсколько словъ о про-ѣ, поднятомъ въ послѣднее время нѣкото-а натуралистами противъ утилитарнаго уче-по которому каждая подробность строенія илась для блага одареннаго ею организма. натуралисты полагаютъ, что многія черты нія созданы лишь для того, чтобы пре-тъ глазъ человѣка, или просто для разно-нн.»

вершенно справедливо разсуждаютъ эти умные натуралисты. Врасон вносить дра-ческое «разнообразіе» въ безцвѣтную гусеницы, а Hemiteles «прельщаетъ челою» поучительнымъ зрѣлищемъ осуднаго наказанія. А теперь мы снова обра-и къ менѣе философическимъ соображеніямъ. иды и другія осы, воспитывающія свое по-тво въ чужихъ гнѣздахъ, обыкновенно дѣй-отъ очень осторожно, подкрадываются къ ту во время отсутствія хозяйки и стараются кить свои яички такъ, чтобы хозяйка не за-ла ихъ послѣ своего возвращенія. Но та пче-и оса, которой принадлежитъ гнѣздо, также ить ухо остро, твердо помнить наружность ичан чужадныхъ породъ и при всякомъ номъ случай расправляется съ ними очень о. Вслѣдствіе этого происходятъ часто самыя атическія столкновенія между двумя чадо-выми матерьями, изъ которыхъ одна трудится своихъ дѣтей, а другая—также для своихъ й рѣшается на воровство, сопряженное съ ностью жизни.

Золотая оса *Hedychrum regium*, — говоритъ гъ Фохтъ въ своихъ «Зоологическихъ пись-», — кладетъ свои яйца въ гнѣзда обыкновен-стѣнной пчелы (*Osmia muraria*). Эти гнѣзда иваются на старыхъ стѣнахъ, часто на зна-альной высотѣ, и строительница наполняетъ

ихъ запасомъ меда и цвѣточной пыли. Эта пища, собранная пчелой для ея собственной личинки, сѣдается заблаговременно чужадными личин-ками золотой осы, если только послѣдней удается подкинуть свои яички въ гнѣздо. Одна золотая оса высмотрѣла гнѣздо такой стѣнной пчелы и, оборотившись задомъ къ этому гнѣзду, только что хотѣла просунуть заднюю часть своего тѣла въ отверстіе ячейки, чтобы положить въ нее свое яичко, какъ вдругъ стѣнная пчела прилетѣла домой съ грузомъ цвѣточной пыли, бросилась на своего врага съ особеннымъ жужжаніемъ и схва-тила осу своими острыми челюстями. Золотая оса, по обыкновенію своей породы, въ ту-же ми-нуту свернулась въ клубокъ. Пчела напрасно пыталась нанести ей рану сквозь твердый пан-цырь, и когда ея усилія въ этомъ отношеніи остались безплодными, тогда она наконецъ от-кусилась у нея всѣ четыре крыла у самаго корня и потомъ бросила ее на землю; послѣ этого пчела съ замѣтнымъ безпокойствомъ обыскала свое гнѣздо и, убѣдившись, что яичка нѣтъ, улетѣла опять на промыселъ. Стѣнная пчела полагала безъ сомнѣнія, что, откусивъ у золотой осы крылья, она отняла у нея возможность снова до-браться до гнѣзда. Но расчетъ этотъ былъ не-вѣренъ. Какъ только стѣнная пчела оставила свое гнѣздо, золотая оса, лежавшая на землѣ, развернулась, прямо по стѣнѣ поползла къ гнѣзду и положила въ него свое яичко.» («Зоологиче-скія письма» Карла Фохта).

Осторожность, хитрость, неустрашимая твер-дость характера, умѣніе свертываться въ клубокъ и чужадный инстинктъ—все это идетъ одно къ одному и все это должно было развиваться въ одно время. Всѣ эти особенности ума и тѣлосло-женія порождены гнетущей необходимостью, усовершенствованы постояннымъ упражненіемъ и упрочены непрерывнымъ дѣйствіемъ естествен-наго выбора. Каждое отдѣльное существо такой чужадной породы живетъ на свѣтѣ только вслѣд-ствіе удачнаго обмана, совершеннаго его матерью надъ какимъ-нибудь другимъ насѣкомымъ. Понят-но, стало быть, что только самыя хитрыя осы успѣваютъ пристроить своихъ личинокъ, и что искусство обманывать должно постоянно со-вершенствоваться, потому что блителность обира-емыхъ породъ также развивается посредствомъ естественнаго выбора. Золотая оса постоянно совершенствуется стѣнную пчелу, подобно тому, какъ Карлъ XII усовершенствовалъ стратегиче-скія способности Петра Великаго. Здѣсь, какъ и вездѣ, прогрессъ составляетъ прямое слѣдствіе борьбы и соперничества.

VII.

Инстинкты кукушки, американскаго страуса и чужадныхъ насѣкомыхъ могутъ быть названы очень простыми, если мы сравнимъ ихъ съ тѣми сложными проявленіями умственной дѣя-

теории, которая утверждает, что в общественной жизни есть и искусство. Но мы уже видели, что происхождение самых сложных и совершенных органов объясняется теорией естественного отбора так же удовлетворительно, как и происхождение самых простых и примитивнейших. Пусть животное перешло от воды к суше или к земле, а между тем и в воду, и на суше, и в воздухе, и все другие органы совершенствовались постепенно, и притом так, что каждое улучшение или усиление органа было полезно тому существу или, вкратце, той породе, у которой это усиление или улучшение происходило и упрочивалось. Вся разница между историей слона и историей какого-нибудь другого, более простого органа заключается только в том, что слон испытывал большее количество изменений, и что следовательно на его формирование потратились большие времена, то есть было значительно число животных поколений.

То же самое можно сказать и об инстинктах: тем проще инстинкт, тем скорее он мог выработаться; тем сложнее инстинкт, тем дольше ему надо было выработываться. Но как бы ни были усложнены какой-нибудь инстинкт, никогда его сложность не может служить убедительным аргументом в пользу необъяснимых скачков и против теории постепенных изменений. Отказаться от этой теории при встрече с очень сложными явлениями органической жизни — значит вообще отказаться от всякой попытки объяснить и понять происхождение этого явления, или, другими словами, значить отречься в самом направлении всякой дальнейшей научной работы. Когда вам говорят, что первый муравей произошел на свете со всеми своими лапками, челюстями, усиками и инстинктами, словом, совершенно в том самом виде, в каком его потоки являются перед вами в настоящую минуту, тогда, разумеется, у вас зародятся отныне навсегда всякую надежду узнать что-бы ни было о том, какими образом муравей возник и развивался. Теория Дарвина не посягает таким образом на будущее усилки науки; она открывает перед мыслителем тот единственный путь, который может современец вести человеческий ум в самые таинственные и недоступные лаборатории природы; но если бы мы стали требовать от этой теории, чтобы она теперь, тотчас же, объяснила нам все то, чего мы не понимаем, и чтобы она кроме того подтвердила все свои объяснения, в каждом отдельном случае, осязательными фактами, то такие требования обнаружили бы только крайнее ребячество нашей мысли, которая все ожидает, что когда-нибудь жареные рибчики сами собою свалятся к ней в рот. Встречаясь с инстинктами или умственными способностями животного царства, теория Дарвина больше чужд где-либо принуждена ограничиваться совершенно общими и

чисто гипотетическими объяснениями не в том еще не в силах справиться с фактом, напротив, потому, что фактов собрано много, и еще потому, что для простого зрителя не существует совести никаких таинственных данных. Мы можем думать много предположений на счет того, что с инстинктами развивалось так и так и притом так-то и так-то фазы, но показывать фазы в живой природе не всегда бывало возможным отыскать в геологических отложениях-нибудь намека на живущее существо, эти фазы мы различаем не в состоянии умственных способностей исчезнувших, мы не можем иметь ни жалкого понятия, каковы были инстинкты тех животных за несколько тысяч до нашего времени; и наконец совершенно невозможно было бы ожидать, что природа представит нам в настоящую такую непрерывную ряд родственных инстинктов, по которому мы могли бы дать все переходные фазы в развитии существующих инстинктов, начиная от самых простых и кончая самыми сложными. Уже давно, что усовершенствованные всегда объясняют и востребуют неустойчивую, а для сохранения породы инстинкты имеют такое же важное значение, как и мышцы, острота зрения. Значит, как и вездь, чуждая природа идет вперед и самими своим движением замещает за собой следы. В деле развития инстинктов развитие производится еще гораздо полнее, в деле развития органов. В большинстве случаев следы заметны во всем, и то увидится, никакой Дарвин не может сказать, что тут действительно совершалось и что оно проходило именно через тот С, D и так далее. Но зато ни один из мир не может также доказать, что в этом месте не существовало. На основании Дарвина, говоря о простых инстинктах, принимает строгое положение и не ищет здесь никаких подтверждений для своей теории доказывает, что здесь, как и вездь, природа не встречает себя непобедимых и никаких препятствий.

VIII.

Если вы посмотрите на восковой соты пчелы, то правильность и изящество архитектуры приведут вас в изумление еще больше удивитесь, когда узнаете, насколько это восковое строение приспособлено своей цели.

«По свидетельству математиков,—

антъ,—пчелы практически разрѣшили труд-гоометрическую задачу и придали своимъ снѣзку ту форму, при которой съ крайнимъ экономіею драгоценнаго воска онѣ могутъ имѣть наибольшее количество меда. Было вы-мнѣніе, что искусный работникъ, снаб-зай приличными орудіями для работы и из-дѣла, лишь съ большимъ трудомъ могъ-бы имѣть восковыя ячейки надлежащей формы, тѣмъ какъ это дѣлается въ совершенствѣ пчелою, трудящихся въ темномъ ульѣ.» теорія естественнаго выбора задаетъ себѣ въ случаѣ вопросъ: какимъ путемъ строитель-ство пчелы пришло къ своему тепереш-совершенству? Противники всякихъ раціо-нальнхъ объясненій немедленно возражаютъ, что этотъ самъ по себѣ неумѣстенъ, по-тому никакого пути тутъ не было, и пчела, есть пчела, такъ и была всегда пчелою, со своимъ строительнымъ искусствомъ и съ тѣмъ его совершенствомъ. Переспорить этихъ нельзя и разсуждать съ ними беспо-лезно. Но мы посмотримъ теперь, какія условія были для того, чтобы въ строительномъ искусствѣ пчелы можно было допустить возмоз-можнаго развитія. Прежде всего надо замѣтить, что этой сущности дѣла теорія естественнаго выбора въ настоящемъ случаѣ не можетъ пред-дѣлать никакихъ фактическихъ доказательствъ. Мы скажемъ защитнику этой теоріи: «по-чему намъ рядъ восковыхъ сотовъ, принадле-жащихъ къ разнымъ геологическимъ эпохамъ и представляющихъ въ своемъ строеніи различныя степени совершенства», то подобное требованіе не будетъ названо вполне законнымъ и бла-гоприятнымъ, и отъ насъ въ такомъ случаѣ мож-но ожидать, что мы вдругъ прикажемъ варію представить намъ въ подлинникѣ или соуса, приготовленный поваромъ Лу-или пожалуй Сарданапала. Если мы по-мимъ видѣть передъ собою сотни видовъ раз-ныхъ живыхъ пчелъ, которыя всѣ строили-бы ячейки различнымъ образомъ, такъ, чтобы каждая архитектура этихъ ячеекъ показала какимъ образомъ совершенствовался строи-тельный инстинктъ пчелы, то желаніе это будетъ замысловато, но по всей вѣроятности не-осуществимо. Люди во время оно шили себѣ платье изъ ревенныхъ листьевъ, а потомъ—изъ звѣри-шкуръ и пользовались жилами животныхъ для нитокъ, а рыбными костями—вмѣсто игло-но въ настоящее время трудно найти жи-вотныхъ такого сорта не только въ Пе-тербургѣ, но даже въ Москвѣ. Еслибы даже и существовалъ такой художникъ, то прожилъ-бы онъ въ вѣроятности недолго, потому что силь-ная конкуренція болѣе лукавыхъ товарищей за-манила-бы его торговлю и уморила-бы его го-лодомъ и смертью. Породы недоучившихся или от-казавшихся пчелъ постоянно должны были испыты-

вать на себѣ тѣ бѣдствія, которыя постигли-бы въ наше время ископаемаго портного. Поэтому и сохраниться до нашихъ временъ имъ было несо-вершенно удобно. Но мы знаемъ, что естественный выборъ можетъ дѣйствовать только на тѣ органы или инстинкты, которыхъ совершенствованіе по-лезно для данной породы. Слѣдовательно, мы мо-жемъ спросить: въ какомъ отношеніи изящная и правильная архитектура ячеекъ приноситъ пче-ламъ дѣйствительную пользу? Ну вотъ, слава Богу! договорились мы наконецъ до настоящаго дѣла. На этотъ вопросъ защитникъ теоріи обязанъ найти отвѣтъ *рано или поздно*, потому что врядъ-ли пчела стала-бы учиться и развиваться для того, чтобы вносить въ природу элементъ *разнообра-зья*, или для того, чтобы *прельщать глазъ че-ловѣка* красивой формой шестигранныхъ ячеекъ. Но и здѣсь я поставилъ слово *рано или поздно* потому, что мы при теперешнемъ состояніи на-шихъ фактическихъ знаній даже на дѣльные во-просы не имѣемъ права требовать отъ натура-листа немедленнаго отвѣта.

Что инстинктъ долженъ быть полезенъ — это ясно; но чѣмъ именно полезенъ — это во многихъ случаяхъ остается до сихъ поръ неизвѣстнымъ, потому что животныхъ очень много, а натура-листовъ очень мало. Впрочемъ въ вопросѣ о строительномъ инстинктѣ пчелъ намъ нѣтъ на-добности откладывать рѣшеніе въ долгій ящикъ. Извѣстно, что восковой сотъ необходимъ для пчелы, какъ колыбель молодого поколѣнія и какъ кладовая для сбереженія меда. Извѣстно также, что пчелы выделяютъ воскъ изъ своего организма очень медленно и въ незначительномъ количе-ствѣ; чтобы выдѣлать одинъ фунтъ воска, улей пчелъ долженъ съѣсть отъ двѣнадцати до пят-надцати фунтовъ сухого сахара; а такъ какъ пчелы, вмѣсто сухого сахара, ѣдятъ обыкновенно жидкій сахарный сиропъ, заключающійся въ цвѣ-тахъ, то имъ для выдѣленія одного фунта воска надо съѣсть несравненно больше пятнадцати фунтовъ цвѣточнаго сиропа, или нектара. Воскъ достается пчелѣ очень дорого, тѣмъ болѣе, что пчелы, занимающіяся выдѣленіемъ этого веще-ства, вмѣсто того чтобы вылетать изъ улья за добычей, должны втеченіи многихъ дней си-дѣть на одномъ мѣстѣ и ѣсть готовую пищу. Стало-быть, чѣмъ больше потребуется воска на сооруженіе ячеекъ, тѣмъ меньше будетъ приго-товлено меда, а для пропитанія пчелъ во время зимы необходимъ очень значительный запасъ этой пищи, и если запасъ окажется недостаточ-нымъ, то улей погибнетъ. Ясно стало-быть, что бережливость въ обращеніи съ воскомъ прямо рѣшается для колоніи пчелъ вопросъ о ея даль-нѣйшемъ существованіи. Пчеламъ, подѣ страхомъ голодной смерти, необходимо было разрѣшить на практикѣ ту мудреную геометрическую задачу, о которой говоритъ Дарвинъ, то есть имъ необхо-димо было отыскать для своихъ ячеекъ такую

форму, при которой наименьшее количество воска вмѣстало-бы въ себя наибольшее количество меда. Впрочемъ, пчелы, втеченіе многихъ и многихъ тысячелѣтій, медленно и ощупью подвигались впередъ къ рѣшенію этой задачи ихъ жизни; а въ это время естественный выборъ, дѣйствуя здѣсь на коллективныя единицы, постоянно сохранялъ только тѣ общины пчелъ, которыя въ этомъ отношеніи имѣли какое-нибудь, хотя малѣйшее, преимущество надъ другими. Такимъ образомъ польза строительнаго инстинкта пчелы доказана и слѣдовательно отысканъ тотъ путь, по которому этотъ инстинктъ, подъ вліяніемъ естественнаго выбора, долженъ былъ подвигаться впередъ къ своему теперешнему совершенству.

Кромѣ того теорія Дарвина можетъ здѣсь выдвинуть въ свою пользу такія пояснительныя подтвержденія, которыхъ мы не настоящему даже не имѣемъ права отъ нея требовать. Въ настоящее время существуютъ еще наѣкомыя, у которыхъ строительное искусство находится въ различныхъ, менѣе совершенныхъ фазахъ своего развитія. Шмели употребляютъ для храненія меда свои старые коконы—это низшая степень архитектурной техники. Иногда они придѣлываютъ къ коконамъ короткія восковыя трубочки—вторая степень. Иногда они строятъ изъ воска отдѣльныя ячейки, округлыя и очень неправильныя—третья степень. Въ Мексикѣ живетъ наѣкомое *Melipona domestica*, которое по строенію своего тѣла занимаетъ средину между шмелемъ и пчелою.

«Она строитъ, — говоритъ Дарвинъ, — почти правильный восковой сотъ изъ цилиндрическихъ ячеекъ, въ которыхъ развиваются личинки, и кромѣ того нѣсколько крупныхъ восковыхъ ячеекъ для храненія меда. Эти послѣднія ячейки почти шарообразны, приблизительно одинаковой величины и скучены въ неправильную массу».

Между шмелемъ и мелипоною съ одной стороны и между мелипоною и пчелою съ другой стороны, недостаетъ очень многихъ переходныхъ степеней. Кромѣ того, ни шмель, ни мелипова ни въ какомъ отношеніи не могутъ считаться прямыми предками пчелы; они могутъ быть названы только ея боковыми родственниками, остановившимися на низшихъ степеняхъ развитія. Несмотря на то, читатель конечно согласится, что простые инстинкты шмеля и усложняющіеся инстинкты мелипоны въ значительной степени помогаютъ намъ понять, какимъ образомъ могло сформироваться сложное и вполнѣ развитое архитектурное искусство обыкновенной пчелы. Готтентоты или алеуты также не могутъ считаться прямыми предками современныхъ англичанъ; а между тѣмъ образъ жизни существующихъ дикарей въ значительной степени разъясняетъ намъ многія подробности изъ далекаго прошедшаго цивилизованныхъ народовъ. Но еслибы

какія-нибудь обстоятельства погубили все шмелей и мелипонъ, или всѣхъ дикарей, живущихъ на земномъ шарѣ, то и тогда мы бы имѣли разумное основаніе думать, что всегда была отличнымъ архитекторомъ, англичане всегда пользовались неприкосновенностью жилища. Хотя шмель и мелипона интересны для натуралиста, а дикари—трополога, однако они ничѣмъ не застраиваютъ противъ уничтоженія и во всякое время исчезнуть съ лица земли такъ-же легко, всякая другая порода. Исчезновеніе изъ виду нисколько не могло-бы подорвать Дарвина и не имѣло-бы ничего общаго съ новою вопросомъ объ инстинктѣ пчелы, исторіи англійской конституціи.

Муравьи.

I.

Все рабочее населеніе ульевъ и муравейниковъ состоитъ изъ безплодныхъ самокъ, которые значительно отличаются отъ своихъ родителей устройствомъ тѣла, и еще сильнѣе расходными въ направленіи инстинктовъ и въ жизни. Родители, или вообще самцы и самки, совсѣмъ не работаютъ, а безплодныя самки напротивъ того трудятся постоянно при этомъ далеко превосходятъ самоцѣль довитыхъ самокъ своей породы развитіемъ ственныхъ способностей и спеціальной тѣловой ловкостью. Спрашивается, какимъ-же зомъ могли выработаться эти свойства рабочихъ и рабочихъ муравьевъ? — Ни одинъ изъ этихъ наѣкомыхъ не можетъ имѣть по слѣдовательно никому не можетъ перенести по наслѣдству особенности своего тѣла и своего инстинкта. Всѣ счастливыя и несчастныя уклоненія, всѣ результаты управленія развитія, все это умираетъ вмѣстѣ съ каждымъ отдѣльнымъ субъектомъ и не можетъ образовать постоянное качество всей породы. Рабочій муравей, отличающійся отъ своихъ родителей особенною ловкостью, или силой догадливостью, имѣетъ конечно преимущество надъ другими субъектами; въ силу этого онъ можетъ ихъ пережить; надѣясь, что онъ обнаружится такимъ образомъ дѣйствительнаго естественнаго выбора. Но во всякомъ случаѣ его личностіе не имѣетъ никакого вліянія на будущее, потому что этотъ муравей все-таки умретъ, хотя-бы онъ прожилъ сто лѣтъ, бы онъ былъ гениемъ первой величины. На рабочій муравей это долготѣіе и эта гениальность не имѣютъ никакого вліянія, потому что слѣдующаго поколѣнія родятся изъ этихъ дѣятельныхъ и даровитыхъ субъектовъ обыкновенныхъ и постоянно праздныхъ и самокъ. Повидимому, тутъ предстаетъ

для теоріи естественнаго выбора неопредѣлимое затрудненіе; повидимому, тутъ не можетъ быть постепеннаго улучшенія или очищенія породы, потому что отдѣльныя поколѣнія этой породы разобщены между собою, то-есть не происходятъ другъ отъ друга; а между тѣмъ только постоянное накопленіе мелкихъ усовершенствованій, передаваемыхъ изъ одного поколѣнія въ другое, могло-бы объяснить намъ то громадное и своеобразное развитіе умственныхъ способностей, до котораго дошли въ настоящее время рабочія пчелы и рабочіе муравьи. Если-же намъ придется допустить, что эти способности возникли мгновенно, безо всякаго подготовленія и историческаго развитія, то теорія Дарвина можетъ считать свое дѣло окончательно проиграннымъ, потому что здѣсь повидимому живой фактъ возмущается противъ теоріи и самымъ своимъ существованіемъ уличаетъ ее въ несостоятельность.

Дарвинъ сознается въ своей книгѣ, что инстинкты безплодныхъ наѣжкомыхъ долго казались ему неопровержимымъ возраженіемъ, окончательно губительнымъ для теоріи естественнаго выбора и медленныхъ видоизмѣненій. Однако онъ не отчаялся въ успѣхѣ и дѣйствительно отыскалъ ключъ къ пониманію этой живой загадки.

Рабочій муравей не можетъ имѣть дѣтей—это ясно; но у этого рабочаго муравья есть отецъ и мать, которые могутъ имѣть очень многочисленное потомство; стало-быть, у рабочаго муравья будетъ много братьевъ и сестеръ; братья всѣ будутъ способны къ половой дѣятельности, а изъ сестеръ одніе будутъ безплодны, подобно нашему рабочему, а другіе будутъ плодовиты, подобно своей родной матери. Если всѣ эти братья и сестры, плодовитые и безплодные, разбредутся въ разныя стороны, какъ только сдѣлаются способными добывать себѣ пищу безъ помощи родителей,—то произойдетъ очень простая исторія. Безплодная самка умретъ безъ потомства, плодовитая—народитъ кучу дѣтей; въ этомъ второмъ поколѣніи повторится та-же простая исторія: безплодная умретъ, плодовитая обзаведется семействомъ. То-же самое случится и въ третьемъ, и въ четвертомъ поколѣніи, и въ двадцатомъ, до тѣхъ поръ, пока безплодная самка совершенно переведется. Съ каждымъ поколѣніемъ безплодная самка будетъ становиться рѣже, потому что естественный выборъ будетъ постоянно направляться противъ нихъ матерей. Положимъ напримѣръ, что самка *A* родитъ постоянно безплодныхъ дочерей; ясно, что потомство этой самки въ слѣдующемъ-же поколѣніи совершенно прекратится, и что способность рожать исключительно безплодныхъ дѣтей рѣшительно, по самой сущности своей, не можетъ сдѣлаться наследственной. Другая самка *B* родитъ и безплодныхъ, и плодовитыхъ, а третья *C*—исключительно плодовитыхъ. Ясно, что у *C* окажется многочисленное потомство, чѣмъ у *B*. Чи-

сло дѣтей будетъ пожалуй одинаково у обѣихъ, но число внучатъ будетъ уже различно, и съ каждымъ новымъ поколѣніемъ различіе будетъ увеличиваться въ пользу *C*, если только обѣ самки, и *B*, и *C*, передадутъ свои личныя особенности всему плодovitому потомству. Но при одинаковыхъ условіяхъ быстро размножающаяся порода должна непременно, рано или поздно, вытѣснить и истребить породу, размножающуюся медленно. Такимъ образомъ самки, подобныя своей прародительницѣ *B*, то-есть имѣющія способность рожать иногда безплодныхъ, уничтожатся, и вслѣдствіе этого безплодіе перестанетъ существовать, если только оно не будетъ поддерживаться какими-нибудь искусственными средствами. Все это произойдетъ въ томъ случаѣ, когда плодовитые и безплодные братья и сестры будутъ расходиться въ разныя стороны и жить совершенно независимо другъ отъ друга. Но въ дѣйствительности дѣло приняло совершенно другой оборотъ, потому что въ породѣ муравьевъ проявилось стремленіе къ общественной жизни за много тысячелѣтій до тѣхъ временъ, когда въ младенческихъ обществахъ человѣка начали формироваться первыя очерки мнѣческихъ сказаній. Когда это стремленіе проявилось, то-есть, когда молодые члены семейства рѣшились оставаться на всю жизнь вмѣстѣ съ родителями и общими силами стали заботиться объ удовлетвореніи своихъ общихъ потребностей, тогда одинокіе муравьи должны были уничтожиться, потому что борьба и соперничество съ обществами во всѣхъ отношеніяхъ оказались имъ не по силамъ. Если шло дѣло на драку, то одинокаго колотили или убивали; если приходилось заготавливать запасъ пищи, то десять членовъ ассоціаціи, помогая другъ другу, добывали больше пищи, сохраняли ее лучше и съ большимъ успѣхомъ защищали ее противъ внѣшнихъ враговъ, чѣмъ пятнадцать одинокихъ личностей, дѣйствовавшихъ въ разсѣнную; когда надо было няньчить и кормить молодое поколѣніе, то и въ этомъ дѣлѣ общество обнаруживало свое превосходство надъ разрозненными единицами. Принципы раздѣленія труда и соединенія силъ даетъ себѣ знать вслѣдъ, гдѣ составляется общество и гдѣ появляется коллективный трудъ. Кто составляетъ общество и кто трудится—люди или муравьи—это рѣшительно все равно. Законы труда и свойства ассоціаціи остаются неизмѣнными при всѣхъ условіяхъ. Когда общежительные инстинкты муравья окончательно упрочились, тогда въ положеніи безплодныхъ самокъ произошла существенная перемѣна *).

*) Легко можетъ быть, что безплодіе совершенно не существовало во время одинокой жизни муравья и порождено именно складомъ его общественной жизни; но объ этомъ я поговорю впоследствии, а теперь я излагаю дѣло такимъ образомъ, чтобы рельефнѣе выставить противоположность между одинокимъ и общежительнымъ періодомъ муравьиной исторіи.

Надо замѣтить, что въ мірѣ животныхъ безплодіе часто соединяется съ самыми разнообразными измѣненіями въ тѣлосложеніи. «Намъ даже извѣстны, — говоритъ Дарвинъ — въ разныхъ породахъ скота особенности въ рогахъ, сопряженные съ искусственнымъ несовершенствомъ мужескаго пола: волю извѣстныхъ породъ имѣютъ рога болѣе длинные, чѣмъ коровы и быки тѣхъ-же породъ.» Извѣстно также, что оскотеніе человѣка ведетъ за собою измѣненія въ голосѣ, въ развитіи волосъ на бородѣ, въ цвѣтѣ лица и во всемъ складѣ характера. Если-же безплодіе производится не насильственнымъ истребленіемъ половыхъ частей, а медленнымъ и глубокимъ вліяніемъ развитія и воспитанія даннаго субъекта, то, разумѣется, надо ожидать, что различіе между безплоднымъ и плодовитымъ животнымъ окажется гораздо значительнѣе, чѣмъ различіе между воломъ и быкомъ, или между евнухомъ и мужчиной. Замѣчено вообще, что напряженная дѣятельность мозга рѣдко уживается съ напряженной дѣятельностью половой системы. Люди, сильно работающіе умомъ, рѣдко оставляютъ послѣ себя многочисленное потомство, и Джонъ-Стюартъ Милль весьма усердно и настоятельно совѣтуетъ женщинамъ побольше размышлять, чтобы поменьше предаваться нагубному занятію дѣторожденія. Во всемъ мірѣ животныхъ можно также замѣтить то общее явленіе, что животное размножаетъ свою породу тѣмъ быстрѣе, чѣмъ несовершеннѣе строеніе его мозга. У безплодныхъ муравьевъ половые органы остаются на всю жизнь въ томъ зачаточномъ положеніи, въ какомъ они находились у муравьиной личинки, только что вылупившейся изъ яйца. Стало-быть, есть основаніе думать, что мозгъ безплодной самки развивается въ ущербъ половой системѣ, и что вслѣдствіе этого безплодное наѣдкомое всегда становится немногимъ умнѣе плодовитаго, безъ всякаго содѣйствія естественнаго выбора. Когда у муравьевъ и у ичелъ укоренились общественныя привычки, тогда это легкое умственное превосходство безплодныхъ субъектовъ получило очень важное значеніе для благосостоянія каждаго отдѣльнаго общества.

II.

Представимъ себѣ, что въ какой-нибудь извѣстной существующей колоніи сотенъ или нѣсколькихъ тысячъ муравьинокъ, населяемыхъ самками, самками и безплодными субъектами. Эти муравейники конечно ведутъ между собою такую-же ожесточенную и разнообразную борьбу, какую до составленія общества вели между собою отдѣльные муравьи.

Муравейники нападаютъ другъ на друга, убиваютъ другъ у друга личи, похищаютъ другъ у друга хлѣбъ, и во войнахъ этихъ принимаютъ, принявъ или не принявъ, те-сѣ выдѣ-

жающіеся въ видѣ открытой драки или въ видѣ глухой борьбы за средства къ существованію, — во всѣхъ этихъ столкновеніяхъ, говорю я, побѣда остается на сторонѣ сильнѣйшаго муравейника, точно такъ, какъ она прежде оставалась на сторонѣ сильнѣйшаго муравья. Побѣжденные муравейники погибаютъ, и причины ихъ гибели такъ-же разнообразны, какъ въ свое время были разнообразны причины гибели отдѣльных муравьевъ. Одинъ муравейникъ погибаетъ подъ ударами сосѣдняго общества, заключающаго въ себѣ большое количество сильныхъ, храбрыхъ или хитрыхъ наѣдкомыхъ. Другой ослабѣваетъ отъ голода, потому что его жители уступаютъ сосѣдямъ въ умѣньи добывать себѣ пищу. Третій размывается дождемъ, потому что жители не умѣютъ строить такіе своды и крыши, которые могли-бы устоять противъ дѣйствія водяныхъ капель. Въ четвертомъ числѣ жителей постоянно убавляется отъ плохого воспитанія личинокъ или отъ того, что самки слишкомъ ревностно исполняютъ спасительный совѣтъ Джона-Стюарта Милля. Въ то-же время рядомъ съ этими слабыми, голодными и угнетенными обществами существуютъ общества сильныя, сытыя и угнетающія другихъ. Спрашивается, на чемъ-же основано различіе между первыми и вторыми? Очевидно на томъ, что вторые располагаютъ большей массой сильныхъ мускуловъ и дѣятельныхъ мозговъ. Для благосостоянія муравейника необходимо, чтобы число его жителей не уменьшалось, чтобы эти жители умѣли добывать себѣ много пищи, чтобы они умѣли построить себѣ удобное и прочное жилище, чтобы они заботливо ухаживали за своими личинками, и наконецъ чтобы они во всякое время могли встрѣтить и отразить нашествіе своихъ враждебныхъ единоплеменниковъ и сосѣдей. Если въ муравейникѣ слишкомъ много безплодныхъ самокъ, то число жителей уменьшается; вслѣдствіе этого общество, рано или поздно, погибаетъ естественной или насильственной смертью. Если въ муравейникѣ слишкомъ мало, то оказывается недостатокъ въ умственныхъ силахъ и въ технической ловкости вслѣдствіе этого сосѣдніе муравейники приобретаютъ перевѣсъ и со временемъ губятъ это оставшее общество. Такимъ образомъ естественный выборъ постоянно сохраняетъ тѣ общества, которыя строже своихъ соперниковъ поддерживаютъ у себя должное равновѣсіе между дѣятельностью мозга и дѣятельностью половой системы, то-есть между количествомъ безплодныхъ и количествомъ плодовитыхъ жителей. Но отчего-же зависить поддержаніе этого должнаго равновѣсія?

Дарвинъ говоритъ, что оно зависитъ отъ различныхъ особенностей въ тѣлосложеніи плодовитыхъ субъектовъ. Если самка муравья рождаетъ безплодныхъ дѣтей, то политич. причина этого

явленія заключается въ томъ или другомъ свойствѣ ея организма; это свойство, подобно всякому другому, подвержено индивидуальнымъ колебаніямъ, то-есть у одной самки развито сильнѣе, у другой—слабѣе, и нѣкоторыя изъ этихъ колебаній выгодны для муравейника, а другія невыгодны. Какое это свойство и какія въ немъ могутъ быть колебанія—этого мы не знаемъ, но наше незнаніе нисколько не должно насъ смущать или изумлять. Мы также не знаемъ напри-
мѣръ, почему у одной четы супруговъ рождаются постоянно мальчики, у другой — дѣвочки, а у третьей—и дѣвочки, и мальчики. Однако не было-бы удивительно утверждать, что это дѣлается безъ причины, и еще неостроумнѣе было-бы произносить по этому поводу бессмысленное слово «случай», выражающее то, что въ дѣйствительности не существуетъ нигдѣ и не существовало никогда. Не трудно понять, что причина должна заключаться въ тѣлосложеніи родителей или въ обстоятельствахъ ихъ жизни и ихъ взаимныхъ отношеній.

Уничтожая одни муравейники и сохраняя другіе, естественный выборъ черезъ это уничтожаетъ вредныя и сохраняетъ полезныя колебанія, проявляющіяся въ тѣлосложеніи плодовыхъ субъектовъ. Рано или поздно полезныя колебанія упрочиваются, и вслѣдствіе этого плодовые самки будутъ постоянно рождать плодовыхъ и бесплодныхъ дѣтей въ надлежащей пропорціи. Точно такимъ-же образомъ естественный выборъ постоянно благоприятствуетъ тѣмъ муравейникамъ, въ которыхъ живутъ самые умные, самые дѣятельные и самые ловкіе работники. Такимъ муравейники процвѣтаютъ и отличаются особенной долголѣтностью, а вмѣстѣ съ этими муравейниками сохраняются и упрочиваются тѣ половыя особенности самцовъ и самокъ, которыя сообщаютъ бесплодному потомству умъ, дѣятельность и ловкость.

Итакъ, естественный выборъ дѣйствуетъ не на тѣхъ животныхъ, которыя сами обладаютъ умомъ, дѣятельностью и ловкостью, а на тѣхъ, которыя составляютъ причину этихъ свойствъ, то-есть—на родителей рабочихъ наѣжкомыхъ, и вообще на все плодовитое населеніе муравейника или улья. Такимъ образомъ развитіе и совершенствованіе становятся возможными и даже необходимыми.

«Моя вѣра, — говоритъ Дарвинъ, — въ могущество выбора простирается до того, что я не сомнѣваюсь, что можно было-бы постепенно образовывать породу, въ которой воны имѣли-бы постоянно необыкновенно длинныя рога, лишь тщательно наблюдая, какіе быки и коровы производятъ самыхъ длиннорогихъ воловъ, несмотря на то, что ни одинъ волъ не могъ-бы передать своихъ признаковъ породѣ.»

Такъ, полагаю я, было и съ общественными наѣжкомыми; легкое видоизмѣненіе въ строеніи,

въ инстинктѣ, сопряженное съ бесплодіемъ. нѣкоторыя изъ членовъ общины, было для нея выгодно; слѣдственно, плодовые самцы и самки той-же общины благоденствовали и передавали своему плодовитому потомству расположеніе къ произведенію бесплодныхъ членовъ, видоизмѣненныхъ подобнымъ образомъ. И я полагаю, что этотъ процессъ повторялся, пока не обозначилось между плодовитыми и бесплодными самками одного вида то разительное различіе, которое представляютъ многія общественныя наѣжкомыя. Я подчеркнулъ слово *общественныя*, потому что въ немъ заключаются весь смыслъ этого явленія и единственный ключъ къ его пониманію. Если-бы нормальное бесплодіе и связанное съ этимъ бесплодіемъ развитіе особенныхъ инстинктовъ существовало въ такой породѣ животныхъ, которая ведетъ одинокую жизнь, то подобное явленіе оказалось-бы совершенно необъяснимымъ, и одного такого примѣра было-бы достаточно, чтобы навсегда погубить теорію Дарвина. Но такихъ явленій не подмѣтилъ до сихъ поръ ни одинъ натуралистъ, и слѣдовательно теорія естественнаго выбора остается неприкосновенной и неподбѣдной.

III.

Теперь уже намъ не трудно будетъ прослѣдить въ общихъ чертахъ дальнѣйшее развитіе муравьиной породы. Въ общественной жизни муравьевъ встрѣчается много замѣчательныхъ явленій, и всѣ эти явленія нисколько не противорѣчатъ теоріи естественнаго выбора.

«Во многихъ видахъ муравья, — говоритъ Дарвинъ, — безполныя особи разнятся не только отъ плодовыхъ самцовъ и самокъ, но и между собою, распадаясь такимъ образомъ на двѣ или даже на три касты. Эти касты сверхъ того обыкновенно не представляютъ переходовъ между собою, но такъ-же рѣзко разграничены, какъ любыя виды одного рода или, точнѣе, роды одного семейства. Такъ, у *Eciton* есть безполныя рабочіе и воины съ чрезвычайно разнообразными челюстями и инстинктами; *Gryptoerus* рабочіе лишь одной касты снабжены очень страннымъ щитомъ на головѣ, употребленіе котораго совершенно неизвѣстно; у мексиканскаго *Murgescystus* рабочіе одной касты никогда не оставляютъ гнѣздо; ихъ кормятъ рабочіе другой касты и у нихъ безмѣрно развитое брюхо, выделяющее родъ меда, замѣняющаго выдѣленіе тлей или дойнаго скота, содержиимаго *) нашими европейскими муравьями.»

Факты эти не представляютъ никакихъ серьезныхъ затрудненій для теоріи естественнаго вы-

*) Ухитрился-же г. переводчикъ наизъять три при-
частія и три придаточныя предложенія одно на дру-
гое: 1) «выделяющее... 2) «замѣняющаго»..... и 3)
«содержимаго»!....

бора и доказывают только, что тѣлосложение муравья отличается вообще замѣчательной гибкостью и измѣнчивостью. Раздѣленіе рабочаго населенія на касты объясняется очень просто. — Положимъ, что существуютъ въ близкомъ сосѣдствѣ между собою нѣсколько муравейниковъ вида *Eciton*. Дѣйствіе происходитъ въ глубокой древности. У *Eciton* еще не успѣли образоваться двѣ касты рабочихъ и воиновъ, а существуетъ только одна каста безплодныхъ самокъ, которые немного умнѣе и дѣятельнѣе своихъ родителей и плодовитыхъ сестеръ. Въ это время въ муравейникѣ *A* обнаруживается въ тѣлосложеніи нѣсколькихъ безплодныхъ самокъ легкое уклоненіе, вслѣдствіе котораго челюсти ихъ становятся немного покрѣпче, а характеръ немного позадорнѣе, чѣмъ у другихъ муравьевъ того-же вида. Эти задорные и зубастые муравьи заводятъ драку съ сосѣднимъ муравейникомъ *B* и, благодаря своимъ челюстямъ и своей храбрости, одерживаютъ рѣшительную побѣду. Муравейникъ *B* окончательно разоряется; часть жителей погибаетъ въ сраженіи и поѣдается побѣдителями; остальные разбѣгаются по окрестностямъ и умираютъ отъ голода и отъ разныхъ лишеній, потому что они уже разучились вести ту одинокую жизнь, которую въ былое время вели ихъ предки. Та-же жестокая участь постигаетъ общества *C*, *D* и *E*. Муравейникъ *A* торжествуетъ и процвѣтаетъ, свирѣпствуетъ въ своемъ околоткѣ и постоянно обжирается трупами и куколками побѣжденных враговъ. Но въ одинъ прекрасный день онъ сталкивается съ муравейникомъ *F* и, къ своему крайнему изумленію, встрѣчаетъ такой энергическій отпоръ, какого ему до той минуты не случалось испытывать нигдѣ; оказывается, что самки муравейника *F* также произвели на свѣтъ храбрыхъ и зубастыхъ дѣтей, которые уже успѣли показать свою удалъ муравейникамъ *G*, *H* и *K*. Такимъ образомъ муравейники *A* и *F* остаются неразоренными и въ случаѣ войны отражаютъ другъ друга съ одинаковымъ успѣхомъ. Но равновѣсіе между ними продолжается только до тѣхъ поръ, пока въ одномъ изъ нихъ не обнаружится дальнѣйшее развитіе храбрости и зубастости *). Кто обогналъ противника въ этомъ отношеніи, тотъ и побѣдилъ. Малѣйшее выгодное измѣненіе въ тѣлосложеніи воинственныхъ рабочихъ рѣшитъ вопросъ, кому изъ этихъ завоевательныхъ республикъ жить и кому умирать. Борьба можетъ тянуться десятки лѣтъ, потому что общества муравьевъ, подобно обществамъ пчелъ и государствамъ людей, существуютъ постоянно до тѣхъ поръ, пока ихъ не разрушить стеченіе какихъ-нибудь неблагоприятныхъ об-

стоятельствъ. Муравейники *A* и *F* разрастаются и основываютъ множество колоній, потому старое помѣщеніе становится слишкомъ тѣсно для увеличившагося числа жителей. Гдѣ прежде общества *B*, *C*, *D*, *E*, *G*, *H* и *K* поселяются потомки зубастыхъ и воинственныхъ муравьевъ *A* и *F*. Эти потомки—всѣ зубасты и воинственны, но въ одномъ изъ этихъ обществъ, въ какомъ-нибудь муравейникѣ обнаруживается особенное развитіе этихъ чesкихъ качествъ. Тогда *Z* истребляетъ колоніи *A* и *F* вмѣстѣ съ обѣими метрополиями, разросшимися въ свою очередь, на ихъ развалинахъ основываетъ свои колоніи, еще болѣе брыя и зубастыя. Черезъ нѣсколько времени же самая исторія повторяется въ потомствѣ муравейника *Z*. Тотъ, кто сильнѣе, торжествуетъ, и такимъ образомъ общій умъ муравьиного могущества постоянно возвышается, потому что все, что стоитъ ниже этого, ежедневно и ежеминутно уничтожается, тѣмъ враговъ, то голодомъ, то разными другими причинами. Сами герои или, вѣрнѣе, героини могутъ передать свои достоинства потомству, у героинь есть родители и плодовитыя сестры, которыя, живя съ героинями въ одномъ муравейникѣ и пользуясь плодами ихъ побѣдъ, бласловляютъ и постоянно производятъ на свѣтъ новыхъ поколѣній завоевателей.

Теперь намъ надо еще объяснить, почему такимъ образомъ рядомъ съ кастой воиновъ хранилась и развивалась каста работниковъ. Частъ на этотъ вопросъ очень не трудно. Муравейники были такъ-же необходимы для существованія общества, какъ войны были необходимы для отраженія враговъ. Пока герои совершали свои подвѣды, личинки могли умереть съ голода, куколки могли измокнуть подъ дождемъ, если муравейникъ не было дѣятельныхъ и рабочихъ субъектовъ, воспитывающихъ молодыхъ и предохраняющихъ его отъ всякаго несчастія. Положимъ, что въ муравейникѣ *L* безплодныя самки одарены воинственнымъ клонностямями и соотвѣтствующимъ тѣлосложениемъ; въ муравейникѣ *N*, напротивъ того, безплодныя самки относятся къ кастѣ работниковъ, а въ третьемъ муравейникѣ *M* есть и воины, и работники. Ясно, что послѣдній муравейникъ переживетъ своихъ одностороннихъ сосѣдей; *N* по всей вѣроятности будетъ заваянъ и разоренъ, а *M* ослабѣетъ и погибнетъ отъ того, что некому будетъ заботиться о куколкахъ и куколкахъ. Мы видѣли выше, какимъ образомъ естественный выборъ можетъ привести къ тому результату, что въ каждомъ муравейникѣ будетъ находиться именно столько плодныхъ и столько плодовитыхъ самокъ, сколько того требуетъ благосостояніе общества. Этотъ результатъ будетъ достигнутъ, тогда естественный выборъ, продолжая дѣйствовать

*) У муравьевъ нѣтъ зубовъ, и читатель конечно понимаетъ, что выраженія: «зубастый» и «зубастость» употребляются для большей краткости вмѣсто словъ: «одаренный сильными челюстями» и «сильное развитіе челюстей».

кнему, тѣмъ-же самымъ способомъ устроить, что изъ числа бесплодныхъ одна часть будетъ одарена однимъ тѣлосложеніемъ, а другая — другимъ. Сначала разница между этими двумя ядами будетъ очень невелика, но если для общества выгодно, чтобы эта разница увеличилась, то и увеличится, потому что дочеріе другихъ будутъ оказываться тѣ муравьи, въ которыхъ работники и воины сильно отличаются другъ отъ друга. Можетъ случиться, что эти двѣ касты въ свою очередь разьются на новыя касты, и эти подраздѣленія же сдѣлаются постоянными, если только они будутъ полезными для муравейника въ данную минуту и при данныхъ условіяхъ мѣстности. Такимъ путемъ произошли — щитъ на головѣ *gurtocerus* и медоточивое брюхо у *Murgesocerus*.

IV.

естественный выборъ постоянно сохраняетъ свое видоизмѣненіе въ организаціи рабочаго явля. Но спрашивается, какія именно причины производятъ эти видоизмѣненія? Зависятъ ли вполнѣ отъ тѣлосложенія родителей, или нѣтъ дѣйствуютъ какія-нибудь другія вліянія? Я робко отвѣтилъ на этотъ вопросъ, но предлагаю читателю, что отвѣтъ мой будетъ вынесенъ въ формѣ догадокъ, сомнѣній и предположеній.

какъ у пчелъ, такъ и у муравьевъ, каждая самка кладетъ яйца трехъ родовъ — сначала для рабочихъ, потомъ для самцовъ и наконецъ для плодовыхъ самокъ. Изъ этихъ яицъ выходятъ личинки, и въ первое время существованія личинки рабочихъ нисколько отличаются отъ личинокъ плодовыхъ самокъ. Существуетъ-ли въ личинкѣ расположеніе сдѣлаться со временемъ бесплоднымъ или плодитымъ насккомъ, этого мы не знаемъ, достоверно извѣстно, что это расположеніе, оно существуетъ, можетъ быть переработано воспитаніемъ. Воспитаніе имѣетъ въ этомъ случаѣ огромное значеніе. Это доказывается тѣмъ, что муравьи и пчелы содержатъ будущихъ рабочихъ совсѣмъ не такъ, какъ будущихъ самцовъ: пища, помѣщеніе, уходъ — все совершенно различно. Пчелы, всегда соблюдающія въ расходѣ воска крайнюю бережливость, строятъ будущихъ самокъ или матокъ отъ шести до десяти ячеекъ такой величины, что на каждую личинку тратится во сто разъ больше воску, чѣмъ на ячейку простой рабочей. Разумѣется, что не стали-бы этого дѣлать безъ надобности. И того извѣстно, что, въ случаѣ необходимости, пчелы могутъ сформировать себѣ новую матку изъ такой личинки, которой сначала назначено было сдѣлаться рабочей.

Если на бѣду, — говоритъ Карлъ Фохтъ, — ста-

рая матка останется въ живыхъ до тѣхъ поръ, пока молодыя матки начнутъ выходить изъ куколокъ, то она ихъ умертвитъ безъ милосердія, и рабочія не будутъ сопротивляться этому поступку. Но такъ какъ старая царица *) въ это время уже неспособна класть яйца, то общество разсѣивается послѣ ея смерти; или-же рабочіе формируютъ себѣ новую царицу, то-есть переносятъ рабочую личинку, которой еще не минуло трехъ дней, въ царскую ячейку и кормятъ ее царской пищей; при такихъ условіяхъ ея половыя части развиваются, а при простомъ рабочемъ содержаніи онѣ остаются въ зачаточномъ состояніи.» («Зоологическія письма».)

Муравейникъ никогда не терпитъ недостатка въ плодовыхъ самкахъ, и поэтому муравьямъ нѣтъ никакой надобности формировать себѣ самку изъ рабочей личинки. Но зато случается довольно часто, что плодовая самка муравья работаетъ сама надъ построеніемъ ячеекъ и, это обстоятельство доказываетъ, что разстояніе между инстинктами плодовыхъ и бесплодныхъ муравьевъ не такъ громадно, какъ можно было-бы подумать, глядя на обыкновенный образъ жизни тѣхъ и другихъ.

«Основаніе новыхъ муравьиныхъ обществъ, — говоритъ Фохтъ, — происходитъ слѣдующимъ образомъ: въ августѣ, послѣ полудня, громадные рои крылатыхъ самцовъ и самокъ оставляютъ гнѣзда и совокупляются на воздухѣ. Самцы умираютъ почти тотчасъ послѣ совокупленія; большую часть самокъ рабочіе ловятъ и уводятъ назадъ въ муравейникъ, гдѣ самки кладутъ яйца преимущественно во время весны будущаго года. Оплодотворенныя самки, не пойманныя рабочими, прежде всего сами обрываютъ себѣ крылья, слабо прикрѣпленные къ ихъ тѣлу, а потомъ устраиваютъ въ землѣ галлерею и присоединяютъ къ ней комнатки, въ которыя онѣ кладутъ яйца для рабочихъ. Какъ только эти рабочія разовьются, такъ онѣ начинаютъ помогать матери въ ея работахъ, проводятъ вмѣстѣ съ нею зиму и съ весны ведутъ хозяйство дальше, между тѣмъ какъ самка, подобно пчелиной маткѣ, занимается съ этого времени исключительно кладкой яицъ и соблюдаетъ при этомъ ту-же очередь, то-есть, кладетъ сначала рабочія яйца, потомъ мужскія и наконецъ женскія.» («Зоологическія письма».)

Оказывается такимъ образомъ, что воспитаніе можетъ сдѣлать изъ рабочей личинки пчелиную матку, и что обстоятельства жизни могутъ на время превратить праздную самку муравья въ очень усердную работницу. Рожденіе, воспитаніе и обстоятельства жизни — вотъ тѣ три элемента, которые создаютъ тѣлосложеніе и весь характеръ

*) Извѣстно, что пчелиная матка называется также царицей; но-вѣмочки ее даже всегда называютъ *Königin* — королева.

врослого наѣкомаго. Но рѣшить, *что* именно вложено самкой въ яичко и *что* дано впоследствии воспитаніемъ личинки—это такая задача, которая въ настоящее время превышаетъ силы естествоиспытателей. Дарвинъ повидимому расположенъ думать, что *вліаніе* матери очень значительно, то-есть, что почти всѣ свойства и особенности будущаго наѣкомаго заключены въ яичкѣ и находятся въ немъ въ ту минуту, когда это яичко отдѣляется отъ тѣла матери. Склонность Дарвина къ этому мнѣнію выражается въ томъ, что онъ, говоря объ инстинктахъ и тѣлосложеніи бесплодныхъ наѣкомыхъ, постоянно напиралъ на половую систему ихъ родителей и совершенно оставлялъ въ сторонѣ воспитаніе личинокъ. Не противорѣча идеямъ великаго натуралиста, я въ этомъ случаѣ позволю себѣ обратить вниманіе читателя на ту сторону дѣла, которую Дарвинъ отодвинулъ на второй планъ.

Половые части личинки,—по словамъ Карла Фогта,—«находятся въ совершенно зачаточномъ положеніи и выражаются преимущественно во внутреннихъ органахъ, приготовляющихъ сѣмя или яички, но эти органы чрезвычайно малы и съ трудомъ могутъ быть отысканы.» («Зоологическія письма».) «Во время кукольнаго періода,—говоритъ онъ далѣе,—формируются изъ жирнаго тѣла личинки преимущественно половые части, такъ что болѣшая часть наѣкомыхъ способна къ оплодотворенію тотчасъ послѣ своего выхода изъ кокона.»

«Червовидныя личинки бабочекъ, мухъ, жуковъ и т. д.,—говоритъ Дарвинъ,—гораздо ближе схожи между собою, чѣмъ полныя наѣкомыя,iota личинки, какъ зародыши дѣятельные, приспособлены къ разнымъ образамъ жизни.» «Въ силу такихъ особыхъ приспособленій,—говоритъ онъ далѣе,—сходство между личинками или дѣятельными зародышами сродныхъ животныхъ значительно затемняется.»

Мы видимъ изъ этихъ двухъ мѣстъ, что Дарвинъ считаетъ *личинки* дѣятельнымъ *зародышемъ* наѣкомаго, то-есть *зародышемъ*, ведущимъ свою самостоятельную жизнь и развивающимся на свободѣ, а не въ тѣлѣ своей матери. А на страницѣ 7-й Дарвинъ говоритъ такъ: «опыты Жоффруа-Сентъ-Илера доказываютъ, что вліаніе неестественныхъ условій на *зародыши* производитъ уродливости, и между уродливостями и уклоненіями нельзя провести рѣзкой границы. Теперь, читатель мой, потрудитесь вывести общія заключенія изъ всѣхъ этихъ выписокъ. *У личинки* половая часть находится въ зачаточномъ состояніи—стало-быть, разовьются-ли эти части, или останутся онѣ навсегда неразвитыми—это такой вопросъ, который рѣшается во время жизни личинки, а не въ ту минуту, когда самка кладетъ яичко. *Половые части наѣкомаго вырабатываются изъ жирнаго тѣла личинки* въ то время, когда личинка находится

уже въ состояніи куколки; стало-быть, для того чтобы эти части выработались, необходимо известное количество жирнаго вещества, а это жирное вещество, разумеется, добывается личинкой изъ пищи, и личинка обыкновенно бываетъ очень прожорлива именно потому, что ей надо накопить матеріалы для будущихъ видоизмѣненій. Но если личинку будутъ кормить скупо, то она конечно ничего не накопитъ, и половыя частямъ не изъ чего будетъ сформироваться. У животныхъ, ведущихъ одинокую жизнь, личинка всегда ѣстъ столько, сколько сама пожелаетъ, а у общежительныхъ животныхъ личинку держатъ въ заперти и ее кормятъ взрослые наѣкомыя, руководствуясь при этомъ своими особыми соображеніями. Въ этомъ обстоятельствѣ можно видѣть одну изъ причинъ, почему бесплодіе проявляется постоянно только у общежительныхъ наѣкомыхъ. Если *личинка есть дѣятельный зародышъ* и если *вліаніе неестественныхъ условій производитъ въ зародышѣ уродливости или уклоненія*, то, мнѣ кажется, трудно сомнѣваться въ томъ, что воспитаніе личинки можетъ произвести въ тѣлосложеніи будущаго наѣкомаго самыя обширныя и глубокія измѣненія. Припомните наконецъ, какимъ образомъ пчелы формируютъ себѣ новую матку изъ рабочей личинки, и тогда вы вѣроятно не найдете слишкомъ смѣлымъ мое предположеніе, что бесплодіе рабочихъ пчелъ и рабочихъ муравьевъ есть явленіе чисто искусственное, выработанное складомъ ихъ общественной жизни и постоянно поддерживаемое тѣмъ воспитаніемъ, которое старшія наѣкомыя даютъ огромному большинству новорожденныхъ личинокъ. Послѣдователи Мальтуса желаютъ, чтобы въ человѣческихъ обществахъ рабочіе также были до нѣкоторой степени бесплодны, и это обстоятельство доказываетъ, что общественная жизнь, дойдя до известной степени развитія, обыкновенно сталкивается съ роковымъ вопросомъ: куда дѣвать избытокъ населенія? Муравьи и пчелы отвѣтили на этотъ вопросъ тѣмъ, что нашли возможность постоянно убивать производительныя способности у огромнаго большинства своей породы. Муравьямъ и пчеламъ это извинительно потому, что у нихъ нѣтъ ни паровыхъ машинъ, ни химическаго анализа, ни рациональной агрономіи, а главное—нѣтъ такихъ мыслителей, какъ Ньютонъ, Либихъ или Дарвинъ. Люди могли-бы рѣшить вопросъ иначе, но мало-ли что они могли-бы сдѣлать. Si vieillesse savait, si jeunesse pouvait!..

V.

Дѣйствія естественнаго выбора нисколько не сбѣсняются моимъ предположеніемъ на счетъ искусственнаго происхожденія бесплодія. Естественный выборъ во всякомъ случаѣ истребляетъ или сохраняетъ весь муравейникъ съ родителями

ми и воспитателями; стало-быть, отъ кого-бы ни зависѣло тѣлосложеніе молодого поколѣнія, отъ родителей или отъ педагоговъ, причина этого тѣлосложенія все-таки будетъ истреблена или сохранена, смотря потому, вредно или полезно это тѣлосложеніе для даннаго общества. Теорія естественнаго выбора остается такимъ образомъ въ полной безопасности, но высказанное мною предположеніе интересно для насъ въ другомъ отношеніи.

Прогрессъ въ органическомъ мірѣ дѣйствительно существуетъ. Этотъ фактъ не подлежитъ сомнѣнію. Но совершается-ли этотъ прогрессъ совершенно независимо отъ воли и сознанія отдельныхъ животныхъ, или-же, напротивъ того, въкоторыя животныя своими сознательными усиліями содѣйствуютъ тѣмъ измѣненіямъ, которыя переживаетъ ихъ порода? Этотъ вопросъ вѣроятно кажется читателю очень страннымъ, а между тѣмъ онъ возникаетъ въ нашемъ умѣ совершенно естественно, когда мы вглядываемся въ жизнь вышнихъ насѣкомыхъ, подобныхъ пчелѣ и муравью. Читатель все-таки смѣется и никакъ не хочетъ вѣрить, чтобы муравей могъ сознательно участвовать въ прогрессѣ своей породы; но мнѣ кажется, что читатель въ этомъ случаѣ ошибается. Если безплодіе рабочихъ и раздѣленіе ихъ на различныя касты производится исключительно различными особенностями въ тѣлосложеніи плодовыхъ самокъ, то видоизмѣненія муравьиной породы или ея прогрессъ происходятъ совершенно независимо отъ воли и сознанія самихъ муравьевъ. Если-же, напротивъ того, безплодіе и касты составляютъ въ большей или въ меньшей степени результатъ воспитанія, то прогрессъ находится въ рукахъ самихъ муравьевъ или, другими словами, *муравьи сами дѣлаютъ свой прогрессъ*. Если судьба личинокъ зависитъ отъ воспитателей, если воспитатели могутъ произвести значительныя измѣненія въ комплекціи будущаго насѣкомаго, если отъ нихъ зависитъ поворотить развитіе личинки въ ту или въ другую сторону, сдѣлать изъ личинки плодовитую самку или воина, простаго рабочаго или дойную корову (*Mymecocystus*), то разумѣется все будущее благосостояніе муравейника во всякую данную минуту зависитъ цѣлкомъ отъ его втроелаго населенія. Въ такомъ случаѣ умъ и опытность рабочаго муравья не умираютъ вмѣстѣ съ нимъ. Все, что онъ получилъ отъ природы, все, что онъ приобрѣлъ воспитаніемъ, все, что ему передали старшіе муравьи, все, что онъ видѣлъ и испыталъ въ своей собственной жизни, — все это прилагается къ дѣлу воспитанія личинокъ, все это передается потомъ молодому муравью и все это становится навсегда двигательнымъ элементомъ въ прогрессѣ породы. Каждое поколѣніе собираетъ свой запасъ опыта, каждая личность вноситъ въ этотъ запасъ свою крупицу, и все это вмѣстѣ присоеди-

няется къ общему капиталу и производитъ прочное приращеніе въ умственномъ и матеріальномъ богатствѣ общества и породы. Читатель сердится или смѣется. Онъ увѣренъ въ томъ, что я фантазировалъ и что критическія способности моего ума перестали слѣдить за движеніями моего пера. Читатель хочетъ напомнить мнѣ, что я все-таки говорю о муравьяхъ, а не о людяхъ; но я самъ твердо помню это обстоятельство и внимательнымъ взоромъ наблюдаю за шалостями моего легкомысленнаго (о, даже слишкомъ легкомысленнаго!) пера. Но что-же васъ, читатель мой, смущаетъ? Вы вѣроятно думаете, что у муравья не можетъ быть индивидуальныхъ мыслей, что онъ не способенъ накопить запасъ личной опытности и что онъ не въ состояніи дѣлаться съ своими согражданами своими ощущеніями, соображеніями и воспоминаніями. Да, муравей конечно — животное маленькое и невзрачное. Неловко какъ-то приписывать такому ничтожеству разныя высшія способности и отправленія. А между тѣмъ вы, мой читатель, все-таки потрудитесь преодолѣть ваше замѣшательство и прочтите слѣдующій простой рассказъ Карла Фохта, — человѣка, совершенно нерасположеннаго фантазировать и умиляться.

«Одинъ изъ моихъ друзей, — говоритъ Фохтъ, — сдѣлалъ слѣдующее наблюденіе. Муравьи обѣдали у него вишни съ одного дерева. Чтобы отвадить ихъ, онъ вымазалъ стволъ дерева кругомъ на вершокъ въ ширину густымъ табачнымъ нагаромъ изъ трубки, собраннымъ нарочно для этой цѣли. Муравьи, взбиравшіеся на дерево толпами, поворотили назадъ, когда дошли до этого клейкаго и вонючаго кольца. Тѣ, которые были на деревѣ и хотѣли спуститься внизъ, не осмѣлились перешагнуть черезъ кольцо; они взлѣзли опять наверхъ и съ вѣтокъ свалились на землю. Дерево скоро освободилось отъ своихъ посѣтителей. Но черезъ нѣсколько времени муравьи полѣзли толпами вверхъ по стволу. Каждый изъ нихъ несъ въ челюстяхъ кусочекъ земли и съ величайшей осторожностью начали они накладывать на табачный нагаръ одинъ комочекъ возлѣ другого, такъ что мало-по-малу образовалась настоящая мощенная дорога, которую они укрѣпили и расширили съ величайшей старательностью. Потомъ, когда составилась полоска шириною въ полвершка, колонна муравьевъ съ полной безопасностью могла снова взбираться на дерево, которое дѣйствительно покрылось немедленно толпами опустошителей.» (*Зоологическія письма*.)

Если животныя дѣйствуютъ постоянно по инстинкту, и если всѣ инстинкты представляютъ только рядъ машинальныхъ привычекъ, полученныхъ каждымъ животнымъ при самомъ рожденіи по наслѣдству отъ предковъ, то надо предположить, что всѣ муравьи, посѣщающіе вишневые деревья, имѣютъ наслѣдственную

привычку хватать въ челюсти кусочки земли, какъ только они увидятъ или обнюхаютъ на деревѣ какую нибудь гадость. Можно было-бы возразить на это остроумное предположеніе, что цѣлыя сотни или тысячи поколѣній муравьевъ могли прожить на бѣломъ свѣтѣ, не встрѣтивши ни на одномъ деревѣ клейкаго кольца изъ табачнаго нагара, но если мы уже рѣшились объяснять все наслѣдственными привычками, то насъ не должно смущать это выраженіе. Мы скажемъ, что у тысячи поколѣній этотъ инстинктъ существовалъ, но не проявлялся, а потомъ, когда другъ Фохта сдѣлалъ муравьямъ непріятность, этотъ скрытый инстинктъ тотчасъ и развернулся. Намъ отвѣтять, что такимъ образомъ, по нашему мнѣнію, каждому муравью приходится таскать съ собою милліарды разныхъ скрытыхъ инстинктовъ, потому что на каждый отдѣльный случай должно существовать въ этой ходячей аптекѣ особенное, готовое лекарство. Но мы и тутъ нисколько не струсимъ: ну, и пускай таскаютъ милліарды инстинктовъ! Инстинктъ есть нѣчто невѣсомое, и, стало быть, для муравья такая обуза не можетъ быть обременительной. Если-же у моего читателя не достанетъ храбрости, чтобы побѣждать всѣ препятствія подобными соображеніями, то онъ непременно долженъ будетъ допустить, что у муравьевъ рождаются индивидуальныя мысли, которыя отъ одной личности переходятъ въ массу и потомъ приводятся въ исполненіе соединенными усилиями всѣхъ муравьевъ, усвоившихъ себѣ новую идею. Въ самомъ дѣлѣ, трудно-же предположить, чтобы всѣмъ муравьямъ, наткнувшимся на табачную трясику, въ одну минуту пришла въ голову одна и та-же мысль, и чтобы всѣ они, не сговариваясь между собою, тотчасъ побѣжали за комками земли. Тутъ, мнѣ кажется, можно допустить только два предположенія: или какой-нибудь особенно умный муравей самостоятельно выдумалъ эту уловку въ ту самую минуту, когда встрѣтилось затрудненіе, или-же онъ припомнилъ сходный эпизодъ изъ своей жизни и пустилъ въ ходъ свою опытность, примѣняя ее къ мѣстнымъ обстоятельствамъ. Въ томъ и въ другомъ случаѣ личный умъ или личная опытность обогатили общество муравьевъ новымъ знаніемъ или новой идеей, а такой прогрессъ, мнѣ кажется, было-бы очень несправедливо называть невольнымъ и безсознательнымъ. Но если мы только допустимъ, что муравей можетъ что-нибудь придумать и сообщить свою выдумку своимъ товарищамъ, то намъ придется совершенно отказаться отъ нашихъ нелѣпыхъ предвзятыхъ идей о машинальности тѣхъ сложныхъ и вполне цѣлесообразныхъ поступковъ, которые совершаются муравьями и другими животными для блага общества и для сохраненія породы. Когда мы, оставивъ въ сторонѣ наши предубѣжденія, по-

смотримъ на нѣкоторыя явленія общественной жизни муравьевъ, тогда передъ нами раскроется замѣчательный смыслъ этихъ явленій и тогда мы поймемъ, что сознательный прогрессъ и чисто историческое развитіе составляютъ неотъемлемое достояніе всѣхъ высшихъ породъ животнаго царства. Надо только видѣть въ каждомъ явленіи то, что въ немъ дѣйствительно заключается, а не то, что вложено въ наши бѣдныя головы добродушными руководителями нашего счастливаго младенчества и нашей довѣрчивой юности.

VI.

Въ муравейникахъ мексиканскаго *Murgescystus* живутъ въ особенныхъ ачейкахъ толсто-брюхіе рабочіе, выделяющіе на пользу общества сладкій сокъ, подобный меду. Специально развитое брюхо этой касты, подобно всѣмъ органамъ всевозможныхъ животныхъ, произошло не вдругъ; оно выработалось постепенно, посредствомъ медленныхъ видоизмѣненій, происшедшихъ въ организациі обыкновеннаго *Murgescystus*. Какъ и по какой причинѣ проявился первый зародышъ такого видоизмѣненія—этого мы не знаемъ, потому что вообще причины и законы всѣхъ видоизмѣненій до сихъ поръ почти совсѣмъ не изслѣдованы. Когда выгодное видоизмѣненіе проявилось, тогда началось дѣйствіе естественнаго выбора и произошла та обыкновенная исторія, которую читатель знаетъ уже наизусть. Но мнѣ кажется, что, кромѣ естественнаго выбора, тутъ дѣйствуетъ еще одинъ элементъ, именно сознательное вліяніе самихъ рабочихъ муравьевъ на тѣлосложеніе воспитываемыхъ личинокъ. Личинка, какъ «*дѣятельный зародышъ*», одарена чрезвычайной гибкостью тѣлосложенія, а рабочіе муравьи, занимающіеся воспитаніемъ молодого поколѣнія, какъ важнѣйшимъ дѣломъ всей своей жизни, навѣрное довели до изумительнаго совершенства свое умѣнье пользоваться этой гибкостью. Они навѣрное умѣютъ распознавать всѣ мельчайшія личныя особенности въ организациі личинки; они знаютъ, какъ развиты эти особенности или какъ остановить ихъ развитіе; они знаютъ во всѣхъ подробностяхъ, какъ дѣйствуетъ та или другая температура, то или другое помѣщеніе; и всѣми этими знаніями, которыя непременно должны были накопиться у нихъ втеченіи тысячелѣтій, они пользуются въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ съ такой напряженной внимательностью, какой не можетъ похвалиться ни одинъ изъ педагоговъ самолюбиваго человѣчества. Поэтому, когда въ муравейникахъ *Murgescystus* проявились задатки медоточиваго брюха, рабочіе пустили въ ходъ всѣ свои знанія и всю свою старательность, чтобы развитъ до крайнихъ предѣловъ эту полезную особенность. Естественный

выборъ сдѣлалъ также свое дѣло, но приписывать ему одному весь полученный результатъ было-бы не совсѣмъ основательно. Медоточивое брюхо не составляетъ для муравейника крайней необходимости, такъ что въ этомъ случаѣ естественный выборъ не могъ отличиться особенной строгостью. У огромнаго большинства муравьиныхъ породъ нѣтъ толстобрюхихъ рабочихъ, выделяющихъ сладкій сокъ, и однако-же эти муравьи живутъ очень благополучно и пользуются сокомъ тлей, или травяныхъ вшей, которыя совершенно справедливо могутъ быть названы дойными коровами муравьевъ.

Когда мы видимъ, что человекъ подчинилъ своему господству то или другое животное, тогда мы говоримъ, что это подчиненіе произведено силой человѣческаго ума. Если мы отложимъ въ сторону наши предубѣжденія, то мы должны будемъ высказать то-же самое сужденіе, когда увидимъ, что муравей подчинилъ своему господству тлю. А что это подчиненіе дѣйствительно существуетъ, въ этомъ читатель убѣдится изъ слѣдующихъ свидѣтельствъ Карла Фохта и Дарвина.

«У настоящихъ тлей, — говоритъ Карлъ Фохтъ, — находятся на задней части тѣла двѣ прямыя трубочки, изъ которыхъ вытекаетъ сладкій сахарный сокъ, съ жадностью пожираемый муравьями. Каждый муравейникъ имѣетъ нѣкоторый образъ свою область деревьевъ, кустовъ и травъ, на которыхъ сидятъ по листьямъ и по стволамъ колоніи тлей. Муравьи заботливо ухаживаютъ за этими колоніями и даже иногда перетаскиваютъ ихъ съ мѣста на мѣсто. Можно видѣть, какъ муравьи ласкаютъ этотъ дойный скотъ, тихо гладятъ и постукиваютъ его своими щупальцами до тѣхъ поръ, пока не выступитъ изъ трубочекъ медовый сокъ, который съ жадностью поглощается муравьями». («Зоологическія письма»).

Въ концѣ той-же книги отношенія между тлями и муравьями описаны еще подробнѣе: «Лѣтомъ, — говоритъ Фохтъ, — рабочіе муравьи добываютъ пищу не только для самихъ себя, но и для личинокъ, для самокъ и для самцовъ, которые всѣ ничего не дѣлаютъ. Они кормятъ ихъ всевозможными органическими веществами, но преимущественно сладкими растительными соками, которые доставляютъ имъ тли... Муравьи обращаются съ тлями крайне заботливо, пересаживаютъ ихъ съ засохшихъ вѣтвей и побѣговъ на свѣжіе, живые листья и до тѣхъ поръ ласкаютъ ихъ щупальцами, пока онѣ не выпустятъ медоваго сока. Большая часть муравьиныхъ породъ строятъ отъ своего гнѣзда крытые проходы, настоящіе искусственные дороги, къ тѣмъ деревьямъ и кустамъ, на которыхъ находятся колоніи ихъ дойнаго скота; другіе даже приносятъ въ свои гнѣзда такихъ тлей, которыя питаются корнями растений, и эти тли проводятъ зиму въ муравейникѣ.»

А вотъ личное наблюденіе другого натуралиста, доказывающее, что тли дѣйствительно могутъ быть названы въ отношеніи къ муравьямъ ручными животными. «И — удалилъ, говоритъ Дарвинъ, — всѣхъ муравьевъ отъ группы изъ дюжины тлей, сидѣвшихъ на щавелѣ, и не допускалъ къ нимъ муравьевъ втеченіи нѣсколькихъ часовъ. По прошествіи этого времени я былъ убѣжденъ, что тлямъ уже хочется выдѣлать свой сокъ. Я нѣсколько времени смотрѣлъ на нихъ въ лупу, но ни одна изъ нихъ не выдѣляла сока. Затѣмъ я принялся трогать и щекотать ихъ волоскомъ по возможности тѣмъ-же способомъ, какъ щекочутъ ихъ муравьи своими усиками; но ни одна изъ нихъ не выпустила соку. Вслѣдъ затѣмъ я допустилъ къ нимъ муравья, и по дѣятельности, съ которой онъ забѣгалъ вокругъ нихъ, было очевидно, что онъ тотчасъ замѣтилъ, на какое богатое стадо онъ попалъ. Онъ тотчасъ принялся щекотать усиками брюшко сперва одной тли, потомъ другой, и каждая тля, какъ только ощущала прикосновеніе усиковъ, тотчасъ подымала свое брюшко и выдѣляла прозрачную каплю сладкаго сока, которую жадно глоталъ муравей. Даже самыя молодыя тли поступали такъ-же, доказывая тѣмъ, что это — дѣйствіе инстинктивное, но не слѣдствіе опыта. Но такъ какъ выдѣленіе чрезвычайно липко, то тлямъ вѣроятно полезно отдѣлываться отъ него, и поэтому тля вѣроятно выдѣляетъ сокъ инстинктивно не для одного блага муравьевъ.»

Къ этому можно прибавить, что тлямъ вообще очень полезно находиться подъ покровительствомъ муравьевъ, и что именно вслѣдствіе этого самыя молодыя тли, по наследственному инстинкту, обращаются съ своими покровителями такъ довѣрчиво, какъ напримѣръ щенокъ или теленокъ обращается съ человекомъ.

Если мы сравнимъ обычай породы *Mutheocystus* съ дѣйствіями другихъ муравьевъ, покрывшихъ тлей, то мы увидимъ, какъ это даровитое насѣкомое (муравей, а не тля) умѣетъ сообразоваться съ обстоятельствами. Гдѣ представилось внутри самой породы выгодное видоизмѣненіе, тамъ муравьи довели его до крайнихъ предѣловъ и извлекли изъ него всевозможную пользу для своего общества. Гдѣ такого видоизмѣненія не случилось, тамъ муравьи устроили свои дѣла иначе и доставили себѣ удобства жизни силой собственной изобрѣтательности. Изъ того, что сообщаетъ Фохтъ, можно вывести заключеніе, что муравьи ведутъ свое скотоводство гораздо рациональнѣе, чѣмъ какіе-нибудь киргизы или лапландцы, у которыхъ скотъ — у первыхъ лошади, у вторыхъ сѣверные олени — зимуетъ подъ открытымъ небомъ и кормится чѣмъ Богъ пошлетъ. Разумѣется, это скотоводство муравьевъ развивалось такъ-же послѣдовательно и постепенно, какъ и всѣ остальныя отрасли ихъ общественнаго быта; и навѣрное опыты и соображе-

нія отдѣльных личностей, понемногу входившіе въ сознаніе массъ и превращавшіеся въ прочную привычку, составляютъ единственное основаніе теперешняго господства муравьевъ надъ тлями. Кому-нибудь изъ муравьевъ надо-же было *открыть* тотъ фактъ, что тля даетъ сладкій сокъ; потомъ это *открытіе* должно было распространиться и обобщиться. Прогрессъ совершился вполне сознательно, и если вы съ этимъ не согласитесь, то вы должны будете предположить, что сама природа, создавая муравья, вложила въ его мозгъ понятіе о тлѣ и о ея сокѣ. Отчего-бы не сказать въ такомъ случаѣ, что и въ нашего мужика вложено самой природой понятіе о яровомъ и озимомъ хлѣбѣ?

VII.

У Eciton и у многихъ другихъ муравьевъ личинки, осуждаемыя на безплодіе природой или воспитаніемъ, развиваются по двумъ различнымъ направленіямъ: одни становятся воинственными амазонками, а другія—заботливыми и трудолюбивыми хозяйками. Еслибы одна изъ этихъ кастъ развилась въ ущербъ другой, то-есть, еслибы появилось слишкомъ много работниковъ или слишкомъ много воиновъ, то благосостояніе общества пострадало-бы отъ такой перемѣны, потому что въ первомъ случаѣ муравейнику стала-бы угрожать опасность со стороны вѣншихъ враговъ, а во второмъ случаѣ домашняя работа и воспитаніе дѣтей пришли-бы въ упадокъ. Еслибы это нарушеніе равновѣсія между кастами проявилось въ очень значительныхъ размѣрахъ, то оно могло-бы окончательно погубить общество или породу. Вѣроятно очень многіе муравейники или даже цѣлыя виды муравьевъ погибли вслѣдствіе этого обстоятельства. Но натуралистамъ извѣстны двѣ породы, у которыхъ это равновѣсіе совершенно нарушено и которые, несмотря на то, существуютъ и размножаются; въ основаніи ихъ общественной жизни лежитъ чисто искусственное учрежденіе, играющее очень важную роль въ исторіи человечества. Эти двѣ породы сдѣлались совершенно воинственными, *завели себѣ рабовъ* и на нихъ сложили значительную часть хозяйственныхъ и педагогическихъ заботъ. Рабство находится у этихъ двухъ породъ на двухъ различныхъ степеняхъ развитія. У кроваваго муравья (*Formica sanguinea*), порабащающаго черныхъ, господа работаютъ вмѣстѣ съ рабами; напротивъ того, у рыжеватога (*Formica rufescens*), захватывающаго бурыхъ, господа ровно ничего не дѣлаютъ и даже разучились ѣсть безъ помощи рабовъ. Всѣ эти факты доказаны прямыми опытами и самыми тщательными наблюденіями Петра Губера, Смита, Дарвина и другихъ первоклассныхъ натуралистовъ. Бесплодныя самки рыжеватога муравья умѣютъ только вести войну, разорять чужіе муравейники и захватывать рабовъ.

«Бесплодные субъекты кроваваго и рыжеватога муравьевъ,—говоритъ Карль Фохтъ,—встрѣчающихся въ нашихъ мѣстахъ, сами не работаютъ, но предпринимаютъ настоящіе военные походы, нападаютъ на гнѣзда другихъ муравьевъ и похищаютъ оттуда куколки рабочихъ. Большею частью тактика ихъ состоитъ въ томъ, что они внезапно бросаются на сосѣдній муравейникъ, и, когда его обитатели начинаютъ обороняться, тогда главная масса нападающихъ даетъ формальное сраженіе, между тѣмъ какъ отдѣльныя отряды обходятъ крылья непріятеля и опустошаютъ его гнѣздо. Послѣ такой борьбы послѣ сраженія бываетъ покрыто трупами; обѣ стороны кусаютъ другъ друга съ величайшимъ ожесточеніемъ; раненные и неспособные къ борьбѣ подъ прикрытіемъ друзей удаляются изъ сраженія въ безопасное мѣсто. Похищенные куколки развиваются въ жилищѣ похитителей и исправляютъ тамъ рабочія обязанности, т. е. принимаютъ на себя всѣ хозяйственныя работы, кормятъ своихъ праздныхъ господъ и ухаживаютъ за ихъ личинками. Такимъ образомъ возникаютъ тѣ смѣшанныя общества муравьевъ, въ которыхъ существуютъ четыре разряда обитателей: самцы, самки и воины (такъ-называемыя амазонки) одного вида и трудящіеся рабы другого вида.» («Зоологическія письма».)

Дарвинъ объясняетъ происхожденіе рабовладѣльческихъ учрежденій тѣмъ, что куколки, захваченныя для сѣденія, случайно развились въ муравейникѣ своихъ похитителей. Муравьи, вышедшіе изъ этихъ куколокъ, по влеченію своего врожденнаго инстинкта, принялись за работу. Это обстоятельство оказалось выгоднымъ для общества, и затѣмъ началось обыкновенное дѣйствіе естественнаго выбора. Эта гипотеза Дарвина очень правдоподобна, но нельзя не замѣтить, что Дарвинъ здѣсь, какъ и вездѣ, оставляетъ совершенно въ сторонѣ сознательную дѣятельность самихъ муравьевъ. Почему дѣлаетъ это Дарвинъ—этого я не знаю. Можетъ-быть потому, что онъ не хочетъ входить въ подробности, неимѣющія прямого отношенія къ его теоріи; а можетъ-быть и потому, что онъ пишетъ для англійскаго общества, которое любитъ, чтобы «всякій сверчокъ зналъ свой шестокъ», и которое слѣдовательно не желаетъ, чтобы ничтожный муравей осмѣливался пускаться въ слишкомъ остроумныя размышленія. Какъ-бы то ни было, я считаю нелишнимъ постоянно выдвигать эту сторону дѣла впередъ и освѣщать ее, какъ можно ярче. Похищенные куколки развились и новорожденные муравьи начали работать;—прекрасно; но вѣдь эти муравьи по фигурѣ и по цвѣту были совершенно не похожи на воинственныхъ владѣльцевъ муравейника; почему-же хозяева оставили ихъ въ живыхъ, между тѣмъ какъ тѣ-же хозяева имѣли обыкновеніе убивать на войнѣ и съѣдать послѣ побѣды сооте-

чественниковъ этихъ муравьевъ? Стало быть, кому-нибудь изъ хозяевъ пришло въ голову, что эти плѣнники своей работою могутъ принести больше пользы, чѣмъ своей смертію. Потомъ еще кому-нибудь пришло въ голову, что можно захватить нѣсколько куколокъ нарочно для того, чтобы сформировать изъ нихъ плѣнныхъ работниковъ. Потомъ, когда эти двѣ мысли распространились и обобщились, воинственные муравьи быстро сообразили, что можно сложить на плѣнниковъ значительную долю тѣхъ домашнихъ работъ, которыми до того времени, по необходимости и съ крайней неохотой, занимались сами хозяева. Тогда одно занятіе за другимъ стало переходить въ руки рабовъ. Хозяева отдали всѣ свои помыслы войнѣ и грабежу и наконецъ избаловались до такой невѣроятной степени, что рабы принуждены въ настоящее время кормить своихъ взрослыхъ и воинственныхъ повелителей, какъ маленькихъ личинокъ.

Рыжеватые муравьи, подобно людямъ, постоянно стремились совершенно сознательно къ тому, что въ каждую данную минуту казалось имъ выгодой или удобствомъ, и, подобно людямъ, они не умѣли смотрѣть вдаль, и потому, въ общемъ результатѣ, эти стремленія къ близкой выгодѣ и къ близкому удобству привели ихъ къ окончательной и неисправимой деморализаціи. Если мы сравнимъ исторію рыжеватаго муравья съ исторіей многихъ рабовладѣльческихъ государствъ, то мы увидимъ поразительное сходство въ расположеніи причинъ и слѣдствій. И здѣсь, и тамъ—сначала война, потомъ рабство и наконецъ деморализація. Это доказываетъ намъ, что какъ только образуется общество, такъ начинается немедленно неотразимое господство социальныхъ законовъ, которые, подобно всѣмъ остальнымъ законамъ природы, дѣйствуютъ совершенно безстрастно и не допускаютъ никакихъ исключеній.

Отношенія между рыжеватыми муравьями и ихъ бурными рабами доказываютъ намъ кромѣ того, что инстинкты муравья чрезвычайно гибки не только въ цѣлой породѣ, но и въ каждой отдѣльной личности. Въ самомъ дѣлѣ, всмотритесь въ это обстоятельство: рабы всѣ бесплодны, и каждое новое поколѣніе рабовъ набирается посредствомъ новаго похищенія куколокъ. Каждая похищенная куколка родилась въ свободномъ муравейникѣ и провела въ немъ весь личиночный періодъ своей жизни. Стало быть, ни изъ своихъ родителей, ни отъ своихъ первыхъ воспитателей куколка не могла получить ни одной частицы тѣхъ специальныхъ инстинктовъ, которые потребуются отъ нея въ рабовладѣльческомъ муравейникѣ. Изъ куколки выходитъ взрослое насекомое и принимается за работу; это конечно наследственный инстинктъ, усиленный воспитаніемъ личинки. Но кормить взрослыхъ муравьевъ—развѣ это наследственный

инстинктъ и развѣ онъ могъ быть привитъ личинкѣ такими воспитателями, которые, оставаясь свободными, сами кормятъ только личинокъ? При переселеніяхъ изъ одного муравейника въ другой бурные рабы рыжеватаго муравья берутъ своихъ господъ въ челюсти и переносятъ ихъ на новоселье. Этотъ обычай также не существуетъ въ свободномъ муравейникѣ, и слѣдовательно тутъ также не можетъ быть рѣчи о наследственности. Какимъ-же образомъ эти особенные обычаи сформировались и поддерживаются? Тутъ можетъ быть только одинъ отвѣтъ. Когда первыя поколѣнія бурныхъ рабовъ вышли изъ похищенныхъ куколокъ, тогда рыжеватые рабовладѣльцы сами принялись за воспитаніе этихъ новорожденныхъ муравьевъ и переработали ихъ естественныя наклонности сообразно съ своими собственными требованіями. Потомъ взрослые и вышколенные рабы стали помогать своимъ господамъ въ воспитаніи новичковъ, съ которыми эти старые рабы были связаны какъ единствомъ происхожденія, такъ и одинаковостью общественнаго положенія. Наконецъ, когда господа совсѣмъ облѣнились, рабы приняли на себя всю эту заботу вмѣстѣ со всѣми остальными хозяйственными распоряженіями. Это доказываетъ намъ, что муравей можетъ воспитать другого муравья, не только въ физическомъ смыслѣ кормленія, какъ рабочіе воспитываютъ личинокъ, но и... но и... въ умственномъ и социальномъ.

Между первымъ поколѣніемъ господъ и первымъ поколѣніемъ рабовъ не могли существовать тѣ отношенія, которыя существуютъ теперь между этими двумя классами въ рабовладѣльческихъ обществахъ. До появленія первыхъ рабовъ рыжеватый муравей самъ работалъ; не могъ же онъ тотчасъ послѣ ихъ появленія вдругъ выдумать, что онъ самъ не въ состояніи даже ѣсть. Такой штуки не выдумаетъ сразу ни муравей, ни человекъ. Впослѣдствіи это нововведеніе также не могло появиться вдругъ, потому что всякій нелѣпный обычай вводится только нечувствительно, такъ, что къ нему присматриваются и привыкаютъ понемногу. Обычай устанавливается самъ собою, а не выдумывается. Стало быть, каждое новое поколѣніе господъ и рабовъ медленно и незамѣтно измѣняло что-нибудь въ своихъ взаимныхъ отношеніяхъ. Дни шли за днями, недѣли за недѣлями, и одинъ день былъ не похожъ на другой, и одна недѣля еще менѣе была похожа на другую. Молодые рабы перенимали привычки старыхъ, но потомъ, во время своей жизни, измѣняли эти привычки и въ этомъ измѣненномъ видѣ передавали ихъ новому поколѣнію, которое въ свою очередь производило въ нихъ перемѣны.

Мудреное, очень мудреное животное этотъ муравей! Личный умъ, индивидуальная изобрѣтательность, разнообразіе характеровъ и наклонностей, цѣлесообразное воспитаніе, смѣна поко-

лѣній, ведущая за собою смѣну обычаевъ, развитая общественная жизнь съ ошибками и уклоненіями, умѣнье пользоваться обстоятельствами, способность участвовать сознательными усиленіями ума въ прогрессѣ собственной породы—все это мы находимъ у муравья и все это вмѣстѣ несомнѣнно обезпечиваетъ за нимъ первое мѣсто въ громадномъ отдѣлѣ членистыхъ или суставчатыхъ животныхъ. Но для насъ должны быть еще гораздо важнѣе тѣ общія мысли, на которыя наводитъ насъ весь этотъ длинный и между тѣмъ чрезвычайно отрывочный и неполный очеркъ муравьиного житья-бытья. Прочитавши эти страницы, читатель быть-можетъ убѣдится въ томъ, что прогрессъ дѣйствительно существуетъ въ мірѣ животныхъ и растений.

Въ заключеніе я представляю бѣглый очеркъ геологическихъ, географическихъ, эмбриологическихъ и анатомическихъ доказательствъ теоріи Дарвина.

Геологическіе документы.

I.

Если вы имѣете нѣкоторое понятіе о геологіи, но если понятіе это довольно поверхностно, то вы, читатель мой, по всей вѣроятности думаете, что геологія можетъ и должна рѣшить безапелляционно вопросъ о достоинствѣ теоріи Дарвина. Въ самомъ дѣлѣ, если всѣ формы животныхъ и растений измѣнялись постепенно и чрезвычайно медленно, то въ различныхъ пластахъ земной коры должны находиться несомнѣнные слѣды и очевидныя доказательства этихъ послѣдовательныхъ измѣненій. Если напримѣръ волкъ, шакалъ и лисица произошли отъ одного вида, послужившаго родоначальникомъ всему собачьему семейству, то геологи и палеонтологи, то есть историки нашей планеты и ея органической жизни, должны показать намъ скелетъ этого родоначальника и кромѣ того скелеты его потомковъ, постепенно принимающихъ на себя фигуру волка, шакала и лисицы. Требованіе это повидимому очень естественно и законно; кость можетъ сохраняться очень долго, а лишь бы только найти двѣ-три кости животнаго—и палеонтологи тотчасъ опредѣлятъ, къ какому виду оно принадлежало и какова была его внѣшняя фигура. Уже Кювье по одной кости животнаго умѣлъ возстановлять весь портретъ исчезнувшей породы, а послѣ Кювье палеонтологія и сравнительная анатомія сдѣлали много новыхъ успѣховъ. Поэтому я повторяю, что требованіе насчетъ родоначальника собачьей породы и насчетъ его видоизмѣняющихся потомковъ можетъ показаться вполне справедливымъ не только какому-нибудь профану, вроде меня или моего читателя, но даже и натуралисту, не усилившему вглядѣться въ дѣйствительныя затрудненія такого запроса. Очень дѣльные люди до сихъ

поръ пристають къ Дарвину съ такими требованіями и возраженіями. Если, говорятъ они, различныя породы животныхъ развиваются одна изъ другой, то покажите намъ скелеты или крайней мѣрѣ кости всѣхъ переходныхъ формъ. А если не покажете, то, значить, породы не измѣняются, значить, исчезнувшія животныя и растенія не находятся въ родственной связи съ теперешними органическими формами, и, значить, вся ваша теорія есть не что иное, какъ произведение блестящей, но бесполезной фантазіи.

Все это приставаніе и весь этотъ процессъ доказательствъ очень неосновательны. Во-первыхъ, только Европа и Соединенные Штаты слѣдованы до сихъ поръ въ геологическомъ отношеніи хоть сколько-нибудь удовлетворительно. Азія, Африка, Южная Америка и Австралія, есть слишкомъ четыре пятыхъ всего существующаго материка, совершенно не тронуты. Во-вторыхъ, даже изслѣдованныя части чуть ли не каждый годъ изумляютъ геологовъ новыми фактами, которые производятъ радикальные перемены въ постановкѣ и въ разрѣшеніи самыхъ важныхъ и самыхъ интересныхъ вопросовъ. В-третьихъ, кости, раковины и вообще всѣ твердыя части животныхъ и растительныхъ организовъ, несмотря на свою твердость, все-таки разлагаются и могутъ быть сохранены въ цѣлости только благодаря стеченію особенно благоприятныхъ и чисто исключительныхъ обстоятельствъ. Такимъ образомъ оказывается, что современная геологія знаетъ только ничтожную частицу изъ всей массы существующихъ органическихъ остатковъ; а эти существующіе остатки въ свою очередь составляютъ также очень ничтожную частицу изъ всей массы существовавшихъ организовъ. Пройдутъ десятки вѣковъ прежде, чѣмъ геологи откроютъ всѣ окаменѣлости, лежащія въ различныхъ пластахъ земной коры, подъ различными географическими широтами и долготами. Легко можетъ быть, что всѣ существующія окаменѣлости никогда не будутъ открыты и собраны, но еслибы даже это и случилось, то и тогда было-бы совершенно неосновательно воображать себѣ, что музей, обладающій всѣми этими палеонтологическими сокровищами, можетъ дать мыслящему натуралисту полное и отчетливое понятіе обо всемъ историческомъ развитіи органической жизни. О теперешнемъ же положеніи нашихъ палеонтологическихъ коллекцій нечего и говорить. Ученые, занимающіеся геологіей, обнаруживаютъ изумительную проникательность и довели точность своихъ научныхъ приемовъ и строгость своихъ наблюдений и умозаключеній до невѣроятной степени совершенства, но, несмотря на это обстоятельство, геологія и палеонтологія, по недостаточному количеству наличныхъ матеріаловъ, находятся еще въ полномъ младенчествѣ и, какъ подростокъ дѣти, постоянно измѣняютъ свою фізіономію.

лѣтъ тому назадъ геологія и палеонто-
е существовали. Вольтеръ былъ человѣкъ
неглупый, но когда онъ начинаетъ раз-
сказывать объ исторіи нашей планеты, то вамъ
н, будто вы слышите судью Ляпкина-
а или Кифу Мокіевича. Ему говорятъ
Ерѣ, что въ альпійскихъ горахъ найдены
блѣны раковины такихъ животныхъ, ко-
въ настоящее время живутъ въ Средизем-
орѣ, у береговъ Сиріи; а онъ по этому по-
редставляетъ соображенія, что эти рако-
анесены туда какими-нибудь пилигрима-
орые спазала посѣтили Палестину, а по-
справились въ Римъ изъ Германіи или изъ
и. Шли они черезъ Альпы, ну, и обронили
ну, взятую съ сирійскихъ береговъ Среди-
морья. Такое легкое и живое объясненіе
галось Вольтеромъ въ шестидесятыхъ го-
юшлага столѣтія; Вольтеръ не былъ спе-
омъ, но его нельзя назвать профаномъ;
онъ хорошо понималъ великое значеніе
енныхъ наукъ и слѣдилъ за ихъ успѣха-
амымъ напряженнымъ вниманіемъ; по-
сно, что во второй половинѣ XVIII вѣка
бразованные люди не имѣли понятія объ
земного шара и даже не подозрѣвали
юсти возсоздать основныя черты этой
по различнымъ пластамъ земной коры
азличнымъ окаменѣlostямъ, заключен-
этихъ пластахъ. Выводя на сцену сво-
игримовъ, обронившихъ раковину, Воль-
же не задаетъ себѣ вопроса о томъ, на-
лубинѣ открыта эта раковина, въ какой
на лежала, какіе слѣды оставила на ней
за. Всѣ эти вопросы для него не суще-
и, и онъ даже сомнѣвается въ томъ, чтобы
было отличить морскую раковину отъ
одной или сухопутной. Когда-же нѣко-
ленные осмѣливаются высказать поти-
скромное предположеніе, что можетъ
льпы были въ доисторическія времена
и моремъ, тогда Вольтеръ схватываетъ
бока и начинаетъ хохотать самымъ ис-
тъ и неумолимымъ смѣхомъ.

мъ образомъ можно сказать, что геологія
и послѣ Вольтера, послѣ Бюффона, послѣ
ской революціи, то есть въ началѣ
ого столѣтія. У этого новорожденного
явилось тотчасъ множество дѣтскихъ
и: первые геологи, и во главѣ ихъ ве-
ювые, стали толковать о катаклизмахъ и
отатъ и начали изъ отрытыхъ костей и
тъ строить хитрѣйшіе планы и системы
ія. Тридцать лѣтъ тому назадъ Кювье
ь, что нѣтъ и не можетъ быть ни иско-
ь обезьянъ, ни ископаемыхъ людей, и
лѣтъ въ пользу этого мнѣнія даже теоре-
и основанія. Эти основанія очень хороши
темны, но къ сожалѣнію нашлись иско-
обезьяны и даже ископаемые люди.

«Только двадцать лѣтъ тому назадъ,—гово-
ритъ Карлъ Фохтъ въ своихъ лекціяхъ о чело-
вѣкѣ,—учился я у Агассиза слѣдующимъ исти-
намъ: первичныя образованія, палеозойскія фор-
маціи=царство рыбъ; въ это время нѣтъ пре-
смыкающихся и не могло ихъ быть, потому что
это было-бы противно плану мірозданія;—вто-
ричныя образованія (тріасъ, юра, мѣлъ)=цар-
ство пресмыкающихся; нѣтъ млекопитающихъ и
не могло ихъ быть по той-же самой причинѣ;—
третичныя пласты=царство млекопитающихъ;
нѣтъ людей и не можетъ ихъ быть;—нынѣшнее
твореніе = царство человѣка. Куда дѣвалась
теперь эта теорія со всѣми своими исключитель-
ностями? Пресмыкающіяся въ девонскихъ пла-
стахъ, пресмыкающіяся въ каменномъ углѣ, пре-
смыкающіяся въ діасѣ—прощай, царство рыбъ!—
Млекопитающія въ юрѣ, млекопитающія въ пур-
бекскомъ известнякѣ, который причисляется нѣ-
которыми учеными къ нижнимъ слоямъ мѣловой
формаціи — до свиданія, царство пресмыкаю-
щихся! — Люди въ верхнихъ третичныхъ пла-
стахъ, люди въ намывныхъ слояхъ—приходи въ
другой разъ, царство млекопитающихъ!»

Открытіе ископаемыхъ людей было особенно
жестокимъ ударомъ для заносчивости ревност-
ныхъ систематиковъ, и ударъ этотъ нанесенъ
имъ очень недавно, всего лѣтъ пять тому назадъ.
Особенно сокрушительно для нихъ то обстоятель-
ство, что открытіе это сдѣлано не въ Австра-
ліи, не въ Африкѣ, даже не въ Азій, а именно
въ Европѣ, да еще во Франціи и въ Англіи, то
есть какъ разъ въ тѣхъ мѣстахъ, которыя бы-
ли изслѣдованы тщательно, чѣмъ всѣ осталь-
ныя мѣстности земного шара. Если въ такихъ
извѣстныхъ странахъ возможны до настоящей
минуты новыя открытія колоссальной важности,
то повидимому систематикамъ остается только
замолчать или публично признаться въ томъ,
что бѣдность матеріаловъ еще не позволяетъ
геологамъ и палеонтологамъ заниматься соору-
женіемъ системъ и произносить какіе-бы то ни
было приговоры на счетъ различныхъ особен-
ностей органической жизни въ отдаленномъ про-
шедшемъ. Даровитѣйшіе изъ современныхъ геоло-
говъ, и во главѣ ихъ знаменитый Чарльзъ
Ляйелль, истребитель катаклизмовъ и переворо-
товъ, вполне сознаютъ безсиліе своей науки и
никакъ не рѣшаются поражать теорію Дарвина
тѣмъ возраженіемъ, что наши палеонтологиче-
скія коллекціи не представляютъ безчисленнаго
множества переходныхъ формъ. Они очень хоро-
шо понимаютъ, что въ геологій отрицательныя
доказательства не имѣютъ ни малѣйшей силы.
Геологъ говоритъ: «такое-то животное существо-
вовало въ такую-то эпоху, потому что въ такой-
то формаціи находятся его кости», — это дѣло.
Но геологъ не можетъ сказать: «такое-то жи-
вотное не существовало въ такую-то эпоху, по-
тому что въ такой-то формаціи нѣтъ его ко-

стей», — это была-бы чепуха. *Нить* на языкѣ геологовъ значитъ: *мы не нашли*. Чтожъ изъ этого слѣдуетъ? Не нашли сегодня, можете найти завтра. А если даже и совсѣмъ не найдете, то и это еще ничего не доказываетъ. Животное могло существовать, а кости его могли не сохраниться. Кости, раковины и другіе органическіе остатки сохраняются втеченіи цѣлыхъ геологическихъ эпохъ только тогда, когда они покрываются очень толстымъ наносомъ минеральныхъ частицъ, — такимъ наносомъ, который можетъ ихъ защищать отъ разрушительнаго дѣйствія воздуха, воды, различныхъ кислотъ. Гдѣ нѣтъ такого наноса, тамъ самая твердая кость разлагается и уничтожается безъ слѣда, хоть конечно на такое уничтоженіе требуется нѣсколько столѣтій. Но такіе предохранительные наносы образуются преимущественно изъ тѣхъ минеральныхъ частицъ, которыя осаждаются на дно морей, озеръ и рѣкъ. Чтобы кость сохранилась, она должна попасть въ одно изъ такихъ водовмѣстилищъ и покрыться минеральнымъ осадкомъ, прежде нежели ее истребитъ разрушительное дѣйствіе воды и водяныхъ животныхъ. Поэтому не трудно понять, что во всѣхъ пластахъ земной коры остатки морскихъ и прѣсноводныхъ животныхъ встрѣчаются въ гораздо большемъ количествѣ, чѣмъ кости млекопитающихъ и птицъ, то есть такихъ животныхъ, которыя живутъ и умираютъ на сушѣ. Кость какого-нибудь мамонта или медвѣдя можетъ сохраниться только тогда, когда она *случайно* попадетъ, уже послѣ смерти животнаго, въ ложе рѣки или озера, или же тогда, когда она такъ или иначе будетъ занесена въ такую пещеру, въ которой известковая вода, просачиваясь черезъ разныя щели, образуетъ на полу и на стѣнахъ твердую кору сталагмитовъ и сталактитовъ. Эта кора понемногу покроетъ занесенную кость и предохранитъ ее отъ разложенія. Нѣкоторыя породы исчезнувшихъ животныхъ извѣстны намъ исключительно по тѣмъ костямъ, которыя сохранились въ такихъ пещерахъ; эти животныя такъ и называются *пещерными*, напримѣръ пещерный медвѣдь (*Ursus Spelaeus*), пещерная гиена (*Hyæna Spelæa*). Попятно, что только очень незначительное количество костей могло сохраниться такимъ путемъ. Огромное-же большинство погибло безъ остатка, то-есть пошло опять въ общій круговоротъ жизни и превратилось въ составныя части новыхъ растений и новыхъ животныхъ. Иначе и быть не можетъ, и только Киѳа Мокиевичъ способенъ былъ-бы вообразить себѣ, что кости всѣхъ животныхъ, существовавшихъ съ самаго начала органической жизни, могутъ сохраниться въ цѣлости. На земномъ шарѣ втеченіи неизмѣримаго ряда тысячелѣтій жили и умирали неисчислимые милліоны и милліарды животныхъ; ихъ кости въ общей сложности составляютъ такую грудку, которая вавѣрное въ

нѣсколько тысячъ разъ превышаетъ нашу планету. Ясно стало бытъ умершихъ поколѣній постоянно идуженіе костей живущихъ организмовъ въ Англіи случился очень извѣстный такой употребленія костей. Замѣчательскій сыръ начинаетъ терять ходныя качества. Стали изслѣдованы, оказалось, что въ молокѣ тамошнихъ достаетъ нѣкоторыхъ составныхъ частей, которыя получаютъ изъ пищи, лизировать пищу и нашли наконецъ, что происходить отъ истощенія неговъ, на которыхъ пасутся честер-Розыскали, чего именно не достаетъ и пополнили этотъ недостатокъ образомъ. Разрыли ватерлооское поле на нѣсколькихъ корабляхъ кучи черной и лошадиныхъ костей, смолоди все выхъ мельницахъ, и этимъ костянымъ усыпали истощившіеся луга. Честер немедленно исправился, но сама при памятныхъ временъ дѣлаетъ то, чемъ мики выучились только въ нынѣшніе столѣтія.

«Кажется, — говоритъ Ляйбелль, — природы не входитъ сохранять продолжительное существованіе животныхъ и растений, которыя жили на поверхности земли. Напротивъ, повидимому забота состоитъ въ доставленіи средствъ удобной для жительства поверхности, покрытой или непокрытой водою, миріадъ плотныхъ скелетовъ и огромныхъ костей, которые безъ этого вскорѣ рѣки и засыпали долины. Чтобы изъбежать неудобства, она прибѣгаетъ къ теплотѣ влажности атмосферы, къ растваренію угольной и другихъ кислотъ, къ разложению костей, къ желудку четвероногихъ, къ смыкающимся и рыбъ, и къ дѣйствію безпозвоночныхъ животныхъ.» (*Ляйбелль о происхожденіи человека*). Русский переводъ (Скаго).

Къ немалому огорченію геологовъ, всѣ эти разрушители, крупныя и неогорченные, и одушевленные, свою обязанность превосходно и все, что только можетъ быть уничтоженіе Гаарлемскаго озера, произведеніи нидерландскимъ правительствомъ въ 1859 году, ружило въ полномъ блескѣ изумили всѣхъ этихъ извѣстныхъ и неизвѣстныхъ геологовъ и палеонтологовъ. Оно покрывало поверхность въ 45,000 акровъ; на его водахъ произошло много крушеній и много морскихъ битвъ, погибли сотни голландскихъ и испанскихъ кораблей; антикваріи нашли въ ложахъ обломки судовъ и оружіе шестнадцатого столѣтія.

емъ озерѣ не нашлось ни одной человѣчести. Неправда-ли, какъ остроумно было-авать этому отрицательному доказатель-ченіе серьезнаго аргумента? А геологъ, щій какое-бы то ни было отрицательное-льство, никогда не можетъ быть увѣренъ, что онъ не попадаетъ въ такой же-осакъ. Въ Сѣверной Франціи, въ долинѣ въ дилувіальныхъ или намывныхъ пла-едахъ съ костями мамонтовъ и другихъ-животныхъ найдено множество кремне-удій самой грубой работы. Кто дѣлалъ-ры и ножи? — Люди, современные ма-амъ гдѣ кости этихъ людей? — Костей нѣтъ. же изъ этого слѣдуетъ? Да ровно ничего-детъ. Надо ждать, пока найдутся кости. али. И дѣйствительно, въ той же самой-и отыскалась человѣческая челюсть. Ну, и эта челюсть не нашлась, тогда что? —-ничего-бы не воспослѣдовало. Все-таки-и ножи не могли обтесаться сами собою,-ты также ихъ не могли обтесать, значить, твѣ или отсутствіе человѣческихъ костей-ко не измѣняетъ сущности дѣла. Очень-если человѣческія кости найдутся, по-тогда можно будетъ сдѣлать кое-какія-ія объ анатомическомъ строеніи этого-тнаго племени, но, хоть бы не осталось-человѣческой кости, все-таки существо-ювѣка въ эпоху мамонтовъ оказывается-нымъ и неопровержимымъ фактомъ. ду тѣмъ, — говоритъ Ляйелль, — отсут-каго слѣда костей, принадлежащихъ на-ленію, оставившему столько готовыхъ и-инныхъ орудій, представляетъ порази-урокъ относительно того значенія, кото-олжны придавать этимъ отрицательнымъ-льствамъ, приводимымъ въ пользу несущ-анія нѣкоторыхъ классовъ земныхъ жи-въ данную эпоху прошедшаго. Это —амѣчательное доказательство крайняго-енства нашихъ геологическихъ дан-несовершенства, о которомъ даже тѣ, ко-стоянно работаютъ на этомъ поприщѣ,мъ могутъ составить себѣ вѣрное поня-

нашему незнанію геологіи иныхъ странъ,вропы и Соединенныхъ Штатовъ, — гово-ринъ, — и по тѣмъ переворотамъ въ на-еологическихъ воззрѣніяхъ, которые про-отъ открытій послѣднихъ двѣнадцати го-ѣ кажется, что мы имѣемъ столько-же-лать общіе выводы о послѣдовательномъи организмѣ на земномъ шарѣ, сколькомы натуралистъ, посѣтившій на пять ми-стинный берегъ Австраліи, право раз-о количествѣ и свойствѣ ея естествен-овзведеній.»

геологическую лѣтопись за исторію міра, веденую непостоянно и написанную на измѣнчивомънарѣчьи. Изъ этой исторіи намъ доступны лишь послѣдній томъ, относящійся къ двумъ-тремя-странамъ. Изъ этого тома лишь тамъ и сямъ со-хранилась краткая глава и изъ каждой стра-ницы — лишь нѣсколько безсвязныхъ строкъ.»

Такимъ образомъ для насъ становится ясней та истина, что геологія не имѣетъ никакого права и ни малѣйшей возможности произносить надъ-теоріей Дарвина въ ту или въ другую сторону окончательный приговоръ. Мы должны только рассмотреть вопросъ, примираются-ли съ теоріей Дарвина тѣ немногіе *положительные* факты, которые составляютъ прочное и неотъемлемое до-стоянiе современной геологіи.

II.

Рыбы появляются въ первый разъ въ девон-скихъ пластахъ, принадлежащихъ къ первичной, то есть къ древнѣйшей формации. Прежде всѣхъ другихъ рыбъ появляются такъ-называемыя *ганойдныя* рыбы, которыхъ число и разнообразіе постоянно увеличиваются и наконецъ дости-гаютъ высшей степени развитія въ юрскихъ пла-стахъ, составляющихъ средину вторичной фор-мации. Затѣмъ въ мѣловыхъ слояхъ, лежащихъ надъ юрской почвой, ганойды начинаютъ сла-бѣть и исчезать; этотъ постепенный упадокъ возрастаетъ въ третичныхъ пластахъ и нако-нецъ въ настоящее время порядокъ ганойдныхъ рыбъ, наполнившій своими разнообразными пред-ставителями всѣ воды юрскаго періода, заклю-чаетъ въ себѣ всего семь родовъ, живущихъ только въ немногихъ рѣкахъ, гдѣ борьба за су-ществованіе не такъ сильна, какъ въ морѣ. Та-кая строгая постепенность въ появленіи, въ раз-множеніи и въ вымираніи породъ находится въ полномъ согласіи съ теоретическими требованіями Дарвина. Но рыбы другого порядка, *костистыя*, въ этомъ отношеніи ведутъ себя совершенно не-прилично. Онѣ появляются внезапно цѣлой группой видовъ и родовъ въ нижнихъ ярусахъ мѣловой эпохи. Вотъ видите, говорятъ Агассизъ, Пикте, Седжвикъ и другіе палеонтологи, видите: онѣ появляются внезапно. Гдѣ-же ихъ постепен-ное развитіе? Значить, онѣ *встѣ вдругъ* были со-зданы въ началѣ мѣловаго періода. И совсѣмъ не «значить». Тутъ опять пущено въ ходъ отрица-тельное доказательство, и мы должны строго разграничить область дѣйствительныхъ фактовъ отъ области произвольныхъ толкованій и пред-положеній. Въ чемъ состоитъ голый фактъ? Въ томъ, что многія породы костистыхъ рыбъ жили во время мѣловаго періода и оставили свои кости и слѣды въ мѣловой формации. Затѣмъ начина-ются предположенія, противъ которыхъ Дарвинъ, съ своей точки зрѣнія, можетъ выставить много

другихъ предположеній, гораздо болѣе естественныхъ и правдоподобныхъ. *Во-первыхъ*, костистыя рыбы могли жить задолго до начала мѣловой эпохи въ моряхъ и рѣкахъ тѣхъ странъ, которыя до сихъ поръ не изслѣдованы въ геологическомъ отношеніи. Такихъ морей и рѣкъ слишкомъ достаточно, потому что геологи до сихъ поръ не знаютъ почти ни одной ископаемой рыбы, жившей въ южномъ полушаріи. Стало быть, въ этихъ неизслѣдованныхъ мѣстностяхъ порядокъ костистыхъ рыбъ могъ преспокойно возникнуть, усиливаться и раздѣлиться на множество ясно обозначенныхъ семействъ, родовъ и видовъ; потомъ, проживши такимъ образомъ въ южныхъ водахъ сотни тысячелѣтій, онъ могъ наконецъ во время мѣловой періода проникнуть и въ тѣ моря, которыя омывали тогдашніе берега Европы. *Во-вторыхъ*, намъ необходимо помнить, что отдѣльныя геологическія формаціи ложились другъ на друга не иначе, какъ съ громадными антрактами. Если сегодня кончилось накопленіе юрскихъ слоевъ, то съ завтрашняго дня никакъ не можетъ начаться напластованіе слѣдующей мѣловой формаціи. Еслибы дѣло происходило такимъ образомъ, то не было-бы никакой возможности отличить мѣлъ отъ юры. Различныя геологическія эпохи отличаются одна отъ другой особенностями тѣхъ органическихъ остатковъ, которые заключены въ ихъ пластахъ. Стало быть, конецъ одной геологической эпохи и начало другой наступаютъ тогда, когда появляются слѣды новой флоры и новой фауны *), то есть, когда во всей совокупности растений и животныхъ обнаруживается рѣзкое и сильное измѣненіе, а такіа измѣненія производятся только многими сотнями тысячелѣтій.

Вотъ примѣръ изъ книги Ляйелля «Древность человека»: «Мы уже видѣли, — говоритъ Ляйелль, — что всѣ растенія и прѣсноводныя и морскія раковины «лѣсного слоя» и рѣчно-морскихъ пластовъ Норфолка совершенно тождественны съ видами нынѣшней европейской фауны и флоры, такъ что, если на подобнаго рода слой отложилась-бы морская или прѣсноводная формація настоящаго періода, она-бы расположилась соотвѣтственными слоями и содержала-бы какъ ту же фауну безпозвоночныхъ, такъ и ту-же флору. Расположенные такимъ образомъ пласты назывались-бы одновременными въ обыкновенной геологической номенклатурѣ, не только какъ принадлежащіе къ той-же эпохѣ, но и какъ относящіеся къ тому-же подраздѣленію части одной и той же эпохи, хотя на самомъ дѣлѣ они и были-бы раздѣлены промежуткомъ времени въ нѣсколько сотенъ тысячъ лѣтъ».

Въ геологическомъ отношеніи лордъ Пальмер-

*) Не знаю, есть-ли надобность пояснить, что фауной называется совокупность животныхъ, а флорой совокупность растеній. На всякій случай поясню.

стонъ и самъ сэръ Чарльзъ Ляйелль могутъ быть названы современниками мамонтовъ и пещерныхъ медвѣдей, но животныя юрской эпохи и могутъ быть названы современниками животныхъ мѣловой періода. Стало быть, антракты между юрой и мѣломъ, то есть между двумя пластами, лежащими непосредственно одинъ надъ другимъ, несравненно длиннѣе, чѣмъ тотъ промежутокъ времени, который отдѣляетъ XIX вѣкъ отъ эпохи мамонтовъ. Какъ великъ антрактъ между двумя геологическими формаціями, никто не можетъ сказать даже приблизительно. Что происходило въ этомъ антрактѣ — также никто не знаетъ. Костистыя рыбы въ это время могли возникнуть и развиваться, или могли переселиться въ сѣверныя моря изъ южныхъ, а потомъ, когда началось напластованіе мѣловой формаціи, эти рыбы оказались уже многочисленными и разнообразными. *Въ-третьихъ* вопросъ о костистыхъ рыбахъ, благодаря новымъ открытіямъ, начинаетъ подвергаться той участи, которую уже испытывалъ въ наше время вопросъ ископаемыхъ обезьянъ и ископаемыхъ людей. Пикте открылъ недавно, что костистыя рыбы существовали даже въ Европѣ ранней мѣловой эпохи. Кромѣ того есть какія-то рыбы гораздо болѣе древнія, о которыхъ между палеонтологами идетъ споръ, неразрѣшенный еще настоящей минуты. Одни говорятъ, что эти рыбы — костистыя, другіе находятъ, что это гагоиды или хрящевыя рыбы. А для теоріи Дарвина очень благоприятно именно то обстоятельство, что характеръ этихъ спорныхъ рыбъ является неясно обозначеннымъ. Вотъ онъ есть — переходная форма, отшедшая прочь отъ одного порядка и еще не возвысившаяся до другого. Но, разумѣется, натуралисты, абсолютные не желающіе признавать никакихъ переходныхъ формъ, всегда съумѣютъ обойти это непріятное обстоятельство. Если переходная форма слабо уклонилась отъ первобытной, они скажутъ, что это разновидность — *varietas*. А уклонилась посильнѣе — значитъ — это новый видъ — *species*, возникшій совершенно самостоятельно. Перехода нѣтъ нѣтъ въ словахъ, а на дѣлѣ-то онъ все-таки существуетъ. Оттого и происходитъ напримѣръ такая исторія: въ верхнихъ пластахъ третичной формаціи находится множество раковинъ, совершенно сходныхъ съ тѣми раковинами, которыя живутъ въ прѣсныхъ и морскихъ водахъ того періода. Большинство натуралистовъ говоритъ, что это одни и тѣ-же раковины; но др. первоклассные авторитеты, напримѣръ Пикетъ и Агассизъ, утверждаютъ, что между третичными и нынѣшними раковинами существуетъ видъ различіе. И тѣ, и другіе правы: различіе действительно существуетъ, а раковины, то породы моллюсковъ, — тѣ-же самыя; потомокъ вполне похожъ на своего предка, точно такъ-какъ англійская лошадь не вполне похожа

скую, какъ теперешняя груша не воплотилась на грушу времени Плинія, или какъ сибирскій турманъ не воплотилъ похоть на дикаго индуса. Моллюски понемногу переродились, но тысячелѣтій произвели въ нихъ меньше тѣмъ, чѣмъ десятки лѣтъ производятъ въ низшихъ животныхъ. Только такимъ медленнымъ перерожденіемъ моллюсковъ и можно объяснить то странное несогласіе, которое возникаетъ по поводу ихъ раковинъ между опытными палеонтологами. Еслибы была возможность определить совершенно точно различіе между разнообразіемъ и видами, то натуралисты давнымъ-давно установили-бы незыблемую границу между этими двумя понятіями. Но нельзя установить эту границу, потому что она не существуетъ въ природѣ, а признать ея несуществованіе — значитъ принять теорію Дарвина со всѣми ея неизбежными выводами. Многіе порядки животныхъ появляются въ геологическихъ формаціяхъ почти внезапно, какъ костистыя рыбы, но во всѣхъ этихъ случаяхъ внезапность появленія не даетъ намъ права заключать, что эти порядки внезапно возникли. Полное недоумѣніе къ отрицательнымъ доказательствамъ должно служить въ необходимой защитой противъ всякихъ геологическихъ иллюзій.

III.

По теоріи Дарвина, всѣ положительные факты, бытіе современной геологіей, объясняются совершенно удовлетворительно. При всякомъ другомъ взглядѣ на органическую жизнь значеніе и общая связь этихъ положительныхъ фактовъ остаются совершенно непонятными. Если мы посмотримъ на царство животныхъ въ его теперешнемъ положеніи, то замѣтимъ, что нѣкоторыя группы рѣзко отдѣляются другъ отъ друга, но пробѣлъ, существующій между этими группами, поодна является въ значительной степени и даже совершенно исчезаетъ, когда мы начинаемъ изучать живыя формы въ связи съ ископаемыми организмами. Семейство травоядныхъ китовъ (*Sirenia*) очень ясно отдѣляется отъ толстокожихъ животныхъ (*Pachydermata*), но есть отъ слоновъ, тапировъ, носороговъ, бегемотовъ и свиней; но вымершія породы *дипотеріевъ* и *токсодонтовъ* становятся какъ разъ посредники между китами и слонами. По формѣ тела и заднихъ оконечностей дипотеріевъ было бы странно, а по устройству зубовъ и хобота они напоминаютъ близкимъ родственникомъ слона. Толстокожіе рѣзко отличаются отъ жвачныхъ. Какое родство въ самомъ дѣлѣ можно найти между свиньей и овцой, между слономъ и оленемъ, между носорогомъ и верблюдомъ? Но въ настоящее семейство *аноплотеридовъ* составляетъ переходъ отъ толстокожихъ къ жвачнымъ, и классификаторы не знаютъ извѣрное,

къ какому порядку должно быть отнесено это семейство.

Такимъ образомъ китъ, слонъ и баранъ оказываются дальними родственниками, и родство ихъ можетъ быть доказано даже тѣми скудными средствами, которыми располагаетъ современная палеонтологія. Ящерицы рѣзко отдѣляются отъ птицъ, но въ юрскомъ періодѣ жили крылатые ящерицы (*ptero-dactylia*), и въ солонгофенскихъ пластахъ найдена даже ящерица, покрытая перьями. По словамъ Дарвина, можно было-бы наполнить цѣлыя страницы доказательствами, что «вымершія животныя занимаютъ середину между нынѣ живущими группами». И особенно интересно то обстоятельство, что всѣ эти доводы можно цѣликомъ заимствовать изъ сочиненій великаго палеонтолога Оуэна, который на теорію Дарвина смотритъ съ ужасомъ и отвращеніемъ. Другой первоклассный ученый, Баррандъ, также горячій противникъ дарвиновскаго легкомыслія, говоритъ, что безпозвоночныя животныя прошедшихъ геологическихъ періодовъ «принадлежать къ однимъ порядкамъ, семействамъ и родамъ съ нынѣ живущими, но не были въ тѣ времена разграничены на такія рѣзкія группы, какъ нынѣ».

Если всѣ видовыя формы были сначала мелкими разновидностями, и если каждая разновидность возникла и развилась изъ незамѣтной индивидуальной особенности, то причина этого явленія, подмѣченнаго Оуэномъ, Баррандомъ и всѣми другими палеонтологами, совершенно понятна. Но если каждый видъ возникъ отдѣльно и остается неизмѣннымъ вплоть до своего исчезновенія, то невозможно объяснить себѣ, почему животныя древнихъ формацій вообще не такъ рѣзко раздѣлены на видовыя, родовыя и семейныя группы, какъ животныя текущаго періода. Такъ случилось конечно; но почему же случилось именно такъ, а не иначе, въ теченіи позитивнаго ряда тысячелѣтій и въ каждой изъ тридцати шести извѣстныхъ намъ громадныхъ геологическихъ эпохъ? На этотъ вопросъ противники Дарвина не могутъ дать никакого отвѣта, а Дарвинъ даетъ отвѣтъ совершенно правдоподобный, и, что всего важнѣе, этотъ правдоподобный отвѣтъ разрѣшаетъ совершенно удовлетворительно множество другихъ вопросовъ, поставленныхъ положительными фактами геологіи и многими другими отраслями естествознанія. Такой отвѣтъ, приложимый ко множеству самостоятельныхъ вопросовъ и согласный со всей совокупностью различныхъ фактовъ, независимыхъ другъ отъ друга, — такой отвѣтъ, говорю я, по своему всеобъемлющему значенію, уже теряетъ характеръ простой гипотезы.

Если мы будемъ сравнивать между собою фауны и флоры различныхъ геологическихъ эпохъ, то увидимъ, что чѣмъ дальше одна эпоха отстоитъ по времени отъ другой, тѣмъ

сильнѣе отличаются другъ отъ друга ихъ флоры и фауны. Напримѣръ животныя и растенія третичныхъ формаций ближе подходятъ къ теперешнимъ породамъ, чѣмъ животныя и растенія вторичныхъ пластовъ, а вторичныя, въ свою очередь, представляютъ съ теперешними больше сходства, чѣмъ первичныя. Чѣмъ древнѣе пласть, тѣмъ страннѣе и непривычнѣе для нашихъ глазъ формы животныхъ и растеній; чѣмъ новѣе пласть, тѣмъ знакомѣе кажутся намъ фигуры ископаемыхъ организмовъ. Если мы возьмемъ три формации, лежащія одна на другой, напримѣръ силурскую, девонскую и каменноугольную, то мы увидимъ, что органическія формы средней эпохи, девонской, составляютъ въ некоторомъ образомъ переходъ отъ древнѣйшихъ, силурскихъ, формъ къ болѣе новымъ, каменноугольнымъ. Это обстоятельство также можетъ быть объяснено только по идеямъ Дарвина. Если всѣ органическія формы медленно и постепенно развивались изъ общаго начала, если каждая новѣйшая форма оказывается въ буквальномъ смыслѣ слова дочерью другой формы, болѣе древней, если такимъ образомъ каждая геологическая эпоха составляетъ только отдѣльную сцену одной общей громадной драмы, не перерывавшейся ни разу съ самаго своего начала, — тогда понятно, почему эти сцены находятся въ связи между собою, и почему напримѣръ вторая сцена служитъ переходомъ отъ первой къ третьей. Но если каждый видъ возникъ самъ по себѣ, безъ всякаго отношенія къ тѣмъ формамъ, которыя жили раньше его появленія, и если такимъ образомъ каждая геологическая эпоха оказывается совершенно законченной пьесой, съ своей особенной завязкой и развязкой, — тогда для насъ становится необъяснимой причина той несомнѣнной связи, которую мы замѣчаемъ между органическими произведениями отдѣльных геологическихъ эпохъ.

Противники Дарвина представляютъ себѣ исторію органической жизни въ слѣдующемъ видѣ: сначала созданы животныя и растенія силурской эпохи; потомъ они уничтожаются и создаются животныя и растенія девонскаго періода; потомъ эти уничтожаются въ свою очередь и создаются животныя и растенія каменноугольной формации, и такъ далѣе вплоть до нашихъ временъ. Спрашивается, почему же организмы девонскихъ слоевъ болѣе похожи на силурскія формы, чѣмъ напримѣръ на теперешніе виды животныхъ и растеній? Потому что девонская эпоха слѣдуетъ непосредственно за силурской? Но какая же связь существуетъ между простой хронологической послѣдовательностью и типическими особенностями организмовъ? Если силурская эпоха отдѣлена отъ девонской непроходимой бездной, то не все-ли равно, одна-ли такая бездна лежитъ между ними, или двадцать безднъ? Еслибы девонскія организмы возникли совершенно независимо отъ силурскихъ, то имъ не

было никакой надобности и никакой необходимости представлять съ послѣдними какое-бы то родственное сходство.

Клифъ доказалъ, что ископаемыя млекопитающія, находящіяся въ австралійскихъ рахъ, обнаруживаютъ тѣсную, родственную связь съ сумчатыми животными, населяющими эту страну въ настоящее время. Оуэнъ доказалъ, что ископаемыя млекопитающія, отысканныя въ Платѣ и въ Бразиліи, сродны съ южноамериканскими животными нашего времени. Подмѣтилъ кромѣ того родственное сходство между ископаемыми и живущими птицами въ Зеландіи. И наконецъ тотъ же Оуэнъ распространилъ то-же обобщеніе и на млекопитающихъ Старога Свѣта». Вотъ сколько новыхъ услугъ этотъ драгоценный Оуэнъ, съ не желая, оказалъ своими великими трудами той теоріи, которую онъ ненавидѣлъ. Всѣ эти открытія очевидно идутъ въ пользу Дарвина.

Почему же въ самомъ дѣлѣ вымершіе виды известной страны представляютъ сходство съ тѣми органическими формами, которые существуютъ именно въ той же самой странѣ? Напримѣръ ископаемыя животныя Австраліи похожи на живыхъ обитателей той же Австраліи, а не на жителей Европы, или Азіи, или Африки. Отвѣтъ напрашивается самъ собою. Австраліяскія животныя похожи на австралійскія, а не на ново-зеландскія, южноамериканскія — на южно-американскія, и т. д., — потому что живыя формы этихъ странъ составляютъ прямое, исходящее по теченію, изъ ископаемыхъ организмовъ. Это потому что родилось сообразно съ измѣняющимися условиями вѣчной борьбы за существованіе, основныя черты общаго типа еще не успѣли измѣниться. Другого отвѣта тутъ и быть не можетъ, и такимъ образомъ даже геологическая недостаточность своихъ матеріаловъ двигаетъ въ пользу Дарвина три ряда мнѣнательныхъ фактовъ.

Географическія доказательства

I.

Почему слоны и носороги живутъ въ Африкѣ и не живутъ въ тропическихъ странахъ Америки и Австраліи? Почему бенгальскій тигръ замѣняется въ Америкѣ ягуаромъ, а въ Южной Америкѣ живетъ латиноамериканскій верблюдъ? Почему обезьяны Старога Свѣта принадлежатъ къ семейству узконосыхъ и длиннохвостыхъ, а обезьяны Новога Свѣта, на югѣ, отличаются широкими носами и длинными хвостами? Можно поставить тысячи подобныхъ вопросовъ, и на всѣ эти вопросы натуры постоянно будетъ отвѣчать: «не знаю».

тическія условія въ этомъ случаѣ не объясняютъ ровно ничего. Экваторъ проходитъ черезъ Африку, Азію и Южную Америку; въ этихъ трехъ частяхъ свѣта можно отыскать множество такихъ мѣстностей, въ которыхъ солнце жжетъ съ одинаковой силой, и воздухъ въ одинаковой степени насыщенъ водяными парами. Сходство въ климатическихъ условіяхъ будетъ полное, а между тѣмъ различіе растений и животныхъ будетъ чрезвычайно значительно. Австралія также лежитъ въ жаркомъ поясѣ, но тропическій климатъ конечно не объясняетъ намъ, почему въ Австраліи живутъ утконосы и двуутробки, и почему черепъ австраійскаго человѣка похожъ на рѣдкую съ хвостомъ кверху.

Великобританское королевство есть группа острововъ, лежащихъ въ сѣверномъ умѣренномъ поясѣ, и Японская имперія есть также группа острововъ, лежащихъ въ сѣверномъ умѣренномъ поясѣ, но жизнь англичанина не похожа на жизнь японца, и никому не приходитъ въ голову находить это послѣднее обстоятельство удивительнымъ. Говорятъ, что исторія выработала въ Великобританіи *habeas corpus*, а въ Японіи манеру лишать себя жизни посредствомъ изрѣзыванія живота. Ну да, исторія, и та-же самая исторія выработала цѣпкій хвостъ широконосаго американскаго сапая и безхвостость узконосаго азіатскаго орангутанга. Та исторія, которая сформировала государственныя учрежденія Англіи и Японіи, составляетъ только небольшой и очень короткій періодъ той всемірной исторіи, которая создала и постоянно продолжаетъ создавать всѣ существующія формы растений и животныхъ нашей планеты. Въ исторіи человечества только тѣ народы могутъ дѣйствовать другъ на друга, которые имѣютъ между собою какія-нибудь сношенія; точно также въ исторіи органической жизни только тѣ растения и животные дѣйствуютъ другъ на друга, которые такъ или иначе находятся между собою въ соприкосновеніи. Азіатскіе народы развивались особнякомъ отъ европейскихъ; африканскіе — особнякомъ отъ тѣхъ и отъ другихъ; а народы Америки и Австраліи до конца XV-го вѣка еще гораздо рѣзче были отчуждены отъ народовъ Старого Свѣта. То-же самое явленіе «особности» въ еще болѣе сильной степени обнаруживается въ историческомъ развитіи органическихъ формъ. Жизнь возникла и развивалась самостоятельно на различныхъ точкахъ земной поверхности. Всѣ животныя и всѣ растенія каждой обширной географической области, окаймленной естественными границами, составляютъ одно органическое цѣлое, въ которомъ отдѣльныя части связаны между собою перепутанными сѣтями самыхъ сложныхъ взаимныхъ отношеній. Внутри этого цѣлага совершается историческое развитіе всѣхъ отдѣльныхъ частей, т. е. всѣхъ видовъ растительнаго и животнаго царства.

Каждая отдѣльная часть, т. е. каждый видъ, стремится къ тому, чтобы какъ можно плотнѣе приладиться къ этому цѣлому; каждый видъ борется съ другими видами *данной области* и шлифуется посредствомъ этой борьбы, т. е. приобретаетъ тѣ особенности въ тѣлосложеніи, которыхъ требуютъ *мѣстные условія*. Колоритъ и направленіе борьбы зависятъ отъ этихъ мѣстныхъ условій, т. е. всей совокупности тѣхъ органическихъ формъ, которыя населяютъ данную мѣстность. Сообщая борьбѣ то или другое направленіе, эти мѣстные условія вырабатываютъ типическія особенности каждаго отдѣльнаго вида, который такимъ образомъ оказывается непременно продуктомъ известной географической области. Эти готовые продукты различныхъ географическихъ областей изъ своего отечества распространяются въ разныя стороны и наконецъ останавливаются въ своемъ распространеніи на тѣхъ естественныхъ границахъ, черезъ которыя не можетъ перейти ни животное, ни растеніе. Самыми непроходимыми границами оказываются океаны, и поэтому три материка: Старый Свѣтъ, Америка и Австралія, чрезвычайно рѣзко отдѣляются другъ отъ друга по характеру своихъ туземныхъ организмовъ. Африканскій слонъ конечно могъ-бы найти себѣ въ тропической Бразиліи удобный климатъ и обильную пищу; бенгальскій тигръ, попавши въ Бразилію, не превратился-бы тамъ въ ягуара; потомство узконосаго и безхвостаго орангутанга, перевезеннаго въ Южную Америку, по всей вѣроятности не приобрѣло-бы себѣ тамъ широкой носовой перегородки и длиннаго хвоста. Но такъ какъ всѣ эти животныя не имѣютъ никакой возможности перебраться черезъ океанъ, то всѣ они и остаются исключительными обитателями Старого Свѣта.

Но развѣ не могла порода тигровъ, слоновъ и орангутанговъ возникнуть одновременно и въ Старомъ Свѣтѣ, и въ Новомъ? — На этотъ вопросъ можно отвѣчать рѣшительно: нѣтъ, не могла. Для этого было-бы необходимо, чтобы втеченіи многихъ сотенъ тысячелѣтій на двухъ различныхъ точкахъ земной поверхности борьба за существованіе совершалась при одинаковыхъ условіяхъ. Такое требованіе совершенно неосуществимо, и поэтому каждый натуралистъ, принимающій видовыя формы за продукты борьбы и естественнаго развитія, непременно приходитъ къ тому заключенію, что каждая видовая форма могла возникнуть *только въ одной* географической области. Факты подтверждаютъ это теоретическое предположеніе. Натуралисты не знаютъ ни одного примѣра, чтобы какое-нибудь дикое млекопитающее водилось на двухъ совершенно отдѣльныхъ материкахъ. На океаническихъ островахъ, лежащихъ далеко отъ материка, нѣтъ ни дикихъ млекопитающихъ, ни лягушекъ, ни жабъ, ни ящерицъ, ни змей, ни пауковъ, ни насекомыхъ, ни рыбъ, ни моллюсковъ, ни ракообразныхъ, ни грибовъ, ни лишайниковъ, ни водорослей, ни какихъ-либо другихъ организмовъ, за исключеніемъ, впрочемъ, птицъ, которыя могутъ перелетать отъ материка къ острову, и наоборотъ.

что всѣ эти животныя не могутъ переселяться за море. лягушки, жабы и ящерицы сами погибаютъ отъ морской воды, и даже ихъ икра не выдерживаетъ прикосновенія этой стихіи. Стало бытъ, лягушка, жаба или ящерица могутъ попасть на островъ только при помощи человѣка. Человѣкъ нечаянно помогъ лягушкамъ пробраться на Мадеру, на Азорскія острова и на островъ св. Маврікія, и лягушки такъ отлично прижились къ мѣстнымъ условіямъ и размножились такъ успѣшно, что ихъ многочисленность становится для жителей этихъ острововъ тягостнымъ наказаніемъ. На тѣхъ океаническихъ островахъ, на которыхъ нѣтъ земныхъ млекопитающихъ, живутъ однако летучія мыши, т. е. именно такіа млекопитающія, которыя, подобно птицамъ, могутъ переправляться черезъ морскіе проливы. Эти факты доказываютъ намъ, что каждый океаническій островъ населялся тѣми растеніями и животными, которыя такъ или иначе могли пробраться на него съ сосѣдняго материка. Поэтому населеніе этихъ острововъ большей частью очень бѣдно, т. е. на нихъ живетъ сравнительно съ ихъ пространствомъ очень незначительное количество видовыхъ формъ. Присутствіе летучихъ мышей на океаническихъ островахъ не должно насъ изумлять; извѣстно, что двѣ породы изъ этого семейства перелетаютъ нѣсколько разъ въ годъ съ береговъ Сѣверной Америки на Бермудскіе острова, находящіеся въ шести стахъ миляхъ отъ материка. Путешественники видали иногда, какъ летучія мыши летятъ днемъ надъ Атлантическимъ океаномъ въ очень далекомъ разстояніи отъ береговъ. Поэтому вовсе не трудно предположить, что какая-нибудь континентальная порода летучихъ мышей залетѣла на островъ, осталась на немъ, размножилась и потомъ видоизмѣнилась, такъ что образовалась новая порода, свойственная исключительно данному острову. Съ точки зрѣнія Дарвина этотъ фактъ понятенъ. Но если мы отвергнемъ теорію преемственности видовъ, то намъ останется только изумляться, почему же это въ самомъ дѣлѣ для Новой Зеландіи полагаются двѣ породы летучихъ мышей, и совсѣмъ не предполагается ни крысъ, ни зайцевъ, ни собакъ, ни кошекъ. И почему же мать-природа не помѣстила лягушекъ въ такихъ мѣстахъ, гдѣ всѣ условія жизни оказываются для этихъ животныхъ въ высшей степени благоприятными?

II.

Во многихъ случаяхъ бываетъ очень трудно объяснить, какимъ образомъ совершилось переселеніе животнаго или растенія съ одной точки земной поверхности на другую. Вѣтры, морскія теченія, птицы, рыбы въ очень значительной степени помогаютъ переселеніямъ растеній и даже нѣкоторыхъ животныхъ. Дарвинъ сооб-

щаетъ много любопытнѣйшихъ наблюденій о счетѣ этихъ случайныхъ способовъ переселенія. Но до сихъ поръ предметъ этотъ разрѣшенъ очень недостаточно. Ботаники не знаютъ долго ли сѣмена различныхъ растеній противятся вредному дѣйствію морской воды. Между тѣмъ вѣтеръ каждый годъ ломаетъ и уноситъ ихъ въ море; тамъ онѣ плывутъ въ теченіе и плывутъ въ даль, и потомъ бросаются на какой-нибудь берегъ. Но при такомъ плаваніи могутъ ли зрѣлыя сѣмена выжить на этихъ вѣткахъ, пустить ли они корень и произвести здоровое растеніе? Понятно, что этотъ вопросъ имѣетъ важное значеніе. Чтобы разрѣшить этотъ вопросъ по крайней мѣрѣ для орѣховъ растеній, Дарвинъ бралъ вѣтки съ зрѣлыми сѣменами, клалъ ихъ въ морскую воду на сколько сутокъ и даже недѣль, а потомъ вынималъ ихъ, и отиѣчалъ результаты этихъ опытовъ. Многія вѣтки тотчасъ отравлялись ко дну, нѣкоторыя держались на водѣ очень долго, но сѣмена ихъ оказывались негодными; третья часть вѣтокъ держалась на водѣ нѣсколько дней. Погруженіе вѣтокъ на 28, 42 и даже для орѣховъ на 137 дней, нисколько не вредило имъ сѣменамъ, которыя при первой возможности тотчасъ пускали корень и производили здоровыя растенія. Зеленныя вѣтки отравлялись ко дну очень быстро, но тѣ-же самыя вѣтки, высушенныя на солнцѣ, держались на водѣ очень долго. Нап. сухая вѣтка орѣшника продержалась на водѣ 90 дней, и потомъ орѣхи этой вѣтки, положенныя въ землю, пустили корень. Сухая вѣтка спаржи съ зрѣлыми ягодами плавала 8 дней, и сѣмена пустили корень. Изъ всѣхъ опытовъ Дарвинъ выводилъ то заключеніе, что изъ 100 растеній десять могутъ плавать въ морской водѣ около четырехъ недѣль, не теряя живучести своихъ сѣмянъ. По физическому расчету, средняя быстрота атлантическихъ теченій равняется 33 милямъ въ сутки, т. е. $33 \times 28 = 924$. Это значитъ, что нѣкоторыя растенія могутъ переплыть въ 28 сутокъ пространство въ 924 мили; потомъ, если выбросить ихъ на берегъ, и если морской вѣтеръ занесетъ ихъ въ удобное мѣсто, сѣмена растеній могутъ пустить корень и основать на новомъ мѣстѣ новую колонію вдали отъ своего отечества.

Море часто выбрасываетъ на берегъ сѣмена различныхъ острововъ цѣлыя деревья, и на лавныхъ островахъ Тихаго Океана туземцы готовятъ инструменты и оружіе исключительно изъ тѣхъ камней, которые попадаютъ на берегъ корнями этихъ деревьевъ. Камни эти полны въ такомъ значительномъ количествѣ, что жители этихъ островитянъ сочли удобнымъ превратить эту статью мѣстной торговли въ свою регалію. Эти камни часто держатся очень плотно между корнями, что частицы зем-

жаміи иногда за камнями или между ними, совершенно защищены, отъ воды и не могутъ быть разныты несмотря на значительную продолжительность плаванія. Въ этихъ частицахъ земли заключаются иногда сѣмена различныхъ растений, которыя такимъ образомъ могутъ переселиться на чрезвычайно далекія разстоянія. Дарвинъ видѣлъ между корнями пятидесятилѣтняго дуба кусокъ земли, совершенно обросшій деревомъ; изъ этого куска появились ростки трехъ сѣмянъ, пробывшихъ пятьдесятъ лѣтъ въ такомъ тѣсномъ заключеніи.

Тѣла мертвыхъ птицъ помогаютъ иногда переселенію растений, потому что многія сѣмена долго сохраняютъ свою жизнеспособность въ зобу этихъ птицъ. Живыя птицы въ этомъ отношеніи оказываютъ самыя значительныя услуги. Боточки многихъ ягодъ и плодовъ проходятъ черезъ кишечный каналъ птицы совершенно нетронутыми. Кроме того, такъ какъ зобъ птицы не выделяетъ желудочнаго сока, то всѣ зерна, входящія въ ея зобу и не пошавшія еще въ желудокъ, совершенно способны пустить корень. Пища птицы остается въ зобу отъ пятнадцати до восемнадцати часовъ въ тѣхъ случаяхъ, когда птица наблѣлась досыта. Предположимъ теперь, что птица наглоталась различныхъ зеренъ и полетѣла. Ее подхватываетъ вѣтеръ, не даетъ ей справиться и уноситъ ее въ открытое море; птица поневолѣ летитъ по вѣтру, и, по словамъ Дарвина, скорость ея полета при такихъ условіяхъ можетъ доходить до 35 миль въ часъ, такъ что она легко можетъ пролетѣть миль пятьсотъ прежде, чѣмъ сѣденыя ею зерна перейдутъ изъ ея зоба въ желудокъ. Наконецъ она видитъ берегъ и опускается въ совершенномъ изнеможеніи, но соколы и ястребы имѣютъ неизвольтельную привычку подстерегать утомленныхъ птицъ; одинъ изъ такихъ хищниковъ бросается на нашего странника и раздираетъ его; часть сѣмянъ вываливается изъ разорваннаго зоба и можетъ немедленно пустить корень. Далѣе, многія хищныя птицы глотаютъ цѣликомъ свою добычу и потомъ, по прошествіи двѣнадцати и даже двадцати часовъ, выбрасываютъ черезъ клювъ комки разныхъ переваренныхъ веществъ. Въ этихъ комкахъ часто находятся сѣмена, способныя пустить корень. Нѣкоторыя зерна овса, пшеницы, проса, конопли, клевера и свекловицы пустили корень, пробывши отъ 12 до 20 часовъ въ желудкѣ разныхъ хищныхъ птицъ. Два сѣмечка свекловицы пробыли въ желудкѣ хищной птицы двое сутокъ и четырнадцать часовъ (всего 62 часа) и все-таки пустили корень. Эта хищная птица могла въ это время залетѣть Богъ знаетъ куда, а хищныхъ птицъ много, и онѣ каждый день истребляютъ зерноядныхъ птицъ и каждый день выбрасываютъ комки переваренныхъ веществъ. Вліяніе этихъ птицъ на судьбу растений должно быть

очень значительно. Хищныя птицы, питающіяся рѣчной рыбой, такъ-же точно дѣйствуютъ на распространеніе водяныхъ растений, потому что рыба глотаетъ сѣмена, а птица глотаетъ рыбу. Къ лапамъ птицъ пристають иногда частицы глины и ила, въ этихъ частицахъ часто заключаются мелкія сѣмена. Цапли, кулики и другія болотныя птицы особенно сильно должны содѣйствовать этимъ способомъ распространенію прѣсноводныхъ растений. Эти птицы постоянно бродятъ по вязкому грунту и перелетаютъ часто на чрезвычайно значительныя разстоянія. Съ береговъ каждого пруда онѣ непремѣнно уносятъ частицу мѣстной грязи, а эта грязь заключается въ себѣ обыкновенно громадныя количества сѣмянъ. «Я въ февралѣ, — говоритъ Дарвинъ — взялъ три столовыя ложки ила изъ трехъ разныхъ подводныхъ точекъ на краю маленькаго пруда. Этотъ илъ, высушенный, вѣсилъ всего $6\frac{3}{4}$ унцій; я держалъ его прикрытымъ въ моемъ кабинетѣ втеченіи шести мѣсяцевъ, вырывая и считая всѣ всходящія растения; растения эти принадлежали къ разнымъ видамъ, и всѣхъ ихъ было 537; однако вязкій илъ весь помѣщался въ чайной чашкѣ —.» Дикія утки и другія птицы, плавающія по рѣкамъ и перелетающія съ одной рѣки на другую, могутъ переносить съ собой прѣсноводныхъ моллюсковъ. Возможность такихъ перенесеній доказана прямымъ опытомъ. Дарвинъ повѣсилъ въ акваріумъ утиную лапу въ томъ положеніи, въ какомъ держитъ ее утка, плавая по водѣ; къ этой лапѣ присосалось множество молодыхъ моллюсковъ, тѣлько что вылупившихся изъ яицъ. Дарвинъ вынулъ лапу и началъ ее отряхивать; моллюски не пошевельнулись; послѣ этого лапа пролежала въ водѣ больше двѣнадцати часовъ и моллюски остались въ живыхъ. Стало бытъ, утка очень легко могла-бы перелетѣть вѣстѣ съ ними за нѣсколько десятковъ миль и потомъ опустить ихъ въ какой-нибудь другой прудъ, отстоящій очень далеко отъ мѣста ихъ рожденія. Этими и многими другими причинами, еще недостаточно изслѣдованными, объясняется то обстоятельство, что одни и тѣ-же виды прѣсноводныхъ моллюсковъ попадаютъ въ различныхъ рѣкахъ, не имѣющихъ между собой никакого воднаго сообщенія. Сами собой моллюски, живущіе исключительно и постоянно въ водѣ, очевидно не могутъ перебраться сухимъ путемъ изъ одной рѣки въ другую. Кроме птицъ, моллюскамъ помогаютъ въ этомъ дѣлѣ нѣкоторыя насекомыя. «Сэръ Чарльзъ Лийелль, — говоритъ Дарвинъ, — извѣщаетъ меня, что однажды былъ пойманъ *Dytiscus* (плавунецъ — водяной жукъ) съ прѣсноводной раковиной *Ancylus*, крѣпко присосавшейся къ нему; а водяной жукъ *Colymbetes*, принадлежащій къ тому же семейству, однажды залетѣлъ на корабль «Вигль», когда этотъ корабль находился въ 45 миляхъ отъ ближайшаго бе-

рега». — Очень можетъ быть, что этотъ *Solutabes* при попутномъ вѣтрѣ пролетѣлъ-бы еще дальше, а съ нимъ вмѣстѣ путешествовалъ-бы и тотъ моллюскъ, который присосался-бы къ его тѣлу. — Въ природѣ существуютъ вѣроятно многіе другіе способы переселенія, и будущіе натуралисты конечно сдѣлаютъ по этому предмету много неожиданныхъ открытій.

III.

Въ Великобританіи и въ Ирландіи водятся тѣ-же дикія млекопитающія, которыя живутъ во Франціи, въ Германіи и въ Швеціи. Это обстоятельство было-бы необъяснимо, если бы мы не обратили вниманія на тѣ значительныя измѣненія морского уровня, которыя совершились во время новѣйшихъ геологическихъ эпохъ. Западныя и сѣверозападныя части Европы то поднимались, то опускались во время всего послѣ-пліоценоваго періода, примыкающаго непосредственно къ этой эпохѣ, къ которой относятся все историческое существованіе человѣческихъ племенъ. Во время поднятія почвы всѣ британскіе острова соединялись въ одну массу и срастались съ европейскимъ материкомъ; Ламаншъ исчезалъ совершенно и можетъ-быть даже все Нѣмецкое море превращалось въ сушу, такъ что Великобританія на югѣ сливалась съ Франціей, а на востокѣ — съ Норвегіей и Даніей. Темза въ это время становилась притокомъ Рейна. Потомъ, когда почва опускалась, Великобританія, оторванная отъ материка, разрывалась кромѣ того на множество мелкихъ острововъ. Всѣ эти колебанія уровня совершаются чрезвычайно медленно, такъ что Великобританія была соединена съ материкомъ втеченіи многихъ тысячелѣтій, и всѣ континентальныя животныя имѣли полную возможность населить эту землю и размножиться въ ней во время періода поднятія. Такъ какъ во время послѣ-пліоценовой эпохи теперешняго порода животныхъ были уже сформированы, то эти колебанія уровня объясняютъ намъ совершенно удовлетворительно, почему одніи и тѣ-же породы млекопитающихъ населяютъ и материкъ Европы, и Британскіе острова. Несмотря на эти послѣдовательныя повышенія и пониженія, главныя массы твердой земли постоянно оставались на тѣхъ-же мѣстахъ, на которыхъ онѣ находятся въ настоящее время. Подробности въ очертаніяхъ материковъ измѣнялись значительно, но при всемъ томъ Старый Свѣтъ былъ постоянно отдѣленъ отъ Америки обширными океанами. Среднія и южныя части этихъ двухъ материковъ лежали очень далеко другъ отъ друга, а сѣверныя части, напротивъ того, находились почти въ непосредственномъ соприкосновеніи; словомъ, въ главныхъ чертахъ, эти двѣ громадныя массы твердой земли занимали постоянно то-же положеніе, въ какомъ мы ихъ видимъ теперь. Прямая пересе-

ленія животныхъ и растений изъ Франціи въ Соединенные Штаты или съ мыса Доброй Надежды въ Ла-Плату были невозможны во время всѣхъ геологическихъ эпохъ, о которыхъ мы имѣемъ какія-нибудь свѣдѣнія. Двѣ послѣднія геологическія эпохи, пліоценовая и послѣ-пліоценовая, дѣйствовали на разселеніе животныхъ и растений не только колебаніями уровня, но еще кромѣ того значительными колебаніями климатическихъ условій. Въ пліоценовой эпохѣ былъ одинъ періодъ гораздо теплѣе теперешняго; потомъ началось медленное охлажденіе, и во время послѣ-пліоценовой эпохи холодъ, достигши своего крайняго развитія, сдѣлался до такой степени силенъ, что наступилъ такъ называемый *ледовой* или *ледниковый* періодъ; въ это время климатъ былъ гораздо холоднѣе, чѣмъ теперь; потомъ температура опять начала повышаться и наконецъ, послѣ различныхъ, менѣе значительныхъ колебаній, достигла до своего теперешняго положенія.

Посмотримъ, какимъ образомъ эти климатическія измѣненія должны были дѣйствовать на разселеніе животныхъ и растений. Возьмемъ сначала теплый періодъ пліоценовой эпохи и постоянно будемъ имѣть въ виду то обстоятельство, что главныя очертанія великихъ материковъ во все это время не испытывали никакихъ существенныхъ видоизмѣненій. Когда климатъ былъ гораздо теплѣе теперешняго, тогда жители сѣвернаго умѣреннаго пояса могли жить за полярнымъ кругомъ, а организмы, свойственные холодному поясу, жили въ тѣхъ земляхъ, которыя лежатъ возлѣ самаго полюса, подъ сплошной корою вѣчнаго льда, подавляющаго въ настоящее время всякое проявленіе органической жизни. Въ настоящее время сѣверныя оконечности Старо-го Свѣта и Америки населены совершенно одинаково именно потому, что эти оконечности находятся въ самомъ ближайшемъ сосѣдствѣ. Но теперь въ Старомъ и въ Новомъ Свѣтѣ одинаковы только чисто полярныя формы, напримѣръ сѣверный олень, бѣлый медвѣдь, песцы, морскіе бобры, киты, и тому подобныя животныя, свойственныя исключительно холодному поясу. Во время теплаго періода пліоценовой эпохи на обоихъ материкахъ были одинаковы, *во-первыхъ*, полярныя формы, жившія въ то время въ тѣхъ странахъ вѣчнаго льда, которыя теперь совершенно лишены обитателей и даже недоступны самымъ любознательнымъ и неустрашимымъ изслѣдователямъ; и, *во-вторыхъ*, — тѣ животныя и растения умѣреннаго пояса, которыя въ то время жили въ теперешней области сѣверныхъ оленей, бѣлыхъ медвѣдей и морскихъ бобровъ. Беринговъ проливъ по всей вѣроятности иссушалъ иногда подобно Ламаншу, и тогда всякія переселенія изъ сѣверной Азіи въ сѣверную Америку становились очень удобными. Началось охлажденіе. Вѣчныя льды обложили полюсъ и

медленно потѣснили къ югу полярную фауну и полярную флору. Полярныя животныя и растенія, подвигаясь къ югу, прогнали въ умѣренный поясъ тотъ комплектъ растеній и животныхъ, который во время теплаго пліоцена жилъ за полярнымъ кругомъ. Эти послѣднія въ свою очередь стали напирать на тѣхъ, которыя жили южнѣе, и этотъ напоръ различныхъ органическихъ существъ выстѣ съ постепеннымъ пониженіемъ температуры далъ себя почувствовать всему міру животныхъ и растеній вплоть до самаго экватора. Все живое двигалось отъ обоихъ полюсовъ къ жаркому поясу. Но растеніямъ и животнымъ, населявшимъ тропическія земли, отступать было некуда. Во-первыхъ, они были стиснуты съ двухъ сторонъ, и во-вторыхъ, имъ уже негдѣ было искать еще болѣе теплаго климата. Они должны были столпиться на самомъ экваторѣ, забиться въ самыя жаркія долины и наконецъ погибнуть, если холодъ и пришельцы изъ умѣренныхъ поясовъ продолжали преслѣдовать ихъ въ этомъ послѣднемъ убѣжищѣ. Наступаетъ ледовой періодъ. Вѣчные льды занимаютъ оба холодные пояса и значительную часть обоихъ умѣренныхъ. На всѣхъ горахъ земного шара лежатъ громадные ледники спускающіеся очень далеко въ окрестныя долины; по морямъ плаваютъ ледяныя горы, которыя заходятъ даже въ жаркій поясъ и тамъ, поддаваясь дѣйствию теплоты, таютъ и уничтожаются, роняя на дно моря, на отмели или на берега каменные глыбы, принесенныя изъ далекихъ полярныхъ или умѣренныхъ земель. Растенія и животныя, свойственныя въ наше время исключительно холодному поясу, наполняютъ всю среднюю Европу, доходятъ до Альповъ и до Пиренеевъ, и даже проникаютъ въ Испанію. Тѣ-же самыя полярныя формы живутъ во время ледового періода во всей умѣренной территоріи Американскихъ штатовъ. Къ югу отъ этихъ полярныхъ жителей происходитъ самая ожесточенная борьба. Холодъ согналъ къ тропикамъ самое разнокалиберное населеніе, т. е. все, кромѣ полярныхъ формъ, все, что во время теплаго періода пліоценовой эпохи жило отъ береговъ Баффинаова моря до крайней оконечности Огненной Земли. Тутъ, около тропиковъ, на протяженіи какихъ-нибудь пятидесяти или шестидесяти градусовъ, толпятся, во-первыхъ, жители теперешнихъ умѣренныхъ поясовъ, во-вторыхъ, — жители теперешняго жаркаго пояса, и наконецъ, въ третьихъ, — жители того жаркаго пояса, который во время теплаго пліоцена былъ гораздо жарче теперешняго. Можно себѣ представить, какая тутъ происходитъ давка, и какъ плохо приходится въ этой давкѣ тѣмъ жителямъ *прежняго* жаркаго пояса, которые больше всѣхъ другихъ страдаютъ отъ холода и поэтому меньше всѣхъ другихъ способны давать отпоръ многочисленнымъ конкурентамъ. Большая часть этихъ прежнихъ жителей погибаетъ,

и жаркій поясъ во время крайняго развитія холода представляетъ намъ слѣдующій составъ населенія: по горамъ и по плоскимъ возвышенностямъ — животныя и растенія умѣренного пояса, а въ самыхъ жаркихъ долинахъ — фауна и флора теперешняго жаркаго пояса. Холодъ начинаетъ убывать, и выстѣ съ постепеннымъ возвышеніемъ температуры начинается обратное движеніе всего живого отъ экватора къ обоимъ полюсамъ. Ледники таютъ; вершины невысокихъ горъ совершенно освобождаются отъ ледяныхъ громадъ, а на высокихъ горахъ ледники отодвигаются къ самымъ вершинамъ, позволяя растеніямъ проникать въ долины, ущелья и на склоны горныхъ хребтовъ. Растеніямъ и животнымъ холоднаго пояса въ средней Европѣ становится слишкомъ тепло; они отступаютъ туда, гдѣ похолодѣе, то есть съ юга на сѣверъ и кромѣ того снизу вверхъ, изъ долины на гору. Растеніямъ и животнымъ умѣренного пояса между тропиками становится также неудобно; во-первыхъ жарко, а во-вторыхъ тропическія формы не даютъ имъ пощады; они выходятъ изъ знойныхъ долинъ, побуждаются пришельцевъ и заставляютъ ихъ бѣжать; куда-же бѣгутъ растенія и животныя умѣренного пояса? — Туда, гдѣ прохладнѣе. Если растеніе не перешло черезъ экваторъ, то оно уходитъ въ сѣверный умѣренный поясъ; если-же оно во время крайняго развитія холода успѣло перешагнуть черезъ экваторъ, то оно уже не поворачивается назадъ, а идетъ дальше къ югу, переходитъ за тропикъ Козерога и утверждается въ южномъ умѣренномъ поясѣ. Наконецъ если растеніе живетъ у подошвы горы, то оно взлѣзаетъ на гору; если эта гора слишкомъ низка, то растеніе погибаетъ, когда теплота усиливается; если-же гора достаточно высока, то растеніе по мѣрѣ усиленія теплоты лѣзетъ все выше и выше и наконецъ успокоивается на той высотѣ, на которой оно находитъ себѣ умѣренный климатъ, неблагоприятный для его тропическихъ конкурентовъ. Такимъ образомъ высокія горы жаркаго пояса населяются растеніями умѣренной полосы, а высокія горы умѣреннаго пояса — растеніями полярныхъ мѣстностей. Такъ оно и есть въ дѣйствительности. На Шотландскихъ горахъ, на Альпахъ и на Пиренеехъ живутъ одинаковыя растенія, родственныя съ тѣми формами, которыя находятся на сѣверѣ Скандинавіи. На Бѣлыхъ горахъ, въ Соединенныхъ Штатахъ, живутъ растенія, родственныя съ растеніями Лабрадора. То-же самое родство замѣчается между растеніями южныхъ Сибирскихъ горъ и растеніями сѣверной Сибири. Кромѣ того всѣ эти горныя растенія, находящіяся на такихъ различныхъ точкахъ земной поверхности, не только сходны и родственны между собою, но часто бываютъ даже совершенно тождественны, такъ что ботанику случается иногда встрѣтить ту-же самую

породу въ Испаніи и въ Сѣверной Америкѣ, несмотря на то, что растительность долинъ въ этихъ мѣстностяхъ вовсе не одинакова и вовсе непохожа на растительность горныхъ хребтовъ. Натуралисты прошлаго столѣтія думали, что эти горныя растенія возникли разомъ на нѣсколькихъ точкахъ земного шара, но теперь, благодаря успѣхамъ новѣйшей геологіи, дѣло объясняется гораздо проще. На высокихъ горахъ тропической Бразиліи живутъ нѣкоторыя чисто-европейскія растенія. На Абиссинскихъ горахъ встрѣчаются также растенія, родственныя отчасти съ европейскими, отчасти съ такими, которыя живутъ на мысѣ Доброй Надежды. Нѣкоторыя растенія, завезенныя на мысѣ Доброй Надежды человекомъ, также родственны съ европейскими. На Гималайскихъ горахъ, на нѣкоторыхъ другихъ горныхъ цѣпяхъ Ост-Индіи, на высокихъ горахъ острова Цейлона и на вулканическихъ вершинахъ Явы водятся также растенія, принадлежащія къ европейскимъ родамъ. Всѣ эти факты объясняются очень легко, какъ необходимыя послѣдствія ледового періода. Одни растенія сѣвернаго умѣреннаго пояса перобрались черезъ экваторъ и ушли на югъ, на мысѣ Доброй Надежды, а другія утвердились на высокихъ горахъ, когда усилившаяся теплота выгнала ихъ изъ тропическихъ долинъ. — Растенія и животныя Соединенныхъ Штатовъ представляютъ признаки кровнаго родства съ растеніями и животными средней Европы; и это понятно; во время теплаго пліоцена эти органическія формы жили въ сплошныхъ земляхъ, составляющихъ теперь сѣверныя оконечности обоихъ великихъ материковъ; потомъ, когда началось охлажденіе, эти формы пошли къ югу и разошлись; одни вступили въ борьбу съ фаунами и флорами Стараго Свѣта, другія — съ фаунами и флорами средней и тропической Америки. Одни видоизмѣнились въ одну сторону, другія — въ другую; образовалось между ними значительное различіе, но признаки кровнаго родства еще сохранились. Чѣмъ дальше мы подвигаемся на югъ, тѣмъ эти признаки становятся слабѣе, такъ что тропическая природа Америки уже нѣсколько не похожа на тропическую природу Азіи или Африки. Такимъ образомъ мы видимъ, что всѣ главныя факты въ распредѣленіи организмовъ по лицу земли находятся въ полномъ согласіи съ идеями Дарвина. Многія второстепенныя подробности представляютъ до сихъ поръ неразрѣшимыя затрудненія, но мы должны помнить, что наука наша не закончена, что кругъ нашихъ знаній расширяется ежедневно, и что открытія и наблюденія будущихъ натуралистовъ должны пополнить то, чего не успѣютъ сдѣлать наши современники. Тогда устранятся и тѣ неизбѣжныя затрудненія, которыя каждая новая и плодотворная идея всегда встрѣчаетъ на своемъ пути.

Эмбриологія и сравнительная анатомія.

I.

Различныя части тѣла у зародышей представляютъ между собою гораздо больше сходства, чѣмъ у взрослыхъ животныхъ. Напримѣръ у человѣческаго зародыша нога похожа на руку, у зародыша летучей мыши задняя оконечность похожа на переднюю, которая въ послѣдствіи должна превратиться въ крыло. Кромѣ того зародыши различныхъ животныхъ, принадлежащихъ къ одному классу или отдѣлу, въ раннія фазы своего развитія бываютъ очень похожи другъ на друга. Въ началѣ своего существованія зародыши птицъ, млекопитающихъ, ящерицъ, змѣй рѣшительно ничѣмъ не отличаются одинъ отъ другого. Видно только, что это — зародышъ позвоночнаго животнаго, но какого класса — это неизвѣстно. Потомъ, въ болѣе поздній періодъ развитія, видно, что это млекопитающее, или птица, или ящерица, но еще нельзя опредѣлить, къ какому порядку или семейству относится это возникающее существо. Потомъ обозначаются признаки семейства, рода и вида. Новорожденный жеребенокъ уже отличается отъ новорожденного осленка, но тѣ подробности тѣлосложенія, которыя характеризуютъ ломувую и скаковую лошадь, англійскую и донскую, рысакъ и вятку, обозначаются уже черезъ нѣсколько времени послѣ рожденія животнаго. Въ младенчествѣ у многихъ животныхъ проявляются такія особенности, которыя свойственны цѣлой группѣ родственныхъ формъ и которыя потомъ исчезаютъ замѣняясь чисто видовыми качествами. Напримѣръ у молодыхъ птицъ изъ семейства дроздовъ первое опереніе испещрено крапинками, хотя въ послѣдствіи цвѣтъ перьевъ у различныхъ видовъ этой группы отличается значительнымъ разнообразіемъ. Въ семействѣ кошекъ большая часть породъ носитъ полосатую или пятнистую шкуру; левъ и пума, принадлежащіе также къ группѣ кошекъ, отличаются отъ своихъ родственниковъ одноцвѣтностью мѣха, но новорожденные львы и пумы очень часто бываютъ испещрены полосками и пятнами, которыя потомъ сглаживаются.

Сходство между зародышами различныхъ позвоночныхъ животныхъ существуетъ совершенно независимо отъ тѣхъ условій, при которыхъ эти зародыши развиваются. Млекопитающее развивается въ утробѣ матери; — птица подъ скорлупою яйца; лягушка, въ видѣ головастика, ведетъ самостоятельную жизнь въ водѣ, и, несмотря на то, у всѣхъ этихъ животныхъ во время ихъ зачаточнаго состоянія артерій изгибаются совершенно одинаковымъ образомъ вокругъ жаберныхъ скважинъ, которыя въ послѣдствіи исчезаютъ безъ слѣда. Головастики жабы необходимы, потому что онѣ живутъ въ водѣ и дышатъ этими

жабрами; но зародышу птицы, млекопитающего, амфи или черепахи жабры ни на что не нужны ни въ какое время, а между тѣмъ жаберныя скважины все-таки существуютъ и возникаютъ у всѣхъ этихъ животныхъ единственно для того, чтобы потомъ исчезнуть, не доставивъ организму ни малѣйшей пользы; тѣмъ объяснить такой капризъ природы? Намъ приходится поставить два вопроса: во-первыхъ, почему зародыши болѣе похожи другъ на друга, чѣмъ взрослые животныя? И во-вторыхъ, почему у зародыша существуютъ некоторые органы, совершенно безполезныя для такого зародыша и не имѣющіе ни малѣйшаго отношенія къ образу жизни взрослого животнаго? По идеямъ Дарвина эти вопросы разрѣшаются очень удовлетворительно. Родители передаютъ дѣтямъ по наслѣдству, во-первыхъ, тѣ черты тѣлосложенія, которыя родители сами приняли отъ своихъ предковъ и во-вторыхъ, тѣ особенности, которыя родители выработали себѣ теченіемъ своей жизни. Можно сказать, что родители передаютъ дѣтямъ родовое и благопріобрѣтенное имущество своего организма. Особенность, проявившаяся у родителя въ извѣстномъ возрастѣ, большей частью проявляется и у сына въ томъ же самомъ возрастѣ. Извѣстно напримѣръ, что многія наслѣдственные болѣзни, эпилепсія, гниасиство, и такъ далѣе, обнаруживаются у нѣсколькихъ нисходящихъ поколѣній аккуратно въ томъ же самомъ возрастѣ. Положимъ теперь, что какое-нибудь животное, совершенно приспособленное къ водной жизни, понемногу приуспокоится къ преслѣдованію такой добычи, которая живетъ на сушѣ. Такіе примѣры извѣстны въ живой природѣ. Угорь часто выходитъ изъ воды и отправляется въ хлѣбныя поля иногда на нѣсколько дней. Ракъ *Birgus latro* по ночамъ выходитъ на берегъ, взлѣзаетъ на кокосовыя деревья и своими огромными клешнями раскалываетъ кокосовыя орѣхи для своего продовольствія. Рыба *Anabas scandens* ползаетъ по землѣ и взбирается на деревья, опираясь при этомъ на твердые костяные лучи своихъ нижнихъ плавниковъ.

Если подобныя явленія возможны теперь при существованіи огромнаго количества ящерницъ, амфи, млекопитающихъ, птицъ, и другихъ опасныхъ конкурентовъ, то, разумѣется, эти явленія должны были встрѣчаться очень часто во время оно, въ тѣ геологическія эпохи, когда на животѣ шарѣ не было никакихъ позвоночныхъ животныхъ, кромѣ рыбъ. Итакъ, мы можемъ предположить, что въ одну изъ этихъ отдаленныхъ геологическихъ эпохъ какое-нибудь рыбообразное животное *A* повадилось вылезать изъ воды и питаться растеніями и насѣкомыми, живущими по берегамъ моря и рѣки. Каждое животное изъ породы *A* начинало эти упражненія только тогда, когда силы его были уже достаточно развиты, слѣдовательно не тотчасъ послѣ

своего выхода изъ яйца, а напримѣръ черезъ годъ или черезъ полтора. Прогулки по землѣ развивали въ тѣлѣ этого животнаго извѣстные мускулы, направляли теченіе питательныхъ соковъ преимущественно въ тѣ части тѣла, которыя подвергались усиленному напряженію, и кромѣ того прогулки эти дѣйствовали измѣняющимъ образомъ на систему дыхательныхъ органовъ. Тѣ отдѣльныя животныя породы *A*, у которыхъ эти медленныя измѣненія совершались особенно успѣшно, имѣли надъ своими сверстниками преимущество и въ силу этого преимущества оставляли послѣ себя болѣе многочисленное потомство. Это потомство получало отъ нихъ видоизмѣненное и усовершенствованное тѣлосложеніе, по эти выгодныя измѣненія проявлялись у дѣтей въ томъ возрастѣ, въ которомъ они проявились у отцовъ. Рядъ выгодныхъ измѣненій привелъ къ тому результату, что животное *B*,—прямой потомокъ животнаго *A*,—получилъ наконецъ одну пару оконечностей или лапъ. Этотъ рядъ видоизмѣненій въ жизни породы происходилъ чрезвычайно медленно: *A*, доживши до полутора года, началъ ползать по землѣ и измѣнилъ свою организацію самымъ незамѣтнымъ образомъ; дѣти *A* въ полуторагодовомъ возрастѣ наслѣдовали это измѣненіе и увеличили свое наслѣдство собственными упражненіями; внуки въ томъ же возрастѣ получили это увеличенное наслѣдство и увеличили его еще больше. Такъ точно поступили и правнуки, и праправнуки, и всѣ остальные поколѣнія. Но еслибы напримѣръ двадцатое поколѣніе начало рядъ своихъ видоизмѣненій въ полтора года, и еслибы эти видоизмѣненія происходили въ немъ такъ-же послѣдовательно и медленно, какъ они совершались во всѣхъ девятнадцати предыдущихъ поколѣніяхъ, то на весь этотъ процессъ можетъ-быть не хватило-бы жизни этихъ животныхъ. Тѣ потомки, которые получаютъ особенности своихъ дѣдовъ и отцовъ въ болѣе раннемъ возрастѣ, будутъ имѣть очевидное преимущество надъ тѣми потомками, у которыхъ эти особенности проявляются какъ разъ въ томъ возрастѣ, въ которомъ онѣ проявились у предковъ. Вслѣдствіе этого преимущества въ потомствѣ животнаго *A* установится слѣдующій процессъ развитія. Молодыя животныя выходятъ изъ яицъ въ первобытной рыбообразной формѣ; проживаютъ въ такомъ видѣ нѣсколько мѣсяцевъ, и потомъ, получивъ пару оконечностей, превращаются въ животное *B* и начинаютъ ползать по сушѣ. Это ползаніе продолжаетъ дѣйствовать на ихъ тѣлосложеніе такъ, что отдаленные потомки *B* имѣютъ уже двѣ пары оконечностей и вслѣдствіе этого получаютъ отъ натуралистовъ отдѣльное видовое названіе *C*. Тутъ и процессъ развитія усложняется. Изъ яйца выходитъ *A*; потомъ у него вырастаетъ одна пара оконечностей—оказывается *B*; потомъ—другая пара и животное *C*

готово. Не останавливайтесь на точкѣ *C*, идите дальше, и вы получите развитіе лягушки. Сначала головастики или рыбообразное животное *A*, потомъ одна пара конечностей—*B*; потомъ другая—*C*; потомъ толстый рыбій хвостъ пропадаетъ и жабры замѣняются легкими—вотъ вамъ и лягушка готова.

Развитіе лягушки представляетъ намъ просто портретную галерею тѣхъ предковъ, отъ которыхъ это животное ведетъ свой родъ. Родоначальникъ лягушечей породы былъ рыбой—отъ того и происходитъ рыбообразная фигура головастика. Тутъ дѣйствуютъ законы наследственности. Всѣ превращенія, которыя совершились въ породахъ птицъ, млекопитающихъ и другихъ животныхъ, съ той минуты, когда эти животныя уклонились отъ чистаго рыбьяго типа, всѣ эти превращенія мало по малу стѣснились въ одну кучку и уложились цѣликомъ въ непродолжительную жизнь зародыша. Многія черты этихъ превращеній при этомъ конечно изгладились и исказились, но, несмотря на то, даже и теперь жизнь зародыша представляется наблюдательному натуралисту въ видѣ краткой исторіи и родословной таблицы всей породы. Даже тѣ естествоиспытатели, которые твердо убѣждены въ неизмѣнности видовыхъ формъ, даже они, говоря и сами подмѣчаютъ и признаютъ изумительное сходство, во-первыхъ, между зародышами высшихъ животныхъ и взрослыми фигурами низшихъ, и во-вторыхъ, между зародышами теперешнихъ животныхъ и взрослыми фигурами исчезнувшихъ организмовъ.

Дарвинъ объясняетъ дѣло просто и понятно. Птица и млекопитающее организованы выше рыбы; эти высшія формы приваровлены къ особымъ условіямъ жизни; эти приуроченія до нѣкоторой степени изгладили черты основнаго типа, но въ зародышѣ эти черты остались въ большой неприкосновенности, потому что всякія приуроченія полезны и необходимы только взрослому животному, которое добываетъ себѣ пищу и защищается отъ враговъ собственными силами. Пока кондоръ сидитъ въ яйцѣ, ему не нужны сильныя крылья и острое зрѣніе; пока тигренокъ находится въ утробѣ матери, ему безполезны зубы и когти. Поэтому естественный выборъ совершается только взрослыхъ и касается зародыша настолько, насколько этотъ послѣдній долженъ измѣниться по своей связи съ будущей формой взрослаго животнаго. Рыбы и птицы, и млекопитающія произошли по прямой линіи отъ рыбъ древнѣйшихъ геологическихъ эпохъ, силурской и девонской. Рыбы меньше удалились отъ этого первобытнаго типа; птицы и млекопитающія удалились отъ него гораздо больше, и при этомъ разошлись въ разныя стороны. Но зародышъ птицъ и млекопитающихъ, не имѣя надобности принаровляться къ различнымъ условіямъ жизни, сохранилъ черты своего

девонскаго или силурскаго предка, а такъ какъ этотъ предокъ до нѣкоторой степени похожъ на теперешнюю рыбу, то и зародышъ высшихъ, позвоночныхъ формъ также похожъ на эту низшую форму. По той-же самой причинѣ зародыши различныхъ животныхъ одного отряда похожи одинъ на другого. Только долговременное упражненіе многихъ поколѣній и постоянное дѣйствіе естественнаго выбора втеченіи многихъ тысячелѣтій создали у различныхъ животныхъ ноги, крылья и разныя другіе сложные органы. У предковъ всѣ эти подробности и утонченія затѣ вовсе не существовали, а когда онѣ возникли, то возникли въ самой грубой и элементарной формѣ, такъ что можно было поворотить эти куски органическаго вещества куда угодно, и на крыло, и на плавникъ, и на ногу. Въ породѣ эти куски шлифовались и обтачивались втеченіи цѣлыхъ геологическихъ эпохъ, а въ отдѣльномъ животномъ, то есть въ зародышѣ, они шлифуются втеченіи нѣсколькихъ недѣль. Крапчатое перо молодыхъ дроздовъ достается имъ по наследству отъ общаго родоначальника дроздоваго семейства. Такъ-же точно объясняются полоски или пятна на шкурѣ новорожденнаго змея и пумы.

Большая часть насѣкомыхъ выходитъ въ яичка въ видѣ личинки или червяка; различныя личинки очень сильно отличаются одна отъ другой, потому что многія изъ нихъ сами должны добывать себѣ пищу и слѣдовательно должны быть приспособлены къ различнымъ условіямъ жизни. Но, несмотря на то, форма червяка ясно обозначена у всѣхъ личинокъ. Это доказываетъ, что черви были родоначальниками насѣкомыхъ, подобно тому, какъ рыбы были родоначальниками пресмыкающихся, птицъ и млекопитающихъ. Нѣкоторыя животныя поставлены въ такія условія жизни, при которыхъ сложное и утонченное устройство организма становится для нихъ безполезнымъ, обременительнымъ и даже вреднымъ. Кроту, копающему въ землѣ, червяку, живущему въ кишечномъ каналѣ другого животнаго, или чужеядному раку, присосавшемуся на всю жизнь къ тѣлу рыбы, совершенно безполезны органы зрѣнія. Такіе безполезныя органы утрачиваются; взрослое животное приспособляется къ условіямъ жизни, но эти перемѣны по обыкновенію не относятся къ зародышу. Поэтому зародышъ сохраняетъ черты прежняго типа, и вслѣдствіе этого организмы его оказываются выше и совершеннѣе, чѣмъ тѣло-сложеніе взрослаго животнаго, испытывающаго регрессивную перемѣну. Семейство усоногихъ раковъ (*Cerithiidae*) очень замѣчательно по этимъ своеобразнымъ отношеніямъ между зародышами и взрослыми формами. «Ихъ личинки,—говоритъ Дарвинъ,—въ первой степени своего развитія имѣютъ три пары ногъ, одинъ очень простой глазъ и ротъ въ видѣ хобота, посредствомъ ко-

то онѣ обильно питаются, потому что растутъ ро. Вовторомъ, соответствующему кукольной и бабочекъ, они имѣютъ шесть паръ ногъ и изящнаго устройства, два великолѣпныхъ глаза и чрезвычайно сложные усики; онѣ закрываютъ и такъ устроены, что онѣ не могутъ питаться. Ихъ отправленіе въ этой стадіи состоитъ въ томъ, чтобы посредствомъ развитыхъ органовъ чувства отыскать удобное для дальнѣйшихъ превращеній и чтобы до этого мѣста при помощи своего развитого плавательнаго аппарата. По окончаніи окончательнаго метаморфоза они прилеплены на всю жизнь. Ихъ ноги превращаются въ хватательные органы; они снова приобретаютъ свой устроенный ротъ, но усики пропадаютъ, а два глаза снова замѣняются однимъ мелкимъ, весьма простымъ глазнымъ пятнышкомъ. Молодые личинки усоногихъ раковъ при понемногу метаморфозѣ понижаются еще сильнѣе: превращаются въ такое существо, которое не называется «дополнительнымъ самцомъ»; — простой мѣшокъ, у него нѣтъ ни рта, ни лапокъ, ни органовъ чувства; онъ живетъ очень долго, совсѣмъ не принимаетъ пищи и занимается исключительно оплодотвореніемъ того более развитого существа, къ которому онъ прилепленъ. Усоногіе раки до такой степени измѣняются подъ вліяніемъ своей сидячей жизни, что даже, зная лишь только взрослыхъ животныхъ группы, относи ихъ къ классу моллюсковъ. Настоящій типъ, указывающій на дѣйствительное происхожденіе этихъ животныхъ, сохранился въ личинкахъ или зародышахъ, и когда критическія фазы ихъ развитія были открыты и описаны, тогда натуралисты немедленно приписали усоногихъ къ классу раковъ. Этому отчасти въ значительной степени содѣйствовалъ Дарвинъ, написавшій объ усоногихъ ракахъ обширную монографію въ двухъ томахъ.

II.

Очень многихъ животныхъ существуютъ не только органы, которые не приносятъ имъ никакой пользы, подобно тому, какъ окно, напавшее на стѣнѣ зданія, не даетъ ни одного луча свѣта обитателямъ этого зданія. Въ классѣ питающихся почти всѣ самцы носятъ на спинѣ на животѣ зачаточные сосцы. У птицъ крыла заканчиваются небольшою косточкой, которая называется крылушечкой (alula alula) и составляетъ зачаточный палецъ. Эта чешуйка совершенно закрыта перьями крыла и только въ помогаетъ полету птицы. У многихъ мѣтъ развито и приспособлено для дыханія одно лѣвое легкое, правое совершенно бездѣльно и находится всегда въ полномъ бездѣліи, однако оно существуетъ въ зачаточномъ состояніи, и мѣтъ, в теченіи всей своей жизни,

таскаетъ въ своемъ тѣлѣ этотъ негодный мѣшокъ. У другихъ мѣтъ есть зачатки тазовыхъ костей и заднихъ оконечностей. Чѣмъ вы объясните существованіе этихъ бесполезныхъ органовъ? Зачѣмъ природа приставила къ тѣлу животныхъ эти негодныя и безсмысленныя брелоки? Въ военныхъ мундирахъ всѣхъ европейскихъ державъ есть очень много бесполезныхъ висюлекъ и разводовъ, но если вы только справитесь объ историческомъ происхожденіи этихъ штукъ, то увидите, что почти всѣ онѣ въ свое время имѣли нѣкоторый смыслъ и опредѣленное, утилитарное назначеніе. Эполеты, аксельбанты, темляки, шнурки — все это возникло изъ походныхъ или боевыхъ потребностей солдата и только впоследствии превратилось въ бесполезное украшеніе. Но вѣдь извѣстное дѣло, что человѣкъ иногда дѣйствуетъ по влеченіямъ свободной фантазіи, и что, напротивъ того, въ природѣ все производится по неизмѣннымъ законамъ, такъ что каждая ничтожная мелочь обуславливается какой нибудь необходимой причиной. Если человѣкъ въ самыхъ произвольныхъ своихъ созданіяхъ, въ покроѣ и украшеніи своего платья, руководствуется реальными побужденіями, стремленіями къ удобству и безопасности, то смѣшно и дико было-бы думать, что цѣлыя породы живыхъ организмовъ постоянно носятъ на своемъ тѣлѣ приставки и привѣски, не имѣющія достаточной причины существованія. Причина, разумѣется, есть, и читатель ее знаетъ; она одинакова, какъ для украшеній военного мундира, такъ и для неразвитыхъ органовъ живого тѣла. Эта причина — наслѣдственность. Эполеты были сначала придуманы для того, чтобы защищать плечо отъ сабельнаго удара; теперь они ровно ничего не защищаютъ, но ихъ носятъ по старой привычкѣ. Въ природѣ роль старой привычки играетъ сила наслѣдственности, и органы, существующіе въ настоящее время въ зачаточномъ или неразвитомъ состояніи, были прежде развитыми и дѣтельными и приносили предкамъ теперешнихъ животныхъ существенную практическую пользу. Зачаточные сосцы самцовъ по всей вѣроятности указываютъ намъ на то обстоятельство, что самецъ и самка сформированы по одному общему типу, и самецъ вследствие этого сохранилъ сосцы, потерявшіе въ его организмѣ всякое практическое значеніе. Я долженъ признаться читателю, что это предположеніе принадлежитъ лично мнѣ. Дарвинъ приводитъ фактъ, но не даетъ ему отдѣльнаго объясненія; онъ объясняетъ вообще значеніе зачаточныхъ органовъ; въ каждомъ изъ этихъ органовъ онъ видитъ или остатокъ прошедшаго, или зарожденіе будущаго, то есть или этотъ органъ былъ дѣтельнымъ и потомъ утратилъ свою силу, или же онъ формируется вновь и понемногу увеличивается дѣйствіемъ естественнаго выбора. Зачаточный палецъ птицъ, заглушае

легкое, тазовая кость и заднія оконечности змѣй объясняются очень просто. Предокъ птицы пользовался своимъ пальцемъ въполнѣ, а предокъ змѣи дышалъ обоими легкими и быть-можетъ былъ похожъ на ищерицу по устройству таза и заднихъ лапъ. У кита, когда онъ находится въ утробѣ матери, вырастаетъ въ каждой челюсти около сотни зубовъ, которые въ послѣдствіи выпадаютъ, и замѣняются въ верхней челюсти рогами пластинками, известными подъ названіемъ китоваго уса. Киту зубы совершенно безполезны, но предку этого животнаго они по всей вѣроятности были необходимы. У нѣкоторыхъ жуковъ жесткія надкрылья спаяны наглухо, такъ что летаніе невозможно; однако, подъ сросшимися щитками все-таки лежатъ крылья, которымъ никогда не приходится выгнаться на свѣтъ и развернуться. Ясное дѣло, что предки этихъ жуковъ летали, и что органъ еще уцѣлѣлъ, когда отправление уже прекратилось. То-же самое можно сказать о неразвитыхъ глазахъ нѣкоторыхъ кротовъ и слѣпыхъ обитателей темныхъ пещеръ. Иногда бываетъ, что ослабѣвшій органъ примѣняется къ какому-нибудь новому назначенію. Напримѣръ плавательный пузырь рыбы обыкновенно употребляется на то, чтобы рыба, сжимая или расширяя его, могла подниматься или опускаться въ водѣ. Но у нѣкоторыхъ рыбъ этотъ пузырь сдѣлался такъ малъ, что пересталъ помогать имъ во время плаванія; зато онъ сдѣлался дыхательнымъ органомъ, такъ что на него можно смотрѣть, какъ на возникающее легкое. Крыло пингвина слишкомъ слабо, чтобы поддерживать тѣло этой птицы на воздухѣ, и теперь оно служитъ пингвину весломъ во время плаванія и нырнія. Если каждый видъ переродился сообразно съ условіями жизни и борьбы, тогда всѣ зачаточныя, возникающія, заглохшіе или искаженные органы становятся понятными, какъ необходимые продукты великаго закона наследственности. «Зачаточныя органы, говоритъ—Дарвинъ,—могутъ быть сравнены съ тѣми буквами слова, которыя, сохранившись въ письмѣ, но утратившись въ произношеніи, служатъ намъ намеками на этимологию этого слова». Это сравненіе отличается чрезвычайной мѣткостью и въ высшей степени удачно характеризуетъ значеніе зачаточныхъ органовъ для мыслящаго натуралиста.

Мы видѣли, что зародыши различныхъ животныхъ одного класса очень похожи одинъ на другого; сходство это ослабѣваетъ по мѣрѣ того, какъ животное зрѣетъ и складывается; но любопытно замѣтить, что даже въ зрѣломъ возрастѣ животныя одного класса оказываются построенными по одному общему плану. Это единство общаго плана уже давно подмѣчено натуралистами, и оно никакъ не можетъ быть объяснено сходствомъ въ условіяхъ жизни. Можно найти какое-нибудь сходство между жизнью

крота, лошади, моржа и летучей мыши? Всѣ эти животныя превосходно приспособлены къ самымъ различнымъ положеніямъ и занятіямъ, всѣ они одарены тѣми органами, которые необходимы для ихъ продовольствія и для обезпеченія ихъ существованія, всѣ ихъ органы чрезвычайно различны, и между тѣмъ эти органы все-таки построены по общему плану. Рука обезьяны приспособлена къ хватанію и оцупыванію предметовъ; лапа крота — къ раскапыванію земли; передняя нога лошади — къ простой ходѣ; ласть моржа — къ плаванію; крыло летучей мыши — къ летанію; и между тѣмъ всѣ эти оконечности состоятъ изъ подобныхъ костей, расположенныхъ въ одинаковомъ, относительно порядкѣ; во всѣхъ этихъ оконечностяхъ мы видимъ одинаковое число главныхъ сочлененій или суставовъ, и во всѣхъ ихъ мы различаемъ совершенно ясно плечевую кость, локтевую, запястье и пясть. Относительная величина и форма этихъ отдѣльныхъ составныхъ частей измѣняется до безконечности, но всегда самыя части остаются расположенными въ томъ-же порядкѣ. Оуэнъ и другіе первоклассные анатомы утверждаютъ единогласно, что это единство плана, сохраняющееся, несмотря на различныя условія жизни, рѣшительно не можетъ быть объяснено какими-нибудь особенными цѣлями природы.

Если мы возьмемъ одно отдѣльное животное и будемъ внимательно изучать различныя части или органы его тѣла, то мы и здѣсь замѣтимъ также очень любопытное явленіе. Мы увидимъ, что нѣкоторыя части, непохожія другъ на друга по своей фигурѣ и приспособленныя къ различнымъ отправлениямъ, построены также по одному общему плану. Напримѣръ переднія и заднія оконечности состоятъ изъ одинаковыхъ костей, расположенныхъ въ одинаковомъ порядкѣ, несмотря на то, что по своимъ отправлениямъ рука не похожа на ногу и крыло летучей мыши не похоже на ея лапу. Черепъ позвоночныхъ животныхъ состоитъ изъ большого количества различныхъ костей, которыя срастаются въполнѣ только въ зрѣломъ возрастѣ и притомъ срастаются такъ, что швы остаются замѣтными. Кажется, для крѣпости черепа и для большей сохранности головного мозга было-бы удобнѣе, чтобы черепъ состоялъ изъ одной цѣльной кости или по крайней мѣрѣ изъ наименьшаго количества составныхъ частей. На это разсужденіе можно возразить, что черепъ млекопитающаго, благодаря многочисленности своихъ составныхъ частей, не сросшихся въ плотную массу, можетъ сжиматься въ минуту рожденія, и что это сжатіе облегчаетъ выходъ животнаго изъ утробы матери. Это разсужденіе справедливо, но оно не можетъ относиться ни къ птицамъ, ни къ ищерицамъ, ни къ черепахамъ, ни вообще ко всѣмъ тѣмъ позвоночнымъ, которыя вылупливаются изъ яйца. Здѣсь сжатіе черепа ни на что

кио, а между тѣмъ у всѣхъ этихъ животныхъ коробка, вмѣщающая головной мозгъ, состоитъ изъ множества соответственныхъ или *гомологичныхъ* частей самой странной формы. Вглядываясь въ эти части черепа, иная ихъ съ частями спинного хребта и въ положеніе этихъ частей у различныхъ животныхъ, натуралисты пришли къ тому убѣжденію, что черепъ составленъ изъ видоизмѣненныхъ позвонковъ спинного хребта. Если бы кто замѣчаетъ, что было-бы точнѣе выразиться такъ: не позвонки превратились въ черепъ, а кости и позвонки выработались изъ какого-нибудь общаго элемента.

процессъ совершается дѣйствительно у животныхъ. У многихъ раковъ переднія пары конечностей превращены въ челюсти и называются жевательными ногами. Тутъ опять та-же исторія. У этого типа этого класса не было ни настоящихъ ногъ, ни настоящихъ челюстей; его было раздѣлено на рядъ члениковъ, снабженныхъ наружными придатками; одни изъ придатковъ приспособились къ передвиженію съ мѣста на мѣсто, другіе къ извлеченію пищи, третьи превратились въ жаберныя органы дыханія. Все это понятно, но, чтобы въ свѣтъ эти факты, необходимо утвердиться въ убѣжденіи, что видовыя формы способны измѣняться, и что онѣ съ начала органической жизни уже испытали множество превращеній.

Заключение.

Моя работа окончена, и я могу сказать по совѣсти, что она стояла мнѣ очень много, и что, несмотря на то, она все-таки неудовлетворительна. Еслибы я обладалъ истиннымъ талантомъ Вольтера и знаніями Гумбольдта, то эти громадныя средства-бы только что достаточными для того, чтобы вполне удовлетворительно изложить теорию Дарвина для русской публики, не имѣющей никакого понятія о естественныхъ наукахъ. Но и у насъ на Руси есть люди съ талантомъ Вольтера, съ знаніями Гумбольдта и съ искреннимъ стремленіемъ посвящать всѣ силы на умственную пользу во тѣмъ ходящемъ согражданинъ? А если нѣтъ такихъ образцовъ популяризаторовъ, то, стало-быть, идеальныя гениальныя должны оставаться для публики тарабарскою грамотою? Такъ, нѣтъ? Или можетъ-быть слѣдуетъ ѣсть не изъ ложечки, когда не на что кушать себѣ? Мнѣ кажется, что благоразумнѣе обратиться къ деревенной, чѣмъ голодать въ ожиданіи серебряной. Поэтому я и рѣшилъ изобразить своей особой такую деревенскую женщину, которую немедленно можно и даже можно бросить подъ столъ, когда на этотъ предметъ явится благородный металлъ. Въ моей о Дарвинѣ есть по всей вѣроятности

недомолвки, неясности, неудачныя выраженія, можетъ-быть есть даже и фактическіе промахи. Что-же дѣлать? Я не специалистъ, и читалъ я до сихъ поръ очень мало по естественнымъ наукамъ. Стараясь выразиться яснѣе, я можетъ-быть впадалъ въ ошибки. Но я все-таки повторяю: что-же дѣлать? Вы посмотрите, какъ поступаютъ съ нашей публикой наши специалисты. Такого невниманія къ потребностямъ публики, такого неуваженія къ самымъ скромнымъ, законнымъ и неизбежнымъ желаніямъ читателей вы не встрѣтите нигдѣ за предѣлами любезнаго нашего отечества. Подумаешь, что специалистъ живетъ гдѣ-нибудь на звѣздѣ Оріона и оттуда ведетъ свою рѣчь въ пространство зѣира, вовсе не заботясь о томъ, услышитъ-ли его кто-нибудь, или пойметъ-ли его тотъ несчастный слушатель, до котораго случайно долетятъ эти блуждающіе звуки. По моему мнѣнію, полезнѣе прочесть статью вполне понятную, хотя и съ нѣкоторыми ошибками, чѣмъ набивать себѣ голову совершенно безукоризненными диссертациями, недоступными человѣческому пониманію.

Чтобы получить понятіе о подвигахъ нашихъ специалистовъ, намъ не надо далеко ходить за примѣрами. Достаточно взглянуть на то, въ какомъ видѣ книга Дарвина явилась передъ русскою публикой. Эту книгу «перевелъ съ англійскаго профессоръ Московскаго университета С. А. Рачинскій». Значитъ, специалистъ! Раскрываете книгу — ни одного слова отъ переводчика. Дарвинъ вводится безъ рекомендацій. Зачѣмъ переведена эта книга, какое значеніе она имѣетъ въ наукѣ, какъ смотритъ на нее «профессоръ Московскаго университета» — все это остается для русскаго читателя глубокой тайной. Читаете далѣе, ни одного пояснительнаго примѣчанія: должно полагать, что мы, русскіе читатели, отлично знаемъ ботанику и зоологію, такъ что можемъ налету ловить и понимать всѣ мимоходныя указанія, которыми переполнена книга Дарвина. При этомъ г. профессоръ выражается такимъ языкомъ, который можетъ показаться русскимъ только истинному специалисту. Далѣе, переводъ наполненъ такими плоскими ошибками, которыя непростительны профессору университета. Приведу три примѣра. На стр. 178 говорится о рабовладѣльческомъ инстинктѣ муравьевъ: «рабы черны и на половину мельче своихъ красныхъ господъ», а на стр. 180 уже оказывается, что эти черныя рабы сдѣлались бурными. Эта нелѣпость создана русскимъ переводчикомъ. У Дарвина говорится, что рыжеватый муравей (*Formica rufescens*) захватываетъ въ плѣнъ бураго (*F. fusca*), а кровавый (*F. sanguinea*) — чернаго. Рачинскій все это за благо рассудилъ перепутать. На стр. 228 Дарвинъ рассказываетъ, будто онъ «извлекъ изъ ланы куропатки двадцать два зёрнышка сухоглинистой земли». Что за неслыханная чепуха! Кто же это

измѣряетъ глинну зернышками? Загадка объясняется просто: въ подлинникѣ стояло слово *grain*, и надо было перевести *двадцать два грана*; тогда всякій аптекарскій ученикъ пойметъ, что это значить. А г. профессоръ хватилъ *двадцать два зернышка* и вложилъ свое остроумное изобрѣтеніе въ уста несчастнаго Дарвина. — На стр. 290 говорится, что «горы Шотландіи и Уэльса съ ихъ исчерченными склонами, отполированными поверностями и шатающимися валунами свидѣлствуютъ о ледяныхъ потокахъ, нѣкогда наполнявшихъ ихъ долины». Въ двухъ строкахъ двѣ нелѣпости. Что это за *шатающіеся* валуны? *Шатающіеся* — это, видите-ли, переводъ слова *эвратическіе*. *Еврате* значитъ бродить, шататься; ну, и чудесно! Пускай валуны *шатаются*! — *А ледяные потоки* — это что такое? Это красивое выраженіе, замѣняющее, по мнѣнію г. специалиста, слово *ледники*. Но послѣдній курьезъ въ русскомъ переводѣ Дарвина лучше всѣхъ остальныхъ. Въ этой книгѣ много опечатокъ, и притомъ такихъ, которыя искажаютъ смыслъ, напримѣръ: «метаморфическихъ» вмѣсто «метаморфическихъ» (стр. 284), «Старого Свѣта» вмѣсто «Новаго Свѣта» (стр. 275), и другія въ томъ-же родѣ. Но это еще ничего. Опечатки вездѣ бываютъ, а любопытно вотъ что. Къ книгѣ приложенъ списокъ опечатокъ. Въ этомъ списокѣ я не нашелъ ни одной изъ тѣхъ опечатокъ, которыя бросались мнѣ въ глаза во время чтенія. Тогда я полюбопытствовалъ посмотреть, есть-ли въ книгѣ тѣ опечатки, которыя изобличаетъ списокъ. Оказалось, что нѣтъ, и притомъ ни одной. Къ книгѣ приложенъ интересный списокъ опечатокъ, заключающихся въ какой-то другой книгѣ. И даже нельзя сослаться на ошибку переплетчика. Списокъ напечатанъ на одномъ печатномъ листѣ съ текстомъ и съ алфавитнымъ указателемъ. Вотъ у насъ какія чудеса дѣлаются, и вотъ въ какомъ парадѣ появляется предъ русской публикой великое твореніе гениальнѣйшаго изъ современныхъ мыслителей.

Послѣ этого, любезные соотечественники, вы, ей богу, даже къ *деревянной ложкѣ* должны отнестись съ снисходительною нѣжностью. А впрочемъ мнѣ совсѣмъ не нужна ваша снисходительность. Я совсѣмъ не хочу, чтобы вы по моимъ статьямъ учились естествознанію, я хочу только, чтобы мои статьи шевелили вашу любознательность, доводили до вашего свѣдѣнія слабый отголосокъ великихъ движеній европейской мысли и разгоняли хоть немного вашу умственную дремоту. А теперь довольно говорить о *деревянной ложкѣ*. Обратимся еще разъ къ Дарвину и скажемъ нѣсколько словъ о томъ впечатлѣніи, которое произвели его идеи на Европу. Впечатлѣніе сильное, и вѣроятно оно еще долго будетъ усиливаться, но иѣтъ того, какъ защитники различныхъ оттѣнковъ мысли будутъ при-

стальнѣе вглядываться въ громадное мировое значеніе этихъ идей. Нѣмецкіе фалистеры уже пустили въ ходъ слово «*Дарвинисты*», издали этому слову ругательное значеніе и упираются доказать, что теорія Дарвина, юншвытъ, — пустая мечта, а во вторыхъ, — самая безнравственная штука. Главные доводы этихъ лашекъ давно извѣстны, и ихъ могли-бы указывать съ нарочитымъ успѣхомъ Пульхерія Ивановна и купчиха Кабанова. Иногда тенденціи этихъ почтенныхъ русскихъ женщинъ, проходя черезъ уста нѣмецкихъ филистеровъ, превращаются благообразной мантией: мы, дескать, требуемъ за строгую точность науки и требуемъ отъ нея, чтобы она не пускалась въ обязательныя мечтанія и красивыя гипотезы. Таковы филистерскими тенденціями пропитана рѣчь доктора Шиниса, читанная въ прошломъ году въ какомъ-то Зинкенберговскомъ обществѣ естественныхъ испытателей. Эта рѣчь, напечатанная отдѣльной брошюрой, называется «о границахъ естествознанія». Такихъ рѣчей будетъ говорено много, и такихъ брошюръ будетъ писано по поводу Дарвина еще больше, и все это будетъ читаться и слушаться съ удовольствіемъ такими людьми, которые пресерьезно считаютъ себя мыслителями и естествоиспытателями. Я думаю даже, что и у насъ, въ Россіи, великій естествоиспытатель Страховъ прочтетъ эти творенія съ наслажденіемъ, и самъ произведетъ нѣчто въ такомъ-же родѣ. Но въ Западной Европѣ есть люди и другого закала. Въ Англіи творецъ новѣйшей геологіи, Чарльзъ Лайелль, склонился къ теоріи Дарвина, Гексли работаетъ въ томъ же направлении. Гукеръ, Уэллсъ, Ватсъ пришли къ тѣмъ же результатамъ. Изъ нѣмцевъ Карлъ Фохтъ, бывшій прежде приверженцемъ Агассиза, перешелъ рѣшительно на сторону Дарвина. Фохтъ — пожилой человѣкъ, извѣстный ученый — отказывается отъ всего своего прошедшаго и признается, что аргументы Дарвина переубѣдили его. Во второмъ томѣ своихъ лекцій о человѣкѣ, вышедшихъ въ концѣ прошлаго года, онъ отдѣлитъ слишкомъ тридцать страницъ на разсмотрѣніе идей Дарвина и высказываетъ на этихъ страницахъ много дѣльныхъ фактическихъ замѣчаній, которыя могутъ служить превосходнымъ подтвержденіемъ новой теоріи. Въ введеніи ко второму тому Фохтъ замѣчаетъ между прочимъ, что два первоклассные ботаника, Альфонсъ Де-Кандоль и Ноденъ, въ послѣднее время думали совершенно самостоятельными путями пришли къ одинаковымъ выводамъ, чрезвычайна благоприятнымъ для идей Дарвина. Де-Кандоль изучалъ различные виды дуба, а Ноденъ занимался скрещиваніями видовъ и разновидностей растительнаго царства. Оба убѣдились въ томъ, что различные виды возникли и до сихъ поръ возникаютъ одинъ изъ другого посредствомъ медленныхъ измѣненій.

Фохтъ совершенно согласенъ съ той мыслью Дарвина, что геологія при теперешней бѣдности своихъ наличныхъ матеріаловъ не имѣетъ ни малѣйшей возможности произносить окончательный приговоръ надъ теоріей перерожденія видовъ. Фохтъ самъ приводитъ нѣсколько любопытныхъ примѣровъ, доказывающихъ, какъ преждевременны были попытки геологовъ построить систему мірозданія изъ немногихъ собранныхъ ими обломковъ. Теорія Дарвина сильна именно тѣмъ, что она можетъ существовать помимо геологическихъ доказательствъ, опираясь на факты *живой природы*.

Въ 1863 году извѣстный филологъ Шлейхеръ издалъ небольшую брошюру подъ заглавіемъ: «Теорія Дарвина и языковѣдѣ». Онъ доказываетъ, что идеи Дарвина могутъ быть примѣнены къ историческому изученію языковъ. Языки также расходятся въ различныя стороны отъ немногихъ коренныхъ родоначальниковъ; они также дробятся на нарѣчія или говоры, соответствующіе разнообразіямъ органическаго міра. Эти говоры обособляются и превращаются въ отдѣльные языки—это виды органическаго міра. Языки опять дробятся и порождаютъ новые языки, причемъ многіе изъ старыхъ говоровъ и языковъ вымираютъ, какъ вымерли напримѣръ санскритскій, греческій, латинскій и древнееврейскій. Для насъ брошюра Шлейхера особенно любопытна, какъ разумное слово посторонняго человека, не имѣющаго личнаго пристрастія ни къ одному изъ двухъ лагерей современныхъ натуралистовъ. Глубокое уваженіе Шлейхера къ естественнымъ наукамъ заслуживаетъ большого вниманія: «Я горячо желаю,—говоритъ онъ,—чтобы метода естественныхъ наукъ постоянно болѣе и болѣе прививалась къ изученію языковъ. Быть-можетъ слѣдующія строки убѣдятъ кого нибудь изъ начинающихъ филологовъ пойти въ ученіе къ дѣльнымъ ботаникамъ и зоологамъ для усвоенія надлежащей методы. Даю ему слово, что онъ въ этомъ не раскается. Я по крайней мѣрѣ знаю очень хорошо, чѣмъ я обязанъ изученію такихъ произведеній, какъ научная ботаника Шлейдена, фізіологическія письма Карла Фохта, и др. Я знаю, какъ они помогли мнѣ понять сущность и жизнь языка. Въдъ изъ этихъ книгъ я узналъ впервые, что такое *исторія развитія* (Entwickelungsgeschichte)».

Далѣе Шлейхеръ съ замѣчательной вѣрностью взгляда опредѣляетъ настоящій смыслъ той неразрывной связи, въ которой идеи Дарвина находятся съ общимъ движеніемъ человѣческой мысли нашего времени. «Наблюденіе,—говоритъ онъ,—составляетъ фундаментъ современнаго знанія. Кромѣ наблюденія допускается только неизбѣжный выводъ, основанный на томъ же наблюденіи. Все, что построено на однихъ гадательныхъ соображеніяхъ, все, что создано мыслью въ пустомъ пространствѣ, считается въ лучшемъ

случаѣ остроумной забавой, но для науки все это — безполезный хламъ. Наблюденіе учитъ насъ, что всѣ живые организмы, вообще входящіе въ кругъ удовлетворительнаго изслѣдованія, измѣняются по опредѣленнымъ законамъ. Эти измѣненія ихъ, эта жизнь составляютъ ихъ настоящую сущность. Мы знаемъ ихъ только тогда, когда знаемъ сумму этихъ измѣненій, когда знаемъ всю ихъ сущность. Другими словами: если мы не знаемъ, какъ вещь образовалась, то мы совѣтъ не знаемъ этой вещи. Положивши наблюденіе въ основу нашего знанія, мы тѣмъ самымъ упрочили за исторіей развитія и за научнымъ изслѣдованіемъ жизни организмовъ то важное значеніе, которое они имѣютъ теперь для современнаго естествознанія. — Важность исторіи развитія (эмбриологіи) для изученія индивидуальнаго организма не подлежитъ уже возраженіямъ. Сначала исторія развитія проникла въ зоологію и въ ботанику. Лайелль, какъ извѣстно, изобразилъ также жизнь нашей планеты, какъ рядъ постепенно совершавшихся видоизмѣненій; онъ доказалъ, что и здѣсь, какъ въ жизни другихъ естественныхъ организмовъ, не существуетъ скачковъ. И Лайелль также ссылается прежде всего на наблюденіе. Такъ какъ наблюденіе новѣйшаго періода земной жизни,—періода, правда, очень короткаго, показываетъ только постепенныя измѣненія, то мы и не имѣемъ рѣшительно никакого права предполагать для прошедшаго другой порядокъ жизненныхъ явленій. Той же точки зрѣнія держался и я при изслѣдованіи жизни языковъ, которая также доступна непосредственному наблюденію только въ своихъ послѣднихъ, новѣйшихъ, и сравнительно очень короткихъ періодахъ. Этотъ короткий періодъ въ нѣсколько тысячелѣтій доказываетъ намъ съ неопровержимой достовѣрностью, что жизнь словесныхъ организмовъ идетъ вообще по опредѣленнымъ законамъ, подвергаясь постепеннымъ измѣненіямъ, и что мы не имѣемъ ни малѣйшаго права предполагать, чтобы когда-нибудь это дѣло совершалось иначе. Дарвинъ и его предшественники *) сдѣлали шагъ впередъ въ сравненіи съ другими ботаниками и зоологами; не только недѣлимые имѣютъ жизнь, но и виды, и роды; и они также образовались постепенно, и они также подвергаются постояннымъ видоизмѣненіямъ по опредѣленнымъ законамъ. Подобно всѣмъ современнымъ изслѣдователямъ, Дарвинъ также опирается на наблюденіе, хотя оно, по самой сущности дѣла, распространяется только на короткій періодъ времени, также какъ и наблюденіе надъ жизнью земли и надъ жизнью языковъ. Такъ какъ мы дѣйствительно можемъ замѣтить, что виды не совѣтъ неизмѣнны, то измѣняемость ихъ, хотя и въ незначительныхъ размѣрахъ, мо-

*) Окенъ, Гётте, Ламаркъ, Этьеннъ и Жоффруа-Сент-Илеръ.

жетъ считаться доказанной. Обстоятельство, само по себѣ случайное, именно краткость періода, подлежавшаго достовѣрнымъ наблюденіямъ, составляетъ причину, почему измѣненія видовъ вообще представляются незначительными. Надо только, согласно съ результатами другихъ наблюденій, допустить, что живыя существа населяли нашу планету втеченіи очень многихъ тысячелѣтій, и тогда мы усилимъ постигнуть, какимъ образомъ постоянныя медленныя видоизмѣненія, подобныя тѣмъ, которыя дѣйствительно подлежатъ наблюденію, — привели за собою существованіе теперешнихъ видовъ и родовъ. Вслѣдствіе этого ученіе Дарвина дѣйствительно представляется мнѣ, какъ необходимый резуль-

татъ тѣхъ основныхъ положеній, которыя известны современнымъ естествознаніемъ. Это ученіе основано на наблюденіи и составляетъ попытку изобразить исторію развитія. Что Ламаркъ сдѣлалъ для исторіи земли, то выполнилъ Дарвинъ для исторіи обитателей земного шара. Словомъ, ученіе Дарвина — не случайное изобрѣденіе, не порожденіе прихотливаго личнаго умозрѣнія; напротивъ того, это законное и естественное развитіе нашего столѣтія. Теорія Дарвина была настоятельной потребностью времени».

Вотъ какими глазами смотрять на произведеніе Дарвина люди умные и совершенно беспристрастные.

1864 г.

Историческое развитіе европейской мысли.

I.

Лѣтъ за восемьсотъ до Рождества Христова полудикій греческій народъ съ напряженнымъ вниманіемъ и съ ребяческой довѣрчивостью слушалъ пѣсни странствующихъ пѣвцовъ о подвигахъ Геракла и Тезея, о путешествіи аргонавтовъ въ Колхиду за золотымъ руномъ, о быстромъ Ахиллѣсѣ, о хитроумномъ Одиссеевѣ, о паденіи Иліона, о несчастіяхъ и преступленіяхъ Атридовъ и потомковъ Кадма. Въ этихъ пѣсняхъ заключалась вся мудрость тогдашняго грека. Тутъ была и религіозная догматика, и нравственная философія, и исторія, и физика, и астрономія; все это было смѣшано въ одну нестройную кучу и все вмѣстѣ считалось святой и неприкосновенной истиной. Много было чудесъ въ томъ мірѣ, который представлялся греческому воображенію, но міръ этотъ былъ узокъ и бѣденъ, и чудеса въ немъ были маленькія и игрушечныя. Въ центрѣ всего міроздавія лежитъ земля, плоская, какъ блинъ, и орошенная кругомъ водами океана; надъ землею раскинутъ въ видѣ балдахина хрустальный сводъ голубого неба; по этому своду ходятъ солнце, луна и звѣзды; пониже этихъ ходячихъ лампадокъ носятся тучи, постоянно измѣняя форму и цвѣтъ. На лицевой сторонѣ земли живутъ растенія, животныя и люди, а подъ землею или можетъ-быть на ея изнанкѣ находится царство Плутона, или область ночи и смерти. Туда отправляются души умершихъ; тамъ ихъ судятъ; злыхъ сажаютъ въ Тартаръ на вѣчное мученіе, добрыхъ пускаютъ въ Елисейскія поля для пріятныхъ прогулокъ и удовольствій. На землѣ вмѣстѣ съ простыми людьми живутъ разныя чудовища, великаны и

совсѣмъ особенные люди, не похожіе на обыкновенныхъ. На сѣверѣ — счастливые гинеры; на югѣ — безгрѣшныя эоіоны; на берегахъ — сирены, увлекающія путешественниковъ пѣснями; рядомъ съ ними, въ Мессинскомъ проливѣ, — чудовища Сцилла и Харибда, поглощающія корабли; въ Сициліи — одноглазые циклопы, кровожадные людоеды Лестригоны. Выше сводчатого небеснаго свода находится Олимпъ, жилище безсмертныхъ боговъ. Боги эти ѣдятъ, пьютъ и любезничаютъ, женятся и дѣлятся, ругаются и дерутся, но, несмотря на эту разнообразную дѣятельность, они по своему скучаютъ и для развлеченія вѣнчаютъ ежеминутно въ дѣла людей, требуютъ отъ жертвоприношеній, посылаютъ имъ слоны и болѣзни, соблазняютъ ихъ женъ и дочекъ, участвуютъ въ человѣческихъ войнахъ, а по мѣрѣ силъ и капризовъ свонгъ, произнося всякую путаницу въ мірѣ стихій и въ дѣлахъ людскихъ. — Прислушиваясь къ пѣнію странствующихъ, полудикій грекъ не дѣлалъ ни малѣйшаго различія между существеннымъ и несущественнымъ, между идеей и формой, между основнымъ догматомъ и случайнымъ украшеніемъ. Если ему сказали, что въ Сициліи нѣтъ одноглазыхъ циклоповъ, то онъ за такое безбожіе и безбашеніе взялся-бы на васъ такъ-же сильно, какъ если бы стали отвергать сплошь все подземающее царство Плутона. Сила всего міеологическаго заключалась именно въ томъ, что критика въ немъ не допускалась; ничего не трогало основныхъ началъ, ни подробностей; но эта сила могла продолжаться только до поры до времени. Грекамъ стоило только покороче познакомиться съ Сициліей, чтобы немедленно уничтожить

новъ; а стоило только одинъ разъ уличить «молю» въ очевидной лжи для того, чтобы тика тотчасъ начала свою работу; если нѣтъ «тѣхъ» циклоповъ, то можетъ-быть нѣтъ и «тѣхъ» эоіоповъ; вопросы пойдутъ за вогами, и вѣковая привычка принимать все мифическое зданіе за одно неразрывное цѣлое ведетъ за собой тотъ результатъ, что все не развалится, когда нѣкоторыя подробности жутся ложными.

Въ 670 году до Р. Х. Египетъ въ первый разъ рылъ свои гавани для иностранцевъ; получилъ, но даровитые и воспримчивые греки увидѣли въ немъ не одну изъ самыхъ раннихъ цивилизацій земного шара. Все, что видѣли въ Египтѣ, возбуждало въ нихъ восторгъ и шевелило ихъ мозгъ. Періодическія наводненія Нила, сложная система каналовъ для орошенія полей, астрономическія наблюденія, изъ геометрическихъ познаній, необходимы для размежеванія полей послѣ наводненія, таинственные символы и гіероглифы, колоссальныя произведенія египетской архитектуры, амвуды, лабиринты, сфинксы, обелиски — все это было гораздо болѣе поразительно, чѣмъ самыя затѣйливыя сказки греческой мифологии. Греки узнали, что у египтянъ есть свои собственные боги, не имѣющіе ничего общаго съ греческими богами; а въ могущество этихъ боговъ греки не могли сомнѣваться, потому что видѣли собственными глазами древность, силу и цвѣтаніе того государства, которое находилось подъ покровительствомъ этихъ верховныхъ божествъ. Греческій Олимпъ получилъ такимъ образомъ первый ударъ, отъ котораго онъ уже тогда не могъ оправиться.

Въ 572 году до Р. Х. ассирійскій царь Навуходосоръ разрушилъ финикійскій городъ Тиръ, взявъ въ своихъ рукахъ всю торговлю Средиземнаго моря. Малоазійскіе греки и жители Малой Азіи, пользуясь этимъ событіемъ, быстро вернули свои морскія силы и овладѣли тѣми морскими путями и сношеніями, которыя составляли безраздѣльную собственность сильныхъ государствъ тирійцевъ. Развитие греческой торговли повело за собой два ряда послѣдствій. Первымъ, явилось накопленіе и неравномерное раздѣленіе богатства; а во-вторыхъ, даже тѣе матросы, плававшіе по Средиземному морю и посѣщавшіе берега Сициліи, Италіи, Южной Африки, Испаніи и южной Франціи, перестали вѣрить въ существованіе сиренъ, циклоповъ и многихъ другихъ чудесъ гомеровской поэмы. Но матросу, какъ рабочему человѣку, когда было углубляться въ критику и обобщать результаты своихъ всѣдневныхъ опытовъ и наблюденій. Этой умственной работой начали заниматься люди тѣхъ достаточныхъ классовъ, которые понемногу образовались вслѣдствіе торговаго движенія въ приморскихъ городахъ мало-

азійской и европейской Греціи. Изъ этихъ достаточныхъ классовъ стали выдвигаться впередъ поэты, историки, философы. Какъ только индивидуальная мысль начала шевелиться, такъ она тотчасъ почувствовала, что ей тѣсно и душно въ тѣхъ готовыхъ рамкахъ міросозерцанія, которыя были установлены народными преданіями для всѣхъ и навсегда. Поэты повидимому меньше всѣхъ остальныхъ умственныхъ работниковъ враждовали съ мифологіей, но и поэтамъ невозможно было ужиться съ ней въ добромъ согласіи. Они брали мифологическіе сюжеты для своихъ эпическихъ и драматическихъ произведеній, но они перерабатывали эти сюжеты совершенно по своему, и очень часто случалось, что сочувствіе поэта ложилось совсѣмъ не на ту сторону, на которой ему слѣдовало лежать по понятіямъ немислящаго большинства. Эсхиль написалъ на примѣръ трагедію «Скованный Прометей» и возвелъ въ ней геніальнаго Титана, который, желая облагодѣтельствовать людей, навлекъ на себя жестокое мщеніе завистливаго и несправедливаго громовержца Зевеса. Разумѣется, въ такой трагедіи Зевесъ, великій отецъ боговъ и людей, игралъ очень некрасивую роль; Прометей высказывалъ ему очень сильными словами очень горькія истины, а зрители понимали какъ нельзя лучше, что за фигурой Прометея скрывается самъ Эсхиль, подрывающій его дерзкими рѣчами вѣру въ величіе, а пожалуй даже и въ существованіе безсмертныхъ олимпійцевъ.

Историки старались рассказывать событія такъ, чтобы видна была естественная связь между причинами и слѣдствіями; люди боролись между собою, люди побѣждали другъ друга; ихъ поступками управляли простыя человѣческія страсти; никакого вмѣшательства высшихъ силъ не замѣчалось, и писатель, а вслѣдъ за нимъ и его читатели приходили понемногу къ тому размышленію, что можетъ-быть и всегда событія складывались такъ же просто, что можетъ-быть и священная Троя была разрушена безъ малѣйшаго содѣйствія Паллады-Афины и волоокой Геры. Еще необузданнѣе была дерзость философовъ. Эти съ перваго шага отодвинули прочь весь Олимпъ и на мѣсто живыхъ и человѣкообразныхъ боговъ поставили неодушевленные стихіи и слѣпыя силы природы. Одни изъ этихъ философовъ пришли путемъ своихъ размышлений къ единобожію; другіе — къ пантеизму, то есть къ тому выводу, что Богъ и вселенная — одно и то же; третьи — къ совершенному отрицанію божества. Все они наговорили и написали ужасно много чепухи по физикѣ, по астрономіи и по психологіи; всѣ они, за исключеніемъ Аристотеля, старались что-то отгадать, вмѣсто того чтобы смотрѣть и изучать міръ видимыхъ явленій; но всѣ они боролись противъ мифологіи, всѣ они, собирая вокругъ себя школы усердныхъ слушателей и поклонниковъ, содѣйствовали разруше-

нiю греческаго многобожiя, и эта отрицательная сторона ихъ дѣятельности имѣетъ важное и прочное историческое значенiе. Положительные же выводы всѣхъ этихъ мыслителей, начиная отъ Фалеса и кончая Платономъ, до такой степени ничтожны и наивны, что на нихъ не стоитъ останавливаться ни на одну минуту. Умнѣйшiе изъ греческихъ философовъ сами поняли очень хорошо, что всѣ ихъ умозрѣнiя никуда не годятся. «Ничто не можетъ быть познано, — говоритъ Анаксагоръ, — ничто не можетъ быть изучено, ничто не можетъ сдѣлаться достовѣрнымъ; чувства ограничены; умъ слабъ; жизнь коротка.» На этой мысли скептики построили всю свою философию и пришли къ отрицанiю всего видимаго мiра и наконецъ къ отрицанiю самаго отрицанiя. Софисты превратили философию въ диалектическое орудiе, которымъ можно было доказывать все, что угодно, въ ту или въ другую сторону. Въ концѣ концовъ греческая мысль, не поддержанная опытомъ и наблюдениемъ, пришла такимъ образомъ къ полному и очевидному банкротству.

Подчиняясь влiянiю философiи, исторiи и поэзiи, видя вблизи и держа въ собственныхъ рукахъ чисто человѣческiя пружины текущихъ политическихъ событiй, высшiе классы греческаго народа очень скоро совершенно отложились отъ національной религiи. Но масса продолжала, несмотря на то, держаться за своихъ ненаглядныхъ олимпiйцевъ съ тѣмъ тупымъ и неопостижимымъ упорствомъ, которымъ отличаются вообще народныя массы и которое побѣждается не аргументами, а только медленнымъ, неотразимымъ и нечувствительнымъ дѣйствиемъ все-разлагающаго времени. Такiя натянутыя отношенiя между образованными людьми и массой продолжались безъ малаго тысяча лѣтъ, то есть со времени открытiя египетскихъ гаваней вплоть до окончательной побѣды христiанства надъ язычествомъ.

II.

Жрецы пользовались очень безцеремонно довѣрчивостью народа; однако надо отдать справедливость и жрецамъ; ихъ дѣятельность не осталась совершенно безплодной: въ храмахъ Эскулапа родилась современная медицина, которая до сихъ поръ признаетъ своимъ отцомъ великаго и честнаго человѣка Гиппократъ, жившаго во время пелопоннесской войны. Въ то время каждая болѣзнь приписывалась обыкновенно гнѣву какого-нибудь оскорбленнаго божества; больныхъ приносили въ храмъ, преимущественно къ Эскулапу, и жрецы лечили ихъ тамъ заклинанiями и наконецъ кое-какими лекарствами. Больныхъ собиралось въ этихъ храмахъ довольно много, и любознательный человѣкъ могъ наблюдать признаки и постепенное развитiе различныхъ болѣзней. Выздоровѣвшие боль-

ные приносили Эскулапу разныя пожертвованiя и между прочимъ оставляли въ храмѣ таблички, на которыхъ былъ описанъ въ общихъ чертахъ весь ходъ пережитой болѣзни. Эти таблички, хранившiяся въ храмѣ для прославленiя Эскулапа, могли подъ руками мыслящаго человѣка превратиться въ драгоценный материалъ для изученiя болѣзней. Такой мыслящiй человѣкъ нашелся въ лицѣ Гиппократъ. Опираясь на свои собственныя многолѣтнiя наблюденiя и на критическое изученiе эскулаповскихъ табличекъ, Гиппократъ въ своихъ сочиненiяхъ высказалъ и послѣдовательно выдержалъ до конца ту мысль, что каждая болѣзнь происходитъ отъ влiянiя чисто физическихъ причинъ и излечивается чисто физическими средствами. Для основанiя разумной медицины эта простая мысль была безусловно необходима, но жрецовъ такая мысль поражала въ самое чувствительное мѣсто. Чѣмъ больше народъ будетъ довѣряться искренности врача, тѣмъ меньше онъ будетъ обращать вниманiя на манипуляцiи и заклинанiя жрецовъ. Больницы наполнятся, а храмы Эскулапа опустѣютъ. Понятно, какую бурю негодованiя долженъ былъ поднять противъ себя трезвый мыслитель Гиппократъ. Надо было обладать непоколебимымъ мужествомъ, чтобы пойти на встрѣчу этой бури, и надо было принести народу очень много совершенно осязательной пользы, чтобы устоять противъ разыгравшихся страстей, то есть, чтобы не погибнуть такъ, какъ погибъ на примѣръ Сократъ. Гиппократъ былъ гораздо опаснѣе Сократа для языческаго благочестiя. Сократъ только говорилъ противъ предрассудковъ и то робко и двусмысленно; а Гиппократъ дѣйствовалъ, и притомъ самымъ разрушительнымъ образомъ: исцѣляя больныхъ своею искусствомъ, онъ доказывалъ имъ и всѣмъ ихъ знакомымъ какъ нельзя нагляднѣе, что народъ сильнѣе и полезнѣе заклинанiй. Но Сократъ погибъ, потому что народъ видѣлъ въ немъ только говоруну, а на Гиппократъ не поднялась ни одна рука, потому что Гиппократъ защищалъ свои научныя положенiя не только дѣльными доказательствами, но еще и фактическими благодѣями. О Гиппократѣ сохранился между прочимъ одинъ анекдотъ, доказывающiй намъ, что этотъ великiй человѣкъ никогда не лгалъ народнымъ страстямъ и любилъ говорить своимъ неразвитымъ соотечественникамъ голую правду. Можетъ-быть этотъ анекдотъ и ниспропаленъ въ послѣдствiи, но во всякомъ случаѣ онъ показываетъ, какимъ образомъ греки понимали характеръ Гиппократъ. Въ городѣ Абдеръ жилъ философъ Демокритъ, постоянно ситавшiйся надъ различными глупостями всѣхъ людей вообще и своихъ согражданъ въ особенности; онъ не щадилъ своими насмѣшками ни жрецовъ, ни философовъ, ни даже самого себя; его неутомимый смѣхъ упрочилъ за нимъ прозванiе смѣ-

мощагося мудреца изъ Абдеры, а жителямъ этого города доставилъ на вѣчныя времена репутацію непреходимой тупости. Наконецъ почтеннымъ абдеритамъ стало уже слишкомъ тяжело отъ этого постоянного зубоскальства; они распустили слухъ, что ихъ мудрецъ помѣшался, и пригласили знаменитаго врача Гиппократа полечить рехнувшагося философа. Гиппократъ прѣхалъ въ Абдеру съ искреннимъ соболѣзнованіемъ; оно и въ самомъ дѣлѣ жалко: во всемъ городѣ одинъ умный человѣкъ былъ, да и тотъ съ ума сошелъ. Гиппократъ освидѣтельствовалъ занозодозрѣннаго Демокрита самымъ добросовѣстнымъ образомъ, поговорилъ съ нимъ съ глазу на глазъ очень долго и вышелъ изъ его дома, проникнутый глубочайшимъ уваженіемъ къ его великому и гибкому уму. — «Сами вы, — сказалъ онъ, обращаясь къ собравшимся абдеритамъ, — гораздо больше его нуждаетесь въ медицинскихъ пособіяхъ!» — сказалъ и уѣхалъ. Изъ этого любопытнаго разсказа мы можемъ вывести то поучительное заключеніе, что комедія «Горе отъ ума» разыгрывалась въ дѣйствительной жизни слишкомъ за двѣ тысячи лѣтъ до рожденія нашего Грибоедова.

III.

Завоеванія Александра Македонскаго составляютъ рѣшительный поворотный пунктъ въ исторіи греческаго ума и всего греческаго народа. Вслѣдствіе этихъ завоеваній греческая національность разлилась по Египту и по всей Азіи. Когда Александръ основалъ свою огромную имперію на развалинахъ персидской монархіи, тогда потянулось на востокъ изъ европейской Греціи все, что было молодо, сильно и предпримчиво. Та-же самая исторія продолжалась при ближайшихъ преемникахъ Александра. Полководцы македонскаго завоевателя во время своихъ продолжительныхъ междоусобій постоянно таскали къ себѣ изъ Греціи молодыхъ, сильныхъ и храбрыхъ солдатъ; такимъ образомъ цвѣтъ греческаго населенія погибъ въ безплодныхъ сраженіяхъ, а кто уцѣлѣлъ, тотъ пристроился въ Азіи или въ Египтѣ, обзавелся тамъ женой и хозяйствомъ и смѣшалъ такимъ образомъ кровь эллиновъ съ кровью персовъ, сиріянъ или египтянъ. Европейская Греція опустѣла и ослабѣла съ этого времени. Греческая національность потонула въ другихъ національностяхъ, какъ тонетъ стаканъ вина въ бочкѣ воды. Греческія мысли и греческій языкъ были привиты къ умственнымъ способностямъ азіатовъ и африканцевъ, но чистая греческая раса, эллинская кровь утратилась навсегда, породивши изъ себя множество разнообразныхъ пошлостей.

Въ Нижнемъ Египтѣ, на берегу Средиземнаго моря, Александръ основалъ городъ Александрію.

Мѣсто было выбрано такъ умно и такъ удачно, что новый городъ разросся съ невѣроятной быстротой и совершенно убилъ въ самое короткое время умственное значеніе Аѳинъ. Въ Александрію потянулись со всѣхъ сторонъ предпримчивые капиталисты, даровитые художники и глубокіе мыслители. Политика Птолемея, ближайшихъ преемниковъ Александра, довела александрійскую торговлю и александрійскую науку до высочайшей степени процвѣтанія. Здѣсь, въ Александрію, развернулись всѣ силы греческаго ума. Александръ основалъ тотъ городъ, въ которомъ греческая мысль совершила свои величайшіе подвиги, а учитель Александра, Аристотель, одинъ изъ гениальнѣйшихъ людей древняго міра, основалъ тотъ методъ, по которому развилась александрійская наука и по которому всегда будутъ развиваться всѣ отрасли положительнаго, не мечтательнаго и не умоэрическаго знанія. Въ этомъ отношеніи Аристотель составляетъ совершенную противоположность со всѣми своими предшественниками и въ особенности со своимъ учителемъ, Платономъ. Платонъ признаетъ дѣйствительное существованіе какихъ-то общихъ идей; по его мнѣнію, философъ долженъ углубиться въ самого себя, погружаться въ созерцаніе общихъ идей и погнѣть уже изъ этихъ идей вывести частности и подробности видимыхъ явленій. Аристотель, напротивъ того, говоритъ, что общія идеи составляютъ только посредствомъ отвлеченія общихъ признаковъ отъ частныхъ явленій, и что, стало быть, философъ долженъ наблюдать и изучать живую дѣйствительность, чтобы потомъ, сравнивая между собою отдѣльныя впечатлѣнія, возвышаться до пониманія общихъ законовъ. Методъ Аристотеля безукоризненно вѣренъ; но на практикѣ Аристотель очень часто измѣняетъ своему методу; въ то время фактическихъ знаній было собрано еще такъ мало, что не было ни малѣйшей возможности дѣлать какія-нибудь основательныя философскія заключенія о мірозданіи, о жизни, о человѣческой душѣ и о различныхъ другихъ вопросахъ, надъ которыми любятъ задумываться мыслители. Чтобы оставаться совершенно послѣдовательнымъ, Аристотелю надо было совсѣмъ отказаться отъ философіи и приняться за собраніе фактическихъ наблюденій. Но тогдашніе люди, въ томъ числѣ и самъ Аристотель, думали, что каждому мыслящему человеку необходимо дать отвѣты на всѣ вопросы, и если неоткуда взять дѣльныхъ отвѣтовъ, то надо непремѣнно пуститься въ догадки и въ умоэрику. Увлекаясь печальнымъ пристрастіемъ своего вѣка къ философствованіямъ, Аристотель уклоняется отъ того метода, который онъ признаетъ истиннымъ въ теоріи, и пишетъ чрезвычайно много вздора о физикѣ, о метафизикѣ, о физиологій и о политикѣ. Аристотель остается вѣренъ своему собственному методу только въ

своей «Естественной исторіи» и въ своихъ сочиненіяхъ по сравнительной анатоміи. Здѣсь онъ описываетъ то, что видѣлъ собственными глазами. Чтобы заниматься этими предметами, онъ имѣлъ болѣе средства, чѣмъ кто-либо другой изъ его предшественниковъ или современниковъ; ученикъ его, Александръ Македонскій, былъ самъ человѣкомъ очень любознательнымъ; онъ съ большимъ участіемъ слѣдилъ за работами Аристотеля и постоянно присылалъ ему изъ Азіи цѣлыя коллекціи животныхъ и растений, неизвѣстныхъ европейскимъ грекамъ.

Когда междоусобныя войны между полководцами Александра прекратились, когда Египетъ сдѣлался неоспоримой собственностью династіи Птоломеевъ, тогда Александрія сдѣлалась центромъ греческой торговли и всей умственной жизни тогдашняго образованнаго міра. Первые Птоломеи были люди умные и просвѣщенные. Они приняла науку подъ свое покровительство и основали въ Александріи музеумъ, — такое учрежденіе, которое было въ одно и то же время университетомъ и академіей и которое своими громадными размѣрами далеко превышало всѣ подобныя учрежденія прежнихъ и даже позднѣйшихъ временъ. Александрійскій музеумъ сдѣлался чѣмъ-то вродѣ ученаго города; въ немъ бывало иногда до четырнадцати тысячъ различныхъ работниковъ мысли. При музеумѣ находился роскошный ботаническій садъ для изученія растений, звѣринецъ для зоологическихъ наблюденій, астрономическая обсерваторія со всѣми извѣстными въ то время инструментами и пособиями, химическая лабораторія, въ которой самъ Птоломей Филadelphъ, одержимый на старости лѣтъ страхомъ смерти, отыскивалъ не совсѣмъ успѣшно жизненный эликсиръ, анатомическій театръ, въ которомъ ученые изслѣдователи, несмотря на предразсудки египетскаго народа, смѣло рѣзали подъ покровительствомъ просвѣщеннаго правительства не только тѣла животныхъ, но даже и человѣческія трупы.

Богатство александрійскихъ библіотекъ извѣстно каждому школьнику. Птоломеи хотѣли собрать въ музеумъ всѣ книги, какія когда либо были написаны людьми; этого имъ не удалось сдѣлать, но до 700,000 томовъ они действительно приобрѣли; цифра эта чрезвычайно значительна и даже почти невѣроятна для того времени, когда книгопечатаніе еще не существовало и когда книга была роскошью, понятной и доступной только для очень богатыхъ и просвѣщенныхъ людей. Еще важнѣе всѣхъ этихъ превосходныхъ учрежденій была для процвѣтанія александрійской учености полная терпимость Птоломеевъ ко всѣмъ оттѣнкамъ философскихъ и религіозныхъ убѣжденій. Въ Александрію шли, какъ въ совершенно безопасную пристань, безъ различія религій и національности, всѣ умные люди, преслѣдуемые глупостью своихъ сограж-

данъ или современниковъ. И Птоломеи пристраивали въ своемъ музеумѣ всякаго, кто, по ихъ мнѣнію, обнаруживалъ литературный талантъ или обладалъ научнымъ познаніемъ. На развитіе литературы, философіи, исторіи и политическихъ наукъ всякое покровительство дѣйствуетъ конечно развращающимъ образомъ; всѣ эти отрасли умственной дѣятельности тотчасъ проиваются духомъ лести и превращаются въ пріятное увеселеніе покровительствующихъ особъ. Такъ случилось, разумѣется, и въ Александріи. Но, кромѣ этихъ развращающихъ проявленій человѣческой мысли, есть еще строгія, точныя науки, которыя не гнутся ни въ право, ни въ лѣво и которыя вслѣдствіе этой естественной непоколебимости могутъ, безъ всякаго зазрѣнія совѣсти, принимать покровительство отъ кого угодно. Именно эти совершенно безстрастныя науки, — геометрія, астрономія, механика, физика, анатомія, — развились въ александрійскомъ музеумѣ. Многія открытія александрійскихъ ученыхъ по этимъ предметамъ составляютъ до сихъ поръ и будутъ составлять навсегда драгоцѣнную и необходимую часть въ общей совокупности человѣческихъ знаній. Геометрія Эвклида до сихъ поръ преподается во всѣхъ европейскихъ школахъ. Архимедъ, жившій въ Сиракузахъ, но учившійся въ Александріи, сдѣлалъ множество открытій въ геометріи, основалъ гидростатику, изучилъ свойства рычага, изобрѣлъ тотъ винтъ, который до сихъ поръ называется архимедовымъ, и кромѣ того придумалъ около сорока различныхъ менѣе важныхъ машинъ. Эратосфенъ, Гиппархъ и Птоломей довели астрономію и математическую географію до той степени развитія, на которой она находилась до временъ Коперника, Кеплера, Галилея, Ньютона. Александрійскіе астрономы совершенно отбросили мысль о томъ, что земля — плоскій кружокъ, опоясанный океаномъ; они убѣдились въ томъ, что земля есть шарообразное тѣло; они объяснили себѣ настоящія причины солнечныхъ и лунныхъ затмѣній и нашли возможность вычислять и предсказывать ихъ заранѣе; они пробовали строгимъ научнымъ путемъ опредѣлить величину земнаго шара и разстояніе, отдѣляющее его отъ солнца и луны. Географическія и астрономическія сочиненія Птолемея, переведенныя сначала на арабскій языкъ, а потомъ уже на латинскій, в теченіи всѣхъ среднихъ вѣковъ пользовались непоколебимымъ авторитетомъ у магометанъ и у христіанъ. Птоломей предполагаетъ, что земля стоитъ неподвижно въ пространствѣ, и что солнце, луна и планеты обращаются вокругъ нея. Эта теорія прожила почти полторы тысячи лѣтъ, и первымъ послѣдователемъ Коперника побѣда надъ укоренившимися идеями Птолемея досталась цѣной тяжелой и опасной борьбы.

Медицина развилась въ александрійскомъ музеумѣ самымъ рациональнымъ образомъ, опираясь

на анатомическія изслѣдованія. Основатель музея, Птоломей Филадельфъ, зашелъ такъ далеко въ своемъ усердіи къ развитію науки, что позволилъ медикамъ, приставленнымъ къ музеуму, производить фізіологическіе опыты надъ живыми преступниками, осужденными на смерть. Изъ александрійскихъ медиковъ замѣчательны Герофилъ и Эразистратъ. Каждый изъ этихъ двухъ ученыхъ основалъ свою отдѣльную школу, и медики втеченіи нѣсколькихъ столѣтій раздѣлялись на *эразистратистовъ* и *герофилистовъ*. Однако позволеніе рѣзать живыхъ преступниковъ не пошло впрокъ александрійской медицинѣ; несмотря на это позволеніе, Герофилъ и Эразистратъ утверждаютъ единогласно, что въ артеріяхъ заключается не кровь, а воздухъ; о кровообращеніи они оба не имѣли ни малѣйшаго понятія. Если принять въ расчетъ, что эти люди распространяли совершенно исключительными пособіями, то надо сознаться, что наблюдательность ихъ была не особенно велика.

IV.

Когда Египетъ былъ обращенъ въ римскую провинцію, александрійская наука медленно начала клониться къ упадку. Музеумъ существовалъ попрежнему; попрежнему въ немъ жили и трудились ученые; но не было въ ихъ трудахъ той свѣжей и сильной оригинальности мысли, которой отличаются умственные подвиги Эвклида, Архимеда, Эратосфена и Гиппарха. Началось копированіе и комментированіе старыхъ авторитетовъ. Самостоятельныя изслѣдованія прекратились. Причину этого упадка мысли можно приписать отчасти подавляющему вліянію римскаго господства. Въ такое время мыслящему человѣку совершенно надобѣаетъ жизнь; а когда не хочется жить, тогда не зачѣмъ и трудиться надъ разрѣшеніями мудреныхъ научныхъ вопросовъ. Но еслибы даже Египетъ оставался попрежнему подъ господствомъ умныхъ и просвѣщенныхъ Птоломеевъ, то и въ такомъ случаѣ александрійская наука непремѣнно должна была измелчать и одряхлѣть. У нея не было будущаго. Представляя собой самое блестящее проявленіе классической цивилизаціи, она вполнѣ раздѣляла съ этой цивилизаціей ея радикальную и роковую недолговѣчность.

Дреперъ въ своей «Исторіи умственнаго развитія въ Европѣ» («History of the intellectual developement of Europe») объясняетъ упадокъ александрійской науки тѣмъ обстоятельствомъ, что въ это время греческій умъ, переживши уже фазы дѣтства, отрочества, юности и мужества, вступалъ въ печальный, но неизбѣжный періодъ старческой дряхлости. Дреперъ думаетъ, что историческая жизнь народовъ совершается по тѣмъ же законамъ, по которымъ располагается

жизнь каждого отдѣльнаго человѣка. Я считаю книгу Дрепера очень замѣчательной книгой; я даже положилъ ее въ основаніе моей теперешней статьи, но я долженъ оговориться, что мысли Дрепера о различныхъ неизбѣжныхъ фазахъ въ исторической жизни народовъ рѣшительно не выдерживаютъ серьезной критики. Мы дѣйствительно знаемъ изъ исторіи, что нѣкоторыя народности вымерли, нѣкоторыя цивилизаціи одряхлѣли, уничтожились. Но число этихъ извѣстныхъ намъ примѣровъ до сихъ поръ еще совсѣмъ не такъ значительно, чтобы мы *только по одному числу* случаевъ могли составить себѣ то убѣжденіе, что существуетъ въ природѣ общій законъ, на основаніи котораго каждая народность и каждая цивилизація непремѣнно должны рано или поздно одряхлѣть и умереть. Если-же мы обратимъ вниманіе не на гуртовую цифру извѣстныхъ намъ историческихъ примѣровъ, а на внутренній смыслъ cadaго отдѣльнаго случая, то мы придемъ совсѣмъ не къ тому результату, къ которому приходитъ Дреперъ. Внимательное изученіе покажетъ намъ, что каждая умершая національность или цивилизація умерла отъ какого-нибудь неизлечимаго органическаго порока, таившагося въ ней съ самаго начала ея существованія, или же, что она убита внѣшнимъ насиліемъ, котораго она не могла и не умѣла отразить. То, что Дреперъ принимаетъ за неизбѣжную старость, оказывается болѣзненнымъ разстройствомъ. Поэтому, если двадцать цивилизацій умерли отъ различныхъ болѣзней, то изъ этого никакъ нельзя выводить заключенія, что двадцать первая цивилизація также непремѣнно умретъ отъ какой-нибудь болѣзни. Можетъ-быть умереть, а можетъ-быть и не умереть. Болѣзнь совсѣмъ не то, что старческая дряхлость. Отъ болѣзни можно и уберечься, и вылечить. Мнѣ кажется, что классическая цивилизація умерла не отъ старости, или, вѣрнѣе, она одряхлѣла не потому, что таковъ законъ природы, а потому, что она заключала въ себѣ неизлечимый органическій порокъ, отъ котораго совершенно необходима новѣйшая европейская цивилизація. Основаніе классической цивилизаціи было очень узко и очень мелко, т. е. эта цивилизація не могла распространяться ни въ ширину, ни въ глубину. Распространенію ея въ ширину, т. е. отъ одного народа къ другому, мѣшала національная вражда. Грекъ считалъ и называлъ варваромъ всякаго не-грека. Распространенію ея въ глубину, т. е. отъ высшихъ классовъ общества къ низшимъ, мѣшало рабство. Общество, построенное на рабствѣ, всегда будетъ смотрѣть на науку, какъ на аристократическую забаву, недоступную и даже вредную для трудящагося большинства. Въ такомъ обществѣ на всякую умственную дѣятельность смотрятъ не какъ на средство осмыслить и усовершенствовать жизнь, а какъ на средство забыть дразни и пошлости. Въ такомъ обществѣ

своей «Естественной исторіи» и въ своихъ сочиненіяхъ по сравнительной анатоміи. Здѣсь онъ описываетъ то, что видѣлъ собственными глазами. Чтобы заниматься этими предметами, онъ имѣлъ болѣе средства, чѣмъ кто-либо другой изъ его предшественниковъ или современниковъ; ученикъ его, Александръ Македонскій, былъ самъ человѣкомъ очень любознательнымъ; онъ съ большимъ участіемъ слѣдилъ за работами Аристотеля и постоянно присылалъ ему изъ Азии цѣлыя коллекціи животныхъ и растений, неизвѣстныхъ европейскимъ грекамъ.

Когда междоусобныя войны между полководцами Александра прекратились, когда Египетъ сдѣлался неоспоримой собственностью династіи Птоломеевъ, тогда Александрія сдѣлалась центромъ греческой торговли и всей умственной жизни тогдашняго образованнаго міра. Первые Птолемеи были люди умные и просвѣщенные. Они приняли науку подъ свое покровительство и основали въ Александріи музеумъ, — такое учрежденіе, которое было въ одно и то же время университетомъ и академіей и которое своими громадными размѣрами далеко превышало всѣ подобныя учрежденія прежнихъ и даже позднѣйшихъ временъ. Александрійскій музеумъ сдѣлался чѣмъ-то вродѣ ученаго города; въ немъ бывало иногда до четырнадцати тысячъ различныхъ работниковъ мысли. При музеумѣ находился роскошный ботаническій садъ для изученія растений, звѣринецъ для зоологическихъ наблюденій, астрономическая обсерваторія со всѣми извѣстными въ то время инструментами и пособиями, химическая лабораторія, въ которой самъ Птоломей Филadelphъ, одержимый на старости лѣтъ страхомъ смерти, отыскивалъ не совсѣмъ успѣшно жизненный эликсиръ, анатомическій театръ, въ которомъ ученые изслѣдователи, несмотря на предразсудки египетскаго народа, смѣло рѣзали подъ покровительствомъ просвѣщеннаго правительства не только тѣла животныхъ, но даже и человѣческіе трупы.

Богатство александрійскихъ библіотекъ извѣстно каждому школьнику. Птолемеи хотѣли собрать въ музеумъ всѣ книги, какія когда либо были написаны людьми; этого имъ не удалось сдѣлать, но до 700,000 томовъ они дѣйствительно приобрѣли; цифра эта чрезвычайно значительна и даже почти невѣроятна для того времени, когда книгопечатаніе еще не существовало и когда книга была роскошью, понятной и доступной только для очень богатыхъ и просвѣщенныхъ людей. Еще важнѣе всѣхъ этихъ превосходныхъ учреждений была для процвѣтанія александрійской учености полная терпимость Птоломеевъ ко всѣмъ оттѣнкамъ философскихъ и религіозныхъ убѣжденій. Въ Александрію шли, какъ въ совершенно безопасную пристань, безъ различія религіи и національности, всѣ умные люди, преслѣдуемые глупостью своихъ сограж-

данъ или современниковъ. И Птоломей пристраивалъ въ своемъ музеумѣ всякаго, кто, по нѣмнѣнію, обнаруживалъ литературный талантъ или обладалъ научными познаніями. На развитіе литературы, философіи, исторіи и политическихъ наукъ всякое покровительство дѣйствуетъ конечно развращающимъ образомъ; всѣ эти отрасли умственной дѣятельности тотчасъ проникаются духомъ лести и превращаются въ пріятное увеселеніе покровительствующихъ особъ. Такъ случилось, разумѣется, и въ Александріи. Но, кромѣ этихъ развращающихъ проявленій человѣческой мысли, есть еще строгія, точныя науки, которыя не гнутся ни въ право, ни въ лѣво и которыя вслѣдствіе этой естественной непоколебимости могутъ, безъ всякаго зазрѣнія совѣсти, принимать покровительство отъ кого угодно. Именно эти совершенно безстрастныя науки, — геометрія, астрономія, механика, физика, анатомія, — развились въ александрійскомъ музеумѣ. Многія открытія александрійскихъ ученыхъ по этимъ предметамъ составляютъ до сихъ поръ и будутъ составлять навсегда драгоценную и необходимую часть въ общей совокупности человѣческихъ знаній. Геометрія Евклида до сихъ поръ преподается во всѣхъ европейскихъ школахъ. Архимедъ, жившій въ Сиракузахъ, но учившійся въ Александріи, сдѣлалъ множество открытій въ геометріи, основалъ гидростатику, изучилъ свойства рычага, изобрѣлъ тотъ винтъ, который до сихъ поръ называется архимедовымъ, и кромѣ того придумалъ около сорока различныхъ менѣе важныхъ машинъ. Эратосфенъ, Гиппархъ и Птоломей довели астрономію и математическую географію до той степени развитія, на которой она находилась до временъ Коперника, Кеплера, Галилея, Ньютона. Александрійскіе астрономы совершенно отбросили мысль о томъ, что земля — плоскій кружокъ, опоясанный океаномъ; они убѣдились въ томъ, что земля есть шарообразное тѣло; они объяснили себѣ настоящія причины солнечныхъ и лунныхъ затмѣній и нашли возможность вычислять и предсказывать ихъ заранѣе; они пробовали строго научнымъ путемъ опредѣлить величину земнаго шара и разстояніе, отдѣляющее его отъ солнца и луны. Географическія и астрономическія сочиненія Птолемея, переведенныя сначала на арабскій языкъ, а потомъ уже на латинскій, втеченіи всѣхъ среднихъ вѣковъ пользовались непоколебимымъ авторитетомъ у магометанъ и у христіанъ. Птоломей предполагаетъ, что земля стоитъ неподвижно въ пространствѣ, и что солнце, луна и планеты обращаются вокругъ нея. Эта теорія прожила почти полторы тысячи лѣтъ, и первымъ послѣдователямъ Коперника побѣда надъ укоренившимися идеями Птолемея досталась цѣной тяжкой и опасной борьбы.

Медицина развилась въ александрійскомъ музеѣ самымъ рациональнымъ образомъ, опираясь

люди очень любят умозрительную философію, на томъ основанъ, что

Тымы низкихъ истинъ мнѣ дороже
Насъ возвышающій обманъ.

Низкія истины дѣйствительной жизни такъ и остаются навсегда низкими въ такомъ обществѣ, въ которомъ мыслящіе люди боятся къ нимъ прикоснуться и предпочитаютъ упиваться *возвышающими обманами*. Въ такомъ обществѣ даже строго-реальная наука скоро превращается въ *возвышающій обманъ*. Добытыя истины не находятъ себѣ приложенія; онѣ остаются въ библіотекахъ; онѣ не входятъ ни въ народное міросозерцаніе, ни въ народный трудъ. Ученые чувствуютъ себя одинокими, ни съ кѣмъ и ни съ чѣмъ не связанными, никому и ни на что не нужными; они трудятся для собственного удовольствія и теряютъ такимъ образомъ всякое желаніе и всякую возможность отличать полезный трудъ отъ мартышкина труда. Всякій трудъ полезенъ, потому что онъ доставляетъ ученому удовольствіе, и всякій трудъ есть мартышкинъ трудъ, потому что общество не получаетъ отъ него ровно ничего. При такихъ условіяхъ наука непременно должна измельчать и зачухнуть. Уже великій Архимедъ даетъ намъ любопытный примѣръ того, какимъ образомъ ученые, оторванные отъ жизни, тратятъ свои силы на дѣтскія забавы. Въ одномъ изъ своихъ сочиненій онъ доказываетъ серьезно и пространно, что можно сосчитать не только всѣ песчинки морскихъ береговъ, но даже всѣ песчинки, которыя можно было бы уместить между землей и неподвижными звѣздами. И дѣйствительно онъ производитъ это вычисленіе. «Такая книга, — замѣчаетъ Дренеръ, — есть игра математическаго гиганта, безнечно забавляющагося своей собственной силой». Такая книга, прибавлю я отъ себя, указываетъ самымъ выразительнымъ образомъ на печальное и почти безнадежное положеніе того общества, среди котораго она возникла. Плохо, очень плохо идетъ жизнь того народа, въ которомъ гиганты, подобные Архимеду, забавляются, вмѣсто того чтобы работать.

Какой-то латинскій писатель въ какомъ-то сочиненіи употребилъ замѣчательное выраженіе: «*homo homini lupus*» (человѣкъ человѣку волкъ), то есть человѣкъ обращается съ человѣкомъ, какъ волкъ или какъ съ волкомъ. Эти три слова: «*homo homini lupus*» превосходно характеризуютъ ту болѣзнь, отъ которой погибла классическая цивилизація. Грекъ на варвара, аристократъ на чернорабочаго, богатъ на бѣдняка, свободныя на раба, аѳинянинъ на спартапца, философъ на неуча, мужчина на женщину, отецъ на сына — всѣ народности, всѣ классы общества, всѣ люди, различныя между собою по полу, по возрасту или по образованію, смотрѣли другъ на друга съ недовѣріемъ, съ недоброжелательствомъ, съ пренебреженіемъ и съ худо

скрытымъ намѣреніемъ скрутить, осѣдлать, взять въ ежовыя рукавицы и обратить въ вьючное животное. Какъ велись напиринѣры тогдашнія войны? — Александръ Македонскій, образованный человѣкъ, ученикъ Аристотеля, любитель философіи и естествознанія, въ самое цвѣтущее время эллинизма распялъ на крестахъ двѣ тысячи тирійцевъ за то великое преступленіе, что они съ большимъ мужествомъ и самоотверженіемъ защищали противъ него свой родной городъ. Какъ смотрѣли другъ на друга отдѣльные греческіе города? — Аѳины такъ озлились за что-то на Мегару, что въ мирное время установили законъ, по которому каждый мегарянинъ, очутившійся въ Аѳинахъ, немедленно долженъ подвергаться смертной казни. — Какъ относились философы къ народу? — Всѣ они были убѣждены, что народъ никогда не можетъ и не долженъ просвѣщаться; всѣ они считали суетворіе необходимымъ для массъ, и многіе изъ нихъ имѣли по двѣ доктрины: одну — *экстерическую* — для всѣхъ желающихъ, другую — *эзотерическую* — для немногихъ посвященныхъ. Когда философы пускались разсуждать о политикѣ, то они всегда сочиняли такое общественное устройство, при которомъ всѣ работаютъ, а философы постоянно кушаютъ и постоянно размышляютъ о суетности всего земного и тѣлеснаго.

Что-же наконецъ должно было выдти изъ этого *homo homini lupus*? — Различныя національности, не умѣющія жить между собою въ добромъ согласіи и неспособныя обогащать другъ друга мирнымъ и плодотворнымъ обменомъ продуктовъ физическаго и умственнаго труда, должны были постоянно сориться, драгаться, разорять и поглощать другъ друга. Такъ это и было. Потомъ, когда всѣ народности, облегающія бассейнъ Средиземнаго моря, оказались достаточно истрешанными, всѣ онѣ должны были попасть подъ господство какой-нибудь одной изъ народности, разумѣется той, которая была затаскана менѣе всѣхъ остальныхъ. Такъ оно и случилось. Римъ положилъ насильственный конецъ всѣмъ международнымъ дракамъ по берегамъ Средиземнаго моря. Общее порабошеніе привело за собою общее спокойствіе. Религін, національности поневолѣ перемѣшались. Шероховатости сгладились отъ ежедневныхъ соприкосновеній. Не находя себѣ удовлетворенія и питанія въ войнѣ, международныя антипатіи притупились и заглохли. Но въ этомъ вынужденномъ спокойствіи было мало отраднаго. Это было спокойствіе безсилія и обморока. Административныя и финансовыя распоряженія Рима поддерживали этотъ обморокъ самымъ тщательнымъ образомъ. Римляне обращались съ завоеванными землями такъ, какъ англичане обращаются съ Остѣ-Индіей. Они тянули изъ провинцій все, что можно было вытянуть. Покоренныя населенія были задавлены налогами и кромѣ того римскіе чинов-

и постоянно наживали себя на их счет гражданскаго состоянія. Римское правительство никогда не заботилось о народном благосостояніи; величайшіе политики и администраторы древняго Рима смотрѣли на народъ только съ стратегической, или съ финансовой, или вообще съ отвлеченной государственной точки зрѣнія. Имъ надо было только, чтобы народъ не бунтовалъ, чтобы онъ платилъ большіе налоги и чтобы границы государства были защищены отъ вторженій варваровъ кордономъ укрѣпленных лагерей и военныхъ поселеній. Римляне сооружали въ провинціяхъ превосходныя военныя дороги, водопроводы, мосты, общественныя зданія, театры, цирки; къ обременительнымъ налогамъ присоединялись такимъ образомъ еще натуральныя повинности; люди и рабочій скотъ надрывались въ безплодныхъ усиліяхъ; крестьянскія хозяйства разорялись; поля оставались необработанными; мелкіе собственники за неплатежъ поземельныхъ продавались въ рабство съ женами и дѣтьми; пахатныя земли, сосредоточиваясь въ рукахъ капиталистовъ, превращались въ пастбища. Живые источники свободнаго народнаго труда быстро изсякали; рабы работали дурно и небрежно; голодъ свирѣствовалъ постоянно то въ одномъ, то въ другомъ концѣ обширнаго государства; за голодомъ шли повальныя болѣзни; люди умирали тысячами, и земли, составившія древній историческій міръ, понемногу превращались въ пустыни, среди которыхъ возвышались въ видѣ жестокой насмѣшки надъ политической мудростью римлянъ, обширныя и великолѣпныя города, переполненные голодной чернью и одурѣвшими отъ разврата миллионерами.

При такихъ условіяхъ существованіе цивилизаціи сдѣлалось невозможнымъ; не оставалось даже и послѣдняго исхода: не могло быть такого переворота, который положилъ-бы конецъ системѣ финансовой и административной эксплуатаціи; некому было сдѣлать такой переворотъ; деревенское населеніе было такъ задавлено, а городская чернь такъ развращена даровыми зрѣлищами и раздачами дарового хлѣба, что неоткуда было ждать ни малѣйшаго сознательнаго протеста. Исторія Гракховъ достаточно поучительна въ этомъ отношеніи, а со временъ Гракховъ до основанія имперіи и съ основанія имперіи до ея паденія дѣла шли все хуже да хуже; и каждое слѣдующее поколѣніе оказывалось постоянно глубже и подлѣе предыдущаго. Отъ людей, задавленныхъ и развращенныхъ до мозга костей римскою администраціей, отъ рабовъ и рабовладѣльцевъ, отъ патроновъ и кліентовъ, отъ гладиаторовъ и праздныхъ любителей цирка, отъ всей этой сволочи, сытой до одурѣнія или доведенной голодомъ до собачьей угодливости и до собачьяго безстыдства, отъ всего, что носило на себѣ клеймо римскаго вліянія, ждать было рѣшительно нечего.

Римъ, основавшій и поддерживавшій свое господство силой оружія, довелъ себя наконецъ системой государственнаго хозяйства до такого полнаго разслабленія, что оказался несостоятельнымъ даже въ своей нарочитой спеціальности. Желѣзные легіоны Рима стали терять позорнѣйшія пораженія отъ презрѣнныхъ варваровъ; потомъ пришлось пополнять желѣзные легіоны презрѣнными варварами и довѣрять наемникамъ защиту Римской имперіи; пришлось уступать варварамъ пограничныя области и откупаться деньгами отъ ихъ набѣговъ. Римское государство умерло и сгнило такимъ образомъ задолго до того времени, когда Одоакръ свергнулъ съ престола послѣдняго императора, Ромула-Августула. Варвары, захватившіе одну провинцію за другой, могли разорять въ нихъ различныя великолѣпныя строенія, могли сжигать рукописи и картины, но задавить живое начало классической цивилизаціи они были не въ состояніи, потому что это начало уже давно перестало быть живымъ. Кое-какія знанія, выработанныя греками, могли пригодиться людямъ во всякое время; но эти знанія были уже для послѣднихъ вѣковъ Римской имперіи обломками далекой и невозвратимой старины, окаменѣлыми остатками такого умственного движенія, которое уже давно прекратилось и потеряло всякую способность дѣйствовать живительнымъ образомъ на настоящее. Варвары быть-можетъ круто оборвали такую агонію, которая безъ ихъ вѣшателства протянулась-бы еще нѣсколько столѣтій, какъ тянулось напримѣръ жалкое прозябаніе Византійской имперіи; но во всякомъ случаѣ варвары только ускорили, а не нарушили естественный и необходимый ходъ историческихъ событій. Надежды на выздоровленіе и обновленіе не оставалось; значитъ, надо было для пользы всего человечества поскорѣе убрать съ дороги гнилое тѣло и начать съ самаго начала, свѣжими силами, работу новой цивилизаціи. Если Атилла дѣйствительно называлъ себя *бичомъ божіимъ*, то надо полагать, что этотъ дикарь былъ очень умнымъ человекомъ и понималъ чрезвычайно вѣрно глубокое историческое значеніе своей разрушительной дѣятельности. Зданіе классической цивилизаціи, цѣликомъ построенное на рабствѣ, надо было срыть до основанія, и кто ломалъ это зданіе, сознательно или безсознательно, тотъ оказывалъ человечеству существенную услугу. Съ этой точки зрѣнія гунны и вандалы могутъ быть названы прогрессистами.

V.

Безжизненность греко-римскихъ идей и учрежденій выражается особенно наглядно въ борьбѣ между язычествомъ и христіанствомъ. Многіе императоры, смотря на христіанъ, какъ на опасную политическую партію, старались запугать

изъ преслѣдованіями. Преслѣдованія эти не достигали своей цѣли; они давали только христіанамъ возможность обнаруживать торжественно и публично то высокое и непоколебимое мужество, которое всегда одушевляетъ человѣка, идущаго на мученія и на смерть за святыню своего глубокаго и искренняго убѣжденія. Эти поразительные примѣры стойкости и терпѣнія дѣйствовали потрясающимъ образомъ на массу; въ людяхъ, задавленныхъ, загрязненныхъ и изувѣченныхъ свинцовымъ гнетомъ римской жизни, эти примѣры будили лучшія человѣческія чувства, — такія чувства, которыхъ самъ человѣкъ никогда не подозрѣвалъ въ себѣ, которыя дремали въ немъ съ самаго его рожденія и которыя, выходя наверхъ изъ темной глубины его души, изумляли его самого своей свѣтлой, невиданной и между тѣмъ знакомой и родственной красотой. Зато, чтобы разъ въ жизни почувствовать себя человѣкомъ, чтобы разъ въ жизни не струсить передъ преторомъ, передъ ликторами и палачами, забитый рабъ или грязный бродяга могъ съ гордой радостью пойти на смерть, когда онъ видѣлъ, что такую смерть встрѣчали спокойно тѣ загадочные люди, которые называли себя христіанами. Такимъ образомъ казни плодили мучениковъ и содѣйствовали распространенію гонимой религіи. Бывали примѣры, что христіанинъ, сидящій въ тюрьмѣ и уже осужденный на смерть, въ послѣднія минуты своей жизни обращалъ въ христіанство своего тюремщика, велъ и его вмѣстѣ съ собою на мѣсто казни.

Во время Діоклетіана христіане составляли уже дѣйствительно такую политическую силу, съ которой надо было обращаться очень осторожно; они были многочисленны не только въ государствѣ, но уже и въ арміи; у нихъ были ревностные агенты во всѣхъ классахъ общества, даже въ императорскомъ дворцѣ, потому что жена, и дочь Діоклетіана исповѣдали новую религію. Послѣ смерти Діоклетіана Константинъ одержалъ рѣшительную побѣду въ междоусобныхъ войнахъ, именно потому, что сумѣлъ привлечь на свою сторону христіанъ всей имперіи. При Константинѣ христіанство сдѣлалось господствующей религіей, и теперь пришло для язычества время расплачиваться за преслѣдованія прежнихъ правительствъ. Христіанство объявило истребительную войну всему, что было связано такъ или иначе съ языческими воспоминаніями. Вся классическая цивилизація, философія, наука, искусство, все безъ разбору было занесено въ рубрику язычества, и все должно было исчезнуть, какъ суета и прелесть грѣховнаго міра. И по результатамъ своимъ эти гоненія были совсѣмъ не похожи на тѣ преслѣдованія, которымъ подвергалось христіанство. Здѣсь гонимыя идеи, формы и учрежденія дѣйствительно прятались и исчезали безъ остатка и почти безъ борьбы. Жрецы, философы, ученые, художники класси-

ческаго міра не дали народу ровно ничего, кромѣ бѣдности, невѣжества, распутства и страданія. Народу не за что было любить этихъ людей, и, когда явились новые вожди, тогда народъ сталъ ломать статуи боговъ, разрушать ихъ жертвенники, рвать и жечь сочиненія философовъ, ученыхъ и поэтовъ. И новые вожди дѣйствительно держали себя иногда съ такимъ мужествомъ и съ такимъ достоинствомъ, что неотразимое вліяніе ихъ на умы народа становится совершенно понятнымъ. Случилось однажды, что императоръ Θεодосій Великій изъ личнаго мщенія избилъ въ Θεссалоникѣ семь тысячъ гражданъ, находившихся въ циркѣ, за что епископъ Амвросій едіолапскій не далъ ему причастія, не пустил его въ церковь и заставилъ его принести публичное покаяніе. Если принять въ соображеніе энергическій характеръ Θεодосія, проявившійся съ достаточной очевидностью въ его Θεссалоникскомъ подвигѣ, и если припомнить кромѣ того, что церковь и духовенство были обязаны этому императору очень важными льготами, то надобно будетъ сознаться, что поступокъ Амвросія представляетъ очень яркій примѣръ непоколебимаго мужества, неподкупной гражданской честности. Разумѣется, молва объ этомъ поступкѣ разнеслась во всѣ концы имперіи, и по всей вѣроятности многіе приверженцы старой религіи съ глубокимъ огорченіемъ провели параллель между стойкостью христіанскаго епископа и угодливіестью тѣхъ языческихъ жрецовъ, которые совершали жертвоприношенія передъ живымъ богомъ Калигулой или передъ статуей Антиной, красиваго мальчика, пользовавшагося страстной любовью императора Адріана. Народъ не имѣлъ понятія о томъ, что есть возможность напоминать цезарямъ о требованіяхъ справедливости; и вдругъ эта возможность явилась; понятно на какую высоту должно было подняться въ глазахъ народа то учрежденіе, отъ лица котораго можно было давать свѣтской власти такіе впечатлительные уроки.

Царствованіе Θεодосія нанесло смертельный ударъ древней религіи и древней философіи: языческія гаданія по внутренностямъ жертвенныхъ животныхъ были объявлены уголовными преступленіями; вслѣдъ затѣмъ, въ 394 году запрещено приносить жертвы богамъ и входить въ ихъ храмы; доходы и владѣнія храмовъ взяты въ государственную казну; зданія многихъ храмовъ разрушены. Для того, чтобы охранить христіанскую церковь отъ ересей, Θεодосій учредилъ особыхъ инквизиторовъ, соединявшихъ въ своемъ лицѣ обязанности допосланиковъ и судей. Любопытно при этомъ замѣтить, что Θεодосій былъ родомъ изъ Испаніи, — изъ той самой страны, которая много вѣковъ спустя съ особенной любовью пригрѣла на своей груди судилище инквизиціи въ исправленномъ и дополненномъ видѣ. Далѣе тотъ-же Θεодосій объявилъ

указомъ, что подвергаются лишенію гражданскихъ правъ и ссылкѣ всѣ тѣ люди, которые въ чемъ бы то ни было окажутся несогласными съ религіозными убѣжденіями Дамаза, епископа римскаго, и Петра, епископа александрійскаго. Въ этомъ указѣ Θεодосія проглядываетъ первый намекъ на будущій догматъ римской церкви о непогрѣшимости папы. Этимъ же указомъ объявляется смертная казнь тѣмъ христіанамъ, которые будутъ праздновать Пасху въ одинъ день съ евреями.

Видя такое усердіе въ императорѣ, христіане воспользовались всѣми выгодами своего положенія и стали дѣятельно разрушать все, что казалось имъ связаннымъ такъ или иначе съ отжившей религіей. При этомъ въ Александріи произошла кровопролитная сшибка между христіанами и язычниками, которые, несмотря на свое сопротивленіе, были, разумѣется, окончательнѣе побѣждены. Александрія можетъ служить превосходнымъ образчикомъ тогдашняго историческаго міра; въ ней были перемѣшаны и доведены до высшей степени напряженія всѣ борившіяся между собою историческія силы. Въ этомъ городѣ было до сорока тысячъ евреевъ, предпримчивыхъ, образованныхъ и державшихъ въ своей власти большую часть обширной александрійской торговли. Язычество было очень сильно въ Александрію, потому что именно въ этомъ мѣстѣ греко-римскія идеи слились съ сѣдой древностью египетскаго символизма. Жрецы Сераписа и Изиды считались постоянно самыми учеными, самыми строгими и самыми опытными хранителями всѣхъ таинствъ языческой святыни. Многие изъ мистиковъ и пѣтистовъ древняго міра были сами родомъ изъ Александріи, другіе ѣздили въ этотъ городъ нарочно за тѣмъ, чтобы поучиться у тамошнихъ жрецовъ ихъ таинственной мудрости. Философскій скептицизмъ и древняя наука держались еще въ высшихъ слояхъ александрійскаго общества; въ древнемъ музеѣ, переведенномъ послѣ Юлія Цезаря въ роскошное зданіе храма Сераписа, хранилось еще огромное количество разнообразныхъ рукописей и ученыхъ инструментовъ; этими сокровищами еще пользовались запоздалые преемники Эвклида, Гиппарха и Эратосфена. Наконецъ христіанство также пустило очень глубокіе корни въ Александрію и во всемъ Египтѣ. Епископъ александрійскій, по своему вліянію на дѣла всеобщей церкви, стоялъ въ четвертомъ вѣкѣ наравнѣ съ епископами римскимъ и константинопольскимъ и постоянно оспаривалъ у нихъ первенство надъ всѣмъ христіанскимъ міромъ. Александрія была центромъ самыхъ горячихъ богословскихъ споровъ; въ Александрію возникла важнѣйшая изъ христіанскихъ ересей, знаменитая въ исторіи подъ именемъ аріанства. А усерднѣйшимъ противникомъ аріанства и неутомимѣйшимъ врагомъ самого Арія былъ епископъ алек-

сандрійскій, Афанасій. Кромѣ того отшельничество и монашество возникли въ верхнемъ Египтѣ, и въ четвертомъ вѣкѣ вся Сѣверная Африка была уже устлана кельями пустынниковъ и многочисленными монастырями.

Изъ всѣхъ этихъ замѣчаній не трудно вывести то общее заключеніе, что въ Александрію были собраны всѣ матеріалы для драматическаго столкновенія между самыми ревностными христіанами и самыми упорными защитниками языческой старины. Епископъ александрійскій Теофилъ, получивъ отъ правительства позволеніе построить христіанскую церковь на томъ мѣстѣ, которое занято было прежде храмомъ Озириса, сталъ рыть фундаментъ для новаго зданія и нашелъ въ землѣ символическія изображенія, употреблявшіяся при таинствахъ египетскаго бога. Такъ какъ Озирисъ представляетъ собою оплодотворяющую силу природы, то изображенія оказались очень неприличнаго свойства, и епископъ, для посрамленія язычества, приказалъ выставить ихъ на базарную площадь. Такое оскорбленіе показалось невыносимымъ для старой египетской партіи. Люди этой партіи собрались въ храмъ Сераписа съ оружіемъ въ рукахъ; потомъ, сдѣлавъ изъ своей крѣпкой позиціи удачную вылазку, захватили на улицахъ нѣсколько членовъ христіанъ, затащили ихъ въ храмъ, заставили ихъ принести тамъ языческую жертву и зарѣзали ихъ самихъ на тѣхъ-же самыхъ жертвенникахъ. Епископъ тотчасъ отправилъ донесеніе къ императору Θεодосію, который немедленно положилъ резолюцію—разрушить храмъ Сераписа до основанія, а за исполненіемъ этого приказанія наблюдать самому Теофилу. Языческая партія совершенно упала духомъ, положила оружіе и разбѣжалась безъ сопротивленія, а исполнители Θεодосіева приказанія сожгли библіотеку, изломали математическіе инструменты, изрубили въ куски статую Сераписа, изъ подъ которой, къ великому удовольствію всѣхъ присутствующихъ, выбѣжала цѣлая колонія перепуганныхъ крысъ, отобрали въ пользу церкви все золото и серебро, заключавшееся въ храмѣ, и дѣйствительно сравняли съ землей громадное зданіе, составлявшее одно изъ превосходнѣйшихъ произведеній греческой архитектуры.

Вслѣдъ за временами Θεодосія Великаго свободная дѣятельность мысли превращается на Западѣ въ самое ужасное изъ всѣхъ возможныхъ преступленій. Воровъ и разбойниковъ просто вѣшаютъ, а иногда даже и не вѣшаютъ, но мыслителей жгутъ живьемъ, потому что всѣ мыслители и всѣ ученые изслѣдователи оказываются колдунами или еретиками. Клерикальные писатели четвертаго и пятаго вѣковъ совершенно систематически выражаютъ свое полное презрѣніе ко всему, что выработала древняя наука. «Не по незнанію тѣхъ вещей,—пишетъ Евсевій,—которыми восхищаются философы, но по презрѣ-

нию къ столь бесполезному труду мы такъ мало занимаемся этими предметами, обращая нашъ духъ на болѣе возвышенные подвиги.» Къ сожалѣнію, многіе изъ писателей этого времени при всемъ своемъ презрѣніи къ земной мудрости все-таки разсуждали о многихъ чисто-земныхъ и строго-научныхъ вопросахъ, напримѣръ о фигурѣ нашей планеты, о ея положеніи въ пространствѣ, объ антиподахъ. Изъ всѣхъ этихъ разсужденій составилъ цѣлый космографическій кодексъ, который средневѣковые схоластики вы зубрили наизусть, и которымъ они съ замѣчательной храбростью поражали то Колумба, то Магеллана, то Галилея. А вотъ образчикъ этихъ разсужденій, взятый изъ сочиненій Лактанція:

«Неужели есть люди, достаточно глупые для того, чтобы предполагать, будто на другой сторонѣ земли жатвы и деревья висятъ верхушками книзу и будто у тамошнихъ людей ноги находятся выше головы? Если вы спросите у нихъ, какимъ образомъ они защищаютъ подобныя нелѣпости и какимъ образомъ предметы нашей стороны не отваливаются прочь отъ земли, то они намъ отвѣтятъ, что такъ устроена природа вещей, что тяжелыя тѣла стремятся къ центру, какъ спицы колеса, а легкія тѣла, напримѣръ облака, дымъ, огонь, стремятся отъ центра къ небу на всѣхъ сторонахъ земли. Тутъ ужъ я рѣшительно становлюсь втупикъ и не знаю, что сказать такимъ людямъ, которые, сдѣлавъ въ своемъ разсужденіи ошибку, постоянно упорствуютъ въ своемъ безуміи и защищаютъ одно нелѣпое мнѣніе другимъ, еще болѣе нелѣпымъ.»

Августинъ также отрицаетъ существованіе антиподовъ и подкрѣпляетъ свое мнѣніе аргументами и цитатами, еще болѣе неотразимыми. Человѣчество старалось такимъ образомъ забыть все, что было выработано классическимъ періодомъ его исторической жизни. Причина этого чрезвычайно замѣчательнаго явленія заключается, по моему крайнему разумѣнію, именно въ томъ, что классическая наука всегда и вездѣ держала себя совершенно «пассивной», никогда не старалась проникнуть въ народную жизнь и приобрести себѣ вліяніе надъ ея отправлениями, никогда и ничѣмъ не облегчала участи подавленной массы, и поэтому упрочила за собой въ ея глазахъ репутацию пустой прихоти и презрѣнной забавы.

VI.

Въ самыя мрачныя времена всемірной исторіи человѣчскій умъ все-таки съ неотразимой силой требуетъ себѣ пищи и дѣятельности. Когда мірская философія и мірская наука впали въ немилость, тогда самыя живые и подвижныя умы обратились на размышленія о догматахъ вѣры. Въ этихъ размышленіяхъ не было никакихъ скептическихъ тенденцій; каждый вбрасывалъ горячо и *чистосердечно*, но каждый хотѣлъ созерцать

догматы своей религіи во всей ихъ непосредственной чистотѣ и подлинности; каждый отдѣльный человѣкъ, у котораго было время, желаніе и возможность заниматься размышленіями, старался уберечь догматъ отъ ошибочныхъ дополненій и толкованій, вносимыхъ въ него другими людьми. Чѣмъ искреннѣе было религіозное чувство, тѣмъ неизбежнѣе было разногласіе и тѣмъ ожесточеннѣе должны были быть столкновенія между несходными понятіями. Оттѣсненный отъ области безстрастнаго научнаго изслѣдованія, человѣчскій умъ бросился стремглавъ на арену раздражающихъ богословскихъ преній; ереси были неизбежны, и дѣйствительно аріане, несторіане, македоніане, еutihіане, пелагіане, полу-пелагіане, монофизиты, монофелиты втеченіи нѣсколькихъ столѣтій волновали весь христіанскій міръ своими безконечными и безысходными преніями и раздорами. Религіозныя разногласія могли возникать изъ субъективныхъ настроеній: люди могли бороться между собой на смерть изъ-за такихъ идей, которыя они дѣйствительно считали своимъ драгоцѣннѣйшимъ достояніемъ. Но само собой разумѣется, что въ такую борьбу влѣчивались постоянно въ большей или меньшей степени побужденія, вовсе не возвышенныя и совсѣмъ не похвальныя: то честолюбіе, то корыстолюбіе, то политическій расчетъ, то стремленіе угодить сильному лицу, то желаніе подставить ногу личному врагу.

Что религіозное усердіе дѣйствительно прикрывало собою расчеты и побужденія, не имѣющіе ничего общаго съ религіей и ея догматами, — это доказывается очень убѣдительно крупными историческими фактами. Достаточно взглянуть на отношенія римскихъ епископовъ къ восточной церкви. Когда папамъ выгодно было балансировать между византійскимъ императоромъ и французскими королями, тогда они балансировали; когда надо было приблизиться къ византійскому двору, они приближались; когда оказалась возможность занять совершенно самостоятельное положеніе, они круто разорвали всякую связь съ восточной церковью, и для всѣхъ этихъ макіавелевскихъ эволюцій отыскивался и подтачивался всегда чисто догматическій предлогъ: все это повидимому дѣлалось *ad maiorem Dei gloriam*, а совсѣмъ не по расчетамъ земной политики. Но иногда историческія обстоятельства складывались такъ неожиданно круто, что маска безкорыстнаго усердія не могла удержаться на своемъ мѣстѣ, и папство выпутывалось изъ своего неловкаго положенія безъ громкаго скандала, только благодаря тому обстоятельству, что невѣжество тогдашняго общества было дѣйствительно выше всякаго описанія. — Въ началѣ восьмого вѣка византійскій императоръ, Левъ Исавръидъ, задумалъ искоренить въ своихъ владѣніяхъ почитаніе иконъ; началась жестокая борьба между гражданскою властью съ одной стороны и мас-

народа, близкимъ духовенствомъ и многочисленнымъ греческимъ монашествомъ съ другой стороны. Несмотря на всѣ волненія, императоръ стоялъ на своемъ; сынъ и наследникъ его, константинъ Копронимъ, дѣйствовалъ въ томъ же направленіи; сынъ Константина, Левъ, былъ иконоборцемъ; такимъ образомъ преслѣдствіе иконъ продолжалось въ византійской имперіи слишкомъ шестьдесятъ лѣтъ. Во все это время папы наотрѣзъ отказывались признавать за собою господство императоровъ на томъ основаніи, что императоры запятнали себя ересью. А главной причиной заключалась въ томъ, что императоры были заняты опасными войнами съ славянами и болгарами, и что имъ, стало быть, не было думать о покореніи Италіи и освобожденіи задорныхъ папъ.

Въ половинѣ VIII-го столѣтія папы сблизились съ франкскими королями. Папа Захарій имъ духовнымъ вліяніемъ помогъ Пипину отойти съестъ на престолъ Меровинговъ и перенести въ монастырь законнаго короля; а Пипинъ за эту дружескую услугу поколотилъ лонгбардовъ, притѣснявшихъ папу; сынъ Пипина, Карлъ Великій, совершенно разрушилъ Лонгбардское царство и завоеваніями своими упрочилъ до такой степени, что папа безусловно повиновался его могучей волѣ. Но на бѣду случилось такъ, что Карлу пришла въ голову такая фантазія, которая надѣлала столько шуму въ Византійской имперіи: Карлъ объявилъ себя живникомъ иконопочитанія и приказалъ даже одному изъ своихъ придворныхъ ученыхъ написать въ этомъ направленіи цѣлый богословскій трактатъ. А въ это время иконоборчество уже существовало въ Византійской имперіи. Папа поставленъ въ самое двусмысленное положеніе. Догматическая послѣдовательность требовала отъ него, чтобы онъ уличилъ Карла въ иконоборство и чтобы онъ возстановилъ съ византійскими дворами тѣ отношенія, которыя были прерваны иконоборческой дѣятельностью трехъ императоровъ. Но Карлъ былъ очень силенъ, а византійская была очень слаба, а папа былъ очень разбитъ... Богословскія доктрины Карла встрѣтили себя со стороны папы ни малѣйшаго противорѣчія; папа остался попрежнему въ покровительствѣ Карла, несмотря на его греческія мнѣнія, — и не сдѣлалъ ни шагу для接近ія съ Византіей, несмотря на ея безпощадную ортодоксію.

Такимъ же чисто дипломатическимъ характеромъ отличаются тѣ раздоры между папой Николемъ I и константинопольскимъ патріархомъ Фотіемъ, которые привели за собою окончательное отдѣленіе западной церкви отъ восточной. — Все самое житейское разсчетовъ играютъ главную роль въ исторіи всѣхъ ересей, волновавшихся въ политическомъ и гражданскомъ обществѣ во все время позднѣе средневѣкового броженія европейской

мысли. Были тутъ и чистыя личности, фанатически преданные своей идеѣ; были преслѣдователи, глубоко убѣжденные въ необходимости преслѣдованія; но эти безхитростные люди всегда были орудіями въ рукахъ искусныхъ механиковъ, не вѣрившихъ ни во что, или политическихъ партій, совершенно равнодушныхъ къ догматическому и нравственному достоинству употребляемыхъ средствъ.

Въ 622 году пятидесятилѣтній мечтатель, аравитянинъ Магометъ, сынъ Абдаллы, принужденъ былъ бѣжать тайкомъ изъ Мекки въ Медину и скрываться отъ своихъ преслѣдователей во время этого путешествія въ различныхъ тущахъ и горахъ. А *черезъ двадцать лѣтъ* послѣ этого событія ученики этого бѣглеца-мечтателя владѣли всѣми землями отъ Триполи въ Африкѣ до Индіи и отъ Индѣйскаго океана до Кавказа. Такой сказочный переворотъ былъ-бы для насъ необъяснимымъ чудомъ, еслибы мы не обратили вниманія на то, что большая часть областей, завоеванныхъ аравитянами, была оторвана ими отъ Византійской имперіи, и что всѣ эти области были переполнены разными еретиками. Нѣкоторые завоеванія первостепенной важности были пріятнымъ сюрпризомъ для самихъ аравитянъ. Такимъ неожиданнымъ образомъ былъ завоеванъ Египетъ. Въ 639 году халифъ Омаръ послалъ туда изъ Сиріи своего полководца Амру съ войскомъ въ *четыре тысячи* человекъ. Эта компанія въ глазахъ Омара была просто военной диверсіей или опустошительнымъ набѣгомъ. Амру получилъ отъ него приказаніе не забираться въ глубину страны и поворотить назадъ. Но Амру не послушался, завелъ сношенія съ жителями Египта, разбилъ греческія войска въ нѣсколькихъ сраженіяхъ и, получивъ подкрѣпленіе отъ халифа, навсегда оторвалъ Египетъ отъ христіанскаго міра; лучшія области Византійской имперіи, Сирія, Египетъ, вся сѣверная Африка, — земля, игравшая самую важную роль въ древнѣйшей исторіи христіанства, отдалась магометанамъ безъ сопротивленія. Иерусалимъ, Антиохія, Александрія, Карфагенъ, — города, въ которыхъ христіанство выросло и укрѣпилось, одержавъ свои первыя побѣды надъ язычествомъ и иудействомъ, увидѣли въ своихъ собственныхъ стѣнахъ торжество дерзкихъ людей, снимавшихъ съ церкви кресты, отбѣивавшихъ колокольный звонъ. Значитъ, вѣра азіатскихъ и африканскихъ христіанъ покачнулася очень сильно, когда такъ легко увидѣли, что побѣда осталась за аравитянами. Многія тысячи людей обратились къ магометанству потому, что тѣ изъ христіанъ, которые пожелали-бы сохранить свою религію, были обложены поголовной податью, которая не распространялась на поклонниковъ Аллаха и его пророка. Покоряя византійскія провинціи, Омаръ въ то-же время велъ войну съ персидскимъ царствомъ, которое также сдѣлалось добычей ара-

витянъ. Но персы сопротивлялись очень упорно: цѣлыя области Персидскаго царства, уже покоренныя магометанами, поднимались снова, такъ что имъ приходилось завоевывать во второй разъ. Раздраженіе персовъ противъ чужеземныхъ завоевателей было такъ сильно, что самъ Омаръ поплатился жизнью за побѣды своихъ армій; персѣ Фирусъ, фанатикъ изъ простолюдиновъ, зарѣзалъ этого халифа, какъ виновника тѣхъ бѣдствій, которыя обрушились на Персидское государство и на религію огненпоклонниковъ. Ничего подобного не было въ византійскихъ провинціяхъ: онѣ покорились сразу и послѣ этого уже не пошевелились.

VII.

Въ Азіи аравитяне пришли въ соприкосновеніе съ христіанскою сектою несторіанъ, а въ Африкѣ они испытали на себѣ умственное вліяніе тамошнихъ евреевъ. Несторіанская секта была основана въ началѣ пятого вѣка константинопольскимъ патріархомъ Несторіемъ, который за свои еретическія мнѣнія о Пресвятой Дѣвѣ былъ лишенъ святительскаго сана, преданъ на вселенскомъ соборѣ церковному проклятію и сосланъ въ отдаленный египетскій оазисъ, въ которомъ онъ и умеръ. Послѣ паденія своего учителя многочисленные послѣдователи бывшаго патріарха выселились на берегъ Евфрата и основали тамъ такъ называемую халдейскую церковь. Многіе изъ этихъ еретиковъ любили древнюю науку; они открыли въ Эдессѣ коллегіумъ и завели нѣсколько школъ; въ этихъ школахъ были переведены на сирійскій языкъ нѣкоторыя греческія и латинскія рукописи, и въ томъ числѣ сочиненія Аристотеля и естественная исторія Плинія старшаго. Несмотря на всѣ старанія византійскаго правительства подавить всякое самостоятельное проявленіе мысли, несторіанскія общины продолжали потихоньку заниматься чтеніемъ, переписываніемъ и переводомъ старинныхъ книгъ, выбирая преимущественно все то, что относилось къ изученію природы. Особенно старательно собирали они сочиненія греческихъ врачей: Гиппократъ, Книдская школа, Герафилъ, Эразистратъ и многочисленные ихъ послѣдователи сдѣлались для несторіанъ предметомъ самаго тщательнаго изученія. Само собою разумѣется, что ихъ дѣятельность не ограничивалась однимъ пассивнымъ собираніемъ и чтеніемъ рукописей. Медицина — дѣло такое живое, такое необходимое въ каждую данную минуту, что при ея изученіи свѣдѣнія, добываемыя изъ книгъ, постоянно прикладываются къ практикѣ, постоянно провѣряются всѣдневнымъ опытомъ и такимъ образомъ на каждомъ шагѣ видоизмѣняются и дополняются личными наблюденіями учащагося субъекта. — Умственная дѣятельность африканскихъ евреевъ направлялась также преимущественно на из-

ученіе медицины: у нихъ были свои самостоятельные изслѣдователи, и одинъ изъ нихъ, Рабъ, занимавшійся анатоміей и описавшій подробно устройство человѣческаго тѣла, приобрѣлъ себѣ своими трудами такую знаменитость, что послѣ его смерти простой народъ употреблялъ вѣсто лекарства землю съ его могилы. Эта черта обрисовываетъ наглядно характеръ времени и народа. Ученаго уважаютъ, но уважаютъ, какъ могучаго волшебника. Въ трудахъ самихъ ученыхъ, какъ несторіанъ, такъ и евреевъ, можно замѣтить такое же сильное уваженіе къ наукѣ, перемѣшанное съ такимъ же сильнымъ стремленіемъ къ чудесному, таинственному и сверхъестественному.

Религіозный фанатизмъ, воодушевлявшій аравитянъ во время ихъ завоевательныхъ подвиговъ, не долго мѣшалъ ихъ сближенію съ учеными евреями и греками. Какъ только халифатъ принялъ размѣры огромной имперіи, такъ правительство тотчасъ почувствовало необходимость образованныхъ специалистовъ по всѣмъ отраслямъ административной и промышленной техники. Уже въ половинѣ седьмого столѣтія между аравитянами появились скептики, критиковавшіе Коранъ; ученые иновѣрцы сдѣлались лейбъ-медиками и доверенными лицами халифовъ; а Гарунъ-аль-Рашидъ, царствовавшій въ концѣ VIII столѣтія, назначилъ даже несторіанскаго ученаго, Мазуэ, главнымъ начальникомъ всѣхъ публичныхъ школъ, т. е., по нашему, — министромъ народнаго просвѣщенія. Такой примѣръ терпимости былъ бы замѣчательнъ даже въ Европѣ XIX вѣка; толки о вступленіи евреевъ въ англійскій парламентъ и о правахъ этого народа въ разныхъ другихъ государствахъ Европы хорошо знакомы каждому изъ насъ. — Подъ вліяніемъ образованныхъ халифовъ высшія училища возникли во всѣхъ концахъ магометанскаго государства: въ Багдадѣ, въ Бассорѣ, въ Испагани, въ Самаркандѣ, въ Фецѣ, въ Марокко, въ Кордовѣ, въ Севильѣ, въ Гренадѣ появились разсадники строго-научнаго образованія; всѣ эти города, погруженные теперь въ глубокое невѣжество, были наполнены учеными и литераторами въ то время, когда Англія, Франція и Германія были покрыты лѣсами и скудно населены грубыми и звѣрообразными дикарями.

Движеніе, возбужденное въ передней Азіи арабскими завоеваніями, перемѣшалось между собою всѣ элементы тамошней умственной жизни. Аравитяне сблизили астрономію и медицину грековъ съ астрономіей и магіей персовъ. По складу своего національнаго ума, аравитяне любили все, что возбуждало фантазію; персидское черпунничество не пропало для нихъ даромъ; они съ радостью повѣрили тому, что небесныя тѣла дѣйствуютъ на жизнь людей; что существуетъ таинственная связь между металлами и планетами; что въ каждомъ кускѣ одушевленнаго или не-

вленного вещества заключается частица міровой души, и что на эту частицу можно вѣдывать различными заклинаніями и таинными операціями. Въ связи съ этой докт-

о міровой душѣ находилась та обязательная, что природа различными неизвѣданными процессами превращаетъ одно вещество въ другое, что напримѣръ свинецъ и мѣдь находятся въ нѣдрахъ земли, подъ вліяніемъ ихъ тѣлъ, въ золото и въ серебро. Человѣкъ всегда гонимый за богатствомъ и всегда идущій по своей глупости богатство въ кра-
 . камушкахъ или въ кускахъ блестящаго а, — непременно долженъ былъ соблаз-
 этой доктриной и сдѣлать изъ нея прак-
 ое приложеніе. Задача человѣка, желаю-
 приобрести могущество и богатство, со-
 въ томъ, чтобы подмѣнить или, вѣрнѣе,
 о отыскать таинственные процессы, по-
 вомъ которыхъ природа творитъ драго-
 е металлы изъ низкаго и ничтожнаго ма-
 а. За это исکانіе аравитяне принялись
 горячо, и ихъ подвиги на этомъ поприщѣ
 чрезвычайно важное значеніе въ исторіи
 человѣческой мысли. Во-первыхъ, они ста-
 , добыть такое вещество, которое, въ со-
 ѣи съ силой огня, очищало бы всѣ низкія
 природы отъ грубыхъ и грязныхъ примѣ-
 оставило бы въ результатѣ драгоцѣнный
 тѣ. Это вещество называлось философскимъ
 тѣ. Потомъ, придавая золоту множество
 стическихъ достоинствъ, алхимики убѣди-
 ли въ томъ, что если-бы удалось превра-
 одото въ такую жидкость, которую чело-
 могъ бы пить, то это золотое питье на-
 сохранило бы въ человѣкѣ жизнь и силу
 сти. Такимъ образомъ возродилось то иска-
 зненнаго элексира, которому предавался
 съ Птоломей Филадельфъ въ александрій-
 лабораторіи. Гонимая за призраками без-
 аго богатства и безконечной жизни, ара-
 алхимики втеченіи многихъ столѣтій
 и, варили, смѣшивали, пережигали, пере-
 яли, простѣивали и процѣживали, и вся-
 перерабатывали въ своихъ таинственныхъ
 ескихъ всевозможныхъ вещества, твердыхъ
 ківъ, органическія и неорганическія, бла-
 ошія и вонючія. Иной разъ алхимикъ взле-
 на воздухъ со всей своей лабораторіей;
 родъ распространялся слухъ, что черти
 въ преисподнюю проклятаго колдуна; но
 лучаи не смущали другихъ алхимиковъ, и
 . неутомимымъ упорствомъ продолжали за-
 съ тѣмъ, что они называли *великимъ*
 тѣ. И дѣло ихъ было дѣйствительно *вели-*
 Философскаго камня они не нашли; жиз-
 го элексира не добыли; но ихъ многовѣко-
 зслѣдованія положили прочное основаніе
 шей химіи. Алхимики напоминаютъ мнѣ
 гную басню о томъ человѣкѣ, который пе-

редъ смертью сказалъ своимъ дѣтямъ, что въ
 его полѣ зарытъ кладъ. Клада не нашлось, но
 поле, изрытое по всѣмъ направленіямъ, стало
 давать богатые урожаи. Если-бы не было фанта-
 зій о философскомъ камнѣ и о жизненномъ эле-
 ксирѣ, то не было бы и тѣхъ неутомимыхъ ра-
 ботъ, которыя познакомили насъ съ химическими
 свойствами многихъ тѣлъ и проложили дорогу
 къ болѣе раціональнымъ изслѣдованіямъ.

VIII.

Въ 410 году готы, подъ предводительствомъ
 Алариха, взяли и ограбили Римъ; въ 455 году
 вандалы, подъ начальствомъ Генсериха, перепра-
 вились изъ Африки въ Италію; втеченіи двухъ
 недѣль они хозяйничали въ Римѣ по своему, а
 потомъ уѣхали къ себѣ домой, нагрузивъ свои
 корабли разными драгоцѣнностями и множест-
 вомъ плѣнниковъ. Въ 476 году, начальникъ ге-
 руловъ, Одоакръ, прекратилъ существованіе За-
 падной Римской имперіи и объявилъ себя коро-
 лемъ Италіи; въ 490 году въ Италію пришли
 остготы и послѣ трехлѣтней войны разрушили
 царство геруловъ. Въ 556 году сильное войско
 византійскаго императора Юстиніана, подъ на-
 чальствомъ Велисарія, проникло въ Италію, что-
 бы выгнать остготовъ. Жестокая война продол-
 жалась нѣсколько лѣтъ; Римъ нѣсколько разъ
 брали приступомъ то греки, то остготы; стѣны
 этого города были срыты, и запустѣніе его было
 такъ велико, что уцѣлѣвшіе въ немъ жители хо-
 тѣли переселиться изъ него въ какое-нибудь
 другое мѣсто. Наконецъ, въ 568 году явились
 лонгобарды и завоевали всю сѣверную Италію.
 Но въ какомъ положеніи должна была находиться
 страна, выдержавшая втеченіи полутора ста
 лѣтъ шесть варварскихъ нашествій? На этотъ
 вопросъ отвѣчать очень трудно; люди шестого
 столѣтія не занимались статистикой, а мы въ
 настоящее время врядъ-ли можемъ составить
 себѣ ясное понятіе о томъ, что такое наше-
 ствіе варваровъ, и до какихъ размѣровъ могутъ дохо-
 дить та голая нищета, та безнадежная забитость
 и подавленность, та одичалость людей и земли,
 которыя являются естественными и неизбѣжны-
 ми слѣдствіями подобныхъ событій. Современни-
 ки Юстиніана говорятъ, что Италія преврати-
 лась въ пустыню, и что война, голодъ и моро-
 вая язва погубили въ ней при этомъ императо-
 рѣ до пятнадцати милліоновъ жителей. Цифра
 показана, разумѣется, на угадъ; считать было
 некому, некогда и не зачѣмъ; но видно во вся-
 комъ случаѣ, что тогдашніе люди были сильно
 поражены кровавой безалаберщиной своей эпо-
 хи, и что они, пуская въ ходъ крупную цифру,
 хотѣли выразить какъ можно нагляднѣе всю
 глубину испытанныхъ ими общественныхъ стра-
 даній.

Въ такое мрачное и безтолковое время чело-

вѣкъ естественнымъ образомъ тупѣть и безотчетно биться всего, что его окружаетъ. Разорительныя войны, голодъ и повальныя болѣзни составляютъ тотъ историческій фундаментъ, на которомъ утвердилось прочное зданіе папской власти. Такъ какъ во всей остальной Европѣ огромное большинство людей находилось также въ самомъ бѣдственномъ положеніи, то папство, родившееся въ Италіи, легко проложило себѣ дорогу во Францію, въ Германію, въ Англію и въ земли далекаго скандинавскаго сѣвера. Въ 590 году римскимъ епископомъ или папою сдѣлался человекъ умный, энергическій и опытный, Григорій I. Многосторонняя дѣятельность этой крупной исторической личности намѣтила по всѣмъ направленіямъ тѣ пути, которые должны были впоследствии привести римскаго епископа къ полновластному господству надъ умами и кошельками средневѣковыхъ европейцевъ. Во-первыхъ, Григорій обратилъ серьезное вниманіе на тѣхъ варваровъ, на которыхъ его предшественники смотрѣли съ тупымъ страхомъ и съ близорукимъ презрѣніемъ. Онъ отправилъ въ Британію миссіонеровъ и такимъ образомъ подчинилъ своему вліянію тамошнихъ полудикихъ язычниковъ; онъ вмѣшался въ дѣла галльской церкви и запретилъ тамъ продажу церковныхъ должностей; онъ принялъ въ нѣдра католической церкви Испанію, отказавшуюся въ это время отъ аріанской ереси; онъ искоренилъ язычество.

Такая дѣятельность была, разумѣется, несравненно полезнѣе для будущаго могущества папъ, чѣмъ безплодныя состязанія съ патриархами alexandрійскимъ и константинопольскимъ. Эти духовныя лица ни подъ какимъ видомъ не уступили бы римскому епископу господства надъ вселенской церковью; отуманить ихъ историческими аргументами было невозможно; они сами знали исторію церкви не хуже папы и могли забросать его доказательствами, совершенно отклоняющими всякую мысль о законности римскихъ притязаній. А кромѣ того — и это самое главное — препирательство съ восточными патриархами непременно приводило папу въ столкновение съ византійскимъ императоромъ, который все-таки считалъ папу своимъ подданнымъ и не разъ напоминалъ ему этотъ печальный фактъ очень жесткимъ и чувствительнымъ образомъ. Поэтому сближаться съ греческимъ востокомъ — значило для папы отказываться отъ своей исторической будущности. Выгоды папъ требовали положительно, чтобы они исподволь, безъ скандала, прекратили всякія сношенія съ восточными церквями и поворотили-бы всю свою дѣятельность на сѣверъ и на западъ, гдѣ они могли открыть и завоевать своимъ духовнымъ оружіемъ цѣлыя обширныя государства. А духовное оружіе Рима было тогда очень сильно. Утомительные и опасные подвиги миссіонерства соотвѣт-

ствовали, какъ нельзя лучше, всему характеру той эпохи, когда жилъ и дѣйствовалъ Григорій I. Люди цѣнили въ это время свою жизнь очень дешево по той простой причинѣ, что она вездѣ давала имъ много страданій и вездѣ была очень мало обезпечена противъ разнообразнаго паясничества. Монастырей было очень много, и въ каждомъ монастырѣ можно было найти много настоящихъ монаховъ, глубоко и чистосердечно ненавидѣвшихъ собственное тѣло и постоянно старавшихся причинять этому лютому врагу всевозможныя непріятности. Такому монаху епископъ могъ сказать преспокойно: «Сынъ мой, ступай въ такую-то землю. Что ты тамъ найдешь, что съ тобою тамъ сдѣлаютъ, этого я не знаю. Но я даю тебѣ мое благословеніе и буду помнить тебя въ моихъ грѣшныхъ молитвахъ.» И этого было довольно. Монахъ пускался въ путь и старался исполнить въ точности все, что ему было приказано. Если онъ по дорогѣ проваливался въ трясины, если онъ умиралъ отъ голода или отъ лихорадки на снѣжномъ сугробѣ или въ непроходимомъ лѣсу, если его заѣдалъ медвѣдь, если его заколачивали до смерти или пустого озорства дикіе предки Либиха и Александра Гумбольдта, словомъ, если онъ пропадалъ безъ вѣсти по той или по другой причинѣ, то Римъ не терялъ ровно ничего. Однимъ монахомъ меньше — однимъ мученикомъ больше; церковь вносила въ свои поминанія новое имя, а на мѣсто погибшаго брата находились, по первому требованію, сотни новыхъ охотниковъ. Если же по прошествіи нѣсколькихъ лѣтъ въ Римъ приходилъ одичавшій человекъ, весь заросшій волосами и бородой, одѣтый въ звѣриную кожу, и если этотъ человекъ, съ чисто монашескимъ смиреніемъ, падалъ на колѣни передъ епископомъ и докладывалъ ему, что онъ, недостойный грѣшникъ такой-то, благодаря святымъ молитвамъ епископа и церкви, сподобился основать новую христіанскую общину въ землѣ такого-то племени, — то выгода для Рима была очевидна. Вѣдь не станутъ-же новообращенные варвары задавать себѣ лукавыя вопросы на счетъ духовнаго первенства римскаго престола. Не станутъ они разузнавать, дѣйствительно-ли папа есть прямой и законный преемникъ апостола Петра? И дѣйствительно-ли преемникъ св. Петра выше всѣхъ другихъ епископовъ? И не долженъ-ли самъ папа подчиняться рѣшеніямъ вселенскаго собора? И что думаютъ о папѣ въ Константинополѣ и въ Александріи? — Константинополь, Александрія, вселенскій соборъ — все это непонятныя звуки для простодушныхъ дикарей, обработанныхъ такимъ-же простодушнымъ монахомъ. Какъ сказано, что папа — глава церкви, самый великій и самый святой человекъ во всемъ мірѣ, — они это и затвердили. Только одного папу они и знаютъ. И дѣти, и внуки ихъ вырастаютъ въ тѣхъ-же самыхъ понятіяхъ. А между тѣмъ по-ва-

церковь раздвигает свои предѣлы, и цѣнность завоеванія, сдѣланнаго смѣлымъ миссіонеромъ, величивается съ каждымъ десятилѣтіемъ. Выбѣтъ съ важностью всѣхъ сдѣланныхъ завоеваній настѣтъ и мировое значеніе папства.

Высшая степень папскаго могущества относится къ тому времени, когда всѣ обращенные варвары достигли той степени умственного развитія, которая даетъ народу возможность вырабатывать себѣ такъ или иначе опредѣленный государственный механизмъ. А потомъ, когда сознаніе варваровъ не остановилось на этой точкѣ и когда оно стало понемногу приниматься за критику существующихъ идей и учреждений, тогда, разумѣется, могущество римскаго престола начало клониться къ упадку.

Вся историческая роль папства связана совершенно неразрывно съ общественной и умственной жизнью тѣхъ варваровъ, на которыхъ Григорій въ первый разъ обратилъ серьезное вниманіе. Обращая въ христіанство людей совершенно необразованныхъ, Григорій зналъ, какими средствами слѣдуетъ на нихъ дѣйствовать. Онъ понималъ, сознательно или инстинктивно, что этихъ господъ не проймешь логической аргументаціей; нѣтъ, какъ малолѣтнимъ ребятамъ, доступно только то, что бросается въ глаза, поражаетъ чувства, затрогиваетъ воображеніе. Имъ подавай блеску, пестроты, театральн. пышности, картинности, музыкальности, величественной таинственности, эффектовъ, освѣщенія и перспективы. Для нихъ истина, добро и красота понятны только въ самыхъ вычурныхъ проявленіяхъ. Строгая разумность и безыскусственно-изящная простота для нихъ недоступны. Понимая эти свойства неразвитой человѣческой природы, и понимая ихъ тѣмъ глубже, что самъ онъ въ этомъ отношеніи вдалеко ушелъ отъ своихъ духовныхъ дѣтей, папа Григорій заботился очень усердно о пышности и торжественности церковнаго церемоніала. Празднества, процессіи, облаченіе священниковъ и причетниковъ, убранство храмовъ — все это было расположено такъ, чтобы поражать чувство и воображеніе поклонниковъ. Съ этой цѣлью Григорій сталъ поощрять искусства. Скульптура, живопись и музыка были приняты имъ подъ особенное покровительство церкви. Храмы наполнялись статуями и картинами; церковное пѣніе было усовершенствовано самимъ Григоріемъ. Преемники этого папы постоянно подражали его примѣру; они ввели въ церковь органъ, возвысили пѣніе до небывалой виртуозности, сформировали такихъ архитекторовъ, какъ Браманте, Брунеллески и Микель-Анджело; такихъ живописцевъ, какъ Рафаэль и Леонардо-де-Винчи; такихъ музыкантовъ, какъ Палестрина, и наконецъ превратили католическую обѣдню въ концертъ и въ театральное представленіе. Они-же создали и настоящій театръ, который, какъ извѣстно, выработался изъ духовныхъ мистерій,

разыгрывавшихся съ большими эффектами во всѣхъ католическихъ церквяхъ.

Кромѣ пышнаго церемоніала, есть еще одна сторона, дѣйствующая съ неограниченной силой на чувство и воображеніе простыхъ людей. Я говорю о мнимо сверхъестественныхъ событіяхъ, о сношеніяхъ человѣка съ невидимыми существами, о видѣніяхъ и чудесахъ, играющихъ такую важную роль въ безчисленныхъ средневѣковыхъ легендахъ, которыя изобрѣтались на счетъ истинныхъ чудесъ и которыя для нашей православной церкви не имѣютъ никакого каноническаго значенія. Въ началѣ среднихъ вѣковъ всякія чудеса и видѣнія были особенно многочисленны; они творились на каждомъ шагу, единственно потому, что всѣ были необразованы, всѣ были расположены принимать за чудо каждое естественное событіе въ природѣ и въ человѣческой жизни, всѣ рассказывали свои сны и галлюцинаціи, — всѣ съ жадностью слушали эти рассказы и, украсивъ ихъ цвѣтами собственной фантазіи, пускали ихъ дальше въ общее обращеніе. Легенды составлялись тогда точно такимъ-же образомъ, какимъ въ наше прозаическое время вырабатываются въ уѣздныхъ городахъ чудовищныя слетни. Легенда — та-же слетня, только окрашенная въ тотъ своеобразный фантастическій колоритъ, который соответствовалъ умственнымъ и нравственнымъ требованіямъ тогдашняго времени. Папа Григорій всѣми своими силами содѣйствовалъ процвѣтанію всякихъ легендъ, во-первыхъ потому, что человѣческое легковѣріе было выгодно для могущества римской іерархіи, а во-вторыхъ и потому, что онъ самъ, какъ человѣкъ своего времени, обладалъ достаточной пылкостью воображенія и слишкомъ достаточной неразвитостью ума.

Въ какомъ направленіи производилась фабрикація легендъ — это не трудно будетъ увидѣть и понять изъ двухъ отдѣльныхъ примѣровъ. Остготскій король Теодорихъ Великій, царствовавшій въ Италіи въ началѣ VI вѣка, былъ приверженцемъ аріанской ереси. За это его ненавидѣло итальянское духовенство, которому поганый еретикъ не дѣлалъ однако-же никакихъ притѣсненій. Въ своихъ переговорахъ съ византійскимъ императоромъ Юстиномъ Теодорихъ выражалъ между прочимъ слѣдующія мысли: «Стремиться къ господству надъ человѣческой совѣстью, — значитъ похищать то, что принадлежитъ одному Богу. По самой природѣ вещей, власть государей должна проявляться только въ политическомъ управленіи. Она имѣетъ право наказывать только тѣхъ, которые нарушаютъ общественное спокойствіе. Самая опасная ересь состоитъ въ томъ, когда государь отдѣляется отъ нѣкоторыхъ изъ своихъ подданныхъ за то, что ихъ вѣра не сходится съ его собственными религіозными понятіями.»

Если взять во вниманіе, что слишкомъ черезъ тысячу лѣтъ послѣ Теодориха Филиппъ Испанскій

скій довелъ своихъ нидерландскихъ подданныхъ до вооруженнаго возстанія, что Филиппъ III выгналъ изъ Испаніи полезныхъ и покорныхъ мавровъ, и что Людовикъ XIV еще позднѣе распорядился такимъ-же образомъ съ французскими протестантами, если припомнить, что всѣ эти и многія другія штуки дѣлались въ Европѣ по религіозной враждѣ, то не трудно будетъ понять и оцѣнить умъ и характеръ остготскаго короля, писавшаго свое посланіе къ Юстину въ VI вѣкѣ. Однако итальянское духовенство сочло необходимымъ составить противъ Теодориха заговоръ и завести тайныя сношенія съ византійскимъ правительствомъ. Теодорихъ узналъ всѣ эти проделки. Начались аресты, допросы, пытки и казни. Преслѣдованіе было направлено не противъ религіи, а противъ политическаго преступленія. Въ заговорѣ былъ замѣшанъ папа. Теодорихъ посадилъ его въ тюрьму и продержалъ его въ заключеніи до его смерти. Вскорѣ послѣ этихъ событій Теодорихъ умеръ, и тотчасъ послѣ его кончины духовенство пустило въ ходъ легенду, что черти утащили его душу въ кратеръ вулкана Липари, считавшійся въ то время отверстіемъ геенны огненной. Кто-же это видѣлъ?—Видѣлъ нѣкій отшельникъ.—А не солгалъ-ли сей отшельникъ? И находился-ли онъ въ здоровомъ умѣ и въ полной памяти?—Этихъ вопросовъ никто себѣ не задавалъ, потому что поставить такіе вопросы,—значило-бы обнаружить неумѣстную и предосудительную пытливость гордаго ума. Легенда была очевидно выгодна для духовенства. Духовенство приняло рассказъ отшельника благосклонно, а можетъ-быть даже выдумало этотъ рассказъ собственными силами, впустивъ въ него особу отшельника, какъ подставное лицо. Духовенство сообщило этому рассказу обязательный авторитетъ, и черезъ два-три десятилѣтія эта игривая выдумка сдѣлалась твердой истиной, назидательной для вѣрующихъ и неприкосновенной для скептиковъ, еслибы скептики осмѣлились только появиться и возвысить голосъ въ VI или въ VII столѣтіи.

Другая легенда, составленная позднѣе, еще откровеннѣе носитъ на себѣ печать фабриканта. Французскіе короли, постоянно страдавшіе безденежьемъ, очень часто обращали свои тоскливые взоры на богатые помѣстья духовенства, не платившаго рѣшительно никакихъ повинностей. Они много разъ заводили рѣчь о бѣдственномъ положеніи государственной казны и о громадности церковныхъ имуществъ, но духовенство ко всякому подобному разговору относилось чрезвычайно неодобрительно и пересыпало свои отвѣты такими ужасами, которые навсегда должны были отвратить свѣтскую власть отъ нескромныхъ попытокъ. Въ одномъ изъ суровыхъ отвѣтовъ духовенства встрѣчается между прочимъ слѣдующее мѣсто: «Принцъ Карлъ первый изъ всѣхъ франкскихъ королей и князей расхитилъ и раздробилъ имущество церкви, и единственно

по этой причинѣ онъ осужденъ на вѣчное мученіе. Мы знаемъ дѣйствительно, что св. Эвтерій, епископъ орлеанскій, находясь на молитвѣ, былъ перенесенъ въ міръ духовъ, и что, въ числѣ другихъ предметовъ, показанныхъ ему Господомъ, онъ увидѣлъ Карла, терзаемаго въ самыхъ глубокихъ безднахъ ада. Ангелъ, служившій ему проводникомъ, на вопросъ его объ этомъ предметѣ отвѣчалъ ему, что на будущемъ судѣ тѣло и душа человѣка, взявшаго или раздѣлившаго имущества церкви, будутъ преданы, даже раньше кончины міра, на вѣчное мученіе по приговору святыхъ, засѣдающихъ въ судилищѣ вмѣстѣ съ Господомъ. Это святотатственное дѣло прибавить къ его собственнымъ грѣхамъ всѣ грѣхи всѣхъ тѣхъ людей, которые думали, что купили себѣ прощеніе своими пожертвованіями, сдѣланными изъ любви къ Богу въ пользу святыхъ обителей, на освѣщеніе храмовъ при богослуженіи и на пропитаніе служителей христовыхъ.»

Чтобы оцѣнить всю красоту этой легенды, надо замѣтить, что принцъ Карлъ, подвергаемый такому строгому наказанію, есть тотъ самый великій воинъ и защитникъ христіанства, Карлъ Мартелль, который разбилъ испанскихъ арабовъ при Пуатье, въ рѣшительномъ сраженіи, положившемъ предѣлъ успѣхамъ магометанскаго оружія въ западной Европѣ. Непростительное *расхищеніе* было сдѣлано именно для того, чтобы собрать и прокормить сильную армію, необходимую для отраженія опаснаго врага, котораго по всей вѣроятности самыя раздражительныя легенды не убѣдили-бы въ неприкосновенности церковныхъ имуществъ. Интересно также то обстоятельство, что видѣнія епископа Эвтерія употребляются какъ серьезныя и полновѣсныя доказательства въ обсужденіи финансоваго вопроса, имѣвшаго громадную важность для всего государственнаго хозяйства Франціи.

Чтобы поддерживать авторитетъ легенды, надо было систематически давить всякое проявленіе научной дѣятельности; и съ этой стороны энергіи и послѣдовательность папства оказались также очень замѣчательными. Папы поняли очень хорошо, что наука и искусство—двѣ вещи совершенно различныя, хотя эти два слова обыкновенно ставятся рядомъ, когда заходитъ рѣчь о какомъ-нибудь золотомъ вѣкѣ, вродѣ вѣка Перикла или Августа. Папы поняли, что искусство—ихъ лучший другъ, потому что скульпторы, музыканты, живописцы могутъ быть простодушны и довѣрчивы, какъ грудные младенцы; а наука, напротивъ того,—ихъ непримиримый врагъ, потому что ученость и безграничное простодушіе взаимно исключаютъ другъ друга. Григорій I особенно любилъ повторять, что «невѣжество есть мать истиннаго благочестія», и такъ-какъ онъ подъ словомъ «истинное благочестіе» понималъ способность вѣрить слѣпо розказнямъ каждаго монаха, то его любимое изрѣченіе оказывается неопровержимой аксіомой. Любимое изрѣченіе Григорія не оста-

для него жертвой буквой: онъ выгналъ всѣхъ учителей математики, сжегъ Папую библиотечку, основанную Августомъ, изложилъ чтеніе латинскихъ классиковъ, изложилъ древнія статуи, находившіяся въ его и старательно уничтожалъ всѣ рукописи, шіяесяму на глаза. Онъ самъ, потомокъ тѣхъ патриціевъ, не зная правилъ латинскаго языка и гордившись тѣмъ, что его собственныя были переложены грамматическими ошибками. Одному священнику, осмѣлившему преподавать латинскую грамматику, Григорию, сдѣлалъ строжайшій выговоръ.

Его образъ политика папства характеризуется тремя главными стремленіями: 1) сблизиться с варварами; 2) дѣйствовать на воображеніе театральными эффектами и фантастическими разказами; 3) истреблять всякую общественную дѣятельность.

IX.

Такая политика и папское могущество суть естественный продуктъ мрачной и исторической эпохи. Приписывать вліянію всѣхъ гадостей, которыя дѣлались въ среднее время въ Италіи и въ самомъ Римѣ, папамъ и въ обществѣ, въ частной жизни политикѣ, — было бы несправедливо. Папство дѣйствовало неразумно и дурно, и сами папы часто дурными и безчестными людьми, что весь характеръ ихъ времени былъ разнѣн до крайности. Люди ежеминутно бились между собою за каждую пеструю тряпку, каждую обглоданную кость. Кто не былъ разбойникомъ и убійцей, тотъ навѣрное былъ самъ жертвой неотразимаго насилія. Великіе люди этого времени замараны и кровью, потому что, принимая дѣятельное участіе въ тогдашней исторической жизни, не имѣвшей возможности уберечься отъ тагетей. Италія, наводненная варварами всѣхъ племенъ, была развращена и измучена всѣхъ другихъ европейскихъ земель, раздѣлена и раздирана на части мелкіе тираны, не отличавшіеся отъ разбойничьихъ атамановъ. Мелкіе же разбойники, называвшіе себя римскими патриціями, буянили въ самомъ Римѣ и по всей Италіи поливали кровью римскія улицы, вѣдали собою мелкія и безконечныя войны, римскія вѣнчивались безпрестанно и духовенство и простой народъ. Всѣ эти люди — аристократы, духовенство и народъ — участвовали въ дѣлахъ папъ; можно себѣ легко представить какими странными сценами сопровождалась жизнь, и какія дикія фигуры появлялись въ епископскихъ палатахъ въ слѣдствіе этихъ сценъ, на папскомъ тронѣ. Въ VIII, въ IX и въ X столѣтіяхъ историческая жизнь переполнена скандалами и преступленіями. По смерти папы Павла I, вступившаго на папскій престолъ въ 757 году, герцогъ Непійскій заставилъ епископовъ посвятить въ папы Константина.

Въ 768 году выборы эти объявлены незаконными. Папой сдѣлался Стефанъ IV. Константину выкололи глаза. Одному изъ его приверженцевъ, епископу Фёдору, отрѣзали языкъ. Затѣмъ Федора заперли въ тюрьму, въ которой онъ и умеръ — отъ жажды. Въ 795 году племянники умершаго папы Адриана схватили на улицѣ преемника его, Льва III, втащили его въ сосѣднюю церковь и собирались выколоть ему глаза и отрѣзать языкъ, но во время самой ожесточенной свалки прибѣжали приверженцы папы и отбили его отъ свирѣпыхъ враговъ. Преемника Льва, Стефана V, съ позоромъ выгнали изъ города въ 816 году. Слѣдующаго папу, Пасхалиса I, обвинили въ томъ, что онъ ослѣпилъ и зарѣзалъ въ латеранскомъ дворцѣ двухъ священниковъ; дѣло было отдано на разсмотрѣніе императорскимъ комиссарамъ, потому что въ это время Западная Римская имперія была уже восстановлена и императоръ былъ Людовикъ Благочестивый, сынъ Карла Великаго. Но раньше окончанія слѣдствія и суда папа умеръ, очистивъ свою совѣсть клятвой въ невинности, данной торжественно въ присутствіи тридцати епископовъ. Исторія объ ослѣпленіи и зарѣзаніи осталась такимъ образомъ неразъясненной. Въ 872 году папа Іоаннъ VIII былъ принужденъ платить дань магометанамъ, утвердившимся въ нѣкоторыхъ приморскихъ пунктахъ Италіи. Епископъ неаполитанскій находился въ тайномъ союзѣ съ этими врагами христіанства и получалъ отъ нихъ, какъ лазутчикъ, часть добычи, достававшейся имъ отъ папы. За эти продѣлки папа отлучилъ его отъ церкви и соглашался дать ему прощеніе только съ тѣмъ условіемъ, чтобы онъ заманилъ магометанъ въ западную и собственноручно зарѣзалъ бы ихъ главныхъ начальниковъ. Сношенія съ магометанами вовсе не составляли въ то время рѣдкаго и исключительнаго явленія. При томъ же самомъ Іоаннѣ VIII римское духовенство составило заговоръ; положено было убить папу, захватить церковныя сокровища, отворить подѣльными ключами ворота Св. Панкратія и впустить въ городъ магометанъ. Папа, имѣвшій по видимому достаточное число искусныхъ шпионовъ, открылъ и разстроилъ этотъ заговоръ. Въ 891 году папой сдѣлался Формозъ, участвовавшій въ этомъ заговорѣ и отлученный отъ церкви. Въ 896 году ему наследовалъ Бонифаций VI, котораго два раза лишали духовнаго сана за непомѣрную безнравственность и негодность. Преемникъ этого папы, Стефанъ VII, приказалъ вырыть изъ могилы трупъ Формоза, нарядилъ его въ новое святительское облаченіе, посадилъ его на кресло и сталъ производить надъ нимъ судъ. По суду безотвѣтный Формозъ оказался виновнымъ во многихъ преступленіяхъ; тогда трупъ его былъ брошенъ въ Тибръ. Стефана вскорѣ послѣ этого посадили въ тюрьму, а затѣмъ задушили. Втеченіи пяти лѣтъ

до 900 года, переменялось пять папъ. Въ 904 году папу Льва V посадилъ въ тюрьму одинъ изъ его капеллановъ, Христофоръ, котораго въ слѣдующемъ же году выгналъ изъ Рима Сергій III, овладѣвшій папскимъ престоломъ съ оружіемъ въ рукахъ. Съ этого времени начинается въ Римѣ дѣятельность трехъ женщинъ, Теодоры-старшей и двухъ ея дочерей, Марозіи и Теодоры-младшей. Красота, безнравственность, богатство и неукротимая отвага этихъ женщинъ доставляли имъ въ продолженіи тридцати лѣтъ полновластное господство надъ Римомъ и даже надъ всей средней Италіей. Особенно сильна была Марозія, вышедшая замужъ за Альбериха, маркграфа камеринскаго, самаго богатаго и могущественнаго изъ тогдашнихъ мелкихъ тирановъ средней Италіи. Марозія владѣла въ Римѣ крѣпостью Св. Ангела и вслѣдствіе этого держала въ повиновеніи весь городъ. Теодора-старшая сдѣлала одного изъ своихъ многочисленныхъ любовниковъ епископомъ равенскимъ; а потомъ, въ 915 году, она же доставила ему папскій престолъ, на который онъ вступилъ подъ именемъ Іоанна X. Въ продолженіи четырнадцати лѣтъ любовь Теодоры поддерживала его на папскомъ престолѣ; но его ненавидѣла Марозія, и въ 926 году эта ненависть рѣшила его участь. Марозія захватила его въ латеранскомъ дворцѣ, убила его брата Петра, а самого папу посадила въ тюрьму, гдѣ его задушили подушками. Въ 931 году Марозія сдѣлала папой своего собственнаго сына, Іоанна XI. Отецъ этого юноши былъ доподлинно неизвѣстенъ; многіе полагали, что Іоаннъ XI—сынъ папы Сергія III, но сама Марозія думала, что она родила его отъ Альбериха; впрочемъ Марозія въ этомъ отношеніи, при многосложности ея занятій, очень легко было спутаться въ генеалогическихъ и хронологическихъ соображеніяхъ. Другой сынъ Марозіи, Альберихъ, посадилъ въ тюрьму свою мать и своего брата, папу Іоанна XI. Въ 956 году девятнадцатилѣтній сынъ этого втораго Альбериха сдѣлался папой подъ именемъ Іоанна XII. Поступки этого молодого человѣка были уже до такой степени неприличны, что возбудили противъ себя негодованіе всей католической Европы и дали поводъ императору Оттону Великому созвать соборъ для изслѣдованія преступленій рѣзваго юноши. Оказалось, что папа бралъ взятки за посвященіе епископовъ, что онъ сдѣлалъ епископомъ десятилѣтняго мальчика, что онъ совершилъ однажды обрядъ посвященія въ конюшні, что онъ выкололъ глаза одному священнику, что онъ оскотилъ другого, что оба эти человѣка умерли вслѣдствіе этого увѣчья, что латеранскій дворецъ наполненъ безнравственными женщинами, что папа постоянно пьетъ, играетъ и даже вѣруеть въ Юпитера и въ Венеру. За все это безобразіе Іоанна низложили; папой сдѣлался въ 963 году Левъ VIII; но Іоаннъ не унаслѣдовалъ духомъ,—произвелъ въ Римѣ возмущеніе,

одолѣвъ своихъ противниковъ и поступилъ съ ними такъ, какъ этого можно было ожидать отъ его характера; многихъ замучилъ до смерти; многихъ выкололъ глаза; многихъ отрѣзалъ пальцы, руки, уши, носы и языки. Кончилъ онъ свою бурную жизнь тѣмъ, что его убили одинъ римлянинъ, у котораго онъ соблазнилъ жену.

Долго еще продолжались въ Римѣ грязныя трагедіи, подобныя тѣмъ, которыя описаны въ предыдущихъ строкахъ. Іоанна XIII задушили въ темницѣ; Бенедикта VII, по приказанію Бонифація VII, уморили въ тюрьмѣ голодной смертью; Іоанна XIV посадили въ крѣпость Св. Ангела и убили; по смерти Бонифація VII римская чернь разорвала на части его трупъ и протаскала его по улицамъ города. Въ 996 году императоръ Оттонъ III назначалъ папой своего родственника Вруно, который принялъ имя Григорія V. Сынъ Теодоры-младшей, Кресценцій, владѣвшій въ это время крѣпостью Св. Ангела, выгналъ изъ Рима Григорія и посадилъ на папскій престолъ Іоанна XVI. Но въ 997 году Оттонъ опять пришелъ въ Римъ съ войскомъ, взялъ крѣпость Св. Ангела, захватилъ самого Кресценція и отрубилъ ему голову. А Іоанну XVI, по приказанію императора, выкололи глаза и отрѣзали носъ и языкъ; потомъ этого изувѣченнаго человѣка посадили на осла лицомъ къ хвосту и провели въ такомъ видѣ по улицамъ города; наконецъ его представили въ полное распоряженіе римской черни, которая всегда готова была потѣшиться надъ тѣмъ, кто не могъ защищаться. Въ 1033 году папой сдѣлался одиннадцатилѣтній мальчикъ, Бенедиктъ XI. По своему образу жизни онъ былъ еще грязнѣе Іоанна XII. Римляне два раза выгоняли его, и онъ два раза возвращался, по милости всѣхъ сильныхъ родственниковъ и друзей, которые разбойничали съ нимъ вѣсть въ Римѣ и его окрестностяхъ. Захвативши папскую тиару во второй разъ и не надѣясь удержать ее за собою, Бенедиктъ назначилъ на нее аукціонный торгъ, и въ 1045 году папское достоинство было куплено Григоріемъ VI.

Прочитавши этотъ утомительный перечень невѣроятныхъ скандаловъ, читатель, мало знакомый съ исторіей среднихъ вѣковъ, подумаетъ можетъ-быть, что папство сдѣлалось совершенно безсильнымъ и потеряло въ глазахъ европейскихъ народовъ всякій нравственный авторитетъ. Читатель сильно ошибется. Папство, обезчестившее себя всѣми пороками и преступленіями, достигло въ это время высшей точки своего могущества. Въ 1045 году папство продавалось съ аукціоннаго торга, а въ 1073 году на папскомъ престолѣ сидѣлъ уже Гильдебрандъ, тотъ самый Григорій VII, который заставилъ пѣмцакаго императора Генриха IV стоять три дня на дворѣ замка Каноссы въ одной рубашкѣ, съ голыми ногами, въ положеніи кающагося грѣшника, вымаливающаго себѣ прощеніе. А въ концѣ

того же одиннадцатаго столѣтія папа Урбанъ II поднимаетъ всю Европу противъ магометанъ, удержавшихъ въ своей власти святыя мѣста. А въ XIII столѣтіи Иннокентій III превращаетъ южную Францію въ окровавленную и обожженную пустыню и учреждаетъ ордены нищенствующихъ монаховъ; преемникъ его, Григорій IX, основываетъ судилище инквизиціи.

Какъ же объяснить себѣ это странное противорѣчіе? Папъ бьютъ, уродуютъ, сажаютъ въ темницы и убиваютъ, какъ самыхъ низкихъ преступниковъ, а въ то-же время папство растетъ, усиливается и захватываетъ въ свои руки, на нѣсколько столѣтій всю историческую жизнь европейскаго міра. Это явленіе объясняется довольно легко и совершенно удовлетворительно. Историческая судьба папства зависѣла не отъ него самого, а отъ совершенно постороннихъ причинъ. Папство было вообще пассивнымъ идоломъ, передъ которымъ европейцы лежали ничь до тѣхъ поръ, пока вообще историческая жизнь не расшевелила ихъ умовъ и не навела ихъ на мысль подняться на ноги. Средневѣковымъ европейцамъ идолъ казался необходимымъ; безъ него они, по своей тогдашней неразвитости, не могли существовать. Это стремленіе къ идолу не изъ ничего было создано папствомъ, оно составляло коренную особенность младенчествующаго ума; папство сумѣло только конфисковать это стремленіе въ свою пользу; ему помогли въ этомъ дѣлѣ отчасти миссіонерскіе подвиги монаховъ, отчасти же — и притомъ гораздо сильнѣе — военные подвиги Карла Великаго, окрестившаго насильно почти всю внутреннюю Германію. А окрестить въ то время — значило обратитъ не ко Христу, а къ папѣ. Сдѣлавшись идоломъ, папство могло уже творить все, что ему было угодно. Ни глупости, ни подлости, ни преступленія, ничто не могло разрушить его авторитета; человѣкъ обожаетъ идола не за его достоинства, а за то, что онъ предполагаетъ въ немъ совершенно особенную, сверхъестественную силу. Тунгузы иногда бьютъ своихъ идоловъ кнутомъ, и все-таки поклоняются имъ. Такъ это дѣлалось и съ папами. Императоръ могъ ошельмовать папу, какъ послѣдняго каторжника; но если этотъ самый ошельмованный папа успѣвалъ пустить противъ императора проклятіе, то это проклятіе сильно дѣйствовало на умы, и противъ него надо было употребить совсѣмъ особенный пріемъ; надо было выбрать, съ соблюденіемъ законныхъ формальностей, новаго папу — и приказать этому новому, чтобы онъ проклялъ стараго. Тогда равновѣсіе восстанавлилось, умы массъ успокоивались, и успѣхъ того или другаго папы зависѣлъ уже только отъ числа и храбрости ихъ вооруженныхъ приверженцевъ. Пока на папскомъ престолѣ сидѣлъ глупый или дрянной человѣкъ, до тѣхъ поръ идолъ спокойно стоялъ на мѣстѣ, и европейцы преклонялись передъ нимъ по пассивной привычкѣ, еще не вытѣсненной образованіемъ и

размышленіемъ. Если же папой становился чловѣкъ честный, умный и энергическій, то идолъ мгновенно оживлялся и начиналъ ворочать историческими событіями. Индивидуальная сила сама по себѣ ничего не могла сдѣлать, но въ соединеніи съ привилегированнымъ положеніемъ эта сила дѣлала чудеса. А привилегированное положеніе все-таки было создано исключительно той фазой умственнаго развитія, въ которой находилась тогда европейская мысль. Папству могли повредить не преступленія его представителей и не ошибки его общей политики, а только успѣхи образованія. Поэтому опаснѣйшими врагами папства были испанскіе магометане. Они подрезали силу папства не оружіемъ, а неотразимымъ вліяніемъ утонченной роскоши, блестящей поэзіи, смѣлой философіи и точной науки.

X.

Въ 711 году аравитяне перешли изъ Африки въ Европу и быстро завоевали почти весь Пиренейскій полуостровъ. Въ 759 году разорвалась политическая связь между магометанской Испаніей и азіатскимъ халифатомъ. Новое государство, несмотря на внутреннія волненія и постоянныя войны съ испанскими христіанами, стало быстро развиваться по всѣмъ направленіямъ. Уже въ концѣ VIII вѣка Испанія вела обширную морскую торговлю съ сѣверной Африкой, съ Византіей и съ магометанскимъ Востокомъ; ея военный флотъ господствовалъ на Средиземномъ морѣ и держалъ въ постоянномъ страхѣ Италію, Сицилію, Корсику, Сардинію и южную Францію. Испанскіе пираты по своей предприимчивости и ловкости могли поспорить съ норманнами. Береговымъ жителямъ всей тогдашней Европы житья не было отъ этихъ двухъ хищныхъ породъ; да и внутри страны не всегда можно было разсчитывать на безопасность, потому что и норманны, и саракины имѣли дурную привычку подниматься на лодкахъ вверхъ по теченію рѣкъ и грабить всѣ города и села, стоявшіе по обоимъ берегамъ рѣки.

Въ десятомъ столѣтіи, въ царствованіе Абд-Эррахмана III и сына его Гакема, магометанская Испанія стала на такую высокую степень могущества и благосостоянія, какой она не достигала никогда, ни прежде, ни послѣ этого времени. Въ составъ магометанскаго государства входили нынѣшнія провинціи: Арагонія, Валенсія, Новая-Кастилія, Мурсія, Эстремадура, Андалузія, Гранада и южная половина Португаліи. Въ настоящее время въ этихъ областяхъ считается около девяти милліоновъ жителей; а при Абд-Эррахманѣ ихъ было отъ 25 до 30 милліоновъ, — значить, втрое больше. Эта цифра основана не на пустыхъ догадкахъ, а на точныхъ статистическихъ данныхъ. Для магометанъ статистика была необходима, потому что они имѣли обыкновеніе облагать поголовной податью всѣхъ жи-

телей не мусульманской религіи. Во владѣніяхъ Абд-Эррахмана процвѣтала торговля, а земледѣліе, горная промышленность и фабрики находились въ такомъ блестящемъ положеніи, какого они послѣ того никогда не достигали въ Испаніи. Для орошенія полей были устроены резервуары и очень сложныя системы плотинъ, шлюзовъ, трубъ и насосовъ. Законъ тщательно опредѣлялъ правила, съ которыми слѣдовало обращаться при пользованіи этой водой; въ противномъ случаѣ, при безпорядочномъ хозяйствѣ, наличная масса воды, драгоцѣнной въ сухомъ климатѣ Испаніи, могла бы оказаться недостаточной для орошенія полей. Аравитяне внесли въ Испанію рисъ, сахарный тростникъ и хлопчатую бумагу; они же насадили въ Испаніи превосходныя фруктовыя сады, состоящіе изъ такихъ деревьевъ, которыя до того времени еще не появлялись въ Европѣ. Ихъ же стараніями разведены тутовыя деревья и шелковичныя черви. Въ окрестностяхъ Хереса и Малаги возникли, несмотря на строгія запрещенія Корана, роскошныя виноградники, и винодѣліе было доведено до того совершенства, которое сохранилось до нашихъ временъ и разнесло по всему міру славное имя двухъ испанскихъ городовъ. Производство различныхъ тканей, гончарное дѣло, фабрикація металлическихъ вещей занимали тысячи искусныхъ рукъ и раскупались съ жадностью домашними и чужеземными потребителями. Клинки толедскихъ фабрикъ славятся втеченіи всѣхъ среднихъ вѣковъ наравнѣ съ саблями сирийскаго города Дамаска, въ которомъ надѣ обработкой стали трудились также магометане. Кожевенное дѣло находилось также въ блестящемъ положеніи; въ Испаніи выдѣлывался превосходный сафьянъ; когда, въ началѣ XVII вѣка, слабоумный Филиппъ III выгналъ изъ Испаніи всѣхъ мавровъ, тогда они перенесли съ собою фабрикацію сафьяча въ Марокко, и сафьянъ почти на всѣхъ европейскихъ языкахъ сталъ называться мароканской кожей (по-французски — *maroquin*; по-нѣмецки — *Marokkin*; по-английски — *Marocco leather*). Скотоводствомъ испанскіе арабы занимались съ особенной любовью и съ большимъ знаніемъ дѣла; они сформировали знаменитую породу испанскихъ тонкорунныхъ барановъ или меринсовъ. О лошадяхъ и говорить нечего; извѣстно, что каждый арабъ любитъ свою лошадь, какъ лучшаго друга, страстной и восторженной любовью; съ нею онъ дѣлитъ въ пустынѣ послѣднюю горсть ячменя и послѣдній глотокъ воды; въ ея честь онъ сочиняетъ дифирамбы и эпосы; каждая арабская лошадь имѣетъ свою генеалогію, и осквернить чистую арабскую кровь неблагородной примѣсью, — значитъ, по мнѣнію араба, сдѣлать непростительное преступленіе. Въ цвѣтущее время магометанской культуры арабскіе историки писали біографіи калифовъ и въ то-же время добросовѣстно описывали, для назиданія потомства, по-

учительную жизнь прославившихся лошадей и знаменитыхъ верблюдовъ.

Эта конюшенная исторія и эта береиторская поэзія, разумѣется, покажутся намъ уродливыми и смѣшными крайностями, но мы очень сильно ошибемся, если рѣшимся сказать, что та основная страсть, изъ которой развились эти крайности, сама по себѣ неблагоразумна и бесплодна. Она благоразумна, потому что для кочевго араба лошадь составляетъ дѣйствительно независимую драгоцѣнность. Она (т. е. страсть, а не лошадь) полезна потому, что, благодаря своей страсти, арабы развели въ Испаніи превосходную породу андалузскихъ лошадей, а всякій здравомыслящій и практическій человѣкъ знаетъ конечно какъ нельзя лучше, какое значеніе имѣетъ хорошая лошадь для самыхъ важныхъ отраслей народнаго труда. Во всякомъ случаѣ страсть къ лошадямъ неизмѣримо полезнѣе, чѣмъ страсть къ безпредметному искусству, а между тѣмъ никто не смѣется надъ поклонниками этого искусства, и очень многіе смѣются надъ обожателями скачекъ и рысистыхъ бѣговъ.

Изъ всего, что я говорилъ выше, видно, что испанскіе арабы производили и могли производить множество разнообразныхъ предметовъ. Торговля ихъ была чрезвычайно обширна, тѣмъ болѣе, что въ тогдашней Испаніи было очень много евреевъ, которые вездѣ, всегда и при всякихъ обстоятельствахъ обнаруживаютъ во всякихъ коммерческихъ оборотахъ изумительную сметливость, подвижность и предприимчивость. Арабы съ евреями сдружились очень скоро. Ихъ сблизилъ единство семитическаго происхожденія и общій религіозный догматъ строгаго монотеизма. Обширныя торговыя предпріятія велись ими сообща, компаніями, въ которыхъ, безъ различія вѣроисповѣданій, входили капиталисты обѣихъ національностей. У нихъ были факторіи и консулы на берегахъ Азовскаго моря и Дона; черезъ внутреннюю Азію они поддерживали постоянныя сношенія съ Индіей и съ Китаемъ; по восточному берегу Африки они спускались на югъ, далеко за экваторъ, до острова Мадагаскара. Усильи торговаго дѣла обращали на себя вниманіе мыслящихъ теоретиковъ, и уже въ половинѣ X столѣтія просвѣщенные арабы, подобныя Абуль-Кассему, писали научныя трактаты о разумныхъ основаніяхъ коммерческихъ оборотовъ.

При такомъ положеніи страны не мудрено, что ея повелитель, Абд-Эррахманъ III, получалъ до пяти съ половиной милліоновъ фунтовъ стерлинговъ, т. е. до 37 милліоновъ рублей серебромъ годового дохода. Не трудно также согласиться съ замѣчаніемъ Шлоссера, который говоритъ, что «въ то время испанскій халифъ былъ самымъ богатымъ и могущественнымъ правителемъ въ свѣтѣ.» Столица магометанской Испаніи, Кордова, заключала въ

себѣ двѣсти двѣнадцать тысячъ зданій, не считая лавокъ и караванъ-сараявъ (постоялыхъ дворовъ), число которыхъ доходило до восьмидесяти пяти тысячъ. Въ числѣ городскихъ зданій Кордовы было шестьсотъ мечетей. «Трудно повѣрить всѣмъ этимъ даннымъ,—замѣчаетъ Шлоссеръ,—но, сравнивая старую Кордову съ большими европейскими городами нашего времени, не должно упускать изъ виду, что въ ней не было, какъ напримѣръ въ Парижѣ, шести и семизатжныхъ домовъ.» Жителей въ Кордовѣ считалось болѣе милліона. Улицы этого города были вымощены камнемъ и освѣщались фонарями. Втеченіи многихъ столѣтій послѣ времени Абд-Эррахмана III обитатели Лондона и Парижа тонули въ непроницаемой грязи и боролись по вечерамъ съ непроницаемой темнотой, доставлявшей огромныя выгоды всѣмъ художникамъ по части кражи и грабежа.

Дворецъ халифа, составлявшій цѣлую часть города, отличался сказочнымъ великолѣпіемъ,—не той грубой роскошью, которая безъ толку громоздитъ груды золота, серебра и драгоценныхъ камней, а тѣмъ утонченнымъ и глубоко обдуманымъ изяществомъ комфорта, которое дѣйствительно ласкаетъ и нѣжитъ чувства и до безконечности разнообразитъ наслажденія жизни. Балконы изъ полированного мрамора топили въ тѣни апельсиновыхъ деревьевъ; каскады и фонтаны освѣжали воздухъ въ садахъ и въ комнатахъ, въ которыя проходилъ пріятный и таинственный полусвѣтъ сквозь разноцвѣтныя стекла высокихъ остроконечныхъ оконъ; въ пѣкоторыхъ комнатахъ свѣтъ падалъ сверху, пробиваясь черезъ водяную струю, текущую подъ стекляннымъ потолокомъ; стѣны и полы были украшены тонкой мозаичной работой. Лѣтомъ искусно устроенные вентиляторы вливали въ комнаты, изъ обширныхъ цвѣтниковъ, волны свѣжаго воздуха, пропитаннаго ароматомъ рѣдкихъ и дорогихъ растений. А зимой цѣлая система трубъ, вложенныхъ въ стѣны, проводила въ комнаты нагрѣтый и ароматическій воздухъ изъ подземныхъ сводовъ, въ которыхъ топились печи и сжигались разныя благовонныя вещества. Мебель дворца, отличавшаяся еще болѣе удобствомъ, чѣмъ красотой, была сдѣлана изъ сандаловаго и лимоннаго дерева, съ инкрустаціями изъ перламутра, слоновой кости, серебра и золота; диваны и кушетки были обиты шелковыми матеріями; вазы изъ горнаго хрусталя, этажерки, уставленныя китайскимъ фарфоромъ, и столы изъ превосходной мозаики были разставлены по комнатамъ въ изящномъ безпорядкѣ, между многочисленными мраморными колоннами, на которыя опирались своды потолка, расписаннаго блестящими и пестрыми арабесками. Въ зимнихъ покояхъ полы и стѣны были обиты мягкими персидскими коврами. Цвѣтущія растения, привезенныя изъ далекихъ земель, дополняли

своей свѣжей красотой убранство комнатъ. Горячая и холодная вода была проведена, посредствомъ металлическихъ трубъ, изъ особыхъ резервуаровъ въ мраморныя купальни; кромѣ того купающіеся могли оказывать себя сверху искусственнымъ дождемъ различной температуры. Въ садахъ, расположенныхъ между различными строеніями дворца, цвѣты были посажены по всѣмъ правиламъ искусства, такъ чтобы ихъ краски и ароматы не мѣшали другъ другу, а напротивъ того, сливаясь между собою въ надлежащихъ пропорціяхъ, производили на гуляющихъ самое гармоническое впечатлѣніе. Между клумбами деревьевъ, кустарниковъ и цвѣтовъ, между бесѣдками изъ розъ, между скамейками, вырубленными въ скалѣ, между свѣжими гротами, сложенными изъ дикаго камня, били по разнымъ направленіямъ крупныя и мелкіе фонтаны или разстилались искусственные озера, въ которыхъ кормилась рыба для халифскаго стола. Были тутъ и звѣринцы для чужеземныхъ животныхъ, и птичьи дворы для рѣдкихъ птицъ.

Въ одеждѣ испанскихъ арабовъ господствовало тоже утонченное изящество, которымъ отличались у нихъ жилища всѣхъ достаточныхъ людей. Ихъ верхнее платье дѣлалось большей частью изъ шелковой ткани, расшивалось пестрыми шнурами и золотомъ и украшалось часто драгоценными камнями. Яркія краски, богатая матерія, золото, хризолиты, геацинты, изумруды и сапфиры составляли страсть арабскихъ женщинъ, и какой-то любезный поэтъ ихъ націи сказалъ совершенно справедливо, что комната, въ которой собираются дамы въ своихъ блестящихъ нарядахъ, становится похожа на цвѣтущій лугъ, вспыснутый весеннимъ дождемъ.

На всю эту необузданную роскошь въ жилищахъ, въ одеждѣ, во всемъ образѣ жизни мыслящій человѣкъ не можетъ смотрѣть безъ пуританскаго негодованія. Конечно высшіе классы общества здѣсь, какъ и вездѣ, брали себѣ львиную часть изъ общей массы продуктовъ народнаго труда; но народъ не бѣдствовалъ, не голодалъ, не былъ давленъ непосильнымъ трудомъ и непомерными налогами. Если Абд-Эррахманъ былъ самымъ богатымъ и могущественнымъ правителемъ въ тогдашнемъ мірѣ, то можно утверждать съ другой стороны, что и народъ его былъ самымъ счастливымъ изъ всѣхъ тогдашнихъ народовъ. Для жителей Франціи, Англіи и Германіи было мало пользы отъ того, что ихъ правители жили въ какихъ-то деревянныхъ сараяхъ, безъ печей, безъ оконъ и съ простымъ отверстіемъ въ крышѣ для дыма; грязь, копоть, сырость и сквозной вѣтеръ, господствовавшіе въ этихъ первобытныхъ дворцахъ, ни сколько не мѣшали жителямъ быть такими жалкими, ограбленными и замученными существами, о какихъ мы теперь съ трудомъ можемъ составить себѣ приблизительное понятіе, несмотря даже на то,

что современный европейскій пауперизмъ можетъ доставить нашему воображенію превосходные матеріалы. Въ тогдашней Европѣ всѣмъ было скверно жить: мужикъ выбивался изъ силъ за работой и все-таки вырабатывалъ мало; воинъ отнималъ у мужика послѣдній кусокъ хлѣба и все-таки былъ одѣтъ въ воющія тряпки, покрыты чесоткой и наѣдами, подверженъ всякимъ болѣзнямъ, лишень врачебной помощи и совершенно неспособенъ доставить себѣ то, что всякій, даже самый грубый человѣкъ, называетъ наслажденіемъ. Съѣсть цѣлый окорокъ ветчины, выпить чуть не полведра какой-нибудь хмельной бурды, — вотъ все, что могъ сдѣлать тогдашній богатый и сильный воинъ, когда ему хотѣлось повеселить свою душу. Это *все* — чрезвычайно немного; ему становилось невыносимо скучно и досадно; «хоть-бы поколотить кого нибудь», приходило ему въ голову, — и онъ колотилъ своихъ сосѣдей, топталъ крестьянскія жатвы, жегъ ихъ хижинны, получалъ за всѣ эти подвиги порядочныя затрещины отъ другихъ скучающихъ рыцарей, и жизнь такимъ образомъ кое-какъ наполнялась впечатлѣніями. Роскоши не было, но это отсутствіе роскоши не доставляло рѣшительно никому ни пользы, ни удовольствія. Роскоши не было, но зато было очень большое озорство и безобразіе, которое было убыточнѣе самыхъ утонченныхъ затѣй Абд-Эррахмана и его придворныхъ. Арабскіе халифы кутили въ Испаніи слишкомъ семьсотъ лѣтъ, и тѣмъ не менѣе при взятіи Гранады, въ 1492 году, арабы были богаты, дѣятельны и предприимчивы, — значитъ, основной капиталъ народа не былъ истратенъ; умъ, характеръ и сильное тѣлосложеніе людей остались неприкосновенными; производительныя силы страны также не истощались. А испанскіе короли распорядились совсѣмъ иначе: они ограбили арабовъ, ограбили мексиканцевъ, ограбили перуанцевъ, всѣми награвленными сокровищами не доставили себѣ тѣхъ удобствъ жизни, которыми пользовались халифы, и при всемъ томъ уже въ семнадцатомъ столѣтіи довели свое государство до совершенной нищеты, а народъ до замѣчательной степени отупѣнія.

Эта поучительная параллель доказываетъ намъ, что не роскошь высшихъ классовъ общества губить и разоряетъ народъ, а умственная неподвижность, узость понятій и односторонность стремленій. Когда въ обществѣ кипитъ живая дѣятельность мысли, и когда силы народа поддерживаются и развиваются разнообразіемъ труда, тогда являются неизбежно неравномерное распредѣленіе богатствъ, накопленіе большихъ капиталовъ и вслѣдствіе этого неумѣренная роскошь въ высшихъ слояхъ денежной аристократіи. Эти явленія вредны для благосостоянія народа, но они составляютъ зло переходное и поправимое. Болѣзнь сама приноситъ съ собою лекарство. Высшіе классы разоряются и уступаютъ мѣсто среднему сословію, болѣе образо-

ванному и трудолюбивому; изъ этого сословія выходятъ люди, обогащающіе народъ открытіями и задумывающіеся серьезно надъ положеніемъ трудящагося большинства. Эти люди поддерживаютъ и направляютъ дѣятельность народнаго ума, и, благодаря ихъ усиліямъ, обиженное большинство понемногу начинаетъ вступать въ свои естественныя права.

XI.

Для испанскихъ арабовъ было-бы, разумѣется, лучше, еслибы Абд-Эррахманъ и его преемники строили себѣ менѣе великолѣпные дворцы. Но для европейской цивилизаціи вообще роскошь испанскихъ халифовъ была незамѣнимымъ благодѣяніемъ. Надо было, чтобы просвѣщеніе являлось передъ дикарями въ самомъ блестящемъ и неотразимо обаятельномъ видѣ; надо было, чтобы оно шевелило дикаря со всѣхъ сторонъ, чтобы каждая фибра грубой нервной системы дрожала въ немъ отъ зависти при видѣ недоступныхъ ему наслажденій или отъ удовольствія въ томъ случаѣ, когда ему удавалось подышать нѣсколько времени разнѣживающей атмосферой цивилизованной жизни. Надо было, чтобы основная мысль цивилизаціи являлась передъ дикаремъ въ самой популярной формѣ; а, разумѣется, матеріальныя удобства жизни составляютъ самое наглядное и популярное изложеніе тѣхъ преимуществъ, которыми достаются на долю образованнаго человѣка. Доказать дикарю, что наука — вещь хорошая, что она расширяетъ умъ человѣка, облагораживаетъ его стремленія, *доказать* все это дикарю совершенно невозможно. Ему надо *показать*. Вотъ, молъ, любезный, посмотри, пощупай, понюхай, отгѣдай, да и соображай.

Весело было жить на свѣтѣ проклятымъ басурманамъ, и ихъ веселость нашла себѣ выраженіе въ легкой и игривой поэзіи, воспѣвавшей и красоту женщинъ, и сладость запрещеннаго вина, и всѣ радости беззаботной молодости. Эта поэзія, сама по себѣ пустая и ничтожная, и бесполезная для того народа, среди котораго она возникла, была замѣчательна, какъ новая приманка для европейцевъ, какъ новое и совершенно понятное изложеніе такой житейской мудрости. Веселая поэзія, какъ зараза, разлилась изъ Испаніи въ сосѣднія христіанскія земли. И въ южной Франціи, и въ сѣверной Франціи, и въ Сициліи, и въ Италіи, а потомъ и въ Германіи, и въ Англіи, вездѣ зазвучали лиры и полились пѣсни любви и грѣховныхъ помысловъ о разныхъ мірскихъ наслажденіяхъ. «Въ монастыряхъ, — говоритъ Дреперъ, — голоса, произнесшіе объѣтъ цѣломудрія, заплели тайкомъ такіе романсы, которые врядъ-ли были бы одобрены Св. Іеронимомъ; много было здоровыхъ аббатовъ, которые, подобно веселымъ грѣшникамъ Хереса и Малаги, умѣли восхвалять игривыми куплетами прелести женщинъ и вина, несмотря на то, что одинъ изъ этихъ предметовъ составлялъ запре-

щенный плодъ для магометанина, а другой — для монаха. Солидные сѣдые бороды Кордовы уже давно просили главнаго судью запретить пѣсни испанскаго еврея Абраама Ибнъ-Сагала, потому что не было въ городѣ юности, женщины или ребенка, которые не могли бы повторить ихъ наизусть. Ихъ безнравственные тенденціи составляли публичный скандалъ. Легкая веселость Испаніи отразилась и въ болѣе грубыхъ привычкахъ сѣверныхъ странъ. Уже въ десятомъ столѣтіи люди, имѣвшіе наклонность къ книжному учению или къ блестящимъ общественнымъ удовольствіямъ, находили себѣ дорогу въ Испанію изъ всѣхъ сосѣднихъ земель.»

Вся эта поэзія трубадуровъ, труверовъ, миннезенгеровъ, разумѣется, плавала очень мелко, но, несмотря на ея совершенную безобидность, историческое значеніе этой поэзіи, родившейся на басурманской почвѣ, чрезвычайно важно въ двухъ отношеніяхъ. Въ этой поэзіи въ первый разъ со временъ классической древности выразилась свѣжая, могучая и неистребимая любовь человѣка къ жизни. Голосомъ своихъ простодушныхъ пѣвцовъ несчастный средневѣковой человѣкъ въ первый разъ заявилъ громко и ясно, что ему все-таки хочется жить, несмотря на то, что его бьютъ и грабятъ. И дѣйствительно, наслажденіе облагородилось, какъ только оно перестало прятаться въ темныхъ углахъ. Грубое пьянство превращается понемногу въ веселое пированіе, оживленное остроумными шутками и застольными пѣснями, а животная чувственность, оскорблявшая и даже тиранившая женщину, уступаетъ мѣсто рыцарской страсти, сладкой, болтливой и пѣвучей, очень смѣшной въ своихъ проклятіяхъ, но по крайней мѣрѣ уже относившейся совершенно неодобрительно къ стеганію любимаго предмета плетью или къ тренанью его по щекамъ. А тогда и за это надо было говорить спасибо.

Въ наше время пѣсни о винѣ и поцѣлुяхъ ни на что не нужны. Когда всѣ образованные люди вѣруютъ въ прогрессъ, то есть въ неистощимую творческую силу жизни, тогда нѣтъ никакой надобности будить въ обществѣ любовь къ жизни. Вся наша наука и вся наша практическая дѣятельность цѣликомъ основаны на этой любви. Память не зачѣмъ говорить другъ другу: «я хочу жить», потому что это и безъ того видно и всякому извѣстно, и само собою разумѣется. Но въ первой половинѣ среднихъ вѣковъ было совсѣмъ не то. Свѣтлая и естественная вѣра въ жизнь была подорвана страданіями и завѣшана чернымъ крепомъ суевѣрія. Люди X-го вѣка были серьезно убѣждены въ томъ, что въ 1000 году произойдетъ свѣто-преставленіе. Въ то самое время, когда Абд-Эррахманъ III и Гакемъ II пили полной чашей всѣ наслажденія, доступныя смертному, сосѣди ихъ, предки нынѣшнихъ французовъ, собирались хоронить заживо себя и все челоѣчество, и весь грѣхов-

ный міръ. Не было у тогдашнихъ людей надежды впереди, не было и бодрости, не было, стало быть, и возможности дѣйствовать благоразумно и цѣлесообразно. Но 1000-ый годъ прошелъ безовсякаго особеннаго переворота, и въ это время, когда люди увидѣли необходимость жить и работать обыкновеннымъ порядкомъ, — были особенно полезно произнести громко и смѣло, пропѣть весело и увлекательно на разные голоса и съ безчисленными варіаціями великія простые слова: «я хочу жить». Эта мысль, зацѣпившись въ народную память и проникнувъ глубоко въ народное сознаніе, составила ту необходимую канву, по которой было вышито впоследствии много блестящихъ и превосходныхъ узоровъ. Я хочу жить... Мое желаніе совершенно естественно и нисколько не предосудительно... Я имѣю право жить... Я имѣю право украшать и разнообразить жизнь удовольствіями... Я имѣю право устраивать ее удобно и пріятно... Я имѣю право считать удобнымъ и пріятнымъ то, что мнѣ самому нравится... Я имѣю право размышлять о томъ, что можетъ доставить мнѣ удобства и пріятности... Я имѣю право размышлять обо всемъ... Вотъ какіе узорчики вышила понемногу челоѣческая мысль на простой канвѣ, данной ей наивнымъ выраженіемъ того животнаго инстинкта, который называется чувствомъ самосохраненія.

Поэзія трубадуровъ была первымъ проблескомъ того умственнаго движенія, которое породило Лютера, а потомъ, разгораясь съ каждымъ десятилѣтіемъ сильнѣе и сильнѣе, проникло во всѣ сферы науки и жизни. Не трубадуры выдумали ту мысль, которая составляетъ основу ихъ поэзіи, но они прокричали, прозвонили эту мысль на всѣхъ перекресткахъ, а это — важная услуга. Началось же это веселое пробужденіе средневѣковаго челоѣчества въ южной Франціи, потому что она лежитъ рядомъ съ Испаніей и потому что прелести поганнаго басурманства оказались ужъ чересчуръ соблазнительными. Веселый и легкомысленный тонъ пѣсенъ трубадуровъ не понравился безчисленнымъ представителямъ и агентамъ римскаго двора. Обскурантамъ было невыгодно, чтобы народъ веселился, потому что челоѣкъ, подавленный горемъ и страхомъ, подчиняется суевѣрію гораздо полнѣе, чѣмъ челоѣкъ, способный балагурить и смѣяться. Обскуранты стали тѣснить странствующихъ пѣвцовъ; стали гнѣваться; пѣвцы стали изподтишка мстить имъ насмѣшками. Народу пришлось такимъ образомъ колебаться между тѣмъ, чего онъ привыкъ бояться, и тѣмъ, что доставляло ему непосредственное удовольствіе. Такая борьба можетъ длиться цѣлыя столѣтія, но она всегда оканчивается побѣдой живого инстинкта надъ искусственной привычкой: рано или поздно люди непременно идутъ не туда, куда имъ вѣльно идти, а туда, куда ихъ таетъ собственное желаніе. На легкія сатиры трубадуровъ и труве-

ровъ обскуранты отвѣчали часто палочными ударами и уголовными наказаніями; борьба по-видимому была невыгодна для пѣвцовъ, но ихъ пѣсни, какъ дождевыя капли, медленно размягчали ту сухую кору, подъ которой долго были затаены живыя силы народнаго ума, и силы эти подъ вліяніемъ различныхъ вѣшнихъ и внутреннихъ причинъ наконецъ начали развертываться. Сатира, робкая и слабая въ своемъ младенчествѣ, побѣдила своихъ сильныхъ и суровыхъ враговъ, хотя, разумѣется, ни трубадуры, ни тогдашніе агенты римскаго двора, ни тогдашній народъ не могли даже представить себѣ, что такая побѣда возможна.

Сатирическій характеръ, вкраившійся въ поэзію труверовъ и трубадуровъ, составляетъ такимъ образомъ вторую важную сторону ихъ историческаго значенія. Сначала трубадуръ говорилъ просто: «я хочу жить», но потомъ ему пришлось прибавить: «а вы, книжники и фарисеи, не мѣшайте мнѣ жить». Народъ слушалъ эти пѣсни, и его естественный здравый смыслъ подсказывалъ ему сначала робко, а потомъ смѣлѣе и смѣлѣе, что въ желаніяхъ трубадура нѣтъ ничего предосудительнаго, хотя бы даже точно такія же желанія высказывались, по ту сторону Пиренейскихъ горъ, смуглыми пѣвцами, принадлежащими къ европейской или къ арабской національности. Веселая поэзія просто-душно и безсознательно стремилась сглаживать и смягчать тѣ международныя антипатіи, изъ которыхъ папскій обскурантизмъ старался, на-противъ того, выковать себѣ надежное оружіе для истребленія всѣхъ иновѣрцевъ, еретиковъ и индифферентистовъ.

ХІІ.

Всѣ чудеса арабской роскоши были построены на прочномъ фундаментѣ глубокаго и многосторонняго знанія. Въ X и XI столѣтіи умственная дѣятельность кипѣла на всемъ пространствѣ тогдашняго магометанскаго міра. «Отъ предѣловъ Индіи и Татаріи, — говоритъ Шлоссеръ, — до внутренней Африки, Сициліи и Испаніи появился цѣлый рядъ разсадниковъ высшей образованности. Благодаря легкости сообщенія, они находились въ непрерывныхъ сношеніяхъ и связи между собою. У аравитянъ уже въ самую славную эпоху Аббасидовъ (въ IX столѣтіи) были хорошія дороги съ каравансараями или гостиницами; въ пустыняхъ поддерживались источники, и еще со временъ халифа Муавіи (661—680) были учреждены почты. Кромѣ того, правительство содержало пѣшихъ казенныхъ курьеровъ, которые отправлялись черезъ каждые восемь или десять дней и проходили до десяти нѣмецкихъ миль въ сутки (по семидесяти верстѣ). Частныя лица учились или преподавали по очереди въ главныхъ учебныхъ заведеніяхъ различныхъ династій, и, не взирая на вражду между владѣ-

льми, великіе ученые находили повсюду почетъ и покровительство. Во всѣхъ значительныхъ городахъ были устроены библіотеки, которыя своимъ богатствомъ могли поспорить съ новѣйшими. Повсюду проявлявшееся уваженіе къ образованію и учености содѣйствовало распространенію поразительной у магометанъ вѣротерпимости. Такъ напримѣръ, почти всѣ придворные врачи были огнепоклонники, и той же религіи принадлежалъ и секретарь двухъ первыхъ эмировъ изъ фамиліи Бундовъ, не только писавшій всѣ ихъ декреты, но и завѣдывавшій ихъ частной корреспонденціей». «Высшія училища и обсерваторіи Бухары и Самарканды, — говоритъ далѣе тотъ-же историкъ, — вошли въ сношенія съ учеными учрежденіями Александріи, Дамаска, и на основаніи ихъ наблюденій и вычисленій были составлены персидскія таблицы, оставшіяся краеугольнымъ камнемъ магометанской астрономіи до самаго пятнадцатаго вѣка». «Багдадскій халифъ Аль-Мамунъ (813—833), — говоритъ Дренеръ, — въ письмѣ къ византійскому императору Теофилу выражалъ свое желаніе посѣтить Константинополь, если не встрѣтитъ препятствій со стороны своихъ общественныхъ обязанностей. Онъ просилъ его позволить греческому математику Льву пріѣхать въ Багдадъ, для того чтобы подѣлиться съ нимъ, Аль-Мамунъ, своими познаніями; халифъ обязывается притомъ своимъ честнымъ словомъ доставить ученаго обратно въ совершенной сохранности. «Пусть различіе религій или національности, — пишетъ онъ, — не заставлятъ васъ отвергнуть мою просьбу. Сдѣлайте то, въ чемъ дружба не отказала бы другу. Взамѣнъ того, я предлагаю вамъ сто фунтовъ золота, вѣчный союзъ и миръ». Теофилъ угрюмо и дерзко отклонилъ эту просьбу, говоря, что ученость, прославившая римское имя никогда не сдѣлается достоинствомъ варвара». Однако *варвары* при томъ-же самомъ Мамунѣ опередили грековъ въ астрономіи и геометріи, какъ это видно изъ ихъ тогдашнихъ стараній опредѣлить математически величину земнаго шара. «Удивительное измѣреніе, — говоритъ Шлоссеръ, — градуса широты въ Санджарской пустынѣ было произведено въ присутствіи Мамуна извѣстными математиками, сыновьями Музы, Мухаммедомъ, Хосавиномъ и Ахмедомъ, и для точности повторено еще разъ. Мамунъ собралъ мастеровъ для изготовленія астрономическихъ инструментовъ и устроилъ въ Шемасин, близъ Багдада, обсерваторію. Здѣсь было положено начало наблюденіямъ и вычисленіямъ, которыя впоследствии провѣрялись и пополнялись во всѣхъ частяхъ средневѣковой имперіи аравитянъ. Они послужили для составленія тѣхъ таблицъ движенія небесныхъ тѣлъ, безъ которыхъ Кеплеръ и Ньютонъ не могли-бы основать новѣйшей астрономіи». «Въ то время, когда въ Римѣ, — говоритъ Дренеръ, — господствовало, во всей своей нелѣпости, мнѣніе о плоской

формъ земли, испанскіе арабы въ своихъ элементарныхъ школахъ преподавали географію по *глобусамъ*. Въ Африкѣ, въ каирской библиотекѣ, магометане берегли почти съ религіознымъ уваженіемъ одинъ бронзовый глобусъ, который, какъ они думали, принадлежалъ нѣкогда великому астроному Птоломею». «Въ то время, — говоритъ Шлюссеръ, — когда народы латинскаго племени не имѣли еще ни одной порядочной библиотекы, и всего два университета, заслуживавшіе это имя, въ Испаніи считалось до семидесяти большихъ библиотекъ со многими тысячами томовъ и до шестнадцати высшихъ учебныхъ заведеній». «При каждой мечети, — говоритъ Дренеръ, — была устроена публичная школа, въ которыхъ *дѣти бѣдныхъ людей* учились читать и писать и знакомились съ предписаніями Корана. Для болѣе достаточныхъ классовъ существовали академіи, вмѣщавшія въ себѣ обыкновенно 25 или 30 отдѣленій, причемъ каждое отдѣленіе было устроено для четырехъ студентовъ; вся академія находилась подъ управленіемъ ректора. Въ Кордовѣ, въ Гранадѣ и въ другихъ большихъ городахъ существовали университеты, которыми часто управляли евреи; магометане держались того правила, что дѣльная ученость человѣка имѣетъ болѣе важное значеніе для успѣхознаній, чѣмъ его личныя религіозныя мнѣнія... Въ университетахъ профессора изящной словесности читали лекціи о классическихъ арабскихъ произведеніяхъ; другіе преподавали риторику или пѣстику, или математику, или астрономію, или другія науки. Отъ этихъ учреждений заимствованы многіе обычаи, существующіе до сихъ поръ въ нашихъ коллегіяхъ. Въ началѣ учебнаго года они, подобно намъ, устраивали торжественныя собранія, на которыхъ въ присутствіи публики читались поэмы и произносились рѣчи. Кромѣ этихъ общеобразовательныхъ училищъ, у нихъ были еще спеціальныя школы, въ особенности для изученія медицины». «Многіе ученые посвящали себя основательному изученію языковъ; они составляли лексиконы арабскіе, греческіе, латинскіе, еврейскіе; одинъ арабскій лексиконъ заключаетъ въ себѣ шестьдесятъ томовъ, потому что каждое слово поясняется цитатами изъ классическихъ арабскихъ писателей. Словарь Аль-Фараби, составленный въ началѣ одиннадцатаго вѣка, до сихъ поръ считается у европейскихъ ориенталистовъ важнымъ пособіемъ при изученіи арабскаго языка, замѣчательнаго по своему богатству и по своей трудности.

Въ магометанской Испаніи образованіе распространялось и на женщинъ. «Замѣчательнымъ и несмысленнымъ явленіемъ у восточныхъ народовъ, — говоритъ Шлюссеръ, — было то, что у испанскихъ арабовъ женщины также получали образованіе въ учебныхъ заведеніяхъ. Нѣкоторыя изъ нихъ писали даже стихи, по которымъ учились въ школахъ и которые надписыва-

лись на стѣнахъ большого дворца Абд-Эррахмана». Келамъ, любимая султанша Гакема II, известна своими историческими и поэтическими сочиненіями; кромѣ того намъ извѣстенъ цѣлый рядъ знаменитыхъ испанско-арабскихъ писательницъ». Дренеръ изъ числа этихъ писательницъ называетъ Веладу, Алиешу, Лабау и Алгасанію; онъ прибавляетъ къ этому замѣчаніе, что нѣкоторыя изъ нихъ были дочери халифовъ. Еще любопытнѣе то обстоятельство, что въ Испаніи были женщины, занимавшіяся медициной и хирургіей; эти медики женскаго пола дѣлали надъ женщинами тѣ операціи, при которыхъ страдаетъ стыдливость пациентки. Объ этомъ говоритъ Дренеръ на стр. 38 второго тома, ссылаясь при этомъ на свидѣтельство арабскаго врача Альбукази, жившаго въ Кордовѣ.

По обширности своего распространенія и по своей энергіи, умственное движеніе, господствовавшее во всемъ магометанскомъ мірѣ отъ IX до XIII столѣтія, далеко превосходитъ все, что представляетъ намъ въ этомъ отношеніи классическая древность. У арабовъ не было можетъ-быть такихъ титановъ, какъ Аристотель и Архимедъ, но зато числомъ своихъ замѣчательныхъ ученыхъ, разносторонностью ихъ трудовъ, практическимъ значеніемъ ихъ дѣятельности, обиліемъ ихъ открытій — арабы далеко оставили за собою древнихъ грековъ. Геніальный человѣкъ есть все-таки счастливая случайность. Рожденіе Аристотеля или Архимеда вовсе не зависѣло отъ тѣхъ общихъ причинъ, подъ вліяніемъ которыхъ выработались типическія особенности греческой цивилизаціи. Отецъ Архимеда могъ умереть въ молодыхъ лѣтахъ или жениться на какой нибудь дурѣ, и тогда легко могло-бы случиться, что многія открытія, сдѣланныя Архимедомъ, были бы сдѣланы гораздо позднѣе усиліями многихъ обыкновенныхъ работниковъ. Тогда не было бы того ослѣпительнаго блеска, который сосредоточивается вокругъ одного великаго имени; если мы такимъ образомъ разбѣиваемъ на мелкую монету всѣхъ великихъ людей древней Греціи, если мы оставимъ совершенно въ сторонѣ обаятельную красоту блестящихъ *личностей* и обратимъ все наше вниманіе исключительно на число вѣковъ и на массу сдѣланной *работы*, — словомъ, если мы скажемъ: греческій міръ прожилъ столько-то времени и принесъ столько-то прочной пользы, арабскій міръ прожилъ столько-то и привнесъ столько-то, — то окажется въ результатѣ, что арабы прожили меньше, а сдѣлали больше.

Этотъ результатъ и показываетъ намъ, что энергія умственнаго движенія, находящаяся въ прямой связи съ обширностью его распространенія, въ арабскомъ мірѣ была гораздо значительнѣе, чѣмъ въ греческомъ. У грековъ была всего только одна яркая свѣтящаяся точка — александрійскій музеумъ; у арабовъ такіа точки считаются десятками, и онѣ были разсѣяны

на всем громадномъ пространствѣ, лежащемъ между Татаріей и Атлантическимъ океаномъ. Каждая изъ этихъ точекъ была поменьше александрійскаго музея; но всѣ онѣ въ общей сложности были гораздо больше. Кромѣ того десять небольшихъ ученыхъ обществъ гораздо лучше чѣмъ одно большое. Одно общество, совершенно изолированное отъ другихъ, неизбѣжно погружается въ филистерство и превращается въ муравейникъ, въ которомъ отдѣльные муравьи славятъ и превозносятъ другъ друга. Является кумовство. «Кукушка хвалитъ пѣтуха за то, что хвалитъ онъ кукушку.» При существованіи многихъ отдѣльныхъ обществъ, является, напротивъ того, живой обмѣнъ мыслей, бдительный контроль другъ надъ другомъ и сильное соперничество. Ученымъ некогда заснуть, потому что въ такомъ случаѣ они отстанутъ отъ общаго движенія идей, и ихъ закритикуютъ не на животь, а на смерть болѣе дѣятельные ученые, принадлежащіе къ другимъ обществамъ и, стало-быть, не связанные съ лежебоками узами служебнаго кумовства. Наконецъ для арабскихъ ученыхъ было чрезвычайно полезно то, что они принуждены были много путешествовать, чтобы учиться у знаменитыхъ профессоровъ, жившихъ въ различныхъ пунктахъ магометанскаго міра. Для умнаго, наблюдательнаго человѣка путешествіе полезнѣе многихъ десятковъ хорошихъ книгъ; путешествіе составляетъ превосходный противовѣсъ тому исключительно книжному и теоретическому направлению, въ которое очень легко и охотно вдаются ученые всѣхъ вѣковъ и народовъ. Во время своихъ путешествій, арабскіе ученые сталкивались съ людьми всякаго разбора, съ политиками, съ чиновниками, съ военными авантюристами, съ сельскими хозяевами; они приглашались къ ихъ образу мыслей, къ ихъ нуждамъ, къ ихъ дѣловой смѣтливости, къ ихъ ремесленнымъ знаніямъ, и всѣ эти разнородныя впечатлѣнія, всѣ эти соприкосновенія съ текущей жизнью вливали въ арабскую науку тотъ здоровый, практический и прикладной характеръ, который рѣзко отличаетъ ее отъ науки древнихъ грековъ. Арабы писали много по статистикѣ, по топографіи, по агрономіи, по фармакологіи, по акушерству. Арабскіе ученые пользовались уваженіемъ не только со стороны правительства, но и со стороны народа.

Между магометанами всѣхъ сословій были въ ходу нѣкоторыя поговорки, ясно показывающія взглядъ народа на ученую дѣятельность. Напримеръ: «чернила ученаго такъ-же драгоценны, какъ кровь мученика.» — «Рай принадлежитъ одинаково тому, кто честно дѣйствовалъ перомъ, и тому, кто убилъ несправедливымъ мечомъ.» — «Весь міръ держится на четырехъ вещахъ: на учености мудраго, на справедливости сильнаго, на молитвѣ добраго и на мужествѣ храбраго.» — Всѣмъ подобнымъ изрѣченіямъ арабы приписывали очень почтенное и даже полурелигіозное

происхожденіе; они говорили, что такіе произнесъ или какой-нибудь великій таинникъ или какой-нибудь личный другъ и товарищ пророка. Зятю Магомета, халифу Али, приписывается много нравственныхъ сентенцій, и нѣкоторыя изъ нихъ также относятся къ дѣятельности ученыхъ съ величайшимъ уваженіемъ. Напримеръ: «Ученая знаменитость выше всѣхъ почестей.» — «Тотъ не умираетъ, кто отдаетъ жизнь наукѣ.» — «Величайшее украшеніе человѣка есть ученость».

Арабскій народъ не осуждалъ своихъ Анаксаровъ на смерть, не называлъ своихъ Демокритовъ сумасшедшими, не собирался побивать своихъ Эсхиловъ камнями и не подносилъ своимъ Сократамъ чаши съ ядомъ. Это обстоятельство дѣлаетъ одинаковую честь, какъ умному народу, такъ и практически-дѣльнымъ ученымъ. Связь между наукой и жизнью была у арабовъ гораздо тѣснѣе, чѣмъ у грековъ, изъ этого объясняется значительная плодотворность арабской науки. Конечно политическая жизнь арабовъ была совершенно неразвита и наука нисколько не успѣла подчинить ее своему вліянію. Но спрашивается, гдѣ же и когда же она успѣла это сдѣлать? До сихъ поръ политика вездѣ шла ощупью и валила черезъ пень колоду. Ужъ не знаменитое-ли англійское равновѣсіе трехъ властей составляетъ торжество науки? Такиими торжествами лучше было-бы и не хвастаться.

Еще въ одномъ отношеніи арабская цивилизація была счастливѣе греческой. У арабовъ гораздо меньше умственныхъ силъ превращалось въ пустоцвѣтъ. Живопись и скульптура для арабовъ были совершенно закрыты, потому что Коранъ строго запретилъ своимъ поклонникамъ изображать людей и животныхъ. Передовые люди очень скоро переросли Коранъ, но такъ какъ художнику необходима публика и такъ какъ публика продолжала уважать книгу Магомета, то живописцамъ и скульпторамъ невозможно было распустить крылья. Для украшенія стѣнъ и потолковъ употреблялись разныя фестоны, каемки и завитушки, извѣстныя подъ названіемъ *арабесковъ*. Эта уцѣлѣвшая частица живописи была очевидно такъ узка и бѣдна, что сильныя таланты никакъ не могли посвящать себя этой отрасли дѣятельности. Поэтому тѣ прекрасныя силы, которыя у грековъ уходили въ пластическое искусство, у арабовъ цѣлкомъ сохранились для науки. Если же мы кто-нибудь замѣтимъ, что великій художникъ, по самому складу своего ума и темперамента, не можетъ сдѣлаться великимъ ученымъ, то я въ отвѣтъ на это неосновательное возраженіе назову только два имени: Леонардо-де-Винчи и Микеланджело. Оба они принадлежатъ къ числу величайшихъ живописцевъ въ мірѣ, но первый былъ кромѣ того величайшимъ механикомъ и инженеромъ, а второй — величайшимъ архитекторомъ своего времени. А въ архитектурѣ одной

ий немного возьмешь. Дѣйствовать то же невозможно. Тутъ надо все изслѣдовать, разсмѣривать и предусмотрѣть.

если Микель-Анджело могъ быть архитектурѣ, то онъ могъ быть такъ и въ всѣхъ другихъ отрасляхъ математики. О Леонардо-де-Винчи и его. Дреперъ ставитъ его рядомъ съ Слѣдовательно, Леонардо-де-Винчи джело совершили-бы много великихъ наукъ, еслибы они не тратили цѣннаго времени на картины и станеніе Корана неразумно, въ этомъ нѣтъ сомнѣнія, но въ данномъ случаѣ оно обамъ пользу.

женіе этой длинной главы объ араб-постараюсь представить короткій услуги, которыя оказаны арабами цивилизаціи. Само собою разумѣется, списокъ войдутъ только такіе, чьи значеніе будетъ совершенно читателя.

математикъ. Они ввели въ общее употребленіе цифры, которыя до сихъ поръ называются: самое слово «цифра» при арабскому языку. По-арабски *цифра* бѣлая, пустое мѣсто. Этимъ именемъ звали *нуль*, и у англичанъ слово до сихъ поръ употребляется въ этомъ смыслѣ. Самые арабы выдумали эту нумерацию, заимствовали ее у индѣйцевъ и принесли въ Европу. Если хотите опровергнуть всю эту услугу, попробуйте сдѣлать *римскими* самое простое умноженіе или когда сами увидите и почувствуете. Или *алгебру*, которая своимъ именемъ поръ обнаруживаетъ свое арабское происхожденіе. Въ наше время открыта, таблица грека Діофанта, доказывающая, что алгебра родилась у грековъ, но очевидно, что греческіе математики эта наука не имѣла мало вліянія; стало быть, если бы мы создали первую мысль объ алгебры, въ какомъ случаѣ они дали этой мысли дальнейшее развитіе.

астрономія. Мы уже видѣли выше, что арабскія таблицы, составленныя арабами по вычисленіямъ и наблюденіямъ, удивившимся на арабскихъ наблюденіяхъ служили основаніемъ для великихъ открытій Галилея и Ньютона.

механика. Арабскій ученый Ибнъ-Юнисъ положилъ маятникъ къ измѣренію

оптика. Аль-Газенъ положилъ основаніе оптики. Греки думали, что лучи идутъ изъ нашего глаза и направляются на предметы, на которые мы смотримъ. Аль-Газенъ, жившій въ началѣ XII вѣка, доказалъ, что, напротивъ того, лучи идутъ отъ предмета къ глазу, что изображе-

ніе предмета отпечатывается на сѣтчатой оболочкѣ, и оттуда, черезъ оптический нервъ, впечатлѣніе передается мозгу. Тотъ же Аль-Газенъ знаетъ, что лучъ свѣта преломляется въ воздухѣ; онъ знаетъ далѣе, что плотность атмосферы возлѣ самой поверхности земли значительнѣе, чѣмъ въ отдаленіи отъ земли; онъ знаетъ, что плотность эта уменьшается по мѣрѣ того, какъ разстояніе отъ земли увеличивается, и что вслѣдствіе этого лучъ свѣта, проходящій черезъ атмосферу, описываетъ кривую линію. Онъ измѣряетъ математически высоту атмосферы и находитъ, что она равняется 58½ милямъ. Одинъ изъ величайшихъ средневѣковыхъ ученыхъ, Рожеръ Беконъ, жившій въ XIII вѣкѣ, заимствовалъ всѣ свои оптическія открытія у Аль-Газены, а тамъ, гдѣ онъ расходится съ арабомъ, тамъ онъ начинаетъ врать.

По химіи. Джафаръ, жившій въ концѣ VIII столѣтія, открылъ селитрянную кислоту и царскую водку. До него люди не знали болѣе сильной кислоты, чѣмъ крѣпкій уксусъ. «Его имя, — говоритъ Дреперъ, — незабвенно въ химіи, потому что оно означаетъ собою въ развитіи этой науки эпоху одинаковой важности съ эпохой Пристли и Лавуазье... Для насъ существованіе химіи безъ кислотъ совершенно немислимо.» Разсѣвъ въ IX столѣтіи приготовилъ сѣрную кислоту. Бечиль добылъ фосфоръ.

По медицинѣ и хирургіи. Множество лекарственныхъ составовъ было впервые приготовлено арабскими аптекарями. Фармакологія до сихъ поръ употребляетъ много арабскихъ словъ, на примѣръ сиропъ, яланъ, элексиръ. Многія важныя операціи по хирургіи и по акушерству введены въ употребленіе арабами. Ножомъ и каленымъ желѣзомъ арабы дѣйствовали очень рѣшительно и искусно.

Наконецъ надо назвать еще три открытія, имѣющія чрезвычайную важность для практической жизни: во-первыхъ — огнестрѣльное оружіе; во-вторыхъ — компасъ; въ-третьихъ — бѣлье. Мы привыкли думать, что порохъ выдуманъ нѣмцемъ, Бертольдомъ Шварцомъ, и что свойства намагниченной стрѣлки открыты въ итальянскомъ городѣ Амальфи, но Дреперъ утверждаетъ положительно, что и порохъ, и компасъ созданы арабами. Употребленіе бѣлья было неизвѣстно древнему міру. Полуостровъ германцы также не имѣли о немъ понятія; они носили звѣриныя шкуры, а потомъ стали шить себѣ платье изъ выдѣланной кожи. Отсутствіе бѣлья производило, разумѣется, значительную нечистоплотность, которая, въ свою очередь, вела за собою множество мучительныхъ заболеванийъ и между прочимъ знаменитую средневѣковую *проказу*. Выучивъ европейцевъ употреблять бѣлье, арабы оказали имъ неоцѣненную услугу. Въ европейскихъ языкахъ сохранились слѣды этого историческаго

факта. Французскія слова «chemise» (рубашка) и «coton» (хлопчатая бумага) взяты изъ арабскаго языка.

XIII.

Въ интеллектуальномъ отношеніи вся исторія среднихъ вѣковъ представляетъ собою продолжительную, упорную, многосложную и разнообразную въ своихъ проявленіяхъ борьбу между римскимъ обскурантизмомъ и наукой. Я брошу теперь бѣглый взглядъ на нѣкоторые эпизоды этой интересной и чрезвычайно драматической борьбы.

Въ первой половинѣ X вѣка одинъ юноша, воспитывавшійся въ орийякомъ аббатствѣ, въ провинціи Оверни, обратилъ на себя вниманіе Бореля, графа барселонскаго. Отправляясь изъ Франціи въ сѣверную Испанію, принадлежавшую въ то время наслѣдникамъ Карла Великаго, Борель взялъ съ собою молодого орийякскаго монаха, котораго звали Гербертомъ. Гербертъ сталъ учиться математикѣ, астрономіи и медицинѣ. Онъ отправился путешествовать по всей Испаніи, жилъ нѣсколько времени въ Кордовѣ, гдѣ царствовалъ тогда знаменитый халифъ Абд-Эррахманъ III, выучился арабскому языку, слушалъ лучшихъ тамошнихъ профессоровъ и на всю жизнь привязался всѣми силами своей страстной и даровитой природы къ той великой цивилизаціи, которая такъ великодушно приняла, обласкала и надѣлила полезными знаніями его, иностранца и иновѣрца. Изъ Испаніи онъ вмѣстѣ съ своимъ покровителемъ, Борелемъ, поѣхалъ въ Римъ, гдѣ находился въ то время императоръ Оттонъ Великій; Гербертъ поправился Оттону, умѣвшему цѣнить въ людяхъ умственные способности и основательныя знанія. Оттонъ сталъ давать Герберту нѣкоторыя порученія, требовавшія большого искусства. Гербертъ исполнялъ ихъ безукоризненно и, въ награду за свою расторопность, былъ назначенъ аббатомъ въ Воббіо. Итальянскіе монахи не взлюбили его отчасти за то, что его назначилъ на это мѣсто нѣмецъ Оттонъ, отчасти оттого, что онъ самъ былъ родомъ французъ, водилъ хлѣбъ-соль съ магометанами и обладалъ такими знаніями, о которыхъ монахи его боялись даже подумать. Разными ежедневными несприятностями почтенные иноки Воббіо такъ съумѣли насолить своему аббату, что тотъ бросилъ все и опротивѣвъ бѣжалъ изъ своего аббатства, сначала въ Римъ, а потомъ во Францію, въ городъ Реймсъ. Въ Реймсѣ существовало училище; основанное вѣроятно при Карлѣ Великомъ; тутъ преподавались не только богословіе и то, что называлось тогда философіей, но и кое-какія лохмотья реальныхъ наукъ. Гербертъ съ удовольствіемъ пристроился къ этому училищу, тѣмъ болѣе, что въ числѣ наставниковъ были честные и неглупые люди, которые добросовѣстно оцѣнили умъ, знаніе и усердіе скитающагося аббата. Архіепископъ реймскій, Адальберонъ, бывшій въ то время канцлеромъ французскаго

короля, также полюбилъ Герберта и скоро назначилъ его директоромъ реймскаго училища. Гербертъ съ большою энергіей принялся за свое любимое дѣло, — за распространеніе и оживленіе любви къ научнымъ занятіямъ. Онъ старался подѣлиться съ своими учениками всѣмъ, что онъ пріобрѣлъ въ Испаніи. Онъ преподавалъ музыку, арифметику, геометрію, медицину, высшую грамматику, написалъ популярный учебникъ риторики, собиралъ вѣрные списки произведеній древнихъ писателей и распространялъ ихъ во множествѣ копій. Онъ ввелъ въ своемъ училищѣ употребленіе арабскихъ цифръ и сталъ преподавать географію по глобусу, вывезенному изъ его возлюбленной Кордовы. Глобусъ возбуждалъ всеобщее удивленіе, но ни свѣтское, ни духовное начальство не мѣшало Герберту употреблять его при своемъ преподаваніи. Франція въ этомъ отношеніи была не такъ разборчива, какъ Италія. Въ Италіи глобусъ былъ бы непременно запрещенъ, какъ басурманское нововведеніе, совершенно несогласное съ мыслями Августина и Лактанція о видѣ земли и о возможности антиподовъ. Но и въ Реймсѣ на Герберта смотрѣли съ какимъ-то суевѣрнымъ ужасеніемъ, похожимъ на страхъ. О немъ сохранились слухи, что онъ смотрѣлъ на звѣзды черезъ какія-то особенныя трубы, что онъ состроилъ часы, что онъ придумалъ органъ, приводившійся въ движеніе посредствомъ пара.

Всѣмъ средневѣковымъ ученымъ приписывалось обыкновенно такое множество изумительныхъ изобрѣтеній, у каждаго изъ этихъ людей ихъ современники видѣли столько небывалыхъ и даже невозможныхъ снарядовъ, инструментовъ и машинъ, что, читая подобные рассказы, историкъ рѣшительно не знаетъ, гдѣ кончается правда и гдѣ начинается игра воображенія. Иное, пожалуй, и возможно, но было ли такъ въ самомъ дѣлѣ, это рѣшить очень мудрено. На счетъ Герберта достовѣрно во всякомъ случаѣ то, что живя въ Реймсѣ, онъ сильно подѣйствовалъ на умы своихъ современниковъ.

При вступленіи на престолъ Гуго Капета французское духовенство, начинавшее уже сознавать свою національную самостоятельность, повздорило съ паной, желавшимъ по обыкновенію вмѣшиваться въ дѣла всѣхъ католическихъ государствъ. Епископъ орлеанскій произнесъ ошеломляющую рѣчь на соборѣ французскаго духовенства въ Реймсѣ. Рѣчь эта была написана Гербертомъ, скромнымъ и ученымъ директоромъ реймскаго училища. Въ этой рѣчи заключались сильныя упреки противъ римскаго невѣжества «Нѣтъ въ Римѣ ни одного человѣка, — говорилъ епископъ, — это извѣстно, — который-бы обладалъ достаточными свѣдѣніями, чтобы быть порядочнымъ привратникомъ. Съ какого-же права осмѣливается учить другихъ тотъ, кто самъ ничему не учился?» Словомъ *тогда* обозначается здѣсь ни болѣе, ни менѣе, какъ самъ пана; от

ны требуютъ отчета въ его знаніяхъ; о папѣ говорятъ, что онъ не годится въ дворники; что это такое? Реформація, что-ли, совершилась въ Х столѣтіи? ничуть не бывало. Эту еретическую хулу, за которую втеченіи многихъ послѣдующихъ столѣтій перевѣшали, перерѣзали и жарили тысячи простодушныхъ и откровенныхъ людей, эту самую хулу, говорю я, произносить публично, въ торжественномъ собраніи католическаго духовенства, католическій прелатъ, единственно потому, что того требовали данную минуту политическіе интересы. А Гербертъ разумеется, съ величайшей радостью, становится адвокатомъ этихъ минутныхъ интересовъ, потому что онъ находитъ здѣсь удобный случай высказать вслужь всему католическому сообществу истины, которыя во всякое другое время непременно подвели-бы неосторожнаго прелата подъ уголовный судъ, въ тюрьму и жечь-быть на костеръ. Далѣе слѣдуютъ истины, еще менѣе способныя доставить папѣ удовольствіе: «Еслибы посланники короля Гуго не дали взятку папѣ и Кресценцію, то дѣло было приняло-бы совершенно другой оборотъ». Тамъ говорится подробно о томъ, какъ папы и короли другъ друга истребляли. «И неужели такіе люди», — спрашиваетъ епископъ, — наполняютъ всякою скверною и лишенымъ всякихъ познаній человѣческихъ и божественныхъ, неужели имъ должны подчиняться всѣ служители церкви, — люди, извѣстные всему міру обширностью своей учености и святостью своей жизни? Прелаты, которые такимъ образомъ говорятъ противъ своего брата и при увѣщаніи не хотятъ слушать голоса совѣта, — становятся старцами и грѣшниками.» Далѣе на счетъ папы подлагается вопросъ: «не есть-ли онъ антихристъ?» Папу называютъ «человѣкомъ грѣха» и «чуждой беззаконія». — Епископъ бросаетъ свой взглядъ на положеніе всего историческаго міра и бьетъ папство по самымъ больнымъ его мѣстамъ. «Римъ», — говоритъ онъ, — уже давно потерялъ всякое вліяніе на Востокъ. Александрія и Антиохія, Африка и Азія оторваны отъ него; Константинополь прервалъ съ нимъ сношенія; даже Испанія не имѣетъ о папѣ.»

Вѣрный врагъ католичества не могъ-бы нанести ему болѣе чувствительныхъ ударовъ, чѣмъ эти, которые наноситъ ему здѣсь епископъ орлеанскій; что Гербертъ написалъ такую рѣчь, это еще не удивительно; но что ее рѣшился произнести на соборѣ прелатовъ, не жившій никогда въ атоматанской Испаніи и не вынесшій оттуда непримиримой ненависти къ невѣжеству и обскурантизму, — это въ высшей степени замѣчательный фактъ, объясняющійся только тѣмъ обстоятельствомъ, что при всѣхъ семейныхъ раздорахъ именно самые близкіе родственники выкапываютъ обыкновенно самыя позорныя черты домашней грязи, — такія кучи, которыхъ потерянныя люди боятся и не смѣли-бы

отыскать. Всѣ знали, кѣмъ была написана рѣчь, произнесенная епископомъ орлеанскимъ; это обстоятельство такъ сильно выдвинуло Герберта впередъ, что онъ почти тотчасъ послѣ собора получилъ санъ архіепископа реймскаго. Но въ то же время онъ естественнымъ образомъ навлекъ на себя непримиримую ненависть папы и всѣхъ его корыстныхъ и безкорыстныхъ обожателей. Вслѣдствіе этого положеніе Герберта, какъ архіепископа реймскаго, было очень шатко и двусмысленно. Строгіе католики смотрѣли на него, какъ на еретика и узурпатора. Гербертъ старался приобрести себѣ любовь и довѣріе подчиненнаго ему духовенства, относаясь кротко и снисходительно къ тѣмъ естественнымъ стремленіямъ человѣческой природы, съ которыми постоянно боролись фанатики противъ которыхъ декламировали лицемеры. «Я не запрещаю брака», — говорилъ онъ. — «Я не осуждаю вторичныхъ браковъ. Я не порицаю тѣхъ, которые ѣдятъ мясо.»

Эта политика Герберта была очень искусна, и для католической церкви спокойное обсужденіе вопроса о бракѣ духовныхъ лицъ было въ то время особенно необходимо, потому что до времени Григорія VII, занимавшаго папскій престолъ въ концѣ XI вѣка, этотъ вопросъ былъ еще не рѣшенъ. Было-бы вѣроятно гораздо лучше для всего католическаго міра, еслибы этотъ важный вопросъ рѣшился въ томъ смыслѣ, въ какомъ понималъ его Гербертъ. Но не въ эту сторону направлялось общее теченіе тогдашнихъ идей и событій. Благоразуміе было ненавистно тогдашнимъ людямъ именно потому, что оно — благоразуміе и что вслѣдствіе этого оно противоположно съ одной стороны всѣмъ безпорядочнымъ взрывамъ чувства, страсти и фантазіи, а съ другой стороны — финансовымъ интересамъ тѣхъ ловкихъ людей, которые умѣютъ обращать эти взрывы въ источники не малыхъ доходовъ. Герберту не помогла никакая политическая мудрость. Папа торжественно запретилъ ему отправлять архіепископскія обязанности. Папскій легатъ, Левъ, произнесъ по этому случаю любопытную рѣчь, которая должна была служить противоядіемъ знаменитой рѣчи епископа орлеанскаго.

«Викаріи Петра и ихъ ученики», — говорилъ онъ между прочимъ, — не хотятъ имѣть своими учителями Платона, Виргилія, Теренція и все остальное стадо философовъ, которые носятся въ высотѣ, подобно птицамъ воздушнымъ, и погружаются въ глубину, подобно рыбамъ морскимъ; и вслѣдствіе этого вы говорите, что они недостойны быть привратниками, потому что не обладаютъ искусствомъ писать стихи. Петръ — дѣйствительно привратникъ, но привратникъ неба.» Что папа беретъ взятки, этого легатъ нисколько не отрицаетъ, но онъ доказываетъ, что тутъ нѣтъ ничего предосудительнаго. «Развѣ», — спрашиваетъ онъ, — Спаситель не принялъ приношенія волхвовъ? Онъ также нисколько не сомнѣвается въ дѣйстви-

тельности преступлений, совершенных папами; онъ не хочетъ только, чтобы эти преступления выводились на свѣтъ. «Хамъ,—говоритъ онъ,—былъ проклятъ за то, что открылъ наготу отца своего.»

Разсужденія краснорѣчиваго легата Льва до такой степени понравились его слушателямъ, что Гербертъ не нашелъ себѣ въ нихъ никакой поддержки. Онъ сложилъ съ себя санъ архіепископа и удалился въ Германію, ко двору малолѣтняго короля Оттона III. Тамъ онъ сдѣлался наставникомъ Оттона, сталъ заниматься научными опытами и наблюденіями и далъ своему воспитаннику образованіе, блистательное для тогдашняго времени. Въ 996 году шестнадцатилѣтній король Оттонъ, пылкій, честолюбивый и образованный, пошелъ съ войскомъ въ Италію, чтобы утвердиться въ Римѣ и уничтожить тамошнюю кровавую неурядицу. Гербертъ находился въ свитѣ Оттона и, въ качествѣ его бывшаго наставника, пользовался особеннымъ уваженіемъ и дружбой молодого короля. Въ 998 году Оттонъ сдѣлалъ Герберта архіепископомъ равенскимъ, а на слѣдующій годъ, по смерти папы Григорія V, Гербертъ, по приказанію своего бывшаго воспитанника, вступилъ на папскій престолъ подъ именемъ Сильвестра II.

Это явленіе было въ высшей степени оригинально. Папой сдѣлался тотъ самый человѣкъ, котораго вся Европа знала, какъ умнѣйшаго и опаснѣйшаго противника папства и клерикальной политики. Всѣ свои духовныя должности Гербертъ занималъ постоянно независимо отъ духовенства и наперекоръ его желаніямъ. Аббатомъ въ Боббіо его назначилъ Оттонъ I; архіепископомъ реймскимъ—Гуго Капетъ; архіепископомъ равенскимъ—Оттонъ III; наконецъ на папскій престолъ его посадилъ тотъ же Оттонъ III. Но изъ Боббіо и изъ Реймса его вытѣснили интриги клериковъ; изъ Равенны его не успѣли вытѣснить отчасти потому, что онъ пробылъ тамъ недолго, а отчасти потому, что Оттонъ былъ въ это время въ Италіи и не любилъ шутить съ тѣми людьми, которые не хотѣли ему повиноваться. Наконецъ Гербертъ сдѣлался главой католическаго міра, а Оттонъ все-таки продолжалъ жить въ Италіи, такъ что каждое слово новаго папы почерпало себѣ силу и обязательный авторитетъ изъ присутствія нѣмецкой арміи.

Можно было ожидать важныхъ преобразований въ управленіи церкви и во всемъ строѣ тогдашняго общества. Оттонъ былъ молодъ, уменъ, полонъ энергіи; замыслы его были очень широки, и чрезвычайная крутость его характера, проявившаяся въ его поступкахъ съ возмущившимися римлянами, начинала смягчаться по мѣрѣ того, какъ онъ становился опытнѣе и разсудительнѣе. Папа и императоръ были воодушевлены одинаковыми стремленіями: оба ненавидѣли несправедливость и презирали испорченность тогдаш-

няго духовенства; ихъ соединенныя усилія повидимому сдѣлать много добра. А тѣмъ всѣ ихъ прогрессивныя желанія и даромъ. Итальянцы ненавидѣли ихъ о какъ иностранцевъ, а нѣмцы обижались, что ихъ король Оттонъ живетъ въ Италіи въ Германіи. Оттону надо было постоянно ублажать своимъ присутствіемъ ревнивыхъ любящихъ нѣмцевъ, то укрощать, такъ имъ присутствіемъ, шаловливыхъ и вепщихъ итальянцевъ. Такъ онъ мыкался по но между Италіей и Германіей, не успѣвъ нести существенной пользы ни той, ни странѣ. А совершенно отказаться отъ было невозможно, не говоря уже о томъ честолюбіе молодого короля не позволяло поступить такимъ образомъ. Отказатъ Италіи значило отдать папство въ руки негодяевъ, вродѣ Альбериха, Кресценці розин, Теодоры и разныхъ другихъ предъ тогдашней итальянской жизни. Опять по та же исторія: этого задушили, другого довали, третяго уморили голодомъ, и та лѣе. А такія событія, совершающіяся в вой церкви, производили болѣзненное пвіе въ самыхъ отдаленныхъ углахъ той Европы, и потому было не все равно, кто на папскомъ престолѣ и кто управляетъ ствіями папы. Папа, находящійся въ рукъ кого-нибудь Кресценція, могъ своей ностью и своими недобросовѣстными дѣй возбудить смуты и междоусобныя войны Германіи, и въ Англіи, и во Франціи бытъ, Оттона и его преемниковъ не ве осуждать за то, что они всѣ непременно въ Римъ за императорской короной и ста во что-бы то ни стало, утвердиться въ Рлой оружія. Они ни подъ какимъ видомъ ли разойтись съ папствомъ полюбовно было или подчинить папство, или пок ему. А когда человѣку приходится такимъ зомъ быть непременно или наковальни молоткомъ, тогда отъ него невозможно вать, чтобы онъ добровольно выбралъ се сивную роль наковальни. Такая травояд тость составляетъ очень жалкую добро какъ въ частномъ человѣкѣ, такъ тѣмъ въ историческомъ дѣятелѣ.

Пока Оттонъ мыкался между Италіей и мавіей, Сильвестръ II держался кое-какъ мѣ, благодаря тому страху, который чу ли римляне передъ именемъ молодого и энскаго императора. Но производить какія рѣшительныя преобразованія, какія-нибѣ чительныя передвиженія въ личномъ высшаго итальянскаго духовенства—об до поры до времени нечего было и дѣйствовать на проломъ было неудобъ первыхъ, результаты такихъ дѣйствій венно бываютъ очень непрочны и не ок собою сдѣланныхъ усилій. А во-вторыхъ,

ие Оттона и силы его монархii не могли постоянно сосредоточиваться на римских дѣлахъ. Поэтому Сильвестръ рѣшился сначала осмотрѣться въ своемъ новомъ положеніи, узнать характеръ окружающихъ людей и разъяснить себѣ игру ихъ многосложныхъ страстей и интересовъ, которые опутывали со всѣхъ сторонъ папское общество. Но итальянцы не долго позволили Сильвестру предаваться этимъ предварительнымъ изслѣдованіямъ. Въ 1002 году умеръ Оттонъ III, а вслѣдъ за нимъ скончался и папа. Оба умерли въ Италіи, и есть сильныя основанія думать, что оба умерли отъ яда. Клерикальскія партіи, то есть почти все духовенство, черное и бѣлое, продолжала ненавидѣть Герберта въ то время, когда онъ былъ уже Сильвестромъ II. Клерикалы очень хорошо умѣютъ сами отличать въ папѣ чловѣка, и чловѣкъ никакъ не становится для нихъ священнымъ съ минуты, какъ онъ надѣваетъ тиару, несмотря на то, что тѣ-же клерикалы требуютъ отъ всѣхъ другихъ людей безусловнаго уваженія къ папѣ, совершенно независимо отъ его личныхъ достоинствъ. Тѣ-же самые клерикалы, которые, го-во-ря о легата Льва, указывали на поступокъ Льва и на послѣдствія этого поступка, тѣ-же самые клерикалы очень усердно стали открывать наготу отца своего, когда отцомъ ихъ сдѣлался чловѣкъ, ненавистный имъ по своимъ по-даніямъ и по своему взгляду на вещи. Духовенство постаралось распусти-ть о папѣ Сильвестрѣ по всей Европѣ самые нелѣпыя слухи, извѣстныя на то, чтобы возбудить въ народѣ недо-вѣріе и ненависть къ главѣ католической церкви. Тутъ пошла въ ходъ даже клевета, а не только раскрываніе наготы. Простодушнымъ крестьянамъ и поселянамъ тогдашней Европы стало доподлинно извѣстно, что въ самой за-мкнутой комнатѣ римскаго дворца заперта у папы карликъ, видомъ безобразный, и что си-литъ въ томъ карликѣ нечистая сила; и что носить тотъ карликъ сарацинскую чалму; и что есть у него кольцо, которое дѣлаетъ его не-видимымъ; а другіе на это возражали, что это не-правда, и что кольцо у него на то, чтобы являть-ся разомъ въ двухъ мѣстахъ въ одно и то-же время; потомъ рассказывали, что въ глухую по-лѣчь слышались часто странные звуки изъ тѣхъ мѣстъ, въ которыхъ никого, кромѣ папы, не было. И соображали доморощенные мыслители, что мудренаго тутъ ничего нѣтъ, и что этого всегда слѣдовало ожидать, потому что не даромъ же папа жилъ въ Испаніи съ погаными нехри-стями; тамъ онъ запродавъ сатанѣ свою душу съ тѣмъ условіемъ, чтобы сатана сдѣлалъ его главой христіанской церкви; теперь условіе вы-полнено и пришла пора окончательнаго расчета. Поэтому вѣроятно папа и воетъ по ночамъ, ста-раясь отбѣгнуться отъ нечистой силы. Да, говорили съ таинственнымъ видомъ глубокомысленные монахи: «homagium diabolo fecit et male

finivit» (покорился дьяволу и пришелъ къ худому концу).

Такъ жилъ, такъ умеръ и такъ поминался своими современниками одинъ изъ самыхъ ран-нихъ предвѣстниковъ нашей цивилизаціи. Извѣ-стное дѣло: ласточка еще не приводитъ съ со-бою весну, но настоящая ласточка, птица, и не прилетаетъ въ наши края тогда, когда весна еще не установилась. Въ мірѣ людей дѣло дру-гое: тутъ случается очень часто, что неосте-рожная ласточка прилетаетъ слишкомъ рано изъ теплаго климата и терпитъ холодъ и голодъ въ той негостепріимной странѣ, гдѣ ей при-ходится жить. Зато въ мірѣ людей такіа ласточки своимъ раннимъ появленіемъ и своими страда-ніями дѣйствительно ускоряютъ наступленіе той весны, которая должна пригрѣть и накормить ихъ отдаленныхъ потомковъ.

XIV.

Начавшись въ X вѣкѣ, вліяніе арабской ци-вилизациі на Европу постоянно и быстро усили-валось втеченіи трехъ послѣдующихъ столѣтій. Арабская философія незамѣтно разливалась во всѣ стороны по тѣмъ неуволнимо тонкимъ кана-ламъ, по которымъ всегда проходитъ успѣшно всякая идея, заключающая въ себѣ зародышъ новой исторической жизни. Европейская мысль начинала шевелиться, и ея первое пробужденіе выразилось въ разсужденіяхъ о религіозной дог-матикѣ.

Нетрудно понять, почему умственные силы мыслящихъ людей направились прежде всего именно въ ту область, въ которой умъ всегда оказывается безсильнымъ. Во - первыхъ, всѣ люди, имѣвшіе возможность и желаніе занимать-ся размышленіями, принадлежали въ то время къ духовному сословію. Во-вторыхъ, теологія поглощала въ то время всѣ науки; ни о солнцѣ, ни о лунѣ, ни о землѣ, ни о водѣ, ни о живот-ныхъ, ни о людяхъ, рѣшительно ни о чемъ нельзя было размышлять серьезно, не сталкиваясь такъ или иначе съ теологіей и не чувствуя надъ собою ея вліянія. Вопросы, которые теперь рѣ-шаются посредствомъ телескопа, микроскопа, химическаго анализа или анатомическаго ножа, рѣшались въ то время безусловно и безапелля-ціонно приговоромъ папы или собора. Мыслящіе люди занялись теологіей просто потому, что, кромѣ теологін, въ умственной жизни тогдашней Европы не было рѣшительно никакого содержа-нія. А какъ только начались серьезные раз-мышленія о догматикѣ, такъ начались немед-ленно и тѣ разногласія, которыя на языкѣ кле-рикаловъ называются ересями.

Теоретическія мнѣнія средневѣковыхъ ерети-ковъ и возраженія ихъ противниковъ для насъ нисколько не интересны, но появленіе ересей очень важно, какъ барометрическое указаніе на положеніе умственной погоды; исторія нѣкото-рыхъ ересей также очень интересна

въ нихъ можно разглядѣть, каковы были характеры, умы, страсти и взаимныя отношенія тогдашнихъ людей, корпорацій и народныхъ массъ. Еретикомъ назывался въ средневѣковой Европѣ такой человѣкъ, который имѣлъ противъ себя матеріальную силу, а за себя—свое личное убѣжденіе, неспособное избавить его ни отъ тюрьмы, ни отъ плетей, ни отъ коста. Личное убѣжденіе, противоположное мнѣніямъ сильныхъ людей и большинства, можетъ возникнуть только путемъ размышленія; а такое размышленіе, которое заставляетъ человѣка идти въ тюрьму или на смерть, возможно только тамъ и тогда, гдѣ и когда существуетъ уже сильное умственное движеніе. Вотъ это я и называю барометрическимъ указаніемъ. Какъ держитъ себя одинокая личность, вооруженная только силой индивидуальнаго убѣжденія, какъ смотритъ на эту личность общество, какъ ведутъ себя въ отношеніи къ ней представители матеріальной силы—все это очень интересно для характеристики данной эпохи.

Въ половинѣ XI столѣтія Беренгаръ Турскій началъ разсуждать о таинствѣ пресуществленія. Его разсужденія очень не понравились духовенству. На нѣсколькихъ соборахъ они были объявлены еретическими, и наконецъ второй латеранскій соборъ, при папѣ Николаѣ II, предложилъ Беренгару выбрать одно изъ двухъ: или смерть, или отреченіе. Беренгаръ доказалъ своимъ выборомъ, что онъ—человѣкъ очень неглупый. Онъ отрекся отъ своей ереси, но какъ только гроза прошла мимо, онъ тотчасъ снова сталъ разсуждать и учить попрежнему. На него опять посыпались благонамѣренные допросы, и дѣло его на этотъ разъ могло придти къ очень дурному концу, потому что онъ оказался уже нераскаяннымъ и неисправимымъ еретикомъ. Во второй разъ ему врядъ-ли предложили-бы выборъ. Но къ счастью его на папскомъ престолѣ сидѣлъ въ то время Григорій VII, и—о ужасъ!—этотъ знаменитѣйшій изъ папъ самъ сочувствовалъ еретическимъ мнѣніямъ Беренгара. Григорій взялъ еретика подъ свое покровительство. Для большей убѣдительности Григорій выдумалъ даже, будто онъ видѣлъ видѣніе, и будто сама Пресвятая Дѣва являлась ему, чтобы засвидѣтельствовать сираведливость мнѣній Беренгара. Клерикалы сами очень часто опирались на видѣнія, какъ на уважительное и надежное доказательство. Они обязаны были вѣровать въ подлинность видѣній, и теперь тѣмъ болѣе, что о видѣніи говорилъ самъ папа, и притомъ папа Григорій VII, лучший и непоколебимѣйшій защитникъ папства. Однако вышло иначе. Клерикалы оказались скептиками, и, когда разгорѣлась борьба между Григоріемъ VII и германскимъ королемъ Генрихомъ IV, соборъ нѣмецкихъ епископовъ проклялъ папу, какъ приверженца беренгаровской ереси и какъ колдуна.

Оказывается такимъ образомъ, что непогрѣшимость папы никогда не была серьезнымъ дѣ-

ломъ для самихъ клерикаловъ. Какъ только дѣлалъ не то, чего имъ хотѣлось, такъ се являлась критика его поступковъ, и вслѣдъ критикой—клевета, къ которой клерикалы шались всегда съ особеннымъ удовольствіемъ. Но Беренгара имъ такъ и не удалось изгнать. Въ XII столѣтіи имъ пришлось испытать болѣе жестокаго огорченія. Число училищъ б увеличилось. Изъ этихъ заведеній XI и X ка,—говоритъ Шлоссеръ,—особенно часто минаются школы въ Реймсѣ, Канѣ, Лапѣ, Т Камбрѣ, Суассонѣ, Шалонѣ-на-Марнѣ, А и Аррасѣ, но самыми знаменитыми изъ были школы въ Люттихѣ, Безансонѣ, Ша Орлеанѣ и Парижѣ. Кромѣ того назыв школы въ Мецѣ, Турѣ, Верденѣ, Санѣ, Бу Пуатье и Анжерѣ. Въ Германіи въ то же славилась училища въ Кельнѣ, Майнцѣ, дерборнѣ и Брауншвейгѣ.»

Но вся премудрость всѣхъ этихъ учи не удовлетворяла горячей любознательности тогдашнихъ передовыхъ умовъ. Неодолима тянула ихъ на самый далекій западъ, въ верситеты магометанской Испаніи, и эта цгательная сила съ каждымъ годомъ становилась значительнѣе и дѣйствовала успѣшнѣе. То во время Герберта было единичнымъ случ обращилось понемногу почти въ общее цло. Петръ Достопочтенный, аббатъ монас Ключи, жилъ нѣсколько лѣтъ въ Кордо не только выучился превосходно говорит арабски, но даже перевелъ Коранъ на лати языкъ.

На этотъ послѣдній фактъ стоитъ обр вниманіе. Духовное лицо, пользовавшееся нымъ значеніемъ, безукоризненной репут и глубокимъ уваженіемъ всѣхъ своихъ с менниковъ, переводить ту ужасную книг которой основана вся религія поганыхъ б мановъ, самыхъ опасныхъ враговъ хри ства. Значитъ, уже въ XII столѣтіи бы Европѣ люди, способные смотрѣть на чужу лигію безъ фанатической ярости и спосо изучать каноническія книги этой религіи и и спокойно, какъ важный историческій ф имѣвшій огромное вліяніе на судьбу ми миллионновъ людей.—Этотъ Петръ Достопос ный говоритъ, что во время пребыванія е Испаніи тамошніе университеты были и нены духовными лицами, пріѣхавшими изъ ныхъ государствъ Европы, чтобы понабр всякой премудрости отъ магометанскихъ ныхъ. Между прочимъ было много англи прилежно изучавшихъ астрономію. Въ XII умственные занятія становятся уже для гихъ европейцевъ насущной потребностью являются уже такіе люди, которые блѣди сохнутъ, сходятъ съ ума надъ книгами книжныя идеи безъ страха и безъ сожа отдаютъ свою жизнь. Безплодны и неум были многія усилія этихъ людей, мечтат

и несущественны их стремления, узокъ горизонтъ ихъ мысли, но велика и безкорыстна была ихъ любовь къ истинѣ, тревожно и неутомимо ихъ исканіе, неукротима и непоколебима ихъ житейская воля. Это были въ самомъ дѣлѣ мученики; они втеченіи всей своей жизни жили въ упорномъ и бесплодномъ трудѣ своихъ умственныхъ силы, и все для того, чтобы рано или поздно столкнуться съ римскимъ обскурантизмомъ и разлетѣться въдребезги отъ этого столкновения.

Для насъ, для людей, уже имѣющихъ возможность трудиться и бороться за истину совершенно сознательно, для насъ должны быть дороги и священны всѣ ошибки и всѣ мучительныя разочарованія, всѣ бесплодныя усилія, всѣ умственные, нравственные и физическія томленія, даже всѣ непроходимыя глупости честныхъ, великихъ и уже забытыхъ работниковъ мысли, изнывавшихъ среди безмыслицъ средневѣковой Европы. Мы должны всегда помнить, что жизнь, по выраженію Некрасова, «жертвъ искушительныхъ просить». Для того чтобы одинъ человѣкъ открылъ плодотворную истину, надо, чтобы сто человѣкъ испечали свою жизнь въ неудачныхъ поискахъ и печальныхъ ошибкахъ. Еслибы средневѣковые философы не бродили ощупью, то европейцамъ XIX столѣтія приходилось бы и бродить, и витать, и пробовать надъ измѣнной стѣной крѣпость человѣческаго черева. А что любовь къ истинѣ и жажда знанія не угасли среди неудачъ и насмѣшекъ, подъ гнетомъ невыносимой скуки тогдашнихъ философствованій и подъ ударами разъяреннаго невѣжества, что эта любовь и эта жажда, напротивъ того, разгорались сильнѣе послѣ каждаго новаго пораженія, — это можетъ служить намъ самымъ вѣрнымъ ручательствомъ за несокрушимую живучесть и блестящую будущность европейской цивилизаціи.

Однимъ изъ самыхъ неутомимыхъ двигателей просвѣщенія въ XII вѣкѣ былъ Петръ Абеляръ, знаменитый и несчастный любовникъ знаменитой и несчастной Элоизы. У этихъ двухъ людей любовь къ умственной дѣятельности и желаніе разливаться вокругъ себя знаніемъ доходили не до страсти — это выраженіе слишкомъ слабо — а до изступленія, до бѣшенства, до неизлечимой моманіи. И эта нервная болѣзнь дѣйствовала заразительно на тѣхъ людей, которые приходили съ ними въ близкое соприкосновеніе. Копечная цѣль умственной дѣятельности была для нихъ неясна, но зато пылъ ихъ страсти былъ неукротимъ. Они учились сами и вовлекли въ ученіе другихъ, потому что безъ этой работы они не могли жить. Элоиза получила образованіе въ Аржантельскомъ монастырѣ. «Она познакомилась тамъ», — говоритъ Шлоссеръ, — не только съ священнымъ писаніемъ и сочиненіями отцовъ церкви, музыкой и церковнымъ пѣніемъ, но изучала также хирургію и медицину, потому что въ

то время женщины часто должны были замѣнять недостатокъ врачей.»

Въ магометанской Испаніи, какъ я говорилъ выше, женщины также занимались медициной и хирургіей; мы видимъ такимъ образомъ, что уже очень давно затаялся въ челоуѣчествѣ зародышъ того разумнаго взгляда на образованіе и трудъ женщины, за который принуждены бороться до сихъ поръ всѣ здравомыслящіе люди обоего пола. И гдѣ же мы находимъ этотъ зародышъ? Съ одной стороны у магометанъ, которыхъ мы привыкли осуждать свысока за ихъ гаремы; съ другой стороны — у европейцевъ XII вѣка, надъ которыми мы привыкли смѣяться за ихъ безчисленные предрасудки. Кажется, именно имъ, магометанамъ и средневѣковымъ католикамъ, слѣдовало-бы возставать съ особеннымъ неистовствомъ противъ женскаго труда и противъ всякаго соприкосновенія женщинъ съ областью реального знанія. А выходитъ совсѣмъ напротивъ, такъ что многіе изъ нашихъ домашнихъ мыслителей могли-бы позаимствовать себѣ болѣе разумный взглядъ на женщинъ у аржантельскихъ монахинь и кордовскихъ многоженцевъ.

«Она (т. е. Элоиза), — продолжаетъ Шлоссеръ, — возвратилась въ Парижъ, въ домъ своего дяди Фульберта, цвѣтущей восемнадцатилѣтней красавицей. Въ то время Абеляръ съ большимъ успѣхомъ занимался преподаваніемъ въ Парижѣ и, какъ самъ говорить, получалъ много денегъ. Элоиза также желала слушать его уроки, и Фульбертъ, прельстившись деньгами, принялъ его къ себѣ на житье и совершенно предоставилъ ему воспитаніе племянницы. Элоиза училась у него греческому и еврейскому языкамъ, но особенно первому, которымъ, какъ положительно извѣстно, Абеляръ обладалъ вполне. Старый подлецъ Фульбертъ съ самаго начала подготовилъ весь романъ, разыгравшійся между несчастными молодыми людьми, а потомъ, какъ это почти всегда бываетъ въ подобныхъ случаяхъ, сталъ имъ же мстить за то, что было единственнымъ послѣдствіемъ его собственной гнусности и глупости. Такая молодая дѣвушка, которая на двадцатомъ году своей жизни училась и выучивается читать въ подлинникъ Аристотеля, разумеется, должна влюбиться до безумія въ такого слѣпаго, пылкаго и блестящаго мыслителя, въ такого страстнаго и неутомимаго работника, какъ Абеляръ. А Абеляръ былъ бы деревяннымъ чурбаномъ, еслибы онъ не отдался всѣми силами своего существа такой дѣвушкѣ, у которой съ красотой и молодостью соединяются страстная любовь къ знанію и жезлая сила воли, заставляющая ее преодолѣвать всю неисчерпаемую скуку азбуки и грамматики. Кого-же и любить, какъ не такую дѣвушку? — Читая и философствуя вдвоемъ, внося въ серьезныя и сухія занятія весь пылъ своей молодой и еще несознанной любви, Абеляръ и Элоиза еще сильнѣе разогрѣвали другъ въ другѣ

страсть къ знанію и наконецъ довели себя въ этомъ отношеніи до той неизлечимой мономаніи, которая наложила свою печать на всю ихъ послѣдующую жизнь. Но этимъ не могли ограничиться ихъ взаимныя отношенія. Такіе энергичскіе и даровитые люди ни въ чемъ и никогда не останавливаются на половинѣ дороги. Они неизбежно должны были привести свой романъ къ естественной развязкѣ. Элоиза родила сына и дала ему имя: *Астролябія*. Это имя показываетъ ясно, до какихъ колоссальныхъ размѣровъ дошла ея мономанія. Кому въ самомъ дѣлѣ, кромя неистовствующей Элоизы, могло придти въ голову наградить несчастнаго ребенка такой пелѣной ученой кличкой? Назвать сына въ честь математическаго инструмента, кажется, — это единственный случай во всей исторіи человечества. — Рожденіе Астролябіи Петровича надѣлало его родителямъ много непріятностей. Фульбертъ вломился въ амбицію и, слишкомъ поздно вздумавши охранять честь своей племянницы, сталъ требовать отъ Абеляра, чтобы онъ женился на Элоизѣ. Абеляръ и не думалъ отказываться, но тутъ встрѣтилось непреодолимое затрудненіе. Во второй половинѣ XI столѣтія безбрачіе сдѣлалось обязательнымъ для всего католическаго духовенства. Только духовныя лица имѣли право преподавать теологію. Если бы Абеляръ женился, то онъ былъ-бы принужденъ выйти изъ духовнаго сословія и отказаться отъ преподаванія теологіи. Стало-быть, ему надо было принести въ жертву или свою общественную дѣятельность, или честь любимой женщины. Не знаю, на что-бы онъ самъ рѣшился, но Элоиза сразу положила конецъ всякимъ колебаніямъ. Она объявила наотрѣзъ, что слышать не хочетъ о бракѣ, что она никогда не согласится сдѣлаться женой Абеляра и отнять такимъ образомъ у общества и у науки величайшаго учителя. Фульберту удалось однако уладить между молодыми людьми тайный бракъ, но эта полумѣра никого не могла удовлетворить. Фульберту хотѣлось доказать своимъ знакомымъ, что его племянница замужемъ и, стало-быть, имѣетъ законныя основанія рожать дѣтей. Но для этого надо было огласить бракъ, а на это Элоиза ни подъ какимъ видомъ не соглашалась, потому что тогда враги и завистники Абеляра тотчасъ согнали-бы его съ кафедры. Когда Фульбертъ намекалъ кому нибудь на существованіе тайнаго брака, тогда Элоиза возражала тотчасъ, что все это чистый вздоръ, и что она совсѣмъ не жена, а любовница Абеляра. За эти неистовыя рѣчи Фульбертъ очень сильно гнѣвался и, при случаѣ, билъ свою неукротимую племянницу. Молодые люди рѣшили покончить все это безобразіе. Абеляръ отвезъ Элоизу въ Аржантельскій монастырь, и она поступила тамъ въ монашество. А Фульбертъ подослалъ къ Абеляру наемныхъ людей, которые его осклонили. Вылечившись отъ своихъ тяжелыхъ ранъ, Абеляръ по-

ступилъ въ монастырь Сентъ-Дени. Съ Элоизой онъ поддерживалъ постоянную переписку. Жестъ и энергія его ума нисколько не покорились отъ поразившаго его несчастія. Напротивъ, видя, что личное счастье сдѣлалось для него невозможнымъ, онъ весь безраздѣлялся своей общественной дѣятельностью, и подаваніе его съ этого времени сдѣлалось болѣе увлекательнымъ. Въ монастырѣ Сентъ-Абеляръ не могъ ужиться, аббатъ и монахи слишкомъ грубы и развратны. Абеляръ убралъ во владѣнія графа Шампанскаго и поселился близъ города Провена, въ уединенной мѣстности, уступленной ему монахами города Тулузы. Здѣсь онъ опять взялся за преподаваніе и медленно собралъ вокругъ себя множество торжественныхъ слушателей. Стеченіе учащихся пустынь Абеляра сдѣлалось до такой степени значительно, что профессора всѣхъ высшихъ училищъ центральной Франціи пришли въ ужасъ и въ негодованіе. Ихъ, почтенныхъ профессоровъ, не слушаютъ, а къ негодному развратнику скопцу Абеляру бѣгутъ студенты со всѣхъ сторонъ. Этому безчинству надо было положить конецъ. Всего удобнѣе было состроить противъ Абеляра искусный и ученый доносъ; такъ и сдѣлали два почтенные профессора реймскаго училища. Они подняли суматоху, распустили слухъ, что Абеляръ извращаетъ догматъ о Святой Троицѣ, собрали въ Суассонѣ соборъ подъ председательствомъ архіепископа реймскаго, засудили на смерть еретическую философію и заставили Абеляра собственноручно сжечь ту книгу, въ которой были изложены преступныя мнѣнія. Кроме того Абеляра посадили для наказанія въ монастырь Св. Медара, а потомъ, когда кончился опредѣленный срокъ тюремнаго заключенія, его отослали въ Сентъ-Дени съ строжайшимъ приказаніемъ непремѣнно ужиться съ тамошними монахами. Профессора торжествовали. Сирена, отвлекавшая ихъ слушателей, была взята въ ежовыя рукавицы и принуждена прекратить свое соблазнительное пѣніе. Въ Сентъ-Дени на Абеляра посыпались новыя несчастія. Въ простотѣ души своей, онъ высказалъ однажды замѣчаніе, что Діонисій Ареопагитъ совсѣмъ не тотъ Діонисій, который утвердилъ христіанскую религію во Франціи, что эти два Діонисія были двумя совершенно различными лицами. Аббатъ придрался къ этому замѣчанію и усмотрѣлъ въ немъ государственное преступленіе. Аббату, разумѣется, не было никакого дѣла до историческихъ доказательствъ; онъ просто хотѣлъ погубить чловека, и погубилъ-бы его навѣрное, если бы Абеляру не удалось еще разъ убѣжать во владѣнія графа Шампанскаго. Пока его разыскивали, аббатъ умеръ, а монастырскій капитулъ былъ такъ великодушенъ, что простилъ Абеляру его великое преступленіе и позволилъ несчастному грѣшнику жить, гдѣ ему заблагоразсудится. Абеляръ поселился въ одномъ уединенномъ мѣстѣ

уважаемый человек стал ходатайствовать за осужденного въ самых высших инстанциях церковной иерархии; ему удалось успокоить безтолкового, но честного Бернара, а какъ только Бернаръ помирился съ Абеяромъ, такъ и папа, не имѣвшій противъ знаменитаго преподавателя никакой личной ненависти, согласился предать все дѣло забвенію и волѣ божіей. Однако Абеяръ прожилъ не долго. Санскій соборъ происходилъ въ 1140 г., а въ 1142 г. утомленный, но непоколебимый боецъ кончилъ свою трудовую, бурную и нерадостную жизнь. Тѣло его было передано его Элизѣ и погребено въ монастырѣ Параклетѣ.

При своемъ колоссальномъ умѣ Абеяръ могъ бы дойти до степеней очень извѣстныхъ, если бы только онъ согласился насиловать естественное теченіе своихъ мыслей и пригонять ихъ искусственнымъ образомъ къ заранѣ установленному результату. Но именно этого фокуса онъ никогда не умѣлъ и не хотѣлъ дѣлать. Онъ никогда не управлялъ своей мыслью; онъ самъ, всѣмъ существомъ своимъ, отдавался ея свободному и неудержимому теченію. Въ этомъ обстоятельстве заключается тайна того обаятельнаго вліянія, которое онъ имѣлъ на своихъ многочисленныхъ слушателей. Какъ бы ни были недостаточны его фактическія знанія о природѣ и о человѣкѣ, какъ бы ни было узко его матеріальное міросозерцаніе, какъ бы ни были безплодны его усилія, — онъ все-таки былъ всегда искреннимъ мыслителемъ, неподкупнымъ и неустрашимымъ искателемъ истины. Вся его жизнь была инстинктивной, полусознательной, но всегда честной и мужественной борьбой за самостоятельность и полноправность человѣческаго мышленія. Много разъ его сшибали съ ногъ доносы, обвиненія и приговоры; всякій разъ, избитый и измученный, онъ опять поднимался на ноги и все-таки шѣлся въ путь, и все-таки шелъ дальше, совсѣмъ не по тому направленію, которое могло довести его до степеней извѣстныхъ; и шелъ, и боролся этотъ человекъ до тѣхъ поръ, пока упалъ и умеръ на дорогѣ. Такие цѣльные характеры, такіе «сердца изъ золота и стали» навсегда упрочиваются за собою глубокое и страстное уваженіе всѣхъ людей, живущихъ малѣйшее понятіемъ тою, что значитъ съ на-
слажденіемъ трудиться, страдать и бороться за любимую идею. Есть основаніе думать, что доктрины Абеяра хватали очень далеко и что въ нихъ заключались зародыши такихъ преобразованій, которыя нѣсколько столѣтій спустя дѣйствительно стали прокладывать себѣ дорогу въ церковномъ и въ общественномъ. Въ числѣ учениковъ и страстныхъ поклонниковъ Абеяра находился одинъ молодой человекъ, уроженецъ итальянскаго города Брешиа (Brescia), извѣстный въ исторіи подъ именемъ Арнольда Брешианскаго. Этотъ молодой человекъ хотѣлъ сдѣлать въ XII вѣкѣ то, о чемъ до сихъ поръ хлопочутъ ва-

прасно государственные люди западной Европы. Онъ хотѣлъ совершенно отдѣлить церковь отъ государства. «Онъ явился въ Римъ, — говоритъ Шлоссеръ, — и съ большимъ успѣхомъ сталъ проповѣдывать въ народѣ, что духовенство обязано заниматься только тѣмъ, къ чему призвано, и не должно ни принимать участія въ земныхъ дѣлахъ, ни пользоваться свѣтской властью. Арнольдъ сдѣлался совершеннымъ оракуломъ римлянъ.» Проповѣдь Арнольда началась около 1140 года. На нѣсколько времени онъ принужденъ былъ удалиться изъ Рима въ Швейцарію, но въ 1145 году онъ опять вернулся въ Римъ съ толпой прозелитовъ, прибрѣтенныхъ въ Швейцаріи, и на этотъ разъ сталъ дѣйствовать такъ успѣшно, что римляне выгнали вонъ папу Евгенія III, учредили по примѣру своихъ предковъ сенатъ и возстановили всѣ формы древней республики. Прованіе это продолжалось до 1154 года; римляне XII вѣка не были однако похожи на древнихъ республиканцевъ; они постоянно чувствовали свою слабость и постоянно искали себѣ покровительства у германскаго императора, Конрада III, къ которому они очень важно и величественно писали письма отъ имени сената и народа римскаго (Senatus populusque romanus). Любопытно замѣтить, что Конрадъ, которому по всей вѣроятности крѣпко надоѣли претензіи духовенства, питалъ грѣховное сочувствіе къ еретическимъ мыслямъ Арнольда, стоявшаго тогда во главѣ римской республики. «Онъ соглашался, — говоритъ Шлоссеръ, — что духовные не должны были ни вести войнъ, ни возбуждать кровопролитій, и что ихъ призваніе ограничивается только проповѣдями и богослуженіемъ, хотя провести эту мысль въ Германіи ему было гораздо труднѣе, чѣмъ новому римскому сенату въ Римѣ.» Однако изъ этого сочувствія Конрада ровно ничего не вышло. Конрадъ умеръ въ 1152 году; римляне призвали къ себѣ назадъ папу Андрияна IV, а въ концѣ того же самаго года преемникъ Конрада, Фридрихъ Барбаросса, вступая въ Римъ для коронованія, обѣщавъ уничтожить римскую республику, схватить Арнольда и выдать его клерикаламъ. Все это было исполнено, и папа приказалъ немедленно сжечь дерзкаго еретика.

Такимъ образомъ погибали въ средневѣковой Европѣ всѣ люди, искренно преданные благу человечества и возлагавшіе свои надежды на стойкость и благоразуміе народныхъ массъ. Массы въ то время были изъ рукъ вонъ плохи. Онѣ могли придти въ неистовый восторгъ и двигаться цѣлыми ордами въ Азію, послушавшись жалобныхъ восклицаній какого нибудь Петра Пустынника или Бернара, но спокойно и твердо стоять за сознательно понятое право онѣ были совершенно неспособны. Впрочемъ въ природѣ не пропадаетъ ни одна частица матеріи. А въ исторіи человечества ни одна мысль, ни одна попытка, ни одна неудача и ни одна ошибка

не остаются без послѣдствій. Все это западаетъ на умы людей, врѣзается и развивается въ нихъ неизгладимо и потомъ вдругъ воплощается въ новый переворотъ или въ новую бытовую формѣ.

XVI.

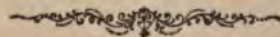
Театромъ первой серьезной борьбы между папствомъ и самостоятельнымъ человѣческимъ мышленіемъ сдѣлалась та самая земля, въ которой вліяніе магометанской Испаніи породило поэзію трубадуровъ. Южная Франція въ XII вѣкѣ была богатой, промышленной и образованной страной. Большіе города ея пользовались самоуправленіемъ и вели обширную торговлю; въ каждомъ изъ такихъ городовъ, въ Монпелье, въ Арль, въ Тулузѣ, въ Нарбоннѣ, въ Безье, находились высшія училища, въ которыхъ превосходные еврейскіе ученые съ большимъ успѣхомъ преподавали медицину, несмотря на протесты и угрозы епископовъ и монаховъ. Рыцари и благородныя дамы занимались стихоплетствомъ, оказывали покровительство странствующимъ пѣвцамъ и вообще были расположены преслѣдовать фанатической ненавистью ученыхъ еврейскихъ врачей или смотрѣть на испанскихъ арабовъ, какъ на гнусное отродье сатаны. Достаточные горожане умѣли читать и писать и обнаруживали наклонность къ умственнымъ занятіямъ. Многие изъ нихъ читали Библію и углублялись въ серьезныя размышленія о несовершенствахъ церковной іерархіи и о противорѣчіяхъ, существующихъ между образомъ жизни духовныхъ лицъ и точнымъ смысломъ евангелическаго ученія. Агенты папства ловили и сжигали тѣхъ людей, которые высказывали громко свои нескромныя замѣчанія; но всѣхъ было невозможно перехватать и зажарить. Движеніе мысли распространилось, и число еретиковъ быстро увеличилось. Они поражали римскую іерархію и серьезными аргументами, и остроумными сатирами. Они увлекали за собой дворянство и даже часть духовенства. Они говорили, что святость священника заключается не въ его званіи, а въ нравственной чистотѣ его жизни; что богатство духовенства есть слѣдствіе и источникъ многихъ злоупотребленій; что епископы не должны вмѣшиваться въ войны и участвовать въ кровопролитіяхъ. Они отрицали чистилище и продажу индульгенцій. Они требовали, чтобы священное писаніе было переведено на народный языкъ, и чтобы на этомъ же языкѣ совершалось богослуженіе. Словомъ, реформа Лютера по своей идѣе была уже готова въ XII столѣтіи. Но остальная Европа въ это время была непохожа на южную Францію, и папѣ Иннокентію III, вступившему на престолъ въ 1198 году, безъ особеннаго труда удалось двинуть цѣлую орду рыцарей, монаховъ и разбойниковъ въ завоевательныя земли провансальскихъ вольнодумцевъ. Въ 1209 году начался знаменитый крестовый походъ противъ альбигойцевъ; такъ называли еретиковъ южной Франціи по имени города Альби; крестоносцы сдѣлали свое дѣло,

какъ слѣдуетъ; богатство, промышленность, поэзія, медицина, ересь — все потонуло въ крови. Римская іерархія перепахала всю страну заново и посѣяла въ ней свое сѣмя такъ основательно, что въ настоящее время южная Франція можетъ смѣло похвастаться своимъ безукоризненнымъ клерикализмомъ, своей яростной ненавистью къ протестантамъ и своимъ глубокимъ невѣжествомъ. Во время революціи прошлаго столѣтія католическая реакція была особенно сильна въ тѣхъ самыхъ большихъ городахъ южной Франціи, въ которыхъ до крестоваго похода противъ альбигойцевъ развивалось реальное знаніе и выростала свободная мысль. — Клерикалы серьезно задумались надъ событіями XII вѣка; смѣлое философствованіе отдѣльныхъ личностей, быстрое распространеніе ересей въ народныхъ массахъ — все это было для нихъ совершенно ново. Они сообразили, что пришла пора переменить тактику: держаться чисто-отрицательныхъ мѣръ, то-есть давить безъ разбору всѣ проболевши образованія — это было очень удобно въ VI и въ VII вѣкѣ; но въ XII и въ XIII такая работа становилась уже затруднительной. Можно было задать страху еретикамъ посредствомъ поголовнаго истребленія; но часто прибѣгать къ такимъ героическимъ средствамъ и одерживать такія блестящія побѣды — было опасно: нѣтъ той системы, которая могла бы постоянно поддерживать себя конвульсивными потрясеніями. Надо было измыслить какую-нибудь машину, — такую, которая давила и извращала бы человѣческій умъ ровно, спокойно, постоянно, безъ открытой войны, безъ опустошенія цѣлыхъ областей. Машина эта дѣйствительно была изобрѣтена и пущена въ ходъ въ началѣ XIII вѣка. Она состояла изъ трехъ главныхъ частей, которыя однако были очень тѣсно связаны между собою. Во-первыхъ — нищенствующіе ордена, во-вторыхъ — церковная схоластика и въ-третьихъ — инквизиція. — Два фанатика, Францискъ и Доминикъ, основали въ началѣ XIII вѣка два монашескіе ордена, францисканцевъ и доминиканцевъ; люди, поступающіе въ эти ордена, обязывались жить милостыней, отказываться отъ всякой роскоши, ходить по городамъ и селамъ и при каждомъ удобномъ случаѣ говорить народу проповѣди на народномъ языкѣ. Посредствомъ этихъ орденовъ, разросшихся съ изумительной быстротой, римская іерархія приобрѣтала постоянное и очень сильное вліяніе на низшіе классы народа. Обязательная бѣдность францисканцевъ и доминиканцевъ зажимала ротъ тѣмъ еретикамъ, которые обращали вниманіе народа на богатство и изысканность римскаго духовенства. Къ словамъ аббатовъ или епископовъ, одѣтыхъ въ бархаты и заплявышихъ жиромъ, народъ могъ относиться съ предубѣжденіемъ; онъ могъ смотрѣть на этихъ людей, какъ на чиновниковъ, получающихъ огромное жалованье за свою службу. Но когда тѣ-же самыя мысли высказывались человѣкомъ, переноса-

щимъ добровольно всякія лишенія, тогда эти мысли должны были получить въ глазахъ массы значительный вѣсъ. Тутъ вся наружность оратора говорила ясно, что онъ ничѣмъ и ничѣмъ не можетъ быть подкупленъ. Но надо было устроить такъ, чтобы воодушевление этихъ нищихъ-ораторовъ постоянно поддерживалось и подогревалось. Кромѣ того надо было строго наблюдать за тѣмъ, чтобы они не сбивались въ сторону, чтобы они говорили дѣйствительно все то и только то, что, по соображеніямъ римской іерархіи, слѣдовало говорить. Въ противномъ случаѣ, все ихъ влияніе на простой народъ могло бы обратиться противъ папства, и, вмѣсто того чтобы быть полезнѣйшими защитниками папскихъ принциповъ, они могли сдѣлаться ихъ опаснѣйшими врагами. Чтобы застраховать нищенствующихъ монаховъ отъ ереси, римская іерархія ухитрилась направить всѣ ихъ умственные силы къ безконечнымъ діалектическимъ турпирамъ схоластическаго богословія. Вся философія и все богословіе средневѣковой Европы называется въ настоящее время схоластикой. Самое слово *схоластика* не заключаетъ въ себѣ никакого порицательнаго значенія. Оно происходитъ отъ латинскаго слова «schola» — что значитъ *школа*. Философія и богословіе тѣхъ временъ называются *школьными* по той простой причинѣ, что они господствовали въ тогдашнихъ школахъ. Но та схоластика, которую старался развивать Римъ, носитъ на себѣ совершенно особенную печать. Ея типическое свойство заключается въ томъ, что результатъ, къ которому обязанъ придти мыслитель, всегда извѣстенъ заранее. Напримѣръ Абеляръ, не имѣвшій ничего общаго съ той спеціальной схоластикой, которую взлелѣвали клерикалы, — написалъ очень неприятную для Рима книгу, подъ заглавіемъ: «Sic et non» («Да и нѣтъ»). Въ этой книгѣ онъ доказываетъ, что сочиненія многихъ церковныхъ писателей, считавшихся непогрѣшимыми, заключаютъ въ себѣ огромное количество внутреннихъ противорѣчій, что эти писатели противорѣчатъ другъ другу на каждомъ шагу, что объ одномъ и томъ же вопросѣ они говорятъ и *да*, и *нѣтъ*. Ясное дѣло, что такая книга составляетъ результатъ критическаго изслѣдованія, не направленнаго къ предвзятой цѣли. Абеляръ читалъ, изучалъ, сравнивалъ писателей, нашелъ въ нихъ непримиримыя противорѣчія и откровенно высказалъ свои умозаключенія. Настоящій схоластикъ долженъ былъ взяться за дѣло совершенно иначе. Еще не раскрывая ни одной книги, онъ уже зналъ твердо, что въ такихъ-то писателяхъ никакихъ противорѣчій быть не можетъ. Этотъ выводъ стоялъ непоколебимо, и къ нему онъ долженъ былъ непрежѣнно придти въ концѣ своего изслѣдованія. Значитъ, все дѣло его состояло въ томъ, чтобы посредствомъ диа-

лектическихъ маневровъ примирить всѣ крайности, даже и такія, которыя никакъ не могутъ примириться. Если одинъ авторитетъ говорить: «да», а другой: «нѣтъ», то схоластикъ долженъ доказать, что оба правы и что оба между собою согласны. Чтобы устроить такой фокусъ, схоластикъ, разумѣется, долженъ напустить такого тумана, который отнялъ-бы у слушателей и учителей всякую возможность понимать различіе между *да* и *нѣтъ*. Такъ схоластики и поступали дѣйствительно. У доминиканцевъ величайшимъ искусникомъ по части напусканія тумана считался Фома Аквинскій, жившій въ XIII вѣкѣ и наполнившій своими діалектическими интригами двадцать три фоліанта. У францисканцевъ нашелся свой искусникъ, Дунсъ Скотъ (то есть шотландецъ), жившій въ одно время съ Фомаю, но написавшій только двадцать фоліантовъ. Нищенствующие монахи такъ возманили своихъ мудрецовъ, что дальше ихъ уже не пошли; францисканцы называли себя *скотистами*, а доминиканцы — *фомистами*. Скотисты съ фомистами очень горячо спорили, причемъ спорящія стороны съ замѣчательнымъ искусствомъ прикидывались, будто понимаютъ другъ друга. Иногда споръ переходилъ въ драку, и тогда взаимное пониманіе становилось уже непритворнымъ. Цѣль римской іерархіи достигалась; умственные силы горячихъ фанатиковъ вертѣлись въ заколдованномъ кругу, воспалялись въ безвыходныхъ спорахъ, отвлекались отъ опаснаго вольнодумства и устремлялись противъ всѣхъ не-фомистовъ или не-скотистовъ со всей энергіей безтолково-полемическаго задора. Доминиканцы утверждали совершенно серьезно, что прочитать книги Фомы Аквинскаго, — значитъ проглотить всю человѣческую мудрость. Доминиканцы были самымъ надежнымъ воинствомъ папы, гораздо надежнѣе францисканцевъ. Поэтому папа Григорій IX поручилъ имъ хватать, судить, пытать и жечь всѣхъ еретиковъ. Инквизиція была изобрѣтена самимъ Доминикомъ, духовныя дѣти этого великаго палача сдѣлались инквизиторами.

Опираясь на нищенствующихъ монаховъ, на усовершенствованную схоластику, на шпионовъ и палачей священной инквизиціи, папство стало и бодро вступило въ борьбу съ пробуждавшимся самосознаніемъ средневѣковаго человѣка, у котораго не было никакихъ орудій, кромѣ мысли и воли. Въ XIII вѣкѣ папство, раздвинувъ альбигойцевъ, было всеильно. Долго-ли продолжалось это могущество и какими образомъ европейская мысль старалась завоевать себѣ самостоятельность, объ этомъ я поговорю довольно подробно въ отдѣльной статьѣ, подъ особымъ заглавіемъ. («Умственный переломъ въ жизни средневѣковой Европы». Томъ IV, стр. 377).



часовъ. Съ 13 рис. Ц. 30 к.
 ческая психологія. *Циена*. Переводъ под редак-
 троф. *В. Чижка*. Съ 21 рис. Ц. 75 коп.
 о небу. *К. Фламмаріона*. Перев. съ француз.
Е. Предтеченскаго. Съ 64 рис. Ц. 50 к.
 больными въ семьѣ. *Д-ра Эйлера*. Ц. 50 к.
 ѣтства. *Д-ра Перье*. Ц. 50 к.
 мелудия. Съ англійскаго. Ц. 50 к.
 нство въ природѣ. *Жоржа Дарси*. Переводъ съ
 узскаго. *Д. Голова*. Съ 102 рис. Ц. 1 р. 25 к.
 нство. Практич. настав. для народ. учителей.
Убелера. Съ 137 рис. Ц. 60 к.
 ѣ. *Д-ра Симона*. Сновидѣнія, галлюцинаціи,
 мбулизмъ, гипнотизмъ. Съ франц. Ц. 1 р.
 души. *А. Герцена*, професс. Лозанскаго уни-
 верс. Переводъ съ франц. Ц. 1 р.
 судъ. Составилъ *Графини*. Руководство къ до-
 заніямъ ремеслами. Пер. съ фр. Съ 400 рис.
 р. 50 к. Въ пап.—1 р. 75 к. Въ пер.—2 р.
 человека. *П. Мантесса*. Переводъ съ 5-го
 изданія *Д-ра Лейбенберга*. Ц. 1 р. 50 к.
 ая эпидемія. *Д-ра Реньяра*. Перев. съ франц.
Гузэ. Съ 110 рис. Ц. 1 р. 75 к.
 мій. Популярныя очерки мировѣдѣн. 6-е изд.
 гельно исправленное съ 65 рис. Ц. 30 к.
 упная астрономія. *К. Фламмаріона*. Перев. съ
 Черкасова. Съ 100 рис. 3-е изд. Ц. 80 к.
 мръ. Популярно-астрономическія бесѣды
 еченскаго. Съ мног. рис. Ц. 30 к.
 и его практическія примѣненія. Соч. *Майера* и
 а. Пер. *Д. Голова*. Съ 293 рис. Ц. 2 р. 50 к.
 скіе элементы. Соч. *Нюде*. Перев. и дополнилъ
 аова. Съ мног. рисунками. Ц. 2 р.
 скіе аккумуляторы. *Э. Ренье*. Перевелъ и до-
 ть *Д. Голова*. Съ 76 рис. Ц. 1 р. 25 к.
 нное освѣщеніе. Составилъ *В. Чиколевъ*. Съ
 ис. Ц. 2 р. 50 к.
 вентрическое освѣщеніе и уходъ за аккумуля-
 а. *Селоменса*. Съ англ. 81 рис. Ц. 1. 25 к.
 ности электр. освѣщенія. *В. Чиколева*. Ц. 25 к.
 ство и магнетизмъ. *А. Гано* и *Ж. Маневре*. Пере-
 в. *Павленкова*, *В. Черкасова* и *С. Степанова*.
 ис. Ц. 1 р. 50 к.
 а лекціи объ электричествѣ и магнетизмѣ. *О.*
юма. Съ 230 рис. Ц. 2 р.
 а приложенія электричества. *Э. Госпиталье*.
 ожествомъ рис. 2-е изд. Ц. 2 р. 50 к.
 ская передача энергіи (передача силы на раз-
 е). *Каппа*. Съ 50 рис. Ц. 1 р. 60 к.
 ство въ домашнемъ быту. *Э. Госпиталье*. Сомно-
 омъ рис. 2-е изд. Ц. 2 р.
 скіе звонки. *Боттона*. Съ свѣд. о воздуш. звон-
 114 рис. Пер. съ англ. *Голова*. Ц. 1 р.
 ль для науки *Ч. Дарвина*? Популяр. обзоръ его
 съ, состав. *Гексли*, *Гейки*, *Дайеромъ* и *Рома-*
Съ портр. *Дарвина*. Ц. 75 к.
 а жизнь животныхъ. *Эспинаса*. Перев. съ франц.
юленкова. 500 стр. 2 р. 50 к.
 физическіхъ силъ. Опытъ популярно-научной
 фій. *А. Секки*. Перев. съ франц. *Ф. Павлен-*
 2-е изд. Ц. 2 р. 50 к.
 вніианія. *Д-ра Рибо*. Съ франц. 2-е изд. Ц. 40 к.
 великихъ людей. *Жоли*. Съ франц. 3-е изд. Ц. 60 к.
 ные психопаты. *Кюллера*. Съ франц. Ц. 1 р. 50 к.
 ть и помѣшательство. *Ц. Ломброзо*. Съ портр.
 и рисунками. 2-е изд. Ц. 1 р.
 олевая настѣнная. *Иверсена*. 43 рис. Ц. 80 к.
 башня. Составилъ *Г. Тисандье*. Съ 34 рис. Ц. 50 к.
 муть. Съ 3 рис. *Барона Н. Корфа*. Ц. 10 к.
 садоводъ. Объ устройствѣ питомниковъ и обу-
 садоводству. *А. Вологовскаго*. Ц. 20 к.

Для дѣтей и юношества.

ованныя сказки *Андерсена*. Полное собраніе въ
 ихъ. Съ 530 рисунками. Перев. *В. Порозов-*
 Цѣна каждаго тома 60 коп., въ папкѣ 75 к.,
 щномъ переп., по 3 тома—2 р. 50 к.
 ованная сказочная бібліотека. *Ф. Павленкова*.
 гая съ 1894 г. Всѣхъ книжекъ будетъ отъ 150 до
 Вышло до 10 мая тридцать книжекъ, отъ
 о 30. Цѣны книжекъ отъ 5 до 20 коп.

домовъ и снѣгъ, 3) Оливьеръ и снѣгъ, 4) Большая надежда,
 5) Нашъ общій другъ, 6) Лавка древностей, 7) Крошка
 Дорритъ, 8) Тяжелыя времена, 9) Холодный домъ,
 10) Николай Никльби, 11) Два города, 12) Мартинъ
 Чезльвотъ. Цѣна каждаго ром. 40 к. Въ пап. 50 к.
 въ переплетѣ по 6 ром.—3 р. 25 к.
 Иллюстрированные романы *Вальтеръ-Скотта* въ сокращен-
 номъ переводѣ *Л. Шелуновой*. 1) Веверлей, 2) Анти-
 кварій, 3) Робъ-Рой, 4) Айвенго, 5) Астрологъ, 6) Квен-
 тинъ Дорвардъ, 7) Вудстокъ, 8) Замокъ Кенильвортъ,
 9) Ламермурская невеста, 10) Легенда о Монтрозѣ,
 11) Певериль Никъ, 12) Пресвитеріане, 13) Перстка
 красавица, 14) Аббатъ, 15) Монастырь, 16) Пиратъ,
 17) Карлъ Смѣлый, 18) Ричардъ-Львиное Сердце, 19)
 Обрученіе, 20) Черный Карликъ. Ц. кажд. ром. 40 к.,
 въ пап. 50 к., въ перепл. по 5 роман. Ц. 2 р. 80 к.
 Всякому гвоздю свое мѣсто *А. Крулова*. Съ 46 рис.
 Ц. 1 р. 25 к., въ папкѣ 1 р. 50 к., въ пер. 2 р.
 Дѣтскій маскарадъ. *Н. Азбелева*. Съ 16 рис. Ц. 20 к.
 Блуждающіе огоньки. Сборн. дѣтск. рассказовъ. *Бажинной*.
 Съ мног. рис. Ц. 1 р. Въ пап.—1р.25к. Въ пер.—1р.60к.
 Два проказника. Шуточн. разсѣ. въ стихахъ. *В. Буша*. Пер.
 съ нѣм. 100 рис. 2-е изд. Цѣна въ папкѣ 50 к.
 Русскія народныя сказки въ стихахъ. *А. Брянчанинова*. Съ
 предисловіемъ *И. С. Тургенева*. Множ. рисунковъ.
 Ц. 2 р. Въ папкѣ 2 р. 50 к., въ переплетѣ 3 р.
 Черныя богатыри. *Е. Конради*. Со множествомъ рисун-
 ковъ. Ц. 2 р., въ переплетѣ 2 р. 75 к.
 Въ добрый часъ! Сборн. дѣтск. рассказовъ. *А. Лякида*.
 Съ рис. Ц. 75 к., въ папкѣ 1 р., въ пер. 1 р. 25 к.
 Подружка. Книжка для маленькихъ дѣтей. Сост. *Бостромъ*.
 Съ 130 рис. Ц. 75 к., въ папкѣ—1р., въ перепл.—1р.30к.
 Задуманные рассказы. *П. Засодимскаго*. Два тома съ 135
 рис. Ц. кажд. 1 р. 25 к., въ папкѣ 1 р. 50 к., въ пер. 2р.
 Хорошіе люди. *В. Остроорскаго*. Съ 45 рис. 2-е изд.
 Ц. 1 р., въ папкѣ 1 р. 25 к., въ пер. 1р. 60 к.
 Изъ жизни и исторіи. *А. Арсентева*. Съ рис. Ц. въ папкѣ
 1 р. 50 к., въ перепл. 2 р.
 Послушаемъ! Дѣтскіе рассказы. *А. Нольде*. 28 рис. Цѣна
 въ папкѣ 1 р., въ перепл. 1 р. 35 к.
 Робинзонъ. Его жизнь и приключенія. *Гейбнера*. Съ 107
 рис. Ц. 30 к. Въ папкѣ 40 к., въ перепл. 60 к.
 Донъ-Нихотъ. *Сервантеса*. Сокращ. перев. для юношества.
 Съ 43 рис. Ц. 50 к., въ папкѣ—60к., въ перепл.—90 к.
 Наглядныя несообразности. (Дѣтскія задачи въ картинкахъ).
Ф. Павленкова. 10 листовъ (на каждомъ по 20 рис.).
 Ц. 1 р. «Объясненіе» къ нимъ 5 к.
 Математическія развлеченія. *Люкаса*. Переводъ съ франц.
 Съ 55 фиг. и таб. Ц. 1 р. Въ переплетѣ 1 р. 75 к.
 Тройная головоломка. *В. Обреимова*. Сборникъ геометрич.
 игръ. Съ 300 рис. и 39 кастет. Ц. 1 р.
 Образовательное путешествіе. *В. Ворисюфера*. Съ 73 рис.
 Ц. 1 р. 50 к., въ папкѣ 1 р. 75 к., въ пер. 2 р. 25 к.
 Чрезъ дебри и пустыни. *В. Ворисюфера*. Съ иллюстр.
 Ц. 2 р., въ пап. 2 р. 25 к., въ пер. 2 р. 75 к.
 Сказочная страна. *В. Ворисюфера*. Съ иллюстраціями.
 Ц. 2 р., въ папкѣ 2 р. 25 к., въ перепл. 2 р. 75 к.
 Приключенія контрабандиста. *В. Ворисюфера*. Съ иллюс.
 Ц. 1 р. 50 к., въ папкѣ 1 р. 75 к., въ перепл. 2 р. 25 к.
 Мученики науки. *Г. Тисандье*. Переводъ подъ ред. *Ф. Па-*
вленкова. Съ 55 рис. 3-е изд. Ц. 1 р. 25 к., въ пер. 2 р.
 Вечерніе досуги. *А. Крулова*. Съ 70 рис. 2 изд. Ц. 1 р.
 въ папкѣ 1 р. 25 к., въ переплетѣ 1 р. 75 к.
 Научныя развлеченія. *Г. Тисандье*. Пер. подъ ред. *Ф. Па-*
вленкова. Съ 353 рис. 3-е изд. Ц. 1р.50к., въ пер. 2р.25к.
 Сказки *Густафсона*. Съ 30 рис. Цѣна 1 р. 25 к., въ папкѣ
 1 р. 50 к., въ переплетѣ 1 р. 75 к.
 На землѣ и подъ землей. Изъ воспомин. всемірнаго путеше-
 ственника. *В. Галузьева*. Съ рисунками. Ц. 1 р.
 25 к., въ папкѣ 1 р. 50 к., въ пер. 2 р.
 До потопа. Романъ изъ жизни первобытныхъ людей.
Рони. Съ 16 рисунками. Ц. 50 к.
 Рыній графъ. Незлачливый. Дочь угольщика. *П. Засо-*
димскаго. Съ рисунками. Ц. кажд. кн. по 35 к.
 Живыя картины. *А. Смирнова*. Съ 50 рис. Ц. 1 р. 50 к.,
 въ папкѣ 1 р. 75 к., въ переплетѣ 2 р.
 Незабудни. *А. Крулова*. Сборникъ рассказовъ. Съ 50 рис.
 Ц. 1 р. 50 к., въ пап. 1 р. 75 к., въ пер. 2 р.
 Несчастливцы. *Э. Кандеза*. Съ 53 рис. Ц. 1 р. 25 к., въ
 папкѣ—1 р. 50 к., въ перепл.—2 руб.
 20 биогр. образц. русск. писателей. *В. Остроорскаго*.
 4-е изд. Съ 20 портр. Ц. 50 к., въ папкѣ 75 к., въ пер. 1 р.

Приключенія сверчка. *Э. Кандеза*. Съ 67 рис. Ц. 2 р., въ папкѣ 2 р. 25 к., въ перепл. 2 р. 50 к.
Исторія открытій Америки. *Ламе-Флери*. 3-е изд. Съ 52 рис. Ц. 75 к. въ папкѣ—1 р. въ пер.—1 р. 30 к.

Учебныя руководства и пособія.

Алгебра. *Тодтендера*. Ц. 2 р. 50 к.
Курсъ начальной механики. *Рыкачева*. 197 рис. Ц. 1 р. 50 к.
Практическая геометрія. *Заблюкаго*. Съ 300 чертеж. Ц. 60 к.
Курсъ метеорологій и климатологій. *Д. А. Лачинова*. Съ 122 рисунками и 6 картами. Ц. 2 р.
Основы химич. технологій. *Селезнева*. Съ 70 рис. Ц. 1 р. 50 к.
Полный курсъ физики. *А. Гано*. Перев. *Ф. Павленкова* и *В. Черкасова*. 8-е изд. 1363 рис., 170 задачъ, 2 табл. спектровъ, метеорологія и краткая химія. Ц. 4 р.
Учебникъ химіи. *Аммендингена*. 96 рис. и 140 задачъ. Ц. 2 р.
Общепонятная геометрія. *Потоцкаго*. 143 фиг. Ц. 40 к.
Самостоятельныя работы въ начальной школѣ. *Т. Лубенца*. 2-е дополненное изд. Ц. 15 к.
Сборникъ самостоят. упражненій по арифметикѣ. Задачникъ для учениковъ. *С. Житкова*. Ц. 25 к.
Методика ариметики. *С. Житкова*. 3-е изд. Ц. 75 к.
Сборникъ арифметическихъ задачъ съучителямъ. Приложение къ «Методикѣ арифметики». *С. Житкова*. 4-е изд. Ц. 40 к.
Начальный курсъ географіи. *Корнеля*. 11-е изданіе, съ 10-ю раскраш. картами и 82 рис. Ц. 1 р. 25 к.
Эпизодическій курсъ всеобщей исторіи. *Кузнецова*. Ц. 1 р.
Наглядная азбука. *Ф. Павленкова*. 800 рис. 13-е изд. Ц. 20 к.
Объясненіе къ «Наглядной Азбукѣ». *Ф. Павленкова*. 7-е изданіе. Ц. 15 к.
Родная азбука. *Ф. Павленкова*. 8-е изд. 200 рис. Ц. 5 к.
Руководство къ «Зернышку». *Т. Лубенца*. Ц. 50 к.
Зернышко. Первая послѣ азбуки книга для чтенія и письма съ прил. церк.-славянской грамоты и многими рис. *Т. Лубенца*. Ц. 30 к. 2-я кн. Ц. 40 к.
Азбука-копѣйка. *Ф. Павленкова*. 8-е изд., 100 рис. Ц. 1 к.
Наглядно-звуковыя прописи. *Ф. Павленкова*. 1) къ «Родному слову» Ушинскаго (400 рис.), 2) къ азбукѣ Бунакова (460 рис.), 3) къ «Первой учебной книжкѣ» Паульсона (430 рис.), 4) Общія наглядно-звуковыя прописи (въ другіхъ азбукахъ) (464 рис.). Цѣна каждой книжки 8 к.

Методика ариметики. *Т. Лубенца*. Ц. 30 к.
Руководитель для воскресныхъ школъ. *А. Н. Корфа*.
Итоги народнаго образованія въ европейскихъ государствахъ. *Барона Н. А. Корфа*. Ц. 60 к.
Нашъ другъ. Книга для чтенія въ школѣ и дома. Сост. *А. Корфа*. 15-е изд., съ 200 рис. и портретами. Начальн. рус. грамматика. *Н. Бучинскаго*. Ц. 30 к.
Иллюстрированная хрестоматія. *А. Тарнавскаго*. Для учебныхъ заведеній и младш. классовъ гимназ. 80 рис. и портретами). 4-е изд. Ц. 60 к.
Церковно-славян. бунваръ. *Т. Лубенца*. 2-е изд. Ц. 1 р.
Руководство къ «Ц.-С. бунварю». *Т. Лубенца*. Ц. 1 р.
Книга для обученія церковно-славянскому языку. *рукова*. 2-е изд. Ц. 20 к. «Защитки для обучающаго по этой книжкѣ»—10 к.
Азбука домоводства и домашней гігіены. Сост. *М. Перевелъ баронъ Н. Корфа*. Ц. 75 к.
Триста письменныхъ работъ. Задачі для упражненія писанія въ начальной школѣ. *Н. А. Корфа*.
Первоначальное правописаніе. 40 диктовокъ съ упр. грамматическихъ правилъ. *Н. А. Корфа*.
Сборникъ задачъ по русскому правописанію. *Риз* 1) Элементарныя свѣд. о право. слогѣ. Ц. 50 к.
2) Стематическія свѣд. о право. слогѣ. Ц. 50 к.
3) Тарныя свѣдѣнія о знакахъ препинанія. Ц. 50 к.
4) Систем. свѣдѣнія о знакахъ препинанія. Ц. 50 к.
Сборникъ арифметическ. задачъ. *Лубенца*. 13-е изд. зад. и 3000 чисел. прилѣтѣвъ). Ц. 40 к. Тотъ же по частямъ: Годъ I—12 к. Г. II—15 к. Г. III—18 к.
Сборникъ алгебраическихъ задачъ. *М. Савицкаго*.
Первое знакомство съ физикой. *Герасимова*. 96 рис. Дешевый географ. атласъ. 10 раскр. карт. Ц. 1 р.
Очерки новѣйшей исторіи. *Н. Н. Григоровича*. съ 57 портретами. Ц. 2 р. Въ перепл. 2 р.
Первыя понятія о зоологій. *Полъ Бери*. Перев. проф. *Н. Мечникова*. Съ 345 рис. 2-е изд. съ автор. Ц. 1 р., въ папкѣ 1 р. 20 к., въ перепл. 1 р. 50 к.
Краткій курсъ ботаники. *М. Сизова*. Съ 118 рис. Общедоступное землѣмѣріе. *А. Колмаковскаго*. рисунками въ текстѣ. Ц. 75 к.
Руководство къ рисованію акварелью. *Лакаска*. лѣтнихъ и 6 акварелей. Ц. 1 р. 50 к.

Съ осени 1890 г. *Ф. Павленковымъ* издается біографическая бібліотека подъ заглавіемъ

ЖИЗНЬ ЗАМѢЧАТЕЛЬНЫХЪ ЛЮДЕЙ.

Въ составъ ея войдутъ біографіи 200 лицъ. Каждому изъ нихъ посвящается особая книжка, объемъ 80 до 100 и болѣе страницъ, снабженная портретами. Къ біографіямъ путешествіииковъ, художниковъ, музыкантовъ прилагаются кромѣ того карты, снимки съ картинъ и ноты. Ежемѣсячно выпускается 4



Цѣна каждой книжки отдѣльно—25 коп.



До мая 1894 г. вышли отдѣльными книжками 143 біографіи слѣдующихъ лицъ:

Протопопа Авакума, *Андерсена*, *Аристотеля*, *Байрона*, *Баха*, *Беньямина*, *Бентама*, *Берне*, *Бэкона*, *Бьеллинскаго*, *Карла Бера*, *Беранже*, *Бетховена*, *Бойдана Хмельницкаго*, *Бовмачіо*, *Бомарше*, *Боткина*, *Джордано Бруно*, *Рихарда Вагнера*, *Леонардо да Винчи*, *Волкова* (основателя русск. театра), *Вольтера*, *Воронцовыхъ*, *Галлея*, *Гарвея*, *Гаррибальди*, *Гаррика*, *Гегеля*, *Гейне*, *Гете*, *Гладстона*, *Глинки*, *Говарда*, *Гоголя*, *Грибодова*, *Григорія VII*, *А. Гумбольдта*, *Гуса*, *Гутенберга*, *Гюго*, *Дарвина* и *Ніпса*, *Даламбера*, *Данте*, *Дарвина*, *Дарюмжскаго*, *кн. Дашковой*, *Демидовыхъ*, *Державина*, *Дефо*, *Джонсона*, *Диккенса*, *Достоевскаго*, *Жоржъ-Занда*, *Иванова* (художника), *Іоанна Грознаго*, *Калькина*, *Канкринна*, *Канта*, *Кантемира*, *Каразина* (основателя харьк. университета), *Карлейля*, *Кеплера*, *Ковалевской*, *Колумба*, *Конфуція*, *Кошкова*, *Коперника*, *Барона Н. А. Корфа*,

Крамскою, *Крылова*, *Кювье*, *Лапуазье*, *Лавласа*, *Лейбница*, *Лермонтова*, *Лессенса*, *Лессинга*, *Линкольна*, *Линнея*, *Лобоза*, *Локка*, *Лопатина*, *Лябелля*, *Маколея*, *Мейербергера*, *Микель-Анджело*, *Милтона*, *Мирабо*, *Милленича*, *Мольера*, *Монтана*, *Мора*, *Моцарта*, *Никитина*, *Никомеда*, *Ньютона*, *Роберта Оуэна*, *Паскаля*, *Песталоцци*, *Пирогова*, *Писарева*, *Писемскаго*, *Потемкина*, *Радзевскаго*, *Прудона*, *Пушкина*, *Рабле*, *Рафаэля*, *Сакіа-Муни* (Будды), *Салтыкова*, *Савоарова*, *Сенковскаго*, *В. Скотта*, *Адама Смита*, *Оперманна*, *Фенсона* и *Фультона*, *Струве*, *Стюарт*, *Сьенца*, *Торквемады*, *Уатта*, *Уиндскаго*, *Фарадея*, *Фрэнклина*, *Цвинглія*, *Шевченко*, *Шиллера*, *Шопена*, *Шумана*, *Щенкина*, *Эдисона* и *Морзе*, *Эліота*, *Юма*, *Ведомова*.

Приготавливаются къ печати біографіи слѣдующихъ лицъ:

Аксакова, *Александра II*, *Бальзака*, *Бисмарка*, *Бокля*, *Вашингтона*, *В. В. Верещагина*, *Вирхова*, *Гайдн*, *Гончарова*, *Граховъ*, *Грановскаго*, *Декарта*, *Дидро*, *Добролюбова*, *Екатерины II*, *Жуковскаго*, *Ибсена*, *Карамзина*, *Кетле*, *Кондорсе*, *Конта*, *Н. И. Костомарова*, *Куза*, *Лобачевскаго*, *Лютера*, *Магомета*, *Мавіавелли*, *Меншикова*, *Меттерниха*, *Мольте*, *Т. Мюнцера*, *Напо-*

леона I, *Некрасова*, *Островскаго*, *Пастера*, *Платона*, *Платона*, *Н. Полевого*, *Радищева*, *Ренана*, *Рихардо*, *Ротшильдовъ*, *Руссо*, *Сеню*, *теса*, *Скобелева*, *Сократа*, *С. Соловьева*, *Свѣтлова*, *Станкевича*, *Суворова*, *Льва Толстого*, *Успенскаго*, *Франциска-Ассизскаго*, *Фридриха II*, *Фрона*, *Чайковскаго*, *Шекспира*, *А. Н. Эммануила*.



Курсивными буквами въ обоихъ столбцахъ обозначены имена русскихъ лицъ.

СОЧИНЕНІЯ Д. И. ПИСАРЕВА.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ ВЪ ШЕСТИ ТОМАХЪ.

Съ портретомъ автора и статьей ЕВГЕНІЯ СОЛОВЬЕВА (автора біографіи Писарева).

ТОМЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.

СОДЕРЖАНІЕ ТОМОВЪ

1-й ТОМЪ. Первые литературные опыты. Несомыслима претензія. Наредина яншан. Идеализмъ Платона. Физіологическіе эскизы Молемота. Процессъ жизни (по Фелзу). Схоластика XIX вѣка. Стоячая вода. Писемскій, Тургенскій и Гончаровъ. Женскіе типы въ романахъ Писемскаго, Тургенска и Гончарова. Библиографическія свѣдѣнія. Метформизмъ.

2-й ТОМЪ. Александръ Тіановскій. Московскіе мыслители. Русскій Донъ-Кихотъ. Польскіе русскіе переводчики. Генрихъ Гейне. Пчелы. Физіологическія картины. Валдаи. Очерки изъ исторіи печати во Франціи. Зарожденіе культуры.

3-й ТОМЪ. Наша университетская наука. Историческіе миры. Цѣлы вечнаго міра. Мотивы русской драмы. Прогрессъ изъ міра животныхъ и растений. Историческое развитіе европейской мысли.

4-й ТОМЪ. Романтизмъ. Кукольная трагедія. Промѣлы извѣрной мысли. Романъ кисейной дѣвушки. Сердитое безсудіе. Прогулка по едкамъ русской словесности. Пареломъ въ усталой жизни средневѣковой Европы. Мысли Баркова о воспитаніи женщинъ. Педагогическіе софизмы. Разрушеніе эстетики. Школа и жизнь.

5-й ТОМЪ. Нуманъ и Бланкскій. Подвиги европейскіхъ авторитетовъ. Посмотримъ! Подростающая гуманность. Историческія идеи Отмара Коппа. Погибшіе и погубившіе. Популяризаторы отрицательныхъ доктринъ. Нагляды англійскихъ мыслителей на умственные потребности современнаго общества. Льюисъ и Текелъ.

6-й ТОМЪ. Очерки изъ исторіи европейскихъ народовъ. Образованіе толпа. Борьба на жизни. Романы Анри Лео. Старое барство. Французскій крестьянинъ 1789 г.— Приложеніе: Литературный процессъ во 2-му тому Сочиненій Д. И. Писарева въ 1868 году.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Обложка написана въ типографіи М. П. Соловьевъ, Садовая, № 9.

1894

Цѣна 1 рубль

ИЗДАНИЯ Ф. ПАВЛЕНКО

Литература, публицистика и законодательные.

- Литература, публицистика и законодательные.
- Литература Чирльза Диккенса Полное собрание. Цѣна каждаго тома (раннаго 75 журнальных листов) — 1 р. 0 к. — До 10 декабря 1893 г. вышли первые пять томов: 1) Давидъ Копперфильдъ, 2) Домби и сынъ, 3) Хоудини домъ. Повѣсть о двухъ городахъ, 4) Крошка Оливеръ Твистъ, 5) Нашъ общій другъ и Тяжелыя времена. 6) Записки Пиквикскаго клуба. 7) Николай Никльби. Три святочныхъ разсказа. 8-й томъ печатается.
- Сочинения Пушкина. Съ портр., биографіей и 500 письмами. Цѣна 1-го тома (раннаго 75 журнальных листов) — 1 р. 0 к. — До 10 декабря 1893 г. вышли первые пять томов: 1) Давидъ Копперфильдъ, 2) Домби и сынъ, 3) Хоудини домъ. Повѣсть о двухъ городахъ, 4) Крошка Оливеръ Твистъ, 5) Нашъ общій другъ и Тяжелыя времена. 6) Записки Пиквикскаго клуба. 7) Николай Никльби. Три святочныхъ разсказа. 8-й томъ печатается.
- Полное собр. въ 1-мъ томѣ и въ 10 томахъ. Ц. 1-го тома и 10-томнаго изд. одна и та же: безъ карт. — 1 р. 50 к. Съ 44 кар. — 2 р. 50 к. На лучшей бумажѣ — 1 р. 50 к. дорожѣ. За переплетомъ: для 1-го тома изд. — 40 к. и 1 р. для 10-томнаго (въ 5 пер.) 1 р. и 2 р.
- Сочинения Лермонтова (въ одномъ томѣ). Полное собрание всѣхъ сочиненій. Съ портретомъ, биографіей, написанной А. М. Скабичевскимъ, и 115 рисунками въ коленкоровомъ съ золотымъ тисненіемъ — 2 руб. Ц. 1 р., въ простомъ переплетѣ — 1 р. 40 к.
- Сочинения Лермонтова (въ четырехъ томкахъ). Полное собрание всѣхъ сочиненій. Съ портретомъ автора, его биографіей и 115 рисунками въ текстѣ. Цѣна за всѣ 4 тома 1 р., въ двухъ простыхъ переплеткахъ — 2 руб. 1 р. 50 к., въ двухъ роскошныхъ переплеткахъ. Съ портретомъ автора и вступительной статьей Н. Михайловскаго. Ц. 3 р., въ пер. — 4 р.
- Повѣсти и разсказы И. Н. Потапенко. Восемь томовъ. Ц. каждого — 1 р. Перепл. для 2 том. выстѣ по 75 к.
- Сочинения Глѣба Успенскаго. 3 изданія въ 2 томахъ, съ портретомъ автора и статей Н. К. Михайловскаго. Ц. за два тома — 3 р. Перепл. въ 50 к. и въ 1 р.
- Сочинения Глѣба Успенскаго. Томъ 3-й. Ц. 1 р. 50 к.
- Сочинения Г. Рѣшетинова. Въ двухъ томкахъ, съ портретомъ автора и статей М. Протопопова. Ц. за все собрание — 2 р. 50 к. Перепл. въ 50 к. и 1 р.
- Сочинения А. М. Скабичевскаго. Критическія статьи, историческія очерки, литерат. характеристики. Съ портр. автора. Ц. за все собрание въ двухъ больш. том. — 1 р. 50 к. и 1 р.
- Большой альбомъ въ "Сочиненіяхъ Пушкина". 44 иллюстрацій съ подписями, портретомъ и снимкомъ съ почерка. Цѣна въ папкѣ 1 р. 50 к.
- Малый альбомъ въ "Сочиненіяхъ Пушкина". Тѣ же иллюстраціи, но меньшаго формата. Ц. въ коленкоровомъ переплетѣ — 1 р. 25 к.
- 120 рисунковъ въ Лермонтову. Художественный альбомъ Герои и героическое въ исторіи. Томъ Карлейля. Перев. М. Е. Малышева. Ц. въ папкѣ 50 к.
- По волнамъ безконечности. Астрономическая фантазія К. Фламмаріона. Съ франц. 350 стр. 2-е изд. Ц. 80 к.
- Грядущая раса. Фантастическій романъ Э. Бульвера. Переводъ съ англійск. А. Каменскаго. Ц. 50 к.
- Исторія французской революціи. И. Карно. Переводъ съ франц. Около 400 страницъ. Ц. 1 р.
- Европейскіе монархи и ихъ дворы. Политическ. Пер. съ англ. и дополненія В. Ранцовъ. Съ 16 портр. Ц. 1 р.
- Черезъ сто лѣтъ. Соціологическій романъ Э. Беллами. 3-е изданіе, дополненное научно-предсказательнымъ очеркомъ Ринне: «Куда мы идемъ?». Ц. 1 руб.
- Въ трущобахъ Англіи. (Планъ социал. борьбы съ эконо. язвками современнаго общества) Бутса. Ц. 1 р.
- Нашъ офицерскіе суды. Ф. Павленкова. Роскошное изд. съ 188 рис. Ц. 60 к. въ пап. 75 к. въ пер. 1 р.
- Напитанская дочка. Повѣсть А. Пушкина. Роскошное изд. съ 188 рис. Ц. 60 к. въ пап. 75 к. въ пер. 1 р.
- Голодъ. Романъ К. Гамсуна. Съ норвежскаго. Ц. 60 к.
- Забора. Романъ Зудермана. Съ 14 ил. изд. Ц. 60 к.
- До потопа. Романъ изъ жизни первобытныхъ людей. Рони. Съ 16 рис. Ц. 50 к.
- Въ небесахъ (Uranie). Астрономическій романъ К. Фламмаріона. Съ 89 рис. 2-е изд. Ц. 75 к.
- Новѣйшіе русскіе писатели. Книга для домашняго чтенія. Никитина. Съ 72 портр. Ц. 3 р. въ пер. 3 р. 75 к.
- Выврожденіе. Психопатическія явленія въ области временной литературы и искусства. Макса Нордхау. Переводъ съ нѣмецкаго, подъ редакціей и съ предисловіемъ Р. Сементковскаго. Ц. 1 р. 60 к.
- Исторія культуры. Тиннерта. Перев. съ нѣмецкаго. Съ 85 рис. Ц. 1 р. 60 к.
- Матери великихъ людей. Блока. Переводъ З. Горской. Съ многими рисунками. Ц. 60 к.
- Долой оружіе! Анти-военный романъ В. Зуммера. Ц. 80 коп.
- Подъ маской благочестія. (Преступленія и оргіи пав. Романъ Э. Постери. Съ итальянскаго. Ц. 1 р.
- Тургеневъ о русскомъ народѣ. Чтеніе для народа. Съ третью И. С. Тургенева. Ц. 15 к.
- Литература и жизнь. Письма о разныхъ разностяхъ Н. К. Михайловскаго. Ц. 1 руб.
- Въ поискахъ за истинной. Макса Нордау. Перев. съ нѣмецкаго изд. Э. Зауеръ. 8-е изд. Ц. 1 р.
- Больная любовь. Гигіенич. романъ Мантессіа. Ц. 60 к.
- Роль общественнаго мнѣнія въ государственной жизни. Профес. Голцендорфа (земскаго, городского и сельскаго). С. Приклонскаго. Ц. 2 р.
- Очерки самоуправленія (земскаго, городского и сельскаго). С. Приклонскаго. Ц. 2 р.
- Борьба съ земельными хищническими элементами. И. Тимошенкова. Ц. 1 р.
- Брюхо Петербурга. Общественно-физиологическія очерки А. Вахтмарова. Ц. 1 р. 50 к.
- Бѣсѣды о законахъ и порядкахъ. С. Горьскаго, под. Я. Абрамова. Цѣна 15 к.
- Законы о гражданскихъ договорахъ, общепонятныя женные и объясненіе. Составилъ В. Фармацковъ. Цѣна 1 р. 25 к.
- Изданіе 4-е. Цѣна 1 р. 25 к.
- Исторія книги на Руси. А. Вахтмарова. Съ многими рисунками въ текстѣ. Ц. 1 р. 50 к.
- Русскіе фланеры въ Парижѣ. Потова. 2-е изд. Ц. 1 р. 50 к.
- По градамъ и веснямъ. Романъ изъ исторіи нашего времени Володина (Засодимскаго). Ц. 1 р. 50 к.
- Обломки разбитаго корабля. Сцены у мировыхъ судовъ Составилъ В. Никитина. Ц. 1 р.

Популярно-научныя книги.

- Наука о жизни. Популярная физиологія человѣка. Я. М. Ковча. Съ 91 рис. Ц. 1 р.
- Преступная толпа. Опытъ коллективной психологіи. С. Сигеле. 116 стр. Ц. 30 к.
- Пессимизмъ. Сочиненіе Джемса Селли. Популярный сборъ всѣхъ пессимистическихъ ученій. Пер. съ англ. ского подъ редакціей В. Яковенко. Цѣна 1 р. 50 к.
- Философія Герберта Спенсера, въ сокращ. изложеніи. Ц. 1 р. 50 к.
- Законъ подражанія. Тарда. Пер. съ фр. Ц. 1 р. 50 к.
- Домашній определитель подѣловъ. А. Альмедина. Ц. 2-я. Ц. 50 к.
- На всякій случай! Научно-практическіе совѣты для хозяевамъ. А. Альмедина. Ц. 2-я. Ц. 50 к.
- Гигіена женщины. Д-ра М. Тило. Ц. 40 к.
- Гигіена семьи. Гебера. Переводъ съ нѣм. Ц. 50 к.
- Берегите легкія! Гигіеническія бѣсѣды д-ра И. С. Съ 30 рисунками. Цѣна 75 к.
- Уходъ за больными дѣтьми. Д-ра Э. Перье. Пер. съ фр. Ц. 50 к.
- Сохраненіе здоровья. Общая гігіена въ приж. жизни. Д-ра Эйдама. Съ 7 рис. Ц. 40 к.
- Дѣтскій докторъ. Популярное руководство для родителей и воспитателей. Д-ра Варіо. Перев. съ фр. редакціей проф. Пономарева. Со мног. рис. Ц. 1 р. 50 к.
- Бактеріи и ихъ роль въ жизни человѣка. Д-ра Г. Далле. Переводъ съ нѣм. Ц. 35 к.
- Предсказаніе погоды. Г. Далле. Переводъ съ фр. Ц. 1 р. 25 к.
- Съ 40 рисун. Цѣна 1 р. 25 к.
- Дарвинизмъ. Э. Ферьера. Переводъ съ фр. Ц. 60 к.
- Ноево изложеніе ученія Дарвина. Ц. 60 к.
- Жизнь на Сѣверѣ Югѣ (отъ полюса до экватора). Дополн. к. его сочин. «Жизнь животных». Составилъ М. Эммануэль. Съ 84 рис. Ц. 1 р. 50 к.
- Первобытныя люди. Дебера. Перев. съ фр. Ц. 1 р. 50 к.
- Фабричная гігіена. Селтскаго. Съ 153 рис. Ц. 1 р. 50 к.
- Усталость. Популярно-научныя бѣсѣды М. Макасскаго. Съ 30 рис. Ц. 1 р. 50 к.

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ
ВЪ ШЕСТИ ТОМАХЪ.

ТОМЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.

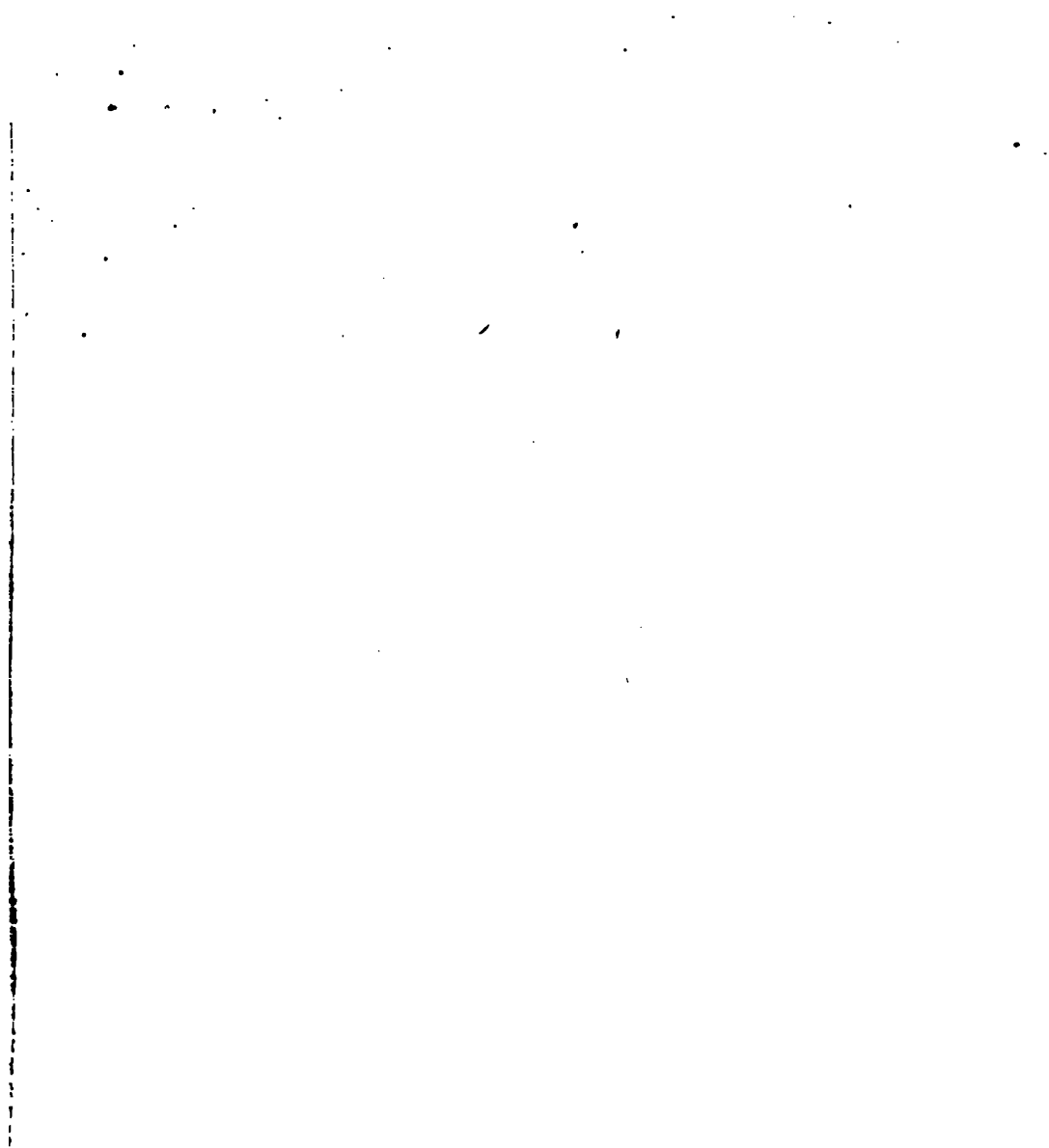
Цѣна каждаго тома 1 рубль.

Портретъ автора и статья о его литературной дѣятельности
помѣщены при шестомъ томѣ.

Изданіе Ф. Павленкова.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія В. Г. Аветенко. Тропиккая ул., д. № 22.
1894.



ОГЛАВЛЕНІЕ

ЧЕТВЕРТАГО ТОМА.

1864 г.

	стр.
1) Реалисты	1
2) Кукольная трагедія съ букетомъ гражданской скорби .	147
3) Промахи незрѣлой мысли.	197

1865 г.

4) Романъ кисейной дѣвушки	247
5) Сердитое безсиліе	281
6) Прогулка по садамъ Россійской словесности	317
7) Переломъ въ умственной жизни средневѣковой Европы.	377
8) Мысли Вирхова о воспитаніи женщинъ	445
9) Педагогическіе софизмы	461
10) Разрушеніе эстетики	497
11) Школа и жизнь	515

1864.

РЕАЛИСТЫ *).

(Посвящается моему лучшему другу — моей матери
В. Д. Писаревой.)

I.

Мнѣ кажется, что въ русскомъ обществѣ начинаетъ вырабатываться въ настоящее время совершенно самостоятельное направленіе мысли. Не думаю, чтобы это направленіе было совершенно ново и вполне оригинально: оно непременно обуславливается тѣмъ, что было до него, тѣмъ, что его окружаетъ; оно неслучайно существуетъ съ различныхъ сторонъ то, что составляетъ его потребности; въ этомъ отношеніи оно, разумѣется, подходитъ вполне къ тому общій естественный законъ, что въ природѣ ничто не возникаетъ изъ ничего. Но самостоятельность этого возникающаго направленія заключается въ томъ, что оно находится въ самой неразрывной связи съ дѣйствительными потребностями нашего общества. Это направленіе создано этими потребностями и, только благодаря имъ, существуетъ и понемногу развивается. Когда наши дѣдушки забавлялись маршизмомъ, масонствомъ или волтерьянствомъ, когда наши папеньки утѣшались романтизмомъ, байронизмомъ или гегелизмомъ, тогда они были похожи на очень юныхъ гимназистовъ, которые, что-бы то ни стало, стараются себя увѣрить, что чувствуютъ неодолимую потребность затыкаться послѣ объѣдабрянкой папироской. У юныхъ гимназистовъ существуетъ на самомъ дѣлѣ потребность казаться взрослыми людьми, и эта потребность вполне естественна и законна, но все-таки самый процессъ куренія не имѣетъ ни ма-

лѣйшей связи съ дѣйствительными требованіями ихъ организма. Такъ было и съ нашими ближайшими предками. Имъ было очень скучно, и у нихъ существовала дѣйствительная потребность занять мозги какими-нибудь размышленіями, но почему выписывался изъ за-границы мартинизмъ, или байронизмъ, или гегелизмъ — на этотъ вопросъ не ищите отвѣта въ органическихъ потребностяхъ русскихъ людей. Всѣ эти *измы* выписывались единственно потому, что они были въ ходу у европейцевъ, и всѣ они не имѣли ни малѣйшаго отношенія къ тому, что происходило въ нашихъ обществахъ. Теперь по-видимому дѣло пошло иначе. Мы теперь выписываемъ больше, чѣмъ когда-бы то ни было; мы переводимъ столько книгъ, сколько не переводили никогда; но мы теперь знаемъ, что дѣлаемъ, и можемъ дать себѣ отчетъ, почему мы беремъ именно это, а не другое.

Послѣ окончанія крымской войны родилась и быстро выросла наша обличительная литература. Она была очень слаба и ничтожна, и даже очень близорука, но ея рожденіе было явленіемъ совершенно естественнымъ и вполне органическимъ. Ударъ вызвалъ ощущеніе боли, и вслѣдъ за тѣмъ явилось желаніе отдѣлаться отъ этой боли. Обличеніе направилось конечно на тѣ стороны нашей жизни, которые всѣмъ мозолили глаза, и между прочимъ наше негодованіе обрушилось на мелкое чиновничество; но такіе обличительные подвиги конечно не могли насъ удовлетворить, и мы скоро поняли, что они во-первыхъ безплодны, а во-вторыхъ несправедливы и даже бессмысленны. Прежде всего явилось въ отпоръ обличительному бѣшенству то простое соображеніе, что мелкому чиновнику хочется ѣсть, и что за это естественное желаніе не совѣсть основательно считать его извергомъ рода человеческого. — Это точно. Пусть ѣдятъ мел-

*) Хотя настоящая статья, написанная Д. И. Писаревымъ въ концѣ 1864 года, носила заглавіе «Реалисты», но почему-то ей дали названіе «Нештанный вопросъ», подъ которымъ она ислыла на себѣ, по словамъ Писарева, нѣчто вродѣ ологическаго переворота. Большая часть измѣній восстановлены при жизни Писарева, въ 1866 г.

кіе чиновники. Значить, надо увеличить оклады жалованья, заговорили тѣ мыслители, которые любятъ находить въ одну минуту универсальныя лекарства для всякихъ неудобствъ частной и общественной жизни. — Это само собою, отвѣчали другіе; но этого мало. Когда чиновникъ будетъ обеспеченъ, тогда онъ станется за роскошью. Надо сдѣлать такъ, чтобы онъ не тянулся. — Ну да, конечно, заговорили опять любители универсальныхъ лекарствъ. Дать чиновнику твердыя нравственные убѣждения. Дать ему солидное образованіе. Пускай кандидаты университета идутъ въ квартальные и въ станочные. — И это хорошо, замѣтили другіе. Образованіе — дѣло превосходное, но у каждаго чиновника есть семейство или кружокъ близкихъ знакомыхъ. Каждый чиновникъ, получившій солидное образованіе, прямо съ университетской скамейки входитъ въ одинъ изъ такихъ кружковъ и проводитъ всю свою жизнь въ одномъ кружкѣ, или въ нѣсколькихъ кружкахъ, которые впрочемъ все похожи другъ на друга. Преданія университетской скамейки говорятъ ему одно, а вліяніе жены, сестеръ, матери, отца и тотъ безконечный гуль и говоръ, который все-таки, какъ ни вертись, составляетъ общественное мнѣніе, — говорятъ совершенно другое. Преданія и воспоминанія всегда бываютъ слабѣ живыхъ впечатлѣній, повторяющихся каждый день, и выходятъ изъ этого тотъ результатъ, что чиновникъ начинаетъ тянуться за роскошью, хотя и знаетъ, что тянуться за нею дозволенными средствами невозможно, а недозволенными негодится. Значить какъ же? — Ахъ, чортъ побери, думаютъ любители универсальныхъ лекарствъ, подобные Каткову, Павлову, Громекъ и К°. Въ самомъ дѣлѣ, какъ же? Шутка сказать. Вѣдь это надо реформировать среду. — Впрочемъ раздумье этихъ мыслителей продолжается недолго, и они непремѣнно что-нибудь придумываютъ или по крайней мѣрѣ о чемъ-нибудь начинаютъ говорить: ну да, реформировать; ну да, обновить. Ну да, распространить грамотность, устроить сельскія школы, завести женскія гимназіи, проложить желѣзныя дороги, открыть земскіе банки и т. д. — Но мы видѣли и до сихъ поръ видимъ передъ собою два громадные факта, изъ которыхъ вытекаютъ все наши отдѣльныя неспрiятности и огорченія. Во-первыхъ, мы бѣдны, а во-вторыхъ — глупы. Эти слова нуждаются конечно въ дальнѣйшихъ поясненіяхъ. *Мы бѣдны*, — это значитъ, что у насъ, сравнительно съ общимъ числомъ жителей, мало хлѣба, мало мяса, мало сукна, мало полотна, мало платья, обуви, бѣлья, человѣческихъ жилищъ, удобной мебели, хорошихъ земледѣльческихъ орудій, словомъ — всего продуктовъ труда, необходимыхъ для поддержанія жизни и для продолженія производительной дѣятельности. *Мы глупы*, — это значитъ, что огром-

ное большинство нашихъ мозговъ находится въ полномъ бездѣйствіи, и что можетъ одна десятитысячная часть наличныхъ же работаетъ кое-какъ и вырабатываетъ въ двадцать разъ меньше дѣльныхъ мыслей, сколько она могла-бы выработать при полной и нисколько не изнурительной дѣятельности. Обижаться тутъ конечно нечѣмъ; когда вѣкъ спать, онъ не можетъ работать, а когда Иванъ Сидоровичъ ремизитъ Степанъ Ивановичъ за зеленымъ сукномъ, онъ не можетъ работать умомъ. Словомъ, только тѣ работаютъ, кто, по своему теперешнему женію, не въ состояніи работать. Кто можетъ работать, но кое-какъ, потому что поность на эту работу слаба, и потому страстный актеръ будетъ холоденъ и вялъ, когда ему придется играть передъ пустымъ театромъ. Само собою разумѣется, что наша общественная бѣдность не составляетъ неизлечимой болѣзни. Мы — не діоты и не обезьяны по сложенію, но мы — люди кавказской расы, сильные сиднемъ, подобно нашему мялomu Ильичу, и наконецъ ослабившіе свой организмъ этимъ продолжительнымъ и вреднымъ бездѣйствіемъ. Надо его зашевелить, и онъ очень скоро войдетъ въ свою настоящую силу. Конечно надо, но вѣдь вотъ въ чемъ бѣда бѣдны, потому что глупы, и мы глупы, и что бѣдны. Змѣя кусаетъ свой хвостъ и изжигаетъ собою эмблему вѣчности, изъ которой выхода. Шарль Фурье говоритъ совершенно вѣжливо, что главная сила всѣхъ бѣдъ временной цивилизаціи заключается въ проклятомъ *cercle vicieux*. Чтобы разбогатѣть, надо, хоть немного, улучшить допотопныяобыи нашего земледѣльческаго, фабричнаго, ремесленного производства, то-есть надо измѣнить; а поумиѣть некогда, потому что окружающая бѣдность не даетъ вздохнуть. Вотъ ты вертись, какъ знаешь. Есть однако возможность пробить этотъ заколдованный кругъ двухъ мѣстахъ. Во-первыхъ, извѣстно, что значительная часть продуктовъ труда переходитъ изъ рукъ рабочаго населенія въ руки непродвижныхъ потребителей. Увеличить количество продуктовъ, остающихся въ рукахъ производителя, значить уменьшить его нищету и дать средства къ дальнѣйшему развитію. Къ дѣлу были направлены законодательныя распоряженія правительства по крестьянскому просу. Въ этомъ мѣстѣ заколдованный кругъ можетъ быть пробитъ только дѣйствіемъ законодательной власти, и поэтому мы объ этой стѣнѣ распространяться не будемъ. — Во-вторыхъ, можно дѣйствовать на непродвижныхъ потребителей, но конечно надо дѣйствовать не моральной болятовней, а живыми средствами, и поэтому надо обращаться только къ потребителямъ, которые желаютъ взяться

и увлекательный трудъ, но не знаютъ, приступить къ дѣлу и къ чему приспособить свои силы. Тѣ люди, которые, по своему мнѣнью, могутъ и, по своему личному характеру, должны расходовать свои силы съ крайней осмотрительностью; то-есть, они должны браться за тѣ работы, которыя могутъ принести имъ дѣйствительную пользу.—Такая экономическая сила необходима вездѣ и потому что человѣчество еще нигдѣ и нисколько не было настолько богато дѣятельными силами, чтобы позволять себѣ вѣнчаніи этихъ силъ малѣйшую расточительность. Между тѣмъ расточительность всегда и была страшная, и оттого результаты дѣла получались самые жалкіе. У насъ расточительность также очень велика, хотя и тѣмъ намъ нечего. У насъ до сихъ поръ какой-нибудь двугривенный умственика, но мы, по нашему извѣстному мнѣнію, и этотъ несчастный двугривенный стажемъ и расходуетъ безобразно. Намъ экономія еще необходимѣе, чѣмъ другимъ образованнымъ народамъ, что мы въ сравненіи съ ними—нищѣ. Обыкновенно такую экономію, надо всего, уяснить себѣ до послѣдней степени, что полезно обществу и что безполезно. Вотъ тутъ-то, надъ этимъ уясненіемъ и работаетъ литература. Мнѣ кажется, мы начинаемъ чувствовать необходимость такой экономіи и стремимся уяснить себѣ истинную пользу или выгоду. Въ этомъ направленіи то самостоятельное направленіе, которое, по моему мнѣнію, вырабатывается въ современномъ русскомъ обществѣ. Если направленіе развивается, то заколдованный будетъ пробить. Экономія умственныхъ силъ, увеличеніе нашего умственного капитала, а увеличенный капиталъ, приложенный къ своему производству, увеличитъ количество мяса, одежды, обуви, орудій и всѣхъ материальныхъ продуктовъ труда. Нужно развивать это направленіе и про- сѣять этой стороны заколдованный кругъ. Цѣлкомъ на нашей литературѣ, потому что этой сферѣ литература можетъ дѣйствовать самостоятельно.

II.

Экономія умственныхъ силъ есть не что иное, какъ упорный и послѣдовательный реализмъ. «При- не храмъ, а мастерская,—говоритъ Базаръ—и человѣкъ въ ней работникъ». Рахметовъ не только съ тѣми людьми, съ которыми ему приходится видѣться; онъ читаетъ только тѣ книги, а ему «нужно» прочесть; онъ даже ѣстъ ту пищу, которую ему «нужно» ѣсть, чтобы поддерживать въ себѣ физиче-

скую силу; а поддерживаетъ онъ эту силу также потому, что это кажется ему «нужнымъ», то-есть потому, что это находится въ связи съ общей цѣлью его жизни. Особенность Рахметова состоитъ исключительно въ томъ, что онъ мѣняе другихъ честныхъ и умныхъ людей нуждается въ отдыхѣ; можно сказать, что онъ отдыхаетъ только тогда, когда спитъ. Вся остальная часть его жизни проходитъ за работой, и вся эта работа клонится только къ одной цѣли: уменьшить массу человѣческихъ страданій и увеличить массу человѣческихъ наслажденій. Къ этой цѣли клонились всегда, сознательно и безсознательно, прямо или косвенно, всѣ усилія всѣхъ умныхъ и честныхъ людей, всѣхъ мыслителей и изобрѣтателей. Чѣмъ сознательнѣе и прямѣе дѣятельность человѣка направлялась къ этой цѣли, тѣмъ значительнѣе была масса принесенной имъ пользы; но къ сожалѣнію нервная система человѣка такъ устроена, что она не можетъ долго сосредоточивать свои силы на одной точкѣ. Если мы захотимъ долго держать руку или ногу въ одномъ и томъ-же положеніи, то мы почувствуемъ въ этой ногѣ или рукѣ утомленіе и наконецъ настоящую боль. Если мы будемъ долго смотрѣть на одинъ предметъ, то у насъ зарябитъ въ глазахъ. Если мы будемъ долго вдумываться въ одну и ту-же мысль, то умъ нашъ на нѣсколько времени откажется работать. Если мы будемъ проводить эту мысль во всѣ наши поступки, то наконецъ эта мысль начнетъ насъ тяготить, и мы почувствуемъ непреодолимую потребность отложить ее на время всторону и пожить хоть нѣсколько часовъ безцѣльной жизнью. У Рахметова эта потребность возникаетъ очень рѣдко, и поэтому онъ стоитъ выше обыкновенныхъ людей, то-есть, можетъ втеченіи своей жизни сдѣлать больше работы; а всякій согласится, что мы можемъ мѣрять умственные силы людей только количествомъ сдѣланной ими полезной работы. Рахметовъ можетъ обходиться безъ того, что называется личнымъ счастьемъ; ему нѣтъ надобности освѣжать свои силы любовью женщины, или хорошей музыкой, или смотрѣніемъ шекспировской драмы, или просто веселымъ обѣдомъ съ добрыми друзьями. У него есть только одна слабость: хорошая сигара, безъ которой онъ не можетъ вполне успѣшно размышлять. Но и это наслажденіе служитъ ему только средствомъ: онъ куритъ не потому, что это доставляетъ ему удовольствіе, а потому, что куреніе возбуждаетъ его мозговую дѣятельность. Еслибы онъ не замѣчалъ въ этомъ куреніи осязательной пользы, онъ-бы отъ него отказался, не ради идеальнаго совершенства, а ради того, что не слѣдуетъ отвлекаться отъ настоящей цѣли. Ставить такого титана въ примѣръ читателю совершенно бесполезно. Это все равно, что совѣтовать читателю связать желѣзную кочергу въ узелъ или

открыть какой-нибудь мировой законъ, вроде ньютоновскаго тяготѣнія или дарвиновской теоріи естественнаго выбора. Мы—люди обыкновенные, и еслибы мы захотѣли выбросить изъ нашей жизни отдыхъ и чисто-личное наслажденіе, то мы сдѣлали-бы себя мучениками и кромѣ того повредили-бы даже общему дѣлу; мы-бы надорвались, мы-бы отняли у себя возможность принести ту малую долю пользы, которая соотвѣтствуетъ размѣрамъ нашихъ силъ; поэтому намъ не слѣдуетъ надуваться, потому что до вола мы все-таки не доростемъ, а если лопнемъ, то вмѣсто экономіи окажется чистый убытокъ. Когда вы отдыхаете и наслаждаетесь, тогда никто не имѣетъ права посылать васъ на работу; общее дѣло человечества подвигается впередъ не барщинной работой, и сгонять на этотъ трудъ лѣнливыхъ или утомленныхъ людей значитъ изображать суетливую муху, помогавшую лошадямъ вытаскивать въ гору тяжелый рыдванъ. Но когда вы, отдохнувши и насладившись вдоволь, сами, по собственному хотѣ, принимаетесь за работу, тогда общество, въ лицѣ каждаго изъ своихъ членовъ, тотчасъ получаетъ надъ вами право контроля и критики; оно произноситъ свой приговоръ надъ вашей дѣятельностью, и имѣетъ полное право выражать свое желаніе, чтобы тѣ силы, которыя добровольно отдаются на общепольное дѣло, дѣйствительно тратились тамъ, гдѣ онѣ необходимы. Когда вы отдыхаете, вы принадлежите самому себѣ; когда вы работаете, вы принадлежите обществу. Если-же вы никогда не хотите принадлежать обществу, если ваша работа не имѣетъ никакого значенія для него, тогда вы можете быть вполне увѣрены, что вы совсѣмъ никогда не работаете, и что вы проводите всю вашу жизнь подобно мотыльку, порхающему съ цвѣтка на цвѣтокъ. Мартышкинъ трудъ не есть работа. Если такой мартышкинъ трудъ производится вполне сознательно, то-есть, если трудящаяся личность сама понимаетъ свою бесполезность и сама говоритъ себѣ и другимъ: я трутень и хочу быть трутнемъ, потому что это мнѣ пріятно, тогда, разумѣется, не о чемъ и толковать, потому что неизлечимые больные не нуждаются ни въ дружескихъ совѣтахъ, ни въ медицинской помощи. Но можно сказать навѣрное, что большая часть мартышкина труда производится въ каждомъ человѣческомъ обществѣ по чистому недоразумѣнію. Трудящаяся личность въ большей части случаевъ добросовѣстно и искренно убѣждена въ томъ, что она трудится для человечества и для общества; это обаятельное убѣжденіе придаетъ ей бодрость и вдохновляетъ ее во время труда; если вы поколебаете въ ней это убѣжденіе, у нея опустятся руки, и для нея настанетъ очень тяжелая минута разочарованія и унынія; но за этой минутой явится сильное стремленіе къ настоящей

пользѣ и крутой поворотъ къ какой-нибудь дѣятельности, достойной мыслящаго вѣка и добросовѣстнаго гражданина. Вѣтъ получится такимъ образомъ экономическихъ силъ, и эта экономія будетъ болѣе значительна, чѣмъ это можетъ показать читателю съ перваго взгляда. Каждая дѣйствуетъ болѣе или менѣе на все, что жаждетъ; поворотъ къ реализму, происходящий отъ одной личности, даетъ себѣ чувствовать другимъ, и та-же самая особа, которая обращенія могла своимъ примѣромъ и совѣтами сбить съ толку двухъ или трехъ молодыхъ людей, будетъ послѣ своего обдумыванія дѣйствовать на этихъ-же молодыхъ людьми благотворнымъ образомъ, каковыя бы грѣшники не могли дѣйствовать вѣка, порывающагося согрѣшить и, убѣжденнаго въ похвальности грѣха. И я думаю, что наша литература могла принести очень много пользы, еслибы она такъ подымала и основательно разоблачала нѣжныя проявленія мартышкина труда, стесняющаго въ нашемъ обществѣ и огорчающаго нашу умственную жизнь. Кое-что въ направленіи уже сдѣлано; но вся задача, своей цѣлостію, чрезвычайно обширна, ея стороны совсѣмъ не затронуты, и въ ней пройдетъ еще много лѣтъ и потратится усиленнаго труда, прежде чѣмъ общество ясно сознаетъ свою собственную ошибку. Пока не наступитъ это блаженное время здраваго благоразумія, литература должна постоянно держать ухо востро и выводить изъ жужжащей воды мартышкинъ трудъ, надѣвая на себя самыя разнообразныя личины и ежесекундно сбивающій съ толку самыхъ добросовѣстныхъ людей, очень неглупыхъ и вполне способныхъ горячо полюбить полезную работу.

III.

Нашихъ реалистовъ упрекаютъ давно, и сильно въ томъ, что они не понимаютъ и не уважаютъ искусства. Упрекъ въ не пониманіи несправедливъ; а что они не уважаютъ искусства—это вѣрно. Наши реалисты, какъ молодые и не вполне установившіеся, до сихъ поръ еще не опредѣлили съ достаточностью свои отношенія къ искусству. Такое направленіе нашей литературы вообще приходится теперь въ переходной порѣ: оно стало быть смутнымъ инстинктомъ, но не лалось еще строгимъ и отчетливо-сознаннымъ убѣжденіемъ. Многіе упреки притомъ стороны застанутъ нашихъ реалистовъ плохъ. Когда противники представляютъ крайніе выводы, составляющіе естественный логическій результатъ ихъ собственныхъ заблужденій, тогда наши реалисты часто конфузятся и дѣлаютъ шагъ назадъ и стараются оправдать

Само собою разумѣется, что такіа колебанія вредятъ реальному направленію литературы, ободраютъ его противниковъ и даютъ имъ поводъ говорить поучительнымъ и покровительственнымъ тономъ разныя «жалкія слова» на ту печальную тему, что «молодо-зелено», и что всѣ нападки мальчишекъ на искусство и на науку происходятъ только отъ нежеланія учиться и отъ ребяческой наклонности ко всякому озорству. Всѣ уступки реалистовъ обращаются таиннымъ образомъ не только противъ ихъ общаго дѣла, но даже противъ ихъ отдѣльныхъ личностей. Эти уступки и колебанія безусловно вредны; но они въ то-же время могутъ служить намъ превосходнымъ доказательствомъ той истины, что нашъ теперешній литературный реализмъ не выписанъ изъ за-границы въ готовомъ видѣ, а формируется у насъ дома. У насъ нѣтъ готовой системы, изъ которой мы могли-бы брать для нашей защиты сильныя аргументы, придуманные какимъ-нибудь заграничнымъ учителемъ; мы въ этомъ отношеніи не похожи на германцевъ прошлаго поколѣнія; намъ приходится готовить каждый аргументъ своими домашними средствами; оттого дѣло идетъ у насъ не очень прытко, оттого мы иногда паячимся и проливаемся, но это еще ничего не значитъ. Но конфузиться все-таки не годится, а уже сдѣланные ошибки въ подобномъ родѣ сдѣдуетъ исправлять для того, чтобы на будущее время обнаруживать, при столкновеніяхъ съ литературными противниками, больше достоинства, стойкости и сознательности. Года два тому назадъ наши литературные реалисты сильно опростоволосились, и этотъ случай такъ интересенъ и поучителенъ, что о немъ стоитъ поговорить подробно, для того чтобы опредѣлить разумныя отношенія настоящаго литературнаго реализма къ вопросу объ искусствѣ.

Дѣйствіе происходитъ въ 1862 году. Въ февральской книжкѣ «Русскаго Вѣстника» появляется романъ Тургенева: «Отцы и Дѣти». Романъ этотъ очевидно составляетъ вопросъ и вызовъ, обращенный къ молодому поколѣнію старшей частью общества. Одинъ изъ лучшихъ людей старшаго поколѣнія, Тургеневъ, писатель честный, написавшій и напечатавшій «Записки Охотника» задолго до уничтоженія крѣпостного права, Тургеневъ, говорю я, обращается къ молодому поколѣнію и громко предлагаетъ ему вопросъ: «Что вы за люди? Я васъ не понимаю, я вамъ не могу и не умѣю сочувствовать. Вотъ что я успѣлъ подмѣтить. Объясните мнѣ это явленіе». Таковъ настоящій смыслъ романа. Этотъ откровенный и честный вопросъ пришелся какъ нельзя болѣе во-время. Его предлагала имѣстѣ съ Тургеневымъ вся старшая половина читающей Россіи. Этотъ вызовъ на объясненіе невозможно было отвергнуть. Отвѣчать на него литературѣ было необходимо. — Это было-бы

превосходно, еслибы каждая идея, проводимая мыслящими людьми, проникала въ общество, перерабатывалась въ немъ и потомъ возвращалась-бы назадъ къ литераторамъ въ отраженномъ видѣ для повѣрки и поправки. Тогда умственная работа закипѣла-бы очень быстро, и всякія недоразумѣнія между литературой и обществомъ оканчивались-бы вполне удовлетворительными объясненіями. Дурна или хороша была тенденція тургеневскаго романа — это все равно; для литературныхъ реалистовъ этотъ романъ былъ во всякомъ случаѣ драгоценнымъ извѣстіемъ о судьбѣ ихъ идеи, и еще болѣе драгоценнымъ поводомъ къ обстоятельному объясненію съ читающей публикой. Но надо было именно говорить со всѣмъ русскимъ обществомъ, а не съ личностью Тургенева и ужъ во всякомъ случаѣ не съ литературной партіей «Русскаго Вѣстника». Надо было совершенно отодвинуть въ сторону оцѣнку романа и сосредоточиться на разборѣ базаровскихъ идей даже въ томъ случаѣ, еслибы самъ Базаровъ былъ карикатурой. Но «Современникъ» поступилъ какъ разъ наоборотъ. Совершенно измѣняя добролюбовскимъ преданіямъ, онъ далъ своимъ читателямъ чисто эстетическую рецензію. Антоновичъ употребилъ всѣ силы своей діалектики на то, чтобы доказать, что романъ Тургенева плохъ, хотя публикѣ не было никакого дѣла ни до Тургенева, ни до его романа. Она хотѣла знать, что такое Базаровъ, и этотъ вопросъ имѣлъ для нея самое жизненное значеніе, потому что большая часть матерей, отцовъ и сестеръ видѣли въ своихъ дѣтяхъ и братьяхъ частицы или зародыши тѣхъ типическихъ особенностей, которыя сосредоточились и воплотились съ полной силой въ фигурѣ тургеневскаго нигилиста. «Если Базаровъ — карикатура, — разсуждала публика, — то объясните и представьте намъ въ настоящемъ свѣтѣ то явленіе жизни, которое вызвало эту карикатуру, и покажите намъ еще разъ ту идею, которая породила это явленіе. Если Базаровъ — живой человекъ, то растолкуйте намъ его, мы не понимаемъ, онъ насъ пугаетъ, и пугаетъ именно потому, что мы видимъ что-то непонятное и базаровское въ чертахъ характера многихъ изъ тѣхъ людей, которыхъ мы любимъ, отъ которыхъ намъ больно отрываться и съ которыми мы не умѣемъ свыкнуться». Но этотъ животрепещущій вопросъ, поставленный жизнью, не дошелъ до слуха критика, углубившагося въ проведеніе остроумной параллели между Тургеневымъ и Викторомъ Ипатьевичемъ Аскоценскимъ. Критикъ «Современника» не хотѣлъ объяснить публикѣ и даже самому молодому поколѣнію, какой смыслъ заключается для него въ Базаровѣ, изъ какой общей идеи выходить тенденція его. Задача дѣйствительно была очень обширная, и для удовлетворительнаго ея разрѣшенія требовалось очень много ос-

торожности, хладнокровия и технической ловкости; надо было отказаться от всяких стремлений къ наосу и къ полемической декламации. Надо было уяснить себѣ свою собственную мысль во всѣхъ ея мельчайшихъ подробностяхъ и затѣмъ изложить ее въ полной ясности самыми холодными, безстрастными и пожалуй даже безцвѣтными словами. Но критикъ написалъ статью чрезвычайно рѣзкую, напалъ на Тургенева съ неслыханнымъ ожесточеніемъ, уличилъ его въ такихъ мысляхъ и стремленійхъ, о которыхъ Тургеневъ никогда и не думалъ, выдержалъ самую упорную борьбу съ несуществующими заблужденіями автора и затѣмъ, наполнивъ этимъ воинственнымъ шумомъ пятьдесятъ страницъ, оставилъ существенный вопросъ совершенно нетронутымъ. Съ Тургеневымъ критикъ расправляется очень бойко, но при встрѣчѣ съ тѣми людьми, которые считают Базарова уродомъ и злодѣемъ, онъ совершенно умолкаетъ. Эти люди говорятъ, что Базаровъ дѣйствительно существуетъ, и что онъ—лютое животное, подобное тѣмъ эгоистамъ, для которыхъ Станиславскій рекомендуетъ желѣзные кольца, продѣтыя въ поздри. А критикъ Тургенева говоритъ, что Базаровъ—карикатура, что Базаровъ не существуетъ, но что, еслибы онъ существовалъ, то конечно его надо было-бы признать лютымъ животнымъ. Это значитъ, что дама просто пріятная говорить о лапкахъ да о глазкахъ: «ахъ, нестро!», а дама пріятная во всѣхъ отношеніяхъ возражаетъ: «ахъ, нестро!», но въ сущности обѣ дамы вполнѣ согласны между собою въ томъ, что нестрое платье унижаетъ достоинство благовоспитанной губернской аристократки. Они спорятъ о фактѣ, и только объ одномъ фактѣ, и при этомъ критикъ тщательно скрываетъ то обстоятельство, что онъ совершенно расходится съ Дудышкинымъ, Заринымъ и Катковымъ въ самомъ принципѣ, на основаніи котораго произносится сужденіе о достоинствѣ факта. И онъ даже не останавливается на одномъ молчаніи; онъ робко и неясно произноситъ такіа слова, которыми совершенно не вяжутся съ основными идеями «Современника»; словомъ, онъ конфузится, теряется и доходитъ въ своей скромности или въ тонкости своей литературной дипломатіи до очевиднаго молчаливства, но все это благополучно сходитъ съ рукъ по милости воинственного экстаза, который составляетъ декорацию и направляется противъ личности Тургенева, какъ мыслителя, художника и гражданина. Базарова критикъ выдаетъ головой, и при этомъ онъ даже не осмѣливается отстаивать то живое явленіе, по поводу котораго былъ созданъ Базаровъ. Причина, которой онъ оправдываетъ свою робость, въ высшей степени любопытна: «пожалуй,—говоритъ онъ,—обличать въ пристрастіи къ молодому поколѣнію, а что еще хуже—ставить укорять въ недостаткѣ самообличенія. Поэтому ну-

скай кто хочетъ защищаетъ молодое поколѣніе, только не мы» (стр. 93). Вотъ это очаровательно! Вѣдь защищать молодое поколѣніе значить, по настоящему, защищать тѣ идеи, которыя составляютъ содержаніе его умственной жизни и которыя управляютъ его поступками. Одно изъ двухъ: или критикъ самъ проникнуть этими идеями, или онъ ихъ отрицаетъ. Въ первомъ случаѣ защищать молодое поколѣніе значитъ защищать свои собственные убѣжденія. Во второмъ случаѣ защищать его невозможно, потому что человѣкъ не можетъ поддерживать ту идею, которую онъ отрицаетъ. Но критикъ, видите-ли, и радъ-бы защитить, да боится, что «его обличать въ пристрастіи».—Къ чему?—Къ собственнымъ убѣжденіямъ. Удивительное обличеніе! Умень долженъ быть тотъ господинъ, который выступить съ подобнымъ обличеніемъ, да и тотъ тоже недурень, кто боится такихъ обличителей. И зачѣмъ приносить такіе неестественные резоны? Просто не хватило умѣнья, и ничего тутъ итъ постыднаго въ этомъ недостаткѣ наличныхъ силъ. Мы, люди молодые: поживемъ, поучимся, подумаемъ и черезъ нѣсколько лѣтъ рѣшимъ тѣ вопросы, которые теперь быть—можетъ заставляли насъ становиться въ тупикъ. Но валить съ больной головы на здоровую все-таки не годится. Тургеневъ и Базаровъ во всякомъ случаѣ виноваты въ томъ, что критикъ не умѣетъ защищать молодое поколѣніе и что роль первого критика въ «Современникѣ» не соответствуетъ теперешнимъ размѣрамъ его силъ. А между тѣмъ за все, про все отдуваются именно Тургеневъ да Базаровъ. Чтобы доказать, что Базаровъ—гниусная карикатура и что Тургеневъ написалъ презрѣнный пасквиль, критикъ «Современника» рассуждаетъ такъ неестественно и пускаетъ въ ходъ такіа удивительныя натяжки, что читателю, знакомому съ романомъ «Отцы и Дѣти», приходится на каждомъ шагу обвинять и уличать критика или въ непонятливости, или въ нежеланіи понимать. Какъ объяснить себѣ напримѣръ такой пассажъ: «Главный герой романа съ гордостью и заносчивостью говоритъ о своемъ искусствѣ въ картежной игрѣ» (стр. 68). Это Базаровъ-то! Съ гордостью и заносчивостью! О преферансѣ и ералашѣ! Миѣ даже совѣстно становится за критика. «Потомъ г. Тургеневъ старается выставить главнаго героя обжорой, который только и думаетъ о томъ, какъ-бы поѣсть и поить» (стр. 69). Подумаешь, право, что этотъ г. Тургеневъ есть иѣчто вроде г. Бориса Федорова, пишущаго для бабихъ-то поображаемыхъ дѣтей поучительные рассказы о жадномъ Василькѣ и о воздержной Парашѣ. «Даже смотрѣть глазу», какъ говоритъ Щедринъ въ своемъ рассказѣ «Развеселое житіе». Но еще глупѣе смотрѣть на то, какъ критикъ «Современника», умышленно или печально, уро-

дует сцену, происходящую передъ смертью Базарова. Вотъ это изумительное мѣсто: «герой, какъ медикъ, очень хорошо знаетъ, что ему остается до смерти нѣсколько часовъ; онъ призываетъ къ себѣ женщину, къ которой онъ питалъ не любовь, а что то другое, непохожее на настоящую возвышенную любовь. Она пришла, герой и говоритъ ей: «Старая штука смерть, а каждому вновь. До сихъ поръ не трушу... а тамъ придется безпамятство, и фишты! Ну, что-жь мнѣ сказать вамъ. Что я любилъ васъ? Это и прежде не имѣло никакого смысла, а теперь и подавно. Любовь—форма, а моя собственная форма уже разлагается. Скажу я лучше, что какай вы славная! И теперь вотъ вы стоите, такая красивая»... (Читатель дальше яснѣе увидитъ, какой гадкій смыслъ заключается въ этихъ словахъ.) Она подошла къ нему поближе, и онъ опять заговорилъ: «Ахъ, какъ близко, и какая молодая, свѣжая, чистая... въ этой гадкой комнатѣ!»... (стр. 657). Отъ этого рѣзкаго и дикаго диссонанса теряется всякое поэтическое значеніе эффектно написанная картина смерти героя». Читатель конечно недоумѣваетъ и начинаеть думать, что критикъ «Современника» — прекраснѣйшій критикъ, но только «ужъ очень строгъ на счетъ манеръ», подобно Матрѣй Марковнѣ, супругѣ Егора Капитомыча, изъ повѣсти Тургенева—«Затишье». Читатель никакъ не можетъ понять, гдѣ-же тутъ «гадкій смыслъ», и въ чемъ именно чуткое ухо эстетика уловило «рѣзкій и дикій диссонансъ»? Оказывается дальше, что критикъ оскорбленъ не какъ эстетикъ, а какъ моралистъ. «И у автора, — восклицаетъ онъ на стр. 73, — поворачивается языкъ говорить о всепримиряющей любви, о безконечной жизни послѣ того, какъ его самого эта любовь и мысль о безконечной жизни не могли удержать отъ безчеловѣчнаго обращенія съ своимъ умирающимъ героемъ, который, лежа на смертномъ одрѣ, призываетъ свою возлюбленную для того, чтобы видошъ ея прелестей въ послѣдній разъ пощекотать свою потухающую страсть. Очень мило!» Да ужъ такъ мило, что милѣе этого мѣста не выдумалъ бы ни Заринъ, ни Щегловъ. Всякій обыкновенный читатель видитъ ясно, что Базаровъ хочеть въ послѣдній разъ взглянуть на любимую женщину и въ послѣдній разъ сказать ей какое-нибудь ласковое слово. Можетъ-быть со стороны Базарова очень непохвально занимать свои мысли передъ самою смертью такими суетными привязанностями. Что-жь, думаетъ онъ, пускай посмотритъ. Пусть она ему улыбнется, пусть онъ увидитъ въ этой улыбкѣ тѣнь той грусти, пусть онъ выскажетъ ей словами или взглядами хоть что-нибудь изъ той горячей любви, которою переполнена была его молодая душа.

Такъ подумаетъ самый обыкновенный и са-

мый безхитростный читатель, тотъ самый читатель, который быть-можетъ на здороваго Базарова смотрѣлъ, какъ на злобнаго и опаснаго разрушителя. Такъ подумали навѣрное даже многіе изъ мудреныхъ русскихъ писателей, подобныхъ Каткову, Павлову, Скарятину и другимъ бюстителямъ литературнаго благочинія. Но критикъ «Современника» такъ переполненъ воинственнымъ жаромъ, что онъ ни на одну минуту не желаетъ сдѣлаться обыкновеннымъ и безхитростнымъ читателемъ. Онъ надѣваетъ на себя неестественную маску; онъ старается быть неумолимо строгимъ. Онъ проникаетъ въ мысли Базарова и усматриваетъ въ нихъ грѣховную нечистоту. Прежде всего онъ выпускаетъ въ свой разсказъ нѣкоторыя невѣрности, которыя я, изъ вѣжливости, назову ошибками. Во-первыхъ, Базаровъ не призываетъ Одинцову, а только посылаетъ ей сказать, что онъ умираетъ. Одинцова прѣзжаетъ къ нему безъ всякаго зова. Базаровъ не ожидалъ ея; онъ едва могъ надѣяться на то, что она прѣдетъ, и вслѣдствіе этого онъ, увидя ее передъ собою, чувствуетъ такой избытокъ радости и благодарности, что не находитъ даже, какъ и о чемъ говорить съ нею. Сверхъ того онъ уже такъ плохъ, что въ присутствіи Одинцовой начинаеть бредить и вообще съ трудомъ можетъ связывать мысли. Онъ, какъ больной ребенокъ, смотритъ на нее и видитъ, что она хорошая, и бормочетъ: «славная, красивая, молодая, свѣжая, чистая, въ гадкой комнатѣ». При этомъ онъ только съ мучительной ясностью чувствуетъ поразительный контрастъ между ея цвѣтущей жизнью и своимъ собственнымъ разложениемъ. И тутъ, при всей его слабости, въ немъ не видно ни зависти, ни боязни. Какъ только Одинцова переступаетъ черезъ порогъ его комнаты, онъ говоритъ ей: «Не подходите; моя болѣзнь можетъ быть заразительна»; но Одинцова тотчасъ, по естественному движенію нѣжности и неустранимости, подходитъ къ самой его постели. Тогда онъ и говоритъ: «Ахъ, какъ близко!» Этими словами онъ хочеть сказать: я—кусочекъ гнилого мяса. Мнѣ больно за васъ. Зачѣмъ вы, молодая, свѣжая, чистая, дышите зараженнымъ воздухомъ этой гадкой комнаты. И въ то-же время ему конечно въ высшей степени пріятно, что она его не боится, что она смотритъ на него ласково и безъ отвращенія, что она не бѣжитъ вонъ изъ гадкой комнаты, а особенно пріятно для него то, что она въ самомъ дѣлѣ хорошая и милая женщина, а не только «вдова души возвышенной, благородной и аристократической», какъ называетъ ее критикъ. Базаровъ мучительно счастливъ ея присутствіемъ и съ грустнымъ удовольствіемъ наслаждается ея простой и естественной гуманностью, потому что въ немъ шевелются до самой послѣдней минуты высоко-человѣчныя и

строго разумныя мысли. И по поводу этого - то чловѣка критикъ говорить о какомъ-то щекотаніи. Я даже не понимаю хорошенько, что именно онъ называетъ этимъ карательнымъ терминомъ. Во всякомъ случаѣ я нахожу, что мнѣ давно пора прекратить разговоръ объ этомъ предметѣ. Да, опростоволосились наши реалисты, опростоволосились до такой степени, что сочли нужнымъ поддерживать свое дѣло крючкотворной аргументаціей.

IV.

Наши умственные силы расходуются нерасчетливо—это не подлежитъ сомнѣнію, и въ признаніи этого факта сходятся между собою все наши литературные органы самыхъ разнообразныхъ отгѣнковъ. Гдѣ причина нерасчетливости? Когда приходится отвѣчать на этотъ вопросъ, тогда все органы бросаются въ разсыпную и другъ друга побиваютъ величіемъ своей ерунды. Все это очевидно доказываетъ, что ясныхъ и неопровержимыхъ аргументовъ не представляетъ никто, что въ корень дѣла не заглядываютъ ни одинъ писатель, и что настоящая причина нашей умственной суеты остается неизвѣстной всемъ ея искателямъ и обличителямъ. Еслибы кто-нибудь растолковалъ публикѣ, какъ дважды два—четыре, въ чемъ состоятъ важныя интересы ея умственной жизни, то противники этого «кто-нибудь» были-бы радикально побѣждены, потому что публика себя не врагъ и, стало быть, не будетъ обольщаться тѣмъ, что она разъ на-всегда признала для себя вреднымъ и невыгоднымъ. Поэтому указать на эти интересы и доказать, что они дѣйствительно существенныя,—это, разумѣется, самая важная задача современной литературы. Пока эта задача не будетъ рѣшена вполне, до тѣхъ поръ и писателямъ придется работать ощупью, и публикѣ выбирать себя кусочки изъ груды ихъ произведеній—также ощупью. Ни одинъ писатель не рѣшится сказать, что онъ работаетъ для нанесенія вреда читающему обществу; ни одинъ не рѣшится также сказать, что онъ своей работой не приноситъ обществу ни малѣйшей пользы; стало быть, все стремятся принести своимъ читателямъ пользу; между тѣмъ одни изъ нихъ дѣйствуютъ прямо наперекоръ другимъ. Еслибы читатели «однихъ» были моллюсками, а читатели «другихъ»—тараканами, то, разумѣется, можно было-бы думать, что и «одни», и «другіе» говорятъ дѣло, потому что организація таракана не похожа на организацію моллюска, и слѣдовательно умственные интересы этихъ двухъ породъ могутъ быть діаметрально противоположными. Но, къ сожалѣнію, и однихъ, и другихъ читаютъ все-таки несчастные люди, стало быть очевидно, или одни, или другіе врутъ и вредятъ, а легко можетъ быть и то, что врутъ и вредятъ какъ одни, такъ и другіе, потому что способы вранья

неисчислимы, между тѣмъ какъ истина двояться не можетъ. Стало быть, есть писатели, приносящіе чистый вредъ или по медвѣжьей услужливости, или по узкой корыстности *); первые обманываются, вторые лицемерятъ. Первыхъ надо урезонить, вторыхъ надо разоблачить для того, чтобы они сдѣлались безвредными и неопасными. Чтобы произвести эти двѣ операціи, то-есть, чтобы радикально вычистить литературу, надо именно указать существенную пользу. Вполнѣ послѣдовательное стремленіе къ пользѣ называется реализмомъ и непременно обуславливаетъ собою строгую экономію умственныхъ силъ, то-есть постоянное отрицаніе всехъ умственныхъ занятій, не приносящихъ никому пользы. Реалистъ постоянно стремится къ пользѣ и постоянно отрицаетъ въ себѣ и другихъ такую дѣятельность, которая не даетъ полезныхъ результатовъ. Стало быть, строгій реалистъ соблюдаетъ въ самомъ себѣ и уважаетъ въ другихъ людяхъ строгую экономію умственныхъ силъ. Стало быть, разъяснить вполнѣ значеніе реализма въ литературѣ—значить рѣшить самую важную задачу современной идеи и радикально очистить эту идею отъ неужнаго сора и отъ бесплодныхъ полемическихъ волненій.—Но различныя недоразумѣнія могутъ укрыться въ самомъ словѣ «польза», и поэтому прежде всего необходимо разъяснить эти недоразумѣнія.—Человѣкъ одаренъ чувствомъ самосохраненія. Онъ невольно и безсознательно любить свою жизнь и старается сохранить ее въ себѣ, какъ можно дольше. Такія крайности, какъ мотовство и скряжничество,—одинаково нерасчетливы, потому что при обоихъ способахъ дѣйствія жизнь даетъ меньше наслажденій, чѣмъ сколько она могла-бы дать при рациональномъ пользованіи. Дѣти такъ радикально предпочитаютъ пріятное полезному, то-есть непосредственное наслажденіе отсроченному, что, если посыпать сахаромъ ихъ молочную кашу и не размѣшивать ее начальственной рукой, они непременно истребятъ сначала элементъ *пріятнаго*, то-есть чистый сахаръ, а потомъ уже, по необходимости и съ тяжелымъ вздохомъ, примутся за голую *пользу*, то-есть за кашу, которая однако была-бы гораздо вкуснѣе въ соединеніи съ *пріятностью*. Взрослые называютъ этихъ юныхъ эпикурейцевъ глупыми ребятами и сами дѣлаютъ глупости гораздо болѣе крупныя. Напримѣръ, далеко не всякій чиновникъ умѣетъ такъ распорядиться съ своимъ третнимъ жалованьемъ, чтобы въ началѣ трети не задавать неестественнаго форсу и въ концѣ трети не созерцать свои зубы, положенные на полку. Это значитъ—сначала облизалъ весь сахаръ, а потомъ лишилъ себя даже молочной каши. У кого хватаетъ предусмотрительности на четыре мѣ-

*) Въ концѣ концовъ и то, и другое сводится къ тупоумію.

у того может не хватить ей на два года. то бывало примѣровъ, что на литератур-прище выступаетъ вдругъ блестящее мо-дарованіе; два-три успѣха быстро слѣду-ютъ за другими; опытные люди смотрятъ на него и радуются, но въ то-же время совѣту-ютъ потихоньку: почитайте книжку; по-чѣ, голубчикъ. Ей Богу, лучше будетъ. — Успѣю, говорить онъ, еще успѣю. — Успѣю, вѣрю, какъ вдругъ неожиданное фіаско пости-гнутое дарованіе, которое, какъ падаю-щая звезда, мгновенно скатывается съ неба и падаетъ на заднемъ дворѣ какого-нибудь «Отечества» или «Развлеченія», куда не летятъ настоящіе падающія звѣзды, сколько звѣстно, не заглядываютъ...

У.

Барковъ съ первой минуты своего появленія началъ къ себѣ всѣмъ симпатіи, и онъ про-сто быть моимъ любимцемъ даже теперь. Но не могъ себѣ объяснить причину этой чутливой привязанности, но теперь я ее понимаю. Ни одинъ изъ подобныхъ ему не находится въ такомъ трагическомъ положеніи, въ какомъ мы видимъ Базарова. Тра-гическое положеніе Базарова заключается въ полномъ уединеніи среди всѣхъ живыхъ лю-дей, которые его окружаютъ. Онъ вездѣ произво-дитъ своей особой рѣзкій диссонансъ, онъ всѣхъ заставляетъ страдать своимъ присутствіемъ и отсутствіемъ, онъ самъ это видитъ и пони-маетъ, и понимаетъ кромѣ того съ мучитель-ностью роковыя причины и абсолютную невозможность этихъ страданій. Люди, окружаю-щие Базарова, страдаютъ не отъ того, что онъ не ладитъ съ ними дурно, и не отъ того, что онъ плохой человекъ; напротивъ того, онъ не ладитъ въ отношеніи къ нимъ ни одного дур-ного поступка, и они, съ своей стороны, также добродѣтельные и честные люди. И тѣмъ не менѣе мучительнѣе и безвыходнѣе ихъ по-ложеніе. Нѣтъ причинъ для разрыва и нѣтъ воз-можности сблизиться. Нѣтъ возможности по-думать, что нѣтъ ни одного общаго интереса, ни одного предмета, который съ одинаковой заботливостью-бы умственныхъ способностей Ба-зарова и его собесѣдниковъ. Ему приходится слу-шать, какъ пяти-лѣтнихъ дѣтей, рассказы-вать, что вотъ они гулять ходили и вдругъ увидѣли такую корову, и вдругъ эта ко-роуа пошла туда, знаете, къ рѣкѣ, и вдругъ выпить. — Ну, такъ что-же? спрашиваетъ. Ну вотъ, напилась пошла. — А потомъ? — А мы домой вернулись. — Вотъ вамъ и весь миръ. И, выслушавъ его, вы, изъ чувства чуждой гуманности, должны тщательно за-глядывать за вашей физиономіей, чтобы на ней не появилось изумленіе, чтобы ваши губы не задрожали невольно въ улыбку сострадательнаго

недоумѣнія, и чтобы кромѣ того черты вашего лица изображали хоть малѣйшее участіе къ тому, что вамъ рассказывается съ чисто дѣтскимъ увле-ченіемъ. Чуть только какой-нибудь мускулъ ва-шей физиономіи утомился отъ этого неестествен-наго напряженія и подернулся не въ тактъ этой усыпительной музыкѣ, и вся гармонія нарушена, и весь плодъ вашихъ долговременныхъ усилій пропалъ безвозвратно, и рассказчикъ, человекъ добрый и честный, искренно желающій васъ утѣ-шить и развлечь, оказывается глубоко и сми-ренно опечаленнымъ своей немощностью и своей неспособностью дать вамъ то, чего-бы вы же-лали. Еслибы онъ васъ обругалъ въ эту ми-нуту, вы бы этому обрадовались; но онъ тихо опечалится и замолчитъ; въ его душѣ будетъ только грусть, безъ малѣйшей горечи, но эту грусть вы въ немъ видите совершенно ясно, и совершенно независимо отъ его воли и его уси-лій скрыть отъ васъ эту грусть, то-есть не огор-чить васъ, человека, огорчившаго его, — эти уси-лія, говорю я, дѣлаютъ его еще болѣе трогательнымъ въ вашихъ глазахъ; и вамъ больно было, и ему больно, и обоимъ грустно, что раз-вердили другъ друга, и все-таки ничѣмъ, да-же рѣшительно ничѣмъ, нельзя этому дѣлу помочь. Вотъ оно, дьявольское-то положеніе; вотъ что можетъ душу вытянуть изъ каждаго человека, способнаго мыслить и чувствовать. Я совѣтую читателямъ, получившимъ «Русское Слово» 1863 годъ, перечитать въ немъ повѣсть «Женитьба отъ скуки». Тамъ именно такой раз-ладъ между мужемъ и женой приводитъ къ сумасшествію и къ самоубійству. Результатъ во-все не преувеличенъ, и развитіе трагической дисгармоніи прослѣжено тамъ очень удовлетво-рительно. Но молодой мужъ и молодая жена по крайней мѣрѣ имѣютъ хоть какую-нибудь воз-можность разойтись; конечно этотъ образъ дѣй-ствій тягостенъ и сопряженъ со многими неудоб-ствами; конечно трудно предположить, чтобы обоимъ разошедшимся супругамъ удалось устроить себѣ новое счастье; но все-таки есть выходъ, и во всякомъ случаѣ лучше одинокое и безцвѣт-ное существованіе, чѣмъ мучительное сожитіе. Но когда между родственниками и дѣтьми по-явился такой разладъ, какой мы видимъ между старыми Базаровыми и ихъ сыномъ, тогда и вы-хода-то никакого нельзя придумать. Евгений Ба-заровъ, разумеется, можетъ отшатнуться отъ своихъ родителей, и его жизнь все-таки будетъ полна, потому что ее наполняетъ умственный трудъ. Но ихъ жизнь? И какой-же настоящей Базаровъ, какой мыслящій человекъ рѣшится оттолкнуть отъ себя своихъ стариковъ, которые только имъ живутъ и дышатъ и которые слѣ-дили все, что могли, для его образованія. Эти старики буквально посадили его на своихъ пле-чахъ, чтобы онъ могъ ухватиться своими отро-ческими руками за нижнюю вѣтку древа позна-

ния; онъ ухватился и полѣзъ, и залѣзъ высоко, и ходу нѣтъ назадъ, и спуститься невозможно, а имъ также невозможно подняться къверху, потому что они слабы и дряхлы, и приходится имъ лезть издали, и приходится имъ страдать отъ того, что нѣтъ возможности разслышать и понять другъ друга; а между тѣмъ старики и тому рады, что слышать по крайней мѣрѣ неясные звуки родного голоса. Скажите, Бога ради, кто-же рѣшится, находясь въ положеніи Базарова, замолчать совершенно и не отвѣчать ни однимъ звукомъ на кроткія и ласковыя рѣчи, поднимающіяся къ нему изъ подъ дерева? И Базаровъ откликается. — И странно, и мучительно волнуются и борются въ широкой груди Базарова ненависть и любовь, беспощадный, стальной и холодный, судорожно улыбающійся, демоническій скептицизмъ и горячее, тоскливое, порою радостное и ликующее романтическое стремленіе вдалѣ, вдалѣ, но не прочь отъ земли, а впередъ, въ манищую, ласкающую, глубокую синеву необозримого лучезарнаго будущаго. Почитайте Гейне, и вы поймете, вы увидите въ образахъ эту ужасную смѣсь мучительныхъ ощущений, которыми наградила всѣхъ мыслящихъ людей Европы наше общее историческое прошедшее. А покуда прочтите этотъ небольшой разговоръ Базарова съ Аркадіемъ.

«— Нѣтъ, говорилъ онъ на слѣдующій день Аркадію, — уѣду отсюда завтра. Скучно, работать хочется, а здѣсь нельзя. Отправляюсь опять къ намъ въ деревню; я-же тамъ всѣ свои препараты оставляю. У насъ по крайней мѣрѣ запереться можно. А здѣсь отецъ мнѣ все твердитъ: „мой кабинетъ къ твоимъ услугамъ, никто тебѣ мѣшать не будетъ“, а самъ отъ меня ни на шагъ. Да и совѣстно какъ-то отъ него заператься. Ну, и мать тоже. Я слышу, какъ она вздыхаетъ за стѣной, а выйдешь къ ней и сказать ей нечего.

— Очень она огорчится, промолвилъ Аркадій, — да и онъ тоже.

— Я къ нимъ еще вернусь.

— Когда?

— Да вотъ какъ въ Петербургъ поѣду.

— Мнѣ твою мать особенно жалко.

— Что такъ? Иногда что-ли она тебѣ угодила?

Аркадій опустилъ глаза.»

Такъ тебѣ и надо поступать, Аркашенька. Больше ты, другъ мой разлюбезный, ничего и дѣлать не умѣешь, какъ только глазки опускать. Заговорилъ было съ тобою Базаровъ сначала какъ съ путнымъ человѣкомъ, а ты только, какъ старушка божія, охами да вздохами отвѣчать ухитрился. Въ самомъ дѣлѣ, взгляните въ этотъ разговоръ. Базарову тяжело и душно; онъ видитъ, что и работать нельзя, да и для старикашъ-то удовольствія мало, потому что «выйдешь къ ней — и сказать ей нечего». Такъ ему приходится сказать, что онъ чувствуетъ потребность высказаться хоть кому-нибудь, хоть младшецствующему кандидату Аркадію. И начинается онъ высказываться отрывочными предложениями, такъ, какъ всегда выска-

зываются люди сильные и сильно измученные: «Совѣстно какъ-то», «ну, и мать тоже», «вздыхаетъ за стѣной», «сказать ей нечего». Кажется, не хитро понять изъ этихъ словъ, что не гаерствуетъ онъ надъ своими стариками, что не весело ему смотрѣть на нихъ сверху внизъ, и что самъ онъ видитъ съ поразительной ясностью, какъ мало даетъ имъ его присутствіе и какъ мучительно будетъ для нихъ необходимая разлука. Я думаю, умный человѣкъ, будучи на мѣстѣ Аркадія, понялъ-бы, что Базаровъ особенно заслуживаетъ въ эту минуту сочувствія, потому что быть мучителемъ, и мучителемъ роковымъ, для каждого разумнаго существа гораздо тяжелее, чѣмъ быть жертвой. Умный человѣкъ хоть однимъ добрымъ словомъ даль-бы замѣтить огорченному другу, что онъ понимаетъ его положеніе, и что въ самомъ дѣлѣ ничѣмъ нельзя помочь бѣдѣ, и что, стало быть, дѣйствительно слѣдуетъ залить тяжелое впечатлѣніе свѣжими волнами живительнаго труда. А Аркадій? Онъ ничего не нашелъ лучшаго, какъ ухватить Базарова за самое больное мѣсто: — «Очень она огорчится». Точно будто Базаровъ этого не знаетъ. И точно будто эта мысль даетъ какою-нибудь средство поправить дѣло. На это старушечье размышленіе Базаровъ могъ отвѣчать сокрушительнымъ вопросомъ: — Ну, а что-жъ мнѣ дѣлать, чтобы она не огорчалась? И тутъ Аркадій, какъ настоящая старуха, повторилъ-бы опять ту-же минорную гамму съ легкой перестановкой нотъ: «она очень огорчится». И такъ какъ изъ трехъ словъ можно сдѣлать шесть перестановокъ, то юный мудрецъ, повторивъ ту-же фразу шесть разъ, замолчалъ-бы, находя, что онъ подалъ своему другу шесть практическихъ совѣтовъ, или шесть цѣлительныхъ бальзамовъ. Къ счастью, Базарову было не до диспутовъ съ этимъ нескливымъ цыпленкомъ. Онъ тотчасъ спохватился, вспомнилъ, что юный другъ его не созданъ для пониманія трагическихъ положеній, и сталъ продолжать разговоръ безъ всякихъ изліяній, въ самомъ лаконическомъ тонѣ. Но это плоское животное, Аркадій, не утерпѣлъ и произвелъ новое визжаніе, и опять еще грубѣе ухватилъ Базарова за больное мѣсто. «Мнѣ твою мать особенно жалко». Въ сущности, это изреченіе есть не что иное, какъ одна изъ шести возможныхъ перестановокъ. Но такъ какъ Аркадій взялся за перестановки очень хитро, то-есть сталъ выражать ту-же мысль другими словами, то надо было опасаться, что перестановокъ будетъ не шесть, а даже гораздо больше. Базарову предстояло утонуть въ волнахъ цѣлительнаго бальзама, и очевидно, было необходимо сразу заморозить потока кандидатскаго сердоболія. Ну, а Базаровъ на эти дѣла мастеръ. Какъ сказалъ объ ягодахъ, такъ и закрылся хлѣби сердечныя. Аркадій опустилъ глаза, что ему необходимо было сдѣлать въ самомъ началѣ разговора. — А

критика?! А наша глубокая, проникатель-
ритика?! — Она сьумбля только за этот
зорь укорить Базарова въ жестокости харак-
та въ непочтительности къ родителямъ. —
ы, Боробочка доброжелательная! — Ахъ ты,
ительница копѣчная! Ахъ ты, лукошко
скаго глубокомыслія!

VI.

глядъ Базарова на отца Аркадія, Николая
вича, доказываетъ самымъ неопровержи-
мымъ образомъ, что Базаровъ желаетъ и ста-
но сближаться съ тѣми людьми старшаго
бнія, которые еще способны подвинуться
дъ. Но какъ сближаться? Такъ-ли, чтобы
овъ сдѣлалъ нѣсколько шаговъ въ ихъ
ну, или такъ, чтобы люди старшаго поко-
сами подошли къ Базарову и къ его иде-
То-есть, другими словами, готовы-ли Ба-
въ сдѣлать рядъ уступокъ, или, напротивъ
онъ желаетъ переубѣдить другихъ? Я ду-
достаточно поставить этотъ вопросъ для
чтобы считать его рѣшеннымъ. Человѣкъ,
вительно имѣющій какія-нибудь убѣжде-
только отъ того и держится этихъ убѣж-
, что считаетъ ихъ истинными. Онъ быть-
тъ ошибается; быть-можетъ онъ замѣ-
со временемъ свою ошибку, и тогда, раз-
тсѣ, тотчасъ перемѣнитъ въ своихъ убѣж-
хъ то, что окажется несогласнымъ съ исти-
покуда онъ не увидитъ ясно несостоя-
юсти своихъ мнѣній, пока эти мнѣнія не
ты ни фактами дѣйствительной жизни, ни
дными доказательствами противниковъ, до
поръ онъ думаетъ по своему, считаетъ
идеи вѣрными, держится за нихъ твердо
къ чистой любви къ своимъ ближнимъ, чув-
тъ желаніе избавить ихъ отъ того, что
справедливо или несправедливо, считаетъ
жденіемъ. Когда сходятся между собою два
бна различныхъ убѣжденій, оба искренно
инные своимъ идеямъ, оба добросовѣстно
ищіеся къ истинѣ и оба настолько просвѣ-
ые, чтобы понимать возмутительную пош-
етерпимости, тогда каждый изъ нихъ,
въ своемъ собесѣдникѣ честнаго человѣка
инѣя причины ненавидѣть его, желаетъ
ать своему ближнему ту истину, которою
самъ обладаетъ. Одна изъ этихъ истинъ не-
бно оказывается заблужденіемъ; но тотъ,
бладавъ этимъ заблужденіемъ, старался до-
ать ему побѣду, потому что видѣлъ въ немъ
иѣнную истину. Можетъ-быть — мало-ли
ываетъ на свѣтъ? — можетъ-быть, говоря я,
рову и пришлось-бы въ чемъ-нибудь сдѣ-
искреннюю уступку идеямъ старшаго по-
нія, но все-таки Базаровъ не могъ подхо-
къ старшему поколѣнію съ желаніемъ сдѣ-
ему эту уступку и съ той мыслью, что
уступка возможна. Подобная мысль и по-

добное желаніе составляютъ уже дѣйстви-
тельную уступку и могутъ возникнуть въ человѣ-
къ, искренно убѣжденномъ только вълѣдствіе
фактическихъ доказательствъ, а никакъ не вълѣд-
ствіе мягкости характера. Когда у человѣка есть
дѣйствительно какія-нибудь убѣжденія, тогда
ни состраданіе, ни уваженіе, ни дружба, ни
любовь, ничто, кромѣ осязательныхъ доказа-
тельствъ, не можетъ поколебать или измѣнить
въ этихъ убѣжденіяхъ ни одной мельчайшей
подробности.

VII.

Еслибы отцомъ Базарова былъ Николай
Петровичъ, крѣпкій и довольно образованный
сорока-четырехъ-лѣтній мужчина, то Базаровъ
можетъ-быть увлекъ-бы своего отца въ область
реалистическаго труда, и представители двухъ
поколѣній съ любовью и съ взаимнымъ довѣ-
ріемъ стали-бы поддерживать и ободрять другъ
друга. Молодой работалъ бы больше пожилого,
но пожилой понималъ-бы его вполне и совер-
шенно сознательно радовался-бы каждому от-
дѣльному успѣху своего младшаго товарища,
на котораго это сочувствіе дѣйствовало-бы са-
мымъ живительнымъ образомъ. О разладѣ не
могло-бы быть и рѣчи, потому что, вполне по-
нимая другъ друга, эти люди видѣли-бы, что
между ихъ интересами нѣтъ и не можетъ быть
ни малѣйшей противоположности. Одинъ ищетъ
истины, и другой также ищетъ истины, и эта
истина для обоихъ одна и та-же, и эта истина
не такое благо, которое, доставшись одному, не
могло-бы въ то-же время принадлежать и дру-
гому. Стало быть, и дуться другъ на друга не-
зачѣмъ, и надо только договориться до взаим-
наго пониманія. Базаровъ очень хорошо знаетъ,
что въ нѣкоторыхъ случаяхъ всякая попытка
договориться до какого-нибудь удовлетворитель-
наго результата совершенно бесплодна. Онъ ни-
когда не пробуетъ серьезно разговаривать съ
Ситяиковымъ или съ Кукшиною, потому что
эти господа очевидно изображаютъ своими осо-
бами бездонную бочку Данандъ. Сколько въ нихъ
не вали дѣльныхъ мыслей, хоть весь британ-
скій музей опрокинь въ ихъ головы, все бу-
детъ пусто и все будетъ проходить насквозь съ
величайшей легкостью. Базаровъ не пробуетъ
также вступать въ серьезные разговоры съ сво-
ими родителями, хотя эти родители вовсе не
глухы отъ природы. Но договориться и съ ними
невозможно: отецъ Базарова — славный и добрый
старикъ, еще бодрійся, но уже начинающій
впадать въ дѣтство; а мать его даже никогда не
переставала быть ребенкомъ, хотя и была по-
стоянно примѣрной супругой, отличной хозяй-
кой и до самозабвенія иѣжной матерью. Такія
личности, обладающія здоровымъ и нормальнымъ
мозгомъ, но живущія и умирающія безъ посо-
бія этого органа, встрѣчаются у насъ на каж-

домъ шагъ и доказываютъ своимъ существованіемъ ту несомнѣнную истину, что время полного господства головного мозга надъ явленіями человѣческой жизни наступитъ еще очень нескоро. Такія личности живутъ такъ называемымъ чувствомъ, то-есть каждое впечатлѣніе, не задерживаясь и не перерабатываясь въ ихъ мозгу ни одной минуты, немедленно переходитъ въ какой-нибудь поступокъ, въ которомъ эта поступающая личность никогда не спрашиваетъ у себя и никогда не можетъ дать себѣ ни малѣйшаго отчета. Такія личности приходятся по душѣ нашему обществу и нашимъ художникамъ, которые дѣйствительно имѣютъ съ ними довольно много точекъ соприкосновенія; но я сильно сомнѣваюсь въ томъ, чтобы такія личности могли имѣть особенно живительное вліяніе на медленно, страшно-медленное движеніе человѣчества къ свѣтлому будущему. Личности, подобныя старушкѣ Базаровой, — это ходячіе пуховики, часто очень привлекательные, и всегда приглашающіе своей симпатичностью полезныхъ работниковъ опочить до конца жизни отъ несодѣланныхъ подвиговъ и разумнаго труда. Съ этимъ милымъ, добродушнымъ, трогательно любящимъ и уже состарѣвшимся пуховикомъ Базаровъ конечно ни о чемъ не разсуждаетъ, потому что «и сказать ей нечего». Такимъ образомъ Базаровъ разговариваетъ только съ Аркадіемъ, съ Николаемъ и Павломъ Петровичами и съ Одинцовой. Самое серьезное значеніе для Базарова и самый серьезный результатъ во всѣхъ отношеніяхъ могли имѣть разговоры съ Одинцовой; они могли доставить Базарову счастье взаимной любви, и они-же могли дать обществу мыслящую женщину. Наслаждаясь разумнымъ счастьемъ, Базаровъ удесятерилъ-бы свои рабочія силы, и это приращеніе пошло-бы цѣликомъ на пользу общему умственному капиталу всего человѣчества. Одинцова, съ своей стороны, развернула-бы всѣ силы своего здороваго ума. Но такіе счастливые результаты получаются очень рѣдко. Почти всегда какая-нибудь ничтожная оплошность нарушаетъ процессъ развитія въ самомъ его началѣ, подобно тому, какъ самое легкое движеніе воздуха разстраиваетъ всѣ расчеты химика и искажаетъ весь процессъ медленной и нормальной кристаллизаціи. Такъ случилось и въ исторіи Одинцовой. Ее испугала страстность Базарова, но еслибы та-же страстность проявилась съ такой-же силой двумя или тремя мѣсяцами поздиѣе, то Одинцова увлеклась-бы ею сама до полнѣйшаго самозабвенія. Впрочемъ объ отношеніяхъ реалистовъ къ женщинамъ я буду говорить впослѣдствіи очень подробно.

Аркадій, мнѣ кажется, во всѣхъ отношеніяхъ похожъ на кусокъ очень чистаго и очень *мягкаго воска*. Вы можете сдѣлать изъ него все, что хотите, но зато, послѣ васъ, всякій дру-

гой точно также можетъ сдѣлать съ нимъ все, что этому другому будетъ угодно. Вы можете натереть имъ мебель и паркетный полъ: Аркадій исполнитъ это назначеніе въ совершенствѣ. Вы можете превратить его въ свѣчку: Аркадій будетъ таять и уничтожаться въ порывахъ самопожертвованія, и можетъ уничтожиться безъ остатка, если никто не догадается дунуть на свѣтильникъ; но этотъ процессъ самоистребленія будетъ постоянно совершаться только въ непосредственной близости самаго огня и во время этого процесса вся свѣча будетъ совершенно холодна и равнодушна. Какъ только погаснетъ свѣтильникъ, немнѣющая по своему составу ничего общаго съ воскомъ, такъ въ ту-же минуту прекратится всякое таяніе и изнываніе. Если вы — искусный скульпторъ, вы можете сдѣлать изъ этого воскового Аркадія изящнѣйшую статуэтку и даже можете вложить въ складки его чела выраженіе глубокой задумчивости и мировой печали; но эту художественную бездѣлку вы непременно должны держать подъ стекляннмъ колпакомъ, чтобы ея не засидѣли мухи; кромѣ того вы должны тщательно наблюдать, чтобы она не подвергалась вліяніямъ измѣнчивой температуры; попробуйте оставить ее на полчаса подъ лучами лѣтняго солнца, и она расплывется такъ удивительно, что ея творецъ, искусный скульпторъ, не будетъ въ состояніи узнать свое любимое произведеніе. Не только глубокая задумчивость, не только мировая печаль изгладятся безъ слѣда, но даже обыкновенныя черты человѣческаго образа ступаютъ до полного безличія. Но это ничего не значитъ. Если скульпторъ терпѣливъ, онъ можетъ немедленно взять свою отекающую крестуру въ свои искусныя руки и снова можетъ возстановить утраченное достоинство ея выраженія. Впрочемъ надо сказать правду, что такой терпѣливый скульпторъ окажется чистымъ художникомъ, то-есть человѣкомъ, работающимъ изъ любви къ искусству, безъ малѣйшаго стремленія къ практической пользѣ, потому что такая восковая статуэтка можетъ быть только очень бесполезнымъ и очень непрочнымъ украшеніемъ дамскаго будуара. Въ концѣ концовъ мухи засидятъ ее непременно до полного помраченія, а воскъ утратитъ всю свою первобытную чистоту, такъ-что статуэтку все-таки придется отдать въ распоряженіе полотеровъ для украшенія паркета. Говоря проще, подъ старость Аркадій все-таки сдѣлается бесполезнѣйшимъ, а можетъ-быть и дряннѣйшимъ тунеядцемъ. А старость, то-есть житье въ брюхо, для этихъ восковыхъ господъ начинается ровно черезъ годъ послѣ выхода изъ университета. Базаровъ разговариваетъ съ Аркадіемъ именно въ то время, когда послѣдній находится въ переходномъ состояніи изъ отрочества въ старость. Базаровъ видитъ своего такъ называемаго друга насмываясь и

то его не уважаетъ. Но иногда, какъ мы-
и человекъ и какъ страстный скульп-
онъ увлекается тѣмъ разумнымъ выра-
тъ, которое его-же собственное вліяніе
дываетъ порою на мягкія черты его во-
о друга. Еслибы вы спросили у Базарова:
дѣтъ ли что-нибудь путное изъ вашего дру-
Базаровъ отвѣчалъ-бы вамъ съ полнымъ
еніемъ: «Ничего путнаго не выйдетъ; бу-
афинированнымъ Маниловымъ и больше
». Но на практикѣ Базаровъ не всегда
довательно выдерживаетъ эту идею; онъ
и обращается къ Аркадію такъ, какъ буд-
онъ видѣлъ въ немъ какіе-нибудь задат-
наго ума и твердаго характера.

понятно и извинительно. Базаровъ такъ
къ, всѣ окружающіе его люди смотрятъ на
акими изумленными глазами, что понево-
мѣшаетъ его иногда потребность хоть ко-
будъ сказать человѣческое слово, хоть ко-
будъ помочь добрымъ совѣтомъ. Николай
вичъ положительно умѣе своего сына, и
мъ Базаровъ могъ-бы сблизиться, если-
ла какая-нибудь возможность завязать это
еніе, то-есть сдѣлать первый шагъ. Но
человѣку-же, неудобно подойти къ посторон-
человѣку пожилыхъ лѣтъ и, безъ малѣй-
вызова съ его стороны, подарить ему нѣ-
ко непринятыхъ совѣтовъ касательно на-
енія его умственной дѣятельности. Арка-
гъ-бы явиться посредникомъ между от-
и Базаровымъ, но Аркадій не умѣетъ сдѣ-
ни одного активнаго шага, а, какъ неопе-
йся птенецъ, производитъ ежеминутно раз-
лоскости и безтактности. Братъ Николая
вича, Павелъ, положительно мѣшаетъ вся-
сблизженію, постоянно вызываетъ Базаро-
безплоднѣйшіе діалектическіе поединки,
ко надобно ему и наконецъ заверша-
сѣ свои подвиги глупѣйшей дуэлью, уже
словахъ, а на пистолетахъ.

всѣхъ Петровичъ—человѣкъ очень неглу-
и его фигура чрезвычайно любопытна и по-
льна, какъ отживающая тѣнь печоринска-
на. Эта тѣнь не хочетъ и не можетъ при-
себя тѣнью, и, встрѣчаясь съ тѣмъ ти-
который живетъ въ настоящемъ, она, эта
гавительница прошедшаго, отрицаетъ его
силами своего ума и ненавидитъ его такъ,
скупого рыцаря ненавидитъ своихъ наслѣд-
въ. Печоринскій и Базаровскій типы нена-
и отталкиваютъ другъ друга. Печорины
аровы рѣшительно не могутъ существо-
мѣстѣ въ одномъ обществѣ, потому что и
ины, и Базаровы выдѣляются изъ од-
матеріала: стало быть, чѣмъ больше Печ-
ихъ, тѣмъ меньше Базаровыхъ, и наобо-
Вторая четверть XIX столѣтія особенно
пріятствовала производству Печоринныхъ;
въ Печоринныхъ жизнь уже не отчекани-

вается, а старые, потускѣлые и поблѣкшіе, ни-
какъ не желаютъ понять, что ихъ время про-
шло. Прошло-ли оно невосвратно, этого никто
не рѣшится сказать, но что Печорины въ на-
стоящую минуту не стоятъ на первомъ планѣ—
это несомнѣнно. Печорины и Базаровы совер-
шенно непохожи другъ на друга по характеру
своей дѣятельности; но они совершенно сходны
между собою по типическимъ особенностямъ на-
туры: и тѣ, и другіе—очень умные и вполне
последовательные эгоисты; и тѣ, и другіе вы-
бираютъ себѣ изъ жизни все, что въ данную
минуту можно выбрать самаго лучшаго, и, на-
бравши себѣ столько наслажденій, сколько воз-
можно добыть и сколько способны выѣстить
человѣческой организмъ, оба остаются неудовле-
творенными, потому что жадность ихъ непотѣр-
на, а также и потому, что современная жизнь
вообще не очень богата наслажденіями.

Очень умный человѣкъ можетъ наслаждаться
мыслью только тогда, когда дѣятельность мы-
сли клонится къ какой-нибудь великой и неме-
чательной цѣли. Великія цѣли бываютъ без-
конечно разнообразны въ своихъ виѣшнихъ про-
явленіяхъ; но всѣ онѣ въ сущности могутъ
заключаться только въ томъ, чтобы улучшить,
такъ или иначе, положеніе той или другой груп-
пы человѣческихъ существъ. Переберите всѣ
сферы человѣческой дѣятельности, и вы увиди-
те, что всѣ онѣ порождены и поддерживаются
исключительно стремленіемъ людей къ нрав-
ственному или матеріальному благосостоянію.
Не всѣ эти сферы, далеко не всѣ, удовлетво-
ряютъ своему назначенію; многія, очень многія
изъ нихъ бесполезны для людей, и слѣдовательно
вредить уже тѣмъ, что поглощаютъ силы;
многія вредятъ даже положительно, не только
отвлекая силы, но и парализируя или извра-
щая другія полезныя проявленія 'человѣческой
дѣятельности; но все-таки всѣ эти сферы суще-
ствуютъ для блага человѣчества. Такимъ обра-
зомъ можно сказать рѣшительно, что для чело-
вѣческой мысли главная цѣль есть стремленіе
къ человѣческому благополучію. Но въ исторіи
бываютъ такія эпохи, когда враждебныя обсто-
ятельства мѣшаютъ людямъ стремиться къ бла-
гополучію и рѣшать задачи, вытекающія изъ
этого стремленія.

Мысль, работающая для блага человѣчества,
дѣйствуетъ обыкновенно по одному изъ двухъ
главныхъ путей: или она прилагаетъ къ совре-
менной жизни людей тѣ результаты, которые
уже добыты передовыми дѣятелями посредствомъ
теоретическихъ изслѣдованій и научныхъ наблю-
деній, или-же она добываетъ для будущаго вре-
мени новые результаты, то-есть производитъ
изслѣдованія, наблюденія и опыты. Тѣ науки,
которыя, подобно исторіи и политической эконо-
міи, живутъ только безпристрастнымъ анали-
зомъ между-человѣческихъ отношеній,—въ эпо-

хи застоя теряютъ значительную долю своей занимательности. Этими наукамъ предаются въ такое время люди двухъ сортовъ: одни пишутъ казенные учебники, другіе честно и добросовѣстно убѣждены въ томъ, что людямъ слѣдуетъ вѣчно спать, но спать облагороженнымъ сномъ, то-есть видѣть во снѣ великія идеи. Они восхищаютъ своихъ слушателей одушевленными бесѣдами, отъ которыхъ однако никогда, ни при какихъ условіяхъ, ничего, кромѣ испаряющагося восхищенія, не можетъ произойти.

Въ эту категорію я включаю всѣхъ честныхъ и умныхъ людей, подобныхъ Грановскому и Кудряцеву. Эти имена пользуются у насъ уваженіемъ, и я называю ихъ для того, чтобы не оставить въ моей мысли ни малѣйшей неясности. Эти два профессора жили и умерли вполне честными людьми, но надо сказать правду, что имъ въ этомъ отношеніи сильно посчастливилось: ихъ выручила своевременная смерть, которую ихъ почитатели совершенно неосновательно называютъ преждевременной. Между такимъ историкомъ, какъ Грановскій, и такимъ, какъ Костомаровъ, лежитъ дистанція огромнаго размѣра, а вѣдомо, что даже Костомарова заставятъ иногда въ распλοхъ и ставятъ въ тушкѣ запросы пробуждающейся жизни. Любопытно замѣтить, какъ тонко и вѣрно Тургеневъ выразилъ свое мнѣніе о дѣятельности Грановскаго. Пусть читатели припомнятъ личность Берсенева въ романѣ «Наканунъ» и пусть подумаютъ, могъ-ли Грановскій сформировать что-нибудь выше и лучше Берсенева. Еслибы сѣмя всѣхъ сѣятелей всегда падало на такую добрую почву, какъ душа Берсенева, то и желать ничего болѣе не оставалось-бы. Берсенева въ высокой степени честенъ и настолько уменъ, чтобы быть очень полезнымъ работникомъ. Если-же общій результатъ берсеновской дѣятельности оказывается совершенно ничтожнымъ, то виновато исключительно плохое качество того сѣмени, которое было принято и взлелѣяно этимъ честнымъ и искреннимъ человекомъ съ полнѣйшимъ благоговѣніемъ и съ безкорыстнѣйшей любовью. А, кажется, Тургеневу въ этомъ отношеніи можно повѣрить, во-первыхъ, потому, что онъ зналъ вполне всѣ задушевные стремленія московскихъ кружковъ, а во-вторыхъ — потому, что его можно заподозрить скорѣе въ пристрастіи къ симпатичному Грановскому, чѣмъ въ преувеличенной нѣжности къ угловатымъ реалистамъ нашего времени.

Мнѣ возразятъ, что на поприщѣ Грановскаго никто-бы не могъ дѣйствовать лучше и плодотворнѣе. Я знаю, что не могъ. Но это доказываетъ только, что не надо ему было становиться на такое поприще. На это скажутъ, что лучше что-нибудь, чѣмъ совсѣмъ ничего. Съ этимъ я опять-таки совершенно согласенъ, но только надо условиться въ пониманіи термина — «что-

нибудь». Если мнѣ очень хочется ѣсть, то я прошу: дайте мнѣ, ради Бога, хоть что-нибудь! То-есть, дайте мнѣ хоть сухую корку хлѣба. Но если мнѣ дадутъ палисандровую дощечку или атласный лоскутокъ, то я никакъ не скажу, что это — «что-нибудь», а скажу, что это — «совсѣмъ ничего». При совершенно раціональномъ преподаваніи, исторія есть «что-нибудь», и можетъ служить обществу очень питательной пищей. Но при художественной манерѣ преподаванія исторія превращается въ галлерею рембрантовскихъ портретовъ. И хорошо, и весело, и глаза разбѣгаются, а въ результатъ выйдутъ все-таки совсѣмъ ничего. Вѣдь какъ хотите толкуйте: Грановскому до Маколева очень далеко, а между тѣмъ я бы покорнѣе попросилъ кого-нибудь изъ многочисленныхъ обожателей великаго Маколева доказать мнѣ ясно и вразумительно, что вся дѣятельность этого великаго человека принесла Англіи или человечеству хоть одну крупную дѣйствительной пользы. А что дѣятельность всѣхъ ученыхъ и писателей, подобныхъ Маколею, принесла чрезвычайно много вреда, это вовсе не трудно доказать. Всѣ эти господа, сознательно или безсознательно, постоянно морочили граціозностью.

Молодые люди, подобные Берсенева, входятъ въ храмъ науки и прежде всего попадаютъ въ преддверіе, изъ котораго расходятся въ двѣ противоположныя стороны — въ два корридора. Пойдешь налево — тебѣ покажутъ тысячи палисандровыхъ дощечекъ и атласныхъ лоскутковъ, которые тебѣ придется жевать для утоленія умственного голода. А пойдешь направо — тебя накормятъ, одѣнутъ, обучатъ, обмундуютъ и покажутъ кромѣ того, какъ кормить, одѣвать, обувать и обмывать другихъ людей. Въ лѣвомъ, атласно-палисандровомъ отдѣленіи храма наукъ господствуютъ: исторіографія Маколева и его безчисленныхъ, даровитыхъ и бездарныхъ, послѣдователей, политическая экономія не менѣе безчисленныхъ учениковъ Мальтуса и Рикардо и сверхъ того пестрый толпа различныхъ «правъ»: римское, гражданское, государственное, уголовное и множество другихъ. И всѣ атласно-палисандровыя подобія наукъ тщательно приведены, посредствомъ усѣченій и пришиваній, въ строгую гармонію какъ между собою, такъ въ особенности и съ общими современными требованіями. Въ правомъ отдѣленіи, напротивъ того, помѣщается изученіе природы.

Еслибы молодымъ людямъ, вступающимъ въ храмъ науки, ставили вопросъ о двухъ корридорахъ такъ откровенно, какъ онъ поставленъ здѣсь, то, разумѣется, кому-же была-бы охота идти налево и жевать атласъ? Но къ несчастью, къ большому несчастію для молодыхъ людей и для всего человечества — все лѣвое отдѣленіе биткомъ набито сладкогласными учеными, вроде Маколева и Грановскаго, кото-

вно тѣмъ и занимаются, что очаровываютъ своимъ мелодическимъ и вѣропытымъ посягателямъ великаго храма. Въ отдѣленіи совѣмъ нѣтъ сирень; нѣтъ потому, что тамъ вообще до сихъ поръ обитателей, а во-вторыхъ и потому, что нѣмцы обитателямъ рѣшительно некомпетентны: одинъ добываетъ нѣкую кислоту, другой анатомируетъ пугало гнѣду, третій изслѣдуетъ химическаго гуано, четвертый возится съ кобылою зубовъ какого-нибудь *Elephas meri-*, пятый прилаживаетъ отрубленную ланцину къ гальванической батарее, шестой ругаетъ мочу помѣшанныхъ людей, и такъ и такъ далѣе, все въ томъ-же прозаическомъ направленіи. Ну, скажите, Бога ради, что это занятія, чтобы можно было запѣть на нихъ мелодическую серенаду, способствовать и привлечь молодыхъ посягателей-любопытныхъ въ храмъ науки? Какъ можно ясно отличать область чистой науки отъ области строгаго знанія?

Видно, что почти вся масса свѣдѣній о жизни, о силѣ, не находившихъ себѣ ни приложения къ жизни, тратилась прежде на строгаго научное веденіе правильныхъ противъ женскихъ сердецъ, или на писаніе сочиненій и статей въ мажорномъ, только гораздо помягше. Грановскіе ученики Берсенева почти совершенно вѣрили этой послѣдней дѣятельности, глубоко убѣждены въ томъ, что они дѣлаютъ, и что Россія, только по своей неразвитости, не считаетъ ихъ великими дѣлами; но люди болѣе умные, люди, какъ Лермонтовъ и его герой Печоринъ, рѣшительно отвергались отъ русскаго мажорнаго, искали себѣ наслажденій въ любви, страсти, исключительно отъ любовныхъ неурядицъ съ цвѣтка на цвѣтокъ, довели донъ-жуанство до замѣчательной виртуозности и все-таки скучали, какъ ни были азартны и очаровательны отдѣльные эпизоды многотрудной дѣятельности.

Видно, что донъ-жуанство, когда общество или начинаетъ жить полной жизнью, или, во-первыхъ, обнаруживаетъ замѣчательную виртуозность, а во-вторыхъ—обнять мечту о дѣятельности, потому что въ живущемъ пробуждающемся обществѣ субъектъ, оцѣнившій за собою никакихъ достоинствъ, стремленій къ любви, одерживаетъ весьма оличество очень неблестящихъ побѣдъ. Въ обществѣ женщины всегда требуютъ поклонниковъ хотя какихъ-нибудь признаковъ дѣльности и умственной тутъ ужъ невозможно колотить себя въ божитесь, что въ этой груди заключены тѣ силы, которыя тщетно стре-

мятся найти себѣ исходъ; тутъ самая простодушная женщина скажетъ этому колотителю: «Что-жъ вы не проявляете вашихъ силъ? Въдь вотъ М и N проявляютъ. И вы проявите.» И останется на это сказать только: «Слушаю-съ, сударыня; завтра-же проявить начну.» Но въ цвѣтущее время печоринства постоянная праздность, хроническое скучаніе и полный разгулъ страстей дѣйствительно составляютъ неизбѣжную и естественную принадлежность самыхъ умныхъ людей. Конечно маску вѣчной скуки надевали на себя такіе люди, которые просто были глупы, которые во всякое время были-бы праздными и которые старались только прострѣлить женское сердце разочарованными взорами. Грушницкіе носили тогда обноски Печориныхъ такъ точно, какъ теперь Ситниковы носятъ обноски Базаровыхъ. Конечно и настоящіе Печорины часто интересничали своимъ скучаніемъ, когда это интересничаніе могло остаться незамѣченнымъ, сойти за чистую монету и ускорить желанную развязку любовной интриги. Но, несмотря на то, скука настоящихъ Печориныхъ вовсе не была маской; она ихъ дѣйствительно тяготила, и еслибы какой-нибудь благодѣтельный гений предложилъ имъ снять съ нихъ эту проклятую обузу, то они съ большимъ удовольствіемъ дали-бы клятвенное обязательство никогда не надѣвать на себя личину этой скуки «для пущаго трагизма», какъ выражается Зайцевъ. Печорины были во всѣхъ отношеніяхъ умнѣе Берсенева, и поэтому-то именно имъ и не оставалось никакого выхода изъ скуки и изъ міра любовныхъ похаживаній. Конечно ихъ силы могли-бы найти себѣ удовлетвореніе въ глубокомъ изученіи природы, но въдь надо-же помнить, что въ нашемъ любезномъ отечествѣ только что на этихъ дняхъ сдѣлано то великое открытіе, что естественныя науки дѣйствительно существуютъ, что онѣ способны принести людямъ нѣкоторую пользу, и что не мѣшало бы, вмѣсто «розъ Теоокрита», возрастить на русскійхъ снѣгахъ нѣчто вроде химіи, фізіологіи и анатоміи. Для Печориныхъ естествознаніе было тѣмъ, что будетъ вѣроятно во всякое время интегральное исчисленіе для огромнаго большинства людей. Стало быть, Печоринымъ не было никакого выбора, и постоянная ихъ праздность не можетъ служить доказательствомъ ихъ умственной хилости. Даже напротивъ того.

VIII.

Германія, классическая страна «здороваго растительнаго сна», настоящая родина чистѣйшаго филистерства, совершенно недоступна въ своей полной чистотѣ для всѣхъ остальныхъ частей нашей планеты; Германія, говорю я, сумѣла однако устроить такъ, что ея многолѣтній сонъ не пропасть даромъ ни для нея

самой, ни для человечества. Первые шестьдесят четыре года XIX столѣтія останутся навсегда незабвенной эпохой, какъ колыбель новѣйшаго естествознанія. Либихъ, Леманъ, Мюллеръ, Мошотъ, Дюбуа-Реймонъ, Пфлюгеръ, Вирховъ, Фирордъ, Валентинъ, Гельмгольцъ, братья Веберы, Карлъ Фохтъ, Гиртъ, Броннъ, Келликеръ, Фульротъ, Шахтъ, Александръ Гумбольдтъ, Шваннъ, Функе, Эренбергъ, Зибольдъ, и другіе болѣе или менѣе замѣчательные натуралисты сдѣлали изъ этой эпохи неизблемый фундаментъ для будущаго развитія естествознанія. «Химическія письма» Либиха, «Круговоротъ жизни» Мошота, «Изслѣдованіе животнаго электричества» Дюбуа-Реймона, «Целлюлярная патологія» Вирхова, «Анатомія» Гирта, «Гистологія» Келликера, «Дерево» Шахта, «Космосъ» Гумбольдта навсегда останутся драгоценнѣйшимъ достояніемъ всѣхъ вѣковъ и всѣхъ народовъ. Эти труды не только кладутъ фундаментъ будущаго благосостоянія, но кромѣ того даже въ настоящемъ увеличиваютъ богатство массъ; подобные люди счастливы въ двухъ отношеніяхъ: во-первыхъ, они прежде другихъ созерцаютъ тѣ великія тайны природы, съ которыхъ они срываютъ завѣсу; и во-вторыхъ, они видятъ счастье тѣхъ людей, которые имъ однимъ обязаны своимъ благосостояніемъ. Конечно многія тайны остаются для нихъ недоступными; но я не говорю, что истинные ученые естествоиспытатели наслаждаются безоблачнымъ блаженствомъ. Они часто и страдаютъ, и волнуются, но они не отдадутъ этихъ великихъ минутъ страданія и волненія за милліоны невозмутимыхъ филистерскихъ благополучій. Вы любите женщину, васъ волнуетъ и терзаетъ и ея присутствіе, и ея отсутствіе, и ея слова, и ея взгляды, и ея холодность, и ея страстность; въ самыя счастливыя минуты вы не знаете сами, весело-ли вамъ, или больно; а между тѣмъ всѣ эти мучительныя ощущенія безконечно дороги для васъ, и дороги даже тогда, когда весь вашъ романъ цѣликомъ ушелъ въ прошлое и когда у васъ не осталось для настоящаго ровно ничего, кромѣ грустно-радужныхъ воспоминаній; какъ только прошлое выступаетъ ярко передъ вашей памятью, такъ вамъ становится положительно больно, и никакого изъ этой боли не можетъ выйти толку; а между тѣмъ вы любите даже эти томительныя минуты, и вы ни за что не согласились-бы взять себѣ забвеніе, если-бы даже оно было возможно.

Если вы когда-нибудь любили, то вы найдете эти замѣчанія вѣрными, и вы получите тогда легкое понятіе о томъ, какимъ образомъ знающіе естествоиспытатели относятся ко всѣмъ трудамъ, непріятностямъ и страданіямъ той дѣятельности, которая наполняетъ всю ихъ жизнь. Когда типъ скучающихъ Печориныхъ

процвѣталъ въ нашемъ отечествѣ, тогда всѣ такія какія обстоятельства не мѣшала и не хотѣли мѣшать развитію физическихъ и физиологическихъ изслѣдованій. Конечно идеи Фейербаха и Бюхнера считались и тогда очень предосудительными. Но совсѣмъ не въ этихъ идеяхъ и заключается сила современнаго естествознанія. Если до сихъ поръ мы относимся къ этимъ идеямъ съ особенной нѣжностью и накидываемся на нихъ съ особенной жадностью, то это доказываетъ только, что мы стоимъ еще на самомъ порогѣ настоящей науки и что мы до сихъ поръ никакъ не можемъ отказаться отъ ребяческой замашки строить системы міра изъ двухъ десятковъ собранныхъ кирпичей. Кромѣ того запрещенный плодъ всегда привлекателенъ. Но настоящіе натуралисты, тѣ, которымъ нѣтъ причины нѣжничать съ запрещенными плодами, и тѣ, которые находятъ скучнымъ полемизировать съ подобными созданіями человѣческой глупости, тѣ, говорю я, относятся съ глубочайшимъ равнодушіемъ къ такимъ системамъ, начиная съ необузданнаго идеализма Шелтона и кончая простымъ матеріализмомъ Бюхнера. Они даже перестали удивляться тому, что люди спорятъ о такихъ предметахъ. Мы желаемъ работать, говорить естествоиспытателя, а не фантазировать. Работа-же наша состоитъ въ изученіи тѣхъ сторонъ природы, которыя можно видѣть, измѣрять и вычислять. Такъ разсуждаютъ величайшіе изъ современныхъ натуралистовъ, и простота, и разумность такихъ разсужденій такъ очевидны, такъ неотразимо дѣйствуютъ на всѣ человѣческіе умы, даже на самыя неразвитыя, что передъ трудами натуралиста преклоняются съ невольнымъ уваженіемъ люди всѣхъ политическихъ партій.

На основаніи всѣхъ предыдущихъ соображеній, я рѣшаюсь высказать ту мысль, что наши Печорины могли проникнуть въ область труда, недоступную атмосферическимъ вліяніямъ, и проникли-бы въ нее непременно, если-бы они только имѣли ясное понятіе о ея существованіи. Мнѣ кажется, что имъ всего болѣе мѣшали открыть эту область три вещи: во-первыхъ — наше общее невѣжество, во-вторыхъ — поэзія и эстетика, и въ-третьихъ — ученое фразерство нашихъ добродѣтельныхъ и недобродѣтельныхъ Макалеевъ. Последнія двѣ причины мѣшали преимущественно тѣмъ, что возбуждали въ сильныхъ и естественно-скептическихъ умахъ нашихъ Печориныхъ презрѣніе къ умственной дѣятельности вообще. Они думали, по своей необразованности, что видятъ передъ собою образчики всей человѣческой науки, и, замѣчая тотчасъ дряблость и практическое убожество тѣхъ занятій, которымъ съ колѣнопреклоненіями и съ священнымъ ужасомъ предавались наши Берсеневы, они, Печорины, рѣшили сразу, что все это чепуха, и что надо жить,

ка живетъ, и что скука составляетъ неиз-
жннмую непрятность въ жизни каждаго умнаго
ловѣка. Я увѣренъ, что, читая даже статьи
Бѣлинскаго, многіе Печорины разсуждали про
бя: «Да. Славно писать. И умно, и честно.
къ чему все это?» И если они разсуждали
кимъ образомъ, то нельзя сказать, чтобы они
или совершенно неправы. Еслибы Бѣлинскій
Добролюбовъ поговорили между собою съ гла-
на глазъ, съ полной откровенностью, то они
зошлись-бы между собою на очень многіхъ
пунктахъ. А еслибы мы поговорили такимъ
образомъ съ Добролюбовымъ, то мы не со-
лись-бы съ нимъ почти ни на одномъ пунктѣ.
статели «Русскаго Слова» знаютъ уже, какъ
дикально мы разошлись съ Добролюбовымъ во
глядѣ на Катерину, то-есть—въ такомъ ос-
вномъ вопросѣ, какъ оцѣнка свѣтлыхъ явле-
въ нашей народной жизни. Слѣдовательно,
мыя идеи Бѣлинскаго уже не годятся для на-
его времени. Въ свое время онъ былъ очень по-
езны, но основательно-ли было-бы утверждать,
то въ его время невозможны были такіа дру-
идеи, которыя принесли-бы въдесятеро боль-
е пользы.

Мнѣ кажется, что такіа идеи были возможны
тогда. Бѣлинскій, усвоившій себѣ полули-
тературное, полуфилософское образованіе, не
могъ сдѣлаться проводникомъ этихъ другихъ
идей; но тотъ-же Бѣлинскій, получившій матема-
тическое и строго реальное образованіе, тотъ-же
Бѣлинскій, съ тѣмъ-же сильнымъ умомъ, съ
тѣмъ-же блестящимъ талантомъ, съ тѣми-же
честными убѣжденіями, но только Бѣлинскій-на-
тураллистъ, а не эстетикъ и не гегельянецъ, при-
несъ-бы въ десять разъ больше пользы, и послѣ-
дѣтельности такого атлета мнѣ конечно не
было-бы ни надобности, ни даже возможности
писать въ 1864 году настоящія строки. Но не-
многіе уцѣлѣвшіе и состарѣвшіеся Печорины ни-
какъ не хотятъ и не могутъ повѣрить тому, что
они при всемъ своемъ умѣ были круглыми
невѣждами и втеченіи всей своей жизни ску-
чили не по возвышенности своей натуры, а
только потому, что не знали, какъ взяться за
дѣло. Потому, при встрѣчѣ съ молодыми Печо-
ринными, они стараются ихъ разразить аргумен-
тами, какъ разражали въ былые годы гегели-
товъ и маколеевъ российской фабрикаціи. Но
тутъ коса находитъ на камень, и старые Пе-
чорины замѣчаютъ въ молодыхъ ту-же холодную
снотность взгляда, ту-же умственную требователь-
ность, ту-же безпощадность ироніи, словомъ, всѣ
тѣ-же свойства, которыми они сами наводили
репетъ на Максима Максимовича и благоговѣй-
ную любовь на княжну Мери. И ко всему этому
присоединяется знаніе, котораго у пятигорскаго
демона не было. Да еще вдобавокъ не ску-
ютъ, каналы, и даже отрицаютъ скуку, то-
тъ ухитряются такимъ образомъ перещего-

лять демона даже въ отрицаніи, которое, какъ
извѣстно, составляетъ его нарочитую специалъ-
ность. Разумѣется, все это неимоვნно бѣситъ
послѣдѣвшихъ Печориныхъ, и имъ, чтобы не ви-
дѣть молодыхъ чертенятъ, которые оказываются
шустрѣе старыхъ,—остается только взять при-
мѣръ съ Павла Петровича Кирсанова, то-есть
уѣхать въ Дрезденъ и показывать себя публикѣ
на брюлевской террасѣ.

IX.

Базаровъ говоритъ Аркадію: «Твой отецъ—доб-
рый малый, но онъ человѣкъ отставной, его пѣ-
сенка спѣта. Онъ читаетъ Пушкина. Растол-
куй ему, что это нигуда не годится. Вѣдь онъ
не мальчикъ: пора бросить эту ерунду. Дай ему
что-нибудь дѣльное, хоть Бюхнерова «Stoff und
Kraft» на первый случай.»

Выписавъ эти слова, Антоновичъ прибав-
ляетъ отъ себя замѣчаніе: «Сынъ вполнѣ согла-
сился съ словами друга и почувствовалъ къ отцу
сожалѣніе и презрѣніе».

Но, во-первыхъ, это неправда, ни сожалѣнія,
ни презрѣнія Аркадій не чувствовалъ къ своему
отцу, ни до этого разговора, ни послѣ. А во-
вторыхъ, еслибы даже глупость Аркадія дошла
до такихъ колоссальныхъ размѣровъ, то, раз-
умѣется, *сожалѣніе и презрѣніе* родились-бы въ
немъ не отъ того, что онъ *согласился съ словами
друга*, а отъ того, что онъ понялъ эти слова со-
всѣмъ навыворотъ. Базаровъ нисколько не же-
ляетъ разъединять сына съ отцомъ; напротивъ
того, Базаровъ своимъ совѣтомъ указываетъ на
тотъ единственный путь, по которому Аркадій
можетъ приблизиться къ Николаю Петровичу,
не измѣняя идеямъ своего поколѣнія. Но прежде
всего необходимо правильно понимать Базарова;
онъ выражается всегда очень сильно и довольно
небрежно; поэтому, если мы захотимъ приди-
раться къ отдѣльнымъ словамъ, намъ будетъ
вовсе нетрудно извратить ихъ смыслъ, обвинить
Базарова въ различныхъ намѣреніяхъ и даже
отыскать въ каждой его фразѣ по нѣскольку про-
тиворѣчій. Напримѣръ, онъ говоритъ, что Ни-
колай Петровичъ — человѣкъ отставной, и въ
то-же время совѣтуетъ дать ему что-нибудь дѣль-
ное. Явное противорѣчіе! Если отставной, такъ
и пускай читаетъ Пушкина; не зачѣмъ его и
отрывать отъ этого безвреднаго занятія. Далѣе:
противъ чтенія Пушкина приводится тотъ аргу-
ментъ, что «вѣдь онъ (т.-е. Николай Петровичъ)
не мальчикъ». Это опять похоже на бессмыслицу.
Значитъ, еслибы Базаровъ увидалъ сочиненія
Пушкина въ рукахъ семнадцатилѣтняго маль-
чика, то онъ этого мальчика похвалилъ-бы за
прилежаніе и нашель-бы, что этому мальчику
дѣйствительно слѣдуетъ тратить время на чтѣ-
ніе «Кавказскаго плѣнника» и «Бахчисарайскаго
фонтана». Уличивши такимъ образомъ База-
рова въ противорѣчіяхъ, доказавши ему, что

онъ самъ не понимаетъ своихъ собственныхъ словъ, мы конечно безъ малѣйшаго труда придемъ къ тому заключенію, что Базарову, какъ самолюбивому мальчишкѣ, хочется только поумничать надъ почтеннымъ отцомъ семейства, и что вся тирада противъ Пушкина должна быть приписана этому мелкому предосудительному побужденію. Это заключеніе чрезвычайно печально, потому что оно доказываетъ намъ удивительную непрочность той гармоніи, которая господствуетъ въ самыхъ лучшихъ и просвѣщенныхъ русскихъ семействахъ.

Когда Базаровъ говоритъ съ Аркадіемъ о Николаѣ Петровичѣ, то слова могутъ подать поводъ къ ложнымъ истолкованіямъ; въ этихъ словахъ можно отыскать безсвязность и целѣность; но стоитъ только взглянуть на эти слова безъ предубѣжденія, чтобы увидать и понять немедленно честныя, чистыя и вполне сознательныя стремленія Базарова. — Зачѣмъ онъ говоритъ Аркадію, что его отецъ — человѣкъ отставной? — Очень понятно, зачѣмъ. — Аркадій — юноша впечатлительный. Пріѣхавъ въ деревню, онъ подчиняется вліянію разбѣживающей обстановки и увлекается симпатичной личностью своего добраго отца. Любитъ отца очень похвально, но всякій читатель вѣроятно согласится со мною въ томъ, что двадцатилѣтнему юношѣ не слѣдуетъ относиться къ требованіямъ современной дѣйствительности такъ, какъ относится къ нимъ сорока-четырехлѣтній мужчина. Если пожилой человѣкъ отдыхаетъ и благодушествуетъ, если онъ занимается полезнымъ трудомъ отъ нечего дѣлать, если этотъ трудъ составляетъ для него не цѣль и смыслъ всего существованія, а только пріятное развлеченіе вродѣ прогулки для мѣлочна, если, говорю я, все это дѣлается пожилымъ человѣкомъ, то мы отъ всей души говоримъ ему спасибо за то, что онъ не мѣшаетъ работѣ другихъ людей, и еще за то, что онъ способенъ находить удовольствіе въ такихъ занятіяхъ, которыя не могутъ быть названы совершенно полезными. Мы всегда должны помнить, что человѣкъ зрѣлыхъ лѣтъ провелъ всю свою молодость въ нечоринскомъ періодѣ, и что вынужденная неподвижность дѣйствуетъ на человѣческія силы гораздо разрушительнѣе, чѣмъ самый тяжелый и изнурительный трудъ. Поэтому реалисты никогда не потребуютъ отъ Николая Петровича, чтобы онъ съ юношеской энергіей и съ горячимъ усердіемъ принялся за работу нашего времени. Но по этой-же самой причинѣ реалисты отнесутся съ полнымъ и совершенно справедливымъ презрѣніемъ къ тому двадцатилѣтнему празднотелю, который вздумаетъ отдыхать, благодуствовать и дилетантствовать подобно Николаю Петровичу. Или работай серьезно, или совсѣмъ не принимайся за работу. — Они скажутъ это каждому изъ своихъ сверстниковъ, потому что отъ нихъ, отъ нашихъ

сверстниковъ, мы имѣемъ полное право настоятельно требовать непреклонной энергіи, желѣзнаго терпѣнія и неутомимаго трудолюбія. У кого нѣтъ этихъ свойствъ и кто, будучи двадцатилѣтнимъ здоровымъ парнемъ, не въ состояніи выработать въ себѣ эти свойства, тотъ не можетъ пользоваться уваженіемъ нашихъ, того ошибаются и осмѣются, если онъ осмѣлится пуститься въ добродѣтельныя фразы о своемъ пламенномъ сочувствіи общему дѣлу отечественнаго прогресса. Намъ нужна полезная работа, и нѣтъ никакого дѣла до пламенныхъ сочувствій. Сочувствіе-же мы съ полной признательностью принимаемъ только отъ тѣхъ людей, которые уже не въ силахъ быть дѣятельными работниками.

Теперь понятно, что значатъ слова Базарова: «твой отецъ — человѣкъ отставной». Это значитъ: помни, о другъ мой, Аркадій Николаевичъ, что съ твоей стороны будетъ совершенно неприлично вести тотъ образъ жизни, который дѣлаетъ твоему пожилому отцу большую честь. Онъ поступаетъ хорошо, потому что онъ отставной, по тебѣ рано выходить въ отставку. Смотри-же, держи ухо востро, если не желаешь къ двадцатипяти годамъ сдѣлаться Афанасіемъ Ивановичемъ. Когда Аркадій женился на Катеринѣ Сергѣевнѣ, онъ дѣйствительно превратился въ Афанасія Ивановича, и можно было сказать заранѣе, что всѣ предостереженія Базарова пропадутъ даромъ, потому что воскъ ни при какихъ условіяхъ не перестанетъ быть воскомъ и не сдѣлается ни сталью, ни алмазомъ. Но вѣдь Базаровъ не виноватъ въ томъ, что его разумныя слова попали въ ослиное ухо. Слова все-таки разумныя, намѣреніе все-таки честное, а если успѣхъ не великъ, такъ что-же съ этимъ дѣлать. Намъ пришлось-бы наложить на себя пинагорейскій обѣтъ молчанія, еслибы мы стали высказывать наши мысли только въ тѣхъ случаяхъ, когда онѣ повѣрное должны попасть въ цѣль и произвести осязательный практическій результатъ.

Это напоминаетъ мнѣ, что фельетонистъ «Современника» называетъ Базарова болтуномъ. О, Господи! Ужъ не нашимъ-бы литераторамъ высказывать этотъ упрекъ. Намъ, пишущимъ людямъ, приходится болтать десятки лѣтъ, прежде чѣмъ наша болтовня дойдетъ до назначенія. Или можетъ-быть Щедрина думаетъ, что каждое его слово творитъ чудеса и извлекаетъ изъ камня нашей закостѣлости живую воду плодотворныхъ идей и высокихъ стремленій? Ну, и пускай думаетъ! Блаженъ, кто вѣруетъ, тепло тому на свѣтѣ! — Но Базаровъ даже и говорить-то совсѣмъ немного, и выражаетъ свои мысли такъ коротко и отрывисто, что почти каждое его слово требуетъ дополнительныхъ и пояснительныхъ комментаріевъ. Такъ не говорятъ болтуны, то есть люди, наслаждающіеся звукомъ собственныхъ рѣчей. Такъ говорятъ только дѣловые люди, чувствующие непримиримую ненависть ко

всякому риторству. Сказавши Аркадію, что его отецъ—отставной человѣкъ, Базаровъ на этомъ не останавливается. Онъ не хочетъ махнуть рукой на отставного человѣка и отвернуться отъ него. Онъ говоритъ Аркадію: «Растолкуй ему, что это нигде не годится... Дай ему что-нибудь дѣльное».—Зачѣмъ онъ это говоритъ? Конечно не за тѣмъ, чтобы сдѣлать Николая Петровича великимъ естествоиспытателемъ. И конечно не за тѣмъ, чтобы покуражиться надъ этимъ добродушнымъ и смирнымъ человѣкомъ. Еслибы онъ хотѣлъ куражиться, то онъ самъ полѣзъ-бы съ совѣтами къ Николаю Петровичу, вмѣсто того, чтобы разговаривать съ его сыномъ. Базаровъ просто желаетъ поддѣлиться тѣмъ, что онъ считаетъ высшими человѣческими наслажденіями, со всякимъ, кто только способенъ воспринять и почувствовать эти наслажденія. Если вы любите ѣсть устрицы, то очень естественно, что вы при случаѣ будете угощать устрицами каждого изъ вашихъ знакомыхъ; и вы даже съ особеннымъ удовольствіемъ будете вовлекать въ любовь къ устрицамъ тѣхъ людей, которые никогда не брали ихъ въ ротъ и смотрѣть на нихъ съ невольнымъ ужасомъ. Ваше удовольствіе будетъ совершенно безкорыстно, и оно будетъ вытекать изъ самаго чистаго источника. Вамъ хочется, чтобы вмѣстѣ съ вами наслаждались и другіе. На этомъ желаніи основано убійственное хлѣбосольство гоголевскаго Пѣтуха, и хлѣбосольство это, проявляющееся въ самыхъ скотскихъ разбѣрахъ, все-таки остается очень симпатичнымъ, именно потому, что въ немъ нѣтъ ни малѣйшаго тщеславія, а только одно добродушіе: пользоваться, молъ, всякая душа человѣческая!—Пѣтухъ кормитъ своихъ гостей на убой, а Базаровъ хочетъ усадить Николая Петровича за книгу, которую онъ считаетъ дѣльной; оба дѣйствуютъ по одинаковому побужденію. «Мнѣ хорошо; хочу, чтобы и другому было хорошо»,—это размышленіе такъ просто, такъ естественно, такъ неистребимо въ каждомъ здоровомъ человѣческомъ организмѣ, что и Пѣтухъ способенъ размышлять такимъ образомъ. А между тѣмъ всѣ величайшіе подвиги чистѣйшаго человѣческаго героизма совершались и будутъ совершаться всегда именно на основаніи этого простаго размышленія. — А критика наша по обыкновенію смотритъ въ книгу и видитъ фигу, и на основаніи этой фигуры изобличаетъ Базарова въ непочтительности, въ жестокости и во всякомъ озорствѣ. Долго придется Антоновичу раскисаться въ его статьѣ объ «Асмодеѣ нашего времени». Много вреда надѣлала эта статья. Сильно перепутала она понятія нашего общества о молодомъ поколѣніи. Такъ напакостить могъ именно только одинъ «Современникъ».

А что-же значатъ слова Базарова: «вѣдь онъ не мальчикъ»?—Это значитъ: «Когда твой отецъ былъ мальчикомъ, тогда позволительно было чи-

тать Пушкина, потому что лучше наслаждаться четырехстошными ямбами, чѣмъ «ромомъ и аракомъ» или воронными рысакими. Теперь онъ не мальчикъ, и теперь настали другія времена, и теперь люди выучились создавать себѣ болѣе прочныя, болѣе разумныя и болѣе сильныя наслажденія. Пусть твой отецъ отвѣдаетъ этихъ наслажденій, и онъ, какъ человѣкъ неглупый, навѣрное полюбитъ ихъ и броситъ ямбы и хорен. Помоги твоему отцу; тебѣ самому будетъ чрезвычайно пріятно сознавать, что ты принесъ ему пользу, и что ты открылъ ему доступъ къ великимъ наслажденіямъ мысли. И еще пріятнѣе будетъ для тебя то обстоятельство, что отецъ сдѣлается твоимъ другомъ и помощникомъ во всѣхъ твоихъ дальнѣйшихъ работахъ». Вотъ мысль Базарова, развитая во всѣхъ подробностяхъ. Если смотрѣть на его слова безъ предвзвѣтой идеи, безъ недоброжелательнаго предубѣжденія, то невозможно даже предположить, чтобы эти слова были произнесены вслѣдствіе какого-нибудь другого процесса мысли.

Я обращаюсь теперь къ каждому безпристрастному читателю съ вопросомъ: есть-ли малѣйшая возможность заподозрить Базарова въ желаніи погаумиться надъ Николаемъ Петровичемъ и унижить въ его лицѣ лучшую часть старшаго поколѣнія? Я убѣжденъ въ томъ, что каждый безпристрастный читатель, взглянувъ на мои доводы, совершенно очиститъ Базарова отъ тѣхъ нелѣпыхъ обвиненій, которыя взведены на него близорукой критикой. Слова Базарова, вмѣсто большой пользы, принесли крошечный вредъ, то-есть огорчили на нѣсколько дней Николая Петровича и поселили между отцомъ и сыномъ легкое неудовольствіе, которое однако скоро исчезло. Случилось-же это во-первыхъ потому, что Николай Петровичъ нечаянно подслушалъ эти слова, которыхъ ему вовсе не слѣдовало слышать; а во-вторыхъ потому, что Аркадій оказался набитымъ дуракомъ и превзошелъ въ этомъ отношеніи всѣ ожиданія или опасенія Базарова. Однажды, когда Николай Петровичъ читалъ Пушкина (а читалъ онъ его повидимому часто и усердно), Аркадій подошелъ къ нему, съ ласковой улыбкой взявъ у него изъ рукъ книгу и вмѣсто Пушкина положилъ передъ нимъ «Kraft und Stoff». Ну, и оправдалась пословица: услужливый дуракъ и т. д. Базаровъ сказалъ: «дай ему на первый случай хоть Бюхнерова «Kraft und Stoff» —Аркадій буквально исполнилъ этотъ совѣтъ. Но Базаровъ сказалъ кромѣ того: «растолкуй ему, что это (т.-е. Пушкинъ) нигде не годится» —а сообразительный Аркадій пропустилъ эти слова мимо ушей и не понялъ, что въ нихъ заключается весь смыслъ дѣла. Само собою разумѣется, что школьническая, нелѣпая и дерзкая выходка Аркадія, смягченная и украшенная ласковой улыбкой, не могла рѣзъяснить Николаю Петровичу значеніе

естествознанія для исторической жизни массъ и для міросозерцанія отдѣльнаго человѣка. Читатель имѣетъ полное право назвать Аркадія самоудовольствіемъ, а Николаю Петровичу остается только вздохнуть, пожать плечами и пожалѣть о томъ, что сынъ его такъ плохъ въ умственномъ отношеніи. Но зачѣмъ-же валить съ больной головы на здоровую? Въ чемъ тутъ виноватъ Базаровъ? И что общаго имѣетъ глупость Аркадія съ идеями, которыми проникнуты наши реалисты? Шекспиръ—очень замѣчательный писатель, но и шекспировскую драму можно такъ искусно перевести и такъ восхитительно разыграть на сценѣ, что она покажется гораздо хуже драмы Нестора Кукольника или Николая Полевого. Еслибы Аркадій былъ дѣйствительно проникнутъ сознательной любовью къ наукѣ, еслибы онъ разумно и убѣдительно заговорилъ съ своимъ отцомъ объ умственныхъ интересахъ естествоиспытателей нашего времени, еслибы онъ возбудилъ и направилъ любознательность Николая Петровича, еслибы онъ такимъ образомъ доставилъ ему много чистыхъ наслажденій и еслибы онъ посредствомъ этихъ наслажденій сблизился съ своимъ отцомъ тѣснѣе, чѣмъ когда-либо, — то навѣрное никому изъ читателей не пришло-бы въ голову обвинять Аркадія въ непочтительности къ родителямъ или въ недостаткѣ сыновней любви. А поступая такимъ образомъ, Аркадій исполнилъ-бы съ самой добросовѣстной точностью дружескій совѣтъ Базарова, — тотъ самый совѣтъ, который онъ, по своей глупости, совершенно изуродовалъ. — Изъ всего, что было говорено выше, я вывожу то заключеніе, что взаимному пониманію этихъ двухъ поколѣній, старшаго и молодаго, мѣшаютъ съ одной стороны старые Печорины, подобные Павлу Петровичу, а съ другой стороны—глупые юноши, подобные Ситникову и Аркадію. То-есть, другими словами, мѣшаютъ непониманіе и тупоуміе.

Х.

«Базаровъ—циникъ; взглядъ Базарова на женщину проникнутъ самымъ грубымъ цинизмомъ». Такое сужденіе вы услышите отъ каждаго русскаго человѣка, прочитавшаго романъ Тургенева и умѣющаго произнести слова «циникъ» и «цинизмъ». Въ устахъ русскаго человѣка эти слова имѣютъ конечно ругательное значеніе; такъ какъ мы сами до сихъ поръ не были причастны ни къ одной философской школѣ, то мы ухитрились все дошедшее до насъ философскіе термины осмыслить по своему, сообразно съ уровнемъ нашихъ умственныхъ отправленияхъ. Вслѣдствіе этого получились самые неожиданные результаты: — кто ѣлъ, пилъ и спалъ за четырехъ, тотъ былъ произведенъ въ матеріалисты; а набитые дураки, не умѣющіе приняться ни за одно практическое дѣло, получили титулъ романтиковъ или идеалистовъ.

Въ этомъ всеобщемъ маскарадѣ, въ которомъ наши пошлости прикрылись иностранными словами, циническая хламида старика Діогена досталась тѣмъ людямъ, которые въ дамскомъ обществѣ произносятъ непечатныя слова и украшаютъ свою всеневную жизнь разными неприличными поступками. Такихъ людей у насъ не мало; понятія о томъ, что прилично и что неприлично, очень измѣнчивы и растяжимы; вслѣдствіе этого и слово «цинизмъ» стало прилагаться, безъ дальнѣйшаго разбора, къ такимъ вещамъ, которыя сами по себѣ очень хороши, и къ такимъ, которыя во всѣхъ отношеніяхъ отвратительны. Циникомъ называютъ у насъ съ одной стороны человѣка прямодушнаго и откровеннаго, презирающаго всякое фразерство и безпощадно разоблачающаго гадости, которыя мы любимъ облачать въ граціозныя формы и смягчать благозвучными словами; съ другой стороны—я напомнимъ читателю Іону-циника, выведеннаго въ послѣднемъ романѣ Писемскаго. Кто говоритъ рѣзкую правду, тотъ, по нашему, циникъ; и кто оскорбляетъ или тиранитъ беззащитнаго человѣка, тотъ, по нашему, также циникъ. Понятно, что послѣднія черты циническаго образа бросаютъ грязную тѣнь на первыя, и получается въ общей суммѣ неопредѣленное представленіе о чемъ-то дикомъ, неухоженнымъ и звѣроподобномъ. Если какой-нибудь человекъ велась стремиться насильно поцѣловать женщину, путешествующую съ нимъ въ малышѣ, мы называемъ его любезности циническими; если какой-нибудь тупоумный господинъ глумится и куражится надъ своей женой, мы называемъ его обращеніе циническимъ. И то-же самое запрещенное слово мы прикладываемъ не только къ характеру людей совершенно другого закала, но даже къ умственной дѣятельности тѣхъ великихъ мыслителей, которые спокойно и разсудительно анализируютъ съ фیزیологической точки зрѣнія чувство чистой дѣвственной любви, и прощесъ поэтическаго творчества, и порывы возвышеннаго героизма. Все это, по нашей терминологіи,—циники, и всѣ ихъ разсужденія вытекаютъ изъ гнуснаго желанія унижить человѣческую личность и измѣять грубыми руками пѣжныя чувства и розовыя надежды довѣрчиваго читателя.

Принимая слово «цинизмъ» въ такомъ широкомъ и разнохарактерномъ значеніи, я пожалуй готовъ допустить, что Базаровъ—дѣйствительно циникъ; но въ такомъ случаѣ я надѣюсь доказать моимъ читателямъ, что въ базаровскомъ цинизмѣ нѣтъ рѣшительно ничего дурного, т.-е. ничего оскорбительнаго для человѣческаго достоинства и несовмѣстнаго съ разумнымъ уваженіемъ къ женщинамъ. Я намѣренъ разобрать довольно подробно всѣ отношенія Базарова къ Одинцовой, и я имѣю причины думать, что этотъ этюдъ въ настоящее время будетъ не совсѣмъ бесполезенъ: онъ до нѣкоторой степени облегчитъ намъ пониманіе того сфинкса, который называется мажор-

мъ поколѣніемъ и который подъ этимъ названіемъ наводитъ недоумѣніе и ужасъ на очень многихъ добрыхъ людей обоого пола.

Увидавши Одинцова на балѣ у губернатора, Базаровъ прежде всего обращаетъ вниманіе на ея наружность. «Кто-бы она была, — говоритъ онъ Аркадію, — просто-ли губернская львица, или аманцине», вродѣ Кукшиной, только у ней такіа плечи, какихъ я не видывалъ давно. — Аркадія окоробило отъ цинизма Базарова. — Вотъ и чудно! Слово «цинизмъ» сразу вырвалось у моего Тургенева. Это даетъ самый удобный случай проанализировать, какого рода штука тотъ цинизмъ. Что молодой человѣкъ неавнодушенъ къ красотѣ молодой женщины, — въ этомъ, кажется, самый строгій моралистъ и самый восторженный поэтъ, каждый съ своей точки зрѣнія, не найдутъ ровно ничего предосудительнаго. Ужъ на томъ свѣтѣ стоитъ, что молодые люди нравятся другъ другу, и что любовь начинается преимущественно съ того пріятнаго впечатлѣнія, которое производитъ привлекательная наружность. Когда человѣкъ почувствовалъ это пріятное впечатлѣніе, то почему-же его и не высказать третьему лицу, которому это сообщеніе нисколько не можетъ быть оскорбительно? — Да, — конечно скажетъ мой изящный читатель, — но какъ высказать? — О, я знаю; въ этомъ какъ и заключается настоящая загвоздка. Молодому человѣку позволяется говорить о красотѣ женщины, даже о ея бистѣ, даже о ея роскошныхъ формахъ, но при этомъ онъ, во-первыхъ, долженъ выражаться отборными словами, специально обточенными для подобныхъ живописаній, а во-вторыхъ — онъ долженъ во время такого разговора млѣть и благоговѣть, прищуривать глаза и изображать на своихъ губахъ блаженную улыбку небснаго созерцанія. Тогда никому въ голову не придетъ произнести слово «цинизмъ»; тогда скажутъ напротивъ того, что молодой человѣкъ — художникъ, способный увлекаться высшими идеалами, и что онъ въ конечной формѣ усматриваетъ безконечную идею прекраснаго. — Но такъ какъ Базаровъ говоритъ спокойно и называетъ плечи — плечами, а не формами, и о безконечной идеѣ прекраснаго не заикается, то сейчасъ является на сцену «цинизмъ» и начинается коробить благонаправнаго Аркадія, который однако способенъ, подобно большей части юныхъ птенцовъ, выслушивать съ замѣчайшимъ наслажденіемъ самыя нескромныя описанія, если только эти описанія производятся во вѣдѣхъ правилъ эстетики. Куда ни кинь, встрѣтъ на эстетику натыкаешься.

Любопытно замѣтить, что самъ Добролюбовъ съ этой стороны заплатилъ дань эстетикѣ. Защищая какой-то характеръ, кажется характеръ Каренины, онъ говоритъ, что его могутъ извратить и оцѣнить въ своемъ пониманіи только тѣ грязные люди, которые все мараютъ своимъ прикосновеніемъ, которые на какую-нибудь Венеру Ми-

лосскую смотреть съ пріаписческой улыбкой и съ низкими чувственными помысленіями. Я совершенно согласенъ съ Добролюбовымъ, что скалить зубы передъ мраморной статуей — занятіе очень глупое, безплодное и неблагодарное; но, наперекоръ всѣмъ художникамъ и эстетикамъ въ мірѣ, я осмѣлюсь утверждать, что всѣ экстазы самыхъ просвѣщенныхъ и рафинированныхъ поклонниковъ древней скульптуры въ сущности ничѣмъ не отличаются отъ пріаписческихъ улыбокъ и чувственныхъ поползновеній. Послѣднія только проще, непосредственнѣе и откровеннѣе, вслѣдствіе чего и нелѣпость послѣднихъ обрисовывается гораздо рѣзче. Именно эта очевидная нелѣпость дѣлаетъ ихъ менѣе вредными, сравнительно съ утонченными восторгами. Человѣкъ нехитрый взглянетъ на статую, осклабится своей неизящной улыбкой, постоитъ минуты двѣ-три передъ чудомъ искусства, да и пройдетъ мимо. А люди, посвященные въ таинства экстазовъ, поступаютъ совершенно иначе: они часто всѣ свои силы и всю свою жизнь ухлопываютъ на то, чтобы доставлять эти экстазы себѣ и другимъ; два класса людей, — эстетики и художники, — только этимъ и занимаются, и при этомъ они находятъ, что дѣлаютъ дѣло. Такую трату свѣжихъ умственныхъ силъ и драгоценнаго времени слѣдуетъ называть по меньшей мѣрѣ непроизводительной и убыточной. Смотрѣть съ пріаписческой улыбкой на живую женщину не только глупо, но даже дерзко и совершенно непозволительно по той простой причинѣ, что такая улыбка можетъ оскорбить или по крайней мѣрѣ привести въ замѣшательство ту личность, къ которой она адресуется. Но Базаровъ говоритъ съ постороннимъ лицомъ, такъ что объ оскорбленіи тутъ не можетъ быть и рѣчи. Стало быть, остается только разрѣшить вопросъ, какимъ языкомъ лучше говорить о красотѣ женщины: высокимъ и восторженнымъ или простымъ и естественнымъ. Можно было-бы сказать, что ужъ это дѣло личнаго вкуса, но я намѣренъ пойти далѣе, и осмѣлюсь выразить то мнѣніе, что говорить въ этихъ случаяхъ простымъ базаровскимъ языкомъ гораздо благоразумнѣе и достойнѣе мыслящаго человѣка.

Въ другомъ мѣстѣ того-же романа Базаровъ умоляетъ своего друга, Аркадія Николаевича, «не говорить красиво», но по своему обыкновению Базаровъ не пускается въ дальнѣйшія діалектическія тонкости и не объясняетъ причины, почему красивыя рѣчи возбуждаютъ въ немъ непобѣдимое отвращеніе. Между тѣмъ такая причина дѣйствительно существуетъ, и ее никакъ нельзя назвать неосновательной. Люди, пробудившіе въ себѣ способность размышлять, ежедневно и ежечасно играютъ сами съ собой въ очень страшную и смѣшную игру. Придетъ-ли ему въ голову какая-нибудь мысль, шевельнется-ли въ его нервной системѣ какое-нибудь ощущеніе, — человѣкъ тотчасъ ухватывается за

это душевное движеніе и начинаеть его осматривать съ различныхъ сторонъ: Что, молъ, это за штука? И какъ ее сформулировать? И подъ какую категорію подвести? И изъ какихъ основныхъ свойствъ моей личности она вытекаетъ? Конечно процессъ анализа почти никогда не поднимается до настоящихъ физиологическихъ причинъ даннаго явленія; останавливаясь на половинѣ или, еще чаще, въ самомъ началѣ пути, этотъ процессъ обыкновенно заканчивается тѣмъ, что данная мысль или данное ощущеніе получаетъ себѣ то или другое названіе. Если нашему знатнику удастся подобрать названіе красивое, то онъ немедленно почувствуетъ удовольствіе и даже проникнется нѣкоторымъ уваженіемъ къ своей особѣ: однако, подумаетъ, я—молодецъ. Вотъ какія тонкія мысли и высокія ощущенія я способенъ въ себѣ вынашивать. Но вѣдь прискивать красивые названія и пригонять къ этимъ названіямъ психическіе анализы—дѣло совсѣмъ немудреное; если только пріобрѣсти въ этомъ занятіи нѣкоторый навыкъ, то можно дѣйствовать безъ промаха, и въ каждой плоской выдумкѣ своего я, въ каждомъ естественномъ отпавленіи своего организма усматривать бездну граціи, изящества, мягкости, великодушія и всякихъ другихъ благоухающихъ атрибутовъ. Тутъ конечно удовольствію и самоуваженію не будетъ конца. Когда человѣкъ покупаетъ себѣ самоуваженіе дорогой цѣной полезнаго и неустрашаемаго труда, когда онъ поддерживаетъ въ себѣ это чувство ежедневными усиліями ума и воли, направленныхъ къ великимъ, обще-человѣческимъ цѣлямъ,—тогда самоуваженіе облагораживаетъ его, то-есть постоянно укрѣпляетъ его на новые подвиги труда и борьбы. Но когда человѣкъ платитъ себѣ за самоуваженіе фальшивой монетой красивыхъ выраженій и плоскихъ софизмовъ, когда онъ такимъ образомъ бессознательно выучивается шулерничать съ самимъ собой,—тогда онъ быстро пошлѣетъ и опускается, продолжая попрежнему воскуривать себѣ свой затхлый фиміамъ. Чѣмъ мельче становятся мысли и чувства, тѣмъ вычурнѣе и красивѣе подбираются для нихъ названія, потому что навыкъ съ каждымъ днемъ усиливается въ этомъ ремеслѣ, какъ и во всѣхъ остальныхъ. Такимъ-то именно путемъ и вырабатываются отъявленные тунеядцы, считающіе себя русскими лириками. Такимъ-же точно путемъ многіе великіе умы парализировали и оскотили свою дѣятельность. Гёте, а вмѣстѣ съ нимъ и добрякъ Шиллеръ совершенно чистосердечно убѣдили сами себя и другъ друга, что имъ стоитъ только потоньше ощущать, да повозвышеннѣе мыслить, да помудренѣе выражаться, — и они тогда окажутъ всему человечеству неизмѣримыя благодѣянія. Утвердившись на этой позиціи, великія свѣтила нѣмецкой поэзіи вскорѣ сдѣлали открытіе, что ощущенія ихъ достаточно тонки, мысли достаточно

возвышены и выраженія достаточно замысловаты. Тогда осталось только любоваться своими совершенствами и продовольствовать простое человечество не грубыми плодами полезнаго умственного труда, а тонкимъ изяществомъ просвѣтленныхъ личностей. Восхищайтесь, молъ, нами и благодарите Бога за то, что мы живемъ среди васъ, и что вы можете созерцать такую невиданную красоту души и ума. А увѣривъ себя въ этомъ, Гёте самъ себя считалъ великимъ. Какъ могъ онъ, при своемъ громадномъ умѣ, предпочитать узкій міръ своихъ личныхъ ощущеній широкому міру волнующейся жизни человечества? Какъ могъ онъ ставить субъективную мечту, отпавленіе единичнаго организма, выше той дѣйствительной драмы, которая ежеминутно, на каждомъ шагу, съ учрежденія первыхъ человѣческихъ обществъ, разыгрывается передъ глазами каждаго мыслящаго наблюдателя? Филистерская трусость Гёте не разъяснитъ намъ этой загадки. Еслибы тутъ была одна трусость, Гёте не могъ-бы такъ чистосердечно уважать и обожать себя. Нѣтъ, міръ личныхъ ощущеній былъ для него не убѣжищемъ, а храмомъ, въ которомъ онъ поселился съ полнымъ убѣжденіемъ, что прекраснѣе и священнѣе этого мѣста нѣтъ ничего на свѣтѣ. Чтобы увидеть въ самомъ себѣ свѣтлый храмъ, а въ окружающей жизни грязную базарную площадь, чтобы забыть таиннымъ образомъ естественную солидарность своего я съ окружающими глупостями и страданіями остальныхъ людей, надо было систематически подкупить и усыпить свой критическій смыслъ красотой отборныхъ выраженій. Мелкія мысли и мелкія чувства надо было возвести въ перлъ созданія; Гёте выполнилъ этотъ фокусъ, и подобные фокусы считаются до сихъ поръ величайшимъ торжествомъ искусства; но производятся такія штуки не только въ сферѣ искусства, а также и во всѣхъ остальныхъ сферахъ человеческой жизни.

Маленькій, но поучительный примѣръ такого фокуса представляется намъ въ романѣ Тургенева въ лицѣ Павла Петровича. — «Я очень хорошо знаю, — на примѣръ говоритъ этотъ perfect gentleman, — что вы изволите находить смѣшными мои привычки, мой туалетъ, мою опрятность наконецъ, но это все проистекаетъ изъ чувства самоуваженія, изъ чувства долга, да-съ, да-съ, долга. Я живу въ деревнѣ, въ глуши, но я не роняю себя, я уважаю въ себѣ человѣка».

Я сомнѣваюсь въ томъ, чтобы магическая сила красивыхъ словъ могла обрисоваться когда-нибудь и гдѣ-нибудь ярче и нагляднѣе, чѣмъ она обрисована въ этомъ мѣстѣ. Циникъ, подобный Базарову, скажетъ: я умываю лицо и руки, стригу ногти, причесываю волосы, хожу въ баню, мѣняю бѣлье—и только. И эти простые слова не возбуждаютъ въ говорящей личности

ниваго пріятнаго чувства удовлетворенной гордости. А эстетикъ, подобный Павлу Петровичу, скажетъ: я повинуюсь чувству долга и поддерживаю свое достоинство, я уважаю въ себѣ чело-вѣка, значить, я—развитая личность, значить, я себя по головѣ поглажу, значить, я дѣло дѣлаю, значить, я могу съ спокойной совѣстью почивать на лаврахъ. И мужикъ ходитъ въ баню, но онъ ходитъ по грубой животной потребности, а я хожу съ размышленіемъ, я одухотворяю процессъ физическаго омовенія высшимъ процессомъ мыслительной дѣятельности. Такимъ образомъ будетъ постоянно возрастать дешевое самоуваженіе, и съ каждымъ днемъ неизлечимѣе и безнадежнѣе будутъ становиться пустота, пошлость и праздность фразерствующей личности. Если чело-вѣкъ не сумасшедшій можетъ ставить себѣ въ заслугу то, что онъ умывается душистымъ мыломъ и носитъ туго накрахмаленные воротнички, и если даже эта незамысловатая вещь можетъ уложиться въ опрятную и красивую фразу, то понятно, какой неистощимый матеріалъ самовосхваленія могутъ доставить такому чело-вѣку самыя простыя отношенія къ женщинѣ. Полюбоваться красотой женщины, кажется, не велика мудрость и не важный подвигъ; но эстетикъ самъ себя представить свои ощущенія въ такомъ эфирно-облагороженномъ видѣ, что при семъ удобномъ случаѣ непременно умилятся надъ нѣжностью, мягкостью, чуткостью, воспримчивостью и утонченной страстностью своей натуры. Результатъ извѣстенъ: пинники, подобные Базарову, уважаютъ себя только за то, что крѣпко трудятся; а эстетики уважаютъ себя за то, что красиво ѣдятъ, красиво пьютъ, красиво умываются и красиво глядятъ на красивыхъ женщинъ. Вслѣдствіе этого реалисты, чтобы сохранить себѣ свое собственное уваженіе, продолжаютъ крѣпко трудиться; а эстетики, для достиженія той-же самой цѣли, продолжаютъ красиво ѣсть, красиво пить, красиво умываться и красиво глядѣть на красивыхъ женщинъ. Чтѣ лучше и чтѣ общепользѣе — объ этомъ я предоставляю судить благосклонному читателю. — Кажется мнѣ только, что плечи слѣдуетъ называть плечами, и что, любуясь красотой живой женщины или мраморной Венеры, мы не оказываемъ особенно великаго одолженія ни отечеству, ни чело-вѣчеству. Ощущеніе очень обыкновенное; стало быть, и выраженіе должно быть просто и положительно. Энтузіазмъ не мѣшаетъ приберегать на другіе случаи, болѣе торжественные, о которыхъ травоядные эстетики не имѣютъ понятія.

XI.

Въ жизни Базарова трудъ стоитъ на первомъ планѣ, но Базаровъ совсѣмъ не ригористъ и вовсе не прочь отъ того, чтобы доставлять своей особѣ удовольствія. Одинцова повинуется ему

съ перваго взгляда, и ему пришло въ голову приволочнуться за ней. Мысль безразличная, но какъ вы уберетесь отъ подобныхъ мыслей при настоящихъ условіяхъ воспитанія, жизни и общественныхъ отношеній?

Увѣрить женщину въ любви, когда любви этой въ самомъ дѣлѣ не имѣется, — значить лгать, а лгать во всякомъ случаѣ скверно, тѣмъ болѣе тогда, когда ложь такъ близко затрогиваетъ личные интересы того чело-вѣка, съ которымъ мы имѣемъ дѣло. Еслибы Базаровъ разыгралъ съ Одинцовой систематическую и хладнокровно рассчитанную комедію любви, то поступокъ этотъ былъ-бы очень предосудителенъ, и вся личность Базарова явилась-бы передъ нами въ сомнительномъ свѣтѣ. Но мнѣ кажется, что Базаровъ ни въ какомъ случаѣ не сталъ-бы актерствовать; еслибы даже онъ принялся за это утомительное занятіе, то у него не хватило-бы терпѣнія дотянуть дѣло до развязки, и онъ, послѣ первыхъ двухъ-трехъ приступовъ, убѣдился-бы въ томъ, что игра не стоитъ свѣчей. Съ молодыми людьми случается часто, что они строятъ въ умѣ своемъ какой-нибудь отчаянно-макиавелевскій планъ; все такъ хорошо обдумано, и ложь, и притворство поставлены на свое мѣсто, расчетъ произведенъ блистательно, и теоретическая сторона дѣла оказывается безукоризненной; это значить, что мысль работаетъ исправно и отличается надлежащей смѣлостью полета; но такъ на одномъ смѣломъ полетѣ мысли дѣло и останавливается, потому что, при первой встрѣчѣ съ практической стороной задуманной дьявольщины, юный макиавелистъ оказывается добродушнымъ и чистосердечнымъ чело-вѣкомъ, который немедленно махнетъ рукой и скажетъ про себя:—А ну ихъ къ чорту! Съ какой стати я ихъ надувать буду! — Такъ могло случиться, и до нѣкоторой степени такъ случилось и съ самимъ Базаровымъ. Онъ оказался гораздо моложе и нѣжнѣе, чѣмъ онъ воображаетъ себя. Съ кабинетными работниками, у которыхъ теоретическій умъ далеко обгоняетъ опытъ жизни, сплошь и рядомъ случаются такія иллюзіи. Справляясь съ идеями, мы думаемъ, что намъ также легко справиться и съ живыми явленіями, а вдругъ оказывается, что живое явленіе затрогиваетъ насъ съ такой стороны, которую мы и не подозрѣвали въ своей особѣ, когда производили наши теоретическія комбинаціи.

Я думаю однако, что Базаровъ даже въ чистой теоріи не задавалъ себѣ задачи актерствовать и лицебѣрить предъ красивой обладательницей «богатаго тѣла». Онъ просто думалъ, что Одинцова — нѣчто вроде Евдокіи Кухинной, а въ такомъ случаѣ комедія была-бы излишней роскошью. Стоило только сказать нѣсколько красивыхъ любезностей на счетъ наружности, да наговорить побольше вздору о Либихѣ и Жоржъ Зандѣ, о Мишле и Прудонѣ, о Бунзени и о же-

скомъ вопросѣ — и дѣло было-бы улажено въ обоюдному удовольствію. Тутъ дѣло съ самаго начала велось-бы на чистоту, безъ всякихъ хитростей, и женщина даже не требовала-бы отъ мужчины серьезнаго чувства, потому что не была-бы даже способна насладиться такимъ чувствомъ и отплатить за него той-же монетой. Тутъ не было-бы ничего, кромѣ болтовни и обмѣнѣ, и, разумѣется, Базарову очень скоро прѣдѣлось-бы такое препровожденіе времени. Но Базаровъ съ перваго разговора своего съ Одинцовой замѣтилъ, что эта женщина умѣетъ уважать свое достоинство и смотреть на жизнь серьезными глазами мыслящаго человѣка. Шутить съ такой женщиной было невозможно; обманывать ее было трудно и опасно; можно было попасть въ просякъ и поставить самого себя въ самое глупое и безвыходно-позорное положеніе; наконецъ если-бы, паче чаянія, обманъ удался, то онъ оказался-бы капитальной подлостью, потому что возбудить въ такой женщинѣ чувство и потомъ, рано или поздно, обнаружить свою полную неискренность, значило-бы оскорбить и огорчить эту женщину самымъ жестокимъ, незаслуженнымъ и мошенническимъ образомъ. Все это Базаровъ сообразилъ или, вѣрнѣе, почувствовалъ почти мгновенно, и все его поведеніе съ Одинцовой проникнуто съ начала до конца самой глубокой, искренней и серьезной почтительностью. «Какой я смиренный сталъ», думалъ онъ про себя въ первыя минуты своего пребыванія въ деревнѣ Одинцовой, и потомъ онъ сдѣлался еще болѣе «смирнѣйшимъ», потому что онъ *полюбилъ* Одинцову; о, когда таковой «циникъ» любитъ женщину, тогда онъ ее уважаетъ дѣйствительно, то-есть тогда ему становится невозможно схитрить передъ ней словомъ, взглядомъ или движеніемъ. Искренность Базарова доходить до крайнихъ предѣловъ, и мнѣ кажется, что именно эта искренность, эта полнѣйшая честность, неподдѣльность приводятъ за собой его неудачу и разрывъ только-что зарождавшихся отношеній. Эта неподдѣльность показала не красивой, а женщины наши повидимому очень крѣпко держатся за эстетику и въ смыслѣ психическихъ явленій не заглядываютъ почти никогда.

XII.

Самые искренніе люди бываютъ часто самыми сдержанными людьми, и самыя сильныя чувства этихъ людей никогда не выражаются ими, а вырываются изъ нихъ только тогда, когда уже не хватаетъ силъ ихъ задерживать. Въ строгомъ смыслѣ, только такія вырвавшіяся чувства и могутъ быть названы совершенно неподраженными. Когда-же человѣкъ сознательно выпускаетъ изъ себя чувство, то-есть говоритъ о немъ и описываетъ его, то мы уже тутъ имѣемъ дѣло не съ сырымъ матеріаломъ, а съ умственнымъ

трудомъ, построеннымъ на основаніи этого матеріала. Чѣмъ изящнѣе и граціознѣе эта постройка, тѣмъ больше на нее положено искусства, то-есть, другими словами, тѣмъ споконвѣе и сознательнѣе произведена обработка первобытнаго матеріала. Чѣмъ красивѣе выраженіе, тѣмъ слабѣе чувство, а такъ какъ женщины дорожатъ преимущественно красотой, въ чемъ-бы она ни проявлялась, то и оказывается въ результатѣ, что онѣ обыкновенно отвертываются отъ искреннихъ людей и бросаются на шею фразерамъ или красивымъ кукламъ. Чѣмъ сильнѣе человѣкъ любитъ, тѣмъ невыгоднѣе его положеніе и тѣмъ вѣрнѣе онъ можетъ разсчитывать на полную неудачу.

Истину этого неутѣшительнаго изреченія въ совершенствѣ испыталъ на себѣ Базаровъ. Онъ полюбилъ Одинцову очень скоро; серьезная любовь началась въ немъ вѣроятно послѣ первой ботанической экскурсіи, которую они предприняли вдвоемъ послѣ завтрака и которая продолжалась до обѣда. Это было на другой день послѣ пріѣзда молодыхъ людей въ деревню Одинцовой. Что любовь возникла такъ быстро, этому удивляться нечего. Физическая красота бросается въ глаза съ перваго взгляда; умъ обнаруживается въ первомъ-же разговорѣ; а когда такимъ образомъ вся фигура женщины и каждое слово производятъ на человѣка стройное и пріятное впечатлѣніе, то чего-же вамъ больше? И кровь волнуется, и мозгъ раздражается, и все это такъ обаятельно — ну вотъ, и любовь готова. Чѣмъ больше такихъ пріятныхъ впечатлѣній ляжетъ безъ перерыва одно на другое, тѣмъ сильнѣе будетъ становиться любовь; но фундаментъ, незамѣтный зародышъ этого чувства, заложенъ уже самымъ первымъ впечатлѣніемъ.

Полюбивши Одинцову, Базаровъ проводитъ вмѣстѣ съ ней, подъ одной кровлей и въ постоянныхъ дружескихъ разговорахъ, больше двухъ недѣль. Во все это время онъ говоритъ съ ней, какъ съ умнымъ мужчиной, о предметахъ, имѣющихъ дѣйствительный интересъ: о химіи, о ботаникѣ, о новѣйшихъ открытіяхъ натуралистовъ, о различныхъ взглядахъ передовыхъ умовъ на жизнь природы, на личность человѣка и на потребности общества. Если уважать женщину значить обращаться съ ней какъ съ мыслящимъ существомъ, то съ этой стороны поведеніе «циника» Базарова надо признать совершенно безукоризненнымъ: онъ старался удовлетворить умственнымъ требованіямъ своей собесѣдницы и не проронилъ ни одного слова о томъ, что мучило и волновало его самого. Ни слова не было сказано о томъ, что могло возвыситься въ глазахъ любимой женщины личность самого Базарова; ни о своемъ прошедшемъ, ни о своихъ стремленіяхъ и планахъ въ будущемъ Базаровъ не упоминалъ; а между тѣмъ въ его прошедшемъ было много упорнаго труда и необходимаго тер-

а въ его взглядъ на будущее широко и льно развертывались свѣтлое могущество сли и неудержимая страстность его сознаний любви къ людямъ. И онъ все-таки моллъ этомъ, потому что ему было отвратиподумать, что онъ способенъ рисоваться, снничать и говорить красивыя слова пелюбимой женщиной. Это честное и глубоко-ращеніе къ ложной эффектности постоянно обливало его холодной водой, когда онъ лъ увлекаться и когда въ этомъ увлечечинали проблескивать высшія и симпат стороны его ума, его характера и его ьности. Онъ не хотѣлъ становиться на и поэтому оставался постоянно ниже настоящего роста. Чтѣ дѣлать? Человѣкъ всегда пересаливаетъ въ ту или въ другую у; но кто пересолитъ подобно Базарову, ю крайней мѣрѣ не продастъ гнилаго тоа свѣжій и не залѣзетъ обманомъ ни въ къ, ни въ душу своихъ собесѣдниковъ. ьные разговоры Базарова занимаютъ Оди-какъ женщину умную и любознательную; нно, какъ умная женщина, она понимаетъ, оворя обо всемъ, Базаровъ не высказы-бездѣлицы — самого себя; а какъ женщина ательная и даже любопытная, она желадрвать у Базарова эту тайну, она хочет ить себѣ настоящій смыслъ этой сильной ательной личности. Она старается переразговоръ съ общаго поля великихъ умыхъ интересовъ на болѣе интимный тонъ хъ признаній и изліяній. Базарову, какъ нному человѣку, такой поворотъ разгово-ль-бы чрезвычайно выгоденъ, а между базаровъ упирается и выдерживаетъ свое во до самаго конца. Одицова все къ чему-то итъ; ей повидимому хотѣлось-бы, чтобы и понемногу разнѣжились, и чтобы слово было произнесено какъ-то незамѣтно для , во время нѣжнаго и мечтательнаго раз-; она-бы желала увлечься нечувствительно, грастныхъ порывовъ и безъ рѣзкихъ ощу- . Базарову все эти тонкости непонятны. то, думаетъ онъ, готовить и настраи-ебн къ любви? Когда человѣкъ дѣйстви-любить, развѣ онъ можетъ граціозничать ть о мелочахъ внѣшняго изящества? Развѣ щая любовь колеблется? Развѣ она ну-я въ какихъ-нибудь внѣшнихъ пособіяхъ времени и минутнаго расположенія, выго разговоромъ? Базаровъ мѣрятся на свой въ психическія отравленія другихъ людей, ому онъ относится сурово и враждебно ко попыткамъ Одицовой придать ихъ отно-тъ ласкающій и нѣжный колоритъ. Ему ги попытки кажутся искусственными ма-и кокетки или по меньшей мѣрѣ неволь-капризами избалованной аристократки. а она моча любила, думаетъ онъ, она-бы

давно поняла, какъ сильно я ее люблю, и тогда все между нами было-бы ясно, просто и разумно, и тогда къ чему все ухищренія? Но вѣдь она меня не любитъ, и въ такомъ случаѣ какъ-же она смѣетъ забавляться со мной задушевными разговорами? Дикарь этотъ Базаровъ! Первобыт-ный человѣкъ! Онъ упускаетъ изъ виду то об-стоятельство, что ея любовь можетъ явиться, какъ результатъ многихъ мелкихъ причинъ, многихъ внѣшнихъ, случайныхъ и неважныхъ впечатлѣній. Онъ совсѣмъ не заботится о томъ, чтобы доставить ей эти впечатлѣнія и потомъ эксплуатировать ихъ въ свою пользу. Онъ хо-четъ, чтобы ея любовь была сильна, естественна и самородна, чтобы эта любовь свалилась на нее, какъ снѣгъ на голову, такъ, какъ его любовь об-рушилась на него, Базарова. А любовь, выси-женная, вымученная, тепличная, воспитанная нѣжными словами, эффектными взглядами, пу-стотой деревенской жизни, тишиной и полумра-комъ лѣтняго вечера, — такая любовь очень по-правилась-бы Базарову, еслибы онъ хотѣлъ за-вести интригу съ красивой барыней, но притвор-ной и отвратительной показалась-бы она ему тогда, когда онъ самъ полюбилъ серьезно. Дикарь этотъ Базаровъ! Его уваженіе къ женщинѣ вы-ражается въ томъ, что онъ ничѣмъ не хочетъ и по натурѣ своей ничѣмъ не способенъ насиловать чувство этой женщины.

Выше этого уваженія ничего нельзя себѣ представить, но для нашихъ дрессированныхъ, обезсиленныхъ и обезцвѣченныхъ женщинъ та-кое уваженіе оказывается совершенно неумѣст-нымъ и непонятнымъ. Женщина сама, всеѣмъ направленіемъ своихъ поступковъ и рѣчей, упрямиваетъ, чтобы ее *заставили* полюбить, чтобы ее «увлекли», чтобы ей «вскружили» голову, то-есть, короче, чтобы ее лишили воли и сознанія и чтобы тогда дѣлали съ ней, чтѣ хотятъ. Тогда, думаетъ она, пожалуй я полюблю и потомъ спасибо скажу тому доброму человѣку, который отнялъ у меня способность и печальную необходимость обдумывать мои по-ступки. А иначе какъ-же? Какъ-же-бы я сама, — какъ-бы я, находясь въ здоровомъ умѣ, сама рас-порядилась своей особой? Никогда и ни за чтѣ-бы я сама не распорядилась. Я-бы постоянно стре-милась и постоянно робѣла-бы. На то я и жен-щина! А дикарь стоитъ себѣ, сложа руки, и го-воритъ: рѣшайся сама. Думай за себя. Люби самостоятельно. Ни увлекать, ни убѣждать, ни умолять тебя я не намѣренъ, да и не умѣю. Я — равный тебѣ человѣкъ. Я — не опекутъ тебѣ. И хотѣ-бы у меня аневризмъ сдѣлался, и хотѣ-бы у меня сердце лопнуло отъ любовнаго волненія, все-таки я не съумѣю и не захочу кружить тебѣ голову и онаивать тебя дурманомъ граціозныхъ нѣжностей и эффектной жестикуляціи. Я говорю съ тобой, какъ съ разумнымъ существомъ, и не умѣю говорить иначе ни съ кѣмъ изъ тѣхъ хж-

дей, которые раз навсегда заслужили мое уважение. Еслибы я не уважалъ тебя, то я-бы тебя и не любилъ; а такъ какъ я тебя люблю, то я и не могу, абсолютно не могу, посягать словами или поступками на твою умственную самостоятельность. — Какой дикарь; но какой хорошій дикарь! Жаль только, что не въ коня кормъ.

XIII.

Читателю можетъ показаться, что я самъ сочинилъ себя Базарова и Одинцову, вовсе непохожихъ на героевъ Тургеневского романа, — до такой степени мои размышленія и заключенія рѣзко противорѣчатъ тому понятію, которое, по милости нашей образцовой тупости, установилось въ читающемъ обществѣ на счетъ базаровскаго типа и преимущественно на счетъ его *циническихъ* отношеній къ женщинамъ. Мнѣ теперь надо доказать, что я не сочиняю, и что каждое мое слово основывается исключительно на правильномъ пониманіи тѣхъ матеріаловъ, которые даетъ Тургеневъ и которые, мнѣ кажется, самъ Тургеневъ не всегда разсматриваетъ съ надлежащей точки зрѣнія, хотя фактическія подробности всегда поразительно вѣрны.

Я приведу длинный рядъ доказательствъ изъ двухъ рѣшительныхъ сценъ Базарова съ Одинцовой. Базаровъ сказалъ, что онъ скоро уѣдетъ къ своему отцу; это было сказано безъ всякаго дипломатическаго умысла, и Тургеневъ при этомъ замѣчаетъ, что Базаровъ «никогда не сочинялъ». Одинцова, по поводу этого близкаго отъѣзда, находится въ полу-грустномъ, полунѣжномъ настроеніи. Сидятъ они вдвоемъ, поздно вечеромъ, въ комнатѣ Одинцовой. — Одинцова два раза подъ рядъ говоритъ ему: «Мнѣ будетъ скучно». — На первый разъ онъ отвѣчаетъ: — «Аркадій останется», а на второй: — «во всякомъ случаѣ долго вы скучать не будете». — Вслѣдъ затѣмъ онъ говоритъ ей, что она непогрѣшительно-правильно устроила свою жизнь, такъ что въ ней не можетъ быть мѣста никакимъ тяжелымъ чувствамъ. — Черезъ нѣсколько минутъ, — прибавляетъ онъ, — пробыть десять часовъ, и я уже напередъ знаю, что вы меня прогоните. — Нѣтъ, не прогоню, Евгений Васильевичъ, — отвѣчаетъ она, — вы можете остаться. — Онъ остается. — «Разскажите мнѣ что-нибудь о самомъ себѣ, — говоритъ она, — вы никогда о себѣ не говорите.» — *«Я стараюсь бесѣдовать съ вами о предметахъ полезныхъ, Анна Сергѣевна»*. — Она настаиваетъ съ особенной ласковостью. — Базаровъ думаетъ про себя: «Зачѣмъ она говоритъ такіа слова?» и отвѣчаетъ ей: *«Мы — люди темные.»* — «А я, по вашему, аристократка?» — *«Да, — промолвилъ онъ пресуебличенно рѣзко.»* — Одинцова защищается: — «Я, — говоритъ она, — вамъ когда-нибудь разскажу свою жизнь... но вы мнѣ прежде разскажите свою.» Базаровъ *наслышкъ*, — сердито отвѣчалъ Базаровъ, —

это третье приглашеніе пропускаетъ мимо ушей и переводить разговоръ на личность Одинцовой. — «Зачѣмъ вы, съ вашимъ умомъ, съ вашей красотой, живете въ деревнѣ?» — «Какъ? Какъ вы это сказали? — съ живостью подхватила Одинцова. — Съ моей... красотой?» — Бѣдная женщина! Какъ она обрадовалась! Должно быть, Базаровъ не избаловалъ ее комплиментами. А Базаровъ-то! О, дикарь! О, бурлакъ! Вотъ онъ затушевываетъ свою нечаянную любезность: *«Базаровъ нахмурился. — Это все равно, — пробормоталъ онъ. — Я хотѣлъ сказать, что не понимаю хорошенько, зачѣмъ вы поселились въ деревнѣ.»* — Его очевидно покоробило и смутило то, что онъ сказалъ. Говорить съ любимой и уважаемой женщиной о ея красотѣ кажется ему плоскостью и слѣдовательно дерзостью. И это — тотъ самый Базаровъ, который говорилъ съ Аркадіемъ о плечахъ и о богатомъ тѣлѣ этой самой Одинцовой? И тутъ нѣтъ никакого противорѣчія. Тогда онъ ее не зналъ и, стало быть, для него существовали только линіи и краски ея фигуры; по этимъ извѣстнымъ ему даннымъ онъ и высказывалъ о ней свое сужденіе. Кромѣ того онъ говорилъ съ третьимъ лицомъ, и тогда эти слова имѣли свой смыслъ, какъ всякое другое сужденіе о какомъ-нибудь предметѣ, остановившемъ на себѣ вниманіе человека. Но говорить самой женщинѣ, что она хороша собой, — это бессмыслица, годная только на то, чтобы наскучить ей, если она умна, или польстить ей, если она глупа. Къ сожалѣнію надо замѣтить, что очень многимъ женщинамъ такіе разговоры не надоедаютъ, и — увы! — кажется, даже Одинцова не прочь послушать такіа рѣчи изрѣдка. Что дѣлать? Сильна наша глупость и безчисленны ея убѣжища; а у самыхъ умныхъ людей еще отведены для нея уютные уголки, и нѣтъ быть-можетъ того мыслителя, который подъ-часъ не оказывался бы простофилей. Но Базаровъ, по своей дикой суровости, не хочетъ принимать въ соображеніе слабости своей собесѣдницы. Потворствовать этимъ слабостямъ и пользоваться ими онъ очевидно считаетъ не только пошлымъ, но и безчестнымъ дѣломъ. — Черезъ нѣсколько минутъ Базаровъ встаетъ. — «Куда вы? — медленно проговорила она. — Онъ ничего не отвѣчалъ и опустилъ на стулъ». Разговоръ, не смотря на безконечную свирѣлость Базарова, становится конфиденціальнымъ и почти нѣжнымъ. Кажется, — говоритъ она, — еслибы я могла сильно привязаться къ чему-нибудь.... — «Вамъ хочется полюбить, — перебилъ ее Базаровъ, — а полюбить вы не можете: вотъ въ чемъ ваше несчастье.» — «Развѣ я не могу полюбить?» — «Едва-ли! Только напрасно называлъ это несчастьемъ. Напротивъ, тотъ скорѣе достоинъ сожалѣнія, съ кѣмъ эта штука случается.» — «Случается что?» — «Полюбить.» — «А вы почему это знаете?» — «И

Ты кокетничаешь, — подумалъ онъ, — ты скучаешь и дразнишь меня отъ нечего думать, а мнѣ... Сердце у него дѣйствительно гудѣло и рвалось. «По моему, — продолжаетъ Одицова, — или все, или ничего. Жизнь за жизнь. Возьмъ мою — отдай свою, и тогда уже безъ сожалѣнія и безъ возврата. А то лучше и не надо.» — «Что-жъ, — замѣтилъ Базаровъ, — это условіе справедливое, и я удивляюсь, какъ вы до сихъ поръ... не нашли, чего желали.» — «Но вы-бы счумѣли отдаться? — спрашиваетъ она.» — «Не знаю, хватится ли сочму.» — Базаровъ опять встаетъ. Она еще разъ его удерживаетъ: «Погодите, куда-же вы спѣшите?.. мнѣ нужно сказать вамъ одно слово.» — «Какое?» — «Погодите, — шепнула Одицова. Ея глаза остановились на Базаровѣ; казалось, она внимательно его разсматривала. — Онъ прошепталъ по комнатѣ, потомъ вдругъ приблизился къ ней и торопливо сказалъ: «прощайте», стиснулъ ей руку такъ, что она чуть не вскрикнула, и вышелъ вонъ».

На другой день Одицова сама зоветъ его къ себѣ въ кабинетъ и, пришедши туда, прямо говоритъ ему, что хочетъ возобновить вчерашній разговоръ. Опять начинаются съ ея стороны вызовы на откровенность, а со стороны Базарова упорное отпѣкиванье. Онъ говоритъ: «между нами и мною такое разстояніе». Она говоритъ на это: «Какое разстояніе? Полноте, Евгений Васильевичъ; я вамъ, кажется, доказала. Или можетъ-быть — продолжаетъ она — вы меня, какъ женщину, не считаете достойной вашего довѣрія? Вѣдь вы насъ всѣхъ презираете?» — «Васъ я не презираю, Анна Сергѣевна, и вы это знаете.» — «Нѣтъ, я ничего не знаю», — отвѣчаетъ она и затѣмъ требуетъ, чтобы Базаровъ сказалъ ей, что въ немъ происходитъ, и такая причина его сдержанности и напряженности. Что-же остается дѣлать этому несчастному Базарову? Вѣдь наконецъ всякія человѣческія силы должны истощиться и всякое ослиное терпѣніе должно лопнуть, когда любимая женщина два дня подъ рядъ умоляетъ объ одномъ и томъ-же, когда она васъ упрекаетъ въ томъ, что вы ее презираете, и когда всѣ ея просьбы, всѣ ея ласковыя слова клонятся исключительно къ той самой цѣли, къ которой вы сами стремитесь всѣми силами своего существа. Поневоля надо было высказать самую глубокую тайну, и Базаровъ ее высказалъ, только совершенно по-базаровски. «Теперь знайте-же, — говоритъ онъ, — что я васъ люблю глупо, безумно... Вотъ чего вы добились.» — И эти сердитыя слова онъ произнесъ, не глядя на Одицову, отошедши отъ нея къ окну и стоя къ ней спиной. Онъ задыхался; все тѣло его видимо трепетало. Но это было не трепетаніе юношеской робости, не сладкій ужасъ перваго признанія овладѣлъ имъ: это страсть въ немъ билась, сильная и тяжелая, — *страсть, по-*

хожая на злобу и быть-можетъ сродни ей... Одицовой стало и страшно, и жалко ея. — «Евгеній Васильевичъ, — проговорила она, — и невольная нѣжность зазвенѣла въ ея *голосѣ*».

Ну, тутъ, разумѣется, онъ бросился къ ней и обнялъ ее. Еще-бы онъ не бросился. Еще-бы онъ не обнялъ! Эта невольная нѣжность въ *голосѣ* была для него послѣднимъ и рѣшительнымъ ударомъ, передъ которымъ уже не могла устоять никакая сдержанность, никакая напряженность, никакая искусственная суровость. Онъ ее обнялъ, — гдѣ-же тутъ дерзость, гдѣ оскорбленіе? Развѣ, обнимая любящую женщину, любящій мужчина наноситъ ей оскорбленіе? И развѣ Базаровъ могъ и развѣ онъ смѣлъ сомнѣваться въ томъ, что Одицова его любитъ? Все было высказано, высказано просто, грубо и угрюмо, высказано съ глубокимъ, тяжело-выстраданнымъ упрекомъ: «*вотъ чего вы добились*» и послѣ этого «*нѣжность въ голосѣ*»! Какое-же тутъ можетъ быть сомнѣніе? И выразить подобное сомнѣніе, колебаться послѣ этой проклятой «*нѣжности*» еще одну секунду — вѣдь это значило-бы глубоко огорчить и оскорбить любящую женщину, значило-бы требовать отъ нея, чтобы она вымаливала вашу любовь, подобно тому, какъ она уже вымолила ваше признаніе. И вдругъ она отъ него отскакиваетъ, и вдругъ она говоритъ ему: «Вы меня не поняли!» А что-же дѣлаетъ Базаровъ? Ничего. Онъ закусываетъ губы и выходитъ изъ комнаты. А потомъ, вечеромъ, онъ извиняется передъ Одицовой: — «Я долженъ извиниться передъ вами, Анна Сергѣевна. Вы не можете не гнѣваться на меня.» — А она ему отвѣчаетъ: — «Нѣтъ, я на васъ не сержусь, Евгений Васильевичъ, но я огорчена».

О, Анна Сергѣевна, замѣчу я отъ себя, какъ вы безмѣрно великодушны! Неужели вы можете не сердиться на этого ужаснаго преступника, котораго неслыханное преступленіе состоитъ въ томъ, что вы поджаривали его на медленномъ огнѣ въ продолженіи двухъ дней? Преклоняюсь передъ вашей женственной кротостью и говорю вамъ безъ всякой ироніи, что вы въ этомъ отношеніи стоите выше многихъ очаровательныхъ, умныхъ и безукоризненныхъ женщинъ. Тѣ также терзаютъ людей, мажутъ ихъ по губамъ, разбиваютъ ихъ счастье, говорятъ имъ: «вы меня не поняли» — и сверхъ всего этого ненавидятъ ихъ самой упорной и холодной ненавистью. Бываютъ конечно и мужчины въ такомъ-же родѣ, потому что когда дѣло зайдетъ о глупостяхъ, тогда ни одинъ полъ не уступитъ другому. Но исторія Базарова поучительна; онъ измученъ, онъ-же извиняется, онъ-же получаетъ великодушное полу-прощеніе, онъ самъ во все время своего знакомства съ Одицовой не говоритъ ей ни одного непріятнаго или непочтительнаго сло-

ва, онъ обходится съ ней, какъ съ святыней, и при всемъ томъ его же вся читающая публика обвиняетъ въ нахальствѣ, въ дерзости, въ цинизмѣ, въ неуваженіи къ достоинству женщины, и чортъ знаетъ еще въ какихъ неправдоподобныхъ гадостяхъ.

Но вотъ о чемъ не мѣшаетъ подумать нашей доброй и почтенной публикѣ: — дали ей въ руки печатную книгу; въ этой книгѣ была написана яснымъ русскимъ языкомъ исторія Базарова и Одинцовой; прочитали эту исторію и опытные критики, и простые, непредубѣжденные читатели; и изъ всего этого прилежнаго чтенія, изъ всѣхъ критическихъ разсужденій произошло, по несповѣдимымъ законамъ судебъ, самое удивительное пониманіе навыворотъ, или еще вѣрнѣе совершенное непониманіе. Я спрашиваю у каждаго безпристрастнаго читателя моей статьи, есть-ли какая-нибудь возможность понять и объяснить факты, собранные мной въ этой главѣ, по какому-нибудь другому способу, несходному съ моимъ объясненіемъ? Я увѣренъ, что каждый читатель скажетъ: «нѣтъ, невозможно», и даже назоветъ мое объясненіе нецужбой болтовней, потому что факты ясны, какъ день, и сами за себя говорятъ. Ну да, ясны, какъ день, а вѣдь однако ухитрились же люди ихъ не понять и исказить, и для многихъ легковѣрныхъ господъ судьба Базарова, какъ литературнаго типа, рѣшена безапелляціонно. Ихъ теперь и не вытащить изъ заколдованнаго круга ихъ затверженныхъ сужденій.

И это случилось съ печатной книгой, которую стоить только раскрыть и прочитать внимательно для того, чтобы уничтожить всякое заблужденіе и возстановить настоящее значеніе рассказанныхъ событій. Поставьте же теперь на мѣсто книги живое явленіе, которое никогда не бываетъ такъ ясно и такъ удобно для изученія, какъ литературное произведеніе. Подумайте, какая тутъ произойдетъ катавасія! Если наша публика ни съ того, ни съ сего совершенно несправедливо оплевала тургеневскаго Базарова, то каково же поступаетъ она съ живыми Базаровыми, которыхъ понять гораздо труднѣе и которымъ однако больно и досадно, когда на нихъ сыпятся незаслуженныя оскорбленія отъ отцовъ, матерей, сестеръ и особенно отъ любимыхъ женщинъ? Подумайте, сударыня-публика, не пора-ли вамъ заподозрить непогрѣшимость вашихъ разсужденій о такихъ явленіяхъ, которыхъ вы не сумѣли понять даже по печатной книгѣ? Я нарочно выбралъ для примѣра «любовную» исторію Базарова, потому что это именно такой предметъ, въ которомъ каждый человѣкъ считаетъ себя компетентнымъ судьей. Ну и что же, компетентные судьи, много вы разсудили?

Правоученъ изъ этого извлекается только то, что обругать человѣка недолго, но что и пользы изъ этого выходитъ немного.

XIV.

Вамъ можетъ-быть угодно знать теперь, почему Одинцова не полюбила Базарова или, точнѣе, почему ея зарождавшаяся любовь къ этому человѣку не повела за собой никакихъ счастливыхъ послѣдствій. А потому же самому, почему король Лиръ оттолкнулъ отъ себя ту единственную дочь, которая дѣйствительно была къ нему привязана; потому что чувство Базарова, подобно чувству Корделии, выразилось некрасиво, то-есть несогласно съ эстетическими требованиями того лица, къ которому это чувство адресовалось. Я говорю это безъ всякихъ предположеній, основываясь на словахъ самого Тургенева. «Она задумывалась и краснѣла, вспоминая почти зыбское лицо Базарова, когда онъ бросился къ ней». Она даже не рѣшила хорошенько, какъ ей поступить, то-есть отдаться-ли Базарову, или разойтись съ нимъ. «Или?» произнесла она вдругъ и остановилась, и трихнула кудрями».

Неподражаемымъ комментариемъ къ этому забубенному или можетъ служить слѣдующая цитата изъ того же романа: «Ямщикъ ему попался лихой, онъ останавливался передъ каждымъ кабакомъ, приговаривая: «чкнуть?» или: «аль чкнуть?», но зато, чкнувши, не жалѣлъ лошадей». Къ сожалѣнію, Одинцова въ дѣлѣ лихости, далеко уступала ямщику, и на первый разъ она рѣшила, что лучше не надо «или». Но это рѣшеніе никакъ нельзя считать окончательнымъ; нельзя по той простой причинѣ, что она его нѣсколько разъ подтверждала впоследствии, а это значить, что передъ каждымъ подтвержденіемъ въ ея умѣ шевелился болѣе или менѣе явственно-обозначенный вопросъ: «аль чкнуть?» И подтвержденіе являлось постоянно по случаю неэстетичности. «Одинцова два — прямо, не украдкой — посмотрѣла на его лицо, строгое и желчное, съ опущенными глазами, съ отпечаткомъ презрительной рѣшимости въ каждой чертѣ, и подумала: «нѣтъ... нѣтъ... нѣтъ». — «Вѣдь вы, — извините мою откровенность, говоритъ ей Базаровъ вечеромъ того же дня, — не любите меня и не полюбите никогда. — Глаза Базарова сверкнули на мгновеніе изъ подъ темныхъ его бровей. Анна Сергѣевна не отвѣчала ему; «я боюсь этого человѣка», мелькнуло у нея въ головѣ».

Одинцова прѣзжаетъ къ умирающему Базарову, и вотъ первое ея ощущеніе при взглядѣ на больного: «она просто испугалась какимъ-то голымъ и томительнымъ испугомъ; мысль, что она не то-бы почувствовала, еслибы точно его любила, мгновенно сверкнула у ней въ головѣ». Вотъ видите: до самой послѣдней минуты вопросы: «любила-ли она его» и «точно-ли любила» оставались для нея вопросами. А полюбила-ли бы она его, еслибы онъ не умеръ, и могла-ли она вообще полюбить его — это та-

просы, какіе навсегда остались для нея не-
шними. Базаровъ поставилъ вопросъ сли-
вно: или отдаться, или разойтись. Один-
еще не хотѣлось рѣшиться ни въ ту, ни
угую сторону; ей хотѣлось еще поговорить,
не разъ выражала это желаніе, и у нея
на то очень законныя причины. Для того,
стать въ уровень съ Базаровымъ, чтобы
его и взглянуть на его личность свѣт-
взглядомъ мыслящаго человѣка, сбросивъ
своего ума оковы эстетической рутины,
того Одинцовой дѣйствительно необходимо
поумнѣть, а она, какъ даровитая женщина,
та довольно быстро подъ живительнымъ
дѣльнымъ разговоромъ съ Базаровымъ.
азаровъ, при всей своей «сатанинской»
ти, не сознавалъ, что онъ въ умственномъ
еніи стоитъ выше ея; онъ не замѣчалъ,
го вліяніе производить въ ней перемѣну;
му онъ и думалъ, что если она не любитъ
перъ, то и не полюбитъ никогда. Значитъ,
уважалъ ее слишкомъ много, и было-
раздо—о, гораздо лучше, —если-бы онъ ува-
ее поменьше. Но замѣчательно, что вѣдъ
ова-то принято упрекать какъ разъ въ про-
оложной погрѣшности. Желаніе Одинцовой
поговорить» выражается въ двухъ слу-
самымъ очевиднымъ образомъ. Во-пер-
тотчасъ послѣ неудавшагося поцѣлуя Ба-
ъ присылаетъ ей записку слѣдующаго со-
нія: «Долженъ-ли я сегодня уѣхать—или
остаться до завтра?» Она ему отвѣчаетъ:
вмѣ уѣзжать? Я васъ не понимала—вы ме-
е поняли». Выводъ ясенъ: «поговоримъ еще
ветъ-быть договоримся до взаимнаго пони-
и». Во-вторыхъ—когда Базаровъ, спусти
олько недѣль, заѣзжаетъ въ послѣдній разъ
ороткое время въ деревню Одинцовой, она
ниваетъ его остаться и еще наивнѣе вы-
етъ свое желаніе «поговорить». — «Развѣ,—
итъ она,—вы уѣзжаете? Отчего-же вамъ те-
не остаться? Останьтесь... съ вами гово-
весело... точно по краю пропасти ходишь.
ва робѣешь, а потомъ откуда смѣлость
ется. Останьтесь». Тутъ опять ясно скво-
такая мысль: «дайте мнѣ понабраться
ости, и тогда я, чего добраго, брошусь въ
о пропасть, которая перестанетъ меня пу-
... Но Базаровъ не видитъ этой сквозящей
и, или-же у него не хватаетъ силъ дожи-
я, пока Одинцова поумнѣетъ и перестанетъ
тъ. — «Спасибо за предложеніе, Анна Сергѣ-
—отвѣчаетъ онъ ей,—и за лестное мнѣніе о
о разговорныхъ талантахъ. Но я нахожу,
и такъ слишкомъ долго вращался въ чу-
для меня сферѣ».

любезно и почти дерзко отвѣчаетъ онъ на
инглашеніе, но ее этотъ отвѣтъ не оскор-
тъ. Взглянувши на его блѣдное лицо, поддер-
в горькой усмѣшкой, она подумала: «этотъ

меня любить!» и съ участіемъ протянула ему
руку. Но онъ не взялъ эту руку и оттолкнулъ
прочъ ея непростенное участіе, потому что люди,
подобные Базарову, берутъ себѣ любовь-женщины
или ровно ничего не берутъ. — «Нѣтъ,—сказалъ
онъ и отступилъ на шагъ назадъ.—Человѣкъ я
бѣдный, но милостыни до сихъ поръ не прини-
малъ. Прощайте-ся и будьте здоровы.» — Она
опять рванулась къ нему. — «Я убѣждена, что
мы не въ послѣдній разъ видимся,—произнесла
Анна Сергѣевна съ невольнымъ движеніемъ.»
(это опять то-же самое, что «невольная нѣж-
ность въ голосѣ» и знаменательный вопросъ
«или?»). Но Базаровъ неприступенъ и опять
осаживается ее назадъ. — «Чего на свѣтѣ не
бываетъ!» — отвѣчалъ Базаровъ, поклонился и
вышелъ.

Женщина сама всего лучше можетъ судить
о томъ, оскорблена-ли она, или нѣтъ; а Один-
цова, тотчасъ послѣ Базаровскаго объятія, не
чувствовала себя оскорбленной: «она скорѣе чув-
ствовала себя виноватой». Она никогда, ни
прежде, ни послѣ рѣшительной сцены, не смо-
трѣла на Базарова, какъ на нахальнаго циника.
Ей, въ самый день поцѣлуя, «хотѣлось сказать
ему какое-нибудь доброе слово, но она не знала,
какъ заговорить съ нимъ». — «Вы знаете,—
говоритъ она ему во время ихъ предпоследняго
свиданія,—что я васъ боюсь...и въ то-же время
я вамъ довѣряю, потому что въ сущности вы
очень добры».

Что за удивительная смѣсь различныхъ чувствъ!
И боязнь, и довѣріе, и уваженіе, и желаніе
дружбы, и неудовлетворенное любопытство. Бо-
язнь тутъ не что иное, какъ неполное понима-
ніе, потому что мы всегда боимся того, что ка-
жется намъ страннымъ, незнакомымъ или не-
объяснимымъ. Но отчего-же изъ всей этой смѣ-
си чувствъ не составляется та своеобразная кри-
сталлизация, которая называется любовью? Въ
составные элементы любви даны, и даже нѣтъ
того *физическаго* отвращенія, которое иногда
бываетъ въ такомъ дѣлѣ необходимомъ пренія-
ствіемъ; отчего-же не образуется любовь? Отто-
го, что эстетика мѣшаетъ; оттого, что въ чув-
ствѣ Базарова нѣтъ той виѣшней миловидности,
jolі à voir, которыя Одинцова совершенно без-
сознательно считаетъ необходимыми атрибутами
всякаго любовнаго пафоса. Читатель подумаетъ
вѣроятно, что эстетика—мой кошмаръ, и чита-
тель въ этомъ случаѣ не ошибется. Эстетика и
реализмъ дѣйствительно находятся въ неприми-
римой враждѣ между собой, а реализмъ долженъ
радикально истребить эстетику, которая въ на-
стоящее время отравляетъ и обезсмысливаетъ все
отрасли нашей научной дѣятельности, начи-
ная отъ высшихъ сферъ научнаго труда и кон-
чая самыми обыкновенными отношеніями ме-
жду мужчиной и женщиной. Я немедленно поста-
раюсь доказать читателю, что эстетика есть

самый прочный элемент умственного застоя и самый надежный враг разумного прогресса.

XV.

Въ томъ-то и состоитъ пошлость всякихъ эстетическихъ приговоровъ, что они произносятся не вслѣдствіе размышленья, а по вдохновенію, по внушенію того, что называется голосомъ инстинкта или чувства. Взглянулъ, понравилось—ну, значить, хорошо, прекрасно, изящно. Взглянулъ, не понравилось—кончено дѣло: скверно, отвратительно, безобразно. А почему понравилось или не понравилось—этого вамъ не объяснить ни одинъ эстетикъ. Все объясненіе ограничится только ссылкой на внутренний голосъ непосредственнаго чувства. Эстетикъ выставитъ вамъ конечно цѣлую систему второстепенныхъ правилъ, но чтобы поставить весь этотъ затѣйливый эпизодажъ на какой-нибудь фундаментъ, онъ все-таки сошлется подъ конецъ на непосредственное чувство. Но эти ссылки неизмѣнно должны имѣть опредѣленный физиологическій смыслъ, или-же въ противномъ случаѣ онъ не имѣютъ ровно никакого смысла. Напримѣръ, иѣкоторые люди не могутъ ѣсть никакой рыбы и занемогать, какъ только въ ихъ пищеварительный каналъ попадетъ малѣйшій кусочекъ этого нестерпимаго для нихъ вещества, которое у большей части людей считается однако лакомой и здоровой пищей. Въ этомъ случаѣ отвращеніе совершенно закононо. Значить, въ устройствѣ желудка или кишечнаго канала есть какая-нибудь индивидуальная особенность, отрицающая рыбу. Всякій дѣльный физиологъ скажетъ, подобно Льюису, что надо повиноваться голосу желудка, потому что урезонить его невозможно, апеллировать на него некуда, а бороться съ нимъ значить только вызывать тошноту и разныя другія болѣзненные явленія. Другой примѣръ: рѣзкій свистъ локомотива абсолютно непріятенъ или, выражаясь другими словами, неизященъ, отвратителенъ, безобразенъ, потому что отъ этого пронзительнаго звука страдаетъ слуховой нервъ. Физиологическая причина существуетъ, и, стало быть, дѣло опять-таки рѣшается окончательно. Третій примѣръ: женщина А чувствуетъ неодолимое физическое отвращеніе къ мужчине Б. Ей противно прикоснуться къ его рукѣ, а поцѣловать этого человѣка было-бы для нея настоящей пыткой. Такія явленія дѣйствительно существуютъ въ природѣ и, разумѣется, имѣютъ какое-нибудь физиологическое основаніе, хотя можетъ-быть современная наука и не въ состояніи въ точности опредѣлить ихъ причину. И въ этомъ случаѣ не слѣдуетъ насиловать природу. И госпожа А поступитъ очень неблагоразумно, если, вопреки этому физическому отвращенію, разсудочными доводами заставить себя выйти замужъ за господина Б.

Нашъ организмъ имѣетъ своя безспорныя пра-

ва и предъявляетъ ихъ, и не терпитъ разрушенія. Но скажите пожалуйста, какъ своего организма заявляла напримѣръ французская публика время Вольтера, когда систематически освистывала всякую трагедію, которой не было *un amour et une amant*. Или какія права организма выражались въ то время, когда наши уѣздные барышники три и сороковыхъ годовъ правились почти исключительно блестящіе мундиры и разочарованные герои? Согласитесь, что тутъ не можетъ допущено даже легкое предположеніе объ устройствѣ какихъ-нибудь зрительныхъ, слуховыхъ, желудочныхъ или другихъ органовъ. И барышники, и французская публика очень ссылались на голосъ непосредственнаго чувства и были готовы божиться въ томъ, что устроила ихъ природа, что онъ иначе не чувствуетъ и разсуждаетъ, что у нихъ естественное стремленіе къ однимъ предметамъ и такое-же врожденное отвращеніе къ другимъ. Странное дѣло! Уѣздные барышники считались счастливцами, и во французскіе театры ходили толпы людей. Эти толпы дѣльныхъ организмовъ представляли самое строгое индивидуальное разнообразіе; тутъ умные и глупые, полнокровные и худые, раздражительные и апатичные, и такъ до безконечности. И у всѣхъ этихъ различныхъ организмовъ оказывается вдругъ одна общаѣ самая тонкая и неуловимая, — та, вслѣдствіе которой французамъ нравились только антикиты, а барышнямъ — только разочарованные герои. Воля ваша, такое предположеніе о врожденномъ свойствѣ, чѣмъ еслибы мы жили, что всѣ наши барышни родились съ печнымъ темнымъ пятномъ надъ лѣвымъ глазомъ. Само по себѣ такое пятно вовсе не отвратительно, и оно такъ-же удобно можетъ помѣститься надъ лѣвымъ глазомъ, какъ и надъ другимъ мѣстѣмъ, но чтобы оно появилось у всѣхъ новорожденныхъ дѣвочекъ цѣлой націи — это невозможно. Чѣмъ *врожденное* свойство держалось по теченіи двухъ десятилѣтій и потомъ исчезло бы безъ слѣда, замѣняясь для слѣдующей націи другимъ *врожденнымъ* свойствомъ, это уже ни съ чѣмъ не сообразно.

Ясно, стало быть, что природа тутъ не виновата, и что внутренний голосъ непосредственнаго чувства повторяетъ только, какъ и въ другихъ случаяхъ, то, что науживали намъ въ уши съ самаго ранняго возраста. Французъ XVIII вѣка постоянно трагедіи съ любовнымъ пламенемъ слышалъ постоянно, что такія трагедіи считаются превосходными, — онъ и требуетъ себѣ трагедій и дѣйствительно чувствуетъ въ трагедіи особенную симпатію. Барышня съ тринадцати видѣтъ постоянно, что трагедіи ея любезничаютъ съ офицерами, — она и требуетъ себѣ трагедій, и дѣйствительно чувствуетъ въ трагедіи особенную симпатію. Барышня съ тринадцати видѣтъ постоянно, что трагедіи ея любезничаютъ съ офицерами, — она и требуетъ себѣ трагедій, и дѣйствительно чувствуетъ въ трагедіи особенную симпатію.

отина, и слышать постоянно, что барышцы находят таких офицеровъ ными; очень естественно, что, на-ное платье, эта барышня сама стре-ничать съ такими-же офицерами и-дѣлѣ чувствуетъ какое-то особенное-ердца при одномъ взглядѣ на восхи-мундиръ. Пассивная привычка—счи-нибуть предметъ хорошимъ и жела-становится дотакимъ степени сильной,цается наконецъ въ дѣйствительноевъ активное желаніе.

овращенія происходятъ въ нашемъ-мѣрѣ на каждомъ шагѣ. Въ этомъ-случаѣ конечно привычка—дѣло-ное, но не потому, что она—привыч-пу, что она ведетъ за собой общепе-дѣлствія, необходимыя для благосо-ловѣчества. Допуская и поощряя ре-привычки, когда они приносятъ намъ-а не имѣемъ въ то-же время ника-нія преклоняться передъ нашими при-вообще и считать ихъ неприкосновен-въ томъ случаѣ, когда онѣ вредны,ы, стѣснительны или неудобны. По-да внутренній голосъ непосредствен-ва начинаетъ намъ что-нибудь докла-ы можемъ его выслушать, но вовсе не-принимать его совѣты на вѣру, безъ-сть критическихъ изслѣдованій. Въ-у чрезовѣщанію на слово—значить-ся на вѣчную умственную неподвиж-

ностины, наши бессознательныя вле-безпричинныя симпатіи и антипатіи,всѣ движенія нашего внутренняго міра,хъ мы не можемъ дать себѣ яснаго и-счета и которыя мы не можемъ свести-въ потребностямъ или къ понятіямъ-льзы,—всѣ эти движенія, говорю я,нами изъ прошедшаго, изъ той почвы,съ выгорела, изъ понятій того об-реди котораго мы развились и жили.ство и составляетъ силу и основаніеихъ эстетическихъ понятій. Чтò нра-ь безотчетно, то нравится намъ только-го мы къ нему привыкли. Если эта-я симпатія не оправдывается сужде-ей критической мысли, то очевидно,ія тормозитъ наше умственное разви-въ этомъ столкновении побѣдить трез-—мы подвинуемся впередъ, къ болѣе-го-есть къ болѣе общепольному взгля-ди. Если побѣдить эстетическое чув-сдѣлаемъ шагъ назадъ, къ царству-мственного безсилія, вреда и мрака.а, безотчетность, рутина, привычка—ершенно равносильныя понятія. Реа-нательность, анализъ, критика и ум-прогрессъ—это также равносильныя

понятія, діаметрально-противоположныя пер-вымъ. Чѣмъ больше мы даемъ простора нашимъ безотчетнымъ влеченіямъ, чѣмъ сильнѣе разыгрывается наше эстетическое чувство, тѣмъ пассивнѣе становятся наши отношенія къ окружающимъ условіямъ жизни, тѣмъ окончательнѣе и безвозвратнѣе наша умственная самостоятельность поглощается и порабощается безмысленными вліяніями нашей обстановки. Люди, обо-жающіе красоту и эстетику, разсуждаютъ обык-новенно такъ: мнѣ это нравится, слѣдователь-но это хорошо. Утвердившись на той позиціи, что *это* хорошо, они начинаютъ подбирать вто-ростепенныя условія, при которыхъ можетъ и должна развиваться полная красота данного пред-мета, и этимъ подбираниемъ ограничивается то скромное шевеленье мозговъ, которое называется эстетическимъ анализомъ. Мысль при этомъ вертится въ предѣлахъ того крошечнаго кружка, который очерченъ вокругъ нея заранѣе. Повер-тится, передвинетъ съ мѣста на мѣсто кое-какія пылинки, да на томъ и успокоится. Современ-ники Вольтера убѣдили себя разъ навсегда въ томъ, что прекрасная трагедія непременно долж-на заключать въ себѣ любовную интригу. Та-кая трагедія прекрасна, потому что она намъ нравится—это была ихъ основная аксіома. Отъ этой аксіомы отправлялся ихъ анализъ и кло-нился къ тому, чтобы разъяснить, при какихъ условіяхъ *такая* трагедія можетъ быть особен-но прекрасна. Этотъ робкій и жалкій анализъ, разумѣется, оканчивался шлифованьемъ мель-чайшихъ подробностей, составлявшихъ беспо-лезный, хотя и логическій выводъ изъ совер-шенно пустой и ложной основной идеи. Воль-теръ осмѣливаетъ рутинную узкость этихъ ходя-чихъ эстетическихъ теорій, и при этомъ самъ также вертится въ совершенно замкнутомъ кру-гу, который только чуть-чуть пошире перваго. Вольтеръ приходитъ въ эстетическій ужасъ, ко-гда одинъ изъ его современниковъ, Ламоть-Ударъ (la Motte-Houdart), начинаетъ доказывать, что трагедіи могутъ быть прекрасны даже въ томъ случаѣ, если въ нихъ не соблюдены три един-ства (времени, мѣста и дѣйствія) и если даже онѣ написаны прозой. Вольтеръ допускаетъ, что трагедія можетъ быть прекрасна безъ любви, но ереси Ламота онъ допустить не можетъ, и дра-матическія произведенія Шекспира все-таки ужа-саютъ его своими варварскими неправильностями. Но и Ламоть-Ударъ, при всей своей смѣлости, пришелъ-бы въ ужасъ, еслибы Бѣлинскій сталъ ему доказывать, что трагедіи Корнеля и Расина-никуда не годятся, и что ихъ даже смѣшно сравнивать съ Шекспиромъ. Но и Бѣлинскій, при всей своей гениальности, пришелъ-бы въ ужасъ, еслибы Базаровъ сказалъ ему, что «Ра-фаэль гроша мѣднаго не стоитъ», и что слѣдо-вательно люди очень удобно могутъ жить на свѣтѣ даже совѣтъ безъ трагедіи.

И французы, обожавшіе любовную трагедію, и Вольтеръ, и Ламоть, и Бѣлинскій, при всемъ различіи своихъ взглядовъ, были все-таки эстетиками, и это обстоятельство проводить ясную и неизгладимую границу между этими людьми и представителями чистаго реализма. Существенная разниа заключается не въ томъ, что одни признають, а другіе отрицають искусство; это только второстепенные выводы. Можно быть эстетикомъ, не выходя изъ сферы чисто-практическихъ интересовъ; и можно быть реалистомъ, съ любовью изучая Шекспира и Гейне, какъ гениальныхъ и великихъ людей. Существенная разниа лежитъ гораздо глубже; эстетики всегда останавливаются на аргументѣ: «*потому что это мнѣ нравится*», и чаще всего даже не доходятъ до этого послѣдняго аргумента. Реалисты, напротивъ того, и этотъ послѣдній аргументъ подвергаютъ анализу. «Это мнѣ нравится», — думаетъ реалистъ. — Хорошо. Но, чтобы узнать цѣну моихъ симпатій, не мѣшаетъ сначала узнать, что за штука это я, такъ отважно произносящее свои рѣшительные приговоры. Между моими сверстниками было много дураковъ и негодяевъ; мои наставники пороли меня по вдохновенію и заставляли меня лгать и подличать; мои родственники жили и живутъ безгрѣшными доходами; мои родственницы смѣшываютъ Гоголя съ Поль-де-Кокомъ и говорятъ, что писателя, какъ вреднаго сплетника, опасно пустить на порогъ порядочнаго дома. Посреди всѣхъ этихъ и многихъ другихъ подобныхъ вліяній слагалась и развивалась моя личность. Были конечно и другія впечатлѣнія, совсѣмъ другого сорта, — впечатлѣнія, по милости которыхъ мнѣ удалось бросить критическій взглядъ на разнообразный соръ моей родной избы. Были разговоры немногихъ умныхъ людей и чтеніе многихъ умныхъ книгъ. Не дерзко-ли и не глупо-ли было-бы принять за непреложную истину, что благотворное вліяніе этихъ людей и книгъ совершенно очистило мою личность отъ всѣхъ грязныхъ ингредиентов, вошедшихъ въ нее изъ почвы?»

Ясно теперь, что именно существованіе этой высшей руководящей идеи у послѣдовательнаго реалиста и отсутствіе такой идеи у эстетика составляетъ основное различіе между этими двумя группами людей. Какая-же это идея? Это — идея общей пользы или общечеловѣческой солидарности. Какъ всѣ люди и даже всѣ животныя вообще, эстетикъ и реалистъ — оба вполне эгоисты. Но эгоизмъ эстетика похожъ на бессмысленный эгоизмъ ребенка, готоваго ежеминутно облопаться сквернѣйшими леденцами и коврижками. А эгоизмъ реалиста есть сознательный и глубоко-разсчитливый эгоизмъ зрѣлаго челоѣка, заготовляющаго себѣ на цѣлую жизнь неистощимые запасы свѣдѣнаго наслажденія.

Идея общечеловѣческой солидарности извѣстна

очень многимъ эстетикамъ, но они относятся къ ней, какъ напримѣръ къ какому-нибудь максималскому вопросу. — Да, молъ, хорошая идея и интересные вещи объ ней пишутся. Отчего не почитать на счетъ этой идеи? Отчего даже, при удобномъ случаѣ, не заявить печатно, что *homo sum et nihil humani?*.. Словомъ, отчего-же намъ, эстетикамъ, не побаловать себя этой идеей, какъ мы балуемъ себя всѣми цвѣточками этого лучшаго изъ возможныхъ міровъ? — Такимъ образомъ эстетики, нисколько не содѣйствуя вышнему и практическому торжеству этой идеи, овладѣваютъ ею, утѣшаются ею, по своему обыкновенію, весьма миловидно, искусно и тонко вводятъ ее въ замкнутый кружокъ своихъ неподвижныхъ симпатій и безусловно подчиняють ее своему высшему, хотя и затаенному, принципу, великому аргументу: *потому что мнѣ нравится*. При такой обстановкѣ великая идея, господствовавшая деспотически надъ умами міровыхъ гениевъ, становится милой бездѣлкой, которую пріятно поставить на письменный столъ, въ видѣ легкаго пресспапье, для того, чтобы она напоминала пишущему барину, что и онъ тоже работаетъ для челоѣчества. Да и какъ-же иначе! Какую-бы глупость онъ ни написалъ, все-таки его будутъ читать не лошади, а люди.

Всѣ мои насмѣшки могутъ относиться вполне только къ эстетикамъ нашего времени. У эстетиковъ прежнихъ временъ, у людей, подобныхъ Вольтеру или Бѣлинскому, идея общечеловѣческой солидарности медленно созрѣвала подъ эстетической скорлупой. Теперь эта идея созрѣла и проявляется въ самыхъ разнообразныхъ формахъ, по всѣмъ отраслямъ челоѣческой дѣятельности. Стало быть, кто теперь отворачивается отъ этой идеи и самодовольно возится съ ея разбитой скорлупой, тотъ или слѣпъ, или умышленно замуриваетъ глаза. А смѣяться надъ умственной слѣпотой людей, считающихъ себя квинтэссенціей челоѣчности, это не только позволительно, но даже необходимо для выясненія и очищенія великой идеи, превращенной въ будничное украшеніе.

XVI.

Для реалиста идея общечеловѣческой солидарности есть просто одинъ изъ основныхъ законовъ челоѣческой природы, — одинъ изъ тѣхъ законовъ, которые ежеминутно нарушаются нашимъ невѣденіемъ и которые своимъ нарушеніемъ порождаютъ почти всѣ хроническія страданія нашей породы. Челоѣческий организмъ, разсуждаетъ реалистъ, устроенъ такъ, что онъ можетъ развиваться по челоѣчески и удовлетворять всѣмъ своимъ потребностямъ только въ томъ случаѣ, если онъ находится въ постоянныхъ и разнообразныхъ сношеніяхъ съ другими подобными себѣ организмами. Выражаясь короче и проще, челоѣку, для его собственнаго благосостоянія, не-

иним общество других людей. На земномъ существуетъ множество отдѣльныхъ чело-вѣскихъ обществъ; между этими обществами могутъ существовать или дружескія, или враж-дья отношенія. Первыя несравненно выгоднѣе вторыхъ. Чѣмъ больше дружескихъ отноше-ній, чѣмъ меньше вражды, тѣмъ лучше для всего изъ отдѣльныхъ обществъ; а чѣмъ уси-лѣе развивается общество, тѣмъ пріятнѣе для каждаго изъ его членовъ, то-есть ка-ждоу отдѣльному челоуѣческому организму. Та-кимъ образомъ и выходитъ, что участіе одного за-дѣла отъ участія всѣхъ. И наоборотъ, когда каждая личность вполне расчетливо поль-зуется своими естественными способностями, то она неизбежно, сама того не сознавая, уве-личиваетъ сумму общечелоуѣческаго благосостоя-нія. Еслибы эта личность сознавала значеніе своей дѣятельности для общаго блага, то ей все-гда было-бы надобности измѣнить въ своей дѣятельности какую-бы то ни было мелочную подробность. Вполнѣ расчетливый эгоизмъ со-вершенно совпадаетъ съ результатами самаго со-знательнаго челоуѣколюбія. Но, сознавая важное общественное значеніе своего личнаго труда, видя въ немъ свою неразрывную связь съ мил-лионами другихъ мыслящихъ существъ, трудя-щаяся личность еще сильнѣе привязывается къ своей дѣятельности, еще сильнѣе развертываетъ свои способности и, ясно понимая законность своихъ стремленій, становится болѣе счастли-вой, то-есть болѣе независимой отъ тѣхъ тя-желыхъ ощущеній, которыя порождаются мел-кими неудачами. Я не ошибаюсь въ общемъ направленіи моей жизни, думаетъ такая лич-ность; а повиновшись основному закону при-роды, если ей приходится пережить кое-какія трудности, то я все-таки знаю, что я изъ мно-гого выбрала меньшее. Если я пойду въ ту или другую сторону, то въ общемъ выйду изъ жизни мой пойдеть еще хуже.

Истинные вообще восторгаются, умиляются и благодарствуютъ гораздо чаще и шумнѣе, реалисты, которые обыкновенно обвину-ются въ холодную аффективность по всякому по-воду и случаю. Но истинные считаютъ со-бою естественнымъ дѣломъ проводить иде-альную жизнь во всѣхъ мельчайшихъ поступкахъ своей жизни. Для нихъ эта идея—блестя-щая мечта, которой можно и даже слѣдуетъ жить во тѣлесномъ дѣлѣ, во которой, въ этой самой красотѣ, превратится въ орудіе войны, если имъ придется тыкать его въ чуждый дѣлъ, чуждому утру до последней точки. Когда имъ го-ворятъ, что это дѣло не шумно, а очень про-заично, они впадаютъ въ смѣхъ, они отъ него уходятъ въ сторону, и дѣломъ, высказывающимъ подоб-ныя мысли, называютъ или фантасмагорию, или бредню. Понимая, видя, что истинныя, эти

сухіе, черствые люди, эти угловатыя фигуры, толкующія постоянно о выгодахъ и убыткахъ, хо-тятъ увѣрить насъ, что имъ удалось рѣшить такую задачу общечелоуѣческой любви, которая оказалась не по силамъ даже намъ, людямъ миг-чимъ, ищущимъ и высоко-развитымъ въ дѣлѣ пониманія самыхъ изысканныхъ сторонъ природы и челоуѣческой души. Не есть-ли это съ ихъ стороны дерзкая и возмутительная ложь?

Конечно, еслибы реалисты къ каждому своему шагу приплетали высокія разсужденія о чело-уѣколюбіи и глубокіе вздохи о челоуѣческихъ страданіяхъ, то это было-бы и глупо, и скучно, и наконецъ сдѣлалось-бы невыносимымъ, какъ для самого реалиста, такъ и для всѣхъ его зна-комыхъ. Но идея любви проводится въ жизнь гораздо проще и гораздо дѣйствительнѣе. Къ этой высшей идее реалистъ обращается чрезвычайно рѣдко. Обыкновенно онъ имѣетъ дѣло только съ ея практическими выводами и частными прило-женіями. Доживши до тѣхъ лѣтъ, когда прихо-дится выбирать себѣ опредѣленный родъ занятій, молодой челоуѣкъ, неспорченный богатствомъ и барственой лѣнью, начинаетъ всматриваться въ свои способности и дѣлаетъ попытки по разнымъ направленіямъ до тѣхъ поръ, пока не отыщетъ себѣ такой трудъ, который ему пріятенъ и ко-торый притомъ можетъ его прокормить. Разсматривая различныя сферы занятій, молодой челоуѣкъ, сколько-нибудь способный размышлять, непременно ставитъ себѣ нѣкото-рыя вопросы, на которые ему необходимо полу-чить отъ себя отвѣты. Не безцельно-ли это за-нѣтаніе, то-есть, не вредитъ-ли оно естественнымъ интересамъ большинства? Не подѣйствуетъ-ли оно подавляющимъ образомъ на мою умственную способность? Обезвечитъ-ли оно мою нравствен-ную самостоятельность, то-есть, буду-ли я монимъ трудомъ удовлетворять дѣйствительнымъ потре-бностямъ общества? Чтобы поставить и рѣшить въ ту или въ другую сторону нѣсколько подоб-ныхъ вопросовъ, не надо быть ни гениальнымъ мыслителемъ, ни героемъ или фанатикомъ чело-уѣколюбія. Надо просто быть неглупымъ чело-уѣкомъ и получить въ концѣ-концовъ универси-тетскій довольно ясное понятіе о томъ, что такое общество и что такое умственный трудъ.

Конечно, выбирая то или другое поприще, надо взглянуть на дѣло широко и серьезно, надо обратиться къ высшей руководящей идее, а ей надо безусловно подчинить всея второстепен-ныя соображенія, которыя обыкновенно называ-ются практическими, а на самомъ дѣлѣ всагда оказываются ложными и безпорочными. Если на-примѣръ дѣло имѣетъ тому нападъ молодому чело-уѣку, вышедшему изъ университета, предположи-мъ свободное вѣсто по отпуску, то, раздумавъ, имѣть, во всякомъ случаѣ, болѣе безусловно от-казаться отъ этого вѣста, воспротивиться или на-примѣръ. Идея требуетъ отъ него этой жертвы,

но намъ стоить только взглянуть внимательно на дѣло, чтобы немедленно убѣдиться въ томъ, что тутъ жертва чисто виѣшняя, и что требованія высшей идеи здѣсь, какъ и вездѣ, совпадаютъ вполне съ винушеніями эгоистическаго расчета. Молодой человѣкъ стоитъ на распутьѣ: направо—дорога въ откупъ, налево—грошковые уроки и неизвѣстное будущее. Еслибы какой-нибудь волшебникъ могъ показать ему его самого, какимъ онъ будетъ лѣтъ черезъ пятнадцать, пошедши направо, и потомъ опять-таки его самого, пошедшаго налево и пережившаго такой промежутокъ времени, то конечно молодому человѣку захотѣлось-бы выбрать тотъ путь, который приводитъ къ наиболѣе благообразному результату. Я не думаю, чтобы молодому человѣку понравилась та личность, которую онъ увидѣлъ-бы въ первомъ случаѣ. Жизнь въ брюхо, грязные друзья и сослуживцы, равнодушіе ко всякимъ высшимъ интересамъ, извращеніе умственныхъ способностей, тупая и боязливая ненависть ко всему, что можетъ нарушить выгодное спокойствіе мутнаго болота, рѣзкій разрывъ съ честными университетскими товарищами, словомъ,—все признаки безнадежнаго паденія—результатъ непривлекательный!—Къ этому результату *приходятъ* тѣмъ или другимъ путемъ многіе пламенные юноши, но *идутъ* они не къ этому результату, и еслибы они могли видѣть его заранѣе, то изъ этихъ многихъ почти все повернули-бы куда-нибудь въ другую сторону. Значитъ, тутъ происходитъ ошибка въ расчетѣ, и отъ такихъ ошибокъ, неизбежныхъ при нашей юношеской неопытности и самонадѣянности, насъ всего лучше можетъ предохранить та кажущаяся жертва, которую мы приносимъ требованіямъ высшей идеи.

Очень многія отрасли труда находятся въ полномъ согласіи съ самыми строгими требованіями идеи. Которую-же изъ этихъ отраслей долженъ выбрать себѣ молодой человѣкъ? И здѣсь интересы общества сходятся съ интересами личности. Пусть молодой человѣкъ выбираетъ себѣ то, что ему всего пріятнѣе. Тогда, и именно только тогда, онъ, наслаждаясь процессомъ своего труда, принесетъ обществу такое количество пользы, которое вполне соотвѣтствуетъ размѣрамъ его личныхъ способностей.

Положимъ теперь, что требованія идеи соблюдены, дѣятельность молодого человѣка вошла въ свою ровную колею и, удовлетворяя его умственнымъ потребностямъ, съ каждымъ годомъ становится болѣе драгоценной и необходимой частью его существованія. Каждый не глупый человѣкъ можетъ найти себѣ такую дѣятельность; а какъ только жизнь наполнена осмысленнымъ трудомъ, такъ задача можетъ считаться рѣшенной: идея общечеловѣческой любви проведена во все поступки жизни. Вашъ трудъ полезенъ, вы его любите, вы посвящаете ему все ваши силы, вы ни

за что не согласитесь дѣлать его кое-какъ, вы готовы бороться съ затрудненіями и переносить непріятности, чтобы довести его до возможной степени совершенства, вы понимаете и стараетесь расширить практическое значеніе вашей работы—кажется, этого довольно, и, кажется, вы, поступая такимъ образомъ, ни на одну минуту не забываете вашей солидарности съ остальными людьми и ни однимъ вашимъ движеніемъ не уклоняетесь въ сторону отъ самыхъ неумолимыхъ требованій высшей идеи.

Итоги всѣхъ этихъ разсужденій можно привести такъ: эстетикъ—великодушный баринъ, способный, въ минуту героическаго порыва, бросить бѣдному человечеству даже трехъ-рублевую бумажку, которая немного поздне, вмѣстѣ со всѣми остальными деньгами и симпатіями этого барина, непременно полетѣла-бы въ руки поющей цыганки; а реалистъ—разсчитливый акціонеръ, пустившій въ оборотъ все свое состояніе и всѣми силами служащій дѣлу компаніи, для увеличенія собственнаго дивиденда. Иной акціонеръ, ради собственной поживы, вздумаетъ пожалуй обокрасть компанію, но въдѣ это расчитать не столько вѣрный, сколько отважный. На такихъ изобрѣтательныхъ акціонеровъ есть уголовный судъ, а на мошенниковъ въ общемъ дѣтъ человечества—презрѣніе честныхъ людей, надъ которымъ не во всякое время можно смѣяться безнаказанно. Поверхностному наблюдателю эстетикъ можетъ показаться симпатичнѣе реалиста, потому что реалистъ понятенъ только тому, кто разглядитъ общее направленіе его поступковъ и разгадаетъ высшее значеніе идеи, составляющей внутренній смыслъ его существованія. А эстетикъ весь какъ на ладони, и внутренняго смысла въ его жизни вы не найдете.

XVII.

Реалистъ—мыслящій работникъ, съ любовью занимающійся трудомъ. Изъ этого опредѣленія читатель видитъ ясно, что реалистами могутъ быть въ настоящее время только представители умственнаго труда. Конечно трудъ тѣхъ людей, которые кормятъ и одѣваютъ насъ, въ высшей степени полезенъ, но эти люди совсѣмъ не реалисты. При теперешнемъ устройствѣ матеріальнаго труда, при теперешнемъ положеніи чернорабочаго класса во всемъ образованномъ мірѣ, эти люди не что иное, какъ машины, отличающіяся отъ деревянныхъ и желѣзныхъ машинъ невыгодными способностями чувствовать утомленіе, голодъ и боль. Въ настоящее время эти люди совершенно справедливо ненавидятъ свой трудъ и совсѣмъ не занимаются размышленіями. Они составляютъ пассивный матеріалъ, надъ которымъ друзьямъ человечества приходится много работать, но который самъ помогаетъ имъ очень мало и не принимаетъ до сихъ поръ никакой опредѣленной формы. Это—туманное пятно, изъ кото-

раго выработаются новые міры, но о котором до сихъ поръ рѣшительно нечего говорить. Заниматься съ любовью матеріальнымъ трудомъ—это въ настоящее время почти немислимо, а въ Россіи, при нашихъ допотопныхъ приѣмахъ и орудіяхъ работы, еще болѣе немислимо, чѣмъ во всякомъ другомъ цивилизованномъ обществѣ. Такимъ образомъ самый реальный трудъ, приносящій самую осязательную и неоспоримую пользу, остается внѣ области реализма, внѣ области практическаго разума, въ тѣхъ подвалахъ общественнаго зданія, куда не проникаетъ ни одинъ лучъ общечеловѣческой мысли. Чтò-жъ намъ дѣлать съ этими подвалами? Покуда приходится оставить ихъ въ покоѣ и обратиться къ явленіямъ умственнаго труда, который только въ томъ случаѣ можетъ считаться позволительнымъ и полезнымъ, когда, прямо или косвенно, клонится къ созиданію новыхъ міровъ изъ первобытнаго тумана, наполняющаго грязные подвалы.

Изъ всѣхъ реалистовъ только одни естествоиспытатели, раздвигающіе предѣлы науки новыми открытіями, работаютъ для человѣчества *вообще*, безъ отношенія къ отдѣльнымъ національностямъ и къ различнымъ условіямъ мѣста и времени. Остальные реалисты работаютъ также для человѣчества, но задачи и приемы ихъ дѣятельности должны измѣняться сообразно съ обстоятельствами и приспособляться къ потребностямъ отдѣльных человѣческихъ обществъ. Мѣстные и временныя условія нашей русской жизни заявляютъ свои опредѣленные требованія, и русскій реалистъ не можетъ оставлять ихъ безъ вниманія. Этимъ требованіямъ онъ непремѣнно долженъ подчинить свою дѣятельность, если только онъ не посвятилъ себя исключительно изученію природы.

Мнѣ кажется, вліяніе нашихъ мѣстныхъ обстоятельствъ выражается преимущественно въ томъ, что отдѣльныя направленія реалистическаго труда до сихъ поръ не выяснились и не опредѣлились. Наша мысль только-что пробуждается въ немногихъ головахъ; въ дѣлѣ умственнаго труда одному и тому-же человѣку приходится, сплошь и рядомъ, и землю пахать, и сапоги шить, и пироги печь, и дрова колотъ. Рациональное раздѣленіе труда до сихъ поръ еще невозможно; взяться основательно за спеціальную задачу — значитъ уйдти далеко впередъ отъ пониманія общества, слѣзть, безъ малѣйшей пользы, сферу своего вліянія и не встрѣтить въ соотечественникахъ ничего, кромѣ равнодушія и недоумѣнія. За какое-бы общепольное предпріятіе вы ни взялись, вамъ во всякомъ случаѣ придется вить веревку изъ песку, то-есть собирать и склеивать искусственными средствами такіа разсыпающіяся частицы, которыя не имѣютъ, не хотятъ и не могутъ имѣть ни малѣйшей связи ни между собой, ни съ вашей идеей. Каждого соотечественника придется уговаривать поодиночкѣ и каждого придется при этомъ удоб-

номъ случаѣ обучать тѣмъ элементарнымъ истинамъ, которыя человѣкъ непремѣнно долженъ знать для того, чтобы имѣть какое-нибудь мнѣніе о вашемъ предпріятіи. Это значитъ, вамъ нуженъ строевой лѣсъ, а подъ руками у васъ мѣра желудей; конечно, если положить эти же люди въ землю, то лѣсъ вырастетъ, но, разчитывая на этотъ лѣсъ, подражать плотниковъ — это было-бы съ вашей стороны опрометчиво. А кстати подражать-то некого, потому что плотники, подобно строевому лѣсу, также находятся въ зачаточномъ состояніи. Какъ-же тутъ прикажете поступить мыслящему реалисту? Если онъ придетъ въ уныніе и опуститъ руки, то онъ очень скоро сдѣлается жирнымъ филистеромъ, и его уныніе перейдетъ въ хроническую улыбку ту-пого самодовольства. Если онъ будетъ суетиться и метаться изъ угла въ уголъ, не требуя отъ своихъ условій осязательнаго результата и не задавая себѣ даже вопроса о томъ, возможенъ-ли такой результатъ, то онъ окажется Репетиловымъ или трудящейся мартышкой. Въ томъ и въ другомъ случаѣ онъ перестанетъ быть реалистомъ; горизонтъ его мысли быстро ссузится, и вся личность его завянетъ и сморщится, потому что и бездѣйствіе, и безмысленная суетня дѣйствуютъ на человѣка самымъ опошляющимъ образомъ.

Чтобы подкрѣплять и возвышать человѣческую личность, умственный трудъ непремѣнно долженъ быть полезнымъ, то-есть онъ не только долженъ быть направленъ къ извѣстной разумной цѣли, но онъ кромѣ того долженъ достигать этой цѣли. Реалистъ не можетъ успокоить себя той отговоркой, что я, молъ, исполнилъ свой долгъ, старался, говорилъ, убѣждалъ, а если не послушали, такъ, стало быть, и нечего дѣлать. Такія отговорки полезны только для эстетика, для диллетанта умственной работы, для человѣка, которому надо, во чтò-бы то ни стало, получить отъ самого себя квитанцію въ исправномъ платежѣ какого-то невещественнаго долга. А въ глазахъ реалиста такая квитанція не имѣетъ никакого смысла; для него трудъ есть необходимое лекарство противъ заразной пошлости; онъ ищетъ себѣ полезнаго труда съ тѣмъ неутомимымъ упорствомъ, съ какимъ голодное животное ищетъ себѣ добычи; онъ ищетъ и находитъ, потому что иѣтъ такихъ условій жизни, при которыхъ полезный умственный трудъ былъ-бы рѣшительно невозможнымъ. Реалистъ убѣждается въ томъ, что намъ прежде всего необходимы знанія. Это—великая истина, превратившаяся даже въ избитую фразу, благодаря тѣмъ мудрецамъ, которые, произнося невозможныя слова, не поняли во всю свою жизнь ни одной мысли. Но реалистъ не останавливается на такой фразѣ и немедленно выводитъ изъ основной идеи всѣ ея практическія послѣдствія. Общество нуждается въ знаніяхъ, но оно само почти со-

всѣмъ не сознавать и не чувствуетъ, до какой степени оно бѣдно въ умственномъ отношеніи, и до какой степени эта умственная бѣдность мучительно отзывается во всѣхъ подробностяхъ его всенедней жизни. Завалите такое общество превосходящими учебниками, переведите для него всѣ лучшія научныя сочиненія величайшихъ европейскихъ мыслителей—и все это принесетъ ему очень мало пользы. Обставьте больного всевозможными микстурами и декоктами — и онъ все-таки не выздоровѣетъ, если не будетъ принимать вашихъ лекарствъ и не захочетъ исполнять ваши гигиеническія предписанія. Когда больной считаетъ себя здоровымъ, тогда ему прежде всего необходимо доказать, что онъ жестоко ошибается. Именно такимъ образомъ слѣдуетъ поступить и съ нашимъ обществомъ. Оно не только мало размышляетъ, но оно даже не имѣетъ никакого понятія о томъ, что такое дѣятельность мысли. Лексиконъ мудреныхъ словъ, цѣлые сборники готовыхъ изреченій, цѣлыя бібліотеки игрушечныхъ произведеній празднофантазіи, — вотъ весь умственный капиталъ, обращающійся въ нашемъ обществѣ, и обладаніе такими сокровищами во всѣхъ отношеніяхъ должно считаться болѣе тягостнымъ бѣдствіемъ, чѣмъ самая голая умственная нищета. Мы изъ каждой дѣльной мысли выхватываемъ только ея формальное выраженіе и къ обширному сборнику нашихъ затверженныхъ изреченій прибавляемъ такимъ образомъ еще новую фразу, изъ которой улетучивается весь ея жизненный смыслъ.

Имѣемъ-ли мы какое-нибудь понятіе о животныхъ и растеніяхъ, о физическихъ и химическихъ законахъ, о свойствахъ воды, воздуха, металловъ и различныхъ составныхъ частей почвы?—Ровно никакого.—Знаемъ-ли мы что-нибудь о жизни европейскихъ обществъ?—Совсѣмъ ничего. — Понимаемъ-ли мы ихъ исторію?—Нисколько.—Извѣстно-ли намъ положеніе Россіи?—Рѣшительно неизвѣстно. — И въ то-же время, при этомъ кругломъ невѣжествѣ, мы все знаемъ, мы знаемъ ужасно много, мы все читаемъ и обо всемъ пишемъ.—Мы знаемъ, что есть телескопъ, микроскопъ, химическій анализъ, жираффа, Александръ Гумбольдтъ, хлѣбное дерево, анатомія, кокосовые орѣхи, эмбриология, коралловые рифы и многія другія естественныя произведенія, интересныя съ той или съ другой стороны для изслѣдователей природы. Познанія наши по части европейской политики еще болѣе обширны и разнообразны. Мы знаемъ, что въ англійскомъ парламентѣ сидитъ мистеръ Геннеси; что Гарибальди сначала подстрѣлили при Аспро-Монте, а потомъ вылечили и простили; что Викторъ Гюго живетъ въ Брюсселѣ и написалъ новый романъ: «Les Misérables»; что черногорцы—наши братья и дерутся съ турками; что фабриканты, машинисты и работники

совокупными силами создали чудеса новейшей промышленности, но что къ сожалѣнію тутъ поднялся антагонизмъ сословій, породился пауперизмъ, а потомъ явились коммунисты и социалисты, которые еще болѣе перепутали дѣло; всего-же основательнѣе мы знаемъ, по рассказамъ нашихъ путешествовавшихъ соотечественниковъ, что поѣзды и дебаркадеры желѣзныхъ дорогъ устроены удобно, что лоретки—женщины пикантныя и рулетка—препровожденіе времени очаровательное, но во многихъ отношеніяхъ изнурительное.

Мы, какъ видите, знаемъ чрезвычайно много; всякія собственныя имена, всякія спеціальныя слова и техническія выраженія, — все это намъ доподлинно извѣстно. Не знаемъ мы только бѣдлицы, — не знаемъ тѣхъ живыхъ явленій, которыя обозначаются этими словами, и не знаемъ кромѣ того, какимъ образомъ эти неизвѣстныя намъ явленія связываются одно съ другимъ. Мы скажемъ вамъ напримѣръ, что пауперизмъ значитъ бѣдность, но каковы размѣры этого явленія, въ какихъ формахъ оно выражается, откуда оно произошло, почему оно въ одной сторонѣ развилось сильнѣе, чѣмъ въ другой, — этого мы не знаемъ, и мы-бы даже очень удивились, еслибы кто-нибудь заподозрѣлъ насъ въ способности когда-нибудь задать себѣ такіе вопросы и узнать такіе запутанныя исторіи. — Что такое Литва?—спрашиваетъ одинъ изъ обывателей города Калинова въ драмѣ «Гроза». — А эта Литва къ намъ съ неба свалилась, — отвѣчаетъ другой, и любознательность перваго гражданина немедленно удовлетворяется этимъ отвѣтомъ. — Литва — это народъ такой, — отвѣтитъ себѣ образованный человекъ и также удовлетворится. А вѣдь въ сущности узнать, что неизвѣстный имъ народъ называется Литвой, а не Капустой и не Самоваромъ, — это значитъ только прибавить къ своему лексикону новое двусложное слово.

И точно такое-же значеніе имѣетъ каждый голый фактъ, вырванный изъ общей картины жизни и поднесенный невзыскательному читателю затѣйливымъ составителемъ журнальнаго или газетнаго обозрѣнія. А такъ какъ наша публика, кромѣ такихъ голыхъ реляцій, не получаетъ отъ своихъ обыкновенныхъ просвѣтителей рѣшительно ничего, и такъ какъ она даже не знаетъ, чего-бы она могла отъ нихъ потребовать, такъ какъ она читаетъ отъ нечего дѣлать и даже не обращаетъ вниманія на свою полную умственную пассивность, то реалистъ, пристально взглянувъ въ эти спеціально-россійскія отношенія между писателями и читателями, говоритъ рѣшительно и просто, что общество не знаетъ ровно ничего и не умѣетъ даже отличить живую дѣятельность мысли отъ безсознательной игры словъ и оборотовъ. Но реалистъ долженъ не только высказать такое сужденіе, а еще кромѣ того доказать его строгую вѣрность и

сдѣлать такъ, чтобы общество увидѣло и почувствовало справедливость его словъ.

На чемъ же спать наши соотечественники ли, выражаясь яснѣе, что ихъ утѣшаетъ и успокоиваетъ, что маскируетъ пустоту ихъ жизни и избавляетъ ихъ отъ необходимости умирать со скуки или заниматься полезной работой? Водка, табакъ, карты, рысаки, донъ-жуанство, гончія собаки—все это предметы, играющіе самыя почетныя роли въ жизни нашего общества, и противъ нихъ конечно современный реализмъ безсиленъ. Эти тифяки будутъ отодвигуты въ сторону только тогда, когда реализмъ войдетъ въ дѣйствительную жизнь, то-есть когда реалистовъ будетъ уже очень много и когда общество, вслѣдствіе ихъ вліянія, начнетъ въ самомъ дѣлѣ проникаться тѣмъ сознаниемъ, что рудиться гораздо полезнѣе и пріятнѣе, чѣмъ искать сильныхъ ощущений въ игрѣ, въ пьянствѣ или въ псовой охотѣ. Эти времена лежатъ еще далеко впереди, и поэтому реалистъ не долженъ въ настоящее время тратить свою энергію на безплодныя проповѣди. Реалистъ долженъ думать только о тѣхъ людяхъ, которые могутъ проснуться и превратиться въ реалистовъ. Такіе люди въ нашемъ обществѣ существуютъ. Чтеніе оставляетъ для нихъ дѣйствительную потребность, и они читаютъ много и, не смотря на то, все-таки спать. Эти любители умѣютъ читать даже серьезныя статьи и понимаютъ въ нихъ каждое слово (напримѣръ науверизмъ—бѣдность, отаника—наука о растеніяхъ, Либихъ—нѣмецкій химикъ). Но такъ какъ настоящія задушевыя симпатіи этихъ людей влекутъ къ беллетристичѣ и къ поэзіи, то они и серьезныя статьи, и книги читаютъ, какъ повѣсти и какъ поэмы. Они говорятъ для собственнаго назиданія, что серьезныя вещи читать полезно, и они даже всякій разъ, одолѣвши что-нибудь серьезное, утѣшаютъ себя тѣмъ пріятнымъ размышленіемъ, что они исполнили священный долгъ и что теперь, успокоивъ свою требовательную совѣсть, можно побаловать свою грѣшную душу романчикомъ или стихами. Но при всемъ томъ, даже исполняя священный долгъ, они ищутъ во всякомъ серьезномъ чтеніи все той-же, любезной имъ, беллетристической занимательности. Когда же они этого сладкаго ингредиента не находятъ, тогда они стараются только какъ можно скорѣе прожевать и проглотить сухую матерію, для того чтобы умиротворить свою совѣсть. Надо отдать имъ справедливость, что совѣсть ихъ очень требовательна; она все шепчетъ имъ самымъ озлобленнымъ шопотомъ: «слѣди-же за вѣкомъ! читай - же дѣльныя книги! Будь-же мыслящимъ существомъ!»

И, повинувшись этому повелительному голосу, спящіе читатели совершаютъ дѣйствительно чудеса храбрости. Читать серьезныя сочиненія безъ общаго плана, узнавать отдѣльныя подробности,

не видя въ нихъ общаго смысла, проводить черезъ свою голову чужія мысли, не имѣя понятія о живыхъ явленіяхъ, породившихъ эти идеи, напрягать свое вниманіе, не отыскивая никакого отвѣта на вопросы и сомнѣнія своей собственной жизни и мысли—это занятіе умственно-скучное. Это—все равно, что читать лексиконъ или приходу-расходную книгу совершенно неизвѣстнаго вамъ человѣка. И что выходитъ изъ этого чтенія? Запоминаются слова и факты, но въ тѣхъ мысляхъ, которыя управляютъ жизнью самого читателя, не происходитъ ни малѣйшаго передвиженія. Наши русскіе читатели даже твердо убѣждены въ томъ, что между книгой и жизнью не можетъ быть никакого взаимнаго дѣйствія. И все это оттого, что они выучились читать и полюбили чтеніе исключительно по романамъ и поэмамъ. У нихъ установился взглядъ на чтеніе, какъ на препровожденіе времени, то-есть какъ на средство *убить время*, потому что время, это драгоценнѣйшее достояніе мыслящаго человѣка, есть смертный врагъ нашихъ соотечественниковъ,—врагъ, котораго слѣдуетъ гнать и истреблять всѣми возможными орудіями, начиная отъ желудочной водки и кончая статьями «Русскаго Вѣстника».

Чтеніе нашихъ соотечественниковъ не имѣетъ цѣли; русскій человѣкъ ничего не ищетъ въ книгѣ, ни о чемъ не спрашиваетъ, ни къ чему не желаетъ придти. Онъ просто хочетъ, чтобы писатель повеселилъ его душу. Если писатель веселитъ его утонченными ощущеніями, и если увеселяемый читатель понимаетъ всѣ утонченности, то онъ считаетъ себя развитымъ человекомъ и, любуясь на свою развитость, называетъ тонкаго увеселителя великимъ гениемъ, и, вмѣняя себѣ въ заслугу то, что онъ ихъ понимаетъ, русскій читатель вноситъ и во всякое дѣльное чтеніе тѣ приемы мышленія, которые онъ приобрѣлъ въ обществѣ тонкихъ увеселителей. Хоть русскій читатель и увѣряетъ себя, что онъ читаетъ серьезную книгу *для пользы*, но вѣдь это только такъ говорится. О настоящей пользѣ онъ и понятія не имѣетъ. Слово *польза* не вызываетъ въ его умѣ никакого опредѣленнаго представленія, и въ общемъ результатъ всякое чтеніе все-таки приводитъ за собой только истребленіе времени; а запоминается изъ прочитанной книги и правится въ ней исключительно то, что повеселило душу.

Еслибы безобразіе и пошлость такого занятія выступили передъ пониманіемъ читателя во всей своей отвратительной наготѣ, то ему сдѣлалось бы очень совѣстно. Онъ встревожился-бы и сталъ-бы искать чего-нибудь менѣе недѣльнаго. Онъ именно попалъ-бы съ постели на полъ и открылъ-бы свои отяжелѣвшія очи. Къ этой цѣли и направляются усилія нашихъ реалистовъ; сдѣлать такъ, чтобы русскій человѣкъ, собирающійся вздремнуть или помечтать, постоянно

слышалъ въ ушахъ своихъ звуки рѣзкаго смѣха, сдѣлать такъ, чтобы русскій человѣкъ самъ принужденъ былъ смѣяться надъ своими возведенными пигмеями, — это одна изъ самыхъ важныхъ задачъ современнаго реализма. — Вамъ нравится Пушкинъ? — Извольте, полюбуйтеся на вашего Пушкина. — Вы восхищаетесь «Демономъ» Лермонтова? — Посмотрите, что это за безмыслица. — Вы благоговѣете передъ Гегелемъ? — Попробуйте сначала понять его изреченія. — Вамъ хочется уснуть подъ сѣнью «общихъ авторитетовъ поэзіи и философіи»? — Докажите сначала, что эти авторитеты существуютъ и на что-нибудь годятся. — Вотъ какъ надо поступать съ русскимъ человѣкомъ. Не давайте ему уснуть, какъ-бы онъ ни закутывалъ себя головою теплыми иллюзіями и темными фразами.

Реалисты наши такъ и дѣлаютъ: они смѣются, и ихъ звонкій смѣхъ прорѣзываетъ такіе туманы, которые не поддаются серьезной аргументаціи. Русскіе писатели смѣются уже давно, но смѣхъ сатириковъ нашихъ, отъ Канниста до Щедрина, тратился постоянно на такія явленія, которые на сатиру не обращаютъ никакого вниманія. Искоренять сатирой взяточничество — что можетъ быть невиннѣе и бесплоднѣе этого занятія? Реалисты конечно неспособны тратить свой смѣхъ на такія упражненія. Они очень хорошо понимаютъ, что взятка никогда не будетъ казаться смѣшной тому человѣку, котораго она кормитъ и одѣваетъ. Если идеи и чувства лириковъ, эстетиковъ, романтиковъ, педантовъ, фразеровъ сдѣлаются смѣшными для общества, то общество перестанетъ ими увлекаться и направитъ свои симпатіи въ другую сторону. Результатъ получится осязательный, и я смѣю думать, что такимъ образомъ рѣшится очень серьезная задача, потому что въ настоящее время всего необходимѣе превращать чувствительныхъ тунеядцевъ въ мыслящихъ работниковъ.

ХVIII.

Началь я съ общечеловѣческой солидарности, а кончилъ тѣмъ практическимъ заключеніемъ, что намъ, русскимъ реалистамъ, можно только осмѣивать потихоньку наши мелкія глупости и медленно учиться вмѣстѣ съ нашей лѣнливой публикой самымъ элементарнымъ истинамъ строгой науки. Какое торжественное начало и какой мизерный конецъ! Гора мышъ родила, подумаетъ читатель, и я никакъ не осмѣлюсь ему противорѣчить. Я уже говорилъ въ первой части этой статьи, что мы бѣдны и глупы; теперь намъ пришлось убѣдиться въ томъ, что наша бѣдность и наша глупость доходятъ дѣйствительно до самыхъ почтенныхъ размѣровъ, — до такихъ размѣровъ, что глупость мѣшаетъ намъ понимать пользу необходимаго лекарства, а бѣдность мѣшаетъ намъ приобрести себя заразъ достаточную дозу этого лекарства. [Вслѣдствіе этого и

приходится употреблять это лекарство самымъ поверхностнымъ образомъ и въ самыхъ микроскопическихъ примѣсахъ. Великая и плодотворная идея должна пристроиться къ самому мелкому практическому примѣненію, и только при этомъ условіи она можетъ съ грѣхомъ пополамъ проникнуть въ сознаніе лучшаго меньшинства нашей читающей публики.

Въ этомъ печальномъ обстоятельстве невинноваты, разумѣется, ни основныя особенности реалистической идеи, ни личныя свойства нашихъ реалистовъ. Представьте себя, что вы превосходно изучили раціональную агрономію, и что вамъ приходится прикладывать ваши знанія къ обыкновенному мужицкому хозяйству, и всего оборотнаго капитала у васъ рублей сорокъ или пятьдесятъ. Если вы — не пустой фантазеръ, то вы, разумѣется, оставите покуда въ сторонѣ всякіе помыслы о паровыхъ плугахъ, о молотилкахъ, объ искусствѣ травосѣяніи и о химическомъ анализѣ почвы. Вы ограничитесь тѣмъ, что на первый годъ купите напримѣръ желѣзную борону и для удобренія корову. Значитъ и здѣсь гора мышъ родила, но въдѣ это обстоятельство нисколько не доказываетъ, что приложеніе химіи къ земледѣлію — чепуха, или что вы сами ничему не выучились. Ничуть не бывало. Если вы одарены яснымъ практическимъ умомъ и твердымъ характеромъ, если вы способны равнымъ шагомъ идти къ далекой цѣли, не спуская съ нея глазъ ни на одну минуту, постоянно соразмѣряя ваши собственныя силы съ тѣмъ разстояніемъ, которое вы должны пройти, то вы непремѣнно докажете на дѣлѣ вашимъ деревенскимъ сосѣдямъ, что раціональная агрономія — не пустяки, и что вы сами не даромъ потратили время на ея изученіе. За боронкой и коровой будутъ слѣдовать ежегодно новыя улучшенія, которыя, постоянно увеличивая вашу доходъ, постоянно будутъ расширять кругъ вашей преобразовательной дѣятельности. Каждое новое улучшеніе будетъ вытекать изъ прошлогодняго, и такимъ образомъ корова и борона сдѣлаются фундаментомъ всего вашего послѣдующаго благосостоянія. Еслибы корова и борона остались безъ дальнѣйшихъ послѣдствій, тогда конечно можно было-бы сказать, что гора родила мышъ; но въдѣ тутъ дѣло идетъ, какъ говорятъ французы: *de fil en aiguille*; стало-быть, гора родитъ цѣлую цѣпь явленій, которыя могутъ вылѣзти изъ горы не иначе, какъ одно за другимъ.

Я хотѣлъ говорить о русскомъ реализмѣ и свелъ разговоръ на отрицательное направленіе въ русской литературѣ. Читатель можетъ подумать, что я дѣлалъ это по цеховому самолюбію, по пристрастію къ моему муравейнику и къ моимъ собственнымъ муравьинымъ занятіямъ. Въ этомъ случаѣ читатель рѣшительно ошибется. Я съ самымъ напряженнымъ вниманіемъ отыскивалъ въ общественныхъ явленіяхъ нашей всенародной

жизни каких-нибудь признаков здорового реализма и не нашелъ въ нихъ ничего похожаго не только на реализмъ, но даже на какое-нибудь сознательное движеніе мысли. Въдъ въ самомъ дѣлѣ, только въ одной литературѣ и проявлялось до сихъ поръ хоть что-нибудь самостоятельное и дѣятельное. Гоголь, Бѣлинскій, Добролюбовъ — вотъ вамъ въ трехъ именахъ полный отчетъ о всей нашей умственной жизни за цѣлое тридцатилѣтіе; къ этимъ именамъ можно было-бы прибавить еще два-три имени, но и эти послѣдніе также принадлежатъ къ литературѣ и по направленію своей дѣятельности примыкаютъ или къ Бѣлинскому, или къ Добролюбову.

А гдѣ-же наши изслѣдователи, гдѣ наши практическіе работники? Были, есть и будутъ и тѣ, и другіе. Соловьевъ, Срезневскій, Бодянский, Буслаевъ—вотъ какія громкія имена мы можемъ выдвинуть въ параллель нѣмецкимъ именамъ: Либихъ, Дюбуа-Реймонъ, Фохтъ, Гельмгольцъ, или французскимъ: Клодъ-Бернаръ, Де-Кандолль, Эли де-Бомонъ, Мильнъ-Эдвардъ, или англійскимъ: Дарвинъ, Лайелль, Форбесъ, Бокль. Чтѣ же касается до практическихъ работниковъ, то ихъ не зачѣмъ и пересчитывать.

Нѣкоторые *настоящіе* изслѣдователи, приносящіе *дѣйствительную* пользу общечеловѣческой наукѣ, живутъ, правда, въ русскихъ городахъ и даже иногда носятъ русскія фамиліи, но ихъ труды остаются для нашего общества мертвымъ и даже неизвѣстнымъ капиталомъ. Нашъ академикъ Карлъ-Эрнстъ фонъ-Бэръ считается во всей Европѣ однимъ изъ величайшихъ эмбриологовъ нашего времени. Дарвинъ, Карлъ Фохтъ, Гексли всегда цитируютъ его мнѣнія съ особеннымъ уваженіемъ. Льюисъ въ своей «Физиологій обыденной жизни» ссылается на изслѣдованіе Овсянникова о спинномъ мозгѣ и Якубовича — о нервныхъ клѣточкахъ. Французскій ученый Бекларъ упоминаетъ въ своей физиологій о нѣкоторыхъ экспериментальныхъ работахъ Боткина и Сѣченова. Ну, а мы? Мы, я чай, и понятія не имѣемъ о томъ, что у насъ могутъ существовать такіе люди, которые въ самомъ дѣлѣ, не шутя, занимаются эмбриологіей, нервными клѣточками и физиологическими опытами. Мы узнаемъ объ этихъ людяхъ изъ иностранныхъ книгъ и чувствуемъ себя польщенными, точно будто мы сами не спимъ, а занимаемся дѣломъ. И вдругъ, узнавши такимъ случайнымъ образомъ о подвигахъ русскихъ людей, какой-нибудь мыслитель изъ «Сына Отечества» или изъ «Сѣверной Пчелы» вламывается въ амбицію и заявляетъ жалобнымъ голосомъ свою патріотическую претензію. «На что-же, молъ, это похоже? Въ Россіи есть умные люди, а я, русскій мыслитель и образованный человѣкъ, объ этомъ ничего не знаю. Какъ-же вамъ не грѣхъ такъ поступать, родимые специалисты? Зачѣмъ-же вы пишете по-латини или по-нѣмецки? Вы должны писать по-русски, тогда-бы

и васъ знали и мнѣ было-бы пріятно, а русское общество получило-бы отъ васъ назиданіе и пользу. Смотрите-же, родимые специалисты, непременно пишите по-русски.»

Такія жалобы и такія увѣщанія слышатся очень часто, и читатель имъ обыкновенно сочувствуетъ тѣмъ дряблымъ и ни на что негоднымъ сочувствіемъ, которымъ мы вообще чрезвычайно богаты и которое никогда не можетъ повести насъ дальше какихъ-нибудь обѣдовъ по подпискѣ или спектаклей съ благотворительными предлогами. Но эти жалобы и увѣщанія такъ-же пусты и празды, какъ и большая часть тѣхъ мыслей, съ которыми сочувственно соглашаются русскіе читатели. Какая-бы въ самомъ дѣлѣ вышла польза, еслибы Овсянниковъ написалъ свое изслѣдованіе по-русски? Пользы—никакой, а вредъ очевидный; въдъ Льюисъ не сталъ-бы учиться русскому языку ради одной диссертациі о спинномъ мозгѣ; ну, стало-быть, у Льюиса однимъ полезнымъ пособіемъ было-бы меньше, а мыслитель «Сына Отечества» или «Сѣверной Пчелы» все-таки не прочелъ-бы диссертациі родимаго специалиста; а еслибы и прочелъ, то ничего-бы изъ нея не понялъ и не извлекъ, потому что выучиться нѣмецкому или латинскому языку гораздо легче, чѣмъ понять специально ученый трудъ, написанный даже по-русски. Еслибы мыслитель былъ способенъ заниматься серьезнымъ дѣломъ, то нѣмецкій или латинскій языкъ не составилъ-бы для него непреодолимаго препятствія. А если онъ, отъ лица публики, жалуетъ на трудность иностраннаго языка, то онъ еще пуще того будетъ жаловаться на непонятность научнаго изложенія. Ему что надо? Ему надо, чтобы Бэръ явился передъ русской публикой и сказалъ ей съ подобающей любезностью: «честь имѣю рекомендовать: я—Карлъ-Эрнстъ фонъ-Бэръ. Я занимаюсь эмбриологіей. Эмбриологія есть наука о развитіи живыхъ существъ. Эта наука составляетъ часть естествознанія, а естествознаніе—вещь очень полезная, вотъ почему, и вотъ почему. Я сдѣлалъ нѣсколько новыхъ открытій и объясню вамъ значеніе этихъ открытій, примѣняясь къ вашему убогому пониманію и стараясь растолковать вамъ самыя элементарныя истины, извѣстныя каждому нѣмецкому школьнику, но совершенно новыя для мыслителей нашихъ газетъ и журналовъ».

Ахъ, какъ-бы это было хорошо и благородно! На это галантерейное расшариваніе Бэра передъ русской публикой ушло-бы очень много времени, а время Бэра очень дорого, потому что великій натуралистъ могъ-бы употребить его на новыя изслѣдованія. Бэръ — превосходный специалистъ, раздвигающій предѣлы науки, а мы, по нашей глупости, хотимъ кромѣ того, чтобы онъ сдѣлался для насъ школьнымъ учителемъ; и еслибы наше глупое желаніе исполнилось, то однимъ великимъ изслѣдователемъ

сдѣлалось-бы меньше и однимъ плохимъ писателемъ больше.

И такія-же требованія, вмѣстѣ съ такими-же недѣльными упреками, сыпятся на нашихъ остальныхъ дѣльныхъ специалистовъ. Эти требованія и упреки очень поучительны, потому что въ нихъ выражается самымъ наивнымъ образомъ изумительная пассивность нашихъ умственныхъ привычекъ. Чуть только появится у насъ какой-нибудь дѣльный человѣкъ, мы сейчасъ нарвемъ пристроиться къ нему подъ крылышко. Мы уже ждемъ отъ него какой-то манны небесной, и намъ даже въ голову не приходитъ та мысль, что намъ слѣдуетъ быть дѣтельными помощниками, а не убогими приживалками этого полезнаго человѣка. Мы говоримъ дѣльному человѣку: благодѣтель, отецъ родной! Просвѣти насъ, научи насъ, поставь на путь истины! Мы тебя будемъ слушать и вѣкъ за тебя будемъ Бога молить.

Написано напримѣръ дѣльное научное сочиненіе, открывающее какія-нибудь новыя истины. Значитъ, нашелся въ обществѣ мыслящій человѣкъ, который сдѣлалъ свое дѣло, какъ слѣдуетъ. Если общество живетъ полной и здоровой жизнью, то этотъ утѣшительный фактъ никакъ не останется одинокимъ и случайнымъ явленіемъ; немедленно найдется другой дѣльный человѣкъ, который объяснитъ открытіе перваго; потомъ какой-нибудь третій человѣкъ придумаетъ для этихъ открытій практическое примѣненіе, — словомъ, дѣло изслѣдователя будетъ проведено въ сознаніе и въ жизнь общества разными популяризаторами и техниками. А у насъ, напротивъ того, десятки людей будутъ жаловаться на то, что изслѣдователь пишетъ неясно, и ни одинъ изъ этихъ поющихъ десятковъ не потрудится разъяснить и переработать собственными силами то, что онъ находитъ неудовлетворительнымъ. Да онъ и не находитъ ничего неудовлетворительнымъ; онъ просто хочетъ сидѣть на одномъ мѣстѣ, сибаритствовать, заниматься пріятнымъ чтеніемъ и, отдавшись безусловно въ руки специалиста, приобрѣтать отъ него знанія безъ малѣйшаго напряженія мысли.

При такой полной пассивности нашего общества, русскіе специалисты поставлены въ необходимость писать свои изслѣдованія на иностранныхъ языкахъ. Это даже выгодно для нашего общества, не говоря уже объ интересахъ общечеловѣческой науки. Положимъ напримѣръ, что докторъ Боткинъ произвелъ какія-нибудь новыя изслѣдованія надъ леченіемъ нервныхъ болѣзней. Напечатай онъ эти изслѣдованія на русскомъ языкѣ, они точно въ воду кануть. Но какъ только они попадутся въ руки европейскихъ ученыхъ, такъ тотчасъ сотни дѣтельныхъ умовъ дополняютъ и перерабатываютъ ихъ своими собственными наблюденіями, и открытіе нашего доктора вернется къ намъ въ Россію въ усовершенствованномъ видѣ, и больные наши испытаютъ на

собственномъ тѣлѣ благодѣтельные послѣдствія того факта, что русскій ученый написалъ свое изслѣдованіе на нѣмецкомъ языкѣ. Еслибы умственная жизнь нашего общества отличалась силой и энергіей, тогда специалисты наши написали-бы по-русски, тогда у насъ было-бы много специалистовъ, и тогда европейскіе ученые позавидовали-бы для себя полезнымъ учиться русскому языку, подобно тому, какъ они въ настоящее время учатся англійскому, французскому и нѣмецкому. Специалиста съ непобѣдимой силой притягиваетъ та сфера, въ которой его специальный трудъ будетъ всего лучше понятъ и оцененъ, и въ которой онъ слѣдовательно произведетъ самое плодотворное и живительное впечатлѣніе. И специалистъ поступаетъ совершенно благоразумно и добросовѣстно, подчиняясь безусловно дѣйствию этой притягательной силы.

Мы даже не имѣемъ никакого права говорить, что русскіе ученые не думаютъ о потребностяхъ русскаго общества. Какіе русскіе ученые? Русскіе ученые не существуютъ. Развѣ тѣ-же ученые, которыхъ мы называемъ русскими, порождены умственнымъ движеніемъ и умственными потребностями нашего общества? Ни чуть не было. Мы даже до сихъ поръ не имѣемъ понятія о томъ, что такое умственное движеніе или умственная потребность. Все это я говорю не для того, чтобы обидѣть такихъ специалистовъ, какъ Бэръ, Овсянниковъ, Якубовичъ и другіе, а только для того, чтобы доказать, что специалисты, перевезенные изъ Европы въ Россію или, точнѣе, порожденные обще-европейскимъ движеніемъ мысли, всегда будутъ и должны тянуться къ своей умственной родинѣ. Они въ нашемъ обществѣ такъ-же одиноки, какъ еслибы они находились въ аравійской пустынѣ. Они не могутъ создать въ обществѣ умственное движеніе. Не специалисты создаютъ то или другое общественное настроеніе, а наоборотъ общество, настроившись такъ или иначе дѣйствіемъ общихъ причинъ, испытываетъ тѣ или другія потребности и выдвигаетъ, для удовлетворенія этимъ потребностямъ, теоретическихъ изслѣдователей или практическихъ дѣателей. Общество должно само работать надъ своимъ образованіемъ, и только оно одно, совокупными усиліями всѣхъ своихъ членовъ, можетъ выполнить надъ собой это дѣло умственнаго перерожденія. А пока оно будетъ сидѣть сложа руки и ждать себѣ манны небесной отъ отдѣльныхъ личностей, до тѣхъ поръ манна къ нему не сойдетъ, хотя-бы эти личности и были европейскими знаменитостями, подобными Бэру.

Что европейская наука насаждена и поддерживается у насъ искусственными средствами, это очень хорошо, потому что безъ искусственныхъ средствъ она-бы не поддержалась, но если общество думаетъ, что оно имѣетъ какое-нибудь право контроля надъ такой наукой, которая возникла

ится помимо его содѣйствія, то общество ошибается. Пусть оно сначала поработаетъ выдѣлѣть изъ себя научныхъ дѣятелей, тогда ему не на что будетъ жаловаться: выдѣлѣтели, обязанные ему своимъ произношеніемъ, будутъ безусловно преданы его умнымъ интересамъ. До сихъ поръ наше общество создало своими собственными силами одну журналистику, которая дѣйствительно возникла, развилась и держится независимо отъ всякихъ постороннихъ вліяній. И въ дѣлѣ журналистики, въ лицѣ своихъ тѣхъ представителей, всегда служила добросовѣстнымъ образомъ умственнымъ постыямъ общества. Такая предварительная работа совершенно необходима. Базаровъ не такъ совершенно справедливо, что всѣ наши серьезные компаніи лопаются отъ недостатка умныхъ и дѣльных людей. Стало-быть, надо не сформировать честныхъ и дѣльных людей, а уже приниматься за составленіе серьезныхъ компаній или за какія-нибудь столь-же общественныя предпріятія. Къ этимъ и направляются наши реалисты, отбрасывая мѣшающія глупости, отчасти странная научныя свѣдѣнія. — Дѣятельность очень скромная, но мы за блескомъ и не замечаемъ. Намъ нужна польза для себя и для

XIX.

дѣ современныхъ реалистовъ такъ-же до самой слабой женщинѣ, какъ и самому умному мужчине. Въ этомъ трудѣ нѣтъ ни рубяго, рѣзкаго и воинственнаго. Надо понимать и любить общую пользу, надо отстранять правильныя понятія объ этой пользе, надо уничтожать смѣшныя и вредныя свѣдѣнія, и вообще надо вести всю свою жизнь такъ, чтобы личное благосостояніе не пострадало въ ущербъ естественнымъ интересамъ большинства. Надо смотрѣть на жизнь широко; надо внимательно вглядываться въ факты окружающей явленій, надо читать и мыслить, не для того, чтобы убить время, а для того, чтобы выработать себѣ ясный взглядъ на отношенія къ другимъ людямъ и на ту общественную связь, которая существуетъ между каждой отдельной личностью и общимъ благомъ человеческого благосостоянія. Словомъ: надо думать.

Въ этихъ двухъ словахъ выражается самая важная, самая неотразимая потребность нашего времени и нашего общества. Эти слова могутъ показаться фразой, но что-же съ этимъ дѣлать того слова, которое мы не сумѣли-бы мыслить и превратить въ пустой звукъ теми же самыми и бессознательными повтореніями, которыми наводятъ нашу литературу. А между дѣйствительно намъ надо думать, и нѣтъ

другого слова, которое яснѣе и проще выражало-бы то, въ чемъ мы нуждаемся въ настоящую минуту. Есть такіе люди, есть такіе книги, которые выучиваютъ насъ думать. Надо, чтобы такихъ людей и книгъ у насъ было какъ можно больше; тогда всякая пробуждающаяся мысль будетъ находить себѣ поддержку и здоровую пищу. Надо думать и надо размножать тѣ предметы, которые пробуждаютъ человеческую мысль и содѣйствуютъ успѣху ея работы.

Женщина можетъ думать и можетъ дѣлаться своими мыслями съ другими людьми; поэтому я и говорю, что трудъ современныхъ реалистовъ совершенно доступенъ женщинамъ. Въ природѣ женщины нѣтъ ничего такого, что отстраняло-бы женщину отъ дѣятельнаго участія въ рѣшеніи насущныхъ задачъ нашего времени; но въ воспитаніи женщины, въ ея общественномъ положеніи, словомъ, въ тѣхъ условіяхъ, которыя составляютъ искусственную сторону ея теперешней жизни, въ этихъ условіяхъ, говорю я, есть очень много препятствій, которыя въ настоящее время преодолеваются только самыми умными женщинами при содѣйствіи исключительно счастливыхъ обстоятельствъ. Подъ именемъ «счастливыхъ обстоятельствъ» я, разумѣется, понимаю не то, что понимаетъ большинство нашего общества. Счастливой называютъ у насъ обыкновенно ту женщину, которая богата, хороша собой, выходитъ замужъ по любви, веселится и блещетъ въ свѣтѣ, потомъ пристроиваетъ благополучно своихъ дѣтей и наконецъ умираетъ окруженная внучатами, приживалками и домашними животными. По моему мнѣнію, такая счастливая жизнь, проведенная въ полномъ спокойствіи, то-есть въ полномъ подчиненіи господствующей рутинѣ, оставляетъ мысль женщины совершенно непробужденной. Можетъ-быть такая умственная дремота чрезвычайно пріятна, но я знаю навѣрное, что ни одинъ человѣкъ, пробудившійся отъ подобнаго усыпленія, не захочетъ ни за какія блага въ мірѣ возвратиться къ этому состоянію первобытной невинности. Поэтому я называю счастливыми тѣ обстоятельства, которыя, даже причиняя женщинамъ тяжелыя страданія, насильно заставляютъ ее браться за умъ и задумываться надъ тѣми нелѣпостями, которыя она видитъ и слышитъ вокругъ себя. За размышленіемъ слѣдуетъ отвращеніе, а такъ какъ природа не терпитъ пустоты, то женщина старается замѣнить въ своемъ умѣ выброшенныя нелѣпости какимъ-нибудь живымъ и осмысленнымъ содержаніемъ. Если женщина въ эту критическую минуту своей жизни встрѣтитъ умнаго человѣка или умную книгу, тогда она устроитъ у себя въ головѣ порядокъ и чистоту, и тогда она будетъ совершенно застрахована противъ тѣхъ безплодныхъ восторговъ, которыми увлеклась на примѣръ госпожа Свѣчина. Именно такіе обстоятельства я и называю вполнѣ счастливыми; какой-нибудь рѣзкій

толчекъ долженъ пробудить мысль, а встрѣча съ умнымъ руководителемъ должна направить эту мысль туда, гдѣ она можетъ найти себѣ удовлетвореніе, то-есть реальныя знанія и полезный трудъ.

Такъ случилось съ Вѣрой Павловной Лопуховой, но такъ случается рѣдко, и огромное большинство нашихъ и даже европейскихъ женщинъ проводить свою жизнь безъ размышленія, безъ знаній и безъ труда. Онѣ живутъ внѣ общихъ интересовъ человѣчества. Онѣ задавлены мелочами кухни, спальни и моднаго магазина, подобно тому, какъ масса чернорабочихъ задавлена физическимъ утомленіемъ и голодной нищетой. Имъ некогда думать; жизнь ежеминутно задаетъ имъ множество мельчайшихъ вопросовъ, которые волнуютъ и раздражаютъ ихъ, но которые всѣ могутъ быть разрѣшены безъ помощи размышленія; у нихъ нѣтъ ни спокойствія, ни дѣятельности, а есть только безконечная суета, которая утомляетъ человѣка и мѣшаетъ его мысли сосредоточиться на какомъ-нибудь отдѣльномъ и важномъ вопросѣ жизни. Это суетливое движеніе начинается у нашихъ женщинъ съ самаго ранняго дѣтства.

Ты, другъ мой, должна быть образованной дѣвицей, говорятъ опытные воспитательницы маленькому существу, одѣтому въ короткое платье, и маленькое существо по ихъ командѣ суетливо кидается отъ географіи къ фортепьяно, отъ фортепьяно—къ пуническимъ войнамъ, отъ подвиговъ Аннибала и Сципіона—къ шассе вправо, шассе назадъ, потомъ къ естественной исторіи Горизонтова, потомъ къ рисованію цвѣтовъ и носовъ, и разныя лохмотья знаній, разныя упражненія по части пріятныхъ искусствъ проходятъ, какъ китайскія тѣни, черезъ несчастный мозгъ ошеломленнаго маленькаго существа. И чуть только въ дѣвочкѣ шевельнется любознательность, чуть только она пожелаетъ посмотрѣть повнимательнѣе на одну изъ промелькнувшихъ тѣней, ее тотчасъ останавливаютъ, потому что такое неестественное желаніе нарушаетъ заведенный порядокъ систематической суеты. Въ день надо непременно продѣлать семь или восемь различныхъ штукъ по части наукъ и искусствъ, стало-быть, если одна штука разросется въ ущербъ остальнымъ, то изъ этого произойдетъ безпорядокъ, который въ благоустроенномъ педагогическомъ хозяйствѣ не можетъ быть допущенъ. Кромѣ того извѣстно всѣмъ и каждому, что дѣвушка прежде всего должна быть пріятной въ обществѣ, а пріятность эта заключается между прочимъ въ разнообразіи ея талантовъ и знаній; поэтому любознательность можетъ быть терпима въ дѣвочкѣ настолько, насколько она содѣйствуетъ исправному изученію обязательныхъ уроковъ; когда же любознательность стремится выйти изъ этихъ естественныхъ границъ, тогда она можетъ повредить будущей пріятности; слѣдовательно, она идетъ тогда наперекоръ основнымъ тенденціямъ воспитанія, и ее необходимо подавлять и искоренять мѣрами кротости и, въ случаѣ упорства, мѣрами строгости.

Впрочемъ любознательность дѣвочки очень рѣдко вызываетъ противъ себя отпоръ со стороны воспитательницъ. Вся система преподаванія, всѣ объясненія учителей и весь комплектъ учебниковъ тщательно подобраны такимъ образомъ, что любознательность рѣшительно не можетъ возникнуть, и мысли дѣвочки постоянно стремятся вонъ изъ классной комнаты, прочь отъ книгъ и уроковъ, къ міру дѣйствительной жизни, то-есть къ балу, къ театру, къ модному магазину и къ другимъ очаровательнымъ предметамъ, въ которыхъ каждая благовоспитанная дѣвочка видитъ весь смыслъ и весь интересъ жизни и дѣйствительности. За суетой уроковъ въ жизни дѣвушки слѣдуетъ суета свѣтскихъ удовольствій, которая въ большей части случаевъ усложняется кислой суетой домашней бѣдности. Поѣхать на балъ необходимо, но и пообѣдать тоже не мѣшаетъ; нанять карету необходимо, но и купить сажень дровъ слѣдуетъ; надо заказать новое платье—и надо въ то-же время заплатить долгъ въ овощную лавку; нельзя же быть одѣтой хуже какой-нибудь Сидоровой или Антоновой,—по какъ-же распорядиться, когда папенька бранится за излишніе расходы «на тряпки»? Не поѣхать на балъ,—но на балѣ будетъ *онъ*. При такихъ непримиримыхъ требованіяхъ дѣйствительной жизни, драма слѣдуетъ за драмой; каждая грошовая ленточка смачивается горькими слезами; каждое пошлое слово дурака или негодяя, встрѣченнаго на балѣ и поставившаго себѣ задачей жизни ухаживать за всѣми красивыми барышнями,—вызываетъ живыя надежды, за которыми слѣдуютъ быстро и непремѣнно мучительныя разочарованія.

Все это—бури въ стаканѣ воды; все это смѣшно и глупо, новѣды тутъ льются человѣческія слезы, тутъ проводятся безсонныя ночи, и то существо, которое мечется по постели и обливаема слезами свою подушку, это существо, говорю я, страдаетъ дѣйствительно, страдаетъ такъ, какъ будто-бы причина страданія была велика и серьезна. И это же самое существо, съ тѣмъ-же тѣлосложеніемъ, съ тѣмъ-же темпераментомъ и устройствомъ черепа, могло-бы, при другихъ условіяхъ развитія и жизни, стать на ту нормальную высоту человѣческаго пониманія, на которую никогда не забираются грязныя и мучительныя волненія о новомъ платьѣ Сидоровой или о пятой кадрили, протанцованной вѣроломнымъ Ивановымъ съ легкомысленной Антоновой. Для большинства нашихъ теперешнихъ женщинъ эта нормальная высота недостижима, и препятствія, отрѣзывающія имъ путь къ человѣческому благоразумію, вытекаютъ естественнымъ образомъ изъ того основнаго принципа, которому подчинены воспитаніе и вся жизнь женщины.

XX.

Реалисты, построившие всю свою жизнь на идее общей пользы и разумного труда, относятся презрительно и враждебно ко всему, что разъединяет человеческие интересы, и ко всему, что отвлекает человека от общепользующей деятельности. Поэтому они строго осуждают ту мелкость понятий и узкость симпатий, которые прививаются к женщинам всем направлением их воспитания. Это враждебное отношение реалистов к искусственной ограниченности женщины послужило поводом к бессмысленной клеветке. Добрые люди пустили слух, что реалисты отрицают семейство, осмивают брак и стараются поставить разврат на степень общественной добродетели.

Эта выдумка столько же остроумна, сколько добродетельна. Она могла показаться правдоподобной только нашему невинному обществу, совершенно не привыкшему контролировать распускаемые слухи самостоятельным наблюдением действительных фактов. Общество знает наших реалистов по роману «Отцы и дети». Какие же факты сообщаются в этом романе?—А вот какие. Базаров разговаривает с Одинцовой. Она говорит ему: «По моему или все, или ничего. Жизнь за жизнь. Взяв мою, отдай свою, и тогда уже без сожаления и без возврата. А то лучше и не надо».—Он отвечает ей: «Что-ж? это условие справедливое, и я удивляюсь, как вы до сих пор не нашли, чего желали».—Эти слова нельзя принять иначе, как за самое искреннее выражение его взгляда на отношения между мужчиной и женщиной. Базарова нельзя заподозрить в желании соблазнить Одинцову этим косвенным обещанием верности, потому что, когда она вслѣд затѣм спрашивает у него прямо: «но вы-бы съумѣли отдаться?»—тогда онъ отвѣчаетъ ей: «не знаю, хвастаться не хочу». Замѣьте слово «хвастаться». Въ этомъ словѣ Базаровъ опять невольно проговаривается: значить, онъ считаетъ способность отдаться на всю жизнь великимъ достоинствомъ. И онъ понимаетъ въ то-же время, что не всякій обладаетъ этой способностью, и не всякому представляется въ жизни счастливый случай приложить эту способность къ дѣлу, и не всякій умѣетъ воспользоваться счастливимъ случаемъ, когда онъ ему представляется.

Гдѣ-же, въ комъ-же изъ настоящихъ реалистовъ добрые люди подмѣтили наклонность къ разврату? Каждый настоящий реалистъ прежде всего—работникъ. Хороша-ли, дурна-ли его работа, объ этомъ онъ самъ знаетъ, и объ этомъ онъ не будетъ давать отчета тѣмъ добрымъ людямъ, которые изобрѣтаютъ и распускаютъ ложные слухи. Хороша-ли, дурна-ли его работа, но во всякомъ случаѣ онъ трудится какъ волъ, а кто не трудится, тотъ и не можетъ называться

реалистомъ, какъ-бы краснорѣчиво онъ ни рассуждалъ о человечествѣ и объ общей пользѣ. Кто не трудится, а только рассуждаетъ, тотъ или пустой болтуна, или вредный шарлатанъ, но ужъ ни въ какомъ случаѣ не реалистъ. Стало-быть, настоящимъ реалистамъ нѣтъ никакой надобности ратовать противъ цѣломудрія и противъ супружеской вѣрности. У реалиста трудъ стоитъ на первомъ планѣ. Что помогаетъ успѣху его труда, то онъ любитъ. Что мѣшаетъ его труду, то онъ ненавидитъ. Когда женщина является мыслящимъ существомъ, способнымъ помогать его работѣ и ободрять его своимъ сочувствіемъ, тогда онъ любитъ и уважаетъ женщину. Когда женщина является капризнымъ ребенкомъ, требующимъ себѣ не участія въ полезной работѣ, а пестрыхъ игрушекъ, тогда онъ отворачивается отъ нея, чтобы она не мѣшала ему трудиться и не надѣдала ему бессмысленной болтовней. Такой бракъ, который увеличиваетъ силу и энергію работника, называется на языкѣ реалиста полезнымъ, благоразумнымъ и счастливымъ. Такой бракъ, который уменьшаетъ или извращаетъ рабочую силу, называется вреднымъ, безразсуднымъ и несчастнымъ. Для прочной связи между мужчиной и женщиной необходимо, по мнѣнію реалиста, общій трудъ. Мужчина долженъ трудиться, и женщина также должна трудиться. Если они трудятся въ одинаковомъ направленіи, если они оба любятъ свою работу, если оба способны понять ея цѣль, то они начинаютъ чувствовать другъ къ другу симпатію и уваженіе, и наконецъ мужчина и женщина объявляютъ свое рѣшеніе передъ обществомъ и призываютъ на свой союзъ благословеніе любви.

Все это, по мнѣнію реалиста, очень естественно и благоразумно. Если бракъ заключенъ при такихъ условіяхъ, то, по мнѣнію реалиста, счастье обоихъ супруговъ съ каждымъ годомъ должно увеличиваться, и вмѣстѣ съ ихъ счастьемъ должна постоянно увеличиваться ихъ взаимная привязанность. Реалистъ улыбнется самой презрительной улыбкой, если вы попытаете сказать ему, что за обладаніемъ должно слѣдовать охлажденіе.

— Да, отвѣтитъ онъ вамъ на это, такъ всегда бываетъ съ тѣми людьми, которые, отъ нечего дѣлать, раздражаютъ свою чувственность и горчатъ свое воображеніе въ то время, когда начинаютъ сближаться съ красивой женщиной и обладаніе представляется ихъ праздному уму высшей цѣлью жизни. Когда эта цѣль достигнута, является разочарованіе, является чувство внутренней пустоты; а чтобы наполнить эту пустоту, они ставятъ себѣ новую цѣль въ такомъ-же родѣ, то-есть они направляютъ всѣ усилія къ тому, чтобы соблазнить другую женщину. И потомъ опять пустота, и опять стремленіе къ новымъ побѣдамъ. Все это въ порядкѣ вещей, но у меня,

продолжаетъ реальность, такіе переходы отъ безумной любви къ безумному разочарованію совершенно невозможны. Цѣль моя въ жизни была всегда одна и та-же, и эта цѣль поставлена такъ далеко и такъ высоко, что сотни поколѣній будутъ къ ней стремиться, и сотни поколѣній умрутъ прежде, чѣмъ она будетъ достигнута, не смотря на то, что каждое новое поколѣніе будетъ стоять къ ней ближе всѣхъ предыдущихъ. Съ этой настоящей цѣлью моей жизни обладаніе любимой женщиной никогда не имѣло ничего общаго. Я всегда видѣлъ въ счастливой любви очень большое наслажденіе, помогающее намъ переносить трудности и непріятности утомительной работы и упорной борьбы съ человѣческими глупостями. Я всегда смотрѣлъ на любовь не какъ на самостоятельную цѣль, а какъ на превосходное и незамѣнимое вспомогательное средство. Поэтому я никогда не составлялъ себѣ преувеличеннаго понятія о наслажденіяхъ любви, и слѣдовательно я былъ совершенно застрахованъ противъ всякихъ разочарованій и охлажденій. Мнѣ нравится наружность моей жены, но я-бы никогда не рѣшился сдѣлаться ея мужемъ, если-бы я не былъ вполне убѣжденъ въ томъ, что она во всѣхъ отношеніяхъ способна быть для меня самымъ лучшимъ другомъ. Я зналъ всю ея жизнь и всѣ ея наклонности, прежде чѣмъ я рѣшился сдѣлать ей предложеніе. Она знала всю мою жизнь и всѣ мои наклонности, прежде чѣмъ она рѣшилась принять мое предложеніе. Съ тѣхъ поръ, какъ мы сошлись, мы ведемъ трудъ нашъ общими силами. Она понимаетъ, чего я хочу, и я тоже понимаю, чего она хочетъ, потому что мы оба хотимъ одного и того-же, хотимъ того, чего хотятъ и будутъ хотѣть всѣ честные люди на свѣтѣ. Она знаетъ, какимъ образомъ моя работа связывается съ общей цѣлью; она знаетъ, зачѣмъ я читаю ту или другую книгу, зачѣмъ я пишу ту или другую статью, зачѣмъ я принимаю одно занятіе и отказываюсь отъ другого; и она тоже читаетъ, пишетъ, занимается тѣми или другими работами; и я также знаю, какъ нельзя лучше, почему она поступаетъ такъ, а не иначе. Мы часто читаемъ вмѣстѣ, часто читаемъ врознь, часто споримъ объ отдѣльныхъ подробностяхъ и часто измѣняемъ эти подробности, когда споръ кончается торжествомъ противоположныхъ аргументовъ. Всѣ силы ея ума и ея начитанности постоянно находятся въ моемъ распоряженіи, когда я нуждаюсь въ ея содѣйствіи; всѣ силы моего ума и моей начитанности постоянно подоспѣваютъ къ ней на помощь, когда она чѣмъ-нибудь затрудняется. Этотъ ежеминутный обмѣнъ услугъ превращаетъ самую сухую работу въ живое наслажденіе и оставляетъ за собой неизгладимый рядъ самыхъ обаятельныхъ воспоминаній. Чѣмъ больше такихъ воспоминаній, чѣмъ больше взаимныхъ услугъ, чѣмъ больше работъ, улаженныхъ общими силами,

тѣмъ тѣснѣе наша дружба, тѣмъ полнѣе наше взаимное довѣріе, тѣмъ непоколебимѣе наше взаимное уваженіе. А тутъ еще присоединяется ощущеніе любви, въ тѣсномъ смыслѣ этого слова, тутъ еще дѣти, какъ новая живая связь между мною и ею; а тутъ еще ея неизбѣжныя страданія, которыя дѣлаютъ женщину священной въ глазахъ каждаго мыслящаго человѣка. Я этихъ страданій не могу раздѣлить съ ней, поневолѣ-же я долженъ вознаградить ее за нихъ удвоенной нѣжностью и безграничнымъ уваженіемъ; а тутъ еще воспитаніе дѣтей, какъ новый видъ общей работы, которую мы оба съумѣемъ вести сообразно съ далекой и высокой цѣлью всего нашего существованія. Одна и та-же личность является таинственнымъ образомъ для меня товарищемъ по работѣ, другомъ, женой, страдалицей, матерью и воспитательницей моихъ дѣтей,—и вдругъ выдумываютъ, что я не способенъ любить эту личность. И вдругъ произносятъ тутъ слова: охлажденіе, разочарованіе, супружеская ревность или супружеская невѣрность. Чортъ знаетъ, что за чепуха! Охлаждѣть къ другу потому, что онъ десять лѣтъ былъ другомъ. Разочароваться въ этомъ другѣ потому, что мы вмѣстѣ съ нимъ постарѣли въ десять лѣтъ. Подозрѣвать этого друга въ томъ, что онъ будетъ со мной лицемерить. Искать себѣ новой привязанности, когда старый другъ живетъ со мной въ одномъ домѣ. Скажите пожалуйста, есть-ли человѣческій смыслъ въ подобныхъ предположеніяхъ? А вѣдь для эстетиковъ и романтиковъ эти самыя предположенія оказываются непреложными истинами. Почему? Очень просто. Потому что жена никогда не бываетъ для нихъ другомъ. И мужчины, и женщины, одержимые эстетическими стремленіями, постоянно, втеченіи всей своей жизни, играютъ въ игрушки. У нихъ и мужъ—игрушка, и жена—игрушка. Пока игрушка блеститъ, пока она имѣетъ прелесть новизны, до тѣхъ поръ ею потѣшаются. А чуть только блескъ и новизна пропали, является горькое сожалѣніе о томъ, что игрушку нельзя бросить въ помойную яму.

Соотечественники! Кто-то сложилъ поговорку: «жена не башмакъ, съ ноги не сбросишь»? Кажется мнѣ, что эта поговорка была въ полномъ ходу въ то время, когда еще прадѣды современныхъ реалистовъ не рождались на бѣлый свѣтъ. И кто, или что мѣшаетъ вамъ сбросить жену, какъ башмакъ, не заботясь о томъ, куда она упадетъ? Неужели вамъ мѣшаетъ ваша собственная добросовѣстность? Нѣтъ, друзья мои, вамъ мѣшаетъ только законъ, а то-бы тысячи утонченныхъ эстетиковъ, повторяющихъ наивную поговорку съ тяжелымъ вздохомъ, пусти-ли-бы на всѣ четыре стороны своихъ женъ вмѣстѣ съ малолѣтними дѣтьми, и безъ копѣйки денегъ. И эти-же самыя рѣзвые ребятишки, обожающіе всякія новыя игрушки, смѣютъ распускать безсмысленные слухи о развратныхъ стремленіяхъ

людей, которые всю свою жизнь провели в рабочих кабинетах, за книгами или за письменным столом! Только наша русская новостная и способна переваривать такія вещи и нежеланности.

XXI.

Во всех двадцати главах, которые я до сих пор написал о наших реалистах, я старался доказать, что наше общество не поняло и не понимает этих людей с чужого голоса. Я старался приводить доказательства мои как можно убедительными, являясь за представителя реализма Базарова, — того самого Базарова, о котором одна часть нашей критики считала карикатурой, а другая — правдивым, но строгим обличением, направленным против тёмного молодого поколения. Вы находите, господа, что это — карикатура или обличение, или что это действительно так. Карикатура или обличение, как вам угодно. Вовсе не думая, вы согласитесь, что этот образ — без малейшего желанія польстить нашим реалистам. Этот образ написан человеком правдивым, но уже совсем неспособным к юношеским стремлениям к новым, к новым людям. Хорошо. Я беру этот образ, именно то, что вы считаете карикатурой или обличением. Я анализирую каждую черту этого образа, я принимаю слово Тургенева за наличную монету, я принимаю таким образом сильнейшего и самого врага современного реализма, — такого, который «все-таки неспособен лгать», и я показываю, что этот образ врага я не могу извлечь из одной черты, которая действительно могла бы реалистов в людях глупых, глупых, безнравственных и вредных для общества и для благосостояния отдельных личностей.

Сказать, что реалисты непочтительны к родителям — неправда! Они только разны с ними роковым влиянием общечеловеческих причин. Реалисты возмущаются против родителей — неправда! Они стараются сблизить старшее поколение с младшим.

Реалисты не уважают женщин — неправда! Они уважают их гораздо сильнее, чем их уважали поэты и эстетика. Реалисты не одобряют брак — и это неправда! Они хотят, чтобы благосостояние отдельных семей было в строгом согласии с великими интересами общества.

Итак же вы, милые русские журналисты, все ваши обвинения против реалистов? Тургенева? Нет, врите, там нет обвинений. Там даются голые факты, которые надо только понять. А если вы извратили факты согласно с вашими закулисными интересами, то вы напрасно прикрываетесь именем

честного, хотя и отсталого, русского писателя. Имя Тургенева надбало быть-может много путаницы, но Тургенев не виноват в том, что его именем пользуются Хлестаковы и Держиморды нашей журналистики. И все идеи Базарова остаются верными и честными идеями, несмотря на тот толстый слой грязи, которым заваляли их. Конечно Тургенев мог бы быть менее пассивным в то время, когда его имя марали Катковы и Скарятинны, но ведь известное дело, старость — не радость, и шум журнальной полемики ему уже не по лбтам. Отношения реалистов к живым людям таким образом очерчены, хотя и не вполне выяснены. Теперь мне остается поговорить об отношениях их к искусству и к науке.

XXII.

Лет двадцать тому назад известный мыслитель и фантазер, Пьер Леру, написал одну очень странную книгу «О человечестве» («De l'humanité»). В этой странной книге имеется достаточное количество самой вопиющей галиматии; до того человек заворачивается, что горячо и серьезно доказывает и объясняет, каким манером человеческие души переселяются из одного тела в другое. По его метафизическим выкладкам выходит, что у нас нет предков и что у нас не будет потомков, а что мы, со времени Адама, всегда жили и всегда будем жить постоянно обновляющейся жизнью в том громадном организме, который называется на языке Леру «человек — человечество» («l'homme-humanité»). Читаете вы эту книгу и только плечами пожимаете. «Ах, как врать!» — думаете вы. — Боже мой, как неистово врать!» А между тем — странное дело! — вы все-таки дочитываете сумасбродную книгу до конца; и потом, дочитавши ее, вы сохраняете об ней автору очень светлое воспоминание; вы невольно относитесь к Пьеру Леру с любовью и даже с уважением. У Пьера Леру были последователи и горячие поклонники. Жорж Занд подчинилась чарующему влиянию его фантазий и написала два превосходных романа: «Consuelo» и «la Comtesse de Rudolstadt» под господством обаятельно-мистической идеи о переселении человеческих душ.

И все это очень понятно. Пьер Леру принадлежит к числу тех страстно-честных людей, которые много возлюбили и которым за это многое прощается, даже вся неисчерпаемая бессмыслица их безпредельного вранья. Тем же это вранье и обаятельно, что все в нем совершенно искренно; нет в нем ни малейшей декламации. Леру страстно влюблен в человечество, страстно верить в его безконечное совершенствование, страстно стремится к далекому будущему, и все эти страстности оказываются через — чуть достаточно, чтобы совер-

шенно заглушить въ его умѣ голосъ простого здраваго смысла, который потихоньку напентываетъ ему очень печальныя истины. — Ты, братъ Леру, — говоритъ ему здравый смыслъ, — не очень восхищайся. Ты все-таки умрешь лѣтъ черезъ тридцать или черезъ сорокъ, и обо всякихъ грядущихъ великолѣпныхъ человѣческаго прогресса ты не получишь никогда ни малѣйшаго понятія. — Вздорь! — отвѣчаетъ Леру въ порывѣ прогрессивнаго восторга. — Я люблю человечество, я живу съ нимъ одной жизнью и буду вѣчно жить, любить и мыслить на той самой землѣ, на которой совершается безпредѣльное историческое развитіе громаднаго организма *homme-humanité*.

Любовь къ людямъ и къ жизни доходить очевидно до галлюцинаціи; мы ясно видимъ всѣ признаки бреда, но мы понимаемъ также причины этого явленія и никогда не рѣшимся оскорбить насмѣшкой или презрѣніемъ такую личность, у которой любовь къ человечеству развилась до пожирающей страсти, до фанатизма и наконецъ до сумасшествія. Эта любовь, доводящая всѣ умственные силы Леру до неестественнаго и слѣдовательно болѣзненнаго напряженія, все-таки облагораживаетъ, очищаетъ его личность и возводитъ ее на такую высоту, съ которой онъ окидываетъ широкимъ и проникающимъ взглядомъ всю исторію человѣческой мысли. Онъ понимаетъ и эпикуреизмъ, и стоицизмъ, и Платона, и Аристотеля, и мистиковъ, и рационалистовъ, и скептиковъ, и аскетовъ. Отдавая всѣмъ имъ должную справедливость, отмѣчая яркими и вѣрными чертами ихъ историческое значеніе, онъ понимаетъ и глубоко чувствуетъ, что человечество вырастаетъ изъ своихъ цѣленокъ и что въ его сильномъ коллективномъ умѣ медленно созрѣваетъ что-то новое и громадное, что-то такое, въ чемъ совмѣстятся всѣ истины отжившихъ и отживающихъ философскихъ системъ. Когда Леру слѣзаетъ съ своего любимаго конька, то-есть, когда онъ перестаетъ городить чепуху о переселеніи душъ, тогда у него почти на каждой страницѣ сыпятся, какъ крупныя искры, свѣтлыя и превосходныя мысли, выраженные тѣмъ яркимъ и могучимъ языкомъ, которымъ владѣютъ Гюго, Кинэ, Мишле, Прудонъ, Жоржъ Зандъ. Одна изъ подобныхъ мыслей особенно сильно приналась мнѣ по душѣ, такъ что я рѣшился положить ее въ основаніе моихъ реалистическихъ размышлений о наукѣ и искусствѣ. Чтобы эта мысль сдѣлалась вполне понятной моимъ читателямъ и чтобы она освѣтилась для нихъ со всѣхъ сторонъ, я счелъ нелишнимъ сказать нѣсколько словъ о томъ источникѣ, изъ котораго она заимствована. «*A un point de vue élevé, — говоритъ Леру, — les poètes sont ceux qui, d'époque en époque, signalent les maux de l'humanité, de même que les philosophes sont*

ceux, qui s'occupent de sa guérison et de son salut» *).

Мнѣ кажется тому человѣку, который такъ высоко и такъ просто понимаетъ и опредѣляетъ призваніе истиннаго поэта и истиннаго мыслителя, тому человѣку, говорю я, можно простить даже печальную наклонность къ переселенію человѣческихъ душъ.

XXIII.

Люди издавна стремились создать вокругъ себя искусственную атмосферу тепла, аромата и роскоши. Они удовлетворяли всѣмъ естественнымъ потребностямъ своего организма, но этого было мало; они придумывали себѣ новыя потребности, создавали себѣ новыя, чисто искусственныя страсти, нѣжили, лелѣяли, воспитывали и доводили ихъ до высокой степени чуткости, впечатлительности и утонченности. Человѣкъ развивалъ въ своей личности чувства и страсти для того, чтобы извлекать себѣ изъ жизни какъ можно больше разнообразнаго и безмятежнаго наслажденія. Но расчетъ оказался не совсемъ вѣренъ. Тѣ самыя страсти и чувства, которые должны были служить приправой утонченнаго обѣда или очаровательнаго любовнаго свиданія, сдѣлались, напротивъ того, злѣйшими врагами этой тепличной жизни. Постоянно ѣсть, постоянно пить, постоянно любезничать, проводить жизнь между столомъ и постелью — это показалось невыносимымъ наказаніемъ именно для тѣхъ тонко развитыхъ и страстныхъ эпикурейцевъ, которые лучше всѣхъ другихъ людей умѣли разнообразить свои наслажденія. Никакіе соусы изъ соловьиныхъ язычковъ, никакія неестественныя проявленія сластолюбія не могли заглушить въ нихъ неукротимаго стремленія дѣйствовать, мыслить, пожалуй даже страдать, но только, во что-бы то ни стало, вырваться изъ одуряющаго воздуха теплицы въ суровую, холодную, но естественную среду дѣйствительной жизни. Дѣйствовать? — Какимъ образомъ? — Мыслить? — О чемъ и за чѣмъ? — Страдать и бороться? — Съ чѣмъ и за что? — Какимъ образомъ дѣйствовать? Ну конечно, прежде всего воевать. Эта отрасль дѣятельности первая бросается въ глаза страстному эпикурейцу, воспитанному въ тепличной атмосферѣ и утомленному безконечными оргіями. Такъ и рѣшается вопросъ въ дѣйствительности. Аквиладъ бросается съ войскомъ въ Сицилію, Цезарь — въ Галлію, Александръ — въ Персію. А потомъ? Потомъ и война надобѣдаетъ. Сильный умъ ищетъ себѣ новой пищи. Начинаются серьезные размышленія о сдѣланныхъ завоеваніяхъ.

* Съ высшей точки зрѣнія, поэтами можно назвать тѣхъ людей, которые, изъ эпохи въ эпоху, раскрываютъ передъ нами страданія человечества, а мыслителями — тѣхъ людей, которые отыскиваютъ средства облегчить и исцѣлить эти болѣзни».

ной завоеватель становится рачительнымъ домохозяиномъ.

Всѣ, далеко не всѣ блестящіе дѣятели всеобщей исторіи прошли черезъ указанныя мною ступени развитія. Очень многіе споткнулись и повалились въ началѣ или на половинѣ пути, но, не смотря на то, можно сказать навѣрное, что каждый дѣйствительно замѣчательный умъ утомляется рано или поздно тѣми наслажденіями, которыя достаются ему на долю безъ труда и борьбы; утомившись и пресытившись, онъ часто начинаетъ искать выхода своимъ силамъ и наконецъ или погибаетъ во время безцѣльных поисковъ, или успокаивается на такой лѣннѣ, которая самымъ тѣснымъ образомъ связана съ интересами страждущаго большинства. А между тѣмъ въдѣ и у частныхъ людей живутъ и сильныя страсти, и тонкія чувствительныя умы. Имъ-то чѣмъ-же забавляться? Какимъ образомъ они-то могутъ вырваться изъ теплицы?

И изъ этихъ страстныхъ и даровитыхъ туземцевъ начинаютъ искать вокругъ себя сильныя ощущенія; другіе задумываются надъ разнородными явленіями изъ жизни природы, ставятъ на каждомъ шагѣ мудреные вопросы и ломаютъ себѣ голову надъ сотнями и тысячами ихъ загадокъ. Первые дѣлаются поэтами, художниками; вторые—учеными или мыслителями. Но гдѣ-же поэтъ или художникъ, чуждый дѣйствительно воспримчивый, умный и чуждый до гениальности, гдѣ-же, спрашиваю, онъ найдетъ себѣ тѣ сильныя ощущенія, которыя удовлетворяютъ вполнѣ его ищущую, жаждущую и томимую природу? — Какимъ образомъ онъ ухитрится во время своихъ поисковъ отрывать тотъ громадный міръ неподдѣльнаго человеческого страданія, который со всѣхъ сторонъ давитъ насъ сплошной, темной стѣной? —

Вѣдь есть возможность не замѣтить того, что въ каждомъ шагу рѣжетъ глазъ самому невнимательному наблюдателю. Можно конечно приглядѣться къ этимъ будничнымъ картинкамъ, можно попытаться въ себѣ умъ и чувство, можно довести себя совершенно незамѣтнымъ образомъ до невозмутимаго равнодушія къ чужому горю и холоду. Съ этимъ я согласенъ, и мы встрѣчаемъ въ жизни ежеминутно съ великолѣпнѣйшими экземплярами такой философской невозмутимости. Но вы не забывайте, что въдѣ мы ведемъ рѣчь о поэтѣ, о художникѣ, о человѣкѣ, въ высшей степени впечатлительномъ, страстномъ и отзывчивомъ. Какой-же истинный поэтъ можетъ довести себя до чурбаннаго равнодушія? Человѣческія страданія не производятъ на впечатлительнаго, то гдѣ-же его впечатлительность? Если онъ, отворачиваясь съ самодовольствомъ отъ картинъ грязной нищеты, отъ омерзительнаго порока, отзывается пѣвучими нотами о трепетаніи влюбленнаго соловья и на

благоуханіе расцвѣтающей розы, и на каждый грошовой вздохъ смазливой барышни, то въдѣ эта отзывчивость такъ-же приторна и отвратительна, какъ нѣжная привязанность старой дѣвки къ кошкамъ, поугаямъ и москвкамъ. Въ такомъ человѣкѣ нѣтъ ни ума, ни впечатлительности, ни страсти, ни отзывчивости. Чтѣ это за художникъ? Это просто мышинный жеребчикъ, одержимый самымъ мельчайшимъ тщеславіемъ, самымъ копейчнымъ желаніемъ порисоваться передъ почтеннѣйшей публикой и заработать себѣ отъ разныхъ глупыхъ тунеядцевъ нѣсколько лестныхъ комплиментовъ и нѣсколько еще болѣе лестныхъ рублей.

Мнѣ возразить быть-можетъ, что художникъ можетъ увлечься поклоненіемъ чистой красотѣ и что въ такомъ случаѣ онъ посвятитъ всѣ свои силы на воплощеніе своего идеала въ художественномъ созданіи, въ статуѣ, въ картинѣ, въ романѣ или въ какой-нибудь другой формѣ творчества. Скульптура дѣлкомъ основана на этомъ поклоненіи физической красотѣ. Знаю. Но это возраженіе устраняется само собой. Я предположилъ выше, что самымъ умнымъ и даровитымъ людямъ становится непремѣнно душно въ искусственной атмосферѣ эпикурейской теплицы. Мнѣ кажется, что предположеніе вѣрно въ психологическомъ отношеніи и можетъ быть доказано сотнями примѣровъ изъ всѣхъ эпохъ всемирной исторіи. Кому сдѣлалось душно въ теплицѣ, тотъ, разумѣется, выходитъ на открытой воздухъ, то есть такъ или иначе вмѣшивается въ жизнь большинства. Кому пріѣлисы разныя сладости, вино и поцѣлуи, тотъ ищетъ себѣ труда и борьбы, тотъ лечится отъ пресыщенія суровыми столкновеніями съ неподкрашенной дѣйствительностью. Гейне превосходно выразилъ это настроеніе въ своей пѣснѣ о Тангейзерѣ. Венера угощаетъ Тангейзера сладкимъ виномъ, хочетъ надѣть ему на голову вѣнокъ изъ свѣжихъ розъ, наконецъ зоветъ его къ себѣ въ спальню; но Тангейзеръ даже смотрѣть на нее не хочетъ; его уже просто тошнитъ отъ всѣхъ этихъ миндаляностей; ему хочется труда, горечи, терноваго вѣнка; онъ говоритъ ласковой любовницѣ своей крупными жестами и уходитъ отъ нея чортъ знаетъ куда и чортъ знаетъ зачѣмъ. Понятно, что человѣкъ, находящійся въ настроеніи свирѣпаго Тангейзера, рѣшительно неспособенъ заниматься поклоненіемъ чистой или идеальной красотѣ. Не за тѣмъ-же въ самомъ дѣлѣ онъ такъ сурово отвернулся отъ живой красавицы, чтобы писать къ ней пламенные сонеты или падать на колѣни передъ ея изображеніемъ, вырѣзаннымъ изъ бѣлаго мрамора или написаннымъ масляными красками на холстѣ. Пигмалионъ молилъ боговъ, чтобы они превратили его мраморную Галатею въ живую женщину, и это понятно; но промѣнять живую, любящую женщину на кусокъ полотна или мрамора—это такая нелѣпость, на которую

не покушался до сих пор ни один из самых необузданных идеалистов. Очень многие пламенные любовники пробавляются чистым платонизмом, но они всегда дѣлаютъ это только вслѣдствіе печальной необходимости; когда же они имѣютъ возможность дѣлать выборъ, тогда они съ нарочитымъ удовольствіемъ промѣниваютъ свои отвлеченные восторги на болѣе чувственные и менѣе невинныя наслажденія.

Что же изъ всего этого слѣдуетъ? Да очевидно то, что поклонники чистой красоты никогда не испытывали мученій Тангейзера; напротивъ того, они чрезвычайно довольны тепличной жизнью и, въ наивности души, принимаютъ свой крошечный теплый уголокъ за великій, богатый и разнообразный міръ, въ которомъ всѣ высшія человѣческія потребности находятъ и должны находить себѣ полное и всестороннее удовлетвореніе. Эти пигмеи, занимающіеся скульптурой, живописью, эротическимъ стиходѣланіемъ или томными руладами, эти пигмеи, говорю я, или не знаютъ великихъ вопросовъ широкой, дѣйствительной, міровой жизни, или же не хотятъ ихъ знать, прикидываются глухими и слѣпыми, чтобы оправдывать въ своемъ собственномъ мнѣніи свою канареечную жизнь и дѣятельность. Въ первомъ случаѣ—если не знаютъ—мы имѣемъ несомнѣнное право заподозрить ихъ въ тугоуміи или въ полной неразвитости. Во второмъ случаѣ—если напускаютъ на себя поддѣльную глухоту и слѣпоту—мы имѣемъ право назвать ихъ безчестными и трусливыми людьми, которые стараются обмануть даже собственную совѣсть.—Въ томъ и въ другомъ случаѣ было-бы странно и неаппетитно требовать отъ насъ, чтобы мы признали въ этихъ мелкихъ сибаритахъ передовыхъ представителей чело-вѣчества; дѣятельность такихъ людей не даетъ намъ ровно ничего, и слѣдовательно, встрѣчаясь съ ихъ произведеніями, намъ остается только посягать на довѣрчивость того общества, которое видитъ въ нихъ лучшее свое украшеніе.

XXIV.

Послѣдовательный реализмъ безусловно презираетъ все, что не приноситъ существенной пользы; но слово «польза» мы принимаемъ со-всѣмъ не въ томъ узкомъ смыслѣ, въ какомъ его навязываютъ намъ наши литературные антагонисты. Мы вовсе не говоримъ поэту: «шей сапоги», или историку: «пеки кулебяки», но мы требуемъ непременно, чтобы поэтъ, какъ поэтъ, и историкъ, какъ историкъ, приносили, каждый въ своей специальности, *дѣйствительную* пользу. Мы хотимъ, чтобы созданія поэта ясно и ярко рисовали передъ нами тѣ стороны чело-вѣческой жизни, которыя намъ необходимо знать для того, чтобы основательно размышлять и дѣй-ствовать. Мы хотимъ, чтобы изслѣдованіе исто-рика раскрывало намъ настоящія причины про-

нѣтанія и упадка отжившихъ цивилизацій. Мы читаемъ книги единственно для того, чтобы по-средствомъ чтенія расширить предѣлы нашего личнаго опыта. Если книга въ этомъ отношеніи не даетъ намъ ровно ничего, ни одного новаго факта, ни одного оригинальнаго взгляда, ни одной самостоятельной идеи, если она ничѣмъ не шевелитъ и не оживляетъ нашей мысли, то мы называемъ такую книгу пустой и дрянной кни-гой, не обращая вниманія на то, писана-ли она прозой или стихами; и автору такой книги мы всегда, съ искреннимъ доброжелательствомъ, го-товы посоветовать, чтобы онъ принялся шить сапоги или печь кулебяки.

Постараемся-же теперь обсудить вопросъ: на-кимъ образомъ поэтъ, не переставая быть поэ-томъ, можетъ принести обществу и чело-вѣчеству дѣйствительную и несомнѣнную пользу? Само собою разумѣется, что названіе «поэтъ» прила-гается здѣсь не къ однимъ стихотворцамъ, а ко-обще ко всѣмъ художникамъ, создающимъ обра-зы посредствомъ слова. Прежде всего скажу откровенно, я рѣшительно не признаю такъ на-зываемаго безсознательнаго и безцѣльнаго твор-чества. Я подозреваю, что это—просто мнѣ, созданный эстетической критикой для пущей таинственности. Въ древности, когда поэтъ былъ пѣвцомъ и импровизаторомъ, тогда пожалуй еще можно было допустить, что его осыняло вдох-новеніе и что онъ самъ не отдавалъ себѣ яснаго отчета въ томъ, какъ и зачѣмъ слагалась его пѣсня. Но теперь, когда поэтъ носитъ не лав-миду и лавровый вѣнокъ, а сюртукъ и круглую шляпу, теперь, когда онъ не поетъ, а пишетъ и печатаетъ, теперь, говорю я, уже поздно ви-дѣть въ поэтѣ близкаго родственника изстѣ-ленной дельфійской пнѣи. Поэтъ прежде всего такой-же членъ гражданскаго общества, какъ и каждый изъ насъ. Встрѣчаясь съ поэтомъ въ го-стиной, мы имѣемъ полное право требовать отъ него, чтобы онъ не клалъ ноги на столъ и не плевалъ въ потолокъ; вступая съ поэтомъ въ разговоръ, мы имѣемъ полное право требо-вать, чтобы онъ разсуждалъ дѣльно и логично; если онъ не исполнитъ этого требованія, мы за-мѣтимъ про себя, что онъ несетъ чепуху, быть-можетъ и вдохновенную, но все-таки невыво-симую. Чтобы пользоваться любовью и уваже-ніемъ своихъ знакомыхъ, поэтъ непременно дол-женъ обладать тѣми-же самыми качествами, ко-торыя упрочиваютъ любовь и уваженіе окружа-ющихъ людей за каждымъ изъ простыхъ смерт-ныхъ. Для этого необходима известная доза ума, добродушія, честности и т. д. Такса, по которой покупаются въ обществѣ любовь и уваженіе, повышается и понижается вмѣстѣ съ общимъ уровнемъ умственнаго и нравственнаго развитія. Кто въ Англіи считается дуракомъ, тотъ въ Тур-ціи могъ-бы прослыть за очень порядочнаго че-ловѣка. Когда общество доходитъ до известной

высоты развитія, тогда оно начинает требовать от своих членовъ, чтобы у нихъ были опредѣленные и сознательныя убѣжденія и чтобы они держались за свои убѣжденія. Кромѣ обыкновенной честности является тогда еще высшая честность, честность политическая. Воспитавши въ самомъ себѣ великое чувство политической честности, общество начинаетъ вмѣнять его въ обязанность каждому изъ своихъ членовъ, и тѣмъ болѣе такимъ людямъ, которые, опираясь на свои умственные дарованія, присвоиваютъ себѣ право дѣйствовать словомъ или перомъ на развитіе общественныхъ убѣждений. Но эта спасительная зрѣлость и строгость требованій даются обществу не вдругъ. Нравственная чуткость вырабатывается туго и медленно. Байронъ прямо называетъ Роберта Соути ренегатомъ, а Робертъ Соути въ свое время считался знаменитымъ поэтомъ, и англичане даже до сихъ поръ читаютъ и издаютъ его произведенія. Но настоящіе поэты не могутъ быть продажными мазуриками; самъ Байронъ, заклеившій Роберта Соути, ни разу не покривилъ душой, именно потому, что его умъ и талантъ стояли неизмѣримо выше всякихъ искушеній. Такіе умы и таланты творятъ чудеса, но творческая сила тотчасъ измѣняется имъ, какъ только они осмѣливаются пустить ее въ продажу.

Но одной голой честности и великаго самороднаго таланта еще недостаточно, чтобы быть мировымъ поэтомъ. Самородки, подобные Бѣрису или Кольцову, остаются навсегда блестящими, но бесплодными явленіями. Истинный, «полезный» поэтъ долженъ знать и понимать все, что въ данную минуту интересуетъ самыхъ лучшихъ, самыхъ умныхъ и самыхъ просвѣщенныхъ представителей его вѣка и его народа. Понимая вполне глубокий смыслъ каждой пульсаціи общественной жизни, поэтъ, какъ человекъ страстный и впечатлительный, непременно долженъ всѣми силами своего существа любить то, что кажется ему добрымъ, истиннымъ и прекраснымъ, и ненавидѣть святой и великой ненавистью ту огромную массу мелкихъ и дрянныхъ глупостей, которая мѣшаетъ идеямъ истины, добра и красоты облечься въ плоть и кровь и превратиться въ живую дѣйствительность. Эта любовь, неразрывно связанная съ этой ненавистью, составляетъ и непременно должна составлять для истиннаго поэта душу его души, единственный и священнѣйшій смыслъ всего его существованія и всей его дѣятельности. «Я пишу не чернилами, какъ кругіе, — говоритъ Бѣрне: я пишу кровью моего сердца и сокомъ моихъ нервовъ». Такъ, и только такъ долженъ писать каждый писатель. Кто пишетъ иначе, тому слѣдуетъ шить сапоги и печь кулебяки.

Поэтъ, самый страстный и впечатлительный изъ всѣхъ писателей, конечно не можетъ составлять исключеніе изъ этого правила. А чтобы

дѣйствительно писать кровью сердца и сокомъ нервовъ, необходимо безпредѣльно и глубоко-сознательно любить и ненавидѣть. А чтобы любить и ненавидѣть и чтобы эта любовь и эта ненависть были чисты отъ всякихъ примѣсей личной корысти и мелкаго тщеславія, необходимо много передумать и многое узнать. А когда все это сдѣлано, когда поэтъ охватилъ своимъ сильнымъ умомъ весь великій смыслъ человѣческой жизни, человѣческой борьбы и человѣческаго горя, когда онъ вдумался въ причины, когда онъ уловилъ крѣпкую связь между отдѣльными явленіями, когда онъ понялъ, что надо и что можно сдѣлать, въ какомъ направленіи и какими пружинами слѣдуетъ дѣйствовать на умы читающихъ людей, тогда бессознательное и безцѣльное творчество дѣлается для него безусловно невозможнымъ. Общая цѣль его жизни и дѣятельности не даетъ ему ни минуты покоя; эта цѣль манитъ и тянетъ его къ себѣ; онъ счастливъ, когда видитъ ее передъ собой ясной и какъ будто ближе; онъ приходитъ въ восхищеніе, когда видитъ, что другіе люди понимаютъ его пожирающую страсть и сами съ трепетомъ томительной надежды смотрятъ въ даль, на ту-же великую цѣль; онъ страдаетъ и злится, когда цѣль исчезаетъ въ туманѣ человѣческихъ глупостей и когда окружающіе его люди бродятъ ощупью, сбивая другъ друга съ прямого пути.

И вы, господа эстетики, хотите, чтобы такой человекъ, принимаясь за перо, превращался въ болтливаго младенца, который самъ не вѣдаетъ, что и зачѣмъ лепечуть его розовыя губы! Вы хотите, чтобы онъ безцѣльно тѣшилъ нестрыми картинками своей фантазіи именно въ тѣ великія и священные минуты, когда его могучій умъ, развертываясь въ процессъ творчества, льетъ въ умы простыхъ и темныхъ людей цѣлые потоки свѣта и теплоты! Никогда этого не бываетъ и быть не можетъ. Человекъ, прикоснувшійся рукою къ древу познанія добра и зла, никогда не сдѣлаетъ и, что всего важнѣе, никогда не захочетъ возвратиться въ растительное состояніе первобытной невинности. Кто понялъ и прочувствовалъ до самой глубины взволнованной души различіе между истинной и заблужденіемъ, тотъ, волей и неволей, въ каждое изъ своихъ созданій будетъ вкладывать идеи, чувства и стремленія вѣчной борьбы за правду.

Итакъ, по моему мнѣнію, истинный поэтъ, принимаясь за перо, отдаетъ себѣ строгій и ясный отчетъ въ томъ, къ какой общей цѣли будетъ направлено его новое созданіе, какое впечатлѣніе оно должно будетъ произвести на умы читателей, какую святую истину оно докажетъ имъ своими яркими картинками, какое вредное заблужденіе оно подроетъ подъ самый корень. Поэтъ — или великій боецъ мысли, безстрашный и безукоризненный «рыцарь духа», какъ говоритъ Генрихъ Гейне, или-же ничтожный паразитъ, потѣ-

шающий других ничтожных паразитов мелкими фокусами бесплодного фиглярства. Середины нет. Поэт—или титанъ, потрясающий горы въкового зла, или же козявка, копающаяся въ цвѣточной пыли. И это не фраза. Это—строгая психологическая истина. Дѣйствительно, каждый эстетикъ конечно согласится со мною, что искренность есть необходимѣйшее качество поэта. Драма, романъ, поэма, лирическое стихотвореніе, въ которыхъ хоть сколько-нибудь проглядываютъ натянутыя и обязательныя отношенія автора къ его предмету,—ни подъ какимъ видомъ не могутъ быть названы поэтическими произведеніями. Это—риторическія упражненія на заданныя темы, а риторъ и поэтъ, разумѣется, не имѣютъ между собой ничего общаго. Припомните напримѣръ оды Ломоносова, «Парашу-Сибирячку» Полевого, романъ Ключникова «Марево» и тому подобныя прелести.

Искренность необходима; но поэтъ можетъ быть искреннимъ или въ полномъ величій разумнаго міросозерцанія, или въ полной ограниченности мыслей, знаній, чувствъ и стремленій. Въ первомъ случаѣ онъ—Шекспиръ, Дантъ, Байронъ, Гёте, Гейне. Во второмъ случаѣ онъ—Фетъ.—Въ первомъ случаѣ онъ носитъ въ себѣ думы и печали всего современнаго міра. Во второмъ—онъ поетъ тоненькой фистулой о душистыхъ локонахъ и еще болѣе трогательнымъ голосомъ жалуется печатно на работника Семена. Вы не думайте, господа, что свистящая журналистка ухватила такъ крѣпко за работника Семена по ребяческому пристрастію къ бесплодному зубоскальству. Работникъ Семенъ—лицо замѣчательное. Онъ непремѣнно войдетъ въ исторію русской литературы, потому что ему назначено было Провидѣніемъ показать намъ обратную сторону медали въ самомъ яркомъ представителѣ томной лирики. Благодаря работнику Семену, мы увидѣли въ иѣжномъ поэтѣ, порхающемъ съ цвѣтка на цвѣтокъ, расчетливаго хозяина, солиднаго bourgeois и мелкаго человѣка. Тогда мы задумались надъ этимъ фактомъ и быстро убѣдились въ томъ, что тутъ нѣтъ ничего случайнаго. Такова должна быть непремѣнно изнанка каждаго поэта, воспевающаго «шопотъ, робкое дыханіе, трели соловья».

Кто способенъ вполне удовлетворяться микроскопическими пылинками мысли и чувства, кто умѣетъ составить себѣ громкую извѣстность собираніемъ этихъ пылинокъ, тотъ долженъ быть мелокъ насквозь, въ каждой отдѣльной чертѣ своей частной и общественной жизни. Заглядывая въ область частной жизни мы не имѣемъ никакого права и никакой возможности; но если самому поэту угодно было прогуляться передъ публикой въ домашнемъ халатѣ, то мы должны сказать за это большое спасибо, во-первыхъ, разыгравшемуся поэту, а во-вторыхъ—великому Семену, ухитрившемуся привести своего хозяина

въ такой пафосъ лирическаго негодованія. всматриваемся въ интересный халатъ и выводимъ плодотворное заключеніе, что подобные латы носить и должны носить всѣ поэты имѣющіе понятія о великихъ, истинныхъ ясныхъ сторонахъ общечеловѣческой жизни. были они дѣтьми, такъ и останутся навсегда дѣтьми, мелочными, капризными и сварливыми существами, утратившими только дѣтскую цю и лишившимися уже всякой надежды латься со временемъ сильными, здоровыми бродушными и мыслящими людьми. Отвернись отъ этихъ явленій плюгавой старости и притримъ въ другую сторону, на вѣчно-юныхъ тановъ умственного міра.

XXV.

Въ числѣ титановъ я назвалъ Гёте и Г. Легко можетъ случиться, что наши литературные противники ухватятся за эти два имени докажутъ мнѣ, какъ дважды-два четыре. Гёте в теченіи всей своей жизни былъ самымъ искреннимъ человѣкомъ и что Гейне часто является въ своихъ произведеніяхъ стѣйшимъ балагуромъ или безпечнѣйшимъ пономъ луны, дѣвы, любви и вздоховъ. — видите, скажутъ они мнѣ, значить, вамъ или вычеркнуть имена Гёте и Гейне изъ сѣмировыхъ поэтовъ, или же радикально изменить взглядъ на поэзію и вообще на искусство.

А вотъ посмотримъ на дѣло поближе. Что обладалъ въ высшей степени способностью. ваться и блюдолизничать, это конечно не жетъ подлежать сомнѣнію. Что онъ странныя стихотворныя миндальности и сало оперетки, это также составляетъ неопровержимую истину. Ну, а какъ вы думаете, стали мы теперь разсуждать съ вами о Гёте, его полное собраніе его сочиненій состояло цѣлѣмъ изъ сотни чистенькихъ оперетокъ и изъ нѣсколькихъ тысячъ миндально-лакейственныхъ мгаловъ? И какъ вы думаете, посвятилъ-ли такому Гёте гордый и безукоризненный Бай своего «Сарданапала»? Да еще какъ посвятилъ! Съ трепетомъ робости и благоговѣнія. Вотъ длинныя слова этого посвященія: «Знаменитѣйшій Гёте иностранецъ осмѣливается предложить литературнаго вассала своему сюзерену, не изъ существующихъ писателей, создавшему литературу своей родины и прославившему ратуру Европы. Недостойное произведеніе, которое авторъ дерзаетъ посвятить ему, и заглавіе: «Сарданапалъ».

Ясное дѣло, что въ глазахъ Байрона умное величіе Гёте съ избыткомъ заглаживаетъ выкупаешь тѣ низкія слабости его характера, которыя конечно были хорошо извѣстны Байрону, какъ современнику Гёте, и которымъ Байронъ, какъ человѣкъ въ высшей степени вѣсимый, разумѣется, не могъ сочувство-

Но когда Гёте спускался въ міръ живыхъ людей, въ міръ золоченаго нѣмецкаго мѣщанства, когда онъ превращалъ свой талантъ въ дойную корову и начиналъ гоняться за благосклонными взглядами и покровительственными улыбками, тогда онъ сразу дѣлался мельче всякой козявки, ниже, ниже и безсиленѣе самаго ничтожнаго изъ нашихъ современныхъ лириковъ, потому что эти помѣютъ отъ избытка своей ограниченности, а тотъ долженъ былъ насильно ѣжиться и прикидываться невинной канарейкой.

Примѣръ Гёте доказываетъ какъ нельзя очевидно, что всякая умственная дѣятельность велика и плодотворна только до тѣхъ поръ, пока она остается неразлучной съ искренностью и твердостью глубокаго убѣжденія. Гёте великъ именно въ той сферѣ, въ которой онъ дѣйствовалъ съ полнымъ и естественнымъ воодушевленіемъ, не стѣсняясь никакими житейскими расчетами, и этотъ Гёте, великій Гёте, совершенно подходитъ подъ мое опредѣленіе поэта и съ полной справедливостью можетъ быть названъ «полезнымъ» поэтомъ, хотя конечно не въ томъ смыслѣ, въ какомъ могутъ быть названы полезными поэтами: Барбье, Беранже, Леопарди, Джусти, Шелли, Томасъ Гудъ и другіе двигатели общественного сознанія. Эти люди были поэтами текущей минуты; они будили въ людяхъ ощущение и сознаніе настоятельныхъ потребностей современной гражданской жизни; они любили живыхъ людей и возились постоянно съ ихъ дѣйствительными глупостями и страданіями. А Гёте никого не любилъ, кромѣ самого себя и своихъ собственныхъ идей; онъ нисколько не заботился объ интересахъ человѣческихъ обществъ и, несмотря на то, онъ все-таки принесъ и еще долго будетъ приносить своими произведеніями много пользы тѣмъ самымъ человѣческимъ обществамъ, къ которымъ онъ былъ совершенно равнодушенъ. Только пустые и мелкіе люди могутъ оставаться безполезными, а великія умственные силы непременно приносятъ пользу даже своими ошибками. Гёте никогда не былъ и не будетъ любимымъ поэтомъ читающихъ массъ; вслѣдствіе этого онъ никогда не будетъ дѣйствовать прямо и непосредственно на умственную жизнь массы, потому что на эту жизнь дѣйствуетъ только тотъ, кто любитъ массу. Но эти наставники и руководители массъ, люди различные между собой по своимъ дарованіямъ, но тѣсно связанные другъ съ другомъ единствомъ святой любви и честныхъ стремленій, эти люди, питающіе другихъ своими идеями, часто нуждаются сами въ умственномъ подкрѣпленіи и обновленіи. Эти люди—мыслящіе и просвѣщенные работники, но совсѣмъ не міровые гении. Они, по своему уму и развитію, способны понимать Гёте, но у нихъ, разумѣется, не достало-бы силъ произвестъ то, что онъ произвелъ. Для нихъ-то его сочиненія составляютъ огромную гальваническую

батарею, которая постоянно снабжаетъ ихъ утомляющіеся мозги новыми электрическими силами. Они читаютъ Гёте и глубоко задумываются надъ его страницами, и умъ ихъ растетъ и крѣпнѣетъ въ этой живительной работѣ. А приобретенный такимъ образомъ запасъ свѣжей энергіи и новыхъ умственныхъ силъ отправляется все-таки внизъ по теченію, въ то живое море, которое называется массой и въ которое, тѣмъ или другимъ путемъ, рано или поздно, вливаются, подобно скромнымъ ручьямъ или бурнымъ потокамъ, или величественнымъ рѣкамъ, всѣ наши мысли, всѣ наши труды и стремленія. И холодный тайный совѣтникъ и кавалеръ фонъ-Гёте дѣйствуетъ такимъ образомъ, и сильно дѣйствуетъ на пользу бѣдныхъ и простыхъ ближнихъ посредствомъ тѣхъ идей и ощущеній, которыя онъ возбуждаетъ своими произведеніями въ тѣсномъ кругу своихъ избранныхъ и высокоразвитыхъ читателей.

Приведу одинъ очень любопытный и оригинальный примѣръ. Бёрне ненавидитъ Гёте отчасти за дѣло, по своему горячему демократическому чувству, отчасти несправедливо. Эту ненависть Бёрне высказываетъ не разъ въ своихъ «Парижскихъ письмахъ» и въ нѣкоторыхъ критическихъ статьяхъ. Высказываетъ онъ ее всегда съ необыкновеннымъ воодушевленіемъ, и изъ подъ его пера выливаются по этому поводу превосходнѣйшія страницы, сверкающія изумительнымъ остроуміемъ и пылающія самымъ чистымъ огнемъ любви къ людямъ и уваженія къ человѣческому достоинству. И эти страницы прочтешь съ увлеченіемъ, поймешь и запомнишь чуть не наизусть рѣшительно каждый человѣкъ, стоящій по своему развитію немного выше чичиковскаго Петрушки. Эти страницы, писанныя слишкомъ тридцать лѣтъ тому назадъ, до сихъ поръ такъ свѣжи и горячи, какъ будто онъ только сегодня вышли изъ подъ типографскаго станка. А кому-же мы обязаны этими страницами, какъ не тому самому Гёте, который на нихъ осыпается справедливыми насмѣшками и громовыми проклятіями критика? Чтобы возбудить въ такомъ умномъ человѣкѣ, какъ Бёрне, такую пылкую и упорную ненависть, чтобы взволновать всю его желчь, когда онъ только вспомнитъ ненавистное имя или взглянетъ на проклятыя строки, и наконецъ чтобы каждый разъ заставляя своего разъяреннаго антагониста облекаться во всеоружіе саркастическаго ума и страстной діалектики, для всего этого, говорю я, необходимо быть такимъ титаномъ умственнаго міра, какимъ и былъ на самомъ дѣлѣ тайный совѣтникъ и кавалеръ фонъ-Гёте. Да и самъ Бёрне всегда признаетъ его титаномъ и за то именно бѣсится на него, что этотъ титанъ съ такимъ удовольствіемъ зарывалъ свой талантъ въ землю. Съ этой стороны Бёрне, разумѣется, правъ: еслибы у Гёте кромѣ колоссальныхъ силъ было еще стремленіе при-

лагать эти силы, как слѣдуетъ, то безъ сомнѣнія онъ сдѣлалъ-бы въ своей жизни неизмѣримо больше прочнаго и существеннаго добра. Но дѣло теперь не въ томъ. Важно и любопытно для всего хода моей аргументаціи то обстоятельство, что Гёте электризуетъ своей дѣятельностью даже такого человѣка, который по своему чисто фанатическому складу ума рѣшительно неспособенъ отнестись съ любовью къ тому, что дѣйствительно превосходно въ произведеніяхъ «великаго язычника». Это и значить, что великое явленіе никогда не можетъ остаться безплоднымъ; оно освѣжаетъ и обновляетъ жизнь и тѣмъ, что въ немъ хорошо, и тѣмъ, что въ немъ дурно. Оно приноситъ людямъ пользу и той любовью, и той ненавистью, которую оно въ нихъ возбуждаетъ. Скверно только безсиліе, губительно только апатія; а столкновеніе и борьба враждебныхъ силъ въ области мысли всегда приводятъ за собой со временемъ плодотворное примиреніе въ высшей сферѣ болѣе широкаго синтеза. Поэтому давай намъ Богъ побольше великихъ умовъ, и пусть они куралесятъ въ области мысли, какъ души ихъ будетъ угодно. Мы, простые люди, вслѣдствіе этого во всякомъ случаѣ останемся въ чистыхъ барышахъ. По геометріи выходитъ конечно, что прямая линія есть кратчайшее разстояніе между двумя точками. Но многовѣковой опытъ дѣйствительной жизни доказываетъ неопровержимо, что люди въ исторической практикѣ не признаютъ этой математической истины и умѣютъ подвигаться впередъ не иначе, какъ зигзагами, то-есть кидаясь изъ одной крайности въ другую. *Ндраву* всего человѣчества препятствовать невозможно, и поэтому приходится махнуть рукой на неизбежные зигзаги и только радоваться тому, когда крайности начинаютъ быстро и порывисто смѣняться одна другой. Значить, пустьъ хорошъ и человѣческая мысль не порождаетъ плѣсенью.

XXVI.

А теперь потолкуемъ о Гейне. Миѣ кажется, этого писателя каждый истинный сынъ XIX вѣка долженъ любить совсѣмъ особенной, нѣжной, исключительной любовью. Миѣ кажется, все умственное развитіе человѣка можно сразу измѣрить и обсудить, смотря по тому, какъ и насколько онъ понимаетъ поэтическую дѣятельность Генриха Гейне. Этотъ писатель — самый новѣйшій изъ міровыхъ поэтовъ; онъ всѣхъ ближе къ намъ по времени и по всему складу своихъ чувствъ и понятій. Онъ цѣлкомъ принадлежитъ нашему вѣку; онъ воплотилъ въ себѣ даже всѣ его слабости и смѣшныя стороны; даже разстроенные и разбитые нервы Гейне указываютъ ясно на его кровное родство съ тѣмъ великимъ и просвѣщеннымъ вѣкомъ, въ которомъ средневѣковые костры и плахи смѣнились пенсильванскими общепольными учрежденіями для

производства умалишенныхъ и въ которомъ феодальныя права уступили мѣсто мануфактурному пауперизму. Гейне — поэтъ капризнаго, раздражительнаго, нетерпѣливаго и непослѣдовательнаго вѣка. Онъ самъ весь состоитъ изъ противорѣчій и самъ себя дразнитъ этими противорѣчійми, и даже не пробуетъ помирить ихъ между собой, и самъ то плачетъ, то смѣется надъ своими ощущеніями, то вдругъ выдается въ борьбу жизни и съ полной силой юношеской горячности и мужественнаго убѣжденія объясняетъ людямъ различіе между остатками прошедшаго и живыми проблесками будущаго. И этой послѣдней, живительной стороной своей дѣятельности Гейне также цѣлкомъ принадлежитъ къ нашему вѣку, который все-таки лучше всѣхъ прошедшихъ вѣковъ и въ которомъ все-таки, несмотря ни на какія глупости и подлости, химія и физіологія подымаютъ человѣческую умъ на безпримѣрную и для нашихъ предшественниковъ непостижимую высоту самостоятельнаго знанія.

Вотъ и соображайте, какого рода результатъ долженъ получиться, когда человѣку приходится жить при ежеминутномъ столкновеніи такихъ несовмѣстимыхъ крайностей. Разумѣется, должно получиться нѣчто вроде горячаго льда и сухой воды; и въ человѣческомъ характерѣ дѣйствительно встрѣчаются ежеминутно такія вопіющія внутреннія противорѣчія, которыя сильно смахиваютъ на сухую воду и горячій ледъ. Намъ эти противорѣчія, порожденные всѣмъ складомъ европейской жизни, должны быть особенно дороги и интересны; намъ необходимо внимательно изучать эту патологию нашего ума и характера, потому что только внимательное изученіе болѣзни даетъ намъ возможность отыскать лекарство. Вотъ тутъ-то именно никто не можетъ замѣнить обществу великаго поэта. Никакое научное изслѣдованіе не опредѣлитъ намъ душевную болѣзнь цѣлой эпохи съ такой ясностью, съ какой нарисуетъ ее великій художникъ. Тутъ вполне оправдывается глубокая мысль Пьера Леру о томъ, что поэты изъ вѣка въ вѣкъ возвѣщаютъ человѣчеству его страданія. Потомъ, когда поэтъ собралъ въ одинъ фокусъ, въ одну ярко освѣщенную картину всѣ разрозненные симптомы господствующей болѣзни вѣка, тогда начинается работа мыслителей, которые анализируютъ вопросъ во всѣхъ его отдаленныхъ подробностяхъ и выводятъ явленія настоящей минуты изъ отдаленныхъ и глубокихъ затаившихся историческихъ, бытовыхъ и экономическихъ причинъ. Лирика Гейне есть не что иное, какъ неподражаемо — полная и правдивая картина тѣхъ чувствъ и мыслей, тѣхъ тревогъ и огорченій, тѣхъ чередующихся припадковъ энергіи и апатіи, среди которыхъ тратятъ свою жизнь лучшіе люди XIX вѣка. Гейне не заботился или не могъ наблюдать и изображать сво-

ихъ современниковъ со стороны; съ естественной самонадѣянностью истиннаго гения онъ понималъ, что носить въ самомъ себѣ всѣ заветныя чувства и мысли своей эпохи; онъ принялъ самого себя за чистѣйшій типъ современнаго человѣка и посвятилъ всю свою жизнь на то, чтобы высказаться со всѣхъ сторонъ, со всей искренностью и непосредственностью, какая только доступна человѣку XIX столѣтія. Поэтому всѣ двадцать томовъ сочиненій Гейне составляютъ одно неразрывное цѣлое. И проза, и стихи, и любовь, и политика, и дурачества, и серьезные разсужденія, — все это только въ общей связи получаетъ свой полный смыслъ и свое настоящее значеніе. Если вы развѣстите Гейне на части и будете разсматривать каждый кусочекъ отдѣльно, то, разумѣется, вы получите много великолѣпныхъ алмазовъ и большую кучу неподвижныхъ черепковъ, перемѣшанныхъ съ глиной и съ грязью. Тогда вы скажете, что алмазы надо сохранить и оправить въ золото, а всю кучу примѣсь спустить въ помойную яму. И такимъ приговоромъ вы докажете несомнѣнно, что, читая Гейне, вы смотрѣли въ книгу и видѣли фигу. Гейне именно тѣмъ и неоцѣнимъ, что онъ даетъ мыслителямъ нашего времени цѣлые рудники матеріаловъ для самыхъ глубокихъ психологическихъ наблюденій и изслѣдованій. Читая Гейне, вдумывайтесь именно въ то, какимъ образомъ грязь перемѣшана въ человѣкѣ съ алмазами, старайтесь понять, почему одинъ и тотъ же гениальный умъ волновался высшими сомнѣніями, порывами и страстями, доступными человѣческой личности, и въ то-же время тратился на то, чтобы воспѣвать съ искреннимъ воодушевленіемъ голубыя или черныя глазенки вертлявыхъ парижскихъ лоретокъ. Посмотрите на примѣръ письма Гейне съ Гельголанда, помѣщеннаго въ его книгѣ о Бѣрне и написаннаго послѣ іюльскихъ событій 1830 г., и потомъ вдругъ прочтите въ его-же книгѣ «Neue Gedichte» — стихотворенія подъ рубриками: «Анжелика», «Серафима», «Катарина». На Гейне очень часто находятъ блажь; онъ вдругъ воображаетъ себѣ, что онъ можетъ забыть все, что мѣшаетъ мыслящему человѣку предаваться телеснымъ восторгамъ; начинается бѣганіе и прыганіе на одной ножкѣ; — ахъ, Боже мой, какое благополучіе! воздухъ теплый, птички поютъ, роза цвѣтетъ, барышня улыбается; давайте бѣгать, давайте любезничать, давайте дѣлать вѣнки и букеты изъ васильковъ и ландышей! — Да вдругъ ему самому сдѣлается уже черезъ-чуръ смѣшно, глядя на собственную прыткость и веселость; а потомъ досадно; а потомъ опять смѣшно; а потомъ и смѣшно, и досадно въ одно и то-же время. Оплюетъ онъ вдругъ и барышню, и цвѣты, и природу. Все сверху, все нигде не годится. И жалѣть нечего, и плакать не о чемъ, потому что все это пустяки и ни на что не слѣ-

дуетъ обращать вниманія. Къ выдѣлыванію такихъ рудъ неизбежно долженъ придти гениальный умъ, не имѣющій возможности найти себѣ такое дѣло, которое соответствовало-бы его силамъ. А что люди, одаренные силами Гейне, остаются внѣ практической дѣятельности, — это конечно составляетъ одну изъ самыхъ крупныхъ болячекъ нашего времени и одно изъ самыхъ капитальныхъ препятствій къ выздоровленію. Рисовать картину страданій — это безъ сомнѣнія тоже дѣятельность, и даже, при данныхъ условіяхъ мѣста и времени, дѣятельность очень полезная. Но вѣроятно самый заклятый эстетикъ согласится со мною, что было-бы не въ примѣръ лучше, еслибы такая дѣятельность была совершенно не нужна и даже невозможна. Еслибы Гейне былъ вполне удовлетворенъ жизнью, еслибы онъ чувствовалъ себя счастливымъ, то по всей вѣроятности онъ не сдѣлался-бы поэтомъ, потому что его поэзія была-бы странной аномаліей въ такой средѣ, въ которой люди, подобные ему, могли-бы устраивать свою жизнь сообразно съ требованіями своего чувства и своего разсудка. Развѣ можетъ возникнуть и развиться патологія тамъ, гдѣ не бываетъ болѣзней? А вѣрнѣйшимъ симптомомъ такого отсутствія болѣзней было-бы то обстоятельство, что умные люди, подобные Гейне, не состояли-бы въ разрядъ людей лишнихъ, непрактичныхъ, безпокойныхъ и вредныхъ.

Если такимъ образомъ мы примемъ всю литературную дѣятельность Гейне за цѣльное выраженіе того невольнаго и неизбежнаго различія, полу - трагическаго, полу - комическаго, который существуетъ между нашими заветными желаніями и нашими всеневными поступками, если мы взглянемъ на Генриха Гейне, какъ на гениальнаго человѣка, который втеченіи всей своей жизни стучится головой въ толстую стѣну человѣческихъ глупостей и наконецъ по временамъ самъ глупѣетъ отъ этого невыносимаго занятія, — то, разумѣется, всѣ балагурства Гейне, всѣ фривольности и тривіальности примутъ въ нашихъ глазахъ значеніе драгоценнѣйшихъ фактовъ изъ психологической исторіи современнаго человѣка. Да, подумаемъ мы, вотъ какъ круто приходится иногда умнымъ людямъ! Вотъ какими минутами пошлости и пустоты обшая безмысленность исторической жизни награждаетъ иногда первоклассныхъ гениевъ! Подобныя размышленія никакъ нельзя назвать безплодными, и мы должны будемъ сказать большое спасибо Генриху Гейне за то, что онъ не утѣмлялъ насъ тѣхъ печально - комическихъ минутъ своей жизни, когда онъ, отчаяваясь въ торжествѣ разума, пробовалъ сдѣлаться шаловливымъ ребенкомъ и начиналъ то изнывать у ногъ какой-нибудь Анжелики, то съ просодушѣемъ пансіонерки умиляться надъ зеленой травой и надъ голубыми фіалками.

Гейне вызвалъ цѣлыя легіоны подражателей, и этотъ фактъ служить еще новымъ подтвержденіемъ той ужасно старой и печальной истины, что глупыхъ людей очень много. Гейне можно и должно изучать, но подражать ему нѣтъ, во-первыхъ, никакой надобности, а во-вторыхъ—никакой возможности. Когда очень замѣчательный человѣкъ рассказываетъ намъ откровенно о своихъ заблужденіяхъ, о глупостяхъ и проступкахъ своей жизни, о позорныхъ минутахъ унынія, праздности, апатіи и безпечности, тогда мы слушаемъ этотъ рассказъ съ жаднымъ вниманіемъ и съ глубокимъ уваженіемъ. Ошибки и страданія великаго ума всегда поучительны, потому что въ нихъ всегда чувствуется вліяніе общихъ причинъ, повертывающихъ въ ту или въ другую сторону жизнь цѣлой исторической эпохи. На этомъ основаніи мы читаемъ и признаемъ полезными книгами и лирику Гейне, и «Confessions» Жанъ-Жака Руссо. Но когда какой-нибудь Лягушинъ или Козявкинъ начинаетъ повѣствовать намъ стихами или прозой о томъ, какъ онъ кутилъ и опять желаетъ кутить, какъ онъ любилъ и какъ ему рога наставили, какъ онъ проигрался въ карты и желаетъ получить реваншикъ, а подлецъ Микрюшкинъ забастовалъ не въ-время, — тогда мы говоримъ ему: уймись, любезный! помажь свои душевные нарывы деревяннымъ масломъ и прикрой ихъ тряпичкой! у насъ этого добра и безъ тебя достаточно.

Любопытно замѣтить, до какого полного извращенія естественныхъ понятій дошла эстетика, то-есть та критика, которая предпочитаетъ форму содержанію. Эстетикъ скажетъ вамъ, не задумываясь, что у такого-то поэта хватаетъ силъ на лирическое стихотвореніе, но что онъ непременно опростоволосится, если примется писать романъ или драму. Вы, мой читатель, навѣрное такъ привыкли къ такимъ сужденіямъ, что въ недоумѣніи спросите у меня: «а что-же въ этомъ мѣѣни эстетика есть такого уродливаго и бессмысленнаго? Это чистая правда. Вотъ наприимѣръ—Полонскій. Кропаетъ онъ лирическіе стихи—и ничего: концы съ концами сводить. А попробовалъ написать романъ «Свѣжее преданіе»—вышло убійственно. Сунулся соорудить драму «Разладъ»—вышло еще того хуже, такъ что Несторъ Васильевичъ Кукольникъ можетъ сказать, потирая руки: «нашего полку пришло!»—Справедливо изволите разсуждать, господинъ читатель. Но вы подумайте все-таки, что такое лирика? Вѣдь это просто публичная исповѣдь человѣка? Прекрасно. А на что-же намъ нужна публичная исповѣдь такого человѣка, который рѣшительно ничѣмъ, кромѣ своего желанія исповѣдываться, не можетъ привлечь къ себѣ наше вниманіе? Чѣмъ его огорченія или радости интереснѣе моихъ или вашихъ? Тѣмъ, что онъ умѣетъ укладывать ихъ

въ рѣмованные ямбы и хоренъ? Кажется мнѣ, что эта причина неудовлетворительна. Лирика, по самой сущности своей, гораздо искреннѣе и непосредственнѣе эпической и драматической поэзіи. Драму или романъ надо долго обдумывать; при этомъ надо изучать жизнь; плоды этого изученія могутъ быть интересны и поучительны даже въ томъ случаѣ, если автору не удастся придать характерамъ ту яркость, которая создается только силой таланта. Лирическій поэтъ, напротивъ того, только ловить и фиксируетъ мимолетныя настроенія своей собственной особы, и достоинство лирическаго произведенія заключается именно въ томъ, чтобы оно было какъ можно безыскусственнѣе, чтобы чувство или мысль поэта были схвачены и показаны читателю во всей своей непосредственности и неподкрашенности. Но вѣдь показываться въ такой первобытной наготѣ имѣетъ право только то, что замѣчательно само по себѣ и что влѣдствіе этого можетъ пробудить въ другихъ людяхъ дѣятельность чувства и мысли. Поэтому ясно, что лирика есть самое высокое и самое трудное проявленіе искусства. Лириками имѣютъ право быть только первоклассные гении, потому что только колоссальная личность можетъ приносить обществу пользу, обращая его вниманіе на свою собственную частную и психическую жизнь.

Отчего-же у насъ лирики плодятся, какъ дождевые грибы? Да просто оттого, что журналисты привыкли наполнять стихами тѣ бѣлыя страницы или, выражаясь типографскимъ языкомъ, бѣлыя полосы, которыя случайно остаются между отдѣльными статьями. И до сихъ поръ не могутъ сообразить почтенные журналисты, что бѣлая полоса гораздо лучше лирическаго стихотворенія, во-первыхъ потому, что читатель не тратитъ на бѣлую полосу ни одной минуты времени, во-вторыхъ потому, что редакция за бѣлую полосу не платитъ ни копейки денегъ, въ-третьихъ потому, что существованіе бѣлыхъ полосъ не поощряетъ ни одной отрасли предосудительнаго тунеядства. Къ крайнему моему огорченію, даже «Русское Слово» не возвысилось еще до пониманія этихъ высокихъ и мудрыхъ истинъ.

XXVII.

Литературные противники нашего реализма простодушно убѣждены въ томъ, что мы затвердили нѣсколько филантропическихъ фразъ и во имя этихъ афоризмовъ отрицаемъ сплошь все то, изъ чего нельзя изготовить обѣда, сшить платье или выстроить жилище голоднымъ и прозябшимъ людямъ. Понимая насъ такимъ образомъ, они конечно должны были ожидать, что мои размышленія о наукѣ и искусствѣ будутъ заключать въ себѣ безконечныя упреки Шекспиру, Гёте, Гейне и другимъ подобнымъ негодникамъ за трату драгоценнаго времени на непроизводительныя занятія. Они ожидали въ-

роятно, что я такъ и пойду косить безъ разбору: Шекспиръ—не Шекспиръ, Гёте—не Гёте, чортъ мнѣ не братъ, всѣ дураки и знать никого не хочу. Такому направленію моихъ умозрѣній они были-бы несказанно рады, потому что, разумѣется, подобная премудрость не поколебала-бы въ умахъ читателей ни одной буквы изъ стараго эстетическаго кодекса. Теперь, когда они увидятъ, что я взялся за дѣло совсѣмъ не такимъ кособокимъ манеромъ,—имъ сдѣлается очень досадно, и они начнутъ звонить въ своихъ журналахъ, что реалисты доврались до чортиковъ и теперь поневолѣ поворачиваютъ оглобли назадъ.

И все это будетъ съ ихъ стороны голая выдумка. Всѣ мысли, высказанныя мною въ этой статьѣ, совершенно послѣдовательно вытекаютъ изъ того, что я говорилъ во всѣхъ моихъ предыдущихъ статьяхъ. Ни малѣйшаго поворота назадъ не случилось, и мнѣ не приходится раскаяваться ни въ одномъ словѣ, сказанномъ мною прежде. Я совѣтовала Щедрина заняться компиляціями по естественнымъ наукамъ и говорилъ по этому поводу, что меня радуетъ увяданіе нашей беллетристики, какъ симптомъ возрастающей зрѣлости нашего ума. Я и теперь повторяю то-же самое, и изъ этого сужденія о нашихъ домашнихъ дѣлахъ все-таки никакъ не вытекаетъ для меня обязанность ругать Шекспира, Гёте, Гейне и другихъ подобныхъ негодяевъ. Эти негодяи были прежде всего чрезвычайно умные люди, а я и теперь, и прежде, и всегда былъ глубоко убѣжденъ въ томъ, что мысль, и только мысль можетъ передѣлать и обновить весь строй человѣческой жизни. Все то безусловно полезно, что заставляетъ насъ задумываться и что помогаетъ намъ мыслить. Конечная цѣль всего нашего мышленія и всей дѣятельности каждаго честнаго человѣка все-таки состоитъ въ томъ, чтобы разрѣшить навсегда неизбѣжный вопросъ о голодныхъ и раздѣтыхъ людяхъ; внѣ этого вопроса нѣтъ рѣшительно ничего, о чемъ-бы стоило заботиться, размышлять и хлопотать; но вопросъ этотъ и самъ по себѣ такъ громаденъ и такъ сложенъ, что на его разрѣшеніе требуется вся наличная сила и зрѣлость человѣческой мысли, все напряженіе человѣческой энергіи и любви и весь запасъ собранныхъ человѣческихъ знаній; излишку оказаться не можетъ, а напротивъ оказывается до сихъ поръ громадный недочетъ, который поневолѣ будутъ пополнять рабочія силы слѣдующихъ столѣтій.

Стало-бытъ, мы вовсе не расположены откидывать годный матеріалъ изъ любви къ процессу откидыванія. Это былъ-бы съ нашей стороны нелѣпѣйшій ригоризмъ и формализмъ, еслибы мы вздумали браковать гениальную мысль на томъ основаніи, что она проведена въ поэмѣ или въ романѣ, а не въ теоретическомъ разсужденіи. Еслибы мы разсуждали такимъ

образомъ, то намъ пришлось-бы поставить критическія статьи Эдельсона выше романа «Отцы и Дѣти». Но мы разсуждаемъ совершенно иначе. Мы твердо убѣждены въ томъ, что каждому человѣку, желающему сдѣлаться полезнымъ работникомъ мысли, необходимо широкое и всестороннее образованіе, въ которомъ Гейне, Гёте, Шекспиръ должны занять свое мѣсто на ряду съ Либихомъ, Дарвиномъ и Ляйеллемъ.—Ничто такъ сильно не расширяетъ весь горизонтъ нашихъ понятій о природѣ и о человѣческой жизни, какъ близкое знакомство съ величайшими умами человѣчества, къ какой-бы отдѣльной области знанія или творчества ни относилась дѣятельность этихъ первоклассныхъ представителей нашей породы. Но, во-первыхъ, знакомясь съ этими титанами, надо непременно сохранять въ отношеніи къ нимъ полную самостоятельность своей собственной мысли, а иначе придется принимать за чистое золото даже то, что составляетъ грязное пятно въ произведеніи титана. Во-вторыхъ, и это главное, надо знакомиться только съ настоящими титанами и преспокойно проходить, не кивая головой, мимо многихъ и премногихъ кумировъ, выставляемыхъ на поклоненіе толпы усердными историками различныхъ литературъ. Посоветуйтесь напримѣръ съ какимъ-нибудь записнымъ гуманистомъ: онъ вамъ будетъ доказывать, что не прочесть Горация, Овидія, Виргилія, Цицерона значить остаться круглымъ невѣждой. Заговорите съ французомъ: онъ вамъ поклянется честью, что вамъ совершенно необходимо прочесть всѣ трагедіи Корнеля, всѣ трагедіи Расина, всѣ сатиры Буало, всѣ сладости Фенелона и всѣ проповѣди Боссюэта, котораго французы до сихъ поръ считают великимъ гениемъ и даже глубокимъ, хотя и одностороннимъ историкомъ. Обратитесь къ Лонгинову, и онъ вамъ, какъ русскому человѣку, поставитъ въ непремѣнную обязанность прочесть цѣлкомъ Ломоносова, Державина, Карамзина и Жуковского. Счастливы вашъ Богъ, если онъ еще позволитъ вамъ не читать Кантемира, Тредьяковского, Сумарокова, Аблесимова, Хераскова, Озерова и князя Шаликова. Да нѣтъ! Врядъ-ли онъ окажетъ вамъ эту великую милость. Нельзя, скажете. Эти писатели имѣютъ историческое значеніе. А что-же вы въ самомъ дѣлѣ, будете за человѣкъ, если не будете знать исторіи нашей великой и прекрасной литературы?

Если вы одарены отъ природы чувствомъ благоразумнаго самосохраненія, то вы, разумѣется, не послушаете ни Лонгинова, ни гуманиста, ни француза. Вы прочтаете Шекспира, Байрона, Гёте, Шиллера, Гейне, Мольера и очень немногихъ другихъ поэтовъ, замѣчательныхъ не тѣмъ, что они когда-то жили и что-то написали, а тѣмъ, что они дѣйствительно высказали людямъ нѣсколько дѣльныхъ и умныхъ

мыслей. Из наших же писателей вы возьмете Грибоедова, Крылова, Пушкина, Гоголя, отнесетесь к ним с самой строгой критикой и увидите тогда, что ваше чисто-литературное образование совершенно окончено. Я не говорю о новейших писателях, например о Жорж Занде, Виктор Гюго, Диккенсе, Теккере и о лучших представителях нашей собственной беллетристики. Этих писателей вы уже непременно прочтете, даже не для литературного образования, а просто для того, чтобы следить за современным развитием европейской мысли. Тут, разумеется, вам придется прочитать много пустяков, например: «Фанни» — Фейдо, «Саламбо» — Флобера и такие повести Тургенева, как «Первая любовь» и «Призраки». Против этого не поможет уж никакой последовательный реализм. Чтобы приносить людям пользу, надо знать, что их интересует и о чем они в данную минуту толкуют, а для этого приходится очень часто просматривать ничтожнейшие романы, пробегать пустейшие номера журналов и газет и выслушивать от разных заблудившихся личностей еще более пустые рассуждения. Кто хочет заниматься психиатрией, тот поневоле должен выслушивать рассказы всяких Поприциных о шипке алжирского деа. Но и психиатру нет особенной надобности читать в пыльных архивах и библиотеках умозрения всех тех Поприциных, которые жили раньше нас и которых бредни, на беду нашу, не затерялись.

Из всего, что я говорил с самого начала этой статьи, читатель видит ясно, что я отношусь с глубоким и совершенно искренним уважением к первоклассным поэтам всех веков и народов. Задача реалистической критики в отношении ко всей массе литературных памятников, оставленных нам отжившими поколениями, состоит именно в том, чтобы выбрать из этой массы то, что может содействовать нашему умственному развитию и объяснить, каким образом мы должны распоряжаться с этим отборным материалом. Такая обширная задача не по силам одному человеку, но я, с своей стороны, постараюсь все-таки со временем подвинуть это дело вперед, представляя моим читателям ряд критических статей о тех писателях, которых чтение я считаю необходимым для общего литературного образования каждого мыслящего человека.

В этой статье я, разумеется, могу только указать на эту задачу и ограничиться неопределенным обещанием. — Но у реалистической критики есть и другая задача, может-быть еще более серьезная. Делая строгую оценку литературным трудам прошедшего, она должна еще внимательно и строже следить за развитием литературы в настоящем. Здесь на ней

лежит обязанность быть несравненно более разборчивой и требовательной. Когда мы говорим например о Шекспире, мы просто берем у него то, что находим в наличности. Что есть — за то спасибо; чего нет — не выщипывайте; на нет и суда нет. Наряжать над Шекспиром следствие по тому вопросу, был ли он прогрессистом или ретроградом, — смешно, нелепо и несправедливо, по той простой причине, что люди XVI века еще не имели понятия о таком прогрессе, который охватывает все отправления общественной жизни и все отрасли человеческого мышления. Но если бы в наше время появился поэт с громадным талантом и если бы он, подобно Шекспиру, посвятил лучшие силы своего таланта на создание исторических драм, то реалистическая критика имела бы полное право отнестись очень сурово к тому обстоятельству, что колоссальный талант отвертывается от интересов живой действительности и уходит в область «безпечального созерцания», изобретенного «Отечественными Записками» или «Петербургскими Ведомостями».

Я твердо убежден в том, что настоящий поэт, родившийся в XIX веке и получивший здоровое человеческое образование, не может быть ни ретроградом, ни индифферентистом. Стало-быть, если в произведениях даровитого человека будут проглядывать допотопные тенденции или холодное равнодушие к живым потребностям современности, — реалистическая критика обязана внимательно разобрать причины такого ненормального и вредного явления. При ближайшем рассмотрении дела непременно окажется или полное невежество данного субъекта, или односторонность развития, или слабость, или молчаливость, или вообще что-нибудь способное испортить и сбить с пути самые лучшие задатки литературного дарования. Эти результаты ближайшего исследования реалистическая критика должна выставить на показ в самых ярких красках, для того, чтобы публика перестала обольщаться таким оракулом, который говорит ей вредную галиматью или по крайней мере отвлекает ее внимание от полезного дела. В наше время можно быть реалистом и следовательно полезным работником, не будучи поэтом; но быть поэтом и в то же время не быть глубоким и сознательным реалистом — это совершенно невозможно. Кто не реалист, тот не поэт, а просто даровитый неуч, или ловкий шарлатан, или мелкая, но самолюбивая козявка. От всей этой назойливой твари реалистическая критика должна тщательно оберегать умы и карманы читающей публики.

XXVIII.

Если вы предложите мне вопрос: есть-ли у

насъ въ Россіи замѣчательные поэты? — то я же пустые звуки, въ какіе уже давно превратились имена Ломоносова, Сумарокова, Державина и всѣхъ другихъ бардовъ прошлаго столѣтія. Съ насъ ихъ нѣтъ, никогда не было, никогда не могло быть — и по всей вѣроятности очень долго еще не будетъ. У насъ были или зародыши поэтовъ, или пародіи на поэта. Зародышами можно назвать Лермонтова, Гоголя, Полежаева, Крылова, Грибоѣдова; а къ числу пародій я отношу Пушкина и Жуковского. Первые остались на всю жизнь въ положеніи зародышей, потому что имъ нечѣмъ было питаться и некуда было развиваться. Силы-то у нихъ были, но не было ни впечатлѣній, ни простора. Поэтому ничего и не вышло, кромѣ одностороннихъ попытокъ и недодуманныхъ зачатковъ разумнаго міросозерцанія.

Въ самомъ дѣлѣ, что такое «Мертвыя Души»? Изображалъ человекъ «бѣдность, да бѣдность, да несовершенства нашей жизни», и все шло хорошо и умно; а потомъ вдругъ, въ самомъ концѣ, пустилъ бессмысленнѣйшее воззваніе къ Россіи, которая будто-бы куда-то мчится, какъ бѣгая тройка, да такъ шибко мчится, что остальные народы только ротъ разбаваютъ и дивуются. И кто ткнулъ изъ него эту дифирамбическую тираду? Рѣшительно никто. Такъ сама собой вылилась, отъ полноты невѣжества и отъ непривычки къ широкому обобщенію фактовъ. Вышла чепуха: съ одной стороны «бѣдность», съ другой — такая быстрота развитія, что любопытного. Ничего цѣльнаго и не оказалось. И уже въ этомъ лирическомъ порывѣ сидятъ зачатки второй части «Мертвыхъ Душъ» и знаменитой «Переписки съ друзьями».

А что такое басни Крылова? Робкіе намеки на сильный умъ, который никогда не можетъ и не осмѣлится развернуться во всю свою ширину.

Но эти зародыши все-таки заслуживаютъ наше уваженіе, заслуживаютъ именно тѣмъ, что не могли развернуться. Значитъ, при благопріятныхъ обстоятельствахъ изъ этихъ элементовъ могло выработаться что-нибудь порядочное. Но о людяхъ второй категоріи, о пародіяхъ на поэта, намъ приходится высказать совершенно противоположное мнѣніе. Эти люди процвѣтали «яко крикъ», щебетали, какъ птицы пѣвчія, и совершили «въ предѣлѣ земномъ все земное», то-есть все, что они были способны совершить. Въ произведеніяхъ этихъ людей нѣтъ никакихъ признаковъ болѣзненности или изуродованности. Имъ было весело, легко и хорошо жить на свѣтѣ, и это обстоятельство конечно останется вѣчнымъ пятномъ на ихъ православныхъ именахъ. Впрочемъ нѣтъ, — не *вѣчнымъ*. Такъ какъ эти господа уже теперь ничѣмъ не связаны съ современнымъ развитіемъ нашей умственной жизни, то мы можемъ надѣяться, что ихъ прославленные имена скоро забудутся или по крайней мѣрѣ превратятся для русскихъ людей въ такіе

пустые звуки, въ какіе уже давно превратились имена Ломоносова, Сумарокова, Державина и всѣхъ другихъ бардовъ прошлаго столѣтія. Съ именемъ Жуковского уже совершилось это превращеніе, но Пушкина мы все еще не рѣшаемся забыть, или, вѣрнѣе, мы боимся признаться самимъ себѣ, что мы его почти совсѣмъ забыли. О Пушкинѣ до сихъ поръ бродятъ въ обществѣ разные нелѣпые слухи, пущенные въ ходъ эстетическими критиками; общество не сличаетъ этихъ слуховъ съ существующими фактами, но повторяетъ ихъ съ чужого голоса и, по старой привычкѣ къ этимъ слухамъ, считаетъ ихъ за непреложную истину, не требующую никакихъ доказательствъ. Говорятъ напримѣръ, что Пушкинъ — великій поэтъ, и всѣ этому вѣрятъ. А на повѣрку выходитъ, что Пушкинъ, просто великій стилистъ, и больше ничего. Говорятъ далѣе, что Пушкинъ основалъ нашу новѣйшую литературу, и этому тоже вѣрятъ. И это тоже вздоръ. Новѣйшую литературу основалъ не Пушкинъ, а Гоголь. Пушкину мы обязаны только нашими милыми лириками, а подъ вліяніемъ Гоголя сформировались Тургеневъ, Писемскій, Некрасовъ, Островскій, Достоевскій; да кромѣ того произведенія Гоголя дали рѣшительный толчокъ нашей реальной критикѣ.

Многимъ читателямъ мои размышленія о Пушкинѣ покажутся возмутительно-дерзкими. Я самъ съ своей стороны признаю за читателемъ полное право требовать отъ меня серьезныхъ и подробныхъ фактическихъ доказательствъ, но теперь, въ этой статьѣ, я все-таки не буду распространяться о литературной дѣятельности великаго Пушкина. Объ этомъ мы поговоримъ впоследствии. Тогда я представлю моимъ читателямъ рядъ статей подъ заглавіемъ «Пушкинъ и Бѣлинскій». Въ этихъ будущихъ статьяхъ я разберу дѣятельность прославленнаго поэта и постараюсь, съ точки зрѣнія послѣдовательнаго реализма, перерѣшить тѣ вопросы, которые Бѣлинскій рѣшалъ на основаніи эстетическихъ догматовъ, потерявшихъ для насъ всю свою обязательную силу.

Въ настоящее время у насъ также нѣтъ поэтовъ; наше общество все еще слишкомъ неподвижно, чтобы содѣйствовать развитію тѣхъ высшихъ силъ ума и чувства, которыми долженъ обладать гениальный поэтъ. Но между нашими литераторами есть нѣсколько умныхъ и добросовѣстныхъ работниковъ, помѣщающихъ въ различныхъ журналахъ романы, повѣсти и драматическія произведенія. Дѣятельность этихъ людей никакъ нельзя назвать бесплодной. Они заставляютъ своихъ читателей задумываться надъ различными вопросами вседневной жизни; они даютъ реальной критикѣ удобный случай разъяснить эти вопросы. Публика прислушивается къ этимъ разъясненіямъ, и смыслъ понемногу начинаетъ шевелиться, медленно проса-

Троллопъ, Жоржъ Зандъ, Гюго замѣчательныхъ поэтовъ и чрезвычайно полезныхъ работниковъ нашего вѣка. Эти писатели составляютъ своими произведеніями живую связь между передовыми мыслителями и полубразованной толпой всякаго пола, возраста и состоянія. Они — популяризаторы разумныхъ идей по части психологій и фізіологій общества, а въ настоящую минуту добросовѣстные и даровитые популяризаторы по крайней мѣрѣ такъ-же необходимы, какъ оригинальные мыслители и самостоятельные изслѣдователи.

Мы вовсе не требуемъ отъ романистовъ, чтобы всѣ они непременно описывали страданія бѣдняковъ или показывали намъ человѣка въ преступникѣ. По нашему мнѣнію, каждый романистъ, разрѣшающій какую-нибудь психологическую задачу, поставленную естественнымъ теченіемъ дѣйствительной жизни, — приноситъ обществу существенную пользу и по мѣрѣ силъ своихъ исполняетъ обязанность честнаго гражданина и развитого человѣка. Частная жизнь и семейный бытъ, наравнѣ съ экономическими и общественными условіями нашей жизни, должны обращать на себя постоянное вниманіе мыслящихъ людей и даровитыхъ писателей. Чтобы упрочить за собой глубочайшее уваженіе читателей, романистъ или поэтъ долженъ только постоянно, такъ или иначе, служить живому дѣлу дѣйствительной, современной жизни. Онъ не долженъ только превращать свою дѣятельность въ безцѣльную забаву праздной фантазіи. Я надѣюсь, что даже эстетики не станутъ заступаться за Дюма, за Феваля, за Поль-де-Кока. Но очень правдоподобно, что они уважаютъ Вальтера Скотта и Купера. А мы ихъ нисколько не уважаемъ и вообще считаемъ историческій романъ за одно изъ самыхъ бесполезныхъ проявленій поэтического творчества. Вальтеръ Скоттъ и Куперъ — усыпители човѣчества. Что они люди очень даровитые — противъ этого я не спорю. Но тѣмъ хуже. Тѣмъ-то они и вредны, что ихъ произведенія читаются съ удовольствіемъ и создаютъ цѣлыя школы подражателей. А что выносить читатель изъ этихъ романовъ? Ничего, ни одной новой идеи. Рядъ картинъ и арабесковъ. То-же самое, что ребенокъ выносить изъ волшебной сказки. Въ наше время, когда надо смотрѣть въ оба глаза и работать обѣими руками, стыдно и предосудительно уходить мыслью въ мертвое прошлое, съ которымъ всѣмъ порядочнымъ людямъ давно пора разорвать всякія связи.

XXIX.

Съ самаго начала этой статьи я все говорилъ только о поэзіи. Обо всѣхъ другихъ искусствахъ: пластическихъ, тоническихъ и мимическихъ, я выскажусь очень коротко и совершенно ясно. Я чувствую къ нимъ глубочайшее

равнодушіе. Я рѣшительно не вѣрю тому, чтобы эти искусства какимъ-бы то ни было образомъ содѣйствовали умственному или нравственному совершенствованію човѣчества. Вкусы човѣческіе безконечно разнообразны: одному желательно выпить передъ обѣдомъ рюмку очищенной водки; другому — выкурить послѣ обѣда трубку махорки; третьему — побаловаться вечеромъ на скрипкѣ или на флейтѣ; четвертому — придти въ восторгъ и въ ужасъ отъ взвизгиваній Олбриджа въ роли Отелло. Ну, и безподобно. Пускай утѣшаются. Все это я понимаю. Понимаю я также, что двумъ любителямъ очищенной водки, или Олбриджа, или виолончели пріятно побесѣдовать между собой о совершенствахъ любимаго предмета и о тѣхъ средствахъ, которыя слѣдуетъ употребить для того, чтобы придать любимому предмету еще болѣе высокія совершенства. Изъ такихъ спеціальныхъ бесѣдъ могутъ образоваться спеціальныя общества. Напримѣръ «общество любителей водки», «общество любителей псовой охоты», «общество театраловъ», «общество любителей слоеныхъ пирожковъ», «общество любителей музыки» и такъ далѣе, впредь до безконечности. У такихъ обществъ могутъ быть свои уставы, свои выборы, свои парламентскіе дебаты, свои убѣжденія, свои журналы. Такія общества могутъ раздавать патенты на гениальность. Вслѣдствіе этого могутъ появиться на свѣтъ великіе люди самыхъ различныхъ сортовъ: великій Бетховенъ, великій Рафаэль, великій Канова, великій шахматный игрокъ Морфи, великій поваръ Дюссо, великій маркеръ Тюря. Мы можемъ только радоваться этому обилію човѣческой гениальности и осторожно проходить мимо всѣхъ этихъ «обществъ любителей», тщательно скрывая улыбку, которая невольно напрашивается на наши губы и которая можетъ раздражить очень многихъ гусей. Впрочемъ отрицать совершенно практическую пользу живописи мы конечно не рѣшимся. Черченіе плановъ необходимо для архитектуры. Почти во всѣхъ сочиненіяхъ по естественнымъ наукамъ требуются рисунки. Въ настоящую минуту передо мной лежитъ великолѣпная книга Брема: «Illustrirtes Thierleben» («Иллюстрированная жизнь животныхъ»), и эта книга показываетъ мнѣ самымъ нагляднымъ образомъ, до какой степени даровитый и образованный художникъ можетъ своимъ карандашомъ помогать натуралисту въ распространеніи полезныхъ знаній. Но вѣдь ни Рембрандтъ, ни Тиціанъ не стали-бы рисовать картинки для популярнаго сочиненія по зоологій или по ботаникѣ. А ужъ какимъ образомъ Моцартъ и Фанни Эльслеръ, Тальма и Рубини ухитрились-бы пристроить свои великія дарованія къ какому-нибудь разумному дѣлу, этого я даже и представить себѣ не умѣю. Пусть помогутъ мнѣ въ этомъ за-

труднительномъ обстоятельствѣ эстетики «Эпохи» и «Библиотеки для Чтенія».

Любители всяческихъ искусствъ не должны гнѣваться на меня за легкомысленный тонъ этой главы. Свобода и терпимость прежде всего! Имъ нравится дуть въ флейту или изображать своей особой Гамлета, принца датскаго, или пестрить полотно масляными красками, а мнѣ нравится доказывать насмѣшливымъ тономъ, что они никому не приносятъ пользы и что ихъ не за что ставить на пьедесталы. А забавамъ ихъ никто мѣшать не намѣренъ. За шиворотъ ихъ никто не тянетъ на полезную работу. Весело вамъ — ну, и веселитесь, милыя дѣти!

XXX.

Припомните вмѣстѣ со мной, мой читатель, какъ мы образомъ васъ воспитывали и учили. Предположимъ на первый случай, что вы — сынъ богатаго помѣщика и живете вмѣстѣ съ вашими родителями въ какой-нибудь Тамбовской или Рязанской деревнѣ. Вамъ лѣтъ десять, вы беззаботно рвете и пачкаете ваши рубашечки, курточки и панталоны; вы лазаете по горамъ и по деревьямъ и сокрушаете каждый день вашу мамашу новыми синяками и царапинами, которые она постоянно усматриваетъ на вашемъ лицѣ и на вашихъ рукахъ. Наконецъ мамаша говоритъ папашѣ, что мальчикъ шибко балуется и что давно пора выписать для него строгаго гувернера, который серьезно присадилъ-бы его за умныя книжки. Папаша отвѣчаетъ: хорошо! Вотъ продамъ обозъ пшеницы, съѣзжу недѣли на три въ Москву и отыщу тамъ подходящаго нѣмца или француза. Какъ сказано, такъ и сдѣлано. Получаются деньги за пшеницу и часть этихъ денегъ употребляется на приобрѣтеніе того неизвѣстнаго господина, которымъ уже давно стращала васъ ваша мамаша. Незвѣстный господинъ объявляетъ папашѣ, что надо выписать такую-то ариметику, такую-то грамматику, такую-то географію и такъ далѣе. Папаша отпираетъ ту шкатулку, въ которой у него сыпана пшеница, превращенная въ кредитныя билеты, и выдаетъ рублей 20 или 30 на покупку учебныя книги. Каждый годъ продаются обозы пшеницы, и каждый годъ часть вырученныхъ денегъ вручается вашему ментору, а другая часть превращается въ книги, глобусы, ландкарты, аспидныя доски, писчую бумагу, стальные перья. Все это вы, какъ ненасытная пучина, поглощаете съ той-же быстротой, съ какой вы въ былое время истреблили штаны и куртки. Положимъ, что все это идетъ вамъ впрокъ. Ваша любознательность пробуждается; вашъ умъ растетъ и укрѣпляется; вы всей душой привязываетесь къ вашему воспитателю; онъ рассказываетъ вамъ о своемъ студенчествѣ, и васъ самихъ начинается тянуть въ университетъ, въ обѣтованную землю

труда и знанія. Родители ваши съ удовольствіемъ уступаютъ вашему желанію; несмотря на вашу юношескую робость, вы превосходно выдерживаете вступительный экзаменъ и съ замираніемъ сердца входите въ обѣтованную землю. Съ этой минуты часть пшеницы, превращенная въ деньги, поступаетъ въ ваше собственное распоряженіе; вы сами заботитесь о своемъ костюмѣ, сами покупаете себѣ книги, сами позволяете себѣ удовольствія. Допустимъ, что все это вы дѣлаете вполне благоразумно; въ одеждѣ нѣтъ роскоши, въ чтеніи вашемъ господствуетъ строгая послѣдовательность, удовольствія выбираются такіе, которые дѣйствительно освѣжаютъ ваши силы для новаго труда; все это превосходно; но вѣдь все это до сихъ поръ было только поглощеніемъ пшеницы, превращенной въ сукно, въ голландское полотно, въ дѣльные книги, въ театральные и концертные билеты, въ профессорскія лекціи, въ умныя мысли и въ высокія стремленія. Всякій человѣкъ, собирающійся работать, долженъ непремѣнно поглотить сначала извѣстное количество продукта, уже выработаннаго другими людьми; онъ можетъ поглотить его глупо, то-есть разстроить себѣ желудокъ этимъ поглощеніемъ; можетъ поглотить умно, то-есть дѣйствительно подкрѣпить свои силы; но за то, что человѣкъ подкрѣпилъ свои силы, мы еще ничуть не обязаны говорить ему спасибо; надо посмотрѣть, что будетъ дальше. Дальше вы оказываетесь кандидатомъ, и передъ вами раскрывается жизнь. У васъ есть все, что нужно человеку для счастья: здоровая молодость, развитой умъ, приличная наружность, обеспеченное состояніе; вамъ хочется жить, любить, мыслить и дѣйствовать. Чѣмъ захочу, думаете вы, тѣмъ и займусь; куда захочу, туда и поѣду; что захочу, то и сдѣлаю. Я самъ себѣ баринъ и никому не намѣренъ отдавать отчетъ въ своемъ образѣ жизни. Мое образованіе изощрило во мнѣ способность наслаждаться всѣмъ, что затрагиваетъ мысль и ласкаетъ чувство; поэтому я намѣренъ извлекать себѣ наслажденія изъ любви, изъ науки, изъ искусства, изъ живой природы; все—мое, а самъ я не принадлежу рѣшительно никому.

Такой взрывъ юношеской самостоятельности составляетъ очень обыкновенное, быть-можетъ даже неизбежное явленіе въ жизни каждой мыслящей и развивающейся личности. Но первый трезвый взглядъ на экономическую прозу жизни кладетъ конецъ этому взрыву. Вы начинаете соображать, что вы поглотили цѣлыя сотни четвертей видоизмѣненной пшеницы, и что каждая четверть соответствуетъ извѣстному количеству рабочихъ дней, конныхъ и пѣшихъ, мужскихъ и женскихъ. А я-то, думаете вы, такъ радовался обилію моихъ знаній; а я-то такъ гордился силой моего ума и тонкостью моего эстетическаго вкуса! Вѣдь смѣшно даже

подумать, къ чему приводится эта радость и эта гордость. Какой я въ самомъ дѣлѣ молодецъ! Какую гору пшеницы я съѣлъ и переварилъ! А что же я теперь собираюсь дѣлать? Наслаждаться прелестями молодой жизни, то есть опять ѣсть и опять переваривать? Вѣдь надо же и честь знать. А если не честь, то надо же знать по крайней мѣрѣ простыя правила арифметики. Если постоянно вычитатъ изъ общественнаго капитала, то наконецъ весь капиталъ уничтожится и общество придетъ къ банкротству. Я взялъ въ займы чужой трудъ; теперь надо же уплачивать этотъ долгъ. А чѣмъ его уплачивать? Деньгами, что-ли? Очевидная нелѣпость. Это значить занимать у Ивана, чтобы отдавать Петру. За трудъ можно платить только трудомъ. Сначала другіе люди работали для меня, а теперь я долженъ работать для другихъ людей. Я весь принадлежу тому обществу, которое меня сформировало; всѣ силы моего ума составляютъ результатъ чужого труда, и если я буду разбрасывать эти силы на разныя пріятныя глупости, то я окажусь несостоятельнымъ должникомъ и злостнымъ банкротомъ, хотя можетъ быть никто не назоветъ меня этимъ позорнымъ именемъ и даже не замѣтитъ, что я поступаю безчестно, то-есть становлюсь врагомъ того самаго общества, которому я обязанъ рѣшительно всѣмъ.

Когда вы придете къ такимъ серьезнымъ заключеніямъ, тогда безцѣльное наслажденіе жизнью, наукой, искусствомъ окажется для васъ невозможнымъ. Останется только одно наслажденіе, — то, которое выходитъ изъяснаго сознанія, что вы приносите людямъ дѣйствительную пользу, что вы уплачиваете понемногу накопившуюся массу вашихъ долговъ и что вы твердыми шагами, не сворачивая ни вправо, ни влѣво, идете впередъ, къ общей цѣли всей вашей жизни. Да, жизнь есть постоянный трудъ, и только тотъ понимаетъ ее вполнѣ по человѣчески, кто смотритъ на нее съ этой точки зрѣнія. И любовь къ женщинѣ, и искусство, и наука, — все это или вспомогательныя средства въ общемъ механизмѣ жизненнаго труда, или минуты отдыха въ антрактахъ между оконченной работой и началомъ новаго дѣла. О любви къ женщинѣ и объ искусствѣ я уже говорилъ выше. Теперь будемъ говорить о наукѣ. Но сначала надо сдѣлать еще нѣсколько общихъ замѣчаній.

Для большей простоты анализа я предположилъ въ первыхъ строкахъ этой главы, что вы, мой читатель, — сынъ богатаго помѣщика и что вы воспитывались на деньги вашихъ родителей. При этомъ условіи отношенія вашего воспитанія къ пшеницѣ и къ рабочимъ днямъ обрисовываются такъ ясно, что о нихъ больше не зачѣмъ и распространяться. Но еслибы я предположилъ, что вы — плебей и пролетарій, и

что вы сами тяжелымъ трудомъ завоевали себѣ каждую отдѣльную частицу вашего широкаго образованія, то даже и въ этомъ случаѣ настоящая сущность дѣла осталась бы неизмѣнной. Все-таки окажется при внимательномъ разсмотрѣніи, что вы всѣмъ обязаны обществу, и что всѣ силы вашего развитого и укрѣпленнаго ума должны быть употреблены на постоянное служеніе дѣйствительнымъ интересамъ этого общества. Природа дала вамъ живой умъ и сильную любознательность. Но самыя превосходныя дары природы остаются мертвыми капиталомъ, если вы живете въ такомъ обществѣ, въ которомъ еще не зародилась умственная дѣятельность. Тѣ вопросы, которые на каждомъ шагѣ задастъ себѣ вашъ пытливый умъ, остаются безъ отвѣта; энергія ваша истрачивается на множество мелкихъ и безплодныхъ попытокъ проникнуть въ затворенную область знанія; вы понемногу слабѣете, тупѣете, мелчаете и наконецъ миритесь съ вашимъ невежествомъ, какъ съ неизбѣжнымъ зломъ, которое наконецъ перестаетъ даже тяготить васъ. Въ нашемъ обширномъ отечествѣ было очень много гениальныхъ самородковъ, прожившихъ жизнь безъ труда и безъ знанія по той простой причинѣ, что негдѣ, не у кого и некогда было учиться уму-разуму. Вѣроятно такіе печальные случаи повторяются довольно часто и въ наше время, потому что Россія велика, а свѣтильниковъ въ ней немного. Стало-быть, если вы — пролетарій и если вамъ посчастливилось наткнуться или удалось отыскать такой свѣтильникъ, который уяснилъ вамъ смыслъ и цѣль человѣческаго существованія, то вы должны задать себѣ вопросъ: какими средствами зажженъ этотъ спасительный свѣтильникъ? и какими матеріалами поддерживается его горѣніе? — Каковъ-бы ни былъ этотъ свѣтильникъ, университетъ, академія, образованный человѣкъ, хорошій журналъ, умная книга, — все равно; во всякомъ случаѣ онъ стоитъ денегъ, а мы уже знаемъ, что деньги — не что иное, какъ пшеница, рожь, овесъ, ленъ, пенька или, еще проще, рабочіе дни, конные и пѣшіе, мужскіе и женскіе. Все богатство общества безъ исключенія заключается въ его трудѣ. Часть этого труда, тѣми или другими средствами, отдѣляется на то, чтобы создавать въ обществѣ умственный капиталъ. Ясное дѣло, что этотъ умственный капиталъ долженъ приносить обществу хорошіе проценты, иначе общество будетъ постоянно терпѣть убытки и постоянно приближаться къ окончательному разоренію. Примѣры такихъ разореній уже бывали въ исторіи. Такое разореніе называется паденіемъ цивилизаціи, и каждый ученикъ уѣзднаго училища долженъ знать, что уже нѣсколько цивилизацій, повидимому сильныхъ и цвѣтущихъ, упало и уничтожилось безъ остатка.

XXXI.

Человѣческій трудъ весь цѣликомъ основанъ на наукѣ. Мужикъ знаетъ, когда надо сѣять хлѣбъ, когда жать или косить, на какой землѣ можетъ родиться хлѣбъ и какого снадобья надо подбавить въ землю, чтобы урожай былъ обильнѣе. Все это онъ знаетъ очень смутно и въ самыхъ общихъ чертахъ, но тѣмъ не менѣе это—зародыши науки, первыя попытки человѣка уловить тайны живой природы. Въ свое время эти простыя наблюденія человѣка надъ особенностями земли, воздуха и растений были великими и чрезвычайно важными открытіями; именно по своей важности они сдѣлались общимъ достояніемъ трудящейся массы; они навсегда слились съ жизнью, и въ этомъ отношеніи они оставили далеко за собой все послѣдующія открытія, болѣе замысловатыя и до сихъ поръ еще не успѣвшія пробить себѣ дорогу въ трудовую жизнь простого и бѣднаго человѣка. Въ настоящее время физическій трудъ и наука на всемъ пространствѣ земного шара находятся между собой въ полномъ разрывѣ. Физическій трудъ пробавляется до сихъ поръ бѣдными жалкими начатками науки, которые выработаны человѣческими умами въ до-историческія времена; а наука въ это время накапливаетъ груды великихъ истинъ, которыя остаются почти безплодными, потому что масса не умѣетъ ни понимать ихъ, ни пользоваться ими.

Читатель мой вѣроятно привыкъ читать и слышать, что девятнадцатый вѣкъ есть вѣкъ промышленныхъ чудесъ; вслѣдствіе этого читателю покажутся странными мои слова о разрывѣ между физическимъ трудомъ и наукой. Да, точно. Люди понемногу начинаютъ братья за умъ, но они берутся за него такъ вяло и такъ плохо, что мои слова о разрывѣ никакъ не могутъ считаться анахронизмомъ. Промышленными чудесами рѣшительно не слѣдуетъ обольщаться. Паровозъ, пароходъ, телеграфъ—все это штуки очень хорошія и очень полезныя, но существованіе этихъ штукъ доказываетъ только, что есть на свѣтѣ правительства и акціонерныя компаніи, которыя понимаютъ пользу и важное значеніе подобныхъ открытій. Русскій мужикъ ѣдетъ по желѣзной дорогѣ; купецъ телеграфируетъ другому купцу о какой-нибудь перемѣнѣ цѣнъ. Мужикъ размышляетъ, что славная эта штука чугунка; купецъ тоже философствуетъ, что очень хитро устроена эта проволока. Но скажите на милость: пробуждаютъ-ли эти промышленныя чудеса самодѣятельность мысли въ головахъ мужика и купца? Проѣхалъ мужикъ по чугункѣ, воротился въ свою курную избу и попрежнему ведетъ дружбу съ тараканами, попрежнему лечится нашептываніями знахарки и попрежнему обрабатываетъ донотопными орудіями свою землю,

которая попрежнему остается раздѣленной на три клѣны—озимый, яровой и паръ. А купецъ, отправивъ телеграфическую депешу, попрежнему отбираетъ силой у своихъ дѣтей всякія книги и попрежнему твердо убѣжденъ въ томъ, что торговать безъ обмана значитъ быть сумасшедшимъ человѣкомъ и стремиться къ неизбѣжному разоренію. Паровозъ и телеграфъ пришиты снаружи къ жизни мужика и купца, но они нисколько не срослись съ ихъ полудинкой жизнью.

Когда простой человѣкъ, оставаясь простымъ и темнымъ человѣкомъ, входитъ въ близкія и ежедневныя сношенія съ промышленными чудесами, тогда его положеніе становится уже изрукъ вонъ плохо. Посмотрите, въ какихъ отношеніяхъ находятся между собой фабричная машина и фабричный работникъ. Чѣмъ сложнѣе и великолѣпнѣе машина, тѣмъ тупѣе и бѣднѣе работникъ. На фабрикѣ являются два совершенно различные вида человѣческой породы: одинъ видъ господствуетъ надъ природой и силой своего ума подчиняетъ себѣ стихіи; другой видъ находится въ услуженіи у машины, не умѣетъ понять ея сложное устройство и даже не задаетъ себѣ никакихъ вопросовъ о ея пользѣ, о ея цѣли, о ея вліяніи на экономическую жизнь общества. До вопросовъ-ли тутъ, когда надо подкладывать уголь подъ котелъ или ежеминутно открывать и закрывать какой-нибудь клапанъ? И такимъ образомъ машина, изобрѣтенная знающимъ человѣкомъ, подавляетъ незнающаго человѣка, подавляетъ потому, что между наукой съ одной стороны и трудящейся массой съ другой стороны лежитъ широкая бездна, которую долго еще не ухитрятся завалить самые великіе и самые человѣколюбивые мыслители. Если работникъ такъ мало развитъ, что у него нѣтъ сознательнаго чувства самосохраненія, то машина закабалитъ этого работника въ самое безвыходное рабство,—въ то рабство, которое основано на умственной и вещественной бѣдности поработаемой личности. Машины должны составлять для человѣчества источникъ довольства и счастья, а на повѣрку выходятъ совсѣмъ другая исторія: машины родятъ пауперизмъ, то-есть хроническую и неизлечимую бѣдность. А почему это происходитъ? Потому что машины, какъ сибѣ на голову, сваливаются изъ высшихъ сферъ умственного труда въ такую темную и жалкую среду, которая рѣшительно ничѣмъ не приготовлена къ ихъ принятію. Простой работникъ слишкомъ необразованъ, чтобы сдѣлаться сознательнымъ повелителемъ машины; поэтому онъ немедленно становится ея рабомъ. Видите такимъ образомъ, что промышленныя чудеса превосходно уживаются съ тѣмъ печальнымъ и страшнымъ разрывомъ, который существуетъ между наукой и физическимъ трудомъ.

Вѣкъ машинъ требуетъ непременно добровольныхъ ассоціацій между работниками, а такія разумныя ассоціаціи возможны только тогда, когда работники находятся уже на довольно высокой степени умственного развитія. Если же работники, сталкиваясь съ машинами, продолжаютъ дѣйствовать въ разсыпную, то въ рабочемъ населеніи развиваются немедленно съ изумительной силой и быстротой бѣдность, тупость и деморализация. Представьте себѣ, что въ какомъ-нибудь округѣ пятьсотъ семействъ добываютъ себѣ насущный хлѣбъ производствомъ полотентъ. Зарботки ихъ не очень богаты, но все они по крайней мѣрѣ сыты, одѣты и даже откладываютъ кое-какіе гроши про черный день. Вдругъ какой-нибудь механикъ придумываетъ превосходный ткацкій станокъ, который приводится въ движеніе силой пара и производитъ въ одинъ день столько полотна, сколько простой работникъ сдѣлаетъ въ мѣсяць. Дай Богъ здоровья механику за его превосходное изобрѣтеніе, но для нашихъ пятисотъ семействъ новый ткацкій станокъ равняется страшному урожаю, громадному пожару, наводненію или вообще какому-нибудь жестокому естественному бѣдствію. Новая машина такъ дорога, что ни одно семейство не въ силахъ купить ее на свои собственные сбереженные деньги, а работать по старому уже невозможно, потому что изобрѣтеніе механика произвело очень сильное пониженіе цѣны на полотно, и ручной трудъ уже не окупается. Еслибы двадцать или тридцать семействъ сложили вмѣстѣ свои крошечныя капиталы, то они могли-бы купить машину, устроить небольшую фабрику и потомъ дѣлить между собой барыши соразмѣрно съ внесенными суммами. Но можно сказать навѣрное, что они этого не сдѣлаютъ; во-первыхъ, никому изъ нихъ эта простая мысль не придетъ въ голову; во-вторыхъ—еслибы даже она пришла въ голову одному изъ этихъ работниковъ, то она не нашла-бы себѣ сочувствія въ другихъ рабочихъ; сейчасъ явилось-бы на сцену то тупое и безпричинное недовѣріе, которымъ обыкновенно страдаютъ люди, не привыкшіе думать, и которое такъ превосходно воплощено Гоголемъ въ личности помѣщицы Коробочки; въ-третьихъ—еслибы даже компанія дѣйствительно составила, то она черезъ два-три мѣсяца распалась-бы врозь, потому что акціонеры, непривычныя къ коллективной дѣятельности, перессорились-бы между собой, завели-бы кляузы и процессы или погубили-бы свое общее дѣло небрежностью. На основаніи всѣхъ этихъ и многихъ другихъ причинъ, компанія не составляется, и ткачи, задавленные превосходствомъ новой машины, прекращаютъ свое производство, отправляются на сосѣднюю фабрику и поступаютъ туда въ поденщики. Такимъ образомъ кладется краеваточный камень того прочнаго зданія, которое

называется пауперизмомъ. Какъ вамъ это нравится? Практическое приложеніе научнаго открытія увеличиваетъ массу человѣческихъ страданій!

И такія трагическія недоразумѣнія между наукой и жизнью будутъ повторяться до тѣхъ поръ, пока не прекратится гибельный разрывъ между трудомъ мозга и трудомъ мускуловъ. Пока наука не перестанетъ быть барской роскошью, пока она не сдѣлается насущнымъ хлѣбомъ жаждождороваго человѣка, пока она не проникнетъ въ голову ремесленника, фабричнаго работника и простого мужика, до тѣхъ поръ бѣдность и безнравственность трудящейся массы будутъ постоянно усиливаться, несмотря ни на проповѣди моралистовъ, ни на подаянія филантроповъ, ни на выкладки экономистовъ, ни на теоріи социалистовъ. Есть въ человѣчествѣ только одно зло—невѣжество; противъ этого зла есть только одно лекарство—наука; но это лекарство надо принимать не гомеопатическими дозами, а ведрами и сороковыми бочками. Слабый пріемъ этого лекарства увеличиваетъ страданія больного организма. Сильный пріемъ ведетъ за собой радикальное исцѣленіе. Но трусость человѣческая такъ велика, что спасительное лекарство считается ядовитымъ.

XXXII.

Надо распространять знанія—это ясно и несомнѣнно. Но какъ распространять?—вотъ вопросъ, который, заключая въ себѣ всю сущность дѣла, никакъ не можетъ считаться окончательно рѣшеннымъ. Взять въ руки азбуку и пойти учить грамотѣ мѣщанъ и мужиковъ—это конечно дѣло доброе; но не думаю я, чтобы эта филантропическая дѣятельность могла привести за собой то сліяніе науки съ жизнью, которое можетъ и должно спасти людей отъ бѣдности, отъ предразсудковъ и отъ пороковъ. Во-первыхъ, все труды частныхъ лицъ по дѣлу народнаго образованія до сихъ поръ носятъ на себѣ или чисто-филантропическій, или нагло-спекулятивный характеръ. Во-вторыхъ, всякая школа, а народная тѣмъ болѣе, имѣетъ замѣчательную способность превращать самую живую науку въ самый мертвый учебникъ или въ самую приторную христоматию. Чистая филантропія проявлялась у насъ въ тѣхъ школахъ, въ которыхъ преподаватели занимались своимъ дѣломъ бесплатно. Наглая спекуляція свирѣпствуетъ до сихъ поръ въ тѣхъ книжкахъ для народа, которыя продаются по пятачку и по три копейки. Объ этомъ послѣднемъ явленіи распространяться не стоитъ, потому что каждая изъ подобныхъ книжекъ собственной наружностью кричитъ достаточно громко о своей непозволительной гнусности. Но о филантропіи поговорить не мѣшаетъ, потому что филантропическая дѣятельность притягиваетъ къ себѣ силы очень хо-

рошнихъ людей, которые могли бы принести обществу дѣлу гораздо больше пользы, еслибы принимались за работу иначе.

Нѣтъ того добраго дѣла, за которое, въ разныхъ мѣстахъ и въ разные времена, не хватывалась-бы филантропія; и нѣтъ того предпріятія, въ которомъ филантропія не потерпѣла бы самаго полнаго пораженія. Характеристическій признакъ филантропіи заключается въ томъ, что, встрѣчаясь съ какимъ-нибудь видомъ страданія, она старается поскорѣй укротить боль, вмѣсто того чтобы дѣйствовать противъ причины болѣзни. Мать слышитъ напримѣръ плачь своего ребенка, у котораго болитъ животъ. — На, батюшка, на, говоритъ она ему, пососи конфетку. — Пріятное ощущеніе во рту дѣйствительно перевѣшиваетъ на минуту боль въ желудкѣ, которая еще не успѣла развиться до слѣдующихъ большихъ размѣровъ. Ребенокъ затихаетъ, но болѣзнь, не остановленная во-время, усиливается, и тогда уже не помогаетъ никакое сосаніе конфетокъ. Такая любящая, но недалековидная мать представляетъ собой чистѣйшій типъ искренняго филантропа. Что филантропія русскаго кунечества плодитъ нищихъ, которыхъ содержаніе лежитъ тяжелымъ бременемъ на трудищейся массѣ, это всѣмъ извѣстно. А что бросить грошъ нищему гораздо легче, чѣмъ задумываться надъ причинами нищества, это тоже не подлежитъ сомнѣнію.

Люди, посвящавшіе свои силы и свое время преподаванію въ народныхъ школахъ, по числотѣ стремленій и по высотѣ умственнаго развитія стояли конечно неизмѣримо выше нищелюбивыхъ кунцовъ. Но, надо сказать правду, они были такъ-же недалковы, какъ и всѣ остальные филантропы. Они видѣли зло — не-дѣйствительность. Не вглядываясь въ глубокія причины этого зла, они сейчасъ при первой возможности хватились за лекарство. Народъ ничего не знаетъ; ну, значить, надо учить народъ. Разсужденіе повидимому такъ вѣрно и такъ просто, что оно должно придти въ голову всякому ребенку и что съ нимъ долженъ согласиться всякій мыслитель. А между тѣмъ разсужденіе это поверхностно и ошибочно. Почему народъ ничего не знаетъ? Во-первыхъ потому, что ему неудобно было учиться; мѣшало крѣпостное право. Допустимъ, что въ настоящее время обстоятельства измѣнились; явилась возможность учиться. Но одной возможности еще недостаточно. Ученіе есть все-таки трудъ, а человѣкъ никогда не принимается за трудъ безъ внешней или внутренней побудительной причины. Если нѣтъ побудительной причины, то и филантропическое преподаваніе останется безплоднымъ; а если есть побудительная причина, то народъ самъ выучится всему, что ему дѣйствительно необходимо знать, то-есть всему, что можетъ доставить ему въ жизни какія-нибудь

осязательныя выгоды. Онъ выучится урывками, самоучкой, помимо школы, и такое знаніе, взлѣтанное каждымъ отдѣльнымъ ученикомъ съ страстной и сознательной любовью, будетъ, разумѣется, неизмѣримо прочнѣе, живучѣе и способнѣе къ дальнѣйшему развитію, чѣмъ то знаніе, которое методически и систематически вливается учителемъ въ пассивныя головы равнодушныхъ школьниковъ. Какъ вы думаете: кто богаче, тотъ-ли человѣкъ, который самъ выработалъ тысячу рублей, или тотъ, которому вы подарили двѣ тысячи? Что касается до меня, то я, въ обиду всѣмъ правиламъ ариметики, скажу смѣло, что первый гораздо богаче второго. — Стало-быть, чтобы дать простымъ людямъ тѣ выгоды, которыя доставляются образованіемъ, надо создать ту побудительную причину, о которой я говорилъ выше. То-есть надо сдѣлать такъ, чтобы во всей русской жизни усилился запросъ на умственную дѣятельность. Другими словами, надо увеличить число мыслящихъ людей въ тѣхъ классахъ общества, которые называются образованными. Въ этомъ вся задача. Въ этомъ альфа и омега общественнаго прогресса. Если вы хотите образовывать народъ, возвышайте уровень образованія въ цивилизованномъ обществѣ.

Итакъ, повторяю вопросъ, поставленный въ началѣ этой главы: какимъ-же образомъ надо распространять знанія? А вотъ отвѣтъ на этотъ вопросъ: пусть каждый человѣкъ, способный мыслить и желающій служить обществу, дѣйствуетъ собственнымъ примѣромъ и своимъ непосредственнымъ вліяніемъ въ томъ самомъ кружкѣ, въ которомъ онъ живетъ постоянно, и на тѣхъ самыхъ людей, съ которыми онъ находится въ ежедневныхъ сношеніяхъ. Учитесь сами и вовлекайте въ сферу вашихъ умственныхъ занятій вашихъ братьевъ, сестеръ, родственниковъ, товарищей, всѣхъ тѣхъ людей, которыхъ вы знаете лично и которые питаютъ къ вашей особѣ довѣріе, сочувствіе и уваженіе. Если умѣете писать — пишите о предметѣ вашихъ занятій; если не чувствуете расположенія къ литературной дѣятельности, говорите о немъ съ тѣми людьми, у которыхъ уже пробудилась любознательность и на которыхъ вы можете имѣть прочное вліяніе. Эта дѣятельность внутри собственнаго кружка многимъ нетерпѣливымъ людямъ покажется чрезвычайно скромной и даже мизерной; я согласенъ съ тѣмъ, что въ такой дѣятельности нѣтъ ничего эффектнаго и блестящаго. Но именно поэтому-то она и хороша. Всякій разсудительный читатель, вдумавшись въ настоящую сущность дѣла, придетъ къ тому заключенію, что только дѣятельность, лишенная всякаго блеска и эффекта, можетъ повести за собой прочныя результаты. Такая дѣятельность, по своей наружной мизерности, не возбуждаетъ противъ себя филистерскихъ сте-наній, а подъ конецъ и омажется, что младшіе

братья и дѣти самыхъ заклѣтыхъ филистеровъ сдѣлались реалистами и прогрессистами.

Весь ходъ историческихъ событій всегда и вездѣ опредѣлялся до сихъ поръ количествомъ и качествомъ умственныхъ силъ, заключающихся въ тѣхъ классахъ общества, которые не завлены нищетою и физическимъ трудомъ. Когда общественное мнѣніе пробудилось, тогда уже очень крупныя эксцентричности въ исторической жизни становятся крайне неудобными и даже невозможными, хотя-бы общественное мнѣніе и не имѣло еще никакого опредѣленного органа для заявленія своихъ требованій. Общественное мнѣніе, если оно дѣйствительно сильно и разумно, просачивается даже въ тѣ закрытыя лабораторіи, въ которыхъ готовятся историческія событія. Искусные химики, работающіе въ этихъ лабораторіяхъ, сами живутъ все-таки въ обществѣ и незамѣтно для самихъ себя пропитываются тѣми идеями, которыя носятъ въ воздухѣ. Нѣтъ той личности и той замкнутой корпораціи, которыя могли-бы считать себя вполне застрахованными противъ незамѣтнаго и нечувствительнаго вліянія общественнаго мнѣнія. Иногда общественное мнѣніе дѣйствуетъ на исторію открыто, механическимъ путемъ. Нокромъ того оно дѣйствуетъ еще химическимъ образомъ, давая незамѣтно то или другое направленіе мыслямъ самихъ руководителей. Такимъ образомъ даже историческія событія подчиняются до нѣкоторой степени общественному мнѣнію. А внутренняя сторона исторіи, то-есть экономическая дѣятельность, почти всяцѣлкомъ находится въ рукахъ общества. Оживить народный трудъ, дать ему здоровое и разумное направленіе, внести въ него необходимое разнообразіе, увеличить его производительность примѣненіемъ познанныхъ научныхъ истинъ, — все это дѣло образованныхъ и достаточныхъ классовъ общества, и никто изъ этихъ классовъ не можетъ ни взяться за это дѣло, ни привести его въ исполненіе. Въ какой-бы экономической или социальной доктринѣ примыкалъ тотъ или другой писатель, во всякомъ случаѣ осязательные историческіе и бытовые факты для всѣхъ писателей остаются неизмѣнными. И что-же говорятъ намъ эти факты? То, что до сихъ поръ, всегда и вездѣ, въ той или другой формѣ, физическій трудъ былъ управляемъ капиталомъ. А накопленіе капитала всегда основано на физическомъ или умственномъ превосходствѣ того лица, которое накапливаетъ. Кто сильнѣе или умнѣе другихъ, тотъ и богаче. Впослѣдствіи, разумѣется, капиталъ самъ получаетъ притягательную силу: «деньга деньги родитъ», какъ говоритъ русская поговорка. Но первое начало этой «денеги» заключается въ физическомъ или умственномъ неравенствѣ между людьми. А это неравенство, какъ явленіе живой природы, не подлежитъ конечно реформирующему вліянію человѣка.

Перевороты въ исторіи было очень много; падали и политическія, и религіозныя формы; но господство капитала надъ трудомъ вышло изъ всѣхъ переворотовъ въ полнѣйшей неприкосновенности. Историческій опытъ и простая логика говорятъ намъ съ одинаковою убѣдительною, что умные и сильные люди всегда будутъ одерживать перевѣсъ надъ слабыми и тупыми или притупленными. Поэтому возмущаться противъ того факта, что образованные и достаточные классы преобладаютъ надъ трудящеюся массою, значило-бы стучаться головою въ несокрушимую и непоколебимую стѣну естественнаго закона. Одинъ классъ можетъ смѣняться другимъ классомъ, какъ на примѣрѣ во Франціи родовая аристократія смѣнилась богатой буржуазіей, но законъ остается ненарушимымъ. Значитъ, при встрѣчѣ съ такимъ неотразимымъ проявленіемъ естественнаго закона, надо не возмущаться противъ него, а напротивъ того дѣйствовать такъ, чтобы этотъ неизбѣжный фактъ обратился на пользу самого народа. У капиталиста есть умъ и богатство. Эти два преимущества упрочищаютъ за нимъ господство надъ трудомъ. На господство это, смотря по обстоятельствамъ, можетъ быть вредно или полезно для народа. Если вы дадите этому капиталисту кое-какое смутное полуобразование, — онъ сдѣлается пиявкой. А дайте ему полное, прочное, чисто-человѣческое образование — и тотъ-же самый капиталистъ сдѣлается не благодѣтельнымъ филантропомъ, а мыслящимъ и разсчетливымъ руководителемъ народнаго труда, то-есть такимъ человѣкомъ, который во сто разъ полезнѣе всякаго филантропа. Откройте умному человѣку доступъ къ тѣмъ сильнѣйшимъ наслажденіямъ, которыя мы находимъ въ умственномъ трудѣ и въ полезной дѣятельности, и этотъ человѣкъ, кто-бы онъ ни былъ, миллионеръ или пролетарій, непременно пристрастится къ этимъ наслажденіямъ и непременно пойметъ, что быть превосходнымъ общественнымъ дѣтелемъ пріятнѣе, чѣмъ извлекать изъ своего капитала какіе-бы то ни было жидовскіе проценты. Разбудить общественное мнѣніе и сформировать мыслящихъ руководителей народнаго труда — значитъ открыть трудящемуся большинству дорогу къ широкому и плодотворному умственному развитію. А чтобы выполнить эти двѣ задачи, отъ разрѣшенія которыхъ зависитъ вся будущность народа, надо дѣйствовать исключительно на образованные классы общества. Судьба народа рѣшается не въ народныхъ школахъ, а въ университетахъ. Распространеніе грамотности конечно ничему не мѣшаетъ, но жалъ, если на этотъ трудъ употребляются такіе силы, которыя могли-бы дѣлать въ высшихъ сферахъ мысли и въ болѣе обширномъ кругу. — У насъ такихъ силъ еще очень немного, и люди, одаренные ими, должны изъ любви къ дѣлу своей жизни рас-

ходовать их съ величайшей осмотрительностью. Филантропическими вспышками увлекаться не слѣдуетъ. Надо дѣлать то, что цѣлесообразно, а не то, что красиво, трогательно и похвально съ точки зрѣнія сердечной мягкости.

Вотъ меня опять обвинять въ пристрастіи къ парадоксамъ за мое откровенное мнѣніе о распространѣніи грамотности. Но я долго и упорно размышлялъ объ этомъ предметѣ и старался высказать свою мысль какъ можно проще, серьезнѣе и скромнѣе. Поэтому я-бы желалъ, чтобы мнѣ возражали на эту мысль основательными доводами, а не восклицаніями о моемъ неискреннемъ чудачествѣ. Мнѣ кажется, оно и для дѣла было-бы полезнѣе.

XXXIII.

Въ наукѣ, и только въ ней одной, заключается та сила, которая, независимо отъ историческихъ событій, можетъ разбудить общественное мнѣніе и сформировать мыслящихъ руководителей народнаго труда. Если наука въ лицѣ своихъ лучшихъ представителей примется за рѣшеніе этихъ двухъ задачъ и сосредоточитъ на нихъ всѣ свои силы, то губительный разрывъ между наукой и физическимъ трудомъ прекратится очень скоро, и наука втеченіи какихъ-нибудь десяти или пятнадцати лѣтъ подчинитъ всѣ отрасли физическаго труда своему прочному, разумному и благодѣтельному вліянію. Но я уже замѣтилъ въ предыдущей главѣ, что всякая школа обыкновенно превращаетъ живую науку въ мертвый учебникъ. Ученикъ является въ школѣ пассивнымъ лицомъ. Научныя истины лежатъ въ его головѣ безъ движенія, въ томъ самомъ видѣ, въ которомъ онѣ положены туда преподавателемъ или руководствомъ. Если въ головѣ ученика состоялось до начала ученія какое-нибудь ошибочное понятіе, то это понятіе очень часто продолжаетъ жить самымъ дружелюбнымъ образомъ рядомъ съ такой научной истиной, которая находится съ нимъ въ очевидномъ и непримиримомъ противорѣчіи. Урокъ самъ по себѣ, а жизнь сама по себѣ. Можетъ-быть это происходитъ отъ молодости лѣтъ, а можетъ-быть и отъ общепринятой манеры преподаванія. Последнее предположеніе кажется мнѣ болѣе правдоподобнымъ. У дѣтей нѣтъ недостатка въ живости и логичности мышленія, но у нихъ нѣтъ той умственной настойчивости, которая необходима для того, чтобы процессъ мышленія дошелъ до какого-нибудь окончательнаго результата. Дѣти по поводу своихъ уроковъ часто предлагаютъ учителю очень мѣткіе и остроумные вопросы; иногда эти вопросы приводятъ учителя въ немалое смущеніе своимъ неожиданнымъ и неопозволительнымъ радикализмомъ; но учитель — человѣкъ ловкій и политичный; онъ быстро производитъ искусную диверсію, принимаетъ на себя вышительную

осанку или произноситъ съ важнымъ видомъ глубокомысленную чепуху, и умственная самодѣтельность, только что зашевелившаяся въ живой головѣ ученика, опять усыпляется на долго, а можетъ-быть и навсегда.

Былъ у меня въ университетѣ одинъ товарищъ, человѣкъ неглупый, студентъ работающій и дѣльный. Онъ ухитрился дойти до третьяго курса безъ всякаго міросозерцанія. Даже вопросовъ и сомнѣній никакихъ не являлось. Но однажды ему пришлось переводить по заказу какую-то астрономическую статью Бабинѣ или Араго, или какого-то другого французскаго ученаго. Эта статья поставила въ его головѣ все вверхъ дномъ, и началась та умственная перестройка, которую непременно приходится переживать каждому человѣку, прикоснувшемуся къ живому знанію. Въ этомъ простомъ случаѣ любопытно слѣдующее обстоятельство: статья французскаго астронома не заключала въ себѣ никакихъ полемическихъ тенденцій; она излагала яснымъ и живымъ языкомъ тѣ самыя старыя научныя истины, которыя мой товарищъ уже два раза усваивалъ себѣ въ гимназій, въ первыхъ, по введенію въ географію Ободовскаго, а во-вторыхъ — по математической географіи Талызина. Но таковы уже спеціальныя достоинства учебниковъ и школьнаго преподаванія: книга, не тронутая школьнымъ педантизмомъ, вызываетъ живую дѣятельность мысли и прохватываетъ насквозь всѣ убѣжденія читателя тѣми самыми истинами, которыя, красуясь на страницахъ учебника, не возбуждаютъ въ мальчишкѣ или въ юношѣ ничего, кромѣ истерической зѣвоты и лѣниваго отвращенія.

Кто дорожитъ жизнью мысли, тотъ знаетъ очень хорошо, что настоящее образованіе есть только самообразованіе и что оно начинается только съ той минуты, когда человѣкъ, распростившись навсегда со всѣми школами, дѣлается полнымъ хозяиномъ своего времени и своихъ занятій. Университетъ только въ томъ отношеніи и лучше другихъ школъ, что онъ предоставляетъ учащемуся гораздо больше самостоятельности. Но если вы, окончивши курсъ въ университетѣ, отложите всякое попеченіе о вашемъ дальнѣйшемъ образованіи, то вы по гробъ жизни останетесь очень необразованнымъ человѣкомъ. Кто разъ полюбилъ науку, тотъ любитъ ее на всю жизнь и никогда не расстаётся съ ней добровольно. А кто знаетъ науку такъ мало, что еще не успѣлъ привязаться къ ней всѣми силами своего существа, тотъ не имѣетъ ни малѣйшей причины считать себя образованнымъ человѣкомъ. Надо учиться въ школѣ, но еще гораздо больше надо учиться по выходѣ изъ школы, и это второе ученіе, по своимъ послѣдствіямъ, по своему вліянію на человѣка и на общество, неизмѣримо важнѣе перваго. Стало-быть, кто хочетъ содѣйствовать успѣхамъ обра-

зованія, тотъ долженъ прежде всего обращать вниманіе на то ученіе, которое производится послѣ школы и помимо школы. Что читаетъ общество и какъ оно относится къ своему чтенію, то-есть видитъ-ли оно въ немъ препровожденіе времени или живое и серьезное дѣло, — вотъ вопросы, которые прежде всего долженъ себѣ поставить человѣкъ, желающій внести науку въ жизнь. Господствующій вкусъ общества и его взглядъ на чтеніе зависятъ отчасти отъ общихъ историческихъ причинъ; но отчасти, и притомъ въ очень значительной степени, они зависятъ также отъ личныхъ свойствъ тѣхъ людей, которые пишутъ для общества. Слабые, дряхлые, безцвѣтные и бездарные писатели подчиняютъ свою дѣятельность прихотямъ общественнаго вкуса и капризамъ умственной моды. Но писатели, сильные талантомъ, знаніемъ и любовью къ идеѣ, идутъ своей дорогой, не обращая никакого вниманія на мимолетныя фантазіи общества. Умственная энергія такихъ писателей сама по себѣ дѣлается иногда такимъ событіемъ, которое обращаетъ на себя вниманіе общества и даже создаетъ новую моду. Яркость таланта и сила убѣжденія могутъ сдѣлать то, что въ обществѣ, всегда смотрѣвшемъ на книгу какъ на нѣкоторую игру облагороженнаго вкуса, зародится серьезный взглядъ на чтеніе и возникнетъ законная потребность прикидывать мѣрку чистой и свѣтлой идеи къ сдѣлкамъ и продѣлкамъ дѣйствительной жизни. Общество начнетъ понемногу понимать, что умныя мысли кладутся на бумагу не для того, чтобы оставаться въ хорошихъ книжкахъ. — Умиляешься, другъ любезный, надъ хорошей книжкой, такъ не слишкомъ пакости-же и въ жизни!

Благодаря Гоголю, Бѣлинскому, Некрасову, Тургеневу, Достоевскому, Добролюбову и немногимъ другимъ, очень замѣчательнымъ и добросовѣстнымъ писателямъ, наше общество уже додумалось до этого умозаключенія. Стѣна между книжной мыслью и дѣйствительной жизнью пробита навсегда. Мысль писателя смотритъ на дѣйствительную жизнь, а жизнь понемногу всасываетъ въ себя питательные элементы теоретической мысли. То, что сдѣлано на этомъ пути нашими предшественниками, значительно облегчаетъ собой задачу современныхъ писателей. Дайте обществу, что хотите — научный трактатъ, газетный очеркъ какихъ-нибудь новѣйшихъ событий, критическую статью по литературѣ, романъ, стихотвореніе — все равно: вамъ ужъ не будетъ надобности пробивать ледяную кору равнодушія, невниманія и непониманія; если есть въ вашемъ трудѣ что-нибудь полезное, общество посмотритъ и пойметъ, и подумаетъ; и мысль ваша западетъ въ ту глубину, въ которой вырабатываются и созрѣваютъ общественныя убѣжденія. При такихъ условіяхъ и жить можно, и работать можно. Есть уже точка опоры,

съ которой можно начать дѣло сближенія между теоретическимъ знаніемъ и вседневной жизнью. Общество уже не прочь отъ того, чтобы видѣть въ чтеніи путь къ самообразованію, а въ самообразованіи — путь къ практическому благоумію и совершенствленію. Давайте обществу матеріалы — оно ихъ возьметъ и воспользуется ими, и скажетъ вамъ спасибо; но *давайте* непременно. Само-собой, безъ содѣйствія литературныхъ посредниковъ общество не въ силахъ пойти за матеріалами, разрыть ихъ громаду, выбрать и усвоить себѣ именно то, что ему необходимо. Общество уже любитъ и уважаетъ науку; но эту науку все-таки надобно *популяризовать*, и популяризовать съ очень большимъ умѣньемъ. Можно сказать безъ малѣйшаго преувеличенія, что популяризованіе науки составляетъ самую важную всемірную задачу нашего вѣка. Хорошій популяризаторъ, особенно у насъ въ Россіи, можетъ принести обществу гораздо больше пользы, чѣмъ даровитый изслѣдователь. Изслѣдованій и открытій въ европейской наукѣ набралось уже очень много. Въ высшихъ сферахъ умственной аристократіи лежить огромная масса идей; надо теперь всѣ эти идеи сдвинуть съ мѣста, надо размѣнять ихъ на мелкую монету и пустить ихъ въ общее обращеніе. Тогда только и можно будетъ оцѣнить въ полномъ объемѣ, съ одной стороны, глубину, красоту и практическую силу научныхъ идей, а съ другой стороны — гибкость и плодовитость человѣческаго ума, который тогда впервые отдастъ себѣ отчетъ въ своихъ собственныхъ подвигахъ. Это сближеніе мыслителей съ обществомъ непременно поведетъ за собой сближеніе общества съ народомъ, — то сближеніе, которое при всякомъ другомъ образѣ дѣйствій конечно останется навсегда маниловскою фантазіей «Эпохи» и «Дня».

Необходимость популяризовать науку до такой степени очевидна, что, кажется, и распространяться объ этомъ не слѣдуетъ. Не значитъ-ли это унижать великую истину риторическими деламациями? Нѣтъ, совсѣмъ не значитъ. У насъ и великія истины еще требуютъ доказательствъ. — У насъ одинъ писатель, и притомъ изъ молодыхъ, и притомъ бывшій студентъ естественнаго факультета, доказывалъ недавно очень горячо и даже съ нѣкоторымъ озлобленіемъ, что науку не зачѣмъ популяризовать и что такимъ дѣломъ могутъ заниматься только шарлатаны и верхогляды. Этого писателя зовутъ Аверкіевъ, а горячится онъ въ «Эпохѣ», во второй части своей статьи: «Университетскіе отцы и дѣти». Этотъ Аверкіевъ, пламенный поклонникъ и неудавшійся подражатель покойнаго Аполлона Григорьева, очень сердится за что-то на Карла Фохта, повидимому за то, что Фохтъ не похожъ на Григорьева. Разсердившись на Фохта собственно съ этой спеціальной стороны, Авер-

Кіевъ утверждаетъ, что популярныя сочиненія «Физиологія» Льюиса написана гораздо понятнѣе и занимательнѣе, чѣмъ «Физиологическія письма» Фохта, это чистая правда. Но опять-таки что-же изъ этого слѣдуетъ? То, что Льюисъ популяризируетъ лучше Фохта. Это несомнѣнно. И Бюхнеръ также, какъ популяризаторъ, стоитъ выше Фохта. Я подразумѣваю здѣсь «Физиологическія картины», которыя по ясности и увлекательности изложенія далеко оставляютъ за собой «Физиологическія письма». Я видѣлъ собственными глазами, что двадцатилѣтняя дѣвушка, не имѣвшая никакого понятія о физиологіи, съ величайшимъ увлеченіемъ, почти не отрываясь отъ книги, прочитала три большія статьи изъ «Физиологическихъ картинъ» Бюхнера. Эти три статьи были: «Сердце и кровь», «Воздухъ и легкія» и «Жизнь и теплота». Кто читалъ эту книгу Бюхнера, тотъ знаетъ очень хорошо, что въ ней нѣтъ и намекъ на тѣ скандальныя приности, которыми занимаютъ своихъ читателей французскіе негодяи, подобные Дебе и Жуванселю. Стало-быть, дѣвушка, незнакомая съ физиологіей, была привлечена исключительно интересомъ предмета и мастерствомъ изложенія. Мнѣ кажется, этотъ опытъ говорить громче всякихъ умозрѣній, и писатель, достигающій такихъ блестящихъ результатовъ, имѣетъ полное право считаться образцовымъ популяризаторомъ. Такимъ популяризаторомъ можетъ сдѣлаться далеко не всякій желающій. При всемъ своемъ умѣ, при своемъ блестящемъ литературномъ талантѣ, при своихъ обширныхъ занятіяхъ, Карлъ Фохтъ въ этомъ отношеніи все-таки стоитъ ниже Бюхнера, котораго онъ превосходитъ во всѣхъ другихъ отношеніяхъ. Оно и понятно. По своему образованію Фохтъ—дѣльный натуралистъ. Но по всему складу своего ума и характера онъ—политическій дѣятель. Его настоящее мѣсто не на профессорской кафедрѣ, а на парламентской трибунѣ. Но когда надо просто рассказывать, излагать факты, тогда Фохтъ ясенъ, спокоенъ, точенъ и часто сухъ. Нѣтъ у него той ровной пластичности изложенія, которая составляетъ одно изъ главныхъ достоинствъ первокласснаго популяризатора.

Популяризаторъ непремѣнно долженъ быть художникомъ слова, и высшая, прекраснѣйшая, самая человѣческая задача искусства состоитъ именно въ томъ, чтобы слиться съ наукой и посредствомъ этого слиянія дать наукѣ такое практическое могущество, котораго она не могла-бы пріобрѣсти исключительно своими собственными средствами. Наука даетъ матеріалъ художественному произведенію, въ которомъ все—правда, и все—красота; самая смѣлая фантазія не можетъ ничего придумать. Такія художественныя произведенія чловѣкъ создаетъ еще впоследствии, когда онъ много поумнѣетъ и еще многому научится; но робкія попытки, превосходныя для нашего времени, существуютъ въ этомъ родѣ и

теперь. Я могу указать на огромную книгу Брема: «Иллюстрированная жизнь животных», о которой мы впрочем будем еще говорить съ нашими читателями довольно подробно. Эта книга задумана въ громадных размѣрахъ, написана самымъ простымъ и увлекательнымъ языкомъ, съ удивительнымъ знаніемъ дѣла, съ удивительнымъ пониманіемъ характера и ума различныхъ животныхъ и съ самой здоровой, неподкрашенной любовью къ природѣ и къ жизни во всѣхъ ея проявленіяхъ. Весь рассказъ проникнутъ ровнымъ, спокойно-веселымъ и постоянно-естественнымъ юморомъ. Читаешь и оторваться не хочется. Такъ читалъ я только въ дѣтствѣ романы Купера и «Трехъ Мушкетеровъ». И къ этому-то изложенію, представьте себѣ, почти на каждой страницѣ картины, рисованныя съ натуры превосходными художниками, сдѣлавшими кругосвѣтное путешествіе, посѣтившими нѣсколько зоологическихъ садовъ въ Европѣ и пользовавшимися совѣтами первоклассныхъ натуралистовъ. Читаешь характеристику какого-нибудь четвероногого чудака, помотришь на его портретъ и дѣйствительно видишь и по рождѣ, и по глазамъ, и по всей его фигурѣ, что онъ способенъ на всѣ тѣ штуки, которыя приписываетъ ему Бремъ. Когда я приобрѣлъ себѣ эту книгу, которая впрочемъ далеко еще не доведена до конца, то я втеченіи нѣсколькихъ дней ни о чемъ не могъ думать, кромѣ Брема. Просто ошалѣлъ отъ радости. И эту великую, именно великую, книгу переводятъ на русскій языкъ. И картины въ ней будутъ совершенно такія-же, какъ въ нѣмецкомъ изданіи. Но—горе переводчикамъ, если они хоть сколько нибудь обезцвѣтятъ рассказъ Брема. Это будетъ одно изъ тѣхъ литературныхъ преступленій, которыхъ не должно прощать обществу. Если издатель догадается послѣ богатаго изданія съ картинами выпустить другое, дешевое, на сѣрой бумагѣ, безъ картинъ, то Бремъ проникнетъ въ каждое грамотное семейство. Такая книга есть историческое событіе въ полномъ и буквальномъ смыслѣ этого слова. Если Бремъ успѣетъ описать всѣ классы животнаго царства такъ, какъ онъ теперь описываетъ млекопитающихъ, то его книга останется на вѣчныя времена не только въ исторіи науки и литературы (это уже само собою разумѣется), но и въ исторіи обще-европейской народной жизни. Невозможно представить себѣ, какое море живой мысли и свѣжаго чувства хлынетъ вмѣстѣ съ этой книгой въ умы всего читающаго человѣчества.

Если неразвитость общества требуетъ, чтобы наука являлась передъ нимъ въ арлекинскомъ костюмѣ, съ погремушками и съ бубенчиками,—это не бѣда. Такой маскарадъ нисколько не унижаетъ науку. Дѣльная и вѣрная мысль все-таки остается дѣльной и вѣрной. А если этой мысли, чтобы проникнуть въ сознаніе общества, надо

украситься прибаутками и подернуться щедринской игривостью, пускай украшается и подергивается. Главное дѣло—проникнуть, а черезъ какую дверь и какой походкой—это рѣшительно все равно. Арлекинистовать можно и должно, если только арлекиниство ведетъ къ дѣлу.

Иные читатели скажутъ, что все это вздоръ, что русская публика можетъ читать серьезныя книги и статьи безъ малѣйшей приправы арлекиниста. Но я отвѣчу на это: господа, говорите за себя! Есть люди, стоящіе ниже васъ по развитію, и эти люди читаютъ только то, что имъ забавляетъ, и они составляютъ въ читающей массѣ большинство. Это видно на примѣръ по тому, что публика выписываетъ журналы чисто ошупью. Лучшій журналъ, когда-либо существовавшій въ Россіи, добродушевскій «Современникъ», имѣлъ блестящій успѣхъ; прекрасно! Но вслѣдъ затѣмъ одинъ изъ самыхъ плоскихъ русскихъ журналовъ, «Время», имѣлъ также блестящій успѣхъ. Чтѣ за притча! Да и притчи никакой нѣтъ. Увидало дитя малое червонецъ: давай его сюда! цаца!—Увидало золоченый орѣхъ: и къ орѣху потянулось. Тоже цаца!—Ну вотъ и надо, чтобы научныя идеи всегда были размалеваны, какъ цацы. Пускай дитя малое играетъ этими цацами. Онѣ помогутъ ему расти; а вырастетъ, такъ и увидитъ, что эта цаца—штука самая отмѣнная. Но само собою разумѣется, что арлекинистовать надо съ большимъ, съ очень большимъ умѣньемъ. Играй и кувиркайся, какъ хочешь, въ своемъ изложеніи, но держи ухо востро, ни на одну секунду не теряй равновѣсія и ни подъ какимъ видомъ не допускай ни малѣйшаго посягательства на то, что составляетъ жизнь и смыслъ твоей идеи. Шутя, но такъ, чтобы каждая твоя шутка была строго разсчитана и чтобы совокупность твоихъ шутокъ выражала всю научную идею, которую ты хочешь провести въ сознаніе твоихъ читателей, всю, какъ есть, безъ искаженій и утаекъ. Если ты соблюдаешь постоянно это условіе,—ты честный и полезный популяризаторъ. Въ противномъ случаѣ, ты поступаешь въ категорію тѣхъ господъ, которые, пуская въ свѣтъ «Физиологію брака», «Тайныя явленія природы» и разныя другія гнусности, прикрываютъ себя тѣмъ благовиднымъ предлогомъ, что мы, дескать, просвѣщаемъ общество.

При недостаткѣ осмотрительности, умѣнья и серьезности во взглядѣ на великую цѣль своей дѣятельности, популяризаторъ очень легко можетъ превратиться въ литературнаго промышленника и унижить науку до проституціи. Но эта проституція заключается не въ смѣхѣ, не въ игривости, не въ юморѣ, а въ безцѣльности, въ безтактности и въ неразборчивости этого смѣха, этой игривости и этого юмора. Когда смѣхъ, игривость и юморъ служатъ средствомъ, тогда все обстоитъ благополучно. Когда они дѣлаются цѣлью—тогда начинается умственное распу-

ство. Для художника, для ученаго, для публициста, для фельетониста, для кого угодно, для всѣхъ существуетъ одно великое и общее правило: *идея прежде всего!* Кто забываетъ это правило, тотъ немедленно теряетъ способность приносить людямъ пользу и превращается въ презрѣннаго паразита. Стоитъ только сравнить «Свистокъ» Добролюбова съ полемическими статьями тепершняго «Современника», чтобы тотчасъ понять на живомъ примѣрѣ, что значить *«идея прежде всего»* и что значить *«все прежде идеи»*. Конечно шутиливый тонъ въ популярно-научныхъ сочиненіяхъ составляетъ только временное явленіе. Когда все читающее общество сбѣдается серьезнѣе въ своемъ взглядѣ на чтеніе, тогда и тонъ измѣнится; но не слѣдуетъ измѣнять его слишкомъ рано. Если двѣ-три шутки на страницѣ могутъ дать вашей статьѣ двухъ-трехъ лишнихъ читателей, то было-бы очень негуманно и неблагоразумно съ вашей стороны отталкивать отъ себя этихъ читателей серьезностью изложенія ради того, чтобы соблюсти въ неприкосновенности какое-то отвлеченное и совершенно фантастическое понятіе о величинѣ и достоинствѣ науки. Величіе и достоинство науки состоитъ исключительно въ той пользѣ, которую она приноситъ людямъ, увеличивая производительность ихъ труда и укрѣпляя природныя силы ихъ умовъ. Значеніе науки можетъ только возвыситься, если о ней получать нѣкоторое понятіе даже тѣ неразвитые два-три читателя, которые будутъ привлечены къ вашей статьѣ содержащимися въ ней шутками. Но, кромѣ художественности, кромѣ шутиливаго тона, популярное изложеніе должно отличаться еще и другими свойствами, которыя останутся необходимыми даже и тогда, когда смѣхъ, игривость и юморъ потеряютъ для общества свою теперешнюю обаятельность.

Я укажу здѣсь на двѣ главныя особенности, которыми популярное изложеніе всегда должно отличаться отъ строго-научнаго.

Во-первыхъ, популярное изложеніе не допускаетъ въ теченіи мыслей той быстроты, которая совершенно уместна въ чисто-научномъ трудѣ. Записные ученые, привыкшіе ко всѣмъ приемамъ строгаго мышленія, ко всевозможнымъ упражненіямъ уметвенныхъ силъ, могутъ слѣдить безъ малѣйшаго напряженія за мыслью изслѣдователя, когда она, какъ бѣлка, прыгаетъ съ одного предмета на другой, бросая читателямъ только легкіе намеки на то, зачѣмъ и почему производятся эти быстрые переходы. Слѣдя за этими эволюціями, ученый видитъ и понимаетъ, что все это одна длинная цѣпь доказательствъ, связанная единствомъ общей идеи и общей цѣли; онъ видитъ, что одна мысль логично развивается изъ другой; но простой читатель этого не увидитъ и станетъ втупикъ. Писатель высказалъ одно положеніе, вывелъ изъ него другое, на этихъ двухъ построилъ третье и пошелъ шагать, а про-

стой читатель только недоумѣваетъ: какимъ-же образомъ второе вытекаетъ изъ перваго и почему возможенъ переходъ къ третьему? Второе дѣйствительно не вытекаетъ *непосредственно* изъ перваго; эти два положенія связываются между собой двумя или тремя промежуточными умозаключеніями; но ученый писатель, увѣренный въ сообразительности своихъ товарищей по наукѣ, выкидываетъ вонъ эти мостыки мысли, которые дѣйствительно не прибавляютъ къ ученому труду ничего новаго и существеннаго. Но для читателя, не выучившагося прыгать, такое отсутствіе мостиковъ составляетъ непреодолимое препятствіе. На первой-же страницѣ онъ спотыкается, а ужъ на какой-нибудь пятой или шестой онъ рѣшительно не знаетъ, о чемъ это тутъ идетъ рѣчь и зачѣмъ это все написано. При этихъ условіяхъ серьезное чтеніе ведетъ за собой только головную боль и одурѣніе. Популяризаторъ, разумѣется, обязанъ избавить мысль своего читателя отъ всякихъ подобныхъ прыжковъ. Въ популярномъ сочиненіи каждая отдѣльная мысль должна быть развита подробно, такъ, чтобы умъ читателя успѣлъ прочно утвердиться на ней, прежде чѣмъ онъ пустится въ дальнѣйшій путь, къ логическимъ слѣдствіямъ, вытекающимъ изъ этой мысли. Если вы будете утомлять умъ вашего читателя слишкомъ быстрыми переходами, то получится тотъ-же результатъ, который произвело-бы отсутствіе мостиковъ: читатель ошалѣетъ и совершенно потеряетъ изъ виду общую связь вашихъ мыслей.

Во-вторыхъ, популярное изложеніе должно тщательно избѣгать всякой отвлеченности. Каждое общее положеніе должно быть подтверждено осязательными фактами и пояснено частными примѣрами. Вотъ и я, повинуюсь этому правилу, покажу на отдѣльномъ примѣрѣ, какимъ образомъ популярное изложеніе должно смягчать быстроту и отвлеченность строгаго-научнаго языка. Представьте себѣ, что въ научномъ сочиненіи находится слѣдующая фраза: «Такъ какъ всѣ математическія сужденія отличаются совершенно аналитическимъ характеромъ, то, *разумѣется*, чистая математика меньше всѣхъ остальныхъ наукъ опирается на свидѣтельство опыта». И затѣмъ авторъ начинаетъ уже выводить дальнѣйшія заключенія изъ той мысли, что «математика меньше всѣхъ остальныхъ наукъ опирается на свидѣтельство опыта». Но простой читатель сталъ втупикъ. Чорта съ два тутъ *«разумѣется»!* Почему-же *аналитическій характеръ* позволяетъ чистой математикѣ *опираться на свидѣтельство опыта* меньше *всѣхъ остальныхъ наукъ*? Ясное дѣло, что въ нашей фразѣ заключаются два положенія, связанные между собой союзами *такъ какъ* и *то*. Между этими двумя положеніями долженъ существовать мостикъ, но мостикъ этотъ, для болѣе быстрой движенія, выброшенъ вонъ, а

вмѣсто него вставлено проклятое слово «разумѣется», означающее собой смѣлый и ловкій прыжокъ возмужалой мысли. Популяризаторъ долженъ здѣсь прежде всего напомнить читателю, что такое *анализъ* и въ чемъ состоитъ его существенное отличіе отъ *синтеза*. Потомъ онъ долженъ взять два или три математическихъ сужденія—чѣмъ проще, тѣмъ лучше—и показать на этихъ примѣрахъ, въ чемъ состоитъ типическая особенность всякаго математическаго сужденія и чѣмъ эти сужденія отличаются на примѣръ отъ истинъ химіи или фізіологіи. Такимъ образомъ выяснится *аналитическій характеръ* математическихъ сужденій. Вмѣстѣ съ тѣмъ выяснится и отношеніе математики къ опыту. Читатель пойметъ, что при *анализѣ* только исходная точка берется изъ опыта, а при *синтезѣ* напротивъ того весь процессъ мысли постоянно опирается на опытъ. Ясно, стало-быть, что чѣмъ исключительнѣе преобладаетъ въ какой-нибудь наукѣ элементъ анализа, тѣмъ незначительнѣе становится въ ней участіе опыта.

Популяризаторъ долженъ постоянно предвидѣть всѣ вопросы, сомнѣнія и возраженія своего читателя; онъ самъ долженъ ставить и разрѣшать ихъ; такая тактика имѣетъ двоякую выгоду: во-первыхъ, предметъ освѣщается со всѣхъ сторонъ; во-вторыхъ—вопросы и возраженія прерываютъ собой монотонное теченіе рѣчи, поддерживаютъ и напрягаютъ постоянно вниманіе читателя, который въ противномъ случаѣ легко можетъ впасть въ полу-машиннальное чтеніе, то-есть пропускать черезъ свою голову отдѣльныя мысли, не вдумываясь въ ихъ отношеніе къ цѣлому. Не только группировка мыслей и общій тонъ изложенія, но даже самый языкъ, выборъ словъ и оборотовъ имѣютъ очень значительное вліяніе на успѣхъ или неуспѣхъ популярно-научнаго сочиненія. Удачное выраженіе, мѣткій эпитетъ, картинное сравненіе чрезвычайно много прибавляютъ къ тому удовольствію, которое доставляется читателю самымъ содержаніемъ книги или статьи. А такъ какъ просвѣщать читателя помимо его собственной воли нѣтъ ни малѣйшей возможности, то и не слѣдуетъ ни подъ какимъ видомъ пренебрегать тѣми техническими средствами языка, которыя могутъ увеличить удовольствіе читателя, не вредя основной идѣ вашего труда. Бентамъ доказываетъ очень подробно и чрезвычайно убѣдительно, что законы должны быть написаны не только совершенно яснымъ и простымъ, но еще кромѣ того изящнымъ языкомъ. Съ этимъ мнѣніемъ трудно не согласиться. Въ самомъ дѣлѣ, въ настоящее время нѣтъ на свѣтѣ ни одной страны, въ которой большинство грамотныхъ людей имѣло-бы совершенно ясное понятіе о законахъ своего отечества. Отъ этихъ законовъ зависятъ жизнь, честь, собственность, гражданское положеніе и семейное спокойствіе, словомъ—все земное бла-

гополучіе каждой отдѣльной личности, а между тѣмъ ихъ все-таки почти никто не знаетъ, кромѣ судей и адвокатовъ. Можно себѣ представить, сколько невольныхъ преступленій, сколько безтолковыхъ процессовъ, какая трата времени, силъ, денегъ происходитъ отъ этого незнанія. А чѣмъ-же объясняется самый фактъ этого удивительнаго незнанія? Да просто тѣмъ, что сводъ законовъ совершенно справедливо считается у всѣхъ народовъ земного шара, имѣющихъ какой-нибудь сводъ, самой скучной книгой, какую только можно было выдумать и написать. А происходитъ-ли эта невыносимая скучность свода законовъ отъ самаго содержанія этой книги? Составляетъ-ли она необходимую принадлежность самаго предмета. Ничуть не бывало. Законъ опредѣляетъ отношенія между людьми, устанавливаетъ ихъ права и обязанности. Трудно даже придумать что-нибудь интереснѣе этого предмета. Но этотъ предметъ превращенъ въ сухой скелетъ педантизмомъ средневѣковыхъ юристовъ и остался въ своемъ засушенномъ положеніи по милости современныхъ законодѣловъ, робѣющихъ до сихъ поръ передъ призраками старыхъ авторитетовъ. Бентамъ доказалъ теоретически и, что еще гораздо важнѣе, показалъ на практикѣ своимъ собственнымъ примѣромъ, что можно писать живо и увлекательно не только изслѣдованія по философіи права, но даже текстъ кодекса, статьи свода законовъ. По мнѣнію Бентама, самый текстъ закона долженъ быть написанъ коротко и ясно; законъ приказываетъ или запрещаетъ, но не разсуждаетъ. Но вслѣдъ за этой канонической частью каждой отдѣльной статьи долженъ слѣдовать комментарий, въ которомъ объясняется значеніе, необходимость, цѣлесообразность и причина даннаго закона. Совокупность этихъ комментариевъ составить, по мнѣнію Бентама, полный и чрезвычайно интересный кодексъ нравственной философіи. И книга, вмѣщающая въ себѣ такой кодексъ, слѣжается настольной книгой въ каждомъ грамотномъ семействѣ; по этой книгѣ отецъ самъ будетъ объяснять своимъ дѣтямъ законы той страны, въ которой имъ суждено жить и дѣйствовать; благодаря такимъ комментаріямъ, законъ ляжетъ въ основаніе самаго обыкновеннаго воспитанія. Вслѣдствіе этого большая часть непродуманныхъ юристовъ при-нуждена будетъ заняться полезнымъ трудомъ. Но все это возможно только въ томъ случаѣ, если законы будутъ изложены легкимъ, простымъ и изящнымъ языкомъ. Иначе никакая философская глубина комментариевъ не принудитъ общество читать и изучать сводъ законовъ. Въ общей массѣ люди чрезвычайно легкомысленны; они всегда дѣлаютъ то, что имъ пріятно, и очень рѣдко дѣлаютъ то, что имъ полезно. Въ пониманіи какъ нельзя лучше, что знаніе законовъ необходимо; всѣ знаютъ, что незнаніемъ законовъ никто отговариваться не можетъ; и однако

почти никому въ голову не приходит почитать въ часы досуга и отдохновенія сводъ законовъ. Послѣ этого есть-ли хоть малѣйшая возможность ожидать, что люди примутся читать популярно-научныя сочиненія, если эти сочиненія не будутъ доставлять имъ пріятнаго препровожденія времени. Вѣдь какъ ни велика польза научныхъ знаній, а все-таки эта польза далеко не такъ очевидна, какъ польза законовѣдѣнія. Противъ науки вы услышите много голосовъ даже въ печати, а ужъ противъ изученія законовъ не возражать ни слова ни купчиха Кабанова, ни Викторъ Ипатьевичъ, ни даже Катковъ. — Ясно, стало-быть, что внѣшняя форма популярнаго изложенія имѣетъ громадную важность.

XXXIV.

Послѣ всего, что я говорилъ о популяризованіи науки, у читателя по всей вѣроятности зародился въ умѣ естественный вопросъ: какія-же именно науки необходимо популяризовать? Въ общихъ чертахъ читатель, разумѣется, уже знаетъ мой образъ мыслей; онъ знаетъ, что я не уважаю ни на санскритскую грамматику, ни на египетскую археологію, ни на теорію музыки, ни на исторію живописи. Но если читатель полагаетъ, что я буду рекомендовать ему преимущественно технологию, практическую механику, геогнозію или медицину, то онъ ошибается. Наука, слившаяся уже съ ремесломъ, наука прикладная конечно приноситъ обществу громадную и неоспоримую пользу, но популяризовать ее нѣтъ ни надобности, ни возможности. Технологи, геогности, механики необходимы для общества, но люди, имѣющіе общее понятіе о технологіи, геогнозѣ и механикѣ никому и ни на что не нужны. Словомъ, прикладныя науки должны изучать совершенно основательно каждый человѣкъ, желающій обратить ихъ въ свое хлѣбное ремесло. Кто изучаетъ науку основательно, тотъ конечно обращается къ самымъ источникамъ науки, а не къ популярнымъ сочиненіямъ. Стало-быть, нуждаются въ популярной обработкѣ только тѣ отрасли знаній, которыя, не слившись съ спеціальнымъ ремесломъ, даютъ каждому человѣку вообще, безъ отношенія къ его частнымъ занятіямъ вѣрный, разумный и широкій взглядъ на природу, на человѣка и на общество. Разумѣется, здѣсь, какъ и вездѣ, на первомъ планѣ стоятъ тѣ науки, которыя занимаются изученіемъ всѣхъ видимыхъ явленій: астрономія, физика, химія, физиологія, ботаника, зоологія, географія и геологія.

Превосходство естественныхъ наукъ надъ всѣми остальными накопленіями знаній, присвоенными себѣ также титулъ науки, до такой сте-

пени очевидно, и мы уже такъ часто и съ такимъ горячимъ убѣжденіемъ говорили о значеніи этихъ наукъ, что теперь мнѣ не зачѣмъ о нихъ распространяться. Замѣчу только, что подъ именемъ *географіи* я понимаю, разумѣется, не перечисленіе государствъ, а общую картину земного шара и опредѣленіе той связи, которая существуетъ между землей и ея обитателями. — Но естественныя науки при всемъ своемъ великомъ значеніи не исчерпываютъ собой всего круга предметовъ, о которыхъ человѣку необходимо составить себѣ понятіе. Человѣкъ долженъ знать человѣка и общество. Физиологія показываетъ намъ различныя отправления человѣческаго организма; сравнительная анатомія показываетъ намъ различія между человѣческими расами; но обѣ эти науки не даютъ намъ никакого понятія о томъ, какъ человѣкъ устраиваетъ свою жизнь и какъ онъ постепенно подчиняетъ себѣ силы природы силой своего ума. Оба эти вопроса имѣютъ для насъ капитальную важность; но тѣ отрасли знаній, отъ которыхъ мы должны ожидать себѣ на нихъ отвѣта — исторія и статистика, — до сихъ поръ еще не достигли научной твердости и опредѣленности. Исторія до сихъ поръ не что иное, какъ огромный арсеналъ, изъ котораго каждая литературная партія выбираетъ себѣ годные аргументы для пораженія своихъ противниковъ. Превратится-ли исторія когда-нибудь въ настоящую науку, — это неизвѣстно и даже сомнительно. Научная исторія была-бы возможна только въ томъ случаѣ, еслибы сохранились всѣ матеріалы для составленія подробныхъ статистическихъ таблицъ за всѣ прошедшія столѣтія. Но о такомъ богатствѣ матеріаловъ нечего и думать. Поэтому для изученія человѣка въ обществѣ остается только внимательно вглядываться въ современную жизнь и обмѣниваться съ другими людьми запасомъ собранныхъ опытовъ и наблюденій. Статистика уже дала намъ множество драгоценныхъ фактовъ; она подрываетъ вѣру въ пригодность пенитенціарной системы; она цифрами доказываетъ связь между бѣдностью и преступленіемъ; но статистика только что начинаетъ развиваться, и мы имѣемъ полное основаніе ожидать отъ нея въ ближайшемъ будущемъ въ тысячу разъ больше самыхъ важныхъ практическихъ услугъ, чѣмъ сколько она оказала ихъ намъ до сихъ поръ.

Статья моя кончена. Читатель видитъ изъ нея, что всѣ стремленія нашихъ реалистовъ, всѣ ихъ радости и надежды, весь смыслъ и все содержаніе ихъ жизни пока исчерпываются тремя словами: *«любовь, знаніе и трудъ»*. Послѣ всего, что я говорилъ выше, эти слова не нуждаются въ комментаріяхъ.

КУКОЛЬНАЯ ТРАГЕДІЯ СЪ БУКЕТОМЪ ГРАЖДАНСКОЙ СКОРБИ.

I.

Въ каждой изъ нашихъ журнальных партій есть несправимые фразеры, которымъ никогда въ жизни не случалось произвести на свѣтъ ни одной самостоятельной мысли. Эти господа въ своихъ произведеніяхъ самымъ усерднымъ и добросовѣстнымъ образомъ обезцвѣчиваютъ ту идею, которая даетъ имъ насущный хлѣбъ, но этимъ не ограничивается ихъ дѣятельность. По самолюбію, свойственному всякой бездарности, они непремѣнно желаютъ высказывать руководящую идею «своими словами», изобрѣтаютъ сами различныя приставки и украшенія, воплощаютъ идею въ карикатурные образы и наконецъ доводятъ ее до такого жалкаго безсилія, что всѣмъ мыслящимъ защитникамъ этой идеи приходится или краснѣть за своихъ непрощенныхъ союзниковъ, или отталкивать ихъ отъ себя съ тѣмъ суровымъ презрѣніемъ, съ которымъ Базаровъ относится къ своему обожателю Ситникову. Большая часть нашихъ второстепенныхъ беллетристовъ, нашедшихъ себѣ пріютъ въ различныхъ журналахъ, принадлежатъ къ числу самыхъ отъявленныхъ карикатуристовъ идеи. Ихъ романы и повѣсти сшиваются обыкновенно на живую нитку по выкройкамъ послѣдней моды, а модной выкройкой служить для нихъ критическій отдѣлъ того журнала, для котораго они работаютъ. Люди, событія, положенія—все это задумывается по данной программѣ, и кромѣ того самая программа понимается изъ пятого въ десятое или, вѣрнѣе, отражается въ творческомъ умѣ беллетриста съ той неподражаемой ясностью и отчетливостью, съ какой человѣческая фizioномія можетъ отразиться въ дешевомъ зеркалѣ, покрытомъ пузырями. Много у насъ такихъ беллетристовъ, и велики труды ихъ, но, мнѣ кажется, въ этомъ отношеніи никто не можетъ сравниться съ Н. Станицкимъ, по милости котораго почтенный «Современникъ» такъ часто нагружается раздражительными романами. Бываютъ бездарности тихія, скромныя, почти пріятныя по своей безобидности; но бываютъ и другія бездарности: лютыя, буйныя, изъывающія притязаніе на смѣлость мысли, на пылкость чувства, на ширину умственного развитія, на свѣжесть и ѣдкость юмора и на разныя другія хорошія вещи, которыя навсегда остаются для нихъ недоступными. По произведеніямъ Станицкаго намъ будетъ очень удобно изучить типъ фразера, маскирующаго свою умственную бѣдность крикомъ и жестикულიей. Изученіе Станицкаго особенно интересно для насъ потому, что этотъ писатель постоянно ра-

ботаетъ для «Современника» и постоянно гредуется своимъ фразерствомъ свѣтлыя и широкія идеи, которыя развивали въ этомъ журналѣ дѣйствительно мыслящіе и дѣльные люди. Еслибы какой-нибудь усердный писатель уродовалъ идеи «Отечественныхъ Записокъ» или «Русскаго Вѣстника», то подобное занятіе можно было-бы назвать безвреднымъ толченіемъ воды, потому что въ этихъ наипочтеннѣйшихъ журналахъ, по нашему крайнему разумѣнію, нечего уродовать и еще потому, что ихъ изуродованную идею могутъ отличить отъ неизуродованной только самые опытные эксперты. Но искажать идеи Добролюбова и людей близкихъ къ нему, обезцвѣчивать эти идеи невинной болтовней, или опошлять ихъ мелодраматическимъ риторствомъ—это уже выходитъ изъ границъ позволительной шутки, и противъ такихъ упражненій критика должна принимать болѣе серьезныя мѣры. Она должна подвергнуть произведенія свирѣпствующаго фразера строгому и тщательному изученію, чтобы показать и доказать публикѣ, что между фразерами и настоящими мыслителями, стоящими повиновенно подъ однимъ знаменемъ, нѣтъ и не можетъ быть ни малѣйшей умственной солидарности. Такого рода операцію я намѣренъ произвести надъ авторскою личностью Станицкаго, и я твердо убѣжденъ въ томъ, что лучшіе мыслящіе сотрудники «Современника» въ душѣ скажутъ мнѣ спасибо за эту дружескую услугу. Имъ самимъ конечно невольно говорить горькія истины своему старому и постоянному сподвижнику, но когда эти истины будутъ высказаны постороннимъ человѣкомъ, тогда это навѣрное доставитъ имъ большое удовольствіе, потому что они, разумѣется, понимаютъ очень хорошо, что дубовый трагизмъ Станицкаго, подобно невинному юмору Щедрина, только обливается съ толку читателей и вредитъ уясненію стоящей идеи журнала. Итакъ, пускаюсь въ путь и принимаюсь за разборъ романа «Женская доля». Я буду слѣдить за каждымъ шагомъ нашего романиста, потому что въ развитіи подробностей Станицкій еще болѣе прелестенъ, чѣмъ въ общей концепціи своихъ произведеній.

II.

Въ селѣ Григорьевѣ живетъ помѣщица Анна Антоновна, женщина пожилая и болѣзненная; у нея шестнадцатилѣтняя дочь, Софья Григорьевна. Мужъ Анны Антоновны, Григорій Андреевичъ, живетъ въ Петербургѣ и пользуется безпредѣльной ненавистью Станицкаго. Впрочемъ эту ненависть раздѣляютъ съ Григоріемъ Андреевичемъ почти всѣ остальные дѣйствующія лица

романа. Почти все они—гнусные люди и выведены на сцену особенно для того, чтобы их пороки давали обильную пищу великодушному недовольству и ювеналовскому красноречию пылкого юманиста. Предо мной лежит в настоящую минуту мартовская книжка «Современника» за 1862 годъ; она раскрыта на стр. 48 первого отдела, и я усматриваю въ этомъ мѣстѣ пылкую ненависть Станицкаго къ одному изъ дѣйствующихъ лицъ его романа.

Вслѣдъ затѣмъ я отправляюсь въ «Современное Обозрѣніе» той-же книжки и на стр. 68 читаю слѣдующія строки: «Онъ питаетъ какую-то личную ненависть и непріязнь, какъ будто они лично сдѣлали ему какую-нибудь обиду и пакость, и онъ старается отмстить имъ на каждомъ шагу, какъ человѣкъ лично оскорбленный; онъ въ внутреннемъ удовольствіи отыскиваетъ въ нихъ слабости и недостатки, о которыхъ и говорить съ дурно-скрываемымъ злорадствомъ, и только для того, чтобы унизить героя въ глазахъ читателей: «посмотрите, дескать, какіе негодяи мои враги и противники». Онъ дѣтски радуется, когда ему удастся уколоть чѣмъ-нибудь нелюбимаго героя, съострить надъ нимъ, представить его въ смѣшномъ или пошломъ и мерзкомъ видѣ; каждый промахъ, каждый необдуманный шагъ героя пріятно щекочетъ его самолюбіе, вызываетъ улыбку самодовольствія, обнаруживающую гордое, но мелкое и негуманное сознание собственного превосходства». Все это говоритъ Антоновичъ въ той статьѣ, въ которой онъ провелъ очень неудачно параллель между Тургеневымъ и Асоченскимъ; все это онъ говоритъ по поводу отношеній Тургенева къ Базарову, и все это разсужденіе, совершенно не подходящее къ роману «Отцы и Дѣти», обрисовываетъ чрезвычайно вѣрно отношенія, существующія между Станицкимъ и его героями.

Изъ приведенной цитаты мы видимъ, что первый критикъ «Современника» рѣшительно осуждаетъ личную вражду автора къ его героямъ, а такъ какъ романъ Станицкаго весь построенъ на такой враждѣ, то ясно, что этотъ романъ не можетъ нравиться Антоновичу, и что между беллетристичкой и критикой «Современника» происходитъ очевидный разладъ. Слѣдовательно, нападая на Станицкаго, я буду постоянно нападать не на идею «Современника», а на такія уклоны и нелѣпости, къ которымъ каждый дѣльный сотрудникъ этого журнала долженъ относиться съ насмѣшкой и съ презрѣніемъ. Что хорошо въ «Современникѣ», то мы всегда будемъ считать хорошимъ, несмотря ни на какія полемическія столкновенія между нашими журналами; но что составляетъ въ «Современникѣ» гнилой хламъ и вредный балластъ, того навѣрное не рѣшится защищать ни одинъ изъ мыслящихъ дѣтелей этого журнала.

Возвращаясь къ Станицкому. Григорій Ан-

дреевичъ ведетъ въ Петербургъ самую безприветливую жизнь, содержитъ лоретку, играетъ и пьянствуетъ. Добравшись до этого порочнаго человѣка, авторъ немедленно пускаетъ въ ходъ свое красноречіе и цитируетъ слишкомъ на четырехъ страницахъ. На этихъ красноречивыхъ страницахъ есть и психологическій анализъ, и разсужденія о междучеловѣческихъ отношеніяхъ. Мысли какъ-то плохо вяжутся между собой, но зато пылкости очень много, и все сужденія выражаются преимущественно въ восклицательной формѣ, причемъ производится весьма затѣйливые переливы изъ проницательнаго тона въ тонъ завывающаго негодованія. По части психологическаго анализа особенно любопытно то соображеніе, «что эгоистическія натуры неспособны ни къ какимъ привязанностямъ, если ими не руководитъ чувственная страсть, для удовлетворенія которой онѣ могутъ пожалуй на время прикинуться порядочными людьми, но какъ только эта страсть миновалась, онѣ снова начинаютъ питать непримиримую вражду къ тѣмъ, кто ждетъ отъ нихъ человѣческихъ чувствъ». Ясно, кажется, что эгоистъ есть мерзкое и лютое животное. Дальше оказывается даже, что «грязные, развратные эгоисты готовы побить камнями каждого отца, если онъ захочетъ воспитать свою дочь не куклой, а матерью будущихъ гражданъ». А еще дальше—по пословицѣ, чѣмъ дальше въ лѣсъ, тѣмъ больше дровъ—авторъ заявляетъ даже, что эгоистовъ могутъ усмирить только «железные кольца, продѣтые въ ихъ ноздри: только тогда они безсильны проявлять свою звѣрскую силу надъ слабыми».

Все это читатель «Современника» усваиваетъ себѣ въ мартѣ 1862 года. Вдругъ въ мартѣ 1863 года происходитъ перемѣна декораций: появляется романъ «Что дѣлать?», и читатель съ удивленіемъ усматриваетъ, что бывають и такіе эгоисты, съ которыми можно вступать въ сношенія безъ помощи желѣзнаго кольца. Оказывается, что эти эгоисты никого не стремятся побить камнями, непримиримой вражды не питають и даже порядочными людьми никогда не прикидываются. Читатель недоумѣваетъ, и наконецъ склоняется на сторону романа «Что дѣлать?», потому что дѣйствіе сильнаго и свѣтлаго ума почти всегда бываетъ неотразимо. Но вѣдь безхитростный читатель не привыкъ вдумываться въ то, что онъ читаетъ; онъ не умѣетъ сразу усваивать себѣ навсегда вѣрныя мысли. Романъ «Что дѣлать?» оставилъ быть-можетъ въ его умѣ болѣе глубокой слѣдъ, чѣмъ другіе романы, но все-таки этотъ слѣдъ изгладится очень быстро, если его никто не будетъ подновлять дальнѣйшими впечатлѣніями изъ того-же міросозерцанія. А ужъ какое тутъ можетъ быть подновленіе, когда черезъ годъ Станицкій, того и гляди, разразится новымъ романомъ, въ которомъ опять соединитъ семинар-

скую психологию съ звѣринцемъ Крейцберга! Спрашивается теперь, какое - же право имѣютъ мыслящіе представители нашей литературы требовать отъ нашего общества нравственной и умственной стойкости, сознательной инициативы и послѣдовательности въ мысляхъ и поступкахъ? Если лучшій изъ нашихъ журналовъ шатается изъ стороны въ сторону, безо всякой надобности тормозитъ свое собственное вліяніе и самого себя сбиваетъ съ ногъ, если такимъ образомъ въ самую лабораторію русской мысли забираются разные умственные нечистоты, если «солъ земли» сама себя пакоститъ, то можемъ-ли мы ожидать какихъ-нибудь болѣе утѣшительныхъ результатовъ отъ той пестрой и разнокалиберной массы, которая называется русской публикой?

Я знаю, что мнѣ на это могутъ возразить. Мнѣ скажутъ, что вѣдь это—беллетристика, и что въ отношеніи къ этому отдѣлу слѣдуетъ быть болѣе снисходительнымъ, чѣмъ въ отношеніи къ критикѣ, къ политикѣ и къ прочимъ серьезнымъ отдѣламъ журнала. Почти всѣ журналисты на практикѣ придерживаются этой metody, но мнѣ кажется, что такой взглядъ на дѣло сильно отзывался самымъ близорукимъ рутинерствомъ. Если повѣсти и романы не имѣютъ для публики важнаго значенія, то-есть, если они читаются мало и неохотно, тогда незачѣмъ набивать бесполезнымъ балластомъ половину книжки. Если - же они читаются большинствомъ, тогда они важнѣе всѣхъ остальныхъ отдѣловъ и сохранять свое значеніе до тѣхъ поръ, пока большинство не дорастетъ до серьезнаго чтенія. Стало-быть, надо или сократить размѣры этого отдѣла, или смотреть на него во всѣ глаза, чтобы въ него не залѣзало всякое безобразіе. Но дѣлать то, что мы теперь дѣлаемъ, то-есть держать при журналахъ огромные беллетристическіе отдѣлы и въ то-же время вести эти отдѣлы спустя рукава, устраивать въ нихъ богадѣльни для разныхъ умственныхъ убогостей,—это ужъ просто ни на что непохоже. Это перасчитливо въ отношеніи къ интересамъ издателя, это вредно для литературы, и это чрезвычайно недобросовѣстно и невѣжливо въ отношеніи къ читающей публикѣ. Если плохо пишутъ отечественные художники—помѣщай переводы, но не поощряй бездарности и не развивай этого умственного тунеядства. Кромѣ того сильный и любимый журналъ можетъ понеминому совершенно перевоспитать вкусъ публики и приучить ее къ дѣльному и серьезному чтенію, такъ что беллетристическій отдѣлъ можно будетъ довести до самыхъ крошечныхъ размѣровъ. Во всякомъ случаѣ, вмѣсто того, чтобы продѣвать эгоистамъ желѣзные кольца въ ноздри, было-бы гораздо лучше заняться чѣмъ-нибудь менѣе лютымъ, но болѣе полезнымъ для читателей.

III.

Блая безнравственность Григорія Андреевича и его лоретки, Станицкій при семъ удобномъ случаѣ прохаживается на счетъ эманципации женщинъ, и все это въ восклицательномъ и фанфаристическомъ тонѣ. «Чего - же, — вызываетъ насъ Цицеронъ, — вы можете ждать, бѣдные, честныя женщины въ жизни? Вы развѣ не видите, какъ нагло покровительствуется сознательный развратъ и какъ позорно наказываютъ вашъ проступокъ, вынужденный страхомъ и стыдомъ, а также и неопытностью? И не ждите ничего позорнѣе отъ эманципации женщинъ! Это проповѣдываніе такъ - же бесплодно, какъ и состраданіе къ человечеству, о которомъ такъ давно и много толкуютъ. И развѣ вы не видите, что женщина, увлекавшаяся эманципаціей и отдавшаяся мучинѣ безъ всякихъ гражданскихъ условій, развѣ она не гибнетъ также въ унижительномъ рабствѣ, — и въ придачу еще опозоренная?»

Дальше идетъ все въ томъ-же возвышенномъ направленіи, но съ насъ довольно и этого образчика, тѣмъ болѣе, что намъ придется еще потрудиться довольно долго надъ распутываніемъ нагроможденной здѣсь чепухи. Подъ названіемъ проступка Станицкій разумѣетъ дѣтоубійство. Онъ противопоставляетъ позорное наказаніе этого проступка тому наглomu покровительству, которымъ пользуется сознательный развратъ соблазнительей. Какъ ораторская рулада, это противоложеніе можетъ-быть очень красиво и эффектно, но смысла въ немъ нѣтъ ни малѣйшаго. Станицкій желаетъ повидимому чтобы, въ случаѣ дѣтоубійства вмѣстѣ съ матерью ребенка наказывался и его отецъ; или онъ желаетъ, чтобы въ этомъ случаѣ наказывался одинъ отецъ; или-же наконецъ онъ желаетъ, чтобы всеніи отецъ незаконнорожденнаго ребенка подлежалъ уголовному наказанію, хотя и не произошло никакого дѣтоубійства. Всѣ эти три желанія очень великодушны и еще болѣе остроумны. Разные французскіе романисты и моралисты, очень добродѣтельные и очень пустоголовые, постоянно эксплуатируютъ въ своихъ произведеніяхъ извѣстную тему на счетъ infame séducteur и innocente victime и постоянно призываютъ на голову перваго небесный громъ и уголовную кару; но еслибы составить изъ всѣхъ этихъ призывателей комитетъ и предоставить этому комитету полную законодательную власть по дѣламъ между séducteur'ами и victime'ами, то всѣ эти добродѣтельные люди убѣдились-бы очень скоро, что они говорили совершенные пустяки. Во-первыхъ, не можетъ быть никакихъ ясныхъ и неопровержимыхъ доказательствъ на то, что именно Иванъ, а не Петръ долженъ считаться отцомъ ребенка. Римскіе юрисконсульты говорятъ совершенно основательно, что mater semper est certa (мать всегда достоверно извѣстна); но объ отцѣ этого никакъ нельзя сказать, а осуждать человѣка по

—это было-бы ужъ чересчуръ игриво. бы Кукшина была одарена гениальнымъ умомъ, но женщина наказывается не за безправие, а за истребление живого человечества, и если любовникъ этой женщины имеетъ прямого участія въ этомъ послѣднѣмъ, то его и наказывать не за что. Скажете на это, что коварный любовникъ—прямая причина дѣтубійства, но это никуда не годится. Если судъ долженъ разомъ восходить къ причинамъ, то за что наказывать за дѣтубійство не мать убитаго ребенка, а еще и Кукшину, а дурѣ конечно никакая эманципация не можетъ пойти впрокъ. Станицкій очевидно понимаетъ эманципацию исключительно съ точки зрѣнія половыхъ отношеній. Честная женщина, по мнѣнію его, гибнетъ, когда отдается «грязному, развратному эгоисту». Прекрасно. Но зачѣмъ-же она отдается такому недостойному человѣку? Зачѣмъ она въ него влюбляется? Зачѣмъ она суется въ воду, не спросивъ броду? Что ее приворотнымъ зельемъ что-ли приколдовываютъ? Влюбляется она потому, что неопытна, неразвита, не умѣетъ размышлять, не имѣетъ понятія о настоящемъ достоинствѣ человѣка, не можетъ поставить при встрѣчѣ съ мужчиной ни одного разумнаго требованія. Женщина отдается мужчине и ошибается въ немъ: что-же это значитъ? Значитъ, что она не знала ни его характера, ни склада его ума, ни уровня его развитія. Спрашивается, что же она знала, и чему-же она отдавалась? Ясно что, и ясно чему: знала мужчину, — и отдавалась тоже мужчине, и въ этомъ отношеніи ошибки не произошло. А что можетъ избавить будущія поколѣнія женщинъ отъ подобныхъ пошлостей? Мнѣ кажется, отвѣтъ на этотъ вопросъ можетъ быть только одинъ: широкое развитіе умственныхъ способностей и экономическая самостоятельность, то-есть именно эманципация женщины, проведенная въ ея воспитаніе и въ сферу женскаго труда. Но Станицкій думаетъ совсѣмъ по своему. «Пока, — глаголетъ онъ, — сами мужчины не сдѣлаются нравственнѣе, никакая эманципация женщинъ невозможна». Это «пока» равняется совершенному отрицанію эманципации. На это «пока» можно отвѣчать дружимъ «пока». Пока женщины не перестанутъ быть невинными и легкомысленными жертвами, до тѣхъ поръ мужчины не перестанутъ быть коварными обольстителями, потому что—извѣстное дѣло—не клади плохо, не води вора въ грѣхъ. Положимъ, что Іосифъ прекрасный убѣждалъ отъ жены Пентефрія. Но вѣдь всякому извѣстно, что такіа добродѣтели даже въ древности были рѣдки, а ужъ въ наше время было-бы чересчуръ неосторожно воздвигать на такихъ исключительныхъ добродѣтеляхъ будущее зданіе женской эманципации. Кромѣ того мужчины уже и теперь стоятъ далеко впереди женщинъ по своему умственному развитію; всякій

нравственный прогрессъ возможенъ только подъ условіемъ дальнѣйшаго умственнаго прогресса, и если Станицкій не знаетъ этой простой истины, то мнѣ остается только пожалѣть о его невѣдѣніи. Стало-быть, если мужчины должны сдѣлаться нравственнѣе, то это значитъ, что они должны сдѣлаться умнѣе, и что вслѣдствіе этого разстояніе между мужчинами и женщинами должно еще болѣе увеличиться. Но мы видимъ, что разладъ между мужчинами и женщинами уже и теперь очень силенъ; мы видимъ, что матери, сестры, жены, невинныя дѣвушки и *намыя лоретки*,—словомъ, женщины вообще чрезвычайно сильно тормозятъ развитіе мужчинъ и по своей умственной несостоятельности постоянно тянутъ назадъ въ застой и въ рутину тѣхъ мужчинъ, которые не одарены желѣзной твердостью характера. Можно сказать безошибочно, что *филистерство* родилось у семейнаго очага, и что холостякъ никогда неспособенъ сдѣлаться такимъ чистокровнымъ филистеромъ, какимъ становится рано или поздно почти каждый добродѣтельный отецъ семейства. Поэтому нетрудно понять, что дальнѣйшій прогрессъ мужчины связанъ самымъ тѣснымъ образомъ съ вопросомъ объ умственномъ развитіи женщины. И всякія разсужденія о томъ, кому надо умиѣть сначала, мужчинамъ или женщинамъ, напоминаютъ только старинный натурфилософскій вопросъ о томъ, что раньше произошло на свѣтѣ, яйцо или курица? Съ одной стороны, если—яйцо, то кѣмъ-же это первое яйцо было снесено? А съ другой стороны, если курица, то откуда-же эта первая курица взялась? Выходитъ, стало-быть, что по настоящему не могли произойти на свѣтѣ ни курица, ни яйцо, и что слѣдовательно на свѣтѣ не можетъ быть ни куръ, ни яицъ, что повидимому противорѣчитъ прямымъ указаніямъ всеневнаго опыта. Такъ точно и въ дѣлѣ прогресса. Еслибы прогрессъ не совершался самъ собой, помимо всякихъ теоретическихъ выкладокъ, то, разумѣется, вопросъ о томъ, кому слѣдуетъ двинуться впередъ, мужчинамъ или женщинамъ, на практикѣ оказался-бы неразрѣшимымъ. Мужчины стали-бы говорить: „*place aux dames!*“, а женщины стали-бы говорить: „*messieurs, мы—слабый полъ; ступайте впередъ и тащите насъ за собой*“; и всѣ выѣсты остановились-бы въ полной неподвижности, и начали-бы упрекать другъ друга за неудачу поступательнаго движенія. Все это непременно случилось-бы, еслибы прогрессъ зависѣлъ отъ нашихъ разсужденій; мы постоянно вертѣлись-бы въ заколдованномъ кругу, въ которомъ одно неудобство поддерживается всѣми остальными и въ которомъ надо непременно или все разомъ двинуть впередъ, или все оставить на вѣчныя времена въ первобытномъ положеніи. Въ теоріи мы и не знаемъ, какъ-же это все разомъ двинуть, но на практикѣ все дви-

гается разомъ, потому что каждый отдѣльный кусочекъ этого всего, то-есть каждая отдельная личность, мужского или женскаго пола, въ своихъ дѣйствіяхъ руководствуется однимъ, то-есть старается устроить свою жизнь, какъ можно пріятнѣе. Подчиняясь этому движителю всего органическаго міра, каждый дѣльный кусочекъ шевелится въ томъ или другомъ направленіи, и сумма всѣхъ этихъ стичныхъ шевеленій создаетъ общій процессъ, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ общій регрессъ упадокъ, потому что все зависитъ отъ того, какую сторону направляется большинство индивидуальныхъ стремленій.

Но, разумѣется, для Станицкаго, считающаго лоретокъ и жестокость разврата эпохъ самыми серьезными препятствіями на пути отечественнаго преуспеянія, для Станицкаго, говорю я, правильное пониманіе процесса останется навсегда недоступнымъ, и онъ являно будетъ утруждать свою творческую деятельность различными многозначительными «пока». Интересно то, что этотъ Кифа Мокіевъ, ставляющій для «Современника» чистое бо-наказаніе, принимаетъ самого себя за серьезное явленіе и чувствуетъ поползновеніе сдѣлаться наставникомъ молодого поколѣнія. «Я договорился, — замѣчаетъ онъ, — что я этотъ романъ для юношей, которые вступаютъ только въ общество, а потому, по неопытности часто увлекаются рутинными, вредными понятіями о многихъ вещахъ, — тѣмъ болѣе важно, что эти понятія усвоены большинствомъ. Неопытные юноши! Что вы на это скажете? Молодое поколѣніе! Какъ вамъ правится глубокомысленный просвѣтитель? Такимъ образомъ мы познакомились до нѣкоторой степени съ краснорѣчіемъ Станицкаго, съ его приемами, и вообще съ тѣмъ элементомъ фразы, который я назвалъ въ заглавіи этой статьи «кетомъ гражданской скорби». Намъ можетъ придется еще встрѣтиться съ различными извлеченіями этого элемента, но теперь мы обратимъ наши взоры на «кукольную трагедію» и неужь серьезно и добросовѣстно изучать сцену, размышленія и злодѣянія различныхъ дѣльных и порочныхъ, и притомъ с деревенныхъ маріонетокъ.

IV.

Анна Антоновна скрываетъ отъ своей матери неудовлетворительное поведеніе ея отца; и когда придетъ въ возрастъ, догадывается, что мейстерами все обстоитъ не весьма благополучно. Она желаетъ примирить Григорія Андреева съ супругой и говоритъ матери: «почему вы пишете отцу, чтобы онъ ѣхалъ къ намъ?». Антоновнѣ на этотъ вопросъ отвѣчать не приходится, и потому она рѣшается писать къ своему законному сожителю пригласительное ш-

Софья Григорьевна также пишетъ, и безпугный глава семейства возвращается къ своимъ пенатамъ, но возвращается не одинъ, а привозитъ съ собой молодого человѣка, Петра Васильевича, также очень безпугаго и чрезвычайно ненавистнаго Станицкому. Вотъ тутъ-то и начинается трагическое раздражительность.

Вѣщее сердце матери угадываетъ въ молодомъ гостѣ коварнаго обольстителя, и Анна Антоновна очень возмущается его прибытіемъ и его долговременнымъ присутствіемъ въ селѣ Григорьевѣ, но злокачественный супругъ ея *на то ей* удерживаетъ опаснаго юношу и даже старается сблизить его съ дочерью. Впрочемъ у молодыхъ людей это дѣло идетъ на ладъ помимо всякихъ постороннихъ вліяній. Все это мѣстѣ очень беспокоитъ Станицкаго. «Да и чѣмъ было возмущаться Аннѣ Антоновнѣ?» восклицаетъ онъ съ явными претензіями на самую горькую и язвительную иронию. «Развѣ тѣмъ, что молодой человѣкъ говорилъ съ ея дочерью все о поэзіи и объ идеальныхъ предметахъ; или тѣмъ, что онъ по цѣлымъ ночамъ игралъ въ шарты и пилъ множество вина съ ея мужемъ; или тѣмъ наконецъ, что онъ вздыхалъ, какъ страстно влюбленный, въ присутствіи барышни и въ то-же время искалъ случая соблазнить молоденькую и хорошенькую горничную этой-же самой барышни?»

Читатель видитъ, что молодой человѣкъ дѣйствительно ведетъ себя неблагопріивно. Соблазнить молодыхъ горничныхъ вовсе непохвально, а пить *множество* вина изъ рукъ вонъ не хорошо, потому что это послѣднее занятіе не только унижаетъ человѣческое достоинство, но даже противорѣчитъ духу и требованіямъ русскаго языка. Впрочемъ я полагаю, что молодой человѣкъ пилъ вино не множествомъ, а рюмками или стаканами, и поэтому мнѣ кажется, что по крайней мѣрѣ половина грѣха должна упасть на авторскую совѣсть Станицкаго. Петръ Васильевичъ во всякомъ случаѣ рекомендуетъ себя плохо, но я хорошенько не понимаю, почему его порочныя наклонности огорчаютъ Анну Антоновну. Вѣдь она вовсе не желаетъ, чтобы онъ женился на ея дочери. Стало-быть, чего-же лучше? Позвала-бы она къ себѣ свою дочь, да и рассказала-бы ей по порядку, что вотъ онъ вчера выпилъ «множество вина», а третьяго дня строилъ куры какой-нибудь Натальѣ или Палагеѣ. Можно было-бы представить на лицо самыя убѣдительныя доказательства, напримѣръ «свидѣтельство буфетчика и обольщаемой горничной». Тогда Софья Григорьевна поняла-бы настоящую цѣну любовныхъ вздоховъ и поэтическихъ разговоровъ, и такимъ образомъ обольстительный идъ потерялъ-бы всю свою роковую силу. Но маіоронеткамъ кукольной трагедіи подобное разрѣшеніе практическихъ вопросовъ не нравится, потому что оно слишкомъ просто и благоразумно.

Анна Антоновна воспитывала свою дочь въ счастливомъ невѣдѣніи дѣйствительной жизни; послѣ пріѣзда молодого гостя она «сознала вполне страшную ошибку», но отъ этого сознанія дѣло нисколько не поправилось, и эта остроумная барыня вмѣсто того, чтобы сразу открыть глаза своей наивной дочери, начала предаваться какимъ-то неяснымъ размышленіямъ, которыя я могу сообщить читателю не иначе, какъ собственными словами Станицкаго. «Анна Антоновна сама находила, что было-бы гораздо лучше, еслибы ея дочь теоретически ознакомилась съ развратомъ общества, съ его лицемерствомъ и эгоизмомъ, чѣмъ переиспытала все это на практикѣ, рискуя самой попасть въ этотъ грязный потокъ дѣйствительной жизни, который умчитъ ее и обезобразитъ въ водоворотѣ всевозможныхъ пороковъ». Это, я вамъ скажу, чудесная метода знакомиться съ жизнью, и я удивляюсь, какъ до сихъ поръ никто не догадался учредить при нашихъ университетахъ кафедры для *теоретическаго* преподаванія «разврата, лицемерства и эгоизма». Недурно было-бы такъ же примѣнить эту *теоретическую* методику къ изученію плаванія, верховой ѣзды, фехтованія и стрѣльбы въ цѣль. Результаты получились-бы блестящіе. Хотя Анна Антоновна *сама* находила, что теоретическая метода очень хороша, однако она опять-таки *сама* начала дѣйствовать противъ Петра Васильевича практическимъ путемъ и потерпѣла совершенное поразеніе. Она обратилась къ супругу съ требованіемъ, чтобы онъ выпроводилъ своего гостя изъ дому. Супругъ конечно обругалъ ее за такое глупое требованіе; тогда она въ свою очередь обругала Петра Васильевича; Григорій Андреевичъ послѣ отъѣзда обруганнаго гостя сугубо обругалъ Анну Антоновну и даже пожелалъ увести отъ нея дочь, но дочь не поѣхала, и военные дѣйствія на нѣсколько времени пріостановились. Какимъ образомъ ругалась Анна Антоновна, этого намъ Станицкій не сообщаетъ, потому что Анну Антоновну онъ любитъ и всячески выгораживаетъ. Но о Григоріи Андреевичѣ мы доподлинно знаемъ, что онъ ругается шибко, кричитъ «неистово», кричитъ «ужасающимъ голосомъ», стучитъ «изо всей силы кулакомъ по столу» и держитъ «кулаки надъ головой несчастной женщины». Результатъ всѣхъ этихъ усилій оказывается въ высшей степени удовлетворителенъ, потому что Анна Антоновна остается безъ чувствъ на полѣ сраженія, хотя сраженіе ограничивалось только краснорѣчіемъ и мимикой, и слѣдовательно могло по всей справедливости называться *теоретическимъ* изученіемъ семейнаго боксерства. Когда наступила тишина и когда Анна Антоновна стала поправляться отъ болѣзни, причиненной ей всѣми *теоретическими* и практическими трудностями, тогда она замѣтила, что дочь ея тоскуетъ объ

уѣхавшемъ гостѣ. Тутъ она «дала себѣ слово понемногу начать, въ разговорахъ, знакомить свою дочь съ дѣйствительной жизнью».

Видно, теоретическая метода очень глубоко засѣла въ голову этой барыни, и намъ было-бы куда какъ лестно послушать эти поучительные разговоры, но къ сожалѣнію Аннѣ Антоновнѣ побесѣдовать о жизни не удалось, потому что въ это самое время открылось, что барышня изучаетъ жизнь по другой методѣ, подъ непосредственнымъ руководствомъ Петра Васильевича и при содѣйствіи добродушнаго напеньки. — Въ одну прекрасную ночь Аннѣ Антоновнѣ пришлось увидать, что ея дочь цѣлуется въ саду съ тѣмъ самымъ гостемъ, котораго она, Анна Антоновна, такъ храбро и рѣшительно выпроводила изъ дому. «Несчастная мать тотчасъ узнала голосъ дочери, — говорить Станицкій; — силы ей измѣнились, и она схватилась за дерево, чтобъ устоять на ногахъ, но тотчасъ-же, оглушенная точно громомъ, опустила на сырую траву, прислонивъ свою нылающую голову къ дереву. Анна Антоновна не чувствовала холодной осенней ночи; напротивъ, мучительный огонь жегъ ее, она хотѣла кричать, но у ней не хватало голоса, хотѣла схватить за платье дочь, когда та прошла мимо съ Петромъ Васильевичемъ, но руки были безсильны; одинъ только слухъ, какъ-бы нарочно, не былъ парализованъ, и она ясно разслышала и циническія шуточки Григорія Андреевича, совѣтовавшаго влюбленнымъ разойтись по домамъ, и звонкій прощальный поцѣлуй.»

Однако, думаетъ хладнокровный читатель, какая-же эта Анна Антоновна воинственная и притомъ какая преглухая! Какое она питаетъ страстное влеченіе къ бесполезнымъ скандаламъ! И какъ это хорошо устроено, что бодливой коровѣ Богъ рога не даетъ. Ну, посудите вы сами, зачѣмъ она хотѣла кричать и хватать дочь свою за платье? — Въдъ изъ этого кричанія и хватанія ровно ничего не могло выйти, кромѣ смертельнаго испуга для Софьи Григорьевны. Представьте себѣ въ самомъ дѣлѣ, что дѣвушку, взволнованную любовнымъ свиданіемъ, окликаетъ въ темномъ саду отчаянный и неестественный голосъ; или еще лучше, ее ухватываетъ въ темнотѣ за платье съ судорожной силой какая-то невѣдомая рука. Ну, разумѣется, обморокъ, первая горячка и смерть, — вотъ все, что можно ожидать отъ такой родительской шалости. И потомъ та-же самая Анна Антоновна стала-бы раздирать свои ризы и стала-бы обвинять въ смерти дочери весь свѣтъ, кромѣ самой себя, потому что услужливые медвѣди всегда поступаютъ такимъ образомъ. Въдъ вотъ и въ этомъ случаѣ, размышляя о ночной сценѣ въ саду, Анна Антоновна никакъ не умѣетъ сообразить, что это любовное свиданіе вполне можетъ быть названо дѣломъ ея собственныхъ рукъ. Пересчитаемъ всѣ ея капиталныя глупости, и мы увидимъ, что романъ ея до-

чери составляетъ прямой, естественный и необходимый результатъ родительской тактики самой Анны Антоновны. *Во-первыхъ*, она воспитываетъ свою дочь въ глубокомъ уединеніи и въ такомъ оранжерейномъ мірѣ, въ которомъ нѣтъ рѣшительно ничего похожаго на дѣйствительную жизнь. *Во-вторыхъ*, она самымъ тщательнымъ образомъ лжетъ передъ дочерью на счетъ своей собственной семейной жизни, но сама требуетъ отъ дочери полной откровенности и въ то-же время брызжитъ на эту дочь, когда замѣчаетъ или подозреваетъ въ ней какія-нибудь неподходящія мысли. Это впрочемъ самая обыкновенная метода старшихъ при сношеніяхъ съ младшими. Я, говорить старшій, — твой другъ, и ты открывай мнѣ всѣ твои мысли, а я тебя буду распевать на твои глупости и буду тебя обманывать для твоей-же пользы. И послѣ этого старшій удивляется, какъ это у младшаго достало безсовѣстности нарушить такой выгодный и удобный контрактъ. Но, разумѣется, контракты эти всегда нарушаются, потому что въ самомъ дѣлѣ трудно найти такого олуха, который удовлетворился-бы подобной дружбой и вообразилъ-бы себѣ, что онъ дѣйствительно видитъ передъ собой настоящаго друга, а не благодѣтельное начальство. Поэтому система обязательной откровенности непременно учитъ младшаго хитрить и притворяться, потому что хитрость и притворство составляютъ въ этомъ случаѣ естественное и необходимое орудіе личной обороны. Если-же эта система расплачивается огромными, разнообразными и утонченными средствами угнетенія, то она приводитъ младшаго къ искусственному идиотизму, что и дѣлалось съ полнымъ успѣхомъ въ іезуитскихъ коллегіяхъ. Но такъ какъ Аннѣ Антоновнѣ было далеко во всѣхъ отношеніяхъ до іезуитовъ, то ея педагогическія глупости привели только къ тому, что отношенія ея съ дочерью, оставаясь нѣжными и чувствительными, сдѣлались неестественными и натянутыми съ той самой минуты, какъ только въ головѣ молодой дѣвушки шевельнулась первая самородная мысль. Еслибы Софья Григорьевна встрѣтилась съ подругой, то она-бы ей отдала всю свою довѣренность, и стала-бы ей высказывать такіа вещи, которыми она не находила удобнымъ говорить любящей, но скрипящей, матери. Случилось ей встрѣтиться на первый разъ не съ подругой, а съ молодымъ мужчиной; очень естественно, что она бросилась къ нему на шею, потому что увидала въ немъ своего перваго друга и кромѣ того перваго близкаго знакомаго мужескаго пола. *В-третьихъ*, Анна Антоновна по просьбѣ дочери пишетъ своему мужу, чтобы онъ ѣхалъ къ нимъ въ деревню. Этотъ поступокъ составляетъ очень большую глупость, которая, именно съ точки зрѣнія самой Анны Антоновны и Станицкаго, оказывается совершенно непростительной. Анна Антоновна знаетъ давно, что ея мужъ — человекъ

тибый; зачѣмъ-же она сама напрашивается на то, чтобы этого человѣкъ забралъ въ руки вліяніе надъ ея дочерью? Зачѣмъ она рѣшается пришить къ своей взрослой дочери этого человѣка, который по ея-же собственному убѣжденію не можетъ принести ровно ничего, кромѣ вреда и горя?—Развѣ она не понимаетъ, что Григорій Андреевичъ навѣрное навязжетъ ей и дочери какое-нибудь знакомство, вовсе непоучительное для молодой дѣвушки? Что онъ привезетъ съ собой какого знакомаго изъ Петербурга, этого она, по-моему, не могла предвидѣть. Но вѣдь какого-нибудь молодого кутилу и веселаго собутыльника не трудно отыскать и въ провинціи, а что Григорій Андреевичъ будетъ искать и найдетъ новую драгоценность, это было въ высшей степени вѣроятно, во-первыхъ потому, что человѣкъ созданъ для общества, а во-вторыхъ потому, что на ловца и звѣрь бѣжитъ. Если даже остаться въ сторонѣ это частное неудобство, то вообще слѣдовало ожидать, что Григорій Андреевичъ такъ или иначе обнаружитъ свои достоинства, и что дочь именно вслѣдствіе сближенія съ отцомъ испытаетъ въ отношеніи къ нему самое полное и самое тяжелое разочарованіе. Зачѣмъ-же любящая и заботливая мать сама не взяла на себя труда разочаровать свою дочь и убѣдить ее въ томъ, что сближеніе съ кутящимъ и одиателемъ неудобно и неосуществимо во всѣхъ отношеніяхъ? Вотъ тутъ дѣйствительно не мѣняло пустить въ ходъ *теоретическую* методу, потому что, когда мать говоритъ дочери: «твой отецъ — пьяница», то дочери для того, чтобы повѣрить этимъ словамъ, нѣтъ никакой особенной надобности видѣть собственными глазами, какъ родитель нишетъ мыслете. Въ этомъ случаѣ показаніе матери замѣняетъ вполнѣ непосредственное созерцаніе сырого факта. Спрашивается, почему-же Анна Антоновна сдѣлала эту глупость, капитальную глупость? Станицкій по своему пристрастію къ этой рыдающей маріонеткѣ не останавливается надъ этимъ вопросомъ и глухо даетъ почувствовать читателю, что Анна Антоновна выписала своего супруга по своему мягкосердію. Но я думаю, что она сдѣлала это по русской пословицѣ: громъ не грянетъ, мужикъ не перекрестится. Когда дочь задала ей вопросъ: «отчего ты не пишешь къ отцу?», то ей предстояло или отвѣчать на этотъ вопросъ: «вотъ отецъ», или сказать: «сейчасъ напишу». Въ первомъ случаѣ надо было тотчасъ, немедленно выказать всю правду, а во второмъ случаѣ опасность отсрочивалась на нѣсколько недѣль. Этой терпѣли было совершенно достаточно, чтобы релѣстить Анну Антоновну и направить ее на другой путь. Громъ непременно грянетъ, и крепиться все-таки придется, но такіа отдаленныя ображенія не укладываются въ слабую голову заботливой матери. А можетъ и не грянетъ, вѣдь, Богъ милостивъ, да когда еще это будетъ,

тогда увидимъ—вотъ тѣ обыкновенныя умозрѣнія, которыми пробавляется огромное большинство нашихъ соотечественниковъ, и эта близорукость пониманія, эта неповоротливость мысли составляютъ самое существенное основаніе нашего рутиннаго добродушія и мягкосердія. Мы обыкновенно не принимаемъ никакихъ рациональных мѣръ противъ возможныхъ и вѣроятныхъ столкновеній съ различными шероховатостями дѣйствительной жизни: но мы дѣлаемъ это не потому, что сознательно уважаемъ нашихъ ближнихъ и не хотимъ оскорбить ихъ недоувѣріемъ, а просто потому, что мы не умѣемъ вглядываться въ жизнь и ведемъ всѣ наши дѣла кое-какъ и спустя рукава. Это совсѣмъ не мягкость, а просто тупоуміе, и симпатизировать этому прелестному свойству могутъ только психологи, подобные Станицкому. Въ *четвертыхъ*, Анна Антоновна не сдѣлала рѣшительно ничего, чтобы открыть дочери глаза на крупныя недостатки Петра Васильевича. Въ *пятыхъ*, она выгнала этого молодого человѣка изъ дому и этимъ крутымъ поступкомъ превратила любовь Софьи Григорьевны въ бѣшеную страсть.

Изъ этого длиннаго перечня глупостей видно, что всю кашу заварилъ Анна Антоновна, а Станицкій, напротивъ того, сваливаетъ всю вину на гнусныхъ развратниковъ, которые въ этомъ случаѣ являются совершенно второстепенными дѣятелями. Софья Григорьевна конечно выходитъ замужъ за Петра Васильевича, и жизнь ея складывается самымъ уродливymъ образомъ. Станицкій усиливается доказать, что виновниками ея несчастія были ея отецъ и ея мужъ, и весь романъ готовится такимъ образомъ къ тому заключенію, что женщины терпятъ горькую муку отъ безправности грязныхъ эгоистовъ, не вразумленныхъ желѣзными кольцами. Романъ составляетъ такимъ образомъ длинную проповѣдь противъ разврата и эгоизма. Станицкій, какъ авторъ, воленъ конечно къ однимъ изъ своихъ маріонетокъ питать нѣжную привязанность, а къ другимъ—лютую ненависть; мы ему препятствовать не можемъ и не желаемъ, но если мы осторожно соскоблимъ съ его картинъ тотъ ложный колоритъ, который кладутъ на нихъ его пылкія симпатіи и антипатіи, если мы такимъ образомъ возстановимъ факты разсказа въ ихъ настоящемъ свѣтѣ и покажемъ дѣйствительныя пружины, управляющія ходомъ этихъ событій, то весь романъ приведетъ насъ къ совершенно противоположному заключенію. Что женщины терпятъ часто горькую муку—это правда; но главная и почти единственная причина ихъ страданій заключается въ ихъ собственной неразвитости и въ томъ искусственномъ тупоуміи, которое напускается на нихъ воспитаніемъ и всѣмъ складомъ нашей образцовой семейной жизни. Развратъ и эгоизмъ тутъ ни въ чемъ не виноваты, и вся основная тенденція ро-

мана оказывается такимъ образомъ совершенно ложной. Станицкій кричитъ людямъ: «старайтесь, подлецы вы такіе, исправить вашу нравственность», и весь этотъ крикъ, растянутый на сотни страницъ, по всей справедливости долженъ быть названъ бесплоднымъ наборомъ рѣзкихъ звуковъ. Людямъ надо говорить очень кротко и доказывать какъ можно убѣдительно, что они въ сущности совсѣмъ не подлецы, и что имъ вовсе не слѣдуетъ исправляться, но что имъ было-бы очень пріятно и не бесполезно побольше и почаще пользоваться содѣйствіемъ головного мозга. «Вы-бы, сударики мои, почитали книжку; вы-бы, голубчики, подумали о вашихъ потребностяхъ; вы-бы взглянули на такой-то вопросъ съ такой-то точки зрѣнія.»—Вотъ какъ слѣдуетъ объясняться съ нашими милыми соотечественниками, и только такіа дружжелюбныя объясненія могутъ принести хоть какую-нибудь пользу, потому что все человѣческое благосостояніе безусловно зависитъ отъ высоты умственного развитія.

Мы увидимъ, что даже творческій умъ Станицкаго не въ состояніи былъ изобрѣсти такіе факты, которые-бы противорѣчили этой основной и неопровержимой истинѣ. Станицкому постоянно хочется свернуть на нравственную проповѣдь, а факты его романа, вопреки его авторскому всемогуществу, говорятъ ясно и громко, что вся бѣда происходитъ исключительно отъ недостатка умственного развитія.

У.

Мы видѣли въ предыдущей главѣ, что добродѣтельная женщина надѣлала кучу глупостей и, воплія обезоруживъ свою дочь нелѣпымъ воспитаніемъ, сама отдала ее въ безотчетное распоряженіе первому встрѣчному, который оказался неблагонадежнымъ во всѣхъ отношеніяхъ. Посмотримъ теперь, какую роль играли здѣсь «грязные и развратные эгоисты», ненавистные Аннѣ Антоновнѣ и Станицкому. Что эта роль была совершенно второстепенной, это уже ясно изъ предыдущаго. Но теперь надо посмотрѣть, какая побудительная причина заставляла ихъ играть эту второстепенную роль. На соображенія Станицкаго тутъ полагаться невозможно, потому что онъ самъ рѣшительно не понимаетъ и упорно отказывается понимать тѣ факты, которые самъ изобрѣтаетъ и рассказываетъ. Добродѣтельная ненависть къ эгоизму и разврату помрачаетъ всѣ его помыслы. Онъ думаетъ, что Григорій Андреевичъ устроилъ сближеніе дочери съ Петромъ Васильевичемъ «на зло» Аннѣ Антоновнѣ, потому, изволите-ли видѣть, что «черствыя души не могутъ выносить самопожертвованій чистыхъ, привязанностей», и еще потому, что «у людей самолюбивыхъ нѣтъ пощады никому». Сильно сказано, но по обыкновенію неосновательно. Что Григорій Андреевичъ питаетъ непріязненное чув-

ство къ Аннѣ Антоновнѣ—этому я охотно вѣрю, потому что это больное, слезливое и раздражительное существо способно навести тоску и уныніе даже на такого пламеннаго и постоянного обожателя, какимъ былъ добрый рыцарь Тоттенбургъ или его близкій родственникъ, полумумный Донъ-Кихотъ. Но губить дочь для того, чтобы насолить женѣ, это слишкомъ замысловато и не совсѣмъ правдоподобно, особенно, если еще сообразить, что эта дочь любить и ласкаетъ своего отца и что собственно противъ дочери у этого отца нѣтъ ни малѣйшей непріязни. Но «у людей самолюбивыхъ нѣтъ пощады никому»; примемъ эти слова за святую истину и допустимъ, что Григорій Андреевичъ способенъ испортить жизнь дочери для того, чтобы довѣхать любезную супругу. Прекрасно, но вѣдь невозможно сомнѣваться въ томъ, что люди самолюбивые соблюдаютъ свои собственные интересы; дѣлать зло они могутъ, но если это для нихъ самихъ невыгодно, то они навѣрное не будутъ увлекаться, въ ущербъ собственному интересу, идеальнымъ удовольствіемъ напасть на ближняго. Село Григорьевка, заключающее въ себѣ пятьсотъ душъ, принадлежитъ Аннѣ Антоновнѣ—и послѣ ея смерти должно перейти во владѣніе Софьи Григорьевны; Анна Антоновна—женщина и можетъ умереть чрезъ два-три года; тогда Софья Григорьевна, какъ молодая и неопытная дѣвушка, довѣритъ все управленіе отцу даже и въ томъ случаѣ, если она въ то время будетъ совершеннолѣтней. Спрашивается, выгодно-ли Григорію Андреевичу выдавать дочь свою замужъ, то-есть вводить между собой и дочерью третье лицо, съ которымъ по всей вѣроятности будетъ гораздо труднѣе ладить, чѣмъ съ одинокой и неопытной дѣвушкой? Кажется, невыгодно. А если невыгодно, то невозможно допустить, чтобы его участіе въ романѣ Софьи Григорьевны было обдуманной и злонамѣренной интригой. Лютый эгоистъ и нравственная испорченность остаются совершенно въ сторонѣ, а вмѣсто этихъ фантастическихъ свойствъ является на сцену то-же самое дряблѣе мягкосердечіе, которое мы уже нашли въ Аннѣ Антоновнѣ и которое обыкновенно управляетъ почти всѣми поступками пустыхъ и ничтожныхъ людей. Привезъ онъ съ собой Петра Васильевича отъ нечего дѣлать, потому что съ «хорошимъ человекомъ» пріятно компанію вести; молодые люди понравились другъ другу; ихъ одушевленіе разсѣяло однообразіе деревенской жизни, и Григорію Андреевичу это обстоятельство доставило особенно много удовольствія потому, что онъ видѣлъ тутъ дѣло рукъ своихъ, и потому, что это обстоятельство льстило его родительскому самолюбію. Вотъ, молъ, Сося, думаетъ онъ, сколько лѣтъ ты жила вмѣстѣ съ мамашей и все удовольствія никакого не видѣла; а пріѣхалъ отецъ—и все разомъ пошло по новому. Отецъ-то сразу догадался привезти тебѣ такую игрушку,

которая должна тебѣ понравиться больше всего на свѣтѣ.

Когда Анна Антоновна стала косо поглядывать на петербургскую игрушку, тогда Григорію Андреевичу сдѣлалось досадно по многимъ причинамъ. Во-первыхъ — что за чортъ! ничѣмъ не угодишь. Всякая заслуга обращается въ преступленіе. Во-вторыхъ — чѣмъ-же Петръ Васильевичъ не женихъ? Молодъ, нравится дѣвушкѣ, имѣетъ состояніе, и главное — душа-человѣкъ. Въ-третьихъ — зачѣмъ-же огорчать Сою? Въ-четвертыхъ — пріятно защитить дочь отъ капризовъ больной и раздраженной матери. Именно такого рода мысли и ощущенія должны были зашевеливаться въ оскорбленномъ родителѣ, когда Анна Антоновна начала войну противъ развратныхъ эгоистовъ. При этомъ надо замѣтить, что Анна Антоновна съ своей стороны сдѣлала все, что могла сдѣлать, для того, чтобы довести почтеннаго супруга до послѣднихъ предѣловъ бѣшенства. Объясненія свои она начинаетъ обыкновенно самымъ надменнымъ и кисло-враждебнымъ тономъ; потомъ, когда видить, что этотъ тонъ никого не можетъ удивить и запугать, она вдругъ превращается въ казанскую сироту и начинаетъ визжать и плакать, но сквозь слезы все-таки продолжаетъ дѣлать оскорбительные попреки. Вотъ вамъ образчики: «я считаю неблагодарнымъ, — сказала она, — долѣе терпѣть присутствіе вашего гостя: я его не знаю и не желаю знать короче. Прошу васъ сдѣлать ему намекъ, что его поведеніе слишкомъ продолжительно, и что я утомилась имъ.»

Мнѣ кажется, что порядочные люди съ своими лакеями никогда не говорятъ такимъ сухимъ и повелительнымъ тономъ. Григорій Андреевичъ отвѣчаетъ ей «грубыми словами», «оскорбительнымъ и озлобленнымъ крикомъ», и это конечно съ его стороны непохвально, но надо-же войти и въ его положеніе. Слова Анны Антоновны сразу уничтожаютъ возможность всякихъ дальнѣйшихъ переговоровъ. На эти слова надо отвѣчать или самымъ полнымъ изъясненіемъ покорности, то есть немедленнымъ изгнаніемъ невиннаго гостя, или самымъ рѣшительнымъ отказомъ, а такой отказъ, въ какую-бы мягкую форму онъ ни былъ облеченъ, все-таки долженъ произвести на Анну Антоновну самое потрясающее впечатлѣніе. Станищій очевидно желаетъ, чтобы «грязный эгоистъ» собственноручно продѣлъ себѣ въ ноздри желѣзное кольцо, и малѣйшее уклоненіе этого лютаго животнаго отъ этой священной обязанности вмѣняется ему въ позорное преступленіе. Анна Антоновна между тѣмъ немедленно переходитъ въ минорный тонъ: «я прошу васъ не отрываться отъ меня моедита. Пожалѣйте меня хоть разъ въ жизни! Развѣ вы не видите, что вся моя жизнь въ ней?», и такъ далѣе, и все это произносится «умоляющимъ голосомъ». А вслѣдъ за тѣмъ начинаются попреки, которые, какъ извѣстно, ни-

когда не могутъ принести ни малѣйшей пользы. «Развѣ я плакала, когда вы прикидывались влюбленнымъ въ меня. Я вѣрила вамъ, вашей любви, и потому не могла перенести всѣ ваши унижительные поступки со мной»... и такъ далѣе.

Всѣ эти рѣчи очевидно не имѣютъ никакого прямого отношенія къ Петру Васильевичу и насколько не могутъ расположить Григорія Андреевича къ мягкости и уступчивости. Я не думаю также, чтобы всѣ эти переходы отъ величаваго презрѣнія къ покорнѣйшей просьбѣ и отъ обильныхъ слезъ къ обильной брани могли внушить кому-бы то ни было уваженіе къ личному характеру и къ желаніямъ Анны Антоновны. Поэтому, мнѣ кажется, нѣтъ основанія противопоставлять Анну Антоновну, какъ добродѣтельную мученицу, Григорію Андреевичу, какъ свирѣпому злодѣю. Анна Антоновна сама себѣ причиняетъ огорченія своими собственными ошибками, а Григорій Андреевичъ въ настоящемъ случаѣ является даже вовсе не злодѣемъ, а, напротивъ того, защитникомъ естественныхъ правъ своей дочери. Анна Антоновна шестнадцать лѣтъ воспитывала эту дочь и не умѣла даже настолько развить ея умъ, чтобы она не увлекалась первымъ нѣжнымъ взглядомъ перваго встрѣчнаго фата. А потомъ, когда это воспитаніе начинаетъ приносить свои плоды, Анна Антоновна думаетъ поправить все дѣло крутыми мѣрами родительской власти. Отецъ предлагаетъ дочери прогулку, а мать говоритъ: «не надо прогулки, ступай въ свою комнату и займись чѣмъ-нибудь.» Сою нравится молодой человѣкъ, а мать дѣлаетъ этому молодому человѣку дерзости и выгоняетъ его изъ дому. Намѣренія матери превосходны, но дѣйствія нелѣпы, и нѣтъ надобности быть эгоистомъ, развратникомъ или злодѣемъ для того, чтобы принять сторону дочери и сдѣлаться покровителемъ ея молодой любви. Жаль, что эта любовь возникла, но объ этомъ надо было думать гораздо раньше; дѣвушка не виновата въ томъ, что она полюбила, и подавлять ея любовь родительскими приказаніями значить только причинять ей безполезную боль. Эта дѣвушка по всей вѣроятности будетъ несчастлива, но совсѣмъ не потому, что у нея дурной отецъ, и не потому, что она влюбилась въ дурного человѣка, а потому, что она родилась, выросла и будетъ жить при такихъ условіяхъ, при которыхъ не могли развиваться и окрѣпнуть силы ея ума.

Представьте себѣ, что Ноздревъ женился на помѣщицѣ Коробочкѣ и что у нихъ родилась дочь; много бесполезныхъ слезъ прольетъ она на своемъ вѣку; подобно своей матери, она будетъ оплакивать каждую околевшую телушку и ужасаться при видѣ каждой градовой тучи; каждый копѣечный проигрышъ ея мужа будетъ дарить ее безсонными ночами; каждый убійственный взоръ, брошенный этимъ-же самымъ мужемъ на какую-нибудь казначейшу, будетъ по-

вергать ее въ бездну отчаянія. Спрашивается, кто былъ виноватъ во всѣхъ ея страданіяхъ? Папенька-ли ея, Ноздревъ, или маменька, Коробочка, или супругъ ея, подпоручикъ Кувшинниковъ, или всѣ они вмѣстѣ, или никто изъ нихъ? И каждый, и всѣ, и никто, и самъ чортъ ихъ разберетъ, кто изъ нихъ правъ, кто виноватъ. Причина всѣхъ страданій этой подпоручицы Кувшинниковой заключается и въ ней самой, и во всемъ, что ея окружаетъ, и во всей исторіи ея развитія. Бя личный характеръ, ея всѣдневная жизнь и ея воспитаніе — это такая мозанка, въ которую самыя разнокалиберныя личности положили и ежедневно кладутъ по крошечному камушку: тутъ и маменька, тутъ и папенька, и супругъ, и соперница-казначейша, и скотница Авдотья, и лакей Филимонъ, и странница Евпраксія, и юродивый Гришутка, и всѣ, ихъ-же имена богъ вѣсть, всѣ, всѣ вложили по лентѣ; и составилось изъ всѣхъ этихъ добродѣльныхъ приношеній нѣчто болѣе похожее на тѣстообразный осадокъ, чѣмъ на мозанку, построенную по опредѣленному рисунку. И совершаются въ этомъ осадкѣ разные химическіе процессы броженія: осадокъ дуетъ и плачетъ, осадокъ волнуется и страдаетъ, осадокъ лѣзетъ на стѣны и проклинаетъ свою жизнь, то-есть свой химическій составъ. — Кто тебя, осадочекъ, обижаетъ? спрашиваетъ сердобольный человѣкъ, подобный Станицкому. — А, вотъ кто! отвѣчаетъ себѣ этотъ человѣкъ. — Хорошо, я-жъ его отдѣлаю! — Кто тебя, осадочекъ, замѣсилъ! спрашиваетъ другой человѣкъ, также очень сердобольный и также очень похожій на Станицкаго. — А, вотъ кто! отвѣчаетъ онъ себѣ, я-жъ ему покажу. И распространяются, по милости этихъ сердобольныхъ людей, зловѣщіе слухи, что всѣ страданія тѣстообразнаго осадка напущены на него и выдуманы спеціально для него лютыми злодѣями, подлецомъ Кувшинниковымъ и мерзавцемъ Ноздревымъ. Кувшинниковъ обижаетъ, а Ноздревъ замѣсилъ. Ясное дѣло, что они виноваты. Они выдумали рецептъ тѣстообразнаго осадка, они привели этотъ рецептъ въ исполненіе и они-же теперь производятъ надъ осадкомъ разные химическіе опыты, которые для осадка мучительны, а для нихъ, для этихъ злобныхъ алхимиковъ, пріятны и занимательны.

О, могущественные чародѣи, Ноздревъ и Кувшинниковъ, о великіе извѣдователи осадочныхъ формаций! Какъ-же это вы злодѣйствуете такъ сознательно, а между тѣмъ сами не умѣете приложить вашу сознательность къ устройству вашей собственной жизни! Неужели тебѣ, чародѣй Ноздревъ, пріятно, когда взыскательные партнеры истребляютъ твои бакенбарды? И неужели тебѣ, алхимикъ Кувшинниковъ, весело, когда ты примѣриваешь цѣлое утро новые сапоги и осматриваешь со всѣхъ сторонъ «на-диво сточенный каблукъ»? — Скучно и скверно живется вамъ

обоимъ, друзья мои, и оба вы точно такъ-же волнуется и страдаете, какъ тотъ несчастный осадокъ, на которомъ вы такъ часто срываете вашу неумную злобу, и который въ свою очередь немедленно вымѣщаетъ полученныя отъ васъ огорченія на какой-нибудь безответной кухаркѣ или на своемъ собственномъ пятилѣтнемъ ребенкѣ. — Какіе-жъ вы послѣ этого чародѣи и алхимики? Какіе-жъ вы сознательные злодѣи? Вы сами — тѣстообразные осадки, никакого рецепта не выдумали и никакого рецепта не существуетъ. Существуетъ только поголовное неумѣнье жить, существуетъ повсемѣстная темнота и безсознательность, и въ этомъ отношеніи вы, Ноздревы и Кувшинниковы, нисколько не лучше, но и нисколько не хуже вашихъ добродѣтельныхъ женъ и вашихъ невинныхъ дочерей. Это неумѣнье жить, эта толкотня и это разнообразное мордобитіе существуютъ съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ существуетъ земля. Когда мы смотримъ въ самую глубокую древность, тогда мы называемъ это неумѣнье жить дикостью или варварствомъ; потомъ, когда это неумѣнье организуется, мы замѣчаемъ въ немъ различныя стороны или грани, а теперь это неумѣнье жить раздробилось на такое множество отдѣльныхъ и мелкихъ явленій и получило столько благозвучныхъ названій, что всякое разсужденіе объ этомъ предметѣ сдѣлалось въ высшей степени неудобнымъ и щекотливымъ. Всякая отдѣльная форма этого неумѣнья пріобрѣла себѣ солидную осанку, укрѣпилась на фундаментѣ исторической давности, выработала себѣ самое щепетильное чувство собственного достоинства и вооружилась, въ лицѣ своихъ передовыхъ представителей, всеми утонченными аргументами схоластической логики. А лекарство все-таки остается одно и то-же: не умѣешь жить, такъ учись; а не умѣешь учиться, такъ живи, какъ знаешь, и не жди себѣ никакого чудодѣйственнаго облегченія ни отъ де-кламацій Станицкаго, ни отъ игривости Щедрина, ни даже отъ громоносной сатиры Розентайма.

VI.

Романъ Станицкаго очень длиненъ (239 страницъ), и поэтому я нахожу невозможнымъ вести далѣе мое критическое изслѣдованіе о его достоинствахъ въ томъ объемѣ, въ которомъ я его началъ. Разнообразныя красоты этого романа такъ неисчислимы, что приходится сдѣлать самый строгій выборъ и остановиться только на самыхъ яркихъ и крупныхъ алмазахъ поэтической діадемы Станицкаго. Такими алмазами будутъ для насъ: *во-первыхъ*, идеальный конецъ, придѣланный къ земному существованію Анны Антоновны; *во-вторыхъ*, страданія Софьи Григорьевны; *въ-третьихъ*, дѣлушка Петра Васильевича; и *въ-четвертыхъ*, добродѣтельные люди молодого поколѣнія. Но, прежде нежели я приступлю къ изученію этихъ блестящихъ яв-

ощущностей, я желаю еще разъ поздравить моего читателя «букетомъ гражданской скорби» и высокого негодованія. Я полагаю, что Станицкій есть именно тотъ князь Григорій, о которомъ говорить Репетилловъ, что у него

«Глаза въ крови, лицо горитъ,
Самъ плачетъ, а мы всѣ рыдаемъ!..»

О крайней мѣрѣ мнѣ никогда неслучалось встрѣять другого писателя, который такъ упорно и бросовѣстно придирается-бы ко всякому удобному и неудобному случаю для того, чтобы вмѣстѣ съ своими читателями порыдать надъ несовершенствами нашей жизни и надъ испорченностью человѣческаго рода. На каждомъ шагу въ разсказѣ прерывается, романистъ восклицаетъ: «по восплачемъ-же, братья мои!», и начинается немедленно скрежетаніе зубовъ и пошныя главы пейломъ и соромъ разныхъ безсодныхъ выкриковъ. А потомъ ничего, выплатить свое обязательное горе и опять начнеть эскапировать. И никакъ невозможно предусмотрѣть, какое именно слово затронетъ чувствительную струну въ душѣ пылающаго гражданина. Иногда буря краснорѣчиваго огорченія разыгрывается по поводу самой ничтожной причины, подобно тому, какъ лавина сваливается сто отъ того, что какой-нибудь пастухъ громко смеоркается или какой-нибудь дикий козель бѣгаетъ неосторожный прыжокъ. Вотъ вамъ ень любопытный примѣръ. Станицкій привогъ отрывокъ изъ письма влюбленнаго Петра Васильевича къ влюбленной Софѣ Григорьевнѣ. [ничего. На небѣ ясно. Бури не придвидится]. [нахожу,—говоритъ Станицкій,—этотъ отрывокъ изъ переписки достаточнымъ, какъ обзчикъ краснорѣчія влюбленнаго Петра Васильевича, которому Софѣ Григорьевна безусловно рила, какъ она нѣкогда вѣрила, бывши ребенкомъ, волшебнымъ сказкамъ, которыя ей разывала ея няня. — Кажется, спокойно разываетъ человекъ; но вообразите себѣ, въ этихъ койныхъ словахъ уже заключается гибельный зародышъ неустойчивой бури. Гдѣ-же буря? нашивается вы съ безпокойствомъ. Должно быть, счетъ довѣрчивости дѣвушекъ и коварства жини?—Нѣтъ-съ, это было-бы слишкомъ про.—Такъ можетъ-быть по части педагогики: омы, что, молъ, не слѣдуетъ дѣтямъ разсказывать волшебныя сказки?—Нѣтъ, все не то. возьте слушать дальше; сами не догадаетесь. азсказы о чудесномъ такъ плѣняли ее, что съ должна была долго и настойчиво разувѣть, что въ дѣйствительной жизни вовсе не дествуетъ людей въ видѣ звѣря или рыбы, что съ ни мертвой, ни живой воды, и нѣтъ такой шебной палочки, по взмаху которой воздвигись-бы дворцы, а всѣ люди при этомъ рабно преклонялись-бы предъ владѣтелемъ паки; что нѣтъ также тѣхъ стоголавыхъ чудодѣй, которыхъ-бы ни огонь, ни сталь и ни-

какая сила человѣческая не могла уничтожить. > Буря надвинулась со всѣхъ сторонъ. Вы и сами чувствуете, что дѣло пеладно. Не даромъ-же авторъ такъ разгулялся на счетъ волшебныхъ сказокъ. Охъ, не даромъ! Но вы все-таки еще не знаете, съ которой-же стороны на васъ посыпятся стрѣлы краснорѣчія, и отъ этой неизвѣстности вамъ становится еще болѣе жутко. Но вотъ раздается первый громовой ударъ, и передъ вами открывается мгновенно вся бездна приготовленнаго для васъ несчастья. «Но я такъ думаю,—продолжаетъ Станицкій,—что Анна Антоновна скорѣе ошибалась, разувѣряя ребенка, въ томъ, что сказочныя неаппости не существуютъ въ дѣйствительной жизни. Неужели читатель не встрѣчалъ въ своей жизни людей, которые только носятъ человѣческій образъ, а по вѣжъ своимъ наклонностямъ дикіе звѣри? Мало-ли мы видимъ людей, нѣмыхъ, какъ рыба, при видѣ какихъ угодно ужасовъ»... Ну, и такъ далѣе.

Вотъ она, буря-то! Поняли теперь, какой зловѣщій смыслъ имѣло перечисленіе тѣхъ предметовъ, которые встрѣчаются, а можетъ-быть даже и не встрѣчаются въ русскихъ волшебныхъ сказкахъ. Теперь вамъ Станицкій будетъ доказывать, не убѣдительно, но очень горячо, что въ жизни есть и живая вода, и мертвая вода, стоголавая чудовища и волшебныя палочки. За ходомъ его доказательствъ я слѣдить не буду, потому что кому-же охота дѣзть подъ проливной дождь, когда можно пребывать въ сухости и безопасности?—Но результаты получаются такіе, что тщеславіе въ обществѣ—это живая и мертвая вода, что стоголавая чудовища доподлинно существуютъ и что волшебную палочку составляютъ деньги. Ну, думаете вы, буря окончилась, потому что параллель проведена самымъ блистательнымъ образомъ. Но у Станицкаго буря родитъ бурю, бѣда влечетъ за собой новую бѣду. Деньги родятъ роскошныя обѣды, роскошные обѣды родятъ обжоръ, въ числѣ обжоръ оказываются «ученые мужи» и «патентованные либералы и демократы». И тутъ, при этомъ роковомъ словѣ, въ одну минуту поднимается такой ураганъ, который сваливаетъ съ ногъ самого Станицкаго и отшибаетъ у него послѣдніе остатки здраваго смысла. Дѣло доходить вотъ до чего: «Да, ученые мужи и патентованные либералы, вѣдь сознайтесь, что не будь у этихъ плутовъ дворцовъ и роскошныхъ обѣдовъ, вы-бы, съ вашими строгими убѣжденіями, возмутились отъ одной дерзости ихъ, еслибы они протянули вамъ гордо руку и пригласили-бы васъ на роскошный обѣдъ.»

Что-же это такое? Въ первой половинѣ фразы роскошный обѣдъ рѣшительно отрицается, а во второй половинѣ той-же фразы это условіе уже забыто и роскошный обѣдъ опять явился на сцену. У плута нѣтъ роскошнаго обѣда, и плутъ приглашается на роскошный обѣдъ. Ай, да плутъ!

Именно плусть! Тонкая шельма! Вот что значить разсуждать во время урагана. Вот до какой премудрости можно договориться. Но почему-же это Станицкий так горячо заботится о желудках «патентованных либералов» и почему знакомство этих господъ съ богатыми плутами принимает въ его глазахъ размѣры общественнаго бѣдствія? Мнѣ кажется, отвѣтить на этотъ вопросъ не трудно. Люди, подобные Станицкому, обыкновенно слышать звонъ, да не знаютъ, откуда онъ. Станицкій слышалъ, а можетъ-быть и читалъ, что есть на свѣтѣ доктринеры и ложные либералы, которые своей дѣятельностью тормозятъ развитіе общества. Какъ и чѣмъ они тормозятъ, этого Станицкій не сумѣлъ разобратъ; сказали ему, что тормозятъ,—онъ и давай ихъ ненавидѣть безъ всякихъ дальнѣйшихъ справокъ. Слышалъ онъ вѣроятно, что и у насъ расплодился ложные либералы и доктринеры, но чѣмъ эти господа отличаются отъ истинныхъ либераловъ,—этого онъ по своему обыкновенію не дослышалъ и не понималъ. И началъ онъ отличать истинныхъ либераловъ отъ ложныхъ не по идеямъ, а по поведенію. И поэтому явилась настоятельная необходимость разсуждать, гдѣ либералъ обѣдаетъ, гдѣ чай пьетъ, гдѣ ужинаетъ и какъ проводить ночь. А тутъ подошла на помощь французская поговорка: «dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es» (Скажи мнѣ, съ кѣмъ ты знакомъ, я тебѣ скажу, кто ты такой). И такимъ образомъ составилось въ творческомъ умѣ Станицкаго непоколебимое убѣжденіе, что кромѣ лоретокъ и эгоизма существуетъ въ Россіи еще одно общественное зло, именно привычка «патентованныхъ либераловъ и демократовъ» обжираться роскошными обѣдами у богатыхъ плутовъ. Только не страдай эти господа чревоугодіемъ, многое пошло-бы совсѣмъ иначе. Обѣдай они въ трактирѣ, а не у богатаго плута—и Станицкій съ удовольствіемъ призналъ-бы ихъ настоящими либералами. Если-же ихъ чревоугодіе составляетъ общественное зло, то надо разразить это чревоугодіе обличительнымъ громомъ. Ну вотъ, онъ и разражается.

Привожу здѣсь послѣдніе и самые сильные порывы урагана, который постоянно вертится на роскошныхъ обѣдахъ и патентованныхъ либералахъ.

«А вы, господа, вы свою продажность души прикрываете честными убѣжденіями, и къ вамъ дофѣрчиво идетъ пылкій юноша поучиться тому, какъ надо твердо отстаивать честныя убѣжденія, какъ строго надо слѣдить за своими слабостями и страшиться вреднаго тщеславія. И чему-же вы научаете юношу?—торговать честью, приносить все въ жертву пустому тщеславію, карать пороки на словахъ, а на дѣлѣ принимать участіе въ нихъ съ іезуитской осмотрительностью, чтобы сухимъ выйти изъ воды. Вы—Иуды предатели! (Я вамъ говорилъ, что разразитъ, вотъ и разразилъ.) Вамъ мало показалось зла человѣчеству отъ продажнаго торговля, вы завели биржу либераловъ

и демократовъ, гдѣ идетъ торгъ честными убѣжденіями, посредствомъ которыхъ ловкіе торгаша обогащаются популярностью и дѣлаются либеральными Ротшильдами, и также эксплуатируютъ бѣдныхъ человѣчествомъ, какъ банкиры и фабриканты на своихъ биржахъ!..»

Такъ какъ ураганъ при самомъ своемъ началѣ подрѣзалъ логику Станицкаго, то въ этой тирадѣ совершенно бесполезно будетъ искать какого-нибудь опредѣленнаго смысла. Мнѣ остается только замѣтить, что послѣдній порывъ ураганашибаетъ даже грамматику, и вслѣдствіе этого «либеральные Ротшильды» начинаютъ «эксплуатировать» не *бѣдныхъ* *человѣчествомъ*, а «*бѣднымъ* *человѣчествомъ*», что во время тихой погоды, то-есть при ненарушенномъ господствѣ русской грамматики, оказывается совершенно невозможнымъ.

На стр. 130 Станицкій говоритъ о страданіяхъ трехъ добродѣтельныхъ женщинъ и произноситъ между прочимъ слѣдующія слова: «въ этихъ случаяхъ у меня умъ за разумъ заходитъ». Вотъ, что правда, то правда. Съ этимъ я совершенно согласенъ, и мнѣ даже кажется, что этотъ феноменъ совершается надъ Станицкимъ гораздо чаще, чѣмъ онъ самъ предполагаетъ. Теперь мы можемъ проститься съ «букетомъ гражданской скорби». Много остается нетронутыхъ сокровищъ, но кто-же можетъ выловить изъ Персидскаго залива весь заключающійся въ немъ жемчугъ? Или изъ Сѣвернаго океана—всю плавающую въ немъ селедку?—«Ты можешь-ли левіаана на удѣ вытащить на берегъ?»—Нѣтъ, не могу.—Ну, стало-быть, не ронца на судьбу, будь малымъ доволенъ и благословляй свою скромную долю.

VII.

Идеальный конецъ, придѣланный къ земному существованію Анны Антоновны.

Станицкій употребляетъ все усилія, чтобы внушить читателю величайшее уваженіе къ характеру Анны Антоновны, и побудительная причина этихъ усилій очень понятна, потому что Анна Антоновна составляетъ, такъ сказать, краеугольный камень всего строенія. Если окажется, что эта барыня смахиваетъ на помѣшницу Коробочку, тогда Григорій Андреевичъ перестанетъ быть свирѣпымъ мучителемъ добродѣтельной мученицы, а сдѣлается просто ничтожнымъ супругомъ ничтожной женщины; тогда печальная участь Софьи Григорьевны перестанетъ быть преступнымъ дѣломъ недостойнаго отца, а сдѣлается просто естественнымъ результатомъ дурнаго воспитанія и очень обыкновенныхъ условий жизни. Тогда читатель не будетъ думать, что все зло дѣйствительной жизни выдуманно и напущено на добродѣтельныхъ людей «грязными эгоистами», «наглыми лоретками» и «либеральными Ротшильдами». Тогда читатель можетъ подумать, что добродѣтельные люди часто бываютъ

людьми очень глупыми, и что ихъ глупость составляетъ крѣпкую почву, на которой растутъ и процвѣтаютъ всякіе Ротшильды, лоретки и такъ называемые эгоисты. Словомъ, тогда читатель нарушить въ отношеніи къ Станицкому всякую дисциплину и осмѣять его нравственную проповѣдь, какъ плоскую шутку. Очевидно, что такое безчинство допущено быть не можетъ, и что слѣдовательно Анну Антоновну необходимо утвердить на пьедесталѣ несокрушимой прочности и недосигаемой высоты. Станицкій усердно принимается за эту работу и съ свойственной ему смѣлостью въ одно мгновеніе ока превращаетъ Анну Антоновну въ благодѣтельницу крестьянъ села Григорьевки. Послѣ свадьбы Петръ Васильевичъ увозитъ свою молодую жену къ своимъ роднымъ, а Анна Антоновна переноситъ продолжительную болѣзнь и потомъ, послѣ выздоровленія, проводитъ нѣсколько мѣсяцевъ «въ бездѣйственномъ состояніи». Она сидитъ въ комнатѣ дочери, перебираетъ ея дѣтскія вещи и только иногда соглашается выпить чашку чаю или бульону. Потомъ, надумавшись, она отправляется на деревню, обходить всѣ крестьянскія избы, выкажетъ въ потребности каждаго семейства и общается возвратитъ дѣтей, отданныхъ въ ученіе, тѣмъ отцамъ и матерямъ, которые желаютъ воспитывать ихъ при себѣ. Въ тотъ же вечеръ она пишетъ къ дочери письмо, въ которомъ сообщаетъ ей свои намѣренія. «Мнѣ страшно будетъ теперь умирать, — говоритъ она, — если я не искуплю хоть чѣмъ-нибудь жертвы, какія я требовала отъ людей. Мнѣ стыдно: у меня не повернется языкъ требовать отъ этихъ по моей милости нищихъ еще новыхъ жертвъ!...» «Свой домъ я превращу въ больницу и дѣтскую школу. Безъ тебя это наполнить мою жизнь...» «Всѣ земли, принадлежащія мнѣ, будутъ принадлежать обществу; изъ нихъ часть будетъ идти на больницу и школу, другая часть — на уплату податей, а остатки будутъ составлять капиталъ, безъ котораго нельзя обходиться сотнямъ людей. Мало-ли что можетъ случиться: пожаръ, голодъ, имъ будетъ чѣмъ извернуться».

Все это очень похвально, но только неправдоподобно, чтобы именно Анна Антоновна могла распорядиться такимъ образомъ. Въ такомъ образѣ дѣйствій нѣтъ никакого особеннаго героизма или самоотверженія; напротивъ того, въ положеніи Анны Антоновны только такой образъ дѣйствій можетъ избавить человѣка отъ невыносимой апатіи и снова помирить его съ жизнью живыхъ людей. Еслибы Анна Антоновна могла вполне благообразно обсудить свое положеніе, то она конечно выбрала-бы именно этотъ путь, и ее не остановили-бы какія-нибудь корыстолюбивыя или, какъ ихъ называлъ-бы Станицкій, «эгоистическія» соображенія. Но я осмѣливаюсь думать, что Анна Антоновна не могла разсуждать такъ здраво, и что Станицкій навязываетъ ей

свои собственные мысли; а мысли сотрудника «Современника», даже такого какъ Станицкій, все-таки должны быть несравненно благообразнѣе, чѣмъ тѣ умозрѣнія, которыми руководствуются наши добродѣтельныя барыни. Станицкій совершенно упускаетъ изъ виду одно чрезвычайно важное обстоятельство. Спрашивается: была-ли Анна Антоновна сколько-нибудь расположена къ ханжеству? Существовалъ-ли по крайней мѣрѣ въ ея умѣ тотъ микроскопическій зародышъ этихъ стремленій, который существуетъ почти у всѣхъ нашихъ женщинъ и который, часто оставаясь незамѣтнымъ во время веселой и беззаботной молодости, развертывается съ полной силой и доходитъ иногда до мономаніи подлостарости или послѣ сильныхъ огорченій? Если на эти два вопроса Станицкій отвѣтитъ *да*, то благородная дѣятельность Анны Антоновны должна будетъ измѣниться существеннымъ образомъ отъ примѣси этихъ постороннихъ элементовъ. Тогда начнутся благочестивыя пожертвованія, поѣздки по монастырямъ, безтолковое раздаваніе милостыни, учрежденіе какого-нибудь пріюта или богадѣльни для убогихъ странницъ. Выѣстъ съ этимъ пойдутъ пожалуй и какія-нибудь милостивыя льготы для мужиковъ, но это будетъ великодушное копѣечное подаваніе, а совсѣмъ не такое широкое и полное возстановленіе нарушенной справедливости, какое изображаетъ Станицкій. Кормить нищихъ и поддерживать такимъ образомъ нищенство — это подвигъ очень не головоломный, и поэтому совершенно доступный для нашихъ благотворительныхъ господъ и барынь. Но подрѣзывать нищенство подъ самый корень, дѣйствовать противъ первыхъ причинъ нищенства, пересоздавать всѣ свои отношенія къ трудящемуся населенію — это работа въ высшей степени *сознательная*, и для того, чтобы понять настоящую необходимость такой работы, недостаточно выдать дочь за «грязнаго эгоиста» и посидѣть нѣсколько мѣсяцевъ въ опустѣвшей комнатѣ этой дочери. Если-же на мои вопросы Станицкій отвѣтитъ *нѣтъ*, то намъ представится затрудненіе другого рода; если не было даже микроскопическаго зародыша, то, значитъ, были такіе убѣжденія, которыя совершенно его искоренили. Стало-быть, было широкое, свѣтлое и основательное развитіе ума; но въ такомъ случаѣ все воспитаніе Софьи Григорьевны было-бы направлено совершенно иначе. Въ такомъ случаѣ Анна Антоновна не стала-бы пускаться въ ходъ систему педагогическаго обмана, и въ шестнадцать лѣтъ Софья Григорьевна была-бы дѣвушкой серьезно образованной и неспособной увлекаться безцвѣтнымъ и плоскимъ фразерствомъ такого ничтожнаго господина, какъ Петръ Васильевичъ. Да и никакого Петра Васильевича не было-бы на сценѣ, потому что Соня понимала-бы, что панашѣ очень весело въ Петербургѣ, и что панашу вовсе не слѣдуетъ отрывать отъ удо-

вольствій столичной жизни. Но—увы!—такая Соня не могла-бы сдѣлаться героиней трагическаго романа, и Станицкому пришлось-бы искать добродѣтельныхъ маіонетокъ въ какомъ-нибудь другомъ мѣстѣ, за предѣлами села Григорьевки. Поэтому я думаю, что попытка Станицкаго возвысить Анну Антоновну въ глазахъ читателя должна считаться совершенно неудачной. Эта попытка показываетъ намъ, какъ мало Станицкій понимаетъ настоящее значеніе тѣхъ явленій дѣйствительной жизни, которыя онъ рѣшается изображать. Читатель согласится конечно, что предложенные мною вопросы имѣютъ очень важное значеніе, а между тѣмъ эти вопросы не только не разрѣшены, но даже не поставлены Станицкимъ.

VII.

Страданія Софьи Григорьевны.

Анна Антоновна внезапно умираетъ отъ огорченія, не исполнивъ ни одного изъ своихъ плановъ. Замѣчательно, что ее убиваетъ Софья Григорьевна, и еще замѣчательнѣе то, что нашъ удивительный романистъ не обращаетъ на это обстоятельство почти никакого вниманія. Узнавъ о намѣреніяхъ своей жены, Григорій Андреевичъ подаетъ, куда слѣдуетъ, бумагу о томъ, что Анна Антоновна страдаетъ припадками помѣнательства, и на этой бумагѣ красуется подлинная подпись Софьи Григорьевны. «По требованію отца, — говоритъ Станицкій, — Софья Григорьевна подписала просьбу, которая и была причиной смерти Анны Антоновны. Но дочь и не воображала, чтобы отецъ могъ ее заставить подписать такое гнусное обвиненіе», и такъ далѣе.

Этотъ интересный случай доказываетъ только ту простую истину, что совѣтъ не надо *воображать*, а надо *читать* тѣ бумаги, которыя подписываешь, и кромѣ того надо *понимать* то, что читаешь. Я очень хорошо знаю, что огромное большинство нашихъ дамъ подписываетъ, не читая; а еслибы онѣ и рѣшались прочесть, то ничего не поняли-бы и все-таки подписали-бы на-авось. Но когда женщина погружена въ такую счастливую невинность, что она подписываетъ бумаги *нечаянно*, — когда она своей подписью пришибаетъ до смерти родную мать и когда она *по невинности* принимаетъ *дѣлательное* участіе въ подлости, тогда можно сказать на-вѣрное, что каждый шагъ въ жизни будетъ приносить ей разочарованія, оскорбленія и страданія. По своей ребяческой неопытности, она будетъ наткаться лбомъ на такія препятствія, которыя легко можно было устранить или обойти. По своей ребяческой раздражительности и впечатлительности, она будетъ чувствовать сильную боль отъ такихъ ничтожныхъ ушибовъ, на которые взрослый и мыслящій человѣкъ не обращаетъ никакого вниманія. Вдвое чаще ушибаться, да вдвое сильнѣе чувствовать каждый

ушибъ—это значить вчетверо больше страдать, но вѣдь масса страданій учетверится только благодаря личнымъ свойствамъ женщины. Будь она позрѣлѣе, она страдала-бы вчетверо меньше, и тогда масса страданій была-бы можетъ-быть такъ незначительна, что въ общемъ итогъ женщина чувствовала-бы себя счастливой. Для Вѣры Павловны изъ романа «Что дѣлать?» даже немислимы тѣ огорченія, отъ которыхъ зачахла Софья Григорьевна. Вѣра Павловна можетъ быть счастливой, потому что она сама знаетъ, въ чемъ она нуждается, сама умѣетъ контролировать свои желанія и сама отыскиваетъ средства для удовлетворенія этимъ желаніямъ. Но для Софьи Григорьевны счастье было-бы возможно только при одномъ условіи. Надо было-бы, чтобы нашелся какой-нибудь господинъ очень ограниченнаго ума, который прочиталъ-бы книги Мишле о женщинѣ и о любви и принялъ-бы эти книги за величайшее произведеніе гениальнаго мыслителя. Проникнувшись идеями Мишле, убѣдившись въ томъ, что женщина есть существо вѣчно больное, что женщина есть цвѣтокъ, что женщина есть ребенокъ и что мужъ долженъ быть вѣчнымъ садовникомъ, вѣчнымъ воспитателемъ и вѣчной сидѣлкой, ухитрившись согласить въ своемъ убогомъ умѣ все эти и многія другія обязанности мужа по Мишле, этотъ господинъ долженъ предложить Софьѣ Григорьевнѣ руку и сердце, и затѣмъ должна начаться такая маниловщина, которая даже самому Манилову показала-бы невыносимой по своей утонченности. Вотъ тогда Софья Григорьевна почувствовала-бы себя счастливой, но такъ какъ человѣкъ, имѣющій хоть каплю практическаго ума, неспособенъ проникнуться идеями Мишле и не пожелаетъ посвятить свою жизнь на воздѣлываніе Софьи Григорьевны, то мужъ цвѣтка будетъ также цвѣткомъ; и поэтому для охраненія этихъ невинныхъ растений отъ коровъ и ословъ потребуется специальный садовникъ или опекунъ.

Такимъ образомъ для счастья каждой женщины, подобной Софьѣ Григорьевнѣ, необходимы не меньшей мѣрѣ два должностныя лица: во-первыхъ—глупый мужъ, а во-вторыхъ—идеальный опекунъ. Но изъ этого ясно, что счастье подобныхъ созданій не только невозможно, но даже и нежелательно, потому что въ самомъ дѣлѣ, за что-же одну половину наличныхъ мужчинъ погружать въ красивый идиотизмъ, а другую осуждать на безпріавіе и на вѣчное ухаживаніе за плодящимися идиотами. Я знаю, что очень многія женщины похожи на Софью Григорьевну. Очень жаль, что онѣ несчастливы, но не приведи Богъ, чтобы онѣ когда-нибудь сдѣлались счастливыми, потому что тогда земной шаръ еще сильнѣе, чѣмъ въ настоящую минуту, сдѣлался-бы похожъ на психіатрическую лечебницу. Больнымъ надо выздоравливать, а неизлечимымъ больнымъ надо умирать, но никакъ не слѣдуетъ

желать такого измѣненія въ условіяхъ жизни, послѣдствіе котораго больные, не переставая *быть* больными, *чувствовали*-бы себя легко и весело. Если-бы такое измѣненіе и было возможно, то оно очевидно было-бы гибельно для здоровыхъ. Музыкантъ не виноватъ въ томъ, что глухой не слышитъ музыки; лечите глухого, но не заставляйте музыкантовъ играть такъ, чтобы вашъ невylеченный паціентъ могъ слышать всѣ переливы звуковъ; такой музыкой вы разгоните всѣхъ здоровыхъ слушателей. Можетъ-быть оркестръ играть плохо, можетъ-быть музыка находится въ младенческомъ состояніи, но и оркестръ, и музыка должны совершенствоваться для того, чтобы доставлять наслажденіе здоровымъ, а не для того, чтобы принимать глухихъ. Какъ-бы музыка ни усовершенствовалась, глухому отъ этого не сдѣлается легче, потому что ему можетъ помочь только такая перемѣна, которая произойдетъ не въ окружающемъ мірѣ, а въ его собственной личности.

Страданія Софьи Григорьевны начинаются съ первыхъ недѣль ея замужества и принимаютъ очень крупныя размѣры, хотя повидимому никакихъ особенныхъ несчастій не происходитъ. — «Нынче день такой для меня; я его никогда въ жизни не забуду: страшнѣе этого дня не можетъ быть ни въ чьей жизни, — замѣтила съ увѣренностью Софья Григорьевна.» Что-же такое случилось въ этотъ страшный день? Умеръ кто-нибудь, или съ ума сошелъ, или преступленіе какое-нибудь ужасное совершилось, или развратные эгоисты прибили Софью Григорьевну? Нѣтъ, ничего этого не случилось, да и вообще въ этотъ день не произошло никакого событія, а только Софья Григорьевна узнала нѣкоторыя подробности изъ холостой жизни Петра Васильевича, и всѣ эти подробности относятся исключительно къ различнымъ проявленіямъ русскаго донъ-жуанства. Узнала она, что Петръ Васильевичъ прижилъ сына съ дворовой дѣвушкой Лизаветой, и увидела она этого сына, и убѣдилась въ томъ, что ребенокъ дѣйствительно похожъ на своего отца; узнала она кромѣ того, что Петръ Васильевичъ велъ любовную переписку съ бѣдной дѣвушкой, Олимпиадой Федоровной. И узнала она наконецъ, что Петръ Васильевичъ находился въ интригѣ съ камеліей Катей. Вотъ и всѣ ужасы. Надо сказать правду: было-бы очень весело жить на вѣтъ, еслибы «страшнѣе этого дня» не могло быть «ни въ чьей жизни». Ясно, что всѣ страданія Софьи Григорьевны происходятъ отъ ревности, и притомъ отъ самой глупой ревности, то-есть отъ такой, которая обращена на прошедшее.

Замѣчательно, что Станицкій горячо осуждаетъ ревность въ Григорѣ Андреевичѣ и въ то-же время относится съ полнымъ сочувствіемъ къ ревности его дочери; «и если грубость иногда проглядывала въ его дѣйствіяхъ,—говоритъ

онъ о Григорѣ Андреевичѣ,—то это, какъ догадывались, была ревность,—а вѣдь ревность-то и есть любовь, какъ доказываютъ всѣ влюбленные эгоисты, чтобы оправдаться чѣмъ-нибудь въ своихъ дурныхъ поступкахъ въ то время, когда власть ихъ надъ женщиной еще колеблется.» Положимъ, что не влюбленные эгоисты, а влюбленные пошляки доказываютъ, что «ревность-то и есть любовь». Но это все равно; мы уже знаемъ, что слово «эгоистъ» на языкѣ Станицкаго имѣетъ ругательное значеніе; стало-быть, не придираясь къ словамъ, замѣтимъ только, что Станицкій считаетъ ревность чувствомъ вполне достойнымъ грязныхъ эгоистовъ, а потомъ все мученичество Софьи Григорьевны основывается почти исключительно на этомъ оплеванномъ чувствѣ, и однако сама мученица не считается ни эгоисткой, ни грязной, ни даже глупой. Софья Григорьевна бросаетъ на полъ медальонъ Петра Васильевича и кричитъ «раздирающимъ голосомъ»: «поѣдьте къ нему! я хочу его видѣть и сказать ему въ глаза, что онъ...» Здѣсь вырываются изъ груди ея вопли, которые мѣшаютъ ей «досказать фразу», и она падаетъ безъ чувствъ.—Можно сказать, что вопли и обморокъ подосѣли очень кстати, потому что Софья Григорьевна вѣроятно произнесла-бы какую-нибудь «грубость», и тогда Станицкому пришлось-бы доказывать, что грубости Григорья Андреевича были предосудительны и вытекали изъ грязнаго эгоизма, а грубости Софьи Григорьевны напротивъ того похвальны и вытекаютъ изъ самой чистой любви.

Но ни вопли, ни обморокъ не могутъ замаскировать ту печальную неурядицу, которая господствуетъ въ идеяхъ Станицкаго. Какъ ни поворачивай дѣло, а все-таки выходитъ, что мужчина не смѣетъ ревновать, а женщина ревнуетъ, сколько душѣ угодно. Само собой разумѣется, что это мнѣніе Станицкаго въ высшей степени оскорбительно для женщинъ. Если мы допустимъ, что ощущеніе ревности есть необходимое и нормальное отпаиваніе женскаго организма, то мы этимъ самымъ сужденіемъ обречемъ женщину на вѣчную, самую унизительную и самую тягостную зависимость. Въ самомъ дѣлѣ, если вы ревнуете, и если это чувство принимаетъ у васъ размѣры серьезнаго страданія, то это значитъ, что все счастье вашей жизни находится въ чужихъ рукахъ, и что эти чужія руки во всякую данную минуту могутъ измѣнить и изуродовать ваше счастье, не прикасаясь къ вашей собственной личности. Когда намъ говорятъ: «эта женщина счастлива», то мы обыкновенно понимаемъ эти слова въ томъ смыслѣ, что эта женщина любима тѣмъ человекомъ, котораго она сама любитъ; чуть только этотъ человекъ отвернулся отъ нея, вотъ она и несчастлива, вотъ и начинаются мученія ревности; мы такъ привыкли къ такимъ явленіямъ, что даже не замѣчаемъ ихъ

уродливости, а вѣдь между тѣмъ не трудно, кажется, понять, что эти явленія указываютъ на страшную внутреннюю пустоту тѣхъ личностей, для которыхъ любовь Петра или Ивана составляетъ такимъ образомъ высшее благо и единственную цѣль существованія. У этихъ несчастныхъ личностей нѣтъ своего внутренняго содержанія; у нихъ нѣтъ никакой любимой дѣятельности; онѣ не принимаютъ никакого участія въ общей работѣ человечества; онѣ даже не имѣютъ понятія о существованіи такой работы; всѣ величайшія усилія человеческой мысли, всѣ колоссальныя событія новѣйшей исторіи, всѣ животрепещущія надежды и стремленія лучшихъ людей—все это или совершенно неизвѣстно ревнивымъ обожателямъ Петра и Ивана, или, еще хуже, извѣстно имъ, какъ вызубренный параграфъ учебника или какъ мертвый столбецъ газеты. Взаимная любовь конечно даетъ много наслажденій, больше, чѣмъ хорошій обѣдъ, больше, чѣмъ роскошная квартира, больше, чѣмъ оперная музыка, но наполнять всю жизнь взаимной любовью, не видѣть въ жизни ничего выше и обаятельнѣе взаимной любви, не умѣть, въ случаѣ надобности, отказаться отъ этого наслажденія—это значитъ не имѣть понятія о настоящей жизни, это значитъ не подозрѣвать, какъ великъ и силенъ человеческій умъ, и какія неисчерпаемыя сокровища неотъемлемыхъ наслажденій скрыты въ сѣромъ веществѣ нашего головного мозга. Когда любовь дается вамъ въ руки, пользуйтесь ею, какъ вы пользуетесь напримѣръ свѣтлымъ и теплымъ лѣтнимъ днемъ. Но если набѣгутъ тучи и польется дождь, не станете-же вы плакать о томъ, что разстроилась ваша прогулка. Велика бѣда! — сегодня дождь, а завтра будетъ опять солнечный день. А семилѣтній ребенокъ все-таки заплачетъ: завтрашній день далеко, ему надо сегодня. Печальная была-бы штука, еслибы этому семилѣтнему ребенку пришлось оставаться ребенкомъ втеченіи семидесяти лѣтъ и еслибы существовала цѣлая порода такихъ человекообразныхъ созданий, которые проливали-бы горькія слезы по поводу каждаго лѣтняго дождя, разстроившаго пріятную прогулку. А вѣдь недалеко уѣхали отъ этихъ плаксивыхъ созданий тѣ убогія и нищія личности, для которыхъ невѣрность Ивана и Петра составляетъ громадное несчастье, наполняющее цѣлую жизнь слезами и отчаяніемъ. И эту плаксивость, эту убогость, эту паразитическую нищету романтисты и критики ежедневно возводятъ въ великое достоинство человеческой природы. Вотъ она, говорятъ, истинная любовь, вотъ она, сила любви. А вся эта сила и истинность не что иное, какъ результатъ внутренней пустоты. Личность такъ слаба и несостоятельна сама по себѣ, что поневолѣ должна прислониться къ другой личности, и когда эта опора измѣняется, тогда прислонившаяся личность падаетъ, ушибается и начинаетъ охать.

Вотъ именно противъ этой-то мучительной и позорной зависимости должна быть направлена эманципация женщинъ. Женщина должна стоять на своихъ собственныхъ ногахъ; женщина, какъ человеческая личность, должна постоянно носить въ себѣ самый главный источникъ своего счастья, и ни мужчина, ни женщина никогда не должны отдавать этотъ основной капиталъ своей жизни въ чужія руки. Удастся-ли женщинамъ стать такимъ образомъ въ совершенно независимое положеніе—этого никто не рѣшится утверждать заранѣе, но объ этомъ еще не время разсуждать; удастся или нѣтъ—это все равно; во всякомъ случаѣ каждая женщина, уважающая свою человеческую личность и желающая упрочить свое собственное счастье, должна употреблять всѣ усилія, чтобы какъ можно ближе подойти къ полному самоосвобожденію. А подойти къ этой цѣли можно только однимъ путемъ, путемъ серьезнаго, послѣдовательнаго и общепользнаго умственнаго труда. Въ медицинѣ нѣтъ универсальнаго лекарства, но есть общія правила гііены, и соблюденіе этихъ правилъ предотвращаетъ большую часть болѣзней. Противъ различныхъ нравственныхъ и общественныхъ страданій человечества также нѣтъ универсальнаго лекарства; но если мы хотимъ, чтобы будущія поколѣнія страдали меньше насъ, то мы должны стараться, чтобы умственный капиталъ обращался въ обществѣ какъ можно быстрее. Въ этомъ заключается главное правило общественной гііены, и если это правило будетъ соблюдаться, то можно сказать навѣрное, что несчастная любовь, мучительная ревность и подвиги донжуанства скоро будутъ сданы въ общій архивъ забытыхъ человеческихъ глупостей.—Но къ сожалѣнію въ умственный капиталъ впущено много фальшивой монеты, и множество человеческихъ глупостей пользуются полнымъ сочувствіемъ и уваженіемъ тѣхъ самыхъ людей, которые считаютъ себя проповѣдниками истины и карателями заблужденій.

Любопытно и даже умилительно замѣтаетъ, какъ чистосердечно Станиціи, неутомимый проповѣдникъ и пламенный каратель, восхищается ребяческимъ слабоуміемъ своихъ любимыхъ маріонетокъ. Идетъ Софья Григорьевна встрѣчать Петра Васильевича, уѣхавшаго въ городъ къ Катѣ и обѣщавшаго воротиться въ назначенный день. Она отходитъ отъ дому довольно далеко и вмѣсто Петра Васильевича встрѣчаетъ его молодого родственника, Сережу, который считается сумасшедшимъ и живетъ отшельникомъ въ уединенномъ флигелѣ; на самомъ дѣлѣ этотъ Сережа—благороднѣйшій человекъ, вовсе не сумасшедшій, но ведущій созерцательную жизнь среди книгъ, цвѣтовъ; выбралъ-же онъ эту жизнь, достойную рыцаря Тоггенбурга, потому, что мать его—дурная женщина, а еще потому, что сестра его умерла отъ отчаянія и во-

ія въ легкихъ, и наконецъ еще потому, амъ онъ, Сережа, не въ состояніи смо- на человѣческія гнусности. Встрѣтивъ Софьей Григорьевной, Сережа спраши- у нея между прочимъ, давно-ли уѣхалъ ей

«Вотъ уже теперь ровно двое сутокъ. — Григорьевна произнесла это такимъ то- точно богъ-знаетъ сколько лѣтъ прошло нуты ихъ разлуки.» Эта наивность очень ельна и похвальна, но еще трогательнѣе зальнѣе то, что Софья Григорьевна прини- предложеніе Сережи, вызвавшася поѣхать верхомъ въ городъ для того, чтобы къ у- ожить Софѣ Григорьевнѣ, какая причина тала ея супруга. Сережа, слабый и болѣз- й юноша, путешествуетъ всю ночь и, вои- нись домой, конечно занемогаетъ. Надругой узнавши, что Сережа боленъ, Софья Гри- на говорить «съ досадою»: «Такъ онъ не въ городъ? А я такъ надѣялась на него.» ии словами ограничивается все ея участіе къ енію больного, даже тогда, когда ей гово- что его свалила съ ногъ побѣдка въ го- Вы не забудьте, что все это происходитъ въ два дня послѣ швыряніа медальона на. Посудите сами, есть-ли какая-нибудь раз- между этой женщиной и тѣмъ семилѣт- ребенкомъ, который плачетъ и капризни- по поводу лѣтняго дождя? И есть-ли на- ибудь возможность серьезно сочувствовать мъ и обморокамъ такого пустого и ничтож- существа?

Пыше наивность Софьи Григорьевны стано- еще обаятельнѣе, а сочувствіе Станицка- является еще очевиднѣе и умилительнѣе. Григорьевна сближается съ Сережей и цаетъ иногда его уединенный флигель. , какъ дѣти,—говоритъ Станицкій,—дол- оттали и смѣялись; ихъ взгляды такъ бы- сты, ихъ разговоръ такъ искрененъ, что ьно думалось: вотъ что нужно для супру- го счастья,—нужно, чтобы равно обоимъ а грязь жизни, а не такъ, какъ это быва- всегда: одинъ пропитанъ развратомъ, без- иенъ ко всѣмъ низостямъ и равнодушенъ якому горю и страданію ближняго, другой блая, неопытная женщина.» А вотъ чѣмъ тались невинные молодые люди: «Они читали тѣ и даже иногда, какъ дѣти, бѣгали по саду, ась каждый сдѣлать возможно большее число вѣзъ. Послѣ этой бѣготни они, безъ всякой гутости, вели серьезный разговоръ объ умер- сестрѣ молодого человѣка, о страданіяхъ , бѣдныхъ женщинъ и оканчивали всегда дойдя, что добро восторжествуетъ наконецъ зломъ,—въ это они дѣтски вѣровали.»

! Вотъ что нужно для супружескаго счастья! орился наконецъ Станицкій до послѣднихъ татовъ своей нравственной философіи. Рас-

крылась передъ нашими изумленными очами са- мые глубокіе тайники его міросозерцанія. Когда я предлагалъ для Софьи Григорьевны счастье по реценту Мишле, то недоувѣрчивые читатели ду- мали быть-можетъ, что я преувеличиваю и что я слишкомъ недоброжелательно отношусь къ то- му типу, который выражается въ возлюбленной героинѣ Станицкаго. Теперь эти недоувѣрчивые читатели видятъ желанія самого Станицкаго, бла- говолющаго передъ этимъ типомъ; кажется, эти желанія по своей смѣлости превосходятъ всѣ мои предположенія, потому что я никакъ не думалъ, чтобы для полноты супружескаго счастья, даже по Мишле и даже для Софьи Григорьевны, было необходимо или полезно дѣлать по саду «возможно большее число круговъ.» Впрочемъ мнѣ кажется, что это дѣланіе круговъ составляетъ самое благоразумное изъ всѣхъ занятій, наполнявшихъ безконечные досуги Сережи и Софьи Григорьевны. Тутъ получаютъ осязательные результаты: укрѣпляются мускулы, развиваются легкія и пріобрѣтается апшетигъ. Но какую пользу при- носило ихъ чтеніе и къ чему вели ихъ возвы- шенныя бесѣды о торжествѣ добра, чѣмъ отлича- лось ихъ чтеніе отъ упражненій чичиковскаго Пе- трушки и чѣмъ отличались ихъ бесѣды отъ умо- зрѣній судьи Ляпкина-Тяпкина о сотвореніи мі- ра—это вопросы очень мудреные, и если Станицкій попробуетъ ихъ разрѣшить, то его умъ немедленно зайдетъ за его разумъ. Всѣ эти серьезные или игри- выя забавы Сережи и Софьи Григорьевны оправ- даются вполнѣ извѣстной поговоркой,—чѣмъ-бы дитя ни тѣшилось, лишь-бы не плакало; но при этомъ не мѣшаетъ замѣтить, что добро врядъ- ли когда-нибудь восторжествуетъ надъ зломъ, если всѣ люди, желающіе этого торжества, сдѣ- лаются похожими на Софью Григорьевну и на ея невиннаго собесѣдника.

Это конечно очень красиво и трогательно, когда *грязь жизни равно пугаетъ обоихъ*, но для то- го, чтобы эта боязнь грязи воспиталась въ одной человѣческой личности, необходимо, чтобы де- сятки или сотни другихъ человѣческихъ лично- стей вертѣли за кулисами очень грязныя колеса большой и тяжелой машины. Окружить себя цвѣ- тами, книгами и нотами, бѣгать по саду съ хо- рошенькой женщиной и воодушевлять себя и ее пріятными разговорами о торжествѣ добра—все это конечно очень изящно и пропитано арома- томъ чистѣйшей поэзіи и самой возвышенной нравственности, но все это было-бы совершенно невозможно, еслибы въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ ристалища невинныхъ отроковъ не копошились съ ранняго утра до поздней ночи грязныя лапы тѣхъ милыхъ младшихъ братьевъ, которые обра- щаются съ своими супругами очень невѣжливо, о торжествѣ добра никогда не бесѣдуютъ и во- обще погрязаютъ упорно въ самомъ грубомъ и предосудительномъ матеріализмѣ. Еслибы у Се- режи не было денегъ, заработанныхъ руками ми-

лых мужичковъ, то невинному Сережѣ пришлось-бы замѣнить боязнь передъ житейской грязью разными другими, болѣе производительными свойствами ума и характера. Боязнь житейской грязи это — самое барское качество, и люди, обладающіе этой добродѣтелью, всегда будутъ годны только на то, чтобы дѣлать «возможно большее число круговъ», читать для процесса чтенія и бесѣдовать о борьбѣ между добромъ и зломъ. Уважать этихъ людей нѣтъ ни малѣйшей возможности, и въ этихъ людяхъ особенно противно именно то, что они бесѣдуютъ о торжествѣ добра и заявляютъ свои благія желанія: ахъ, молъ, кабы восторжествовало! Заявлять эти желанія, вѣровать въ полную искренность своихъ заявленій, считать самого себя за чистаго и честнаго человѣка, имѣющаго право гнущаться житейской грязью, и въ то-же время сидѣть сложа руки и копить небо, и при этомъ не чувствовать невыносимо мучительной бессмысленности своего положенія и всего своего существованія — это великолѣпный фокусъ человѣческой глупости. Хороша честность и чистота, которая ѣсть чужой хлѣбъ, на чужой счетъ доставляетъ себѣ уместившую роскошь и взамѣнъ этихъ поглощаемыхъ продуктовъ чужого труда не производить и не хочетъ производить ровно ничего, кромѣ супружескаго счастья. Отчего-жъ ты, голубчикъ, не хочешь? — Да я боюсь замарать мою честность и чистоту. Меня пугаетъ грязь жизни. Я ненавижу пороки и не желаю подходить къ нимъ близко. — О, другъ любезный! Ты можешь совершенно успокоиться на счетъ твоей честности и чистоты. Эти пріятныя свойства существуютъ только въ твоемъ собственномъ воображеніи. На самомъ-же дѣлѣ твоя честность и чистота насквозь пропитаны той грязью, которая тебя пугаетъ. Твои родители купили для тебя эти свойства вмѣстѣ съ твоимъ тонкимъ бѣльемъ и учебными книжками. Добываніе твоей честности и чистоты принесло такимъ образомъ препорядочную массу зла. Теперь эти свойства тщательно сохраняются тобою подъ стекляннымъ колпакомъ. Ты боишься ихъ замарать, и вслѣдствіе этого они не приносятъ ни малѣйшаго добра. Изъ этого выходитъ то печальное заключеніе, что ты, о другъ мой, — чистый минусъ и что твое существованіе вредно для общества. Разсуждая о торжествѣ добра, ты всякій разъ долженъ краснѣть за самого себя; если-же ты не краснѣешь, а, напротивъ того, радуешься и водружаешься, то это доказываетъ только, о другъ мой, что ты замѣчательно тупоуменъ, что ты дѣйствительно можешь составить счастье Софьи Григорьевны, и что на тебѣ съ любовью и съ благоволеніемъ могутъ и должны останавливаться взоры твоего великаго создателя, Станицкаго.

Однако пора оставить въ покоѣ Софью Григорьевну. Пускай швыряетъ на полъ медалыоны, пускай падаетъ въ обмороки, пускай дѣлаетъ воз-

можно большее число круговъ — всё это упрямленія представляютъ очень мало интереснаго, и всё они объясняются очень удовлетворительно краткой и невѣжливой поговоркой: съ жиромъ баки бѣсятся. — Я самъ чувствую, что поговорка невѣжлива, но что-же съ этимъ дѣлать? — И сложилъ младшіе братья, одаренные грязными лапами и лишенные эстетическаго пониманія.

IX.

Дѣдушка Петра Васильевича.

Романъ Станицкаго переполненъ гнусными людьми, но даже въ этомъ мрачномъ романѣ дѣдушка Петра Васильевича приводитъ читателей изумленіе размѣрами своей гнусности. Блѣды творческая сила Станицкаго равнялась его добродѣтельному азарту, то фигура этого дѣдушки оказалась-бы гораздо ужаснѣе титанической фигуры шекспировскаго Ричарда III, а извѣстно, что въ сравненіи съ Ричардомъ III Сатана Милтова можетъ быть названъ кроткимъ и привлекательнымъ юношей. Но такъ какъ силы Станицкаго далеко не соответствуютъ обширности его замысловъ и претензій, то ужасный дѣдушка оказывается похожимъ на полишинеля: онъ дѣйствительно очень некрасивъ, но въ его безобразіи нѣтъ ничего ужаснаго, и вообще это безобразіе не производитъ на читателя никакого впечатлѣнія, потому что оно — совершенно неправдоподобно. Эта фигура была-бы вполне уместна въ «Парижскихъ Тайнахъ», а если она появилась на страницахъ «Современника», то это обстоятельство доказываетъ только, что пересоленный реализмъ легко превращается въ мелодраму и что редакція, заваленная серьезной работой, не въ силахъ постоянно оберегать свой беллетристическій отдѣлъ отъ различныхъ негѣностей.

При первомъ знакомствѣ нашемъ съ безобразнымъ дѣдушкой вы тотчасъ чувствуете, что это очень дурной человѣкъ и что Станицкій призываетъ вамъ возненавидѣть его всеми силами вашей добродѣтельной души. Вотъ описаніе его наружности: «Лицо старика было длинно и желто; сверхъ того дрябло и покрыто крупными морщинами; подбородокъ острый; носъ формой подходилъ на клювъ хищной птицы, а губы то какъ-бы жевали, то складывались въ непріятную, злобную улыбку; маленькіе глаза, съ какими-то желтымъ блескомъ, такъ и сверкали изъ-подъ ключевыхъ полусѣдыхъ бровей и невольно порождали противорѣчіемъ съ аптечной обстановкой комнаты и съ натянутымъ, болѣзненно плачевнымъ выраженіемъ лица, которое однако то и дѣло измѣнялось въ самое схищенное.» Ясное дѣло, что дѣдушка — ужасный «мошкетонъ», то-есть: «хорошо, если мошенникъ, а можетъ и еще того хуже». Чего и ожидать отъ человѣка, у котораго носъ подобенъ клюву хищной птицы, глаза сверкаютъ желтымъ блескомъ, а на лицѣ выра-

всякое ехидство? «Впрочемъ, — говоритъ Станицкій, — этотъ почтенный дѣдушка такая гнусная личность, что ей по настоящему было вѣсѣть съ гадами скрываться вѣдь въ подземельи, но ужъ никакъ не при дневномъ свѣтѣ и пользоваться уваженіемъ людей независимыхъ и образован-

наю, кто тутъ пацуталъ, Станицкій или оръ, но во всякомъ случаѣ меня безконечно веселитъ то обстоятельство, что «дѣдушка» такая большая мерзавка. Лирическое само по себѣ неподобно, но грамматическая ошибка возводитъ его въ перлъ собою потому что она порождаетъ тотъ примитивный смѣхъ, котораго эстетика требуютъ отъ комическаго произведенія. «Его лице и эгоизмъ, — продолжаетъ нашъ романъ — доходили до ужасающихъ размѣровъ: онъ и притѣснялъ съ какимъ-то страстнымъ наслажденіемъ.» Я вамъ говорилъ, что дѣдушка выйдетъ хуже Ричарда III, если мы будемъ вѣрить на слово Станицкому. рда по крайней мѣрѣ была какая-нибудь онъ добивался англійской короны. А у и и цѣли никакой нѣтъ: голая ядовитость, лѣтѣйшей примѣси. «Можно-ли было сводить тамъ, гдѣ до того развито было ово между дворней, что даже шефъ инквизиции выводитъ - бы дѣдушки, такъ глубоко ившему людей». — Ну, шефъ-то инквизиции позавидовалъ-бы, глубокомысленно заздѣсь зять Ноздрева, скептикъ Мижуча оказывается, что дѣйствительно нечему вѣтъ, и что инквизиція приплетена тутъ ыней мрачности колорита и для пущаго ененія недостойнаго дѣдушки.

тр. 170 и 171 повѣствуется о томъ, что ищущины, жившія въ домѣ дѣдушки, насѣхъ шпіоновъ, и не только надули, но адували ихъ вирожденіи нѣсколькихъ тѣ перенесли умирающаго Сережу изъ его наго флигеля въ домъ дѣдушки, въ комнату Григорьевны, которая въ то время хала вмѣстѣ съ мужемъ. «Но надо было вать шпіоновъ, — говоритъ Станицкій, — а Васильевна носила въ пустой домъ ии, чтобъ только не потревожили умираю.» Все это открылось только тогда, коежа умеръ. Нечего сказать, хороши шпіороша была-бы инквизиція, опирающаяся на такихъ болвановъ. «Очень понятно, овая внучка не была избавлена отъ пошпінства, и онъ, что называется, лобыбу въ мутной водѣ, упиваясь слезами иемъ молодой женщины, противъ которой досѣ чуть не ополченіе.» Эту новую внучку Софью Григорьевну, онъ старается вать своей любовницей. «Будьте умнень, говоритъ онъ, — не огорчайте меня; что

вамъ стоитъ поласкать старика? Право, старики еще честяте: молодой-то разомъ ласкаетъ трехъ-четырехъ и всѣхъ обманываетъ, а ужъ старикъ такого предательства не сдѣлаетъ.»

Все это и многое другое въ томъ-же эротическомъ направленіи несчастный дѣдушка говоритъ очевидно по приказанію Станицкаго, и только для того, чтобы обнаружить передъ читателемъ всю глубину своей гнусности. Для самого дѣдушки отъ этихъ разговоровъ не можетъ произойти ни малѣйшаго удовольствія, и онъ, какъ опытный старикъ и отставной Донъ - Жуанъ, самъ очень хорошо долженъ понимать, что эти разговоры ни къ чему не поведутъ, потому что, въ самомъ дѣлѣ, кто-же обращается съ подобными предложеніями къ женщинамъ, только что вышедшей замужъ и страстно влюбленной въ своего мужа. Само собою разумѣется, что Софья Григорьевна даже не догадывается, къ чему дѣдушка клонитъ свою рѣчь, а дѣдушка съ своей стороны, заявивъ публикѣ, что онъ — развратникъ, считаетъ дѣло оконченнымъ и оставляетъ всякія дальнѣйшія домогательства. Въ домѣ дѣдушки живетъ его бывшая любовница, старуха Марья Васильевна, которую дѣдушка конечно терзаетъ всякими попреками. У дѣдушки есть незаконнорожденная дочь, Олимпіада Федоровна, которую онъ, на глазахъ читателя, доводитъ до чахотки и укладываетъ въ могилу, также попреками. Въ концѣ первой части романа происходитъ генеральное вымираніе различныхъ замученныхъ жертвъ. Прежде всѣхъ умираетъ великодушный Сережа. За нимъ слѣдуетъ, черезъ страницу, Марья Васильевна. На слѣдующей страницѣ умираетъ Олимпіада Федоровна. Это называется черезъ часъ по ложкѣ. Дѣдушка переживаетъ ихъ всѣхъ и избираетъ себѣ жертву изъ новаго поколѣнія. Онъ держитъ при себѣ, въ видѣ казачка, сына Петра Васильевича и Лизаветы: «Старикъ тѣшился надъ бѣднымъ мальчикомъ безобразно: всякій день ему приготовляли въ коробкѣ пауковъ, и дѣдушка тихонько выпускалъ ихъ на мальчика, который страшно боялся этихъ насѣкомыхъ (мимоходомъ замѣчу, что это даже и не насѣкомыя), плакалъ, дрожалъ и умолялъ снять съ него паука, но старикъ притворялся, что онъ тоже боится и такимъ образомъ доводилъ ребенка до истерики.» «А уже испуская дыханіе, онъ выкинулъ слѣдующую штуку. Измученный мальчикъ обыкновенно засыпалъ стоя и потомъ уже, скользя по стѣнѣ, тихо опускался на коверъ, гдѣ и спалъ. Но умирающій, не желая, чтобы ребенокъ спалъ, велѣлъ привязать его къ спинкѣ стула и поставить противъ себя.»

Однако дѣдушкѣ не удалось замучить казачка до смерти. Время взяло свое, и старикъ умеръ прежде мальчика. Станицкій не сообщаетъ намъ, какую эпитафію изобразили на памятникѣ этого дѣдушки, но по всей справедливости эпита-

фію слѣдовало-бы составить такъ: «здѣсь лежитъ несчастная жертва неудавшагося реалиста».

Х.

Добродѣтельные люди молодого поколѣнія.

Сережа очень добродѣтеленъ и не разгромить порока очень пламенными рѣчами. «Вы увидите, — говоритъ онъ Софѣ Григорьевнѣ *утѣшительнымъ тономъ*, — что я заставлю всѣхъ пресмыкающихся и ползающихъ около васъ гадовъ спрятаться по своимъ мрачнымъ норамъ.» Но этотъ добродѣтельный Сережа, выражающій свои мысли такимъ сильнымъ и въ то-же время книжнымъ языкомъ, не вполне удовлетворяетъ нравственнымъ требованіямъ Станицкаго. Въ лицѣ Сережи мы видимъ плачущую и страждущую добродѣтель, и поэтому необходимо, чтобы на сцену явились новыя маріонетки, изображающія добродѣтель веселую, твердую и побѣдоносную. Такія маріонетки дѣйствительно являются во второй части романа и конечно причисляются къ тому молодому поколѣнію, о которомъ наши писатели разсуждаютъ такъ много и о которомъ они на самомъ дѣлѣ не имѣютъ почти никакого понятія. Станицкій знаетъ это молодое поколѣніе такъ-же хорошо, какъ онъ знаетъ вообще природу человѣка, потребности нашей современной жизни и причины семейныхъ несогласій. Его добродѣтельный юноша, Александръ Егоровичъ Сибѣговъ, составленъ по очень извѣстному рецепту, и по этому-же самому рецепту составленъ другой добродѣтельный юноша, Дмитрій Степановичъ Карсановъ, украшающій своимъ присутствіемъ «Романъ въ петербургскомъ полусвѣтѣ». Личнаго характера не имѣютъ ни тотъ, ни другой, и вслѣдствіе этого я буду анализировать ихъ общій рецептъ, выбирая факты изъ обоихъ романовъ, принадлежащихъ одному автору. Бѣдные родители, природная любознательность, блестящія способности, борьба съ бѣдностью, кружокъ университетскихъ товарищей, однимъ словомъ — все, какъ слѣдуетъ, все такъ, какъ обыкновенно бываетъ написано въ книжкахъ, и все это, разумѣется, безъ малѣйшихъ слѣдовъ самостоятельнаго наблюденія. Вотъ напримѣръ какія подробности сообщаются изъ исторіи умственной жизни героевъ: «вмѣсто пошлыхъ французскихъ романчиковъ, какіе читаются единственно завитыми и расчесанными головами, Сибѣговъ читалъ дѣльныя книги да изучалъ русскую литературу». — «Пріѣхавъ въ Петербургъ застѣчивымъ мальчикомъ, онъ не имѣлъ случая завести себѣ знакомствъ и сдѣлался очень разборчивъ, мѣтко угадывая и понимая все дурное въ людяхъ.» Что застѣчивость и отсутствіе знакомствъ развиваютъ въ мальчикѣ способность мѣтко угадывать и понимать въ людяхъ все дурное — это очевидно субъективное соображеніе Станицкаго, потому что до сихъ поръ по всей вѣроятности никому не при-

ходило въ голову связывать такіе пріемы такими послѣдствіями. «Сибѣговъ и ричи постоянно разсуждали объ обязанностяхъ честнаго человѣка и оставались твердыми въ своихъ убѣжденіяхъ, несмотря ни на какие соблазны.» Сибѣговъ и его товарищи находятъ болѣе полезный предметъ для разсужденій. Съ какими соблазнами имъ приходится бороться — это остается неизвѣстнымъ, но то, что Сибѣговъ «выжилъ почти все четырехъ стѣнахъ института». О Карсановѣ узнаемъ то-же самое. «Его студенческая жизнь не убила въ немъ и не погасила въ немъ свѣтлой вѣры въ достоинство человѣка, торжество истины въ мірѣ. Около Карсанова кружокъ подобныхъ ему честныхъ душой товарищей, и въ скоромъ времени въ этомъ кружкѣ закипѣла дѣятельная жизнь. Европейскіе мыслители были для нихъ настоящими наставниками, такъ что этотъ кружокъ молодыхъ людей сдѣлался изолированнымъ міромъ въ русскомъ обществѣ.» — «Они въ своей экзальтаціи охотились на людей, которые успѣли на бѣгахъ, распустили паруса и, любуясь величественной картиной безбрежной дали, не замѣчая, что ихъ уже далеко отъ берега, не замѣчая, что ихъ уже страшное пространство и что ихъ голуби стигнуть до берега.»

Изъ всего этого явствуетъ, что Карсановъ сдѣлался очень добродѣтельнымъ. Но изъ всего этого явствуетъ и то, что Станицкій не имѣетъ никакого понятія, что онъ описываетъ. Еслибы я сдѣлалъ одну фразу за другой, не вкладывая въ фразы никакого осмысленнаго смысла, могъ бы тотчасъ изобразить вамъ, какъ разговариваютъ японскіе юноши, и мое изображеніе было бы такъ-же вѣрно и наглядно, какъ разговариваютъ студенты въ кружкахъ Карсанова. Что читали эти молодые люди «дѣльныя книги». — Какія книги? «европейскихъ мыслителей». — Какіхъ мыслителей? Такихъ, которые «этотъ маленькій кружокъ молодыхъ людей — какой-то изолированный мірокъ». — Этотъ отвѣтъ покажется вамъ недостаточнымъ, то вамъ представить лодку, плывущую при закатѣ солнца, и людей, любуясь величественной картиной безбрежной дали, не замѣчая, что ихъ уже далеко отъ берега, не замѣчая, что ихъ уже страшное пространство и что ихъ голуби стигнуть до берега. Какой-же вы еще желаете ясности и

Вамъ можетъ-быть любопытно знать, что Сибгровъ? Извольте; Станицкій такъ ушени, что даже на этотъ вопросъ онъ вамъ отвѣтитъ: Сибгровъ изучалъ русскую литературу. Вы спросите пожалуй, о чемъ же Сибгровъ съ своими товарищами? Объ остиахъ честнаго человѣка.

Въ довольно. Прекратите ваши нескром-гросы и рассмотрите внимательно данный свѣтъ на счетъ русской литературы. Сибгровъ конечно можетъ изучать русскую литературу, если ему угодно, онъ можетъ даже изучать древности или алеутскую грамматику, эти занятія не представляютъ физической невозможности и не воспрещены закономъ, если Сибгровъ изображаетъ своей ое-представителя молодого поколѣнія, если въ олжны воплощаться преобладающія стрем-теперешней молодежи, и если онъ дѣй-льно одаренъ блестящими способностями, иеіеіе русской литературы навязано ему енно некетати. Теперешніе молодые люди ея къ русской литературѣ очень равно-и врядъ-ли можно ожидать, чтобы Лон-Галаховъ, Тихонравовъ, Буслаевъ, Су-овъ и другіе нашли-бы себѣ въ рядахъ молодежи восторженныхъ цѣнителей и ихъ продолжателей. Конечно кафедръ рус-овесности въ университетахъ и въ гимна-е опустѣютъ; всегда найдутся молодые елающіе ихъ занять; но трудно себѣ ить, чтобы къ этимъ кафедрамъ устрем-ыя блестящія дарованія трудящейся мо-.

Русскую литературу изучаютъ въ на-е время юноши очень трудолюбивые, очень, очень добросовѣстные, нововсе не дарови-овершенно неспособные привязываться со-ной истрастной любовью къ предмету сво-яній. Эти юноши превосходно выдержи-кандидатскій экзаменъ, также превосходно ивають экзамены на магистра и на док-зачищающіе свои диссертации съ скром-ювательностью; потомъ они получаютъ; затѣмъ, лѣтъ черезъ пятнадцать, они ея ординарными профессорами; они бу-итать лекціи и, ради приличія, писать кія изслѣдованія до тѣхъ поръ, пока не зать себѣ въ пенсіонъ полный окладъ жа-и, и наконецъ, достигнувъ этой послѣд-ли, они сойдутъ со сцены для того, что-однобно императору Діоклитіану, дожить и въ спокойной и обезпеченной неизвѣст-

ему именно *эти* юноши устремляются къ ію русской литературы, это понять не. Стоитъ только подумать о томъ, что изучать въ русской литературѣ и какая а этого изученія можетъ завлечь дарови-представителя молодого поколѣнія? Спра-ся прежде всего, какой періодъ русской

литературы затронетъ любознательность моло-дого человѣка? Тотъ-ли, который тянется отъ начала русской письменности до петровской ре-формы, или тотъ, который продолжается со вре-менъ Петра до Гоголя? Или наконецъ новѣйшій періодъ, получившій свою теперешнюю физіо-номію послѣ Гоголя? Необходимо, чтобы одинъ изъ этихъ отдѣловъ чѣмъ-нибудь заинтересовалъ молодого человѣка, потому что иначе молодой человѣкъ не будетъ изучать русской литературы. Посмотримъ, заинтересуетъ-ли его древній періодъ нашей литературы. Есть у насъ въ этомъ древнемъ періодѣ пѣсни, сказки, былины, ле-генды, лѣтописи и юридическіе памятники. Пѣсни, сказки, былины и легенды—все это по-видимому очень интересно; все это, какъ толко-вали намъ въ различныхъ учебныхъ заведеніяхъ и въ различныхъ ученыхъ сочиненіяхъ, зна-комить съ народной жизнью и открываетъ передъ нашими глазами глубокіе тайники народнаго міро-созерцанія. Не знаю, такими-ли именно словами выражались и выражаются преподаватели и со-ставители ученыхъ книгъ, но знаю навѣрное, что только этими мыслями оправдывается и объ-ясняется появленіе такихъ тяжеловѣсныхъ из-даній, каковы напимѣръ «Очерки» Буслаева или «Памятники» Костомарова и Пыпина.

Итакъ, молодому человѣку представляется воз-можность проникнуть въ тайники народнаго міро-созерцанія. Но, прежде чѣмъ проникнуть, не по-ставитъ-ли себѣ молодой человѣкъ вопроса: за-чѣмъ я буду забираться въ эти трущобы? Кому я своими трудами на этомъ поприщѣ принесу дѣйствительную пользу: народу или себѣ? На-роду? Странное дѣло! Какая выгода можетъ быть народу отъ того, что я, Александръ Егоровичъ Сибгровъ, узнаю всѣ примѣты домового, всѣ ва-ріанты былины о Миклушкѣ Селяниновичѣ и всѣ столкновенія Иванушки съ Бабой-Ягой? А какая отъ этого произойдетъ польза для моего собственнаго развитія? Я узнаю нѣсколько но-выхъ подробностей о сказочныхъ личностяхъ, я отпечатаю въ своей памяти нѣсколько сотенъ лу-бочныхъ картинъ, но общее понятіе мое о на-родѣ останется совершенно такое-же, какое обра-зовалось въ моемъ умѣ изъ впечатлѣній дѣтства и какое поддерживается всѣми ежедневными столкновеніями моими съ дѣйствительной жизнью и съ милой «почвой». Бѣдность та-же самая, и невѣжество то-же самое, и та-же заучивность пѣсни съ тѣми-же проблемками забубенной удали. Что въ этомъ народѣ есть много ума, и много юмора, и много хорошихъ силъ, и много задат-ковъ здороваго развитія, это я знаю очень хо-рошо безо всякихъ былинь и пѣсенъ. Во-пер-выхъ, я знаю это по моимъ собственнымъ столк-новеніямъ съ простыми людьми, а во-вторыхъ, это иначе и быть не можетъ, потому что чело-вѣкъ кавказской расы есть самое понятливое изъ всѣхъ существующихъ позвоночныхъ живот-

ныхъ. Могу-ли я взять, лично для себя, хоть какую-нибудь частицу изъ того народнаго міросозерцанія, съ которымъ меня познакомить легенды, былины и пѣсни? Мудрено, очень мудрено, даже совсѣмъ невозможно, потому что всѣ эти идеи и мотивы этого міросозерцанія находятся въ самой непримиримой враждѣ со всѣми элементарными учебниками физики и географіи. Есть-ли надобность знать эти идеи и мотивы народнаго міросозерцанія для того, чтобы работать на пользу этого народа? Нѣтъ. Ну, стало-быть, скажетъ въ заключеніе Александръ Егоровичъ Сибгровъ, я вовсе не намѣренъ углубляться въ былины и сказки, а древній періодъ русской литературы можетъ оставаться для меня недоступнымъ сокровищемъ.

Такія размышленія моего Сибгова (а не того, который изображенъ у Станицаго) могутъ вызвать противъ себя много насмѣшекъ и много горячихъ возраженій. Молодой человѣкъ, скажутъ ему специалисты, вы не знаете того предмета, о которомъ разсуждаете такъ смѣло. Если вы не изучали нашей древней литературы, то почему-же вы знаете, что ее не стоитъ изучать и что она не можетъ принести вамъ ни малѣйшей пользы? На это мой скромный Сибговъ отвѣтитъ такъ: я читалъ отъ доски до доски два тома «Очерковъ» Буслаева. Я знаю, что Буслаевъ трудится на своемъ поприщѣ гораздо больше десяти лѣтъ, и что эти «Очерки» составляютъ сборникъ его статей за все время его ученой дѣятельности. Я знаю кроме того, что Буслаевъ считается за одного изъ самыхъ дѣятельныхъ и талантливыхъ изслѣдователей нашей литературной старины. Я вовсе не смѣю думать, что я умнѣе, даровитѣе и трудолюбивѣе Буслаева. Я не имѣю также особенныхъ основаній надѣяться, что нападу на такіе сокровища, которые укрываютъ отъ пытливаго взора этого изслѣдователя. Стало-быть, если я пойду по слѣдамъ Буслаева, то я можетъ-быть лѣтъ черезъ пятнадцать подарю русской публикѣ два тома «Очерковъ» Александра Сибгова. Я не думаю, чтобы этотъ подарокъ принесъ русской публикѣ значительную пользу, и меня вовсе не обольщаетъ перспектива обогатить со временемъ нашу книжную торговлю такимъ произведеніемъ. Книга Буслаева навѣрное представляетъ очень удовлетворительный образчикъ нашихъ литературныхъ сокровищъ. Будущіе изслѣдователи могутъ отыскать много новыхъ подробностей, но невозможно предположить, что они вдругъ найдутъ подъ хламомъ былинь, пѣсенъ и легендъ цѣлый міръ самородной мысли, — такой міръ, котораго существованіе было совершенно неизвѣстно Буслаеву и его сподвижникамъ; невозможно предположить, что въ этомъ ископаемомъ мірѣ русскихъ идей вдругъ окажутся такіе драгоценности, которые придется предпослать непоколебимымъ истинамъ европейской или, вѣрнѣе, общечеловѣческой науки. Вѣроят-

но самые усердные спеціалисты не рѣшатся утверждать, что такой удивительный случай возможенъ; а если онъ невозможенъ, то я не желаю тратить свое время и свои силы на изученіе былинь, пѣсенъ, легендъ и разныхъ другихъ памятниковъ нашей письменной и изустной литературы. — Стало-быть, возразятъ любители древности, вы отвергаете заслуги такихъ дѣятелей, каковы напримѣръ братья Гриммы, великіе собиратели нѣмецкихъ сказокъ, пѣсенъ, пословицъ и преданій? — Братья Гриммы, отвѣтитъ Сибговъ съ своей обыкновенной кротостью, — люди очень умные, трудолюбивые и честные. Я очень уважаю ихъ усердіе и добросовѣстность, но мнѣ кажется, что ихъ превосходныя качества могли-бы принести несравненно больше пользы, еслибы они были приспособлены къ другому занятію. Гриммы исходили вдоль и поперекъ всю Германію, чтобы собрать остатки старины, сохранившейся въ обычаяхъ, въ языкѣ и въ народной поэзіи. Путешествуя пѣшкомъ по Германіи, они конечно превосходно усвоили себѣ всѣ обороты народной рѣчи; они приобрѣли драгоценное умѣніе объясняться съ самыми простыми и необразованными людьми. Еслибы они применили это умѣніе къ обобщенію научныхъ истинъ, еслибы они своимъ простымъ и понятнымъ языкомъ провели знаніе природы въ низшіе слои рабочаго населенія, то они принесли-бы дѣйствительно громадную пользу, хотя быть-можетъ ихъ и не считали-бы великими свѣтилами ученаго міра. Ученныя работы Гриммовъ громадны, но приносятъ-ли онѣ какую-нибудь дѣйствительную пользу хоть одному живому человѣку въ мірѣ? Мнѣ кажется, что на этотъ вопросъ можно смѣло и рѣшительно отвѣчать: нѣтъ. — Гриммы то-же самое, что Рафаэль, за котораго Базаровъ гроша мѣднаго не хотѣлъ дать. Базаровъ выражается рѣзко, но мысль его вполне справедлива. Еслибы въ Италіи было десять тысячъ живописцевъ, равныхъ Рафаэлю, то это нисколько не подвинуло-бы впередъ итальянскую націю ни въ экономическомъ, ни въ политическомъ, ни въ социальномъ, ни въ умственномъ отношеніи. И еслибы въ Германіи было десять тысячъ археологовъ, подобныхъ Якову Гримму, то Германія отъ этого не сбѣлалась-бы ни богаче, ни счастливѣе. Безобразіе ея политическаго устройства, пошлость ея юнкерства и немимовѣрное филистерство всякихъ патріотическихкихъ обществъ при десяти тысячахъ Гриммовъ продолжали-бы существовать точь въ точь въ такомъ-же видѣ, въ какомъ они существуютъ теперь. Поэтому я говорю совершенно искренно, что желалъ-бы лучше быть русскимъ сапожникомъ или булочникомъ, чѣмъ русскимъ Рафаэлемъ или Гриммомъ. Каждый Рафаэль обожаетъ свое искусство, и каждый Гриммъ обожаетъ свою науку, но ни тотъ, ни другой не задаютъ себѣ убійственнаго вопроса: *зачѣмъ?* Я имѣю несчастье задавать себѣ этотъ вопросъ, и когда я

прикладываю его къ дѣятельности Рафаэлей и Гриммовъ, то не нахожу на него отвѣта. Поэтому я не могу, не хочу и не долженъ быть ни Рафаэлемъ, ни Гриммомъ, ни въ малыхъ, ни въ большихъ размѣрахъ. Поэтому я могу, хочу и долженъ браться только за такую работу, которой результаты давали-бы громкій и совершенно опредѣленный отвѣтъ на вопросъ: *зачѣмъ?* — Поэтому проходи мимо, древній періодъ русской литературы!

Специалисты конечно не согласятся съ размышленіями моего Снѣгова, но по крайней мѣрѣ они махнутъ на него рукой и оставятъ его въ покоѣ; въ самомъ дѣлѣ, можно-ли разговаривать съ такимъ человѣкомъ, который даже дѣятельность Гриммовъ считаетъ бесполезной? Когда специалисты умолкнутъ и отойдутъ въ сторону, тогда самъ читатель сдѣлаетъ Снѣгову слѣдующее возраженіе: вы задаете себѣ вопросъ, скажетъ онъ, есть-ли надобность знать идеи и мотивы народнаго міросозерцанія для того, чтобы работать на пользу этого народа? и потомъ на этотъ вопросъ вы отвѣчаете: «нѣтъ». Какъ же это возможно? Какъ же вы принесете пользу такому народу, о которомъ вы не имѣете никакого понятія? — Во-первыхъ, отвѣтить на это Снѣговъ, можно приносить пользу народу, не находясь въ непосредственныхъ отношеніяхъ съ тѣми слоями населенія, которые преимущественно называются народомъ и которые дѣйствительно составляютъ огромное большинство всей націи. Бѣлинскій и Добролюбовъ принесли много пользы русскому народу, а между тѣмъ ни грамотный мужикъ, ни грамотный мѣщанинъ не могутъ понимать ихъ сочиненія. Во-вторыхъ, я думаю, что даже учителю народной школы нѣтъ никакой надобности изучать ту народную поэзію, на которой основано народное міросозерцаніе. Учитель долженъ говорить съ своими учениками простымъ и понятнымъ языкомъ и кромѣ того долженъ обращаться съ ними такъ кротко и доброудушно, чтобы ученики не робѣли передъ нимъ и откровенно предлагали ему свои вопросы и возраженія, если его рассказы кажутся имъ непонятными или несогласными съ тѣми идеями, которыя составились въ ихъ головахъ до прихода въ школу. Учителю необходимы кромѣ того умѣнье и навыкъ; но эти вещи пріобрѣтаются чисто практическимъ путемъ, и ихъ нельзя вычитать ни въ сборникѣ былинъ, ни въ «Очеркахъ» Буслаева. Когда учитель передаетъ ученикамъ элементарныя основанія географіи, то ему нѣтъ никакой надобности говорить, что земля *не* стоитъ на трехъ китахъ, что Царь-градъ *не* есть пупъ земли и что *нѣтъ* такой страны, въ которой живутъ люди съ песьими головами. Пусть онъ рассказываетъ только то, что *есть*; если ученикъ слышалъ о китахъ и о пупѣ земли, то онъ самъ спроситъ у учителя на счетъ этихъ очаровательныхъ созданій народной мудрости, и

соч. д. н. писарева, т. IV.

тогда учитель объяснитъ ему, что все это невозможно и вѣрная чепуха. Поэтому я говорю еще разъ, что изучать народное міросозерцаніе или, проще, народное суевѣріе нѣтъ никакой надобности.

Управившись такимъ образомъ съ древнимъ періодомъ нашей литературы, Снѣговъ, разумеется, не почувствуетъ особеннаго расположенія остановиться съ уваженіемъ и съ любовью на созерцаніи XVIII вѣка. Снѣговъ знаетъ, что въ это время сформировались нашъ литературный языкъ и нашъ стихъ. Но Снѣговъ находитъ, что гораздо благоразумнѣе пользоваться сформированнымъ языкомъ для распространенія въ обществѣ полезныхъ знаній и здравыхъ идей, чѣмъ любоваться на колыбель этого языка и перечислять всѣ забытыя шалости этого милаго ребенка, постоянно ходившаго и до сихъ поръ продолжающаго ходить на спасительныхъ помочахъ. Что же касается до стиховъ, то въ этомъ отношеніи Снѣговъ можетъ быть настоящимъ варваромъ; онъ, каналья, равнодушенъ къ ихъ гармоніи; онъ думаетъ, что время дорого и что его не слѣдуетъ тратить ни на сочиненіе новыхъ стиховъ, ни на чтеніе напечатанныхъ произведеній нашей современной поэзіи, ни на изслѣдованіе того вопроса, кто ввелъ у насъ тоническое стихотвореніе, кто его усовершенствовалъ, и чрезъ какія фазы развитія оно перешло со временъ Тредьяковского до временъ Майкова.

Такимъ образомъ передъ моимъ Снѣговымъ остается только третій періодъ, или современная литература. Къ этому періоду онъ относится съ сочувствіемъ и уваженіемъ, потому что въ это время многіе честные и умные люди бросили смѣлый и непристрастный взглядъ на «бѣдность, да несовершенства нашей жизни».

Если мы не будемъ знать того, что пережили и передумали эти люди, если мы по ихъ сочиненіямъ не будемъ догадываться о томъ, что составляло смыслъ и бессмыслицу ихъ существованія, то для насъ во многихъ отношеніяхъ останутся непонятными настоятельныя потребности и накопившіяся со всѣхъ сторонъ задачи нашей собственной эпохи. Грибоедовъ, Крыловъ въ нѣкоторыхъ изъ его лучшихъ басенъ, Пушкинъ въ «Онегинѣ», Лермонтовъ въ Печоринѣ, Гоголь въ первой части «Мертвыхъ Душъ», въ «Ревизорѣ» и во многихъ мелкихъ повѣстяхъ, Писемскій, Тургеневъ, Гончаровъ, Достоевскій, Некрасовъ, Островскій, и особенно Бѣлинскій и Добролюбовъ, и въ заключеніе, какъ фактъ вчерашняго дня, романъ «Что дѣлать?» — это все сырые матеріалы, которые каждый изъ нашихъ образованныхъ соотечественниковъ долженъ непременно переработать въ своемъ умѣ, чтобы знать, чего мы хотимъ, о чемъ мы думаемъ и съ какихъ различныхъ точекъ зрѣнія мы рассматриваемъ наше собственное положеніе. Но изучать тутъ все-таки нечего; надо только прочесть, какъ мы читаемъ журнальную статью, какъ пробѣгаемъ отдѣлъ иностранныхъ извѣстій въ газетѣ. Въ каждомъ

литературномъ произведеніи и въ каждой критической статьѣ Бѣлинскаго и Добролюбова надо видѣть только то явленіе жизни, которымъ они вызваны, а вдаваться въ эстетику, подмѣчать индивидуальныя особенности того или другого таланта, вглядываться въ языкъ и въ манеру повѣствованія—это значить терять изъ виду требованія живой дѣйствительности и уходить отъ этихъ требованій въ темныя трущобы семинарской и гимназической пѣнттики.

Часто случается однако, что личность автора и его литературныя приемы составляютъ сами по себѣ очень знаменательный фактъ въ исторіи нашей умственной жизни, и этотъ фактъ можетъ быть для насъ важнѣе и интереснѣе, чѣмъ явленіе, которое описываетъ намъ авторъ. Возьмемъ на примѣръ сочиненія Бѣлинскаго. На каждой страницѣ мы видимъ передъ собой человека умнаго, горячаго, непоколебимо честнаго, совершенно неспособнаго продать кому-бы то ни было дѣйствительные интересы человѣческой личности и исполнѣнаго способнаго увидать и понять, въ чемъ именно заключаются эти великіе интересы. И въ то-же время мы видимъ, что всѣ умственныя силы этого превосходнаго человѣка и вся его кипучая энергія тратятся на то, чтобы разсматривать и оцѣнивать игрушечныя издѣлія разныхъ пустѣйшихъ господъ, наполнившихъ свои досуги писаніемъ русскихъ стиховъ и русскихъ повѣстей. Пушкинъ былъ безъ сомнѣнія человѣкъ очень умный, и стихи его были очень легки, и образы очень картинны, но когда вы видите, что весь восьмой томъ сочиненій Бѣлинскаго посвященъ оцѣнкѣ Пушкина, то вамъ становится обидно за Бѣлинскаго и вамъ невольно приходитъ въ голову, что эта честь слишкомъ велика для Пушкина и что силамъ великаго и серьезнаго критика негдѣ развернуться въ эстетическомъ разборѣ красивыхъ произведеній остроумнаго русскаго барина. Никакой отдѣльный поэтъ, ни Гёте, ни Гейне, ни даже Шекспиръ, не можетъ быть достаточно обширенъ для того, чтобы приковать къ себѣ и поглотить въ своихъ произведеніяхъ всѣ силы такого мыслящаго и такого живого человѣка, какимъ былъ Бѣлинскій. Эти люди не могутъ и не должны возиться съ индивидуальными мыслями, чувствами и фантазіями. Для нихъ достаточно широка только одна сфера,—та, которая шире всѣхъ остальныхъ и которая вмѣщаетъ въ себѣ и Шекспира, и Станицкаго, и нѣмецкаго филистера, и безграмотнаго мужика, и всѣ усилія человѣческой гениальности, и всѣ безчисленныя проявленія человѣческаго тупоумія. Для мыслителей, подобныхъ Бѣлинскому, необходима живая и непрерывная умственная связь съ настоящими страданіями и радостями настоящихъ людей. Для нихъ необходимо размышлять о дѣйствительной жизни и откровенно пе-

редавать свои размышленія всѣмъ тѣмъ людямъ, которые могутъ и желаютъ ихъ понимать. Эти мыслители только тѣмъ и счастливы, только тѣмъ и живутъ, что пробуждаютъ въ человѣческихъ умахъ дѣятельность мысли и сознательное стремленіе къ разумному, свѣтлому и далекому, очень далекому будущему. Бѣлинскій былъ современникомъ Людвигъ Бёрне; по силѣ своего ума и по честности своего характера Бѣлинскій былъ вполнѣ способенъ сдѣлаться русскимъ Бёрне; а между тѣмъ Бѣлинскій жилъ и умеръ эстетикомъ, и, разумѣется, этотъ фактъ, по своему печальному и грозному значенію, гораздо важнѣе и интереснѣе для насъ, чѣмъ тѣ поэмы Пушкина, которыя такъ превосходно оцѣниваетъ Бѣлинскій. Въ своей статьѣ «Бѣлинскій и Добролюбовъ» Зайцевъ показалъ значеніе этого факта въ исторіи нашей умственной жизни; но этотъ предметъ до такой степени важенъ, Бѣлинскій, какъ эстетикъ, представляетъ явленіе до такой степени замѣчательное по своей колоссальной уродливости, что, мнѣ кажется, было-бы полезно разболтать и освѣтить этотъ фактъ въ отдѣльномъ чисто психологическомъ этюдѣ. Бѣлинскій былъ настоящимъ Прометеемъ нашего времени, и въ глубинѣ, искренности и законности своихъ сужданій онъ навѣрное можетъ поспорить съ самимъ Байрономъ,—съ тѣмъ великимъ и несчастнымъ Байрономъ, котораго, для увеселенія русскихъ барышень, такъ обкарнали и обезсмыслили наши милые байронисты, начиная отъ самого Лермонтова и кончая Полонскимъ.

Итакъ, въ концѣ концовъ, мы пришли къ тому общему результату, что наше молодое поколѣніе, въ лицѣ своихъ даровитѣйшихъ представителей, не изучаетъ русской литературы, а только читаетъ тѣ книги, русскія или иностранныя, которыя даютъ человѣку основательное знаніе дѣйствительной жизни.

Теперь, мой читатель, вы мнѣ позволите сдѣлать вамъ откровенное признаніе. Мнѣ ужасно надоѣло возиться съ романами Станицкаго и о всѣхъ его добродѣтельными и порочными фигурами изъ *parier-maché*. Честью васъ могу уверить, что въ Снѣговѣ и въ Карсановѣ нѣтъ ничего похожаго на какое-бы то ни было колѣніе, старое или молодое. Поэтому будьте милкодушны, позвольте мнѣ совершенно оставить ихъ въ сторонѣ и передать вамъ въ отдѣльной статьѣ тѣ мысли, на которыя навелъ меня запросъ объ изученіи или, вѣрнѣе, о неизученіи русской литературы. Эта отдѣльная статья пойдетъ въ свѣтъ подъ заглавіемъ «Реалисты» *).

*) Эта статья, какъ центральная, поставлена нами въ главѣ тома, т.-е. помѣщена *передъ* «Буркольной трагедіей».

ПРОМАХИ НЕЗРѢЛОЙ МЫСЛИ.

I.

Прежде чѣмъ я приступлю къ настоящему предмету моей статьи, я долженъ поправить одинъ промахъ моей собственной мысли, которую я во многихъ отношеніяхъ считаю очень незрѣлой. Лѣтъ пять-шесть тому назадъ я прочиталъ раза два или три повѣсти и рассказы графа Л. Н. Толстого, печатавшіеся тогда въ «Современникѣ». Читалъ я ихъ съ увлеченіемъ; они мнѣ очень нравились, но я былъ еще до такой степени молодъ, что рѣшительно не въ силахъ былъ бросить на нихъ общій взглядъ и вдуматься въ настоящій смыслъ тѣхъ типовъ, которые изучилъ и воспроизвелъ графъ Толстой. Вниманіе мое останавливалось на удивительно тонкой отдѣлкѣ мелкихъ подробностей, ландшафтныхъ, бытовыхъ и преимущественно психологическихъ. Въ эти дни моей самой ранней юности я былъ помѣшанъ съ одной стороны на величій науки, о которой не имѣлъ никакого понятія, а съ другой—на красотахъ поэзій, которой представителями я считалъ между прочими Фета и моего университетскаго товарища Крестовскаго. Прочитавши повѣсти Толстого, я, разумѣется, рѣшилъ, что Толстой—поэтъ, и что я долженъ быть ему очень благодаренъ за доставленное мнѣ эстетическое наслажденіе. Въ 1860 году въ моемъ развитіи произошелъ довольно крутой поворотъ. Гейне сдѣлался моимъ любимымъ поэтомъ, а въ сочиненіяхъ Гейне мнѣ всего больше стали нравиться самыя рѣзкія ноты его смѣха. Отъ Гейне понятіемъ переходилъ къ Мошоту и вообще къ естествознанію, а далѣе идетъ уже прямая дорога къ послѣдовательному реализму и къ строжайшей утилитарности. Когда эти переходы совершались, тогда конечно всякую чистую художественность я съ величайшимъ наслажденіемъ выбрасывалъ за бортъ. Мнѣ такъ много надо было читать, учиться и работать, что рѣшительно не было возможности пересматривать отдѣльно каждую изъ тѣхъ бездлушекъ, которыя составляли въ совокупности неструю кучу поэзій, возбуждавшей недавно мои юношескіе восторги. Я осудилъ и осмѣялъ въ своемъ умѣ всю эту кучу гуртомъ, не боясь ошибиться, потому что общее впечатлѣніе было еще очень свѣжо въ моей памяти. Память меня не обманула, но вѣдь память сохраняетъ только то, что вы сами даете ей на сохраненіе. Если вы въ сумеркахъ разсматривали какую-нибудь матерію, которая тогда показалась вамъ прочной и красивой, то память такъ и отмѣтитъ у себя, что, молъ, въ такомъ-то магазинѣ есть такая-то ма-

терія, прочная и красивая. Но будетъ-ли замѣченная матерія дѣйствительно соответствовать вашимъ ожиданіямъ, не разочаруетесь-ли вы въ ея достоинствахъ, когда увидите ее днемъ?—это уже такіе вопросы, на которые никакъ не можетъ отвѣчать ваша память. Память моя говорила мнѣ, что нестрая куча нравилась мнѣ своей чистой художественностью. Умъ мой отвѣчалъ на это: значить, никуда не годится!—Но не было-ли въ этой кучѣ, кромѣ чистой художественности, какихъ-нибудь золотыхъ крупинокъ мысли, незамѣченныхъ и неощущенныхъ мною въ то время, когда я способенъ былъ восхищаться только сладкими звуками?—это такой вопросъ, котораго не могли рѣшить ни память, ни умъ, произносившій свой приговоръ на основаніи общихъ воспоминаній. Вотъ тутъ-то и случился промахъ. Въ статьѣ моей «Цвѣты невиннаго юмора» я, мелькомъ упоминая о литературной дѣятельности графа Толстого, замѣчаю, что публика отнеслась къ ней довольно равнодушно, и объясняю это равнодушіе тѣмъ обстоятельствомъ, что въ произведеніяхъ графа Толстого нѣтъ ничего, кромѣ чистой художественности. Это объясненіе никуда не годится. Въ нынѣшнемъ году вышли сочиненія Толстого, въ изданіи Стелловскаго. Я прочиталъ «Дѣтство», «Отрочество», «Юность», «Утро помѣщика» и «Люцернъ». На этомъ я покуда остановился. Меня изумили обиліе, глубина, сила и свѣжесть мыслей. Мнѣ пришло въ голову, что критика наша молчала о Толстомъ или, еще того хуже, говорила о немъ ласкательные пустячки единственно по своему признанному безсилію и скудоумію. Добролюбову неловко было черезчуръ много говорить о постоянномъ сотрудникѣ «Современника», ну, а кромѣ Добролюбова,—известное дѣло, —хоть шаромъ покати! Аполлонъ Григорьевъ, у котораго, при всей его безалаберности, были очень живые проблески мысли и чувства, — Аполлонъ Григорьевъ, говорю я, понималъ, что произведенія Толстого затрогиваютъ что-то очень большое и очень важное; понималъ онъ, что тутъ хорошо было-бы пошевелить мозгами и кое-что разъяснить; и началъ онъ во «Времени» статью о Толстомъ и, разумѣется, ничего не разъяснилъ. Всѣмъ статьямъ этого критика постоянно суждено было оставаться размашистыми вступленіями въ что-то такое, о чемъ ни Григорьевъ, ни его читатели не имѣли, не имѣютъ и никогда не будутъ имѣть никакого понятія. Толстой остался попрежнему въ тѣни. Его читаютъ, его любятъ, его знаютъ, какъ тонкаго психолога и граціознаго художника.

ка, его уважаютъ, какъ почтеннаго работника въ ясно-полянской школѣ; но до сихъ поръ никто не подхватилъ, не разработалъ и не подвергнулъ тщательному анализу то сокровище наблюдений и мыслей, которое заключается въ превосходныхъ повѣстяхъ этого писателя. О каждомъ романѣ Тургенева кричатъ и спорятъ по крайней мѣрѣ по полугоду. Толстого читаютъ, задумаются, ни до чего не додумаются, да такъ и покончатъ дѣло благоразумнымъ молчаніемъ. Это молчаніе я попробую нарушить. Въ моей статьѣ читатель не найдетъ, разумѣется, ни похвалъ, ни порицаній писателю. Онъ найдетъ только анализъ тѣхъ живыхъ явленій, надъ которыми работала творческая мысль графа Толстого.

II.

Читатели мои знаютъ конечно, что повѣсти «Дѣтство», «Отрочество» и «Юность» составляютъ три отдѣльныя части воспоминаній Николай Иртеньева. Эти воспоминанія начинаются съ одиннадцатаго и доходятъ до восемнадцатаго года его жизни. Въ концѣ своего «Отрочества», за нѣсколько мѣсяцевъ до вступленія въ университетъ, Иртеньевъ сближается съ княземъ Нехлюдовымъ, котораго характеръ, набросанный довольно яркими чертами въ «Юности», дорисовывается вполнѣ въ отдѣльныхъ разсказахъ: «Утро помѣщика» и «Люцернъ». — Иртеньевъ и Нехлюдовъ принадлежатъ оба къ тому поколѣнію, которому во время крымской войны было около тридцати лѣтъ. Это поколѣніе лѣтъ на десять моложе Рудиныхъ и Печориныхъ и лѣтъ на десять или на пятнадцать старше Базаровыхъ. Въ настоящую минуту людямъ базаровскаго типа можно положить возрастъ отъ двадцати до тридцати лѣтъ; Иртеньевымъ и Нехлюдовымъ — около сорока, а Рудинымъ и Печоринымъ — слишкомъ пятьдесятъ. Впрочемъ границы базаровскаго типа еще не могутъ быть обозначены, потому что въ настоящую минуту мы не видимъ его конца. Трудно сдѣлаться раньше двадцати лѣтъ зрѣлымъ, то-есть вполнѣ сознательнымъ и непоколебимымъ Базаровымъ, но изъ этого обстоятельства никакъ нельзя выводить то заключеніе, что молодые люди, еще не достигшіе двадцатилѣтняго возраста, составляютъ крайній предѣлъ базаровскаго типа; пятнадцатилѣтній мальчикъ конечно не можетъ быть Базаровымъ, потому что въ эти лѣта характеръ и образъ мыслей едва начинаютъ формироваться; но утверждать, что этотъ мальчикъ никогда не будетъ Базаровымъ, было-бы очень опрометчиво. Напротивъ, можно сказать почти навѣрное, что черезъ нѣсколько лѣтъ умный пятнадцатилѣтній мальчикъ сдѣлается непременно Базаровымъ.

Въ настоящую минуту въ умственной жизни нашего общества нѣтъ еще рѣшительно ни одного признака, на основаніи котораго мы могли

бы предположить, что на смѣну Базаровыхъ выработывается какой-нибудь новый типъ. — Иртеньевы и Рудины находятся въ совершенно другомъ положеніи. Это — типы прошедшаго, скроено доживающіе свой вѣкъ и уже не обновляющіеся притокомъ новыхъ представителей. Иртеньевы и Нехлюдовы, какъ по своему возрасту, такъ и по характеру, занимаютъ середину между Рудиными съ одной стороны и Базаровыми съ другой. Рудины — чистые говоруны, неимѣющіе даже понятія о возможности какой-нибудь дѣятельности, кромѣ дѣятельности языка. Базаровы — чистые работники, допускающіе дѣятельность языка, только въ томъ случаѣ, когда она содѣйствуетъ успѣху работы. А Иртеньевы и Нехлюдовы — ни рыба, ни мясо. Они за все хватаются, вездѣ хотятъ произвести что-нибудь изумительно хорошее и въ то-же время совсѣмъ ничего не знаютъ и рѣшительно ничего не умѣютъ сдѣлать какъ слѣдуетъ. Рудины берутся за какую-нибудь работу только въ самомъ крайнемъ случаѣ, то-есть, когда имъ ѣсть нечего. Да и тутъ работа идетъ у нихъ такъ нескладно, что они сидятъ впроголодь и ходятъ съ разодранными локтями. У Иртеньевыхъ жажда дѣятельности гораздо сильнѣе, чѣмъ у Рудиныхъ, а на счетъ практической смѣтливости они другъ друга стоятъ. Настоящее назначеніе Иртеньевыхъ и Нехлюдовыхъ заключается въ томъ, чтобы сдѣлать на мягкомъ креслѣ и купать страстиравіе пироги. Это — единственное занятіе, которому они могутъ предаваться съ полнымъ успѣхомъ. Но ихъ неугомонная добродѣтель никакъ не позволяетъ имъ удовлетвориться такой безмятежной отраслью дѣятельности. Ихъ все подмываетъ создать какое-нибудь удивительно мудреное добро. Они вскакиваютъ съ мягкаго кресла, хлопочутъ до обморока и кончаютъ свои добродѣтельные упражненія тѣмъ, что разоряются вухъ. Впрочемъ этотъ результатъ самъ по себѣ очень недуренъ, потому что нѣкоторые обломки нехлюдовскаго или иртеньевского состоянія попадаютъ иногда въ руки такихъ людей, которые, во-первыхъ, нуждаются въ деньгахъ, а во-вторыхъ — умѣютъ съ ними обращаться. Такимъ образомъ Нехлюдовы и Иртеньевы приносятъ иногда пользу совершенно произвольно подобно тому, какъ многіе люди оказываютъ обществу незамѣнимую услугу своей мирной кончиной. А между тѣмъ Иртеньевы и Нехлюдовы — люди очень глупые и совсѣмъ не подлые. Тѣ изъ нихъ, которые родились и выросли въ знатныхъ семействахъ, готовы даже для совершенія великихъ подвиговъ добра переломить свои привычки къ роскошной жизни и разорвать свои связи съ аристократическимъ обществомъ. Стало-быть, въ недостаткѣ усердія ихъ упрекнуть нельзя и объяснить ихъ безполезность исключительно расслабляющимъ вліяніемъ барственнаго воспитанія было-бы также не совсѣмъ основательно. Причинъ

нѣхъ практической непригодности и ихъ безплодныхъ страданій оказываются гораздо сложнѣе и кую-нибудь карьеру. — (Слова «учиться» и «сдѣлать» гораздо глубже, чѣмъ можно было-бы подумать при бѣгломъ взглядѣ на общій очеркъ нѣхъ неудачной дѣятельности. Причины эти показаны графомъ Толстымъ такъ ясно, такъ подробно и такъ убѣдительно, что мнѣ остается только сгруппировать для общихъ выводовъ тѣ бытовые и психологическіе факты, которые разбросаны въ отдѣльных сценахъ и отрывочныхъ эпизодахъ «Дѣтства», «Отрочества» и «Юности».)

III.

Съ самаго ранняго возраста Иртеньевъ чувствовалъ мучительный разладъ между мечтой и дѣйствительностью. Вотъ короткій отрывокъ изъ воспоминаній о классной комнатѣ. «Изъ окна направо видна часть террасы, на которой саживали обыкновенно большіе до обѣда. Бывало, покуда направляетъ Карлъ Ивановичъ листъ съ диктовкой, выглянешь въ ту сторону, видишь черную головку матушки, чью-нибудь спину и смутно слышишь оттуда говоръ и смѣхъ; такъ сдѣлается досадно, что нельзя тамъ быть, и думаешь: когда же я буду большою, перестану учиться и всегда буду сидѣть не за діалогами, а съ тѣми, кого я люблю? Досада перейдетъ въ грусть и, Богъ знаетъ отчего и о чемъ, такъ задумаешься, что и не слышишь, какъ Карлъ Ивановичъ сердится за ошибки.»

Мальчишкѣ лѣнь, мальчишкѣ учиться не хочется, скажутъ эксперты по части педагогики. Мы къ этому давно привыкли, и ничего тутъ нѣтъ особеннаго. — Знаю, господа. Но именно это-то и скверно, что вы давно къ этому привыкли и не видите тутъ ничего особеннаго. Это-то и скверно, что подобныя исторіи повторяются аккуратно каждый день, въ каждомъ семействѣ, въ которомъ есть учащаяся дѣти. Это-то и скверно, что мы всегда принимаемъ господствующій обычай за законъ природы. Присмотримся къ тому отдѣльному случаю, который представляется намъ въ воспоминаніяхъ Иртеньева. Ребенку хочется быть вмѣстѣ съ матерью и съ большими. — Зачѣмъ его туда не пускаютъ? — Ребенку не хочется сидѣть за диктовкой и за діалогами. — Зачѣмъ его къ этому приневоливаютъ? — Чтѣ за глупые вопросы? заговорятъ хоромъ всѣ читатели, эксперты и не эксперты, мужчины и женщины, старики и молодые. — Зачѣмъ? Надо же ребенку учиться! Нельзя же ему баклушничать. — А я опять свое: зачѣмъ же надо? И отчего же нельзя? — Ну! часъ отъ часу не легче! Надо ребенку учиться напимѣрь хоть-бы для того, чтобы по достиженіи извѣстнаго возраста поступить въ учебное заведеніе. — А зачѣмъ же ему по достиженіи извѣстнаго возраста надо поступить въ учебное заведеніе? — Фу, какія глупыя шутки! — Зачѣмъ, чтобы учиться, чтобы сдѣлаться образо-

ваннымъ человѣкомъ, чтобы составить себѣ какую-нибудь карьеру. — (Слова «учиться» и «сдѣлаться образованнымъ человѣкомъ» приведены здѣсь для украшенія рѣчи. Поэтому я пропущу ихъ мимо ушей и задамъ еще одинъ вопросъ, который уже окончательно выведетъ изъ терпѣнія всѣхъ моихъ собесѣдниковъ.) — А зачѣмъ же ему надо составить себѣ какую-нибудь карьеру? — Чтѣ-жъ ему, по вашему, собакъ гонять въ деревнѣ, или въ свинопасы опредѣлиться? Или пить, ѣсть, спать и баловаться съ горничными? Чтѣ это вы у г-жи Простаковой, урожденной Скотининой, чтѣ-ли, заимствовали педагогическую философію?

Напрасно вы, волнующіеся читатели, думаете застращать меня именемъ госпожи Простаковой, урожденной Скотининой. Не въ обиду вамъ будь сказано, госпожа Простакова, урожденная Скотинина, окажется гениальной мыслительницей, если мы сравнимъ ея идеи о воспитаніи съ тѣмъ жалкимъ наборомъ перепутанныхъ и непонятыхъ полу-правилъ и полу-фразъ, который считается обязательнымъ кодексомъ общепринятой домашней педагогики. У Простаковой есть одно драгоценное свойство: у нея есть послѣдовательность, а у васъ, господа эксперты, ея нѣтъ; и вы даже инстинктивно боитесь ея и ненавидите эту проклятую послѣдовательность въ другихъ людяхъ. Простакова говоритъ напимѣрь, что географія совсѣмъ не дворянская наука, потому что нато есть кучеръ, чтобы везти, куда ему прикажутъ безо всякаго описанія земли. Превосходная мысль! Изумительная логика! Самый прямой и необходимый выводъ изъ крѣпостного права! Когда подъ моею властью находятся люди, обязанные удовлетворять всѣмъ моимъ потребностямъ и исполнять всѣ мои прихоти, тогда я смѣю отрицать всякую науку, въ томъ числѣ и географію. Такъ всегда было и того требуетъ сила вещей или логика исторіи. А просвѣщенные педагоги разсуждаютъ о географіи совсѣмъ иначе. Они говорятъ, что географія есть одна изъ отраслей знанія и что знаніе вообще расширяетъ умъ человѣка и умягчаетъ его душу. И, говоря эти хорошія слова, они въ то-же время понимаютъ какъ нельзя лучше, что ни учебникъ Арсеньева, ни учебникъ Ободовскаго, ни учебникъ Павловскаго не расширили до сихъ поръ ничьего ума и не умягчили ничьей души. Хорошія слова произносятся такимъ образомъ даже безъ малѣйшей надежды обмануть ими кого-бы то ни было. Сужденія Простаковой гораздо разумнѣе этихъ хорошихъ словъ, потому что Простакова по крайней мѣрѣ сама крѣпко вѣритъ въ истину того, что она говоритъ. — Когда Митрофанушка объявляетъ: «не хочу учиться, хочу жениться!» — тогда Простакова начинаетъ его ублажать: «ты, говорить, хоть для виду поучись! А тамъ мы тебя сейчасъ и женимъ.» — Здѣсь опять Простакова оказывается правдивѣе и благоразумнѣе про-

свѣщенныхъ педагоговъ. Она понимается, что когда человѣкъ не хочетъ учиться, тогда онъ можетъ учиться только для виду. Понимая это дѣло такъ просто и разумно, она и высказываетъ свое желаніе совершенно прямо и откровенно. Просвѣщенные педагоги повидимому знаютъ натуру дѣтей гораздо глубже, чѣмъ знала ее госпожа Простакова; они пишутъ цѣлыя статьи о томъ, что ребенка слѣдуетъ приобщивать къ ученію. Кромѣ того они такъ глубоко уважаютъ науку, что ни за что не рѣшатся сказать воспитателю: поучись только для виду! Но такъ какъ писать статьи и уважать науку гораздо легче, чѣмъ возиться съ шаловливыми ребятами, — то при первомъ же столкновении съ дѣйствительностью, то-есть съ живымъ, а не съ воображаемымъ воспитателемъ, просвѣщенные педагоги тотчасъ замѣняютъ слово «приобщивать» словомъ «приневоливать». — Хорошія слова вставляются попрежнему въ книжки и въ разсужденія, а ребенокъ все-таки учится для виду, и педагогъ, изучившій дѣтскую натуру и уважающій науку, видитъ это очень хорошо, но смотритъ на дѣло сквозь пальцы или утѣшаетъ себя тѣмъ извѣстнымъ разсужденіемъ, что самая вѣрная теорія непременно должна пускаться на уступки при столкновѣніяхъ съ практикой. Значитъ, и въ этомъ случаѣ госпожа Простакова, урожденная Скотинина, можетъ дать нашимъ экспертамъ хорошій урокъ по части послѣдовательности и прямодушія.

Приобщивать гораздо труднѣе, чѣмъ *приневоливать*. Это несомнѣнно. Еслибы отъ каждаго воспитателя требовалось непременно умѣнье приобщивать ребенка къ ученію, то навѣрное девяносто-девять сотыхъ тѣхъ людей, которые въ настоящее время называютъ себя гувернерами и гувернантками, были-бы принуждены отказаться отъ своего ремесла. Отцы и матери ужаснулись-бы, увидѣвъ такое запустѣніе, отнимающее у ихъ дѣтей всякую надежду сдѣлаться когда-нибудь образованными людьми, но сами дѣти не потеряли-бы ровно ничего, потому что все, что изучается по принужденію, забывается при первомъ удобномъ случаѣ. Десятилѣтнему мальчику, Колѣ Иртеневу, хочется сидѣть на террасѣ, возлѣ матери, вмѣстѣ съ большими; ему хочется слушать ихъ разговоры и участвовать въ ихъ смѣхѣ. Ребенокъ понимаетъ инстинктивно свою собственную пользу гораздо вѣрнѣе, чѣмъ ее понимаютъ взрослые. Онъ своими ребяческими желаніями тянется именно въ то мѣсто, гдѣ ему слѣдуетъ быть, гдѣ онъ можетъ приглядываться къ дѣйствительной жизни и гдѣ умныя рѣчи взрослыхъ должны будить и шевелить его любознательность. Но взрослые гонятъ его прочь отъ себя, по извѣстной пословицѣ: «знаетъ кошка, чье мясо съѣла». Взрослые чувствуютъ очень хорошо, что ихъ рѣчи совсѣмъ не умныя, а, на-

противъ того, постоянно вздорныя и подчасъ очень грязныя. Присутствіе ребенка стыдитъ и стѣсняетъ ихъ, и они загоняютъ его куда-нибудь подальше, въ классную, не только затѣмъ, чтобы онъ зубрилъ діалоги, но преимущественно затѣмъ, чтобы онъ не мозолилъ имъ глаза и не мѣшалъ имъ врать пошлости. Съ одной стороны, въ этомъ желаніи удалить ребенка можно видѣть смиренное сознаніе собственной замаранности; мы, дескать, — пустые и дрянные люди, и мы это чувствуемъ, и поэтому мы боимся загрязнить собой нашего чистаго ребенка. Съ другой стороны, въ этомъ — же самомъ желаніи можно видѣть полную умственную пустоту и безнадежную нравственную распушенность. Мы, дескать, любимъ нашего ребенка, но и для его пользы, и для удовольствія быть съ нимъ вмѣстѣ не оставимъ ни одной изъ нашихъ глупыхъ или предосудительныхъ привычекъ. Значитъ, съ одной стороны выходитъ трогательно, а съ другой стороны — скверно; но кромѣ того съ обѣихъ сторонъ глупо, потому что въ большей части случаевъ это систематическое удаленіе ребенка изъ общества взрослыхъ рѣшительно ни къ чему не ведетъ. Рано или поздно, тѣмъ или другимъ путемъ, черезъ лакейскую или черезъ дѣвчичью, ребенокъ непременно узнаетъ всѣ тайны, семейныя или фізіологическія, которыя скрывались отъ него самымъ тщательнымъ образомъ. Если ребенокъ считалъ папеньку и маменьку полубожественными существами, то онъ въ нихъ непременно разочаруется и будетъ въ душѣ своей относиться къ нимъ тѣмъ суровѣе, чѣмъ больше они съ нимъ лукавили. Онъ будетъ понимать ихъ слабости, да еще кромѣ того будетъ презирать ихъ за систематическій обманъ. Туда-же, скажете, на пьедесталъ лѣзутъ! Если ребенокъ полагалъ, что дѣти рождаются въ капустѣ, то онъ и тутъ разочаруется и сверхъ того узнаетъ настоящую сущность вещей отъ какого-нибудь смысленаго сверстника съ такими заманчивыми украшеніями, которыхъ не придумаетъ ни одинъ взрослый и которыя могутъ сдѣлать это открытіе дѣйствительно опаснымъ для юнаго слушателя. Какъ хотите разсуждайте, а вѣдь все-таки не было на свѣтѣ ни одного человѣка, который втеченіи всей своей жизни считалъ-бы своихъ родителей полубогами и который до сѣдыхъ волосъ въ томъ пріятномъ убѣжденіи, что дѣти рождаются въ капустѣ. Изъ чего-же мы такъ хлопочемъ о той чистотѣ ребенка, которая непременно должна исчезнуть безъ остатка при первомъ проблескѣ его умственной самостоятельности? Или можетъ-быть мы дѣлаемъ это для симметріи? — Природа даетъ дѣтямъ молочные зубы, которые потомъ выпадаютъ и замѣняются настоящими. Ну, а мы — должно быть, для симметріи — вкладываемъ имъ въ голову молочныя идеи, которыя потомъ такъ

же выпадаютъ и также замѣняются настоящими. И для этого мы удалимъ дѣтей изъ нашего общества, которое все-таки, несмотря на всѣ наши пошлости, могло-бы принести имъ гораздо больше пользы, чѣмъ заучиваніе діалоговъ въ ненавистной классной комнатѣ.

IV.

Если старшіе члены семейства—люди дѣльные, умные и образованные, то лучшей первоначальной школой для дѣтей будетъ та комната, въ которой отецъ и мать работаютъ, читаютъ или разговариваютъ. Ребенокъ всегда интересуется тѣмъ, что дѣлаютъ взрослые. И прекрасно. Пусть присматривается къ ихъ работѣ, пусть вслушивается въ ихъ чтеніе, пусть старается понимать смыслъ ихъ разговоровъ. Онъ будетъ предлагать свои вопросы; ему будутъ отвѣчать какъ можно проще и яснѣе; но въ самыхъ простыхъ и ясныхъ отвѣтахъ ему будутъ попадаться нѣкоторыя вещи, превышающія его ребяческое пониманіе. Ему захочется поработать вмѣстѣ съ взрослыми; всѣ мы знаемъ по вседневному опыту, съ какимъ усердіемъ и съ какой радостной гордостью дѣти бѣгутъ помогать взрослымъ, когда они видятъ, что помощь ихъ приноситъ дѣйствительную пользу. Но при первой попыткѣ поработать вмѣстѣ съ взрослыми ребенокъ нашъ увидитъ, что работа только съ виду кажется легкой и простой штукой, а что на самомъ дѣлѣ тутъ необходима такая сноровка, которая сразу никому не дается. Любознательность ребенка будетъ такимъ образомъ затронута тѣмъ, что осталось для него неяснымъ въ разговорахъ и отвѣтахъ старшихъ. Самолюбіе и стремленіе къ дѣятельности будутъ постоянно возбуждаться въ немъ тѣмъ зрѣлищемъ, что вотъ, молъ, большіе работаютъ, а я то ни за что не умѣю приняться. И ребенокъ самъ начнетъ приставать къ отцу и къ матери, чтобы они его чему-нибудь поучили; и когда, уступая этимъ слезнымъ мольбамъ, отецъ или мать возьмутся за книгу или начнутъ показывать ребенку основныя начала какого-нибудь рукодѣлія, тогда ребенокъ будетъ смотрѣть на нихъ во всѣ глаза и слушать, разиня ротъ, боясь проронить что-нибудь изъ тѣхъ наставленій, которыхъ онъ самъ добивался. Каждый наблюдательный человекъ можетъ навѣрное припомнить множество случаевъ, въ которыхъ восьми или десятилѣтній ребенокъ выучился читать и писать почти самоучкой. А вскій конечно согласится съ тѣмъ, что механизмъ чтенія и писанія составляетъ самую скучную и быть-можетъ даже самую трудную часть всей человѣческой науки. Известна русская поговорка: «первая коломъ, вторая соломомъ, а тамъ полетѣли мелкія птички». Эта поговорка, весьма любезная всѣмъ кутиламъ, можетъ быть приложена съ полнымъ успѣхомъ не только къ поглощенію вина и водки, но и ко

всякому другому болѣе полезному занятію. Вездѣ первый шагъ труднѣе и страшнѣе всѣхъ остальныхъ. Стало-быть, если даже этотъ первый шагъ въ дѣлѣ книжнаго ученія можетъ быть сдѣланъ ребенкомъ по собственному влеченію, то о другихъ шагахъ нечего и толковать. Надо только, чтобы взрослые до самаго конца не измѣняли великому принципу невмѣшательства, то-есть, чтобы всегда и во всякомъ случаѣ ученикъ приставалъ къ учителю, а не наоборотъ. Что ученіе можетъ идти совершенно успѣшно не только безъ розогъ, но даже—что несравненно важнѣе—безо всякаго нравственнаго принужденія, это доказано на вѣчныя времена практическимъ опытомъ самого-же графа Толстого въ яснополянской школѣ. Но-если вы никогда не задумывались надъ этимъ вопросомъ, то вы даже и представить себѣ не можете, какое громадное вліяніе будетъ имѣть на весь характеръ ребенка, на весь складъ его ума и на весь ходъ его дальнѣйшаго развитія то обстоятельство, что онъ съ самаго начала не дѣлалъ въ книжномъ ученіи ни одного шага безъ собственнаго желанія и безъ внутренняго убѣжденія въ разумности и необходимости этого шага.

Вглядитесь въ развитіе Николая Иртеньева и на этомъ превосходномъ примѣрѣ вы увидите, до какой степени важны и вредны могутъ быть первыя тяжелыя впечатлѣнія, вынесенныя ребенкомъ изъ классной комнаты. Я замѣтилъ выше, что Иртеньевъ рано почувствовалъ разладъ между мечтой и дѣйствительностью. Вы скажете можетъ-быть, что всѣ мы рано или поздно начинаемъ чувствовать этотъ разладъ, и что самое превосходное воспитаніе не можетъ вполне предохранить человека отъ этого тягостнаго ощущенія. Я съ вами согласенъ, но не совсѣмъ. Разладъ разладу рознь. Моя мечта можетъ обогнать естественный ходъ событій, или-же она можетъ хватать совершенно въ сторону, туда, куда никакой естественный ходъ событій никогда не можетъ придти. Въ первомъ случаѣ мечта не приноситъ никакого вреда; она можетъ даже поддерживать и усиливать энергію труждающагося человека. Представьте себѣ, что вы занимаетесь какой-нибудь ученой работой; вы устали, идете гулять и начинаете мечтать о томъ, что вы сдѣлаете, когда трудъ вашъ будетъ оконченъ. Вотъ, думаете вы, заплатятъ мнѣ хорошія деньги, заговорятъ обо мнѣ въ журналахъ, дадутъ каѳедру, поѣду за-границу, женюсь на такой-то, буду жить такъ и такъ. —Потомъ, когда прогулка ваша приходитъ къ концу и когда наступаетъ время спѣшить куда-нибудь въ лабораторію, въ клинику или въ публичную бібліотеку, вы тотчасъ соображаете, что для осуществленія всѣхъ вашихъ привлекательныхъ мечтаній вамъ прежде всего слѣдуетъ поработать. —Ну, что-жъ, думаете вы, развѣ я отъ этого прочь? И поработаю. Согласитесь, что

въ подобныхъ мечтахъ нѣтъ ничего такого, что извращало или парализовало-бы вашу рабочую силу. Даже совсѣмъ напротивъ. Еслибы человѣкъ былъ совершенно лишенъ способности мечтать такимъ образомъ, еслибы онъ не могъ изобрѣдка забѣгать впередъ и созерцать воображеніемъ своимъ въ цѣльной и законченной красотѣ то самое твореніе, которое только что начинается складываться подъ его руками, — тогда я рѣшительно не могу представить, какая побудительная причина заставляла-бы человѣка предпринимать и доводить до конца обширныя и утомительныя работы въ области искусства, науки и практической жизни. Мечта какого-нибудь утописта, стремящагося пересоздать всю жизнь человѣческихъ обществъ, хватается впередъ въ такую даль, о которой мы не можемъ даже имѣть никакого понятія. Осуществима-ли, не осуществима-ли мечта — этого мы рѣшительно не знаемъ. Видимъ только то, что эта мечта находится въ величайшемъ разладѣ съ той дѣйствительностью, которая находится передъ нашими глазами. Существованіе разлада не подлежитъ сомнѣнію, но этотъ разладъ все-таки нисколько не вреденъ и не опасенъ ни для самого мечтателя, ни для тѣхъ людей, на которыхъ онъ старается подѣйствовать. Самъ мечтатель видитъ въ своей мечтѣ святую и великую истину, и онъ работаетъ, сильно и добросовѣстно работаетъ, чтобы мечта его перестала быть мечтой. Вся жизнь расположена по одной руководящей идеѣ и наполнена самой напряженной дѣятельностью. Онъ счастливъ, несмотря на лишения и непріятности, несмотря на насмѣшки невѣрующихъ и на трудности борьбы съ укоренившимися понятіями. Онъ счастливъ, потому что величайшее счастье, доступное человѣку, состоитъ въ томъ, чтобы влюбиться въ такую идею, которой можно посвятить безраздѣльно все свои силы и всю свою жизнь. Если такой мечтатель или, вѣрнѣе, теоретикъ дѣйствительно открылъ великую и новую истину, тогда уже само-собой разумѣется, что разладъ между его мечтой и нашей практикой не можетъ принести намъ, то-есть людямъ вообще, ничего, кромѣ существенной пользы. Если-же мечтатель ошибался, то даже и въ такомъ случаѣ онъ принесъ пользу своей дѣятельностью. Его мечта была односторонней и незрѣлой попыткой исправить такое неудобство, которое чувствуется болѣе или менѣе ясно всѣми остальными людьми. Значить, во-первыхъ, мечтатель заговорилъ о такомъ предметѣ, о которомъ полезно говорить и думать. Во-вторыхъ, онъ собралъ кое-какія наблюденія, которые могутъ пригодиться другимъ мыслителямъ, болѣе образованнымъ, болѣе осмотрительнымъ и болѣе даровитымъ. Въ-третьихъ, онъ вывелъ изъ своихъ наблюденій ошибочныя заключенія. Если эти заключенія своей виѣшней логичностью поразили слушате-

лей и читателей, то эти-же самыя заключенія побудили навѣрное болѣе основательныхъ мыслителей заняться серьезной разработкой даннаго вопроса для того, чтобы опровергнуть въ умахъ читающаго общества соблазнительныя заблужденія нашего мечтателя. Экономисты на-примѣръ очень не любятъ социалистовъ. Мы съ читателями твердо знаемъ по «Русскому Вѣстнику», что экономисты — люди почтенные, а социалисты — прощальги и сумасброды. Но все-таки совершенно невозможно отрицать, что экономисты давнымъ давно обратились-бы въ стадо барановъ и воловъ, пережевывающихъ старую жвачку Адама Смита, еслибы социалисты своими предосудительными глупостями не заставляли ихъ ежеминутно бросаться въ полемику и отражать новыя нападенія новыми аргументами. Стало-быть, разладъ между мечтой и дѣйствительностью не приноситъ никакого вреда, если только мечтающая личность серьезно вѣрится въ свою мечту, внимательно вглядываясь въ жизнь, сравниваетъ свои наблюденія съ своими воздушными замками и вообще добросовѣстно работаетъ надъ осуществленіемъ своей фантази. Когда есть какое-нибудь соприкосновеніе между мечтой и жизнью, тогда все обстоитъ благополучно. Тогда или жизнь уступить мечтѣ, или мечта исчезнетъ передъ фактическими доводами жизни, и въ концѣ концовъ все-таки получится примиреніе между мечтой и жизнью. То-есть или мечтателю дѣйствительно удастся завоевать себѣ то счастье, къ которому онъ стремится, или мечтатель убѣдится въ томъ, что такое счастье невозможно и что надо выбрать себѣ что-нибудь попроще.

Но есть мечты совсѣмъ другого рода, — мечты, расслабляющія человѣка, — мечты, рождающіяся во время праздности и безсилія и поддерживающія своимъ вліяніемъ ту праздность и то безсиліе, среди которыхъ онѣ родились. Это — маниловскія мечты о лавкахъ на каменномъ мосту. Мечтая такимъ образомъ, человѣкъ самъ знаетъ очень хорошо, что онъ не въ состояніи пошевелить пальцемъ для того, чтобы мечта перешла въ дѣйствительность. Представьте себѣ, что вы бѣдный человѣкъ, и что только самый усиленный трудъ можетъ поддерживать вашу жизнь и вашу нравственную самостоятельность. Въ томъ-же усиленномъ трудѣ заключаются и все ваши далекія надежды на нѣкоторое улучшеніе вашей незавидной участи. Лѣтъ черезъ пять вашъ хозяинъ прибавитъ вамъ жалованья, потомъ дастъ вамъ какое-нибудь болѣе важное порученіе, потомъ еще прибавитъ — вотъ все, на что вы можете рассчитывать; но во-первыхъ, все это далеко, очень далеко, а во-вторыхъ, все это надо взять упорнымъ трудомъ. И нынче, и завтра, и послѣ-завтра надо работать пристально, и — что гораздо труднѣе — надо тянуть ножки по одежкѣ и отмѣривать себѣ по золотникамъ все

то, что люди зажиточные считают безусловно необходимымъ. И вдругъ вы въ этомъ-то подлѣйшемъ положеніи начинаете мечтать о томъ, что какъ-бы это было хорошо, кабы у васъ было тысячъ десять годового дохода: сшили-бы вы себѣ теплую шубу; накупили-бы себѣ хорошихъ книгъ; заказали-бы вашему повару обѣдъ, отъ котораго васъ не стало-бы тошнить; поѣхали-бы на лѣто за-границу; а то хорошо было-бы и въ деревню поѣхать, чистымъ степнымъ и лѣснымъ воздухомъ подышать, за вальдшнепами по болоту пошляться; потомъ не мѣшало-бы сдѣлать предложеніе той барышнѣ, которую вы видѣли въ зеленомъ бархатномъ салонѣ на англійской набережной. Въ вашей молодой головѣ складываются обаятельныя подробности простого и невиннаго романа съ самой добродѣтельной развязкой, и вы—герой этого романа; но вдругъ герой слышитъ, что за сосѣдней деревенной перегородкой охаетъ и ворчитъ старуха-хозяйка на тѣхъ шаромыжниковъ-жильцовъ, которые вотъ уже два мѣсяца не платятъ денегъ ни за квартиру, ни за столъ. Васъ этотъ ворчливый голосъ поражаетъ въ самое сердце, потому что завтра первое число, а за квартиру вы заплатить не можете, потому что почти все ваше жалованье ушло на обмундированье вашего младшаго брата, только что поступившаго въ гимназію и живущаго подъ вашимъ покровительствомъ. Голосъ хозяйки совершенно разбѣялъ ваши мечты, и вы видите, что передъ вами на покрякивавшемся деревянномъ столѣ лежитъ какой-то глупѣйшій конторскій счетъ, который къ завтрашнему утру необходимо провѣрить. И знаете вы, что вамъ приходится провѣрять въ мѣсяцъ сотни подобныхъ счетовъ, такъ что даже трудно сообразить, какое незначительное число копѣекъ вамъ достается за провѣрку каждого отдѣльнаго счета. И у васъ опускаются руки и является вопросъ: зачѣмъ работать? зачѣмъ моришь себя медленной смертью? И что-жъ это въ самомъ дѣлѣ за жизнь? И является бесплоднѣйшее размышленіе: «*tant pour les uns, et si peu pour les autres!*» — бесплоднѣйшее потому, что вѣдь вы все-таки не пошевеливаете мизинцемъ для того, чтобы устроить дѣло какъ-нибудь иначе. А такъ только: пофилософствуете, потоскуете, повздыхаете да и приметесь за провѣрку конторскаго счета, и эта работа идетъ у васъ гораздо хуже и внушаетъ вамъ гораздо болѣе сильное отвращеніе послѣ того, какъ вы побаловали себя ребяческими мечтами о теплой шубѣ, о сноскомъ обѣдѣ и о барышнѣ въ зеленомъ бархатномъ салонѣ. Вотъ такія мечты я называю вредными и губительными во всѣхъ отношеніяхъ. Мечты перваго рода можно сравнить съ глоткомъ хорошаго вина, которое бодритъ и подкрѣпляетъ человѣка во время утомительнаго труда. Но послѣднія мечты похожи на приемъ опиума, который доставляетъ человѣку

обаятельныя видѣнія и вмѣстѣ съ тѣмъ безвозвратно разстраиваетъ всю нервную систему. Люди бѣдные, лишенные всѣхъ дѣйствительныхъ наслажденій, легче другихъ могутъ пристраститься къ опиуму и также больше другихъ людей способны баловать себя тѣми *завѣдомо* несбыточными мечтами, которыя я сравнилъ съ вреднымъ наркотическимъ веществомъ. Но и зажиточные люди ухитряются иногда губить свою жизнь, какъ опиумомъ, такъ и вредными мечтами. То воспитаніе, которое мы обыкновенно даемъ нашимъ дѣтямъ, ведетъ ихъ самымъ прямымъ и вѣрнымъ путемъ въ безвыходную область *наркотической* мечты.

V.

Для десятилѣтняго Коли Иртеньева діалоги и диктовка составляютъ презрѣнную и ненавистную дѣйствительность, а пребываніе на террасѣ вмѣстѣ съ большими—любимую, но несуществующую мечту. Дѣйствительность ничѣмъ не связана съ мечтой. Какъ-бы усердно мальчикъ ни зубрилъ свои діалоги и какъ-бы усѣбно онъ ни избѣгалъ орфографическихъ ошибокъ, все-таки онъ ни на одну секунду не приблизитъ къ себѣ то желанное время, когда всѣ будутъ признавать его большимъ, постоянно принимать его въ свое общество и разсуждать и смѣяться съ нимъ, какъ съ равнымъ. Онъ самъ очень хорошо понимаетъ все это и возится съ діалогами и съ диктовками только потому, что такъ приказано и что его непременно заставить учиться, если онъ обнаружитъ слишкомъ очевидный недостатокъ усердія. За діалогами и диктовками послѣдуютъ болѣе серьезные уроки; за серьезными уроками послѣдуютъ университетскія лекціи. За послѣднимъ университетскимъ экзаменомъ начнется мелкая толкотня практической жизни, и молодой человѣкъ, снимая студенческой мундиръ, скажетъ себѣ съ самодовольной улыбай, что его научное образованіе окончено самымъ блистательнымъ образомъ и что теперь надо смотрѣть на вещи глазами зрѣлаго мужчины, то-есть заботиться о хорошемъ мѣстѣ, о связяхъ, о повышеніи, о протекціи, о выгодныхъ акціяхъ, о богатой невѣстѣ, вообще о прочномъ и комфортабельномъ положеніи въ обществѣ. Переходы отъ діалоговъ къ серьезнымъ урокамъ и отъ серьезныхъ уроковъ къ университетскимъ лекціямъ и экзаменамъ совершаются обыкновенно такъ постепенно и незамѣтно, что мальчикъ, превращающійся понемногу въ юношу, въ большей части случаевъ переноситъ на серьезные уроки тотъ взглядъ, которымъ онъ смотрѣлъ на діалоги, а потомъ относится и къ университетскимъ занятіямъ такъ, какъ онъ относился къ серьезнымъ урокамъ. Все научное образованіе, отъ азбуки до кандидатской диссертациі, оказывается для нашего юноши длиннымъ и утомительнымъ обрядомъ, который не-

премѣнно долженъ быть исполненъ изъ уваженія къ установившимся привычкамъ общества, но который все-таки не имѣетъ никакого вліянія на умственную жизнь исполняющаго субъекта. Бываютъ конечно въ жизни нѣкоторыхъ молодыхъ людей счастливыя встрѣчи съ мыслящимъ человѣкомъ или съ очень дѣльной книгой; эти встрѣчи открываютъ молодымъ людямъ глаза и вдругъ бросаютъ имъ въ голову ту поразительно-новую для нихъ мысль, что наука совсѣмъ непохожа на діалоги и на диктовку, что въ научныхъ занятіяхъ можно находить себѣ постоянно возрастающее наслажденіе, что университетъ только отворяетъ человѣку двери въ область знанія, что эта область безпредѣльна и необозрима, что умственное образованіе человѣка должно оканчиваться только съ его жизнью и что умственное образованіе пересоздаетъ весь характеръ отдѣльной личности и даже всѣ понятія, обычаи и учрежденія громадѣйшихъ человѣческихъ обществъ. Послѣ такой встрѣчи наука перестаетъ казаться молодому человѣку презрѣнной и ненавистной прозой жизни. Научныя занятія перестаютъ быть для него мертвымъ обрядомъ, проза и поэзія, мечта и дѣйствительность заключаютъ между собой вѣчный миръ и неразрывный союзъ. Умственный трудъ дѣлается для него живѣйшимъ наслажденіемъ, потому что онъ видитъ въ этомъ трудѣ самое вѣрное средство ловить и осуществлять ту любимую мечту, которая постоянно носится передъ его воображеніемъ и постоянно увлекаетъ его за собой все дальше и дальше, впередъ и впередъ, въ область новыхъ размышленій, изслѣдованій и открытій. Такія счастливыя встрѣчи бываютъ точно; но, во-первыхъ, не всѣмъ онѣ выпадаютъ на долю, а во-вторыхъ, далеко не всѣ умѣютъ ими воспользоваться, то-есть не на всѣхъ такія встрѣчи производятъ сразу достаточно глубокое и прочное впечатлѣніе. Шевельнется въ головѣ какой-то зародышъ плодотворнаго сомнѣнія, блеснетъ какая-то молнія новой мысли, да тѣмъ дѣло и покончится, за недостаткомъ такихъ матеріаловъ, которые могли-бы поддержать и направить работу неопытнаго ума.

Такимъ образомъ множество молодыхъ людей остаются совершенно нетронутыми въ научномъ отношеніи и выходятъ изъ университетовъ большими двадцатилѣтними школьниками, выучившими громадное количество скучныхъ и мудреныхъ уроковъ, которые послѣ выпускнаго экзамена непременно должны быть забыты, и чѣмъ скорѣе—тѣмъ лучше. Природный умъ этихъ молодыхъ людей, часто очень живой и сильный, и притомъ, разумѣется, совершенно неудовлетворенный холодными, формальными и обязательными отношеніями своими къ наукѣ, совершенно отвергивается отъ книжныхъ премудростей, проникается глубокимъ недоумѣніемъ ко всякой научной теоріи,

о которой онъ въ сущности не имѣетъ никакого понятія, старается проложить себѣ свою собственную, совсѣмъ особенную дорогу, производить какіе-то курьезнѣйшіе эксперименты надъ собой и надъ жизнью, терпитъ на всѣхъ пунктахъ очень естественныя пораженія и наконецъ приходитъ къ полнѣйшему банкротству, то-есть къ самому безвыходному унынію и къ самой тупой апатіи. Такія траги-комическія кувырканія неразвитого и голоднаго ума проявляются напримѣръ въ добросовѣстныхъ усміяхъ какого-нибудь деревенскаго механика открытъ *perpetuum mobile*. И такія-же точно кувырканія слышатся намъ ежеминутно въ разсужденіяхъ сантиментальныхъ, но необразованныхъ журналистовъ о почвѣ, о народности, о недосыгаемыхъ и неслыханныхъ совершенствахъ русскаго человѣка, о необходимости смириться умомъ передъ народной правдой. У кого умъ наполненъ только смутными воспоминаніями объ учебникахъ Устрялова, Кайданова и Ободовскаго, тотъ конечно можетъ смирить гордыню своей мысли передъ мудростью любой деревенской кликуши; но кто не ограничился такой легкой умственной пищей, тотъ уже навсегда потерялъ возможность снижать свой умъ до уровня вопіющей неслѣпости.

Очень многіе читающіе и даже пишущіе люди серьезно и добросовѣстно убѣждены въ томъ, что можно сдѣлаться превосходнымъ человѣкомъ и чрезвычайно полезнымъ гражданиномъ помимо всякаго научнаго образованія. Не всѣхъ же быть учеными, толкуютъ они. Давайте намъ только добросовѣстныхъ практическихъ дѣятелей. Давайте намъ людей непосредственнаго чувства, не засушенныхъ книжными теоріями, не приучившихъ себя вносить всюду разлагающее начало холоднаго сомнѣнія и дерзновеннаго анализа. Давайте намъ людей строго-нравственныхъ, преданныхъ своему долгу, проникнутыхъ желаніемъ добра, способныхъ жертвовать собой для пользы общества, и такъ далѣе. Такими восклицаніями «давайте» можно наполнить цѣлыя страницы, но къ счастью все это давно уже было высказано на сценѣ Александринскаго театра, когда Самойловъ, въ роли соллогубовскаго чиновника Надимова, приглашалъ всю почтенную публику кликнуть кличъ на всю Россію и вырвать корни или, какъ говорилось тогда, «зла» съ самымъ корнемъ. Въ сущности всѣ добрые люди, восклицающіе: «давайте намъ того-то и того-то», требуютъ невозможнаго, потому что въ ихъ требованіи заключается внутреннее противорѣчіе. Они говорятъ: «не нужно топить въ кухнѣ печку. Давайте намъ только горячаго супу и жареныхъ рѣбчиковъ».—Они относятся холодно и почти враждебно къ научному образованію и въ то-же время требуютъ себѣ та-

кихъ предметовъ, которые не могутъ быть из-готовлены рѣшительно ничѣмъ, кромѣ того-же самаго научнаго образованія. Особенно печально то обстоятельство, что дѣло очень часто не ограничивается нелѣпыми словами. Многие люди не только кричатъ: «давайте, давайте», но еще кромѣ того насилуютъ и ломаютъ свой собственный умъ и характеръ, стараясь домашними средствами выработать изъ своей личности что-то очень возвышенное и прекрасное, что-то такое, о чемъ они сами не могутъ составить себѣ яснаго понятія и что вырабатывается изъ человѣческой личности единственно и исключительно вліяніемъ широкаго и глубокаго научнаго образованія.

Не всѣмъ надо быть изслѣдователями — съ этимъ я совершенно согласенъ. Не всѣмъ надо быть популяризаторами науки — съ этимъ я также согласенъ; но всякому, кто хочетъ быть въ жизни дѣятельной личностью, а не страдательнымъ матеріаломъ, всякому, говорю я, совершенно необходимо твердо усвоить себѣ и основательно передумать всѣ тѣ результаты общечеловѣческой науки, которые могутъ имѣть хоть какое-нибудь вліяніе на развитіе нашихъ житейскихъ понятій и убѣжденій. И это еще не все. Надо укрѣпить свою мысль чтеніемъ гениальнѣйшихъ мыслителей, изучавшихъ природу вообще, и человѣка въ особенности, не тѣхъ мыслителей, которые старались выдумать изъ себя весь міръ, а тѣхъ, которые подмѣчали и открывали путемъ наблюденія и опыта вѣчные законы живыхъ явленій. И надо кромѣ того постоянно поддерживать серьезнымъ чтеніемъ живую связь между своей собственной мыслью и тѣми великими умами, которые изъ года въ годъ своими постоянными трудами расширяютъ по разнымъ направленіямъ всемірную область человѣческаго знанія. Только при соблюденіи этихъ условій можно быть превосходнымъ человѣкомъ, превосходнымъ семьяниномъ и превосходнымъ общественнымъ дѣятелемъ. Только такимъ путемъ постоянного умственнаго труда можно выработать въ себѣ ту высшую гуманность и ту ширину пониманія, безъ которыхъ человѣку не дается въ руки ни разумное наслажденіе жизнью, ни великая способность приносить дѣйствительную пользу самому себѣ, своему семейству и своему народу. *Превосходными* я называю только тѣхъ людей, которые развернули вполне и постоянно употребляютъ на полезную работу всѣ способности, полученныя отъ природы. Такихъ людей очень немного, и, вдумавшись въ мое опредѣленіе слова «превосходный», читатель вѣроятно согласится съ тѣмъ, что человѣкъ дѣйствительно можетъ сдѣлаться превосходнымъ только по тому рецепту, который я представилъ въ предыдущихъ строкахъ. Всякая другая метода умственнаго и нравственнаго совершенствованія про-

изводитъ только глупости, ошибки, самообольщенія и разочарованія, разбиваетъ разными утомительными волненіями всю нервную систему человѣка и наконецъ доводитъ его до безсилія и до апатіи. Подробный, правдивый и чрезвычайно почтительный перечень такихъ бесплодныхъ попытокъ и такихъ печальныхъ *промаховъ незрѣлой мысли* представляется намъ въ воспоминаніяхъ Николая Иртеньева о его юности.

VI.

Во время своего отрочества Иртеньевъ мечталъ то въ то въ то такимъ-же образомъ, какъ онъ мечталъ въ дѣтствѣ. Краски и очертанія мечты измѣняются вмѣстѣ съ окружающей обстановкой, но основной характеръ остается въ полной неприкосновенности: Иртеньевъ забавляется процессомъ мечтанія, сознавая совершенно ясно, что онъ не можетъ сдѣлать ни одного шага для того, чтобы приблизиться къ своей мечтѣ и захватить ее въ руки. Наконецъ ему однако надѣдается эта пассивность. Его пробуждающійся умъ начинаетъ изобрѣтать разные средства, которыми можно было-бы сблизить міръ мечты съ міромъ вседневной жизни. Этими стремленіями — перейти отъ мечтательной праздности къ энергической дѣятельности — начинается и характеризуется первая половина юности нашего героя. А вторая половина этой юности общана, но до сихъ поръ еще не написана графомъ Толстымъ. Я очень жалѣю объ этомъ послѣднемъ обстоятельстве, но нисколько не нахожу его удивительнымъ. Первые три части воспоминаній Иртеньева были такъ смутно понаты критикой и публикой, что авторъ могъ считать продолженіе своего труда несвоевременнымъ и бесполезнымъ. Очень жаль, что у насъ до сихъ поръ нѣтъ второй части «Юности»; но за неимѣніемъ ея мы и въ первой части найдемъ огромный запасъ психологическаго матеріала, о которомъ придется потолковать довольно подробно.

Сближеніе съ Нехлюдовымъ составляетъ для Иртеньева ту эпоху, съ которой онъ самъ считаетъ начало своей юности. Сближеніе это начинается неопредѣленно-страстными разсужденіями о жизни, о добродѣтели и объ обязанностяхъ человѣка, — тѣми милыми бреднями, къ которымъ всѣ очень молодые люди питаютъ непреодолимое влеченіе и изъ которыхъ никогда не выходитъ ничего, кромѣ горячихъ и очень непрочныхъ привязанностей. Послѣ многихъ продолжительныхъ бесѣдъ о высокихъ матеріяхъ, — бесѣдъ, которыя къ счастью только подразумѣваются, а не выписываются въ полномъ своемъ объемѣ въ повѣсти графа Толстого, послѣ многихъ изліяній Нехлюдовъ и Иртеньевъ заключаютъ между собой контрактъ, которымъ они обязываются помогать другъ другу въ процессѣ постоянного нравственнаго совершенствованія.

«Знаете, какая пришла мысль, Nicolas, — но против *гадких и подлых* мыслей. Ба- говорят Нехлюдовъ;—*сдѣлаемте* это, и вы увидите, какъ это будетъ полезно для насъ обо- ихъ: дадимъ себѣ слово признаваться во всемъ другъ другу. Мы будемъ контролировать другъ друга и намъ не будетъ совѣстно; а для того, что- бы не бояться постороннихъ, дадимъ себѣ слово *никогда, ни съ кѣмъ и ничего* не говорить другъ о другѣ. Сдѣлаемъ это.—И мы дѣйствительно *сдѣлали это*», прибавляетъ Иртеньевъ.

Трудно было придумать что-нибудь нелѣ- пѣе и вреднѣе этого взаимнаго обязательства. Начать съ того, что оно неисполнимо. «*При- знаваться во всемъ*»—значить признаваться въ каждой мысли, которая остановила на себѣ ваше вниманіе. И наши юные друзья дѣйстви- тельно понимаютъ свой контрактъ въ этомъ смыслѣ; они считаютъ этотъ контрактъ на- дежнымъ громовымъ отводомъ противъ гад- кихъ и подлыхъ мыслей. «Такія подлые мы- сли,—говоритъ Нехлюдовъ,—что ежели-бы мы знали, что должны признаваться въ нихъ, онѣ никогда не смѣли-бы заходить къ намъ въ голову.» Неестественный контрактъ, раз- умѣется, ежеминутно нарушается. Иртеньевъ почти на каждой страницѣ «Юности» призна- ется въ томъ, что даже во время самого разга- ра своей дружбы съ Нехлюдовымъ онъ совер- шенно невольно то умалчивалъ, то искажалъ въ разговорахъ съ нимъ разные тонкіе оттѣн- ки своихъ мыслей или побудительныя причи- ны своихъ поступковъ. Иногда дѣло доходитъ до настоящаго актерства. Въ первый день сво- его студенчества Иртеньевъ затѣваетъ преглу- пую ссору съ своимъ добрымъ знакомымъ Дуб- ковымъ. Ссора эта, начатая изъ-за пустяковъ, кончается также пустяками. «И я тотчасъ-же успокоился, — рассказываетъ Иртеньевъ, — притворяясь только передъ Дмитріемъ (Нехлю- довымъ) разсерженнымъ настолько, насколько это было необходимо, чтобъ мгновенное успо- коеніе не показалось страннымъ.» Это наивное признаніе, повидимому даже не замѣченное са- мымъ Иртеньевымъ, доказываетъ лучше вся- кихъ аргументацій, что полная откровенность совершенно невозможна. Каждый долженъ быть самъ полнымъ хозяиномъ въ своемъ внутрен- немъ мірѣ, и другого полного хозяина тутъ не можетъ и не должно быть. Но, заключивши свой контрактъ совершенно добровольно и счи- тая его дѣйствительно очень полезнымъ, наши молодые люди все-таки стараются соблюдать его по возможности добросовѣстно и постоянно осыпаютъ другъ друга разными интимными признаніями.

Въ этомъ обстоятельствѣ и заключается именно настоящій вредъ. Читатель уже замѣ- тилъ вѣроятно, что Нехлюдовъ и Иртеньевъ оба страдаютъ какой-то странной мыслебоязнью: контрактъ ихъ направленъ почти исключительно

но противъ *гадкихъ и подлыхъ* мыслей. Ба- ния это такія бываютъ *гадкимъ и подлымъ* мы- сли? Я этого не понимаю. Когда я обдумываю какой-нибудь вопросъ или обсуживаю харак- теръ какой-нибудь личности, то я дѣлаю въ умѣ своемъ разныя предположенія, рассматри- ваю ихъ съ разныхъ сторонъ, одни изъ нихъ нахожу правдоподобными, другія несостоятель- ными, сближаю одно предположеніе съ дру- гимъ, подтверждаю или опровергаю ихъ различ- ными аргументами, и наконецъ результатомъ всѣхъ моихъ размышленій является то или другое убѣжденіе, которое опредѣляетъ собой дальнѣйшій ходъ моихъ поступковъ. Многія изъ предположеній, сдѣланныхъ мною во вре- мя размышленія, могутъ оказаться совершенно нелѣпыми или даже оскорбительными для той особы, о которой я думаю, и все-таки въ этихъ предположеніяхъ нѣтъ ничего дурного. Если-бы я остановился на такомъ предположе- нии и принялъ его за норму для моихъ поступ- ковъ, тогда конечно я обнаружилъ-бы несосто- ятельность моихъ умственныхъ способностей, и оскорбленная мною особа имѣла-бы полное право отвернуться отъ меня, какъ отъ пошлаго дурака. Но вѣдь нелѣпное предположеніе не есть окончательный результатъ моего мышле- ния. Это только одна изъ первыхъ или низ- шихъ фазъ въ развитіи моей мысли. Это одна изъ ступенекъ той длинной и крутой лѣстни- цы, по которой мой умъ идетъ вверхъ къ по- знанію настоящей истины. Это одинъ изъ тѣхъ ингредиентов, которые, въ своей сово- купности, послѣ долгой и сложной химической переработки дадутъ мнѣ готовый продуктъ, имѣющій уже практическое значеніе для меня и для другихъ людей. Въ природѣ ничто не воз- никаетъ мгновенно и ничто не появляется на свѣтъ въ совершенно готовомъ видѣ. Самая красивая женщина и самый гениальный муж- чина были все-таки въ свое время очень без- образными и бессмысленными зародышами, а потомъ очень плаксивыми и сопливыми ребятиш- ками. Но никому-же не приходится въ голову вырѣзывать зародышъ изъ утробы матери для того, чтобы глумиться надъ безобразіемъ и тупо- уміемъ этого куска органической матеріи. И ни одному здравомыслящему человѣку не прихо- дитъ также въ голову ненавидѣть и презирать трехлѣтняго пузыря за то, что онъ часто пла- четь и плохо сморкается. Надъ картиной, надъ статуей, надъ научной теоріей мы также про- износимъ нашъ приговоръ только тогда, когда произведеніе окончено, то-есть доведено до той степени совершенства, какую только способенъ придать ему его творецъ.

Когда вы пообѣдали, то вы очень хорошо зна- ете, что въ вашемъ желудкѣ находится переже- ванная пища въ видѣ такъ называемой каш- цы; вы знаете, что эта каша имѣетъ очень

некрасивый видъ и довольно непріятный запахъ; но васъ это обстоятельство нисколько не смущаетъ; вы преспокойно оставляете неблагообразную кашницу тамъ, гдѣ она должна быть, и изъ этой кашницы вырабатываются понемногу ваша кровь, ваши мускулы и ваши нервы, то-есть все, что даетъ вамъ возможность жить въ свое удовольствіе и дѣйствовать на пользу вашихъ ближнихъ. Значить, некрасивая кашница—вещь очень хорошая, но еслибы вы стали вытаскивать ее изъ вашего желудка, показывать ее вашимъ друзьямъ и горевать вмѣстѣ съ ними надъ ея непохвальнымъ цвѣтомъ и запахомъ, то вы доставили-бы только себѣ и друзьямъ нѣсколько непріятныхъ минутъ, а въ случаѣ частаго повторенія подобныхъ проделокъ вы-бы даже очень серьезно разстроили свое здоровье, что все-таки не обратило-бы на путь истинны законнѣбную мерзавку-кашницу. А возмущаться противъ тѣхъ законовъ, по которымъ совершается процессъ нашего мышленія, это въ своемъ родѣ точно такая-же неаппетитность, какъ убиваться надъ совершенствами трехмѣсячнаго зародыша или желудочной кашницы.

Мысли не могутъ быть ни гадкими, ни подлыми, пока онѣ остаются въ головѣ мыслящаго субъекта, который пользуется ими, какъ сырыми матеріалами. Но такое первобытное сырье совсѣмъ не должно показываться на свѣтъ, во-первыхъ потому, что оно часто бываетъ очень уродливо и безсмысленно, а во-вторыхъ потому, что такое заглядываніе въ лабораторію мысли вредитъ процессу умственной работы. Когда вы знаете, что вамъ придется представлять другому лицу докладъ о томъ, что происходитъ въ вашемъ умѣ, тогда вы стараетесь сами смотрѣть на вашу умственную работу со стороны и запоминать, въ какомъ порядкѣ одна мысль развивалась изъ другой. На этотъ совершенно лишний трудъ заглядыванія и запоминанія тратятся тѣ силы, которыя гораздо полезнѣе было-бы употребить на болѣе быстрое или болѣе основательное разрѣшеніе затронутыхъ вами вопросовъ, имѣющихъ для васъ живое практическое значеніе. Подглядывая за собой, вы сами раздваиваете свой умъ и ослабляете или извращаете его дѣятельность. Стало-быть, и подглядываніе ваше даетъ вамъ совершенно искусственные результаты. Вы подглядѣли работу вашей ослабленной и извращенной мысли, а не ту естественную работу, которую вы старались опредѣлить. Можеть-быть всѣ гадости, въ которыхъ вы казаетесь вашему другу, произошли именно отъ того, что вы начали подглядывать. Извѣстное дѣло, ничто такъ не раздражаетъ мысль, какъ боязнь мысли и инквизиторскій контроль надъ мыслью. Вы отъ нея отталкиваетесь, вы ее преслѣдуете,—тутъ-то именно она и лѣзетъ къ вамъ въ голову, тутъ-то она и становится для васъ неотвизимымъ контролем.—Говорятъ, одинъ алхи-

микъ открывъ какому-то благодѣтелю своему вѣрнѣйшій способъ дѣлать золото. Возьмите, говоритъ, того-то и того-то по столько-то золотниковъ и долей, всыпьте въ такую-то посуду, поставьте на такой-то огонь, мѣшайте вотъ этой палочкой и произносите такіа-то слова. Разсказалъ и ушелъ. — Благодѣтель сейчасъ принялся за работу, но на бѣду его добросовѣстный алхимикъ воротился назадъ. — Ахъ, говоритъ, самое-то главное условіе я и забылъ. Когда будете варить золото, ни подъ какими видомъ не думайте о бѣлыхъ медвѣдяхъ, а то ничего не выйдетъ. — Ну, это пустяки, отвѣчаетъ благодѣтель. Я объ нихъ и безъ того никогда не думаю. Однако вышло не пустяки. Благодѣтель, никогда не думавшій о бѣлыхъ медвѣдяхъ, сталъ думать о нихъ аккуратно каждый день и притомъ именно въ тѣ великія минуты, когда эта проклятая мысль должна была помѣшать процессу волшебнаго броженія. Поэтому золота не получилось, но предсказаніе алхимика о томъ, что ничего не выйдетъ, оказалось все-таки не совсѣмъ вѣрнымъ. Вышло то, что благодѣтель сошелъ съ ума и началъ съ крикомъ и со слезами умолять своихъ докторовъ вырѣзать изъ его головы бѣлаго медвѣда, который будто-бы съѣлъ у него весь мозгъ и всякій разъ плюется и чихаетъ въ ту посуду, гдѣ варится самое чистое золото.

Если съ Нехлюдовымъ и съ Иртеньевымъ не случилось такой пакости, они обязаны своимъ спасеніемъ единственно тому обстоятельству, что ихъ желаніе раздавить въ себѣ гадкія и подлыя мысли были гораздо менѣе сильно и серьезно, чѣмъ желаніе благодѣтеля пріобрѣсти себѣ золотыя горы. Для нашихъ юныхъ моралистовъ борьба съ предосудительными мыслями была только пріятной потѣхой. Оно и въ самомъ дѣлѣ увеселительно. То маленько погрѣшишь, то маленько пораскаешься, да легонько постегашь самого себя невещественными розгами. Вотъ тебѣ и покажется, что ты точно какое-то дѣло дѣлаешь, умомъ своимъ работаешь, нравственность свою исправляешь, полезнаго дѣятеля изъ своей особы приготавлиаешь. Если даже и грѣшишь и часто падаешь на пути добродѣтели—все это для тебя не велика бѣда. У тебя сейчасъ фарисейскія утѣшенія найдутся, потому что весь твой умъ постоянно устремленъ на казуистическія тонкости и посредствомъ навыка пріобрѣлъ себѣ замѣчательное мастерство по части іезуитской изворотливости. Умъ твой тоненькимъ голоскомъ станетъ шептать тебѣ: успокойся! другіе грѣшатъ всесеро больше тебя, но и ухомъ не ведутъ, потому что у нихъ нѣтъ твоей чуткости. Ты неизмѣримо выше ихъ, потому что ты замѣчаешь за собой каждую малѣйшую слабость. — Ты человѣкъ высокой нравственности, потому что ты строгъ къ самому себѣ. — Ты будешь слушать эти льстивыя рѣчи съ г.

пѣйшей улыбкой самодовольнаго блаженства; но такъ какъ ты уже измощенничался насквозь, благодаря твоимъ любезнымъ подглядываніямъ, то ты тотчасъ строишь постную рожу и прикрикнешь на самого себя: молчи, мерзавецъ! Какъ ты смѣешь гордиться твоими совершенствами, когда тебѣ слѣдуетъ оплакивать твои беззаконія! — И вслѣдъ затѣмъ тебя еще пріятнѣе охватитъ сознаніе, что ты ни въ чемъ не даешь себѣ спуска и даже умственную гордость свою подавляешь умѣешь. — Да. Точно. Потѣха весьма увеселительная, но еще болѣе вредная. Во-первыхъ — вся штука основана на глупой мыслебоязни. Во-вторыхъ — происходитъ громадная трата времени. Кто дѣйствительно хочетъ уберечься по возможности отъ тяжелыхъ практическихъ ошибокъ, тотъ долженъ не бояться *чужихъ* и *подлыхъ* мыслей, а, напротивъ того, смѣло подходить ко всякой мысли и совершенно спокойно разсматривать ее со всѣхъ сторонъ. Не мѣшаетъ еще при этомъ принимать въ расчетъ ту старую истину, что тратить свои молодые годы на какія-бы то ни было увеселительныя потѣхи — значитъ навѣрняка готовить изъ себя въ будущемъ дряннаго, тяжелаго и несчастнаго человѣка. Но, разумѣется, Нехлюдовъ и Иртеневъ не виноваты въ томъ, что они надъ собой творятъ. Въ нихъ дѣйствуетъ то отвращеніе къ научнымъ занятіямъ, которое вколочено въ ихъ головы прежнимъ приневоливаніемъ къ діалогамъ и диктовкамъ. Болѣзненная мечтательность ребенка при переходѣ въ юношескій возрастъ породила изъ себя уродливыя и вредныя кривлянія нравственной гимнастики.

VII.

Настоящимъ спеціалистомъ по части нравственной гимнастики оказывается князь Дмитрій Нехлюдовъ, а Иртеневъ является въ этомъ отношеніи только его подражателемъ и къ счастью своему останавливается на степени дилетанта. У Нехлюдова заведены какія-то росписанія пороковъ и прегрѣшеній; онъ каждый вечеръ пишетъ подробно свой дневникъ и еще кромѣ того записываетъ въ особую тетрадь свои будущія и прошедшія занятія. Впрочемъ собственно о его занятіяхъ мы не имѣемъ рѣшительно никакихъ свѣдѣній. Можетъ-быть у него и времени не хватало на занятія, потому что ему было необходимо постоянно держать въ порядкѣ свою душевную бухгалтерію и подводить различные итоги въ приходо-расходной книгѣ грѣховъ и добродѣтелей. Нехлюдовъ по университету былъ однимъ курсомъ старше Иртенева, но повидимому во взглядахъ своихъ на науку они оба были совершенными школьниками. Нехлюдовъ придавалъ большое значеніе тому, чтобы Иртеневъ блистательно выдержалъ свой вступительный экзаменъ въ университетъ и чтобы ему поста-

вили очень хорошіе баллы; а потомъ, когда Иртеневъ сдѣлался студентомъ и когда дружба между юными моралистами находилась въ самомъ цвѣтущемъ состояніи, Нехлюдовъ не умѣлъ возбуждать въ своемъ другѣ ни малѣйшей любви къ серьезнымъ занятіямъ, такъ что Иртеневъ цѣлый годъ проболтался глупѣйшимъ образомъ и, разумѣется, провалился или *срызался* на переходномъ экзаменѣ самымъ постыднымъ манеромъ. Вообще Нехлюдовъ и Иртеневъ совершенно не похожи на тотъ типъ студента, который каждому изъ насъ хорошо знакомъ и дорогъ по нашимъ собственнымъ недавнимъ студенческимъ воспоминаніямъ.

Когда мы были студентами, мы всюду вѣсиковали *науку*, кетати и некстати, съ умысломъ и безъ умысла, искусно и неискусно. Мы очень много вали о наукѣ, мы часто сами себя не понимали, но наука дѣйствительно владѣла всѣми нашими помыслами; мы ее любили чрезвычайно горячо и чистосердечно; мы готовы были работать и дѣйствительно работали; для насъ жизнь была немыслима безъ науки, и гдѣ, бывало, сойдутся два-три студента, тамъ уже черезъ пять минутъ непременно свирѣпствуетъ научный споръ, въ которомъ воюющія особы непрерывно другъ передъ другомъ съ восторгомъ обнаруживаютъ крайнюю слабость своихъ фактическихъ знаній и столь-же крайнее могущество своихъ молодыхъ и здоровыхъ голосовъ. Много у насъ было безтолковщины, но это было именно то «мутное броженіе» молодой мысли, изъ котораго «творится свѣтлое вино» разумныхъ убѣжденій и сознательнаго трудолюбія. Смѣшно было смотрѣть на насъ со стороны, но ужъ совсѣмъ не грустно. И тѣ самые пожилые и опытные люди, которые смѣялись надъ нами, какъ надъ преуморительными мальчишками, — они сами не могли отказать намъ ни въ своемъ сочувствіи, ни въ своемъ уваженіи, ни даже въ своей *зависти*. Имъ становилось завидно, глядя на насъ. Вспоминая свою собственную молодость, они признавались съ глубокимъ вздохомъ намъ, «преуморительнымъ мальчишкамъ», что наше развитіе идетъ болѣе здоровымъ и разумнымъ путемъ, что мы живемъ болѣе полной жизнью, что у насъ есть мысли, чувства и желанія, которыя имъ были совершенно неизвѣстны и которыя послужили намъ надежной опорой во время житейскихъ испытаній и въ «минуту душевной невзгоды».

И рѣшительно ничего подобнаго нѣтъ у Нехлюдова и Иртенева. Они оба, и особенно Нехлюдовъ, не возбуждаютъ въ постороннемъ наблюдателѣ никакого другаго чувства, кромѣ глубокаго и совершенно безнадежнаго сожалѣнія о погибающихъ человѣческихъ способностяхъ. Въ ихъ жизни наука не играетъ никакой роли. Объ умѣ они рѣшительно не заботятся. Имъ нужна только добродѣтель. И въ то-же

время они насквозь пропитаны пошлостями своего общества и со всѣхъ сторонъ опутаны разными свѣтскими и великосвѣтскими связями и предрасудками. Добродѣтельный Иртеньевъ никакъ не можетъ удержаться, чтобы не заявлять всѣмъ и каждому о своемъ родствѣ съ княземъ Иваномъ Ивановичемъ, и для этого онъ даже однажды въ семействѣ Нехлюдова и въ присутствіи самого Дмитрія сплетаетъ экспромптомъ неимовернѣйшую ложь о дачѣ этого князя и о какой-то удивительной решеткѣ, цѣной въ триста рублей. А еще болѣе добродѣтельный Нехлюдовъ всѣми своими бухгалтерскими упражненіями никакъ не можетъ побѣдить въ себѣ странную наклонность быть своего крѣпостного мальчика Ваську кулаками по головѣ. Но все это еще не очень большая бѣда. Родиться во время полного господства крѣпостныхъ понятій и всосать въ себя съ молокомъ матери фамусовскую слабость къ вельможному родству—это конечно несчастье, но тутъ еще нѣтъ ничего неисправимаго. Шестнадцатилѣтній Фамусовъ можетъ сдѣлаться черезъ годъ семнадцатилѣтнимъ громителемъ московскаго чванства; и даже колотить Ваську не значить еще быть отпѣтымъ негодяемъ. Очень можетъ-быть, что и Базаровъ во времена своего дѣтства и отрочества показывалъ свою барскую прыткость надъ ребятишками своей крѣпостной двороны. А потомъ выросъ, поумнѣлъ и прекратилъ свои подвиги.

Главная бѣда Нехлюдова и Иртеньева заключается въ безнадежности ихъ умственного положенія. Въ головахъ ихъ царствуетъ глубочайшее непочатое невѣжество и сношенія ихъ съ университетомъ скользятъ по этому невѣжеству, не производя въ немъ ни малѣйшаго измѣненія. Нехлюдовъ оказывается еще гораздо безнадежнѣе Иртеньева. Иртеньевъ за все хватается, всѣмъ интересуется и увлекается, дурчится и важничаетъ, какъ настоящій шестнадцатилѣтній ребенокъ; поэтому онъ еще двадцать разъ можетъ переѣзжаться и выскочить на прямую дорогу, лишь бы только нашлись въ его жизни сначала отрезвляющіе толчки, а потомъ умные товарищи и руководители. Впрочемъ и на Иртеньева нравственная гимнастика положила свою проклятую печать; отъ привычки постоянно копаться въ своихъ душевныхъ ощущеніяхъ, у него выработалась чудовищная мнительность и подозрительность, ежеминутно отравляющія ему всѣ его сношенія съ другими людьми. Въ каждомъ словѣ и въ каждомъ взглядѣ онъ угадываетъ какую-нибудь особенную, затаенную и обыкновенно пакостную или оскорбительную мысль своего собесѣдника. Такъ какъ Иртеньевъ отъ природы очень не глупъ—гораздо умнѣе Нехлюдова,—то онъ очень часто угадываетъ совершенно вѣрно, и все-таки для него было-бы несравненно лучше вовсе не обладать этимъ даромъ ясновидѣнія. Излишняя

восприимчивость какого-бы то ни было чувства, зрѣнія, слуха, обонянія, и такъ далѣе, всегда ведетъ за собой очень много непріятностей. Сова не можетъ видѣть днемъ именно оттого, что зрѣніе ея слишкомъ остро и чувствительно; то количество лучей, которое намъ необходимо для того, чтобы мы могли ясно различать предметы, дѣйствуетъ на сову такъ сильно, что рѣжетъ ей глаза и заставляетъ ее задвигать наглухо отверстіе зрачка. Та музыка, которая намъ доставляетъ удовольствіе, оказывается мучительною для тонкаго слуха кошки или собаки.

То-же самое можно сказать и объ иртеньевскомъ ясновидѣніи. Заглядывать въ душу другихъ людей—такое-же пустое и непріятное занятіе, какъ выносить другимъ людямъ на показъ свои собственные душевные тайны. Что вамъ за удовольствіе подмѣчать въ каждомъ изъ вашихъ знакомыхъ каждое движеніе мелкой досады, или зависти, или скаредности, или трусости, каждое изъ тѣхъ мимолетныхъ движеній, которыя рождаются и умираютъ въ душѣ, не дѣйствуя на общее направленіе поступковъ и выражаясь только изрѣдка въ какомъ-нибудь подергиваніи губъ или въ какой-нибудь дребезжащей нотѣ голоса?! Всѣ ваши отношенія къ людямъ сдѣлаются только болѣе шероховатыми, а въ сущности все останется по старому, потому что нельзя-же удалиться отъ людей въ пустыню на томъ основаніи, что люди не всегда могутъ и умѣютъ быть или вполне искренними друзьями, или вполне непроницаемыми актерами. А главное дѣло, какъ у васъ достаетъ времени и охоты возиться съ этой психологической дрянью? Надо быть безконечно празднымъ человекомъ, чтобы по губамъ Семена Пафнутьича или по бровямъ Пелагеи Сидоровны читать тайные оттѣнки ихъ душевныхъ волненій. И замѣчательно, что это чтеніе *поддерживаетъ* въ человекѣ праздность, потому что служить ему источникомъ неисчерпаемыхъ изслѣдованій, которыхъ привлекательность, разумѣется, совершенно непостижима для того, кто занимается какимъ-нибудь полезнымъ дѣломъ. Но, несмотря на губительную страсть Иртеньева къ ясновидѣнію, Нехлюдовъ все-таки гораздо безнадежнѣе своего друга. Нехлюдовъ при своемъ кругломъ невѣжествѣ серьезенъ и настойчивъ. У него есть принципы, которые онъ очеркнулъ чортъ знаетъ изъ какой лужи, но за которые онъ держится очень крѣпко. Бьетъ онъ Ваську конечно не по принципу, а по увлеченію, и принципы его осуждаютъ эту баталію, и онъ совершенно убѣжденъ въ томъ, что принципы переработаютъ всю его природу и даже осчастливятъ со временемъ всѣхъ его Васекъ. По своимъ принципамъ онъ влюбился или, точнѣе, *влюбилъ себя* въ рыжую, старую, кривоноую, да вдобавокъ еще и глупую барышню, Любовь Сергѣевну, которая все бесѣдуетъ съ

нимъ о правилахъ, о сердцахъ и о добродѣтеляхъ. Графъ Толстой этихъ бесѣдъ не выписываетъ, и прекрасно дѣлаетъ. Вѣдь тутъ ужъ дѣйствительно «мухи умрутъ отъ рѣчей ихъ», когда они начнутъ разводить свою психологію сладкими вздохами и любовнымъ жеманствомъ. Также по своимъ принципамъ Нехлюдовъ, подъ руководствомъ Любви Сергѣевны, ѣдетъ къ московскому прорицателю, Ивану Яковлевичу; и также по принципамъ студентъ второго курса Нехлюдовъ находитъ, что Иванъ Яковлевичъ — очень замѣчательный человѣкъ и что только самые легкомысленные люди могутъ считать его сѣмасшедшимъ или мошенникомъ. А Любовь Сергѣевна, по словамъ самого Нехлюдова, понимаетъ совершенно Ивана Яковлевича (видите, какая умница!), часто ѣздитъ къ нему, бесѣдуетъ съ нимъ и даетъ ему для бѣдныхъ деньги, которая сама зарабатывается. Изъ всѣхъ этихъ доблестныхъ подвиговъ рыжей барыни Нехлюдовъ выводитъ то заключеніе, что она — удивительная женщина, что она необходима для его совершенствованія и что въ нее никакъ нельзя не влюбиться.

Познакомившись съ этими любопытными подробностями, читатель вѣроятно согласится, что голова Нехлюдова, какъ сплошная чугунная масса, совершенно обезпечена противъ вторженія какихъ-бы то ни было современныхъ идей. Человѣколюбовствовать онъ можетъ, потому что на это способна даже усердная собесѣдница Ивана Яковлевича, но ужъ дальше московскаго сердоболія онъ не пойдетъ. А вѣдь могло-бы быть совершенно иначе, еслибы любознательность его была затронута въ дѣтствѣ и еслибы живая струя свѣта и знанія попала въ его голову, когда надъ нею еще не успѣли воцариться мертвячіе принципы нравственной гимнастики и Ивана Яковлевича. Эти принципы такъ безнадежно мрачны и такъ безвыходно-губительны для ума, для чувства и для дѣятельности, что въ сравненіи съ ними даже общій колоритъ московской великосвѣтскости представляется какой-то небесной лазурью.

VIII.

Исторія объ избіеніи Васьки бросаетъ такой яркій свѣтъ на спеціальныя достоинства нравственной гимнастики, что я считаю очень полезнымъ разсказать и разобрать этотъ любопытный эпизодъ довольно подробно. Иртеньевъ, только что поступившій въ университетъ, предъ отъѣздомъ своимъ въ деревню на лѣто пріѣзжаетъ на дачу къ Нехлюдовымъ знакомиться съ семействомъ своего друга, проводить у нихъ вечеръ и остается ночевать въ комнатѣ Дмитрія. У Нехлюдова въ этотъ вечеръ разбаливаются зубы; кромѣ того онъ взволнованъ споромъ съ своей сестрой Варинькой; дѣло идетъ въ этомъ спорѣ объ Иванѣ Яковлевичѣ. Варинька отзы-

вается о немъ съ презрѣніемъ, и ея непочтительные отзывы о московскомъ предсказателѣ очень сильно возмущаютъ Дмитрія, тѣмъ болѣе, что они косвеннымъ образомъ бросаютъ тѣнь на великія достоинства самой Любви Сергѣевны, которая живетъ въ семействѣ Нехлюдовыхъ и присутствуетъ при этомъ горячемъ спорѣ. Кромѣ того старая княгиня Нехлюдова, мать Дмитрія и Вариньки, очевидно держитъ сторону своей дочери, и это обстоятельство еще болѣе усиливаетъ волненіе юнаго моралиста. Пораженный въ своемъ обожаніи къ Ивану Яковлевичу рабобиженный зубною болью, Нехлюдовъ уходитъ въ свою комнату и садится за свои вычисленія погрѣшностей и обязанностей. Въ это время Васька спрашиваетъ у него, гдѣ будетъ спать Иртеньевъ. Нехлюдовъ въ отвѣтъ на этотъ неумѣстный вопросъ топаетъ ногой и кричитъ: «убирайся къ чорту!» Васька ступешевается. Тогда Нехлюдовъ начинаетъ *топча-же* кричать: «Васька, Васька, Васька!» Васька входитъ. — «Стели мнѣ на полу!» — командуетъ Нехлюдовъ. — «Нѣтъ, лучше я лягу на полу», — говоритъ Иртеньевъ. — «Ну, всеравно, стели гдѣ-нибудь», — ворчитъ Нехлюдовъ. Васька рѣшительно не знаетъ, за что ему взяться: «убирайся къ чорту! Стели на полу! Стели гдѣ-нибудь», три противорѣчивыя приказанія въ три минуты, и наконецъ послѣднее приказаніе совершенно неопредѣленное; что значить «гдѣ-нибудь»? Гдѣ-жъ ему стлать постель? Васька останавливается въ недоумѣніи и ждетъ, чтобы ему приказали толкомъ. А въ распросы пускаться онъ боится, потому что его только что отправляли къ чорту за неумѣстную любознательность, Васька стоитъ и ждетъ, но Нехлюдовъ начинаетъ бѣсноваться. «Васька, Васька! Стели, стели!» И все это съ крикомъ и съ неистовствомъ. Васька окончательно теряется. Тогда Нехлюдовъ подбѣгаетъ къ нему и бьетъ его кулаками по головѣ «изо всѣхъ силъ». Васька куда-то убѣгаетъ, и Нехлюдовъ заноситъ въ свою тетрадку новый грѣхъ.

Уже достаточно поучительно то, что Нехлюдовъ послалъ мальчика къ чорту и потомъ обраталъ ему голову кулаками *въ то самое время*, когда совершались упражненія нравственной гимнастики. Размышлять о неописанной красотѣ нравственнаго идеала и тутъ-же, не сходя съ мѣста, нарушать самыя простыя обязанности человѣка самымъ постыднымъ и скотскимъ образомъ, — это фактъ въ высшей степени краснорѣчивый. Не трудно, кажется, сообразить, что всѣ эти ежедневныя разглядыванія своего поведенія не даютъ человѣку ровно ничего, кромѣ педантическаго высокомерія и фарисейской нетерпимости. Но дальше пойдетъ еще интереснѣе.

Вы вѣроятно съ нетерпѣніемъ желаете узнать, какую-же фizioномію состроилъ добродѣтельный Иртеньевъ, когда на его глазахъ другъ и руко-

тель его разыгрался, какъ пьяный дикарь. «Вотъ что произошло въ эту минуту, когда избитый Васька выбѣжалъ изъ комнаты. «Остановившись у двери, Дмитрій оглянулся на меня, и выраженіе бѣшенства и жестокости, которое за секунду было на его лицѣ, замѣнилось такимъ кроткимъ, пристыженнымъ и любящимъ дѣтскимъ выраженіемъ, и мнѣ стало жалко его, и, какъ ни хотѣлось ринуться, я не рѣшился этого сдѣлать.» Слѣды на мѣстѣ Иртеньева находились чело-вѣкъ дѣйствительно развитый и гуманный, и бы этотъ чело-вѣкъ могъ чувствовать хоть какое-нибудь со-страданіе къ негодню, толкующему бродягѣ и въ то-же время поднимающему на беззащитнаго и безотвѣтнаго ребенка, тотъ развитый и гуманный чело-вѣкъ отвернулся-бы въ сторону именно изъ со-страданія къ Нехлюдову, чтобы не показать ему во всемъ своемъ выраженіи своего лица того подавляющаго пренебреженія, которое возбуждено въ немъ этимъ без-стыднымъ поруганіемъ чело-вѣческой личности. Все не думаю утверждать, что безобразный унокъ Нехлюдова долженъ навсегда огнать то уваженіе всѣхъ честныхъ людей. Напротивъ. По моему мнѣнію, нѣтъ того злодѣянія, которое могло-бы положить на чело-вѣка вѣчно неизгладимое пятно безчестія. Самый грязный преступникъ можетъ снова сдѣлаться мы-сливымъ и любящимъ существомъ; и дѣйстви-тельно развитое общество никогда не должно гнать у ожесточеннаго и за-грубѣлаго чело-вѣка надежду на самую полную реабилитацію. Въ ту минуту, когда совершается грязное и нечестное издѣланіе, порядочный чело-вѣкъ не-мѣдленно отвернется отъ мерзавца для того, чтобы не по-пасть ему въ лицо. Но Иртеньевъ пови-дѣлъ такъ мало пораженъ избиеніемъ Васьки, въ самую минуту этого событія все его ви-зю обращено исключительно на игру ли-цевыхъ мускуловъ въ физіономіи Нехлюдова. За-вѣдывая въ этихъ мускулахъ быстрое передви-женіе, въ результатѣ котораго скотское выраженіе бѣ-глаго переходитъ въ гримасу раскаянія, Ир-теньевъ совершенно забываетъ объ участіи Вась-ки, котораго въ это время по всей вѣроятности вые мускулы тоже находятся въ сильномъ дви-женіи и у котораго кромѣ того со-срѣзываются реиѣ синяки и кровавыя шишки. Иртеньевъ знаетъ, что болѣзнь не о томъ, кого избили, а о томъ, кто билъ. Того и гляди, что онъ по-падетъ къ своему Дмитрію и, взявъ его за руку, скажетъ у него со слезами въ голосъ: о, мой другъ! о, мой сизенькой голубчикъ! Не-избилъ ли ты свою нѣжную ручку о поганую вилицу этого грубаго не-вѣжи? У него, у под-лого, такая твердая голова. И не поранилъ ли твоё любвеобильное сердце припадкомъ не-уваженія, возбужденнаго въ тебѣ закоснѣлостью о павостника. И зачѣмъ ты самъ утруждаешь

себя? Развѣ нельзя было отправить сквернаго мальчишку въ ближайшую полицейскую часть для надлежащаго вразумленія?

Въ подобныхъ изліяніяхъ дружественнаго со-чувствія не было-бы ничего особенно удивитель-наго. Этому совсѣмъ немудрено ожидать отъ Ир-теньева, который совершенно откровенно при-знается, что еще сильнѣе прежняго любилъ Дмит-рія, увидѣвъ на его лицѣ выраженіе стыда и кротости. Значитъ, вся исторія съ Васькой по-казалась Иртеньеву нѣкоторымъ легкимъ про-явленіемъ юношеской рѣзвости, — такимъ прояв-леніемъ, которое выкупается съ избыткомъ нѣ-которой игрой лицевыхъ мускуловъ. Окончивъ потасовку, Нехлюдовъ начинаетъ сѣчь себя не-вещественными розгами. «Дмитрій легъ ко мнѣ на постель, — рассказываетъ Иртеньевъ, — и, об-локотясь на руку, долго, молча, ласковымъ и пристыженнымъ взглядомъ смотрѣлъ на меня. Ему видимо было тяжело это, но онъ какъ будто наказывалъ себя. И улыбнулся, глядя на него. Онъ улыбнулся тоже.»

Скажите, пожалуйста, какіе милые младенцы! Лежать рядомъ на одной постелькѣ и улыбают-ся, глядя другъ на друга. Чему-жъ это они такъ чистосердечно радуются? Оно и видно, что Дмит-рій наказывалъ себя не въ самомъ дѣлѣ, а только какъ будто. Прелюбезное дѣло — эти не-вещественныя розги, когда можно ими сѣчь себя съ улыбкой наслажденія. Вотъ Васька такъ ужъ навѣрное не улыбался, потому что кулакъ — штука вещественная и съ улыбками несовмѣ-стимая. Глядя на улыбающихся младенцевъ, мы съ читателемъ можемъ ожидать, что они немед-ленно заговорятъ о Васькиной головѣ даже съ нѣкоторымъ юморомъ. Однако, братъ Дмитрій, — скажетъ Иртеньевъ, — ты ловко распорядился. И и оглянуться не успѣлъ, а ужъ онъ ему четыре пашки наставилъ. Теперь Васька-то, я чай, почесывается. Долго не забудетъ, мошенникъ. Ну, что за важность? — отвѣчаетъ Нехлюдовъ съ нѣкоторой скромностью. — Онъ у меня къ этому давно привыкъ. Ему не впервой! — Да вѣдь и не въ послѣдній! — подхватываетъ съ пріятной усмѣшкой Иртеньевъ. — Еще-бы! — закончитъ Нехлюдовъ, влагая въ этотъ лаконическій отвѣтъ самое со-лидное выраженіе барственой величавости. И знаете-ли, господа читатели, подобный разго-воръ не такъ противно было-бы слушать, какъ тотъ, который дѣйствительно завязался между нашими улыбающимися друзьями. Въ томъ раз-говорѣ, который я самъ сочинилъ, есть по край-ней мѣрѣ та прямота и простота взглядовъ, ко-торыми я восхищался въ госпожѣ Простаковой. Грязь, такъ ужъ грязь на-голо, безъ малѣйшей примѣси солодковаго корня и розовой водицы. Хочу, дескать, сокрушить морду и сокрушаю, и ни у кого на этотъ счетъ совѣта и позволенія просить не намѣренъ. Въ такой нетрупутой ди-кости часто не бываетъ даже никакой сцены и

никаких задатковъ развитія. Но иногда въ ней есть и силы, и задатки. Есть или нѣтъ—этого большей частью и разобрать невозможно. Темно, хоть глаза выколи. Ничего не видать. Но именно эта-то темнота и оставляетъ еще нѣкоторую надежду. Кто его знаетъ, можетъ-быть тамъ и есть что-нибудь. Поэтому мерзости, совершаемыя чистымъ дикаремъ, совсѣмъ не такъ отвратительны, какъ тѣ мерзости, которыя творить полу-цивилизованная особа. И всего хуже не то, что она дѣлаетъ мерзости, а то, что она относится къ нимъ чрезвычайно хитро и деликатно. Каждая мерзость представляетъ ей удобный случай погладить себя-же по головкѣ. Дикарь ничего не знаетъ и вслѣдствіе своего незнанія не слушаетъ никакихъ резонновъ. А деликатная особа клязуничаетъ, то-есть пользуется своимъ неполнымъ знаніемъ, чтобы отуманивать себя и своихъ собесѣдниковъ и чтобы во всякомъ случаѣ ставить свою деликатность выше всякаго сомнѣнія, даже послѣ совершенія мерзостей. Впрочемъ это уже очень старая и однако очень мало созннанная истина, что полу-образование совмѣщаетъ въ себѣ всѣ пороки варварства и цивилизаціи. Всѣ усилія мыслящихъ людей всѣхъ человѣческихъ обществъ уже съ давнихъ поръ направлены на борьбу съ полу-образованиемъ. Нашему обществу варварство уже теперь неопасно. Я могу смѣло хвалить Простакову, нисколько не опасаясь, чтобы кто-нибудь изъ моихъ читателей прельстился ея идеями. Но полуобразование со всеми своими фокусами и клязузами должно внушать намъ самыя серьезныя опасенія, и типъ милѣйшихъ джентльменовъ, совмѣстившихъ въ себѣ чувствительность Манилова съ остроуміемъ Хлестакова,—еще очень долго будетъ тормозить или извращать умственное развитіе нашего общества. Ощутивъ на своихъ губахъ присутствіе улыбки, Нехлюдовъ подумалъ вѣроятно, что вещественныя розги истрепались и что не мѣшаетъ взять въ руки новый пучокъ или, еще того лучше, предоставить все дѣло съченію добродѣтельному и улыбающемуся другу. И начинается вслѣдствіе этого поучительная бесѣда.

— «А отчего-же ты мнѣ не скажешь,—сказалъ онъ,—что я гадко поступалъ? вѣдь ты объ этомъ сейчасъ думалъ?» — Этотъ пошлый вопросъ могъ быть предложенъ только Нехлюдовымъ и рисуется чрезвычайно ярко подлѣйшую приторность отношеній, существующихъ между юными друзьями. Порядочный человѣкъ, сдѣлавши гадость, даже гораздо поменьше Нехлюдовской штуки, конечно не осмѣлился-бы фамиллярничать съ своимъ другомъ, валяться на его постели, таращить на него глаза и скалить вмѣстѣ съ нимъ зубы. Порядочный человѣкъ понималъ и почувствовалъ-бы, что его другу, также человѣку порядочному, непріятно, тяжело и даже больно смотрѣть на него въ ту минуту,

когда впечатлѣніе сдѣланнаго безобразія еще совершенно свѣжо. Тотъ стыдъ, который мы вольно чувствуемъ послѣ очень глупой выходки, у человѣка искренняго и неизломаннаго бываетъ всегда очень цѣломудреннымъ и глубокимъ затаеннымъ ощущеніемъ. Пристыженный человѣкъ ступенывается, хочетъ, чтобы его въ эту минуту всѣ забыли, чувствуетъ, что онъ тяготитъ другихъ своей замаранной особой; такого пристыженнаго человѣка вамъ дѣйствительно становится жалко; вы подходите къ нему осторожно, какъ къ больному, и стараетесь подкупить, ободрить и утѣшить его, и при томъ такъ, чтобы ваше приближеніе и ваши слова не оскорбили въ немъ то цѣломудріе стыда, которое неразлучно со всякимъ искреннимъ, естественнымъ раскаяніемъ, то-есть съ томительнымъ сознаніемъ важной и вредной ошибки. Но когда накуралесившій нахалъ самъ лѣзетъ къ вамъ съ своимъ раскаяніемъ, когда онъ преслѣдуетъ васъ своимъ присутствіемъ и пристальными взглядами, когда онъ приглашаетъ васъ любоваться его стыдомъ, когда онъ обращается къ вамъ съ безтолковѣйшими вопросами о такомъ дѣлѣ, которое не требуетъ ни малѣйшаго разъясненія,—тогда вамъ остается только сказать: убирайся ты къ чорту, скотина, съ твоими глупыми подвигами самобичеванія! Ты хочешь погеройствовать, силу воли своей обнаружить, а я вовсе не расположенъ быть для тебя ни платкомъ, ни пудовой гирей, которыми ты выдѣлывалъ свои дурацкіе фокусы. Нельзя-ли для гимнастическихъ прогулокъ подальше выбрать закоулокъ? — Затѣмъ надо было вернуться на другой банкъ и оставить милѣйшаго Нехлюдова наединѣ съ его растрепанными чувствами.

Такой неожиданный отпоръ могъ положить рѣзкій конецъ всякимъ дружескимъ отношеніямъ, но о такой дружбѣ, которая не выдерживаетъ прикосновенія голой правды, не стоитъ и думать. Туда ей и дорога. Дружба должна быть прочной штукой, способной пережить всѣ перемѣны температуры и всѣ толчки той ухабистой дороги, по которой совершаютъ свое жизненное путешествіе дѣльные и порядочные люди. При такой прочности, дружба — вещь драгоценная, потому что она лучше всякой другой ассоціаціи утраиваетъ и учетверяетъ рабочія силы и мужественную энергію друзей. Но Иртеньевъ и Нехлюдовъ, какъ по молодости своихъ лѣтъ, такъ и по неразвитости своего ума, такъ и въ особенности по своему незнакомству съ серьезной работой жизни,—способны только къ той комнатной или тепличной дружбѣ, которая основана на капризныхъ симпатіяхъ и распадается въ прахъ также подъ вліяніемъ минутнаго каприза. Нѣтъ въ этой дружбѣ никакой серьезной причины существованія, а поэтому нѣтъ и ни малѣйшей серьезности въ отношеніяхъ между друзьями.

Послѣ исторіи о Васькѣ, когда надо было действительно сказать другу очень жесткое слово или, еще лучше, не говорить совсѣмъ ничего, Иртеневъ мямлитъ, миндальничаетъ и говорить безцвѣтныя плоскости; а потомъ черезъ годъ, когда дружба утратила прелесть новизны, тотъ-же кроткій Иртеневъ въ минуту чисто личнаго и совершенно безпричиннаго раздраженія высказываетъ Нехлюдову, безъ малѣйшей надобности, самыя рѣзкія и оскорбительныя истины. Между тѣмъ можно сказать навѣрное, что два-три безжалостно правдивыя слова, произнесенныя Иртеневымъ по поводу Васькиной головы, подѣйствовали-бы на Нехлюдова гораздо сильнѣе и неизмѣримо глубже, чѣмъ цѣлыя десятилѣтія нравственной гимнастики. Но, чтобы сказать человѣку такое слово, которое вывернуло-бы на изнанку всю его душу и не забылось-бы имъ до сѣдыхъ волосъ, надо быть не Иртеневымъ, а чѣмъ-нибудь почище и покрѣпче. У Иртенева же выходитъ вотъ что:— «Да, это очень нехорошо, я даже и не ожидалъ отъ тебя этого. Ну, что зубы твои?»—Хотя невозможно выдумать что-нибудь безцвѣтнѣе этого скромнаго порицанія, однако крутой поворотъ къ зубамъ показываетъ ясно, насколько Иртеневъ стоитъ выше Нехлюдова. Видно, что Иртеневу все-таки тяжело говорить пустячки о такой крупной гадости, а говорить о ней серьезно онъ или не умѣетъ, или совѣстится, вотъ онъ и сворачиваетъ въ сторону при первомъ удобномъ случаѣ. Но Нехлюдовъ не понимаетъ, что его другу тяжело этотъ разговоръ, и пускается въ длинныя и совершенно безплодныя размышленія на ту-же начальную тему. Вотъ его слова:— «Прошли. Ахъ, Николинъка, мой другъ!—заговорилъ Дмитрій такъ ласково, что слезы, казалось, стояли въ его блестящихъ глазахъ. (Удивительная логика! поколотилъ Ваську, а подлащивается къ Николинъкѣ, точно будто именно передъ Николинъкой виноватъ.)—Я знаю и чувствую, какъ я дуренъ, и Богъ видитъ, какъ я желаю и прошу Его, чтобы Онъ сдѣлалъ меня лучше, но что-жъ мнѣ дѣлать, ежели у меня такой несчастный, отвратительный характеръ? Что-же мнѣ дѣлать?»

О, милѣйшій моралистъ, какъ-же вы плохи по части опытной психологіи! Вы спрашиваете, что вамъ дѣлать, чтобы не колотить Ваську? А вотъ что. Объясните мнѣ, почему вы не поколотили вашу сестру, Вариньку, которая очень разогорчила васъ во время спора, а поколотили Ваську, который ничѣмъ васъ не обидѣлъ и не могъ обидѣть? Главная причина та, что въ спокойныя минуты вашей жизни вы обращаетесь съ вашей сестрой совсѣмъ не такъ, какъ съ Васькой. Переходъ отъ почтительнаго и дружескаго обращенія къ ударамъ почти невозможенъ. Поэтому вы сестрѣ вашей сказали только вѣжливую колкость; горничной, пришедшей узнать

о вашихъ зубахъ, крикнули: «ахъ, оставьте меня въ покоѣ!», а мальчика, котораго вы зовете «Васькой», послали къ чорту, а потомъ прибили кулаками. Градація соблюдена вполне. Значитъ, если вы действительно желаете, чтобы Васькина голова была въ безопасности, обращайтесь съ нимъ въ спокойныя минуты вѣжливо и даже почтительно. Называйте его не только полнымъ именемъ, но даже по имени и отчеству, и говорите ему «вы». Это конечно очень смѣшно—называть крѣпостнаго мальчишку Василиемъ Степановичемъ или Василиемъ Антоновичемъ, но вы, какъ великій моралистъ, должны находить, что лучше быть посмѣшищемъ для дураковъ всей Москвы и даже цѣлаго міра, чѣмъ быть грязнымъ и подлымъ злодѣемъ. Если вы, не боясь насмѣшекъ умныхъ людей, преклоняетесь передъ Иваномъ Яковлевичемъ, то въ дѣлѣ Васьки вы и подавно должны поставить себя выше зубоскальства вашихъ путоголовыхъ знакомыхъ, которые сначала поболтаютъ и посмѣются, а потомъ и привыкнутъ къ вашей необыкновенной почтительности.

Послушаемъ теперь вашу дальнѣйшую іереміаду. «Я стараюсь удерживаться, исправляться, но вѣдь это невозможно вдругъ и невозможно одному. (Вы были не одинъ, когда колотили Ваську.) Надо, чтобы кто-нибудь поддерживалъ, помогалъ мнѣ. (Выражаясь яснѣе, вамъ необходимы люди, которые хвалили-бы васъ за красоту души и твердость воли. Невещественныя розги и невещественные пряники—безъ этихъ пособій вы не можете быть порядочнымъ человѣкомъ.) Вотъ Любовь Сергѣевна, она понимаетъ меня и много помогла мнѣ въ этомъ. (Оно и замѣтно по всему!?) Я знаю по своимъ запискамъ, что я впродолженіи года уже много исправился. (Приятно слышать. Значитъ, по скольку-же синяковъ въ день ложилось прежде на Васькину голову? До исправленія, его голова была въ своемъ родѣ очень любопытной лѣтописью. Примѣчайте кромѣ того, какъ уже въ послѣдней фразѣ тонъ слезливаго раскаянія переходитъ въ тонъ тихаго самовосхваленія. Это значитъ, милое дитя уже потянулось за невещественнымъ пряникомъ.) Ахъ, Николинъка, душа моя!—продолжалъ онъ съ особенной неприличной иѣжностью и ужъ болѣе спокойнымъ тономъ послѣ этого признанія:—какъ это много значитъ вліяніе такой женщины, какъ она! Боже мой, какъ можетъ быть хорошо, когда я буду самостоятеленъ, съ такимъ другомъ, какъ она. Я съ ней совершенно другой человѣкъ.» (Что значитъ эта послѣдняя фраза? Значитъ-ли это: «я ея не бью, какъ прибилъ Ваську», или-же это значитъ: «я никогдѣ не бью, когда нахожусь подъ ея вліяніемъ»? Въ первомъ случаѣ—это бессмыслица. Во-второмъ—это сладкая ложь. Вы, господинъ Нехлюдовъ, ходили къ Любови Сергѣевнѣ и бесѣдовали съ нею какъ-разъ пе-

редъ той минутой, когда Васька предложилъ вамъ первый вопросъ о постеляхъ. Или можетъ-быть вы хотите сказать, что только «въ ея присутствіи» вы совсѣмъ не безчинствуете. Это безъ сомнѣнія дѣлаетъ вамъ много чести, но вѣдь отъ этого мало пользы. Стало-быть, когда вы женитесь на ней, вы будете находиться безотлучно при ея особѣ; а чуть она на минуту отвернулась—тутъ сейчасъ и пойдетъ крушеніе физіономій? Вѣри́те-же всего, что вы просто сказали одну изъ тѣхъ совершенно безсмысленныхъ фразъ, безъ которыхъ жить не могутъ всѣ моралисты, подобные вамъ и вашей Любви (Сергѣевнѣ). Затѣмъ друзья наши забываютъ совершенно презрѣнную прозу жизни, и Дмитрій начинаетъ «развивать свои планы женитьбы, деревенской жизни и постоянной работы надъ самимъ собой». Оба совершенно веселы и болтаютъ «до вторыхъ пѣтуховъ». Приятная и полезная бесѣда заканчивается слѣдующими словами:—«Ну, теперь спать—сказалъ онъ.—Да, отвѣчалъ я:—только одно слово.—Ну?—Отлично жить на свѣтѣ!—сказалъ я.—Отлично жить на свѣтѣ,—отвѣчалъ онъ такимъ голосомъ, что я въ темнотѣ, казалось, видѣлъ выраженіе его веселыхъ ласкающихъ глазъ и дѣтской улыбки.»

О, прелестные малютки! что за «атласистость сердечная», какъ говоритъ Щедринъ о своихъ глуповцахъ! «Отлично жить на свѣтѣ!» Какъ вамъ это нравится? Это—заключительный выводъ изъ того ряда размышленій, который былъ вызванъ актомъ подлѣйшаго насилія. Преступленіе и раскаяніе не оставили послѣ себя рѣшительно ничего, кромѣ безпричиннаго восторга и полнѣйшаго самодовольства, и все это втеченіи одной короткой лѣтней ночи. Это стоитъ матери Гамлета, съ ея неизношенной парой башмаковъ. И ни одинъ изъ юныхъ моралистовъ не оглянулся назадъ на исходную точку разговора. Трехъ или четырехъ часовъ, посвященныхъ глупѣйшимъ мечтамъ, было совершенно достаточно, чтобы рѣшительно сбить ихъ съ толку и отшибить у нихъ всякую память. Вѣдь они-бы поблѣднѣли и вскрикнули отъ ужаса, у нихъ выступилъ-бы холодный потъ на лбу и дыбомъ поднялись-бы волосы, еслибы одинъ изъ нихъ догадался задать другому вопросъ: съ чего мы начали и къ чему мы пришли? И что-же это значитъ, что такое начало привело насъ къ такому заключенію? И какъ-же это мы ухитрились извлечь для себя превеликое удовольствіе изъ... изъ... стыдно и страшно сказать, изъ чего? Гдѣ-же наше нравственное чувство, гдѣ наша любовь къ людямъ, гдѣ-же наконецъ нашъ умъ? Любовь къ людямъ! Подумалъ-ли въ самомъ дѣлѣ Нехлюдовъ на минуту о томъ, какъ-бы утѣшить избитаго ребенка? Даже намекъ не было на подобную мысль. Нехлюдовъ и не помышляетъ о томъ, чтобы лаской, добрымъ словомъ и доб-

рымъ дѣломъ уменьшить то впечатлѣніе боли, которое онъ нанесъ живому существу; онъ остается только соскочить какъ-нибудь то отвѣченное пятно, которое онъ положилъ на свое собственную опрятную личность и щекоглязую совѣсть. Бездушный фарисей остается вѣрять себѣ въ мельчайшихъ подробностяхъ. Да и свѣсть-то совершенно по фарисейски засыпаетъ очень быстро во время пріятнаго разговора. И эти-то дрябленькіе человѣчки, съ такимъ неразвитымъ умомъ, который втеченіи трехъ или четырехъ часовъ уже теряетъ изъ виду руководящую идею разговора, эти-то маленькія и жалкія созданыца берутся тоже разсуждать о высшихъ вопросахъ жизни, нравственности и общаго міросозерцанія. Точно пятилѣтніе дѣти, тѣкущіе о томъ, какъ они пойдутъ въ гусары или въ кирасиры! Поучиться надо сначала, милые малютки. Тогда авось и поумнѣете, и въ гусары поступите. А до тѣхъ поръ играйте въ куклы или, иначе, размышляйте о трюфахъ и пуляркахъ.

IX.

Доживши до девятнадцати лѣтъ и дойдя до третьяго курса университета, князь Дмитрій Нехлюдовъ убѣждается въ томъ, что онъ достаточно образованъ и что ему давно пора приниматься за практическую дѣятельность. Онъ прѣзжаетъ на лѣто въ свое имѣніе, видитъ тамъ, что мужики его разорены до тла, и, рѣшившись посвятить свою жизнь на улучшеніе ихъ участи, выходитъ изъ университета съ тѣмъ, чтобы навсегда поселиться въ деревнѣ. Очеркъ его сельско-хозяйственной дѣятельности представленъ графомъ Толстымъ въ отдѣльной повѣсти: «Утро помѣщика». Нехлюдовъ занимается своимъ дѣломъ безкорыстно, добросовѣстно и очень усердно. По воскресеньямъ напимѣръ онъ обходитъ утробъ дворянъ тѣхъ крестьянъ, которые обращались къ нему съ просьбами о какомъ-нибудь вспоможеніи; тутъ онъ внимательно вникаетъ въ ихъ нужды, присматривается къ ихъ быту, помогаетъ имъ хлѣбомъ, лѣсомъ, деньгами и старается посредствомъ увѣщаній внушить имъ любовь къ труду или искоренять ихъ пороки.

Одинъ изъ такихъ обходовъ составляетъ сюжетъ нашей повѣсти. Приходитъ Нехлюдовъ къ Ивану Чурисенку, просившему себѣ какихъ-то кольевъ или сошекъ для того, чтобы подпереть свой развалившійся дворъ. Видитъ Нехлюдовъ, что все строеніе дѣйствительно нигуда не годится, и Чурисенко разсказываетъ ему совершенно равнодушно, что у него въ избѣ накатина съ потолка его бабу пришибла. «По спишь, какъ колыхнешь ее, такъ она до ночи замертво пролежала.» Нехлюдовъ, думая облагодѣтельствовать Чурисенку, предлагаетъ ему переселиться на новый хуторъ, въ новую каменную

избу, только что выстроенную по герардовской системѣ. «Я,—говорить,—ее, пожалуй, тебѣ отдамъ въ долгъ за свою цѣну; ты когда-нибудь отдашь.» Но Чурисенокъ говоритъ: «воля вашего сятельства», и въ то же время прибавляетъ, что на новомъ мѣстѣ имъ жить не придется; а баба, та самая, что за мертво лежала, бросается въ ноги къ молодому помѣщику, начинаетъ выть и умоляетъ барина оставить ихъ на старомъ мѣстѣ, въ старой развалившейся и опасной избѣ. Чурисенокъ, тихій и неговорливый, какъ большая часть нашихъ крестьянъ, придавленныхъ бѣдностью и непосильнымъ трудомъ, становится даже краснорѣчивымъ, когда начинаетъ описывать прелесть старого мѣста. «Здѣсь на міру мѣсто, мѣсто веселое, обычное; и дорога, и прудъ тебѣ, бѣлье, что-ли, бабѣ стирать, скотину-ли поить—и все наше заведение мужицкое, тутъ искони заведенное, и гумно, и огородишка, и ветлы—вотъ, что мои родители сажали; и дѣдъ, и батюшка наши здѣсь Богу душу отдали, и мнѣ только-бы вѣкъ тутъ свой кончить, ваше сятельство, больше ничего не прошу.» Что тутъ будешь дѣлать? Нельзя-же благодѣтельствовать насильно. Нехлюдовъ отказывается отъ своего намѣренія и совѣтуетъ Чурисенку обратиться къ крестьянскому міру съ просьбой о лѣсѣ, необходимомъ для починки двора. Къ міру, а не къ помѣщику приходится обращаться въ этомъ случаѣ потому, что Нехлюдовъ отдалъ въ полное распоряженіе самихъ мужиковъ тотъ участокъ лѣса, который онъ опредѣлилъ на починку крестьянскаго строенія.—Но у Чурисенка на всякое дѣло есть свои собственные взгляды, и онъ говоритъ очень спокойно, что у міра просить не станеть.—Нехлюдовъ даетъ ему денегъ на покупку коровы и идетъ дальше. Входитъ онъ во дворъ къ Епифану или Юханкѣ-Мудреному. Нехлюдову извѣстно, что этотъ мужикъ любитъ по-своему свбаритствовать, курить трубку, обременяетъ свою старуху-мать тяжелой работой и часто продаетъ для кутежа необходимыя принадлежности своего хозяйства. Теперь Нехлюдовъ узналъ, что Юханка хочетъ продать лошадь; помѣщикъ хочетъ посмотреть, возможна-ли эта продажа безъ разстройства необходимыхъ работъ. Оказывается, что продавать не слѣдуетъ, и Нехлюдовъ рѣшительно запрещаетъ Юханкѣ эту коммерческую операцію. Юханка въ разговорѣ съ баринимъ лжетъ ему въ глаза самымъ наглѣйшимъ образомъ и нисколько не смущается, когда Нехлюдовъ на каждомъ шагу выводитъ его на свѣжую воду. Нехлюдовъ, какъ юноша и моралистъ, старается растрогать Юханкину душу увѣщаніями и упреками, а Юханка, пролаянная бестія, каждымъ своимъ словомъ показываетъ своему барину совершенно ясно, что онъ непременно расхотѣлся-бы надъ его со-вѣтами, еслибы его не удерживало тонкое по-

ниманіе галантерейнаго обращенія.—Пороть меня ты не будешь,—думаетъ Юханка,—потому что совѣтъ никого не порешишь; на поселеніе тоже не сошлешь—пожалѣешь; а въ солдаты я не гожусь, спереди двухъ зубовъ нѣту. Значить, ничѣмъ ты меня не озадачишь, и на всѣ твои разговоры я вѣжливымъ манеромъ плевать намѣренъ.—И Нехлюдовъ, совершенно отбѣившій въ своемъ хозяйствѣ тѣлесныя наказанія, до такой степени живо чувствуетъ свое безсиліе передъ сорванцомъ Юханкой, что принужденъ по временамъ умолкать и стискивать зубы для того, чтобы не распакаться тутъ-же на Юханкиномъ дворѣ передъ глазами нераскааннаго грѣшника. Кончается визитъ тѣмъ, что баринъ, строго запретивъ продавать лошадь, тайкомъ отъ безпутнаго Юханки, даетъ денегъ его матери на покупку хлѣба.

Затѣмъ слѣдуетъ картина другого безпутства. У Давыдки Бѣлаго нѣтъ въ избѣ ни крошки хлѣба; весь дворъ представляетъ собой мерзость запустѣнія, а самъ Давыдка цѣлые дни и ночи лежитъ на печкѣ подъ тулупомъ, даже весь отекъ и распухъ отъ сна. Баринъ будитъ «лѣниваго раба» и начинаетъ аргументировать, очень убѣдительно доказывая необходимость труда. «Лѣнивый рабъ слушаетъ тупо и покорно». Онъ молчалъ; но выраженіе его лица и положеніе всего тѣла говорило: «знаю, знаю, ужъ мнѣ не первый разъ это слышать. Ну, бейте-же, коли такъ надо—я снесу. Онъ, казалось, желалъ, чтобы баринъ пересталъ говорить, а поскорѣе прибилъ его, даже больно прибилъ по пухлымъ щекамъ, но оставилъ скорѣе въ покоѣ.» Приходить въ эту минуту мать Давыдки, дѣятельная и бойкая женщина, которая одна работаетъ за весь свой дворъ. Она начинаетъ жаловаться на своего лядящаго сына, ругаетъ и дразнитъ его, рассказываетъ, что жена Давыдки извела себя тяжелой работой, а потомъ умоляетъ барина, чтобы онъ во второй разъ женилъ безпутнаго лѣнтяя. Нехлюдовъ говоритъ: съ Богомъ! но штука заключается въ томъ, что за Давыдку ни одна дѣвка по своей волѣ не пойдетъ и что мать просить у барина не позволенія для Давыдки, а приказанія для дѣвки. Баринъ отвѣчаетъ ей, что это невозможно, что хлѣба онъ имъ дастъ, а невѣсту сватать не беретъ. Потомъ Нехлюдовъ пошелъ къ богатому мужику Дутлову, предложилъ ему очень выгодное помѣщеніе для его денегъ, но мужикъ, разумѣется, съезжился и тщательно затанялъ свой капиталъ отъ помѣщика, и баринъ извлекъ изъ этого посѣщенія только тотъ результатъ, что его маденько покушали дутловскія пчелы, потому что онъ забрался на пчельникъ и по юношеской храбрости не пожелалъ надѣть предохранительную сѣтку. Нехлюдовъ отправляется домой и по дорогѣ задумывается. «Развѣ богаче стали мои мужики, думаетъ онъ:—образовались

или развились нравственно? Нисколько. Имъ стало не лучше, а имъ съ каждымъ днемъ становится тяжеле. Еслибъ я видѣлъ успѣхъ въ своемъ предпріятіи, еслибъ я видѣлъ благодарность... но нѣтъ, я вижу ложную рутину, пороки, недоуміе, безпомощность. Я даромъ трачу лучшие годы жизни, — подумалъ онъ, и ему почему-то вспоминалось, что сосѣди, какъ онъ слышалъ отъ няни, называли его недорослемъ; что денегъ у него въ конторѣ ничего уже не оставалось; что выдуманная имъ новая молодильная машинка къ общему смѣху мужиковъ только свистѣла, а ничего не молотила, когда ее въ первый разъ при многочисленной публикѣ пустили въ ходъ въ молодильномъ сараѣ; что со дня на день надо было ожидать пріѣзда земскаго суда для описи имѣнія, которое онъ просрочилъ, увлекшись различными новыми хозяйственными предпріятіями.»

Странная и печальная исторія! Умъ, молодость, энергія, стойкость, человеколюбіе, — все, что дѣлаетъ человека сильнымъ и полезнымъ, все это есть у Нехлюдова, все это проявляется въ его отношеніяхъ къ крестьянамъ и все это приводитъ за собой только неудачи и разочарованіе и въ концѣ концовъ безотрадное сознаніе той несомнѣнной истины, что «имъ стало не лучше, а имъ съ каждымъ днемъ становится тяжеле». Причина всей нескладницы заключается въ томъ, что Нехлюдовъ — ни рыба, ни мясо, и что онъ, вслѣдствіе этой двусмысленности и неопредѣленности своего положенія и своего развитія, самымъ добросовѣстнымъ образомъ старается влить вино новое въ мѣха старые. Задача неисполнимая: мѣха ползутъ врозь, и вино проливается на полъ, или, говоря безъ метафоръ, новая гуманность пропадаетъ безъ пользы и даже приноситъ вредъ, когда приходитъ въ соприкосновеніе съ старыми формами крѣпостного быта. Еслибы дѣдушка или можетъ быть и папенька Нехлюдова пріѣхалъ въ свое имѣніе съ цѣлью поправить разстроенное хозяйство мужиковъ, то по всей вѣроятности онъ въ первую же недѣлю послѣ своего пріѣзда переполомъ-бы половину деревни, начиная, разумѣется, съ крѣпостныхъ прикащиковъ, бурмистровъ, старостъ и всякихъ другихъ деревенскихъ властей. Съ такимъ помѣщикомъ Юханка пересталъ-бы быть «мудренымъ», и Чурисенокъ переселился-бы на новый хуторъ безъ малѣйшаго краснорѣчія. Еслибы кромѣ неумолимой строгости у этого помѣщика была малая толика практическаго ума и хоть какое-нибудь, даже самое рутинное знаніе сельскаго хозяйства, то въ пять-шесть лѣтъ мужики дѣйствительно поправили-бы свои дѣлишки и дошли-бы до той степени сытаго довольства, которой пользуются быки и бараны благоустроеннаго скотнаго двора и которая въ крѣпостномъ быту составляетъ предѣлъ, его же не преидши. И грозный по-

мѣщикъ, съ своей точки зрѣнія, могъ-бы сказать, что онъ свято исполняетъ свою гражданскую обязанность, потому что, разумѣется, онъ стоитъ неизмѣримо выше тѣхъ современныхъ своихъ, которые проживаютъ свои доходы въ столицахъ, предоставляя своимъ мужикамъ и безконтрольное распоряженіе управляющими бурмистровъ. Да этого еще мало. Грозный имѣщикъ стоитъ даже выше такого почти идеальнаго помѣщика, какимъ является намъ Нехлюдовъ.

Для помѣщика не было середины. Онъ могъ быть или суровымъ властелиномъ, или добрымъ коровой. На первый взглядъ можетъ показаться, что второй типъ лучше, отградите и полезныя перваго, но это — только на первый взглядъ. Дойная корова побалуетъ мужиковъ три-четыре года, а потомъ и протянетъ ноги тѣмъ же манеромъ. Самый простой и естественный результатъ этого сентиментальнаго базовства обнаруживается намъ въ исторіи Нехлюдова: въ конторѣ ни копѣйки денегъ; имѣніе просрочено; его опишутъ, возьмутъ въ опеку, разорить еще хуже, а потомъ продадутъ съ аукціоннаго торга и мужикамъ, привыкшимъ къ доенію коровы, придется такъ скверно при перемѣнѣ системы, что хоть въ петлю полѣзай. Ясно, кажется, что новое вино пролилось на полъ. Но, разумѣется, типъ суроваго властелина въ свою очередь изрошъ только въ той мѣрѣ, въ какой могло быть что-нибудь хорошее при существованіи крѣпостной зависимости. Сытое довольство скотнаго двора очевидно не благопріятствуетъ развитію высшихъ способностей человѣческаго ума и не можетъ создавать людей съ сильными и самостоятельными характерами. Вамъ случалось вѣроятно видѣть, какъ быстро сливаются съ вдругъ и затягиваются въ тину самаго оподляющаго разврата именно тѣ юноши, которые при жизни своихъ строгихъ родителей порожали васъ своимъ безукоризненнымъ и даже неестественнымъ благопріемъ. «Эхъ, кабы старики-то были живы!» говорятъ обыкновенно въ этихъ случаяхъ старые друзья покойниковъ, совершенно упуская изъ виду то, что именно сами-то покойники приготовили втеченіи всей своей жизни всю ту кутерьму, которая разыгралась на другой день послѣ ихъ строгости. Ежевыя рукавицы отняли у подвластнаго человека возможность пріобрѣтать себѣ самостоятельный житейскій опытъ, а неопытность оказалась той широкой дорогой, по которой поѣхали на человека всякія искушенія и всякія ошибки. Такая-то участь и постигаетъ обыкновенно мужиковъ грознаго помѣщика, какъ только ослабѣваетъ или прекращается давленіе его тяжелой руки.

Нехлюдову слѣдовало все это сообразить, да, чѣмъ онъ пріѣхалъ въ деревню и нять свои благотворительныя до было сказать се

быть не могу, еслибы даже и желалъ имъ сдѣлаться. Дойной коровой я не хочу быть, потому что это глупо и бесполезно. Значитъ, если я чувствую потребность расположить мои отношенія къ крестьянамъ сообразно съ моими гуманными стремленіями и убѣжденіями, то мнѣ остается только одна дорога: надо осторожно развязать и потомъ совершенно уничтожить всѣ обязательныя отношенія, существующія между мной и этими людьми. Приступая разумнымъ образомъ къ освобожденію своихъ крестьянъ, Нехлюдовъ долженъ былъ прежде всего освободить самого себя отъ крѣпостной зависимости. Онъ живетъ трудами своихъ мужиковъ или, другими словами, доходами съ своего имѣнія. А человѣкъ, который серьезно желаетъ сдѣлать въ своей жизни что-нибудь дѣйствительно полезное, долженъ непременно жить своими собственными трудами. Кто не въ состояніи безъ посторонней помощи прокормить самого себя, тому нечего и думать о какой-бы то ни было дѣятельности на пользу другихъ. Поэтому Нехлюдову надо было прежде всего узнать свои собственные способности и выучиться какому-нибудь хлѣбному ремеслу. Сдѣлался-ли-бы онъ сапожникомъ или писателемъ, профессоромъ или кузнецомъ, машинистомъ или медикомъ, это уже совершенно все равно, и это вполнѣ зависитъ отъ особенной его умственной и вообще физической организаціи. Важно только то, чтобы онъ сталъ въ совершенно независимыя отношенія къ своему собственному капиталу, въ чемъ-бы этотъ капиталъ ни заключался, въ крѣпостныхъ-ли мужикахъ, или въ землѣ, или въ деньгахъ.

Весь смыслъ вещей, весь міръ неодушевленной природы и живыхъ людей совершенно измѣняются въ глазахъ человѣка, когда этотъ человѣкъ чувствуетъ и сознаетъ, что онъ самъ — рабочая сила и что въ немъ самомъ, въ его головѣ и въ его рукахъ, заключается совершенно достаточное обезпеченіе его существованія, является смѣлость и предпримчивость, неостыжимыя для капиталиста, который знаетъ очень хорошо, что капиталъ его лежитъ внѣ его личности, что этотъ капиталъ можетъ быть утраченъ и что личность капиталиста, послѣ разлуки съ своимъ капиталомъ, должна превратиться въ нуль или, еще вѣрнѣе, въ минусъ. Работникъ, владѣющій капиталомъ, можетъ позволять себѣ такую роскошь, на которую никакъ не можетъ отважиться простой капиталистъ; онъ можетъ рисковать своимъ капиталомъ изъ любви къ своей идеѣ; напримѣръ онъ можетъ тратить его на научные опыты, на ученыя экспедиціи, на проведеніе въ жизни своихъ гуманныхъ тенденцій. Онъ можетъ ставить послѣднюю копѣй-

бромъ, а такая способность выдерживать,

не уменьшая ставки до самого конца — часто совершенно необходима для

успѣха всего предпріятія. Кроме того кормить себя собственнымъ трудомъ — значитъ относиться къ какому-нибудь практическому дѣлу совершенно серьезно и добросовѣстно, безъ всякой примѣси шарлатанства или дилетантизма. Что-бы относиться такимъ образомъ къ какому-бы то ни было дѣлу, надо уже кое-что знать, надо предварительно присмотрѣться и къ самому себѣ, къ разнымъ особенностямъ житейской практики. Вслѣдствіе этого, кроме смѣлости и предпримчивости, у работника есть опытность и смѣтливость, недоступныя очень многимъ изъ тѣхъ людей, которые спокойно питаются процентами съ своихъ капиталовъ. Значитъ, работникъ будетъ дѣйствовать смѣло, но расчетливо, то-есть рисковать только тамъ, гдѣ дѣйствительно надо рисковать и гдѣ важность успѣха совершенно окупаетъ собой невѣрность предпріятія. Итакъ:

Нехлюдовъ долженъ прежде всего сдѣлать изъ себя работника и испытать силы своего ума и характера надъ рѣшеніемъ той задачи, которая задается въ жизни огромному большинству людей, то-есть надъ самостоятельнымъ прокормленіемъ собственной особы. Для этого ему надо было-бы непременно кончить курсъ въ университетѣ, а потомъ еще поучиться очень серьезно въ продолженіи нѣсколькихъ лѣтъ, во-первыхъ для того, чтобы найти себѣ специальность, а во-вторыхъ для того, чтобы достаточно усовершенствоваться въ этой специальности. Еслибы Нехлюдовъ послѣ такого приготовленія рѣшился поселиться въ деревнѣ, то онъ вѣроятно придумалъ-бы тамъ не свистѣлку, а настоящую молотилку. Дальнѣйшій-же ходъ эмансипаціонной работы не представляетъ никакихъ особенныхъ затрудненій. Если имѣніе заложено и еслибы вслѣдствіе этого нельзя было отпустить на волю крестьянъ, то надо сначала выкупить имѣніе, а для человѣка, который живетъ собственнымъ трудомъ и, стало-быть, не нуждается въ доходахъ, это дѣло окажется совершенно исполнимымъ. Выкупилъ, отдалъ крестьянамъ полный надѣлъ земли, остальную землю продалъ въ другія руки для того, чтобы крестьяне видѣли возлѣ себѣ просто богатаго сосѣда, а не своего бывшего барина, связаннаго съ ними патріархальными преданіями и обязаннаго оказывать имъ разныя щедроты; совершилъ всѣ формальности, отпускныя, дарственные, купчія, да и уѣхалъ съ вырученными деньгами заниматься своимъ ремесломъ. Вотъ самое простое и единственно возможное рѣшеніе той задачи, надъ которой такъ усердно и такъ безуспѣшно трудится Нехлюдовъ. Посвящать всю свою жизнь крестьянамъ нѣтъ рѣшительно никакой надобности. Пожалуй-ста, не посвящайте! Вѣдь изъ этого посвященія выйдетъ только то, что вы будете тратить деньги, заработанныя крестьянами, или на безтолковыя благодѣянія, или на сооруженіе свистѣльныхъ машинъ. Почему вы знаете, что вы способны быть помѣщикомъ, т.-е. агрономомъ, ско-

товодомъ и отчасти администраторомъ? Потому что вамъ досталось отъ отца имѣніе въ семьсотъ душъ? Это—причина неудовлетворительная; тогда, значитъ, сынъ сапожника долженъ быть сапожникомъ, потому что отецъ оставляетъ ему въ наслѣдство колодку и шило. Такимъ путемъ мы приходимъ къ индѣйскимъ кастамъ, то-есть къ систематическому подавленію всякой личной оригинальности. Такого результата не можетъ желать ни одинъ здравомыслящій человекъ, и, стало-быть, вы, господинъ Нехлюдовъ, должны быть не помѣщикомъ, а можетъ-быть учителемъ математики, или архитекторомъ, или чѣмъ-нибудь другимъ, смотря по тому, каковы ваши личные способности. А чтобы узнать свои способности, вы должны учиться, читать, размышлять, говорить съ умными людьми, а не закупоривать себя въ деревнѣ и не аргументировать съ Юханкой и съ Давыдкой.

Значить, съ какого конца не возьми дѣло, вездѣ оказывается все та-же самая бѣда: незнаніе и опять-таки незнаніе. Гдѣ нѣтъ прочнаго знанія, тамъ вы не замѣните его ни усердіемъ, ни добродушіемъ, ни чистотой сердца, ни цѣломудріемъ, ни даже Иваномъ Яковлевичемъ. Все будетъ скверно, и все постоянно будетъ становиться хуже да хуже.

Собственно для того, чтобы освѣтить съ разныхъ сторонъ эту очень старую истину, я остановился такъ долго на разборѣ повѣсти: «Утро помѣщика». Иначе не зачѣмъ было-бы говорить о ней такъ подробно, потому что крѣпостныя отношенія, изображенныя въ этой повѣсти, уже давно укатились въ вѣчность «*hinaus in's Meer der Ewigkeit*», какъ говоритъ Шиллеръ въ своихъ «Идеалахъ». Но вопросъ о знаніи и полужнаніи стоитъ постоянно на очереди.

X.

Въ послѣдній разъ мы встрѣчаемъ нашего стараго знакомаго, князя Нехлюдова, въ небольшомъ разсказѣ «Люцернъ». Онъ, то-есть не разсказъ, а Нехлюдовъ, путешествуетъ по Швейцаріи и записываетъ свои путевыя впечатлѣнія. Разсказъ «Люцернъ» составляетъ маленькій отрывокъ изъ этихъ записокъ. Дѣйствіе происходитъ въ Люцернѣ и относится къ 7 іюля 1857 года. Князю Нехлюдову въ это время, по моимъ хронологическимъ соображеніямъ, должно быть около 35 лѣтъ. Его характеръ надо считать уже окончательно сложившимся. Вотъ мы теперь и посмотримъ, какой результатъ выработался изъ тѣхъ задатковъ, съ которыми мы познакомились выше. Остановившись въ лучшей люцернской гостиницѣ Швейцергофъ, Нехлюдовъ изъ окна своей комнаты начинаетъ очень сильно восхищаться видомъ озера, горъ и вообще всякой другой природы. «Мнѣ захотѣлось, — говоритъ онъ, — въ эту минуту обнять кого-нибудь, крѣпко обнять, защекотать, ущипнуть его, вообще сдѣ-

лать съ нимъ и съ собой что-нибудь необыкновенное.» Однако онъ никого не обнялъ, не защекоталъ и не ущипнулъ, вѣроятно потому, что его восторги въ значительной степени охлаждались видомъ набережной, «прямой какъ палка», и возбудившей въ немъ съ самой первой минуты непримиримую ненависть. «Безпрестанно, — жалуются онъ, — невольно мой взглядъ сталкивался съ этой ужасно прямой линіей набережной и мысленно хотѣлъ оттолкнуть, уничтожить ее, какъ черное пятно, которое сидитъ на носу подъ глазомъ; но набережная съ гуляющими англичанами оставалась на мѣстѣ, и я невольно старался найти точку зрѣнія, съ которой-бы мнѣ ее было не видно.» Война Нехлюдова съ бѣлой палкой набережной прерывается тѣмъ, что его зовутъ обѣдать за общій столъ. За обѣдомъ для Нехлюдова начинаются новыя огорченія. Его чрезвычайно волнуетъ то обстоятельство, что странствующие англичане, которыми переполненъ Швейцергофъ, сидятъ слишкомъ чинно и занимаются во время обѣда процессомъ ѣды, а не веселыми разговорами. Во время обѣда онъ размышляетъ объ англійской холодности, а потомъ, разогорченный ею до глубины души, идетъ шататься по городу въ самомъ невеселомъ расположеніи духа. Тутъ ему становится еще грустнѣе. «Мнѣ становилось ужасно душевно холодно, одиноко и тяжело, какъ это случается иногда безъ видимой причины при переѣздахъ на новое мѣсто.» Но въ это время какой-то уличный музыкантъ заигралъ на гитарѣ и началъ пѣть пѣсни, и Нехлюдову вдругъ сдѣлалось ужасно хорошо и даже очень пріятно жить на свѣтѣ. «Всѣ воспоминанія, невольныя впечатлѣнія жизни вдругъ получили для меня значеніе и прелесть. Въ душѣ моей какъ будто распустился свѣжій, благоухающій цвѣтокъ. Въ сто усталости, разбѣянія, равнодушія ко всему на свѣтѣ, которыя я испытывалъ за минуту передъ этимъ, я вдругъ почувствовалъ потребность любви, полноту надежды и безпричинную радость жизни. Чего хотѣть, чего желать? сказалось мнѣ невольно, — вотъ она совсѣхъ сторонъ обступая тебя красота и поэзія. Вдыхай ее въ себя широкими, полными глотками, насколько у тебя есть силы, наслаждайся, чего тебѣ еще надо! Все твое, все благо...»

Набережная передъ глазами—досадно! Англичане молчатъ—грустно! На гитарѣ заиграли—ужасно весело! Какъ вамъ нравится такой человекъ, у котораго вся нервная система постоянно скрипитъ и ноетъ такъ или иначе въ отвѣтъ на каждый ничтожный и мимолетный звукъ окружающаго міра? Такихъ людей называютъ многи впечатлительными, отзывчивыми, тонко-чувствительными, художественными натурами; извѣстное дѣло, нѣтъ той дрянн, которую нельзя было-бы украсить какимъ-нибудь ласкательнымъ эпитетомъ; но мнѣ кажется, что такіе тонко-организованные субъекты очень похожи на тѣхъ

несчастныхъ больныхъ, которые, напивавшись ядухъ и различныхъ лекарствъ, превращаются въ ходячіе барометры, то-есть чувствуютъ ломоту въ костяхъ передъ каждой малѣйшей переменой погоды. Эта тонкость организаціи есть не что иное, какъ совершенное разстройство нервной системы, — разстройство, порожденное праздностью и безтолковой суетливостью. За неимѣніемъ серьезной цѣли и полезной работы, умъ кидается на пустяки, гоняется за призраками, раздражается своими тщетными попытками поймать то, что никому не дается въ руки, и наконецъ, благодаря такимъ упражненіямъ, человѣкъ доходитъ до какого-то полусъумасшествія: постоянно волнуется, постоянно о чемъ-то хлопочетъ и самъ не только не можетъ, но даже и не пробуетъ объяснить себѣ, чего ему надо и о чемъ онъ груститъ, чему радуется и какой смыслъ имѣютъ все его пошлыя бури въ стаканѣ воды. Когда человѣкъ дошелъ до такого безнадежнаго положенія, тогда, разумѣется, смѣшно и ожидать отъ него какой-нибудь дѣятельности; тогда надо его просить объ одномъ: сядь ты, голубчикъ, на мѣсто и постарайся поменьше кричать и кривляться. Но онъ и этой просьбы исполнить не въ состояніи; онъ все поетъ и все прыгаетъ, и ежеминутно откалываетъ такіе удивительныя штуки, какихъ ни одинъ здравомыслящій человѣкъ нарочно не съумѣлъ бы придумать.

Князь Нехлюдовъ находится именно въ этомъ положеніи совершеннаго умственнаго банкротства. Мысль и чувство его истрепаны и измелечали до послѣдней крайности и дѣлаютъ ежеминутно нелѣпѣйшіе скачки, не имѣя уже силъ остановиться и сосредоточиться на какомъ-бы то ни было отдѣльномъ впечатлѣніи. Когда звуки гитары и пѣсни открыли Нехлюдову смыслъ всѣхъ тайнъ и загадокъ міровой жизни, тогда онъ подошелъ къ тому мѣсту, откуда слышались эти волшебные звуки. Онъ увидалъ, что пѣвецъ поетъ передъ балкономъ Швейцгергофа; его слушаетъ вся блестящая публика, живущая въ этой гостинницѣ, но ни одинъ изъ слушателей не даетъ ему ни копѣйки, когда онъ по окончаніи пѣсни снимаетъ шляпу и произноситъ просительную фразу. Нехлюдовъ пользуется этимъ удобнымъ случаемъ, чтобы немедленно вознегодовать. Я совершенно согласенъ съ тѣмъ, что въ этомъ фактѣ дѣйствительно нѣтъ ничего хорошаго, но я рѣшительно не могу объяснить, какимъ образомъ мужчина зрѣлыхъ лѣтъ можетъ находить подобные факты сколько-нибудь для себя удивительными. Мальчику позволительно кипятился при видѣ каждаго неразумнаго или безчестнаго дѣла. Для мальчика это кипяченіе даже необходимо; оно пробуждаетъ его силы и внушаетъ ему желаніе бороться за то, что онъ считаетъ разумнымъ и справедливымъ. Но мальчикъ замѣтитъ очень скоро, что бороться разомъ противъ всего — значитъ тратить свои силы навѣ-

теръ. Въ результатъ можетъ получиться только крайнее утомленіе слишкомъ ретиваго бойца. Чтобы успѣть хоть въ чемъ-нибудь, надо непременно взять себѣ какую-нибудь отдѣльную задачу и заняться добросовѣстно ея разрѣшеніемъ, не кидаясь по сторонамъ и не хватаясь съ безразсудной жадностью за все мелкія проявленія зла, которыя ежеминутно попадаются на встрѣчу каждому цивилизованному европейцу. Когда мальчикъ такимъ образомъ окончательно выяснилъ себѣ свою отдѣльную задачу и когда онъ серьезно принялся за свою спеціальную работу, тогда мы можемъ сказать о немъ, что онъ сдѣлался зрѣлымъ мужчиной. Этотъ зрѣлый мужчина, встрѣчаясь съ какимъ-нибудь проявленіемъ нелѣпости, говоритъ самому себѣ совершенно спокойно: знаю я эту штуку, и корень ея знаю, и работаю я противъ нея такъ и такъ. А негодовать я не намѣренъ, да и разучился я заниматься этимъ пустымъ дѣломъ. Негодованіе есть мимолетный взрывъ чувства, а я вовсе не намѣренъ тратить мое чувство на пусканіе такихъ мыльныхъ пузырей. Мое чувство есть сила, приводящая въ движеніе весь мой организмъ, и эта сила приложена навсегда къ той работѣ, которую я себя выбралъ. Чувство негодующихъ людей есть то крошечное количество пара, которое, чортъ знаетъ зачѣмъ, поднимается къверху крышку кипящаго самовара. А мое чувство есть тотъ-же паръ, но только проведенный въ такую благоустроенную машину, которая поднимаетъ тяжести и вертитъ колеса.

Нехлюдовъ, разумѣется, остановился навсегда въ положеніи самовара, фыркающаго очень громко и совершенно безтолково. Ему сдѣлалось очень досадно, зачѣмъ обитатели Швейцгергофа не дали денегъ странствующему пѣвцу. Ну, что-жъ съ ними дѣлать? Вѣдь подъ судъ ихъ отдать за это нельзя? Значитъ, надо было только наградить обиженнаго пѣвца, то-есть заплатить ему разомъ столько, сколько онъ могъ ожидать отъ всѣхъ своихъ слушателей. Нарушенная справедливость была-бы совершенно восстановлена, но Нехлюдовъ не можетъ поступить такимъ образомъ, потому что это было-бы слишкомъ просто. Онъ догоняетъ уходящаго пѣвца и приглашаетъ его выпить вмѣстѣ съ нимъ бутылку вина. Что-жъ? И это не дурно. Но дурно то, что Нехлюдову тотчасъ приходится въ голову устроить, посредствомъ этой выпивки, какую-то демонстрацію въ пику и въ назиданіе жестокосердымъ и скупымъ обитателямъ Швейцгергофа. Вотъ это ужъ никому не годится, потому что такая демонстрація вовсе не пріятна для пѣвца и не полезна ни для кого на свѣтѣ. Пѣвецъ предлагаетъ Нехлюдову войти въ простую распивочную лавочку, но Нехлюдовъ, по своей дурацкой фантазіи, тащитъ смущеннаго пѣвца въ настоящій Швейцгергофъ. Это значитъ: пляши по моему дудкѣ, потому что я — русскій баринъ и потому что я тебя

холю, угощаю. Это какъ нельзя больше напоминаетъ мнѣ Ситникова, который кричитъ на мужиковъ: «надѣньте шапки, дураки!». Шапки они должны надѣвать потому, что Ситниковъ — прогрессистъ; а дураками они оказались потому, что Ситниковъ — баринъ. — Приходятъ въ Швейцаргофъ. Ихъ отводятъ въ залу для простого народа, и тутъ начинается геройская борьба Нехлюдова противъ аристократизма, воплотившагося на этотъ вечеръ въ лакеяхъ блестящей гостиницы. Нехлюдову предлагаютъ простого вина, но онъ, «стараясь принять самый гордый и величественный видъ», требуетъ «шампанскаго и самаго лучшаго». Подаютъ шампанское, и вмѣстѣ съ шампанскимъ приходятъ два лакея посмотреть на потѣшное представленье, которое даромъ разыгрывается нашъ полоумный соотечественникъ. «Два изъ нихъ сѣли около судомойки и, съ веселой внимательностью и кроткой улыбкой на лицахъ, любовались на насъ, какъ любятъ родители на милыхъ дѣтей, когда они мило играютъ». Соотечественникъ нашъ чувствуетъ себя смущеннымъ, но утѣшаетъ себя той мыслью, что путь добродѣтели всегда усыпанъ колючими терниями. «Хотя, — говоритъ онъ, — мнѣ было и очень тяжело и неловко подъ огнемъ этихъ лакейскихъ глазъ бесѣдовать съ цѣвцомъ и угощать его, я старался дѣлать свое дѣло сколько возможно независимо.» Это признаніе доказываетъ намъ, что наши соотечественники тратятъ за-границей на бесполезные подвиги не только свои деньги, но и свою энергію. Враги нашего соотечественника сдвигаютъ свои силы. «Швейцаръ, не снимая фуражки, вошелъ въ комнату и, облокотившись на столъ, сѣлъ подлѣ меня. Это послѣднее обстоятельство, задѣвъ мое самолюбіе и тщеславіе, окончательно взорвало меня и дало исходъ той давившей злобѣ, которая весь вечеръ собиралась во мнѣ... Я совсѣмъ озлился той кипящей злобой негодованія, которую я люблю въ себѣ (странный вкус!), возбуждая даже, когда на меня находить (самъ сознается, что *на него находитъ*), потому что она успокоительно дѣйствуетъ на меня и даетъ мнѣ хоть на короткое время какую-то необыкновенную гибкость, энергію и силу всѣхъ физическихъ и моральныхъ способностей.» (На счетъ *моральныхъ способностей* позволю себѣ выразить сомнѣніе, потому что, какъ мы увидимъ дальше, онъ совершенно подавляется и помрачается той *кипящей злобой негодованія*, которую онъ *любитъ и даже возбуждаетъ въ себѣ*.) Вскипѣвшій самоваръ-Нехлюдовъ тотчасъ изливаетъ на преступныхъ лакеевъ потоки глупой, но язвительной рѣчи. — «Какое вы имѣете право смѣяться на этомъ господиномъ сидѣть съ нимъ рядомъ, когда онъ — гость, а вы — лакеи? Отчего вы не смѣ-
надо мной нынче за обѣдомъ (лакеи могъ
что отвѣчать: я тогда еще не зналъ, шутъ гороховой) и не сажались со

мной рядомъ? Оттого, что онъ бѣдно одѣтъ и поестъ на улицѣ, а на мнѣ хорошее платье? Отъ этого? Онъ бѣденъ, но въ тысячу разъ лучше васъ, въ этомъ я увѣренъ; потому что онъ никого не оскорбилъ, а вы оскорбляете его. — Да я ничего, что вы, — робко отвѣчалъ мой врагъ-лакей. — Развѣ я мѣшаю ему сидѣть? — Лакей не понималъ меня, и моя нѣмецкая рѣчь пропала даромъ.» Послѣднее предложеніе Нехлюдова совершенно несправедливо. Судя по отвѣту лакея, можно утверждать, напротивъ того, что онъ превосходно понималъ и даже разбилъ на голову нашего свирѣпаго оратора. Вѣдь въ самомъ дѣлѣ вся рѣчь Нехлюдова имѣла-бы хоть какой-нибудь смыслъ только въ томъ случаѣ, когда-бы лакей мѣшалъ пѣвцу сидѣть. А иначе Нехлюдовъ попадаетъ въ безвыходное противорѣчіе. Ставя уличнаго пѣвца на ряду съ блестящими гостями Швейцаргофа, онъ уничтожаетъ сословныя перегородки, а потомъ онъ тотчасъ во имя этихъ уничтоженныхъ перегородокъ кричитъ на лакеевъ и приказываетъ имъ встать. Это еще гораздо глупѣе ситниковскаго восклицанія: «надѣньте шапки, дураки!» — Кромѣ того само собой разумѣется, что эта сцена испортила пѣвцу все удовольствіе выпивки. Онъ самымъ жалобнымъ образомъ начинаетъ проситься домой, но Нехлюдовъ только что вошелъ въ настоящій вкусъ той кипящей злобы негодованія, которой онъ любитъ угощать самого себя. Онъ съ сильнымъ нахальствомъ тащитъ бѣднаго пѣвца на новыя мытарства. Выпилъ, дескать, каналья, такъ утѣшай барина до самаго конца. Соотечественникъ нашъ требуетъ, чтобы его вмѣстѣ съ пѣвцомъ вели въ парадную залу. Въ рѣчи, которую онъ произноситъ по этому поводу, есть и политика, и нравственная философія, и поэтическіе образы, и арифметическія соображенія. «И отчего вы привели меня съ этимъ господиномъ въ эту, а не въ ту залу? А? — допрашивалъ я швейцара, ухвативъ его за руку съ тѣмъ, чтобы онъ не ушелъ отъ меня. — Какое вы имѣли право по виду рѣшать, что этотъ господинъ долженъ быть въ этой, а не въ той залѣ? Развѣ, кто платитъ, не все равны въ гостиницахъ? Не только въ республикѣ, но во всемъ мірѣ. Паршивая ваша республика!.. Вотъ оно равенство. Англичанъ вы бы не смѣли провести въ эту комнату, тѣхъ самыхъ англичанъ, которые даромъ слушали этого господина, то-есть украли у него каждый по нѣскольку сантимовъ, которые должно были дать ему. Какъ вы смѣли указать эту залу?»

Если вы представите себѣ, что вся эта бурда хорошихъ словъ была вылита на голову несчастнаго швейцара, котораго держатъ за руку, чтобы онъ не ушелъ, то вы вѣроятно согласитесь, что можетъ — быть никогда еще тупѣе несправимаго фразера или безтолковаго идеалиста не являлся передъ вами въ болѣе смѣшномъ и печальномъ положеніи. — Не забудьте,

что это положеніе вытекаетъ самымъ естественнымъ образомъ изъ всѣхъ, уже извѣстныхъ намъ подробностей о воспитаніи и изъ прежней дѣятельности Нехлюдова, не забудьте, что мы, по повѣстямъ Толстого, можемъ прослѣдить шагъ за шагомъ формированіе этого страшно-болѣзненного характера, не забудьте всего этого, говорю я, и тогда только вы убѣдитесь въ томъ, что повѣсти Толстого дѣйствительно заслуживаютъ самаго внимательнаго изученія. — Нехлюдовъ одерживаетъ побѣду надъ лакеями и входитъ триумфаторомъ въ парадную залу. «Зала была дѣйствительно отперта, освѣщена и за однимъ изъ столовъ сидѣли, ужиная, англичанки съ дамой. Несмотря на то, что намъ указывали особый столъ, я съ грязнымъ пѣвцомъ подходилъ къ самому англичанину и велѣлъ сюда подать намъ неконченную бутылку.» Нехлюдовъ злится на англичанъ за ихъ чванство и за то, что они ничего не дали пѣвцу. Онъ хочетъ имъ сдѣлать какую-нибудь неприємность и для этого пускаетъ въ ходъ своего пѣвца, какъ комокъ грязи, который онъ кладетъ чуть-чуть не на тарелку ужинающихъ англичанъ. Англичане очень неправы; съ ихъ стороны очень неохватно брезгать человѣкомъ, потому что этотъ человѣкъ бѣденъ. Но Нехлюдовъ, вступающійся за этого бѣднаго человѣка, унижаетъ и тиранитъ его еще гораздо сильнѣе; вы представьте себѣ только, каково должно быть положеніе пѣвца, котораго превратили такимъ образомъ въ пассивное орудіе, и притомъ — въ орудіе наказанія. Его присутствіемъ наказываютъ другихъ людей; согласитесь, что трудно вообразить себѣ что-нибудь глупѣе и мучительнѣе его роли, и Нехлюдовъ самъ сознается, что бѣдный пѣвецъ сидѣлъ въ парадной залѣ «ни живъ, ни мертвъ» и торопливо допилъ все, что оставалось въ бутылкѣ, лишь-бы только поскорѣе выбраться вонъ. А тѣ англичане, которыхъ Нехлюдовъ хотѣлъ наказывать, разумѣется, тотчасъ-же ушли изъ залы, такъ что вся мучительная неприємность положенія обрушилась исключительно на несчастную причину торжества, то-есть на бѣднаго пѣвца, которому Нехлюдовъ хотѣлъ сначала доставить удовольствіе.

Вѣдь есть-же въ самомъ дѣлѣ такіе люди, у которыхъ мысль не можетъ ни на минуту остановиться на одномъ предметѣ и которые вслѣдствіе этихъ изумительныхъ скачковъ своей мысли не могутъ довести до конца самаго простаго дѣла. И всего замѣчательнѣе въ психологическомъ отношеніи то обстоятельство, что многіе изъ этихъ полупомѣшанныхъ людей, дѣлая поразительныя глупости каждый божій день, съ раннего утра до поздней ночи, въ то-же время никакъ не могутъ быть названы глупыми людьми. Надѣлавъ множество неглупостей, эти господа сами начнутъ разбирать свое диковинное дѣло и обнаруживать въ своемъ анализѣ такъ много наблюдательности, тонкаго юмора и безпощад-

ной проли на своихъ собственныхъ ошибкахъ, что вы будете вслушиваться въ ихъ рѣчи съ самымъ напряженнымъ вниманіемъ и съ самымъ сознательнымъ сочувствіемъ. Тотъ самый Нехлюдовъ, который держалъ швейцара за руку, чтобы пожаловаться на паршивость люцернской республики, — тотъ самый Нехлюдовъ, говорю я, черезъ нѣсколько минутъ послѣ ухода несчастнаго пѣвца называетъ свою *княжскую злобу негодования* — дѣтской и глупой. Тотъ самый Нехлюдовъ описываетъ весь этотъ эпизодъ съ неподражаемымъ отбѣнкомъ грустнаго и задумчиваго юмора. И тотъ-же самый Нехлюдовъ на другой день навѣрное ухитрится сочинить новую неглупость, которая опять заставитъ его смѣяться и грустить надъ своей собственной изломанной и искривлявшейся особой.

Глупить и размышлять надъ сдѣланными глупостями, размышлять и потомъ опять глупить — вотъ все внутреннее содержаніе въ жизни людей, подобныхъ Нехлюдову. И нѣтъ такого сильнаго ума, который не пришелъ-бы къ тому-же самому безнадежному положенію, если онъ не воспитаетъ самого себя въ строгой школѣ положительной науки и полезнаго труда. Всѣ мы знаемъ давно, что человѣкъ — существо слабое, беспомощное и несчастное, пока онъ своими единичными силами пробуетъ бороться противъ силъ физической и органической природы, то-есть противъ стихій и противъ дикихъ животныхъ. И тотъ-же самый человѣкъ, соединяя свои силы съ силами другихъ людей, подчиняетъ себѣ воду и вѣтеръ, паръ и электричество, міръ растений и міръ животныхъ. Тотъ-же самый законъ, въ полномъ своемъ объемѣ, прилагается какъ нельзя лучше къ развитію и совершенствованію отдѣльнаго человеческого ума. Умъ нашъ не можетъ развернуться правильно, онъ не можетъ даже оставаться крѣпкимъ и здоровымъ, если мы не будемъ соединять силы нашего ума съ умственными силами другихъ людей. Въ общечеловѣческой наукѣ соединяются всѣ умственные силы всѣхъ отжившихъ и всѣхъ живущихъ поколѣній, и поэтому искать себѣ умственнаго развитія *внѣ* науки — значитъ обрекать свой умъ на уродливое, мучительное и неизлечимое безсиліе. Въ этой мысли нѣтъ рѣшительно ничего новаго, но повторять и даже доказывать ее все еще необходимо. Мы были-бы очень умными и очень счастливыми людьми, еслибы многія старыя истины, обратившіяся уже въ пословицы или украшающія собой наши азбуки и прописи, перестали быть для насъ мертвыми и избитыми фразами. Слова наши часто бываютъ очень хорошими словами, но въ томъ-то и горе наше великое, что они навсегда остаются словами, и что мы сами уже давно къ нимъ прислушались и, потерявши всякое довѣріе къ пустому звуку, забыли въ то-же вѣ-

вѣчно живую и вѣчно

1865.

РОМАНЪ КИСЕЙНОЙ ДѢВУШКИ.

(Повѣсти, рассказы и очерки Н. Г. Помяловскаго. Два тома. Спб. 1865 г.)

I.

Двѣ главныя повѣсти Помяловскаго: «Мѣщанское Счастье» и «Молотовъ», связаны между собой личностью героя, Егора Ивановича Молотова.

Въ первой повѣсти Молотовъ является 22-х-лѣтнимъ юношей, только что окончившимъ курсъ въ университетѣ. Во второй—33-х-лѣтнимъ мужчиной, достаточно ознакомившимся съ практической жизнью. По своему характеру и по общему складу своей дѣятельности, Молотовъ очень похожъ на Штольца. Существенная разница между ними заключается въ томъ, что ихъ авторы смотрятъ на нихъ съ разныхъ точекъ зрѣнія. Гончаровъ смотритъ на Штольца снизу вверхъ, а Помяловскій на Молотова—сверху внизъ. Гончаровъ относится къ Штольцу съ восторженнымъ благоговѣніемъ, а Помяловскій къ Молотову—съ дружелюбнымъ и неоскорбительнымъ состраданіемъ. Гончаровъ говоритъ: «давай намъ Богъ такихъ людей, какъ Штольцъ», а Помяловскій говоритъ: «какъ жаль, что большинство хорошихъ людей принуждено оставаться въ положеніи Молотова!» Для Гончарова Штольцъ есть идеалъ, о которомъ едва позволительно мечтать. Для Помяловскаго Молотовъ есть *minimum*, на которомъ едва-ли позволительно останавливаться. Сами герои смотрятъ на себя такъ, какъ смотрятъ на нихъ ихъ творцы. Штольцъ сіяетъ самодовольствомъ: «Я-ли, дескать, не уменъ, я-ли не великъ, я-ли не полезенъ. Я—солъ земли и спаситель отечества.» Молотовъ, окончательно сформировавшійся, напротивъ того, тихъ, скромнень, утомленъ и грустенъ. Онъ самъ говоритъ, что его жизнь—честная чичиковщина. О соленіи земли и о спасеніи отечества онъ конечно и не заикается. Именно поэтому Штольцъ—деревянная кукла, а Молотовъ—живой человѣкъ. Деревянность Штольца происходитъ именно оттого, что Гончаровъ нечаянно вложилъ въ него внутреннее противорѣчіе. Штольцъ въ одно и то-же время и уменъ, и глупъ. Уменъ, потому что лихо устраиваетъ свои дѣла и пикантно рассуждаетъ о разныхъ психологическихъ тонкостяхъ. Глупъ, потому что усматриваетъ въ себѣ героя и лѣзетъ на пьедесталъ. И получается поэтому въ общемъ результатъ глупо-умная, то-есть невозможная

и деревянная фигура. А Молотовъ постоянно уменъ, и въ практическихъ дѣлахъ, и въ теоретическихъ разсужденіяхъ, и во взглядѣ на свою собственную личность. «Подлости я никакой не сдѣлалъ, — думаетъ онъ, — но мнѣ все-таки грустно и совѣстно быть только не мошенникомъ. Упрекать я себя ни въ чемъ не могу, но и радоваться, и гордиться мнѣ нечѣмъ. Молодымъ дѣтелямъ, которымъ быть-можетъ удастся совершить подвиги *положительной* честности и активной любви, я скажу только: друзья мои, не судите меня строго. Не считайте меня тунеядцемъ и рабомъ лѣнивымъ, зарывшимъ свой талантъ въ землю. Рассмотрите внимательно мою жизнь, поставьте себя на мое мѣсто, извѣсьте все—и размѣры моихъ силъ, и обстоятельства, и понятія моихъ современниковъ—и тогда вы чего добраго скажете, что я сдѣлалъ все, что могъ сдѣлать. И тогда вы можете-быть съ дружескимъ чувствомъ пожмете мою руку за то, что я всегда ѣлъ хлѣбъ, заработанный собственнымъ трудомъ. Трудъ мой рѣдко приносилъ пользу обществу, да вѣдь что-же съ этимъ дѣлать? Откуда взять такой трудъ, который былъ-бы дѣйствительно полезенъ? Стоитъ напимѣръ на улицѣ извозчикъ. Каждая копейка достается ему тяжелымъ и честнымъ трудомъ. Чтобы привезти вечеромъ домой какихъ-нибудь два цѣлковыхъ, сколько онъ въ день натерпится и отъ снѣга, и отъ пыли, и отъ дождя, и отъ вѣтра, и отъ мороза! А развѣ трудъ его дѣйствительно полезенъ для общества? Развѣ всѣ концы, сдѣланные извозникомъ, дѣйствительно были необходимы? Развѣ силы лошади и человѣка не тратились большей частью на то, чтобы возить праздношатающихся шалопаевъ къ другимъ праздношатающимся шалопаемъ, которые вовсе не желаютъ ихъ видѣть и которые тѣмъ не менѣе считаютъ своей обязанностью выражать въ подобныхъ случаяхъ притворную радость, неспособную обмануть даже маленькихъ дѣтей?—А вѣдь извозникъ тутъ все-таки ничѣмъ не виноватъ. — Вотъ и я,—продолжаетъ Молотовъ,—былъ постоянно точно такимъ-же извозникомъ. Титанъ, гений, сильный талантъ пробили-бы себѣ дорогу къ общепольному труду. Но я—не гений, не титанъ, даже не сильный талантъ. Я не могу и никогда не могъ сказать людямъ та-

кое слово, которое заставило бы ихъ глубоко задуматься или очнуться отъ глубокаго сна. Я просто неглупый и вълѣдствіе этого не подлый человѣкъ. И прошу я васъ, молодые дѣтели, только объ одномъ: поставьте меня въ вашемъ мнѣніи не выше и не ниже того извозчика, который возитъ шалопаевъ, но, несмотря на то, обращается совершенно честно и съ хозяиномъ, и съ сѣдоками, и съ лошадью. Героемъ я себя не считаю, на пьедесталъ не лѣзу, но уваженіемъ умныхъ и честныхъ людей дорожу.»

И дѣйствительно, никакіе молодые дѣтели будущего времени, никакіе титаны въ мірѣ не имѣютъ возможности смотрѣть съ презрѣніемъ на того обыкновеннаго человѣка, который, подобно Молотову, скромно признавая свою обыкновенность и понимая невозможность передѣлать обстоятельства обыкновенными и изолированными силами, сосредоточилъ все свое вниманіе на той простой задачѣ, чтобы совершенно честно прокормить свою собственную личность. Еслибы Штольцъ былъ возможенъ, то онъ былъ-бы смѣшонъ и гадокъ. Ему надо было-бы дать щелчокъ въ носъ, чтобы онъ слетѣлъ съ пьедестала, на который его суконное рыло не даетъ ему ни малѣйшаго права. Молотовъ, напротивъ того, совершенно возможенъ и очень симпатиченъ своей свѣтлой тихой грустью. Причина его грусти очень понятна. Онъ сознаетъ, что трудъ его бесполезенъ для общества. Онъ чувствуетъ, что при другихъ условіяхъ онъ могъ-бы приносить людямъ дѣйствительную пользу. Носоздать эти условія онъ не въ состояніи. Для этого нужно, чтобы общество, глубоко проникнутое инстинктивнымъ стремленіемъ къ новой жизни, воплотило эти стремленія въ гениальной личности; чтобы эта личность своей дѣятельностью сгруппировала и осмыслила разрозненные силы многихъ честныхъ и неглупыхъ людей, подобныхъ Молотову; чтобы эти соединенныя силы дружно взялись за работу и превратили инстинктивное стремленіе общества въ разумный планъ и въ живое дѣло. Тогда Молотовъ былъ-бы веселъ и счастливъ. Онъ бы могъ все-таки остаться-бы чернорабочимъ; но какое счастье быть чернорабочимъ въ томъ дѣлѣ, которое любишь, уважаешь и понимаешь во всѣхъ его подробностяхъ и послѣдствіяхъ! Кто читалъ превосходный романъ Шпильгагена «Два поколѣнія», тотъ, разумѣется, помнитъ чернорабочаго Кауса, который, сломавши себѣ правую руку, продержалъ лѣвой рукой корректуру длинной передовой статьи «in praesidentem». Въ каждомъ дѣлѣ такіе чернорабочіе дѣйствительно возможны. И каждому дѣлу такіе чернорабочіе безусловно необходимы.

II.

Помяловскій въ своихъ двухъ повѣстяхъ хотѣлъ показать, какимъ образомъ жизнь полегоньку щупаетъ ребра умному и развитому про-

летарію и какимъ образомъ пролетарій, опираясь исключительно на силы своего развитого ума, можетъ, несмотря на всѣ медвѣжьи лапки жизни, остаться свѣжимъ, неискалеченнымъ и неразвращеннымъ человѣкомъ. «Среда заѣла», «жизнь изломала», «обстоятельства погубили» — все это мы слышали много разъ, все это повторялось и кстати, и некстати такъ часто, что все это превратилось наконецъ въ совершенно вывѣтрившуюся и очень вредную фразу. Сначала слова эти произносились умными людьми, размышлявшими объ участи другихъ умныхъ людей, потрудившихся на своемъ вѣку и сошедшихъ въ преждевременную могилу, не сдѣлавъ въ жизни того, что они хотѣли и могли-бы сдѣлать при болѣе благоприятныхъ условіяхъ. Тогда эти слова имѣли смыслъ. Тогда человѣкъ, произносившій эти слова, зналъ очень досконально, путемъ наблюденія и даже личнаго опыта, что это за штука *среда*, и *жизнь*, и *обстоятельства*, и по какимъ причинамъ, и какими средствами, и для какой цѣли производится разныя *запданія*, *ломанія* и *погубленія* людей умныхъ и много потрудившихся на своемъ вѣку. Умные люди, произносившіе слова, всегда прилагали ихъ къ какому-нибудь третьему лицу, сошедшему со сцены. Но слова эти спустились въ низшіе слои умственнаго міра, и тогда — «пошла писать губернія». Определенный смыслъ словъ выдохся, и дряблые людишки стали этими словами заживо читать себѣ отходную. «Меня заѣла среда» — говорилъ какой-нибудь Ноздревъ, воротившись съ ярмарки съ опустошеннымъ карманомъ и съ ошипанными бакенбардами. «Меня изломала жизнь» — тоскливо произносилъ Тряпичкинъ, когда какая-нибудь редакция возвращала ему въ цѣлости толстыя кнѣзья его безграмотныхъ повѣстей и стихотвореній. «Меня погубили обстоятельства» — сладко и томно твердилъ лейтенантъ Жевакинъ, которому какая-нибудь Миликтриса Кирбитьевна наплевала за излишнюю предпріимчивость въ его тусклые, бараныя глаза. И уѣзды города, и резиденціи сельскихъ джентльменовъ на всемъ пространствѣ нашего обширнаго отечества переполнились людьми заѣденными, погубленными и изломанными, которые однако, несмотря на весь трагизмъ своего положенія, ѣли, пили, спали, жирѣли и тупѣли во всю свою волю.

О, достойные сограждане! О, филейныя части человѣчества! Развѣ вы чѣмъ-нибудь отличаетесь отъ среды, жизни и обстоятельствъ, на которыя вы такъ бессмысленно жалуетесь? И развѣ можетъ какая-нибудь сила въ мірѣ заѣсть, изломать или погубить то, что рыхло, мягко, дрябло и жирно, подобно вамъ? И какой-же человѣкъ, дѣйствительно способный почувствовать на своей особѣ медвѣжью лапу жизни, среды и обстоятельствъ, скажетъ когда-нибудь: *меня заѣли*, *изломали* или *погубили*? Самому признать себя заѣденнымъ, изломаннымъ и погубленнымъ — зна-

читать живо лечь въ могилу, значить бѣжать съ пашни на лежанку въ то время, когда работают сохи и бороны честныхъ и умныхъ сосѣдей, друзей и родственниковъ. Пока человекъ живъ, до тѣхъ поръ онъ борется и не признаетъ себя побѣжденнымъ; если онъ бѣдетъ—онъ трудится, то-есть борется съ своей бѣдностью; если онъ неучъ—онъ учится, то-есть борется съ своимъ невежествомъ; если онъ боленъ—онъ лечится, то-есть борется съ своей болѣзнию. Борьба продолжается до тѣхъ поръ, пока человекъ не одерживаетъ побѣды надъ своимъ врагомъ, или до тѣхъ поръ, пока онъ самъ не падаетъ замертво на полѣ сраженія. Въ первомъ случаѣ человеку не зачѣмъ говорить о своей изломанности или заѣденности; тутъ онъ самъ, напротивъ того, погубилъ, заѣлъ и изломалъ то, что мѣшало ему быть счастливымъ. А во второмъ случаѣ человеку, упавшему замертво, уже некогда осыпать свою могилу цвѣтами сочувственнаго краснорѣчія; надгробное слово произнесутъ надъ нимъ другіе люди. Такимъ образомъ люди умные и энергичскіе борются до конца, а люди пустые и никуда негодные подчиняются безъ малѣйшей борьбы всѣмъ мелкимъ случайностямъ своего бессмысленнаго существованія.

Надо сказать правду: люди исполнѣ умные и люди безнадежно пустые во всѣхъ человѣческихъ обществахъ почти одинаково рѣдки. Огромное большинство состоитъ вездѣ изъ людей посредственныхъ, которые съ одной стороны пороку не выдумаютъ, но съ другой стороны, по выраженію Щедрина, салныхъ свѣчъ не ѣдятъ, стекломъ не утираются. Эти люди могутъ быть дѣтельными или праздными, гуманными или жестокими, полезными или вредными, смотря по тому, въ какую сторону направляется въ данную эпоху господствующее теченіе идей. Ходячія фразы имѣютъ значительное вліяніе на это человеческое стадо, и важнѣйшая задача здоровой и честной литературы заключается именно въ томъ, чтобы всегда пускать въ обращеніе такіе фразы, которыя въ данную минуту могутъ дѣйствовать благотворно на умъ и на волю безцвѣтныхъ и несамостоятельныхъ людей, составляющихъ большинство. При этомъ надо умѣть во-время мѣнять эти фразы, чтобы онѣ не застывали и не покрывались плѣсенью. Это производное передвиженіе общепользныхъ фразъ составляетъ прямую обязанность беллетристики и часто литературной критики, то-есть тѣхъ отраслей словесности, которыя всего ближе прикасаются къ чувствамъ, интересамъ и условіямъ частной нравственности и будничной жизни.

Читатель не долженъ смущаться словомъ *фраза*. Каждая фраза появляется на свѣтъ, какъ формула или вывѣска какой-нибудь идеи, имѣющей болѣе или менѣе серьезное значеніе; только впоследствии, подъ руками безцвѣтныхъ личностей, фраза опошляется и превращается въ гряз-

ную и вредную тряпку, подъ которой скрывается пустота или нелѣпность. Даровитые писатели чувствуютъ тотчасъ, что формула выдохлась и что пора выдвинуть на ея мѣсто новый пароль.

Я показалъ въ началѣ этой главы, какими образомъ фразы о средѣ, о жизни и объ обстоятельствахъ, имѣвшія сначала глубокой смыслъ, превратились понемногу въ нелѣпность, прикрывающую собой лѣнь и негодность дряблыхъ тушеидцевъ. Помяловскій своимъ здоровымъ чувствомъ и свѣтлымъ умомъ понялъ какъ нельзя лучше, что пора поворотить потокъ фразъ въ другую сторону. До Помяловскаго эта потребность чувствовалась многими изъ нашихъ лучшихъ беллетристовъ. Самая полезная сторона въ дѣятельности Тургенева клонилась именно къ тому, чтобы изобразить внутреннее ничтожество нашихъ домашнихъ Гамлетовъ, праздно толкующихъ о вредномъ вліяніи жизни, среды и обстоятельствъ. Большая часть тургеневскихъ повѣстей говорить ясно и выразительно: тѣ люди, которые жалуются на свое безсиліе, никуда не годятся. Къ этому сужденію Помяловскій своими двумя повѣстями придалъ естественное продолженіе: а тѣ люди, которые на что-нибудь годятся, борются съ неблагоприятными обстоятельствами и по меньшей мѣрѣ умѣютъ отстоять противъ нихъ свое собственное нравственное достоинство.—И каждый здоровый и неглухой человекъ скажетъ на это съ полнымъ убѣжденіемъ: правда твоя, честный и даровитый труженикъ; правда твоя, бѣдный и забитый бурсакъ, умѣйший считать съ своего ума и съ своего чувства всю грязь, наложенную на нихъ бурсацкими разгами! И спасибо тебѣ, Помяловскій, за то, что ты сильнымъ и убѣдительнымъ своимъ словомъ заступился рѣшительно за святыню человеческой личности, въ силѣ которой усомнились слабые охотники оплакивать несовершенство жизни, среды и обстоятельствъ!

Человекъ—продуктъ среды и жизни, но жизнь въ то-же время вкладываетъ въ него активную силу, которая не можетъ быть мертвымъ капиталомъ для существа дѣятельнаго. Жизнь—дѣло въ высшей степени прогрессивное, и главныя двигательныя пружины ея прогресса сосредоточиваются въ мысляхъ и стремленіяхъ лучшихъ, то-есть самыхъ здоровыхъ и нормально организованныхъ представителей нашей породы. Поэтому, склоняясь передъ незыблемыми законами вѣчной природы, современный мыслитель продолжаетъ сознательно вѣровать въ преобразующія и обновляющія силы человѣческаго ума. Все должно быть такъ, какъ есть въ дѣятельности. Согласенъ. Но если я недоволенъ тѣмъ, что я вижу вокругъ себя, то и недовольство мое также должно быть и не можетъ не существовать. Если мое недовольство наводитъ меня на рядъ размышленій и поступковъ, то и размышленія, и поступки входятъ также въ об-

цій планъ природы. Стало-быть, сознавать необходимость всѣхъ явленій, совершающихся въ природѣ, совсѣмъ не значить складывать руки и погружаться въ факирское созерцаніе. Я — также явленіе: несли я чего-нибудь хочу, ищу, домогаюсь, тозачѣмъ-же стѣснять его естественныя стремленія?

III.

Помяловскій хотѣлъ представить въ Молотовѣ умнаго и развитога пролетарія безъ всякой прилипы сословныхъ элементовъ или предразсудковъ. Молотовъ—человѣкъ, совершенно оторванный отъ всякой почвы, у него—ни кола, ни двора, ни родныхъ, ни покровителей, совсѣмъ ничего нѣтъ, кромѣ умной головы и двухъ здоровыхъ рукъ. «А гдѣ же тѣлипы, —спрашиваетъ у себя Молотовъ,—подъ которыми прошло мое дѣтство? Нѣтъ тѣхъ липъ, да и не было никогда.» Молотовъ—сынъ бѣднаго мѣщанина, слесаря, одного изъ тѣхъ одинокихъ бобылей, которые очень нерѣдки въ сословіи ремесленниковъ. Жизнь его съ отцомъ шла не очень дурно. Отецъ былъ малый добрый, и маленькій Егорка не чувствовалъ передъ нимъ никакого рабочинаго страха. «Мальчишъ свободно относился къ отцу, точно взрослый, да и живетъ онъ дома не безъ пользы: онъ и въ лавочку сбѣгаетъ, и заказъ отнесетъ, съумѣетъ и кашу сварить, и инструментъ отточить, и пьянаго отца раздѣнетъ, спать уложить, да еще приговариваетъ:

«— Ну, ложись!... ишь ты нарёзался!..

«— Молчи, Егорка!

«— Ладно, не разговаривай, лежи себѣ.

«Вот въ подобныхъ случаяхъ выпадали тяжелыя минуты въ жизни Егорки. Иногда придетъ отецъ сильно пьяный, злой, непокладный, и ни съ того, ни съ другого поколотитъ сына.

«— Не озорничай, тятка!.. чортъ этакой!..
право чортъ!—отвѣчаетъ ему сынъ.

«— Врешь, каналья, врешь!.. Я тебя овчину-то патреплю...

«При этомъ отецъ ловить Егорку за вихоръ и обижаетъ его. На другой день отецъ все припомянуть: ему совѣстно, онъ не знаетъ, какъ и взглянуть на Егорку, какъ приступить къ нему. Отецъ молчать и сынъ молчать; у обоихъ лица пасмурныя. Подъ вечеръ, взглянувъ изъ подлѣбья, отецъ сказалъ:

«— Полно, Егорка; ну, тебя...

«— А! теперь и рожу въ сторону!... стыдно, шебось, стало?... а ты не дерись!..

«— Да ну, тебя...

« — Ишь нарѣзлся, на стѣны лѣзеть!

«Отец замолчалъ. Прошло нѣсколько мучительныхъ минутъ. Отецъ тяжело вздохнулъ на всю комнату. Егорка взглянулъ сердито и сказалъ:

«— Въ лавочку, что-ли, надо? давай! Чего молчишь-то? тутъ нечего молчать!

«Такая уступка со стороны Егорки служила шагомъ къ примиренію, и у отца отлегло отъ

сердца.» «Дѣтская жизнь Егора Ивановича,—говорить Помяловскій въ другомъ мѣстѣ,—совершалась въ грязи, въ бѣдности, а вотъ и теперь онъ вспоминаетъ ее съ добрымъ чувствомъ.» И не мудрено. Каждый читатель, непритупленный фразамигрошоваго либерализма, согласится, что отношенія между Егоркой и его отцомъ были такъ просты, естественны и здоровы, что они должны были дѣйствовать самымъ живительнымъ образомъ на первоначальное развитіе физическихъ и даже умственныхъ силъ дѣтскаго организма. Трепаніе овчины, разумѣется, не заключаетъ въ себѣ ничего прелестнаго и душе-спасительнаго, но вѣдь это вѣчто вродѣ дѣтняго дождя, совершенно неспособнаго превратить ясную погоду въ пасмурную. А общій колоритъ отношеній совершенно ясенъ и свѣтелъ. Хорошо въ нихъ именно отсутствіе педагогическихъ тенденцій. Отецъ совсѣмъ не воспитываетъ своего Егорку, не муштруетъ его, ничего ему не внушаетъ; онъ просто живетъ съ нимъ, кормитъ, одѣваетъ и защищаетъ его; а затѣмъ молодому организму, укрытому отъ слишкомъ тяжелыхъ столкновеній съ голодомъ, съ холодомъ, съ грубостью постороннихъ людей,—предоставляется полная свобода жить дѣйствительной жизнью, воспринимая «всѣ впечатлѣнія бытія», доступныя людямъ его соціальнаго положенія. Между жизнью и ребенкомъ нѣтъ той нелѣпой стѣны, которой тщательно обносятся со всѣхъ сторонъ благовоспитываемая дѣти. Егорка собственными глазами смотритъ на подробности своего быта, собственными ушами слушаетъ разные толки, умные и глупые, и собственнымъ, неспорченнымъ ребяческимъ разсудкомъ составляетъ себѣ понятія о томъ, что хорошо и что дурно, что полезно и что вредно, что правда и что вранье. Ошибается онъ часто, но ошибается самъ. Ни какой мудрый педагогъ не завязываетъ ему глазъ и не ведетъ его съ благими цѣлями къ такимъ ошибкамъ, которыя питомецъ рано или поздно непременно долженъ осмѣять и отвергнуть. Въ сердитую или пьяную минуту отецъ задаетъ Егоркѣ выволочку, но онъ никогда не унижаетъ его нравственнаго достоинства и не извращаетъ его самостоятельнаго сужденія непрошеннымъ и насильственнымъ вмѣшательствомъ въ процессъ его мысли. Онъ не требуетъ отъ Егорки, чтобы тотъ считалъ его образцовымъ человѣкомъ и непогрѣшимымъ авторитетомъ. Онъ самъ смиренно кается Егоркѣ въ своихъ грѣхахъ. «Отецъ бесѣдовалъ съ Егоркой, какъ со взрослымъ, разговаривалъ обо всемъ, что занимало его: поборанится-ли съ кѣмъ, получить-ли новый заказъ, болѣть-ли у него съ похмеля голова—все разскажетъ сыну.

«— Башка трещить, Егорка: вчера хватилъ лишнее. Выростешь, не пей много.

«— Я, татка, пиво буду пити...

«— И молодецъ!... ты у меня молодецъ вѣдь?»

«— Еще-бы? отвѣчаетъ сынъ.»

Отколотивши сына ни за что, ни про что, Иванъ Молотовъ не считаетъ себя правымъ и не требуетъ отъ Егорки, чтобы тотъ лобызалъ карающую десницу. Такіе побои не унижительны. Когда ребенокъ имѣетъ право дуться на своего отца и когда ему позволяется открыто выражать свое неодобрение и неудовольствие, тогда ребенокъ не озлобляется и не оподляется. Тятка его за вихорь, а онъ тятку въ глаза чортомъ выругаетъ: вотъ они и кивты; и къ вечеру опять начинается у нихъ дружелюбіе и глубокомысленныя бесѣды. Отецъ не смотритъ на себя, какъ на деспота *de jure*. Сынъ не смотритъ на себя, какъ на существо безправное и безгласное. Да и вообще, ни отецъ, ни сынъ никакъ не смотрятъ на себя. У нихъ нѣтъ никакой теоріи взаимныхъ правъ, обязанностей и отношеній. Они живутъ въ первобытномъ состояніи, безъ кодекса, и прекрасно дѣлаютъ, потому что кодексъ они при своей неразвитости составили-бы прескверный, а по натурѣ оба они—ребята добродушные и, стало-быть, неспособные постоянно нилить и обижать другъ друга. Хорошую теорію правъ, обязанностей и отношеній составить очень трудно, а плохая теорія гораздо хуже, чѣмъ полное отсутствіе всякой теоріи. А сынъ совершеннаго неуча, Ивана Молотова, несравненно свѣжѣе и счастливѣе, чѣмъ семейства богатыхъ и полуграмотныхъ кушцовъ, куралесящихъ въ драматическихъ произведеніяхъ Островскаго. Всѣ нищие духомъ, всѣ алчущіе и жаждущіе грязи, извѣстной подъ названіемъ почвы, возрадуются и начнутъ уличать насъ, озорниковъ и отрицателей, въ непоследовательности. «Вотъ видите, — скажутъ они, — вотъ и вы-же признаете въ русской жизни свѣтлыя явленія. Вотъ и вы-же находите, что воспитаніе Егорки, совершившееся въ русской бѣдности и въ русской грязи, было здорово и полезно для мальчика.»

Торжество нашихъ близорукихъ противниковъ будетъ очень непродолжительно и повернется тотчасъ противъ ихъ-же собственныхъ идей. Я нахожу воспитаніе Егорки здоровымъ и полезнымъ именно потому, что въ немъ нѣтъ никакихъ спеціально-почвенныхъ элементовъ. Чтò такое отецъ Егорки? Это — человѣкъ, который трудится цѣлый день, чтобы подъ вечеръ съѣсть горшокъ гречневой каши, и ѣстъ онъ горшокъ гречневой каши, чтобы потомъ опять, проспавши на голыхъ доскахъ нѣсколько часовъ, трудиться цѣлый день. — Если замѣнить горшокъ каши блюдомъ варенаго картофеля, да если кромѣ того дать въ руки Ивану Молотову менѣе допотопныя инструменты, то жизнь Молотова окажется похожей, какъ двѣ капли воды, на жизнь бѣднаго ирландца или бѣднаго нѣмца. Трудиться—чтобы ѣсть, ѣсть—чтобы трудиться, та-же исторія и завтра, и послѣ-завтра, и десятки лѣтъ *подъ рядъ* — съ этимъ, воля ваша, не разгу-

ляешься, и о созданіи какихъ-нибудь чисто-національных теорій и бытовыхъ формъ не станешь задумываться по той простой причинѣ, что некогда и что національныя теоріи нисколько не помогаютъ человѣку ни во время труда, ни во время пищеваренія. Человѣкъ начинаетъ систематизировать свои отношенія къ другимъ людямъ только тогда, когда у него является досугъ и когда его умственные силы не поглощаются безраздѣльно заботами о кускѣ хлѣба. Первые попытки систематизированія бывають обыкновенно такъ-же уродливы, какъ вообще всякія первыя попытки. Голый фактъ, самъ по себѣ очень безобразный, возводится безъ дальнѣйшаго анализа въ теоретическій принципъ и черезъ это становится еще безобразнѣе. Взрослый мужчина сильнѣе всѣхъ другихъ членовъ своего семейства и вслѣдствіе этого тузить ихъ кулакомъ или плетью. Когда начинается систематизированіе отношеній, тогда мужчина говоритъ: я имѣю право и на мнѣ лежитъ даже священная обязанность учить васъ, дураковъ. — Когда побои перестаютъ такимъ образомъ быть дѣломъ свободной фантазіи и принимаютъ на себя догматически-обязательный характеръ, тогда положеніе подначальныхъ членовъ семейства становится гораздо хуже прежняго, потому что малѣйшее возраженіе съ ихъ стороны и малѣйшая попытка защищаться вмѣняется имъ по теоріи въ преступленіе, заслуживающее усугубленнаго наказанія.

Я—не такой знатокъ русскаго быта, чтобы я могъ выдавать мои соображенія за достовѣрные факты, но мнѣ кажется, что систематическое порабощеніе женщинъ и дѣтей гораздо значительнѣе въ семейной жизни достаточнаго купечества, чѣмъ въ семейной жизни бѣдныхъ крестьянъ и мѣщанъ, принужденныхъ постоянно работать изъ за куска насущнаго хлѣба. Въ бѣдномъ семействѣ главная задача состоитъ постоянно въ томъ, чтобы общими силами бороться противъ голода и холода; жизнью бѣднаго семейства управляютъ не принципы, а ежедневныя толчки суровой необходимости. И мужъ, и жена, и дѣти—всѣ должны работать, и работать часто врознь; каждый членъ семейства является такимъ образомъ до нѣкоторой степени самостоятельнымъ производителемъ; онъ самъ выматриваетъ свои выгоды, самъ принаровляется къ обстоятельствамъ, самъ отвѣчаетъ за свои поступки. Трудъ иногда изнушаетъ его силы, но тотъ-же трудъ обезпечиваетъ за нимъ нѣкоторую долю неотъемлемой самостоятельности. Въ семействѣ русскаго капиталиста, крупнаго или мелкаго, еще нетронутаго общечеловѣческимъ образованіемъ, жизнь складывается иначе. Отецъ семейства кормитъ всѣхъ своихъ домочадцевъ процентами съ своего капитала и держитъ ихъ въ самой полной экономической зависимости. Кромѣ того кусокъ хлѣба всегда обезпеченъ, и

потому живутъ эти люди не такъ, какъ велѣтъ житейскія обстоятельства, а — такъ, какъ сами они считаютъ должнымъ и приличнымъ, то-есть — такъ, какъ жили отцы и дѣды. Поэтому жизнь достаточнаго русскаго челоѣка, не увлекшагося грѣховными прелестями лукаваго Запада, представляетъ собой самый грязный и самый мрачный уголокъ нашего отечественнаго быта. Тутъ нѣтъ ни физическаго труда, ни знанія, то-есть нѣтъ именно тѣхъ двухъ элементовъ, которые одни только и могутъ сохранить челоѣческую природу отъ полнѣйшей деморализаціи.

Тотъ слой нашего общества, который выведенъ на свѣжую воду комедіями Островскаго, составляетъ дѣйствительно самое темное пятно среди множества темныхъ явленій нашей народной жизни. Это — темное пятно именно потому, что въ немъ могли сохраниться въ полнѣйшей неприкосновенности принципы, выработанные русской жизнью и нашедшіе себѣ превосходное выраженіе въ извѣстномъ Домостроѣ попа Сильвестра. Въ этомъ темномъ пятнѣ цѣлуются и обнимаются славянофилы и почвенники; но, увы и хъ! Это темное пятно съ каждымъ десятилѣтіемъ становится меньше. Сверху на него давитъ европейская или общечелоѣческая наука; снизу его тормозятъ и подтачиваютъ запросы физическаго труда; то-есть, говоря проще, очень богатые капиталисты посылаютъ своихъ дѣтей въ университеты, а очень бѣдные поневолѣ берутся за ремесло и начинаютъ жить со дня на день, заботясь не столько о неприкосновенности дѣдовскихъ нравовъ, сколько о насыщеніи вопіющихъ желудковъ. Съ этимъ темнымъ пятномъ русской жизни совсѣмъ специально-скверными особенностями почвы воспитаніе Егора Молотова не имѣло ничего общаго. По смерти своего отца маленькаго Егорку взялъ къ себѣ на воспитаніе старый холостякъ, отставной профессоръ. Молотовъ проишелъ черезъ гимназію и черезъ университетъ и такимъ образомъ присоединился къ той небольшой горсти мыслящихъ пролетаріевъ, которые ничѣмъ не связаны съ почвой и которые по своему положенію и образованію могутъ относиться совершенно безпристрастно ко всему въ нашей общественной жизни.

IV.

Слишкомъ двадцать лѣтъ жизнь обращалась съ Молотовымъ довольно милостиво. Она не баловала его излишней роскошью, но и не томила его суровой нуждой. Помяловскому было необходимо обставить первую молодость своего героя такими благоприятными условіями. По размѣрамъ своихъ умственныхъ силъ, Молотовъ — челоѣкъ обыкновенный. Еслибы такой челоѣкъ съ дѣтства былъ поставленъ въ необходимость страдать и бороться за свою нравственную самостоятель-

ность, то онъ не выдержалъ-бы такой ранней и тяжелой борьбы; онъ превратился-бы въ челоѣка забитаго, притупленнаго и развращеннаго. Самъ Помяловскій вышелъ побѣдителемъ изъ своей четырнадцатилѣтней борьбы съ бурей, но для этого надо быть Помяловскимъ, да и Помяловскій, несмотря на атлетическое сложеніе своего тѣла и своего ума, вынесъ съ собой изъ бурсы роковое наслѣдство — бѣдную и неизлечимую печаль о потерянномъ времени и, что еще того хуже, несчастную привычку топить эти невыносимо-тяжелыя ощущенія въ простомъ винѣ. Но Помяловскій не хотѣлъ и не могъ мѣрить людей и жизни на свой аршинъ. Что могъ сдѣлать Помяловскій, то оказалось-бы по силамъ только немногимъ избраннымъ личностямъ. Еслибы Помяловскій въ лицѣ Молотова вздумалъ изобразить самого себя, то его произведеніе не имѣло-бы того практическаго смысла, который оно имѣетъ теперь. Тогда обыкновенные люди имѣли-бы право сказать, что жизнь Молотова ни въ какомъ отношеніи не можетъ служить имъ урокомъ и примѣромъ. Мы — люди маленькіе, сказали-бы они, а Молотовъ — воистиннѣ какой большой. Надо было непременно, чтобы Молотовъ былъ челоѣкомъ обыкновеннаго роста. Надо было, чтобы борьба съ жизнью началась для него только тогда, когда физическія и нравственныя его силы были уже совершенно сформированы.

Повѣсть «Мѣщанское Счастье» представляетъ именно первое суровое столкновеніе юнаго Молотова съ шероховатостями вседневной дѣйствительности. Въ «Мѣщанскомъ Счастьѣ» онъ узнаетъ на практикѣ двѣ житейскія истины: во-первыхъ, что поступками людей управляютъ въ общей сложности не чувства, а интересы, и, во-вторыхъ, что очень мягкій и любящій челоѣкъ можетъ иногда грубо и безжалостно наступить ногой на живое челоѣческое тѣло, способное чувствовать самую жгучую боль. — Первую истину выясняютъ ему помощникъ Обросимовъ и его супруга. Вторую — почерпаетъ онъ изъ своихъ отношеній къ *Кисейной дѣвушкѣ*, *Леночкѣ*. Дѣло Молотова съ семействомъ Обросимовыхъ чрезвычайно просто, и только на мягкаго двадцатилѣтняго юношу, совершенно непотертаго жизнью, оно могло произвести прочное впечатлѣніе. Молотовъ поступилъ къ Обросимову домашнимъ секретаремъ; его хозяйка, люди вовсе не грубые и не злые, обращались съ нимъ вѣжливо и ласково; Молотовъ съ искренностью, свойственной его лѣтамъ, привязался къ нимъ очень скоро и вообразилъ себѣ, что они тоже ужасно какъ любятъ его и видятъ въ немъ задушевнаго друга и почти родственника. На повѣрку-же выходитъ то, чего всегда слѣдовало ожидать. Обросимовы смотрятъ на него, какъ на наемника, изучаютъ внимательно и хладнокровно выгодныя и невыгодныя сто-

роны его характера, критикуютъ въ своемъ кругу его привычки, держать съ нимъ ухо остро и тщательно наблюдаютъ за тѣмъ, чтобы онъ исполнялъ за свое ничтожное жалованье какъ можно больше разнообразнѣйшихъ порученій, за которыя Молотовъ, по своей юношеской наивности, берется даже съ особеннымъ удовольствіемъ, усматривая въ этихъ порученіяхъ доказательства дружеской безцеремонности и откровенности. — Одинъ простой разговоръ между помѣщикомъ и помѣщицей, печально услышанный Молотовымъ, разрушилъ совершенно въ его глазахъ фантастическую идиллію обросимовскаго дружельюбія. Выписываю отрывокъ изъ этого очень безобиднаго діалога.

«— Они, я говорю, — образованный народъ, продолжала жена: — но все-таки народъ черноработчій, и все какъ будто подачки ждутъ...

— Что-же? можно сдѣлать ему подарокъ какой-нибудь. Онъ стоитъ того.

— Я думаю, часы подарить...

— Это привяжетъ его.. А что ни говори, жена, — эти плебеи, такъ или иначе пробивающіе себѣ дорогу, вотъ сколько я ни встрѣчалъ ихъ, удивительно дѣльный и умный народъ... Семинаристы, мѣщане, весь этотъ мелкій людъ — всегда способные, ловкіе господа.

— Ахъ, душенька, всѣ голодные люди умные... Ты — дворянинъ, тебѣ не нужно было правдой и неправдой насущный хлѣбъ добывать; а этотъ народецъ изъ всего долженъ выжимать копейку. И посмотри, какъ онъ ѣсть много. Намъ, разумеется, не жаль этого добра; но... постоянный его аппетитъ обнаруживаетъ въ немъ плебея, человека, воспитаннаго въ черномъ тѣлѣ и невиданнаго порядочнаго блюда... Не худо-бы подарить ему, душенька, голландскаго полотна, а то, представь себѣ, по буднямъ манишки носить, — вѣдь неприлично!...

— Я не замѣчалъ этого...

— Гдѣ-жъ вамъ, мужчинамъ, замѣтить...

— О бѣдность, бѣдность! — сказала со вздохомъ Обросимовъ.

Разговоръ этотъ замѣчательнъ во многихъ отношеніяхъ. Но прежде чѣмъ я буду разсматривать его въ подробностяхъ, я замѣчу мимоходомъ, что не только Молотовъ, но даже самъ Помяловскій смотритъ на этотъ разговоръ не совсемъ вѣрно. Юный Молотовъ обидѣлся, захандрилъ, укротилъ свой демократическій аппетитъ и даже вскорѣ послѣ того уѣхалъ отъ Обросимовыхъ. Это все понятно. Молотовъ пылалъ любовью и уваженіемъ къ Обросимову и вдругъ вмѣсто взаимности увидѣлъ въ перспективѣ кусокъ голландскаго полотна и часы. И пришлось юношѣ, влюбленному въ добродѣтельнаго помѣщика, сказать вмѣстѣ съ Шиллеромъ:

«Er ist dahin, der süsse Glaube
An Wesen, die mein Traum gebär,
Der rauhen Wirklichkeit zum Raube,
Was einst so schön, so göttlich war.»

(Она погибла, сладкая вѣра въ существа, порожденныя моею мечтой, и добычей суровой дѣйствительности сдѣлалось то, что было такъ прекрасно, такъ божественно.) Все это понятно. Но странно то, что слишкомъ десять лѣтъ спустя

опытный и разсудительный мужчина Молотовъ, припоминая этотъ случай, говоритъ: помѣщикъ оскорбилъ меня, приходилось оставить мѣсто. Въ сущности оскорбленія не произошло ни малѣйшаго; помѣщикъ оказался только не «прекраснымъ» и не «божественнымъ», и добродѣтели этого помѣщика, сочиненныя самимъ Молотовымъ, сдѣлались, подобно шиллеровскимъ идеаламъ, «добычей суровой дѣйствительности». А вѣдь разочарованіе и оскорбленіе — двѣ вещи совершенно различныя. Изъ нѣкоторыхъ очень умныхъ разсужденій Помяловскаго видно, что онъ выводитъ слова Обросимовыхъ изъ артефактизма, барственной спѣси, неразвитости и слабоумія. Но мнѣ кажется, что причины изъ страннаго взгляда на Молотова лежатъ глубже. Такой взглядъ неизбѣженъ вездѣ, гдѣ одинъ ловкѣкъ нанимаетъ или, другими словами, *покупаетъ на время* другого человека.

Весь разговоръ между Обросимовымъ и его женой вытекаетъ естественно и неизбѣжно изъ того обстоятельства, что Обросимовъ — наниматель, а Молотовъ — наемникъ. И будь Обросимовъ умнѣ перваго финансиста въ мірѣ, мастера Гладстона, все-таки онъ могъ-бы говорить съ своей женой о Молотовѣ такъ, какъ онъ говорилъ въ повѣсти Помяловскаго. Обросимовъ долженъ непремѣнно думать о Молотовѣ такъ: «Я тебя, другъ любезный, купилъ и въ извѣстные сроки аккуратно плачу тебѣ деньги за твою же собственную особу. Ты — малый ловкій; с одной стороны это хорошо, но съ другой стороны это опасно. Хорошо потому, что купленный мною товаръ вслѣдствіе этого оказывается годнымъ на всякую подѣлку. Опасно потому, что этотъ ловкій и юркій товаръ можетъ ежеминутно выскользнуть у меня изъ рукъ. Ты, о товаръ, можешь надуть меня, ты можешь слишкомъ много отдыхать, отлынивать отъ работы и въ то-же время отводить мнѣ глаза твоей злобной ловкостью. Ты, о товаръ, повидимому чувствуешь ко мнѣ симпатію. Но я — не дуракъ. Я знаю, зачѣмъ ты обнаруживаешь это чувство. Ты собираешься ускользнуть у меня изъ рукъ, ты начинаешь отводить мнѣ глаза, ты хочешь подвести подковы подъ мое чувствительное сердце, чтобы я, распустивши юнны, не мѣшалъ тебѣ бить баклуши и провозвелъ тебя изъ купленныхъ товаровъ въ полноправные человѣки. О, шельма ты, шельма! Ловкость твоя мнѣ пригодится. На тебѣ гривенникъ на водку и ступай, бестія, работать!»

Мы знаемъ уже, что въ исторіи Молотова *гривенникъ на водку* принялъ на себя облагоустроенный видъ голландскаго полотна и часовъ. И все-таки я утверждаю, что во всѣхъ размышленіяхъ Обросимова нѣтъ ничего оскорбительнаго для Молотова. Тутъ нѣтъ столкновенія личностей; тутъ сталкиваются только двѣ отвлеченныя величины — наниматель и наемникъ. Ни-

Молотовъ какое-нибудь разумное основательство себя, именно себя, обиженнымъ, тѣмъ нѣтъ обращаются не хуже, чѣмъ со остальными честными и умными людьми, ценными въ его положеніе? По моему мнѣнію нѣтъ. Онъ обидѣлся, потому что былъ живши-же до зрѣлаго возраста, онъ-бы былъ осудить безусловно строй отношеній и оправдать также безусловно личность юна.

Разговоръ Обросимова съ женой любопытныя черты: во-первыхъ, замѣчаніе о сильномъ аппетитѣ плебея; во-вторыхъ, восклицаніе помѣщика: «о бѣдность, бѣда, вырвавшееся у него по поводу молодости манишекъ. Есть на свѣтѣ люди, для которыхъ бѣдность — симптомъ вонючей бѣды. Какое, думать такіе люди, этотъ гость со мной за однимъ столомъ, разговаривать со мной, какъ съ равнымъ, и вдругъ — нѣтъ голландскаго бѣлья. О, бѣдный, о, несчастный человекъ! И какъ близко мы, бабсудьбы, сталкиваемся въ жизни съ этой нищетой!

Трогательная филантропія по поводу ма-показываетъ очень наглядно, до какой праздной богатъ можетъ одурѣть и извѣстна и до какой замѣчательной искусственности можетъ довести весь свой образъ жизни законы природы никогда не нарушаются. Замѣчаніе помѣщицы о плебей-аппетитѣ даетъ намъ понятіе о неизбежномъ наказаніи. Аппетитъ убавляется, силы гъ, здоровье слабѣетъ, породе мельчае-тъ въ тѣхъ людяхъ, которые постоянно нуть, не производя ровню ничего и не сь никогда живительными волнами фи-го и умственного труда. Это — явленіе ественное.

V.

Молодой небогатой сосѣдки Обросимовыхъ есть олодая дѣвушка, Леночка. Эта барышня ушно заигрываетъ съ Молотовымъ и безъ задней мысли пишетъ къ нему нѣжное въ которомъ ни съ того, ни съ сего на-тъ ему любовное свиданіе. Письмо напи-тъ: «Егоръ Ивановичъ! У васъ есть чувство, завтра въ 6 часовъ придите на рѣку къ дѣ вечеромъ и здѣсь встрѣтите даму и, обите, узнаете ее; а если нѣтъ, я оста-гробъ вѣрная вамъ и любящая.» Под-тъ. Молотовъ, юный и застѣнчивый, по-ся этимъ письмомъ въ величайшее недо-Молодое воображеніе разыгрывается, хо-ая безтолковость письма и фатальныя погробъ вѣрная и любящая» значительно-тъ его порывы. Онъ приходитъ къ назна-мѣсту очень сконфуженный и конфу-

зится еще сильнѣе, увидѣвъ Леночку, которая съ своей стороны уже и сама не рада собственной смѣлости. Выходитъ уморительная сцена. Не-винные любовники ведутъ между собой солидный разговоръ о достоинствахъ погоды и затѣмъ рас-ходятся по домамъ, не сказавши другъ другу ни слова о письмѣ и о томъ, зачѣмъ они встрѣ-тились.

«Странно было смотрѣть на молодыхъ людей. Леночка не менѣе Молотова боялась разговора о письмѣ. Она лишь только увидѣла Егора Ивановича, ей страшно стало за свой легкомысленный по-ступокъ, который она, кажется, сдѣлала такъ, просто, по птичьей... «Леночка теперь сама по-няла, что слѣдовало-бы надрать ей хорошенькое ея ушко... «Она чуть не плакала и въ первую минуту едва не сказала:

— Егоръ Ивановичъ, не говорите мамашѣ... я больше не буду.» Но увидѣвъ, что Молотовъ едва-ли не больше ея струсилъ, она сказала себѣ: «онъ не страшный, онъ такой добрый», и рада была, что Молотовъ не говоритъ ничего о письмѣ. Теперь она была спокойна.

Егоръ Ивановичъ наклонился и сорвалъ цвѣ-токъ.

— Дайте мнѣ цвѣтокъ, — сказала Леночка.

— Извольте.

— Это мнѣ на память.

— Развѣ нельзя помнить безъ цвѣтка?

Молотовъ сорвалъ другой цвѣтокъ. Леночка опять:

— Дайте мнѣ цвѣтокъ.

— И этотъ на память?

— Дайте-же, — сказала Леночка строго, вы-рвала неожиданно цвѣтокъ и ударила имъ по рукѣ Молотова. Все это сдѣлалось какъ-то ужъ очень наивно. Оба засмѣялись.»

Славная дѣвчонка эта Леночка! Она не ловитъ себѣ жениха, она не кокетничаетъ съ Молото-вымъ. Она именно заигрываетъ съ нимъ, какъ здоровая дѣвушка, въ которой близость здороваго и красиваго мужчины возбуждаетъ радостное вол-неніе. Совершенная непосредственность и непод-крашенность простого физіологическаго влеченія составляетъ весь секретъ ея граціи. Въ изобра-женіи этой женской фигуры Помяловскій яв-ляется чистымъ натуралистомъ. Базаровъ гово-рить о Феничкѣ: «чего ей стыдиться? Она — мать, стало-быть, и права.» Помяловскій смотритъ на Леночку совершенно такъ, какъ Базаровъ на Фе-ничку. Леночка и не развита, и не умна, и не сіяетъ никакими особенными добродѣтелями. Это просто живой и здоровый организмъ, и Помя-ловскій откровенно любитъ этимъ превосход-нымъ произведеніемъ природы; и нельзя не лю-боваться. Здоровому человѣку свойственно лю-бить жизнь во всѣхъ ея неизуродованныхъ про-явленіяхъ. А когда здоровый человѣкъ стано-вится мыслящимъ человѣкомъ, тогда любовь къ міровой жизни дѣлается еще сильнѣе, потому что онъ получаетъ возможность изучать то, чѣмъ онъ прежде безсознательно любовался. Тургеневъ любить свою Асю. Помяловскій любитъ свою Ле-ночку. Но Тургеневу, чтобы полюбить Асю, бы-ло необходимо сдѣлать изъ нея какое-то особен-

ное, странное, оригинальное и, мнѣ кажется, полу-фантастическое существо. Ему необходимо было окружить ее развалинами прибрежскихъ замковъ, сдѣлать изъ нея эффектную дикарку и показать читателю, что въ ея нетронутыхъ утѣхъ таятся богатые задатки будущаго развитія. Словомъ, мы имѣемъ тутъ дѣло «съ высшей натурой» (*une nature d'élite*), и Тургеневъ ни подъ какимъ видомъ не позволилъ-бы своей Асѣ написать безграмотное *billet-doux* съ подписью «по гробъ вѣрная и любящая». Его покорило бы отъ этой тривиальности, похожей на поэзію конфектныхъ билетиковъ. Помяловскій, напротивъ того, какъ реалистъ по складу своихъ убѣжденій и какъ совершенно послѣдовательный плебей, не дѣлитъ людей на высшія и низшія натуры, на дюжинныя и недюжинныя, на пошлыя и изящныя. Онъ совершенно безстрашно подходитъ къ самой мелкой, самой будничной прозѣ жизни, даже не къ сермяжнымъ ея явлениямъ, — сермяга имѣетъ въ себѣ своего рода эффектность, — а къ ситцевымъ и къ кисейнымъ; и даже тутъ его неисчерпаемая любовь къ жизни вообще и къ человѣку въ особенности не измѣняетъ себѣ ни на минуту. Леночка вовсе не дикарка. Она — чисто одѣтая и гладко причесанная барышня. Она нисколько непохожа на пушкинскую Татьяну. Это не тихій омутъ, въ которомъ черты водятся. Она совсѣмъ не отличается тишиной, и нѣтъ ни малѣйшаго основанія подозревать въ ней присутствіе какихъ-нибудь чертей. Она вся какъ на ладони, и ее чрезвычайно легко понять съ перваго взгляда. Такіе характеры обыкновенно рисуются художниками на второмъ планѣ только для того, чтобы отъѣнить контрастомъ натуру высокую, изящную, глубокую, тихую и наполненную скрытыми чертами. Леночка похожа на сестру Татьяны, Ольгу, о которой говорить Онѣгинъ:

«Бѣла, кругла лицомъ она,
Какъ эта глупая луна
На этомъ глупомъ небосклонѣ.»

Пхожа она также на ту Агафью Матвѣевну, которая прельщала Обломова толстыми локтями. И кажется мнѣ еще, что мать Базарова, Арина Власьевна, въ молодости своей сильно смахивала на *кисейную дѣвушку*, Леночку. Но Пушкинская Ольга поставлена на второмъ планѣ, и авторъ относится къ ней такъ-же насмѣшливо, какъ самъ Онѣгинъ. Агафья Матвѣевна выведена на сцену единственно для того, чтобы сдѣлаться живой эмблемой того паденія, которое постигло Обломова за его предосудительную лѣность. Если она такимъ образомъ представляетъ собой воплощенное пугало, то, разумѣется, объ искреннемъ и непокровительственномъ сочувствіи автора къ ней не можетъ быть и рѣчи. Объ Аринѣ Власьевнѣ нечего и говорить; мы видимъ ее въ той порѣ жизни, когда она уже давно перестала

быть женщиной. Сына любить, пороку не выпустить, вотъ все, что можно о ней сказать.

Поэтому надо согласиться, что Помяловскій выбралъ себѣ и разрѣшилъ совершенно новую задачу, нетронутую до него ни однимъ изъ замѣчательныхъ русскихъ писателей. Онъ взялъ совершенно обыкновенную дѣвушку, — такую, отъ которой даже и въ будущемъ ничего нельзя ожидать, кромѣ дюжины толстомордыхъ ребятъ, и къ этой простѣйшей изъ простыхъ смертныхъ онъ отнесся съ безпримѣрной кротостью и ищностью. Онъ самъ знаетъ очень хорошо, что вся Леночка не что иное, какъ здоровое и красивое тѣло, но это его нисколько не смущаетъ и не отталкиваетъ. Онъ отъ нея и не требуетъ ни сильнаго ума, ни глубокаго чувства. Онъ говоритъ себѣ: этотъ молодой организмъ ищетъ и проситъ себѣ любви, счастья, наслажденія, того, что для него необходимо, какъ теплота, свѣтъ, воздухъ и сырость необходимы для растенія: Что мнѣ за дѣло до того, что этотъ глуповатый организмъ понимаетъ любовь, счастье и наслаждение не такъ, какъ понимаютъ ихъ мыслящіе люди? Неужели я буду осуждать кисейную дѣвушку за то, что она не умѣетъ и не можетъ быть счастлива *по моему*? Напротивъ того, я отъ души желаю, чтобы она была счастлива *по своему*. Я горячо сочувствую ея радости, ея горю, ея тревогѣ и ея томленіямъ не потому, что я самъ способенъ такимъ-же образомъ и по такимъ-же причинамъ радоваться, горевать, тревожиться и томиться, а потому, что въ ней-то, именно въ ней, всѣ эти ощущенія совершенно естественны, неизбѣжны и неподдѣльны. — Вы скажете, что ея ощущенія слабы и мелки. Для васъ — да. Но для нея они не мелки и не слабы. Они соответствуютъ размѣрамъ ея силъ и широтѣ ея пониманія. Для самого себя каждое живое существо есть центръ и смыслъ всего мірозданія; для самаго ничтожнаго субъекта его собственныя радости, огорченія, усилія и заботы важнѣе и крупнѣе міровыхъ переворотовъ, совершающихся безъ его участія и не имѣющихъ вліянія на судьбу его личности.

Я до сихъ поръ нисколько не встрѣчалъ писателя, у котораго было-бы такъ много самородной гуманности, какъ у Помяловскаго. Тургеневъ называютъ *симпатичнымъ* художникомъ, и я ничего противъ этого названія не имѣю. Но даже Тургеневъ улыбнется тонкой саркастической улыбкой при встрѣчѣ съ такими явлениями, изъ которыхъ Помяловскій съ неутомимой, пантестической любовью останавливаетъ свой кроткій, задумчивый, безгранично-ищный и, несмотря на то, глубоко-умный взоръ. А между тѣмъ Помяловскій прослылъ и до сихъ поръ слышитъ у нашихъ журнальныхъ кликушъ грубымъ и грязнымъ обличителемъ, человѣкомъ черствымъ и безчувственнымъ. — Одинъ изъ новѣйшихъ мудрецовъ «Эпохи», понавѣшавъ въ эту журнальную

богадѣльню изъ *кубернии*, догадывается даже, что Помяловскаго сгубило именно его циничское обращеніе ко всему иѣжному и изыщному. Онъ требуетъ отъ Помяловскаго, чтобы тотъ выводилъ на сцену облагороженныхъ бурсаковъ, а не такихъ, которые говорятъ: *отчуждистить, стилибонить, смазь вселенская* и т. д. Кроме того онъ въ ноябрьской книжкѣ той-же грязной богадѣльни выражаетъ уморительную надежду, что реалисты, и преимущественно авторъ «Нерѣшеннаго Вѣщаго», откажутся отъ солидарности съ безправными повѣстями Помяловскаго. Истинно можно сказать: велика и обильна наша матушка Россія. Какія въ ней, подумаешь, бываютъ удивительныя *кубернии*, и какія въ этихъ непостижимыхъ губерніяхъ появляются иногда невиданныя свѣтила! И какъ въ самомъ дѣлѣ не употребить выразительное слово *lousosheko* въ разговорѣ о томъ источникѣ, изъ котораго льются мысли, подобныя вышеупомянутымъ хитросплетеніямъ. Помяловскій всегда говоритъ рѣзкими и грубыми словами о томъ, что рѣзко и грубо въ дѣйствительности; но подъ твердой оболочкой рѣзкихъ и грубыхъ выраженій таится такая женственная иѣжность чувства, которая ощутительна и понятна для всякаго, мало-мальски неглупаго и не бездушнаго человѣка. О Помяловскомъ можно вполнѣ справедливо сказать то, что Берне говоритъ о Байронѣ: «Его сердце было окружено сплошной стѣной твердыхъ и острыхъ колючекъ, *damit das Vieh nicht daran nage* (чтобы его не глодала скотина). И дѣйствительно, какъ только къ подобному сердцу сунется кака-нибудь тупая скотина, такъ она сейчасъ и отскочитъ назадъ съ окровавленной мордой и съ выраженіемъ комическаго негодованія въ своихъ оловянныхъ глазахъ. — *Dixi et animam laeva-ri!*» По-русски эти латинскія слова можно пере-сти такъ: «выругался во все свое удовольствіе!»

VI.

Помяловскій съ такой глубокой гуманностью относится къ своей кисейной Леночкѣ, что онъ даже не осмѣливается рѣшить окончательно вопросъ: дѣйствительно-ли изъ нея никогда не можетъ сформироваться мыслящее существо? Да и въ самомъ дѣлѣ, какое мы имѣемъ право, глядя на живого и шаловливаго ребенка, произнести надъ нимъ рѣшительный приговоръ вродѣ не-красавской колыбельной пѣсни:

Ты чиновникъ будешь съ виду
И подлецъ душой.

Чтобы произносить такіе приговоры, надо читать безошибочно характеръ и будущее людей по выпуклостямъ ихъ черепа и по чертамъ ихъ лица. Но подобнымъ умѣніемъ еще не обладаетъ никто, и слѣдовательно приговоръ отверженія можетъ иногда обрушиться на такихъ людей, которые способны подняться, окрѣпнуть и развиться. Въ самыхъ дюжинныхъ личностяхъ, постав-

ленныхъ въ самую безцвѣтную среду, бываютъ иногда такіе взрывы мысли и чувства, которые вдругъ какой-то молніей освѣщаютъ передъ глазами обыкновеннаго человѣка и безграничное величіе всего живого міра, и неизвѣданную глубину собственной потрясенной души. Есть такіе взрывы и у кисейной Леночки, и кто-же осмѣлится утверждать, что они совершенно безплодны, что они исчезнутъ безъ всякаго слѣда и что врожденная пошлость возьметъ непременно верхъ надъ лучшими впечатлѣніями, если даже эти лучшія впечатлѣнія будутъ повторяться часто и послѣдовательно? Одинъ разъ Леночка рѣзвилась и шалилась Молотовымъ и потомъ вдругъ затосковала, да такъ, что даже слезы досады и непонятной грусти выступили на ея живые, черные глаза. Объяснить, чего ей хотѣлось, она, разумеется, не умѣла. Но понятно, что ее тяготила пустота, отсутствіе любимой мысли, дорогого чувства, отсутствіе всего, что даетъ цвѣтъ и смыслъ человѣческому существованію. Молотовъ старается ее утѣшить, но при этомъ говоритъ только безполезныя слова; въ подобныхъ случаяхъ требуется не краснорѣчіе, а серьезная и дѣятельная помощь, — такая помощь, которая бы перевернула всю жизнь тоскующаго человѣка. А когда не хочешь или не можешь оказать такой помощи, тогда ужъ просто молчи и пропускай мимо ушей всѣ жалобы твоего собесѣдника.

— «Читайте, учитесь, — продолжалъ Молотовъ и вдругъ остановился, вспомнивъ, что юноши наши всегда предлагаютъ это универсальное лекарство отъ всѣхъ дамскихъ болѣзней.» Эти слова могутъ навести читателя на мысль, что самъ Помяловскій сомнѣвается въ дѣйствительности «универсальнаго лекарства». Сомнѣвается-ли онъ или нѣтъ, во всякомъ случаѣ надо замѣтить, что лекарство ни въ чемъ не виновато. Недѣйствительность его происходитъ оттого, что «наши юноши», въ томъ числѣ и Молотовъ, предлагаютъ это лекарство чрезвычайно безтолково. «Читайте, учитесь!» Легко сказать! Скоро сказка сказывается, да не скоро дѣло дѣлается. Эти слова: «читайте, учитесь!» напоминаютъ мнѣ очаровательный куплетъ изъ стихотвореній Гейне:

Въ морозы, прибавилъ онъ, надо всегда
Въ постели какъ можно плотнѣй укрываться,
И тутъ-же совѣтъ разсудительный далъ
Здоровую лицевъ питаться.

Въ жалкой конурѣ подъ крышей два человѣка, мужчина и женщина, умерли въ морозную ночь отъ холода и отъ истощенія силъ. Пришелъ докторъ свидѣтельствовать ихъ труны, и вотъ онъ-то именно и даетъ при семъ удобномъ случаѣ разсудительные совѣты на счетъ здоровой пищи и теплаго одѣяла. Еще болѣе разсудительные совѣты даютъ «наши юноши», когда они произносятъ слова: «читайте, учитесь!» Бѣдняку не откуда взять теплое одѣяло и кусокъ ростбифа; но если вы ему дадите то и

другое, то онъ управится съ этими предметами безъ всякихъ дальнѣйшихъ разъясненій. Но если вы дадите десятки умнѣйшихъ книгъ такому человеку, который никогда не читалъ, не учился и не размышлялъ и который кромѣ того живетъ въ совершенно неподвижномъ обществѣ, то вы не принесете ему рѣшительно никакой пользы. Надо сдѣлать такъ, чтобы онъ самъ потянулся къ книгѣ и чтобы онъ собственной энергіей побѣдилъ скуку и трудности перваго начала. Тогда все пойдетъ хорошо и не зачѣмъ будетъ произносить бесполезныя слова: «читайте, учитесь!» Но для того, чтобы возбудить въ человѣкѣ желаніе и дать ему возможность читать и учиться, надо постоянно дѣйствовать на него словомъ и примѣромъ; надо много, долго, откровенно и задушевно говорить съ нимъ обо всемъ, что расширяетъ нашъ умственный горизонтъ; надо ловить въ немъ каждую минуту его раздумья и его одушевленія; надо однимъ словомъ сдѣлаться его лучшимъ другомъ и неутомимымъ руководителемъ.

Когда дѣло происходитъ между мужчиной и женщиной, тогда вопросъ ставится еще проще. Если вы любите или расположены полюбить данную особу, тогда смѣло и серьезно принимайтесь за великую дѣятельность просвѣтителя; если же нѣтъ, — тогда оставьте въ покоѣ тоскующую женщину и уходите отъ нея подалѣе, потому что ваши бессильныя утѣшенія и непримѣнимые софиты не дадутъ ей ровно ничего, кромѣ лишняго горя. Брошенные на вѣтеръ слова: «читайте, учитесь!» составляютъ двойное кощунство; во-первыхъ, — надъ безпомощнымъ положеніемъ огорченной женщины, живущей въ такомъ обществѣ, гдѣ все мѣшаетъ читать и учиться; а во-вторыхъ — надъ святыней «универсальнаго лекарства», которое дѣйствительно оказывается бессильнымъ только тогда и тамъ, когда и гдѣ его безтолково сыпать на полъ вмѣсто того, чтобы подавать его въ руки пациенту. Поэтому «нашимъ юношамъ» дѣйствительно не помѣшаетъ наматывать себѣ на усъ, что проповѣдывать о величій науки въ пустынѣ или въ конюшнѣ значить превращать святую и великую истину въ бессмысленную фразу, надъ которой съ особеннымъ наслажденіемъ станутъ хохотать всѣ многочисленные подлцы и идіоты. Возбуждать такой хохотъ вредно, и слѣдовательно надо говорить о наукѣ и о разумномъ чтеніи только тѣмъ лицамъ, которыхъ вы намѣрены серьезно просвѣщать и руководить. Да и вообще *говорить о наукѣ* не зачѣмъ, а надо постоянно употреблять науку въ дѣло, какъ орудіе, разбивающее нелѣпость и расширяющее умственный горизонтъ всякаго человѣка, безъ различія пола и общественнаго положенія.

Запгрыванія Леночки съ Молотовымъ доходятъ до того, что она его цѣлуетъ. Онъ держитъ себя совершенно пассивно, то-есть не отталкиваетъ ее прочь и не говоритъ ей ни слова о люб-

ви. Она ему нравится, ея ласки волнуютъ его, но онъ постоянно смотритъ на нее сверху внизъ, такъ что ему и въ голову не приходитъ мысль о возможности посвятить всю жизнь этой кисейной дѣвушкѣ. Дѣйствительно-ли правъ Молотовъ въ своемъ высокомерномъ взглядѣ на Леночку? Дать на этотъ вопросъ прямой отвѣтъ очень трудно. Молотовъ, какъ человѣкъ обыкновенный по размѣрамъ своего ума, не можетъ смотрѣть на Леночку иначе. У Молотова нѣтъ той сильной и горячей вѣры въ человѣческую природу, которая дается только очень даровитымъ и глубокимъ натурамъ и которой обладалъ въ такой значительной степени самъ Помяловскій. Плебей Молотовъ былъ бариномъ въ отношеніи къ Леночкѣ, — бариномъ очень снисходительнымъ и милостивымъ, но тѣмъ болѣе неспособнымъ поставить кисейную дѣвушку съ собой на одну доску. Ему бросались въ глаза тривиальныя выраженія Леночки, какъ г-жѣ Обросимовой бросались въ глаза тривиальныя манеры и тривиальный аппетитъ Молотова. — Шокируясь выраженіями, онъ забывалъ о томъ, что вызывало эти выраженія, о томъ, что искало и не умѣло найти себѣ выхода изъ души искренней, простой, честной и любящей дѣвушки. Она бросилась къ нему на шею безъ расчета, безъ условій, безъ кокетливыхъ уловокъ, *пмевая* по птичь, — такъ какъ Богъ на душу положилъ.

VII.

Въ прощальной сценѣ Молотова съ Леночкой бухгалтерская безукоризненность юнаго Егора Иваныча доходитъ просто до комизма, и кисейная дѣвушка, на которую Молотовъ взираетъ съ величественной снисходительностью, оказывается, по энергіи и задушевности чувства, неизмѣримо выше, прекраснѣе и сильнѣе умнаго и развитого мужчины, только что соскочившаго съ университетской скамейки. Являясь рядомъ съ Леночкой, Молотовъ уподобляется какому-то печеному яблоку, и Помяловскій превосходно понимаетъ его безсиліе и несостоятельность. Прощальная сцена до такой степени замѣчательна, что я разберу ее очень подробно, хоть-бы мнѣ пришлось написать о ней страницъ десять. Критикъ не часто приходится встрѣчаться съ такими явленіями, какъ повѣсти Помяловскаго, и когда встрѣтишься съ ними, тогда ужъ не хочется и разставаться. — Молотовъ приходитъ къ Леночкѣ черезъ недѣлю послѣ того, какъ онъ усаживалъ убійственный разговоръ о манеркахъ и о аппетитѣ. Онъ до такой степени разстроены этимъ разговоромъ, что отношенія къ Леночкѣ представляются ему только докучливой прибавкой къ обуревающимъ его заботамъ. «Еще Леночка! еще Леночка на моихъ рукахъ!» повторяетъ онъ про себя и отправляется къ ней съ твердымъ намѣреніемъ все покончить.

Я напомню здѣсь читателю то величественное

равнодушіе и невозмутимое хладнокровіе, съ которыми Базаровъ выслушиваетъ и отражаетъ дерзости Павла Петровича. Будь Базаровъ на мѣстѣ Молотова, онъ-бы и вниманія не обратилъ на обросимовскія разсужденія и не подумалъ-бы изъ за такой ничтожной причины отказываться отъ удобнаго мѣста. Вѣдь-бы онъ попрежнему за четверыхъ, потому что при заключеніи условій ему не было поставлено въ обязанность сидѣть впроголодь; и манишки носилъ-бы онъ, нисколько не смущаясь, а когда-бы ему поднесли кусокъ голландскаго полотна и часы, тогда-бы онъ спокойно замѣтилъ, — это лишнее, потому что, заключая условія, помѣщикъ не выговорилъ себѣ права дѣлать Базарову какіе-бы то ни было подарки. И тогда Обросимовы уразумѣли-бы, что Базарова нельзя ласкать по произволу, а надо сначала пріобрѣсти его уваженіе для того, чтобы онъ позволилъ любить и ласкать себя. Базаровъ не сталъ-бы говорить: «Еще Леночка!» Отношенія къ любящей женщинѣ стояли-бы въ его глазахъ постоянно на первомъ планѣ, и для него было даже просто непостижимо, какимъ образомъ можно, хотя на минуту, поставить рядомъ съ этими серьезными и обаятельными отношеніями какую-нибудь дурацкую болтовню о неприличіи манишекъ и здороваго аппетита? Но мелочное самолюбіе Молотова оскорблено такъ сильно, что подъ вліяніемъ обросимовскаго разговора въ его умѣ поднимается безтолковѣйшая буря безсвязныхъ размышленій о жизни, о призваніи, о дѣятельности, о назначеніи человѣка. Ни къ чему эти размышленія не приводятъ, но Молотовъ до такой степени занятъ ими, что, придя къ Леночкѣ съ намѣреніемъ объясниться и проститься навсегда, онъ прежде всего начинаетъ гамлетствовать, что очевидно нисколько не относится къ главному предмету. Леночка по обыкновенію встрѣчаетъ его вѣжливыми, веселыми и доверчивыми ласками. Видя его торжественную мрачность, она тревожно и заботливо спрашиваетъ его о здоровьи; въ голосѣ ея слышатся слезы; она старается развеселить его шуткой. — «Ишь какой! — сказала Леночка: — что дуться-то! муху, что-ли, проглотил?» Но лучъ веселости не проникаетъ въ мрачную душу Молотова, наполняемую манишками, аппетитомъ и «еще Леночкой». И вдругъ Молотовъ начинаетъ задавать своей собесѣдницѣ міровые вопросы. — «Что-бы вы сказали, — говоритъ онъ, — когда-бы привели къ вамъ кого-нибудь и спросили: дайте этому человѣку дѣло на всю жизнь, — но такое, чтобы онъ былъ счастливъ отъ него? — Зачѣмъ это вамъ? — Нужно. — Да этого никогда не бываетъ. — Бываетъ.»

И врать. Дѣйствительно никогда не бываетъ, чтобы приводили одного человѣка къ другому и чтобы этотъ другой на всю жизнь пристроивалъ перваго и доставлялъ ему полное счастье, на которое первый рѣшительно ничѣмъ не пріобрѣтаетъ себѣ разумнаго права. Счастье завоевывается и

вырабатывается, а не получается въ готовомъ видѣ изъ рукъ благодѣтеля. И самая трудная часть задачи состоитъ именно въ томъ, чтобы составить себѣ понятіе о счастьи и отыскать себѣ ту дорогу, которая должна къ нему привести. Когда жизненная борьба уже превратилась въ сознательное стремленіе къ опредѣленной цѣли, тогда человѣкъ можетъ уже считать себя счастливымъ, хотя-бы ему пришлось упасть и умереть на дорогѣ, не вступивши въ ту обѣтованную землю, которую покойный А. Григорьевъ такъ игриво называетъ *блгоу Арапей*. Но сознательность стремленій также вырабатывается трудомъ и борьбой, и ни одинъ благодѣтельный мудрецъ въ мірѣ не можетъ переложить эту сознательность изъ собственной головы въ нескрѣпшія головы своихъ учениковъ и прозелитовъ.

«— Леночка задумалась, наклонила голову и затихла. Хорошо выраженіе лица дѣвушки, когда она занята серьезной мыслью, а Леночка почувствовала жевскимъ инстинктомъ, что ей не пустой вопросъ заданъ. Она, ей Богу, отъ всей души желала-бы разрѣшить его, но ничего не смыслила тутъ. — Не знаю, сказала она и посмотрѣла на Молотова, — что съ нимъ будетъ. — Онъ усмѣхнулся.»

Молотовъ, доѣзжающій Леночку глупо возвышенными вопросами, чрезвычайно похожъ на двѣнадцатилѣтняго гимназиста, щеголяющаго на каникулахъ передъ сестрами логиметріей, планиметріей, логарифмами и всякими другими мудреными вещами. Молотовъ очевидно спрашиваетъ не затѣмъ, чтобы получить удовлетворительный отвѣтъ, а затѣмъ именно, чтобы усмѣхнуться и чтобы въ эту усмѣшку влить малую толику своей клокочущей желчи. Вотъ, дескать, они мои манишки осмѣяли, и я имъ за это ничего не могу сдѣлать, а теперь я твое невѣжество осмѣю и ты со мной тоже ничего не сдѣлаешь. Молотовъ сгорѣлъ-бы отъ стыда, еслибы онъ совершенно ясно отдалъ себѣ отчетъ въ этомъ движеніи мелкой и дрянной злости, и бѣдная, простодушная Леночка, разумѣется, не стала-бы такъ добросовѣстно ломать свою нехитрую голову надъ неразрѣшимымъ вопросомъ, еслибы она знала, что ей ненаглядный Егорюшка ищетъ только случая поважничать и поломаться. Но въ этомъ-то и бѣда Леночкина, что она чересчуръ благоговѣетъ передъ умомъ и образованностью своего кумирчика; еслибы она благоговѣла поменьше, тогда можетъ-быть и кумирчикъ не оттолкнулъ-бы отъ себя прочь ея чистую и неразсчитливую любовь. — Послѣ своей усмѣшки надъ незнаніемъ Леночки Молотовъ продолжаетъ пускать мрачныя и глубокомысленныя рулады. Напримѣръ, вотъ такія:

«— Неужели моя жизнь пропадетъ даромъ? Гдѣ моя дорога?.. Неужели такъ я и неужели никому на свѣтѣ?.. Онъ крѣпко задумался. Елена все смотрѣла на него, ожидая признаній; но при послѣднихъ словахъ Молотова она неожиданно обвила его шею руками и осыпала все лицо поцѣ-

дуями крѣпкими и жаркими, какими еще никогда не цѣловала его.—Егоръ Иванычъ!.. душка!.. ты—герой!..—Молотовъ пожалъ плечами и чуть вслухъ не сказалъ: «Душка!.. герой!..—вонъ куда хватила!..» Поцѣлуй не разогрѣли его, несмотря на то, что Леночка первый разъ охватила его такъ страстно. Молотовъ ничего не замѣтилъ. Онъ смотрѣлъ угрюмо въ землю...

Я замѣтилъ въ предыдущей главѣ, что бываютъ и у кисейной дѣвушки такіе великолѣпные взрывы чистаго и могучаго чувства, которые хотя на минуту поднимаютъ ее неизмѣримо выше мелкой и копѣчной пошлости ея будничной жизни. Читатель видитъ теперь, что замѣчаніе мое не было брошено на вѣтеръ. Взрывъ описанъ у Помяловскаго такъ превосходно, что первый художникъ въ мірѣ не прибавилъ-бы ни одной черточки къ выписаннымъ мною строкамъ. Но что-же значить этотъ взрывъ, который такъ естественно сдѣланъ кисейной дѣвушкой, «по гробъ вѣрной и любящей»?—И почему Молотовъ для нея «душка» именно въ ту минуту, когда онъ хмурится и грубіянитъ? И почему она видитъ въ немъ «героя» именно тогда, когда онъ слабѣетъ и унываетъ? И то, и другое совершенно понятно. Ты чувствуешь себя одинокимъ и никому не нужнымъ, думаетъ она. Тѣмъ лучше. Я для тебя все въ эту минуту. Никто и ничто не становится между мной и тобой. Хоть-бы ты никому на свѣтѣ не былъ нуженъ,—ты мнѣ нуженъ. И жизнь твоя не можетъ пропасть даромъ, потому что я возьму ее себѣ, и она дастъ мнѣ полное счастье. Когда все на свѣтѣ смотритъ на тебя холодно и равнодушно, тогда я одна вырастаю въ твоихъ глазахъ, ты сильнѣе обыкновеннаго привязываешься ко мнѣ, и я то-же особенно сильно люблю тебя, потому что понимаю, какъ полезна тебѣ моя помощь въ эти тяжелыя минуты. И кромѣ того ты самъ ошибаешься. Человѣкъ, котораго можно любить такъ, какъ я тебя люблю, никогда не сдѣлается на свѣтѣ лишнимъ и ненужнымъ человѣкомъ. Если тебя дѣйствительно стоитъ любить, то ты непременно найдешь себѣ въ жизни хорошее дѣло. Ты унываешь не оттого, что ты слабъ и негоденъ, а оттого, что ты неудовлетворяешься тѣми гнилыми крупичками, которыя подбираютъ съ такимъ успѣхомъ мелкіе и дрянные людишки. Твое уныніе не можетъ быть продолжительнымъ. Явится спокойное размышленіе, вспыхнетъ съ новой силой твоя мужественная энергія, и опять закипитъ у тебя подъ руками честное и полезное дѣло. И я въ то время буду смотрѣть на тебя и радоваться, и гордиться тобой, и гордиться тѣмъ, что въ твоей бодрости есть частица моего живительнаго и утѣшающаго вліянія. И вездѣ, и всегда я буду рядомъ съ тобой. И трудъ, и лишенія, и опасности, и тревогу, и сомнѣнія, и горе—все пополамъ. Я на все готова, и эта готовность удесетеряетъ мои силы.

Слившись въ неопредѣленный, но чрезвычай-

но сильный порывъ страстной любви, весь этотъ рядъ мыслей промелькнулъ съ неувольной быстротой въ головѣ Леночки, когда она бросилась на шею къ Молотову и когда вся фигура ея выросла и просіяла подъ вліяніемъ нахлынувшихъ на нее новыхъ и непонятныхъ для нея ощущений. Молотовъ ничего этого не понималъ по той простой причинѣ, что все его раздумье вытекало изъ очень мелкаго и мутнаго источника. Всѣ безсмысленныя возгласы о дорогѣ, о жизни, о собственной ненужности выражали собой въ сущности только плачъ и скрежетъ зубовъ надъ посрамленными мантишками. Когда его называли героемъ, то ему сдѣлалось совѣстно, что его мантишки залетѣли въ такія высокія хоромы. Но вмѣсто того чтобы откровенно назвать самого себя дуракомъ и мелочность своего огорченія, онъ въ душѣ обругалъ душой Леночку за наивную преувеличенность выраженій, которыя впрочемъ вовсе не были-бы преувеличенными, еслибы слова Молотова о разныхъ высокихъ матеріяхъ были дѣйствительно глубоко продуманы и прочувствованы, а не напущены со стороны глупымъ разговоромъ Обросимовыхъ.

Значитъ, Леночка провинилась только тѣмъ, что повѣрила на слово любимому человѣку, то есть, выражаясь яснѣе,—тѣмъ, что любила глубоко и сильно. Въ ту минуту, когда она осыпала своими «горячими и бѣшенными» поцѣлуями постную фигуру Молотова, проглотившаго муку и не умѣющаго съ ней справиться, въ умѣ ея возлюбленнаго шевелились по всей вѣроятности очень мелкія и буржуазныя мысленки. «Да, думалъ онъ о себѣ съ подавленной злобой, есть много, неприличныя мантишки носить, и ко всему-бы этому великолѣпнѣе еще жену приобрести, «по гробъ вѣрную и любящую», которая всехъ будетъ на шею вѣшаться и ни къ селу, ни къ городу визжать: «душка» и «герой». Будетъ какъ интересно!»—Опять тривиальное выраженіе заслонила собой въ глазахъ честнаго Чичикова величіе искреннаго чувства.—Красота Леночки, просвѣтленной своимъ порывомъ, осталась незамѣченной для ея собесѣдника, погруженнаго въ мучительное созерцаніе мантишекъ и собственной ненужности.

VIII.

Молотовъ пришелъ къ Леночкѣ затѣмъ, чтобы сбыть ее съ рукъ. Но онъ до такой степени углубленъ въ свое собственное копѣчное раздумье, что повидимому совершенно забываетъ настоящую цѣль своего прихода. Еслибы онъ нарочно хотѣлъ причинить Леночкѣ какъ можно больше страданія, то онъ не могъ-бы придумать нравственную пытку утонченнѣе той, которую онъ заставилъ ее выдержать по своей непростительной невнимательности.

Если онъ пришелъ съ твердымъ намѣреніемъ все покончить, то съ какой стати онъ задаетъ ей

мудреные вопросы, интересные только для него и невмѣющие для нея ровно никакого значенія? Делително-ли, позволительно-ли искать себѣ утѣшенія и совѣта у той самой дѣвушки, которую рѣшился и собираешься оттолкнуть? Вѣдь это въ сущности хуже, чѣмъ еслибы Молотовъ на прощаніе выпросилъ у нея денегъ взаймы. И какъ онъ осмѣлился принимать ея поцѣлуй, съ какого права называлъ ее до послѣдней минуты Леночкой, когда въ головѣ его участь этой Леночки была уже окончательно рѣшена? Значитъ, онъ до послѣдней минуты воровалъ ея поцѣлуй и ласки. Онъ разбудилъ въ ея головѣ совершенно непривычную для нея работу мысли, онъ распаталъ всю ея нервную систему красивой наружностью своего дряннаго горя, онъ далъ ей полное право думать, что пришелъ къ ней подѣлаться заботами и сомнѣніями, онъ раздражилъ ее чуть не до истерики, — и все это для того, чтобы сказать ей вѣжливо-бухгалтерскимъ тономъ: сударыня, честь имѣю съ вами раскланяться!

Не напоминаетъ-ли это вамъ, господа, гоголевскаго Ивана Ивановича, который бесѣдуетъ съ голоднымъ нищимъ о говядинѣ, о галушкахъ, о горѣлкѣ, и потомъ, наболтавшись досыта, говорить съ замѣчательной кротостью: «ну, ступай-же, любезный, вѣдь я тебя не бью!» — Теперь мнѣ придется сдѣлать очень большую выписку.

— «Елена Ильинична, — сказалъ онъ серьезно.

«— Что?

«— Намъ пора объясниться...

«У Леночки сжалось сердце. Она предчувствовала какое-то горе; никогда Егоръ Ивановичъ не говорилъ такъ съ ней.

«— Развѣ мы не объяснились? — спросила она. (Совершенно справедливое замѣчаніе. Какое тутъ еще требуется объясненіе, когда люди давно цѣлуются?)

«— Нѣтъ, не объяснились; все у насъ было кромѣ объясненій. (Аккуратному Егору Ивановичу желательно, чтобы все дѣлалось по формѣ, но безалаберная Леночка врядъ-ли способна понять, чтобы объясненія были еще необходимы тогда, когда уже было «все». Впрочемъ это «все» не должно пугать читателя. Это «все» ограничивалось невиннымъ обменомъ поцѣлуевъ. Собственно поэтому формалистъ Молотовъ и не считаетъ себя связаннымъ.)

«— Ну, скажите, — отвѣтила Леночка, боязливо глядя на собесѣдника.

«— Вы меня любите? (Какой дурацкій вопросъ!)

«Леночка хотѣла обнять его. Онъ уклонился. (Леночка очевидно предпочитаетъ мимическія объясненія словеснымъ, но Молотову уже становится совѣстно продолжать кражу поцѣлуевъ.)

«— Я васъ очень люблю... (Какъ много дѣло подвинулось впередъ отъ этого отвѣта!)

«— Но, разумѣется, можете привыкнуть къ той мысли, что мы не всегда будемъ поддерживать наши отношенія? (Представьте себѣ, что въ уголовную палату призываютъ преступника и говорятъ ему: «вы, разумѣется, можете привыкнуть къ той мысли, что васъ будутъ драть плетью на площади?» — Преступникъ на это отвѣчаетъ: «воля ваша, а привыкнуть къ такой мысли никакъ не могу.» — «Что-жъ дѣлать, monsieur, говорятъ ему, постарайтесь привыкнуть.» — Что-бы вы, читатель мой, подумали о такихъ судьяхъ, которые позволили-бы себѣ подобныя шутки? Вы-бы вѣроятно назвали ихъ большими негодяями? А вѣдь Молотовъ, по своей деревянной неловкости, поступаетъ точно такимъ-же образомъ, только не съ преступникомъ, а съ доброй и милой дѣвушкой, которая его любитъ. Къ чему клонится его вопросъ? Скажетъ-ли она да, скажетъ-ли нѣтъ, не все-ли равно? Развѣ ей отвѣтъ измѣнить хоть въ чемъ-нибудь его рѣшеніе? Она это предчувствуетъ и уклоняется отъ отвѣта.)

«— Къ чему-же объ этомъ говорить? (Вотъ это правда.)

«— Подумайте, пожалуйста, и выскажитесь откровенно. (Скажите на милость, чего этого анагема отъ нея добивается? Зачѣмъ онъ изъ нея душу тянетъ?)

«Ей никогда не приходилъ такой вопросъ на умъ, и она съ замѣшательствомъ отвѣчала: — Да, я васъ люблю... (Ничего больше она и сказать не можетъ. Отвѣчаетъ она такъ не потому, что «ей никогда не приходилъ такой вопросъ на умъ», а потому, что вопросъ Молотова изъ рукъ воняетъ глупъ и оскорбителенъ. Ей надо было или пропустить это вопросъ безъ вниманія, или отвѣчать на него рѣзкимъ упрекомъ. Если сформулировать вопросъ Молотова яснѣе, то получится слѣдующій результатъ: «вѣдь вамъ, разумѣется, все равно, кого не цѣловать, меня-ли, другого-ли мужчину?» — Бѣдной, добродушной Леночкѣ въ голову не приходило, чтобы Егорушка рѣшился нанести ей такое незаслуженное оскорбленіе. Потому, если даже она разобрала въ вопросѣ Молотова этотъ гнусный смыслъ, то она немедленно отбросила прочь это предположеніе, увѣрила себя, что она поняла невѣрно, и вслѣдствіе этого сдумала только повторить съ замѣшательствомъ свою незатѣйливую пѣсенку: «да, я васъ люблю». Тутъ Молотовъ находитъ, что онъ уже достаточно приготовилъ преступницу къ принятію плетей и начинаетъ дѣйствовать.)

«— Простите-же меня, Елена Ильинична, я вамъ не могу отвѣчать тѣмъ-же... (Какъ вамъ нравится эта перемѣна декораций! «Да плюй-же, плюй ему прямо въ лохань!», какъ выражаются «хорошіе люди» города Глухова.) — Леночка взглянула на него испуганнымъ взглядомъ и вскрикнула. (Подумаешь, какъ это странно. Преступница кричить, точно будто ее не пригото-

вляли заранѣе къ сильному ощущенію.) Болѣзненно отозвался этотъ крикъ въ душѣ Молотова. — «Вотъ она такъ любила!» подумалъ онъ.

— Елена Ильинишна, кто-жъ виновать? кто виновать? вы должны помнить, что не я первый... Молотовъ оборвался на полуфразѣ, потому что невольно почувствовалъ угрызение совѣсти. «Что-жъ такое, что не я первый?» шевельнулось у него въ душѣ, и онъ кончилъ иначе, нежели началъ: — Боже мой, что-же это на меня напало!...» (Здѣсь опять авторъ съ изумительной твердостью выдержалъ характеръ своего героя. Это не мерзавецъ, хладнокровно играющій чужимъ счастьемъ; это — милая и добрая размазня, способная только отсиживаться отъ всякой напасти. Для него немыслимъ крупный активный поступокъ: вмѣсто того, чтобы съ самаго начала, съ перваго свиданія спугнуть глупую бабочку, которая летитъ прямо на свѣчку, онъ умѣетъ только отмалчиваться; вмѣсто того, чтобы теперь, когда бабочка уже обожгла себѣ крылья, махнуть на все рукой и смѣло повести ее подъ вѣнецъ, не забывая о дальнѣйшихъ послѣдствіяхъ, онъ умѣетъ только сидѣть и добродушно сокрушаться. Подлецомъ его, пожалуй, и нельзя назвать: онъ не завлекалъ, онъ не общался, онъ и теперь страдаетъ искренно; но вѣдь вотъ въ чемъ штука: бывають въ жизни такіе случаи, когда мямля можетъ насолить ближнему не хуже отъявленнаго негодяя.) «...Послышалось всхлипываніе и тихое, ровное мучительное рыданіе; запрется въ груди звукъ, надтреснетъ, передомится и разрѣшится долгой нотой плача; слезы катились градомъ...»

«— Никому мы не нужны... кому любить такихъ?»

«Она зарыдала сильнѣе...» «Жаль, невыносимо жаль стало ему этой бѣдной дѣвушки... глупенькой, кисейной дѣвушки... Она такъ жить хотѣла, такъ любить хотѣла и доживала послѣднюю лучшую минуту жизни. Впереди ея пошлое, позади тоже пошлое. Теперь она могла-бы воскреснуть и развиться, но... суждено уже такъ, что изъ нея выйдетъ не человѣкъ-женщина, а баба-женщина. Молотовъ чувствовалъ это. Страшно ему было за Леночку. «Пропадетъ она!» думалъ онъ.» И, думая такимъ образомъ, онъ все-таки отталкивалъ ее прочь отъ себя, назадъ въ ту трясиину пошлости, изъ которой бѣдная дѣвушка старалась высвободиться съ такими судорожными усиліями, съ такими горькими и мучительными рыданіями. И все это оттого, что онъ, изволите видѣть, не любилъ ея. Точно будто нужно любить человѣка какой-нибудь особенной любовью для того, чтобы протянуть ему руку, когда онъ зоветъ васъ къ себѣ на помощь. Точно будто, доставляя другому человѣку счастливое и разумное существованіе, мы не наслаждаемся вмѣстѣ съ нимъ, и даже гораздо больше его самого, той свѣтлой жизнью, которую мы ему доставили.

Осчастливить ту женщину, которую мы сами любимъ страстно — это, разумеется, очень пріятно. Но подарить счастье той женщинѣ, которая любитъ насъ, — это также очень недурно, тѣмъ болѣе, что человѣку свойственно привязываться очень сильно къ тѣмъ людямъ, которыми онъ сдѣлалъ добро. Счастье мыслящаго человѣка состоитъ не въ томъ, чтобы играть въ жизни иными игрушками, а въ томъ, чтобы вносить какъ можно больше свѣта и теплоты въ существованіе всѣхъ окружающихъ людей. Молотовъ еще плохо понимаетъ эту простую истину, янъ обстоятельство показываетъ ясно, что онъ подходитъ гораздо ближе къ тщедушному идеалу Гончарова, чѣмъ къ сильнымъ и мужественнымъ реалистамъ новѣйшаго времени. Молотовъ такъ наивно недалекатень, что онъ, уже измучивъ бѣдную Леночку, все еще эксплуатируетъ изъ свою пользу ея безпредѣльную доброту. Послѣ сцены рыданія, когда ему надо было уйдти прочь безъ оглядки, чтобы не мозолить ей глаза, онъ все сидитъ, да не только сидитъ, а открываетъ ей свою душу, то-есть рассказываетъ ей, какъ его обидѣли Обросимовы. «Она слушала его съ увлеченіемъ, положивъ на его плечо свою маленькую головку. Тогда она не сказала ему свое оригинальное: «да этого не бываетъ»...»

«— Я ихъ не люблю, — сказала она горячо. Молотовъ поцѣловалъ ее, но это былъ не страстный, а добрый поцѣлуй. (И даже глупый.) «— Богъ съ ними, — сказалъ онъ... (Вамъ великодушіе!)»

«— Никогда ихъ не буду любить... Я тебя люблю; я не сержусь на тебя...» (Вотъ тутъ дѣйствительно кротость и доброта доходятъ до величественныхъ и, пожалуй, даже до безобразныхъ размѣровъ. Онъ ее оскорбилъ, онъ оттолкнулъ прочь ея святую любовь, онъ осудилъ ее на безвыходно-пошлое существованіе, и она-же утѣшаетъ и успокаиваетъ его, и она-же принимаетъ горячо къ сердцу трагическую участь его марионетки. Это наконецъ глупо и отвратительно. Любить и прощать — прекрасное занятіе, но если осла не мѣшаетъ и по мордѣ треснуть, чтобы заставить его одуматься.)

«Они разстались добрыми друзьями, но Леночка всю ночь проплакала и все понять не могла. «отчего-же насъ любить нельзя?... отчего?» — Э, Леночка, Леночка! Охота тебѣ изъ за одного мурака задавать себѣ такіе радикальные вопросы! Васъ можно любить и васъ будутъ любить, яви сдѣлаетесь умными, мыслящими и полезными людьми. Никакого въ васъ органическаго порока не оказывается. Но, чтобы увидать и развернуть тѣ задатки здороваго ума, которые въ васъ таятся, надо обладать не такими силами, какими располагалъ твой ненаглядный Егорюшка. Дрянной народъ тѣ мужчины, съ которыми вамъ приходится имѣть дѣло. Оттого вы такъ часто плачете. — Каждая слеза, которую проливаетъ въ

временныхъ обществахъ любящая женщина, тяжелое обвиненіе противъ мужчины. Взявъ цинну подъ свою опеку, отнявъ у нея самостоятельность, ослабилъ ея умъ и ея физическія силы, — такъ умѣй-же по крайней мѣрѣ дать ей то счастье. А не умѣешь, — такъ на что-же твоя дурацкая опека?

IX.

Насъ много такихъ дѣвушекъ», замѣчаетъ Леночка. «У насъ не мало встрѣчается такихъ женщинъ, какъ Леночка», прибавляетъ отъ Помяловскій. И это правда. Къ типу доброй кисейной дѣвушки подходятъ всѣ женщины, неотличающіяся сильнымъ и блестящимъ умомъ, не получившія порядочнаго образованія въ то-же время еще не испорченныя и не сбившія толку шумомъ и суетой такъ называемой свѣтской жизни. У этихъ женщинъ развита только одна способность, о которой заботится сама природа, — именно способность любить. Судьба такой женщины рѣшается безусловно, того, кого она полюбитъ. Попадется хорошій и умный человѣкъ, — и она сама тоже сдѣлается умной, даже умной женщиной, потому что отъ природы она не глупа, а только никогда не имѣла возможности, ни надобности упражнять и выплять свой умъ. Попадется дуракъ и него- — тогда въ ней замретъ даже способность любить, и превратится она въ автомата, который знаетъ рожать, кормить, нянчить и обливаться слезами дѣтей, не умѣя ни вразумить, ни защитить ихъ противъ самодурства супруга. Женщина, подобная Леночкѣ, быть-можетъ при какихъ условіяхъ не сдѣлается совершенно самостоятельной и сильной личностью; всегда, болѣе или менѣе, будетъ искать поддержки и руководителя въ любимомъ мужчине, несмотря на это врожденное стремленіе къ некоторой зависимости, такая женщина не была-бы тягостной и вредной обузой даже для умнаго и развитого мужчины. Она была-бы способна увлекаться совершенно искренними планами и титаническими стремленіями любимаго человѣка; можетъ-быть она довольно смутно понимала-бы необходимую связь между отдѣльными мыслями; можетъ-быть строила теоріи или дѣловой прозектъ представлялись ей въ неопредѣленныхъ и расплывающихся очертаніяхъ, свойственныхъ воздушнымъ замкамъ. Но зато воодушевленіе, овладѣвающее такимъ человѣкомъ, находило-бы во всемъ существѣ ясный, полный и совершенно безусловный отголосокъ. Она не стала-бы пичкать любимаго человѣка безтолковымъ ворчаньемъ или мелкими жалобами въ то время, когда онъ чувствуетъ потребность подѣлиться съ нею результатами своихъ размышленій, набросанными планами и смѣлыми надеждами. Этого ей было мало, но вѣдь гдѣ-же и взять теперь

много такихъ женщинъ, которыя были-бы способны серьезно работать вмѣстѣ съ своими мужьями? Ужъ и то было-бы хорошо, еслибы женщины не мѣшали работать. А какимъ образомъ онѣ могутъ мѣшать, это всего лучше будетъ видно изъ самаго простаго и скромнаго примѣра. Представьте себѣ, что вамъ предлагаютъ два мѣста. Одно совершенно соответствуетъ вашимъ убѣжденіямъ и наклонностямъ. Другое — совсѣмъ напротивъ. Первое даетъ вамъ 60 рублей въ мѣсяць, второе — 80. Вы приходите домой, рассказываете все, какъ есть, вашей женѣ и объявляете ей, что вы хотите взять мѣсто въ 60 рублей. Жена таращитъ на васъ глаза и говоритъ, что вы съ ума сошли, что 20 рублей на улицѣ не валяются и что такіе капризы вамъ совсѣмъ не по состоянію. — Да пойми-же ты, другъ мой, убѣждаете вы, — что на томъ мѣстѣ я буду просто мученикомъ. Оно мнѣ противно. Мнѣ гадко будетъ смотрѣть на самого себя. — Скажите, пожалуйста, какія нѣжности, — отвѣчаетъ супруга. — А это, небоюсь, не гадко смотрѣть, что жена въ стопаанныхъ башмакахъ ходитъ! — И много другихъ вариаций разыгрывается на ту-же самую, вовсе не интересную для васъ, тему. Если вы человѣкъ твердый, то вы остаетесь непоколебимы и берете все-таки 60-ти рублевое мѣсто; но зато ваша семейная жизнь втеченіи нѣсколькихъ недѣль скрипитъ, какъ намазанная телега. Если же вы такой размазня, какъ огромное большинство русскихъ людей, то вы уступаете, жена даетъ вамъ за вашу разсудительность несчетное число «безешекъ», и черезъ нѣсколько времени ваше отвращеніе къ подлой должности исчезаетъ, потому что подъ вліяніемъ развращающей обстановки весь строй вашихъ понятій медленно понижается. Такимъ образомъ общество, по милости вашей супруги, потеряло въ вашей особѣ полезнаго работника и приобрѣло лишняго эксплуататора. Но такіе супруги формируются только изъ тѣхъ женщинъ, которыя совершенно сбивы съ толку кринолинами, гуляньями, шляпками и трюнками. Женщины-же, подобныя Леночкѣ, понимаютъ очень хорошо, что шелковое платье и счастье жизни — двѣ вещи разныя; и эти послѣднія женщины не промѣняютъ любимаго человѣка не только на шляпку, но даже и на цѣлый бурнусъ. Если вы станете объяснять Леночкѣ, почему вы не хотите или не можете взять мѣсто въ 80 рублей, она можетъ-быть и не совсѣмъ успѣшно пойметъ ваши доводы, но она во всякомъ случаѣ повѣритъ вамъ. Она увидитъ, что вамъ было-бы тяжело на томъ мѣстѣ, и этого будетъ для нея совершенно достаточно. Словомъ, простыя женщины, подобныя Леночкѣ, умѣютъ по крайней мѣрѣ любить, а это умѣнье совсѣмъ не такая ничтожная вещь, которой при нашей непокрытой бѣдности было-бы позволительно пренебрегать. Разумѣется, змѣиная мудрость лучше голубиной кротости, но на нѣтъ и

суда нѣтъ. За неимѣніемъ лучшаго, умѣйте и голубиную кротость обращать себѣ въ пользу. А извлекать изъ нея пользу очень возможно, потому что человѣку, измученному и утомленному ежедневной борьбой съ глупостью и подлостью, не только приятно, но даже необходимо имѣть возлѣ себя честное, вѣрное и любящее существо, у котораго всегда можно найти неподдѣльную ласку и безкорыстное участіе.

Теперь читатель понимаетъ, что типъ кисейной дѣвушки имѣетъ очень важное значеніе, тѣмъ болѣе, что такихъ женщинъ много. Надо объяснить обществу, что эти силы, хорошія и здоровыя, хотя и не блестящія, не должны пропадать даромъ. Надо объяснить преимущественно умнымъ и образованнымъ юношамъ, что на этихъ простыхъ женщинъ они должны смотрѣть не только безъ высокомернаго предубѣжденія, но даже съ глубокимъ сочувствіемъ и уваженіемъ. Путь жизни длиненъ и труденъ. Работа утомительна. Отдыхъ для обыкновенныхъ людей необходимъ. Умныхъ женщинъ мало. Поэтому, если вамъ встрѣтится Леночка, и если она съ ребяческой доверчивостью бросится къ вамъ на шею, подумайте, серьезно подумайте, существуетъ ли дѣйствительно такая-нибудь необходимость отворачиваться отъ союза съ этимъ милымъ ребенкомъ. — Леночка не дастъ вамъ того великаго, безмѣрнаго счастья, которое даетъ только мыслящая женщина, но по крайней мѣрѣ она не превратитъ васъ ни въ подлеца, ни въ филантера, ни въ закабаленнаго батрака. Она не будетъ васъ эксплуатировать; у нея есть искренность, а это — свойство очень драгоценное. Но какъ-бы вы ни рѣшили вопросъ о вашихъ дальнѣйшихъ отношеніяхъ къ той или другой Леночкѣ, не смѣйте ни въ какомъ случаѣ смотрѣть свысока на этихъ женщинъ и обращаться легкомысленно съ ихъ чувствами.

Существуетъ на Руси поговорка, что женскія слезы — вода; эта поговорка, подобно многимъ другимъ, доказываетъ только весьма наглядно, что на Руси во всякое время было достаточное количество дураковъ и подлецовъ. Вы умѣе, вы образованнѣе, вы крѣпче Леночки; вы не заплачете о томъ, о чемъ она заплачетъ; всѣ ваши доблести и преимущества при васъ и остаются; но все это не даетъ вамъ никакого права думать, что вы чувствуете глубже ея и что всѣ ея маленькія огорченія скользятъ съ нея, какъ съ гущая вода. Абсолютной мѣрки для глубины чувства не существуетъ. Всякому свои слезы солены, и кто своимъ легкомысліемъ заставляетъ плакать безответное существо, подобное Леночкѣ, тотъ поступаетъ глупо и подло, хотя быть можетъ онъ и не дуракъ, и не подлецъ. Важнѣйшее житейское искусство состоитъ именно въ томъ, чтобы пробираться бережно и осмотрительно въ путаницѣ личностей и интересовъ, не наступая никогда нечаянно на живое человѣческое тѣло. —

Мудреное искусство жить и дѣйствовать, не обижая безвредныхъ людей, приобретается не сразу. Молодымъ людямъ случается часто наступать на живое тѣло безъ всякаго злого или подлаго умысла, по неопытности, по неловкости, по неумѣнью ясно разсмотрѣть ту пограничную черту, гдѣ кончаются естественныя права собственной личности и гдѣ начинаются естественныя права сосѣда. Это наступаніе на живое тѣло производитъ съ одной стороны боль, съ другой — стыдъ и угрызеніе совѣсти. Такіе уроки не проходятъ даромъ. Кто наступилъ одинъ разъ и не пережилъ всѣхъ тяжелыхъ ощущеній, развивающихся изъ такого событія, тотъ постарается въ будущее время вести свои дѣла внимательнѣе и осторожнѣе. Опытъ здѣсь, какъ и вездѣ, дѣйствуетъ сильнѣе всякаго кабинетнаго размышленія.

Но подобныя опыты обходятся слишкомъ дорого, и было-бы очень полезно замѣнить ихъ, насколько это возможно, плодами теоретическихъ размышленій. Польза беллетристики и литературной критики состоитъ преимущественно въ томъ, что онѣ заставляютъ читателя размышлять о такихъ житейскихъ вопросахъ и формировать себѣ взгляды на такія стороны и явленія вседневной жизни, которыя незнакомы читателю по собственному опыту. Читая напримѣръ простую исторію Молотова съ Леночкой, неопытный молодой человѣкъ задумывается надъ нею, вглядывается въ слова и поступки обѣихъ личностей и произноситъ надъ ними свое сужденіе; было-бы очень неосновательно думать, что такое упражненіе мысли остается совершенно безвѣднымъ и не имѣетъ никакого вліянія, прямого или косвеннаго, на собственные поступки юнаго читателя. Литературная критика должна поддерживать, усиливать и направлять ту работу мысли, которую пробуждаетъ въ головѣ читателя беллетристическое произведеніе. Разбирая романъ или повѣсть, я постоянно имѣю въ виду не литературное достоинство даннаго произведенія, а ту пользу, которую изъ него можно извлечь для міросозерцанія моихъ читателей.

Легко можетъ быть, что читателя утомляютъ иногда мои длинныя микроскопическія изслѣдованія надъ такими мелкими явленіями, какъ любовныя радости и огорченія какой-нибудь ничтожной Леночки. Читателю досадно, зачѣмъ я анализирую почти каждое движеніе и комментирую почти каждое слово Молотова и кисейной дѣвушки. Но мнѣ кажется, что досада читателя неосновательна. Я глубоко убѣжденъ въ томъ, что эти микроскопическія явленія, эти будничныя мелочи наполняютъ собой цѣлую массу цѣлыхъ милліоновъ людей. Изъ необдуманныхъ словъ, изъ мелкихъ непослѣдовательностей, изъ незамѣтныхъ оплошностей складывается маленько-малу большая часть человѣческихъ страданій и человѣческихъ подлостей. Вѣдь Молотовъ по-

ступилъ съ Леночкой очень подло; онъ и самъ признается себѣ въ этомъ; а между тѣмъ скажите по совѣсти, мои двадцатилѣтніе читатели, много-ли изъ васъ сѣмбили-бы или рѣшились-бы на мѣстѣ Молотова поступить такъ, чтобы не вышло подлости? Вотъ и надо было показать подробнѣйшимъ анализомъ, какимъ образомъ отвратительный ядъ подлости слагается изъ самыхъ невинныхъ и безвредныхъ элементовъ. Подлость Молотова именно тѣмъ и поучительна, что Молотовъ самъ нисколько не подлець. Я относился къ нему очень жестко, когда я разбираю его отношенія къ Леночкѣ, тамъ я смотрѣлъ только на одну сторону дѣла: я констатировалъ вредъ и боль, нанесенные кисейной дѣвушкѣ, — существу совершенно невинному и беззащитному. Теперь мнѣ надо возстановить въ глазахъ читателя репутацію Молотова, на которого мы можемъ сердиться за его неуклюжесть, но которого было-бы несправедливо презирать. Собственно полная реабилитація Молотова возможна только тогда, когда мы познакомимся съ дальнѣйшимъ ходомъ его жизни. Молотовъ принадлежитъ къ числу тѣхъ людей, которымъ все въ жизни дается довольно туго. Поэтому тридцатилѣтній Молотовъ гораздо лучше двадцатилѣтняго. Толчки и удары жизни шлифуютъ и закаляютъ его. Онъ превосходно пользуется опытомъ. Чтò пережито имъ, то уже оставляетъ неизгладимую черту въ его умѣ и въ его характерѣ. Но у Молотова нѣтъ того, чѣмъ обладаютъ очень даровитыя личности, подобныя Базарову. У него нѣтъ умѣнья угадывать жизнь; онъ не можетъ силой творческой и анализирующей мысли забѣгать впередъ и рѣшать заранее, совершенно безошибочно, такіе задачи, которыхъ еще не задавала ему дѣйствительная жизнь. Молотовъ выходитъ изъ университета розовымъ младенцомъ, простирающимъ во всѣ стороны свои объятія, тоскующимъ, когда ему приходится об-

нимать пустое пространство, и робѣющимъ, когда въ его объятія попадаетъ живая дѣвушка, принявшая его безпредметное доброжелательство за опредѣлившееся чувство. Базаровъ входитъ въ жизнь сильнымъ, страстнымъ, смѣлымъ и энергическимъ мужчиной, уже выработавшимъ себѣ въ мірѣ книжныхъ занятій драгоценное умѣнье кое-что ненавидѣть, многое презирать, къ очень многому относиться равнодушно и все на свѣтѣ подвергать анализу. Базаровъ на видъ гораздо страшнѣе и свирѣпѣе Молотова. Та женщина, которая съ радостной довѣрчивостью подходитъ къ Молотову, едва осмѣлилась-бы заговорить съ Базаровымъ, или даже при Базаровѣ. Одинъ взглядъ Базарова, быстрый и небрежный, совершенно смутитъ сестру Одинцову, Катю. А между тѣмъ Молотовъ гораздо опаснѣе Базарова. Базаровъ только смутитъ или испугаетъ, а Молотовъ безъ всякаго злого умысла истерзаетъ женщину и изуродуетъ ея жизнь. Еслибы Базаровъ получилъ письмо Леночки, «по гробу вѣрной и любящей», то онъ тотчасъ рѣшился-бы, какъ ему дѣйствовать, вести-ли дѣло впередъ, или оборвать его въ самомъ началѣ. Въ первомъ случаѣ Леночка сдѣлалась-бы счастливѣйшей женщиной. А во второмъ случаѣ Базаровъ сразу такъ обжогъ-бы ее насмѣшливымъ взглядомъ и правдивымъ словомъ, что Леночка тотчасъ убѣжала-бы со свиданія домой и навсегда закаялась-бы писать нѣжныя цыдулки къ молодымъ людямъ. Леночка стала-бы говорить о Базаровѣ, что онъ и злой, и гордый, и страшный, но Леночкѣ не пришлось-бы рыдать на дерновой скамейкѣ, не пришлось-бы плакать напролетъ цѣлыя ночи и не пришлось-бы повторять съ безвыходнымъ отчаяніемъ ужасныя слова: «никому мы не нужны!.. Кому любить такихъ?..» И злой, гордый, демоническій Базаровъ оказался-бы здѣсь, какъ и вездѣ, гораздо лучше добраго, нѣжнаго, ласковаго Молотова.

СЕРДИТОЕ БЕЗСПІЕ.

I.

Я знаю очень хорошо, что наша публика безконечно добра и простодушна; но иногда эти похвальные свойства ея характера проявляются въ такихъ колоссальныхъ размѣрахъ, что меня раздражаетъ охота повторить съ нѣкоторыми измѣненіями непочтительныя слова Бёрне: «Каждый человѣкъ, — говоритъ этотъ писатель въ своихъ «Парижскихъ письмахъ», — имѣетъ полное право быть глупымъ, но имѣнцы злоупотребляютъ этимъ правомъ.» Мнѣ кажется, что наша читающая публика въ прошломъ году злоупотребила пра-

вомъ быть доброй и простодушной. Она не только прочитала, но даже превознесла до небесъ романъ Ключникова «Марево». Еслибы этотъ романъ могъ попасть дѣтъ двадцать тому назадъ въ руки покойнаго барона Брамбеуса, то Брамбеусъ бросилъ-бы его подъ столъ и написалъ-бы о немъ всего полстроки: «Ванька, это твоя литература!» Еслибы наша публика въ общей массѣ своей дѣйствительно поумнѣла со временъ Брамбеуса, то мнѣ, разумѣется, и въ голову не могла-бы придти дикая мысль писать критическую статью о такомъ произведеніи, какъ романъ Ключникова.

ва. Даже теперь, принимаясь за такую постыдную работу, я чувствую потребность извиниться перед мыслящей частью нашей читающей публики. Разбирать романъ Ключниковъ — занятіе крайне неприличное. Невозможно говорить просто: «Ключниковъ», «романъ «Марево»». Надо непременно говорить такъ: «съ позволенія сказать Ключниковъ», «съ позволенія сказать романъ Марево». Что-бы вы сказали напримѣръ, господа мыслящіе читатели, еслибы я осмѣлился поднести критическую статью о драматическихъ произведеніяхъ Дьяченки, или о романахъ Воскресенскаго, или о философіи Асоченскаго, или о какомъ-нибудь преисъ-курантъ винъ и колоніальныхъ товаровъ? Вы-бы сказали вѣроятно, что я съ ума сошелъ и что я начинаю шутить съ вами совершенно неприличныя шутки; вы-бы замѣтили совершенно основательно, что во всѣ эти вещи можно, пожалуй, завертывать мыло, сыръ или копченую рыбу, но что о нихъ нѣтъ никакой возможности размышлять и писать критическія статьи, потому что всѣ эти вещи совсѣмъ не литература, а только печатная бумага.

И все это вы имѣете полное право сказать мнѣ теперь, когда вы видите, что я имѣю дерзость говорить съ вами о романѣ «Марево». И въ то же время я васъ могу увѣрить честию, что я не сошелъ съ ума и вовсе не намѣренъ позволять себѣ въ отношеніи къ вамъ неприличныя шутки. Что-же прикажете дѣлать, какъ прикажете не говорить объ этомъ произведеніи русскаго гения, когда наша публика уже успѣла забыть все, что толковалъ ей великій эстетикъ Бѣлинскій? Подумаешь въ самомъ дѣлѣ, что наша публика любить и уважаетъ Бѣлинскаго: издано 12 томовъ его сочиненій; томы эти раскупаются, разрѣзываются и даже читаются; самые убогіе писакки называютъ Бѣлинскаго своимъ учителемъ, великимъ бойцомъ, основателемъ русскаго критики, законодателемъ въ области эстетики. Подумаешь въ самомъ дѣлѣ, что всѣ истины, высказанныя и доказанныя великимъ критикомъ, вошли уже въ плоть и кровь читающихъ людей и сдѣлались навсегда тѣмъ общимъ капиталомъ, которымъ непременно долженъ обладать каждый образованный русскій человѣкъ. Подумаешь, что теперь уже не зачѣмъ твердить зады и что теперь можно уже смѣло строить дальше на томъ прочномъ фундаментѣ, который заложенъ Бѣлинскимъ. Подумаешь — и жестоко ошибешься! Публика читаетъ Бѣлинскаго и похваливаетъ: какъ, дескать, у него складно все выходитъ! — Публика читаетъ «Марево» и замираетъ отъ восторга: «ухъ! какъ интересно! страсть, какъ интересно!» Чему-же научилась масса публики у Бѣлинскаго, когда она до сихъ поръ не умѣетъ отличать въ литературныхъ произведеніяхъ жизненную правду отъ риторической лжи? Чѣмъ подвинулась публика впередъ въ своемъ взглядѣ на литературу съ тѣхъ баснословныхъ временъ, когда она трепе-

тала отъ волненій надъ переводными романами Поля Феваля и заливалась то смѣхомъ, то слезами надъ такими-же переводными романами Поль-де-Кока? — Ни у Феваля, ни у Поль-де-Кока вы никогда не найдете ничего подобнаго тому, что создалъ Ключниковъ. Не о тенденціяхъ этого начинающаго романиста я намѣренъ здѣсь говорить. Я слишкомъ уважаю самого себя, чтобы вступать съ Ключниковымъ въ какія-бы то ни было теоретическія препирательства: это совсѣмъ не въ ума дѣло. Противъ моего всегдашняго обыкновенія, я посмотрю на романъ Ключникова съ чисто эстетической точки зрѣнія, потому что и съ какой другой точки зрѣнія на него не стоитъ смотрѣть. Я поставлю и рѣшу только вопросъ: годится-ли на что-нибудь этотъ романъ? То-есть можно-ли въ немъ найти хоть малѣйшую искру ума или таланта? Есть-ли въ немъ по крайней мѣрѣ хоть капля здраваго смысла и знанія дѣйствительной жизни? Похожи-ли его дѣйствующие лица хоть немного на живыхъ людей? Если нѣтъ на всѣ эти вопросы придется отвѣчать отрицательно, то никакихъ дальѣйшихъ изслѣдованій о романѣ «Марево» и быть не можетъ. Развѣ что въ самомъ дѣлѣ возможность разсуждать о живыхъ явленіяхъ, затронутыхъ въ романѣ, какъ окажется, что романъ не затронулъ совсѣмъ никакихъ явленій.

Въ клеветѣ, въ карикатурѣ можетъ всякая проявиться умъ, талантъ, своеобразный взглядъ на то или другое явленіе дѣйствительной жизни. Но въ каракуляхъ, написанныхъ или нарисованныхъ пятилѣтнимъ ребенкомъ, которому подарили листъ бѣлой бумаги и очиненный карандашъ, нельзя усмотрѣть рѣшительно ничего, кромѣ неумѣнья рисовать и ребяческой нечистоты руки. Обыкновенно художественныя произведенія пятилѣтнихъ Рубенсовъ оставляются всѣми здравомыслящими людьми безъ вниманія, всякій видитъ, что это — каракульки, и всякій понимаетъ, что не за чѣмъ и разсуждать о ихъ безсмысленности. Обыкновенно также литературныя произведенія бездарныхъ писателей оставляются безъ вниманія здравомыслящими критиками. Всякій видитъ, что это — хламъ, и всякій понимаетъ, что безъ хлама не обходится ни одна литература, и что отъ хлама не отобьешься никакой критикой, потому что на свѣтѣ всегда будетъ очень много людей, совмѣщающихъ въ себѣ тупизмъ и шестинедѣльнаго ягненка съ честолюбіемъ Александра Македонскаго. Но когда честолюбивый ягненокъ пріобрѣтаетъ себѣ славу каракулями всероссійскую извѣстность, тогда критика поневолѣ должна нарушить свое пресловутое молчаніе. Критика должна во всякомъ случаѣ удовлетворять умственнымъ потребностямъ публики. Если публика еще смѣетъ обольщаться каракулями, значитъ, она дается въ томъ, чтобы ей объясняли не такихъ художественныхъ произведеній.

чего дѣлать! Давайте разбирать каракульки уживать претензіи честолюбивыхъ ягнать. — очень печальная обязанность, но дѣлать не-
Не публика существуетъ для удовольствія ягнать, а критики существуютъ для того, чтобы приносить пользу публикѣ.

II.

вздорный, но честолюбивый писатель Ключниковъ силится изобразить въ своемъ уморительномъ романѣ борьбу двухъ мировыхъ силъ, доброй и злой. Добрая сила воплощена въ кандидата Владиміра Русанова, а злая — въ графа Владислава Бронскаго. Между этими двумя силами идетъ, какъ маятникъ, «святая женская душа», которую Ключниковъ называетъ Инной и ую онъ старается сдѣлать весьма интересною. Ключниковъ увѣряетъ насъ, что эта Инна влюблена въ добродѣтельнаго Русанова. Мы ему, разумѣется, охотно вѣримъ и считаемъ молодымъ людямъ всякаго благополучія болѣе, что и Русановъ пылаетъ вѣчно цѣломудренной страстью. Но авторъ никакъ не можетъ согласиться на ихъ бракъ, потому что тогда не произошло бы никакого «Математическаго начала», продолжая любить Русанова, страдаетъ демоническими рѣчами Бронскаго и впадаетъ въ его злые умыслы. Вслѣдствіе таковыхъ предосудительныхъ поступковъ «периодическая душа» изгоняется изъ эдема, такъ что послѣдняя часть романа переноситъ насъ уже за-гра-

варная фантазмагорія, разлучившая пару вѣрныхъ душъ, напоминаетъ Ключникову явление природы, которое называется въ степной Россіи «маревомъ», а въ обыкновенномъ литературномъ языкѣ — миражемъ. Романъ, какъ видите, дано заглавіе эмблематическое, величественное, значительное претензіи на философское. Дѣйствующихъ лицъ въ романѣ много, и всѣ они выведены отчасти для того, чтобы посрамленію злого начала, отчасти же, для преимущественно потому, что надо же чѣмъ-нибудь наполнить страницы, благо есть Русси добродушные люди, покупающіе перья бумагу не пудами, а въ видѣ книжекъ. Романъ есть неисчерпаемое море безсвязной фантазии, посредствомъ которой Ключниковъ старается показать публикѣ, что онъ слыхалъ о жизни всякіе разговоры, читалъ всякія книги и умѣетъ изобразить на бумагѣ, безъ рафическихкихъ ошибокъ, всякое мудреное сло-го старанія увѣнчиваются полнымъ успѣхомъ, и добродушная публика узнаетъ съ особеннымъ удовольствіемъ, что въ Россіи народился одинъ литераторъ, еще одинъ двигатель отечественнаго прогресса, еще одинъ просвѣтитель отечественнаго сознанія. Если Петръ Ивановичъ Бобчинскій живъ и здоровъ до настоящей ми-

нуты, — онъ, разумѣется, уже не станетъ обращаться къ Хлестакову съ просьбой довести до свѣдѣнія важныхъ особъ, что въ такомъ-то городѣ живетъ Петръ Ивановичъ Бобчинскій. Онъ просто напишетъ романъ для «Русскаго Вѣстника» или критическую статью для «Эпохи». Редакція приметъ его трудъ съ благодарностью, и честолюбивый идиотъ не только увидитъ свою фамилію въ печати, но даже получитъ за это удовольствіе денежное вознагражденіе, потому что, какъ говорятъ французы: *chaque sot trouve toujours un plus sot qui l'admire*. — Вотъ вамъ на примѣръ одинъ изъ тѣхъ разговоровъ, посредствомъ которыхъ Ключниковъ двигаетъ отечественный прогрессъ и просвѣщаетъ общественное сознаніе. Дѣйствіе происходитъ въ одномъ уѣздномъ городѣ, на балѣ у мѣстнаго предводителя дворянства.

«— Ахъ!» — крикнула одна дама, заматавшись. — Русановъ подхватилъ ее, думая, что съ нею обморокъ. Она глядѣла черезъ плечо: весь задъ платья, оторванный отъ лифа, спустился и открылъ бѣлые юбки. (Послѣ такого событія, дамѣ повидимому слѣдовало-бы бѣжать въ уборную и поправлять разстроенный туалетъ. Въ дѣйствительности такъ всегда и бываетъ, но въ романѣ Ключникова такъ случиться не можетъ, потому что тогда трудно было-бы понять, зачѣмъ разсказанъ эпизодъ о разорванномъ платьѣ. Дама остается въ залѣ и начинается поучительная сцена, клонящаяся къ посрамленію какихъ-то представителей злого начала.)

«— Извините, — бормоталъ сконфуженный Коля (пятнадцатилѣтній гимназистъ, рано развращенный вліяніемъ злыхъ элементовъ.)

«— Медвѣжонки! (Дама продолжаетъ показывать танцующему обществу свои бѣлые юбки, единственно для того, чтобы поругаться съ развращеннымъ мальчишкой, который при этомъ случаѣ долженъ обнаружить передъ смущенными читателями всю гнусность и закоснѣлость заблуждающейся молодежи.)

«Тотъ проворчалъ что-то и пошелъ было. (Но она все-таки не пошла въ уборную.)

«— Чтò такое? — сказала та, поднявъ носикъ.

«— Я говорю: вольно-жъ вамъ такіе шлейфы отращивать, что ходить нельзя.

«— Да какъ вы смѣете? дерзкій мальчишка! (Да уведите-же вы ее, ради Бога, въ уборную и вразумите ее тамъ, что въ порядочномъ обществѣ дамы не ругаются за случайную неосторожность. Наступивши ей на платье, Коля сконфузился и сказалъ: «извините!» Чего-же ей еще отъ него хочется? Называя его медвѣжонкомъ, она сама напрашивается на дерзость.)

«— А вы — синица долгохвостая! (Ну вотъ, раздражила ребенка, онъ и обругалъ ее.)

«— Г. Горобецъ (это фамилія Коли), извольте отправиться въ гимназію и объявить дежурному надзирателю, что вы мною арестованы въ кар-

перъ, — сказалъ подошедшій инспекторъ губернской гимназіи. (Этотъ инспекторъ, увлекшись рыцарскимъ желаніемъ поддержать обиженную даму, совершенно забываетъ, вмѣстѣ съ Ключниковымъ, условія времени и мѣста. Дѣйствіе происходитъ лѣтомъ, во время каникулъ, и балъ дается не въ губернскомъ, а въ уѣздномъ городѣ. Коля живетъ на хуторѣ у своего дяди и прѣхалъ на балъ безъ всякихъ пожитковъ, такъ, какъ люди обыкновенно ѣздить въ гости. И дядя вовсе не уполномочилъ его скакать, сломя голову, въ ночь въ губернской городъ, до котораго, какъ видно изъ другихъ мѣстъ романа, надо считать по меньшей мѣрѣ верстъ сорокъ или пятьдесятъ. Куда же это пастыръ добрый посылаетъ своего буйнаго питомца? И зачѣмъ же этотъ пастыръ добрый такъ глупъ, что даетъ ему неисполнимое приказаніе?)

«— Позвольте вамъ замѣтить, г. Егоровъ, — отвѣтилъ, нисколько не смутившись, юноша, — что вы мой начальникъ только въ зданіи гимназіи, а здѣсь — такой же гражданинъ, какъ и я. (Къ кому или къ чему Ключниковъ хочетъ обратить такое поученіе — я рѣшительно не знаю, но ясное дѣло, что мудреное слово «гражданинъ» употреблено не спроста. Мы часто случалось слышать, какъ гимназисты грубятъ начальству, но никогда въ подобныхъ случаяхъ не произносились ни слова о гражданскихъ правахъ, потому что это было бы ужъ чересчуръ глупо. Значитъ, тутъ говорить не гимназистъ; тутъ говорить какая-то эмблема какого-то таинственного зла. Коля Горобецъ есть лицо аллегорическое или символическое, но подъ этой многозначительной каракулькой слѣдуетъ непременно подписать, что она направлена противъ такихъ-то и такихъ-то явленій дѣйствительной жизни; а то безъ этой подписи никто не угадаетъ тайныхъ помысловъ автора. Ключниковъ кого-то или что-то обличаетъ, но его обличительное крикѣ вызываетъ въ читателѣ только сострадательный смѣхъ надъ *сердитымъ безсиліемъ* честолюбиваго ягнjenка.)

«Разстроившійся *gond* собрался вокругъ спрившихъ. (А что же даму увели въ уборную? Или Русановъ все еще продолжаетъ ее поддерживать и созерцать вмѣстѣ съ нею развалины ея платья? — Ключниковъ такъ увлекается гимназической теоріей гражданского равенства, что, занявшись изложеніемъ этого спорнаго вопроса, навсегда забываетъ о существованіи дамы и ея платья. Такъ до самаго конца романа мы ничего больше о нихъ и не узнаемъ.)

«— Что такое? Что такое? — раздавались голоса.

«— Ну, всѣ на одного, — кричалъ разгорячившійся питомецъ гимназіи: — милости просимъ, я давно до васъ добирался. (До кого добирался? И что значитъ «добирался»? И съ какой цѣлью добирался? Всѣ эти вопросы на вѣчныя времена остаются нерѣшенными.)

«— А вотъ я тебѣ уши выдеру, — не стерпѣлъ инспекторъ. (Молодецъ мужчина! Хвалю за энергію! Тутъ по крайней мѣрѣ ясно видно, до чего человекъ добирается. Но если взглянуть на дѣло не съ воинственной, а съ педагогической стороны, то окажется, что инспекторъ глупъ, какъ пробка. Онъ начинаетъ съ того, что даетъ своему питомцу неисполнимое приказаніе; питомецъ отвѣчаетъ ему поразительной глупостью, а инспекторъ оставляетъ эту глупость безъ вниманія и лѣзетъ драться. Развѣ такъ надо учить юношество уму-разуму? Инспекторъ, подобно дамѣ съ оборванными платьемъ, самъ напрашивается на дерзость и съѣдаетъ весьма невкусный грибокъ.)

«— Прошу рукамъ воли не давать, — отвѣтилъ тотъ, взявшись за стулъ; — вы сами прозвали меня нигилистомъ! (Послѣ этого отвѣта, подчеркнутаго выразительной мимикой, инспекторъ умолкаетъ и ступевывается. Ключниковъ, которому подвернулось подъ руку новое мудреное слово, совершенно забываетъ о существованіи инспектора, такъ какъ онъ уже забылъ о существованіи дамы, заварившей всю кашу своимъ стремленіемъ поругаться. Что же это наконецъ такое? Коля рѣшительно держитъ въ ежовыхъ рукавицахъ весь провинціальный *beau-monde*. Назвалъ даму долгохвостой синицей — та замолчала. Погрозилъ инспектору стуломъ — тотъ поджалъ хвостъ. А что же дѣлаетъ во все это время хозяинъ дома? Что же это за колпакъ, если онъ не умѣетъ вступиться за даму и усмирить двумя-тремя спокойными сказанными словами буйныя страсти пятнадцатилѣтняго нигилиста?... Нигилиста!.. Вотъ оно — роковое слово! Вотъ вамъ надлежащая похлебка къ обличительной каракулькѣ, измышленной сердитымъ, но безсильнымъ писателемъ. Коля Горобецъ есть символъ или эмблема нигилизма. Весь задъ дамскаго платья оторванъ отъ лифа, дама ругается, инспекторъ говоритъ глупости — единственно для того, чтобы обрисовать съ разныхъ сторонъ чудовище, пожирающее умственные способности русскаго общества. Обрисовываніе, начатое съ такимъ успѣхомъ, продолжается въ слѣдующихъ строкахъ.)

«— Вотъ они, вредоносные-то плоды литературы, — вмѣшался старый чиновникъ. (Не на радость себѣ онъ вмѣшался! И читатель рѣшительно не знаетъ, зачѣмъ Ключниковъ вложилъ въ его уста это глупое изреченіе? Затѣмъ-ли, чтобы ущипнуть старыхъ чиновниковъ и заявить такимъ манеромъ свой собственный тихенькій либерализмъ, или затѣмъ, чтобы изъ за угла пустить противъ литературы то невинное замѣчаніе, что она развращаетъ гимназистовъ.)

«— Это вы говорите потому, что я васъ въ вѣдомостяхъ обличилъ, да еще въ воровствѣ? (Старый чиновникъ тотчасъ исчезаетъ со сцены и присоединяется къ лицамъ, навсегда забытымъ авторомъ. А въ отвѣтъ Коли заключается такой-

же обоюдоострый мечъ, какой мы видѣли въ изреченіи стараго чиновника. Съ одной стороны Ключниковъ повидимому выражаетъ ту смѣлую и явную мысль, что въ Россіи есть старыя чиновники, способные нарушать правила строгой честности. Но съ другой стороны Ключниковъ также повидимому усиливается доказать, что обличать старыхъ чиновниковъ «въ вѣдомостяхъ, да еще въ веровствѣхъ», способны только такіе развращенные пошляки, какъ Коля Горобецъ. — Легко можно быть, что Ключниковъ писалъ свои діалоги безъ малѣйшаго умысла, по избытку своего простодушія, по непосредственному влеченію своей природы, такъ, какъ соловей поетъ и роза благоухаетъ. Но что дѣлать? Бываютъ ужъ такія избранныя организація, у которыхъ «перлы и алмазаны» такъ и сыпятся изо рта, даже помимо ихъ собственнаго желанія. Что ни скажете, что ни напишете — все, каждое слово выходитъ непрѣмѣнно или глупо, или пошло. Въ этомъ отношеніи только одинъ изъ извѣстныхъ миѣ русскихъ писателей можетъ сравниться съ Ключниковымъ. Это — Николай Соловьевъ, начавшій съ недавняго времени украшать своими статьями критическій отдѣлъ «Эпохи». Невинность и простодушіе этого писателя сквозятъ въ каждой его строкѣ. А между тѣмъ въ каждой изъ этихъ невинныхъ и безсвязныхъ строкъ притаилась — незамѣтная для простодушнаго автора, но очевидная для внимательнаго читателя, — злокачественная инсинуація. Николай Соловьевъ имѣетъ привычку читать всѣ мои статьи; чтобы мои незастынія для него слова не показались ему бездоказательной бранью, я напоминаю ему только то мѣсто изъ ноябрьской книжки «Эпохи», въ которомъ, онъ на основаніи повѣстей Помяловскаго, старается уличить нигилистовъ и реалистовъ въ систематическую ненависть къ родителямъ. Пусть наивный критикъ задумается надъ этимъ мѣстомъ и посыплетъ пепломъ свою убогую голову. — Однако все это въ скобкахъ; пора воротиться къ свирѣпому гимназисту, (нагнавшему страхъ на провинціальное общество.)

«— *Pest poli, ce petit bonhomme* — нечего сказать! — слышался женскій голосъ.

«— Это вы говорите оттого, что я не хочу съ вами ногъ вывертывать, какъ ученая собачка, или оттого, что у васъ подъ шляпками вмѣсто мозговъ цвѣты на сажень торчатъ. (Эта рѣчь буйнаго юноши не обращена ни къ кому въ частности. Это — отвѣтъ на возгласы «женскихъ голосовъ». Это — воззваніе ко всему женскому полу вообще. Въ дѣйствительной жизни такіа воззванія совершенно невозможны, потому что разбуженный человѣкъ всегда привязывается съ своей бранью къ тѣмъ отдѣльнымъ личностямъ, которыя его оскорбили, но въ романѣ «Марево» человѣческія страсти разыгрываются иначе. Здѣсь тщедушное воплощеніе нигилизма, стараясь заявить свою собственную глупость и гнусность,

оскорбляетъ все общество и всѣхъ женщинъ, не разбирая правыхъ и виноватыхъ. Слово *мозги* употреблено съ очевидной цѣлью попрекнуть нигилистовъ Молепотомъ. Не мѣшаетъ также замѣтить, что южно-русскіе нигилисты, какъ видно изъ словъ Коли Горобца, предписываютъ дамамъ носить *мозги* не внутри черепа, а снаружи, подъ шляпками, — тамъ, гдѣ въ настоящее время, по изначному выраженію того-же Коли, «торчатъ на сажень цвѣты». Такъ какъ ни одна дама не носитъ подъ шляпкой цвѣтовъ «на сажень» и такъ какъ съ другой стороны носить мозги *на* головѣ неопытно и бесполезно, то читатель долженъ согласиться, что нигилизмъ совершенно несостоятеленъ, ибо нигилисты лгутъ безсовѣстнымъ образомъ и для своихъ преступнымъ цѣлей извращаютъ основныя истины анатоміи и физиологіи.)

«— Позвольте васъ спросить, милостивый государь, гдѣ вы воспитывались? — сказалъ Бронскій, подойдя въ свою очередь. (Самъ демонъ выступаетъ на сцену, чтобы защитить несчастное общество отъ неукротимаго пятнадцатилѣтняго злодѣя. Однако, надо сказать правду, первый вопросъ демона поразительно глупъ. Къ чему этотъ разговоръ о воспитаніи, когда забывшійся мальчикъ обругалъ всѣхъ дамъ дурами? Его просто надо было увести изъ комнаты и надо было предложить ему стаканъ холодной воды для успокоенія взволнованныхъ его страстей. Но, разумеется, демонъ и не можетъ быть умнымъ, потому что онъ созданъ Ключниковымъ, а, извѣстное дѣло, творецъ можетъ дать своему творенію только тѣ свойства, которыми онъ самъ обладаетъ.)

«— Оставьте его, — шепнула Доминовъ: — это забавно. (Доминовъ — молодой, но уже очень солидный чиновникъ, товарищъ председателя гражданской палаты. По какому случаю и съ какой точки зрѣнія этотъ господинъ можетъ находить забавными глупыя и неприличныя выходки Коли Горобца — это остается для читателя непроницаемой тайной.)

«— Нѣтъ, онъ можетъ повредить... — также полу-шопотомъ отвѣчалъ Бронскій. (Кому повредить, чѣмъ повредить — это опять неразгаданная шарада. Авторъ очевидно старается напустить какъ можно больше таинственности; простодушные читатели ловятся на эту балаганную штуку и быстро поглощаютъ одну страницу за другой, въ надеждѣ найти наконецъ желанное объясненіе. Никакого объясненія они не находятъ, но они не злопамятны; имъ надо было только убитъ время. Если авторъ усыпаетъ свой рассказъ глухими намеками на какую-то интригу, то читатели, по своему добродушію, не требуютъ отъ него, чтобы онъ имъ показалъ всѣ нити и весь смыслъ интриги; они до самаго конца романа будутъ чего-то ждать, а потомъ, ничего не дождавшись, смиренно поблагодарятъ дюжиннаго писателя за доставленное имъ удовольствіе.)

« — Наше поколѣніе само себя воспитывало, — продолжалъ Коля. (Вотъ вамъ третье мудреное слово, — «гражданинъ», «нигилистъ», «наше поколѣніе» — все это слова весьма предосудительныя, которые могутъ произносить только неблагонаправленные гимназисты.)

« — И съ перваго разу поретъ дичь, — спокойно возразилъ Бронскій. — Что это за ваше поколѣніе? Развѣ не каждую минуту люди рождаются?

« — Браво! браво! — раздалось вокругъ. (Ахъ, какой умный Бронскій и какое умное общество! Чему-жъ они такъ обрадовались и съ какой стати закричали «браво»? По словамъ Бронскаго выходитъ, что столѣтній старикъ и грудной ребенокъ принадлежать къ одному поколѣнію. Ихъ раздѣляетъ, правда, промежутокъ времени въ девяносто-девять лѣтъ, но вѣдь это ровно ничего не значитъ. Годъ состоитъ изъ двѣнадцати мѣсяцевъ, мѣсяцъ — изъ тридцати дней, день — изъ 24 часовъ, часъ — изъ 60 минутъ, а люди рождаются каждую минуту. Столѣтній старикъ принадлежитъ къ одному поколѣнію съ тѣмъ человѣкомъ, который родился минутой поздиѣ его, и съ тѣмъ также, который родился двумя минутами поздиѣ, и тремя, и четырьмя, и пятью, и такъ далѣе; если продолжать такой расчетъ очень долго, то и окажется, что столѣтній старикъ и грудной ребенокъ принадлежать къ одному поколѣнію. Это — вариация на известный софизмъ старой схоластической логики — о плѣшивомъ. Вамъ предлагаютъ вопросъ: «если вырвать у васъ одинъ волосъ, сбѣлаетесь-ли вы плѣшивымъ?» — Вы разумѣетесь, отвѣтите: «нѣтъ.» — «А если вырвать еще одинъ?» — «Нѣтъ.» — «А еще одинъ?» — «Нѣтъ.» Но наконецъ вамъ придется-же сказать: «да», и тогда вашъ собесѣдникъ объявитъ вамъ, что вы сбѣлались плѣшивымъ отъ потери *одного* волоса, или-же — что между плѣшивымъ и не плѣшивымъ человѣкомъ нѣтъ никакой разницы. Тотъ, кто первый выдумалъ эту штуку, былъ конечно очень остроуменъ, но прилагать эту старую выдумку къ различнымъ частнымъ случаямъ — совсѣмъ не трудно. Но даже въ частномъ приложеніи стараго софизма Ключниковъ ползетъ по чужимъ слѣдамъ. «Русскій Вѣстникъ», питающій нѣжную страсть ко всякой схоластической дребедени, уже давно старался доказать схоластическими ухищреніями, что молодое поколѣніе есть мнѣ, сочиненный двумя-тремя злонамѣренными журналистами.)

« — Что тутъ значать лѣта? Тутъ важны одинаковыя убѣжденія. (Четвертое мудреное слово, вложенное въ уста Коли для опошления! Толковать объ убѣжденіяхъ могутъ только малолѣтніе грубіяны.)

« — Значить, ничего не признавая, признаемъ классификацій, признаемъ убѣжденія... (Тутъ я даже вступилъ становлюсь передъ величіемъ ятой пошлости. Откуда это почерпнулъ Бронскій то свѣдѣніе, что Коля Горобецъ ничего не при-

знаетъ? И что это значитъ — ничего не признавать? И кто это ухитрился не признавать классификацій и убѣжденій? Если я не признаю классификацій, то, значитъ я смѣло могу утверждать, что орангъ-утангъ есть металлъ, что дубъ есть млекопитающее, а желѣзо — растеніе. Такъ, что ли? — Но въ сущности это все равно. Дѣло не въ томъ. Ключниковъ очевидно полагаетъ, что мы на свѣтѣ люди, непризнающіе ничего, непризнающіе классификацій и убѣжденій. Въ этомъ мнѣніи Ключникова нѣтъ ничего особенно изумительнаго. Вѣдь полагаетъ-же страница Феклуша, появляющаяся на сценѣ въ «Грозѣ» Островскаго, что есть люди съ песьими головами. Я вижу ни малѣйшаго резона, почему и Ключникову не имѣть столь-же оригинальныхъ помысловъ о землѣ и о тваряхъ, на ней живущихъ. Что позволительно Феклушѣ, то вовсе не должно составлять запретный плодъ и для Ключникова. Но вѣдь вы вотъ что возьмите въ расчетъ: Бронскій видитъ Колю Горобца въ первый разъ въ жизни; въ словахъ Коли не было высказано ни одного намека на какія-бы то ни было признанія или отрицанія. Спрашивается, какъ-же процессомъ мысли Бронскій могъ добраться до той непостижимой нелѣпости, которую онъ произноситъ? Ключниковъ, какъ кліентъ «Русскаго Вѣстника», очень сердится на какиѣ-то люди съ песьими головами. Мысль объ этихъ чудовищахъ не дастъ покоя Ключникову, не зная чѣмъ-же онъ навязываетъ свою собственную таллуцинацію тѣмъ дѣйствующимъ лицамъ романа, которые никакъ не могутъ думать, чувствовать и говорить такъ, какъ думалъ, чувствовалъ и говорилъ-бы на ихъ мѣстѣ самъ Ключниковъ?)

« — А, да чортъ васъ побралъ бы, — крикнулъ гимназистъ и улизнулъ изъ залы.

« — Молодецъ графъ, не нытишь ни мѣ — чета! замѣтилъ солидный господинъ, съ большимъ интересомъ слѣдившій за этимъ объясненіемъ.»

Вы видите, что солидные господа принимаютъ Колю Горобца за одного изъ «нытишнихъ». Какъ лестно должно быть графу, что его называютъ «молодцомъ» такіе умные люди! И какъ пріятно должно быть графу то сознаніе, что онъ передъ лицомъ всего уѣзднаго общества съумѣлъ побѣдить въ словесномъ турнирѣ даже пятнадцатилѣтняго гимназиста! Да и мудро было не побѣдить! Какъ ни глупы были выходки Коли, однако фразы Бронскаго еще неизмѣримо глупѣе, а глупость, доведенная до колоссальныхъ размѣровъ, можетъ ослѣпить, оглушить, ошеломить окончательно сойти съ толку самаго искуснаго диалектика. Спорить можно только съ тѣмъ человѣкомъ, который дѣйствительно работаетъ умомъ во время спора. Побѣдить въ спорѣ можно только того человѣка, у котораго въ головѣ здоровая, естественная логика. Говоря съ такимъ человѣкомъ, вы можете прослѣдить весь процессъ его мысли и отыскать ту точку, въ которой кроется (своная причина ва-

ниго разногласія. Но что-же вы станете дѣлать съ такимъ собесѣдникомъ, который неспособенъ связать въ своей головѣ двухъ мыслей? Скажете онъ вамъ напримѣръ фразу; вы увидите въ этой фразѣ нелѣпость; начнете вы доказывать ему, что онъ ошибся, онъ сейчасъ отпустить вамъ вторую фразу, опять съ нелѣпостью, неимѣющей даже никакой логической связи съ первой; вы кинетесь къ этой второй фразѣ и начнете ее распутывать, онъ вамъ—третью, такого-же достоинства и такъ-же совершенно независимую отъ двухъ первыхъ. И такимъ образомъ онъ откапываетъ десятки фразъ, безъ малѣйшаго утомленія, потому что онъ не думаетъ, а только говоритъ. Но вы разумѣетесь, очень скоро совершенно опалѣете отъ безплодныхъ усилій отыскать между его фразами какую-нибудь логическую связь. Вы попросите пощадить или, подобно Горобцу, улизнете изъ комнаты, а вашъ глухой собесѣдникъ будетъ считаться въ солидномъ обществѣ такимъ молодцомъ, который «ненынѣшнимъ чета». Бронскій спрашиваетъ у Горобца, гдѣ онъ воспитывался; тотъ ему отвѣчаетъ; Бронскій, не продолжая своей прежней мысли, ухватывается за одно слово въ отвѣтѣ Горобца и на этомъ словѣ строить фразу; Горобецъ отвѣчаетъ на эту фразу; Бронскій опять выхватываетъ одно слово изъ отвѣта и опять на этомъ словѣ строить новую фразу. Такая забава можетъ продолжаться до безконечности.—Ключниковъ заставляетъ Бронскаго говорить глупости не потому, что желаетъ представить его безтолковымъ человѣкомъ. Напротивъ того, Бронскій—по замыслу Ключникова—продувная шельма, демонъ, хитрый и опасный чевъкъ; Ключниковъ стремится увѣрить насъ, что Бронскій опутанъ своимъ интригами цѣлый край; Ключниковъ напрягаетъ все свои силы, чтобы въ каждое слово Бронскаго вложить нѣчто многозначительное и молвіеносное; но Ключниковъ все-таки остается Ключниковымъ, и поэтому Бронскій оказывается пугалицей вмѣсто того, чтобы быть лукавымъ демономъ. И читатель припоминаетъ съ сострадательной улыбкой ту неосновательную лягушку, которая старалась усвоить себѣ тучность вола. Ключникову было-бы очень выгодно, еслибы мы повѣрили ему на слово; тогда-бы онъ намъ просто сказалъ: «Бронскій и Русановъ—умные люди»; мы-бы этимъ увѣреніемъ тотчасъ удовлетворились; но мы—тоже люди хитрые и неговорчивые; мы на это возражаемъ Ключникову: «а вы намъ нарисуйте умныхъ людей! Вы намъ покажите, какъ умные люди говорятъ, дѣйствуютъ. Ну-ка, попробуйте!»—Ключниковъ пробуетъ, но тучность вола остается для него недоступнымъ идеаломъ. И Бронскій, и Русановъ, и всякіе Горобцы мужескаго и женскаго пола наводятъ на читателя уныніе и оцѣпенѣніе, потому что на всѣхъ этихъ особахъ сіяетъ неизгладимая печать ихъ общаго фабриканта.

III.

Разобранная мною сцена занимаетъ въ романѣ Ключникова двѣ небольшія странички. Когда-же я взялъ на себя печальный трудъ отмѣтить и распутать всѣ безсмыслицы, украшающія эту сцену, тогда мнѣ пришлось написать слишкомъ десять страницъ большого формата. Вы у меня вѣроотно спросите: ради чего-же я такъ усердствовалъ?—А вотъ видите-ли: мнѣ хотѣлось показать публикѣ, какимъ образомъ слѣдуетъ читать русскія книги. Если вы прочтете сцену безъ вниманія, то вы не увидите въ ней ничего особеннаго: гимназистъ оторвалъ платье, поругался съ почтенными людьми, убѣжалъ изъ комнаты—все это вещи возможные, нисколько не нарушающія законовъ природы. Но прочтите ту-же сцену со вниманіемъ, и вы увидите въ ней поразительную безтолковщину. Всѣ дѣйствующія лица—какія-то куколки на пружинкахъ; всѣ говорятъ совсѣмъ не то, что они могутъ и должны говорить по своему положенію и характеру; отвѣты не вяжутся съ вопросами; каждый говоритъ свою собственную чепуху, и вы никакъ не можете понять, какая побудительная причина выталкиваетъ изъ него столь неожиданные и неправдоподобные звуки.

Еслибы наша публика выучилась читать внимательно романы и журнальныя статьи, еслибы она постоянно требовала отъ писателя строгаго отчета въ каждомъ написанномъ имъ словѣ, еслибы она прониклась тѣмъ убѣжденіемъ, что каждое слово должно непременно выражать собой мысль, совершенно понятную для того, кто пишетъ это слово,—тогда литература наша навсегда очистилась-бы отъ такихъ художничьихъ притчей, какъ романъ «Марево» или журналъ «Эпоха». Весь романъ «Марево», съ первой страницы до послѣдней, написанъ совершенно такъ, какъ разобранная мною сцена. Попробуйте, господа читатели, раскрыть его на удачу въ разныхъ мѣстахъ и разобрать попавшіяся вамъ двѣтри странички съ той тщательностью, съ какой я разобралъ 54-ю и 55-ю страницы перваго тома. У васъ просто голова кругомъ пойдетъ отъ этого убійственнаго чтенія; а между тѣмъ въ прошломъ году этотъ романъ читался на-расхватъ. Что-же дѣлать критикѣ противъ этого скандальнаго торжества бездарности? Публикѣ были даны еще со временъ Бѣлинскаго превосходные руководящіе принципы. Но что-же дѣлать, если она сама еще не умѣетъ прикладывать ихъ къ частнымъ случаямъ? Остается только одно послѣднее средство: надо въ критическихъ статьяхъ, кромѣ теорій, давать еще и практику. Надо не только дать публикѣ въ руки букварь, но надо еще читать вмѣстѣ съ нею нараспѣвъ: буки-азъ — ба, вѣди-азъ — ва и такъ далѣе. Мой разборъ ключниковской сцены есть именно такое чтеніе нараспѣвъ. Это очень скучно

и утомительно, но больше вы ничѣмъ не оставите наплава бездарностей, позорящихъ нашу литературу во всѣхъ ея отрасляхъ. Чего добраго, мнѣ скоро придется возиться со статьями Николая Соловьева такъ, какъ я вожусь теперь съ романомъ Ключниковъ. Бездарность душитъ насъ со всѣхъ сторонъ.

Мы видѣли, какъ прелестно Ключниковъ рисуетъ мельчайшія подробности всенедней жизни. Посмотримъ теперь, искусенъ ли онъ въ группированіи и освѣщеніи крупныхъ событій, на которыхъ лежитъ весь психологическій интересъ его романа. Посмотримъ, каково задуманы и обрисованы главные характеры. Разумѣется, важнѣе всѣхъ остальныхъ дѣйствующихъ лицъ кандидатъ Русановъ, добродѣтельный юноша, которому авторъ вполне сочувствуетъ и который даже, по словамъ одного эстетика, Эдельсона, представляетъ собой лицо идеальное. Намъ очень пріятно познакомиться съ такимъ прекраснымъ молодымъ человѣкомъ. Посмотримъ же теперь, какими глазами лицо идеальное созерцаетъ міръ запутанныхъ человѣческихъ отношеній?

Русановъ, только-что кончившій курсъ въ московскомъ университетѣ, пріѣзжаетъ въ одну изъ украинскихъ губерній, на хуторъ къ своему дядѣ, и, заинтересовавшись одной барышней, Инной Горобецъ, рѣшается поселиться въ тихомъ уголкѣ и занять тамъ должность мирового посредника. Онъ въ одно прекрасное утро отправляется по сосѣднимъ хуторамъ знакомиться съ помѣщиками и, объявляя имъ свое желаніе, проситъ ихъ содѣйствія на предстоящихъ выборахъ. Странное дѣло! Лицо идеальное сразу ставитъ себя въ самое смѣшное положеніе. Представьте себѣ, что вы—помѣщикъ. Къ вамъ пріѣзжаетъ незнакомый вамъ юноша и говоритъ: «честь имѣю рекомендоваться. Я—кандидатъ Русановъ. Потрудитесь подать за меня голосъ, когда вамъ придется выбирать мирового посредника.» — Если вы человѣкъ благоразумный, то вы вѣроятно посмотрите на вашего гостя съ нѣкоторымъ изумленіемъ. Онъ только-что успѣлъ показать вамъ свою фizioномію и произнести свою фамилію, и онъ уже думаетъ, что имѣетъ нѣкоторыя права на ваше довѣріе и уваженіе. Онъ полагаетъ, что вы сами добровольно отдадите въ его руки заботы о такомъ важномъ для васъ вопросѣ, какъ полюбовное размежеваніе вашихъ интересовъ съ интересами крестьянъ. Изъ любопытства вы спросите у вашего гостя: «давно-ли вы изволили пріѣхать въ наши края?—Онъ вамъ отвѣтитъ: «три недѣли. — «А прежде гдѣ вы изволили жить?—«Въ Москвѣ. Я учился въ тамошнемъ университетѣ.» — Изъ этихъ двухъ краткихъ отвѣтовъ вы уразумѣете, что вашъ собесѣдникъ никогда не былъ деревенскимъ жителемъ и слѣдовательно не имѣетъ ни малѣйшаго понятія о тѣхъ людяхъ, съ которыми ему придется имѣть дѣло, ни о тѣхъ матеріальныхъ интересахъ, ко-

торые онъ такъ отважно берется размежевывать. Такъ какъ вашъ юный гость стремится къ званію мирового посредника, не обращая никакого вниманія на свою очевидную неопытность и некомпетентность, то вы имѣете полное право вѣдѣть въ немъ или заносчиваго и пустоголоватаго вѣтрогона, хватающагося за всякую работу и неимѣющаго даже понятія о тѣхъ серьезныхъ трудностяхъ, которыя сопряжены съ добросовѣстнымъ отправленіемъ каждой общественной должности, — или же молодого пройдоху, пошлаго искателя приключеній, которому хочется только сорвать съ земства полторы тысячи рублей на канцелярскіе расходы и потомъ вести дѣло на-авось, спустя рукава, безъ всякихъ расходовъ и трудовъ. Въ томъ и въ другомъ случаѣ вы принуждены будете огнестаясь къ вашему по-всемузнакомому съ сострадательнымъ презрѣніемъ, которое по всей вѣроятности нисколько не подвинетъ его впередъ къ желанной цѣли. Идеальное лицо — Русановъ повидимому долженъ былъ все это предвидѣть заранѣе. Но Русановъ о такихъ пустякахъ не думаетъ. Онъ рѣшается быть мировымъ посредникомъ совершенно неожиданно для себя и для читателя, такъ, какъ онъ рѣшился-бы выкупаться въ рѣкѣ или пойти на охоту, или сыграть съ добрымъ пріятелемъ партію на билліардѣ. Неужто въ самомъ дѣлѣ идеальные лица должны приниматься за общественную дѣятельность съ такой младенческой беззаботностью?

Вы можете-быть попробуете сказать въ оправданіе Русанова, что онъ еще очень молодъ, не знаетъ жизни, видитъ вещи въ розовомъ свѣтѣ, слишкомъ много надѣется на свои юношескія силы и вслѣдствіе этого слишкомъ смѣло и необдуманно хватается за такую дѣятельность, о которой онъ имѣетъ самое поверхностное понятіе. Нѣтъ. Ваше оправданіе не идетъ къ дѣлу. Въ студенческіе годы мы не знаемъ дѣйствительной жизни, но мы живемъ въ области мысли; мы въ это время долго, упорно и серьезно думаемъ о нашей будущей дѣятельности: мы подходимъ къ явленіямъ дѣйствительности съ очень строгими, быть-можетъ даже неосуществимыми требованіями; взглядъ нашъ на человѣческія отношенія и на предстоящій трудъ отличается въ молодости скорѣе излишней торжественностью, чѣмъ излишнимъ легкомысліемъ. Вѣтреными юношами выходить изъ университета только тѣ личности, которыя во все время своего студенчества не переставали быть прилежными учениками или рѣзвыми малютками. Молодые люди, мало-мальски умные и даровитые, переживаютъ обыкновенно во время своего студенчества, при столкновеніи съ живой струей науки, много тяжелыхъ и незабвенныхъ минутъ внутренней борьбы и умственного броженія. Молодой человѣкъ углубляется въ самого себя и съ замيرانіемъ сердца задаетъ себѣ рѣшительные вопросы:

«что я такое? Как я проживу на свѣтѣ? Каковы складъ моего ума? Каковы размѣры моихъ силъ? На что я годенъ? Къ чему я себя пристрою? Чѣмъ я обезпечу за собой право подавать руку честнымъ людямъ и смотрѣть имъ прямо въ глаза?» Рѣшеніе этихъ вопросовъ тѣмъ болѣе мучительно, что молодость всегда нетерпѣлива. Молодость тратитъ нерасчетливо все, начиная отъ своего двугривеннаго и кончая своей величайшей драгоценностью—живыми силами организма. Но когда нерасчетливый юноша схватываетъ себя за голову и, потрясенный какимъ-нибудь новымъ впечатлѣніемъ, вдругъ съ поразительной ясностью чувствуетъ потребность рѣшить вопросы жизни,—тогда юношѣ кажется, что время не терпитъ, что каждая минута драгоценна, что надо тотчасъ сдѣлать рѣшительный выборъ, тотчасъ готовить себя къ извѣстной дѣятельности, что малѣйшее промедленіе вредно и преступно, какъ медленное самоубійство или какъ позорное отступничество. Въ умѣ молодого человѣка поднимается буря; вопросы рѣшаются сегодня такъ, завтра—иначе, черезъ недѣлю—натретійманеръ. Молодой человѣкъ злится, бранитъ себя за безхарактерность, выбивается изъ силъ, унываетъ, потомъ принимается за работу хладнокровнѣе, потомъ опять горячится, опять изнемогаетъ, и понемногу въ этихъ необходимыхъ и спасительныхъ буряхъ нашей молодости созрѣваетъ и складывается сильный и мужественный характеръ, который будетъ встрѣчать и переносить съ невозмутимымъ спокойствіемъ и съ добродушнѣйшей веселостью все то, что пугаетъ, давитъ, развращаетъ и уродуетъ мелкихъ людишекъ, незакаленныхъ въ суровой школѣ внутренней борьбы и умственныхъ страданій. Если молодой человѣкъ по нѣскольку разъ въ мѣсяцъ мѣняетъ рѣшеніе важнѣйшихъ вопросовъ жизни, то эта подвижность вовсе не доказываетъ, что рѣшенія даются ему дешево и что онъ относится легкомысленно къ своей будущей дѣятельности. Мѣняетъ онъ свои рѣшенія совсѣмъ не для того, чтобы увеселять себя разнообразіемъ; онъ худѣетъ и блѣднѣетъ, онъ почей не спитъ отъ этого увеселенія; чѣмъ чаще приходится мѣнять, тѣмъ сильнѣе онъ страдаетъ; да вѣдь что-же дѣлать? Такіе вопросы не рѣшаются кое-какъ, и невозможно-же, изъ любви къ умственному комфорту, оставлять неизмѣннымъ такое рѣшеніе, которое уже перестало казаться удовлетворительнымъ.

Юношамъ приписываютъ обыкновенно способность мечтать о будущемъ; *юность* и *мечты*—два понятія неразлучныя; нѣтъ того риомплета, нѣтъ того бездарнаго писака, который-бы не отпустилъ нѣсколько казенныхъ пошlostей о золотыхъ или о розовыхъ мечтахъ юности. Риомплетъ или бездарный беллетристъ въ своей юности дѣйствительно только на то и были годны, чтобы мечтать о розовомъ предметѣ, напри-

мѣръ о какой-нибудь барышнѣ, или о золотомъ предметѣ, напримѣръ объ офицерскихъ эпопѣяхъ. Можетъ-быть у этихъ господъ были крошечныя и каравовыя мечты, направлявшіяся къ верховой лошади такой масти, и сѣдыя мечты, клонившіяся къ бобровому воротнику, который въ свое время будетъ весьма картинно серебриться морозной пылью, по незабвенному выраженію Пушкина, величайшаго специалиста по части всякихъ юношескихъ мечтаній, пѣгихъ и буланыхъ, о маленькихъ ножкахъ и объ издѣліяхъ вдовы Клико. Всѣ подобныя мечтанія чрезвычайно усладительны; но то юношество, которое понесетъ на своихъ плечахъ судьбу общества въ ближайшія десятилѣтія, то юношество, въ которомъ лежатъ задатки мужественной зрѣлости,—мечтаетъ мало. Оно думаетъ, и его думы награждаютъ его ранними морщинами и преждевременными лысынами. Объ этой крѣпкой, страстной и серьезной дѣятельности юношеской мысли Ключниковъ не имѣетъ ни малѣйшаго понятія. Его идеальное лицо—Русановъ мечталъ въ университетѣ объ общественной дѣятельности такъ, какъ современники Пушкина мечтали о шампанскомъ и о балетѣ. Возвышеніе такого идеала Ключниковъ, разумѣется, и не можетъ ничего создать. Безсиліемъ автора и узкостью его пониманія только и объясняется то хлестаковское нахальство, съ которымъ лицо идеальное пытается сунуть свой носъ въ совершенно неизвѣстную ему отрасль серьезной практической дѣятельности. Зрѣлище выходитъ умильное и уморительное. Герой дѣлаетъ пошлѣйшую изъ пошlostей, а романистъ одобрительно и даже почтительно киваетъ головой. Это напоминаетъ мнѣ ту сцену изъ «Мертвыхъ Душъ», когда Маниловъ съ радостнымъ умиленіемъ, свойственнымъ глупому отцу, превозноситъ геніальныя способности своего висюхаго Фемистоклеса, котораго въ эту самую минуту насильственно сморкаетъ лакей.

Плохіе газеты, стараясь заявить свой либерализмъ, подтруниваютъ обыкновенно надъ какой-нибудь несчастной Турціей или упрекаютъ въ ретроградствѣ какого-нибудь шанхайскаго мандарина. Плохіе беллетристы, подобные Ключникову, стремясь обнаружить свою образованность и тонкость своего юмора, рисуютъ обыкновенно съ великосвѣтской насмѣшливостью картины дикихъ провинціальныхъ нравовъ. Ироническіе отзывы о закоснѣлости Турціи и о провинціальномъ *mauvais-genre* питаютъ и грѣютъ многихъ либеральныхъ каплуновъ, которымъ барская спѣсь и непобѣдимая лѣнь мѣшаютъ взяться за пиленіе дровъ или за тасканіе воды.—Описывая путешествіе Русанова по сосѣднимъ хуторамъ, Ключниковъ, разумѣется, развертываетъ сокровища своего юмора и бросаетъ насмѣшливыя взгляды на обитателей украинскаго захолустья. Но просвѣщенный либераль не за-

мѣчаетъ того, что чѣмъ больше онъ издѣвается надъ смиренными провинціалами, тѣмъ глубже и смѣшнѣе становится фигура его любимого героя, сунувшагося въ воду, не спросивъ броду. — «Ну, будетъ по сѹмасшедшимъ домамъ шляться!» — восклицаетъ Русановъ, объѣхавъ около десятка хуторовъ. — О, милѣйшій господинъ Русановъ, какъ жестоко вы поражаете этимъ возгласомъ вашу собственную особу! Вы сами запрашивались на такую должность, которая приводила-бы васъ въ ежедневныя соприкосновенія съ самыми допотопными типами провинціальной жизни. Вы называете вашихъ сосѣдей сѹмасшедшими? Прекрасно! Но, къ счастью для васъ, у этихъ сѹмасшедшихъ все-таки хватило здраваго смысла на то, чтобы отклонить вашу просьбу о мировомъ посредничествѣ. А что-бы вы запыли въ томъ случаѣ, еслибы сѹмасшедшіе не оказались благоразумнѣе васъ и еслибы они исполнили ваше желаніе? Вѣдь вамъ, мой неразсудительный другъ, пришлось-бы тогда каждый день бывать въ какомъ-нибудь сѹмасшедшемъ домѣ и каждый день по нѣсколькимъ часамъ под-рядъ вести юридическія или экономическія бесѣды то съ помѣщицей Коробочкой, то съ Собакевичемъ, то съ Ноздревымъ. У васъ голова закружилась отъ нѣсколькихъ легкихъ разговоровъ о погодѣ и объ урожаѣ, а каково-бы вамъ пришлось тогда, когда надобно-бы толковать обитателямъ сѹмасшедшихъ домовъ положеніе 19-го февраля, объяснять имъ, что такое уставная грамота, выкупная сдѣлка, разверстаніе угодій? Какъ-же вы осмѣлились просить себѣ званія мирового посредника, когда вы даже приблизительно не знали умственной и нравственной фizioноміи того общества, въ которомъ вамъ пришлось-бы судить и рядить? Если вы называете сѹмасшедшими вашихъ сосѣдей, смиренно сидящихъ въ своихъ медвѣжьихъ углахъ, то какъ прикажете назвать Владимира Ивановича Русанова, образованнаго юношу, врывающагося въ міръ сѹмасшедшихъ домовъ для полученія тысячи пятисотъ рублей за такую работу, которую онъ никакъ не можетъ выполнить добросовѣстно и удовлетворительно?

На одномъ изъ хуторовъ Русановъ бесѣдуетъ съ сантиментальной помѣщицей, которая послѣ первыхъ двухъ словъ наводитъ разговоръ на амурныя дѣла. Русановъ цѣломудренно уклоняется отъ этого щекотливаго предмета и выдвигаетъ впередъ свое желаніе быть мировымъ посредникомъ. Происходить маленькое недоразумѣніе, созданное Ключниковымъ для того, чтобы уязвить и осмѣять провинціалку, которую онъ называетъ «дебелой красавицей». Но несчастный Русановъ при этомъ недоразумѣніи оказывается несравненно смѣшнѣе «дебелой красавицы».

— Я желалъ-бы переговорить съ вашимъ супругомъ, — говоритъ Русановъ... я желалъ-бы быть посредникомъ.

— О, шалунъ! Вы знаете, какъ это опасно!

Вы хотите быть посредникомъ между женой и тираномъ.

— Какъ-съ?

— Между замужней женщиной...

— Нѣтъ-съ, мировымъ посредникомъ...

— А-а-а! Я вѣдь сказала вамъ, мужа дома. Это не по моей части...

«Дебелая красавица» желаетъ познакомиться съ молодымъ человѣкомъ. Это конечно очень нравственно, но совсѣмъ не глупо, потому что многіе молодые люди — большіе охотники за ласками; стало-быть, красавица не могла заранее, что ея желаніе не осуществится, лодой человѣкъ заговариваетъ «съ дебелой савицей» о мировомъ посредничествѣ. Это конечно нисколько не безнравственно, но очень глупо, потому что молодой человѣкъ женѣ былъ сразу увидѣть и понять, что лая красавица способна заниматься только темъ, что «по ея части». Стало-быть, бесѣдовать о дѣлахъ государственной или общественной службы было совершенно неумѣстно.

IV.

Потерпѣвши неудачу въ исканіи мирового посредничества, Русановъ поступаетъ на службу въ гражданскую палату и получаетъ мѣсто лоначальника. Когда ему уже было обѣщано мѣсто, онъ ведетъ слѣдующій разговоръ съ своимъ бывшимъ университетскимъ товарищемъ Бронскимъ.

« — Вы все такой-же Владиславъ, — говоритъ Русановъ. — Вотъ вы опять утонули въ мѣсто, когда-то вы ихъ приложите? »

« — А вы свои приложите? »

« — Да, помните, какъ мы, разставаясь, условились, или наше вступленіе въ жизнь? (*вступленіе въ жизнь* запрещено закономъ ского синтаксиса. Еслибы можно было вступленіе въ жизнь, то было-бы также позволено пить день рожденія свадьбу. Но до сихъ поръ никому не приходило въ голову такая преступная мысль.) Съ этого дня я — столоначальникъ гражданскихъ делъ. »

« — Съ чѣмъ васъ и поздравляю! — говоритъ графъ, отодвигаясь. »

Разумѣется, трудно повѣрить тому, что идеальное лицо — Русановъ мечталъ, прежде изъ университета, именно о мѣстѣ столоначальника гражданской палаты. Молодые одержимые демономъ честолюбія, мечтаютъ не о болѣе возвышенномъ положеніи въ служебной іерархіи, на примѣръ о министрѣ, портфель или по меньшей мѣрѣ о претителѣ, о звѣздѣ, о лентѣ, о званіи. Но я думаю, что даже Ключниковъ стыдился официально заявлять свое сочувствіе къ тѣмъ молодымъ людямъ, которые слѣдуютъ на государственную службу исключительно на средство удовлетворять прихотямъ ме-

исцелянія. Поэтому я готовъ допустить, что Русановъ при выходѣ изъ университета мечталъ не о чинахъ и знакахъ отличія, а о той пользѣ, которую онъ будетъ приносить обществу, занимая въ государственной службѣ какую-нибудь кромную должность. Словомъ, Русановъ мечталъ въ университетѣ такъ, какъ Надимовъ и великодушный становой Львова мечтали на сценѣ Александринскаго театра. Можно было-бы замѣтить, что эти мечты составляютъ уже для русскаго общества разогрѣтое кушанье, но я буду снисходителенъ до конца, постараюсь забыть несвоевременность русановскихъ мечтаній и произнесу надъ ними приговоръ только на основаніи тѣхъ фактовъ, которые изобрѣтаетъ самъ Ключниковъ. — Черезъ нѣсколько времени послѣ погашенія Русанова на службу помощникъ новаго стодонадальника, Чижиговъ, приглашаетъ его къ себѣ пообѣдать запросто. Послѣ очень кромнаго обѣда Чижиговъ пускается съ своимъ начальникомъ въ откровенный разговоръ.

« — По правдѣ сказать, Владиміръ Ивановичъ, не безъ задней мысли и пригласилъ васъ поглядѣть на наше житье-бытье... Я васъ поблагодарю... »

— Мена-то?

— Вы видѣ того-съ... изъ нынѣшнихъ, — скажетъ Чижиговъ, посмѣиваясь: — а я... лучше ужъ разомъ покаяться... Я беру взятки... А вы погодите, вы не сразу казните... Я и уроки даю, получаю рублей пятнадцать въ мѣсяцъ; ну, мезонинъ доставляетъ пятьдесятъ ежегодно. Этимъ бы можно и жить, да вы возьмите то: начальство требуетъ, чтобы являлся въ своемъ видѣ, не обомышленъ, ну, и сапоги... Хотя съ вышей точки зрѣнія, казалось бы, что такое сапоги! А тутъ благодарятъ двумя-тремя рубликами... Не брать-съ, ей Богу не брать, пока оставалось кой-что у жены; все надѣялся на повышение, а вышло вотъ что!..

Чижиговъ пустилъ густое, бѣлое кольцо дыму; оно плыло, расширилось въ темную ленту и пропало въ воздухѣ.

— Скажите пожалуйста, — началъ Русановъ, желая прекратить тяжелое объясненіе: — неужели Надимовъ ничего не далъ за сестрой?»

Вмѣсто того, чтобы описывать весьма картинно, какимъ образомъ бѣлое кольцо дыму плыло, плыло и пропадало въ воздухѣ, Ключникову не мѣшало-бы задуматься надъ тѣмъ двусмысленнымъ положеніемъ, въ которое попалъ Русановъ вслѣдствіе «тяжелого объясненія» съ своимъ подчиненнымъ. Но Ключниковъ даже не замѣтилъ никакой двусмысленности и никакого положенія. Русановъ, который, разумѣется, не можетъ быть дальновиднѣе своего творца, также отнесся ко всему этому разговору очень легко и игриво. Онъ только своротилъ въ сторону отъ «тяжелого объясненія» и затѣмъ счелъ все дѣло оконченнымъ. Этого мало. Онъ даже въ домѣ своихъ добрыхъ знакомыхъ, Горобцовъ, «началъ описывать чиновный міръ и пошелъ по своей колѣѣ съ свойственнымъ ему добродушнымъ юморомъ». По какой колѣѣ ходитъ обыкновенно Русановъ въ своихъ разговорахъ — этого я не знаю, потому что

все его разговоры, приведенные въ романѣ, совершенно безсвязны, безалаберны, наполнены внутренними противорѣчіями и нивъ какую определенную колею не могутъ быть втиснуты. Что Русанову свойственъ какой-то юморъ, этому я также не могу повѣрить, потому что во всѣхъ его разговорахъ нѣтъ никакихъ слѣдовъ юмора. Въ добродушіи-же я, пожалуй, не откажу Русанову, если только подъ этимъ именемъ мнѣ позволено будетъ подразумѣвать его абсолютную неспособность отнестись серьезно къ какому-бы то ни было явленію жизни и довести послѣдовательно до конца какую-бы то ни было дѣльную мысль. — На добродушные рассказы Русанова о чиновномъ мірѣ, злобный Бронскій дѣлаетъ слѣдующее возраженіе. — «Какъ не пожалѣть, въ самомъ дѣлѣ! Жена, дѣти et caetera... О, благодѣтели! Неужели это оправданіе? — И затѣмъ онъ принялся говорить въ духѣ такой нетерпимости, что Русановъ рѣшился уступить поле противнику и удалился въ уголокъ.

Возраженіе Бронскаго показываетъ ясно, что Русановъ изощрялъ свой добродушный юморъ надъ чѣмъ-нибудь вродѣ *тяжелого объясненія*, происходившаго въ квартирѣ Чижигова. Я вовсе не хочу заподозрить Русанова въ томъ, что онъ зубоскалилъ на счетъ горемычнаго житья бѣдныхъ чиновниковъ. Нѣтъ. Тутъ дѣло совсѣмъ не въ томъ. Тутъ важно то обстоятельство, что Русановъ относился весело и добродушно къ такому явленію, которое радикально подрываетъ для него всякую возможность остаться на службѣ. Основная тема русановскихъ рассказовъ о чиновномъ мірѣ состоитъ очевидно въ томъ, что, молъ, никакъ нельзя — жена, дѣти, поневолѣ беретъ. — Хорошо! Русановъ, какъ мы видѣли, узналъ, что его подчиненный беретъ взятки. Это *тяжелое объясненіе* каждому мыслящему человеку, находящемуся на мѣстѣ Русанова, дало-бы почувствовать, что онъ попалъ въ такіе страшные тиски, изъ которыхъ нѣтъ другого выхода, кромѣ чистой отставки. Къ чему обязываютъ Русанова его присяга, его совѣсть, требованія высшей идеи общественнаго быта? Очевидно къ тому, чтобы безпощадно искоренять взяточничество. Какъ ближайшій начальникъ Чижигова, онъ долженъ донести о его противозаконныхъ поступкахъ и употребить все свои усилія на то, чтобы врагъ общественнаго блага былъ отданъ подъ судъ. Если у Русанова не дрогнетъ рука задавить Чижигова и пустить по міру его жену, если Русановъ твердо рѣшился давить точно такимъ-же образомъ во все продолженіе своей службы всѣхъ бѣдныхъ чиновниковъ, подобныхъ Чижигову, если Русановъ глубоко убѣжденъ въ томъ, что, производя въ своемъ вѣдомствѣ это постоянное избіеніе младенцевъ, онъ дѣйствительно искореняетъ взяточничество и оказываетъ великія благодѣянія своему отечеству, — тогда Русановъ смѣло можетъ оставаться на службѣ и утвер-

ждать всеуслышаніе, что его студенческая мечта о полезной общественной дѣятельности осуществилась блистательно. Но Русановъ поступает совсѣмъ не такъ. Онъ не давить Чижикова и даже остается съ нимъ въ пріятельскихъ отношеніяхъ. *И въ то-же время Русановъ не выходитъ въ отставку.* Вотъ это уже верхъ непоследовательности, той жалкой, старушечьей непоследовательности, которая происходитъ не отъ пылкости страстей, а отъ слабости разсудка. Если Русановъ помиловалъ Чижикова, тогда онъ очевидно долженъ миловать постоянно всѣхъ чиновниковъ, находящихся подъ его начальствомъ. Какъ-бы широко ни шла служба Русанова, какъ-бы быстро ни подвигалась впередъ его карьера, какъ-бы широко ни раздвигались размѣры его власти и дѣятельности—все равно: Русановъ все-таки не можетъ сдѣлать ни шагу для прекращенія чиновническихъ злоупотребленій. Чижиковъ—хорошій человекъ, и у него на рукахъ жена; но вѣдь какой-нибудь Степановъ—тоже чудесный человекъ и у него на рукахъ старуха-мать; а чѣмъ-же дурень Фадѣевъ, у котораго на рукахъ двѣ сестры? И за что-же обижать вдовца Тиханова, у котораго на рукахъ пятеро малолѣтнихъ дѣтей?—Всѣ берутъ по необходимости, всякому деньги не безполезны и у всякаго есть что-нибудь на рукахъ. Значитъ, къ чему-же сводится, при такихъ условіяхъ задачи, студенческая мечта Русанова о полезной общественной дѣятельности? И чѣмъ-же будетъ отличаться идеальный чиновникъ Русановъ отъ всѣхъ матеріальныхъ чиновниковъ, служившихъ еще во времена Очакова и покоренія Крыма? Развѣ только тѣмъ, что тѣ воровали, а Русановъ самъ не будетъ воровать?—Значитъ, Русановъ служить не для того, чтобы приносить положительную пользу, не для того, чтобы искоренять зло, а для того, чтобы *не участвовать* во злѣ. На вопросъ: «что выдѣлаете въ гражданской палатѣ?»—Русановъ долженъ отвѣчать: «я не ворую». Но тогда можно ему замѣтить, что этому отрицательному занятію онъ можетъ съ величайшимъ успѣхомъ предаться и у себя на хуторѣ, и въ Петербургѣ, и за-границей, и гдѣ угодно. Для того, чтобы *не воровать*, нѣтъ абсолютной необходимости носить вицмундиръ и ходить каждое утро въ гражданскую палату. Поступать на службу для того, чтобы со временемъ своимъ вліяніемъ реформировать и обновить цѣлыя обширныя части канцелярскаго механизма,—это еще куда ни шло; объ этомъ пожалуй могутъ мечтать юноши, созерцающіе жизнь изъ прекраснаго далека; но мечтать о томъ, чтобы быть въ своей жизни только безвреднымъ, готовить себя совершенно сознательно къ тому, чтобы сдѣлаться навсегда пассивнымъ винтомъ въ ветхомъ механизмѣ,—уже явный симптомъ такой вялости и хилости, такой собачьей старости, которая во *всякомъ* энергическомъ человекѣ возбуждаетъ шепъ такъ, какъ деревенскіе дѣтки

полнѣйшее отвращеніе. О, великій романистъ, Ключниковъ! О, великій редакторъ Катковъ! О, великій эстетикъ, Эдельсонъ! Такъ это воплощеніе собачьей старости есть, по вашему мнѣнію, лицо идеальное?

Но позвольте! Это еще не все. Внутреннія противорѣчія въ поведеніи Русанова какъ-будто нарочно доводятся авторомъ до послѣднихъ предѣловъ комическаго безобразія. И авторъ такъ слѣпъ, что даже не замѣчаетъ этихъ противорѣчій. На страницѣ 109 Русановъ, придя въ первый разъ на службу, безъ малѣйшей надобности вступается съ однимъ старымъ столоначальникомъ въ ожесточенный споръ по вопросу о взяткахъ. Вотъ вамъ эта поучительная бесѣда, въ которой Русановъ сіяетъ чисто-надимовскимъ благородствомъ души и безкорыстіемъ помысловъ.

«— Горячо вы очень къ сердцу принимаете, не обтерѣлись еще, не настоящій чиновникъ!—увѣщевалъ старичокъ.

— Съ такимъ, какъ вы говорите, терпѣніемъ и до взято къ недалеко,—рѣзко замѣтилъ Русановъ.

— Хе-хе!... Молода еще...

— Что?

— Въ Саксоніи не была... Эхъ, молодой человекъ! кто беретъ взятки? Это запрещено закономъ, за это лишаютъ чиновъ, дворянства...

— А все-таки берутъ...

— Да не взятки-же: благодарности за трудъ. Если вы примѣрно ночь просидите за какими-нибудь дѣломъ, изготовите къ докладу, кака-же это взятка? Развѣ вы обязаны сидѣть ночь? Въ Сводѣ Законовъ полагается присутствовать только до двухъ часовъ...

И старичокъ, доставъ красный фуляръ, выскочилъ съ полнымъ сознаниемъ неотразимаго аргумента.

— Да, почтеннѣйшій collega,—перебѣлъ Русановъ,—если предлагаютъ деньги, такъ вѣрно за очередное: то и безъ того доложится... Стабыть, взятка!

— Погодите, послужите, попривыкаете къ нашему порядку...

— Ну, ужъ это дудки! Это вамъ придется къ нашему порядку-то приглядываться. »

На страницѣ 110 Русановъ горячится и говоритъ, что «это дудки», а на слѣдующей, 111-й страницѣ, Чижиковъ приглашаетъ его къ себѣ обѣдать и послѣ обѣда—на страницѣ 114—начинаетъ «тяжелое объясненіе», которое Русановъ прекращаетъ на страницѣ 115.—Спрашивается теперь, съ умысломъ-ли или безъ умысла Ключниковъ поставилъ рядомъ двѣ сцены, одну между Русановымъ и старичкомъ, развивающую теорію благодарности, а другую между тѣмъ-же Русановымъ и Чижиковымъ, развивающую теорію необходимости? Если это сопоставленіе двухъ сценъ произошло нечаянно, тогда вопиющее слабоуміе автора не можетъ уже подлежать никакому сомнѣнію. Тогда, значитъ, Ключниковъ пишетъ одну сцену за другой по капризу силъ инерціи, совершенно машинально: безъ всякаго общаго плана, не умѣя даже постигнуть собственнаго смысла своихъ фразъ. О

псалтырь. И это толкованіе чрезвычайно выгодно для Ключникова, потому что, если я предположу, что обѣ сцены написаны сознательно, съ умысломъ, тогда выйдетъ результатъ изъ рукъ вонъ пакостный, — такой результатъ, который покажется пакостнымъ всѣмъ пишущимъ и читающимъ людямъ, безъ различія литературныхъ партій. — Старичокъ говорить Русанову: «привыкнете къ нашему порядку», и Русановъ дѣйствительно втеченіи какихъ-нибудь двухъ недѣль привыкаетъ. Старичокъ говорить: «благодарность за труды», и Русановъ горячится; Чижиковъ говорить: «благодарять двумя-тремя рублями», и Русановъ отвливаетъ отъ этого разговора, какъ человекъ, старающійся заглушить въ себѣ голосъ совѣсти. Значить, что-же это такое? Значить, старичокъ былъ правъ и слова его были пророчествомъ. Значить, человекъ возмущается взятками только тогда, когда «молода еще, въ Саксоніи не была», а какъ только побываетъ «въ Саксоніи», такъ сейчасъ и увидитъ, что взяточничество освящено законами природы, на вѣки нерушимыми, противъ которыхъ ратуютъ только по своей безтолковости беспокойные вольтеріанцы и фармазоны. Значить, даже и противъ взяточничества ратовать не слѣдуетъ. Значить, самые умные, самые честные, самые крѣпкіе молодые люди должны съ тупымъ спокойствіемъ травоядныхъ животныхъ тянуть старую канитель, завѣщанную прадедами, потому что извѣстное дѣло, яйца курицу не учать, и все это не нами началось и не нами должно кончиться.

Множество романовъ и повѣстей посвящались и посвящаются до сихъ поръ описанію того, какимъ образомъ молодые люди понежному мятятся со всѣми мерзостями дѣйствительной жизни; но авторы этихъ романовъ и повѣстей никогда не осмѣливались оправдывать это примиреніе; они относились къ примирившимся юношамъ болѣе и менѣе сурово, иногда съ сострадательнымъ презрѣніемъ, можетъ-быть съ тихой грустью, но ужъ во всякомъ случаѣ безъ восторженнаго сочувствія. Эти романы и повѣсти были всегда вариациями на знаменитыя слова Гоголя въ главѣ о Плюшкинѣ, — на тѣ слова, которыми Гоголь совѣтуетъ юношамъ забирать съ собой смолоду свѣжія чувства, потому что потомъ не подымеши на дорогѣ. — А въ романѣ Ключникова дѣло идетъ совсѣмъ на выворотъ. Русановъ, примирившійся съ взяточничествомъ, остается для автора идеаломъ и героемъ. Этотъ самый Русановъ, участвующій своимъ молчаніемъ въ мелкихъ плутняхъ Чижикова, стремится пролить и дѣйствительно проливаетъ за отечество нѣкоторую часть своей благонамѣренной крови. Значить, тутъ и рѣчи быть не можетъ о нравственномъ паденіи героя и о сострадательномъ презрѣніи автора. Еслибы Ключниковъ относился къ Русанову неодобрительно, то, разумѣется, Ключ-

никовъ не поставилъ-бы этого опозореннаго человека въ картинную позу Курція, бросающагося въ зияющую пропасть для спасенія отечества. Всякій истинный патріотъ долженъ понимать, что только *чистые* люди имѣютъ право совершать чистые подвиги патріотизма. Отдавать въ литературномъ произведеніи эти подвиги въ руки замаранныхъ и оподленныхъ личностей, — значить prostitute идею патріотизма и усыплять въ обществѣ ту чуткость нравственныхъ требованій, которая составляетъ самое прочное и разумное основаніе любви къ отечеству и къ согражданамъ.

Итакъ, Ключниковъ поставленъ въ необходимость выбрать одно изъ двухъ предложенныхъ мною объясненій: или онъ пишетъ безсознательно, въ принадлежностяхъ хроническаго сомнамбулизма, не понимая того, что выходитъ изъ подъ его пера; или-же онъ умышленно проводитъ въ своемъ романѣ тенденціи старичка и старается реабилитировать взяточничество. Пусть попробуетъ кто-нибудь изъ защитниковъ романа «Марево» объяснить какъ-нибудь иначе смыслъ тѣхъ сценъ, которыя я разобралъ въ этой главѣ. Передъ такой задачей станетъ вступникъ даже такой неустрашимый софистъ, какъ Катковъ. А между тѣмъ въ этомъ вопросѣ прямо заинтересована честь Каткова, если только она еще можетъ чѣмъ-нибудь интересоваться. Романъ «Марево» былъ напечатанъ въ «Русскомъ Вѣстникѣ». Пускай-же «Русскій Вѣстникъ» торжественно проситъ у публики прощенія въ томъ, что опанываетъ ее такимъ дурманомъ. Или-же пускай онъ прямо объявитъ себя адвокатомъ взяточничества и торжественно проклянетъ даже «Губернскіе очерки» Щедрина, положившіе основаніе всему величію Каткова и Леонтьева. Систематическая апологія взяточничества будетъ дѣломъ безпримѣрнымъ даже въ нашей журналистикѣ, опозорившей себя всякими нелѣпостями и гнусностями. Наши литературныя партіи расходятся между собой очень сильно по всѣмъ возможнымъ вопросамъ; даже въ вопросѣ о взяточничествѣ онѣ несогласны на счетъ тѣхъ средствъ, которыя должны привести за собой искорененіе этого общественнаго зла. Но до сихъ поръ я былъ твердо убѣжденъ въ томъ, что нѣтъ и не можетъ быть даже у насъ такой литературной партіи, которая рѣшилась-бы публично провозгласить взяточничество явленіемъ нормальнымъ и не требующимъ искорененія. Я даже и теперь осмѣливаюсь думать, что «Русскій Вѣстникъ» не рѣшится защищать умствованія Ключникова и скромно промолчитъ, чувствуя себя въ безвыходномъ положеніи.

У.

Мы любовались на Русанова, какъ на гражданскаго дѣятеля. Посмотримъ теперь на его отношенія къ любимой женщинѣ. Здѣсь безси-

ле автора выражается вполне въ безцвѣтной видности героя. Ключниковъ готовъ намъ побожиться, что Инна любитъ и уважаетъ Русанова, но мы не повѣримъ никакой божбѣ; мы скажемъ автору: покажите намъ такого Русанова, котораго женщина могла бы любить и уважать; передайте намъ тѣ разговоры или поступки Русанова, которые могли бы произвести на женщину глубокое впечатлѣніе; сдѣлайте создать сильную, умную, мужественную личность, и тогда мы вамъ повѣримъ безъ всякой божбы.

«Помилуйте, господа читатели, — отвѣтитъ авторъ, — чего вы отъ меня требуете? Развѣ можетъ Пульхерія Ивановна изобрѣсти какую-нибудь машину? Развѣ можетъ странница Феклуша написать изслѣдованіе по сравнительной анатоміи? И когда же это видано, и когда же это слышано, чтобы курочка бычка родила, поросеночекъ яичко снесъ? Послѣ этого какъ же вы отъ меня требуете, чтобы я создалъ сильную, умную, мужественную личность? Какъ же вы хотите, чтобы я сочинилъ для моего Русанова умные разговоры или поступки?» — «Ну, такъ не зачѣмъ вамъ и божиться въ томъ, что Русанова любить и уважаетъ женщина, — отвѣтитъ читатель. Сказали бы просто, что онъ произвелъ сильное впечатлѣніе на деревенскую барышню своимъ атлетическимъ тѣлосложеніемъ и своей румяной физиономіей. Этому мы, пожалуй, повѣримъ, тѣмъ болѣе, что мы уже видѣли, какъ заигрывала съ вашимъ героемъ «дебелая красавица». Но Ключниковъ пропускаетъ этотъ отвѣтъ мимо ушей и продолжаетъ божиться. Божится же онъ преуморительно. Такъ напримѣръ, мы видѣли уже, что онъ приписалъ Русанову добродушный юморъ. Но если бы читатели спросили: «а гдѣ-жъ онъ, юморъ-то? подавайте его сюда!», то Ключникову осталось бы только сказать: «былъ, да весь вышелъ. Бѣ-Богу было. У меня, господа, Русановъ — самый настоящий юмористъ, да только я этого выразить никакъ не умѣю.» Въ другомъ мѣстѣ, на страницѣ 30, авторъ утѣряетъ читателя, что Русановъ говоритъ иногда «горячія тирады о значеніи современнаго движенія». Читатель сейчасъ входитъ во вкусъ и требуетъ: «давайте мнѣ сюда горячую тираду. Чтѣ въ печи, то на столѣ мечи.» Но горячія тирады такъ и остаются въ печи, и читатель рѣшительно не знаетъ, что именно Русановъ называетъ *современнымъ движеніемъ* и какое онъ въ немъ усматриваетъ значеніе. Автору опять приходится божиться, что *горячія тирады* — не мнѣ. Въ это горячихъ тирадъ и добродушнаго юмора, авторъ представляетъ намъ напримѣръ слѣдующій эпизодъ изъ его бесѣды съ Инной. «Русановъ ходилъ за ней, раздвигая вѣтви, жевалъ листья и все собирался говорить о чемъ-то. Одинъ разъ онъ будто и рѣшился, кашлянулъ. — Славный

нынче день! — сказалъ онъ и опустилъ глаза подъ пристальнымъ взглядомъ Инны». Впрочемъ, можетъ быть именно въ этомъ эпизодѣ скрыта и горячность, и тирады, и добродушіе, и юморъ. Но читатель не знаетъ навѣрное, куда пристроить эги слова. Тираду мы нашли: «славный нынче день!» Разговоръ о свойствахъ *нынѣшняго* дня есть безъ сомнѣнія самый *современный* изъ всѣхъ возможныхъ разговоровъ. Но какъ же мы поступимъ дальше? Съ одной стороны, легко можетъ быть, что Русановъ «задилъ за ней» съ добродушіемъ, *раздвигая вѣтви* съ юморомъ и *жевалъ листья* съ горячностью; но, съ другой стороны, весьма правдоподобно и то предположеніе, что онъ *рѣшился* съ горячностью, *кашлянулъ* съ юморомъ и *опустилъ глаза* съ добродушіемъ. Просимъ Ключникова вывести насъ изъ тѣснаго недоумѣнія.

На 30-й страницѣ, на той самой, на которой Ключниковъ приписываетъ своему герою способность произносить горячія тирады, авторъ объявляетъ намъ, что «въ мѣстѣ съ наступающей темнотой Русановъ становился смѣлѣе». Читателя, разумѣется, бьетъ сердце и замираетъ духъ. Даже тогда, когда было свѣтло, Русановъ рисковалъ заговорить о такомъ современномъ предметѣ, какъ свойства *нынѣшняго* дня; даже тогда онъ уже жевалъ листья съ горячностью. Чтѣ же способенъ онъ сдѣлать теперь, при наступленіи темноты, когда онъ становится даже *еще* смѣлѣе? Теперь онъ будетъ жевать и глотать дубовыя вѣтви и вишни. А ужъ о чемъ онъ заговорилъ — этого я и представить себѣ не могу, потому что современнѣе *нынѣшняго* дня быть ничего не можетъ. Но какова же будетъ горячность его тирады! Онъ просто испепелитъ мнѣ сердце несчастной дѣвушки, и Инна упретъ на мѣстѣ, какъ умерла Тамара, поцѣловавшись съ шаловливымъ кавказскимъ демономъ, котораго на старости лѣтъ разобрала охота *взбѣлаться*. Сдѣлавшись *еще* смѣлѣе, Русановъ действительно царянулъ слѣдующую тираду. — «Инна Николаевна, хотѣлось бы намъ побывать въ Москвѣ?» Послѣ этого вопроса разговоръ становится уже менѣе замѣчательнымъ. Иннѣ какимъ-то непостижимымъ чудомъ удалось спастись отъ испепеленія; но читатель конечно согласится, что Русановъ достаточно обнаружилъ свою увеличившуюся смѣлость. Ключниковъ до такой степени внимателенъ къ своему герою, что даже считаетъ священнымъ долгомъ сообщать читателю подробности о тѣлосложеніяхъ его лошади. На стр. 140 мы узнаемъ, что «лошадь Русанова кашляла...» — «Славный вала укусить его шенкель». Эпокушеніе произошло во время тирады, когда Русановъ *жевалъ*. Въ Иннѣ же Ключниковъ нѣе внимателенъ, и позг намъ никакихъ подробностей

ятными пустяками. Бесѣда снова принимаетъ направленіе психологическое и головоломное. «Развѣ у меня не можетъ быть привязанности?— У васъ? Полноте!— отвѣтствуетъ Инна». Тогда Русановъ не на шутку приходитъ въ азартъ и пускаетъ «горячую тираду». Вотъ она вся цѣликомъ:— «Инна Николаевна! Вы вотъ смотрите на меня, да только и говорите, что полноте, а есть-ли какая-нибудь возможность выдаваться такъ, чтобы вы этого не сказали? Чѣмъ-же я виноватъ, что это случается только въ романахъ, да еще въ тѣхъ, что Бѣлинскій велитъ Ванькѣ по субботамъ читать». — Кажется, Русановъ приписалъ тутъ Бѣлинскому фразу барона Брамбеуса, но это еще не велика бѣда. Но вотъ что очень плохо: Русановъ думаетъ, что выдаваться изъ толпы пошляковъ можно только какими-нибудь подвигами во вкусъ Ерусалана Лазаревича; онъ не имѣетъ никакого понятія о томъ, что въ XIX столѣтіи людей выдвигаетъ впередъ не ломаніе казенныхъ стульевъ по случаю Александра Македонскаго, а умственная оригинальность и нравственная самостоятельность. Умные люди и честные работники встрѣчаются въ дѣйствительной жизни, а совсѣмъ не въ пошлыхъ романахъ. Всѣ изобрѣтатели, всѣ замѣчательные изслѣдователи, всѣ даровитые писатели, всѣ добросовѣстные преподаватели, наконецъ всѣ люди, умѣющіе мыслить и трудиться, выдаются изъ толпы такъ, что ни одна умная женщина не скажетъ имъ: «полноте!» А развѣ эти люди встрѣчались когда-нибудь въ романахъ Загоскина, Рафаила Зотова или Воскресенскаго? Значитъ, «горячая тирада» Русанова оказалась безцвѣтной глупостью, неудачно направленной къ тому, чтобы оправдать собственное, безцвѣтно-глупое прозябаніе говорящей личности.—Русановъ объявляетъ далѣе Иннѣ, что онъ завтра ѣдетъ въ губернскій городъ на службу. Инна говоритъ ему: «я все-таки лучше объ васъ думала», и спрашиваетъ потомъ: «неужели нельзя пробить свою тропинку?» Русановъ тотчасъ отхватываетъ новую тираду; въ первой онъ цитировалъ Бѣлинскаго, въ этой—ссылается на Лермонтова. Я опять привожу его краснорѣчіе безъ утайки. «Вотъ что! Ну, это точно, какъ вамъ сказать вѣрибе, выше или ниже силъ... Помните, Лермонтовъ говоритъ, что онъ живетъ, точно читаетъ дурной переводъ книги послѣ оригинала? Да, горько, когда жизнь разбивается въ мечты, а намъ и того хуже, мы опытные.»

Оно и замѣтно, что *опытные*. Опытные люди всегда ожидаютъ найти Аркадію въ захолустѣхъ, наполненномъ всеми милыми продуктами и остатками крѣпостного права. Опытные люди всегда суются въ мировые посредники, не имѣя понятія о крестьянскомъ бытѣ и о помѣщичьихъ правахъ. Опытные люди всегда толкуютъ о томъ, что надо развивать эстетическія наклонности въ

народѣ, у котораго нѣтъ ни школъ, ни больницъ, ни повивальныхъ бабокъ. «То-есть, — продолжаетъ *опытный* человекъ Русановъ, — у насъ и мечты-то никакой нѣтъ, нечѣмъ и въ молодости-то было скрасить дѣйствительность.»

Опять пустословіе и вранье! Изъ разговора Русанова съ Бронскимъ, выписаннаго мною въ началѣ моей IV главы, мы уже знаемъ, что у обонхъ товарищей были мечты, когда они на станціи вмѣсто вина «пили вступленіе въ жизнь». Русановъ даже упрекаетъ Бронскаго въ томъ, что онъ опять утонулъ въ мечтахъ. А Бронскій принадлежитъ къ одному поколѣнію съ Русановымъ. Значитъ, какой-же смыслъ имѣютъ слова Русанова—*у насъ*? Какимъ это *нашъ* онъ противопоставляетъ поколѣнію Лермонтова? За чѣмъ-же Русановъ намекаетъ на существованіе *поколѣній*, когда Ключниковъ уже доказалъ посредствомъ Бронскаго заблуждающемуся гимназисту, Колѣ Горобцу, что никакимъ *поколѣніемъ* быть не можетъ, ибо люди рождаются каждую минуту? А кстати можно замѣтить, что на стр. 27 Ключниковъ самъ, отъ своего авторскаго лица, употребляетъ слово «поколѣніе», которое онъ потомъ на стр. 56 побѣдоносно осмѣиваетъ. Значитъ, какъ-же мы рѣшимъ мудреный вопросъ: существуютъ-ли дѣйствительно *поколѣнія*, или-же они изобрѣтены журнальными свистунами? Русановъ ставитъ себѣ въ заслугу то, что у него были такія мечты, которыя могли скрасить дѣйствительность; онъ драматизуется въ тогу гордаго страданія и говоритъ: «намъ и того хуже». Но слова «намъ и того хуже», которыя онъ произноситъ съ тайной гордостью, должны быть, напротивъ того, пронзены съ глубочайшимъ смиреніемъ. Въ нихъ заключается по настоящему сдѣлающій смыслъ: «я очень глупъ въ сравненіи съ Лермонтовымъ; у меня нѣтъ ни ума, ни чувства, ни фантазіи, и поэтому даже мои юношескія мечты были тусклы, какъ старый, стертый четвертакъ.»

Одинъ мужикъ мечталъ такимъ образомъ: кабы я, говоритъ, былъ царемъ, я-бы каждый день свиное сало ѣлъ! Одна кухарка аккуртно каждую ночь видѣла во снѣ, что она стоитъ передъ плитой и ворочаетъ разныя кастрюли. Мечты мужика и сновидѣнія кухарки очень мало способны «скрасить дѣйствительность», потому что они почти совсѣмъ не отдѣляются отъ дѣйствительности, но этотъ трезвый характеръ ихъ грезъ вовсе не доказываетъ намъ, что этотъ мужикъ и эта кухарка—мыслящіе реалисты и отличные работники. Это доказываетъ только то, что они задавлены и притуплены до крайности безцвѣтнымъ однообразіемъ своего существованія. Ихъ умственный горизонтъ такъ низокъ, ихъ жизнь такъ бѣдна впечатлѣніями, что не откуда взять красокъ для фантастическихъ картинъ. Мечты проникнуты ар-

ной посуды, если, вступая въ жизнь, онъ требовалъ отъ нея почти ничего и готовъ удовлетвориться самыми мизерными результатами дѣятельности, то это доказываетъ не то Русановъ *опытенъ* и годенъ на какое-нибудь практическое дѣло, а только то, что Русановъ — бездарный, вялый, тряпичный человекъ, перешедшій прямо изъ дѣтства въ старость; но мечтающіе юноши все-таки лучше этихъ «умѣренныхъ и аккуратныхъ». Безумный идеалистъ Рудинъ стоитъ все-таки гораздо выше искуснаго практика Молчалина. Но Русановъ стоитъ даже ниже Молчалина, потому что Молчалинъ по крайней мѣрѣ свѣдѣтельно опытенъ, а у Ключниковскаго даже и этого достоинства не имѣется. — Инна Николаевна, — говоритъ Русановъ далѣе, — кто-жъ мнѣ мѣшалъ жить въ Москвѣ, сложа руки? Тамъ у меня и домъ есть, и доходъ порядочный. Нѣтъ, это мое убѣжденіе, только и можно что-нибудь сдѣлать; все остальное — *бессильно...* Что именно *хотѣлъ* сдѣлать Русановъ и что подразумеваетъ онъ въ словѣ *хотѣлъ* — этого я не знаю. Но что онъ *хотѣлъ* — это намъ доподлинно извѣстно. Онъ отрубилъ на бѣлое кольцо дыма, пушечное яковымъ, и уклонился отъ *тяжелого сменія*. И какой, подумаешь, всезнающій этакъ этотъ Русановъ! «*Все остальное бессильно...*» значить, все извѣдано Русановомъ, все обдумано и взвѣшено. Каковъ мудрецъ! Сущій Гетѣ!

«Была ему извѣдная книга ясна,
И съ нимъ говорила морская волна.»

Позвольте, господинъ столоначальникъ! «Все остальное»? Все, кромѣ чего? Все, въ гражданской палатѣ? Значить, теперь, въ гражданской палатѣ будетъ совершенно исполнена судебной реформой, теперь все безъ исключенія сдѣлается *бессильнымъ*. Ахъ, милый господинъ Русановъ, Гёте тоже, зачѣмъ издаете звуки, въ которыхъ вы сами не можете усмотрѣть никакого опредѣленнаго смысла. Зачѣмъ вы говорите *обо всемъ остальномъ*, когда вы совсѣмъ ни о чемъ, да вѣдь действительно ни о чемъ не имѣете никакого понятия? — «Ахъ, оставьте меня въ покоѣ», — отвѣтилъ разбитый Русановъ. — Я-то чѣмъ виноватъ? Это все Ключниковъ подсказываетъ такіе глупости. И охота-же вамъ обращаться ко мнѣ, какъ къ живому человеку, ко просто «книпъ печатной бумаги.» — Это я, господинъ Русановъ, знаю, а обращаюсь къ вамъ только по игривости моего характера. — По окончаніи разговора Инна, глядя вслѣдъ Русанову, сказала: «*ниже!*» (Sic).

боюсь, что вы попадетесь подъ вліяніе Бронскаго.» — «А что? — возражаетъ Инна. — Развѣ онъ брыкается?» — Русановъ боится за Инну, а между тѣмъ наканунѣ, когда Бронскій при Иннѣ заговорилъ въ духѣ страшной нетерпимости, тотъ-же самый Русановъ «рѣшился уступить поле противнику и удалился въ уголокъ». Да, конечно, «удалился въ уголокъ», мудрено противодѣйствовать вліянію такого человека, который говоритъ смѣло и горячо. Огступая отъ честной и открытой борьбы съ идеями Бронскаго, Русановъ, какъ старая соловьица, старается пошептать кое-что противъ Бронскаго во время его отсутствія. Зачѣмъ-же Русановъ наканунѣ «рѣшился уступить поле противнику»? Или онъ не хотѣлъ, или не могъ спорить съ Бронскимъ. Не хотѣлъ? Странное предположеніе! Любящій мужчина видитъ, что любимая женщина находится въ опасности, и для ея спасенія *не хочетъ* шевельнуть мозгомъ и возвысить голосъ. Хороша любовь и хорошъ мужчина! — Оказывается, что не могъ. Инна спрашиваетъ прямо: «развѣ не правду говорилъ онъ вчера?» — Русановъ отвѣчаетъ «правду!». Иначе онъ и не можетъ отвѣтить, потому что тогда Инна тотчасъ задала-бы ему вопросъ: зачѣмъ-же вы его вчера не опровергали, и на это Русанову пришлось-бы отвѣтить: потому, Инна Николаевна, что я еще гораздо глупѣе Бронскаго, хотя и Бронскій глупъ весьма достаточно. Но, сознавшись въ томъ, что Бронскій говоритъ правду, Русановъ прибавляетъ тотчасъ: «да вѣдь это все одни слова». Русанову хотѣлось повидимому, чтобы изо рта Бронскаго сыпались вмѣсто словъ червонцы и алмазы. Къ сожалѣнію этого не бываетъ. Когда человекъ говоритъ, онъ всегда произноситъ только слова, и весь вопросъ состоитъ въ томъ, правдивы-ли эти слова, или нѣтъ. Еслибы Инна увлекалась *правдивыми* словами Бронскаго, то она очевидно поддавалась-бы не вліянію Бронскаго, а вліянію истины. Признавая слова Бронскаго за выраженіе истины, Русановъ отнимаетъ у себя всякую возможность противодѣйствовать его вліянію. Впрочемъ я крѣпко сомнѣваюсь въ томъ, чтобы Бронскій дѣйствительно былъ способенъ высказывать такіе истины, которыя могутъ увлечь умную женщину. Изъ сцены Бронскаго съ Колей мы уже видѣли, что Бронскій несетъ чепуху страшную. А что онъ говорилъ, когда Русановъ удалился въ уголокъ, — этого мы не знаемъ, потому что Ключниковъ не мастеръ сочинять для своихъ героевъ рѣчи, вызывающія на размышленіе. У Ключникова сказано очень глупо, что «Бронскій громилъ все съ плеча, говорилъ съ жаромъ... отъ чиновничества перешелъ къ обществу... досталось и литературѣ.» Обо всемъ этомъ можно говорить очень умно, но можно также говорить и очень глупо. Я полагаю, что Бронскій говорилъ очень глупо, по

той простой причинѣ, что онъ есть дѣйствующее лицо въ романѣ «Марево», сочиненномъ Ключниковымъ. А Инна и Русановъ слушали его, развѣсивъ уши, потому что они оба нисколько не уступаютъ Бронскому въ слабоуміи. Продолжая разговоръ о вліяніи Бронскаго, Инна задаетъ Русанову вопросъ: «какой-же вашъ-то идеалъ? Обрисуйте»... Русановъ на это отвѣчаетъ, что у нихъ въ гражданской палатѣ товарищъ председателя Доминовъ — очень хорошій человекъ, и что этотъ Доминовъ однажды въ городскомъ саду объяснилъ ему, Русанову, какимъ образомъ муравьи сосутъ сладкій сокъ, выдаваемый тлями. Если читатель не вѣритъ мнѣ на слово, что такой отвѣтъ дѣйствительно былъ данъ Русановымъ на вопросъ объ идеалѣ, то я убѣдительно прошу читателя взглянуть на 137 страницу I-го тома романа «Марево». На стр. 160 Русановъ рассказываетъ Иннѣ «грустные извѣстія, полученные имъ изъ Петербурга». Эти «грустные извѣстія» такъ глупы, несвязны и неправдоподобны, что я о нихъ по всегдашней моей скромности умолчу. «Ну-съ, — перебила Инна, — наговорили вы много; къ какому результату вы пришли?» Этотъ вопросъ застаётъ Русанова врасплохъ и ставитъ его втупикъ. Онъ спрашиваетъ простоудушно: «какой-же тутъ результатъ?» Онъ рассказывалъ слухи такъ, какъ словоохотливыя кухарки рассказываютъ другъ другу всякія сплетни, и вдругъ отъ него потребовали какого-то результата. Разумѣется, онъ вытаращилъ глаза и немедленно ступснулся. Не подлежа ни малѣйшему сомнѣнію, что Русановъ — любимецъ Ключникова. Именно по этой причинѣ Русановъ глупѣе всѣхъ остальныхъ дѣйствующихъ лицъ. Онъ отъ всѣхъ получаетъ щелчки по носу и на всѣ эти ласки отвѣчаетъ только оханьемъ и соболизнованіями о человѣческой испорченности. — На стр. 167 Русановъ объявляетъ, что ему не нравится орфографія Кулиша. На стр. 168 онъ спрашиваетъ, «что такое духъ времени?» Изъ этого вопроса мы можемъ заключить, что у Русанова память очень коротка; на стр. 147 онъ упрекалъ Бронскаго въ томъ, что Бронскій кланяется «духу времени», потому что ему уже совѣстно кланяться генераламъ. Значитъ, на 147 страницѣ Русановъ зналъ, что такое духъ времени, но съ тѣхъ поръ успѣлъ позабыть. А впрочемъ можетъ-быть и то, что Русановъ на 147 стр. употреблялъ такое слово, котораго смыслъ для него не понятенъ. Такіе случаи вовсе не рѣдки. Еслибы всякій дуракъ непремѣнно желалъ понимать все, что онъ самъ говоритъ, то многимъ дуракамъ пришлось бы обречь себя на вѣчное безмолвіе. У насъ-же дураки не только говорятъ неутомимо, но еще кромѣ того пишутъ, печатаютъ и издаютъ журналы, газеты и книги. — На стр. 168 Русановъ порицаетъ идеалы Шевченка; но я осмѣ-

люсь замѣтить, что Русановъ быть можетъ судить Шевченка слишкомъ строго; вѣдь легко можетъ быть, что Шевченко не былъ знакомъ съ товарищемъ председателя Доминовымъ, и гулялъ съ нимъ по городскому саду и не слышалъ отъ него рассказовъ объ отношеніяхъ между муравьями и тлями. Послѣ этого, судите сами, есть-ли возможность требовать отъ несчастнаго поэта, чтобы онъ выработалъ тотъ высокій идеалъ, который обрисованъ Русановымъ на стр. 137? Когда мы судимъ о чужихъ, надо всегда принимать въ соображеніе обстоятельства, облегчающія его вину. — На стр. 170 Русановъ объявляетъ, что у него «отъ этой литературы ужъ голова трещитъ». — «Или порѣшили ничего не читать, чтобы голова всегда свѣжа была?» спрашиваетъ Инна. — «Или порѣшили,» — отвѣчаетъ «съ неудовольствіемъ» любимецъ Ключникова, расписываясь въ отвѣтомъ въ полученіи полиовѣснаго щелчка по носу. — На стр. 180 Русановъ, разговаривая съ Инной въ саду, днемъ, обнаруживаетъ незанятую такую предприимчивость, что Инна трепещетъ въ испугѣ: «Владиміръ!» и потому, чтобы успокоить разгулявшася шалуна, говоритъ ему: «ужо! ужо!» Такъ какъ Ключникову угодно, чтобы Инна любила Русанова, то очевидно, что она сама дрожитъ отъ страха въ русановскихъ объятіяхъ и вырывается изъ нихъ только изъ уваженія къ условіямъ времени и мѣста. Однако Русанову не пришлось дожидаться никакого «ужо!». Вскорѣ послѣ нескромныхъ объятій Инна убѣгаетъ съ Бронскимъ за границу. Русановъ, узнавши о ея побѣгѣ, спешитъ за ней верхомъ по большой дорогѣ, куда-то попадаетъ въ продолженіи двухъ дней, нисколько успѣваетъ догнать и приобретаетъ себѣ порку. Изъ этого подвига можно заключить, что Русановъ — неустрашимый всадникъ, но всади плохой мыслитель и диалектикъ; ему надо было дѣйствовать на Инну силой убѣжденія тогда, когда она еще была способна слушать совѣты. Когда-же молодая дѣвушка ошалѣла настолько, что рѣшилась бѣжать, тогда уже поздно и трудно дунуть за ней во всѣ лошади по большой дорогѣ. Чѣмъ именно Бронскій околдовалъ Инну — это остается для насъ тайной. Побѣгъ Инны составляетъ для читателя совершенный сюрпризъ. Убѣгая вмѣстѣ съ Бронскимъ, Инна оставляетъ Русанову, по приказанію Ключникова, разные похвальные аттестаты. Въ одномъ, написанномъ ею передъ самымъ побѣгомъ, изображены слѣдующія слова: «едва мы слышали первое слово любви, едва я почувствовала въ глаза, я узнала одну изъ тѣхъ нѣжныхъ, упорныхъ привязанностей, которые длятся цѣлую жизнь...» «Чѣмъ мы съ вами сходились, тѣмъ больше я, что вы — превосходный человекъ». Бумага все терпитъ;

но, что угодно; но какъ - бы ни расхвали-
вать Ключниковъ свое любимое созданіе, какъ-
онъ ни божился въ томъ, что Русановъ—
первый сортъ, отъиравѣйшей доброты,
слящій читатель все-таки будетъ только
вздыхать надъ этой гостинодворской замашкой
и возносить собственные издѣлія, ко-
рымъ онъ не умѣетъ придать никакихъ дѣй-
ствительныхъ достоинствъ.—На стр. 340 мы
находимъ отрывки изъ дневника Инны: 15 іюня
«находить въ Русановѣ «дьявія понятія»;
19 іюня—честныя, «славныя понятія»; 19 ію-
ня—«я перестану подавать ему руку»; 29 іюня—
«этотъ человѣкъ—загадка».—Такъ нагло до-
вольны еще ни одинъ писатель не насмѣхался
надъ публикой. Мы рѣшительно не знаемъ, ка-
кіе сужденія или поступки Русановъ про-
дѣлалъ на Инну тѣ противорѣчивыя впечат-
лѣнія, которыя она занесла въ свой дневникъ.
Его дневникъ составляетъ для насъ тарабар-
скую грамоту; это еще одно проявленіе усерд-
на, но чрезвычайно неискренняго и неудачнаго
латанства.

VII.

Прибавлю еще одно короткое замѣчаніе. Ключ-
никовъ въводитъ насъ въ губернскую гимназію и,
какъ онъ ощущаетъ, натывается тамъ на педагоги-
ческий вопросъ. Гимназисты распушены до не-
вероятности, не хотятъ учиться и лѣзутъ въ
шутку. Приѣзжаетъ изъ Петербурга новый ин-
спекторъ Разгоняевъ. Онъ собираетъ учите-
льскій педагогическій совѣтъ и спрашиваетъ,
какъ они намѣрены вести воспитаніе юношества.
Они изъ педагоговъ говорятъ, что у нихъ маль-
чи «все такой народъ—аховый». Другой го-
воритъ: «кто съ борку, кто съ сосенки». Ахо-

вый характеръ и древесное происхожденіе маль-
чишекъ доказываютъ ясно, что противъ нихъ
надо дѣйствовать *аховыми* и древесными сред-
ствами. Нѣмецъ говоритъ, что «нужно... розга».
Молодой учитель математики объясняетъ безпо-
рядки въ классѣ тѣмъ, что учительскія и над-
зирательскія обязанности соединяются въ одномъ
лицѣ. По его мнѣнію, необходимо, чтобы въ
классѣ сидѣлъ надзиратель. Однако самъ Ключ-
никовъ быстро уличаетъ этого учителя во враньѣ;
безпорядки происходятъ въ дортуарахъ, гдѣ по-
стоянно торчитъ надзиратель. Инспекторъ совѣ-
туетъ учителямъ обходиться съ воспитанниками
помягче и представлять ему немедленно о вся-
комъ наказаніи. Но вскорѣ этотъ инспекторъ, по-
добно Иннѣ, попадаетъ подъ вліяніе злыхъ лю-
дей, и безпорядки въ гимназіи не прекращаются.
А Ключниковъ по своему обыкновенію, на-
ткнувшись на мудреный вопросъ, оставилъ его
неразрѣшеннымъ и представилъ такіе факты,
которые ведутъ за собой неблагоприятныя заклю-
ченія. Какими же мѣрами можно усмирить сви-
ръливость *аховаго* народа? «Драть или не драть?
вотъ въ чемъ вопросъ».—Ключникову хочется
повидимому рѣшить этотъ гамлетовскій вопросъ
въ томъ смыслѣ, что драть не годится, а поби-
вать не мѣшаетъ. А «Русскій Вѣстникъ» рѣ-
шилъ вѣротно этотъ вопросъ такъ: въ филоло-
гическихъ гимназіяхъ давать воспитанникамъ за-
разъ по 25 розогъ; въ реальныхъ же—по крайней
мѣрѣ вдвое, потому что естественныя науки раз-
виваютъ въ юношахъ *аховое* направленіе, кото-
рое нуждается въ столь-же *аховомъ* противодѣй-
ствіи. — Убѣдительно прошу мыслящую часть
русской публики извинить меня, что я такъ долго
возился съ романомъ «Марево».

ПРОГУЛКА ПО САДАМЪ РОССІЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ.

I.

Въ прошломъ году (1864) умеръ послѣдній
живой представитель россійскаго идеализма.
Я и сотрудники покойника превознесли его
словами, которымъ я нисколько не намѣренъ
спорить. Возвеличивая отдѣльную лич-
ность, эти похвалы убиваютъ наповалъ тотъ прин-
ципъ, за который эта личность сражалась. Чита-
я, быть-можетъ уже догадался, что я говорю объ
А. А. Григорьевѣ, умершемъ въ половинѣ
этого года и воспѣтомъ въ «Эпохѣ» Стра-
хова и Достоевскимъ. Въ своихъ «Воспомина-
ніяхъ объ А. А. Григорьевѣ» Страховъ говоритъ
объ умершемъ дѣятелѣ почти съ благоговѣніемъ;
называетъ его своимъ учителемъ, говоритъ,
что Григорьевъ былъ «зряче и чутче другихъ»,
что Григорьевъ имѣлъ полное право принимать

«въ журналѣ» тонъ чловѣка, власть имущаго,
«что письма Григорьева читались въ редакціи
«Времени» вслухъ для общаго назиданія, что
сочиненія Григорьева, собранныя въ полномъ
изданіи, «представляютъ цѣлыя громады мыс-
лей», дадутъ «неистощимую пищу», и такъ да-
лѣе, и такъ далѣе. Кромѣ того въ той-же статьѣ
Страхова разсыпано множество похвалъ искрен-
ности Григорьева, и въ этомъ послѣднемъ свой-
ствѣ покойнаго идеалиста дѣйствительно не мо-
гутъ усомниться ни друзья его, ни враги. Чи-
тая всѣ эти похвалы, я улыбаюсь, потираю себѣ
руки и говорю про себя: «прекрасно! превосход-
но! Хвалите больше, господа! Чѣмъ выше вы
поднимете личность Григорьева, тѣмъ глѣбже и

шло и никакого толчка ни впередъ, ни назадъ не получилось. Почти въ одно время съ «Блудомъ» вышелъ въ свѣтъ романъ Тургенева, котораго Григорьевъ «не ждалъ многого въ отношеніи къ содержанію», и этотъ романъ поднялъ бурю въ литературѣ и въ обществѣ, несмотря на то, что самый сильный и любимый журналъ старался убить и похоронить отчасъ послѣ его появленія. Очевидно все вниманіе нашей умственной жизни шло въ разномъ направленіи, съ симпатіями и стремленіями Григорьева. Сколько этотъ разладъ былъ глубокъ и жалокъ, — это обнаружилось совершенно въ 1863 году. Если когда-нибудь мертвая душа Григорьева могла воскреснуть, то именно въ этомъ году. Для теоретиковъ этотъ годъ былъ невыносимо тяжелъ. Разныя совершенно нелитературныя обстоятельства привлекли вниманіе общества къ такимъ предметамъ, которые не поддавались спокойному анализу. Историческіе восторги были въ полномъ ходу. Не было ожидать тѣхъ — же дифирамбовъ, которые мы слышали во времена Синопа и Базаръ — Лара. Повидимому «Кузьма Мининъ» Охотниковъ долженъ былъ въ такое время раздаться во всемъ величіи своей красоты. Не это было. «Кузьма» продолжалъ оставаться незамѣченнымъ, несмотря на всѣ выгоды, представленные ему данной минутой. И этого было мало. Чтобы окончательно огорчить Григорьева, безжалостная и насмѣшливая судьба взяла себя трудъ устроить обратное испытаніе. Ты знаешь, о Григорьевѣ, говоритъ судьба, что твои собственныя идеи совершенно безсильны, и при самыхъ выгодныхъ условіяхъ. Попробуй-же мы съ тобой теперь, каковы силы твои противниковъ, при самыхъ невыгодныхъ для нихъ условіяхъ. — И посмотрѣли. Весною 1863 года появилось въ свѣтъ то, что Григорьевъ весьма игриво называлъ «эпопеей о Блудной Арапіи». Говорить, что тѣ книжки «Сочиненія», въ которыхъ напечатана эта Блудная Арапія, обратились теперь въ библиографическую рѣдкость *).

О зачѣмъ ссылаться на неопредѣленные факты? Гораздо основательнѣе будетъ указать на то, что говорятъ печатно о «Блудной Арапіи» естественные противники. Весьма враждебно, но чрезвычайно наивная «Эпоха» въ намѣ въ этомъ случаѣ самые подходящіе рѣзаны. Въ ноябрьской книжкѣ этого журнала помѣщена небольшая статья М. Ва. «Литературныя впечатлѣнія новопріѣзжаго». Въ этой статьѣ говорить, что онъ почти съ половиною года прожилъ за-границей и что онъ отсталъ отъ того движенія мысли, которое совершалось въ это время въ Россіи. И

какіе-же факты приводитъ онъ въ доказательство своей отсталости? Миѣ придется выписать подлинныя слова этого господина, и я это сдѣлаю безъ зазрѣнія совѣсти, несмотря на то, что въ этихъ словахъ упоминается моя собственная фамилія. «Ибо тотъ фактъ, что я отсталъ, — говоритъ М. Ва., — для меня не подлежитъ никакому сомнѣнію. Я не только не читалъ «талантливыхъ статей» *) г. Писарева, но я, къ собственному ужасу, долженъ признаться, что не читалъ даже «Что дѣлать?». Вы поймете конечно, сколько побужденій къ стыду и отчаянію таилось въ этомъ фактѣ.» — Слова: «талантливыхъ», «къ собственному ужасу», «къ стыду и отчаянію» употреблены, разумеется, ради ироніи; но тутъ дѣло не въ томъ, какъ смотритъ на теоретиковъ самъ М. Ва. Тутъ важно его откровенное признаніе, что вся русская литература заключается именно въ теоретикахъ. Отстать отъ литературы — значитъ, по его собственнымъ словамъ, не читать того, что пишутъ теоретики. Человѣкъ пріѣзжаетъ изъ за-границы и спрашиваетъ у своихъ знакомыхъ: «что новаго дѣлается въ нашей литературѣ?» — Ему на этотъ вопросъ не говорятъ, что Ключниковъ написалъ романъ «Марево», что Боборыкинъ кончаетъ романъ «Въ путь-дорогу!», что возникъ новый журналъ «Эпоха», что сдается, подъ господствомъ новой редакціи, старая газета «Московскія Вѣдомости». Нѣтъ! Ему говорятъ, какъ о самой крупной новости, о романѣ «Что дѣлать?» и о другихъ работахъ теоретическаго лагеря. Скажите на милость, есть ли возможность болѣе чистосердечно признать превосходство теоретиковъ надъ всеми остальными направленіями русской мысли? И это говорятъ наши враги! И это говорится о тѣхъ двухъ годахъ, когда мы находились въ самомъ невыгодномъ положеніи! Послѣ подобныхъ признаній, какой-же смыслъ имѣетъ известная фраза: «Славянофилы побѣдили»? Можно, пожалуй, сказать только, что славянофилы еще не совсѣмъ побѣждены и что они возвышаютъ голосъ тогда, когда общество, испуганное историческими обстоятельствами, кидается на короткое время въ бессмысленную сантиментальность и въ позорную мыслелюбязнь. Но побѣдить они никогда не могутъ, потому что ихъ полная умственная несостоятельность обнаружится въ ту самую минуту, когда они привлекутъ на себя вниманіе общества.

Такимъ образомъ жестокая судьба весьма наглядно показала Григорьеву, что онъ нисколько

*) Кавычки при словахъ «талантливыхъ статей» поставлены въ подлинникѣ. Значитъ, въ эпитетѣ «талантливыхъ» скрывается ѣдкая иронія, и это обстоятельство должно совершенно успокоить мою авторскую скромность. Значитъ, я написалъ эти слова не зачѣмъ, чтобы похвастаться полученнымъ комплиментомъ.

) Эпопея о Блудной Арапіи А. Григорьевъ написалъ романъ Н. Г. Чернышевскаго «Что дѣлать?»

ко не ошибается, называя себя человеком ненужным. Письма Григорьева къ Страхову повѣствуютъ еще объ одномъ очень любопытномъ разочарованіи покойнаго идеалиста. Въ концѣ 1861 года была напечатана въ «Отечественныхъ Запискахъ» статья Шапова «Велико-русская области во времена междоусобицы». Въ календарѣ на 1862 годъ была напечатана статья профессора Павлова «Тысячелѣтіе Россіи». Эти двѣ статьи привели Григорьева въ восторгъ. На этотъ разъ ему показалось, что его мертвая красавица сію минуту раскроетъ глазки и что нѣкій стихъ немедленно

Ударить по сердцамъ съ невѣдомою силой.

«Вотъ эта статья, да статья Павлова въ новомъ календарѣ,—восклицаетъ Григорьевъ,—эпохи, а не... повѣствованіе въ водяныхъ стихахъ о «чувствіяхъ!... Тутъ, въ этихъ статьяхъ, новымъ вѣетъ и пахнетъ. Оно идетъ, это новое—и въ этихъ статьяхъ, и можетъ-быть въ «Миниѣ» Островскаго,—идетъ на конечное истребленіе б...словія «Вѣстника», празднословія западникова, суесловія «Дня», хохлословія Костомарова и бусловія «Современника».—Подъ именемъ «повѣствованія въ водяныхъ стихахъ о чувствіяхъ» подразумѣвается, какъ видно изъ другихъ мѣстъ тѣхъ-же самоубійственныхъ «воспоминаній», поэма Полонскаго, то «Свѣжее преданіе», въ которомъ редація «Времени» усматривала великое событіе въ исторіи русской литературы. Съ особеннымъ удовольствіемъ я отмѣчаю то обстоятельство, что Григорьевъ награждалъ это «повѣствованіе» какимъ-то такимъ эпитетомъ, котораго даже невозможно было изобразить печатно. Пріятно также замѣтить, что «Русскій Вѣстникъ» обвиняется въ какомъ-то б...словіи, то-есть въ чемъ-то столь неблаговидномъ, что даже и сказать нельзя. И все это говорить не озорникъ, не теоретикъ, не нигилистъ! Не правъ-ли я былъ, когда я называлъ «Воспоминанія объ А. А. Григорьевѣ» литературнымъ самоубійствомъ цѣлаго направленія? Почвенники стараются поставить своего учителя какъ можно выше, чтобы удары его, падая сверху, поражали ихъ самихъ какъ можно больнѣе. Намъ остается только радоваться этому добросовѣстному самоизбіенію. То «новое», которое, по мнѣнію Григорьева, шло «на конечное истребленіе» разныхъ непріятныхъ вещей,—повернуло однако совѣсь не туда, куда желалъ его направить пылкій идеалистъ. Одинъ изъ представителей «новаго», нашъ сотрудникъ Шаповъ, совершенно обманулъ ожиданія Григорьева. Въмѣсто того чтобы воскрешать мертвую красавицу, Шаповъ принялся изучать Либиха, Дарвина, Лайелля, Карла Фохта и другихъ, столь-же вредныхъ и легкомысленныхъ негодяевъ. Эти безиравственные занятія, разумѣется, привели его прямымъ путемъ въ «Рус-

ское Слово». Какъ только Григорьевъ почувствовалъ въ статьяхъ Шапова струю естествознанія, такъ, разумѣется, онъ съ негодованіемъ отвернулся отъ этихъ статей, потому что, какъ вѣрный, но несчастный рыцарь мертвыхъ красавицъ, ненавидѣлъ естественныя и по крайней мѣрѣ такъ-же сильно, какъ ненавидѣть ихъ въ настоящее время знаменитые рускіе натуралисты: Страховъ, Пгдєвъ, Авдєевъ и Николай Соловьевъ. Разочарованіе Григорьевъ въ Шаповѣ изображено имъ, какъ забылъ самъ Страховъ, въ послѣдней его критической статьѣ, помѣщенной въ іюльской книжкѣ «Хи». Такимъ образомъ «Кузьма» не вывезъ, повѣ перебѣжалъ въ непріятельскій лагерь. Григорьеву оставалось только, обращаясь къ Страхову, повторить слова Сенеки на счетъ того что «вѣтеръ крѣпкій

Потопять насъ среди зыбей,
Какъ обезмысленныя щепки
Побѣдоносныхъ кораблей.»

И прекрасно, господа, могу и прибавить себя. Туда вамъ и дорога. Какъ-бы ни были высокія достоинства вашихъ личностей, всякомъ случаѣ достовѣрно то, что ваши негодны для общества, потому что онѣ дѣйствуютъ на него, какъ опиумъ или ганашъ. Быть-можетъ доставляютъ обществу очаровательныя видѣнія, но дѣйствительная же представляетъ собой мерзость запустѣнія въ счастливыя эпохи, когда ремованныя струны лупятъ по сердцамъ съ невѣдомою силой. А Григорьевъ относился равнодушно и съ грубымъ непониманіемъ къ самымъ великимъ грознымъ запросамъ дѣйствительной жизни, обнаруживается съ достаточной ясностью въ тѣхъ-же самоубійственныхъ «воспоминаніяхъ». Какъ вамъ правятся напримѣръ слѣдующіе строки? Мнѣ кажется, достаточно однихъ строкъ, чтобы навсегда отбить у общества стремленіе къ григорьевскимъ идеаламъ. «Вѣстникъ» — пишеть необузданный идеалистъ, — въпрямую глубже, и обширнѣе по своему значенію въ нашихъ вопросахъ, — и вопроса (каковы низы?) *) о крѣпостномъ состояніи, и вопросъ (о, ужасъ!) о политической свободѣ. Это же о нашей умственной и нравственной самостоятельности. Въ допотопныхъ формахъ въ вопросъ явился только въ покойникѣ «Мининъ» 50-хъ годовъ, — явился молодой, сильный, пьяный, но честный и блестящій дилеттантъ (Островскій, Писемскій и т. д.). О, мы тогда пламенно вѣрили въ свое дѣло, въ высокія пророческія рѣчи лились бывало изъ устъ Островскаго, какъ безыменно принималъ тогда старикъ Погребъ вѣтственность за свою молодежь, назъ

*) Слова въ скобкахъ принадлежатъ Григорьеву.

но, несмотря на пьянство и безобразіе, шли въ тогда къ великой и честной цѣли!» — И благополучно вы изволили дойти? И ему же васъ привело ваше сознательное вѣніе къ великой и честной цѣли? — Григорьевъ самъ немедленно отвѣчаетъ на этотъ вопросъ. «Пуста и гола жизнь послѣ этого сна», — шутитъ онъ. — Значитъ, вашъ «молодой, смѣлый, но честный и блестящій дарованіе» вопросъ «о нашей умственной и нравственной самостоятельности» былъ только шуточкой. Значитъ, весь этотъ *глубокій и обширный* вопросъ исчерпался въ юношескихъ попойкахъ и не оставилъ послѣ себя никакихъ результатовъ, кромѣ тяжелаго похмелья. И между этимъ *сонъ* оказывается «глубже и обширнее своего значенія» вопроса о крѣпостномъ вѣніи и политической свободѣ. И это слово — божатели русскаго народа! Правда, что божатели — идеалисты, и что они слѣдовательно любятъ свой предметъ платонической любовью. До конкретнаго русскаго мужика, который можетъ чувствовать боль и удовольствіе, имъ никакого дѣла. Для нихъ драгоценна *идея* о русскомъ мужикѣ, и поэтому всякія пророческія рѣчи, изливаемая на полахъ, кажутся имъ важнѣе тѣхъ вопросовъ, которые своимъ разумнымъ разрѣшеніемъ въ создать экономическое благосостояніе цѣли милліоновъ. Чтѣ прикажете думать о такихъ курьезныхъ заявленіяхъ? Въ нихъ, разсѣяны нѣтъ ни *цинизма*, ни *ужаса*. Въ нихъ только изумительное невѣжество, которое своей всегдашней наивностью принимаетъ за проявленіе величайшей мудрости, до которой только немногимъ избраннымъ. Все исты хромаютъ на эту ногу, и, комментируя приведенный мною отрывокъ, и обращаясь къ личности покойнаго Григорьева, а ко всему къ нашихъ пѣвчихъ противниковъ.

II.

Глубокое уныніе, которымъ проникнуты всѣ а и вся дѣятельность Григорьева, тяготя надъ всей нашей литературой, кромѣ называемаго теоретическаго лагеря. У Григорьева, какъ у человѣка, глубоко преданнаго своимъ идеямъ, была по крайней мѣрѣ едѣленная надежда на какой-то чудодѣйственный стихъ, который ударитъ и т. д. Онъ то страстно желалъ и потому онъ не могъ вѣряться къ будущему совершенно враждебно. Бѣстѣтельство ставить его гораздо выше, остальныхъ дѣятелей отжившихъ направлений. У этихъ остальныхъ дѣятелей, то-есть у всѣхъ русскихъ людей, пишущихъ въ стихахъ, романы, повѣсти, драмы, трагедіи, ученые и политехническія статьи, — никакихъ завѣтныхъ надеждъ, никакихъ великихъ желаній. У нихъ нѣтъ ничего,

кромѣ тупой ненависти и безотчетнаго страха къ будущему. Имъ-бы хотѣлось ничего не видѣть, ничего не слышать, ни о чемъ не думать и только повторять тѣ уроки, которые они заучили въ дѣтствѣ или въ крайней молодости. И, разумѣется, имъ хотѣлось-бы еще получать отъ благодарныхъ соотечественниковъ за повтореніе этихъ уроковъ большія деньги и большіе лавровые вѣнки. Это не консерваторы, это даже не реакціонеры, — это египетскія муміи, вынутыя изъ пирамидъ и приведенныя въ движеніе какими-то необыкновеннымъ гальваническимъ аппаратомъ. Консерваторы и реакціонеры политическаго міра понятны; мудро имъ сочувствовать, но по крайней мѣрѣ можно отдать себѣ отчетъ въ томъ, чего они хотятъ и почему именно они хотятъ того, а не другого.

Но консерваторы въ мірѣ идей составляли-бы для меня навсегда неразрѣшимую загадку, если-бы я долженъ былъ смотрѣть на нихъ, какъ на людей, которые дѣйствительно чего-нибудь хотятъ и которые пишутъ и печатаютъ для того, чтобы въ чемъ-нибудь убѣдить своихъ читателей. Бояться движенія мысли, смотрѣть съ ужасомъ на все, чтѣ еще не обратилось въ избитую фразу, и въ то-же время быть писателемъ, то-есть фабрикантомъ идей, — это такое смѣшное внутреннее противорѣчіе, которое можетъ объясниться только тѣмъ предположеніемъ, что наши писатели смотрятъ на литературу такъ, какъ старые титулярные совѣтники смотрятъ на свою службу. Даль-бы, дескать, намъ только Господь Богъ умереть спокойно на тѣхъ теплыхъ мѣстахъ, которыя мы занимаемъ. Повышенія намъ никакого ожидать невозможно, а, напротивъ того, можетъ случиться какая-нибудь неурядица, вродѣ сокращенія штатовъ. Вотъ поэтому-то мы и боимся всякаго движенія мысли; поэтому-то мы сами ежмся и отплевываемся всякій разъ, какъ только мы слышимъ какой-нибудь свѣжій и энергическій голосъ. Именно такъ разсуждаютъ про себя тѣ писатели, которые декламируютъ громко и торжественно противъ поспѣшности и неосмотрительности такъ называемыхъ теоретиковъ. Иногда они сами проговариваются чрезвычайно наивно. Напримѣръ Писемскій, написавши очень хорошій разсказъ «Батяка», пускается подъ конецъ въ размышленія, начинается тосковать о несовершенствахъ жизни и вдругъ изумляетъ читателей слѣдующей руладой: «о, если-бы, — говоритъ онъ, — можно было забыть прошедшее и не понимать будущаго!» Не знаю, удалось-ли Писемскому забыть прошедшее, но вторая половина его желанія, относящаяся къ будущему, исполнена въ наилучшемъ видѣ. Онъ дѣйствительно не понимаетъ будущаго, и даже счелъ долгомъ торжественно заявить свое непониманіе въ своихъ знаменитомъ романѣ, доказывающемъ очень убѣдительно необходимость мертваго застоя. Послѣ

«Взбаломученнаго Моря» Писемскому оставалось только превратиться въ веселаго рассказчика смѣхотворныхъ анекдотовъ, и это превращеніе дѣйствительно произведено имъ на страницахъ «Отечественныхъ Записокъ», въ которыхъ онъ описываетъ въ настоящее время «Русскихъ лгуновъ». Эти рассказы могли-бы съ большимъ успѣхомъ фигурировать даже въ московскомъ «Развлеченіи», и я не теряю надежды на то, что Писемскій, вымолившій себѣ непониманіе будущаго, когда-нибудь дѣйствительно пойдетъ оканчивать свою литературную карьеру въ какой-нибудь столь-же мизерной газеткѣ. Далеко не всѣ наши пишущіе рутинеры высказываютъ свои задушевные желанія такъ откровенно, какъ высказалъ Писемскій, но эти желанія обнаруживаются у нихъ въ выборѣ и разработкѣ сюжетовъ. Всѣ они трусливо и злобно отвертываются отъ будущаго, но отвертываются въ разныя стороны, смотря по своимъ личнымъ наклонностямъ и смотря по обстоятельствамъ. Одни, самые бойкіе и задорные, стараются увѣрить себя и другихъ, что будущее совсѣмъ не существуетъ, что это все одна фантазмагорія, что стоитъ только топнуть ногой и крикнуть: «аминь, аминь, разсыпся!» для того, чтобы все это проклятое будущее исчезло безъ малѣйшаго слѣда, и для того, чтобы скверные мальчишки, осмѣливающіеся размышлять, тотчасъ превратились въ милыхъ попугаевъ, повторяющихъ заданные уроки. Эти бойкіе и задорные, но въ сущности трусливые и тупоумные ненавистники будущаго пишутъ истребительные романы и повѣсти вроде «Взбаломученнаго Моря», «Марева» и «Некуда». — Долго толковать объ этой категоріи писателей не стоитъ, тѣмъ болѣе, что въ статьѣ моей «Сердитое безсміе» я достаточно охарактеризовалъ одного изъ такихъ истребителей. Не могу однако пройти молчаніемъ одну любопытную замѣтку, помѣщенную въ декабрьской книжкѣ «Библіотеки для Чтенія» Стебницкимъ, авторомъ истребительнаго романа «Некуда». Находя вѣроятно, что онъ еще недостаточно уронилъ себя своимъ романомъ, Стебницкій пожелалъ еще довершить это дѣло особымъ «объясненіемъ», напечатаннымъ въ томъ-же журналѣ, который такъ любовно усмирилъ романъ «Некуда».

Въ этомъ объясненіи доблестный Стебницкій говоритъ, что «многимъ петербургскимъ литераторамъ крайне не нравится направленіе романа», и что вслѣдствіе этого «антрепренерами литературныхъ труппъ, лицедействующихъ въ либеральныхъ комедіяхъ, на редакцію Библіотеки для Чтенія были спущены вѣрные люди». Но, разумѣется, Стебницкому нечего было бояться «вѣрныхъ людей». «Нападать на меня прямо, — говоритъ онъ, — за направленіе романа было неудобно по многимъ существующимъ положеніямъ, а простить этого на-

правленія мнѣ не могли, и придрались къ подысканному кѣмъ-то *внѣшнему* сходству нѣкоторыхъ лицъ романа съ лицами живыми изъ литературнаго міра, — и пошли писать.»

Съ небольшимъ три года тому назадъ, въ самомъ концѣ 1861 года, въ петербургскихъ литературныхъ кружкахъ разнесся слухъ, что профессоръ Чичеринъ, написавшій тогда какую-то статью, сдѣлался почему-то лицомъ неприветливымъ для литературной критики. Этотъ слухъ вскорѣ дошелъ до Москвы, и «Русскій Вѣстникъ» съ горячимъ негодованіемъ сталъ опровергать этотъ слухъ, какъ вздорную сплетню, пущенную въ ходъ для того, чтобы набросить тѣнь на личность профессора Чичерина. Искусственная неприкосновенность считалась, стало-быть, три года тому назадъ весьма незавиднымъ подспорьемъ фортуны. Теперь, когда сформировались типъ истребителей, литературные нравы повидимому измѣнились. Теперь люди насильно врываются въ журналъ для того, чтобы заявить передъ читающей публикой, что нападать на нихъ прямо никакъ невозможно. Впрочемъ, полагаю, что авторское самолюбіе ослабляетъ Стебницкаго. На него не нападали прямо за направленіе совсѣмъ не потому, что это было неудобно, а потому, что это было бесполезно. Натяжныхъ джентльменовъ, какъ Писемскій, Клишниковъ и Стебницкій, всѣ здравомыслящіе люди смотрятъ, какъ на людей отпѣтыхъ. Съ ними не разсуждаютъ о направленіяхъ; ихъ обходятъ съ той осторожностью, съ какой благоразумный путникъ обходитъ очень тонкое болото. Намѣденія нѣкоторыхъ критиковъ на «*внѣшнее* сходство» нисколько не были придирами, и оправданія, которыя представляетъ Стебницкій, кажутся всего лучше, что эти обвиненія были въ высшей степени основательны. Начало оправданія заключается въ томъ, что Стебницкій ищетъ курьезомъ слово *внѣшнее*. Онъ не отрицаетъ сходства, а доказываетъ только, что оно было чисто *внѣшнее*. Онъ ссылается на примѣры нѣкоторыхъ извѣстныхъ писателей. Привожу цѣлкомъ его ссылку на Писемскаго: «съ вымысломъ *Взбаломученнаго Моря*, всѣ, читавшіе этотъ романъ въ Петербургѣ, въ одно слово говорили, что Галкинъ Писемскаго есть извѣстный въ столичномъ коммерческомъ мірѣ лицо, и опять, безъ дальнихъ обиняковъ, называли это лицо прямо по имени. Но никто-же на основаніи этого сходства не сталъ требовать опознанія живущее лицо къ отбѣту за убійство, совершенное въ романѣ по инициативѣ Галкина, и Писемскаго не обязывали къ представленію юридическихъ уликъ въ доказательство этого, конечно вымышленнаго имъ, преступленія». Заручившись ссылками на авторитеты, Стебницкій бросается на своихъ критиковъ и, подобно маленькому, но очень сердитому вулкану, выливаетъ на нихъ потоки не лавы, а грязи. Тутъ-о

и встрѣчаются тѣ «многочисленные намеки», которые сконфузили редакцію *Библиотеки*. Но стыдливость ея тутъ неумѣстна. Если редакція, печатая сотни страницъ такого романа, какъ «Некуда», пожелала слизнуть пѣику съ этого ароматическаго напитка, то отчего же ей не проглотить и подонки?—Произведя изверженіе, вулканчикъ продолжаетъ свое разсужденіе о сходствѣ. «Ссылаюсь,—говоритъ онъ,—на безпристрастный судъ каждаго, кто прочтетъ эти строки: могутъ-ли идти всѣ только слегка помѣченные мною поступки въ параллель съ тѣмъ, что въ одномъ изъ лицъ или въ нѣсколькихъ лицахъ романа встрѣчается какое-то чисто внѣшнее сходство съ живущими людьми, которые (въ чемъ не можетъ быть никакого сомнѣнія) *никогда не дѣлали ничего такого, что дѣлаютъ дѣйствующія лица въ романахъ*, и слѣдовательно не могутъ нести ни похвалы, ни упрековъ за эти *вымышленныя* дѣйствія?»

Этими краткими выписками я исчерпалъ все внутреннее содержаніе замѣтки. Посмотримъ, насколько убѣдительны оправдательные аргументы Стебницкаго. Замѣтите, во-первыхъ, что онъ постоянно говоритъ о *внѣшнемъ*, о чисто внѣшнемъ сходствѣ, и что онъ ни разу не употребляетъ слова «случайное сходство»,—того единственнаго слова, которое сразу могло-бы совершенно оправдать его. Еслибы Стебницкій сказалъ: «что вы во мнѣ пристааете! Я никогда въ глаза не видалъ тѣхъ людей, которыхъ вы узнаете въ моемъ романѣ; сходство вышло случайное.»—Еслибы онъ это сказалъ, говорю я, критикамъ его оставалось-бы только развести руками. Но онъ этого не сказалъ; значить, по всей вѣроятности *не могъ* сказать; то-есть онъ не имѣлъ возможности отречься печатно отъ знакомства съ тѣми живыми людьми, которые оказались нарисованными во весь ростъ въ его романѣ. Итакъ, для насъ не подлежитъ сомнѣнію тотъ фактъ, что Стебницкій нарисовалъ своихъ знакомыхъ. Спрашивается теперь: есть-ли возможность нарисовать портретъ своего знакомаго *нечаянно*? Разумѣется, нѣтъ. Значить, знакомые были нарисованы съ *умысломъ*. Н. Стебницкій говоритъ, что эти нарисованные знакомые «*никогда не дѣлали ничего такого, что дѣлаютъ дѣйствующія лица въ романахъ*». Фраза очевидно бессмысленная! Въ романахъ дѣйствующія лица ѣдятъ, пьютъ, ходятъ, сидятъ, думаютъ, чувствуютъ, разсуждаютъ. Неужели Стебницкій твердо увѣренъ въ томъ, что его знакомые «*никогда не дѣлали ничего такого*», то-есть никогда не ѣли, не пили, не ходили, не сидѣли, не думали, не чувствовали и не разсуждали? Но простимъ Стебницкому его безграмотность. Онъ очевидно говоритъ совсѣмъ не то, что хочетъ сказать. Онъ хочетъ сказать, что его знакомые не произносили тѣхъ неблагонамѣренныхъ словъ и не

позволяли себѣ тѣхъ предосудительныхъ или нечестныхъ поступковъ, которые онъ приписываетъ дѣйствующимъ лицамъ своего романа. Прекрасно! Но тѣмъ хуже для Стебницкаго. Еслибы онъ рисовалъ своихъ шалопаевъ съ такихъ живыхъ оригиналовъ, которые шалопайствуютъ въ дѣйствительной жизни, то онъ воздалъ-бы каждому по его заслугамъ. Но вы представьте себѣ слѣдующую штуку: Стебницкій записываетъ ваши примѣты, особенности вашего костюма и вашей походки, ваши привычки, ваши поговорки; онъ изучаетъ васъ во всѣхъ подробностяхъ и потомъ создаетъ въ своемъ романѣ отъявленнаго мошенника, который всѣми *внѣшними* признаками похожъ на васъ, какъ двѣ капли воды. А между тѣмъ вы—честнѣйшій человѣкъ и провинились только тѣмъ, что пустили къ себѣ въ домъ этого подслушивающаго и подсматривающаго господина. А между тѣмъ всѣ ваши знакомые узнаютъ *васъ* въ изображенномъ мошенникѣ и съ изумленіемъ разспрашиваютъ другъ друга о томъ, есть-ли какая-нибудь доля правды въ томъ, что о васъ написано. Начинаются догадки, предположенія и сплетни. Какъ вы находите, пріятно ваше положеніе или нѣтъ? Къ суду васъ никто не потянетъ, но это именно и скверно. Въ судѣ вы могли-бы оправдаться, но противъ сплетенъ, возбужденныхъ наглою мистификаціей Стебницкаго, вы оказываетесь совершенно беззащитнымъ. Въ «Ревизорѣ» давно уже было сказано: «хорошо если мошенникъ, а что, если еще того хуже?» Въ романѣ Стебницкаго выведены именно не мошенники, а «еще того хуже», такъ что попасть въ разрядъ этихъ людей «еще того хуже»—можетъ-быть гораздо опаснѣе, чѣмъ прослыть мошенникомъ.

Ссылка на Писемскаго, разумѣется, ничего не доказываетъ. Если прототипъ Галкина не одѣлалъ никакого преступленія, то со стороны Писемскаго было въ высшей степени скверно накладывать на честнаго человѣка темное пятно, отъ котораго этотъ господинъ не имѣетъ никакой возможности отмыться. Такія продѣлки называются именно бросаніемъ камней и грязи *изъ-за угла*. Косвенная инсинуація неизмѣримо хуже прямого доноса, именно потому, что составитель инсинуаціи не обязанъ представлять никакихъ доказательствъ и всегда имѣетъ полную возможность увернуться въ сторону, ссылаясь на свободную игру своей фантазіи.

Спрашивается, съ какимъ-же умысломъ Стебницкій превратилъ своихъ знакомыхъ въ не турчишковъ, съ которыхъ онъ копировалъ наружность своихъ «еще того хуже»? Если Стебницкій скажетъ, что это была пріятельская шутка, то ему на это возразятъ, что это шутка глупая, плоская и дерзкая. Всего интереснѣе то, что самъ-же Стебницкій въ концѣ своего романа произноситъ приговоръ надъ подобной

шуткой. Извольте послушать: «Да, говорить одна барыня, представьте себя, у них живописцы работали. Ну, она на воротах назначила нарисовать страшный суд—картину. Ну, мой внук, разумеется, мальчик молодой... знаете, скучно, он и дал живописцу двадцать рублей, чтобы тот в аду нарисовал и Агнию, и всех ее главных помощниц...» — «Все это было-бы смѣшно, когда-бы не было так глупо, сказал за стуломъ Евгения Петровна Розановъ.» «Вѣстимо, отвѣчала хозяйка.» При этомъ надо замѣтить, что Розановъ и Евгения Петровна—любимцы автора. Изъ за чего-же Стебницкій влезалъ въ журналъ съ своимъ «объясненіемъ»? Зачѣмъ онъ оправдывался, когда онъ самъ провзнесъ надъ собой приговоръ? Ну да, именно. «Все это было-бы смѣшно, когда-бы не было такъ глупо». Хорошо! Но что если рисованіе знакомыхъ было совершенно затѣмъ, чтобы напакостить ближнему, чтобы отомстить за оскорбленіе или чтобы доставить плохому роману тотъ успѣхъ, который называется *un succès de scandale*? Что тогда?—Тогда, чего добраго, изреченіе Розанова придется передѣлать такъ: «все это было-бы смѣшно, когда-бы не было такъ грязно». — Меня очень интересуютъ слѣдующія два вопроса: 1) Найдется-ли теперь въ Россіи—кромѣ «Русскаго Вѣстника» — хоть одинъ журналъ, который осмѣлился-бы напечатать на своихъ страницахъ что-нибудь выходящее изъ подъ пера Стебницкаго и подписанное его фамиліей? 2) Найдется-ли въ Россіи хоть одинъ честный писатель, который будетъ настолько неостороженъ и равнодушенъ къ своей репутаціи, что согласится работать въ журналѣ, украшающемъ себя повѣстями и романами Стебницкаго? — Вопросы эти очень интересны для психологической оцѣнки нашего литературнаго міра *).

III.

Отъ свирѣпыхъ истребителей будущаго я перехожу въ тѣмъ болѣе кроткихъ людяхъ, которые, не видя для себя впереди ничего привлекательнаго, уходя въ свои мысли въ темную глубину давнопрошедшаго. Съ легкой руки Островскаго, воспѣваго «Козьму Минина» въ какомъ-то странномъ произведеніи, несколько не похожемъ на драму, — историческія трагедіи, драмы и комедіи начинаютъ плодиться въ нашей литературѣ. Въ прошломъ году Чаевъ напечаталъ въ «Библиотекѣ» трагедію «Князь Александръ Михайловичъ Тверской»; въ томъ же году Аверкіевъ — тотъ самый, который терпѣть не можетъ популяризаторовъ вообще и Карла Фохта въ особенности, — помѣстилъ въ «Эпохѣ» драму: «Мамаево побоище». Наконецъ

въ нынѣшнемъ году Островскій нагрузилъ лаварскую книжку несчастнаго «Современнаго» комедію «Воевода», изображающей нравы XVII столѣтія. «Князь Тверской» занимаетъ 84 страницы, «Мамаево побоище» — 136. «Воевода» — 135. Итого — 355. «Князь Тверской», отличаясь похвальной скромностью въ отношеніи объема, отличается еще другимъ важнымъ достоинствомъ: онъ написанъ прозой и въ немъ есть одна не совсѣмъ плохая сцена; именно, 2-я сцена 2-го дѣйствія, та — гдѣ псковичи, отставши Александра Михайловича, сажаютъ его въ сѣдло на княженіе и разрываютъ свою связь съ Новгородомъ и съ Иваномъ Калитой. Въслѣдствіе этого я оставляю въ покоѣ «Князя Тверскаго», надѣясь на то, что Чаевъ, какъ писатель начинающій, можетъ еще обратиться на путь истины и уразумѣть всю суетность историческаго приподѣлыванія. Аверкіевъ — дѣло другое; онъ уже с головою окунулся въ мутную премудрость «Эпохи» и въ своихъ многочисленныхъ критическихъ статьяхъ заплатилъ уже такую обильную дань духу мракобѣсія и сикофанства *), что навсегда отрѣзалъ себя дорогу въ правую литературную дѣятельности. Его «Мамаево побоище» есть тенденціозный панегирикъ прошедшему, которое, разумеется, должно казаться Аверкіеву очень привлекательнымъ, потому что въ XIV столѣтіи еще не было людей, способныхъ выводить на свѣжую воду литературныя шарлатановъ. Впрочемъ легко можетъ быть, что и шарлатановъ было тогда поменьше, чѣмъ теперь.

«Мамаево побоище», написанное стихами, снабжено предисловіемъ, въ которомъ почтенный авторъ объясняетъ, что главная цѣль его произведенія — «изобразить въ картинахъ прошлую жизнь съ возможно-большаго числа сторонъ». Въ этомъ же предисловіи Аверкіевъ даетъ нѣсколько совѣтовъ относительно сценической постановки пьесы; первый изъ этихъ совѣтовъ показываетъ намъ наглядно, что Аверкіевъ умѣетъ понимать слова лѣтислѣвца совершенно наизуворотъ. Полюбуетесь остроуміемъ и проницательностью писателя, взявшагося «изобразить прошлую жизнь съ возможно-большаго числа сторонъ». — Должна быть ярко изображена противоположность между дворами московскимъ и рязанскимъ. При первомъ господствуетъ своеобразная вѣжливость и утонченность нравовъ; при второмъ — отношенія болѣе простыя и грубыя. Не даромъ-же москвичи говорили, что «рязанцы — люди суровые, свѣртливые, высокоумные, гордые, чистые, неснившиеся умомъ и возгордившіеся величіемъ, помыслили въ высокоуміи своемъ, положивши люди, какъ чудища».

*) И журналовъ, и писателей такихъ оказалось въ изобиліи...

*) Сикофантами назывались въ Аѳинахъ лжеветники и наушники.

о былъ грубѣе, разанцы или москвичи, — я не знаю. Я русскихъ лѣтописей не читаю и никогда не буду читать. Можетъ-быть кievъ дѣйствительно правъ, но неподражаемымъ комизмомъ дышетъ тотъ фактъ, что отверженіе своей мысли Аверкіевъ прилагаетъ къ словамъ, которые ее опровергаютъ. Самомъ дѣлѣ, развѣ изъ отзыва москвичей занцахъ можно заключить, что москвичи рѣли на разанцевъ сверху внизъ, какъ цивилизованные люди смотрятъ на полудикарей? Ымъ напротивъ. Слова, приведенныя Аверкіевымъ, можно было-бы безъ малѣйшаго измѣненія вложить въ уста какого-нибудь мелкопомѣстнаго дворянина, отзывающагося съ горькой истью и съ чувствомъ оскорбленнаго самолюбія о богатомъ и гордомъ сосѣдѣ. *«Вознеси умомъ и возгордился величаніемъ»* — всегда-ли, какъ ясно указываютъ эти слова, отношенія болѣе простыя и грубыя? Глядя на Константинополь и насмотрѣвшись на мошныя придворныя церемоніи, русскій членъ XIV столѣтія навѣрное сказалъ-бы такъ о византійцѣ — *«вознеси умомъ и возгордился величаніемъ»*, а Аверкіевъ съ ответственнѣйшимъ ему остроуміемъ навѣрное вынесъ бы то заключеніе, что при византійскомъ господствѣ отношенія болѣе простыя и грубыя, чѣмъ при московскомъ. Если помню публикѣ то обстоятельство, что въ «Мамаева побоища», такъ успѣшно поющій на выворотъ слова лѣтописей, вступилъ въ состязаніе съ Н. Костомаровымъ, — разумѣется, надъ злополучнымъ Аверкіевымъ засмѣются не только всѣ читатели, но и всѣ куры и цыплята великой, малой и средней Россіи.

Судявши намъ «изобразить прошлую жизнь возможно-большаго числа сторонъ», Аверкіевъ на самомъ дѣлѣ изображаетъ только бездно-растянутые и удивительно безцвѣтные воры между князьями и боярами. Есть ли двѣ-три сцены яко-бы престопагодныя; и сцены состоятъ исключительно въ томъ, какъ мужики, уходя на войну, говорятъ: «мы тапыхъ-сяпыхъ, шанками закидаемъ»; а режутъ и говорятъ: «дай вамъ, Господи, здоровья.» Вотъ вамъ и вся «прошлая жизнь», и все «возможно-большее число сторонъ».

удовольствуемся тѣмъ, что даетъ намъ Аверкіевъ. Посмотримъ по крайней мѣрѣ, какъ описаны князья и бояре. Что Аверкіевъ желаетъ представить ихъ въ самомъ привлекательномъ видѣ, — это намъ доподлинно извѣстно, потому что Аверкіевъ сражался съ Костомаровымъ именно изъ за того, что сей послѣдній слишкомъ благоговѣлъ передъ доблестями русскихъ москвичей вообще и Дмитрія Донскаго въ частности. Но Аверкіевъ, подобно всѣмъ

писателямъ, удрученнымъ бездарностью и честолюбіемъ, совершенно равнымъ его бездарности, всегда оказываетъ медвѣжьи услуги тѣмъ лицамъ и принципамъ, которые онъ принимаетъ подъ свое просвѣщенное покровительство. Дмитрій Донской и его сподвижники представлены у Аверкіева такими чудаками, что даже мнѣ, человеку, не питающему ни малѣйшей нѣжности къ людямъ XIV столѣтія, придется защищать этихъ людей противъ ихъ остроумнаго панегириста. Всѣ дѣйствующія лица «Мамаева побоища» безъ исключенія одержимы неизлечимымъ пристрастіемъ къ риторическому размазыванію; то, что можно выразить въ трехъ словахъ, растягивается ими по меньшей мѣрѣ на десять строкъ. Съ точки зрѣнія литературнаго гонора, такая наклонность куликовскихъ героевъ очень понятна и даже извинительна, потому что Аверкіеву, разумѣется, пріятнѣе было помѣстить въ журналъ 136 страницъ, чѣмъ помѣстить только 40 или 50. Но такъ какъ Аверкіевъ корчитъ изъ себя патріота и такъ какъ онъ даже пристаётъ къ другимъ русскимъ писателямъ съ упреками въ недостаткѣ патріотизма, то я полагаю, что при воспѣваніи куликовскихъ героевъ Аверкіеву не мѣшало-бы думать поменьше объ умноженіи печатныхъ строчекъ и побольше о достоинствѣ тѣхъ историческихъ личностей, которыя по его милости превращены въ болтуновъ.

Великая княгиня, жена Дмитрія, совѣтуетъ мужу сходить передъ выступленіемъ противъ Мамаево кѣ игумену Сергію. Кажется, дѣло очень простое и естественное; совѣтъ хорошъ; онъ доказываетъ, что княгиня — женщина благочестивая; но такъ какъ въ XIV столѣтіи всѣ русскіе люди были очень благочестивы, то въ этомъ хорошемъ совѣтѣ нѣтъ ничего особенно новаго и удивительнаго; Дмитрій пошелъ-бы къ игумену по собственному влеченію, безъ всякихъ постороннихъ внушеній. Посмотрите-же теперь, что тутъ дѣлаетъ Аверкіевъ:

княгиня.

Послушай, княже, моего совѣта
И къ Сергію игумену сходи.
Со всѣхъ сторонъ народъ къ нему стремится,
Печальные идутъ со всѣхъ концовъ.
Несутъ къ нему тяжелую кручину,
А отъ него идутъ съ веселой душой,
Веселымъ сердцемъ славословятъ Бога.
Сходи къ нему въ своемъ великомъ горѣ,
Повѣдай тяжкую свою печаль;
Онъ словомъ Божиимъ тебя утѣшитъ,
Разумною бесѣдой ободритъ.

Итого *одиннадцать* строкъ, чтобы сказать: «сходи къ Сергію!» Но вѣдь это еще далеко не всѣ. Князю надобно теперь благодарить княгиню за ея краснорѣчіе, хотя впрочемъ за это краснорѣчіе платятъ деньги не Дмитрію Донскому, а Дмитрію Аверкіеву.

в. князь.

Спасибо, милая мой голубка!
Самъ думалъ я объ этомъ, самъ хотѣлъ
Сходить къ игумену.

Кажется, тема исчерпана, и разговоръ долженъ прекратиться или принять другое направленіе. — Ничуть на бывало! Вы не знаете изобрѣтательности Аверкіева. Книгиня продолжаетъ долбить своего мужа:

книгиня.

Да, милый княже,
Сходи къ нему; сходи ты безпрѣмѣнно.

в. князь.

Вотъ, какъ управдись, такъ сейчасъ схожу.

Но книгиня наладила свою пѣсню и непременно желаетъ доставить Аверкіеву еще нѣсколько копѣекъ:

книгиня.

Не отлагай ты дѣла въ долгій ящикъ;
Еще успеешь разослать гонцовъ,
Собрать полки еще успеешь, княже,
А главное—ты къ Сергію сходи.

в. князь.

Схожу, голубушка.

Когда остроумная книгиня такимъ образомъ окончательно убѣдила Дмитрія, что разсылать гонцовъ и собирать полки—самое пустое и вздорное занятіе, тогда читатель начинаетъ думать, что дѣло о хожденіи къ Сергію наконецъ рѣшено и что о немъ не будутъ больше толковать. Вѣдь и то ужъ Аверкіевъ сколотилъ себѣ на эту тему *двадцать два* строчки. Можно-бы, кажется, удовлетвориться. Нетуть-то было. Разговоръ о хожденіи къ Сергію, угасши на страницѣ 17, возгорается съ новой силой на страницѣ 30, когда книгиня узнаетъ, что совѣщаніе князя съ боярами окончилось.

книгиня.

Ну, слава Богу! Только знаешь, Дмитрій,
Не отъ людей—отъ Господа удача;
Ты къ Сергію игумену сходи,
У Троицы усердно помолися.

Можно было ожидать, что Дмитрію надоедятъ наконецъ эти безконечныя повторенія, и что онъ скажетъ книгинѣ: «ахъ, матушка, да оставь же ты меня въ покоѣ! Что я, нехристь, что-ли, какой-нибудь? Не знаю я, что-ли, когда и гдѣ мнѣ нужно молаться?» — Но Дмитрій, сотворенный Аверкіевымъ, этого не говоритъ. Онъ даже приходитъ въ какой-то совершенно непонятный восторгъ, точно будто книгиня подала ему совершенно новую мысль, которая безъ ея помощи ни за что не пришла-бы ему въ голову.

в. князь.

О, милая голубка, дорогая!
Советовъ много слышалъ я сегодня:
Свою повѣдали мнѣ братья думу,
И молвили свое бояре слово.

Но твой совѣтъ—дороже всѣхъ совѣтовъ
Разумнѣй всѣхъ твоя простая дума;
Какъ солнце, слово милое горитъ,
Горитъ оно и путь мнѣ указываетъ,
Надежный путь къ обителямъ Господней,
Къ честнымъ вратамъ монастыря святого.

Глядишь: еще *четырнадцать* стиховъ жалю. *Двадцать два* да *четырнадцать* ходитъ *тридцать шесть*. При такихъ вѣхъ патриотизмъ оказывается очень и оброчной статьей.

Желая оживить свою драму комической ей, Аверкіевъ считаетъ необходимымъ отдѣло такъ, чтобы Дмитрій въ думѣ об одномъ изъ бояръ «дуракомъ». Что-жъ? Это придуманъ не дурно, и для Аверкіева выгодно, потому что на подготовленіе и писаніе двухсложнаго слова «дуракъ», въ ромѣ заключается вся соль сцены, по *двадцать пять* строкъ. — На другую, съ комическую сцену, основанную на томъ бояринѣ, получившій «дурака», трусится отдѣлаться отъ похода, отговариваясь лѣзвнью, — израсходовано *пятьдесят* строкъ, хотя эта сцена, происходящая между двумя совершенно второстепенными лицами, не рисуетъ ни «прошлой жизни», ни «будущей», ни «настоящей», ни «возможнаго-большаго числа сторонъ». На и Боброва съ женой отпущено *семьдесят* строкъ, хотя прощаются они такъ, какъ наше время могутъ прощаться супруги. Тернаго въ этой сценѣ нѣтъ ровно ничего, кромѣ непомѣрной растянутости, которая характеризуетъ собой не XIV столѣтіе, а XIX столѣтіе. Какія глупости городятъ князья на военномъ совѣтѣ за два дня до рѣшительной битвы,—такъ это просто уши вынуть. Хотѣли, чтобы разсуждать о планѣ сраженія, о численности и расположеніи войскъ, они упираются въ литературномъ излитіи похвалъ и чувствъ, точно будто они воспитаны на чужеземныхъ статьяхъ Аверкіева и Николая Некрасова. Вотъ вамъ образчики.

в. дм. ольгердовичъ.

Что было тамъ за Пьяной,—я не знаю
Ты, можетъ, былъ; тебѣ и книги въ рюмку
А я читалъ другія, какъ князь Игорьъ
Шеломомъ зачерпнулъ воды изъ Дона,
Какъ наполнилъ коня струей донскою,
Какъ рыскала хоробрая дружина,
Что волки сѣрые, по чисту полю,
Себѣ искали чести, князю—славы.

Это называется подавать свое мнѣніе и давать свои совѣты. — Другой Ольгердовичъ, соревнуя своему брату, желаетъ также нѣсколько глупостей и, разумеется, исполняетъ свое желаніе:

кн. анд. ольгердовичъ.

И за Донъ перейдемъ, да побѣдимъ,
Коль есть на то Господня воля; нѣтъ,
Такъ отъ бѣды и здѣсь не уберемся.

А мысль моя такая, княже Дмитрій Ивановичъ: козь ты пришелъ на дѣло, Коль вѣрнаго ты бою хочешь, Сегодня-же вѣли перевозиться. И у кого на мысли ворочаться, Пусть эту мысль отбросить; пусть никто Не думаетъ спастись отъ смерти; бѣтсея Съ погаными безъ хитрости, и смерти Пусть съ часу на часъ ждетъ. А говорить, Что сила велика у нихъ, то что На это намъ смотрѣть. Не въ силѣ Богъ, А въ правдѣ.

в. князь.

Ай да, князь Андрей, спасибо!
Такия рѣчи, право, любо слушать.

Скажите, пожалуйста, не правду-ли я говорилъ, что мнѣ придется защищать куликовскихъ героевъ противъ ихъ усерднаго, но крайне ограниченного панегириста? Надо переходить за Донъ, говорить Андрей Ольгердовичъ, на томъ основаніи, что Богъ не въ силѣ, а въ правдѣ. А Дмитрій Донской благодарить и находить, что такія рѣчи пріятно слушать.

Желая расписать самыми яркими красками благочестіе нашихъ предковъ, Аверкіевъ очевидно хватилъ черезъ край, возвелъ русское «авось» въ религиозный догматъ и навязалъ несчастнымъ сподвижникамъ Дмитрія чистѣйшій магометанскій фатализмъ, противъ котораго всегда возмущался здравый смыслъ всѣхъ европейскихъ народностей. Аверкіевъ до самого конца остается вѣренъ себѣ: послѣ побѣды Дмитрій три раза подъ радъ благодарить войско въ самыхъ витѣватыхъ выраженіяхъ, а войско отвѣчаетъ ему на разные манеры: «рады стараться». На эти взаимные комплименты уходитъ сто строкъ. — И это, по мнѣнію Аверкіева, называется «изобразить прощальную жизнь съ возможно-большаго числа сторонъ»?

IV.

Къ «Воеводѣ» Островскаго не приложено никакого предисловія, и это очень жаль, потому что было-бы желательно, чтобы къ этой комедіи было приложено два предисловія: одно — отъ автора, другое — отъ редакціи «Современника». Въ первомъ — авторъ долженъ былъ объяснить русской публикѣ, что такое онъ хотѣлъ выразить своимъ новымъ произведеніемъ и съ какой стати онъ его написалъ. Сама комедія на эти вопросы не даетъ рѣшительно никакого отвѣта. Во второмъ предисловіи редакція «Современника» должна объяснить, съ какой точки зрѣнія она находитъ комедію Островскаго интересной или полезной вообще и для подписчиковъ «Современника» въ особенности. Упорство, съ которымъ «Современникъ» держится за увядшій талантъ Островскаго, составляетъ для меня необъяснимую загадку, тѣмъ болѣе, что тотъ-же «Современникъ» не разъ ставилъ себѣ въ особенную заслугу ту стоическую твердость, съ которой онъ отвернулся отъ Тургенева, какъ только замѣ-

тилъ въ немъ фальшивыя ноты. Тургеневъ при всѣхъ своихъ немощахъ несравненно свѣтлѣе Островскаго, и было-бы несравненно приличнѣе для «Современника» напечатать даже «Призраки», чѣмъ печатать «Воеводу». Островскій былъ дорогъ для «Современника», какъ изобрѣтатель «Темнаго царства», но о «Темномъ царствѣ» Островскій давно произнесъ свое послѣднее слово, и теперь онъ странствуетъ по такимъ пустынямъ и дебрямъ, въ которыхъ онъ можетъ встрѣтиться только съ Бохановской, съ Аксаковымъ, Юркевичемъ, а никакъ не съ мыслящими реалистами нашего времени.

Сюжетъ «Воеводы» изумляетъ читателя своей несообразностью. Въ одномъ приволжскомъ городѣ господствуетъ въ половинѣ XVIII столѣтія старый воевода Шалыгинъ, зачекотавшій до смерти двухъ своихъ женъ и желающій на старости лѣтъ жениться еще разъ для того, чтобы зачекотать третью. Онъ дѣлаетъ предложеніе одной красивой дѣвицѣ, Прасковѣ, дочери богатаго посадскаго, Власа Дюжого. Его предложеніе принимаютъ съ радостью, и будущая его теща, Настасья, уже заранѣе обнаруживаетъ свою гордость тѣмъ, что, идя по улицѣ, ни съ того, ни съ сего, кричитъ на всѣхъ прохожихъ: «фу! смерды». Но прохожіе, съ своей стороны, обнаруживаютъ свою самостоятельность, отвѣчая ей такъ: «шире народъ, навозъ плыветъ». Еслибы Островскій снабдилъ свою комедію объяснительнымъ предисловіемъ, то изъ этого предисловія мы узнали-бы навѣрное, для чего созданъ діалогъ между гордой Настасьей и самостоятельными прохожими: для того-ли, чтобы очертить нравы XVIII столѣтія, или-же для того, чтобы въ XIX столѣтіи породить хохотъ и рукоплесканія въ райкѣ Александринскаго театра. Теперь-же, за неимѣніемъ предисловія, мы недоумѣваемъ. — Придя съ визитомъ къ Власу Дюжому, воевода случайно сталкивается съ Марьей, младшей сестрой Прасковьи, и тотчасъ рѣшается, что лучше жениться на Марьѣ, чѣмъ на Прасковѣ. Марья влюблена въ молодого помѣщика Бастрюкова, котораго отецъ, поссорившись съ Шалыгинымъ, поѣхалъ въ Москву жаловаться на воеводу отъ лица цѣлаго города. Молодой Бастрюковъ хочетъ похитить Марью, но шутъ воеводы подкарауливаетъ ихъ и разстраиваетъ ихъ планъ. Воевода, чтобы уберечь Марью отъ ея поклонника, перевозитъ ее въ одинъ изъ своихъ теремовъ еще до свадьбы. Самъ-же онъ уѣзжаетъ на нѣсколько дней за городъ по дѣламъ. Въ одной изъбъ онъ видитъ пророческіе сны: будто молодой Бастрюковъ похищаетъ Марью; потомъ будто старый Бастрюковъ пожаловался на него, Шалыгина, въ Москвѣ, и будто ѣдетъ на воеводство дворянинъ Поджарый. Встревоженный снами, онъ возвращается въ городъ, захватываетъ Марью въ ту самую минуту, когда она совсѣмъ собралась бѣжать, и начинается ее щекотать; но въ

это время является на сцену новый воевода, Поджарый, и Марья, избавленная отъ щекотанія, находят себѣ счастье въ объятіяхъ Бастрюкова.

Вотъ вамъ и комедія вся. Комедія, разумѣется, изобилуетъ вводными лицами; тутъ есть и пустынный, размышляющій о суетности земного величія; и разбойникъ, смахивающій на Карла Моора; и старая нянька Недвига, рассказывающая сказки; и корыстолюбивая вдова Ульяна, исполняющая при особѣ Марьи роль дуэньки; и колдунъ Мизгирь, появляющійся на сценѣ въ оковахъ; есть даже и домовый, настоящій домовый, который ходитъ по сценѣ съ фонаремъ, декламируетъ стихи и спитъ съ головой спящей Недвиги. Но Островскій и этимъ не удовлетворился: для большей фантастичности онъ устроилъ такъ, что пророческіе сны воеводы разыгрываются передъ глазами всѣхъ зрителей. Воевода лежитъ на сценѣ и спитъ, а въ это время на заднемъ планѣ открывается новая сцена, на которой изображается въ лицахъ то, что воевода видитъ во снѣ. Черезъ это комедія начинаетъ смахивать на волшебную оперетку и получаетъ для райка удвоенную занимательность. Но мыслящій читатель, наткнувшись на домового и на пророческіе сны, болѣе чѣмъ когда-либо, начинаетъ чувствовать необходимость тѣхъ двухъ предисловій, о которыхъ я говорилъ выше. Возникаетъ вопросъ: вѣрить или не вѣрить Островскій въ существованіе домовыхъ и въ пророческія свойства сновидѣній? Что люди XVII столѣтія вѣрили въ то и въ другое, это, разумѣется, не подлежитъ сомнѣнію. Но тутъ дѣло не въ томъ. Домовый ходитъ по сценѣ и говоритъ; значитъ, его видятъ и слышатъ не только дѣйствующія лица комедіи, а кромѣ того еще всѣ зрители, то-есть люди XIX вѣка. Собственно говоря, онъ даже приходитъ на сцену только для зрителей, потому что дѣйствующія лица всѣ святъ въ минуту его появленія и просыпаются только послѣ его ухода. — Такое-же реальное существованіе имѣютъ для зрителей пророческіе сны Шалыгина. Зрители видятъ и слышатъ все ясно, что грезится воеводѣ; и потомъ тѣ-же зрители видятъ и слышатъ также ясно, что всѣ эти грезы осуществляются съ буквальной точностью. Что-же это въ самомъ дѣлѣ значитъ? Если Островскій вѣритъ во всякую чертовщину, то чего-же смотреть редакция «Современника»? Если Островскій, не вѣря въ чертовщину, считаетъ своей обязанностью поддѣлываться подъ народное міросозерцаніе и *смиряться передъ народной правдой* до признанія домовыхъ и пророческихъ сновъ включительно, — то опять-таки, чего-же смотреть редакция «Современника»? Если наконецъ Островскій, отложивъ попеченіе о какомъ-бы то ни было серьезномъ взглядѣ на литературу, *наполняетъ свои досуги сочиненіемъ комико-маги-*

ческихъ оперетокъ, то и въ этомъ случаѣ мы въ крайнемъ недоумѣніи повторяемъ тотъ-же самый вопросъ: чего-же смотреть редакция «Современника», — та самая редакция, которая ведетъ непримиримую войну съ Тургеневымъ?

Безъ двухъ предисловій съ «Воеводой» невозможно справиться.

V.

Простые романы, вродѣ «Марева» и «Нибуда», очень скоро набиваютъ публикѣ оскомину; археологическія драмы, вродѣ «Кузлы Минина» и «Мамаева побоища», всегда нагоняютъ на читателей истерическую зѣвоту. Поэтому писатели, желающіе систематически усматывать общественное самосознаніе, должны искать въ ходъ какое-нибудь другое, болѣе тонкое и привлекательное наркотическое вещество. Къ счастью для этихъ писателей, такое наркотическое вещество изобрѣтено съ незапамятныхъ временъ. Чтобы отвлекать людей отъ серьезныхъ размышленій, чтобы отводить имъ глаза отъ крупныхъ и мелкихъ нецѣнностей жизни, чтобы скрывать отъ нихъ насущныя потребности въ и народа, — писатель долженъ уводить своихъ читателей въ крошечный мірокъ чисто личныхъ радостей и чисто-личныхъ огорченій; онъ долженъ рисовать имъ миловидныя картинки любовныхъ томленій и любовнаго восторга; онъ долженъ составлять свои рассказы очаровательными описаніями лунныхъ ночей, лѣтнихъ вечеровъ, страстныхъ замираній и роскошныхъ бюстовъ; и при этомъ — самое главное — онъ долженъ тщательно маскировать отъ читателя ту неразрывную связь, которая существуетъ между участіемъ отдаленной личности и положеніемъ цѣлага общества. Если всѣ эти условія будутъ соблюдены, то простодушный читатель развѣжится, замечается и не вѣритъ хитрому усыпителю, что человѣкъ прежде всего долженъ отыскать себѣ родственную душу, а потомъ в теченіи всей своей жизни упиваться пѣніемъ соловья, восходомъ солнца и блескомъ луны. Разумѣется, *одина* пріемъ такого наркотическаго вещества усыпляетъ и расслабляетъ человѣка не надолго, но когда пріемы быстро слѣдуютъ одинъ за другимъ, когда вся литература переполнена гашимъ платоническимъ и анакреонтическимъ сладостями, когда ни откуда нѣтъ отпора этимъ пошлостямъ, тогда самыя здоровыя головы тупѣютъ и теряютъ способность мыслить.

Западный романтизмъ вначалѣ нынѣшняго столѣтія сблизъ съ толку и изуродовалъ не меньшей мѣрѣ два поколѣнія французскихъ и нѣмцевъ. Мы въ настоящее время довольно прочно застрахованы противъ подобной опасности; дряхлый романтизмъ смѣшонъ и гадокъ для нашей здоровой молодежи, но тѣмъ не менѣе романтизмъ существуетъ, какъ въ беллетристикѣ, такъ и въ критикѣ нашихъ рутинныхъ жур-

ловъ. Въ этомъ отношеніи особенно любопытны тѣ повѣсти, которыми украшаетъ себя «Русскій Вѣстникъ». Всѣ онѣ очень недалеко уѣхали отъ «Бѣдной Лизы» Карамзина и отъ «Барышни-Крестьянки» Пушкина. Всѣ онѣ стремятся къ тому, чтобы терзать чувствительныя сердца *ми-сейныхъ дѣвушекъ*, совершенно неспособныхъ обороняться отъ глухихъ людей и отъ глухихъ книгъ. — Въ концѣ прошлаго года, начиная съ сентября, «Русскій Вѣстникъ», отложивъ въ сторону бранныя доспѣхи, ударился въ буколическое направление и поднесъ своимъ читателямъ нѣсколько повѣстей, такихъ сладостныхъ и усыпительныхъ, какія рѣдко можно встрѣтить въ нашемъ желѣзномъ и тревожномъ вѣкѣ. — Въ сентябрьской книжкѣ помѣщена повѣсть г. Н. О. «Гдѣ же счастье?» Вся повѣсть состоитъ изъ писемъ. Замужняя сестра, Наталья, пишетъ своей незамужней сестрѣ, Екатеринѣ, что она чрезвычайно счастлива. Счастье наводитъ Наталью на самыя удивительныя размышленія. «Бьетъ два часа. Я люблю эту ночную тишину; одна вода все клокочетъ, бьется и шумитъ на мельничѣ, подъ горой, и какъ будто тоже бесѣдуетъ о моемъ блаженствѣ съ незримымъ духомъ, подающимъ жизнь всему живущему.» Блаженство Натальи, о которомъ бесѣдуетъ вода на мельничѣ, состоитъ въ томъ, что мужъ ея, Валерьянъ, восемь лѣтъ подъ рядъ говоритъ ей сладости и цѣлуетъ ея руки. Вотъ образчикъ ея блаженства. «Какой-то подрядчикъ досадилъ мужу; онъ разсердился на него и презлой пришелъ къ обѣду, сталъ придираться, ворчать. Я вижу, что онъ раздраженъ чѣмъ-то и молчу. Онъ кричитъ, шумитъ и уже мнѣ говоритъ дерзости; я уткнулась въ работу и ни слова. Вижу: человекъ дурно настроенъ — ну, что-жъ съ этимъ дѣлать? Валерьянъ посердился и опять убѣждалъ на стройку. Вечеромъ... какъ-бы ты думала? возвратился до того сконфуженъ, что смѣшно смотрѣть; не смѣлъ глазъ на меня поднять, совѣстится, просить прощенія; но, видя, что я улыбаюсь, опускается передо мной на колѣни. И тутъ послѣдовалъ взрывъ горячаго раскаянья, пламенной любви, восторга... Ну, точъ-въ-точъ какъ будто ему 18 лѣтъ! Да, истинная любовь съ лѣтами какъ будто юнѣетъ до того, что превращается наконецъ въ какую-то дѣтскую привязанность. Я слушала, слушала его и потомъ съ гордостью эеіонской царицы протянула ему руку, сказавъ: «дерзай, слабый смертный!» Повѣришь-ли, онъ и тутъ еще не увидѣлъ шутки, не разглядѣлъ комизма, а серьезно превозносилъ мою кротость, уступчивость, благоразуміе и тысячу другихъ добродѣтелей. Ей Богу, боюсь, Катя, онъ меня совсѣмъ избалуетъ. Я, пожалуй, зазнаюсь.» Но вдругъ мрачная туча набѣгаетъ на тотъ эдемъ, въ которомъ истинная любовь превращается въ дѣтскую привязанность, въ которомъ слабый смертный ползаетъ на колѣняхъ передъ

эеіонской царицей и въ которомъ вода бесѣдуетъ съ незримымъ духомъ о блаженствѣ Натальи Николаевны Голубинцевой. Мрачная туча эта является въ видѣ коварной женщины, Клеопатры Александровны, которая своимъ преступнымъ кокетствомъ разрушаетъ дѣтскую привязанность и отвлекаетъ слабого смертнаго отъ эеіонской царицы. Эеіонская царица начинаетъ рвать и метать и доводитъ себя разными глупостями до того, что рождаетъ раньше срока мертвого ребенка.

Вотъ примѣръ исторіи одной кавалькады, происходившей въ эдемѣ послѣ водворенія въ немъ *мрачной тучи*. «Я чувствовала себя опять очень дурно и рѣшилась было остаться дома; но когда увидѣла изъ окна, что Клеопатра Александровна въ изящной амазонкѣ, съ хлыстикомъ въ рукѣ, вышла на крыльцо въ ожиданіи верховой лошади, а Валерьянъ готовился сопровождать ее верхомъ... вся кровь закипѣла въ моихъ жилахъ и прилила къ сердцу съ такой силой, что, забывъ все на свѣтѣ, я объявила Валерьяну, что поѣду съ нимъ въ кабріолетѣ. Это его озадачило: онъ пробовалъ меня убѣждать; но я на-отрѣзъ сказала ему, что, если онъ не еѣдѣла по моему, я... не пощажу никого!» — Угроза подѣйствовала. Эеіонскую царицу повезли въ кабріолетѣ, но *мрачная туча* посылаетъ слабому смертному такой взоръ, въ которомъ скрывалось «что-то повелительно-насмѣшливое» и который «и ласкалъ, и кололъ въ одно и то же время». Невыдержавши долѣе *этой пытки*, беременный Отелло начинаетъ буйнить, такъ что Валерьянъ говоритъ: «помилосердуй, Наташа!» Но свирѣпая Наташа нисколько не милосердуетъ, а, напротивъ того, поднимаетъ въ кабріолетѣ люстру возню, чтобы отнять у мужа какую-то желтенькую записку, случайно выглянувшую изъ его раскрывшейся сигарочки. Неумѣстная возня кончается тѣмъ, что кабріолетъ опрокидывается и что воинственную царицу Эеіоніа, лежащую въ обморокѣ, отвозятъ домой. Поздно вечеромъ, оправившись отъ испуга, она подходитъ къ окну и тутъ при свѣтѣ молніи видитъ такую картину, которая очевидно должна разодрать на части всѣ чувствительныя сердца *ми-сейныхъ дѣвушекъ*. «Вдругъ молнія широко раскинулась, освѣтивъ флигель; на стеклѣ итальянскаго окна ясно нарисовались двѣ фигуры. Но что это? Игра воображенія?... или ужасающая дѣйствительность?... Опять все стемнѣло... Сердце такъ сильно билось въ моей груди, что мѣшало дышать свободно. Вотъ еще блеснула молнія... И на этотъ разъ я ясно увидѣла... Это онъ! Это она! Какъ страстно прижалъ онъ ее къ своему сердцу! Какъ нѣжно обвила рука ея около его шеи!... Голова ея покоится у него на груди... Я обомлѣла... Высунулась въ окно, таращу глаза, хочу убѣдиться еще разъ въ потрясающей истинѣ, но вся природа погрузилась въ страш-

ный мракъ, и съ шумомъ полилъ дождь.» Надо полагать, что на этотъ разъ дождевая вода ни съ кѣмъ не бесѣдовала о блаженствѣ Натальи Николаевны, которая къ утру родила мертвого ребенка. — Затѣмъ слабый смертный съ своей супругой ѣдетъ въ Москву, но и тамъ продолжаетъ свои амуры съ Клеопатрой, которой безнравственность нисколько не должна изумлять читателей, потому что «о, не даромъ у нея мать — полька», говоритъ Наталья Николаевна. — Далѣе Наталья Николаевна уѣзжаетъ отъ мужа въ Дрезденъ, гдѣ и умираетъ черезъ два года отъ разбитости своего любящаго сердца и отъ пустоты своей убогой головы. Еще далѣе коварная дочь польки ризбиваетъ сердце Валерьяна; она выходитъ за стараго князя Бахрушинскаго и прерываетъ всѣ сношенія съ своимъ бывшимъ любовникомъ. — Еще того далѣе Валерьянъ, который такъ-же глухъ, какъ его покойная супруга, впадаетъ въ помѣшательство и умираетъ. Вся повѣсть заканчивается тѣмъ, что толстый и добродѣтельный кузенъ покойнаго Валерьяна, Василий фонъ-Лембахъ, въ письмѣ къ Екатеринѣ Николаевнѣ, подобно здравосуду старинныхъ комедій, произноситъ правоученіе. Онъ говоритъ, что княгиня Бахрушинская очень безпощадно умянится, очень «низко вырѣзываетъ свои лифы» и очень «безъ ума» отъ молодого гусара «съ рыжими усами и съ пахальнымъ видомъ». Изъ этихъ данныхъ глубокомысленный фонъ-Лембахъ выводитъ то заключеніе, что порокъ непременно будетъ наказанъ или, какъ онъ выражается, что «перстъ Божій близокъ». Кромѣ того тотъ-же мыслитель утверждаетъ, что «дни бѣгутъ, новые люди тѣсняются въ жизнь, а мы все не хотимъ сомнѣться». Надо полагать, что когда эти «мы» сомкнутся, тогда дни перестанутъ бѣжать, и новымъ людямъ будетъ строго воспрещено тѣсниться въ жизнь.

Въ ноябрьской книжкѣ «Русскаго Вѣстника» напечатана повѣсть «Нѣмая» В. К.—ова. Тутъ даже и усладительнаго нѣтъ ничего. Одинъ юноша, богатый помѣщикъ, влюбляется въ нѣмую красавицу неизвѣстнаго происхожденія, усыновленную дворовымъ человѣкомъ и воспитанную въ барскомъ домѣ. Нѣмая отвѣчаетъ ему взаимностью, и влюбленные проводятъ нѣсколько недѣль въ самыхъ идиллическихъ увеселеніяхъ. «Мнѣ,—разсказываетъ юноша,—доставляло безконечное удовольствіе, гуляя съ Леттой,—учиться у нея деревенскимъ лакомствамъ, вродѣ пупырей, просвиры и т. п. Она показывала мнѣ, какъ дѣлаются *колышки* изъ березовой коры для собиранія земляники; найдя крупную ягоду и радуясь, какъ ребенокъ, она жестомъ требовала, чтобы я подставилъ ей губы, и осторожно, будто выкармливая молодую птичку, опускала мнѣ ее въ ротъ». — Разумѣется, юношу очень скоро одолѣла скука, и всѣ деревенскія лакомства вмѣстѣ съ самой Леттой надоѣли ему, какъ горькая

рѣдька. Порхая, подобно мотыльку, съ цвѣтотъ, юноша влюбился въ Лису своего новаго управляющаго. Онъ по ней въ Петербургъ и хотѣлъ на ней жениться, но ему пришлось убѣдиться въ томъ, что Лиса — продувная шельма. За нѣсколько свадѣбъ онъ подслушалъ слѣдующій разговоръ между купцами, у которыхъ Лиса имѣетъ личные заказы. — «За Fräulein тепло, — одинъ: — она своихъ не выдаетъ; вотъ и я дѣлаю карету: мнѣ она стоитъ пять тысячъ, а счетъ тысяча слишкомъ; профитъ полней. S'ist rund, Kamerad? А? — Хе-хе-хе, очень довольны», — отвѣтилъ другой. — «Дѣла здоровья!» — Юноша возмущенъ и, разорвавъ свои сношенія съ коварной Лисой, хотѣлъ вернуться къ добродѣтельной, но беззащитной Леттѣ. Но оказывается, что возвращаться не къ кому, потому что покинутая Летта, давши безутѣшную тоску, умерла отъ чахотки. Юноша, сокрушенный всѣми этими судьбами, уѣзжаетъ на Кавказъ, а потомъ возвращается назадъ и завѣряетъ читателей «Вѣстника», «что двойная фальшь — чувство и головного чувства, — не прощайте даромъ». — «Я сталъ неспособенъ, — говоритъ онъ, — къ истинному, живому чувству, не думаю, чтобы оно когда-нибудь пробудилось во мнѣ.» Это какъ вамъ угодно будетъ, читатели.

Въ декабрьской книжкѣ «Русскаго Вѣстника» напечатана «Скромная доля», повѣсть А. Касовой. Эта повѣсть гораздо проще всѣхъ предыдущихъ, но зато гораздо скучнѣе и безинтереснѣе. У помѣщика Луговскаго умираетъ жена. Сцена смерти написана по возмущающе раздирательно. Луговскій съ горя хочетъ въ монастырь. Его не пускаетъ Надежда Николаевна, сестра покойницы. При помощи Николаевны Луговскій принимается за военные заботы и за воспитаніе своихъ шестерыхъ дѣтей. Сосѣди распускаютъ сплетни о Луговскомъ и Надеждѣ Николаевнѣ. Надежда Николаевна не обращаетъ на нихъ вниманія. Ей дѣлаетъ предложеніе богатый Гребенской. Она ему отказывается. Поѣзжаетъ въ имѣніе Луговскаго молодой Ланинъ, приглашенный для управленія устроенной крестьянской больницей. Надежда Николаевна влюбляется въ Ланина, и уже влюбившись въ нее, говоритъ какъ-то пошлостями о томъ, что онъ долженъ посвятить себя наукамъ, что любовь — роскошь, которую себѣ позволить бѣднякъ, и что онъ не женится. Это называется *moral* resistance. Всѣмъ правиламъ мальтузіанской экономіи. Но потомъ оказывается, что это — пустой разговоръ. Происходитъ объятіе; Ланинъ женится на Надеждѣ Николаевнѣ, и «Скромная доля» оканчивается

дѣль-бы въ обществѣ столько серьезнаго страданія, столько глубокаго и реальнаго горя, столько неподдѣльнаго и громаднаго трагизма, что какія-нибудь трогательныя разбитія паршивыхъ тунеядческихъ сердецъ показались-бы ему приличнымъ сюжетомъ развѣ только для водевильчика съ переодѣваньями.

Позволительно-ли сокрушаться надъ любовными неудачами и надъ измѣнами въ такихъ обществахъ, гдѣ сплошь и рядомъ свирѣпствуютъ надъ живыми людьми голодъ, холодъ, суевѣріе, невѣжество, самодурство и разныя другія столько же ощутительныя неудобства? Какая-нибудь несчастная любовь кажется горемъ только тогда, когда вы изолируете ее отъ всего остальнаго міра, когда вы вносите ее въ оранжерею и ставите ее подъ стеклянный колпакъ. А попробуйте вынести ее изъ теплицы на открытый воздухъ, въ суровую атмосферу дѣйствительной, трудовой жизни, — въ тотъ міръ, гдѣ «стонъ раздается надъ великой русской рѣкой», — ничего отъ нея и не останется. Плюнуть не на что будетъ, не только что сокрушаться и сочувствовать. Поэтому писатель, заглянувшій серьезно въ самую глубину общественной жизни и общественнаго горя, никогда не будетъ въ состояніи тратить свое чувство и свою наблюдательность на изображеніе *слабыхъ смертныхъ и эгоистскихъ царицъ*, изнывающихъ подъ бременемъ несчастной любви. Для него эти страданія будутъ стоять на ряду со страданіями несчастнаго гастронома, испортившаго себѣ аппетитъ. Имѣя всегда въ виду интересы общественнаго организма, писатель пойметъ, что всякіе тунеядцы — будь они гастромомы, азартныя игроки или несчастные любовники, — составляютъ для общества отрѣзанный ломоть, который не можетъ и даже не желаетъ прилѣпиться обратно къ хлѣбу. Писатель пойметъ, что общество не можетъ получать отъ всѣхъ этихъ дряблыхъ страдальцевъ никакой пользы, и что вслѣдствіе этого оно само не можетъ предложить имъ ни малѣйшаго утѣшенія. Усвоивши себѣ эти очевидныя истины, писатель навсегда отвернется отъ всѣхъ копителей неба и займется изученіемъ того настоящаго горя, которое дѣйствительно требуетъ себѣ облегченія, которое дѣйствительно можетъ быть облегчено, когда оно обратитъ на себя вниманіе и сочувствіе общественныхъ дѣятелей. И начнетъ этотъ писатель изображать съ одной стороны *бѣдность, да бѣдность, да несовершенство нашей жизни*, а съ другой стороны — тѣ проблески самосознанія и энергія, которые даютъ намъ право рассчитывать въ будущемъ на облегченіе нашего общественнаго горя, то-есть на постепенное обузданіе голода, холода, суевѣрія, невѣжества и самодурства.

Теперь читатель мой по всей вѣроятности понимаетъ, почему я осмѣялъ четыре повѣсти, помѣщенные въ прошлогоднемъ «Русскомъ Вѣст-

никѣ». Смѣшно въ этихъ повѣстяхъ именно то, что ихъ авторы относятся серьезно къ такимъ радостямъ и огорченіямъ, которые не стоятъ выдѣннаго яйца. Смѣшно то, что авторы обращаются съ вѣчными недорослями, какъ съ взрослыми людьми, и съ полоумными существами, какъ съ особами совершенно здравомыслящими.

УП.

Отбѣтивъ жалкія и смѣшныя стороны нашей беллетристики, я обращаюсь къ тому, что составляетъ должность критики въ нашихъ филистерскихъ журналахъ. Здѣсь умственное беззавѣстье нашего пишущаго филистерства проявляется съ особенной яркостью. «Русскій Вѣстникъ», стоявшій выше всѣхъ остальныхъ филистерскихъ журналовъ по своему вліянію на общественное мнѣніе, выбралъ себѣ благуя часть. Онъ совершенно отказался отъ критики, и это самое лучшее, что только можно было придумать, находясь въ его положеніи. Съ тѣхъ поръ, какъ Добролюбовъ создалъ реальную критику, филистерская критика сдѣлалась невозможной. Съ тѣхъ поръ, какъ ясно обозначилось въ нашей литературѣ строго-опредѣленное міросозерцаніе такъ называемаго теоретическаго лагеря, каждый пишущій человекъ долженъ непремѣнно или примыкать къ этому міросозерцанію, или-же противопоставлять ему какое-нибудь другое міросозерцаніе, совершенно самостоятельное и такъ-же строго-опредѣленное. Постоянное и послѣдовательное проведеніе того или другаго міросозерцанія въ оцѣнѣ всѣхъ текущихъ явленій жизни, науки и литературы называется въ наше время критикой. У нашихъ филистеровъ нѣтъ и не можетъ быть своей критики, потому что у нихъ нѣтъ и не можетъ быть міросозерцанія, нѣтъ и не можетъ быть такихъ принциповъ, которые они выдерживали и проводили-бы до конца съ непреклонной энергіей и съ неутомимымъ постоянствомъ. Что такое принципы «Русскаго Вѣстника» или принципы «Отечественныхъ Записокъ»? Этотъ вопросъ похожъ на злую насмѣшку, потому что у нихъ нѣтъ никакихъ принциповъ. У нихъ есть журнальная сноровка, тактика или полигика, но руководящихъ идей, основныхъ взглядовъ нѣтъ и быть не можетъ.

Наши филистеры всѣ безъ исключенія — электики, то-есть люди, наполнившіе свою голову такими идеями, которыя взаимно уничтожаютъ другъ друга и никакими средствами не могутъ быть примирены между собою. Съ одной стороны у нихъ множество предразсудковъ, отъ которыхъ они не желаютъ отдѣлаться; съ другой стороны у нихъ множество отрывочныхъ знаній, которыми они очень сильно гордятся; повидимому должно было-бы произойти одно изъ двухъ: или предразсудки должны были исчезнуть, или знанія должны были подвергнуться изгнанію, какъ вредныя заблужденія. Но у филистера дѣло идетъ

не такъ: и предрасудки, и знанія живутъ тихо и смиренно рядомъ въ одной и той-же головѣ, потому что эта голова разгорожена на нѣсколько отдѣльных клѣтокъ, не имѣющихъ между собой никакого сообщенія. Въ одной клѣткѣ живетъ у филистера политическая экономія; въ другой—правственная философія; въ третьей—эстетика; въ четвертой—уголовное право; въ пятой—физиологія; въ шестой—исторія, и такъ далѣе. Ключами отъ всѣхъ этихъ клѣтокъ заведуетъ самородная чичиковщина, которая знаетъ очень хорошо, что въ однихъ случаяхъ слѣдуетъ выпускать на свѣтъ политическую экономію, въ другихъ—правственную философію, и такъ далѣе. Разумѣется, перегородки между клѣтками могутъ возникнуть и окрѣпнуть только въ такой головѣ, для которой процессъ мышленія никогда не былъ серьезнымъ дѣломъ, поглощающимъ и увлекающимъ всего человѣка. Тяжелыя сомнѣнія, умственные бури, умственные страданія и умственные перевороты, хорошо знакомые всѣмъ людямъ, мыслившимъ честно и безстрашно, передошли-бы въ головѣ всякія перегородки и не успокоились-бы до тѣхъ поръ, пока не уничтожилось-бы безъ остатка послѣднее внутреннее противорѣчіе. Но филистеры предоставляютъ это тревожное и стремительное мышленіе такъ называемымъ теоретикамъ; филистеры сами мыслятъ умѣренно и аккуратно, берутъ себѣ съ идей удовлетворительные доходы и никогда не привязываются къ идеямъ настолько, чтобы изъ за идей сѣсть на мель или налегѣть на подводный камень. Пока въ обществѣ не было людей, искренно мыслящихъ, или пока эти люди не были въ состояніи высказаться, до тѣхъ поръ филистеры или эксплоататоры идей могли находить себѣ слушателей и могли передъ этими слушателями выкладывать, съ тупымъ самодовольствомъ, разнохарактерное содержаніе своихъ клѣтокъ. Это выкладываніе называлось критикой. Но людямъ свойственно любить неподдѣльную силу и неразсчитливую искренность человѣческой мысли. Какъ только слышались въ литературѣ голоса, проникнутые искреннимъ воодушевленіемъ, какъ только выразились цѣльныя и опредѣленные убѣжденія, такъ филистерское фокусничество тотчасъ было оцѣнено по достоинству. Противъ такихъ фанатиковъ идеи, какъ Добролюбовъ, могли выступить съ нѣкоторой надеждой на успѣхъ только фанатики противоположнаго направленія.

Чистымъ и честнымъ фанатикомъ отжившаго романтическаго міросозерцанія былъ Григорьевъ. Григорьева должны были носить на рукахъ, какъ священный палладіумъ, всѣ литературные враги добролюбовской школы. Но именно въ судьбѣ Григорьева выразилось все трусливое безсиліе нашего филистерства. Ненавидя Добролюбова, филистеры въ то-же время боялись Григорьева, какъ человѣка, смѣло идущаго въ самый вопио-

щій обскурантизмъ. Добролюбовъ былъ для филистеровъ непримиримымъ врагомъ; но Григорьевъ, неспособный лавировать и дипломатизировать, былъ для тѣхъ-же филистеровъ слишкомъ опаснымъ союзникомъ. Вслѣдствіе этого Григорьевъ, единственный человѣкъ, способный выдвинуть какое-нибудь міросозерцаніе противъ нашего міросозерцанія, постоянно принужденъ былъ скитаться изъ журнала въ журналъ, вездѣ попадалъ подъ опеку такихъ людей, которые въ умственномъ отношеніи приходились ему по колѣно, и нигдѣ не могъ довести до конца того, что онъ хотѣлъ высказать.

Проклиная Добролюбова и почтительно сторонясь отъ Григорьева, филистеры очевидно обречали себя на полное ничтожество въ области мысли. Изъ этого затруднительнаго положенія оберъ-филистеръ «Русскій Вѣстникъ» вынуждался съ замѣчательной находчивостью. Подобно лисицѣ, разсуждающей о незрѣлости винограда, онъ сталъ относиться съ презрительнымъ равнодушіемъ ко всему, что было ему недоступно, то есть ко всему тому, что имѣло общій интересъ для всѣхъ образованныхъ людей вообще. Всякія размышленія объ основахъ жителства, общества, нравственности «Русскій Вѣстникъ» называлъ бесплодной болтовней. Всякую мысль, шедшую въ глубину разбираемаго вопроса, онъ отталкиваетъ съ негодованіемъ. Достаточно вспомнить на примѣръ его разсужденія о женщинахъ въ мартовской книжкѣ 1861 года. Не имѣя ни малѣйшей возможности дѣйствовать на общечеловѣческія убѣжденія своихъ читателей, «Русскій Вѣстникъ» постоянно наполнялъ себя такими статьями, которыя были интересны только для людей извѣстной профессіи. Такъ на примѣръ, одна статья была занимательна для золотопромышленниковъ, другая—для преподавателей латинскаго языка, третья—для лѣсоводовъ, четвертая—для юристовъ, пятая—для винокуровъ, и такъ далѣе. Искусство редакціи состояло въ томъ, чтобы изъ множества односторонностей составлять какое-то подобіе разносторонности и безразличности. Редактированіе журнала превратилось при такихъ условіяхъ въ ловкое списываніе специальныхъ статей, не имѣющихъ и не могущихъ имѣть между собой ни малѣйшей солидарности. Если назначеніе литературы состоитъ въ томъ, чтобы быть самосознаніемъ общества, чтобы связывать единствомъ общихъ руководящихъ идей разрозненные умы отдѣльныхъ личностей, чтобы превращать всѣхъ золотопромышленниковъ, преподавателей, лѣсоводовъ, юристовъ и винокуровъ въ мыслящихъ членовъ одного общественнаго организма, то, разумѣется, «Русскій Вѣстникъ» всегда стоялъ и всегда будетъ стоять внѣ литературы. Изъ отрывочныхъ клочковъ специальныхъ знаній невозможно сложить общее міросозерцаніе, но зато этими клочками можно приманить къ журналу

вамую разнообразную публику. Эта цель действительно была достигнута, и таким образом спутренная слабость журнала была очень удачно замаскирована.

Но эта внутренняя слабость обнаруживается каждый раз, когда «Русскому Вѣстнику» приходится рѣшать какой-нибудь вопросъ, выходящій изъ сферы узкой специальности и требующій самостоятельнаго обсужденія. Такъ напримѣръ, въ послѣднее время «Московскія Вѣдомости», находящіяся, какъ извѣстно, въ самомъ тѣсномъ родствѣ съ «Русскимъ Вѣстникомъ», разсуждали очень много о превосходствѣ классическаго образованія надъ реальнымъ и столько же много негодовали противъ дерзкихъ защитниковъ реального образованія. Чтобы разгромить своихъ противниковъ и чтобы убѣдить своихъ читателей, «Московскія Вѣдомости» очевидно должны были доказать, что изученіе латинскаго и греческаго языковъ приноситъ огромную пользу умамъ учащагося юношества, и что это изученіе не можетъ быть замѣнено съ пользою для воспитанниковъ никакимъ другимъ учебнымъ занятіемъ. Еслибы «Московскія Вѣдомости» поступили такимъ образомъ, то вопросъ о сравнительномъ достоинствѣ классическаго и реального образованія оказался-бы совершенно исчерпаннымъ и окончательно рѣшеннымъ въ ту или въ другую сторону. Но «Московскія Вѣдомости» распорядились совсѣмъ не такъ; онѣ даже не коснулись основного вопроса; о вліяніи классическихъ занятій на умы юношества не сказано ни слова; въ пользу этого вліянія не представлено ни одного аргумента; всѣ разсужденія ограничиваются ссылками на авторитеты. *Всѣмъ извѣстно, да всѣми признано, да вся Европа такъ дѣлаетъ* — вотъ и все, что «Московскія Вѣдомости» съумѣли сказать въ пользу классическаго образованія. *Вся Европа* — это, разумѣется, авторитетъ очень почтенный, но не мѣшаетъ помнить, что *вся Европа* сжигала еретиковъ и колдуновъ, что *вся Европа* считала пытку и мучительныя казни необходимой принадлежностью уголовнаго процесса. *Вся Европа* дѣлала очень много глупостей, и если она могла дѣлать капитальныя глупости въ XVII и XVIII вѣкѣ, то почему-же мы должны быть несокрушимо увѣрены въ томъ, что она не дѣлаетъ въ XIX столѣтіи рѣшительно никакихъ глупостей? Русскому писателю конечно очень позволительно ошибиться вмѣстѣ со *всей Европой*, но позволительно только въ томъ случаѣ, когда онъ ошибается по собственному, добросовѣстно составленному убѣжденію. Если-же онъ рѣшаетъ вопросы съ чужого голоса, не давая себѣ труда всмотрѣться и вдуматься въ ихъ настоящій смыслъ, то его умственная пассивность не можетъ быть оправдана никакими ссылками на примѣръ *всей Европы*. Никакой авторитетъ въ мірѣ не можетъ снять съ насъ нравственную

обязанность обсуживать каждый вопросъ силой нашего собственнаго ума. «Русскій Вѣстникъ» и «Московскія Вѣдомости» не знаютъ или, вѣрнѣе, не хотятъ знать этой простой истины.

VIII.

Трудно составить себѣ понятіе о томъ плачевномъ положеніи, въ которомъ находится критика филистерскихъ журналовъ, не послѣдовавшихъ примѣру «Русскаго Вѣстника». Зачѣмъ пишутся ихъ критическія статьи и чѣмъ онѣ наполняются — это просто уму непостижимо. Славивыя жалобы на «нашу журналистику» и бесчисленныя попытки сказать теоретикамъ какую-нибудь несправедливость составляютъ все содержаніе этихъ несчастныхъ статей. Слово «наша журналистика» всегда обозначаетъ собой только два журнала: «Современникъ» и «Русское Слово». Изъ этого обстоятельства не трудно вывести то заключеніе, что «Эпоха», «Отечественныя Записки» и «Библиотека для Чтенія» не считаютъ себя за журналистику. Мы, съ своей стороны, можемъ только поощрительно кивнуть имъ головою за эту похвальную и совершенно основательную скромность. Вотъ напримѣръ отзывъ «Библиотеки» о Дмитріевѣ. «Онъ стоитъ виѣ этихъ направлений, и если напоминаетъ кого-нибудь по своему приему и поэтическому вѣянью страницъ, то развѣ Фета, — ну, а извѣстно, что въ глазахъ нашей журналистики Фетъ есть уже явленіе прошедшее». Вы видите, что критикъ проговорился совершенно неумышленно. Въ чьихъ-же глазахъ Фетъ есть явленіе прошедшее? «Библиотека» и «Русскій Вѣстникъ» до настоящей минуты печатаютъ стихотворенія Фета. «Эпоха» и «Отечественныя Записки» ни разу не отзывались о немъ съ пренебреженіемъ. Значитъ, «*наша журналистика*» = «Русское Слово» + «Современникъ». Все-же остальное, по приговору самихъ филистеровъ, — не журналистика, а торреллиева пустота. И такихъ нечаянныхъ признаній можно было-бы набрать довольно много. На эту тему пишутся даже очень злобныя стихотворенія. Напримѣръ, въ той-же книжкѣ «Библиотеки» Бабиковъ изливаетъ свои страданія въ слѣдующихъ звукахъ, имѣющихъ самое непосредственное отношеніе къ «Русскому Слову» и къ «Современнику»:

«Теперь мы жалки и смѣшны,
Обломки прошлыхъ поколѣній;
Въ борьбѣ за святость убѣжденій —
Увы! — мы всѣ побѣждены.»

Позвольте, г. Бабиковъ! кому-же это вы жалки и смѣшны? «Библиотека» вы не жалки и не смѣшны, потому что она васъ печатаетъ. «Эпоха» вы также не жалки и не смѣшны, потому что она не только печатаетъ ваши стихи и ваши романы, но даже хвалится вами въ своемъ объявленіи, какъ постояннымъ сотрудникомъ. «Рус-

ому Вѣстнику» и «Отечественнымъ Запискамъ» также не жалки и несмѣшны, потому что эти журналы очень дорожатъ всякими обломками оплывшихъ поколѣній. Легко можетъ быть, что «Русскому Слову» и «Современнику» вы дѣйствительно жалки и смѣшны, но и объ этомъ вамъ можно только догадываться, потому что до сихъ поръ ни «Современникъ», ни «Русское Слово» говорили о васъ ни одного слова, ни прямо, ни косвенно. Но еслибы даже и въ самомъ дѣлѣ были жалки и смѣшны въ глазахъ этихъ двухъ послѣднихъ журналовъ, то стоитъ-ли объ этомъ сокрушаться? Почти вся масса литературы вашей сторонѣ, а литература, какъ вамъ известно, считается выраженіемъ общественнаго сознанія; значить, все или почти все общество сочувствуетъ вамъ, а вы хотите насъ увѣрить, будто вы всѣ побѣждены въ борьбѣ за истинность убѣжденій. Какъ-же это такъ случилось, что *васъ всѣхъ* побѣдила небольшая кучка читателей, и побѣдила въ такомъ великомъ дѣлѣ, въ борьбѣ за святость убѣжденій? Что-то не такъ. Еслибы ваши убѣжденія были дѣйствительно святы, и еслибы вы сами горячо вѣрили въ ихъ святость, то вы продолжали-бы за нихъ бороться вмѣсто того, чтобы писать себѣ живое надгробное слово четырехсторонними ям-

Намъ говорятъ: пора заснуть,
Намъ дѣла нѣтъ въ той жизни новой,
Въ которой новые бойцы
Идутъ на бой со зломъ упорнымъ.

А вольно-жъ вамъ вѣрить тѣмъ людямъ, которые вамъ это говорятъ. Вамъ говорятъ: «пора спать», а вы отвѣчайте: «нѣтъ, я гулять хочу». Вы говорятъ, что вамъ нѣтъ дѣла *въ той жизни новой*, а вы отвѣчайте: «ну, это мы еще посмотримъ». Если-же вы сами опускаете руки и называетесь отъ работы *въ той жизни новой*, то ужъ позвольте винить вашу собственную лѣнь и трусость, а никакъ не *новыхъ бойцовъ*, которые рѣшительно ни въ чемъ не виноваты. — Но Бабиковъ этого не принимаетъ въ обращеніе и въ пылу негодованія пророчить вамъ, что въ заблужденіяхъ своихъ мы кончимъ славно свой вѣкъ. Что-жъ? Это правда. Отъ того, что вы называете нашими заблужденіями, мы не откажемся никогда, а на счетъ славы мы жемъ вамъ объяснить, что мы за нею не гонимся. Но Бабиковъ такъ на насъ сердитъ, что бирается даже до нашихъ будущихъ гробовъ:

Ни чья слеза не упадетъ
На ваши сумрачные гробы,—
За то, что полны вы лишь злобы,
За то, что злоба лишь клинетъ.

Бабиковъ очевидно находитъ, что самъ онъ *полонъ лишь любви*, и что, фантазируя о *вашихъ-то сумрачныхъ гробахъ*, онъ нисколько не *клинетъ новыхъ бойцовъ*, а, напротивъ того, благословляетъ ихъ на великіе подвиги и

соч. д. и. писарева, т. IV.

желаетъ имъ всякаго благополучія. Впрочемъ если Бабиковъ дѣйствительно желаетъ обидѣть и запугать *новыхъ бойцовъ*, то я совѣтую ему придумать какія-нибудь проклятія болѣе страшныя, потому что—скажу ему по секрету—*новые бойцы* вовсе не интересуются вопросомъ: упадутъ или не упадутъ чьи-нибудь слезы на ихъ могилы.

Я остановился на стихотвореніи Бабикова единственно потому, что оно выражаетъ очень вѣрно то общее настроеніе, которое уже лѣтъ семь или восемь господствуетъ въ нашей филистерской журналистикѣ. Уныніе, озлобленіе, мелкая придирчивость и поразительное безсиліе характеризуютъ нашихъ пишущихъ филистеровъ. Вотъ наприимѣръ Аверкіеву, сотруднику «Эпохи», захотѣлось уличить реалистовъ въ незнаеніи народной жизни, въ заносчивости, въ верхоглядствѣ и во многихъ другихъ преступленіяхъ. Несчастный почвенникъ напрягаетъ всѣ силы своего ума и достигаетъ только того результата, что самъ попадаетъ въ просакъ, да еще въ какой просакъ-то. Жертвой своего обличенія онъ выбираетъ рассказъ Рѣшетникова «Подлиповцы», напечатанный въ «Современникѣ». Выписывается изъ этого рассказа слѣдующій эпизодъ, относящійся къ бурлакамъ. «Пила купилъ пекарскую булку. Разломилъ ее на четыре части, *они съѣли чуть не разомъ* *). — Што? говоритъ Пила. — Давай иппо, просить Сысойко. — Они купили еще и съѣли, и все-таки *не наѣлись*». — Выписавши еще нѣсколько строкъ, Аверкіевъ начинаетъ свое обличеніе. «Какое глубокое знаніе быта!—восклицаетъ онъ. — Какой языкъ! И интересно, какъ бурлакамъ *ѣсть хотѣлось*,—двѣ булки съѣли, одну *чуть не разомъ* вчетверомъ, и еще *ѣсть хотѣли*! Глубоко замѣчено, и главное—естественно!»

Вся соль и даже весь осязательный смыслъ обличенія заключаются очевидно въ томъ, что Аверкіевъ принялъ *пекарскую булку* за одну изъ тѣхъ *французскихъ* трехкопѣечныхъ булокъ, которыя продаются въ петербургскихъ булочныхъ. Увлекаясь желаніемъ обличить Рѣшетникова, критикъ «Эпохи» не замѣтилъ, что его обличеніе становится совершенно неправдоподобнымъ. Допустимъ на минуту, что Рѣшетниковъ не знаетъ народнаго быта; предположимъ даже, что онъ никогда не видалъ бурлаковъ и писалъ свой очеркъ, сидя въ Петербургѣ и произвольно выдумывая разныя подробности бурлацкой жизни. Но если Рѣшетниковъ, какъ петербургскій житель, не знаетъ бурлаковъ, то во всякомъ случаѣ французскія булки онъ долженъ знать какъ нельзя лучше. Онъ долженъ знать по собственному ежедневному опыту, что *одинъ* человекъ можетъ безъ малѣйшаго труда съѣсть сразу цѣлую французскую булку. Стало-быть, Рѣшетни-

*) Курсивъ употребленъ Аверкіевымъ.

ковъ ни подъ какимъ видомъ не можетъ выдумать, что четверо бурлаковъ съѣли чуть не разомъ французскую булку. Возможное-ли дѣло, чтобы Рѣшетниковъ сталъ приписывать своимъ вымышленнымъ бурлакомъ аппетитъ, равняющийся только четвертой долей нашего обыкновеннаго аппетита? Стараясь навязать Рѣшетникову такую невозможную неаппетитность, Аверкисевъ обнаруживаетъ только свое смѣшное озлобленіе и свою изумительную недогадливость. Не трудно было, кажется, понять изъ общей связи разсказа, что пекарская булка должна быть чѣмъ-то вроде очень большого каравая, фунтовъ въ десять или въ двѣнадцать вѣсомъ. И кто-же оказался человекомъ, незнающимъ быта? Кто приписалъ петербургскія понятія къ явленіямъ бурлацкой жизни? Именно самъ обличитель, самъ сотрудникъ почтеннаго журнала. Что-же касается до Рѣшетникова, то его, пожалуй, можно упрекнуть въ нѣкоторой сухости изложенія, но о незнаніи быта не можетъ быть и рѣчи. Кто прочелъ хоть одинъ изъ его разсказовъ, тотъ долженъ былъ убедиться въ томъ, что Рѣшетниковъ описываетъ только такіа явленія, которыя онъ видѣлъ очень близко, изучилъ очень внимательно или даже испыталъ на своей собственной особѣ.

Другой писатель «Эпохи», Николай Соловьевъ, взявши себѣ за правило сокрушаться и скрежетать зубами по поводу каждой изъ моихъ критическихъ статей, далеко превосходитъ Аверкисева въ дѣлѣ носообразности. Чтобы дать читателю понятіе о томъ, до какихъ размѣровъ могутъ доходить человѣческое тупоуміе и человѣческая безсовѣстность, я выпишу и разберу здѣсь нѣкоторые разсужденія Соловьева изъ его статьи «Женщинамъ», помѣщенной въ декабрьской книжкѣ «Эпохи» за прошлый годъ. Я долженъ признаться, что ничего подобнаго этой статьѣ я никогда не встрѣчалъ въ печати. Читая одну фразу за другой, я рѣшительно не могъ отдать себѣ отчета въ томъ, какимъ образомъ отдѣльныя мысли или, вѣрнѣе, клочки отдѣльныхъ мыслей связываются между собой въ головѣ этого пѣлаго критика. Соловьевъ объявляетъ, что онъ намѣренъ поговорить о «женщинахъ, затронутыхъ литературой и чреватыхъ современными идеями». Онъ говоритъ, что «лестъ эмансипаторовъ слишкомъ преувеличиваетъ мнѣніе о готовности женщинъ на всякое дѣло: готовность эта безъ всякихъ слѣдовъ самостоятельности». Въ этой фразѣ Соловьева, какъ и во всѣхъ его остальныхъ фразахъ, нѣтъ никакого осязательнаго смысла, а есть только безсильное желаніе облаять и облеветать какихъ-то эмансипаторовъ. Въ какихъ это эмансипаторахъ Соловьевъ усмотрѣлъ «лестъ»? Какіе это эмансипаторы говорятъ «о готовности женщинъ на всякое дѣло»? И что такое значитъ «готовность на всякое дѣло»? Значитъ-ли это, что женщина уже всему на свѣтѣ выучилась и можетъ принять на себя исполне-

ніе всякихъ общественныхъ обязанностей? же это значить, что женщина почувствовала ланіе учиться и готова взяться за книгу и ти на лекцію?—Что женщина всему выучилась объ этомъ наши эмансипаторы никогда не рили ни слова. Они повторяли и повторяли сихъ поръ, что женщины почти ничему не ся и почти ничего не знаютъ, но что сам женщины въ этомъ нисколько не виноваты. женщины, затронутыя литературой, же учиться и трудиться—это правда. Стало въ чѣмъ-же состоятъ лести эмансипаторовъ такое они преувеличиваютъ? Соловьевъ о но самъ не знаетъ, что онъ хотѣлъ сказать. Онъ даже ровно ничего не хотѣлъ сказать писалось что-то, а что именно, объ этомъ не допрашивайте. «Говорятъ,—продолжае Соловьевъ, напимѣрь ей, что она должна безъ предразсудковъ—и она живетъ.» О нихъ-же это предразсудковъ эмансипатор раются избавить женщину? А вотъ послушай «Женщина,—поучаетъ насъ Соловьевъ, не должна трусить въ любви; но трусливы слезами и стыдливостью съ прихотями—сво зависящія не отъ воспитанія или привы отъ того, что женщины дѣйствительно ест трусить, есть о чѣмъ плакать и есть ког диться.» Безграмотность этой фразы я о безъ вниманія; посмотримъ, есть-ли тутъ нибудь смыслъ. Женщина не должна трус любви—это, по мнѣнію Соловьева, го эмансипаторы. Если выразить ту-же мыс нѣе, то не трусить въ любви—значить от ся, очертя голову, первому встрѣчному. изволите видѣть, говорятъ какіе-то эманс ры! Любопытно узнать, въ какой это о лавочкѣ или въ какомъ распивочномъ заи Соловьевъ собиралъ свѣдѣнія объ эманс рахъ? Въ одномъ мѣстѣ своей статьи онъ очень наивно сознается, что изучалъ женс просъ въ петербургскихъ танцкласссахъ. Онъ крушеніемъ объявляетъ провинціаламъ, этихъ безнравственныхъ собранійхъ бывае люди чиновные, и люди ученые. А жизнь все своихъ дѣятелей, а наука—служителей; сн тятся, а женщина падастъ все ниже и н Въ будущемъ Соловьевъ предвидитъ еще ужасныя вещи; «танцующіе будутъ рассу о разныхъ вопросахъ, а женскій бытъ-и и совсѣмъ порѣшатъ». Изъ всѣхъ этихъ вы имѣете полное право вывести то заклю что въ мукомольномъ заведеніи, которое из ливости мы назовемъ головой Соловьева, ствуетъ невообразимый хаосъ: танцклассы шиваются женскимъ вопросомъ; люди чин и ученые, отхватывающіе канканъ, оказы эмансипаторами; камеліи становятся рядо женщинами, затронутыми литературой. дакція «Эпохи» печатаетъ и одобряетъ. И же самое крайнее слабоуміе редакціи и с

рудниковъ не можетъ оправдать ту грязную клевету, которую позволяетъ себѣ Соловьевъ въ слѣдующихъ строкахъ: «Любящій обыкновенно думаетъ о глубинѣ чувства, о силѣ страсти, о первыхъ дняхъ блаженства; все-же прочее, какъ на примѣръ тяжести беременности, презрѣніе общества, адскія муки родовъ и несчастное затиѣ материнства, — оставляетъ безъ вниманія. Всякаго, задумывающагося надъ такимъ положеніемъ, мужчины побойчѣ называютъ даже тряпкой; несчастныя послѣдствія оправдываютъ необходимостью природы. Случаи эти составляютъ неистощимыя темы для повѣстей. Авторы-же, одаренные сильнымъ половымъ влеченіемъ, больше ни о чемъ и не пишутъ; а критики нѣкоторые даже допускаютъ въ любви обманъ.»

Что есть негодяи, соблазняющіе неопытныхъ дѣвушекъ и бросающіе ихъ на произволъ судьбы въ самую критическую минуту ихъ жизни, — это мы знаемъ очень хорошо безъ указаній Соловьева. Что есть другіе негодяи, одобряющіе подобные поступки, это также не подлежитъ сомнѣнію. Но, во-первыхъ, говоря о такихъ мерзавцахъ, не зачѣмъ употреблять слово «*любящій*», а во-вторыхъ, что общаго имѣютъ эти мерзавцы съ авторами повѣстей и критическими статьями? Какіе это авторы и критики оправдывали въ своихъ произведеніяхъ поруганіе беззащитныхъ и довѣрчивыхъ дѣвушекъ? Въ какихъ это авторахъ Соловьевъ подмѣтилъ сильное половое влеченіе и въ какихъ критическихъ статьяхъ онъ вычиталъ допущеніе любовнаго обмана? Повѣсти и критическія статьи совсѣмъ не то, что неопредѣленные слухи и толки. Пока Соловьевъ разсуждалъ о томъ, что говорятъ какіе-то эмансипаторы, до тѣхъ поръ мы не имѣли возможности требовать отъ него фактическихъ доказательствъ. Соловьевъ могъ сослаться на разговоры *людей чиновныхъ и ученыхъ*, посѣщающихъ петербургскіе танцклассы, и мы остались бы ни съ чѣмъ; мы не могли-бы изслѣдовать вопросъ: какіе *люди чиновные и ученые* бесѣдовали съ Соловьевымъ, и что именно они ему говорили, и въ какой степени эти собесѣдники заслуживаютъ названіе эмансипаторовъ. Но повѣсти и критическія статьи — это печатные документы, которые тотчасъ могутъ уличить во лжи безсовѣстнаго шарлатана. Тутъ ужъ невозможно пустить въ ходъ безтолковыя фразы и уклончивыя отговорки. Вопросъ поставленъ просто и ясно: есть-ли въ русской литературѣ такія повѣсти и такія критическія статьи, которыя оправдываютъ обольщеніе женщинъ и которыя совѣтуютъ соблазнительямъ бросать любовницъ, когда онѣ забеременѣютъ? Соловьевъ говоритъ: есть. А я говорю, что такихъ повѣстей и критическихъ статей въ русской литературѣ никогда не было и нѣтъ до сихъ поръ, и что Соловьевъ солгалъ самымъ безсовѣстнымъ образомъ. Если-же Соловьевъ не согласенъ съ мной

имѣніемъ, то онъ долженъ привести заглавія тѣхъ повѣстей и статей, которыя оправдываютъ обольщеніе. Онъ долженъ указать на тѣ журнальныя книжки, въ которыхъ эти повѣсти и статьи напечатаны. И кромѣ того онъ долженъ доказать подробнымъ разборомъ названныхъ повѣстей и статей, что въ нихъ дѣйствительно заключается тотъ грязный смыслъ, который онъ имъ приписываетъ.

Любопытно будетъ посмотрѣть, какимъ манеромъ тупоумный сотрудникъ «Эпохи» вывернется изъ своего затруднительнаго положенія. Любопытно будетъ также посмотрѣть, какими аргументами редакция «Эпохи» будетъ оправдывать грязную клевету, пущенную въ свѣтъ ея убогимъ сотрудникомъ.

IX.

Свѣжая волна новой мысли плеснула недавно на сухія страницы «Отечественныхъ Записокъ», и филистерская редакция, изнывающая отъ скуки въ аравійской пустынѣ своего собственнаго журнала, встрѣтила эту волну съ величайшимъ восторгомъ и даже не замѣтила, что эта коварная волна несетъ съ собою совершенно все подходящія идеи такъ называемаго теоретическаго лагерь.

Въ двухъ книжкахъ «Отечественныхъ Записокъ» (январь № 2 и февраль № 1) напечатанъ критическій этюдъ Маркова: «Народныетипы въ нашей литературѣ», и редакция сдѣлала отъ себя примѣчаніе, въ которомъ говоритъ, что «*съ удовольствіемъ*» помѣщаетъ «*этотъ превосходный этюдъ*», хотя въ журналѣ уже была напечатана статья Евгенія Туръ о томъ-же предметѣ... и хотя, прибавлю я отъ себя, Марковъ очень остроумно осмѣиваетъ эту самую статью Туръ. *Этотъ превосходный этюдъ* дѣйствительно очень недуренъ, но я замѣчу только редакціи «Отечественныхъ Записокъ», что, помѣщая въ своемъ журналѣ и превознося такіе этюды, она отнимаетъ у себя всякое право глумиться надъ тѣми писателями, которые допускаютъ вліяніе чая и кофе на развитіе историческихъ событій. Если-же редакция продолжаетъ глумиться, — что мы дѣйствительно видимъ на страницахъ первой январской книжки, — то она подобными выходками доказываетъ только свою неспособность къ связному мышленію.

Чтобы дать читателямъ понятіе о томъ, какія идеи преобладаютъ въ *превосходномъ этюдѣ* Маркова, я выпишу изъ него нѣсколько очень выразительныхъ строкъ. «Жизнь кабана и буйволицы показались графу Толстому отрадною и выше жизни какихъ-нибудь губернскихъ барышень. И онъ съ чистотой душевной, съ прямою древнихъ германцевъ плюетъ на нашихъ франтовъ и барышень и указываетъ намъ на Ершукъ, говорящаго кабана, на Марьянку — красивую, молоденькую буйволицу съ горячими гла-

зами. Онъ не причется за преувеличеніями и украшеніями, не пытается дѣлать никакихъ натяжекъ. «Человѣкъ есмь, и ничто человѣческое мнѣ не чуждо» у него просто на просто передѣлывается въ «скотъ есмь, и ничто скотское мнѣ не чуждо», и этотъ зоологическій языкъ графъ Л. Толстой откровенно прибавляетъ надъ главнымъ входомъ въ свой романъ, чтобы всѣ сразу видѣли, — кто живетъ и какъ живетъ. (Февр. № 1, стр. 470.) Тотъ-же самый зоологическій языкъ прибавить также откровенно надъ главнымъ входомъ въ *превосходный этюдъ*, но редакция «Отечественныхъ Записокъ» все-таки не съумѣла разглядѣть, кто живетъ и какъ живетъ въ *превосходномъ этюдѣ*.

Одобряя зоологическій языкъ, я конечно не могу одобрить разсужденій Маркова объ искусствѣ. Марковъ въ концѣ своего этюда нападаетъ на отрицателей чистаго искусства и такимъ образомъ платитъ дань старому филистерству, но мнѣ кажется, что позиція Маркова въ этомъ пунктѣ очень слаба и ненадежна. Мнѣ кажется даже, что авторъ *превосходнаго этюда* самъ чувствовалъ шаткость своего положенія. Вотъ что онъ говоритъ объ отрицателяхъ: «Эти люди, сами того не замѣчая, дѣлаются врагами общества. Они не умѣютъ смотрѣть на него, какъ на живой организмъ, въ которомъ хотя каждый органъ функционируетъ сообразно своему характеру, но всѣ органы безъ исключенія служатъ общей жизни. Остановить дѣятельность высшихъ сторонъ челоѣческаго духа на томъ основаніи, что массы еще не удовлетворены въ насущныхъ своихъ потребностяхъ, — это все равно, что прекратить дѣятельность молодого мозга подъ тѣмъ предлогомъ, что не всѣ еще хрящи скелета успѣли окостенѣть.»

Въ словахъ Маркова очевидно уже начинается пробиваться утилитарный взглядъ на искусство. Онъ смотритъ на общество, какъ на живой организмъ. Мы смотримъ на общество точно такъ-же. Онъ говоритъ, что каждый органъ долженъ функционировать сообразно своему характеру! Мы и съ этимъ положеніемъ совершенно согласны. Мы никогда не говорили и не скажемъ, что Дарвинъ и Либихъ должны служить обществу посредствомъ паханія земли. Марковъ утверждаетъ далѣе, что «всѣ органы безъ исключенія служатъ общей жизни». Что всѣ органы должны служить общей жизни или, говоря яснѣе, что всѣ члены общества должны каждый на своемъ мѣстѣ приносить пользу обществу, въ этомъ не можетъ быть никакого сомнѣнія. Но что всѣ органы *дѣйствительно служатъ* общей жизни и что они никогда не могутъ уклоняться отъ этого служенія — это такая очевидная нелѣпость, которую Марковъ конечно не рѣшится поддерживать. Это значило-бы утверждать, что въ обществѣ нѣтъ и никогда не можетъ быть ни тунеядцевъ, ни паразитовъ, ни

эксплоататоровъ. Такимъ образомъ Марковъ, добивъ общество живому организму, не сдѣлалъ еще ровно ничего для реабилитаціи искусства. Разсматривая художника, какъ члена извѣстнаго общества, онъ наложилъ на него обязанность — приносить пользу этому обществу. Пусть художникъ *функционируетъ сообразно своему характеру*, но пусть онъ этимъ *функционированіемъ* приносить пользу. Это и мы говоримъ то-же самое.

Теперь Марковъ долженъ доказать, что этотъ *функционирующий* художникъ дѣйствительно приносить пользу. Тутъ ужъ общія сентенціи ничего не сдѣлаютъ. Каждый отдѣльный случай долженъ быть разобранъ самъ по себѣ. Метафора на счетъ мозга и хрящей также совершенно бесполезна. Противъ нея можно выдвинуть другую метафору, которая докажетъ совершенно противоположное. Можно напримѣръ напомнить Маркову, что обуздывать половую дѣятельность въ сложившагося отроческаго организма не только полезно, но даже необходимо, потому что слишкомъ раннее развитіе половой системы ослабляетъ организмъ вмѣсто того, чтобы сдѣлать его общей жизни. Значитъ, метафоры надо отложить въ сторону и надо просто и серьезно анализировать вопросы: полезна-ли музыка, полезна-ли скульптура, полезна-ли живопись? и т. д. Если вы докажете осознательно, что онъ полезенъ, то мы съ величайшимъ уваженіемъ преклонимся передъ ихъ величіемъ. Но, взявшись доказывать ихъ пользу, вы сами уже превратились въ реалиста, потому что поклонникъ чистаго искусства никогда не позволилъ-бы себѣ даже завести рѣчь о полезности своего кумира. Пушкинъ восклицаетъ объ Аполлонѣ Бельведерскомъ, что «мраморъ сей есть богъ», а вы должны будете доказывать, что мраморъ сей есть тотъ-же печный горшокъ, но что онъ только *функционируетъ сообразно своему характеру*.

Далѣе мы видимъ, что Марковъ самъ, ставши на точку зрѣнія реализма, плохо вѣруетъ въ полезность искусства. «Исторія, — говоритъ онъ — убѣждаетъ насъ, что образованіе, несмотря на постоянное обвиненіе его въ непрактичности, почти исключительно одно работало съ пользою для счастья челоѣчества.» — Позвольте, г. Марковъ! Зачѣмъ-же вы подмѣнили слово *искусство* словомъ *образованіе*? Вѣдь *искусство* и *образованіе* — двѣ вещи разныя. Доказывать полезность образованія черезчуръ легко. Искусство только тѣмъ и держится въ общественномъ мнѣніи, что постоянно выдаетъ себя за родную сестру науки. А на повѣрку оказывается, что эти двѣ родныя сестры такъ непохожи другъ на друга и такъ враждебны другъ другу по своимъ тенденціямъ, что очень многіе историческіе дѣятели, систематически давившіе науку, также систематически покровительствовали развитію искусства.

ка была опаснѣйшимъ врагомъ ихъ могу-
въ то время, когда искусство было ихъ
инымъ союзникомъ.

г. Марковъ, если вы точно хотите побѣ-
трицателей искусства, — потрудитесь от-
искусство отъ науки и доказывайте намъ
и всякими другими аргументами
искусства, а не пользу образованія.

Изъ образованія никто изъ насъ не сомнѣ-
Но мнѣ кажется, что Марковъ недолго
тса на той точкѣ зрѣнія, которую онъ за-
въ настоящую минуту. Года черезъ два,
гь-быть и раньше, онъ по всей вѣроят-
разорветъ послѣднія связи съ филистер-
тиной и примкнетъ окончательно — даже
осу объ искусствѣ — къ міросозерцанію
вательныхъ реалистовъ. — Я не теряю
и встрѣтятся когда-нибудь съ Марковымъ
иціи «Русскаго Слова». Поэтому говорю
свиданья!

X.

горой, февральской, книжкѣ «Отечествен-
анисокъ» помѣщена критическая статья
ѣдующимъ длиннымъ заглавіемъ: «Пре-
е къ литературному обозрѣнію. О каче-
количествѣ прогресса въ новѣйшемъ дви-
нашей литературы.». Подписано: «Incog-
Эта статья представляетъ собой опусто-
ный набѣгъ на «Русское Слово» и пре-
твенно на «Нерѣшенный Вопросъ», ко-
какъ извѣстно, уже почти полгода волну-
тежное сердце нашего пріятеля, Посто-

Сатирика. Посторонній Сатирикъ и «In-
», вполне сходящіеся между собой въ
ненависти къ «Нерѣшенному Вопросу»*),
ино непохожи другъ на друга по своимъ
иескимъ приемамъ. Incognito можетъ сдѣ-
оимъ девизомъ извѣстный стихъ Пуш-

«Я ѣду-ѣду не—свищу», а Посторонній
тъ, напротивъ того, долженъ будетъ вы-
этотъ стихъ наизуанку и приложить
своимъ полемическимъ подвигамъ въ слѣ-
тъ видѣ: «свищу-свищу — и не ѣду». Дѣй-
вно, Incognito ни слова не говорилъ о
енномъ Вопросѣ» и потомъ вдругъ, въ
рекрасный день, разобралъ его по косточ-
доказалъ, что онъ весь составленъ изъ
нихъ противорѣчій. Это значитъ — на-
и не спустилъ. Посторонній Сатирикъ,
въ того, все собирается разгромить «Не-
ый Вопросъ», и все никакъ не можетъ
я съ силами, такъ что я начинаю ду-
со онъ никогда на меня не найдетъ. Впро-

Постороннимъ Сатирикомъ мы еще по-
въ послѣдствіи, а теперь мнѣ надо отра-

жать тѣ жестокіе удары, которые наносятъ мнѣ
Incognito.

Когда я повѣствовалъ читателю о томъ, что
голова филистера разгорожена на множество от-
дѣльныхъ клѣтокъ, тогда я не имѣлъ въ виду
голову Incognito. Теперь же, всматриваясь въ
статью этого писателя, я замѣчаю съ особеннымъ
удовольствіемъ, что моя теорія головныхъ клѣ-
токъ получаетъ себѣ блистательное оправданіе
на отдѣльномъ примѣрѣ. Incognito не только
самъ обладаетъ головой, разгороженной на мно-
жество несообщающихся между собой клѣтокъ, но
онъ даже настоятельно требуетъ, чтобы всѣ
другіе люди обладали точно такими-же разгоро-
женными головами. Отсутствіе общаго міросо-
зерцанія вынуждаетъ въ непрерывную обязанность
каждому человѣку, каждому мыслителю и ка-
ждому писателю. Incognito съ горькой проницъ
задаетъ читателю слѣдующій вопросъ: «изъ всѣхъ
литературно-критическихъ статей, въ такомъ оби-
ліи посвященныхъ передовымъ движеніямъ, «От-
цамъ и Дѣтямъ» или вызванныхъ «Взбало-
мученнымъ Моремъ» и постоянно вызываемыхъ
болѣе мелкими явленіями текущей литературы,
случалось-ли ему (читателю) прочесть хоть од-
ну, которая при своей чисто-литературной мате-
ріи не касалась-бы или философскаго ученія о
свободѣ человѣческой воли, или теоріи Дарвина
о происхожденіи видовъ, или воззрѣній Бокля на
развитіе цивилизаціи въ человѣческомъ родѣ,
или вообще не стремилась-бы установить истин-
наго взгляда на сущность всѣхъ вещей и ихъ
отношенія между собой? Читатель не можетъ ска-
зать, чтобы ему случалось и это». Incognito
очевидно не нравится то, что литературный кри-
тикъ позволяетъ себѣ говорить о такихъ вопро-
сахъ, которые не входятъ въ курсъ риторики и
пѣтики, иначе говоря, находятся въ разныхъ
перегородкахъ головы Incognito. Онъ даже ка-
тегорически выражаетъ свою жалобу на отсут-
ствіе перегородокъ. «Этому-то недостаточному раз-
граниченію различныхъ областей человѣческаго
духа мы безъ сомнѣнія и обязаны тѣмъ фак-
томъ, печальнымъ даже для насъ самихъ, что,
говоря о нашемъ движеніи, какую-бы фактиче-
скую нелѣпость мы ни приписали ему, она все-
таки можетъ быть подтверждена примѣромъ.»

Достаточное разграниченіе, котораго тре-
буетъ Incognito, клонится очевидно къ тому,
чтобы ни одинъ человѣкъ въ мірѣ не смѣлъ за-
давать себѣ вопроса объ отношеніи отдѣльныхъ
отраслей человѣческой дѣятельности къ общей
жизни человѣчества и народа. Короче сказать, ни
одинъ человѣкъ въ мірѣ никогда не долженъ быть
ни человѣкомъ, ни гражданиномъ. Представьте
себѣ, что вы взяли очень дорогой билетъ въ
итальянскую оперу; съ той минуты, какъ вы во-
шли въ театральную залу, вы должны превра-
титься въ меломана; вы имѣете право радоваться
только тому, что Тамберлигъ беретъ *ut-dièse*.

*) Эта помѣщена въ настоящемъ томѣ
иимъ первоначальнымъ заглавіемъ «Реа-

и огорчаться только тѣмъ, что Полонини деретъ уши. На другой день послѣ оперы вы узнаете, что въ Вологодской губерніи начался сильный голодъ; тутъ вы тотчасъ должны превратиться въ филантропа и устремлять всѣ силы вашего духа на то, чтобы помочь страждущимъ братьямъ. Потомъ вы приходите домой, и ваша супруга говоритъ вамъ, что для вашего сына необходимо нанять гувернера; тутъ вы должны немедленно превратиться въ чадолюбиваго отца и погрузиться въ семейные интересы. Вслѣдъ затѣмъ вы отправляетесь въ какое-нибудь ученое общество, и вамъ объявляютъ ваши товарищи, что снаряжается ученая экспедиція для отысканія верховьевъ Нила; тутъ вы должны превратиться въ воплощенную любознательность и употребить всѣ усилія на то, чтобы экспедиція состоялась. — Не позволяйте же однако: духъ бодръ, а плоть немощна; кошелекъ же, который долженъ оплачивать и меломанію, и филантропію, и чадолубіе, и любознательность, — еще немощнѣе всякой плоти. Для того, чтобы свести концы съ концами, то-есть для того, чтобы *ut-dièse* не отбилъ хлѣба у вологжанъ или вологжане не съѣли гувернера, или африканская экспедиція не поглотила гувернера, вологжанъ и *ut-dièse*, для того, чтобы всѣ эти издержки уживались мирно другъ возлѣ друга, необходимо же, чтобы явился какой-нибудь общій регуляторъ, поддерживающій между ними нѣкоторое равновѣсіе. Необходимо, чтобы вы сами были не только поочередно меломаномъ, филантропомъ, чадолубивымъ отцомъ и любознательнымъ ученымъ, но еще кромѣ того постоянно благоразумнымъ человѣкомъ и разсчитливымъ хозяиномъ, соображающимъ отдѣльныя цифры расхода съ общей цифрой дохода. Иначе выйдетъ кутерьма и банкротство. И такая-же кутерьма, и такое-же банкротство, только менѣе быстрыя и менѣе очевидныя, получаютъ тогда, когда цѣлое общество, увлекаясь ежеминутно частными впечатлѣніями и мимолетными интересами, никогда не задаетъ себѣ вопроса о томъ, въ какой связи находятся эти впечатлѣнія и интересы съ его постоянными жизненными потребностями. Если же вы допустите, что общество должно возвышаться до самосознанія и до всеобъемлющаго взгляда на свою собственную жизнь, то вы должны также признать необходимость такихъ людей, которые при встрѣчѣ съ каждымъ отдѣльнымъ явленіемъ жизни, науки или искусства тотчасъ стараются разсматривать отношеніе этого частнаго явленія ко всей совокупности жизненныхъ отправленій общественнаго организма. Я вовсе не думаю утверждать, что мы, именно мы, то-есть «Русское Слово» и «Современникъ», выполняемъ эту громадную задачу удовлетворительно. Я вовсе не утверждаю, что мы — вполне достойные органы общественнаго самосознанія. Я только констатирую тотъ фактъ, что общественное самосозна-

ніе необходимо, что оно въ настоящее время стремится создать себѣ достойныхъ выразителей, что мы изображаемъ собой первыя, слабыя робкія попытки общества на этомъ новомъ и неопытномъ пути, и что филлисты, требующіе вѣстисъ Incognito достаточнаго разграниченія различныхъ областей человѣческаго духа, совершенно не понимаютъ смысла и необходимости того умственнаго движенія, изъ котораго должно выработаться общественное самосознаніе.

Incognito обвиняетъ насъ въ противорѣчіи именно потому, что не умѣетъ подняться на нашу точку зрѣнія. Вы, говоритъ онъ, отрицаете поэзію и въ то-же время восхищаетесь стихами Гейне; вы относитесь съ пренебреженіемъ къ великимъ поэтамъ Шиллеру и Пушкину, и въ то-же время посвящаете цѣлый рядъ статей роману второстепеннаго художника Тургенева.

Гдѣ же тутъ противорѣчія? спрашиваю я. Можно находить, что война — великое зло, и въ то-же время можно глубоко уважать такого воина, какъ Вашингтонъ, и можно съ величайшимъ чувствомъ сѣдиться за военными подвигами Гарибальди. Можно находить, что алхимія — пустая мечта, и въ то-же время можно глубоко уважать алхимика Джафара, отрывавшаго тѣ клады, безъ которыхъ химическій анализъ былъ бы невозможенъ. Все дѣло въ томъ, что подвиги Гарибальди и Вашингтона клонятся къ истребленію войны, и что открытія Джафара клонятся къ разсвѣтленію того мрака, который поощрялъ своимъ существованіемъ развитіе алхимическихъ бредней. — Стихотворенія Гейне не отклоняютъ, а отрезвляютъ читателя; поэтъ самъ разрушаетъ вредное обаяніе поэзіи; поэтъ осмѣиваетъ то, чему поклоняются другіе поэты; на этомъ основаніи всѣ отрицатели поэзіи считаютъ Гейне своимъ естественнымъ и чрезвычайно полезнымъ союзникомъ. — Что же касается до цѣлага ряда статей, посвященныхъ роману Тургенева, то, мнѣ кажется, нетрудно понять, что этотъ рядъ статей клонится не къ прославленію романа, а къ пораженію тупыхъ филлистовъ, подобныхъ Дудышкину, и близорукихъ реалистовъ, подобныхъ Антоновичу. Смотрите на это чудовище, заговорили филлисты, указывая юнымъ нигилистамъ на фигуру Базарова, только-что появившагося въ печати. Ваши идеи приведутъ васъ прямымъ путемъ къ этому ужасному результату, поэтому отрекайтесь тотчасъ отъ вашихъ заблужденій. Близорукіе и робкіе реалисты, подъ предводительствомъ Антоновича, дѣйствительно приняли Базарова за чудовище и стали доказывать, путаясь и сбиваясь въ своихъ разсужденіяхъ, что ихъ идеи никогда не могутъ привести ихъ къ ужасному результату, изображенному Тургеневымъ. На этой позиціи реалистамъ грозило неизбежное пораженіе, потому что филлисты могли доказать, какъ дважды-два — четыре, что Базаровъ — не клевета, не карикатура, а со-

вершенно вѣрный итогъ реалистическихъ тенденцій. Поэтому надо было повернуть вопросъ иначе; надо было доказать, что Базаровъ—не чудовище, а мыслящій работникъ и превосходный человѣкъ. Эту задачу я постарался выполнить, и мнѣ кажется, что я могу считать мою цѣль достигнутой, потому что до сихъ поръ ни филистеры, ни «Современникъ» не представили ни одного возраженія противъ моего взгляда на личность Базарова. Филистеры нападаютъ на разные частности «Нерѣшеннаго Вопросы», не касаясь анализа базаровскаго типа, а «Современникъ» не производитъ до сихъ поръ ничего, кромѣ угрожающихъ демонстрацій. Если же наша литература принуждена будетъ признать умственные и нравственные достоинства Базарова, то вмѣстѣ съ тѣмъ она принуждена будетъ отказаться отъ всѣхъ своихъ нелѣпыхъ предубѣжденій противъ нашего реализма. Значить, рядъ статей о Базаровѣ былъ написанъ затѣмъ, чтобы защитить и разъяснить весь строй нашихъ понятій, а не за тѣмъ, чтобы выставить напоказъ красоты тургеневскаго романа. Въ какомъ чинѣ состоитъ Тургеневъ на службѣ у Аполлона, до этого мнѣ нѣтъ никакого дѣла; если вы мнѣ скажете, что Тургеневъ—второстепенный поэтъ, а Пушкинъ—первоклассный геній, я съ вами даже и спорить не буду, потому что этотъ вопросъ меня нисколько не интересуетъ. Я вамъ скажу только, что Тургеневу посчастливилось поднятъ въ нашей умственной жизни такой вопросъ, какого никогда не поднималъ и не могъ поднять Пушкинъ. Поэтому о Тургеневѣ я писалъ для того, чтобы разъяснить поднятый имъ вопросъ; о Пушкинѣ же я буду писать только за тѣмъ, чтобы образумить суевѣрныхъ обожателей этого устарѣлаго кумира. Въ томъ и другомъ случаѣ я имѣю въ виду только то количество пользы, которое могутъ доставить данному обществу, въ данную минуту, тѣ или другія идеи. Идеи Базарова я считаю полезными,—поэтому я говорю о нихъ съ уваженіемъ; идеи Пушкина я считаю бесполезными,—поэтому я говорю о нихъ съ пренебреженіемъ. Спрашивается: гдѣ же тутъ внутреннее противорѣчіе?

Само собою разумѣется, что Incognito не можетъ допустить той мысли, что произведенія Пушкина въ настоящую минуту устарѣли и сдѣлались бесполезными. Онъ старается доказать, что Пушкинъ полезенъ: «Фактъ состоитъ въ томъ,—разсуждаетъ Incognito,—что если, благодаря стихамъ Пушкина, сотни тысячъ русскихъ умовъ, сотни тысячъ сердецъ, сотни тысячъ воображеній, въ одно-ли время, или въ разные времена, поражаются и будутъ поражать одними и тѣми-же представленіями, то между этими сотнями тысячъ образуется духовное родство, образуется связь, которая дѣлаетъ русскихъ болѣе людьми одного племени и одной земли, то-есть связь, которая составляетъ ту самую, если не

общечеловѣческую, то общерусскую солидарность, которая въ устахъ критика отдается только мертвымъ звукомъ простой вокабулы.»

Какъ видите, вопросъ о стихахъ Пушкина отождествляется съ вопросомъ о существованіи русской литературы. Это—тактика Маркова, подмѣняющаго слово *искусство* словомъ *образование*. Incognito ставитъ вопросъ такъ: что лучше—читать Пушкина, или совсѣмъ не читать?—Но русскимъ людямъ совсѣмъ не предстоитъ такая трагическая альтернатива, и, стало-быть, нѣтъ никакого разумнаго основанія предлагать такіе поразительные вопросы. Отказываясь отъ Пушкина, сотни тысячъ русскихъ умовъ, сердецъ и воображеній вовсе не утратятъ своего «духовнаго родства», потому что эти сотни тысячъ попрежнему будутъ поражаться одними и тѣми-же представленіями, но только не тѣми, которыми они поражались въ былое время. Прежде они поражались представленіями «Бахчисарайскаго Фонтана» и «Кавказскаго Пльиника», а теперь они будутъ поражаться представленіями «Параднаго Подвѣзда», «Молотова» и романа «Что дѣлать?». Значить, со стороны духовнаго родства вы можете быть совершенно спокойны, и если вы хотите доказать полезность и необходимость Пушкина, то вы должны доказать, что представленія «Бахчисарайскаго Фонтана» и «Кавказскаго Пльиника» дѣйствуютъ на сотни тысячъ умовъ, сердецъ и воображеній *болѣе* благотворнымъ образомъ, чѣмъ представленія «Параднаго Подвѣзда», «Молотова» и «Что дѣлать?». Если же вы этого не докажете, то ваше дѣло передъ судомъ русской читающей публики будетъ проиграно.

Съ апрѣльской книжки я начну рядъ статей о Пушкинѣ *), обѣщанный мною въ прошломъ году, и тогда господамъ обожателямъ Пушкина представится удобный случай выдвинуть впередъ все, что имѣется у нихъ въ запасѣ по части защитительныхъ аргументовъ. Предупреждаю только заранѣе моихъ будущихъ оппонентовъ, что я совершенно устраниаю въ вопросѣ о Пушкинѣ историческую точку зрѣнія. Я очень хорошо знаю, что «Евгеній Онѣгинъ» гораздо лучше «Фелицы» Державина и что «Капитанская Дочка» стоитъ во всѣхъ отношеніяхъ выше «Бѣдной Лизы» Карамзина. Я нисколько не обвиняю Пушкина въ томъ, что онъ не былъ проникнутъ тѣми идеями, которыя въ его время не существовали или не могли быть ему доступны. Я задамъ себѣ и рѣшу только одинъ вопросъ, слѣдуетъ-ли намъ читать Пушкина въ настоящую минуту, или же мы можемъ поставить его на полку, подобно тому, какъ мы уже это сдѣлали съ Ломоносовымъ, Державинымъ, Карамзинымъ и Жуковскимъ?

Защитивъ по своему Пушкина, то-есть, не за-

*) Статья Писарева «Пушкинъ и Бѣлинскій» помѣщена въ 5-мъ томѣ его «Сочиненій». Изд.

считая его несколько, Incognito обращается ко мнѣ съ слѣдующимъ вопросомъ: «полагаетъ-ли онъ, что слѣдуетъ издать такой органическій законъ, который-бы повелѣвалось писать однимъ только Шекспиравъ, а всѣмъ прочимъ было-бы приказано молчать до самаго второго пришествія Шекспира и послѣ?»—Смѣшной и безтолковый вопросъ! Нисколько я этого не полагаю. Я полагаю, что литература можетъ и должна всегда управляться сама собой безъ всякихъ органическихъ законовъ. Пусть пишутъ всякій все, что ему угодно; пусть пишутъ Фетъ, Майковъ и Полонскій; пусть пишутъ Боборыкинъ, Аверкиевъ и Дудышкинъ; пусть пишутъ даже Ключниковъ, Стебницкій и Николай Соловьевъ; пусть пишутъ и печатаютъ всякая тварь, умѣющая держать перо въ рукахъ и имѣющая желаніе и возможность оплатить типографскіе расходы. Мы нисколько не желаемъ имъ въ томъ препятствовать; мы только будемъ читать и осмѣивать ихъ произведенія, если они покажутся намъ смѣшными; если смѣхъ нашъ будетъ разуменъ и честенъ, то публика насъ послушаетъ и отвернется отъ осмѣливаго писателя; если смѣхъ нашъ будетъ неаппетитъ или пристрастенъ, то публика назоветъ насъ дураками или негодяями и отвернется отъ насъ самихъ, какъ отъ бездарныхъ и завистливыхъ злолюдей.

Видите, г. Incognito, что дѣло можетъ обойтись безъ всякихъ органическихъ законовъ. Намъ даже нѣтъ ни малѣйшаго основанія желать такихъ законовъ, потому что и безъ ихъ содѣйствія наши идеи, какъ свидѣлствуетъ о томъ самъ Incognito, прививаются довольно успѣшно къ общественному сознанию. По словамъ Incognito, «наши выступавшіе беллетристы» уже проникнуты «новѣйшимъ» реализмомъ; «они съ голоса передовыхъ критиковъ и не хуже ихъ самихъ непрерывно стремятся показать, какъ сильно въ нихъ желаніе заявить себя тоже «новѣйшими» реалистами, какъ диаметрально-противоположными эстетиками.» Ну, вотъ и чудесно! Какого-же намъ еще органическаго закона желать, когда мы и безъ того уже сформировали цѣлую школу беллетристовъ и когда старая школа вопиетъ устами Бабикова: «увы! мы всѣ побѣждены». Если кто-нибудь изъ пишущихъ людей желаетъ какихъ-нибудь не литературныхъ и анти-литературныхъ органическихъ законовъ, то ужъ во всякомъ случаѣ къ этимъ желаніямъ невозможно причислить новѣйшихъ реалистовъ.

Incognito утверждаетъ, что я приписываю къ продуктамъ человѣческой дѣятельности ширку моихъ собственныхъ потребностей и что извѣстное не подходитъ подъ эту ширку. «Но опять»,—продолжаетъ онъ,—для того, чтобы оно подходило подъ нее, не слѣдуетъ-ли ему расширять кругъ этихъ потребностей, не ограничивая его стужею чужихъ потребностей, перекрѣпкой бѣды

и тому подобными обидчивостями?—Именно слѣдуетъ.» То-есть, если я въ настоящую минуту могу обходиться безъ итальянской оперы, безъ балета, безъ концертовъ, безъ картинъ и статуи, то, по мнѣнію Incognito, мнѣ слѣдуетъ втянуться въ эти наслажденія и привыкнуть къ нимъ настолько, чтобы они сдѣлались для меня потребностями. Положимъ, что я исполнилъ обѣтъ Incognito: втянулся. Что-же изъ этого выходитъ? Выходитъ то, что я, расширивъ кругъ моихъ потребностей, оказываюсь очень доволенъ собой и жизнью. Результатъ прекрасный, но къ сожалѣнію я долженъ объявить Incognito, что я и теперь, до расширенія круга, очень доволенъ собой и жизнью. Стало-быть, что-же я выиграю? Очень мало или совсѣмъ ничего. Между тѣмъ, расширивъ кругъ моихъ потребностей, я гораздо больше, чѣмъ теперь, буду зависеть отъ вѣшнихъ обстоятельствъ. Кромѣ того — и это самое важное — мое содержаніе будетъ обходиться обществу гораздо дороже, чѣмъ оно обходится теперь. Опера, балетъ, концерты, картины, статуи — все это стоитъ денегъ, а деньги, какъ извѣстно всѣмъ и каждому, изображаютъ собой видоизмѣненный продуктъ тяжелаго народнаго труда. — «Расширяйте ваши потребности», говоритъ мнѣ Incognito. — Я спрашиваю: зачѣмъ? — «Зачѣмъ, чтобы поглощать какъ можно больше продуктовъ народнаго труда.» — Я опять спрашиваю: зачѣмъ? — «Зачѣмъ, чтобы у васъ были очень широкія потребности.» — Въ той-же книжкѣ «Отечественныхъ Записокъ», въ которой Incognito рекомендуетъ мнѣ оперу и балетъ, сообщены слѣдующія подробности о частной жизни Прудона. «Когда онъ издавалъ газету *Народный Голосъ*, то выручалъ много денегъ: газета расходилась нарасхватъ; но себѣ онъ оставлялъ изъ прибыли лишь 5 фр. въ день, остальное отдавалъ бѣднымъ. Случались дни, когда газета продавалась въ числѣ ста тысячъ экземпляровъ, но и тогда Прудонъ не оставлялъ себѣ болѣе пяти франковъ.» Любопытно мнѣ было-бы узнать, что думаетъ Incognito о такомъ чудакѣ, какъ Прудонъ; еслибы Incognito умѣлъ быть послѣдовательнымъ, то-есть, еслибы его филистерская голова не была разгорелась на отдѣльных вѣтвяхъ, — онъ долженъ былъ-бы смотрѣть на Прудона съ сострадательнымъ презрѣніемъ, потому что очевидно при ежедневномъ расхлѣбѣ въ 5 франковъ (1 р. 25 к. с.) кругъ личныхъ потребностей Прудона не могъ быть широкимъ и не могъ вмѣщать въ себя ни оперы, ни балета, ни разныхъ другихъ проявленій издѣльца. Если Incognito долженъ узнать безразлично болѣе, чѣмъ Прудонъ, потому что кругъ личныхъ потребностей гораздо шире.

Впрочемъ сущность моего возраженія состоитъ не въ томъ, что членъ долженъ употребить на удовлетвореніе частной благопріятности всѣ деньги, оставшіяся у него изъ разныхъ посылъ

покрытія необходимыхъ издержекъ. Благотворительность всегда будетъ и всегда должна быть свободнымъ дѣломъ личной наклонности. Но вопросъ въ томъ: долженъ или не долженъ человѣкъ своимъ образомъ жизни поощрять въ обществѣ развитіе непроеизводительныхъ отраслей труда? Вопросъ въ томъ, какой человѣкъ полезенъ: тотъ-ли, который покупаетъ у художниковъ картины и статуи, или тотъ, который на свои деньги заводитъ фермы и фабрики, а полученные барыши употребляетъ на заведеніе новыхъ фермъ и фабрикъ? По разсужденіямъ Incognito выходитъ, что первый полезенъ второго, или по крайней мѣрѣ, что второй есть существо низшаго разряда въ сравненіи съ первымъ. Если же Incognito отречется отъ этого заключенія, тогда онъ долженъ будетъ снять съ меня обязанность втягиваться въ оперу и въ балетъ. И тогда отъ его аргументаціи не останется камня на камнѣ.

Incognito старается поддержать изыщное историческими аргументами. Онъ говоритъ, что сознательная человѣческая исторія «началась съ плясовыхъ пѣсенъ, съ хороводныхъ круженій вокругъ камней и чурбановъ, съ воспѣванія славы солнцу на небѣ высокому—словомъ, со всего того, чего никакъ не могло быть, еслибы оно не вызывалось потребностями человѣческой природы». Эта историческая аргументація доказываетъ слишкомъ много и вслѣдствіе этого не доказываетъ ровно ничего. Если принять эту аргументацію во всемъ ея объемѣ, то придется оправдать и рабство, и войну, и человѣческія жертвоприношенія, и содомскій грѣхъ, и проституцію, потому что всѣ эти явленія повторяются у всѣхъ историческихъ народовъ и вызываются всѣ безъ исключенія различными потребностями человѣческой природы. Весь вопросъ состоитъ въ томъ, какъ удовлетворяются существующія потребности человѣческой природы; такъ-ли, что отъ этого удовлетворенія не страдаетъ ни одно человѣческое существо, или же такъ, что, удовлетворяя своимъ потребностямъ, одна группа людей обездоливаетъ другую группу? Если у васъ есть потребность слушать пѣніе, и если вы удовлетворяете эту потребность вашими собственными средствами, то никто не имѣетъ права возражать противъ этого удовлетворенія: пойте или мурлыкайте, сколько душей вашей будетъ угодно. Но если вы для удовлетворенія вашей потребности формируете себѣ цѣлую школу пѣвцовъ, которыхъ содержаніе ложится на плечи трудящихся людей, то всякій мыслящій человѣкъ имѣетъ право вамъ замѣтить, что вы отнимаете у работниковъ необходимое для того, чтобы доставить себѣ такое развлеченіе, безъ котораго вы легко можете обойтись. Историческій прогрессъ состоитъ преимущественно въ томъ, чтобы понемногу возвращать трудящимся массамъ тотъ насущный хлѣбъ, который въ темныя времена наслія и невѣ-

жества былъ у нихъ отнятъ на нерасчетливое удовлетвореніе слишкомъ широко развернувшихся потребностей. Поэтому до-историческое существованіе плясовыхъ пѣсенъ и хороводныхъ круженій нисколько не можетъ служить оправданіемъ современной оперы и новѣйшаго балета.

Въ пользу живописи Incognito приводитъ тотъ аргументъ, что новѣйшій реалистъ можетъ «пожелать когда-нибудь, по какому-нибудь случаю, имѣть портретъ своей вышеозначенной трудолюбивой и начитанной подружки». Въ пользу живописи я самъ въ третьей части «Нерѣшеннаго Вѣщаго» привелъ гораздо болѣе сильный аргументъ, именно тотъ, что въ учебникахъ и въ популярныхъ, а также и въ ученыхъ сочиненіяхъ по многимъ отраслямъ знанія необходимы хорошіе рисунки. Что же касается до портретовъ «трудолюбивой и начитанной подружки», то мнѣ кажется, что обществу нѣтъ никакой надобности заботиться о ихъ изготовленіи. Бѣды не будетъ никакой, если новѣйшій реалистъ останется безъ портрета, тѣмъ болѣе, что очень многие люди остаются по недостатку матеріальныхъ средствъ не только безъ изящнаго портрета, но даже и безъ оригинала, то-есть безъ «трудолюбивой и начитанной подружки». А есть и такіе люди, которые остаются не только безъ подружки, но даже безъ теплаго платья и безъ куса хлѣба. При такихъ условіяхъ сокрушаться объ изящныхъ портретахъ по меньшей мѣрѣ смѣшно.

Впрочемъ я считаю своей обязанностью успокоить Incognito и всѣхъ добродушныхъ людей, полагающихъ, что реалистическая критика стремится къ конечному истребленію всѣхъ живописцевъ, музыкантовъ, скульпторовъ и другихъ эксплуататоровъ человѣческой наивности. Реалистическая критика очень хорошо понимаетъ, что такая цѣль недостижима; поэтому она и не задаетъ себѣ этой задачи. Чего же она хочетъ? А вотъ чего. Въ Россіи каждый годъ нѣсколько десятковъ тысячъ юношей средняго сословія задаютъ себѣ вопросъ: куда мы пойдемъ? за какое дѣло мы возьмемся? Какимъ ремесломъ мы будемъ зарабатывать себѣ насущный хлѣбъ? Въ тѣ дни, когда гремѣли имена великаго Брюллова, великаго Глинки, великаго Мочалова, въ тѣ дни, когда наша критика стояла на колѣняхъ передъ святымъ искусствомъ вообще и передъ Пушкинымъ въ особенности, сотни, а можетъ быть тысячи легковѣрныхъ юношей тянулись всѣми своими помыслами къ лавровому вѣнку художника. Нарисуетъ юноша двѣ березы въ альбомѣ своей кузины и вообразитъ себѣ, что у него непреодолимая страсть къ живописи, что онъ обязанъ развивать свой талантъ, что онъ поѣдетъ сначала въ Петербургъ, потомъ въ Италію, а потомъ въ храмъ славы, гдѣ признательное человѣчество увѣнчиваетъ своихъ вдохновенныхъ благодѣтелей. — Подыщетъ юноша музыку къ какому-нибудь водевилному куплету-

ну, и сейчас уразумѣть, что онъ музыкантъ, что ему необходимо отросить длинные волосы, напустить на лицо задумчивое выраженіе и отказать навсегда отъ всякой полезной работы, потому что

Не для житейскаго волненія,
Не для корысти, не для битъ
Мы рождены—для вдохновенія,
Для звуковъ сладкихъ и молитвъ.

Сыграетъ юноша безъ особеннаго посямленія роль водевильнаго *jeune premier* на домашнемъ спектаклѣ и въ одну минуту сообразить, что ему невозможно не идти по слѣдамъ Мочалова. И почнетъ онъ колотить себя въ грудь и выводить нараспѣвъ монологи изъ «Гамлета», который однако, по его мнѣнію, далеко не такъ забористъ, какъ «Уголио» Полевого или «Джулио Мости» Кукольника.

Что вы о всемъ этомъ скажете, гг. эстетика? Хороша была вся эта катавасія? Хорошо это было, что неглупые молодые люди, способные сдѣлаться хорошими хозяевами, честными конторщиками,мышленными машинистами, изображали своими особами лягушку, желающую раздуться до разбѣровъ вола? Хорошо это было, что эти несчастные недоросли, обманутые въ своихъ нелѣпыхъ надеждахъ, спивались съ кругу, объявляли своихъ родственниковъ и превращались въ отъявленныхъ мерзавцевъ или во всякомъ случаѣ въ праздношатающихся шелопаевъ? Хорошо это было, что самые счастливые изъ этихъ юношей, сдѣлавшись посредственными актерами, посредственными музыкантами, посредственными живописцами, лебезили передъ откупщиками, чтобы отобѣдать у нихъ на даровщинку, или чтобы всучить имъ за выгодную цѣну картину, билетъ на концертъ или ложу на бенефисъ? Если положить на одну чашку вѣсовъ великаго Брюллова, великаго Глинку, великаго Мочалова, а на другую—много тысячъ несчастныхъ лягушекъ, соблазненныхъ славой волонъ и лопнувшихъ во время нелѣпыхъ попытокъ—дорости до ихъ величія, то—какъ выдумаете, гг. эстетика,—которая изъ двухъ чашекъ перетянетъ? Или другими словами, стоитъ-ли овчинка выдѣлки? Стоитъ-ли уродовать тысячи человѣческихъ существованій для того, чтобы добыть одну безплодную знаменитость?—Реалистическая критика думаетъ, что не стоитъ, и вслѣдствіе этого своего глубокаго убѣжденія она старается на мѣсто именъ великаго Брюллова, великаго Глинки, великаго Мочалова подставить имена великаго Дарвина, великаго Либиха, великаго Клода Бернара. Критика Бѣлинскаго стояла на козлѣхъ передъ святымъ искусствомъ. Реалистическая критика стоитъ на козлѣхъ передъ святой наукой. Стремясь по слѣдамъ Глинки, Брюллова и Мочалова, доверчивые юноши не приобретали ничего, кромѣ печальной привычки къ туснеядству и къ сивухѣ. Выбирая себѣ въ образцы и въ руководители

Дарвина, Либиха, Бернара и другихъ, доверчивые юноши приобретаютъ и будутъ приобретать себѣ знанія, привычку къ труду и уваженіе къ силѣ человѣческаго разума, то-есть такіа сокровища, которыя пригодятся имъ на всякомъ житейскомъ поприщѣ. До Бернара не доростетъ быть-можетъ ни одинъ изъ десяти тысячъ, но зато общество обогатится многими хорошими уѣздными лекарями. Либихомъ не сдѣлается ни одинъ изъ десяти тысячъ, но зато общество обогатится многими дѣльными агрономами.

Посредственный художникъ, даже по мнѣнію эстетиковъ, есть отрицательная величина; посредственный ученый, напротивъ того, можетъ быть очень полезенъ, несмотря на свою посредственность. Что-же касается до гениальныхъ натуръ, то ихъ не остановить и не собьѣть съ толку никакая реалистическая критика. Гениальныя натуры преодолеваютъ самыя серьезныя препятствія; онѣ борются съ деспотической волей родителей, съ предразсудками общества, съ бѣдностью, съ невѣжествомъ, и все-таки, несмотря ни на что, идутъ туда, куда ихъ тянетъ преобладающая страсть. Если у насъ народится какой-нибудь Рафаэль или Моцартъ, то онъ ни за какія выкрижки не пойдетъ въ машинисты или въ медики, и наплюетъ на всякія реалистическія преповѣди. Значать, реалистическая критика не давить великихъ талантовъ, потому что илъ задавить невозможно. Она только кормитъ здоровой умственной пищей ту толпу, которую эстетика опанвали дурманомъ.

XI.

Дерзкій авторъ «Нерѣшеннаго Вѣща» осмѣлился уподобить *лукошко* того великаго Антоновича, который считаетъ себя въ настоящую минуту единственнымъ представителемъ реальной критики и единственнымъ законнымъ преемникомъ Добролюбова. Великій Антоновичъ, какъ человѣкъ неглупый, не обратилъ никакого вниманія на непочтительную выходку такъ называемаго *enfant terrible*. Но Посторонній Сатирикъ, какъ человѣкъ очень раздражительный и очень ограниченный, огорчился *лукошко* до глубины души и началъ изливать свои страданія въ горячихъ и безтолковыхъ полемическихъ статьяхъ. Надо полагать, что *лукошко* дѣйствуетъ подобно испанской мушкѣ, сохраняя притомъ свою раздражающую силу теченіи многихъ мѣсяцевъ. Съ каждымъ мѣсяцемъ страданія Посторонняго Сатирика становятся невыносимѣе, такъ что наконецъ въ январьской книжкѣ «Современника» несчастный Донъ-Бихотъ, удрученный *лукошко*, впадаетъ въ горячечный бредъ и съ болѣзненной странностью принимаетъ свои видѣнія за существующіе факты. Ему мерещится какой-то призракъ, который онъ называетъ «Русскимъ Словомъ»; ему кажется, что этотъ «призракъ» отлыниваетъ отъ его вопросовъ и увертывается отъ прямыхъ объясне-

ній съ нимъ; ему кажется, что онъ, Посторонній Сатирикъ, бѣжитъ за этимъ призракомъ, схватываетъ его, окружаетъ его сплошной стѣной занумерованныхъ «тезисовъ и вопросовъ», тычетъ его носомъ «на номеръ, не получившій ответа или объясненій», разбиваетъ его на на всѣхъ пунктахъ и заставляетъ его «*расхлебать кашу*», которую онъ, призракъ, заварилъ «Нерѣшеннымъ Вопросомъ». Бѣдный страдалецъ обращается къ своему призраку съ слѣдующимъ монологомъ: «я непременно выведу васъ на турниръ, и вы непременно будете отвѣчать мнѣ; я заставлю васъ отвѣчать и вашими же отвѣтами доведу васъ до молчанія. Вы уже предчувствуете, какая участь ожидаетъ васъ на турнирѣ; вы видите предъ собой прахъ поверженнаго мною Косицы и начинаете дрожать за себя. Не бойтесь, съ вами я не поступлю такъ жестоко, какъ съ нимъ; васъ я не обращаю пока въ прахъ; но все-таки побѣду надъ вами отпраздную торжественно.» Всѣ эти разговоры можно вести только съ призракомъ, а никакъ не съ «Русскимъ Словомъ», потому что настоящее, реальное «Русское Слово» говорить и молчать, когда ему угодно, не тревожится никакими предчувствіями, не дрожитъ даже предъ великимъ Антоновичемъ и не разсыпется въ прахъ даже отъ поразительныхъ нарисованныхъ всеусыпляющаго «Будильника». Между тѣмъ боль отъ *лукошка* усиливается и галлюцинація становится еще безсвязнѣе; Постороннему Сатирику представляется, что Зайцевъ и Благосвѣтловъ превратились въ два *буттерброда*; это видѣніе по всей вѣроятности выражаетъ [собою] желаніе пациента съѣсть живьемъ Зайцева и Благосвѣтлова; однако Постороннему Сатирику не суждено насладиться полнымъ блаженствомъ даже въ области горячихъ видѣній; буттерброды минуютъ его зияющую пасть; одинъ изъ буттербродовъ заключаетъ союзъ съ американскими плантаторами, другой—обижаетъ Воронова; сердце Посторонняго Сатирика изнываетъ за негровъ, изнываетъ за бѣдствующаго литератора, недонаписавшаго повѣсть «Тяжелые Годы», изнываетъ за покойнаго А. Григорьева, обворованнаго Писаревымъ, изнываетъ за «одно лицо», обиженное призракомъ, изнываетъ за Антоновича, увѣнчаннаго «*лукошкомъ*», изнываетъ за Шопенгауэра, искаженнаго Зайцевымъ, — и не изнываетъ только за «Современникъ», который безконечно позорится всѣми этими бессмысленными изнываніями.

Я до сихъ поръ говорилъ о подвигахъ Посторонняго Сатирика шутливымъ тономъ, потому что о нихъ по настоящему не стоитъ говорить серьезно; но такъ какъ Сатирикъ, по своему безграничному самолюбію, можетъ принять мой шутливый тонъ за неспособность опровергнуть его болтовню серьезными аргументами, то я дамъ ему небольшой образчикъ моего полемическаго искусства. Во-первыхъ, позвольте вамъ замѣ-

тить, г. Посторонній Сатирикъ, что «Русское Слово» ни отъ чего не отлыниваетъ; тотъ отвѣтъ, котораго вы требовали отъ «Русскаго Слова» на счетъ «Нерѣшеннаго Вопроса», былъ вамъ данъ въ октябрьской книжкѣ; этотъ отвѣтъ, совершенно ясный и опредѣлительный самъ по себѣ, былъ подтвержденъ тѣмъ обстоятельствомъ, что «Русское Слово» продолжало печатать «Нерѣшенный Вопросъ» до самаго конца, несмотря на всѣ ваши восклицанія и несмотря на то, что вы въ октябрьской книжкѣ «Современника», замѣтили совершенно основательно, будто «Нерѣшенный Вопросъ» могъ быть напечатанъ съ большимъ удобствомъ въ «Отечественныхъ Запискахъ» или въ «Эпохѣ». Неосновательность этого послѣдняго замѣчанія доказывается какъ нельзя лучше тѣмъ обстоятельствомъ, что «Отечественныя Записки» напечатали именно *противъ* «Нерѣшеннаго Вопроса» статью Incognito, а «Эпоха» напечатала также *противъ* «Нерѣшеннаго Вопроса» двѣ статьи Николая Соловьева. («Теорія пользы и выгоды» и «Безплодная плодовитость».) Изъ этого факта вы можете вывести для себя одно изъ двухъ заключеній: или то, что вы не понимаете тенденціи тѣхъ журналовъ, о которыхъ беретесь разсуждать, или то, что вы желали оклеветать «Нерѣшенный Вопросъ», отбрасывая его въ категорію тѣхъ статей, которыя могутъ быть напечатаны въ филистерскихъ журналахъ.

Итакъ, «Русское Слово» отвѣчало вамъ совершенно ясно и въ то-же время очень умѣренно, что оно не видитъ никакой надобности отказываться отъ солидарности съ «Нерѣшеннымъ Вопросомъ». Послѣ этого отвѣта всякія предварительныя объясненія съ вашей стороны были бесполезны. Вы должны были прямо приступить къ разгромленію той статьи, которая вамъ не нравилась. Если-же вы не приступали, то въ этомъ вы должны винить исключительно самого себя. Если вы медлили вслѣдствіе великодушнаго состраданія къ заблуждающимся грѣшникамъ, то я долженъ вамъ замѣтить, что ваше милосердіе было совершенно неумѣстно. Ваше долготерпѣніе никого не обратило на путь истины. Вы имѣете дѣло съ людьми неблагодарными, закоснѣлыми во грѣхъ и чрезвычайно недовѣрчивыми. Эти люди думали и думаютъ до сихъ поръ, что ваше великодушіе есть не что иное, какъ замаскированная пустота. У васъ нѣтъ доводовъ противъ «Нерѣшеннаго Вопроса», у васъ нѣтъ самостоятельнаго міросозерцанія, которое вы могли-бы противопоставить нашимъ идеямъ, у васъ нѣтъ даже щедринской веселости, которая умѣла осмѣивать и оплевывать то, чего она не понимала *), — у васъ нѣтъ ничего, кромѣ грошова-

*) См. рассказъ Щедрина «Новый Нарциссъ» въ «Отечественныхъ Запискахъ» 1868 г.

го самолюбия, а между тѣмъ вы стоите на виду, вы — первый атлетъ «Современника», на вашихъ плечахъ лежитъ фирма журнала, за вами «Полемиическія красоты», все это вы должны поддерживать, каждая ваша ошибка будетъ замѣчена и осмѣяна вашими многочисленными противниками, и все это вы понимаете вполнѣ. И поневолѣ, по инстинктивному чувству самосохраненія, вы стараетесь отдалить ту непріятную минуту, когда ваше безсиліе обнаружится во всей своей наготѣ. Вы придираетесь къ мелочамъ, вы валите съ больной головы на здоровую, вы кидаетесь по сторонамъ, вы хватаетесь то за негровъ, то за Воронова, вы собираете сиплетни, вы выдумываете небывлицы и въ то-же время притворяетесь неустрашимымъ бойцомъ и великодушнымъ героемъ. Но когда-нибудь вся эта плоская комедія должна-же кончиться. Положимъ, вы наполните еще пять-шесть книжекъ «Современника» предварительными объясненіями, — ну, а потомъ что будетъ? Съ «Нерѣшеннымъ Вопросомъ» вы все-таки ничего не сдѣлаете; а между тѣмъ у васъ не хватитъ честности и мужества на то, чтобы откровенно отказаться отъ «Асмодея нашего времени», какъ отъ грубой, но извинительной ошибки. Стараясь защитить проигранное дѣло, вы окончательно запутаетесь въ софизмахъ и заведете критику «Современника» въ тѣ дебри, въ которыхъ гнѣздится наше филистерство. Я васъ предостерегаю заранѣе, но вы, разумѣется, меня не послушаете и будете по-прежнему сыпать цѣлыми лукошками самаго неблагоприятнаго лганья и наконецъ такъ уроныте вашъ журналъ, что васъ не выручатъ никакія добролюбовскія преданія. Во всякомъ случаѣ вы видите теперь, что вамъ больше не зачѣмъ великодушничать и что всякія дальнѣйшія промедленія выставятъ васъ въ глазахъ вашихъ читателей въ самомъ жалкомъ и смѣшномъ видѣ. Поэтому или принимайтесь за «Нерѣшенный Вопросъ», или признавайтесь на чистоту, что вы до сихъ поръ говорили о Базаровѣ пустяки, и что «Асмодей нашего времени» написанъ великимъ критикомъ по неопытности.

Кстати объ «Асмодеѣ». Посторонній Сатирикъ совершенно напрасно проводитъ ту мысль, что отвѣтственность за эту статью лежитъ на томъ лицѣ, которое въ то время завѣдывало редакціей «Современника». Еслибы въ статьѣ Антоновича заключались очевидныя нелѣпости или глупости, тогда конечно эта статья составляла-бы натию на совѣсти редактора, потому что добросовѣстный редакторъ долженъ читать все, что онъ помѣщаетъ въ своемъ журналѣ. Но для того, чтобы увидѣть несостоятельность «Асмодея», редакторъ долженъ былъ прочесть сначала — и прочесть очень внимательно — самый романъ Тургенева. «Асмодей» былъ напечатанъ въ мартовской книжкѣ «Современника», а романъ Тургенева — въ

февральской книжкѣ «Русскаго Вѣстника». Значитъ, антрактъ между напечатаніемъ романа и напечатаніемъ статьи былъ такъ не великъ, что редакторъ, какъ человекъ, заваленный работой, имѣлъ полное право не прочитать романа во время антракта. Редакторъ обязанъ читать все, что пишутъ его сотрудники для журнала, но онъ нисколько не обязанъ читать все, что читаютъ его сотрудники. Въ январьской книжкѣ «Русскаго Слова» помѣщена на примѣръ статья Шапова, биткомъ набитая ссылками на Лепехина, на Бастрена, на Палласа, на Миддендорфа и еще чортъ знаетъ на какіе мудреные источники и пособія. Неужели-же редакторъ «Русскаго Слова» обязанъ провѣрить всѣ эти ссылки и перечитывать все, что прочиталъ Шаповъ? Ничуть не бывало. Отвѣтственность за основную мысль, за ея направленіе лежитъ на авторѣ и на редакторѣ. Но отвѣтственность за вѣрность сообщаемыхъ фактовъ лежитъ исключительно на одномъ авторѣ. Еслибы кто-нибудь доказалъ, что Шаповъ искажилъ слово лѣтописей или путешественниковъ, то одному Шапову и пришлось-бы за это развѣдываться съ критикомъ. И еслибы какой-нибудь озорникъ поднесъ Шапову лукошко, то ни одна частица этого лукошка не досталась-бы редактору «Русскаго Слова». Печатавъ статью Антоновича, редакторъ «Современника» имѣлъ полное право довѣриться Антоновичу настолько, чтобы не заподозрѣвать его въ злонамѣренномъ искаженіи или въ неумышленномъ непониманіи разбираемыхъ фактовъ. Еслиоказывается теперь, что Антоновичъ обманулъ это довѣріе, то вся вина ложится цѣликомъ на одного Антоновича.

Статья Посторонняго Сатирика, помѣщенная въ январьской книжкѣ «Современника», даетъ мнѣ превосходный примѣръ для подтвержденія этой мысли. Въ этой статьѣ мы читаемъ слѣдующія поучительныя строки: «я утверждалъ и утверждаю, что взглядъ Писарева на Катерину, какъ свѣтлое явленіе русской жизни, несогласенъ со взглядомъ Добролюбова, а согласенъ со взглядомъ А. Григорьева, который высказалъ свой взглядъ прежде Писарева; слѣдовательно, взглядъ этотъ принадлежитъ А. Григорьеву, а не Писареву. Ужели-же это не правда, и есть только мое изобрѣтеніе?» На оберткѣ январьской книжки написано: «редакторъ Н. Некрасовъ». Но я никакъ не рѣшусь утверждать, что ложное обвиненіе въ литературномъ воровствѣ возведено на меня по милости Некрасова. Некрасовъ тутъ ни въ чемъ не виноватъ. Онъ не обязанъ помнить наизусть всѣ критическія статьи, напечатанныя въ русскихъ журналахъ. Онъ не обязанъ знать, что Писаревъ никогда ни въ чемъ не сходилъ съ Григорьевымъ. Когда человекъ говоритъ: «я утверждалъ и утверждаю», тогда ни одному честному человеку въ голову не придетъ подумать, что это я утверждаю и утверждаетъ чистѣйшую ложь, неоснован-

ную рѣшительно ни на чемъ. Помѣщая въ своемъ журналѣ клевету Посторонняго Сатирика, Некрасовъ былъ навѣрное глубоко убѣжденъ въ томъ, что печатаетъ святую истину. А между тѣмъ это—*клевета*, и Посторонній Сатирикъ самъ долженъ будетъ признать себя *клеветникомъ*, если не представитъ въ подтвержденіе своихъ словъ фактическихъ доказательствъ, то—есть, если не укажетъ печатно на тотъ номеръ журнала, въ которомъ были изложены взгляды Григорьева, совпадающіе съ моими взглядами на

Катерину. Но за статью «Денежное несчастье съ Благосвѣтловымъ» отвѣтственность падаетъ на редактора, потому что тутъ дѣло не въ фактахъ, а въ тенденціи. Некрасовъ долженъ былъ сообразить, что, печатая эту статью, онъ возстаетъ противъ принципа гласности, когда этотъ принципъ прилагается къ отношеніямъ литераторовъ между собой. Кто громитъ Лохвицкаго, тому возставать противъ гласности не приходится.—Затѣмъ прощайте, господа. *Dominus vobiscum!*

ПЕРЕЛОМЪ ВЪ УМСТВЕННОЙ ЖИЗНИ СРЕДНЕВѢКОВОЙ ЕВРОПЫ.

I.

Въ средневѣковыхъ государствахъ господствовала такая путаница политическихъ элементовъ, о которой человѣкъ XIX столѣтія съ трудомъ можетъ составить себѣ ясное и отчетливое понятіе. О разграниченіи судебныхъ, административныхъ и законодательныхъ властей нечего было и думать. Невозможно даже опредѣлить, гдѣ кончается господство церковной іерархіи и гдѣ начинается дѣятельность свѣтской власти. Все зависѣло отъ частныхъ обстоятельствъ, мѣста и времени. Все обуславливалось наклонностями, дарованіями и минутными интересами отдѣльныхъ личностей, державшихъ въ своихъ рукахъ ту или другую отрасль общественной власти. Разумѣется, хаосъ былъ всего сильнѣе въ первые вѣка послѣ великаго переселенія народовъ. Всѣ умные правители, начиная отъ Теодориха Великаго, старались распутывать и приводить въ порядокъ нестройные элементы общественной жизни. Но хаосъ на всѣхъ пунктахъ упорно отстаивалъ свое нелѣпное существованіе. То, что называется духомъ времени—именно мысли, чувство и страсти тогдашнихъ людей,—шло въ разрѣзъ съ самыми умными и добросовѣстными привычками организаторовъ. Что сильный и гениальный человѣкъ устраивалъ втеченіи цѣлой жизни съ изумительной настойчивостью и съ громадными усиліями, то разваливалось послѣ его смерти само-собой или разстроивалось въ какое-нибудь десятилѣтіе слабыми и глупыми преемниками безъ малѣйшаго труда. Личныя страсти, неукротенныя образованіемъ, рвали и ломали всѣ рамки общественной жизни. Чтобы эти страсти улеглись и подчинились контролю разума, необходима была не желѣзная воля какой-нибудь одной, хотя-бы и гениальной личности, а долговременное, постоянное, глухое, но неотразимое вліяніе цѣлыхъ

вѣковъ. Надо было, чтобы дикари переродились въ гражданъ, а всякія перерожденія органическихъ существъ совершаются въ природѣ съ такою невыносимой медленностью, которая всегда приводитъ въ отчаяніе всѣхъ историческихъ дѣятелей, успѣвшихъ переродиться раньше своихъ современниковъ.

Для католической іерархіи средневѣковая путаница общественныхъ отношеній была очень выгодна. Пользуясь хаосомъ понятій и учрежденій, іерархія захватила въ свои руки всю жизнь средневѣковаго общества и начала диктаторскимъ тономъ произносить свои приговоры въ такихъ дѣлахъ, которыя никакое благоустроенное государство въ мірѣ никогда не рѣшится отдать въ распоряженіе церкви. Конечно европейскіе дикари были совсѣмъ не такіе люди, чтобы безусловно подчиняться кому-бы то ни было, когда это подчиненіе было черезчуръ невыгодно или стѣснительно. Въ самые золотые вѣка римскаго владычества личныя страсти сплосъ и рядомъ брали вверхъ надъ суевѣріемъ. Полудикій баронъ или рыцарь, избивенный какимъ-нибудь черезчуръ задорнымъ аббатомъ или епископомъ, садился на коня, бралъ въ руки какое-нибудь дрекольѣ, колотилъ крестьянъ своего обидчика, вытаптывалъ ихъ поля, при случаѣ захватывалъ въ плѣнъ неприкосновенную личность сего церковнослужителя, прикасался къ этой личности очень безцеремонно и, закусивши такимъ образомъ удила, не смирялся даже передъ проклятіями соборовъ и папъ. Но церковь все-таки одерживала верхъ. Дикіе феодалы умѣли только драться, а представители церкви умѣли кромѣ того интриговать, аргументировать, опутывать своихъ противниковъ клузными трактатами, поддѣлывать старинные документы и, что всего важнѣе, вести общими силами стройную и послѣдовательную политику тамъ, гдѣ

ихъ свѣтскіе и безграмотные противники дѣйствовали въ разсыпную, безъ всякаго плана, по внушенію личной страсти или подъ вліяніемъ ближайшаго, мелкаго и минутнаго интереса. — На средневѣковомъ латинскомъ языкѣ слово «clericus» имѣло два значенія: во-первыхъ, — церковникъ, причетникъ; во-вторыхъ, — грамотный человѣкъ. Соединеніе этихъ двухъ значеній въ одномъ словѣ показываетъ ясно, что было время, когда всѣ грамотные люди входили въ составъ духовенства. Въмѣстѣ съ грамотностью духовенство удерживало въ своей средѣ и скудные остатки классической образованности. Это обстоятельство, разумѣется, давало духовенству огромный перевѣсъ надъ представителями свѣтской власти. Духовныя лица занимали важнѣйшія государственныя должности и, пользуясь самымъ высокимъ положеніемъ, поддерживали съ нетерпимой энергіей всѣ интересы своего сословія и всѣ неумѣреннѣйшія требованія церковной іерархіи. Когда грамотность начала распространяться между свѣтскими людьми, когда свѣтскіе люди начали составлять себѣ общія понятія о теченіи государственныхъ дѣлъ, тогда они увидѣли, что церковь захватила все, и что императоры, короли, герцоги и всѣ прочіе владетели земли превращены *de jure*, если не *de facto*, въ крѣпостныхъ работниковъ римскаго первосвященника. Тогда началась борьба, не такая, какую вели прежде разрозненные буяны, а борьба систематическая, въ которой уже обѣ стороны — папство и свѣтская власть — стали драться и оружіемъ, и аргументами, и насилиемъ, и надувательствомъ, и ссылками на вымышленные или подложные историческіе документы.

Разсматривать причины или предлоги каждой отдѣльной схватки я конечно не буду. Причина въ сущности была всегда одна и та-же: обѣимъ властямъ хотѣлось развернуться пошире, а предлогъ найти было ужъ очень нетрудно при тогдашней неопредѣленности всѣхъ правъ, обязанностей и отношеній. Гораздо интереснѣе будетъ бросить бѣглый взглядъ на приемы, употреблявшіеся въ этой борьбѣ обѣими сторонами. Любопытно посмотрѣть, на какія общественныя силы опирались съ одной стороны — папа, съ другой стороны — императоръ и короли. Не мѣшаетъ также взвѣсить и измѣрить количество той добросовѣстности и деликатности, которую обнаруживали обѣ стороны въ выборѣ и употребленіи полемическихъ средствъ.

Для достиженія этихъ двухъ цѣлей всего удобнѣе будетъ разсказать нѣсколько наиболѣе замѣчательныхъ эпизодовъ изъ этой драматической борьбы. Разказы эти покажутъ читателю, въ чемъ заключалось вліяніе этой борьбы на умственную жизнь средневѣковой Европы. Я начну съ XIII вѣка, потому что фізіономія предыдущихъ столѣтій была уже очерчена мною въ статьѣ

«Историческое развитіе Европейской мысли», помещенной въ 3 томѣ моихъ «Сочиненій».

II.

Въ 1198 году на папскій престолъ вступилъ, подъ именемъ Иннокентія III, тридцати-семилѣтній умный и энергическій итальянецъ, графъ Сеньи. Онъ тотчасъ началъ борьбу противъ свѣтской власти въ самомъ Римѣ, въ Италіи и во всей Европѣ. Онъ повторилъ и поддерживалъ вѣченіи всей своей жизни всѣ требованія Григорія VII, подчинившаго папской власти, по крайней мѣрѣ въ теоріи, всѣхъ государей католическаго міра. Прежде всего онъ развѣшилъ жителей Рима и другихъ городовъ папской области отъ присяги императору; всѣхъ чиновниковъ, назначенныхъ императоромъ, онъ или смѣнилъ, или подчинилъ себѣ. Чтобы навсегда загородить имѣцамъ путь въ среднюю Италію, онъ убѣждалъ тосканскіе города составить федерацію, подобную той, которая уже давно существовала въ Ломбардіи и которая уже не разъ дѣлала императорамъ много хлопотъ и непріятностей. Работая такимъ образомъ противъ свѣтской власти, папа поневолѣ принужденъ былъ опираться на республиканскій и демократическій элементъ. Но такъ какъ этотъ элементъ былъ опасной игрушкой въ рукахъ римскаго первосвященника, то Иннокентій избралъ другое оружіе для борьбы съ свѣтской властью, а именно — интригу и обманъ одного властителя на счетъ другого, смотря по надобности. Соперники зорко слѣдили другъ за другомъ, подсиживали одинъ другого и пользовались всѣмъ, что могло ослабить или опрокинуть оплошавшаго врага. И мнѣ еще не разъ придется замѣтить, что, взаимно подкапывая другъ друга, представители двухъ враждующихъ принциповъ оказывали, помимо собственнаго желанія, драгоценнѣйшія и незамѣнимыя услуги развитію народной свободы и прогрессивному движенію европейской мысли.

Въ первыя двѣнадцать лѣтъ своего царствованія неумолимый Иннокентій III успѣлъ перессориться со всѣми сильнѣйшими государями католическаго міра. Въ 1199 году онъ отлучилъ отъ церкви Филиппа-Августа французскаго; въ 1208 — Іоанна Безземельнаго англійскаго; въ 1210 — Оттона IV германскаго. Прокланная государей, Иннокентій въ то-же самое время вытягивалъ изъ ихъ государствъ людей и деньги. Въ двѣнадцать лѣтъ онъ успѣлъ направить въ разныя стороны три крестовые похода: одинъ — въ Палестину, другой — въ Испанію противъ мавровъ, третій — въ южную Францію противъ еретиковъ. Эти подвиги Иннокентія тѣмъ болѣе замѣчательны, что крестовые походы въ это время уже потеряли прелесть новизны; они продолжались уже цѣлое столѣтіе; Европа была утомлена пожертвованіями и неудачами; надежда слабѣла, энтузіазмъ угасалъ; рождалось не-

чальное подозрѣніе, что деньги расходятся по карманамъ итальянскихъ прелатовъ; подозрѣніе это высказывалось даже такъ громко, что Иннокентій, приказавши духовенству проповѣдывать новый крестовый походъ, былъ принужденъ сдѣлать особенное распоряженіе. «Онъ объявилъ, — говоритъ Шлоссеръ, — что жертвуетъ на крестовый походъ десятую часть своихъ доходовъ, и обложилъ все духовенство западной церкви сборомъ на это предпріятіе по полтора процента со всѣхъ церковныхъ доходовъ; когда же стали говорить, что онъ возьметъ эти деньги себѣ, Иннокентій приказалъ, чтобы каждый епископъ при содѣйствіи одного іоннита и одного тамплиера раздавалъ собранныя суммы крестоносцамъ своей епархіи.»

Хотѣлъ или не хотѣлъ Иннокентій зажить по жертвованію благочестивыхъ католиковъ, это — дѣло его личной совѣсти, которой приходится рѣшать много подобныхъ вопросовъ. Для историка же чрезвычайно важенъ и интересенъ тотъ фактъ, что уже въ началѣ XIII вѣка общественное мнѣніе такъ или иначе контролировало поведеніе папъ, и что даже такой желѣзный человѣкъ, какъ Иннокентій III, не могъ оставаться совершенно равнодушнымъ къ неопредѣленному говору толпы. Чтобы снова поднять на ноги утомленную Европу, Иннокентій употреблялъ всѣ средства; въ циркулярахъ своихъ онъ повторялъ съ дикой энергіей насмѣшки магометанъ надъ безкліемъ христіанской религіи. «Гдѣ, — говорилъ онъ отъ лица магометанъ, — гдѣ вашъ Богъ, когда Онъ не можетъ избавить васъ отъ нашихъ рукъ? Смотрите! мы осквернили ваши святилища, мы простерли впередъ наши руки, мы взяли съ перваго приступа, мы держимъ въ обиду вамъ эти ваши желанныя мѣста, въ которыхъ зародилось ваше суевѣріе. Гдѣ же вашъ Богъ! Пускай поднимется! Пусть придетъ спасать васъ и самого Себя! — Если ты въ самомъ дѣлѣ Сынъ божій, защити себя, если можешь: вырви изъ нашихъ рукъ страну, въ которой Ты родился. Возврати поклонникамъ креста твой крестъ, который мы захватили.»

Этотъ риторическій приѣмъ Иннокентія имѣетъ конечно свои достоинства; онъ могъ подѣйствовать, какъ испанская мушка или какъ хороший ударъ кнута на чувство утомленныхъ, но искреннихъ католиковъ. Онъ могъ вызвать еще нѣсколько судорожныхъ усилій; но нельзя не замѣтить, что, пуская въ ходъ такое краснорѣчіе, папа ставилъ на карту отчаянно-крупный кушъ. Онъ самъ ревностно распространялъ въ массѣ католическаго населенія ту чрезвычайно-опасную и соблазнительную мысль, что истинность и достоинство религіи могутъ и даже должны измѣряться успѣхомъ чисто-земного предпріятія. И эта мысль прививалась особенно легко къ умамъ тогдашнихъ европейцевъ. Ордали и судебный поединокъ считались въ то время превосходны-

ми юридическими доказательствами. Если какой-нибудь Иванъ обвинялъ какую-нибудь Марью въ томъ, что она завела себѣ любовника, то Марья не зачѣмъ было оправдываться фактическими и логическими аргументами: надо было только, чтобы ея любовникъ, или какой-нибудь другой человѣкъ убилъ или изувѣчилъ Ивана въ назначенное время на опредѣленномъ мѣстѣ и при законныхъ свидѣтеляхъ; тогда Ивана объявляли подлымъ клеветникомъ, а Марью — цѣломудренной женщиной. Если приводили въ судъ старуху, обвиненную въ колдовствѣ, то судья не зачѣмъ было разбирать вопроса, дѣйствительно-ли она совершила взведенное на нее преступленіе и возможно-ли такое преступленіе вообще? — «Брось старуху въ прудъ», командовалъ судья. — Старуху раздѣвали и бросали; если она шла ко дну, ее вытаскивали и отправляли домой; если она оставалась на поверхности воды, ее сжигали, потому что тогда уже невозможно было сомнѣваться въ томъ, что она дѣйствительно — колдунья и любовница сатаны. — Въ одномъ народномъ собраніи германцевъ возникъ вопросъ: должны-ли дѣти вступать во владѣніе отцовскимъ наслѣдствомъ при жизни своего дѣда? Одни говорили въ пользу дѣтей, другіе поддерживали права дѣда. Голоса раздѣлялись поровну; тогда положено было рѣшить спорный вопросъ судомъ божьимъ. Каждая сторона выдвинула одинаковое число бойцовъ. Партія дѣтей побѣдила, и законъ былъ составленъ въ ихъ пользу. Гражданскія тяжбы, уголовные процессы и законодательные вопросы съ одинаковымъ успѣхомъ рѣшались испытаніемъ или поединкомъ, неимѣющимъ ничего общаго съ внутреннимъ смысломъ разбираемаго дѣла.

Понятно, что простые и недалеконвидные люди были не прочь отъ того, чтобы прикладывать тотъ-же самый привычный масштабъ къ религіознымъ вопросамъ. Простодушный фанатикъ Францискъ, основавшій съ разрѣшенія Иннокентія III орденъ нищенствующихъ монаховъ францисканцевъ, вздумалъ проповѣдывать христіанство египетскому султану и при этомъ дошелъ до такого пагуба, что предложилъ испытать посредствомъ суда божія, которая изъ двухъ религій лучше, — христіанство или магометанство. «Прикажи, — говорилъ онъ, — зажечь два костра: на одинъ я брошусь, а на другой пусть бросится кто-нибудь изъ твоихъ имамовъ: кто изъ насъ останется живъ и здоровъ тотъ и правъ.» Султану это предложеніе показалось остроумнымъ, но неисполнимымъ. «Нашихъ имамовъ, — замѣтилъ онъ, — на эту шутку не поймашь: они знаютъ безъ всякихъ испытаній, что человѣку неудобно лежать въ огнѣ.» Но единовѣрцамъ Франциска это предложеніе вовсе не казалось забавнымъ; они были твердо увѣрены въ томъ, что Богъ непременно долженъ творить по первому

востребованію чудеса для своих усердных и незаблуждающих поклонниковъ.

Римская іерархія старалась поддерживать и эксплоатировать эту увѣренность во всѣхъ мелкихъ случаяхъ вседневной жизни. Въ мелкихъ случаяхъ эта тактика была дѣйствительно очень удобна, потому что мелкое чудо можно было поддѣлать разными денежными средствами. Такъ оно и дѣлалось. Но во всемъ надо знать мѣру. Не слѣдуетъ уподобляться глупому скрягѣ, зарѣзавшему золотоносную курицу. Католическіе іерархи ни подъ какимъ видомъ не должны были выходить изъ безопасной области мелкаго чудотворенія. Подвергать свой принципъ такому испытанію, которое по своей мировой колоссальности не допускало никакой подтасовки, — значитъ ставить на карту основной капиталъ, съ котораго можно было постоянно получать самые приличные проценты. Многимъ отдѣльнымъ папамъ, епископамъ и монахамъ крестовые походы доставили много денегъ, почта и могущества, но для теократическаго принципа они были гибельны. Всѣ проповѣдники крестовыхъ походовъ говорили въ сущности то-же самое, что говорилъ Иннокентій III, хотя быть-можетъ въ ихъ выраженіяхъ было меньше горечи и энергій. Всѣ они такъ или иначе возбуждали въ своихъ простодушныхъ слушателяхъ страстную надежду и фанатическую увѣренность, что самъ Богъ поведетъ крестоносное войнство къ желанной цѣли и поразитъ нечестивыхъ враговъ истинной религіи. «Того хочетъ Богъ! того хочетъ Богъ!» кричали на Клермонтскомъ соборѣ тысячи народа, выслушавъ рѣчи Петра Пустынника и папы Урбана II; и эти тысячи кинулись въ крестовый походъ совершенно слѣпо, безъ денегъ, безъ провіанту, почти безъ оружія и безъ малѣйшаго понятія о томъ, гдѣ лежитъ Святая земля и далеко-ли до нея, и какія встрѣчаются на пути трудности и опасности. Взрывъ религіознаго чувства былъ очень грандіозенъ, но зато и реакція была ужасно сильна. Извѣстно, что беспорядочныя массы, пошедшія за Петромъ Пустынникомъ, за Вальтеромъ Голякомъ и за Готшалкомъ, погибли, большей частью даже не добравшись до Малой Азіи. А массы эти были очень значительны; въ нихъ было слишкомъ 250,000 человекъ; и эти люди принадлежали къ самымъ низшимъ слоямъ народонаселенія. Легко представить себѣ, какое глубокое и неизгладимое впечатлѣніе долженъ былъ произвести трагическій исходъ великаго предпріятія навсѣхъ родственниковъ, друзей и сосѣдей погибшихъ фанатиковъ. Эти родственники, друзья и сосѣди были такъ неразвиты и такъ задавлены трудомъ, бѣдностью и притѣсненіями, что имъ было невозможно слѣдить за событіями политическаго и религіознаго міра; что-бы ни дѣлали папы и прелаты, императоры и короли, — эти простые люди все-таки не пустились-бы въ критическія

размышленія. Но тутъ, когда всемірная исторія проникла въ каждую бѣднѣйшую хижину, когда колоссальная борьба двухъ религій дала себѣ почувствовать каждому отдѣльному семейству, когда католическая политика отняла мужа у жены, брата у сестры, сына у матери, отца у малѣйшихъ дѣтей, тогда поневолѣ вся Европа, отъ мала до велика, призадумалась надъ своими утратами и стала задавать себѣ вопросы: ведутъ ли къ чему-нибудь всѣ эти пожертвованія? И дѣйствительно-ли того хочетъ Богъ?

То воодушевленіе, которое обнаружилось на Клермонтскомъ соборѣ, не повторилось болѣе никогда. Такіе порывы усердія обходятся слишкомъ дорого и вслѣдствіе этого ведутъ за собою горькое разочарованіе. Послѣ перваго крестоваго похода религіозная температура Европы вдругъ понизилась на значительное число градусовъ. Европу пришлось подогрѣвать искусственными средствами, и всѣ эти подогрѣванія, всѣ проповѣди Бернара изъ Клерво, Фулька изъ Нельмы другихъ монаховъ, всѣ циркуляры папъ производили только частичное, мѣстное вліяніе. Врѣмя общаго, свѣжаго, естественнаго энтузіазма прошло безвозвратно. Теперь спрашивается: уместны ли, благоразумно-ли, политично-ли было писать такіа неистовыя воззванія, какія пускалъ въ ходъ Иннокентій III? Одно изъ двухъ: или народы католической Европы могли слѣпо покориться словамъ папы, или-же они могли отнестись къ нимъ съ сомнѣніемъ. Второй случай крайне неудобенъ для теократическаго принципа, потому что папа, которому не вѣрять на слово, превращается въ простаго смертнаго; но этотъ второй случай все-таки лучше перваго, потому что, если-бы католики повѣрили Иннокентію совершенно слѣпо, если-бы они рѣшились испытать достоинство католицизма посредствомъ судебного поединка, произведеннаго въ громадныхъ размѣрахъ, то Иннокентій навѣрное оказался-бы послѣднимъ папой. Судебный поединокъ кончился-бы для католицизма полнѣйшимъ пораженіемъ, а тотъ крестовый походъ, который былъ устроенъ самимъ Иннокентіемъ, оказался не въ примѣръ скандальнѣе, безобразнѣе и неудачнѣе всѣхъ остальныхъ. Крестоносцы попали въ кабалу къ венеціанскимъ купцамъ, которые заставляли ихъ платить натурой и притомъ впередъ за провозъ въ Палестину. Плата натурой состояла въ томъ, что крестоносное войнство принуждено было сдѣлать для венеціанцевъ нѣсколько завоеваній въ Далмаціи. Когда кончилась эта работа, тогда явилась вдругъ совершенно непредвидѣнная необходимость вмѣшаться въ дѣла восточной Византійской имперіи. Крестоносцы взяли Константинополь, разграбили его, раздѣлили между собой провинціи покореннаго государства, основали такъ называемую Латинскую имперію и, удививши весь міръ совершенно не крестоноснымъ характеромъ своихъ подвиговъ, сочли свои

какъ иѣмь собаки, которыя, боясь за свою шкуру, не смѣли лаять» (Шоссеръ, т. VII, стр. 115). Въ 1196 году Филиппъ, совершенно игнорируя Ингеборгу, продолжавшую сидѣть въ монастырѣ, женился на Маріи-Агнесѣ, дочери герцога Меранскаго, владѣвшаго обширными землями въ Германіи и находившагося въ самыхъ лучшихъ отношеніяхъ съ императоромъ Генрихомъ VI. Впродолженіи двухъ лѣтъ ничто не нарушало счастья обоихъ супруговъ. Но Иннокентій III, сдѣлавшись папой, поднялъ всю старую исторію Ингеборги съ самаго начала. Увидѣвъ со стороны Филиппа непобѣдимое упорство, онъ въ 1199 году наложилъ на Францію интердиктъ, то-есть запретилъ французскому духовенству совершать богослуженіе и церковныя требы. Ударъ былъ хорошъ, но коса нашла на камень. Сразившись съ Филиппомъ, Иннокентій встрѣтилъ себя такого противника, который не уступалъ ему ни въ энергіи, ни въ изобрѣтательности. Папскій интердиктъ сдѣлался для короля новымъ источникомъ доходовъ. Чуть только какой-нибудь епископъ или аббатъ обнаруживалъ наклонность повиноваться папскому приказанію, Филиппъ тотчасъ отрѣзалъ его отъ должности и бралъ въ казну его имѣніе; такъ же круто поступалъ онъ и съ баронами, которые, опираясь на папскій указъ, перестали считать короля своимъ сюзереномъ; если какой-нибудь городской магистратъ держалъ сторону папы, Филиппъ облагалъ городъ огромнымъ налогомъ. Папа принужденъ былъ уступить; онъ призналъ разводъ Филиппа и приказалъ своему легату созвать соборъ французскаго духовенства для того, чтобы придать всему дѣлу наружный видъ благообразія и законности. Но Филиппъ не согласился на этотъ послѣдній компромиссъ. Не обращая никакого вниманія на то, что происходитъ въ соборѣ, онъ взялъ Ингеборгу къ себѣ во дворецъ и сталъ жить открыто съ двумя женами. А Иннокентій въ 1201 году даже призналъ законными обоихъ дѣтей Маріи-Агнесы.

Во всей этой исторіи Филиппъ, какъ частный человекъ, поступалъ безсовѣстно, но, какъ политическій дѣятель, онъ держалъ себя превосходно. Папа заступился за оскорбленную и ограбленную женщину. Это очень похвально и великодушно съ его стороны; но какъ онъ заступился? Онъ наложилъ интердиктъ на Францію; если бы его приказаніе было выполнено въ точности, то втеченіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ, а можетъ-быть и лѣтъ, на всемъ пространствѣ французской территоріи новорожденные дѣти оставались-бы некрещенными, женихи и невѣсты — необвѣнчанными, больные умирали-бы безъ исповѣди и причастія и мертвецы зарывались-бы въ землю безъ отпѣванія. Когда папское слово обладало такой силой, которая мгновенно могла парализировать дѣйствія духовенства въ цѣломъ королевствѣ, тогда, разумѣется, жители этого королевства призвали горячо и искренно въ непогрѣши-

мость папы. Стало-быть, когда интердиктъ былъ пустымъ словомъ, тогда онъ былъ кимъ наказаніемъ. А на кого падало это? на массу народа, на толпу просто бѣдняковъ; и съ особенной тяжестью оно именно на ревностѣйшихъ защитниковъ, на его лучшихъ друзей, на самыхъ нѣжныхъ и усердныхъ католиковъ. Чтобы сильному врагу, папа былъ въ самое тѣсное мѣсто своихъ слабыхъ и бѣдныхъ друзей. Интердиктъ влился всегда къ тому, чтобы возбудить въ государствѣ волненіе посредствомъ этихъ волненій довести престола государя до необходимости покориться папѣ. Шутка придумана недурно, но что изъ этого выходитъ. Положимъ, интердиктъ достигнута; волненіе проявилось; смирился передъ папой; папа промолчалъ; миръ заключенъ къ обоюдному удовольствію; а потомъ что? Потомъ, король, успокоившись и обезпечившись со стороны духовнаго начальства, принималъ серьезно и совѣтъ не ласково за тѣхъ, которые своей непокорностью заставляли его смириться передъ папой. Промолчалъ, когда городничій, послѣ отъѣзда изъ города, бесѣдуетъ съ купцами: «А, самовары лавать?» — Непріятно было положеніе индѣйцевъ, но положеніе возмущавшихся было еще гораздо неудобнѣе. Разсказы были грандіозны; начинались шашни, колесованія, четвертованія. И сыпались всѣ эти непріятности? Именитѣйшихъ лучшихъ католиковъ, — на тѣхъ, или безтрепетно на самую опасную борьбу только избавиться отъ невыносимаго интердикта. А папа чего смотрѣлъ? Да этого и дѣла никакого не было; до него было и слухи объ этихъ казняхъ не велика важность, что два-три десятка нѣкоторыхъ людей отправятся на плаху, на колесо, на тѣхъ, въ застѣнокъ и на колесо; въ среднѣе подобныя мелочи ни одинъ порядочный человекъ не обращалъ никакого вниманія. Могъ же папа требовать отъ короля, чтобы онъ остановилъ въ своихъ владѣніяхъ прѣходъ уголовного правосудія. Митеніе, дуетъ наказывать, и церковь можетъ присутствовать ихъ своими молитвами. Вообще значеніе того механизма, который вѣдалъ интердиктомъ и который не разъ въ ходъ съ самымъ полнымъ успѣхомъ туция времена к

Теперь не мѣтла вымѣтала, въ вѣнцѣ, ный пцію сѣхъ.

вятительскаго престола. Ему не было дѣла до того, что народъ будетъ страдать отъ прекращенія богослуженія, что онъ будетъ волноваться и то за эти волненія его будутъ бить и разорять. Такъ оно и должно быть, думалъ папа; народъ и то и созданъ, чтобы держать на своихъ плечахъ все бремя моего могущества. Въ мирное время онъ долженъ давать мнѣ свои деньги, въ военное время—свою кровь. Безъ этого и папой быть не стоитъ, да и невозможно. Но Филиппъ Августъ поставилъ вопросъ иначе. Ты, святой отецъ, думалъ онъ, на кого сердился? На меня? Прекрасно. За что? За то, что я на двухъ женахъ женатъ? Превосходно. Вотъ ты и ухитрился изказать меня, именно меня, преступнаго двоенца. Попробуй достать меня, если руки не коротки. А французамъ моихъ не трогай. Они тутъ ни при чемъ. Имъ отъ моихъ двухъ бракосочетаній не досталось ни денегъ, ни удовольствій. А кто вздумаетъ исполнять твое глупое приказаніе и тиранить моихъ подданныхъ, отказывая имъ въ томъ, что для нихъ составляетъ глубочайшую потребность, съ тѣмъ я сумѣю распорядиться по-своему. Умъ и твердость Филиппа сдѣлали то, что грозный индиферентъ остался для Франціи мертвой буквой. Не было ни безтолковыхъ волненій, ни безплодныхъ казней.

Глубокій и роковой трагизмъ того положенія, въ которомъ уже съ XIII вѣка находилась римская теократія, заключается именно въ томъ, что самыя энергическія мѣры, предпринимаемыя для возвышенія и укрѣпленія папскаго авторитета, обращались неизбѣжно во вредъ тому дряхлѣющему принципу, который они должны были поддерживать. Разумѣется, папство въ XIII вѣкѣ было еще очень сильно, но оно уже не могло ни подниматься вверхъ, ни даже остановиться на той высотѣ, которую оно занимало. Оно неизбѣжно должно было спускаться внизъ, и никакія усилія даровитыхъ личностей, подобныхъ Иннокентію III, могущественныхъ корпорацій, подобныхъ монашескимъ орденамъ, и специальныхъ учреждений, подобныхъ инквизиціи, не могли остановить этого необходимаго паденія. Чего-чего только не приумывалъ Иннокентій, и все шло совсѣмъ не туда и не такъ, куда и какъ слѣдовало-бы идти по его клерикальнымъ соображеніямъ. Поднявъ крестовый походъ—вышелъ европейскій скандалъ, престолосцы осрамились; ѣхали они въ Палестину, а пріѣхали въ Константинополь. Вступилась угнетенную женщину, захотѣлъ пострѣлать безсовѣстнаго супруга,—вышла ничтожнѣйшая демонстрація, отъ которой потомъ самому пришло отказываться. Супругъ попрежнему остался живъ, и папѣ пришлось поощрять двоенца и законность дѣтей, родившихся изъ брака жизни первой. Наступали

силой въ личности и дѣятельности германскаго императора Фридриха II, того самаго Фридриха, который въ дѣтствѣ своимъ, будучи королемъ сицилійскимъ, находился подъ опекой Иннокентія III. — Фридрихъ былъ во всѣхъ отношеніяхъ передовымъ человѣкомъ своего времени. Но, произнося о немъ такое сужденіе, мы должны твердо помнить, что передовые люди XIII вѣка нисколько не похожи на передовыхъ людей XIX столѣтія. Въ наше время передовой человѣкъ долженъ быть непременно умнымъ, честнымъ и гуманнымъ человѣкомъ; онъ долженъ работать всѣми своими силами на пользу своихъ согражданъ и современниковъ, долженъ любить свою полезную дѣятельность больше всего на свѣтѣ и долженъ понимать совершенно сознательно, къ чему клонятся всѣ его труды и пожертвованія. Но въ XIII вѣкѣ *такихъ* передовыхъ людей не было и не могло быть. А были *другіе* передовые люди, и самымъ крупнымъ изъ этихъ другихъ, какъ по положенію, такъ и по личнымъ талантамъ, былъ императоръ Фридрихъ II.

Сильный умъ составляетъ необходимое условіе для всѣхъ передовыхъ людей, къ какому-бы вѣку они ни принадлежали. Передовые люди отличаются отъ массы своихъ современниковъ именно тѣмъ, что прямѣе, смѣлѣе и сознательнѣе ихъ ставятъ и рѣшаютъ общіе вопросы, вытекающіе изъ данныхъ обстоятельствъ мѣста и времени. Гдѣ масса бредетъ ослѣпая, робѣя и спотыкаясь на каждомъ шагѣ, тамъ передовой человѣкъ идетъ твердой и развязной походкой. Для такой твердости и развязности очевидно необходима природная сила ума, укрѣпленная возможно лучшимъ образованіемъ. Но честность, гуманность, сознательное стремленіе къ общей пользѣ, разныя другія хорошія качества, перечисленные мною выше, вовсе не составляютъ во всякое время необходимыхъ атрибутовъ передового человѣка. Напротивъ того, бывають такія историческія эпохи, когда эти качества именно передовомъ человѣкѣ совершенно невозможны и немыслимы. Бывають такія эпохи, когда передовые люди, то-есть умнѣйшіе, неизбѣжно дѣлаются безчестными, жестокими и своекорыстными личностями. Отстальные-же люди въ это самое время могутъ блистать самыми трогательными и возвышенными добродѣтелями. XIII вѣкъ представляетъ намъ одну изъ такихъ трагическихъ эпохъ.

Чтобы убѣдиться въ справедливости моего замѣчанія, стоитъ только сравнить передового человѣка Фридриха II съ отсталымъ человѣкомъ Людовикомъ IX. У перваго безсовѣстность была возведена въ принципъ, второй никогда въ жизни не измѣнялъ данному слову. Еслибы Фридрихъ II и Людовикъ IX оба были живы теперь, то, разумѣется, я-бы вамъ сказалъ: держите ухо востро съ первымъ и смѣло довѣряйте второму

тились съ особенной

ваши деньги, вашу честь, вашу сестру, жену или дочь, словомъ все, что хотите. Но вѣдь достоверно извѣстно, что оба они скончались; поэтому и разсуждать о нихъ слѣдуетъ совсѣмъ не такъ, какъ мы разсуждаемъ о живыхъ людяхъ, способныхъ насъ обокрасть, зарѣзать или ошельмовать. Когда мы становимся на всемірно-историческую точку зрѣнія, то-есть когда мы задаемъ себѣ вопросъ: какимъ путемъ шло человечество къ своему теперешнему положенію?—тогда всѣ отдаленныя личности, Фридрихи, Людовики, Иннокентіи, Колумбы, Лютеры, Гуттенберги, становятся для насъ отвлеченными величинами. Встрѣчаясь съ какимъ-нибудь собственнымъ именемъ, мы прежде всего задаемъ ему вопросъ: ты что такое? Ты—плюсъ или минусъ? То-есть, другими словами: куда ты толкалъ людей—впередъ или назадъ? А чѣмъ толкалъ—добродѣтелями или пороками, умомъ или глупостью, дѣятельностью или праздною?—Это вопросы, которые мы задаемъ себѣ не для того, чтобы хвалить или порицать толкавшую личность, а для того, чтобы изучить въ подробностяхъ самый механизмъ толканія. Поэтому, встрѣчаясь съ Фридрихомъ II, мы говоримъ: это—плюсъ; это—передовой человѣкъ, который шибко толкалъ людей впередъ. А чѣмъ толкалъ?—Умомъ и безсовѣстностью. Встрѣчаясь съ Людовикомъ IX, мы говоримъ: это—минусъ; это—отсталый человѣкъ; онъ упорно тянулъ людей назадъ. А чѣмъ?—Тупоуміемъ.

Спрашивается теперь, почему-же въ политическомъ мірѣ XIII вѣка умъ и добросовѣстность взаимно исключали другъ друга? То-есть почему передовой политическій дѣятель того времени и настоящій двигатель общечеловѣческаго прогресса никакъ не могъ быть честнымъ человѣкомъ? А вотъ видите-ли: бываютъ въ исторіи эпохи органическія и эпохи критическія, или, другими словами, эпохи положительныя и эпохи отрицательныя. Во время эпохъ органическихъ или положительныхъ система вѣрованій, идей и бытовыхъ формъ складывается, растетъ и укрѣпляется. Во время эпохъ критическихъ или отрицательныхъ готовая система дряхлѣетъ и разрушается. Въ XII вѣкѣ закончилась органическая эпоха католицизма. Съ XIII вѣка уже ясно начинается для него критическая эпоха. Въ IX, въ X и въ XI вѣкѣ умнѣйшіе европейцы были еще искренними католиками. Умнѣйшіе европейцы XIII вѣка оказываются уже индифферентистами и скендиками. И еслибы въ умахъ тогдашнихъ европейцевъ не совершился этотъ поворотъ, то на земномъ шарѣ до настоящей минуты не было-бы ни желѣзныхъ дорогъ, ни электрическихъ телеграфовъ, ни телескопа, ни микроскопа, ни химіи, ни физиологіи, ни медицины. Папская власть систематически давила-бы всѣ зародыши научнаго изслѣдованія. Всякому-же извѣстенъ тотъ фактъ, что римская кикви-

зиція осудила Галилея за астрономическія открытія, и что въ училищахъ Церковной Области будутъ отрицать движеніе земли до тѣхъ поръ, пока Викторъ-Эммануилъ или его преемники не овладѣютъ Римомъ. Стало-быть, кто дорожитъ пріобрѣтеніями европейской науки и произведеніями европейской промышленности, тотъ долженъ сказать прямо, что индифферентизмъ въ папскому принципу XIII-го и слѣдующихъ вѣковъ былъ безусловно необходимымъ для нашего теперешняго благосостоянія. Но индифферентистъ очевидно не можетъ обладать тѣми скендичными качествами характера, которыми отличается мечтатель и энтузіастъ. Но само собой разумѣется, чистый типъ энтузіаста, какъ и все чистое, бываетъ во всякое время чрезвычайно рѣдокъ. Въ эпоху похвальнаго энтузіазма обыкновенный человѣкъ всегда бываетъ толмъ немножко энтузіастомъ, и это *немножко* называется въ его натурѣ на значительномъ количествѣ ноздревскихъ, чичиковскихъ, плушкинскихъ или какихъ-нибудь другихъ помоевъ такого-же высокаго достоинства. Эти пѣгіе энтузіасты, разумѣется, любятъ другъ друга немножко, а презреть другъ друга много, потому что поступки ихъ опредѣляются преимущественно изъ личной грязью, а не общимъ ихъ воодушевленіемъ. Если хотите взглянуть на чистаго энтузіаста, возьмите Людовика IX. Чище его вы не найдете, да и врядъ-ли найдете другого такого человека между политическими дѣятелями католическаго міра. Но этотъ поборникъ папскаго принципа могъ развернуть свои силы съ пользою для человечества въ VI или въ VII вѣкѣ, а никакъ не въ XIII. Ему надо было жить во времена Григорія I и дѣйствовать заодно съ миссіонеромъ Бонифаціемъ, обращавшимъ въ христіанство франкскихъ германцевъ и погибшимъ смертью мученика въ землѣ дикихъ фризцовъ. При такихъ условіяхъ Людовикъ былъ-бы передовымъ и полезнымъ человѣкомъ, потому что во время миссіонера Бонифація историческая задача, стоявшая на очереди, заключалась въ томъ, чтобы связать единствомъ какой-нибудь высшей или разрозненныя племена европейскихъ динарій. Въ XIII вѣкѣ стояла на очереди совсѣмъ другая историческая задача. Надо было во что-бы то ни стало поколебать силу папства. А кто могъ въ то время сражаться съ папствомъ и одерживать надъ нимъ побѣды? Разумѣется, не теологи, не ученые, не мыслители. На всѣ аргументы этихъ людей папство отвѣчало-бы тѣми неопровержимыми доводами, которыми оно побдило вольнодумцевъ южной Фландріи Метаморфозировать противъ того, который отстаиваетъ свою огнемъ и желѣзомъ. Боролся въ XIII вѣкѣ толмъ сами держали въ рукахъ. Но какія побудительныя

ли вовлечь свѣтскую власть въ борьбу съ папствомъ? За какую-нибудь идею свѣтская власть бороться не могла; энтузіазма невозможно ожидать отъ ея представителей. Въ XIII столѣтіи не зарождался еще идеи сознательнаго человѣколюбія и безконечнаго прогресса XVIII вѣка. Столкновение между папствомъ и свѣтской властью могло произойти только изъ личныхъ, узкихъ и мелкихъ интересовъ. Деньги и господство—вотъ яблоко раздора между клерикалами и феодалами. Властолюбіе и корыстолюбіе—вотъ двигатели важнѣйшихъ историческихъ событій, колебавшихъ зданіе папства. Вѣрять въ непогрѣшимость папы умные политики XIII вѣка уже не могли; любить людей и работать для общаго блага они еще не умѣли. Стало-быть, имъ оставалось только жить по возможности въ свое личное удовольствіе, копить или тратить награбленные деньги, вести опустошительныя войны и безсовѣстные интриги единственно для того, чтобы наслаждаться ощущеніемъ собственнаго могущества, физическаго и умственнаго. И тѣмъ умнѣе былъ политическій дѣятель того времени, тѣмъ безграничнѣе была его безсовѣстность. А выработать себѣ новыя идеи онъ все-таки былъ не въ состояніи, какъ-бы ни былъ онъ гениаленъ. Въ той жизни, которая его окружала, не было еще никакихъ матеріаловъ для выработки этихъ новыхъ идей. И поэтому для умнаго политика XIII вѣка существовало только одно нравственное правило: не зѣбай, то-есть умѣй всегда, какими-бы то ни было средствами, устраивать такъ, чтобы матеріальная сила была на твоей сторонѣ. Такими передовыми людьми XIII столѣтіе было очень богато; и такіе люди, похожіе на хищныхъ звѣрей, опасные для союзниковъ и для враговъ, оказали своей дѣятельностью незамѣнимую услугу развитію европейскаго ума. Ихъ дрянныя страсти, ихъ полнѣйшая безсовѣстность, ихъ неукротимая энергія и ихъ изворотливый умъ, взятые вмѣстѣ и соединенные притомъ съ матеріальной силой, сдѣлали ихъ такими опасными бойцами, противъ которыхъ никакъ не могло устоять папское могущество, еслибы оно рѣшилось держать въ отношеніи къ нимъ строгооборонительную тактику.

Когда дрянныя страсти властолюбивыхъ и корыстолюбивыхъ политиковъ расшатали папское зданіе, тогда явилась для европейцевъ возможность наблюдать, размышлять, учиться, дѣлать открытія и распространять знанія въ обществѣ.

Теперь мы можемъ обратиться къ біографіи Фридриха II, умнѣйшаго и безсовѣстнѣйшаго изъ вѣковыхъ людей XIII вѣка. Это — Фридрихъ II, умнѣйшаго и безсовѣстнѣйшаго изъ вѣковыхъ людей XIII вѣка. Это — Фридрихъ II, умнѣйшаго и безсовѣстнѣйшаго изъ вѣковыхъ людей XIII вѣка. Это — Фридрихъ II, умнѣйшаго и безсовѣстнѣйшаго изъ вѣковыхъ людей XIII вѣка.

Сицилійское королевство
и по обѣ стороны
самымъ промыш.

тѣмъ и самымъ образованнымъ государствомъ тогдашней Европы. Сицилія и южная Італія были наполнены арабами и евреями; какъ и вездѣ, эти двѣ народности, отличаясь трудолюбіемъ, предпримчивостью и смѣлостью, дали сильнѣйшій толчокъ экономическому и умственному развитію страны. Земледѣліе, фабричная промышленность и торговля Сицилійскаго королевства находились въ цвѣтущемъ состояніи. Умственная жизнь страны сосредоточивалась въ трехъ знаменитыхъ училищахъ, привлекавшихъ въ предѣлы государства тысячи любознательныхъ иностранцевъ. Въ Салерно славилась школа медицины и естественныхъ наукъ; преподавателями были арабы и евреи; благодаря ихъ усиліямъ, скептическая философія арабовъ, отрѣшавшихся въ то время отъ поклоненія корану, пускала корни въ умы разноплеменныхъ слушателей, которые потомъ распространяли тѣ-же идеи во всѣхъ концахъ католической Европы. Другая школа, въ Амальфи, формировала юристовъ, смотрѣвшихъ на государственныя учрежденія совсѣмъ не такъ, какъ того желали клерикалы. Эти средневѣковые законовѣды во всѣхъ столкновеніяхъ церкви съ свѣтской властью поддерживали послѣднюю всѣми правдами и неправдами утонченной юридической діалектики. Тутъ безсовѣстность облекалась всегда въ приличныя и величественныя формы. Третья школа, въ Неаполѣ, была также посвящена правовѣднѣю.

Роскошный климатъ Сициліи и блестящая обстановка богатаго двора развили въ молодомъ Фридрихѣ наклонность къ чувственнымъ наслажденіямъ. Сдѣлавшись королемъ на третьемъ году жизни и выросши безъ отца и безъ матери среди придворныхъ льстецовъ, онъ остался до самой смерти страстнымъ и непреклоннымъ властолюбцемъ. Получивши блестящее образованіе, онъ смотрѣлъ на поэзію, на искусства и на науки очень благосклонно, какъ на хорошее средство украшать и разнообразить жизнь различныхъ меценатовъ, подобныхъ ему самому. Онъ любилъ держать при своемъ дворѣ мыслителей и поэтовъ; онъ даже самъ въ свободныя минуты занимался риторикой вмѣстѣ съ своимъ канцлеромъ и другомъ, Петромъ а-Винисисъ. Арабы, евреи, поэты, мыслители, придворные, все, что окружало молодого Фридриха, все было насквозь пропитано скептицизмомъ, не слишкомъ глубокимъ, но очень заразительнымъ. Двусмысленныя распоряженія королевскаго опекуна, Иннокентія III, запуская безъ церемоній свою клерикальную лапу въ сундуки сицилій-

давали ежедневно новую пищу скептикамъ, и Фридрихъ, не пропущенной храбрости слушать насмѣшки тикой римска-мудрости изъ

даровитаго мальчика, сидѣвшаго на сицилійскомъ престолѣ, — образованный эпикуреецъ, суровый властитель и совершенный космополитъ въ дѣлѣ религіи. Фридриху нравились обычаи магометанъ: онъ любилъ носить ихъ костюмъ; онъ держалъ въ своемъ дворцѣ роскошный гаремъ, составленный большей частью изъ магометанокъ; онъ находился въ постоянныхъ дипломатическихъ сношеніяхъ съ магометанскими государями Европы, Азіи и Африки; онъ обмѣнивался съ ними подарками и пользовался ихъ уваженіемъ; но къ ученію корана онъ относился равнодушно, насмѣшливо и даже презрительно. При его дворѣ жили сыновья знаменитаго арабскаго ученаго Аверроэса, открыто смѣявшагося надъ Магометомъ. «Однѣ свиньи, — говорилъ Аверроэсъ, — могутъ считать ученіе этого человека разумнымъ, единственно потому, что магометъ принялъ свиней подъ свое покровительство, запретивъ людямъ употреблять въ пищу свиное мясо». — Фридрихъ рано возмужалъ: ему было всего пятнадцать лѣтъ, когда у него родился первый законный сынъ, Генрихъ; незаконныя дѣти рождались быть — можетъ еще раньше. Двадцати лѣтъ отъ роду, въ 1215 году, онъ принялъ въ Ахейскій корону германскаго короля и вслѣдствіе этого три года воевалъ съ императоромъ Оттономъ IV. Война эта кончилась смертью Оттона, въ 1218 году. Фридрихъ два раза обманулъ папу, чтобы привлечь его на свою сторону. Во-первыхъ, онъ обѣщалъ ему, что сицилійская корона никогда не будетъ соединена съ германской. Сицилію онъ обязался отдать своему старшему сыну Генриху, отказываясь за него отъ всякихъ притязаній на Германію и на императорскую корону. Поступилъ же онъ какъ разъ наоборотъ. Онъ оставилъ за собой и Сицилію, и Германію и сталъ употреблять всѣ усилія, чтобы имперскіе князья выбрали Генриха его преемникомъ. Онъ вполне достигъ своей цѣли и тогда написалъ къ папѣ, что государственные чины выбрали его сына безъ его вѣдома. Къ счастью для Фридриха, папой былъ уже не Иннокентій, а Гонорій III, котораго не трудно было успокоивать выдумками и обещаніями. Вторая уловка Фридриха состояла въ томъ, что онъ при своемъ коронованіи далъ торжественную клятву отправиться въ крестовый походъ. Ему, отяжеленному скентину и другу магометанъ, было, разумѣется, очено смѣшно говорить торжественно о религіозной войнѣ и о благочестивой ненависти къ невѣрнымъ. Однако онъ выдержалъ свою роль превосходно, повторилъ обѣщаніе въ Римѣ, принимая изъ рукъ папы въ 1220 году императорскую корону, и втеченіи тринадцати лѣтъ, (1215 — 1228) морочилъ всю Европу, показывая видъ, будто дѣлаетъ колоссальныя приготовленія для завоеванія Палестины.

Благонамѣренная маска крестоносца была полезна для Фридриха въ двухъ отношеніяхъ: во-

первыхъ, она задобрила папу въ то время, когда Оттонъ былъ еще живъ и когда Фридрихъ еще не былъ императоромъ; а во-вторыхъ, она втеченіи многихъ лѣтъ давала Фридриху возможность вооружаться и собирать вокругъ себя рыцарей, не возбуждая никакихъ подозрѣній въ тѣхъ людяхъ, противъ которыхъ вооруженное рыцарство должно было направиться. Вся политика Фридриха клонилась преимущественно къ одной главной цѣли: ему хотѣлось, во что бы то ни стало, стереть съ лица земли федерацію ломбардскихъ городовъ и утвердить навсегда императорскую власть въ сѣверной Италіи. Нетрудно понять, почему ломбардскіе города сосредоточивали на себѣ все вниманіе Фридриха. Независимая федерація этихъ городовъ разрывала и поламывала его владѣнія; сверхъ того только эта федерація, державшая въ своихъ рукахъ ключи альпійскихъ проходовъ, могла сколько-нибудь обезпечить самостоятельность папы. Если бы Фридриху, господствовавшему въ Германіи и владѣвшему южной Италіей, удалось завоевать Ломбардію, то папа мгновенно превратился бы въ императорскаго чиновника. Возобновились бы времена Карла Великаго и Оттоновъ. Возбужденіе такихъ неудобствъ, папы времени Фридриха II поддерживали постоянно самый тѣсный союзъ съ ломбардскою демократіей; за нападеніе на эти города папа всегда гнѣвался, бранился и мстилъ, какъ за личное оскорбленіе. Занимая интригами и мелкими войнами въ сѣверной Италіи, путешествуя постоянно изъ Германіи въ Сицилію и обратно, Фридрихъ въ то же время несколько разъ распускалъ слухи, что въ такой-то день, въ такомъ-то приморскомъ городѣ онъ непременно сядетъ на корабль и поплыветъ въ Палестину. Кораблей у него, какъ у короля сицилійскаго, всегда было достаточно, и онъ действительно держалъ ихъ наготовѣ, такъ что слухи оказывались чрезвычайно правдоподобными. Имъ вѣрили и папа, и европейскіе государи, и тѣ благочестивые авантюристы, которые стремились загладить свои прегрѣшенія войной о невѣрныхъ.

Въ 1217 году въ Палестину отправилось многочисленное и чрезвычайно разноплеменное крестоносное войнство, подъ начальствомъ многихъ отдѣльныхъ вождей. Не сдѣлавъ ничего путнаго въ Палестинѣ, многіе изъ этихъ крестоносцевъ вернулись домой, другіе отправились воевать въ Египетъ. Фридрихъ въ это время по своему новенію дѣлалъ видъ, что собирается выступить въ походъ противъ невѣрныхъ. При этомъ онъ постоянно поддерживалъ

скія сношенія съ мусульманами. Разумѣется, посто-

стоко повредилъ

тѣмъ, что об-

обнаружива-

свое обѣща-

Египетъ, ожидали его со дня на день и въ этихъ безплодныхъ ожиданіяхъ провели цѣлый годъ; когда-же они наконецъ рѣшились дѣйствовать безъ Фридриха, то благопріятная минута оказалась упущенной; магометане, успѣвши уладить своимъ домашніе дѣла, встрѣтили христіанъ съ такимъ единодушіемъ, что весь крестовый походъ кончился мирнымъ договоромъ, по которому крестоносцы получили позволеніе уйти изъ Египта по-доброму, по-здорову. Фридрихъ отъ души смѣялся со своими приближенными надъ неудачнымъ исходомъ священной войны и для поддержанія своей благочестивой роли отправилъ къ берегамъ Египта сорокъ галеръ тогда, когда эти галеры не могли принести крестоносцамъ ни малѣйшей пользы. Разумѣется, эти галеры прогулялись по Средиземному морю и вернулись назадъ, а Фридрихъ сталъ писать къ папѣ раздирательныя письма о бѣдственномъ положеніи святой земли, обвинявая въ то-же время дружескими комплиментами съ египетскимъ султаномъ. Въ 1223 году Фридрихъ повидался съ папой, наговорилъ ему несмѣтное множество хорошихъ словъ, показалъ себя усердѣйшимъ изъ крестоносцевъ и взялъ себѣ только двухлѣтнюю отсрочку, доказывая неопровержимо, что такая отсрочка должна непременно обезпечить успѣхъ всего предпріятія. Для большей убѣдительности Фридрихъ тогда-же обручился съ Іолантой, дочерью іерусалимскаго короля, Іоанна Бріенскаго. Прошло два года, и Фридрихъ, разумѣется, не тронулся съ мѣста. Но чтобы еще разъ показать свое крестоносное усердіе, онъ въ 1225 году женился на Іолантѣ, «правильнѣе, — какъ говорить Шлоссеръ, — взялъ ее въ свой гаремъ, къ другимъ женамъ». Совершивъ такой великій подвигъ, Фридрихъ почувствовалъ необходимость отдохнуть и потребовалъ себѣ отъ папы новую двухлѣтнюю отсрочку, объявивъ торжественно, что если и черезъ два года онъ не разгромитъ магометанъ, то пусть отлучаютъ его отъ церкви. Женившись на Іолантѣ, Фридрихъ принялъ титулъ и приобрѣлъ права іерусалимскаго короля; «права-же эти, — по словамъ Шлоссера, — были ему полезны тѣмъ, что давали возможность еще въ большей мѣрѣ, чѣмъ прежде, усиливать флотъ и войско на суммы, жертвуемыя благочестивыми людьми для религіозныхъ цѣлей.» Желая показать, что онъ смотритъ серьезно на свой новый титулъ, Фридрихъ послалъ въ Палестину епископа амальфійскаго съ порученіемъ принять отъ іерусалимскихъ бароновъ присягу. — Наступилъ новый срокъ, торжественно назначенный самимъ Фридрихомъ. Нѣсколько тысячъ крестоносцевъ собралось въ это время въ южной Италіи; другіе явились впередъ въ Палестину. Разумѣется, а ожиданіи оказались совершенно напрасными, и Фридрихъ не захотѣлъ ни въ

преемникъ папы Гоноріа III, Григорій IX, произнесъ надъ Фридрихомъ отлученіе отъ церкви.

Еслибы Фридрихъ просто уклонился отъ крестоваго похода, то папа врядъ-ли рѣшился-бы на такую энергическую мѣру. Отсрочка слѣдовала-бы за отсрочкой, и дѣло понемногу заглохло-бы само собой. Но Фридрихъ въ послѣднее время слишкомъ усердно хлопоталъ о завоеваніи Ломбардіи, и тогда папа изъ чувства самосохраненія принужденъ былъ пустить въ ходъ противъ предпримчиваго императора всю тяжелую артиллерію папскихъ ругательствъ и проклятій. Къ сожалѣнію Фридриха было очень мудрено запугать какимъ-бы то ни было оружіемъ, свѣтскимъ или духовнымъ. На проклятія папы онъ отвѣчалъ рѣзкими манифестами. Въ то-же время онъ такъ успѣшно велъ противъ папы сложныя и запутанныя интриги, что въ пасху 1228 года римскій народъ выгналъ папу изъ Рима. И въ это-же самое время онъ доказывалъ въ своихъ циркулярахъ, что онъ — покорный сынъ церкви и угнетенная невинность, а папа — жестокосердый тиранъ, терзающій и проклинаяющій, по своимъ личнымъ разсчетамъ, самыхъ усердныхъ защитниковъ католицизма. И циркуляры были написаны такъ убѣдительно, факты были подобраны и освѣщены такъ искусно, что Европа поневолѣ изумлялась и вѣрила. Осенью 1228 года Европѣ пришлось изумиться особенно сильно: Фридрихъ поѣхалъ въ Палестину по приглашенію египетскаго султана Камеля и приобрѣлъ отъ него Іерусалимъ и другія святыя мѣста, не проливши ни одной капли крови. Дѣло въ томъ, что Камель искалъ себѣ въ Фридрихѣ надежнаго союзника противъ своихъ единовѣрцевъ и ближайшихъ родственниковъ. Камель, подобно Фридриху, держался того правила, что въ государственныхъ дѣлахъ слѣдуетъ руководствоваться не религіознымъ чувствомъ, а политическимъ разчетомъ. Весной 1229 года, заключивъ съ Камелемъ мирный договоръ, Фридрихъ вступилъ въ Іерусалимъ, самъ надѣлъ на себя корону въ церкви святого гроба и вслѣдъ за тѣмъ возвратился въ Европу. Въ это время папа навербовалъ себѣ солдатъ и опустошалъ южную Италію, пользуясь отсутствіемъ Фридриха. Тотчасъ послѣ своего возвращенія въ Европу Фридрихъ разогналъ шайки бандитовъ и немедленно заявилъ всѣмъ правительствамъ католическаго міра, что папа ограбилъ его владѣнія въ то время, когда онъ, Фридрихъ, совершалъ въ Палестинѣ богоугодныя дѣла. Папа, съ своей стороны, старался доказать, что эти дѣла совсѣмъ не богоугодныя, и что Фридрихъ заключилъ въ Палестинѣ союзъ съ дьяволомъ, то-есть съ Камелемъ; но общественное мнѣніе Европы рѣшительно склонилось на сторону императора, и Григорій IX въ 1230 году принужденъ былъ снять съ него отлученіе отъ церкви.

года

VI.

Въ 1231 году Фридрихъ обнародовалъ для своего Сицилійскаго королевства новый сводъ законовъ, составленный его канцлеромъ, Петромъ а-Винисъ. Чтобы господствовать въ Германіи, чтобы раздавить ломбардскую федерацію, чтобы окончательно смирить папу, Фридриху необходимо было располагать постоянно огромными суммами денегъ. Поэтому финансы составляли центръ всей системы его управления. Онъ вмѣстѣ съ своимъ канцлеромъ старался разрѣшить слѣдующую политическую задачу: брать съ подданныхъ какъ можно больше денегъ, но такъ, чтобы самые источники государственныхъ доходовъ не истощались, то-есть чтобы основной капиталъ народа не уменьшался. Для этого очевидно надо было устроить такъ, чтобы по возможности всѣ деньги, собираемыя съ народа, поступали въ государственное казначейство, и чтобы какъ можно меньше народныхъ денегъ уходило въ карманы частныхъ лицъ и корпорацій; кромѣ того надо было по возможности устроить все то, что мѣшало народу трудиться, промышленя, торговать и совершенствоваться въ различныхъ отрасляхъ ремесленной, фабричной, художественной и научной дѣятельности.

Фридрихъ II и его канцлеръ поняли свою задачу именно такимъ образомъ: оба они смотрѣли на Сицилійское королевство такъ, какъ дѣльные хозяева смотрятъ на доходныя имѣнія. Народъ былъ для нихъ оброчной статей, но по крайней мѣрѣ оба они, какъ люди очень умные, понимали довольно вѣрно тѣ условія, при которыхъ эта оброчная статья можетъ постоянно приносить значительные доходы. Этого правильного пониманія было совершенно достаточно для того, чтобы поставить законодательство и администрацію Фридриха неизмѣримо выше всей теоріи и практики его современниковъ. Въ новомъ кодексѣ было много постановленій, ограждавшихъ права короля и народа отъ неумѣренныхъ притязаній духовенства; евреямъ и магометанамъ предоставлялась полная религіозная свобода; церковныя помѣстья облагались податью наравнѣ съ другими землями; духовныя лица должны были подчиняться гражданскимъ законамъ наравнѣ со всѣми остальными подданными; всѣмъ сицилійцамъ запрещалось продавать или дарить родовыя имѣнія церквамъ, монастырямъ и монастырскимъ рыцарскимъ орденамъ. Ордалін, то-есть различные судебныя испытанія водой, желѣзомъ, огнемъ, совершенно отмѣнялись; судебный поединокъ допускался только въ очень немногихъ случаяхъ; говоря о судебныхъ поединкахъ, кодексъ Фридриха открыто выражаетъ ту мысль, очень смѣлую для XIII вѣка, что побѣда зависитъ отъ силы и ловкости бойца, а не отъ правоты его дѣла. «Свидѣтельствуя объ обширномъ, независимомъ умѣ Фридриха, — говоритъ Шлосеръ, — этотъ кодексъ вмѣстѣ съ тѣмъ слу-

жить доказательствомъ, что въ Италіи общественная жизнь въ то время была болѣе развита, чѣмъ гдѣ-либо; это видно между прочимъ изъ того, что Фридрихъ считалъ нужнымъ опредѣлить, какую часть съ цѣнности предмета процесса имѣлъ право адвокатъ требовать отъ кліента. Слѣдовательно, юридическая защита въ судахъ уже была тогда необходима. То-же самое доказывается и постановленіями о медицинской полиціи: въ нихъ точно опредѣлялись обязанности врача, плата за посѣщеніе больныхъ, и все, касающееся аптекъ; а отъ всякаго, желающаго практиковать медицину, требовался строгій экзаменъ и указывалось, какъ приобрести необходимыя свѣдѣнія.

Медицинская школа, находившаяся въ Салерно, пользовалась постояннымъ покровительствомъ Фридриха; ученые могли спокойно заниматься своимъ дѣломъ, не боясь ежеминутно, что изъ обвиняютъ въ безбожіи или въ колдовствѣ. Изъ ненависти къ верхне-итальянскимъ городамъ Фридрихъ основалъ въ Неаполѣ превосходный университетъ. Студентамъ неаполитанскаго университета были предоставлены такія права и привилегіи, какими никогда и нигдѣ еще не пользовались средневѣковые студенты. Фридрихъ ввелъ свою внимательность къ учащейся молодежи до такихъ неслыханныхъ размѣровъ, что особымъ эдиктомъ гарантировалъ иностранцамъ, желавшимъ учиться въ Неаполѣ, безопасность жизни, дешивизну жизни и полную свободу во время всего пребыванія ихъ въ предѣлахъ Сицилійскаго королевства. Въ этомъ эдиктѣ были даже опубликованы цѣны квартиръ и объявлялось, кромѣ того, что правительство заботится о кредитѣ для учащихся и о хорошемъ качествѣ помѣщеній. Еслибы Фридрихъ издавалъ такіе обыкновенные эдикты изъ безкорыстной любви къ просвѣщенію, то его смѣло можно было-бы поставить рядомъ съ Элоизой, родившей на свѣтъ сына и не нашедшей для него лучшаго имени, какъ Астролябія. Покровительствовать просвѣщенію — дѣло прекрасное; но когда правитель обширнаго государства публикуетъ въ своихъ эдиктахъ цѣны студенческихъ квартиръ и гарантируетъ своевластно кредитъ для учащихся юношей, тогда очевидно любовь къ наукѣ превращается у этого правителя въ мономанію, которая можетъ имѣть самыя печальныя послѣдствія для всѣхъ важнѣйшихъ отраслей государственнаго хозяйства. Но ясный, глубокий и толковый умъ Фридриха былъ совершенно обезпеченъ противъ всякой мономаніи. Необыкновенный эдиктъ о квартирахъ и о кредитѣ былъ вызванъ не любовью императора къ наукѣ и къ студентамъ, а его враждебными отношеніями къ городамъ верхней Италіи, и преимущественно къ Болоньѣ, которая была богата и сильна, исключительно благодаря своему знаменитому университету, привлекавшему ежегодно болѣе двѣдцати тысячъ иностранцевъ. Этихъ иностранцевъ

уху желательно было перетянуть въ Неаполь, чтобы купцы, ремесленники и домена Болоньи остались на бобахъ и заскрепили зубами.

Юрия обывателей города Болоньи, новый неаполитанскій университетъ кромѣ того составлялъ самымъ чувствительнымъ образомъ своему благопріятелю Фридриху, папѣ. Болонскій университетъ находился подъ покровительствомъ папы и, проводя въ своемъ преніи теократическія тенденціи, распространялъ ересь по всей католической Европѣ, посредствомъ тѣхъ двѣнадцати тысячъ францевъ, которые ежегодно унивались божию премудростію. Въ Неаполѣ же любознательнымъ иностранцамъ предлагалась вмѣстѣ съ томъ и дешевыми квартирами премудрость другого сорта. Въ неаполитанскомъ университетѣ господствовала философія Аристотеля совершенно неискаженнымъ видѣ. Многія важныя кафедры были заняты арабами и евреями; философское направленіе преподаванія нисколько не имѣло предосудительнаго; при такихъ обстоятельствахъ рыцарскій католицизмъ былъ очевидно лишнимъ. По приказанію Фридриха, ученые неаполитанскаго университета въ первый разъ читали всѣ сочиненія Аристотеля прямо съ греческаго языка на латинскій; до того времени она знала Аристотеля только по переводамъ, вышедшимъ изъ вторыхъ рукъ, съ арабскихъ переводовъ. Новый, настоящій Аристотель быстро остранился по всѣмъ тогдашнимъ университетамъ; еретики, и во главѣ ихъ самъ папа, не смѣли остановить это умственное движеніе. Григорій IX въ 1231 году запретилъ католическія сочиненія Аристотеля о философіи, но до тѣхъ поръ, пока эти книги не были исправлены и очищены учеными богословами. Запрещеніе это ни къ чему не повело; Аристотель остался неочищеннымъ, и студенты всѣхъ университетовъ продолжали читать его съ неизмѣнною любовью.

Встрѣваясь въ такіе факты, какъ основаніе неаполитанскаго университета и переводъ Аристотеля, мы поневолѣ должны изумляться дальновидности Фридриха II. Этотъ властолюбивый цезарь, невѣрившій въ безсмертіе души и оставившій судъ исторіи, умѣлъ однако, поощрять гениальнымъ людямъ, смотрѣть впередъ въ далекое будущее, и, независимо отъ собственной воли, по непосредственной гениальности своего ума, выбиралъ противъ своихъ интересовъ такіе средства, которыя подрывали ихъ существо въ основномъ принципѣ и которыя воевали на многія поколѣнія, дѣйствовали на нихъ тогда уже и самъ Фридрихъ, и всѣ его личныя дѣла давно лежали въ могилахъ.

VII.

Возвративъ на прочныя основанія вну-

тренное управленіе Сицилійскаго королевства, Фридрихъ II съ 1236 года сосредоточилъ все свое вниманіе на покореніи Ломбардіи. Ломбардцы защищались отчаянно. Къ нимъ примкнули морскія державы Италіи: Генуя и Венеція. Папа старался сперва урезонить властолюбиваго императора, но Фридрихъ попросилъ его разъ навсегда не вмѣшиваться въ свѣтскія дѣла. Тогда папа, вовсе не желая исполнить эту нескромную просьбу, открыто присоединился къ союзу верхне-итальянскихъ городовъ и въ 1239 году снова отлучилъ отъ церкви своего стариннаго врага. Съ этой минуты до самой смерти Фридриха, то-есть до 1250 года, борьба его съ папствомъ уже не прекращалась. Воюющія стороны осыпали другъ друга проклятіями, ругательствами и публичными обвиненіями. Фридрихъ писалъ ко всѣмъ европейскимъ правительствамъ, что папа — воръ, пьяница и развратникъ. Григорій IX объявилъ съ своей стороны, что императоръ — негодяй, еретикъ и безбожникъ, невѣрующій въ Христа и осмѣивающій таинства религіи. — Недостойный намѣстникъ Христа, — писалъ Фридрихъ, — сидитъ въ своемъ дворцѣ, какъ купецъ въ лавкѣ, и за золото продаетъ отпущеніе грѣховъ, пишетъ и подписываетъ векселя и пересчитываетъ деньги. Онъ только потому и преслѣдуетъ меня своей ненавистью, что я не согласился женить на его племянницѣ моего побочнаго сына Энціо, теперешняго короля Сардиніи... Среди церкви, — продолжаетъ онъ, — возмущается бѣснующійся кудесникъ, человекъ лжи, святи-тель, оскверненный преступленіями и развратомъ... Онъ пьяница, и хмельной, называетъ себя повелителемъ неба и земли. — Григорій, разумеется, не оставался въ долгу и отвѣчалъ блистательными ругательствами на обличительное краснорѣчіе Фридриха. — Изъ воли морскихъ — возмущаетъ папа — вышелъ звѣрь, на которомъ написано крупными буквами его имя: «богохульство». — Оказывается, что этотъ звѣрь не что иное, какъ самъ Фридрихъ II. — «Онъ (то-есть звѣрь или Фридрихъ) утверждаетъ ложно, что я возмущенъ по поводу несостоявшагося брака между моею племянницей и его побочнымъ сыномъ. Онъ лжетъ еще болѣе безсовѣстнымъ образомъ, утверждая, что я продалъ мою вѣру ломбардцамъ.»

Доминиканцы, бывшіе постоянно самыми твердыми защитниками папства, неумоимо проповѣдывали противъ Фридриха въ самыхъ низшихъ слояхъ европейскаго населенія; любимой темой ихъ проповѣдей были извѣстныя сношенія Фридриха съ магометанскими правителями; при этомъ не забывались, разумеется, и тѣ права, которыми пользовались въ Сицилійскомъ королевствѣ евреи и арабы. Изъ всѣхъ этихъ неопровержимыхъ и совершенно достоверныхъ фактовъ усердные монахи выводили то очень натянутое заключеніе, что Фридрихъ со-

вершенно отказался отъ христіанства и старается истребить его оружіемъ, учеными сочиненіями и дерзкими насмѣшками. Для большей убѣдительности и для красоты слога проповѣдники приписывали Фридриху разныя нелѣпыя кощунства, которыхъ, разумѣется, никогда не позволялъ бы себѣ при постороннихъ свидѣтеляхъ умный и осторожный правитель, особенно если принять въ соображеніе, что этому правителю было уже слишкомъ сорокъ лѣтъ, и что онъ съ самой ранней молодости выучился владѣть собой и обманывать всю Европу своимъ лицемѣріемъ. Ходили, правда, какіе-то темныя слухи о какой-то таинственной книгѣ, говорили, что эта книга наполнена дерзкими выходками противъ христіанства и что ее написалъ самъ Фридрихъ или по крайней мѣрѣ его канцлеръ, Петръ а-Винсисъ; но книга эта до насъ не дошла; извѣстія о ней чрезвычайно отрывочны и смутны; ссылаются на эту книгу злѣйшіе враги Фридриха II; а на самомъ дѣлѣ очень трудно повѣрить тому, чтобы серьезные государственные люди, заваленные разнообразнѣйшими заботами по всемъ отраслямъ законодательства, дипломатіи, судопроизводства, финансовой и гражданской администраціи, вздумали сочинять нелѣпый памфлетъ, отъ котораго они не могли ожидать себѣ ничего, кромѣ хлопотъ и непріятностей. Всего правдоподобнѣе, что вся эта книга есть чистый мифъ, созданный епископами и монахами Сицилійскаго королевства. Само-собой разумѣется, что всѣ клерикалы южной Италіи и Сициліи были озлоблены до глубины души законодательной и административной дѣятельностью Фридриха, которому постоянно помогалъ его канцлеръ. Выразиться въ вооруженномъ возстаніи это озлобленіе не могло, потому что Фридрихъ былъ очень бдителенъ и поступалъ очень круто съ нарушителями общественнаго спокойствія. Значить, надо было мстить осторожно, посредствомъ клеветы; а клевету всего удобнѣе было направить противъ той стороны въ личности Фридриха и его канцлера, которая дѣйствительно вызывала въ народѣ толки и сомнѣнія. Императоръ ведетъ дружбу съ невѣрными—чего же лучше? Сейчасъ можно прицѣпить къ этому обстоятельству обвиненіе въ отступничествѣ, въ безбожіи, въ насмѣжѣ надъ святыней. И, разумѣется, не зачѣмъ было останавливаться на неопредѣленныхъ толкахъ; можно было сочинить цѣлые рассказы съ именами дѣйствующихъ лицъ, съ указаніемъ мѣста и времени, съ приведеніемъ фантастическихъ заглавій, принадлежащихъ несуществующимъ сочиненіямъ.

Въ то время, когда Фридрихъ, отлученный отъ церкви, ругался съ папой передъ лицомъ всей католической Европы, въ то время, когда доминиканцы громили его въ своихъ проповѣдяхъ,—францисканцы стояли за него горой и распростра-

няли въ народѣ разныя слухи, невыгодныя для папства. Генераль францисканскаго ордена, Илія, непосредственный преемникъ святого Франциска, былъ однимъ изъ самыхъ ревностныхъ приверженцевъ Фридриха. Этотъ глубокій раздоръ клерикаловъ между собой показываетъ особенно наглядно ветхость католицизма. Если можно было оставаться католикомъ, монахомъ и проповѣдникомъ, поддерживая заклятыхъ враговъ папы, людей, отлученныхъ отъ церкви и обвиненныхъ въ безбожіи, то очевидно католицизмъ переставалъ быть дѣломъ искренняго убѣжденія и превращался въ мертвую массу условныхъ формальностей даже для тѣхъ людей, которые по своему officialному положенію были обязаны проводить и поддерживать словомъ и примѣромъ католическія идеи. Впрочемъ Фридрихъ съ своей стороны старался по возможности, разными подвижными благочестіями, облегчать трудную задачу услужливыхъ францисканцевъ, взявшихъ на себя эту защиту. Чтобы доказать католической Европѣ, что онъ не совсѣмъ пропащій человекъ и что слѣдующіе доминиканцы взводятъ на него чистѣйшую напраслину, Фридрихъ преслѣдовалъ, имталъ и сжигалъ въ верхней Италіи тѣхъ самыхъ еретиковъ, которыхъ папа со временъ альбигойской войны безпощадно истреблялъ въ южной Франціи. Но Григорій IX ни за что не хотѣлъ уступить Фридриху въ двуличности. Григорій принялъ итальянскихъ еретиковъ подъ свое кровительство и сталъ проклинать Фридриха и его жестокость въ то самое время, когда папскіе легаты и доминиканскіе инквизиторы продолжали свирѣпствовать противъ еретиковъ южной Франціи. Одинъ мучилъ и казнилъ такихъ людей, которыхъ онъ очевидно считалъ совершенно виновными; а другой изъ ненависти къ первымъ оплакивалъ этихъ несчастныхъ, которыхъ онъ самъ въ другое время охотно изжарилъ бы на медленномъ огнѣ. И оба усерднѣйшимъ образомъ выводили другъ друга на свѣжую воду; оба изстѣ всевозможными средствами старались убить Европу въ томъ, что папа и императоръ рѣшительно никуда не годятся. Мудрено ли, что Европа, прислушиваясь къ ихъ скандальнымъ словамъ и присматриваясь къ ихъ безсовѣстнымъ поступкамъ, понемногу начала терять довѣріе какъ въ папство, такъ и въ священную римскую имперію.

Взаимно истребляя другъ друга, папство и священная римская имперія оказали Европѣ и забвенную услугу, тѣмъ болѣе важную, что не могла оказать никакая третья, посторонняя сила. Освобожденіе европейской мысли могло возникнуть только изъ роковой спланировки всѣхъ авторитетовъ. Жизнь Фридриха полнена самыми черными преступленіями; мрачныя стороны его неукротимо двинулись впередъ и обрисовались ефно въ время его послѣдней, ...

жесточенной и совершенно безуспѣшной борьбы съ городами верхней Италіи. Раздраженный не-
любимымъ сопротивленіемъ свободныхъ ита-
лианцевъ, непреклонный деспотъ превратился въ
отчаяннаго игрока, для котораго исчезли всякія
соображенія, не относящіяся къ начатой игрѣ.
Монголы угрожали Германіи съ Востока, неапо-
литанцы и сицилійцы роптали противъ невыно-
симыхъ налоговъ, уходившихъ на военные рас-
ходы, ломбардцы просили мира и предлагали вы-
годныя условія, но Фридрихъ, какъ страстный
игрокъ, не обращалъ вниманія ни на что. Онъ
требовалъ безусловной покорности и, приводя
своихъ враговъ въ отчаяніе неумѣренностью это-
го требованія, продолжалъ безпощадную и без-
плодную войну, разорялъ своихъ подданныхъ,
разорялъ своихъ враговъ и позволялъ монголамъ
опустошать Венгрію и тревожить восточныя об-
ласти Германской имперіи. И между тѣмъ этотъ
безсовѣстѣйшій человѣкъ, не отступавшій ни
передъ грабежомъ, ни передъ насиліемъ, ни пе-
редъ юридическимъ убійствомъ, до такой степени
соотвѣтствовалъ требованіямъ своего вѣка и сво-
его народа, что народъ долго любилъ и помнилъ
его энергическую личность. Нѣмцы воспѣли и
прославили въ немъ именно ту черту его дѣя-
тельности, что онъ не давалъ простыхъ людей въ
обиду духовенству. Фридрихъ тотчасъ послѣ сво-
ей смерти сдѣлался героемъ народныхъ легендъ,
и этотъ легендарный образъ, очищенный фанта-
зіей отъ всякой грязной примѣси, надѣлалъ мно-
го хлопотъ одному изъ лучшихъ преемниковъ
Фридриха, Рудольфу Габсбургскому.

«Какъ ни благотѣльно было управленіе Ру-
дольфа, — говоритъ Шлоссеръ, — но память о Го-
генштауфенахъ жила еще въ народѣ. Было даже
повѣрье, что Фридрихъ II воскреснетъ и преоб-
разуетъ испорченную религію; вслѣдствіе того въ
Германіи появлялось множество самозванцевъ.
Изъ 20 или 30 подобныхъ людей одинъ приоб-
рѣлъ такое значеніе, что Рудольфъ долженъ былъ
лично выступить противъ него, но и тутъ онъ
дѣйствовалъ съ обычнымъ хладнокровіемъ, умомъ
и умѣренностью. Этотъ самозванецъ, Тиле Колунъ
или Деревянный Башмакъ, былъ простой крестья-
нинъ изъ окрестностей Кельна, но счумѣлъ такъ
повести дѣло, что привлекъ къ себѣ все населе-
ніе отъ Кельна до Майнца и даже многихъ ры-
царей. Ему охотно вѣрили вслѣдствіе общаго
ожесточенія противъ духовенства и потому, что
были еще живы многіе солдаты Фридриха, обо-
гатившіеся въ итальянскихъ походахъ. Рудольфъ
долженъ былъ приступить къ Майнцу, гдѣ нахо-
дился Тиле, но жители отказались его выдать,
такъ что императору пришлось начать осаду.
Желая кончить дѣло мирнымъ путемъ, онъ по-
слалъ въ городъ бургграфа Нюрнбергскаго и
фоня Катцелленбогена, которые до-
рогу, по возрасту Тиле, что онъ —
Фридрихомъ II. Тогда Тиле бѣ-

и попалъ въ плѣнъ; его осудили за чародѣйство
и сожгли, но предварительно имперскій маршалъ
выгналъ изъ него волшебную силу.»

Такимъ образомъ уже во второй половинѣ
XIII вѣка нѣмецкій народъ размышлялъ или,
вѣришь, мечталъ о преобразованіи испорченной
религіи. И трудъ этого преобразованія онъ по-
ручалъ въ своихъ мечтахъ не какому-нибудь свя-
тому отшельнику, а, напротивъ того, знамени-
тому государственному человѣку и отъявленному
врагу паны.

VIII.

Доминиканцы были постоянно самыми надеж-
ными орудіями клерикальнаго деспотизма, но
орденъ францисканцевъ вскорѣ послѣ своего
основанія примкнулъ къ врагамъ панства и
даже заразился еретическими доктринами, чрез-
вычайно опасными для римской теократіи. Въ
концѣ XII вѣка была написана какимъ-то не-
извѣстнымъ лицомъ странная книга, носившая
название «вѣчнаго евангелія». Эта книга произ-
вела на своихъ первыхъ читателей такое силь-
ное впечатлѣніе, что о ней тотчасъ составила-
ся легенда. Стали рассказывать, что подлинникъ
этого сочиненія, написанный на мѣдныхъ до-
скахъ, былъ принесенъ съ неба ангеломъ и вру-
ченъ священнику Кириллу, который передалъ
его аббату Іоахиму. Этотъ Іоахимъ былъ из-
вѣстенъ въ католическомъ мірѣ безукоризнен-
ной чистотой своей жизни и глубокой искрен-
ностью своего благочестія; когда онъ былъ живъ,
его считали угодникомъ божьимъ и пророкомъ;
послѣ его смерти римская церковь причислила
его къ лику своихъ святыхъ. Ясно, стало-быть,
что имя Іоахима пользовалось между клерика-
лами сильнымъ авторитетомъ. Лѣтъ черезъ
пятьдесятъ послѣ его смерти книга «вѣчное
евангеліе» стала распространяться въ монасты-
ряхъ францисканскаго ордена; къ этой книгѣ
было уже въ это время придѣлано введеніе,
объяснявшее ея смыслъ и написанное Іоанномъ
Пармскимъ, генераломъ францисканцевъ. Въ
этомъ введеніи Іоаннъ доказывалъ, что угод-
никъ и пророкъ Іоахимъ, проникнувшись иде-
ями «вѣчнаго евангелія», считалъ дѣло рим-
ской церкви совершенно оконченнымъ и
предсказалъ ей неизбѣжное паденіе. Далѣе, вве-
деніе Іоанна раскрывало значеніе мистическихъ
образовъ, наполнявшихъ эту таинственную кни-
гу, и давало имъ такія толкованія, которыя ни-
какъ не могли понравиться панству. Іоаннъ го-
ворилъ, что божественный Промыслъ ведетъ че-
ловѣчество черезъ различныя эпохи или періо-
ды; во время ветхозавѣтнаго или еврейскаго
періода міръ находился подъ непосредствен-
нымъ господствомъ Бога-Отца; во время хри-
стическаго періода — подъ господствомъ
Богородицы; въ настоящее время — подъ
господствомъ Христа-Сына; въ послѣднюю эпоху
онъ, наступающую послѣ христовой эпохи, —

Богъ-Отецъ; во время хри-
стическаго періода — подъ господствомъ
Богородицы; въ настоящее время — подъ
господствомъ Христа-Сына; въ послѣднюю эпоху
онъ, наступающую послѣ христовой эпохи, —

царствъ вѣра перестанетъ быть необходимой, потому что все будетъ совершаться по законамъ разума и мудрости. Эти законы заключаются, по его словамъ, въ «вѣчномъ евангеліи», которое должно замѣнить собой новый завѣтъ, подобно тому, какъ новый завѣтъ сталъ на мѣсто ветхаго завѣта.

Папа Александръ IV проклаялъ еретическую книгу и сталъ преслѣдовать ея адептовъ. Доминиканцы, облеченные инквизиторскою властью, съ особеннымъ удовольствіемъ принялись ловить, пытати жечь своихъ соперниковъ, францисканцевъ. Много еретиковъ, называвшихъ себя *спиритуалистами*, и много экземпляровъ опасной книги погибло отъ руки палача. Гоненіе произвело свое обыкновенное дѣйствіе. Броженіе умовъ усиливалось и число фанатиковъ, готовыхъ терпѣть мученіе и смерть за «новое ученіе», стало быстро увеличиваться. Въ ордень францисканцевъ произошло странное раздвоеніе: нѣкоторые монастыри измѣнили обѣту нищенства и втянулись въ роскошь; другіе продолжали вести воздержный и суровый образъ жизни, заставляя своихъ монаховъ ходить по городамъ и селамъ, питаться подаяніемъ и постоянно говорить проповѣди простому народу. Эти нищіе проповѣдники, настоящіе духовные дѣти святаго Франсиска, могли сильно дѣйствовать на умъ и чувство простыхъ людей; но именно эти суровые ненавистники всякой роскоши заразились до мозга костей идеями «новаго ученія». Они проповѣдывали неутомимо, но для папства было бы гораздо лучше, если бы они не говорили ни слова. Ихъ проповѣди только усиливали и осмысливали то негодованіе, съ которымъ простые люди давно уже смотрѣли на эпикурейскую жизнь епископовъ, аббатовъ и монаховъ.

Въ концѣ XIII вѣка одинъ изъ обожателей «вѣчнаго евангелія» написалъ истолкованіе апокалипсиса и раздѣлилъ въ этомъ сочиненіи христіанскую эпоху на семь отдѣльных періодовъ: первый—проповѣдь апостоловъ; второй—страданія мучениковъ; третій—борьба съ еретиками; четвертый—подвиги отшельниковъ; пятый—господство монастырской системы; шестой—низверженіе антихриста; седьмой — наступленіе блаженнаго тысячелѣтія (Millenium). Авторъ истолкованія утверждалъ, что его современники живутъ въ шестомъ періодѣ, что настало время низвергнуть антихриста и что подъ этимъ послѣднимъ именемъ слѣдуетъ подразумѣвать папу. Римскую церковь онъ называлъ блудницей, облеченной въ пурпуръ; онъ говорилъ, что вся ея іерархія сдѣлалась излишней и ни на что негодной, что ихъ дѣло сдѣлано и что «ихъ приговоръ запечатанъ послѣдней печатью». Идея этого писателя были подхвачены на лету тысячами нищенствующихъ монаховъ и пробралась съ ужасающей быстротой въ низшіе слои евро-

пейскаго народонаселенія. Францисканскіе фанатики проповѣдывали публично, что духовенство развращено, что папа — антихристъ и члвкъ грѣха, что церковныя таинства потеряли свою спасительную силу, что пришла пора покаяться и начать новую жизнь. У нѣкоторыхъ францисканскихъ общинъ оппозиція противъ господствующей церкви дошла даже до такихъ колоссальныхъ размѣровъ, что онѣ поставили своего патрона, Франциска, выше самого Спасителя.

Все это совершалось за двѣсти лѣтъ до Лютера. Въ это тревожное и зазорное время, въ самомъ концѣ XIII и въ самомъ началѣ XIV вѣка, на папскомъ престолѣ сидѣлъ страстный и вѣбалошный челоуѣкъ, Бонифацій VIII усердный, но неудавшійся подражатель Григорія VII и Иннокентія III. Притязанія Бонифація были безгранично-широки; онъ говорилъ съ королями католической Европы тономъ повелѣтельнаго диктатора; но зато, кромѣ властолюбія и корыстолюбія, у этого задорнаго папы не было никакихъ политическихъ дарованій; перевѣсъ матеріальной, денежной и даже умственной силы былъ на сторонѣ его противниковъ. Бонифацій умѣлъ только раздражать своихъ враговъ ругательствами и проклятіями; ни изъ нихъ не чувствовалъ къ нему ни страха, ни уваженія; смѣшная безтактичность его дикторскихъ замашекъ втянула его въ жестоку борьбу съ свѣтской властью, которая, собравши вокругъ себя всѣхъ многочисленныхъ противниковъ папства, воспользовалась этимъ удобнымъ случаемъ, чтобы нанести смертельный ударъ теократическому принципу римской имперіальной политики. Послѣ Бонифація папство стало превращаться въ блестящій анахронизмъ, опасный только для скромныхъ кабинетныхъ мыслителей и совершенно безвредный для политическихъ дѣятелей.

Главнымъ противникомъ и счастливымъ побѣдителемъ неосторожнаго Бонифація былъ французскій король, Филиппъ IV Красивый, одинъ изъ крупныхъ представителей того типа, съ которымъ я познакомилъ моихъ читателей въ характеристикѣ императора Фридриха II. Споръ между двумя властями возникъ, разумеется, изъ-за денегъ. Обѣ стороны съ одинаковымъ усердіемъ старались молотить рожь на обухъ. Филиппъ чеканилъ фальшивую монету, отрубилъ всѣхъ евреевъ своего королевства и наконецъ подѣхалъ съ самыми хищными намереніями къ имуществамъ церквей и монастырей, неплательщикамъ никакихъ податей Коммунъ, съ своей стороны, торговалъ еп. должностями и кардинальскими индигиями, разбавляя деньги у нищенствующихъ казывая имъ очень убѣдительно нищенствовать, а не богатыми, придумалъ устроить въ 130

то-есть объявилъ, что всѣ люди, желающіе получить полное отпущеніе грѣховъ, должны въ теченіи этого года побывать въ Римѣ на паломничествѣ.

О-собой разумѣется, что два виртуоза, по имени Филиппу и Бонифацію, непременно должны были столкнуться между собой на тернистомъ пути систематическаго обирания. Бонифаций не умѣлъ уступать и не понималъ необходимости дѣйствовать осторожно; а Филиппъ, что ему выгодно унижить папу и что въ зачѣмъ съ нимъ церемониться. Передъ нимъ Филиппа находился очень поучительный примѣръ: его современникъ и ближайшій другъ, англійскій король Эдуардъ I, безъ всякаго шума и кровопролитія, принудилъ свое государство нести часть государственныхъ повинностей. Англійскіе епископы и аббаты долго отказались платить подати, но Эдуардъ приказалъ судить всего королевства выслушивать жалобы, поступающія въ суды противъ духовства, и въ то-же время отвергать безъ всякаго жалоба, подаваемые самими духовными. Кто не платитъ налоговъ, — говорилъ Эдуардъ — тотъ не имѣетъ права пользоваться покровительствомъ законовъ. При такомъ порядкѣ англійскимъ епископамъ и аббатамъ пришлось такъ жалко, что они очень скоро покорились и согласились платить подати наравнѣ со свѣтскими землевладѣльцами. Этотъ примѣръ былъ очень соблазнителенъ для Филиппа, болѣе, что у него также находились подъ рукой опытные юристы, готовые по первому приказанію рѣшить въ ту или другую сторону въ соблюденіи всѣхъ тончайшихъ принциповъ, самыя запутанные вопросы гражданскаго, каноническаго, государственнаго и даже другаго, естественнаго или неестественнаго права. Въ 1226 году Бонифаций издалъ буллу «Clericis laicos», въ которой онъ запретилъ духовенству платить подати свѣтской власти. Въ отвѣтъ на эту буллу Филиппъ запретилъ вывозить изъ Франціи драгоцѣнные металлы, оружіе и лошадей. Вслѣдствіе этого Бонифаций потерялъ значительную часть своихъ доходовъ; кромѣ того всѣ итальянскіе купцы начали кричать, что папа своими глупыми выдумками подрываетъ ихъ торговлю. Бонифаций боялся запугать Филиппа новой буллой, болѣе рѣзкой, но Филиппъ въ своихъ манифестахъ заговорилъ объ извѣженности духовенства и высказалъ такъ много горькихъ истинъ, что папа смягчился и началъ извиняться, говоря, что буллы его совсѣмъ не относятся къ Филиппу. Полемика между королемъ и папой продолжалась, но Бонифаций долго помнилъ данную ему урокъ. Въ 1301 году, поссорившись съ папой изъ-за одного епископа, издалъ буллу «Ausculta fili», въ которой онъ приказалъ всѣмъ епископамъ повиноваться папѣ, а не королю.

Свѣтскихъ дѣлахъ. Филиппъ, окруженный умными, учеными, хитрыми и опытными совѣтниками изъ юристовъ, тотчасъ съумѣлъ дать своей новой ссорѣ съ Бонифаціемъ такой характеръ, что она превратилась въ дѣло всего французскаго народа. Король сказалъ, что, защищая по своей обязанности національную независимость и честь Франціи, онъ отвергаетъ торжественно всѣ незаконныя притязанія римскаго первосвященника. Папская булла была публично сожжена въ Парижѣ. Вслѣдъ за тѣмъ Филиппъ созвалъ депутатовъ дворянства, духовенства и городовъ, и въ этомъ собраніи государственныхъ чиновъ (états généraux), несмотря на робкую оппозицію клерикаловъ, требованія Бонифація были объявлены совершенно безразсудными. Бонифаций издавалъ новыя буллы, созывалъ въ Римѣ соборы, ругалъ и проклиналъ короля и его совѣтниковъ, наконецъ отлучилъ Филиппа отъ церкви; но всѣ эти рѣзкія мѣры не наносили ни малѣйшаго вреда никому, кромѣ самого папы. Общественное мнѣніе Франціи было обработано такъ ловко, съ одной стороны учеными юристами, съ другой стороны нищенствующими монахами, ругавшими богатое духовенство на всѣхъ перекресткахъ, что весь народъ смотрѣлъ на своего корыстолюбиваго короля, какъ на естественнаго защитника французской чести и самостоятельности.

Понимая свою силу, юристы Филиппа быстро перешли изъ оборонительнаго положенія въ наступательное. Въ 1303 году совѣтники короля, и во главѣ ихъ Вильгельмъ Ногаре, доказали новому собранію государственныхъ чиновъ, что Бонифаций VIII незаконнымъ образомъ присвоилъ себѣ папскую тиару, что онъ торгуетъ церковными должностями, предается распутству, не вѣруетъ въ Бога, отрицаетъ безсмертіе души, глумится надъ величайшими таинствами религіи. Въ этомъ обвиненіи, какъ и во всѣхъ средневѣковыхъ обвиненіяхъ, несомнѣнными истинами были перемѣшаны съ нелѣпыми выдумками. Взвавъ на Бонифація всѣ преступления, когда-либо совершенныя на земномъ шарѣ, усердные обвинители пришли къ тому заключенію, что такого отвѣщеннаго негодяя слѣдуетъ низложить, арестовать и предать суду вселенскаго собора. Собраніе согласилось съ мнѣніемъ обвинителей, и въ томъ-же 1303 году Филиппъ, не желая болѣе тратить время на безплодныя перебранки, отправилъ Вильгельма Ногаре въ Италію съ большими денежными суммами и векселями. Ловкій агентъ французскаго короля соединился съ римской фамиліей Колонны, которая уже давно старалась погубить Бонифація. Нанявши толпу вооруженныхъ людей, искусные и смѣлые союзники заняли папу въ палатѣ, и при этомъ случаѣ главный чинчикъ Вильгельмъ Ногаре далъ

папѣ VII и Иннокентію III ту

знаменитую пощечину, которая на вѣчныя времена записана въ исторіи. Бонифацій умеръ въ томъ-же 1303 году, такъ что судъ надъ нимъ не состоялся.

Слѣдующій папа, Бенедиктъ IX, прожилъ всего нѣсколько мѣсяцевъ, а преемникъ Бенедикта, французъ Бертранъ, архіепископъ бордосскій, принявшій имя Климента V, сдѣлался папой по милости Филиппа Красиваго и оставался подъ его вліяніемъ втеченіи всей своей жизни. По требованію Филиппа онъ перенесъ свою резиденцію изъ Рима въ южную Францію, въ городъ Авиньонъ. Вмѣстѣ съ Филиппомъ онъ засудилъ и ограбилъ богатыхъ тамплиеровъ. Самый орденъ тамплиеровъ былъ уничтоженъ, имѣнія его раздѣлены между папой и королемъ, а рыцари, обвиненные во многихъ чрезвычайно неправдоподобныхъ и грязныхъ преступленіяхъ, были измучены тюремнымъ заключеніемъ и пытками, а потомъ, какъ водится, сожжены. Въ Авиньонѣ папы жили весело и роскошно почти семьдесятъ лѣтъ. Въ концѣ четырнадцатаго столѣтія ихъ вавилонское плѣніе окончилось; Григорій XI воротился въ Римъ, но величіе и нравственное могущество папства оказались невозвратными. На папскія проклятія почти никто уже не обращалъ вниманія: миланскій герцогъ Варнава Висконти, получивъ папскую буллу, отлучавшую его отъ церкви, заставлялъ кардиналовъ, вручившихъ ему это грозное посланіе, съѣсть цѣликомъ весь пергаментъ, на которомъ оно было написано, вмѣстѣ съ свинцовой печатью и съ шелковымъ снуркомъ. Въ Англіи уже проповѣдывали въ это время ученый мыслитель Висклефъ и неукротимый фанатикъ Джонъ Буль. Одинъ дѣйствовалъ на высшіе классы общества, другой волновалъ народные массы; оба съ одинаковой силой возставали противъ злоупотребленій римской іерархіи, осуждали роскошь духовенства и старались возстановить чистоту и простоту первобытнаго христіанства. Идеи Висклефа перелетѣли на материкъ; въ Богеміи заговорилъ, въ началѣ XV вѣка, неустрашимый проповѣдникъ Іоаннъ Гуссъ. Въ то время, когда старое зданіе католицизма трещало и разваливалось повсемѣстно, кардиналы ухитрились выбрать двухъ папъ, которые начали ругать и проклинять другъ друга. Соборъ, созванный кардиналами въ Пизѣ, низложилъ обѣихъ папъ и выбралъ третьяго. Но низложенные папы не признавали компетентности собора; на его приговоры они отвѣчали проклятіями, и такимъ образомъ, къ изумленію всѣхъ католиковъ, сохранившихъ еще средневѣковую наивность міросозерцанія, оказалось разомъ три папы, и взаимная брань дошла до послѣднихъ предѣловъ неприличія.

Въ 1416 году Константинопольскій соборъ, подъ предсѣдательствомъ императора Сигизмунда, положилъ конецъ этимъ безпорядкамъ и, для воз-

становленія древняго благочестія, осудилъ на Гусса на смертную казнь, несмотря на новую грамоту, данную ему тѣмъ-же самимъ Гизмундомъ. Гуссъ сгорѣлъ на кострѣ, и осталась недостигнутой, древнее благочестіе возстановилось, и въ половинѣ XV вѣка и умный католикъ, Эней Сильвій, ринулся съ холоднымъ отчаяніемъ: «въраженъ въ католическій міръ превратился въ тѣло головы, въ республику, не имѣющую ни тельства, ни законовъ. Папа и императоръ блистать величіемъ своихъ титуловъ и пышностью своихъ костюмовъ; но они не имѣютъ силъ повелѣвать, и никто не расположенъ повиноваться.» Начинается новая жизнь, и папская мысль старается заявить свою самостоятельность и полноправность повѣсть отъ науки и практической дѣятельности. Колумба причаливаетъ къ берегамъ новаго мира. Телескопъ Галилея открываетъ тысячелѣтніе звѣзды. Типографскій станокъ заводитъ на развалинахъ римской духовной небывалую общественную силу. Тяжелый невѣжовый кризисъ оканчивается блистательнымъ выздоровленіемъ.

IX.

Въ XIII столѣтіи блаженный Рихальмъ аббатъ шентальскаго монастыря, написалъ любопытное изслѣдованіе «о козняхъ и злодѣяніяхъ демоновъ противъ людей». Книжка Рихальма была выпущена въ свѣтъ послѣ смерти автора и разошлась во многихъ спискахъ тогдашнимъ монастырямъ. Издатель этого сочиненія—монахъ, которому Рихальмъ диктовалъ, изложилъ въ немъ результаты своихъ наблюденій, — зналъ, каковы были умственные потребности своихъ будущихъ читателей и умѣлъ оцѣнить высокую стоимость издаваемого сочиненія. «Это очень печальное обстоятельство, — говоритъ издатель въ предисловіи къ труду Рихальма, — что мы не знаемъ ничего или знаемъ такъ мало подробнаго о жизни нашихъ невидимыхъ враговъ. Я хочу теперь обнародовать открытія аббата Рихальма, который занимался втеченіи всей своей жизни наблюденіями надъ демонами, который видѣлъ и слышалъ, который зналъ всѣ ихъ козны и злодѣянія.»

Аббатъ Рихальмъ занимался своимъ дѣломъ какъ добросовѣстный ученый изслѣдователь. Онъ умѣлъ съ замѣчательной ясностью пересказать свои наблюденія читателямъ. «Думаю, — пишетъ онъ, — что каждый читатель, — и не только католикъ, — не искушается и терзается демономъ. Это—общее заблужденіе. Вообразите себѣ, что вы погружены въ воду совсѣмъ съ головой. Вода давитъ васъ сверху, давитъ снизу, давитъ съ боковъ: вотъ наглядное изображеніе злодѣянія демоновъ, которые окружаютъ и смущаютъ васъ со всѣхъ сторонъ; они безчис-

линки, носящіяся въ солнечномъ лучѣ, и даже глубокой сонъ; но Рихальмъ, какъ человѣкъ еще безчисленнѣе; воздухъ—не что иное, какъ опытный, умѣлъ обороняться противъ ихъ коварства искусственными мѣрами; онъ обнажалъ свою руку, чтобы холодъ отгонялъ отъ него сонъ; тогда черти производили въ этой рукѣ невыносимый зудъ, подобный укушенію многихъ блохъ; Рихальмъ убиралъ руку подъ рясу; рука согрѣвалась, и тогда уже не оставалось никакой возможности бодрствовать и читать; аббатъ закрывалъ глаза, сознавая свое человѣческое безсиліе и неутомимость вражескихъ козней. Работа также не нравилась дьяволу; когда монахи трудятся, черти стѣсняють ихъ дыханіе или бросаются къ нимъ на ноги и на руки и такимъ образомъ ежеминутно возбуждаютъ въ нихъ желаніе опочить отъ трудовъ. Когда однажды Рихальмъ вмѣстѣ съ монахами носилъ камни въ монастырскомъ саду для построенія ограды, одинъ изъ мѣстныхъ чертей сталъ декламировать во всеуслышаніе стихи Горация, прославлявшіе прелести праздной и изнѣженной жизни. «Кто это сказалъ,—прибавилъ искusstель,—тотъ былъ человѣкъ не глухой. Вамъ-бы слѣдовало устроить себѣ жизнь по примѣру Горация; невозможно долго выдержать тяжелую работу, къ которой васъ приневоливаютъ.» — Когда монахи садятся за столъ, черти дѣлають имъ всякія пакости; иной разъ они отнимають у монаховъ аппетитъ, чтобы довести ихъ до разслабленія; чаще всего они заставляютъ ихъ ѣсть такъ много, что у нихъ раздувается животъ и начинается тошнота. Когда въ большіе праздники подается къ столу хорошее вино, тогда прибѣгаютъ стаи чертей и напивають монаховъ до положенія ризъ. А когда монаху необходимо пить вино, тогда тѣ-же черти внушають ему къ вину непобѣдимое отвращеніе. Такое несчастіе испыталъ на себѣ самъ Рихальмъ, которому вино было необходимо для поддержанія здоровья.

Вся наука Рихальма основана на непосредственномъ наблюденіи; онъ говорилъ съ демонами, слышалъ рѣчи и проникалъ во всѣ тайны ихъ разговоровъ и злоумышленій. Въ своей способности слышать и понимать языкъ чертей, недоступный для большинства смертныхъ, аббатъ шентальскій видѣлъ проявленіе особеннаго вдохновенія. Онъ боялся, что этотъ даръ возбудитъ въ душѣ его нагубную гордость, и во избѣжаніе этого зла распорядился такъ, что его изслѣдованіе осталось неизданнымъ до самой его смерти. Опасенія скромнаго Рихальма были основательны: твореніе опытнаго демонолога вошло въ славу, и монахи XIII вѣка выразили о немъ ту мысль, что оно «должно сдѣлаться настольной книгой для философовъ, теологовъ и аскетовъ». Въ этомъ сужденіи нѣтъ ничего удивительнаго. Величайшіе средневѣковые мыслители, Альбертъ Кельнскій, Рожеръ Бэконъ, Тома Аквинскій, Бонавентура, Петръ

Рихальмъ, какъ человѣкъ опытный, умѣлъ обороняться противъ ихъ коварства искусственными мѣрами; онъ обнажалъ свою руку, чтобы холодъ отгонялъ отъ него сонъ; тогда черти производили въ этой рукѣ невыносимый зудъ, подобный укушенію многихъ блохъ; Рихальмъ убиралъ руку подъ рясу; рука согрѣвалась, и тогда уже не оставалось никакой возможности бодрствовать и читать; аббатъ закрывалъ глаза, сознавая свое человѣческое безсиліе и неутомимость вражескихъ козней. Работа также не нравилась дьяволу; когда монахи трудятся, черти стѣсняють ихъ дыханіе или бросаются къ нимъ на ноги и на руки и такимъ образомъ ежеминутно возбуждаютъ въ нихъ желаніе опочить отъ трудовъ. Когда однажды Рихальмъ вмѣстѣ съ монахами носилъ камни въ монастырскомъ саду для построенія ограды, одинъ изъ мѣстныхъ чертей сталъ декламировать во всеуслышаніе стихи Горация, прославлявшіе прелести праздной и изнѣженной жизни. «Кто это сказалъ,—прибавилъ искusstель,—тотъ былъ человѣкъ не глухой. Вамъ-бы слѣдовало устроить себѣ жизнь по примѣру Горация; невозможно долго выдержать тяжелую работу, къ которой васъ приневоливаютъ.» — Когда монахи садятся за столъ, черти дѣлають имъ всякія пакости; иной разъ они отнимають у монаховъ аппетитъ, чтобы довести ихъ до разслабленія; чаще всего они заставляютъ ихъ ѣсть такъ много, что у нихъ раздувается животъ и начинается тошнота. Когда въ большіе праздники подается къ столу хорошее вино, тогда прибѣгаютъ стаи чертей и напивають монаховъ до положенія ризъ. А когда монаху необходимо пить вино, тогда тѣ-же черти внушають ему къ вину непобѣдимое отвращеніе. Такое несчастіе испыталъ на себѣ самъ Рихальмъ, которому вино было необходимо для поддержанія здоровья.

Вся наука Рихальма основана на непосредственномъ наблюденіи; онъ говорилъ съ демонами, слышалъ рѣчи и проникалъ во всѣ тайны ихъ разговоровъ и злоумышленій. Въ своей способности слышать и понимать языкъ чертей, недоступный для большинства смертныхъ, аббатъ шентальскій видѣлъ проявленіе особеннаго вдохновенія. Онъ боялся, что этотъ даръ возбудитъ въ душѣ его нагубную гордость, и во избѣжаніе этого зла распорядился такъ, что его изслѣдованіе осталось неизданнымъ до самой его смерти. Опасенія скромнаго Рихальма были основательны: твореніе опытнаго демонолога вошло въ славу, и монахи XIII вѣка выразили о немъ ту мысль, что оно «должно сдѣлаться настольной книгой для философовъ, теологовъ и аскетовъ». Въ этомъ сужденіи нѣтъ ничего удивительнаго. Величайшіе средневѣковые мыслители, Альбертъ Кельнскій, Рожеръ Бэконъ, Тома Аквинскій, Бонавентура, Петръ

Достопочтенный, Жерсонъ, всё безъ исключенія, по всемъ правиламъ аристотелевской логики, съ величайшей добросовѣстностью ломали себѣ головы надъ мудреными и очень специальными вопросами, касавшимися до нечистой силы и до ея разнообразныхъ сношеній съ людьми. Аристотелевская логика давала этимъ людямъ возможность вводить въ свое изслѣдованіе тончайшія подраздѣленія и разграниченія понятій; но никакая логика въ мірѣ не можетъ отвѣтить ни да, ни нѣтъ на вопросъ о томъ: соответствуютъ-ли разбираемымъ понятіямъ какія-нибудь явленія живой дѣйствительности? Логика помогала средневѣковымъ философамъ превосходно анализировать галлюцинаціи; логика выводила изъ этихъ галлюцинацій все, что можно было изъ нихъ вывести; но такъ какъ исходная точка всего изслѣдованія была выбрана неудачно, то и заключенія оказывались чрезвычайно странными и дикими даже у такихъ людей, которые были гораздо умнѣе простодушнаго Рихальма. Лютеръ считается великимъ историческимъ дѣятелемъ, и его дѣйствительно невозможно выкинуть изъ исторіи человеческого ума, а между тѣмъ этотъ самый Лютеръ имѣлъ несчастье неоднократно видѣть чорта собственными глазами и пускать ему въ фізіономію собственную чернильницу. Лютеръ утверждалъ, не хуже Рихальма, что хлѣбъ, который мы ѣдимъ, вода, которую мы пьемъ, воздухъ, которымъ мы дышемъ, платье, которое мы носимъ, — словомъ, все, что составляетъ нашу жизнь, — принадлежитъ дьяволу и безчисленнымъ его бѣсенатамъ. Онъ былъ твердо увѣренъ въ томъ, что всё наши болѣзни производятся лукавыми продѣлками чертей, и что на этомъ основаніи люди должны лечиться не лекарствами, а психическими средствами.

Пока человѣческій умъ усиливался проникнуть въ ту высшую и таинственную область, которая навсегда останется для него недоступной, — до тѣхъ поръ лучшія умственные силы гениальныхъ мыслителей тратились постоянно на собираніе и комментированіе разныхъ галлюцинацій, подобныхъ изслѣдованіямъ аббата Рихальма. Люди хотѣли понять то, что само по себѣ непостижимо, и, разслабляя свой умъ въ этой непосильной и невозможной работѣ, теряли способность отличать истину отъ лжи, действительность отъ горячечнаго бреда. Романтики и реакціонеры западной Европы стараются увѣрить всѣхъ и каждаго въ томъ, что средніе вѣка были золотымъ временемъ истиннаго благочестія. Эти господа морочатъ себя и свою довѣрчивую публику. На самомъ дѣлѣ въ средневѣковой жизни не было ни настоящей религіи, ни настоящей науки, а была какая-то очень безобразная смѣсь тѣхъ элементовъ, изъ которыхъ при благоприятныхъ условіяхъ можетъ выработаться то и другое.

Область религіи, въ которой должно господствовать чувство, была загромождена незлыми тонкостями схоластической діалектики. Монахи и священники католической Европы диспутровали о догматахъ, вмѣсто того чтобы проводить въ жизнь истину религіознаго ученія. Область чистаго знанія была завалена неразрѣшимыми вопросами и фантастическими представленіями. Средневѣковые ученые, то-есть тѣ же монахи и священники, диспутировали о высокихъ матеріяхъ, вмѣсто того чтобы скромно изучать видимыя явленія. Для умственного и нравственнаго совершенствованія человечества, для спасенія европейскихъ мозговъ отъ галлюцинацій аббатовъ Рихальмовъ было необходимо отдѣлить навсегда область положительнаго знанія отъ области схоластическихъ умствованій, сосредоточенныхъ въ католическихъ монастыряхъ. Здѣсь я постараюсь показать въ общихъ чертахъ, какимъ образомъ и при какихъ условіяхъ совершалось это необходимое раздѣленіе двухъ существенно различныхъ отраслей человѣческой дѣятельности.

X.

Начиная съ XII вѣка, а быть-можетъ и гораздо раньше, мы замѣчаемъ постоянно возрастающій разладъ между клириками и мірянами, между католической церковью и гражданскимъ обществомъ. Свѣтская власть ведетъ ожесточенную борьбу противъ іерархіи и наконецъ въ началѣ XIV столѣтія одерживаетъ надъ ней рѣшительную побѣду. Представители католицизма уступаютъ неодолимому напору физической силы, но въ теоріи продолжаютъ поддерживать свои притязанія во всей ихъ средневѣковой неумѣренности. Папы XIV столѣтія живутъ въ Авиньонѣ и чувствуютъ на себѣ всѣ тяжести французскаго вліянія, но въ то-же время они всѣми силами стараются увѣрить себя и другихъ, что они попрежнему располагаютъ судьбой царей и народовъ, казня и милуя по своему благоусмотрѣнію всѣхъ сильныхъ и великихъ міра. Папы этого періода рассыпаютъ свои буллы во всѣ концы католической Европы, боясь пойдимому, что безъ этой предосторожности ихъ легкомысленная паства совсѣмъ забудетъ о ихъ существованіи. Шумная литературная дѣятельность авиньонскихъ плѣнниковъ, обширность ихъ претензій, совершенно не соответствующая размѣрамъ ихъ наличныхъ силъ, возбуждаютъ въ догадливыхъ католикахъ насмѣшливое презрѣніе, котораго они даже вовсе не желаютъ скрывать. — Отстраняющіе рыцари XIV вѣка при удобномъ случаѣ совершенно безразлично грабятъ самого папу наравнѣ со всѣми остальными смертными. «Не дорогъ въ Испанію, — говоритъ Шлоссеръ, — Бертранъ провелъ свои дикія орды черезъ Авиньонъ и другія мѣстности южной Франціи, чтобы

доставить имъ случай поживиться на счетъ тамошняго населенія и папы. Въмѣсто потребованной ими огромной суммы денегъ, Урбанъ V предложилъ имъ разрѣшеніе церкви грабить, жечь и убивать; но хищники насмѣшливо отвѣтили ему, что безъ его разрѣшенія они обойдутся, а безъ денегъ никакъ. Папа былъ вынужденъ уплатить имъ 200,000 золотыхъ флориновъ и вознаграждать себя за этотъ убытокъ налогомъ на французское духовенство.»

Но если папа былъ безсиленъ и беззащитенъ, то и вся масса католическаго духовенства находилась въ такомъ же печальномъ положеніи. Свѣтская власть, въ лицѣ всѣхъ крупныхъ и мелкихъ представителей, непременно хотѣла сравнять права клириковъ съ правами мірянъ, а клирики, разумѣется, считали это неслыханное стремленіе такой тяжелой обидой, послѣ которой и на свѣтѣ жить не стоитъ. Набравши себѣ несмѣтное количество земель и капиталовъ, епископы и аббаты очень убѣдительно доказывали королямъ, баронамъ и юристамъ, что религія строго запрещаетъ духовенству платить подати, налагаемыя свѣтской властью. «Это не наше имущество, — говорили клирики: — это все принадлежитъ нищимъ и убогимъ, вдовцамъ и сиротамъ. Смѣемъ ли мы расхищать на суетныя предпріятія вонятельныхъ и жестокихъ правителей то, что вручено намъ для облегченія человѣческихъ страданій?» — На эту аргументацію, поддержанную почтеннымъ количествомъ почтенныхъ цитатъ, короли и бароны отвѣчали обыкновенно насильственнымъ захватываніемъ того, чего имъ не давали добровольно. Народъ обыкновенно глубоко сочувствовалъ такому насилию, и, надо сказать правду, свѣтская власть была поставлена всѣмъ теченіемъ прежнихъ историческихъ событій въ такое безвыходное положеніе, при которомъ насилие было безусловно необходимо.

Клерикалы, пользуясь невѣжествомъ и суевѣріемъ мірянъ, дѣйствуя своими увѣщаніями на полоумныхъ стариковъ или слабыхъ женщинъ втеченіи многихъ вѣковъ, успѣли добыть въ свою пользу громадную массу завѣщаній и дарственныхъ записей. Приобрѣтая постоянно, они никогда не выпускали и не могли выпустить законнымъ путемъ изъ своихъ рукъ ни одного клочка земли. Что попадало въ церковь, то оставалось на вѣчныя времена церковнымъ достояніемъ. Личности умираютъ, фамиліи и династіи исчезаютъ безъ слѣда, но корпораціи безсмертны. Еслибы короли и бароны не выжимали иногда силой то, что было захвачено въ пользу церкви хитростью, то духовенство сдѣлалось бы наконецъ единственнымъ собственникомъ, владѣтелемъ всей западной Европы; а мірянамъ, всѣмъ безъ исключенія, пришлось бы превратиться въ тѣхъ ни-

щихъ, которымъ католическіе монахи раздають утромъ и вечеромъ, у монастырскихъ воротъ, даровыя порціи супа и хлѣба. Народу все не нравилась подобная перспектива, и по этому народъ очень добросовѣстно поддерживалъ правительство, когда оно, нуждаясь до зарѣзу въ деньгахъ, принималось выжимать сокъ изъ зажиточныхъ монсиньоровъ. Такія выжиманія облакались иногда въ очень оригинальныя формы. Въ 1118 году правитель или подеста итальянскаго города Фано потребовалъ отъ мѣстнаго епископа, чтобы онъ, пользуясь безопасностью за городскими стѣнами, вносилъ известную сумму денегъ на ремонтъ этихъ спасительныхъ стѣнъ. Епископъ, разумѣется, поддерживалъ достоинство своего званія, то-есть отказался на отрѣзъ и разразился приличнымъ количествомъ цитатъ и аргументовъ. Но подеста хотѣлось получить деньги, а не проповѣдь. Чтобы смягчить сердце и развязать кошелекъ его преподобія, подеста запретилъ всѣмъ городскимъ обывателямъ продавать епископу събѣтные припасы, и нечестивые итальянцы выполнили эту инструкцію съ такимъ неподдѣльнымъ усердіемъ и съ такой буквальной точностью, что почтенный прелатъ, скрежеща зубами, принужденъ былъ дорогой цѣной откупиться отъ голодной смерти.

Маневръ итальянскаго подесты повторился съ нѣкоторыми усовершенствованіями во Франціи. Въ 1159 году графъ ангулемскій отлучилъ отъ гражданскаго общества все духовенство своего города. Онъ запретилъ всѣмъ горожанамъ вступать съ клириками въ какія-бы то ни было торговныя сношенія; кромѣ того онъ запретилъ клирикамъ пользоваться водой городскихъ фонтановъ и колодезевъ. Разумѣется, никакая полиція въ мірѣ не могла бы услѣдить за точнымъ исполненіемъ этихъ удивительныхъ предписаній. Но сами горожане сочувствовали распоряженіямъ грознаго феодала, и духовенству пришлось такъ круто, что оно, гонимое голодомъ и жаждой, принуждено было выселиться изъ Ангулема.

Отказываясь платить налоги, клирики не хотѣли также подчиняться дѣйствию общихъ уголовныхъ законовъ. У нихъ былъ свой собственный судъ, при которомъ они могли безбоязненно нарушать всѣ права остальныхъ гражданъ. Папа Целестинъ III, царствовавшій въ самомъ концѣ XII вѣка, установилъ для духовенства слѣдующую таксу наказаній: за воровство или убійство клирикъ лишается духовнаго званія; за вторичное преступленіе его отлучаютъ отъ церкви; за третье — его поражаютъ самымъ тяжкимъ проклятіемъ; наконецъ, за четвертое — несправимаго и закосяблага грѣшника предають въ руки свѣтскаго правосудія, которое, разумѣется, немедленно исправляетъ виновнаго висѣльцемъ, колесомъ или ка-

кими-нибудь другими, столь же назидательными средствами.

Такимъ образомъ глава католической церкви торжественно обязался три раза укрывать своихъ преступныхъ подчиненныхъ отъ преслѣдованій свѣтскихъ трибуналовъ; только третье убійство уравнивало клирика съ простымъ смертнымъ и только четвертое подводило его подъ общій уголовный законъ. Португальскій король донъ-Педро Правосудный нагляднымъ образомъ показалъ неудовлетворительность этого церковнаго постановленія. Одинъ португальскій священникъ совершилъ убійство; за это церковный судья отнялъ у него священство. Педро велѣлъ одному каменщику убить разжалованнаго преступника и велѣлъ затѣмъ за сдѣланное убійство отнять у этого каменщика право тесать камни. Духовенству вовсе не понравилось это распоряженіе. Не давая, съ своей стороны, обществу никакихъ гарантій, клирики желали въ то-же время, чтобы общество самыми строгими мѣрами гарантировало ему полную неприкосновенность личности и имущества. Такія несправедливыя требованія, разумѣется, были несовмѣстны съ развитіемъ общественной жизни и всегда возмущали нравственное чувство народныхъ массъ. Когда католическое духовенство было сильно и когда оно дѣйствительно пользовалось своими неестественными привилегіями, тогда оно возбуждало противъ себя въ обществѣ зависть и ненависть. Когда же духовенство, сдѣлавшись слабымъ, продолжало заявлять слезливымъ тономъ свои чудовищныя притязанія, тогда на него посыпались со всѣхъ сторонъ презрительныя насмѣшки и грубыя оскорбленія. Раздраженное общество мстило жестоко за многолѣтнее поруганіе своихъ разумныхъ правъ.

Къ ужасу и негодованію клириковъ, юристы или, по тогдашнему, легисты сформулировали и привели въ систему требованія свѣтской власти и общественнаго мнѣнія. Тутъ коса нашла на камень; теорія напала на теорію; ученость сразилась съ ученостью; крючкотворство и пронырство встрѣтились лицомъ къ лицу съ пронырствомъ и крючкотворствомъ. Равняясь съ своими противниками въ нравственной неразборчивости, легисты имѣли на своей сторонѣ то огромное преимущество, что они все-таки, добросовѣстно или недобросовѣстно, сражались за правое дѣло. Они говорили клирикамъ: вы извращаете смыслъ текстовъ, вы искажаете исторію, вы подрываете основанія общества, вы ссылаетесь на подложные документы; и всѣ эти суровыя обвиненія были справедливы. Представители свѣтской власти ревностно старались придавать этимъ обвиненіямъ самую обширную гласность, а народныя массы съ восторгомъ подхватывали на лету эти официальные-выраженія тѣхъ мыслей и желаній, которыя вса-

новали всѣ умы и давно искали себѣ возможности вырваться на свободу.

XI.

Праздность, богатство и отсутствіе ответственности развращаютъ обыкновенно какъ отдѣльную личность, такъ и цѣлыя сословія или корпораціи. Католическое духовенство, долго господствовавшее надъ умами и кошельками средневѣковыхъ европейцевъ, пропиталось и сквозь всѣми пороками, составлявшими естественное и необходимое слѣдствіе его привилегированнаго положенія. Въмѣсто того, чтобы служить мірянамъ примѣромъ безукоризненной ответственности, клирики развращали ихъ своимъ вліяніемъ. Уже въ XII столѣтіи еретики отъ-чались отъ католиковъ преимущественно скръпностью и цѣломудріемъ. Кто не пьинствомъ и не развратничалъ, того католическое начальство брало на замѣчаніе, какъ подозрительнаго челоуѣка. Если, чего Боже сохрани, оказывалось, что этотъ воздержный челоуѣкъ осмѣивается читать въ своемъ домѣ Библию, — участь этого лиходѣя была рѣшена. Читаетъ Библию — значитъ еретикъ, и притомъ самый опасный, потому что онъ посягаетъ на право духовенства, которое очевидно не можетъ позволить всякому простому смертному изучать и понимать по своему священное писаніе. На такого челоуѣка необходимо подать доносъ, а за доносами у клириковъ никогда не останавливалось дѣло. Доносить и клеветать — значило, по имѣнію, жить и дѣйствовать. «Около 1170 года, — говоритъ Лоранъ, — одинъ реймскій клирикъ, встрѣтивъ одну молодую дѣвушку, гуляющую безъ провожатаго, захотѣлъ ее соблазнить; она отклонила его любезности, говоря, что на вѣки погубитъ свою душу, если выпуститъ изъ рукъ дѣвственность. Ревностный клирикъ понялъ изъ этого суроваго отвѣта, что дѣвушка принадлежитъ къ богомерзкой сектѣ манихеевъ. Пылая усердіемъ, онъ составилъ доносъ противъ той, которая отказалась удовольствовать его сластолюбіе. Дѣвушку эту совѣли входить на костеръ, она не произнесла ни одной жалобы и не пролила ни одной слезы.» (La Réforme.)

Желая возвысить свою власть въ глазахъ мірянъ, Григорій VII обрекъ все католическое духовенство на самую строгую одинокую жизнь. Великій папа не сообразилъ только того простаго обстоятельства, что кускомъ пергамента невозможно пересоздать челоуѣческую природу. Плоды соборнаго рѣшенія и папскаго декрета безбрачія духовенства далеко не соответствовали намѣреніямъ Григорія VII и его свѣтскихъ. Плоды получились вотъ какіе. «Архіепископъ Кентерберійскій, — говоритъ Шенкертъ, — также былъ публично осмѣиваемъ, и онъ задумалъ прибѣгнуть къ высшей духовной ка-

и городская полиція жестоко отомстила дучинству, арестовавъ его любовницъ и выставивъ ихъ на позоръ, какъ публичныхъ женъ.» Еще непочтительнѣе поступилъ съ своимъ духовенствомъ императоръ Венцеславъ: «онъ вытребовалъ однажды, — говоритъ Кассеръ, — всѣхъ любовницъ пражскаго дучинства и выставилъ ихъ къ позорному столбу вмѣстѣ съ прелатами, у которыхъ онѣ были». Эти печальныя событія происходили въ концѣ XIV столѣтія, а въ XIII столѣтіи произошелъ случай еще болѣе замѣчательный. Датчане и фризы потребовали отъ своихъ епископовъ, чтобы они взяли себѣ любовницъ, лишь только «не оскверняли ложе другихъ людей». (Hamer, «Geschichte der Hohenstaufen».) Въ монашескіе ордена безъ исключенія были привлечены въ тотъ же омутъ безправствъ, въ которой тонула вся масса католическаго духовенства. Въ каждомъ въѣзѣ было нѣсколько чистыхъ и энергическихъ личностей, осознано стремившихся къ аскетическому ршенству и смотрѣвшихъ съ ужасомъ и отчужденіемъ на гадости современной дѣйствительности. Эти люди проповѣдывали противъ жовъ словомъ и примѣромъ, увлекали за собой многихъ послѣдователей, давали монастырямъ строгіе уставы, оживляли на короткое время фанатическія страсти мечтателей, основали новые ордена и умирали съ той простой надеждой, что спасли навсегда честь и единство католическаго монашества. Но само собою разумѣется, что сила обстоятельствъ бравое, несмотря ни на какіе подвиги Бернарда, Петрова Достопочтенныхъ, Доминикова Франциска Ассизскаго. Въ два-три десятилетия новые ордена такъ ловко успѣвали искнѣть и загрязниться, что ихъ никто въ то время не сумѣлъ бы отличить отъ самыхъ старыхъ. Чѣмъ строже были требованія новыхъ орденовъ, тѣмъ сильнѣе развивалось лицемеріе, и тѣмъ искуснѣе оказывались монахи въ сканіи себѣ разныхъ лазѣкъ, увертокъ и грязныхъ оправданій. Прикрываясь благовидѣющими предлогами, монахи дѣлали какъ разъ то, что строго запрещено было уставами. Всѣмъ монахамъ безъ исключенія предлавалось отречься отъ міра и отъ всѣхъ суетныхъ интересовъ. Но уже съ XII вѣка они взяли за изученіе права и стали заниматься адвокатурой. Мнѣе всего соборовъ дѣлали за это суетное стремленіе строгія заповѣди; имъ запрещали изучать законы, но не запрещали эти были безислны; ихъ стыдили, но не стыдили, они выслушивали брань и пропустили ее мимо ушей.

Пламя жадности, — говоритъ одинъ соборъ 1131 году, — возжигаетъ сребролюбіе монаховъ; они смѣшиваютъ правду съ неправдой, и стремятся пріобрѣсти себѣ какъ можно больше де-

негъ.» — «Не стыдно ли для монаховъ, — говоритъ другой соборъ, въ 1269 году, — гоняться за суетнымъ блескомъ судебного краснорѣчія? Эти болтуны думали сравняться съ Цицерономъ! Они были скорѣе похожи на квакающихъ лягушекъ.» А монахи все-таки продолжали суетничать и, когда начальство подступало къ нимъ слишкомъ близко, оправдывались тѣмъ, что они хлопочутъ не изъ за денегъ и не изъ за честолюбія, а для того, чтобы защитить отъ притѣсненій сильнаго и богатаго вдовъ и сиротъ, убогихъ и немощныхъ. Начальство наконецъ утомилось и махнуло рукой на монашествующихъ юристовъ. — Пріобрѣтая себѣ репутацію ловкихъ дѣльцовъ, соперники Цицерона выдвигались впередъ и поступали на государственную службу. Монахъ становился чиновникомъ. Соборы гремѣли противъ этихъ поразительныхъ нарушеній монастырскаго устава, но монахи не унимались, а свѣтская власть вербовала себѣ опытныхъ законовѣдовъ, не обращая вниманія на покрой ихъ одежды. — Монахи изучали медицину и хирургию и лечили людей ланцетомъ и микстурами, между тѣмъ какъ католическіе уставы допускали, въ случаѣ болѣзни, только постъ и молитву. Монахи пускались въ коммерческія предпріятія; монахи отдавали деньги въ ростъ; монахи занимались банкирскими спекуляціями. Тутъ благочестивымъ людямъ оставалось только ахать и разводить руками. «Деньги, — пишетъ строгій францисканецъ, св. Бонавентура, — этотъ смертельный врагъ нашего ордена, возбуждаютъ въ нашихъ братьяхъ такую алчность, что прохожіе боятся съ ними встрѣчаться и бѣгутъ отъ нихъ, какъ отъ наглыхъ грабителей. Наша бѣдность есть ужаснѣйшая ложь. Мы просимъ милостыню, какъ бѣдняки, и плаваемъ въ роскоши.»

Усердно поклоняясь золотому тельцу, клирики всѣхъ сортовъ неутомимо грызлись между собой за барыши. Ссорамъ, сплетнямъ, взаимнымъ попрекамъ и скандальнымъ выдумкамъ не было конца. «Францисканцы и доминиканцы вырывали другъ у друга щедроты вѣрующихъ, ссорились между собой изъ за собиранія милостыни, переманивали другъ у друга адептовъ и взаимно воровали другъ у друга даже проповѣди; они проповѣдывали одни противъ другихъ и публично, на церковной кафедрѣ, читали скандальную хронику враждебнаго ордена. Эти взаимныя обвиненія засвидѣтельствованы въ особомъ мирномъ договорѣ, заключенномъ между обоими орденами въ 1255 году и возобновленномъ въ 1278 году.» («La Réforme».) Если мы припомнимъ, что основатели этихъ орденовъ, Доминикъ и Францискъ, умерли — первый въ 1221 году, а второй въ 1226 году, то увидимъ ясно, съ какой неудержимой быстротой развращались до мозга костей самыя

строгия общины католических монаховъ. Ненавидя другъ друга, нищенствующіе ордена презирали всѣхъ остальныхъ монаховъ; бѣлыхъ бенедиктинцевъ они называли неучами и полуміряннами, а черныхъ—гордецами и эпикурейцами. «Одна обѣдня нищенствующаго монаха,—говорили они,—стоитъ четырехъ обѣденъ простого священника.» Бѣлые и черные монахи также вели между собой ожесточенную войну и старались уронить другъ друга во мнѣніи свѣтскаго общества. «Я часто видалъ,—пишетъ Петръ Достопочтенный,—какъ черный монахъ, встрѣчаясь съ бѣлымъ, смѣялся надъ нимъ, точно будто онъ видѣлъ въ немъ какое-нибудь странное чудовище, кентавра или химеру. Отчего эти монахи, имѣющіе одного общаго отца, до такой степени ненавидятъ другъ друга? Причина ихъ вражды заключается въ гордости. Черные монахи, имѣющіе за себя свою древность, не могутъ простить бѣлымъ того, что послѣдніе отбили у нихъ уваженіе народа, а бѣлые, съ своей стороны, гордятся тѣмъ, что обновили орденъ св. Бенедикта.» «Блирики,—жалуется генераль францисканцевъ-миноритовъ, св. Бонавентура,—ненавидятъ насъ хуже, чѣмъ жидовъ, за то, что мы знаемъ ихъ пороки. Подавленные своимъ невѣжествомъ, они завидуютъ намъ, потому что мы больше ихъ нравимся вѣрующимъ; наконецъ они боятся, что убавятся ихъ доходы вслѣдствіе той милостыни, которую мы собираемъ; тутъ и есть главная причина ихъ жестокой ненависти, потому что они гораздо больше заботятся о грязномъ барышѣ, чѣмъ о спасеніи человѣческихъ душъ.»

Втеченіи цѣлыхъ столѣтій католическое духовенство старалось такимъ образомъ всѣми силами подрывать свое вліяніе на умы народныхъ массъ, и, несмотря на безпредѣльное простодушіе и долготерпѣніе средневѣковой публики, эти добросовѣстные и неутомимыя старанія увѣнчались наконецъ вождѣланнымъ успѣхомъ. Уже съ XIII вѣка вплоть до самой реформации, то есть до XVI столѣтія, всѣ западные европейцы, знатные и простые, ученые и неученые, умные и глупые всѣ въ одинъ голосъ кричатъ, поютъ и пишутъ, что духовенство нигде не годится. Народу нравились въ это время всего больше тѣ пѣсни, сказки или романы, которые смѣли и рѣзче другихъ осмѣивали и позорили іерархію. Въ XII вѣкѣ появилась латинская поэма сатирическая «Reinardus Vulpes» (Рейнардъ-Лиса), въ которой неизвѣстный авторъ продергивалъ съ безпощадной рѣзкостью властолюбіе и жадность римскаго первосвященника. Поэма эта произвела фуроръ; ее передѣляли на старо-французскій языкъ и на старо-нѣмецкій; ее учили наизусть; картины изъ этой поэмы составляли любимое украшеніе комнатъ; эти картины проникли даже въ монастыри и увеселяли собой спящихъ отшельниковъ. А въ поэмѣ встрѣчаютъ

ся между прочимъ такіе эпизоды: авторъ описываетъ аллегорическій корабль, составленный изъ всевозможныхъ грѣховъ. «Дно сдѣлано изъ дурныхъ мыслей; борты—изъ измѣны, сплочены гнусностью и постыдными дѣлами очень хорошо закрѣплены. Изъ плутовства сдѣлана мачта, якорь—изъ коварства и вѣроломства, корма выкована изъ подлости, изъ жестокости и изъ пронырства; корабль обложенъ сѣрымъ сукномъ, вытканымъ изъ лицемерія, лѣности и развратной жизни.» И на этомъ кораблѣ, представляющемъ символъ всякаго зла, сидятъ въ чинѣ адмирала самъ папа, кардиналы его помощники, а экипажъ составленъ изъ католическихъ священниковъ и монаховъ.

Въ началѣ XV вѣка гусситы, какъ извѣстно, стали истреблять католическихъ священниковъ и монаховъ, какъ дикихъ звѣрей. Эгоистъ дурной цѣльмѣръ оказался соблазнительнымъ даже для самихъ католиковъ. «Постоянныя злоупотребленія и грабительства духовенства,—пишетъ кардиналъ Юліанъ Чизарини,—такъ озлобили нѣмцевъ, что, того и гляди, они, подобно гусситамъ, перебьютъ духовенство и сожгутъ монаховъ.» Императоръ Сигизмундъ въ это же самое время подробно развиваетъ ту же неутихомящую мысль: «Я боюсь,—пишетъ онъ,—что нѣмецкіе горожане поступаютъ съ іерархіей точно такъ же, какъ чехи; уже городъ Магдебургъ выгналъ своего архіепископа вмѣстѣ со всѣми канониками, подобно гусситамъ, разграбилъ ихъ имущество; союзные же Магдебургу ганзейскіе города готовы послѣдовать этому примѣру; по слухамъ, и на Рейнѣ собирались тысяча мірянъ, чтобы заставить городъ Вормсъ выдать духовенство и евреевъ; наассаусцы хотѣли взять приступомъ замки своихъ епископовъ, а бамбергцы ведутъ открытую войну съ духовенствомъ за привилегіи, данныя имъ королемъ.» Около этого же времени папскій секретарь, Леонардо Аретинъ, обращается къ монахамъ съ слѣдующей непочтительною рѣчью: «Васъ,—говоритъ онъ,—называютъ комедіантами, и вамъ этимъ названіемъ дѣлаютъ слишкомъ много чести, потому что вы хуже канатныхъ плясунѣвъ; тѣ надѣвваютъ маску, чтобы забавлять зрителей, а вы носите маску добродѣтели, чтобы разорять вѣрующіхъ; актеры разыгрываютъ свои фарсы въ несмѣнномъ мѣстѣ, вы же оскверняете святилища грѣшниковъ... Ваше лицемеріе возрастаетъ вмѣстѣ съ вашими притязаніями на совершенство; вычайшими лицемѣрами въ вашей средѣ считаются тѣ, которые принимаютъ самыя добродѣтельными; гробы похороненные, они лежатъ снаружи; загляните подъ оболочку,—не найдете ничего, кромѣ гнили!... Посмотрите на этихъ смиренныхъ, съ потухшими глазами, съ опущенными глазами,—вы бы ли ихъ за святыхъ угольниковъ; но если вы побьете ихъ въ ничтожнѣйшей мелочи, ихъ и

и ихъ гнѣвъ разразятся: они покажутся вамъ Агамемнонами, Ахиллами или какими-нибудь другими героями, еще болѣе вспыльчивыми и надменными.»

Чтобы обвинить все значеніе этой жестокой тирады, надо помнить, что это говорить не какой-нибудь легкомысленный поэтъ или озлобленный пролетарій, а солидный ученый, жившій при папскомъ дворѣ на готовыхъ и очень сытныхъ хлѣбахъ. Другіе знаменитые богословы и ученые XV и XVI столѣтій, Блеманжи, д'Альби, Жерсонъ, Эразмъ, повторяютъ тѣ же самыя упреки въ болѣе или менѣе рѣзкой формѣ. Изъ всѣхъ фактовъ и свидѣтельствъ, собранныхъ въ этой главѣ, не трудно вывести то заключеніе, что, начиная съ XII вѣка, нравственное могущество католической іерархіи постоянно ослабѣвало по мѣрѣ того, какъ утрачивалась его нравственная чистота. Въ началу XV вѣка духовенство сдѣлалось до такой степени грязнымъ, что всѣ стали его презирать, и до такой степени безсильнымъ, что всѣ могли безнаказанно наносить ему оскорбленія.

XII.

Навлекая на себя ненависть и презрѣніе общества, католическое духовенство не только подтачивало свое собственное могущество, но еще кромѣ того, — что гораздо важнѣе, — порождало и воспитывало въ народныхъ массахъ равнодушіе, или даже враждебное чувство къ самой католической религіи. Въ цвѣтущія времена своего господства духовенство старалось и дѣйствительно съумѣло слить въ одно неразрывное цѣлое свои личные интересы съ интересами религіи. Выражаясь точнѣе, оно подставило свои интересы на мѣсто интересовъ религіи, такъ что быть религіознымъ человѣкомъ на языкѣ протестантскихъ католиковъ — значило угождать во всемъ аббатамъ и монахамъ. Это было безъ сомнѣнія очень выгодно для духовенства, пока оно пользовалось всеобщимъ уваженіемъ невѣжественныхъ и суевѣрныхъ варваровъ; но какъ только духовенство опозорило себя своей безнравственностью въ глазахъ поумнѣвшаго средневѣковаго общества, такъ уже для него, то есть для духовенства, не осталось возможности хватиться за принципъ и удержать себя такимъ образомъ отъ окончательнаго паденія. Массы понимали это какъ нельзя лучше и, отвергиваясь отъ духовенства, отвергивались въ тоже самое время и отъ католическаго принципа. Надо было быть очень ученымъ богословомъ, чтобы отдѣлать религіозную истину отъ тѣхъ произвольныхъ прибавокъ, украшеній и искаженій, которыя были пущены въ ходъ властолюбивъ и корыстолюбивымъ клирикомъ. Трудъ этотъ не по силамъ массы, и она быстрыми шагами шла отъ слѣпнотного обожанія къ такому же ому и неразборчивому отрицанію.

Такъ оно и было дѣйствительно въ XIV и въ XV столѣтіяхъ. Клерикальная политика и клерикальный обманъ, называвшійся въ средніе вѣка благочестивой хитростью (*fraus-pia*), пропитали насквозь и переработали своимъ опшляющимъ вліяніемъ всѣ составныя части католическаго клира. Попы и монахи поддѣлывали легенды, поддѣлывали чудеса и наконецъ съ величайшимъ успѣхомъ поддѣлывали даже цѣлыя догматы. Святой Діонисій считался патрономъ Франціи, а св. Іаковъ Компостельскій — патрономъ Испаніи; о томъ и о другомъ существовало множество разсказовъ, выдававшихся за неприкосновенную истину; въ этихъ разсказахъ изображалось подробно, какъ св. Діонисій Ареопагитъ прибылъ во Францію, св. апостолъ Іаковъ — въ Испанію, и какъ они тамъ жили, и что они тамъ дѣлали, и какъ они тамъ умерли. Между тѣмъ достоверно извѣстно, что первый изъ этихъ святыхъ никогда не былъ и не могъ быть во Франціи, а второй никогда не былъ и не могъ быть въ Испаніи. Сочинить святого съ цѣлою исторіей, съ мощами и съ чудесами ровно ничего не стоило средневѣковымъ клирикамъ. Вотъ какой случай разсказываетъ лѣтописецъ Glaber Radulphus, монахъ XII вѣка. «Одинъ человѣкъ изъ престопаго, шарлатанъ отъявленный, занимался расквашиваніемъ могилъ и продавалъ добываемыя кости, называя ихъ мощами. Совершивъ въ Галліи безчисленное множество плутней, онъ пришелъ въ одинъ англійскій городъ. Тамъ, по своему обыкновенію, онъ собралъ кости перваго попавшаго покойника и сталъ утверждать, будто ангелъ открылъ ему, что это — мощи святого Юста. Вслѣдствіе этого слуха сбѣжалось невѣжественное населеніе сосѣднихъ деревень и тутъ же, при помощи мелкихъ подарковъ, было совершено много чудесъ. Аббаты тотчасъ начали эксплуатировать эти чудеса и святого, сфабрикованнаго мошенникомъ, несмотря на то, что прощенные люди, и въ томъ числѣ монахъ Laurent, открыли обманъ и обличили пройдоху.» (Laurent, «La Réforme».) Соорудить исторію мнимой святости было чрезвычайно легко, потому что отъ такой исторіи не требовалось ничѣмъ правдоподобія. Здѣсь господствовалъ во всемъ своемъ величіи знаменитый принципъ: «credo, quia absurdum» (вѣрю, потому что нелѣпо).

До какой дерзости доходили составители этихъ исторій, это ясно видно изъ двухъ легендъ: о святомъ клявѣ и о святой слезѣ. Вотъ какимъ образомъ извѣстный французскій эллинистъ, Генрихъ Этьеннъ, разсказываетъ легенду святого клява, которую онъ совершенно справедливо ставитъ на одну доску съ самыми нелѣпыми баснями Геродота: «Когда Никодимъ снялъ Спасителя со креста, онъ собралъ нѣсколько капель его крови въ палецъ своей перчатки, которыми онъ послѣ того сдѣлалъ нѣсколько ве-

ликих чудесъ. Вслѣдствіе этого, терпя преслѣдованія отъ іудеевъ, онъ разстался со своей реликвіей посредствомъ удивительно-замысловатой выдумки. Написавши на пергаментѣ всѣ чудеса и всю исторію этой святыни, онъ вложилъ кровь вмѣстѣ съ этимъ пергаментомъ въ большой птичій клювъ и, завязавши его какъ можно тщательно, бросилъ его въ море, поручая его милосердію Божію. Случилось же такъ, что тысячу или тысячу дѣсти лѣтъ спустя этотъ святой клювъ, поплававши достаточно по всѣмъ морямъ Востока и Запада, прибылъ въ Нормандію. Тутъ его выбросило море въ прибрежные кусты. Одинъ нормандскій герцогъ въ этихъ мѣстахъ охотился за оленемъ, и вдругъ олень вмѣстѣ съ собаками куда-то пропалъ; оказалось, что олень стоитъ между кустами на колѣняхъ, а собаки—рядомъ съ нимъ, совсѣмъ смиренныя и тоже на колѣняхъ. Это зрѣлище до такой степени умилело добраго герцога, что онъ приказалъ тотчасъ расчистить это мѣсто, гдѣ и нашелся святой клювъ. Тогда герцогъ основалъ на этомъ мѣстѣ аббатство, которое до сихъ поръ называется по этой причинѣ аббатствомъ Ключа; оно владѣетъ такими богатыми помѣстьями, что одинъ клювъ питаетъ очевидно множество животныхъ.» (Ibid.) Въ XVII столѣтіи бенедиктинскіе монахи напечатали книжку подъ слѣдующимъ заглавіемъ: «Истинная исторія святой слезы, пролитой нашимъ Спасителемъ надъ Лазаремъ: какъ и гдѣ она была принесена въ монастырь Святой Троицы Вандомской. Кромѣ того многія превосходныя (beaux) и отмѣнныя (insignes) чудеса, случившіяся втеченіи 630 лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ она была чудеснымъ образомъ посвящена этому святому мѣсту». Въ этой книгѣ бенедиктинцы рассказываютъ безъ малѣйшаго смущенія, что когда Спаситель оплакивалъ смерть Лазаря, тогда Ангелъ подхватилъ одну слезу, вложилъ ее въ маленькій сосудъ, въ которомъ она сохраняется до сихъ поръ; потомъ вложилъ первый сосудъ во второй, побольше, и вручилъ все это Магдалинѣ. Магдалина привезла эту святыню во Францію, когда она, вмѣстѣ съ Лазаремъ, съ Мареою, со святымъ Максимомъ и со святымъ Келидоніемъ, приѣхала въ марсельскую гавань. Когда Магдалина почувствовала приближеніе смерти, она призвала къ себѣ епископа ахенскаго, Максима, и отдала ему святую слезу, которую тотъ тщательно хранилъ втеченіи всей своей жизни. Потомъ святая слеза попадаетъ какимъ-то манеромъ въ Константинополь, потомъ въ 1040 году она появляется въ Вандомскомъ монастырѣ и начинаетъ творить чудеса.

Легенды о святомъ клювѣ и о святой слезѣ любопытны, какъ образчики той безумной дерзости, съ которой корыстолюбивое католическое духовенство уродовало даже Евангеліе своими нелѣпостями. Такимъ образомъ клирики ворва-

лись первые со своими безправственными тенденціями и безтолковыми фантазіями въ самую священную твердыню религіи. Мудрено-ли сказать этого, что скептики, ободренные этихъ мѣромъ, пошли за клириками туда-же съ своей неумолимой критикой? Клерикальная фантазія была неистощима и неумолима: аббаты монахи показывали католикамъ куски Нои ковчега, рога Моисея, бороду Аарона, перья архангела Гавріила, святое сѣно, т.-е. сѣно, жавшее въ ясляхъ, свѣчку, горѣвшую въ минуту рождества Христова. Колоссальныя разеры выдумки никогда не пугали изобрѣтателей: въ Кельнѣ до сихъ поръ лежатъ одиннадцать тысячъ дѣвъ, которыя совсѣмъ не были дѣвами и никогда не исповѣдывали христіанскій религіи. Исторія этой груды костей очень почетельна. Легенда утверждаетъ, что въ Бретани жила одна принцесса, Урсула, и что какой-то языческій король попросилъ ея руки. Урсула, повинувшись винушенію свыше, потребовала себѣ отсрочки, собрала 11,000 дѣвъ и пустилась съ ними въ морское путешествіе. Три года промѣжалось ихъ плаванье. Когда приблизился день, назначенный для свадьбы, тогда по молитвѣ Урсулы поднялась буря, которая перенесла материкъ всю дѣвственную армію. Одиннадцать тысячъ дѣвъ ѣдутъ вверхъ по Рейну до Бельна, потомъ плывутъ въ Базель, оттуда нѣтъ пѣшкомъ въ Римъ, возвращаются назадъ по той же дорогѣ и въ окрестностяхъ Кельна погибаютъ подъ ударами дневныхъ гунновъ. Зачѣмъ ихъ было именно 11,000, зачѣмъ онѣ плавали по морю и шлились по матеріку—объ этомъ легенда, по своему простодушію, ни мало не заботится.

Легенда эта была составлена въ началѣ III вѣка по тому случаю, что въ окрестностяхъ Кельна было найдено нѣсколько женскихъ скелетовъ. Въ 1123 году Норбертъ, основатель ордена премонстратовъ, нашелъ еще много скелетовъ; наконецъ въ 1155 году монахи вынули на такую богатую массу костей, что ее пришлось разрабатывать втеченіи десяти лѣтъ, при руководствѣ двухъ аббатовъ. Въ это время истерія 11,000 дѣвъ была уже сочинена и пушена въ ходъ. Но вдругъ вмѣстѣ съ женскими скелетами стали попадаться скелеты мужчинъ; монахи смутились, но къ счастью у одного изъ нихъ была сестра, Елизавета изъ Шенау, страдавшая галлюцинаціями, которыя считались въ то время видѣніями и откровеніями свыше; эта нахия сгородила вмѣстѣ съ своимъ изобрѣтательнымъ братомъ новую кучу нелѣпостей для объясненія мужскихъ скелетовъ. Все это сошло за чистую монету, потому что Елизавету считали блаженной. Стали рыть дальше: нашлись дѣтей. Это уже было совсѣмъ некимъ потому что бросало невыгодную тѣнь на Ротацию дѣвственныхъ спутницъ Урсулы. Е

веты въ это время уже не было на свѣтѣ. Обратились за совѣтомъ къ какому-то ученому монаху, и тотъ наложилъ на легенду третій слой безсмыслицы, такъ что и дѣтскія кости оправдали свое существованіе. Спрашивается теперь, откуда-же взялась эта масса костей, съ которой монахи возились десятки лѣтъ, напрягая свои мускулы и изощряя свою фантазію?—Ларчикъ открывался очень просто. Тутъ было римское кладбище; вмѣстѣ съ костями находились саркофаги, латинскія надписи, оружіе, посуда—вещи, очень извѣстныя всѣмъ антикваріямъ и не оставляющія ни малѣйшаго сомнѣнія на счетъ того, кому принадлежать скелеты. Принадлежатъ они римскимъ язычникамъ различнаго пола и возраста. Одѣвственныхъ мученикахъ тутъ не можетъ быть и рѣчи. Къ довершенію комизма, новѣйшіе нѣмецкіе ученые доказали, что самая Урсула, считающаяся католической святой и покровительницей города Кельна, была языческой богиней. Все это нисколько не мѣшало вырытымъ костямъ приносить кельнскому духовенству обильные доходы. Механика была очень незамысловата. «Каждый день,—пишетъ одинъ правдивый монахъ XI столѣтія,—ходятъ отъ одной церкви къ другой разные бродяги, которые прикидываются слѣпыми, разслабленными или бѣсноватыми; они валяются по ступенькамъ храмовъ или по гробницамъ святыхъ, а потомъ увѣряютъ всѣхъ, что получили исцѣленіе; эта поддѣлка чудесъ производится для того, чтобы привлечь щедроты вѣрующихъ.»

Предпримчивость духовенства была такъ велика и изобрѣтательность его такъ роскошна, что даже многіе соборы считали необходимымъ сдерживать эту оргію клерикальнаго воображенія. Уже въ IX вѣкѣ ахенскій соборъ упрекаетъ епископовъ въ томъ, что они фабрикуютъ чудеса для пріобрѣтенія денегъ. Въ 1215 году, при Иннокентіи III, Латеранскій соборъ говоритъ, что «въ очень многихъ мѣстахъ пускаютъ въ ходъ ложныя легенды и ложныя документы для того, чтобы обманывать вѣрующихъ и тянуть изъ нихъ деньги». Въ 1261 г. Майнцскій соборъ описываетъ подробно тѣ фокусы, посредствомъ которыхъ клирики морочили простой народъ. Такія же точно обвиненія повторяются въ XIV и XV столѣтіяхъ.

XIII.

Подчиняясь финансовымъ и политическимъ соображеніямъ, клирики поддѣлывали цѣлыя догматы и даже старались извратить нравственное чувство католической паствы. Духовенство самымъ наивнымъ образомъ боготворило себя, какъ отдѣльную корпорацію, стоящую безконечно выше гражданскаго общества. — «Мірянинъ,—говоритъ кардиналъ Даміанъ,—какъ-бы онъ ни былъ благочестивъ, не можетъ выдержать сравненія даже съ очень несовершеннымъ монахомъ; зо-

лото, даже нечистое, драгоцѣннѣе чистой мѣди.» Но и это показалось недостаточнымъ; въ XII вѣкѣ аббатъ монастыря св. Тьерри сталъ доказывать, что монахи уподобляются самому Богу, потому что небо называется по-латыни *coelum*, а келья — *cellula*, и еще потому, что монастырская жизнь ничѣмъ не отличается отъ райскаго блаженства. Умные католики смотрѣли съ негодованіемъ на это идолопоклонство, ставившее святыхъ на мѣсто Бога. «Въ одномъ соборѣ этого королевства,—пишетъ Клеманжъ, ученый богословъ XIV вѣка,—читаютъ отъ доски до доски подвиги святыхъ и въ то-же время едва читаютъ по нѣскольکو строкъ изъ священнаго писанія.» Служеніе Богу исчезаетъ съ лица земли. Преступленія вѣрующихъ католиковъ составляли очевидно для духовенства важнѣйшій источникъ доходовъ. Чѣмъ крупнѣе и многочисленнѣе были грѣхи, тѣмъ трусливѣе становился грѣшникъ и тѣмъ сподручнѣе было обирать его въ пользу церкви.

Это обстоятельство даетъ намъ право предположить *a priori*, что католическая мораль должна была не обуздывать, а, напротивъ того, поощрять порочныя наклонности средневѣковыхъ европейцевъ; вглядываясь въ историческія данныя, мы видимъ, что это предположеніе совершенно оправдывается дѣйствительными фактами. Вотъ на примѣръ какую легенду рассказываетъ кардиналъ Даміанъ, причисленный католической церковью къ лику святыхъ: «Одинъ человѣкъ, прожившій всю свою жизнь въ грѣхѣ, умираетъ внезапной смертью. Бѣсы и ангелы спорятъ между собой за его душу; ангелы начинаютъ уступать, видя слишкомъ ясныя доказательства виновности покойника, но въ это время появляется Пресвятая Дѣва. Сначала пораженные ужасомъ демоны оправляются и обращаются къ правосудію Мадонны. Марія отвѣчаетъ, что Иисусъ Христосъ не позволитъ сатанѣ захватить такого человѣка, который передъ своей смертью обратился съ молитвой къ Богоматери. Черти настаиваютъ на своемъ и говорятъ, что покойникъ совершилъ громаднѣйшій грѣхъ, въ которомъ онъ не покался. Чтобы спасти виновнаго, Мадонна воскрешаетъ его и приказываетъ ему пойти немедленно въ монастырь на исповѣдь. Монахи дали ему разрѣшеніе, и онъ тотчасъ вошелъ вслѣдъ за своей покровительницей въ царство небесное.»

Упитанные такими легендами, вѣрующіе католики были твердо убѣждены въ томъ, что «человѣкъ, читающій ежедневно молитвы, никогда не будетъ осужденъ на адскія мученія въ тотъ день, когда онъ успѣлъ ихъ произнести». Поэтому католическія легенды, какъ искусно разставленныя ловушки, были очень полезны для денежнаго и политическаго могущества клерикаловъ. Я не стану утверждать, что клерикалы въ изобрѣтеніи этихъ легендъ ру-

ководствовались действительно тѣмъ тонкимъ и глубокимъ психологическимъ расчетомъ, который указанъ въ предыдущихъ строкахъ. Какъ составлялись эти легенды — этого я не знаю. Но какъ онѣ дѣйствовали — это намъ достоверно извѣстно. Мы знаемъ какъ нельзя лучше, что средневѣковые люди грѣшили очень храбро, а потомъ, когда дѣло доходило до расплаты, ударялись въ самое подлое ханжество и платили за формальное отпущеніе грѣховъ самыя несообразныя цѣны. Важнѣйшій догматъ клерикальной нравственности, знаменитый догматъ индульгенцій, весь построенъ на этой психологической особенности средневѣкового человечества. Когда оказалось въ обществѣ много охотниковъ покупать себѣ формальное отпущеніе грѣховъ, тогда изворотливымъ казуистамъ клерикальнаго лагеря было уже совсѣмъ не трудно отыскать приличное догматическое оправданіе для такихъ своеобразныхъ коммерческихъ оборотовъ. Сначала представители духовной власти отпускали грѣхи тѣмъ людямъ, которые, изъявляя сердечное раскаяніе, старались кромѣ того, по совѣту или по приказанію священника, загладить сдѣланное преступленіе добрыми дѣлами. Противъ этого трудно найти какое-нибудь основательное возраженіе: раскаяніе и серьезное исправленіе должны примирять преступника, какъ съ его собственной совѣстью, такъ и съ человеческимъ обществомъ. Но такъ какъ отъ священника зависѣло назначить кающемуся грѣшнику ту программу, по которой онъ долженъ былъ совершать свои подвиги искупленія, то, разумѣется, клерикальному произволу открывался самый широкій просторъ. Такъ наприимѣръ, поссорившись съ императоромъ Генрихомъ IV, папа Григорій VII общалъ отпущеніе грѣховъ всѣмъ грѣшникамъ, которые возстанутъ противъ Генриха и примкнуть къ его противнику Рудольфу. Съ политической точки зрѣнія этотъ маневръ былъ очень искусенъ, но куда-же дѣвалось при подобномъ распоряженіи необходимое раскаяніе, и почему-же нарушеніе присяги, участіе въ мятежѣ и злодѣяніе междоусобной войны превратились вдругъ въ добрыя дѣла, способныя мгновенно заглаживать самыя позорныя преступленія?

Когда начались крестовые походы, тогда папы укоренили въ народныхъ массахъ ту мысль, что переѣздъ въ Палестину очищаетъ крестоносца отъ всѣхъ прежнихъ грѣховъ. При такомъ гуртовомъ прощеніи очевидно не могло быть и рѣчи о дѣйствительномъ нравственномъ исправленіи и совершенствованіи каждой отдѣльной личности. Когда папы начали вести ожесточенную борьбу съ Гогенштауфенами, особенно съ Фридрихомъ II, тогда папамъ сдѣлались до зрѣззу необходимы очень значительныя суммы наличныхъ денегъ. Вотъ тутъ — то и началась

въ обширныхъ размѣрахъ продажа вѣчнаго блаженства за звонкую монету; и тутъ явилась необходимость подтасовать новый догматъ, который и былъ изобрѣтенъ великимъ казуистомъ схоластическаго богословія, доминиканцемъ Фомой Аквинскимъ, прозваннымъ Doctor angelicus.

Фома утверждаетъ, что одинъ вѣрующій можетъ своими заслугами искупить грѣхи другого вѣрующаго, потому что вѣрующіе суть члены одного общаго духовнаго тѣла — церкви; стало-быть, если одинъ членъ церкви сдѣлалъ больше подвиговъ, чѣмъ сколько было нужно для его собственнаго спасенія, то излишекъ его заслугъ можетъ быть обращенъ въ пользу другихъ членовъ. Но этотъ избытокъ заслугъ не остается въ распоряженіи отдѣльной личности, а поступаетъ въ общую сокровищницу церкви, которая распределяетъ эти духовныя блага по своему благоусмотрѣнію. Актъ индульгенціи состоитъ именно въ томъ, что папа, какъ назначенъ духовнаго сокровища, вынимаетъ оттуда нѣкоторую долю запасныхъ заслугъ и отдаетъ эту долю тому человѣку, котораго онъ хочетъ спасти отъ адскихъ мученій или отъ чистилища. «Въ этомъ случаѣ, — говоритъ неустрашимый диалектикъ Фома, — нѣтъ надобности принимать въ соображеніе вѣру или дѣла того лица, которое получаетъ индульгенцію, тутъ имѣетъ значеніе только сокровище заслугъ, находящееся въ распоряженіи церкви; это сокровище неистощимо, и церковь распределяетъ его какъ ей угодно и какъ того требуютъ ея интересы.» Фома ухитрился подчинить господству папы даже души умершихъ; онъ доказалъ очень убѣдительно, что папа можетъ давать индульгенціи тѣмъ душамъ, которыя уже находятся въ чистилищѣ: какъ только эта индульгенція выдана, такъ душа сію минуту переносится въ рай; папы воспользовались аргументаціей Фомы и даже предоставили нѣкоторымъ церквямъ право вѣчныхъ индульгенцій; это значило, что за каждую обѣдню, отслуженную въ этой церкви, можно было выводить изъ чистилища по одной душѣ; само-собою разумѣется, что за эти особенныя обѣдни и цѣна была совсѣмъ особенная; въ Римѣ было пять такихъ привилегированныхъ церквей, и на каждой изъ нихъ красовалась вывѣска, обращавшая вниманіе прохожихъ на спеціальныя достоинства предлагаемыхъ обѣдней.

Для продажи индульгенцій живымъ грѣшникамъ римскій дворъ устроилъ таксу всѣхъ грѣховъ: маленькіе грѣхи были подешевле, большіе — подороже, а самый крупный и отборный товаръ по части грѣховъ былъ доступенъ только очень богатымъ людямъ. Но папы постоянно нуждались въ деньгахъ, и имъ пришлось вслѣдствіе этого не только понижать тарифъ этой духовной таможи, но даже разсылать во всѣ

ы Европы множество разносчиковъ, кото-
предлагали отпущеніе грѣховъ встрѣч-
и поперечнымъ за самую умѣренную цѣ-
дѣло дѣшло до того, что многіе искусны-
агенты и коммиссіонеры папства стали
авать отпущеніе будущихъ грѣховъ. Тутъ
икельная нравственность произнесла оче-
свое последнее слово. Дальше этого фи-
овая гениальность идти не можетъ. Тутъ
самые близорукіе люди увидѣли ясно, что
ни систематически поощряютъ преступле-
тъ тѣмъ, чтобы потомъ такъ-же система-
ски брать съ него взятки. Тутъ лопнуло
бніе обманутыхъ и обобранныхъ массъ, и
общее негодованіе выдвинуло впередъ Лю-

стырь новаго адепта. Когда-же родители или
родственники удерживаютъ въ мірѣ молодыхъ
фанатиковъ, тогда гибну св. Бернара иѣтъ пре-
дѣловъ. «Вы мнѣ не родители, — пишетъ онъ
отъ имени одного юноши, — вы мои враги. Чтѣ
я имѣю отъ васъ, кромѣ грѣха и бѣдствія?—
Вамъ мало того, что вы, несчастные, бросили
несчастнаго въ эту жизнь несчастья; вамъ мало
того, что вы, грѣшники, родили грѣшника во
грѣхѣ; вы еще хотите изъ зависти отнять у
меня божественную благодать, которая спасаетъ
меня отъ смерти; вы стремитесь превратить ме-
ня въ добычу геенны.» Когда-же мірское влія-
ніе родителей одержало верхъ, тогда Бернаръ
разразился проклятіями противъ самого юноши,
покидающаго монастырское убѣжище. «Богъ
призвалъ тебя къ себѣ, — писалъ онъ, — и
вдругъ ты покидаешь Его, чтобы идти вслѣдъ
за дьяволомъ. Твои родители ввергаютъ тебя въ
пасть льва; они погружаютъ тебя въ бездну
смерти; черти караулятъ тебя и готовы тотчасъ
схватить свою добычу.»

Люди XII вѣка были вообще очень невѣ-
жественны, но фанатики даже въ то время на-
ходили возможность проклинать зловредную на-
уку. «Монахи, — говоритъ кардиналъ Даміанъ,
— оставляютъ духовныя упражненія, чтобы зна-
комиться съ глупостями земной науки. Не зна-
читъ-ли это покидать цѣломудренную супругу,
чтобы связываться съ блудницами театра?»—
«Они называютъ себя философами, — говоритъ
Бернаръ, — а мы гораздо справедливѣе можемъ
назвать ихъ любопытными и вздорными людь-
ми; наука вѣка сего ослѣпляетъ, но не даетъ ми-
лосердія; она наполняетъ, но не питаетъ; она
раздуваетъ, но не поучаетъ; она засоряетъ умъ,
но не укрѣпляетъ.» Такимъ-же тономъ говорятъ
о наукѣ и всѣ другіе клерикалы, и въ числѣ
этихъ другихъ мы встрѣчаемъ даже Петра До-
стопочтеннаго, того самаго, который учился въ
магометанской Испаніи, переводилъ коранъ и
укрывалъ въ своемъ аббатствѣ несчастнаго Абе-
ляра, гонимаго соборами, папой и св. Берна-
ромъ. Наконецъ, въ XIII вѣкѣ, Доминикъ и
Францискъ проклинали собственность и трудъ. Чтѣ
бы достигнуть совершенства, человѣкъ долженъ,
по ихъ мнѣнію, нищенствовать, молиться, го-
лодать и стегать себя почаще розгами или пле-
тью. Противъ этого опаснаго обоготворенія ни-
щества и праздности возсталъ въ томъ-же XIII
вѣкѣ парижскій университетъ, и во главѣ его
ученый и здравомыслящій богословъ, Виль-
гельмъ de Sancto Amore, написавшій противъ
нищенствующихъ монаховъ книгу подъ загла-
віемъ: «De Periculis Ecclesiae» («Объ опасно-
стяхъ церкви».) «Трудъ, — говоритъ Вильгельмъ,
— есть назначеніе человѣка; это — законъ, кото-
рый далъ ему Богъ, создавая его въ состояніи
нравственнаго совершенства; это — обязанность,
возложенная на него послѣ его грѣхопадѣнія. Мы

XIV.

къ-бы ни были значительны клерикаль-
злоупотребленія, однако надо замѣтить, что
всепенное и неуправляемое увяданіе католи-
ихъ идей обуславливается преимуществен-
е злоупотребленіями, а другими, гораздо
е важными и глубокими причинами. Дѣ-
тъ томъ, что свѣтское общество и католи-
и церковь всегда радикально расходились
у собой въ своихъ взглядахъ на жизнь и
язанности человѣка. Лучшіе представите-
атоллическаго принципа, люди «безукориз-
ой честности и незапятнанной нравствен-
и» ненавидѣли міръ, хотѣли увести за со-
все человѣчество въ монастырь, терзали
тѣло голодомъ и розгами и превращали
ишенно сознательно свою жизнь въ медлен-
заморозиваніе. Міряне, напротивъ того, хо-
жить въ свое удовольствіе и обыкновен-
ропускали мимо ушей горячую проповѣдь
истязанія. Кто былъ правъ — клирики или
е, — этого я рѣшать не берусь, но досто-
о извѣстно изъ исторіи то, что тенденціи
того общества одержали рѣшительную по-
Массу всегда пугали строгія требованія
евнскихъ аскетовъ, старавшихся своей про-
дѣю разрушить всѣ связи, соединяющія че-
ка съ другими людьми. Масса впродол-
и цѣлыхъ столѣтій склоняла голову передъ
и проклятіями, которыми клирики поражали
проявленія жизни, чувства и мысли; но,
смѣливаясь возражать противъ этихъ про-
ій, масса продолжала любить все то, чтѣ
ливалось великими проповѣдниками. А про-
алось ими очень многое; весь міръ былъ,
хъ мнѣнію, царствомъ сатаны, и спасеніе
о быть найдено только въ монастырѣ. Съ
ты своего клерикальнаго величія, св. Ан-
мъ осуждаетъ даже крестовые походы, какъ
ное земное предпріятіе, отвлекающее людей
подвиговъ созерцательной жизни. Св. Бер-
не находитъ словъ, чтобы выразить свою
сть, когда ему удается привлечь въ мона-

естественнымъ образомъ обязаны дѣлать то, что необходимо для существованія человѣчества; безъ труда человѣчество погибнетъ; стало быть, мы рождены для того, чтобы трудиться». — «Жизнь, — продолжаетъ онъ, — налагаетъ на насъ обязанности; мы должны дѣйствовать, развѣртывать по всѣмъ направленіямъ наша человѣческія способности; трудъ на пользу общества стоитъ выше подвиговъ созерцательной жизни.» Съ точки зрѣнія политической экономіи, разсужденія Вильгельма безукоризненны, но средневѣковыхъ клириковъ подобныя разсужденія могли только привести въ негодованіе. Вильгельмъ говорилъ, что человѣчество погибнетъ, если никто не будетъ трудиться. А что за дѣло было клирикамъ до гибели человѣчества? По мнѣнію св. Бернара, сынъ обязанъ проклинать своихъ родителей за то, что они, грѣшники, родили его, грѣшника, на свѣтъ во грѣхѣ. Такія проклятія направлены очевидно противъ самаго существованія человѣчества и слѣдовательно противъ всего того, что, такъ или иначе, поддерживаетъ это грѣховное существованіе. Поэтому нищенствующіе монахи утверждали совершенно послѣдовательно, что «трудъ есть преступленіе». Но, не рѣшаясь высказать прямо ту мысль, что они хотятъ истребить человѣчество, они призывали себѣ на помощь логику сувереннаго натурализма и сулили своимъ слушателямъ, что «земля будетъ приносить плоды въ безпредѣльномъ изобиліи, когда всѣ люди, оставивъ полевую работу, посвятятъ всѣ свои силы молитвѣ».

Эти проповѣди были однако не опасны для Вильгельма, потому что народъ плохо вѣрилъ подобнымъ обѣщаніямъ и смотрѣлъ на нищенствующихъ монаховъ не столько съ сочувствіемъ, сколько съ недоумѣніемъ. Бѣлое духовенство враждовало съ новыми орденами; народные поэты, напримѣръ, Rutebeuf и авторъ «Романа о розѣ» («Roman de la Rose»), относились къ доминиканцамъ и францисканцамъ недружелюбно и насмѣшливо. Словомъ, общественное мнѣніе было на сторонѣ Вильгельма; его поддерживалъ парижскій университетъ; ему сочувствовало все умное сословіе тогдашней Франціи; но противъ него выступили два опасные противника, два знаменитые писателя XIII вѣка: за доминиканцевъ заговорилъ Тома Аквинскій; а за францисканцевъ — генералъ ихъ ордена, Бонавентура. Надо сказать правду, эти діалектики, оставаясь на чисто теологической почвѣ, своими аргументами и цитатами разбили въ прахъ всю политическую экономію Вильгельма de Sancto Amore. Они даже не стали разбирать вопроса о томъ, что вредно и что полезно для человѣчества. Этотъ вопросъ не имѣлъ для нихъ ни малѣйшаго смысла. Они доказали только ссылками на высшіе авторитеты, что абсолютная бѣдность возведена уже очень давно въ идеалъ нравственнаго совер-

шенства. Утвердивши эту мысль на неизменныхъ основаніяхъ, они совершенно справедливо назвали еретикомъ и врагомъ религіи того иррациональнаго человѣка, который осмѣливался осуждать нищенство монаховъ, какъ преступленіе противъ естественныхъ законовъ общества. Противники ихъ говорили, что міръ созданъ Богомъ, и что вслѣдствіе этого человѣкъ не обязанъ ненавидѣть міръ. «Не вещи, созданныя Богомъ, — разсуждали они, — производятъ несовершенство, а производятъ его слабость человѣка, неумѣющая пользоваться благами жизни.» Этотъ аргументъ былъ пущенъ въ ходъ противъ нищенства, то-есть противъ абсолютнаго презрѣнія къ земнымъ благамъ и къ физическому труду. Бонавентура доказалъ неопровержимо, что надо сдѣлать одинъ изъ двухъ, или признать это разсужденіе несостоятельнымъ и противнымъ религіи, или же приложить его ко всѣмъ проявленіямъ католической нравственности. «Такъ какъ земныя блага созданы Богомъ, — говорилъ Бонавентура, — такъ какъ женщины созданы Богомъ, такъ какъ бракъ учрежденъ Богомъ, такъ какъ свободная воля дарована Богомъ, — то совершенство, стало быть, состоитъ въ томъ, чтобы жить въ роскоши, жениться, пользоваться свободной волей.» — Противникамъ нищенствующихъ орденовъ поставлена такимъ образомъ безвыходная дилемма: или они должны оправдать нищенство, какъ стремленіе къ идеалу, или же они должны осудить всѣ монашескіе обѣты, какъ дерзкія попытки человѣка навсегда отречься отъ того, что создано для него Богомъ.

Несмотря на сочувствіе общества, Вильгельмъ de Sancto Amore потерпѣлъ въ официальномъ мірѣ полнѣйшее пораженіе. Папа осудилъ книгу «De Periculis», какъ «нечестивое, гнусное, отвратительное» сочиненіе. Онъ приказалъ ее сжечь и объявилъ врагами церкви тѣхъ людей, которые осмѣлятся защищать ее такъ или иначе. Онъ написалъ множество писемъ къ французскому королю, къ архіепископамъ и епископамъ для того, чтобы добиться строжайшаго исполненія этого приказанія. Парижскій университетъ струсилъ и понятился назадъ; доктора, поддерживавшіе идеи Вильгельма, отказались отъ своихъ заблужденій для того, чтобы сохранить свои должности. Но самъ Вильгельмъ остался непоколебимымъ и говорилъ даже не разъ, — какъ свидѣлствуютъ его враги, — что онъ готовъ идти на смерть за свои вѣрованія. Тѣ же враги обвиняли Вильгельма въ томъ, что онъ убѣждалъ своихъ слушателей твердо стоять за правое дѣло. Эти ужасныя обвиненія очень правдоподобны; Вильгельма отрѣшили отъ должности, Вильгельма выгнали изъ Парижа, а Вильгельмъ все-таки не изъявилъ ни малѣйшаго желанія раскаяться. Папа то грозилъ ему разными ужасами, то старался обратить его на путь истины кроткими словами и ободряющими обѣщаніями, но

Вильгельмъ былъ такъ грубъ и непочтителенъ, что не обращалъ никакого вниманія на всѣ эти начальственные демонстраціи. Тогда папа, съ сокрушеніемъ сердца, объявилъ во всеуслышаніе, что Вильгельмъ повергнутъ дьяволомъ въ «бездну упрямства». А Вильгельмъ заупрямился еще сильнѣе и даже осмѣлился апеллировать на рѣшеніе папы ко вселенскому собору. Апелляція эта осталась, разумѣется, безплодной тратой словъ, потому что вселенскаго собора въ то время не было, и неисправимый Вильгельмъ остался до самой своей смерти въ крайности, въ изгнаніи и въ «безднѣ упрямства». Вильгельмъ de Sancto Amore в теченіи нѣсколькихъ столѣтій считался очень опаснымъ писателемъ. Въ XVIII столѣтіи его сочиненія были напечатаны, но французское правительство, по просьбѣ доминиканцевъ, запретило продавать эти сочиненія подѣ страхомъ смертной казни.

Побѣда схоластиковъ надъ представителемъ утилитарнаго направленія была блистательна, но безплодна. Можно было согнать профессора съ кафедръ, можно было сжечь его сочиненія, не мудрено было даже и самого автора взвалить на костеръ, но уничтожить радикальное противорѣчіе между аскетическимъ идеаломъ и стремленіемъ живой дѣйствительности было совершенно невозможно. Жизнь не подчинилась католическому уставу; напротивъ того, она сама проникла въ монастыри и своимъ неотразимымъ вліяніемъ превратила въ мертвую букву самые строгіе уставы. Монахи ѣли много, монахи развратничали, монахи занимались учеными изслѣдованіями и судебными процессами, монахи вели торговлю и наживали себѣ капиталы, — ясное дѣло, что дѣйствительная жизнь одерживала побѣду надъ требованіями идеала. Столкновеніе между живыми инстинктами человѣческой природы и монастырскими понятіями о нравственномъ совершенствѣ описаны очень наглядно и остроумно во многихъ произведеніяхъ средневѣковой поэзіи. — Утомившись шумомъ лагерной жизни и чувствуя приближеніе старости, герои рыцарскихъ романовъ часто удаляются въ монастырь, но они и въ монастырѣ хотятъ жить по своему, заявляя тамъ при каждомъ удобномъ случаѣ всю свою феодальную необузданность. Одинъ изъ такихъ героев, Ренуаръ, никогда въ жизни своей не бывалъ въ церкви; по какому-то особенному случаю онъ рѣшается поступить въ монастырь; его брѣютъ, постригаютъ, одѣваютъ въ монашеское платье; онъ ко всему этому церемониалу присматривается и молчитъ; превративши рыцаря въ монаха, аббатъ приказываетъ своему новому подчиненному поститься по четыре дня въ недѣлю, носить на голомъ тѣлѣ власяницу и каждую ночь читать положенныя молитвы. Тутъ бывшій рыцарь выходитъ изъ себя; онъ кричитъ на весь монастырь, что аббатъ вретъ чепуху; потомъ онъ клянется самыми страшными клятвами, что

онъ во всякомъ случаѣ будетъ ѣсть жирныхъ кануновъ и отличную дичь, будетъ пѣть, когда ему вздумается, и все, что ему будетъ угодно. — Другой рыцарь, Вильгельмъ Курносый, поступивши въ монахи, нагоняетъ страхъ на весь монастырь. Онъ ѣстъ за шестерыхъ, пьетъ во все свое удовольствіе, и въ пьяномъ видѣ дѣлаетъ всѣмъ своимъ товарищамъ самыя чувствительныя непріятности. Однажды аббатъ посылаетъ его за рыбою и предупреждаетъ его, что ему придется идти черезъ лѣсъ и что тамъ водятся мошенники, которые по всей вѣроятности постараются отнять у него деньги или съѣстные припасы, закупленные для монастыря. — «Хорошо, отвѣчаетъ Вильгельмъ: со мной не сладятъ. Я возьму свое оружіе». — Нѣтъ, возражаетъ аббатъ, уставъ св. Бенедикта положительно запрещаетъ намъ употребленіе меча. — А если они на меня нападутъ! — Ты ихъ попросишь, сынъ мой, именемъ Бога, оставить тебя въ покоѣ. — А если они захотятъ взять у меня шубу, рубашку, сапоги, чулки? — Надо все отдать имъ, сынъ мой, отвѣчаетъ аббатъ. — «Правила рыцарства, по-моему, гораздо лучше, оретъ Вильгельмъ: рыцари сражаются съ турками и часто проливаютъ свою кровь, а вы только и дѣлаете, что пьете да ѣдите, и спите!»

Уже съ XIII вѣка поэты стали относиться враждебно не только къ клерикальнымъ злоупотребленіямъ, но даже къ основнымъ принципамъ католицизма. Одинъ нѣмецкій миннезингеръ въ пѣснѣ о возвращеніи Фридриха Барбароссы говоритъ, что императоръ уничтожитъ всѣ монастыри, что монахи женятся на монахиняхъ и что всѣ они вмѣстѣ примутся пахать землю и обрабатывать виноградники. Когда въ началѣ XIV вѣка папа Климентъ V уничтожилъ орденъ тамплиеровъ, одинъ англійскій поэтъ написалъ пѣсню о будущемъ уничтоженіи всѣхъ остальныхъ орденовъ. Какъ-бы мы ни относились къ этому историческому факту — благосклонно или недоброжелательно, — во всякомъ случаѣ самое существованіе факта не подлежитъ сомнѣнію: общество отталкивало прочь схоластическій идеалъ.

XV.

Разладъ между католической доктриной и свѣтскимъ обществомъ выразился съ особенной рѣзкостью въ ихъ взглядахъ на женщину. Трудно представить себѣ болѣе рѣшительную противоположность. Средневѣковые богословы постоянно стараются отзываться о женщинѣ самымъ оскорбительнымъ образомъ. «Женщина, — пишетъ Guy de Sancto Victore, — есть причина зла, начало заблужденія, источникъ грѣха; она соблазнила человѣка въ раю, она продолжаетъ соблазнять его на землѣ, и она-же увлечетъ его въ бездну ада.» — «Женщина, — говоритъ Винцентій изъ Бове, — есть сладкій ядъ, дающій вѣчную смерть; это — факелъ сатаны, дверь, черезъ

которую входит дьявол.» — Специалист по части демонологии, епископ Вильгельм Овернский, утверждает, что черти являются всегда под видом женщины. — Аристотель смотрит на женщину презрительно въсхъ остальных философовъ древности. «Природа, — говорит онъ, — всегда стремится создать мужчинъ; женщины же она создаетъ только по безсилію или случайно.» Тома Аквинскій, цитируя эти слова, совершенно соглашается съ ними и прибавляетъ отъ себя то замѣчаніе, что мужчина есть типъ совершенства, а женщина — типъ несовершенства. «Даже безъ грѣхопаденія, — продолжаетъ онъ, — женщина была-бы подчинена мужчинамъ, потому что у мужчины естественнымъ образомъ имѣется больше разсудка.» Повторяя мнѣнія Августина, Тома утверждаетъ, что женщина создана только для того, чтобы рождать дѣтей, «подобно тому, какъ земля необходима для того, чтобы сѣмена производили растенія.» «Въ самомъ дѣлѣ, — разсуждаютъ Августинъ и Тома, — женщина очевидно создана не за тѣмъ, чтобы помогать мужчинамъ въ его трудахъ, потому что, разумѣется, мужчина могъ-бы быть для женщины болѣе полезнымъ помощникомъ. И конечно не за тѣмъ она создана, чтобы утѣшать мужчину: развѣ два друга мужескаго пола не были-бы счастливѣе вмѣстѣ, чѣмъ мужчина и женщина?»

При такомъ взглядѣ на женщину бракъ безъ сомнѣнія долженъ казаться зломъ. Такъ оно и было дѣйствительно. — Презрѣнными людьми оказываются такимъ образомъ, по приговору Вантадура, всѣ искренніе аскеты, потому что всѣ они отпаивались отъ любви, какъ отъ самаго лютаго изъ дьявольскихъ искушеній. Тутъ можно сдѣлать два предположенія, и оба они приводятъ насъ къ тому результату, что внутренняя, умственная связь между средневѣковымъ идеаломъ и обществомъ была чрезвычайно слаба даже въ то время, когда церковь господствовала надъ государствомъ. Одно изъ двухъ: или Вантадуръ сознательно направилъ свои слова противъ этого идеала, или же онъ написалъ эти слова безъ особеннаго умысла, увлекаясь воспѣваніемъ любви и стараясь какъ можно ярче выразить свое благоговѣніе къ этому чувству. Въ первомъ случаѣ мы видимъ смѣлую оппозицію; во второмъ — еще того хуже; во второмъ — мы видимъ, что поэтъ можетъ совершенно забывать, игнорировать и оставлять безъ вниманія тѣ идеи, которыми живутъ лучшіе представители его религіи. — Поэты были большей частью безукоризненными католиками и сами считали себя даже вѣрующими и ревностными католиками, но все ихъ міросозерцаніе, — всѣ ихъ симпатіи и тенденціи были радикально противоположны тѣмъ мыслямъ, чувствамъ и стремленіямъ, которыя вырабатывались въ настоящихъ твердыхъ католицизмъ лучшими представителями его. Значитъ, католицизмъ былъ всегда

для огромнаго числа западныхъ европейцевъ собраніемъ догматовъ, формулъ и обрядовъ, которымъ они придавали очень важное значеніе, но изъ которыхъ они не извлекали никакихъ руководящихъ началъ для своей всѣдневной, практической и умственной жизни. Жизнь развивалась по своимъ собственнымъ, внутреннимъ законамъ, совершенно независимо отъ неподвижнаго принципа, и когда она дошла въ своемъ развитіи до яснаго самосознанія, тогда она начала разрывать даже ту чисто-внѣшнюю связь, которая соединяла ее съ католицизмомъ. Батллическіе богословы утверждаютъ, что даже бракъ не оправдываетъ собой любви къ женщинамъ; поэты, напротивъ того, оказались такими лакониками, что возвеличили и обоготворили свободную любовь. Это, разумѣется, было съ нѣ стороны очень дурно и безнравственно, но тутъ дѣло не въ томъ. Поэты высказывали только то, что въ данную минуту чувствовало и думало большинство ихъ современниковъ. Поэзія отражала въ себѣ дѣйствительную жизнь. Въ дѣйствительной жизни рыцарь становился на колѣни передъ женщиной, съ которой онъ не былъ связанъ брачнымъ союзомъ. Эта женщина брала его руки въ свои руки, подобно тому, какъ дѣлалъ это сюзеренъ, принимая отъ своего вассала присягу въ вѣрности. И рыцарь, стоя такимъ образомъ на колѣняхъ передъ посторонней женщиной, давалъ ей торжественную клятву обожать ее вѣчно и служить ей вѣрно до самой смерти. Дама принимала эту клятву, давала рыцарю кольцо и, поднимая его съ колѣнъ, цѣловала его въ губы. И рыцари были твердо убѣждены въ томъ, что супругъ нарушилъ-бы законы чести, еслибы вздумалъ обращаться съ своей законной супругой, какъ съ дамой своего сердца. Дамой сердца непремѣнно должна была быть посторонняя женщина, потому, какъ говорили поэты и рыцари, что жена зависитъ отъ мужа и ни въ чемъ не можетъ отказать ему, а любовь должна быть совершенно свободна.

Все это очень непопулярно, но я совсѣмъ не для того и распространяюсь объ этихъ обычаяхъ, чтобы восхвалять ихъ. Я хочу только обратить вниманіе читателя на то обстоятельство, что всѣ эти обычаи и понятія сформировались и окрѣпли именно въ то время, когда католическая церковь полновластно господствовала надъ обществомъ. Всѣ эти обычаи и понятія диаметрально-противоположны католическимъ принципамъ, а между тѣмъ католическіе принципы позволили имъ развернуться и не могли ихъ подавить даже тогда, когда они, католическіе принципы, находились въ самой цвѣтущей по его могуществу.

XVI.

Католическое духов
притязанія католически

ны съ существованіемъ государства; догматы ныхъ штрафовъ. Всѣ эти мѣры только раздражали общество, плодили доносчиковъ и лицемѣровъ, превращали равнодушныхъ людей въ ненавистниковъ католицизма и вообще постоянно расширяли ту бездну, которая отдѣляла католическую церковь отъ католическихъ народовъ. Люди, отлученные отъ церкви, говорили открыто, что они попрежнему ѣдятъ и пьютъ съ великимъ удовольствіемъ, и что поля ихъ не перестаютъ приносить имъ обильныя жатвы. А иногда дѣло доходило до того, что отлученные міряне произвольно присвоивали себѣ духовныя должности и со всей надлежащей серьезностью служили обѣдни, какъ настоящіе священники. Иерархія сама втеченіи многихъ столѣтій заботилась о томъ, чтобы превратить католицизмъ въ собраніе внѣшнихъ обрядовъ, на которые народъ долженъ былъ смотрѣть съ благоговѣніемъ. Иерархія сама мѣшала народу слушать или читать священное писаніе на родномъ языкѣ. Вслѣдствіе этого католикъ считалъ себя католикомъ единственно потому, что въ извѣстные дни ходилъ въ церковь и въ извѣстные времена года отказывался отъ мясной пищи. Когда католикъ выучивался презирать пьяныхъ и развратныхъ монаховъ, когда онъ начиналъ относиться равнодушно и насмѣшливо къ соблюденію внѣшнихъ формальностей, тогда разрывалась всякая связь между католической паствой и его частной жизнью, тогда ему ровно ничего не стоило жить и умирать совсѣмъ безъ религіи. Огрѣшившись отъ раболопнаго уваженія къ духовенству, католикъ, какъ ученикъ, вырвавшій на свободу, не зналъ границъ своей шаловливой радости, осмѣивалъ силовъ, безъ всякаго дальнѣйшаго разбора все, что онъ недавно уважалъ по приказанію строгаго учителя. «Le Roman du Renard» представляетъ въ цѣломъ своемъ составѣ очень яркій образчикъ такого сплошнаго осмѣянія; и этотъ образчикъ тѣмъ болѣе замѣчателенъ, что «Романъ о лисицѣ» былъ, какъ я замѣтилъ выше, любимой умственной пищей средних вѣковъ читателей. Осмѣивая испорченность духовенства, авторъ этого романа осмѣиваетъ заодно католическую религію, во всѣхъ ея обрядахъ. Такъ на примѣръ, преступную лисицу отлучаютъ; эту церемонію исполняетъ осель. При этомъ описываются во всѣхъ подробностяхъ, — но, разумѣется, въ карикатурномъ видѣ, — всѣ обряды экскommуніаціи. Но лисица не унываетъ. «Что мнѣ дѣлать? — восклицаетъ она съ насмѣшкой. — Меня отлучаютъ отъ церкви. Теперь мнѣ придется отказываться отъ пищи до тѣхъ поръ, пока я не почувствую голода или аппетита. Теперь супъ мой не будетъ кипѣть до тѣхъ поръ, пока подъ нимъ не разложатъ огня.» Словомъ, лисица продолжаетъ, что сокрушаться не о чемъ, потому что все пойдетъ попрежнему. Надѣлавши множество грѣховъ, лисица отправляется на исповѣдь,

ны съ существованіемъ государства; догматы были изуродованы, поддѣланы и истолкованы, сообразно съ узкими житейскими одами клерикальной корпораціи; наконецъ католическое міросозерцаніе, какъ понимали лучшіе представители католицизма, нахорось въ непримиримомъ противорѣчій съ инстинктами и стремленіями свѣтскаго общества. Эти причины, взятые вмѣстѣ, объясняютъ совершенно удовлетворительно полное историческое банкротство католическихъ идей. Равнодушіе къ нимъ стало обнаруживаться очень рано: уже въ половинѣ XII столѣтія одинъ соборъ говорить съ укоризной о такихъ людяхъ, которые презираютъ церковныя церемоніи. Съ XV вѣка индифферентизмъ становится уже хронической болѣзнь католическихъ народовъ и постепенно превращается даже въ сознательное вѣріе. Соборы постоянно принимаютъ разныя строгія мѣры противъ тѣхъ людей, которые въ воскресенья не ходятъ въ церковь. Франскій соборъ, въ 1214 году, приказываетъ каждому католику причащаться по крайнѣйшѣмъ одинъ разъ въ годъ. Это приказаніе вызвало тѣмъ фактомъ, что очень многіе люди не причащались совсѣмъ никогда. Простой народъ, по словамъ Альберта Великаго, жившаго въ XIII вѣкѣ, скучалъ въ церкви и считалъ для себя болѣе удобнымъ проводить воскресные дни въ кабакахъ. Во времена Альберта такого числа индифферентистовъ было такъ много, что Альбертъ находилъ возможнымъ раздѣлить ихъ на нѣсколько разрядовъ. Первые, невѣрующіе, — ослѣплены руководствомъ злодѣя и отвергаютъ спасительную силу религіи. Другіе, равнодушные, — заняты житейскими заботами, увлечены денежными оборотами и совсѣмъ не думаютъ о религіи. Третьи, нечестивые, — запятнаны преступленіями и, привязавшись къ своему гнусному образу жизни, не хотятъ очищать свою совѣсть молитвой и покаяніемъ. Духовенство, разумѣется, было очень недоброжелательно охладѣніемъ католической паствы; прилагались противъ религіознаго равнодушія самыя разнообразныя мѣры, но дѣло съ каждымъ столѣтіемъ шло все хуже да хуже. Въ XIV вѣкѣ одинъ авиньонскій епископъ погрозилъ церковнымъ проклятіемъ тѣмъ авиньонскимъ кардиналамъ, которые отлынивали отъ богослуженія; но врядъ-ли проклятіе могло быть особенно полезно для тѣхъ легкомысленныхъ людей, которые были равнодушны къ религіи. Многіе со стороны XIV вѣка пытались устроить особаго рода вѣзачію для выслѣживанія тѣхъ людей, которые не исповѣдывались и не причащались. Соборы, не зная, что дѣлать съ этими равнодушными людьми, запретили имъ входить въ церковь. Потомъ противъ индифферентизма въ ходъ система денеж-

перечисляетъ всѣ свои преступленія, объявляетъ прямо, что совсѣмъ не желаетъ исправляться, и получаетъ торжественное прощенье. — Вся католическая обѣдня осмѣивается самымъ циническимъ образомъ. — Ложась спать, лица молятся Богу, просятъ себѣ заступничества, произносятъ двѣнадцать разъ *Pater noster* и поминаетъ въ своихъ молитвахъ «всѣхъ воровъ, всѣхъ мошенниковъ, всѣхъ подлецовъ и всѣхъ развратниковъ».

И все это читалось съ величайшимъ увлеченіемъ современниками Людовика Святого. Массу вели къ невѣрію чисто-отрицательныя причины, то-есть несовершенства господствующей религіи. Но у мыслящихъ людей тогдашняго общества были и положительныя причины; на этихъ мыслящихъ людей дѣйствовали, съ неотразимой и постоянно возрастающей силой, два вліянія, въ высшей степени враждебныя католическимъ идеямъ, — вліяніе древней Греціи и вліяніе арабовъ. — Греція проникла даже въ тотъ лагерь, къ которому принадлежали самые ревностные защитники католицизма; вся схоластика была построена на діалектикѣ Аристотеля, и случалось не разъ, что Аристотель неотразимымъ объясненіемъ своей логической послѣдовательности увлекалъ какого-нибудь добросовѣстнаго католическаго богослова къ такимъ умозаключеніямъ, которыя никакъ не могли быть одобрены папой и соборами. Средневѣковые ученики Аристотеля страстно любили своего учителя и видѣли въ его книгахъ высшее проявленіе человѣческой мудрости. Нравственная философія Аристотеля читалась на ряду съ Евангеліемъ, или, точнѣе, нравственная философія пользовалась предпочтеніемъ. («*La Réforme*».) Эта преступная любовь католиковъ къ язычнику повела за собой самыя гибельныя послѣдствія. Ученикамъ захотѣлось, во что-бы то ни стало, спасти обожаемаго учителя отъ адскихъ мученій. Богословы написали нѣсколько книгъ «о спасеніи Аристотеля». Въ схоластическомъ мірѣ появилась опасная мысль, что языческіе философы получили вѣчное блаженство за чистоту своей нравственности и за благотворное вліяніе на развитіе человѣческой мысли. Дерзкіе умы стали разрабатывать эту идею: «если, — разсуждали они, — Платонъ и Аристотель попали въ рай, то, значить, вообще люди могутъ спастись во всякой религіи; индифферентизмъ былъ такимъ образомъ возведенъ на степень философской доктрины.

Этому систематизированію индифферентизма содѣйствовало въ значительной степени вліяніе арабскихъ скептиковъ и преимущественно Аверроэса, который не только презиралъ все, но даже отвергалъ безсмертіе души и, вмѣсто личнаго Бога, признавалъ только безличную совокупность вѣчныхъ законовъ природы. Средневѣковые католики называютъ Аверроэса «бѣшеной собакой, которая, увлекаясь отвратитель-

ной яростью, лаетъ постоянно противъ Христа и противъ католической религіи». Въ XIII столѣтіи эта бѣшенная собака нашла себѣ многихъ послѣдователей въ парижскомъ университетѣ и во всей католической Европѣ. Парижскій епископъ нѣсколько разъ предавалъ проклятій этимъ вреднымъ идеямъ; Альбертъ Великій и Тома Аквинскій писали противъ нихъ ученые трактаты; но аверроизмъ продолжалъ дѣйствовать на умы и подрывать авторитетъ католицизма. Въ половинѣ XIII вѣка одинъ папскій легатъ запретилъ діалектикамъ заниматься богословіемъ, а богословамъ пускаться въ богословскія изслѣдованія, говоря, что смѣшеніе богословія съ философій ежедневно порождаетъ новыя заблужденія. Всѣ лукавыя вольнодумцы съ радостью ухватились за это запрещеніе; они объявили, что не смѣютъ углубляться въ непостижимыя тайны богословія, и стали развивать такія философскія доктрины, которыя были совершенно противны положеннымъ установленнымъ догматамъ. Папа и парижскій соборъ съ величайшимъ негодованіемъ возстали противъ этой коварной тактики. «На которые люди утверждаютъ, — писалъ папа, — что есть вещи истинныя по философіи, но не истинныя по религіи, точно будто могутъ существовать двѣ противоположныя истины, а точно будто истина, находясь въ противорѣчій съ Священнымъ Писаніемъ, можетъ заглаживаться въ книгахъ тѣхъ проклятыхъ язычниковъ, въ которыхъ сказано: «я погублю мудрость мудрецовъ».

Запрещенныя мысли хитрили, вылились, принимали на себя различныя маски и все-таки прокладывали себѣ дорогу въ общество. Въ XIV вѣкѣ Петрарка говоритъ о множествѣ людей, систематически презиравшихъ католическую религію: «Еслибы казни уголовного права не пугали ихъ гораздо больше, чѣмъ наказанія божьи, — пишетъ онъ, — они осмѣлились бы нападать не только на ученіе о сотвореніи міра, но даже на католическую религію и на священный догматъ Христа. Въ своихъ официальныхъ рѣчахъ они клянутся, что ихъ разсужденія не затрагиваютъ религіи; но въ частныхъ бесѣдахъ они позволяютъ себѣ всевозможныя богохульства, шутки и сарказмы, которые вызываютъ со стороны ихъ слушателей восторженныя аплодисменты. Разумѣется, эти преступныя смѣлки не могли долго удовлетворять чело-вѣческую мысль; отвергнувъ религію, дойдя до атеизма и до полнаго матеріализма, мыслители XV вѣка стали искать себѣ новой работы; богословіе уже потеряло для нихъ всякую занимательность; они не считали его больше за науку, и въ слѣдствіе этого они принялись съ величайшимъ увлеченіемъ за изученіе природы и классической литературы. Паденіе Константинополя, переселеніе многихъ ученыхъ грековъ въ Ита-лію, великія морскія открытія и изобрѣтеніе кни-

печатанія были тѣми внѣшними историческими событіями, которыя дали могущественное развитіе новому направленію умственной дѣятельности, одержавшему рѣшительную побѣду надъ средневѣковой схоластикой.

Въ XV столѣтіи побѣда была уже одержана: католическій богословъ, Петръ д'Алльи, жалуется, что богословіе забыто и что богословы занимаются исключительно свѣтскими науками. Правда, реформація снова, на цѣлыя два столѣтія, выдвинула впередъ безысходные теологическіе

диспуты, но въ то время, когда Лютеръ и Кальвинъ диспутировали, было уже много мыслящихъ людей, занимавшихся серьезными научными изслѣдованіями. Математика, астрономія, физика, механика и анатомія развивались втихомолку въ то самое время, когда вся западная Европа была наполнена шумомъ протестантскихъ сектъ, интригами іезуитовъ и кровопролитными сценами религиозныхъ войнъ. — Положительная наука росла и укрѣплялась....

МЫСЛИ ВИРХОВА О ВОСПИТАНІИ ЖЕНЩИНЪ.

I.

Одинъ изъ замѣчательныхъ европейскихъ натуралистовъ нашего времени, Рудольфъ Вирховъ, высказалъ недавно нѣсколько очень свѣтлыхъ мыслей о воспитаніи женщинъ. Мысли эти важны не столько по своему прогрессивному характеру, сколько по своей практичности, безобидности и осуществимости. Прогрессивныхъ мечтаній по вопросу о женщинахъ было высказано чрезвычайно много. Еслибы человечество могло подвигаться впередъ посредствомъ рисованія блестящихъ идеаловъ, то всѣ эти мечтанія были бы чрезвычайно полезны. Къ сожалѣнію, это рисованіе идеаловъ составляетъ только самую легкую и самую незначительную часть той работы, которая должна вести человечество къ его будущему благосостоянію. Если вы нарисовали идеалъ, то вы должны еще кромѣ того показать обществу, какимъ путемъ оно должно идти въ осуществленію этого идеала. Если вы сказали обществу: «вотъ чѣмъ должна быть женщина!», то на васъ лежитъ еще обязанность объяснить вашимъ современникамъ, какимъ образомъ она *можетъ* придти къ указанной вами цѣли. Принимаясь за эту вторую часть задачи, вы должны брать въ расчетъ не только отвлеченную возможность, но и реальную удобоисполнимость. Есть множество вещей, совершенно возможныхъ по законамъ природы и въ то же время совершенно неисполнимыхъ при данныхъ условіяхъ мѣста и времени. Данные условія, мѣшающія осуществленію прекрасныхъ идеаловъ, — это конечно штука очень нехитрая и несносная; но будете-ли вы ихъ проклинать, будете-ли вы ихъ игнорировать — это рѣшительно все равно; ни ваши проклятія, ни ваше игнорированіе не сдвинутъ ихъ съ мѣста и не принесутъ ни малѣйшей пользы вашей любимой идеѣ; вы будете, въ счастливомъ невѣдѣніи матеріальныхъ препятствій, ублажать себя великолѣпными теоретическими

построеніями, а дѣйствительная жизнь будетъ попрежнему тѣшиться по своей колеѣ.

Чтобы быть настоящимъ прогрессистомъ не на словахъ, а на самомъ дѣлѣ, чтобы быть реалистомъ, а не мечтателемъ, вы должны изучать данные условія, каковы бы они ни были. Вы должны постоянно принимать ихъ въ соображеніе, вы должны даже, скрѣпя сердце, поддѣлываться къ нимъ для того, чтобы передѣлывать ихъ по своему. Вы видите напримѣръ, что какая-нибудь любимая, высоко-гуманная и прогрессивная идея ваша осмѣяна и оклеветана тѣми людьми, которые неспособны ее понять. Испытавши такое пораженіе, вы все-таки не должны останавливаться на томъ безотрадномъ заключеніи, что общество еще не доросло до пониманія своихъ собственныхъ выгодъ. Если общество, по своей неразвитости или по какимъ-нибудь другимъ внѣшнимъ обстоятельствамъ, неспособно воспользоваться вашей идеей въ той формѣ, въ которой вы ее предложили сначала, то вы должны измѣнить эту форму и повторить вашу попытку, и повторять эти попытки до тѣхъ поръ, пока не добьетесь успѣха. Каждая великая и плодотворная идея обладаетъ такой гибкостью, эластичностью и живучестью, которая рано или поздно должна побѣдить или пережить всѣ препятствія. Для каждой великой и плодотворной идеи можно придумать такое скромное приложение, которое не покажется предосудительнымъ даже самому отъявленному рутинеру.

Эти общія размышленія о великихъ и плодотворныхъ идеяхъ прилагаются въ частности съ величайшимъ удобствомъ къ великой и плодотворной идеѣ рациональнаго воспитанія женщинъ. Нѣкоторые умные и честные люди высказали въ нашей періодической литературѣ ту мысль, что женщина должна быть дѣятельнымъ и полезнымъ членомъ общества, что слѣдовательно она должна учиться и трудиться. Другіе возражали

на это, также въ нашей періодической литературѣ, что женщины въ обществѣ нечего дѣлать, что ея мѣсто у семейнаго очага, что она должна быть исключительно женой, матерью и хозяйкой. Я называю этихъ возражателей людьми неумными и нечестными, потому что они прикинулись защитниками очень почтенныхъ вещей, на которыя никто не думалъ нападать. По поводу вопроса о серьезномъ научномъ образованіи женщинъ они защищали цѣломудріе дѣвушки, которое не подвергалось ни малѣйшей опасности. По поводу вопроса объ артельномъ трудѣ они защищали семейныя добродѣтели супруги, противъ которыхъ также никто не говорилъ худого слова. Такими дешевыми средствами они ухитрились набросить на своихъ литературныхъ противниковъ неблагоприятную тѣнь и сдѣлать упрочить за собой репутацію зоркихъ и благонамѣренныхъ блюстителей общественной нравственности. Публика, при которой производились эти незамысловатые фокусы, по своему обыкновенію благодушествовала, хлопала глазами, развѣшивала уши. Женскій вопросъ при такихъ условіяхъ, разумѣется, съѣлъ на мель, и снимать его съ этой мели стало дѣломъ почти опаснымъ.

Мнѣ кажется однако, что вопросъ съѣлъ на мель собственно потому, что у нашихъ прогрессистовъ не хватило практической находчивости и изворотливости. Располагая нѣкоторой дозой этихъ драгоценныхъ качествъ, можно было извлечь для даннаго вопроса самую существенную пользу даже изъ возраженій; можно было совершенно неожиданно стать на точку зрѣнія этихъ софистовъ и разбить ихъ на голову ихъ собственнымъ оружіемъ. Эти благодѣтели нашего общества твердятъ безъ умолку, что женщина должна быть исключительно женой, матерью и хозяйкой. Прекрасно. Это очень хорошо, что они высказали свои желанія, и притомъ высказали ихъ такъ неоднократно, такъ громко и торжественно, что имъ уже невозможно отъ нихъ отпереться. Теперь остается только спросить у нихъ, желаютъ ли они, чтобы женщина была *хорошей* женой, *хорошей* матерью и *хорошей* хозяйкой? Если на этотъ вопросъ они отвѣтятъ *нѣтъ*, то можетъ-быть даже наша бладушная публика перестанетъ пить шампанское за ихъ здоровье. Если же они, какъ и слѣдуетъ того ожидать, отвѣтятъ *да*, то прогрессисты могутъ считать свое дѣло выиграннымъ и могутъ прочитать мистификаторамъ очень блистательное и очень назидательное поученіе. «Послушайте вы, благодѣтели, — скажутъ прогрессисты: — знаете ли вы, что значитъ быть *хорошей* женой, *хорошей* матерью и *хорошей* хозяйкой? Знаете-ли вы, какія для этого требуются обширныя и основательныя свѣдѣнія? Знаете-ли вы, какое тутъ необходимо высокое развитіе? Знаете-ли вы, какія радикальныя преобразованія надо произвести во всей системѣ

женскаго воспитанія для того, чтобы это воспитаніе дѣйствительно давало обществу *хорошихъ* женъ, *хорошихъ* матерей и *хорошихъ* хозяекъ? Если вы этого не знаете, то вы — пустые фразеры. Если же вы это знаете, то вы, толкуя безъ умолку о женахъ, матеряхъ и хозяйкахъ, должны дѣйствовать съ нами за-одно и измѣнить еще усерднѣе насъ о серьезности и разносторонности женскаго образованія. А такъ какъ вы сами стараетесь помѣшать всему, что идетъ къ образованію *хорошихъ* женъ, *хорошихъ* матерей и *хорошихъ* хозяекъ, то вы опять-таки-пустые фразеры и ничтожные мистификаторы. Тѣ люди, которымъ дѣйствительно дорожитъ процвѣтаніе и совершенствованіе русскаго семейства и русскаго хозяйства, должны отвернуться отъ вашей лицемерной болтовни и прислушаться къ тому, что говорятъ честные граждане и мыслящіе наблюдатели общественной жизни».

Такой филиппикой прогрессисты могли зажать ротъ непризнаннымъ оберегателямъ общественнаго цѣломудрія. Затѣмъ, вырвавъ изъ рукъ знамя семейныхъ добродѣтелей и убѣдивъ общество въ томъ, что эти добродѣтели не подвергаются ни малѣйшей опасности, прогрессисты могли развернуть программу того образованія, которое дѣйствительно формируетъ женъ, матерей и хозяекъ. Эта программа, силой своей очевидной разумности, привлекла-бы къ себѣ широкое сочувствіе и полное довѣріе всѣхъ безпристрастныхъ и неразвращенныхъ людей нашего общества. Самые робкіе и недалекновидные успѣли-бы безъ труда ея несомнѣнную практическую пользу, и великая идея женскаго образованія и женскаго труда привилась-бы въ нашемъ обществу именно благодаря тому обстоятельству, что она явилась къ нему въ такой скромной, элементарной и неблестящей формѣ.

По вашему мнѣнію, господа филистеры, составляющія женщины составляютъ вредную и лишнюю роскошь. Вы не знаете, что съ ними дѣлать. Вы повторяете стихи вашего милаго Пушкина семинаристахъ въ желтой шалѣ и объ азиаткахъ въ чепцѣ. Вамъ нужны только жены, матери и хозяйки. Прекрасно. Будемъ формировать добросовѣстно женъ, матерей и хозяекъ и будемъ всезаботиться о формированіи мыслящихъ женщинъ. Вы, господа филистеры, останетесь покойны и довольны, а мыслящія женщины придутъ сами собой, и когда онѣ придутъ, тогда вы будете знать, что съ ними дѣлать, и тогда вы забудете или осмѣете стихи вашего милаго Пушкина.

Всѣ эти размышленія вызваны публичной лекціей Вирхова, прочитанной 20 февраля 1861 года въ Берлинѣ, въ пользу общества домашняго и народнаго воспитанія. Эта лекція носила главнѣе: «О воспитаніи женщины для ея чести». Я передамъ изъ нея тѣ мѣста, которыя имѣютъ чисто-практическій характеръ.

II.

«При теперешнемъ положеніи общества,—говоритъ Вирховъ,—вліяніе отца на дѣтей несравненно болѣе слабо, чѣмъ въ прежнія времена, когда сословіе, занятія, ремесло отца заранѣе рѣшали вопросъ о томъ, къ какому сословію, къ какимъ занятіямъ, къ какому ремеслу будетъ принадлежать ребенокъ. Движеніе общества, становясь съ каждымъ днемъ болѣе свободнымъ, даетъ возможность даже ребенку простолюдина выбирать себѣ свое будущее назначеніе по собственному желанію; вслѣдствіе этого, на основаніи весьма понятныхъ психологическихъ причинъ, сила отцовскаго вліянія уменьшается; а съ другой стороны, постоянно возрастающее раздѣленіе труда и перенесеніе рабочихъ центровъ прочь отъ домашняго очага отнимаютъ также у отцовъ и физическую возможность слѣдить постоянно за воспитаніемъ дѣтей. Такимъ образомъ усиливается то вліяніе, которое сама природа отводитъ матери, хозяйкѣ дома.»

Вирховъ приходитъ къ тому общезвѣстному заключенію, что воспитаніе подрастающихъ поколѣній составляетъ высшее назначеніе женщины.

«Забота о мужѣ,—продолжаетъ онъ,—стоитъ уже на второмъ планѣ. Мужъ прежде всего долженъ заботиться самъ о себѣ, и подмога жены должна быть для него именно только подмогой. Въ общемъ домашнемъ хозяйствѣ мужу принадлежатъ естественнымъ образомъ вѣншія заботы, а женѣ—внутреннія. Обратный порядокъ никогда не превратится въ общее правило, хотя въ отдѣльныхъ случаяхъ онъ возможенъ, даже совершенно законенъ. Но еслибы этотъ обратный порядокъ сдѣлался общимъ правиломъ, то либы вообще люди попробовали осуществить эманципацию женщины, къ которой стремились нѣкоторые отдѣльные кружки со временъ французской революціи,—то это могло бы произойти только въ ущербъ семейству. Этого никогда и не отрицали послѣдовательные мыслители, занимавшіеся этой задачей. Эманципация женщины, разрушеніе семейства, гуртовое воспитаніе дѣтей съ цѣленокъ,—все это неизбежно идетъ одно къ одному. По странному смѣшенію понятій, то считалось послѣдовательнымъ проведеніемъ дѣлъ свободы. Но тутъ надо помнить одно: все, что выигрываетъ при этомъ женщина, не столько въ свободѣ, сколько въ своеволіи, то теряетъ ребенокъ. Вся обезпеченность индивидуальнаго развитія, на которомъ основано полное чувство личности и отвѣтственности и всѣ ручательства независимости, порядка и свободы,—утратилась бы совершенно при гуртовомъ воспитаніи дѣтей. Вся будущность человѣчества была бы поставлена на карту для того, чтобы осуществить произвольно-придуманную и притомъ все-таки только мнимую свободу женщины.»

Видите, господа филистеры, какой благонадежный человекъ Вирховъ! Даже порицаетъ эманципацию женщинъ и даже за будущность человѣчества трепещетъ. И я нарочно привелъ вамъ все это мѣсто для того, чтобы вы возликовали, и для того, чтобы вслѣдъ затѣмъ вы немедленно убѣдились въ преждевременности и неосновательности вашего ликования. Вы подумайте только, *какую* эманципацию женщинъ осуждаетъ Вирховъ? Развѣ ту, на которую на-

соч. д. н. висарьева, т. IV.

падали вы? Нѣтъ-съ, извините совсѣмъ не ту. О той эманципации женщинъ, которая находится въ ближайшей и непосредственной связи съ французскими мыслителями XVIII вѣка и ихъ послѣдователями нашего времени, у насъ не было никогда ни слуху, ни духу. Вспомните, что въ нашей журналистикѣ проводились по этому вопросу исключительно идеи чисто-англійскаго или англо-американскаго происхожденія. Вспомните, что краеугольнымъ камнемъ всѣхъ нашихъ прогрессивнѣйшихъ разсужденій о женщинѣ оказалась извѣстная статья солиднѣйшаго англійскаго ученаго, Джона Стюарта Милля, который также похожъ на сенъ-симониста или на фурьериста, какъ Катковъ—на В. Гюго. Вспомните, что самымъ крайнимъ выраженіемъ радикализма считается со стороны нашихъ женщинъ отрицаніе косы и кринолина. Вспомните, что самыя отпѣтыя изъ нашихъ озорницъ требуютъ себѣ только науки и труда. Вспомните все это—и тогда вы убѣдитесь въ томъ, что еслибы вы обратились къ Вирхову съ жалобой на нашихъ прогрессивистовъ и на нашихъ эманципированныхъ женщинъ и еслибы вы, въ подтвержденіе вашихъ жалобъ, представили ему самыя поразительныя факты изъ нашей жизни и изъ нашей печати, то Вирховъ пришелъ-бы въ крайнее недоумѣніе и спросилъ-бы у васъ съ самымъ искреннимъ изумленіемъ: «Да на что-же вы жалуетесь? И что вы тутъ видите дурного? И гдѣ вы тутъ ухитрились откопать эманципацию женщинъ?»—Легко можетъ быть, что Вирховъ съ самымъ неподдѣльнымъ соболѣзнованіемъ пощупалъ-бы даже вашъ пульсъ и освѣдомился-бы о вашемъ здоровьи.

Выгородивъ такимъ образомъ совершенно нашъ вопросъ о женскомъ образованіи и о женскомъ трудѣ, я могу теперь замѣтить изъ безкорыстной любви къ истинѣ, что трепетанье Вирхова за будущность человѣчества составляетъ въ его лекціи такое ораторское украшеніе, которому самъ Вирховъ, какъ очень умный человекъ, конечно не могъ придавать никакого серьезнаго значенія. Дѣйствительно, если эманципация женщинъ въ томъ смыслѣ, въ какомъ понимали ее нѣкоторые французскіе мыслители, идетъ въ разрѣзъ съ естественными стремленіями человѣческаго организма, то она останется навсегда неосуществимой мечтой, потому что всѣ эти французскіе мыслители не имѣли и никогда не будутъ имѣть въ своемъ распоряженіи для распространенія своихъ идей никакихъ средствъ, кромѣ словесной и печатной проповѣди. Въ такомъ случаѣ ихъ заблужденіе никому не опасно и ни для кого не заразительно; стало-быть, не зачѣмъ и трепетать за будущность человѣчества.

Можно замѣтить вообще, что всѣдневная жизнь людей складывается всегда не по искусственнымъ теоріямъ, а по законамъ природы. Когда и что ѣсть, когда и какъ спать, какъ обращаться съ

женой и съ дѣтьми, — все это такіе вопросы, на которые огромное большинство людей никогда не согласится искать отвѣта въ той или другой книгѣ. Масса будетъ жить такъ, какъ она привыкла; привычки ея безъ сомнѣнія измѣняются, но ихъ измѣняютъ важныя историческія событія, а не книжныя теоріи. Введеніе картофеля, распространеніе желѣзныхъ дорогъ, примѣненіе химіи къ земледѣлію, развитіе машиннаго производства, вліяніе кооперативныхъ обществъ — вотъ нѣкоторыя изъ тѣхъ явленій жизни, которыя перевоспитываютъ массу, то-есть измѣняютъ ея основныя привычки иногда въ хорошую, а иногда и въ дурную сторону. Книжная теорія можетъ также подѣйствовать на массу, но не прямо, то-есть не такъ, что масса прочтетъ книгу и въ одинъ прекрасный день скажетъ: «давайте осуществлять теорію». Чтобы подѣйствовать на массу, книжная теорія должна сначала воплотиться въ жизни очень небольшого кружка самыхъ усердныхъ и вѣрующихъ адептовъ. Этотъ небольшой кружокъ сдѣлается зародышемъ чисто-практическаго движенія. Къ нему начнутъ примыкать понемногу новые кружки, и члены этихъ кружковъ, подчиняясь указаніямъ теоріи въ своей всендневной жизни, будутъ исподволь пріобрѣтать себѣ новыя привычки. Войдя такимъ образомъ въ жизнь, какъ воспитательный элементъ, теорія передаетъ характеры и взаимныя отношенія своихъ адептовъ. Такъ поступили напримѣръ съ своими адептами теоріи квакерства и мормонизма. Если теорія такъ сильна по своимъ внутреннимъ достоинствамъ, что она можетъ подчинить своему господству цѣлое общество, то эти же самыя внутреннія достоинства, упрочившія за нею побѣду, устраняютъ также и тѣ второстепенныя неудобства, которыя могли-бы отравить ея благотворное вліяніе.

«Но меня спросятъ, — продолжаетъ Вирховъ, — вѣужели единственное назначеніе женщины состоятъ въ томъ, чтобы быть женой, матерью? Конечно нѣтъ. Многимъ женщинамъ совсѣмъ не суждено сдѣлаться супругами и матерями, и, разумеется, о такихъ женщинахъ нельзя сказать, что призваніе ихъ — быть *старыми дѣвами*. Судьба челоѣка и его призваніе — двѣ вещи разныя. Даже для супруги и для матери вся задача жизни вовсе не ограничивается тѣмъ, чтобы быть именно только супругой и матерью. Многимъ женщинамъ даны отъ природы самыя обширныя средства дѣйствовать на судьбу челоѣчества, и я не имѣю ни малѣйшаго намѣренія сомнѣваться въ томъ, что женщина способна посвящать себя разрѣшенію такихъ болѣе общихъ задачъ. Пусть каждая отдѣльная личность сама обдумываетъ и рѣшаетъ, какаѣ дѣятельность соответствуетъ развѣртамъ ея личнымъ силъ. Современное общество отчасти уже выработало въ себѣ, отчасти еще вырабатываетъ, какъ естественный результатъ дальнѣйшаго развитія, ту степень индивидуальной свободы, которая необходима для того, чтобы и женскій полъ самоѣятельно (selbstthätig) принималъ надлежащее участіе въ разрѣшеніи общихъ задачъ челоѣчества».

Да, selbstthätig! Я не даромъ выписываю это нѣмецкое слово, которое доказываетъ совершенно очевидно, что Вирховъ непремѣнно щупаетъ вашъ пульсъ, если вы пойдете жаловаться ему на русскую эманципацію женщинъ. Вы ужъ лучше и не ходите.

III.

«Почти 200 лѣтъ тому назадъ, — говоритъ Вирховъ, — почтенный Фенелонъ написалъ слѣдующія слова: «женщину слѣдуетъ обучать тому, что составляетъ задачу жизни. Ей придется являться за воспитаніемъ дѣтей, — сыновей до половнаго возраста, дочерей — до ихъ замужества, — являться за образомъ жизни, за нравственностью; за службой домохозяекъ, наблюдать за всѣмъ домомъ хозяйства, за расходами и т. д. Въ этомъ заключается ея обязанность, и по этимъ предметамъ она должна обладать свѣдѣніями». — «Да, продолжаетъ Вирховъ, — эти слова окажутся благочестивыми желаніями, если мы сравнимъ ихъ съ общимъ состояніемъ женскихъ училищъ, какъ они существовали въ XVIII столѣтіи и какъ они существуютъ даже въ XIX-мъ. Ни высшія, ни низшія женскія школы не стремятся къ той цѣли, чтобы воспитывать *для жизни*. Онѣ могутъ быть развѣртываемыя умственные способности; воспитанницъ для впечатлѣній искусства и наукъ онѣ могутъ-быть доставляють имъ обширныя запасы знаній, изучиваютъ ихъ разнымъ искусствамъ, изощряють ихъ въ различныхъ отрасляхъ женскаго рукодѣлія; онѣ могутъ-быть приготавливать даже хорошихъ учительницъ, но онѣ не образуютъ хозяекъ (Hausfrauen). Когда я говорю «хозяйекъ», то, послѣ всего вышесказаннаго, я подразумеваю тутъ не только супругъ матерей, но вообще такихъ женщинъ, которыя сознательно могутъ взять въ свои руки всѣ отрасли домашняго управленія, — такихъ женщинъ, которыя самостоятельно могутъ заниматься уходомъ за дѣтьми, попеченіями о больныхъ, кухней, садомъ. Поэтому я оставляю здѣсь совершенно въ сторонѣ спеціальныя вопросы о воспитаніи женщины для мужа; я также не буду касаться здѣсь вопроса о «воспитаніи женщины для общества». По моему мнѣнію, какъ первый, такъ и второй вопросы предполагають непремѣнно *воспитаніе женщины для дома*. Но какъ должно быть ведено это воспитаніе? Мнѣ скажутъ, что подобное воспитаніе не составляетъ задачи женскихъ школъ и пансіоновъ. Да, я долженъ признаться, что имъ не задавали этой задачи и что отъ нихъ даже несправедливо было-бы требовать ея разрѣшенія. Но тѣмъ не менѣе сама жизнь ставитъ эту задачу. Видѣ навѣрное-же для большинства молодыхъ дѣвушекъ наступитъ когда-нибудь такое время, когда имъ придется нянчить дѣтей, ухаживать за больными, заведывать кухней, погребомъ или садомъ. Неужто въ самомъ дѣлѣ можно думать, что все это дѣлается само собою, что все это изучается въ одну минуту? Сколько горькихъ опытовъ приходится тутъ пережить, какъ много тяжелыхъ заботъ приходится пережить! Какое множество браковъ было-бы гораздо счастливѣе, еслибы время перваго ученія было пережито раньше свадьбы! Какъ часто случается, что положеніе супруги было бы гораздо самостоятельнѣе, еслибы она во время своей дѣвической жизни была лучше приготовлена къ супружеству! Много необходимыхъ свѣдѣній можно усвоить себѣ теоретически; ко многому можно пригготовиться посредствомъ теоріи; заботы объ этой теоретической части женскаго воспитанія

составляют конечно прямую обязанность женскихъ школъ.

Скажемъ сначала нѣсколько словъ о тѣлесномъ уходѣ, собственно о *hygiene*. Никому не придетъ въ голову та мысль, что суевѣрные примѣты, доходящія до насъ путемъ изустнаго преданія, рисуютъ намъ, хотя бы въ самыхъ грубыхъ очеркахъ, картину жизни здороваго и больного организма. Естественное, преподаваемое въ женскихъ школахъ, подрываетъ отчасти авторитетъ этого преданія, но оно не ставитъ на ее мѣсто ничего цѣлостнаго. Конечно анатомія и физиологія—такія науки, о которыхъ думали прежде, что онѣ не смѣютъ показываться въ хорошемъ обществѣ, и что молодыя дѣвушки по возможности не должны даже подозрѣвать ихъ существованія. Но то, что естественно, не всегда бываетъ опасно, даже въ томъ случаѣ, когда оно является въ полной наготѣ; опытъ научилъ насъ, что прикрываніе бываетъ часто гораздо опаснѣе. Кромѣ того, мы не настаиваемъ на томъ, чтобы въ женскихъ школахъ читался полный курсъ анатоміи и физиологіи, и конечно всегда найдется возможность выбрать изъ этихъ наукъ тѣ отдѣлы, которые не подѣлываютъ возмущающимъ образомъ ни на какую душу.»

По тону Virхова видно, что эту послѣднюю уступку онъ дѣлаетъ очень неохотно; и можно сказать рѣшительно, что онъ дѣлаетъ ее совершенно напрасно; онъ самъ высказалъ ту мысль, что знаніе естественнаго закона неопасно и что прикрываніе бываетъ опаснѣе наготы; эту мысль онъ долженъ былъ выдержать до конца и провести до самыхъ крайнихъ ея послѣдствій. Если только допустить систему утаиваній и закрываній, то невозможно будетъ опредѣлять заранѣе, гдѣ остановится маскирующая дѣятельность педагоговъ. Вѣдь тогда и о пищевареніи придется говорить съ деликатными выпусками; пока пища находится въ желудкѣ, тогда еще куда ни шло; но когда она попадаетъ въ такое неприличное мѣсто, какъ кишечный каналъ, тогда стыдливому преподавателю конечно придется потерять ее изъ виду. А ужъ о прямой кишкѣ онъ даже и подумать посоветится во время своего пребыванія въ стѣнахъ женской школы. Какъ поставить что-нибудь *цѣлостное* на мѣсто преданій народной медицины? И если преподавать анатомію и физиологію съ нѣкоторыми опушеніями, то зачѣмъ-же отзываться съ насмѣшкой о тѣхъ временахъ, когда анатомія и физиологія не смѣли показываться въ хорошемъ обществѣ? Нѣтъ, нехорошо поступилъ тутъ Virховъ. Онъ уже чересчуръ дружелюбно и ласково относится здѣсь къ предрасудкамъ, противъ которыхъ можетъ и долженъ сказать свое полное и откровенное слово такой авторитетъ науки, какъ Рудольфъ Virховъ. Если такіе люди, какъ Virховъ, будутъ церемониться и вилать хвостомъ передъ общественными предрасудками, то у кого-же хватить рѣшимости вступить съ ними въ борьбу и, самое главное, у кого хватить нравственнаго авторитета на то, чтобы заставить общество выслушать и принять разумное мнѣ-

ніе, идущее въ разрѣзъ съ господствующимъ заблужденіемъ?

«Чтобы завѣдывать кухней правильнаго хозяйства,—продолжаетъ Virховъ,—надо же знать, что удобоваримо и что нѣтъ. Хозяйка обыкновенно усваиваетъ себѣ это знаніе втеченіи нѣсколькихъ лѣтъ посредствомъ опыта. Для этого нѣсколько членовъ семейства должны сначала неоднократно испортить себѣ желудки. Но почему именно они себѣ испортили желудки, этого хозяйка все-таки не узнаетъ, и черезъ нѣсколько времени это происшествіе повторяется снова, и набирается такимъ образомъ запасъ опытныхъ знаній. Насколько этотъ родъ опытовъ недостаточенъ для того, чтобы на нихъ можно было основывать цѣлесообразное приготовленіе кушаній, это очень ясно видно изъ того обстоятельства, что во вседневной жизни считается удобоваримымъ все, что не производитъ боли въ желудкѣ или въ животѣ. А между тѣмъ удобоваримо только то, что дѣйствительно переваривается, то есть растворяется и *сходитъ въ кровь*. Удобоваримое можетъ сдѣлаться вреднымъ, а неудобоваримое можетъ только быть потрачено даромъ. А пища маленькихъ дѣтей,—какъ ошибоченъ бываетъ часто ея выборъ! И сколько кушаньевъ, которыя можно было-бы ѣсть безъ вреда, подаются на столъ совсемъ не въ томъ видѣ, въ какомъ бы это нужно было для успѣшнаго хода пищеваренія!»

За этотъ гениальный маневръ Virхова читатель можетъ ему простить даже его разсужденіе о цѣломудренной анатоміи. Онъ попалъ въ слабую струну филистеровъ. Онъ понялъ, что на нихъ надо дѣйствовать желудочными аргументами. Хотя они обыкновенно прикидываются идеалистами, хотя они съ добродѣтельнымъ ужасомъ относятся къ реальному и утилитарному направленію, которое, по ихъ мнѣнію, включаетъ человѣка въ разрядъ безсловесныхъ скотовъ,—однако на самомъ дѣлѣ они живутъ исключительно въ желудокъ и въ немъ обрѣтаютъ себѣ весь смыслъ и всю поэзію человѣческаго существованія. Поэтому Virховъ поражаетъ ихъ именно въ желудокъ. Смотрите, филистеры, говоритъ онъ имъ, учите вашихъ маленькихъ дочерей уму-разуму, а то у васъ на старости лѣтъ каждый день будетъ животъ болѣть по ихъ милости. Онѣ будутъ мстить вамъ за свое невѣжество самымъ естественнымъ и, въ то-же время, жестокимъ образомъ. Онѣ будутъ учиться физиологіи надъ вашими почтенными особами. Онѣ будутъ производить химическіе опыты надъ вашими собственными животными. Нравится-ли вамъ такая мрачная перспектива? Приятно-ли солидному гражданину и отцу семейства играть въ отношеніи къ собственной дочери ту пассивную роль, которую выполняютъ кролики и собаки на столѣ у профессора экспериментальной физиологіи? Надъ этимъ, господа, стоитъ вамъ призадуматься.

IV.

«Для того,—продолжаетъ Virховъ,—чтобы судить объ этихъ простѣйшихъ вещахъ, надо-же по крайней мѣрѣ знать, какъ устроенъ желудокъ и какимъ манеромъ онъ ухитряется пере-

варить пищу и питье, и из каких составных частей состоятъ кушанья и напитки, и что дѣлается съ этими составными частями въ человѣческомъ тѣлѣ, и на что онѣ пригодны, и такъ далѣе. Для всего этого требуется не только кое-что изъ физіологіи, но также кое-что изъ химіи, изъ ботаники и многое другое. И это знаніе должно быть не вѣдшимъ знаніемъ, не собраннымъ изъ отрывочныхъ лоскутковъ, не такимъ, при которомъ надо было-бы долго размышлять, чтобы додуматься до того, какъ надо дѣйствовать; это знаніе должно быть цѣльнымъ и живымъ знаніемъ, такъ чтобы оно во всякую данную минуту было подъ руками и чтобы оно постоянно само собой поддерживало и направляло работу мысли. Въ такомъ-же точно положеніи находятся вопросы о согрѣваніи и о приутиченіи въ холоду, о вентилляціи и объ одѣваніи и объ устройствѣ построекъ. Всѣ эти вопросы могутъ быть обработаны теоретически, и основные принципы ихъ могутъ быть изложены такъ просто, что самое посредственное пониманіе усвоить ихъ легко и запомнить ихъ отчетливо. Все это можно было бы преподавать въ каждой школѣ дѣвушкамъ старшаго возраста.»

Всѣ эти совѣты Вирхова замѣчательно хороши именно потому, что они одинаково убѣдительно, какъ для самыхъ трусливыхъ консерваторовъ, такъ и для самыхъ размахистыхъ прогрессистовъ. Консерваторы должны принять эти совѣты съ восторгомъ; женщину хотятъ готовить для семейства; изъ нея хотятъ сформировать образцовую хозяйку; чего-же лучше? Вѣдь это заветный идеалъ консерваторовъ; вѣдь этимъ идеаломъ они постоянно поражаютъ всѣхъ своихъ противниковъ по женскому вопросу; вѣдь только за неприкосновенность этого идеала они и сражаются съ такъ-называемыми эмансипаторами женщины. Но, приводя въ восторгъ консерваторовъ, совѣты Вирхова въ то-же время совершенно удовлетворяютъ и прогрессистовъ. Въ своихъ надеждахъ и желаніяхъ, въ своихъ взглядахъ на будущее обѣ партіи остаются конечно въ неприимимомъ разногласіи. Одни надѣются, что женщина засядетъ въ кухнѣ и въ дѣтской и углубится въ научное штопанье, въ научное стиранье грязнаго бѣлья и въ столь-же научное приготовленіе превосходнѣйшихъ кулебякъ. Другіе питаютъ въ своихъ преступныхъ душахъ совсѣмъ другія надежды; они не отрицаютъ ни бѣлья, ни кулебякъ, но они осмѣливаются думать, что каждая умная и образованная женщина, поддерживая порядокъ въ своемъ домѣ, съумѣетъ оставить въ своей жизни очень просторное мѣсто для такихъ идей и дѣйствій, которыя не имѣютъ ничего общаго ни съ бѣльемъ, ни съ кулебякой. Но пусть каждая партія надѣется по своему; кто изъ нихъ угадывалъ вѣрно фізіономію будущаго и кто ошибался въ своихъ расчетахъ—это видно будетъ впослѣдствіи; спорить и горячиться изъ-за надеждъ и желаній рѣшительно не стоитъ; стоило-бы спорить и горячиться только въ томъ случаѣ, если-бы въ данную минуту существовали два проти-

вположныя мнѣнія на счетъ того, какъ надо поступать въ разбираемомъ вопросѣ. Но двухъ противоположныхъ мнѣній быть не можетъ. Расуйте себя какой угодно идеаль — образцовую хозяйку или мыслящую женщину—это все равно: въ данную минуту наша женщина стоитъ одинаково далеко какъ отъ перваго изъ этихъ идеаловъ, такъ и отъ втораго; чтобы сдвинуть ее съ мѣста и чтобы сколько-нибудь приблизить ее къ тому или къ другому идеалу, ей во всякомъ случаѣ надо дать образованіе. Вотъ это, значить, первый пунктъ, на которомъ должны согласиться между собой всѣ отбѣнки мнѣній. Кромѣ того они сойдутся еще и на второмъ пунктѣ. Спрашивается: какое образованіе надо дать женщинѣ? Обогащеніе образцовой хозяйки скажутъ конечно, что ей надо дать такое образованіе, которое выучило-бы ее хозяйничать. А Вирховъ доказываетъ ясно, какъ дважды два—четыре, что благоразумное хозяйничаніе немислимо безъ основательной теоретической подготовки, и что эта подготовка должна состоять въ изученіи природы вообще и человѣческаго организма въ особенности. То-есть, другими словами: обогащеніе образцовой хозяйки, если у нихъ есть въ головѣ капля здраваго смысла, должны настоятельно требовать, чтобы женщинѣ было дано обширное, научное и притомъ реальное образованіе. Ну, и слава тебѣ Господи! Обогащеніе мыслящей женщины только этого въ данную минуту и желаютъ.

Программа Вирхова превосходна въ томъ отношеніи, что она соединяетъ въ себѣ всѣ преимущества общаго и спеціальнаго образованія, — такого, которое должно выпускать женщину прямо изъ школы въ жизнь, и такого, которое должно готовить ее для болѣе серьезныхъ научныхъ занятій. Пройдя черезъ школу, устроенную по идеѣ Вирхова, одѣвѣ дѣвушки, одаренныя обыкновенными умственными способностями, сдѣлаются хорошими хозяйками, а другія, болѣе даровитыя, получатъ такой толчокъ впередъ, что поймутъ ясно свое призваніе и, смотря по складу своего ума, сдѣлаются медиками, натуралистами, механиками, технологами, мыслительницами, писательницами, вообще чѣмъ угодно. Школа, готовившая ихъ преимущественно или даже исключительно для хозяйственной дѣятельности, заложила въ ихъ умныя головы, благодаря своему реальному направленію, такой прочный фундаментъ дѣльныхъ мыслей и основательныхъ знаній, который пригодится имъ въ всякомъ житейскомъ поприщѣ и изощритъ ихъ умственные способности для всякой дальнѣйшей работы.

Спеціальное образованіе обыкновенно стѣсняетъ умственный кругозоръ учащагося и нѣрѣдко уродуетъ человѣка для того, чтобы сформировать искуснаго ремесленника. Но этотъ ущербъ совершенно непримѣнимъ къ тому спеціальному

образованію, которое Вирховъ рекомендуетъ женщинамъ. Такое специальное образованіе, которое цѣлкомъ основано на изученіи природы, обазывается неизмѣримо выше всѣхъ возможныхъ общихъ образованій. Еслибы предложили умѣйшему изъ прогрессистовъ составить такой планъ женскаго образованія, который, не клонясь ни къ какимъ специальнымъ цѣлямъ, долженъ былъ бы направляться исключительно къ тому, чтобы развернуть и укрѣпить всѣ умственные способности ученицъ, — то прогрессистъ навѣрное пришелъ-бы къ тѣмъ самымъ практическимъ выводамъ, къ которымъ подошелъ Вирховъ съ другой стороны, посредствомъ анализа чисто-хозяйственныхъ потребностей, недосмотровъ и недостатковъ. Та практическая тенденція, которую Вирховъ рекомендуетъ женскимъ школамъ, имѣетъ очень важное и очень полезное значеніе для общаго развитія умственныхъ способностей. То значеніе, которое усваивается для того, чтобы потомъ прилагаться къ дѣлу, должно быть непременно живымъ и цѣльнымъ знаніемъ. Химія, ботаника и физиологія, которыя должны каждый день являться на помощь къ будущей хозяйкѣ, стоящей передъ кухонной плитой, будутъ конечно изучаться не такъ, какъ изучаются теперь въ женскихъ и даже въ мужскихъ заведеніяхъ разныя науки, необходимыя только для того, чтобы придать блескъ выпускному экзамену и занять почетное мѣсто въ аттестатѣ или въ дипломѣ. Если только мысли Вирхова когда-нибудь найдутъ себѣ достойныхъ исполнителей, то во многихъ европейскихъ государствахъ молодые люди мужскаго пола принуждены будутъ завидовать тому образованію, которое будутъ получать прусскія дѣвушки.

V.

«Но,—продолжаетъ Вирховъ,—и основныя принципы *душевной жизни*—преимущественно въ приложеніи къ дѣтямъ—могутъ безъ труда быть развиты въ общихъ чертахъ. Педагогическихъ образованій имѣется достаточно; ихъ быть можетъ даже больше, чѣмъ діатическихъ и гигиеническихъ образованій: и молодая мать стала бы смотрѣть съ большей смѣлостью и самоувѣренностью на своего перваго младенца, если бы она не принуждена была сознаваться самой себѣ, что онъ—*ея пробный ребенокъ*,—тотъ ребенокъ, надъ которымъ она болѣе или менѣе самостоятельно, по своимъ собственнымъ соображеніямъ, должна производить свои педагогическіе эксперименты. Не чего грѣха таить, наше домашнее воспитаніе стоитъ до сихъ поръ на томъ низкомъ уровнѣ развитія, на которомъ находилось въ прошедшемъ столѣтіи народное хозяйство. Это—чисто *первобытное хозяйство*. Задача нашего времени состоитъ въ томъ, чтобы ввести въ жизнь *науку воспитанія*, которая положила-бы конецъ производству безконечныхъ педагогическихъ экспериментовъ и воспитанію дѣтей по неопредѣленнымъ слухамъ.»

Такимъ образомъ Вирховъ вводитъ въ свою программу еще новую черту, которая оконча-

тельно отстраняетъ отъ нея всякій упрекъ въ односторонности. Изучая химию, ботанику, анатомію, физиологію и другія отрасли естествознанія, дѣвушки должны кромѣ того знакомиться съ тѣми законами, по которымъ развиваются и крѣпнутъ съ самаго ранняго дѣтства умъ и характеръ человѣка. Теоретическая часть *науки воспитанія*, какъ понимается ее Вирховъ, должна конечно заключать въ себѣ сводъ наблюденій, рисующій передъ ученицами полную и вѣрную картину тѣхъ психическихъ видоизмѣненій, черезъ которыя проходитъ ребенокъ, начиная отъ колыбели и кончая юношескимъ возрастомъ. Эта теоретическая часть должна быть направлена преимущественно къ тому, чтобы заставить молодую дѣвушку уважать въ ребенкѣ будущаго человѣка.

Одинъ изъ главныхъ недостатковъ нашего воспитанія состоитъ именно въ томъ, что мы слишкомъ легко и, смотря по нашему минутному настроенію, то слишкомъ игриво, то слишкомъ презрительно относимся къ мыслямъ, чувствамъ, желаніямъ и требованіямъ дѣтей. Намъ почти никогда не приходитъ въ голову, что ребенокъ есть *человѣческая личность*, не только имѣющая, но даже сознающая свои естественныя и неотъемлемыя права. Мы почти никогда не умѣемъ сообразить, что, легкомысленно нарушая законныя права ребенка, мы приучаемъ его смотрѣть съ такимъ-же нахальнымъ легкомысліемъ на права другихъ людей, съ которыми ему впоследствии придется имѣть сношенія. Ежеминутно оскорбляя ребенка нашей невнимательностью къ его разумнымъ желаніямъ, требованіямъ и возраженіямъ, мы ежеминутно, ни къ селу, ни къ городу, подольщаемся къ нему то ласками, то поцѣлуями, то приниженіями. Такимъ образомъ мы какъ будто нарочно воспитываемъ въ ребенкѣ презрѣніе къ нашему уму и нашему характеру, а потомъ, когда плоды нашей педагогической безтолковщины начинаютъ созрѣвать, мы начинаемъ быть и орать, что злонамеренная журналистика выдумала молодое поколѣніе и посѣяла раздоръ между отцами и дѣтьми.

Всѣ эти печальныя явленія нашей всенной жизни происходятъ преимущественно оттого, что наше домашнее воспитаніе есть *«чисто первобытное хозяйство»*, то-есть оттого, что мы не имѣемъ никакого понятія о самыхъ элементарныхъ истинахъ опытной психологіи. Мы знаемъ наприимѣръ очень хорошо, что пятилѣтній мальчикъ лѣтъ черезъ пятнадцать сдѣлается двадцати-лѣтнимъ юношей; но изъ этого положенія мы не умѣемъ вывести самыхъ естественныхъ и необходимыхъ послѣдствій; мы не умѣемъ понять, что въ первой системѣ пятилѣтняго мальчика заключается въ видѣ зародыша весь складъ ума, весь темпераментъ и весь характеръ будущаго мужчины, и что этотъ зародышъ

дышъ разовьется правильно или уродливо, разцвѣтетъ или зачахнетъ, смотря потому, будемъ-ли мы своимъ вліяніемъ содѣйствовать или мѣшать его развитію, будемъ-ли мы охранять лабораторію молодой мысли отъ всякихъ постороннихъ посягательствъ, или - же, напротивъ того, врывать въ эту лабораторію съ нашими глупыми фантазіями и съ нашимъ грубымъ самодурствомъ.

Для того, чтобы мы дѣйствительно проникнулись глубокимъ уваженіемъ къ тому живому матеріалу, который мы имѣемъ подъ руками въ дѣлѣ воспитанія, мы нуждаемся конечно не въ умиленіи наставленій о великой задачѣ воспитателя, не въ риторическихъ словопроизведеніяхъ объ ответственности передъ обществомъ и передъ собственной совѣстью, а именно въ томъ, чтобы мыслящіе наблюдатели нарисовали намъ полную и вѣрную картину развитія отдѣльнаго человѣка. Глядя на эту картину, вдумываясь во всѣ ея подробности, замѣчая, что одна фаза вытекаетъ необходимо изъ другой, что всѣ эти фазы неразрывно связаны между собой, что онѣ взаимно объясняютъ другъ друга, и что взрослый юноша, вступающій въ дѣйствительную жизнь, есть не что иное, какъ продуктъ и результатъ впечатлѣній, пережитыхъ имъ въ родительскомъ домѣ и въ школѣ, — каждая мать семейства пойметъ, глубоко почувствуетъ и навсегда запомнитъ ту великую истину, что во всей человѣческой жизни нѣтъ ни одной минуты, въ которую было-бы позволительно относиться къ человѣку легкомысленно и безпечно, и что человѣкъ имѣетъ полное и неотъемлемое право на уваженіе своихъ ближнихъ съ самаго своего появленія на свѣтъ.

Любопытно замѣтить, что законодательство всѣхъ образованныхъ народовъ обогнало въ этомъ отношеніи нравы вседневной жизни. Во всѣхъ европейскихъ государствахъ жизнь и собственность грудного ребенка ограждены такъ-же прочно, какъ жизнь и собственность всѣхъ остальныхъ гражданъ. Законъ признаетъ права человѣка съ минуты его рожденія; но тамъ, гдѣ прекращается охранительное дѣйствіе закона, — тамъ начинается полный произволъ взрослыхъ; отецъ не смѣетъ ни убить, ни обобрать своего ребенка, но онъ нисколько не посоветится выстѣбъ его безвинно, прикрикнуть на него ни за что, ни про что, дать ему неисполнимое приказаніе и заставить его молчать, когда ребенокъ представляетъ ему дѣльные возраженія. А между тѣмъ всѣ эти проявленія родительской халатности ложатся грязными пятнами и безобразными рубцами на характеръ будущаго человѣка; всѣ они отзываются болѣзненно на самихъ же родителяхъ; и всѣ они могли-бы найти себѣ вѣрную узду въ основательномъ изученіи законовъ человѣческаго развитія.

Мы увидимъ сейчасъ, какъ серьезно пони-

маетъ Вирховъ то преподаваніе педагогики, которое онъ рекомендуетъ женскимъ училищамъ.

«Конечно, — говоритъ онъ, — я не держусь того мнѣнія, что такая наука воспитанія обижается недостаточной, если она будетъ преподаваться въ женскихъ школахъ только теоретически. Не думаю я также, чтобы слѣдовало предоставлять на произволъ судьбы изученіе педагогической практики, которая такимъ образомъ усвоилась-бы старшей сестрой только въ томъ случаѣ, если жаравую заблагоразсудится принести ей еще братца или сестрицу. Надо устроить такъ, чтобы педагогическая практика сдѣлалась одной изъ нормальныхъ составныхъ частей женскаго воспитанія.»

Разумѣется, Вирховъ не ограничивается однимъ голымъ заявленіемъ существующей потребности; онъ показываетъ, какимъ образомъ можно удовлетворить эту потребность. Эта часть его лекцій составляетъ ея лучшее украшеніе. Тутъ Вирховъ подаетъ мысль дѣйствительно новую, очень оригинальную и до такой степени простую и удобоисполнимую, что остается только удивляться тому, какимъ образомъ она могла оставаться до сихъ поръ новой и оригинальной въ Германіи, въ классической странѣ педагогики. Впрочемъ одна изъ характеристическихъ особенностей всѣхъ замѣчательныхъ умовъ состоитъ именно въ томъ, что они умѣютъ открывать новыя стороны въ такихъ предметахъ, которые всѣмъ давно извѣстны и всѣ давно успѣли намозолить глаза. А потомъ, когда замѣчательный умъ подалъ новую мысль, тогда всѣ начинаютъ удивляться тому, какъ это они сами давнымъ-давно не додумались до такой простой и очевидной истины.

VI.

«Для того, — продолжаетъ Вирховъ, — чтобы болѣе ширинство молодыхъ дѣвушекъ могло изучать практическую часть педагогики, надо воспользоваться тѣми учрежденіями, которые находятся подъ руками и которые могутъ быть созданы повсемѣстно каждой общиной (Gemeinde) и каждымъ обществомъ (Verein). Я подразумеваю здѣсь заведенія для маленькихъ дѣтей (Kleinkinderbewahranstalten), такъ-называемыя ясли (Krippe) и дѣтскіе сады (Kindergärten). Они совершенно приспособлены къ тому, чтобы играть въ развитіи созрѣвающего женскаго поколѣнія ту роль, которую играютъ больница и клиника въ образованіи молодого медика. Они могутъ сдѣлаться образовательными заведеніями, въ которыхъ будетъ изучаться на практикѣ воспитаніе дѣтей, какъ съ физической, такъ и съ моральной стороны. Можно пользоваться и другими заведеніями тамъ, гдѣ они существуютъ, напримѣръ воспитательными домами (Findelhäuser) и сиротскими пріютами, но ужъ дѣтскіе сады и заведенія для храненія маленькихъ дѣтей можно считать почти повсемѣстно.»

Написавши эти слова Вирхова, я вспоминалъ, что очень недавно я встрѣтилъ въ одномъ журналѣ, кажется въ «Современникѣ», извѣстіе о первомъ дѣтскомъ садѣ, заведенномъ въ Петербургѣ госпожей Люгебиль. Въ самомъ прогрес-

сивномъ изъ русскихъ городовъ, въ Петербургѣ, только-что начинаетъ появляться то, что, по словамъ Вирхова, встрѣчается въ Пруссіи на каждомъ шагу, то-есть почти въ каждой деревнѣ и ужъ навѣрное въ каждомъ изъ самыхъ маленькихъ провинціальныхъ городковъ. Славянофилы наши имѣютъ полное основаніе поразиваться тому, что мы очень упорно сопротивляемся разлагающему вліянію тлетворнаго Запада.

«Всѣ эти заведенія,—говоритъ Вирховъ далѣе,—до сихъ поръ существовали только ради тѣхъ дѣтей, которые туда принимались, или ради ихъ родителей; иногда съ этими учрежденіями связывались также церковныя цѣли. До сихъ поръ было уцѣлено изъ виду, что эти заведенія могутъ быть питомниками дѣятельной добродѣтели и основательнаго знанія для женской молодежи, семинаріями хорошихъ матерей и хозяекъ, если только воспользоваться ими для практическаго изученія педагогики подъ руководствомъ опытныхъ учителей или учительницъ. Такимъ образомъ къ готовому знанію присоединится готовое умѣнье.—Когда дѣвочка лежитъ еще въ люлькѣ, вы даете ей куклу, и она играетъ ею до тѣхъ поръ, пока подрастетъ. Потомъ вы отдаете въ ея распоряженіе кукольную комнату и убираете эту комнату всѣми принадлежностями, какія вы только можете приобрести. Затѣмъ это дѣлается? Затѣмъ, чтобы въ играхъ ребенка подготовить будущую спеціальную дѣятельность женщины; затѣмъ, чтобы пробудить чувство женщины, чтобы приучить малышку къ заботамъ дѣтской комнаты. Очень хорошо! Но затѣмъ слѣдуетъ большой пробѣлъ. Куклу ставятъ въ уголъ. Весь міръ появляется передъ дѣвучкой въ какомъ то замаскированномъ видѣ. Только въ лицѣ своего собственнаго ребенка молодая мать встрѣчаетъ снова передъ собой реальный предметъ. Неужели вы не чувствуете,

что здѣсь оказывается въ воспитаніи большая ошибка,—самая тяжелая изъ тѣхъ ошибокъ, въ которыя впадаетъ общество? Неужели вы не понимаете, что это грѣхъ — доверять живого ребенка такой матери, которая только въ кукольной комнатѣ приготовлялась къ исполненію своихъ серьезныхъ материнскихъ обязанностей? Да еще къ тому-же такой матери, которой приходится платить дань всѣмъ запутаннымъ условіямъ современной общественной жизни, переполненной суетными удовольствіями, искаженной странными модами, подавленной превратными и суетными понятіями! Эту ошибку можно устранить только тѣмъ, чтобы вслѣдъ за кукольной комнатой вести теоретическую подготовку женской школы, а потомъ практическое образованіе дѣтскаго сада.»

Этими цитатами я исчерпалъ все содержаніе лекціи Вирхова. Собственно новой можетъ быть названа въ этой лекціи только мысль о практическомъ изученіи дѣтскихъ правовъ въ дѣтскихъ садахъ и другихъ подобныхъ учрежденіяхъ. Но эта мысль очень плодотворна, потому что она въ высшей степени удобоисполнима. Кромѣ того вся лекція очень замѣчательна, какъ сжатая и дѣльная программа послѣдовательнаго реализма, примѣннаго къ воспитанію женщины. Эту программу я въ самомъ началѣ этой статьи называлъ *безобидной* въ томъ смыслѣ, что она не испугаетъ никого изъ самыхъ безнадежныхъ филлистовъ. Это достоинство очень немаловажное, потому что многія превосходныя идеи остаются неосуществленными единственно по той причинѣ, что онѣ, благодаря своему яркому блеску, однимъ своимъ появленіемъ возбуждаютъ противъ себя оглушительное возраженіе. Программа Вирхова не возбудитъ противъ себя никакого негодованія.

ПЕДАГОГИЧЕСКІЕ СОФИЗМЫ.

I.

Почти всѣмъ нашимъ журналистамъ чрезвычайно хочется быть законодателями и администраторами и чрезвычайно не хочется быть журналистами. Они очень любятъ говорить публикѣ: надо поступить такъ-то, — и очень не любятъ объяснять ей, почему именно надо поступить такъ, а не иначе. Эти особенности нашихъ журналистовъ выразились недавно въ спорахъ о классическомъ и реальномъ образованіи. Защитники классицизма твердили на разные лады, что надо открыть повсемѣстно классическія гимназіи, и никто изъ этихъ защитниковъ не потрудился до сихъ поръ объяснить обществу, въ чемъ именно состоитъ превосходство классическаго образованія надъ реальнымъ. Защитники классицизма наивно убѣждены въ томъ, что все дѣло будетъ благополучно окончено, какъ только откроется

значительное число классическихъ гимназій. Понимаютъ-ли общество или не понимаютъ пользу этихъ заведеній, сочувствуетъ оно имъ или не сочувствуетъ—это, по ихъ мнѣнію, рѣшительно все равно, и не стоитъ тратить ни одной минуты времени и ни одной капли чернилъ на то, чтобы дать обществу то пониманіе и то сочувствіе, которыхъ у него нѣтъ въ настоящую минуту. — Особенно сильно проявляются эти законодательскія и администраторскія наклонности въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ». Считая себя, подобно «Times», шестой великой державой, Катковъ очевидно можетъ объясняться только съ правительствами, а никакъ не съ обыкновенными читателями своей газеты.

«Родители,—говоритъ онъ съ величественнымъ презрѣніемъ,—мѣстныя общества, земскія собранія, въ которыхъ большинство никогда не слы-

находятся въ распоряженіи нашей *шестой державы*. Шестая держава рѣшительно поворачивается спиной къ этой обязанности и не хочет замѣчать ее даже тогда, когда другіе люди настоятельно приглашаютъ ее обратить на нее вниманіе. «Моск. Вѣд.», въ 71 №, выписываютъ изъ «Голоса» слѣдующія строки: «Многіе родители думаютъ, что греческимъ и латинскимъ языками ученики будутъ заниматься насильно.» Выписавъ эти слова, «Моск. Вѣдом.» начинаютъ разсуждать такъ: «и этотъ аргументъ кажется «Петербургской Газетѣ» достаточнымъ для того, чтобы въ нашихъ гимназіяхъ не было классическихъ языковъ, а преподавалось нѣчто такое, что, не требуя серьезнаго труда, приходилось-бы намъ болѣе по вкусу ученикамъ гимназій».

Чтобы замаскировать свою несостоятельность для теоретической защиты классицизма, «Московскія Вѣдомости» относятся съ полнымъ пренебреженіемъ къ наклонностямъ гимназистовъ и впадаютъ въ самую грубую психологическую ошибку. Онѣ утверждаютъ, что ученикамъ гимназій можетъ нравиться только то, что не требуетъ серьезнаго труда. Это—овершенная нелѣпость не только для гимназистовъ, но даже для самыхъ малолѣтнихъ дѣтей. Ребенку, какъ всякому человѣку вообще, противенъ и несносенъ тотъ трудъ, въ которомъ онъ не видитъ никакой цѣли. Самое легкое занятіе можетъ быть невыносимо-скучнымъ и самый напряженный умственный трудъ можетъ быть въ высшей степени пріятнымъ. Все зависитъ отъ того, затрогиваетъ-ли этотъ трудъ умъ и чувство рождающагося человѣка, или оставляетъ ихъ неподвижными. Трудная работа и скучная работа—ва понятія несколько не равносильныя. Устранить изъ учебныхъ занятій элементъ серьезнаго труда нѣтъ никакой возможности и ни малѣйшей надобности, потому что серьезный трудъ закладываетъ умъ и формируетъ характеръ ученика. Чтобы устранить изъ учебныхъ занятій элементъ скуки и принужденія—прямая обязанность рациональной педагогики, потому что скука, поощряемая безучастностью ученика къ труду, во всякомъ случаѣ дѣйствуетъ подавляющимъ образомъ на его умственные способности, а принужденіе, въ какой-бы утонченной и облагороженной формѣ оно ни выражалось, во всякомъ случаѣ развращаетъ ученика въ нравственномъ отношеніи. Что есть возможность устранить скуку и принужденіе—это доказала яснополянская школа. Въ томъ дѣлѣ, о которомъ я говорю теперь, для устраненія скуки и принужденія требуется только одно условіе: пусть защитники классицизма растолкуютъ обществу пользу и необходимость двухъ мертвыхъ языковъ. Пусть они дадутъ ясный и вполне удовлетворительный отвѣтъ на вопросъ: для чего русскому юношеству слѣдуетъ начинать свое школьное ученіе съ латинской и греческой грамматики? Въмѣсто того

чтобы серьезно задуматься надъ этимъ вопросомъ, «Московскія Вѣдомости» эскамотируютъ его и кидаются по сторонамъ, то на «Голосъ», то на родителей, то на гимназистовъ, которые нисколько не виноваты въ томъ, что великій защитникъ классицизма не умѣетъ мыслить.

II.

Когда «Московскія Вѣдомости», прекративъ свои набѣги на «Голосъ», на родителей и на гимназистовъ, стараются доказать превосходство классическаго образованія надъ всеми другими возможными системами, тогда онѣ бѣдностью и безсвязностью своихъ доводовъ повергаютъ читателей въ сострадательное недоумѣніе. Между прочимъ ихъ классическая философія поучаетъ, что теорія и въ подметки не годится факту, именно потому, что она—теорія, т.-е. потому, что она, какъ новое произведеніе человѣческаго ума, еще не успѣла пустить корень въ жизнь. Когда въ XV вѣкѣ нашлись чудаки, которые хотѣли печатать книги, вмѣсто того чтобы переписывать ихъ, тогда, по мнѣнію «Московскихъ Вѣдомостей», надо было отвѣчать имъ: «вы все прет! это—теорія; жизнь съ ея фактами говоритъ намъ, что книги должны непременно переписываться». Когда въ томъ-же XV вѣкѣ Колумбъ выпрашивалъ себѣ два корабля у испанскаго правительства, чтобы открыть цѣлый новый міръ, тогда надо было непременно отвѣтить ему, что жизнь съ ея фактами запрещаетъ открывать новыя земли. И такой отвѣтъ дѣйствительно былъ данъ ему многими почтенными представителями жизни и ея фактовъ. Когда въ концѣ XVI столѣтія Джордано Бруно своими сочиненіями и лекціями сталъ распространять систему Коперника, тогда ему доказали очень осязательно, что *иное дѣло—фактъ, иное дѣло—теорія*. Фактъ сначала посадилъ *теорію* въ тюрьму, а потомъ сжегъ ее на кострѣ. Въ XVII столѣтіи Галилей былъ теоріей, а папская инквизиція была фактомъ. Въ XVIII столѣтіи сочиненіе Беккарія противъ смертной казни было теоріей, а пытка, висѣлица и колесованіе—фактами. Въ времена Наполеона паромъ былъ теоріей, а наемъ Наполеона надъ паромомъ былъ фактомъ. Въ пятидесятыхъ годахъ нынѣшняго столѣтія эманципация русскихъ крестьянъ была теоріей, а крѣпостное право было фактомъ. И откупъ, и закрытый судъ, и тѣлесныя наказанія въ свое время были также весьма почтенными фактами.

Но *иное дѣло—фактъ, иное дѣло—теорія*, твердятъ «Московскія Вѣдомости», и совершенно успокоиваются на этомъ величественномъ приговорѣ, составляющемъ самое торжественное категорическое признаніе собственной духовной нищеты и политической неспособности анализировать или опровергать какую-бы то ни было теорію. Повторивши два раза свою бессмысленную фразу, «Московскія Вѣдомости» совершенно забы-

вають о тѣхъ двухъ вопросахъ, съ которыхъ онѣ хотѣли было начать свое изслѣдованіе о достоинствахъ классицизма. Усыпленный пустословіемъ газетнаго болтуна, читатель также давно забылъ объ этихъ двухъ вопросахъ, и такимъ образомъ поднятое дѣло затихло, къ обоюдному удовольствію писателя и публики. Писатель почтительно раскланялся съ фактомъ, какъ съ важнымъ бариномъ, бросилъ презрительный взглядъ на теорію, какъ на искательницу приключеній, наполнилъ неизвѣстно чѣмъ нѣскольکو столбцовъ и успокоился на томъ усладительномъ сознаніи, что далеко подвинулъ впередъ дѣло классицизма въ Россіи. Читатели быть-можетъ не повѣрятъ мнѣ, если я имъ скажу, что я исчерпалъ все содержаніе передовыхъ статей, помѣщавшихся въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ» въ защиту классицизма.

Такъ какъ я не могу и не хочу наполнять «Русское Слово» цитатами, въ которыхъ нѣтъ ничего кромѣ внутренней пустоты, то я приглашаю любопытнаго и недоувѣрливаго читателя прочитать передовыя статьи въ № 43, 54 и 71. Скука, которую онѣ испытываетъ, послужитъ ему достаточнымъ наказаніемъ за его недоувѣрчивость. Аргументовъ вы не найдете никакихъ, кромѣ уже извѣстной вамъ пѣсенки о томъ, что *иное дѣло — фактъ, иное дѣло — теорія*. Приводятся слова двухъ авторитетовъ, но эти слова не заключаютъ въ себѣ никакого аргумента. Оба авторитета заявляютъ только свою нѣжную любовь къ классическому образованію и утверждаютъ совершенно голословно, что молодые люди, прошедшіе черезъ классическую школу, оказываются гораздо дѣльнѣе тѣхъ, которые кончили курсъ въ реальныхъ училищахъ. Еслибы даже Александръ Гумбольдтъ и Чарльзъ Дарвинъ высказали эти мысли, то и тогда мы имѣли-бы полное право потребовать отъ нихъ подробныхъ фактическихъ доказательствъ. Что же касается до тѣхъ авторитетовъ, передъ которыми преклоняется публицистъ «Московскихъ Вѣдомостей», систематически презирающій теорію, то имъ мы тѣмъ болѣе не имѣемъ ни малѣйшей надобности вѣрить на слово. Что классическое образованіе имѣетъ въ Европѣ очень многихъ вліятельныхъ и ученыхъ защитниковъ, — это мы знаемъ очень хорошо безъ всякихъ цитатъ. Еслибы этого не было, то классическое образованіе не могло-бы существовать. Но что между людьми учеными и вліятельными есть очень много слѣпыхъ обожателей факта и столь-же слѣпыхъ гонителей теоріи — это мы также знаемъ какъ нельзя лучше. Нѣтъ того важнаго научнаго открытія, нѣтъ той плодотворной идеи, которая не встрѣчалась бы себѣ самыхъ ожесточенныхъ враговъ именно въ университетахъ и въ академіяхъ. Францискъ Бэконъ съ презрѣніемъ относился къ астрономическимъ открытіямъ Галилея; Риоланъ, знаменитѣйшій профессоръ медицины въ XVII вѣ-

кѣ, не хотѣлъ признавать кровообращенія, открытаго Гарвеемъ; знаменитѣйшіе палеонтологи тридцатыхъ годовъ нынѣшняго столѣтія не обратили никакого вниманія на изслѣдованія Шмидта, доказывавшія одновременное существованіе человѣка съ такъ-называемыми допотопными животными. Предвзятые мнѣнія вліятельныхъ ученыхъ людей бываютъ обыкновенно очень упорны, и потому слова генерала Мореня и господина Шмидта, тѣхъ двухъ авторитетовъ, которыми хвастаются «Московскія Вѣдомости», доказываютъ только то, что генералъ Моренъ и господинъ Шмидтъ очень влюблены въ существующій фактъ. Мы не можемъ и не желаемъ имъ въ томъ препятствовать, но влюбляясь вслѣдъ за ними, потому только, что они — генералъ Моренъ и господинъ Шмидтъ, мы не видимъ до сихъ поръ никакого достаточнаго основанія.

III.

«День» также стоитъ за классицизмъ и даже очень обижается тѣмъ, что «Московскія Вѣдомости», увлеченныя пылкостью своей фантазіи, причислили его къ любителямъ реального образованія. Въ 16 и въ 17-омъ номерахъ «Дня» напечатана статья Шаврова «Классическое реальное воспитаніе». Эта статья стоитъ мѣримо выше фразерства «Московскихъ Вѣдомостей». Авторъ этой статьи обнаруживаетъ крайней мѣрѣ похвальное желаніе размыслить о предметѣ собственнымъ умомъ, и чѣмъ остается только пожалѣть о томъ, что такъ брожательные люди, какъ Шавровъ, бываютъ часто чрезвычайно плохими мыслителями, кромѣ того не знаютъ азбуки того предмета, въ которомъ они толкуютъ. Шавровъ беретъ за классицизмъ и реализмъ въ такомъ широкъ и глубокомъ значеніи, что читатель даже не можетъ видѣть въ этихъ двухъ словахъ нибуть опредѣленный смыслъ. Какъ наивный идеалистъ, какъ усердный ученикъ Хомякова, Кирѣевскаго и другихъ подобныхъ мыслителей, Шавровъ совлекаетъ съ предмета все временное и случайное и посредствомъ этого совлеченія доводитъ дѣло до того, что классицизмъ и реализмъ становятся похожи другъ на друга, какъ двѣ капли воды. Выводы изъ нѣпальнаго философскаго приѣма оказываются значительными. Сбросивъ съ себя оковы реализма, Шавровъ можетъ называть какъ классицизмомъ, а реализмъ — классицизмомъ, того онъ, по вдохновенію, можетъ называть реализмомъ, то реализмомъ такая теорія съ нашей временной, конечно, случайной точки зрѣнія нисколько непохожа, ни на другое. Если ему угодно было бы въ нѣпальскомъ классицизмѣ, — онъ можетъ назвать всякое дурное воспитаніе реальнымъ, а всякое хорошее — классическимъ. Если же ему угодно прославлять реализмъ, — то нѣтъ и нѣтъ

ровъ очевидно обрисовывается намъ свой собственный педагогическій идеалъ. Идеалъ недуренъ. Къ нему стремились всегда и вездѣ люди, отдававшіе себѣ болѣе или менѣе ясный отчетъ въ тѣхъ законахъ, по которымъ совершается умственное развитіе человѣка. Именно за то, что Шавровъ способенъ составить себѣ такой идеалъ, я ставлю этого писателя неизмѣримо выше того жалкаго фразера, который утверждаетъ въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ», что гимназисты не могутъ заниматься серьезной работой безъ принужденія. Но, отдавая полную справедливость добросердечію Шаврова, я все-таки долженъ замѣтить, что его слова нисколько не характеризуютъ собой древняго міра, а только даютъ самый общій и неопредѣленный очеркъ той задачи, которую долженъ постоянно имѣть въ виду каждый умный воспитатель или учитель. Всѣ они должны поддерживать въ питомцахъ *умственную и нравственную энергію*, всѣ должны возбуждать въ нихъ *живой интересъ къ предметамъ изученія*, всѣ должны давать *вѣрное направленіе ихъ уму и чувству*. Всѣ должны, но не всѣ *могутъ и умѣютъ*. Безсиліе и неумѣнье происходят не оттого, что метода невѣрна, и не оттого, что предметы изученія нигде не годятся, а просто оттого, что между педагогами точно такъ же, какъ и между людьми всѣхъ остальныхъ профессій, встрѣчается гораздо больше дюжинныхъ и ограниченныхъ субъектовъ, чѣмъ умныхъ и даровитыхъ личностей. Всякую науку, которая дѣйствительно достойна этого имени, можно преподавать и очень увлекательно, и очень усыпительно. Все зависитъ тутъ не отъ педагогической теоріи, а отъ живой личности преподавателя. Слова Шаврова выражаютъ именно тѣ требованія, которыя могутъ быть выполнены только педагогическимъ искусствомъ, то-есть личными дарованіями педагоговъ. Но такъ какъ въ древности были и хорошіе преподаватели, и посредственные, и совсѣмъ дрянные, то очевидно эти требованія выполнялись далеко не всегда, и когда они выполнялись, то характеризовали собой не древность, а только отдѣльныя личности умныхъ и добросовѣстныхъ учителей. «*Педагогика, педагогъ*» — эти два слова или названія, — продолжаетъ Шавровъ, — дошедшія до насъ отъ эпохи истинно-классическаго образованія, хорошо опредѣляютъ его основную задачу.» — *Эти два слова или названія* опредѣляютъ только то, что Шавровъ слышалъ звонъ, да не знаетъ, гдѣ онъ. Онъ слышалъ, что слово *педагогъ* составлено изъ двухъ греческихъ словъ, изъ которыхъ одно (*Παις*) значить *ребенокъ*, а (*αγω*) значить *веду*, — и со свойственной ему отважностью умозаключилъ, что *педагогъ* были въ древности *руководителями* юношества въ *умственномъ и въ нравственномъ* отношеніи. Но съ этой пріятной иллюзіей Шавровъ дол-

женъ разстаться. Педагогами называли въ древности не тѣ люди, которые *ведутъ* юношество по пути добродѣтели и мудрости, а тѣ *лики* или рабы, которые, въ буквальномъ, а не въ переносномъ смыслѣ, *водили* дѣтей въ школу и при этомъ несли за ними книжки и писанные принадлежности. Свое теперешнее, возмущенное значеніе *эти два слова или названія* получили совсѣмъ не въ эпоху того образованія, которое Шаврову угодно называть *классическимъ*. Далѣе Шавровъ объясняетъ, что *идею о вѣдѣ въ классическомъ духѣ* окупевляли три мысли. *Первая* — та, что *человѣческая душа есть источникъ всего истиннаго, добраго и прекраснаго*, а *самопознаніе* — путь къ этому общему источнику.» Шавровъ не замѣчаетъ того, что этой первой мысли онъ никакъ не можетъ сочувствовать. Эта мысль — не что иное, какъ обоготвореніе челоѣчества. Именно къ этой мысли пришла крайняя, лѣвая сторона гегелевской школы, и именно за эту мысль на нее свалились всевозможныя обвиненія и проклятія. Что Шавровъ вовсе не желаетъ приходить къ такимъ результатамъ, въ этомъ я твердо убѣжденъ, во-первыхъ потому, что онъ пишетъ въ «Днѣ», а во-вторыхъ потому, что онъ самъ сильно вооружается противъ какого-то безчестнаго *реализма*, который будто-бы старается *подорвать коренныя религіозныя вѣрованія дѣтей*. Но что Шавровъ самъ не знаетъ, что онъ пишетъ, это для меня совершенно очевидно изъ той первой мысли, которую онъ приписываетъ своимъ педагогамъ въ *классическомъ духѣ*. — Вторая мысль — та, что лучшее средство къ образованію души и органическому ея развитію есть то же самое ея самопознаніе.» Первая мысль состояла въ томъ, что *самопознаніе* есть путь къ общему источнику всего истиннаго, добраго и прекраснаго. Сличая эту первую мысль со второй, мы видимъ, что вторая ровно ничего не прибавляетъ къ первой, а только повторяетъ ее другими словами. — Третья мысль, «*не житейская и разумная, какъ и обѣ (?) первыя*», заключается въ томъ, «что челоѣкъ, съ юныхъ лѣтъ собственной самодѣтельностью достигшій самопознанія, никогда не оставитъ дѣла ученія». Въ подтвержденіе этой послѣдней мысли, Шавровъ приводитъ изреченіе: «наука обширна, а жизнь коротка», и утверждаетъ, что «это мудрое изреченіе или поговорка составилась на почвѣ классическаго міра и отразила на себѣ извѣстное убѣжденіе лицъ, дававшихъ и получающихъ это образованіе». Здѣсь мы опять имѣемъ дѣло съ недослышаннымъ и непонятымъ знаніемъ. До Шаврова дошли какія-нибудь случайнымъ образомъ двѣ отрывочныя сентенціи — одна: «познавай самого себя», другая: «наука обширна, а жизнь коротка». Эти сентенціи очень поправились Шаврову, и изъ нихъ онъ немедленно сжегъ крошечную теорію, которую я

выдаетъ въ настоящее время публикѣ съ неподражаемымъ добродушіемъ за картину умственной жизни греко-римскаго міра. Онъ чисто-сердечно убѣжденъ въ томъ, что древніе греки постоянно погружены были въ самоизученіе и предавались этому пустому занятію втеченіи всей своей жизни. Но и съ этой иллюзіей онъ долженъ разстаться. Прежде всего я скажу ему, что совѣтъ познавать самого себя былъ высказанъ Сократомъ, и что большая часть философскихъ школъ, какъ до Сократа, такъ и послѣ него, занимались очень мало изученіемъ собственной души. Ионійская и элеатская школы занимались преимущественно размышленіями о мірѣ во вкусѣ Кифы Мокиевича и судьи Ляпкина-Тяпкина; киренская школа, эпикурейцы и циники имѣли преимущественно практическое направленіе; наконецъ Аристотель и александрійская школа создавали положительную науку, то-есть занимались математикой, астрономіей, физикой, химіей и медициной. Второе изреченіе насчетъ науки и жизни было произнесено Анаксагоромъ и отразило на себѣ не искреннее убѣжденіе въ необходимости вѣчно учиться, а, напротивъ того, искреннее отчаяніе гениальнаго человѣка, понимавшаго вполнѣ, что его вѣкъ не создалъ такихъ орудій наблюденія, которыми можно было-бы вырвать у природы ея тайны. Въ своемъ необорванномъ и неперетолкованномъ видѣ мысль Анаксагора выражается слѣдующимъ образомъ: умъ слабъ, чувства обманчивы, знаніе недостоверно, наука (то-есть область неизвѣстнаго) обширна, жизнь коротка. Если-же Шавровъ полагаетъ, что самоизученію предавались отроки, посѣщавшіе элементарныя школы, то и въ этомъ онъ ошибается. Отроки занимались грамматикой, математикой, музыкой и гимнастикой. Школа вела своихъ воспитанниковъ совсѣмъ не къ обильному источнику сего истиннаго, добраго и прекраснаго, а только къ обильному источнику гражданскихъ почестей. Она готовила изъ нихъ отличныхъ актеровъ; она учила ихъ хорошо говорить, декламировать и дѣлать граціозныя жесты, чтобы водить за носъ глупую толпу, которая принимала ловкихъ балагуровъ и краснорѣчивъ за великихъ патріотовъ и за гениальныхъ администраторовъ.

IV.

Побожившись читателю въ томъ, что самоизученіе называется классическимъ образованіемъ, Шавровъ начинаетъ расхваливать это образованіе. «Человѣкъ, — говоритъ онъ, — получившій классическое образованіе, не только самъ совершенно чуждъ всякаго рода иллюзій, всякой мечтательности и сентиментальности, но чувствуетъ какую-то антипатію къ этимъ недостаткамъ, встрѣчая ихъ въ другихъ». Я-бы могъ сказать точъ въ точъ то-же самое о человѣкѣ,

получившемъ реальное образованіе. Но такіе отзывы не имѣютъ рѣшительно никакого осязательнаго значенія. Что такое иллюзіи? Что такое мечтательность и сентиментальность? Надо сначала условиться въ томъ смыслѣ, который мы будемъ придавать этимъ выраженіямъ. Когда я читаю «День», то въ каждой строкѣ я вижу или иллюзію, или мечтательность, или сентиментальность. Когда Шавровъ читаетъ «Русское Слово», то онъ по всей вѣроятности не видитъ въ немъ ровно ничего, кромѣ иллюзій, мечтательности и сентиментальности. Спрашивается теперь, отъ какихъ иллюзій, отъ какой мечтательности, отъ какой сентиментальности избавляетъ человѣка классическое воспитаніе? Если это классическое образованіе оставляетъ нетронутыми все иллюзіи, всю сентиментальность и всю мечтательность, которыя гнѣздятся въ самомъ Шавровѣ и который этотъ мыслитель считаетъ лучшимъ украшеніемъ человѣка, то можно сказать, что не стоитъ благодарности, потому что въ такомъ случаѣ окажется, что классическое образованіе совсѣмъ ничего не сдѣлало. «Съ другой стороны, — продолжаетъ Шавровъ, — онъ (человѣкъ, получившій классическое образованіе) отличается особенной зоркостью и пронзительностью въ пониманіи всякаго рода фактовъ и явленій жизни, умѣемъ понять ихъ въ собственномъ ихъ смыслѣ и какой-то ловкостью овладѣть ими, — качествами, которыя дѣлаютъ его способнымъ къ дѣятельной жизни». — Послѣ этого остается только напечатать въ газетахъ объявленіе: иѣтъ болѣе дураковъ! или вѣрнѣйшее средство излечиваться греческой грамматикой отъ всѣхъ острыхъ и хроническихъ видовъ глупости, тупоумія и ограниченности. — Прочитавъ слова Шаврова о неизбѣжной зоркости, пронзительности, ловкости всѣхъ классиковъ, читатель можетъ составить себѣ довольно отчетливое понятіе о томъ, насколько этотъ мыслитель способенъ разсуждать объ иллюзіяхъ и мечтательности, и насколько онъ способенъ цѣнить зоркость, пронзительность и ловкость. Сдѣланъ-ли до сихъ поръ первый шагъ для того, чтобы построить сравнительную оцѣнку различныхъ системъ образованія на твердыхъ и положительныхъ статистическихъ данныхъ? Если вы хотите сравнивать между собой различныя системы образованія по тѣмъ результатамъ, которые отъ нихъ получаются, то вы должны принять величайшія предосторожности для того, чтобы имѣть дѣло дѣйствительно съ результатами образованія, а не съ результатами разныхъ другихъ, совершенно побочныхъ условій. Но, спрашивается, какимъ образомъ вы ухитритесь устранить эти побочныя условія? Какимъ образомъ вы напимѣрь убѣдитесь въ томъ, что зоркость, пронзительность и ловкость даны человѣку вашей классической школой, а не получены имъ по наслѣд-

ству от родителей и не развиты въ немъ столкновениями съ дѣйствительною жизнью послѣ его выхода изъ школы? Разумѣется, вопросъ о классическомъ и реальномъ образованіи былъ-бы порѣшенъ на вѣчныя времена, еслибы существовала какая-нибудь возможность воспользоваться въ этомъ случаѣ содѣйствіемъ статистики. Еслибы напрямѣръ можно было доказать (доказать *цифрами*), что въ такомъ-то году поступило въ классическія и реальныя школы по пяти тысячъ мальчиковъ, одинаково умныхъ отъ природы, и что по прошествіи нѣсколькихъ лѣтъ пять тысячъ классиковъ оказались гораздо умнѣе и дѣльнѣе пяти тысячъ реалистовъ,—тогда приверженцы реализма могли-бы признавать себя побѣжденными. Но вѣдь стоитъ только поставить это требованіе, чтобы увидать въ ту же секунду, что оно неосуществимо. *А*—инженеръ, *Е*—профессоръ римскаго права, *В*—негоціантъ, *Г*—журналистъ, *Д*—мировой посредникъ—прошу покорно сравнивать ихъ между собой и оцѣнивать, который изъ нихъ дѣльнѣе. Это почти то-же самое, что складывать аршины съ фунтами или дѣлить ведра на минуты. Если-же вы хотите сравнивать между собой людей одной профессіи,—вы наткнетесь на новое затрудненіе: одинъ могъ выбрать эту профессію по призванію, другой могъ взять ее по принужденію, подъ гнетомъ такихъ обстоятельствъ, съ которыми невозможно было справиться. На каждомъ шагѣ вы встрѣчаете побочныя условія и почти никогда вы не можете опредѣлить съ точностію, какую долю вліянія надо отвести каждому изъ этихъ условій въ томъ общемъ результатѣ, который вы должны занести въ вашу статистическую таблицу. Кромѣ того сравнительная оцѣнка двухъ системъ образованія совершенно невозможна уже и потому, что, по признанію самихъ классиковъ, во всей Европѣ господствовала до сихъ поръ *только одна система*, а другая стояла постоянно въ тѣни, на заднемъ планѣ, и не имѣла ни малѣйшей возможности вступить въ состязаніе съ первой. На сторонѣ господствующей системы находятся во-первыхъ, всѣ фактическія выгоды и, во-вторыхъ, всѣ предубѣжденія тѣхъ людей, которые берутся сравнивать результаты обѣихъ системъ. Допустимъ даже, что генералъ Моренъ, Шмидтъ и Шавровъ говорятъ чистую истину; допустимъ, что въ настоящее время дѣйствительно воспитанники классическихъ гимназій умнѣе и дѣльнѣе юныхъ реалистовъ. Если даже это явленіе подмѣчено вѣрно,—за что никакъ нельзя поручиться,—то явленіе это объясняется очень легко и естественно именно тѣмъ обстоятельствомъ, что классическія гимназій, какъ господствующая система, стоятъ высоко во мнѣніи общества: объ этихъ гимназіяхъ говорятъ въ обществѣ, что тамъ учиться очень трудно, но что зато и выучиться можно превосходно. Очень

естественно, что, постоянно слыша о нихъ такіе отзывы, родители помѣщаютъ своихъ дѣтей именно туда, если думаютъ, что ребенокъ, по своимъ дарованіямъ, выдержитъ усильно трудное ученіе; по той-же самой причинѣ родители слабыхъ и вялыхъ мальчиковъ боятся помѣщать своихъ дѣтей въ такую школу, въ которой имъ предстоитъ непосильная работа. Такимъ образомъ все, что посылнѣе, потянется въ господствующей системѣ, то-есть къ классицизму, который еще болѣе усилится отъ этого притока свѣжаго матеріала; а все, что послабѣе, потянется къ второстепенной системѣ, то-есть къ реализму, который вслѣдствіе этого еще ниже упадетъ въ глазахъ генерала Моренъ, Шмидта и Шаврова. При такихъ условіяхъ удивительно не то, что вліятельные и ученые обожатели существующаго факта прославляютъ классицизмъ, какъ вѣрное лекарство противъ всякой умственной немощи, а то, что эти вліятельные и ученые люди еще принуждены аргументировать противъ реализма. Что реализмъ не одержалъ до сихъ поръ и еще долго не одержитъ побѣды надъ классицизмомъ—это очень естественно: мудрено побѣдить такого врага, который слишкомъ три столѣтія тому назадъ воцарился надъ обществомъ; но что, несмотря на эти невыгодныя условія, реализмъ борется и дѣлаетъ успѣхи въ общественномъ мнѣніи,—это можетъ служить самымъ вѣрнымъ ручательствомъ за его внутреннія достоинства. Написавши около двухъ столбцовъ голословными рассужденіями на ту тему, что греческая грамматика радикально излечиваетъ всякое тупоуміе, Шавровъ объявляетъ, что «жизнь отдѣлывали челоѣка, или цѣлаго народа имѣетъ двѣ стороны, происходящая изъ одной и той-же субстанции челоѣческаго духа». Наговоривъ рваного вздора о субстанціи челоѣческаго духа, онъ далѣе открываетъ *цѣлый родникъ непритумныхъ духовныхъ силъ*.

По соображеніямъ Шаврова оказывается, что путь въ *роднику* россійскихъ силъ лежитъ черезъ грамматику Востокова и христоматію Галахова. Указывая этотъ путь, Шавровъ по своему обыкновенію впадаетъ въ возвышенныхъ сферахъ отвлеченнаго мышленія и не называетъ ни Востокова, ни Галахова; но я ловлю на лету мысль Шаврова, стаскиваю ее за крылья внизъ на землю, даю ей кровь и плоть и довожу ее до той степени опредѣленности, которая необходима для ея пракческаго осуществленія. За всѣ эти операціи Шавровъ долженъ питать ко мнѣ нѣжѣйшую дружбу и глубочайшую признательность. Если-же за весь мой неблагодарный трудъ онъ заплатитъ мнѣ холоднымъ равнодушіемъ, то мнѣ останется только вздохнуть о томъ, что классическое образованіе, надѣвшее Шаврова *зоркостью, проницательностію и ловкостію* и украсившее его умъ множе-

ством блестящих исторических познаний, убило въ немъ, вмѣстѣ съ *сантиментально-стью и мечтательностью*, всѣ лучшія чувства человеческой души. «Есть матеріалъ,—говоритъ Шавровъ, указывая путь къ *роднику*,—который, обладая наглядностью, даже пластичностью, до того нѣженъ, гибокъ, даже духовенъ, что можетъ отражать на себѣ самыя неуволнимыя движенія человеческого духа и слѣдовательно полнѣе, чѣмъ что-нибудь другое, показывать, что такое духъ самъ въ себѣ, что такое онъ—въ своихъ внутреннѣйшихъ стремленіяхъ и сокровеннѣйшихъ направленіяхъ. Этотъ матеріалъ—человѣческое слово, языкъ.»—Затѣмъ Шавровъ приводитъ выраженіе Бюффона: «въ слогѣ—весь человѣкъ» (*le style—c'est l'homme*), и полагаетъ, что этимъ выраженіемъ рѣшается безапелляціонно вопросъ о томъ, какъ узнать вполнѣ достоверно внутреннюю субстанцію тридцатилѣтняго человѣка и какъ угадать будущее назначеніе тысячелѣтней Россіи. Тридцатилѣтній человѣкъ сдѣлается для насъ совершенно понятенъ, если вы изучите, въ синтаксической точки зрѣнія, всѣ его письма и записочки. А Россія немедленно раскроетъ передъ вами внутренній родникъ своихъ жизненныхъ силъ, если вы продумаете и прочувствуете достаточно глубоко грамматику Востокова, кристологию Галахова и еще для большей полноты «Историческіе очерки» Буслаева. Эта теорія Шаврова очень блестящая, но для ея окончательнаго торжества необходимо, чтобы авторъ разрѣшилъ нѣкоторые недоумѣнія, способныя поставить втупикъ грубымъ эмпирикамъ. Такъ напримѣръ, не мѣшало-бы ему доказать, что въ чистомъ и изначальномъ латинскомъ языкѣ Саллюстія Криспа отразился весь характеръ этого человѣка, который, какъ извѣстно, своимъ живодерствомъ, взяточничествомъ и корыстолюбіемъ поражалъ даже своихъ современниковъ, вовсе неотличавшихся кротостью, безкорыстіемъ и честностью. Недурно было-бы также, еслибы онъ объяснилъ намъ, какимъ образомъ языкъ Франциска Бэкона Веруламскаго *отразилъ на себѣ самыя неуволнимыя движенія его духа*, весьма склоннаго къ вѣроломству и всегда готоваго продаться за наличныя деньги. Анализируя рѣчи Мирабо, Шавровъ долженъ показать намъ, что этотъ человѣкъ былъ подкупленъ дворомъ. Изучая сочиненія Кювье, Шавровъ, по ихъ языку, долженъ угадать, что Кювье былъ мягкій честолюбецъ, превратившій себя въ послушное орудіе бурбонской реакціи. Потомъ, перейдя отъ отдѣльных личностей къ цѣлымъ народамъ, Шавровъ долженъ объяснить раздѣлъ Польши несовершенствами польскаго синтаксиса, бѣдствія Ирландіи—особенностями кельтскихъ склоненій и спряженій, историческую ничтожность литовскаго племени—бѣдностью литовскаго языка, который однако, по единогласному мнѣнію

всѣхъ компетентныхъ знатоковъ сравнительной филологіи, приближается богатствомъ своихъ грамматическихъ формъ къ санскритскому языку. Кромѣ того Шавровъ долженъ объяснить, по какому случаю самыя богатые и совершенные языки земного шара,—санскритскій, греческій и латинскій,—сдѣлались мертвыми языками, между тѣмъ какъ англійскій языкъ, неимѣющій почти никакой грамматики, живетъ и удовлетворяетъ собой во всѣхъ отношеніяхъ двѣ такія націи, въ сравненіи съ которыми греки и римляне оказываются недорослями и школьниками. Если въ языкѣ заключается *родникъ жизненныхъ силъ*, то какимъ-же образомъ этотъ родникъ не выручилъ грековъ и римлянъ ни тогда, когда на нихъ нападали германцы и славяне, у которыхъ родникъ былъ гораздо хуже, ни тогда, когда на Византійскую имперію напали турки, у которыхъ родникъ былъ уже совсѣмъ плохъ? Всѣ эти вопросы Шавровъ долженъ разрѣшить непременно, потому что если онъ беретъ читать въ грамматикѣ Востокова *будущую* судьбу Россіи, то тѣмъ болѣе, *à plus forte raison*, онъ обязанъ прочесть въ той-же самой книгѣ все *прошедшее* нашего отечества. Если-же онъ объяснитъ посредствомъ русской грамматики всѣ событія русской исторіи, то по разнымъ другимъ грамматикамъ онъ прочтетъ всѣ событія всемірной исторіи.—Особенность греко-римскаго образованія, по мнѣнію Шаврова, состояла именно въ томъ, что это образованіе погружало питомцевъ въ самый родникъ жизненныхъ силъ, то-есть вело ихъ къ самопознанію путемъ самаго тщательнаго изученія языка. «Развивая необыкновенную чувствительность къ слову и всему выражаемому словомъ, направляя вниманіе главноѣйшимъ образомъ на живую связь между словомъ, мыслью и чувствомъ, оно (это изученіе) предохраняло древнихъ отъ всѣхъ злоупотребленій словомъ. Извѣстное изреченіе мудреца новѣйшихъ временъ и новѣйшаго образованія: «языкъ данъ человѣку для того, чтобы скрывать свои мысли», оправдываемое нерѣдко практикой выѣшней жизни, въ древности показалось-бы величайшей бессмыслицей.»—Невѣжество и храбрость Шаврова рѣшительно приводятъ меня въ недоумѣніе. Я понять немогу, какимъ образомъ можно печатно разсуждать о древности, не прочитавши ни одного древняго историка. Еслибы Шаврову были извѣстны только первыя главы тацитовскихъ анналовъ, то и тогда-бы онъ воздержался отъ весьма многихъ неуволностей. Изреченіе новѣйшаго мудреца, Талейрана, какъ будто нарочно сказано для того, чтобы охарактеризовать поведеніе Тиверія послѣ смерти Августа. Тиверій постоянно пользовался языкомъ для того, чтобы скрывать свои мысли, и Тацитъ въ первыхъ главахъ своихъ анналовъ превосходно описываетъ ту продолжительную и тяжелую комедію, кото-

рую Тиверій игралъ съ сенаторами. Тиверій былъ великолѣпнымъ виртуозомъ притворства и лицемерія, но развѣ Тиверій былъ вырождаемъ, аномаліей, исключеніемъ изъ общаго правила? Напротивъ того, и Августъ, и Цезарь, и Сулла, и Сципионы, и Перилль, и Пизистратъ, и всѣ лучшіе политики древности постоянно шли къ верховному господству путемъ систематическаго лицемерія; они постоянно выражали на словахъ глубочайшее уваженіе къ тѣмъ самымъ формамъ и законамъ, которые они же совершенно сознательно подкапывали своими поступками. Та-же самая ложь господствовала въ отношеніяхъ между сенатомъ и народомъ, между патриціями и плебеями, между богачами и пролетаріями. То-же самое хроническое и организованное лицемеріе гнѣздилося въ дѣлахъ религій; не вѣруя ни во что, образованные люди Греціи и Рима притворялись вѣрующими отчасти для того, чтобы не раздражать черни, отчасти для того, чтобы господствовать надъ этой чернью, эксплуатируя ея суевѣріе. Вольнодумцы принимали санъ первосвященниковъ, совершали жертвоприношенія, возвышали волю боговъ, гадали по полету птицъ и по внутренностямъ животныхъ. Почти всѣ философы древности говорятъ единогласно, что господствующая религія никуда не годится, но что ее слѣдуетъ поддерживать для народа.—Такъ какъ Шавровъ любитъ поговорки и анекдотическія мелочи, то я напомину ему то извѣстное замѣчаніе, что авгуры, встрѣчаясь между собой, имѣли обыкновеніе опускать глаза, чтобы не расхохотаться, глядя другъ на друга. Спрашивается теперь, зачѣмъ былъ данъ языкъ всѣмъ этимъ лицемерамъ, — зачѣмъ-ли, чтобы высказывать свою мысль, или зачѣмъ, чтобы ее скрывать? Можно сказать навѣрное, что выраженіе Талейрана никому изъ великихъ лицемеровъ древности не показалось-бы безсмыслицей. — «Знающіе греческій и латинскій языки», — продолжаетъ Шавровъ, — согласятся, что «болтать», т.-е. говорить безъ мысли и безъ чувства, говорить для одного процесса говоренія — нѣтъ никакой возможности ни на томъ, ни на другомъ языкѣ». — Разумѣется, нѣтъ возможности, потому что нѣтъ привычки. Латинскимъ языкомъ пользуются обыкновенно люди серьезные, въ серьезныхъ случаяхъ; по латыни говорятъ между собой ученые во время диспутовъ и доктора у постели больного; когда-же этимъ господамъ хочется болтать, шутить и балагурить, тогда они конечно обращаются къ тому языку, на которомъ они привыкли думать, и который слѣдовательно своими формами нисколько не стѣсняетъ свободнаго теченія ихъ мыслей. Болтать на какомъ-нибудь языкѣ вообще гораздо труднѣе, чѣмъ диспутировать на немъ, потому что для болтовни, которая обыкновенно быстро перескакиваетъ съ одного предмета на другой, требуется самое полное и притомъ совершенно практическое знаніе языка.

Что никто не болтаетъ по-гречески, это, мнѣ кажется, не очень удивительно, потому что если-бы какимъ-нибудь чудомъ родился на свѣтѣ такой своеобразный болтунъ, то ему пришлось-бы проѣхать многія сотни верстъ или миль, чтобы отыскать себѣ равносильнаго собесѣдника. «Тѣмъ болѣе», — продолжаетъ Шавровъ, — это было невозможно, когда оба языка были живыми языками». — *Тѣмъ болѣе!* Какъ вамъ нравится это «тѣмъ болѣе»? Какое высокое понятіе можетъ дать одно это *тѣмъ болѣе* о мыслительныхъ способностяхъ добродушнаго Шаврова! Значитъ, онъ полагаетъ, что на мертвомъ языкѣ, существующемъ только въ школѣ и для школы, легче, да и гораздо легче болтать, чѣмъ на живомъ языкѣ, распространенномъ во всѣхъ слояхъ общества. Значитъ, онъ полагаетъ, что греки и римляне никогда не болтали. Значитъ, молодой кутила древняго міра, расписывая фалерское вино со своей любовницей, женщиной легкаго поведенія, рассуждалъ съ нею о Квинтилианѣ или объ атомистической теоріи міра. Значитъ, молодые римскіе денди, собираясь въ модную цирюльню или въ баню, рѣшали государственные вопросы. Значитъ, у этихъ денди никогда не было разговора о гетерахъ, о лошадахъ, о собакахъ, о городскихъ сплетняхъ и скандалахъ, или-же всѣ эти разговоры, обыкновенно состоящіеся болтовней, у нихъ были проникнуты мыслью и чувствомъ. Значитъ, Ювеналъ и Персій врутъ, упрекая тогдашнюю молодежь въ умственной пустотѣ и въ нравственной гнилости, и, значитъ, наконецъ всѣ комедіи Аристофана, Плавта и Теренція взяты не изъ греческой и не изъ римской жизни, а изъ бурятской и якутской. Надо также полагать, что римская чернь никогда не болтала о гладіаторскихъ играхъ, а всегда рассуждала о нихъ съ мыслью и чувствомъ, точъ въ точъ такъ, какъ въ наше время диспутируютъ ученые и совѣщаются доктора. «Тогда», — продолжаетъ Шавровъ, — было чрезвычайно трудно и говорить на нихъ что-нибудь противное совѣсти и убѣжденіямъ говорящихъ, и отсель-то произошла извѣстная поговорка «только честный человѣкъ можетъ быть ораторомъ» (*nemo orator, nisi vir bonus*). — *Осмѣль* или *оттолмъ* произошла эта поговорка — этого я не знаю, но осмѣлюсь замѣтить Шаврову, что его слабость къ поговоркамъ и старинная манера строить на поговоркахъ цѣлыя теоріи ежеминутно заставляютъ его излагать вѣдѣтныя самыя поразительныя неистинности. Если грекамъ и римлянамъ было чрезвычайно трудно говорить что-нибудь противное совѣсти и убѣжденіямъ, то во всякомъ случаѣ истовѣрно извѣстно, что они мужественно боролись съ этими трудностями и превозмогали ихъ съ величайшимъ успѣхомъ. Весь эффектъ, произведенный латинскою поговоркою Шавровъ, можетъ быть совершенно уничтоженъ однимъ слѣ-

вомъ: «софистъ». Извѣстно-ли Шаврову это слово? Оно перешло въ новые европейскіе языки изъ греческаго языка. То явленіе, которое обозначается этимъ словомъ, возникло въ греческой жизни. Софистами назывались такіе мыслители или, вѣрнѣе, такіе говоруны, которые совершенно отрицали существованіе объективной истины и которые утверждали, что можно доказать и опровергнуть одинаково сильными аргументами какую угодно мысль. Собирая вокругъ себя многочисленныхъ слушателей, увлекаемая за собой цѣлая толпа учениковъ, софисты дѣйствительно доказывали и опровергали, что угодно, и передавали своимъ послѣдователямъ свое удивительное умѣнье поворачивать диалектическое оружіе, смотря по желанію или по обстоятельствамъ, то въ ту, то въ другую сторону. По всей вѣроятности историческія изслѣдованія Шаврова привели его къ тому убѣжденію, что софисты говорили не по-гречески, а по-китайски или по-готтентотски. Если-же Шавровъ еще не пришелъ къ этому результату и даже не надѣется придти къ нему впослѣдствіи, то онъ долженъ согласиться, что отъ всѣхъ его размышленій о «родникѣ жизненныхъ силъ» и о путешествіи къ этому роднику посредствомъ изученія языка не осталось въ настоящую минуту камня на камнѣ. «Такимъ образомъ слово, — продолжаетъ Шавровъ, — было своего рода гарантіей общественной честности.» Мы уже знаемъ теперь, какова была эта общественная честность, и потому можемъ составить себѣ достаточно ясное понятіе о томъ, какъ много пользы доставила древнимъ обществамъ эта *своего рода гарантія*, породившая и воспитавшая софистовъ и риторовъ, лицемѣровъ и льстецовъ, шарлатановъ и комедіантовъ политическаго міра. — Изъ моего анализа шавровскихъ теорій читатель по всей вѣроятности достаточно убѣдился въ томъ, что обожатель и защитникъ классицизма, Шавровъ, изучалъ самъ классическую древность по тѣмъ собраніямъ дѣтскихъ анекдотовъ, въ которыхъ повѣствуется о справедливости Аристиды, о безкорыстіи Фокіона, о патриотизмѣ Регула и о мужествѣ Муція Сцевола.

V.

На предыдущихъ страницахъ я достаточно охарактеризовалъ какъ великую проникательность, такъ и глубокую ученость того бойца, котораго «День» выдвинулъ противъ реалистовъ. Чтобы никто не могъ обвинить меня въ бездоказательности, я сдѣлалъ изъ статьи Шаврова очень много, даже слишкомъ много выписокъ. Теперь я могу подвигаться впередъ быстрѣе, поэтому я буду теперь резюмировать и опровергать только тѣ мнѣнія нашего просвѣщеннаго писателя, которыя или особенно замѣчательны по своей нелѣпости, или-же дадутъ мнѣ поводъ развить мои собственныя мысли о разбираемыхъ вопросахъ.

соч. д. и. писарева, т. IV.

Шавровъ замѣчаетъ, что у новыхъ народовъ мы видимъ постоянную борьбу консерватизма и рьянаго, ослѣпленнаго прогрессизма, между тѣмъ какъ у грековъ и у римлянъ «не было ни консерваторовъ, ни прогрессистовъ, а всѣ были и консерваторы, и прогрессисты». При семъ удобномъ случаѣ Шавровъ дѣлаетъ подстрочное замѣчаніе: «изъ новыхъ народовъ англичане приближаются нѣсколько къ древнимъ въ этомъ отношеніи». — О, Господи! помереть можно со смѣху, читая такіа историко-философскія соображенія. По своимъ теоретическимъ убѣжденіямъ, всѣ мыслящіе греки и римляне были строгими и неумолимыми консерваторами. Величайшіе философы древняго міра, Платонъ и Аристотель, составляли планы идеальнаго государства, но эти планы, по ихъ мнѣнію, могли осуществиться не посредствомъ естественнаго и свободнаго развитія существующихъ народныхъ силъ, а только посредствомъ внезапнаго и насильственнаго вмѣшательства законодательной власти. Въ одинъ прекрасный день законодатели должны были объявить народу, что съ этой минуты начинается существованіе новой, идеальной республики, въ которой всебудетъ устроено такъ-то и такъ-то. Затѣмъ, послѣ утвержденія идеальнаго порядка, все должно было оставаться неподвижнымъ и неизмѣннымъ на вѣчныя времена. И Платонъ, и Аристотель признавали въ области политической жизни возможность абсолютнаго совершенства. Оба они и вѣсть съ ними всѣ мыслящіе люди древности не имѣли ни малѣйшаго понятія о томъ, что идеи, чувства и желанія человѣчества постоянно измѣняются, что каждое новое поколѣніе приноситъ съ собою новыя требованія, что отношенія человѣка къ силамъ неорганической и органической природы не остаются неподвижными, что распределеніе богатствъ между отдѣльными личностями и цѣлыми сословіями подвержено постояннымъ колебаніямъ, и что вслѣдствіе всѣхъ этихъ и многихъ другихъ причинъ всѣ политическія учрежденія могутъ имѣть только временное и мѣстное значеніе, то-есть, что эти учрежденія, порожденные силой извѣстныхъ обстоятельствъ, вмѣстѣ съ этими обстоятельствами живутъ, растутъ, видоизмѣняются, дряхлѣютъ и умираютъ. Причины этого строгаго теоретическаго консерватизма понять нетрудно. — Вся ремесленная и промышленная дѣятельность древняго міра находилась въ рукахъ рабовъ. Наука никогда не заглядывала ни на земледѣльческую плантацію, ни на скотный дворъ, ни въ мастерскую. Архимедъ прикладывалъ свои математическія знанія къ сооруженію военныхъ машинъ, но ему никогда не приходило въ голову придумать какой-нибудь новый плугъ или ручную мельницу, или верстаки. Во все продолженіе греко-римскаго періода не было сдѣлано въ области промышленности ни одного такого открытія, которое зна-

чительно усилило-бы господство человека над природой и повело-бы за собой замѣтное сбережение человеческого труда. Промышленность развивалась такъ медленно и трудъ былъ постоянно такъ дешевъ, что древнему человеку не было ни надобности, ни возможности думать о томъ, чтобы замѣнить рабочую силу раба какими-нибудь стихійными силами природы. Общество безъ рабовъ для древняго человека было немыслимо, тѣмъ болѣе, что всѣ свободные люди глубоко презирали всякій производительный трудъ. Когда промышленность не совершенствуется и когда масса населенія обречена вѣчно исправлять должность вьючнаго скота, тогда очевидно прогрессъ общества можетъ состоять только въ томъ, что это общество будетъ обогащаться войной и грабежомъ и что отдѣльные члены этого общества будутъ драться между собой за добычу и за политическое господство. Очень понятно, что къ такому прогрессу мыслящіе люди древности относились въ теоріи совершенно отрицательно. Но этотъ строгій теоретическій консерватизмъ приводилъ грековъ и римлянъ только къ тому результату, что въ ихъ гражданскихъ обществахъ сталивались и боролись между собой не идеи и убѣжденія, а страсти и интересы. Люди, невѣрующіе въ прогрессъ, подрывали основы общественнаго зданія, когда того требовали ихъ мелкія страсти и ихъ личныя выгоды. Какой общечеловѣчскій или общепациональный смыслъ имѣютъ всѣ тѣ микроскопическіе перевороты, которыми наполнена исторія древне-греческихъ республикъ и въ которыхъ ежедневно проливалась по каплямъ втеченіи нѣсколькихъ столѣтій кровь умнаго и даровитаго народа? То олигархія убиваетъ тирана, то чернь передумываетъ олигарховъ съ тѣмъ, чтобы превратить демагога въ новаго тирана; то метрополія начнетъ обижать колонію, то колонія начнетъ грубить метрополію; шума происходитъ очень много, кровь и капиталы тратятся на военные грабежи, а между тѣмъ общество нисколько не подвигается впередъ. Наконецъ, когда древнему міру приходится рѣшать действительно важные вопросы, тогда происходитъ въ самыхъ обширныхъ размѣрахъ и въ самыхъ грубыхъ формахъ то столкновение крайняго консерватизма и ослѣпленнаго прогрессизма, которое Шавровъ предоставляет новейшей Европѣ въ исключительную собственность. Является напримѣръ вопросъ о римскомъ пролетаріатѣ, — вопросъ неотразимый, потому что действительно масса римскаго народа, повелителя вселенной, гниетъ въ физическомъ, умственномъ и въ нравственномъ отношеніи. Какъ-же рѣшается этотъ вопросъ? — Гракхи, одинъ за другимъ, предлагаютъ проекты законовъ, очень добродѣтельными, но совершенно неспособныхъ устранить зло. Обоихъ Гракховъ можно назвать ослѣпленными прогрессистами, потому что у нихъ обоихъ было

много мужества и гражданской честности, но не было ни малѣйшей теоретической подготовки. Сенаторовъ-же и оптиматовъ, погубившихъ обоихъ реформаторовъ, можно совершенно основательно назвать крайними консерваторами, потому что они эскамотировали и задушили весь вопросъ, въ которомъ заключалась вся будущая судьба римскаго народа. Еще болѣе ослѣпленными прогрессистами можно назвать тѣхъ невольниковъ и гладиаторовъ, которые возмущались, въ числѣ нѣсколькихъ десятковъ тысячъ, подъ предводительствомъ Спартака. Они были прогрессистами поневолѣ, — прогрессистами въ животнаго чувства самосохраненія; они желали разрушить и перестроить то общество, въ которомъ имъ, разумѣется, невозможно и невыносимо было жить, потому что ихъ въ этомъ обществѣ били, увѣчили, распинали и высылали на арену для потѣхи зрителей. Но какъ разрушить и, особенно, какъ перестроить, — этого они, разумѣется, не знали, такъ точно, какъ бѣшеный быкъ, вырвавшійся изъ стойла, не знаетъ, куда и зачѣмъ онъ бѣжитъ. Стало-быть, названіе *ослѣпленныхъ прогрессистовъ* идетъ къ этимъ несчастнымъ людямъ несправедливо болѣе, чѣмъ къ какимъ-бы то ни было яростнымъ радикаламъ и коммунистамъ новейшей Европы. Увѣряю васъ, г. Шавровъ, что эти люди своей *рьяностью* и своимъ *ослѣпленіемъ* превосходили даже всѣхъ ненавистныхъ вамъ сотрудниковъ «Русскаго Слова». — Но зато и Краесса, побѣдившаго этихъ ослѣпленныхъ прогрессистовъ, можно назвать очень *крайнимъ* консерваторомъ. Краесса распялъ на крестахъ десятки тысячъ плѣнныхъ мятежниковъ, значитъ, *крайнею* своихъ консерваторовъ, *ослѣпленностью* своихъ прогрессистовъ древній міръ далеко превосходитъ новейшую Европу.

«Противники классическаго образованія, — говоритъ Шавровъ, — стараясь заподозрить его значеніе, любятъ указывать на тотъ историческій фактъ, что древняя цивилизациа и образованность была непродолжительна и слѣдовательно непрочна.» Но Шавровъ опровергаетъ это возраженіе слѣдующимъ образомъ: «Какъ-бы разумно и целесообразно ни было воспитаніе со стороны своего управленія и цѣлей, но, если будетъ узкій кругъ идей и возрѣній у народа, тѣмъ болѣе, если эти возрѣнія будутъ не вполне истинны, — цивилизациа и образованность народа не будутъ прочны и продолжительны.» Если перевести это разсужденіе Шаврова съ отвлеченнаго языка на конкретный, то окажется, что причиной паденія классической цивилизации Шавровъ считаетъ *лжечестно*. Положимъ, что это действительно такъ. Но Шавровъ забываетъ, что ни одинъ народъ изъ восточнаго міра не обходился безъ лжечестности; ни одинъ не былъ христіанскимъ народомъ съ самаго начала своего существованія. Почему-же другіе народы могли сохранить не-

переходъ отъ язычества къ христіанству, а греки и римляне не могли? Почему для другихъ народовъ христіанство было обновляющимъ и укрѣпляющимъ элементомъ, а для греко-римскаго міра оно было смертельнымъ ударомъ? Неужели языческая религія виновата въ томъ, что Римская имперія не была въ состояніи отразить варваровъ? Послѣдніе императоры были христіанами, а между тѣмъ Аттила, Аларихъ, Гензерихъ, Радагайсъ, Одоакръ дѣлали свое дѣло вопрежнему и разрывали старую имперію на части. — Жизненные силы Римской имперіи были истощены не язычествомъ, а тѣмъ уродливымъ социальнымъ устройствомъ, вслѣдствіе котораго производительный трудъ считался позоромъ для всякаго свободнаго человѣка. Когда въ предѣлы имперіи стали вторгаться варвары, тогда истощеніе силъ было уже такъ велико, что не оставалось ни малѣйшей возможности спасти древнюю цивилизацію. Но социальное устройство, погубившее классическій міръ, находилось въ самой тѣсной причинной связи съ той системой воспитанія, которую такъ добродушно и велегрѣчиво превозноситъ Шавровъ.

Шавровъ самъ сознается, что «древніе въ дѣлѣ образованія руководились духомъ узкаго аристократизма». — «Той простой истины, — продолжаетъ онъ, — что на образованіе имѣть право каждый человѣкъ и что чѣмъ больше разольется образованіе по массѣ народа, тѣмъ образованность его будетъ лучше и выше въ качественномъ отношеніи, — они не понимали, и только избранные, только люди изъ высшихъ и богатѣйшихъ классовъ получали у нихъ образованіе, между тѣмъ какъ большинство довольствовалось тѣмъ поверхностнымъ развитіемъ, какое могла доставить имъ общественная жизнь на площадяхъ, форумахъ, судилищахъ и проч.» — Большинство во всѣхъ древнихъ государствахъ составляли рабы, и это большинство не пользовалось даже тѣмъ поверхностнымъ развитіемъ, о которомъ витѣйствуетъ Шавровъ. Но меня кромѣ того изумляетъ неспособность Шаврова сдѣлать самое простое умозаключеніе изъ тѣхъ посылокъ, которыя содержатся въ его собственныхъ словахъ. Онъ самъ говоритъ, что, чѣмъ больше разливается образованіе въ массѣ народа, тѣмъ лучше и выше становится оно въ качественномъ отношеніи. Это положеніе онъ называетъ даже *простой истиной*. Онъ говоритъ, что древніе не понимали этой простой истины. Онъ говоритъ, что въ дѣлѣ образованія они руководились духомъ узкаго аристократизма. Значитъ, образованіе было мало разлито въ массѣ народа. А если оно было мало разлито, если большинство довольствовалось поверхностнымъ развитіемъ или, еще точнѣе, не получало совсѣмъ никакого развитія, то, прилагая къ дѣлу *простую истину* Шаврова, мы немедленно приходимъ къ тому неоспоримому выводу, что древнее образованіе было

дурно и низко въ качественномъ отношеніи. Если Шавровъ допускаетъ пропорцію: «чѣмъ больше разлито, тѣмъ лучше и выше», то онъ, по всѣмъ правиламъ здравой человѣческой логики, долженъ допустить и обратную пропорцію: «чѣмъ меньше разлито, тѣмъ хуже и ниже». Но какъ только древнее образованіе стало-бы разливаться въ массу народа, какъ только оно проникнуло-бы въ глубину рабочаго населенія, такъ, становясь *лучше и выше въ качественномъ отношеніи*, оно подвергнулось-бы самому радикальному перерожденію и совершенно утратило-бы тотъ характеръ философскаго диллетантизма, которымъ восхищается добродушный Шавровъ. Дѣти *избранныхъ* людей, то-есть богатыхъ рабовладѣльцевъ, имѣли полную возможность безнаказанно тратить время на восхищеніе красотами Гомера и сокровищами отечественнаго языка. Отъ нечего дѣлать они даже, пожалуй, могли погружаться въ самоизученіе и отыскивать дорогу то къ *роднику жизненныхъ силъ*, то къ *источнику всего истиннаго, добраго и прекраснаго*. Но все это были барскія затѣи, совершенно недоступныя для такихъ людей, которые зарабатывали себѣ хлѣбъ собственнымъ трудомъ и которые вслѣдствіе этого, зная цѣну времени, были принуждены тратить его разсчетливо. Такие люди поневолѣ внесли-бы въ школу утилитарныя цѣли, и притомъ совсѣмъ не *ты* утилитарныя цѣли, которыя вносили въ нее *избранные*. — Богатые рабовладѣльцы требовали отъ школы, чтобы она превратила ихъ въ хорошихъ говоруновъ и чтобы такимъ образомъ она содѣйствовала ихъ успѣхамъ на политическомъ поприщѣ. Бѣдные люди, которымъ прежде политической карьеры надо думать еще о насущномъ пропитаніи, стали бы требовать отъ школы, чтобы она готовила изъ нихъ дѣльныхъ работниковъ. Они стали-бы налегать преимущественно на математику, точно такъ, какъ *избранные* налегали преимущественно на словесность. Бѣдные люди развили-бы приложеніе математики къ техническому производству точно такъ, какъ *избранные* развили приложеніе грамматики и риторики къ систематическому надуванію народныхъ массъ. Когда совершилось-бы это *возвышеніе и улучшеніе образованія въ качественномъ отношеніи*, тогда Шаврову нечѣмъ было-бы восхищаться.

VI.

Переходя къ характеристикѣ реальнаго образованія, Шавровъ объявляетъ намъ, что *для большей ясности* онъ будетъ *раскрывать дѣло исторически*. Историческое раскрываніе дѣла начинается съ того, что спартанское воспитаніе оказывается реальнымъ. Во-первыхъ, спартанцы преслѣдовали въ питомцахъ всѣ индивидуальныя особенности и старались пригонять питомцевъ къ *общей нормѣ или униформѣ*.

мь. Во-вторых, спартанцы ненавидѣли языкъ и требовали, чтобы человекъ выражалъ свою мысль какъ можно короче. Въ-третьихъ, они готовили своихъ дѣтей для военной жизни. Въ-четвертыхъ, они ихъ очень больно стѣли. Послѣ этого очевидно не можетъ быть сомнѣнія въ томъ, что спартанцы были реалистами. Обыкновенный наблюдатель сказалъ-бы можетъ-быть, что они были просто дикарями. Но съ той высшей точки зрѣнія, на которой стоитъ Шавровъ, различіе между дикаремъ и реалистомъ становится незамѣтнымъ. Еслибы Шавровъ, какъ идеалистъ, не питалъ глубокаго презрѣнія ко всѣмъ млекопитающимъ, то онъ навѣрное съ своей высшей точки зрѣнія открылъ-бы міру ту удивительную истину, что лошадь, которую гоняютъ на кордѣ и которую приучаютъ къ ружейному огню, получаетъ чисто-реальное образованіе. Это открытіе было-бы совершенно неизбѣжно, потому что воспитаніе древняго спартанца подходитъ гораздо ближе къ воспитанію лошади, чѣмъ къ современному реальному образованію.

Продолжая *«раскрывать дѣло исторически»*, Шавровъ находитъ, что «схоластика — другой образчикъ реального воспитанія». Затѣмъ гувернеры и гувернантки, заставляющіе дѣтей зубрить французскіе и нѣмецкіе вокабулы и діалоги, также оказываются педагогами-реалистами. Всѣ пансіоны, гимназій и проч. учебныя заведенія, въ которыхъ преподается нестройная масса пестрыхъ и разнородныхъ знаній, — все это реальные заведенія. *«Раскрывши»* такимъ образомъ *«дѣло исторически»*, то-есть побросавши въ одну кучу всѣ педагогическія нелѣпости и назвавши эту кучу *«реализмомъ»*, Шавровъ приглашаетъ читателя посмотреть на «питомцевъ въ реальномъ духѣ, пока они въ школахъ». Тутъ передъ читателемъ открывается картина печальная и даже мрачная. Воспитанники ненавидятъ науку, и эту ненависть къ наукѣ переносятъ и на тѣхъ людей, отъ которыхъ они получаютъ эту науку. Когда юные реалисты находятся въ веселомъ настроеніи духа, тогда они осмѣиваютъ и передразниваютъ своихъ наставниковъ; когда-же эти буйные потомки спартанцевъ и схоластики взволнованы и раздражены, тогда они возстаютъ противъ своихъ наставниковъ и даже оскорбляютъ ихъ. Читатель видитъ, что мрачныя краски этой картины очень хорошо подходятъ къ той бурѣ, которую описалъ Помяловскій. Поэтому надо полагать, что въ бурсацкой наукѣ Шавровъ видитъ также одно изъ многочисленныхъ проявленій русскаго реализма. — Затѣмъ Шаврову желательно взглянуть на воспитанниковъ реальныхъ заведеній по ихъ выходѣ изъ школы. «Что въ нихъ нѣтъ живой любви къ наукѣ, — говоритъ онъ, — что въ нихъ нѣтъ основательности и глубины въ воззрѣніяхъ, что они шатки въ своихъ убѣжденіяхъ и мѣняютъ ихъ скоро и легко —

все это понятно, все это естественное слѣдствіе полученнаго ими образованія, которое не развивало ихъ душевныхъ силъ. Но вотъ странная особенность, которая больше или меньше замѣчается во всѣхъ людяхъ, получившихъ реальное образованіе: вялые, неустойчивые, шатливые, когда нужно дѣйствовать положительно, проводить въ жизни какое-нибудь убѣжденіе, они чрезвычайно энергичны, чтобы дѣйствовать отрицательно, идти прогнѣвъ установленнаго строя жизни, противъ общепринятаго порядка. Во всѣхъ подобныхъ случаяхъ они — прогрессисты въ пошломъ смыслѣ этого слова».

Кисть Шаврова кладетъ краски густо и бойко; любопытно было-бы только узнать: съ кого именно писанъ этотъ портретъ, — съ древнихъ ли спартанцевъ, или съ средневѣковыхъ схоластиковъ, или наконецъ съ бывшихъ товарищей Помяловскаго, или-же просто съ камика-нибудѣ знакомыхъ автора, успѣвшихъ возбудить въ немъ противъ себя недоброжелательныя чувства? — Къ древнимъ спартанцамъ и къ средневѣковымъ схоластамъ описаніе это врядъ-ли подходитъ; Шавровъ самъ говоритъ, что спартанская и схоластическая системы воспитанія были направлены именно къ тому, чтобы поддерживать *statu quo* спартанскаго государства и панской гегемоніи. Значитъ, мудрено себѣ представить, чтобы воспитанники спартанскіхъ и схоластическихъ школъ по выходѣ въ жизнь обращали всю свою энергію на борьбу противъ общепринятаго порядка. А если такимъ образомъ основной признакъ того портрета, который рисуетъ Шавровъ, не подходитъ ни къ спартанцамъ, ни къ схоластамъ, то, мнѣ кажется, нашъ талантливый портретистъ долженъ былъ бы сообразить, что его *историческое раскрываніе дѣла* ни къ чему не ведетъ, ничего не раскрываетъ, ничего не объясняетъ и во всѣхъ отношеніяхъ оказывается безцѣльнымъ сопоставленіемъ фактовъ, не имѣющихъ между собой ни малѣйшаго сходства и ни малѣйшаго историческаго сродства. Далѣе, въ этомъ портретѣ, съ кого-бы онъ ни былъ писанъ, есть даже грубое внутреннее противорѣчіе, вслѣдствіе котораго этотъ портретъ не можетъ быть похожимъ на кого въ цѣломъ мірѣ. Шавровъ утверждаетъ, что реалисты не умѣютъ проводить въ жизни никакого убѣжденія, и вслѣдъ затѣмъ тотчасъ же говоритъ, что они *«чрезвычайно энергичны, чтобы дѣйствовать отрицательно»*. О, святая простота! Да развѣ можно безъ убѣжденія быть чрезвычайно энергичнымъ отрицателемъ? И развѣ дѣйствовать отрицательно съ чрезвычайной энергіей не значить проводить въ жизнь убѣжденіе, именно то убѣжденіе, что отрицаемый предметъ дуренъ? — Что-же касается до слова *«прогрессистъ»*, то я еще не слыхалъ, чтобы это слово приобрѣло себѣ какой-нибудь пошлый смыслъ; но я знаю положительно, что всякое

хорошее слово может быть опущено; поэтому я считаю очень правдоподобнымъ, что слово «про-рессистъ» становится пошлымъ словомъ, когда оно встрѣчается въ статьяхъ такихъ гениальныхъ мыслителей, какъ Шавровъ. Но обращать вниманіе на это временное и мѣстное опущеніе словъ нѣтъ никакой возможности, потому что иначе честнымъ и мыслящимъ русскимъ писателямъ пришлось-бы создавать себѣ цѣлый новый лексиконъ.

По соображеніямъ Шаврова оказывается, что въ отрицательной дѣятельности воспитанниковъ реальныхъ заведеній виноваты духъ скептицизма, сбуревающій реальные училища. Здѣсь мы опять рѣшительно не знаемъ, о какихъ реальныхъ училищахъ толкуетъ Шавровъ. Онъ, какъ дельфійская Пифія, постоянно извергаетъ безсвязныя слова, предоставляя намъ, простымъ смертнымъ, отыскивать въ нихъ какой угодно смыслъ. Мы ищемъ и ровно ничего не находимъ. Шавровъ утверждаетъ, что духъ сомнѣнія полезенъ въ наукѣ, но нигде не годится въ школѣ. «Скептикъ ученый, — говоритъ онъ, — явленіе нормальное, но школьникъ-скептикъ — ужасная аномалія.» Изъ этихъ словъ видно, что нашъ мыслитель не имѣетъ никакого понятія ни о томъ, что такое научный скептицизмъ, ни о томъ, что такое наука, ни о томъ, чѣмъ должна быть школа. Спрашивается, какой скептицизмъ полезенъ въ наукѣ? Конечно не тотъ, который ухитрится посредствомъ различныхъ диалектическихъ тонкостей отрицать существованіе видимого міра или собственной особы мыслящаго субъекта. Такой метафизическій скептицизмъ одинаково безобразенъ и одинаково безплоденъ, какъ въ школѣ, такъ и въ наукѣ. Полезенъ въ наукѣ только тотъ благоразумный скептицизмъ, который не позволяетъ изслѣдователю успокаиваться на неполномъ или неточномъ объясненіи изучаемыхъ явленій. Этотъ скептицизмъ, составляющій естественный атрибутъ каждаго здороваго и сильного ума, полезенъ вездѣ и всегда, и въ наукѣ, и въ политикѣ, и въ литературной критикѣ, и въ обыденной жизни. Вездѣ и всегда человѣкъ долженъ смотрѣть трезвыми глазами на самое явленіе, на голый фактъ, не обращая никакого вниманія на тую красивую или некрасивую формальную оболочку, въ которую нарядилось это явленіе по тѣмъ или другимъ обстоятельствамъ. Вездѣ и всегда человѣкъ долженъ говорить себѣ прямо и рѣшительно: «вотъ это я понимаю, а вотъ этого не понимаю». При этомъ онъ никогда не долженъ довольствоваться такимъ объясненіемъ, которое маскируетъ данный вопросъ, вмѣсто того чтобы дѣйствительно разрѣшать его. Эта умственная требовательность, эта превосходная способность строго различать знаніе и незнаніе, это презрѣніе къ самодовольному полу-знанію и полу-пониманію — все это такъ же умѣстно и необходимо въ школѣ, какъ и во всякомъ дру-

гомъ мѣстѣ. Говоря о греко-римскомъ мірѣ, Шавровъ выражаетъ желаніе, чтобы образованіе развивало въ питомцахъ *умственную и нравственную самостоятельность* и чтобы преподаватели поддерживали въ ученикахъ *умственную и нравственную энергію и живой интересъ къ предметамъ изученія*. Прекрасное и похвальное желаніе! Но къ сожалѣнію я долженъ теперь замѣтить, что, выражая это прекрасное и похвальное желаніе, Шавровъ безсознательно лепеталъ такія рѣчи, которыхъ смыслъ для него самого непонятенъ. Защитникъ *умственной и нравственной самостоятельности* желаетъ теперь выгнать изъ школы тотъ скептицизмъ, который по его-же собственному замѣчанію полезенъ въ наукѣ. Въ чемъ же, о, свѣтило «Дня», будетъ состоять *умственная и нравственная самостоятельность* ученика, въ чемъ будетъ проявляться его *умственная и нравственная энергія*, въ чемъ будетъ обнаруживаться его *живой интересъ къ предметамъ изученія*, если вамъ удастся отнять у него здоровый и естественный скептицизмъ, то-есть стремленіе понимать совершенно ясно и отчетливо изучаемый предметъ, — стремленіе успокаиваться только на такихъ доказательствахъ, которыя дѣйствительно имѣютъ для ума обязательную силу? — Представьте себѣ напримѣръ, что учитель разсказываетъ ученикамъ исторію Персидскаго государства; по вашему выходитъ такъ, что ученики должны, подавивши въ себѣ духъ *ужасной аномаліи*, то-есть скептицизма, сидѣть, затаивъ дыханіе, слушать съ напряженнымъ вниманіемъ и потомъ къ слѣдующему классу повторить своими словами весь разсказъ учителя. Такой результатъ привелъ бы васъ въ восторгъ, и вы усмотрѣли бы бездну *самостоятельности, энергіи и живого интереса* именно въ томъ крошечномъ фактикѣ, что ученики излагаютъ урокъ *своими словами*. Дальше этого вашъ педагогическій либерализмъ не идетъ. Всѣ либералы, подобные вамъ, умѣютъ возставать только противъ розогъ, да противъ зубренія и воображаютъ себѣ, что этими куриными протестами они не-вѣсть какое благодѣяніе оказываютъ обществу и наукѣ. Такъ какъ я не имѣю чести принадлежать къ несмѣтному легіону этихъ смѣлѣйшихъ либераловъ, то я осмѣливаюсь замѣтить, что съ точки зрѣнія *самодѣятельности, энергіи и живого интереса* было-бы очень недурно, еслибы кому-нибудь изъ учениковъ пришло въ голову перебить разсказъ учителя слѣдующей почтительной рѣчью: «позвольте васъ спросить, г. Н., какимъ образомъ до насъ дошло извѣстіе о всѣхъ этихъ событіяхъ, совершившихся слишкомъ за двѣ тысячи лѣтъ донашего времени?» Учителю пришлось-бы тогда заговорить о греческой историографіи, о сохраненіи рукописей во время среднихъ вѣковъ, объ

изученіи и изданіи этихъ рукописей въ эпоху Возрожденія и наконецъ о трудахъ изслѣдователей, очистившихъ историческую истину отъ легендарныхъ искаженій и примѣсей. Учителю пришлось-бы такимъ образомъ ввести любознательнаго ученика въ самую лабораторію исторіи, и ученикъ навѣрное проникнулся-бы глубокимъ уваженіемъ къ изучаемому предмету, когда объясненія учителя заставили-бы его задуматься надъ тѣмъ фактомъ, что *каждая строка* его учебника куплена трудами и бессонными ночами тѣхъ людей, которые составляютъ соль земли и цвѣтъ человѣчества. Вопросъ любознательнаго ученика очевидно былъ-бы внушенъ ему тѣмъ самымъ духомъ скептицизма, который создалъ и усовершенствовалъ историческую критику. Между тѣмъ я осмѣливаюсь думать, что такой любознательный ученикъ представляетъ собой не *ужасную аномалію*, а, напротивъ того, отпадное исключеніе изъ очень сквернаго общаго правила. Я полагаю также, что каждый добросовѣстный и умный преподаватель очень желалъ-бы встрѣчать въ своемъ классѣ какъ можно больше такихъ *ужасныхъ аномалій*. Ходъ преподаванія значительно замедлялся-бы вопросами учениковъ и объясненіями учителя, но зато ученики не превращались-бы въ попугаевъ, излагающихъ *своими словами* чужія мысли, нисколько непереработанные ихъ умами.

VII.

Изъ всей утомительной болтовни Шаврова читатель не выноситъ никакого яснаго понятія о томъ, что такое классическое образованіе и что такое реальное, и чѣмъ первое выше послѣдняго. Тѣ резоны, которые представляетъ Шавровъ въ пользу изученія древности, рѣшительно оказываются безмысленнымъ наборомъ словъ. «Если, — говоритъ онъ, — въ кругъ классическаго образованія входитъ изученіе древности (древнихъ языковъ, литературъ, древней жизни и пр., и пр.), то отнюдь не съ той цѣлью, чтобы сдѣлать всѣхъ воспитанниковъ греками и римлянами (А?! Неужели? А мы были увѣрены въ томъ, что древность изучается въ школахъ именно для того, чтобы воспитанники, окончивъ курсъ, отказались навсегда отъ фраговъ и сапоговъ и, облекшись въ тоги, подвязавъ подъ ноги сандалинъ, приносили-бы каждый день жертву Юпитеру Капитолійскому, Аполлону и Палладѣ-Аѣнѣ. Теперь, благодаря Шаврову, мы успокоиваемся и начинаемъ понимать, что фраги и сапоги не подвергаются ни малѣйшей опасности), а единственно съ той цѣлью, чтобы ясные и полные понимали они настоящую, современную жизнь, которая, состоя въ связи, хотя и отдаленной, съ древней жизнью, во многихъ своихъ чертахъ будетъ и темна, и непонятна для нихъ безъ изученія послѣдней.» (Меня изумляетъ та скромная и солидная самоувѣренность,

съ которой Шавровъ говоритъ непроходимѣйшія нелѣпости. Онъ увѣряетъ, что безъ изученія древности современная жизнь во многихъ своихъ чертахъ будетъ темна и непонятна.)

Далѣе, по мнѣнію Шаврова, воспитанники необходимо изучать то, что находится *въ связи, хотя и отдаленной*, съ современной жизнью; это требованіе заставляетъ насъ предполагать, что воспитанники уже знаютъ вдоль и поперекъ современную жизнь. Но развѣ это предположеніе оправдывается фактами? Развѣ воспитанники дѣйствительно знаютъ современную жизнь? Они не знаютъ ни законовъ того государства, въ которомъ они живутъ, ни умственныхъ интересовъ того общества, съ которымъ они связаны кровными узами, ни тенденцій той эпохи, къ которой они принадлежатъ. Куда-бы вы ни привели воспитанника гимназіи или даже студента университета — на фабрику, въ присутственное мѣсто, въ деревню, въ редакцію журнала, въ типографію, — вездѣ онъ окажется новичкомъ, вездѣ онъ встрѣтитъ цѣлый рядъ неизвѣстныхъ явленій, къ которымъ онъ долженъ будетъ присматриваться и привыкать. Въ этомъ незнаніи современной жизни нѣтъ даже рѣшительно ничего ненормальнаго. Та наука, которая должна заниматься изученіемъ общественной жизни, до такой степени многосложна, что она до сихъ поръ не могла даже исполнѣ организовать. Занимать воспитанниковъ изученіемъ этой еще несложившейся и неопредѣлившейся науки, — значило-бы сбивать ихъ съ толку. Современная жизнь до сихъ поръ можетъ изучаться только посредствомъ житейской практики; что-же касается до школы, то она должна давать молодымъ умамъ не теорію современной жизни, а основательное знаніе тѣхъ простѣйшихъ наукъ, которыя уже окончательно сложились и опредѣлились. Въ ряду этихъ наукъ первое мѣсто занимаетъ математика; за нею слѣдуютъ астрономія, физика, химія и наконецъ вся семья биологическихъ наукъ, то-есть тѣхъ наукъ, которыя занимаются изученіемъ растительнаго и животнаго организма. Если-же нѣтъ надобности изучать въ школѣ современную жизнь, то нѣтъ никакой необходимости изучать то, что находится *въ связи, хотя и отдаленной*, съ современной жизнью.

И вотъ все, что Шавровъ умѣетъ сказать въ пользу изученія мертвыхъ языковъ. Я рѣшительно не знаю, какихъ несчастныхъ читателей онъ думаетъ убѣдить такими игрушечными аргументами.

VIII.

Въ одномъ изъ мартовскихъ номеровъ «Сѣверной Почты» помѣщенъ отрывокъ изъ «Записки статсъ-секретаря Тяньшева о мнѣніяхъ, высказанныхъ иностранными педагогами, разсматривавшими проектъ устройства нашихъ учеб-

ныхъ заведеній». — Иностранные педагоги склоняются рѣшительно въ пользу классицизма; надо полагать, что они въ этомъ случаѣ руководствуются какими-нибудь очень основательными соображеніями, но къ сожалѣнію ихъ мнѣнія изложены въ запискѣ Танъева такъ коротко, что причины ихъ наклонности къ классическимъ языкамъ остаются необъясненными. «Не вдаваясь во всѣ подробности обширныхъ соображеній, изложенныхъ по сему предмету, — говоритъ Танъевъ, — ограничусь одними главными доводами, приведенными иностранными рецензентами въ защиту изложенныхъ ими мнѣній. Въ числѣ таковыхъ доводовъ и доказательствъ они ссылаются на Англію, Германію, Францію, Бельгію и Сѣверо-Американскіе Штаты, гдѣ реальному образованію указано мѣсто второстепенное, тогда какъ образованіе классическое или гуманное, состоящее въ изученіи древнихъ языковъ, помѣщено на переднемъ планѣ и признано во всѣхъ сихъ государствахъ главнымъ двигателемъ просвѣщенія.»

До сихъ поръ мы видимъ не доказательства, а только ссылку на существующій фактъ. Иностранные педагоги стараются однако объяснить и оправдать существованіе этого факта. «Между прочимъ они говорятъ, что распространеніе знаній древнихъ языковъ имѣло постояннымъ послѣдствіемъ возвышеніе уровня просвѣщенія и возрожденіе литературы и искусствъ.»

Было-бы очень недурно, если-бы гг. рецензенты объяснили подробно, что они называютъ *возвышеніемъ уровня просвѣщенія*. Въ какихъ именно явленіяхъ жизни выражалось это *возвышеніе уровня*? Еслибы рецензенты отвѣтали обстоятельно на этотъ вопросъ, то мы узнали-бы тогда, составляетъ-ли это *возвышеніе уровня* дѣйствительное благо, или-же оно оказывается оптическимъ обманомъ. Если напримѣръ господа рецензенты видятъ *возвышеніе уровня* въ томъ явленіи, что лучшія умственные силы страны обращаются отъ различныхъ скромныхъ отраслей производительнаго труда къ блестящимъ занятіямъ поэзіей, живописью и скульптурой, то можетъ-быть позволительно будетъ усомниться въ томъ, чтобы такое *возвышеніе уровня* было дѣйствительно полезно и желательно для общества. Такъ какъ господа рецензенты рядомъ съ *возвышеніемъ уровня* ставятъ *возрожденіе литературы и искусствъ*, то легко можетъ быть, что они понимаютъ *возвышеніе уровня* именно въ томъ смыслѣ, который я указалъ въ предыдущихъ строкахъ.

«Вліяніе это объясняется, по ихъ мнѣнію, указанными выше преимуществами языковъ латинскаго и греческаго и кромѣ того непрерывнымъ воздѣйствіемъ на духовную жизнь новѣйшихъ обществъ духа и учрежденій древняго міра, которыя безъ основательнаго знанія языковъ классическихъ, служащихъ живыми про-

водниками въ тайны давно минувшаго, но знаменательнаго времени, не могутъ быть ни оцѣнены, ни поняты и остаются иными, бездушными памятниками какой-то отдаленной старины.»

Указанныя выше преимущества классическихъ языковъ нуждаются, какъ мы видѣли выше, въ подробныхъ разъясненіяхъ и доказательствахъ. Безъ этихъ разъясненій и доказательствъ нѣтъ никакой возможности понять, въ чемъ состоятъ эти преимущества. Что-же касается до *непрерывнаго воздѣйствія духа и учреждений древняго міра*, то желателно было-бы узнать, какія именно стороны этого духа и этихъ учреждений могутъ, по мнѣнію господъ рецензентовъ, обнаружить благотворное и плодотворное вліяніе на міросозерцаніе и на общественную жизнь современныхъ европейцевъ. Наука находилась тогда въ младенствѣ; социальное устройство было ниже всякой критики; промышленность была ничтожна; религіей было грубое идолопоклонство; даже всѣ отрасли искусства, за исключеніемъ скульптуры, стояли на довольно низкой степени развитія. Спрашивается, слѣдовательно чему-же именно мы должны учиться у древнихъ и въ какія тайны давно минувшаго времени классическіе языки должны служить намъ живыми проводниками? Въ какомъ отношеніи это *давно-минувшее время* считается особенно *знаменательнымъ*?

«Затѣмъ иностранные педагоги обращаются къ практическимъ, очевиднымъ и слѣдовательно вполне неоспоримымъ, по ихъ мнѣнію, результатамъ классическаго образованія.»

Мы сейчасъ увидимъ, что эти результаты называются *очевидными* и *неоспоримыми* именно только *по ихъ мнѣнію*, которое, въ данномъ случаѣ никакъ не можетъ быть признано безусловно-вѣрнымъ и неопровержимымъ.

«Они указываютъ на общественныхъ дѣятелей иностранныхъ государствъ, и прежде всего на англичанъ, которые достигли высокой степени образованія и приобрѣли знаменитость въ государственной жизни, будучи къ тому подготовлены путемъ изученія древнихъ языковъ.»

Господа иностранные педагоги дѣлаютъ въ своемъ умозаключеніи ту извѣстную ошибку, которая называется *post hoc, ergo propter hoc*. Англичанинъ изучаетъ въ школѣ древніе языки, потому этотъ-же самый англичанинъ *приобрѣтаетъ знаменитость въ государственной жизни*. Подѣлывая совершенно вѣрно эти два факта, слѣдующіе одинъ за другимъ, господа педагоги умозаключаютъ совершенно произвольно, что эти два факта находятся между собой въ необходимой причинной связи. Этотъ англичанинъ, размышляя о немъ, приобрѣлъ знаменитость въ государственной жизни *потому*, что онъ изучалъ въ школѣ древніе языки. Это *потому* рѣшительно ничѣмъ не оправдывается.

Изъ того факта, что англичанинъ, изучавшій въ школѣ древнѣе языки, приобрѣлъ знаменитость въ государственной жизни, можно вывести только то умозаключение, что изученіе древнихъ языковъ не составляетъ непреодолимаго препятствія въ дѣлѣ приобретенія знаменитости въ государственной жизни. Если-же иностранные педагоги, упоминая объ англичанахъ, хотятъ сослаться не на отдѣльныя личности, а на цѣлый народъ, котораго высшія и среднія сословія дѣйствительно получаютъ строго классическое образованіе, то и тогда имъ можно доказать, что ихъ умозаключение несостоятельно. Господа педагоги разсуждаютъ такъ: Англія процвѣтаетъ; въ Англіи господствуетъ классическое образованіе, следовательно классическое образованіе содѣйствуетъ ея процвѣтанію. Подражая логическимъ приемамъ господъ педагоговъ, я строю слѣдующій силлогизмъ: Англія процвѣтаетъ; въ Англіи всѣ тяжёлыя дѣла продолжаются обыкновенно чрезвычайно долго и всегда сопряжены съ громадными издержками, следовательно такое устройство гражданскихъ судовъ, которое содѣйствуетъ продолжительности и дороговизнѣ тяжёлыхъ дѣлъ, возвышаетъ благосостояніе страны. Если анализъ сравнительнаго достоинства различныхъ образовательныхъ наукъ былъ произведенъ тѣми самими господами педагогами, которые считаютъ процвѣтаніе Англіи *очевиднымъ и неоспоримымъ результатомъ* классическаго образованія, то я осмѣливаюсь думать, что этотъ анализъ врядъ-ли можетъ похвалиться логикой защитниковъ классическаго образованія.

Затѣмъ господа педагоги разсматриваютъ тѣ «вредныя послѣдствія, которыя влечетъ за собой перѣдко реальное образованіе».

«По ихъ мнѣнію, курсъ реальныхъ училищъ въ его прямомъ, настоящемъ смыслѣ имѣетъ предметомъ не окончательное, ученое изученіе реальныхъ предметовъ, а лишь энциклопедическое приготовленіе къ извѣстнымъ техническимъ отраслямъ. Такой энциклопедизмъ въ изученіи предметовъ весьма обширныхъ и весьма сложныхъ ведетъ къ большей или меньшей поверхностности знанія, и сужденія; а эта поверхностность въ дѣлѣ естествоиспытанія, составляющаго настоящій центръ тяжести всего реального курса, имѣетъ, по удостовѣренію рецензентовъ, обыкновеннымъ послѣдствіемъ уклоненіе ума отъ истины, безнравственность въ семейномъ и общественномъ быту и наконецъ скептицизмъ въ дѣлахъ вѣры или даже полное безвѣріе.»

Я никакъ не могу себѣ объяснить, какимъ образомъ изученіе латинскаго и греческаго языковъ можетъ спасти юношество отъ скептицизма и отъ безвѣрія. Исторія всѣхъ европейскихъ литературъ говоритъ намъ, что очень многіе скептики и атеисты знали превосходно древнѣе языки и древнія литературы, и что эти знанія нисколько не помѣшали имъ быть скептиками и ате-

стами. Ученые и поэты XV и XVI вѣковъ были страстно влюблены въ классическую древность; эта любовь была особенно сильна въ тогдашней Италіи, а между тѣмъ именно тогдашняя Италія была и разсадникомъ скептицизма, и даже полнаго безвѣрія. Опираясь на всѣ эти соображенія, я полагаю, что господа иностранные педагоги напрасно приводятъ гимназическій реализмъ въ причинную связь съ духомъ скептицизма и даже полнаго безвѣрія. Гимназическій реализмъ—самъ по себѣ, а скептицизмъ и даже полное безвѣріе—тоже сами по себѣ. Между этими явленіями нѣтъ никакой взаимной зависимости.—Другое возраженіе господъ педагоговъ противъ реальныхъ гимназій я считаю совершенно основательнымъ. Поверхностный энциклопедизмъ дѣйствительно очень нехорошъ, не потому, что онъ ведетъ за собой будто-бы «безнравственность въ семейномъ и общественномъ быту», а потому, что онъ засоряетъ молодые умы грудой отрывочныхъ и слѣдовательно неосмысленныхъ и неудобоваримыхъ знаній. Но эти неудобства поверхностнаго энциклопедизма говорятъ только противъ данной программы реальныхъ гимназій, а не противъ реализма вообще. Чтобы избавиться отъ этого поверхностнаго энциклопедизма, нѣтъ никакой необходимости хвататься за классическую древность, какъ за единственный якорь спасенія. Надо только составить новую реальную программу, въ которой преподаваніе было-бы сосредоточено на математикѣ, на физикѣ, на космографіи и на химіи. «Если,—говорятъ «Сѣверная Почта»,—общество признаетъ реальныхъ училища полезными, то безъ сомнѣнія устроитъ ихъ собственной инициативой, собственными средствами». Это мнѣніе «Сѣверной Почты» совершенно основательно. Если общество дѣйствительно дорожитъ реальнымъ образованіемъ, то оно не должно ожидать, чтобы это образованіе свалилось къ нему, какъ снѣгъ на голову, въ готовомъ видѣ. Пусть само общество выработаетъ себѣ тѣ формы реального образованія, которыя соответствуютъ его потребностямъ. Если оно сдумаетъ это сдѣлать, тогда, значитъ, оно дѣйствительно сознаетъ необходимость послѣдовательнаго реализма. Если же у него не хватитъ смѣлости и энергіи на то, чтобы рѣшить эту задачу собственными силами, тогда нечего и жалѣть о томъ, что эта задача не рѣшена новымъ гимназическимъ уставомъ. О реальномъ образованіи и о той формѣ, которую оно должно принять въ нашемъ обществѣ, я поговорю вполнѣ послѣдствіи. Что-же касается до классическаго образованія, то весь предшествующій анализъ приводитъ меня къ тому заключенію, что до сихъ поръ во всей нашей періодической литературѣ не было высказано ни одного убѣдительнаго аргумента въ пользу изученія мертвыхъ языковъ. Посмотримъ, что думаетъ намъ въ этомъ отношеніи будущее.

РАЗРУШЕНИЕ ЭСТЕТИКИ.

I.

Когда какая-нибудь новая мысль только-что начинает прокладывать себѣ дорогу въ умы людей, тогда неизбежная борьба старыхъ и новыхъ понятій начинается обыкновенно съ того, что представители новой мысли подводятъ итоги всему запасу убѣждений, выработанныхъ прежними дѣятелями, превратившихся въ общее достояніе и господствующихъ надъ умами образованной массы. Это подведение итоговъ необходимо для того, чтобы строгій приговоръ, долженствующій поразить всю отжившую систему понятій, не показался обществу голословнымъ и бездоказательнымъ наборомъ смѣлыхъ парадоксовъ. Подводя итоги, представитель новой идеи принужденъ становится на точку зрѣнія своихъ противниковъ, хотя онъ знаетъ очень хорошо, что эта точка зрѣнія нигде не годится. Онъ принужденъ поражать своихъ противниковъ ихъ собственнымъ оружіемъ, хотя онъ знаетъ очень хорошо, что тотчасъ послѣ своей побѣды онъ изломаетъ и броситъ навсегда это старое и заржавленное оружіе. Еслибы представитель новой идеи поступилъ иначе, еслибы онъ, не обращая вниманія на старыя нецѣлости, прямо началъ проповѣдывать свою теорію, то защитники нецѣлости заговорили-бы громко и смѣло, что онъ ничего не знаетъ и не понимаетъ. Этотъ говоръ былъ-бы очень неоснователенъ, но такъ какъ численный перевѣсъ былъ-бы на сторонѣ защитниковъ нецѣлости, то общество повѣрило-бы неосновательному говору, и успѣхъ новой мысли былъ-бы въ значительной степени ослабленъ или замедленъ этимъ обстоятельствомъ. Значитъ, на первыхъ порахъ надо говорить съ филистерами на филистерскомъ языкѣ и надо подходить къ нимъ съ нѣкоторыми предосторожностями, потому что филистеры—народъ пугливый и всегда готовый поднять безтолковый и оглушительный гвалтъ, очень вредный для общества и для всякихъ новыхъ идей. Но когда филистеры поражены и доведены до молчанія, когда новая идея уже пустила корень въ общество и начала развиваться, тогда всѣ предварительныя работы, произведенныя для посрамленія филистеровъ, уходятъ въ тихую область исторіи вмѣстѣ съ той старой системой, которую эти работы подкопали и разрушили. Случается иногда, что на эти предварительныя и неизбежно-эфемерныя работы уходятъ цѣлая жизнь очень замѣчательныхъ дѣятелей. Книга «Эстетическія отношенія искусства къ дѣйствительности», написанная десять лѣтъ тому назадъ, совершенно устарѣла не потому, что ее авторъ былъ въ то время неспособенъ

написать что-нибудь болѣе долговѣчное, а именно потому, что автору надо было въ началѣ опровергать филистеровъ доводами, заимствованными изъ филистерскихъ арсеналовъ. Авторъ видѣлъ, что эстетика, порожденная умственной неподвижностью нашего общества, въ свою очередь поддерживала эту неподвижность. Чтобы двинуться съ мѣста, чтобы сказать обществу разумное слово, чтобы пробудить въ разслабленной литературѣ сознаніе ея высокихъ и серьезныхъ гражданскихъ обязанностей, надо было совершенно уничтожить эстетику, надо было отправить ее туда, куда отправлены алхимія и астрологія. Но, чтобы дѣйствительно опрокинуть вредную систему старыхъ заблужденій, надо приниматься за дѣло осторожно и расчетливо. Если сказать обществу прямо: «бросьте вы эти глупости; у васъ есть дѣла гораздо поважнѣе и интереснѣе»,—то общество изумится, испугается вашей дерзости, не повѣритъ вамъ и приметъ вашу разумный совѣтъ за гадскую выходку. Поэтому надо говорить съ обществомъ въ томъ тонѣ, къ которому оно привыкло. Надо говорить такъ: «вы, господа, уважаете эстетику. Ахъ, и я тоже уважаю эстетику. Займитесь-же вмѣстѣ съ вами эстетическими изслѣдованіями.»—Привлекши къ себѣ такимъ образомъ сердце довѣрчиваго читателя, лукавый послѣдователь новой идеи конечно займется своими эстетическими изслѣдованіями такъ успѣшно, что разобьетъ всю эстетику на мелкіе кусочки, потомъ всѣ эти мелкіе кусочки превратитъ по одиночкѣ въ мельчайшій порошокъ и наконецъ развѣетъ этотъ порошокъ на всѣ четыре стороны.—«Куда-жъ ты, озорникъ, дѣвалъ мою эстетику, которую ты уважаешь?»—спроситъ огорченный читатель, наказанный за свою довѣрчивость.—«Улетѣла твоя эстетика,—отвѣтитъ писатель,—и давно пора тебѣ забыть о ней, потому что не мало у тебя всякихъ другихъ заботъ.»—И вздохнетъ читатель, и поневолѣ приметъ за социальную экономію, потому что эстетика дѣйствительно разлетѣлась на всѣ четыре стороны, благодаря эстетическимъ изслѣдованіямъ коварнаго писателя. Когда читатель будетъ такимъ образомъ обузданъ и посаженъ за работу, тогда, разумеется, эстетическія изслѣдованія, погубившія эстетику, потеряютъ всякій современный интересъ и останутся только любопытнымъ историческимъ памятникомъ авторскаго коварства.

II.

Авторъ «Эстетическихъ Отношеній» уже на III страницѣ своего введенія показываетъ изда-

ли догадливому читателю тотъ результатъ, къ которому онъ желаетъ придти. «Уваженіе къ дѣйствительной жизни,—говоритъ онъ,—недовѣрчивость къ апіорическимъ, хотя-бы и пріятнымъ для фантазій, гипотезамъ—вотъ характеръ направленія, господствующаго нынѣ въ наукѣ. Автору кажется, что необходимо привести къ этому знаменателю и наши эстетическія убѣжденія, если еще стоитъ говорить объ эстетикѣ». Если еще стоитъ говорить объ эстетикѣ—оговорка очень замѣчательная! Всякій немедленно пойметъ изъ этой оговорки, что вопросъ объ эстетикѣ былъ уже давно рѣшенъ въ умѣ этого писателя, когда онъ принимался за свою магистерскую диссертацию. Авторъ давно понимаетъ, что говорить объ эстетикѣ стоитъ только для того, чтобы радикально уничтожить ее и навсегда отрезвить тѣхъ людей, которыхъ морочитъ философствующее и тунеядствующее филистерство. Поэтому авторъ, разумѣется, имѣлъ въ виду не основаніе новой, а только истребленіе старой и вообще всякой эстетической теоріи.

Эстетика или наука о прекрасномъ имѣетъ разумное право существовать только въ томъ случаѣ, если прекрасное имѣетъ какое-нибудь самостоятельное значеніе, независимое отъ безконечнаго разнообразія личныхъ вкусовъ. Если же прекрасно только то, что нравится намъ, и если вслѣдствіе этого всѣ разнообразнѣйшія понятія о красотѣ оказываются одинаково законными, тогда эстетика разсыпается въ прахъ. У каждаго отдѣльнаго человѣка образуется своя собственная эстетика, и слѣдовательно общая эстетика, приводящая личные вкусы къ обязательному единству, становится невозможной. Авторъ «Эстетическихъ Отношеній» ведетъ своихъ читателей именно къ этому выводу, хотя и не высказываетъ его совершенно открыто. «Здоровый человѣкъ,—говоритъ авторъ,—встрѣчаетъ въ дѣйствительности очень много такихъ предметовъ и явленій, смотря на которые не приходится ему въ голову желать, чтобы они были не такъ, какъ есть, или были лучше. Мнѣніе, будто человѣку непремѣнно нужно «совершенство»,—мнѣніе фантастическое, если подѣ «совершенствомъ» понимать такой видъ предмета, который-бы совмѣщалъ всевозможныя достоинства и былъ чуждъ всѣхъ недостатковъ, какіе, отъ нечего дѣлать, можетъ огыскать въ предметѣ фантазія человѣка съ холоднымъ или пресыщеннымъ сердцемъ. «Совершенство для меня то, что для меня вполне удовлетворительно въ своемъ родѣ.» Такимъ образомъ «совершенство» для меня одно, для васъ—другое, для Ивана—третье, для Марьи—четвертое и такъ далѣе до безконечности, потому что каждая отдѣльная личность является единственнымъ и верховнымъ судьей въ вопросѣ о томъ, что для нея удовлетворительно. Развивать свой вкусъ для того, чтобы сдѣлать себя взыскательнымъ

и разборчивымъ,—авторъ считаетъ дѣломъ совершенно излишнимъ. Олѣ называетъ «здоровымъ» того человѣка, который удовлетворяется легко; въ прихотливой строгости требованій онъ видитъ только вредныя послѣдствія праздности, холодности и пресыщенности.

Само собой разумѣется, что всѣ эти мнѣнія автора относятся къ области прекраснаго,—къ той области, въ которой недовольство дѣйствительностью не можетъ повести за собой ничего, кромѣ безплоднаго страданія. Въ самомъ дѣлѣ, представьте себѣ, что созерцаніе рафаэлевскихъ картинъ и древнихъ статуй до такой степени воспламеняло ваше воображеніе, что всѣ живыя женщины, съ которыми вы встрѣчаетесь, кажутся вамъ некрасивыми. Какая-же польза получится изъ вашего недовольства для васъ самихъ или для другихъ людей? Русскія женщины дѣйствительно не такъ красивы, какъ итальянки, которыхъ видѣлъ Рафаэль, или какъ тѣ гречанки, которыхъ знали древніе скульпторы; но какъ-бы ни было велико ваше недовольство, русскія женщины отъ него нисколько не похорошѣютъ, и вы со всѣмъ вашимъ недовольствомъ все-таки до скончанія вѣка не придумаете ничего такого, что могло-бы увеличить ихъ красоту. Значитъ, вы-же сами остаетесь въ чистомъ проигрышѣ, потому что будете совершенно бесполезно хмуриться и тосковать тамъ, гдѣ другіе будутъ любоваться, влюбляться и наслаждаться. Недовольство дѣйствительностью, совершенно безплодное и нелѣпое, когда оно обращено на красоту, становится, напротивъ того, очень полезнымъ и уважительнымъ чувствомъ, когда оно направлено противъ житейскихъ неудобствъ, устроенныхъ руками и умами людей. Тутъ недовольство ведетъ за собой преобразовательную дѣятельность и слѣдовательно приноситъ очень реальные и осязательные результаты. Всякая эстетика, старая или новая, или новѣйшая, строится непременно на томъ основномъ предположеніи, что люди должны усиливать, очищать и совершенствовать въ себѣ свое врожденное стремленіе къ красотѣ. Кто отвергаетъ это основное предположеніе, тотъ отвергаетъ не какія-нибудь частныя ошибки той или другой эстетики, а самый принципъ, самый фундаментъ всякой эстетики вообще. Авторъ «Эстетическихъ Отношеній» поступаетъ именно такимъ образомъ. Видя, что здоровый человѣкъ удовлетворяется такими предметами и явленіями, въ которыхъ можно замѣтить и неправильности очертаній, и недостаточное богатство красокъ, и разныя другія шероховатости, авторъ становится безусловно на сторону этого здороваго человѣка и вовсе не требуетъ, чтобы этотъ здоровый человѣкъ отвернулся, во имя высшей красоты, отъ того, что доставляетъ ему безвредное и освѣжительное наслажденіе. Этотъ здоровый человѣкъ де-

волею тѣмъ, что онъ видитъ передъ собой; и прекрасно, больше ничего не нужно; не зачѣмъ мудрить надъ этимъ человѣкомъ; не зачѣмъ отравлять ему его естественное и законное наслаждение; чѣмъ скромнѣе его требованія, тѣмъ лучше для него и для всѣхъ, потому что тѣмъ больше у него будетъ шансовъ наслаждаться часто, не причиняя никому ни хлопотъ, ни неприятностей.

Вотъ процессъ мысли, скрытый въ тѣхъ словахъ автора, которые я выписалъ выше; такъ какъ, по естественному развитію этихъ мыслей, каждый здоровый человѣкъ признается высшимъ авторитетомъ въ дѣлѣ эстетики, то очевидно эстетика, какъ наука, становится такой-же негѣпостью, какой была-бы напримѣръ наука о любви. Каждый любить по своему, не справляясь ни съ какими учеными книжками. И каждый наслаждается всѣми впечатлѣніями жизни также по своему, также не справляясь ни съ какими учеными книжками. Слѣдовательно, наука о томъ, какъ и чѣмъ должно наслаждаться, превращается въ бессмыслицу.

III.

«Прекрасное — говоритъ авторъ, — есть жизнь; прекрасно то существо, въ которомъ видимъ мы жизнь такую, какова должна быть она по нашимъ понятіямъ; прекрасенъ тотъ предметъ, который выказываетъ въ себѣ жизнь или напоминаетъ намъ о жизни.»

Это опредѣленіе до такой степени широко, что въ немъ совершенно тонетъ и исчезаетъ то, что называется красотой въ обыкновенномъ разговорномъ языкѣ. Это опредѣленіе показываетъ ясно, что авторъ, какъ мыслящій человѣкъ, относится совершенно равнодушно къ прекрасному въ узкомъ и общепринятомъ смыслѣ этого слова. По этому опредѣленію всякій вполне здоровый и нормально развитый человѣкъ прекрасенъ; все, что не изуродовано въ большей или въ меньшей степени, то прекрасно. Это можетъ показаться парадоксомъ, а между тѣмъ это совершенно вѣрно. Когда дѣло идетъ напримѣръ о человѣческой фізіономіи, то, разумѣется, вопросы о томъ, великъ ли малъ ротъ, толстъ или тонокъ носъ, густы или жидки волосы, словомъ, всѣ вопросы, касающіеся собственно до такъ называемой писаной красоты, могутъ быть интересны только для гоголевской Агафьи Тихоновны и для людей обоего пола, стоящихъ на одномъ уровнѣ развитія съ этой прекрасной дѣвицей. Съ тѣхъ поръ, какъ солнце свѣтитъ и весь міръ стоитъ, ни толстый носъ, ни большой ротъ, ни жидкіе или рыжіе волосы не помѣшали никому сдѣлаться полезнымъ и великимъ человѣкомъ; кромѣ того они даже никому не помѣшали пользоваться всѣми наслажденіями взаимной любви. Чѣмъ дольше че-

ловѣчество живетъ на свѣтѣ и чѣмъ умнѣе оно становится, тѣмъ равнодушнѣе оно относится къ чистой красотѣ и тѣмъ сильнѣе оно дорожитъ тѣми атрибутами человѣческой личности, которые сами по себѣ составляютъ дѣятельную силу и реальное благо. Цвѣтущее здоровье и сильный умъ кладутъ свою печать на человѣческую фізіономію, жизнь мысли, чувства и страстей оставляетъ на ней свои слѣды; эта печать и эти слѣды заставляютъ каждого умнаго человѣка совершенно забыть о томъ, великъ-ли ротъ, толстъ-ли носъ и жидки-ли волосы. Но здоровье и умъ существуютъ не для того, чтобы класть свою печать на фізіономію; человѣкъ живетъ, мыслитъ, чувствуетъ и волнуется также не для того, чтобы пріобрѣтать себѣ то или другое выраженіе лица, печать здоровья и ума, и слѣды пережитыхъ впечатлѣній ложатся на лицо безъ нашего вѣдома и помимо нашего желанія; здоровье, умъ и впечатлѣнія жизни имѣютъ для насъ свое самостоятельное значеніе, совершенно независимое отъ того выраженія, которое они придаютъ нашимъ фізіономіямъ, и гораздо болѣе важное, чѣмъ это выраженіе. Когда мы видимъ по лицу человѣка, что онъ здоровъ, уменъ и много пережилъ на своемъ вѣку, то его лицо нравится намъ, не какъ красивая картинка, а какъ программа нашихъ будущихъ отношеній къ этому человѣку. Мы, судя по лицу, расположены сблизиться съ этимъ человѣкомъ, потому что его лицо говоритъ намъ то, чего не могъ-бы намъ сказать самый безукоризненный греческій профиль. Глядя на это лицо, мы невольно угадываемъ и предчувствуемъ въ его обладателѣ энергичнаго, твердаго, вѣрнаго, умнаго и полезнаго друга. Когда лицо нравится намъ такимъ образомъ, какъ намекъ на умъ, характеръ и біографію даннаго субъекта, тогда очевидно эстетика остается не причѣмъ. Мы смотримъ на лицо человѣка такъ, какъ при покупкѣ серебряной или золотой вещи мы смотримъ на пробу. Проба не придаетъ вещи никакой красоты; она только ручается за ея цѣнность. При томъ опредѣленіи прекраснаго, которое даетъ намъ авторъ, эстетика, къ нашему величайшему удовольствію, исчезаетъ въ фізіологіи и въ гігіенѣ.

Я не буду слѣдить за борьбой нашего автора съ нѣмецкимъ эстетикомъ Фишеромъ по вопросу о прекрасномъ въ дѣйствительности. Намъ нѣтъ дѣла до этой борьбы, потому что для насъ въ настоящую минуту не имѣютъ рѣшительнаго никакого значенія всѣ глубокомысленныя умозрѣнія Фишера и другихъ нѣмецкихъ идеалистовъ. Результатъ борьбы состоитъ въ томъ, что, по мнѣнію нашего автора: «прекрасное въ объективной дѣйствительности вполне прекрасно и совершенно удовлетворяетъ человѣка». А если это такъ, то, разумѣется, «искусство рождается вовсе не отъ потребности человѣка восполнить

недостатки прекраснаго въ дѣйствительности». Выражаясь, другими словами, цѣль искусства состоитъ не въ томъ, чтобы создать такое чудо красоты, котораго нѣтъ и не можетъ быть въ природѣ. Въ чемъ-же состоитъ цѣль искусства? Чтобы отвѣчать на этотъ вопросъ, авторъ перебираетъ всѣ различныя отрасли искусства, и на этомъ анализѣ я считаю нелишнимъ остановиться.

IV.

Авторъ начинаетъ свой анализъ съ архитектуры и съ перваго-же шага ставитъ господамъ эстетикамъ убійственную дилемму. По его мнѣнію, надо или выключить архитектуру изъ числа искусствъ, или причислить къ искусствамъ садоводство, мебельное, модное, ювелирное, лѣпное мастерство и вообще «всѣ отрасли промышленности, всѣ ремесла, имѣющія цѣлью удовлетворять вкусу или эстетическому чувству». Если какой-нибудь портикъ или палаццо есть произведение искусства на томъ основаніи, что онъ построенъ красиво и радуетъ глазъ правильностью своихъ формъ, то на такомъ-же точно основаніи надо будетъ называть произведеніями искусства — аллею съ подстриженными деревьями и кресло съ рѣзной или точеной спинкой, и фарфоровый чайникъ съ закорюченной ручкой, и штку обоевъ, расписанныхъ яркими красками, и дамскую шляпку, украшенную цвѣтами, перьями и блондой, и дамскую прическу, придуманную и исполненную какимъ-нибудь знаменитымъ *artiste en cheveux*. Мало того, даже клюквенный кисель, вылитый въ кухонную форму, оказывается также произведеніемъ искусства. Въ самомъ дѣлѣ, кисель можно было-бы подать на столъ въ видѣ сплошной, безформенной массы, лежащей на блюдѣ; онъ былъ-бы точно также вкусенъ и удобоваримъ; но его подаютъ въ видѣ башни съ зубчиками и фестончиками, и это дѣлается именно потому, что человѣкъ не есть грубый скотъ; ему мало того, чтобы отправить кисель въ желудокъ; ему хочется кромѣ того погрузиться въ созерцаніе зубчиковъ и фестончиковъ и, уничтожая эти фестончики и зубчики, умилаться душой надъ непрочностью земной красоты. Такимъ образомъ кисель, вылитый въ форму, не только удовлетворяетъ эстетическому чувству обѣдающаго человѣка, но даже пробуждаетъ въ его отзывчивой душѣ высочайшія размышленія, точно такіе-же размышленія, какія обыкновенно обуреваютъ впечатлительнаго путешественника, созерцающаго какой-нибудь обвалившійся портикъ времени Септимія Севера или какой-нибудь опустѣлый палаццо венеціанскаго патриція. Значитъ, ясно, что архитектура не имѣетъ ни малѣйшаго права обитать въ такихъ хоромахъ, въ которые, по распоряженію непослѣдовательныхъ эстетиковъ, не допускаются ея родныя сестры и ближайшія род-

ственницы. Французы давно это поняли, и поэтому парикмахеры называются у нихъ *artistes en cheveux*, и нашъ знаменитый мебельный мастеръ, Туръ, навѣрное посмотрѣлъ-бы на насъ съ глубокимъ презрѣніемъ, еслибы мы вздумали оспаривать у него право на титулъ художника. Такъ оно дѣйствительно и должно быть, если сущность, цѣль и оправданіе искусства заключаются въ его стремленіи къ красотѣ. Тогда и старуха, которая бѣлится и румянится передъ зеркаломъ, окажется художникомъ, превращающимъ свою собственную особу въ художественное произведеніе. Всѣ отрасли промышленности, говоритъ нашъ авторъ, всѣ ремесла, имѣющія цѣлью удовлетворять вкусу или эстетическому чувству, мы признаемъ искусствами въ такой-же степени, какъ архитектуру, когда ихъ произведенія замышляются и исполняются подъ преобладающимъ вліяніемъ стремленія къ прекрасному и когда другія цѣли (которыя всегда имѣетъ архитектура) подчиняются этой главной цѣли.

Совершенно другой вопросъ о томъ, до какой степени достойны уваженія произведенія практической дѣятельности, задуманныя и исполненные подъ преобладающимъ стремленіемъ произвести не столько что-нибудь дѣйствительно нужное или полезное, сколько произвести прекрасное. Какъ рѣшить этотъ вопросъ, — не входить въ сферу нашего разсужденія; но какъ рѣшенъ будетъ онъ, точно такъ-же долженъ быть рѣшенъ вопросъ и о степени уваженія, которой заслуживаютъ созданія архитектуры въ значеніи чистаго искусства, а не практической дѣятельности. Какими глазами смотреть мыслитель на кашемировую шаль, стоящую 10,000 франковъ, на столовые часы, стоящіе 10,000 франковъ, такими-же глазами долженъ смотреть онъ и на изящный кіоскъ, стоящій 10000 фр. Быть-можетъ онъ скажетъ, что всѣ эти вещи — произведенія не столько искусства, сколько роскоши; быть-можетъ онъ скажетъ, что истинное искусство чуждается роскоши, потому что сущевнѣйшій характеръ прекраснаго — простота.

Мыслитель будетъ совершенно правъ, если посмотритъ съ презрѣніемъ на шаль, на часы и на кіоскъ, но онъ будетъ совершенно неправъ, когда начнетъ утверждать, что *истинное искусство чуждается роскоши*. Истинному искусству нѣтъ рѣшительно никакого дѣла до эстетическихъ соображеній. Истинное искусство есть чужезданное растеніе, которое постоянно питается соками человѣческой роскоши. Являясь всегда и вездѣ неразлучнымъ спутникомъ роскоши, оно никакъ не можетъ ея чуждаться. И Микель Анджело, и Рафаэль расписывали своими фресками потолки и простѣнки папскаго дворца, подобно тому, какъ различные московскіе художники украшаютъ «пукетами и аму-

рами» стѣны тѣхъ анпартаментовъ, въ которыхъ Лазарь Елизарычъ Подхалюзинъ наслаждается радостями семейной жизни съ своей супругой, Олимпіадой Самсоновой, урожденной Большой. Фрески Рафаэля, по мнѣнію такого чистокровнаго и даровитаго эстетика, какъ Анри Тень, не имѣютъ почти никакого самостоятельнаго значенія. Онѣ составляютъ просто дополненіе архитектуры. «Въ самомъ дѣлѣ, — разсуждаетъ Тень, — отчего же фрескамъ и не быть дополненіемъ архитектуры? Не ошибочно ли разсматривать ихъ отдѣльно? Чтобы понимать идеи живописца, надо становиться на его точку зрѣнія. А Рафаэль, разумеется, смотрѣлъ на всю задачу именно такимъ образомъ. *Пожаръ въ Борго* составляетъ украшеніе арки, которую ему поручено было чѣмъ-нибудь наполнить. *Парнасъ* и *Освобожденіе св. Петра* украшаютъ простѣнки надъ дверью и надъ окномъ, и ихъ мѣсто обязываетъ ихъ принять извѣстную форму. Эти картины не приставлены къ стѣнамъ зданія; онѣ сами составляютъ часть зданія; онѣ облекаютъ зданіе такъ, какъ кожа облекаетъ тѣло. Если онѣ принадлежатъ къ архитектурѣ, то какъ-же имъ не подчиняться архитектурнымъ требованіямъ?...» «Вотъ, — объясняетъ онъ далѣе, — арка окна выгибается величественно и просто; линія этой арки благородна (noble!) и бордюры изъ лѣнныхъ украшеній сопровождается прекрасною округлостью, но мѣста по бокамъ и наверху остаются пустыми; надо ихъ наполнить, а для этого годятся только фигуры, неуступающія архитектурѣ въ полнотѣ и серьезности; лица, предающіяся увлеченію страсти, составили бы диссонансъ; здѣсь не можетъ быть мѣста беспорядку естественныхъ группъ. Надо, чтобы дѣйствующія лица выравнивались сообразно съ высотой простѣнка; наверху арки должны стоять маленькія дѣти или согнувшіяся фигуры, а по бокамъ — большія, вытянутыя во весь ростъ»^{*)}).

А вѣдь мы право не умѣемъ цѣнить достоинствъ нашей отечественной литературы; вѣдь у насъ даже въ эстетической «Эпохѣ» или въ столь-же эстетическомъ «Атенеѣ» были немалыми словозверженія о томъ, что «la ligne est noble» и что «les personnages s'étagent selon la hauteur du panneau». А у французовъ это, — слово и рядомъ, такъ что даже самый ревностный реалистъ начинаетъ конфузиться за автора только тогда, когда ему по какому-нибудь странному случаю приводится переводить эти деликатессы на русскій языкъ.

Какъ-бы то ни было, а изъ словъ Тена все-таки видно очень ясно, что истинное искусство съ величайшей готовностью превращало себя въ лакея роскоши. Художникъ подчинялся всѣмъ требованіямъ роскоши такъ раболобно, что со-

глашался уродовать въ угоду имъ свои картины, соглашался разставлять группы по ражире, — словомъ, весьма охотно протитировалъ свою творческую мысль. Можетъ-ли мыслитель сказать послѣ этого, что *истинное искусство чуждается роскоши*? Если-же мыслитель рѣшится выгнать изъ храма *истиннаго искусства* Рафаэля Санціо, то, спрашивается, кто-же останется въ этомъ храмѣ послѣ изгнанія главнаго жреца? И спрашивается еще, не превратится-ли тогда этотъ храмъ *истиннаго искусства* въ мастерскую человѣческой мысли, въ которой изслѣдователи, писатели и рисовальщики, каждый по своему, будутъ стремиться къ одной великой цѣли — къ искорененію бѣдности и невѣжества?

Въ умѣ автора «Эстетическихъ Отношеній» это превращеніе совершилось давнымъ-давно; но въ 1855 году наше общество было еще совершенно не приготовлено къ пониманію такихъ плодотворныхъ идей; поэтому автору и приходится до поры до времени оставлять въ неприкосновенности какой-то призракъ *истиннаго искусства*, въ существованіе котораго онъ, человѣкъ осмѣлившійся заговорить въ эстетическомъ трактатѣ о 10,000 франкахъ, уже нисколько не вѣритъ.

У.

Выбрасывая архитектуру изъ храма *истиннаго искусства*, авторъ «Эстетическихъ Отношеній» не считаетъ нужнымъ даже упомянуть мимоходомъ о томъ безбрежномъ морѣ фразъ, которое изливаютъ насчетъ архитектурныхъ памятниковъ разные туристы и дилетанты, считающіе себя любителями и цѣнителями изящнаго во всѣхъ его проявленіяхъ. Авторъ совершенно правъ въ своемъ спокойномъ презрѣніи къ этимъ фразамъ; возражать противъ нихъ серьезно нѣтъ никакой возможности, а смѣяться надъ ними очень неудобно въ такомъ трудѣ, который долженъ былъ подвергнуться суду ученаго ареопага. Но такъ какъ литературные враги автора могутъ прикинуться, будто они принимаютъ его презрительное молчаніе за доказательство его невѣдѣнія или его неумѣнія опровергнуть фразерство дилетантовъ, — то я брошу здѣсь бѣглый взглядъ на несостоятельность этого фразерства.

Каждому читателю случалось конечно не разъ слышать и читать возгласы о томъ, что архитектура такого-то вѣка и такого-то народа воплотила въ себѣ всю жизнь, все міросозерцаніе, всѣ духовныя стремленія этого вѣка и этого народа. Французскіе историки и туристы особенно бойко и самоувѣренно умѣютъ читать исторію и мысли отжившихъ народовъ въ каменныхъ сводахъ, колоннахъ, портикахъ, капителяхъ, фронтонахъ и разныхъ другихъ архитектурныхъ украшеніяхъ. У этихъ господъ на

^{*)} «L'Italie et la vie italienne», «Revue des deux Mondes», 1865, 1 janvier.)

каждомъ шагѣ встрѣчаются выраженія: «гранитная поэма», «эпосъ изъ мрамора»; эти выраженія прикладываются ими къ очень большому зданію, вродѣ Колизея, Ватикана или собора св. Петра; еслибы они были послѣдовательны, то маленькія строенія, съ претензіями на элегантность, должны были бы называться на ихъ фигурномъ языкѣ мадригалами изъ кирпича или сонетами изъ дуба.

Если повѣрить этимъ господамъ на слово, то окажется, что имъ для основательнаго изученія прошедшаго совсѣмъ не нужны письменные документы; они берутся угадать и разсказать вамъ всю подноготную на основаніи мраморныхъ поэмъ и гранитныхъ эпосовъ. Приведите такого господина въ древній греческій храмъ и предупредите его заранѣе, что это—точно греческій храмъ, вашъ господинъ сію минуту начнетъ вамъ объяснять, что во всемъ характеръ и во всѣхъ отдѣльныхъ подробностяхъ архитектуры отразилась свѣтлая и гармоническая полнота греческаго духа. И столь усладительно начнетъ онъ вамъ повѣствовать о греческомъ духѣ и такую элегическую грусть онъ на себя напуститъ по тому случаю, что древніе греки всѣ померли, и такую онъ передъ вами развернетъ картинку олимпійскихъ игръ или элевзинскихъ таинствъ, что вы совсѣмъ растаете и припишете все его краснорѣчіе чудотворному вліянію греческаго духа, замурованнаго въ стѣны, въ колонны и въ своды древняго храма. Приведите этого господина въ Агамбру и скажите ему, что она была построена въ такомъ-то вѣкѣ такимъ-то калифомъ,—сію минуту польются увлекательныя рѣчи о пылкости арабской фантазіи. А въ готическій соборъ лучше ужъ совсѣмъ не водите вашего словоохотливаго туриста,—тутъ ужъ конца не будетъ чтенію гранитныхъ поэмъ; въ каждомъ стрѣльчатомъ окошкѣ онъ будетъ усматривать выраженіе средневѣковаго идеализма, стремившагося оторваться отъ земли и улѣтѣть въ пространство зенита. Словомъ, туристъ всегда будетъ угадывать вѣрно по той простой причинѣ, что онъ, какъ человѣкъ довольно начитанный, будетъ всегда знать заранѣе, *что именно* въ данномъ случаѣ должно быть угадано. Если мы знаемъ заранѣе, что такое-то зданіе было построено тогда-то, такимъ-то человѣкомъ, для такого-то употребленія, то, разумѣется, входя въ это зданіе, мы невольно вспоминаемъ о томъ, какъ жилъ этотъ человѣкъ, что онъ дѣлалъ, что онъ думалъ. А такъ какъ большинство людей не умѣетъ анализировать свои собственныя впечатлѣнія, то этимъ людямъ и кажется, что ихъ воспоминанія расшевеливаются въ нихъ именно самой *формой* зданія, и что слѣдовательно эта форма находится въ необходимой внутренней связи съ жизнью, съ дѣятельностью и съ образомъ мыслей того *человѣка*, о которомъ приходится вспоминать.

Несостоятельность этого мнѣнія можетъ быть доказана совершенно очевидно и осязательно посредствомъ анализа нѣкоторыхъ другихъ, совершенно аналогическихъ процессовъ нашей мысли. Показываютъ вамъ напримѣръ картину, на которой нарисовано нѣсколько мужчинъ и нѣсколько женщинъ; фізіономіи у нихъ очень молодыя, но волосы—бѣлые, какъ снѣгъ; вы конечно тотчасъ соображаете, что они напудрены, и мысль ваша немедленно переносится въ XVIII столѣтіе. Пудра и XVIII столѣтіе—два представленія, неразрывно связанныя между собой въ нашемъ умѣ; мы знаемъ, что мода эта существовала именно тогда; мы знаемъ, что она не существовала ни въ какое другое время; мы видѣли множество картинъ и портретовъ, на которыхъ люди XVIII вѣка представлены съ напудренными головами, и такимъ образомъ мы совершенно незамѣтно и нечувствительно привыкли къ той мысли, что пудра дѣйствительно характеризуетъ собой XVIII столѣтіе. Но кто же въ самомъ дѣлѣ рѣшится утверждать, что эта странная мода находится въ необходимой внутренней связи съ жизнью, съ дѣятельностью и съ образомъ мыслей тогдашнихъ людей? Въ этой модѣ есть конечно одна черта, характеризующая собой тогдашнее общество; но эту черту мы находимъ во многихъ другихъ модахъ; эта черта заключается въ искусственности и вычурности этой моды; эта искусственность и вычурность показываютъ намъ, что преобладающимъ значеніемъ пользовалось въ тогдѣшней Европѣ сословіе совершенно праздное, которое отъ нечего дѣлать принимало съ восторгомъ самыя нелѣпыя выдумки парикмахеровъ и другихъ законодателей моды. Но почему искусственность и вычурность проявились при Людовикѣ XV въ посыпаніи головы бѣлымъ порошкомъ; а при Людовикѣ XIV—въ ношеніи огромныхъ париковъ,—этого ни одинъ мыслитель и міръ не объяснитъ намъ общими причинами, включавшимися въ духъ времени и народа. Конечно и пудра, и парики имѣютъ свою причину, но причину такую мелкую, частную и случайную, которая можетъ быть интересною только для собирателя историческихъ анекдотовъ.

То же самое можно сказать и объ архитектурныхъ памятникахъ. То обстоятельство, что въ данное время строилось въ данной странѣ значительное количество бесполезныхъ и величавыхъ зданій, доказываетъ конечно, что въ данной странѣ были въ данное время такіе люди, которые сосредоточивали въ своихъ рукахъ огромные капиталы или по какимъ-нибудь другимъ причинамъ могли располагать по своему благоусмотрѣнію громадными массами дешеваго труда. А по этой канѣ политической и общественной безалаберщины пылкая фантазія архитекторовъ и декораторовъ, подогрѣваемая гордымъ жалованіемъ или страхомъ наказанія,

ю должна была вышивать самые вели-
чайшие и самые пестрые узоры; но видеть
их узорах проявление народного мироо-
щия, а не индивидуальной фантазии, — по-
зельно только тем туристам, которые
не разрезают о благоразумств круглой
или о возвышенности стрельчатого окна.

VI.

сильный блылый взглядъ на скульптуру и на
искусство, авторъ «Эстетическихъ отношеній»
идетъ къ тому выводу, что «произведенія
и другого искусства, по многимъ и су-
щественнѣйшимъ элементамъ (по красотѣ очер-
ковъ, по абсолютному совершенству исполне-
нью выразительности и т. д.), неизмѣримо
природы и жизни». Доказательства въ поль-
зу положенія авторъ беретъ отчасти изъ
тѣхъ впечатлѣній, отчасти изъ анализа
необходимыхъ отношеній, которыя суще-
ствуютъ между идеаломъ художника и живой
вещностью. «Мы должны сказать, — го-
воритъ авторъ, — что въ Петербургѣ нѣтъ ни
статуи, которая по красотѣ очертаній
не была-бы гораздо ниже безчисленнаго
количества живыхъ людей, и что надобно толь-
ко идти по какой-нибудь многолюдной ули-
цѣ, чтобы встрѣтить нѣсколько такихъ лицъ.
Самъ согласенъ большая часть тѣхъ, ко-
му привыкли думать самостоятельно.»
Авторъ какъ сказалъ уже въ самомъ
началѣ своего разсужденія, что «прекрасное
искусство», и такъ какъ красота статуи за-
ключается не въ жизни, то-есть не въ выра-
женіи лица, а въ строгой правильности очер-
товъ въ совершенной соразмѣрности частей,
замѣчается, каждое неизуродованное и умное
живое человѣкъ оказывается гораздо кра-
сивѣе, всѣхъ возможныхъ мраморныхъ или мѣд-
ныхъ. Только въ этомъ смыслѣ и могутъ
пониматься слова автора, потому что иначе
не было-бы себѣ представить, какимъ обра-
зомъ Петербургъ, который, какъ извѣстно,
не славится красотой своихъ обитателей,
можетъ встрѣчаться на каждой многолюдной
улицѣ по нѣсколько лицъ, болѣе прекрасныхъ,
чѣмъ лица статуи Кановы. Мое предположеніе
подтверждается тѣмъ обстоятельствомъ, что
я говорю о «красотѣ очертаній», а не о
«правильности». Очевидно, что пра-
вильность не имѣетъ въ его глазахъ почти
какого-либо значенія. Объ идеалѣ скульптора авторъ
говоритъ, что онъ «никакъ не можетъ быть по-
лучше тѣхъ живыхъ людей, которыхъ
онъ случаетъ видѣть художникъ. Силы твор-
ческой фантазіи очень ограничены: она можетъ
только комбинировать впечатлѣнія, полученныя
изъ жизни.»

ные до сих пор принимать за чистую монету рассказы о томъ, что «художники, какъ боги, входятъ въ зевсовы чертоги и, читая мысль его, видятъ въ вѣчныхъ идеалахъ то, что смертнымъ въ доляхъ малыхъ открываетъ божество». Кто не вѣритъ въ прогулки художниковъ по чертогамъ Зевса и кто не признаетъ существованія врожденныхъ идей, тотъ конечно долженъ согласиться, что художникъ, подобно всѣмъ остальнымъ смертнымъ, почерпаетъ изъ опыта все свое внутреннее содержаніе и слѣдовательно всѣ мотивы своихъ художественныхъ произведеній.

Говоря о живописи, авторъ обращаетъ вниманіе на несовершенство ея техническихъ средствъ. «Краски ея, — говоритъ онъ, — въ сравненіи съ цвѣтомъ тѣла и лица — грубое, жалкое подражаніе; вмѣсто нѣжнаго тѣла, она рисуетъ что-то зеленоватое или красноватое.» «Руки человѣческія грубы, — говоритъ онъ далѣе, — и въ состояніи удовлетворительно сдѣлать только то, для чего не требуется слишкомъ удовлетворительной отдѣлки; «топорная работа» — вотъ настоящее имя всѣхъ пластическихъ искусствъ, какъ скоро сравнимъ ихъ съ природой.» Къ ландшафтной живописи авторъ также относится безъ малѣйшаго благоговѣнія. Онъ сомнѣвается въ томъ, чтобы живопись могла лучше самой природы сгруппировать пейзажъ, и говоритъ, что «человѣкъ съ неиспорченными эстетическимъ чувствомъ наслаждается природой волюнѣ, не находить недостатковъ въ ея красотѣ.

Говоря о музыкѣ, авторъ прежде всего отдѣляетъ вокальную музыку отъ инструментальной. Потомъ, разсматривая вокальную музыку или пѣніе, онъ отдѣляетъ естественное пѣніе отъ искусственнаго. Естественнымъ онъ называетъ то пѣніе, которое возникаетъ у человѣка само собой, въ минуту радости или грусти, изъ потребности излить накопившееся чувство, а вовсе не изъ стремленія къ прекрасному. Это естественное пѣніе авторъ считаетъ произведеніемъ практической жизни, а не произведеніемъ искусства. Искусственное пѣніе, по мнѣнію автора, прекрасно въ той мѣрѣ, въ какой оно приближается къ естественному. А инструментальная музыка въ свою очередь прекрасна настолько, насколько она приближается къ вокальной. «Послѣ того, — говоритъ авторъ, — мы имѣемъ право сказать, что въ музыкѣ искусство есть только слабое воспроизведеніе явленій жизни, независимыхъ отъ стремленія нашего къ искусству.»

Въ поэзіи авторъ находитъ тотъ неизбѣжный недостатокъ, что ея образы всегда оказываются блѣдными и неопредѣленными, когда мы начинаемъ ихъ сравнивать съ живыми явленіями. «Образъ въ поэтическомъ произведеніи, — говоритъ авторъ, — точно такъ же относится къ дѣйствительному, живому образу, какъ слово

относится къ дѣйствительному предмету, имъ обозначаемому,—это не болѣе, какъ блѣдный и общій, неопредѣленный намекъ на дѣйствительность.»

Кто усомнится въ вѣрности этой мысли, тому я могу предложить слѣдующее доказательство. Извѣстно, что высшій родъ поэзіи—драма; извѣстно, что лучшія драмы въ мірѣ написаны Шекспиромъ; выше шекспировскихъ драмъ въ поэзіи нѣтъ ничего; стало-быть, если образы шекспировскихъ драмъ окажутся блѣдными и неопредѣленными намеками на дѣйствительность, то о всѣхъ остальныхъ поэтическихъ произведеніяхъ нечего будетъ и говорить. Но всякій знаетъ, что всѣ драмы, въ томъ числѣ и драмы Шекспира, достигаютъ нѣкоторой опредѣленности, приближающей ихъ къ дѣйствительности, только тогда, когда онѣ играютъ на сценѣ; всякій знаетъ далѣе, что играть удовлетворительнымъ образомъ шекспировскія роли могутъ только замѣчательные актеры; значить, необходима цѣлая новая отрасль искусства для того, чтобы придать поэтическимъ образамъ нѣкоторую опредѣленность; значить, необходимы умъ, талантъ и образованіе для того, чтобы понимать, комментировать *блѣдные и неопредѣленные намеки на дѣйствительность*. Это пониманіе и комментированіе составляютъ всю задачу талантливаго актера, и удовлетворительнымъ рѣшеніемъ этой задачи актеръ приобретаетъ себѣ всемірную извѣстность. Стало-быть, задача дѣйствительно очень трудна и намеки дѣйствительно *блѣдны и неопредѣленны*. Но это еще не все. Всякому извѣстно, что одна и та-же роль играетъ различными актерами совершенно различно и между тѣмъ одинаково удовлетворительно. Одинъ понимаетъ характеръ дѣйствующаго лица такъ, другой — иначе, третій — опять по своему, и если всѣ они одинаково талантливы, то самый внимательный и требовательный зритель останется совершенно доволенъ; значить, всѣ понимаютъ вѣрно и, значить, поэтический образъ уподобляется неопредѣленному уравненію, которое, какъ извѣстно, допускаетъ множество различныхъ рѣшеній. Послѣ этого, мнѣ кажется, трудно сомнѣваться въ томъ, что поэзія по самой сущности своей можетъ давать только блѣдные и неопредѣленные намеки на дѣйствительность.

Перебравъ такимъ образомъ всѣ искусства, авторъ приходитъ къ тому общему заключенію, что прекрасное въ живой дѣйствительности всегда стоитъ выше прекраснаго въ искусствѣ. Если слѣдовательно искусство не можетъ создавать такихъ чудесъ красоты, какихъ не бываетъ въ дѣйствительности, то спрашивается, что же оно должно дѣлать? Оно должно по мѣрѣ своихъ силъ воспроизводить дѣйствительность. — Что именно оно должно воспроизво-

дить? — Все, что есть *интереснаго* для человѣка въ жизни. — Для чего нужно это воспроизведеніе? — На этотъ послѣдній вопросъ авторъ отвѣчаетъ такъ: «потребность, рождающая искусство, въ эстетическомъ смыслѣ слова (искусства), есть та-же самая, которая очень ясно высказывается въ портретѣ живописи. Портретъ пишется не потому, чтобы черты живого человѣка не удовлетворяли намъ, а для того, чтобы помочь нашему воспоминанію о живомъ человѣкѣ, когда его нѣтъ передъ нашими глазами, и дать о немъ нѣкоторое понятіе тѣмъ людямъ, которые не имѣли случая его видѣть. Искусство только напоминаетъ намъ своими воспроизведеніями о томъ, что интересно для насъ въ жизни, и старается до нѣкоторой степени познакомить насъ съ тѣми интересными сторонами жизни, которыхъ не имѣли мы случая испытать или наблюдать въ дѣйствительности.»

Если художникъ долженъ знакомить насъ съ *интересными* сторонами жизни, то очевидно онъ самъ долженъ быть настолько мыслящимъ и развитымъ человѣкомъ, чтобы уметь отыскать интересное отъ неинтереснаго. Въ противномъ случаѣ онъ потратитъ весь свой талантъ на рисованіе такихъ мелочей, въ которыхъ нѣтъ никакого живого смысла, и всѣ мыслящіе люди отнесутся къ его произведенію съ улыбкой состраданія, хотя-бы даже мелочи, выбранныя художникомъ, были воспроизведены превосходно. «Содержаніе,—говоритъ авторъ,—достоинное вниманія мыслящаго человѣка, можетъ только въ состояніи избавить искусство отъ упрека, будто оно—пустая забава, чѣмъ оно дѣйствительно бываетъ чрезвычайно часто: художественная форма не спасетъ отъ презрѣнія или сострадательной улыбки произведеніе искусства, если оно важностью своей идеи не въ состояніи дать отвѣта на вопросъ: да стоило ли трудиться надъ подобными пустяками? Безполезное не имѣетъ права на уваженіе. Человѣкъ—самъсебѣцѣль; но дѣла человѣка должны имѣть цѣль въ потребностяхъ человѣка, а не въ самихъ себѣ.» Напирая на ту мысль, что искусство воспроизводитъ и должно воспроизводить не только прекрасное, но вообще интересное, авторъ со справедливымъ негодованіемъ отзываясь о томъ ложномъ розовомъ освѣщеніи, въ которомъ является дѣйствительная жизнь у поэтовъ, подчиняющихся преданіямъ старой эстетики и усердно наполняющихъ свои произведенія разными *прекрасными* картинками, то-есть описаніями природы и сценами любви. «Привычка изображать любовь, любовь и вѣчно любовь,—говоритъ авторъ,—заставляетъ поэтовъ забывать, что жизнь имѣетъ другія стороны, гораздо болѣе интересующія человѣка; вообще вся поэзія и вся изображаемая въ ней жизнь принимаютъ какой-то

ментальный, розовый колоритъ; вмѣсто знаго изображенія человеческой жизни, про- енія искусства представляютъ какой-то комъ юный (чтобы удержаться отъ болѣе ихъ эпитетовъ) взглядъ на жизнь, и поэтъ и обыкновенно молодымъ, очень моло- юношей, котораго рассказы интересны для людей того же нравственного или логического возраста.»

Смыслъ и вся тенденція «Эстетическихъ отношеній» концентрируются въ слѣдующихъ сходныхъ словахъ автора: «наука не ду- быть выше дѣйствительности; это не для нея. Искусство также не должно ду- быть выше дѣйствительности; это не уни- для него. Наука не стыдится говорить, ѣль ея—понять и объяснить дѣйствитель- , потомъ примѣнить къ пользѣ человека объясненія; пусть искусство не стыдится атся, что цѣль его: для вознагражденія ѣка, въ случаѣ отсутствія полнѣйшаго ческаго наслажденія, доставляемаго дѣй- ельностью,—воспроизвести, помѣрѣ силъ, рагоцѣнную дѣйствительность и ко благо ѣка объяснить ее. Пусть искусство до- твуется своимъ высокимъ, прекраснымъ ченіемъ: въ случаѣ отсутствія дѣйстви- ости—быть въ которой замѣной ея и быть еловѣка учебникомъ жизни.»

VII.

Знакомившись съ содержаніемъ «Эстетиче- скихъ отношеній», мы посмотримъ теперь, ка- правленіе должна была принять критика, оенная на тѣхъ теоретическихъ основані- которыя заключаетъ въ себѣ эта книга. «Эстетическія отношенія» говорятъ, что иску- ни въ какомъ случаѣ не можетъ создавать собственный міръ, и что оно всегда при- ено ограничиваться воспроизведеніемъ того который существуетъ въ дѣйствительно- Это основное положеніе обязываетъ крити- зматривать каждое художественное произ- іе непремѣнно въ связи съ той жизнью, которой и для которой оно возникло. На- на критика эту обязанность, «Эстетическія пенія» ограждаютъ его отъ опасности за- и въ пустыню стариннаго идеализма. За- «Эстетическія отношенія» предоставляютъ ку полнѣйшую свободу. Роль критика, про- утатаго мыслями «Эстетическихъ отношеній», ьтъ совсѣмъ не въ томъ, чтобы приклады- въ художественнымъ произведеніямъ раз- ля статьи готовяго эстетическаго кодекса. то того чтобы исправлять должность без- го и безпристрастнаго блюстителя непо- наго закона, критикъ превращается въ жи- человека, который вноситъ и обязанъ впо- въ свою дѣятельность все свое личное мѣ- ерчаніе, весь свой индивидуальный харак- соч. д. н. писателева, т. IV.

теръ, весь свой образъ мыслей, всю совокупность своихъ человеческихъ и гражданскихъ убѣжденій, надеждъ и желаній. «Искусство,—говоритъ ав- торъ,—*воспроизводитъ все, что есть инте- реснаго для человека въ жизни.*» Но что имен- но интересно и что не интересно? Этотъ во- просъ не рѣшенъ въ «Эстетическихъ отноше- нияхъ», и онъ ни подъ какимъ видомъ не мо- жетъ быть рѣшенъ разъ навсегда; каждый кри- тикъ долженъ рѣшать его по своему, и бу- деть рѣшать его такъ или иначе, смотря по то- му, чего онъ требуетъ отъ жизни и какимъ обра- зомъ онъ понимаетъ характеръ и потребности сво- его времени. «Содержаніе,—говоритъ авторъ,—*достойное вниманія мыслящаго человека, одно только въ состояніи избавить иску- ство отъ упрека, будто-бы оно—пустая за- бава.*»—Что такое мыслящій человекъ? Что именно достойно вниманія мыслящаго чело- века? Эти вопросы опять-таки должны рѣшать- ся каждымъ отдѣльнымъ критикомъ. А между тѣмъ отъ рѣшенія этихъ вопросовъ зависитъ въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, приговоръ кри- тика надъ художественнымъ произведеніемъ. Рѣ- шивши, что содержаніе *неинтересно* или, дру- гими словами, *недостойно вниманія мысля- щаго человека*, критикъ, основываясь на под- линныхъ словахъ автора «Эстетическихъ отно- шеній», имѣетъ полное право посмотреть на данное произведеніе искусства съ *презрѣніемъ* или съ *сострадательной улыбкой*. Положимъ теперь, что одинъ критикъ посмотрѣлъ на ху- дожественное произведеніе съ презрѣніемъ, а другой—съ восхищеніемъ. Столкнувшись та- кимъ образомъ въ своихъ сужденіяхъ, они за- тѣваютъ между собой споръ. Одинъ говоритъ: содержаніе *неинтересно* и *недостойно вниманія мыслящаго человека*. Другой говоритъ: инте- ресно и достойно. Само собой разумѣется, что споръ между этими двумя критиками съ самаго начала будетъ происходить совсѣмъ не на эсте- тической почвѣ. Они будутъ спорить между со- бой о томъ, что такое—мыслящій человекъ, что долженъ этотъ человекъ находить достойнымъ своего вниманія, какъ долженъ онъ смотрѣть на природу и на общественную жизнь, какъ дол- женъ онъ думать и дѣйствовать. Въ этомъ спорѣ они принуждены будутъ развернуть все свое міросозерцаніе; имъ придется заглянуть и въ естествознаніе, и въ исторію, и въ социальную науку, и въ политику, и въ нравственную фи- лософію, но объ искусствѣ между ними не бу- деть сказано ни одного слова, потому что смыслъ всего спора будетъ заключаться въ *содержаніи*, а не въ *формѣ* художественнаго произведенія. Именно потому, что оба критика будутъ спорить между собой не о *формѣ*, а о *содержаніи*, имен- но потому, что они такимъ образомъ будутъ оба признавать, что содержаніе важнѣе формы,— именно поэтому они оба окажутся адептами то-

го учения, которое изложено въ «Эстетическихъ Отношенияхъ». И ни одинъ изъ обоихъ критиковъ не будетъ имѣть права упрекать своего противника въ отступничество отъ основныхъ истинъ этого учения; оба они будутъ стоять одинаково твердо на почвѣ общей доктрины и будутъ расходиться между собой въ тѣхъ именно вопросахъ, которые эта доктрина сознательно и систематически предоставляетъ въ полное распоряженіе каждой отдѣльной личности.

Доктрина «Эстетическихъ Отношеній» именно тѣмъ и замѣчательна, что, разбивая оковы старыхъ эстетическихъ теорій, она совѣмъ не замѣняетъ ихъ новыми оковами. Эта доктрина говоритъ прямо и рѣшительно, что право произносить окончательный приговоръ надъ художественными произведеніями принадлежитъ не эстетикамъ, который можетъ судить только

о формѣ, а мыслящему человѣку, который судить о содержаніи, то-есть о явленіи жизни. О томъ, каковъ долженъ быть мыслящій человѣкъ, «Эстетическія Отношенія», разумѣется, не говорятъ и не могутъ сказать ни одного слова, потому что этотъ вопросъ совершенно выходитъ изъ предѣловъ той задачи, которую они рѣшаютъ. Стало-быть, расходясь между собой въ вопросѣ о мыслящемъ человѣкѣ, критики имѣютъ ни малѣйшаго основанія ссылаться на «Эстетическія Отношенія». Это было-бы такъ остроумно, какъ еслибы кто-нибудь въ спорѣ косвенныхъ налоговъ сталъ ссылаться на учебникъ математической географіи. Математическая географія — наука очень почтенная, но въ рѣшеніи социальныхъ вопросовъ она совершенно некомпетентна.

ШКОЛА И ЖИЗНЬ.

1.

Представьте себѣ, что вы входите въ москотильную лавку и требуете какого-нибудь снадобья для истребленія таракановъ и клоповъ; вамъ подають стлянку, наполненную жидкостью неопредѣленнаго цвѣта; вы спрашиваете, какъ употребляется эта жидкость? «Надо, — отвѣчаетъ вамъ купецъ, — поймать таракана или клопа и капнуть ему изъ этой стлянки на голову. Черезъ полчаса послѣ этой операціи онъ непременно издохнетъ». — Выслушавъ эту инструкцію, вы вѣроятно подумаете, что купецъ принимаетъ васъ за идиота и смѣется надъ вами въ глаза. Вы вѣроятно сообразно, что жидкость, дѣйствующая такимъ образомъ, совершенно бесполезна, потому что когда тараканъ пойманъ, тогда его можно истребить безо всякой жидкости. — Не знаю, существуютъ-ли на свѣтѣ москотильщики, способные давать своимъ покупателямъ подобныя наставленія, но знаю навѣрное, что очень многіе добродушные писатели, стремящіеся обновить и возродить общество силой великихъ идей, преподають своимъ читателямъ точъ-въ-точъ такіе совѣты касательно этого будущаго обновленія и возрожденія. Если вы хотите провести въ жизнь ваши плодотворныя идеи, говорятъ эти писатели, старайтесь реформировать воспитаніе; если хотите искоренить въ обществѣ вредные предрасудки, старайтесь прежде всего охранить отъ этихъ предрасудковъ подрастающее поколѣніе. Словомъ, дѣйствуйте на школу для того, чтобы подѣйствовать на жизнь. Именно такъ: поймайте таракана, облейте ему голову вашей жидкостью, и тогда онъ навѣрное издохнетъ черезъ

полчаса. Добродушные писатели, мечтающіе торжество новыхъ идей посредствомъ школы, упускаютъ изъ виду только одно крошечное обстоятельство, именно то, что школа вездѣ и всегда составляетъ самую крѣпкую и неприступную цитадель всевозможныхъ традицій и предрасудковъ, мѣшающихъ обществу мыслить и жить сообразно съ его дѣйствительными потребностями. Всѣ члены общества, питающіе искреннюю или притворную нѣжность въ традиціямъ и къ предрасудкамъ, охраняють школу отъ вліянія новыхъ идей такъ-же старательно, какъ старая нянька охраняетъ своего питомца отъ дурного глаза. Всѣ безкорыстные или корыстные приверженцы укоренившихся заблужденій понимаютъ какъ нельзя лучше, что если новая идея заберется въ школу и успѣетъ въ ней утвердиться, тогда эта новая идея по прошествіи двухъ-трехъ десятилѣтій, а можетъ-быть и раньше, охватитъ своимъ вліяніемъ все жизненное управленіе и стремленіе общества. Этому они, разумѣется, будутъ сопротивляться всѣми силами, и ихъ сопротивленіе будетъ неодолимо въ тѣхъ поръ, пока численный перевѣсъ будетъ находиться на ихъ сторонѣ, то-есть пока пассивное и безгласное большинство будетъ по старой привычкѣ считать ихъ софизмы за выраженія истинѣйшей истины. Такимъ образомъ не трудно понять, что овладѣть школой и перестроить воспитаніе можетъ только та идея, которая давно перешла въ наступательное положеніе и одержала рѣшительную побѣду въ сознаніи самого общества, а совѣмъ не та идея, которая, по своей крайней молодости, принуждена еще бороться

ся за свое собственное существование. Когда взята уже школа, тогда борьба кончена, победа упрочена, тараканъ пойманъ... Взятіе школы составляетъ важнѣйшій результатъ и драгоценнѣйшій плодъ победы, а никакъ не первый актъ борьбы. Взять школу — значитъ упрочить господство своей идеи надъ обществомъ. Но мечтать о томъ, чтобы черезъ школу пробить себѣ дорогу въ жизнь, — черезъ воспитаніе пересоздать общество, — это значитъ принимать окончательный результатъ за вспомогательное средство, компрометировать свою идею безтактными попытками, обречь самого себя на вѣчное безсміе и тратить жизнь на маниловскія фантазіи о великолѣпныхъ мостахъ съ каменными лавками. Это еще нехлѣбъ, чѣмъ истреблять таракановъ по рецепту моего вымышленнаго москотильщика. Поймать таракана все-таки возможно, хотя и нелѣпо ловить его для того, чтобы молотить ему голову; а перестраивать воспитаніе, не гeredьбавши предварительно основныхъ понятій общества, — нѣтъ даже ни малѣйшей возможности.

Само собой разумѣется, что со временемъ послѣдовательный реализмъ, то-есть строго-научный и совершенно трезвый взглядъ на природу, на человѣка и на общество, силой своей общественной разумности одержитъ неперемѣнно рѣшительную побѣду надъ всѣми произвольными построениями праздной фантазіи. Фантастическій элементъ, вытѣсненный изъ жизни и міросозерцанія общества, конечно не удержится и въ школѣ. Система воспитанія сложится по тому-же принципу, которымъ будутъ проникнуты всѣ остальные отправления общественной жизни. Къ такому порядку вещей идетъ вся образованная Европа; вслѣдъ за нашими европейскими учителями, мы также волей или неволей тянемся къ тому-же самому результату, по извѣстной пословицѣ: «куда конь съ коньтономъ, туда и ракъ съ клешней». Этотъ окончательный результатъ неизбеженъ, но мы придемъ къ нему еще не очень скоро. Невѣжество, умственная робость, неповоротливость и вялость нашихъ такъ называемыхъ образованныхъ соотечественниковъ окружаютъ насъ со всѣхъ сторонъ такими непроницаемыми дѣвственными лѣсами, въ которыхъ могутъ гнѣздиться совершенно безпрепятственно втеченіи цѣлаго столѣтія всевозможныя фантастическія нелѣпости. При существованіи этихъ нетронутыхъ лѣсовъ, въ которые не заглядывалъ до сихъ поръ ни одинъ лучъ строго-научнаго, положительнаго мышленія, нечего и думать о томъ, чтобы проводить въ общественное воспитаніе принципъ послѣдовательнаго реализма. Еслибы даже само правительство, при всѣхъ своихъ громадныхъ средствахъ дѣйствовать на общество, взялось за эту задачу, то и тогда задача оказалась бы неразрѣшимой. Попавши въ наши учебныя за-

веденія, послѣдовательный реализмъ быстро привялъ-бы въ себя такое множество нереальныхъ ингредиентов самаго сомнительнаго достоинства, что въ общемъ итогѣ получилась-бы такая-жъ бессмысленная смѣсь *французскаго съ нижегородскимъ*, какая господствовала въ свѣтскихъ манерахъ высшаго общества «временъ Очакова и покоренья Крыма». Второстепенныя и третестепенныя исполнители реальнѣйшихъ предписаній оказались-бы въ большей части случаевъ такъ-же хорошо приготовленными къ своей новой роли, какъ хорошо приготовлены чины земской полиціи къ собиранію статистическихъ матеріаловъ и къ засѣданію въ статистическихъ международныхъ конгрессахъ. Нѣтъ въ виду эти печальныя истины, въ которыхъ могутъ сомнѣваться только очень наивные оптимисты, «Русское Слово», какъ извѣстно нашимъ читателямъ, созерцало съ невозмутимымъ равнодушіемъ великую и славную борьбу нашихъ классиковъ съ нашими такъ называемыми реалистами, которыхъ «Русское Слово», по правдѣ сказать, даже и не признаетъ за настоящихъ реалистовъ. Втеченіи послѣднихъ трехъ лѣтъ, когда эта борьба находилась въ самомъ разгарѣ, «Русское Слово» всего только два раза коснулось вопроса о нашемъ общественномъ образованіи: въ первый разъ въ 1863 году — посредствомъ статьи «Наша университетская наука»; во второй разъ въ 1865 году — посредствомъ статьи «Педагогическіе софизмы». Обѣ эти статьи держатся на чисто отрицательной точкѣ зрѣнія и посвящены систематическому разоблаченію педагогическаго шарлатанства и доморощенной бездарности. Обѣ клонятся не къ тому, чтобы исправить существующіе недостатки — такая наивная претензія заключала-бы въ себѣ слишкомъ много младенческой неопытности и самонадѣянности, — а къ тому, чтобы предостеречь отъ этихъ недостатковъ тѣхъ юныхъ и довѣрчивыхъ людей, которые способны восхищаться шарлатанами и благоговѣть передъ бездарностями.

Еще въ 1863 году «Русское Слово» выразило очень опредѣленнымъ образомъ то мнѣніе, что наши учебныя заведенія очень плохи и очень долго останутся еще въ своемъ неудовлетворительномъ положеніи, потому что ихъ недостатки зависятъ не отъ какихъ-нибудь частныхъ несовершенствъ гимназическаго устава, а отъ невѣрности того основнаго понятія, которое общество составляетъ себѣ о цѣли общаго образованія. Въ послѣдніе два года это основное понятіе не могло измѣниться, и дѣйствительно насколько не измѣнилось. Поэтому и «Русское Слово» естественнымъ образомъ остается при своемъ прежнемъ убѣжденіи. Нисколько не чувствуя классицизму, мы однако нисколько не сокрушаемся о томъ, что гимназическій уставъ рѣшилъ вопросъ о нашемъ общественномъ обра-

зованіи въ пользу классическихъ гимназій. Если бы вопросъ былъ рѣшенъ въ пользу реальныхъ гимназій, то эти гимназіи во всякомъ случаѣ были бы реальными только по своему названію, и ихъ реализмъ могъ бы показаться вполне удовлетворительнымъ только для скромныхъ и невзыскательныхъ публицистовъ «Голоса». Намъ такой реализмъ нисколько не прельщаетъ; а такъ какъ реализмъ болѣе чистой пробы долго еще не проникнетъ въ наши школы, то мы считаемъ совершенно лишнимъ дѣломъ ратовать противъ неизбежнаго хода вещей, который можетъ быть исправленъ только дѣйствіемъ и добросовѣстной работой мысли, направленной не на спеціальны педагогическій вопросъ, а на общіе вопросы общественнаго міросозерцанія. Намъ очень жаль, что наша учащаяся молодежь можетъ тратить, пожалуй, непроизводительнымъ образомъ значительную часть того времени, которое она проводитъ въ школѣ или употребляетъ на заучиваніе уроковъ. Но съ этой тратой времени мы готовы помириться. Мы видимъ и знаемъ, что очень многіе молодые люди по окончаніи полнаго учебнаго курса принимаютъ очень серьезно за свое самообразование, начинаютъ свою работу, если не съ азбуки, то во всякомъ случаѣ съ ариметики, и, благодаря усиленнымъ трудамъ, успѣваютъ дѣлаться мыслящими людьми, послѣдовательными реалистами и полезными гражданами. Значитъ, заплативши въ своемъ отрочествѣ и въ своей первой молодости тяжелую дань неразвитому обществу, то-есть, истративъ лѣтъ десять на безполезныя учебныя занятія, человекъ еще сохраняетъ въ себѣ достаточное количество энергіи и умственной свѣжести на то, чтобы выработать себѣ самостоятельныя понятія о жизни. Значитъ, школа не убива въ человекѣ ни здраваго смысла, ни любознательности, ни трудолюбія. И за то спасибо. За неимѣніемъ лучшаго, и въ ожиданіи этого лучшаго съ существующими школами можно совершенно помириться на слѣдующемъ простомъ и скромномъ условіи: пусть школа поглощаетъ время воспитанниковъ, не давая имъ за это время прямо полезныхъ знаній, но пусть она по крайней мѣрѣ не посягаетъ на ихъ здоровье. — Неприкосновенность здоровья—вотъ, по моему мнѣнію, то единственное условіе, на исполненіи котораго есть возможность настаивать въ настоящее время, имѣя дѣло съ нашими учебными заведеніями. Пожалуй, можно было бы придумать очень много другихъ требованій, но на-вѣрное можно сказать, что большая часть ихъ при нѣмнѣшнихъ обстоятельствахъ можетъ остаться неисполнимой.

Вы смущены, мой читатель, и быть можетъ даже разсержены. *Неприкосновенность здоровья*—это требованіе до такой степени кротко и скромно, что вы даже никакъ не рѣшаетесь принять его за чистую монету. Въ моихъ кроткихъ и

скромныхъ словахъ вы подозреваете или дерзкую насмѣшку, или отчаянный парадоксъ, или вообще какую-нибудь затаенную пакость. Развѣ, размышляете вы съ негодованіемъ, теле-решнія школы посягаютъ на здоровье воспитанниковъ? И съ какой-же стати, продолжаете вы, ставить такое требованіе, которое и безъ того исполняется всѣми школами безъ исключеній? Нѣтъ, рѣшаете вы, это не спроста. Тутъ что-нибудь да не такъ. Навѣрное тутъ какой-нибудь «крокодилъ на дѣй лежить»^{*)}.

Успокойтесь, читатель. Въ требованіи моемъ нѣтъ никакихъ злокачественныхъ фокусовъ, и требованіе это къ сожалѣнію не можетъ считаться анахронизмомъ не только у насъ, но даже и въ западной Европѣ. Выдвигая это требованіе на первый планъ, я повторяю только слова европейскихъ медиковъ. Мало того: на-пирая на эту мысль, я поддерживаю такіа мнѣнія, которыя очень опредѣленнымъ образомъ были выражены даже въ нашей литературѣ, по которыя, по непростительной небрежности нашихъ толстыхъ журналовъ и ежедневныхъ газетъ, были оставлены до сихъ поръ безъ вниманія всѣми наиболѣе распространенными органами нашей печати. «Давно уже,—пишутъ въ «Учителѣ»,—замѣченъ тотъ фактъ, что школы имѣютъ на дѣтей особенное вліяніе, рѣзче выказывающееся въ физическомъ отношеніи. Вліяніе это выражается въ томъ, что прежняя свѣжесть, бодрость и цвѣтущее здоровье дѣтей смѣняются вялостью, истомленностью и болѣзненностью. Нѣкоторыя даже перестаютъ расти; большинство теряетъ свою прежнюю беззаботную веселость и смотритъ какъ-то угрюмо и боязливо. Вліяніе это нерѣдко отражается и въ умственномъ отношеніи: дѣти тупѣютъ, теряютъ прежнюю даровитость и взамѣнъ ея приобретаютъ какую-то болѣзненную нервную раздражительность, признаковъ слабосилія. Поэтому не совсѣмъ неправы тѣ, которые говорятъ о вырожденіи человѣческаго рода подъ губительнымъ вліяніемъ школы и воспитанія.» («Учитель». 1865 г. № 9, стр. 316.)

Картина нарисована чрезвычайно вѣрно. Она пугаетъ насъ, когда мы встречаемся съ ней въ книгѣ; но къ сожалѣнію въ дѣйствительной жизни мы такъ приглядѣлись къ ея уродливымъ подробностямъ, что почти совершенно потеряли способность чувствовать и понимать ея глубокую и возмутительную ненормальность. Случается очень часто, что рѣзвый и веселый ребенокъ, помѣщенный въ учебное заведеніе, случается, тоскуетъ и плачетъ въ продолженіи нѣсколькихъ недѣль послѣ своего поступленія. Мы находимъ съ свойственнымъ намъ философскимъ глубокомысліемъ, что эта продолжительная грусть, противорѣчащая всему основному

*) Стихъ Батюшкова.

характеру живого субъекта, совершенно естественно; мы говоримъ, что иначе и быть не можетъ, что ребенокъ тоскуетъ о своихъ родителяхъ, о своихъ ребяческихъ забавахъ, о всей обстановкѣ своей домашней жизни, съ которой ему во всякомъ случаѣ необходимо разстаться рано или поздно. Мы соображаемъ кромѣ того, что ребенокъ лѣнится, и что вслѣдствіе этого на его преступныя слезы не должно обращать ни малѣйшаго вниманія. Во время нашихъ глубокомысленныхъ соображеній насъ нисколько не смущаетъ то обстоятельство, что ребенокъ не былъ лѣнивъ въ родительскомъ домѣ, и что учебное заведеніе, приводящее ребенка въ соприкосновеніе съ дѣтьми его лѣтъ, должно было-бы, при нормальныхъ условіяхъ, пробуждать въ ребенкѣ соревнованіе, вмѣсто того чтобы погружать его въ пассивную апатію. Философствуя о похвальныхъ или предосудительныхъ причинахъ дѣтскихъ слезъ, мы также не задаемъ себѣ вопроса о томъ, естественна-ли со стороны ребенка упорная и продолжительная грусть, и можетъ-ли здоровый ребенокъ оставаться въ продолженіи нѣсколькихъ недѣль печальнымъ и неутѣшнымъ въ томъ случаѣ, если новая обстановка его жизни не причиняетъ ему тяжелыхъ ощущеній, постоянно и ежеминутно подновляющихъ въ немъ воспоминаніе о сдѣланной утратѣ. Само собой разумѣется, что наши глубокомысленныя соображенія не находятъ себѣ никакого отпора; на всѣ наши назидательныя внушенія ребенокъ отвѣчаетъ намъ молчаніемъ или слезами; этотъ послѣдній языкъ достаточно краснорѣчивъ, но краснорѣчивъ только для того, кто умѣетъ или желаетъ его понимать. Болѣе обстоятельныхъ объясненій мы не дождемся и не вправе требовать отъ ребенка. Во-первыхъ, ребенокъ не способенъ анализировать свои ощущенія; онъ чувствуетъ вообще, что ему скверно жить на свѣтѣ; но изъ какихъ отдѣльных частей складывается этотъ скверный итогъ, этого онъ, разумѣется, не знаетъ. Во-вторыхъ, ребенокъ видитъ очень хорошо, что мы относимся къ его страданіямъ недовѣрчиво и недоброжелательно, потому что усматриваемъ въ этихъ страданіяхъ симптомы его порочныхъ наклонностей къ праздности, знаменитой матери всѣхъ пороковъ. — Вслѣдствіе этого ребенокъ, разумѣется, старается отдѣлаться отъ нашихъ распросовъ, которые, какъ ему извѣстно по горькому опыту, не приводятъ за собой ничего, кромѣ утомительныхъ нравоученій и обидныхъ упрековъ. Наконецъ въ-третьихъ, еслибы намъ удалось возбудить въ ребенкѣ откровенность, которую мы систематически подавляемъ въ немъ нашими глупо-скептическими взглядами на его огорченія, и еслибы сверхъ того у ребенка достало ума описать намъ подробно все, что онъ чувствуетъ, то и тогда наше постыдное невѣжество помѣшало-бы намъ извлечь изъ откровеннаго

признанія несчастнаго ребенка какую-бы то ни было пользу. Ребенокъ объяснилъ-бы намъ, что ему по утрамъ ужасно хочется спать, что его утомляютъ уроки, что безконечное сидѣніе въ классѣ наводитъ на него тоску, что ему хотѣлось-бы побѣгать и поиграть.

Спрашивается, какое заключеніе вывели-бы мы изъ этихъ словъ маленькаго страдальца? — Разумѣется, мы немедленно отдали-бы должную дань почтительнаго удивленія нашей собственной необыкновенной проницательности. Такъ и есть, сказали-бы мы; мы такъ и знали заранѣе. Ты, мальчуганъ, просто лѣнивъ, и это съ твоей стороны весьма непохвально. — Затѣмъ полились-бы изъ нашихъ устъ нравоученія и упреки, которые по всей вѣроятности внушили-бы безответной жертвѣ нашего краснорѣчія сильнѣйшее желаніе исправиться навсегда отъ неумѣстной откровенности со взрослыми.

Въ естественныхъ требованіяхъ дѣтскаго организма, по нашему остроумію и по совершенному отсутствію самыхъ элементарныхъ фیزیологическихъ познаній, мы видимъ обыкновенно порочныя наклонности, съ которыми необходимо вести упорную, истребительную войну. Дѣйствительно, эта курьезная война ведется неутомимо и добросовѣстно; въ большей части случаевъ наши воинственныя усилія увѣнчиваются полнымъ успѣхомъ, потому что обезсилить, изломать и изуродовать нѣжный организмъ ребенка вовсе не трудно. Но, — странное дѣло! — наша блистательная побѣда надъ дѣтскимъ организмомъ нисколько не удовлетворяетъ и не радуетъ насъ. Созерцая прямые результаты нашихъ систематическихъ трудовъ, мы даже вовсе не замѣчаемъ того, что мы дѣйствительно одержали побѣду; напротивъ того, мы въ подобныхъ случаяхъ готовы даже признать себя побѣжденными. Когда мы смотримъ на слабого, блѣднаго, вялаго и притупленнаго юношу, мы имѣемъ полное право сказать съ законной гордостью: вотъ дѣло рукъ нашихъ. Мы заставляли его учиться, когда ему хотѣлось спать; мы заставляли его сидѣть на мѣстѣ, когда ему хотѣлось бѣгать; мы держали его въ четырехъ стѣнахъ, когда ему необходимо было дышать чистымъ воздухомъ; мы мужественно боролись со всѣми естественными стремленіями этого строптивого организма и, какъ видите, мы достигли того, что этотъ организмъ, утративъ всю свою строптивость, въ настоящую минуту не стремится рѣшительно ни къ чему.

Вотъ что мы имѣемъ право сказать; но обыкновенно мы говоримъ совсѣмъ не то. Почти всегда мы чувствуемъ себя чѣмъ-то обиженными; мы думаемъ и говоримъ, что получилось совсѣмъ не то, чего мы желали; намъ кажется, что какой-то враждебный и неумолимый рокъ уничтожилъ всѣ плоды нашихъ усилій; мы погружаемся въ сентиментальную задумчивость, произносимъ какой-нибудь бессмысленно-покорный афо-

ризмъ и потомъ, не вынеся изъ полученнаго результата никакого практическаго урока для будущаго, съ удвоеннымъ усердіемъ принимаемя истреблять порочныя наклонности слѣдующаго поколѣнія, которое также имѣетъ дерзость ненавидѣть длинныя уроки и любить крѣпкій сонъ, веселую бѣготню и чистый воздухъ.

«Педагоги, — говоритъ «Учитель», — болѣею частью пропитанные неизлечимымъ спиритуализмомъ, видѣли въ ученикѣ только духъ; а вѣдь духъ, — говорили они, — безконеченъ; онъ неисчислимы въ своихъ силахъ; устаютъ только тѣло, а тѣло что такое? тѣло просто дрянь, не стоящая вниманія. На этомъ основаніи почтенныя педагоги считали священной обязанностию своей безпрестанно понукать, подгонять и подстрекать ученика, не давая ему времени на отдыхъ; самая мысль объ отдыхѣ почиталась чѣмъ-то постыднымъ, какъ недостойная духа». (№ 9, стр. 316.)

Если исходная точка понукательной системы заключается въ спиритуализмъ, то надо будетъ сознаться, что спиритуализмъ *почтенныхъ педагоговъ* никакъ не выдержитъ сравненія съ спиритуализмомъ ломовыхъ извозчиковъ. Эта послѣдняя категорія граждан заходитъ въ своемъ спиритуализмѣ такъ далеко, что даже безсловесной твари примѣняетъ педагогическое ученіе о неисчислимыхъ силахъ духа и дряни тѣла. Эти крайніе спиритуалисты также считаютъ своей обязанностию безпрестанно *подстрекать* своихъ четвероногихъ учениковъ, смотря по обстоятельствамъ, то сапогомъ по мордѣ, то веревочными возжами по спинѣ. Такъ какъ не можетъ быть сомнѣнія въ томъ, что общій уровень образованія въ средѣ ломовыхъ извозчиковъ стоитъ даже еще ниже, чѣмъ въ средѣ *почтенныхъ педагоговъ* понукательной школы, то не трудно будетъ додуматься до того заключенія, что необузданный спиритуализмъ составляетъ естественный и неизбежный продуктъ глубокаго невѣжества. Чѣмъ глубже невѣжество, тѣмъ чище и самоувѣреннѣе спиритуализмъ. Можно, разумеется, умозаключать столь-же безошибочно и наоборотъ: чѣмъ чище и самоувѣреннѣе спиритуализмъ, тѣмъ глубже невѣжество. Кто желаетъ повѣрить это правило на отдѣльных примѣрахъ, тому я предлагаю заняться изученіемъ нашихъ великихъ спиритуалистовъ, гг. Николая Соловьева, Каткова, Аверкіева, Юркевича, Страхова, Incognito *), Косяцы и многихъ другихъ, имъ подобныхъ, ученыхъ мыслителей.

Понукательная система, выработанная вѣковой дѣятельностью педагогическаго *спиритуализма*, пустила такіе глубокіе корни во всѣ отрасли общественнаго преподаванія, что уничтожить эту систему могутъ только самыя радикальныя реформы, далеко превышающія силу

единичныхъ дѣятелей педагогическаго міра. Вредное вліяніе школы на здоровье воспитанниковъ обуславливается не излишней строгостью начальствующихъ лицъ, не придирчивостью отдѣльных учителей или надзирателей, не частными и мелкими злоупотребленіями недобросовѣстныхъ экономовъ. Это все — второстепенныя неудобства; это — произвольныя отклоненія отъ основнаго принципа, — отклоненія, за которыя отвѣтственность падаетъ на отдѣльныя личности нарушителей, и которыя будутъ постоянно становиться болѣе рѣдкими и случайными, по мѣрѣ того, какъ общество будетъ обращать больше и больше вниманія на свои собственные интересы. Героическій періодъ кровопролитнаго свѣщенія, педагогическихъ зуботычинъ, непопеленныхъ дуртуаровъ и гнилой пищи очевидно приходитъ и быть-можетъ даже пришелъ къ концу. Но остается другой источникъ вреднаго вліянія, — источникъ, гораздо болѣе глубокой, который никакъ не можетъ изсякнуть самъ собой, и передъ которымъ окажутся бессильными самыя блестящія умственныя качества и самыя трогательныя нравственныя совершенства новѣйшихъ педагоговъ, не увлекающихся *спиритуализмомъ* ломовыхъ извозчиковъ. Ни учитель, ни инспекторъ, ни директоръ не могутъ измѣнять основной программы заведенія: число учебныхъ часовъ для нихъ неперикосновенно; а это число чрезмѣрно велико и совершенно несообразно съ физическими и умственными силами малолѣтнихъ учениковъ. «Стоитъ только взглянуть, — говоритъ «Учитель», — на недѣльную роспись учебныхъ часовъ любого учебнаго заведенія нашего времени, чтобы убѣдиться, что педагоги далеко еще не отстали отъ своей привычки гнать учениковъ, какъ почтовыхъ лошадей. Эта недѣльная роспись для семи классовъ какой-нибудь гимназіи представила-бы намъ сверхъ того много еще другихъ любопытныхъ вещей. Такъ напр., наши педагоги воображаютъ, что въ этомъ отношеніи нѣтъ никакой разницы между одиннадцатилѣтнимъ мальчикомъ и семнадцатилѣтнимъ юношей, и что отъ одного можно требовать столь-же продолжительнаго умственнаго напряженія, какъ и отъ другого. Четыре часа въ сутки (по моему разсчету выходитъ больше: отъ 9 до 2½ — пять съ половиною часовъ; полчаса уходитъ на завтракъ, отъ 12 до 12½; итого остается на классныя занятія *пять часовъ*) на классныя занятія положено одинаково во всѣхъ семи классахъ нашихъ гимназій, какъ въ первомъ, такъ и въ послѣднемъ, т. е. въ седьмомъ. Вѣроятно тѣ, которые составляли программу классныхъ занятій, руководились здѣсь началомъ симметріи. Для учениковъ седьмого класса, то-есть для молодыхъ людей лѣтъ 17 и 18, разсуждали они, насколько не тяжело будетъ просидѣть въ классѣ какіе-нибудь четыре часа въ день (причемъ имъ приходило въ голову, что люди въ разныхъ кан-

*) Заринъ.

цезаріяхъ сидятъ и больше). А если такъ, то необходимо и для всѣхъ другихъ классовъ назначить столько-же: иначе выйдетъ разнокалиберщина, путаница; а главное—такъ на бумагѣ выходитъ какъ-то красивѣе, аккуратнѣе, когда во всѣхъ классахъ одинаковое число уроковъ. Но по настоящему слѣдовало-бы разсуждать совсѣмъ иначе, именно вотъ какъ: если я для перваго класса, то есть для дѣтей 11 лѣтъ, кладу въ день 4 часа на занятія, то сколько же придется положить для взрослыхъ, 17-лѣтнихъ юношей седьмого класса? По крайней мѣрѣ 16 часовъ. А сколько придется назначить часовъ на слушаніе лекцій студентамъ, —людямъ, въ которыхъ еще болѣе предполагается силы выдерживать продолжительное умственное напряженіе? Уже никакъ не меньше 24 часовъ въ сутки. Дойдя до этого, можно-бы было убѣдиться, какъ неудобно назначать 4 часа въ сутки на классныя занятія, и что кромѣ того у тѣхъ-же дѣтей бывають каждый день занятія внѣ класса (то-есть приготовленіе уроковъ), которыя и отнимають у нихъ почти цѣлый день. Тутъ мы ужъ окончательно падаемъ ницъ передъ нашей педагогической практикой, ибо совершенно не понимаемъ ея. Какъ? До поступленія въ училище дитя ничему не учится, или учится, какъ извѣстно, очень мало; и вдругъ, поступивъ въ школу, оно должно цѣлый день сидѣть за книгою!! Гдѣ-же тутъ знаніе дѣла, за которое берутся педагоги-практики??» («Учитель», № 9, стр. 317 и 318.)

Еслибы русскіе журналисты сколько-нибудь понимали свои обязанности въ отношеніи къ русскому обществу, они непременно удостоили-бы этотъ фактъ своего вниманія. Но нашимъ пишущимъ и печатающимъ *спиритуалистамъ* нѣкогда заниматься такимъ ничтожнымъ предметомъ, какъ здоровье подрастающихъ поколѣній. Имъ, этимъ великимъ *спиритуалистамъ*, надо подавать законодательной власти драгоценныя совѣты на счетъ особаго представительства крупной поземельной собственности; имъ надо воевать за русскую народность, которую безъ нихъ непременно обидѣли-бы полтора рижскіе булочника и три съ половиной ревельскіе башмачники; имъ надо собирать сплетни всѣхъ уѣздныхъ старухъ о причинѣ частыхъ пожаровъ; имъ надо прислушиваться, не заговорилъ ли какой-нибудь обыватель Черниговской или Полтавской губерніи на малороссійскомъ нарѣчій. При такомъ множествѣ разнообразныхъ занятій, достойныхъ трудолюбивой мартышки, наши спиритуалисты, которымъ кромѣ того приходится еще отстаивать чистое искусство и классическую древность, не имѣють, разумѣется, ни малѣйшей возможности сказать родителямъ и опекунамъ серьезное слово о томъ, что подрываетъ и губитъ несложившіяся силы ихъ дѣтей и питомцевъ.

III.

Извѣстно, что лучшіе изъ современныхъ медиковъ неавидятъ медицину въ узкомъ смыслѣ этого слова; они чувствуютъ глубокое недовѣріе къ разнымъ деконтамъ, микстурамъ, пилуламъ и всякимъ другимъ героическимъ средствамъ такъ-называемой латинской кухни; они полагають, что леченіе во всякомъ случаѣ составляетъ зло, и что всѣ усилія благоразумнаго человѣка должны направляться не къ тому, чтобы чинить и конопатить свой организмъ, какъ утлую и дырявую ладью, а къ тому, чтобы устроить себѣ такой раціональный образъ жизни, при которомъ организмъ какъ можно рѣже приходилъ-бы въ разстроенное положеніе и слѣдовательно какъ можно рѣже нуждался-бы въ поправкѣ. Гигіена или изученіе тѣхъ условий, которыя необходимы для сохраненія здоровья, пріобрѣтаетъ себѣ въ настоящее время преобладающее значеніе въ глазахъ каждаго мыслящаго и свѣдущаго человѣка. Совершенное игнорированіе гигиены съ каждымъ годомъ становится менѣе возможнымъ для всѣхъ разнообразнѣйшихъ отраслей государственнаго хозяйства. Медики совершенно основательно призываютъ себѣ совѣщательный голосъ во всѣхъ вопросахъ, относящихся до народнаго продовольствія, до производства общественныхъ работъ, до устройства мастерскихъ, фабрикъ и разныхъ другихъ промышленныхъ заведеній. Само собой разумѣется, что и школа не можетъ увернуться изъ подъ контроля медиковъ-гигиенистовъ; зародыши очень многихъ тяжелыхъ, мучительныхъ и отчасти даже неизлечимыхъ болѣзней прививаются къ организму во время дѣтства, отрочества и первой молодости; чтобы разъяснить себѣ причины этихъ болѣзней и чтобы открыть противъ нихъ раціональныя предохранительныя средства, медики очевидно должны были подвергнуть самому тщательному анализу всю жизнь ребенка, отъ самаго его рожденія до его окончательной эманципации изъ подъ власти родителей, опекуновъ, воспитателей и учителей.

Мнѣнія гигиенистовъ на счетъ школьнаго обученія оказались въ высшей степени единодушными. Всѣ свѣдующіе медики безъ исключенія твердятъ въ одинъ голосъ, на просторахъ всей цивилизованной Европы, что заботливые педагоги начинаютъ учить своихъ питомцевъ слишкомъ рано и учатъ ихъ слишкомъ много. Пока эти мысли медиковъ формируются въ общихъ вырженіяхъ, до тѣхъ поръ существуетъ еще нѣкоторая возможность пропускать ихъ мимо ушей и видѣть въ нихъ маловажныя проявленія излишней медицинской мнительности. Но что вы станете говорить тогда, когда медики начнутъ выставлять вамъ статистическіе факты, и когда онъ перечислитъ вамъ по пальцамъ цѣлый рядъ специфическихъ болѣзней, развивающихся именно въ школѣ, именно вълѣдствіе неестественной

продолжительности классных занятий? Что вы скажете, когда медик заговоритъ съ вами объ искривленіи позвоночнаго столба, о школьномъ зобѣ, о хронической головной боли, о періодическомъ кровотеченіи изъ носа, о разстройствѣ пищеваренія, о неизлечимомъ притупленіи всѣхъ умственныхъ способностей?—Чѣмъ отразите вы аргументы медика, когда онъ начнетъ объяснять вамъ процессъ происхожденія и развитія всѣхъ этихъ болѣзней такъ наглядно и осязательно, что вы, профанъ въ анатоміи и въ физиологіи, несмотря на все ваше невѣжество, выкинувъ и вдушавшись въ его объясненія, поймете вполнѣ роковую связь этихъ болѣзней съ тѣми условіями, въ которыхъ вы ставите вашихъ дѣтей и воспитанниковъ?

Угодно вамъ знать напримѣръ, почему продолжительность классныхъ занятій искривляетъ позвоночный хребетъ? Извольте. Докторъ Вильдбергеръ, специально изучившій эти искривленія, немедленно удовлетворитъ вашу любознательность. Когда человекъ сидитъ, тогда онъ не находится въ положеніи полного покоя; туловище его поддерживается въ равновѣсіи мускулами спины, а голова—мускулами затылка; напряженіе тѣхъ и другихъ мускуловъ довольно значительно, и черезъ нѣсколько времени даетъ себя знать ломотой въ спинѣ и въ шеѣ даже взрослому человѣку, которому приходится сидѣть на одномъ мѣстѣ втеченіи трехъ или четырехъ часовъ. Ребенокъ, у котораго кости тонки и мягки, а мускулы слабы, въ этомъ отношеніи, какъ и во всѣхъ другихъ отношеніяхъ, утомляется гораздо скорѣе взрослого. Что же дѣлаетъ утомленный ребенокъ? Онъ или отваливается назадъ, или прислоняется грудью къ столу, или сгорбливается, или кладетъ локоть на столъ и подпираетъ голову рукой. Первый случай сравнительно безвреденъ, но онъ не всегда возможенъ, потому что многіе остроумные педагоги усердно заботятся о сидѣніи на вытяжку, на рочно устраниваютъ скамейки такъ, чтобы ученику не къ чему было прислониться. Такимъ образомъ педагоги, въ простотѣ души своей, насильно заставляютъ несчастнаго ребенка принимать одну изъ тѣхъ позъ, которыя непременно поведутъ за собой вредныя послѣдствія для его здоровья. Прислоняясь грудью къ столу, ребенокъ сдавитъ себѣ грудную кѣтку и разстроитъ себѣ органы дыханія, то-есть наживетъ себѣ грудную боль, одышку, кровохарканіе и можетъ-быть чахотку. Сгорбливаясь, ребенокъ приобретаетъ себѣ сутуловатость; это искривленіе позвоночнаго столба подѣйствуетъ на ребра и, приведя ихъ въ ненормальное положеніе, повредитъ всѣмъ органамъ, лежащимъ въ полости груди и живота. Такъ какъ правая рука почти у всѣхъ людей развита болѣе лѣвой, то, подпирая голову рукой, ребенокъ обыкновенно будетъ *вѣзть на столъ правый локоть и будетъ при*

этомъ выворачивать наружу весь правый бокъ. Волѣдствіе этого получится со временемъ искривленіе позвоночнаго столба въ правую сторону. Вильдбергеръ замѣтилъ, что на *двадцать* случаевъ искривленія позвоночнаго столба въ правую сторону приходится только *одинъ* случай искривленія въ лѣвую сторону, и эти послѣдніе, исключительные случаи встрѣчаются у тѣхъ людей, которые называются *лышми*. Значитъ, искривленіе находится въ тѣсной связи съ тѣми обычными позами, которыя обуславливаются преобладающимъ развитіемъ той или другой руки. Но само-собой разумѣется, что ребенку не предстояло бы ни малѣйшей надобности принимать эти уродующія позы, еслибы усердные педагоги не измучивали его слишкомъ продолжительнымъ сидѣніемъ.

Теперь вы можете-быть желаете узнать, что такое *школьный зобъ*?—Докторъ Гильомъ объяснитъ вамъ, что это—застой крови въ щитовидной железнѣ, находящейся въ нижней части шеи; этотъ застой крови происходитъ отъ продолжительнаго вертикальнаго положенія головы, сопровождаемаго утомленіемъ мускуловъ; эти болѣзни поражаетъ именно тѣхъ учениковъ, которые радуютъ сердца педагоговъ безукоризненнымъ сидѣніемъ на вытяжку; такимъ образомъ ученикамъ представляется пріятная альтернатива: или искривленіе позвоночнаго столба, какъ наказаніе за противозаконныя позы, или школьный зобъ въ видѣ награды за примѣрное повиновеніе всѣмъ законамъ педагогическаго этикета. — Гильомъ производилъ свои наблюденія въ Нефшатель, гдѣ масса народонаселенія вовсе не страдаетъ зобомъ; оказалось, что въ нефшательскомъ Collège municipal изъ 731 ученика 414 успѣли отрастить себѣ очень замѣтные школьные зобы. — Вы скажете можетъ-быть, что въ Россіи ничего не слышно о школьномъ зобѣ; я отвѣчу вамъ, что вы совершенно правы; дѣйствительно ничего не слышно; но я осмѣлюсь предложить вамъ вопросъ: въ какомъ положеніи находится наша медицинская статистика? Существуетъ-ли она? Кажется мнѣ, что объ ней слышно такъ-же мало, какъ и о школьномъ зобѣ. Кромѣ школьнаго зоба, продолжительнаго сидѣнія въ классѣ производятъ еще хроническія головныя боли, происходящія отъ приливовъ крови къ головѣ. Эти приливы крови ведутъ за собой частыя кровотеченія изъ носа, которыя доставляютъ пациенту минутное облегченіе, но которыя во всякомъ случаѣ расслабляютъ его организмъ, и расслабляютъ именно въ то время, когда онъ еще растетъ и слѣдовательно нуждается во всѣхъ своихъ силахъ. Наблюденія Гильома надъ учениками Collège municipal дали ему слѣдующія цифры:

Всѣхъ учениковъ 731.

Искривленій позвоночнаго столба. . . 218
Школьныхъ зобовъ 414

Хроническая головная боль	296
Периодическія кровотеченія	155
Итого болѣзненныхъ случаевъ	1083

Еслибы раздѣлить эти болѣзни поровну между всеми учениками Collège municipal то на каждого пришлось-бы почти полторы болѣзни. Результатъ недуренъ, особенно если принять въ соображеніе, что всѣ эти болѣзни привиты въ дѣтямъ именно господствующей педагогической системой, и, замѣтите, — не злоупотребленіями, не нарушеніями принципа, не небрежностью воспитателей, а именно безукоризненнымъ усердіемъ, примѣрной добросовѣстностью и неусыпной бдительностью. Какъ вы думаете, что сказалъ-бы древній грекъ, еслибы вы привели его въ этотъ великолѣпный расадникъ слѣпыхъ, хромыхъ, калѣкъ и чающихъ движенія воды? — Вообразивши себѣ изумленіе и негодованіе этого древняго грека, вы можете составить себѣ легкое понятіе о томъ, какъ глубоко наши педагоги внимаютъ къ духу той классической древности, которой они начинаютъ головы своихъ изуродованныхъ питомцевъ.

Чтобы положить конецъ этому непростительному поруганію человѣческаго образа, чтобы предохранить образованнѣйшую часть человѣчества отъ неминуемаго вырожденія, докторъ Гейеръ считаетъ необходимымъ обуздать пламенное усердіе педагоговъ слѣдующей нормой учебныхъ занятій:

Для дѣтей отъ 7 до 9 лѣтъ. До обѣда — 2 часа занятій. Послѣ обѣда — ничего.

Для дѣтей отъ 9 до 12 лѣтъ. До обѣда — 3 часа. Послѣ обѣда — ничего.

Отъ 12 до 15 лѣтъ. До обѣда — 3 часа. Послѣ обѣда — 2 часа.

Отъ 15 до 18 лѣтъ. До обѣда — 4 часа. Послѣ обѣда — отъ 3 до 4 часовъ.

Въ это росписаніе, способное привести въ неописанный ужасъ ревностныхъ педагоговъ, включены не только классныя занятія, но и тѣ часы, которые ученики должны употреблять на приготовленіе заданныхъ уроковъ. Такъ какъ приготовленіе уроковъ происходитъ всегда послѣ обѣда, то изъ росписанія Гейера видно, что онъ допускаетъ уроки, только начиная съ 12 лѣтъ, т.-е. только съ третьяго класса нашихъ гимназій. Раньше этого возраста всѣ учебныя занятія должны происходить исключительно въ классѣ подъ руководствомъ самого учителя. Другой специалистъ, докторъ Шреберъ, идетъ въ этомъ отношеніи еще дальше Гейера. Онъ требуетъ, чтобы дѣти до десятилѣтняго возраста учились въ сутки не болѣе 2-хъ часовъ, а послѣ 10 лѣтъ — не болѣе 3-хъ часовъ. Кромѣ того онъ замѣчаетъ, что ни одно дитя, какова-бы возраста оно ни было, не должно сидѣть въ школѣ болѣе двухъ часовъ сряду. По истеченіи двухъ часовъ ученія долженъ непременно и во всякомъ случаѣ слѣдовать антрактъ по крайней мѣрѣ

въ полчаса. Кто желаетъ подробнѣе познакомиться съ идеями и наблюденіями Вильдбергера, Гильома, Гейера и Шребера, тому предлагаю прочитать въ 9, 10 и 11 номерахъ «Учителя» статьи подъ заглавіемъ: «Гигиеническія условія воспитанія».

IV.

Пока вышеозначенные факты лежали тихо и мирно въ брошюрахъ нѣмецкихъ и французскихъ медиковъ, до тѣхъ поръ наши журнальные и газетные мудрецы имѣли полное право не знать о ихъ существованіи. Гдѣ-же въ самомъ дѣлѣ намъ добираться собственнымъ умомъ до спеціальныхъ изслѣдованій? — Когда эти факты перѣбрали изъ французскихъ и нѣмецкихъ брошюръ въ столбцы «Учителя», тогда наши мудрецы все еще не утратили возможности игнорировать и отмалчиваться. — «Учитель» — не что иное, какъ скромный, спеціально-педагогическій журналъ, въ который по всей вѣроятности никогда не заглядываютъ журнальные и газетные исполны, постоянно витающіе въ эмпирияхъ высшихъ политическихъ и полицейскихъ соображеній. Но теперь и перенесъ интересные факты на страницы «Русскаго Слова», и съ этой минуты всякое игнорированіе становится невозможнымъ и бессмысленнымъ. «Русское Слово» одарено такимъ значительнымъ количествомъ пишущихъ и печатающихъ враговъ; оно пользуется такой единодушной и пламенной ненавистью журнальных и газетныхъ мудрецовъ; оно читается этими мудрецами такъ пристально и внимательно, что черезъ недѣлю послѣ выхода каждой новой книжки «Русскаго Слова» всѣ изложенныя въ ней мысли и даже всѣ отдѣльныя выраженія уже сочтены, измѣрены, взвѣшены, обнюханы, прочувствованы и приняты къ свѣдѣнію.

Принимая въ расчетъ это обстоятельство, которое не можетъ подлежать сомнѣнію ни для кого изъ читателей русскихъ журналовъ и газетъ, я могу сказать въ настоящую минуту, что вопросъ о вредномъ влияніи школы на здоровье подрастающихъ поколѣній поставленъ на очередь, и что всѣ тѣ журнальные и газетные дѣтели, которые будутъ теперь попрежнему отвертываться и отмалчиваться отъ этого вопроса, обнаружатъ, передъ лицомъ всей читающей публики свое позорное, вполне сознательное и во всѣхъ отношеніяхъ непростительное равнодушіе къ самымъ важнымъ и существеннымъ интересамъ общества. Въ этомъ вопросѣ нѣтъ мѣста ни для личнаго самолюбія, ни для вражды литературныхъ или какихъ-бы то ни было другихъ партій. Я-ли, другой-ли поддержалъ и воспроизвелъ мысль «Учителя», это рѣшительно все равно; если эта мысль въ настоящее время имѣетъ практическое значеніе, то ея всестороннимъ обсужденіемъ и повсемѣстнымъ распро-

страненіемъ обязанности, положительно *обязаны* заняться всѣ органы русской печати. О борьбѣ противоположныхъ общественныхъ тенденцій здѣсь также не можетъ быть рѣчи. Къ чему-бы вы ни предназначали людей нашихъ подрастающихъ поколѣній, къ какой-бы дѣятельности вы ихъ ни готовили, какія бы различныя понятія вы ни составляли себѣ о ихъ будущихъ чело-вѣческихъ и гражданскихъ обязанностяхъ и интересахъ, — во всякомъ случаѣ вы всѣ, консерваторы и прогрессисты, радикалы и ретрограды, должны желать одинаково сильно, чтобы эти будущіе русскіе люди были здоровыми, свѣжими и сильными людьми. Въ этомъ послѣднемъ пунктѣ разногласіе, кажется, невозможно и немыслимо. Но было бы въ высшей степени смѣшно и нелѣпо надѣяться, что этотъ послѣдній пунктъ уже совершенно обезпеченъ въ настоящее время, или что онъ достанется намъ самъ собой, не требуя съ нашей стороны никакихъ трудовъ и усилій. Мы знаемъ, въ какомъ положеніи находится наша педагогическая практика; мы знаемъ, какъ рѣзко противорѣчитъ она самымъ элементарнымъ началамъ гигиенической науки; мы знаемъ, какіе плоды приноситъ за-границей совершенно такіе-же нарушения гигиеническихъ предписаній; не трудно, кажется, умозаключить, что точно такіе-же плоды постоянно развиваются и ежеминутно созрѣваютъ и у насъ на родинѣ.

Скажите, пожалуйста, что можете вы противопоставить этому неотразимому умозаключенію? Кажется, ровно ничего, кромѣ вашего непомѣрного неумѣства, вашей непробудной апатіи да извѣстной остроумной поговорки: «что русскому здорову, то ибѣнцу смерти». Эта поговорка состоитъ въ самомъ близкомъ родствѣ съ столь-же остроумнымъ изреченіемъ на счетъ закидыванія нашихъ враговъ шашками, которыми однажды оказались, какъ извѣстно, весьма неудовлетворительнымъ оружіемъ въ сравненіи съ цилиндрическими пулями и штычками Манье. Не можетъ быть никакого сомнѣнія въ томъ, что первая поговорка каждый день играетъ съ нами не малочислу такую-же смертельную шутку, какъ вторая поговорка сыграла съ нами гуртомъ во время крымской войны. Чтобы убѣдиться въ этомъ, стоитъ только обратить вниманіе на такіе факты, которые каждому извѣстны и бросаются въ глаза. Подумайте напримѣръ, насколько вы найдете въ высшихъ и среднихъ классахъ общества молодыхъ людей, которые уже въ двадцать или три года не страдали-бы отъ гемороя. Это такое обыкновенное явленіе, что оно даже перестало считаться болѣзью. У насъ и даже у нашихъ индѣевъ составилось убѣжденіе, что геморой есть неизбежное слѣдствіе жарнаго климата. Истинно можетъ быть, что климатъ сѣверной и средней Россіи дѣйствительно предопредѣляетъ челоука къ геморю; но остается сомнѣніе, что разсуждать о инородныхъ

дѣйствіи климата мы имѣли-бы право только въ томъ случаѣ, когда-бы мы съ своей стороны, всѣмъ образомъ нашей жизни, старались-бы противодействовать развитію этой болѣзни. А мы что дѣлаемъ? Мы являемся самыми постоянными и добросовѣстными союзниками того жарнаго климата, на который мы ежеминутно жалуемся и очень часто клеветаемъ. Мы воспитываемъ геморой всевозможными искусственными средствами; мы дѣлѣмъ его и въ нашихъ канцеляріяхъ, и дома за письменнымъ столомъ, и въ гостяхъ за пультами преферанса, и въ оперѣ, и въ балетѣ, и въ концертѣ, за высокими наслажденіями глазъ, ушей и души. Это все еще куда ни шло. Наши канцеляріи необходимы для процвѣтанія государства и для воплощенія идеи справедливости; наши письменные столы облагораживаютъ міръ великими истинами. Пуля преферанса подаетъ поводъ къ гениальнымъ комбинаціямъ и порождаетъ въ душѣ партнеровъ трепетное волненіе; опера, балетъ и концертъ представляютъ собой «нѣкоторую игру облагораживающаго вкуса». Кто способенъ предаваться такимъ возвышеннымъ помысламъ и ощущеніямъ, тому ни почемъ идти на встрѣчу геморю, ибо тотъ способенъ стоически презирать страданія бреннаго тѣла. Но наше усердіе въ воздѣланіи гемороя этимъ не ограничивается. Мы имѣемъ систематическимъ образомъ вводить въ наши школы; мы обрекаемъ на служеніе морю десятилѣтнихъ мальчишекъ, которые, въ своей совершенной незрѣлости, еще не способны заниматься ни воплощеніемъ идеи справедливости, ни гениальными комбинаціями преферанса, ни даже «нѣкоторой игрой облагораживающаго вкуса». Мы насильно тиснемъ этихъ безотѣпныхъ страдальцевъ туда, куда они совсѣмъ не хотѣли идти и куда имъ совсѣмъ не слѣдуетъ идти. И тогда, предъ нами великое множество систематическихъ глупостей надъ собою и надъ нами, въ числѣ съ нами начинаемъ жаловаться на климатъ. А когда знающіе люди говорятъ намъ, что значительная доля этого такъ-называемого климата составляетъ дѣло нашихъ собственныхъ вульгарныхъ рукъ и нашего собственнаго виноватаго ума, тогда мы отпалчиваемся отъ этихъ вѣстныхъ рѣчей или отбѣгаемъ на нихъ съ самодовольной улыбкой, которая вѣрою не обязана своимъ происхожденіемъ истинной климату, что все это — нѣмецкіе теоріи, не имѣющія для нашей русской жизни никакого практическаго значенія.

Мы можемъ имѣть еще другой прилѣвъ: говорите съ любезнѣйшими психiatрами, и вы услышите отъ него, что большинство людей, страдающихъ гемороемъ, съ завидною быстротою увеличивается, какъ въ западной Европѣ, такъ и въ тѣхъ мѣстахъ Россіи, гдѣ существуютъ въ этомъ отношеніи какія-нибудь статистическія записки. Это чрезвычайно замечательно, но свѣ-

ротъ, совершенно несоразимымъ съ ежегодной прибылью народонаселенія. Возрастающая цифра ежегодныхъ самоубійствъ наводитъ также на довольно поучительныя размышленія о крайней неудовлетворительности общеннаго здоровья. Многие медики сильно сожалеютъ въ томъ, чтобы исполнить здоровый чекъ могъ побѣдить въ себѣ чувство самосожженія. Конечно было-бы въ высшей степени справедливо и нелѣпо сваливать на школу всю эту печальную проявленій физической лости. Самая значительная доля отвѣтственности падаетъ, разумѣется, на жизнь, которая за предѣлами школы. Собственно говоря, вся отвѣтственность должна обрушиться на жизнь, потому что школа составляетъ ея пассивный продуктъ; школа не имѣетъ безъ никакого самостоятельнаго значенія, и школо всюкую данную минуту можетъ быть рѣшено обновлена и перестроена во своихъ частяхъ благотворнымъ вліяніемъ живущей жизни. Но какъ пассивный продуктъ, созданный и скрѣпленный дѣйствіемъ ютныхъ житейскихъ обстоятельствъ, школа все-таки изъ году въ годъ вноситъ свою не ничтожную лепту въ общую сокращенію физическаго и умственнаго расслабленности, мускулы и нервы, высота роста и физическая сила, красота и живучесть, смѣлость, селость, умъ и характеръ—все это съеживается, вянетъ, линяетъ и искажается отъ мертвого, притупляющаго, обезцвѣчивающаго и сливающаго прикосновенія теперешней жизни.

Что же дастъ намъ школа взамѣнъ всѣхъ этихъ тяжелыхъ утратъ?—Обширныя знанія? шокое умственное развитіе?—Да гдѣ же она, а широкая и смѣлая умственная дѣятельность? Покажите ее. Вѣдь это не такая незамѣтнелица, которую надо искать днемъ съ огомъ, если она дѣйствительно существуетъ въ юмъ обществѣ. И развѣ-жъ могутъ обширныя и дѣйствительно плодотворныя знанія уложиться въ такомъ мозгу, котораго естественное ровное развитіе нарушено вишнательствомъ укательной педагогики? Развѣ способна къ юкой и упорной умственной дѣятельности ая голова, которая сидитъ на изнеможенномъ овищѣ и ежеминутно страдаетъ то приликомъ, то отливами крови?

Наша школа не можетъ похвалиться громкими именами тѣхъ дѣятелей, которыхъ она до поръ подарила нашему обществу; но если даже наша школа могла доказать, что изъ дой сотни ея бывшихъ учениковъ сформировалось по десяти Ньютоновъ, то весь этотъ рядъ стаящихъ именъ не могъ-бы убѣдить безприостного наблюдателя въ томъ, что наше общественное воспитаніе устроено рационально. ий людей, подобныхъ Ньютону, родится вмѣ-

стѣ съ этими людьми: онъ, разумѣется, зависитъ не отъ школы, а отъ счастливаго стеченія благоприятныхъ условій эмбриологическаго развитія и самаго первоначальнаго, чисто физическаго воспитанія. Но для того, чтобы Ньютонъ дѣйствительно сдѣлался Ньютономъ, то-есть для того, чтобы онъ совершилъ въ области мысли всѣ тѣ великіе подвиги, до которыхъ могъ возвыситься его геній, для этого ему необходимо было имѣть въ своемъ распоряженіи значительную массу времени, то-есть, необходимо было прожить очень долго. Геніальность безъ долговѣчности возбуждаетъ много блестящихъ надеждъ и вслѣдъ затѣмъ еще больше страстныхъ сожалѣній; но она даетъ людямъ мало существенной пользы. Такіе геніи, которые, подобно Паскалю и Бэну, умираютъ въ полномъ цвѣтѣ лѣтъ, не могутъ сдѣлаться великими преобразователями ни въ области знанія, ни въ области общественной жизни. Если-же мы зададимъ себѣ вопросъ: какимъ образомъ дѣйствуетъ школа на долговѣчность своихъ питомцевъ?—то, разумѣется, отвѣтъ получится самый неутѣшительный. Ослабляя здоровье воспитанниковъ, школа конечно сокращаетъ ихъ жизнь, то-есть, во-первыхъ, приближаетъ минуту ихъ смерти, а во-вторыхъ, заставляя ихъ тратить много времени на леченіе различныхъ благопріобрѣтенныхъ немощей, значительно уменьшаетъ то число дней и часовъ, которое можетъ быть употреблено на полезный трудъ или на здоровое наслажденіе жизнью.

Медицинская статистика до сихъ поръ собрала еще немного матеріаловъ, относящихся къ учебнымъ заведеніямъ; но, несмотря на то, въ подтвержденіе моихъ словъ, я могу привести изъ книги Мишеля Леви «*Traité d'hygiène publique et privée*» слѣдующія цифры, заимствованныя этимъ извѣстнымъ гигиенистомъ изъ архивовъ политехнической школы. Втеченіи 1850, 1851 и 1852 годовъ въ политехнической школѣ пребывало 586 воспитанниковъ.—Изъ этого общаго числа лечилось въ лазаретѣ 425 человекъ, то-есть почти 72½ процента.—А нездоровыми чувствовали себя въ продолженіи этихъ трехъ лѣтъ, не имѣя надобности лечиться въ лазаретѣ, 650 человекъ, то-есть—111 процентовъ; или другими словами, всѣ 586 воспитанниковъ прихворнули слегка по одному разу, а человекъ 60 изъ нихъ—даже по два раза. Умершихъ въ теченіи этихъ трехъ лѣтъ оказалось трое. <Такъ какъ гигиеническія условія соблюдены въ политехнической школѣ превосходно,—прибавляетъ Леви,—то эти результаты выражаютъ собой только: во-первыхъ,—влііе индивидуальных особенностей тѣлосложенія у молодыхъ людей, слабыхъ отъ природы или разстроившихъ свои силы предварительными работами; и во-вторыхъ,—влііе школьных занятій.> («*Traité d'hygiène*». Tome II,

р. 874.) Если школьные занятия действуют так сильно даже на взрослых студентов политехнической школы, то не трудно понять, что эти занятия должны действовать еще гораздо разрушительнее на детей, которым воздух и движение необходимы для здоровья и для полного развития физических силъ.

У.

Съ одной стороны, гигиена запрещаетъ школъ обременять дѣтей непосильными учебными занятиями; съ другой стороны, общество совершенно справедливо требуетъ отъ школы, чтобы она выпускала въ жизнь не слуховъ, а образованных и развитыхъ людей, способныхъ и желающихъ сдѣлаться полезными работниками. Школа, разумѣется, обязана мирить требованія общества съ предписаніями гигиены; это—задача очень трудная; но нѣтъ ни малѣйшаго основанія считать эту задачу неисполнимой. До сихъ поръ школа думала только о томъ, чтобы угодить обществу, и вслѣдствіе этого общество было постоянно недоволено школой, которая, увлекаясь порывами своего усердія, постоянно выпускала въ жизнь вялыхъ и дряблыхъ людей, лишенныхъ всякой энергіи и пропитанныхъ глубокимъ отвращеніемъ къ полезному труду. Видя безуспѣшность ея усилій, общество дѣлало школъ строжайшій выговоръ; озадаченная этимъ выговоромъ, школа удваивала свои губительныя старанія, и, разумѣется, результатъ оказывался вдвое хуже прежняго по той простой причинѣ, что гигиеническая сторона воспитательнаго дѣла тѣмъ сильнѣе и рѣшительнѣе отбрасывалась на задній планъ, чѣмъ напряженнѣе становились добросовѣстные усилія заблуждающихся педагоговъ. Этотъ рядъ неудачъ, возроставшихъ вмѣстѣ съ усиліями, доказалъ наконецъ тѣмъ людямъ, которые способны чему-нибудь научиться изъ опыта, что задача воспитанія не допускаетъ одностороннихъ рѣшеній, и что ученникъ, въ которомъ школа старается развить умственные способности въ ущербъ физическому здоровью, оказывается обыкновенно не только болѣзненнымъ человекомъ, но еще кромѣ того очень плохимъ мыслителемъ.

Въ теоріи между современными педагогами не существуетъ уже разногласія насчетъ того пункта, что гигиеническая точка зрѣнія имѣетъ преобладающую важность въ дѣлѣ воспитанія. Но когда дѣло доходитъ до примѣненія теоретическихъ началъ къ жизни, тогда начинаются ежеминутныя отступленія отъ гигиеническихъ правилъ, — отступленія, которыя или извиняются существующими потребностями общества, данными обстоятельствами мѣста и времени, или даже ничѣмъ не извиняются, потому что гигиеническая точка зрѣнія обыкновенно забывается *са тотчасъ послѣ того, какъ ея существенная*

необходимость оказалась прилично оговоренной въ теоретическомъ вступленіи.

Эти нерѣшительныя отношенія педагогичекой гигиены и вообще практической рутинѣ въ разумной теоріи кладутъ свою печать на все устройство современной школы. Слѣды этихъ нерѣшительныхъ отношеній можно найти въ новомъ уставѣ гимназій и прогимназій. Такъ напримѣръ, обязанности гимназическаго врача определяются слѣдующимъ образомъ въ § 36 этого устава. «Обязанности врача, кромѣ пользования воспитанниковъ и постоянной заботливости объ ихъ здоровьѣ, заключаются въ наслѣдствіи: а) чтобы въ гимназію и прогимназію не поступали воспитанники, имѣющіе тѣлесныя недостатки или болѣзни, препятствующіе вступленію въ общественное заведеніе; б) чтобы въ помѣщеніи учебнаго заведенія и въ распредѣленіи времени занятій воспитанниковъ соблюдались по возможности гигиеническія условія, и в) чтобы упражненія воспитанниковъ въ гимнастикѣ соображались съ требованіями правильнаго развитія и укрѣпленія физическихъ силъ юношества. Врачъ обязанъ замѣчанія свои по симъ предметамъ представлять начальству учебнаго заведенія и предъавлять оныя педагогическому совѣту для обсужденія и внесенія въ протоколъ его засѣданій.»

Этотъ параграфъ имѣетъ очевидно чисто-теоретическое значеніе, подобно всѣмъ остальнымъ статьямъ закона, опредѣляющимъ обязанности различныхъ должностныхъ лицъ. Чтобы оцѣнить практическую силу подобныхъ статей, надо посмотрѣть, насколько и какимъ образомъ онѣ приводятся въ исполненіе. Хорошо или дурно гимназическіе врачи будутъ исполнять свои обязанности—этого, разумѣется, никто не можетъ знать заранее; это такой вопросъ, котораго рѣшеніе всегда будетъ зависѣть въ очень значительной степени отъ личныхъ особенностей того или другого врача; но, совершенно оставляя въ сторонѣ личныя особенности будущихъ исполнителей, мы на основаніи текста самого устава можемъ высказать то предположеніе, что § 36 врядъ-ли гдѣ-нибудь и когда-нибудь будетъ исполняться совершенно удовлетворительно. Мы заглядываемъ въ штаты гимназій и прогимназій и находимъ тамъ, что врачу полагается 300 рублей годового содержанія. Эта цифра доказываетъ очевидно, что законъ обязываетъ гимназическаго врача заниматься посторонней практикой и изъ этой практики извлекать себѣ самую значительную часть своего годового дохода. Можно сказать навѣрное, что порядочный медикъ, живущій въ столицѣ или въ губернскомъ городѣ, захочетъ получать въ годъ по меньшей мѣрѣ — 1500 рублей. Слѣдовательно, къ 300 рублямъ, получаемымъ изъ гимназій, ему придется еще присоединить 1200 рублей изъ различныхъ постороннихъ источни-

ковъ; а чтобы заработать эти 1200 рублей практикой, ему надо будетъ втеченіи года сдѣлать не мѣнѣе 400 визитовъ. Кромѣ того порядочный медикъ долженъ непремѣнно употреблять очень много времени на серьезное чтеніе для того, чтобы постоянно слѣдить за быстрыми успѣхами различныхъ медицинскихъ наукъ. При такихъ условіяхъ гимназическій врачъ, имѣющій на рукахъ значительную городскую практику, будетъ, разумѣется, заглядывать въ гимназію въ видѣ любезнаго гостя, и *постоянная заботливость* о здоровьи воспитанниковъ, которую вмѣняетъ ему въ обязанность буква устава, будетъ существовать только на бумагѣ. При такихъ условіяхъ врачъ конечно не сдѣлается регуляторомъ всей внутренней жизни учебнаго заведенія; врачъ останется тѣмъ, чѣмъ онъ былъ до сихъ поръ: онъ будетъ щупать пульсы, осматривать бѣлые языки и прописывать микстуры и промывательныя; собственно гигиеническое его значеніе едва-ли можетъ сдѣлаться полнымъ; нахвѣтъ на это послѣднее обстоятельство мы видимъ даже въ томъ самомъ 36-мъ параграфѣ, который опредѣляетъ обязанности врача. Мы читаемъ въ этомъ параграфѣ: «б) чтобы въ помѣщеніи учебнаго заведенія и въ распредѣленіи времени занятій воспитанниковъ соблюдились по возможности гигиеническія условія».

Слова *по возможности* составляютъ чрезвычайно сильное и выразительное ограниченіе. Законъ не знаетъ и не допускаетъ такихъ ограниченій въ тѣхъ случаяхъ, когда онъ признаетъ необходимымъ то или другое распоряженіе. Законъ не говоритъ напрямикъ, что виновные въ такомъ-то проступкѣ сажаются *по возможности* подъ арестъ; онъ просто приказываетъ сажать ихъ подъ арестъ непремѣнный, потому что тутъ не можетъ быть и не предполагается никакихъ невозможностей; значить, если въ дѣлѣ гигиеническихъ соображеній употреблена оговорка «*по возможности*», то ее слѣдуетъ понимать въ томъ смыслѣ, что гигиеническая точка зрѣнія считается умѣстной только тогда, когда она не противорѣчитъ педагогическимъ или хозяйственнымъ, или вообще какимъ-нибудь другимъ, высшимъ и болѣе важнымъ разсчетамъ. Эта ограничительная оговорка даетъ директору гимназіи вѣрнѣйшее средство довести врача до молчанія всякій разъ, какъ только замѣчанія врача покажутся ему почему-нибудь несприятными или неумѣстными. Врачъ говоритъ директору: «въ такомъ-то дортуарѣ не соблюдаются гигиеническія условія». — «Милостивый государь, — отвѣчаетъ ему директоръ, — они соблюдаются *по возможности*. Стало-быть, по закону мы съ вами оба правы: вы правы потому, что замѣтили существующій недостатокъ, а я — потому, что соблюдаю гигиеническія условія... не вполне, но *по возможности*». Въ *распредѣленіи времени занятій воспитанниковъ* врачъ по всей вѣроятности совѣтъ не

будетъ вмѣшиваться. Если этотъ врачъ одаренъ кротостью нрава и придерживается похвального правила: отъ дѣла не бѣгай, а дѣла не дѣлай, то онъ будетъ ограничиваться смотрѣніемъ бѣлыхъ языковъ во избѣжаніе всякихъ несприятныхъ столкновеній съ педагогическими властями. Если же онъ дѣйствительно знаетъ и любитъ свое дѣло, то онъ также не будетъ ни во что вмѣшиваться, потому что увидитъ точнось свое совершенное безсиліе. Онъ увидитъ, что уроковъ слишкомъ много, что число ихъ непрекословенно не только для него, но даже и для директора, и что слѣдовательно какъ ихъ ни распредѣлай, а все-таки будетъ чрезъчуръ много, и правила гигиены все-таки окажутся нарушенными. Размысливъ такимъ образомъ, несчастный врачъ вздохнетъ, похмелетъ плечами и поневолѣ примется каждый день чинить аптечными снадобьями молодые организмы, которые каждый день будутъ скрипеть и расклевываться.

Вліяніе врача на гимнастическія упражненія воспитанниковъ конечно могло-бы принести очень много пользы, еслибы врачъ былъ въ состояніи изучать внимательно индивидуальную организацію каждаго отдѣльнаго воспитанника, и еслибы онъ имѣлъ возможность присутствовать каждый день при гимнастическихъ упражненіяхъ. Тогда врачъ назначилъ-бы каждому воспитаннику такой комплектъ гимнастическихъ движеній, который совершенно соответствовалъ-бы его тѣлосложенію и въ должныхъ размѣрахъ упражнялъ и развивалъ-бы его силы по всѣмъ направленіямъ. Тогда врачъ могъ-бы подмѣтить въ самомъ зародышѣ всякую ненормальность тѣлосложенія и могъ-бы совершенно успѣшно противодействовать развитію этой ненормальности цѣлесообразнымъ устройствомъ гимнастическихъ упражненій. Но такъ какъ врачу очевидно нѣкогда будетъ заниматься специальнымъ изученіемъ гимназистовъ, то, разумѣется, его вліяніе на гимнастику ограничится тѣмъ, что онъ посоветуетъ въ общихъ выраженіяхъ учителю этого предмета избѣгать такихъ движеній, при которыхъ воспитанники могутъ переломать себѣ руки и ноги или свихнуть себѣ шею. Кромѣ того гимнастика не можетъ имѣть серьезнаго вліянія на здоровье воспитанниковъ уже и потому, что она не обязательна. Къ § 40 присоединено въ уставѣ слѣдующее примѣчаніе: «къ числу учебныхъ предметовъ принадлежатъ также пѣніе и гимнастика для желающихъ». Гимнастика поставлена такимъ образомъ на одну доску съ пѣніемъ, которое предполагаетъ въ учащемся присутствіе особеннаго таланта, которое не можетъ имѣть никакого серьезнаго гигиеническаго значенія и которое слѣдовательно никакъ не можетъ считаться необходимымъ для всѣхъ. Приведенное мною примѣчаніе позволяетъ уклоняться отъ гимнастики всѣмъ тѣмъ вос-

питанникамъ, которые, обладая флегматическимъ тѣлосложеніемъ, чувствуютъ расположеніе къ сидячей жизни и непремѣнно превратятся въ 25-ти-лѣтнему возрасту въ Обломовыхъ, если только раціональное физическое воспитаніе не будетъ сильно и постоянно противодѣйствовать развитію ихъ вѣстистическихъ наклонностей. Мы видимъ такимъ образомъ, что въ теоріи новый уставъ выражаетъ очень строгія гигиеническія требованія, но что въ практическихъ подробностяхъ того-же устава гигиена по прежнему занимаетъ очень скромное мѣсто. Къ тому-же самому заключенію приводитъ насъ исторія новаго устава, изложенная довольно подробно въ прошлогодней декабрьской книжкѣ «Журнала министерства народнаго просвѣщенія».

Уставъ выработывался специалистами педагогическаго дѣла въ продолженіи восьми лѣтъ; онъ прошелъ черезъ четыре редакціи; каждая изъ этихъ редакцій печаталась и подвергалась самому разностороннему обсужденію, какъ въ педагогическихъ совѣтахъ, такъ и въ періодической литературѣ; вторая редація была переведена на англійскій, французскій и нѣмецкій языки и отправлена за границу на разсмотрѣніе извѣстѣйшимъ иностраннымъ педагогамъ и ученымъ. Всѣ замѣчанія, полученные министерствомъ какъ отъ нашихъ, такъ и отъ иностранныхъ педагоговъ, были собраны и изданы въ нѣсколькихъ объемистыхъ сборникахъ. Одинъ изъ этихъ сборниковъ былъ разосланъ «въ учебныя заведенія и къ разнымъ лицамъ» въ числѣ 2,200 экземпляровъ; другой—въ числѣ 658 экземпляровъ; третій—въ числѣ 1,912 экземпляровъ; четвертый—въ числѣ 1,943 экземпляровъ. Министерство очевидно не жалѣло ни времени, ни денегъ, ни трудовъ на то, чтобы довести проектъ устава до возможной степени зрѣлости и всесторонняго совершенства. Мы не можемъ отказать гг. составителямъ устава въ глубокомъ уваженіи къ добросовѣстности и неутомимости ихъ усилій; но мы не можемъ также не отмѣтить того факта, который бросается въ глаза безпристрастному наблюдателю: въ составленіи новаго устава не участвовала и не выѣла даже совѣщательнаго голоса наука о физической природѣ и о нормальныхъ потребностяхъ человѣческаго организма. Составители и судьями министерскихъ проектовъ были преимущественно и почти исключительно педагоги, то-есть такіе дѣятели, которые, превосходно умѣя водворять и поддерживать въ учебныхъ заведеніяхъ благонравіе и прилежаніе учащихся, въ то-же время обладаютъ очень недостаточными свѣдѣніями касательно тѣхъ условій, при которыхъ сохраняется и укрѣпляется человѣческое здоровье. Проекты не посылались на разсмотрѣніе физиологамъ, медикамъ и гигиенистамъ, и отсутствіе ихъ вліянія даетъ себя чувствовать во всѣхъ частяхъ

и подробностяхъ новаго устава. «У насъ-же,—говоритъ «Журналъ министерства народнаго просвѣщенія»—физическое развитіе учащихся и сихъ поръ было въ полномъ пренебреженіи.» (1864 декабрь, стр. 44.) Съ этой мыслью мы совершенно согласны; но я рѣшительно не понимаю, какимъ образомъ новый уставъ можетъ произвести въ этомъ отношеніи какую-нибудь существенную перемену?

VI.

Въ реальныхъ гимназіяхъ новый уставъ опредѣляетъ слѣдующимъ образомъ число еженедѣльных уроковъ:

Предметы.	КЛАССЫ.							Всего по учебнымъ урокамъ по часу въ 1/2 на недѣлю.
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	
Законъ Божій. . .	2	2	2	2	2	2	2	14
Русскій языкъ съ церковнославянскимъ и словесность.	4	4	4	4	3	3	3	25
Французскій языкъ.	3	3	3	4	3	3	3	22
Нѣмецкій языкъ.	3	3	3	3	4	4	4	24
Математика.	3	4	4	4	4	3	3	25
Исторія.	—	—	2	3	3	3	3	14
Географія.	2	2	2	2	—	—	—	8
Естественная исторія и химія.	3	3	3	3	3	4	4	23
Физика и космографія.	—	—	—	—	3	3	3	9
Численіе, рисованіе и черченіе.	4	4	4	2	2	2	2	20
Итого.	24	25	27	27	27	27	27	184

Замѣчаніе «Учителя» на счетъ того, что педагоги, составляя росписанія учебныхъ занятій, руководствуются началомъ симметріи,—очевидно совершенно непримѣнимо къ приведенной мною таблицѣ новаго устава. Симметрія нарушена въ двухъ отношеніяхъ: во-первыхъ, число уроковъ въ различныхъ классахъ не одинаково, а во-вторыхъ, во всѣхъ классахъ, кромѣ перваго, положено въ недѣлю такое число уроковъ, которое не дѣлится на цифру дней, то-есть на шесть. Вслѣдствіе этого у воспитанниковъ втораго класса на пять дней въ недѣлѣ приходится по четыре урока, а на шестой день—пять уроковъ; у остальныхъ пяти классовъ, начиная съ третьяго, приходится на три дня по четыре урока и на три дня по пяти. Но отступая такимъ образомъ отъ безплодной симметріи прежнихъ росписаній, новый уставъ нисколько не приближается къ требованіямъ гигиены.—Въ первомъ классѣ десятилѣтніе мальчики должны будутъ учиться по пяти часовъ въ день, не считая того времени, которое имъ придется употреблять на выучиваніе заданныхъ уроковъ и на разныя письменныя работы.—Во второмъ классѣ одиннадцатилѣтніе мальчики должны будутъ одинъ

разъ въ недѣлю просиживать за учениемъ шесть часовъ съ четвертью. Начиная съ третьяго класса, то-есть для двѣнадцатилѣтнихъ мальчиковъ эти сеансы въ шесть часовъ съ четвертью будутъ повторяться уже по три раза въ недѣлю. Посмотримъ, насколько расходится между собой, съ одной стороны, предписанія новаго устава, а съ другой стороны, — гигиеническія требованія доктора Гейера.

По уставу, ученики I класса будутъ учиться въ недѣлю 30 часовъ.

По Гейеру, они должны учиться 3 часа въ день, то-есть въ недѣлю 18 часовъ. Разница 12 часовъ.

По уставу, ученики II класса будутъ учиться въ недѣлю 31 $\frac{1}{4}$ часа.

По Гейеру, они должны учиться въ недѣлю 18 часовъ. Разница 13 $\frac{1}{4}$ часа.

По уставу, ученики III класса будутъ учиться въ недѣлю 33 $\frac{3}{4}$ часа.

По Гейеру, они должны учиться въ недѣлю 18 часовъ. Разница 15 $\frac{3}{4}$ часа.

По уставу, ученики IV класса будутъ учиться въ недѣлю 33 $\frac{3}{4}$ часа.

По Гейеру, они должны учиться въ недѣлю 18 часовъ. Разница 15 $\frac{3}{4}$ часа.

По уставу, ученики V класса будутъ учиться въ недѣлю 33 $\frac{3}{4}$ часа.

По Гейеру, они должны учиться въ недѣлю 18 часовъ. Разница 15 $\frac{3}{4}$ часа.

По уставу, ученики VI класса будутъ учиться въ недѣлю 33 $\frac{3}{4}$ часа.

По Гейеру, они должны учиться въ недѣлю 24 часа. Разница 9 $\frac{3}{4}$ часа.

По уставу, ученики VII класса будутъ учиться въ недѣлю 33 $\frac{3}{4}$ часа.

По Гейеру, они должны учиться въ недѣлю 24 часа. Разница 9 $\frac{3}{4}$ часа.

Складываю все разницы и получаю:

$$12 + 13\frac{1}{4} + 15\frac{3}{4} + 15\frac{3}{4} + 15\frac{3}{4} + 9\frac{3}{4} + 9\frac{3}{4} = 92.$$

То-есть уставъ и Гейеръ расходится между собой на 92 часа. Уставъ требуетъ для осуществленія своей программы по 230 часовъ въ недѣлю, а Гейеръ отпускаетъ на классныя занятія только 138 часовъ въ недѣлю. Читателю можетъ показаться страннымъ, что цифра 18 повторяется у Гейера, начиная отъ I класса и кончая V-ымъ, и что такимъ образомъ десятилѣтніе дѣти уравниваются съ пятнадцатилѣтними стрелами. Я напоминая читателю, что это уравниваніе относится только къ класснымъ занятіямъ, то-есть къ учению до обѣда. Для десятилѣтнихъ и одиннадцатилѣтнихъ дѣтей Гейеръ не допускаетъ никакихъ занятій въѣ класса; а начиная съ двѣнадцати лѣтъ, онъ отводитъ имъ послѣ обѣда по два часа на приготовленіе заданныхъ уроковъ. Это обстоятельство

составляетъ замѣтную раздѣлительную черту между учениками первыхъ двухъ классовъ и трехъ слѣдующихъ.

Такъ какъ я разбираю разницу между уставомъ и Гейеромъ, а не между нашей педагогической практикой и Гейеромъ, то я допустилъ для первыхъ двухъ классовъ то предположеніе, что преподаватели не задаютъ никакихъ уроковъ. Еслибы не было этого предположенія, то, разумѣется, разница вышла-бы еще гораздо значительнѣе. Однако и теперь, какъ-же намъ управиться съ разницей въ 92 часа? Есть-ли возможность соблюсти требованія гигиены и въ то-же время выпустить изъ гимназій дѣльныхъ и развитыхъ молодыхъ людей? Я полагаю, что возможность есть; но, разумѣется, нечего и думать о томъ, чтобы въ 138 часовъ сдѣлать то-есть ту работу, на которую положено по уставу 230 часовъ. Если держаться той основной программы, которую даетъ уставъ, тогда конечно надо будетъ плевать на Гейера и на всю его гигиену; до сихъ поръ мы такъ и дѣлали, и нельзя сказать, чтобы такой смѣлый образъ дѣйствій доставлялъ намъ, въ какомъ-бы то ни было отношеніи, особенно большія выгоды и удобства.

Такимъ образомъ мы видимъ, что основная программа должна быть измѣнена не во имя чьихъ-нибудь вѣчныхъ предубѣжденій въ пользу классицизма или реализма, а просто во имя нашей общей и единодушной заботливости о здоровьѣ учащихся поколѣвій.

Измѣнить основную программу можно двоякимъ образомъ. Во-первыхъ, можно оставить неприкосновенными все учебные предметы, но проходить каждый изъ нихъ въ сокращенномъ объемѣ. Во-вторыхъ, можно совершенно выкинуть нѣсколько учебныхъ предметовъ. Второй методъ, по моему мнѣнію, во всехъ отношеніяхъ лучше перваго. Гимназическій курсъ и безъ того уже даетъ намъ только жалкіе остоны многихъ разнородныхъ предметовъ. Мы домогаемся въ гимназій слегка до всего и не изучаемъ основательно ровно ничего. Новый уставъ направленъ именно противъ этого недостатка нашего гимназическаго образованія; но мнѣ кажется, что онъ съ болѣею пользою для дѣла могъ-бы пойти въ этомъ направленіи гораздо дальше. Система сокращенія и упрощенія курсовъ нигде не годится. Если мы изъ краткихъ гимназическихъ учебниковъ составимъ учебники еще болѣе краткіе, то, разумѣется, въ этихъ жалкихъ экстрактахъ не останется рѣшительно никакой образовательной силы. Надо, напротивъ того, сосредоточить вниманіе учениковъ на самомъ незначительномъ числѣ предметовъ настолько глубокимъ и основательнымъ, насколько это возможно безъ нарушенія гигиеническихъ условій. Какъ это сдѣлать? спрашиваетъ любопытный и недовѣрчивый читатель. Въ отвѣтъ

на этотъ вопросъ я представляю слѣдующую таблицу еженедѣльных уроковъ.

Предметы.	КЛАССЫ.							Всего недѣльных уроковъ по часу на каждыя.
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	
Законъ Божій. . . .	2	2	2	2	2	2	2	14
Математика.	6	6	6	6	6	6	6	42
Русскій языкъ. . . .	4	4	4	4	4	6	6	32
Французскій языкъ. .	2	2	2	3	2	2	2	15
Нѣмецкій языкъ. . . .	2	2	2	3	2	2	2	15
Чистописаніе.	2	2	2	—	—	—	—	6
Физика и космо- графія	—	—	—	—	2	6	6	14
Итого.	18	18	18	18	18	24	24	138

Эта таблица требуетъ конечно очень многихъ комментаріевъ. — Преподаваніе Закона Божія, какъ предмета совершенно неприкосновеннаго, оставлено въ томъ самомъ объемѣ, въ какомъ оно опредѣлено уставомъ. Преподаваніе математики усилено на 17 уроковъ, преподаваніе русскаго языка — на 7 уроковъ и преподаваніе физики и космографіи — на 5 уроковъ. Зато французскій и нѣмецкій языки ослаблены, первый — на 7, а второй — на 9 уроковъ. Чистописаніе, которое по уставу соединяется съ рисованіемъ и черченіемъ, сведено съ 20 уроковъ на 6, причемъ, разумѣется, рисованіе и черченіе откинуты прочь. Наконецъ, — о ужасъ, о позоръ! — четыре предмета подвергнуты полному изгнанію. И какіе-же предметы, Боже мой, какіе очаровательные предметы?! Отправлены въ изгнаніе исторія, географія, химія и естественная исторія.

Такъ какъ мои мысли подвергаются очень часто различнымъ печатнымъ перетолкованіямъ и искаженіямъ, то я тотчасъ спѣшу оговориться, что, исключая исторію, географію, химію и естественную исторію изъ гимназическаго курса, я вовсе не думаю подвергать сомнѣнію необходимость этихъ предметовъ въ кругу знаній каждаго образованнаго человѣка. Я только твердо увѣренъ въ томъ, что ни гимназія, ни университетъ, ни какое-либо другое учебное заведеніе не могутъ и никогда не будутъ въ состояніи выпускать въ свѣтъ совершенно образованныхъ людей, то-есть такихъ людей, которымъ больше незачѣмъ было-бы трудиться надъ собственнымъ развитіемъ и приобрѣтать новыя знанія собственными усиліями. Полное банкротство всѣхъ существующихъ системъ общественнаго воспитанія объясняется въ значительной степени тѣмъ обстоятельствомъ, что изобрѣтатели и распространители этихъ системъ желали и надѣялись рѣшить посредствомъ упорной, продолжительной и сознательной работы каждой отдѣльной уже созрѣвшей и возмужалой личности надъ своимъ собственнымъ образованіемъ. Когда школа хочетъ замѣнить человѣку самообразование, тогда она берется совсѣмъ не за свое дѣло и, стараясь сдѣлать для учащагося юноше-

ства черезчуръ много, не дѣлаетъ даже и того, что составляетъ ея прямую и естественную обязанность.

Самообразование составляетъ необходимую и въ высшей степени законную фазу здоровья человѣческаго развитія. Школа должна стремиться не къ тому, чтобы избавить человѣка отъ трудовъ самообразованія, а къ тому, чтобы сдѣлать эти труды возможными и плодотворными. Школа должна, во-первыхъ, разбудить въ человѣкѣ любознательность, и во-вторыхъ, развернуть и укрѣпить силы его ума настолько, чтобы человѣкъ, выходя изъ школы въ жизнь, могъ безъ постороннихъ руководителей искать и находить разумное удовлетвореніе для своей пробудившейся любознательности. Если школа имѣетъ какое-нибудь специально-практическое значеніе, то, разумѣется, она должна кромѣ того научить своихъ воспитанниковъ тому ремеслу, ради котораго она сама существуетъ.

Науки, преподающіяся въ каждой школѣ, можно такимъ образомъ раздѣлить на два разряда: 1) науки образовательныя, и 2) науки прикладныя. Тѣ предметы, которые не входятъ ни въ тотъ, ни въ другой разрядъ, можно считать совершенно бесполезными. — Что изъ химіи, изъ географіи, изъ естественной исторіи, изъ всеобщей исторіи не могутъ сдѣлаться для гимназистовъ прикладными науками, въ этомъ, наизящно, не можетъ быть никакого сомнѣнія. На химію основаны конечно очень многія, въ высшей степени важныя отрасли заводской промышленности; но для того, чтобы приступить къ которой-нибудь изъ этихъ отраслей, надо, разумѣется, знать химію вдесятеро подробнѣе основательнѣе, чѣмъ будутъ знать ее воспитанники реальныхъ гимназій.

Посмотримъ теперь, можно-ли приписать этимъ наукамъ образовательное значеніе при тѣхъ условіяхъ, которыми неизбежно будетъ обставлено ихъ преподаваніе въ гимназіяхъ. На химію выдѣлъ съ естественной исторіей положено по уставу 23 урока. Подъ именемъ естественной исторіи здѣсь подразумѣвается цѣлая, обширная группа наукъ; сюда входятъ минералогія, ботаника, зоологія, анатомія и физиологія; быть-можетъ сюда придется еще приоселить геологію и палеонтологію; такимъ образомъ гимназистамъ предстоитъ объять, посредствомъ 23 недѣльных уроковъ, шесть, а можетъ-быть и восемь громадныхъ и сложныхъ наукъ. На каждую науку приходится въ первомъ случаѣ немного меньше *четырехъ*, а во второмъ — немного меньше *трехъ* еженедѣльных уроковъ. Всѣ-же шесть или восемь наукъ въ своей совокупности, считаются немного труднѣе французскаго и немного легче нѣмецкаго языка; это послѣднее заключеніе вытекаетъ изъ того обстоятельства, что уставъ опредѣляетъ изученіе французскаго 22 урока, на изуче-

шести или восьми естественных наук—23, а на изучение немецкого—24 урока.

Эта изумительная быстрота и легкость изучения составляет первый из тех подводных камней, на которых разобьется предполагаемое образовательное значение естественной истории и химии. Второй подводный камень можно усмотреть в том, что преподавание естественной истории начинается с первого класса. Скажите, пожалуйста, какого рода естественную историю можно преподавать десятилетним ребятам? Одно из двух: или суровый учитель заставит их зубрить классификацию, или же добродушный учитель станет увеселять их разбазариванием смысла жизни животных, о вѣрных охотниках, о хитрых лисичках и о трудолюбивых пчелках. В том и другом случае единственное будущее стоит выдѣлки, т. е. образовательное влияние такой естественной истории будет равняться нулю, и дѣти будут совершенно напрасно просиживать в классѣ ежедневно по 3¼ часа, которые они съ громадной пользой для своего здоровья и физическаго развитія могли бы израсходовать на гимнастическія упражненія, на бѣганіе, на прыганіе, и вообще на всякія игры, свойственныя и необходимыя ихъ возрасту.

Образовательное влияние всѣхъ естественныхъ наукъ состоитъ исключительно в томъ, что онѣ учерепаютъ въ человѣкѣ понятіе о вѣчныхъ и неизбѣжныхъ законахъ, управляющихъ всѣмъ мірозданіемъ и господствующихъ съ одинаковою силой надъ всѣми явленіями, доступными нашему изученію, начиная отъ самыхъ простыхъ и кончая самыми сложными. Это понятіе о вѣчныхъ и неизбѣжныхъ законахъ очевидно можетъ имѣть интересъ и значеніе только для зрѣлаго или по крайней мѣрѣ для созрѣвающаго человѣка, въ умѣ котораго уже шевелится вопросъ и тревожныя сомнѣнія; кому еще ни разу не случалось вглядываться и вдумываться въ явленія окружающей природы, кого никогда не волновалъ и не мучилъ нелѣпый разладъ между смысломъ естественныхъ явленій и фантастическими понятіями немнящаго большаго бѣна, — тому еще не зачѣмъ открывать книгу естествознанія, и для того слова: *законъ и произволъ, необходимость и личная воля, естественное развитіе и необъяснимая катастрофа* оказываются еще одинаково пустыми и безцѣльными словами, которыя ничего не привлекаютъ, ничему не противорѣчатъ, ни въ чѣмъ не гармонируютъ и ни на что не даютъ отвѣта. Чтобы возвыситься до понятія о законѣ, надо познать хоть немного жизнью мысли и чувства, надо выйти изъ того міра непосредственныхъ ощущеній, въ которомъ пропадаетъ ребенокъ, и надо наконецъ серьезно и основательно познакомиться съ тѣмъ порядкомъ явленій, въ которомъ естественные законы обнаружива-

ются въ самой простой и элементарной формѣ. Свойства чиселъ, свойства величинъ, линій, плоскостей и тѣлъ—вотъ тѣ естественныя явленія, на которыхъ прежде всего должны сосредоточиваться и изощряться умственные способности ребенка.

Математика есть лучшее и даже единственное возможное введеніе къ изученію природы. Безъ геометріи и алгебры невозможно изученіе механики; безъ геометріи, алгебры и механики невозможно изученіе астрономіи; безъ геометріи, алгебры, механики и астрономіи невозможно изученіе физики и физической географіи; безъ физики нельзя взяться за химию; безъ физики и химіи нѣтъ возможности приступить къ физиологіи животныхъ и растений. Разумное и плодотворное изученіе природы возможно только при соблюденіи самой строгой постепенности; надо непремѣнно начинать съ самаго начала и переходить къ сложнымъ явленіямъ только тогда, когда уже вполне усвоено знаніе всѣхъ, болѣе простыхъ явленій; прыгнуть разомъ на высшую ступеньку естествознанія, не побывавъ предварительно на всѣхъ низшихъ, нѣтъ никакой возможности, и всякая попытка нарушать такимъ образомъ естественный порядокъ изученія ведетъ за собой только размноженіе фразеровъ и верхоглядовъ. Поэтому тѣ люди, которымъ дорого распространеніе реальныхъ знаній въ Россіи, должны желать особенно сильно, чтобы естественная исторія вмѣстѣ съ химіей была совершенно исключена изъ гимназическаго курса, и чтобы изученіе математики въ гимназіяхъ было доведено именно до тѣхъ колоссальныхъ размѣровъ, которые опредѣлены для нея въ моей таблицѣ.

Неумѣстность естественной исторіи въ гимназическомъ курсѣ обнаруживается особенно ярко въ томъ обстоятельствѣ, что многія, чрезвычайно важныя подробности изъ жизни растений и животныхъ совершенно умалчиваются учебниками и преподавателями, потому что считаются неприличными и вредными для нравственности и даже для здоровья учащагося юношества. Всѣ половыя отношенія органическаго міра, всѣ факты эмбриологіи и дѣторожденія блистаютъ своимъ отсутствіемъ; вслѣдствіе этого въ знаніяхъ ученика оказывается огромный пробѣлъ, котораго онъ самъ конечно не можетъ не замѣтить и который однимъ голымъ фактомъ своего существованія непремѣнно будетъ направлять его нескромную любознательность именно туда, куда по соображенію педагоговъ эганескромная любознательность совѣтъ не должна заглядывать. Кромѣ того что цѣлая масса фактовъ выкадывается такимъ образомъ вонъ изъ преподаванія, даже то, что остается на мѣстѣ, оказывается во многихъ отношеніяхъ изуродованнымъ и обезсмысленнымъ. Известно наприимѣръ, что самой рациональной

классификаціей животнаго царства считается въ настоящее время классификація по эмбриологическимъ даннымъ; но такъ какъ эмбриологія составляетъ для гимназистовъ слишкомъ скромное кушанье, то, разумѣется, и рациональная классификація становится невозможной.

Но и это еще не все. Преподавая малолѣтнимъ ребятамъ жалкія лохмотья великой науки, учитель въ большей части случаевъ будетъ еще располагать и подрашивать эти лохмотья такъ, чтобы они дѣйствовали на чувство и на воображеніе учениковъ именно съ той стороны, съ которой желательно на нихъ подѣйствовать. То, что должно было по буквѣ устава быть изученіемъ природы, превратится такимъ образомъ въ штабріановскія и ламартиновскія сахарно-слезливыя медитаціи. Образовательнаго вліянія нечего ожидать отъ этихъ медитацій, потому что, какъ-бы онѣ ни были умилительны, однако можно поручиться за то, что ученики отнесутся въ нимъ недоувѣрчиво и насмѣшливо, — такъ, какъ обыкновенно относятся дѣткою всякой хитрой и замысловатой мистификаціи, направляемой противъ нихъ тенденціозной педагогикой. Математика не требуетъ никакихъ цѣломудренныхъ умолчаній и не допускаетъ никакихъ благонравныхъ тенденціозностей. Эти важныя преимущества еще болѣе упрочиваютъ за математикой ту роль, которую она по своему естественному положенію въ ряду другихъ наукъ неизбѣжно должна занимать въ первоначальномъ образованіи юношества. — Для естественной же исторіи подобная роль невысказанна.

VII.

Если естественная исторія и химія не годятся для гимназическаго курса, то тѣмъ болѣе неумѣстны въ немъ политическая географія и всеобщая исторія. Научное значеніе политической географіи очевидно состоитъ въ изслѣдованіи той связи, которая существуетъ между землей и человѣкомъ. Научное значеніе всеобщей исторіи также очевидно состоитъ въ изслѣдованіи тѣхъ законовъ, по которымъ живутъ, развиваются и дѣйствуютъ другъ на друга идеи и учрежденія различныхъ человѣческихъ обществъ. Достаточно взглянуть внимательно на эти два опредѣленія для того, чтобы совершенно убѣдиться, до какой степени изученіе всеобщей исторіи и политической географіи не соответствуетъ ни умственнымъ силамъ, ни предварительнопріобрѣтеннымъ знаніямъ нашихъ гимназистовъ.

Преподаваніе политической географіи начинается по уставу въ первомъ классѣ и оканчивается въ четвертомъ, между тѣмъ какъ преподаваніе физики и космографіи начинается съ пятаго класса; гимназистамъ приходится такимъ образомъ разсматривать вліяніе земли на человѣка въ то время, когда они не имѣютъ

еще ни малѣйшаго понятія о различныхъ свойствахъ и особенностяхъ земли, какъ физическаго тѣла. Такъ какъ это разсматриваніе такихъ условій совершенно невозможно, политическая географія, преподаваемая въ назіяхъ, неизбѣжно должна превратиться, и ствительно всегда превращалась до сихъ поръ или въ каталогъ государствъ, городовъ, горъ и всякихъ достопримѣчательностей, въ собраніе нравоучительныхъ разсказовъ лапландцахъ и о сѣверномъ оленѣ, о бедунѣ и о верблюдѣ, объ англичанахъ и о пармахинѣ.

Каталогъ собственныхъ именъ и цифръ особенно подвергнуть опалѣ всѣми современными педагогами; къ нравоучительнымъ разсказамъ педагоги, напротивъ того, питаютъ до сихъ поръ и вѣроятно долго еще будутъ питать глубокую пріязнь. Въ этихъ нравоучительныхъ разсказахъ дѣйствительно нѣтъ ничего особенно вреднаго; дѣтямъ не мѣшаетъ читать подобные разсказы, когда у нихъ возбуждается охота къ чтенію и когда гігіенискія соображенія не заставляютъ взрослыхъ противодѣйствовать этой пробудившейся склонности. Но держать дѣтей въ классѣ и сидѣть передъ ними на каедрѣ для того, чтобы разсказывать имъ, какимъ образомъ бедунѣ дѣять верхомъ на верблюдахъ, значитъ пренебрегать невинное развлеченіе въ важную и серьезную работу, которая однако, несмотря на торжественность обстановки, неспособна на никакихъ важныхъ и серьезныхъ результатовъ. Когда учитель превращается въ разсказчика, тогда онъ немедленно становится безполезнымъ, потому что роль разсказчика можетъ съ самымъ удобнымъ играть хорошая книга, написанная яснымъ и правильнымъ языкомъ, незагроможденная мудрыми научными терминами. Обязанность учителя состоитъ не въ томъ, чтобы разсказывать ученикамъ факты, которые ученикъ долженъ запомнить, а въ томъ, чтобы постоянно укрѣплять и развивать умственные способности ученика такими упражнениями, которыя во всякую данную минуту соотвѣтствовали-бы развѣтвляющимся силамъ и которыя съ теченіемъ времени становились-бы постоянно болѣе трудными и болѣе сложными.

Ни въ географіи, ни въ исторіи нѣтъ для подобныхъ упражненій. Въ этихъ предметахъ, насколько они доступны гимназистамъ, нечего понимать; въ нихъ надо рѣшительно запоминать; поэтому работа учителя становится въ нихъ совершенно излишней, и усвоеніе историческихъ и географическихъ фактовъ, которыхъ знаніе необходимо для образованнаго человѣка, можетъ быть цѣлкомъ предоставлено личной и самостоятельной дѣятельности каждого отдѣльнаго ученика.

Куда какъ все это хорошо! замѣтить огромное большинство моихъ читателей. Ученикъ идетъ изъ гимназій и не будетъ имѣть понятія о томъ, кто былъ Наполеонъ I; онъ не знаетъ, что Рейнъ течетъ въ Германіи; слышавъ въ разговорѣ слово *Европа*, онъ будетъ спрашивать, что это за штука. На что же въ самомъ дѣлѣ похоже! Въдѣ въ этихъ словахъ сформулировано самое сильное возраженіе, какое только можетъ быть придумано противъ моихъ размышленій о необходимости включить изъ гимназическаго курса исторію и географію.

Это возраженіе нисколько не кажется мнѣ опровержимымъ. Я полагаю, что если молодой человѣкъ, вышедшій изъ гимназій, чувствуетъ очень глубоко, ежеминутно и на каждомъ шагу, крайнюю недостаточность своихъ знаній поразительную незаконченность своего образования—это не совсѣмъ пріятное ощущеніе не можетъ принести этому молодому человѣку ни-что, кромѣ самой существенной пользы. Къ семнадцатилѣтнему возрасту образованіе человѣка никакимъ образомъ не можетъ и даже должно быть закончено; восемнадцатилѣтній юноша еще растетъ, какъ въ физическомъ, такъ и въ умственномъ отношеніи, и было бы высшей степени не нормально и даже вредно, чтобы постоянно расширяющійся и усиливающийся умъ былъ принужденъ пробавляться той пищей, которая была имъ усвоена и удовлетворяла его потребностямъ во время одной изъ предыдущихъ фазъ его развитія. Новыя наступающія силы требуютъ себѣ новой работы. Гимназическое образованіе, по самой сущности своего назначенія, должно быть непременно полнымъ и незаконченнымъ; эта неполнота и незаконченность нисколько не составляютъ для него недостатка, и всякія заботы объ устраненіи этихъ необходимыхъ и естественныхъ недостатковъ гимназическаго образованія оказываются совершенно безплодными или даже наносятъ школѣ существенный вредъ.

Если неполнота и незаконченность составляютъ нормальное свойство гимназическаго образованія, то спрашивается теперь, что лучше для молодого человѣка, окончившаго курсъ въ гимназій: чтобы онъ ясно понималъ и глубоко чувствовалъ недостаточность своихъ знаній, или, чтобы эта недостаточность была искусно и тщательно замаскирована отъ него самого и отъ окружающаго общества разными обманчивыми подобіями знаній? Само собой разумѣется, первое несравненно лучше второго, потому что молодому человѣку всегда выгодно и полезно имѣть ясное и вѣрное понятіе о своемъ положеніи, и пусть бы ни было это положеніе хорошо или плохо, утѣшительно или безотраднo. Если я ценю, то никакъ не долженъ считать себя ничемъ, потому что въ такомъ случаѣ я за-

путаюсь въ долгахъ и доведу себя до окончательнаго разоренія.

Если я—недоучившійся школьникъ, то отнюдь не долженъ принимать себя за образованнаго человѣка, потому что въ такомъ случаѣ я рискую успокоиться на лаврахъ моего невѣжества и сохранить при себѣ это невѣжество до конца моей жизни. Воспитанники нашихъ теперешнихъ гимназій знаютъ, что Наполеонъ I былъ французскимъ императоромъ, что Рейнъ течетъ по Швейцаріи, по Германіи и по Голландіи, что Европой называется та часть свѣта, въ которой мы живемъ; они знаютъ кромѣ того множество другихъ собственныхъ именъ и отрывочныхъ фактовъ; они не осрамятся въ обществѣ какими-нибудь поразительнымъ проявленіемъ невѣжества; но развѣ же можно въ самомъ дѣлѣ сказать о нихъ, что они знаютъ всеобщую исторію и политическую географію? Развѣ въ самомъ дѣлѣ позволительно оставаться по этимъ предметамъ на всю жизнь съ тѣми знаніями, которыхъ не могутъ сообщить даже превосходные гимназическіе учебники? А между тѣмъ именно то полужнаніе, которое спасаетъ молодого человѣка отъ полезнаго посрамленія, именно это полужнаніе, говорю я, и даетъ юношѣ возможность обходиться въ жизни безъ серьезнаго чтенія и останавливаться въ своихъ знаніяхъ и въ своемъ развитіи на той скромной ступени, на которую поставила его ферула школьнаго учителя. Напротивъ того, кто не вынесъ изъ школы даже элементарныхъ понятій о Наполеонѣ, о Рейнѣ и о Европѣ, тотъ рѣшительно не можетъ обойтись безъ чтенія; пробѣлы его образованія такъ очевидны, что они пугаютъ его и не даютъ ему покоя до тѣхъ поръ, пока онъ ихъ не наполнитъ результатами собственныхъ занятій. А для наполненія этихъ ужасныхъ пробѣловъ онъ возьмется конечно не за гимназическіе учебники, а за научныя сочиненія по той простой причинѣ, что для взрослого молодого человѣка гораздо легче и пріятнѣе прочитать десять толстыхъ томовъ серьезной книги, чѣмъ одинъ толстый томикъ учебника.

— Однако это оригинально!—возразитъ мнѣ читатель.— По вашему мнѣнію, задача школы состоитъ въ томъ, чтобы не давать своимъ питомцамъ знаній и чтобы подвергать этихъ питомцевъ *полезнымъ*, какъ вы говорите, посрамленіямъ. Тогда лучше всего совсѣмъ уничтожить всѣ школы; тогда ужъ навѣрное подрастающія поколѣнія не будутъ получать никакихъ знаній; *полезное* посрамленіе ихъ будетъ самое полное, и гигиена окончательно восстановится, потому что дѣти будутъ бѣгать и кувыркаться съ утра до вечера.

Еслибы я самъ не привелъ противъ себя этого остроумнаго возраженія, то его навѣрное измыслилъ бы противъ меня кто-нибудь изъ

наших остроумныхъ журналистовъ, хоть-бы напирѣвъ кто-нибудь изъ атлетовъ, подвизающихся въ «Отечественныхъ Запискахъ». Я отвѣчу на это возраженіе, что школа должна давать своимъ воспитанникамъ такіа знанія, которыя она можетъ сообщать имъ въ полномъ объемѣ, которыя развиваютъ и укрѣпляютъ ихъ умы, и которыя притомъ воспитанникамъ было-бы трудно пріобрѣсти собственными усиліями, безъ содѣйствія и руководства преподавателя. По моей программѣ школа даетъ ученикамъ основательное знаніе математики и умѣнье превосходно владѣть отечественнымъ языкомъ. Кто пріобрѣлъ навыкъ обращаться легко и свободно со всевозможными алгебраическими и геометрическими выкладками и кто кромѣ того пріобрѣлъ умѣнье выражать всѣ отбѣнки своихъ мыслей яснымъ и точнымъ языкомъ, тотъ можетъ смѣло взяться за какую угодно отрасль самостоятельныхъ занятій. Фактическихъ знаній у него не много, но фактическія знанія усваиваются очень легко такимъ человекомъ, у котораго умъ развитъ и закаленъ въ строгой школѣ математическаго образованія. Значитъ, я требую отъ школы, чтобы она давала своимъ питомцамъ *основательныя* знанія, и чтобы, оставивъ окончательно заботы о разносторонности и обширности своей программы, она направляла всѣ силы воспитанниковъ на глубокое и добросовѣстное изученіе немногихъ, но строго и рачительно подобранныхъ предметовъ. Подумайте въ самомъ дѣлѣ, давали-ли наши гимназіи до сихъ поръ основательныя знанія по какому-бы то ни было предмету? Нѣтъ, не давали, — отвѣтитъ вамъ каждый знающій человекъ, и правительство отвѣчаетъ на этотъ вопросъ точно такъ-же, потому что оно признаетъ необходимымъ произвести въ гимназіяхъ полное преобразование. — Почему не давали? — Потому, — отвѣтитъ вамъ каждый знающій человекъ, — что за всѣмъ хотѣли угоняться. — Стало-быть, что-же надо сдѣлать? — Надо ограничить претензіи гимназій, надо точно определить ихъ назначеніе и избавить ихъ программу отъ вредной и безплодной многосторонности.

Именно такъ разсуждаютъ наши классики, и въ основномъ принципѣ, въ области чистой отвлеченности, я съ ними совершенно согласенъ. Но когда они хватаются за древніе языки, какъ за волшебный талисманъ, тогда я рѣшительно перестаю ихъ понимать. Ихъ нѣжность къ древнимъ языкамъ, при всей своей громадности, все-таки не внушаетъ имъ такой храбрости, которая побудила-бы ихъ отказаться отъ русскаго языка, отъ математики, отъ физики, отъ новыхъ языковъ, отъ исторіи и отъ географіи. Всѣ эти предметы оказываются, по ихъ мнѣнію, необходимыми, и кромѣ того необходимы еще языки латинскій и греческій. Та-

кимъ образомъ вмѣсто того, чтобы отъ многопредметности, которую они минутно проклинали, наши классы усиліями только увеличиваютъ эту мегность, ведущую за собой непреклонную трату силъ и умственную зацію учащейся молодежи. Кто хочетъ тѣльно устранить вредную многопредметность, тотъ долженъ выбрать изъ массъ учебныхъ предметовъ самыя необходимыя изъ этихъ необходимыхъ предметовъ со все преподаваніе. Какіе-же предметы необходимы? Я думаю, отвѣчать не тематика и отечественный языкъ, двухъ предметахъ и слѣдуетъ сосредоточиться. Чѣмъ меньше будетъ постороннихъ предметовъ, тѣмъ успѣшнѣе пойдетъ умственное развитіе учащихся. Я осмѣливаюсь думать, что программа посторонняя примѣсь къ возможному *minimum*’а. Кромѣ того, я помню читателю, что общій итогъ изложеніе учебныхъ часовъ соответствуетъ не гигиеническимъ требованіямъ дѣ-

VIII.

Программа моя можетъ вызвать еще возраженій, на которыя я постараюсь заранѣе.

1) Читатель можетъ изумиться и въ томъ случаѣ, что русская исторія и повидимому изъ гимназій вмѣстѣ съ Русская исторія въ настоящее время такимъ необходимымъ предметомъ, — подается даже въ уѣздныхъ училищахъ, а даже не въ приходскихъ. Съ «Московскихъ Вѣдомостей», люди, и размышлять собственнымъ умомъ, и даже тотъ странный предрасудокъ преподаваніе русской исторіи можетъ быть политическое значеніе, и безусловно необходимо для поддержки и нашего патріотизма.

Еслибы этотъ предрасудокъ не былъ тѣмъ самой безотвѣтной наивностью, — былъ-бы въ высшей степени опасенъ для нашей національной чести, не о томъ, что онъ находится въ самомъ разладѣ съ самыми очевидными и ясными фактами нашей-же собственной исторіи, — хорошъ былъ-бы тотъ патріотизмъ, нуждающійся въ такомъ подогрѣваніи и основывающійся на архивныхъ документахъ. Патріотизмъ народа есть то-же самое, что истинное уваженіе для отчужденной личности; чуждому любить и защищать собственнаго, точно также ему свойственно любить и защищать тѣхъ людей, ту землю, тотъ языкъ и понятій, къ которымъ онъ привязанъ съ первыхъ дней своего дѣтства.

ние любить и защищать совокупность тѣхъ предметовъ, которые составляютъ родину, — слава и даже совершенно исчезаетъ только въ сравнительно рѣдкихъ случаяхъ, когда человѣкъ нѣтъ никакой возможности привыкнуть и привязаться къ тому, что его окружаетъ. Эта возможность привыкнуть и привязаться является очевидно тогда, когда сумма страданій постоянно и въ очень значительной степени превышаетъ сумму пріятныхъ ощущений. Тогда, вмѣсто привязанности развивается, въ зависимости отъ обстоятельствъ и по особенностямъ характера, или тупое равнодушіе, или явная ненависть къ даннымъ условіямъ жизни. Для рабовъ и для народовъ, притупленных современными угнетеніемъ, не существуетъ чувства и не можетъ быть патриотизма, потому что человѣкъ не можетъ любить то, что отравляетъ его жизнь ежеминутными физическими и нравственными мученіями. Впрочемъ надо замѣтить, что природа человѣка чрезвычайно неискательна въ этомъ отношеніи и умѣетъ помириться съ такими условіями существованія, которыя въ глазахъ безпристрастнаго наблюдателя оказываются непрерывной цѣпью лишений, неблагоприятныхъ трудовъ и тяжелыхъ страданій. Со временъ Бориса Годунова напримѣръ положеніе нашихъ крестьянъ, прикрепленныхъ къ землѣ и превращенныхъ въ собственность, было конечно такъ плохо, что трудно даже предположить себѣ что-нибудь худшее, а между тѣмъ же самые крестьяне съ величайшимъ воодушевленіемъ поднимались два раза на защиту государства, которое такъ неудовлетворительно относилось въ отношеніи къ нимъ своимъ священнымъ обязанностямъ. Крестьяне ходили съ Мининымъ подъ Москву, крестьяне шли толпами въ сѣнь 1812 года; конечно ихъ воодушевление поддерживалось не учебниками русской истории, конечно было-бы въ высшей степени безумно, и несправедливо ожидать, чтобы внутреннія психологическія причины этого воодушевленія утратили свою силу теперь, когда положеніе крестьянъ улучшилось во многихъ отношеніяхъ.

Вѣдь легче и полнѣе живется на свѣтѣ какому-нибудь народу, тѣмъ сильнѣе любить онъ родину и свои учрежденія. Единственное средство усилить патриотизмъ состоитъ въ томъ, чтобы содѣйствовать правильному, здоровому и планомерному развитію народныхъ силъ и производительной дѣятельности. Школа можетъ принести въ этомъ отношеніи значительную долю пользы; но для этого она должна заботиться о своихъ воспитанникахъ въ здоровомъ и мыслящихъ людей, а не въ говорунцовъ, перенимающихъ свой патриотизмъ изъ параграфовъ историческаго учебника. Мыслящій человѣкъ, выбравшій себѣ какую-нибудь отрасль и пристрастившійся къ своей дѣятельно-

сти, любить свою родину особенно сильно потому, что чувствуетъ себя полезнымъ для нея и лишнимъ во всякой другой странѣ. Трудъ составляетъ самую крѣпкую и надежную связь между тѣмъ человѣкомъ, который трудится, и тѣмъ обществомъ, на пользу котораго направленъ этотъ трудъ. Поэтому, развивая въ своихъ воспитанникахъ рабочія силы и любовь къ труду, школа готовитъ изъ нихъ превосходныхъ патриотовъ, хотя-бы даже эти патриоты не имѣли никакого понятія о томъ, кто такой былъ Рюрикъ и что такое онъ сдѣлалъ 1000 лѣтъ тому назадъ.

Впрочемъ даже эта послѣдняя опасность устраняется сама собой. Я замѣтилъ уже въ самомъ началѣ этой главы, что русская исторія исключена изъ моей программы только *повидимому*. На самомъ-же дѣлѣ преподаваніе этого предмета только соединено съ преподаваніемъ словесности, и это соединеніе въ высшей степени выгодно для обоихъ предметовъ. Когда исторія и словесность преподаются отдѣльно, тогда преподаваніе того и другого предмета рискуетъ впасть въ дѣйствительно впадетъ очень часто въ односторонность, свойственную каждому изъ этихъ двухъ предметовъ. Исторія въ подобныхъ случаяхъ сосредоточивается на внѣшней сторонѣ событій и, упуская изъ виду умственную жизнь народа, превращается въ перечень битвъ, осадъ, мирныхъ договоровъ и смертныхъ случаевъ; исторія словесности въ свою очередь переполняется или мелкими біографическими фактами, неимѣющими никакого общаго интереса, или туманными эстетическими разсужденіями, неимѣющими въ себѣ никакого осязательнаго смысла. Соединеніе обоихъ предметовъ естественнымъ образомъ предохраняетъ преподавателя отъ этихъ нелѣпыхъ и печальныхъ крайностей; въ случаѣ соединенія, преподаватель долженъ будетъ сосредоточить все свое вниманіе на тѣхъ сторонахъ и проявленіяхъ народной жизни, посредствомъ которыхъ исторія и словесность соприкасаются между собой и дѣйствуютъ другъ на друга. Изъ исторіи преподаватель принужденъ будетъ выбирать только такіе факты, которые такъ или иначе видоизмѣняли собой народную жизнь и вслѣдствіе этого налагали свою печать на словесныя и письменныя выраженія общественнаго самознания.

Такимъ образомъ факты внутренней жизни отбрасываютъ далеко на задній планъ утомительныя и безплодныя перечисленія войнъ, трактатовъ, собственныхъ именъ, личныхъ пороковъ и личныхъ достоинствъ. Съ другой стороны, изъ груды литературныхъ памятникъ преподаватель принужденъ будетъ выбирать только такія произведенія, которыя отражаютъ на себѣ умственную физіономію своей эпохи. При такихъ условіяхъ, имѣя постоянно въ виду историческое значеніе разбираемыхъ произведеній, препода-

ватель очевидно не может удариться ни въ біографическую анекдотичность, ни въ эстетическую туманность. При такомъ методѣ преподаванія ученики узнаютъ изъ русской исторіи немногіе важнѣйшіе моменты, но узнаютъ ихъ по сырымъ матеріаламъ, во всей ихъ типической неподкрашенности; изъ словесныхъ памятниковъ они прочитаютъ также только кое-что; но зато въ этихъ немногихъ памятникахъ они найдутъ ключъ къ пониманію цѣлыхъ историческихъ эпохъ. Главная-же цѣль всѣхъ этихъ чтеній и историческихъ толкованій будетъ конечно заключаться въ томъ, чтобы овладѣть вполнѣ всѣми богатствами русскаго языка. Знаніе нашего языка для насъ безусловно необходимо; мы до сихъ поръ очень скверно пишемъ и совсѣмъ не умѣемъ говорить. Наше неумѣнье говорить уже чувствуется теперь въ нашихъ земскихъ собраніяхъ и обнаружится во всей своей красотѣ въ нашихъ будущихъ гласныхъ судахъ. Гимназистамъ надо непременно много читать и много писать по-русски. — Вмѣсто того чтобы читать каніе-нибудь пустяки и описывать «восходъ солнца» или «морскую бурю», имъ конечно всего лучше читать и комментировать письменно такіе памятники, которые своей величественной исторической физіономіей могутъ совершенно успокоить и умиротворить пылкія сердца самыхъ ревностныхъ патріотовъ.

2) Второе возраженіе относится къ географіи. — Въ нашихъ теперешнихъ гимназіяхъ, — разсуждаетъ читатель, — мальчикъ съ десяти лѣтъ выучивается обращаться съ географическими картами. Если-же онъ не будетъ учиться географіи, то легко можетъ быть, что онъ до самаго конца гимназическаго курса не увидитъ ни одной географической карты. Когда онъ приметъ за свое географическое самообразование, тогда это неумѣнье обращаться съ картами можетъ сдѣлаться для него серьезнымъ препятствіемъ. — При тѣхъ колоссальныхъ размѣрахъ, — отвѣчу я, — до которыхъ доведено въ моей программѣ преподаваніе математики, существуетъ полная возможность и даже настоятельная необходимость отвести въ этомъ преподаваніи очень видное мѣсто различнымъ практическимъ упражненіямъ. Въ числѣ этихъ упражненій должны играть довольно важную роль различныя геодезическія и топографическія операціи; ученикамъ высшихъ классовъ, начиная съ пятого, было-бы очень полезно въ лѣтнее и въ осеннее время заниматься подъ руководствомъ учителя математики съемкой плановъ въ окрестностяхъ того города, въ которомъ находится гимназія. Вниманіе учителя должно здѣсь сосредоточиваться конечно не на красотѣ отдѣлки, а на вѣрности размѣровъ и контуровъ. Когда ученики выучатся наносить на планъ главные особенности небольшой мѣстности, тогда учителю уже не трудно будетъ объяснить имъ совершенно ося-

зательно, какимъ образомъ наносятся цѣлыя обширныя земліи части свѣта образомъ на этихъ планахъ изображенныя мѣстныя особенности: моря, острова, рѣки, озера, горы и горы.

3) Третье возраженіе относится къ изученію новыхъ языковъ. Читатель можетъ совершенно справедливо, что надано слишкомъ незначительное число уроковъ. Я сознаю вполнѣ, что число уроковъ недостаточно, но мнѣ кажется, что недостаточность не причинитъ существеннаго вреда. Знаніе иностранныхъ языковъ необходимо каждому, кто хочетъ заниматься какой-нибудь отраслью, этому не можетъ быть никакого сомнѣнія. Известно также, что знаніе иностранныхъ языковъ полезно только тогда, когда оно сопровождается чтеніемъ иностранныхъ книгъ, *à livre ouvert*. Кому приходится скивать въ лексиконѣ по пятидесяти каждую страницу, тотъ конечно не ввлечетъ себѣ никакой пользы изъ свѣдѣніи о вѣдѣніи, потому что, читая по пяти или по десяти страницъ, не владѣешь начитаннымъ и свѣдѣющимъ о людяхъ, читающихъ такимъ образомъ иностранныя книги, говорятъ даже объ томъ, что они совсѣмъ не знаютъ языка, и то, что они быть-можетъ усвоили себѣ грамматическія правила и даже не

Гимназіи наши до сихъ поръ давали, въ самыхъ лучшихъ случаяхъ, нѣе иностранныхъ языковъ, которое въ чesкомъ отношеніи равняется отсутствію знанія. При выходѣ изъ гимназіи владѣніи иностранными языками только тѣ ученики, выучились имъ дома и которые уже въ гимназію, умѣя говорить на этихъ языкахъ. Конечно кто очень сильно желаетъ языку и кто понимаетъ вполнѣ познанія, тотъ можетъ выучиться и въ гимназію, признаюсь, я не видалъ такихъ и я полагаю, что они должны быть, потому что обыкновенно ясное собственное побужденіе пробуждается у людей довольно поздно, при первыхъ столкновеніяхъ съ дѣйствительностью. Итакъ, кто желаетъ выучиться, тотъ это сдѣлать и при 15 урокахъ, а кто не желаетъ, тому не помогутъ въ этомъ отношеніи 8 или 9 уроковъ. Но такъ какъ нѣе или нежелающіе составляютъ огромнѣйшинство, то, разумѣется, не мѣшало бы такое средство, которое влило бы въ головы практическое знаніе языковъ собственнаго желанія. Мнѣ кажется, что такое средство существуетъ, но только не въ гимназіяхъ, а въ воспитаніи ка до его поступленія въ учебное

енькія дѣти, отъ 3 до 10 лѣтъ, съ изуми-
тельной легкостью запоминаютъ слова и оборо-
ты; въ этомъ возрастѣ они могутъ въ полгода,
то въ годъ, выучиться говорить на иностран-
ный языкъ. Поэтому ихъ слѣдуетъ учить язы-
ку именно въ этомъ возрастѣ. Но какъ учить,
какіе средства нанять для ребенка фран-
цузку или нѣмцу, и когда сами родители не
знаютъ языковъ? Мнѣ кажется, было-бы очень
ожно и удобно воспользоваться для прак-
скаго изученія языковъ дѣтскими садами,
рые по всей вѣроятности будутъ размно-
ся у насъ довольно быстро. Въ одномъ са-
ду господствуетъ во всѣхъ играхъ дѣтей
иный языкъ, въ другомъ — англійскій, въ
третьемъ — французскій. Устроить это господ-
ство языковъ очень не трудно, если дѣтскій садъ
находится въ большомъ городѣ. Для этого не
нужно даже никакихъ принудительныхъ мѣръ,
а только приказаній говорить именно на томъ,
или на другомъ языкѣ. Кто хочетъ устроить
такой садъ, французскій садъ, тому надо для пер-
ваго начала отыскать полдюжину маленькихъ
французиковъ, которые не знали-бы никакого
другаго языка, кромѣ своего родного. Потомъ надо пока-
зать этимъ французикамъ нѣсколько забавныхъ
игръ, въ которыхъ необходимо вести нѣкоторыя
разговоры. Потомъ, когда эти игры будутъ въ
полномъ разгарѣ, надо открыть приемъ русскихъ
дѣтей, но открывать надо не вдругъ; принимать
ихъ надо сначала по одиночкѣ для того, чтобы
они не могли завести своихъ отдѣльныхъ игръ,
а для того, чтобы они, поневолѣ присоединяясь
къ веселой компаніи французовъ, поневолѣ вы-
сказались господствующему языку. Плата за
учащеніе сада будетъ конечно вполне доступ-
на, и тѣмъ семействамъ, которые не въ
состояніи нанимать иностранныхъ нянекъ или
гувернантокъ. Когда же дѣти выучатся говорить
на томъ или другомъ иностранномъ языкѣ, тогда
къ нимъ гимназическіе уроки въ недѣлю бу-
дутъ совершенно достаточно для того, чтобы под-
твердить и систематизировать ихъ лингвистиче-
скія знанія, пріобрѣтенныя практическимъ пу-

темъ ужасно и безчеловѣчно, это даже просто не-
возможно. Это значитъ насиловать умственные
способности несчастныхъ дѣтей, и ученики на-
вѣрное будутъ учиться изъ рукъ вонъ плохо, по-
тому что математика, появляющаяся передъ ни-
ми каждый день, будетъ наводить на нихъ же-
сточайшую скуку. — Ужъ не думаете-ли вы, —
спросить читатель въ заключеніе своей филип-
пики, — что вамъ удастся сдѣлать преподаваніе
математики интереснымъ и увлекательнымъ?

Нѣтъ, читатель, — отвѣчу я, — этого я не ду-
маю. Математика всегда, несмотря на всевоз-
можныя усовершенствованія въ методѣ препода-
ванія, останется для учениковъ трудной работой;
она никогда не будетъ давать никакой пищи ни
чувству, ни воображенію, и поэтому ея препо-
даваніе никогда не сдѣлается интереснымъ въ
томъ смыслѣ, въ какомъ вы называете интерес-
ными романы Диккенса или зоологическія разска-
зы Одюбона и Брема. Но, во-первыхъ, одна изъ
важнѣйшихъ обязанностей школы состоитъ въ
томъ, чтобы пріучить учениковъ къ серьезному и
упорному труду, а эта обязанность очевидно оста-
нется неисполненной и окажется даже неисполни-
мой, если вы постоянно, въ продолженіи всего ги-
мназическаго курса, будете продовольствовать учени-
ковъ исключительно интересными разсказами.
Выслушивать или прочитывать интересные раз-
сказы значитъ не трудиться, а сибаритничать. Пре-
даваясь этому пріятному и непродусудительному
занятію, можно невольно и нечаянно усвоить себѣ
множество фактическихъ и даже полезныхъ знаній,
но нѣтъ ни малѣйшей возможности придать свое-
му уму необходимую крѣпость и гибкость, сформирова-
вать и закалить свой характеръ, и вообще при-
готовить себя къ столкновенію съ тѣми суровы-
ми и серьезными сторонами умственной работы,
безъ которыхъ не обходится и не можетъ обойтись
никакая трудовая дѣятельность, достойная раз-
витого человѣка и честнаго гражданина. Во-вто-
рыхъ, хотя математика и не можетъ сдѣлаться
эстетически-привлекательной наукой, однако при
искусномъ преподаваніи она можетъ постоянно
доставлять ученикамъ, начиная съ самыхъ млад-
шихъ классовъ, самыя чистыя и высокія наслаж-
денія, особенно плодотворныя въ томъ отноше-
ніи, что они заставляютъ учениковъ пристраститься
къ голому процессу труда, не смягченнаго
и не украшеннаго никакими посторонними ин-
гредиентами.

Всякому человѣку хочется быть сильнымъ,
красивымъ, ловкимъ, смелымъ, остроум-
нымъ и изобрѣтательнымъ. Всякому человѣку
свойственно во всякомъ занятіи стремиться къ
возможному совершенству и радоваться, когда
мало по малу эта желанная виртуозность дѣй-
ствительно пріобрѣтается. Что математика при
сколь угодно разумномъ преподаваніи имѣетъ
высокую образовательную силу, что она развер-
тывается и упражняетъ превосходно умственные

IX.

Общество наше плохо знаетъ математику и
не желаетъ съ ней знакомиться, потому
считаетъ къ ней глубокое, хотя и почтитель-
ное отвращеніе. Увидѣвъ въ моей программѣ,
что преподаваніе математики назначено каждыи
въ теченіи всѣхъ семи лѣтъ гимназическаго
курса, многіе читатели затрепещутъ отъ ужаса,
думая, что я желаю превратить гимназію въ
мирительное заведеніе, и возблагодарятъ Про-
видѣніе за то, что моя программа нисколько не
отличается отъ росписанія уроковъ, принятое новымъ
гимназическимъ уставомъ. — Каждый день мате-
матика, — размышляетъ читатель; — это не толь-

способности учащихся, въ этомъ не сомнѣвался еще никто изъ самыхъ заклятыхъ ненавистниковъ этой ужасной и неприступной науки. Смышленность учениковъ растетъ постоянно во время ихъ математическихъ занятій, это такъ-же вѣрно и неизбежно, какъ то, что мускулы человека крѣпнютъ и ловкость его увеличивается, когда онъ занимается гимнастическими упражненіями. Слѣдуетъ-же расположить и вести ваше математическое преподаваніе такъ, чтобы ученики сами замѣчали тотъ процессъ созрѣванія, который совершается въ ихъ головахъ. Какъ только ученики почувствуютъ и поймутъ совершенно отчетливо, что они съ каждымъ мѣсяцемъ, даже съ каждой недѣлей становятся умнѣе и расторопнѣе; какъ только дѣйствительное существованіе этого отраднато психическаго факта сдѣлается для нихъ осязательнымъ и несомнѣливымъ; какъ только они сравнятъ свое недавнее прошедшее съ своимъ настоящимъ и увидятъ въ послѣднемъ значительный шагъ впередъ, — такъ они непремѣнно пристрастятся къ тѣмъ умственнымъ занятіямъ, которыя дали имъ возможность сдѣлать надъ собственными особами такія пріятныя и лестныя наблюденія. Il faut souffrir pour être belle, говорятъ кокетки, и онѣ дѣйствительно съ великой стойкостью выносятъ боль отъ узкихъ башмаковъ, отъ узкихъ перчатокъ и вообще отъ всѣхъ тѣхъ предметовъ, которые такъ или иначе приближаютъ ихъ къ условному идеалу красоты. Не совершенные съ дѣтства представители обоихъ половъ по крайней мѣрѣ такъ-же сильно дорожатъ своими умственными достоинствами, какъ глупыя и пустыя женщины дорожатъ тонкостью своей талии или малыми размѣрами рукъ и ногъ. Если послѣднія соглашаются страдать, терпѣть боль для соблюденія красоты, то какое-же можетъ быть сомнѣніе въ томъ, что первые будутъ съ удовольствіемъ заниматься скучными и трудными работами, когда они увидятъ, что умъ ихъ дѣйствительно крѣпнѣтъ и совершенствуется въ этихъ работахъ?

Но само собой разумѣется, что самобытное, свободное и сильное влеченіе къ трудной и утомительной работѣ пробудится въ ученикахъ только тогда, когда они *сами почувствуютъ, сами подмнутъ* развивающее дѣйствіе этихъ работъ, а не тогда, когда учитель будетъ краснорѣчиво описывать имъ это развивающее дѣйствіе. Искусство учителя именно въ томъ и должно состоять, чтобы всѣ занятія были расположены по такому плану, который естественнымъ образомъ наводитъ-бы учениковъ на эти полезныя размышленія. При хорошемъ преподаваніи ученики должны полюбить математическія занятія по той-же самой психической причинѣ, по которой они любятъ различныя игры, дающія имъ возможность обнаружить передъ собой и передъ другими отвагу, силу и ловкость. Математика вся сплошь составлена изъ такихъ трудностей, кото-

рыя учащійся долженъ преодолевать силой своего ума и постояннымъ, упорнымъ и энергическимъ напряженіемъ вниманія. Эти трудности приводятъ въ ужасъ несвѣдущихъ людей, но именно этими-то трудностями хорошій преподаватель и можетъ воспользоваться для того, чтобы научить ученикамъ сильное влеченіе къ математическимъ занятіямъ. Надо, чтобы каждый шагъ впередъ доставался ученику послѣ тяжелой борьбы, и чтобы въ то-же время эта тяжелая борьба никогда не превышала размѣровъ его наличныхъ умственныхъ силъ. При такихъ условіяхъ математическія занятія будутъ давать ученикамъ всѣ обаятельныя ощущенія настоящей борьбы; ученикъ будетъ смѣло подходить къ каждой новой трудности, будетъ съ воодушевленіемъ работать надъ ея усвоеніемъ и, одержавши надъ нею побѣду, будетъ выносить изъ этой побѣды новый запасъ силы и веселой энергіи. Поступивъ такимъ образомъ, ученикъ съ молодыхъ лѣтъ выучится понимать и чувствовать ту великую истину, что суровый и утомительный трудъ составляетъ человеку высокое наслажденіе, если только онъ не доходитъ до такихъ крайнихъ размѣровъ, при которыхъ онъ можетъ подрывать физическія и умственныя силы человѣческаго организма. Когда ученику удастся отыскать обаятельную сторону даже въ рѣшеніи алгебраическихъ и геометрическихъ задачъ, тогда можно будетъ сказать навѣрное, что этотъ ученикъ вполне способенъ принять на себя и довести до конца всякій умственный трудъ, какъ-бы онъ былъ сухъ и утомителенъ. Обаятельная сторона, отысканная ученикомъ, заключается въ томъ, что эти задачи упражняютъ умъ и энергію, а такъ какъ эта обаятельная сторона отыщется непремѣнно во всякомъ умственномъ, т.е. не машинномъ трудѣ, то и оказывается въ концѣ концовъ, что для ученика, воспитаннаго на математикѣ, всякій умственный трудъ будетъ привлекателенъ или по крайней мѣрѣ сносенъ. Такимъ образомъ математика сдѣлается для ученика превосходной школой не только въ умственномъ, но и въ нравственномъ отношеніи. Математика не только приготовитъ ученика къ изученію естественныхъ наукъ; она не только выучитъ его мыслить правильно и последовательно; она еще кромѣ того воспитаетъ въ немъ неустрашимаго работника, для котораго *трудъ и скука* окажутся двумя взаимно исключаящими другъ друга понятіями.

Для окончательнаго-же успокоенія тѣхъ мнительныхъ людей, которые думаютъ, что гимназисты будутъ непремѣнно ненавидѣть и приравнять ужасную математику, я предлагаю для каждаго класса слѣдующую организацію, направленную къ тому, чтобы усилить и регулировать соревнованіе. Положимъ, что въ первый классъ поступило 50 человекъ учениковъ. Въ продолженіи двухъ или трехъ мѣсяцевъ пре-

дavatели изучаютъ размѣры ихъ индивидуаль- ныхъ способностей. По прошествіи этого време- ни преподаватели находятъ, что 7 учениковъ обладаютъ очень хорошими способностями, 29 — посредственными и 14 — слабыми. Тогда они раз- дѣляютъ классъ на 7 группъ, наблюдая при этомъ, чтобы эти группы были равносильны между со- бой по общей массѣ входящихъ въ нихъ инди- видуальныхъ способностей. На каждую группу придется такимъ образомъ по одному дарови- тому ученику, по два слабыхъ и по четыре по- средственности. Въ одной изъ группъ окажется одна лишняя посредственность, но вліяніе ея будетъ совершенно нечувствительно; она не до- ставитъ ей того перевѣса надъ другими группа- ми, который далъ-бы ей лишній даровитый уче- никъ, и не послужитъ ей также тѣмъ обремене- ніемъ, которымъ оказалась-бы для нея одна лиш- няя бездарность. Затѣмъ, когда это раздѣленіе устроено, остается только въ концѣ каждаго мѣ- сяца выводить для каждой группы средній баллъ по всемъ предметамъ и объявлять классу, что такая-то группа оказалась первой, а такая-то второй —, и такъ далѣе. Этого будетъ совершенно достаточно; и можно поручиться за то, что при этой системѣ всякія награды за лѣность и вся- кія награды за прилежаніе сдѣлаются совершен- но излишними.

Въ настоящее время во всѣхъ нашихъ учеб- ныхъ заведеніяхъ дѣйствуетъ болѣе или менѣе сильно начало личнаго соревнованія. Пожалуй, и это недурно; во всякомъ случаѣ лучше дѣйстви- тельно на дѣтей посредствомъ личнаго соревнова- нія, чѣмъ посредствомъ физической боли. Но не- трудно замѣтить въ системѣ личнаго соревнова- нія нѣсколько серьезныхъ недостатковъ. Во-пер- выхъ, эта система совершенно изолируетъ инте- ресы каждой отдѣльной личности; даровитому ученику невыгодно тратить время на то, чтобы помогать бездарному; если онъ это дѣлаетъ, то онъ чувствуетъ самъ, что приносить жертву и оказывать товарищу благодѣяніе. Словомъ, эта система направляется къ тому, чтобы форми- ровать близорукихъ эгоистовъ или сантимен- тальныхъ филантроповъ, но никакъ не къ тому, чтобы развивать въ ученикахъ чувство солидар- ности между отдѣльными людьми и личными ин- тересами. Придерживаясь этой системы, школа совершенно забываетъ свою обязанность готовить хорошихъ гражданъ. Во-вторыхъ, личное сорев- нованіе дѣйствуетъ сильно только на самыхъ лучшихъ учениковъ; для массы оно не можетъ имѣть никакого значенія. Подъ вліяніемъ лич- наго соревнованія идетъ ожесточенная борьба только за первыя мѣста въ классѣ, а такъ какъ эта борьба доступна только для самаго ничтож- наго меньшинства, всего для какихъ-нибудь пя- ти-шести учениковъ, то весь остальной классъ присутствуетъ при этой борьбѣ въ качествѣ по- стороннихъ и лично-незаинтересованныхъ зри-

телей. Между первымъ и вторымъ мѣстомъ въ классѣ есть для ученика замѣтная разница; меж- ду вторымъ и третьимъ — тоже; между первыми тремя и остальной массой — тоже; но кто попадетъ въ безразличную массу и сидитъ въ ней безвыход- но, для того уже рѣшительно все равно, перей- ти-ли изъ класса въ классъ семнадцатымъ, или двадцатымъ, или тридцатымъ третьимъ. Эти отбѣнки становятся совершенно нечувствитель- ными, и о нихъ нисколько не заботятся ни на- чальство, ни общественное мнѣніе школьнаго то- варищества. — Въ-третьихъ, господствующая си- стема личнаго соревнованія не хороша тѣмъ, что на практикѣ она обыкновенно приправляется раз- личными наградами, которые дѣйствуютъ или на тщеславіе воспитанниковъ, или на инстинктъ стя- жанія, подготавливая такимъ образомъ для жизни усердныхъ искателей теплыхъ мѣстъ и видимыхъ знаковъ отличія.

Всѣ эти неудобства устраняются системой коллективнаго соревнованія. Для каждаго изъ членовъ группы одинаково важно, чтобы всѣ его товарищи по группѣ учились хорошо; дур- ные баллы, получаемые слабыми учениками, тянутъ назадъ всю группу; поэтому лучшіе уче- ники будутъ непременно помогать слабымъ, и будутъ помогать имъ не изъ филантропіи, а изъ желанія поддержать общее дѣло и не дать себя въ обиду другимъ группамъ. Такимъ образомъ, въ ученикахъ будутъ незамѣтно и нечувствительно вырабатываться здоровые общественные инстинк- ты. Слабые ученики съ своей стороны будутъ напрягать всѣ свои силы, чтобы не сдѣлаться для своихъ ближайшихъ товарищей невыноси- мымъ бременемъ и причиной позорныхъ пораже- ній. Словомъ, всѣ — слабые, посредственные и сильные — будутъ дѣлать столько, сколько мо- гутъ; всѣ они будутъ находиться подъ контро- лемъ товарищей, а этотъ контроль, разумѣется, оказывается всегда неизмѣримо бдительный и строже всякой начальственной инспекціи. Такъ какъ этотъ контроль будетъ одинаково строгъ для всѣхъ, какъ сильныхъ, такъ и слабыхъ, то, разумѣется, при этой системѣ вовсе не окажется той безразличной и неподвижной массы, къ которой относится огромное большинство класса, при системѣ личнаго соревнованія. Наградъ не требуется никакихъ; соперничество между груп- пами установится само собой, и начальство бу- детъ только ежемѣсячно сообщать этимъ груп- памъ простой статистическій фактъ, къ которо- му нѣтъ никакой надобности прибавлять какіе- бы то ни было хвалительные или порицательные комментаріи.

— Почему же вы однако думаете, — спроситъ читатель, — что соперничество дѣйствительно уста- новится? — Потому, — отвѣчу я, — что ребята очень любятъ хвастаться другъ передъ другомъ силой, ловкостью, храбростью, смѣлливостью. Какъ только познакомятся между собой два мальчика,

неизуродованные чопорнымъ воспитаніемъ, такъ они непременно начнутъ бороться или бѣгать взапуски, и вообще постараются превзойти другъ друга въ томъ или другомъ воинственномъ упражненіи. А борьба между группами еще гораздо занимательнѣе, чѣмъ борьба между отдѣльными личностями. Тутъ есть и союзники, и противники, и безпристрастные судьи, спокойно и хладнокровно читающіе ежемѣсячный статистическій отчетъ, пробуждающій во всѣхъ сгруппированныхъ сердцахъ цѣлыя бури разнообразныхъ, но чистыхъ и полезныхъ страстей. Система, которую я предлагаю здѣсь, уже дѣйствуетъ въ парижской ремесленной школѣ (*école professionnelle*), и г-жа Маршевъ-Жиравъ въ книгѣ своей: «*Des facultés humaines et de leur développement par l'éducation*», говорить, что полезные результаты, добываемые при помощи этого дѣленія на группы, далеко превзошли самыя смѣлыя ея ожиданія.

X.

Кромѣ всѣхъ своихъ вышеисчисленныхъ достоинствъ, моя программа имѣетъ еще достоинство дешевизны. Чтобы убѣдиться въ этомъ, стоитъ только сравнить штатъ реальной гимназій со штатомъ такого училища, которое было-бы устроено по моей программѣ. Выписываю изъ штата реальныхъ гимназій тѣ статьи, которыя относятся собственно къ учителямъ:

	Недѣльн. уроки.	Жал.
1 Законоучителю полагается за	14	1,020 р.
2 Учителямъ русскаго языка »	25	1,860 »
2 » математики . . »	28	2,040 »
2 » естеств. ист. . . »	29	2,100 »
1 » ист. и геогр. . . »	22	1,500 »
2 » нѣмц. яз. . . »	24	1,800 »
2 » франц. яз. . . »	22	1,650 »
1 » чистописанія . . »	20	880 »
Итого за 184		12,850 р.

При назначеніи жалованья учителямъ уставъ держится слѣдующаго правила: когда учитель имѣетъ 12 недѣльных уроковъ или менѣе, то ему полагается за каждый урокъ по 75 р. въ годъ. Если же учитель имѣетъ больше 12 уроковъ, то за каждый урокъ сверхъ 12-ти онъ получаетъ въ годъ по 60 р. Такъ напр., законоучитель за 12 уроковъ получаетъ $12 \times 75 = 900$ рублей, а за два урока сверхъ 12-ти, — $2 \times 60 = 120$ рублей. Всего 1,020 рублей. Прилагая тотъ же самый расчетъ къ моей программѣ, я получаю слѣдующіе результаты:

	Уроки.	Жал.
1 Законоучителю за	14	1,020 р.
2 Учителямъ русскаго языка »	32	2,280 »
3 » математики . . . »	42	3,060 »
1 Учителю физики . . . »	14	1,020 »
1 » нѣмц. яз. . . »	15	1,080 »
1 » франц. яз. . . »	15	1,080 »
1 » чистописанія . . »	6	*) 300 »
Итого за 138		9,840 р.

*) Учителю чистописанія уставъ назначаетъ

Вычитаю 9,840 изъ 12,850 руб. и получаю 3,010 рублей экономіи. Эту экономію было-бы полезно употребить слѣдующимъ образомъ:

На жалованье гимназическому врачу	1,200 руб.
На ученическую бібліотеку	810 »
На содержаніе токарной и столярной мастерской	1,000 »
Итого	3,010 руб.

Врачъ получалъ-бы тогда всего 1,500 рублей. Тогда можно было-бы вѣнчать ему въ обязанность, чтобы онъ присутствовалъ постоянно при гимназическихъ упражненіяхъ воспитанниковъ, чтобы онъ строго наблюдалъ за надлежащей вентиляціей классныхъ комнатъ и dortуаровъ, чтобы онъ изучалъ комплекцію и темпераментъ отдѣльныхъ воспитанниковъ, и чтобы наконецъ онъ представлялъ ежегодно медицинскіе статистическіе отчеты по вѣренному ему заведенію. Тогда врачъ дѣйствительно могъ-бы сдѣлаться по крайней мѣрѣ до нѣкоторой степени регуляторомъ внутренней жизни въ гимназій. При этомъ само собою разумѣется, что онъ, подобно директору, инспектору и воспитателямъ, долженъ имѣть квартиру въ самомъ заведеніи, и что каждое опредѣленіе педагогическаго совѣта должно подписываться врачомъ для того, чтобы получать законную силу.

Крайняя бѣдность гимназическихъ бібліотекъ уже давно обращаетъ на себя вниманіе учебнаго начальства. Такъ-называемыя фундаментальныя бібліотеки, заключающія въ себѣ ученическія сочиненія, необходимыя для преподавателей, не отличаясь богатствомъ и удовлетворительностью своего состава, могутъ однако до нѣкоторой степени выполнять свое назначеніе. Что же касается до такъ называемыхъ ученическихъ бібліотекъ, предназначенныхъ для чтенія воспитанникамъ, то онѣ при многихъ гимназійхъ вовсе не существуютъ, а при другихъ *находятся, только въ зачаткѣ*. Въ казанскомъ округѣ имѣется 12 гимназій; изъ нихъ снабжены ученическими бібліотеками только 7 гимназій; не читатель никакъ не долженъ думать, что эти счастливыя 7 гимназій дѣйствительно могутъ предложить своимъ воспитанникамъ богатый запасъ разнообразнаго чтенія. Самая богатая изъ этихъ счастливыхъ семи гимназій, Екатеринбургская, имѣетъ въ своей ученической бібліотекѣ 505 томовъ; самая же бѣдная, Пермская, имѣетъ въ своемъ распоряженіи 77 томовъ, такъ что вся бібліотека можетъ вѣроятно уместиться на двухъ не очень большихъ полкахъ. Впрочемъ легко можетъ быть, что вятская бібліо-

меньшее жалованье на томъ основаніи, что отъ него не требуется прохожденія университетскаго курса. Я для равнаго счета назначилъ ему по 50 руб. за урокъ, немного больше, чѣмъ назначаетъ ему уставъ.

тека еще бѣдиѣ пермской. Въ отчетѣ попечителя цифра вятскихъ книгъ не показана, но сдѣлано замѣчаніе, что «особенно нуждаются въ пополненіи полезными для чтенія учениковъ книгами библіотеки вятская и пермская». — Показана-же цифра книгъ въ пяти библіотекахъ, и изъ этихъ пяти показаній мы получаемъ средній выводъ: 394. Сама по себѣ эта цифра не очень печальна; ученику некогда прочитать въ семь лѣтъ 394 тома; онъ читаетъ въ свободныя минуты, а свободныхъ минутъ у него не очень много, потому что большая часть того времени, которое не проводится въ классѣ и не употребляется на ученіе уроковъ, должна быть посвящена гимнастическимъ упражненіямъ и различнымъ играмъ, требующимъ физическаго движенія. Въ первые два или даже три года ученику вовсе не слѣдовало-бы читать; если-же мы распредѣлимъ чтеніе 394 томовъ на послѣдніе четыре года, то на годъ придется по $98\frac{1}{2}$ тома, а на мѣсяцъ — слишкомъ по 8 томовъ; то-есть ученику придется прочитывать по одному тому въ три съ половиной дня. Стало-быть, еслибы книги ученическихъ библіотекъ были удовлетворительны по своему содержанію, то ученикамъ не пришлось-бы терпѣть умственнаго голода. Но удовлетворительны-ли онѣ на самомъ дѣлѣ? Попечитель казанскаго округа не сообщаетъ намъ никакихъ подробностей о составѣ ученическихъ библіотекъ, но мы имѣемъ основаніе думать, что онѣ очень плохи въ качественномъ отношеніи; на эту мысль наводитъ меня слѣдующее замѣчаніе въ отчетѣ попечителя. «Между тѣмъ, имѣя огромное значеніе въ отношеніи развитія умственнаго и знаній учащихся, ученическія библіотеки не имѣютъ никакихъ постоянныхъ средствъ, которыя могли-бы служить гарантіей ихъ улучшенія, такъ какъ частная благотворительность — весьма ненадежный источникъ и не вездѣ кромѣ того она проявляется съ одинаковой щедростью. Поэтому совершенно необходимо, въ видѣ постоянного улучшенія и пополненія ученическихъ библіотекъ, назначить опредѣленную сумму на ихъ содержаніе, хотя-бы напримѣръ въ количествѣ 100 руб. въ гимназіяхъ и треть или четверть этой суммы въ уѣздныхъ училищахъ.» Мы видимъ такимъ образомъ, что объ улучшеніи и пополненіи ученическихъ библіотекъ заботилась до сихъ поръ исключительно частная благотворительность. Но такъ какъ наша частная благотворительность обращалась до сихъ поръ преимущественно на монастыри и на остроги и проявлялась обыкновенно въ раздаваніи полушекъ на церковной паперти, или въ одѣленіи арестантовъ черствыми калачами, то надо полагать, что на украшеніе ученическихъ библіотекъ эта благотворительность устремлялась только тогда, когда благотворителю доставалось по наслѣдству отъ какого-нибудь стараго дядюшки нѣсколько десятковъ античныхъ

книгъ, совершенно негодныхъ для личнаго употребленія. Чтò прикажете дѣлать съ такой коллекціей? Толкучагорынка въ провинціи не имѣется; на оклейку комматъ подѣ обои эти книги не годятся, если онѣ переплетены; чердаки и кладовыя и безъ того биткомъ набиты всякой рухлядью; очевидно остается только навалить эти книги на телѣгу и отправить ихъ въ мѣстный храмъ наукъ, чтобы получить такимъ образомъ за весьма дешевую цѣну репутацію благотворителя и губернскаго мецената.

— Вотъ прекрасно! — возражаетъ читатель. — Развѣ допустить гимназическое начальство, чтобы ученическая библіотека сдѣлалась складочнымъ мѣстомъ всякаго стараго храма? — Читатель мой, — отвѣчу я, — хламъ — выраженіе условное и эластическое. Если въ числѣ старыхъ книгъ, необходимыхъ для самого благотворителя, окажутся «La Pucelle» Вольтера, «Les bijoux indiscrets» Дидро, «Декамеронъ» Боккачіо, «Justine» маркиза де-Садъ, и разныя другія столь-же веселыя произведенія, то легко можетъ случиться, что гимназическое начальство съ негодованіемъ отрѣжетъ имъ доступъ въ ученическую библіотеку, въ которой подобныя пріяности дѣйствительно неумѣстны. Но представьте себѣ, что благотворитель присылаетъ въ гимназію сочиненія Сумарокова, Тредьяковскаго, Хераскова, Аблесимова, Кострова, Поповскаго, Озерова, Мерзлякова. Спрашивается: хламъ-ли это, или не хламъ? Вы скажете быть-можетъ, что это хламъ, и я съ вами не стану спорить, но гимназическое начальство не будетъ имѣть ни малѣйшаго основанія на то, чтобы исключать подобныя книги изъ ученической библіотеки. Все это — орлы русскаго парнаса, и гимназическое начальство не имѣетъ никакого права отгонять русскаго юношества отъ живительныхъ струй нашей отечественной Гиппоклены. Начальство навѣрное поставитъ полученные книги въ шкафъ, отмѣтитъ у себя въ каталогѣ, что ученическая библіотека обогатилась такимъ-то количествомъ томовъ, и воздастъ приличную благодарность усердному жертвователю. Но такъ какъ можно поручиться головой, что ни одинъ гимназистъ не прочитаетъ во всѣ семь лѣтъ своего пребыванія въ гимназіи ни одного тома Сумарокова или Хераскова, то очевидно, что изъ средней цифры 394 приходится вычесть всю массу тѣхъ книгъ, которыя по своей занимательности и поучительности равняются произведеніямъ этихъ двухъ великихъ представителей русской поэзіи. Легко можетъ быть, что послѣ этого вычитанія мы вмѣсто 394 томовъ получимъ чистый нуль. Очень правдоподобно, что въ ученическихъ библіотекахъ мы не найдемъ ни одного порядочнаго кругосвѣтнаго путешествія, ни одной дѣльной исторической книги и ни одного произведенія Тургенева, Гончарова, Достоевскаго, Писемскаго, Толстого, Помяловскаго, Островскаго и другихъ по-

вѣйшихъ писателей, безъ которыхъ невозможно даже составить себѣ ясное понятіе о современномъ положеніи русскаго языка.

Попечитель казанскаго округа желаетъ, какъ мы видѣли выше, чтобы ежегодно отпускалось на комплектованіе ученической библіотеки по 100 рублей. Скромность этого желанія доказываетъ ясно, что ученическія библіотеки не избалованы въ прошедшемъ, и что даже въ ближайшемъ будущемъ мудрено предсказывать имъ роскошное и блистательное развитіе. Положеніе фундаментальныхъ библіотекъ въ настоящее время гораздо болѣе утѣшительно. Между тѣмъ какъ для ученическихъ библіотекъ годовой бюджетъ въ 100 рублей составляетъ еще отдаленную цѣль смѣлыхъ желаній, фундаментальныя библіотеки казанскаго округа израсходовали на выписку въ 1863 году среднимъ числомъ по 259 рублей. Больше всѣхъ изстратила 2-я Казанская гимназія, именно 381 р., а меньше всѣхъ — Нижегородскій институтъ, именно 145 р. Какъ видите, даже этотъ минимумъ почти въ полтора раза больше той суммы, которую попечитель проситъ для комплектованія ученическихъ библіотекъ.

Если мы представимъ себѣ учебное заведеніе, устроенное по моей программѣ, то въ этомъ заведеніи отношенія между фундаментальной библіотекой и ученической будутъ установлены совсѣмъ не такъ, какъ они сложились въ теперешнихъ гимназіяхъ. Съ одной стороны, фундаментальная библіотека будетъ почти совершенно поглощена ученической. Съ другой стороны, ученическая библіотека будетъ состояться изъ такихъ книгъ, которыя интересны и поучительны не только для учениковъ, но и вообще для всѣхъ людей, способныхъ читать и понимать литературныя произведенія и популярно-научныя книги. Въ чисто-ученыхъ сочиненіяхъ преподаватели моего воображаемаго заведенія будутъ нуждаться очень мало. Трое изъ нихъ преподають математику, двое — русскій языкъ, двое — новые языки и одинъ — физикѣ. Собственно говоря, только одинъ преподаватель физики будетъ постоянно нуждаться въ новыхъ, строго и рационально-ученыхъ сочиненіяхъ по своему предмету. Математики могутъ быть превосходными преподавателями, вовсе не заботясь о тѣхъ мелкихъ математическихъ мемуарахъ, которые представляются каждый годъ трудолюбивымъ ученымъ въ различныхъ европейскія академіи. Можно сказать навѣрное, что время великихъ открытій и радикальныхъ переворотовъ окончательно миновало для математики, что теперешнее положеніе этой науки въ существенныхъ чертахъ своихъ останется непоколебимо-твердымъ на вѣчныя времена, что мелкіе мемуары современныхъ геометровъ не разрушаютъ въ этой наукѣ ничего стараго и не построятъ въ ней почти ничего новаго, и что вслѣдствіе всѣхъ этихъ об-

стоятельствъ добросовѣстный учитель математики ни въ какомъ случаѣ не рискуетъ оказаться отсталымъ по предмету своей спеціальности. Съ стороны гимназическихъ математиковъ было-бы даже гораздо благоразумнѣе, еслибы они заботились о расширеніи своего общаго образованія, вмѣсто того чтобы ловить на лету и изучать отъ доски до доски незначительныя математическіе мемуары. А для общаго образованія имъ будетъ всего удобнѣе обращаться къ ученической библіотекѣ, которая должна быть направлена именно къ этой послѣдней цѣли. Преподавателямъ русскаго языка необходимо слѣдить за современнымъ развитіемъ русской литературы, но въ этомъ отношеніи ученическая библіотека должна удовлетворять всѣмъ ихъ требованіямъ, потому что эта библіотека непременно должна выписывать лучшіе литературные журналы и приобретать себѣ всѣ замѣчательныя произведенія современной словесности. Кромѣ того преподавателямъ русскаго языка придется изрѣдка выписывать книги по исторіи литературы, вродѣ «Историческихъ очерковъ» Буслаева, или «Памятниковъ» Костомарова, или «Обзора славянскихъ литературъ» Спасовича и Пыпина; но такіе книги выходятъ вообще такъ рѣдко, что врядъ-ли придется на этотъ предметъ тратить изъ года въ годъ больше десяти или пятнадцати рублей. Для нѣмца и француза даже и того не придется изтратить, потому что гимназистамъ нужно знаніе языка, а не литературы.

Итакъ, фундаментальная библіотека будетъ состоять почти исключительно изъ сочиненій по физикѣ и еще изъ лучшихъ произведеній по педагогической части. За развитіемъ педагогическаго, какъ науки и какъ искусства, за всѣми усовершенствованіями въ методахъ преподаванія все гимназическое начальство и весь педагогическій совѣтъ должны слѣдить пристально и неутомимо. Гимназіи должны выписывать непременно всѣ лучшіе педагогическіе журналы и трактаты, какъ русскіе, такъ и заграничные; недостатка въ дешевыхъ средствахъ оказаться не можетъ, напротивъ того, должна даже оказаться значительная экономія. Уставъ опредѣляетъ для реальныхъ гимназій на учебныя пособія 800 рублей. На эти деньги по уставу должны содержаться и ремонтироваться: 1) фундаментальная библіотека, 2) ученическая библіотека, 3) физическій кабинетъ, 4) зоологическія, ботаническія и минералогическія коллекціи, 5) химическая лабораторія, 6) географическія карты, глобусы, чертежи, рисунки и модели для рисованія, 7) музыкальныя ноты. — По моей программѣ всѣ эти статьи расхода уничтожаются, кромѣ *первой и третьей*, то-есть на эти 800 рублей придется ремонтировать только фундаментальную библіотеку и физическій кабинетъ. Ученическая библіотека будетъ имѣть, какъ мы видѣли выше, свой особенный годовой бюджетъ въ 810 рублей,

составленный из жалованья упраздненных преподавателей; а все остальные предметы: коллекции, лаборатория, рисунки, модели, ноты, окажутся просто ненужными по основным условиям программы. Ясно, стало-быть, что можно будет выписывать множество педагогических сочинений и обставить физический кабинет самым блестящим образом.

XI.

Так как малолетним ребятам первых трех классов гораздо полезнее в свободное время бегать, играть и возиться, чем сидеть смирно и читать правоучительные историйки, то ученическая библиотека должна быть составлена вовсе не из детских, а из общезанимательных и общедоступных книг. Специально-детская литература всегда и везде составляет и будет составлять одну из самых жалких, самых ложных и самых ненужных отраслей общей литературы. Развитие детской литературы и запрос на детские книги, несомненно существующий во всех современных обществах, объясняются просто и легко разными уродливыми особенностями, укоренившимися, во-первых, в господствующих системах первоначального воспитания и, во-вторых, в наших собственных нравственных привычках. Не умя развивать правильным образом физические силы ребенка, совершенно забывая о том, что ребенок для укрепления своего организма должен делать как можно больше движения, мы с первых лет жизни прививаем ребенку наклонность к старческой усидчивости и радуемся, глядя на нашего питомца, который не шумит, не кричит, не топчет ногами по комнатам, а сидит себе за каким-нибудь благонравным занятием, вроде разсматривания картинок или рисования разных каракулек. У такого ребенка, приученного уже к сидячей жизни и взирающего на беганье и прыганье, как на занятия бессмысленные и вовсе не комфортабельные, у такого ребенка, — говорю я, — очень не трудно развить неестественную и преждевременную охоту к чтению.

Неестественность и преждевременность этой охоты обнаружится для нас совершенно очевидно, как только мы серьезно зададим себе вопрос о том, что такое чтение или по крайней мере чем оно по настоящему должно быть для человека? — Чтение есть тот акт, посредством которого отдельная личность, чувствуя свое бессилие перед осядающими ее вопросами, обращается к коллективному уму человечества, к лучшим представителям этого ума, чтобы от них добыть себе ответ на эти вопросы, неразрешимые для индивидуальных сил. — Только такое чтение имеет смысл и приносить пользу как самому читателю, так и обществу, пожинаящему рано или поздно плоды

этого разумного и целесообразного чтения. Но разве семи-восемь-десяти и даже двенадцатилетние пузыри могут читать таким образом? Разве их осядают какие-нибудь вопросы? Разве они ищут каких-нибудь ответов? Разве им есть какое-нибудь дело до коллективного ума человечества? — Они с великой радостью променяют весь этот коллективный ум со всеми его ответами на арабские сказки Шехеразады. Они читают просто для того, чтобы убить время, читают для того-же самого, для чего предаются чтению все любители романов Поль-де-Кока и обоих Дюма, père et fils. Это чтение безобразно и безнравственно, как гнусный продукт позорной праздности. И это убивание времени вдвойне безобразно и безнравственно, когда действующими лицами являются дети. Если взрослый болван читает для процесса чтения, то на него уже можно махнуть рукой. Кто сдвигался совершеннolетним человеком, не выучившись ценить время, тот может уже заниматься чем ему угодно, потому что во всяком случае не займется ничем путным. Ребенок, напротив того, только-что вытягивается в искусство убивать время, и поэтому безцельное чтение, — эта профанация и протитация мысли, — имеет еще для него развращающее значение, которого оно уже больше не может иметь для окончательно-развращенного и кретинизированного взрослого. Поэтому я огоршу читателя тем неожиданным для него заключением, что так-называемые хорошие детские книги гораздо безнравственнее и, по своему влиянию на общество, гораздо вреднее самых грязных и нудных романов французской фабрикации. Читатель закричит конечно, что это вопиющий парадокс, но я попрошу его взглянуть на тот общезвестный и очевидный факт, что мы вообще относимся чрезвычайно легкомысленно к чтению и вследствие этого также и к литературе, и к науке, и ко всему, что может расширить круг наших идей и возвысить нас над грязным уровнем наших узких, мелких, копеечных и ложно-понимаемых интересов. Пусть читатель взглянет на этот факт и пусть он подумает, не находится-ли этот факт в тесной причинной связи с тем другим, столь-же общезвестным и очевидным фактом, что мы начинаем читать слишком рано и что вследствие нашей крайней молодости и умственной незрелости мы позволим приучаемся видеть забаву в том процессе, который по настоящему должен быть серьезной и глубокообдуманной беседой человека с человеком.

Другая причина существования детских книг заключается в полнейшей дряниности тех взрослых людей, среди которых детям приходится расти и развиваться. Эта дряниность имеет свою положительную и свою отрицательную сто-

рону, то-есть распространенію дѣтскихъ книгъ содѣйствуютъ, во-первыхъ, нѣкоторыя дурныя качества взрослыхъ и, во-вторыхъ, отсутствіе у тѣхъ-же взрослыхъ нѣкоторыхъ хорошихъ качествъ.

Защитники спеціально-дѣтской литературы прежде всего приведутъ въ ея пользу то разсужденіе, что тринадцати или четырнадцати лѣтъ субъекты дѣйствительно нуждаются въ чтеніи, и что между тѣмъ имъ невозможно давать тѣ книги, которыя читаются взрослыми. Обѣ части этого разсужденія довольно вѣрны; дѣйствительно, у тринадцатилѣтнихъ дѣтей уже начинается пробуждающаяся серьезная любознательность, требующая себя удовлетворенія; и дѣйствительно, дрянныя книги, читаемыя взрослыми, могутъ разстроить здоровье молодыхъ людей, приближающихся къ критическому возрасту половой зрѣлости. Но развѣ-же это хорошо и нормально, что взрослые читаютъ съ наслажденіемъ пакостныя книги? Развѣ-же эти пакостныя книги полезны и необходимы для самихъ взрослыхъ? Развѣ было-бы возможно такое извращеніе общественнаго вкуса въ такомъ обществѣ, въ которомъ не было-бы мѣста для праздности, для умственной пустоты, для тунеядства и для разнообразнѣйшихъ проявленій экономической эксплуатаціи?

Здоровое общество всегда порождаетъ здоровую литературу, а здоровая литература одинаково полезна для всѣхъ грамотныхъ людей, безъ различія пола, возраста и состоянія. Необходимость отдѣльной дѣтской литературы указываетъ прямо на существованіе общественныхъ болѣзней, съ которыми мы свыклись и которыя мы стараемся удержать и сохранить, какъ величайшую драгоценность и какъ источникъ любимѣйшихъ нашихъ наслажденій. Эта милая способность любить и лелѣять болѣзни случается въ исторіи у очень многихъ народовъ: такимъ образомъ римляне любили гладиаторскія игры, испанцы—инквизицію, французы—централизацію, англичане—свою happy constitution, южные плантаторы—невольничество. Такъ точно и мы любимъ дѣтскую литературу, которая позволяетъ намъ, взрослымъ, оставаться пустоголовыми селадонами и относиться къ чтенію съ точки зрѣнія пріятныхъ возбуждательныхъ спецій.

Другой аргументъ въ пользу дѣтской литературы и даже въ пользу книгъ, написанныхъ для шести-и восьмилѣтнихъ ребятъ, состоитъ въ томъ, что надо приучать дѣтей къ чтенію и вообще къ умственнымъ занятіямъ съ самаго ранняго возраста, потому что въ послѣдствіи эти привычки пріобрѣтаются съ большимъ трудомъ; если оставлять ребенка безъ книгъ до тѣхъ поръ, пока въ немъ не пробудится любознательность,—разсуждаютъ многіе родители и педагоги,—то легко можетъ случиться, что эта желанная любознательность не пробудится въ немъ никогда; имен-

но книги-то и содѣйствуютъ пробужденію его любознательности. Факты, на которыхъ построено это разсужденіе, подмѣчены совершенно вѣрно. Дѣйствительно можетъ случиться, что ребенокъ до четырнадцати лѣтъ будетъ играть въ бабки и въ лошадки, а послѣ четырнадцати лѣтъ, взявъ нѣсколько уроковъ у танцмейстера, начнетъ блистать сначала на дѣтскихъ вечерахъ, потомъ—на настоящихъ балахъ. Любознательность дѣйствительно не обнаружится ни въ эпоху бабокъ и лошадокъ, ни въ періодъ балныхъ похожденій. Но такая атрофія любознательности возможна только тогда, когда всѣ взрослые люди, окружающіе ребенка, неимѣютъ въ головѣ ни одной дѣльной мысли, неспособны ни на одно глубокое чувство и не поставили себя въ жизни никакой серьезной цѣли. Если отецъ ребенка обратилъ всѣ свои способности на пошлую охоту, дядя—на азартную игру, старшій братъ—на преслѣдованіе хорошенеккихъ горничныхъ, мамаша—на куафюры и бурнусы, сестра—на усовершенствованіе цвѣта своего лица, то, разумѣется, и пробуждающаяся любознательность ребенка будетъ такъ тратиться вся безъ остатка на усвоеніе элементарныхъ свѣдѣній по тѣмъ предметамъ, которыми интересуются его ближайшіе родственники. Вотъ тутъ-то и выдвигается дѣтская литература, какъ противодействие той умственной пустотѣ и деморализаціи, которая постигла-бы ребенка, еслибы онъ съ малыхъ лѣтъ почерпалъ въ свои мысли и чувства исключительно изъ своихъ всеневныхъ сношеній съ взрослыми родственниками. Это противодействие въ настоящее время полезно и даже необходимо, именно такъ, какъ полезны необходимы ядъ меркуріальнаго лекарства, употребляющій ядъ сифилитической болѣзни. Искусственность того книжнаго міра, въ который мы вводимъ ребенка, во всякомъ случаѣ есть зло, но пустота дѣйствительной жизни оказывается еще худшимъ зломъ, обѣ устраненія котораго мы и можемъ только помечтать. Изъ двухъ золъ мы выбираемъ меньшее и по нашему обыкновенію довольствуемся жалкими палліативами въ такомъ дѣлѣ, гдѣ требуются радикальные перевороты. Мы пичкаемъ дѣтей добродѣтельными книжками и успокаиваемся на той надеждѣ, что эти книжки замѣнятъ имъ благотворное вліяніе честной трудовой жизни, въ которую мы не умѣемъ или не желаемъ вводить ихъ съ ранней молодости.

Итакъ, дѣтская литература есть жалкая, ложная и совершенно искусственная отрасль общественной литературы. Въ ученическихъ бібліотекахъ дѣтскія книги совершенно неумѣстны. Ученическая бібліотека должна открываться для учащихся только тогда, когда они уже будутъ въ состояніи понимать и читать съ удовольствіемъ писанныя для взрослыхъ, разумѣется, такихъ взрослыхъ, которые ищутъ

скромныхъ описаній. Какія-же книги должны входить въ составъ ученической библіотеки?—Произведенія лучшихъ беллетристовъ и критиковъ, русскихъ, французскихъ и нѣмецкихъ, описанія замѣчательныхъ путешествій, историческія сочиненія и популярныя книги по всѣмъ отраслямъ естествознанія. Если тратить каждый годъ сполна всѣ 810 рублей, назначенныя на комплектованіе библіотеки, то, разумѣется, въ короткое время эта библіотека будетъ заключать около пяти тысячъ томовъ. Такія библіотеки будутъ конечно очень полезны воспитанникамъ во время ихъ пребыванія въ гимназіи, но онѣ могутъ принести имъ еще гораздо больше пользы послѣ ихъ выхода изъ заведенія. Если гимназистъ мало читаетъ или даже совсѣмъ ничего не читаетъ, это еще не очень большая бѣда, его время впереди: передъ нимъ лежитъ еще университетъ, который можетъ разбудить и направить къ полезному труду его дремлющія умственные силы; но когда молодой человѣкъ уже кончилъ курсъ своего ученія и когда обстоятельства забросали его въ сонное царство провинціальной благодатной жизни, тогда хорошая библіотека можетъ рѣшить для него навсегда гамлетовскій вопросъ: «быть или не быть», то-есть думать или пить запоемъ, учиться или благодушествовать за преферансомъ и за стуколкой. Каждый годъ сотни неглупыхъ и небезчестныхъ молодыхъ людей, попавши въ кружокъ мелкаго провинціального чиновничества или мѣстной землевладѣтельской аристократіи, глупѣютъ и развращаются именно потому, что нѣтъ ни человѣка, съ которымъ можно было-бы отвести душу, ни книги, которая освѣжила-бы въ памяти идеи, чувства и порывы свѣтлой и чистой студенческой юности. Поэтому было-бы необходимо, чтобы каждая гимназія предоставляла своимъ воспитанникамъ право пользоваться ученическими библіотеками до конца жизни.

На это мнѣ возразятъ, разумѣется, что это право въ большей части случаевъ оказалось бы ни на что ненужнымъ, потому что воспитанникъ Костромской гимназіи можетъ попасть куда-нибудь въ Могилевъ, а могилевскій—въ Саратовъ, и такъ далѣе. Какъ-же онъ изъ Могилева будетъ пользоваться костромской или изъ Саратова могилевской библіотекой? Очень просто, отвѣчу я. Для этого надо только, чтобы между всѣми ученическими библіотеками существовали отношенія взаимности. То-есть, выходя изъ гимназіи, ученикъ вмѣстѣ съ аттестатомъ получаетъ билетъ, который даетъ ему право пользоваться безплатно всѣми ученическими библіотеками на всемъ пространствѣ Россійской Имперіи. Могилевскій гимназистъ будетъ читать книги въ саратовской библіотекѣ, саратовскій—въ вологодской, вологодскій—въ саратовской, и такъ далѣе. При такомъ обмѣнѣ услугъ окажется:

даютъ чужимъ воспитанникамъ столько, сколько ихъ воспитанники получаютъ отъ чужихъ гимназій. Общество при такомъ порядкѣ вещей останется въ чистыхъ барышахъ, потому что многіе изъ мелкихъ чиновниковъ, приказчиковъ, конторщиковъ и т. д., окончившихъ курсъ въ гимназіяхъ, будутъ читать хорошія книги вмѣсто того, чтобы пьянствовать, играть въ карты и безобразничать.

Въ настоящее время мѣста преподавателей въ гимназіяхъ отдаленныхъ губерній внушаютъ очень естественный ужасъ тѣмъ молодымъ людямъ, которымъ они предлагаются. Заѣдешь туда въ эту глушь, думаешь молодые кандидаты, мохомъ обростешь, отупѣешь, отстанешь отъ научныхъ занятій, бросишь чтеніе, оскотинишься, пить начнешь... Нѣтъ, ужъ лучше жить въ Петербургѣ или въ университетскомъ городѣ гдѣ-нибудь на чердакѣ, перебиваясь изо дня въ день грошовыми уроками, переводами или даже частной перепиской. Вслѣдствіе такихъ разсужденій молодыхъ кандидатовъ многія провинціальныя гимназіи, подобно имѣніямъ ирландскихъ лэнд-лордовъ, жестоко страдаютъ абсентизмомъ. Мѣста учителей остаются незанятыми впродолженіи цѣлыхъ десятковъ лѣтъ, такъ что многія поколѣнія учениковъ проходятъ черезъ гимназію, не получая даже смутныхъ понятій о нѣкоторыхъ предметахъ, которые однако продолжаютъ красоваться въ программѣ и на росписаніи ежедневныхъ уроковъ. — Десятки лѣтъ! восклицаетъ читатель. Быть не можетъ!— А? Быть не можетъ? Такъ вотъ-же вамъ выписка изъ «Журнала Министерства Народнаго Просвѣщенія». — «Бывали случаи, что учительскія мѣста въ гимназіяхъ оставались незанятыми цѣлые годы и даже десятки лѣтъ: такъ напр., въ Астраханской гимназіи математика, русскій языкъ, исторія и географія не преподавались по пяти лѣтъ, по невозможности пріискать учителей; нѣмецкій языкъ по той-же причинѣ не преподавался 27 лѣтъ, французскій—17 лѣтъ и латинскій—13 лѣтъ. Въ Архангельской гимназіи географія не преподавалась 8 лѣтъ, французскій языкъ—15 лѣтъ и англійскій—11 лѣтъ, и т. д.» (1864 г. декабрь. По поводу новаго устава гимназій и прогимназій. Стр. 91.) «Отчетъ по управленію Казанскимъ учебнымъ округомъ на 1863 годъ» показываетъ намъ, что такіе случаи не только бывали, но и *бываютъ* до настоящей минуты. Во всѣхъ 12 гимназіяхъ Казанскаго округа существуютъ незанятые вакансии; всѣхъ учительскихъ ваканцій имѣлось въ 1863 году 28, такъ что на каждую гимназію приходится по 2 1/2 вакантныхъ мѣста; въ *Симбирской* гимназіи напримѣръ не замѣщены *и по французской*—пять кафедръ: *исторіи и по французской*—пять кафедръ: *исторіи, математи-*

ка, французскій и нѣмецкій. Есть основаніе думать, что удовлетворительное положеніе учебныхъ библиотекъ, которыя конечно не будутъ составлять запретнаго плода для преподавателей, въ значительной степени ослабило-бы бѣдствіа этого учительскаго абсентизма. Какъ-нибудь Вятка, Пермь или Уфа потеряютъ для молодого кандидата половину своего устрашающаго и отталкивающаго вида, когда онъ узнаетъ, что въ каждомъ изъ этихъ ужасныхъ городовъ есть порядочная библиотека, которая непремѣнно каждый годъ выписываетъ по нѣсколькимъ литературныхъ журналовъ и по двѣ или по три сотни томовъ новѣйшихъ сочиненій по самымъ интереснымъ отраслямъ человѣческаго знанія. Тогда не будетъ уже для молодого человѣка опасности заглухнуть и поглупѣть, и не будетъ слѣдовательно необходимости отказываться отъ учительскаго мѣста по чувству нравственнаго самосохраненія.

XII.

Въ началѣ X-ой главы я назначилъ изъ ежегодной экономіи по 1000 рублей въ годъ на содержаніе при гимназій столярной и токарной мастерской. Я полагаю, что каждому человѣку, на какой-бы ступени общественной лѣстницы онъ ни находился, необходимо во многихъ отношеніяхъ знать по крайней мѣрѣ одно ручное ремесло. Слѣдующія слова Руссо, которыя я беру изъ III-ей книги *«Эмилія»*, останутся на вѣчныя времена великой истиной:

«Помните,—говоритъ онъ,—что я требую отъ васъ не таланта; мнѣ нужно ремесло, настоящее ремесло, искусство чисто механическое, въ которомъ руки работаютъ больше головы и которое не ведетъ къ богатству, но при которомъ можно безъ него обойтись. Я видѣлъ, что въ семействахъ, вовсе не подвергавшихся опасности остаться безъ хлѣба, отцы, для предотвращения всякихъ случайностей, давали своимъ дѣтямъ, кромѣ общаго образованія, такіа свѣдѣнія, посредствомъ которыхъ можно было-бы зарабатывать себѣ пропитаніе. Эти предостроительные отцы думаютъ сдѣлать много и не дѣлаютъ ничего, потому что тѣ средства, которыми они разсчитываютъ обезпечить своихъ дѣтей, зависятъ отъ того самаго богатства, выше котораго они стараются ихъ поставить. Облада-тель всѣхъ этихъ прекрасныхъ талантовъ, понавши въ такую обстановку, которая не благоприятствуетъ ихъ проявленію, погибнетъ отъ бѣдности такъ точно, какъ будто-бы у него не было ни одного таланта. Когда дѣло идетъ о проискахъ и объ интригахъ, тогда можно пожалуй направить ихъ на то, чтобы удержать за собой богатство вмѣсто того, чтобы при ихъ содѣйствіи выбываться потомъ изъ бѣдности къ прежнему благосостоянію. Если вы занимаетесь искусствами, которыхъ успѣхъ зависитъ отъ репутаціи художника, если вы приобрѣтаете себѣ способность исправлять такіа должности, которыя получаютъ только по протекціи,—то къ чему послужить вамъ все это, когда, получивши справедливое отращеніе къ свѣтскому обществу, вы съ презрѣніемъ будете смотрѣть на тѣ средства, безъ которыхъ невозможно добиться успѣха?—Вы изучили политику и интересы государей: это очень хорошо;

но что вы будете дѣлать съ этими знаніями, если вы не умѣете отыскать дороги къ министрамъ, къ придворнымъ женщинамъ, къ начальникамъ департаментовъ, если вы не обладаете тайной притворяться имъ, если вы не найдутъ въ васъ тѣхъ качествъ, которыя для нихъ годятся?—Вы—архитекторъ или живописецъ: согласенъ; но какъ доставить вашему таланту извѣстность. Развѣ вы думаете, что ваша работа ни съ того, ни съ сего попадетъ тотчасъ на публичную выставку? О, нѣтъ! дѣло идетъ совсѣмъ не такъ. Надо числиться въ академіи, надо даже пользоваться тамъ протекціей, чтобы добыть себѣ въ какомъ-нибудь убогомъ тепломъ мѣстечко. Отложите въ сторону лавашку и кисть. Наймите извозчика и отправляйтесь съ чашкой то въ ту, то въ другую дверь: знаменитость приобрѣтается именно этими послѣдними средствами. Но вы должны знать, что у всѣхъ этихъ могущественныхъ дверей есть швейцары или привратники, которые понимаютъ только языкъ и которыхъ уши находятся въ рукахъ. Хотите вы давать уроки по тѣмъ предметамъ, которые вы изучили, хотите сдѣлаться учителемъ географіи или математики, или языковъ, или музыки, или рисованія? Даже и для этого надо найти себѣ учениковъ, то-есть прежде всего надо завербовать хвалителей. Знайте впередъ, что главное дѣло заключается не въ искусствѣ, а въ шарлатанствѣ, и что вы всегда будете считаться невѣждой, если будете знать только вашу специальность.—Посмотрите-же, какъ всѣ эти блестящіе подспорья непрочны и какъ много вспомогательныхъ средствъ необходимо для того, чтобы извлечь изъ нихъ пользу. И кромѣ того, что съ вами сдѣлается въ этомъ позорномъ униженіи? Бѣдствія оплошуютъ васъ, ничему васъ не научая; сдѣлавшись болѣе чѣмъ когда-либо, игрушкой общественного мнѣнія, какимъ-же образомъ поднимаетесь вы выше тѣхъ предразсудковъ, которые будутъ располагать самовластно вашей участію? Какимъ образомъ станете вы презирать илюзіи и пороки, въ которыхъ вы нуждаетесь, какъ въ источникъ пропитанія? Прежде вы зависѣли только отъ богатства, а теперь вы зависите отъ бѣдѣ: вы только ухудшили ваше рабство и обременили его вашей бѣдностью; вы теперь бѣдны и при этомъ все-таки не свободны: это самое скверное изъ всѣхъ возможныхъ человѣческихъ положеній. Но если въ случаѣ нужды вы обращаетесь для добыванія насущнаго хлѣба не къ тѣмъ возвышеннымъ знаніямъ, которыя питаютъ душу, не заботясь о тѣлѣ, а къ вашимъ собственнымъ рукамъ и къ тому, что вы умѣете или дѣлаете, тогда всѣ затрудненія исчезаютъ, всѣ прески становятся безполезными, средство всегда готово въ ту минуту, когда надо имъ пользоваться: честность и нравственная самостоятельность не остаются быть помѣхами въ жизни: вамъ нѣтъ болѣе надобности подличать и агать передъ мѣждоуличными, навиваться и ползать передъ мошенниками, угождать всѣмъ и каждому, занимать деньги или воровать, что почти равносильно, когда у васъ нѣтъ ничего за душой: мнѣніе другихъ людей до васъ не касается; никому вы не обязаны кланяться; вамъ не зачѣмъ лгать дураку, и добивать швейцара, подкупать и превозносить похвалами продажную женщину. Пускай мошенники заправляютъ крупными дѣлами, а этого нѣтъ дѣла; это не помѣшаетъ вамъ скромной жизни быть честнымъ и имѣть кусокъ хлѣба. Вы не имѣете имѣвшуюся лавку того ремесла. —Хозяинъ, мнѣ садитесь, работайте, часть обѣда.

жду лабораторіей ученаго спеціалиста и мастерской простого ремесленника. Сближеніе образованнаго общества съ чернымъ народомъ, то сближеніе, о которомъ такъ уморительно и безтолково разсуждали наши умолившіе *почвенники*, конечно необходимо, но только оно должно состоять не въ тупомъ уваженіи къ народной мудрости, которую совершенно справедливо осмѣиваетъ и отвергаетъ положительная наука, а въ разумной, полной, искренней и дѣятельной реабилитаціи физическаго труда, которому всѣ мы на словахъ свидѣтельствуемъ наше низжайшее почтеніе, и отъ котораго однако на дѣлѣ всѣ мы тщательно отстраняемся сами и отстраняемъ нашихъ возлюбленныхъ дѣтей. Если только физическій трудъ будетъ наравнѣ съ научными занятіями вѣнченъ въ обязанность воспитанникамъ всѣхъ учебныхъ заведеній, то можно будетъ ручаться за то, что изъ этихъ заведеній будутъ выходить такіе люди, которые легко и свободно будутъ сближаться съ простымъ народомъ, и на которыхъ народъ не будетъ смотрѣть, какъ на чужихъ людей, неспособныхъ сознательно сочувствовать его интересамъ. Простой народъ всегда и вездѣ дѣлитъ все человѣчество на такихъ людей, которые работаютъ сами, и на такихъ, за которыхъ работаютъ другіе; первыхъ онъ считаетъ своими, а вторыхъ — чужими. Кто упускаетъ изъ виду эту простую истину, тому нечего и мечтать о сближеніи съ народомъ. Ничто, кромѣ физическаго труда, не ведетъ къ искреннему сближенію.

XIII.

Вводя физическій трудъ въ учебное заведеніе, надо, разумѣется, постоянно имѣть въ виду требованія гігіены. Поэтому очевидно, что въ учебномъ заведеніи совершенно неумѣстны такіе ремесла, которые вредятъ здоровью работника, или такіа, которымъ надо заниматься сидя. Неудобными оказываются также тѣ работы, при которыхъ необходимо имѣть дѣло съ огнемъ или съ химическими кислотами. Ни булочниковъ, ни красильщиковъ, ни ткачей, ни кузнецовъ, ни слесарей, ни портныхъ, ни сапожниковъ нельзя формировать въ учебныхъ заведеніяхъ. Я совершенно соглашаюсь съ Руссо, выбравшимъ для своего Эмиля столярное ремесло; дѣйствительно, трудно найти другую отрасль физическаго труда, которая соединяла бы въ себѣ такъ много удобствъ и преимуществъ, какъ съ гігіенической, такъ и съ педагогической точки зрѣнія. Столяръ работаетъ большей частью стоя и дѣлаетъ руками сильныя и разнообразныя движенія, которыя могутъ служить превосходнымъ дополненіемъ гимнастики. Столяръ имѣетъ дѣло съ такимъ чистымъ матеріаломъ, который не даетъ отъ себя ни тяжелаго запаха, ни пыли, вредной для дыхательныхъ органовъ. Наконецъ столяръ, ме-

нѣ всякаго другого ремесленника, рискуетъ оурызѣть и сдѣлаться автоматомъ. Столяру приходится постоянно размѣрять и соображать, упражнять вѣрность глаза и вѣрность руки, дѣйствовать циркулемъ и наугольникомъ, словомъ, прикладывать къ практическому дѣлу истины элементарной геометріи.

Принимая въ расчетъ всѣ эти обстоятельства, я полагаю, что воспитанникамъ нашего учебнаго заведенія было-бы очень полезно и всѣхъ отношеніяхъ заниматься ежедневно, впродолженіи трехъ или четырехъ часовъ, столярнымъ и токарнымъ ремесломъ. Мнѣ кажется, что назначенная мною сумма 1,000 рублей совершенно покрывала-бы всѣ издержки, необходимыя для содержанія мастерской, покрывала-бы ихъ даже въ первые два или три года, когда неопытные работники портнили-бы матеріалъ, инструменты въ самомъ значительномъ изчисленіи. Возьмемъ самыя невыгодныя условія, положимъ, что въ зданіи гимназіи нѣтъ для устройства мастерской, которая конечно будетъ довольно просторнаго помѣщенія. Надо будетъ нанять возлѣ гимназіи особую квартиру; положимъ на наемъ квартиры 300 рублей; за эту цѣну можно нанять пять или шесть даже въ Петербургѣ, а въ Бернскомъ городѣ можно будетъ нанять большой домъ. На жалованье того столяра, который будетъ управлять работами гимназіи, положимъ 300 рублей. На порчу материаловъ останется 200 рублей. Неужели гимназисты тратятъ дерева больше чѣмъ на 200 рублей? Неужели мастерская въ первый годъ не сработаетъ ни одной такой доски, ни одного такого простяка, которые могли-бы пойти въ продажу? Правда, что обученіе тѣхъ мальчиковъ, которые отдаются на выучку къ хозяевамъ, продолжается очень долго, года по четыре и больше, но вѣдь это происходитъ не отъ того, что ремесло дѣйствительно трудно и головоломно, а отъ того, что первые годы ученія тратятся на знакомство обыкновенно на исполненіе разныхъ мелкихъ комиссій, которыя даютъ ему хозяйничать подмастерья и которыя, развивая быстроту ногъ, въ то-же время нисколько не знакомятъ его съ техническими тайнами мастерской. Такъ какъ воспитанники гимназіи ни одного дня не будутъ состоять на посылахъ, то по возможности усвоеніе мастерства пойдетъ у нихъ несравненно скорѣе, такъ что на третій или четвертый годъ своего существованія мастерская будетъ содержаться своими собственными средствами, и управлять работами будетъ не наемный столяръ, а ремесленникъ, поставленный изъ опытныхъ мастеровъ старшихъ классовъ.

Въ гимназіяхъ, возвращающихся преимущественно въ время столярныхъ зан-

углубиться въ благоговѣнное чтеніе «Московскихъ Вѣдомостей», а я пойду дальше, не обращающаго вниманія на ихъ остроумныя насмѣшки и восклицанія.

XIV.

Реформа гимназій, произведенная по вышеуказанному плану, естественнымъ образомъ влечетъ за собой столь-же радикальную реформу университетовъ. Въ настоящее время нѣкоторые факультеты университетовъ замѣтно пустѣютъ, а нѣкоторые другіе наполняются студентами вслѣдствіе чистаго недоразумѣнія, то-есть благодаря тому очень печальному обстоятельству, что большинство молодыхъ людей поступаетъ въ университетъ, не зная ни своихъ собственныхъ вѣдомостей, способностей и умственныхъ потребностей, ни общаго значенія тѣхъ наукъ, за изученіе которыхъ они принимаются. Къ пустѣющимъ факультетамъ относятся историко-филологическій и факультетъ восточныхъ языковъ. Около 1856 года на историко-филологическому факультету въ Петербургскомъ университетѣ кончилъ курсъ *одинъ* студентъ. Это фактъ вполне достовѣрный; онъ извѣстенъ всѣмъ студентамъ того времени, и я до сихъ поръ вспоминаю даже фамилію того молодого человѣка, который въ продолженіи цѣлаго года составлялъ своей особой весь четвертый курсъ историко-филологическаго факультета. Что этотъ единственный студентъ кончилъ курсъ *первымъ* кандидатомъ, въ этомъ мои читатели вѣроятно не усомнятся. На факультетѣ восточныхъ языковъ, если не ошибаюсь, число профессоровъ превышаетъ число слушателей, несмотря на то, что этотъ факультетъ существуетъ только при двухъ университетахъ, и что слѣдовательно въ нихъ должны стекаться со всей Россіи всѣ молодые люди, желающіе обогатить свой умъ и развить свое эстетическое чувство изученіемъ арабской, турецкой, татарской, калмыцкой и многихъ другихъ столь-же богатыхъ и просвѣтительныхъ литературъ. Умственное тяготѣніе Россіи къ Востоку съ одной стороны и къ классической древности съ другой стороны оказывается очевидно очень слабымъ, и я осмѣливаюсь думать, что оно съ каждымъ годомъ будетъ становиться все слабѣе и слабѣе, если только московскимъ публицистамъ не удастся придумать какой-нибудь особенный снарядъ для искусственнаго оживленія этихъ угасающихъ симпатій.

Къ числу факультетовъ, наполняющихся по недоразумѣнію, относятся безъ всякаго сомнѣнія факультеты юридическій и камеральный. Оба эти факультета переполнены слушателями, и это обстоятельство показываетъ намъ особенно наглядно, до какой степени поверхностными и безсознательными остаются до настоящаго времени отношенія нашего общества къ наукѣ. Наука служитъ нашему обществу даже не дойной ко-

ровой, а просто благообразной вывѣской, за которой скрывается въ совершенной безопасности старое непочатое невѣжество. — Юридическій факультетъ готовитъ или по крайней мѣрѣ старается готовить чиновниковъ; камеральный факультетъ старается избѣгнуть, и дѣйствительно избѣгаетъ съ полнымъ успѣхомъ всякой научной специальности и дѣятельности. Первый — однимъ своимъ названіемъ пробуждаетъ въ честолюбивыхъ родительскихъ душахъ обаятельныя грезы о блестящихъ бюрократическихъ карьерахъ, второй — изображаетъ собою дилетантизмъ, возмездный въ систему.

Именно въ этихъ особенностяхъ обоехъ факультетовъ заключается вся ихъ притягательная сила. Тѣ люди, которые ко всякой наукѣ относятся такъ-же отрицательно, какъ относились къ ней Фамусовъ, — въ то-же время чувствуютъ самую глубокую нѣжность ко всякимъ аттестатамъ и дипломамъ и поэтому очень желаютъ снабдить своихъ дѣтей такими документами, въ которыхъ было-бы засвидѣтельствовано ихъ примѣрное прилежаніе. Какъ-же это сдѣлать? Какъ приобрести благообразный документъ, не ставя благовоспитанныхъ дѣтей на жертву случайнымъ и совершенно бесполезнымъ наукамъ? Благовоспитанное дитя должно непременно сдѣлаться кандидатомъ университета, но оно ни при какомъ видѣ не должно вдаваться въ ученость. Оно рождено для того, чтобы блистать въ свѣтѣ и купаться въ сливкахъ высшаго общества. Если оно измѣнитъ своему назначенію, если оно выйдетъ погрузиться въ книжную пыль и запереться въ своемъ кабинетѣ, то его осмѣютъ и блестящіе сверстники, и тогда сердца его родителей будутъ непрестанно обливаться слезами. Какъ-же устроить дѣло такъ, чтобы благовоспитанное дитя имѣло при себѣ кандидатскій дипломъ и чтобы оно въ то-же время не утратило охоты и способности блистать наравнѣ со своими сверстниками? — Надо помѣстить благовоспитанное дитя на юридическій или камеральный факультетъ. Тамъ оно навѣрное ни въ какой наукѣ не пристрастится и тамъ оно приобрететъ себѣ желанный дипломъ посредствомъ усерднаго зубренія профессорскихъ записокъ во время приготовленія къ переходнымъ и къ выпускнымъ экзаменамъ. Если благовоспитанное дитя не принадлежитъ къ разряду безнадежныхъ идиотовъ или самыхъ отчаянныхъ лѣнтяевъ, то конечно оно завоевываетъ себѣ кандидатскій дипломъ и отправляется, куда слѣдуетъ, служить и блистать.

Но тутъ возникаетъ вопросъ: зачѣмъ это дѣло появилось въ университетѣ? На этотъ вопросъ приходится отвѣчать, что дитя было жертвой смѣшного и печальнаго недоразумѣнія, вслѣдствіе котораго люди, глубоко презирающіе науку съ наивной жадностью хватаются за всякіе знаки и атрибуты. Много лѣтъ тому на-

правительство, желая прохотить наших соотечественниковъ къ высшему образованію, представило по службѣ нѣкоторыя права и преимущества кандидатамъ и дѣйствительнымъ студентамъ университетовъ. Распоряженіе это, очевидно сложившееся къ тому, чтобы обогатить Россію развитыми и мыслящими людьми, послужило поводомъ къ громадному недоразумѣнію, которое не прекратилось до настоящей минуты. Наши университеты наполнились искателями правъ и преимуществъ, совершенно равнодушными къ знанію и способными только сдавать экзамены; наши присутственные мѣста наполнились счастливыми обладателями дипломовъ, не усвоившими себѣ въ университетѣ ни практической опытности, ни теоретическаго развитія, ни даже твердыхъ нравственныхъ убѣжденій; а между тѣмъ наше общество, въ лицѣ самыхъ вліятельныхъ своихъ представителей, смотрѣло съ умиленіемъ на этихъ патентованныхъ недорослей и ласкало себя той увѣренностью, что чѣмъ больше оно наплодитъ такихъ кандидатовъ и дѣйствительныхъ студентовъ, тѣмъ сильнѣе и успѣшнѣе разовьется оно въ себѣ самое блестящее образованіе. Для огромнаго большинства нашихъ учащихся юношей четырехлѣтнее пребываніе въ университетѣ превратилось въ обрядъ, который заканчивался полученіемъ диплома и потомъ дѣйствовалъ на всю дальнѣйшую жизнь бывшего студента именно только посредствомъ правъ и преимуществъ, связанныхъ съ дипломомъ, а никакъ непосредствомъ какихъ-нибудь руководящихъ идей, воспринятыхъ въ университетѣ и развивающихся въ жизненной практикѣ. Такъ какъ вся сила образованія заключается по мнѣнію нашего общества, въ дипломѣ, а не въ идеяхъ, и такъ какъ всѣ факультеты университета даютъ своимъ слушателямъ равносильные дипломы, то, разумеется, наше общество, неспособное и не желающее обуславливать образовательное значеніе различныхъ наукъ, предпочитаетъ юридическій факультетъ, какъ предверіе гражданской службы, и камеральный, какъ расадникъ милыхъ свѣтскихъ юношей, не углубляющихся ни во что, но имѣющихъ легкое понятіе обо всемъ.

Еслибы сегодня были отняты права и преимущества, предоставленныя кандидатамъ и дѣйствительнымъ студентамъ, то на завтрашній-же день число слушателей во всѣхъ нашихъ университетахъ убавилось-бы по крайней мѣрѣ на половину, и почти всѣ наши юристы и камералисты переселились-бы изъ университетскихъ аудиторій въ различныя канцеляріи или-же преобразились-бы въ кавалерійскихъ и пѣхотныхъ юнкеровъ. Факультеты юридическій и камеральный опустѣли-бы почти совершенно, между тѣмъ какъ на остальные факультеты отняты правъ и преимуществъ не произвела-бы никакого замѣтнаго вліянія.

Почему обнаружилось-бы между факультетами

такое рѣзкое различіе—понять не трудно. Кто хочетъ сдѣлаться учителемъ математики—тотъ *дѣйствительно* нуждается въ математическихъ знаніяхъ. Кто хочетъ сдѣлаться натуралистомъ, тотъ *дѣйствительно* нуждается въ основательныхъ свѣдѣніяхъ поразличнымъ отраслямъ естествознанія. Кто хочетъ сдѣлаться медикомъ, тому *дѣйствительно* необходимы профессорскія лекціи, анатомическій театръ и клиника. Для всѣхъ этихъ людей знанія составляютъ въ жизни рабочій инструментъ, и за этимъ рабочимъ инструментомъ они и отправляются въ университетъ. Выбѣстъ съ инструментомъ имъ даютъ въ университетѣ дипломъ; они берутъ и дипломъ, потому что, во-первыхъ, нѣтъ причины не брать, а во-вторыхъ, нѣтъ возможности отказаться, еслибы даже и явилась подобная фантазія. Но если выдача дипломовъ прекратится, то притокъ людей, идущихъ въ университетъ за рабочимъ инструментомъ, нисколько не ослабѣетъ, именно потому, что эти люди добываютъ себѣ въ университетѣ не дипломъ, а рабочій инструментъ, который очевидно будетъ выдаваться имъ по-прежнему.

У юристовъ и камералистовъ, напротивъ того, вопросъ ставится совсѣмъ иначе. Кто хочетъ сдѣлаться чиновникомъ, тотъ *дѣйствительно* нуждается только въ знаніи русскаго языка, въ умѣнн обращаться за справками къ своду законовъ и въ служебномъ навыкѣ. Русскій языкъ изучается въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, а практическое знакомство со сводомъ законовъ и съ служебной процедурой приобретается на самой службѣ по французской пословицѣ: «à force de forger on devient forgeron.» Въ университетѣ не имѣется такого рабочаго инструмента, который былъ-бы приложимъ къ канцелярской служебной дѣятельности, и поэтому те перешнѣе юристы и камералисты послѣ отняты правъ и преимуществъ сообразятъ немедленно, что имъ гораздо выгоднѣе употребить на усвоеніе служебнаго навыка тѣ четыре года, которые въ университетскихъ аудиторіяхъ потрапились-бы на философію права и на поучительный анализъ различныхъ юридическихъ фикцій, не имѣющихъ ни малѣйшаго отношенія къ скромнымъ обязанностямъ столоначальника и его помощниковъ.

Думаете-ли вы, читатель, что русская наука и русская жизнь потеряли-бы что-нибудь вслѣдствіе этого основательнаго размышленія нашихъ юристовъ и камералистовъ? Если вы это думаете, то вамъ не мѣшало-бы въ этомъ разувѣриться. Значительная убыль въ общемъ числѣ русскихъ студентовъ и совершенное упраздненіе двухъ самыхъ многочисленныхъ факультетовъ—разсѣяли-бы только тотъ долговременный оптический обманъ, который до сихъ поръ скрываетъ отъ нашихъ добродушныхъ оптимистовъ нашу крайнюю умственную нищету. На самомъ-же

бѣду разума надъ инерціей природы и надъ рутиной тупыхъ и близорукыхъ людей, стараясь по мѣрѣ силъ упрочить и расширить вліяніе этой побѣды въ вашемъ собственномъ кругу, вы постоянно вносите въ вашу личную жизнь все величіе и всю чистоту тѣхъ непобѣдимыхъ и неистребимыхъ идей, за воплощеніе и осуществленіе которыхъ борются, страдают и умираютъ лучшіе изъ вашихъ современниковъ.

Привязывая такимъ образомъ, по выраженію Некрасова, вашу лодку къ кормѣ большого корабля, вы навсегда застраховываете себя отъ нравственнаго измѣщенія и опошленія; умѣя понимать и любить все, что подвигаетъ впередъ дѣло человѣческаго благосостоянія и умственнаго совершенствованія, умѣя направлять свои мысли и симпатіи въ такія земли, гдѣ вы никогда не бывали, и даже въ такую даль будущаго, до которой вы не доживете, — вы развиваете въ себѣ способность смотрѣть со стороны или, такъ сказать, à vol d'oiseau на тѣ мелкія препятствія, неудачи, утраты и непріятности, изъ которыхъ обыкновенно складывается наша всеневная жизнь, и которая ежeminутно заставляютъ неразвитыхъ людей охать, плакать, рвать на себѣ волосы и выражать разными другими, столь же плоскими манерами крайнюю растрепанность своихъ чувствъ. Вы счастливы и спокойны въ то самое время, когда ваши знакомые считаютъ своимъ долгомъ сожалѣть о васъ, какъ о несчастнѣйшемъ страдальцѣ. Вы счастливы и спокойны, потому что видите, что *большой корабль* величественно и ровно подвигается впередъ, и что ваша маленькая лодка, привязанная къ нему крѣпкимъ канатомъ, легко и свободно слѣдуетъ за всеми его движеніями. Чистая красота и постоянно возрастающее богатство вашего умственнаго міра съ избыткомъ вознаграждаютъ васъ за тѣ внѣшнія неудобства, которыя на гиперболическомъ языкѣ вашихъ знакомыхъ называются огорченіями, несчастіями и страданіями. Впрочемъ, наслаждаясь гармоніей вашего умственнаго міра, въ которомъ находятъ себѣ отзвукъ всѣ великіе интересы современной дѣйствительности, вы вслѣдствіе этого нисколько не теряете способности устроить основательно и благоразумно ваши собственные личныя или семейныя дѣла. Напротивъ того, умѣя смотрѣть à vol d'oiseau на неизбѣжныя житейскія передраги, вы именно вслѣдствіе этого умѣя сохраняете полное хладнокровіе и овершенное присутствіе духа, которыя и помогаютъ вамъ выпутаться изъ этихъ передрагъ быстро, дешево и успѣшно, между тѣмъ какъ тугіе люди, называвшіе васъ мечтателями и итавшіе самихъ себя за образцовыхъ практиковъ, въ такихъ же точно передрагахъ уныютъ, теряются, запутываются и доводятъ себя со всей своей практичностью до безвыходнаго положенія.

Итакъ, общее образованіе даетъ всей жизни человѣка извѣстный колоритъ, извѣстный смыслъ и извѣстное направленіе; оно проникаетъ собой весь его характеръ и образъ мыслей. Общее и специальное образованіе взаимно дополняютъ другъ друга: специальное даетъ человѣку въ руки рабочій инструментъ, а общее образованіе заставляетъ человѣка пристроить свою рабочую силу такъ, чтобы она содѣйствовала общему движенію *большого корабля*. Чтобы удовлетворительнымъ образомъ исполнить свое назначеніе, общее образованіе очевидно должно снабдить человѣка такими знаніями, которыя позволяли-бы ему понимать труды и тенденціи передовыхъ мыслителей и дѣятелей данной эпохи. Такъ какъ смыслъ этихъ трудовъ и тенденцій въ различныхъ историческихъ эпохи бываетъ различный, то не трудно понять, что и общее образованіе должно постоянно видоизмѣняться вмѣстѣ съ потребностями и обстоятельствами даннаго времени. Такъ наприимѣръ, въ XVI столѣтіи общее образованіе должно было заключаться преимущественно въ тщательномъ изученіи латинскаго и греческаго языковъ, потому что въ это время философія и поэзія языческой древности производили полный переворотъ въ идеяхъ и въ чувствахъ образованныхъ европейцевъ. Безъ древнихъ языковъ въ то время не было возможности привязать лодку отдѣльной личности къ *большому кораблю* мыслящаго человѣчества. Въ настоящее время вопросъ ставится иначе. Умственное движеніе нашей эпохи совершается конечно не въ области классической филологіи. Въ эту опустѣлую область стараются затянуть насильно наше юношество именно тѣ достойные публицисты, которые систематически поворачиваются спиной къ умственному движенію нашего времени. Всѣ великія открытія, всѣ одушевленные споры и разсужденія нашего времени относятся или къ области естествознанія, или къ различнымъ отдѣламъ создающейся социальной науки. Поэтому въ наше время естествознание составляетъ настоящей центръ общаго образованія. Кто знаетъ естественныя науки, тотъ знаетъ все, что долженъ знать современно-образованный человѣкъ, тѣмъ болѣе, что естественныя науки даютъ человѣку ту подготовку, при помощи которой онъ уже безъ руководителя можетъ слѣдить, втеченіи всей своей жизни, за развитіемъ и разработкой различныхъ социальныхъ вопросовъ.

Основаніе изученію природы было положено въ гимназіяхъ посредствомъ тѣхъ усиленныхъ математическихъ занятій, которыя составляютъ существенный смыслъ этой программы. Университетъ очевидно долженъ строить дальше на томъ фундаментѣ, который заложенъ гимназіей. Университетъ долженъ давать *высшее общее* образованіе, и поэтому раздѣленіе на факультеты совершенно бесполезно. Общее образованіе

въ каждую данную эпоху можетъ быть только одно; дробить его на части не слѣдуетъ и невозможно; а соединить въ одномъ заведеніи общеобразованіе и нѣсколько специальныхъ — значитъ сбивать съ толку такое общество, которое и безъ того не отличается своей толковостью.

Уничтоженіе факультетовъ конечно кажется читателю чрезвычайно радикальной и даже дерзкой мыслью; но есть основаніе думать, что это уничтоженіе совершится естественнымъ образомъ. Факультеты историко-филологическій и восточный по всей вѣроятности скончаются естественной смертію, не дожидаясь даже отмены правъ. Факультеты юридическій и камеральный опустѣютъ немедленно, какъ только дипломы потеряютъ свою магическую силу; даже гласное судоустройство не удержитъ студентовъ на этихъ факультетахъ, если только университетскій дипломъ не сдѣлается необходимымъ *формальнымъ* условіемъ для каждого практикующаго адвоката. Если можно будетъ заниматься адвокатурой безъ университетскаго диплома, то молодые люди, желающіе сдѣлаться адвокатами, будутъ поступать на нѣсколько времени въ ученики къ опытнымъ практикамъ, такъ точно, какъ это дѣлается въ Англіи.

Такимъ образомъ въ университетѣ останутся математика, натуралисты и медики. Каждый медицинскій факультетъ, какъ чисто-спеціальное училище, можетъ съ величайшимъ удобствомъ отдѣлиться отъ университета и превратиться въ медицинскую академію. Затѣмъ останутся только математика и натуралисты, то-есть два отдѣленія одного физико-математическаго факультета. Такъ какъ преподаваніе математики въ гимназіяхъ по моему плану значительно усилено, то въ гимназіяхъ будутъ проходить многія изъ тѣхъ частей чистой математики, которыя теперь читаются въ университетѣ. Аналитическую геометрію можно будетъ цѣлкомъ перенести въ гимназію. Что касается до дифференціального и интегральнаго исчисленія, то его, разумѣется, надо будетъ оставить въ университетѣ, если оно окажется слишкомъ мудренымъ для шестнадцати и семнадцатилѣтнихъ гимназистовъ. — Два оставшіеся факультета, математическій и естественный, сольются въ одинъ факультетъ, пожертвовавши при этомъ сліяніи тѣми отдѣльными науками, въ которыхъ въ настоящее время выражается ихъ специализмъ. Послѣ этого сліянія университетскій курсъ расположится по слѣдующему плану, вполнѣ соответствующему тѣмъ требованіямъ, которымъ въ настоящее время должно удовлетворять общее образованіе.

I курсъ.

- 1) Дифференціальное и интегральное исчисленіе.
- 2) Теоретическая механика.
- 3) Астрономія.

II курсъ.

- 1) Высшая физика.
- 2) Неорганическая химія.
- 3) Органическая химія.

III курсъ.

- 1) Сравнительная анатомія растений и животныхъ.
- 2) Сравнительная физиологія растений и животныхъ.
- 3) Гигіена.

IV курсъ.

- 1) Геологія.
- 2) Географія.
- 3) Исторія.

XVI.

Въ предлагаемой программѣ я прошу читателя обратить вниманіе на два обстоятельства: во-первыхъ, на то, что науки расположены въ ней сообразно съ ихъ возрастающей сложностью, и во-вторыхъ, что вниманіе студентовъ втеченіи каждаго курса будетъ постоянно сосредоточиваться на очень незначительномъ количествѣ наукъ, которыя вслѣдствіе этого конечно будутъ изучаться основательнѣе, чѣмъ онѣ изучаются теперь, — затѣмъ я сдѣлаю еще нѣсколько частныхъ примѣчаній и поясненій къ моей программѣ.

Высшей физикой я называю тѣ части этой науки, которыя не были пройдены въ гимназіи или были пройдены слегка и поверхностно, по недостатку времени или же вслѣдствіе того, что воспитанники не были еще знакомы съ нѣкоторыми частями высшей математики. Читатель вѣроятно удивится тому, что въ моей программѣ совсѣмъ нѣтъ зоологіи и ботаники. Я полагаю, что сравнительная анатомія и сравнительная физиологія совершенно достаточно ознакомляютъ студентовъ съ устройствомъ и съ отпращиваніемъ растительныхъ и животныхъ организмовъ, а также съ главными видами измѣненій, которымъ подвергаются это устройство и эти отпращиванія въ различныхъ ступеняхъ органической дѣятельности. При этомъ, разумѣется, студенты узнаютъ также основныя черты зоологической и ботанической классификаціи; что же касается до мелкихъ подробностей этой классификаціи, то, во-первыхъ, онѣ важны и интересны только для занисныхъ натуралистовъ, а во-вторыхъ, изученіе теоретической классификаціи по всей вѣроятности окончится скоро напрасной тратой времени, потому что идеи Дарвина навѣрное произведутъ въ ней очень глубокія измѣненія. Основательное изученіе гигиены я считаю необходимымъ, во-первыхъ, для всѣдневной жизни, гдѣ польза этой науки не можетъ подлежать сомнѣнію, и во-вторыхъ, для яснаго пониманія многихъ социальныхъ вопросовъ, въ которыхъ гигиеническая точка зрѣнія съ каждымъ годомъ становится болѣе

важной и необходимой. Вопросы о школах, о тюрьмах, о фабриках, о народном продовольствии, о рабочей платѣ, о числѣ рабочих часовъ, о народныхъ увеселеніяхъ и предразсудкахъ только тогда выступаютъ передъ нашими глазами во всей громадности своего общественнаго значенія, когда мы умѣемъ всматриваться и вдумываться въ ихъ гигиеническую сторону. Исторія, по моему мнѣнію, должна преподаваться студентамъ, уже совершенно созрѣвшимъ въ умственномъ отношеніи и основательно ознакомившимся съ общимъ строемъ физическихъ, химическихъ и физиологическихъ законовъ природы. Исторія человѣчества должна преподаваться въ ближайшей и тѣснѣйшей связи съ геологіей, т.-е. съ исторіей нашей планеты, и съ географіей, т.-е. съ описаніемъ той сцены и тѣхъ разнообразныхъ вліяній, среди которыхъ развертывается физическая и умственная жизнь человѣческихъ обществъ. Цѣль преподаванія исторіи должна заключаться въ томъ, чтобы объяснить всю цѣпь извѣстныхъ намъ событій и переходовъ коренными свойствами человѣческаго организма, подвергающагося разнообразнымъ вліяніямъ окружающей природы. Вниманіе профессора должно сосредоточиваться преимущественно на преобладаніи различныхъ формъ народнаго труда, на колебаніяхъ народнаго богатства, и на фазисахъ тѣхъ идей и учреждений, которыя навлаживали на экономическій бытъ народа печать своего полезнаго или вреднаго вліянія. Не знаю, много-ли найдется профессоровъ, способныхъ читать исторію по такой непривычной программѣ, но знаю навѣрное, что молодые люди, прошедшіе черезъ тѣсную школу положительной науки, которой планъ представленъ въ этой статьѣ, — ни за что не станутъ слушать тѣхъ пріятныхъ рассказчиковъ, которые, получивши легкое литературное образованіе, по своему трогательному простодушію считаютъ себя въ настоящее время замѣчательными профессорами исторіи.

Конечно было бы желательно, чтобы то общее образованіе, котораго программу я здѣсь предлагаю, усваивалось предварительно всѣми молодыми людьми, посвящающими себя той или другой специальной дѣятельности. Говоря другими словами, было бы желательно, чтобы молодые люди принимались за изученіе специальности не раньше, какъ послѣ выхода изъ университета, перестроеннаго на вышеизложенныхъ основаніяхъ. Но, разумѣется, желаніе это въ полномъ своемъ объемѣ такъ же неосуществимо, какъ другое еще болѣе смѣлое и завѣтное желаніе, чтобы общее образованіе, построенное на строго реальныхъ основахъ, сдѣлалось достояніемъ всей народной массы, безъ различія пола и состоянія. Многіе молодые люди, имѣющие возможность дотянуть до конца гимназическаго курса, не имѣютъ возможности

поступить въ университетъ, т.-е. еще на четыре года отложить свое превращеніе въ экономическихъ производителей. Надо заботиться о насущномъ пропитаніи, надо поскорѣ приниматься за хлѣбное ремесло: та же самая причина, которая въ бѣднѣйшихъ классахъ отрываетъ шестилѣтняго ребенка отъ азбуки, мѣшаетъ въ среднемъ сословіи пятнадцатилѣтнимъ юношамъ изучать физику или астрономію. Многимъ молодымъ людямъ придется конечно поступать въ специальные училища или приниматься за практическую дѣятельность до окончанія полнаго университетскаго курса. Въ этихъ случаяхъ, которые конечно будутъ очень многочисленны, молодымъ людямъ надо будетъ оставаться въ обще-образовательныхъ училищахъ до тѣхъ поръ, пока они не усвоятъ себѣ всѣхъ знаній, находящихся въ связи съ ихъ специальностью.

Рядъ примѣровъ тотчасъ пояснитъ вполне эту послѣднюю мысль. Представьте себѣ, что въ гимназіи учатся нѣсколько юношей, которымъ домашнія обстоятельства не позволяютъ истратить одиннадцать лѣтъ (семь въ гимназіи и четыре въ университетѣ) на общее образованіе. Одинъ изъ этихъ юношей хочетъ сдѣлаться чиновникомъ, другой — армейскимъ офицеромъ, третій — морякомъ, четвертый — машинистомъ, пятый сахароваромъ, шестой — агрономомъ, седьмой — медикомъ, восьмой — профессоромъ какой-нибудь отрасли естествознанія. Будущій чиновникъ и будущій офицеръ могутъ опредѣлиться на службу тотчасъ по выходѣ изъ гимназіи; они даже *должны* поступить такимъ образомъ, если имѣютъ въ виду исключительно экономію времени. Во всемъ университетскомъ курсѣ они не найдутъ ни одного предмета, который бы имѣлъ прямое отношеніе къ ихъ будущимъ практическимъ занятіямъ. Собственно говоря, они могли бы, даже безъ ущерба для своей практической дѣятельности, выйти изъ пятаго класса гимназіи, усвоивши себѣ въ первыхъ пяти классахъ основательное знаніе отечественнаго языка и развивши свои умственные способности математическими упражненіями настолько, что имъ уже не придется стать втупикъ надъ нехитрыми логическими соображеніями, которыхъ потребуетъ отъ нихъ ихъ будущая практическая дѣятельность. Напротивъ того, третій гимназистъ, готовящій себя въ моряки, поступитъ нерасчетливо, если сойдетъ съ общеобразовательной дороги тотчасъ послѣ окончанія гимназическаго курса. Моряку понадобятся астрономія, и дифференціалы, и механика. Значитъ ему слѣдуетъ прослушать первый курсъ университета и потомъ свернуть въ сторону въ специальное училище. Будущій машинистъ долженъ поступить точно такъ же. И такъ же точно должны будутъ поступить будущій архитекторъ, будущій военный инженеръ, будущій кораблестро-

тель. Но сахаровару слѣдуетъ идти дальше, прослушать полный курсъ химіи и потомъ уже свернуть на специальную тропинку. Точно такъ же слѣдуетъ поступить тому юношѣ, который хочетъ сдѣлаться горнымъ инженеромъ или литейщикомъ, или винокуремъ. Медику и агроному слѣдуетъ прослушать еще и третій курсъ. Наконецъ будущему профессору какой-бы то ни было науки необходимо пройти весь университетскій курсъ до конца и уже потомъ, бросивъ такимъ образомъ общій взглядъ на все поле реального знанія, вполне сознательно отмежевать себя въ этомъ полѣ отдѣльный участокъ, никогда не упуская при этомъ совершенно изъ виду всѣхъ остальныхъ участковъ, на которыхъ трудятся другіе специалисты.

Такимъ образомъ вся совокупность общаго и спеціальнаго образованія представляется намъ въ видѣ большой дороги, отъ которой уходятъ съ различныхъ пунктовъ въ разныя стороны многія мелкія тропинки. Каждый юный путникъ идетъ сначала по большой дорогѣ, идетъ по ней до тѣхъ поръ, пока позволяютъ обстоятельства, потомъ, проголодавшись, свертываетъ на одну изъ боковыхъ тропинокъ, которыя всѣ ведутъ къ какому-нибудь хлѣбному ремеслу. Эта система сворачиваній съ одной общей дороги имѣетъ два важныя преимущества сравнительно съ той системой, при которой различныя спеціальныя образованія представляются въ видѣ многихъ самостоятельныхъ, параллельныхъ дорогъ, неимѣющихъ никакого правильнаго сообщенія съ главной, столбовой дорогой общаго образованія. Первое преимущество состоитъ въ томъ, что педагогическое дѣло страны не дробится на множество замкнутыхъ и независимыхъ другъ отъ друга операций. Между всѣми частями педагогическаго цѣлаго существуетъ живое сообщеніе и неизбѣжное взаимное вліяніе. Когда всѣ мелкіе спеціальныя каналы почерпаютъ все свое содержаніе изъ одного общаго большого русла, и когда они такимъ образомъ получаютъ матеріалъ, испытавшій уже значительную переработку и окрѣпшій въ этой переработкѣ, тогда конечно всѣ они принуждены въ своей дальнейшей образовательной дѣятельности подчиняться тѣмъ руководящимъ идеямъ, которыя господствуютъ въ главномъ руслѣ. А такъ какъ въ главномъ руслѣ, по самому его устройству, будетъ господствовать чистѣйшій реализмъ, безъ всякой посторонней примѣси, то этотъ же самый безукоризненный реализмъ разольется также и по всѣмъ развѣтвленіямъ мелкихъ каналовъ. Второе важное преимущество моей системы состоитъ въ томъ, что она позволяетъ молодымъ людямъ выбирать себѣ спеціальность довольно поздно, по крайней мѣрѣ гораздо позднѣе, чѣмъ того требуетъ отъ нихъ господствующая система. Это преимущество обуславливается, во-первыхъ, строгимъ дѣленіемъ общеобразовательныхъ наукъ отъ

спеціальныхъ, и во-вторыхъ—строго-дѣловымъ характеромъ того общаго образованія, которое я рекомендую.

Курсъ спеціальныхъ училищъ долженъ ограничиваться чисто-привлечными науками, такъ чтобы молодому человѣку приходилось дѣлать рѣшительный шагъ, то-есть поступать въ спеціальное училище, именно въ ту минуту, когда онъ по своимъ общимъ знаніямъ и по своему умственному развитію способенъ прямо приниматься за изученіе выбраннаго ремесла. Но, разумѣется, это откладываніе рѣшительнаго шага до послѣдней минуты можетъ производиться безъ вредной потери времени только при такомъ общемъ образованіи, которое знакомитъ юношу съ настоящими науками, необходимыми на всякомъ дѣловомъ поприщѣ, а не съ какими-нибудь пріятными бездѣлушками, вроде разсказовъ о царѣ Горохѣ, поэмъ Гомера и Виргилія и анекдотовъ о смыслености животныхъ. А почему именно молодымъ людямъ полезно дѣлать рѣшительный шагъ какъ можно позднѣе—это я думаю, очень понятно. Чтобы человѣкъ былъ хорошимъ работникомъ, ему необходимо любить свое ремесло; а любимъ мы только то, что соответствуетъ нашимъ способностямъ и наклонностямъ; а способности и наклонности наши выясняются постепенно по мѣрѣ того, какъ растутъ и крѣпнеть вся наша личность. Кто выбираетъ себѣ ремесло тогда, когда способности и наклонности его еще не обозначились, тотъ дѣйствуетъ на авось и слѣдовательно рискуетъ ошибиться. Когда ошибка становится понятной самому субъекту, тогда начинается для него пора мучительнаго раздумья, сомнѣній и колебаній; потомъ, въ лучшемъ случаѣ, происходитъ торопливое перепригиваніе на какую-нибудь другую спеціальность, которую быть-можетъ придется переменить на третью, а въ худшемъ случаѣ являются безплодныя усилія помириться съ ненавистнымъ ремесломъ, сознаніе невозможности этого примиренія и позорная рѣшимость тянуть лямку кое-какъ и работать спустя рукава. Все это, какъ видите, очень убыточно, какъ для отдѣльной личности, такъ и для цѣлага общества: тратится время, тратятся молодыя силы, и въ результатъ получаются или плохіе работники, или разочарованные тунеядцы, вроде Гамлета Щигровскаго уѣзда. При позднемъ выборѣ спеціальности, шансы ошибиться въ значительной степени ослабѣваютъ, и вслѣдствіе этого всѣ неудобства, вытекающія изъ ошибки, должны сдѣлаться гораздо рѣже. Всѣмъ извѣстно, что въ былое время у насъ готовили воиновъ, дипломатовъ, юристовъ, моряковъ, и такъ далѣе, чуть ли не съ восьмилѣтнаго возраста; всѣмъ извѣстно также, что теперь правительство старается противодѣйствовать этому преждевременному втискиванію человѣческой личности въ спеціальную форму; желательно было-бы, чтобы въ этомъ

ишемъ противодѣйствующемъ направленіи (читались впередъ гораздо быстрее и рѣшительнее).

XVII.

Къ чему вы написали всю эту статью?—спрашиваетъ меня читатель.— Неужели вы думаете, что вашу программу прикутутъ и осуществятъ?— Нѣтъ, читатель. Ни одной минуты не глѣлъ я на такія несбыточные мечтанія. Хотѣлось только представить ясно и осязательно до послѣдней степени тотъ воспитательскій идеалъ, во имя котораго мы относимся отрицательно къ нашей педагогической дѣйствительности. Ясность и осязательность доведены, какъ и до такихъ размѣровъ, что статья украшена выкладками, цифрами и таблицами. Если изъ статьи объяснительныя разсужденія и если разбить ее на параграфы, то изъидетъ дѣловой прозектъ, совершенно исчерпывающій во всѣхъ своихъ частяхъ и подробно. Послѣ этого, я полагаю, нашимъ читателямъ противникамъ трудно будетъ обвинять въ томъ, что мы отрицаемъ для про-

цесса отрицанія, и что мы не съумѣли-бы ничего построить на томъ мѣстѣ, которое намъ удалось-бы очистить отъ существующихъ зданій готической архитектуры.

Эта статья, совершенно бесполезная въ практическомъ отношеніи, можетъ служить образчикомъ тѣхъ *положительныхъ* плановъ, которые имѣются у насъ въ запасѣ. Главныя достоинства изложеннаго мною воспитательнаго плана заключаются въ слѣдующихъ его чертахъ: 1) Гигіеническія правила соблюдены строжайшимъ образомъ. 2) Вниманіе учащихся сосредоточено на самомъ незначительномъ количествѣ предметовъ, имѣющихъ дѣйствительную образовательную силу. 3) Физическій трудъ введенъ въ составъ общаго образованія. 4) Общее образованіе поставлено въ уровень съ умственнымъ движеніемъ нашего времени. 5) Между общимъ образованіемъ и спеціальностями проведена ясная пограничная черта. 6) Спеціальности подчинены господствующему направленію общаго образованія. Приглашаю нашихъ противниковъ доказать несостоятельность этихъ основныхъ идей.

КОНЕЦЪ ЧЕТВЕРТАГО ТОМА.

Съ осени 1890 года издается задуманная Ф. Павленковымъ біографическая бібліотека подъ заглавіемъ:

ЖИЗНЬ ЗАМѢЧАТЕЛЬНЫХЪ ЛЮДЕЙ.

Въ составъ бібліотеки войдутъ біографіи 200 лицъ. Каждому изъ нихъ посвящается особая книжка, объемомъ отъ 80 до 100 и болѣе страницъ, снабженная портретомъ. Въ біографіямъ путешествениковъ, художниковъ и музыкантовъ прилагаются кромѣ того карты, снимки съ картинъ и ноты. Ежемѣсячно выпускается 4 книжки.

Цѣна каждой книжки отдѣльно—25 к.

До 1 апрѣля 1894 г. вышли отдѣльными книжками 146 біографій слѣдующихъ лицъ:

Протопопа Аввакума, Андерсена, Аристотеля, Байрона, Баха, Бентама и Беккариа, Берне, Бэкона, Бѣлинскаго, Карла Бэра, Беранже, Бетховена, Богдана Хмельницкаго, Боккачіо, Бомарше, Боткина, Джіордано Бруно, Рихарда Вагнера, Леонардо да Винчи, Волкова (основателя русск. театра), Вольтера, Воронцовыхъ, Галилея, Гарвея, Гарибальди, Гаррика, Гегеля, Гейне, Гете, Гладстона, Глинки, Говарда, Гоюля, Грибоедова, Григорія VII, А. Гумбольдта, Гуса, Гутенберга, Гюго, Дагерра и Ніэпса, Даламбера, Данте, Дарвина, Дарюмъжскаго, кн. Дашковой, Демидовыхъ, Державина, Дефо, Дженнера, Диккенса, Достоевскаго, Жоржъ-Зандъ, Жуковскаго, Иванова, Іоанна Грознаго, Кальвина, Канкринъ, Канта, Кантемира, Каразина (основателя харк. университета), Карлейля, Кеплера, Ковалевской, Колумба, Конфуція, Кольцова, Коперника, барона Н. А. Корфа, Крамскою, Кромвеля, Крылова, Кювье, Лавуазье, Лапласа и Эйлера, Лейбница, Лермонтова, Лесепса, Лессинга, Ливингстона, Линкольна, Линнея, Лойолы, Локка, Ломоносова, Лийелля, Маколее, Мейербергера, Микель-Анджело, Милля, Мильтона, Мирабо, Мицкевича, Мольера, Монтескье, Томаса Мора, Моцарта, Никитина, Никона, Новикова, Ньютона, Роберта Оуэна, Паскаля, Песталоцци, Перова, Пирогова, Писарева, Писемскаго, Потемкина, Пржевальскаго, Прудона, Пушкина, Рабле, Рафаэля, Ришелье, Сакіа-Муни (Будда), Салтыкова, Савонаролы, Свифта, Семковскаго, В. Скотта, Адама Смита, Сперанскаго, Стефенсона и Фультона, С. Соловьева, Струве, Стэнли, Сырова, Теккерея, Торквемады, Уатта, Ушинскаго, Фарадея, Фонвизина, Франклина, Цвингли, Шевченко, Шиллера, Шопенгауэра, Шопена, Шумана, Щепкина, Эдисона и Морзе, Джорджъ-Эліота, Юма, Ѳеодотова.

Приготавливаются къ печати біографіи слѣдующихъ лицъ:

Аксакова, Александра II, Бальзака, Бисмарка, Бокля, Вашингтона, В. В. Верещагина, Вярхова, Гайдна, Гончарова, Граковъ, Грановскаго, Декарта, Дидро, Добролюбова, Екатерины II, Карамзина, Аммоса Коменскаго, Кондорсе, Конта, Н. И. Костомарова, Кука, Лобачевскаго, Лютера, Магомета, Макиавелли, Меншикова, Меггерниха, Мольтке, Т. Мюнцера, Наполеона I, Некрасова, Островскаго, Пастера, Петра Великаго, Платона, Н. Полевого, Радичева, Рембрандта, Ренана, Рикардо, Ротшильдовъ, Руссо, Сенеки, Сервантеса, Сократа, Спенсера, Спинозы, Станкевича, Суворова, Льва Толстого, Турьенева, Успенскаго, Франциска Ассизскаго, Фридриха II, Циперона, Чайковскаго, Шекспира, А. Н. Энгельгардта, и др.

Курсивными буквами обозначены имена русскихъ дѣятелей.

Изданія Ф. Павленкова продаются во всѣхъ книжныхъ магазинахъ. Главный складъ въ книжномъ магазинѣ П. Луковникова. (Спб. Лештуковъ пер. № 2.)

часть? *Н. Вавилова*. Популярн. руковод. для по-
 часовъ безъ помощи часовщика и для устройства
 ечи. часовъ. Съ 13 рис. Ц. 30 к.
 тическая психологія. *Дженна*. Переводъ подъ редак-
 проф. *В. Чижика*. Съ 21 рис. Ц. 75 коп.
 е неба. *К. Фламмаріона*. Перев. съ француз-
 . *Е. Предтеченскаго*. Съ 64 рис. Ц. 50 к.
 а больными въ семьѣ. *Д-ра Энцимера*. Ц. 50 к.
 дѣтства. *Д-ра Перве*. Ц. 50 к.
 желудка. Съ англійскаго. Ц. 50 к.
 чество въ природѣ. *Жоржа Дари*. Переводъ съ
 нцузскаго. *Д. Голова*. Съ 102 рис. Ц. 1 р. 25 к.
 ичество. Практич. настав. для народ. учителей.
Шубелера. Съ 137 рис. Ц. 60 к.
 ѣзъ. *Д-ра Симона*. Сновидѣніи, галлюцинаціи,
 амбузизмъ, гипнотизмъ. Съ франц. Ц. 1 р.
 іа души. *А. Герцена*. профес. Лозанскаго уни-
 верситета. Переводъ съ франц. Ц. 1 р.
 трудъ. Составилъ *Графини*. Руководство къ до-
 заніямъ ремеслами. Пер. съ фр. Съ 400 рис.
 1 р. 50 к. Въ пап.—1 р. 75 к. Въ пер.—2 р.
 человека. *И. Мантезаца*. Переводъ съ 5-го
 изданія *д-ра Лейненберга*. Ц. 1 р. 50 к.
 ный эпидеміи. *Д-ра Ренъра*. Перев. съ франц.
Зауеръ. Съ 110 рис. Ц. 1 р. 75 к.
 зомій. Популярныя очерки міровѣдѣн. 6-е изд.
 ительно исправленное съ 65 рис. Ц. 30 к.
 ступная астрономія. *К. Фламмаріона*. Перев. съ
 . *В. Черкасова*. Съ 100 рис. 3-е изд. Ц. 80 к.
 ий міръ. Популярно-астрономическія бесѣды
Тетченскаго. Съ мног. рис. Ц. 30 к.
 ѣ и его практическія примѣненія. Соч. *Майера* и
 . *Д. Голова*. Съ 293 рис. Ц. 2 р. 50 к.
 ческіе элементы. Соч. *Нюде*. Перев. и дополнилъ
Голова. Со мног. рисунками. Ц. 2 р.
 ческіе аккумуляторы. *Э. Ренье*. Перевелъ и до-
 нилъ *Д. Голова*. Съ 76 рис. Ц. 1 р. 25 к.
 ческое освѣщеніе. Составилъ *В. Чиколевъ*. Съ
 рис. Ц. 2 р. 50 к.
 ее электрическое освѣщеніе и уходъ за аккумуля-
 ми. *Сломенса*. Съ англ. 81 рис. Ц. 1. 25 к.
 оности электр. освѣщенія. *В. Чиколевъ*. Ц. 25 к.
 чество и магнетизмъ. *А. Гано* и *Ж. Маневре*. Пере-
 . *Ф. Павленкова*, *В. Черкасова* и *С. Степанова*.
 рис. Ц. 1 р. 50 к.
 ный лекціи объ электричествѣ и магнетизмѣ. *О.*
льсона. Съ 230 рис. Ц. 2 р.
 шія приложенія электричества. *Э. Госпиталье*.
 множествомъ рис. 2-е изд. Ц. 2 р. 50 к.
 ческая передача энергіи (передача силы на раз-
 нѣ). *Каппа*. Съ 50 рис. Ц. 1 р. 60 к.
 чество въ домашнемъ быту. *Э. Госпиталье*. Со мно-
 вомъ рис. 2-е изд. Ц. 2 р.
 ческіе звонки. *Воттона*. Съ свѣд. о воздуш. звон-
 . 114 рис. Пер. съ англ. *Голова*. Ц. 1 р.
 аль для науки *Ч. Дарвина*? Популяр. обзоръ его
 довъ, состав. *Гексли*. *Гейки*, *Дайеромъ* и *Рома-*
нъ. Съ портр. *Дарвина*. Ц. 75 к.
 ная жизнь животныхъ. *Эспинаса*. Перев. съ франц.
Павленкова. 500 стр. 2 р. 50 к.
 о физическіи силы. Опытъ популярно-научной
 софіи. *А. Секки*. Перев. съ франц. *Ф. Павлен-*
ка. 2-е изд. Ц. 2 р. 50 к.
 гія вниманія. *Д-ра Рибо*. Съ франц. 2-е изд. Ц. 40 к.
 гія великихъ людей. *Жюли*. Съ франц. 3-е изд. Ц. 60 к.
 нные психопаты. *Юллера*. Съ франц. Ц. 1 р. 50 к.
 ость и помѣшательство. *Ц. Ломброзо*. Съ портр.
 ра и рисунками. 2-е изд. Ц. 1 р.
 и полевныя настѣжныя. *Иерсена*. 48 рис. Ц. 80 к.
 а башни. Составилъ *Г. Тисандье*. Съ 34 рис. Ц. 50 к.
 й жуки. Съ 3 рис. *Барона Н. Корфа*. Ц. 10 к.
 ый садоводъ. Объ устройствѣ питомниковъ и обу-
 е садоводству. *А. Вологовскаго*. Ц. 20 к.

Для дѣтей и юношества.

ирированные сказки Андерсена. Полное собраніе въ
 махъ. Съ 530 рисунками. Перев. *Б. Порозов-*
а. Цѣна каждого тома 60 коп., въ папкѣ 75 к.,
 издѣномъ переп. по 3 тома—2 р. 50 к.
 ирированная сказочная библиотечка. *Ф. Павленкова*.
 ытается съ 1894 г. Всѣхъ книжекъ будетъ отъ 150 до
 Вышло до 10 мая тридцать книжекъ, отъ
 до 30. Цѣны книжекъ отъ 5 до 20 коп.

Иллюстрированные романы дѣтскаго въ сокращенномъ
 переводѣ *Л. Шелуновой*: 1) Давидъ Копперфильдъ; 2)
 Домби и сынъ; 3) Оливеръ Твистъ; 4) Больныя надежды;
 5) Нашъ общій другъ; 6) Лавка древностей; 7) Крошка
 Дорритъ; 8) Тяжелыя времена; 9) Холодный домъ;
 10) Николай Никльби; 11) Два города; 12) Мартинъ
 Чезальви. Цѣна каждого ром. 40 к. Въ пап. 50 к.
 въ переплетѣ по 6 ром.—8 р. 25 к.

Иллюстрированные романы Вальтеръ-Скотта въ сокращен-
 номъ переводѣ *Л. Шелуновой*. 1) Веверлей; 2) Анти-
 кварій; 3) Робъ-Рой; 4) Айвенго; 5) Астрологъ; 6) Квен-
 тинъ Дорвардъ; 7) Вудстокъ; 8) Замокъ Кенильвортъ;
 9) Ламермурская невеста; 10) Легенда о Монтроузѣ;
 11) Певенли Пикъ; 12) Пресвитеріане; 13) Пертская
 красавица; 14) Аббатъ; 15) Монастырь; 16) Пиратъ;
 17) Карлъ Смѣлый; 18) Ричардъ-Львиное Сердце; 19)
 Обрученные; 20) Черный Карликъ. Ц. кажд. ром. 40 к.,
 въ пап. 50 к., въ перепл. по 5 роман. Ц. 2 р. 80 к.

Всякому гвоздю свое мѣсто. *А. Крулова*. Съ 46 рис.
 Ц. 1 р. 25 к., въ папкѣ 1 р. 50 к., въ пер. 2 р.
 Дѣтскій маскарадъ. *Н. Азбелева*. Съ 16 рис. Ц. 20 к.
 Блуждающіе огоньки. Сборн. дѣтск. рассказовъ. *Важиной*.
 Съ мног. рис. Ц. 1 р. Въ пап.—1р.25к. Въ пер.—1р.60к.
 Два прозвоника. Шуточн. разск. въ стихахъ. *В. Буша*. Пер.
 съ нѣм. 100 рис. 2-е изд. Цѣна въ папкѣ 50 к.

Русскія народныя сказки въ стихахъ. *А. Бранчанинова*. Съ
 предисловіемъ *И. С. Тургенева*. Множ. рисунковъ.
 Ц. 2 р. Въ папкѣ 2 р. 50 к., въ переплетѣ 3 р.

Черныя богатыри. *Е. Конради*. Со множествомъ рисун-
 ковъ. Ц. 2 р., въ переплетѣ 2 р. 75 к.

Въ добрый часъ! Сборн. дѣтск. рассказовъ. *А. Лякидъ*.
 Съ рис. Ц. 75 к., въ папкѣ 1 р., въ пер. 1 р. 25 к.

Подружия. Книжка для маленькихъ дѣтей. Сост. *Бостромъ*.
 Съ 130 рис. Ц. 75 к., въ папкѣ—1р., въ перепл.—1р.30к.

Задуманные рассказы. *Ц. Засодимскаго*. Два тома съ 135
 рис. Ц. кажд. 1 р. 25 к., въ папкѣ 1 р. 50 к., въ пер. 2 р.

Хорошіе люди. *В. Острогорскаго*. Съ 45 рис. 2-е изд.
 Ц. 1 р., въ папкѣ 1 р. 25 к., въ пер. 1р. 60 к.

Изъ жизни и исторіи. *А. Арсеньева*. Съ рис. Ц. въ папкѣ
 1 р. 50 к., въ перепл. 2 р.

Послушамъ! Дѣтскіе рассказы. *А. Нольде*. 28 рис. Цѣна
 въ папкѣ 1 р., въ перепл. 1 р. 35 к.

Робинзонъ. Его жизнь и приключенія. *Гейбнера*. Съ 107
 рис. Ц. 30 к. Въ папкѣ 40 к., въ перепл. 60 к.

Донъ-Кихотъ. *Сервантеса*. Сокращ. перев. для юношества.
 Съ 43 рис. Ц. 50 к., въ папкѣ—60к., въ перепл.—90 к.

Наглядныя несообразности. (Дѣтскія загадки въ картинкахъ).
Ф. Павленкова. 10 листовъ (на каждомъ по 20 рис.).
 Ц. 1 р. «Объясненіе» къ нимъ 5 к.

Математическія развлеченія. *Люкаса*. Переводъ съ франц.
 Съ 55 фиг. и таб. Ц. 1 р. Въ переплетѣ 1 р. 75 к.

Тройная головоломка. *В. Обреимова*. Сборникъ геометр.ч.
 игръ. Съ 300 рис. и 39 кастет. Ц. 1 р.

Образовательное путешествіе. *В. Ворисюфера*. Съ 73 рис.
 Ц. 1 р. 50 к., въ папкѣ 1 р. 75 к., въ пер. 2 р. 25 к.

Черезъ дебри и пустыни. *В. Ворисюфера*. Съ иллюстр.
 Ц. 2 р., въ пап. 2 р. 25 к., въ пер. 2 р. 75 к.

Сказочная страна. *В. Ворисюфера*. Съ иллюстраціями.
 Ц. 2 р., въ папкѣ 2 р. 25 к., въ перепл. 2 р. 75 к.

Приключенія контрабандиста. *В. Ворисюфера*. Съ иллюс.
 Ц. 1 р. 50 к., въ папкѣ 1 р. 75 к., въ перепл. 2 р. 25 к.

Мученики науки. *Г. Тисандье*. Переводъ подъ ред. *Ф. Па-*
вленкова. Съ 55 рис. 3-е изд. Ц. 1 р. 25 к., въ пер. 2 р.

Вечерніе досуги. *А. Крулова*. Съ 70 рис. 2 изд. Ц. 1 р.
 въ папкѣ 1 р. 25 к., въ переплетѣ 1 р. 75 к.

Научныя развлеченія. *Г. Тисандье*. Пер. подъ ред. *Ф. Па-*
вленкова. Съ 353 рис. 3-е изд. Ц. 1р.50к., въ пер. 2р.25к.

Сказки Густафсона. Съ 30 рис. Цѣна 1 р. 25 к., въ папкѣ
 1 р. 50 к., въ переплетѣ 1 р. 75 к.

На землѣ и подъ землей. Изъ воспомин. всемірнаго путеше-
 ственника. *В. Галузьева*. Съ рисунками. Ц. 1 р.

25 к., въ папкѣ 1 р. 50 к., въ пер. 2 р.
 До потопа. Романъ изъ жизни первобытныхъ людей.
Рони. Съ 16 рисунками. Ц. 50 к.

Рыжій графъ. Неразлучники. Дочь угольщика. *Ц. Засо-*
димскаго. Съ рисунками. Ц. кажд. кн. по 35 к.

Живыя картины. *А. Смирнова*. Съ 50 рис. Ц. 1 р. 50 к.,
 въ папкѣ 1 р. 75 к., въ переплетѣ 2 р.

Незабудки. *А. Крулова*. Сборникъ рассказовъ.
 Ц. 1 р. 50 к., въ пап. 1 р. 75 к., въ пер. 2 р.

Несчастливцы. *Э. Кандеза*. Съ 58 рис. Ц. 1
 папкѣ—1 р. 50 к., въ перепл.—2 руб.

20 біографій образц. русск. писателей. *В. О-*
 4-е изд. Съ 20 портр. Ц. 50 к., въ папкѣ 75 к.

Линия Вологодского уезда. *Кружкова*. Съ 6 рис. Ц. 20 к.
Приключения сверчка. *Э. Кандеа*. Съ 67 рис. Ц. 2 р.,
въ папкѣ 2 р. 25 к., въ перепл. 2 р. 50 к.
Исторія отырытія Америки. *Ламе-Флері*. 3-е изд. Съ 52 рис.
Ц. 75 к. въ папкѣ—1 р. въ пер.—1 р. 30 к.

Учебныя руководства и пособія.

Алгебра. *Тодентера*. Ц. 2 р. 50 к.
Курсъ начальной механики. *Рыкачова*. 197 рис. Ц. 1 р. 50 к.
Практическая геометрія. *Заблужаю*. Съ 300 чертеж. Ц. 60 к.
Курсъ метеорологій и климатологій. *Д. А. Лачинова*. Съ
122 рисунками и 6 картами. Ц. 2 р.
Основы химіи. *Селезнева*. Съ 70 рис. Ц. 1 р. 50 к.
Полный курсъ физики. *А. Гано*. Перев. *Ф. Павленкова* и
В. Черкасова. 8-е изд. 1863 рис., 170 задачъ, 2 таб.
спектровъ, метеорологія и краткая химія. Ц. 4 р.
Учебникъ химіи. *Альмендинена*. 96 рис. и 140 задачъ. Ц. 2 р.
Общепонятная геометрія. *Поточката*. 143 фиг. Ц. 40 к.
Самостоятельныя работы въ начальной школѣ. *Т. Лубенца*. 2-е дополненное изд. Ц. 15 к.
Сборникъ самостоят. упражненій по ариметикѣ. Задачникъ
для учениковъ. *С. Житкова*. Ц. 25 к.
Методика ариметики. *С. Житкова*. 3-е изд. Ц. 75 к.
Сборникъ арифметическихъ задачъ съучителемъ. Приложение
къ «Методикѣ ариметики». *С. Житкова*. 4-е изд. Ц. 40 к.
Начальный курсъ географіи. *Корнелъ*. 11-е изданіе, съ
10-ю раскраш. картами и 82 рис. Ц. 1 р. 25 к.
Эпизодическій курсъ всеобщей исторіи. *Кузнецова*. Ц. 1 р.
Наглядная азбука. *Ф. Павленкова*. 800 рис. 13-е изд. Ц. 20 к.
Объясненіе къ «Наглядной Азбукѣ». *Ф. Павленкова*. 7-е
изданіе. Ц. 15 к.
Родная азбука. *Ф. Павленкова*. 8-е изд. 200 рис. Ц. 5 к.
Руководство къ «Зернышку». *Т. Лубенца*. Ц. 50 к.
Зернышко. Черная посѣя азбука книга для чтенія и письма
съ прил. черк.-славянской грамоты и многими рис.
Т. Лубенца. Ц. 30 к. 2-я кн. Ц. 40 к.
Азбука-копѣйка. *Ф. Павленкова*. 8-е изд., 100 рис. Ц. 1 к.
Наглядно-звуковыя прописи. *Ф. Павленкова*. 1) къ «Родному
слову» Ушинскаго (400 рис.), 2) къ азбукѣ Бунакова (460
рис.), 3) къ «Первой учебной книжкѣ» Паульсона (430
рис.), 4) Общія наглядно-звуковыя прописи (въ другія
азбуки) (444 рис.). Цѣна каждой книжки 8 к.

Элементарная грамматика русск. языка. *Лубенца*. Ц. 30 к.
Методика ариметики. *Т. Лубенца*. Ц. 30 к.
Руководитель для воскресныхъ школъ. *А. Н. Корфа*. Ц. 50 к.
Итоги народнаго образованія въ европейскихъ государ-
ствахъ Барона *Н. А. Корфа*. Ц. 60 к.
Нашъ другъ. Книга для чтенія въ школѣ и дома. Сост. бар. *Н.
А. Корфа*. 15-е изд., съ 200 рис. и портретами. Ц. 75 к.
Начальн. рус. грамматика. *Н. Буминскаго*. Ц. 30 к.
Иллюстрированная хрестоматія. *А. Тарнавскаго*. Для началъ
учебныхъ заведеній и младш. классовъ гимназій (Съ
80 рис. и портретами). 4-е изд. Ц. 60 к.
Церковно-славян. букварь. *Т. Лубенца*. 2-е изд. Ц. 5.
Руководство къ «Ц.-С. букварю». *Т. Лубенца*. Ц. 15.
Книга для обученія церковно-славянскому языку. *А. Ле-
рокова*. 2-е изд. Ц. 20 к. «Замѣтки для учителей
обучающаго по этой книжкѣ»—10 к.
Азбука домоводства и домашней гігіены. Сост. *М. Книж-
Перевелъ баронъ Н. Корфа*. Ц. 75 к.
Триста письменныхъ работъ. Задачи для упражненій и
писемъ къ начальной школѣ. *Н. А. Корфа*. Ц. 15 к.
Первоначальное правописаніе. 40 диктовокъ съ указаніемъ
грамматическихъ правилъ. *Н. А. Корфа*. Ц. 12 к.
Сборникъ задачъ по русскому правописанію. Разныя
1) Элементарныя свѣд. о право. словъ. Ц. 50 к. 2) Се-
стематическія свѣд. о право. словъ. Ц. 50 к. 3) Эlemen-
тарныя свѣдѣнія о знакахъ препинанія. Ц. 35 к. 4)
Систем. свѣдѣнія о знакахъ препинанія. Ц. 35 к.
Сборникъ арифметическ. задачъ. *Лубенца*. 13-е изд. (ок. 200
зад. и 3000 чисел. приѣмловъ). Ц. 40 к. Тотъ же. Сбор-
никъ по частямъ: Годъ I—12 к. Г. II—15 к. Г. III—20 к.
Сборникъ алгебраическихъ задачъ. *М. Садовскаго*. Ц. 40 к.
Первое знакомство съ физикой. *Герасимовъ*. 96 рис. Ц. 30 к.
Дешевый географ. атласъ. 10 раскр. карт. Ц. 30 к.
Очерки новѣйшей исторіи. *Н. И. Григоровича*. 6-е изд.
съ 57 портретами. Ц. 2 р. Въ перепл. 2 р. 75 к.
Первыя понятія о зоологіи. *Поля Бера*. Перев. подъ редак-
ціей проф. *Н. Мечникова*. Съ 345 рис. 2-е изд. съ портретомъ
автора. Ц. 1 р., въ папкѣ 1 р. 20 к., въ перепл. 1 р. 50 к.
Краткій курсъ ботаники. *М. Силлова*. Съ 118 р. Ц. 50 к.
Общедоступное землѣдѣіе. *А. Колтиновскаго*. Съ 273
рисунками въ текстѣ. Ц. 75 к.
Руководство къ рисованію анварелю. *Лакассана*. 120 по-
литипажей и 6 акперелей. Ц. 1 р. 50 к.

Съ осени 1890 г. Ф. Павленковымъ издается біографическая бібліотека подъ заглавіемъ:

ЖИЗНЬ ЗАМѢЧАТЕЛЬНЫХЪ ЛЮДЕЙ.

Въ составъ ея войдутъ біографіи 200 лицъ. Каждому изъ нихъ посвящается особая книжка, объемомъ отъ 80 до 100 и болѣе страницъ, снабженная портретомъ. Къ біографіямъ путешественниковъ, художниковъ и му-
зыкантовъ прилагаются кромѣ того карты, снимки съ картинъ и ноты. Ежемѣсячно выпускается 4 книжки.

Цѣна каждой книжки отдѣльно—25 коп.

До мая 1894 г. вышли отдѣльными книжками 143 біографіи слѣдующихъ лицъ:

Протопопа Авакума, *Андерсена*, *Аристотеля*, *Бай-
рона*, *Баха*, *Беккариа* и *Бентама*, *Бёрне*, *Бюкона*, *Бьлин-
скаго*, *Карла Бера*, *Беранже*, *Бетховена*, *Богдана Хмель-
ницкаго*, *Бовкалю*, *Бомарше*, *Боткина*, *Джордано Бруно*,
Рихарда Вагнера, *Леонардо да Винчи*, *Волкова* (осно-
вателя русск. театра), *Вольтера*, *Воронцовыхъ*, *Галле-
лея*, *Гарвея*, *Гарibaldi*, *Гаррика*, *Гегеля*, *Гейне*, *Гете*,
Гладстона, *Глинки*, *Говарда*, *Готолл*, *Грибодова*, *Гри-
горія VII*, *А. Гумбольдта*, *Гуса*, *Гутенберга*, *Гюго*, *Да-
герра* и *Ніапса*, *Даламбера*, *Данте*, *Дарвина*, *Дарго-
мыжскаго*, *кн. Дашкова*, *Демидовыхъ*, *Державина*, *Дефо*,
Дженнера, *Диккенса*, *Достоевскаго*, *Жоржъ-Занда*, *Ива-
нова* (художника), *Иоанна Грознаго*, *Кальвина*, *Канкрина*,
Канта, *Кантемира*, *Каразина* (основателя харьк. универ-
ситета), *Карлейля*, *Кеплера*, *Ковалевской*, *Колумба*, *Кон-
фуція*, *Комцова*, *Коперника*, *Барона Н. А. Корфа*,

Крамскою, *Кр. ова*, *Кюнье*, *Лавуазье*, *Лавласа* и *Эйлера*,
Лейбница, *Лермонтова*, *Лессенса*, *Лессинга*, *Ливани*,
стова, *Линкольна*, *Линнея*, *Лобовъ*, *Локка*, *Ломоносова*,
Лябелля, *Макоел*, *Меубера*, *Миллери-Анджелло*, *Милля*,
Милтона, *Мирабо*, *Милленича*, *Мольера*, *Монтескье*,
Томаса Мора, *Моцарта*, *Никитина*, *Никона*, *Новикова*,
Ньютона, *Роберта Оуэна*, *Паскаля*, *Песталоцци*, *Петрова*,
Пирогова, *Писарева*, *Писемскаго*, *Потемкина*, *Прже-
вальскаго*, *Прудона*, *Пушкина*, *Рабле*, *Рафаэля*, *Рителла*,
Сакіа-Муни (Будды), *Салтыкова*, *Савонаролы*, *Синфла*,
Сенковскаго, *В. Скотта*, *Адама Смитта*, *Сперанскаго*, *Сте-
фенсона* и *Фультона*, *Струве*, *Стэнля*, *Сьрова*, *Тенкерея*,
Торквемады, *Уатта*, *Ушинскаго*, *Фарадея*, *Фонвизина*,
Франкллина, *Цинглия*, *Шевченко*, *Шиллера*, *Шопенгауэра*,
Шопена, *Шумана*, *Щенкина*, *Эдисона* и *Морзе*, *Джорджа*,
Эліота, *Юма*, *Федотова*.

Приготавливаются къ печати біографіи слѣдующихъ лицъ:

Аксакова, *Александра II*, *Бальзака*, *Бисмарка*, *Бокля*,
Вашингтона, *В. В. Верещагина*, *Вирхова*, *Гайда*, *Гонча-
рова*, *Граксовъ*, *Грановскаго*, *Декарта*, *Дидро*, *Добролю-
бова*, *Екатерины II*, *Жуковскаго*, *Ибсена*, *Карамзина*,
Кетле, *Кондорсе*, *Конта*, *Н. И. Костомарова*, *Кука*,
Лобачевскаго, *Лютера*, *Магомета*, *Макіавелли*, *Мен-
шикова*, *Меттеранія*, *Мольте*, *Т. Мюндера*, *Напо-*

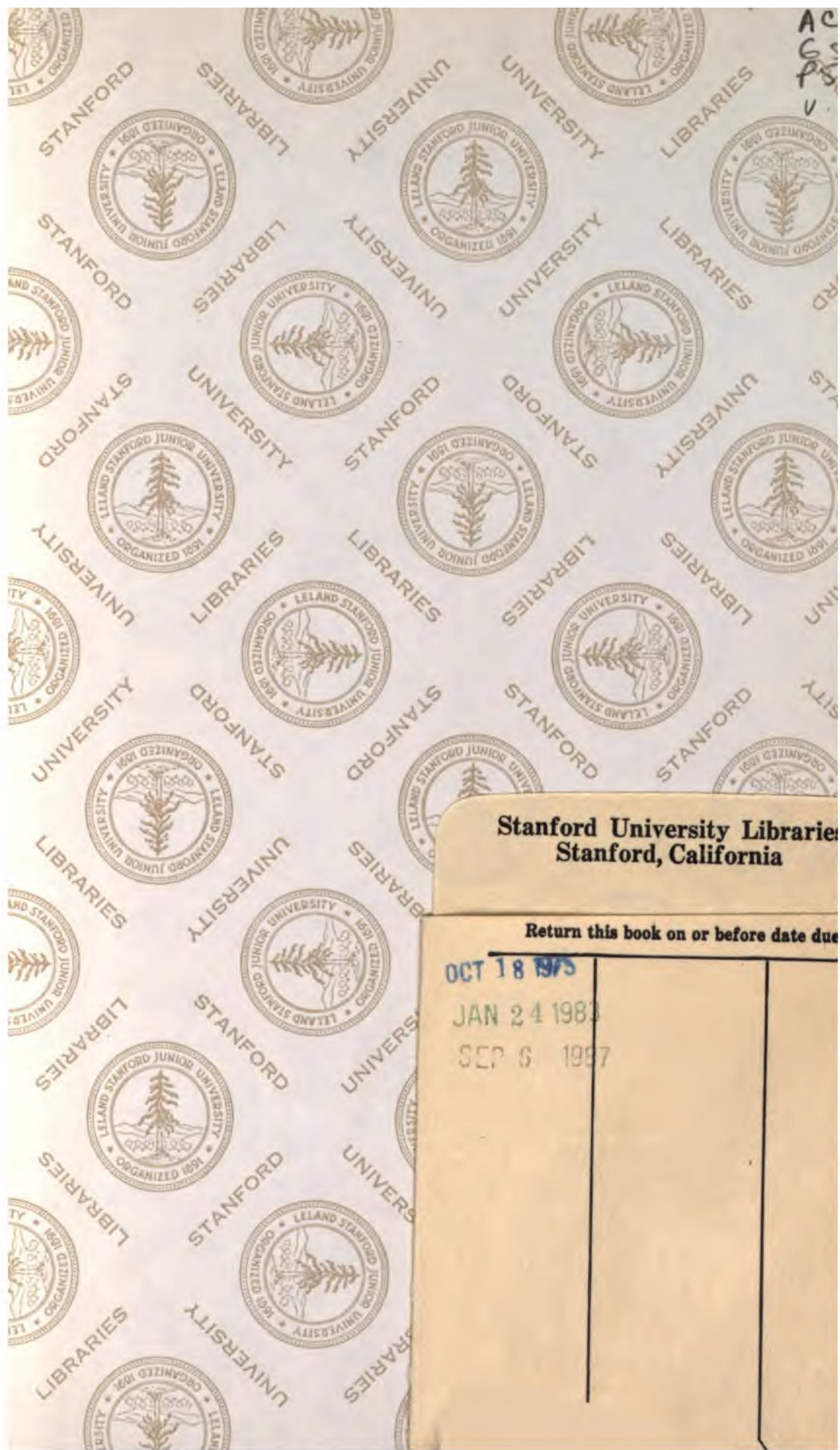
леона I, *Некрасова*, *Островскаго*, *Пастера*, *Петра Ве-
ликаго*, *Платова*, *Н. Полеого*, *Радищева*, *Рембранта*,
Ренана, *Ривардо*, *Ротшильдовъ*, *Руссо*, *Сенека*, *Серван-
теса*, *Скобелева*, *Сократа*, *С. Соловьева*, *Спенсера*, *Скел-
тона*, *Станкевича*, *Суворова*, *Льва Толстого*, *Тургенева*,
Успенскаго, *Франциска-Ассизскаго*, *Фредриха II*, *Циц-
рова*, *Чайковскаго*, *Шекспира*, *А. Н. Энгельгардта*, и др.

Курсивными буквами въ описаніи обозначены имена русскихъ личностей.









Stanford University Libraries
Stanford, California

Return this book on or before date due

OCT 18 1975

JAN 24 1983

SEP 6 1997

